
В.В. РОЗАНОВ

ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

В. Розанов

1



В. В. Розанов. Фотография 1917 г.

Институт научной информации по общественным наукам
Российской академии наук
Российский государственный архив литературы и искусства

Росток

В. В. РОЗАНОВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В 35 томах

Серия

«Литература и искусство»

В 6 томах



Санкт-Петербург
2014

В. В. РОЗАНОВ

Том первый
О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Легенда о Великом инквизиторе
Ф. М. Достоевского

Статьи 1889—1900 гг.



Санкт-Петербург
2014

УДК 821.161.1-4
ББК 83.3(2Рос=Рус)1
Р64

*Согласно Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
«книга предназначена для детей старше 16 лет»*



*Издание осуществляется при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
Проект 08-04-00025а, 14-04-16008д*

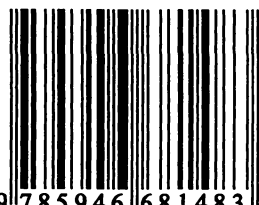
Редакционная коллегия:

*А. Н. Николюкин (главный редактор)
Т. М. Горяева, А. П. Дмитриев, И. А. Едошина, Ю. С. Пивоваров,
А. Ю. Розанов, Л. В. Скворцов, В. А. Фатеев, С. Р. Федякин*

Ответственный редактор
К. А. Жулькова

Составитель и редактор тома
А. Н. Николюкин

ISBN 978-5-94668-147-6
ISBN 978-5-94668-148-3 (т. 1)



9 785946 681483

© ИНИОН РАН, 2014
© РГАЛИ, 2014
© А. Н. Николюкин, составление, 2014
© Издательство «Росток», 2014

Содержание

От редакции	10
ЛЕГЕНДА О ВЕЛИКОМ ИНКВИЗИТОРЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО Опыт критического комментария с приложением двух этюдов о Гоголе	
Предисловие к первому изданию	15
Предисловие ко второму изданию	15
О легенде «Великий инквизитор»	19
Приложения	117
О Гоголе	142
Пушкин и Гоголь	142
Как произошел тип Акакия Акакиевича	148
Послесловия к комментарию «Легенды о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского»	156
СТАТЬИ 1889–1900 гг.	
1889	
Паскаль *	165
1892	
Эстетическое понимание истории	186
1893	
Гретхен и Фауст *	258
1894	
Свобода и вера (По поводу религиозных толков нашего времени)	288
Ответ г. Владимиру Соловьёву	303
Что против принципа творческой свободы нашлись возразить защитники свободы хаотической?	318
1895	
Интеллигенция и народ *	344
По поводу одной тревоги Л. Н. Толстого	345
Письмо в редакцию. <О статье «Необходимое разъяснение»>	369
Открытое письмо к г. Алексею Веселовскому	373

* Звездочкой отмечены не печатавшиеся при жизни В. В. Розанова произведения, обнаруженные в архивах.

1896

Христианство и язык *	380
Памяти дорогого друга <К. Н. Леонтьев>	410
Кому «горе от ума» в действительной жизни?	415
Еще доброе дело на Руси	421
Кто был победителем 8 марта 1881 года? *	428
Еще о гр. Л. Н. Толстом и его учении о несопротивлении злу	434
Нечто о декадентах, «лампадном масле» и о пронизательности наших критиков	442
Критическая заметка <А. Волынский. Русские критики> *	450
Памяти Н. Н. Стрхова *	455

1897

<С. М. Соловьёв. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других> *	469
<О В. А. Грингмуте>	469
Я. Колубовский. Философский ежегодник	470
<Годовщина смерти Н. Н. Стрхова и Ю. Н. Говорухи-Отрока>	472
Падающие колосья	474
Inde ira... ..	477
<А. Н. Майков. Некролог>	479
Из мира идей и фактов	480
Литературные волнения	485
Письмо в редакцию <<Северного Вестника>>	487
Два вида «правительства»	493
О постановке памятника М. Н. Каткову	498
Ф. Э. Шперк (Некролог)	500
Кулачество в литературе. Думы литератора	502

1898

И. И. Ясинский (Максим Белинский). Нежеланные дети. Роман	506
Поэтический материал	506
А. В. Круглов. В гостях (В Крыму) (Очерк из рассказов приятеля)	508
Л. С<лонимский>. Мысли Белинского о воспитании. К пятидесятилетию со дня его смерти (1848—1898)	508
Свое слово. Философско-литературный сборник, издаваемый проф. А. А. Козловым. № 5	509
Гр. Л. Н. Толстой	510
Д. Садовников. Наши землепроходцы (Рассказы о заселении Сибири)	517
Вестник Археологии и Истории, издаваемый Археологическим институтом	518
Схема развития славянофильства *	520

1899

С. Рачинский. Сельская школа. Сборник статей	522
Н. И. Барсов. Несколько исследований исторических и рассуждений о вопросах современных	524
И. А. Данилов. В тихой пристани. — В морозную ночь. — Поездка на богомолье	526

Д. С. Мережковский. Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы	528
Л. Мамышев. Душа и тело. Беглые очерки	529
Попутные заметки <Л. Н. Толстой. Сорок лет>	531
Попутные заметки <О романе>	532
Попутные заметки <Л. Н. Толстой. Воскресение>	533
Попутные заметки <Еще о «Воскресении» Толстого> *	535
Печатное слово в России	537
А. С. Пушкин	539
Заметка о Пушкине	549
Путаные идеи	555
Формы и практика	559
Н. П. Гиляров-Платонов. Сборник сочинений. Том 1	562
Обманчивые слова	563
«Субботние» бюллетени	565
Открытое письмо к Д. В. Filosoфoву	580
35-летие † Ап. Ал. Григорьева	586
Блез Паскаль. Мысли (О религии)	590
Греческому ли языку учиться или подражать грекам?	591
Автобиография В. В. Розанова (Письмо В. В. Розанова к Я. Н. Колубовскому)	593
Из записной книжки русского писателя	599
А. Левенстим. Профессиональное нищенство, его причины и формы. Бытовые очерки	605
Н. С. Тихонравов. Сочинения	607
Д. П. Шестаков. Стихотворения	609
Попутные заметки <О русской культуре>	611
Памяти Дм. Вас. Григоровича	613
Памяти Белинского *	615

1900

Татевский сборник С. А. Рачинского	617
А. Н. Бежецкий. Медвежьи углы. Повести и очерки	617
Из записной книжки русского писателя	618
Пассивные идеалы	628
Ответ г. В. Соловьёву <1900> *	636
И. Кольшко. Маленькие мысли. 1898–1899	639
Эмбрионы	640
Э. Бутру. В защиту идеалов разума	645
А. И. Косоротов. Забитая калитка. Рассказ. — Вавилонское столпотворение: История одной гимназии	646
Три кита	647
Публицисты и публицистика	657
Умственные течения в России за 25 лет	659
Думы и впечатления <О трагедии>	667
Еще о смерти Пушкина	669
Думы и впечатления <О войне и мире>	682
В. Л. Дедлов. Панорама Сибири	686

Думы и впечатления <О гении>	688
Бесполезные попытки	691
Письмо в редакцию <О П. П. Перцове>	693
Что приснилось философу	695
Ф. А. Крумахер. Притчи	698
Университет в образовании писателей	699
О. Петерсон и Е. Балабанова. Западноевропейский эпос и средневековый роман в пересказах и сокращенных переводах с подлинных текстов	707
Двуликие янусы	708
Об упадке серьезной критики	709
На границах поэзии и философии. Стихотворения Владимира Соловьёва	710
Писатель семидесятых годов	718
Библиографическая заметка <«Ежемесячные Сочинения» И. И. Ясинского>	723
А. Лейриц. Противные животные	724
Новая работа о Толстом и Достоевском	725
Судьбы нашего журнального консерватизма	732
Огнян Славкович. Борьба сербского народа с злым гением и его клеветами	740
Кое-что новое о Пушкине	742
Памяти Вл. Соловьёва	749
Письмо в редакцию <Д. С. Мережковский>	753
Еще о Вл. Серг. Соловьёве	754
Г. Т. Северцов (Полилов). Аккорды бытия: Очерки и рассказы	760
Спор не без идеи	762
Из житейских воспоминаний	769
С. Ф. Годлевский. Смерть Неволина и его скитания по Сибири	780
Интересный законопроект	782
Исполнительность и творчество *	784

ПРИЛОЖЕНИЕ

Стихотворения студенческих лет *	789
План Полного собрания сочинений, составленный В. В. Розановым в 1917 г.	799

ВАРИАНТЫ

1890

Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского	803
Приложение	818
Пушкин и Гоголь	819
Как произошел тип Акакия Акакиевича	819

1893

Гретхен и Фауст	820
-----------------------	-----

1895

Необходимое разъяснение	823
-------------------------------	-----

1896	
Еще о гр. Л. Н. Толстом и его учении о несопротивлении злу	825
1897	
<О В. А. Грингмуте>	827
Из мира идей и фактов	828
Два вида «правительства»	829
1898	
Гр. Л. Н. Толстой	832
1899	
И. А. Данилов. В тихой пристани. — В морозную ночь. — Поездка на богомолье	834
Н. П. Гиляров-Платонов. Сборник сочинений. Т. 1	836
А. Левенстим. Профессиональное нищенство, его причины и формы: Бытовые очерки	837
1900	
А. И. Косоротов. Забитая калитка. Рассказ. — Вавилонское столпотворение: История одной гимназии	838
Три кита	838
Умственные течения в России за 25 лет	840
Еще о смерти Пушкина	840
На границах поэзии и философии. Стихотворения Владимира Соловьёва	851
Новая работа о Толстом и Достоевском	851
Спор не без идеи	853
Комментарии	855
Список сокращений	1024
Список исполнителей текстологической работы	1026
Состав 2—6 томов серии «Литература и художества»	1028
Указатель имен и названий	1037

От редакции

Полное собрание сочинений В. В. Розанова, выпускаемое Институтом научной информации по общественным наукам РАН и Российским государственным архивом литературы и искусства, является первым изданием сочинений писателя, подготовленным в результате всестороннего изучения выявленных к настоящему времени источников текста, как печатных, так и рукописных. Собрание включает в себя все философские, литературные, критические, публицистические произведения Розанова. Эпистолярное наследие включалось лишь в тех случаях, когда письма Розанова составляли по существу органическую часть таких его книг, как «Литературные изгнанники», «Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову».

Редколлегия считает необходимым следовать пожеланиям самого В. В. Розанова относительно порядка публикации его сочинений. В основу настоящего издания положен план Собрания сочинений, составленный писателем в 1917 г. по темам и книгам (см. Приложение).

Казалось бы, для Полного собрания сочинений наиболее приемлемым является хронологический порядок изучения. Однако издание по хронологии написания произведений Розанова представляется невозможным по двум причинам: во-первых, существует авторская воля издавать Собрание сочинений по темам и книгам. Она выражена в «Опавших листьях. Короб второй» и в плане Собрания сочинений, составленном в 1917 г. Во-вторых, представляется невозможным «разъять» розановские книги, поскольку они составляют единое целое, достигнутое в ходе подготовки ранее напечатанных статей к изданию и переизданию (в том числе предисловия и другие композиционные элементы, существующие в книгах и не позволяющие разделить их части «по хронологии»).

Первая попытка подготовить Собрание сочинений Розанова была предпринята П. А. Флоренским вскоре после смерти писателя, но по условиям того времени не могла быть осуществлена. На долгие десятилетия имя Розанова было насильственно изъято из истории русской культуры. Книги его не печатались в нашей стране до 1989 г., когда вышла первая посмертно опубликованная книга Розанова «Мысли о литературе» (подготовлена А. Н. Николукиным).

Конец 1980-х гг. можно считать началом все более широкого доступа в нашей стране к творческому наследию В. В. Розанова и его внимательного изучения. Это стало возможным благодаря ликвидации цензуры.

Систематическая работа специалистов по изучению художественного и философского наследия Розанова открывает его непреходящее значение как для истории русской культуры, так и для нашего времени. Понимание общественной ситуации в России начала XX столетия, ощущение Розановым грядущей катастрофы было настолько глубинным и точным, что его творчество стало той системой взглядов, через которую можно рассматривать и оценивать периоды цивилизационных надломов, прогнозировать их перспективы. Книги Розанова

и поныне читаются как выражение российских тем и проблем, сохраняющих свою значимость и в наши дни.

В лице Розанова мы встречаемся с гениальным участником неухающей борьбы с теми силами, которые пытаются подвергнуть российскую цивилизацию своеобразному отлучению от мировой культуры, объявить ее лишенной творческой энергии и исторической перспективы.

Первоначальной текстологической базой нынешнего Полного собрания сочинений стало изданное в 1994—2010 гг. «Собрание сочинений» в 30 томах в московском издательстве «Республика» (тома 23—30 — совместно с петербургским издательством «Росток»). Общая редакция А. Н. Николюкина.

Два тома Сочинений Розанова (подготовка Е. В. Барабанова) вышли в 1990 г. Три тома Сочинений под редакцией В. Г. Сукача появились в 1994, 1996, 2010 гг. Ряд новых материалов опубликован также в одномомниках сочинений Розанова, вышедших в 1990 г.: «О себе и жизни своей» (подготовка В. Г. Сукача), «Уединенное» (подготовка А. Н. Николюкина), «Сочинения» (подготовка А. Л. Налепина и Т. В. Померанской), «Несовместимые контрасты бытия» (подготовка В. В. Ерофеева).

Существенным подспорьем в подготовке Полного собрания сочинений стала «Розановская энциклопедия», выпущенная в 2008 г. издательством РОССПЭН. Учитывался также опыт академических изданий других русских писателей: Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Некрасова, Достоевского, Чехова.

Каждый том строится по одному общему принципу и включает в себя три раздела: 1) основные тексты произведений; 2) варианты и другие редакции; 3) комментарии.

Текст произведений Розанова критически проверен по всем доступным первоисточникам (печатным и рукописным). Используются материалы архивов, где хранятся рукописи Розанова: Российский государственный архив литературы и искусства, отделы рукописей в Российской государственной библиотеке и Государственном литературном музее (Москва), отделы рукописей в Петербурге — в Национальной библиотеке и в Институте русской литературы (Пушкинский Дом), а также некоторые областные архивы (Смоленск, Липецк, Брянск). На основании сличения всех первоисточников из текста устраняются явные опечатки и рукописные описки, а также выявленные цензурные искажения и другие отступления от подлинного авторского текста. Эти исправления оговариваются в комментариях.

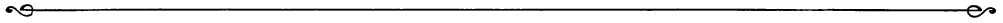
Тексты печатаются, как правило, по последнему авторизованному изданию или по автографам, когда произведение не было опубликовано. В архиве сохранились некоторые вырезки статей Розанова из газет и журналов, в которые он позднее вносил исправления, что отмечается в комментариях и учитывается при публикации основного текста в настоящем издании. Произведения печатаются по правилам современной орфографии и пунктуации, однако сохраняется старое написание некоторых слов (см. подробнее в комментариях).

Особый раздел составляют варианты и другие редакции, основанные как на печатных источниках, так и на архивных автографах. Раздел комментариев состоит из вводных заметок, где даются сведения о всех рукописных и печатных источниках, мотивируется выбор основного текста, внесенные в него исправления, освещается история написания и печатания данного произведения, отзывы

о нем современной Розанову критики. Построчный историко-литературный и реальный комментарий призван пояснить текст для современного читателя. Пояснения собственных имен даются, как правило, в аннотированном указателе имен. В Содержании звездочкой * отмечены тексты, которые печатаются по рукописям и при жизни писателя опубликованы не были.

Издание начинается с серии «Литература и искусство», в который вошли разделы: «О писательстве и писателях» (тома 1–4), «Среди художников» (том 5), «Путешествия» (том 6).

Полное собрание сочинений В. В. Розанова дает целостный полный свод художественного, философского и публицистического наследия писателя.



**ЛЕГЕНДА О ВЕЛИКОМ ИНКВИЗИТОРЕ
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО**

**Опыт критического комментария
с приложением двух этюдов о Гоголе**



Предисловие к первому изданию

Читатель да не посетует, что главный труд, здесь предлагаемый и который он мог бы, судя по заглавию книги, ожидать один встретить в ней, сопровождается двумя небольшими критическими этюдами о Гоголе. Они вызваны были многочисленными возражениями, какие встретил в нашей литературе взгляд на этого писателя, мною побочно выраженный в «Легенде об Инквизиторе». С этими возражениями я согласиться не мог, и два небольших очерка, написанные мною в объяснение своего взгляда, помогут и читателю стать в этом спорном вопросе на ту или другую сторону.

Главный же очерк, комментарий к знаменитой «Легенде» Достоевского, сопровождается впервые здесь приложениями, которые, как ключ, введут читателя в круг господствующих идей нашего покойного писателя и дадут также возможность отнестись критически к моим объяснениям его творчества.

СПб., 1894

Предисловие ко второму изданию

Отзыв о Гоголе, стр. 10—14, вызвал очень много протестов сейчас же по напечатании «Легенды». Кажется, и до сих пор он остается в литературе одиноким, непризнанным. Верен ли он? Ложен ли? Едва ли что можно возразить мне, имея в руках *документы* написанного Гоголем. Гоголь был великий *платоник*, бравший все в идее, в грани, в пределе (художественном); и, разумеется, судить о России по изображениям его было бы так же странно, как об Афинах времен Платона судить по отзывам Платона. Но в характеристике своей я коснулся души Гоголя и, думаю, тут ошибся. Тут мы вообще все ничего не знаем о Гоголе. Нет в литературе нашей более неисповедимого лица, и, сколько бы в глубь этого колодца вы ни заглядывали, никогда вы не проникнете его до дна; и даже по мере заглядывания все менее и менее будете способны ориентироваться, потеряете начала и концы, входы и выходы, заблудитесь, измучитесь и воротитесь, не дав себе даже и приблизительно ясного отчета о виденном. Гоголь — очень таинствен; клубок, от которого никто не держал в руках *входящей* нити. Мы можем судить только по объему и весу, что клубок этот необыкновенно содержателен... Поразительно, что невозможно забыть ничего из сказанного Гоголем, даже мелочей, даже ненужного. Такою мощью слова никто другой не обладал. В общем рисунок его в равной мере реален и фантастичен. Он рассказывает полет бурсака на ведьме («Вий») так, что невозможно не поверить в это как в метафизическую

быль; в «Страшной мести» говорит об испуге тоном смертельно боящегося человека. Да, он знал загробные миры; и грех, и святое ему были известные не понаслышке. В то же время в портретах своих, конечно, он не изображает действительность, но *схемы* породы человеческой он изваял вековечно; грани, к которым вечно приближается или от которых удаляется человек...

Достоевский как *творец-художник* стоит, конечно, неизмеримо ниже Гоголя. Но *муть* Гоголя у него значительно проясняется, и из нее вытекли миры столь великой сложности мысли, какая и приблизительно не мерцала автору «Переписки с друзьями». Идейное содержание Достоевского огромно, хотя через 20 лет по его смерти, взяв карандаш, всегда можно отметить, где он не дошел до нужного, переступил требуемое. И вообще виден конец и пределы сказанного им, которых в год смерти его решительно невозможно было определить. Можно сказать, что мы должны идти далее Достоевского, ибо время и самый предмет удивления и восхищения как-то прошли... Видны ясно его ошибки; и, напр., вся его путаница о Европе и России (в их взаимоотношении) теперь представляется очевидною абберрацией ума. Вопросы, поставленные Достоевским, гораздо глубже, чем казались ему. Они все суть более метафизические вопросы, чем исторические, какими он склонен был сам считать их. Россия подошла ныне к таким проблемам, взглянув на которые оба наши писателя почувствовали бы нечто сходное с тем, что почувствовал добрый Бурульбаш, заглянув в окно старого замка к Пану-Отцу («Страшная месть»). Они зажмурились бы и спустились скорее вниз. Ясно, однако, чувствуется, что центр всемирной *интересности* и *значительности* передвинулся к нам (Россия), — и почти весь вопрос теперь в силах нашего разума, просто в нашей талантливости. Талантливый *момент* придвинул к нам Бог; сумеем ли около него мы *сами* быть талантливы...

Одна частность, которую следует оговорить. Дойдя до критики страдания людей, в частности — *младенцев*, я пытался тогда, в 1891 г., рационализировать около этой темы. Это ошибка, и хотя я оставляю эту страницу (71) нетронутую, но читатель должен на нее смотреть как бы на зачеркнутую. В «Пушкинской речи», так запомнившейся в России, Достоевский спросил: «Чем успокоить дух, если позади стоит нечестный, безжалостный, бесчеловечный поступок?.. Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой. И вот, представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только одно человеческое существо, мало того — пусть даже не столь достойное, смешного старика, мужа молодой жены, в любовь которой он верит слепо, хотя сердца ее не знает вовсе, уважает ее, гордится ею, счастлив ею и покоен. И вот только его надо опозорить, обесчестить и замучить и на слезах этого обещанного старика возвести это здание. Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос. И можете ли вы допустить хоть на одну минуту, что люди, для которых выстроили это здание, согласились бы принять от вас такое счастье?»...

Речь эта, и в частности приведенное место ее, чрезвычайно запомнились. Действительно, тут поставлен некоторый кардинальный вопрос: можно ли вообще на чьих-нибудь костях, и даже проще — на чьей-нибудь *обиде*, воздвигнуть,

так сказать, нравственный Рим, вековечный, несокрушимый? Или, еще острее поворот спора: если некоторый нравственный Рим, с предположениями на вековечность, построен на чьих-нибудь костях, но так искусно и с такими оговорками положенных, что не минуто, не год, но века человечество проходило мимо этих костей, даже не замечая трупика, отворачиваясь от него, презирая его, хотя о нем и сознавая все время: то вправе ли мы долее считать и надеяться, что этот уже воздвигнувшийся Рим вековечен, имеет вечное и согласное себе благословение в сердцах человеческих и благоволение свыше?.. Вот вопрос, вот критерий.

Лет шесть назад мне пришлось выслушать рассказ приезжего с моей родины, смеющийся почти рассказ, и просто в качестве новости, известия, именно повода к рассказу за чашкою чая. Неподалеку от Костромы, в перелесках, которыми начинаются необозримые заволжские леса, найдено было тельце младенца-мальчика, около года, одинокое, но цельное и нетронутое. Привезли его в Кострому, и как неизвестные тела нельзя предавать земле без вскрытия, то его и вскрыли. Нашли в желудке и костях и тканях особенное перерождение, которое происходит от голодной смерти. Дело было летом, и, очевидно, мальчик все ползал около деревьев, может быть, заползал в кусты, может быть, сваливался в ямку и из нее карабкался, и по крайней мере это длилось неделю. В конце, вероятно, он потерял голос, но первые дни, верно, кричал: «Мама! Мама!». Боялся он? Не боялся ночью? Как он относился к чувству голода, т. е. что понимал об этом? Что такое боль голода, сильна ли? Ведь это не местная и не острая боль? Ничего не умею представить себе о душе и *воображении, сознании* мальчика, но кое-что, верно, было, уж по крайней мере коротенькое-то это «мама! мама!». Но «мама», верно, была уже далеко, хотя, может быть, день-то и постояла поблизости за деревом, тоже следя, куда поползет мальчик и как он будет ее искать. К годовому ребенку любовь уже совершенно сформировавшаяся, не одна инстинктивная, но и сознательная, сердечная, острая, щемящая, — и этим только и можно объяснить, что она не имела сил убить его (верно, тайного своего ребенка), а оставила в лесу с тупой надеждой, что кто-нибудь пройдет мимо, пожалеет и поднимет. Но, верно, он отполз в сторону, и люди проходили дорогой, а в сторону не заглянули. По всей обстановке видно, что до году мальчик скрывался где-нибудь на стороне, а затем по каким-нибудь обстоятельствам матери пришлось взять его, и вот она понесла было домой, но не донесла, ноги задрожали, ум помутился: ведь за это и родной отец привычно выгоняет дочерей вон из дому, что же скажут чужие, не отцы, соседи, священник? И руки разжались, и младенец выпал на дорогу; но не нашлось для него «дочери фараоновой», которая спасла Моисея из воды. Явный случай этот есть вариант частого у нас случая гибели и погубления тайно рождаемых детей, в той же мере обрекаемых на *небытие*, как египетский закон не требовал ведь собственно и именно убиения израильских детей, а только чтобы еврейки не рождали *мальчиков* детей. Девочек же они могли рождать так много, как и христианки могут много рождать детей при сумме таких-то формальностей, которые, увы, не в их распоряжении, и оне оказываются во множестве, и не по своей воле, так сказать, не получившими билета на вход в семейный сад. Все христиане знают а priori *, что, положим, в следующем 1903 году будет убито

* заранее (*лат.*).

младенцев приблизительно столько же сотен, сколько в этом 1902 году; *но это не возбуждает вопроса*. Это так же мало для всякого интересно, как для египтян мало было интересно число еврейских младенцев, которые, в силу такого-то закона, попадут в Нил и иногда хуже, чем в Нил. На почве этой коллизии Моисей и египтяне и разошлись. Теперь, если взять вопрос Достоевского, в приведенной выше речи, и прикинуть его не к мужу Татьяны («Евг. Онег.»), как он сделал, т. е. факту литературному и предполагаемому, но к костромскому мальчику, т. е. явлению очевидному и постоянному, калейдоскопически вертящемуся, то мы и увидим, что, так сказать, нравственный Рим, нами доверчиво принятый и в котором мы живем, так же раскалывается, как еврейско-египетский союз-сожитие, ибо он построен именно на крови детской, о которой в «Легенде» заговорил Достоевский; на страдании без вины: и не стариков страдании, не взрослых, не людей какого-либо чина и состояния, но именно и специально одних только детей. Мы живем в эре похуленного рождения; потрясенного абсолюта *полов*, т. е. *жизни*, т. е. опять же *рождения*. И костромской факт, в общей его картине и смысле, есть продукт этого похуления, и вне нашей эры его не существует. Ибо где слава и честь — там не умирают, не умерщвляют; а где позор — там уж непременно умрут. Явилась и непременно должна была явиться у нас некоторая доля как бы *апокрифических* рождений, не попадающих в тесный канон; и как апокрифические книги не велено читать, предосудительно держать, одобрительно уничтожить: так дети апокрифические не прямо, но косвенно указуются к вычерку из «книги живота». Моисей и его судьба, но без дочери фараоновой, а *prigri* вырисовываются. И вырисовывается нужда, сердечная принужденность, подумать о вторичном «Исходе», аналогичном Моисееву. Ибо, как и сказал Достоевский: «Позвольте, согласились ли бы вы принять такую гармонию?». Но он совершенно не подумал, как далеко простирается его вопрос и как самые дорогие ему идеи закручиваются и идут ко дну именно около детей. Он взял в пример необъяснимости вообще страданий абсолютную правду, чистоту: *дитя*. Ему в ответ кидается: *дитя*-то и есть преимущественная *скверна*, первая *вина* человеков, их стрелевой *грех*. Около этого вопроса «Легенда» Достоевского, которая могла бы казаться только теорией, рассуждением и таковою действительно была для него, наливается, так сказать, соком и кровью практики и вдруг переходит в совершенно реальную проблему.

И что я поддельною болью считал,
То боль оказалась живая...

Это не литературный спор, но *бытийственный*. Исходная точка возможного нового *бытия*.

С.-Петербург., 1901

О ЛЕГЕНДЕ «ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР»

И рече Бог: «Се Адам бысть яко един от Нас, еже разумети доброе и лукавое. И ныне да не когда прострет руку свою, и возмет от древа жизни, и снесет, и жив будет во век». И изгна его Господь Бог из Рая сладости — делати землю, от неяже взят бысть.

Быт. III

В одной фантастической повести Гоголь рассказывает, как старый ростовщик, умирая, призвал к себе художника и неотступно просил его срисовать с себя портрет; когда работа уже началась, художник вдруг почувствовал непреодолимое отвращение к тому, что делал, и к этому отвращению примешался какой-то страх. Ростовщик, однако, все следил за работой, какая-то тоска и беспокойство светились в его лице, — но, когда он увидел, что по крайней мере глаза окончены, в этом лице сверкнула радость. Художник отошел на несколько шагов, чтобы посмотреть на свою работу; но едва он взглянул на нее, как колена его задрожали: в глазах начатого портрета светилась жизнь, настоящая жизнь, та самая, которая уже потухала в его оригинале и каким-то тайным волшебством перенеслась в эту копию. Палитра и кисть выпали из его рук, и он с ужасом выбежал из комнаты. Через несколько часов ростовщик умер. Художник окончил жизнь в монастыре.

Этот рассказ, почему-то, невольно припомнился нам, когда мы задумали говорить о знаменитой легенде Достоевского. Сквозь всю фантастичность в нем как будто мелькает и какая-то правда, и, верно, она-то вывела его на свет сознания из ряда других полузабытых рассказов и связала мысль о нем с интересующим нас предметом. Не выразил ли в нем Гоголь некоторой тайны художественной души, быть может, сознав ее в себе самом? Эта жизнь, перешедшая в создание, это тоскливое желание не умереть прежде, чем совершился такой переход, — все это как будто напоминает нам что-то главное в жизни самих художников, поэтов, композиторов. Только воплощаемое и воплощающий здесь разделены, и этим замаскирована скрытая аллегория. Соедините их, — и вы получите изображение судьбы и личности всякого великого творческого дарования.

Там, «откуда не возвращался никто», есть, конечно, жизнь: но нам ничего не рассказано о ней, и, по всему вероятию, это жизнь какая-то совсем особенная, слишком абстрактная для наших живых желаний, несколько холодная и призрачная. Вот почему человек так прилепляется к земле, так боязливо не хочет отделиться от нее; и, так как это ранее или позже все-таки неизбежно, он делает все усилия, чтобы расставание с нею было не полное. Жажда бессмертия, земного бессмертия, есть самое удивительное и совершенно несомненное чувство в человеке. Не оттого ли мы так любим детей, трепещем за жизнь их более, нежели за свою, уже увядающую; и когда имеем радость дожить и до их детей — привязываемся к ним еще сильнее, чем к собственным. Даже в минуту совершенного сомнения относительно загробного существования мы находим здесь некоторое

утешение: «Пусть мы умрем, но останутся дети наши, а после них — их дети» *, — говорим мы в своем сердце, прижимаясь к дорогой нам земле. Но *это* бессмертие, эта жизнь нашей крови после того, как мы станем горстью праха, слишком не полна: это какое-то разорванное существование, распределенное в бесчисленных поколениях, и в нем не сохраняется главного, что мы в себе любим, — нашей индивидуальности, цельной личности. Несравненно полнее существование, которое достигается в великих произведениях духа; в них создающий увековечивает свою личность со всеми своими особыми чертами, со всеми изгибами своего ума и тайнами своей совести. Порою он не хочет раскрыть какой-нибудь стороны своей души, и, однако, жажда в нем бессмертия, индивидуальной, особой от других жизни, так велика, что он скрывает, запрягивает среди прочего и все-таки оставляет в своих произведениях отражение этой стороны: проходят века — и нужная черта вскрывается и встает полный образ того, кто уже не страшится более смутиться перед людьми. «Строй выше себе пирамиду, бедный человек», — говорит как будто полный этих ощущений Гоголь **.

Во всяком случае, чувство радости, которое испытывается при этом созидании, служит хоть каким-нибудь просветом среди того сумрака, который обычно окружает душу великих поэтов, художников, композиторов. Так глубоко и так часто непреодолимо разъединенные с живым, окружающим их миром людей, их радостей и печалей, они чувствуют себя соединенными через века с иными поколениями людей, мысленно живут в их жизни, помогают им в труде их и радуются их радостям. Странная, несколько фантастическая жизнь, черты которой, однако, мы наблюдаем, вчитываясь во все замечательные биографии. Недаром покойный проф. Усов, натуралист, но и вместе знаток искусства, назвал мир его — «миром иллюзии» ***.

Замечательно, что у каждого почти творца в сфере искусства мы находим один центр, изредка несколько, но всегда немного, около которых группируются все его создания: эти последние представляют собою как бы попытки высказать какую-то мучительную мысль, и, когда она наконец высказывается, — появляется создание, согретое высшею любовью творца своего и облитое немеркнущим светом для других, сердце и мысли которых влекутся к нему с неудержимой силой. Таков был у Гёте «Фауст», Девятая симфония у Бетховена, «Сикстинская Мадонна» у Рафаэля. Это высшие продукты психической деятельности, их любит человечество и знает, как то, к чему способно оно в лучшие свои минуты, которые, конечно, редки во всемирной истории, как редки и минуты особенного просветления в жизни каждого человека.

На одном из подобных созданий мы и хотим остановиться. Оно, однако, проникнуто особою мучительностью, как и все творчество избранного нами писателя, как и самая его личность. Это — «Легенда о Великом Инквизиторе» покойного Достоевского. Как известно, она составляет только эпизод в последнем произведении его, «Братья Карамазовы», но связь ее с фабулой этого романа так слаба, что ее можно рассматривать как отдельное произведение. Но зато,

* «Подросток» Ф. М. Достоевского. Изд. 3-е. СПб. 1882, стр. 454.

** «Арабески», ч. 2. Жизнь.

*** См. «Воспоминания о воззрениях С. А. Усова на искусство» Н. Иванцова, в кн. III «Вопросы Философии и Психологии». М. 1890.

вместо внешней связи, между романом и «Легендою» есть связь внутренняя: именно «Легенда» составляет как бы душу всего произведения, которое только группируется около нее, как вариации около своей темы; в ней схоронена заветная мысль писателя, без которой не был бы написан не только этот роман, но и многие другие произведения его: по крайней мере не было бы в них всех самых лучших и высоких мест.

I

Еще в 1870 г., в письме к Ап. Н. Майкову от 25 марта, Достоевский писал, между прочим, о замысле большого романа, который он обдумывал в течение последних двух лет и теперь хотел бы написать, пользуясь свободным временем. 10
 «Идея (этого романа), — говорил он в письме, — та самая, о которой я вам уже писал. Это будет мой *последний роман*. Объемом в „*Войну и мир*“, и идею вы бы похвалили, — сколько я, по крайней мере, соображаю с нашими прежними разговорами с вами. Этот роман будет состоять из пяти больших повестей (листов 15 в каждой; в 2 года *план у меня весь созрел*). Повести совершенно отделены одна от другой, так что их можно даже пускать в продажу отдельно. Первую повесть я и назначаю Кашпиреву*: тут действие еще в сороковых годах. Общее название романа есть: «Житие великого грешника», но каждая повесть будет носить название отдельно. *Главный вопрос, который проведется во всех частях, — тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, — существование Божие*. Герой в продолжение жизни — *то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то опять атеист*. Вторая повесть будет происходить *вся в монастыре*. На эту вторую повесть я возложил все мои надежды. Может быть, скажут, наконец, что не все писал пустяки. Вам одному исповедуюсь, Аполлон Николаевич: *хочу выставить во 2-й повести главною фигурой Тихона Задонского, конечно под другим именем, но тоже архиерей, будет проживать в монастыре на покое*. 13-летний мальчик, участвовавший в совершении уголовного преступления, *развитый и развращенный* (я этот тип знаю), *будущий герой всего романа*, посажен в монастырь родителями (круг наш, образованный), и для обучения. *Волгонок и нигилист-ребенок сходится с Тихоном* (вы, ведь, знаете характер и все 30
 лицо Тихона). *Тут же, в монастыре, посажу Чаадаева* (конечно, под другим тоже именем). Почему Чаадаеву не посидеть года в монастыре? Предположите, что Чаадаев после первой статьи, за которую его свидетельствовали доктора каждую неделю, не утерпел и напечатал, напр., за границей, на французском языке, брошюру, — очень и могло бы быть, что за это его на год отправили бы посидеть в монастырь. *К Чаадаеву могут приехать гости и другие*. Белинский, напр., Грановский, Пушкин даже. (Ведь у меня же не Чаадаев, я *только* в роман беру *этот тип*.) *В монастыре есть и Павел Прусский, есть и Голубов, и инок Парфений* (в этом мире я знаток и монастырь русский знаю с детства). Но *главное — Тихон и мальчик*. Ради Бога, не передавайте никому содержания этой второй части... Я вам исповедуюсь. Для других пусть это гроша не стоит, но для меня — сокровище. Не 40

* Редактор журнала «Заря», приглашавший Достоевского написать к осенним месяцам этого года какую-нибудь повесть.

говорите же про Тихона. Я написал о монастыре Страхову, но про Тихона не писал. А вась, выведу величавую, *положительную* (курсив Достоевского), святую фигуру. Это уж не Констанжогло-с и не немец в Обломове *; и не Лопуховы, не Рахметовы **. Правда, я ничего не создам, а только выставлю действительного Тихона, *которого я принял в свое сердце давно с восторгом*. Но я сочту, если удастся, и это для себя важным подвигом. Не сообщайте же никому. Но *для второго романа, для монастыря — я должен быть в России* ***.

Кто не узнает в торопливых и разбросанных строках этого письма первый очерк «Братьев Карамазовых», с его старцем Зосимою и с чистым образом Алеши (очевидно, разделенная фигура Тихона Задонского), с развитым и развращенным, правда уже не мальчиком, но молодым человеком Иваном Карамазовым, с поездкою в монастырь (помещик Миусов, очевидно, — переделанная фигура Чаадаева), со сценами монастырской жизни и пр. Но всегдашняя нужда расстроила предположения Достоевского. Связываемый срочными обязательствами, в которые он входил с редакциями и книгопродавцами, он принужден был усиленно работать, и хотя из написанного им за это время было много прекрасного, однако все это не было осуществлением его задушевной мечты и уже созревшего плана. Очевидно, он все дожидался досуга, который дал бы возможность обрабатывать неторопливо. Кроме денежной нужды, этому чрезвычайно препятствовала и его впечатлительность: он не мог, хотя на время, закрыть глаза на текущие дела, тревоги и вопросы нашей жизни и литературы. С 1876 г. он начал выпускать «Дневник писателя», создав им новую, своеобразную и прекрасную форму литературной деятельности, которой в будущем, во все тревожные эпохи, вероятно, еще суждено будет играть великую роль. Чрезвычайный успех этого издания, можно было опасаться, совершенно не даст ему возможности сосредоточиться на какой-нибудь цельной работе, и, как многие планы, замысел большого романа, уже обдуманного несколько лет назад, мало-помалу заглухнет, самый энтузиазм к нему рассеется.

Но судьба, так часто злая извне к великим людям, всегда бережно обходится с тем, что есть в них внутреннего, глубокого и задушевного. Мысль, которой предстоит жизнь, не умирает с носителями своими, даже когда смерть застигает их неожиданно или случайно. Хотя бы перед самым наступлением ее, повинувшись какому-то безотчетному и неудержимому влечению, они отрываются от всего побочного и делают то, что нужно, — самое главное в своей жизни.

Беспорядочный, страстный, перед тысячами ожидающих глаз ****, Достоевский вдруг умолкает и замыкается в себя, «чтобы заняться одною художественною работою» *****; он успокаивает читателей «Дневника», что это не более как на один год, ему необходимый для работы, после чего он вновь возвратится

* «Почем мы знаем: может быть, именно Тихон-то и составляет наш русский *положительный* тип, который ищет наша литература, а не Лаврецкий, не Чичиков, не Рахметов и проч.». Приписка Достоевского к письму.

** Два последние — герои романа «Что делать?».

*** См. «Биография и письма». СПб. 1883, отд. 2-й, стр. 233 — 234.

**** Об успехе «Дневника писателя» см. цифровые данные в его «Биографии и письмах», отд. I, стр. 300.

***** См. «Дневник писателя» за 1877 г., декабрь: «К читателям».

к ежемесячной беседе с ними. Но предчувствию, выраженному семь лет назад *, суждено было сбыться: предпринимаемая художественная работа стала действительно его «последним романом», и даже последним неоконченным литературным трудом. В 1880 и 1881 годах было выпущено только по одному номеру «Дневника» — в минуту особенного оживления ** и в промежутки отдыха между первым большим отделом романа и его вторым отделом, который должен был «представлять собою почти самостоятельное целое». В этот краткий промежуток отдыха ему суждено было окончить свои дни. Последние томы романа, «обширного, как „Война и мир“», не были написаны. Четырнадцать книг, составляющие четыре части (с эпилогом) «Братьев Карамазовых», представляют собою 10 выполнение, уже доведенное до конца, первого отдела обширной художественной эпопеи. Вот что пишет он об общем плане ее в предисловии к «Братьям Карамазовым»: «Хотя жизнеописание (героя, которое служит содержанием романа) у меня одно, но романов два. Главный роман — второй: это деятельность моего героя уже в наше время, или в наш теперешний текущий момент. Первый же роман произошел еще тринадцать лет назад — и это почти даже и не роман, а лишь *один момент из первой юности моего героя*. Обойтись мне без этого первого романа невозможно, потому что многое во втором романе стало бы непонятным».

Очевидно, даже внешний план долго вынашиваемого произведения был сохранен в «Братьях Карамазовых»; и все нужное к его выполнению было также 20 сделано теперь: в 1879 г. Достоевский ездил в знаменитую Оптину Пустынь, чтобы обновить свои воспоминания о монастырской жизни. В старце монастыря этого, отце Амвросии, нравственно-религиозный авторитет которого и до сих пор руководит жизнью тысяч людей, он, вероятно, нашел несколько драгоценных и живых черт для задуманного им *положительного* образа. Но первоначальный план подвергся некоторым изменениям и принял в себя много дополнений. Положительный образ старца, который Достоевский хотел вывести в своем романе, не мог стать центральным лицом в нем, как он первоначально думал это сделать: установившийся и неподвижный, этот образ мог быть очерчен, но его 30 нельзя было ввести в движение передаваемых событий. Вот почему старец Зосима только показывается в «Братьях Карамазовых»: он благословляет на жизненный подвиг своего любимого послушника, Алешу Карамазова, и умирает. Вместо его, центральным лицом всего сложного произведения должен был стать этот последний ***. Нравственный образ Алеши в высшей степени замечателен по той обрисовке, которая ему придана. Видеть в нем только повторение типа кн. Л. Н. Мышкина (герой «Идиота») было бы грубою ошибкой. Кн. Мышкин, так же как и Алеша, чистый и безупречный, чужд внутреннего движения, он лишен страстей вследствие своей болезненной природы, ни к чему не стремится, ничего не ищет осуществить; он только наблюдает жизнь, но не участвует в ней. Таким образом, пассивность есть его отличительная черта; напротив, натура Алеши прежде всего 40 деятельна и одновременно с этим она также ясна и спокойна. Сомнения ****,

* См. выше, в письме к Ап. Н. Майкову.

** По поводу Пушкинского праздника единственный № за 1880 г., с «Речью о Пушкине» и объяснениями к ней.

*** Это высказано положительно и в предисловии к «Братьям Карамазовым».

**** См. его думы и слова после кончины старца Зосимы.

даже чувственные страсти* и способность к гневу** — все есть в этом полном человеческом образе, и с тем вместе есть в нем какое-то глубокое понимание разностороннего в человеческой природе: он как-то близок, интимен со всяким человеком, с которым ему приходится вступать в сношения. Брат Иван и Ракитин, развращенный старик, его отец, и мальчик Коля Красоткин — одинаково доступны ему. Но, вникая в чужую внутреннюю жизнь, он внутри себя всегда остается тверд и самостоятелен. В нем есть неразрушимое ядро, от которого идут всепроницающие нити, способные завязаться, бороться и побеждать внутреннее содержание других людей. И между тем, этот человек, так уже сильный, является перед нами еще только отроком — образ удивительный, впервые показавшийся в нашей литературе. Нет сомнения, что оборванный конец (или, точнее, главная часть) «Братьев Карамазовых» унес от нас многие откровения человеческой души, что там были бы слова, действительно проясняющие путь жизни. Но этому не суждено было сбыться; в той части романа, которую мы имеем перед собой, Алеша только готовится к подвигу: он более выслушивает, чем говорит, изредка вставляет только замечания в речи других, иногда спрашивает, но больше молча наблюдает. Однако все эти черты, только обрисовывающие тип, но еще не высказывающие его, положены так тонко и верно, что и недоконченный образ уже светится перед нами настоящею жизнью. В нем мы уже предчувствуем нравственного реформатора, учителя и пророка, дыхание которого, однако, замерло в тот миг, когда уста уже готовы были раскрыться, — явление единственное в литературе, и не только в нашей. Если бы мы захотели искать к нему аналогии, мы нашли бы ее не в литературе, но в живописи нашей. Это — фигура Иисуса в известной картине Иванова: также далекая, но уже идущая, пока незаметная среди других, ближе стоящих лиц и, однако, уже центральная и господствующая над ними. Образ Алеши запомнится в нашей литературе, его имя уже произносится при встрече с тем или иным редким и отрадным явлением в жизни; и, если суждено будет нам возродиться когда-нибудь к новому и лучшему, очень возможно, что он будет путеводною звездой этого возрождения.

Но если Алеша Карамазов только обрисован в романе, но не высказался в нем, то его брат, Иван, и обрисован и высказался («Легенда об инквизиторе»). Таким образом, вне предположений Достоевского, не успевшего окончить своего романа, эта фигура и стала центральной во всем его произведении, т. е. собственно она осталась таковою, потому что другой и его заслоняющей фигуре (Алеши) не пришлось выступить и, без сомнения, вступить в нравственную и идейную борьбу с своим старшим братом. Таким образом, «Братья Карамазовы» есть действительно еще не роман, в нем даже не началось действие: это только пролог к нему, без которого «последующее было бы непонятно». Но, судя по прологу, целое должно было стать таким мощным произведением, которому подобное трудно назвать во всемирной литературе: только Достоевский, способный совмещать в себе «обе бездны — бездну вверху и бездну внизу», мог написать не смешную пародию, но действительную и серьезную трагедию этой борьбы, которая уже тысячелетия раздирает человеческую душу, — борьбы между отрицанием жизни

* Один разговор с Ракитиным, где он, «девственник», признается, что ему слишком понятны «карамазовские бури».

** Разговор с братом Иваном о страданиях детей.

и ее утверждением, между растлением человеческой совести и ее просветлением. Он только, переживший эту борьбу и в чистом энтузиазме, с которым создавал «Бедных людей» *, и в шумном кружке Петрашевского, и в дебрях Сибири, среди каторжников, и в долгом уединении в Европе, мог сказать нам одинаково сильно и «pro» и «contra» **: без лицемерия «pro» и без суетного тщеславия «contra».

По отношению к характерам, которые выведены в «Братьях Карамазовых», характеры его предыдущих романов можно рассматривать как предуготовительные: Иван Карамазов есть только последний и самый полный выразитель того типа, который, колеблясь то в одну, то в другую сторону, уже и ранее рисовался перед нами то как Раскольников и Свидригайлов («Преступл. и наказ.»), то как Николай Ставрогин («Бесы»), отчасти как Версиров («Подросток»); Алеша Карамазов имеет свой прототип в кн. Мышкине («Идиот») и отчасти в лице, от имени которого ведется рассказ в романе «Униженные и оскорбленные»; отец их, «с профилем римского патриция времен упадка», рождающий детей и бросающий их, любитель потолковать о бытии Божиим «за коньячком», но главное — любитель надругаться над всем, что интимно и дорого человеку, есть завершение типа Свидригайлова и старого князя Вальковского («Униженные и оскорбленные»). Только Дмитрий Карамазов, нелепый и в основе все-таки благородный, смесь добра и зла, но не глубокого, является новым лицом; кажется, один капитан Лебядкин («Бесы»), вечно уторопленный и возбужденный, может еще хоть несколько, конечно извне только, напомнить его. Новым лицом является и четвертый брат, Смердяков, это незаконное порождение Федора Павловича и Лизаветы «смердящей», какой-то обрывок человеческого существа, духовное Квазимодо, синтез всего лакейского, что есть в человеческом уме и в человеческом сердце. Но эта повторяемость главных характеров не только не вредит достоинству «Братьев Карамазовых», но и возвышает их интерес: Достоевский есть прежде всего психолог, он не изображает нам быт, в котором мы ищем все нового и нового, но только душу человеческую с ее неуловимыми изгибами и переходами, и в них мы прежде всего следим за преемственностью, желаем знать, во что разрешается, чем заканчивается то или иное течение мыслей, тот или иной душевный строй. И с этой точки зрения, как завершающее произведение, «Братья Карамазовы» имеют неисчерпаемый интерес. Но чтобы понять его вполне, нужно сказать несколько слов о том общем смысле, который имеет деятельность Достоевского.

II

Известен взгляд ***, по которому вся наша новейшая литература исходит из Гоголя; было бы правильнее сказать, что она вся в своем целом явилась отрицанием Гоголя, борьбою против него. Она вытекает из него, если смотреть на дело

* См. об этом воспоминания в «Дневн. писат.» за январь 1877 г.

** Это название носят две центральные книги в «Братьях Карамазовых».

*** Он подробно развит, между прочим, у Ап. Григорьева в статье «Взгляд на современную изящную словесность, и ее исходная историческая точка». См. Сочинения, стр. 8—20.

с внешней стороны, сравнивать приемы художественного творчества, его формы и предметы. Так же как и Гоголь, весь ряд последующих писателей, Тургенев, Достоевский, Островский, Гончаров, Л. Толстой, имеют дело только с действительной жизнью, а не с созданною в воображении («Цыганы», «Мцыри»), с положениями, в которых мы все бываем, с отношениями, в которые мы все входим. Но если посмотреть на дело с внутренней стороны, если сравнить по содержанию творчество Гоголя с творчеством его мнимых преемников, то нельзя не увидеть между ними диаметральной противоположности. Правда, взор его и их был одинаково устремлен на жизнь: но то, что они увидели в ней и изобразили, не имеет ничего общего с тем, что видел и изображал он. Не составляет ли тонкое понимание внутренних движений человека самой резкой, постоянной и отличительной чертой всех новых наших писателей? За действиями, за положениями, за отношениями мы повсюду у них видим человеческую душу, как скрытого двигателя и творца всех видимых фактов. Ее волнения, ее страсти, ее падения и просветления — вот что составляет предмет их постоянного внимания. Оттого столько задумчивого в их созданиях; за это мы так любим их и считаем постоянное чтение их произведений за средство лучшего очеловечивающего воспитания. Теперь если, сосредоточив как на главном на этой особенности свое внимание, мы обратимся к Гоголю, то почувствуем тотчас же страшный недостаток в его творчестве этой самой черты — *только ее одной и только у него одного*. Свое главное произведение он назвал «Мертвые души» и, вне всякого предвидения, выразил в этом названии великую тайну своего творчества и, конечно, себя самого. Он был гениальный живописец внешних форм и изображению их, к чему одному был способен, придал каким-то волшебством такую жизненность, почти скульптурность, что никто не заметил, как за этими формами ничего, в сущности, не скрывается, нет никакой души, нет того, кто бы носил их. Пусть изображаемое им общество было дурно и низко, пусть оно заслуживало осмеяния: но разве уже не из людей оно состояло? Разве для него уже исчезли великие моменты смерти и рождения, общие для всего живого чувства любви и ненависти? И если, конечно, — нет, то *тем же* эти фигуры, которые он вывел перед нами как своих героев, могли отозваться на эти великие моменты, почувствовать эти общие страсти? Что было за одеждою, которую одну мы видим на них, такого, что могло бы хоть когда-нибудь по-человечески порадоваться, пожалеть, возненавидеть? И спрашивается, если они не были способны ни к любви, ни к глубокой ненависти, ни к страху, ни к достоинству, то для чего же в конце концов они трудились и приобретали, куда-то ездили и что-то переносили? Гоголь выводит однажды детей, — и эти дети уже такие же безобразные, как и их отцы, также лишь смешные и осмеиваемые, как и они, фигуры. Раз или два он описывает, как пробуждается любовь в человеке, — и мы с изумлением видим, что единственное, что зажигает ее, есть простая физическая красота, красота женского тела для мужчины (Андрей Бульба и полячка), которая действует мгновенно и за первым мгновением о которой уже нечего рассказывать, нет всех тех чувств и слов, которые мы слышим в заунывных песнях нашего народа, в греческой антологии, в германских сказаниях и повсюду на всей земле, где любят и страдают, а не наслаждаются только телом. Неужели же это был сон для всего человечества, который разоблачил Гоголь, сорвав наконец грезы и показав действительность? И не правильнее ли думать, что не человечество грезило и он один видел правду, но, напротив, оно чувствовало и знало

правду, которую и отразило в поэзии всех народов на протяжении тысячелетий, а он сам грезил и свои большие грезы рассказал нам как действительность:

«И почему я должен пропасть червем? — говорит его герой в трудную минуту, оборвавшись в таможене. — И что я теперь? Куда я гожусь? Какими глазами я стану смотреть теперь в глаза всякому почтенному отцу семейства? Как не чувствовать мне угрызения совести, зная, что даром бремению землю? И что скажут потом мои дети? „Вот, — скажут, — отец — скотина: не оставил нам никакого состояния“».

«Уже известно, что Чичиков сильно заботился о своих потомках. Такой густительный предмет! Иной, может быть, и не так бы глубоко запустил руку, если бы не вопрос, который, неизвестно почему, приходит сам собою: а что скажут дети? И вот будущий родоначальник, как осторожный кот, покося только одним глазом вбок, не глядит ли откуда хозяин, хватает поспешно все, что к нему поближе: мыло ли стоит, свечи ли, сало» *.

Какой ужас, какое отчаяние, и неужели это правда? Разве мы не видели на деревенских и городских погостах старух, которые сидят и плачут над могилами своих стариков, хотя они оставили их в рубище, в котором и сами жили? Разве, видя отходящим своего отца, где-нибудь дети подходят к матери и спрашивают: «Остаемся ли мы с состоянием»? Разве ложь и выдумка вся несравненная поэзия наших народных причитаний **, нисколько не уступающая поэзии «Слова о полку Игоря»? Какие образы, какая задушевная грусть, какие надежды и воспоминания! И каким тусклым, безжизненным взглядом нужно было взглянуть на действительность, чтобы просмотреть все это, не услышать этих звуков, не задуматься над этими рыданиями. Мертвым взглядом посмотрел Гоголь на жизнь и мертвые души только увидел он в ней. Совсе не отразил действительность он в своих произведениях, но только с изумительным мастерством нарисовал ряд карикатур на нее: от этого-то и запоминаются оне так, как не могут запомниться никакие живые образы. Рассмотрите ряд лучших портретов с людей, действительных в жизни, одетых плотью и кровью, — и вы редкий из них запомните; взгляните на очень хорошую карикатуру, — и еще много времени спустя, даже проснувшись ночью, вы вспомните ее и рассмеетесь. В первых есть смешение черт различных, и добрых и злых наклонностей, и, пересекаясь друг с другом, оне взаимно смягчают одна другую, — ничего яркого и резкого не поражает вас в них; в карикатуре взята одна черта характера, и вся фигура отражает только ее — и гримасой лица, и неестественными конвульсиями тела. Она ложна и навеки запоминается. Таков и Гоголь.

И здесь лежит объяснение всей его личности и судьбы. Признавая его гений, мы с изумлением останавливаемся над ним, и когда спрашиваем себя: почему он так не похож на всех ***, что делает его особенным, то невольно начинаем думать,

* «Мертвые души». Изд. 1873 г., стр. 258.

** См. «Причитания северного края», собранные г. Барсовым. «Плач Ярославны», самое поэтическое место в «Слове», есть, очевидно, перенесенное сюда народное причитание. Сравни язык, образы, обороты речи.

*** В «Выбранных местах из переписки с друзьями» можно, в сущности, найти все данные для определения внутреннего процесса его творчества. Вот одно из ясных и точных мест: «Я уже от многих своих недостатков избавился тем, что передал их своим героям, их осмеял в них и за-

что это особенное — не избыток в нем человеческого существа, не полнота сил сверх нормальных границ нашей природы, но, напротив, глубокий и страшный изъян в этой природе, недостаток того, что у всех есть, чего никто не лишен. Он был до такой степени уединен в своей душе, что не мог коснуться ею никакой иной души: и вот отчего так почувствовал всю скульптурность наружных форм, движений, обликов, положений. О нем, друге Пушкина, современнике Грановского и Белинского, о члене славянофильского кружка в лучшую, самую чистую пору его существования, рассказывают, что «он не мог найти положительного образа для своих созданий»; и мы сами слышим у него жгучие, слишком «зримые» слезы по чем-то неосуществимом, по каком-то будто бы «идеале». Не ошибка ли тут в слове и, подставив нужное, не разгадаем ли мы всей его тайны? Не идеала не мог он найти и выразить; он, великий художник форм, сгорел от бессильного желания вложить хоть в одну из них какую-нибудь живую душу. И когда не мог все-таки преодолеть неудержимой потребности, — чудовищные фантазмагии оказались в его произведениях, противоестественная Улинька и какой-то грек Констанжогло, не похожие ни на сон, ни на действительность. И он сгорел в бессильной жажде прикоснуться к человеческой душе; что-то неясное говорят о его последних днях, о каком-то безумии, о страшных муках раскаяния, о посте и голодной смерти*. Какой урок, прошедший в нашей истории, которого мы не поняли! Гениальный художник всю свою жизнь изображал человека и не мог изобразить его души. И он сказал нам, что этой души нет, и, рисуя мертвые фигуры, делал это с таким искусством, что мы в самом деле на несколько десятилетий поверили, что было целое поколение ходячих мертвецов, — и мы возненавидели это поколение, мы не пожалели о них всяких слов, которые в силах сказать человек только о бездушных существах. Но он, виновник этого обмана, понес кару, которая для нас еще в будущем. Он умер жертвою недостатка своей природы, — и образ аскета, жгущего свои сочинения, есть последний, который оставил он от всей странной, столь необыкновенной своей жизни. «Мне отмщение и Аз воздам» — как будто слышатся эти слова из-за треска камина, в который гениальный безумец бросает свою гениальную и преступную клевету на человеческую природу.

ставил других также над ними посмеяться... Тебе объяснится также и то, почему я не выставял до сих пор читателю явлений утешительных и не избирал в мои герои *добродетельных людей*. Их в голове не выдумашь. Пока не станешь сам сколько-нибудь на них походить, пока не добудешь постоянством и не завоеуешь силою в душу несколько добрых качеств, — мертвечина будет все, что ни напишет перо твое». («Четыре письма к разным лицам по поводу „Мертвых душ“», письмо третье.) Здесь довольно ясно выражен субъективный способ создания всех образов его произведений: они суть *выдавленные* наружу качества *своей души*, о срисовке их с чего-либо *внешнего* даже и не упоминается. Так же определяется и самый процесс создания: берется *единичный* недостаток, сущность которого хорошо известна из субъективной жизни, и на него пишется иллюстрация или иллюстрация «с моралью». Ясно, что уже каждая черта этого образа отражает в себе по-своему этот только недостаток, ибо иной цели рисуемый образ и не имеет. Это и есть сущность карикатуры.

* См. о нем в «Литературных воспоминаниях» И. С. Тургенева («какое умное и какое *больное* существо») и также Ф. И. Буслаева: «Мои досуги». М. 1886, т. 2, стр. 235—239, с историческими словами Гоголя, обращенными (за несколько дней до смерти) к *комику* Щепкину: «*Оставайтесь всегда таким*».

Что не сознается людьми, то иногда чувствуется ими с тем большею силою. Вся литература наша после Гоголя обратилась к проникновению в человеческое существо; и не отсюда ли, из этой силы противодействия, вытекло то, что ни в какое время и ни у какого народа все тайники человеческой души не были так глубоко вскрыты, как это совершилось в последние десятилетия у всех нас на глазах? Нет ничего поразительнее той перемены, которую испытываешь, переходя от Гоголя к какому-нибудь из новых писателей: как будто от кладбища мертвецов переходишь в цветущий сад, где все полно звуков и красок, сияния солнца и жизни природы. Мы впервые слышим человеческие голоса, видим гнев и радость на человеческих лицах, знаем, как смешны иногда они бывают: и все-таки любим их, потому что чувствуем, что они люди и, следовательно, братья нам. Вот в ряде маленьких рассказов Тургенева те же деревни, поля и дороги, по которым, может быть, проезжал и герой «Мертвых душ», и те же мелкие уездные города, где он заключал свои купчие крепости. Но как живет все это у него, дышит и шевелится, наслаждается и любит. Те же мужики перед нами, но это уже не несколько идиотов, которые, чтобы разнять запутавшихся лошадей, неизвестно для чего взлезают на них и колотят их дубинами по спинам; мы видим дворовых и крепостных, но это не вечно пахнущий Петрушка и не Селифан, о котором мы знаем только, что он всегда бывал пьян. Какое разнообразие характеров, угрюмых и светлых, исполненных практической заботы или тонкой поэзии. Всматриваясь в черты их, живые и индивидуальные, мы начинаем понимать свою историю, самих себя, всю окружающую жизнь, — что так широко разрослась из недр этого народа. Какой чудный детский мир развертывается перед нами в грезах Обломова, в воспоминаниях Неточки Незвановой, в «Детстве и отрочестве», в сценах «Войны и мира», у заботливой Долли в «Анне Карениной»: и неужели все это менее действительность, чем Алкид и Фемистоклос, эти жалкие куклы, злая издевка над теми, над кем никто не издевался? А мысли Болконского на Аустерлицком поле, молитвы сестры его, тревоги Раскольникова и весь этот сложный, разнообразный, уходящий в безграничную даль мир идей, характеров, положений, который раскрылся перед нами в последние десятилетия, — что скажем мы о нем в отношении к Гоголю? Каким словом определим его историческое значение? Не скажем ли, что это есть раскрытие жизни, которая умерла в нем, восстановление достоинства в человеке, которое он у него отнял?

III

Достоевский прежде всех других заговорил о жизни, которая может биться под самыми душевными формами, о человеческом достоинстве, которое сохраняется при самых невозможных условиях. В крошечном и прелестном рассказе «Честный вор» * мы видим две фигуры, из тех, мимо которых ежедневно проходим, не замечая их. Бедный угол, простые речи, случай, какие слишком часты, — все это как луч из какого-то далекого мира падает на нашу душу: мы забываем на

* Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского. Изд. 1882 г., т. 2, стр. 463 и след. Ниже указывая томы, мы всегда будем разуметь издание этого года, первое посмертное и до сих пор лучшее.

минуту свои мысли и желания и внимательно присматриваемся к этому лучу. Образы, которые мы знали раньше только снаружи, просвечивают перед нами, и мы видим сердце, которое в них бьется. Несколько минут прошло, луч снова исчез, мы опять возвращаемся к обычному течению своих идей, но что-то уже переменялось в них, что-то стало в них невозможно более и что-то стало навсегда неизбежно: неизбежна — тревога за человеческое существо, как бы далеко оно ни отстояло от нас, невозможно — презрение к человеку, где бы мы его ни встретили. Среди всей мудрости, которую мы впитываем в себя, на всей высоте своих понятий, мы вдруг иногда останавливаемся и спрашиваем: так же ли чист наш
 10 внутренний мир, так же ли тепло в нас сердце, как в тех убогих и бедных людях, которых мы на минуту видели и навсегда запомнили? И слова апостола: «Пусть языком твоим говорят ангелы, но если в словах твоих не будет любви, то они будут медью звенящей и кимвалом бряцающим» — становятся ясны для нас, как никогда; мы понимаем, что в них дано мерило добра и зла, с которым мы никогда не погибнем и которое приложимо к всякой мудрости.

Кто пробуждает в нас понимание, тот возбуждает в нас и любовь. Вслед за автором мы идем и спускаемся в тусклый мир человеческого существования, которое было до сих пор скрыто от нас, и вместе с ним рассматриваем живые существа, которые там копошатся. «Вы думали, что они перестали страдать, что они
 20 ничего более не чувствуют, — говорит он нам, — прислушайтесь к языку их, всмотритесь в их лица: разве вы сами умеете так чувствовать, разве в трудную минуту вы встречали в окружающих такое участие, каким они согревают друг друга в этом мраке и в этом холоде? И посмотрите, какая вера в них живет, как далеки они от слабых жалоб, как мало обвиняют и терпеливо несут свой крест. Вы думали, что они только трудятся и питаются, предоставив мысли и желания вам? Нет, в них живут все ваши страсти, и они понимают многое, что непонятно вам. Это — люди, совершенно такие же люди, как вы, многое сохранившие, что вы потеряли, и немного не успевшие приобрести, что вы приобрели. Вы видели их: теперь ступайте и, если можете, забудьте этот мир».

И когда вы в нерешительности останавливаетесь, он смотрит на вас пронзающим взглядом и продолжает: «Отчего вы не идете, что удерживает вас? Помните же то, что в вас пробудилось, и не забывайте никогда в ваших соображениях: *совесть* — она живет и во всех людях, и также в этих. Вы видите не руки, которые устали, не ноги, которым холодно, не желудки, которые пусты. Вы видите перед собой миллионы человеческих душ и, когда вздумаете, что их нужно только согреть, накормить и успокоить, — вспомните, как забыли вы теперь о сне и пище, которые вас ожидают. Я сказал все. Теперь идите и занимайтесь вашей философией или древностями. Я же останусь с ними и, если не сумею разделить их труд, — разделю их горести и когда-нибудь, быть может, порадоюсь их радости».

Сквозь философские и исторические интересы, которые вновь вас окружают,
 40 сквозь блеск всего мира красоты, который приковывает вас в искусствах и литературе, вы с тех пор чувствуете иногда что-то тревожное, и вам припоминается странный человек, который однажды завел вас в мир, так не похожий на все, что вы знали, и остался там, сказав свои угрюмые слова. Силен ли он, и что он там сделает, над чем пронеслись тысячелетия и улеглась наша цивилизация? В свободные минуты вы берете томы его рассказов, чтобы внимательнее всмотреться в его лицо, попробовать силу его мышц и крепость его мысли.

Перед вами проходит ряд его повестей и рассказов. Сколько смешного и серьезного, подчас невозможно нелепого *: точно человек, который, готовясь что-то сказать, предварительно брызгает слюною и издает невнятные звуки. Но вот речь устанавливается, вы забываете ненужное и вникаете в ее смысл. Какое богатство чувства, какое понимание всего, самого важного, что нужно понять человеку. Вот проходит перед нами грустная и смешная идиллия («Слабое сердце»), вот благоуханная поэзия «Белых ночей» и жгучая страстность неоконченной повести, с ее безумным музыкантом, бегущим по темным улицам города со своею малолетнею дочерью («Неточка Незванова»). А вот исполненный неподдельной веселости рассказ «Маленький герой» (т. 2); мы справляемся и узнаем, что он был написан в крепости, за несколько недель до суда, приговора и, быть может, казни. «Да, этот человек серьезен, — думаем мы невольно, — что бы ни было в его внутреннем мире, этот мир крепок, если творческая работа продолжается в нем и перед зияющею могилой». Но самое любопытное — это то, что он возвращается не исключительно в том мире, где мы оставили его, он легко поднимается вверх и только занимается здесь почти исключительно детским миром (княжна Катя в «Неточке Незвановой», дочь откупщика в «Елке и свадьбе»). Глядя на мир этот, светлый и невинный, он так же ясен и оживлен, как и там, среди убогих бедняков; и та же тревога за этот мир видна в нем, как за тех, забытых людьми, людей: как недоверчив и сумрачен делается его взгляд, когда подходят к этому играющему миру взрослые. Вот Юлиан Мастакович, рассчитывающий по пальцам лета девочки и проценты к капиталу, на нее положенному, цифру которого он случайно узнал на детском вечере:

«Триста, триста... — шепчет важный сановник, — 11, 12... 16 — пять лет; положим по 4% на 100 — двенадцать, пять раз $12 = 60$, да на эти 60... Да не по четыре же держит, мошенник, может, восемь, аль десять берет...» **.

Счет прерывается; он на цыпочках подкрадывается к занятому куклой ребенку и целует его в голову:

«А что вы тут делаете, милое дитя», — говорит он взволнованным шепотом.

Детский вечер кончается при оживленном удивлении гостей, с умилением смотрящих на приветливый разговор важного сановника с ребенком богатого откупщика. Глаза читателя закрываются и снова открываются через пять лет: пасмурный день (как всегда у Достоевского), приходская церковь, прекрасная, едва расцветшая девушка и встречающий ее жених. Шопот в народе о богатстве невесты и хоть несколько постаревшие, но узнанные черты жениха объяснили рассказчику все, — и он вспомнил о детской елке пять лет назад, в морозную ночь, накануне Нового года.

На этом же вечере, среди веселых детских фигурок, он отмечает загнанного мальчугана, сына гувернантки в хозяйском доме, с его мучительным желанием подойти и поиграть с другими детьми, которые от него сторонятся. Детский ум уже понимает различия положений, а детская натура влечет переступить через них. Он робок и заискивающ, — такой веселый вечер повторится не скоро, — и вот он жмется к детям, затаивает обиды от них и угодливо льстит, лишь бы они его не отгоняли от себя. Вы чувствуете, что мишура и богатство — все это, как дым-

* Напр., «Роман в девяти письмах» и «Хозяйка» в Сочинениях, т. 2.

** Сочинения, т. 2, стр. 485—486.

ка, стоит в стороне; и взор автора неподвижно устремлен на то, что живет и движется под всем этим, — на человеческую душу, ее первые страдания, начальные искажения.

«Но силен ли он?..». В несколько фантастическом очерке, сюжет и тон которого повторится потом в «Униженных и оскорбленных», рассказан случай встречи одного уединенного мечтателя с оставленной девушкой. Какие странные встречи, какие задумчивые и горячие признания, и как крепко держат друг другу руку эти два одинокие и чистые существа. Во всей нашей литературе нельзя найти повести, столь же ушедшей куда-то глубоко-глубоко во внутренний мир человеческой души, откуда не слышно более людской жизни, не видно их шумной суеты. Только безлунные светлые ночи севера смотрят на них, да они сами смотрятся чистою совестью в чистую совесть друг друга. Но вот, какая-то тень мелькает мимо их, когда он говорит ей какие-то бессвязные речи, указывая на небо. Это была четвертая ночь, четвертая их встреча. Она жметя к нему, рука ее дрожит. Знакомый голос, который она так любила, которому привыкла робко повиноваться, зовет ее: с криком бросается она к тому, о ком думала, что потеряла его навеки, — к своему надтреснувшему счастью, с верой в пробуждение и возврат горячей любви. Мечтатель остается один; он возвращается домой. Как постарелым показалось ему все в его одиноком углу, — и он сам, и стены его комнаты, и соседний дом. В страстном и молящем письме она объясняет ему все и просит не упрекать ее и не забывать — как и она сама сохранит о нем постоянную память. Письмо выпало у него из рук, и он закрыл лицо:

«...Или луч солнца, внезапно выглянув из-за тучи, опять спрятался под дождевое облако, и все опять потускнело в глазах моих; или, может быть, передо мною мелькнула так неприветливо и грустно вся перспектива моего будущего, и я увидел себя таким, как я теперь, ровно через пятнадцать лет, постаревшим, в той же комнате, также одиноким и с тою же Матреной, которая нисколько не поумнела за все эти годы.

Но чтобы я помнил обиду мою, Настенька! Чтобы я нагнал темное облако на твое ясное, безмятежное счастье; чтоб я, горько упрекнув, нагнал тоску на твое сердце, уязвил его тайным угрызением и заставил его тоскливо биться в минуту блаженства; чтоб я измял хоть один из этих нежных цветов, которые ты вплела в свои черные кудри, когда пошла вместе с ним к алтарю... О, никогда, никогда! Да будет ясно твое небо, да будет светла и безмятежна милая улыбка твоя, да будешь ты благословенна хоть за минуту блаженства и счастья, которое дала дру-
гому, одинокому, благодарному сердцу» *.

Не правда ли, слова эти сотканы как будто из лунного света? В них то же спокойствие, то же самоограничение, та же готовность светиться только чужим счастьем.

И вдруг этот тон: «Я человек больной... Я злой человек. Непривлекательный я человек. Я думаю, что у меня болит печень» **, — слышится мутный рокот из подполья. Перевертываем несколько страниц: «...я убежден, что не только очень много сознания, но даже всякое сознание — болезнь. Я стою на том. Оставим и это на минуту. Скажите мне вот что: отчего так бывало, что как нарочно в те са-

* «Белые ночи». Сочинения, т. 2, стр. 539.

** «Записки из подполья». Сочинения, т. 3, стр. 443.

мые, — да, в те самые минуты, в которые я наиболее способен был сознать все тонкости „всего прекрасного и высокого“, мне случалось уже не сознать, а делать такие неприглядные деяния, которые хоть и все делают, но которые как нарочно приходились у меня именно тогда, когда я наиболее сознавал, что их совсем бы не надо делать? Чем более я сознавал о добре и о всем этом „прекрасном и высоком“, тем глубже я и опускался в мою тину и тем способнее был совершенно завязнуть в ней» *. Перелистываем дальше: «...законный, непосредственный плод сознания — это инерция. Усиленно повторяю: все непосредственные люди и деятели потому и деятельны, что они тупы и ограничены. Как это объяснить? А вот как: они, вследствие своей ограниченности, ближайшие и второстепенные причины за первоначальные принимают; таким образом, скорее и легче других убеждаются, что непреложное основание своему делу нашли, — ну, и успокаиваются, а, ведь, это главное. Ведь, чтоб начать действовать, нужно быть совершенно успокоенным предварительно и чтоб сомнений уж никаких не оставалось. Ну, а как я, например, себя успокою? Где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь, где основания? Откуда я их возьму? Я упражняюсь в мышлении, а следственно, у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собой другую, еще первоначальнее, и т. д. в бесконечность. Такова именно сущность всякого сознания и мышления. Это уже опять, стало быть, законы природы».

Мелькают постыдные признания и гениальная диалектика, показываются золотые булавки, которые скучающая Клеопатра втыкает в груди своих невольниц, топчется «поэзия» известных стихов:

Когда из мрака заблужденья
Горячим словом убежденья
Я душу падшую извлек...

и на бессильно опустившемся теле девушки, возрожденной и потом истерзанной, выскакивает какая-то гнусная фигура, без имени и без образа, и кричит: «Я — человек» **.

Да, думаете вы, этот человек силен. Душа, в которой зародились столь различные звуки и образы, и все эти мысли, — способна побороться со всем, с чем человек в силах бороться. Он может быть не выслушан, может быть не понят: никакой пророк не обратит песок пустыни в чутких слушателей. Но на безбрежных равнинах истории не вечно же будет лежать песок, — и тогда жатва его придет.

Одновременно с этим писателем, который так привлекает нас, выступает группа других. Вот задумчивый сквозь сон Гончаров, с его артистической любовью к человеку, при ярком освещении солнца, среди безграничного мира Божия следит, не замечая ни этого солнца, ни этого мира, один уголок его и медленно рисует свой узор. Вот суетный и слабый Тургенев, столь даровитый, так много думавший, вводит нас в чарующий мир своего слова, роняет мысли, так запоми-

* Там же, стр. 446.

** См. «По поводу мокрого снега» в «Записках из подполья». Сочинения, т. 3, стр. 472—538. Единственную аналогию с этим произведением, одним из глубочайших у Достоевского, представляет «Племянник Рамо» у Дидро. Первоначальный очерк характера «героя подполья» представляет, но исключительно с комической стороны, Фома Фомич в повести «Село Степанчиково и его обитатели» (Сочинения, т. 3).

нающиеся, и выводит ряд образов, несколько бледных и, однако, всегда привлекательных. Наконец, вот и Толстой, для мощи которого, кажется, нет пределов, открывает необъятную панораму человеческой жизни всюду, где завершилась она в твердые формы. Мы колеблемся; погруженные в выполнение своей миссии, ни одним взглядом не отрываясь от нее, эти великие художники неотразимо влекут к себе всех. Сравнительно с созданиями их, как неправильно все то, что создает писатель, за которым мы хотели бы последовать: его образы нередко искажены, его речи недостает гармонии; это как будто хаос, к которому еще не приложены мера и число, или как будто уже смешались в нем все числа и меры.

10 Особенно сильно наше колебание при взгляде на мир Толстого: здесь не одна невыразимая прелесть созданий влечет нас, тут есть нечто другое, более глубокое и удерживающее. Для нас очевидно, что он прикоснулся к Элевзинским таинствам природы, и слушает глухие звуки, и всматривается в неясные тени, припав к Матери-земле, из которой растет все живое. Он старается уловить смысл всякого рождения и каждой смерти, в узком пределе которых заключено бедное существование человека. Но древние предания говорят нам, что и там, в настоящих Элевзиниях, для посвященных открывался смысл жизни и умирания только издали и в аллегорических образах. По-видимому, этим одним навсегда суждено ограничиться человеку.

20 Как ни привлекателен мир красоты, есть нечто еще более привлекательное, нежели он: это — падения человеческой души, странная дисгармония жизни, далеко заглушающая ее немногие стройные звуки. В формах этой дисгармонии проходят тысячелетние судьбы человечества. И если мы посмотрим на всемирную литературу, мы увидим, что ничей взор в ней не был устремлен с таким проникновением на причины этой дисгармонии, как взор писателя, которого мы избираем. Оттого, среди всего хаоса его произведений, мы ни у кого не найдем такой цельности и полноты, есть что-то кошунственное в нем и вместе религиозное. Он не избирает ни одной картины в природе, чтобы любить ее и воссоздавать; его интересуют только швы, которыми стянуты все эти картины, он, как холодный

30 аналитик, всматривается в них и хочет узнать, почему весь образ Божьего мира так искажен и неправилен. И с этим анализом он непостижимым образом соединил в себе чувство самой горячей любви ко всему страдающему. Как будто то искажение, которое проходит по лицу Божия мира, особенно глубоко прошло по нем самом, тронуло его внутренний мир, и, как никто другой, он ярко почувствовал и все страдание, которое «сущая тварь» несет в себе, и приблизился к пониманию его скрытой сущности. Отсюда вытекает глубокая субъективность его произведений и их странность: он не извне зовет нас пойти и разделить с ним его интересы, которыми мы можем заняться наравне со всякими другими, его голос доходит до нас как будто издали, и, когда мы приближаемся, мы видим одинокое и странное существо там, где никого другого нет, и оно говорит нам о нестерпимых мучениях человеческой природы, о совершенной невозможности выносить их и о необходимости найти какие-нибудь пути, чтобы из них выйти. Отсюда — болезненный тон всех его произведений, отсутствие в них внешней гармонии частей и мир неутолимого страдания, который он открывает, переплетенный с мыслью о его непонятных причинах, о его непостижимых целях.

40 Это-то и сообщает его произведениям вековечный смысл, неумирающее значение. Было бы анахронизмом в настоящее время разбирать характеры, выве-

денные, напр., Тургеневым, хотя со времени их создания прошло немного лет: они ответили на интересы своей минуты, были поняты в свое время, и теперь за ними осталась привлекательность исключительно художественная. Мы их любим, как живые образы, но нам уже нечего в них разгадывать. Совершенно обратное мы находим у Достоевского: тревога и сомнения, разлитые в его произведениях, есть наша тревога и сомнения, и таковыми останутся они для всякого времени. В эпохи, когда жизнь катится особенно легко или когда ее трудность не сознается, этот писатель может быть даже совсем забыт и не читаем. Но всякий раз, когда в путях исторической жизни почувствуется что-либо неловкое, когда идущие по ним народы будут чем-либо потрясены или смущены, имя и образ писателя, так много думавшего об этих путях, пробудится с несколько не утраченной силой. ¹⁰

Туда, куда зовет он, — в мир искажения и страдания, к рассмотрению самых швов, которыми скреплена природа, можно пойти действительно, забыв и мир красоты, открываемый в искусствах и поэзии, и холодные сферы науки, слишком далекие от нашей бедной земли, которой забыть мы никак не можем. Ведь идти туда — значит удовлетворить глубочайшим потребностям своего сердца, которому как-то сродно страдание, оно имеет необъяснимый уклон к нему; и пойти с такою целью — это значит ответить на главный запрос ума, который он снова и снова высказывает сквозь все, чем пытается развлечь его наука и философия. ²⁰

IV

В 1863 г. Достоевский оставил на несколько дней Париж, в котором он проводил тогда свое время*, чтобы посетить Лондон и его всемирную выставку. В несколько беспорядочной по виду, но, в сущности, глубоко связной и сосредоточенной статье он передает о впечатлении, которое оставил в нем этот «день и ночь суетящийся и необъятный как море город», с визгом и завыванием его машин, с бегущими по крышам кварталов рельсами, с хаосом движений своих и мощью замыслов. «Отравленная Темза, воздух, пропитанный каменным углем, великолепные скверы и парки, и страшные углы города, как Вайтгепель, с его полуголым, диким и голодным населением» — все сложилось у него в цельную картину, части которой не разъединимы. Как и повсюду, мимо частных и бегущих интересов, он задумывается над общим смыслом этой картины, ее вековечным значением: «Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира, в едино стадо; вы сознаете исполинскую мысль; вы чувствуете, что тут *что-то уже достигнуто, что тут победа, торжество...* Вам отчего-то становится страшно. *Уж не это ли, в самом деле, достигнутый идеал?* — думаете вы; не конец ли тут? Не это ли уж в самом деле „едино стадо“... Дух ваш ⁴⁰

* Это была первая его заграничная поездка. Свое первое впечатление от Европы он описывает прямо в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (Сочинения, изд. 1882 г., т. 3) и косвенно во многих своих романах, где общее чувство его к Европе выразилось даже цельнее и ярче; сюда относится, напр., в «Подростке», стр. 453 и след., имеющие большое автобиографическое значение. ⁴⁰

теснит: все это так торжественно, победно и гордо. Вы смотрите на эти сотни тысяч, на эти миллионы людей, *покорно текущих сюда со всего земного шара*, — людей, пришедших *с одною мыслью*, тихо, упорно и молча толпящихся в этом колоссальном дворце (говорится о Хрустальном дворце выставки), и чувствуете, что тут *что-то окончательное совершилось*, совершилось и закончилось. *Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, воюю совершающееся*. Вы чувствуете, что много надо векового духовного отпора и отрицания, чтоб не поддаться, не подчиниться впечатлению, не поклониться факту и не обоготворить Ваала, т. е. *не принять существующего за свой идеал**.

Во всем, что открывается его наблюдению, он высматривает самостоятельно возникшее и, следовательно, мощное, все же заимствованное и, следовательно, слабое он упускает. В Риме он хотел видеть папу, но в Лондоне он даже не взглянул на Собор св. Павла. Зато он посетил «шабаш белых негров», как называет он ночь с субботы на воскресенье в рабочих кварталах города: «Полмиллиона работников и работниц, с их детьми, разливаются, как море, и празднуют всю ночь, до пяти часов, *надеясь и напиваясь за всю неделю*. Все это несет сюда свои еженедельные экономии, *все наработанное тяжким трудом и проклятием... Толстейшими пучками горит газ, ярко освещая улицы. Точно бал устраивается для этих белых негров*. Народ толпится в отворенных тавернах и в улицах. Тут же едят и пьют. Пивные лавки разубраны, как дворцы. Все пьяно, но *без веселья, а мрачно, тяжело*, — и *все как-то странно молчаливо*. Только иногда ругательства и кровавые потасовки нарушают эту подозрительную и грустно действующую на вас молчаливость. Все это поскорее торопится напиться до потери сознания... Жены не отстают от мужей и напиваются вместе с мужьями; дети бегают и ползают между ними»**. Он замечает, что в этой потере сознания есть что-то «систематическое, покорное, *поощряемое*». Своим обобщающим умом он стремится уловить скрытый смысл и этого факта, связать его с тем, что он видел днем и что так гордо своею законченностью, своим совершенством: этот пот, этот угрюмый разврат, эта жажда забыться хоть на несколько часов в неделю, все это мерещится ему, как миллионы человеческих душ, *положенных в угол возводимой башни*, которая, правда, чуть не достигает до неба, но зато как страшно давит на землю! Для этих париев «долго еще не сбудется пророчество, долго не дадут им пальмовых ветвей и белых одежд, и долго еще будут они взывать к престолу Всевышнего: — *Доколе, Господи!*»***.

Библейские образы — это ведь только величайшее обобщение фактов, до какого могли додуматься история и философия; «пальмовые ветви и белые одежды» — это только жажда радости и света для миллионов задавленных существ, теперь — необходимых придатков к чудовищным машинам с совершенно ненужными остатками какого-то в себе сознания. Достоевский понимает факт во всей его целостности и полноте: он видит не ноги, которым холодно, не руки, которые устали; он видит человека, который раздавлен, и спрашивает: разве он не так же алчет и достоин духовной радости, как и все мы, которые не можем без нее жить?

* «Зимние заметки о летних впечатлениях», гл. 5: «Вaal». Сочинения, т. 3, стр. 406.

** Там же, стр. 407.

*** Там же, стр. 408.

Но это только задавленные существа, но еще не извращенные: образ Божий в них померк, но по крайней мере не искажен. Он посетил Гай-Маркет, квартал, где ночью толпятся тысячами публичные женщины. Ярко освещенные улицы, кофейни, разубранные зеркалами и золотом, где в одно и то же время «и сборища, и приюты; жутко входить в эту толпу. И так странно она составлена. Тут и старухи, тут и красавицы, перед которыми останавливаешься в изумлении. Во всем мире нет такого красивого типа женщин, как англичанки. Все это, не умеща-
ясь на тротуарах, толпится на улицах, тесно, густо. Все это ждет добычи и броса-
ется с бесстыдным цинизмом на первого встречного. Тут и блестящие дорогие
одежды, и почти лохмотья, и резкое различие лет, — все вместе. В этой ужасной
толпе толкается и пьяный бродяга, сюда же заходит и титулованный богач.
Слышны ругательства, ссоры, зазыванье и тихий, призывный шепот еще робкой
красавицы. И какая иногда красота!». Он описывает поразительной наружности
молодую женщину, с задумчивым развитым лицом, которая пила джин; около
нее сидел молодой человек, очевидно непривычный посетитель этого квартала.
«Что-то затаенное было в ее прекрасном и немного гордом взгляде, что-то мыс-
лящее и тоскующее. Она была, она не могла не быть выше всей этой толпы не-
счастливых женщин своим развитием; иначе что же значит лицо человеческое?» *.
Видно было, что молодой человек отыскал ее здесь или что это было условлен-
ное свидание. Оба были задумчивы и грустны и говорили отрывками, часто
умолкая; очевидно, что-то важное оставалось между ними недосказанным. На-
конец он встал, заплатил за водку, пожал ей руку и пошел; она, с красными пят-
нами на бледном лице, затерялась в толпе промышляющих женщин. *«В Гай-
Маркете я заметил матерей, которые приводят на промысл своих малолетних
дочерей. Маленькие девочки, лет по двенадцати, хватают вас за руку и просят,
чтобы вы шли за ними. Помню, раз я увидел одну девочку, лет шести, не более,
всю в лохмотьях, грязную, босую, испитую и избитую: просвечивавшее сквозь
лохмотья тело ее было в синяках. Она шла как бы не помня себя, не торопясь ни-
куда, Бог знает зачем, шатаясь в толпе; может быть, она была голодна. На нее
никто не обращал внимания. Но что больше всего меня поразило, — она шла
с видом такого горя, такого безвыходного отчаяния в лице, что видеть это ма-
ленькое создание, тоже несущее на себе столько проклятия и отчаяния, было даже
как-то неестественно и ужасно больно. Она все качала своею включенною голо-
вой из стороны в сторону, точно рассуждая о чем-то, раздвигала врозь свои ма-
ленькие руки, жестикулируя ими, и потом вдруг всплескивала их вместе и при-
жимала к своей голенькой груди. Я воротился и дал ей полшиллинг. Она взяла
серебряную монету, потом дико, с боязливым изумлением посмотрела мне в гла-
за и вдруг бросилась бежать, точно боясь, что я отниму у нее деньги» **.*

И мы можем повторить: «Доколе, Господи!». Всемирная выставка, Хрусталь-
ный дворец и там где-нибудь лекция знаменитого физика с блестящими опыта-
ми — стоит ли все это горя крошечного создания, бьющего себя худыми ручон-
ками в грудь, и этих женщин, которые ведут малолетних дочерей отдать всякому,
кто бросит за это монету. Скажут: «Так всегда было, и даже хуже»; это уже гово-
рят в оправдание и ссылаются на каннибальство диких народов, не желая вер-

* Там же, стр. 409.

** Там же, стр. 410.

нуться к которому мы должны, будто бы, терпеть свое зло, специфический яд цивилизации. Но это неправда, и не всегда так было. У народа, жившего под заповедями Божиими, не было ни каннибальства, ни матерей, торгующих детьми: там были матери, собирающие колосья, нарочно оставленные на полях богатыми людьми *. И этого не было бы у нас, *не смело бы быть*, если бы оставленные нам слова: «Ищите *прежде* царствия Божия и все остальное приложится вам» — мы не читали с конца, не применяли бы наоборот.

«Но когда проходит ночь и начинается день, тот же гордый и мрачный дух снова царственно пронесется над исполинским городом. Он не тревожится тем, что было ночью, не тревожится и тем, что видит кругом себя днем. Ваал царит и даже не требует покорности, потому что в ней убежден. Вера его в себя безгранична; он *презрительно и спокойно, чтоб только отвязаться, подает организованную милостыню*. Он не прячет от себя диких, подозрительных и тревожных явлений жизни. Бедность, страдание, ропот и оупение массы его не тревожат нисколько» **.

Всем этим фактам, равно и тревоге по поводу их, можно дать следующую формулу: в нормальном процессе всякого развития *благоденствие самого развивающегося существа есть цель*; так, дерево растет, чтобы осуществлять полноту своих форм, — и то же можно сказать о всем другом. Из всех процессов, которые мы наблюдаем в природе, есть только один, в котором этот закон нарушен, — это процесс истории. *Человек* есть развивающееся в нем, и, следовательно, он *есть цель*; но это лишь в идее, в иллюзии: *в действительности он есть средство, а цель — это угреждения, сложность общественных отношений, цвет наук и искусств, мощь промышленности и торговли* ***. Все это неудержимо растет, и никогда не придет на мысль бедному человеку хоть когда-нибудь не дать переступить через себя всему этому, не лечь перед торжествующею колесницею Ваала и не обрызгать колес ее кровью ****. И народы стелются перед нею; задавив

* См. кн. Руфь.

** Там же, стр. 411.

*** В истории есть один факт, особенно удобный для пояснения этой мысли: в Германии, ко времени крестьянского и рыцарского восстаний, уже значительно распространилось римское право, вытеснив местные феодальные юридические обычаи. Тягость от него для всего народонаселения была так велика, что восставшие, плохие юристы и только простые люди, требовали, между прочим, отмены римского права в судебной практике. Но кто же усомнится, что, будучи правом, как и средневековые судебные обычаи, оно неизмеримо превосходит не только эти последние, но и вообще все, когда-либо появлявшееся во всемирной истории в сфере права. Дальнейшее распространение его поэтому и не прекратилось, оно было естественно и, так сказать, внутренне необходимо. Этот пример показывает, что *усовершенствование* отдельных отраслей жизни вообще не необходимо связано с уменьшением человеческого страдания, что оно имеет внутреннюю закономерность и извне *автономно*; а потому и совершается в истории независимо от всего прочего.

**** Частный пример и здесь может с удобством пояснить общий исторический процесс: 1) необходимо, чтобы в стране, для поддержания ее международного положения, существовало несколько сот тысяч мужчин, специально занятых военным искусством и, для большего усовершенствования в нем, — освобожденных от забот семьи; 2) нужно, чтобы люди, поддерживающие страну на высоте ее духовного и материального процветания, как можно лучше

миллионы у себя, колесница уже переходит в другие страны, к тем каннибалам, которые до сих пор наивно в одиночку пожирали друг друга и которых теперь, по-видимому, готовится заразить Европа.

С величайшей способностью к обобщению в Достоевском удивительным образом была соединена чуткая восприимчивость ко всему частному, индивидуальному. Поэтому он не только понял общий, главный смысл того, что совершается в истории, но и почувствовал нестерпимый его ужас, как будто сам переживая все то личное страдание, которое порождается нарушением главного закона развития. Тотчас за «Зимними заметками о летних впечатлениях» * появились сумрачные «Записки из подполья» **, о которых уже упоминали мы выше. 10

Чтение их невольно вызывает мысль о необходимости у нас комментированных изданий, комментированных не со стороны формы и генезиса литературных произведений, как это уже есть, но со стороны их содержания и смысла, — для того, чтобы решить, наконец, вопрос: верна ли данная мысль, или она ложна, и почему? И решить это совокупными усилиями, решить обстоятельно и строго, как это доступно только для науки. Например, «Записки из подполья» важны каждую свою строкою, их невозможно почти свести к общим формулам; и вместе утверждения, которые в них высказаны, нельзя оставить без обсуждения никакому мыслящему человеку.

В литературе нашей никогда не появлялось писателя, идеалы которого были бы так совершенно отделены от текущей действительности. Удержать ее и лишь кое в чем исправить — эта мысль никогда не останавливала Достоевского даже на минуту. В силу обобщающего склада своего ума, он со всем интересом приник ко злу, которое скрывается в общем строе исторически возникшей жизни; отсюда его неприязнь и пренебрежение ко всякой надежде что-либо улучшить посредством частных изменений, отсюда вражда его к нашим партиям прогрессистов и западников. Созерцая лишь общее, он от действительности непосредственно переходил к предельному в идее, и первое, что находил здесь, это — надежду с помощью разума возвести здание человеческой жизни настолько совершенное, чтобы оно дало успокоение человеку, завершило историю и уничтожило страдание. 30
Критика этой идеи проходит через все его сочинения, впервые же, и притом с наибольшими подробностями, она высказана была в «Записках из подполья».

подготовились для выполнения своей миссии и глубже вошли в сложный и трудный мир чистых и прикладных наук. Образуется громадный контингент людей, семья для которых возможна и удобна только в позднем возрасте. По причинам, объяснять которые было бы излишне, возникает соответствующий им контингент бессемейных женщин; с тою разницею, однако, что для первых семья есть нечто позднее и ее временное отсутствие есть удобство, а для вторых семья становится навсегда закрытою, и она является безличным средством для удобного существования других. Как большая река привлекает к себе маленькие речки и ручьи и испарениями с бассейна своего родит влагу и дождь, в конце концов опять в нее же собирающиеся, так к этому крупному потоку бессемейного существования примыкают многие другие мелкие течения его, в значительной степени порождаемые просто его массивностью, легкостью, удобством для каждого и привычностью. 40

* Появились в 1863 г. в журнале «Время».

** Появились в 1, 2 и 4 №№ журнала «Эпохи», который сменил приостановленное «Время» в 1864 году.

Подпольный человек — это человек, ушедший в глубину себя, возненавидевший жизнь и злобно критикующий идеал рациональных утопистов на основании точного знания человеческой природы, которое он вынес из уединенного и продолжительного наблюдения над собой и над историей.

Общий смысл этой критики есть следующий: человек несет в себе, в скрытом состоянии, сложный мир задатков, ростков, еще не обнаруженных, — и обнаружение их составит его будущую историю столь же непреодолимо, как уже теперь действительно присутствие этих задатков в нем. Поэтому предопределение нашим разумом истории и венца ее всегда останется только набором слов, не имеющим никакого реального значения.

Между этими задатками, насколько они обнаружились уже в совершившейся истории, есть столько непостижимо странного, иррационального, что нельзя найти никакой разумной формулы для удовлетворения человеческой природы. *Счастье* не составит ли принципа для построения этой формулы: а разве человек не стремится иногда к *страданию*, разве есть наслаждения, за которые Гамлет отдал бы муки своего сознания? *Порядок* и планомерность не составят ли общих черт всякого окончательного устройства человеческих отношений: а, между тем, разве мы не любим иногда *хаос*, разрушение, беспорядок еще жаднее, чем правильность и созидание? Разве можно найти человека, который делал бы в течение всей своей жизни только *хорошее* и *должное*, и разве не испытывает он, долго ограничивая себя этим, странного *утомления*, и не переходит, хоть на короткое время, к поэзии безотчетных поступков? Наконец, не исчезнет ли для человека всякое счастье, когда для него исчезнет ощущение *новизны*, все неожиданное, все прихотливо изменчивое, согласуя с чем теперь свой жизненный путь, он испытывает много огорчений, но и столько радостей? Однообразие *для всех* не противоречит ли коренному началу человеческой природы — *индивидуальности*, а *недвижность* будущего и «идеала» — его свободной воле, жажде *выбрать* то или иное по-своему, иногда вопреки внешнему, хотя бы и разумному, определению? А без свободы и без личности будет ли счастлив человек? Без всего этого, при вековом отсутствии новизны, не проснутся ли с неудержимой силой в человеке такие инстинкты, которые разобьют алмазность всякой формулы: и человек захочет страдания, разрушения, крови, всего, но не того же, к чему на вечность обрел его формула; подобно тому как слишком долго заключенный в светлой и теплой комнате изрежет руки о стекла и выйдет не одетый на холод, лишь бы только не оставаться еще среди прежнего? Разве не это ощущение душевного утомления кидало Сенеку в интриги и преступления? И разве не заставляло оно Клеопатру втыкать золотые булавки в груди черных невольниц, жадно смотря им в лицо, на эти дрожащие и улыбающиеся губы, в эти испуганные глаза? Наконец, *неподвижное* обладание достигнутым идеалом удовлетворит ли человека, для которого *желать, стремиться, достигать* — составляет непреодолимую потребность? И разве рассудочность исчерпывает, вообще, человеческую природу: а, очевидно, она одна может быть придана окончательной формуле самым ее творцом, разумом?

Человек в цельности своей природы есть существо иррациональное; поэтому как полное его объяснение недоступно для разума, так недостижимо для него — его удовлетворение. Как бы ни была упорна работа мысли, она никогда не покрывает всей действительности, будет отвечать мнимому человеку, а не действи-

тельному. В человеке скрыт *акт творчества*, и он-то именно привнес в него жизнь, наградил его страданиями и радостями, ни понять, ни переделать которых не дано разуму.

Иное, чем рациональное, — есть мистическое. И недоступное для прикосновения и мощи науки — может быть еще достигнуто религиею. Отсюда развитие в Достоевском мистического и сосредоточение интереса его на религиозном, что все мы наблюдаем во втором и главном периоде его деятельности, который открылся «Преступлением и наказанием».

V

Признают Достоевского глубочайшим аналитиком человеческой души. Та- ¹⁰
ким он сделался вследствие того, что в ней увидел сосредоточение всех загадок, над которыми думает человек, и разрешение всех трудностей, преодолеть кото-
рые в истории до сих пор не дано было ему.

Мы назвали выше гр. Л. Толстого художником жизни в ее завершившихся ²⁰
формах, которые приобрели твердость; духовный мир человека в пределах этих форм исчерпан им с недостижимым совершенством: все малейшие движения сердца, все незаметные ростки мысли в формах установившейся жизни, установивше-
го духовного строя изображены в его произведениях с отчетливостью, которая не оставляет ничего желать. Но два великие момента в исторически развиваю-
щейся жизни, зарождения и разложения, не тронуты им; моменты эти несомнен- ²⁰
но носят в себе нечто болезненное, часто заключают в себе неправильное и иногда преступное. От всего этого он как-то непреодолимо отвращается. Напротив, Дос-
товский к этому непреодолимо влечется: он восполняет гр. Толстого; в противу-
положность ему, он аналитик *неустановившегося* в человеческой жизни и в чело-
веческом духе.

Его совершенная отдельность от текущей действительности, отсутствие ка-
ких-либо органических связей с нею, симпатий к ней есть, конечно, главная при-
чина того, что он исключительно останавливается на моментах зарождения ³⁰
и разложения. Полный ожиданий или сожалений, он вечно обращен был к буду-
щему или давно прошедшему, но никогда к настоящему. Поэтому следить, как,
разлагаясь, — умирает настоящее или как, среди этого умирания, — брезжит но-
вая жизнь, всегда было для него высшим удовлетворением. В длинном ряде его ³⁰
романов, от «Преступления и наказания» и до «Братьев Карамазовых», мы ви-
дим установившиеся типы только мелькающими, почти издали; на первом плане
движутся люди, не принадлежащие ни к какой определенной категории, встрево-
женные и ищущие, разрушающие или создающие.

От этого психический анализ его носит некоторые особенности: это есть ана-
лиз человеческой души *вообще*, в ее различных *состояниях, стадиях, переходах*,
но не анализ индивидуальной, обособленной и завершившейся внутренней жиз- ⁴⁰
ни (как у графа Л. Н. Толстого). Не образы законченные, каждый со своим внут-
ренним средоточением, движутся перед нами в его произведениях, но ряд теней
чего-то одного: как будто различные трансформации, изгибы одного рождающе-
го или умирающего духовного существа. Поэтому размышление, а не созерца-
ние есть главное, что возбуждают в нас выводимые им лица. Он вскрывает перед

нами тайники человеческой совести, пожалуй, развязывает и вскрывает в пределах своих сил тот мистический узел, который есть средоточие иррациональной природы человека.

Но, во всяком случае, в порядке возникновения его интересов психический анализ был только вторичное и обусловленное; он и развивается, начиная лишь с «Преступления и наказания». Главным и все обуславливающим для него было: человеческое страдание и его связь с общим смыслом жизни. Именно оно является уже, но как образ только, в первом его произведении — «Бедные люди», и оно же обсуждается диалектически в последнем («Братья Карамазовы»).

10 Как выше уже замечено было, коренное зло истории заключается в неправильном соотношении в ней между целью и средствами: человеческая личность, признанная только средством, бросается к подножию возводимого здания цивилизации, и, конечно, никто не может определить, в каких размерах и до каких пор это может быть продолжаемо. Ею раздавлены уже всюду низшие классы, она готовится раздавить первобытные народности, и в воздухе носится иногда идея, что данное живущее поколение людей может быть пожертвовано для блага будущего, для неопределенного числа поколений грядущих. Что-то чудовищное совершается в истории, какой-то призрак охватил и извратил ее: для того, чего никто не видел, чего все ждут только, совершается нечто нестерпимое: человеческое существо, до сих пор вечное средство, бросается уже не единицами, но 20 массами, целыми народами во имя какой-то общей далекой цели, которая еще не показалась ничему живому, о которой мы можем только гадать. И где конец этому, когда же появится человек *как цель*, которому принесено столько жертв, — это остается никому не известным.

С мощною идеею этой, которая не высказывается, но совершается, управляя фактами, Достоевский и вступил в борьбу, также не столько сознавая ее отчетливо, сколько чувствуя, ощущая.

Критика возможности окончательного идеала была только первую половиною задачи, выполнение которой предстояло ему. Показав иррациональность 30 человеческой природы и, следовательно, *мнимость конечной цели**, он выступил на защиту не относительного, но абсолютного достоинства человеческой личности, — каждого данного индивидуума, который никогда и ни для чего не может быть только средством.

Сюда примкнул ряд его религиозных идей. Замечательным и счастливым было то совпадение, которое оказалось между результатом его беспристрастного анализа человеческой природы и между тем, что требовалось задачами его борьбы. Первое, показав иррациональность человеческого существа, обнаружило в нем присутствие чего-то мистического, без сомнения переданного ему в самом акте творчества. И это в высшей степени согласовалось с необходимостью взгляда на человека как на нечто неизмеримо высшее, чем мы думали о нем, религиозное, священное, неприкосновенное. Как агрегат физиологических функций, между которыми одна есть сознание, человек есть, конечно, только средство, — по крайней мере всякий раз, когда такового требует иное и большее число по- 40

* Таким образом, «Записки из подполья» составляют первый, как бы краеугольный камень в литературной деятельности Достоевского, и мысли, здесь изложенные, образуют первую основную линию в его мирозерцании.

добных же физиологических агрегатов. Совершенно иное увидим мы в нем, признав его мистическое происхождение и мистическую природу: он носит отблеск Творца своего, в нем есть Лик Божий, не померкающий, не преклоняющийся, но драгоценный и оберегаемый.

Нужно заметить, что только в религии открывается значение человеческой *лигности*. В праве *лигность* есть только фикция, необходимый центр, к которому относятся договорные обязательства, имущественная принадлежность и пр.; значение ее не выяснено и не обосновано здесь, и если она определяется так или иначе, то подобное определение является первичным, произвольным: оно есть условие, на которое можно и не согласиться. Сама *лигность*, в праве, — может служить предметом договора; и рабство вообще есть естественное последствие чистого, беспримесного юридического строя. В политической экономии *лигность* совершенно исчезает: там есть только рабочая сила, к которой лицо есть совершенно ненужный придаток. Таким образом, путем знания, путем науки недостижимо восстановление *лигности* в истории: мы можем ее уважать, но это не есть необходимость, мы можем ею и пренебрегать, — и это в особенности, когда она дурна, порочна. Но уже самое введение этих условий подкашивает абсолютность *лигности*: для греков дурны были все *варвары*, для римлян все *не граждане*, для католиков — *еретики*, для гуманистов — все *обскуранты*, для людей 93-го года — все *консерваторы*. Этой обусловленности и с ней колебаниям, сомнениям кладет грань религия: личность *всякая*, которая жива, абсолютна как образ Божий и неприкосновенна.

Вот почему, что касается, в частности, до рабства, то при религии оно тем более усиливалось, чем слабее она или искаженнее становилась; напротив, при праве оно усиливалось с его последовательностью, чистотою, беспримесностью. В истории наиболее страшно оно было у римского народа, самого совершенного в понимании права: здесь рабов крошили на говядину, которою откармливали рыбу в прудах; наиболее же гуманно оно было у древних евреев, живших под строгою религиею: в юбилейные годы там все рабы должны были возвращаться на свободу, т. е. они были предметом временного пользования, но не владения в строгом смысле, не собственности.

В «Преступлении и наказании» впервые и наиболее обстоятельно * раскрыта Достоевским идея абсолютного значения личности. Среди безысходного страдания, при виде гибнущих и готовящихся погибнуть, возмущается целомудренная душа главного героя этого романа, и он решается переступить закон неприкосновенности человека. Гениальная диалектика подставлена под факт; он совершен. И тотчас же, как произошло это, началось мистическое взаимодействие между убившим, убитою и всеми окружающими людьми. Все, что совершается в душе Раскольникова, иррационально; он до конца не знает, почему ему нельзя было убить процентщицу. И с ним вместе и мы не понимаем умом, диалектически, состояний его совести, качеств его поступка. Но цельным существом своим мы совершенно ясно ощущаем необходимость всех последствий совершенного им

* Таким образом, роман этот, в литературном отношении наиболее строгое и, следовательно, лучшее произведение Достоевского, составляет второй краеугольный камень в развитии его мировоззрения. Идея, выраженная в этом романе, положительно защищается, но в отрицательных формах, еще в «Бесах».

факта. Едва разбил он отраженный Лик Божий, правда обезображенный его носителем, — и он почувствовал, как для него самого померк этот Лик и с ним вся природа. «Не старушонку я убил, себя я убил», — говорит он в одном месте. Точно что-то переместилось в его душе, и с этим перемещением открылось все в новом виде и закрылось навеки то, что он знал прежде. Он почувствовал, что со всеми живыми, оставшимися по сю сторону преступления, у него уже нет ничего общего, соединяющего; и никогда этого не будет. Он переступил по другую сторону чего-то, ушел от всех людей, кажется — туда, где с ним одна убитая старушонка. Мистический узел его существа, который мы именуем условно «душою»,¹⁰ точно соединен неощутимую связью с мистическим узлом другого существа, внешнюю форму которого он разбил. Кажется, все отношения между убившим и убитою кончены, — между тем они продолжают; кажется, все отношения между ним и окружающими людьми сохранены и лишь изменены несколько, — между тем они перерваны совершенно. Здесь, в этом анализе преступности, в обнаружении как бы покровов, скорлуп душевности, окружающих каждое «я» и то взаимодействующих, то перестающих взаимодействовать, и разгадана глубочайшая тайна человеческой природы, раскрыт великий и священный закон о непременности человеческого существа, его абсолютности. Насколько доступно это мистическое явление не столько объяснению, сколько простому обозначению словами, мы можем его выразить таким образом: то, что мы наблюдаем в человеке, его поступки, слова, желанья, все, что о нем знают другие и он знает о себе, не исчерпывает полноты его существа; в нем есть еще иное сверх этого, и притом главное, чего никто не знает*. Привязываться, любить в человеке мы должны это главное: поэтому-то и любим мы его иногда вопреки всему, что видим в нем; напротив, ненавидеть в человеке мы можем только внешнее и не главное, какое-то обезображение, которому он подверг себя. Но когда, смешивая то и другое или, точнее, ничего не зная о существовании в человеке за его наружными проявлениями еще чего-то, мы разбиваем его образ — мы разбиваем целое, которого не подозревали. Мы вдруг касаемся главного, о чем не думали, и испытываем неожиданное, что не входило в наши соображения. Таким образом, только переступив личность человека, мы постигаем все ее значение: для нас открывается мистический и иррациональный смысл ее, но уже поздно. Сделав ненужным подобный опыт, обнаружив со всею убедительностью в гениальном изображении состояние преступной совести, Достоевский оказал великую историческую услугу.

Собственно, разрешением этих двух вопросов он заканчивал выполнение своей задачи, насколько она относилась к человеку как существу страдающему и погранному. Но за ними поднимался теоретический интерес, и, следуя ему-то, он вступил в безбрежную область рассматривания того, что мы назвали швами⁴⁰ мироздания. Первый проблеск этого стремления мысли мы находим уже в «Преступлении и наказании».

В невыразимо тяжелой сцене между Раскольниковым и Соней, в душевной комнате у этой последней, он ей сказал о возможности для нее заражения и болезни

* Факты атавизма или также факт рождения от обыкновенных родителей гения обнаруживают и фактически присутствие в человеке такого, чего не знает ни он в себе, ни в нем другие.

и о необходимости тогда гибели родной семьи, для прокормления которой она отдала себя:

«— А копить нельзя? на черный день откладывать? — спросил он вдруг, оставиваясь перед ней.

— Нет, — прошептала Соня.

— Разумеется, нет. А *пробовали*? — прибавил он чуть не с насмешкой.

— Пробовала.

— И сорвалось! Ну, да, разумеется! Что и спрашивать!

И опять пошел по комнате. Еще прошло с минуту.

— Не каждый день получаете-то? 10

Соня больше прежнего смутилась, и краска ударила ей в лицо.

— Нет, — прошептала она с мучительным усилием.

— С Полечкой (маленькая сестра ее), наверно, то же самое будет, — сказал он вдруг.

— Нет! Нет! Не может быть, нет! — как отчаянная, громко вскрикнула Соня, как будто ее вдруг ножом ранили, — Бог, Бог такого ужаса не допустит!..

— Других *допускает же!*

— Нет, нет! Ее Бог защитит, Бог!.. — повторила она, не помня себя.

— Да, может, и *Бога-то совсем нет*, — с каким-то злорадством ответил Раскольников, засмеялся и посмотрел на нее. Лицо Сони вдруг страшно изменилось* 20.

В том же романе между Раскольниковым и его alter ego, его второю и дурною половиной, Свидригайловым, происходит разговор на тему о привидениях и загробной жизни.

«— Я согласен, — говорит Свидригайлов, — что привидения являются только больным; но, ведь, это только доказывает, что привидения могут являться не иначе как только больным, а не то, что их — *нет*, самих по себе. Привидения — это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть, потому что здоровый человек есть наиболее земной человек, а стало быть, должен жить одною здешнею жизнью, для полноты и для порядка. Ну а чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше, так что когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир. Я об этом давно рассуждал. Если в будущую жизнь верите, то и этому рассуждению можно поверить.

— Я *не верю в будущую жизнь*, — сказал Раскольников. Свидригайлов сидел в задумчивости.

— А что, если *там* одни науки или *что-нибудь в этом роде*, — сказал он вдруг.

— Это помешанный, — подумал Раскольников.

— Нам вот все представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо 40

* «Преступление и наказание», изд. седьмое, стр. 293—294. Страшный смысл слов о «попытке копить» заключается в *торопливости*, в *жадности* к разврату, которое делает и вынуждена делать эта девушка, лишь извне растленная. Здесь Достоевский с какою-то адскою мукою следит, как физическая нужда, ударяя в душу, как бы продырявливает ее и раскрывает для вступления уже внутреннего порока.

всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, этак вроде деревенской бани; закоптелая, а по всем углам пауки — и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится.

— И неужели, неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого! — с болезненным чувством вскрикнул Раскольников (раньше он ничего не хотел говорить с Свидригайловым).

— Справедливее? А почем знать, *может быть, это и есть справедливое*, и, знаете, я бы так непременно нарочно сделал, — отвечал Свидригайлов, неопределенно улыбаясь.

¹⁰ Каким-то холодом охватило Раскольникова при этом безобразном ответе*.

Мы чувствуем душную атмосферу каких-то странных идей и чувств. Если в том же романе есть диалектика, оправдывающая преступление, и все-таки в целом своем душа несет кару за него, то здесь мы видим диалектику, которая восходит до признания «новых миров», а чувство в вопросах вечного воздаяния спускается до каких-то пауков. «Дрожащая тварь», как называется здесь раза два человек, ни мелочностью преступлений своих, ни своими бесполезными добродетелями не заслуживает ни больше этого, ни меньше.

²⁰ Религиозный вопрос затем уже не исчезает в произведениях Достоевского: в каждом романе он касается его, но так, что мы живо чувствуем, как он только откладывает его до минуты, когда в силах будет сделать это без внешних помех, неторопливо и свободно. Наконец минута эта настала, и появились «Братья Карамазовы».

VI

Самый период времени, когда появился этот роман, был в высшей степени замечателен: шли последние годы прошлого царствования. Заговоры анархистов, колебания правительства, шумная и влиятельная пресса — все распространяло в обществе тревогу и ожидания. Борьба партий достигла высшего напряжения, но из них та, которая совпадала с двухвековым направлением нашей истории — мы разумею партию западников и приверженцев реформ, — пользовалась неизмеримым преобладанием в литературе и в обществе. Собственно, что всем надеждам и уже почти требованиям этой партии суждено сбыться — в этом слабо сомневались даже противники ее; и все, к чему еще усиливались эти последние, состояло в том, чтобы хоть на некоторое время задержать ее окончательное торжество.

³⁰ В это-то время, почти один вслед за другим, выступили со своим окончательным словом три наиболее влиятельные писателя: Тургенев, гр. Л. Толстой и, последним, Достоевский. Каждый, кто только раскрыл бы эти произведения и даже не анализировал их, тотчас почувствовал бы, до чего сомнительна минута, в которую они появляются, как все неверно в обществе, настроением которого они вызваны.

⁴⁰ Как и всегда, Тургенев в «Нови» ответил текущим стремлением времени и только смягчил их несколько и ограничил. Разносторонность и широта его об-

* Там же, стр. 264—265.

разования, отсутствие первородной крепости и хоть невысказанное, но ясное безразличие ко всему, кроме искусства, — все это заставило его и теперь, как прежде, попытаться войти в круг идей и стремлений, с которыми, очевидно, у него не было ничего родственного. Он, однажды высказавший, что в Венере Милосской есть нечто более несомненное и вечное, чем в принципах первой французской революции, на склоне лет своих и вопреки всему, чему отдавал жизнь, захотел войти во вкусы людей, для которых весь мир красоты и искусства не заключал в себе никакой значительности и смысла. Но эта противоестественная попытка, как и можно было ожидать, вышла до того вымученною и жалкою, что все, для кого он был дорог своими прежними произведениями, не могли 10
смотреть на нее иначе, как с чувством глубочайшей печали. Эту печаль, это сожаление о себе не мог не ощутить и сам творец, и она именно придала оживление и особый колорит его самым последним произведениям. Каждый, как человек, так и писатель, в дарах природы своей несет и горечь и сладость своей жизни. Тургеневу первому из наших писателей привелось снискать европейскую известность; и когда он достиг ее и уже не было времени стремиться еще к чему-нибудь, он вдруг увидел, что достиг чего-то самого малого: все же значительное и ценное от него ускользнуло.

Напротив, оба другие писатели, которые до тех пор несколько заслонялись Тургеневым, заговорили с силою, как никогда прежде, и голос их зазвучал противоречиво всему, чего хотело общество и что оно думало. И если нужно в истории 20
искать примера, где значение и влияние личности было бы несомненно и отчетливо видно, ясно, — то нельзя найти лучшего, как в последнем фазисе деятельности этих двух писателей. В самый разгар увлечения внешними реформами, в минуту безусловного отрицания всего внутреннего, религиозного, мистического в жизни и в человеке, они отвергли, как совершенно незначущее, все внешнее, — и обратились к внутреннему и религиозному. И общество, сперва удивленное и негодующее, но и очарованное их словом, вначале поодиночке и потом массами, точно поволоклось ими в противоположную сторону, чем куда шло; в жизни его совершился перелом, и мы стоим теперь на совершенно иных путях, 30
нежели те, на каких стояли еще так недавно.

В «Анне Карениной» с недостижимым совершенством формы соединилось глубокое и строгое содержание. Более, нежели в «Войне и мире», над всеми группами выведенных лиц здесь господствует мысль художника, это теснее сжимает их и придает всему произведению больше единства и цельности. Группы и сцены менее широко разбрасываются, не так свободно живут, все устремляется как будто к одному невидимому центру, который впереди. Взамен эпического спокойствия, которое царит в «Войне и мире», придавая всем событиям и лицам этого романа размеренную неторопливость, в «Анне Карениной» мы ощущаем присутствие чего-то встревоженного и ищущего. Это сообщает всему произведению 40
лиризм. Оставляя «Войну и мир», читатель испытывает ясное удовлетворение; напротив, окончив «Анну Каренину», он чувствует себя встревоженным и смущенным. Ощущение горести, душевного ужаса, ненависти к жизни и жалости к судьбе человека — все это смешивается в нем, становится невыносимо; и, не имея силы бороться с собою, он ищет помощи у великого художника, который так возмутил его покой. И этот последний не заставил долго ожидать своего слова; «Анна Каренина» оказалась только великим прологом к учению, которое то

прямо, то в аллегориях вот уже десять лет развивает ее автор. Переходя от сомнения к вере и из веры падая опять в сомнение, твердый только в отрицаниях и колеблющийся в утверждениях, он всем рядом своих последних трудов как бы олицетворяет ищущий разрешения скептицизм: «Что я верю в какого-то Бога, это я чувствую; но в *какого* Бога я верю — вот что темно для меня», — как будто говорит он всем смыслом своих последних трудов.

10 Резко отличаясь по форме, растянутый, эпизодический, роман Достоевского глубоко однороден с «Анной Карениной» по духу, по заключенному в нем смыслу. Он также есть синтез душевного анализа, философских идей и борьбы религиозных стремлений с сомнением. Но задача взята в нем шире: в то время как там показано, как непреодолимо и страшно гибнет человек, раз сошедший с путей, не им предустановленных, здесь раскрыто таинственное зарождение новой жизни среди умирающей. Старик Карамазов — это как бы символ смерти и разложения, все стихии его духовной природы точно потеряли скрепляющий центр, и мы чувствуем трупный запах, который он распространяет собою. Нет более регулирующей нормы в нем, и все смрадное, что есть в человеческой душе, неудержимо полезло из него, грязня и пачкая все, к чему он ни прикасается. Никогда не появлялось в нашей литературе лица, для которого менее бы существовал какой-нибудь внешний или внутренний закон, нежели для этого человека: беззаконник, ругатель всякого закона, пачкающий всякую святыню, — вот его имя, его определение. Наше общество, идущее вперед без преданий, недоразвившееся ни до какой религии, ни до какого долга и, однако, думающее, что оно переросло уже всякую религию и всякий долг, широкое лишь вследствие внутренней ослабленности, — в основных чертах верно, хотя и слишком жестоко, символизировано в этом лице. Вскрыта главная его черта, отсутствие внутренней сдерживающей нормы, и, как следствие этого, — обнаженная похоть на все, с наглой усмешкой в ответ каждому, кто встал бы перед ним с укором. Среди зловония этого разлагающегося трупа возрастает его порождение. Между всеми четырьмя сыновьями его можно найти внутреннее соотношение, которое подчинено закону противоположности. Смердяков, этот миазм, эта гниющая шелуха «павшего в землю и умершего зерна», есть как бы противоположный полюс чистого Алеши, который несет в себе новую жизнь, подобно тому как свежий росток выносит из своей темной могилки на свет солнца жизнь и закон умершего материнского организма. Тайна возрождения всего умирающего прекрасно выражена в этом противопоставлении. Третий сын, Иван Федорович, сдержанный и замкнутый, представляет собою противоположность Димитрию, раскидывающемуся, болтливому, несущему в себе добрые стремления, но без какой-либо нормы, — тогда как эта норма в высочайшей степени сосредоточена в Иване. Как Димитрий тяготеет к Алеше, так у Ивана есть нечто связующее и общее со Смердяковым. Он «высоко ценит» Алешу, но, конечно, — как свою противоположность, и притом равносильную. Но с Димитрием у него нет ничего общего; все отношения этих двух братьев чисто внешние, и это важнее, чем то, что они в конце становятся даже враждебными. Напротив, со Смердяковым у Ивана есть что-то родственное: они с полуслова, с намека понимают один другого, заговаривают так, как будто и в молчании между ними не прерывалось общение. Их связь, таким образом, несомненна, как и связь Алеши с Димитрием. И как в Алеше выделась в очищенном виде мощь утверждения и жизни, так и в Иване в очищенном

же виде сосредоточилась мощь отрицания и смерти, мощь зла. Смердяков есть только шелуха его, гниющий отбросок, и, конечно, зло, лежащее в человеческой природе, не настолько мало, чтобы выразиться только в уродстве. В нем есть сила, есть обаяние, и они сосредоточены в Иване. Димитрию суждено возродиться к жизни; через страдание он очистится; он, уже только готовясь принять его, ощутил в себе «нового человека» и готовится там, в холодной Сибири, из рудников, из-под земли, запеть «гимн Богу». Вместе с очищением в нем пробуждается сила жизни: «В тысяче мук — я *есмь*, в корче мучусь — но *есмь*»^{*}, — говорит он накануне суда, который, он чувствовал, окончится для него обвинением. В этой жажде бытия и в неутолимой же жажде стать достойным его хотя бы через страдание опять угадана Достоевским глубочайшая черта истории, самая существенная, быть может центральная. Едва ли не в ней одной еще сохранился в человеке перевес добра над злом, в которое он так страшно погружен, которым является каждый единичный его поступок, всякая его мысль. Но под ними, под всею грязью, в тине которой ползет человек целые тысячелетия, неутолимая жажда все-таки ползти и когда-нибудь увидеть же свет — высоко поднимает человека над всею природою, есть залог неокончательной его гибели среди всякого страдания, каких бы то ни было бедствий. Здесь и лежит объяснение того, почему с таким содроганием мы отворачиваем лицо свое при виде самоубийства, отчего оно кажется нам сумрачнее даже убийства, нарушает какой-то еще высший закон, — и религия осуждает его как преступление, которого нельзя искупить. С рациональной точки зрения мы должны бы относиться к нему индифферентно, предоставляя каждому решать, лучше ли ему жить или не жить. Но общий и высший закон, конечно мистического происхождения, принудительно заставляет нас всех — *жить*, требует этого как *долга*, бремени которого мы не можем сложить с себя. Если Димитрий Карамазов, порочный и несчастный, возрождается к жизни вследствие того, что в основе его все-таки лежит доброе, — то Иван, которому извне открывается широкий путь жизни, несмотря на высокое развитие, несмотря на сильный характер, все-таки стоит при начале того уклona, по которому скользнул и умер Смердяков. Мощный носитель отрицания и зла, он долго и сильно будет бороться со смертью, этим естественным выводом из отрицания; и все-таки вечные законы природы преодолеют его мощь, силы его утомятся, и он умрет так же, как умер Смердяков.

Поразительны последние дни этого четвертого брата, переданные в первом, втором и третьем свиданиях с ним Ивана. Мы и здесь, как в «Преступлении и наказании», каким-то особым приемом, тайна которого была известна только Достоевскому, опять погружаемся в особую психическую атмосферу, удушную, темную, — и, еще ничего не видя, еще не дойдя до самого факта, испытываем мистический ужас от приближения к какому-то нарушению законов природы, к чему-то преступному; и уже содрогаясь от ожидания. Эта ненависть, с которой он смотрит теперь на Ивана, внушившего ему, что «все позволено»; эта книга «Иже во святых отца нашего Исаака Сирина», сменившая под его подушкой французские вокабулы, и какие-то припадки иступления, о которых передает встревоженная хозяйка, хотя мы сами не замечаем в нем ничего особенного; наконец, эта пачка бумажек, которую он тащит у себя из-под чулка, а Иван дрожит,

^{*} Сочинения, т. XIV, стр. 294.

еще не зная — отчего, и пятится к стене; и самый рассказ о том, как совершилось убийство, с этою беспричинною боязнью жертвы к своему убийце, к своему незаконному сыну и доверенному лакею, к малосильному трусу и идиоту — все это поразительно, тягостно до последней степени и еще раз вводит нас в мир преступности. Замечательно, что как закон природы, нарушенный здесь, выше, чем тот, который нарушен в «Преступлении и наказании», так и атмосфера, окружающая преступника, как-то еще удушливее и теснее, нежели та, которую мы ощущаем около Раскольникова. Вот почему последний не наложил на себя рук; ему еще было чем жить, и, через несколько лет искупления, он вышел же из своей атмосферы к свету и солнцу. Смердякову нечем было жить; и хотя и для него, может быть, было где-нибудь солнце и свет, но совершенно ясно, что он не мог дойти до них и упал при первых же шагах задушенный. Последнее его прощание с Иваном, отдача ему денег, из-за которых совершилось убийство, слова о Провидении — все это вводит нас в душу человека в последние часы перед самоубийством: тайна, еще никем не изображенная, никому из живых не переданная.

Здесь нам хотелось бы сказать несколько слов о характере припадков двух братьев, одного отцеубийцы и другого, замешанного в отцеубийстве. Последний, как известно, жалуется на посещение его бесом, «дрянным, мелким бесом»; первый говорит о Провидении, о посещающем его Боге. Ранее оба были атеистами, и притом довольно убежденными. Вчитываясь в рассказ Достоевского, не трудно заметить, что именно галлюцинации составляют *главную* муку Ивана Федоровича. Вспомним, как он говорит Алеше: «Это он тебе сказал»; как оживляется всякий раз, когда неясные слова собеседника дают повод думать, что говорящий также знает о возможности появления беса («Кто он, кто находится, кто третий?» — испуганно спрашивает он Смердякова); наконец, вспомнил ледяной холод, который вдруг прилип к его сердцу, когда он подошел к своему дому после третьего свидания со Смердяковым, с мыслью, что вот уже там его дожидается «посетитель», и — почти плачущий тон его жалоб после галлюцинации: «Нет, он знает, чем меня мучить... он зверски хитер»... «Алеша, кто смеет предлагать мне такие вопросы... Это он тебя испугался, чистого херувима» — и пр. Если мы вспомним холодный и суровый тон этого атеиста, его действительно мощную натуру, то это превращение сильного человека в жалующегося ребенка, в плачущую женщину всего яснее может дать нам понять о степени мучительности его галлюцинаций. «Завтра крест, но не виселица» (стр. 360, т. XIV), — решает он, готовясь рассказать все на суде после той же галлюцинации. По аналогии, мы должны допустить, что предмет главного мучения и для Смердякова составляло нечто подобное. Собственно раскаяние и воспоминание об убийстве должно бы быть сильнее в первые дни после него, и, между тем, Смердяков в это время еще совершенно спокоен; болезнь и исступление начались несколько недель спустя; и они так же, как у Ивана Федоровича, не непрерывны, но происходят время от времени. Разница только в том, что «третий этот», в присутствии которого он уверен даже при посетителе, — есть Бог, «самое это Провидение-с», хотя и говорит он тут же как о чем-то не относящемся к предмету на вопрос Ивана о Боге: «Нет, не уверовал-с». Очевидно, то, о чем они беседовали в свое время и что порешили, было нечто совершенно другое, нежели оказавшееся, когда закон природы был ими нарушен. Поэтому, ощутив один то, что он называет «бесом», а другой то, что он называет «Провидением», они ощутили нечто совершенно не-

ожиданное; все же прежние слова их о загробном существовании и о Боге оказались ни к чему не относящимися. Продолжая аналогию с Иваном, мы должны думать, что именно ужас ожидания «посещения» и приводил Смердякова в иступленное смятение, он и привел его к самоубийству. Как и всегда человек, он скользнул по уклону меньшего страдания. Перенести физическую боль удушения, очевидно, было для него легче, нежели еще раз почувствовать ледяное прикосновение мучающего его призрака.

Припадки Смердякова, очевидно более тяжелые, нам не описаны, и сделано только подробное описание припадка Ивана Федоровича. Есть известие, что, когда печатались «Братья Карамазовы», один доктор-психиатр написал Достоевскому письмо *, в котором удивляется глубокому соответствию его художественного описания с тем, что открывается в припадках для объективного наблюдения; последнее, конечно, не знает внутреннего содержания галлюцинаций, которое именно дается у Достоевского. Этот последний обставляет свое описание несколько насмешливым тоном, но, вчитываясь в весь ряд его сочинений, мы видим, как постоянно он обставляет в начале и конце легкою ирониею и свои любимые идеи **, — по крайней мере делал это всякий раз, когда ожидал, что они могут подвергнуться насмешке. Он не хотел, очевидно, слишком восстанавливать против себя читающую массу, — но и оставить невысказанным то или другое ему тоже было трудно. Иван Федорович во все время галлюцинации не верит ее объективности, т. е. не верит, пока болен; и, напротив, ее реальности он верит все время, как здоров, когда уже более ее не испытывает; и даже ее только боится, об ней одной думает. Слишком уже серьезны слова больного именно в здоровом-то его состоянии, и слишком упорно сосредоточен делается автор, как только подходит к ним. Все это заставляет нас видеть двойственное и скрытое в Достоевском, когда он передает «кошмар Ивана Федоровича»: едва ли он хотел нам дать только описание галлюцинации, чуть ли под насмешливым тоном у него не скрыто действительное убеждение; и весьма тонкое соображение Свидригайлова (см. выше) о возможности «иных миров, клочки которых открываются человеку в болезненном состоянии», едва ли не есть мысль самого Достоевского. По крайней мере вот слова, которые он влагает старцу Зосиме, уже без всякой иронии:

«Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высоким, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот почему и сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад Свой, и возшло все, что могло взойти, но возвращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего с таинственным миром иным; если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и возвращенное в тебе. Тогда станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее» ***.

* Если письмо это сохранилось, было бы любопытно видеть его напечатанным.

** Такова, напр., в «Братьях Карамазовых» речь прокурора на суде, которая вся ведется в тоне, иронизирующем над прокурором; и, однако, многие из мыслей этой речи содержат повторение мыслей, высказанных Достоевским от своего имени в «Дневнике писателя».

*** «Братья Карамазовы», глава «Из бесед и поучений старца Зосимы». Сочинения, т. XIII, стр. 357.

Удивительны слова эти и по глубине заключенной в них мысли, и по красоте образов, кажется очень близко соответствующих скрытой действительности вещей, и по силе убежденности. Это уже во второй раз * наша художественная литература, так неизмеримо опередившая вялое движение наших наук, поднимается на высоту созерцаний, на которой удерживался только Платон и немногие другие. В том, что ощущает преступник, Достоевский, несомненно, видел прикосновение к «мирам иным», вдруг становящееся отчетливым, осязаемым, тогда как для всех других людей, не переступивших законов природы, оно есть, но не сознается, оно вполне неосязаемо и безотчетно.

- 10 Что Достоевский был далек от какой-нибудь грубой ошибки и что мы также не впадаем в нее, вскрывая его невысказанную мысль, в этом нас убеждает решение, которое мы должны дать на два вопроса, невольно возникающие при чтении как «Преступления и наказания», так и при описании свиданий отцеубийц в «Братьях Карамазовых»: отчего мы так понимаем верность изображенного душевного состояния преступников, хотя сами не испытали его? И отчего, совершив преступление и, следовательно, вдруг упав среди окружающих людей на всю его высоту, преступник *в каком-то одном отношении*, напротив, поднимается над ними всеми? Смердяков, дрожащее насекомое перед Иваном до преступления, — совершив его, говорит с ним, как власть имеющий, как господствующий. Сам
- 20 Иван изумляется этому и произносит: «Ты серьезен, ты умнее, чем я думал». Раскольников, только *primus inter pares* ** между другими людьми перед преступлением, положительно выходит из их уровня после него; один Свидригайлов, тоже убийца, говорит с ним, как равносильный, насмешливо указывая, что у них есть «какая-то общая точка соприкосновения». Все это требует объяснения, и мы выскажем то, которое нам кажется вероятным. Если для нас, никогда не совершавших убийства, душевное состояние преступника понятно и, читая Достоевского, мы удивляемся не прихотливости его фантазии, но искусству и глубине его анализа, то не совершенно ли ясно, что *у нас есть какое-то средство оценки*, имея которое мы произносим свой суд над правдоподобием в изображении того,
- 30 что должно бы быть для нас совершенно неизвестным. Не очевидно ли, что таким средством может быть только уже *предварительное* знание этого самого состояния, хотя в нем мы и не даем себе отчета; но вот другой изображает нам еще не испытанные нами ощущения, — и в ответ тому, что говорит он, в нас пробуждается знание, дотоле скрытое. И только потому, что это пробуждающееся знание сливается, совпадая, с тем, которое дается нам извне, мы заключаем о правдоподобии, об истинности этого последнего. В случае несовпадения мы сказали бы, что оно ложно, — сказали бы о том, о чем, по-видимому, у нас не может быть никакой мысли, никакого представления. Этот странный факт вскрывает перед нами глубочайшую тайну нашей души — ее сложность: она состоит не из одного
- 40 того, что в ней отчетливо наблюдается (напр., наш ум состоит не из одних сведений, мыслей, представлений, которые он сознает); в ней есть многое, чего мы и не подозреваем в себе, но оно осязаемо начинает действовать только в некоторые моменты, очень исключительные. И, большею частью, мы до самой смерти не знаем истинного содержания своей души; не знаем и истинного образа того

* Разумею известное стихотворение Лермонтова «По небу полуночи ангел летел», и пр.

** первый среди равных (*лат.*).

мира, среди которого живем, так как он изменяется соответственно той мысли или тому чувству, какие к нему мы прилагаем. С преступлением вскрывается один из этих темных родников наших идей и ощущений, и тотчас вскрываются перед нами духовные нити, связывающие мироздание и все живое в нем. Знание этого-то именно, что еще закрыто для всех других людей, и возвышает в некотором смысле преступника над этими последними. Законы жизни и смерти становятся ощутимыми для него, как только, переступив через них, он неожиданно чувствует, что в одном месте перервал одну из таких нитей и, перервав, — как-то странно сам погиб. То, что губит его, что *можно ощущать только нарушая*, — и есть в своем роде «иной мир, с которым он соприкасается»; мы же только предчувствуем его, угадываем каким-то темным знанием. 10

Мы сказали, что в «Братьях Карамазовых» великий аналитик человеческой души представил нам возрождение новой жизни из умирающей старой. По необъяснимым, таинственным законам, природа вся подлежит таким возрождениям; и главное, что мы находим в них, — это неотделимость жизни от смерти, невозможность осуществиться для первой вполне, если не осуществилась вторая. Здесь и находит свое объяснение эпитафия, взятая Достоевским для своего последнего произведения: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши на землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ев. от Иоанна, XII, 24). Падение, смерть, разложение — это только залог 20 новой и лучшей жизни. Так должны мы смотреть на историю; к этому взгляду должны приучаться, смотря и на элементы разложения в окружающей нас жизни: он один может спасти нас от отчаяния и исполнить самой крепкой веры в минуты, когда уже настает, кажется, конец для всякой веры. Он один соответствует действительным и мощным силам, направляющим поток времен, а не слабо мерцающий свет нашего ума, не наши страхи и заботы, которыми мы наполняем историю, но несколько не руководим ею.

Но широко задуманная Достоевским картина осталась недорисованною. С пониманием мрака, хаоса, разрушения, без сомнения, связано было в душе самого художника некоторое отсутствие гармонии, стройности, последовательности. Собственно, в «Братьях Карамазовых» изображено только, как умирает старое; а то, что возрождается, хотя и очерчено, но сжато и *извне*; и как именно происходит самое возрождение — эта тайна унесена Достоевским в могилу. Судя по заключительной странице «Преступления и наказания», он всю жизнь готовился к этому изображению, и оно должно было наконец появиться в последующих томах «Братьев Карамазовых»; но, за смертью автора, этому не суждено было сбыться. Важнейшую задачу своей жизни он только наметил, но не выполнил. 30

Но то, что стояло в преддверии к ней, выполнено им с широтою замысла и с глубиною понимания, которые не имеют себе ничего подобного как в нашей литературе, так и в других. Мы разумеем «Легенду о Великом Инквизиторе». Уже выше замечено было, что, умирая, всякая жизнь, представляющая собою соединение добра и зла, выделяет в себе, в чистом виде, как добро, так и зло. Именно последнее, которому, конечно, предстоит погибнуть, но не ранее как после упорной борьбы с добром, — выражено с беспримерной силою в «Легенде». 40

VII

В маленьком трактире, за перегородкою, впервые сходятся два брата: Алеша, мечтательный и религиозный юноша, любимый послушник старца Зосимы, так спокойно свернувший с обычной жизненной колеи на путь монастырского уединения, и старший его годами и опытностью Иван. Из всех четырех братьев только они были единоутробные, Димитрий же и Смердяков были им братьями лишь по отцу. Уже четыре месяца прошло, как они встретились, впервые после долгой разлуки, — и вот только теперь, накануне новой разлуки, быть может навсегда, они сходятся и говорят с глазу на глаз. В течение этих месяцев Алеша с любопытством рассматривал своего брата, об убеждениях и высоком образовании которого он знал; и, в свою очередь, подмечал на себе иногда его долгие взгляды. Они молчали друг с другом, и, однако, только друг с другом им было о чем высказаться, тогда как с прочими они говорили или безучастно, или подчиняясь (Алеша с Зосимою), или господствуя (Иван с Миусовым). Их соединяла некоторая исходная точка; и хотя именно начиная от нее они разошлись в противоположные стороны и потом уже не соприкасались ни в чем, однако сближение в ней одной было значительнее, жизненнее, чем сближение боковыми ветвями или вершинами своего духовного развития, которое одно было у них со всеми окружающими. Это хорошо выражено в следующем вводном эпизоде их беседы:

«— Ты что беспокоишься, что я уезжаю, — говорит Иван Алеше. — У нас с тобой еще Бог знает сколько времени до отъезда. Целая вечность времени, бессмертия!

— Если ты завтра уезжаешь, то какая же вечность?

— Да нас с тобой чем это касается? — засмеялся Иван. — Ведь, *свое-то мы успеем все-таки переговорить*, свое-то, для чего мы пришли сюда? Чего ты глядишь с удивлением? Отвечай: мы для чего здесь сошлись? Чтобы говорить о старике и о Димитрии? о загранице? о роковом положении России? об императоре Наполеоне? Так ли, для этого ли?

— Нет, не для этого.

— Сам понимаешь, значит, для чего. Другим одно, а нам, желторотым, — другое; *нам прежде всего надо предвегные вопросы решить*. Вся молодая Россия только лишь о вековых вопросах теперь и толкует. Именно теперь, как старики все полезли вдруг практическими вопросами заниматься. Ты из-за чего все три месяца глядел на меня в ожидании? Чтобы допросить меня: „Како веруеши или вовсе не веруеши“?..

— Пожалуй что и так, — улыбнулся Алеша. — Ты, ведь, не смеешься теперь надо мною, брат?

— Я-то смеюсь? Не захочу я огорчить моего братишку, который три месяца глядел на меня в ожидании. Алеша, взгляни прямо: я, ведь, и сам точь-в-точь такой же маленький мальчик, как и ты, разве только вот не послушник. Ведь русские мальчики как до сих пор орудут, — иные то есть? *Вот, например, здешний вонюгий трактир, вот они и сходятся, засели в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира — сорок лет опять не будут знать друг друга: ну и что ж, о тем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? О мировых вопросах, не инаге: есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не*

веруют, ну, те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего теловегетства по новому штату, — так, ведь, это один же чорт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца, И множество, множество самых оригинальных мальчиков только и делают, что о вековечных вопросах говорят у нас в наше время. Разве не так?

— Да, настоящим русским вопросы о том: есть ли Бог и есть ли бессмертие, или, как вот ты говоришь, вопросы с другого конца — конечно, первые вопросы и прежде всего, да так и надо, — проговорил Алеша, все с тою же тихой и испытующею улыбкой вглядываясь в брата».

На этом-то «так и надо» и сошлись братья. Приведенное место навсегда останется историческим, и, кажется, действительно было время, когда люди сходились и расходились на «вековечных вопросах», роднясь на *интересе* к ним ближе, нежели даже на узах родства, не говоря уже об общности положения или состояния. Счастливое время и счастливые люди: от них далеко было нравственное растление. Но, кажется, все это минуло, и, быть может, довольно прочно. Как это сделалось, что самое интересное очень скоро стало у нас самым неинтересным, — об этом произнесет свой суд будущая история. Несомненно только, что умственный индифферентизм, равнодушие ко всяким вопросам никогда еще не было так беззастенчиво, как в подрастающих на смену нам поколениях.

Чувствуя общность в главном, братья уже не стесняются друг друга в остальном, и Иван высказывает перед послушником Алешей свою натуру: жажда жизни есть главное, что он находит в себе. «Не веруй я в жизнь, — говорит он, — разуверься в дорогой женщине, разуверься в порядке вещей, убедись даже, что все, напротив, беспорядочный, проклятый и, быть может, бесовский хаос*, порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования, — а я все-таки захочу жить**, и уж как припал к этому кубку — то не оторвусь от него, пока весь не осилю. Впрочем, к тридцати годам, наверно, брошу кубок, хоть и не допью всего, и отойду... не знаю куда». Эта жажда жизни непосредственна и безотчетна: «Центростремительной еще силы много в нашей земле», — замечает он, затрудняясь в ее объяснении. «Я живу, потому что хочется жить, хотя бы и вопреки логике». Есть что-то родственное в человеке с жизнью природы и с тою другою жизнью, которая разворачивается на ее лоне и которую мы зовем историею; и человек липнет ко всему этому: нити, гораздо более прочные и жизненные, нежели холодные связи умозаключения, привязывают его к земле, и он любит ее необъяснимою, высокою любовью: «Дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иногда не знаешь, за что и любишь, дорог иной подвиг человеческий, в который давно уже, может быть, перестал и верить, а все-таки, по старой памяти, чтишь его сердцем...».

* В «Бесах» Кирилов перед самоубийством говорит: «Вся планета наша есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке; самые законы планеты — ложь и диаволов водевиль. Для чего же жить, отвечай, если ты человек!» (изд. 1882 г., стр. 553). Очевидно из повторений и страстности тона, что Достоевский вложил здесь свое собственное сомнение, с которым он долго и трудно боролся.

** В «Биографии и письмах» можно найти очень много указаний на необыкновенную *живучесть* самого Достоевского, которая одна дала ему силу вынести все, что ему выпало на долю в жизни. «*Кошачья живучесть* (во мне), не правда ли», — заключает он одно из своих писем.

«— Я думаю, что *все должны прежде всего на свете жизнь полюбить*, — говорит задумчиво Алеша.

— Жизнь полюбить больше, чем *смысл ее?*».

Алеша говорит, что «да» и что за непосредственною любовью к жизни всегда последует и понимание ее смысла, — ранее или позже.

С любовью к жизни дремлющей природы, к «клейким весенним листочкам», у Ивана нераздельна любовь и к той другой природе, которая живет полным сознанием: мы говорим о человеке и чудном мире, им созданном. «Я хочу в Европу съездить», — говорит он. У него были две тысячи руб., оставленные по завещанию воспитательницею его и Алеши, которая их подобрала из жалости, ради памяти к их матери, когда их бросил отец. Теперь, окончив университет, он соби-
10 рался съездить за границу, думая употребить на поездку эти деньги.

«— Отсюда и поеду, Алеша, — продолжает он. — И ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но *на самое, на самое дорогое кладбище*, вот что! Дорогие там лежат покойники; *каждый камень над ними гласит о такой горящей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними**, — в то же время убежденный всем сердцем моим, что все это давно уже кладбище и никак не более. И не от отчаяния буду плакать, а лишь просто
20 потому, что буду счастлив пролитыми слезами моими»**.

Эти проникновенные слова вскрывают перед нами великое сердце, и великий ум, и всю ту грусть, которую не может не носить в себе такая душа. Грусть вытекает здесь из силы любви и вместе из высокого сознания, которое от нее неотделимо и ей противоречит. Отрицать диалектически, не испытывая привязанности, или быть привязанным безотчетно, не понимая, — это два отношения к Европе, одинаково легкие и потому исключительно почти господствующие у нас. Редкие поднимаются до соединения того и другого, и, конечно, подобное соединение не может не вызывать самого глубокого страдания. Но в нем одном — истина, и, как это ни трудно, каждый, кто хочет быть правым, должен усиливаться развить
30 в себе способность и к этому чувству любви, и к этому сознанию, что любимое — уже умирает.

Всякий, кто носит в себе великий интерес к чему-нибудь постороннему, что с ним лично не связано, не может не быть искренен и правдив. Его мысль слишком сосредоточена на этом интересе, чтобы заниматься всем тем мелочным, чем обычно старается обставить себя человек, чтобы скрыть свою незначительность. От этого истинное величие всегда бывает так просто; и от этого же, конечно, оно никогда не получает при жизни признания, которое всегда достается ложному и потому драпирующемуся величию. Душевное одиночество, неразделенность своих мыслей — есть только необходимое последствие этого положения вещей, и оно,
40 в конце концов, обращается и в замкнутость, в нежелание делиться. И, между тем, потребность высказаться все-таки существует, — и здесь-то и лежит объяснение тех моментов встреч и глубоких признаний, которых еще за минуту нельзя было предвидеть и которые оставляют в собеседниках впечатление на всю жизнь.

* Здесь также вложено чувство самого Достоевского к Европе; сравни в «Подростке» слово Версилова, стр. 453—454, и заметку в «Биографии и письмах», стр. 295.

** «Братья Карамазовы», т. I, стр. 259.

«— У меня нет друзей, Алеша, — говорит Иван, — и я бы хотел с тобой сойтись». Все то, что проводило такую непереступаемую грань между им и другими, вдруг падает теперь; Алеша шутит с ним, с которым никто не шутил, и он сам говорит ему, смеясь «как маленький кроткий мальчик»: «Братишко, не тебя я хочу развратить и сдвинуть с твоего устоя; я, *может быть, себя хотел бы исцелить тобою*». Алеша смотрит на него с удивлением; никогда он не видал его таким.

VIII

«— С чего же начинать, с Бога?» — спрашивает Иван и развивает идею о несовместимости Бога сострадающего с человечеством страдающим и Бога справедливого с преступлением неотомщенным. 10

«Один старый грешник *, — так начинает Иван, — сказал в прошлом веке, что если бы не было Бога, то следовало бы его выдумать. И не то странно, не то было бы дивно, что Бог в самом деле существует; но то дивно, что такая мысль — мысль о необходимости Бога — могла залезть в голову такому дикому и злому животному, как человек: *до того она свята, до того она трогательна, до того премудра и до того она делает гесть человеку*».

Испорченность человека и святость религии есть, таким образом, то, что прежде всего стремится он утвердить. Религия есть нечто высокое: и сделать ее возможною для человека, стать способным войти в ее мирозерцание — это есть высшая цель, высшее удовлетворение, которого может достигнуть он. Но достигнуть этого *правдиво, искренно* он может не вопреки своим способностям усвоения, но только следуя им, как оне устроены ему Творцом, о котором учит сама же религия. 20

Таким образом, здесь нет и тени враждебности, высокомерия или презрительности к тому, что сейчас будет оспариваться с такою силой; и в этом лежит глубочайшая оригинальность самого приема. Во всемирной литературе, где подобные оспаривания были так часты, мы чувствуем, что подходим к чему-то особенному, что еще никогда не появлялось в ней, к точке зрения, на которую никто не становился. И мы чувствуем также, что эта точка зрения есть единственно серьезная со стороны нападающей и, пожалуй, единственно угрожающая для стороны нападаемой. 30

И эта оригинальность в движении мысли сохраняется и далее: бытие Божие, недоказуемость которого для *ума* человека (как в философии, так и в науке) обыкновенно ставится первым преткновением для религиозного мирозерцания, здесь переступается как возражение, нисколько не останавливающее. То, что всего более силится защитить религия, что она затрудняется защитить, — вовсе не подвергается нападению, уступает без оспаривания. И строгую научность этого приема нельзя не признать: *относительность* и *условность* человеческого мышления есть самая тонкая и глубокая истина, которая тысячелетия оставалась скрытою от человека, но наконец — обнаружена. Поразительным, ярким свидетельством этой относительности в самое недавнее время явилось сомнение, исчерпывается ли *действительное* пространство тем, которое одно *зна-* 40

* Первому эта мысль приписана Вольтеру.

ет человек, одно для него *мыслимо* и *представимо*. Возникновение так называемой неевклидовой геометрии *, которая разрабатывается теперь лучшими математиками Европы и в которой параллельные линии сходятся, а сумма углов треугольника несколько меньше двух прямых, есть факт бесспорный, для всех ясный, и он не оставляет никакого сомнения в том, что *действительность* бытия не покрывается *мыслимым* в разуме. К тому, что немислимо и однако же существует, может относиться и бытие Божие, недоказуемость которого не есть какое-либо возражение против его реальности. Исходя из этой относительности человеческого мышления, Иван отказывается судить, правы или нет утверждения религии о Том, Кто есть источник всякого бытия и определитель и законодатель всякого мышления. — «Я смиренно сознаюсь, — говорит он, — что у меня нет никаких способностей разрешать такие вопросы, у меня ум эвклидовский, земной, а потому где нам решать о том, что *не от міра сего*. Да и тебе советую никогда об этом не думать: *есть* ли Он или *нет*. Все это вопросы совершенно несвойственные уму, созданному с понятием лишь о трех измерениях. Итак, принимаю Бога, и не только с охотой, но, мало того, принимаю и премудрость Его, и цель Его, — нам совершенно уже неизвестные; верую в порядок, в смысл жизни, верую в вечную гармонию, в которой мы, будто бы, все сольемся; верую в Слово, к которому стремится вселенная и которое Само „бе к Богу“ и которое 20 есть Само — Бог» **.

IX

«— Но я міра Божьего не принимаю», — так оканчивает он свое признание.

Мы опять встречаемся с оборотом мышления, совершенно неизвестным: тварь не отрицает Творца своего, она Его признает и знает; она *восстает* против Него, отрицает творение Его и с ним — себя, ощутив *в порядке этого творения* несовместимое с тем, как *именно сама она сотворена*. Воля высшая и мудрая, из непостижимого Источника излитая в міроздание, в одной частице его, которая именуется человеком, восстает против себя самой и ропщет на законы, по которым она действует.

30 «Я тебе должен сделать одно признание, — говорит Иван, — я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних. Именно ближних-то, по-моему, и невозможно любить, а разве лишь дальних. Я вот читал когда-то и где-то про *Иоанна Милостивого* (одного святого), что он, когда к нему пришел голодный и обмерзший прохожий и попросил согреть его, — лег с ним вместе в постель, об-

* Она была открыта впервые Лобачевским, и Казанский университет, в котором он был профессором, почтил его память изданием полного собрания его сочинений от своего имени и на свои издержки (один том, Казань, 1883). Здесь содержатся его труды: «Воображаемая геометрия», «Новые начала геометрии с полною теориею параллельных» и «Пангеометрия». Подробности о неевклидовой геометрии и указания на литературу ее — см. проф. Вященко-Захарченко: «Начала Евклида, с пояснительным введением и толкованиями». Киев, 1880.

40 ** Разумеются начальные слова Ев. от Иоанна: «В начале бе Слово (Λόγος = разум, смысл, слово, как *мысль выговоренная*) и Слово бе к Богу и Бог бе Слово. Сей бе искони к Богу. Вся тем быша и без Него ничто же бысть, еже бысть». Гл. I, ст. 1.

нял его и начал ему дышать в гноящийся и зловонный от какой-то ужасной болезни рот его. Я убежден, что он это делал с надрывом лжи, из-за заказанной долгом любви, из-за натащенной на себя эпитимии. Чтобы полюбить человека, надо, чтобы тот спрятался... Отвлеченно еще можно любить ближнего, и даже иногда издали, но вблизи — почти никогда».

В словах этих слышится страшная ненависть, в основе которой лежит какая-то великая горечь. «Никто же плоть свою возненавидит, но всякий питает и греет ее», — сказано о человеке, сказано как общий закон его природы. Здесь мы именно видим ненависть против своей плоти, желание не «согреть и напитать ее», но, напротив, растерзать и истребить. Пример взят неудачно, от какой-то смятенной торопливости: конечно, со счастьем, с радостью делал свое дело Иоанн Милостивый, и почти не нужно объяснять этого. Но эта ошибка в мелькнувшем образе ничего не поправляет; мы пропускаем ее и слушаем далее.

«Мне надо было поставить тебя, — продолжает Иван, — на мою точку. Я хотел заговорить о страдании человечества вообще, но лучше уж остановимся на страданиях одних детей... Во-первых, деток можно любить даже и вблизи, даже и грязных, даже дурных лицом (мне, однако же, кажется, что детки никогда не бывают дурны лицом). Во-вторых, о больших я и потому еще говорить не буду, что, кроме того, что они отвратительны и любви не заслуживают, у них есть и возмездие: они съели яблоко, и познали добро и зло, и стали «яко бози». Продолжают и теперь есть его. *Но деточки ничего не съели и пока еще ни в чем не виновны.* Любишь ты деток, Алеша? Знаю, что любишь, и тебе будет понятно, для чего я про них одних хочу говорить. *Если они на земле тоже ужасно страдают, то уж, конечно, за отцов своих, наказаны за отцов своих, съевших яблоко, — но, ведь, это рассуждение из другого мира, сердцу же человеческого здесь, на земле, непонятное? Нельзя страдать неповинному за другого, да еще такому неповинному!* Подивись на меня, Алеша, я тоже ужасно люблю деточек. И заметь себе, *жестокие люди, страстные плотоядные, карамазовцы — иногда огонь любят детей.* Дети, пока дети, до семи, напр., лет, страшно отстоят от людей: совсем будто другое существо и с другою природой. Я знал одного разбойника в остроге: ему случалось, в прежнее время, резать и детей. Но, сидя в остроге, он их до странности любил. Из окна острога он только и делал, что смотрел на играющих на дворе детей. *Одного маленького мальчика он приучил приходить под окно, и тот даже сдружился с ним... Ты не знаешь, для чего я это все говорю, Алеша? У меня как-то голова болит, и мне грустно.*

— Ты говоришь с странным видом, — с беспокойством заметил Алеша, — точно ты в каком *безумии*».

Причинение страдания из жажды сострадать есть черта полярности души человеческой, таинственная и необъяснимая, которую вскрывает здесь Достоевский. Сам он, как известно, часто и с величайшею мучительностью останавливается в своих сочинениях * на страданиях детей, изображая их так, что всегда

* В «Униженных и оскорбленных» — характер и судьба Нелли, в «Бесах» — разговор Ставрогина с Шатовым и его же разговор с Кириловым, когда тот играл мячом с малюткой, в «Преступлении и наказании» — дети Мармеладова; в «Братьях Карамазовых» — две главы: «Надрыв в избе» и «На чистом воздухе», где детское страдание почти нестерпимо даже в чтении («Папочка, папочка, милый папочка, как он тебя унижил!» — говорит Илюша в истерике

видно, как и страдает он их страданием и как умеет проникать в это страдание: рисуемая картина, своими изгибами, как нож в дрожащее тело, глубже и глубже проникает в безвинное, бьющееся существо, слезы которого жгут сердце художника, как струящаяся кровь жжет руку убийце. Можно чувствовать преступность этого, можно жаждать разорвать свою плоть, которая так устроена; но пока она не разорвана, пока искажение души человеческой не исправлено, было бы напрасною попыткой закрывать глаза на то, что это *есть* или, по крайней мере, встречается по какому-то необъяснимому закону природы. Но, конечно, высказав это признание, можно прийти к «безумию» от сознания, что еще история человеческая не кончается и еще тысячелетия предстоит этой *неустроенной* плоти жить, мучить и страдать.

«Выражаются иногда про *зверскую* жестокость человека, — продолжает Иван, оправившись, — но это страшно несправедливо и обидно для зверей: зверь никогда не может быть так жесток, как человек. Тигр просто грызет, рвет — и *только это и умеет*». Напротив, человек в жестокость свою влагает какую-то утонченность, тайное и наслаждающееся злорадство. От этой черты не освобождает его ни национальность, ни образование или, наоборот, первобытность, ни даже религия; она вечна и неистребима в человеке. Клеопатра, утонченная гречанка, когда ее утомляло однообразие все только счастливой жизни, разнообразила его то страницей из Софокла или Платона, то изменяющеюся улыбкой на побледневшем лице невольницы, в которое она смотрела и оно смотрело ей в глаза, между тем как рука ее впускала булавку в ее черную грудь. Турки, магометане и варвары, притом занятые хлопотливым восстанием, все-таки урывают время, чтобы испытать высшее для человека наслаждение — наслаждение безмерностью чужого страдания; вот они входят в избу и находят испуганную мать с грудным ребенком. «Они ласкают младенца, смеются, чтоб его рассмешить, им удается, младенец рассмеялся. В эту минуту турок наводит на него пистолет в четырех вершках расстояния от его лица. Мальчик радостно хохочет, тянется ручонками, чтобы схватить пистолет, и вдруг артист спускает курок прямо ему в лицо и раздробляет ему голову. Кстати, турки, говорят, очень любят сладкое» *.

— Брат, к чему это все? — спросил Алеша.

— Я думаю, что если дьявол не существует и, стало быть, создал его человек, — то создал он его по своему образу и подобию.

— А ты удивительно умеешь оборачивать словечки, как говорит Полоний в „Гамлете“, — засмеялся Иван. — Пусть, я рад; хорош же Бог, коль его создал человек по образу своему и подобию».

И он продолжает развивать картину человеческого страдания. В мирной Швейцарии, трудолюбивой и протестантской, всего лет пять назад, случилась

⁴⁰ отцу своему). Есть что-то жгучее и страстное в этой боли. В той же главе люди все называются «больными» и «детьми» (стр. 244). Вслед за этими сценами и начинается «Pro и Contra», великая диалектика всякой религии и христианства, которая, будучи задумана много лет назад, все-таки вылилась, кажется, у автора вдруг, вне всякой связи с ходом действия в романе.

* Там же, стр. 268. Намек на любовь турок к «сладкому» имеет более общее значение: повсюду уклон человеческой природы к жестокому Достоевский связывает с ее уклоном к страстному и развратному.

казнь преступника, замечательная своими подробностями. Некто Ришар еще младенцем был отдан своими родителями, прижившими его вне брака, каким-то пастухам, которые приняли его как будущую рабочую силу. Как вещь он был отдан им, и как с вещью обращались с ним. В непогоду, в холод, почти без одежды и никогда не накормленный, он пас у них стадо в горах. «Сам Ришар свидетельствует, что в те годы он, как блудный сын в Евангелии, желал ужасно поесть хоть того месива, которое давали откармливаемым на продажу свиньям; но ему не давали даже и этого и били, когда он крал его у свиней. И так он провел все детство свое и свою юность до тех пор, пока возрос и, укрепившись в силах, пошел сам воровать. Дикарь стал добывать деньги поденною работой в Женеве, добытое пропивал, жил как изверг и кончил тем, что убил какого-то старика и ограбил. Его схватили, судили и присудили к смерти». Уже приговоренного, уже погибшего — общество, религия и государство окружают вниманием и заботою. В тюрьму приходят к нему пасторы, и впервые раскрывается перед ним свет Христова учения; он выучивается чтению и письму, он сознается в преступлении и сам пишет суду о себе, что он — изверг «и вот, наконец, удостоился, что и его озарил Господь и послал ему благодать». Общество умиляется и волнуется; к нему идут, его целуют и обнимают: «И на тебя сошла благодать, ты брат наш во Господе!»... Ришар плачет; новые, никогда не испытанные впечатления сошли ему в душу и размягчили и умилили ее. Дикарь и звереныш, воровавший корм у свиней, он вдруг узнал, что и он человек, что он не всем чужой и одинокий, что и ему есть близкие, которые его любят, согревают и утешают. «И я удостоился благодати, — говорит он, растроганный, — умираю во Господе». — «Да, да, Ришар, умри во Господе, ты пролил кровь и должен умереть во Господе. Пусть ты не виновен, что не знал совсем Господа, когда завидовал свиному корму и когда тебя били за то, что ты крал его (что ты делал очень нехорошо, потому что красть не позволено), но ты пролил кровь и должен умереть». И вот наступает последний день. «Это лучший из дней моих, — говорит он, — я иду к Господу». — «Да, — говорят ему, — это счастливейший день твой, ибо ты идешь к Господу!». Позорную колесницу, на которой везут его на площадь, окружают несметные толпы народа, и все глядят на него с умилением и любовью. Вот остановились перед эшафотом: «Умри, брат наш, умри во Господе, удостоившийся благодати!» — говорят окружающие. С ним прощаются, его покрывают поцелуями, он всходит и кладет голову в ошейник гильотины; нож скользит, и голова, так долго бывшая во мраке и, наконец, озаренная, падает отрезанная к ногам озаривших его и плачущих братьев *. Соединение чувства любви и этой теплой крови, которая еще более со-

* В Женеве была составлена брошюра с подробным описанием этого случая и, переведенная на иностранные языки, рассылалась в разных странах, между прочим и в России, бесплатно при газетах и журналах. Достоевский замечает, что подобный факт, в высшей степени местный (в смысле национальности и религии), совершенно невозможен у нас: «хотя, — тонко оговаривает он далее, — кажется, и у нас прививается с того времени, как повеяло лютеранскою проповедью в нашем высшем обществе» (стр. 269). Замечание это очень глубоко: между различными способностями души человеческой есть некоторая соотносительность, и, тронув развитием, образованием или религиею которую-нибудь из них, мы непременно изменяем и все прочие в соответствии с нею, по новому типу, который она принимает под воздействием. Слезливый пиетизм, это характерное порождение протестантизма, также нуждается в возбуж-

гревает и возбуждает его, есть услаждение неустроенной души человека, в своем роде столь же утонченное, как и соединение играющей невинности с насмешливым замыслом через минуту раздробить на куски эту невинность.

Человек не только страдает и развратен сам, он вводит растление и муку всюду, где может, во всю природу. Приноравливая к себе, он исказил самые инстинкты животных *, он вымучил у них и у растений небывалые формы, принуждая их к противоестественным скрещиваниям **, которым не знал бы и границ, если бы не встретил упорного сопротивления в таинственных законах природы. Гнусный беззаконник, он стоит перед этими законами, все еще усиливаясь придумать, как бы нарушить их, как бы раздвинуть все грани и переступить через них своим развратом и злом. Он торопливо хватается в природе всякое уродство, каждую болезнь, — и хранит и бережет все это, — увеличивает еще ***. Он перемешал климаты, изменил все условия жизни, смесил несмешивавшееся и разделил сродненное, снял с природы лик Божий и наложил на нее свой искаженный лик. И среди всего этого разрушения сидит сам, ее властелин и мучитель, и, мучаясь, слагает поэзию о делах рук своих.

Переходя от далеких стран и иных типов страдания на родную почву, к нашему родному страданию, Иван останавливается мельком и на поэзии этой. Правда, не поняв всего уродства, какое вносит человек в природу, нельзя и понять всей глубины зла, которое он несет с собой. «У нас хоть нелепо рубить голову брату потому только, что он стал нам *брат* и что на него сошла *благодать*, но у нас есть свое, почти что не хуже. У нас — историческое, непосредственное и ближайшее наслаждение истязанием битья. У Некрасова есть стихи о том, как мужик сечет лошадь по глазам, по „кротким глазам“. Это кто ж не видал, это русизм. Он описывает, как слабосильная лошаденка, на которую навалили слишком, завязла с возом и не может вытащить. Мужик бьет ее, бьет с остервенением, бьет, наконец, не понимая, что делает; в опьянении битья сечет больно, бессчетно: „Хоть ты и не в силах, а вези, умри да вези!“ Клячонка рвется, — и вот он начинает сечь ее, беззащитную, по плачущим, по „кротким глазам“. Вне себя она рванула и вывезла и пошла вся дрожа, не дыша, как-то боком, с какою-то припрыжкой, как-то неестественно и позорно».

Именно в неестественности и позорности, которые внес человек в младенческую природу, и заключается здесь ужас. Но если битье лошади по «кротким глазам» может распалить кровь, то неизмеримо больше распалют ее крики ребенка, своего ребенка, который в вас же ищет защиты от вас. — «Образованный госпо-

дении себя преступным и страдающим, но только *на свой манер*, как и иные типы душевного склада, вырабатываемые в других условиях истории. В католических странах, например, невозможен описанный случай с Ришаром; зато в протестантских странах невозможна эта изощренная, многообразная и извилистая система мук, которая придумана была там инквизицией.

40 Всюду *по-своему* и, однако, *езде* человек терзается человеком.

* Байрон в одном месте справедливо и глубоко называет прирученных, домашних животных — «развращенными».

** См. поразительные подробности об этом, напр., у Богданова «Медицинская зоология», т. I. М. 1883, § 37—38.

*** См. Данилевского: «Дарвинизм. Критическое исследование». СПб. 1885 (о голубиных породах).

дин и его дама секут собственную дочку, младенца лет семи, розгами». Отец вы-
бирает прутья с сучьями: «Садче будет», — говорит он. «Секут минуту, секут, на-
конец, пять минут, секут десять минут, дальше, больше, чаще, садче. Ребенок
кричит, ребенок, наконец, не может кричать, задыхается: «Папа, папа, папочка,
папочка» *. В другой раз почтенные, образованные и чиновные родители возне-
навидели почему-то своего ребенка, пятилетнюю девочку, били ее, пинали нога-
ми и, наконец, даже дошли до того, что «в холод запирали ее на всю ночь в отхо-
жее место; и за то, что она не просилась ночью (как будто пятилетний ребенок,
спящий своим ангельским крепким сном, еще может в эти лета научиться про-
ситься), — за это обмазывали ей лицо калом и заставляли ее есть этот кал: и это
мать, мать заставляла! И эта мать могла спать, когда ночью слышались стоны
бедного ребеночка, запертого в подлом месте!»... «Понимаешь ли ты это, — гово-
рит Иван, — когда маленькое существо, еще не умеющее даже осмыслить, что
с ней делается, бьет себя в подлом месте, в темноте и в холоде, крошечным своим
кулачком в надорванную грудку и плачет своими кровавыми, незлобивыми,
кроткими слезками к „Боженьке“, чтобы Тот „защитил его“, — понимаешь ли ты
эту ахинею, друг мой и брат мой, послушник ты мой Божий и смиренный, понима-
ешь ли ты, для чего эта ахинея так нужна и создана? Без нее, говорят, и пробыть
бы не мог человек на земле, ибо не познал бы добра и зла. Для чего познавать это
чортово добро и зло, когда это столько стоит? Да, ведь, весь мир познавья не
стоит, тогда, этих слезок ребеночка к „Боженьке“. Я не говорю про страдания
больших, — те яблоко съели, и чорт с ними, и пусть бы их всех чорт взял, но эти,
эти! Мучаю я тебя, Алеша? Ты как будто бы не в себе? Я перестану, если хочешь.

— Ничего, я тоже хочу мучиться, — пробормотал Алеша.

— Одну, только одну еще картинку», — продолжает неудержимо Иван и рас-
сказывает, как в мрачную пору крепостного права один дворовый мальчик, лет
восьми, за то, что зашиб нечаянно ногу камнем любимой гончей собаке помещи-
ка, был, по приказанию этого последнего, растерзан псами на глазах матери **.
С бесчисленными собаками своими и псарями проживавший на покое генерал
выехал в морозное утро на охоту. Собрана была «для вразумления» вся дворян,
и впереди ее поставили мать ребенка: сам он был взят от нее уже с вечера накану-
не. Его вывели и раздели донага; «он дрожит, обезумел от страха, не смеет пик-
нуть». — «Гони его», — кричит генерал; «беги, беги!» — кричат псаря, и, когда
он в беспамятстве бежит, генерал бросает на него всю стаю борзых и через мину-
ту от мальчика даже ключев не осталось. «Ну... что же его? Расстрелять? Для
удовлетворения нравственного чувства — расстрелять? Говори!

— Расстрелять, — тихо проговорил Алеша, с бледною перекосившеюся ка-
кою-то улыбкой, подняв взор на брата.

— Bravo, — завопил Иван в каком-то восторге, — уж если ты сказал, значит...

— Я сказал нелепость, но...

* Здесь, очевидно, говорится о процессе г. Кронеберга и г-жи Жезинг, разбор которого, и защитительная речь г. Спасовича, был сделан Достоевским в февральском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. (Соч., т. XI, стр. 57—83).

** Факт этот действителен, как, впрочем, и все приведенные; он сообщен был в одном из наших исторических журналов.

— То-то и есть, что но... — кричал Иван. — *Знай, послушник, что нелепости слишком нужны на земле. На нелепостях мир стоит, и без них, может быть, в нем совсем ничего бы и не произошло**. Мы знаем, что знаем!».

«— Я ничего не понимаю, — продолжал Иван, как бы в бреду, — я и не могу теперь ничего понимать. Я хожу оставаться при факте. Я давно решил не понимать. Если я захочу что-нибудь понимать, то тотчас же изменю факту, а я решил оставаться при факте...

— Для чего ты меня испытываешь? — с надрывом горестно воскликнул Алеша, — скажешь ли мне наконец?

10 — Конечно, скажу, к тому и вел, — говорит Иван и выводит свое заключение: — Слушай, я взял одних деток для того, чтобы вышло очевиднее. Об остальных слезах человеческих, которыми пропитана вся земля от коры до центра, — я уж ни слова не говорю, я тему мою нарочно сузил. Я — клоп, и признаю со всем принижением, что ничего не могу понять, для чего все так устроено... О, по моему, по жалкому, земному, эвклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страдание есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравнивается, — но ведь это лишь эвклидовская дичь, ведь я знаю же это; ведь жить по ней я не могу же согласиться! ** Что мне в том, что винов-

20 * Параллельное место см. в «Братьях Карамазовых», главу «Кошмар Ивана Федоровича», где бес объясняет шутливо, что он существует «единственно для того, чтобы происходили события», и, несмотря на желанья свои, никак не может примкнуть к «осанне» остальной природы, — ибо тогда тотчас же «перестало бы что-нибудь случаться».

** Это — чрезвычайно высокое место, одно из грустных и великих признаний человеческого духа, справедливости которого нельзя отвергнуть. Его мысль состоит в том, что *есть дисгармония между законами внешней действительности*, по которым все течет в природе и в жизни человеческой, *и между законами нравственного суждения*, скрытыми в человеке. Вследствие этой дисгармонии, человеку предстоит или, отказавшись от последних и с ними от своей личности, от искры Божией в себе, — слиться с внешнею природою, слепо подчинившись ее законам; или, сохраняя свободу своего нравственного суждения, — стать в противоречие с природою, в вечный и бессильный разлад с нею. Первый проблеск этой мысли у Достоевского мы находим в 1864 г., в «Записках из подполья» (отд. I, гл. IV, стр. 450—51, т. III, изд. 82 г.), где она выражена нервно и беспорядочно, но очень характерно: «Боже, да что мне за дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я не примирюсь с ней потому только, что тут каменная стена, что у меня сил не хватило. Как будто такая каменная стена и вправду есть успокоение, и вправду заключает в себе хоть какое-нибудь слово на мир, единственно только потому, что она — дважды два четыре?! О, нелепость нелепостей! То ли дело все понимать, все сознавать, все невозможности и каменные стены; не примиряться ни с одной из этих невозможностей — каменных стен, если вам мерзит примиряться; дойти путем неизбежных логических комбинаций до заключений на вечную тему о том, что даже и в каменной стене как будто чем-то сам виноват, хотя опять-таки до ясности очевидно, что вовсе не виноват, и вследствие этого, молча и скрежеща зубами, сладострастно замереть в инерции, мечтая о том, что даже и злиться тебе выходит не на кого; что предмета не находится, а может быть, и никогда не найдется; что тут подмен, подтасовка, шулерство («дьявол в водевиле», в «Бесах»), но, несмотря на все эти неизвестности и подтасовки, у вас все-таки болит, и, чем больше вам неизвестно — тем больше болит». В издательстве и страдании последних слов уже лежит зародыш идеи «Легенды о Великом Инквизиторе». См. Приложения.

ных нет и что я это знаю, — *мне надо возмездие, инаге ведь я истреблю себя**. И возмездие не в бесконечности, где-нибудь и когда-нибудь, а здесь уже, на земле, и чтоб я его сам увидал. Я веровал, я хочу сам и видеть; а если к тому часу буду уже мертв, то пусть воскресят меня, ибо если все без меня произойдет, то будет слишком обидно. *Не для того же я страдал, чтобы собой, злодействами и страстями моими, унавозить кому-то будущую гармонию.* Я хочу видеть своими глазами, как лань ляжет подле льва и как зарезанный встанет и обнимется с убившим его. *Я хочу быть тут, когда все вдруг узнают, для чего все так было.* На этом желании зиждутся все** религии на земле, а я — верую. *Но вот, однако же, дети, — и кто я с ними стану тогда делать? Это вопрос, который я не могу решить...* Если все должны страдать, чтобы страдать, — чтобы страданиями купить вечную гармонию, то при чем тут дети, скажи мне, пожалуйста? Совсем непонятно, для чего должны были страдать и они и зачем им покупать страданиями гармонию? Для чего они попали тоже в матерьял и унавозили собою для кого-то будущую гармонию? Солидарность в грехе между людьми я понимаю, понимаю солидарность и в возмездии, но *не с детками же солидарность в грехе!* И если правда, в самом деле, в том, что и они солидарны с отцами их во всех злодействах отцов, — то уж, конечно, *правда эта не от мира сего и мне непонятна.* Иной шутник скажет, пожалуй, что все равно дитя вырастет и успеет нагрешить***; но вот же он не вырос, его, восьмилетнего, затравили собаками. О, Алеша, я не богохульствую! Понимаю же я, каково должно быть сотрясение вселенной, когда все на небе и над землею сольется в один хвалебный глас и все живое и жившее воскликнет: *Прав Ты, Господи, ибо открылись пути Твои!* Уж когда мать обнимется с мучителем, растерзавшим псами сына ее, и все трое возгласят со слезами: *Прав Ты, Господи,* то уж, конечно, настанет *венец познания, и все объяснится.* Но вот... *этого-то я и не могу принять.* И пока я на земле, я спешу взять свои меры. Видишь ли, Алеша, ведь, может быть, и действительно так случится, что, когда я сам доживу до того момента**** или воскресну, чтобы увидеть его, то и сам

* Т. е. при страдании и преступности если нет возмездия и с ним удовлетворения, то я, ища удовлетворения, истреблю свою плоть как преступную и страдающую. Здесь объяснение самоубийства. Параллельные места в «Дневнике писателя», 1876 г., октябрь и декабрь. См. *Приложения*.

** В этих словах признается, что религии, и без какого-либо исключения, вытекли из недр человеческой души, из присущих ей противоречий и жажды хоть как-нибудь из них выйти, а не даны человеку извне. Т. е. их происхождение признается мистическим *только лишь в той степени*, в какой мистична самая душа человека, но не более. Этот взгляд противоречит всем обычным теориям о происхождении религии, как абсолютно мистическом, так и натуральном.

*** В философии и так называемом «нравственном богословии» существует подобное объяснение, но оно, действительно, совершенно неудовлетворительно.

**** Параллельное место см. в главе «Кошмар Ивана Федоровича», где бес говорит (стр. 350): «Я, ведь, знаю, что тут есть секрет, но секрет мне ни за что не хотят открыть... Я, ведь, знаю, в конце концов я примирюсь, дойду и я мой квадрилон и узнаю секрет. Но пока это произойдет, — будирую и, скрепя сердце, исполняю одно назначение: *губить тысячи, чтобы спасся один...* Нет, пока не открыт секрет, для меня *существуют две правды: одна тамошняя, ихняя, мне пока совсем неизвестная, а другая — моя*».

я воскликну, пожалуй, со всеми, смотря на мать, обнявшуюся с мучителем ее дитяти: „Прав Ты, Господи!“ *Но я не хожу тогда восклицать.* Пока еще время, спешу себя оградить, а потому *от высшей гармонии совсем отказываюсь.* Не стоит она слезенок хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезами своими к „Боженьке“! Не стоит, *потому что слезки его остались неискупленными.* Оне должны быть искуплены, иначе *не может быть и гармонии.* Но чем, чем ты искупишь их? Разве это возможно? Неужто тем, что они будут отомщены? Но зачем мне их отмщение, зачем мне ад для мучителей, что тут ад может поправить, когда те уже замучены? И какая же гармония, если ад: я простить хочу и обняться хочу, я не хочу, чтобы страдали больше. И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены *. *Не хожу я, наконец,* чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына псами! Не смеет она прощать ему! Если хочет, пусть простит за себя, пусть простит мучителю материнское безмерное страдание свое; но страдания своего растерзанного ребенка она не имеет права простить, не смеет простить мучителя, хотя бы сам ребенок простил их ему! А если так, если они не смеют простить, где же гармония? Есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? *Не хожу гармонии, из-за любви к человечеству не хожу!* Я хочу оставаться лучше со страданиями неотмщенными. Лучше уж я останусь при неотомщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, хотя бы я был не прав. Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это и делаю. Не Бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительнейше возвращаю».

X

«— Это бунт, — тихо и потупившись проговорил Алеша».

Приведенное слово — самое горькое, какое выдавилось у человека за его историю. Не отвергая Бога, он отвергает свое лицо от Него; не сомневаясь в конечном воздаянии за свои муки, — не хочет более этого воздаяния. Что-то до того драгоценное извращено в нем, до того святое — оскорблено, что он поднимает свой взор к небу и, полный горести, молит, чтобы, наконец, это оскорбление не искупалось, это извращение — не снималось: Ты, Который вложил в мою природу похоть терзать ближнего и силою похоти этой вырвал детей моих и истерзал, зачем дал любовь к ним, которая даже против Тебя возропала? Зачем смесил Ты мою душу, перервал в ней все начала и все концы, так что не могу ни любить я, ни ненавидеть, ни знать, ни оставаться в неведении, ни быть праведным только, ни только грешным? И если смесил ее плод, который вошел в меня от дерева познания добра и зла, зачем взрастил Ты это дерево на соблазн мне или почему не оградил его гранью непереступаемую? Наконец, почему, создавая меня, вложил в меня менее крепости послушания, нежели похоти к соблазну? Верно,

* В «Прилож.» см. подобн. мысль о «Хрустальном дворце».

в воздаяние; но вот дети мои погибли, — и пусть воздаяние идет мимо меня. Погаси во мне сознание и с ним дай забвение, смеси снова с землею, от которой взял меня. Но если сознание мое не потухнет, хочу лучше плакать о растерзанных детях моих, нежели созерцать торжество правды Твоей. Не хочу утешения, хочу в муках сердца моего всю вечность разделять муку моих погибших детей.

Здесь сказывается надломленность человеческих сил, неспособность их продолжать тот путь, по которому от скрытого начала к скрытому же концу ведется человек Провидением. Он шел по этому пути тысячелетия и покорно выносил все в надежде, что конечное познание и конечное торжество правды Божией утлит когда-нибудь его сердце. Но вот наконец это страдание возросло до такой силы, что он невольно останавливается, не может далее идти. Он оглядывается на весь пройденный путь, припоминает все, взвешивает бремя свое и остаток сил своих и спрашивает: куда я иду и могу ли дойти? Безумие была надежда моя, и зло в воле той, которая внушила мне ее.

Без сомнения, высочайшее созерцание судеб человека на земле содержится в религии. Ни история, ни философия или точные науки не имеют в себе и тени той *общности и цельности* представления, какое есть в религии. Это — одна из причин, почему она так дорога человеку и почему так возвышает его ум, так просвещает его. Зная целое и общее, уже легко найти, определить себя в частностях; напротив, как бы много частных мы ни знали — а оне одне даются историей, науками, философией, — всегда можно встретить новые, которые поставят нас в затруднение. Отсюда — твердость жизни, ее устойчивость, когда она религиозна.

Три великие, мистические акта служат в религиозном созерцании опорными точками, к которым как бы прикреплены судьбы человека, на которых оне висят, как на своих опорах. Это — акт *грехопадения*: он *объясняет* то, что есть; акт *искупления*: он *укрепляет* человека в том, что есть; акт вечного возмездия за добро и за зло, окончательного *торжества правды*: он влечет человека в будущее.

Потрясти судьбы человека можно, только поколебав которую-нибудь из этих основных точек. Без этого, каким бы бедствиям человек ни подвергался: войне, голоду, мору, уничтожению целых народностей, он все это вынесет, потому что во всем этом самое существо его сохранится; будут гибнуть *люди*, но останется *человек*, и люди возродятся; перемена коснется проявлений, но не коснется проявляемой сущности; листья будут оборваны, но сохранится завязь и плодник. Одного не вынесет человек — это разрыва своего бытия и сознания с тремя мистическими актами, верою в которые он живет. Без всяких бедствий, в полном довольстве, он погибнет как-то замешавшись; проявления, просуществовав некоторое время, исчезнут, потому что исчезнет скрытая за ними сущность; люди не возродятся, потому что умрет человек.

Отсюда понятна та ненависть, с которою смотрит человек на всякое враждебное приближение к этим опорным точкам своего существования. «Не прикасайся, я этим живу», — как будто говорит он всякому, кто пытается к ним подойти, кто их хочет взвесить или измерить, поправить в чем-нибудь, дополнить или очистить. В этом чувстве инстинктивной ненависти лежит объяснение всех религиозных преследований, какие когда-либо совершались в истории, — преследований, вызывавших наиболее сочувствия в широких массах народных, как бы они жестоки ни были.

Именно эти три акта, три опорных точки земных судеб человека, источник ведения его о себе, источник сил его, — и колеблются с помощью диалектики, часть которой мы привели. Акт искупления, второй и связующий два крайние акта, здесь еще не затронут. Но подвергнут сомнению первый акт — грехопадение людей, и отвергнут последний, — акт вечного возмездия за добро и зло, акт окончательного торжества Божеской правды. Он отвергнут не потому, что он невозможен, его не будет; но потому, что он *не нужен более*, не будет принят человеком.

10 Нужно заметить, что в столь мощном виде, как здесь, диалектика никогда не направлялась против религии. Обыкновенно исходила она из злого чувства к ней и принадлежала немногим людям, от нее отпавшим. Здесь она исходит от человека, очевидно преданного религии более, чем всему остальному в природе, в жизни, в истории, и опирается положительно на добрые стороны в человеческой природе. Можно сказать, что здесь восстает на Бога божеское же в человеке: именно чувство в нем справедливости и сознание им своего достоинства.

20 Это-то и сообщает всей диалектике опасный, несколько сатанинский характер. Уже о первом отпавшем Ангеле сказано, что он был «выше всех остальных», стоял «ближе их к Богу», т. е. был особенно Ему *подобен*, — конечно, *по гистоте* своей, *по святости*. Некоторый религиозный характер лежит на этой диалектике, и то чувство преданности, которое внушает к себе всякая религия, и та ненависть, которую вызывает против себя каждый, кто ее затрогивает, становится как бы покровом и над ней, хотя она именно направлена против религии. Пытаться разрушить эту диалектику, всю исходящую из любящего трепета за человека, кажется, можно, только не любя его. Ею подкапываются опоры бытия человеческого, и это сделано так, что невозможно защищать их, не вызывая в человеке горького чувства оскорбления. Он сам невольно вовлекается в защиту своей гибели, не временной или частной, но всеобщей и окончательной.

30 Построить опровержение этой диалектики, столь же глубокое и строгое, как она сама, без сомнения, составит одну из труднейших задач нашей философской и богословской литературы в будущем, — конечно, если эта последняя сознает когда-нибудь свой долг разрешать тревожные сомнения, бродящие в нашем обществе, а не служить только удостоверением в немецкой грамотности нескольких людей, которые почему-либо обязаны действительно быть с ней знакомы. Не делая попытки к такому построению, мы выскажем только два замечания.

40 Отказ принять воздаяние или даже только видеть торжество Божией правды основывается, в приведенных выше словах, действительно на одной верной, тонко подмеченной особенности человеческой души: всякий раз, когда ее страдание слишком велико, оскорбление нестерпимо, — в ней пробуждается жажда не расставаться с этим страданием, не снимать с себя этого оскорбления. Есть что-то утоляющее самое страдание в сознании, что оно *не заслужено* (как страдания детей, предполагается) и что оно не вознаграждено; и как только это вознаграждение является, *исчезает утоление* и *боль* страдания *становится нестерпимой*. Таким образом, вознаграждение привходит *новою, другою радостью*; но оно вовсе *не становится на место прежней горести*, нисколько не вытесняет ее. И это закон души человеческой, как она дана, устроена. Нельзя отрицать, что в черте этой есть много благородного и вытекает она из сознания человеком в себе достоинства, из некоторой гордости и вместе смирения, но без какой-либо дурной при-
меси.

Так; и пока человек остается в тех формах своего духовного и физического бытия, в какие заключен теперь, какие одне знает в себе, он действительно захочет остаться «лучше с неотмщенным страданием своим», нежели принять за него возмездие и примириться с ним. Но думать, что эти формы его бытия есть нечто абсолютное и вечное, ничем не обусловленное, было бы величайшею ошибкою. Тесно, слишком тесно дух человеческий связан в идеях своих, в понятиях и чувствах с таинственною организациею его тела; он прикреплен к ней, связан и обусловлен ею, как рождающийся, но еще не рожденный связан с чревом своей матери. Но это связанное состояние есть только временное; и если течение наших идей изменяется со всякою переменой в нашей организации, то мы и представить себе затрудняемся, что почувствует наш дух и что подумает он, когда станет от нее свободен и чист. Как невозможно, действительно невозможно для него теперь примирение, так, быть может, необходимо и невольно будет оно тогда. И станет «земля новая и небо новое», сказано о последнем дне, в который «отрет Бог всякую слезу» *, и в этих словах указано разрешение затруднения, которое *пока* для нас непреодолимо.

Далее, страдания детей, столь несовместные, по-видимому, с действием высшей справедливости, могут быть несколько поняты при более строгом взгляде на первородный грех, природу души человеческой и акт рождения. Выше уже сказали мы, что в душе человеческой сверх того, что в ней выражено ясно и отчетливо, заключен еще целый мир содержания, *невыраженный, непроявленный*. Когда человек совершает что-либо преступное, то *исполнение* им этого есть только вторичное и менее важное, первичное же и главное есть то *душевное движение*, которое ему предшествовало, из которого родился преступный акт. Оно кладет особую складку, проводит неизгладимую черту на человеческой душе, подвергает ее некоторому искажению. Спрашивается, на том ли только проводится эта черта, то ли одно приемлет в себя искажение, что ясно выражено в душе: память с заключенными в ней сведениями, текущие желания, мелькнувшие чувства? Ясно, что нет: *зло* входит в нее, как в *целое*, искажается она в полноте своего содержания, — как в ясной его части, так и в непроявленной еще. О всем преступном мы знаем, что и зарождается оно в человеке неясными путями, идет из темных недр его души. Далее, в акте *рождения*, без сомнения, передается родившим рожденному не только его организация, но и то, что служит как бы ее законом и скрепляющим центром, т. е. самая *душа*. *Наследственность* характеров, особых дарований или порочных наклонностей слишком общеизвестный теперь факт, чтобы мы могли теперь в этом сколько-нибудь сомневаться. Множественность актов рождения и индивидуальные особенности рожденных дают основание думать, что в каждом порознь акте передается некоторая часть того сложного содержания, которое входит в душу рождающего; причем, когда передаются части выраженные — наблюдается наследственность, когда *передается невыраженное* — она, по-видимому, *отсутствует*. Каждая *часть*, именно в силу таковой природы своей, содержит в себе *способность восстановиться до целого*, вызывать появление недостающих частей, которые все, равно как и порядок их, предустановлены в ней именно ее прежним отношением к целому, из которого она вышла; как, напр., в самой малой дуге, оставшейся от окружности, предустановлены все исчезающие

* Откровение св. Иоанна, XXI, 1 и 4 ст.

ее части, и по ней они могут быть восстановлены. Эти восстанавливаемые части психического организма каждого рождаемого организма могут быть рассматриваемы как нечто новое; но среди них, без сомнения, есть и *прежняя гость*, не возникшая, но только *перешедшая*. Она несет в себе общее искажение, которое было присуще душе родившего, а иногда и некоторое особое, глубокое зло, некоторое *преступление*, которое в ней было *гостью*, терявшеюся между другими, а теперь *осталось одно и восстановило около себя целое*. А неся в себе преступление, она несет и *вину* его, и неизбежность *возмездия*. Таким образом, беспорочность детей и, следовательно, невинность их есть явление только кажущееся: в них уже скрыта *порожность отцов их* и с нею — их *виновность*; она только не проявляется, не выказывается в каких-нибудь разрушительных актах, т. е. не ведет за собою новой вины: но *старая вина*, насколько она не получила возмездия, *в них уже есть*. Это возмездие они и получают в своем страдании. Проступок, совершенный отцом, может быть настолько тяжел, что и не может быть возмещен на нем, ни даже посредством его смерти: он растлил, положим, ребенка, развратил существо чистое, которое к нему доверчиво приблизилось. Может ли за это преступление ответить он существом своим? Нет, и преступление его остается скрытым, ненаказанным. Но вот проходят поколения, и возмездие является — в страдании, которое, по-видимому, непонятно и нарушает законы правды. В действительности же оно восполняет ее.

Одно очень глубокое явление в духовной жизни человека получает здесь свое объяснение: это — *огущающее значение всякого страдания*. Мы несем в себе массу преступности и с нею — страшную виновность, которая еще ничем не искуплена; и, хотя мы ее не знаем в себе, не ощущаем отчетливо, она тяготит нас глубоко, наполняет душу нашу необъяснимым мраком. И всякий раз, когда мы испытываем какое-нибудь страдание, искупляется часть нашей виновности, нечто преступное выходит из нас, и мы ощущаем свет и радость, становимся более высокими и чистыми. Всякую горесть должен человек благословлять, потому что в ней посещает его Бог. Напротив, чья жизнь проходит легко, те должны тревожиться воздаянием, которое для них отложено.

Возможность такого объяснения не приходила на мысль Достоевскому, и он думал, что страдания детей есть нечто абсолютное, *прившедшее вновь в мир без всякой предшествующей вины*; отсюда понятен его вопрос: кто может простить виновника этого страдания? С этим затруднением связан вопрос об искуплении, втором и центральном мистическом акте, с которым соединены судьбы человека. По имени Искупителя самая религия наша называется «христианством»; оно и вовлекается в обсуждение здесь в дальнейшей диалектике. Оспаривается искупление, как ранее оспаривалось грехопадение и вечный суд. Эта вторая часть его диалектики, которую, в противоположность первой, *библейской*, можно назвать по ее предмету *евангельской*, и заключена в несколько причудливую форму «Легенды об Инквизиторе».

С критикою акта искупления у Достоевского соединилось изложение скрытой идеи католицизма *. Именно, идея эта, раскрывая свое содержание, в нем вы-

* Едва ли не первый очерк этой идеи находится в «Идиоте» (1868 г.), стр. 537–538 (изд. 1882 г.), и очень часто к ней возвращается Достоевский в «Дневнике писателя» (напр., за 1877 г., май–июнь, гл. III). См. *Приложения*.

сказывает свой *суд над жизнью и учением Христа* и одновременно обосновывает необходимость своего появления на земле. Анализируя природу человека и сопоставляя ее с учением Христа, престарелый инквизитор, раскрывающий идею своей Церкви, находит несоответствие между первой и второй. Дары, принесенные Христом на землю, слишком *высоки и не могут быть вмещены человеком*; а поэтому человек и не в силах принять их, т. е. как уразуметь слово Христа, так и привести в исполнение Его заветы. От этого несоответствия требований и способностей, идеала и действительности, человек должен оставаться вечно несчастным: только немногие, сильные духом, могли и могут спастись, следуя Христу и понимая тайну искупления. Таким образом, Христос, отнесшись к человеку с столь высоким уважением, поступил *«как бы вовсе не любя его»*. Он не рассчитал его природы и совершил нечто великое и святое, но вместе *невозможное, несуществующее*. Католицизм и есть *поправка к Его делу*, есть понижение небесного учения *до земного понимания*, приспособление божеского к *человеческому*. Но, совершив это, он скрыл тайну изменения в себе; народы же, следуя ему, думают, что следуют Христу. Выносить эту тайну обмана, одна сторона которого обращена к Богу, другая к человечеству, стоит глубокого страдания; и его приняли на себя немногие, руководящие Западной Церковью, ради избавления от страдания всего остального человечества и ради устройства земных его судеб. Таким образом, и здесь любовь к человеку есть движущее начало всей диалектики, а ее орудием является анализ его природы. ¹⁰

Общий же смысл всего этого заключается в том, что самого *акта искупления не было*: была лишь *ошибка*; и религии как хранилища религиозных тайн — *нет*, а есть лишь иллюзия, которою необходимо человеку *быть обманутым*, чтобы хоть как-нибудь устроиться на земле.

И как окончательный вывод из этой диалектики — отсутствие в действительности религии и абсолютная невозможность ее за отсутствием внешнего для нее основания: мистических актов грехопадения, искупления и вечного суда.

Переходим теперь к детальному обозрению этой мысли, которой только тему мы изложили. На восклицание Алеши: *«Это бунт»* — Иван отвечает проникновенно: ²⁰

«— Бунт? Я бы не хотел от тебя такого слова. *Можно ли жить бунтом, а я хочу жить*. Скажи мне сам прямо, я зову тебя, — отвечай: представь, что это ты сам возводишь * здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой: но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь только крохотное созданище, вот того самого ребеноч-

* В «Пушкинской речи» («Дневник писателя», 1880) Достоевский, разбирая характер Татьяны и отказ ее, ради удовлетворения своего чувства любви, оскорбить старика мужа, спрашивает и уже *от себя лигно*: «Разве может человек основать свое счастье на несчастье другого? Счастье... в высшей гармонии духа. Чем успокоить его, если позади стоит несчастный, безжалостный, бесчеловечный поступок... *Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой. И вот, представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего лишь одно человеческое существо... Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии?»* (т. XII, стр. 424). Из этого сопоставления очевидно, что все, что говорит Иван Карамазов, — говорит сам Достоевский. ⁴⁰

ка, бывшего себя кулачком в грудь, и на неотмщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги!

— Нет, не согласился бы, — тихо проговорил Алеша.

— И можешь ли ты допустить идею, что люди, для которых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастье на неоправданной крови маленького заму-
женного, а приняв — остаться навеки счастливыми?».

Вот к какой великой и благородной черте человеческой совести, которая одна возносит ее обладателя над безжалостной природой к милосердному Богу, сведен вопрос о восстании против самого Бога. Нельзя колебаться в ответе: если человечество скажет: «Да, могу принять», то оно тотчас же и перестанет быть человечеством, «образом и подобием Божиим», и обратится в собрание зверей; ответ же отрицательный утверждает и оправдывает отказ от вечной гармонии, — и тем все обращает в хаос...

Алеша в смятении; он отвергает возможность принять мировую гармонию на этом условии и вдруг проговорил, засверкав глазами: «Брат, ты сказал сейчас: есть ли во всем мире Существо, которое могло бы и имело право простить? Но Существо это есть, и Оно может все простить, всех и вся и за все, потому что Само отдало неповинную кровь свою за всех и за все. Ты забыл о Нем, а на Нем-то
20 и соиздается здание, и это Ему воскликнут: *Прав Ты, Господи, ибо открылись пути Твои*».

«— А, это *Единый безгрешный* и Его кровь», — говорит Иван и, вместо ответа, предлагает брату рассказать одну легенду, которая вырисовалась в его уме при размышлении обо всех этих вопросах. Алеша приготавлился слушать, и Иван начинает.

XI

Сцена переносится в далекую страну, на крайний запад, века раздвигаются, и открывается XVI столетие, эпоха смешения и борьбы различных элементов европейской цивилизации: первых путешествий в новооткрытую Америку и религиозных войн, Лютера и Лойолы, шумливых гуманистов и первых генералов
30 ордена иезуитов. Шум и смятение этой борьбы происходят, однако, в центре материка; там же, за Пиренеями, в Испании, только видят далекую борьбу, крепче замыкаются в себе и остаются неподвижны. Еще дальше, в темной глубине времен, виднеется бедная обожженная солнцем страна, где совершилась великая тайна искупления, была пролита на землю кровь за грехи этой земли, для спасения страждущего человечества. Пятнадцать веков уже прошло, как тайна совершилась; погибла чудовищная империя, и на ее остовах возник мир иных и свежих народов и государств, которые просветились новой верою, укрепились искупляющей кровью своего Бога и Спасителя. С неугасимой жаждой и надеждою они
40 ждут Его, ждут исполнения обетования, которое оставил Его ученик: «Се, грядущее скоро» * — и о времени которого Он сам изрек на земле: «О дне же сем и часе не

* Апокалипсис, XXII, 12: «Се грядущее скоро, и возмездие Мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его».

знает даже и Сын, но токмо Отец мой небесный». Даже с большею еще верою ждут Его, ибо «пятнадцать веков уже минуло с тех пор, как прекратились залогии с небес человеку»:

Верь тому, что сердце скажет,
Нет залогов от небес...

и только безграничное упование в святыню слова поддерживает человека. «Но дьявол не дремлет, и в человечестве началось уже сомнение. Как раз явилась тогда на севере, в Германии, страшная новая ересь. Огромная звезда, подобная светильнику*, пала на источники вод, и стали они горьки». Но тем пламеннее верят оставшиеся верными. Слезы человечества восходят к Нему; по-прежнему ждут Его, любят Его, надеются на Него, жаждут пострадать и умереть за Него, как и прежде. И «вот столько веков молило человечество с верой и пламенем: *бо, Господи, явися нам!* столько веков взывало к Нему, что Он, в неизмеримом сострадании своем, возжелал снизойти к молящим».

Сцена сдвигается, и рассказ сосредоточивается. Открывается Севилья, на знойные улицы которой спускается тихий вечер. Толпы народа расходятся туда и сюда; вдруг появляется Он, — «тихо, незаметно, в том самом образе человеческого, в котором ходил 33 года между людьми пятнадцать веков назад». По виду, по внешности Он ничем не отличается от остальных, — но, странное дело, «все узнают Его. Народ непобедимую силой стремится к Нему, окружает Его, нарастает кругом Него, следует за Ним. Он молча проходит среди них с тихою улыбкой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в Его сердце, лучи Света, Просвещения и Силы текут из очей Его и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответною любовью. Он простирает к ним руки, благословляет их, и от прикосновения к Нему, даже лишь к одеждам Его, исходит целеющая сила. Вот из толпы восклицает старик, слепой с детских лет: *„Господи, исцели меня, да и я Тебя узрю“*, — и вот как бы чешуя сходит с глаз его, и слепой Его видит. Народ плачет и целует землю, по которой идет Он. Дети бросают перед Ним цветы, поют и вопиют Ему: *„Осанна!“*. — *„Это Он, это сам Он, — повторяют все, — это должен быть Он! это никто как Он!“*. Он останавливается на паперти Севильского собора в ту самую минуту, когда во храм вносят с плачем детский открытый белый гробик: в нем семилетняя девочка, единственная дочь одного знатного гражданина. Мертвый ребенок лежит весь в цветах. *„Он воскресит твое дитя“*, — кричат из толпы плачущей матери. Вышедший навстречу гроба соборный патер смотрит в недоумении и хмурит брови. Но вот раздается вопль матери умершего ребенка, она повергается к ногам Его: *„Если это Ты, то воскреси дитя мое!“* — восклицает она, простирая к Нему руки. Процессия останавливается, гробик опускают к ногам Его, Он глядит со страданием, и уста Его тихо еще раз произносят: *„Талифа ку-*

* «Т. е. церкви», — замечает Достоевский. Образ звезды, падающей с неба, взят из Апокалипсиса, VIII, 10—11, как и некоторые дальнейшие сравнения, которыми изображается судьба христианской Церкви на земле. В настоящем месте высказывается взгляд на реформацию как на *подобие* Церкви, которое увлекает людей своим кажущимся сходством с нею и через это отвлекает их от Церкви истинной: «источники вод» — здесь «чистота веры», заражаемой «подобием» Церкви.

ми“ — „И возста девица“. Девочка подымается в гробе, садится и смотрит *, улыбаясь, удивленными, раскрытыми глазками кругом. В руках ее букет белых роз, с которым она лежала в гробу. В народе смятение, крики, рыдания».

В это самое время проходит мимо собора девяностолетний старик, с исхудалым лицом, в грубой волосяной рясе, кардинал Римской церкви и вместе Великий Инквизитор страны. Он останавливается, издали наблюдает все происходящее, и взгляд его омрачается. Крики народа доносятся до него, он слышит рыдания стариков и «осанна» из детских уст, видит поднимающегося из гроба ребенка; и вот, обернувшись, он подзывает жестом священную стражу и указывает ей на Виновника смятения и торжества. И народ, «уже приученный, покорный и трепетный», раздвигается; воины подходят к Нему, берут Его и уводят. Толпа склоняется до земли перед сумрачным стариком, он благословляет народ и проходит далее. Пленник приводится в темное подземелье Святого Судилища и запирается там.

Вечер кончается, и настает «тихая и бездыханная» южная ночь. Воздух горяч еще и сильнее наполнен ароматом цветущего лавра и лимона. Среди тишины вдруг заскрипели ржавые петли тюремной двери, она отворяется, и в подземелье входит старик Инквизитор. Дверь запирается за ним тотчас, и он остается наедине со своим Пленником. Долго он всматривается в Его лицо, ставит тусклый светильник на стол, подходит ближе и шепчет:

«Это Ты? Ты?» — Но, не получая ответа, быстро прибавляет: «Не отвечай, молчи. Да и что бы Ты мог сказать? Я слишком знаю, что Ты скажешь. Да Ты и права не имеешь ничего прибавить к тому, что уже сказано Тобою прежде. *Затем же Ты пришел нам мешать?* Ибо Ты пришел нам мешать, и Сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра? Я не знаю, кто Ты, и знать не хочу: Ты ли это или

* Поразительна жизненность, влитая Достоевским в эту удивительную картину: мы как будто не читаем строки, но перед нами проходит видение — вторичного появления, и уже почти в наше время, Христа среди народа. В биографии Д-го есть некоторые места, которые до известной степени могут объяснить эту странную, непостижимую жизненность фантастической, сверхъестественной сцены. «Однажды, — рассказывается там, — Достоевский находился в обществе людей, чуждых и даже враждебных ко всякой религии. Неожиданно среди говорящих кто-то упомянул об И. Христе, и сделал это без достаточного уважения. Достоевский вдруг страшно побледнел, и на глазах его показались слезы. Это было еще в дни его молодости, и, очевидно, уже тогда он проникновенно вдумывается в Его образ». Затем, во время его ссылки, *Евангелие* было единственной книгой, которую он мог читать, и постоянно перечитывая евангельские рассказы, очевидно, он вжил в них до ясности ощущения всего того, о чем там передается... Наконец, воскресение девочки, описываемое так, что мы как будто видим совершение самого факта, также имеет биографическое объяснение. Вот что читаем мы в его жизнеописании (см. «Биография и письма», отд. I, стр. 296): «Рождение дочери (22 февраля 1862 г.) было большим счастьем для обоих супругов и очень оживило Федора Михайловича. Все свободные минуты он проводил у ее колясочки и радовался каждому ее движению. Но это продолжалось менее трех месяцев. Смерть ее была страшным неожиданным ударом. Федор Михайлович всю жизнь не мог забыть свою первую девочку и всегда вспоминал о ней с сердечной болью. В одну из своих поездок в Эмс он нарочно съездил в Женеву, чтобы побывать на ее могиле». Без сомнения, он живо представлял, когда писал приведенную выше сцену, свое чувство, если бы любимая девочка каким-нибудь чудом вдруг поднялась из гроба.

только подобие Его, но завтра же я осужу и сожгу Тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал Твои ноги, завтра же, по одному моему мановению, бросится подгрести к Твоему костру угли, — знаешь Ты это? Да, Ты, может быть, это знаешь», — прибавил он в проникновенном раздумье, ни на мгновение не отрываясь взглядом от своего Пленника.

В этих напряженных, порывистых словах уже взяты все вариации последующей диалектики: признание Божественного сохранено до ясности ощущения Его, до созерцания; и ненависть к Нему простирается до угрозы — завтра же истребить Его, сжечь и растоптать. Это — величайшее в истории соединение и одновременно разъединение человеческой души с ее Предвечным Источником. Вдали, как в перспективе, показывается какое-то странное отношение к народу, к миллионам пасомых душ: в этом отношении есть, несомненно, тревожная забота, т. е. уже *любовь*, и вместе *презрение*, и какой-то *обман*, что-то скрытое. В молчании Пленника и в словах: «да, Ты, может быть, *это* знаешь» — скользит кощунственная мысль, что для самого Спасителя открывающаяся сцена обнаруживает что-то новое и неожиданное, какую-то великую тайну, которой Он не знал ранее и начинает понимать только теперь. И тайну эту хочет Ему высказать человек: «дрожущая тварь» чувствует в себе такую силу убеждения, вынесенного из всей своей судьбы, что не боится встать с ним и за него перед своим Творцом и Богом.

Во всем дальнейшем исповедании, которое высказывает старик, раскрывается движущая идея Римской Церкви; но очень трудно отрешиться от мысли, что эта идея есть вместе и исповедание всего человечества, самое мудрое и проникновенное сознание им судеб своих, и притом как минувших, так, и это главным образом, будущих. Западная Церковь, конечно, есть только романское понимание христианства, как Православие — греко-славянское его понимание и протестантизм — германское. Но дело в том, что из этих трех ветвей, на которые распалась всемирная Церковь, только первая возросла во всю величину своих сил; другие же две лишь возрастают. Католицизм закончен, завершен в своем внутреннем сложении, он отчетливо сознал свой смысл и непреодолимо до нашего времени стремится провести его в жизнь, подчинить ему историю; напротив, другие две Церкви чужды столь ясного о себе сознания *. Вот почему, повторяем, невозможно удержаться от того, чтобы не обобщить до крайней степени, до объема всего человечества и всей истории, странное признание Инквизитора, высказываемое наедине Христу.

* Протестантизм, открыв свободу для индивидуального понимания христианства, не только в настоящем не представляет чего-либо завершенного, окончательного, но и в будущем, очевидно, никогда не получит подобного завершения. Что касается до Православия, то до сих пор оно находилось в столь тяжелых исторических условиях, так извне стеснено было то варварством (монгольское иго), то магометанством (турецкое иго), то, наконец, самим католицизмом, что отстоять бытие свое и как-нибудь выполнить все нужное для душевного спасения среди обделенных и приниженных народностей — составило пока весь его исторический труд; о том же, чтобы возвести свое скрытое внутреннее содержание к свету ясного сознания, — оно еще не имело средств озаботиться. Попытки славянофилов (как Хомякова, Ю. Самарина) и самого Достоевского выяснить особенность и идею Православия в истории объясняются этим его состоянием и были бы невозможны при другом положении дела.

Он начинает с утверждения, что все завещанное Христом учение, как оно сохраниено Провидением, есть нечто вечное и неподвижное, и как изъять из него ничего нельзя, так нельзя и ничего к нему надбавить. Оно вошло уже, как камень во главу угла, в воздвигнувшуюся часть всемирной истории, и было бы поздно теперь что-нибудь поправлять, уяснять или ограничивать в нем: это пошатнуло бы пятнадцать веков зиждительной работы. И это не только по отношению к человечеству, которое не может же постоянно перестраиваться, но и в отношении Бога — чем было бы новое Откровение, *дополнение* к сказанному, как не сознание *недостаточности* сказанного уже, и кем же? сказанного самим Богом! Наконец, и это самое главное, подобное дополнение было бы нарушением человеческой свободы: Христос оставил человечеству образ Свой, которому оно могло бы следовать свободным сердцем, как идеалу, соответствующему его (скрыто божественной) природе, отвечающему его смутным влечениям. Следование это должно быть свободно, в этом именно состоит его нравственное достоинство. Между тем, всякое новое откровение с неба явилось бы как *зудо* и внесло бы в историю *принуждение*, отняло бы у людей свободу выбора и с ним нравственную заслугу. Поэтому, смотря на Христа и думая о втором обещанном пришествии Его на Землю, Инквизитор говорит: «Теперь Ты не приходи хоть вовсе... не приходи до времени по крайней мере», — поправляется он, думая о незавершенности пока своего дела на земле.

Он все время странно задумчив; перед ликом Спасителя контраст между великими заветами Его и действительностью представляется ему особенно ярким и вызывает в нем грустную иронию. Он припоминает Христа, как часто, пятнадцать веков назад, он говорил людям: «Хочу сделать вас *свободными*», и добавляет: «Вот, Ты теперь увидел этих свободных людей». Ирония замечания этого относится не только к тем, кого хотел возвысить Христос своим учением, но и к Нему самому: «Это дело, — продолжает он, — нам дорого стоило, но мы докончили его — во имя Твое. Пятнадцать веков мучились мы с этою свободой, но теперь это кончено, и кончено крепко».

Здесь говорится по началу авторитета, которое всегда и глубоко проникало Римскую Церковь и было причиною гораздо большей ее нетерпимости ко всяким отступлениям от догмы, нежели какая была присуща другим Церквам. В XVI веке, к которому относится описываемая сцена, необходимость авторитета и нерассуждающего подчинения была особенно сильно сознана Римом ввиду угрожающего движения Реформации, нарушившей тысячелетнее духовное единство Западной Европы. Явления, в которых оно выразилось, были: введение инквизиции и цензуры книг; проводниками этой идеи выступили: Тридентский собор и орден иезуитов с его учением о безусловном подчинении * старшим, о совершенном подавлении индивидуальной воли **. Но, как и повсюду в рассматриваемой «Легенде», указание на основную черту католицизма сделано потому только, что она ответила собою на некоторую вековечную нужду человечества и, следовательно, выразила в себе вечную же необходимую особенность его истории. Это становится ясно из дальнейших объяснений Инквизитора; он говорит:

* «Будь в руке старшего тебя покорен, как посох в руке странника» и пр.

** «*Cadaver esto*», т. е. будь безличен, инертен, как труп.

«Только теперь, когда мы побороли свободу, стало возможным помыслить в первый раз *о счастье людей*. Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливыми?» — спрашивает он.

Христос принес на землю *истину*; Инквизитор же говорит, что земная жизнь человека управляется законом *страдания*, вечного убегания от него или, когда это невозможно, — вечного следования по пути наименьшего страдания. Между истиною, которая безотносительна и присуща только абсолютному Богу, и между этим законом страдания, которому подчинен человек вследствие относительности своей природы, лежит непереступаемая бездна. Пусть, кто может, влечет человека по пути первой; он будет следовать всегда по пути второго. Это именно и высказывает Инквизитор: не отрицая высоты принесенной Спасителем истины, он отрицает только соответствие этой истины с природою человека и, с тем вместе, отрицает возможность следования его за ней. Другими словами, он отвергает, как невозможное, построение земных судеб человека на заветах Спасителя и, следовательно, утверждает необходимость построения их на каких-то *иных* началах.

К ним он тотчас и переходит. Но прежде чем обратиться к их рассмотрению, отметим факт коренного изменения в воззрении Достоевского на человеческую свободу, которое произошло у него со времени «Записок из подполья». Там, так же как и здесь, свободная воля человека выставляется как главное препятствие к окончательному устройению человеческих судеб на земле; но, в силу этого, отрицается только необходимость и возможность подобного устройства, а сама свобода оставляется человеку, как его драгоценнейшая черта. Во взгляде на эту свободу там есть что-то одобрительное, и в этой одобрительности слышен бодрый тон еще не усталого человека. Достоевский с видимым удовольствием рисует себе картину, как в момент всеобщего благополучия, наконец достигнутого, вдруг явится человек «с ретроградною и насмешливою физиономией», который скажет своим счастливым и только несколько скучающим братьям: «А что, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, — единственно с тою целью, чтобы все эти логарифмы отправились к чорту и чтоб нам опять на своей глупой воле пожить» *. С тех пор многое в воззрениях Достоевского изменилось, нет прежней бодрости в его тоне, и также нет более насмешливости и шуток. Сколько страдания за человека выносил он в себе и сколько ненависти к человеку — об этом свидетельствует весь ряд его последующих произведений, и между ними «Преступление и наказание», с его безответными мучениками, с его бессмысленными мучителями. Усталость и скорбь сменили в нем прежнюю уверенность, и жажда успокоения сказывается всего сильнее в «Легенде». Высокие дары свободы, истины, нравственного подвига — все это отстраняется, как тягостное, как излишнее для человека; и зовется одно: *какое-нибудь* счастье, *какой-нибудь* отдых для «жалкого бунтовщика» и все-таки измученного, все-таки болящего существа, сострадание к которому заглушает все остальное в его сердце, всякий порыв к божескому и высокочеловеческому. «Легенду об Инквизито-

* «Записки из подполья», отд. I, гл. IX. См. также гл. X, о предпочтительности временного «курытника» в общественно-историческом строе, именно потому, что он не окончателен и не убивает навсегда свободу, перед «хрустальным зданием», которое ненавистно именно своею неразрушимостью.

ре» до известной степени можно рассматривать как идею окончательного устройства судеб человека, что безусловно было отвергнуто в «Записках из подполья»; но с тою разницею, что, тогда как там говорилось об устройении *рациональном*, основанном на тонком и детальном изучении законов физической природы и общественных отношений, здесь говорится об устройении *религиозном*, исходящем из глубочайшего проникновения в *психический строй человека*.

«— Тебя предупреждали, — говорит Инквизитор Христу, — Ты не имел недостатка в предупреждениях и указаниях, но Ты не послушал их и отверг единственный путь, которым можно было устроить людей счастливыми». И затем он высказывает свою идею, следя за которою серьезно, невозможно не ощутить некоторого ужаса, который тем сильнее возрастает, чем яснее чувствуешь ее неотразимость. Нити всемирной истории, как она совершилась уже, будущие судьбы человека, как их можно предугадывать, мистический полусвет и непостижимое соединение неутолимой жадности веры с отчаянием в бытии для нее какого-либо объекта, все это сплелось здесь удивительным способом и в целом своем образовало слово, которое мы не можем не принять как самое глубокое, самое проникновенное и мудрое, что — с одной возможной для человека точки зрения — было когда-нибудь им о себе подумано.

ХII

«— Страшный и умный Дух, Дух самоуничтожения и небытия, — так начинает Инквизитор, — Великий Дух говорил с Тобою в пустыне, и нам передано в книгах, что он будто бы *искушал* Тебя... Так ли это? И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил Тебе в трех вопросах, и что Ты отверг, и что в книгах названо *искушениями*? А между тем, если было когда-нибудь на земле совершенно настоящее, громовое чудо, то это в тот день, в день этих трех искушений. Именно в появлении этих трех вопросов и заключалось чудо. Если бы возможно было помыслить, лишь для пробы и для примера, что три эти вопроса Страшного Духа бесследно утрачены в книгах и что их надо восстановить, вновь придумать и сочинить, чтобы внести опять в книги, и для этого собрать всех мудрецов земных — правителей, первосвященников, ученых, поэтов — и задать им задачу: придумайте, сочините три вопроса, но такие, которые мало того, что соответствовали бы размеру события *, но и выражали бы, сверх того, в трех словах, в трех только фразах человеческих *всю будущую историю мира и человечества*, — то думаешь ли Ты, что вся премудрость земли, вместе соединившаяся, могла бы придумать хоть что-нибудь подобное по силе и по глубине тем трем вопросам, которые действительно были предложены Тебе тогда могучим и умным Духом в пустыне? Уж по одним вопросам этим, лишь по чуду их появления, можно понимать, что имеешь дело не с человеческим текущим умом, но с вековечным и абсолютным. Ибо в этих трех вопросах как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая, — и явлены три образа,

* Какая яркость в ощущении его действительности; мы отмечаем этот тон, потому что, варьируя, он изменяется в разных местах «Легенды» до совершенной ясности ощущения, что «события» никогда не было.

в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле. Тогда это не могло быть еще так видно, ибо будущее было неведомо; но теперь, когда прошло пятнадцать веков, — мы видим, что все в этих трех вопросах до того угадано и предсказано и до того оправдалось, что прибавить к ним или убавить от них ничего нельзя более».

Пятнадцать веков минувшей истории здесь названы потому только, что самый разговор Инквизитора с Христом представляется происходящим в XVI столетии; но он писался в XIX в., и, если бы возможно было сделать это без грубого нарушения правдоподобия, Инквизитору следовало бы согласиться на все девятнадцать веков: все, о чем он говорит далее и на что указал словами — «это не могло быть видно тогда», — обнаружилось окончательно только в наше, текущее столетие, и никаких даже предвестников этого не было еще в эпоху, когда происходила описываемая сцена. Как это ни странно, перенесение исторических противоречий, раскрывшихся в XIX веке, в беседу, происходящую в XVI веке, не производит никакого дурного впечатления и даже не замечается: в разбираемой «Легенде» все временное до того отходит на задний план и выступают вперед черты только глубокого и вечного в человеке, что смешение в ней прошлого, будущего и настоящего, как бы совмещение всего исторического времени в одном моменте, не только не является чем-то чудовищным, но, напротив, совершенно уместно и кажется необходимым. Уже в приведенных словах Инквизитора мы чувствуем, что он как будто сам забывает, что обращает свою речь к другому: она звучит как *монолог*, как *исповедь веры* 90-летнего старика, и чем далее она развивается, тем яснее выступает из-за его «высокой и прямой фигуры» небольшая и истощенная фигурка человека XIX века, выносившая в душе своей гораздо более, нежели мог выносить старик, хотя бы и «вкушавший акриды и мед в пустыне» и сожигавший потом еретиков сотнями «*ad majorem gloriam Dei*» *.

Инквизитор с точки зрения трех искушений, как бы образно представивших будущие судьбы человека, начинает говорить об этих судьбах, анализируя смысл самых искушений. Таким образом, вскрытие смысла истории и как бы измерение нравственных сил человека делается здесь в виде обширного толкования на краткий текст Евангелия. Вот как записано о самом искушении и первом «вопросе Духа» у Евангелиста Матфея: «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню искушаться от Дявола. И постился дней сорок и ночей сорок, но напоследок взалкал. И приступил к Нему Искуситель, и сказал: *Если ты Сын Божий, то скажи, чтобы камни эти стали хлебами*. Он же, отвечая, сказал ему: *Написано: не хлебом одним жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих*» (IV, 1—3).

«— Реши же Сам, — говорит Инквизитор, — кто был прав, Ты или тот, который тогда вопрошал Тебя? Вспомни первый вопрос; хоть и не буквально **, но

* «к вящей славе Божией» (лат.).

** Действительно, очень замечательно, что ведь Дух искушал Богочеловека не когда-нибудь *посреди* его служения на спасение рода человеческого, но *перед вступлением на это служение* и, следовательно, он, древний борец с Богом и враг рода человеческого, как бы соблазнял его на *другие возможные способы спасения*, указывал *иные пути для этого*, чем учение Его божественное и крестная смерть. Искушения относились именно к *целому служению Иисуса Христа*, и поэтому *хлебы, гудо и власть*, Искусителем предложенные, суть действительно *три модуса иного*, не небесного, не божественного, не благодатного и таинственного спасения.

смысл его тот: „Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они, *в простоте своей и в прирожденном бесгинстве своем*, не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, — ибо никогда и ничего не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы!“^{*}. А видишь ли сии камни в этой нагой и раскаленной пустыне? *Обрати их в хлебы, и за Тобой побежит геловегество, как стадо*, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что Ты отымешь руку Свою и прекратятся им хлебы Твои. Но Ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение: ибо какая же свобода, рассудил Ты, если послушание куплено хлебами. Ты возразил, что человек жив не единым хлебом: *но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на Тебя Дух Земли, и сразится с Тобою, и победит Тебя, и все пойдут за ним, восклицая: „Кто подобен Зверю сему, — он дал нам огонь с небеси!“*».

Здесь в апокалиптическом образе представлено восстание всего земного, тяготеющего долу в человеке, против всего небесного в нем, что устремляется вверх, и указан победный исход этого восстания, которого мы все — грустные свидетели. Нужда, гнетущее горе, боль несогретых членов и голодного желудка заглушит искру божественного в человеческой душе, и он отвернется от всего святого и преклонится, как перед новою святынею, перед грубым и даже низким, но кормящим и согревающим. Он осмеет, как ненужных людей, своих прежних праведников и преклонится перед новыми праведниками, станет составлять из них новые календари святых и чтить день их рождения, как «благодетелей человечества». Уже Ог. Конт на место христианства, которое он считал отживающею религиею, пытался изобрести некоторое подобие нового религиозного культа, с празднествами и чествованием памяти великих людей, — и культ служения человечеству все сильнее и сильнее распространяется в наше время, по мере того как ослабевают служение Богу. Человечество обоготворяет себя, оно прислушивается теперь только к своим страданиям и утомленными глазами ищет кругом, кто бы утолил их, утишил или, по крайней мере, заглушил. Робкое и дрожащее, оно готово кинуться за всяким, кто что-нибудь для него сделает, готово благоговейно преклониться перед тем, кто удачно машиной облегчит его труд, новым составом удобрит его поле, заглушит хотя бы путем вечной отравы его временную боль. И, смятенное, страдающее, оно точно утратило смысл целого, как будто не видит за *подробностями* жизни своей *главного* и *гудовищного* зла, со всех сторон на него надвигающегося: что, чем более пытается человек побороть свое страдание, тем сильнее оно возрастает и всеобъемлющее становится, — и люди уже гибнут не единицами, не тысячами, но миллионами и народами, все быстрее и все неудержимее, забыв Бога и проклиная себя.

^{*} Впервые мысль эта, очень глубокая, была высказана Достоевским в 1847 г., в одном из самых беспорядочных его произведений — «Хозяйка», см. стр. 347 «Сочинений», т. 2, изд. 1882 г. Вот эти слова: «Слабому человеку одному не сдержаться. Только дай ему все, он сам же придет, все назад отдаст; дай ему полцарства земного в обладание, попробуй, — ты думаешь, что? Он тебе тут же в башмак спрячется, — так умалится. *Дай ему волюшку, слабому геловеку, — сам ее свяжет, назад принесет*» и пр. Это показывает, до какой степени рано у Достоевского зародились все его основные идеи, лишь в утверждении или отрицании которых он позднее десятилетия колебался, но ничего существенно нового *не открывал* в них.

Мы приведем величественный образ из Откровения Св. Иоанна, — откровения о судьбах Церкви Божией на земле и также рода человеческого, около нее волнующегося, ее усиливающегося поглотить; образы здесь выражают иносказательно циклы в развитии этих судеб и своим характером определяют их общий, отвлеченный от всех подробностей смысл: «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря Зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадем, а на головах его — имена богохульные. И дал ему Дракон * силу свою, и престол свой, и власть великую. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена; но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за Зверем, и поклонились Дракону **, который дал власть Зверю, говоря: *Кто подобен Зверю сему? и кто может сразиться с ним?* И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно; и дана была власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небесах. И дано было ему вести брань со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом людей, и над родом, и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо — да слышит. Если кого в пленение возьмет — в пленение пойдет, если кого оружием убьет — подобает ему быть оружием убитым. Здесь — терпение и вера святых» (Апок., XIII).

Знание, кормящее, но уже не просвещающее человека, великий промен духовных даров на вещественные дары, чистой совести — на сытое брюхо, представлены в этом поразительном образе. С заботой об «едином хлебе» закроются алтари, исчезнет великая устрояющая сила, и люди вновь примутся за возведение здания на песке, за построение своими силами и своею мудростью Вавилонской башни своей жизни. На все это указывает Инквизитор в проникновенных словах и тут же предсказывает, чем все это кончится:

«— Знаешь ли Ты, — говорит он, — что пройдут века и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что *преступления — нет*, а стало быть, — *нет и греха, а есть лишь только голодные*». «Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!» — вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против Тебя и которым *разрушится храм Твой* ***. На месте храма Твоего воздвигнется новое здание ****, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня; и хотя и эта

* Т. е., по Апокалипсису, отпавший от Бога Первый Дух.

** Мы ожидали бы «Зверю», — но как удивительно выдержана точность апокалиптических образов, соответствие их действительному смыслу!

*** Разумеется, теория *относительности преступления*, по которой оно ничем не выделяется из ряда других фактов, совершаемых человеком, и, как все они, вызывается влиянием среды, воспитания и вообще внешних обстоятельств. Воля, всецело определяемая этими обстоятельствами, бессильна не совершить какого-нибудь факта, в данном случае преступления, поэтому не свободна и, следовательно, невиновна («греха нет»). «Преступление и наказание» «Бесы» (некоторыми своими эпизодами) и, наконец, «Братья Карамазовы» могут быть рассматриваемы как художественно-психологическая критика этой идеи XIX века, к которой как-то влекутся в нем самые высокие умы, и ее отвержение, как не соответствующей природе вещей, не истинной. См. об этом выше.

**** В силу теории о невиновности индивидуальной воли, все преступления, как и всякое зло, относятся, как к причине своей, к неправильному устройству общества. Отсюда вопрос

не достроится, как и прежняя, но все же Ты бы мог избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей, — *ибо к нам же, ведь, придут они, промугившись тысячу лет с своею башнею!*» *. Они отыщут нас тогда опять под землей, в катакомбах, скрывающихся — ибо мы будем вновь гонимы ** и мучимы, — найдут нас и возопиют к нам: «Накормите нас, ибо те, которые обещали нам *** огонь с небеси, его не дали». И тогда уже *мы и достроим их башню*, ибо достроит тот, кто накормит, а накормим лишь мы, во имя Твое, — и солжем, что во имя Твое. *О, никогда, никогда без нас они не накормят себя!* Никакая им наука не даст хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: «Лучше *поработите* нас, но *накормите* нас» ****. Поймут наконец сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого — вместе немислимы: ибо никогда не сумеют они разделить между собою! *****

о борьбе со злом сводится к вопросу о лучшем устройении человеческого общества, — что вводит теоретическую мысль как живущее начало в историю на место бессознательных сил, в ней действующих. Сравни выше, в гл. IV, стр. 35 и далее, выдержки из «Зимних заметок о летних впечатлениях».

* Достоевский часто и настойчиво указывал (напр., в «Бесах»), как наука, отвергнув свободную волю в человеке и абсолютность в преступлении, доведет людей до антропофагии, — и тогда-то, в отчаянии, «заплачет земля по старым богам» и люди вновь обратятся к религии. Таким образом, обращение к Богу, думал он, увенчает историю, и это тем непременно совершится, чем большие бедствия ожидают человечество в будущем.

** Здесь говорится о периоде нестерпимых гонений, которые самоустраивающееся и несчастное человечество воздвигнет против религии на некоторое время, и именно перед тем, как обратиться к Богу. Преследования — не против Церкви, но против самого религиозного начала в человеке, — бывшие в конце прошлого века во Франции и теперь вспыхивающие то здесь, то там, могут быть рассматриваемы как первые и легкие предвестники попытки искоренить его вовсе, искоренить всюду на земле.

*** Т. е. рациональные теоретики устройства человека на земле без религии, и в частности теоретики новых форм организации труда и собственности.

**** Отчаяние экономических бедствий приведет (и уже приводит) к забвению всех других идеалов, которые первоначально были неотделимы от идеала равномерного распределения богатств: так, уже теперь крайние демократы становятся индифферентны к заветам политической и общественной свободы (конституционализму), а равно и к успехам наук и просвещения, готовые безразлично соединиться и с военным деспотизмом, и с торжеством Церкви над государством, лишь бы сила, военная ли, церковная ли — для них все равно, — разрешила экономический вопрос, «накормила всех».

***** При заботе «о хлебе единому» померкнет совесть в людях и с нею — сострадание: так как невозможно этих чувств ни возвести «к хлебу», ни из «забот о нем» вывести. Каждый возьмет себе наибольшее, на что имеет право по количеству и качеству своего труда, и *гений потребует, чтобы были удалены с пириества неспособные, потому что они отнимают у него излишнее*. В вопросе об устройении общества на экономических началах распределение продуктов производства, по праву — «suum cuique», по правде сердца человеческого — «Бог за всех», представляет главное и, в строгом смысле, неразрешимое затруднение. Именно оно является уже теперь предметом нескончаемых разногласий среди теоретиков общественной жизни; и если они так непримиримы в мысли, так несогласимы в книгах, то трудно и представить себе, к какому хаосу столкновений приведет неразрешимость этого вопроса в действительности, где

Убедятся тоже, что не могут быть никогда свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты обещал им хлеб небесный, но, повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагодарного людского племени — с земным? И если за Тобою, во имя хлеба небесного, пойдут тысячи и десятки тысяч, то что станется с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного?».

ХIII

«— Или Тебе дороги, — продолжает Инквизитор, — лишь десятки тысяч великих и сильных, — остальные же миллионы, многочисленные, как песок морской, слабых, но любящих Тебя, должны лишь послужить матерьялом для великих и сильных?».

Этими словами начинается поворот в его мысли, обращение ее к вечному смыслу истории, который несовместим с абсолютною правдой и милосердием. Пока этот смысл только мельком указывается, но затем на нем именно Инквизитор и оснует свое отрицание.

Слишком известен взгляд, по которому высший цвет культуры вырабатывается только немногими избранными, людьми высших способностей; и для того, чтобы они могли выполнять свою миссию свободно и неторопливо, им доставляется обеспечение и досуг трудом и страданиями нищенской жизни огромных народных масс. Мы пройдем мимо этот взгляд, слишком грубый, чтобы на нем останавливаться, и приведем, чтобы сделать ясною последующую речь Инквизитора, слова из Откровения Св. Иоанна «о малом числе избранных и оправданных» в день Последнего Суда. Очевидно, этот именно высокий и проникающий в сердце образ имеет он в виду, развивая далее свою мысль:

«И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах.

И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гусях своих.

Они поют как бы новую песнь пред Престолом и пред четырьмя животными и старцами: и никто не мог научиться этой песне, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли.

Это те, которые не осквернились с женами — ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу.

господствуют страсти, где негодование и гнев не утихают по надобности и жалость имеет свою убедительность, где, наконец, всякая диалектика разбивается о честное непонимание людей сердца. Уже теперь можно предвидеть, что, согласно внутренним своим желаниям, разрешившись, социальный кризис встанет перед диаметрально противоположными лозунгами «убрать неспособных, спрятать, свести на нет, поработить», и — «не надо гениев, излишни гении... и оскорбляют бедность нашу красотой своей духовной, и опасны». Философия Ницше, на наших глазах получающая распространение в Европе, есть раннее, но очень уже смелое выражение первого лозунга.

И в устах их нет лукавства, они непорочны пред Престолом Божиим» (Апокал., гл. XIV, ст. 1—5).

Какой чудный, зовущий идеал в этом образе; как поднимает он в нас тоскующее желание; как мало удивляемся мы, только взглянув на него, глубокому и быстрому перевороту, какой совершило Евангелие на переходе из древнего мира в новый.

И, все-таки, именно потому, что красота этого идеала так велика, что один уже порыв к нему дает счастье, — в нас тотчас пробуждается неодолимая жалость к тем «многочисленным, как песок морской» человеческим существам, которые, выделив из себя эти «сто сорок четыре тысячи», — остались где-то забытыми и затоптанными в истории*.

Это чувство жалости наполняет и душу Инквизитора, и он говорит твердо: «Нет, нам дороги и *слабые*», и быстро мелькает в его уме мысль о том, как он и те, которые поймут его, устроятся с этими слабыми: но уже устроятся совершенно одни, *без Него*, хотя, за отсутствием другой устрояющей идеи, *во имя Его*:

«Они порочны и бунтовщики, — говорит он, — но под конец они-то и станут послушными. Они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать, — так ужасно им станет под конец быть свободными! Но мы скажем, что послушны Тебе и господствуем во имя Твое. Мы их обманем опять, ибо Тебя уже мы не пустим к себе. В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы должны будем лгать».

И затем он переходит к неугасимым требованиям человеческой души, зная которые и отвечая на них, можно и следует воздвигнуть окончательное, вековечное здание его земной жизни: «В вопросе о хлебах, — говорит он, — заключалась великая тайна мира сего; приняв *хлебы*, Ты бы ответил на всеобщую вековечную тоску человеческую — как единоличного существа, так и целого человечества вместе — это: „*перед кем преклониться*“. Нет заботы непрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, — сыскать поскорее то, перед чем преклониться. Но ищет человек преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все эти люди разом согласились на всеобщее пред ним прекло-

* В главе «Кошмар Ивана Федоровича», которая вообще представляет вариации на «Легенду о Великом Инквизиторе», бес говорит: «Сколько надо было погубить душ... чтобы получить одного только праведного Иова» («Бр. Карамазовы», т. 2, стр. 355. Изд. 1882 г.). Оставляя в стороне поверхностную мысль, будто для «свободного досуга» немногих, которые «возделывали бы науки и художества» (их *истинно* возделывают люди бедные и в постоянном труде живущие), нужен подавляющий, чрезмерный труд остальных, — мы укажем на другое, действительно существующее соотношение между «спасением одного» на счет гибели многих: спасаются через *трудное*, что, будучи чрезмерно для многих, и, между тем, ломая о себя и их, — губит их. Единичный пример лучше всего объяснит нашу мысль: высокое просвещение хорошо, всеми читается и всех манит к себе; и так как в детстве ни о ком еще нельзя решить, способен он или нет к нему, то тысячи и десятки тысяч детей уродуются о трудную, сложную школу, чтобы выделить из себя несколько десятков истинно просвещенных людей; около которых остальные толпятся менее, чем только непросвещенною массою — массою *развращенною*.

нение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтоб и все уверовали в него и преклонились пред ним, и чтобы непременно *все вместе*. Вот эта потребность *общности* преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично, как и целого человечества с начала веков. Из-за всеобщего преклонения они истребляли друг друга мечом *. Они созидали богов и взывали друг к другу: „Бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим“. И так будет до скончания мира, даже и тогда, когда исчезнут в мире и боги: все равно — падут пред идолами. Ты знал, Ты не мог не знать эту основную тайну природы человеческой; но Ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось Тебе, чтобы заставить всех преклониться пред Тобою бесспорно, — *знамя хлеба земного*, и отверг во имя свободы и хлеба небесного. Взгляни же, что сделал Ты далее, — и все опять во имя свободы! Говорю Тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. С хлебом давалось Тебе бесспорное знамя: дашь хлеб — и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба; но если в то же время кто-нибудь овладеет его совестью помимо Тебя, — о, тогда он даже бросит хлеб Твой и пойдет за тем, который обольстит его совесть. В этом Ты был прав. Ибо тайна бытия человеческого заключается не в том, чтобы *только жить*, а в том, *для чего жить*. Без твердого представления себе, *для чего* ему жить, человек не согласится жить и скорее истребит себя, чем останется на земле, — хотя бы кругом его все были хлебы **. Это так. Но что же вышло? Вместо того, чтобы овладеть свободой людей, Ты увеличил им ее еще больше! Или Ты забыл, что спокойствие и даже смерть человеку дороже *** свободного выбора в познании добра и зла? Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее. И вот, вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз навсегда — Ты взял все, что есть необычайного, гадательного и неопределенного, взял все, что было не по силам людей, а потому поступил как бы и не любя их вовсе, — и это Кто же? Тот, Который пришел отдать за них жизнь свою! Вместо того, чтоб овладеть людскою свободой, Ты умножил ее и обременил ее мучениями душевное царство человека навеки. Ты возжелал *свободной любви человека*, чтобы свободно пошел он за То-

* В «Подростке» Макар Иванович — старик, сходный по типу со старцем Зосимом в «Бр. Кар.», говорит: «Невозможно и быть человеку, чтобы *не преклониться*, не *снесет* себя такой человек, да и *никакой* человек. И Бога отвергнет — так идолу поклонится, деревянному, или златому, или мысленному». — Под «идолами», перед которыми падут люди, отвергнув Бога истинного, разумеются идолы «мысленные»: разум обожествляемый и его продукты — философия и точные науки; или, наконец, идолы совсем грубые, каковы некоторые частные идеи этого самого разума, этой науки или философии: напр., идея утилитаризма. В этом месте «Легенды», однако, говорится о преклонении мистическом, религиозном, напр. перед Христом, Магометом и пр.

** Черта, верно подмеченная и одна своим идеализмом уравновешивающая все низкое, что в этой же «Легенде» приписывается человеку.

*** Без сомнения, это обмолвка, и нужно читать «удобнее, выгоднее, нужнее и лучше».

бою, прельщенный и плененный Тобою. Вместо твердого древнего закона *, — свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что́ добро и что́ зло, имея лишь в руководстве Твой образ пред собою **, — но неужели Ты не подумал, что он отвергнет же наконец и оспорит даже и Твой образ и Твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора? Они воскликнут, наконец, что правда не в Тебе, — ибо невозможно было оставить их в смятении и мучении более, чем сделал Ты, оставив им столько забот и неразрешимых задач. Таким образом, сам Ты и положил основание к разрушению Своего же Царства, и не вини в этом никого более».

10 Другими словами, учение, пришедшее спасти мир, — своею высотой и погубило его, внесло в историю не примирение и единство, но хаос и вражду. История не закончена; и, между тем, она должна закончиться, именно этого ищут народы в своей жажде найти предмет общего и согласного поклонения. Они и истребляют друг друга для того, чтобы, хотя путем гибели многих непримиренных, наконец соединились оставшиеся. Христианство не ответило этой потребности человеческого сердца, предоставив все индивидуальному решению, ложно надеясь на человеческую способность к различению добра и зла. Даже древний, не столь высокий, но точный и суровый закон более удовлетворял этой потребности: побивание камнями извергало всякого, кто отступал от него, и люди оставались
20 в единстве, хотя насильственном. Еще лучше ответило бы этой потребности, правда, уже совсем грубое средство — «земные хлебы», *закрытие* от глаз человека всего *небесного*. Напитав его, оно усыпило бы тревоги его совести.

Мы не отойдем, кажется, далеко от истины, если скажем, что с искушением прибегнуть, овладевая судьбами человечества, к «земным хлебам» здесь разумеется один страшный, но действительно мощный исход из исторических противоречий: это — *понижение психического уровня* в человеке. Погасить в нем все неопределенное, тревожное, мучительное, упростить *** его природу до ясности

* Т. е. Закона Ветхозаветного, который от Новозаветного действительно отличается дробностью, раздельностью, твердостью указаний и точностью мер наказания, за нарушение его
30 назначаемого (см. Второзаконие). Можно сказать, перелагая все на юридические термины, что в Ветхом Завете даны *правила*, в Новом — *принципы*.

** В трех этих строчках выражено понятие Достоевского о сущности христианства и указан руководительный принцип для деятельности христианина: *всегда мысленно предстоящее дело относить к Христу и спрашивать себя: совершил ли бы Он его или, видя, одобрил ли бы*, не нарушая при этом в своей мысли *цельности* Его образа, как Он передан нам евангелистами, *совокупности* всех черт его. Мы думаем, этот принцип есть истинный, и при соблюдении Его Евангелие никогда бы не могло быть подвергнуто тем насильственным применениям, каким, посредством уловления из него отдельных выражений, оно подвергалось в истории. Так, на выражении «*compelle intrare*» — «*понудь их (позванных) войти*» (на брачный пир жениха,
40 в «Притче о званых и незваных») основывала свое право на существование католическая инквизиция; или на выражении: «*Мое царство не от мира сего*» и до сих пор многие основывают требование безучастного отношения Церкви к греху, к преступлению «мира» (целого общественно-исторического строя).

*** В «Бесах» одно из лиц, только почти называемое (Шигалев), высказывает идею этого упрощения человеческой природы, понижения в ней психического уровня. Ее можно считать ранним и более подробно мотивированным изложением данного места «Легенды». См. *Приложения*.

коротких желаний, понудить его *в меру* знать, *в меру* чувствовать, *в меру* желать — вот средство удовлетворить его, наконец, и успокоить...

XIV

Все более и более склоняя свою речь к переходу от хаоса, в который ввергло человечество Христианство и его учение о свободе, к изображению будущего и окончательного успокоения его на земле, Инквизитор обращается к разбору двух остальных искушений дьявола. Вот слова, в которых они записаны у евангелистов Матфея и Луки:

«Тогда берет Его диавол во Святой Град и поставляет Его на крыле храма и говорит Ему: «Если Ты Сын Божий — бросься вниз; ибо о Том написано: *Ангелам своим заповедает о Тебе сохранить Тебя, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею*». Иисус же сказал ему: «Написано также — *не искушай Господа Бога Твоего*».

И вновь берет Его Дьявол и, возведя на высокую гору, показывает все царства Вселенной во мгновении времени; и говорит Ему: «Все это дам Тебе, если, падши, поклонись мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, Сатана! Ибо написано — *Господу Богу твоему поклоняйся и Ему Единому служи*».

Тогда оставляет Его Дьявол, и се Ангелы приступили и служили ему» (Матф., гл. IV, ст. 5–11, Луки, IV, 5).

Инквизитор, сказав об элементах саморазрушения, которыми наполнено Христианство, продолжает, обращаясь к Христу: «Между тем, тó ли предлагалось Тебе? Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и *пленишь совесть* этих слабосильных бунтовщиков для их счастья. Эти силы: *зудо*, *тайна* и *авторитет*. Ты отверг и то, и другое, и третье, и Сам подал пример тому. Когда страшный и премудрый Дух поставил Тебя на вершине Храма и сказал Тебе: «Если хочешь узнать, Сын ли Ты Божий, то верзись вниз, ибо сказано про Того, что ангелы возьмут и понесут Его, и не упадет, и не преткнется, и узнаешь тогда, Сын ли Ты Божий, и докажешь тогда, какова вера Твоя в Отца Твоего», — то Ты, выслушав, отверг предложение, и не поддался, и не бросился вниз. О, конечно, Ты *поступил тут гордо и великолепно, как Бог*, но люди-то, но слабое бунтующее племя это — оно-то боги ли? О, Ты понял тогда, что, сделав лишь шаг, движение броситься вниз, Ты тотчас бы и искусил Господа, и веру в Него всю потерял, и разбился бы о землю, которую спасти пришел, и *возрадовался бы умный Дух*, искушавший Тебя».

Удивительно неверие в мистический акт искупления, выраженное в *первых* отмеченных нами словах, соединенное с совершенною верою в искушение Иисуса и даже в мистическое значение этого искушения, в попытку Дьявола помешать пришествию Его как Спасителя в мир, которая выражена в *последних* отмеченных словах.

«Но, повторяю, — продолжает Инквизитор, — много ли таких, как Ты? И неужели Ты в самом деле мог допустить хоть минуту, что и людям будет под силу подобное искушение? Так ли создана природа человеческая, чтобы отвергнуть чудо — и в такие страшные моменты жизни, моменты самых страшных, основ-

ных и мучительных душевных вопросов* своих оставаться лишь с свободным решением сердца? О, Ты знал, что подвиг Твой сохранится в книгах, достигнет глубины времен** и последних пределов земли, и понадеялся, что, следуя Тебе, и человек останется с Богом, не нуждаясь в чуде. Но Ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергает и Бога***, ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес. И так как человек оставаться без чуда не в силах, то насоздаст себе новых чудес, уже собственных****, и поклонится уже знахарскому чуду, бабьему колдовству*****, хотя бы он сто раз был бунтовщиком, еретиком и безбожником. Ты не сошел со креста, когда кричали Тебе, издеваясь и дразня Тебя: *сойди со креста — и уверуем, что это Ты*. Ты не сошел: потому что, опять-таки, не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред могуществом, раз навсегда его ужаснувшим*****. Но и тут Ты судил о людях слишком высоко, ибо — конечно, они невольники, хотя созданы бунтовщиками. Озрись и суди; вот прошло пятнадцать веков, поди посмотри на них: кого Ты вознес до Себя? *Клянись, человек слабее и ниже создан, чем Ты о нем думал!****** Столь уважая его, Ты поступил как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него потребовал, и это кто же? Тот, Который возлюбил его более Самого Себя! Уважая его менее, менее бы от него и потребовал, а это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его».

Из чрезмерной высоты заветов Спасителя вытекло непонимание их человеком, сердце которого извращено и ум потемнен. Над их великою непорочнос-

* Говорится об отношении человека к мистическому акту Искушения, верою в который он жив будет, — и нужно бы эту веру, эту жизнь подкрепить чем-нибудь более, нежели как только подкрепляет ее высота Христова лика.

** Опять, какая удивительная вера звучит в этих словах!

*** Говорится, и с справедливым презрением, о том, как в истории — и до нашего времени — борьба против религии почти отождествлялась с борьбой против чудесного, равно и обратно; и как, едва распутав что-нибудь, прежде казавшееся в природе сверхъестественным, человек трусливо перебежал от веры к неверию.

**** Говорится о позднейших открытиях науки и, еще более, о технических изобретениях, которым так дивится человек в наше время, так снова и снова любит повторять себе о них, едва веря, что они есть и что их нашел он сам — человек.

***** Говорится о той особенной заинтересованности, с которою во времена безбожия люди прислушиваются ко всему странному, исключительному, в чем бы нарушился закон природы. Можно сказать, что в подобные времена ничто не ищется людьми с такою жадностью, как именно чудесное, — но лишь с непрременным условием, чтобы оно не было также и божественным. Увлечения спиритизмом, о которых с насмешкою упоминается в «Дневнике писателя», без сомнения, напомнили Достоевскому общность и постоянность этой психической черты в человеке (срав. суеверное состояние римского общества, когда оно впало в совершенный атеизм во II—III веках).

***** Говорится о неизъяснимой высоте Христианства, с его простотою и человечностью, над всеми другими религиями земли, в которых элемент чудесного так преобладает над всем остальным, которые исторически возникли из страха перед этим чудесным.

***** Основная мысль «Легенды». Ниже мы также отметим несколько фраз, в которых как бы сконцентрирован ее смысл или, точнее, указаны ее исходные пункты.

тью, чудною простотою и святостью, он наглумится, надругается, — и это одновременно с тем, как преклонится перед вульгарным и грубым, но поражающим его пугливое воображение. Мощными словами Инквизитор рисует картину восстания против религии, только малый уголок которого видела еще всемирная история, и проникающим взглядом усматривает то, что за этим последует:

«Человек слаб и подл. Что в том, что он теперь * повсеместно бунтует против нашей власти, и гордится, что он бунтует! Это гордость ребенка и школьника. Это маленькие дети, взбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя. Но придет конец и восторгу ** ребятишек — он будет дорого стоить им. Они ниспровергнут храмы и зальют кровью землю ***. Но догадаются, наконец, глупые дети, что хотя они бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие ****. Обливаясь глупыми слезами своими, они сознаются, наконец, что создавший их бунтовщиками, без сомнения, хотел *посмеяться* над ними. Скажут это они в отчаянии, и сказанное ими будет богохульством, от которого они станут еще несчастнее, — ибо природа человеческая не выносит богохульства и, в конце концов, сама же всегда и отомстит за него».

* Говорится не о реформационном движении, современном диалогу «Легенды», потому что дух глубокой веры, проникавший это движение, был слишком высок для презрительного отзыва о нем (см. несколько слов об этом духе у Достоевского в «Речи о Пушкине», по поводу стихов: «Однажды странствуя среди пустыни дикой» и проч.). Без сомнения, слова «Легенды» вызваны антирелигиозным движением отчасти XVIII, но главным образом нашего XIX века, в котором на борьбу с религией также мало тратится усилий и серьезности, как и на борьбу с какими-нибудь предрассудками.

** И приходит, напр., в наше время по отношению к недавнему антирелигиозному движению, и во всякое другое, более серьезное время по отношению ко всякому же предшествующему восстанию против религии. Так, сама реформация как индивидуальное искание Церкви возникла после кощунственно относившегося к религии гуманизма; а за эпохою французской революции настали времена Шатобриана, Жозефа де-Местра и других, с их вычурными идеями и смятением чувства. Истинное отношение к этим и аналогичным движениям верно указано Достоевским: это не вера настоящая, простая и сильная, но испуг и смятение вчерашних кощунствовавших школьников; это не Бог, в человеке действующий, а человек, подражающий наружно движениям и словам тех, в ком Он истинно действовал, кого истинно призвал к Себе когда-то (праведники).

*** Говорится не о временах первой французской революции, как можно бы подумать, но о том, что непременно совершится в будущем, — о попытке насильственно подавить в целом человечестве религиозное сознание. Слова эти соответствуют некоторым уже приведенным выше местам «Легенды».

**** Достоевский, всегда стоя выше своих героев (на которых никогда не любит, но скорее выводит их для выражения своей мысли), любит наблюдать, как, несмотря на великие свои силы, они ослабевают под давлением душевных мук, как они не выдерживают своей собственной «широты» и преступности, хотя прежде возводили это в теорию (последний разговор Н. Ставрогина с Лизю в «Бесах», последнее свидание Ив. Карамазова со Смердяковым). Почти повсюду изображение очень сильного человека, если он не оканчивает раскаянием (как Раскольников), у Достоевского завершается описанием как бы расслабления его сил, унижением и издевательством над «прежним сильным человеком».

Затем, подводя общий итог совершившемуся в истории, Инквизитор переходит к раскрытию своей тайны, которая состоит в *поправлении* Акта Искупления через принятие всех трех советов «могучего и умного Духа пустыни», — что, в свою очередь, совершилось ради любви к человечеству, для устройства земных судеб его. Оправдание им этого преступного исправления возводится к тому образу немногих искупаемых, который мы привели выше из XIV гл. Апокалипсиса; припоминая его, он говорит:

«Итак, беспокойство, смятение и несчастье — вот теперешний удел людей после того, как Ты столь претерпел за свободу их! Великий пророк Твой в видении и в иносказании говорит, что видел всех участников первого воскресения и что было их из каждого колена по двенадцати тысяч *. Но если было их столько, то были и они как бы не люди, а боги. Они вытерпели крест Твой, они вытерпели десятки лет голодной и нагой пустыни, питаясь акридами и кореньями, — и, уж, конечно, Ты можешь с гордостью указать на этих детей свободы, свободной любви, свободной и великолепной жертвы их во имя Твое **. Но вспомни, что их было всего только несколько тысяч, да и то богов, а остальные? И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? *Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров?**** Да неужто же и впрямь приходил Ты лишь к избранным и для избранных? Но если так, то тут — тайна, и не понять ее».

XV

Здесь, на этой непостижимости, что Тайна Искупления, совершившись в высоких формах, оставила *вне себя безвинно слабых*, и начинается вступление диалектики Инквизитора в новый, высший круг: отвержение самого Искупления; как выше, в исповеди Ив. Карамазова, на непостижимости тайны безвинного страдания основывалось отвержение им будущей жизни, Последнего Суда. Отрицания *бытия* этих актов — нет; есть, напротив, яркость их ощущения, доходящая до ослепительности: есть против них *восстание*, есть *отпадение* от Бога, второе на исходе судеб, после завершившейся истории, но во всем подобное тому первому отпадению, какое совершилось и перед началом этих судеб, — однако с сознанием, углубленным на всю их тяготу.

«Если же — *тайна*, — говорит Инквизитор, — то и мы вправе были проповедовать *тайну* и учить их, что не свободное решение сердец их важно **** и не

* В гл. VII Апокалипсиса делается предварительное исчисление спасаемых, по 12 тысяч в каждом из колен Израилевых, которые в XIV гл. и называются все в общей цифре 144 тысячи.

** Какое удивительное, глубокое и верное понимание истинного смысла духовной свободы; свободы *от себя, от низкого* в природе своей, во имя высшего и святого, что почувствовал и признал своею лучшею стороною вне себя. На эту свободу указывается здесь в противоположность грубому ее пониманию: как *независимости низкого в себе* от руководства ли, или подчинения какому-нибудь высшему, вне лежащему началу.

*** Вторая центральная мысль «Легенды».

**** Это положение, как известно, составляет действительно особенность католического учения, и она именно повела ко всему формализму в Западной Церкви и к нравственному рас-

любовь, а — *тайна*, которой они повиноваться должны *слепо*, даже *мимо их совести*. Так мы и сделали. Мы исправили подвиг Твой и основали его на *гуде, тайне и авторитете*. И люди обрадовались, что их вновь повели, как стадо, и что с сердец их снят, наконец, столь страшный дар, принесший им столько муки *. Правы мы были, уча и делая так, скажи? Неужели мы не любили человечества, столь смиренно сознав его бессилие, с любовью облегчив его ношу и разрешив слабой природе его хотя бы и грех, но с нашего позволения? К чему же теперь Ты пришел нам мешать? И что Ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими глазами своими? Рассердись, я не хочу любви Твоей, потому что сам не люблю Тебя. И что мне скрывать от Тебя? Или я не знаю, с Кем говорю? То, что 10
имею сказать Тебе, все Тебе уже известно, я читаю это в глазах Твоих. И я ли скрою от Тебя тайну нашу? Может быть, Ты именно хочешь услышать ее из уст моих, слушай же: мы не с Тобой, а с *Ним*, вот наша тайна!.. Мы взяли от Него то, что Ты с негодованием отверг: тот последний дар, который он предлагал Тебе, показав Тебе все царства земные: мы взяли от него Рим и меч Кесаря».

С этих только слов начинается раскрытие частной католической идеи в истории. Все, что было сказано раньше, имеет совершенно общее значение, т. е. представляет собою *диалектику Христианства* в его основной идее, одинаковой для всех верующих, в связи с раскрытием природы человеческой, осуждением ее и к ней состраданием. Но, развиваясь далее и далее и, наконец, заканчиваясь 20
мыслью о религиозном устроении человеческих судеб на земле, *оконгательном и всеобщем*, эта диалектика, до сих пор совершенно абстрактная, — совпала с историческим фактом, ей отвечающим, и невольно вовлекла его в себя, цепляясь оборотами мысли с выдающимися чертами действительности. Этот факт — Римско-католическая церковь с ее универсальными стремлениями, с ее внешнею объединяющею мощью, — христианское семя, выросшее на почве древнего язычества.

Инквизитор, оговариваясь, что дело их еще «не приведено к окончанию», что оно «только началось», высказывает, тем не менее, твердую уверенность, что оно завершится: «Долго еще ждать этого, — говорит он, — и еще много выстрадает земля, но мы достигнем и будем кесарями, и тогда уже помыслим о всемирном счастье людей **. А, между тем, Ты мог бы еще и тогда взять меч Кесаря. За- 30

тлению народов, ею пасомых. Из него вытекло так называемое учение о «добрых делах», которые, как бы ни совершались, хотя бы совершенно механически, — для души одинаково спасительны (отсюда — индульгенция, т. е. отпущение грехов первоначально шедшим, в Крестовых походах, положить жизнь за веру и Церковь, потом каким-нибудь образом способствующим этому и, наконец, вообще делающим денежные пожертвования на нужды Церкви: откуда уже только один шаг до продажи за различную цену спасающих от греха писаных бланков). На этом именно средстве оправдания и разошелся протестантизм со старою Церковью, противопоставив ее формальному способу спасти души людей через мертвенное дело — оправдание *верою*, 40
т. е. актом живого внутреннегo движения.

* Т. е. свобода и свободное различение добра и зла.

** Мысль исключительно Достоевского и вовсе не принадлежащая Риму, который если и стремился в древнее и новое время к всемирному господству, то вовсе не для «счастья людей». Из этого примера лучше всего можно видеть, как вплетает Достоевский в исторический факт, как его душу, *свою особенную и лигную мысль*.

чем Ты отверг этот последний дар? Приняв этот третий совет могучего Духа, Ты восполнил бы все, чего ищет человек на земле, то есть: *пред кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться*, наконец, всем в бесспорный общий и согласный муравейник *. Ибо потребность всемирного соединения есть третья и последнее мучение людей **. Всегда человечество в целом своим стремилось устроиться непременно *всемирно*. Много было великих народов с великою историею, но чем выше были эти народы, тем были и несчастнее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирности соединения людей. Великие завоеватели, Тимуры и Чингисханы, пролетели как вихрь по земле, стремясь завоевать вселенную; но и те, хотя и бессознательно, выразили ту же самую великую потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению. Приняв мир и порфиру Кесаря, Ты основал бы всемирное царство и дал всемирный покой. Ибо кому же владеть людьми, как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлебы их. Мы и взяли меч Кесаря, а, взяв его, конечно, — отвергли Тебя и пошли за *Ним*».

Таким образом, в советах «могучего и умного Духа», искушавшего в пустыне Иисуса, заключалась тайна всемирной истории и ответ на глубочайшие требования человеческой природы; советы эти были преступны, но это потому, что са-

* Это уже язык и мысли, специально выработавшиеся у Достоевского и звучащие несколько странно в устах Инквизитора, в XVI веке. «Муравейник», «Хрустальный дворец» и «Курятник» — это три образные выражения идеи всемирного соединения людей и их успокоения, которые впервые обсуждаются у Достоевского в «Записках из подполья». «Курятник» — это бедная и неудобная действительность, которая, однако, предпочтительнее всего другого, потому что она хрупка, всегда может быть разрушена и изменена, и, следовательно, не отвечая второстепенным требованиям человеческой природы, отвечает главной и самой существенной ее особенности — свободной воле, прихотливому желанию, которое не погашается в индивидууме. «Хрустальный дворец» — это искусственное, возведенное на началах разума и искусства, здание человеческой жизни, которое хуже всякой действительности, потому что, удовлетворяя всем человеческим нуждам и потребностям, не отвечает одной и главной — потребности индивидуального, особенного желания; оно подавляет личность. В «Записках из подполья» отвергается вторая формула и оставляется первая, за отсутствием для человека третьей — «Муравейника»: под этим названием разумеется всеобщее и согласное соединение живых существ какого-либо вида, основанное на присутствии в них одного общего и безошибочного инстинкта построения общего жилища. Таким инстинктом наделены все живущие обществами животные (муравьи), но его лишен человек; поэтому в то время, как они строят всегда одинаково, повсюду одно и постоянно мирно, человек строит повсюду различное, вечно трансформируется в своих желаниях и понятиях; и едва приступит к построению всеобщего — разойдется в представителях своих, единичных личностях, и притом со смертельною враждою и ненавистью. Эти три формулы необходимо постоянно помнить при чтении сочинений Достоевского.

40 Детальное изложение их см. в *Приложениях*.

** Нужно различать это «соединение» от «всеобщего преклонения» перед чем-нибудь человеческой совести, о котором говорилось раньше. То было внутреннее, душевное соединение людей, здесь говорится об их внешнем соединении, о согласной общественно-исторической жизни. Между этими двумя понятиями есть соотношение, но не тождество; соответствуя друг другу, как душа и тело, они суть части одного третьего — всемирной гармонии человеческой жизни.

мая природа человека уже извращена. И нет средства иначе как через преступление ответить на ее требования, нет возможности другим способом устроить, сбегать и пожалеть племя извращенных существ, как приняв это самое извращение в основу, — собрать их рассыпавшееся стадо извращенною мыслью, ложь которой ответила бы лжи их природы.

XVI

Большого отчаяния, чем какое залегло в эту странную и очень трудно опровержимую идею, никогда не было. Можно сказать, что это — самая грустная мысль, когда-либо проходившая через человеческое сознание, и приведенная страница — самая тяжелая в целой всемирной литературе. Полным отчаянием она и кончается — падением лжи, за которою не стоит никакой правды, разрушением обмана, которым еще только и могут жить люди. Это высказано как толкование на таинственные слова XII, XVII и XVIII глав Откровения Св. Иоанна, в которых, по толкованиям богословов, аллегорически представлены, под образом «Жены», судьбы Ветхозаветной и Новозаветной Церкви на земле. Вот эти слова:

«И явилось на небе великое знамение: Жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения.

И другое знамение явилось на небе: вот большой красный Дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадем; хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю.

Дракон сей стал перед Женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и Престолу Его.

А Жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питать ее там тысячу двести шестьдесят дней»...

Далее описывается судьба Дракона. «И низвержен был великий Дракон, древний Змей, называемый Дьяволом и Сатаною, обольщающий всю вселенную... И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его; потому что низвержен клеветник братии наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей, даже до смерти...

Когда же Дракон увидел, что он низвержен на землю, то начал преследовать Жену, которая родила младенца мужского пола. И даны были Жене два крыла большого орла, чтоб она летела в пустыню, в свое место, от лица Змея, и там питалась в течение времени, времен и полвремени. И пустил Змей из пасти своей вслед Жены воду как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла Жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил Дракон из пасти своей.

И расвирипел Дракон на Жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа».

Затем образы меняются; является новое видение, о котором было говорено уже выше: из вод морских выходит Зверь, которому Дракон передает свою силу и власть. Очевидно, именно через него он восстает на брань с «сохраняющими заповеди Божии». Вся земля следит за ним с удивлением; народы преклоняются перед его чудною мощью, потому что он творит всякие знамения и даже низводит с небес огонь. Он кладет свою печать на людей, и ее принимают все, «имена которых не написаны в книге Агнца». Видение снова меняется: показывается Агнец, «закланный от создания мира», и с ним сто сорок четыре тысячи, искупленных его кровью, которые не осквернились землею скверною. Пролетает Ангел, в руках которого Вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колону, и языку, и народу. За ним следует другой Ангел, восклицая: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Это первое предвозвестие великого падения, изображение которого еще впереди, но оно уже надвигается. Появляется светлое облако, и на нем «подобный Сыну Человеческому», держащий острый серп. Ангел говорит ему: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, — ибо жатва на земле созрела». И великая жатва совершается. Потом открывается новое видение: победившие Зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, — ибо открылись суды Твои!». Вслед за этим выходят семь Ангелов, держащих семь фиалов гнева Божия, и изливают их на землю. Муки постигают людей, поклонившихся Образу Зверину и принявших начертание его, вся природа изворачивается в свойствах своих, и страдания все возрастают. «И они хулили имя Бога, имеющего власть над семи язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу». Когда пятый Ангел излил свой фиал, — «Царство Зверя стало мрачно, и люди кусали языки свои от страдания, и хулили Бога небесного от страданий своих; и не раскаялись в делах своих». Когда излился на землю последний фиал гнева Божия, из таинственного храма на небесах, где стоит Престол Бога, послышался голос, говорящий: «Свершилось», и вслед за тем открывается видение суда над блудницею:

«И пришел один из седми Ангелов, имевших фиалы, и сказал мне: «Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, *сидящею на водах многих*.

С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле».

И повел меня в духе в пустыню; и я увидел Жену, *сидящую на Звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами*.

И Жена *облежена была в порфиру и багряницу*, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом и держала золотую чашу в руке своей, *наполненную мерзостью и негистотою блудодействия ее*.

И на теле ее написано имя: *Тайна*, Вавилон Великий, Мать блудницам и мерзостям земным.

Я видел, что Жена упоена была кровию святых и кровию свидетелей Иисусовых, — и, видя ее, дивился удивлением великим».

Видя его удивляющимся, Ангел делает ему пояснения:

«Воды, которые ты видел, где сидит блудница, — суть люди и народы, и племена, и языки.

И десять рогов, которые ты видел на Звере, *сии возненавидят Блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне.* Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его.

Жена же, которую ты видел, — есть великий город, царствующий над земными царями».

Вслед за этим наступает видение и самого суда торжествующей блудницы, «введшей волшебством своим в заблуждение все народы» (XVIII, 23) и «растлившей землю своим блудодейством» (XIX, 2). Цари земные, которые с нею блудодействовали, и торговцы, обогатившиеся от нее, «стоят вдали, от страха мучений ее плача и рыдая», и, ударяя в груди свои, восклицают горестно и изумленно: «Какой великий город был подобен этому!».

Чтобы стал более понятен смысл всех этих слов, заметим, что после суда над блудницею сходит на последнюю брань со Зверем и с народами, которые поклонились ему, поражены были язвами, но еще не побеждены, «Господь господствующих и царь царствующих», и о Нем повторяются (XIX, 15) слова, сказанные о младенце, рожденном Женою, которого хотел поглотить Дракон, но он был взят к Богу.

Теперь мы будем продолжать речь Инквизитора уже без перерывов. Сказав, что он и с ним единомышленные, отвергнув Христа и приняв советы Дьявола, овладеют совестью людей, и мечом и царством Кесаря, он так представляет отношение к себе человечества, для которого все это сделано:

«Пройдут еще века бесчинства свободного ума их, их науки и антропофагии, — потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией».

Наука, как точное познание действительности, не включает в себе никаких неодолимо сдерживающих нравственных начал, — и, возводя, при помощи ее, окончательное здание человеческой жизни, никак нельзя отрицать, что, когда потребуется, не будет употреблено и чего-нибудь жестокого и преступного. Идея Мальтуса (разделяемая даже таким мыслителем, как Д. С. Милль), что единственное средство для рабочих классов удержать на известной высоте заработную плату заключается в воздержании рабочих от брака и семьи, чтобы не размножать свое число, другими словами, — в низведении громадной массы женщин на степень только придатка к известной мужской функции, может служить примером жестокости и безнравственности, до которой может доходить теоретическая мысль, когда ей не закрывает уста незыблемый религиозный закон. И в самом деле, так как наукою же найдены безболезненные способы умирать (увеличенные дозы анестезирующих средств), то почему не явиться второму Мальтусу, так же одушевляемому «любовью к ближнему», как и первый, который скажет, что «пусть браки будут, но дети от них пусть поедаются», — что может делаться «не непременно родителями», не будет стоить никакого страдания и станет «выгодным для всего человечества».

«— Но тогда-то и приползет к нам Зверь, — продолжает Инквизитор, — и будет лизать ноги наши, и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих. Но мы сядем на Зверя и воздвигнем чашу и на ней будет написано: *Тайна*. Но тогда лишь, и только тогда настанет для людей царство покоя и счастья. Ты гордишься свои-

ми избранниками, но у Тебя лишь *избранники*, а мы успокоим *всех*. Да и так ли еще: сколь многие из этих избранников, из могучих, которые могли бы стать избранниками, *устали, наконец, ожидая Тебя, и понесли и еще понесут силы духа своего и жар сердца своего на иную ниву, — и кончат тем, что на Тебя же и воздвигнут свободное знамя свое*. Но Ты сам воздвиг это знамя».

Какие удивительные слова, какое глубокое понимание всего антирелигиозно-го движения великих европейских умов в последние столетия, с признанием мощи их и великодушия, с грустью за них, но и вместе с указанием их заблуждения.

10 «У нас же *все* будут счастливы и не будут более ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как в свободе Твоей повсеместно. О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей *для нас и нам покорятся*. И что же, правы мы будем или солжем? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода Твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят перед такими чудами и неразрешенными тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих *, другие, непокорные, но малосильные и несчастные, истребят друг друга **, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам: «Да, вы были правы, вы одни владели тайной Его, и мы возвращаемся к вам: спасите нас от себя самих» ***.

20 В абсолютной покорности и безволии масс откроется это спасение. Ничего не привнесут нового им мудрые, взявшие у них свободу; но что прежде было недостижимо — они достигнут, мудро направив их волю и распределив их труд:

«Получая от нас хлебы, конечно, они ясно будут видеть, что мы их же хлебы, их же руками добытые, берем у них, чтобы им же роздать, без всякого чуда; увидят, что не обратили мы камней в хлебы, но воистину более, чем самому хлебу, рады они будут тому, что получают его из рук наших! Ибо слишком будут помнить, что прежде, без нас, самые хлебы, добытые ими, обращались в руках их лишь в камни, а когда они воротились к нам, то самые камни обратились в руках их в хлебы».

30 Это говорится о нашем времени, когда, при свободном соперничестве, не смотря на необъятные массы производимых продуктов, — необъятные народные массы едва влачат скудное существование, и все уходит куда-то, расточается, пропадает вследствие несогласованности между собою человеческих желаний и действий. Напротив, когда укоротятся желания роскошествующих теперь и согласуется в одно целое труд всего человечества, даже если он и не будет обременителен, как теперь повсюду, — произведенных продуктов хватит для безбедного существования всех.

* Теоретическая мысль, оправдывающая «самоистребление», изложена Достоевским в «Дневнике писателя», по поводу одного самоубийства. См. *Приложения*.

40 ** Соответствующую мысль см. в «Бесах», слова Кирилова Петру Верховенскому перед самоубийством: «Убить *другого* будет самым низким пунктом моего своеволия, и в этом (предложении) — весь ты. Я не ты: я хочу высший пункт и *себя* убью», стр. 552, изд. 82 г.

*** Основная задача истории, — которая при слиянии в одно субъекта и объекта (и спасаемый, и спасающий есть человек) неразрешима и разрешается лишь при их разделении (в религии, где спасаемый есть человек и спасающий его есть Бог).

«Слишком, слишком оценят они, что значит раз навсегда подчиниться! * И пока люди не поймут сего, они будут несчастны. Кто более всего способствовал этому непониманию, скажи? Кто раздробил стадо и рассыпал его по путям неведомым? Но стадо вновь соберется и вновь покорится, и уже раз навсегда. *Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы* **. О, мы убедим их, наконец, не гордиться, ибо Ты вознес их и тем научил гордиться; докажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, но *это детское счастье слаще всякого*. Они станут робки и станут прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут дивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что смогли усмирить такое буйное тысяче-миллионное стадо. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и смеху, светлой радости и счастливой детской песенке ***. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хорами, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех ****; они слабы и бессильны, они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же им грешить потому, что их любим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя *****. И возьмем на себя, а нас они будут обожать, как благодетелей, понесших на себе их грехи перед Богом. И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей, все судя по их послушанию, — и они будут нам покоряться с веселием и радостью. Самые мучительные тайны их совести, — все, все понесут они нам, и мы все разрешим, и они поверят решению нашему с радостью, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного».

Едва ли в последних словах не содержится указание и на возможность регулировать самое народонаселение, его рост или умаление, — все смотря по нуждам текущего исторического момента. Общая же мысль этого места состоит в том, что весь размах страсти будет удален из человечества, людям будут оставлены лишь подробности и мелочи греха, а его во всей его глубине возьмут те, которые в силах сдержат всякий размах и вынести всякую тягость. Таким образом и неразрешимые противоречия истории, и непостижимые тайные движения человеческой души — все то, что мешает человеку жить на земле, — будет сосредоточено на плечах немногих, которые в силах выдержать познание добра и зла. Можно сказать, — история умолкнет, и останется только тайная история немногих великих душ, которой, конечно, никогда не будет суждено стать рассказанною.

* «В мире одного недостает, одному нужно устроиться — *послушанию*», — говорит Достоевский в «Бесах» (устами Петра Верховенского). Изд. 1882 г., стр. 374.

** Эти и тотчас ниже отмеченные слова составляют третью центральную мысль «Легенды».

*** Это «расслабление» человеческой природы, в сущности, тождественно искусственному «понижению» ее психического уровня и только совершится не насильственно, но мирно.

**** Преступное в истории, став предусмотренным и разрешенным в пределах необходимо-го, тотчас утратит свой опасный и угрожающий характер.

***** Вся эта картина будущей полубезгрешной жизни повторяется Достоевским еще раз в «Подростке», в разговоре Версилова с своим сыном.

XVII

«И все будут счастливы, — заканчивает Инквизитор, — все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы, хранящие *тайну*, только мы будем несчастны. Будут тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя Твое, — и за гробом обрящут лишь смерть *. Но мы сохраним секрет и для их же счастья будем манить их наградой небесною и вечною. Ибо *если б и было это на том свете, то уж, конечно, не для таких, как они*».

¹⁰ Гордость слов этих, так просто сказанных, неизъяснима: за ними чувствуется мощь, действительно свободно озирающая нескончаемые пути истории и твердо взвешивающая в своей руке меру человеческого сердца и человеческой мысли. Мы не удивляемся, слыша далее такие слова, относящиеся к приведенному выше Откровению Св. Иоанна:

«Говорят и пророчествуют, что Ты придешь и вновь победишь, придешь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими: но мы скажем, что они спасли лишь *себя*, а мы спасли *всех*. Говорят, что опозорена будет Блудница, сидящая на Звере и держащая в руках своих *тайну*, что взбунтуются вновь мало-сильные, что разорвут порфиру ее и обнажат ее „гадкое“ тело. Но я тогда встану и укажу Тебе на тысячи миллионов счастливых младенцев, не знавших греха. И мы, взявшие грехи их для счастья их на себя, мы станем пред Тобою и скажем: *суди нас, если можешь и смеешь*. Знай, что я не боюсь Тебя. Знай, что и я был в пустыне, что и я питался акридами и кореньями, что и я благословлял свободу, которою Ты благословил людей, и я готовился стать в число избранников Твоих, в число могучих и сильных с жаждой „восполнить число“. Но я очнулся и не захотел служить безумию. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые *исправили* подвиг Твой. Я ушел от гордых и воротился к смиренным для счастья этих смиренных. То, что я говорю Тебе, сбудется, и царство наше соизидется. Повторяю Тебе, завтра же Ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгрести горячие угли к костру Твоему, на котором сожгу Тебя за то, что пришел нам мешать. Ибо если был, кто более всех заслужил наш костер, то это — Ты. Завтра сожгу Тебя. *Dixi ***».

³⁰ Инквизитор останавливается. Среди глубокого безмолвия тесной сводчатой тюрьмы он глядит на своего Узника и ждет Его ответа. Ему тягостно молчание и тягостен проникновенный и тихий взгляд, которым Он продолжает еще смотреть на него, как и во все время речи. Пусть бы что-нибудь горькое и страшное сказал Он, но только не оставлял бы его без ответа. Вдруг Узник приближается к нему и молча целует его в его бледные, старческие уста. «Вот и весь ответ». Инквизитор вздрогнул, что-то зашевелилось в его губах. Он подходит к двери, отворяет ее и говорит Ему: «Ступай и не приходи более... не приходи вовсе... никогда, никогда!». Узник выходит на «темные стогна града». Севильская ночь также бездыханна. С темных небес яркие звезды льют тихий свет на безмятежную землю. Город спит; и только старик стоит и смотрит на дремлющую природу, у отво-

* Сравни тон и мысли в указанном уже выше месте «Подростка».

** Я сказал (лат.).

ренной двери, с тяжелым ключом в руке. На его сердце горит поцелуй, но... «он остается в прежней идее», и... его Царство созиждется.

Так оканчивается поэма. Века снова сдвигаются, умершие уходят в землю, и перед нами снова маленький трактир, где двое братьев час тому назад заговорили о разных тревожных вопросах. Но, что бы они ни говорили теперь, мы их не будем более слушать. Душа наша полна иных мыслей, и в ушах все звучит точно какая-то мефистофелевская песнь, пропетая с надзвездной высоты над нашей бедною землей.

Мы расчленили ее на части и вдумались в каждое ее слово; но вот она прозвучали все, и у нас остается только воспоминание о целом, в котором мы еще не отдали себе отчета. ¹⁰

Прежде всего нас поражает необыкновенная сложность ее и разнообразие, соединенные с величайшим единством. Самая горячая любовь к человеку в ней сливается с совершенным к нему презрением, безбрежный скептицизм — с пламенной верою, сомнение в зыбких силах человека — с твердою верою в достаточность своих сил для всякого подвига; наконец, замысел величайшего преступления, какое было совершено когда-либо в истории, с неизъяснимо высоким пониманием праведного и святого. Все в ней необыкновенно, все чудно. Точно те зыбкие струи добра и зла, которые льются и переливаются в истории, сплетая ее многосложный узор, вдруг соединились, слились между собою; и, как в тот первый момент, когда человек впервые научился различать их и начал свою историю, мы снова видим их нераздельными — и, так же, как он тогда, поражен ужасом и недоумением. Где Бог, и истина, и путь? — спрашиваем мы себя, потому что вдруг, как никогда еще, чувствуем неудержимую свою гибель, ощущаем приближение страшного и отвратительного существа, о котором нам так много передавали в поэзии и прозе, что мы серьезно начали считать его простой забавой фантазии, и вдруг теперь слышим его леденящее прикосновение и звук его голоса. Один человек, который жил между нами, но, конечно, не был похож ни на кого из нас, непостижимым и таинственным образом почувствовал *действительное* отсутствие Бога и присутствие *другого* и перед тем, как умереть, передал нам ужас своей души, своего одинокого сердца, бессильно бьющегося любовью к Тому, Кого — нет, бессильно убегающего от того, кто — есть. Всю жизнь он проповедывал Бога, и из тех, которые слышали его, одни смеялись над его постоянством и негодовали на его привязчивость, другие ей умилялись, на него указывали. Но он будто не слышал ни этого негодования, ни этого умиления. Он все говорил одно, и только удивительно было всем, почему он, с такою радостною, утешительною идеею в сердце, сам так бесприсветно сумрачен, так тосклив и тревожен. Он говорил о радости в Боге, он указывал на религию, как на единственную спасительную для человека, и слова его звучали горячо и страстно, и самую природу, о которой он никогда не упоминал обыкновенно, он как будто начинал любить ²⁰ в это время, понимать ее трепет, красоту и жизнь *. Точно как и она увяла от дыхания какого-то ледяного ощущения в душе его и оживала, когда он забывался от него хоть в звуке своих слов. Были и признания в его словах, но они все были ³⁰ ⁴⁰

* Сравни описание природы (точнее, — скудные слова о ней) в «Бедных людях», в «Записках из подполья» и пр. со словами о ней старца Зосимы («Братья Карамазовы») и Макара Ивановича («Подросток»).

непоняты. Он проговаривался, что человек, у которого действительно нет Бога в душе, тем и страшен, что «приходит с именем Бога на устах»*. Эти слова читали, но их смысла никто не уразумевал. И он сошел в могилу, не узнанный, но тайну души своей не унес с собою; точно толкаемый каким-то инстинктом, вовсе не чувствуя еще приближения смерти, он оставил нам удивительный образ, взглянув на который мы наконец все понимаем. «И ты с ним», эти слова, которые обращает горестно Алеша к своему брату, когда выслушал его рассказ, мы неудержимо обращаем к самому автору, который так ясно стоит за ним: «И ты с ним, с могучим и умным Духом, предлагавшим искушающие советы в пустыне Тому, Кто пришел спасти мир, и которые ты так хорошо понял и истолковал, как будто придумал их сам!». Признание в частном письме, которое делает Достоевский задолго до написания романа и которое мы указали выше, и слова, написанные им в своей записной книжке незадолго до своей смерти: «моя осанна сквозь горнило испытаний прошла», и ссылка при этом именно на «Легенду»; наконец, совершенная отдельность легенды от романа и вместе центральное ее положение не только в нем, но и во всем длинном ряде его произведений — все это не оставляет в нас более сомнений насчет истинного ее смысла. Душа автора, очевидно, вплелась во все удивительные строки, которые мы выписали выше, лица перемещаются перед нами, сквозя одно из-за другого, мы забываем говорящее лицо за Инквизитором, мы видим даже и не Инквизитора, перед нами стоит Злой Дух, с колеблющимся и туманным образом, и, как две тысячи лет назад, развивает свое искустельное слово, так кратко сказанное тогда. И в самом деле, ему нужно говорить подробнее: его слушают теперь люди, и нельзя перед ними в двух-трех словах замыкать всю историю.

XVIII

Тонкая, искустельная и могучая диалектика его так и начинается, как она должна была начаться. Он называется «клеветником», — с клеветы на человека и начинается его речь.

Человеческая природа — есть ли она в основе своей добрая и только искажена привнесенным злом? или она от начала злая и только бессильно стремится подняться к чему-то лучшему? — вот затруднение, решив которое в одну сторону, он основал на нем всю свою мысль. Человек — померкающая ли искра, или он — холодный пепел, который можно только зажечь со стороны; что такое он в сокровенной своей сущности — вот на что мы должны ответить, прежде чем решимся бороться с ней далее.

Только раз дрогнула его речь, только однажды он оговорился: это когда заметил, что за тем, кто поманит человека истиной, он побежит, «бросив даже и хлеба». — «В этом Ты был прав», — оговорился он. В мимолетном смущении этом не раскрылась ли, чтобы вновь закрыться, настоящая истина? И если — да, то существуют ли какие-нибудь способы вывести ее к свету нашего ясного сознания?

Искустельно развивается его диалектика: он берет самое важное — отношение человека к Богу и этим отношением измеряет низость и постоянство его па-

* «Подросток», стр. 363 (изд. 82 г.).

деня. Стоя перед ликом Бога, между Ним и человечеством в его тысячелетних судьбах, он указывает на Его святой образ и, показав, что даже и над Ним сумел надругаться человек, спрашивает о мере его истинного достоинства. Кажется, что защищать себя — значит здесь не чувствовать святости образа, уже одною попыткой к оправданию — лишаться всякого на него права; как, подобным же образом, ранее одна попытка не отказаться от правосудия Божия казалась ужасающим оскорблением для безвинно страдающих в роде людском. Чудная, в самом деле, речь перед нами: Божество и соединенный с Ним человек непреодолимо разъединяются, и всякое усилие помешать этому кажется восстанием именно против Божества или против самого человека.

10

Но фактами временного отпадения человека от Бога нельзя разрешить вопроса о добре и зле, заложенном как основа в его природу. Разве не столько же есть фактов неудержимого влечения человека к Богу? Разве те мученики, которых накануне своего монолога сжег Инквизитор, не горели за то самое, что не преклонились перед его бесовскою мыслью и до конца сохранили верность истине? Разве рыдания, которые раздалось в народе, когда ему почудилось, что «Он, Он Сам сошел к ним увидеть их горести и страдания», ничего не говорят нам о человеческом сердце? Разве пятнадцать веков неколеблющегося ожидания ничего не значат? Кто смеет, взяв минуты человеческого падения, даже если бы оне тянулись века, — скажем яснее, прямо отвечая на скрытый вопрос автора: кто может, видя падение и низость своего века и негодование возводя в право, сказать клевету на *всю геловегескую историю* и отвергнуть, что *в целом своем* она есть чудное и высокое проявление если не человеческой мудрости (в чем можно сомневаться), то бескорыстного стремления к истине и бессильного желания осуществить какую-то правду?

20

Но и фактами высоты человеческого духа, как бы много их ни было набрано, можно только поколебать доказывающее значение обратных фактов, но вовсе нельзя разрешить вопроса, какова именно природа человека, к которой, как к узлу своему, восходят эти ряды столь противоположных, взаимно отрицающих друг друга, явлений.

30

Есть иной и твердый способ, могущий пролить самый отчетливый свет на это затруднение, от решения которого в ту или другую сторону зависит так много наших надежд и верований. Устраняя смешанные и противоречивые факты истории, как бы снимая нарост их с человека, можно взять его природу в ее *первозданной гистоте* и определить ее необходимое соотношение с вечными идеалами, стремление к которым никогда не может быть заподозрено: с *истиною, с добром и свободю*.

В сознании человека что *предшествовало* одно другому — *ложь* правде или *правда* лжи? Вот простой вопрос, ответ на который кладет начало непреодолимому разрешению и общего вопроса о всей человеческой природе. Мы не можем здесь колебаться: *ложь* сама по себе есть нечто *вторичное*, она есть *нарушенная правда*, и ясно, что прежде, нежели нарушиться, правда уже *должна была существовать*. Она есть, таким образом, первозданное, от начала родившееся; *ложь* же есть *прившедшее, появившееся потом*. Ее происхождение все в *истории*; происхождение же правды в *самом геловеке*. Она исходит от него, и вечно исходила бы одна, если бы на пути своем он не встречал препятствий, отклоняющих его от нее. Но это показывает только, что причина всякой лжи лежит вне его. Первое

40

движение человека всегда есть движение к истине, и мы не можем представить себе иного, если он свободен, т. е. если чист от всяких привходящих влияний, действует в силу одного устройства своих способностей. Можем ли мы представить себе, чтобы первый человек, взглянув на мир, окружающий его, и почувствовав первый восторг в себе, сказал ложь об этом мире: притворился, что он не видит его, или, подавив в себе чувство благоговения, сказал, что он ощущает гадливость. И так же всякий раз, когда человек не боится, не достигает, когда никакое стороннее желание не отвлекает его от простого созерцания, — не произносит ли он об этом созерцаемом одной истины? И когда под влиянием страха или

10 повинуюсь какому-нибудь влечению, он произносит ложь, разве он не ощущает всякий раз некоторого страдания, некоторой внутренней боли, происходящей оттого, что его мысль на пути к своему внешнему выражению подверглась некоторому искажающему влиянию? Разве, чтобы произвести его в себе, чтобы нечто подавить в истине или прибавить к ней, не требуется всякий раз некоторое усилие; и откуда было бы оно, если бы уже от начала человеческая природа была безразлично наклонна как ко лжи, так и к истине?

Итак, между разумом человека, с одной стороны, и между истиною как вечно достигаемым объектом — с другой, существует не простое отношение, но *соотношение*. Вторая так же неощутимо предустановлена в первом, как для линии,

20 к которой склонилась другая линия, неощутимо предустановлена точка далекого с ней соединения. Ложь и заблуждение, т. е. зло, есть только препятствие к этому соединению или отклонение от него; но оно не есть нечто самостоятельное, в самом себе замкнутое или цельное, что разрывалось бы истиной. Истина безотнositельна; это есть простое и нормальное взаимодействие между разумом человека и миром, в котором живет он; напротив, ложь всегда относительна и частична: именно она относится к какой-нибудь частной мысли, правильность которой нарушает. Поэтому как мир целен, так может быть цельное мирозерцанье, т. е. система гармонически соединенных истин; напротив, ложь не может быть устроена ни в какую систему, и особенно в такую, в которой и принципы построения были

30 бы ложные. При всякой попытке создавать непременно ложные мысли и непременно ложно соединять их, разум почувствует нестерпимое страдание — и даже заглушая его, все-таки не достигнет своей цели, где-нибудь в построение введет невольно правильность; напротив, создание истинных мыслей и соединений их в правильную систему всегда доставляло и доставляет разуму величайшее наслаждение, и оно тем выше становится, чем ближе строяемое им к чистой и безупречной истине. Это страдание и это наслаждение есть показатель истинной природы человека; они определяют ее как *благую*, но только в первоизданном состоянии; напротив, как изменившуюся в истории, они показывают ее померкнувшей.

40 Вот почему, если в науке или философии мы иногда находим как будто нечто злое, чему непреодолимо противится наша природа, мы можем без предварительного исследования думать, что та часть ее, которая вызывает подобное смущение, содержит в себе нечто ложное. И более внимательное изучение этой части, изучение способа ее происхождения, всегда и наверно откроет, что под нею лежит не чистая мысль, но мысль, искаженная каким-нибудь прившедшим чувством, каким-нибудь страхом или влечением. Так, в упомянутом законе Мальтуса истинна только основа его, что в *некоторые* времена количество народонасе-

ления увеличивается в геометрической прогрессии, а количество продуктов производимых — в арифметической; но совершенно ложно противоестественное требование, будто бы рабочие классы должны воздерживаться от браков. Под этим требованием лежит забота, как бы роскошествующие не потеряли права на роскошь, и страх, как бы бедные не начали, наконец, умирать с голоду. О первой можно сказать, что она суетна, о втором — что он поспешен, потому что иные и более глубокие законы, законы самой рождаемости, очевидно, оберегают людей от подобного бедствия; и хотя исторического времени прошло уже достаточно, чтобы закон Мальтуса начал действовать, однако никогда и нигде еще родители не начинали пожирать детей своих, не оставались безбрачными, но всегда и всюду находили пищу себе и детям своим. ¹⁰

Чистая же мысль, в абстрактной своей деятельности, может создать только благое; и всякая наука и философия, насколько оне не изменяют природе своей, — благи и совершенны перед человеком и перед Богом. Смещение областей мышления и чувства, искажение первого вторым или второго первым порождает все зло, какое когда-либо могло поднимать ропот даже и на свою природу, сетовать на слишком большую глубину сознания или на неудержимость страстей своих.

Напротив, когда области эти не извращены вмешательством друг друга, оне являются нам как чистые от зла. Рассмотрев первую из них, область мышления, мы перейдем ко второй. ²⁰

Чувство в первоначальной природе своей стремится ли к добру и причиняет его, или оно стремится к злу и ищет его? Вот вопрос, ответ на который продолжит начатое нами обнаружение первоизданной природы человека. И здесь, опять, разрешение затруднения не может возбуждать колебаний. Жажда причинить другому зло есть всегда *ответная*, и она вызывается уже страданием, перенесенным от другого. Таким образом, характер *дурного чувства* так же необходимо *вторичен и произведен*, как и характер лжи. Как невозможно представить себе, чтобы первый человек, взглянув на природу, *солгал* о ней, так нельзя допустить, чтобы тот же первый человек, ощутив около себя второго и уже каким-нибудь образом узнав, *что такое боль и страдание*, захотел бы его *подвергнуть им*; чтобы он не оттолкнул его от дерева, которое грозит его задавить, не предупредил бы его о глубине воды, в которой сам раз тонул, или не позвал к себе под одинокий куст во время палящего зноя полудня. И повсюду, как в этих примерах, раз мы найдем человека не воспринявшим из окружающего или из прошедшего какого-нибудь зла, мы найдем его природу *расположенною только к добру*. Оно есть *первое*, к чему влечется человеческое чувство, зло же всегда есть второе и приводящее извне. Чувства внутреннего страдания или внутренней радости и здесь могут служить такими же верными указателями истины, как в сфере сознания. Первое смутно и непреодолимо овладевает человеком и возрастает по мере того, как его душою овладевает зло; напротив, светлая ясность сопровождается благожелательную жизнь, какими бы физическими бедствиями она ни угнеталась. Страдание здесь вытекает из несоответствия зла с человеческою природою, а ясность духа — из их гармонии. ³⁰

На ответном происхождении всякого зла основывается и глубокое учение о несопротивлении ему: действительно, насколько учение это выполняется, настолько выделяется, исчезая, из жизни зло. Удержание себя от того, чтобы отве- ⁴⁰

чать на зло злом, подсекает его в корне; оно утишает в отдельных точках ту взволнованность друг за друга цепляющихся страстей, которою переполнена уже вся жизнь и оплетена воля каждой личности. Трудное вначале и совершенно незаметное по своим последствиям, оно с каждым шагом делается легче, и его следствия — ощутительнее. Страсти, переставая возбуждать друг друга, постепенно утишают, и каждое причиненное зло, не возбуждая никакого ответа, неизбежно умирает. Для тех, кто привык думать, что история и вся прелесть жизни состоит именно из игры страстей и что лучше уже переносить зло, нежели лишиться его свободной и обольстительной красоты, можно заметить, что радость ощущения внутренней чистоты своей и ощущения гармонии со своим духом всей окружающей жизни с избытком вознаградит человеческое сердце за то утраченное, чем так мучительно и слепо наслаждается оно теперь.

Относительно третьей стороны человеческой природы, *воли*, вопрос о ее первоначальной чистоте или испорченности разрешается исследованием: находится ли она в соответствии с последним великим идеалом, к которому может стремиться человек, — *свободой*. И здесь мысленный опыт дает ясное разрешение. Свобода есть внешняя деятельность, соответствующая внутренней, и она является осуществленною вполне, когда первая без остатка есть следствие второй. Ясно, что, если бы человек мог быть разобщенным с прошедшим и окружающим, его внешняя деятельность, которая, однако, должна иметь свою причину, могла бы иметь ее только во внутренней психической деятельности, т. е. его воля вне посторонних влияний безусловно свободна. В действительности же, когда он соединен с прошедшим и окружающим, его внешняя деятельность перестает гармонизировать с внутреннею, и притом всегда в той именно мере, с какою силою действует на него внешность. Это значит, что *уменьшение человеческой свободы*, ее подавленность или извращение, *идет не изнутри его природы, но извне*. Страдание, которое всегда сопровождает это чувство подавленности, и здесь указывает на истинный характер этой стороны человеческого духа.

Истина, добро и свобода суть главные и постоянные идеалы, к осуществлению которых направляется человеческая природа в главных элементах своих — *разуме, чувстве и воле*. Между этими идеалами и первоначальным устройством человека есть соответствие, в силу которого она неудержимо стремится к ним. И так как идеалы эти ни в каком случае не могут быть признаны дурными, то и *природа человеческая в своей первоначальной основе должна быть признана добротою, благою*.

XIX

Это и подкапывает основание диалектики Инквизитора. «Иго мое благо и бремя мое легко» (Матф., XI, 30), — сказал Спаситель о своем учении. Действительно, исполненное высочайшей правды, призывая всех людей к единению в любви, оставляя человеку свободно следовать лучшему, оно всем смыслом своим отвечает глубочайшим образом первоначальной природе человека и будит ее снова сквозь тысячелетний грех, который обременил ее игом тягостным и ненавистным. Покаяться и последовать Спасителю — это и значит снять с себя ненавистное «иго»; это значит почувствовать себя так радостно и легко, как чувствовал себя человек в первый день своего творения.

Здесь и лежит тайна нравственного перерождения, совершаемая Христом в каждом из нас, когда мы обращаемся к Нему всем сердцем. Нет иного слова, как «свет», «радость», «восторг», которым можно бы было выразить это особенное состояние, испытываемое истинными христианами. От этого-то уныние признается Церковью таким тяжким грехом: оно есть внешняя печать удаления от Бога, и, что бы ни говорили уста человека, ему подпавшего, — его сердце далеко от Бога. Вот почему всякие утраты и все внешние бедствия для истинного христианина и для общества людей, живущих по-христиански, — то же, что завывания ветра для людей, сидящих в крепком, хорошо согретом и светлом доме. Христианское общество бессмертно, неразруσιμο, — настолько и до тех пор, пока и в какой мере оно христианское. Напротив, началами разрушения проникнута 10
бывает всякая жизнь, которая, став однажды христианскою, потом обратилась к иным источникам бытия и жизни. Несмотря на внешние успехи, при всей наружной мощи, она переполняется веянием смерти, и это веяние непреодолимо налагает свою печать на всякий индивидуальный ум, на каждую единичную совесть.

«Легенду об Инквизиторе», в отношении к истории, можно рассматривать как мощное и великое отражение этого особенного духа. Отсюда вся скорбь ее, отсюда — беспросветный сумрак, который накидывает она на всю жизнь. Будь она истинною, — человеку невозможно было бы жить, ему оставалось бы, произнеся этот суровый приговор над собою, — только умереть. Да этим отчаянием 20
она и кончается. Можно представить себе тот ужас, когда человечество, наконец устроившееся во имя высшей истины, вдруг узнает, что в основу устройства его положен обман и что сделано это потому, что нет вообще никакой истины, кроме той, что спастись все-таки нужно и спастись нечем. В сущности, смысл этого именно утверждения и имеют последние слова Инквизитора, которые в день страшного восстания народов он готовится обратить к Христу: «Суди меня, если можешь и смеешь». Сумрак и отчаяние здесь — сумрак неведения. «Кто я на земле? и что такое эта земля? и зачем все, что делаю я и другие?» — вот слова, которые слышатся сквозь «Легенду». Это и высказано в конце ее. На слова Алеши брату: «Твой Инквизитор просто в Бога не верует» — тот отвечает: «Наконец-то 30
ты догадался».

Это и определяет ее историческое положение. Вот уже более двух веков минуло, как великий завет Спасителя: «Ищите *прежде* Царствия Божия, и все остальное приложится вам» — европейское человечество исполняет наоборот, хотя оно и продолжает называться христианским. Нельзя и не следует скрывать от себя, что в основе этого лежит тайное, вслух невысказываемое сомнение в божественности самого завета: Богу веруют и повинуются ему слепо. Этого-то и не находим мы: интересы государства, даже успехи наук и искусств, наконец, простое увеличение производительности — все это выдвигается вперед без какой-либо мысли о противодействии им; и все, что есть в жизни поверх этого, — религия, 40
нравственность, человеческая совесть, — все это клонится, раздвигается, давится этими интересами, которые признаны высшими для человечества. Великие успехи Европы в сфере внешней культуры все объясняются этим изменением. Внимание к внешнему, став *безраздельным*, естественно углубилось и утончилось; последовали открытия, каких и не предполагали прежде, настали изобретения, которые справедливо вызывают изумление в самих изобретателях. Все это слишком объяснимо, слишком понятно, всего этого следовало ожидать еще два века

назад. Но слишком же понятно и другое, что с этим неразъединимо слилось: постепенное затемнение и, наконец, утрата высшего смысла жизни.

Необозримое множество подробностей и отсутствие среди их чего-либо главного и связующего — вот характерное отличие европейской жизни, как она сложилась за два последних века. Никакая общая мысль не связует более народов, никакое общее чувство не управляет ими, — каждый и во всяком народе трудится только над своим особым делом. Отсутствие согласующего центра в неумолкающем труде, в вечном созидании частей, которые никуда не устремляются, есть только наружное последствие этой утраты жизненного смысла. Другое и внутреннее его последствие заключается во всеобщем и неудержимом исчезновении интереса к жизни. Величественный образ Апокалипсиса, где говорится о «подобии светильника», ниспадающего в конце времен на землю, от которого «стали источники ее горьки», гораздо более, чем к реформации, применим к просвещению новых веков. Результат стольких усилий самых возвышенных умов в человечестве, оно никого более не удовлетворяет, и всего менее тех, которые над ним трудятся. Как холодного пепла остается тем больше, чем сильнее и ярче горело пламя, так и это просвещение тем более увеличивает необъяснимую грусть, чем жаднее приникаешь к нему вначале. Отсюда глубокая печаль всей новой поэзии, сменяющаяся кошунством или злобою; отсюда особенный характер господствующих философских идей. Все сумрачное, безотрадное неудержимо влечет к себе современное человечество, потому что нет более радости в его сердце. Спокойствие старинного рассказа, веселость прежней поэзии, какую бы красотой это ни сопровождалось, не интересует и не привлекает более никого: люди дико сторонятся от всего подобного, им невыносима дисгармония светлых впечатлений, идущих снаружи, с отсутствием какого-либо света в их собственной душе. И в одиночке, злобно или насмешливо высказываясь, они оставляют жизнь. Наука определяет цифры этих «оставляющих», указывает, в каких странах и когда оне повышаются и понижаются, а современный читатель, где-нибудь в одиноком углу, невольно думает про себя: «Что в том, что оне повышаются или понижаются, когда мне нечем жить, — и никто не хочет или не может дать мне то, чем можно жить!».

Отсюда — обращение к религии, тревожное и тоскливое, с пламенной ненавистью ко всему, что его задерживает, и вместе с ощущением бессилия слиться в религиозном настроении с миллионами людей, которые оставались в стороне от просветительного движения новых веков. Пламенность и скептицизм, глухое отчаяние и риторика слов, которую, за неимением лучшего, заглушается потребность сердца, — все удивительным образом смешивается в этих порывах к религии. Жизнь иссякает в своих источниках и распадается, выступают непримиримые противоречия в истории и нестерпимый хаос в единичной совести, — и религия представляется как последний, еще не испытанный выход из всего этого. Но дар религиозного чувства приобретается, быть может, труднее всех остальных даров. Уже надежды есть, бесчисленные извивы диалектики подкрепляют их; есть и любовь с готовностью отдать все ближнему, за малейшую радость его пожертвовать всем счастьем своей жизни, а, между тем, — веры нет; и все здание доказательств и чувств, нагроможденных друг на друга и взаимно скрепленных, оказывается чем-то похожим на прекрасное жилище, в котором некому обитать. Века слишком большой ясности в понятиях и отношениях, привычка и уже потребность

вращаться сознанием исключительно в сфере доказуемого и отчетливого настолько истребили всякую способность мистических восприятия и ощущений, что, когда от них зависит даже и спасение, она не пробуждается.

Все отмеченные черты глубоко запечатлелись на «Легенде»: она есть единственный в истории синтез самой пламенной жажды религиозного с совершенной неспособностью к нему. Вместе с этим в ней мы находим глубокое сознание человеческой слабости, граничащее с презрением к человеку, и одновременно любовь к нему, простирающуюся до готовности — оставить Бога и пойти разделить унижение человека, зверство и глупость его, но и вместе — страдание.

XX

10

Нам остается отметить еще последнюю черту этой «Легенды»: ее отношение к великим формам, в которые уже вылилось религиозное сознание европейских народов. В своем характере, в своем происхождении оно, это отношение, в высшей степени независимо: очень похоже на то, что человек, разошедшийся с религиозными формами какого бы то ни было народа и какого бы то ни было времени, начинает тревогами своей совести приводиться к мысли о религии и развивает ее самостоятельно, исключительно из этих тревог. Строго говоря, в ней только мелькают имена христианства и католицизма; но из первого взято для критики только высокое понятие о человеке, а из второго — презрение к нему и страшная попытка сковать его судьбы и волю индивидуальную мудростью и силой. Бурно, неодолимо развертывающаяся мысль, как будто почуяв в двух фактах истории что-то подобное себе, потянула их к себе, искажая и перемальвая их в оборотах диалектики, ничем, кроме законов души, в недрах которой она зародилась, не управляемой.

Абстрактный, обобщающий склад этой души сказался в том, что «Легенда» только опирается на внутренние потребности человеческой природы, но отвечает не им, а историческим противоречиям. Устроить судьбы человечества на земле, воспользовавшись слабостями человека, — вот ее замысел. И этою стороною своею она совпала с тем, что можно было предполагать в одной из установившихся форм религиозного сознания — в Римско-католической церкви. Отсюда фабула «Легенды», канва, в которую вотканы ее мысли. Но здесь, заговорив об ее отношении к предполагаемой католической идее, мы должны высказать взгляд вообще на взаимное соотношение трех главных христианских Церквей. В нем откроется и окончательная точка зрения, с которой следует смотреть на эту «Легенду» в ее целом.

Стремление к *универсальному* составляет самую общую и самую постоянную черту Католической церкви как стремление к *индивидуальному, особенному* — коренную черту Протестантизма. Но если бы мы предположили, что эти, различные в основе своей, черты оригинальны в самых Церквях или что оне каким бы то ни было образом вытекают из духа Христианства — мы глубоко ошиблись бы. Универсальность есть отличительная черта романских *рас*, как индивидуализм — германских; и только поэтому Христианство, распространяясь по Западной Европе, восприняло эти особые черты, встретившись с этими двумя противоположными типами народов. Что бы мы ни взяли, будем ли мы всматриваться

в одиночные факты или в общее течение истории, обратимся ли к праву, к науке, к религии, — всюду заметили мы, как управляющую идею, в одном случае направление к всеобщему, в другом — к частному. Правовые формулы Древнего Рима, абстрактные, как и его боги, так же годны для всякого народа и для всякого времени, как и принципы 89-го года, с их обращением к человеку, с стремлением на его праве утверждать и право француза. Искание всеобщего с уверенностью подвести под него все частное слишком ясно здесь сказывается. Философия Декарта, единственная великая у романских рас, так же пытается свести все разнообразие живой природы к двум великим типам существования, протяжению и мышлению, — как Гораций и Буало пытались свести к простым и ясным правилам порывы поэтического восторга, как Кювье свел к вечным немногим типам животный мир и целый ряд великих математиков Франции познание природы свели к познанию алгебры, найдя слишком конкретными даже геометрические чертежи. Интерес и влечение ко всеобщему и некоторая слепота к частному произвела все эти великие факты в умственном мире латинизированных рас; и им отвечают не менее великие факты их политической истории. Жажда объединять, сперва охватывая и, наконец, стирая индивидуальное, — есть не умирающая жажда Рима и всего, что вырастает из его почвы. Этот глубокий, бессознательный и неудержимый инстинкт заставил римские легионы, вопреки ясным расчетам, переходить из страны в страну, дальше и дальше, и наконец — туда, куда не захватывал уже и глаз и ум; и он же повлек миссионеров римского епископа сперва в Германию и Англию, а несколько веков спустя — в далекие и неизвестные страны центральной Африки, внутреннего Китая и дальней Японии. Сама Римская церковь, непреодолимо отвращаясь от всего частного, разбросанного и единичного, точно свертывалась в великие духовные ордена — явление, совершенно исключительное во всемирной истории, не связанное ни с какою чертою Христианства и возникшее во всех своих разнообразных формах и в разные времена на одной романской почве. Как будто дух монашества, дух отшельничества и уединения от мира, переселяясь на эту почву, — пошел в мир, чтобы подчинить его своим требованиям, понятиям, формам своего воззрения и своего быта. В то время как аскеты всех стран, времен и народов, отвращаясь от грешного человечества, бежали от него в пустыню и там спасали себя, аскеты Католической церкви, дружно соединяясь в одно, шли на это самое человечество, чтобы привести его к тому, о чем для себя одних они никогда не могли думать. С этим стремлением к универсальному неотделимо слилось у романских рас непонимание индивидуального, как бы слепота к нему, — неспособность всмотреться в его природу или пожалеть его страдания. Слова римского легата, говорившего воинам: «Убейте всех, Бог на Последнем Суде разделит католиков от еретиков», были сказаны, быть может, с слишком большою задумчивостью; по крайней мере, по хроникам с точностью известно, что крестоносное ополчение, двинувшееся на Лангедок, было одушевлено таким высоким религиозным духом, оно было так серьезно, что всякое наше желание принять эти слова за циничское кощунство — должно быть оставлено. Учение Кальвина, распространявшееся трудно по Франции, грозило ей гораздо меньшим, чем Германии пламя, зажженное Лютером; и, однако, Варфоломеевская ночь вспыхнула именно в ней. Члены одной и той же семьи истребляли друг друга, чтобы были одинаковы французы; как три века спустя, за другие принципы и с такою же жестокостью, члены Конвента истребляли отлич-

ных от себя людей во Франции, а потом и в собственных недрах своих, чувствуя тень всякого отличия в убеждениях — как преступление. Пренебрежение к человеческой личности, слабый интерес к совести другого, насильственность к человеку, к племени, к миру есть коренное и неуничтожимое свойство романских рас, сказавшееся в великих фактах Римской империи, французской централизации, в наступательных войнах католической реакции и первой революции, в орденах иезуитов, в инквизиции, в социализме *. Всегда и повсюду, с крестом или с пушками, под знаменами республики или под орлами Цезаря, во имя различных истин в разные эпохи народы, почуявшие в своих жилах римскую кровь, шли на другие мирные народы, чтобы, не заглядывая глубоко им в душу, заставить их принять формы своего мышления, своей веры, своего общественного устройства. Безжалостность к человеку и неспособность понять его, вместе с великою способностью устройства человечества, сделала народы эти как бы цементом, связующим в великое целое другие части, иногда неизмеримо более ценные, но всегда более мелкие. Ни что само по себе великое, истинное или святое не произведено романским гением; кроме одного — связи между всем великим, истинным и святым, что создано было другими народами, но почему оно и образует в целом свою историю. Отсюда притягательная сила форм всех романских цивилизаций; отсюда лиризм, вечное устремление к чему-то, которое нас поражает в католической музыке. Иные народы, хотя бы более глубокие и содержательные, непреодолимо приковываются к этим цивилизациям, к этой Церкви, науке, литературе. В них всех пробуждается тайный инстинкт *единства*, и они с тоскующим чувством гасят свой высший гений, и идут, и сливаются с чудным зданием, вековечным, всевозрастающим, холодным, но и прекрасным.

Дух германской расы, наоборот, повсюду и всегда, что бы его ни занимало, устремляется к *гастному, особенному, индивидуальному*. В противоположность обнимающему взгляду романца, взгляд германца есть пронизывающий, и отсюда — все особенности их права, науки, церкви, поэзии. Человеческая совесть вместо судеб человечества, домашний быт взамен политических столкновений, созерцание глубин собственного я вместо познания мира — все это различные последствия одного факта. Можно считать за результаты великого недоразумения принадлежность германских народов к Католической церкви, и она сохранялась столько веков потому лишь, что они не видели истинных стремлений Рима, ни Рим не всматривался слишком подробно и близко в то, что было за Альпами. Реформационное движение, обнимающее два века и разделившее Европу на два пышущие враждою лагеря, было только обнаружением этого недоразумения, удивительным равно для обеих сторон, с тех пор и навечно разошедшихся. Когда Лютер, бедный августинский монах, забыв о своем ордена, об империи, о всемир-

* Разумею идеи Фурье, Сен-Симона, Кабе, Луи-Блана и др., в которых социализм зародился как мечта, как страстное и тоскливое желание, прежде чем впоследствии стал обосновываться, оправдывая эту мечту, научно. Можно вообще заметить, что как республика Фабиев и империя Августов была романскою попыткою объединить человечество правом, так Католицизм был романскою же попыткою объединить его в религии, и социализм является стремлением, зародившимся также в романских расах, — объединить его на экономической основе. Из этого видно, как, при изменяющихся средствах, *цель* романского духа остается одна на протяжении двух тысячелетий, т. е. всего их исторического существования.

ной Церкви и только прислушиваясь к тревогам своей совести, твердо сказал, что он не признает себя заблуждающимся, пока ему не докажут этого «словом Божиим», — в нем, в этом упорном противопоставлении своего я всему миру, впервые высказалась германская сущность и стала твердым фактом в истории, отныне не покоряющимся, но покоряющим. Мир религиозных сект, отсюда выросших, это странное исповедание Бога по-своему чуть не в каждой местности, без какого-либо желания согласовать свою веру с верою других, есть в сфере религиозного сознания то же, чем был ранее в сфере общественно-политической феодализм *, это другое странное желание делать повсюду центром своих понятий и интересов личное я, как нечто безусловное, что ни с чем не согласуется, но с чем должно согласоваться все другое. Наконец, третий великий факт, внесенный германскою расою в историю, — ее особый способ воззрения на природу, ее философия — есть также только последствие этого направления души. Как в сфере религиозной, как в сфере политической, так и здесь, в умственной области, собственное я было признано высшими выразителями этой расы за источник норм, граней и связей, какие мы наблюдаем в природе. И углубленное изучение мира, которое для всех народов от начала истории было любопытным рассматриванием его и размышлением о виденном, — для ряда великих прозорливцев, начиная с Канта, стало только познанием сокровенных движений собственного внутреннего существа. «Разум диктует свои законы природе», «мир есть мое представление», он есть «развитие *идеи, мною* сознанный», все эти слова, с удивлением выслушанные и повторенные Европою, так глубоко predeterminedены особым психическим складом германской расы, что, думая о них и длинном ряде доводов, на который они, по-видимому, беспристрастно опираются, мы, наконец, совсем теряем границу между предметным познанием и субъективною иллюзией и спрашиваем: какие же есть средства для человека пробиться сквозь условия века, места и племени? И как, будучи столь связан даже этими условиями, он мог когда-нибудь надеяться переступить даже через условия своей человеческой организации и достигнуть знания абсолютного по полноте и истинности?

И что бы другое, более мелкое, мы ни взяли, повсюду отметим на нем то же тяготение германского духа к частному. Его поэзия, в противоположность героической поэзии романских народов, избрала предметом своим мир частных отношений, семью вместо форума, сердце простого бюргера взамен высокого долга и сложных забот короля, завоевателя или их советников. Мещанская драма, нра-

* Сущность феодализма едва ли не удачнее всего выражена в этой средневековой поговорке: «Chaque seigneur est Souverain dans sa seigneurie» <«Каждый сеньор — властитель в своей сеньории» — *фр.*>, где не политическая связь, не экономические отношения, но именно провинциализм, если так можно выразиться, воли указан как главная особенность всего жизненного строя. Замечательно, что формула эта выразилась на французском языке, т. е. сложилась в уме гораздо более способном к обобщению, к улавливанию соединяющих черт в комплексе разнородных явлений, хотя ее предметом служит учреждение бесспорно германского происхождения (территория распространения феодализма есть в то же время и территория расселения германского племени, которое в первые века нашей эры замешалось и в исключительно романские до того времени страны). Исчезнув во всех странах с преобладающею романскою кровью, он, однако, сохранился доселе как политический партикуляризм в чисто германских.

вописательный роман и к ним примыкающая деятельность Лессинга и Аддисона, наконец, даже Гёте, с миром неопределенных внутренних тревог своего Фауста, — все это, на чем мы хотели бы видеть печать личного гения, носит на себе только печать гения своего народа. Понимание индивидуального в праве создало в далеком сумраке средних веков суд 12 присяжников, которые выносят приговор из глубины своей совести, а не находят его в заранее предустановленной норме общего для всех случаев закона. Оно же непреодолимо отвращает английский народ от кодификации законов своих, растянувшихся на тысячелетие, и вызвало глубокомысленные исследования немецких ученых над правом средневековым, над историческим его развитием, наконец, над правом всех народов, где, наряду с самым высоким, внимательно обсуждается и самое первобытное. Слова великого Гердера, что *«каждое время и каждое место живет для себя самого»*, открыли истинную эру в понимании истории, указав на мир индивидуального и своеобразного, который должен быть познан в ней. И как удивительно этим словам, обнимающим смысл того, что жило и умерло, отвечают слова другого мыслителя Германии, обращенные к совести всего живого: *«Смотри на всякого, себе подобного, как на цель, которая никогда и ни для чего не может быть средством»*. Это царство целей, для себя существующих, эта нравственная монадология Канта в какой живой связи находится с идеями Лейбница, — и весь он, этот германский мир, точно рассыпавшийся на мириады средоточий, из которых каждое только себя чувствует и *через себя* все познает, всему верует, на все действует, — как удивительно этот мир соответствует тому другому миру, о котором мы говорили ранее, что он обнимает, господствует, определяет формы, но бессилён создать какое-нибудь содержание. Точно эти две противоположные и соответствующие одна другой расы отражают края какой-то великой ступни, которой движения делают историю, влекут века и разделяют народы, в своем свободном гении лишь отпечатлевающие волю иного чего-то и высшего, в чью мысль прозреть им никогда не суждено.

Безбрежный мистицизм протестантства, жажда залить подвигом где-нибудь среди дикарей великую грусть своего сердца так же чувствуется в германской расе, как тоскующее желание — в звуках романской музыки, ее поэзии, в неустанной деятельности ее великих политиков. Непреодолимо разъединенные и вечно ощущая недостаток другого, оне полны внутренней дисгармонии и эту дисгармонию из глубины своего духа вносят в жизнь и в историю, которую создают. Их вечная борьба и неустанное созидание есть только борьба противоположностей, которые никогда не смогут понять друг друга, и подготовка формы и содержания, которые не сливаются в живое целое. Отсюда чувство неудовлетворительности, разлитое по всей истории, вечное достижение и недовольство всем достигнутым.

XXI

Внесение гармонии в жизнь и в историю, соединение красок и полотна в живую картину — вот что не выполнено человеком на земле и чего так страшно недостает ему. Недостает «пальмовых ветвей» и «белых одежд», внутреннего мира

и радости, чтобы благословить Бога, свою судьбу, благословить друг друга и всякое дело рук своих.

Каким внутренним движением совершится это, как ощутится тот восторг души, которого хватит на утоление всякой скорби, на примирение всякой ненависти, — этого мы не можем знать. Мы можем только жаждать и ожидать этого, да уж и жаждает и ожидают все народы как чего-то должного и необходимого.

Раса, последнею выступившая на историческое поприще, к которой принадлежим и мы, в особенностях своего психического склада несет наибольшую способность выполнить эту великую задачу. Одинаково чуждая стремления как к внешнему объединению разнородных элементов, так и к безграничному уединению каждого элемента внутри себя, она исполнена ясности, гармонии, влечения к внутреннему согласованию как себя со всем окружающим, так и всего окружающего между собою через себя. Взамен насильственного стремления романских рас все соединить единством формы, не заглядывая в индивидуальный дух и не щадя его, и взамен упорного стремления германских рас отъединиться от целого и уйти в нескончаемый мир подробностей, — раса славянская входит как внутреннее единство в самые разнообразные и, по-видимому, непримиримые противоположности. Дух сострадания и терпимости, которому нет конца, и одновременно отвращение ко всему хаотичному и сумрачному заставляя ее, без какой-либо насильственности, медленно, но и вечно созидать ту гармонию, которая почувствуется же когда-нибудь и другими народами; и, вместо того чтобы, губя себя, разрушать ее, они подчинятся ее духу и пойдут, утомленные, ей навстречу.

Сознание недостаточности тех идеалов, которые преследуются другими расами, всего более может сосредоточить наши силы на собственном. Мы должны, наконец, понять, что все неисчислимо страдание, которое несет человек в истории и благословляет его, потому что оно дало ему будто бы «познание добра и зла», в действительности несет все-таки напрасно, и он так же далек от этого познания, как и тогда, когда впервые протянул к нему руку. Непереступаемые границы, которыми определен он и связан, дают ему только просвет к этому познанию, тревожащий его и дразнящий, но через который никогда не суждено ему взглянуть прямо на солнце правды. И мы должны также понять, что неустанное стремление «соединить рассыпавшееся стадо» человечества только разделило его непримиримую враждою, и она всегда становилась тем яростней, чем страстнее и насильственнее были самые попытки к соединению. Поняв это, мы сознаем, как обманчиво то величие, к которому влекся человек в своей истории. Смирив свой дух, мы увидим, что его задачи на земле ограниченнее. Перестав вечно обращаться мыслью и желанием к чему-то далекому, мы снова почувствуем полноту сил, возвратившихся к нам из бесплодного скитания. И мы поймем, как только произойдет это, высоту тех задач, которые ранее казались нам так незначительными и неинтересными. Мы поймем, что успокоить одно встревоженное сердце, утолить чью-нибудь тоску — это больше и выше, нежели сделать самое блестящее открытие или удивить мир ненужным подвигом. Подвиги наши станут к нам близки, они сведутся к утишению той скорби, которою залил себя мир в своих бесплодных стремлениях. И одновременно с тем, как покорится наша гордость, возрастет наше истинное достоинство. Поняв слабость своих сил перед великими целями, мы перестанем бросать человеческую личность к подножию их. Мы не будем более громоздить страдание на страдание, чтобы подняться на

высоту, откуда нас видели бы самые далекие народы и будущие времена. Мы поймем абсолютную значительность человека, поймем, что радость и свет в его сердце, на каждом отдельном лице — есть высшее, лучшее и драгоценнейшее в истории.

Осуществление и разлитие этой гармонии в жизни вовсе не сознается как высшая задача человека на земле. Долго еще не «перекуются мечи на орала», и, конечно, перекуются они силою внутренней радости, а не путем внешнего логического сознания. Последнее, даже и предпочитая «орала», предварительно накует мечей, чтобы ими погнать людей к оралам. Но не будем обращаться к тревожным мыслям — оне исчерпаны «Легендою». Мы же, ища, чем побороть их, обратимся к рассмотрению третьей великой ветви, на которую распался христианский мир.

Как Католицизм есть романское понимание Христианства и протестантизм — германское, так Православие есть его славянское понимание. Хотя корни его держатся в греческой почве * и на этой же почве сложились его догматы, но весь тот особенный дух, которым он светится в истории, живо отражает на себе черты славянской расы. И он-то именно значущ в исторических судьбах народов, а не догматические различия, которые, по-видимому, одни разделяют Церкви и кажутся так легко устранимы. Без сомнения, не filioque вызвало инквизицию, хотя инквизиция была только там, где и filioque. Догматическая разница совпадала с характером, с направлением и духом, который не имеет никакой связи с нею и вытекает исключительно из расовых особенностей романского племени. И если бы этой разницы не было, можно быть уверенным, что народы германские и славянские все равно неудержимо разошлись бы в понимании Христианства и его практике с народами романскими и потом разошлись бы еще между собой. И теперь потому так упорно каждая Церковь противится слиянию с которою-нибудь другой, что в сущности не в догматах только, но во всем своем внутреннем сложении, в каждой черте своего характера, она есть нечто глубоко своеобразное и совершенно особенное от прочих Церквей. И это потому, что жизнь, которая бьется в них, бьется в каждой по особому тпу.

И, однако, одно Евангелие и один дух светится в нем. Если мы захотим себе дать отчет, который же из трех типов жизни соответствует ему, мы непреодолимо и невольно должны будем сказать, что это — дух Православия. Когда нам будут указывать на неизъяснимое величие Католицизма, на безбрежность мысли, заложенной в нем, которою он увит и обоснован с седой схоластики и до наших дней, — мы согласимся со всем этим и признаем также, что ничего подобного нет в нашей Церкви и ее истории. Если нам будут указывать на все плоды протестантизма, на эту богобоязненность жизни, на свободу критики в нем и высокое просвещение, которое отсюда вытекло, — мы скажем, что все это видим и никогда не закрывали на это глаза. Мы спросим только: но христианство, но дух евангельский, но то, чему учил нас словом и жизнью Спаситель? Ничего нет у нас, ни высоких подвигов, ни блеска завоеваний умственных, ни замыслов направить пути истории. Но вот перед вами бедная церковь, вокруг рассеянные, около нее группирующиеся домики. Войдите в нее и прислушайтесь к нестройному пению

* Мы, впрочем, должны помнить, до какой степени эта почва в первые же века нашей эры, в эпоху передвижения народов, пропиталась славянскими элементами.

дьячка и какого-то мальчика, Бог знает откуда приходящего помогать ему. Седой высокий священник служит всенощную. Посреди церкви, на аналое, лежит образ, и неторопливо тянутся к нему из своих углов несколько стариков и старух. Всмотритесь в лица всех этих людей, прислушайтесь к голосу их. Вы увидите, что то, что уже утеряно всюду, что не приходит на помощь любви и не укрепляет надежду, — *вера* — живет в этих людях. То сокровище, без которого неудержимо иссякает жизнь, которого не находят мудрые, которое убегает от бессильно жаждущих и гибнущих, — оно светится в этих простых сердцах; и те страшные мысли, которые смущают нас и тяготят мир, очевидно, никогда не тревожат их ум и совесть. Они имеют веру и с нею надеются, при ее помощи любят. Что в том, что дьячок невнятно читает на клиросе молитвы: но он верит смыслу их, и те, которые слушают его, несколько не сомневаются, что за этот смысл он умрет, если будет нужно, и внидет в царство небесное; как и все они умрут и по делам своим примут мзду, к которой готовятся.

С этим покоем сердца, с этою твердостью жизни могут ли сравниваться экзальтация протестантизма и всемирные замыслы великой и гибнущей Церкви? Уныние в первом, тоскующее желание во второй не есть ли симптомы утраты чего-то, без чего храм остается только зданием и толпа молящихся — только собравшаяся толпою? И весь блеск искусств, которым они окружают себя, эта несравненная живопись, эта влекущая музыка, эти величественные кафедры — не вытекает ли все это из желания пробудить в себе то, что в тех бедных молящихся никогда не засыпало, найти утраченное, что в той невидной церкви не было потеряно. Весь необъятный порыв желания, которым полна и трепещет Европа, не есть ли только желание залить великую грусть, которую она хочет и не может пересилить; и вся красота, величие и разнообразие ее жизни, ее цивилизации не напоминает ли великолепную ризу, в которую никогда более не облечется священник?

Так-то произошло в истории это необъяснимое и глубокое явление, по которому у «неимущего отнялось и имущему прибавилось». В прекрасном евангельском образе Марии и Марфы, принявших в свой дом Спасителя, как будто высказаны эти неисповедимые судьбы Церкви. Марфа, когда вошел Он, смутилась и заторопилась; она думала о богатом угощении и, в хлопотах о них, забыла даже о Том, для Кого они. «Мария же, сестра ее, села у ног Иисуса и слушала слово Его». Измученная и раздраженная на нее, Марфа подошла к Учителю и сказала: «Господи, или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить?». И тогда произнес Он слова, в которых звучит смысл всей жизни и истории: «Ты заботишься о многом, Марфа, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее».

Нашей Святой Церкви, по неисповедимым путям Промысла, суждено было избрать это «единое», которое только и нужно. Она только верила в Спасителя, слушала слово Его. Будем молиться, чтобы эта вера никогда не была отнята у нас, и не будем, по завету Учителя, сожалеть, что наши суетливые сестры так много успели сделать.

XXII

Насколько иссякает в нас сокровище веры, настолько мы начинаем тревожиться идеалами, которыми живут другие Церкви*, — безбрежным развитием внутреннего чувства и субъективного мышления или заботами о судьбах человечества и его внешнем устройении. Этими заботами мы силимся наполнить пустоту, которая образуется в нашей душе с утратой веры, и это происходит всякий раз, когда почему-либо мы теряем живые связи со своим народом. «Легенда о Великом Инквизиторе» есть выражение подобной тревоги, — высшее, какое когда-либо появлялось; потому что пустота, которую она замещает, — зияющая, в которой дно не только очень глубоко, но, кажется, его и совсем нет. Вспомним слова Ивана в ответ Алеше: «Наконец-то ты *догадался*», — и на что́ они были отвечены. ¹⁰

В этом смысле, т. е. в отношении к нашей исторической жизни, она есть самая ядовитая капля, которая стекла, наконец, и отделилась из той фазы духовного развития, которую мы проходим вот уже два века. Большей горечи, большего отчаяния и, прибавим также, большого величия в своем отрицании родных основ жизни мы не только не переживали никогда, но, нельзя в этом сомневаться, и не будем переживать. «Легенда» вообще есть нечто единственное в своем роде. Шутливые и двумысленные слова, которыми Фауст отделяется от вопросов Маргариты о Боге, темнота религиозного сознания в Гамлете — все это только бедный лепет в сравнении с тем, что было сказано и что спрошено в маленьком трактате за перегородкой, куда прихотливо наш великий художник ввел выразителей своих дум, а потом, раздвинув века, — показал чудную картину явления Христа «смердному и страдающему человечеству» и, введя Его в мрачное подземелье инквизиции, — снова показал оттуда далекую пустыню полторы тысячи лет назад, и в ней Его, готового выступить на спасение человеческого рода, и перед ним Искусителя, который говорит, что это *не нужно*, что *не сумеет* Он спасти людей, не зная их *истинной природы*, и ранее или позже за это спасение придется взяться ему, лучше знающему эту природу и... *любящему людей не менее, нежели Он*. ²⁰

Черты истинно сатанинские, не то́, что́ мог бы подумать человек о Злом Духе, его подстерегающем, но что́ мог бы сказать о себе сам Злой Дух, — удивительным и непостижимым образом вылились в этой «Легенде». Алеша, бедный, трепещущий Алеша, только еще растущий, бессильно поднимающий руки к небу, — истинное олицетворение малого роста в огромном гниющем семени жизни — как бы разбит и подавлен этим мощным исповеданием зла, признаниями «умного Духа пустыни, Духа смерти и разрушения». Повторяем, образы Инквизитора, студента, самого художника и Искушающего Духа, который стоит за всеми ими, мелькают один из-за другого, теряют резкость индивидуальных очертаний и сливаются в одно существо, голос которого мы слышим и понимаем, лица же и имени его не различаем. Как бы растерянный, не находя ни в чем опоры, он хватается за свое сердце, за ту *жизнь*, которая в нем бьется, законов которой он не знает, — и знает, однако, что она хороша. В непостижимой силе и красоте жизни, нам дан- ⁴⁰

* Здесь видим мы объяснение неудержимого влечения к слиянию с другими Церквями, которое время от времени высказывают у нас иные.

ной и нами благословляемой, но и непостижимой для нас, таинственной, он находит эту опору против Злого Духа:

«Брат, как же ты будешь жить?» — спрашивает он.

В этом восклицании и лежит весь смысл и вся сила опровержения: признание ограниченности своего ума, который даже такого близкого, нам родного явления, как жизнь, не может не только постигнуть, но и сколько-нибудь приблизиться к его пониманию и уже, конечно, не в силах постичь строение мироздания и источники добра и зла. Прилепленные к жизни, даже «не понимая ее смысла», мы непреодолимо начинаем думать, что есть в ней нечто неизмеримо более глубокое, нежели тот жалкий смысл, который мы хотели бы в ней видеть, и, найдя только его, готовы были бы примириться с нею, «принять ее». Ощущение мистического, в чем коренится наше бытие, хотя мы его не видим, наполняет нашу душу, смиряет наш ум, но и возвращает нам силу жизни. «Прав Ты, Господи, и неисповедимы пути Твои», — невольно говорим мы в своей душе, когда после всех неизъяснимых тревог и мук сознания снова возвращаемся к покою простой веры, к этому прочному следствию исповедания непостижимого.

С прочностью веры этой соединены и надежды наши. В «Легенде», которую мы разбирали, есть один пропуск: говоря об «оправданных», она ничего не говорит о *прощенных*. Между тем, тотчас после слов Откровения, в которых сказано, что первых будет сто сорок четыре тысячи, сделано радостное обетование *и об остальных*. Мы приведем это обетование, и пусть святые звуки его превозмогут тот сумрак и отчаяние, среди которого мы так долго вращались, говоря о «Легенде»:

«После сего взглянул я, — говорит Св. Иоанн о своем видении, — и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло перед Престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих.

И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на Престоле, и Агнцу!

И все Ангелы стояли вокруг Престола и старцев и четырех животных, и пали перед Престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: „Аминь, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь и сила, и крепость Богу нашему во веки веков“.

И, начав речь, один из старцев спросил меня: сии облеченные в белые одежды кто и откуда пришли?

Я сказал ему: Ты знаешь, господин. И он сказал мне: Это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили их кровью Агнца.

За это они пребывают ныне пред Престолом Бога и служат Ему день и ночь в Храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них.

Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной.

Ибо Агнец, который среди Престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их» (гл. VII, ст. 9—17).

В великом образе этом явлено заключение земных судеб человека. В словах книги Бытия, приведенных нами в самом начале *, указана исходная точка, отку-

* В эпиграфе.

да начались его скитания. Сама же «Легенда» — это горький его плач, когда, потеряв невинность и оставленный Богом, он вдруг понял, что теперь совершенно один, со своею слабостью, со своим грехом, с борьбою света и тьмы в душе своей.

Преодолевать эту тьму, помогать этому свету — вот все, что может человек в своем земном странствии и что он должен делать, чтобы успокоить свою встревоженную совесть, так отягощенную, так больную, так неспособную более выносить свои страдания. Ясное познание того, откуда этот свет и откуда тьма, может более всего укрепить его надеждою, что не вечно же суждено ему оставаться ареною борьбы их.

Приложения

10

К стр. 13. «В «Легенде о Великом Инквизиторе» схоронена заветная мысль автора, без которой не были бы написаны не только «Братья Карамазовы», но и многие другие его произведения; по крайней мере, не было бы в них всех самых лучших и высоких мест».

Первая слагающая идея этой «Легенды»: *о неустроимости природы геловегеской рационально*, выражена Достоевским впервые и всего подробнее в 1856 г. в «Записках из подполья» — *диалектически*, и потом в 1866 г. *образно* — в «Преступлении и наказании».

«О, скажите, кто это первый объявил, кто первый провозгласил, что человек *потому* только делает пакости, *кто не знает* настоящих своих интересов; а что, если б его *просветить, открыть ему глаза на его настоящие, нормальные интересы*, то человек тотчас же перестал бы делать пакости, тотчас же *стал бы добрым и благородным*, потому что, будучи просвещенным и понимая настоящие свои выгоды, именно *увидел бы в добре* собственную свою выгоду, а известно, что ни один человек *не может действовать*, зазнамо, *против собственных* своих выгод, следственно, так сказать, *по необходимости стал бы делать добро?* О, младенец! О, чистое, невинное дитя! Да когда же, во-первых, бывало, во все эти тысячелетия, чтоб человек действовал только из одной своей собственной выгоды? Что же делать с миллионами *фактов*, свидетельствующих о том, как люди *зазнамо*, то есть *вполне понимая* свои настоящие выгоды, *отставляли их на второй план* и *бросались на другую дорогу, на риск, на авось*, никем и ничем не принуждаемые к тому, а как будто *именно* только *не желая указанной дороги*, и упрямо, своевольно пробивали другую, *трудную, нелепую*, отыскивая ее чуть не в потемках. Ведь, значит, им действительно это *упрямство и своеволие* было *приятнее всякой выгоды...* Выгода! Что такое выгода? Да и берете ли вы на себя совершенно точно определить, в чем именно человеческая выгода состоит? А что, если так случится, что человеческая *выгода, иной раз, не только может, но даже и должна именно в том состоять, чтоб в ином слугае себе худого пожелать, а не выгодно?** А если так, если только может быть этот случай, то все правило прахом пошло. Как вы дума-

* Бентам: «...возражающие против принципа пользы, собственно говоря, утверждают, что *есть слугаи, когда сообразоваться с пользою — было бы несообразно с нею*» («Введение в основания нравственности и законодательства», гл. I, 13). Он думал — это неопровержимо; логически — так, но психологически — слишком легко опровергается.

ете, бывает ли такой случай? Вы смеетесь; смейтесь, господа, но только отвечайте: *совершенно ли верно сожитаны выгоды геловегеские?* Нет ли *таких, которые* не только не уложились, но и не могут уложиться ни в какую классификацию? Ведь вы, господа, сколько мне известно, весь ваш реестр человеческих выгод взяли средним числом из статистических цифр и из научно-экономических формул. Ведь ваши *выгоды* — это *благоденствие, богатство, свобода, покой*, ну и так далее, и так далее, так что человек, который бы, например, явно и зазнамо пошел *против* всего *этого реестра*, был бы, по-вашему, ну да и, конечно, по-моему, — обскурант или совсем сумасшедший, так ли? Но ведь вот что удивительно: отчего это так происходит, что все эти статистики, мудрецы и любители рода человеческого, при исчислении человеческих выгод постоянно *одну выгоду пропускают?* Даже и в *расчет* ее не берут в том виде, в каком ее следует брать, а *от этого и весь расчет зависит*. Беда бы не велика, взять бы ее, эту выгоду, да и занести в список. Но в том-то и пагуба, что *эта мудреная выгода ни в какую классификацию не попадет и ни в один список не умещается*. У меня, например, есть приятель... Эх, господа, да ведь и вам он приятель; да и кому, кому он не приятель! Приготовляясь к делу, этот господин тотчас же изложит вам, велеречиво и ясно, как именно надо ему поступить по законам рассудка и истины. Мало того, с волнением и страстью будет говорить вам о настоящих, нормальных человеческих интересах; с насмешкой укорит близоруких глупцов, не понимающих ни своих выгод, ни настоящего значения добродетели, и — ровно через четверть часа, без всякого внезапного, постороннего повода, а именно *по тому-то такому внутреннему, что сильнее всех его интересов, — выкинет совершенно другое колено, то есть явно пойдет против того, об чем сам и говорил: и против законов рассудка, и против собственной выгоды*, ну, одним словом, против всего... Предупрежду, что мой приятель — лицо собирательное, и потому только его одного винить — как-то трудно. То-то и есть, господа: *не существует ли и в самом деле нечто такое, что почти всякому геловеку дороже самых лугших его выгод, или (чтоб уж логики не нарушать) есть одна такая самая выгодная выгода (именно пропускаемая-то, вот об которой сейчас говорили), которая главнее и выгоднее всех других выгод и для которой геловек, если понадобится, готов против всех законов пойти, то есть против рассудка, гести, покоя, благоденствия*, — одним словом, против всех этих прекрасных и полезных вещей, лишь бы только достигнуть этой первой первоначальной, самой выгодной выгоды, которая ему дороже всего.

— Ну, так все-таки „выгоды же“, — перебиваете вы меня. — Позвольте-с, мы еще объяснимся, да и не в каламбуре дело, а в том, что эта выгода именно тем и замечательна, что все *наши классификации разрушает и все системы, составленные любителями рода геловегеского для счастья рода геловегеского, постоянно разбивает*. Одним словом, всему мешает. Но прежде, чем я вам назову эту выгоду, я хочу себя компрометировать лично и потому дерзко объявляю, что все эти прекрасные *системы*, все эти *теории* разъяснения человечеству настоящих нормальных его интересов с тем, чтоб оно, необходимо стремясь достигнуть этих интересов, стало бы тотчас же добрым и благородным, — покамест, по моему мнению, одна логистика! Да-с, логистика. Ведь утверждать хоть эту *теорию обновления* всего *рода геловегеского посредством системы его собственных выгод*, ведь это, по-моему, почти то же... ну, хоть утверждать, например, вслед за Боклем, что от цивилизации человек смягчается, следственно, становится менее кровожаден

и менее способен к войне. По логике-то, кажется, у него так и выходит. Но до того человек пристрастен к системе и к отвлеченному выводу, что готов умышленно исказить правду, готов видом не видать и слухом не слышать, только чтоб оправдать свою логику. Потому и беру этот пример, что это слишком яркий пример. Да оглянитесь кругом: кровь рекою льется, да еще развеселым таким образом, точно шампанское! Вот вам все наше девятнадцатое столетие, в котором жил и Бокль. Вот вам Наполеон — и великий, и теперешний. Вот вам Северная Америка — вековечный союз. Вот вам, наконец, карикатурный Шлезвиг-Гольштейн... И что такое смягчает в нас цивилизация? *Цивилизация вырабатывает в человеке только многосторонность ощущений и... решительно ничего больше!* А через развитие этой многосторонности человек еще, пожалуй, дойдет до того, что *отыщет в крови наслаждение*. Ведь это уж и случалось с ним. Замечали ли вы, что *самые утонченные кровопроливцы почти сплошь были самые цивилизованные* господа, которым все эти разные Атиллы, да Стеньки Разины иной раз в подметки не годились, и если они не так ярко бросаются в глаза, как Атилла и Стенька Разин, так это именно потому, что они слишком часто встречаются, слишком обыкновенны, примелькались. *По крайней мере, от цивилизации человек стал если не более кровожаден, то уж наверное хуже, гаже кровожаден, чем прежде*. Прежде он видел в кровопролитии справедливость и с спокойною совестью истреблял кого следовало; теперь же мы хоть и считаем кровопролитие гадостью, а все-таки эту гадостью занимаемся, да еще больше, чем прежде. Что хуже? — Сами решите. Говорят, Клеопатра (извините за пример из римской истории) любила втыкать золотые булавки в груди своих невольниц и находила наслаждение в их криках и корчах. Вы скажете, что это было во времена, говоря относительно, варварские; что и теперь времена варварские, потому что (тоже говоря относительно) и теперь булавки втыкаются; что и теперь человек хоть и научился иногда видеть яснее, чем во времена варварские, но еще далеко не *приугодился* поступать так, как ему разум и науки указывают. Но все-таки вы совершенно уверены, что он непременно приучится, когда совсем пройдут кой-какие старые, дурные привычки, и когда здравый смысл и наука вполне перевоспитают и нормально направят натуру человеческую. Вы уверены, что тогда *человек* и сам *перестанет добровольно ошибаться* и, так сказать, поневоле *не захочет разнить свою волю с нормальными своими интересами*. Мало того: тогда, говорите вы, сама *наука научит человека* (хоть это уж и роскошь, по-моему), *что ни воли, ни каприза* на самом-то деле у него *и нет, да и никогда не бывало*, а что он *сам не более, как нечто вроде фортепианной клавиши или органного штифтика*; и что *сверх того — на свете есть еще законы природы*; так что все, что он ни делает, *делается вовсе не по его хотенью, а само собою, по законам природы*. Следственно, эти законы природы стоит только *открыть*, и уж *за поступки* свои человек *отвечать не будет и жить* ему будет *чрезвычайно легко*. Все *поступки* человеческие, само собою, будут *рас-*

Тогда-то, — это все вы говорите, — настанут *новые экономические отношения*, совсем уж *готовые и тоже вычисленные с математической точностью*, так что

в один миг *исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы*. Тогда выстроится хрустальный дворец. Тогда... Ну, одним словом, тогда прилетит птица Каган. Конечно, никак нельзя гарантировать (это уж я теперь говорю), что тогда не будет, например, ужасно скучно * (потому что ж и делать-то, когда все будет расчислено по табличке), зато все будет чрезвычайно благообразно. Конечно, от скуки чего не выдумаешь! Ведь и золотые булавки от скуки втыкаются, но это бы все ничего. Скверно то (это опять-таки я говорю), что, чего доброго, пожалуй, и золотым булавкам тогда обрадуются. Ведь глуп человек, глуп феноменально. То есть он хотя и вовсе не глуп, но уж зато неблагодарен так, что поискать другого — так не найти. Ведь я, например,нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того, ни с сего, среди всеобщего будущего благообразия возникнет какой-нибудь джентльмен, с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливою физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благообразие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтоб все эти логарифмы отправились к чорту, и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить **. Это бы еще ничего, но обидно то, что ведь непременно и последователей найдет: так человек устроен. И все это от самой пустейшей причины, об которой бы, кажется, и упоминать не стоит: именно оттого, что человек всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода; хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда и положительно должно (это уж моя идея). Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, — вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к чорту. И с чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то *нормального*, какого-то *добродетельного хотения*? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно *благообразно-выгодного хотения*? Человеку надо одного только — *самостоятельного хотения*, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела. Ну и хотенье ведь...

* * *

— Ха-ха-ха! Да ведь хотения-то, в сущности, если хотите, и нет, — прерываете вы с хохотом. Наука даже по сю пору до того успела разанатомировать человека, что уж и теперь нам *известно, что хотенье и так называемая свободная воля — есть* не что иное, как...

* См. ниже, в этих же приложениях, о скуке при будущем окончательном устройении людей, — и о необходимости утолить ее, рассеять хотя бы ценою крови, временно и преднамеренно поэтому допускаемой.

40 ** В одной из своих критических статей г. Н. Михайловский возражает на это, что «подобного господина свяжут и уберут». Но это — механический ответ, не разрешающий психологическую задачу. И Достоевский знал, что «убрать» можно, но уже не «уберешь», когда подобных будут тысячи, когда встанет человечество, не насыщенное «арифметикой». Д — ий берет задачу *насыщения*, и кто хочет отвечать ему — должен отвечать именно на *эту* вопрос.

— Пойдите, господа, я и сам так начать хотел. Я, признаюсь, даже испугался. Я только что хотел было прокричать, что *хотенье*, ведь, *горт знает от tego зависит* и что *это, пожалуй, и слава Богу*, да вспомнил про науку-то и... осекся. А вы тут и заговорили. Ведь в самом деле, ну, *если и вправду найдут когда-нибудь формулу всех наших хотений и капризов*, то есть *от tego они зависят, по каким именно законам происходят, как именно распространяются, куда стремятся в таком-то и в таком-то слугае* и проч., то есть настоящую *математическую формулу*, — так ведь тогда *геловек тотчас же, пожалуй, и перестанет хотеть*, да еще, пожалуй, *и наверное перестанет*. Ну, *что за охота хотеть по табличке?* Мало того: тотчас же обратится он из *геловека в органиный штифтик* или вроде того; потому, *что же такое геловек без желаний, без воли и без хотений*, как не штифтик в органном вале? Как вы думаете? Сосчитаем вероятности, — может это случиться или нет?

— Гм... — решаете вы, — наши хотенья большею частью бывают ошибочны от ошибочного взгляда на наши выгоды. Мы *потому и хотим* иногда чистого *вздору*, *что в этом вздоре видим*, по глупости нашей, легчайшую *дорогу к достижению какой-нибудь заранее предположенной выгоды*. Ну, а *когда все это будет растолковано, расчислено* на бумажке (что очень возможно, потому что гнусно же и бессмысленно заранее верить, что иных законов природы человек никогда не узнает), — то *тогда*, разумеется, *не будет так называемых желаний*. Ведь, если *хотенье стукнется* когда-нибудь совершенно с *рассудком*, так, ведь, уж мы *будем* тогда *рассуждать, а не хотеть*, собственно, потому, что ведь *нельзя же*, например, сохраняя *рассудок, хотеть бессмыслицы* и, таким образом, *зазнамо идти против рассудка и желать себе вредного...* А так как все *хотенья и рассуждения могут быть* действительно *вычислены*, потому что когда-нибудь откроют же *законы* так называемой нашей *свободной воли*: то, стало быть, и, кроме шуток, может *устроиться* что-нибудь *вроде таблички*, так что мы, и действительно, *хотеть будем* по этой *табличке*. Ведь если мне, например, когда-нибудь расчислят и докажут, что если я показал такому-то кукиш, так именно потому, что не мог не показать и что непременно таким-то пальцем должен был его показать, так что же тогда во мне *свободного-то* остается, особенно если я ученый и где-нибудь курс наук кончил? *Ведь я тогда вперед всю мою жизнь* на тридцать лет *рассчитать могу*; одним словом, *если и устроится это, так* ведь нам уж *негего будет делать*; все равно надо будет понять. Да и вообще мы должны не устая повторять себе, что непременно в такую-то минуту и в таких-то обстоятельствах — природа нас не спрашивается; что нужно принимать ее так, как она есть, а не так, как мы фантазируем, и если мы действительно *стремимся к табличке и к календарю*, ну, и... *хоть бы даже и к реторте**, то что же делать, надо принять и реторту! Не то она сама, без нас, примется...

— Да-с, но вот тут-то для меня и запятая! Господа, вы меня извините, что я философствовался; тут сорок лет подполья! Позвольте пофантазировать. Видите ли-с: *рассудок, господа, есть вещь хорошая, это бесспорно, но рассудок есть только рассудок и удовлетворяет только рассудочной способности геловека, а хотенье есть проявление всей жизни, то есть всей геловеческой жизни, и с рассудком, и со всеми погесываниями. И хоть жизнь наша, в этом проявлении, выходит* зачастую

* Т. е. к знаменитой реторте алхимиков, где, по известному рецепту и известным способом, изготовлялся человек — Homunculus.

дрянце, но все-таки — жизнь, а не одно только извлечение квадратного корня. Ведь я, например, совершенно естественно *хожу жить для того, чтобы удовлетворить всей моей способности жить, а не для того, чтоб удовлетворить одной только моей рассудочной способности*, то есть какой-нибудь одной двадцатой доли всей моей способности жить. Что знает рассудок? Рассудок *знает только то, что успел узнать (иного, пожалуй, и никогда не узнает: это хоть и не утешение, но отчего же этого и не высказать?)*, а *натура геловегеская действует вся целиком*, — всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно, и *хоть врет — да живет*. Я подзреваю, господа, что вы смотрите на меня с сожалением; вы повторяете мне, что вы смотрите на меня с сожалением; вы повторяете мне, что не может просвещенный и развитой человек, одним словом, такой, каким будет будущий человек, зазнамо захотеть чего-нибудь для себя невыгодного, что это — математика. Совершенно согласен, действительно математика. Но, повторяю вам в сотый раз, есть один только случай, только один, когда *геловек может нарочно, сознательно пожелать себе даже вредного, глупого, даже глупейшего*, а именно: *чтобы иметь право пожелать себе даже и глупейшего и не быть связанным обязанностью желать одного только умного*. Ведь это *глупейшее*, ведь этот свой *каприз* и в самом деле, господа, может быть *всего выгоднее* для нашего брата *из всего, что есть на земле*, особенно в иных случаях. А в частности, может быть *выгоднее всех выгод* даже и в таком случае, *если приносит нам явный вред и противоречит самым здоровым заключениям нашего рассудка о выгодах*, — потому что во всяком случае сохраняет нам *самое главное и самое дорогое*, то есть нашу *личность* и нашу *индивидуальность*. Иные вот утверждают, что это и в самом деле всего для человека дороже; хотенье, конечно, может, если хочет, и сходитьсь с рассудком, особенно если не злоупотреблять этим, а пользоваться умеренно; это и полезно, и даже иногда похвально. Но *хотенье очень гасто и даже большую гастию совершенно и прямо разногласит с рассудком* и... и... и знаете ли, что это и полезно, и даже иногда очень похвально? Господа, положим, что человек не глуп. (Действительно, ведь, никак нельзя этого сказать про него, хоть бы по тому одному, что если уж он будет глуп, так, ведь, *кто же* * тогда будет умней?!) Но если и не глуп, то все-таки — чудовищно неблагодарен! Неблагодарен феноменально. Я даже думаю, что самое лучшее определение человека — это: существо на двух ногах и неблагодарное. Но это еще не все; это еще не главный недостаток его; главнейший недостаток его — это постоянное неблагонаравие, постоянное, начиная со всемирного потопа до Шлезвиг-Гольштейнского периода судеб человеческих. Неблагонаравие, а следственно, и неблагоразумие; ибо давно известно, что неблагоразумие не иначе происходит, как от неблагонаравия. Попробуйте же, бросьте взгляд на историю человечества: ну, что вы увидите? Величественно? Пожалуй, хоть и величественно; уж один колосс Родосский, например, чего стоит! Недаром же

40 г. Анаевский свидетельствует о нем, что одни говорят, будто он есть произведение рук человеческих; другие же утверждают, что он создан самою природою. Пестро? Пожалуй, хоть и пестро; разобрать только во все века и у всех народов одни парадные мундиры на военных и статских, — уж одно это чего стоит, а с вицмундирами и совсем можно ногу сломать; ни один историк не устоит. Однообразно? Ну, пожалуй, и однообразно: дерутся да дерутся, и теперь дерутся, и прежде

* Какое сознание одиночества человека на земле и, вообще, в природе, — чувство атеизма!..

дрались, и после дрались, — согласитесь, что это даже уж слишком однообразно. Одним словом, *все можно сказать о всемирной истории, все, что только самому расстроенному воображению в голову может прийти. Одного только нельзя сказать, что — благоразумно.* На первом слове поперхнетесь. И даже вот какая тут штука поминутно встречается: постоянно, ведь, *являются в жизни такие благонравные и благоразумные люди, такие мудрецы и любители рода геловегеского, которые именно задают себе целью всю жизнь вести себя как можно благонравнее и благоразумнее, так сказать, светить собою ближним, собственно для того, чтоб доказать им, что действительно можно на свете прожить и благонравно и благоразумно.* И что ж? Известно, что многие из этих любителей, рано ли, поздно ли, *под конец жизни изменяли себе, произведя какой-нибудь анекдот, иногда даже из самых неприличнейших.* Теперь вас спрошу: *зего же можно ожидать от геловека, как от существа, одаренного такими странными качествами?* Да *осыпьте* его всеми земными благами, *утопите в счастье* совсем с головой, так, чтобы только пузырьки вскакивали на поверхности счастья, как на воде; *дайте* ему такое экономическое довольство, чтоб ему совсем уж ничего больше не оставалось делать, кроме как *спать, кушать пряники и хлопотать о прекращении всемирной истории,* — так он вам и тут, человек-то, и тут, *из одной неблагодарности, из одного пасквиля мерзость сделает.* Рискнет даже пряниками и нарочно пожелает *самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы,* единственно для того, *чтобы ко всему этому положительному благоразумию примешать свой пагубный фантастический элемент.* Именно *свои* фантастические мечты, свою пошлейшую *глупость* пожелает удержать за собой, единственно для того, чтоб самому себе подтвердить (точно это так уж очень необходимо), что люди *все еще люди, а не фортепианные клавиши,* на которых хоть и играют сами законы природы, собственноручно, но грозят до того доиграться, что уж мимо календаря и захотеть ничего нельзя будет. Да ведь мало того: даже в том случае, если он действительно бы оказался фортепианной клавишей, если б это доказать ему даже естественными науками и математически, так и тут не образумится, а нарочно, напротив, что-нибудь *сделает, единственно из одной неблагодарности, — собственно, чтоб настоять на своем.* А в том случае, если средств у него не окажется, *выдумает разрушение и хаос, выдумает разные страдания* и *настоит-таки на своем!* *Проклятие пустит по свету, а так как проклинать может только один геловек* (это уж его привилегия, главным образом отличающая его от других животных), так ведь он, пожалуй, одним *проклятием достигнет своего,* то есть действительно убедится, что он человек, а не фортепианная клавиша! Если вы скажете, что и это *все можно расчитать по табличке, и хаос, и мрак, и проклятие,* так что уж одна возможность предварительного *расчета* все остановит, и *рассудок возьмет свое* — так человек *нарочно сумасшедшим на этот случай делается, чтоб не иметь рассудка и настоять на своем!* Я верю в это, отвечаю за это, потому что, ведь, *все дело-то геловегеское, кажется, и действительно в том только и состоит, чтоб человек поминутно доказывал себе, что он геловек, а не штифтик!* Хоть своими боками, да доказывал; хоть троглодитством, да доказывал. А после этого как не согрешить, не похвалить, что этого еще нет и что хотенье покамест еще чорт знает от чего зависит.

Вы кричите мне (если только еще удостоите меня вашим криком), что ведь тут никто с меня воли не снимает, что тут только и хлопочут как-нибудь так устро-

ить, чтоб воля моя сама, своей собственной волей, совпадала с моими нормальными интересами, с законами природы и с арифметикой».

— Эх, господа, какая уж тут своя воля будет, когда дело доходит до таблички и до арифметики, когда будет одно только дважды два четыре в ходу? Дважды два и без моей воли четыре будет. Такая ли своя воля бывает!

* * *

Господа, я, конечно, шучу, и сам знаю, что неудачно шучу, но, ведь, и нельзя же все принимать за шутку. Я, может быть, скрипя зубами шучу. Господа, меня мучат вопросы; разрешите их мне. Вот вы, например, *геловека от старых привычек хотите отугить и волю его исправить, сообразно с требованиями науки и здравого смысла*. Но почему вы знаете, что *геловека* не только можно, но и нужно так *переделывать*? Из чего вы заключаете, что *хотенью* человеческому так необходимо *надо исправиться*? Одним словом, почему вы знаете, что такое *исправление* действительно *принесет геловеку выгоду*? И, если уж все говорить, почему вы так *наверно* убеждены, что *не идти против настоящих, нормальных выгод, гарантированных доводами разума и арифметикой, действительно для геловека всегда выгодно и есть закон для всего геловечества*? Ведь это покамест еще только одно ваше предположение. Положим, что это закон логики, но, может быть, вовсе не человечества. Вы, может быть, думаете, господа, что я сумасшедший? Позвольте оговориться. Я согласен: человек есть животное по преимуществу созидающее, присужденное стремиться к цели сознательно и заниматься инженерным искусством, то есть вечно и непрерывно дорогу себе прокладывать, хотя *куда бы то ни было*. Но вот именно *потому-то* может быть, *ему и хочется иногда вильнуть в сторону, что он присужден пробивать эту дорогу*, да еще, пожалуй, потому, что как ни глуп непосредственный деятель вообще, но все-таки ему иногда приходит на мысль, что *дорога-то*, оказывается, *почти всегда идет куда бы то ни было*, и что главное дело не в том, куда она идет, а в том, *чтоб только шла*, и чтоб благонаправленное дитя, пренебрегая инженерным искусством, *не предавалось губительной праздности*, которая, как известно, есть мать всех пороков. Человек *любит созидать* и дороги прокладывать, это бесспорно. Но отчего же *тоже любит разрушение и хаос*? Вот это скажите-ка! Но об этом мне самому хочется заявить два слова особо. Не потому ли, может быть, он так любит разрушение и хаос (ведь это бесспорно, что он иногда очень любит, это уж так), что сам *инстинктивно боится достигнуть цели и довершить создаваемое здание*? Почему вы знаете, может быть, он *здание-то любит только издали, а отнюдь не вблизи*; может быть, он только *любит созидать его, а не жить в нем, предоставляя его потом аих animaих domestiques* *, как-то: муравьям, баранам и проч., и проч. Вот *муравьи совершенно другого вкуса*. У них *есть одно удивительное здание* в этом же роде, навеки *нерушимое*, — *муравейник*.

⁴⁰ С муравейника *достопочтенные муравьи нагали, муравейником, наверно, и покончат*, что приносит большую честь их *постоянству и положительности*. Но человек существо легкомысленное и неблагоприятное и, может быть, подобно шахматному игроку, любит только один процесс достижения цели, а не самую цель. И, кто знает (поручиться нельзя), может быть, что и *вся цель на земле, к ко-*

* домашним животным (фр.).

торой геловежество стремится, только и заклюгается в одной этой непрерывности процесса достижения; иначе сказать — в самой жизни, а не собственно в цели, которая, разумеется, должна быть не иное что, как дважды два четыре, то есть формула, а, ведь, дважды два четыре есть уже не жизнь, господа, а нагало смерти. По крайней мере, геловек всегда как-то боялся этого дважды два четыре, а я и теперь боюсь. Положим, человек только и делает, что отыскивает эти дважды два четыре, океаны переплывает, жизнью жертвует в этом отыскивании, но отыскать, действительно найти, — ей-Богу, он как-то боится. Ведь чувствует, что как найдет, так уже негего будет тогда отыскивать. Работники, кончив работу, по крайней мере, деньги получают, в кабачок пойдут, потом в часть попадут, — ну, вот и занятие на неделю. А геловек куда пойдет? По крайней мере, каждый раз замечается в нем что-то неловкое при достижении подобных целей. Достижение он любит, а достигнуть — уж и не совсем, и это, конечно, ужасно смешно. Одним словом, геловек устроен комизески; во всем этом, очевидно, заклюгается каламбур. Но дважды два четыре — все-таки вещь пренесносная. Дважды два четыре смотрит фертом, стоит поперек вашей дороги, руки в боки и плюется. Я согласен, что дважды два четыре — превосходная вещь; но если уж все хвалить, то и дважды два пять — премилая иногда вещица.

И почему вы так твердо, так торжественно уверены, что только одно нормальное и положительное, — одним словом, — только одно благоденствие человеку выгодно? Не ошибается ли разум-то в выгодах? Ведь, может быть, геловек любит не одно благоденствие? Может быть, страдание-то ему ровно настолько же выгодно, как и благоденствие? А человек иногда любит страдание, до страсти, и это — факт. Тут уж и со всемирною историею справляться нечего; спросите себя самого, если только вы человек и хоть сколько-нибудь жили. Что же касается до моего личного мнения, то любить только одно благоденствие даже как-то и неприлично. Хорошо ли, дурно ли, — но разломать иногда что-нибудь тоже очень приятно. Я ведь тут, собственно, не за страдания стою, да и не за благоденствие. Стою я... за свой каприз и за то, чтоб он был мне гарантирован, когда понадобится. Страдание, например, в водевилях не допускается, я знаю. В хрустальном дворце оно и немисливо: страдание есть сомнение, есть отрицание, а что за хрустальный дворец, в котором можно усумниться? А между тем я уверен, что геловек от настоящего страдания, то есть от разрушения и хаоса, никогда не откажется. Страдание, — да ведь это единственная пригина сознания. Я хоть и доложил вначале, что сознание, по-моему, есть величайшее для человека несчастье, но я знаю, что геловек его любит и не променяет ни на какие удовлетворения. Сознание, например, бесконечно выше, чем дважды два. После дважды двух уж, разумеется, ничего не остается не только делать, но даже и узнавать. Все, что тогда можно будет, это — заткнуть свои пять чувств и погрузиться в созерцание. Ну а при сознании хоть и тот же результат выходит, то есть тоже будет нечего делать, но, по крайней мере, самого себя иногда можно посесть, а это все-таки подживляет. Хоть и ретроградно, а все же лучше, чем ничего.

* * *

Вы верите в хрустальное здание, навеки нерушимое, то есть в такое, которому нельзя будет ни языка украдкой выставить, ни кукиша в кармане показать. Ну, а я, может быть, потому-то и боюсь этого здания, что оно хрустальное и навеки нерушимое, — и это нельзя будет даже и украдкою языка ему выставить.

Вот видите ли: если вместо дворца будет курятник и пойдет дождь, я, может быть, и влезу в курятник, чтоб не замоготиться: но все-таки курятника не приму за дворец, из благодарности, что он меня от дождя сохранил. Вы смеетесь, вы даже говорите, что в этом случае курятник и хоромы — все равно. Да, отвечаю я, если б надо было жить только для того, чтобы не замоготиться.

Но что же делать, если я забрал себе в голову, что живут и не для одного этого и что если уж — жить, так уж жить — в хоромах*. Это — мое хотение, это — желания мои. Вы его выскоблите из меня только тогда, когда перемените желание мое. Ну, перемените, прельстите меня другим, дайте мне другой идеал. А покамест я не приму курятника за дворец. Пусть даже так будет, что хрустальное здание есть пуф, что по законам природы его и не полагается и что я выдумал его только вследствие моей собственной глупости, вследствие некоторых старинных, нерациональных привычек нашего поколения. Но какое мне дело, что его не полагается. Не все ли равно, если он существует в моих желаниях, или, лучше сказать, существует, пока существуют мои желания? Может быть, вы опять смеетесь? Извольте смеяться; я все насмешки приму и все-таки не скажу, что я сыт, когда я есть хочу, все-таки знаю, что я не успокоюсь на компромиссе, на беспрерывном периодическом нуле, потому только, что он существует по законам природы и существует действительно. Я не приму за венец желаний моих — капитальный дом с квартирами для бедных жильцов по контракту на тысячу лет** и, на всякий случай, с зубным врачом Вагенгеймом на вывеске. Уничтожьте мои желания, сотрите мои идеалы, покажите мне что-нибудь лужше — и я за вами пойду. Вы, пожалуй, скажете, что не стоит и связываться; но, в таком случае, ведь, и я вам могу тем же ответить. Мы рассуждаем серьезно; а не хотите меня удостоить вашим вниманием, так, ведь, кланяться не буду. У меня есть подполье.

А покамест я еще живу и желаю, — да отсохни у меня рука, коль я хоть один кирпичик на такой капитальный дом принесу! Не смотрите на то, что я давеча сам хрустальное здание отверг, единственно по той причине, что его нельзя языком подразнить. Я это говорил вовсе не потому, что уж так люблю мой язык выставлять. Я, может быть, на то только и сердился***, что такого здания, которому бы можно и не выставлять языка, из всех ваших**** зданий — до сих пор не находится. Напротив, я бы дал себе совсем отрезать язык из одной благодарности, если б только устроилось так, чтоб мне самому уже более никогда не хотелось его высовывать. Какое мне дело до того, что так невозможно устроить и что надо довольствоваться квартирами. Затем же***** я устроен с такими желаниями? Неужели ж я для того и устроен, чтоб дойти до заключения, что все мое устройство — одно надувание? Неужели в этом вся цель? Не верю.

* Здесь говорится о возможности мечты, воображения, идеала, что при «курятнике» (наша бедная действительность) сохраняется человеку, а в «хрустальном дворце» для него исчезнет; говорится также и о потребности в нем отрицания, которое самую идею «дворца» уничтожает.

** Говорится о коммунистических идеях Фурье и др.

*** С этих слов прямо начинается уже переход к возможности такого «здания» на иных началах, мистических, религиозных, — т. е. к идее «Легенды о Великом Инквизиторе».

**** Т. е. рационально, рассудочно, утилитарно строяемых.

***** Отсюда уже тон и мысли самой «Легенды о Великом Инквизиторе».

А, впрочем, знаете что: я убежден, что *нашего брата подпольного нужно в узде держать*».

(«Записки из подполья», гл. VII – X).

Здесь, таким образом, не только обнаружена невозможность разрешения этой задачи, но и показаны три модуса, под которыми могли бы ожидать решения. Из них один избран природою и основан на вложении в натуру устрояемых существ инстинкта не ошибающегося, безотчетного, постоянно действующего, и притом одинаково (*муравейник*); второй осуществляется в истории; это неудобная, несовершенная, изменчивая действительность (*курятник*), с которою человек вечно враждует, ее не уважает, к ней не привязан, но ею пользуется — от «дождя» (т. е. преступлений грубых и частных, от голода и нужды мелкой, от насилия и пр.) и в случае — от «грозы», хотя она обычно эту действительность сносит; от нее человек вечно силится перейти к третьему модусу — *хрустальному дворцу* — формуле окончательной, всеудовлетворяющей, вечной, — и ее-то критика дана в приведенной выдержке.

В «Преступлении и наказании» та же мысль выражена в болезненных грезх Раскольникова, в Сибири, когда Соня занемогла и он остался совершенно один; ими образно как бы *заклюгается* идейное развитие главного лица романа, как бы высказывается *суд* его над тревожными своими мыслями, *окончателная* на них *точка зрения*. Вот эти слова:

«Ему грезилось в болезни, будто *весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язвы*, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были *погибнуть*, кроме некоторых, весьма немногих избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были *духи**, *одаренные умом и волей*. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же *бесноватыми и сумасшедшими*. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали эти *зараженные*. Никогда не считали непоколебимее своих *приговоров, своих наужных выводов, своих нравственных убеждений и верований*. Целые селения, целые *города и народы заражались и сумасшедствовали*. Все были в *тревоге* и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем одном *заклюгается истина*, и *мутил*ся, *глядя на других*, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, *кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром***. Не знали, *кого обвинять, кого оправдывать*. Люди убивали друг друга в какой-то *бессмысленной злобе*. Собирались *друг на друга целыми армиями*, но *армии*, уже в *походе, вдруг нагинали сами терзать себя*, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, *кусали и ели друг друга*. В городах целый день били в на-

* Первая идея романа «Бесы», который, таким образом, через это место связывается с «Преступлением и наказанием», а через смысл этого места с «Записками из подполья», и, далее, с «Легендою». «Бесы» — только очень широко выполненная картина этого сна, она же и картина своего времени и общества, иносказательно выраженного здесь, в этом сне.

** Это язык и мысли «Легенды о Великом Инквизиторе». Несколькими строками ниже, от смутности настоящего — воображение продвигается вперед, к ужасу будущего. Момент этого-то ужаса и взят в некоторых местах «Легенды», в словах «об антропофагии», о «неумении человека различать добро и зло» и т. д.

бат: созывали всех, но кто и для чего зовет — никто не знал того, а все были в тревоге. Оставляли самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, — но тотчас же нагинали что-нибудь совершенно другое, тем сейчас же сами предполагали**, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спастись во всем мире*** могли только несколько человек: это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей**** и новую жизнь, обновить и огустить землю, — но никто и нигде не видал этих людей, никто не слышал их слова и голоса».*

«Преступление и нак.», Эпилог, II.

Здесь мы имеем, таким образом, как бы узел, в котором связаны лучшие произведения Достоевского: это — *заключение* «Преступления и наказания», в то же время — это *тема* «Бесов»; она входит, как *образующая* черта, в «Легенду о Великом Инквизиторе», которая и отвечает на потребность умиротворить этот хаос, уничтожить это смятение, и, хотя одною стороною, косым намеком, указывает на «Сон смешного человека» в «Дневнике писателя».

К стр. 81—90. «Идея понижения психического уровня человека, сужения его природы как средство устройства судьбы его на земле составляет вторую образующую черту «Легенды», отвечающую только что выясненной первой». — Первоначальное ее выражение, но без примеси религиозно-мистических основ, было сделано Достоевским в 1870—71 гг. в романе «Бесы». Это — теория, высказанная эпизодически вставленным лицом, Шигалевым, и мы приведем из главы VII («У наших», отд. II) места, в которых или он сам, или за него другие указывают коренные пункты этой теории:

«Длинноухий Шигалев с мрачным и угрюмым видом медленно поднялся с своего места и меланхолически положил толстую и чрезвычайно мелко испи-санную тетрадь на стол. Он не сел и молчал. Многие с замешательством смотрели на тетрадь, но Липутин, Виргинский и хромой учитель были, казалось, чем-то довольны.

— Посвятив мою энергию, — начал он, — на изучение вопроса о социальном устройстве будущего общества, которым заменится настоящее, я пришел к убеждению, что все созидатели социальных систем, с древнейших времен до нашего 187... года, были мечтатели, сказочники, глупцы, противоречившие себе, ничего ровно не понимавшие в естественной науке и в том странном животном*****,

* Здесь, собственно, и выступает неустроимость, несогласимость человеческой мысли, которая к *единству, всеобщности* признания чего-либо истинным и окончательным — никогда не придет.

40 ** Мысль совершенно «Записок из подполья».

*** Это уже образы «Легенды», ей «оправданных и избранных», 144 тысяч Апокалипсиса.

**** Через эти слова данное место соединяется со «Сном смешного человека» в «Дневнике писателя», с полетом на *новую землю, к новой породе людей*, еще *густых и неразращенных*.

***** Язык и тон «Легенды»; под «естественною наукою» разумеется естественная наука о человеке, его психология, как она выражается в фактах истории и текущей действительности.

которое называется человеком. Платон, Руссо, Фурье, колонны из алюминия — все это годится разве для воробьев, а не для общества человеческого. Но так как будущая общественная форма необходима именно теперь, когда все мы наконец собираемся действовать, чтоб уже более не задумываться, то я и предлагаю собственную мою систему устройства мира.

Объявляю заранее, что система моя не окончена. Я запутался в собственных данных, и мое заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. *Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом**. Прибавлю, однако ж, что, *кроме моего разрешения общественной формулы, не может быть никакого.*

10

— Если вы сами не сумели слепить свою систему и *пришли к отчаянию*, то нам-то тут чего делать? — осторожно заметил один из слушающих.

— *Вы правы*, — резко оборотился к нему Шигалев, — и всего более *тем, что употребили слово „отчаяние“*. Да, *я приходил к отчаянию*; тем не менее все, *что изложено* в моей книге, — *незаменимо, и другого выхода нет*; никто ничего не выдумает. И потому спешу, не теряя времени, пригласить все общество, по выслушании моей книги, заявить свое мнение. Если же члены не захотят меня слушать, то разойдемся в самом начале, — мужчины — чтобы заняться государственною службой, женщины в свои кухни, потому что, *отвернув книгу мою, другого выхода* они не найдут. Ни-ка-кого! Упустив же время, повредят себе, так как потом *неминуемо к тому же воротятся***.

20

Среди гостей началось движение: „Что он, помешанный, что ли?“ раздались голоса...

— Тут не то-с, — ввязался, наконец, хромой. Вообще он говорил с некоторой как бы насмешливою улыбкой, так что, пожалуй, трудно было и разобрать, искренно он говорит или шутит. — Тут, господа, не то-с. Г. Шигалев слишком серьезно предан своей задаче и притом слишком скромнен. Мне книга его известна. Он *предлагает, в виде конегного разрешения вопроса, — разделение геловегества на две неравные части*. Одна *десятая доля полугает свободу лигности и безграничное право над остальными девятью десятыми*. Те же *должны потерять лигность* и *обратиться вроде как в стадо и, при безграничном повиновении, достигнуть* — рядом перерождений — *первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая*, хотя, впрочем, и *будут работать*. Меры, предлагаемые автором для *отнятия у девяти десятых геловегества воли и переделки его в стадо, посредством перевоспитания целых поколений, — весьма замечательны, основаны на естественных данных и огонь логизны****. Можно не согласиться с иными выводами, но в уме и знаниях автора усомниться трудно. Жаль, что условие десяти вечеров совершенно несовместимо с обстоятельствами, а то бы мы могли услышать много любопытного.

30

* Тема и «Легенды о Великом инквизиторе».

** Слова об отчаянии и об отсутствии иного выхода проникают и «Легенду».

*** Это уже есть логический компендиум «Легенды»; с тем вместе, из трех формул жизни человеческой, указанных в «Записках из подполья», мысль автора клонится к идее «Муравейника», с заменой господствующего там *неошибающегося* инстинкта — *непрекословящим* повиновением.

40

— Неужели вы серьезно? — обратилась к хромоту m-те Вергинская, в некоторой даже тревоге. — Если *этот человек, не зная, куда деваться с людьми, обращает девять десятых их в рабство?* Я давно подозревала его.

— То есть, вы про вашего братца? — спросил хромой.

— Родство? Вы смеетесь надо мною или нет?

— И, кроме того: *работать на аристократов и повиноваться им, как богам, — это подлость!* — яростно заметила студентка.

— Я предлагаю не подлость, а *рай*, земной рай, — и *другого на земле быть не может*, — властно заключил Шигалев.

10 — А я бы вместо рая, — вскричал Лямшин, — взял бы этих девять десятых человечества, если уж некуда с ними деваться, и взорвал их на воздух, а оставил бы только кучку людей образованных, которые и начали бы жить-поживать по-ученому.

— Так может говорить только шут! — вспыхнула студентка.

— Он шут, но полезен, — шепнула ей m-те Вергинская.

— И, может быть, *это было бы самым лучшим разрешением задаги!* — горячо оборотился Шигалев к Лямшину. — *Вы, конечно, и не знаете, какую глубокую вещь* удалось сказать, господин веселый человек. Но *так как* ваша идея почти *невыполнима*, то и надо *ограничиться земным раем*, если уж так это назвали.

20 — Однако, порядочный вздор! — как бы вырвалось у Верховенского. Впрочем, он совершенно равнодушно и не подымая глаз продолжал обстригать свои ногти.

— Почему же вздор-с? — тотчас же подхватил хромой, как будто так и ждал от него первого слова, чтобы вцепиться. — Почему же именно вздор? Господин Шигалев отчасти *фанатик человеколюбия*; но вспомните, что у Фурье, у Кабета особенно и даже у самого Прудона есть множество самых деспотических и самых фантастических предрешений вопроса. Господин Шигалев даже, может быть, *гораздо трезвее их разрешает* дело. Уверяю вас, что, *прогитав* книгу его, почти *невозможно не согласиться с* иными вещами. Он, может быть, *менее всех удалился*

30 *от реализма*, и его земной *рай* есть почти настоящий — *тот самый, о потере которого вздыхает человечество*, если только он когда-нибудь существовал».

Дальнейшее изложение и оценку мысли Шигалева мы находим в разговоре между Ставрогиным и П. Верховенским, когда они шли с вечера:

«— Шигалев — *гениальный* человек! Знаете ли, что это гений вроде Фурье, но — смелее Фурье; я им займусь. Он *выдумал „равенство“!* — проговорил Верховенский.

„С ним лихорадка, и он бредит; с ним что-то случилось особенное“, — подумал о нем еще раз Ставрогин. Оба шли не останавливаясь.

40 — У него хорошо в тетради, — продолжал Верховенский, — у него шпионство. У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. *Все рабы и в рабстве равны*. В крайних случаях — клевета и убийство, а главное — равенство. *Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов*. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, — *не надо высших способностей!* Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие способности *не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем приносили пользы, их изгоняют или казнят*. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают

глаза. Шекспир побивается камнями, — вот Шигалевщина! Рабы должны быть равны: *без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство* — и вот Шигалевщина! Ха-ха-ха, вам странно? Я за Шигалевщину!

Ставрогин старался ускорить шаг и добраться поскорее домой. „Если этот человек пьян, то где же он успел напиться, — приходило ему на ум. — Неужели же коньяк?“

— Слушайте, Ставрогин: *горы сровнять — хорошая мысль, не смешная*. Я за Шигалева! *Не надо образования, довольно науки! И без науки хватит материалу на тысячу лет, но надо устроиться послушанию. В мире одного только недостает * — послушания. Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь — вот уже и желание собственности. Мы уморим желание: мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве ***. Все к одному знаменателю, полное равенство! „Мы научились ремеслу, и мы честные люди, нам не надо ничего другого“ — вот недавний ответ английских рабочих. *Необходимо лишь необходимое!* — вот девиз земного шара отसेле. Но *нужна и судорога*; об этом позаботимся мы, *правители*. У рабов *должны быть правители*. Полное *послушание*, полная *безлигность*, но раз в тридцать лет Шигалев пускает и судорогу и все вдруг *нагибают поедать друг друга, до известной герты, единственно чтобы не было скужно*. Скука есть ощущение аристократическое; в Шигалевщине не будет *желаний*. *Желание и страдания — для нас ****, а для рабов — Шигалевщина.

— Себя вы исключаете? — сорвалось опять у Ставрогина.

— И вас. Знаете ли, я *думал отдать мир папе*. Пусть он *выйдет пеш и бос и покажется герни*: „Вот, — дескать, — до чего меня довели!“ — и все повалит за ним, даже войско. *Папа — сверху, мы — кругом, а под нами — Шигалевщина*. Надо только, чтобы *с папой Internationale согласилась*: так и будет. А старикашка *согласится* мигом. Да *другого ему и выхода нет*, вот помяните мое слово» ****.

«Бесы», гл. VII и VIII.

* С этих слов мы прямо входим в оборот мысли, развиваемой в «Легенде».

** Это уже есть логический компендиум «Легенды»; с тем вместе, из трех формул жизни человеческой, указанных в «Записках из подполья», мысль автора клонится к идее «Муравейника», с заменой господствующего там *неошибающегося* инстинкта — *непрекословящим* повиновением.

*** Здесь опять встречаем частную мысль «Легенды» — о том, что свобода и познание добра и зла должны быть взяты немногими, а остальному человечеству должно быть предоставлено повиновение и сытость, а не Его немое подобие, мелькающее в воображении экзальтированных людей, глаза которых слепы, слух утерян и потому разум так искажен и слово косноязычно.

**** Слишком, слишком приходится «помянуть»... Писано было это Достоевским в 1871 году, при Пии IX, консервативнейшем из пап (во вторую половину своей жизни) и наиболее униженном в своей власти. И вот — его преемник. Лев XIII, из всего, что он тайно думал, что ему явно указывалось, на что он манился, к чему призывался, избирает, к смущению целого мира, как бы программу своею — слова, сказанные еще при его предшественнике о папстве далеком и ему, вероятно, неизвестным публицистом враждебной и мало знаемой страны. Между великим и смешным часто один шаг; в словах: «я думал отдать мир папе» как не увидеть и тему деятельности публициста-богослова, Вл. Соловьёва, с его усилиями дать папе духовно Россию, дабы в ней он получил физическое орудие, матерьяльную силу для восстановления свое-

Вот грубый и грязный, но уже полный очерк «Легенды»; мазок углем по полотну, который, однако, там именно и так именно проводится художником, как и где позднее он положит яркие и вечные краски своею кистью.

К стр. 91—98. *Идея римского католицизма как противоположения христианству* впервые высказана была Достоевским в 1868 г., в романе «Идиот», в следующем разговоре:

«...Не с этим ли Павлищевым история вышла какая-то странная... с аббатом... с аббатом... Забыл, с каким аббатом, но только все тогда что-то рассказывали, — произнес, как бы припоминая, сановник.

10 — С аббатом Гуро, иезуитом, — напомнил Иван Петрович, — да-с, вот-с превосходнейшие-то люди наши — достойнейшие-то! Потому что все-таки человек был родовой, с состоянием, камергер, и, если бы... продолжал служить... И вот бросает вдруг службу и все, чтобы перейти в католицизм и стать иезуитом, да еще чуть не открыто, с восторгом каким-то. Право, кстати умер... Да, тогда все говорили.

— Павлищев был светлый ум и христианин, истинный христианин, — произнес вдруг князь („идиот“), — как же мог он *подгиниться вере... нехристианской? Католигество — все равно, что вера нехристианская*, — прибавил он вдруг, за-сверкав глазами и смотря перед собой, как-то вообще обводя глазами всех вместе.

20 — Ну, это слишком, — пробормотал старичок и с удивлением поглядел на Ивана Федоровича.

— Как так? Это католичество — вера нехристианская? — повернулся на стуле Иван Петрович. — А какая же?

— Нехристианская вера, во-первых! — в чрезвычайном волнении и не в меру резко заговорил опять князь, — это во-первых, а во-вторых, *католигество римское даже хуже самого атеизма*, таково мое мнение! Да, таково мое мнение! Атеизм только проповедует нуль, а католицизм идет дальше: он *искаженного Христа проповедует*, им же оболганного и поруганного, *Христа противоположного!* Он Антихриста проповедует, клянусь вам, уверяю вас! *Это* мое личное и давнишнее ³⁰ *убеждение*, и оно *меня самого измузило...* Римский католицизм верует, что *без всемирной государственной власти Церковь не устоит на земле*, и кричит: *Non possumus!* * По-моему, римский католицизм *даже и не вера*, а решительно — *продолжение Западной Римской империи*, и в нем все подчинено этой мысли, начиная с веры. *Папа захватил землю, земной престол и взял мет;* с тех пор все так и идет, только *к мету прибавили ложь, проньерство, обман, фанатизм, суеверие, злодейство, играли самыми святыми, правдивыми, простодушными, пламенными чувствами народа*, все, все променяли за деньги, за низкую земную власть. И это не

го владычества над расшатанным, дезорганизованным миром. Но мы должны помнить замечательные слова «проекта»: вокруг него — *мы* (религиозно-политические мошенники, как ⁴⁰ ниже, в не приведенных строках, определяет себя П. Верховенский), а внизу — Шигалевщина (рабское, тупое стадо). Конечно, история не может, не должна так грустно кончиться: этого не допустит Бог, живой наш Бог, Царь Небесный истинный, а не Его немое подобие, мелькающее в воображении экзальтированных людей, глаза которых слепы, слух утерян и потому разум так искажен и слово косноязычно.

* Не можем! (лат.)

учение антихристово?! *Как же было не выйти от них атеизму? Атеизм от них вышел, из самого римского католицизма!* Атеизм, прежде всего, с них самих и *нагался: могли ли они верить себе сами? Он укрепился из отращения к ним; он — порождение их лжи и бессилия духовного!* Атеизм! У нас не веруют еще только сословия „исключительные“, как великолепно выразился Евгений Павлович, *корень потерявшие*; а там, *в Европе*, уже страшные *массы самого народа нагибают не верить*, — прежде от тьмы и от лжи, а теперь уже из фанатизма, *из ненависти к Церкви и к Христианству.*

Князь остановился перевести дух. Он ужасно скоро говорил. Он был бледен и задыхался. Все переглядывались, но, наконец, старичок откровенно рассмеялся. Князь N вынул лорнет и, не отрываясь, рассматривал князя. Немчик-поэт выполз из угла и подвинулся поближе к столу, улыбаясь зловещею улыбкой.

— Вы очень пре-у-вели-чиваете, — протянул Иван Петрович с некоторою скукой и даже как будто чего-то совестясь, — тамошней Церкви тоже есть представители, достойные всякого уважения и добродетельные...

— Я никогда и не говорил об отдельных представителях Церкви. Я о римском католицизме в его сущности говорил, я о Риме говорю. Разве может Церковь совершенно исчезнуть? Я никогда этого не говорил!

— Согласен, но все это — известно, и даже — не нужно и... принадлежит богословию...

— О, нет, о, нет! Не одному богословию, уверяю вас, что нет! Это гораздо ближе касается нас, чем вы думаете. В этом-то вся и ошибка наша, что мы не можем еще видеть, что это дело не исключительно одно только богословское! Ведь и социализм порождение католицизма и католической сущности! Он тоже, как и брат его атеизм, вышел из отчаяния, в противоположность католичеству в смысле нравственном, *чтобы заменить собой потерянную нравственную власть религии*, чтобы утолить жажду духовную возжаждавшего человечества и спасти* его не Христом, а также *насилием!* Это тоже свобода *через насилие!* Это тоже объединение *через мез и кровь!* „Не смей верить в Бога, не смей иметь собственности, не смей иметь личности, fraternité ou la mort **“, два миллиона голов!“ „По делам их вы узнаете их“ — это сказано! И не думайте, чтоб это было все так невинно и бесстрашно для нас; о, нам нужен отпор, и скорей, скорей! *Надо*, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос, которого мы сохранили и которого они и не знали! Не рабски попадаясь на крючок иезуитам, а нашу русскую цивилизацию им неся, мы должны теперь стать перед ними; и пусть не говорят у нас, что проповедь их изящна, как сейчас сказал кто-то...

— Но позвольте же, позвольте же, — забеспокоился ужасно Иван Петрович, озираясь кругом и даже начиная трусить, — все ваши мысли, конечно, похвальны и полны патриотизма: но все это в высшей степени преувеличено и... даже лучше об этом оставить.

— Нет, не преувеличено, скорей уменьшено; именно уменьшено, потому что я не в силах выразиться, но...

— По-зволь-те же!

* Говорится сейчас «также», т. е. эти черты есть и в католицизме, как в нем указаны оне «Легендою».

** братство или смерть (фр.).

Князь замолчал. Он сидел, выпрямившись на стуле, и неподвижно огненным взглядом глядел на Ивана Петровича.

— Мне кажется, что вас слишком уже поразил случай с вашим благодетелем, — ласково и теряя спокойствие, заметил старичок, — вы воспламенены... может быть, уединением. Если бы вы пожили больше с людьми — а в свете, я надеюсь, вам будут рады, как замечательному молодому человеку, — то, конечно, успокоите ваше одушевление и увидите, что все это гораздо проще... и к тому же такие редкие случаи... происходят, по моему взгляду, отчасти от нашего пресыщения, а отчасти от... скуки...

- 10 — Именно, именно так, — вскричал князь, — великолепнейшая мысль! Именно „от скуки, от нашей скуки“, не от пресыщения, а, напротив, от жажды... не от пресыщения, вы в этом ошиблись! Не только от жажды... но даже от воспаления, от жажды горячешной! И... и не думайте, что в таком маленьком виде, что можно только смеяться; извините меня, *надо уметь предугадывать!* Наши как доберутся до берега, как уверуют, что это — берег, то уж так обрадуются ему, что немедленно доходят до последних столпов; отчего это? Вы вот дивитесь на Павлищева, вы все приписываете его сумасшествию или доброте, но это не так! И не нас одних, а всю Европу дивит в таких случаях русская страстность наша: у нас 20 коль в католичество перейдет, — то уж непременно иезуитом станет, да еще из самых подземных; коль скоро атеистом станет, то непременно начнет требовать искоренения веры в Бога насилием, то есть, стало быть, и мечом! Отчего это, отчего разум такое исступление? Неужто не знаете? Оттого, что он *отегество нашел, которое здесь просмотрел*, и обрадовался; *берег, землю нашел и бросился ее целовать!* Не из одного ведь тщеславия, не все, ведь, от одних скверных, тщеславных чувств происходят русские атеисты и иезуиты, а и *из боли духовной, из жажды духовной, из тоски по высшему делу, по крепкому берегу, по родине, в которую веровать перестали, потому что никогда ее и не знали!* Атеистом же так легко сделаться русскому человеку, — легче, чем всем остальным во всем мире! Но наши не просто становятся атеистами, а непременно *уверуют* в атеизм, как бы 30 в новую веру, никак и не замечая, что уверовали в нуль. Такова наша жажда! „Кто почвы под собой не имеет, тот и Бога не имеет“. Это — не мое выражение. Это выражение одного купца из старообрядцев, с которыми я встретился, когда ездил. Он, правда, он не так выразился, он сказал: „Кто от родной земли отказался, тот и от Бога своего отказался“. Ведь, подумать только, что у нас образованнейшие люди в хлыстовщину даже пускались... Да и чем, впрочем, в таком случае хлыстовщина хуже, чем нигилизм, иезуитизм, атеизм? Даже, может, и поглубже еще! Но вот до чего доходила тоска! Откройте жаждущим и воспаленным Колумбовым спутникам берег Нового Света, откройте русскому человеку Русский Свет, дайте отыскать ему это золото, это сокровище, сокрытое от него в земле! 40 *Покажите ему в будущем обновление всего теловегества и воскресение его, может быть, одною только русскою мыслью, русским Богом и Христом** — и увидите, какой исполин, могучий и правдивый, мудрый и кроткий, вырастет пред изумленным миром, изумленным и испуганным, потому что они ждут от нас одного лишь меча, меча и насилия, потому что они представить себе нас не могут, судя по себе, без варварства. И это до сих пор, и это чем дальше, тем больше!».

«Идиот», часть четвертая, VII.

* Это совершенно мысли «Пушкинской речи».

В «Дневнике писателя» за 1877 год, в номерах январском и июльском, Достоевский вновь возвращается к характеристике стремлений Римско-Католической церкви, оттеняя роль их в истории характеристикой германского протеста. Нельзя отрицать, что оба явления им характеризованы немного не так, как они существовали и развивались в истории, — и недостаточно, и несколько косо. И, однако, по крайней мере что касается до Римско-Католической церкви в истории, она схвачена и выражена исторически верно. Недостаточность характеристики Достоевского заключается в том, что он берет явление как *усилие*, и *почти сознательное, преднамеренное*, что все он понимает как некоторую *политическую деятельность*, тогда как мы имеем дело с *формой духа и строением культуры*, которое выражалось в поэзии, драме, философии так же отчетливо, как и в деятельности великих политиков Франции, в римских первосвященниках или, ранее, в цезарях. Мы приведем все три отрывка, сюда относящиеся:

«Три идеи встают перед миром и, кажется, формулируются уже окончательно. С одной стороны, — с краю Европы, — идея католическая, *осужденная, ждущая в великих муках и недоумениях*, быть ей или не быть, *жить ей еще* или *пришел ей конец*. Я не про религию католическую одну говорю, а про всю *Идею Католическую*, про участь наций, сложившихся под этой идеей в продолжение тысячелетия, проникнутых ею насквозь. В этом смысле Франция, например, есть как бы полнейшее воплощение Католической идеи в продолжение веков, глава этой *идеи, унаследованной*, конечно, *еще от римлян и в их духе*. Эта Франция, даже и *потерявшая* теперь, *почти вся*, всякую религию (*иезуиты и атеисты тут все равно, все одно*), закрывавшая не раз свои церкви и даже подвергавшая однажды баллотировке Собрания самого Бога, эта Франция, *развивавшая из идей 89-го года свой особенный французский социализм, т. е. успокоение и устройство человеческого общества уже без Христа, и вне Христа, как хотело, да не сумело устроить его во Христе католичество*, — эта самая Франция и в революционерах Конвента, и в атеистах своих, и в социалистах своих, и в *теперешних коммунарах* своих, — все еще в высшей степени *есть и продолжает быть нацией католическою* * *вполне и всецело*, вся зараженная католическим духом и буквой его, провозглашающая устами самых отъявленных атеистов своих: *Liberté, Egalité, Fraternité — ou la morte*, т. е. *тожь-в-тожь как бы провозгласил это сам папа*, если бы только принужден был провозгласить и формулировать *Liberté, Egalité, Fraternité* католическую — *его слогом, его духом*, настоящим слогом и духом папы средних веков. Самый *теперешний социализм французский*, — по-видимому, горячий и роковой *протест против идеи Католической всех измученных и задушенных ею людей и наций, желающих* во что бы то ни стало *жить и продолжать жить уже без Католичества и без богов его*, — *самый этот протест, нагавшийся фактически с конца прошлого столетия (но в сущности гораздо раньше)*, есть не что иное, как лишь *вернейшее и неуклонное продолжение Католической идеи, самое полное и окончательное завершение ее, роковое ее последствие, выработавшееся веками!* Ибо социализм французский есть не что иное, как *насильственное единение человеческого общества — идея еще от Древнего Рима идущая и потом всецело в Католичестве сохранившаяся*. Таким образом *идея освобождения духа человеческого от Католичества облеклась*

* Т. е. нужно понимать — «романскою»: здесь имя части заменяет название целого.

тут, именно, в самые тесные формы католигеские, заимствованные в самом сердце духа его, в материализме его, в деспотизме его, в нравственности»...

«Дневник писателя», 1877 г., янв.

«Я не останавливаюсь на временных формулах * идеи древнеримской, равно как и вековечного германского ** против нее протеста. Я беру лишь основную идею, нагавшуюся еще две тысячи лет тому назад и которая с тех пор не умерла, хотя постоянно перевоплощалась в разные виды и формулы. Теперь именно весь этот крайний западноевропейский мир, именно унаследовавший римское наследство, мугится родами нового перевоплощения этой унаследованной древней идеи, и это для тех, кто умеет смотреть — до того наглядно, что и объяснений не просит.

Древний Рим первый родил идею всемирного единения людей и первый думал (и твердо верил) практически ее выполнить в форме всемирной монархии. Но эта формула пала перед христианством, — формула, а не идея. Ибо идея эта есть идея европейского человечества, из нее составилаь его цивилизация, для нее одной лишь оно и живет. Пала лишь идея всемирной римской монархии и заменилась новым идеалом всемирного же единения во Христе. Этот новый идеал раздвоился на востогный, то есть идеал совершенно духовного единения людей, и на западноевропейский Римско-Католигеский, папский — совершенно обратный востогному. Это западное, Римско-Католигеское воплощение идеи и совершилось по-своему, но утратив свое христианское, духовное нагало и поделившись им с древнеримским наследством. Римским папством было провозглашено, что христианство и идея его, без всемирного владения землями и народами, — не духовно, а государственно, — другими словами, без осуществления на земле новой всемирной римской монархии, во главе которой будет уже не римский император, а папа, — осуществлено быть не может. И вот нагалась опять попытка всемирной монархии совершенно в духе древнеримского мира, но уже в другой форме. Таким образом, в востогном идеале — снагала духовное единение геловегества во Христе — а потом уж, в силу этого духовного соединения всех во Христе — несомненно вытекающее из него правильное, государственное и социальное единение; тогда как по римскому толкованию — наоборот: снагала заругиться прогным государственным единением в виде всемирной монархии, а потом уж, пожалуй, и духовное единение под началом папы как владыки мира сего.

С тех пор эта попытка в римском мире шла вперед и изменялась непрерывно. С развитием этой попытки самая существенная гасьт христианского нагала погти утратилась вовсе. Отвергнув, наконец, христианство духовно, наследники древнеримского мира отвергли и папство. Прогремела страшная французская революция, которая в сущности была не более как последним видоизменением и перевоплощением той же древнеримской формулы всемирного единения. Но новая формула оказалась недостаточною, новая идея не завершилась. Был даже момент, когда для всех наций, унаследовавших древнеримское призвание, наступи-

* Т. е. воплощениях, пожалуй, — на средствах осуществления.

** Определение германского духа как только протестующего сделано узко и неверно; мы указали, разбирая «Легенду», что сущность этого духа лежит в индивидуализме, и, добавим здесь, поэтому только он и в истории стал «протестующим» против объединяющего романского гения.

ло почти отчаяние. О, разумеется, та часть общества, которая выиграла для себя с 1789 года политическое главенство, т. е. буржуазия, — восторжествовала и объявила, что далее и не надо идти. Но зато все те *умы*, которые по вековечным законам природы обречены на вечное мировое беспокойство, на искание новых формул идеала и нового слова, необходимых для развития человеческого организма, — все те *бросились ко всем униженным и обойденным, ко всем, не полугившим доли в новой формуле всегеловегеского единения*, провозглашенной французскою революцией 1789 года. Они *провозгласили* свое уже новое слово, именно — *необходимость всеединения людей уже не ввиду распределения равенства прав жизни для какой-нибудь одной гетверти геловегества, оставляя остальных лишь сырым материалом и эксплуатируемым средством для счастья этой гетверти геловегества, а, напротив, — всеединения людей на основаниях всеобщего уже равенства, при угасши всех и каждого в пользовании благами мира сего, какие бы они, там, ни оказались. Осуществить же это решение положили всякими средствами, т. е. отнюдь уже не средствами христианской цивилизации, и не останавливаясь ни перед гем».*

Там же, май и июнь.

«Если папство когда-нибудь будет покинуто и отброшено правительствами мира сего, то весьма и весьма может служить, что оно бросится в объятия социализма и соединится с ним воедино. Папа выйдет ко всем нищим пеш и бос и скажет, что все, гему они угат и гего хотят, давно уже есть в Евангелии, что до сих пор лишь время не наступало им про это узнать, а теперь наступило — и что он, папа, отдает им Христа и верит в муравейник. Римскому католигеству (слишком уж ясно это) нужен не Христос, а всемирное владыгество: „Вам-де надо единения против врага — соединитесь под моею властью: ибо я один всемирен из всех властей и властителей мира, и — пойдем вместе“».

Там же. «И сердиты и сильны».

P. S. Все это, как очерк положения дел, пожалуй, и справедливо. Но ведь нельзя же закрывать глаза на заключительное слово Христа, как оно записано в последней главе Евангелия от Иоанна.

«Из учеников же никто не смел спросить Его: „Кто Ты?“» — зная, что это Господь. — Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня более, нежели они?». Петр говорит Ему: «Так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев Моих». — Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?» Петр говорит Ему: «Так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец Моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?». Петр опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли ты Меня? — и сказал Ему: «Господи! Ты все знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец Моих. Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои и другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь». И, сказав сие, говорит ему: «Иди за Мною».

Вот начало авторитета («паси»), против кого напрасно волнуется Достоевский, — авторитета единоличного, исключительного, а вовсе не «соборного»

(славянофилы), так как не всем апостолам (в куче) были сказаны столь знаменательные слова. Если на более кратких и промежуточных (по ходу речи) словах о скопчестве (Матф., 19) основалось неудержимо столь универсальное явление в христианстве, как монашество и идеал безбрачия, то можно ли представить границы, до которой развилось и еще разовьется это последнее завещание Спасителя, столь выпуклое, резкое, трижды повторенное и (самое главное) перед самым вознесением на небо! Поистине, слова эти — как милоть, брошенная Елисею Илиею. Критика Достоевского Католицизма поэтому ничтожна; не в смысле определения, в чем его сущность, но борьбы против этой сущности. Церковь была, есть и останется златоглавна, верхоглавна и никогда не станет «стадом» Шигалева; она авторитетна, иерархична, пирамидальна: а пирамида имеет *вершину*. Лепет Достоевского о каком-то им открываемом «подлинном христианстве», «чистом православии», — как будто в тысячу лет оно не выразило и не определило себя! — есть в сущности реакция к старому и «славному» славянству, немножечко распушенному, стихийному, доброму, с распушенными губами, подрумяненным лицом, заплетающимся языком (вражда к «логическому» началу славянофилов); к старому началу «Велеса» и «Даж-бога», на западе окончательно выметенному, а у нас по нерадивости духовенства еще сохраняющему кой-где и кой в чем силу. Все это «неприличие» старого язычества и хочет вымести Шигалев-папа, — дабы «устроилось едино стадо и один пастырь», царство «не от мира сего», но, однако, потому и *царство* — что оно господствует *над* «миром сим», слабым, греховным, злым, «диавольским», «Велесовым»-Карамазовским. Еще Достоевский говорит, что «для веры в Бога надо иметь *погзу* под собою, почву нации, семьи, отечества». Для «веры» в какого это Бога? В «Велеса» — конечно! А для Христа? «Ныне уже ни эллин, ни иудей, ни мужеск пол, ни женский, ни обрезание, ни необрезание, но все и всяческая и во всех Христос». Христианство *вне-земно, вне-отечественно, вне-семейно*. Как Д—кий не разобрал всего этого! «Уморим желание», «Шекспиру долой голову»; зачем так грубо. Мальчишка-Шигалев и не достиг ничего грубостью. Но ведь идея, например, «старчества», кротко руководящего, и заключается в совете: «Принеси мне свою голову, а вместо нее надень на плечи мою». Ничего этого не разобрал Д—кий! *Примегание 1901 года.*

К стр. 47 и друг. «*Мне надо возмездие, инаге ведь я истреблю себя...*». «*Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя...*». Теория такого «самоистребления» изложена была Достоевским в 1876 году, в окт. нумере «Дневника писателя»:

«...В самом деле: какое право имела эта природа производить меня на свет, вследствие каких-то там своих вечных законов? Я создан с сознанием и эту природу *сознал*: какое право она имела производить меня, без воли моей на то, *сознающего*? Сознающего — стало быть, страдающего: но я не хочу страдать — ибо *для него бы я согласился страдать*? Природа чрез сознание мое возвещает мне о какой-то *гармонии в целом*. Человеческое *сознание наделало из этого возвещения* * *религий*. Она говорит мне, что я, — хоть и знаю вполне, что в «гармонии це-

* Т. е., следовательно, под «гармонией» здесь разумеется воздаяние за добрые и злые дела в загробной жизни.

лого» участвовать не могу и никогда не буду, да и *не пойму ее вовсе, что она такое знает**, — но что я все-таки должен *подгнуться* этому возвещению, должен *смириться, принять страдание* ввиду гармонии в целом и согласиться жить. Но если выбирать сознательно, то уж, разумеется, я скорее *пожелаю быть счастливым лишь в то мгновение, пока я существую, а до целого и его гармонии мне равно нет никакого дела после того, как я уничтожусь*** — останется ли это целое с гармонией на свете, после меня, или уничтожится сейчас же вместе со мною. *И для чего бы я должен был так заботиться о его сохранении после меня****, — вот вопрос? Пусть уж лучше я был бы создан как все животные, т. е. живущим, но не знающим себя разумно; *сознание мое**** есть именно не гармония, а, напротив, — дисгармония: потому что я с ним несчастлив*. Посмотрите, *кто счастлив на свете и какие люди соглашаются жить?****** Как раз те, которые похожи на животных и ближе подходят под их тип по малому развитию их сознания. Они *соглашаются жить охотно, но именно под условием жить как животные, то есть — есть, пить, спать, устраивать гнезда и выводить детей*. Есть, пить и спать по-человеческому значит наживаться и грабить. *Возрают мне, пожалуй, что можно устроиться и устроить гнездо на основаниях разумных, на научно верных социальных началах, а не грабежом, как было доньше. Пусть, а я спрошу: для чего? Для чего устраиваться и употреблять столько стараний устроиться в обществе людей правильно, разумно и нравственно-праведно? На это уж, конечно, никто не сможет мне дать ответа*. Все, что они могли бы ответить, это: *«чтоб полугить наслаждение»*. Да, *если б я был цветок или корова — я бы и полугил наслаждение*.

* Оборот мысли и характер языка совершенно как у Ивана Карамазова, в начале разговора с братом Алешей.

** Здесь, как и в «Легенде», замечательна одна черта: при тревоге мыслью за судьбы человечества, при величайшей идейной связанности с целым, страшная отъединенность от этого целого в сердце, совершенное одиночество души. Кажется, именно этого не выносит человек и убивает себя или задумывает преступление.

*** Если я весь, без остатка и окончательно, исчезаю по смерти, как могу я любить? Не более способен к этому, чем мое временное тело, которое, конечно, никого не любит, но лишь страдает или наслаждается. Любовь, поэтому, есть жизнь; точнее, нами непонимаемое обнаружение бессмертной жизни, никогда не кончающейся связи нашей с родом человеческим. Потому — есть она, потому может быть, что ни я, в ком эта любовь, ни предмет ее — мы никогда не кончимся.

**** Т. е. и сознание мое есть дисгармония, и я несчастлив, потому, что *не люблю*; и не люблю потому, что *не верю* — Богу моему и ближнего моего. Через Бога только можно любить живую человеческую любовью, — не уважать, не почитать, не признавать достоинства, но *любить*. И вот почему любить и верить — значит *радоваться*, и радоваться — *никогда не пожелать умереть* (т. е. насильственно).

***** Вопрос исторический и психологически истинен, но показывает только: до какой степени центральный недостаток новой цивилизации заключается в ослаблении веры, без которой индивидуальным лицам эта цивилизация так же мало нужна, как мне, когда на руках моих лежит труп моего ребенка, мало нужна его рубашечка, простыньки, прочее. Отсюда историческое объяснение самоубийств. Зачем человеку «прочее», когда у него нет главного? И не к этому ли главному он уходит и силится уйти, бросая с отвращением «прочее»?

Но, задавая, как теперь, себе непрерывно вопросы, *я не могу быть счастлив, даже и при самом высшем и непосредственном счастье любви к ближнему и любви ко мне человечества: ибо знаю, что завтра же все это будет уничтожено, — и я, и все счастье это, и вся любовь, и все человечество обратится в ничто, в прежний хаос.* А под таким условием я ни за что не могу принять никакого счастья, — не от нежелания согласиться принять его, не от упрямства какого из-за принципа, а просто потому, что *не буду и не могу быть счастлив под условием грозящего завтра нуля.* Это — чувство, это *непосредственное чувство, и я не могу побороть его.* Ну, пусть бы я умер, а только человечество оставалось бы вместо меня вечно — тогда, может быть, я все же был бы утешен. Но ведь *планета наша не вечна и человечеству срок* — такой же миг, как и мне. И как бы *разумно, радостно, праведно и свято* ни устроилось на земле человечество, — *все это тоже приравнивается завтра к тому же нулю.* И хоть это почему-то там и необходимо, по каким-то там все-сильным, вечным и мертвым законам природы, но поверьте, что в этой мысли заключается какое-то глубочайшее неуважение к человечеству, глубоко мне оскорбительное, и тем более невыносимое, что тут нет никого виноватого*.

И, наконец, *если б даже** предположить эту сказку об устроенном наконец-то на земле человеку на разумных и научных основаниях — возможною, и поверить ей, поверить грядущему наконец-то счастью людей, — то уж одна мысль о том, что природе необходимо было, по каким-то там косным законам ее, истязать человека тысячелетия, прежде чем довести его до этого счастья, одна мысль об этом уже невыносимо возмутительна.* Теперь прибавьте к тому, что той же природе, допустившей человека наконец-то до счастья, почему-то необходимо обратить все это завтра в нуль, несмотря на все страдание, которым заплатило человечество за это счастье, и, главное, нисколько не скрывая этого от меня и моего сознания, как скрыла она от коровы, — то невольно приходит в голову одна чрезвычайно забавная, но *невыносимо грустная мысль: «Ну что, если человек был пущен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтоб только посмотреть, уживется ли подобное существо на земле или — нет?»**** Грусть этой мысли, главное — в том, что *опять-таки нет виноватого, никто пробы не делал, некого проклясть, а просто все произошло по мертвым законам природы****, мне совсем непонятным, с которыми сознанию моему никак нельзя согласиться.* Ergo:

Так как на вопросы мои о счастье я через мое же сознание получаю от природы лишь ответ, что *могу быть счастлив не иначе, как в гармонии целого, которой я не понимаю и, очевидно для меня, и понять никогда не в силах —*

* Последние слова повторяют собою одно место в «Записках из подполья», и из этого видно, до какой степени эта теория самоубийства (она носит название «Приговор») есть продукт самозаклечения, приговор над собою всего цикла нами разбираемых идей, окончательным выражением которых служит «Легенда».

40 ** Отсюда начинается ход мысли, вошедшей и в «Легенду».

*** Аналогии этому см. в «Бесах» («дьяволив водевиль» Кирилова) и также в «Легенде» и в «Кошмаре Ив. Федоровича» (в «Бр. Кар.»).

**** Это — слова «Записок из подполья». Таким образом, этот приговор включает в себя мучительные мысли самых важных произведений Достоевского и, конечно, — его собственные мысли.

Так как *природа* не только не признает за мной права спрашивать у нее отчета, но даже и не отвечает мне вовсе — и не потому что не хочет, а потому что и не может ответить —

Так как я убедился, что *природа*, чтоб ответить мне на мои вопросы, предназначила мне (бессознательно) меня же самого и отвечает мне моим же сознанием (потому что я сам это все говорю себе), —

Так как, наконец, при таком порядке, я принимаю на себя в одно и то же время роль истца и ответчика, подсудимого и судьи, и нахожу эту комедию, со стороны природы, совершенно глупую, а переносить эту комедию, с моей стороны, считаю даже унижительным —

То, в моем несомненном качестве истца и ответчика, судьи и подсудимого, я присуждаю эту природу, которая так бесцеремонно и нагло произвела меня на страдание, — вместе со мною к унижению... А так как природу истребить я не могу, то истребляю себя одного, единственно от скуки сносить тиранию, в которой нет виноватого».

Там же, 1876, октябрь. «Приговор».

Достоевскому казалось, что в переданном отрывке им доказано бессмертие души человеческой («если убеждение в бессмертии так необходимо для бытия человеческого, то, стало быть, оно и есть нормальное состояние человечества, а коли так, то и самое бессмертие души человеческой существует несомненно», там же, декабрь, курсив авт.). К счастью, идея бессмертия не относится к числу доказуемых, т. е. для нас внешних, нами усматриваемых идей; но благодатно она дается или не дается человеку, как и вера, как и любовь. Нельзя доказать любовь к ближнему, к ребенку своему или — основательность своей радости; еще менее можно, выслушав доказательство, действительно полюбить, начать радоваться. Доказуемо для человека лишь второстепенное, «прочее», что так или иначе существует, — ему безразлично, истина их существования есть для него предмет любопытства. Что нужно ему, чем жив он — дано ему с жизнью, как легкие с дыханием, сердце с кровообращением. Есть люди, предназначенные к жизни, — они чувствуют бессмертие души, знают о нем; есть обреченные, без Бога, без любви — они темны к нему. И, кажется, между первыми и вторыми нет общения, и доказательства как средства такого общения — исключены, ненужны. «Я жив, бессмертен; ты этого не знаешь о себе? Итак — умри, мне остается только похоронить тебя!».

1894

О ГОГОЛЕ

Пушкин и Гоголь *

В первых главах статьи «*Легенда о Великом Инквизиторе*» Ф. М. Достоевского мне пришлось коснуться творчества Гоголя и, в частности, его отношения к действительности, которое не повторялось у последующих писателей наших и вызвало их противодействие. Мысль эта встретила в нашем уважаемом критике, г. Николаеве **, несколько возражений, в частности имеющих в виду точнее определить значение личности Гоголя и также — его творчества. Так как за всем высказанным с той и другой стороны многое еще остается неясным и оспоримым в самом предмете, то мне показалось удобным и небезынтересным остановить на нем еще раз внимание читателей.

Прежде всего считаю долгом оговориться, что я не имел в виду Пушкина, говоря, что «в литературе позднейшей (у Тургенева, графа Толстого и др.) *впервые* появляются живые лица»: я сказал это только в отношении к самому Гоголю, а не к тому, что лежало еще позади его. Но о Пушкине — ниже, теперь же вернемся к главной сущности вопроса.

I

Гоголь есть родоначальник иронического настроения в нашем обществе и литературе; он создал ту форму, тот тип, впадая в который и забывая свое первоначальное и естественное направление — вот уже несколько десятилетий текут все наши мысли и наши чувства. Идеи, которых он вовсе не высказывал, ощущения, которых совсем не возбуждал, возникнув много времени спустя после его смерти, — все, однако, формируются по одному определенному типу, источник которого находится в его творениях. С тех пор как эти творения лежат пред нами, все, что не в духе Гоголя, — не имеет силы, и, напротив, все, что согласуется с ним, как бы ни было слабо само по себе, — растет и укрепляется. Душевная жизнь исторически развивающегося общества получила в его личности изгиб, после которого пошла непреодолимо по одному уклону, разбивая одни понятия, формируя другие, — но все и постоянно в одном роде. Каков смысл этого изгиба? Вопрос этот разрешается, в частности, отношением Гоголя к Пушкину.

Мой критик сравнивает их и находит «равноценными»; но прежде всего — они разнородны. Их даже невозможно сравнивать, и, обобщая в одном понятии «красоты», «искусства», мы совершенно упускаем из виду их внутреннее отношение, которое позднее развивалось и в жизни и в литературе, раз они привзошли в нее как факт. Разнообразный, всесторонний Пушкин составляет антитезу

* По поводу статьи Говорухи-Отрока (под псевдонимом Ю. Николаева): «Нечто о Гоголе и Достоевском».

** Позднее, по поводу высказанного мною взгляда на Гоголя, появилось еще несколько статей в наших периодических изданиях, частью ценных. Их общий, однако, недостаток состоит в том, что они вовсе не разбирают как характер гоголевского творчества, так и моих о нем замечаний.

к Гоголю, который движется только в двух направлениях: напряженной и беспредметной лирики, уходящей ввысь, и иронии, обращенной ко всему, что лежит внизу. Но сверх этой противоположности в форме, во внешних очертаниях их творчество имеет противоположность и в самом существе своем.

Пушкин есть как бы символ жизни: он — весь в движении, и от этого-то так разнообразно его творчество. Все, что живет, — влечет его, и подходя ко всему — он любит его и воплощает. Слова его никогда не остаются без отношения к действительности, они покрывают ее и чрез нее становятся образами, очертаниями. Это он есть истинный основатель *натуральной школы*, всегда верный природе человека, верный и судьбе его. Ничего напряженного в нем нет, никакого болезненного воображения или неправильного чувства. ¹⁰

Отсюда — индивидуализм в его лицах, вовсе не сводимых к общим типам. Тип в литературе — это уже недостаток, это обобщение; то есть некоторая переделка действительности, хотя и очень тонкая. Лица не слагаются в типы, они просто живут в действительности, каждое своею особенною жизнью, неся в самом себе свою цель и значение. Этим именно, несливаемостью своего лица ни с каким другим, и отличается человек ото всего другого в природе, где все обобщается в роды и виды, и неделимое есть только их местное повторение. Этой-то главной драгоценности в человеке искусство и не должно бы касаться, — и оно не касается его у Пушкина. Из новых только граф Лев Толстой, и то в несовершенной степени, сумел достигнуть того же: и зато он считается высшим представителем натурализма в нашей литературе. Но мы не должны забывать, что это уже было у Пушкина и только почему-то осталось незамеченным. ²⁰

Во всяком случае это есть величайший признак того, что в произведениях сохранена жизнь, перенесенная из действительности. Но и не только как воплотитель Пушкин дает норму для правильного отношения к действительности: в его поэзии содержится указание, как само искусство, уже воплотив жизнь, должно обратно на нее действовать. В этом действии не должно быть ничего утраченного или формирующего: поэзия лишь просветляет действительность и согревает ее, но не переиначивает, не искажает, не отклоняет от того направления, которое уже заложено в живой природе самого человека. Она *не мешает* жизни, — и это также вследствие того, что в ней отсутствует болезненное воображение, которое часто творит второй мир поверх действительного и к этому второму миру силится приспособить первый. Пушкин научает нас чище и благороднее чувствовать, отгоняет в сторону всякий нагар душевный, но он не налагает на нас никакой удушливой формы. И, любя его поэзию, каждый остается *самим собою*. ³⁰

Все это и делает его поэзию идеалом нормального, здорового развития. В ней заложены уже направления, следуя которым, сколько бы ни усложнялась жизнь, — она не отклонится в сторону; станет полнее, разнообразнее, наконец, — глубже: но от этого не потеряет ни прежнего единства и цельности, ни спокойствия и ясности. Иное поймется в ней, иное совершится, нежели что могло быть понято и совершено в эпоху Пушкина; но все понятое также правильно ляжет на душу, и, совершаясь, ничто не примет уродливости в движениях. ⁴⁰

II

Но вот появился Гоголь. Не различая типов в психическом развитии людей, мы все гениальное в творчестве группируем в одно целое; и, вообще, думаем, что оно не разъединено, внутренне согласно, что оно усиливает друг друга. Но это не так: только гений же может быть губителен для гения, и именно — гений другого, противоположного типа. Известно, как затосковал Гоголь, когда безвременно погиб Пушкин. В это время «Мертвые души» уже выросли в нем, но они еще не появились, а того, кто последующими своими созданиями мог бы уравновесить их, — уже не стало. Без сомнения, вся тайна гения неизвестна и ему самому; но что он мощь свою ощущает и знает границы ее — это ясно. Если уже мы, открыв случайно «Мертвые души», к какому бы нужному делу ни спешили, перевернем еще и еще страницу, то сам-то дивный творец их уже, конечно, знал, какая сила грядет с ним в мир. И он, носитель этой силы, был теперь один. Он знал, он не мог не знать, что он погасит Пушкина в сознании людей и с ним — все то, что несла его поэзия. Вот откуда вытекает тревога его по мере того, как стали выходить главы «Мертвых душ». В письмах к друзьям он выискивает их впечатление, спрашивает о качестве его и сам упорно молчит о смысле поэмы. Слава, несущаяся о нем, его не занимает; он глубже и глубже уходит в себя, тон писем становится все беспокойнее и страннее. Более, чем о ком-нибудь, можно сказать о гении, что центр и направление его лежит в «мирах иных»; но он-то, личный носитель его, все-таки видит и знает это направление, хотя и бессилен помешать ему. Последние главы «Мертвых душ» Гоголь сжег; но и те, которые успели выйти, исказили совершенно иначе духовный лик нашего общества, нежели как начал уже его выводить Пушкин.

Где причина, что один равнозначущий гений был, однако, вытеснен * другим? Объяснение этого лежит в самой сущности их разнородного творчества и в особом действии каждого на душу. Если, открыв параллельно страницу из «Мертвых душ» и страницу же из «Капитанской дочки» или из «Пиковой дамы», мы начнем их сравнивать и изучать получаемое впечатление, то тотчас заметим, что впечатление от Пушкина не так устойчиво. Его слово, его сцена как волна входит в душу и как волна же, освежив и всколыхав ее, — отходит назад, обратно: черта, проведенная ею в душе нашей, закрывается и зарастает; напротив, черта, проведенная Гоголем, остается неподвижною: она не увеличивается, не уменьшается, но как выдавилась однажды — так и остается навсегда. Как преднамеренно ошибся Собакевич, составляя список мертвых душ, или как Коробочка не понимала Чичикова — это все мы помним в подробностях, прочитав только один раз и очень давно; но что именно случилось с Германом во время карточной игры, — для того чтобы вспомнить это, нужно еще раз открыть «Пиковую даму». И это еще более удивительно, если принять во внимание непрерывное однообразие «Мертвых душ» на всем их протяжении и, напротив, своеобразие и романтич-

* Совершенно несправедлива и унижительна для памяти Пушкина мысль, что он был вытеснен из живого сознания нашего общества критикою 60-х годов: он уже *не читался*, когда эта критика появилась, и потому именно она для всех была внятна; с какого же времени он *перестал* читаться?

ность сцен Пушкина. Где же тайна этой особенной силы гоголевского творчества и вместе, конечно, его сущность? Откроем первую страницу «Мертвых душ»:

«Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопро-
вожден ничем особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей каба-
ка, против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем,
более к экипажу, чем к сидевшему в нем. „Вишь ты, — сказал один другому, —
вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву,
или не доедет?“ — „Доедет“, — отвечал другой. „А в Казань-то, я думаю, не дое-
дет?“. — „В Казань не доедет“, — отвечал другой. Этим разговор и кончился. Да
еще, когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых ¹⁰
канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушеньями на
моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульской булавкою
с бронзовым пистолетом. Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж,
придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своею дорогою».

Всмотримся в течение этой речи — и мы увидим, что оно безжизненно. Это
восковой язык, в котором ничего не шевелится, ни одно слово не выдвигается
вперед и не хочет сказать больше, чем сказано во всех других. И где бы мы ни от-
крыли книгу, на какую бы смешную сцену ни попали, мы увидим всюду эту же
мертвую ткань языка, в которую обернуты все выведенные фигуры, как в свой ²⁰
общий саван. Уже отсюда, как обусловленное и вторичное, вытекает то, что у всех
этих фигур мысли не продолжают, впечатления не связываются, но все оне
стоят неподвижно, с чертами, докуда довел их автор, и не растут далее ни внутри
себя, ни в душе читателя, на которого ложится впечатление. Отсюда — неизгла-
димость этого впечатления: оно не закрывается, не зарастает, потому что тут не-
чему зарости. Это — мертвая ткань, которая каковою введена была в душу чита-
теля, таковою в ней и останется навсегда.

Ничего этого не было понято у Гоголя, и он сочтен был основателем «нату-
ральной школы», то есть как будто бы *передающей* действительность в своих
произведениях. Только к этому наивному утверждению и относятся мои отрица- ³⁰
ния, и подтверждение их можно было бы найти во всех воспоминаниях о нем
близких людей:

«В январе 1850 года, — пишет С. Т. Аксаков (Соч., т. III, с. 358), — Гоголь
прочел нам в другой раз первую главу „Мертвых душ“. Мы были поражены удив-
лением: глава показалась нам еще лучше и как будто написана вновь. Гоголь был
очень доволен таким впечатлением и сказал: „Вот что значит, когда живописец
дал последний туш своей картине. Поправки, по-видимому, самые ничтожные:
там *одно словцо убавлено, здесь прибавлено, а тут переставлено* (мой курс.) — и все
выходит другое. Тогда надо напечатать, когда все главы будут так отделаны“...
Слово „картина“, то есть *срисованное*, здесь, очевидно, поставлено ошибочно: это ⁴⁰
не кисть живописца, не краски, исполненные разнообразия и жизни, которые
воспроизводят разнообразие другой действительности; это скорее какая-то *мо-
заика слов*, приставляемых одно к другому, которой тайна была известна одному
Гоголю. Не в нашей только, но и во всемирной литературе он стоит одиноким ге-
нием, и мир его не похож ни на какой мир. Он один жил в нем; но и нам входить
в этот мир, связывать его со своею жизнью и даже судить о ней по громадной вос-
ковой картине, выкованной чудным мастером, — это значило бы убийственно
поднимать на себя руку.

На этой картине совершенно нет живых лиц: это крошечные восковые фигурки, но все они делают так искусно свои гримасы, что мы долго подозревали, уж не шевелятся ли они. Но они неподвижны; посмотрите еще раз в приведенный выше отрывок: картуз есть единственное живое лицо там, которое хочет жить, но и оно придерживается вовремя. Все остальные передвигают руками и ногами, но вовсе не потому, чтобы хотели это делать; это за них автор переступает ногами, поворачивается, спрашивает и отвечает: они сами неспособны к этому. И это не потому вовсе, что они бессмысленны: бессмысленность — второе здесь, что уже само собою вытекает из безжизненности. Вспомните Плюшкина: это в самом деле удивительный образ, но вовсе не потому, как оригинально он задуман, а лишь потому, как оригинально он выполнен. Вот рядом с ним стоит Скупой рыцарь, человек с головы до ног, который понимает и что такое искусство, и что такое преступление и только надо всем этим господствует своею страстью. Его можно бояться, можно ненавидеть, но нельзя не уважать: он человек. Но разве человек Плюшкин? Разве это имя можно применить к кому-нибудь из тех, с кем вел свои беседы и дела Чичиков? Они все, как и Плюшкин, произошли каким-то особым способом, ничего общего не имеющим с естественным рождением: они сделаны из какой-то восковой массы слов, и тайну этого художественного дела 10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000
1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1200
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1320
1330
1340
1350
1360
1370
1380
1390
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1460
1470
1480
1490
1500
1510
1520
1530
1540
1550
1560
1570
1580
1590
1600
1610
1620
1630
1640
1650
1660
1670
1680
1690
1700
1710
1720
1730
1740
1750
1760
1770
1780
1790
1800
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2110
2120
2130
2140
2150
2160
2170
2180
2190
2200
2210
2220
2230
2240
2250
2260
2270
2280
2290
2300
2310
2320
2330
2340
2350
2360
2370
2380
2390
2400
2410
2420
2430
2440
2450
2460
2470
2480
2490
2500
2510
2520
2530
2540
2550
2560
2570
2580
2590
2600
2610
2620
2630
2640
2650
2660
2670
2680
2690
2700
2710
2720
2730
2740
2750
2760
2770
2780
2790
2800
2810
2820
2830
2840
2850
2860
2870
2880
2890
2900
2910
2920
2930
2940
2950
2960
2970
2980
2990
3000
3010
3020
3030
3040
3050
3060
3070
3080
3090
3100
3110
3120
3130
3140
3150
3160
3170
3180
3190
3200
3210
3220
3230
3240
3250
3260
3270
3280
3290
3300
3310
3320
3330
3340
3350
3360
3370
3380
3390
3400
3410
3420
3430
3440
3450
3460
3470
3480
3490
3500
3510
3520
3530
3540
3550
3560
3570
3580
3590
3600
3610
3620
3630
3640
3650
3660
3670
3680
3690
3700
3710
3720
3730
3740
3750
3760
3770
3780
3790
3800
3810
3820
3830
3840
3850
3860
3870
3880
3890
3900
3910
3920
3930
3940
3950
3960
3970
3980
3990
4000
4010
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4080
4090
4100
4110
4120
4130
4140
4150
4160
4170
4180
4190
4200
4210
4220
4230
4240
4250
4260
4270
4280
4290
4300
4310
4320
4330
4340
4350
4360
4370
4380
4390
4400
4410
4420
4430
4440
4450
4460
4470
4480
4490
4500
4510
4520
4530
4540
4550
4560
4570
4580
4590
4600
4610
4620
4630
4640
4650
4660
4670
4680
4690
4700
4710
4720
4730
4740
4750
4760
4770
4780
4790
4800
4810
4820
4830
4840
4850
4860
4870
4880
4890
4900
4910
4920
4930
4940
4950
4960
4970
4980
4990
5000
5010
5020
5030
5040
5050
5060
5070
5080
5090
5100
5110
5120
5130
5140
5150
5160
5170
5180
5190
5200
5210
5220
5230
5240
5250
5260
5270
5280
5290
5300
5310
5320
5330
5340
5350
5360
5370
5380
5390
5400
5410
5420
5430
5440
5450
5460
5470
5480
5490
5500
5510
5520
5530
5540
5550
5560
5570
5580
5590
5600
5610
5620
5630
5640
5650
5660
5670
5680
5690
5700
5710
5720
5730
5740
5750
5760
5770
5780
5790
5800
5810
5820
5830
5840
5850
5860
5870
5880
5890
5900
5910
5920
5930
5940
5950
5960
5970
5980
5990
6000
6010
6020
6030
6040
6050
6060
6070
6080
6090
6100
6110
6120
6130
6140
6150
6160
6170
6180
6190
6200
6210
6220
6230
6240
6250
6260
6270
6280
6290
6300
6310
6320
6330
6340
6350
6360
6370
6380
6390
6400
6410
6420
6430
6440
6450
6460
6470
6480
6490
6500
6510
6520
6530
6540
6550
6560
6570
6580
6590
6600
6610
6620
6630
6640
6650
6660
6670
6680
6690
6700
6710
6720
6730
6740
6750
6760
6770
6780
6790
6800
6810
6820
6830
6840
6850
6860
6870
6880
6890
6900
6910
6920
6930
6940
6950
6960
6970
6980
6990
7000
7010
7020
7030
7040
7050
7060
7070
7080
7090
7100
7110
7120
7130
7140
7150
7160
7170
7180
7190
7200
7210
7220
7230
7240
7250
7260
7270
7280
7290
7300
7310
7320
7330
7340
7350
7360
7370
7380
7390
7400
7410
7420
7430
7440
7450
7460
7470
7480
7490
7500
7510
7520
7530
7540
7550
7560
7570
7580
7590
7600
7610
7620
7630
7640
7650
7660
7670
7680
7690
7700
7710
7720
7730
7740
7750
7760
7770
7780
7790
7800
7810
7820
7830
7840
7850
7860
7870
7880
7890
7900
7910
7920
7930
7940
7950
7960
7970
7980
7990
8000
8010
8020
8030
8040
8050
8060
8070
8080
8090
8100
8110
8120
8130
8140
8150
8160
8170
8180
8190
8200
8210
8220
8230
8240
8250
8260
8270
8280
8290
8300
8310
8320
8330
8340
8350
8360
8370
8380
8390
8400
8410
8420
8430
8440
8450
8460
8470
8480
8490
8500
8510
8520
8530
8540
8550
8560
8570
8580
8590
8600
8610
8620
8630
8640
8650
8660
8670
8680
8690
8700
8710
8720
8730
8740
8750
8760
8770
8780
8790
8800
8810
8820
8830
8840
8850
8860
8870
8880
8890
8900
8910
8920
8930
8940
8950
8960
8970
8980
8990
9000
9010
9020
9030
9040
9050
9060
9070
9080
9090
9100
9110
9120
9130
9140
9150
9160
9170
9180
9190
9200
9210
9220
9230
9240
9250
9260
9270
9280
9290
9300
9310
9320
9330
9340
9350
9360
9370
9380
9390
9400
9410
9420
9430
9440
9450
9460
9470
9480
9490
9500
9510
9520
9530
9540
9550
9560
9570
9580
9590
9600
9610
9620
9630
9640
9650
9660
9670
9680
9690
9700
9710
9720
9730
9740
9750
9760
9770
9780
9790
9800
9810
9820
9830
9840
9850
9860
9870
9880
9890
9900
9910
9920
9930
9940
9950
9960
9970
9980
9990
10000

Мой критик указывает на высокую нравственную сторону в Гоголе. Ее, действительно, нельзя достаточно оценить: то, на что он решился, не сделал еще никто в истории. Мы уже сказали ранее, что направление и источник гения всего менее лежит в воле его личного обладателя. Но *сознать* этот гений, но *оценить* его для людей и для будущего — это он может. Гоголь *погасил свой гений*. Неужели и это недостаточное свидетельство того, чем он был?

III

Благодаря образам Пушкина и благодаря новой литературе, которая вся силится восстановить его, поборая Гоголя, и в нашей жизни раньше или позже этот гений погаснет. И в самом деле, его ирония к всему живому уже неоднократно заставляла свертываться самый высокий энтузиазм. Вспомним речь Достоевского на Пушкинском празднике: в минуту такого порыва, такого обаяния для всех, он упал, как скошенный, когда к его ногам были брошены гоголевские мертвецы. Отсюда — мучительное раздражение, с которым он отвечал профессору Градовскому. Он понял, что, сколько бы ни говорил он далее, к какой бы диалектике ни прибегал, — все это не будет ясно, и ясны для всех эти вековые мертвецы, и с ними — истина, что человек может только презирать человека. И действительно, все в его полемике забыто, никто не помнит подробностей спора, но, верно, всякий помнит мысль, что в прежнее время людям высшей души некуда было

и деваться, как только уходить в цыганские таборы от ходячих мертвецов, населявших города. Но то же можно сказать и о всяком времени: непреодолимою преградой незабываемые фигуры Гоголя разъединили людей, заставляя их не стремиться друг к другу, но бежать друг от друга, не ютиться каждому около всех, но от всех и всякому удаляться. Его восторженная лирика, плод изнуренного воображения*, сделала то, что всякий стал любить и уважать только свои мечты, в то же время чувствуя отвращение ко всему действительному, частному, индивидуальному. Все живое не притягивает нас более, и от этого-то вся жизнь наша, наши характеры и замыслы, стали так полны фантастического. Прочтите «Невский проспект», это удивительное сплетение самого грубого реализма и самого болезненного идеализма, — и вы поймете, что он был прологом, открывшим нить событий, сложивших очень грустную историю. Великие люди своим психическим складом живут, разлагаясь в психический склад миллионов людей, из которого родятся потом с необходимостью и осязаемые факты.

Успокоение — вот то, в чем мы всего более нуждаемся. Нет ясности в нашем сознании, нет естественности в движении нашего чувства, нет простоты в нашем отношении к действительности. Мы возбуждены, встревожены, — и это возбуждение, эта тревога сказывается конвульсивностью наших действий и беспорядочностью мыслей. Развитие дальнейшее, при таком состоянии, может подняться на очень большую высоту; но оно никогда не будет при этом развитием нормальным, здоровым.

На пути к этому естественному развитию, не столь ускоренному, но непременно имеющему подняться на большую высоту, действительно стоит Гоголь. Он стоит на пути к нему не столько своею иронией, отсутствием доверия и уважения к человеку, сколько всем складом своего гения, который стал складом нашей души и нашей истории. Его воображение, не так относящееся к действительности, не так относящееся и к мечте, *растлило* наши души и разорвало жизнь, исполнив то и другое глубочайшего страдания. Неужели мы не должны сознать это, неужели мы настолько уже испорчены, что живую жизнь начинаем любить менее, чем... игру теней в зеркале.

К счастью, в самом творчестве Гоголя есть черты, по которым мы можем, наконец, определить его сущность. Мы возвратимся к частному факту, чтоб яс-

* В ранних произведениях полную аналогию к этой лирике представляют описания природы («как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии» и пр.), всегда напряженные, всегда абстрактные, представляющие только общую панораму, а не собрание частных, из которых каждая дорога и привлекательна. Если сравнивать их с описаниями природы, например, у Тургенева, то тотчас можно заметить, что Тургенев видел, знал и любил природу: множество подробностей у него, очевидно, *запало в душу*, и он их *воспроизвел*, хотя, может быть, и бессознательно. В описаниях Гоголя чувствуешь человека, который никогда *и не взглянул даже с любопытством на природу* (см. также и воспоминания о нем разных лиц). Вообще замечательна в Гоголе эта особенность, что он все явления и предметы рассматривает не в их действительности, но *в их пределе*: отсюда поэзия его украинских рассказов, вовсе не похожая на простую действительность Малороссии; отсюда его петербургские повести, «Мертвые души» и «Ревизор», возводящие обыкновенную серенькую жизнь до предела пошлости. С Гоголя именно начинается в нашем обществе *потеря чувства действительности*, равно как от него же идет *нагало и отвращения к ней*.

нить все сказанное и укрепить его, как кажется, непреодолимо. По какой-то обратной иронии, которая смеется над самыми мудрыми, в искусно выполненную поэму Гоголя замешались две детские фигурки. Это знаменитые Фемистоклос и Алкид, не похожие ни на что в детском мире — ни действительном, ни опозитивированном. Ведь о *них*-то уже мы можем думать, что они были чисты и прекрасны и что никакого «оплотнения» души, о коем говорит г. Николаев, в них еще не было. И все-таки они — куклы, жалкие и смешные, как и все прочие фигуры «Мертвых душ». Не вскрывает ли это с очевидностью пред нами, каков состав и остального содержания поэмы? «Не мешайте этим приходиться ко Мне», — сказал Спаситель о детях; даже Он не смотрел на них с высоты и осуждающим взором, но протягивал к ним руки и привлекал их к Себе; как равно и «оплотненных» душой Он укорял и учил, но никогда не осмеивал. Как же мы можем говорить о какой-то «религиозной высоте», в свете которой знаменитый сатирик судил людей? Если это — высота, то она не имеет ничего общего с тою, с которой смотрел на людей Христос, где лежит Его Евангелие и крест и куда, конечно, должны направляться народы, уходя от всего, что обманчиво блистает для них с противоположной стороны, к счастью — всегда в очень различных точках.

Как произошел тип Акакия Акакиевича

Просматривая сочинения Гоголя в классическом издании их, сделанном недавно умершим ученым нашим Н. С. Тихонравовым, я случайно ознакомился из него, как и в каком точном отношении к действительности произошел тип Акакия Акакиевича (в повести «Шинель»), столь характерный для всего творчества Гоголя и, до известной степени, объединяющий в чертах своих если и не все, то главные им созданные типы. К удивлению, это сообщение неожиданно и ярко подтвердило, и уже фактически, все, что, смутно ища и, быть может, впадая в побочные ошибки, я пытался высказать ранее. Почти не нуждающийся в комментариях, вот этот факт:

«Сообщая о небольшом кружке писателей, — говорит Н. С. Тихонравов, — собиравшихся к Гоголю потолковать преимущественно о явлениях искусства, П. В. Анненков * замечает, что „никогда, однако ж, даже среди одушевленных и жарких прений, не покидала его лица постоянная, как бы присосающаяся к нему, наблюдательность. Для Гоголя как здесь, так и в других сферах жизни ничего не пропадало даром. Он прислушивался к замечаниям, описаниям, анекдотам, наблюдениям своего круга — и, случалось, пользовался ими. В этом, да и в свободном изложении своих мыслей и мнений кружок работал на него. Однажды при Гоголе рассказан был канцелярский анекдот о каком-то бедном *гиновнике, страстном охотнике* за птицей, который необычайною экономией и *неутомимыми, усиленными трудами сверх должности накопил сумму, достаточную на покупку хорошего лепажевского ружья рублей в 200 (асс.). В первый раз, как на маленькой своей лодочке он пустился по Финскому заливу — за добычей, положив драгоценное ружье перед собою на нос, он находился, по его собственному уверению, в каком-то самозабвении и пришел в себя только тогда, как, взглянув на нос, не увидел своей*

* Он лично знал Гоголя много лет, был с ним в дружеских отношениях и, между прочим, иногда переписывал для него с черновиков некоторые сочинения (напр., «Мертвые души»).

обновки. Ружье было стянуто в воду густым тростником, через который он где-то проезжал, и все усилия отыскать его были тщетны. Чиновник возвратился домой, лег в постель и уже не встал: он схватил горячку. Только *общей подпиской его товарищей, узнавших о происшествии и купивших ему новое ружье, возвращен он был к жизни*, но о страшном событии он уже не мог никогда вспомнить без смертельной бледности в лице» (т. II, стр. 610—611).

Мы почти видим этого чиновничка, конечно получающего крохотное содержание, корпящего над бумагами, людям несравненно беднейшим его духовно нужными, но который в этой глупой действительности, для него созданной, сумел, как бы хоронясь из нее, создать себе новую, осмысленную, до известной степени поэтическую: ведь страсть к охоте — это прежде всего страсть к природе, т. е. уже некоторое чуткое к ней внимание, ее живое ощущение. И в этой *ненужной* своей привязанности, без сомнения по чуткому вниманию уже к нему, к его желанию уйти из города в природу, он никем из окружающих товарищей не осуждается: они не критикуют его раздраженно, не смеются над ним, как посмеялись бы над неуместною затеей и не вознаградили бы утрату ненужной вещи. Из столь же крохотных своих сбережений и, конечно, отказывая через это себе в необходимом, они покупают ему опять ружье! Здесь, в этой «складчине», нам слышится их общее сожаление к себе, сознание о положении, созданном для них и для тысяч подобных описанным, рассказанным, увенчанным историей гением Сперанского, который, как исполинский костяк, без мускулов и без нервов, налег на живую Россию с начала века и до сих пор все в ней давит собою.

Во всяком случае, в смысле рассказанного в кругу приятелей факта не было и тени указания на *безжизненность*, глухую *инертность* среды, в которой он совершился; и также ничего не говорило о *духовной суженности* главного, в нем упомянутого, лица.

«Все смеялись анекдоту, — продолжает Анненков, — *имевшему в основании истинное происшествие*, исключая Гоголя, который выслушал его задумчиво и опустил голову. Анекдот был первою мыслью чудной повести его „Шинель“, и она заронила в душу его *в тот же самый вечер*». Нисколько не чувствуя важности факта, перед ним лежащего и бросающего свет на все творчество Гоголя, ученый издатель его трудов заключает: «...собрания кружка, о которых рассказывает Анненков, происходили в квартире Гоголя на Малой Морской, в доме Лепена; а на этой квартире Гоголь жил в 1834 году. Итак, первая мысль о повести „Шинель“ заронила в душу Гоголя в 1834 году» (там же, стр. 611).

Разбирая в мельчайших деталях рукописи Гоголя, проф. Тихонравов открыл в Московском публичном музее все последовательные наброски знаменитой повести, и между ними — начальный, переписанный рукою Погодина, который он приводит в примечаниях к окончательному тексту повести, со всеми в нем поправками, недописанными и, наконец, зачеркнутыми словами, из буквы в букву. По этому-то черновику, с его поправками, который так мало обширен, что в нем можно видеть работу одного-двух вечеров, мы, как бы присутствуя в кабинете самого Гоголя, можем следить за работою его воображения над данным действительностью фактом и через это определить весь внутренний ее смысл. Заметив, что в первой этой рукописи (на трех страничках почтового листка в 8°) еще не появляется и самое имя Акакия Акакиевича, а только содержится как бы художественный очерк безыменного лица, позднее, в других приведенных набросках

(в известном эпизоде о его крещении) уже получающего себе и имя, мы приведем его без пропусков, отмечая в скобках выставленные рукою самого Гоголя (над погодинским текстом) слова:

«*Повесть о чиновнике, крадущем шинели**. В департаменте податей и сборов, — который, впрочем, иногда называют департаментом подлостей и вздоров, не потому, чтобы в самом деле были там подлости, но потому, что господа чиновники любят так же, как и военные офицеры, немножко поострить, — итак в этом департаменте служил чиновник, собой не очень взрачный — *низенький, плеши- вый, рябоват, красноват*, даже на вид несколько *подслеповат*. [Служил он очень беспорочно.] В то время еще не выходил указ о том, чтобы застегнуть чиновников в вицмундиры. Он ходил во фраке цвету коровьей коврижки. Он был [очень] доволен службою и чином титулярного советника. Никаких замыслов на коллежского асессора, ни надежд на прибавку жалованья. [Был он то, что называют вечный титулярный советник, — чин, над которым, как известно, наострились немало разные писатели, которых сочинения еще смешат разных невинных читателей, любящих почитать от скуки и для препровождения времени.] *В существе своем это было огонь доброе животное и то, что называют благонамеренный человек*, — ибо в самом деле от него почти не слыхали ни дурного, ни доброго слова. Он совершенно жил и наслаждался своим должностным занятием и потому на себя почти никогда не глядел, даже брлся без зеркала. *На фраке у него вечно были перья*, и он имел особенное искусство, ходя по улице, *поспевать под окно в то самое время, когда из него выбрасывали какую-нибудь дрянь*, и потому он *вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор*. Зато нужно было поглядеть на него, *когда он сидел в присутствии за столом и переписывал, нужно было видеть наслаждение, выражавшееся на лице его. Некоторые буквы у него были фавориты*, до которых если он добирался, то на лице у него просто был восторг [то чувствовал такой восторг, что описать нельзя: и *подсмеивался*, и *подмигивал*, и *голову совсем набок*, так что иногда для охотника можно в лице читать было всякую букву: живете, мыслете, слово, твердо. *Губы его невольно и сжимались, и послаблялись*, и как будто отчасти даже помогали. Тогда он не глядел ни на что и не слушал ничего: рассказывал ли один чиновник другому, что он заказал новый фрак, и почем сукно, или споры о том, кто лучше шьет, о Петергофе, о театре, или хоть даже анекдот весьма интересный, потому что довольно старый и знакомый, о том, как одному коменданту сказали, что у статуи Петра отрублен хвост]. Он всегда *приходил раньше всех*. Если не было переписывать, *подишивал бумаги, перегибивал перья*. [Конечно, это было немного, но большего даже трудно было и дать ему, потому что, *когда один раз попробовали употребить на дело немаловажное, именно [дали] поругено было ему из готового дела составить отношение в какое-то присутственное место*, — все дело состояло в том, *чтобы переменить только заглавие и поставить в третьем лице все то, что находилось в первом*, — это задало ему такую головоломку, *что он вспотел совершенно: тер лоб и сказал, чтобы дали ему переписать что-нибудь*.] Словом, служил очень

* Любопытно, как уже в самом заглавии, т. е. в теме рассказа, мелькнувшей у «задумавшегося и опустившего голову» Гоголя, без сомнения, в самый момент рассказа или очень скоро после него, сказалось быстрое, *принижющее и извращающее действительность*, движение творческого воображения.

ревностно на пользу отечества, но выслужил [кажется, что-то очень немного, — только] пряжку в петлицу да геморрой в поясницу [— вот и всего]. Несмотря на то, уважения к нему было очень немного: *гиновники над ним подсмеивались и сыпали на голову ему бумажки, что называли снегом, старые швыряли ему бумаги, говоря: на, перепиши*. Сторожа даже не приподнимались с мест своих, когда он проходил. Жалованья ему было четыреста рублей в год. На это жалованье он ел [доставлял себе множество наслаждений] что-то вроде [щей или супа, Бог его знает, впрочем] и какое-то блюдо из говядины [пахнувшее страшно], прошипованное немилосердно луком; *отлеживался во всю волю на кровати* [валялся в узенькой комнатке] в комнате, над сараями, в Свечном переулке, и платил за помещение заплаток на свои панталоны, почти [вечно] на одном и том же месте — и все это за те же 400 рублей, и даже ему оставалось на поставку пары подметок в год на сапоги [подметок на сапоги, которые он очень *берег* и потому дома, *по праздникам, на квартире всегда сидел в тулках*]. Право, не помню его фамилии. Дело в том, что это был бы первый на свете человек, довольный своим состоянием, если бы не одно маленькое, очень затруднительное впрочем, обстоятельство. В то время, когда Петербург дрожит от холода и двадцатиградусный мороз дает свои колючие щелчки по носам даже действительных тайных советников первого и второго класса, бедные титулярные советники остаются решительно без всякой защиты. Чиновник, о котором идет дело, укрывал кое-как, как ²⁰ знал, свой *нос*, впрочем очень незамечательный, *тупой* и несколько *похожий на то пирожное*, которое делают [некоторым чиновникам] кухарки в Петербурге, называемое пышками. Он его упрятывал во что-то больше похожее на капот, чем на шинель, что-то очень неопределенное и очень поношенное. Он уже издавна стал замечать, что шинель становится, чем далее, как будто бы немного холодноватее. Рассмотревши ее всю насквозь, — к свету и так, — он решился снести ее к портному [которому эта шинель была решительно так же знакома, как собственная, и он знал совершенно местоположенья всех худых и дырявых мест], который, несмотря на свой *кривой* глаз [*рябизну* по всему телу], занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков» (стр. 613—614). ³⁰

Здесь и оканчивается первоначальный набросок. Всматриваясь в него, а также в последующие переделки и в окончательную редакцию повести, мы заметим, что сущность художественной рисовки у Гоголя заключалась в подборе к одной избранной, как бы *тематической*, черте создаваемого образа других *все подобных же, ее только* продолжающих и усиливающих черт, с строгим наблюдением, чтобы среди их *не замешалась хоть одна, дисгармонирующая им* или просто с ними не связанная черта (в лице и фигуре Акакия Акакиевича нет ничего не безобразного, в характере — ничего не забитого). Совокупность этих подобранных черт, как хорошо собранный вогнутым зеркалом пук однородно направленных лучей, и бьет ярко, незабываемо в память читателя; но, конечно, — это не свет естественный, рассеянный, какой мы знаем в природе, а искусственно полученный ⁴⁰ в лаборатории. И видеть какую-нибудь фигуру, точнее, — одну в ней черту под лучом этого света, когда все прочие ее черты оставлены в совершенной темноте, — значит узнать о ней менее, как если бы в обыкновенном свете (позднейшее наше искусство) мы видели полную фигуру в соединении всех ее черт. Известно, что последующие томы «Мертвых душ» имели задачей своей вывести положительные образы; но при том способе рисовки, какой был присущ Гоголю, —

и они все равно бы были сужением действительности, ее упрощением, обеднением (ведь таковы и есть *нагатые* образы Улиньки, Костанжогло). Но мы знаем, что в первом томе этого труда он выполнил лишь отрицательную половину занимавшей его задачи; не ясно ли, что уже не сужение, но *искалечение* человека против того, что и каков он в действительности есть, мы здесь находим.

Судя по переделкам, мы в этом процессе его рисовки можем отметить одну общую тенденцию: первым движением воображения он стремится захватить в картину возможно большее число предметов; позднее ненужные из них отбрасываются, действие вогнутого зеркала как бы сосредоточивается, но и то, что оно делает с предметом, перед ним стоящим, — усиливается. Отчасти это можно видеть из приведенных выше в скобках *добавлений*, сделанных рукою самого Гоголя к первому, начальному тексту повести; но еще более это заметно при сравнении его с окончательною редакцией. Так, в последней начало повести *упрощено*:

«В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте»...

т. е. отброшены ненужные «подлости и вздоры», и также «господа чиновники и военные офицеры». Зато на жалкую фигуру Акакия Акакиевича в этих же первых строках накинуты одна-две еще увеличивающие его безобразия черты.

«...Итак, в одном департаменте служил один чиновник, — чиновник, нельзя сказать, чтобы очень замечательный: низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшою лысиною на лбу, с *морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица, что называется, геморроидальным*».

Далее, ниже несколькими строками, краски, рисующие как его внешность, так и внутреннее содержание, сгущены против первоначального наброска и доведены до непереступаемой степени яркости:

«...Вицмундир у него был не зеленый, а какого-то рыжеватого-мучного цвета. *Воротничок* на нем был *узенький, низенький*, так что шея его, несмотря на то что не была длинна, выходя из воротника, казалась необыкновенно длинною, как у тех *гипсовых котенков*, болтающих головами, которых носят на головах целыми десятками русские иностранцы. И *всегда что-нибудь да прилипало к его вицмундиру*: или *сенца кусогек*, или какая-нибудь *нитогка*...». «Он если и глядел на то, то видел на всем свои *гистые, ровным погерком выписанные строки*, — и только разве, если, неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер ему в щеку, тогда только замечал он, что он не на середине строки, а скорее на середине улицы... Приходя домой, хлебал наскоро щи... *не замедая их вкуса, ел все это с мухами*. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал из-за стола, *вынимал баногку с гернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом*. Если же таких не случалось, он *снимал нарочно, для собственного удовольствия, копию для себя*, — особенно, если бумага была за-

мечательна, не по красоте слога, но *по адресу к какому-нибудь новому или важному лицу*...». «Написавшись *вслась*, он *ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне*, — *что-то Бог пошлет переписывать завтра*. Так протекала мирная жизнь человека, который с четырьмястами жалованья умел быть довольным своим жребием» и т. д.; следует переход к «сильному врагу всех» таких чиновников, северному морозу, — что уже содержится в конце первой редакции повести, и, следовательно, все вставки эти сделаны именно на приведенном первом наброске начала повести.

Обратимся от приемов этой рисовки к самому рисующему художнику. Слова *первого же* наброска, *выпущенные* в позднейших переработках: «В *существо* своем это было доброе животное», ставят нас на точку зрения, с которой рисовался портрет: и, взглянув на него, мы уже объясняем себе, почему именно принижающая черта избрана в рисуемом портрете: животное, безыдейное, неосязающее, — такова была его тема; и, между тем, мелькнула она в уме художника при рассказе, именно показывающем человека одухотворенным, полным мысли, чувства радости о Божием мире. Достаточно вспомнить о *самозабвении* охотника, выехавшего после долгого, быть может, ожидания на гладь Финского залива, с *бесчувственностью* канцеляриста, который, переходя улицу, тогда только замечает, что он «не на середине строки», когда лошадь тычет его из-за плеча мордой, чтобы понять, чем было творчество Гоголя *в отношении к действительности*, какую *ее* рисовкой. Гоголь не только не передавал ее в своих созданиях; и как человек, встречаясь с ее явлениями или слыша о них, — он чудился ее, съезживался, уходил от нее, как уходили от холода его чиновники «в свои поношенные капоты», в странный мир болезненного воображения, где рядом с образами блистающих «Аннунциат» (см. «Рим») жили оскопленные, с облезлыми на голове волосами, с морщинистыми щеками образы Акакиев Акакиевичей и подобных; но как эти, так и те, «блистающие», — равно без жизни *, без естественного на себе света, без движений, без способности в себе продолжающейся мысли, развивающегося чувства **. С этими странными образами одними он жил, ими тяготился, их выразил; и, делая это, — и сам верил, и заставил силою своего мастерства несколько поколений людей думать, что не причудливый и одинокий мир

* И в самом деле, почти невозможно понять образ Акакия Акакиевича, не оттеняя его в мысли своей образом этой Аннунциаты: «Попробуй взглянуть на молнию, когда, раскrojивши черные как уголь тучи, нестерпимо затрепещет она целым потоком блеска. Таковы *оги* у албанки Аннунциаты. Все напоминает в ней те античные времена, когда оживлялся мрамор и блистали скульптурные резцы. Густая смола *волос* тяжеловесною косою вознеслась в два кольца над головой и четырьмя длинными кудрями рассыпалась по шее. Как ни поворотит она сияющий *снег* своего лица — образ ее весь отпечатлелся в сердце. Станет ли *профилем* — дивным благородством дышит профиль, и мечется красота линий, каких не создавала кисть. Обратится ли *затылком* с подобранными кверху чудесными волосами, показав сверкающую *шею* и красоту невиданных землею *плег*, — и там она чудо. Но чуднее всего, когда *глядит* она прямо очами в очи, водрузивши хлад и замиранье в сердце. Полный *голос* ее звенит как медь. Никакой гибкий пантер не сравнится с ней в быстроте, силе и гордости *движений*. Все в ней венец создания, *от плег до* античной дышащей *ноги* и *до* последнего *пальгика* на ее ноге. Куда ни пойдут она — уже несет с собой картину: спешит ли ввечеру к фонтану с кованой медной вазой на голове» — и т. д. Это с анатомическою последовательностью движущееся описание и, вместе, усиливающееся стать пламенным, есть строгая и лишь обратно направленная параллель с образом Акакия Акакиевича: черты одного уходят бесконечно ввысь, другого — вниз, оба *удаляются от действительности*, равно *лишенные* движения, *жизни*, одухотворенности.

** Замечательно, что ни в одном произведении Гоголя нет *развития* в человеке страсти, характера и пр.; мы знаем у него лишь *портреты*, человека *in statu*, не движущегося, не изменяющегося, не растущего или умалющегося. И, кажется, так же относился он к природе: *бури*, *ветра*, даже *шелестящих* листьев или травы он не описал; на всей огромной панораме его живописи ничто не движется, — и это, конечно, не без связи с характером его гения.

своей души он изображал, а яркую, перед ним игравшую, но им *не увиденную, не услышанную, не оощущенную* жизнь.

И, однако, если бы только «Мертвые души» и «Ревизора» оставил нам Гоголь, то, оставаясь изумителен для нас как художник, он не был бы еще велик как человек. Есть, сверх отмеченной главной в нем черты, *сужения и принижения* человека, другая, которою он стал так непонятен, таинствен для всех и которою влечет к себе наше сердце, зовет к себе будущее, — как первую чертою очаровывает наш ум, отталкивает прошлое. Эта черта — и она также сейчас объяснится из его черновых бумаг — есть его бесконечный *лиризм*, оторванный, как и прочее, от связи с действительностью. К чему он относится? Только к этой иронии, с нею связан, без нее не появлялся. Лиризм Гоголя всегда есть только жалость, скорбь, «незримые слезы сквозь видимый смех», как-то мешающиеся с этим смехом: но, замечательно, не предшествуя ему, но всегда за ним *следую*. Это — великая жалость к человеку, так изображенному, скорбь художника о законе своего творчества, плач его над изумительною картиною, которую он не умеет нарисовать иначе (вспомним *попытки* создать 2-й т. «Мертвых душ») и, нарисовав так, хоть ею и любит, но ее презирает, ненавидит. Ранний проблеск этого лиризма мы находим в разбираемой теперь повести и из содержания черновых бумаг убеждаемся, что его вовсе не было в первоначальных текстах, он только появился *вставкою* в окончательный текст, т. е. когда собственно *рисующая* работа была уже окончена. Мы приведем его в контексте с этою последнею, дабы видно было отсутствие всякой между ними связи:

«Молодые чиновники подсмеивались и острили над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия; рассказывали тут же, перед ним, разные составленные против него истории; про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его; спрашивали, когда будет их свадьба; сыпали на голову его бумажки, называя это снегом»...

И вот, как бы прерывая этот поток издевательств, ударяя рисующую неудержимо их руку, — какою-то припискою сбоку, позднее прилепленную наклейкой, следует:

«...но ни одного слова не отвечал Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним. Это не имело даже влияния на занятия его: среди всех этих докуч он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?». *И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, — вдруг остановился, как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде;* какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных, светских людей. *И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник, с лысиной на лбу, со своими проникающими словами: «Оставьте меня! Затем вы меня обижаете?». И в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой». И закрывал себя рукою бедный молодой человек, много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много свирепой грубости в утончен-*

ной, образованной светскости и, Боже! даже *в том человеке, которого свет признает благородным и гестным*».

И далее опять:

«...Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать — он служил ревностно; нет, он служил с любовью. Там, в этом переписыванье, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы соразмерно его рвению давали ему награды» и т. д. (та же 92 стр.) сыплются и сыплются те же «бумажки» на голову «в существе своем доброго животного», как раньше. Вне всякого сомнения, приведенный лирический отрывок есть вспышка глубокой скорби в творце при виде сотворенного; это он «содрогается», окончив создание «свирепой грубости», и «закрывает себя рукою», и повторяет звенящие в ушах слова: «я брат твой», которые чем далее, тем громче будут звучать в его душе, по мере того, как творческий его гений будет восходить к высшим и высшим в зрелости своей созданиям. Мы их услышим, этот плач художника над своею душой, в лирических отступлениях «Мертвых душ», в речи первого комического актера «Развязки к Ревизору», в заключительной строке «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»²⁰ *; он нам звучит из множества частных его писем глубочайшей значительности и, наконец, все собою заглушает, сгоняет остатки всякого «смеха» в «Авторской исповеди», в «Завещании», в «Выбранных местах из переписки с друзьями». И — вот он, весь Гоголь, в полноте образа своего, без исключения из него какой-нибудь черты: великий человек, в котором гениальный ум разошелся с простым сердцем и надолго победил его, заглушил естественный против себя ропот, но в конце — был им побежден, скован, отброшен после борьбы, которая, однако, человеку стоила жизни.

И если все это в нем было непонятно, мы не должны этому удивляться: ведь, бороться с собою — это так чуждо нам, так непонятно в себе; могли ли понять и оценить мы это в другом? Нам все казалось, что, как и мы, он «боролся с печальною действительностью»; целая половина его деятельности становилась, при таком взгляде, необъяснима в нем; необъясним он весь, как человек, с его мучительным скитальчеством из страны в страну, с жадной бежать из родной земли, молитвой, аскетизмом, поездкой в Иерусалим, сожжением 2-го тома «Мертвых душ». Что за дело до *него*; ведь, зато, он становился помощником *нам*. Но великий человек достоин того, чтобы его рассматривали в самом себе. В истории души своей, хотя бы единичной, он, быть может, значительнее, чем целое обще-

* Любопытно, что всюду, где он умеет создавать не отрицательные образы (в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», в «Миргороде»), у него эти лирические отступления отсутствуют;⁴⁰ хотя, по течению речи, там преимущественно и следовало бы ожидать, что он к ним подымет. И, рисуя отрицательное — лишь там, где живопись достигает самой яркой выпуклости, самой высокой напряженности (как и в примере Акакия Акакиевича), — скорбь охватывает душу творца и изливается в лирическом отступлении, по закону художественной объективации обращаемом к изображаемому человеку, но в истине своей — о самом *изображении* и о *себе*, *изобразившем*.

ство в истории своих мелких забот, треволнений, ожиданий, злобы. И если венчавшее его могилу камнем, похвалой и готовое увенчать бронзой непонимание и тщеславие при этом изменившемся на него взгляде возьмет *свое* назад, — с его образа сбегут только ему навязанные черты, и он останется для нас в том именно особом величии, какое было в нем и какое он в себе указал нам; но мы к словам его не прислушались.

Послесловия к комментарию «Легенды о Великом инквизиторе» Ф. М. Достоевского

10 Выпуская 3-е издание своего комментария к «Легенде» Ф. М. Достоевского, — я заметил, что и предисловие ко 2-му изданию его (измененное мною в применении к изменившимся внешним условиям печати), и предисловие к 3-му изданию, вновь написанное, уже так далеко расходятся с этим комментарием, что соединять их в *одно*, в *одну книгу* значило бы совершать литературную какофонию. «Иные дни — иные сны»...

20 Между тем кое-что в этих предисловиях не лишено «комментаторского» значения, — только с изменившихся точек зрения. Поэтому я позволяю себе нескромность предложить их вниманию читателя в отдельном виде, прося его не винить меня особенно строго за желание сохранить вариации своих мыслей, желание пустое — если бы оно касалось только личности моей, и не совсем пустое, если принять во внимание великие темы, затронутые в «Легенде», и перемена взглядов на которые на протяжении 15-ти лет, прошедших после написания мною «комментария», понятна и извинительна.

I

Отзыв о Гоголе (в главе второй) вызвал очень много протестов сейчас же по напечатании «Легенды». Кажется, и до сих пор он остается в литературе одиноким, непризнанным. Верен ли он? Ложен ли? Едва ли что можно возразить мне, имея в руках *документы* написанного Гоголем. Гоголь был великий *платоник*, бравший все в идее, в грани, в пределе (художественном); и, разумеется, судить о России по изображениям его было бы так же странно, как об Афинах времен
30 Платона судить по отзывам Платона. Но в характеристике своей я коснулся *души* Гоголя, — и, думаю, тут ошибся. Тут мы вообще все ничего не знаем о Гоголе. Нет в литературе нашей более неисповедимого лица, и, сколько бы в глубь этого колодца вы ни заглядывали, никогда вы не проникнете до его дна; и даже по мере заглядывания — все менее и менее будете способны ориентироваться, потеряете начала и концы, входы и выходы, заблудитесь, измучитесь и вернетесь, не дав себе даже и приблизительно ясного отчета о виденном. Гоголь — очень таинствен; это — клубок, от которого никто не держал в руках *входящей* нити. Мы можем судить только по объему и весу, что клубок этот необыкновенно содержателен... Поразительно, что невозможно забыть ничего из сказанного Гоголем,

даже мелочей, даже ненужного. Такою мощью слова никто другой не обладал. В общем рисунок его в равной мере реален и фантастичен. Он рассказывает полет бурсака на ведьме («Вий») так, что невозможно не поверить в это как в метафизическую быль; в «Страшной мести» (самый конец) говорит об испуге «колдуна» тоном человека, который сам смертельно боится... В Оптину Пустынь, к одному из тамошних старцев, он написал записочку-просьбу, буквально повторяющую этот плачущий, запуганный тон «грешника», который что-то особенное наделал на земле... Да, он знал загробные миры; и грех, и святое ему были известны не понаслышке. В то же время в портретах своих, конечно, он не изображает действительность: но *схемы* породы человеческой он изваял вековечно, — грани, 10
к которым вечно приближается или от которых удаляется человек...

Достоевский как *творец-художник* стоит, конечно, неизмеримо ниже Гоголя. Но *мусть* Гоголя у него значительно прояснилась, и из нее показались миры столь великой сложности мысли, какая и приблизительно не мерцала автору «Переписки с друзьями». Идейное содержание Достоевского огромно, хотя через 20 лет по его смерти, взяв карандаш, всегда можно отметить, где он не дошел до нужного, где переступил требующееся. И вообще виден конец и пределы сказанного им, которых в год смерти его решительно невозможно было определить. Можно сказать, что мы должны идти далее Достоевского, ибо время и самый предмет удивления и восхищения как-то прошли... Видны ясно его ошибки; и, напр., вся 20
его путаница о Европе и России (в их взаимоотношении) теперь представляется очевидною аберрацией ума. Вопросы, поставленные Достоевским, гораздо глубже, чем казались ему. Они все суть более метафизические вопросы, чем исторические, каковыми он склонен был сам считать их. Россия подошла ныне к таким проблемам, взглянув на которые оба наши писателя почувствовали бы нечто сходное с тем, что почувствовал добрый Бурульбаш, заглянув в окно старого замка к Пану-Отцу («Страшная месь»). Они зажмурились бы и спустились скорее вниз. Ясно, однако, чувствуется, что центр всемирной *интересности и значительности* передвинулся к нам (Россия), — и почти весь вопрос теперь в силах нашего разума, просто — в нашей талантливости. Талантливый *момент* при- 30
двинул к нам Бог. Сумеет ли около него мы *сами* быть талантливы...

Одна частность, которую следует оговорить. Дойдя до критики страдания людей, в частности — *младенцев*, я пытался тогда, в комментарии своем, рационализировать около этой темы. Это — ошибка, и хотя я оставляю эту страницу нетронутою, но читатель должен на нее смотреть как бы на зачеркнутую. В «Пушкинской речи», так запомнившейся в России, Достоевский спросил: «Чем успокоить дух, если позади стоит нечестный, безжалостный, бесчеловечный поступок?.. Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой. И вот, пред- 40
ставьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только одно человеческое существо, мало того — пусть даже не столь достойное, смешное даже на иной взгляд существо, не Шекспира какого-нибудь, а просто честного старика, мужа молодой жены, в любовь которой он верит слепо, хотя сердца ее не знает вовсе, уважает ее, гордится ею, счастлив ею и покоен. И вот

только его надо опозорить, обесчестить и замучить и на слезах этого обещенного старика возвести это здание. Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос. И можете ли вы допустить хоть на одну минуту, что люди, для которых выстроили это здание, согласились бы принять от вас такое счастье?..».

Речь эта, и в частности приведенное место ее, чрезвычайно запомнились. Действительно, тут поставлен некоторый кардинальный вопрос: можно ли вообще на чьих-нибудь костях, и даже проще — на чьей-нибудь *обиде*, воздвигнуть, так сказать, нравственный Рим, вековечный, несокрушимый? Или, еще острее поворот спора: если некоторый нравственный Рим, с предположениями на вековечность, построен на чьих-нибудь костях, но так искусно и с такими оговорками положенных, что не минуто, не год, но века человечество проходило мимо этих костей, даже не замечая трупика, отворачиваясь от него, презируя его, хотя о нем и сознавая все время: то вправе ли мы долее считать и надеяться, что этот уже воздвигнувшийся Рим — вековечен, имеет вечное и согласное себе благословение в сердцах человеческих и благоволение свыше?.. Вот вопрос, вот критерий.

Лет шесть назад мне пришлось выслушать рассказ приезжего с моей родины, — смеющийся почти рассказ, и просто в качестве новости, известия, именно повода к разговору за чашкою чая. Неподалеку от Костромы, в перелесках, которыми начинаются необозримые заволжские леса, найдено было тельце младенца-мальчика, около года, одинокое, но цельное и нетронутое. Привезли его в Кострому, и как неизвестные тела нельзя предавать земле без вскрытия, то его и вскрыли. Нашли в желудке и костях и тканях особенное перерождение, которое происходит от голодной смерти. Дело было летом, и, очевидно, мальчик все ползал около деревьев, может быть, заползал в кусты, может быть, сваливался в ямку и из нее карабкался, и по крайней мере это длилось неделю. В конце, вероятно, он потерял голос, но первые дни, верно, кричал: «Мама! Мама!». Боялся он? Не боялся? Ночью? Как он относился к чувству голода, т. е. что понимал об этом? Что такое боль голода, сильна ли? Ведь это не местная и не острая боль? Ничего не умею представить себе о душе и *воображении*, *сознании* мальчика, но кое-что, верно, было, уж по крайней мере коротенькое-то это «мама! мама!». Но «мама», верно, была уже далеко, хотя, может быть, день-то и постояла поблизости за деревом, тоже следя, куда поползет мальчик и как он будет ее искать. К годовому ребенку любовь уже совершенно сформировавшаяся, не одна инстинктивная, но и сознательная, сердечная, острая, щемящая, — и этим только можно объяснить, что она не имела сил убить его (верно, тайного своего ребенка), а оставила в лесу с тупой надеждой, что кто-нибудь пройдет мимо, пожалеет и поднимет. Но, верно, он отполз в сторону, и люди проходили дорогой, а в сторону не заглянули. По всей обстановке видно, что до году мальчик скрывался где-нибудь на стороне, а затем по каким-нибудь обстоятельствам матери пришлось взять его, и вот она понесла было домой, но не донесла, ноги задрожали, ум помутился. Просто — не имела сил внести в родной дом дитя девичества своего. Об этом, т. е. что таких детей «не имеют сил вносить в дом свой», знает Церковь, и за него все, исповедующие ее учение и приученные повиноваться ему. Я сказал: «*знает Церковь*»... Слишком скромно: Церковь-то и *отрекла* этих детей, — всех, рожденных *без предварительного ее благословения*, и при ее отказе дать таковое благословение на рождение до замужества; отрекла и определила

их судьбу, убиваемых, кидаемых, во всяком случае при матери и отце не остающихся. Что восемнадцать веков было церковным преступлением, то на девятнадцатый век стало «светским неприличием», «антиморальным поступком»: но пятно последнего границами своими точь-в-точь совпадает с краевыми очертаниями тысячелетнего церковного осуждения. И что ничего *непременного* здесь нет, никакой антиморальности, антирелигиозности, антиобщественности, видно из того, что не только теперь, напр., у русских вотяков даже и не берут в замужество девушку без ребенка, говоря, что «это рискованно, ибо у нее, может быть, и не будет детей, а какой же дом без детей», но и у высокоцивилизованных египтян, народа самого серьезного и религиозного из древних по свидетельству всех писателей, дочери священников, первосвященников, вельмож, военачальников первые годы девичества отдавали свободной любви и свободному деторождению, — прежде, нежели выйти замуж; после чего, с детьми, их брали в замужество первые люди государства, священники, приближенные фараонов. Деторождение почитаемо было везде: а если почитаемо — кому могло прийти на мысль осуждать за это? почему с детьми пренебречь взять в замужество?! С душою углубленною во все величие материнства, тронутую, взволнованную, узнавшей тревоги бессонных ночей над больным или беспокойным малюткой, — эти невесты-матери насколько были пышнее и идеальнее душою, глубже и священнее теперешних невольно-пустыньских барышень, как и затворниц старых московских теремов, младенцев неразвернувшихся, без определившегося в них добра и зла? Материнство ли мараает? — Нет, возвышает! Отчего же не приносить в дар жениху, вместо золота и наук, цветущее здоровьем и талантами дитя, залог продолжения в будущем? Так естественно. Итак, — это *возможно, было* в цивилизациях тысячелетия прошлых. Следовательно, не расшатывает ни быта, ни гражданственности. И наш теперешний обычай ничего *непременного* в себе не содержит. Но пришла Церковь и сказала скупое «нет!». Не по жажде целомудрия: ибо неужели же *детные* женщины нецеломудреннее бездетных, дев? — но по скупости к рождению, по отвращению к счастью, по исканию несчастья. И вот вопрос Достоевского, как все им приведенные примеры детского страдания сами собою повертываются от «властных помещиков», «сластолюбивых турок» и «злых родителей», существ эмпирических и случайных, к *лицу Церкви*, уже «святой», «непорочной», «непогрешимой».

«Позади этой святости, непорочности, непогрешимости стоит нечестный, безжалостный, бесчеловечный поступок... Позвольте, представьте, что это вы сами, священники, архиереи, живые и усопшие учителя Церкви, постники, столпники, чудотворцы, праведники, возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец покой сердечный и мир. И вот, представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только одно человеческое существо, мало того — пусть даже не столь достойное, смешное даже на иной взгляд существо, не Шекспира какого-нибудь, а просто годовалого ребенка костромской девушки-мещанки, но которого она любит, хотя будущности его и не знает, хотела бы гордиться им, быть счастливою им, найти с ним покой. И вот только его и эту девушку надо опозорить, выставить бесчестными и замучить, и на слезах этой опозоренной девушки возвести это здание. Согласитесь ли вы, столпники, постники, учителя Церкви, святые и праведники, быть архитекторами такого здания на этом условии? Вот вопрос.

И можно ли допустить, чтобы люди, чтобы христиане, для которых вы построили это здание, эту Церковь, согласились от вас принять ее как покой и правду?».

Что и спрашивать... «Здание» это было построено... «Здание» это было принято...

«Легенда» обращается против творца своего... Из похвалы, восторгов, умиления (в сущности) она переходит... в Бог знает что. «Моя осанна сквозь горнило испытаний прошла», — записал он перед самой смертью в своей «Записной книжке» и в скобках указал на «Легенду». Но «горнило»-то не очень было выверено, слишком патетично и без оглядок: и «осанна» выходит как-то с кашлем, и даже ее вовсе не слышно, а видно только, что человек старается, заслуживает... почти получает, что нужно, в руку и все же может выговорить только «благодарю покорно», без всякого «ей, гряди».

1901—1906 гг.

II

Год назад появилась интересная работа о Гоголе Д. С. Мережковского: «Гоголь и чорт». В ней автор отрицает *высокодемоническое*, настаивая, что есть только *плоскодемоническое*. Что сущность «бесовского» в мире есть пошлость, серенькое, маленькое... Узнаем здесь плач человеческой души по великом; но если лирика автора критического этюда права, то его тезисов как о злом начале, так, в частности, и о Гоголе — не можем не отвергнуть. «Гоголь всю жизнь свою ловил чорта»... уловлял его, поборол его — такова мысль Мережковского. Насмешливо хочется заметить: да уж не ловил ли Гоголь самого себя за хвост, ибо в письмах он писал, что все «старается исправляться», что «выставлял свои пороки в выводимых лицах» и через это «освобождался от них»... Нет, в самом деле: если допускать «бесовское» и как *серьезное*, что есть, применяя терминологию Библии, не только «боги низин», но и «боги высот», гор, — то о «поимке собственного хвоста» у Гоголя можно было бы сказать и без шутки...

Работа Мережковского, пытающаяся проникнуть в метафизическое существо душевной жизни Гоголя, — есть серьезнейшее в нашей литературе начало *настоящего* отношения к Гоголю. До этого, в работах Кулиша, Тихонравова, Шенрока, мы имели какое-то плюшкинство около Гоголя: собирание тряпок, которые остались после великого человека. «Повертывали и так, и этак, прямо и к свету», как он записал о шинели Акакия Акакиевича, и все видят: «дрянь, изношено, чинить нельзя»... Конечно, важна и библиография: но дайте же что-нибудь и для души, и о душе великого творца «Миргорода», «Ревизора» и «Мертвых душ».

...Касательно главной темы Достоевского. Он нарисовал соблазнительную легенду о том, как злые люди, мучители и обманщики, «пожалели людей», когда к ним отнесся «великолепно, как Бог» (слова «Легенды»), Тот, Который так и этак поступил с ними, но в основе, по Достоевскому же, «поступил с ними *как бы и не любя их вовсе*»... Замечание Мережковского о *мелочности* зла, и всегда только мелочности, получает в ответ себе улыбку... В «Легенде» Достоевского все так сплелось, что «злые люди» более жалеют человека, чем «добрый избавитель» их: это

его собственные слова, его собственный тезис; хотя он на всем протяжении «Легенды» именно принижает их и возвеличивает его. Странно: пошляки люди, в Бога не верят — а друг друга жалеют. «Избавитель» же величественный такой, и люди под ним — как мокрый песок: и ступить не на что. Пишет он, далее, что «избавитель» до того был смиренен, до того смиренен, что не захотел для себя ни *туда*, ни *тайны*, ни *авторитета*: оставил людей «свободными», полагаясь на «свободную их любовь». «Не *обольщал* их совести». Так на Востоке нами, русскими, по преемству от смиренной и тихой Византии, и понято, и принято... А католики, «соединившиеся с ним (Злым Духом) и отвергнувшие Христа, *вопреки ему* основали религию на *тайне, чуде и авторитете*». Это собственные все слова Достоевского: так что Православие, по нему, есть чистый рационализм, параллель штундизму, и отвергает с отвращением *чудо, тайну и авторитет*, сии дары «умного Духа пустыни»... «Ты не захотел чуда: ибо что же за вера при чуде» и проч., «захотел их свободной любви». Удивительно! Достоевский забыл, что Христос ужасно много творил *чудес*: насытил 5-ю хлебами 5000 народа, претворил воду в вино, укрощал бури, исцелял хромых. В конце концов он даже прямо сказал: «Если бы *такие чудеса* были явлены» там и там-то, «то те люди уже поверили бы в Меня: а вы — не верите». Таким образом, о *чуде*, как именно о *средстве* заставить поверить в себя, как в Божество, прямо сказал Христос. Православие едва ли имеет «чудес» менее, чем католицизм, — и особенно оно едва ли более *нуждается* их... «чудес» и «чудотворцев». «Легендою» Д-кий бросил не камень в католичество, а горсть песку, рассыпавшуюся по всем церквам. Наконец, «авторитет»: разве Православие отказывается быть авторитетным? морщится, когда его именуют и оно само именует себя «единою истинною церковью». Никто не слышал, кроме Достоевского, о такой скромности. «Не хотел основать Церкви, основанной на таинствах: не хотел волшебства и суеверий»... Но ведь именно наша Церковь, в отличие от рационализма, добродетели и философии, имеет в основании своем семь «таинств»: крещение, исповедание, причастие, брак, священство, елеосвящение. В частности, в «исповедании» именно духовенство наше «разрешает» все то, о чем пишет Достоевский: «иметь и не иметь детей», «жить и не жить с женой», «разрешает *тихие детские песенки*», ну словословия, «тропари» и «кондаки», отпускает даже «грехи», и, словом, поступает, как мудрые, «взявшие на себя знание добра и зла». Не все так великолепно, как пишет он: но по существу — именно *это*. Так что если католики — «с ним», как пишет Д-кий, то *мы-то с кем же?* Да и, главное, Достоевский так добро очертил «его», который даже хлебом накормил голодающих, что, по обыкновенному рассуждению, вовсе даже и нестрашно быть «с ним» и гораздо более жутко остаться с тем, кто в хлебе принципиально отказал, как в слишком грубом, низменном начале, а, однако, вещественные «царства мира» взял себе: франков при Хлодвиге, англичан при Берте, нас — в X веке, германцев — при Бонифации; а через нас, и франков, и англичан взял и прочие «царства мира», черный и желтый и красный материи... Так что «во мгновении ока» показанное в пустыне, или померцавшее в пустыне, все и соединилось в «христианский мир», все объединилось под одну «тайною, чудом и авторитетом»...

А «злой дух» остался на бобах: ему поклоняются какие-то якуты, мордва, черемисы, — да и то до прихода наших школьных учителей, наших миссионеров и священников. Придут они — подберут и эти остатки. И все я не умею понять:

какую же это «блудницу» раздерут восставшие народы? неужто раздерут якутов и самоедов? Одной роты солдат довольно, и не для чего вовсе тревожиться ими «восставшим народам», как равно и небесным трубам, воинствам ангельским и проч. Это на якутов-то? Вообразить себе, до чего напугаются... Нет, в самом деле: если спросить какого угодно священника, начетчика, архиерея: неужели Страшный Суд, Последний Суд будет против якутов и самоедов, «еще не просвященных светом крещения», против китайцев и японцев, то, мне кажется, все согласен воскликнут: «Нет! Это — *наше*, это — *мы!* Это — что-то *главное*, а не такая второстепенность, как якуты с японцами»...

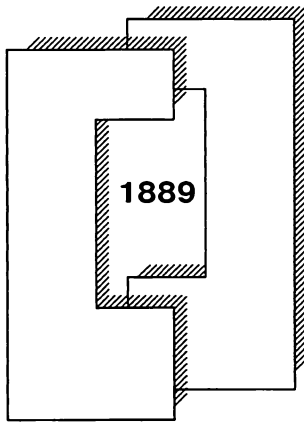
¹⁰ Вот что страшно... И вот чего я, по крайней мере, так боюсь, боюсь, что забываю литературу, свою книгу, и мне хочется начать кричать, как и предсказано: «Горы, падите на нас! Холмы, покройте нас»...

1906 г.



СТАТЬИ
1889—1900 гг.





ПАСКАЛЬ

*Блез Паскаль. Мысли. С предисловием
Прево-Парадоля. Перевод П. Д. Первова.
Издание журнала «Пантеон литературы».
С.-Петербург, 1889.*

Нет счастья для тех, которые не имеют в себе
никакого света религии.

Великие и малые люди имеют те же несчаст-
ные случайности, те же неудовольствия, те же
страсти; но один человек находится на окружности
колеса судьбы, другой ближе к центру, поэтому
менее испытывает те же самые движения. 10

Время, когда Платон и Аристотель создавали
свои «Законы» и «Политику», было наименее фи-
лософскою и наименее серьезною частью их ду-
ши. Самую философскою частью была та, когда
они жили просто и спокойно.

Все наше достоинство состоит в мысли.

Паскаль

I

20

Историки нередко бывают несправедливы не только к отдельным лицам, но и к целым эпохам. Свет и тени, которые они кладут на прошлое, почти всегда не соответствует действительному значению отдельных моментов этого прошлого. Продолжительное изучение человеческих увлечений, созерцание суетного в человеческих делах и суждениях не делает их самих свободными от этих недостатков. Мы ожидали бы, что они будут высоко стоять над минутными волнениями своего времени, что их суд будет носить на себе черты вечной строгости, бесстрастной справедливости; но ничего этого обыкновенно мы не находим у них. Они не руководители толпы; так же как и другие деятели текущей действительности, они только ее выразители. С легкомыслием ребенка или женщины они приковываются вниманием ко всему шумливому, резко заявляющему о себе, тогда как истинно глубокое и серьезное нередко оставляется ими в тени. Вспомним, как часто, с какою ненужною подробностью нам рассказывались различные пошлос- 30

ти из жизни Вольтера или Байрона и как редко и мало мы слышали от них о Кеплере или Локке; не было достаточно малой сплетни в истории салонов XVIII века, на распутывания которой они не положили бы своих усилий, а тихая жизнь ученых отшельников Порт-Рояля едва вызывала несколько ленивых похвал. Как и в жизни, в истории великое и малое часто не обозначает ничего другого, кроме занимательного и незанимательного.

10 Эти мысли всегда и невольно приходили нам на ум, когда мы думали о XVII веке. В обычном освещении истории этот век всегда как-то теряется между предшествующим столетием и последующим, представляется гораздо менее значущим, чем они, не говоря уже о нашем XIX веке, венце истории, когда пар и электричество решительно затмили собою все, прежде бывшее, когда человек, изобретши громадные и изумительные машины, сам сделался, наконец, только незначущим придатком к ним и, кажется, в этом одном уже видит все свое значение и достоинство. Среди громадного религиозного переворота, который совершился в XVI веке, в блеске салонов, энциклопедии и революции, в шуме военной славы Наполеона и всего, что за нею последовало, как-то затеривается скромный век, когда Мильтон слагал свои песни и целый ряд тружеников мысли предавался то изобретению странно-причудливых теорий, то открытию глубоких истин в сфере самых точных наук. И если бы не перипетии 30-летней войны и не личность Людовика XIV, историки, верно, пришли бы в большое затруднение, чем же наполнить, наконец, несколько неизбежных страниц своих трудов, где события, могущие дать пищу глубокомыслию и картину для прелести рассказа. Революция, и всего только одна, и еще с каким-то странным, уродливым характером, вовсе непохожая на все другие революции, заставляла только нарушать правильный и ровный колорит исторического повествования, скорее мешая красоте целого, нежели возвышая достоинство одной его части.

20 Между тем если глубже вздуматься во взаимное соотношение отдельных веков, составляющих новую историю, то нетрудно заметить, что XVII столетие занимает центральное положение между всеми ими. Подобно тому как в исторической жизни какой-нибудь эпохи иногда встречается синтетическая личность, удивительным образом совмещающая в себе все разнообразные стороны своего времени, которые в прочих людях выражены только порознь, — так и XVII столетие является синтетическим для всей новой истории, потому что в нем соединились — или заканчиваясь и начинаясь — почти все главные ее течения. Полное еще религиозного одушевления, которым исключительно жил предшествующий век, оно представляет вместе и начало политического устройства европейских государств, что наполняет собою последующее столетие, и заложение всех точных наук, полный расцвет которых принадлежит нашему времени. Век Тилли и Валленштейна, он был в то же время веком Ришелье и Мазарини, и временем, когда жили и трудились Декарт и Лейбниц, Ньютон и Локк. Все, чем жила и еще продолжает жить новая история, все идеи, одушевляющие ее: философские умозрения и теории политической свободы и абсолютизма, религиозный экстаз и строгие положения механики, скептицизм и вера, невозможные мечты об общественном переустройстве и сухая юриспруденция — все соединилось в этом удивительном веке, придавая ему красоту и разнообразие, которых мы напрасно искали бы в каком-нибудь другом времени. В ту самую пору, как произносились безумные речи в парламенте, который собрал Кромвель, Паскаль изучал законы равнове-

сия жидкостей и Гюйгенс писал о применении высшей математики к азартным играм; одновременно с тем, как трагедии Расина разыгрывались при блестящем дворе Людовика XIV, Томазий издавал «Установление божественной юриспруденции» и Ньютон оканчивал свои «Начала». И это богатство психических настроений, их причудливое сочетание проникает собою не только весь век, но и жизнь отдельных личностей, которые в нем трудились и мыслили: математик, изобретший дифференциальное исчисление, тревожно ищет философских доводов, которые нравственно оправдали бы Бога в истории и в мироздании; творец аналитической геометрии осторожно высказывает мысль, что чувствительность и вообще одушевленность животных есть, по всему вероятно, только кажущийся признак: в действительности они не более, как машины, правда чудно устроенные, но однако же совершенно бездушные. ¹⁰

Но не это одно разнообразие, соединение никогда потом не совмещавшихся противоположностей придает интерес изучению XVII века. Есть в нем еще другая черта, способная не менее привлечь к нему внимание: это глубокая серьезность, с которой отдавались в нем люди всему тому, что их занимало или волновало, чрезвычайная высота самых интересов и могущество мысли, которое обнаружили они в своем стремлении удовлетворить этим интересам. И в слабой оценке этой черты особенно сказывается та несправедливость историков, о которой мы упомянули. Век Перикла в Афинах, эпоха Возрождения в Италии и время энциклопедистов во Франции — вот моменты, на которые указывается обыкновенно, как на высшее проявление в истории человеческих способностей, как на время несравненного процветания человеческой мысли. Они представляются как бы рассеивающими окружающий их сумрак, одни светят сквозь прошлое нам, которым выпала счастливая роль — понять, наконец, важное и неважное в истории и, взяв в свои руки факел просвещения, — конечно донести его до конца. Этим векам, которые по духу так похожи на наш и, следовательно, выше всех других, одним суждено было получить от историков счастливые названия «эпохи высшего расцвета образованности», «века разума», «века просвещения». Уверенные, что все двухтысячелетнее развитие истории совершилось только для того, чтобы подготовить, наконец, появление такого удивительного продукта, как наш XIX век, когда разум окончательно восторжествовал над предрассудками и просвещение широко разлилось по всем странам и среди всех народов, мы смотрим на все века, когда «суеверие» не было так унижено, почти как на задержки в историческом движении, и в том случае, если в них совершилось что-либо неоспоримо великое в умственной жизни, мы все-таки затрудняемся в истинной оценке их достоинства. ²⁰

А между тем если отрешиться от этой мысли, что мы — цель истории и что в наших понятиях заключается непреходящее значение, то не трудно будет заметить, что указанные моменты в прошедшей жизни человечества не только не были моментами высшего проявления вообще творческих сил человека, но даже и моментами высшего умственного расцвета. Некоторая односторонность в направлении творческих сил и грубое непонимание многих важнейших сторон духовной жизни человека были в высшей степени присущи каждой из трех названных эпох. Создание не столько глубокого, как красивого, чаще усовершенствование уже начатого, нежели замысел действительного чего-либо нового, наконец, некоторое пренебрежение к религии и всем глубоким и тонким движе-

ниям человеческой души — вот общие черты указанных моментов исторического развития, скорее, счастливых для человечества, чем истинно великих. Что касается, в частности, до умственной деятельности, то и здесь названные моменты, скорее, готовились стать производительными, нежели действительно были производительны; в них более говорилось о науках и философии, нежели совершалось что-либо важное в их сфере; мысль и знание окружены были высочайшим почетом, считалось в высшей степени достойным человека посвятить им свою жизнь, но сказать, что тогда жизнь и действительно посвящалась им, и особенно — посвящалась с успехом, значило бы сказать несправедливое. Достаточно вспомнить, что век Перикла не был ни временем возникновения Элейской школы, ни временем Сократа, Платона и Аристотеля, чтобы согласиться, что в умственной жизни Греции он занимал второстепенное место. В эпоху Возрождения беспокойно искали, но не были найдены новые начала для теоретической деятельности человека, которые могли бы заменить уже павшую схоластику: «Новый органон» появился только в 1620 г., «Рассуждение о методе» Декарта в 1637 г. Наконец, и XVIII век ничего другого не сделал, как только распространил идеи предшествующего столетия в общественных массах и сделал попытку применить их к жизни; но он не был оригинален ни в своих отрицаниях, ни в своих утверждениях. В «Contrat social» * Руссо нет ничего существенного, что нельзя было бы отыскать в «Левиафане» Гоббеса; деизм Вольтера мы уже находим в трудах Герберта и Толанда, и даже едва ли он не был распространен в их время глубже, чем в XVIII веке: в 1698 г. благочестивые граждане Дублина с удивлением слышали, что им гораздо более говорят с церковных кафедр о каком-то еретике Толанде, нежели об И. Христе. Будем ли мы читать философских скептиков XVIII века или его публицистов, как мало серьезным покажется нам их настроение в сравнении с Бэйлем, каким холодом повеет после Мильтона или Локка. Ни одна из названных эпох не была кульминационным пунктом в истории человеческой мысли; это было время только широкой общественной жизни, когда или предчувствовалось значение науки и философии, как это было в век Перикла, или вспоминалось о нем, как это было в эпоху Возрождения и в XVIII веке. Они были утреннею или вечернею зарею умственной жизни, но не ее знойным полуднем.

Гораздо более скромный, вовсе не сознававший своего всемирно-исторического значения, XVII век поднялся в умственном отношении на высоту, которая никогда не достигалась прежде и осталась недоступною для последующих веков. Все, чего тревожно искали ранее, было найдено в этом столетии; все, чем умственно жили потом, было заложено в нем же. Нет ничего привлекательнее, как следить за возникновением различных идей в это время: Ньютон открывает исчисление бесконечно малых и оставляет необнародованным этот могущественный метод, пока другой не изобретает его вновь и самостоятельно; многие труды его, из которых каждого было бы достаточно, чтобы увековечить имя творца своего в истории науки, долгие годы сохраняются у него в рукописи и только благодаря нескромности или даже своеволию друзей, которым он давал снимать с них копии, они не пропали для потомства. Декарт приложением алгебры к геометрии, о котором один знаменитый математик нынешнего столетия говорит,

* «Общественный договор» (фр.).

что оно не имело в предшествующем никакого приготовления, никаких задатков, поднимает эту науку на неожиданную высоту, но скрывает свой метод и только по крайнему настоянию друзей обнаружит его, наконец, много лет спустя после открытия и в таком виде, который по необработанности своей делает едва возможным чтение драгоценного трактата. Лейбниц высказывает глубочайшие философские идеи, и до сих пор приложимые к истолкованию природы и человеческого духа, в частных письмах и отрывочных заметках, написанных по тому или другому случаю. Спиноза издает свой «Tractatus theologico-politicus» * без подписи, а его «Этику», в течение двух столетий покорявшую самые возвышенные умы Европы, находит в черновых бумагах врач Мейер, единственный свидетель его одинокой смерти. Какая удивительная простота во взгляде на себя, какое величие и красота человеческой природы! И как бы для полноты гармонии, чтобы ничто не звучало в ней ненужным диссонансом, в жизнь всех великих людей этого века привходит одна черта, которой мы напрасно искали бы в людях выше-названных эпох: это — глубокая и серьезная религиозность. Когда еще с таким правом, как в это время, человек мог бы опереться на свои силы в борьбе со всем супранатуральным против всякой религии, и однако мы видим, что именно теперь он чаще, нежели когда-либо, обращался своею душою к Богу, с таким же жаром молился, как и искал истины. Вспомним трогательную кончину Локка, как об ней рассказывает Кост, его французский переводчик, и жизнь Малекранша, в одно и то же время глубочайшего философа своего века и простого священника в конгрегации Оратории. Целый ряд математиков и физиков: Валлис, Паскаль, Уайстон, преемник Ньютона по кафедре в Кембридже, Борроу — его предшественник по ней, наконец, он сам и его соперники по открытиям, Лейбниц и Гук, — все наряду с любимыми науками занимаются изучением Св. Писания и пишут богословские трактаты. В религии, как и в науке, они были так же просты; проникая так далеко в природу, как это только доступно для человека, они в то же время твердо помнили, что она не исчерпывается этими изведенными областями и с благоговением преклонялись перед тем, что в ней оставалось скрытого. В ответ на удивление перед его открытиями, которое выражали Ньютону окружающие, он раз задумчиво отвечал: «Я не знаю, что люди будут думать о моих сочинениях; что же касается меня, то мне кажется, что я был похож на ребенка, играющего на берегу моря и собирающего то блестящие камешки, то более красивые, чем другие, раковины, тогда как обширный океан глубоко скрывает истину от моих глаз». Только этим почти религиозным отношением к истине и ее исканию и объясняется то, что эти скромные и великие люди сделали свой век классическим в истории умственного развития Европы. Никто не покровительствовал им, их жизнь была часто не обеспечена, некому было заботиться о предоставлении им досуга или удобств жизни, и какие, однако, чудные памятники своего гения они завещали последующим временам. «Discours de la methode» ** Декарта есть не менее удивительное явление в истории, чем Парфенон; изобретение дифференциального исчисления Лейбница важнее, чем издание «Энциклопедии»; все 95 томов нескончаемо остроумных стихов и прозы Вольтера менее заключают в себе ума и человеческого достоинства, чем один некрасивый томик «На-

* «Теолого-политический трактат» (лат.).

** «Рассуждение о методе» (фр.).

чал», изданный в 1687 г. Ньютоном. Мы уже не сравниваем их с итальянскими гуманистами XV века, думавшими превзойти Гомера и Вергилия, из которых каждый писал или только греческие, или только латинские стихи, тогда как они одинаково легко писали их на обоих языках, и притом в таком обилии, что ими и до сих пор завалены старинные библиотеки Флоренции и Неаполя. Но деятельность этих людей была более шумна; государи то искали их дружбы и переписывались с ними, то их преследовали, когда они дразнили и мелко раздражали их; обо всем этом, и поучительной дружбе и об интересной борьбе, можно занимательно рассказать. Но что сказать о серьезных и угрюмых тружениках XVII века, так глубоко и трудно думавших и так небрежно порою писавших, кроме того, что они до конца исполнили этот древний закон, данный человеку: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят», — что они любили Бога и за эту любовь Он наградил их труд обильною жатвою.

II

Вот почему всякий раз, когда какой-нибудь памятник умственной жизни XVII века усваивается нашею литературою, мы должны бы смотреть на это как на приобретение самого драгоценного сокровища. Между тем, когда не так давно появились в русском переводе два лучшие произведения XVII века, «Рассуждение о методе» Декарта и «Этика» Спинозы, это не обратило на себя ничего внимания, и всего менее — внимания литературы. Мы не припомним в точности, чем именно была занята она в то время: неурядицею ли с билетами на Финляндской дороге или каким крупным банковым воровством, — только ни о том, ни о другом переводе не было сказано в ней ничего, кроме нескольких ленивых и обычно бездарных рецензий в двух-трех журналах, впрочем, более интересовавшихся рассуждениями о любви или о чем-то таком одного маркиза, который потом оказался, кажется, просто евреем. Вследствие ли соперничества с газетами, или от каких других причин, но только журналистика наша пугливо обходит каждый интерес, который мог бы дожить до завтра, она вся и безраздельно погружилась в тревоги дня, с ними возникает и с ними же, конечно, и умрет. Собственно литературные и научные интересы давно и совершенно отошли в ней на задний план. Она живет не мыслями, борется не за идеи, но только — фактами, которые стремится как-нибудь изменить.

«Этика» Спинозы, прекрасно переведенная г. Модестовым и еще лучше изданная (в 1896 г.), к сожалению не сопровождается никакими объяснениями *, которые можно бы свидетельствовать об интересе переводчика к трудной системе этого философа, и никакими сведениями об его жизни. Последнему обстоятельству можно особенно удивляться, потому что в «Жизнеописании Бенедикта Спинозы», оставленном Колерусом, г. Модестов имел современный и незаменяемый памятник, ожидавший только перевода, из которого каждый читающий мог бы познакомиться со всеми подробностями прекрасной и глубоко трогательной жизни еврейского мыслителя. Совершенно иным характером отличается пере-

* Теперь готовится к выпуску новый перевод «Этики» г. Н. Иванцова, имеющий составить 5-й вып. «Трудов Психологического общества» и, без сомнения, лучше обставленный со стороны введения и комментариев.

вод «Рассуждения о методе» (СПб., 1886 г.), сделанный г. Любимовым, бывшим профессором физики в Московском университете. В течение долгих лет (судя по предварительной журнальной статье «О физических учениях в эпоху Декарта») этот труд, всего 48 стр. in 4° в латинском издании 1692 г., служил предметом изучения и размышлений для нашего ученого, и работа, им изданная наконец, есть собственно обширный комментарий к «Рассуждению», в котором почти теряется самый перевод. Каждая мысль французского философа здесь замечена и внимательно обработана, и в тех случаях, когда в переводимом памятнике она выражена сжато или неполно, она обставлена обширными извлечениями из его других сочинений, где ему случилось высказать то же самое, но полнее и обстоятельнее; так что перевод одного сочинения явился как обработка цельной физико-философской системы. В особенности интересны здесь все замечания о физических гипотезах Декарта, напр., сопоставление его известной теории вихрей с кинетическою теориею газов, недавно возникшею. Первая в течение двух столетий считалась одним из самых фантастических произведений человеческого ума и в наше время возобновляется, в исследованиях Гельмгольца, И. Томсона и др., обставленная уже точными опытами и строгим математическим анализом: удивительный пример того, как далеко и правильно может проникнуть мысль, опираясь на исключительно теоретические начала, ею выбранные, без какого-либо чувственного их оправдания. Таким опорным началом для Декарта служила мысль о совершенной раздельности духа, как существа мыслящего, от внешней природы, как существа протяженного, и вытекавшее из этой мысли положение, что внутреннее созерцание есть единственный способ познания первого, а механизм — единственный принцип понимания второй; откуда — предположение, что вселенная наполнена различным образом движущимися вихрями, гораздо более тонкой природы, чем она сама, которые своим механическим давлением производят все наблюдаемые перемены и явления в ней. Замечательно, что уже в нынешнем столетии, но гораздо ранее возникновения кинетической теории газов, появилось объяснение всемирного тяготения, совершенно отличное от того, как его понимал Ньютон, и согласное с тем, как представлял себе устроенную природу Декарт. Г. Любимов прекрасно формулирует это замечательное отношение Декарта к современной нам науке: будучи ньютоновскою по своим основаниям, говорит он, «физика нашего времени является картезианскою в своих стремлениях», — слова, над которыми никогда не устанет задумываться всякий, кто интересуется судьбою человеческой мысли в истории.

Заметим, что вышеприведенное начало Декарта послужило исходным моментом, откуда возникли и развились две великие ветви нового европейского просвещения: спиритуалистическая философия, стремившаяся все понять через умозрение, самосозерцание духа, и мир частных наук о природе, опытно-математических по приемам, механических по содержанию, которые и до сих пор преследуют цель, поставленную для них этим великим человеком: достигнуть полного истолкования природы, не прибегая к другим объяснениям, кроме чисел, мер, фигур и движений. Этот принцип гораздо более наложил свою печать на естествознание XVII, XVIII и XIX веков, с его успехами и односторонностью, нежели указания Бэкона Веруламского в «Новом Органоне». Историческое значение этого последнего труда вообще чрезмерно и несправедливо преувеличено: как факт, опытное исследование природы существовало ранее его появления (опыты

Галилея и падуанских профессоров в Италии, Снелля во Франции, Гарвея в Англии, Стевина в Голландии и др.), а как теория, указания «Нового Органона» были слишком общи и неопределенны, так что ими невозможно было руководиться при частных изучениях природы и этого действительно не было после его появления. Торжество опытного метода было исключительно результатом его практического успеха: применимый еще в XVI веке, он обнаруживал свою плодотворность в каждом частном случае, оправдывался при каждом применении, — и поэтому быстро распространился и твердо окреп во всей Европе; теоретические же указания Бэкона здесь не играли никакой роли.

- ¹⁰ Позднее (в 1889 г.) появилось в русском переводе еще одно замечательное произведение XVII века — «Мысли» Паскаля. Г. Чудинову пришла прекрасная мысль — создать журнал, который был бы посвящен исключительно интересам литературы, как русской — в ее текущий момент, так и иностранной — главным образом в ее прежних представителях. В течение четырех лет, как издается «Пантеон литературы», в нем появилось много оригинальных статей, главным образом по истории западноевропейских литератур и просвещения, и несколько замечательных переводных произведений. Следя за характером последних, можно с удовольствием заметить, что г. Чудинов не суживает рамок своего журнала, наблюдая только одно, чтобы переводимые произведения были лучшие. Под
- ²⁰ именем литературы он понимает не совокупность произведений, в которых существенным элементом является вымысел, творческое изобретение, но вообще совокупность памятников, в которых при помощи слова выразилась духовная жизнь человека. Мы можем пожелать только, чтобы он твердо держался этого понятия и, насколько возможно, еще более расширил программу своего журнала, вводя в него, напр., труды по нравственной философии, политике и пр. Журнал не впадает в специализацию отдельных наук, он остается все-таки литературным, если переводимые сочинения будут действительно классические: особенность последних заключается именно в чрезвычайной общности их интереса и значения, всегда переступающего тесные рамки той или иной науки, к которой
- ³⁰ они относятся. «Теодицея» Лейбница или «Опыт о человеческом разуме» Локка не суть труды по богословию и психологии; это великие памятники духовной жизни человечества и как таковые они принадлежат литературе.

Требовать, чтобы классические произведения и переводились классически — это, конечно, невозможно. Будет уже заслугою со стороны журнала, если среди десятков переводов и в течение многих лет появится на его страницах один классический. Последний всегда есть явление редкое, и притом настолько, что иногда богатая литература даровитого народа так и закончит свое существование, не успев усвоить себе в классическом переводе какого-нибудь великого писателя иной страны, несмотря на все усилия сделать это. Подобное усвоение, впрочем,

⁴⁰ и не может быть результатом усилий, труда только: оно зависит от редкого и случайного появления среди данной национальности писателя, который по душевному складу гармонировал бы с тем или иным великим писателем другой страны. Только через его труд и может совершиться действительное и полное усвоение памятника одной литературы другой литературы, в которой с этого времени он начинает пониматься и действовать так же, как действует и понимается в своем родном народе. Кроме правильности в передаче мысли и чувства, насколько они выражены писателем в точном значении его слов, классический перевод, в отли-

чие от обыкновенного хорошего, передает еще стиль его. Последний есть выражение общей психической настроенности автора, как основы, из которой развиваются все частности его деятельности, образа мыслей, избираемых предметов для научного исследования или поэтического воспроизведения. Синтез духовной организации писателя и его судьбы, данного ему природой и привнесенного к этому жизнью, психическая настроенность звучит в каждом его слове, проникает всякую его мысль, кладя на них своеобразный оттенок. Поэтому-то и стиль, в котором она выражается, является оригинальным у всякого писателя, если только он не безличен, и притом невольно для него самого. Он может совпасть с массою других пишущих и в содержании своем, и в образе мыслей; только в одном он никогда не совпадает с ними — в стиле, в особенностях языка своего. Так, напр., то, что рассказано Тацитом в его «Летописях», конечно, может быть рассказано и всяким другим, и самое отношение рассказывающего к изображаемым событиям и лицам может быть то же; но одно не может быть воспроизведено: психическая настроенность Тацита, и с нею — стиль его. Для этого нужно и родиться Тацитом, и пережить, и видеть то же, что пережил и видел он.

Найти в душе своей родственное с настроением переводимого писателя, тонко понять особенности в складе его мысли и чувства и знать настолько глубоко родной язык, чтобы найти в нем все нужное для передачи понятого и почувствованного на языке другого народа, к этому, конечно, не всякий способен, этого нельзя требовать от каждого. Достаточно, если переведенный писатель явится в нашей литературе без искажения своей мысли и своего чувства, насколько они выражены в точном значении им написанных слов. Это и есть обыкновенный хороший перевод, точно и правильно передающий нам памятник чужой литературы. Некоторый недостаток в живости речи, отсутствие изящества в том или другом месте — это уже обычные следствия исключительного желанья быть точным и правильным, и они встретятся нам в каждом подобном переводе.

Все эти свойства мы находим и в переводе г. Первова. В нем видно серьезное отношение к переводимому писателю и более всего опасение в чем-нибудь не сохранить верность подлиннику. Отсюда — местами тяжелая речь, слишком длинные и не всегда хорошо построенные периоды, впрочем, вообще не затрудняющие чтение перевода.

Гораздо более существенным недостатком нам представляется выбор предисловия к «Мыслям». Прево-Парадолль, статья которого «Паскаль как моралист» служит этим предисловием, принадлежит к числу тех представителей вырождающейся французской философии, которые, уже не надеясь что-либо сказать нашему уму, рассчитывают еще как-нибудь потревожить наше сердце; но обыкновенно также совершенно бесплодно. В течение двух тысячелетий своей истории человеку случилось столько пережить, так много почувствовать и все это выразить с такою силою и красотою, что при некоторой начитанности во всемирной литературе теперь каждый может и ничего уже не чувствуя написать несколько страниц, исполненных меланхолии и изящества. Придумывая сравнения и искусные антитезы, тонушие во множестве ненужных и вялых слов, — вот обычные признаки подобных произведений. Характерным образчиком их могут служить «Размышления» Прево-Парадоля «De la tristesse», «De la maladie et la mort» *

* «О печали», «О болезни и смерти» (фр.).

и пр. и пр., которыми он заканчивает ряд характеристик французских моралистов *, конечно, не без тайной надежды, что и сам за эти грустные страницы, быть может, будет причтен со временем к числу последних, хотя бы из *minorum gentium* **. Недурным примером может служить также Каро, писавший о пессимизме XIX века, совершенно неистощимой теме для множества писателей, которым без этого счастливого пессимизма решительно пришлось бы положить перо. На том великом поле — мы разумеем философию, и в частности нравственную философию — где в течение двух тысячелетий трудилось столько благородных гениев и боролись такие гиганты — на этом поле теперь можно подвизаться без мысли, без убеждений. То, что служит необходимым условием для занятий всякою наукой — жажда истин известного определенного содержания и способность находить их — вовсе не требуется общею матерью всех их, философией; или по крайней мере этого требования не слышат те, которые благородно решаются посвятить ей свою жизнь. Вследствие этого странного положения дел философия сделалась общим прибежищем всякого индифферентизма и неспособности: каждый, кто видит, что он не может уже ничем заняться, думает, что может заняться еще философией. Она одна ничего не требует от своих адептов, никуда не спешит, ничего не ищет, полная великого прошлого, совершенно не имея настоящего и не надеясь ни на какое будущее, — холодный труп, с которым можно все делать.

Предпосылать Паскалю, одному из таких гениев нравственной философии в ее прошлом, размышления Прево-Парадоля, человека без религии, без любви к чему-нибудь, холодного и риторичного — это, конечно, бесконечная ошибка, и мы думаем, в нее мог впасть только человек, для которого литература — просто книжное дело. Не знаем, кому принадлежит этот выбор, самому ли переводчику или редакции журнала, в котором он печатался прошедший год. Вообще можно заметить, что старинных писателей, если они почему-либо нуждаются в поясняющих приложениях, следует по возможности обставлять литературными памятниками их же эпохи: тогда только не нарушается единство психического настроения, которое каждый читатель ищет вынести из прочитанной книги. И для Паскаля есть такой памятник, и притом несравненных достоинств: это жизнеописание его, написанное М-ме Перизэ, его сестрою. «Мысли» Паскаля невозможно понимать, не зная его жизни: они — последний плод, который принесла эта жизнь, странные и глубокие слова, которые он не успел еще окончить, когда могильный холод уже навек закрыл его уста. Только 30 лет спустя после его смерти они были впервые изданы, до крайности разрозненные, местами представляя почти непонятные обрывки. Но их достоинство так велико, что даже и в этом виде они сделались одним из величайших сокровищ французской литературы и теперь переведены едва ли не на все европейские языки. Мы уже сказали, что они непонятны без знакомства с личностью Паскаля и его жизнью, в высшей степени замечательною. На них мы и остановимся несколько, руководясь, главным образом, рассказом его сестры.

* «Études sur les moralistes français suivies de quelques réflexions sur divers sujets». Paris, 1880. Отсюда взята г. Первовым и статья «Паскаль как моралист».

** меньшая братия (*лат.*).

III

Блез Паскаль родился 19 июня 1623 г. от Этьена Паскаля и Антуанетты Бегон, в Клермоне, в провинции Овернь, где их старинный род всегда занимал высокое положение *. Он был единственный сын у своих родителей, имевших кроме него только еще двух дочерей, из которых одна впоследствии удалась в монастырь Порт-Рояль, а другая, оставившая жизнеописание брата, вышла замуж за М-г Перизэ. В 1626 г. Э. Паскаль потерял свою жену и с этих пор весь отдался заботам о воспитании своего сына, который невольно привлекал к себе внимание раннею живостью своего ума и пытливыми вопросами, которые он предлагал обо всем окружающем **. Обладая высоким общим образованием и будучи одним из лучших математиков своего времени, он решил совсем не отдавать сына в школу. Чтобы ничем не отвлекаться от этих забот, он вскоре передал судебную должность, которую занимал в Клермоне, одному из своих братьев, и переселился в Париж, где у него не отнимал досуга обширный круг знакомых, которым он был связан в своем родном городе ***. Мальчику было в это время 8 лет. Здесь он сблизился со многими лучшими учеными, в тесном круге которых проводил немногие часы своего досуга. В определенные дни они собирались в его дому, чтобы обсуждать текущие вопросы науки. Это было одно из тех частных обществ, из которых возникла впоследствии Парижская академия наук ****. Эт. Паскаль живо интересовался всеми новыми идеями и открытиями, которые в это именно время появлялись в таком обилии: так в 1638 г. он даже выступил, вместе с Робервалем, против Декарта, который подверг резкой критике трактат знаменитого Фермата о *maximis et minimis* *****, что не помешало ему, однако, сблизиться впоследствии с этим великим философом и математиком.

Держась правила, что ребенок приступал к изучению какого-нибудь предмета не прежде, чем когда по возрасту он будет стоять выше тех трудностей, которые ему могут встретиться в нем, Эт. Паскаль начал учить своего сына латинскому языку только тогда, когда ему исполнилось уже 12 лет. До этого времени в бесе-

* Сведения об Эт. Паскале и его предках сохранены в обширном жизнеописании Декарта, составленном в конце XVII века ученым Беллье: *Vie de Descartes*. Paris, 1691, v. 1, p. 332.

** *Vie de B. Pascal par M-me Périer*, в приложении к «*Pensées de Blaise Pascal*».

*** *M-me Périer. Vie de B. Pascal*, p. 2.

**** О способе возникновения как этого, так и других ученых учреждений Франции см. монографию проф. Герье: «Лейбниц и его век», СПб., 1868, стр. 161–187. Читая эти прекрасные и одушевленные страницы, какую бесконечно грустью должен проникнуться каждый русский, думая о своей стране и своей истории, где возникновение какого-либо высшего учреждения для науки никогда и ничего другого не обозначало, кроме как построение очень большого кирпичного здания и установление новых служебных штатов. Едва ли не самая существенная черта различия между историей Западной Европы и нашей (с начала XVIII века) состоит в том, что там все явления развивались от центра к периферии, зародившееся в духе, и обыкновенно индивидуально, создавало для себя матерьяльные формы в государстве или церкви; у нас же все явления развивались от периферии к центру: сперва создавались формы, долгое время бессодержательные, в которых потом и после многих усилий иногда удавалось возбудить какую-нибудь жизнь.

***** *Baillet. Vie de Descartes*, v. 1, p. 331.

дах он разъяснял ему, что такое различные языки, на которых говорят разные народы, как грамматика сводит их строй к немногим правилам, овладев которыми и запомнив несколько исключений из них, каждый может сделать для себя понятным язык чужого народа. Это предварительное освещение пути, по которому должны были идти занятия мальчика, сделало то, что он шел по нему уже охотно, с ясным сознанием необходимости и разумности каждого шага. Сверх того эти беседы дали ему несколько общих идей, приложимость которых далеко переступала границы того, что послужило частным поводом и к их усвоению.

10 То, что всего более способно пробудить в молодой душе любознательность — это встреча с явлениями, которые поражают воображение своею странностью или загадочностью: только темное влечет наш ум к объяснению себя, тогда как мимолетное или обыкновенное он проходит равнодушно. В беседах с сыном Эт. Паскаль говорил иногда о таких загадочных явлениях, и внимательно слушавший мальчик всегда хотел знать их причину. Но его напряженное ожидание не всегда бывало удовлетворено: иногда причины не были известны вовсе, иногда отец ничего не говорил ему о них или ссылался на общепринятые объяснения, в сущности не представлявшие собою ничего другого, как изворот ума, бессильного объяснить явление. В последнем случае мальчик всегда оставался неудовлетворенным, потому что его ясный ум тотчас замечал все ложное и начинал искать
20 другого объяснения, которое было бы лучше. Так рос он в постоянном напряжении мысли, с умом, всегда пытливо обращенным к природе. Случилось однажды, рассказывает его сестра, что в его присутствии кто-то ударил о стол фаянсовую тарелкой, на которой лежал нож; это вызвало продолжительный звук, который тотчас прекратился, как только до нее дотронулись рукой. Мальчик тотчас же захотел узнать причину этого и начал делать различные опыты над звуком. Произведя их, он сделал столько интересных наблюдений, что они дали ему содержание для целого трактата, написанного умно и доказательно; в это время ему было двенадцать лет*. На двенадцатом же году он впервые выказал свои необыкновенные способности к геометрии. Вот как это произошло: Эт. Паскаль желал,
30 чтобы сын его занялся изучением языков, и думая, что знакомство с геометрией в особенности может помешать этому, до известного времени не хотел ничего сообщать ему о ней: по собственному опыту он знал, до какой степени эта наука может заинтересовать ум, раз он соприкоснулся с нею, и всецело наполнить его собою. С этой целью он спрятал все книги математического содержания, которые у него были, и никогда в присутствии мальчика не говорил о ней со своими друзьями. Но эта предосторожность не помешала пробудиться любопытству ребенка, и он часто обращался к отцу с просьбою — научить его геометрии. Тот всегда отказывал, и наконец обещал ему сделать это в виде награды, после того, как он усвоил уже латинский, греческий и др. языки. Видя упорство отца, мальчик спросил его однажды, что это по крайней мере за наука и о чем говорится
40 в ней. Тот отвечал, что это такая наука, в которой содержатся средства делать верные фигуры и находить отношения, которые они имеют между собою (*faire des figures justes et de trouver les proportions qu'elles avaient entre elles*). В то же время он запретил ему вперед говорить об этом и не велел думать о сказанном. Но мальчик с этого времени начал постоянно думать об интересной науке, которая

* M-me Périer. Vie de B. Pascal, p. 3.

учила делать фигуры безошибочно правильными и находить в них разные соотношения. В часы рекреации, оставаясь один, он брал уголь и чертил на полу разные фигуры, стараясь, чтобы они были верны, напр., чтобы окружность была везде равномерно выпукла, чтобы в треугольнике стороны и углы все равны, и т. п. Достигнув этого, он начинал искать в них соотношений. Забота отца скрыть от него все эти вещи была настолько велика, что он даже не знал их истинных названий; так, линию он называл просто «чертою», окружность — «кружком» и пр. Желая достигнуть черчения правильных фигур, он должен был составить для себя их определения, а отыскивая в них соотношения — пришел к установлению аксиом и с помощью тех и других стал находить полные доказательства. Так открывал он мало-помалу для себя науку, которая была столь тщательно от него скрыта, и подвигаясь все далее, дошел уже до вопроса, который разбирается Эвклидом в 32-м предложении его «Начал». В это время случилось, что отец неожиданно вошел в комнату, где он был занят среди своих фигур. Он так углубился в их рассмотрение и обдумывание, что несколько времени не замечал его прихода. С изумлением смотрел тот на маленького сына, погруженного в предметы, о которых он запретил ему говорить и думать. Но это изумление еще более выросло, когда на вопрос, что он тут делает, сын отвечал ему, что ищет одно отношение, которое, он знал, содержится в 32-м предложении Эвклида. Отец спросил вновь, что заставило его думать об этом, и он сослался на другое предложение, которое он уже нашел и которого доказательство он ему тотчас же представил. Так идя от одного к другому, и все возвращаясь назад, он дошел до своих определений и аксиом, все не употребляя других названий, кроме как «кружок», «черта» и пр. * Почти испуганный величием и мощью этого гения, Эт. Паскаль не сказав ни слова сыну, отправился к своему близкому другу, г. Ле-Палье, и рассказал ему все виденное.

Тот был не менее его изумлен этим и сказал, что не следует долее сдерживать ум мальчика и скрывать от него область знания, которую он почувствовал своим инстинктом. Эт. Паскаль нашел это справедливым и дал сыну «Начала» Эвклида, позволив, однако, читать их не иначе, как во время рекреаций; главная часть дня по-прежнему должна была быть посвящаема изучению языков. Бл. Паскаль с жаром принялся за Эвклида, и понял у него все, ни разу не обратившись к отцу за каким-нибудь пояснением. Вскоре он подвинулся так далеко в изучении геометрии, что мог уже правильно посещать еженедельные собрания, которые устраивались у его отца или у кого-нибудь из друзей последнего с целью обсуждения текущих вопросов науки. К этому кружку принадлежали лучшие ученые того времени: Роберваль, Мидорон, Ле-Палье, отец Мерсенн, близкий друг Декарта. Паскаль принимал в этих собраниях самое живое участие и чаще, нежели другие члены, приносил сюда для сообщения что-либо новое в области математики. Общество это, хотя оно носило исключительно частный характер, находилось в сношениях со многими иностранными учеными и часто получало известия, содержавшие новые теоремы, из Италии, Германии и других стран; об них всегда торопились узнать мнение молодого Паскаля, потому что нередко случалось, что его проницательный взгляд открывал ошибки там, где их никто другой не заме-

* M-me Périer. Vie de B. Pascal, p. 3—4; см. также в Préface de l'équilibre des liquerers и Baillets: Enfan celebres, art. h XXVII.

чал. Все более и более отдавался он всеми силами своей души этой науке, которая по своей строгости и точности давала совершенное удовлетворение его уму. И хотя он мог уделять ей только часы досуга, однако, так успел в ней, что, имея только 16 лет от роду, написал «Трактат о конических сечениях», вызвавший удивление в самом Декарте.

Уже учитель других, он все еще оставался в это время учеником своего отца, который к занятиям древними языками прибавил *теперь* ежедневные беседы во время обеда и после него о логике, физике и других науках, составлявших отдельные части тогдашней философии. С радостью видел он, как легко и быстро все это усваивал его сын, и не замечал, как непрерывное умственное напряжение стало мало-помалу подтачивать его еще не сложившийся организм, и без того не отличавшийся никогда крепостью. С 18 лет он впервые стал чувствовать недомогание; но оно не было еще сильно и он не прерывал своих обычных занятий.

К этому именно времени относится одно из изумительных изобретений, которое он сделал. В 1638 г. Эт. Паскаль подвергся гневу кардинала Ришелье за то, что неосторожно порицал одно из его финансовых распоряжений; уже был отдан приказ об заключении его в Бастилию, но, вовремя предупрежденный, он скрылся из Парижа и удалился на родину. В следующем году герцогиня д'Эгильон устроила для кардинала представление одной пьесы Скудери: «L'amour tyrannique» *, в исполнении которой участвовала и Жакелена Паскаль, младшая дочь изгнанника. Игра молодой девушки чрезвычайно понравилась Ришелье, и когда она обратилась к нему с просьбой о прощении своего отца, он согласился на это. По возвращении виновного, он захотел его видеть и при свидании заметил его необыкновенный ум и обширные сведения. Он решил воспользоваться его способностями и знаниями, и вскоре поручил ему исполнение важной должности интенданта в Руане, которую тот и занимал в течение 7 лет. Место это было связано, главным образом, с раскладкою и сбором податей и разными хозяйственными распоряжениями, т. е. требовало постоянного денежного счета. Эт. Паскаль часто пользовался помощью своего сына и тот, желая как-нибудь сократить труд счисления, придумал *арифметическую машину*, которая производила нужные выкладки совершенно механически, без участия со стороны считающего каких-либо соображений, не требуя от него даже знания арифметики. Это было первое изобретение, послужившее исходною точкою для разнообразных попыток заменить умственные операции — механическими. Сам великий Лейбниц, узнав об устроенной Паскалем машине, деятельно занялся обдумыванием, как бы можно было ее еще улучшить. Изготовление этой машины стоило очень большого труда ее молодому изобретателю, особенно вследствие трудности объяснить рабочим, приготавливавшим ее части, что именно они должны были делать. Это было не единственное практическое изобретение Паскаля: он придумал еще очень удобную ручную тачку, искусно соединив в ней действие рычага и наклонной плоскости.

Но этот напряженный труд в связи с общею слабостью организма подорвал его здоровье, так что, по его собственным словам, начиная с 19-го года жизни для него не проходило дня, когда он не чувствовал бы боли. Но он все еще крепился, и всякий раз, когда страдания несколько ослабевали, его ум деятельно

* «Тираническая любовь» (фр.).

стремился к новым изысканиям. К этому приблизительно времени относятся его знаменитые опыты над тяжестью воздуха.

Уже ранее высказывались догадки, что воздух не лишен веса, но оне оставались на степени смутного и бессильного брожения мысли, так как не находилось никакого средства удостовериться в его действительной весомости. Те явления, которые мы теперь привыкли объяснять давлением его, как тяжелой жидкости: поднятие воды в насосе при поднятии поршня, наполнение раздувательных мехов и пр., все объяснялись в то время средневековым представлением, что природа боится и избегает пустоты. И как ни чуждо было научности это объяснение, против него нечего было возразить, пока не было произведено какого-нибудь опыта, который несомненно открывал бы другую, строго механическую причину всех названных явлений. Торричелли первый сделал попытку к разрешению этого вопроса: заменив воду в насосе более тяжелою жидкостью, ртутью, он показал, что она поднимается не на высоту 34-х футов, как поднимается вода, но гораздо менее; из чего можно было заключить, что столб воды, ртути или какой другой жидкости поддерживается на известной высоте некоторою силою, которая для всех различных жидкостей остается одинаковою, именно равною тяжести столба ее, поднятого в насосе на ту или иную высоту смотря по удельному весу самой жидкости. Но что это была за сила, откуда исходила она, это еще не определялось опытом Торричелли.

Узнав об этом опыте, молодой Паскаль (ему было в это время 23 года) тотчас стал обдумывать его и, мысленно разнообразя, старался как-нибудь связать с представлением об всеящем воздухе. Упорное изыскание его было наконец награждено простою и прекрасною мыслью, которая увековечила его имя в истории науки: если поднятие жидкости в насосе и тяжесть воздуха находились в какой-нибудь причинной связи, то эта связь должна была обнаруживаться в обоюдном изменении каждого явления при изменении другого. Поэтому опыт Торричелли был неполон: он сделал только половину исследования, изменив одно явление и оставив без изменения другое. Измененное им явление — поднятие тяжелой жидкости в насосе — было только следствием в некотором ряду физических фактов, и что его причина не была определена, это было понятно, потому что не было изменено никакое другое из ему сопутствующих явлений, о которых с какою-нибудь вероятностью можно было бы думать, что в нем заключена его причина. Паскаль пришел к мысли, что если воздух имеет тяжесть, то эта тяжесть, будучи величиною постоянною в каждой данной точке земли и в данный момент времени, может своим давлением производить поднятие жидкости в насосе, которое потому именно и не бывает безграничным, что не безгранична тяжесть самого воздуха. Но если это было действительно так, то наблюдаемое следствие должно было измениться, если бы можно было как-нибудь изменить эту предполагаемую причину его. И в том, как это сделать, состоит сущность его простого и великого открытия: воздух составляет оболочку вокруг земного шара, и каков бы ни был ее предел вверху, если бы даже он был безграничен, ее предел снизу строго определен: этим пределом служит сама земная поверхность, и он изменяется в зависимости от ее изменения. А с тем вместе и толщина воздушного слоя, где бы он ни кончался наверху, будет возрастать с каждым понижением земли и уменьшаться с ее возвышением. Как нечто подвижное, воздух представлял сходство с жидкостью, давление которой на каждый предмет, под нею

находящийся, измеряется давлением столба этой жидкости, вершина которого лежит на ее поверхности, и основание опирается на самый предмет, — и, вероятно, не иначе действовало и давление воздуха, если оно вообще было. Но тогда это давление должно быть неравномерно в различных точках земной поверхности, именно более в ее углублениях и менее на высотах, так как над первыми давящий столб воздуха был несколько длиннее, а на вторых короче (на величину разности в высоте самых мест земной поверхности). Барометрическая трубка, которую Торричелли заменил водяной насос, представляла для проверки этих соображений прекрасное средство: в очень низких местах столб ртути в ней, если только он действительно уравнивал давление воздуха, должен был несколько подниматься, и, напротив, он должен был падать на высоких местах. Паскаль произвел опыт сперва на башне одной церкви в Париже, но он, вероятно, не был удачен: понижение ртутного столба в трубке при поднятии на ее вершину было таково, что его нельзя было заметить, или, по крайней мере, сказать достоверно, что оно есть. Но это могло произойти от незначительности веса воздушного столба, равного высоте башни, особенно в сравнении с весом его до неизвестных границ земной атмосферы. Тогда опыт должен был удасться лучше на более высоких местах. Паскаль не мог, по болезни, сам оставить Париж; но в его родине, гористой Оверни, жил муж его сестры, г. Перье: он написал ему письмо, в котором изложил свои идеи и просил его повторить свой опыт. Поблизости к месту жительства его зятя находилась высокая гора, Пюи-де-Дом. Опыт с барометрической трубкою был сделан при ее подошве и на вершине, и высота ртути на последней оказалась на три дюйма ниже, чем при первой. Г-н Перье рассказывает, как всех удивило это явление; но оно удивило и весь ученый мир того времени, потому что разрешало, наконец, вопрос о тяжести воздуха, так долго беспокоивший умы.

Но опыту этому суждено было стать последним в его научной деятельности.

IV

С того времени, еще не имея 24-х лет от роду, он оставляет научные занятия и обращается своею душою всецело к религии.

Он еще в отрочестве усвоил мысль своего отца, что предметы религиозной веры разнородны с предметами знания и потому не подчинены разуму, не нуждаются в оправданиях посредством его и не могут быть поколеблены его доводами. Просто и строго исполнял он все предписания церкви, никогда не делая их предметом своего анализа. К разговорам сверстников о религии, иногда вольным, он относился равнодушно, думая, что они вытекают именно из незнания этого несоответствия между религиею и наукою. И позднее, когда его внимание всецело сосредоточилось на первой, он был занят исключительно ее практическою стороною, религиозною нравственностью, но не богословием, не содержанием религии, обработанным посредством философского мышления.

Один случай, который произошел с ним в Руане, особенно усилил его нерасположение к тонкой умственной работе, приложенной к тому, что для каждого, по его мнению, должно было служить предметом твердой и ясной веры. Двое молодых друзей пригласили его однажды пойти к одному господину, который вы-

сказывал некоторые новые положения в философии, очень заинтересовавшие всех. Каковы были эти положения — осталось неизвестным, но он выводил из них, между прочим, что тело И. Христа не было образовано из крови Св. Девы, а из некоторой другой материи, нарочно для этого созданной. Друзья пытались его оспаривать, но он оставался тверд в своем мнении. Тогда они решили, что предоставить свободно высказываться подобным мыслям было бы опасно, особенно для юношества, так восприимчивого и еще не окрепшего ни в каком убеждении. Они условились между собою сделать ему предостережение, и если он не послушает их и будет продолжать высказывать свои мысли открыто — заявить на него людям, имеющим власть остановить лжеучение. Так и пришлось сделать: он пренебрег их предостережением, а они, не считая себя вправе молчать, доложили о нем дю-Белли, который в это время исполнял обязанности епископа в Руанском диоцезе. Дю-Белли позвал этого господина к себе, лично расспросил его и в заключение предложил ему изложить письменно свое исповедание веры. Тот исполнил это, но так искусно скрыл свои особые мнения в двусмысленных выражениях, что епископ был обманут и отпустил его домой, с уверенностью, что беспокойство Паскаля и его друзей было напрасно.

Однако эти последние, как только увидели исповедание своего знакомого, тотчас заметили в нем и его заблуждение, искусно замаскированное. Они тотчас отправились к самому архиепископу и изложили ему подробно все дело. Тот понял важность его и отправил распоряжение дю-Белли снова исследовать отпущенного им господина во всех пунктах вероучения, в которых он казался сомнительным, причем рекомендовал ему руководиться во всем этом деле указаниями Паскаля и его двух друзей. Все так и было исполнено: позванный в Епископский совет, он ясно и отчетливо отказался перед ним от всех своих прежних мнений, — и, кажется, сделал это с полным сознанием их вреда и ошибочности, потому что, продолжая и потом сохранять близкие отношения к своим обвинителям, ни разу не высказал им какой-нибудь горечи по поводу самого обвинения. Искренняя вера их, как и искреннее убеждение его в верности своих умозаключений, в соединении с преданностью обеих сторон духовной иерархии придало всему этому делу тот чистый и благородный характер, который так легко мог бы быть омрачен малейшим отсутствием чистосердечия с какой-либо стороны. Для отрекшегося было ясно, что он сам обманулся, приняв за истину умозаключения, в действительности правильно выведенные, но из ложных предположений; и, вместе с тем, для него было ясно, что обвинители не имели никакого намерения в чем-либо повредить ему, но хотели только вывести его из самообмана и сбросить от него других, еще менее способных оглядеться во всех этих тонких вопросах.

Паскаль, который уже в этих, почти еще юношеских, годах явился таким ревнителем веры и ее чистоты, все более и более обращался своею мыслью к Богу и усиливался в своей внутренней, духовной жизни сделаться угодным Ему. Сила, с которою в нем разрасталось религиозное настроение, была так велика, что ей невольно подчинились все его близкие. Даже отец не стыдился подпасть духовному руководству своего сына, он сделался строг к себе в жизни и, постоянно укрепляясь в христианских чувствах, окончил свою жизнь, как достойный сын св. церкви.

Еще большее впечатление произвели беседы молодого Паскаля на сестру его: любимая обществом, даровитая и прекрасная, она добровольно отказалась от

того заманчивого и неверного пути, который ей открывался в жизни, и поступила в монастырь Порт-Рояль. Строгость ее жизни, пламенная вера и высокий ум скоро возвысили ее между всеми сверстницами и она была избрана аббатисой. Исполняя сложные и трудные обязанности, связанные с этой должностью, она умерла 36-ти лет от роду, 4 октября 1661 года.

Между тем болезни все более и более овладевали телом и самого молодого исповедника. Научные занятия становились совершенно невозможны, но тем страстнее обращался он душою к невидимым ни для кого подвигам внутреннего усовершенствования. Главными страданиями его были затрудненность в глотании и нестерпимые головные боли, к чему присоединялся еще постоянный внутренний жар. Он мог принимать только жидкую пищу, капля за каплей, и лишь согретую; так что даже лекарства принужден был, взяв в рот, медленно втягивать в себя, несмотря на их отвратительный вкус. Сверх того доктор объявили ему, что для восстановления сил ему необходимо оставить всякие занятия и развлекаться; исполнить это требование ему было особенно трудно, но он сделал над собою усилие. К тому же, он думал, чистые развлечения не могут повредить его душе. Так он оставил свое постоянное уединение и начал появляться в обществе. Но на этом пути он встретил противодействие в своей сестре, о которой мы уже говорили. Во время бесед с братом, навещавшим ее часто в Порт-Рояле, она убеждала его оставить все завязавшиеся житейские связи и избегать развлечений, хотя бы это угрожало даже его здоровью. Теперь, в свою очередь, он подпал влиянию суровой монахини и с 30-летнего возраста, покинув свет, окончательно заключился в том уединении, которое не оставлял до смерти.

Желание медиков, советовавших полное умственное бездействие, не могло быть исполнено человеком, в котором вся жизнь заключалась в умственной деятельности. Он мог не брать пера в руки и не читать, но не мог не думать; а, при совершающемся процессе мысли, ее изложение уже не есть какой-либо труд. В 1656 году появились его «Lettres provinciales»*, написанные в защиту гонимого янсенизма и направленные против иезуитов. Это было в пору высшего торжества последних**, когда, завладев исповедью, школами, публичною литературою и тайнами королевских кабинетов, они направляли сообразно целям своим

* «Письма к провинциалу» (фр.).

** Лет за 16 перед этим иезуитский орден праздновал первое столетие своего существования. Памятником этого празднования осталась одна из самых интересных книг, «Imago primi saeculi Societatis Jesu, a provincia Flandro-Belgica ejus dem Societatis representates». Antverpiae, ap. MDCXL, посвященная Regi saeculorum immortalis Deo. Здесь, кроме множества стихотворений и рассуждений, приготовленных к юбилею, представлена и вся история и деятельность Ордена за первый век его существования. Мы приведем перечень книг, входящих в состав этого классического по интересу сочинения: lib. I — «Societas nascens» (p. 53—155), l. II — «Societas crescens» (p. 204—279), на стр. 282 основатель Ордена именуется «optimusmaximus que post Deum»; l. III — «Societas agens sine de fumatianilus societatis», p. 331—440; l. IV — «Societas patiens, sine de adversis, quae Societati contigerunt» (p. 481—561), l. V — «Societas honorata sine de gloria, quam societati tat malis exercitae divi homines que contalerunt» (p. 581—705). На одном из множества рисунков, украшающих эту любопытную книгу, представлены оба полушария, восточное и западное, с символическим знаком Ордена всюду, куда он ни проник — в Китай, Японию, Индию, внутреннюю Африку и Ю. Америку.

дела истории и дух обществ. Их пламенное рвение и постоянные успехи как будто ослепили общество, совершенно не видевшее за ними губительности самих принципов, с помощью которых доставались эти успехи. Никто так ясно, как Паскаль, не мог рассмотреть той зияющей пропасти, к которой скользили западные народы, следуя за этими людьми и увлекаемые быстротой своего движения. Весь погруженный в тревоги своей совести, всего более чуждаясь общих и далеких, извне поставляемых целей, и, однако, гениальный в понимании всего отвлеченного, Паскаль с силою восстал против иезуитов, отвергая их политику, обличая их в искажении нравственности, подвергнув их мелочную казуистику высшему и точному анализу. По ясности, простоте и вместе силе языка сочинение это навсегда осталось классическим во французской литературе. Оно было переведено, вскоре после появления, на языки латинский (Николем, скрывшим свое имя под псевдонимом Вильгельма Вендрока; перевод сопровождался обширными пояснениями и защитой оригинала), английский, итальянский (перевод Козимо Брунетти, флорентийского дворянина) и испанский (Грациана Кордеро). Было сделано даже издание, представляющее в четырех столбцах каждой двух страниц параллельные тексты этого сочинения на всех четырех романских языках. Смущение всемогущего ордена, тайна успехов которого здесь разоблачалась, было велико. Многие из членов его пытались уничтожить значение «Провинциальных писем», но, как и всегда в литературе, опровержения лишь способствовали их распространению. Они были первым и непоправимым ударом, за которым потом последовали и другие, если и не сокрушившие иезуитский орден, то, по крайней мере, предостерегшие от него европейские общества.

Еще несколько ранее, в 1654 году, Паскаль написал небольшой, но в высшей степени ценный труд, в ответ на вопросы, предложенный ему Ферма: это был «*Traité de triangle arithmétique*» *, где он изложил ряд теорем и формул, дающих возможность суммировать так называемые треугольно-пирамидальные числа, названные этим именем по виду фигуры, в которой они располагаются. Особенная важность формул, найденных Паскалем, обуславливается тем, что они ведут к биному Ньютона, — если величины суммируемого многочлена выражены в положительных и целых числах.

V

Решившись совершенно оставить свет, Паскаль уехал на некоторое время в деревню, и, снова вернувшись, повел себя так, что свет уже не делал попытки вновь привлечь его к себе. В основу нового образа жизни он положил два правила: отказываться от всякого удовольствия и от всего излишнего. Он начал с внешности и прежде всего отпустил всю прислугу, без которой сколько-нибудь мог обойтись: сам стелил себе постель и сам ходил за обедом в кухню и относил назад посуду. Только готовить себе обед и ходить за провизией он не мог, так как этому мешала его болезнь. Все время, какое у него оставалось, от этих небольших забот, он употреблял на молитву и чтение Св. Писания. Он находил в этом неистощимое удовольствие; про священные книги, он говорил, что они понима-

* «Трактат об арифметическом треугольнике» (фр.).

ются сердцем, а не умом, для которого остаются темны, когда он пытается к ним приблизиться своею сухою рассудочностью.

Постоянное чтение этих книг, которому он предавался, забывая все, [привело к тому,] что, в конце концов, все замечательные места Писания он помнил наизусть, и нельзя было цитировать ему из него, ошибаясь: он всегда поправлял. Вместе с тем он начал читать и все многочисленные объяснения к Писанию, а также и сочинения богословского содержания, потому что с любовью к источнику в нем пробудилась и любовь к истинам, которые из него вытекали.

Около этого времени случилось одно происшествие, которое произвело на него потрясающее впечатление. У замужней сестры его, которая оставила его жизнеописание, была маленькая дочь, крестница Блеза. На четвертом году у нее сделалась слезная фистула, через которую постоянно сочился гной и шел не только из-под глаза, но и через нос. После нескольких попыток излечить болезнь, лучшие медики Парижа признали ее неизлечимой. В Порт-Рояле хранился шип от тернового венца Спасителя, который и прежде производил чудесные исцеления. Не получая помощи от людей, измученная мать обратилась к небесной помощи. И Бог ее не оставил: от прикосновения к святому шипу, глаз ребенка исцелился мгновенно. Доктора, лечившие девочку, и потом сама церковь засвидетельствовали факт этого чуда. «Этот случай, — рассказывает г-жа Перизэ, — возбудил в моем брате сильное желание посвятить свои усилия на опровержения как самых принципов, так и ложных рассуждений атеистов. Он стал изучать их сочинения с величайшим старанием и напрог весь свой ум, чтобы отыскать пути к их убеждению». Уже работа его близилась к концу и он стал собирать отдельные мысли, внушенные ему долгим изучением и размышлением, «но Богу, Который внушил ему это намерение, не было угодно, чтобы оно исполнилось».

Таково было происхождение прекрасной книги, которой ее издатели дали название «Pensées». Нравственно-религиозные истины, в ней содержащиеся, шли из самой глубины сердца ее творца, были плодом всего его душевного развития. Почти не нужно сожалеть, что она не была доведена до конца, приведена в порядок и обработана. Эта обработка, наложенная разумом, это приведение в связь и сопоставление слов, так неволью и мимолетно вырвавшихся, не могло, придавая стройность целому, не отнять свежести у частей. Первое издание их было сделано восемь лет спустя по смерти автора, в 1670 году: это было очень неполное собрание заметок, написанных на клочках бумаги, которые были найдены в комнате Паскаля его друзьями из Порт-Рояля; несколько позднее, член конгрегации Оратория, Демоне, опубликовал еще дополнительный том, содержащий мысли Паскаля, не вошедшие в первое издание. Наконец, полное издание «Мыслей», в двух томах, появилось в 1687 году, с приложением биографии Паскаля, написанной его сестрою, и двух статей Дюбуа, которые служили частью пояснением, частью дополнением к отрывочному содержанию книги.

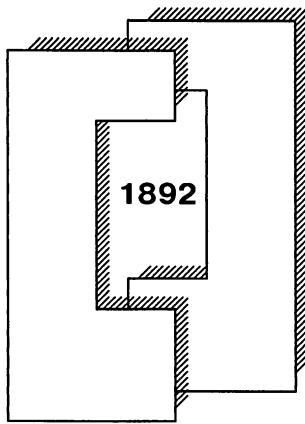
Паскаль не был совершенно одиночным явлением своего времени. Подобно ему, многие люди, иногда высокого образования и положения, тревожились, как и всегда это бывает, теми же религиозными мыслями и питали подобное же мнение о вреде суетной жизни и светских удовольствий. Они посещали молодого затворника в его уединении, и беседы с ним всегда производили на них сильное впечатление. Долгое время спустя после его смерти встречались люди высокой

христианской жизни, которые говорили, что они всем обязаны ему и от его доброго слова идут все их добрые дела.

Как ни были эти разговоры чисты по своему предмету, Паскаль все-таки опасался, не являются ли они нарушением правила, поставленного им для себя — избегать всякого удовольствия. Наконец, он нашел средство в одно и то же время и не отказывать никому в духовной помощи, и не уклоняться от исполнения принятого обета: когда он выходил к посетителю, он надевал железный пояс, усеянный гвоздями, прямо на тело, и если во время беседы ему приходилось замечать, что он уклоняется от своего долга, он надавливал незаметно локтем на скрытый под платьем пояс и боль от уколов заставляла его мгновенно забывать вредную мысль, готовившуюся его увлечь. Способ этот казался ему настолько действительным и так полезным, что он не оставил его и в последнее время своей жизни, когда, вследствие увеличившихся страданий, не мог ни писать, ни читать, ни даже ходить. Он особенно боялся, ставшего теперь неизбежным, досуга и прибегал к своему верному средству, чтобы отогнать от своей души все дурное. Обо всем этом близкие узнали только после его смерти, от одного лица, которому он все доверял.

Так поступал он в исполнении правила: избегать всякого удовольствия. По другому правилу — не иметь ничего лишнего, он постепенно уничтожил у себя все бесполезные вещи и, наконец, даже обивку в своей комнате, — что могло бы показаться его посетителям невежеством по отношению к ним, если б к нему не приходили только люди, одинаково настроенные с ним в своей душе.

Так проводил он годы своей жизни, думая о Боге, о ближних, и о внутренней чистоте своей. В этот промежуток времени с ним произошел один случай, имевший очень большое влияние на течение его религиозных идей. Однажды он ехал на прогулку в коляске, запряженной, по обычаю того времени, четверней. На пути прогулки лежал мост, и только что лошади въехали на него, как передняя пара их, чего-то испугавшись, бросилась в сторону



ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ИСТОРИИ

Я праздновал бы великий праздник радости, если бы сама жизнь или чьи-нибудь убедительные доводы доказали мне, что я заблуждаюсь.

К. Леонтьев

I

Все, привыкшие следить за литературной критикой, вероятно, с большим любопытством встретили ряд статей, помещенных в «Русском Вестнике» за истекший 1890-й год и посвященных разбору двух главных романов гр. Толстого: «Войны и мира» и «Анны Карениной» *. Имя, подписанное под этими статьями, не принадлежит к числу тех, которые утомили своим звуком слух, и даже для многих читателей, вовсе не равнодушных к литературе, оно, вероятно, показалось ново. Правда, кто привык толкаться, в качестве зрителя или действующего лица, по базару литературной суеты, мог припомнить это имя из «Биографии и писем» покойного Ф. М. Достоевского **. Но и это мелькнувшее, хоть и незабытое впечатление было как-то двусмысленно: в желчных строках Достоевского сказалась какая-то ненависть... Во всяком случае это впечатление было слишком кратко, чтобы пробудить в читателях ищущий интерес, а тот, к кому относились эти мимолетные заметки, по-видимому, сам несколько не заботился о том, чтобы привлечь к себе внимание. Его имя не повторялось в газетах и журналах, и было естественно для каждого подумать, что он стоит в стороне от большой дороги, по которой движется развитие идей, владеющих сознанием нашего времени. Вне этого движения, из какого-то глухого угла, раздался и замолк голос, который тотчас же покрылся тысячею других голосов, правда, не очень внятных и вовсе не вызывающих в нас желания прислушиваться к ним, но шум которых, вопреки этому желанию, совершенно не дает возможности сосредоточиться на чем-нибудь, что им не вторит, с ними не совпадает.

Таким образом, повторяем, для очень широких слоев читающего общества имя г. К. Леонтьева год тому назад могло показаться новым. И тем сильнее и ярче становилось впечатление, которое производил ряд его критических статей,

* «Анализ, стиль и веяние. По поводу романов гр. Толстого». См. «Русский Вестник», 1890 г., июнь, июль, август.

** Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского. СПб. 1883, т. 1, отд. 2, стр. 369 («Из записной книжки»).

посвященных писателю, на котором так ясно лежит печать высшего избранничества. Как ни много об этом писателе передумано, каждый, кто хочет к сказанному прибавить еще слово, невольно возбуждает к себе теперь внимание всех. Все с таким напряжением следят за развитием его душевной истории. Усилия, которые делаются многими для того, чтобы набросить покров на эту историю, хотя исходят из высоких и чистых побуждений, производят невольное впечатление во всех, кто ясно понимает, где мы и куда идем. В них видно опасение за какую-то святыню, за что-то вековечное и незыблемое, что будто бы может пошатнуть этот человек, и не видно сознания, как в действительности далека от нас эта святыня, как давно и беспредельно отошли мы от всяких незыблемых основ. Мы не с ними, не на безопасном материке, — мы, как и многие уже поколения, уносимся в мутном потоке все далее и далее, бессильные ухватиться за что-нибудь прочное своим колеблющимся сердцем и слабым умом. И если среди нас, одинаково чувствующих свою беду и одинаково бессильных бороться с нею, находится человек, который пытается это сделать, — мы должны бы этому только радоваться. Вовсе не стремление к чему-нибудь дурному, но именно полное сознание невозможности для человека жить без какой-нибудь святыни, без вековечных основ в своей душе — заставляет нас с величайшим ожиданием смотреть на писателя, который из всех один, как мощный конь, бьет и обрывает берег, усиливаясь на него выйти.

В отношении к человеку такой силы и такого значения мы всегда ожидаем встретить критику подчиненную, — и, однако, достаточно было прочесть немного страниц в статье г. Леонтьева, чтобы понять, что здесь оцениваемая сила столкнулась с не меньшею оценивающей. Писатель, так мало известный, что мы могли бы его счесть молодым, в словах, несколько разбросанных и, однако, убедительных в каждом своем изгибе, входит в безграничный лабиринт художественного творчества нашего романиста и именно в том, в чем он казался нам всемогущим, в *искусстве созидания*, прямо указывает недостатки, которые ему больно видеть. Страстная любовь к избранному писателю сквозит через эти упреки, и мы почти не удивляемся, видя, как далее он приводит на память целые места из него, без особенной боязни ошибиться хоть в одном слове. Мы начинаем сомневаться только в молодости критика, мы угадываем в нем человека, который хоть впервые заговорил о романисте, о котором уже давно говорят все, кто может хоть что-нибудь сказать, — однако очевидно сжился с миром его художественного творчества и, наконец, через много-много лет, как будто пресытившись им, теперь отрывается от красоты, так долго и безмолвно созерцаемой, и, отрываясь, высказывает, почему это он делает. Почти невозможно не согласиться с его взглядом на Толстого, как на последнего и высшего выразителя своеобразного цикла нашей литературы, после которого ей предстоит или повторяться и падать в пределах того же внешнего стиля и внутреннего настроения, или выходить на новые пути художественного творчества, искать сил к иным духовным созерцаниям, чем какие господствовали последние сорок лет, и находить иные приемы, чтобы их выразить. И в самом деле, всех поражающее отсутствие новых дарований, уже давно замечаемое в этой сфере, есть верный симптом того, что мы живем в промежуточную эпоху среди двух литературных настроений, из которых одно уже замирает, а другое еще не имеет силы родиться. Редкое знакомство г. Леонтьева с литературами разных народов, и притом в очень различные пери-

оды их развития, без сомнения, помогло ему, выйдя из интересов и пристрастий своего дня, подняться над целым ее циклом и, поняв его отличительные черты, понять вместе и то, что в их пределах все возможное уже достигнуто и нечего ожидать еще чего-нибудь лучшего. А по самой природе своей человеческий дух, раз в каком-нибудь направлении достигнув предела, за который ему не дано переступить, избирает новые направления, в которых он может двигаться, т. е. жить.

С большим мастерством, сравнивая два главных романа гр. Л. Толстого, г. Леонтьев находит художественные недостатки в «Войне и мире», которые в «Анне Карениной» окончательно исчезают. Таким образом, именно этот роман является окончательным и высшим выражением того направления нашей литературы, которое получило, не совсем правильно, название «натурального». Отражение человеческой жизни в нем становится действительно безупречным, и эта безупречность настолько велика, что изучение людей и их отношений в самой жизни или рассматривание всего этого в отражении зеркально-чистого художественного произведения становится уже одинаково и равноценно. Это — действительно апогей натуралистического развития, достигнув которого, в тех же пределах, художество уже не имеет более целей, теряет их. В частности, эта безупречность достигнута тем, что и психический анализ, и скульптурность внешнего изображения в этом романе уже лишены и тех недостатков, которые еще есть в «Войне и мире» и которых было гораздо более в других, ранее написанных очерках и рассказах нашего романиста.

Понимание человеческой души есть необходимое условие для понимания человеческой жизни, и вот почему в цикле нашей литературы, имевшем задачей воспроизвести последнюю, первый занял центральное положение. Этот анализ, недостаточно проникающий у Гончарова, узкий в своем применении у Тургенева, искаженный и болезненный у Достоевского, только у гр. Л. Толстого вырос во всю полноту свою, двигаясь во всех направлениях, повсюду нормальный и достигающий везде той глубины, дальше которой для художника предстоит уже не изображение, но придумывание и фантазирование. Ему, как справедливо замечает г. Леонтьев, одинаково доступен внутренний мир мужчины и женщины *, человека, не вышедшего из первобытной наивности ** и высокоразвитого ***, старика и ребенка ****. В возрасте, в поле, в степени образования и в уклоне характеров разные писатели встречали грани, за которыми они видели лишь положения и движения, — и только для одного гр. Толстого как будто не существует этих граней, и каков бы ни был человек, где бы он ни находился и что бы ни делал — он

* В противоположность Достоевскому, который вовсе не знал и никогда не пытался изображать внутренние движения женщины; отсюда все женские характеры у него — бледные тени, которые действуют, но не живут около изображаемых им мужских характеров. См., например, ряд женских фигур в «Идиоте».

** Сюда принадлежит, например, удивительный тип старика Алпатыча, с его поездкой в Смоленск (в «Войне и мире»).

*** Психический мир этого последнего служит предметом постоянного анализа у Тургенева; напротив, механизм внутренних движений у людей непосредственных этому художнику недоступен.

**** Сережа Каренин.

был ему понятен с внутренней стороны своей жизни. В одном только, в национальности, он встречает некоторое препятствие для своего анализа, чрез которое не знаем, может ли, но, очевидно, не хочет * переступить. Зато его анализ и хочет, и может переступать даже границы, положенные для человеческого понимания формами человеческой же психической жизни: он без труда, на некоторые моменты, спускается и в животный мир, с его чуть брезжущими зачатками душевных состояний (например, в сценах охоты).

В этом анализе, столь всеильном по сферам изображаемым, г. Леонтьев находит исчезающие недостатки в «Войне и мире», которые в «Анне Карениной» пропадают окончательно. Он справедливо указывает на излишество наблюдения, на придиричность, на подозрительное подглядыванье, которое великий романист допускает в себе по отношению к выводимым у него лицам. Не только для читателя его произведений, но и для самого художника скульптурность и жизненность созданных им образов так велика, что они движутся, говорят и действуют, хотя, конечно, по воле творца своего, но и вместе как будто независимо от этой воли, и он следит за ними пытливым взглядом человека, который прежде всего хочет не доверять. Он ищет дурных и мелочных мотивов даже и там, где они вовсе не необходимы. Критик правдоподобно указывает и вероятную причину этого: он посмотрел в душу художника, так скептически смотрящего на своих героев, и увидел, что он ищет в них того, чего боится в себе. Он ищет в них ложного величия, он опасается, как бы под каким-нибудь извне высоким поступком у них не оказалось пустого места внутри. От этого он любит их унижать, он хочет видеть их смешными даже и тогда, когда они хотят быть только серьезными. Странное следствие получается из этого: оборванные, общипанные своим творцом, перед нами выходят люди, как их Бог создал, и если мы все-таки находим в них иногда черты высокого и героического, то это уже героизм истинный, правдивый. Природа человеческая высока и прекрасна, хотя и не на тот манер, как обыкновенно про это думают, — вот окончательное и неизгладимое впечатление, которое ложится на душу размышляющего читателя после долгого и внимательного изучения произведений гр. Толстого.

Психический анализ в «Анне Карениной» чужд этой нервной подозрительности. Как будто взгляд автора на человека окончательно установился, когда он писал этот роман, и все приемы в изображении людей приобрели здесь окончательную твердость и отчетливость, так что в движении художественной кисти нет уже ни одного пробного мазка. Он уже не высматривает здесь душу человека, он видит ее и говорит о том, что видит, но не описывает того, что подозревает в ней.

Не менее убедительно, подробными сравнениями, г. Леонтьев указывает и превосходство «Анны Карениной» над «Войною и миром» в изображении общего

* Судя по типам двух гувернеров, немца и француза, в «Детстве и отрочестве», скорее можно думать, что не хочет. По поводу психического анализа иноплеменных людей у гр. Л. Толстого, вообще, можно заметить, что он *собирателен*, тогда как, касаясь русских, он *индивидуален*. В изображении французов или немцев мы не видим у него *лица*, но только племя, народ, представленный в собирательных чертах своих чрез одно лицо; напротив, в изображении русских это собирательное есть, но оно рассеяно, как и должно, по бесчисленным фигурам его произведений, совершенно теряясь, в каждой из них, за чертами личными.

колорита представленной там и здесь эпохи. Всегда и всеми «Война и мир» считалась безупречным романом с точки зрения исторической верности. Анализ необыкновенной тонкости, которому подверг критик этот роман, открывает в нем, при всюду безупречной верности природе человека вообще, некоторые отклонения в верности тому, как могла выразиться эта природа в начале нашего века. Неточность, в которую впал здесь гр. Толстой, двоякая: общая, которая чувствуется во всем романе, и частная, которая выступает особенно резко при чтении некоторых сцен его. Все в России, за исключением государственного патриотизма, было «поплоше, послабее, побледнее» выражено в эпоху отечественной войны, нежели как это представил гр. Толстой. Люди того времени не имели такой сложности в своем душевном развитии, и в особенности они совершенно не умели так отчетливо и точно выражать свои душевные движения. Они отлично действовали и хорошо чувствовали, но впадали в непременную запутанность языка и в неясность выражений, как только им приходилось говорить о чем-нибудь сложном, углубленном, не так очевидном. Рефлексия, вечное обращение внутрь себя еще не углубило в то время и не разрыхлило душу русского человека, и все мысли в нем были не так тягучи, а чувства имели у себя более простую и ясную основу в фактах внешней действительности. С несравненным пониманием и обильным знанием фактов г. Леонтьев отмечает последовательные психические наслоения, которые позднее сгустили краски нашей личной и общественной жизни. Так, он тонко указывает на первое пробуждение у нас сильного воображения, которое замечается в Гоголе. И гораздо раньше, чем он оканчивает свою осторожную аргументацию, читатель убеждается, как много мыслей и чувств, ставших возможными и обычными лишь впоследствии, гр. Толстой внес в изображение эпохи, совершенно чуждой им. Как на пример особенно поразительный, г. Леонтьев указывает на отношения Пьера Безухова к пленному солдату Платону Каратаеву, и на все размышления первого о народном. Эти мысли и подобные отношения стали возможны лишь после славянофилов, после Достоевского, но никакого следа их мы не открываем в воспоминаниях или в литературных произведениях за два первые десятилетия нашего века.

Третий недостаток, так же пропадающий в «Анне Карениной», есть излишество в «Войне и мире» ненужных натуралистических мазков. Г. Леонтьев не находит лишним введение каких бы то ни было грубых описаний или сцен, если они чему-нибудь служат, если их требует правда жизни. Так, грубое описание физиологических отправлениях в «Смерти Ивана Ильича» не оскорбляет его вкус, как оно оскорбляло вкус многих критиков, во всех других отношениях менее взыскательных. Напротив, множество мимолетных замечаний, вовсе не грубых, в «Войне и мире» он справедливо признает ни для чего не служащими и видит в них только результат напряженного усилия художника всюду стоять как можно ближе к действительности. Эти излишества натурализма ничего не объясняют и не дополняют в ходе рассказа, а в искусстве, как и в органической природе, что не строго целесообразно — то уже портит, что не нужно более — делается вредным.

Таков, всегда убедительный, проникнутый любовью, но уже и отчуждающий суд, который произносит г. Леонтьев над высшими произведениями нашей натуральной школы. Мельком рассеяны, в его пространном разборе, меткие характеристики и других наших писателей, напр. Достоевского, Тургенева, Щедрина,

Кохановской, Евг. Тур, Марко-Вовчка и др. Немногие строки, посвященные им, так изумительно захватывают самую сердцевину этих писателей, что они все будут сохранены историей нашей литературы, если она захочет быть мало-мальски внимательной к своему предмету. Несколько более пространный вводная характеристика посвящена только С. Т. Аксакову. Как бледною и неумелою кажется рядом с нею краткая же характеристика этого писателя, оставленная нам Хомяковым. Этот последний был только мыслитель и публицист, а это всегда недостаточно, когда нам предстоит говорить о людях или об их истории.

II

После цикла литературы, так полно изобразившего перед нами, *как* живут люди, всего более мы хотели бы видеть литературу, изображающую, *зем* живут они; после натурализма, отражения действительности, естественно ожидать идеализма, проникновения в смысл ее. ¹⁰

В психических течениях, которые мы наблюдаем в окружающем обществе, эта потребность задуматься над смыслом своей жизни и в самом деле перерастает все прочие. Как будто сила жизни, которая цветит всякое лицо и заставляет всякое поколение шумно и не задумываясь идти вперед, стала иссякать в нас, — и то, что еще так недавно привлекало всех, теперь никого более не занимает. Мы потеряли вкус к действительности, в нас нет прежней любви ко всякой подробности, к каждому факту, которая прежде так прочно прилепляла нас к жизни. От мимолетных сцен действительности, над которыми, бывало, мы столько смеялись или плакали, теперь мы отвращаемся равнодушно, и нас не останавливает более ни их комизм, ни трагизм их внешней развязки. Мы точно предчувствуем, и притом все, наступающий и темный трагизм в развитии нашей собственной души и, убегая его с ужасом, мучительно обращаем взоры вокруг и ищем, за что могли бы ухватиться в момент, когда почувствуем, что не в силах долее жить. ²⁰

Вековые течения истории и философия — вот что станет, вероятно, в ближайшем будущем, любимым предметом нашего изучения; и жадное стремление, овладев событиями, направить их — вот что делается предметом нашей главной заботы. Политика в высоком смысле этого слова, в смысле проникновения в ход истории и влияния на него, и философия как потребность гибнущей и жадно хватающейся за спасение души — такова цель, неудержимо влекущая нас к себе и которую мы должны, наконец, прояснить сознанием, чтобы сколько-нибудь успешно к ней приблизиться. Как изображение частного в искусстве, так познание только частного в науке и стремление к частным же целям в действительности — все это недостаточно уже, видимо бесполезно, и время всего этого ясно оканчивается. Мы входим в круг интересов и забот неизмеримо более трудных и неизмеримо более важных. Нас толкает в них страдание, которого мы не можем выносить и от которого нас не может избавить никакое знание подробностей и никакая власть над ними. ³⁰

Писатель, так верно и так точно определивший характер и окончание пережитого нами цикла в искусстве, быть может, имеет и некоторые своеобразные понятия о самой жизни, воспроизводимой в искусстве. И в самом деле, в его критических статьях там и здесь разбросаны мысли политические, философские ⁴⁰

и исторические, и, как они ни кратки, наше внимание необыкновенно возбуждается ими. Удивительна не только верность этих замечаний, удивителен зоркий взгляд, высматривающий то, чего нужно главнее всего коснуться, и какая-то непостижимая беззастенчивость языка, гибкого и твердого, как сталь, которая то оскорбляет в нас все привычные чувства, то неудержимо привлекает к себе наш ум. Долгий опыт жизни, огромная начитанность и, главное, упорная вдумчивость в важнейшие вопросы нашего личного и общественного существования невольно чувствуются за этими мимолетными заметками. Мы невольно начинаем неудержимо заинтересовываться самим критиком, мы забываем разбираемого романиста и из-за его фигуры, так всем знакомой, хотим рассмотреть стоящую в тени фигуру политика, философа и публициста, который, очевидно временно, взялся за переоценку двух знаменитых литературных произведений. Очень немного узнаем мы о нем из пространных критических статей. Раз только, читая ироническое замечание о том, как гр. Толстой свои внутренние ощущения силится отыскать в людях 50-х годов, мы узнаем, что в то время, как наш романист боролся на севастопольских бастионах, его будущий критик работал на перевязочных пунктах. Справляясь, мы в самом деле находим его имя в списках студентов, получивших в 1854 году степень лекаря* и тотчас же отправившихся в действующую армию. Но это отрывочное сведение еще более заинтересовывает нас: в первый раз мы встречаем в летописях литературы имя, столь очевидно запечатленное высоким даром и, однако, вовсе не принадлежащее к питомцам исторических, философских и литературных кафедр. В ту немногочисленную, но в высшей степени влиятельную толпу, которая от этих кафедр всегда несла идейное развитие в наше общество, входит человек, никогда не стоявший около них и в сухих и резких суждениях которого мы тотчас узнаем, однако, такое обилие именно идейности, которая удивила бы нас и в человеке, всю жизнь посвятившем литературе и философии. Это указывает на ум сильный и богатый самобытными стремлениями. Конечно, не требования профессии и не впечатления ученических годов, принужденно воспринятые, пробудили в нем интерес к искусству и истории, к политике и народной психологии. И если мы встречаем даже в кратких заметках его столько проницательности, такое различие главного во всем от второстепенного, то нас не удивляет это более потому, что мы видим здесь любовь артиста к своему делу, а не простое прилежание книжного невольника к давно наскучившему для него занятию.

Любопытство наше возбуждено, и после долгих поисков мы находим наконец два тома дурно изданных статей его, которые посвящены исключительно истории и политике**. Г. Леонтьев, действительно, писатель очень старый; но он сотрудничал в одной малораспространенной провинциальной газете*** или в разных изданиях. Точно какая-то судьба, насмешливая или предусмотрительная, не допускала его к центрам событий, куда он, очевидно, рвался, и всегда отталкивала его к их периферии, к бессильной роли исполнителя чужих предначертаний.

* См. «Историческую записку, речи, стихи и отчет Императорского Московского университета, читанные в торжественном собрании 12 января 1855 г., по случаю его столетнего юбилея». Москва, 1855 г., стр. 22.

** «Восток, Россия и Славянство». Сборник статей К. Леонтьева. Москва, 1885 г.

*** В «Варшавском Дневнике».

Полный самых широких теорий, самого общего и возвышенного взгляда на текущие события, он барахтался в волне одного из них и двигался вместе с нею, один зная, куда движутся все оне и куда их следовало бы направить. Можно думать, что это положение бессилия в высшей степени раздражало его, и с умом, так непреодолимо влекущимся к общим воззрениям, он, вероятно, не так ясно видел и не так умело выполнял разные мелкие обязанности, которые ему были поручены. Его служба в должности консула в турецких и славянских (до освобождения Болгарии) землях едва ли была успешна, и, вероятно, веселый и добродушный г. Якубовский, о котором он вспоминает во втором томе своих статей, был гораздо более исполнительен, деловит и удобен, чем он. 10

Все это сделало его наблюдателем и мыслителем. Мы редко умеем предвидеть, что было бы лучше для нас и для других, и если бы г. Леонтьеву выпала более деятельная роль в практической политике, он, верно, отдавшись ей со страстью, до конца не высказал бы тех взглядов, которыми сам молча руководился бы. Мы имели бы несколько крупных дел, несколько лишних фактов в нашей политической истории, которые могли бы быть изменены и изглажены всяким его преемником, но мы не имели бы перед собою глубоких наблюдений и теорий, которые теперь уже стали неизгладимы и могут породить неопределенное число фактов, выполнимых для всякого, кто хочет размышлять, видеть и не быть слепым игрищем темных исторических сил. 20

III

Строго говоря, г. Леонтьева занимает одна мысль, и кто ее усвоил, тот читает длинный ряд его статей, забегая воображением вперед и не ошибаясь в своих угадываниях. Но эта мысль до такой степени важна, что, почти без всякого опасения ошибиться, мы готовы сказать, что из всех идей, волнующих современный политический и умственный мир, ни одна не способна так встревожить нашу душу, до такой степени изменить наши убеждения, определить симпатии и антипатии и даже повлиять на самые поступки в практической жизни. Именно он первый понял смысл исторического движения в XIX в., преодолел впервые понятие прогресса, которым мы все более или менее движемся, и указал иное, чем какое до сих пор считалось истинным, мерило добра и зла в истории. С тем вместе, уже почти по пути, он определяет истинное соотношение между различными культурными мирами и преобразует совершенно славянофильскую теорию, отбрасывая добрую половину ее требований и воззрений, как наивность, коренным образом противоречащую ее основной идее. 30

Он задается вопросом*: что такое *процесс развития*, которого выражением служит историческая жизнь всех народов, как она уже совершилась, и которому служим мы все своим умом, своею волею и страстями, всегда надеясь ему способствовать, всегда желая устранять то, что его задерживает, — и отвечает следующее: 40

* «Восток, Россия и Славянство». М., 1885 г., т. 1, ряд статей под общим заглавием: «Византизм и Славянство», гл. VI. «Что такое процесс развития», стр. 136 и след.

«Присматриваясь ближе к явлениям органической жизни, из наблюдений над которой именно и взялась эта идея развития, мы видим, что процесс развития в этой органической жизни значит вот что:

Постепенное восхождение от простейшего к сложнейшему, постепенная индивидуализация, обособление, с одной стороны, от окружающего мира, а с другой — от сходных и родственных организмов, от всех сходных и родственных явлений.

Постепенный ход от бесцветности, от простоты к оригинальности и сложности.

10 Постепенное осложнение элементов составных, *увеличение богатства внутреннего* и в то же время постепенное *укрепление единства.*

Так что *высшая точка развития* не только в органических телах, но и вообще в органических явлениях *есть высшая степень сложности, объединенная некоторым внутренним деспотическим единством*» *.

Естественно-историческая основа, на которую становится г. Леонтъев, чтобы перейти потом к истории, чрезвычайно важна в этом отношении, что она дает объективные, доступные наблюдению признаки развития и таким образом устраняет из научного исследования вмешательство страстей и вообще всякого субъективного чувства, которое затмевает для человека истину, когда предметом ее, еще искомой, служит он сам. И в самом деле, сложность не сливающихся
20 в одно признаков, как критериум развития, — это дело почти арифметического счета, это открыто для всякого внешнего наблюдения.

Как старый медик, он находил нужным пояснить свою мысль примером из круга явлений, ему особенно известных. «Возьмем, — говорит он, — картину какой-нибудь болезни, положим pneumonia (воспаление легких). Начинается оно большею частью *просто*, так просто, что его нельзя строго отличить вначале от обыкновенной простуды, от bronchitis**, от pleuritis*** и от множества других и опасных, и ничтожных болезней. Недомогание, боль в груди или в боку, кашель, жар. Если бы в это время человек умер от чего-нибудь случайного, то и в легких
30 нашли бы мы очень мало изменений, *огень мало отличий от других легких. Болезнь не развита, не сложна еще* и потому и *не индивидуализирована, и не сильна* (еще не опасна, не смертоносна, еще *маловлиятельна*). Чем сложнее становится картина, тем в ней больше разнообразных отличительных признаков, тем она легче индивидуализируется, классифицируется, отделяется, и, с другой стороны, тем она все сильнее, все влиятельнее. Прежние признаки еще остаются (жар, боль, горячка, кашель), но есть еще новые — удушье, мокрота, окрашенная, смотря по случаю, от кирпичного до лимонного цвета. Выслушивание дает, наконец, специфический ronchus crepitans. Потом приходит минута, когда картина наиболее сложна: в одной части легких простой ronchus subcrepitans, свойственный
40 и другим процессам, в другой ronchus crepitans (подобный нежному треску волос, которые мы будем медленно растирать около уха), в третьем месте выслушивание дает бронхиальное дыхание souffle tubaire****, наподобие дуновения в какую-нибудь трубку: это — опеченение легких, воздух не проходит вовсе. То же

* Там же, стр. 137.

** бронхит (лат.).

*** плеврит (лат.).

**** туберкулезное дыхание (фр.).

самое разнообразие явлений дает нам и вскрытие: 1) *силу их*, 2) *сложность*, 3) *индивидуализацию*.

Далее, если дело идет к выздоровлению организма, то *картина болезни упрощается*.

Если же дело — к победе болезни, то, напротив, *упрощается*, или вдруг, или постепенно, *картина самого организма*.

Если дело идет к выздоровлению, то сложность и разнообразие признаков, составлявших картину болезни, мало-помалу уменьшаются. Мокрота становится обыкновеннее (менее индивидуализирована); хрипы переходят в более обыкновенные, схожие с хрипами других кашлей; жар спадает, опеченение разрешается, т. е. легкие становятся опять *однороднее, однообразнее* (на всем своем протяжении и также со всякими другими легкими).¹⁰

Если дело идет к смерти, *нагинаяется упрощение организма*. Предсмертные, последние часы у всех умирающих сходнее, проще, чем середина болезни. Потом следует смерть, которая, сказано давно, всех равняет. Картина трупа малосложнее картины живого организма, в трупе все мало-помалу сливается, просачивается, жидкости застывают, плотные ткани рыхлеют, все цвета тела сливаются в один зеленовато-бурый. Скоро уже труп будет очень трудно отличить от всякого другого трупа. Потом упрощение и смешение составных частей, продолжаясь, переходит все более и более в процесс разложения, распада, растворения, *разлития* в окружающем. Мягкие части трупа, распадаясь, разлагаясь на свои химические составные части, доходят до крайней неорганической простоты углерода, азота, водорода и кислорода, *разливаются* в окружающем мире, *распространяются**.²⁰

Мы выписали подробное описание этого явления, потому что одно очень яркое представление необыкновенно закрепляет в воображении общее понятие, в смысл которого нам предстоит вникнуть. В этом явлении мы наблюдаем два типические процесса: органической жизни и органического умирания. Противоположные друг другу, они вступают в борьбу, и момент победы одного, совпадающий с наибольшей его сложностью, есть момент начинающегося упрощения другого. Смерть, исчезновение есть здесь действительно возвращение сложного к однородному, разнообразного — к сходному, обособленного — к смешанному. То, что силою жизни сдерживалось некогда в одних определенных границах, не сдерживаемое ничем более, — сливается с окружающим: окружающее вступает на его место, и оно входит во все окружающее. Части организованного, прежде различавшиеся по виду и по назначению своему, теперь различаются только по местоположению и величине; оне перестают быть качественными и становятся лишь количественными.³⁰

Обращаясь, далее, к эмбриологическому процессу, этому прототипу всякого развития, мы находим, что формирующееся в нем живое существо только в последний момент, когда рождается, имеет в себе все те сложные и строго обособленные черты, которые принадлежат ему, как органическому виду. Напротив, чем в более ранней стадии развития мы рассмотрим это существо, тем менее заметим мы в нем характеристических черт, и все эти черты общи ему в позднюю стадию развития — с родом, в более раннюю — с классом, еще раньше — с отде-⁴⁰

* Там же, стр. 138—139.

лом животного царства, и, наконец, в самый первый момент (яйцо материнского организма) — с целым животным царством. Каждая ступень развития есть как бы *навивающаяся нить разлгия* от всего другого, которую воспринимает на себя развивающееся существо, и оне становятся тем многочисленнее, чем оно — совершеннее.

Г. Леонтьев не удовлетворяется только фактами, взятыми из органической жизни, и спрашивает себя, не остается ли верным этот критериум развития и для неорганических тел? Он берет самое крупное — планету, которая является носителем всякой жизни, и в ее существовании отмечает те же три момента, какие наблюдаются и в каждом организме: 1) первоначальной *простоты*, когда она есть только газообразная или огненно-жидкая масса вещества; 2) срединной *сложности*, когда она состоит из огненно-жидкого ядра и твердой коры, а последняя из воды и суши, которая, в свою очередь, распределена в материки, различные по строению и покрытые растениями и животными; 3) *вторичной простоты*: холодная, пустынная глыба вещества, лишенная влаги и уравненная в своей форме, которая продолжает кружиться около центрального светила.

Таким образом, существование всего, подлежащего закону рождения и умирания, слагается из двух, диаметрально противоположных процессов:

1) *из процесса восходящего развития*, в котором возникшее обособляется, уединяясь, от всего окружающего, и внутри его каждая часть обособляется, уединяясь, от всех прочих; но это обособление касается лишь формы и функционирования: все части проникнуты единством плана, и он-то, коренясь в обособляющем существе, разнообразит свою сложностью его части и вместе удерживает их от распада;

2) *из процесса нисходящего развития*, в котором все вторично смешивается, смешиваясь, сливается и становится однородным как с окружающим через утрату внешних границ своих, так и внутри самого себя через потерю границ, которые в нем отделяли одну часть от другой.

В обоих процессах, как это ясно, господствующее начало есть *нагало грани*, *предела*: становится оно тверже, непереступаемое для содержимого — и жизнь возрастает; тускнеет оно, не сдерживает более содержимого — и жизнь блекнет и исчезает. Грань — это не только символ жизни, но и жидитель ее; неопределенность, неограниченность — это эмблема смерти и ее источник.

IV

Собственно, приведенным понятием исчерпывается теория г. Леонтьева; все остальное — только приложения. Но, как великие метафизики XVII в., кладя в основание своих умозрений два-три определения, возводили на них строгие и возвышенные системы, так из простого, но хорошо обоснованного понятия о развитии г. Леонтьев выводит необозримые следствия, простирающиеся на историческую жизнь и на практическую политику.

Прежде всего он спрашивает себя, не подлежит ли этому двоякому процессу, восходящему и нисходящему, и историческая жизнь народов со всем их творчеством? Обилие признаков, разнообразие сдерживающих граней не есть ли и для них признак восхождения, а слияние этих граней и смешение внутреннего содер-

жимого — признак нисхождения, как это мы наблюдаем в органической природе и даже в неорганических телах?

В принципе ограничения, в наружном оформлении выражается внутренняя идея того, в чем оно присутствует. Если мы возьмем, напр., часовой механизм, то будет ли он сделан из дерева, из бронзы или из золота, то, *из tego* он сделан, — будет незначащим, а то, *как* он сделан, т. е. вид каждой части и соотношение или связь всех их между собою (форма целого), — будет значащим. Только эта *форма* и есть *признак*, по которому часовой механизм мы отличаем от плотного куска дерева, бронзы или золота, или от деревянного, бронзового или золотого сосуда. Итак, содержимое (матерьял, вещество) само по себе всегда бесформенно, лишено 10 признаков и незначаще; оно будет тем, чем сделает его привходящая форма, и лишь как способное воспринять форму, т. е. сделаться тем или иным определенным существом или предметом, — оно имеет значение. Напротив, форма или вид, как начало ограничивающее и сдерживающее, исполнено значения, и когда она привходит в какое-нибудь содержание — это последнее получает соответствующий смысл. С тем вместе оно получает (принимая в себя определенную форму) и обособляющий признак. Таким образом, многоформенность или сложность признаков во всем развивающемся тождественна с проникновением в существо его внутреннего смысла: оно одухотворяется, и именно в силу этого — нарастает в нем жизненность. Напротив, растворение сдерживающих граней 20 и смешение их содержимого потому именно и тождественно с умиранием, что — с удаляющимися гранями — исчезает смысл в том, чему они были присущи; сливаясь, смешиваясь, теряя обособленность, — все обессмысливается. Так, если бы к тонкому механизму, только что изготовленному из золота, мы поднесли пламя свечи, — мысль, вложенная в него художником, стала бы блекнуть и исчезать по мере того, как под действием жара все его отдельные части растаивали бы, теряли твердость граней и взаимно сливались. Винты перестали бы отделяться от того, во что они входят, зубчатые колеса заменились бы гладкими, все части сделались бы неразличимы, и, подойдя к нему слишком поздно, никто не понял бы в массе распустившегося золота той мысли, которая еще за несколько минут 30 была так ясно в нем выражена.

Если в сложном, уже развитом организме мы рассмотрим соотношение его обособленных частей, то заметим, что каждая из них как бы обращена внутрь себя, и внешняя грань, которую она отделяется от всех других, смежных частей, — имеет к этим последним отношение отталкивательное, как бы враждебное; она же стремится преодолеть ее и смешаться с содержанием, которое за эту гранью находится. Таким образом, состояние внутреннего антагонизма есть нормальное для всего организованного: борьба есть именно то, через что каждая часть продолжает быть собою и не смешивается с прочими, через нее именно прочнее 40 и прочнее она отделяется от окружающего и по мере этого становится совершеннее. Все стремится утвердить бытие свое и достигает этого путем все совершеннейшего и совершеннейшего обособления, которое есть не что иное, как отрицание всего прочего. Насколько отрицает — все утверждается, насколько силится привнести в остальное смерть — само живет, но, привнося смерть, оно тотчас сливается с умершим, т. е. раздвигает свои грани и в меру этого умирает. Таким образом, жизнь есть вечная гармония борющегося, и она продолжается и возрастает, пока не наступает победа; как только эта цель достигнута — в живое при-

входит смерть, как естественное завершение жизни. Частичное преодоление сопротивляющегося есть частичное умирание; разрушение всех граней, которыми окружающее охраняет себя от того, что с ним борется, было бы для разрушившего окончательной и полную смертью. Неограниченное, не обособленное ни от чего — оно перестало бы быть *тем-нибудь*.

Применимое к целой природе, это правило применимо и к части ее — человеческой жизни. Если мы возьмем какую-нибудь сферу его духовного творчества, напр. умственную, то содержимым явится здесь мысль, как неопределенная способность представлений и понятий сочетаться между собою; формой же или гранью будет определенное сочетание этих представлений и понятий, которое мы называем обычно наукою или философской системой. Три момента, указанные г. К. Леонтьевым для всего развивающегося, без труда могут быть найдены и в этой сфере: умственное содержание человека в начале его исторического развития скудно формами и не разграничено почти никакими пределами. Истинное смешивается с ложным, и все образует однородную массу кратких, не углубленных знаний, разных понятий и мнений, которые кажутся справедливыми. По мере развития, первую гранью является разделение ложного от истинного: находят признаки последнего (способы доказательства или вообще убеждения) и с помощью их одно отграничивается от другого. Далее, истинное по предметам своим начинает группироваться в отделы, и возникают науки, как строго обособленные части одного ветвящегося древа познания. С другой стороны, древние простые правила народной мудрости заменяются более развитыми воззрениями, и по мере того как жизнь возрастает в них — они распадаются на многочисленные системы философии: является этика и метафизика, в последний идеализм и реализм, и т. д. Цветущий момент науки и философии есть момент и величайшей их сложности, и в то же время — повсюдной борьбы отдельных учений, доктрин: постоянно выделяются, среди уже существующего множества, новые и новые воззрения, с мягкими оттенками различий, и каждое из воззрений этих ожесточенно утверждает свою истину и одновременно — особенность свою от всего прочего. Затем наступает период вторичного упрощения: внутренняя сила в каждом отдельном воззрении ослабевает, и оно сливается с ближайшими к нему. Теряют остроту свою и твердость и более крупные деления: целые философские системы сливаются в однородные массы мнений, с колеблющимися внутренними формами. Появляются эклектики, которые соединяют прежде непримиримое, заботясь о том лишь, чтобы в полученном был по крайней мере тот или иной общий характер, напр. спиритуализма. Распространяется индифферентизм ума, он утомляется продолжительным и строгим исследованием истины и охотно ограничивается только утверждениями и отрицаниями. Остаются лишь очень общие, совершенно лишенные внутренней архитектоники, воззрения, напр. вообще материалистическое и вообще идеалистическое. Но и эти воззрения, уже очень неопределенные, все более и более тускнут в сознании людей: в сущности, безразлично для всех становится, которое же из двух этих воззрений правильно, и ни для одного из них человек не жертвует уже ничем, даже незначущим. Если прежде за оттенок в мышлении люди принимали изгнание, тюрьму и каторгу, то теперь и за всю совокупность воззрений своих никто не поступится простыми удобствами жизни. Эта окончательная простота мысли, сводящаяся к равнодушному придерживанию немногих утверждений или отрицаний, совершенно

тожественна с тою первичною простотою, из которой она развилась. Таким образом, в умственной области, по-видимому долженствовавшей бы только возрастать, в действительности происходят процессы и возрастания и умаления; выражение: «Ты *персь* был и *персю* станешь» — применимо и к духу человеческому, как и к его внешней оболочке.

Если, далее, мы рассмотрим искусство, то и здесь найдем, что в первоначальной стадии своей оно состоит в простом прибавлении к необходимому (жилище, одежда, утварь домашняя) очень немногих знаков, которые украшают, т. е. необъяснимо нравятся человеку, независимо от своей полезности; таков грубый рисунок на оружии или на сосуде, или иное, чем было ранее, расположение в складках одежды, наконец, какое-нибудь незначущее изменение в постройке дома, напр. приблизительное соблюдение симметрии в частях его, хотя она вовсе не требуется нуждами помещения. Дальнейший рост искусства выражается в том, что это *прибавочное сверх пользы* начинает все возрастать и с тем вместе начинает становиться все сложнее и самостоятельнее: к симметрии частей в здании присоединяются резьба или придаточные украшения, к расположению складок в одежде прибавляется узор и разнообразное окрашивание, рисунок на утвари вместо фигуры зверя представляет изображение целой охоты. Наконец, прекрасное отделяется совершенно от полезного, и создание последнего является уже только как средство, иногда как предлог для того, чтобы как-нибудь и в чем-нибудь выразить красоту. Одновременно с этим искусство разнообразится: появляются, сверх архитектуры, еще скульптура и живопись, и изобретается музыка. В самых видах искусства появляются школы — строгие, обособленные оттенки в выражении красоты (как, напр., в эпоху Возрождения — ломбардская, флорентийская, венецианская и римская школы живописи, существовавшие одновременно). Затем начинается и здесь вторичное упрощение: внутренний принцип, отграничивавший каждую школу от остальных, теряет свою силу, и все они сливаются, заимствуя одна у другой лучшие черты. Особенности в способах воплощения красоты исчезают, и остается одно лишь воспроизведение типичного в природе — это натурализм, грубый или прикрашивающий. Наконец, сохраняются лишь внешние приемы искусства, т. е. его техника; все стили смешиваются и, так как ни в одном из них человек уже не чувствует непреодолимой потребности, то чаще и чаще при создании необходимого они забываются все. Прекрасное снова скрывается в полезном, из которого оно вышло. Быть согретым в жилище или удобно разместиться в нем — это опять становится единственною заботою человека при постройке себе дома или при возведении какого-нибудь другого здания. Сообразно нуждам этим, немногим и одинаковым, все становится по-прежнему просто и однообразно.

В религии, в поэзии и во всем другом мы также заметим сложность форм в цветущий средний период развития и простоту в первичный момент и в эпоху упадка. Религия как начинается неопределенною верою в высшее духовное существо, в загробное существование, в награду за добрые дела и наказание за злые, так и оканчивается этими же простыми и смутными верованиями: деизм философа и фетишизм дикаря совпадают между собою в простоте содержания. Напротив, строгий внешний культ, сложная духовная иерархия, обильные религиозные представления и понятия — все это нарастает только к середине развития и разрешается к концу его; в момент высшего расцвета религия соединяется со всеми

формами творчества и проникает все черты быта, становясь одновременно высшею философией, на исповедании которой сходятся все люди, и высшею поэзией, на созерцании которой они все воспитываются. Она дает формы для выражения самых противоположных чувств, ее языком выражают радость и в ее же священных словах изливают печаль. В полном смысле слова она становится неотделимою от человека и от жизни, и вот почему ни за что другое не было пролито в истории столько крови, как за нее. Что касается до поэзии, то о большем разнообразии ее в средний, цветущий период едва ли предстоит надобность говорить: она начинается с простой песни и сказки и, с другой стороны, оканчивается безжизненным пересказом, однообразною сатирою и одою. Между этими фазами вырастают оживленная драма, напряженная лирика, неуловимо разнообразные виды эпоса. Но гораздо важнее здесь разнообразие внутреннее, а не внешнее: в моменты высшего развития поэзии творчество каждого отдельного поэта приобретает глубокую *индивидуальность*; будучи выражением своего времени, оно, сверх того, раскрывает неисчерпаемое содержание и личного духа (как это мы видим, напр., у Шиллера, Гёте или у Вальтер-Скотта и Байрона). Напротив, в периоды упадка поэзии, как и при ее зарождении, все в ней бывает не только малоформенно, но и *безливно*: все создают приблизительно одинаково, приблизительно об одном и все в том же духе. Внутренних, неуловимо разграничивающих особенностей, налагаемых личностью поэта на его творчество и делающих из созданий его своеобразный мир, никогда более не повторяющийся в истории, — уже не наблюдается. Есть тусклое, немногосложное выражение эпохи, над которым трудится бесчисленное количество людей; но нет выражения углубленной личности, которую за своеобразие ее и мощь мы называем гением.

V

Приложимый к видам творчества, этот критерий развития не приложим ли и к самому источнику их, человеку, т. е. к исторически развивающимся племенам, нациям и, наконец, группам их?

Содержимым здесь является племенная масса, а нервную ткань, которая проникает ее, разграничивает и внутренне формирует, — *угреждения* и им соответствующие *формы быта*. Самая общая и резкая грань, которая обуславливает индивидуальность племени, делает миллионы рождающихся и умирающих существ живым лицом в истории, полным смысла, определенного выражения и воли, — есть политическая форма, т. е. государство. Насколько народы слагаются с государства — настолько живут они в истории, и насколько по оттенку своему политическая форма каждого из них отличается от других — настолько жизнь самого народа приводит в историю новую черту, которая не сливается с остальными. В этом отношении творить, создавать — значит быть своеобразным; быть тождественным с другими — значит быть звуком, усиливающим шум других звуков, но не образующим с ними никакой гармонии. Спарта или Македония были ниже Афин по своей исторической роли; но если бы вместо Спарты, Афин и Македонии было трое Афин — история была бы беднее своим содержанием. Вторые и третьи Афины уже не нужны после первых.

Политическая форма только обособляет одно племя от другого, и если бы внутри этой формы не было еще других граней, — оно было бы бедно организацией, в высшей степени не развито. Развитость здесь, внутри, выражается в проходящих горизонтальных и вертикальных делениях; первые расслаивают племя на сословия; вторые разграничивают на области территорию, им занимаемую. Чем более своеобразия в пределах тех и других граней, чем полнее в них жизненное напряжение, разбегающееся в различные стороны, тем ярче жизнь целого исторического народа, глубже и разнообразнее его творчество, ценнее то, что он вносит в общую сокровищницу человечества. Но при этом единство типа должно быть сохранено — как у самого народа с остальным человечеством, так и внутри его — между всеми обособленными частями. ¹⁰

Единство человеческого типа у всех исторических народов выражается как в общности некоторых основ их психической жизни, так и в том, что эта психическая жизнь у каждого народа в высшем и самом мощном своем проявлении всегда является только частью, которая, очевидно, входит слагающею чертою во что-то иное целое. Общи всем народам стремление к истине, к справедливости, к красоте, наконец, искание Бога, и общи же законы, по которым они находят все это, в меру своих сил и способностей. Это единит всех людей между собою, делает их на расстоянии тысячелетий помощниками друг другу на пути к немногим и далеким целям. В противоположность этому унитарному началу истории, ²⁰ заложенному в душу всякого человека, в нее же заложено другое начало, но уже проявляющееся в жизни целых народов, которое их разъединяет, по-видимому, в действительности же гармонирует. В силу этого второго начала, ни один истинно исторический народ не является повторением другого ни в характере своем, ни в судьбе, — но, не повторяя, он дополняет. Есть внутренняя согласованность в чертах этого характера и этой судьбы с характером и судьбою других народов, в силу чего лик человеческий и уже полный — не есть бессмысленный, но мы читаем в нем живую мысль и выражение. В самых неудержимых порывах и в вековом труде, в прихотливой игре гения и в упорном постоянстве воли мы видим, как великие народы выводят каждый свою черту в истории, о которой они, ³⁰ обыкновенно, ничего не знают при жизни сами, но которую мы находим готовою или выполняемою, когда они сами становятся уже трупом или когда сквозь подробности их жизни мы начинаем разглядывать ее существенный смысл. Которое бы из двух великих племен, сложивших своею деятельностью историю, мы ни взяли, мы и в них самих, и в широких группах народов, их составляющих, одинаково найдем присутствие этих, взаимно согласованных, черт, которые в одно и то же время и противоположны одна другой, и дополняют друг друга до целого. В монгольской расе одна часть, *южная*, является, как никакой другой народ в истории, — жидущою, повсюду и неустанно, почти без способности отдыха и праздной лени, и без способности же задумать среди этой праздности что-нибудь ⁴⁰ гениальное, великое, особенное. Как будто самою психическою природою своей она согнута над землю, по которой ползти, ее разрывать, ею питаться и удобрять ее своим прахом — составляет вечный удел, над которым она не в силах подняться ни своим воображением, ни мыслью. Мирное, обширное государство китайцев, их причудливо-сложный и бесполезный быт, безбрежные нивы, обделанные с тщательностью маленькой игрушки, их живопись без теней, мастерство без искусства, долгая и утомительная история без всякой примеси геро-

изма — все это лишь многообразное развитие одного символа, в котором перед лицом других народов это племя как будто молчаливо выразило свою мысль в истории, — символа царя и сына неба, мирно идущего за своим плугом однажды в году в назидание миллионам людей, которые это же делают во все остальные дни жизни своей. И в то время, как южная часть этого племени неустанно и тысячелетия трудится между Гималаями и Великою Стеною, его *северная* часть, от Великого до Атлантического океана, не однажды проходила бурною, все разрушающею волною. С подобным инстинктом разрушения, с такою ненасытною жаждою видеть растоптанным чужой труд, с каким появлялись в истории Тимур, Атилла, Чингис-хан и другие меньшие, все из одного племени и только из северной его части, мы совершенно не наблюдаем народов из других рас на всем протяжении земной поверхности. Эти «бичи Божии» для мирного человечества, эти «порождения дьяволов» для перепуганных народов, со странною ролью своею в истории, которую нельзя ни исключить из нее, ни к чему-нибудь приспособить, в действительности являются как строгая, ни в чем себе не изменяющая черта, восполняющая до целого монгольский тип. Сущность этого типа, последней цветной расы в человечестве, составляет *деятельность* как низшая степень выражения духа в истории, высшие формы которого, чувство и разумение, составляют удел кавказской расы. Но в пределах этой слабой одухотворенности высшее сознание, управляющее жизнью народов, выразило одинаково ясно обе возможные стороны: и положительную, которою является созидание, и отрицательную, которою является разрушение. Земледелец, никогда не отрывавшийся от своего поля, и кочующий разрушитель царств, один в труде своем и другой в завоеваниях, одинаково слепо, но отчетливо для наблюдателя, выражали неизвестную для них волю и оставшуюся навсегда непонятною мысль. Если, далее, мы перейдем к кавказскому племени, то и здесь найдем подобное же выделение взаимно дополняющих друг друга особенностей. Прежде всего, в своем целом, это племя представляет противоположность монгольскому по крайнему перевесу в нем внутреннего содержания, одухотворенности, над внешним выражением ее, т. е. деятельностью: мир наук и философии, религиозных созерцаний и поэзии — все это есть субъективное развитие духа, неисчерпаемые сокровища его, почти не выраженные. Но если, помня только эту противоположность, мы обратимся к составу народов самого кавказского племени, мы увидим продолжение в них того же процесса выделения противоположностей. Прежде всего, семитическому духу, столь ясному и простому, так неизменно направленному внутрь себя, противоположен арийский дух, который открыт для восприятия всех впечатлений, и не только усваивает их все, но и жадно их ищет. Это удивительное явление, что, не поверив истинности тех пределов, которые открывались ему в пространстве и времени, ариец переступил их все с помощью своих наук, этих чудных изобретений своего гения, — факт этот обнаруживает непонятную и, однако, несомненную связь, которую имеет его душа с мирозданием во всем, а не видимом только, ее объеме. Душа семита как бы свернута к какому-то внутреннему средоточию, без сомнения к самому прекрасному и глубокому, к чему может только обратиться человек; напротив, от этого средоточия, вовсе не перерывая связи с ним, душа арийца развернута и, обращаясь во все стороны, жадно пьет отовсюду дыхание природы. Далее, в пределах собственно арийского племени мы прежде всего встречаем ясно расчлененный греко-романский мир. Как ни разнообразен был

гений Эллады, мы можем все-таки отметить в нем одну черту, которая, не заглушая остальных сторон его, однако господствовала над всеми ими: это — чувство красоты. Не то важно, что греки создали в поэзии и в пластических искусствах никогда не превзойденные памятники (тогда как и в философии даже они все-таки превзойдены были новыми народами), не это одно значительно, что простым идеям Гомера и статуе Венеры Милосской на протяжении более, чем двух тысячелетий еще не утомились удивляться люди: гораздо значительно удивительная пластика их жизни и истории. Вся эта жизнь ясна и проста, как обнаженная статуя, она и чрезвычайно, к тому же, кратка. Но странно, что в течении всех событий греческой истории есть какая-то удивительная мера, странно, как каждое из них оканчивалось именно тогда, когда нужно, и так, как нужно. Бесплодная деятельность Демосфена, бегущий с Марафонского поля мальчик, Фукидид в числе слушателей Геродота — все это вещи вовсе не необходимые, все это — прихоть игривой фантазии, которая, творя историю, не имела других целей, кроме как украшать. Мальчик мог бы не умереть, Фукидид — родиться несколько позднее, Софокл мог бы и не иметь дурных детей, но вся греческая история от этого была бы менее прекрасна, и все это было, чтобы ничего не доставало красоте ее. Без сомнения, позднейшие законодательства и учреждения более сложны, глубоки и мудры, нежели те, какие оставил Солон и какие приписаны Ликургу; итак, во всем они превосходят их, безмерно уступая, однако, в одном — в ясной гармонии, в какой-то безотчетной красоте, которую мы и здесь чувствуем. Можно в высшей степени сомневаться в плодотворности всех замыслов Перикла, всех достижений его; в них сомневался и Фукидид; но и он не мог оторвать очарованного взгляда от личности врага своего, и мы знаем также, что Перикл — один в истории. Есть еще другая личность в греческой истории, быть может, более удивительная в этом отношении: это Алкивиад. Мы все не сомневаемся ни в его пороках, ни в полном вреде его для государства, которое любим как свое родное: но, замечательно, мы так же бессильны ненавидеть его, как и афиняне, которых он губил. Измените *кой-то* в его образе, придайте его тщеславию напыщенность (что так естественно), его увлекающим речам — торжественность, чуть-чуть смягчите его бессовестность — и очарование пропадет, как в чудной картине, в которой всякий штрих на месте и с его передвижением — пропадает вся красота ее. И если бы не было этого удивительного юноши, мы живо чувствуем — чего-то глубоко доставало бы в греческой истории; ей, которая, конечно, должна была окончиться, нужно было, чтобы конец соответствовал содержанию: чтобы он не был слишком тягостен и, в особенности, чтобы чувство интереса, с ним связанного, не падало. Греции нельзя было пасть, как Риму или еще кому-нибудь, в грязи, в бездарности, в отвратительном худосочии: после гениальной жизни ей нужно было гениально и умереть. И как торжественно-ясная греческая трилогия заканчивалась искупляющим смехом заключительной комедии, — так и Греция после неясного детства, которое она пережила в мифах, после героической юности, когда она боролась с «великим царем», после зрелого плодоношения в век Перикла, окончилась и страшно, и вместе как-то светло в этом чудном походе в Сицилию, в странной ночной оргии с разбитыми статуями, и во всех, то жалостных, то гениально-забавных перипетиях афиноспартанской распри, с чудным Алкивиадом в центре. Все в ней поразительно, но вовсе не заставляет отвращать от себя глаз, как заставляет это делать отврати-

тельный трупный запах, который мы ощущаем, напр., в Риме еще задолго до его смерти. Ничего, на всем протяжении греческой истории, мы не находим ни отталкивающего, ни бездарного, ни утомительно-скучного; все исполнено жизни и движения, и как вовремя приходит, так и уходит своевременно. И если, поняв эту главную черту греческой жизни, мы обратимся к Риму, то без труда заметим, что его жизнь представляет как бы отрицательный полюс только что рассмотренной: в противоположность идее красоты господствующей идеею в нем является начало пользы. В учреждениях, как и в религии, мышленьем, как и волею, римляне всегда ощущали только удобную сторону во всем и, скользя по этому одному уклону, создали всемирное государство и вековечное право — нормы человеческих отношений, не обращенных ни к чему высшему, идеальному.

10 Переходя, наконец, к народам, история которых еще продолжается, мы встречаем индивидуализм германцев, противоположный универсализму южно-европейских народов. Все обобщить — все слить единством формы — это составляло на протяжении веков мучительную заботу романского гения, — как все разорвалось на отдельные миры и в каждом из них поставить центром личное «я» составляло недостаток и вместе достоинство гения германского. Одна молитва для всех народов, одинаковые права для всех людей и, наконец, им всем равное имущество — это стремились утвердить на земле папство, революция
20 и социализм, все одинаково возникшие в недрах романского племени. Костры инквизиции и гильотина Конвента, залитые кровью Вандея, Нидерланды — все это страницы романской истории, говорящие о различном, но всегда в одном духе, с одним настроением. Менялись начала, во имя которых стремилась эта раса утвердить цель свою, но никогда не изменялась в истории самая цель, ради которой избирались эти начала: слить и обобщить человечество, так далеко разошедшееся в путях своих. Совершенным отрицанием этого начала является в истории дух германский, всюду разрывающий единство — в государстве, в религии, в праве и даже в науке и в философии. Раздробленная империя, рассыпавшийся феодальный строй, наконец, безбрежно расплывшийся в сектантстве протестантизм — все это факты одного порядка, следствие неудержимого стремления человеческого духа уходить, оторвавшись от единящего центра, все дальше и дальше к периферии. Специализация знаний, почти индивидуализм в науке и в философии есть продолжение в новое время того же явления. Уже Тацит заметил, что германец всегда ставит себе жилище *среди* своих полей, а не кряду с соседями, не в деревню, не в село; и эта черта духа, замеченная полторы тысячи лет назад, является господствующею во всем и теперь. Всюду, что бы ни делал германец, он «ставит свою хижину особо», — мало заботясь о других и избегая всякой заботы о себе. Так в политике и в церкви и даже так в поэзии. Ни к кому не обращенный монолог — это сущность не только германской лирики, но также и эпоса в значительной степени *, и лучшей драмы. В «Гамлете», в «Манфреде», в «Фаусте»
40 наиболее глубоко выразил германский гений свою личность, и что все эти трагедии, как не уединенные монологи, лишь для разнообразия и изредка прерываемые незначущими диалогами. По справедливости, те неощутимые нити, которыми природа каждого из нас связана с природою всех остальных людей, как будто

* Сюда относятся многочисленные *повествовательные* произведения, имеющие форму дневника, записок и пр., лучший образец их «Страдания Вертера» Гете.

особенно слабы в этой части человечества, и, ничем не сдерживаемая, она даже тогда, когда должна бы единиться (как в знании, как в вере) — неудержимо рассыпается, как рассыпаются монады ее Лейбниц или мир «целей в себе» ее Канта.

Мы взяли лишь самые крупные деления и наиболее резкие черты, проходящие по движущейся в истории массе человечества, но их *всюду отталкивающийся взаимно* характер не оставляет никакого сомнения в том, что они произошли не случайно, но в силу действия высших гармонирующих законов. Та самая причина, которая удерживает в нашем теле всякую часть на своем месте и препятствует всем им смешаться и слиться, — эта самая причина, или ей подобная, расчленив человечество на расы, дала каждой из них свой особый духовный строй и определила для каждой особый тип развития. Ясно, что обезличение народов, их взаимное уподобление (если бы оно когда-нибудь наступило в истории) могло бы быть следствием только того, что эти гармонирующие законы уже перестают действовать в человечестве.

Мы остановились так долго на сдерживающем единстве, потому, что, сосредоточив свое внимание на начале разнообразия, г. К. Леонтьев только указал его, но не определил и не объяснил. Теперь мы можем обратиться к этому началу разнообразия, которое наряду с единящею силою является вторым зияющим элементом истории.

VI

20

Из расчленения человечества на племена, взаимно противоположные по духу, вытекает своеобразие каждого отдельного племени, его национальный тип. Принудительный для каждого индивидуума, для всякого сословия или какой другой группы в пределах племени, этот тип сам обязан происхождением своим исключительно соотношению, в котором находится данное племя ко всем остальным племенам рода человеческого. В силу этого соотношения, оно является в среду других народов, чтобы восполнить некоторый недостаток в них, заместить пустоту, ими оставленную, но которой они обыкновенно не чувствуют и не замечают. Ясно, что несливаемость с другими типами, борьба против них, их отрицание — есть только наружная и необходимая черта в своеобразном народе, по которой мы именно открываем, что он гармонирует с этими отрицаемыми типами, дополняет их, как недостающий звук, который, только не сливаясь с другими звуками, образует с ними необходимый аккорд. Борьба есть здесь симптом глубочайшей связи, стремление каждой части подавить остальные — только признак высокого напряжения жизни в целом.

Этот расовый антагонизм, следствие расовой соотносительности, принудительно действуя на то, что лежит внутри каждой отдельной из них, является источником ее целостности и единства. Но мы сказали выше, раса есть слишком крупное деление, и внутренняя ткань исторически движущегося человечества была бы слишком груба, если бы внутри его не проходили еще другие деления. И эти последние, действительно, есть: они расчленяют каждый народ и территорию на своеобразные части, из которых самые обыкновенные — *сословия и провинции*. Последним делением является *род и семья*, внутри которого уже находится только личность, индивидуум. Закон антагонизма, как выражение жизненности, со-

храняет свою силу и здесь: сословия, провинции, отдельные роды и, наконец, личности в пределах общего для всех их национального типа — борются все между собою, каждый отрицает все остальные и этим отрицанием утверждает свое бытие, свою особенность между другими. И здесь, как в соотношении рас, победа одного элемента над всеми или их общее обезличение и слитие было бы выражением угасания целого, заменю разнообразной живой ткани однообразием разлагающегося труп.

Убедительность и верность этого общего правила становится особенно яркою, если мы обратимся к живой действительности, т. е. к истории. В какую точку ее мы ни направили бы наблюдение, раз эта точка есть высшая, если в ней совершается цветение, — она исполнена страстной борьбы взаимно враждебных элементов. Все то, что народ оставляет после себя вековечного и удивительного в сфере мысли, художественного созидания, нравственности или права, — он производит в немногие и краткие минуты существования, когда каждая часть в нем надеется еще победить, когда ни одна из них не знает еще о своем завтрашнем поражении и конечной гибели. Иллюзия победы, самообман от незнания будущего есть истинный источник всех великих напряжений в истории, которые создали все прекрасное и законченное в ней. Афины времен Перикла, Рим в эпоху Гракхов, Франция Ришелье и Фронды, Германия при начале Реформации были одинаково полны внутренней борьбы и духовного сияния. Кровь обильно струилась во все времена, вражда разделяла людей, когда эти люди были особенно прекрасны, исполнены веры, когда был смысл в их жизни и они знали этот смысл.

Отсюда понятно значение некоторых особенностей, которые мы замечаем в человеческой природе. Эта природа всюду ограничена, абсолютное манит ее к себе, но никогда не достигается; ей не дано сил ни к совершенному ведению, ни к ощущению совершенного добра и красоты. Человек слаб и обусловлен, и мы понимаем, что именно поэтому он и живет: глубочайшим образом, скрытно от самого человека, этою слабостью его и обусловленностью связано самое продолжение его жизни. Жить — значит стремиться, значит колебаться и искать, т. е. еще не знать; развиваться, переходить от несовершенного к лучшему — значит все еще быть далеким от него, значит чувствовать страдание, видеть несправедливость и, отвращаясь от нее, жаждать противоположного, чего, однако, не видишь и только предчувствуешь, что неясно и непостижимо, хотя и влечет к себе. Слияние в абсолютном идеале, равно для всех понятном, — это было бы уничтожение различий и движения, т. е. самой жизни в том смысле, в каком одном она дана нам здесь, на земле.

И, однако, все ограниченное, приближающееся предполагает предел, к которому оно приближается. Поэтому если жизнь, нам данная и известная, держится лишь настолько, насколько мы сами ограничены, то это только обнаруживает перед нами точный ее смысл. Без всякого сомнения, истина и добро существуют не в том только относительном значении, в каком они открываются нам, но, хотя скрытые от нас, они существуют и в абсолютных формах; и соответственно этому абсолютно существующему добру и абсолютной истине есть и другая, более полная жизнь — за гробом. Потому что если уже иллюзия истины и иллюзия обладания добром дает нам силы жить, то истина и добро не иллюзорные содержат в себе неугасающий источник лучшей и вечной жизни; и, однако, здесь, на

земле, всякое прикосновение к абсолютному было бы равнозначуще с прекращением жизни (деятельности). Следовательно, эта должная и невозможная жизнь есть, но только там, где оканчиваются условия земной жизни человека, т. е. для него — за гробом. В силу причин, о которых нам ничего не дано знать, человек должен почему-то вечно трудиться на земле, и для этого внушена ему *надежда* — чтобы он хотел трудиться, и наложено *ограничение* — чтобы он *не переставал* трудиться. Но подобно тому, как смутные, неясные и сбивчивые попытки решить математическую задачу вытекают именно из того, что для нее есть решение и даже в уме решающего есть что-то, что соответствует этому решению, но только искажено и неправильно, — так и вечно неудачный труд человека на земле указывает на что-то окончательное и уже удачное, что его ожидает, когда он окончит свой труд. ¹⁰

Но, во всяком случае, это абсолютное не дано нам ни как знание, ни как ощущение, и жизнь наша проходит в формах, определяемых лишь частичным его ведением и частичным же ощущением. Мы снова возвращаемся к этой относительной жизни, самую широкую картину которой представляет собою всемирная история. В этой истории г. К. Леонтьев верно определил признак высшего напряжения жизни: это — разнообразие всех элементов живущего, стремление каждого из них утвердить себя через удаление от остального, через его отрицание; однако через отрицание, не подавляющее прочего, но лишь удерживающее его от захвата в себя и ассимиляции с собою отрицающего элемента. Разнообразие положений, обособленность территорий и, прежде всего, богатство личного развития — вот простые и ясные признаки, по которым мы можем судить о большем или меньшем обилии жизни в целом, будет ли то народ, какая-нибудь историческая культура или, наконец, все человечество. ²⁰

VII

С таким мерилем жизненного напряжения г. К. Леонтьев подходит к своему веку, к тому великому веку, которого мы все — дети и который своим величием и силою чудовищных оборотов так сковал нашу мысль, поработил желания, так обольстительно вовлек все наши страсти в движение своих форм, что мы обыкновенно ничего другого не хотим, как только любить их, им содействовать во всем, и в этом одном полагаем цель и достоинство своего существования. Нужна была особенная и удивительная сила отвлечения, чтобы стать в стороне от этого движения и обаяния и, прикинув к своему времени строгое мерило, произнести над ним суждение, отвечающее объективной истине. ³⁰

Чтобы иметь силу к этому, г. Леонтьев прежде всего освобождается от всех тех личных взглядов и субъективных чувств, которыми естественно связан каждый из нас в отношении к тому историческому целому, в чем он составляет часть. Первое и самое главное из этих чувств есть чувство страдания или счастья, которое мы пытаемся уловить в человеке и произнести, основываясь на нем, свое суждение о той или иной исторической эпохе, о том или другом общественном строе. Он указывает на неуловимость этого чувства, на его неопределенность, и вместе сомневается, чтобы оно отсутствовало или смягчалось в каком-нибудь процессе живого развития. Вот прекрасные слова, в которых вылилась у него эта ⁴⁰

глубокая и справедливая мысль: «Все болит у древа жизни людской; болит начальное прозябание зерна; болят первые всходы, болит рост стебля и ствола, и развитие листьев, и распускание пышных цветов сопровождаются стонами и слезами. Болят одинаково процесс гниения и процесс медленного высыхания, нередко ему предшествующий. *Боль для социальной науки — это самый последний из признаков, самый неуловимый*; ибо он субъективен, и верная статистика страданий, точная статистика чувств, недостаточна будет до тех пор, пока для чувств радости, равнодушия и горя не изобретут какое-нибудь графическое изображение или вообще объективное мерило» *. Он приводит случай, которого сам был очевидцем, где внешнее движение, по-видимому вызываемое страданием, в действительности вовсе не имело под собою этого чувства: это восстание жителей острова Крита, почти не ощущавших на периферии турецкой империи того давления, которое было очень сильно в ее центре, где иноверное население оставалось, однако, спокойно. «Всякий наблюдатель, — говорит г. Леонтьев, — был поражен цветущим видом критян, их красотой, здоровьем, скромной чистотой их теплиц, их прелестной, честной семейной жизнью, приятной самоуверенностью и достоинством их походки и приемов. И вот они, прежде других турецких подданных, восстали, воображая себя самыми несчастными, тогда как фракийские болгары и греки жили гораздо хуже — терпели тогда несравненно больше личных обид и притеснений и от дурной полиции, и от собственных лукавых старшин; однако они не восставали, а болгарские старшины — те даже подавали султану адреса и предлагали оружием поддерживать его противу критян» **. Этот случай, действительно, поразителен. Мы припоминаем, как Токвиль в своей превосходной книге «L'ancienne regime et la Revolution» *** так же объясняет, что положение французского народа, как городского и сельского, было уже значительно облегчено в царствование Людовика XVI и не могло идти ни в какое сравнение со страшным гнетом, которому он подвергался при деспотическом Людовике XIV и в распушенные времена регентства и Людовика XV. И вот, однако, в минуты наибольшего гнета он оставался спокоен и, напротив, восстал, как только этот гнет был снят с него.

Как это нередко бывает, свободному отношению г. Леонтьева к своему предмету помогло именно то, что он не постоянно был связан с ним, что круг его наблюдений и интересов долгое время не имел ничего общего с политикой и историей. Он припоминает впечатления из совершенно иного мира человеческих страданий и верно переносит значение, которое они там имеют, сюда. «Раскрой-те, — говорит он, — медицинские книги, и вы в них найдете, до чего субъективное мерило боли считается маловажнее суммы всех других, пластических, объективных признаков; картина организма, являющаяся перед очами врача-физиолога, вот что важно, а не чувство непонимающего и подкупленного больного! Ужасные невралгии, приводящие больных в отчаяние, не мешают им жить долго и совершать дела, а тихая, почти безбоязненная гангрена сводит их в гроб в несколько дней» ****.

* «Восток, Россия и Славянство», т. I, стр. 147.

** Там же, стр. 147–148.

*** «Старый порядок и революция» (фр.).

**** Там же. Т. I. Стр. 147.

На этих-то пластических картинах, на объективном наблюдении, из которого выделена всякая примесь субъективного ощущения, г. К. Леонтьев и основывает свои заключения. Можно отвергать эти заключения, если они почему-либо не нравятся, можно бороться против них *волею*; но нельзя их оспаривать, нельзя бороться с ними *мыслью*, потому что они являются строгим и ясным результатом именно ее деятельности.

Прежде всего он останавливает свое внимание на политической стороне европейской истории за XIX в.; как ярче всего выраженная, более осязательная и уловимая, она лучше всего способна осветить истинный смысл этой истории.

Знаменитые и немногие формы политического устройства: *монархия и республика, аристократия и демократия*, с их типичными извращениями, *охлократией и тиранией*, — все это, завещанное для политической науки еще из древности, есть результат абстракции, в которой не сохранено главного: индивидуальности исторических народов. Когда люди боролись только за форму правления в городе или в небольшой стране, когда дело шло о преобладании того или иного класса населения, — можно было думать, что в этом преобладании или в этой форме правительства сосредоточивался весь интерес исторической жизни и она же должна служить постоянным предметом мысли для всякого теоретического политика. Но с тех пор, как поле исторического наблюдения так расширилось, когда вопрос идет о существовании или разрушении целых культурных миров, — рамки древнего политического созерцания должны быть оставлены. Нельзя обобщать в одном имени монархию Кира, Тиверия или Карла Великого и еще нелепее было бы подводить сюда же «единовластие» какого-нибудь деспотического царька из внутренней Африки. Равным образом, Венеция или Новгород, Флоренция или Рим, несмотря на отсутствие во всех их единоличной власти, не имеют ничего общего в стране и в духе своей политической жизни. Каждый народ, страна или даже город, если они вносят что-нибудь *свое, особенное* во всемирную историю, имеют и в политическом своем устройстве нечто особенное, несут лицо свое перед другими народами, вовсе не вторящее им, никого не повторяющее в чертах своих. Именно в этих особенных, нигде и никогда не повторяющихся чертах и содержится главная суть политической жизни; тогда как в общих явлениях единовластия или многовластия остается абстрактный ее отброс, не имеющий живого значения.

Исходят исторические народы все равно из безличной массы человечества, в которой первоначально они бывают уравнены единством немногих и простых потребностей и отсутствием всего, что, возвышаясь над этими потребностями, вместе обособляло бы народы друг от друга. Но по мере того, как, покинув эту безличную массу, единичные страны и племена начинают восходить в истории, — их лицо в ней проясняется, индивидуализируется. Можно думать, что именно выработка индивидуальных черт составляет главный смысл истории: до такой степени восхождения или нисхождения в ней народов всегда и всюду сопровождают только выяснение или затемнение этих черт. Все другое в истории имеет то одно направление, то другое, все не вечно в ней, уклончиво и изменчиво; и вечно только это одно — прояснение лица своего собирательным человечеством, что выражается в формировании народов, государств, наконец, целых культурных миров.

В немногих, слишком бледных, слишком скудных словах г. К. Леонтьев отмечает, однако, своеобразные *типы политического сложения* у всех главных исто-

рических народов. В Египте это была монархия, строго подчиненная религиозному мирозерцанию, ограниченная законами и понятиями священного характера, с народонаселением, резко распадавшимся на состояния по главным формам человеческой деятельности, из которых каждая была предоставлена выполнению особой группы людей (касты жрецов, воинов, земледельцев и другие меньшего значения). Подавленность всех, от фараона до последнего нищего, одним и общим для всех религиозным ритуалом, и в пределах оставленной свободы — угрюмое несение каждым своего долга, вот неповторяющаяся особенность египетской жизни, серьезной и печальной, трудолюбивой и подавленной, в одно
 10 и то же время исполненной глубокой практичности и мистических созерцаний, причудливой фантазии и недоговоренных мыслей.

Светлое представление Ормузда и его вечной борьбы со злом придало более открытый характер и сообщило более деятельную, подвижную роль древнему Ирану. Царь персов *, земное олицетворение Ормузда, то борется с окружающими дикими народами, то отдыхает после победы, наслаждаясь всем, что дает природа. Около него группируются его помощники, всегда и прежде всего воины, ведущие его полчища на другие народы, еще не признавшие его власти. Это странное желание, покорив Азию и Африку, покорить еще и неизвестную, темную Европу, от которой совершенно не видно было, что именно можно получить,
 20 есть лишь необходимое и естественное продолжение той мысли, что свет должен окончательно воспреобладать над тьмой и привести всех к единству и к поклонению единому владыке, олицетворению единого всепобеждающего добра и света. Вероятно, никогда еще и ни в какое время царская власть не была окружена таким благоговейным чувством, как здесь, и к этому чувству не примешивалось ничего вынужденного, подневольного. Г-н К. Леонтьев рассказывает, как он удивлен был, прочитав об одном действительно поразительном факте из истории греко-персидских войн, который рисует смысл древлеиранской жизни в несколько ином виде, чем как мы привыкли представлять его себе: «Во время случившейся бури персидские вельможи бросались сами в море, чтобы облегчить
 30 корабль и спасти Ксеркса; при этом они поочередно подходили к царю и склонялись перед ним, прежде чем кинуться за борт... Я помню, — продолжает он, — как, прочтя это, я задумался и сказал себе в первый раз: это страшнее и гораздо величавее Фермопил! Это доказывает силу идеи, силу убеждения, большую, чем у самих сподвижных Леонида; ибо гораздо легче положить свою голову в пылу битвы, чем обдуманно и холодно, без всякого принуждения, решаться на самоубийство из-за религиозно-государственной идеи» **. Во всяком случае, этот факт обнаруживает, что в сердце людей, которых мы привыкли считать только варварами и рабами, жили чувства, настолько внутренне сдерживающие каждого, насколько это возможно только при самой высокой и многовековой культу-
 40 ре, при особенных дарованиях народа, при вере его в высшие мистические идеи, управляющие историей и осуществляемые в жизни народов: потому что ведь как

* Замечательно, что не царь *Персии*, т. е. не страны, не территории, а именно людей, ее населяющих. В этом титуловании себя цари персидские бессознательно выразили взгляд на свою, и с собою — всего Ирана, миссию в истории.

** «Восток, Россия и Славянство», т. I, стр. 88.

легко было этим вельможам выбросить самого Ксеркса за борт, если их самопожертвование не было сознательно и свободно.

Переходя на европейскую почву, мы встречаем, на утренней заре ее истории, цветущую Грецию с ее миром маленьких автономных государств, слабо соединенных единством общего происхождения, некоторых учреждений, но, главное, языком и религиею. Городской характер этих государств, полное безучастие сельского люда в историческом движении — вот общая и в высшей степени характерная черта всех их без исключения. Город, πόλις, и среди его площадь, вечно шумящая народом, — вот что постоянно рисуется перед глазами историка, который занят событиями этих крошечных общин. Речи ораторов, негодующая или ликующая толпа, и воины, поспешно выходящие из нее и идущие к недалеким границам или садящиеся на корабли в близлежащей гавани, — таковы обычные сцены, повторяющиеся на всем протяжении Греции и во все время ее недолгого существования. Все как-то дробно в ней, и все — человечно. Нет величия огромных массовых передвижений, нет темных влечений и неясных мистических созерцаний; все в высшей степени отчетливо и ясно как в мышлении, как в чувстве, так и в течении исторических событий.

Мы уже заметили о мерной красоте, разлитой во всей этой жизни, так краткой и, однако, так привлекательной для всех последующих народов, гораздо более углубленных. Следует прибавить, что красота эта была исключительно объективного характера. Вся жизнь Греции, как и все душевное содержание греков, как-то удивительно выпукло выразилась наружу, не оставив в себе ничего затаенного, что они не смогли бы, или не захотели, или не успели высказать. Скульптура была любимым искусством их, и это есть то именно искусство, где за выраженной, ясною чертою ничего не скрывается, нет никакой тени, оставляющей в живописи место для воображения, и нет неуловимых переливов, какие есть в музыке. Оно действует исключительно на зрение, на способность внешнего созерцания, тогда как столь родственная ей живость, вследствие присутствия в ней полутеней, незаметно начинающихся и оканчивающихся линий, действует главным образом на внутренний мир нашей души: зрение является здесь, как и в музыке слух, не восприимчиком впечатления, но лишь проводником его. Но даже в статуе или в изваянии греки избегали изображать то, что сколько-нибудь отражало бы в себе состояние человеческой души: бесстрастное, не страдающее и не радующееся, но только прекрасное лицо было вечным предметом воплощения их великих художников. В этих воплощениях, к всегдашнему удивлению людей, никогда не было изображения глаз, т. е. по нашему представлению — главной красоты человека, которая сообщает его лицу осмысленность, внутреннее выражение. Глаза по справедливости называются зеркалом души, и греки не хотели смотреть в это зеркало, они набрасывали на него покров. В преобладании эпоса и трагедии над лирикой также высказывается объективный характер их творчества, более направленного к воспроизведению внешнего, нежели к выражению внутреннего. В эпосе пересказываются, в трагедии передаются точно движения и слова другого, но не движения своей души. И что бы другое мы ни взяли, всюду мы отметим этот же внешний характер их созерцания или их чувства. В религии, самом сокровенном содержании человеческой души, они не оставили после себя никаких молитв, т. е. никакого уединенного обращения к Богу, как бы они его ни понимали. Торжественные церемонии, общественные процессии, наконец, жерт-

воприношения, совершаемые от лица народа государственным сановником, — вот в чем выразилась у них потребность религии, красиво, но и холодно. От этого так легко перешли их религиозные торжества в трагическое и комическое искусство, которому они придали серьезность, а от него получили взамен красоту и пластичность. Искусство было у них религиозно, потому что и религия их была только наиболее глубоким искусством.

Слабость, бессодержательность и безынтересность семейной жизни уже сама собою вытекала из этого объективного склада их души. Дом, как место сна и даже не всегда место обеда (Спарта), и, наоборот, общественные здания, как место постоянного времяпрепровождения, — вот бросающиеся черты городского устройства греков. Всегда окруженный толпою, с детства и до глубокой старости, грек среди нее воспитывался, развивался, для нее творил подвиги и от нее только желал и добивался удивления, этой особенной и поверхностной формы любви, к какой одной только, по-видимому, он был способен. И в самом деле, как дружба *, так даже и брак имел всегда у них собственно чувственную основу, с очень сильною примесью эстетического, но нисколько не нравственного влечения. Так что не очень удивляет нас мысль Платона **, что семьи должны бы быть устраиваемы, пары сводимы — государством. И в самом деле, именно государство есть истинная семья афинянина или спартанца, и отсюда — такая возвышенная любовь к нему, такая привязанность к его интересам, братская любовь между собою всех граждан, открытость всех их отношений и так же — их простота, безыскусственность, внутренняя непринужденность. Мудрейшие, поучающие среди рынка юношей, беседы в тенистых садах Академии и в Лицее и это всегдашнее «ты» при обращении, эта неизменная примесь комизма и веселой шутливости при самом серьезном содержании речей — есть уже невольное и естественное проявление широко развившейся семьи — государства.

Слишком понятен и тип политического сложения, который развился отсюда. Так тесно, так близко примыкая к государству, каждый грек являлся как бы кусочком одной кожи, которая, состоя из них, — их же и стягивала, и единила. Каждый из них уже от природы был носителем и воплощением государства, и только малолетство или безумие могло помешать всякому вмешиваться в судьбу родины, в свою судьбу. Отсюда взгляд их на единовластие, на всякое возвышение, на тиранию. Это было нечто *противоестественное* в греческой общине, и именно как противоестественное — возбуждало к себе смешанное чувство отвращения, ненависти, почти ужаса. Ни соображения пользы, ни экономические выгоды, ни слава внешняя не искупали того позора, который налагал «тиран» на город, над которым он господствовал. На время тирании община как бы замирала, и, хотя события, иногда даже великие, происходили, история ее, как биение внутренней жизни, останавливалась. Отсюда всегдашнее сочувствие греков к героям, которые восставали против тирана и каким бы путем ни было — свергали его. Среди несчастий или внешнего унижения, при невообразимых внутренних раздорах — все равно была жизнь после тирании, тогда как при ней ее не было. Отсюда остракизм, изгнание всякого слишком выдающегося по дарованиям, как предупреж-

* Как на особенно знаменитые подтверждения этого можно бы указать на рассказ о падении Пизистратидов — у Геродота и на многие указания в диалоге «Федр» — Платона.

** Высказанная им в «Республике».

дение тирании; отсюда — предпочтение ей даже внешнего порабощения, как последнего средства от нее освободиться. Властитель во всяком другом государстве есть распорядитель абстрактных функций, лишь *задевающих* отдельное лицо; в Греции он был *присвоителем* того, что составляло неотъемлемое внутреннее содержание каждого, — он был врагом и оскорбителем всякого отдельного человека. Отсюда раннее исчезновение неясных теней монархизма на всем протяжении Греции; и самоуправляющаяся община, которую поглощена, сдавлена, но и определена в достоинствах своих, воспитана и увенчана личность. Все государственные функции здесь поручались, как равными равному, и, конечно, не оплачивались, как не оплачивается украшающее и возвышающее доверие, которое 10
оказывается другу. Вспомним, чтобы лучше понять это явление, отвращение и негодование, которое вызвали к себе софисты тем, что стали брать плату за обучение. Они были представителями начинающейся розни, распада слитой некогда общины на мир индивидуальностей, из которых у каждой есть *свои* заботы, нужды и интересы. Ничего подобного, уходящего внутрь себя, не было в первоначальном, не пошатнувшемся греческом мире. Ясное обращение к внешнему, открытость каждого ко всем сказывалась во всякой черте их жизни, во всяком движении. Их душа, как и их боги, всегда была обнажена, и среди шумящего народа, в Экклесии или в Буле их ораторы так же состязались, как борцы на Олимпийских играх. Один взгляд на ясную Афродиту уже мог бы для всякого чужестранца 20
объяснить их государственное устройство; как, понимая последнее, без труда было бы можно определить манеру их воплощения красоты в зодчестве, в скульптуре, в трагедии и в лирике.

В высшей степени замечательно чувство отчуждения греков от всех соседних народов, напр. гораздо сильнее, чем какое было у древних персов. Оно находится в тесной связи с глубокою общностью между собой всех граждан города, всех городов Греции. Война международная — это все-таки симптом связности народов, хотя и отрицательный, и греки никогда не вели войны с «варварами», пока они не напали на них. Все войны греков — внутренние, между собою, и замечательно, что никогда поводом к войне не было желание для себя территориального расширения за счет соседей. Завоевательных войн, где одно политическое тело поглощает или теснит другие, мы в собственно греческом периоде истории почти не знаем: и это есть признак отсутствия в Греции политического индивидуализма, резкой разграниченности между собою отдельных государств. Обычным поводом к войне была здесь борьба «за гегемонию», или, точнее, *против* гегемона, т. е. против выдающегося какого-нибудь города, который, обособляясь от прочих, силится стать над ними тираном. Таковы Пелопоннесская война против Афин, Коринфская и Фиванские войны против Спарты. Другим поводом, столь же обнаруживающим тесную связь между собою греческих городов, служило оскорбление какого-нибудь святилища, равно для всех драгоценного (так называемые «священные войны»), или помощь городу против овладевшего им тирана (напр., Спарты — Афинам против Гиппия). Таким образом, и внешние отношения, и внутренний строй обнаруживают в мире греческих государств особый тип политического сложения, который не наблюдался раньше и не повторялся потом. 40

Черта психической объективности и вытекающей отсюда гражданской связности наблюдается также и в Риме, где открытость отношений, общность инте-

ресов (*res publica*), поручаемость и безвозмездность государственных функций господствуют над всем остальным, как и в Греции. Но взамен конкретности в способности представлений, какую мы находим у греков, мы встречаем у римлян абстрактность ума, более способного к образованию понятий, нежели к созданию образов. Незрелая мифология, божества как символы понятий или отношений (напр., божество границ — «термин», или храм Согласия), слабость всех образных искусств и великое развитие права есть следствие этого абстрактного склада ума, направленного, как сказано уже было, на полезную сторону во всем. Образцы чередуются, тогда как понятия развиваются, т. е. растут и усложняются, захватывая все более в себя содержания, но не разрываясь, не утрачивая при этом своей истинности или приложимости, — и эта разница в отношении двух продуктов человеческого духа к внешнему материалу есть не последняя причина великой разницы, которую мы находим в судьбах Греции и Рима, столь родственных, столь близких по происхождению и всему внешнему облику жизни. И в самом деле, все растет в Риме, все растягивается, последовательно захватывая в свои политические формы древний Лациум, потом Италию, наконец все побережье Средиземного моря, весь дотоле известный мир. Любопытно, что междугосударственные отношения, какие мы наблюдаем в Греции, одною чертою своею отсутствуют в Риме, другою же повторяются. В противоположность греческим государствам, Рим есть община, постоянно сисящая разрушить или поглотить соседние, но не территориально, а собственно политически. Рим не столько расширяет свою государственную территорию, сколько отнимает самостоятельную политическую жизнь у соседних общин, подавляет у них волю, независимое проявление своего «я», подчиняя и сливая все это со своим могучим желанием: это выражается в ряде союзных договоров, которыми была связана Италия, но вовсе не *присоединена* к Риму перед Пуническими войнами. И даже после этих последних, когда Рим выступил за пределы Италии и стал собственно завоевательным государством, он постоянно завоевывал собственно право, а не территорию, искал более подчинения, нежели земельного увеличения для себя: все отношения, напр. к Нумидии, к Македонии, к Египту и, наконец, к азиатскому Востоку, ясно показывают это преобладание чисто юридической стороны над грубо физическою. Границ государственных в том смысле, как были всегда и есть теперь границы у Франции, у России, — мы не знаем у Рима; и, очерчивая на карте пространство Римского государства, мы собственно очерчиваем сферу его мощи, круг народов и стран, жизнь которых текла уже не по собственному желанию, но по указаниям из Рима. От этого самое определение времени, когда какая-нибудь страна стала *частью* римского государства, всегда так затруднительно. Рим лишь последовательно и очень медленно придвигал к себе, присасывал и, наконец, вбирал в себя ту или иную страну, тот или иной народ. Конечно, во времена Нерона вся Италия уже *была* Рим; но когда это *сделалось*, после какого события или в каком году? или когда была поглощена Иудея: при Помпее, при Клавдии, при Веспасиане? Эта медленность ассимилирования со своим организмом внешних национальных тел была одною из существенных причин неудержимого роста Рима: ни в какой момент поглощаемый народ не знал, что собственно он уже поглощается; было незначительное умаление прав, снятие нескольких лишних штрихов, которыми обозначалось его существование в мире, выражалась его личность в истории, — и не казалось необходимым напрягать все силы,

чтобы во что бы то ни стало удержать эти штрихи, без которых существование ведь продолжалось и только несколько тускнело. Все войны, имевшие целью отстоять свое существование, какие велись против Рима, были для него уже борьбою внутреннею, бессильным биением живого тела, вошедшего, но упорствовавшего раствориться в римском теле (напр., борьба с умбро-сабельскими племенами при Сулле, окончившаяся в 88 г. до Р. Х., начало же поглощения их относится приблизительно к 305 г. до Р. Х.).

В соответствии с этим процессом урегулирования отношений к себе всего внешнего шло в Риме и урегулирование от взаимных отношений всего внутреннего, что выразилось в развитии права. Направление созерцания в сторону полезного, абстрактный характер этого созерцания, бессознательно извлекающий из частных случаев их общую и постоянную основу, наконец, объективность всего душевного склада — вот психические задатки, из которых выросло римское право. История, ее нужды и задачи, ею поставляемые, были только возбуждающим стимулом к этому развитию, но не его основой.

Все указанные особенности античного мира, отразившиеся и на его политическом сложении, сообщают ему две черты: красоты и холодности. В его несложном устройстве, в его внешнем религиозном культе, в его историческом возрастании и самой смерти все правильно и ясно, все просто, — как красиво и просто все в сочетании линий, которому мы удивляемся в Парфеноне. Почти все, к чему бы ни обратились мы здесь, привлекает и удерживает долго наше созерцание, давая ему наслаждение умственное или художественное. Но нет ничего почти, что нас и трогало бы. В своем геройстве, в своей борьбе, в самом даже страдании и смерти греки и римляне остаются как-то чужды для нас, не вызывают сожаления к себе, как почти не жалели они и друг друга. Нет нравственного момента в их жизни и истории, и это оттого, что есть великий недостаток в ней субъективного. Они близки были друг к другу, но лишь извне, как граждане, но не как люди, и как гражданам мы удивляемся им, но вовсе не любим их, как людей.

Средние века представляют собою антитезу этому миру: все в них неправильно, все хаотично; невыразимо груб их быт, как и первобытно искусство, понятия о природе и отношения государственные. Но если после великолепных страниц Фукидида или Тацита мы обратимся к какому-нибудь безвестному хроникеру, мы испытаем невольное облегчение — удовольствие, похожее на радость: наконец мы опять видим людей, а не скованные холодною красотой их подобию — статуи. Все опять просто и естественно вокруг нас, в этом первобытном хаосе разрушения и созидания, который мы называем Средними веками. Люди говорят, а не произносят речи, воюют, а не совершают только подвиги; они несправедливы и жестоки, всегда грубы и никогда не гениальны — и, однако, мы непреодолимо привязываемся к ним, заинтересовываемся в высшей степени их судьбой и, ничему не удивляясь, очень многое в них любим.

Если мы станем искать источник этой разницы, которую наблюдаем, не в степени только развития, но в самом сложении всей жизни, в самых чертах *лица геллогического* на протяжении полутысячелетия после падения античной цивилизации, то должны будем обратиться прежде всего к христианству. Из всех религий, какие знает история, христианство есть самая внутренняя, говорящая совести человека в уединении, т. е. она наиболее запечатлена *индивидуализмом*. В то время как даже Моисей давал заповеди целому народу и к народу же обращены

были увещания израильских пророков, Христос — и это впервые было в истории — обратился к одному человеку, к лицу: Его беседы с Самарянкой и с Никодимом, его притчи, высказанные ученикам, все это уходит куда-то далеко, далеко от тревог окружающего мира и как будто даже от самой истории. Где-то в стороне от всего, что знали раньше люди и что занимало их, что они считали главным интересом своей души и главной целью существования своего, вскрылась иная цель, иной интерес; и история, которая долго еще шла мимо всего этого с шумом и треском, все иссякая и иссякая, все теряя силы, впала, как бы подсеченная в корне, в круг этих стоявших в стороне интересов, и с тех пор идет вот уже второе тысячелетие силами, которые были заложены там и в тот миг. Эта особенная неистощимость, эта странная неувядаемость христианской цивилизации вся вытекает из того, к чему обратился Христос: как бы снимая с человека его оболочку, он раскрыл в истории его душу, которая постоянно до тех пор скрывалась за племенем, за государством, за общественной жизнью и общепринятыми обычаями, — и судьбу души этой в ее падениях и просветлениях сделал всемирной историей, которая, конечно, стала так же вечна и неувядаема, как неувядаема в вечных возрождениях своих человеческая совесть.

Личность стала поэтому центром новой истории, как прежде центром таким была городская или родовая община. Там, за пределами государства, все тусклеет становилось то, что непосредственно примыкало к человеку и, наконец, он сам — совершенно неясный образ, только менее или более удачный носитель общих черт и общих же интересов, которые налагались на него государством. Напротив, самым ясным и самым твердым теперь становится именно то, что непосредственно следует за внутренним миром человеческой души, что им согревается и его освещает, — *семья*. После религии, после отношения к Богу, первой святыне Средних веков, — второю святынею становится семейный круг. Классическое «с ним или на нем», которое обратила спартанка к рожденному от нее воину, подавая щит, — не имеет никакого смысла в Средние века; и, напротив, получили смысл уединенные молитвы, которые неустанно шлются за сына, где бы он ни был, что бы ни сделал, как бы ни был осуждаем всеми и даже действительно дурен. Все переменяло характер от этого перемещения интересов человека: нет торжественных хоров, нет великолепия холодных процессий и всей скульптурности бытовых форм, как и изваянных характеров. Все ушло куда-то внутрь, за стены родного дома, к скрытому очагу, где человек живет, живет не наблюдаемый более никем, и откуда он выходит с лицом, осененным светом, который никогда не согревал античного мира. Оттуда, из этой скрытой от всех уединенной жизни, выходит новая поэзия и новая философия, которая так много сказала человеческому сердцу и так многому научила человеческий ум.

Понятно видоизменение общественных и политических форм, которое все текло отсюда: государство уже не прилегает более непосредственно к человеку, оно удалено от него и даже не так строго необходимо. Только неприятное соседство грубых народов, всегда готовых напасть и разорить страну, да неизбежность присутствия злых людей и безродных бродяг в недрах самого общества заставляет отрывать каждого свое внимание от семьи и часть его посвящать той внешней оболочке над всеми, которую мы называем государством. Таким образом, отношение к нему в новой истории становится внешним и холодным, вынужденным; тогда как в древнем мире оно было внутренним и интимным, ему одному

отдавалась несдержанная страсть. С этим изменением отношения к политической форме изменилось и отношение к ее элементам: монархия есть естественная форма христианского государства, как республика — античного, языческого. Общий интерес, дела, касающиеся до всех, каждое *res publica* — есть только бремя, которое никто теперь не хочет взять на себя и в которое чтобы вникнуть только — нужно забыть на время самые дорогие и близкие интересы, пренебречь то, с чем слита жизнь. Тот, кто берет на себя это бремя, кто за каждым сохраняет самое драгоценное для него, уединение и заботы о близких, каждому — оказывает благодеяние, которого он не получает даже от друга. Отсюда — взгляд на царскую власть, как на источник благодеяния, поэзия и любовь, которою она окружена. В античном мире, ставший один над всеми, даже когда он для всех благодетель, есть *τύραννος*, похититель власти, всех и каждого враг; в новом мире — это заботливый устроитель общих дел, охранитель над всеми, который отказался от лучших даров счастья, чтобы за каждым сохранить его дары. Его личность неприкосновенна, почти свята, его характеру удивляются, хотят знать его частную жизнь, которую любят, почти как собственную. Рассказы о Теодолинде, легенды о Карле Великом или об Альфреде Английском, все эти трогательные чувства и воспоминания, обращенные к государю и его памяти, — как далеко отошли они от образов Тиверия, Дионисия Сиракузского или хитрого и жадного к власти Пизистрата и двух сыновей его. Мы говорим не о разнице, которая была между этими людьми, но о разнице чувств, которыми они окружены были, с которыми их встретили на троне и проводили в могилу. А чувства эти, вся психическая атмосфера, которою дышит человек, на которого обращены миллионы глаз, по неистребимой связности каждого в роде людском со всеми, ранее или позже налагают свою печать на его духовный образ, дела и тайные мысли, конечно, с индивидуальными изменениями; но каждый становится тем, что от него ожидают, и это не менее тогда, когда он отвечает на ненависть ненавистью, чем когда на привязанность — любовью. Но в Средние века (и вообще в христианской истории) даже и положительно слабые государи, не успевшие ни устроить подданных, ни защитить их, пользовались, однако, их добрым чувством: о его несчастьях на войне, о его падении с престола вспоминали с большим участием, чем даже и о собственных бедах, о разорении целой страны — факты, неизвестные в античном мире, непонятные в Риме, в Афинах, в Спарте (судьба Цезаря, подозрительное отношение даже к Периклу). Отсюда слияние всей новой истории с личной историей государей, с рассказами о судьбах династий, — как в древности слияние ее с форумом, с *ἄγορά*, сенатом — экклезией. Замечательно, что до последних десятилетий нашего века это не понималось, как ошибка, не чувствовалось тут какой-либо неправды: Мишле и Маколей одинаково писали свою историю. И в том, что никто не чувствовал здесь чего-либо ложного, находится оправдание и объяснение гордых слов о себе нового государя: «Государство — это я». В совершенно строгом смысле слова эти мог применить к себе и самый скромный из предшественников Людовика XIV: в Европе после падения античного мира, еще от времен Хлодвига, Генриха-Птицелова и Альфреда Великого, — государь, понятно, был носителем государства, т. е. совокупности общих забот о всяком деле, организатором всех этих дел, их начинателем и руководителем. Он был вождь на войне, организатор в мире, и когда еще оставался досуг от всего этого — личный досуг (Людовик IX), учредитель форм быта, строитель наук, ли-

тературы и искусства. Только уже позднее, в наше время, когда все стало изменяться, историками был придуман для слов Людовика XIV смысл, которого он вовсе не имел в виду, от которого он гордо и презрительно отказался бы, как от недостаточного, если б можно было как-нибудь объяснить ему этот смысл.

И второстепенные подробности политического сложения христианских народов также вытекают все из начала индивидуальности, обращения человека внутрь себя, которое принесла миру новая религия. Руководительство общих дел в античном мире поручалось по доверию некоторым и было, в каждом отдельном случае, как бы добровольным сложением власти многих на одного: это высокое право — принять хоть временно на себя власть других — приобреталось не только выдающимися достоинствами в частности, но и общим, постоянным несением на себе бремени большего, нежели какое несли другие. Отсюда разделение граждан на классы в Риме, в Афинах, и несение почти всего бремени налогов теми, которые могли быть избираемы на государственные должности: за право получить власть от бедных богатые принимали уплату повинностей за них. И они несли также и всю тяжесть военной службы, что было, впрочем, лишь самую общую и, для каждого отдельного лица, низшею формою государственной власти: правом, которое принималось от народа войском. Безвозмездность всякого государственного служения и простое выражение признательности за государственные услуги, лавровый или дубовый венок, наконец — триумф, это все естественно вытекало из античного взгляда на государство, из чрезмерной близости к нему, к его идее и выражению всякого живого индивидуума. И все это стало непонятно и невозможно в новом мире: как только центр жизни, внимания и забот переместился в частную жизнь, для общей можно было найти служителей только за особые выгоды, им предоставляемые сравнительно с прочими. Там эта служба покупалась как право, здесь она оплачивалась, как обязанность. Отсюда вытекли два великие последствия: перемещение государственных тягостей сверху вниз и развитие бюрократической системы управления, взамен древней, по поручительству. И в самом деле, с торжеством христианства и как бы вопреки его светлым заветам мы видим, что повсюду, и даже до наших времен, бремя уплаты государственных повинностей, как и линейной службы в войсках, всю тяжестью своею лежит по преимуществу на крестьянстве и мелких горожанах, из которых не выходят люди, пекущиеся о государстве; и от этой тяжести свободны, совсем или отчасти, классы обеспеченные и свободные: *ubi emeritum — ibi emolumentum* *. Эта правовая формула античного мира читается в новом наоборот. Нужна была особенно сильная и постоянно действующая причина, которая в силах была бы породить столь общий факт, столь резкое отклонение от самой основы христианства. И эта причина лежит в том, что именно вследствие христианства государство так далеко отодвинулось от индивидуума: для церкви или по предписанию нравственного долга он может взять на себя тяжелое бремя, может посвятить всю свою жизнь заботе о ближнем, о неимущих, о страждущих. И факты заботы этой, неизвестные в древности, продолжают до наших времен вот уже девятнадцать веков. Но для государства, для совершения действий, *индивидуально никому не нужных*, что может заставить христианина отнимать заботы от своей семьи и иногда даже от церкви, о своем личном загробном спасении? Ради чего он

* где приобретение, там и выгода (лат.).

погрузится в весь этот мелочный, неприятный и часто нечистый водоворот текущих или особых дел, где так часто нужно притеснить или наказать, подчиниться слепо или гневно приказать? Для его свободной души, которая хотела бы жить только с Богом, с подателем жизни и грозным судьей, перед которым он должен дать отчет не только за одну свою душу, но и за детей своих, — для него оставить эти высокие и чистые заботы для разбирательства вздорных дел между дурными людьми, для вымогательства подати с последнего бедняка было нечто отвратительное и тягостное. Вот почему вплоть до начала XV века, когда во всей Европе совершился великий упадок религиозных чувств, самое возникновение отчетливо организованного государства было невозможно. Только с этого времени, взамен феодального строя, где вовсе не было этой удушливо-грязной административности, возникает государство с все приближающимися к этому типу формами. Но одна общая черта сохраняется как в феодальном, так и в новом государстве: та общая сословная масса, из которой выходят оберегатели общих интересов, будет ли то воин или чиновник, в шлеме или в мундире, эта масса, одинаково во все эпохи, религиозные и атеистические, просвещенные и грубые, свободна от денежных и всяких физических повинностей; кроме одной: обязанности давать из себя людей, пекущихся об общем благе, как внешнем, так и внутреннем. С тою разницею, повторяем, что в феодальном строе это обязательное попечение было более свободно по форме, строго индивидуально по выражению, — что вполне согласовалось с религиозным духом эпохи: рыцарь — повсюду, член феодальной иерархии в своем районе был оберегателем справедливости и свободы, действующим по своему побуждению, лишь в слабой зависимости от сюзерена, и притом по преимуществу в отношении к частным людям; что все и производило тогда какую-то чудную смесь личной инициативы всюду — с громадной массивностью народных масс, уже вступивших в историю, и начал религиозно-нравственных — с политическими.

По мере того, как из хаоса феодальных отношений возникло новое государство, эта независимость в проявлении забот о всех стала уступать место принудительности и безличности: возникла бюрократия, как посредствующее звено между государем и странюю, как орудие деятельности первого, которая могла бы достать всюду и коснуться всего. В силу той безынтересности государства для каждого индивидуума, о которой мы говорили как о характерной черте новых времен, орудия деятельности этой, т. е. звенья бюрократической системы, могли быть привлечены к деятельности на общую пользу не иначе как платою. Отсюда — оплаченный чиновник, как непрременная принадлежность нового государства, будет ли то монархическая Австрия или республика Соединенных Штатов. Всякую за те заботы, которые отнимает он от семьи своей, чтобы передать их безличным и далеким для него массам людей, он требует и получает особенные выгоды, которые передает своей семье. С возникновением бюрократии, набираемой из всех классов, куда идут, по выше объясненным причинам, лишь наиболее грубые элементы общества, наименее ценящие себя и в себе — все высокочеловечное, самое существование особых облегченных классов, утратило всякое основание: они опустились туда, где всегда лежало бремя государственных тягостей, сохраняя одно лишь преимущество — избыток материальных средств. Безличная, нерасчлененная масса народа и управляющий класс над нею, как единственное и новое сословие, есть общая черта государств современного типа. Но купленная

забота всегда обращена к тому, кто ее купил, а не к тому, для кого она куплена. Отсюда — развитие в новом государстве наружной стороны деятельности, отсутствие на периферии его, в последних звеньях системы, какой-либо жизни, устремленности, достижения, и так как лишь этою периферией система касается реальных явлений текущей истории, то отсюда же вытекло вечное убегание этой истории от руководства системы, которая напряженно силится из центра овладеть ею, но не может. Изощрение и изощрение контроля, прибавка к сделанной уплате (жалованье), обещания прибавить еще (награды, повышения, знаки отличия) — все это есть ряд усилий, делаемых из центра для того, чтобы передать свою жизнь и устремленность далеким перифериям, не знающим и не хотящим, *не чувствующим* в самих себе каких-либо целей. Таким образом, за безучастием в новом государстве хороших сторон человеческой природы, является печальная и сознанная необходимость действовать, возбуждая их, на дурные: на чувство робости в человеке, на его алчность, на какое-то иллюзорное тщеславие. Но, как само собою ясно, не задевая сущности дела, все эти средства были и останутся бесплодны: какая бы цель для деятельности ни была поставлена и какая бы награда возле нее ни стояла, внимание достигающего ее в новом государстве неизменно будет направлено на того, кто поставил ее и держит награду, а не туда, где стоит она и чего должна коснуться ее деятельность. Безжизненность, глубокое бессилие есть неизменная черта новых политических тел, возникших повсюду в Европе с конца XV века, и вытекающая из самой психической структуры их. При этом мы говорим, конечно, о норме, а не об исключениях: но рвение, но героизм, но подвиг для родного города в античном мире, был нормою, а равнодушие — исключением. В христианском мире, где государство есть второстепенное для человека, а не первое, это стало наоборот, — при всех формах правления, при всех степенях образования, в века минувшей истории и ожидаемой.

В целях удобства, возможности какого-нибудь действия, это управление не могло не приобрести всюду одного вида: всеоживляющий центр и пробегающая от него деятельность, которая, распределяясь по бесчисленным нитям все утончающейся администрации, завязывается на оконечности их с фактами реальной жизни, силясь овладеть этими фактами. Восхождение движения обратно к центру от фактов хотя, возможно, и есть, но всюду затруднено, как бы мешая главному движению. Некоторая абстрактность жизни в центре, абстрактность идей его и даже страстей, и затруднительность движения для фактов на периферии системы, где они проскользают сквозь резкую уже и слабую сеть административной паутины и текут по своему особому руслу, никем не направляемому, — вот общая картина этой системы, почти без видоизменений установившейся во всей Европе. Ей отвечает повсюду картина самой территории европейских государств, которые, как остов нервную систему, облекают эту администрацию и вполне повинуются ей, ее внутреннему закону в своих внешних чертах: уторопленная жизнь в центре каждого подобного государства, и притом жизнь крайне абстрактная, без ярко выпуклых особенностей, которые были бы наложены историей, национальностью, ее особыми бытовыми условиями и даже климатом. Все столицы Европы становятся чем далее, тем более схожи между собою, как фотографии, снятые с одного лица. И до самой периферии, начиная от этих центров, всюду поблеклая жизнь, медленно движущаяся, без какого-либо значительного интереса к себе для наблюдателя, без какого-либо счастья, кроме покоя, без других

забот, кроме насущного пропитания. Все высшие интересы, тревоги, замыслы сосредоточиваются в центре, лихорадочно деятельном, ни на минуту не успокаивающемся; и это беспокойство есть самая главная печать, налагаемая этими центрами на высшие интересы человеческого существования, сюда стянувшиеся.

Таковы резкие, бьющие в глаза особенности новой истории, вытекшие все из незаметного уклона, который получило девятнадцать веков назад развитие человеческого духа в новой религии. С этого времени, повинувшись этому уклону, все дела человеческие текут в сторону, диаметрально противоположную той, куда они двигались ранее, в античном мире. Нам остается добавить еще немного слов, чтобы закончить картину этой истории, и именно — выяснив особый характер, какой имеет здесь участие собственно народных масс в государственной жизни.

Древнему миру вовсе неизвестна была противоположность между государством и обществом: в Спарте, в Афинах или в Риме общество, т. е. совокупность граждан, было вечно деятельным носителем задач, форм и традиций государства. И кто враг был этому государству, или что клонилось к его ущербу, был враг и обществу этому, его интересам. От этого борьба там всегда была борьбою в пределах самого государства, одного элемента его против других, т. е. она носила строго внутренний характер, была вполне законна, и ее влияние на развитие государства всегда было плодотворно. Напротив, в новой истории, с возникновением христианской семьи, со строгим и возвышенным развитием церкви, общество отделилось от государства и вообще история его не укладывается в историю политическую и не всегда даже совпадает с ней в своем течении: бывали моменты, и их всегда можно ожидать в будущем, когда принципы, задачи и вся установившаяся практика государства вызвала строгую критику и даже осуждение со стороны общества — факт, неизвестный в летописях истории до появления христианства. В античном обществе, слитом с государством, только к концу его, с возникновением философии, могли появиться в ее особых понятиях опорные пункты для критического отношения к политической практике. И это еще раз, но с новой стороны, показывает, как мало гармонировали Академия, Лицей и Стоя с Акрополем и Форумом, со всей этой светлой, связанной, в высшей степени цельной жизнью; и насколько сказался в их возникновении скрытый перелом истории к чему-то новому, совершенно отличному от прежнего. Но философские понятия никогда не могут быть достойными многих, и изгнание Анаксагора, смерть Сократа, добровольное удаление из Афин Аристотеля были несложными фактами, в которых выразилось это разъединение личности и государства. Напротив, с появлением христианства этот факт стал всеобщим и постоянным: в заветах Евангелия, в пробужденных тревогах своей совести всякий имел постоянный критерий, который он не колеблясь применял и ко всякому поступку своему, и к каждому государственному акту, которого был зрителем. Слитность между индивидуумом и политическим строем стала более невозможной: стала возможна особая история общества и всего того, что из него свободно выросло: религиозных движений, искусства, науки и философии. Все это, развиваясь вне воздействия государства и будучи дорого человеку не менее, чем оно, открывало новые и новые точки опоры для индивидуального суждения, для общественной критики государственной деятельности. И мы видели нередко в истории Европы моменты, когда государство с сетью развившихся в нем учреждений, и общество с великим духовным миром, им созданным, становились друг против друга, чтобы

победить или умереть. Таков был, между прочим, смысл Французской революции, столь враждебной христианству и, однако, возможной только в христианской стране, — по своему основанию, по точке опоры, какой она никогда не получила бы для себя в языческой стране*.

Но здесь общество и государство стояли друг против друга; разъединены же и обособлены они были постоянно в новой истории. Этим объясняется особый характер как важнейших чисто европейских законодательств (т. е. возникших без участия римского права и не на романизированной почве), так и характер в новой истории представительных собраний. «Magna charta libertatum»**, «Habeas corpus», «Билль о правах», — эти знаменитые юридические акты все имеют одну цель: охранить личность от посягательств государства, провести вокруг каждого черту, за которой с семьей своей, со своими высшими духовными интересами, он как бы не чувствовал государства и его ежеминутной деятельности. Таким образом, печать глубокого индивидуализма лежит на этих государственных актах — в противоположность античному миру, где всякий государственный акт расширял сферу общей деятельности (*respublica*) на счет индивидуальной свободы. И далее (в глубокой аналогии со всем сказанным), тогда как в древнем мире всякое представительное собрание (сенат, комиции, буле и экклезия, герусия) имело характер, ведущий историю, в новой истории всякое подобное собрание имело характер, только ограничивающий это ведение или в нем участвующий. Вначале, когда государь стоял один над народом и еще не имел вокруг себя сложной администрации, через которую мог бы действовать, он созывал лучших людей из подвластного народа в помощь себе, для совета или содействия. И понятно, что собрания эти всюду прекратились, заменяясь более деятельною и удобною администрацией. В одной Англии, где не возникло бюрократии, эти собрания сохранились благодаря ряду дурных королей, которых, представляя собою общество, они стали ограничивать. Но в высшей степени замечательно, что где бы ни возникали подобные собрания и в позднейшее время, они всюду имеют тот же ограничивающий характер, выражают критику стоящего в стороне общества, но не его деятельность. Так сделался удален, со времен христианства, мир индивидуальных желаний и даже мыслей от общего интереса всех, что, собираясь даже во имя этого интереса, отдельные личности не могут найти способа *осуществлять* его, но лишь смотрят и критикуют то, что перед ними осуществляется, — и это одинаково в республиках, как и в *ограниченных* монархиях. Поэтому, в строгом смысле, *rei publicae* не существует в Европе и не может существовать; есть только монархии, но местами такие, где власть монарха, его скипетр, держится многими руками, скрытыми за спиною остальных необозримых народных масс, которые покорны и безучастны к власти столько же, как и в монархиях незатемненных. Венец царский не сорван нигде, но он разорван на лепестки, которые, однако, сияют на головах нескольких людей, — для большего удобства, говорят они, народа, которому, однако, предоставляется лишь смотреть на это, бессильно желать этого, вечно завидовать и умирать с чувствами, каких он не имел прежде.

* Сравни судьбу Тиверия и Кая Гракхов, боровшихся за ясные для всех материальные интересы, с судьбой Мирабо и последующих вождей революции, боровшихся за гораздо более отвлеченные принципы.

** «Великая хартия вольностей» (лат.).

Таковы различия в политическом сложении древнего государства и всех новых. В бессмертной формуле своей Аристотель выразил сущность первого: ἄνθρωπος ζῷον πολιτικόν ἔστιν*, — сказал он, думая о современном ему мире, высказывая то, как этот мир чувствовал себя. Величие, поразительная красота, обилие жизненности в государстве и гражданине было простым следствием только этого факта. Был удивительный период в истории, когда человек не только ощущал, но и дышал, но и мыслил, но и желал только внешними покровами своего существа, — подобно тем странным, еще не развитым животным, которые живут только кожей. И этот период окончился навсегда, как только принесено было на землю Евангелие. С ним и через него вырос внутренний человек, вскрылось глубокое содержание его природы, вовсе не укладывающееся в рамки какой-либо политической формы или деятельности. Человек не хочет и не может быть только гражданином; он уже давно сперва христианин, потом отец семьи, на котором лежит высшая ответственность, наконец, — он художник или мыслитель и уже после всего этого гражданин. Но с тем прекрасным и до сих пор не померкающим светом, каким озарилась в силу этой перемены история, неотделимо некоторое и искажение государства: нет прежней красоты в его формах, более безжизненно оно, узко и как-то несимпатично. Всего этого переменить нельзя и не следует. И не подавляя остальное все, как это было в древности, но, напротив, примыкая ко всему, что выросло в новых обществах из христианства, проникаясь началами религиозными, семейными, всюду будя в себе внутренний смысл, а не устанавливая внешние формы, новое государство может достигнуть высших проявлений своего типа — менее красивых, чем античные, но гораздо более дорогих человеку и, быть может, более его достойных**.

* человек — животное политическое (*зреч.*).

** Нам могут заметить, что 1) зародыши централизации и бюрократии появились еще в языческой Римской империи и 2) что в некоторые эпохи новой истории у тех или иных народов отсутствовали черты этой бюрократии и централизации. На это ответим, что 1) насколько уже в языческом мире (однако не ранее появления христианства) стало подготавливаться выясненное нами политическое сложение, в нем, в этом факте, с новой стороны обнаружилось подготавливание к принятию христианства: формы перерождались в направлении, строго отвечающем характеру содержания, которое только подготавливалось в это время на Дальнем Востоке. Замечательно, однако, что окончательное установление централизации и бюрократии произошло в Риме лишь при Константине Великом, при котором и новая религия от потаенных путей перешла к ясному выражению себя в истории. 2) Из новых народов у всех и во все эпохи есть более или менее выраженный уклон в указанную сторону; но, скользя по этому уклону, многие из них задерживались в движении своим разными историческими обстоятельствами. Во всяком случае, в каждом единичном народе последующая фаза развития всегда была обильнее, чем ей предшествующая, общими чертами бюрократизма и централизации (сравни, напр., Испанию при Карле V и Филиппе II); и по истечении достаточного времени все страны Европы приняли вид, нами очерченный. Но (и это главное), имея задачу высказать лишь схему нового государства, мы указали, что отдельные черты этой схемы должны корениться в особенностях духовного сложения новых народов; а это последнее возникло, главным образом, из христианства, в котором именно индивидуализм и субъективность могли дать основу для особого строя общественной и государственной организации.

VIII

В пределах этого общеевропейского типа жизнь единичных, сколько-нибудь значительных народов новой истории приняла своеобразное выражение. Мы приведем здесь слова г. К. Леонтьева, хоть и кратко, но ясно и справедливо указывающие важнейшие из этих оттенков:

«Италия, возросшая на развалинах Рима, — говорит он, — около эпохи Возрождения и раньше всех других европейских государств выработала свою государственную форму, *в виде двух самых крайних антитез — с одной стороны, высшую централизацию, в виде государственного папства, объединявшего весь католигеский мир далеко вне пределов Италии, с другой же — для самой себя, для Италии собственно, форму крайне децентрализованную, муниципально-аристократических малых государств*, которые постоянно колебались между олигархией (Венеция и Генуя) и монархией (Неаполь, Тоскана и т. д.).

Государственная форма, прирожденная Испании, стала ясна несколько позднее. Это была *монархия самодержавная и аристократическая, но провинциально мало сосредоточенная, снабженная местными и отчасти сословными вольностями и привилегиями*, — нечто среднее между Италией и Францией. Эпоха Карла V и Филиппа II есть эпоха цвета этой политической формы.

Государственная форма, свойственная Франции, была *в высшей степени централизованная, крайне сословная, но самодержавная монархия*. Эта форма выяснилась постепенно при Людовике XI, Франциске I, Ришелье и Людовике XIV; исчезла она в 89-м году.

Государственная форма Англии была (и отчасти есть до сих пор) *ограниченная, менее Франции вначале сословная, децентрализованная монархия*, или, как другие говорят, аристократическая республика с наследственным президентом. Эта форма выразилась почти одновременно с французской при Генрихе VIII, Елисавете и Вильгельме Оранском.

Государственная форма Германии была (до Наполеона I и до годов 48 и 71) следующая: *союз государств небольших, отдельных, сословных, более или менее самодержавных, с избранным императором-сюзереном* (не муниципального, а феодального происхождения)»*.

Нельзя отрицать, что эти формы государственного сложения типичны для перечисленных народов и что ни одна из них не была присуща какому-либо другому народу, кроме одного указанного. В своем роде она столь же характерны, как, напр., дорическая и ионийская формы для отдельных государств Древней Греции.

Приблизительно с половины XVIII века все эти формы постепенно выяснялись; во многих выяснение это продолжалось и в XIX веке. Одновременно с этим процессом установления *внешнего разнообразия* происходило и возрастание *внутреннего духовного творчества* европейских народов. Век Возрождения в Италии совпал с наиболее полным развитием католицизма и с наибольшим ослаблением собственно Италии накануне отпадения Лютера и внешнего порабощения французами и германцами. Леонардо-да-Винчи, Микель Анджело, Рафаэль и, с другой стороны, Козимо и Лоренцо Медичи, папы: Николай V, Юлий II

* «Восток, Россия и Славянство», т. 1, стр. 150.

и Лев X сошли или сходили еще только в могилу, когда по ту сторону Альп раздались негодующие крики реформы, а Франциск I и Карл V набирали союзников для борьбы за прекрасную страну, которую они залили скоро кровью. Ни культурно в духовном отношении, ни политически в смысле дальнейшего выяснения своей особой формы Италия ничего не произвела в последующие века. Процесс, наступивший для нее, чуждый каких-либо бурных переломов, г. Леонтьев характерно и справедливо сравнивает с *медленным высыханием*, какое мы наблюдаем во всяком дереве, принесшем свой плод.

В Испании за высшим расцветом политической формы, отчасти совпадая, отчасти немедленно за ним следуя, наступил также высший расцвет духовного творчества: Лопе-де-Вега, Кальдерон и Сервантес в сфере поэзии, Веласкез и Мурильо в сфере живописи как бы окружают собою замечательную личность Филиппа II, в котором гений испанского народа отпечатлелся с такою несравненно яркостью. И здесь, за этим резким обособлением в форме, за ярким сиянием внутреннего содержания нации наступил тот же процесс медленного истощения сил и внешнего упадка, какой мы отметили уже для Италии.

Во Франции век Людовика XIV есть центр, около которого группируются, подготавливая его или расшатывая, великие министры Ришелье и Мазарини, короли Людовик XV и Людовик XVI. Именно это время, обнимающее с небольшим столетие, было временем высшего расцвета духовных сил французского народа: между Декартом и Кондорсе, между Паскалем и Фернейским мудрецом здесь проходит ряд поэтов, ораторов, великих трагиков и мыслителей, которые заставили в течение почти двух веков преклониться всех перед умственным превосходством Франции. Сильное умственное движение здесь в первую половину XIX века должно быть отделяемо от предыдущего по корням своим: оно связано исключительно с революцией, о значении которой будет сказано ниже.

В Англии век Елизаветы был одновременно и веком Шекспира, эпоха Стюартов — временем Бэкона и Мильтона, а царствование Оранской и Ганноверской династий — когда, собственно, и получило свое полное развитие парламентское правление — было временем Локка, Ньютона и Адама Смита, а с другой стороны, таких поэтов, как Аддисон, де-Фоз, Свифт, Поп и др. По некоторым причинам особенная форма политического сложения Англии удержалась долее в своей цельности и самобытности, нежели в других странах Европы; и, в соответствие этому, долее, нежели в других странах, в ней продолжался высокий расцвет духовных сил. Байрона можно и следует рассматривать как завершителя высокой самобытности английского гения, уже полного предчувствием последующего падения, уже с отвращением и ужасом ощущавшего приближение эпохи, когда погаснет всякий гений и все ярко выразительное, индивидуальное в лике европейского человечества. В другом роде и теснее примыкая к родине писал его современник Вальтер-Скотт: как тот почувствовал с ненавистью будущее, так этот обратился с любовью к прошлому и стал Плутархом Англии и всей старой Европы, любящим собирателем ее легенд, преданий, истории. Теккерей и Диккенс стоят уже на рубеже новой Англии, оба равно исполненные чувства действительности, но без какой-либо способности отнестись к ней положительно или с увлечением.

Наконец, если мы обратимся к Германии, то найдем в ней два момента высокого подъема умственных сил: век гуманизма, с Эразмом и Ульрихом фон-Гуте-

ном в центре, и век оригинальной, гуманной образованности, который обнимает собою вторую половину XVIII века и первую — XIX-го, с Шиллером и Гёте, с Кантом, братьями Гумбольдтами и Нибуром в центре. Человек, как предмет внимания и изучения в его духовном содержании и историческом развитии — вот особенная сфера созерцания и воплощения, которую открыл германский гений для остального человечества. И наибольшая яркость как этого изучения, так и этого воплощения относится к эпохам великих коллизий между империей и княжествами, когда ни первая не поглощала собою вторые, ни эти последние не утрачивали, разрушая империю, всякую связь между собою и сознание единства.

IX

Прежде нежели перейти к указанию на то, что за всем этим наступило для Европы, мы остановимся на глубоких соображениях г. К. Леонтьева о приближительной долговечности национально-политических организмов в истории.

Нет сомнения, в процессе возрастания и падения государств есть столько темного, необъяснимого пока для науки, что всякая попытка подойти к этому вопросу с догматическими утверждениями, со слишком точными мерками, должна быть признана преждевременною. Но также нет сомнения, что, насколько все государства суть действительно возрастающие организмы, к ним приложима общая истина об умирании всего органического, — и притом умирании через известный срок, далее которого жизнь не может тянуться. Все развивающееся — развивается *во что-нибудь*, и раз это «что-нибудь» осуществлено, есть — наступает предел для существования того, что его осуществляло собою. Таким образом, ни в смерти государств, ни в продолжительности их жизни нет никакой игры случая и, с тем вместе, нет безграничного разнообразия: есть норма, есть грань для всего этого, до которой не дорасти можно по каким-либо историческим обстоятельствам, но за которую *перерастти* невозможно ни для какого народа. Есть *мера жизни*, отпущенная для всего живого: для растения, для животного, для человека и также — для вида, породы и, наконец, для нации.

Но самая жизнь здесь является под тремя формами: культуры, собственно народности и, наконец, государства. Первая как существование в истории самых продуктов народного творчества — бытового, умственного и художественного содержания — бывает неизмеримо продолжительнее, чем существование народа. И причина этого понятна: все эти продукты ясно содержат в себе неразрушимое идеалистическое зерно, около которого удерживается и многое такое, что само по себе незначуще и непрочное, но в связи с зерном этим, никогда не сгнивающим, продолжает существовать неопределенно долгое время. Тот или иной навык, тот или иной склад жизни может обладать пластической красотой, — и он перенимается другими народами, распространяется и продолжает жить, когда сам народ, его выработавший, уже давно исчезнул. Еще более обеспечено существование культуры, когда она богата началами философскими, научными, поэтическими, религиозными. Элементы Эвклида, какое-нибудь правовое понятие Рима, наконец, рисунок Рафаэля или монолог из «Гамлета» — это в своем роде вечно неразрушимые вещи, которые не перестанут существовать в челове-

честве, пока существует, понимает, любит и наслаждается кто-нибудь в нем. А с этими неразрушимыми вещами останется и множество подробностей, которые лежали в характере и в быте народа, из души которого все это выросло.

В этом смысле можно сказать, что ни одна из исторических культур не погибла окончательно; но элементы всех их рассеянно живут в нашем образовании, в нашем быте и, без сомнения, через все это — в складе нашей души. Нет более Финикии, но есть финикийский способ закрепления на бумаге своих мыслей; песок пустыни покрыл древнюю Ниневию и Вавилон, а сравнения, а обороты речи, произнесенные там тысячелетия назад, мелькают еще иногда и в нашей речи — явление удивительное, если в него вдуматься глубже. Умерли города, народы, великие царства, а сильное и прекрасное движение души человеческой, закрепленное в слове, по-видимому исчезнувшее, как только замолк его звук, вечно возрожденное, добежало до нас, и мы его любим, им трогаемся, как и неизвестные лица, его впервые произнесшие.

Менее продолжительно, но все-таки очень долговечно бывает существование народностей, как простой этнографической массы, как неопределенного субстрата, из которого выделяется и вековая культура, как высший цвет его, как его ароматическое дыхание в истории, и государство, как внешняя его форма, как наружное самоопределение. Этот физический субстрат истории существует неопределенное число веков до ее начала, и по ее окончании, после разрушения государственной формы, остается если не навсегда среди других народностей, то на очень долгое время. Такова судьба греков под Римом и Турцией, или западных славян в Германии. Эти и подобные народности, которые скорее рассеиваются, нежели внутренне тают, напоминают пепел сгоревшего здания, над которым воздвигнуто новое, незаметный, но существующий, однако не всегда же. Когда именно и как оне исчезают окончательно, этого нельзя сказать, хотя по истечении достаточного времени никаких следов их не остается, — как не осталось никаких следов от древних этрусков, от греческого населения в южной Италии, от ассирийян и финикийян.

Наконец, наименьшею продолжительностью отличается существование государств, этой внешней оболочки и внутренней ткани, которая проникает собою этнографический субстрат, делая его особым, ни с кем не сливающимся существом среди других народов истории. В государстве выражается индивидуальность наций, которые пока живут политической жизнью — существуют для себя и через себя и во всех других отношениях, и как только лишаются ее — становятся простым материалом для посторонней жизни, своею плотью и кровью выражают уже чужое лицо в истории.

К. Н. Леонтьев делает обзор всех известных исчезнувших в истории государств и находит, что они вообще не переживали более 12 веков *. Громадное большинство государств прожило менее, но до этого срока дотянули самые долговечные

* Он при этом справедливо выделяет из своего обзора Древний Египет и современный Китай, видя в них скорее своеобразные и замкнутые культурные миры, нежели собственно государства. Неосновательность считать их только государствами видна из того, что, например, Египет имел несколько преемственно сменявшихся средоточий своей жизни (Мемфис, Фивы, Саис) и его история, по крайней мере, раз была прервана на целых четыре столетия (нашествие и владычество азиатского племени гиксов).

национально-политические организмы: Ассирийское (около 1200 л.), Древне и Ново-Персидское (1262 года, до падения самостоятельности и религии при покорении арабами), Эллина-Македонское (ок. 1170 л., считая с царствами сирийских Селевкидов и египетских Птоломеев), наконец — Византийское (1128 л.) и Римское (1229 л.). Последнее может служить типическим образцом нормально развившейся и умершей государственности в истории, и время его жизни является как бы гранью вообще долгомерности политических тел.

Нет сомнения, во всем этом есть много гипотетического, но гипотетического лишь по недостатку внутренних объясняющих причин, а не по недостоверности самого факта. Что заставляет политические организмы, переступившие известную грань возраста, дряхлеть — этого мы не знаем; но признаки этой дряхлости для наблюдателя очевидны: она сказывается в падении всех государств, в этом чудном почти несопротивлении внешним разрушающим условиям, какое мы наблюдаем в них перед смертью. Члены не только недействительны, бессильны, но — и это самое важное — нет воли, нет энергии сильно пожелать не умереть. «Гражданин Трира, уже четыре раза разрушенного, спокойно наслаждался в цирке, когда стены их города дрожали под ударами таранов», — говорит один современник падения Западной империи; Гонорий, когда самый Рим был осажден вестготами, удалившись в Равенну, спокойно забавлялся любимым петухом, которому тоже дал название «Рима», и при известии о гибели первого только испугался за второго. Ясно, что не в учреждениях, не в законах, не в территории, вообще не во внешних выражениях государства, но в самых людях, стоящих при законе, охраняющих территорию, в этой психической атмосфере, которою дышит каждый в государстве и ею укрепляется или расслабляется, лежит уже тление смерти, и она не оживляет народных масс, которые становятся точно сонными. Выродившаяся литература, холодная безрелигиозность, вычурный стиль в архитектуре, напряженная придуманность во всем, что прежде било ключом жизни, трепетало творчеством, все эти уже внутренние симптомы ясно указывают, как много скрытой необходимости лежит в падении государств, как мало здесь случайного, предотвратимого. И если не одно какое-нибудь, но все государства пали, и пали гораздо ранее указанного выше срока жизни, то не имеем ли мы в самом деле основания думать, что *где-то около этого срока* лежит, действительно, идеальная мера, отпущенная по неизвестным нам законам для исторического существования народов. Это — знание эмпирическое, но так же, как и то, что далее двух столетий жизнь ни одного теплокровного животного почему-то не продолжается.

Х

С этою биологическою мерой исторической жизни г. К. Леонтьев обращает к европейским государствам, чтобы определить приблизительно фазу их возраста.

Теперь мы остановимся на минуту и соберем снова все мысли, так затянувшись при объяснении, чтобы вступить, наконец, в «святая святых» убеждений нашего автора.

Все органические процессы представляют собою фазу сложения их и фазу разложения.

Первая определяется возрастанием сложности, вторая — ее разрушением, возвращением к простоте, слитности, однообразию (признаков, форм, проявлений).

У народов эта сложность, при возрастании, выражается в формировании словий, как горизонтального расчленения нации, в обособлении провинций, как их вертикальном расчленении, при сдерживающем единстве национально-исторического сознания; это усложнение ткани сопровождается и усложнением продуктов психического творчества: высшим расцветом наук и искусств, поэзии и философии, где всякая идея, каждое произведение запечатлены глубоко индивидуальностью творца своего. Все лично, своеобразно, напряжено от полноты сил — в быте, в манере повседневной жизни, как и в гениальном замысле. Все борется, но еще без уверенности победить; все сопротивляется, и с надеждой перейти к победе. Исход будущности от всего скрыт, и, порываясь к нему, все трепещет жизнью и блещет красотой. Такова картина апогея исторического развития, всегда и всюду одинаковая.

За ним начинается процесс обратный, открывается исход. Но прежде, чем перейти к его картине, обратимся к прерванной нити рассуждения, к фазе возраста европейских государств.

Год Вердёнского договора, 843 г. по Р. Х., когда монархия Карла Великого распалась на Францию, Германию и Италию, — можно считать приблизительно моментом, когда отдельные политические тела Европы выделились из первоначальной общегерманской слитности*. До этого времени мы наблюдаем формирование и падение государств и племен, ничего от себя не оставивших, как бы усилие органической массы сложиться в органические тела. Было брожение, но государственная жизнь не начиналась; было приготовление, но подготовленное еще не появлялось. Только с половины IX в. нации и государства уже более не сливаются и не разделяются, но остаются изолированными и непрерывно существующими до нашего времени; только с этого столетия притяжение внутрь, к своим средоточиям, берет окончательно перевес над стихийным движением туда и сюда, из которого ранее не могли выйти германские племена.

Заметим, что в 827 г., т. е. около того же времени, впервые возникла и Англия через слияние, при короле Эгберте, семи англосаксонских княжеств. Но зато образование в ней верхнего культурного слоя и королевской власти в ее позднейшем значении произошло спустя почти два века, при завоевании ее норманнами (1066 г.).

Из всех этих стран Европы Франция ранее и правильнее всех сформировалась в государство: в ней уже через сто с небольшим лет после Вердёнского договора появилась династия, которая пала только в конце прошлого века, связывая непрерывностью своею ее историю в прочную, нераздробленную, хорошо сконцентрированную ветвь европейской цивилизации. Напротив, Германия и Италия еще по временам сливались между собою («Священная Римская империя»), и вообще история их гораздо менее правильна, начало государственной жизни — позднее, как позднее было в Германии и утверждение христианства (еще Карл Великий вел упорные войны против саксов-язычников).

* Гизо в «Истории цивилизации Европы» принимает за начало государственности во Франции воцарение Гуго-Капета (987—996), т. е. относит это начало еще позднее, чем г. К. Леонтьев.

Наконец, к этому же приблизительно столетию (собственно к трем векам, VIII, IX и X) нужно отнести и начало собственно западноевропейской культуры, в отличие от общей первоначально и Западу и Востоку культуры византийского христианства, когда слагались догматы, устанавливалась церковь, когда государственность в строгом смысле была лишь в пределах Эллино-Римской восточной империи, в царстве Юстиниана Великого и его преемников. В эту эпоху Византия уже клонила к закату, а Запад, руководимый первосвященником из Рима, впервые и ясно выделился в своей особенности: разделение церквей уже ясно обозначалось, хотя они и удерживались от окончательного разрыва; католицизм в своих всемирных земных вождениях уже зародился; закладывался феодализм и рыцарство; и самое коронование Карла Великого императорскою короною было сделано на Западе и понято на Востоке как узурпация и перенесение императорского достоинства на новую почву, на далекий Запад, когда Восток обрекался гибели от арабов, от иконоборства и всяких ересей, от Бога и нового зарождавшегося человечества. С этих именно пор нити, связующие Запад и Восток, насильственно прерываются, и каждый из них пошел своим путем.

Все сказанное вводит нас, наконец, в ясное уразумение своего XIX в., вскрывает источник его особенностей, движений, бродящих в нем мыслей и ползучих желаний.

Роковая грань тысячелетия (843—1843), за которое уже немного простиралась историческая жизнь самых долговечных народов, переступлена западною культурою. Не более двух веков остается за ней, куда еще дотягивалась судьба Рима, Византии, древней Ассири-Вавилонской монархии и страны Зороастра, — т. е. почти культурных миров, правда, уступавших по сложности содержания *системе* европейских государств, но превосходящих по массивности, по оригинальности культуры каждое из этих государств в отдельности.

Франция древнее всех между этими государствами, и в ней первой открылся процесс, который затем разлился по лику всего европейского человечества: *обратный преждему усложнению — процесс вторичного упрощения.*

30

XI

Кто не знает энтузиазма, охватившего Францию 1789 г. при вести, что король наконец уступает нации и собирает ее представителей; кто не перечитывал с чувством ужаса страницы истории Конвента, о бурном клочкотании Террора, об этой борьбе *к тому-то новому возродившейся нации* с утратившими во все веру старыми монархиями?

И потом все, что отсюда вышло: появление удивительного гения, который точно перемесил ногами своими ветхий лик Европы, и она помолодела и окрепла, как никогда прежде, выйдя из тяжкого испытания, которому он подверг ее; ряд вспышек революций на Западе, как ряд подземных толчков, уже меньших, чем первый, но разрушительных в том же направлении, как и он; возвышение слепых народных масс, в бурных движениях своих ломающих феодальные перегородки, которые в них еще оставались.

И внутри гибкого, ничем не сдерживаемого тела этих масс — рост индустрии и техники, превращение в простую же технику государственного управления и войны, замена техникой же искусства и установление всюду чудовищных ма-

шин, к которым, как к каторжной тачке, прикованы нуждою миллионы, которые прежде молились, радовались, удивлялись мирозданию и покрывали его мечтой поэзии и вымысла, — теперь же трудятся, едят и, проклиная прошлое свое, ненавидя настоящее, ждут, как зари новой жизни, времени, когда к рядам их, уже многомиллионным, присоединятся еще бесчисленные миллионы остального человечества, и оно все, в полном составе, будет дергать нужную нитку и вертеть нужное колесо и за это будет получать к обеду лишний фунт мяса, а к ночи матрац и одеяло, под которым, наконец, не холодно.

И среди их бесчисленных рядов — бродящие как тени люди, с книжками и листками, которые им говорят о счастье этого труда, учат их восторгу перед этими машинами и шепчут о времени, когда к ним придут разделить это счастье и этот восторг и остальные народы, живущие пока бессмысленной жизнью. Они говорят, как переставят со временем ряды, какие им устроят удобные нары, как их будут кормить, — и что тот день, когда все это наступит, когда ни один человек не останется незанятым и ни один же — голодным, будет днем радости, в который утолятся человеческие желания.

Вот приблизительно тот связный процесс, который за столетие жизни совершился в Европе: тут и разрыв с прошлым, и текущая действительность, и главное из всех желаний, проникающих современное человечество. Ясно, что в бурном порыве революции Европа сдернула с себя обнаженную и сморщенную шкуру какой-то стадии развития и явилась юною и свежою — *в более поздней его фазе*.

Каков же смысл этой фазы, ее постоянный и повсюдный уклон, несмотря на разнообразие криков, надежд, желаний, которыми одушевляются люди? Что есть *безлично-общего* в том историческом процессе, в который вступила Европа с конца прошлого века?

Только упрощение, только слияние форм, только исчезновение обособляющих признаков: в утреждениях, законах, в общественном быте, — в искусстве, философии, в человеческих характерах.

Все люди стали подобны друг другу; все государства имеют приблизительно одну конституцию; они все одинаково воюют и управляются. Во всех городах все та же индустрия — и однообразный быт, ею налагаемый. Повсюду, во всех странах, для всех классов населения одинаковое обучение, по одним и тем же книжкам — о Пунических войнах, алгебраических количествах, о греческих флексиях и догматах христианства, равно безличное и бесцветное. Нет более одиноких вершин в философии и науке, есть их бесчисленные «труженики», однообразно способные или неспособные. Взамен поэзии появилась литература, но и она скоро сменилась журналистикой, которая уже убивается газетой. Стили смешались, — и архитектор, возводя храм или дворец, думает о том только, откуда взять рисунок, но он уже не творит сам, не может творить и не понимает, что это нужно. Удушливая атмосфера коротких желаний и коротких мыслей носится над всем этим, придавливая каждый порыв кверху, поощряя всякое принижение, — туда, что стоит еще ниже всех, что никого не оскорбляет своим превосходством. Слабое, даже дурное, даже преступное вызывает снисхождение, жалость, почти любовь и заботу о себе*; и только к тому, что возвышается свежим ли даровани-

* См. новейшую беллетристику и в глубоком соответствии с нею — новейшую юриспруденцию с ее заботами больше о преступниках, чем о непроступниках.

ем или еще прошлым величием, эта бледная, жмущаяся друг к другу, безличная и свободная толпа пышет неутолимой ненавистью, беспощадным осуждением.

И сколько же внутренней боли в этих миллионах свободных людей, если простое созерцание чужого счастья пробуждает в них столько страдания; и сколько темного несут они в себе, какие зародыши яда, если и заботы науки, и поэзию, какая еще осталась, они клонят только к больному, уродливому и преступному в человечестве, от всего же здорового и светлого непреодолимо отвращаются. Тут не придуманность, не господство искусственной теории сказывается; это рас-
тет из самой истории, это неотделимо от нового человека, как тусклый свет его
10 глаз, как его бессвязный лепет.

...«Когда же дело идет к преодолению болезни — *упрощается картина* самого организма... Предсмертные, последние часы у всех умирающих сходнее, проще, чем середина болезни. Потом следует смерть — она всех уравнивает. Картина трупа малосложнее картины живого организма; в трупе все мало-помалу слива-
ется, просачивается, жидкости застывают, плотные ткани рыхлеют, все цвета
тела сливаются в один зеленовато-бурый. Скоро уже труп будет очень трудно от-
личить от другого трупа. Потом упрощение и смешение составных частей, про-
должаясь, переходит все более и более в процесс разложения, распадаения, рас-
торжения, *разлития* в окружающем. Мягкие части трупа, распадаясь, разлагаясь
20 на свои химические составные части, доходят до крайностей неорганической простоты углерода, азота, водорода и кислорода, *разливаются* в окружающем мире, *распространяются*. Кости, благодаря большей силе внутреннего сцепления извести, составляющей их основу, переживают все остальное, но и оне, при благо-
приятных условиях, скоро распадаются, сперва на части, а потом и на вовсе не-
органический и безличный прах»*.

От этих кратких, сухих отметок медика у постели умирающего перебросить мост к всемирно-историческим цивилизациям и понять одно в них как в процес-
сах природы — для этого требовалось в своем роде такое же движение мысли,
как то, которое заставило, по преданию, Ньютона поднять взор от падающего
30 яблока к небесным светилам, и сказать: «Они тоже падают».

Образованность *разливается* в массах, и мы сами служим этому, неся свои
труды, свои знания и таланты, поднимая каждого до уровня с собою — через
школу, через книгу, и вовсе не популярную только. В свободе *уравнены* уже все,
и мы только думаем об одном, как бы избавить массы от ига экономической за-
висимости, последней зависимости их от чего-нибудь. Одинаковость перед зако-
ном *распространена* на всех, и на всех же распространено право участия в подаче
голосов и через это — в управлении и в законодательстве. Умелости, навыки, об-
раз жизни повсюду *сближены*; стала *одинаковою* внешность всех людей, их мане-
ры, их платье и, в сущности, их воззрения и чувства. Границы местные никого
40 более *не сдерживают*, и всякий движется свободно по произволу нужды своей
или фантазии; все менее и менее сдерживает кого-либо религия, семья, любовь
к отечеству, — и именно потому, что они все-таки еще сдерживают, на них более
всего обращаются ненависть и проклятия современного человечества. Они па-
дут — и человек станет абсолютно и впервые «свободен».

Свободен, как атом трупа, который стал прахом.

* «Восток, Россия и Славянство», т. 1, стр. 138—139.

ХII

Но ведь это есть именно то, что мы всего более любим, чего жаждем, на что надеемся? И неужели заблуждением были вековые усилия стольких проницательных умов и высоких характеров в истории?

Но почему мы будем думать, что писателю, который завел нас в эти дебри новых соображений, никогда не было дорого то, с чем нам так больно расстаться? Вот замечательные слова, которыми в одном месте он прерывает нить своих мыслей: «Какое дело честной, исторической реальной науке до неудобств, до потребностей, до деспотизма, до страданий?.. Что мне за дело в подобном вопросе до самых стонов человечества? Какое научное право я имею думать о конечных причинах, о целях, о благоденствии, напр., прежде серьезного, долгого и бесстрастного исследования?.. Какое мне дело, в более или менее отвлеченном исследовании, не только до чужих, но и *до моих собственных неудобств, до моих собственных стонов и страданий?*» *.

Вот научный дух в вопросах истории и политики, какого мы так долго и напрасно ожидали от самих историков и политиков, давно переставших различать границы между наукой и филантропией. Прислушиваясь поэтому к словам нашего автора, мы можем ощутить много болезненного и неприятного; но мы не услышим ничего ложного, нас никогда не поразит в его речи обманывающая интонация. Очевидно, *работа исследователя* есть главное, что руководит его мыслями и словами, и уже на почве того, что найдено, что он считает безусловной истиной, разыгрываются его страсти, предостережения современникам и увещания.

Этот убеждающий, взволнованный тон в самом деле разлит в его многочисленных сочинениях, но только в очень позднем из них мы находим указание на исходную точку, откуда начался поворотный пункт в развитии его убеждений. Мы приведем эту любопытную страницу («Записки отшельника», VI), почти не прерывая рассказ автора:

«Воспитанный на либерально-эстетической литературе 40-х годов (особенно на Ж. Занд, Белинском и Тургенева), я в первой юности моей был в одно и то же время и романтик, и почти нигилист...»

Я сам удивляюсь, как могли совмещаться тогда в неопытной душе моей самые несовместимые вкусы и мнения! Удивляюсь себе; но зато понимаю иногда очень хорошо и нынешних запутанных и сбитых с толку молодых людей.

И одних ли молодых только?.. Разве у нас мало и старых глупцов?

До этих людей теперь только дошло многое из того, что нас (*немногих в то время*) волновало, утешало и раздражало тридцать лет тому назад... *Прогресс*, напр., *какой* именно прогресс? *Прогресс*, *образованность*, *наука*, *равенство*, *свобода!* Мне казалось все это тогда очень ясным; я даже, кажется, думал тогда, что все это одно и то же. Даже и революция мне нравилась; но, припоминая теперь свои тогдашние чувства, я вижу, что мне в то время нравилась только эстетическая сторона этих революций: опасности, вооруженная борьба, сражения и „баррикады“ и пр. О *вреде* или *пользе* революций, о последствиях их я думал в те молодые годы гораздо меньше...

* «Восток, Россия и Славянство», т. 1, стр. 145. Курсив принадлежит г. Леонтьеву.

Я, сам того не сознавая, любил и в гражданских смутах их боевую сторону. Воинственные *средства* демократических движений нравились моему сильному воображению и заставляли меня довольно долго забывать о плодах этих опасных движений!.. Я сказал „довольно долго“ от досады на тогдашнюю путаницу моих мыслей. Но по сравнению со многими другими людьми, пребывшими, быть может, на всю жизнь в стремлении к всеобщему мирному и деревянному преуспеянию, — я исправился скоро... *Время счастливого для меня перелома это-го — была смутная эпоха польского восстания; время господства Добролюбова;* пора европейских нот и ответов на них князя Горчакова. Были тут и личные, слу-
 10 чайные, сердечные влияния, помимо гражданских и умственных. — Да, я исправился скоро, хотя *борьба идей в уме моем была до того сильна в 62 году, что я исху-дал и почти целые петербургские зимние ночи проводил нередко без сна, положив голову и руки на стол в изнеможении страдальческого раздумья. Я идеями не шу-тил, и нелегко мне было „сжигать то“, тему меня угили поклоняться и наши, и за-падные писатели»...*

Признаемся, не без чувства живейшего волнения мы прочли эти строки: зна-чит, и он был наш, этот писатель, теперь так не похожий ни на кого, так разошед-шийся со всеми в своих убеждениях. И, значит, тот путь, по которому прошел он,
 20 не закрыт ни для кого из нас, и мы при одинаковых условиях можем прийти к кругу его идей, так тревожных, так неизмеримо значительных. И в самом деле, достаточно *догадаться* о том, о чем он догадался, — *что все разрушительное дви-жение последнего века имеет свою конетную, не сознаваемую целью превратить геловежество в аморфную, безвидную массу,* — и сердце наше забьется такую же тревогою и теми же самыми мыслями, как и его. Весь круг симпатий его, негодо-ваний и сочувствия станет и кругом наших собственных сочувствий и симпатий; потому что мы, живые еще люди, мы, остатки прекрасного тысячелетнего здания истории, — можем ли более всего не любить этой самой жизни, можем ли пожа-
 30 леть чего-нибудь, чтобы продлить существование и сохранить красоту этой исто-рии? Она есть мать наша и всего нашего, есть общее условие всякого блага те-перь и в будущих поколениях; и очевидно, что то, что стремится ее разрушить, как бы обманчивым и прекрасным ни казалось, есть только обобщение всякого зла, есть его совокупность.

Мы, впервые обратив внимание на эту сторону действительности, сосредото-чиваем внимание свое на том, что ранее закрывалось от нас нашими *собственны-ми* идеалами: на этом древе исторической жизни, которое взращивает нас поко-ление за поколением на его собственном благосостоянии и росте, независимо от наших минутных ощущений, радостей и скорбей. Не слишком ли злоупотребля-ли мы его питанием и силою, и вместо того, чтобы наливать сладким соком, не набрались ли из окружающей атмосферы яда, которым отравляем его соки, су-
 40 шим и разлагаем его жизнь? Несомненные болезненные симптомы проявляются в нем, несомненно жидкительные процессы в нем начинают умаляться, а разру-шительные возрастают. И если не будет дано снова преобладание первым, жизнь самого дерева, а с ним и нас, и наших будущих поколений не может быть плодо-творна.

Именно наш народ является в истории не только наиболее поздним между народами, но и *самым поздним из всех их*. Недаром и границею своего распрост-ранения, своим политическим владычеством он коснулся самых ветхих стран —

Памира, Индии, Арарата, откуда началась история. Как и следовало ожидать, всемирная история вытянулась в цикл, которого конец коснулся начала: уже немного осталось, и они сольются. Индейское, негритянское, малайское племена по самым физическим условиям своей организации несомненно не могут продолжать истории, поднять ее еще на какую-нибудь высоту; они могут лишь, *замешавшись в круг европейской цивилизации*, принять какое-нибудь в ней участие, по самым лучшим ожиданиям — второстепенное, механическое. Но что же могут они прибавить к Платону, к Ньютону, к Данту или Рафаэлю? И неужели будет у них свой Цезарь, или Карл Великий, или какой-то *ихний* Петр? Из какой истории он вырастет, когда у них нет ее? И что ему делать там, где нет сопротивления и не нужно усилия, и где кто бы и что бы ни собрал силою своей воли, — вновь все рассыплется, как куча песку без всякого внутреннего скрепляющего цемента, без инстинкта к самоорганизации, без сколько-нибудь удовлетворительных способностей. До начала истории у всех народов бродили мифы, играло воображение, были уже страсти, и из всего этого возникла история, которую мы могли бы предугадать по ним, как по рапсодиям Гомера уже можно было предвидеть и борьбу с «великим царем», и междоусобную распрю Афин и Спарты, и даже такие частные образы, как Фемистокла и Аристида. Итак, если и стихийных задатков нет у только что названных племен, то есть ли какое-нибудь основание видеть в них будущих продолжателей уже совершившейся истории, преемников европейской цивилизации, которую они возведут еще на высшую ступень?

Что же касается до остальных трех рас, монгольской, семитической и арийской, то в среде их все народы уже перегорели в тысячелетней жизни, и если неясно еще будущее которого-нибудь из них, то это — нашего только славянского племени; оно одно не определилось еще окончательно, не выразило лика своего в истории, не высказало затаенных дум своих и желаний. Тогда как относительно всех других народов этого мы не можем сказать: для Испании, для Италии, для Франции, Германии и Англии, и порознь, и для всех вместе, знойный полдень склонился к вечеру, и возвыситься на высшую степень творчества и красоты, нежели на какой стояли они уже в век Сервантеса, Рафаэля, Вольтера, Гёте и Байрона, едва ли они думают, едва ли надеются сами. Все они прошли уже через зенит истории, каждый из них по-своему согрел и осветил цельное человечество, и никогда оно не забудет этого света, никогда в нем не истребится память об этих избранниках истории. Но *жизнь*, но таинственные источники ее биения — разве они те же, что прежде? И кто из народов самого Запада скрывает от себя, что прежняя волна творчества бьет с меньшею силою, что она ослабевает и падает? Франция, прежде других всытупившая на путь истории, первая начала уже сходить как тень с лица земли; в ней уже открылся процесс обратного физического вырождения: цифра населения, несколько последних лет неподвижная, к ужасу всех, начала неудержимо падать.

Итак, несомненно, что бремя цивилизации, которое до сих пор народы преимущественно передавали друг другу, нашему народу будет некому передать. Он примет, он уже понес — криво и несовершенно — бремя европейской цивилизации, самой могущественной, самой разнообразной и глубокой, какая когда-либо возникла. Но он еще не отделился от народов, ее создавших, а между тем судьба их, все состояние так очевидно тревожно, и более всего тревожно для этой самой цивилизации, как продукта их тысячелетней духовной жизни. Они полны самораз-

рушения, и пламеннее всего хотели бы коснуться гноящимися руками — своей высшей уже достигнутой красоты: своей науки, своих искусств и поэзии, своих государственных организмов и больше всего — религии. Все, что с таким трудом и так долго создавали они, ради чего принесено столько жертв, что способно пропитать собою тысячелетия жизнь людей и само в себе совершенно вечно, — все это ненавидят они, не понимают более, все это усиливаются истребить с непостижимой враждой. Глухие и дикие завывания несметных рабочих масс, уже давно не национальных, не религиозных, совлекших с себя все, что шло из истории, — что это, как не стихийное движение, готовое взломать слабую оформленность, какая еще существует над ними, еще сохраняется пока от истории? Пусть, кто *может*, видит в этом движении начало новой эры, неиспытанный поворот истории; мы же видим в нем прежде всего *симптом* и не можем скрыть от себя его смысла, его неудержимого тяготения. Разве оливы мира несут эти массы будущему? Разве они полны ожиданий светлого чего-нибудь, мирного, радостного для всех людей, для них самих и для врагов их? Не горят ли они гораздо более ненавистью, чем даже желанием себе отдохновения и покоя? Не есть ли это последнее желание лишь покров, лишь временное оправдание для разрушительной деятельности, которую они прежде всего хотят выполнить? И кто скрывает это? разве не повторяется постоянно, что там, за гранью исторического катаклизма, который произведут они, не будет более ни государства и его организации, ни религии и ее выражения — церкви, ни «бесполезных искусств», ни философских созерцаний? Только «машины» свои они перетащут туда, около которых трудятся, которые их обездушили, — как раб уносит в могилу цепи, вросшие в его тело, или труп — продолжение гнойного процесса в землю, куда он свел некогда цветшего красотой и жизнью.

Земля и трудящееся на ней племя людское — все, что было при начале истории, готовится стать при конце ее. «В поте труда своего будешь добывать хлеб свой, пока не сойдешь в землю, из которой взят»... Труд исторический почти уже окончен, человечество пусто от других желаний кроме умеренной еды, умеренного тепла для своих членов. *Чем еще беременеет оно?* И так, не ясно ли, что «сойти в землю, из которой взято» — есть все, что еще ожидается от него Предвечным Источником, который его вызвал тысячелетия назад к жизни. Оно уже и сходит, уже ступает ногами в могилу, еще не чувствуя этого, обманчиво думая, что куда-то идет, к чему-то «далекому» стремится.

XIII

К. Н. Леонтьев следит за различными изворотливыми течениями своего времени, которые скрыто от человека ведут его к этому концу. Внешние политические события, войны и договоры и еще более внутренние реформы, столь обильные в нашем веке, — все имеют этот один уклон: разрушение внутренней ткани, которая до сих пор проникала организм Европы, и возвращение его к первобытной аморфной массе, как продукту всякого разложения. В прекрасной брошюре «Национальная политика как орудие всемирной революции» (Москва, 1889 г.) он впервые вскрывает истинный смысл национальных объединений XIX века, в которых участвовали столь великие умы и характеры, все равно слепые к тому,

что они делали. Поочередно проводит он перед глазами читателя прежнюю Италию, прежнюю Германию и показывает, чем стали оне после того, как осуществили заветную и, по-видимому, благороднейшую мечту свою: обезличение, утрата особенностей в быте, в характерах, в поэзии и умственных созерцаниях — одинаково стали уделом обеих великих наций. Германия, победительница Франции, приблизилась к ее типу, ее духовному и политическому сложению после победы: индустрия, пролетариат, социализм, освобождение от своих *особенных* понятий, идей, вкусов — все, к удивлению общему, внедрилось в эту страну, — разлилось, переступив за Рейн, по старой Германии, как перед тем войска ее разлились по ветхой, утратившей уже силы Франции. Две воевавшие нации, доведя до высшего напряжения свой антагонизм, в то же время во всем уподобились; но чувство ненависти — мы уже заметили, — есть общее для всей новой Европы: оно единит ее внутренне, как конституция, как рельсы, как международные союзы единят ее по внешности. Италия, некогда столь оригинальная, столь привлекательная для поэтов и художников, которые стремились в нее из душевной Европы как в чудный заросший сад, стала после Кавура и Виктора Эммануила, как все другие *, как

* Замечательно, что это *предвидел* Герцен: «Что ждет Италию впереди, какую будущность имеет она обновленная, объединенная, независимая? Вопрос этот отбрасывает нас разом в страшную даль, во все тяжкие — *самых скорбных и самых спорных предметов*... Идеал итальянского освобождения беден, в нем опущен существенный, животворящий элемент. Итальянская революция была до сих пор только боем за независимость... Весь этот военный и статский *гёмие-тёмпаге* <возня, суматоха. — *фр.*>, и слава, и позор, и падшие границы, и возникающие камеры, — все это отразится в ее жизни: она из клерикально-деспотической делается буржуазно-парламентской, из дешевой — дорогой, из неудобной — удобной. Но этого мало и с этим далеко еще не уйдешь... Я спрашиваю себя: *будет ли это* Италии сказать и сделать на другой день после занятия Рима? И иной раз, не приислав ответа, я начинаю желать, чтобы Рим остался еще надолго оживляющим *desiderat'ом*. До Рима все пойдет недурно, хватит и энергии, и силы, лишь бы хватило денег... До Рима Италия многое вынесет — и налоги, и пьемонтское местничество, и грабящую администрацию, и сварливую и докучную бюрократию; в ожидании Рима (тогда еще не присоединенного к Италии) все кажется неважным; для того, чтобы иметь его — можно стесниться, надобно стоять дружно. Рим — черта границы, знамя, он перед глазами, он мешает спать, мешает торговать, он поддерживает лихорадку. В Риме — все переменится, все оборвется...

Народы, искупающие свою независимость, никогда не знают — и это превосходно, — что независимость сама по себе ничего не дает, кроме прав совершеннолетия, кроме места между перами, кроме признания гражданской способности *совершать акты* — и только. Какой же *акт* возвестится нам с высоты Капитолия и Квиринала, что провозгласится миру на Римском Форуме или на том балконе, с которого папа века благословлял „вселенную и город“?». И далее, описав последний случай в итальянском парламенте, продолжает: «Если Италия вживется в этот порядок, сложится в нем, она его не вынесет безнаказанно. *Такого призрачного мира лжи и пустых фраз, фраз без содержания* — трудно переработать народу менее бывалому, чем французы. У Франции *все не в самом деле*, но все есть, хоть для вида и показа; она, как старики, впавшие в детство, увлекается игрушками; подчас и догадывается, что ее лошади деревянные, но хочет обманываться. Италия не совладеет с этими теньями китайского фарфора, с лунной независимостью, освещаемой в три четверти тюльерийским солнцем, его церковью, презираемой и ненавидимой, за которой ухаживают, как за безумной бабушкой в ожидании ее

плоский, бескровный Берлин, как Франция Второй империи и Третьей республики. Ее чудные предания, ее восторженная вера, ее понимание своих великих художников — все это забыто и осмеяно, все это даже без сопротивления исчезло, чтобы уступить место школьному учителю, лавке ситцевых изделий, гудящему станку фабрики. И кто знает, как недалеко время, когда прекрасная Венеция, Неаполитанский залив, кружевные беломраморные соборы затянутся каменноугольным дымом, а ленивых, но, наконец, грамотных *lazzaroni* * сгонят на работу их «просветившиеся», измозоленные, давно завистливые к их праздности, соседние народы. К. Н. Леонтьев в одном месте сам останавливается в недоумении над этим общим результатом всех объединительных движений нашего времени: что, будучи столь национальны по цели, они являются столь антинациональными по последствиям. Но что же в них есть, как не отрицание старой государственной идеи, которая единила и оформливала людей, стоя выше их индивидуальных инстинктов, их племенных, зоологических отличий? И соединение в *одно племя*, что включает в себе особенного, чего нет уже в неисторических народных массах, населяющих центральную Африку и прежде населявших Европу? Распадение по расам, расчленение по «языкам и родам» — это так естественно для того, что возвращается к стихийной простоте сложения, что, высвобождаясь из-под истории, становится незаметно вне ее. Вот почему этому громадному и новому распадению европейского человечества всюду, обнаруживая его тайный смысл, сопутствует высвобождение народов от своих культурных особенностей, которые ведь все растут именно из прошлого, связывают и организуют народ, выражают его «лик» в истории, который и стирается по мере того, как он из нее уходит. Как определенность выражения на лице умирающего, так определенность выражаемой души у объединяющихся наций пропадает в этот великий миг, когда, после тысячелетий труда и жертв во имя разных идей, она опять становится *прежде всего* расой, т. е. только скопищем людей, населяющих известную территорию и говорящих на языке, непонятном для других народов.

Гораздо важнее, и поистине поразительно, что все политические движения в XIX веке, исходившие из иных, *не уравнительных* и *не высвобождающих* идей, не имели никакого успеха: Австрия, еще монархическая, еще религиозная и охранительная, разбивается Пруссией и, чувствуя слабость прежних основ жизни, принимает новые, сближающие ее с типом государственного сложения, столь прежде ненавистным. Россия, начав при Императоре Николае восточную войну из-за прав покровительства своей церкви, — столь ветхих прав — впервые на протяжении двухвековой истории испытывает неудачу и, растерянная, открывает у себя уравнительный и освобождающий процесс, который с конца прошлого

скорой смерти. Картофельное тесто парламентаризма и риторика камер (палат депутатов) не даст итальянцу здоровья. Его забьет, сведет с ума эта мнимая пища и не в самом деле борьба. А другого ничего не готовится. Что же делать, где выход? Не знаю, разве в том, что, провозгласивши в Риме единство Италии, вслед за тем провозгласить ее распадение на самобытные, самозаконные части, едва связанные между собой. В десяти живых узлах, может, больше выработается, если есть чему выработаться». См. «Былое и думы» в «Полярной Звезде» за 1868 г., книжка восьмая, с. 57 и 59.

* нищие (*ит.*).

века охватил Европу. И, напротив, начав ту же войну, но уже под знаменем новых идей — племенного освобождения и объединения, — она достигает полного успеха. Одновременно с тем, как она делает это усилие извне, внутри ее самой шире и пламеннее, шире и пламеннее разливается лихорадочное возбуждение, закончившееся, впервые на протяжении тысячелетней истории, убийством монарха. Южные народы, только что освобожденные, немедленно вступают на путь обезличивающего прогресса, обдирая с ненавистью на себе все бытовое, культурно-особенное, что сбереглось у них под турецким игом, что они любили ранее в страдании и унижении. И, наконец, сама Турция вступает на этот же путь, преобразует армию, финансы, администрацию под руководством западных «инструкторов» или обучившихся на западе своих пашей. И она, замешавшись механически в европейскую жизнь, воспринимает и свое особенное, столь непохожее на других тело, этот же один процесс, который проникает жизнь Европы. Наконец, в силу подобных же войн, он заносится и на далекий Восток: Китай размыкается из своей замкнутости, Япония поспешно, забыв даже о смешном, преобразуется, выучивается, переодевается и обстроивается по-европейски. Все столь далекие народы выходят на один путь, когда... в среде одного из них, по неисповедимым судьбам истории — нашего, является впервые сознание о том, куда ведет он.

Таким образом, *механизм разлагающего процесса*, который совершается в Европе, ясен: он состоит в том, что все, сохраняющее следы прежней оформленности, ослабевает в способности к сопротивлению; напротив, что становится бесформенным, получает силу преодоления. Именно эта особенность, отмечаемая во всем умирающем, неудержимо разливает всюду уравнивающий и высвобождающий процесс, роняя сословия, подкашивая церковь, снимая с народов исторически выработавшиеся формы государственности, — всюду прорывая ткани тысячелетия слагавшегося организма и открывая простор для движений исторического атома, *человека*, ни с чем более не связанного, ни к чему не прикрепленного, ни для кого не нужного и всему чужого.

Насколько, в течение века, народы становились безрелигиозными, насколько они ненавидели своих властителей, насколько проникались внутренней завистью — сословия к сословию, бедности к богатству, в конце простой неспособности к духовно богатому, — настолько, возбужденные этими новыми и страстными ощущениями, они делали физически более сильными. Эта сила всех обманула, закрыла глаза на истину, увлекла всех на один путь. Человек, так долго живший своими особенными идеалами, стал увлекаться идеалом простого преобладания, победы в борьбе, какой желает для себя всякое животное. Эту силу, эту способность поглотить другого он принял за синоним лучшего; «побеждает лишь совершеннейшее», — заключил он для зоологии и тотчас подумал это о себе. С не-обозримыми движениями истории согласуется тихая мысль ученого, все являясь во время, когда нужно, чтобы произвести, что нужно. Высокие идеи, сложные понятия, выработанные долгой историей чувства — все отстраняется грубой действительностью на новом праве, все уступает место простым идеям и несложным чувствам.

XIV

И в самом деле — мы остановимся на этом с минуту, — как, в сущности, просто, *не трудны* все преобладающие идеи нашего времени, религиозные, нравственные, художественные, политические. Что может быть проще этого взгляда на природу, по которому она есть только механизм, ничего не заключающий в себе, кроме движений и столкновений атомов, как эта игра упругих шаров, на которую я смотрю и ничему в ней не удивляюсь. Какое отсутствие любознательности нужно было, чтобы, кое-что заметив в природе, что происходит как игра этих шаров, заключить в уме своем, что, без сомнения, и остальное происходит так же, но мы этого не разобрали пока и пусть разберут все наши потомки. Или, в другой сфере, как легко предписать и выполнить, чтобы в художественном произведении имелась в виду лишь полезная сторона его, им производимое впечатление и мера его выгоды для людей. Что может быть яснее арифметического взгляда на общество и государство, по которому воля большинства есть закон для всех; и что для определения этой воли выборные от всех должны собраться и, довольно послушав друг друга, подать только мнения, которые, без сомнения, будут истинны. Насколько все эти идеи (и подобные) просты, как мало оне требуют умственного напряжения для понимания, это можно видеть из легкости, с которой оне усваиваются среди народов самых первобытных и даже совсем диких. Разве Южная Америка не полна республик? Разве негры, освобождаясь от рабства, не сложились тотчас так же в республики? Без *особенностей* в сложении своем, без некоторого мистического завитка в учреждениях, столь странных, столь непонятных потом для историков, — без этих патрициев и плебеев, без консулов, без царей-товарищей, ареопага и эфоров — республика как пустая форма есть естественный для натурального человечества строй. До нее не нужно довоспитываться, доразвиваться, — как развивались французы до верности Людовикам, англичане — до любви к своей «королеве Бетси» или русские — до преданности Иоаннам и Петру. Заставить другого пожертвовать себе, даже погибнуть для себя — это легко, так понятно и естественно; но *самому* погибнуть ради другого, отдать жизнь за что-то, что останется и должно остаться, — это так трудно, так глубоко, так неизмеримо отошло от «натурального» состояния людей. То же мы должны сказать обо всех идеях религиозных и нравственных: в них содержится так много трепета за свою бессмертную душу, такое преклонение перед темным и скрытым средоточием Вселенной, так много любви, сомнений, тревог и ожиданий, — что думать, будто *испытать* это всякий может, было бы глубочайшим заблуждением. Оригинально возникли эти чувства у людей, которых было слишком немного в истории, имена которых с невыразимую благодарностью повторялись в ней бесчисленными поколениями; но уже высоки, уже богаты духом были и те, которые только повторяли эти имена, имели силу разделить эти чувства.

Здесь и открывается наиболее опасная сторона текущей действительности, скрытый центр, от которого текут ее бесчисленные явления: жизнь упрощается, потому что упрощается самый дух человеческий; история, вся культура становится элементарна, потому что к элементарности возвращается ее вечный двигатель. Все слишком глубокое, слишком сложное, слишком нежное и деликатное в идеях, в желаниях, в ощущениях непонятно и трудно стало для человека; и от

этого с такими усилиями выработанное в истории неудержимо опадает с него. «Нагим вышел из чрева матери моей и нагим возвращусь в землю», — говорит о себе всякий человек, и то же должно будет сказать человечество. Прекрасный, пышный, разнообразный убор, в какой одела его история, разворачивается год за годом, и каким вышел он из лоно природы тысячелетия назад, таким готовится сойти опять в это лоно.

XV

Не менее ясно, чем механизм разложения, г. К. Леонтьев понимает и его *орудие*, тот таран, которым преемственно разбиваются понятия, верования, учреждения исторической Европы. Это — идея счастья, как идея верховного начала человеческой жизни. Проходя через ее абстракцию, все, что живо было в человеке, что было для него абсолютно, становится относительным, условно-ценным и увядает, не возбуждая в нем прежних желаний. Он утратил непосредственное отношение к жизни; гораздо ранее, чем отверг прежние убеждения, навыки, чувства, весь окружающий склад действительности, — он отвлекся от него, уединился в себе и в этой заботе о своем счастье. Все отстало от него, отделилось; и тотчас он получил возможность смотреть на все со стороны, как на объект своих ощущений и мыслей, к которому относится через абстракцию этой идеи. Кровная связь его с исторически возникшею действительностью была утрачена; из нее лишь к кое-чему протягивал человек руку, чтобы удержать его на время, чтобы временно насладиться им, как художник наслаждается видом, на который он никогда, однако, не захочет вечно смотреть.

К. Н. Леонтьев не анализирует идеи счастья как в ее логическом составе, так и в процессе ее исторического возникновения и усиления. Не будем и мы останавливаться здесь на этом анализе — он требует особенного труда, который не может быть побочным. Ограничимся только утверждением, что он прав в своем заключении о роли идеи счастья; которое разделят с ним как все противники этой идеи, так и, особенно, ее защитники. Никто не старается скрыть от себя и от других, что она является как бы религией жизни в новой истории, что ею все оценивается и на ней все утверждается. По-видимому, при помощи этого отнесения всего к идее счастья, как к основанию, реально испытываемое человечеством счастье должно было бы возрасти; в надежде этого возрастания, без сомнения, и дано ей это положение относительно нравственности, права, политики, искусства — что все она проверяет собою. Но тайна идеи этой состоит в ее внутренней преломляемости, в силу которой она чем правильнее и полнее осуществляется, тем большее вызывает страдание, — в личности ли, в обществе, в целом ли цикле истории.

От этого мы видим, что почти в меру той полноты, с какою человек отдал все силы своего ума, изобретательности, настойчивости устройению своего счастья здесь, на земле, — «царствия Божия» долу и вне себя, — и внутри, и даже извне он видит себя все более несчастным, оставленным, до такой степени лишенным какого-либо утешения, что и на деле, и особенно в мыслях, чаще и чаще останавливается на желании совершенного истребления себя. Жизнь, которая всегда

была «даром» для человека, в одном XIX столетии стала бременем; она не благо-
словляется более, но проклиняется — явление чудовищное, извращение приро-
ды неслыханное! В какие времена, среди каких гонений, в какой низкой доле че-
ловек не отшатнулся бы с ужасом от мыслей, которые высказываются теперь
среди избытка, видимого покоя и довольства. Если бы лицом к лицу свести поко-
ления, давно сошедшие в землю, с теми, которые ее обитают теперь, если бы они
увидели друг друга, высказались, — о, какими несчастными представились бы
мы умершим людям, какими унылыми, жалкими, растерянными. Мы показыва-
ли бы им свои пишущие фонографы, пуки телеграфной проволоки, желатиновые
10 пластинки, горы рельсов и говорили бы: «Вот наше счастье», а они, ничего этого
не видя и только смотря в наше лицо, сказали бы: «Что вы над собой сделали, что
сделали»...

Таким образом, не говоря о логическом содержании идеи счастья, человек
ошибся в самом избрании ее как верховного руководящего начала для своей
жизни, в этом печальном предположении, что она сколько-нибудь осуществима.
Он понял страдание, как что-то случайное в своей жизни, как какой-то побоч-
ный придаток к своему существованию, который можно отделить и отбросить.
В этом убедила его устранимость каждого отдельного страдания, и, видя устра-
няемыми их все, он подумал, что можно вовсе освободиться от всякого страда-
10 ния. Он не заметил *соотносительности* между видами страдания, в силу которой
всякое ослабление страдания в одном направлении вызывает его усиление в дру-
гих; так что в минуту, когда он, по-видимому, уже достигает целей своих, когда
думает, что все предусмотрено и введено в свои границы, — он именно ощущает
себя нестерпимо несчастным, видит себя подавленным, хотя не понимает, откуда
и каким путем. Таким образом, в общем складе физического и духовного суще-
ствования человека страдание занимает определенное положение, и нельзя уда-
лить его из жизни, не пошатнув всей жизни.

Между бесчисленными нитями, которыми скреплено страдание со всеми из-
гибами человеческого существования, отметим только две: это — увеличение
30 внутреннего страдания по мере ослабления внешнего и зависимость от последне-
го всякого нравственного улучшения. Во все времена и у всех развитых народов
наблюдалось, как по мере успехов внешней культуры, т. е. с ослаблением всяких
для человека тягостей, опасностей, физических бедствий, — под тою или иною
формою пробуждалось неутолимое страдание внутреннее. Как будто через физи-
ческое бедствие, в гораздо более легкой форме, выходило из природы человечес-
кой какое-то неуничтожимое зло, которое при отсутствии этих бедствий остава-
лось всецело в ней и в такой мере отравляло ум и сердце людей, что жизнь
становилась невыносимой все более и более среди полного внешнего довольства.
Учение, характеры и судьба стойков в древнем мире могут служить для этого яр-
40 ким пояснением. При таких высоких мыслях, при всеобщем внешнем уважении,
среди избытка материального, как были они угрюмы, как очевидно тяготились
своим существованием, как слабосильны были во всякой внешней борьбе, оче-
видно затратив уже весь запас сил на какую-то скрытую, внутреннюю борьбу.
Кажется, тогда только и развеселялись они, когда открывали себе жилы в теплой
ванне. Думать, что источником их печали служило созерцание окружающего
нравственного падения, было бы глубоко ошибочно: не так относились к подоб-
ному падению Марий, Демосфен, оба Гракха и все люди, которые терпели, уси-

ливались и не достигали, падали и, наконец, гибли — с лицом радостным, будто выполнив что-то необходимое для всякого человека на земле.

Другое и не менее замечательное явление состоит в том, что всякий раз, когда люди бывают долго избавлены от всякого внешнего страдания, они становятся сухи сердцем, безжалостны друг к другу и порою даже жадны к чужому страданию; и, наоборот, всякий раз, когда их посетит бедствие, в них пробуждаются лучшие чувства, глубокая человечность, взаимная заботливость и сострадание. Даже разум, по-видимому, так мало соотносящийся с началами страдания и счастья, становится под влиянием первого гораздо глубже, возвышеннее, серьезнее; и, напротив, среди довольства ум становится поверхностен и мелочен. На этом основано одно любопытное наблюдение, уже давно сделанное людьми, изучавшими образование человеческих характеров: при лучших условиях воспитания, самого изощренного, предупреждающего всякое дурное влияние, редко выходило из воспитывающихся что-нибудь выдающееся в умственном или в нравственном отношении и очень часто, напротив, выходило очень дурное; наоборот — из детей, без призора росших иногда в самых бедственных условиях, в унижении, в страдании, вырабатывались нередко замечательные характеры и не менее замечательные умы. Так что если бы можно было людей, в чем-либо оказавших услугу историческому развитию человечества, разместить по роду их жизни в детстве и в отрочестве, — то нельзя сомневаться, что ни к чему не готовившиеся из них, ни для чего преднамеренно не воспитывавшиеся превзошли бы числом и достоинством тех, которым уже с ранних лет давалось все, что делает наилучшим человека в умственном и нравственном отношении. От первых ничей предусмотрительный глаз не удалял лишения, горе, унижение; вторые же, окруженные всякими воспитательными началами, были лишены этого именно, самого могущественного из всех.

Таким образом, страдание неразрывно сплетено с возрастанием в человеке достоинства, и в меру того как мы стремимся стать лучше, мы не должны во что бы то ни стало стремиться быть довольными счастливыми. Воля, неизмеримо мудрейшая, нежели наше предвидение, положила, и навсегда, предел для достижения такого довольства. Но мы пренебрегли этою Волею и, не замечая невидимой сети законов, связывающих нашу природу и жизнь, слепо порываемся к счастью, от которого всякий раз, однако, неодолимо отталкиваемся. Поколение за поколением новое человечество усиливается достигнуть «этой простой и ясной цели», не будучи в состоянии освободиться от представления своей природы, как главным образом восприимчика светлых или горестных впечатлений. Ему непонятно, почему оно не может избежать вторых и наполниться только первыми; для него весь труд истории сводится к искусству — завязать мешок своего бытия со стороны печалей и открыть его широко с другой стороны, откуда приходит все радостное. Тогда-то наступило бы это счастье, беспечальное, нескончаемое, для всех достаточное. Погрузясь в предвкушение его, человек работает над своим прогрессом, высчитывая со всяким усилием, сколько привходит ему счастья, и страшась одного только, как бы с этим счастьем не привзошло какого-нибудь горя. Но, странное дело, горя всякий раз привходит больше, чем счастья, и чем более подвигается история, тем более грозит человеку судьба безумца, который умирает от голода, высчитывая какие-то неполученные богатства.

XVI

Когда затемнение спутавшегося ума становится так сильно, можно думать, что близок исход из него. Подобно тому, как на рубеже средней и новой истории человек, дойдя до крайней искусственности и бесплодности в силлогизации, вдруг и ясно вышел на путь опыта, о котором целое тысячелетие как будто забыл совершенно, — так точно и XIX век, столь подробно попытавшийся осуществить человеческое счастье на земле, несомненно стоит накануне исхода к совершенно противоположному течению идей и чувств.

10 «Провидению не угодно, чтобы предвидения одинокого мыслителя своим преждевременным влиянием на многие умы расстраивали ход событий» *; но так же несомненно, что самое появление этих предвидений не совершается вне воли Провидения и вне высших его планов. Мы можем в них видеть симптом, и не было бы силы на стороне их истины, всей красоты непонятности в свое время, если бы грядущее будущее не клонило на их сторону. Все — и дары наши, и слабость нашего духа — появляются вовремя и где нужно, бросается на извилистые пути истории не без цели направить ее согласно этому же Провидению.

Вот почему прекрасные, грустные и гордые слова, которые, как надмогильную вырезку, произнес о себе г. К. Леонтьев, теперь уже покойный **, внушают нам не одну скорбь, но и некоторое утешение. Не может быть, невероятно, чтобы 20 и он, и вся группа своеобразных мыслителей, которых ряд он так прекрасно завершил собою, была выкинута на арену истории без всякого смысла; чтобы не было смысла в их горячих и убежденных словах, в неугасимой вере в свою правоту, в их одиноком и благородном положении среди общества, столь тусклого, столь зыбкого, среди которого они одни стояли, замкнувшись неподвижно в свои идеи. Не случайно их появление, их дар и судьба; но, если так, — близкое будущее заключает в себе среди сумрака смерти и радость новой жизни.

Здесь от анализа истории, от критики двухтысячелетней культуры европейского человечества мы должны бы перейти к синтезу будущего. Но эти синтетические построения редко бывают удачны, и обыкновенно будущее вовсе не 30 оправдывает наших скудных гаданий о нем. Заметим только, что у К. Н. Леонтьева, как у человека глубоко религиозного, и притом в строгой форме установившейся догматики православия, надежды на будущее связывались с мыслью о перемещении центра нашей исторической жизни на юго-восток, вдаль от разлагающегося западного мира, в сторону еще немногих свежих народов Азии, которые, войдя в нашу плоть и кровь, обогатят и дух наш новыми началами, вовсе

* См. «Национальная политика как орудие всемирной революции» К. Леонтьева. М., 1889. С. 6. Брошюра эта состоит из нескольких писем, обращенных к г. О. И. Фуделю. Преодолевая нежелание свое писать, г. К. Леонтьев и высказал в предисловии эти прекрасные слова, которые мы приведем здесь вполне: «Теперь я разучился воображать себя очень нужным и полезным; я имею достаточно оснований, чтобы считать свою литературную деятельность если не совсем уж бесплодной, то, во всяком случае, *преждевременной*; и потому не могу влиять непосредственно на течение дел... Провидению не угодно, чтобы предвидения одинокого мыслителя своим преждевременным влиянием на многие умы расстраивали ход истории».

** Он скончался 12 ноября 1891 года в Троице-Сергиевской лавре, куда незадолго до смерти он переселился из Оптиной Пустыни.

не похожими на европейские изжитые идеи, — наконец, в сторону древней Византии, которая была, как он доказывает, общою колыбелью (до VIII века) всей западной культуры и определительницею культурных особенностей нашего народа. Возрождение духа древней Византии, обновленного и усложненного элементами других цивилизаций и свежих народов, — вот более или менее конкретное представление, которое носилось перед его духовными глазами с давних пор и до смерти.

Но его аналитический, строго научный ум и этим гаданиям давал почву в наблюдениях — или истории, или действительности. Он замечает, что между всемирно-историческими народами или культурами у России только во второй раз 10 наблюдается склонность переменять центры жизни: еще подобную же переменчивость мы наблюдаем только в мусульманском мире, где Дамаск, Багдад и Стамбул преемственно являлись столицами халифата, и с тем вместе центрами силы и влияния политического, религиозного и вообще культурного. Все остальные народы древнего и нового мира, раз они были сколько-нибудь значущи во всемирной цивилизации, неразделимо сливались с жизнью и судьбою какого-нибудь одного города; таков был Рим в древности и Париж в новой истории, или Иерусалим в еще более отдаленную эпоху. Не только не было никогда перемещения центра национальной жизни из этих городов в другие; но — мы это живо чувствуем — подобное перемещение и как-то невозможно, почти невысказано: 20 Франция без Парижа и еще более Италия без Рима являлись бы в истории как-ким-то тусклым пятном, ничего не говорящим и не выражающим; евреи во всемирном рассеянии своем, даже не имея сколько-нибудь вероятной надежды на возвращение себе Иерусалима, именно с этим возвращением соединяют все свои ожидания, надежду на возрождение своей исторической миссии: они не хотят и даже не могут творить иначе, как в стенах своего древнего Сиона. Как будто в великих городах этих, из их особенной почвы растет какая-то живительная сила истории, которая единит народы, раскрывает их уста, окружает главу их сиянием, которое меркнет, и самые народы гибнут, как только теряют связь с этими 30 источниками своей силы.

Но в халифате, с перемещением его центра, — замечает К. Н. Леонтьев, — *не изменялось содержание истории*: этим содержанием всюду оставался Коран, его заветы и дух, примыкающая к нему культура, и *переменялась* только оболочка этого содержания — *племя*, ему наиболее верное. Таким образом, в судьбах мусульманского мира мы наблюдаем историю преемственных носителей одной и той же идеи, которая остается неподвижной. Напротив, в перемещении центров нашей исторической жизни, мы наблюдаем *изменение* именно *носимой идеи при сохранении одной и той же народности и того же политического организма*; здесь, таким образом, является намек как бы на вечное развитие содержания в жизни одного развивающегося. И в самом деле, в Киеве, в Москве, на берегах 40 Невы Россия являлась отрицающею себя самою, и притом окончательно и во всех подробностях прошлого бытия своего. Это была не перемена только центра влияния и силы, но переход руководителей этой жизни на новое место, с целью, с жаждою и потребностью начать жить совсем иначе, нежели как уже было прожито несколько веков. Андрей Боголюбский, с образом Богоматери бегущий вопреки воле отца на север и закладывающий там новый город, — вот лучший символ нашей истории, выражение коренной черты нашего характера и всемирно-исто-

рической судьбы. Подобным же образом, но уже с рубанком и пушками, бежал Петр еще далее к северу, за самую грань своего царства, на только что отнятый у соседа клочок земли. В страстях, в характере, в привязанностях и ненависти этих двух государей совершились два сгиба нашей духовной истории, после которых все становилось в ней иначе, для других целей и по новым основаниям. Было бы напрасно в их *деятельности* видеть их главное значение; не как законодатели, политики, воины велики они, — они велики как творцы нового исторического настроения. Их войны, предприятия, неудачи или успехи, даже в результатах своих, прошли уже скоро после их смерти, — но не прошло в течение веков их особое *отношение* ко всякому делу, тот способ думать, желать, оценивать, какой они внесли с собою и распространили, передав их порождениям своим и целому народу. Угрюмый Андрей явился живым и личным отрицанием всего киевского цикла нашей истории, светлого среди всех печалей, не озабоченного никакими помыслами, отдававшего каждому дню столько сил, сколько их оставалось от прошлого. Ни Мономахом, ни мудрым Ярославом, ни самим Владимиром, никем из светлого среди всех бед гнезда Рюриковичей, о котором рассказывает «Слово о полку Игореве», не мог и не хотел стать Боголюбский, отшельник, готовый сжечь все это гнездо, из которого, однако, сам вышел, но не любил и не уважал его. Уединясь в церковь, в долгие часы ночного бдения, он молился неизвестно

10 о чем, как молились государи наши и весь народ впредь до шумного карнавала при молодом царе новой эпохи. И так молившийся князь, строитель церквей и городов, «опал в лице» при одной вести, что там, на юге, его повелению осмелились насмеяться какие-то его родственники-князья. В этом гордом властительстве, в этом уединении в себя, но без какого-либо просветления и углубления душевного, в этой медлительности движений и недостатке слов сказала уже вся Москва с ее великой миссией, с ее исторической озабоченностью, с ее дальнозорными святителями и монашествующими, угрюмыми царями. На пять веков замолкла в нашей земле поэзия, принизилась мысль, все сжалось и вытянулось по одному направлению — государственного строительства. В фактах, и лишь по

20 неречистости не в книгах, в эти пять веков было создано все, чем, в сущности, и до сих пор бессознательно живем мы в сфере политической мудрости, успевая лишь настолько, насколько верны традициям этого цикла, бессильные что-либо придумать здесь новое и оригинальное. Идеи царя и подданного, служения и прав, на нем основанных, сознание общих нужд, за которыми не видны личные интересы, — наконец, связь быта, церкви и всего царства между собою до неразъединимости и бесчисленные другие понятия — все это создано было в то время, и от всего этого мы едва ли уже когда-нибудь высвободимся. Ни бурное в беззаветности своей XVIII столетие, ни наш мелкоученый век ни в чем не имели силы расстроить эти понятия, лишь порой обесмысливая их в приложении или переделках.

40 В цветущем отроке тихого и богобоязненного царя, на свободе и без призора выросшего, Россия сбросила прежнее свое одеяние, слишком монотонное, хотя и важное, чтобы расцветиться всею яркостью самых разнообразных и свежих красок. В свободе движения этого, в его прихотливости и непреднамеренности, и вместе в глубокой естественности и простоте, и сказался перелом нашей истории, — гораздо более, чем в Великой Северной войне, чем в воинских и морских артикулах, в законе о майорате и табели о рангах. И в самом деле, можно представить себе, что при Алексее Михайловиче русские победили бы шведов, как

они побеждали поляков, что его намерения исполнились и мы имели флот, что Немецкая слобода разрослась и русские научились, наконец, сами стрелять из пушек, — совершился ли бы от этого тот перелом в нашей истории, который мы все живо чувствуем, так неясно понимаем и не умеем сколько-нибудь определить? Ясно, что все текло бы тогда дальше, чем при Алексее Михайловиче, — как при нем текло уже дальше, нежели при Иоанне III, — но в том же направлении, так же тихо и не менее однообразно. Итак, если несомненно *не в успехах* Петра заключалась тайна его исторического значения, то в чем же она лежала?

В *способе*, каким совершились все эти дела, в той новой складке духа, откуда вырос каждый его нетерпеливый замысел, и в той несвязанности его мысли чем-либо, что прямо не относилось к делу, несвязанности, которую у него впервые мы наблюдаем в нашей истории и с тех пор сами стремимся всегда сохранять ее. И в самом деле, на протяжении пяти веков вся жизнь наша как будто носила какие-то внутренние пути, связывавшие каждый наш замысел, всякое действие, стеснявшие непреодолимой оградой всякий порыв мысли и личное чувство. Нельзя сказать, чтобы эта связанность вытекала из какого-нибудь внешнего требования; скорее она была следствием внутреннего расположения, уже сказавшегося впервые в Андрее Боголюбском и продолжавшегося у всех преемников его исторической миссии. Никогда и никакой уторопленности мы не замечаем в них, и это вовсе не оттого, что никогда в ней не было потребности; но, пренебрегая 20 всякой потребностью, русские люди в течение веков ни разу не ускорили своего шагу, который ранее и по малейшему требованию дела они ускоряли легко, свободно и даже капризно. Мы знаем, как религиозно было то время; но замечательно, что мы вовсе не знаем ни одного религиозного порыва из того времени, ни одной умиленной молитвы, ни одной пламенной проповеди. Святые в лесах дремучих также молчаливо, без слов, молились, — как без слов, молчаливо, в стенах Московского Кремля цари вершили свою политику. Даже в страшные годы царенья Грозного мы больше видим крови, видим судороги жертв, как и судороги их мучителя; но очень мало слышим криков негодования, мольбы о помощи или требования пощады. Только Курбский, изменник царю, народу и вековым 30 заветам жить и умирать, вместо того чтобы войти молчаливою полустрокой в «Синодик», предпочел написать несколько длинных, без всякого основания, писем. И так же, как не знаем мы слез и отчаяния у людей этого времени, не знаем мы в них и радости и веселья; ни одного смеющегося лица не видим мы на протяжении пяти столетий, которое нарушало бы собою монотонную угрюмость всех и молчание. В совете царском, в молитве, перед людьми и даже Богом эти странные люди как будто боялись вечно за свое достоинство, за эту беспредметную серьезность, которую не хотели, не могли и, наконец, не умели они оставить. И если мы подумаем, что этот склад жизни установился у народа молодого, еще не испытавшего всего богатства жизни, — мы поймем, как много во всем этом 40 было искусственного, неестественного и ложного. Здесь была какая-то придуманная стыдливость, напрасный страх проявить свои силы, — и он выработал общие формы, под которые укрывалось все индивидуальное, все частное и особенное в человеке и в жизни. Ничего не выдавалось из-под этих общих форм, заботливо хранимых в войне и мире, в чистой семейной радости и среди государственных бедствий. Никакая поэзия, никакое проявление любознательности, ни даже простой успех во всяком живом деле не был возможен при этих общих фор-

мах, придавших печать преждевременной старости народу, у которого все еще было в будущем, ни один из даров духа не был обнаружен и проявлен.

Этот покров общих форм, скрывавших живую индивидуальность, эту искусственную условность жизни, и разбил Петр силою своей богатой личности. Полный неиссякаемой энергии и жизни, против воли неудержимый во всех движениях, он одною натурою своей перервал и перепутал все установившиеся отношения, весь хитро сплетенный узор нашего старого быта, и, сам вечно свободный, дал внутреннюю свободу и непринужденность и своему народу. В великом и незначительном, на полях битв и в веселых пиршествах он научил своих современников простому и естественному и этим открыл новую эру в нашей истории, сделав возможным в ней проявление всех даров духа, всяких способностей человека, гениального, как и уродливого. С ним и после него, впервые после векового молчания, мы наконец слышим в нашей истории живые голоса, крики радости и гнева, гордости и унижения — звуки человеческой души, более всего прекрасные. Необузданность, борьба страстей, бесстыдство и героизм на плахе и в походах наполняют волнением нашу историю, дотоле столь тихую, и то, что более всего в ней поражает нас, — это именно богатство индивидуальности. С нею возможна стала поэзия, сперва дикая, как и весь хаос перемешавшейся жизни, но потом отстоявшаяся и нашедшая звуки, столь чудные, чарующие не для одного нашего уха. С ней возможна стала любознательность, и бегство бедного мальчика с берегов Ледовитого моря в Москву, на берега Невы, к германским натуралистам, уже не представляло чего-либо необыкновенного. Каждый и прежде всего хотел удовлетворить свою нагую человечность, и лишь в применении к ней рассматривал церковь, государство, поэзию, университет, — или находя в них все, что ей было нужно, или в противном случае усиливаясь создать новое. И с тех пор и до нашего времени эта непокорная индивидуальность и приводит в отчаяние, и умиляет нас, то внушая за будущее самые страшные опасения, то наполняя сердце великими надеждами. Где еще конец этому своевольству творчества, этому отрицанию векового и священного, неудержимому порыву духа из всяких твердых форм?

XVII

Но вот это богатство творчества видимо иссякает, и эта безбрежность ничем не ограниченной мысли наконец для всех становится утомительна. Это сказывается оскудением поэзии и художества, упадком воображения и чувства и, с другой стороны, — в хаосе, обезображении всей жизни личной, общественной, политической, которого мы все свидетели. Веселость и красота двухвекового карнавала прошла, а то, что остается от него, дымящиеся факелы и безобразно-уродливые маски, разбросанные там и здесь, не могут быть ни для кого привлекательны и дороги. В подобном положении, полном отвращения к только что совершившемуся, стоит наше общество теперь — очевидно, на рубеже двух циклов своей истории, из которых один уже заканчивается, а другой еще не наступил. Появление славянофилов, нам думается, есть именно симптом, глубоко выражающий это историческое положение. Но кто больше придавал бы значения их чаяниям, нежели критике и отрицаниям, — мы думаем, глубоко бы ошибся.

Недостаточность, необоснованность в синтетическом построении будущего мы находим и у К. Н. Леонтьева. Он слишком много вносит в это будущее из второй фазы нашего исторического развития, почти думая, как и все славянофилы, что мы лишь воскресим ее снова, опять переживем, что было уже пережито. *Этого никогда не происходит в истории*, и в древе жизни человеческой, что раз вскрылось и выразилось, никогда не выразится снова, перейдя за черту бытия в иную сферу, которая лежит по ту сторону смерти.

Одно можно предугадать в этом будущем — второстепенное, незначущее; и предугадать, основываясь на том, что уже совершилось в нашей истории. И в самом деле, в трех уже пройденных фазах нашего развития было не одно отрицание, но и сохранение. Главное, что создавалось в каждой фазе, уносилось и в следующую; но оно становилось там несознаваемой опорой жизни, но не предметом желания, не целью достигаемой, не главным интересом забот и деятельности. В первый период нашей истории мы просветились христианством, и в этом заключался его смысл, вся значительность его, не умершая и не имеющая когда-либо умереть. Удивительно, как характер народности нашей за это время отвечал *уже ранее* принятия христианства той миссии, которая ему выпала в истории через это принятие: дух открытости, ясности и неозабоченность какими-нибудь особенными земными нуждами и интересами — все это делало вступление юного народа в лоно новой религии легким, безболезненным, исполненным радости. И как свободно и легко он ее принял в одной незаметной частице своей, так же легко и почти без принуждения передал и другим бесчисленным частям своим, и даже иноплеменным соседям. Странно: мы почти не знаем *как*, и знаем лишь *насколько далеко* распространилось христианство в первые два-три века после просвещения им киевлян; без помощи сколько-нибудь организованной силы, без всяких средств умственного убеждения, одною силою своей простоты и чистосердечия монахи и священники того времени сделали гораздо более, чем сколько могло сделать при всей политической мощи Московское государство, или при всех средствах науки новейшие миссионеры. Собственно, где остановилось тогда религиозное просвещение, оно остается и до сих пор, не будучи в силах преодолеть даже языческой косности многих финско-монгольских племен, живущих среди русского народа или обок с ним, и тем менее преодолевая магометанский или еврейский фанатизм.

В богобоязненном, церковном втором периоде нашей истории это принятое ранее христианство вовсе не было главным, хотя и выставлялось таким. Оно было опорой деятельности, в своих целях не имевшей ничего общего с заветами Евангелия, торжественно и неподвижно лежавшего на аналоях, а не жившего в совести и сердцах людей. Целью, главной заботой в этом втором фазисе было объединение и высвобождение земли своей и потом ее сложение в могущественный и правильный организм. И здесь, по отношению к этой миссии, мы также наблюдаем предварительное установление психического строя, при котором она наилучше могла бы выполняться: эту способность к преемственному достижению одной цели, глубокое сознание себя и всех участников своей деятельности лишь как части, которая должна покоряться целому, только как орудия идеальных требований и стремлений, которым суждено осуществиться в будущем, — что все и слило бесчисленное множество людей, от государя и до раба его, в одну ком-

пактную массу, где мы едва различаем образы, но видим могучие силы и совершенные великих фактов.

Государственная организация, созданная в этом периоде, перенесена была и в следующий, и, по-видимому, ради укрепления этой организации, совершился самый переход нашего исторического развития в новый фазис. Но это было лишь по-видимому; по отсутствию оригинального творчества в политической сфере, мы живо угадываем ее второстепенное теперь значение, ее пособляющую, способствующую роль около чего-то другого, что и было в действительности главным. Как мы уже заметили, это главное состояло в раскрытии индивидуаль-
 10 ных сил, вовсе не связанных непременно с государством и его нуждами, и еще менее — с религиею. Эти силы обратились к сферам творчества, которые никогда ранее не влекли к себе нашего народа и, однако, для души человеческой, для ее просветления и развития, необходимы более, чем что-либо другое. Поэзия, искусство и также наука и философия составили предмет забот, любви, влечения, около которых государство было только оберегателем, и религия — лишь общим, очень далеким органом, который все же бросал свою тень на прихотливые создания фантазии. Всем известно, до какой степени наше общество чем да-
 20 лее, тем более удалялось, теряя связи, как от государства своего, так и от церкви *. И, будто бессознательно чувствуя свою лишь охраняющую миссию, и государство, и церковь бережно щадили эту странную свободу, столь несовместную, по сущности, с их принципами. Для будущего историка это отношение государства и церкви к независимо развивающемуся обществу представится как очень любопытное явление — и привлекательное. Мы, правда, вечно жаловались все-таки на недостаток свободы; но это было лишь по недоразумению, лишь следствием чрезмерной нашей жажды свободы, опасавшейся даже *возможного* стеснения. Мы указывали обыкновенно при этом на западные страны, но это указание было совершенно ошибочное: ни церковь, ни государство там уже не имеют такого живого значения, такой ничем не нарушенной веры в свою абсолютность, какая продолжала сохраняться и сохраняется у нас. Там стеснение было невозмож-
 30 но, — за умиранием, за истощением сил в том, что хотели бы стеснить; у нас оно было бережно удалено, — со стороны того, что было полно сил и могло бы и даже должно по своим принципам — стеснить, но этого не хотело.

Таким образом, христианство, политическая организация и индивидуальное творчество, являясь каждое главным в одном из трех периодов нашего исторического возрастания, в каждом последующем периоде являлись как вторичное, как его опора, но не цель. Что станет новою целью в четвертой фазе нашего развития, ее главной заботой и интересом — это было бы напрасно усиливаться от-

* Это удаление до такой степени очевидно, что в монархической и православной России едва ли был даже один сколько-нибудь значительный писатель, поэт, художник или композитор и монархистом, и православным — без оговорок. И это до такой степени обычно, общество так уже привыкло к этому, что всякие слова в строго монархическом и православном духе, какому бы авторитету они ни принадлежали, встречались обществом читающим с несказанным изумлением, иногда принимались даже как признак помешательства. Ср. историю с «Избранными местами из переписки» Гоголя, также с некоторыми стихотворениями Пушкина. Можно ли представить себе подобное отношение к протестантизму в Германии или к католицизму — в романских странах!

гадать. Как можно было среди битв с половцами и печенегам, веселых княжеских съездов и шумного веча — угадать характер Андрея Боголюбского, деяния Грозного, особый оттенок благочестия его больного сына и Алексея Михайловича? Разве в Печерских угодниках были те черты, которые мы находим в митрополитах Петре и Алексее, в Александре Невском, в св. Сергии или, наконец, в Василии Блаженном? Самый характер христианства как будто изменился в круто повернувшемся складе исторической жизни. И, с другой стороны, уже при Алексее Михайловиче, в его царской думе, в Морозове и Матвееве — как можно было отгадать всеоживляющий образ Петра, его Меншикова и Остермана, его баталии и похождения, его мощь, забавы, труды и смех, которые два века отдаются в наших ушах. И так же точно в кругу, в влечениях и в интересах нашей жизни... что можем мы угадать о будущем? Куда и что понесет с собою новый избранник нашей истории, ни на кого в ней не похожий, обремененный новой мыслью, все прошлое ее ненавидящий, бегущий в новые места, — как Боголюбский бежал из Киева, Петр — из Москвы, как, повторяя историю в лице своем, каждый из нас бежал от преданий своего детства, и всякое поколение — от поколения предыдущего?..

Но одна черта в представлении К. Н. Леонтьева нам кажется вероятной: это — уклонение нашей истории к юго-востоку, как естественное следствие ее отрицательного отношения к прошлому. Во всяком периоде нашей истории мы разрывали с предыдущим — и разрыв, который нам предстоит теперь, есть, без сомнения, разрыв с Западом. Сомнение в прочности и в абсолютном достоинстве европейской культуры, которое является теперь общераспространенным, послужит для нового поворота нашей истории и такой же исходной точкой, как вечные неудачи и поражения русских послужили, два века тому назад, исходной точкой идей и стремлений Петра. Исторический поворот, нам предстоящий, можно думать, будет еще более резок и глубок, нежели какой произошел в то время: там было только ощущение каких-то технических недостатков, подробностей; теперь является чувство *общей неудовлетворенности*, при полном до-
20
30

судя по этому сознанию, можно думать, что характер четвертой фазы нашего исторического развития будет именно *синтетический*; создание общей концепции жизни, какое-то цельное воззрение, из которого могли бы развиваться бесчисленные ее подробности и частности — все по иному типу, нежели по какому развивались оне в новой истории, — вот, думается, задача, которая предстоит нашему будущему. Не с рубанком и пушками, и не с замыслом только государственной идеи, но с каким-то новым чувством, выросшим в глубинах совести, будущий вождь нашего народа, отряхнув прах прошлого со своих ног, поведет его к новой задаче исторического созидания.

К. Н. Леонтьев, по-видимому, думал, что этим воссоздаваемым будут византийские начала. Он вообще невысоко смотрит на творческие силы русского народа и с совершенным уже пренебрежением глядит на других славян, западных и южных, которые никогда и ничего, кроме подражательности, не обнаруживали в истории. Этих последних он считает совершенно пустыми от каких-либо мистических задатков, которым, сказать кстати, действительно принадлежит все истинно творческое, оригинальное в истории (в искусстве, в науке и философии, в государстве, не говоря уже о религии). На началах религиозных было многое

разрушено в истории, и многое пытались создать на них, но ничего не было создано. В противоположность этим пустопорожним народностям, в русском народе он находит гораздо более глубины, более пламенное и нежное чувство, проявление склонностей и порывов, очень мало объяснимых рационально. Все говорит в нем о племени неизмеримо более творческом и оригинальном — говорит в простом народе и в высших слоях, в древности, как и теперь. Мы позволим здесь привести одно его рассуждение, плод долгих, многолетних наблюдений его над Востоком:

10 «Если мы будем, — говорит он, — сравнивать европеизованных греков и таких же болгар с русскими, то первое наше впечатление будет — что вообще восточные христиане суше, холоднее нас в частной своей жизни; у них меньше идеализма сердечного, семейного, религиозного; все грубее, меньше тонкости, но зато больше здоровья, больше здравого смысла, трезвости, умеренности. Меньше рыцарских чувств, меньше сознательного добродушия, меньше щедрости; но больше выдержки, более домашнего и внутреннего порядка, меньше развращенности, распущенности.

У них меньше, чем у нас, оригинальных характеров, редких типов; гораздо меньше поэзии; но зато у них и помину нет о девушках-нигилистках, — о сестрах, просящих братьев убить их, потому что скучно, — о мужьях, вешающих молодых жен, потому что дела пошли худо, — о юношах, почти отроках, убивающих кучера, чтоб учиться революции, и т. д. Самые преступления у восточных христиан (у греков и славян без различия) носят какой-то более понятный, расчетливый характер; этих странных убийств от тоски, от разочарования, с досады просто или от геростратовского желанья лично прославиться, *без цели и смысла*, — убийств, обнаруживающих *глубокую боль сердца в русском обществе и вместе с тем глубокую нравственную распущенность*, ничего подобного здесь не слышно ни у греков, ни у болгар, ни у сербов. Желание грабежа, ссора, месть, ревность — словом, более естественные, более, пожалуй, грубые, простые, но вообще более расчетливые и сухие, так сказать, побуждения бывают на Востоке 30 причинами преступлений». И т. д. *

Но для глубокого и продолжительного исторического созидания, для выполнения великих и своеобразных задач культуры — и племя русское представляется г. К. Леонтьеву недостаточно творческим; или, точнее, творчество его кажется ему бесформенным, слишком неархитектурным. Много прекрасного, глубокого, даже оригинального, может быть им создано, — но это все еще недостаточно, чтобы вылить жизнь историческую в твердые, законченные формы, сильные против разрушающего действия времени. А ввиду разложения западной культуры, ввиду того что русский народ выступает уже последним в истории, — именно 40 прочностью созидания едва ли не важнее еще, нежели присутствие в нем каких-либо гениальных, но недолговечных проявлений.

Указание на черту эту, ее необходимость в будущем и ее недостаток у русских есть одно из важных указаний у К. Н. Леонтьева, вытекающее глубочайшим образом из всего его исторического созерцания: в этом указании есть некоторое самоотречение, есть национальное бесстрашие, какому мы не знаем примера. Но едва ли не ошибся он здесь: мы уже сказали, что последние два века главное в ис-

* «Восток, Россия и Славянство», т. I, стр. 203. Статья «Русские греки и юго-славяне».

торическом нашем созидании носит *индивидуальный* характер; эту индивидуальность, порой гениальную и всегда непрочную, он принял, кажется, за постоянную черту нашей истории. Таким образом, то, что составляет особенность и задачу двухвекового развития, он обобщил на все времена и перенес на особенности духа своего народа. Между тем один взгляд на второй период нашей истории, на процесс государственного созидания, мог бы убедить его в способности нашего национального характера к постоянству, упорству, выдержанности в творчестве. Есть, хоть разбросанные очень, черты эти и в новой нашей истории.

Итак, неправильно (нам думается) приняв наш характер как бесформенный, он полагал, что эта недостающая оформленность может быть придана нам византизмом. Он с удивительной чуткостью подмечает, что византийские начала залегли у нас и там, где мы их нисколько не подозреваем, — в поэзии, в семейном быте, не говоря уже о государственном и религиозном складе жизни. Его указания верны и многозначительны; но есть и односторонность в них, которую нельзя пройти мимо.

Когда, в какую эпоху мы более всего были проникнуты византийскими началами? Не все ли скажут, что в период государственного созидания Москвою? Но если так, почему не в пору своей детской восприимчивости, не при живой Византии и близости от нее мы прониклись этими началами, но в пору недоверчивой замкнутости и уже павшей Византии, разделенные к тому же от нее громадными пространствами и враждебными племенами? Не есть ли византийское происхождение московского склада жизни явление гораздо более кажущееся, чем действительное?

Нам не кажется, чтобы Владимир Св. и его дети — Мстиславы Храбрый и Удалой, Роман и Даниил Галицкие, Олег «Гориславич» — носили особенно византийский облик. В эту пору горячей связи, только что восприняв христианство, впечатлительные до переимчивости многого у половцев, — мы сохранили, однако, общеславянские черты характера, доброго, уступчивого, несколько беспорядочного и слабого. И вот когда Византия из могущественной и привлекательной империи стала рабыней мусульманства, выпрашивавшей у нас денег, — при гордых Иоаннах, при Годунове, при первых царях из дома Романовых, мы хотим видеть Россию проникнутой византийскими началами. Не обман ли это, не приписываем ли мы черт глубоко оригинальных и самобытных — заимствованию. По крайней мере, даже теперь, после двухвекового постоянного и тесного общения с европейцами, облик европейский лежит на нас не так прочно, — его легче отодрать, — нежели как лежал особенный, *будто бы византийский*, облик на людях Московского государства.

Утонченная и порочная Византия, мешавшая отвлеченные споры богословско-философского содержания с оргиями, шумом и развратом цирка, Византия, столь жестокая и лукавая, так надругавшаяся над многими своими императорами, едва ли серьезно может быть поставлена как оригинал и прототип Москвы — угрюмо-молчаливой, упорно-настойчивой, гораздо более насильственной, чем коварной, так во всем не утонченной по мысли, по вкусам, по сердечным влечениям, и вместе так преданной крови своих царей, только в этом одном, кажется, нежной и утонченной.

По крайней мере, нам кажется, что все черты этого особенного типа возникли в нашем народе совершенно оригинально и самобытно, как предуготовительные

для особой миссии государственного созидания, какую ему предстояло тогда выполнить. И, во всяком случае, раз несомненно, что в истории народ наш не является все с одним и тем же душевным и жизненным складом, — а этот склад не изменялся у Византии, — не может быть и речи о каком-либо его заимствовании. Мы уже высказывали ранее и снова настаиваем, что одна и та же основа, например, одинаковая догматика и весь ритуал христианства, будучи переносимы в разные народности и в разные эпохи, — дают неодинаковую им окраску. Так, нельзя приписать и влиянию византийской церкви и государства весь склад нашего государства, быта, нравственных и других понятий. В некоторые эпохи ¹⁰ здесь было сходство, но не было заимствования, подчинения, — или не было его в очень значительной степени.

И, однако, в объеме христианской догматики и всего церковного склада, без передачи более утонченных черт быта — Византия залегла в нашу историческую жизнь. Выработка догматики этой и всего церковного устройства составляет особенную, великую, всемирно-историческую миссию Византии. Мы никак не должны забывать, что именно Восточной империи принадлежит этот труд, и на Западе он был только принят и усвоен*. Здесь еще раз сказалось вечное стремление исторических процессов к разнообразию, к расхождению задач своих, продуктов своего творчества. В особенном труде, который приняла на себя Византия ²⁰ и, выполнив который — она умерла, погибла, заключено столько же абсолютной красоты, но совершенно и неизъяснимо оригинальной, сколько заключено ее в продуктах творчества других исторических народов: в искусстве и философии Древней Греции, в праве Рима и проч., и это с точки зрения общечеловеческой, вовсе не православной только. Оригинальная черта Византии состоит в том, что, взяв важнейшие моменты бытия человеческого — рождение, смерть, обращение души к Богу, — она окружила их такой высокой поэзией, возвела к такому великому смыслу, к какому они никогда дотоле не возводились в истории. Литургия Иоанна Златоустого или песнопения Иоанна Дамаскина — это в своем роде исторический Капитолий или Парфенон, это так же глубоко, прекрасно и правильно ³⁰ отвечает некоторому предмету своему, как только что названные памятники отвечают своему особому смыслу.

А если мы подумаем, что все-таки навсегда человек останется прежде всего человеком, что его отношение к Богу, судьба души его за гробом важнее для него всяких отношений государственных, правовых и пр., — то особый труд Византии

* Вообще, нам думается, судьба Византии от Константина Великого, ее основателя, до падения ее в 1453 г., представляет интерес и значительность истории особого и совершенно оригинального культурно-исторического организма, и с нею ни в какое сравнение не может идти по значительности и интересу история собственно Итальянской империи, от Августа до Ромула Августа. Только нужно при этом помнить, что центр истории византийской лежит во Все- ⁴⁰ ленских соборах, в деятельности Отцов церкви и еретических волнениях, — наконец, в жизни и трудах отшельников-анакоретов, и гораздо менее — в императорском дворце или вообще в самом Константинополе. С этой точки зрения, т. е. не с отрицательной, а с положительной, которая выясняла бы исторический труд Византии, — история ее не написана; но для ума глубокого и свободного нет эпохи во всемирной истории, столь же мало исчерпанной и так интересной. Добавим, что разработать в подробностях и, наконец, воссоздать в целом эту историю — составляет прямую образовательную задачу науки всеобщей истории у нас, в России.

представится даже для историка-язычника едва ли не важнейшим во всемирной деятельности народов. Такому историку предстоит обнять своим умом те неисчислимые миллионы человеческих сердец, которые все были согреты, вразумлены, наполнены этими песнопениями, этими общими молитвами «о страждущих, недугующих... о мире всего мира»... Повсюду, где светит солнце, где люди болеют и скорбят, — чтобы понять все современное ничтожество в сравнении с этим эпикурейского наслаждения искусством немногих избранных, или кропотливых изысканий над римским правом толпы мумиеобразных юристов. Обычно принято считать Византию чем-то сухим, от юности старообразным; быть может, это и так. Но несомненно, что в старости своей, быть может глубже всех народов почувствовав близость к себе великого момента смерти, она высказала слова неизъяснимой глубины, создала вечно живой цвет, который вот уже тысячелетие наполняет историю своим благоуханием и дает народам силу к жизни, без которой они не могли бы, не захотели и не сумели иногда вынести тяжесть судьбы своей на земле.

К. Н. Леонтьев живо чувствовал эту красоту восточного христианства, во всей строгости его древней архитектоники. Он справедливо не доверял творческим силам своего времени, своего общества, — и вот откуда у него вытекло глубокое отвращение и негодование при виде попыток нового религиозного творчества, какие он видел поднимающимися вокруг себя, стоя почти на краю могилы. Уже гораздо ранее, думая о нашем простом народе, он отметил странную его склонность к этому творчеству, «к разным еретическим выдумкам», вовсе неизвестную на Востоке. Позднее ему пришлось наблюдать взрыв этой склонности и в высшем обществе. Мудро и осторожно он указал при этом на протестантизм, по-видимому столь высокий и прекрасный в первые свои минуты, так неизмеримо более привлекательный и жизненный, нежели ветхий католицизм. Но прошло полтора века и этот протестантизм выродился в казуистику гораздо более сухую, чем католическая, и в ряд бледных, ничтожных учреждений полуполицейского характера. Все сохнет в нем, все разлагается на наших глазах. И, думая об этом, он печально предостерегал и наше общество. Разрушать, отшатываться от тысячелетних созданий — легко в истории; но созидать в ней — это очень трудно. Только при начале своей исторической жизни народы обладают этой удивительной, необъятной силой созидания; не думая о красоте — они созидают так невыразимо прекрасное; не думая о прочности — созидают вековечное. Быть может, потому это, что они думают только об истине, о безусловной правде для сердца своего, для Бога. Можем ли мы также думать только об этой истине, об этой правде? И гораздо более полные всяческой ненавистью, нежели истинной любовью к чему-нибудь — что можем мы создать, кроме уродливого и безобразного, если не для нас еще, то для детей уже наших?

Отсюда вытекла его строго охранительная деятельность; тут сказался его глубокий и осторожный ум, который жизнь будущую ценит гораздо более настоящей, охранение ее от болезней считает нравственным для себя долгом. У нас все немножко «пантеисты», все несколько «республиканцы», — и по воспитанию своему, и по какой-то русской, действительно, склонности к бесформенности. У нас не любят никаких форм, которые теснят воображение, тяготят ум. И тем более неизъяснимый интерес находим мы в писателе, который неожиданно открывает нам всю необъятную значительность этих форм, всю невозможность

без них жизни или, по крайней мере, ее прочности. Мы находим в этом коренное противоречие с тем, как много лет уже привыкли сами думать; но вслушиваемся невольно в печальную речь человека, так очевидно благородного, который любит нас и прочность нашего будущего быть может более, чем мы сами его любим. Его слова производят на нас неотразимое впечатление, тем более что сказаны они в какой-то задумчивости, очевидно не имеющей ничего общего с заботой об этом впечатлении. И течение мыслей наших невольно получает обратное с прежним направление...

Если мы спросим себя, куда же направляется это течение и в чем лежит главная забота писателя, за которым мы невольно следуем, то должны будем ответить: *в сохранении жизни, в чувстве влечения к ней, как к величайшей красоте природы.*

И в самом деле, в этом состоит общий и главный смысл всех его писаний: *красота есть мерило жизни, ее напряжения*; но красота не в каком-либо узком, субъективном ее понимании, а только в значении — *разнообразия, выразительности, сложности.* Все, что существует в мироздании, что появляется в истории, подчинено этому общему и глубокому закону, что, возрастая в жизненности своей, возрастает в обилии, разнообразии и твердости своих форм; а падая, возвращаясь к небытию, — ослабевает в формах своих, которые смешиваются, сливаются, блекнут и, наконец, исчезают, оставляя после себя могильный прах. Пожалуй, здесь мы видим приложение аристотелевской формулы, о котором великий Стагирит, конечно, не думал: *causa formalis* *, есть вместе и *causa efficiens* **, т. е. что вид, обособление от остального есть сила творящая в мироздании. Во всяком случае, это правдоподобно по отношению к безжизненной природе, и, безусловно, истинно в сфере истории. Но если так, наш взгляд на текущую историю должен быть очень печален: руководимые призрачными абсолютными идеалами и главным образом обманчивой иллюзией устроить счастье на земле всех народов, мы более и более снимаем с этих народов именно оформливающие их начала — религиозный культ, историческую государственность, бытовую обособленность, — не замечая, что сливаем их через это в безвидную массу первобытного человечества. «Нет высшего счастья для человечества, как еда, и нет высшего закона для него, как труд», — повторяем мы и разворачиваем дальше и дальше с него исторические одеяния, — пока оно не останется наго от всего, не станет, как и при исходе истории, только с желудком и мускулами, накормить который, утрудить которые снова сделается одной его заботой.

Это все понял писатель, о котором мы говорим, и твердое слово свое противоположил течению всех дел в жизни, которая его окружала. Им руководило доверие, что идеальное начало еще не утеряно в человечестве, что, раз оно поймет смысл своей истории в текущую эпоху как регресса, оно остановится, удержится от дальнейшего разрушения всяких форм. Он думал, что инстинкт красоты в человечестве еще сильнее пылающей уже всюду взаимной ненависти, в силу которой народы, сословия, индивидуумы обрывают друг с друга последние клоки истории, чтобы равно убогими, равно нищими сойти в землю, из которой все вышли. Но его голос звучал, по крайней мере до сих пор, напрасно. Ничего не не-

* формальная причина (лат.).

** действующая причина (лат.).

доставало этому голосу: ни красоты, ни силы, ни, наконец, понятности. Одного недоставало ему: исторической своевременности... Как идут, и к смыслу речей его, и к его судьбе, эти известные стихи, как будто сказанные о нем:

На буйном пиршестве задумчив он сидел,
Один, покинутый безумными друзьями,
И в даль грядущего, закрытую пред нами,
Духовный взор его смотрел.

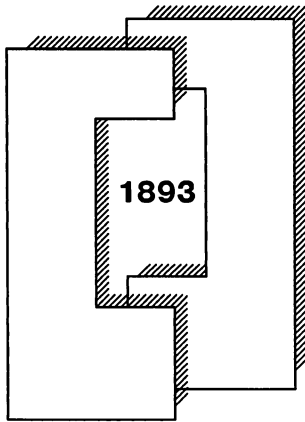
...Исполнены печали,

Средь звона чаш, и криков, и речей,
И песен праздничных, и хохота гостей
Его слова пророчески звучали...

10

Все было так, как сказано здесь; и то, что ежедневно совершается перед нашими глазами, есть старая, вечно поучительная, но никого не научающая история.

«В своем отечестве никто не бывает пророком»... Неужели это всегда правда? Неужели и ни одно отечество, вечно повторяя эти слова, никогда не оглянется на себя и не поймет тех, кто его так любит, ради него столько несет?.. И тогда зачем же этот горький дар предвидения, эти силы души, пронизательность разума, красота слова? Неужели лучшие дары нашей природы ниспосланы нам в издевательство, чтобы только сделать более горьким наше существование?



ГРЕТХЕН И ФАУСТ

(Посвящается В... и памяти Н...)

Вольфганг Гёте. *Фауст. Драматическая поэма.*
Пер. Н. Холодковского. Спб. 1890.

А. Шахов. *Гёте и его время. Лекции по истории немецкой литературы XVIII^{го} века, гитанные на Высших женских курсах в Москве.* Спб. 1891.

Блажен, кто, богами еще до рожденья любимый,
На сладостном лоне Киприды взлелеян младенцем!
Кто очи от Феба, от Гермеса дар убеждения принял,
А силы печать на чело — от руки Громовержца!

Шиллер

I

Прекрасный труд покойного Шахова, так безвременно унесенного, еще почти юношею *, в могилу, напомнил нам невольно о том учреждении **, которому с любовью *** посвящал он свои силы — и его также нет более. При виде его мы

* Он умер,¹ 5^{-го} декабря 1877 года, «едва достигши 27 лет» — возраст, в котором теперь многие только² оканчивают курс университетского учения. См. некролог его, присоединенный к названному в заголовке изданию и составленный другим даровитым преподавателем бывших Высших женских курсов в Москве, и любимым профессором Московского Университета,³ Ник. Ил. Стороженко. Шахову, сверх труда о Гёте, принадлежит другой более обширный: «Французская литература в первые годы XIX века», теперь также изданный.⁴ После лекций Н. И. Стороженко, которые, по вине излишней скромности уважаемого ученого, остаются до сих пор не опубликованными, и, без сомнения, будут тотчас опубликованы по⁵ его смерти, труды Шахова, по ценности своей и важности избранных в них тем,⁶ являются самым ценным, чем обладает наша скудная литература по⁷ науке истории всеобщей литературы.

** Высшие женские курсы в Москве, послужившие прототипом всех последующих однородных учреждений (в Петербурге, Казани, Киеве) были основаны Влад. Ив. Герье, одним из самых достойных представителей исторической кафедры Московского Университета. Им были приглашены к преподаванию сюда лучшие ученые силы Москвы, из которых по памяти мы можем назвать Н. И. Стороженко, В. О. Ключевского, ... Лопатина, Алексея ... Веселовского.

*** Вот как одна из бывших слушательниц его чтений вспоминает о них: «Мы все боялись проронить хотя бы одно слово из его лекции. Ни дождь, ни грязь не останавливали слушательниц бежать на его лекцию, даже из таких далеких концов, как Петровский парк, Мещанские,

невольно вспомнили длинную и узкую читальню * Московского Публичного Музея, куда бывало часов около 11 утра начинают входить, не без смущения и робости, молодые девушки, и, спрашивая какие-то огромные книги, уходили туда носом и что-то строчили карандашом у себя на бумаге; мы, также строчившие свои рефераты, по переплету и формату книг старались узнать, что это: лексикон ли средневековой латыни Дю-Канжа, том ли из «*Monumenta Germaniae*» Пертца или крошечный трактат Руссо и пламенное нападение на революцию Эдм. Борка; и, по собираемому материалу, пытались определить заданную «им» тему. К часу обеда зала пустела и наполнялась опять вечером; дни шли за днями, недели за неделями; реферат был верно прочитан, был задан другой реферат; год обещал сменяться годом, и этот же рой сменяющихся девушек все прилетал бы сюда же, на это книжное поле, собирать цветочную пыль, — не для значения какого-нибудь в мире, не чтобы солнце затмилось и земля разверзлась, но чтобы сладкий сок на цветах не обсох, в улье на зиму был запасен мед и, наконец, чтобы на ярком солнце, в это свежее утро резвые крылья жужжали, и все, как должно в Божьем мире, исполнено было не только тепла и света, но также движения и чьему-то уху нужного шума.

Но солнце не захотело светить, ему было скучно греть, и вот испуганные пчелки разлетелись, попадали на землю, и самый улей разорен, так что только значится его место. Говорят, наказанные виновницы искали не одних цветов, им нужна была еще и любовь; на ярком солнце, оне иногда как будто вдруг забывали, зачем и куда летели, и, увлекаясь, подымались вверх, исчезали в эфире воздуха, и когда спускались вниз, вместо того, чтобы продолжать начатый труд, занимались выводом тех, кто после них мог бы продолжать этот же труд. Но разве поле и луг и лес были под монастырским запретом? Разве на нем же не цвели цветы и их за это не вырывали, деревья — не множились и никто за это их не проклинал? И не для рождения ли светит солнце, занимается весна, — не для того одного, чтобы цветы благоухали, но чтобы во благовремени и приносили плод... Придет осень, солнце перестанет греть, снежный покров покроет землю и никто о новом рождении не будет думать.

Покровка, в то время как курсы помещались на Пречистенке. Трудно было не увлечься тем живым, полным энергии, словом, которым дышала каждая его лекция. Читать лекции Шахова и слушать его живое слово — представляло громадную разницу. Каждая лекция в его устах как бы экспромтом получала особую, ему свойственную отделку: в ней было много характерных оборотов и выражений, которые по своей живости и силе могут сравняться разве только с пылкою речью Бёрне. Личность его слишком тесно сливалась с преподаваемым предметом, с его лекциями, в кото рых он выступал светлым, полным энергии и надежды». См. «Два слова о покойном А. А. Шахове», *Русская Газета*, 11 декабря 1877 года. Как не подумать, что разорение этого самозародившегося центра благородных занятий и духовных интересов ляжет гибельным воспоминанием на память тех, кому это было нужно, кто живя среди живых — хотел бы только хоронить все.

* В 1878—81 гг. она помещалась еще в нижнем этаже так называемого «Пашковского дома». В то время, да и теперь верно, все называли⁸ мы музей «Румянцевским», по главной сокровищнице бумаг и книг, оставленной бывшим канцлером Румянцевым и послужившей основою Музея. Там же хранятся библиотеки Норова, гр. Панина (позднее обращенная в читальную залу) и многих других оберегателей родного просвещения.

Итак, мы думаем, дурно было не то, что совершалось, но дурно, что совершавшегося никто не захотел освятить. И пчелы жужжали, иногда жалились. Она знала — солнце для них, воздух для них; и, между тем, угрюмая природа окрест не хотела их, северные ветры гнали тепло и тучи заволакивали солнце. Как бы то ни было, роком ли, людьми ли, градусом ли несоответственной широты и капризом случая — роя нет более, улей повержен и пчелы перегнаны куда-то в другое место, где, будем верить, она не знает любви и забыли употребление жала.

Говоря это, мы не вмешиваемся в толпу тех, кто так усиленно создавал и недавно вновь воссоздал один из подобных, менее только укромный, менее медоносный* улей. Как и еще некоторые, мы думаем, что в организации женщины, с которою так связана и организация ее духа, начертан достаточно ясно закон, которому она должна и хочет следовать. Мы не разделяем ни предвидений, ни надежд одного из уважаемых залогов нашего времени**, что в будущих веках для женщины не невозможно подвергнуться метаморфозе, которой подверглась одна из разновидностей галльской осы; или, по крайней мере, в ожидании этой метаморфозы и рождения в женщине новых инстинктов, мы желали бы, чтобы она следовала тем, какие в нее вложены и не истреблены еще. Между 14 и 16 годами она преобразуется в существо полурождающее; полурождение, какого ей недостает — ей должно быть дано, она его ищет. Кто так сотворил, для чего, на вечное ли время — нет вопроса, или, если и есть для праздных умов, они могут его обсуждать; *теперь* и для *этой* женщины закон должен быть исполнен.

И он исполнялся во всякое время и у каждого народа, который покорно в судьбе своей следовал немногим и вечным указаниям, начертанным в природе, для человека выговоренным Богом. За то особенное, незаменимое, не уравновешиваемое никаким другим, счастье, какое вечно сообщала и вечно же готова была сообщать женщина другу своему и покровителю, она ожидает только, чтобы для каждой из них был сохранен этот покров. Не вмешиваясь ни умом, ни волею в неустанный шум истории, в листве шумящего леса незаметно скрытые, невид-

* Мне случилось, года два назад, просмотреть некоторые лекции, читанные на Петербургских курсах, заменивших собою прежние частные, и я был поражен ужасающим вздором, какой там читается под именем науки (что-то по истории и философии). Имена чтецов правда были вовсе неизвестные в литературе соответствующих наук, но меня удивило, что чтения, принадлежавшие (по крайней мере одно) известному ученому, было почти таким же вздором. Очевидно, пришедшим сюда с Волги, с Кавказа, с севера девушкам и женщинам бросалось⁹ то, что среди недосуга, за множеством других более важных обязанностей, изготовлялось профессорами для учреждения, старавшегося как-нибудь отвязаться от назойливого желания учиться.

** Проф. И. Мезников, автор знаменитой теории фагоцитов, в 1892 или 93 г. поместил в «Вестнике Европы» статью, где, озабочиваемый будущую ролью женщины в разработке науки, и предвидя препятствие этому в ее способности и желании образовать около себя семью, указывает, что у одной разновидности галльской осы произошло видоизменение, на которое можно было бы надеяться и у женщины: именно, у особой женского пола этого насекомого органы воспроизведения атрофировались, стали рудиментарными, в видах сохранения этих особей для труда более производительного и нужного. Статья эта вызвала оживленные прения в нашей литературе. Между возражениями хорошо было принадлежавшее г. Н. Михайловскому (особенно *вторая* из двух его статей), в смысле своем сомневающаяся в том, что мы здесь высказываем.

ные цветки обеспечивают непрерываемость этого шума и бодрый рост каждого дерева, если только немного, чего они требуют своею природою, будет сохранено за всяким из них. Часть внимания они ищут себе; лес не только должен взаимодействовать с лучами солнца, ткущими в нем хлорофил с ветром, которым дышат его листья, с почвою, где питаются его корни, этими стихиями міра, но, обращаясь внутрь себя — и с этими незаметными цветками, носителями законов и сил иных, нежели какие содержатся в тех стихиях. И мір был бы полон, жизнь обещала бы быть цельна, если б это все, приготовленное для человека, нуждавшееся лишь в сохранении им, им было в действительности сохранено.

Но тайна минуты¹⁰, той недавней и нашей, состояла в том, что все это уже не было сохранено в ней¹¹, и законы, по каким тысячелетие рос лес, при шуме листвы его, еще большем, чем когда-либо, при бурной игре стихий, палящем солнце, рвущем ветре, были нарушены в той незаметной и скрытой¹² их стороне, на которую мы указали и об ней высказались, как о преимущественно перед всеми определенной Богом. Великая ли строительная работа предстояла и лес должен был стать только *деревом*, другое ли что произошло, но только таинственный внутренний процесс взаимодействия дерева с самим собою — или начал, или готовился или был уже разрушен. Цветы или вяли, или, срываясь, летели и крутились в воздухе; падали ли, нет ли они при этом, и в какой узор слагались на земле, какой об этом вопрос, кому интересный, для кого нужный? То, для чего они были, более не было; не все ли равно, чем они станут без этого?

И вот почему, не сливаясь в мысли своей с теми¹³, кто для этих оставленных, забытых¹⁴ цветов что-то готовил, на что-то надеялся, мы не иначе, как с глубоким и благодарным чувством смотрим¹⁵ однако на их труд, их заботы, напрасные и великодушные их усилия.¹⁶ Они увенчивали, украшали могилу тех, кому не предстояло более жить; они играли скрадывающую истину мелодию, слушая которую бедной жертве легче было идти туда, куда и без мелодии, в яму, загрязненную нечистотами, она обречена была быть столкнутой. [*Их*] *труд [был]*¹⁷ *неосмыслен, но прекрасен*; и было странное в нем только то, что в то время как и они, и их тайные недоброжелатели, придавали труду этому¹⁸ высшую осмысленность, они¹⁹ не замечали вовсе здесь²⁰ высокой нравственной красоты, которая одна в нем действительно была ^{<*>21, 22.}

И женщина покорно шла к тому, на что была обречена; с тем неведением конца своих путей, с тем высоким доверием к господину своему и другу, какое отличало ее всегда в истории, она повиновалась ему и теперь, когда он не был более ее другом. В формах простых, бесшумных, в тысяче актов, столь некрасивых, загрязненных порою, совершился акт всемірной истории, которому мало подобных по красоте, трогательности и трагизму мы наблюдали в ней. То жестокое условие, на которое без оружия, без кораблей, с выданными заложниками, никак однако не мог согласиться Карфаген: отступя от берега на несколько миль ⁴⁰

^{<*>} *<Это примечание не имеет у Розанова отсылки к тексту. Его связь с текстом установлена по смыслу>*: В статье, которой ни названия, ни имени автора мы не помним, и которую знаем лишь по насмешливому фельетону, вызванному ею в «Моск. Вед.», одна из женщин выразила жалобу — сетование на то²³, как многие из них в то время, хотя совершили все от них требуемое²⁴, остались «непризренными» от тех, ради кого все²⁵ неестественное для себя они совершили. Тогда же нам показалась она исполненною глубокого смысла.

оставаться, пожалуй, и «Карфагеном», и вести торг и войны, на эти условия — сохраняя прежний облик и прежнее имя потерять то, чему имя служит именем и облик обликом — женщина ответила, что исполнит. Лишь на миг этой покорности заслуживая внимание к себе, она ради этой минуты счастья оставляла, как и указано ей вечным законом, «отца своего и мать свою и прилеплялась»... к тому, кто мог бы, в ком²⁶ надеялась она найти хоть некоторое подобие «мужа». В странном, в непонятном движении этом, в котором женщина была женственна, как никогда в истории, ни среди германских полчищ, ни за прялкой в Лациуме, ни на рыцарских турнирах, ни на придворных балах XVII¹⁰ века, она не совершила ни одного деяния, которого мысль ей бы принадлежала, не отказалась совершить никакого, которое отвечало бы ожиданию ее возможного покровителя; и не было ничего в этом ожидаемом столь трудного, над чем она задумалась бы.

Ей сказали, что ее красота не нужна — и она покорно сбросила с себя красоту, она, так суетно любившая ее, из-за нее совершавшая преступления, об ней не забывавшая в унижении, в величии, счастливая с нею во всякой доле, во всякой без нее несчастная; ей указали, что целомудрие в ней смешно — и она, подавляя в себе мучительный стыд, обнажилась; что брак — это побочное для нее обстоятельство, и она стала хоть любовницей; что мужу не как²⁷ женщина она нужна, но как женообразный друг, который сверх товарищеских разговоров иногда сумел бы насытить и его похоть — и она для разговоров пошла учиться, ломая свой ум, задерживая в себе инстинкты, и насыщала его похоть. Раба как никогда еще в истории, как никогда в ней — героиня, все *ему* отдавшая и в этой беззаветной отдаче *себя* только сохранившая, вот чем не под углом минутного зрения она была в вереницах минутных фактов, над которыми плакавшие не знали, что они оплакивают, надеявшиеся надеялись напрасно и смеявшиеся остались смешными.

Итак, разрывая недоразумения, откидывая фальшивые отрицания и презирая слепо произносимые утверждения, мы ясно и прямо говорим, что женщина не только любила и продолжает любить в то время, как думают о ней, что она все «составляет рефераты», но что именно это и было единственно истинным, существенным и ценным, что она тогда совершала; что это указано ей Богом, не может быть поставлено в вину человеком; и если великое таинство своей любви она, сжимаясь в сердце своем*, проходила как бы обычную, простую, кому-то нужную на время вещь — здесь есть великая вина и великий грех, не на ней лежащий.

Не на ней лежала обязанность и освятить таинство; храм был заперт, священник отсутствовал, стояла темь и холод, — и конечно не ее озябшие члены, усталые ноги, бесприютную голову мы будем осуждать, и если эти осуждения есть, мы в них не соучастники. Верно все так должно было совершиться; верно нужна была и эта слепота одних, и это страдание других, и даже то, что слепыми были наказаны страдающие. Как и всегда в истории, румки, которым дано было строить, мы видим, мысль же²⁸ строителя от нас скрыта.

Не было ли здесь, однако, предшествующей и свободной вины? Быть может, в тьме-сырости дожидавшиеся света и его не увидевшие, сами забыли о ком-то другом, кого оне оставили в такой же сырости и мгле? Горе, ими понесенное, быть может только перенесено в сердца их из других угнетенных душ, и оне ви-

* Никем и никогда не было доказано обратное.

новны в этом угнетении? Богу не угодно было освятить их любовь, потому что оне сами не сберегли, не укрыли от непогод, не согрели дыханием чью-то уже меркнущую, холодеющую, и все-таки более, чем их собственная, чистую и нежную²⁹ любовь, на них обращенную? И тогда в высшем историческом домостроительстве все понятно... Есть страдающие, и цепь страдания так однако сплетена, что самая попытка ее разорвать — кощунственна, напрасна.

II

Чуть-чуть пленка неблагоприятия, недостаточности * сказывается в серьезном и прекрасно выполненном труде Шахова, и тут сверх его 27 лет говорит о себе и чрезвычайная юность тех 60—70^x годов; о годы, о которых сказано так много 10

* Как и всегда почти в исторических суждениях, она сказывается в том, что мы назвали бы эгоизмом мысли и провинциализмом сердца. В бурные, исполненные веры в себя, годы, «самоубийство Вертера представляется ему, перед судом здравого смысла — безрассудством» (стр. 58); отчуждение его от практической деятельности имеет достаточное объяснение в том, что³⁰ трудно было ужиться в административных кружках Германии прошлого века,³¹ где³² он (Вертер)³³ не мог удовлетвориться скучной непроизводительной работой в канцеляриях и^{34, 35} скоро^{36, 37} должен был усмотреть всю несостоятельность бюрократического механизма,³⁸ непригодность сложного, замысловатого, проникнутого педантизмом делопроизводства XVIII^м века» (стр. 61); и, сверх этих недостаточных форм делопроизводства, его меланхолия, разрешившаяся самоубийством, имеет источник свой в том, что «ему недоступно было спокойное, трезвое 20 отношение к неизменным законам природы и к их необходимому течению, и он еще не мог покинуть старые идеальные представления о телеологии, о предусмотренной целесообразности³⁹ мира» (стр. 57), без которых он легко узнал бы «другую», открывшуюся в 70^z годы нашего века, «гармонию, другое спокойствие духа, не детское, не неразвитость людей» (стр. 60). Да и вообще так называемую «мировую скорбь», которою охвачены Вертер и Фауст,⁴⁰ мы застаем во всей силе и во всем ее⁴¹ величии в конце XVIII^м и начале XIX^м века, когда борьба между старыми упованиями и зародившимися новыми воззрениями достигла высшей степени ожесточения, когда оба начала старого и нового — метафизика и наука — вступили в последнюю решительную схватку, которая должна была закончиться победою одного из них» (стр. 55), и закончилась ею в трудах Конта, Милля, Спенсера. Аналогичны, и из того же источника идут, 30 ретроспективные взгляды, которые он бросает на Средние века, полемизируя против отношения Гёте к Гёцу фон-Берлихингену: «В 1873 году мы уже не можем восхищаться Гёцом» (стр. 49), юноши периода Sturm und Drang, и среди их Гёте, «находили в Гёце сильную *лигность*, которая шла в разрез с веком, но совершенно упустили из виду, что⁴² в сущности это было⁴³ лицо, служившее ультра-консервативным интересам своего времени» (стр. 45). «Гёц — настоящий средневековый рыцарь, который на весь мир смотрит с точки зрения удалых выходов, драк, схваток, вылазок, для которого фейда — частная вражда с соседями — его природная стихия, который свято хранит свое слово и ненавидит горожан — представителей нового общественного строя и новых понятий. Он хвастается в своем жизнеописании, что со своим единственным кулаком (другой у него был отрублен), он целых шестьдесят лет вел войны, драки и споры. 40 Вся его деятельность — лучше сказать, вся его беспокойная возня, — не принесла пользы ни ему, ни другим, и, несмотря на известную нравственную высоту его характера, на его феодальное благородство, он представляется для нас в XVI веке на стороне элементов, тормозя-

дурного, и этому перу, которому хочется сказать о них теперь хорошее, в свое время также пришлось прибавить к этому дурному каплю желчи. Но и в зрелости и в старости есть своя юность, как иногда в юности бывает своя старость. Годы без рассудка, годы, еще не предугадывавшие результатов, годы, все превратившие, были годами чудесной юности; в безумии твоём, в грехе, с бичом свистящим над спиной твоей — все-таки люблю тебя, моя юность, когда я ничего⁴⁴ не знал, на все дивился, и, дичась, смотрел на все с любопытством, и, следовательно, серьезно. Век все перепутавший, но в это перепутанное сохранивший веру, и, следовательно — правый, истинный, глубокий в главном. Как в самом деле ничтожны наши «истины» и «заблуждения»; как они переменчивы; что же в неизменном существе моем вечное и, следовательно, главное? Бог указал человеку не столько обладать истиною или заблуждаться, сколько и обладая первою, и впадая во второе, блюсти верным свое сердце. Это одно ему не забудется, и раньше или позже и им самим поймется как то, ради чего он послан и для чего испытывается на земле. И годы, которые мы так безжалостно хоронили под ругательствами, более, чем мы сами, были правы в этом главном; что до лепета их языка, до сплетения мыслей, что в том, что поднимая камень они бросали его к небу, если в игре их мускулов, в прекрасном напряжении сил бездна законов, небом предустановленных, сияла ярко, для всех выразительно,⁴⁵ и только от них самих, скорей всего бедных, скрытно. И игра прошла; небо все то же над нами, непобежденное, непобедимое, едва ли знающее, Кого мы только что думали побеждать; цепь холмов — и над ними на век умолкнувшие сердца, не вздымающиеся груди, не напрягающиеся мускулы. Как благодатно над ними небо, как оно ласкает своими лучами этот песок, точно усиливается проникнуть дальше и согреть, возбудить к жизни холодные трупы. Что мы со своим судом тут? Кого осудим, за Кого вступимся; лучше будем думать о том, чтобы самим, на краткий миг бытия, нам отведенного, быть правыми и не повторять заблуждений, не впасть в новые...

III

Следуя Тэну, Г. Брандесу и другим меньшим, которые каждое литературное явление стремились «рассматривать как факт, порожденный известными историческими условиями и как фактор, действующий на последующие исторические явления»*, наш покойный критик применяет этот метод и к Гёте**. Мы

ших развитие цивилизации. Это — личность, отжившая для своего времени, непонимающая его требований, — личность *ненужная* (кур. Ш-ва) и вместе с тем достойная сожаления, как и все последние могики (стр. 42—43). Так что увлечение Гёте нам представляется совершенно неосновательным.

* См. «Гёте и его время», стр. 40, и также всю первую лекцию «о задачах и методе истории литературы».

** Чуть-чуть, в отношении Гёте, это напоминает одного «предприимчивого издателя», который после чрезвычайного успеха на сцене «Гёца фон-Берлихингена» обратился к молодому поэту с просьбою написать еще штук 10 подобных же пьес, из рыцарских времен, и предлагал хороший за это гонорар. Процесс художественного созидания⁴⁶ этому книгопродавцу не представлялся иным, по иным законам и побуждениям совершающимся, чем как и школе новых критиков.

можем признать, что, следуя этому пути, он достаточно ясно указывает нам, как слагался *сюжет* данного произведения, откуда возникла его *тенденция*, и вообще ту всю сторону, которая не необходимо связана с именем Гёте и могла, наравне с ним, принадлежать и десятку других, ему одновременных поэтов, и отчасти действительно им принадлежала. Химия нервов и механика мускулов нам ясна. Но где же он, сам Гёте? откуда дивная мощь этих слов, которым и раньше мы внимали из тысяч уст и только от него, выслушав — встревожены, смущены, и даже не их смыслом точным, который и ранее, почти в тех же терминах, был нам известен, но чем-то неощутимым, непередаваемым, что с этим смыслом он соединил и перелил в наши души? Сомнения ума — это так древне, оскорбленное или не насыщенное сердце — так старо и постоянно; и сюжеты — мы знаем их тысячи и гораздо более занимательных; краски — зеленая, желтая, всякие, и кисти, которыми их распределил на полотне художник — все это взято из маленькой лавки, куда мы все ходили, где их видели и никогда не обращали на них внимания, зная, что *все* из этого может выйти, и ничего по необходимости, в них самих сколько-нибудь вложенной. *Он, его сердце, особый ритм* биения этого сердца, вот что есть источник всего, где тайна особенного сочетания этих красок, — и того, что пук сюжетов, лексикон слов, мера стиха сложились в то, над чем века размышляют, ради чего и его век, прошедший, скучный, мы в этих скучных его подробностях разбираем, чтобы как-нибудь разгадать то, чего разгадка там очевидно не содержится. Из каких глубин бытия этот ритм идет, когда о том,⁴⁷ кто был перед глазами нашими его минутным носителем, мы знаем, что он зачат, как и все мы, в грехе, рожден — в страдании, и от людей столь же обыкновенных или по крайней мере не ощущавших, не знавших в себе этого ритма? Но вот рожденный так, и не иначе живший — умер, связка костей его и мускулов одна лежит на наших руках⁴⁸, где же *он, куда* ушел, как и ранее — *откуда* между нами явился?⁴⁹ Какой модус разрушения, какой модус созидания мы для него придумаем? Мы слышали его, этот ритм, звуки слышанного рассеялись в воздухе, умерли в стихиях, но где же⁵⁰ смысл нами слышанного?⁵¹ Был ли он *образован*, как и⁵² эти струны, его выражавшие, *нагали* звучать? и теперь, когда оне не вибрируют более — что же, в них умер он, перестал быть? И что для смысла значит «перестать быть», — разве только превратиться в бессмыслицу, но и той все-таки нужно стертеться, и однако стертеться могут буквы и не то, что выражали оне собою, что их поставило в порядок и когда этого порядка и самых букв нет — остается, их не касаясь, не касаемое ими? Рожден — и в этом рождении все-таки не создан, умер — и в смерти еще не исчез, это человек, струна дрожащая для внимания нашего, слово выговариваемое, но и до выговаривания вечное в своем содержании, и после выговаривания в нем остающееся. И вот отчего в жизни, в истории нет повторений; эти вереницы букв,⁵³ каждая — только «комочек красной глины», собираются всякая в свой смысл; он сказал что-то на земле, Бог выслушал миг этого выговаривания, — и губы выговорившие поблекли, струна отзвучавшая порвана, нет глины, алфавит рассыпан, люди в слезах, в горести его провожают — *он* в Боге, в памяти природы, там откуда был принесен и⁵⁴ куда унесся, и даже в миг краткий своего⁵⁵ дрожания⁵⁶ не переставал быть там⁵⁷ главною своею частью.

IV

И нам понятно, что значение этих звуков не равно; что в их сплетении, которое слагает собою историю, есть слова промежуточные, поясняющие, продолжающие, подготавливающие — то, что есть главное, что в длинных веках произносится однажды и эти века собою осмысливает, неясную их речь заключает. Гений в трепете своих дарований, в сиянии лица своего перед историей есть слово с силою выговоренное, где страсть и мудрость неземного происхождения для этой земли раскрылась в неизреченной своей глубине. Тучи разогнаны, звезды свернулись к стороне, зияющая черная глубина небес, на миг разверзнувшись, скрылась снова до другого подобного мига, чтобы трепетные обитатели земли не совершенно о ней забыли. И вот отчего память небесного так⁵⁸ свежа у гения; так чужд он кощунства нашего; и наглость, шутка, смех, нам так обычные, заставляют его дико сторониться от себя. Задумчивый, серьезный, покорный чему-то, но никогда — своему капризу, ни воле людской, он проходит между людьми, несколько чуждый им и неизъяснимо для них дорогой. Как лелеют они его память; как дорог каждый оставленный им звук; сокровища поучения, мудрости, красоты текут от него, — и между тем, нет слова, которое он с усилием, придумывал бы, но всякое уже находил готовым, лишь брал в себе положенное. Руки дающей мы не видим; он сам благословляет ее, указывает нам ее благословлять. Будем покорны ему, и не станем искать в чаще, болоте, зеленых лужайках, где ноги наши царапались, тонули, иногда взгляд отдыхал, источников той высоты, какую открывают⁵⁹ его творения и мы как долго ни брели, как далеко ни разбредались — ее не видели, об ней не предугадывали⁶⁰.

V

Мы хотим говорить о «Фаусте», в котором как только он появился, люди почувствовали, что выражена некоторая тайна * им общего, их преходящего бытия. Сам Гёте, как много и прекрасно он их создавал, как бы лишь подготавливался в тех остальных трудах к этому одному; его оставлял, к нему возвращался; начал его в юности **, кончил старцем; и, следя за медленным его созиданием, мы видим как сцена за сценой, строка за строкой как бы вскрывались в нем, и все, что он, могучий и слабый, делал — это медленно вызревавшие строки скомпановывал, связывал:

* Между другими, интересен отзыв Мерка, одного из лучших друзей Гёте (особенностями характера своего и ума он дал ему некоторые черты для Мефистофеля), который отзывался о первых отрывках поэмы, что они⁶¹ «выкрадены у самой природы, вполне верны природе», — конечно, не ясным ее образам, какие мечутся нам в глаза и так разнообразны, но некоторой скрытой сущности вещей видимых, так мечущихся и для нас так часто непонятных.

** Первые сцены им были набросаны еще до 1774 г., когда он их читал Клопштоку (ум. Гёте в 1832 г.), т. е. приблизительно около того времени, когда он создавал⁶² «Гёца фон-Берлингена»; посвящение, оба пролога⁶³ и золотая свадьба Оберона и Титании — в 1794; эпизод о смерти Валентина оставлен⁶⁴ в 1800 г.; в Италии, в 1788, куда он взял с собою ветхую и пожелтевшую тетрадь «Фауста» — он присоединил к просмотренным им сценам одну новую — «Кухня ведьм». Первая печатная редакция «Фауста» (т. е. его первой части) появилась в 1808 году.

Опять вы, образы туманные, со мною —
 Встававшие давно пред взором молодым!
 Увлечься ли опять отважною мечтою,
 Отдаться ль вновь душой тем грёзам золотым?

говорит он в Посвящении, и почти пассивно — мы хотим сказать, почти как зритель перед толпою легких призраков — готовится рисовать те, какие выступят, и так, как, повинувшись закону собственного движения, они будут перед ним чередоваться:

Знакомой вы толпою
 Восстали, облаком объятые густым.
 Как в юности, опять мне что-то грудь волнует,
 Душа волшебное дыханье ваше чувствует.

10

Поэту остается только радость; радость видения того, чего видеть еще никому не дано, и чего вовсе он не есть — он это знает — творец, создатель. Его деятельная роль почти ограничивается тем, что параллельно с этими образами в нем встают воспоминания о себе, всегда так дорогие воспоминания о невозвращающемся прошлом:

Вы снова принесли с собой воспоминанья
 Веселых дней моих и милых теней рой;
 Как стародавнее, забытое сказанье,
 Вновь первая любовь вся стала предо мной...

20

И эта любовь, которой не удалось стать последнею, перестает быть «забытым сказаньем» и снова жжет стареющее сердце, но уже не огнем страсти, не пьянящими своими чарами, но горечью, и, без сомнения, не воспоминания о перенесенном — что легко, да и не помнится долго — но о⁶⁵ том, что было другому причинено и чего забвения окончательного Бог не дает, да и человек его не хочет:

Вновь оживает скорбь и прошлое страданье —
 Я вижу жизни бег неровный и живой.

Тут не стояло бы «скорбь», если бы там его страдание было⁶⁶ первым, — если бы оно⁶⁷ не было только горечью позднего⁶⁸ напоминания. Более легкие, шумные 30 воспоминания, раскидываясь в странах, вытесняют то первое:

Я вижу
 И образы друзей, беспечною толпою
 Отдавшихся судьбе, расставшихся со мною.
 О, вы, которым пел я прежде, вдохновенный,
 Друзья — теперь моя вам песня не слышна! —
 Наш дружеский кружок рассеян во вселенной, —
 А песня первая... забыта уж она.

И чувство одиночества включает этот рой воспоминаний, чувство отчуждения от тех новых людей, которые незнакомою толпою стоят вокруг, и так не хочется к ним обратить стих, так больно, что звуки, которые вот-вот польются, ими будут слушаться, цениться, и, пожалуй, кто-нибудь оскорбит поэта замечанием, что вот там или здесь его голос дрогнул не так, как ожидалось:

Неведомой толпе пою я гимн священный,
Чья самая хвала чужда мне и страшна.

И тотчас, как защита от этой новой и угрюмой действительности, волна звуков и образов встает в душе поэта и он ищет схорониться в них, как в недостижимом для мира убежище, истинном своем жилище:

И прежде во мне стремленье оживает
Умчаться в мир иной — и строгий, и немой;
И песня тихая не смело возникает
И стонет, и дрожит эоловой струной;
Священный ужас грудь суровую смягчает
И увлажняет взор смиряющей слезой —
И вновь действительность темнеет предо мною,
И снова я живу любимую мечтой.

Трогательно здесь это слово «не смело»: кого страшится он, — суда ли тех, «чья самая хвала чужда»? суда ли своего? Нет, и не его: притаившаяся в робком ожидании, душа поэта со страхом прислушивается к звукам, которые вот-вот начнут с нее срываться; это страх слушателя и вместе владельца инструмента, еще не знающего, что из него готовится извлечь чудный и истинный его обладатель. И вот откуда «священный ужас» в нем, сильном, — откуда «смиряющая слеза» в его гордых для мира, холодных и для друзей, глазах; элевзинские таинства творчества начались.

VI

Из двух прологов, которыми открывается «Фауст», первый⁶⁹ происходит на земле⁷⁰: это маленькая, полусерьезная, полусмешливая сцена в театре между его 30 содержанием, который просит поэта изготовить пьесу для представления, самим поэтом и комическим актером. Тема диалога этого позднее неоднократно повторялась, — у нас, между прочим, обоими великими поэтами*. Цель всего пролога — представить картину ожидания; нам хотелось бы сказать — картину ожидания землю небесного, образ той внешней оболочки, в которую поэтическое произведение, как только оно вышло из творческой души, облакаивается и живет в ней, — иногда к ней приспособляется. Вторую⁷¹ и меньшую цель** этого пролога составляет выражение соотношения между⁷² поэтом и теми требова-

* <Примечание Розанова осталось не заполненным>

** У Пушкина и Лермонтова эта цель поставлена впереди остального.

ниями, под давлением которых он трудится. Открывается пролог речью директора театра, который высказывает беспокойство за удачу своего предприятия:

...хорошо ли
 Пойдут дела теперь у нас?
 Хотел бы публике я сделать угождение:
 Нам средства к жизни публика дает.

Вот не столько точка зрения, с которой он видит предметы искусства, сколько нужда, под углом давления которой вынужден на них смотреть. И, однако, эта вынужденная точка зрения так давно в нем, так стала обычна,⁷³ что роль народного забавника ему нравится, он к ней привык, и, кто знает, быть может скучал бы уже всякою⁷⁴ другой, более серьезною⁷⁵:

Готово все для представленья
 И ждет уж праздника народ

— тут любовь к грубому, непонимающему народу; любовь к ремеслу своему, невысокому, но на привязанности к которому он и тысячная толпа сроднились, слились в бесчисленные минуты, когда его удачная выдумка и восторг тех, которые

Глядят во все глаза и жаждут удивляться,

сливались в громе криков и рукоплесканий, который, кто знает, не стоит ли иногда умиления и слез тихого, уединенного творчества. Во всяком случае в природе, в истории, которая так не выносит однообразия, одно оттеняется другим,²⁰ и как каждое порознь были бы утомительны, вместе — прекрасны. Нам представляется, поэтому, антихудожественными эти слова, вложенные в уста того же директора и обращенные им мысленно к толпе:

Прекрасного они, конечно, не поймут,
 Зато начитаны они до пресыщенья

— это не вытекает ни из характера его, как он уже обрисован, ни из его положения, ни вообще из какой-либо нужды; но в себе самом — очень умно. Это маленькая гримаса самого Гёте при мысли о тех угрюмых и незнакомых людях, чья «самая хвала ему страшна» и для кого, однако, он вынужден петь. В них нет сердца, нет ума — вот что пугает его всего более⁷⁶; и без этого, конечно, нет какой-либо чуткости, какого-либо понимания и только книжный вздор, которым они чванятся и который делает их еще глупее, чем как они были бы совершенно без него. Это — гримаса Фауста в сторону Вагнера.³⁰

Прерывая ее, прекрасно дорисовывают отношение директора к толпе эти живые образы, в которых⁷⁷ она ему рисуется, и где выгода, нажива припоминаются последними:

...Приятен вид толпы необозримой,
 Когда она вокруг театра наводнит

Всю площадь и бежит волной неудержимой,
И в двери тесные и рвется, и спешит.
Светило дня еще не встало от востока,
А уж толпа кишит, пустого места нет, —
Точь-в-точь голодные пред лавкой хлебопёка,
И шею все сломить готовы за билет

— это сама жизнь, быть может (и даже несомненно) глубокая и содержательная там, у себя, в каждом индивидуальном своем выражении, но не здесь, на площади, где покров серьёзности сброшен, пот отерт, нужда забыта до завтра и сегодня, в этот вечер веселое гоготанье перекачивается от края ее до края, поднимая всякое существо, еще за минуту хмурое и озабоченное, до уровня общего, всем нужного хоть на минуту веселья.

В него не входит поэт, он отделен от этой толпы, и, быть может, это хуже не столько для нее, как для него:

...верь, не осенит поэта вдохновенье
Пред пестрою толпой: она его гнетет.
Не увлекай меня в пустое треволненье,
Куда весь мир толпа могучая влечет;

говорит он, и указывает одно, что ему нужно:

20 Дай мысли воспарить в надзвездные селенья,
Где радость чистая поэзии цветет,
Где дружба и любовь божественной рукою
Все создают, к чему стремимся мы душою,

и тотчас объясняет, почему его пугает толпа, он боится спуститься к ней из тех уединенных и высоких сфер чистой радости:

Родится ль там, в душе, неясное творенье,
И выскажут его несмелые уста —
Мирская суета разрушит все в мгновенье,
Прекрасная ли тó, пустая ли мечта.

30 Таким образом — это страх неведения; отчуждение человека, который никогда не был толкнут судьбою в эту слишком шумную для его уха, слишком пёструю для его глаза, толпу. Тут немножко есть и односторонности Веймара, и исключительности «бурных гениев» периода Sturm und Drang, — что все отразилось темнотою к тому, что дюжая отдыхающая толпа вовсе не то же, что толпа высохших над книгами мужей, и что этой навсегда и в каких бы то ни было формах непонятно, может быть понятною лишь в формах несколько приспособленных. К кому же, как не к толпе этой, но только несознательно, обращены последние слова поэта:

Но пролетят года — другое поколение
Увидит, есть ли в нем святая красота.

Так гаснет всякое мишурное блистанье:
Прекрасное одно — потомства достойные!

Кто же это потомство? Та же толпа, в грехе зачатая, в страдании рожденная, усталая и только перенесенная из минутного «теперь» на горизонт будущего. Ей будет нравиться тоже, что теперь, быть может лучшее, но может быть и худшее. Струей свежести и реализма в эти исключительные мысли поэта врываются слова комического актера:

Что, если б для него, и потомства, в самом деле
И я бы перестал смешить честной народ?
Кто ж публику тогда, скажите, развлечет
Веселой шуткою — ей нужной, без сомненья?

10

И, не сводя поэта с высот, он указывает ему, что не следует и там забывать земного, особенных нужд его и потребностей:

...Вы можете заставить
Фантазию, любовь, рассудок, чувство, страсть
На сцену выступить; но не забудьте часть
И шаловливого ребячества прибавить.

Директор театра прибавляет к этому, чтобы поэт дал в пьесе побольше разнообразия, ввел в нее «приключенья», не гонясь особенно за ее «цельностью»: ведь всякий уносит из зрелища частицу только виденного, что или успел заметить, или что ответило на ту или иную тревогу его ума, сердца, житейского положения:

20

Кто много предложил — тот многим угождает,
И вот толпа идет довольная домой.

«Целое» хорошо в чтении, или когда на сцене оно проходит перед избранным многочисленным обществом, уже в себе носящим некоторое единство и цельность; но что значит оно для того, в ком этой цельности нет — для публики, пожалуй — для мира, прибавим — также для потомства: оно

его расщиплет по кускам.

И, понижая более и более требования, резче и резче указывая поэту границы действительности, к которой его звуки невольно обращены, он рисует толпу уже не как отдыхающую от труда, даже не как только непонимающую, но как такую, которая в высоких созданиях поэта не видит ничего, кроме средства, для нее изготовленного, насытить чем-нибудь животную свою науку, потребность не думать, не страдать, не чувствовать, и средство гораздо менее значущее, чем тысяча других;

30

Но я вас чем-нибудь обидел, может быть,
Что с вами?

спрашивает он, замечая в поэте перемену, и тот ему отвечает:

Иди, других ищи себе рабов:
 Мне высшие права природа уделила...
 Вот парки бледные движеньем равнодушным
 Свивают нить свою веретеном послушным,
 И все живущее несется и шумит —
 И бесконечный мир в хаос нестройный слит;
 Кто ж жизни выяснит неясное стремленье,
 Кто стройно выразит нестройной жизни ход,
 Хаос разрозненный к единству призывает
 И согласит в аккорд торжественного пенья?

10

Вот в чем его высокий дар: свести природу к высшему единству, прояснить то, что в жизни ползет, кроется, что в ней мощно и однако не замечаяемо; дар, им разделяемый только с высоким мыслителем, и их обоих роднящий. Прочее — утехы и меньшее, но он и это не забывает:

Кто возбуждает в вас кипучий пыл страстей,
 Кто светлый путь любви цветами усыпает
 И песнью сладостно звучащею своей
 Кто тихий блеск зари вечерней восхваляет?
 Кто цену придает незначущим листам,
 В прославленный венок вплетая листья эти.

20

Комический актер, вмешиваясь, указывает поэту, что этою мощью он и должен пользоваться, как почти ловелас «предлогом для похождения»; мешая истину с неистинной, серьёзное с шуткою, он предлагает поэту черпать содержание⁷⁸ для художественной обработки⁷⁹ из самой⁸⁰ жизни:⁸¹

Что вы опишите — то каждый зритель знал
 И сам испытывал, но редкий разбирал

и преимущество поэта над ним — только во внимании к этому испытываемому, в рефлексии, которою он сопровождает то, что обыкновенный человек переживает непосредственно. Это пережитое каждый собственно и замечает⁸² только в пьесе, ее остальные части лишь скользят по его душе, или он переиначивает их в своем уме, и в них находя отзвук или намеки на то, что одно ему понятно и его истинно занимает:

30

...в пьесе всяк всегда свое найдет:
 Увидит каждый том, что в сердце он несет.

Чуть-чуть, незначущим словом прошедшее в речи комического актера напоминание о действительности (в словах, нами не приведенных), о жизни людской, как она проходит не замечаемая самими действующими в ней лицами и могла бы послужить предметом изображения для поэта, — вызывает в ней почему-то

горькое воспоминание о времени, когда эту непосредственную жизнь он сам жил, и теперь может только ее «петь»:

Отдай же годы мне златые,
 Когда я сам вперед летел;
 Когда я песни молодые
 Еще свободной грудью пел!
 В тумане мир передо мною
 Скрывался, почки на цветах
 Шептали мне о чудесах;
 Я наслажденье пил душою
 Повсюду истины искал
 И ум мечтами усыплял.
 Отдай же мне мои стремленья,
 Блаженство скорби, мощь любви
 И мощной ненависти рвенья
 И годы юные мои.

10

В этом, так неожиданном, нас удивляющем восклицании, нам брежжет Фаустовская тема: порыв к возврату того, что не возвращается, сожаление о потерянном, и даже там и здесь предмет сожаления один и различно только то, что заместило зияющую пустоту, оставленную на своем месте потерянным. Комический актер насмешливо возражает, что юность нужна для юности, жизнь — для жизни,⁸³ и нет в ней необходимости ему,⁸⁴ которому остается эту жизнь, эту юность петь:

Стремиться к цели подставной —
 Для этого и старость не помеха.

В этом выражен его взгляд на песню в ее отношении к самому поющему, пожалуй на творчество в его разнообразных видах — к творцу. Как ни прекрасно и велико все это для созерцающего, с объективной точки зрения, и даже в истории вообще, — субъективно, внутренне это есть только «подставная цель», заменяющая действительную, настоящую цель всего живущего — выполнять закон самой жизни, осуществлять его в деятельности, а не в слове, не⁸⁵ в воображении, в образах реальных, а не мысленных только. Поэт, стремясь внутри⁸⁶ себя к этим «подставным целям», найдет всегда достаточно сочувствия в окружающих, и вот в чем для него утешение — в слиянии с окружающими на интересе не к действительному, истинному:

В ребячестве мы вас не можем упрекать:
 Нам детская самим нужна еще потеха,

как бы от лица слушателей, зрителей, толпы говорит поэту в заключение комический актер. Директор, вмешиваясь, прерывает рассуждения, и приглашает их приступить к делу; обращаясь к поэту, он говорит, что в его распоряжении — все средства:

40

Берите, сколько вам угодно,
 И декораций, и машин,
 Огней бенгальских, освещенья,
 Зверей и прочего творенья,
 Утесов, скал, огня, воды:
 Ни в чем не будет вам нужды.
 Весь мир на сцену поместите,
 Людей и тварей пышный ряд —
 И через землю с неба в ад
 Вы мерной поступью пройдите!

10

Так оканчивается «Пролог в театре», не очень значительный в своем содержании, ни совершенно незначительный. Это шутящая перед опущенным еще занавесом группа⁸⁷ людей, ожидающих его поднятия; предмет шуток, однако, имеет некоторое отношение к тому, что откроется сейчас за поднятым занавесом, и только форма их — легка, не серьезна; для полноты целого, однако, и эти шутки нужны, в нем они уместны; торжественным и серьезным мы обыкновенно кончаем, но редко начинаем с него. Не только в смысле отдельных моментов ведущегося разговора есть намеки на будущее содержание пьесы, но также и в отношении самих говорящих: поэт, к которому обращается директор и комический актер — это выразитель теоретического начала; директор, со своими нуждами, своей озабоченностью — представляет толпу, фон той собирательной, мозаичной действительности, на которой теоретическое начало развивается; комический актер* — высказывает насмешливое заключение над усилиями первого, над заботами второго. Когда занавес будет поднят, мы увидим представителей всех этих трех начал в более определенных образах и с именами, которые так памяты для нас. Там они символизированы, выражены резко, индивидуализировались,⁸⁸ здесь проходят⁸⁹ пока неясною тенью, не обращающего на себя внимания, скоро забываемого.

20

VII

30 Если первый пролог как бы символизирует перед нами толпу, ожидающую перед занавесом минуты, когда он поднимется, землю, которая созерцает то, что на ней происходит, то второй — «Пролог на небесах» показывает, где зарождается это происходящее, вскрывает семя, из которого вырастает колос, в котором мы все — кто стебель, кто лист, кто корень, кто имеющее сгнить или принести новый плод зерно. Существенное, что совершается перед нашими глазами, что носит закон в себе, что служит сердцевиною действительности — не в мимоидущих явлениях самой действительности имеет свою причину и объяснение, но в силах темных, скрытых, которые времена более верующие, нежели наше, относили к небу.

40

* Кстати, в «Фаусте» говорящее лицо названо просто «комик»; по отношению к тем, с кем он говорит,⁹⁰ точному смыслу своих речей и месту, где происходит разговор, это конечно «актер» комический; по духу его речей и соответственно общему смыслу «Пролога» название просто «комик» —⁹¹ значительнее.

Нет сомнения, что мысль этого пролога была внушена Гёте книгою Иова: «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и Сатана. И сказал Господь Сатане: откуда ты пришел? И отвечал Сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь Сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего, Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности; а ты возбуждал меня против него безвинно. И отвечал Сатана Господу и сказал: кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него; но простри руку Твою и коснись кости его и плоти его, — благословит ли он Тебя? И сказал Господь Сатане: вот, он в руке твоей, только душу его сбереги. И отошел Сатана от лица Господня...».

Это прекрасно как истина, совершенно как действительность, с верою написанная рукою того *, кто действительность эту пережил в мучении костей своих, или созерцал ее, или так глубоко понял, как не дано уже понять, или созерцая почувствовать человеку нового времени. Пролог на небесах Гёте слаб: это слова неверующего о предметах веры, астрономически точные описания вселенной в устах трех, ее созерцающих и о ней говорящих ангелов, догадка благородная и бледная поэтического ума о том, чего он не знает, и этой догадке едва имеет силы дать форму холодной аллегории.

Звуча в гармонии вселенной
И в хоре сфер гремя, как гром,
Златое солнце неизменно
Течет предписанным путем...

20

— это взгляд на небо с земли, и даже еще до Коперника, когда солнце было так велико и звезды были так малы; только в словах Гавриила (приведенные слова произносит Рафаил) мы переступаем за XVI век:

И с непонятной быстротою,
Кружась, несется шар земной;
Проходят быстрой чередою
Сиянье дня и мрак ночной...
И в беге сфер земля и море
Проходят вечно предо мной.

30

С тех пор, как теллурии стали так распространены и земля, «с непонятною быстротой кружащаяся», нам представляется только очень большим теллурием, сделанным самою природой — эти представления утомительны и мы теперь не сумели бы их вложить в стихи; в ту пору, когда они писались, все это было несколько более ново и неожиданно, и вот отчего в поэтическом изображении ангелы так заняты этими, для них, без сомнениями, и не новыми, и не любопытными открытиями. Как бы суммируя эти представления и отчасти⁹² вводя в них мысль, арх. Михаил произносит:

40

* Книга Иова не принадлежит к числу канонических у еврейского народа; местом ее происхождения ученые считают северную Аравию.

...грозной цепью сил природы
Весь мир таинственно объят.

и только в последних его словах о природе, что сквозь борьбу, антагонизм ее сил Творец сияет

Вечным светом примиренья,

выводит нас из представлений, излишне привычных и для земли.⁹³ Как это все искусственно и не нужно перед простыми словами книги Иова: «*Был день*⁹⁴, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа...». *Где предстать, куда пришли* — какой праздный вопрос, нужный тому только, кто не видит, *для чего* они предста-
10 ли, что им было *сказано* и что *услышано*. Это бедный арийский ум вечно любопытствует, где и в какое время происходило действие; не слыша, что говорят уста, по крайней мере хочет разглядеть ковер, который был под ногами говорящего. Ну, вот мы знаем, что это был

Звуча в гармонии вселенной
И в хоре сфер гремя, как гром...

и что из этого, зачем? Узнав это⁹⁵, мы все равно ничего еще не знаем, и как скоро⁹⁶ приобрели это знание, хотели бы также скоро и⁹⁷ забыть его.

Впрочем, переданные гимны служат только маленьким прологом; они умолкли, и мы слышим голос Мефистофеля*:

20 Мне нечего сказать о солнцах и мирах:
Я вижу лишь одни мученья человека.
Смешной божок земли — всегда, во всех веках
Чудак такой же он как был с начала века.

Это более привлекает наше внимание, чем смена дня ночью, обращение земли около солнца и тысяча механизмов, которые сколько бы мы их ни видели и как хитро бы они ни были устроены, не скажут нам ничего нового после того, что мы знаем в простом давлении руки на предмет, который лежит под нею. Обращаясь к Богу, он продолжает о человеке:

30 Когда бы Ты его не вздумал одарить
Хваленой «искрою святого разуменья»
Он лучше б жил стократ, без всякого сомненья

Он сравнивает его с насекомым, которое различными, ему данными, способами движется в траве,

И пусть еще в траве сидел бы он уютно,
Так нет же: прямо в грязь он лезет поминутно.

* Вероятно, искажение греческого слова Μηφοτοφίλης = враг света, его отрицание, естественное имя для сатаны как борца с Богом, источником всего светлого⁹⁸ в мироздании.

Выше, в неприведенных словах, он говорит, что именно «святое-то разумение» и служит источником этого, так как чаще всего им человек пользуется для того только, чтобы пасть ниже всякого животного. Итак, в словах грубоватых и вульгарных — вот точка зрения на человека, которым Бог завершил свое творение; и Сотворивший его защищает:

И вечно жалоба одна, —
Ужели так земля дурна?

Сатана вновь ограничивает вопрос, как раньше не отвергая гимны ангелов, он отстранил их тему и взял другую; он вновь говорит:

Бедняга-человек! Он жалок так в страданы,
Что мучить бедняка и я не в состояньи.

10

От общего полуспор, полувопрос, чтобы как-нибудь разрешиться, сосредотачивается на конкретном:

Ты знаешь Фауста? *

спрашивает сатану Господь

— Он доктор?

переспрашивает тот.

— Он мой раб

— вот исходное Божие определение; не тварь, механически послушная законам, при творении в нее вложенным, не вещь созданная, но лицо, послушное закону Благого. Ибо в некотором смысле — и здесь очевидно этот смысл имеется в виду — быть рабом значит достичь труднее, и освободиться от себя самого, от нагара и мути страстей своих, и, как бы отсека зараженные члены, с которыми мы уже рождаемся — сердцевину существа своего покорить тому, что с любовью, сознательно всякий человек должен понять как высший для себя закон нравственного смысла. Раб Божий — свободный гражданин мира или, в его частях, над ним владыка; как борец Бога почти всегда значит раб мира и в то же время его боязливый расхититель. Итак, не только не отрекаясь, — о том, кого имя пока только мы узнаем, Бог говорит, что вот создание, на коем почил его печать и избрание.

20

Да, только служит он совсем не как другие

30

возражает Мефистофель, и здесь кладется грань различия на том, что обычно зовется именем «раб Божий», и тем, к кому сейчас это имя приложено;

* Вероятно от латинского прилагательного faustus = блаженный, и это не без связи со словами Бога, которые сейчас будут высказаны нам: «он мой раб».

Невеселы ему все радости земные
.....
Всегда куда-то вдаль стремится,
Всегда в желанья погружен, —
То с неба звезд желает он,
То хочет высшим счастьем насладиться...

— вот это эта грань различия: там — покорность, на которой легла печать мира, здесь — также покорность велению Божию, которая однако выражается в вечном стремлении. Нам однако понятно, что в отношении к Воле выполняемой
10 между этим и тем нет противоречия: ибо та же рука, которая удерживает камень, может и бросить его, и как покоящийся, так и летящий он одинаково ей покорен.

Всегда куда-то вдаль стремится,
Всегда в желанья погружен

— вот что закон этой природы, которая Богом указывается как Ему покорная, и сатана будет ее у Него оспаривать: это закон всего возрастающего, в отличие от
20 возросшего, пришедшего в полноту своих форм и содержания; перед нами не колос с вызревшими, налившимися зернами, но юный зеленеющий побег, быть может только выглянувший из земли росток, может быть даже уже приготовивший метелку, но во всяком случае еще не опыленный благодатною рождающею пылью; не окончательное, но то, что имеет в себе жажду окончательного, и, следовательно, некоторое смутное знание о нем. Без сомнения, к сущности этого знания относится ответ, который слышит Мефистофель:

Пока еще умом во мраке он блуждает,
Но истины лучом он будет озарен.

Мефистофель выражает уверенность, что, напротив, несмотря на играющий впереди луч, готовый осветить этот ум, несмотря на предчувствие этого луча в уме самого ищущего, если последнему будет сохранена свобода и право соблазна
будет дано ему, Мефистофелю, —

он будет мой

30 — заключает злой дух.

Кто ищет истины — не чужд и заблужденья.
Тебе позволено: иди
И завладей его душою,
И, если сможешь, поведи
Путем превратным за собою

говорит Господь, и как основание этого дозволения, указывает Мефистофелю:

Знай: чистая душа в своем исканьи смутном
Сознаньем истины полна!

То, что сквозь листву и звенья стебля пробивается в растущем — есть зерно, и оно сообщает значительность⁹⁹ этим ненужным листьям, этой пустой соломе;

Сознанием слабым и минутным

— ограничивает Мефистофель: листва есть только листва, стебель — былинка, которую стоит вырвать и сжечь, не дожидаясь сомнительного зерна.

Таковы два противоположные взгляда на человека, на его усилия в истории, которыми заканчивается смысл второго пролога — «на небесах».

Его сравнительная слабость, как мы уже указали, вытекает из недействительности того чувства, которое его подсказало; это даже менее, чем только поэтическая догадка, — это просто смутное движение руки, рисующей куда-нибудь, так как решительно она не хочет, не¹⁰⁰ чувствует возможным ограничиться зем-¹⁰лею. Кто знает, в иных мирах не определено ли то, что совершается в нашем: ведь так таинственно, неясно, неразрешимо,¹⁰¹ что здесь, у наших ног, перед нашим взором проходит. И почему мы будем отвергать, что нечто не аналогичное нашему уму, нашей совести живет и действует там, в тех темных «горних» мирах? По крайней мере, эти антропоморфические представления не невозможны на мину-¹⁰ту; и «великий язычник» <*> к ним нисходит; он несколько пошатывается на этой, для него чужой, земле; христианин в нем не ясен, немогуч; аллегорический его лепет нас почти оскорбляет. Что там, в этих «горних» мирах — не ясно также и для нас, но мы страшимся сюда смотреть и, однако, уверены, что когда вечный покой смежит наши глаза — увидим, «узрим» совсем иное, нежели что²⁰ предполагали, о чем едва смели догадываться здесь.

Есть, однако, во втором прологе и серьезная сторона: это — самая мысль Гёте *написать* его, и то, что, задумав это, он вспомнил книгу Иова. Что-то аналогичное тому, что содержится там, он чувствовал — содержится и в его поэме-драме. Там, в книге Иова, поставлен вопрос о страдании человека на земле; здесь какой-то другой, но столь же близкий человеку и, вместе,¹⁰⁴ касающийся того, что так же, как страдание, неотделимо от его существа¹⁰⁵. Мы имеем перед собою великое создание; и тот, кто оставил нам его, чувствовал, что оно таково именно и во втором прологе высказал, как мало стесняется этого чувства. Что решит человек,³⁰ что будут думать вереницы сменяющихся¹⁰⁶ поколений обо всех этих сценах и монологах, которые мы сейчас увидим — это для творца их не было так существенно; но что эти поколения будут их изучать, о них размышлять, из них поучаться, как поучаются из священных книг — это он знал. И более, чем земная временная слава, ему было дорого то, что высшие небесные вдохновения посетили его и ему дано было сказать людям то, что они истинно должны выслушать, понять, запомнить.

<*> <Это примечание не имеет у Розанова отсылки к тексту. Его связь с текстом установлена по смыслу>: Так называли Гёте, и не за одно его великое преклонение пред классическим миром; вспомним, что оба пролога написаны были им уже *после*¹⁰² выполнения главнейших частей пьесы (в 1799 г.)¹⁰³, как бы окончательный собственный на нее взгляд.⁴⁰

VIII

Еще в юношеские годы свои, вращаясь в Страсбурге среди «диких гениев», Гёте вызвал следующее замечание в наблюдательном своем друге Мерке: «В то время как другие стремятся в действительности осуществлять поэтические мечтания и из этого выходит вздор, — твое призвание *самой действительности* дать поэтические образы». Склонность к реальному, вечная занятость мысли тем, что происходит перед глазами, эта черта истинного мыслителя удивительно сочеталась в Гёте с даром — возводить мириады приходящих перед глазами случаев к их общему смыслу, к единству общего их связывающего закона, наконец — к символу, через который закон, не формулируясь ясно, указывается каким-то боковым движением, неясным намеком¹⁰⁷. И это лучше приближает нас к истине: формула бедна и груба, она обрывает с действительности ее цвет, отнимает аромат; и, по крайней мере когда дело идет о жизни, подносит к нашим глазам труп и говорит: «Осязай в нем жизнь». Символ дает нам только *догадываться* о том, о чем ясно сказать не только не может, но и не хочет, дорожа целостностью и неразрушимостью истины; он говорит — «подумай», и перед глазами нашими проводит ряд знаков, фигур, аллегорий, взглянув на которые мы каким-то неясным путем начинаем познавать то, что раньше проходило перед нами не возбуждая о себе никакой мысли или возбуждая несущественные и побочные. До известной степени, мы можем сказать, что он относится к другим способам научения: описанию, объяснению, науке — так же, как выражение лица у говорящего относится¹⁰⁸ к смыслу пространной речи, которую он говорит: оно¹⁰⁹ полнее и непосредственнее передает нам то, что силится сказать язык в правильно составленных предложениях.

И вот, нам брежжется, соединение подобных символических знаков представляет собою то, что мы зовем «Фаустом». В ряде слабо связанных между собою сцен, которые так медленно вызревали в душе поэта, в монологах, которые выливались¹¹⁰ у него почти произвольно, мы имеем несколько как бы собранных в пук линий, несвязанных, разрозненных, часто очень бледных, иногда непонятных в отдельности, но которые в том именно сочетании, в каком их дал поэт — раскрывают перед нами вечное чело природы. «Это выкрадено у самой природы» — воскликнул Мерке, выслушав первые сцены «Фауста»; «то, что вами уже выполнено в вашей пьесе», писал Шиллер в 1797 г. к Гёте, «в высокой степени исполнено символического смысла».

Особенная задушевность и глубина чувства, которая¹¹¹ нам слышится в «Фаусте», происходит оттого, что все, в нем изображенное, есть только отраженная действительность; история, в которой народы почувствовали, что здесь выражена некоторая тайна их общего бытия, была вместе личною историей ее творца. Гёте сам, в разные возрасты своей души, в том не повторяющемся никогда еще сочетании даров, какими его наделила природа, и, наконец, в сочетании личных своих особенностей с обстоятельствами историческими — есть удивительнейший живой символ, через который темные силы земли и горние силы света показали человеку как бы в отражении, кто он есть, к чему стремится и на что обречен. Родившись в момент великого перелома в понимании человеком задач его ума, он одинаково усвоил точки зрения как ранее господствовавшие — что этому уму может быть все доступно (догматическая философия), так и позднее от-

крывшуюся — что лишь немного, краевое, поверхностное в природе познает человек (критическая философия); будучи так умственно одарен, что сам сделал замечательные открытия в¹¹² естествознании, он вместе всякий даже мимолетный шаг свой в действительности, каждую мелькнувшую перед его взором черту жизни или картину природы — поэтизировал, и притом не закрепляя ее краски, но отвлекая ее смысл («Горние вершины» — как поэтизация и отвлечение минутного¹¹³ зрелища природы); и, наконец, стоит неустанно преданный теоретической работе, умственной или поэтической, он и в не меньшей степени был предан утехам земли, находя в любви радостей столько же, как и всякий юноша. Ничему, таким образом, безраздельно он не был отдан; вкусил все сладкое земли; весь труд ее познал; и также отведал всю ее горечь. Уже на склоне дней своих, так продолжительных, так по-видимому безмятежных, Гёте сказал однажды: я едва могу насчитать несколько часов в моей жизни, в течение которых был действительно счастлив.

IX

Ночь, по-видимому, развязывает темные стихии земли, и все, что в самом человеке есть стихийно неудержимого, неправильного, болезненного — смиряясь, гармонизируя под действием лучей нам непонятного дневного светила, с его заходом получает снова свою силу и овладевает нами. Смерть наступает для человека и преступление влечет его к себе — в ночи; напротив, рождается он, как и проясняется в желаниях, когда темнота ночи побеждается естественным светом дня. Свет солнца есть не только свет для наших глаз, но и некоторая отрада для души, ее облегчение, умиротворение; и его не видя более, не видя на краткие часы, она поддается скорбям, в ней таящимся, как бы ослабевая в собственных силах.

В эти недобрые для человека часы, в старинной готической комнате, со стрельчатыми окнами и узкими цветными стеклами в переплете рам, ее добровольный узник, Фауст, оценивает тщету своего ученичества, много лет назад избранного ради возможных великих плодов его для духа. Эта комната, столько лет бывшая для него семьею, отечеством, религией — она не возбуждает в нем к себе ничего, кроме вражды. Обращаясь к месяцу, светящему в окно, он говорит:

Не мало трудовых ночей
В печальной комнате моей
Над грудой книг, жрецу наук —
Ты мне сиял.

И, озираясь на¹¹⁴ собранные в ней сокровища ума, продолжает:

Здесь солнца луч в цветном окне
Едва-едва мелькает мне;
На полках книги по стенам —
До сводов комнаты моей
Оне лежат и здесь и там —
Добыча пыли, снесь червей;

Реторт и банок целый ряд
 В пыли с приборами стоят
 На ветхих полках много лет...

И, обратясь к себе с полуукором, полусожалением, заключает:

И вот — твой мир...

Почему же эта внешность, эти подробности, эта скорлупа наружная своего бытия в нем возбуждает отвращение? Потому что самое бытие было обманом, и прежде всего — в избранной цели, в долго лелеянных надеждах:

10 Я философию постиг,
 Я стал юристом, стал врачом...
 Увы, с усердьем и трудом
 И в богословье я проник, —
 И не умней я под конец,
 Чем прежде.

Лишь наружная, блестящая сторона знания, ради которой, впрочем, так часто и избирается она людьми, далась ему, — свобода от связывающих человека предрассудков, авторитет в глазах людской толпы; и не далось глубокое, *положительное* в нем:

20 И вижу все ж, что не дано нам знанья.
 Изныла грудь от жгучего страданья.

Вот центр бытия его в течение долгих лет, вот¹¹⁵ цель¹¹⁶ самозаключения среди этих умственных сокровищ веков и ради собственных изысканий. Почему, однако, то знание, каким *уже* владеет он, им не ощущается как достаточное? Есть множество людей, удовлетворенных и гораздо меньшим знанием; удовлетворяющихся вообще теми сведениями о мире, какие достигаются человеком при условиях данного ему склада ума и некоторого трудолюбия. Ниже сам Гёте покажет нам фигуру Вагнера, который этим знанием довольствуется; и проф. Шахов, в своем толковании на приведенные монологи Фауста, также находит, что доступное человеку знание есть знание вполне для него достаточное. Он говорит:
 30 «Фауст задает науке ложные требования. Область научного исследования — мир условного, относительного: явления, как предметы опыта и наблюдения. Но до точных научных воззрений, которые ограничивают круг наших воззрений, Фауст еще не доработался» (стр. 154—155). Таким образом Вагнеровский взгляд *,

* По-видимому, проф. Шахов держится позитивистического взгляда на науку, как это можно видеть из следующих его слов: «Я напомним вам различие между этими тремя ступенями мировоззрения: первобытное, эпическое, религиозно-наивное опирается исключительно на веру и отрицает науку; срединное, метафизическое старается мирить веру со знанием, путает вопросы научные с религиозными, к науке относится с точки зрения религии, а самой религии предлагает научные вопросы; наконец, третье, научное мировоззрение опирается на исследова-

который в эпоху Гёте еще смотрел на Фауста снизу вверх, век спустя уже смотрит на него сверху вниз; он его успокаивает, он его силится умиротворить, он его мирит с действительностью его знаний; и, между тем, прав именно Фауст в своей непримиренности.

В сущности то знание, каким довольствуется Вагнер и которое насыщает Шахова, вовсе не ищется человеком ради себя самого, но находится им побочно, на пути к истинному и глубокому знанию, по котором томится Фауст. Для этих умственных безделушек, ради «явлений, как предметов опыта и наблюдений», без мысли о том, что *за ними* важное и новое можно найти, человек не сделал бы никакого усилия, никакого трудного для себя шага; мы можем порицать это; это и вообще горько для человека; но мы не можем от этого освободиться, и, наконец, признаем, что от этого тягостного нам не следует освобождаться¹⁷. И, в самом деле, с точки зрения этой удовлетворенности обладаемыми знаниями, вынем мысленно фигуру Фауста из создания Гёте и пусть в его поэме господствующее положение займет Вагнер — что получится? Была ли бы, при условии подобной перемены, эта поэма столь же священна — дорога человеку¹⁸, как теперь? И если, мы неудержимо чувствуем, что она выражала бы только смешное и поверхностное в человеке и человечеству была бы не нужна, почти постыдна и унижительна для него, как можем мы из самой истории человечества, этой живой, развивающейся и незаконченной еще поэмы вынуть мощное фаустовское трепетание и оставить его при одном вагнеровском самодовольстве?

Но что значит, вообще, искать и не находить? Откуда искание, если нахождение невозможно? И как возможно не нахождение, раз дано искание? Что это за странное соотношение между разумом и истиною, завязавшееся в узел около человека, которого развязать или даже очень значительно ослабить он не может. Разум этот сам, и вся бессмертная душа человека, образует одну из линий творческого плана мироздания и фаустовское трепетание присуще ей именно настолько, насколько в ней живо и глубоко ощущение принадлежности своей к этому плану; а не ощущая его, она лишена и этого трепетания и познавая поверхностное — чувствует себя довольною. Но и трепеща, усиливаясь глубоко постигнуть — его не постигает никакая душа, ибо это значило бы для нее перестать быть частью и сделаться целым. Мир можно сравнить со сложною геометрическою фигурою, где люди как Вагнер суть элементы элемента, точки в линии, которые естественно ощущая в себе эту только линию, или плоскость, в которой лежит она, остаются темны в целой фигуре и даже отвергают самое ее существование, для них не видное; напротив, умы как Фауст суть элементы уже самой фигуры, углы, пересечения линий, градусы их наклона, и, будучи очень бедны в себе, однако включают в себя каким-то отраженным, боковым, неясным образом по крайней мере очень многие, если не все, части цельной фигуры; их вся жизнь становится отгадыванием этой фигуры; и поэтому-то отгадывают они ее глубже и глубже в себя

ние и редко отделяет область, подлежащую научному ведению, от сферы религиозной; оно не пугает вопросы друг другу чуждые и потому строго разграничивает предметы науки от предметов религии; за собою оно вполне удерживает исследование мира явлений, решение задач относительных, и в эту область не допускает постороннего вмешательства; религии оно предоставляет ведать абсолютное и сверхъестественное, и в свою очередь не заходит в эту сферу. Фауст стоит на почве срединной, метафизической». Стр. 155.

всматриваясь, тогда как Вагнеры, ничего в себе не находя, естественно и охотно разбрасываются взглядом по сторонам, находя все любопытным и ничего — любопытным *огень*.¹¹⁹ Но и Фаусты *многое* только могут разгадать; смотря по ценности, значительности их положения в фигуре, из них одни отгадывают больше, другие меньше. И именно те, которые отгадывают больше, они же и дальше всего проникают в бесконечность фигуры, глубже знают о ее чрезвычайной сложности, и смирение, самоограничение, некоторая грусть, которой они преодолеть не могут, сильнее, чем другими людьми, овладевает ими.

X

¹⁰ Этот необъяснимый трепет познания, который толкает человека неудержимо и в стороны, куда он за минуты не думал вовсе двигаться, ярко выражен не в приведенных выше¹²⁰ монологах, а в словах, которые вырываются у Фауста, когда, раскрыв книгу Ностродама, он увидел в ней изображение Макрокосма:

О, чудный вид, невыразимый вид!
 Чтò сделалось с усталою душою?
 Младая вновь по жилам кровь бежит
 И льется огненной струею!

²⁰ Начертан этот знак не Бога ли рукой?
 Он душу пылкую смиряет,
 Он сердце радостью небесной озаряет,
 Он силы тайные природы раскрывает
 С чудесной силой предо мной.

Как далеко, мы видим, бежит его мысль от тех знаков, которые непосредственно перед ней открыты; какие странные, неосязаемые нити, точно нити невидимой паутины, соединяют отражения *здесь* и *теперь*, которые она воспринимает, с *там* и *гранями* самых времен, где она носится, почти забыв про это *теперь* и *здесь*. И тотчас счастье, это особенное счастье познания, не лучшее всего в мире, но от всего в мире отличное, которое знает тот только, кто важное и новое впервые постигал, наполняет его душу:

³⁰ Я бог: мне так светло, в лучах я утопаю,
 О, дивный вид! о, чудный вид!
 В тебе передо мной природа вся лежит.

И порыв вперед, стыд за малодушие перед знанием, за уныние об его недостаточности уже играет на его щеках и срывается с губ:

Теперь твое, мудрец, я слово понимаю:
 В мире духов нам доступен путь,
 Но ум твой спит, изнемогая;
 Вперед! Восстань от сна, купая
 В лучах зари земную грудь!

И размышление в том самом смысле, как объяснили мы его выше, говоря о глубоком познании, уже овладевает им:

Как в целом части все, послушною толпою
Сливаясь здесь, творят, живут одна другою!
Как силы горние в сосудах золотых
Разносят всюду жизнь божественной рукою
И чудным взмахом крыл лазоревых своих
Витают над землей и в высоте небесной —
И стройно все звучит в гармонии чудесной!
О, чудный, дивный вид!

10

И тотчас, вслед за радостью первого движения, скорбь о недостаточности¹²¹ его уже набегает на душу:

Но только *вид* — увы!
Увы, мне не обнять природы необъятной!

Сам полный трепетания жизненных сил, сам ощущающий творческие порывы, он и во вселенной их чувствует под внешним механизмом явлений и, однако, сколько-нибудь заглянуть в их глубину ему не дано; ни даже ощутить их сколько-нибудь отчетливо:

И где же вы, сосцы природы дивной — вы,
Дарующие жизнь струею благодатной,
Которыми живет и небо, и земля,
К которым рвется так больная грудь моя?
О, Боже мой, зачем напрасно жаждал я!

20

Доступно — только доступное и оно как бы ценно ни было в подробностях, сколько бы удовольствия ни доставляло в своем процессе, какими бы молниевыми радостями ни пробегало по душе, оставляет на дне ее сперва неопределенное чувство какого-то томления, позднее — смущение, тревогу, и, наконец — сознательный вопрос: «Что именно отдало бы за это, ценою чего куплено познание?»

XI

Но почему «отдано»? что за вопрос о «цене», «промене»? И не естественнее ли думать, что познание приобретено в дополнение к чему-то, прежде бывшему, что¹²² как некоторое богатство, присоединяемое к первоначальному достатку¹²³, оно его увеличивает и нисколько не разрушает? Шахов предполагает, что тут «промен» есть и он заключается в разрушении религиозной веры знанием; он говорит (стр. 164) о «столкновении критики с традицией», о том, что «анализ подрывает в Фаусте цельность предания» и это подорванное есть то, о чем он сожалеет. Так и тысячи людей думают, видя тревоги знающей души — но это недостаточно.

Ведь унесен анализом *призрака*? то, *зего не было*? Ведь знание, что «сумма углов в треугольнике равна двум прямым», вовсе не вызывает в нас сожаления о прежнем предположении, что «эта сумма равна чему-то, быть может большему, быть может меньшему, чем два прямые угла и ни в каком случае не столь точной величине»? Какая может быть жалость о ложном знании, когда сущность ложности и состоит в пустоте от какой-нибудь действительности, к которой сожаление могло бы относиться? Мы хотим сказать: насколько человек знает *твердо* — он не имеет вовсе объекта для сожаления, и насколько он колеблется — им этот объект не утерян. Нет вовсе, при всех степенях и формах знания, чем-то упавшего к ногам человека и разбившегося; и иллюзия об этом «разбитом через знание» есть иллюзия умов, которые не только никогда не «знали» ничего, но и не теряли во что-нибудь веры, но были обычно свободны и от одного, и от другого. И, наконец, возвращаясь к Фаусту, мы не должны терять из виду документального факта, что им вера религиозная вовсе не утрачена — иначе как в подробностях, в конкретности некоторых своих представлений.

Итак, от категорий веры и знания, никогда не сталкивающихся «при анализе» в объектах своих, мы должны отойти дальше, спуститься в глубь человека, где видим неясные его силы, еще не оформленные, еще не приложенные к чему-нибудь и равно готовые приложиться к Богу ли в молитве, к миру ли через познание. Человек есть некоторая потенция; он есть исполненная внутреннего напряжения энергия, и его жизнь от дня рождения и до того дня, как он будет опущен в землю, есть только нахождение форм, в которых эта энергия могла бы вылиться¹²⁴. В запасе этой энергии не все люди равны; но всякий человек, получив его с рождением, во всей последующей своей деятельности ее только распределяет, пожалуй — изошряет, уродует, но никогда не увеличивает, не уменьшает. Внешние объекты, останавливающие на себе внимание человека или вызывающие его на борьбу с собою, именно создают форму для проявления энергии, и будет ли книга или меч первым, к чему потянется или будет толкнута его рука, от этого зависит, воин ли великий или замечательный мыслитель выйдет из этого золотокудрого мальчика, который пока невинно играет перед нами. Но закон в том, что воин¹²⁵ не углубится более, забывая про целый мир, в книгу; ни мыслитель не станет так свободно и охотно играть¹²⁶ мечем, и, позднее, при его помощи, играть и людьми, иногда — целым миром. Выбор формы деятельности принадлежит человеку, часто принадлежит обстоятельствам его жизни, иногда — мимолетному случаю; но что не принадлежит ни ему, ни обстоятельствам — это вторичное приложение уже раз потраченной энергии, ее восстановление в себе, какая бы то ни была поправка в ее распределении. Выбор — только однажды делается; и кто однажды остановил этот выбор на фаустовском искании, у того не вырвется песенка Гретхен.

Таким образом не в результате своем, не в конечном плоде, но именно в корне, в основании своем может произойти если и не «столкновение» чего-то с чем-то, о чем говорят историки и критики, но *разделение*. Мысль, так энергично выразившаяся в Фаусте, так широко разбросавшаяся по предметам мира этого и того, наконец — им так взлелеянная, им так ценимая до сих пор, могла как бы опустошить его существо для всего другого, и среди этого другого — также для веры. Не в ее объекте он сомневается; ибо, сомневаясь, уже знал бы, что этого объекта нет, и также мало мог бы сожалеть об этом сомнении, как о разжатию руки, кото-

рая ничего не держала. Он слабо видит этот объект; он глух, нем стал — для Бога ли, в которого вера сохранена, для мира ли, единственное отношение к которому у него есть отношение знания, но не деятельности и даже не очень яркого чувства. Он тускл стал всеми сторонами бытия своего; тускл — ради этого сцепления с миром своею мыслью; и то, к чему относится его жалость, есть не утерянное им в мире, но утерянное в себе:

Зато я радостей не знаю,

говорит он, мысленно обняв все, что дало ему познание; т. е. не знаю яркого, живого ощущения мира; не знаю не только живой радости, но даже и жгучей боли¹²⁷ о том или ином в мире, — что все заменилось однообразным, тусклым недовольством: 10

Живой природы пышный цвет,
Творцом на радость данный нам,
Ты променял на тлен и хлам,
На символ смерти, на скелет.¹²⁸

Вот в чем лежит великий промен, безотчетно совершенный Фаустом в то время, когда он еще не знал цены *одного* и значительности *другого*. Он начинает догадываться, что мир дан человеку не для познания, но для общения с ним; что мир ближе Богу, нежели как он прежде думал, и он сам — дальше от Бога и принадлежит к этому именно миру, есть только одно из его явлений, напрасно вышедшее из орбиты своего движения. 20

ХII

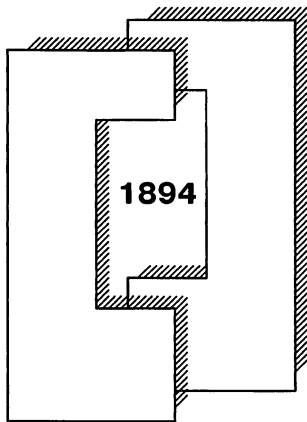
Его движение будет теперь — обратно к миру, к общению с ним:

О, прочь! беги...

говорит он, обращаясь к себе в своем прошлом, к этому обманно манившему его «хламу и тлену» — что он нашел в познании, к этой «добыче пыли» и «снеди червей», которою он окружил себя здесь, в¹²⁹ удалении от мира, так долго казавшегося ему прекрасным и теперь кажущемся «тюрьмою» колодника, «норою» не рассчитавшего своих инстинктов зверя.

Дух земли.

30



СВОБОДА И ВЕРА

(По поводу религиозных толков
нашего времени)

I

Немного можно найти идей, которые за последние 100—150 лет с таким же постоянством, тою же повсюдностью, наконец, так же мало встречая противодействия, распространялись бы по всем странам цивилизованного мира, как идея свободы; в числе немногих других она имеет силу как лозунг соединять около себя необозримые массы людей и образует как бы руководящий уклон, по которому, повинаясь неудержимому закону, текут влечения и мысль людей, и влекут за собою факты, историю. При существовании подобного уклона всякая попытка просто рассмотреть эту идею (или какую-нибудь, ей родственную) встречается уже неприязненно: кажется бесполезным рассматривать то, что так очевидно жизненно; оно *есть* — о чем еще спрашивать? оно все *преодолевает* — к чему тут мысль?

Так; и для данного фазиса истории было бы почти бесплодно прилагать мысль к идее, столь очевидно торжествующей; однако, самое начало этого фазиса едва переходит за столетие, и если мы сравним его стремительность в момент своего исхода с тем, как он движется теперь, — не прибегая к особым соображениям, мы можем понять, что как ни велика была его роль в истории, его продолжительность будет гораздо меньше. Справедливо, что всякая критика идеи свободы (и некоторых других) вызывает еще неприязнь; но, когда критика молчит, самая идея не возбуждает уже энтузиазма; она живет, существует, бесспорно, даже господствует; но уже не творит, — и это главное, что в ней характерно; век движется уже по инерции, подчиненный этим идеям, без новых возбуждений, без какой-нибудь внутренней в нем работы этих идей; он им *покорен*, но более этого ничего не хочет им дать. Можно быть уверенным, на всем протяжении цивилизованного мира, так единодушного в признании свободы, как краеугольного камня своей жизни, если бы камень этот зашатался, никто не пролил бы уже за него крови, никто не пожертвовал бы его укреплению ничем особенно для себя дорогим. Она *испытана*, и не то, чтобы в испытании этом оказалась горькою — этого чувства не было; но она оказалась как-то пресна, без особенного вкуса, без сколько-нибудь яркой осязательности для человека, который после того, как был вчера, и третьего дня, наконец, давно свободен, вдобавок к этому и сегодня свободен. После тысячелетней стесненности чувство свободы было бесконечно радостно; не оно собственно, но момент прекращения стеснения, т. е. ощущение почти физическое; после вековой свободы, когда и вчера ничего не давило меня,

какую радость может дать мне то, что и сегодня меня никто не давит? Здесь нет *положительного*, что насыщало бы; только ничто не томит, не мучит, — но разве это то, что нужно человеку?

Таким образом, чувство свободы было радостно, пока она была тождественна с *высвобождением*, сливалась с понятием *независимости*; был некоторый гнет, определенный, тесный, сбросить который было великим облегчением; эпическая борьба, наполняющая собою конец прошлого и первую половину нынешнего века, вся двигалась идеей свободы в этом узком и ограниченном значении: был феодальный гнет — и было радостно высвобождение из-под него; был гнет церкви над совестью — и всякая ирония над нею давала наслаждение. Тысячи движений, из которых сложилась история за это время, движений то массовых и широких, то невидимых и индивидуальных, все были движениями, разрывавшими какую-нибудь определенную путю, какою был стеснен человек, вернее скреплен с человечеством. И когда эти тысячи движений окончены или близки к концу, побуждение, лежавшее в основе их, правда, носит то же название, но каков его смысл и какова точная цена для человека? Оно обобщилось, стало «идеей» в строгом смысле и, с этим вместе, потеряло для себя какой-либо предмет; с падением всяких пут, что собственно значит свобода для человека? что значит она для обладателя пачки процентных бумаг, «гражданина мира», который в этой пачке имеет для себя условие всего *положительного*, и в свободе — только отрицательное условие безграничной широты употребления этих бумаг. На чем тут слиться людям? как, несомненно, сливались они, сбрасывая с себя чужеземное иго, угнетавшее, злоупотребляющее властью правительство, и всегда, одним словом, когда боролись против чего-нибудь, искали свободы *этой* определенной, а не свободы вообще.

Правда, этот же отрицательный смысл имеют и все идеи, которые мы назвали родственными (по одновременности возникновения и по духу) этой идее: «равенство» есть только требование, чтобы никто не стоял выше меня, но не есть определение сколько-нибудь сносной высоты, на которой стоял бы я сам. Свет солнца никем, правда, и ни от кого не заслоняется, но все равно могут его не видеть, если они слепы, если солнце померкло, и вообще требование это есть совершенно незначашее перед тысячею других, истинно значащих для человека. «Братство» есть также требование некоторого акта, без указания какого-либо основания, опираясь на которое он мог бы совершиться: братство в чем? братство во имя чего? во имя свободы — растратить эту тысячу серий? в праве стоять в этой мгле, в этой сырости? Что же положительного здесь для человека? Эти все идеи суть отрицательные и формальные, и вот почему изменить вид Европы, разрушить ее прежний строй оне могли, и, несмотря на все попытки, нового жизненного строя, сколько-нибудь насыщающего человека, оне не могут из себя создать.

Станный в неустойчивости всего нового, в разрушении всего старого, век наш в значительной степени имеет объяснение в этом особом характере названных идей. То, что в нем твердо держится, это организации, которые по самому существу своему не могут их принять, — это армия и церковь; первая по своему смыслу, по узкой цели, которой она отвечает, вторая по древнему, не подлежащему переменам происхождению. Все остальное вокруг этих не тронутых, не пошатнувшихся организмов, разрушено и не имеет силы сложиться во что-нибудь

вновь; и, в этой неспособности сложиться в организацию, не может приобрести какой-либо силы, значительности. Свобода, как синоним изолированности, есть вечное осуждение себя на слабость; равенство, не возбуждая более ревнивой горечи о себе, не может удалить мысль об общем ничтожестве всех. В этот хаос разрушенного, изолированного, слабого что может привнести силу? что может воодушевить к слиянию? все прочие господствующие идеи века, — идея механизма, управляющего мирозданием, идея грубого довольства, как окончательной цели человека на земле — всего менее суть идеи соединяющие, организующие. Вот почему все, что прочно еще, только прочно *сохраняется*; и все, что возникает вновь, осыпается, исчезает завтра. За полтора тысячелетия новой истории XIX век есть первый, который не имеет своего архитектурного стиля, своих бытовых форм, признанной, исполненной веры в себя, политической организации, — наконец, сколько-нибудь устойчивых форм труда, производительности. Случайность, временность всего есть его характерная черта, есть исторический стиль события, надежд, усилий, всякой веры.

Вот почему повторения которой-нибудь из названных идей, как прежде вели историю вперед, отвечая моменту разрушения, который она протекала; так теперь ее задерживают, противореча моменту созидания, который не может для нее не настать. Этот момент оне удаляют, делают невозможным его начатие; и, насколько мы желали бы его приблизить, мы не можем не делать усилий ввести эти идеи в их относительное русло, вывести их из того главного русла истории, в котором не могут же, навсегда задерживая в нем движение, оне оставаться, как господствующие, вечно.

II

Никем не замечено было, что смысл свободы есть, собственно, субъективный и она не может быть понимаема в смысле требования универсального. Есть некоторый внутренний процесс, или мы должны представить его себе, цельный, неразрывный, по необходимым законам совершающийся, принадлежностью которого только и может быть свобода, в отношении к которому мы можем единственно понять ее. Для такого процесса свобода есть только отсутствие препятствий совершиться, есть незадерживание извне законов, по которым он движется; ее смысл здесь определен, ясен, — и он плодотворен, как ясно, что плодотворно для растения не иметь препятствий своему росту, не иметь перед ветвями своими ничего, что мешало бы им увеличиваться, распространяться. И как для растения лишь эта свобода имеет какой-нибудь смысл, и оно не может, не нарушив закона своей жизни, переступить в границы другой свободы; так и для всего живущего, для человека, для его истории свобода имеет значение только это: только не переступая в смысл чужой свободы все в ней может жить. Свобода в универсальном смысле, как требование ее для всего *, став сознанием каждого индивидуального существа, не означала бы здесь ничего, кроме отрицания им в себе са-

* Я не отвергаю, что в этом универсальном значении свобода может быть, однако, сознаваема, но только в самом универсе, координирующем индивидуальные свободы, с знанием верховным и абсолютным их относительного значения и окончательного смысла.

мом значения; только не веруя более ни во что, можно требовать для всего свободы. Как могу я, излагая свои мысли, усиливаясь распространить их, исходя из своего субъективного содержания, желать свободы и для такого субъективного содержания, которого сущность состоит в том, чтобы вообще не было никаких мыслей? Как могу я верить, не отметая того, что посмеивается моей вере? Какая есть истина, которая не отвергает никакой лжи? И как я, всякий субъект может сохранять веру в истинность своего содержания, не требуя для него свободы жизни, движения, распространения, — и ограничений для всего, что этому мешает, хотя бы оно так же жило по своим особым законам; но я, живущий, в эти законы заглянуть не могу, — и не должен, насколько я верю и хочу жить.

10

Таким образом, принудительность внутреннего, исполненного веры в себя, развития есть первое, в отношении чего, как второе дополнительное условие, может требоваться ему отвечающая свобода. Только поверив, я могу требовать некоторой свободы; и для века, в существе своем не имеющего никакой веры, не должно бы по справедливости быть и никакой свободы. Здесь требование свободы есть чисто хаотическое, бессмысленное; вытекает только из жажды залить остатки последней веры, какие еще сохраняются, своим безобразным, стихийным, никакому закону не повинующимся движением. Ясно, что все, в чем есть жизнь, и есть вера в истину этой жизни, будет ли то возникающее что-нибудь или сохраняющееся, имеет не только право, но и долг без всякой веры в истину этого хаоса удалить его от границ своих.

20

III

«Свобода — это радость», — говорим мы, — но почему, однако? Не потому ли, что она неотделима от закономерности, что это закономерное движение невольно и, выполняя его, мы приближаемся к своему назначению? Непростая несвязность движения нас радует, — это было бы бессмысленно, стихийно; но радует прояснение своей природы, которое находит всякое существо в этом назначении. Мудрый, открывая истину, выражает себя, — и нам понятна боль, какую он испытывал бы, если бы что-нибудь стесняло его в этом выражении себя; но то же стеснение что значило бы для индифферентного, для глупого? скорее его стесняло бы, если бы и в своей равнодушной или глупой природе он принужден был всегда говорить и думать истину. Ясно, что свобода есть непременно в отношении к чему-нибудь, что должно настать; и нет свободы безотносительной, для всего равной, во все стороны подающей. Там, где нет назначения, где движущееся не подчинено закону, есть только безразличие. В сфере этого безразличия все может совершиться, но ничто не может причинить радости, того особого ощущения, которое для нас неотделимо от свободы: для равнодушного к истине и к заблуждению какую могут принести радость всякие слова? не ту же ли, как и для немногого, который вовсе не произносит никаких слов. И страдания здесь нет, как нет его в темноте для слепорожденного, в тишине для глухого.

30

40

Без этих направляющих нитей, по которым совершается движение сознательных существ, и даже всего живого, нет их соотношения с свободой; и все, что ни по какой нити не движется, что не может указать для себя никакого закона, в себе — никакого назначения, не может и требовать для себя никакой свободы.

IV

Вера и есть не всегда ясное, чаще смутное отношение человека, да и всякого живого существа, к своему закону и назначению. Мудрый потому верит в истину, что в нем предустановлена она, и только ожидает его усилий, напряжения в нем мысли, чтобы стать ясною, — из предмета веры стать предметом созерцания; и не имеет этой веры в нее глупый, в котором ее нет, и нет ее темного действия, сказывающегося как возбуждение, как влечение к себе, напрягающее его мысль. Мы сказали ранее, что никакое существо, насколько оно верит и хочет жить, не может переступить смыслом в границы чужого закона; но это потому, что для
 10 всякого существа — один закон, и нельзя, не утратив тождества с собою, ему слиться в мысли, в желании с законом, противоположным своему или разнородным с ним; а не сливаясь с ним в законе, оно не может и слиться в желании для него свободы, которая только следует закону. Противоестественно было бы мудрому войти в законы глупого, в правила нелепого; как противоестественно было бы растению отождествиться своим темным смыслом с свободою ветра, который срывает его цвет, ломает ветви. Что живет — желает, чтобы умерла смерть, или чтобы как можно долее она была скована в узах; желать иначе оно не может; нудить его к этому — это значит налагать руку насилия на самое сокровенное, самое внутреннее, чем бьется жизнь всей природы. Она вся, в каждой частице сво-
 20 ей, только *утверждает*; и если то или иное в ней отрицается другим и гибнет, требовать, чтобы с этим отрицанием себя и гибнущее сливалось, значит требовать, чтобы закон смерти, которому все в природе подчинено, заменился для нее законом самоубийства, которого не знала до сих пор она и ей его не указал Бог.

V

Но вот, явились новые мудрецы, которых почему-то влечет к себе этот новый закон, и они силятся утвердить, что каждое существо должно смыслом своим входить в смысл другой жизни, ее другого назначения, и признавать наравне со своею и всякую свободу; они не замечают, что уже давно вступили своею мыс-
 30 лью в сферу безразличия, где нет собственно свободы, и не только ее нет, но она отрицается так же глубоко, как жизнь смертью. Кажется безрадостные (так и должно быть), они желали бы погасить и в целой природе радость, которую ощущает все в ней, *утверждая, веруя* и тем самым *отрицая* себе *противополож- ное*. Все *борется*, и вот что не нравится этим печальным, слишком утомленным мудрецам; они хотели бы успокоения, но вместо того, чтобы желать его своим усталым, изжитым членам, хотели бы его для всей природы, которая и не устала, и не изжила своих сил. Тишина могилы, ее темь их влечет более, чем шум полей, сияние солнца; зачем оно светит, для чего ветер шумит, когда глаза так устали, когда слух не выносит никакого звука, — вот тайное ощущение, которое их единит и которое слышится за тысячею их требований, разнообразно и иначе мотивированных.
 40

Пессимисты всех степеней и оттенков сливаются с индифферентистами и желают себе свободы... на какой подвиг? для выполнения какого назначения? для движения куда и по какому закону, во имя какой веры? Им странно и дико, что

они встречаются перед собою замкнутые институты церкви, государства, семьи, — они, которые сами так разомкнуты и открыты всякому действию. Как для ветра, рвущего листы дерева, непонятна боль его, непонятно сопротивление его ствола, ибо своим механическим законом он не может переступить в смысл его органического закона; так для них, которые в истории уже только стихия, а не какой-нибудь организм, непонятна боль, непонятно сопротивление остатков живой жизни; они шумят около них, силятся их сокрушить, — не к своей радости, конечно, но и к печали такой, которой они никогда не поймут.

VI

Все, что мы высказали, вызвано было размышлениями о требованиях новой 10 и обширной свободы пропаганды религиозных убеждений, какие, из Западной Европы переступив к нам, раздаются, смущая совесть верующих, в последние дни; раздаются со сторон, которые или открыто чужды какого-либо религиозного духа *, или втайне (не думаем, однако, чтобы и от себя) полны этого же отчуждения, по крайней мере, от своей древней, церковной веры **. Дух церкви есть, несомненно, дух свободы, высочайшей, неосуществимой на земле, святой; но прежде, нежели ее, — дух веры; и потому только — дух свободы столь высокой. Однако, в чем же свободы? в неверии ли? во вражде ли к церкви? в том, чтобы смести с земли эту святыню и водворить на ее месте хаос? Конечно, в меру того, насколько в ней есть веры, на это свободы она не может допустить и не допускает; 20 как и все, живущее каким-нибудь утверждением, она допускает свободу лишь при условии слияния с собою в этом утверждении, — не во временном и местном его выражении, которое несовершенно и в совершенство которого у нее нет веры, но в вечном, окончательном его смысле, который для нее абсолютен, непоколебим, и с верою в который она не допускает никакого разделения с собою, не знает такого разделения, отвращается от него. Как и все, что живет и движется верою, т. е. отношением своим к будущему, и она не видит в действительности своей что-либо самодовлеющее, но лишь ряд варьирующих состояний, поднимающихся к безусловному их всех завершению: «земля новая», «небо новое», «Иерусалим небесный» — это девятнадцать веков она не устает повторять, 30 девятнадцать веков она не устает надеяться на это, отвращаясь от ветхой земли, от старого неба, от греха, проклятия и смерти, которым они обречены в человеке; отвращаясь, и, однако же, в силу греха, лежащего на человеке, ведомая хоть и Богом, но через человеческие руки — лежащая в грехе в видимых и временных своих выражениях. Тайнство, совершаемое священником, свято, и он сам — в совершении его, но вне этого где его чистота?.. Литургия святая, но *мы*, ее слушающие?.. Все в храме благолепно, все сияет святостью и великолепием, *должным* великолепием, но *за его стенами?*.. Тайнства, каноны, молитвы — это так, это незыблемо, это сама истина, сошедшая к нам с неба, лежащая на земле... но *мы* вокруг ее? но бесконечное тело блудодействующее — не при дремлющей ли, не при усып- 40

* Разумеем «Вестник Европы» и друг.

** Разумеем здесь г. Вл. Соловьёва, человека, о котором хотелось бы сказать все хорошее и приходится думать дурное.

ленной ли душе? «встань, душа, и посмотри, что делает твое тело», вот границы свободы, допустимой в церкви, — на этот только призыв, на оживление и укрепление ее собственного, особого *утверждения*...

Но все перепуталось в наш путанный век, и вот, гнойный сифилитик, только и знавший, что бродить из блудилища в блудилище, спрашивает: каковы законы разума, для чего они? тело поднимает ропот против души, мир — против церкви, грех — против святости, перед ним лежащей. В этом и ни в чем другом, весь смысл религиозных движений за последний век, то явно направленных против церкви, то как будто благоприятных ей, хотящих только кое-что в ней *поправить*... поправить какими руками? по законам чьей совести? нашей, прокаженной, пригнувшейся в зависти, кусающейся? Это мы-то будем что-нибудь поправлять? да и к чему тут поправлять — все свято, окончательно: пусть кто-нибудь, для испытания, для примера, ну хоть для издевательства в результате, но *с серьезностью на минуту*, прочтет все каноны, всю литургию, молитвы, самый обряд церковный: да что же тут исправлять, к чему? все свято, все до того непорочно и чудно в этой непорочности, что в самом деле неестественно, чтобы из смрадной человеческой души, как наша, это вышло; или «земля новая» позади нас, в прошлом, — или, если она ожидается еще, это в самом деле на землю прислано с неба.

Таким образом, церковь не только не допускает какой-либо борьбы с собою, но и не знает этого, что могло бы с нею бороться, под иным углом, как только подлежащее исчезновению, рассеянию; подобно как рассудок не знает глупости с иной точки зрения, как что ей нужно перестать быть, равно совесть — что нужно перестать быть ее искажению. И это в строгом соответствии с твердостью ее веры, как и веры рассудка или совести — в истину своего утверждения; все требования, чтобы она допустила борьбу против себя, есть требования религиозных скептиков, чтоб она так же усомнилась в себе, как они усомнились в ней... в этом все дело, в этом тайна положения вещей, без прикрытия.

VII

Итак, мы утверждаем, доля свободы, уже теперь допущенной церковью, безмерно превышает ту, которая допустима по существу ее веры в себя, и эта податливость должна быть отнесена исключительно к несовершенству того, что мы назвали внешним и временным ее выражением. Не поднимается грешная рука закрыть уста хулящие. Есть воля к этому, есть сознание об этом, есть перед нами святой закон; но вот, он лежит и кто же поднимет его? кто, кого совесть не омрачена, поднимет каноны, напомним молитвы, обещания? можем ли мы вспомнить тайну искупления мира? вспомнить... но разве бы мы то делали тогда, что делаем?..

У нас есть память языка, но нет памяти сердца: все, что есть, что было, для нас не имеет полной значительности факта, а лишь как будто воспоминания, и то внешнего, какого-то бреда, пережитого в истории, — вот тайна нашей души в текущий момент. Мы, наш ум, наше сознание — не ярки; ничто не необходимо для нас, не невольно; можем делать хорошее, можем и дурное, — та необходимость внутреннего, субъективного процесса, о котором мы сказали, что он знает только свободу своего закона, прекратилась, и с нею все стало возможно, но ничто не необходимо.

Оставим, однако, эти печальные мысли; конечно, мы не *сеем* воспротивиться требованиям свободы, но это *мы* ведь, а не сама вера, не религия, не церковь; неужели у требователей не будет ради нас пощады и тому, что мы бережем; пусть бы затоптали оберегающих, которых и в самом деле, может быть, не стоило бы беречь... но, ведь, и кого же стоило бы беречь в наше время? на их стороне также только сила, и никакой правды. Не гораздо ли лучше пощадить друг друга?

VIII

И вот, мы возвращаемся к терпимости, против которой хотели говорить... повторям, в вере ее нет, в церкви — нет, в религии нет: там есть свобода; но мы не для свободы, а только для терпимости; век индифферентизма, равнодушия, смутного сознания может знать свободу под этою только извращенною ее формою, под этим тонким и окончательным ее отрицанием; без сомнения, это есть горькое и строго соответствующее наказание за самый проступок равнодушия. ¹⁰

Ибо терпимость — это только символ окончательного разъединения людей, как свобода — символ их глубочайшего слияния; «Ты брат мне, отчего же не ударил меня, когда я делал мерзкое» — вот свобода; «Я делаю мерзкое, но что же тебе до меня» — вот терпимость. Итак, мы утверждаем, свобода не исключает величайшей борьбы, напряжения всех сил в этой борьбе; она теснит людей в стремлении их к одной мысли, и, теснясь все к одному завершению, они сталкиваются; блудный сын и о нем скорбящий отец, если бы он был даже отец наказывающий — в свободе; потаскуха-мать, равнодушно смотрящая, как и ее дочь становится потаскухой — обе в законе терпимости. Терпимость — это отсутствие какого-либо соотношения между людьми, кроме случайного или временного, и, во всяком случае, условного, какое, соглашаясь взаимно, они завязывают друг с другом: два дерева, склонившиеся друг к другу вершинами, пока дует ветер, но корни которых врозь, стволы — врознь; свобода — одно дерево, один род людской, на древнем корне, Адаме, сидящее, грешное, плачущее, скорбящее друг о друге, в этой скорби и ищущее, и не боящееся наказания; ветви его трепещут, бьются друг о друга, — шумит древо в истории, потому что оно — древо жизни. Терпимость — это могила; она все терпит, со всем примирена; смрад ее не раздражает, зловонные жидкости она впитывает в себя; ни с чем не враждует, никого не гонит, все принимает и принятое хранит; этой ли терпимости хотят люди? они ее получают с избытком; хотят еще более, хотят до пресыщения... будет время, насытятся. ²⁰

IX

В чем, однако же, яснее, состоит свобода, если она не исключает страдания, тесноты для людей? Как терпимость есть индифферентизм людей друг к другу, при отсутствии единящей их мысли, так свобода есть слияние людей в любви, но при любви еще большей к мысли, на которой они слились; страдание (и наказание) ни отвергается здесь, ни требуется, но пренебрегается, как незначущее, случайное, что не составляет предмета мысли. Предметом мысли здесь служит исти- ⁴⁰

- на, в которую у всех равна вера, и предметом заботы — человек, как носитель этой истины, или, точнее, ее преемник, хранитель, хрупкий сосуд. Таким образом, при безусловной стесненности людей в отношении к предмету веры, они свободны, собственно, в отношении друг к другу, зависимы один от другого не иначе, как только под углом их общей зависимости от окончательной, всех связывающей, истины. В христианском мире нет свободы *обсуждать* тайну пресуществления; Спаситель сказал: «Тело *мое*» — он *твой* Спаситель? итак, о чем тут спорить? спор здесь означал бы сомнение, т. е. грех, и притом такой, который означает выход из христианства; а у воды в горшке с водою, из него выплеснувшись, что общего? Но, пока вода не выплеснулась, как бы она ни бурлила, ее радостно принимает в свое лоно остающаяся покойною, всякий раз, когда, вздымаясь, она падает к ней назад. Разве мир христианский не знает беса искушающего? он ли не знает греха, всей его силы, глубины, всепроницаемости, бессилия против него человека? итак — даже сомневайся, но со скорбью, но со смирением, а не как глупый, пустой от зерна колос, который гордо помахивает вершиной своей над нивой отягощенных зерном, склоненных к земле, других колосьев. Гордость, самонадеянность, эта беспросветная и окончательная пустота души — вот, кажется, с чем не мирится христианство, что как-то противоречит ему в самой природе; а грех — его весь прошел христианский мир, и превозмог — смирением.
- Итак, по существу христианской свободы, высший иерей церкви не может изменить догмата или иначе его понять, чем все; не может его обсуждать (по крайней мере, гордо) в своем уме, ибо обсуждая — уже сомневается, сомневаясь — не имеет веры. И последний нищий, стоящий в притворе храма, может, возревновав о Боге, разогнать клюкой своей парадную толпу, собравшуюся поскучать в нем час, два; тот же нищий высочайшего иерея может, взяв его лошадей под устцы, привести к гною разврата и нищеты и сказать: «Иди и смотри и вспомни, кто ты и за чем»... Бесконечен по высоте своей идеал церкви, и бесконечна свобода каждой человеческой души, в ней рожденной, ею спасаемой; ибо только к этому одному идеалу она привязана, но им же и связана прочно и тесно.
- Допустить обсуждения истин своей веры церковь не может, — не по боязни их колебания, но по отвращению к подобному обсуждению; и не только обсуждения этих истин, но — и малейшего отступления от целостности своей христианской жизни каждого единичного своего члена. Повторяем, лишь при тусклом нашем сознании, подобные отступления мы переносим; перенесем и большее, ибо степень нашего равнодушия чрезмерна. Мы уже не чувствуем более, сколько личного бесчестия заключается в подобном отступлении, из какого ничтожества, мелочности души оно вытекает; отступающий от церкви — для нее презрен до невыностимости его видеть, вот источник церковной нетерпимости, которая и не может быть сужена иначе, как через упадок в верующих яркости сознания факта, на котором основана их вера. Всюду, где это сознание живо, ведь мы и отчуждаемся от «ближнего»: отчуждаемся от него, как от предателя своей партии, хотя эта «партия» возникла только вчера; отчуждаемся от равнодушного к общим интересам, хотя бы они касались только грубой и внешней стороны жизни. Это все нам понятно; и даже того, кто всех горячее отвертывается от подобного предателя или равнодушного, мы чтим — за его крепость, за его слиянность с смыслом своей партии, с интересом народным. Я говорю несколько не то, что хотел бы сказать, указывая, как все это, к чему нетерпимость мы понимаем, ничтожно

сравнительно с бесконечностью христианской жизни и истории, измену которой или к ней равнодушные нас почему-то требуют терпеть. Но вот, вы стоите в церкви, и отрешаясь на минуту от всего, что ярко знаете, переходите к сознанию того, о чем почти забыли: грешного мира, тайны его искупления и нового греха этого мира, греха с такою легкостью, как будто и не было никакого искупления. Неужели соотношение тяжести того, что свершилось и ради чего свершилось, и легкости того, что теперь совершается, не поразит вас, не подавит, не вызовет горького чувства до глубины души и до нежелания подать руку «ближнему», который, мотая головой поверху, ничего этого не чувствует? не поразит ли с яркостью личного бесчестия все, что вы вспомните о себе, своей личности, праздности, уклончивости от подробностей христианской жизни, *когда это все и грех, и искупление, действительно было?* но вот, мы не верим более, что оно «было» и в этом разгадка нас, разгадка и того, что от нас требуют, и того, на что мы соглашаемся... 10

Долго и трудно боровшись с болезнью близкого человека, друга, матери, своего ребенка, и, наконец, не превозмогши ее, похоронив его, кто из нас в день похорон поехал бы «повеселиться»? кто не умолил бы веселого уйти с его глаз? и допустив, что случился бы такой, как бы мы отнеслись к нему? но ведь это друг только, а не Бог; ведь это потеря ближнего, а не искупление мира от греха; ведь еще не крестная смерть, не суд у Пилата, не Иродиадина радость, о которой читает церковь... И так, понятно ли, отчего и театры наши открыты, и мы пьяны, и дома терпимости торгуют в дни воспоминания всего этого? потому что воспоминания нет; язык наш бормочет всякие слова, какие на него положены, а память отлетела... к другим, ярким впечатлениям, свежим воспоминаниям, забавам, нуждам, чем мы живем истинно, *а тем больше не живем.* 20

Конечно, мы не веселимся, как Иродиада, но стоим равнодушно, как римские воины у креста, которые и не интересуются, и не очень знают, что у них происходит на глазах; приставлены здесь по чуждому делу, по иноплеменному требованию. Наш мир, будто бы еще христианский, при церкви стоит так же, как иноплеменный: кое-что соблюдает тут, и помнит, что до времени, на целую длинную и скучную ночь, нельзя будет отойти; более этого он церкви не дает; хотел бы 30
дать менее, и негодует, и волнуется, почему церковь не поймет его желания и не отпустит его совсем...

X *

Сказанное относится к равнодушным, к той холодной могиле, которая не хочет быть одна, но хотела бы увлечь в себя и все живое; это в недрах самой церкви негодующие, зачем она теснит их веселье, удерживает язык; почему жизнь не карнавал, но также и молитва, скорбь. Есть другие, которые восстают против ограждающейся церкви не изнутри ее, но извне; и в ней самой находятся, которые ищут, чтобы ограды ее пали...

* Все ниже следующее имеет в виду литературную деятельность г-на Вл. Соловьёва, насколько она относится к вопросу о соединении церквей; и также — сетования протестантов, почему церковь наша не допускает среди своих чад протестантской пропаганды. 40

Но та же вера заставляет эти ограды держать; если бы вне их были разномыслящие только, но сливающиеся с церковью в утверждении окончательного ее смысла, — без сомнения, никаких пределов к соединению с ними не должно бы быть; но этого нет; вне стен оберегаемых — то же неверие, которое внутри хочет веселья, а там более серьезных вещей, но так же с верою не имеющих ничего общего. Тайна невозможности слияния заключается в том, что сливаться не с кем — в вере. Исповедания, которые ищут, чтобы мы пришли к ним и исповедовали с ними, из исповедания вырвали слово главное, пышно убрав алтарь — забыли внести в него антиминос. Не страх перед властью одного * нас удерживает от сближения: разве мы ее не знаем? разве нас тяготит ее чрезмерность? Не наша независимость, самостоятельность нам дорога: разве мы не теряли ее, и не однажды, прибегнув к власти чужеземца, припав к вере Византии, поехав за море всему учиться и все свое позабыть? Итак, почему требующие не подумают, что тут есть источники более глубокие: мы боимся перестать верить в Бога. Нам непонятно, каким образом, веруя в Него, родители ** не дают Его драгоценной крови и тела до известных лет своим детям; не крестят их даже во имя Его, пока они совсем не вырастут и тогда сами свободно изберут, нужна ли им эта кровь и это тело, иногда — нужно ли им и самое крещение. Мы не можем этого понять, видя, как этих же детей, не спрашивая их свободы, не дожидаясь их выбора, родители и обучают, избрав за них сами методы, и оберегают, определив методы ухода, лечения и проч. Мы не можем удержаться от мысли, что во всем этом, что им дают и что с ними делают так твердо от рождения, есть истинная вера, есть убежденность; «Я верую, что это благо — как не сделаю этого тому, кого люблю больше себя?». Итак, если делая себе вот это другое благо, я, однако, удерживаюсь делать его ребенку своему, которого люблю более себя, верую ли я в это благо и тогда, когда себе его делаю? Пусть мой язык говорит лучшие слова, пусть пастор, которого я слушаю, красноречив, и много учености заключено в этих книгах, которые я читаю, которые для нас написаны о тех же предметах, но мои дети — со мною ли? но в той области, где я уверяю, что живу и считаю ее своим спасением — там ли они? Нет, они по другую сторону, — итак, к чему красноречие, о чем ученость? веры нет ни у вас, ни у детей ваших; вы не смеете поверить за них, потому что боитесь уже за себя.

Мы сводим здесь только явление, завитое в тысячи слов, к действительности; наблюдая, как в критические моменты поступает человек, вскрывает тревоги его сердца, когда так уверен, по-видимому, его язык. Протестантизм не есть только индивидуализм в исповедании, не есть строгость и простота исповедания древнего; это есть неуверенность в исповедуемом, полная печали, полная порывов гневного подозрения к тому, кто говорит, что он верит; полная осуждения, критики, и вместе экзальтации около веры. Слабовер, опасющийся окрестить детей своих и уходящий в далекие пустыни, чтобы крестить там неосмысленных дикарей, вот символ этого печального состояния совести, не знающей, на чем остановиться, колеблющейся, тянущейся к лучшему, но неспособный на него прозреть, исполненной любви, великодушия и смешных противоречий.

* т. е. римского папы.

** Мы указываем на факт, чрезвычайно ярко, наглядно убеждающий, что, в сущности, протестантизм есть атеизм, но боящийся самого себя, пугающийся.

XI

Не более, чем в протестантизме, есть веры и в католичестве: иезуит, во имя Христа хватающий протестантского ребенка и, читая молитву крещения, обваривающий его кипятком, дабы он не остался жив, не вернулся к родителям и не стал в ряды «колеблющих камень Петра» — эта смесь бреда, лукавства, исступления и смешных фокусов (*reservatio mentalis* * при клятве) — разве это вера? где тут спокойствие крепкой совести, ясномыслие разума, знающего, что он обладает истиною и эта истина непоколебима? Отделение мирян от клира, низведение их куда-то вниз, где уже нет крови Христовой, нет языка церкви, закрыто Евангелие, и обращение вершин, где пребывает клир, в место какого-то священного волшебства, с странною казуистикой, непонятными символами, производством новых догматов, — как удержаться, чтобы не взглянуть на все это, как на запутанный апокриф около исполненного простоты Евангелия, который в темные и пространные свои строки заплел много истины, оттуда взятой, но окружил ее фантазмагорией слов и дел, которых и не было, и они не нужны, и смысл их совершенно расходится с тем, что нам известно из Евангелия. Руки непосредственного свидетеля истины мы не узнаем здесь, но только близкого с ней, о ней слышавшего, ее любившего, много думавшего и ее испытывавшего разумом. Веры, близости к предмету своему, слиянности с ним мы не находим тут, и отсюда эта бездна придуманного и вычурного, на исходе веков — преступного. В иезуитском ордене, в котором, как в кульминационном моменте своего развития, католицизм выразил, наконец, смысл свой, признал его, сделал истиною утверждаемою, не только нет уже христианских черт, но, как единогласно свидетельствует весь христианский мир, есть черты истинно сатанинские: это он, дух лжи, вселился в него, и уже потом — дух злобы, дух презрения к человеку и его угнетения: полное отрицание Евангелия, пытающееся опереться на него же, преступное в замысле, становящееся смешным по неимению для себя опоры, истинное безумие в истории, безумие сердца человеческого и, наконец, самого рассудка, который за ним покорно, и перевирая свои законы, следует **.

XII

С чем же тут единиться, с какою истиною свое утверждение согласовать? Если бы вопрос шел о подробностях — подобное слияние было бы возможно, пути к нему искать — было бы христианскою обязанностью; но как, не впадая в не-

* мысленная оговорка (*лат.*).

** Прав г-н Заточников (см. «Гражданин», 1893 года, № 187, статья: «Заметки на полях и размышления между строк»), вылившись бранчливым негодованием против меня за название эпохи средних веков «культурю христианского спиритуализма»; но здесь, в непосредственных целях своей статьи, я не имел нужды выяснять истинных черт католичества, и только затемнил бы этим отступлением предмет своих суждений. Поэтому, нимало не соглашаясь с ним, я только повторил, точнее — назвал общеупотребительное определение этой эпохи; впрочем, по предмету своему (религия) это был, конечно, христианский спиритуализм, и этим вовсе еще не утверждается, чтобы он носил правильные в отношении к предмету своему черты.

удержимую ложь, не принимая в себя преступного, сливаться с тем, что не отвергло ложь и преступное в принципе? и вообще норма (в идеале своем) как может, не изменяя себе, соединяться с собственным искажением? Что может Восток, во всем меньший Запада, во всем слабейший, чем он, но в вере истинный, не ослабевший, не заблудившийся, сказать ему? «Вернись к вере отцов, укрепись в этой вере; в свой пышный храм, который пуст, прими Бога истинного, и я войду в него. Внесите детей туда; прими и ты, клир, как не отчуждающийся отец, детей своих — мир, и тогда я приду к вам, сольюсь с вашими молитвами, на ваших языках, перед вашими образами, ни в чем не разнствуя, если вы хотите, от вас. Но пока вы слабы, как я расслабну, чтобы уподобиться вам? пока блуждаете, куда пойду, чтобы вас найти, без путей? и к кому пойду: к родителям ли, отделившимся от детей? к детям ли, отделившимся от родителей? к клиру ли владычествующему? к миру ли, то рабствующему, то возмущенному? с кем соединиться мне, когда вы все разделены? слейтесь — и я уже с вами; будьте *между собою* братья — и я уже среди вас, присоединен, без согласований, без споров, во имя высшего закона любви. Не в законе разница между нами, но в духе; примите дух мой, и я приму закон ваш, покорюсь этому закону, и — вам, если только вы захотите владычествовать», вот что истинно, не лицемерно, не блудно может сказать Восток Западу, повторяем, во всем его худший, но в духе веры своей — истинный.

20

XIII

Оберегать этот особый дух церкви Восточной есть трудная обязанность тех, кого мы назвали временными и внешними ее выразителями; трудная потому, особенно, что, оберегая, легко впасть в дух западных церквей: безгранично свободного протестантизма, свободного потому, что он не знает истины, колеблется в ней, ничего с силою не утверждает; безгранично стесняющего человека католичества, стесняющего из страха, чтобы малейшим движением он не вынес наружу тайны, которая невыносима, непоправима и уже стала его законом. Но, вдумавшись глубже, мы находим, что ни там нет свободы, ни здесь — борьбы против нее собственно; и здесь, и там ее смысл потерян. В католицизме есть *дисциплина*, подавление человека другим человеком, стеснение в действиях, в словах, при безразличии к его совести: «Повинуйся, хотя бы и не веруя; не веруй, но поступай так, как будто бы веровал» — вот его принцип, его примирение с человеком на основании внешнего согласования последнего с собою. В протестантизме эта дисциплина снята с человека, и ее снятие было моментом его возникновения: но человек остался не дисциплинирован и однако же не стал свободен. Свобода есть слияние в любви, при любви еще большей к утверждаемой истине. Нет единой утверждаемой истины в протестантизме, нет ее — общей для людей; и нет даже надежды ее найти — здесь, где люди чтут Бога не иначе, как отвернувшись друг от друга.

Итак, убегая дисциплины, не впасть в безразличие, и презирая безразличие, не впасть в дисциплину, — вот трудная задача охранения церкви. Нам думается, задача эта может быть выполнена при сосредоточении внимания своего на том, что, собственно, в церкви нет понятия преступления, но только — греха. Грех — это то, что угрожает всем верующим и избирает из них слабейшего; через что,

также, верующие связаны между собою: мы все ему подлежим и не знаем, кто стоит на чреде. Напротив, преступление есть нарушение закона, и нельзя сказать, чтобы мы все носили в себе предустановленность этого нарушения, равно и то, чтобы каким-нибудь образом им связывались: скорее мы им разъединены, преступающий закон есть враг не преступивших. Дисциплина есть именно понятие, отвечающее понятию закона и преступления; но что же отвечает понятию греха? Понятие искушающего страдания. Церковь как союз людей в верующей любви, указанный от греха Богом, за великий дар своего учреждения на земле должна дать Богу ответную любовь — в страдании за тех, кто впал в грех; церковь праведная, церковь истинная есть всегда церковь страдающая; этим самым она есть и церковь исцеляющая. По отношению к грешащему эта любовь может высказаться, как долготерпение и как мудрость, мудрость — в умении исцелить, долготерпение — когда исцеление не приходит. И в том, и в другом случае нет пассивного отношения к человеку, которое одно знает индифферентизм, и нет индифферентного отрубания его от себя, как зараженного члена, что одно знает дисциплина.

Путь закона ясен, легок; он нуждается только в исполнителе; этот исполнитель ему покорен, и в самом исполнении — слеп. На этот путь — путь механических отношений — человек вечно клонится переступить с более трудного пути, который ему указан Богом. На этом пути, где нет нормирующего правила, человек должен вечно сохранять внимание и избирать лучшее, руководясь любовью и мудростью. С каждой точки здесь не видно других, далеких; нет сознания исходов; и этого сознания не нужно — оно принадлежит Богу: *здесь и теперь* сделай лучшее, о прочем не пекись.

Во всяком случае, здесь человек остается свободен, но не в механическом смысле, как атом, потерявший связь с целым: мы сказали, все принадлежит здесь любви и мудрости, все принадлежит текущему моменту. Свобода в смысле атомной независимости, которая одна как-то ясно понимается в текущий цикл истории, есть собственно то же господство над человеком закона, хотя только отрицающего, чуждого какого-либо положительного содержания. Если и видя мерзкое, я, удерживая свои порывы, даю ему до конца развиться перед своими глазами, — конечно, я подчинил себя непонятному закону, и нет здесь свободы человеческой, но только механическая. Но здесь, переходя к вмешательству человека в судьбу другого человека, мы переходим к мысли о том, как к понятию греха относится личная совесть.

Церковь праведная, мы сказали, есть церковь страдающая; и человек, насколько он ищет правды более, нежели всего остального, должен принять страдание за грех, который он в себе носит, — или которому причастен через других людей. Надежда и усилие избежать всякого страдания, как и усилие стать в атомную независимость от других людей, есть равно симптомы утраты в новом человеке всяких связей с целым, с человечеством. «Я ничему не могу быть покорен», «Я не хочу никакого страдания» — это значит только: «Я более не причастен жизни всех». Как ты не причастен, когда ты рожден? как не причастен, когда не отказываешься рожать? твои ноги, твои руки, грудь, внутренности разумнее, нежели праздная голова. Прими страдание, как рожденный; будь покорен, пока рождаешь еще: ты в недрах человечества и станешь свободен в смысле, в котором хочешь, только в могиле. Итак, механические перегородки, которые установле-

ны между собою людьми и все вытекают из идей права, наказания, закона, в царстве благодатном свободы, где люди вновь должны стать плечем к плечу, плоть к плоти, без разделения, слиянно — эти перегородки не только должны пасть, но их уже и нет, они исчезли, как мираж, как наносная иллюзия.

Люди связаны в грехе, связаны через это и в страдании, которым искупается грех. Без него грех был бы невыносим, — не для масс, но именно для индивидуума; как и грозою природа, он им очищается, облегчается, и его благословляет, когда оно пришло во благовремении, — конечно, не в услышание тех, кому этого не нужно знать. И вот почему из связи с ним всего менее должны быть удаляемы живые страсти, которые не без высшей воли как ведут человека сюда, так и выводят его отсюда. Не в рассудке только, и не в одном милосердии, но в полноте своей природы, в праведном негодовании так же, как и в любви, человек стоит перед грехом, отвечая на него всеми силами; только, уходя от закона, гнев свой, как и любовь, как и самую правду, он не должен возводить в безжизненное правило; будучи возведены в него, они обращаются: правда — в лицемерие, любовь — в попустительство, гнев — в жестокость; но все эти исключаются свободю. Свобода есть слияние в любви, но во имя любви к высшему, чем согрет, просвещен, оживотворен человек; и когда эту животворящую, греющую, светящую истину он оскорбляет, конечно, предательством ей было бы, если бы мир стоял и смотрел на это спокойно, — тот мир, который ею жив. Итак, негодование и наказание есть то, что следует после долготерпения, любви, усилий исцелить — для неисцелимого: долготерпения без конца не указал человеку Бог, и Он не терпел Гоморру и Содом; значило бы обратить землю в них, если бы высшим, никогда не нарушаемым законом для нее поставить мертвое терпение.

XIV

Итак, что же грешным рукам, оберегающим церковь, делать, слыша хулу на оберегаемое из тысяч уст? делать в текущий момент, когда человек потерял сознание греха, утратил идею свободы, и даже уже не различает, к чему относится хула? Сперва умолить; навсегда открыть свободу хулы против себя, против своего гноя, немощи, греха; и претерпевши, очиститься, чтобы с силою встать на защиту церкви.

Скажут лукавые: «Святое в защите не нуждается»; конечно, догмат не перестанет быть истиною, если его и отвергнут все люди; тело и кровь Христовы не обратятся в вино и хлеб, если никто их не причастится и священник унесет, не раскрыв чашу, в алтарь; брак не перестанет быть таинством, если и все будут блудодействовать. Но разве и целомудрие исчезнет, если на наших глазах совершат насилие над целомудренною? и, однако, мы бросаемся, чтобы защитить ее — это движение у нас в крови, в нашей душе, оно указано Богом. Человек должен защищать все доброе, благое, истинное не по недоверию к его способности устоять, но по природе своей; ведь и грудной ребенок, видя, как подняли руку над его мамкой, кричит и протягивает ручки, чтобы ее защитить; как же требовать, чтобы народы не делали подобного движения, когда поднимается рука на церковь их, когда хула открывается на самого Бога?..

Нет ничего естественнее, как то, что мертвые слова высказываются мертвыми устами; но естественно и то, чтобы живые нисколько им не внимали. Идея неопределенной терпимости, как и идея механической разрозненности людей, и идея их избавления от всякого страдания, — кто не заметит в них общего смысла одной тенденции: не чувствовать более ничего, не желать, не размышлять? кто не поймет, что это только угасание человека в истории? кто не поймет, наконец, что это угасание так естественно, раз человек порвал связь с источником в себе жизни, с Богом; и что эта гаснущая жизнь ничему так не противна, ни с чем так не враждует, как именно с идеею Его, который есть жизнь.

Но естественно, мы сказали, чтобы этим мертвым словам нисколько не внима- 10
ли живые; я еще верю, живу, надеюсь, и веря — утверждаю, живя — люблю; нисколько не безразлично для меня, что делают другие; и если никому нет дела до меня, мне есть дело до всех; атомных порывов в себе не чувствую и не хочу, чтобы, отрываясь от меня, летели ввысь другие: держу их, пока жив. И так всякая жизнь, пока бьется, противится смерти; в этом сопротивлении исполняет свой закон; и нимало ей нет нужды, что своим законом она связывает закон смерти и стремления умершего.

ОТВЕТ Г. ВЛАДИМИРУ СОЛОВЬЁВУ *

В статье «Свобода и вера», помещенной в январской книжке «Русского Вестника», я попытался установить границы так называемой внешней свободы, — 20
в отличие от внутренней, субъективной, которая управляется своими особыми законами и с первою имеет общее только в имени. Мне казалось, и я там высказал, что лишь в меру своей веры каждое живое существо истинно нуждается в свободе и может ее для себя требовать; требовать в степени столь безусловной, как безусловна его вера, и в тех именно определенных границах, в которых совершить некоторую деятельность у него есть назначение.

Так изложенный, этот взгляд и есть, и может быть понят только как направ-
ленный против индифферентистов. Индифферентизм я считаю отрицанием жизни; и в законы бытия его всё живущее какою-либо верою, утверждением так же
не может проникнуть, и не должно, как он сам, разрушая все живое, не проника- 30
ет в смысл особых, в нем лежащих, утверждений. И если, противопоставив его хаотической свободе принцип свободы живой и созидающей, я дал утверждающему в истории началу некоторый против нее перевес, — я начинаю думать, что сделал нечто не незначительное. Статья, которая в побочных сторонах своих исполнена недостатков, в главном содержании своем мне представляется теперь и ценною, и важною. Непреднамеренно я произнес слово, которое всего нужнее было произнести, — и которое я хотел и готовился произнести когда-нибудь, но не теперь, и не с силами утомленными, какими одними располагаю. В век равнодушия, разложения, я произнес слово: *нетерпимость*; конечно, лишь слабость моих слов, неслышность моего голоса была больна, а не самый смысл сло- 40

* См. его «Порфирий Головлёв о свободе и вере», «Вестн. Европы», февраль, 1894 г.

ва. Но если оно услышано, я его повторяю: «да, нетерпимость; да, непонимание законов умирающего; да, отвращение к нему до неспособности переносить его вид» *.

I

Мой противник называет это «законом жизни животной» **; он не находит слов, достаточно сильных, чтобы заклеить его ***, и наконец, просто отвергает, чтобы я высказал его серьезно, не впадая в ложь перед собою ****. И, между тем, эту слепотой своего негодования он именно подтверждает его как вечный исторический закон, через который мы не только не переступаем никогда в действительности, но и не можем переступить. Все объясняется только тем, что он и я, мы живем различными утверждениями: он — утверждением хаоса, разрушения, смерти; я — утверждением планомерного движения в истории, созидания, жизни; но в смысле моего утверждения он очевидно так же не может переступить, как и я, конечно, смысл его жизни презираю, — и даже не признаю его смыслом *жизни*, но только косного бытия, как давление камня, который ненужно лежит на пути, как движение лавины, которая без внимания к засыпаемой им деревне рушит ее хижины, засыпает в ней людей, не ощущая их боли, не слыша их страдания. И не только он и я, мы не понимаем друг друга, но этим непониманием противоположного и вечно жила история. Закону «жизни животной», как он называет указанный мною принцип, без сомнения, он противопоставляет «закон жизни под-благодатной»: но разве христианский мир не отрицал так же полно языческого, как я в эту минуту отрицаю принципы индифферентизма? разве он видел в его подвигах что-нибудь, кроме смелых преступлений, в добродетелях — кроме красивых пороков? И сам Спаситель разве мирился с фарисейством, входил с ним в согласие, выбирал, что бы из *своего* соединить с чем-нибудь, что есть там, в «закваске фарисейской и саддукейской»? И неужели мой оппонент, автор нескольких богословских трактатов и вот уже много лет инициатор подобного эклектизма в жизни церковной, так мало вдумывался в Евангелие, что не понял *главный* смысл утверждений Спасителя: что ни терпение мерт-

30 * Именно эти выражения, тщательно выбирая из моей статьи и подчеркивая их, г. Вл. Соловьёв считает особенно... неприличными? страшными? Потому или другому, но только *доносит* о них своей «публике», см. «Вестн. Евр.», стр. 912.

** Там же, стр. 911.

*** «Всякий зверь и всякая птица, если бы они имели дар слова, высказались бы наверно в том же смысле»... «Иудушка не был бы самим собою, если бы зверообразно-дикую сущность своей веры или своего *закона жизни* излагал прямодушно от своего собственного имени, или от имени единомышленных ему зверей и диких людей. По натуре своей он еще более лжив, чем скотоподобен; свой готтентотовский (почему не готтентотский?) субъективизм он фальшиво привязывает к универсальной и объективной истине» и т. д., стр. 911.

40 **** В эпиграфе своей статьи против меня (и, следовательно, как бы определяя *цельный* смысл моей статьи) он говорит: «Ишь ведь как пишет! ишь как языком-то вертит! Ни одного-то ведь слова верного нет! *Все-то он лжет!.. Ничего он этого не чувствует*». Там же, стр. 906.

вое, ни нетерпение * Он не проповедовал, но правду внутреннюю в отличие от правды внешней, и с последнею не мирился, ей не простирали прощающей руки; мытарь — в раю, в раю разбойник, там грешница; но где богатый юноша, не хотевший сделать последнего? на лоне ли Авраама законники? Нет, мы о них слышали: «Истинно, истинно говорю вам, земле Содомской и Гоморрской будет отраднее в день суда, нежели им».

II

Явившись среди нашего общества с истолкованием «учения о Логосе» **, он не замечает, как вот уже много лет, при молчаливом терпении всех, он являет неслыханный пример кощунства над Евангелием, и среди народа, темного в книжном научении, но поистине мудрого, являет еще невиданный никогда образец религиозной тупости. Этот народ и жив тем, что, изо дня в день слыша на литургии чтение Евангелия, усвоил его *дух и смысл в целом*; и, не ошибаясь, этот его *цельный смысл* применяет к жизни, им судит другого, и, прежде чем другого и строже, чем другого согласно этому смыслу, им судит себя. Г-н Вл. Соловьёв взглянул на Евангелие, как боец на арсенал, из которого он мог бы извлечь себе оружие. Его писания мелькают всюду текстами, и он не чувствует, как весь смысл этих писаний, самый дух, с каким они начаты, не только не имеют уже в себе ничего евангельского, но являются совершенным его отрицанием; ненавистник своей родины ***,

* «Если бы Иудушка с правдивым благочестием относился к указаниям священных текстов, а не злоупотреблял ими для своей скверной тенденции, то он по вопросу о веротерпимости (ведь я же *веро-терпим*) припомнил бы не Содом и Гоморру, а то Самарянское селение, где из-за религиозной розни не приняли Христа, как идущего в Иерусалим». «Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: „Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?“». Но он, обратившись к ним, сказал: *не знаете, какого вы духа*. Мы преднамеренно не будем разбирать этого текста, ни того, к чему он относится, ни того, на что в апостолах указывает; но заметим, что ведь слова эти сказаны Богом, Которого разумея, и я в статье «Свобода и вера» оговорился: «Не отвергаю, что, в универсальном смысле, свобода может быть, однако, сознаваема, но только в самом универсе, координирующем индивидуальные свободы, с *знанием верховным и абсолютным их относительного значения и окончательного смысла*» («Русский Вестник», янв., стр. 269). Мой критик не различает Бога от человека.

** «Жизненный смысл христианства; философский комментарий на учение о Логосе ап. Иоанна Богослова». 1883.

*** «...Ведь относительно семьи мы находим в божественном законодательстве две заповеди или два закона. Первая из сказанных заповедей есть та, которая дана через Моисея народу израильскому: *гти отца твоего и мать твою, да благо ти будет и долголетен будешь на земли*. Вторую заповедь дал Христос ученикам своим: «*Идяху же с Ним народи мнози: и обратяся реге к ним: аще кто грядет ко Мне и не возненавидит отца своего и мать, и жену, и гад, и братию, и сестер, аще же и душу свою, не может Мой быти ученик*» (Ев. Луки, XIV, 25–26).

«Предписывая любить всех, даже и врагов, Евангелие, конечно, не может исключать из этой истинной любви наших ближних, семью. *Однако же прямо сказано: „аще кто не возненавидит“*. Значит, есть такая ненависть, которая не противоречит истинной любви, а, напротив, требуется ею. Значит, есть и такая кажущаяся любовь, которая противоречит истинной любви;

презирающий его церковь *, что, наконец, он любит? И без любви, со словами только осуждения всему **, зачем берет он слова из святых книг; как тать, прокрадываясь в церковь и там пойманный, машет священными предметами, захваченными с жертвенника и престола. Не для того эти предметы, святотатец; не для того Евангелие, чтобы им сокрушать, колоть, уязвлять, но чтобы исцелять, и еще ранее — исцелиться; только.

Прежде, чем выискивать в нем потребные тексты, нужно спросить себя: совершенно ли усвоен дух всех их, чтобы, в полной покорности этому духу, в целях, не противоположных ему, употреблять и самые тексты. Иначе ведь и разбойник, уходя из зажженной им деревни, мог бы ответить горящим, смеясь: «Неизвестно, спасетесь ли еще вы, а я верно спасусь: вот текст»; и блудница, с мыслью возможности покаяния в последний час, блудила бы, бесстыдно озираясь на борющихся с собою, о которых не оставлено никакого текста. Но, поистине, покаяния им не будет дано, и, преднамеренно рассчитанное, оно не будет принято; *то* исцеляющее раскаяние уже было, совершилось, и, с тех пор как миру о нем поведано, для мира оно прошло и не повторится иначе, как в случаях такого же полного о нем неведения, как и тогда.

Г-н Влад. Соловьёв со своими текстами и всем «богословием» именно имеет вид такой блудницы, которая, потрясая ими бесстыдно перед глазами всех, говорит: «Еще погрешу и — спасусь, а вы погибнете». Он совершенно не задается вопросом, для любви или для злобы он трудится, ложью или истиною живет, целомудренна ли душа его, когда его язык произносит святые, всем ведомые, и лучше, чем им, всеми чтимые слова. Он говорит: «Во имя закона любви *** со-

от этой ложной любви и нужно отрешиться, в этом смысле и нужно возненавидеть, — возненавидеть не только себя или „душу свою“, но и свою семью, и всех близких своих, и *народ свой*, — *ибо в других местах Нового Завета требуется отрешение и от своего народа. Вот эта-то истинная ненависть, упраздняющая ложную любовь, ложную и слепую привязанность к своему родному, — она-то и есть то самоотречение — не личное только, но и семейное, и родовое, и национальное, которое выдуманно не мною и какими-нибудь западниками, и возвещено и западу, и востоку в Новом Завете — в выражениях более резких, нежели самоотречение»* (Владимир Соловьёв: «Национальный вопрос в России». Вып. 1-й, изд. 3-е. СПб., 1891, стр. 62—63). Вот уж вспомнишь: «Во гресех зачала меня мати моя».

* «...Мы самодовольно взирали на трудный и скользкий путь западного собрата, *сами сидя на месте, и сидя на месте не падали»* (Влад. Соловьёв: «Три речи в память Достоевского», Моск. 1884, стр. 47), так определен им смысл исторического существования восточной церкви, в отличие от западной.

** См. «Национальный вопрос в России». Эта книга собственно идейного *raison d'être* не имеет.

*** «...Это слово соединения есть слово святое и божественное, оно одно может дать нам и истинную славу сынов Божиих: «Блаженны миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся»... «В соединении церковей я вижу не умерщвление русской церкви, а ее оживление, *небывалое возвышение нашей духовной власти, украшение нашей церковной жизни, освящение и одухотворение жизни гражданской и народной* (какие все идеалы, и не слова об истине!). Для того, чтобы это совершилось, необходимо самоотречение не в грубом физическом смысле, не самоубийство, а самоотречение в смысле чисто нравственном, т. е. приложение к делу лучших свойств русской народности — *истинной религиозности, братолюбия, широты взгляда, веротерпимости,*

льемся с Западною церковью», и не слышит, точнее делает вид, что не слышит, как говорят: «Во имя истины, во имя единства церкви, во имя самой любви не могу соединиться с тем, что истину нарушило *, единство разорвало **, любовь презрело ***, и в себе, в своих недрах, заменило ее ненавистью и ложью» ****. С тем непониманием, глухим и косным, с каким смерть, разрушение относится к живущему, он различает только одно: что *два слившись будут одно*, что *слияние* — это *близость*, и, вероятно, любовь; но что будет одно, не ценою ли потемнения истины ***** только может произойти слияние, и не принятием ли в себя злобы и лжи механическое соединение, к этому он слеп, этого он не видит. Мерт- 10
 вый человек, и задавшийся самым великим, самым святым, самым жизненным, что в неисповедимых путях Промысла, мы ждем, совершится: но тогда, когда Запад утомится в своей лжи, устанет в злобе и приползет к ногам им отвергнутого, им презренного, им столько мученного ***** Востока.

свободы от всякой исключительности и прежде всего — *духовного смирения* (курсив в последнем слове г. С-ва) ... О духовном смирении русского народа я не только слышал, но и поверил ему, и не только поверил, но и опираюсь на него в своих взглядах на церковный вопрос... Я, к сожалению, не могу ни принять, ни даже понять совета, с которым ко мне обращаются: не отделять себя от народа, воссоединиться с русским народным духом. Я не знаю, что под этим разумеется, про какой дух говорится. Тот ли это *дух, который водил наших предков за истинной верой в Византию, за государственным нагалом к варягам, за просвещением к немцам, дух, кото- 20*

* Внешнее оправдание, центрально отвергнутое Христом, центрально же принято католичеством в так называемом учении о спасении через «добрые дела» (т. е. факты, поступки, творимые без живого участия в них совести).

** Католицизм исторически обозначает собою отделение, сектантство: ибо от церкви, оставшейся после разделения в этом же содержании, как и до него, очевидно именно он отделился, сектотизировался, чтобы это содержание видоизменить, и уже начиная его видоизменять в самый момент отделения.

*** Не отвергая возможности и нужды самоулучшения и даже саморазвития, самоизменения, церковь, однако, к этому трудному и великому шагу приступает не иначе, как в бережной 30
 любви, зная, что Спасителем она указана, как охрана человека против внедрения злого духа («где два или три соберутся во имя Мое — Я посреди их»). Видоизменившись вне единения с восточными церквами, католичество вышло из их согласия, и тем разорвало любовь, вне которой церковь и невозможна. Его историческая сущность в том вся и выражается, что оно есть мятеж против церкви, собою обусловивший возможность и всех последующих от нее отпаде- ний (протестантизм XVI в., деизм XVII, атеизм XVIII, и т. д.).

**** Инквизиция и иезуитский орден; принципы последнего мы можем принять за принци- пы вообще католичества, по аксиоме: что в части есть — есть и в целом.

***** Выше мы уже отметили, что вопрос об истине как бы исчезает, туманится перед глаза- ми г. Вл. Соловьёва, и он манится исключительно внешними ожиданиями: «возвеличения вла- сти духовенства», «украшения церковной жизни», «оживления и одухотворения — граждан- 40
 ской» и т. п.

***** Самое любопытное в истории отношений Восточной и Западной церковью есть то, что первая никогда собственно не боролась, не умела этого (и, мы глубоко убеждены, не должна уметь — не для этого она на земле). Так что требование открыть свободу западной пропаган- ды, напр. у нас, есть собственно требование повалиться перед наступающим врагом. Право-

III

«Примирение»... он говорит, и кому же? Церкви! И о чем? О том, что верно не по маловажным причинам вот уже тысячелетие не примирено. Малодушный, и слепой, и лживый человек: пусть он в своем маленьком раздражении, в ссоре, вчера начавшейся, помирится со мною. Пусть напишет в ответ на статью эту — проникнутую миром, спокойствием, любовью и прощением к тому, что в ней ему непонятно. Но я уверен, и умирая он не простит мне ее, и я не простил бы ему, если б в самом деле был к нему исполнен злобы, — но не к нему, в моих глазах только жалкому слепцу, я исполнен презрения, однако есть вещи, которых и я умирая не прощу и не хочу простить, — это равнодушия к истине, которого выражением служит хотя бы орган, в котором он участвует. И так, если оба мы с некоторыми вещами не примирены, и примирение считали бы отступничеством от чего-то лучшего, нежели только мир; не ясно ли, что есть это лучшее и для великих исторических организмов, как церковь, которые, тысячелетие двигаясь бок о бок, не сливаются, не единятся — не потому вовсе, что не знают, что «единение хорошо», а потому, что знают, что есть его лучшее и это лучшее им вверено, и они его должны донести до конца, не растеряв.

IV

В книге «Национальный вопрос в России» им это примирение пропагандируется; с неутолимим раздражением, которое было бы отвратительно, если бы даже и не было так мелочно, он набрасывается на все партии, на память всех замечательных людей, в которых этому примирению предполагает видеть отпор. Сам он, ему кажется, является в нашей истории четвертым после Гостомысла, Владимира Св. и Петра *: первый призвал Русь отречься от своего хаоса и при-

славная церковь не хочет враждовать и спорить, наконец — считает себя неспособною к этому (мы думаем — не имеет для этого исторических и мистических в себе задатков); по крайней мере способ защиты ведь не могут же оспаривать у нее наступающие: она и избирает себе соответственный — *не слушание*. Она просто хочет молиться, и, конечно, вправе пожелать, чтобы ей в этом не мешали, а внешние ее стражи вправе не допускать «богословов», которые хотели бы войти в храм, и, оставив его кафедрами, начать словопрения. Не время и не место — у нас и теперь — для этого: дьякон читает ектению, народ «міром» молится, скоро запоют Херувимскую песнь: к чему споры, и для чего, о чем?.. Одно желание, к одному усиле есть у верующей в себя церкви: чтобы горяча была ее молитва и чтобы там, за стенами храма, она как бы продолжалась, не остывала, теплилась, трансформируясь в каждом месте и времени, сообразно вещам, к которым применяется, но не в смысле и духе своем, а лишь в образе применения. *Полнота и живость* церковной жизни, вот что остается для нее одно при вере уже в *истинность*.

* «Наша история представляет два великие, истинно патриотические подвига: призвание варягов и реформу Петра Великого. Я не говорю о принятии христианства при Владимире Св., потому что вижу в этом событии не столько подвиг национального духа, сколько прямое действие благодати и Промысла Божия. Однако и здесь заслуживает замечания, что Владимир и его дружина не боялись принять новую веру от своих национальных врагов, с которыми они были в открытой войне»...

звать правителей из-за моря, второй — отрекся от язычества, чтобы покорить народ своей чужеземной вере, третий — чтобы покорить его чужеземным формам быта, сложения. И, наконец, на наших глазах, и опять Владимир, но только еще не канонизированный, зовет ее совершить новый несравненно высший акт отречения — от веры своей истинной, от древней церкви *. Его роль ему кажется бо-

«Склонность к розни и междоусобиям, *неспособность к единству, порядку и организации* были *всегда* отличительным свойством славянского племени. Родоначалники нашей истории нашли и у нас это природное племенное свойство, но вместе с тем нашли, что в нем нет добра, и решились ему противодействовать. Не видя у себя дома никаких элементов единства и порядка, они решились призвать их извне и не побоялись подчиниться чужой власти. *По-видимому, эти люди, призывая гужую власть, отрекались от своей родной земли, — на самом деле они создавали Россию, нагинали русскую историю.* Великое слово народного самосознания и самоотречения: земля наша etc... было *творческим словом*, впервые проявившим историческую силу русского народа и создавшим русское государство... Нас постигло бы без этого» и т. д., и т. д., но «*мы были спасены от гибели национальным самоотречением*» (стр. 33—34). 10

«Россия XVI-го века... нуждалась во внешней цивилизации и в душевном просвещении. И вот, как прежде приходилось искать чужого начала власти за неимением своего, так теперь» и т. д. «И тут опять должен был проявиться у нас истинный патриотизм — бесстрашная вера и деятельная практическая любовь к родине. Такая вера в Россию, такая любовь к ней были у Петра Великого и его сподвижников. Для народного самолюбия» и т. д., «но Пётр верил 20 в Россию и не боялся за нее. Он верил, что европейская школа не может лишить Россию ее духовной самобытности и только даст ей возможность проявиться. И хотя полного проявления русского духа мы еще не видали, но все, что у нас было хорошего и оригинального в области мысли и творчества, могло явиться только благодаря Петровской реформе; без этой реформы» и т. д., и т. д.; в заключение: «реформа Петра Великого была в высшей степени *оригинальна* (его курс.) *именно этим смелым отречением... этим благородным решением... порвать с прошедшим народа ради народной будущности*» (стр. 36—37).

«Не национальное самолюбие, а национальное самоотречение в призвании варягов создало русское государство; не национальное самолюбие, а национальное самоотречение в реформе Петра Великого дало этому государству образовательные средства, необходимые *для* 30 *совершения его всемирно-исторической задачи. И неужели, приступая к этой задаче, мы должны изменить этому плодотворному пути самоотречения...* ведь плоды нашего национализма только в церковном расколе с русским Иисусом и осьмиконечным крестом (какой взгляд на раскол, после всего, что о нем написано!). А плоды нашего национального *самоотречения* (в способности к которому и заключается *наша истинная самобытность*) — эти плодыналицо: во-первых, наша государственная сила и, во-вторых, наше просвещение»... Но «окончательно и безусловно ценного ни там, ни здесь еще нет: и государственность, и мирское просвещение суть только *средства*. Мы верим, что Россия имеет в мире *религиозную задачу*. В этом ее настоящее дело, к которому она подготовлялась и развитием своей государственности, и развитием своего сознания, и *если для этих подготовительных мирских дел нужен был нравственный подвиг национального* 40 *самоотречения, тем более он нужен для нашего окончательного духовного дела*» (стр. 39—40. Влад. Соловьёв. «Национальный вопрос в России». СПб., 1891 г.).

* «Восстановление единства и согласия христианской церкви, *положительная духовная реформа* — вот наша главная нужда, столь же настоятельная, но гораздо более глубокая, чем нужда в государственной власти во времена Рюрика и Олега или нужда в образовании и гражданской реформе во времена Петра Великого... Призвание варягов дало нам государственную

лее высокой, чем трех его предшественников*: он вспоминает великого еврейского законодателя, — и слова, которыми тот заключил свой закон, страшная клятва, которою он заклинал народ до конца сохранять этому закону верность, он повторяет, не в конце только, но перед изложением своей доктрины:

«...По своему историческому положению и по национальному характеру и мiросозерцанию Россия должна сделать почин в этой новой *положительной* реформации. Исполнит ли она свою нравственную обязанность — мы предсказать не можем. Мы не признаем предопределения ни в личной, ни в народной жизни. Судьба людей и наций, пока они живы, в их доброй воле. Одно только мы *знаем*
10 *наверное* **: если Россия не исполнит своего нравственного долга, если она не отречется, если она не откажется... если она не возжелает и т. д.

«*Призываю ныне во свидетели небо и землю: жизнь и смерть положил я ныне пред лицом вашим — благословение и проклятие; избери же жизнь, да живешь ты и семья твоя*». Второз. XXX, 19*** (Предисловие к «Национ. вопросу в России», стр. IX).

Совсем Моисей... недостает только Синая; недостает сияния около головы, или, быть может, оно чуждится? И чуждится, кажется, дивящийся на пророка своего народ, благоговейно слушающий его слова, и не теперь-завтра имеющий принять их как высший руководительный принцип в выборе для себя исторических путей.

20 Все остальное — хлопоты «пророка» около «своего народа». Мы делаемся свидетелями, как во всеуслышание утверждается****, что инквизиция зародилась на Востоке, и подразумевается, что это он, мрачный, гнусный, передал это адское свое изобретение католическому Западу, который без него, быть может, пребыл бы кроток и милосерд к заблуждающимся в вере. Университеты и академии изумлены открытием, печатаются древние тексты; филологи толкуют назва-

дружину. Реформа Петра Великого, выделившая из народа так называемую интеллигенцию, дала нам культурную дружину учителей и руководителей в области мiрского просвещения. Та великая духовная реформа, которую мы желаем и предвидим (*воссоединение церквей*), должна
30 *дать нам церковную дружину... духовных учителей и руководителей церковной жизни, истинных показателей пути*, которых желает, которых ищет наш народ... *И как те два первые дела — введение государственного порядка и введение образованности — могли совершиться только герез отречение... так и теперь для духовного обновления России необходимо отречение*... (Там же, стр. 41—42).

* «Мы воспользовались чужими силами в области государственной (т. е. при Рюрике) и гражданской (при Петре Великом) культуры. Но для христианского народа внешняя мiрская культура может дать только *цвет*, а не *плод* его жизни; этот последний должен быть выработан более глубокой и всеобъемлющей — духовной или религиозной культурой, в которой мы остаемся доселе совершенно бесплодны» (там же, стр. 42; курсивы принадлежат г. Вл. Соловьёву) и должны быть оплодотворены через воздействие на нас католической церкви.

40 ** Курсивы принадлежат Вл. Соловьёву.

*** Этими словами оканчивается пятая и последняя между книгами Моисеевыми, получившая название свое от изложенных в ней постановлений, обнявших жизнь еврейского народа во всех подробностях религиозного, гражданского, экономического быта и действительно способных стать законом жизни.

**** В одном из заседаний «Московского психологического общества» за прошлый год, вызвавших столь бурную и памятную полемику в нашей литературе.

ние учреждения; требуются справки в Thesaurus linguae graecae *; и, наконец, все удостоверяются, что что-то в этом роде если и не было, то почти было, или хотело, или могло быть если и не в этом, то в том веке, но действительно на Востоке, среди православной церкви, которая в споре все-таки пошатнулась немного в предполагавшейся всегда чистоте ее от этого гнусного учреждения католической церкви. Наша местная церковь, к печали всех истинных ее сынов, вот уже два века лишена внешней свободы жизни, — конечно временно, конечно к испытанию только нашего терпения, но тот же «пророк» отыскивает в «Камне веры» Стефана Яворского несколько строк, и, умолчав, что оне навеяны были с Запада и чуть ли не прямо взяты из какого-нибудь католического богослова, говорит, что оне оправдывают лишение церкви прежней свободы и ограничение ее во внешнем устройении и жизни светскою властью **. Умалчивается о всем колоссальном, что режет глаза, как иезуитский орден, как кровожадный парад при сожжении еретиков; умалчивается история и поднимается вихрь слов ***, слов, слов, которые ведь могут же, наконец, заслонить от современников, столь за-

* Сокровищница греческого языка (*лат.*).

** «...И что же, едва успел Стефан Яворский в своем богословском трактате с такою решительностью присвоить церкви два меча (т. е. силы нравственной и власти гражданской), как уже должен был отдать их оба в руки *мирского нагальника*. Из блюстителей праздного престола патриаршего он волей-неволей делается бесправным председателем учрежденной Петром Великим духовной коллегии, в которой наше церковное правительство явилось как отрасль государственного управления под верховною властью государя — *крайнего судии сей коллегии*, и под непосредственным начальством особенного государственного сановника — *из офицеров доброго человека, кто б имел смелость и мог управление синодского дела знать*. Беспристрастный и внимательный взгляд на исторические обстоятельства, предшествовавшие учреждению синода и сопровождавшие его, не только удержит нас от несправедливых укоров великой тени преобразователя, но и заставит нас признать в сказанном учреждении одно из доказательств той провиденциальной мудрости, которая никогда не изменяла Петру Великому в важных случаях. Упразднение патриаршества и установление синода было делом не только необходимым в данную минуту, но и положительно полезным для будущего России. Оно было необходимо, потому что наш иерархический абсолютизм, искусственно возбужденный юго-западными влияниями (отчего не сказать прямо: «католическими»), обнаружил вполне ясно свою несостоятельность» и т. д. См. «Национальный вопрос в России», ч. II, стр. 20.

*** Вот пример, как г. Вл. Соловьёв обходит ему неприятную истину: приведя слова мои (из ст. «Свобода и вера»): «не более, чем в протестантстве, есть веры и в католичестве: *иезуит*, во имя Христа хватающий протестантского младенца и, читая молитву крещения, обваривающий его кипятком, дабы он не остался жив, не вернулся к родителям и не стал в ряды колеблющихся камень Петра — это испугание неужели вера», — он, не отрицая поразительного факта, практиковавшегося в знаменитом ордене, оговаривает: «Обваривать младенцев кипятком не есть *правило* (как будто *это* я утверждал, и, между тем, отрицательная частица *не* уже внедряется в ум читателя и затемняет, не отвергая, факт) *католической церкви*» (как будто о ней всей я говорил). Это несколько напоминает правило, содержащееся в курсах нравственного богословия иезуитов: «Если ты убил человека и на суде тебя спрашивают об этом под присягою, ты можешь сказать — *нет, не убивал*, добавляя мысленно: *до его рождения*» (*reservatio mentalis* — умственная оговорка). «И Бог, видящий тайное», по мнению иезуитов, не предаст убийцу «явному» суду.

бывчивых, столь легкомысленных, действительность, и, как бы гипнотизировав их, в самом деле заставить думать, что и пророк, и Синай, и скрижали — вот они: ему остается встать и пойти.

V

И никогда, никогда правдивое зеркало не показало ему истину; не показало обтянутых лайкою ног, которым, конечно, не идти в пустыню; не показало немощных рук; ни червя зависти, гнева, мелочной злобы, который точит сердце; ни, наконец, ума, который так мало, так слепо, так жалко понял даже то, что нужно было бы ему говорить, если бы в самом деле он был тот, кем кажется себе.

10 Бедный танцор из кордебалета, пытающийся взойти на пылающий огнем Синай; жалкий тапёр на разбитых клавишах, думающий удивить мир мелодией игры своей; человек тысячи крошечных способностей без всякой черты в себе гения; слепец, ушедший в букву страницы, не разумеющий смысла читаемых книг *, книг собственных, наконец **, и он — в роли вождя народа, с бесстыдными словами, какими-то заклинаниями, — было ли в истории, не нашей, но чьей-нибудь,

* Вся критика его (см. «Национальный вопрос в России») есть собственно не критика взгляда, теории в их центре или основании, но — какой-нибудь мелочной, побочной черты, вырванной страницы, неудачного выражения, неверно приведенного факта, и в этих узких границах критика остроумная, живая или по крайней мере язвительная. Так разбирает он Ки-
 20 реевского, Хомякова, Данилевского, и незнакомый с их трудами, читая эту критику, не мог бы составить даже приблизительного понятия о том, что собственно критикуется, в чем состоит опровергаемый взгляд. Так, по вопросу о культурно-исторических типах собственно является один вопрос: как же, если типы эти непроницаемы, отнестись к некоторым абсолютным идеям (как христианство, или в другой сфере — геометрия) — отвергнуть ли их, сохраняя эту непроницаемость, или сохранить эти идеи и тогда отвергнуть их непроницаемость? И, далее, в каком объеме принимать эти идеи, и, след., суживать содержимость самых типов? Между тем он заговорил о этнографической группировке народов у Данилевского, и т. под. вещах, не относящихся к делу. В возражении на статью мою «Свобода и вера» он, между строками, и без нужды для себя, соглашается с двумя ее исходными точками («положим так: поскольку дело идет о сво-
 30 бодe исповедания и проповедания, само собою понятно, что кому нечего исповедывать и проповедывать, тот и в свободе для этого не нуждается», «Вестн. Евр.», февр., стр. 910; «что всякий человек должен защищать и естественно защищает истину, в которую верит, — это само собою разумеется, об этом нет вопроса и спора», там же, стр. 916), не замечая, что остальное все уже *implicite* <в скрытом виде> здесь содержится, и против него бесполезно спорить.

** Замечательно, что книги его не только не отвечают цели своей, но иногда ей противостоят: так, ища соединения церквей, конечно, нужно было примирять раздельных, *объяснять* их взаимные недостатки, указывать общие им черты, и ни в каком случае пристрастием и односторонностью критики не раздражать которой-нибудь одной стороны. Между тем в «Национальном вопросе», с утонченною изощренностью выискивая все, в чем можно было оскорбить Восток, Россию, православие, он не обмолвился ни одним упреком по отношению
 40 к Западу, католичеству, и вот почему, насколько его деятельность влиятельна, насколько его книги читаются, мира в сердцах стало менее, чем до его писаний, и самое соединение церквей — далее от возможности теперь, чем когда-нибудь.

явление столь жалкое, смешное и, наконец, унижительное, унижительное не для него уже, но для человеческого достоинства.

Никем не было, кажется, замечено, что коренная особенность публициста-богослова-философа-поэта и т. д. и т. д. есть именно неспособность: неспособность стать чем-нибудь и даже, просто, стоять на собственных ногах; вот почему он то падает на плечи славянофилов, пока они есть; умирают их видные столпы — он падает на плечи западников; есть «Русь» — он в «Руси»; нет «Руси» — он в «Вестнике Европы», не по недоразумению, но с истинным влечением, как дерево без корня, которое вечно к кому-нибудь клонится. С Достоевским он едет в Оптину пустынь*; некому везти его в Оптину — он слушает, не зовет ли кто в Загреб (кажется), в Париж, куда-нибудь. Ему нужно, чтобы его держали, он решительно не стоит. Он думал заняться философией, но для этого нужно по крайней мере уметь сидеть за письменным столом, а между тем ноги его куда-то неустойчиво бегут; он думал — бегут на Синай, но вот подвернулся публицист, которого нужно «казнить»**, и он, обмакнув перо в чернильницу, пишет остроумный памфлет, которому завидует «Стрекоза». Синай, однако, не забыт, Синай тревожит его сердце: и вот, не выпуская пера памфлетиста, он им пишет... что? памфлет? мессианские прозрения? Но что-то во всяком случае любопытное*** для прочтения, и пресса шумит, книгопродавцы хватают его книги, а он, бедный, думает, что это все... Бедный слепорожденный, который болезненный блеск в своем глазе принял за свет солнца, о котором ему говорят, он слышит, и хотел бы видеть его; но этого ему не суждено...

VI

Пытаясь выразить в каком-нибудь термине сущность вещей, Аристотель со-здал сложное выражение для этого, в точных терминах своих непере译имое: τὸ τί ἦν εἶναι****. Это — идея вещи, ее вечное, неразрушающееся понятие, как мы догадываемся; но, по более точному переводу, просто — «то, что вещь делает именно тем, что она есть»: и действительно, это есть самое общее понятие о сущности. Есть, однако, вещи как бы недоделанные, не сформировавшиеся еще, неясные в себе, и к ним неприменимо это выражение; есть и люди, тенью проходящие в истории, к которым приложить этот термин мы не могли бы. Г-н Соловьев есть человек без τὸ τί ἦν εἶναι — вот глубочайшее его определение и вместе объяснение всего его характера и, наконец, самой судьбы, насколько она совершилась уже. Нет центра в нем, неустойчиво формирующего внешние черты его образа, деятельности*****; нет координирующего центра, который управлял бы движе-

* В 1879 г.; см. «Биография и письма Ф. М. Достоевского» в «Сочинениях» изд. 1882 г.

** См. исполненные игривого остроумия статьи о Щеглове (в «Вестн. Евр.»), Лесевиче (в «Вопросах Философии и Психологии»), были, кажется, еще другие.

*** «Национальный вопрос в России» — книга, о которой читатель может составить представление по обширным сделанным из нее выдержкам.

**** бытие тем, что было (*grzeg.*).

***** Читатель может сказать, что религиозность есть все-таки господствующая черта всех его трудов; но мы ограничим это, заметив, что к религиозному он постоянно тяготеет не в ином смысле, чем как и дерево без корня падает всегда к земле. Но это — вопрос сложный, который можно было бы разъяснить, лишь сделав из него новые обширные выдержки.

ниями его тела; и вот почему ловкость рук его удивительна, быстрота ног внушает страх, все движется, и однако так, что, сторонясь, мы спрашиваем: не паралитик ли? Все действия его не отвечают целям, ради которых он ясно совершает их; устройство способностей его — задачам, за которые он берется*; все — расстроено, хотя и шумно, деятельно, для скучающих — ярко, значительно, во всяком случае любопытно. В нем есть οὐσία**, есть ἀρχὴ τῆς κινήσεως***; он пытается найти τὸ τέλος****, но нет τὸ τί ἦν εἶναι, и — вот он весь, со всеми своими талантами и всю немощью.

VII

10 Конечно, немощный в главном, при тысяче способностей к подробностям, он прежде всего ошибся в определении смысла времени, в которое по воле судьбы брошен рождением и должен бы потонуть в его забвении, но множеством второстепенных своих даров поднялся над этим забвением. Куда плыть, что делать, когда руки машут?.. И вот, среди множества точек зрения на родную историю, он понял только одну, что в ней не однажды совершались отречения, и повторил механично: «отречемся еще»; в Евангелии прочел: «возлюби ближнего» и, протягивая перед собой руку, безжизненно указал: «возлюби того, кто рядом с тобой»; и, наконец, слыша, как отовсюду ломятся стены родного здания, стал призывать: «разломим, сокрушим». Он думал, в этом он понял историю. И в самом деле, ведь те факты указал он, которые были; за святыми словами последовал; и, наконец, ответил какому-то неясному движению истории.

20 Ответил, повторил, указал, ничего не связав живую мыслью. Ему непонятно, почему бы с Евангелием нельзя было обращаться как с геометрией, откуда какое бы положение мы ни взяли, можно быть уверенным, что не найдется никакого, с которым бы оно стало в противоречие. Великий экзегет, не без «черт Оригеновского мышления»****, не заметил, что ведь геометрия есть ряд утверждений, к одному относящихся, в одной тесной сфере движущихся, в одну сторону

* Недостаток созерцательности, чрезмерное преобладание волевого начала над рефлексией делает его всего менее философом; а раздраженное, мелочное сердце и способность к сарказму мешает быть богословом. По характеру ума он есть собственно казуист, по влечению — литератор; слово занимает его всегда более, чем дело, и даже в собственных средствах оно чрезмерно преобладает над мыслью. И между тем, некоторая благородная тоска влечет его к великим задачам, его воображение рисует образы, из этой тоски вытекающие, но в высшей степени не отвечающие его средствам. Едва ли, когда весь его путь будет пройден, о нем не придется сказать: вот человек, который испортил так много прекрасных начинаний, и время бы уже приступить к ним, но кто же теперь, после него, за них возьмется?

** сущность (*грег.*).

*** начало движения (*грег.*).

**** результат (*грег.*).

40 ***** «Тщетно было бы искать приемов его мышления в современной логике; чтобы найти их, недостаточно даже обратиться от логики Милля к логике Гегеля: надо вернуться для этого к логике Оригена Александрийского». (П. Миллюков. «Разложение славянофильства», в «Вопросах Философии и Психологии», 1893 г., май, стр. 87).

направленных; и противоречие здесь было бы отрицанием, саморазрушением. Но этого саморазрушения нет в противоречиях живого, и особенно когда это живое есть семя, из которого подымется произрастание веков и веков. Их все, в необъятной их судьбе, в падениях и возвышениях, в грехе и просветлении, нужно было укрепить — прощением в одном случае, угрозой в другом, милосердием как и гневом. Какое же слово, засунув слепо руку, мы вытащим, чтобы на нем основать судьбу человека, искусственно построив ее на этом одном слове бескровною мыслью? «Блаженны нищие», но разве Иов уже не блажен? не блажен Давид? «Блаженны кроткие», но что же, разве уже прокляты Илия и Елисей? «Блаженны творящие мир», — но с кем, и с фарисеями? Для живых Евангелие было принесено, а не для мертвых: для живого руководства его цельным смыслом, в скорби и в радости, в возвышении и падении, всегда, когда сердце открыто, для всякого, кто умеет это сердце открыть. У кого же оно глухо, замкнуто, что может костлявая его рука вытащить оттуда, и, на вытасченном построив, успокоится, что построенное вечно по данному обетованию и праведно по основанию. Нет, оно может быть и преступно, может стать временно, как это мы видели в XIV и XV веках, и видим плоды этого в XVIII и XIX. Видим в Новозаветной истории повторение Ветхозаветной, где ведь так же слова святого закона были соблюдены, и только потерял его дух, смысл, который не в части обитает, не в строке, не в тексте, но в том, что из всех строк, со всех страниц, из образов, поучений, угроз, обетований веет жизнью вечною, «хлебом животным...».

VIII

«Родная история полна отрицания»... О, мертвые слова, о, недостаток живого смысла: но не полна ли она также и утверждения, и из живого, что видела история, было ли что-нибудь, что говорило только бедное «да, да», и если оно мешало «да» с «нет», разве можно заключать, что оно вечно должно повторять «нет». Не вся ли Русь в церкви? Вне ее стен, что же останется:

Гром победы раздавайся...

и с этим, с этим ей предлагается остаться, отказавшись * от древней веры? Мертвый человек, захотевший вынуть душу из своего народа и надписывающий:

«Жизнь и смерть положил ныне перед лицом твоим, благословение и проклятие. Избери же жизнь, да живешь ты и семья твоя».

О, конечно, «смерть положил», и проклинай, проклинай народ свой, но и отходи же в сторону с путей его.

* Из приведенных выше выдержек, а также и из отсутствия каких-либо упреков католицизму, при обилии упреков православию, можно видеть, что г. Соловьёв вовсе не *соединения* церковей ищет, на основании очищения *той и другой* стороны от ложного в себе, или недостаточного; но — подчинения России Риму, с простым отречением ее от православия (см. аналогии с делом Рюрика, Владимира Св., Петра Великого, причем, в этих аналогиях православие уподобляется хаосу, язычеству, невежеству, которое прямо уничтожалось, а не примирялось с противоположным).

Ни в один из великих отрицательных моментов истории Россия не отрицалась своего *я*, *души* своей; но только сбрасывала одеяние, становившееся ветхим, неудобным более, не отвечающим своей цели, — иногда, как это было при Петре I, не отвечавшим тысяче мелких дел, которые, однако, нужно было совершить, чтобы не погибнуть от сил, чисто стихийных и грубых *. Но вот, не различая, что *тело* и *болит*, и что *платье* и *рвется*, ей предлагается теперь отречься от этой души. Человек, которого вся сущность состоит в отсутствии сердцевины, корня, и в своей родине не отличил этой сердцевины от наружной кожур, и как, в самом деле, им задуманный «подвиг» отвечает этим указанным особенностям его индивидуального бытия. Без координирующего центра движений, слов в себе, он не увидел его и в истории; лишь палка, бросаемая из рук ** в руки, он подумал, что и тысячелетний многомиллионный народ может стать бросаемой вещью: его забота найти, кто взял бы это на себя, и, ему кажется, он нашел лучшего, самого сильного. И представить только нашу деревню с латинским ксендзом; наших баб, беременных, с грудными младенцами, которые уже не внесут в церковь этих младенцев, потому что там их незачем вносить; да и не пойдут оне в церковь, где им не прочтут Евангелия, где оне не поймут и не повторят в душе своей умиленных песнопений, не помолятся с диаконом своим «міром» — «о благосостоянии святых Божиих церквей», «о граде сем и всяком граде», «о мире всего міра». И, уж если нужно произносить проклятия, проклята будет земля наша в тот день и час, когда она откажется от этой святости, которою жила тысячелетие, просвящена была ею, согрета, утешена, и, надругавшись над гробами отцов, побежит за обманывающею и нищенскою рукою, которая, не имея у себя ничего, манит ее обещанием, что что-то будто может дать ей. Бесстыдная и лукавая красавица, все имеющая, «кроме чести», конечно, она не соблазнит нашего пахаря, у которого, быть может, и ничего нет, да и не нужно ему, он спокоен, потому что с ним его совесть, она не растеряна в истории, не продана за золото ***, не отдана ради чести блуда с сильными міра сего ****, никого не соблазняла, но и ни о ком не соблазнилась.

30 * Т. е. по отношению к России; мы разумеем внешнее завоевание, которому, не усвоив некоторых технических подробностей (армия, флот), Россия могла бы подвергнуться с запада.

** В сущности, даже с мыслью своею о соединении церквей через отречение от православия, г. Вл. Соловьёв является лишь неумелым, ограниченным толкователем идеи о «всемирной гармонии человечества через посредство русского народа», которую высказал покойный Достоевский на Пушкинском празднике. Но ведь Достоевский разумел именно православие в русском народе, через которое и о котором спасутся все народы (и мы так ожидаем), а не отречение от этого самого православия, и массовое, физическое соединение с чуждою идеей, верой или кругом идей. Г-н Соловьёв понял... даже не мысль, а скорее только предчувствие Достоевского, как казуист римского права понял бы поэзию Пушкина: он ее извратил, высказал ей обратное по смыслу, повторяя ее букву.

40 *** «Ватикан — это рынок, на котором все можно купить», — определяли в Германии XV—XVI вв.

**** Союз с растленными европейскими дворами в XVII—XVIII вв. против народов, их свободы, просвещения, благосостояния.

IX

Есть представление о народе нашем, как исключительно мягком, «терпимом», неспособном и, в видах ему навязанной репутации, уже как будто и бесправном к самозащите... Так понимает его, этого требует от него и г-н Вл. Соловьёв, и иные, с ним единомышленные. Им бы эта «терпимость» нужна, по крайней мере, на время. Они не заметили в нем иных, суровых и строгих, черт; и, между тем, именно оне в нем главное. Их обманул двухвековой карнавал нашей истории; настал его последний день, и они требуют веселья нестерпимого, огней, вина, наконец, блуда, и, если возможно, в неслыханных формах. Им кажется, «возможно»... Еще день не кончился, *их* день... *последний* день, и вот что в безмерном упоении они не хотят сознать, не чувствуют. Между тем, в запертой и еще пустой церкви все изменяется, светлые ризы заменяются черными, на место одних книг готовятся другие, главные. Еще все молчит; неситесь в веселии своем буйном по улицам, доедайте последний блин, и, если нужно, засыпайте. Но народ, — ударит протяжный колокол, и он необозримыми толпами потянется к храму, где все другое, и он сам в нем другой... Новая эпоха, новая эра нашей истории, о, если бы скорее она наступила, если бы, наконец, сгинула с глаз эта улица, эти маски, вино, красавицы, и всё, всё, за что цепляются только немногие мертвые руки, несколько не сытых еще желудков, неутоленных пóзывов.

X

И неужели, хоть робко сказать несколько слов о могущем наступить завтрашнем дне — значит преступить что-то, сделать нестерпимое?.. Почему думает г-н Вл. Соловьёв, что *все* жаждут с ним еще вакханалии и вакханалии. Для многих — ее довольно; довольно для меня и, как всякий, я хочу сказать то, что хочу... Голос мой слаб, и время для него еще не наступило; и не делаю я то, что будет сделано, что может быть сделано завтра. Но ведь и статья моя «Свобода и вера» не призыв, не удар в колокол, а только жест презрения невольного к тому, что и многим гадко... И вот, я повторяю его, указываю еще на «пошатающегося»; что же, вступить ли мне с ним в брань? к чему? Это так в его вкусах, и вовсе — не в моих. Достаточно понять, определить, самое большее — выговорить вслух определенное. Что может он мне сделать, его брань? Там, куда я иду, он никогда не будет выслушан; там, куда он идет, я не хочу быть выслушанным.

Спор наш кончен, да в сущности он и не завязывался.

ЧТО ПРОТИВ ПРИНЦИПА ТВОРЧЕСКОЙ СВОБОДЫ НАШЛИСЬ ВОЗРАЗИТЬ ЗАЩИТНИКИ СВОБОДЫ ХАОТИЧЕСКОЙ?

Я не удивился, прочтя в апрельской книжке «Русского Обозрения», в унисон запевшего с «Вестником Европы», строки о свободе *; в век, когда есть лишь степени безверия — свобода верующая так мало может быть понятна; в эпоху, доканчивающую ей предназначенную миссию разрушения — так непонятен труд, созидание, утверждение. И вот, неживой консерватизм протягивает руку мертвому либерализму; им кажется — творчество могло бы помешать их дебатированию; их призывают к вере, когда они хотели бы рассуждать; они вспоминают перья на шляпе маркиза Позы, зовут тень Гамлета, — они, художные питомцы тех праздных, но поэтических вымыслов. Что церковь, что история, что вдали веков пролитая кровь мучеников, и еще за ними — совершившаяся тайна Искупления; перед ними подмости, красивый актер, — и неужели прервать его речь, не дослушать волны чарующих звуков, которые идут от него, десятилетия их слушают, и неужели теперь, сегодня, встать и куда-то пойти, — быть может на сырость, холод, мрак; ведь так удобно в этих покойных хоробах, среди этого света, теплоты, плечом к плечу в рядах благоговейных слушателей...

I

Мне хочется, ввиду совершившегося унисона, расчленить звуки каждого и взвесить их тяжесть. Я этого не сделал, отвечая г-ну Вл. Соловьёву, ввиду почти отсутствия у него каких-либо возражений по существу вопроса; теперь попытаюсь собрать крохи его умствований, и пусть оценка их принадлежит читателю.

Против утверждения моего, что свобода без отношения к достигаемому объекту, без веры в выполняемое назначение, хаотична, бессмысленна и для всякого человека не нужна, «безвкусна», он, как бы не чувствуя указываемого в ней момента веры, говорит, что и вне этой веры, лишь в разрушительных целях, она нужна и сладостна для человека. Он сравнивает ее с «воздухом, который всегда и всюду нужен» **; но ведь для *живого* нужен он, для легких, которые его *тянут* в себя, и не нужен разлагающемуся труп, неподвижной груди, не нужен ничего силою не утверждающему индифферентизму; а для веры — я же для *нее* требую свободы, во имя этой ее *веры*, в *границах* ее утверждения. Воздух для недышащего есть только момент скорейшего разложения; его удаляют от трупа, когда последний хотят сохранить; и неужели, неужели в странах преимущественной свободы, как западные, как Америка, не видно и преимущественно быстрого разложения всяких остатков прежней веры — религиозной, философской, политической? Везде и все великие исторические организмы там умирают; и если момент умирания в них порожден иссякновением в себя веры, быстрота этого уми-

* Л. Тихомиров. «Существует ли свобода?». Автор, в течение долгого времени ведущий на страницах «Русского Обозрения» полемику против «Вестника Европы» и, в частности, против г. Вл. Соловьёва, в статье, против меня направленной, протягивает ему руку; как и г. Вл. Соловьёв, опровергая меня, ссылается в одном месте на его авторитет г. Тихомиров.

** «Вестник Европы», февраль 1894 г., стр. 910.

рания обусловлена избытком невдыхаемого, ненужного и только заражаемого «воздуха».

Этот принцип так ясен и тверд, что, сбиваясь в словах, путаясь в мыслях, мой противник, как только его формулирует, невольно впадает в согласие: «Иудушка утверждает, что только вера имеет право на свободу; только поверив, он говорит, я могу требовать некоторой свободы. Положим *так*: насколько дело идет о свободе исповедания и проповедания, само собою понятно, что *кому нечего исповедовать и проповедовать, тот и в свободе для этого не нуждается*» *. Он думает, факт проповеди, выражения словесного, физического действия уже *implicite* ** заключает в себе факт веры; но во что же была вера, к какому делу были приставлены, что им нужно было, когда, видя идущего мимо лысого пророка, мальчишки бежали за ним, ругаясь и издеваясь, и он проклял их? В чем помешала Вольтеру Жанна д'Арк, что он написал на нее памфлет? И не видим ли мы всюду праздных людей, которые в то время как строители строят, кладут камень за камнем, — ходя около постройки сбрасывают за камнем камень, ибо день ясен, солнце печет, и зачем бы это здание, для кого и с такими прочными стенами, массивными сводами? И так каждый безверный, выполняя закон всякого существа — трудиться, не имея перед собою предмета собственного труда, цели своего созидания, этою целью, этим предметом избирает чужой труд и его разрушает: делом, и когда нельзя, пока нельзя — хоть словом, издевательством, доказательством ненужности данного труда. 10 20

И, забывая далее историю, не имея логики, мой критик продолжает: «Если, однако, факт веры дает право на свободу, то, при множестве разных существующих вер, каждая из них будет иметь одинаковое право со всеми, что и называется веротерпимостью» ***. Но кто же в верующей толпе скажет: «Есть много разных существующих вер»; и апостолы, юная церковь Христова, идя в языческий мир, разве, останавливаясь перед капищем Юпитера, спрашивали: «Не заглянуть ли туда, может быть Юпитер жив?» или крестоносцы, прийдя на Восток, спрашивали: «Не в самом ли деле был пророк Магомет?» и разве Бруно, входя в смысл его осудивших, задавался вопросом: «Не правы ли они и я не ошибся ли?». Нет, это были все, как они ни различны, люди веры, и у каждого верующего есть одна вера, нет пантеона, куда он сносит со всего мира умерших богов, чтобы всем им равно воздать курение и никому не отдать сердца. 30

Факт одной веры у всякого, кто живо ее ощущает, моему критику представляется возможным лишь для дикаря; забывая, не понимая (безверный сам), что не за «одну из многих возможных вер» страдали мученики, всходили на костер праведники науки, он говорит: «Это — закон, которому следовал в своей жизни африканский дикарь, говоривший миссионеру: когда у меня уведут жен и коров — это зло, а когда я уведу у другого — это добро» ****. И ему кажется, что «не иначе рассуждает всякий зверь и всякая птица» *****. Факт, совершаемый вне созна- 40

* Там же, гл. III возражения.

** неявно, в скрытом виде (*лат.*).

*** Там же.

**** «Вестн. Евр.», стр. 911.

***** Там же.

ния добра и зла, он здесь не различает от веры исповедуемой; ему кажется, истина в глазах каждого должна двоиться и троиться, и, читая *свой* символ, всякий должен вплетать в него слова и всех других символов: тогда речь будет обильна и правда где-нибудь уловлена. Конечно, и вероятно даже, но тот, кто произносит такой символ, конечно, не верит ни в который и равно разрушает все.

Ему кажется непонятным, чтобы как он свой, церковь не путала свой символ с чужими; ее вера — для него непостижима, и мое утверждение, что в церкви эта вера есть, ему представляется «клеветой» *. Как он, заглядывая во все капища, колеблется между Спасителем, Гартманом, экономистами, так, ему думается, и церковь к ним всем равно прислушивается, и самое большее, что делает, что в10
вправе делать — это склонять к одному внимание преимущественно перед другими. Чтобы к их «капищам» была у нее нетерпимость — «этого мы еще ни от кого не слышали, кроме Иудушки» **, «против этого свидетельствует даже Л. Тихомиров, заявляющий: конечно, терпимость есть правило самого православия». Он кротость, милосердие к греху смешивает с неведением, что есть грех; и требует, чтобы церковь, болящая и страдающая о грехе, пришла и разделила с ним любовь на этот грех. «Простить» для него есть непременно не поднять руки, удерживать всякое к этому движение в себе; но ведь и мать прощает дочь свою погибшую, — однако, предвидя ее гибель, если б она отстранилась и стояла в стороне,20
лишь созерцала эту гибель, конечно, она была бы для нее не мать, и даже менее, чем только посторонняя; *после* греха и *при* раскаянии простить, слиться в слезах даже с преступником, вернувшимся к истине — это должна мать, к этому обязана и даже влечется своим законом церковь; «сердца *сокрушенного*» не уничтожит Бог, но уничтожит несокрушенное, смирит гордое даже и в грехе; так было; дурно, что не есть; так будет; и этому должна следовать Богом руководимая церковь. Грех — то, в чем все ее чада тонут, и церковь есть рука, из этого греха всех поднимающая. Удерживать ее руку, указать ей лишь созерцание — значит закон своего холодного, индифферентного сердца странным образом принимать за закон30
Бога. И ни с чем другим, кроме как с грехом, церковь не имеет соотношения; напрасны усилия подsunуть ей таблицы мер и наказаний, сказать «не менее», указать — «не далее»; и малое, и большое, и далекое, и близкое содержится в ней самой, определяется ее нуждою спасать, чем, как — не мы, спасаемые ***, ей укажем.

* «Иудушка клеветает на православную церковь», — так озаглавливает, в роли ее защитника, четвертую главу возражения против «Свободы и веры» г. Вл. Соловьёв.

** «Вестн. Евр.», стр. 912.

*** И не все, во что, помимо церкви, мы слагаемся как в союз. Древнейшая чем всякий союз, и по корням своим не связанная ни с каким, — не связанная ими в душе каждого верующего, в ските уединенном, в монастыре — если она и стесняется иным каким союзом, как бы ущемляется исторически, — конечно, это временно, не носит в себе никакой необходимости, кроме,40
быть может, нравственной в отношении верующих: как наказание за их слабоверие для укрепления их в вере.

II

Понимая все формы религиозного сознания как искажения или недоразвития до собственного, церковь не может допустить *, чтобы ее чада из полноты возвращались к недостатку, из прямого становились кривым. Вера яркая чтобы становилась тусклой (протестантизм), истинная — ложною (католичество), что за странное усилие, к чему оно, к чему самый о нем вопрос — у верующего? А кто не верует — уже не в церкви, и, в силу исторического отношения вещей, — не в том, что составляет ее часть, ею было согрето, выношено, возвращено: не в народе своем и не в стране. Не может церковь верующая включать в себя и то, что не есть верующее в нее; и как Восточная католическая церковь, наравне со многими другими странами и народами, объемлет и наш, — всякий, кто из нее как целого вышел, вышел и из всякой ее части, народа, страны, царства. Цельность, которую мы так понимаем в индивидууме, не отвергаем совершенно в обществе неорганизованном и признаем вообще во всяком союзе, — более, чем в каком-либо из них, есть в церкви. Она есть вечный союз человека с Богом, только момент, в котором есть наша земная жизнь, часть — и страна наша, и народ, его история, и по нитям которого тянется жизнь каждого из нас, звуча совместно с другими в одном аккорде. Струна порванная сбрасывается с инструмента и заменяется новою; пусть она еще струна, и даже — две коротких с четырьмя концами: здесь и теперь она не нужна, и кто в ней нуждается — пусть подберет ее, но отсюда она должна быть сброшена. Есть совесть, есть грех, есть возмещающее страдание не для лица только; разве эпоха не может быть преступна? народ, поколение разве не терпит иногда за то, что совершено было иным поколением? Итак, молиться, страдать, размышлять человек может не индивидуально только, но и в собирательном множестве своих моментов, как струна звучать — не только одна, но и в гармонии со множеством других. Смысл индивидуального существования темен для каждого; яснее этот смысл для народа, и в нем каждый может отчетливее понимать себя; окончательно ясен он в церкви, и в свете его могут читать себя народы, в них — индивидуумы. Вне этого — темнота, ночь; книга с перемешанными страницами, исстриженными, разбросанными. Кто хочет — может собирать их, разгадывать; не к чему требовать внимания к себе других.

III

Но вот из этих струн некоторые хотели бы и не звучать или звучать вне согласия с другими, и вместе занимать между ними положение, отвечающее не достоинству струны, но только издаваемого ею звука. К чему это, возможно ли? какой нужде остальных струн, какой нужде благородной в самой замолкнувшей или дребезжащей струне может это отвечать? Не как физический организм нужен я истории, и было бы унижительно для меня, бессмысленно для нее, если бы было так; но как деятельность некоторая и внутренний ее родник, моя душа — вот что нужно ей, и это как возвышает меня, так и осмысливает ее. Снять эту печать

* Мы возражаем на требования г. Вл. Соловьёва и говорим о нашей стране, нашем православном народе.

мысли с истории, достоинство с меня, — какая нужда для меня, для кого-нибудь: мы все влечемся именно к этой гармонии, этому слиянию в созвучии, а не к существованию бок о бок, один возле другого. И лишь физической протест нескольких обрывков, которым здесь и теперь, между звучащими, хотелось бы без звука или с звуком бессмысленным быть, — конечно, этот протест презрен и не может быть принят в какое-либо внимание. Нам говорят о страдании, нам говорят о «свободе»: есть худшее, чем оно — молчание, есть лучшее, чем она — мелодия. Кто, видя историю, захотел бы «свободно» смешать ее процессы и, смешав, этим смешением остаться сыт? Конечно, мы все, весь род людской, этого не допустим: страдать нам указал Бог, молчать может принудить только смерть. Мы все природою своею благородною принуждены; мы подзаконны; и как подзаконный тесный брак лучше блуда, мы этот блуд ему не предпочтем.

IV

Какое низкое понятие о счастье — что оно в сытости, не очень большой усталости и хаотической свободе заключено. Разве нельзя быть счастливым, и гораздо выше, гораздо полнее, при абсолютной стесненности, когда знаешь, что эта стесненность отвечает чему-то великому, нужна тому, что останется и после меня вечно жить? Толпа разбежавшихся дезертиров, инструмент с порванными струнами, огород с поломанным забором, куда идет каждый за нужным себе овощем, неужели, неужели этим только живет человек, это одно, будто бы, ему нужно, одно и выражает, и может удовлетворить его, — что же, изнеможенную уже — природу? И неужели для этого только он на земле? всегда для этого, как был прежде, так и останется? Но ведь ввиду каких-то определенных звуков устраивался инструмент, для какой-то цели были собраны разбежавшиеся теперь, и огород насаждался же кем-нибудь и для чего-нибудь? Есть нудящая мысль в истории; ей можем ответить мы и в этом ответе найти высшую для себя радость; если, однако, и не ответим — понудимся, но уже как стадо, гонимое — куда, оно не знает само. Разве в самом хаосе, который один мы почему-то любим, к нему одному влечемся, нет давно уже чего-то принудительного для нас? Кто имеет силы в нем остановиться, как-нибудь ему воспротивиться? Какое ожесточение на лицах всех при мысли, что этот хаос может быть и не вечен, — он, который и на минуту так мало может истинно насытить кого-нибудь. Мы все давно не свободны — в безобразном; быть несвободным в прекрасном — вот что кажется нам ужасно, и самая мысль об этом — антиисторической, преступной.

Кроме указанных обрывков мысли, никаких еще аргументов против принципа творческой свободы г. Вл. Соловьёв не мог выставить. И, без сомнения, не от того, что он не хотел искать их, но потому, что тою долей философского понимания, которой не лишен, он понял, до какой степени хаотическая свобода действительно несовместима с верою, и между тем, для этой последней трудясь, он для нее трудился под покровом первой. Он чувствует, ему необходимо отказаться от веры, удерживая свободу, или от свободы, называя себя верующим. И вот,

не имея в себе мужества философа, ни прямоты христианина, он заминает, запутывает вопрос, и самое имя человека, который его поднял, усиливается похоронить под грязью ругательств *. Но, конечно, гораздо ранее будет похоронен сам, нежели хоть иота истины, которая, из мрака неведения выйдя к свету, хочет жить — перестанет жить.

V

Г-н Л. Тихомиров — его статья «Существует ли свобода» также направлена против выясненного мною принципа — принадлежит к немногим ясным писателям, на которых, соглашаясь с ними или не соглашаясь, невольно отдыхаешь

* Имя Иуды (им заменено всюду в его ответе мое имя), вероятно, кажется особенно ужасающим моему противнику и, мы думаем, это не без связи с столь изменившимся его отношением к славянофилам, Каткову, наконец, к самому православию. Мне это имя только напомнило фазы его деятельности, и ничего не напомнило в собственной. Так как, однако, его статья всем тоном своим старается внушить мысль, что я в чем-то иной теперь, чем прежде, то вот слова мои о свободе и о церкви, высказанные в *первом*, мною изданном, труде, восемь лет назад: «Конечная форма, к которой стремится религия, определяется из следующих трех ее направлений: направления к истине, направления к оживлению религиозного чувства и направления к полноте господства. И в самом деле, кроме этих трех начал ни к чему другому не стремится религия, к ним же стремится всюду и постоянно. Так, религия (но не служители ее, которые бывают несовершенны) никогда не терпит в себе лжи; вся основанная на вере, она никогда не может ни действовать, ни существовать с тайным сознанием ложности того, во имя чего действует и существует; и все, что вносится в нее заблуждениями людей, раз будучи сознано, как ошибочное, всегда уничтожается ею в себе. Далее, религия терпеливее переносит борьбу против себя, нежели равнодушие к себе, и это также не потому только, что равнодушие здесь опаснее ненависти, но и еще потому, что, чувствуя свое мировое и спасающее значение, она еще может понять, как люди не сразу уразумевают смысл ее и потому ненавидят ее, но не может понять, как, и уразумев этот смысл, они еще могут оставаться спокойными и свои маленькие дела предпочитать ее великому делу; не может примириться с этим, потому что здесь лежит невозможность самого спасения, сознание, что некого спасать и не для кого было приходить в мир. На этом же, на сознании своего мирового и спасающего значения, основано и стремление религии к господству над всеми людьми и над всеми сторонами их духа и жизни. По самой природе своей, религия не может и не должна быть терпима, и та из них, которая уже не борется более, которая успокоилась, полна тайного атеизма, сознанного или бессознательно-го. Как тот, кто видит погибающего человека и не спасет его, есть бессердечный человек, тьм бы ни говорил его язык; так религия, знающая, что есть хотя один еще не спасенный ею человек и остающаяся равнодушною к этому, тайне уже думает, что иное, а не она, спасает человека или что нет никакого в действительности спасения, о котором говорит она. И как бы могущественна, по-видимому, ни была такая религия, «секира уже лежит при корне ее»; потому что атеизм не есть религия, но только атеизм. Итак, религия истинная, всемирная и живая есть та конечная форма, к которой естественно и необходимо стремится религиозное сознание всего человечества, и на которой оно успокоится. См.: «О понимании; опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки, как цельного знания». Москва, 1886 г., стр. 618—619. Как для всякого ясно, это те самые мысли, которые полнее и мотивированнее развиты в статье «Свобода и вера», «Русс. В.», 1894, янв.

после того болезненного, конвульсивного, затуманенного бреда, какой нанесли в нашу литературу «девяностидесятники», еще ранее их «восьмидесятники» *, и, кажется, едва ли не первый потянул к нам с Запада г. Вл. Соловьёв со своею смесью теургии, экономики, парламентаризма, папства **, и, кажется, всего, что от золотых времен Сатурна и до наших грелось и играло под солнцем истории. После этой занимательной литературы, которой еще вчера не было никаких симптомов и сегодня она наполняет все журналы, всю прессу, так же невольно и радостно отдыхаешь даже на каком-нибудь дико врущем «шестидесятнике» ***, как, выйдя из больницы на улицу, невольно с удовольствием останавливаешься на зрелище пьяного растерзанного человека после того, как несколько часов видел изможденные фигуры, пытающиеся прогнившим языком произносить молитвы и трясушеюся рукой положить на себя крест... Странное понятие, что к религии имеют какое-нибудь отношение и всякие больные о ней помыслы; что все есть философия, что очень нелепо; и мистицизм истинный — что не имеет для себя никакого объяснения и вообще всякого *raison d'être* **** для своего бытия. Это жалкое стадо, которое немного лет назад было встречено так шумно и радостно, пока из-за пыли еще не показалось голов, — теперь, когда блеющие головы так ясно вырисовались, внушает смех и досаду за минутную, не основанную ни на чем надежду.

20 Чрезвычайная отчетливость выражения составляет главное достоинство г. Л. Тихомирова, и отсутствие длящихся мыслей, какого-нибудь сложного созерцания — его недостаток, как писателя. Как искусный дебатер в парламенте, он стоит перед полуотворенною дверью «свободы», и в виду толпы, напирющей на нее то извне, то изнутри, вызывает каждого словесно победить его прежде, чем он допустит сколько-нибудь расширить проход или его сузить. То, что его занимает так пристально только вопрос о свободе *****, сообщает некоторую бессодержательность его писаниям: не понимаешь, зачем эта дверь не отворена; не понимаешь, почему ей не затвориться совсем; можно подумать, что узкая лента света перед его глазами ему нравится сама по себе, независимо от всего другого, как некоторая философская *Ding an und für sich* *****. Вообще он сильнее своих противников ***** и, по-видимому, это сообщает ему некоторое удовлетворе-

* Так, оттеняя себя от предыдущих писателей, называли себя писатели, выступившие в 80-х годах: «Шире дорогу, восьмидесятник идет», — передано было в свое время восклицание одного из таких.

** См. его «Критику отвлеченных начал», в связи с последующею деятельностью.

*** Для примера можно бы провести параллель, напр., Лесевичем и Вольтером (в «Северном Вестнике») или г. Шелгуновым и г. Мережковским (автором «О причинах упадка современной критики»), и т. д.

**** разумного смысла (*фр.*).

40 ***** См. ряд превосходных его статей, вращающихся все только около этого вопроса, в «Русском Обозрении» за последние два года, и также отчасти в «Московских Вед.».

***** вещь в себе и для себя (*нем.*).

***** Он ведет, вот уже давно, непрерывающуюся полемику с хроникером «Вестника Европы» и с г. Вл. Соловьёвым, причем его перевес в мысли, доказательности так чрезмерен, что его противникам не остается ничего кроме казуистики слов, убедительной разве для очень давних подписчиков журнала.

ние; когда его спрашивают, что за дверь и стбит ли что-нибудь там охранять от «воздуха», хотя бы и разлагающего, он отвечает, что об этом нет вопроса и предлагает, взглянув на ленту, доказать, что она недостаточно красива. Ему представляется, что нет других вопросов; нет иных нужд, иных точек зрения, как с его стула. И вот почему у каждого, в речи кого он слышит слово «свобода», он думает — идет речь именно о полуотворенной двери, которая его так занимает.

Конечно, в том очень хаотическом, очень неопределенном и всего менее необходимом процессе, какой совершается *по сю сторону* «двери», нет вовсе той принудительной закономерности, о которой * я сказал в статье «Свобода и вера», что ей принадлежит совершенная свобода и также незнание законов чего-либо, от себя отличного. Разве среди нас, разрушенного отброса разрушенных веков, есть истинно верующий? Итак, речь была не о нас, не о теперь **. Но если бы среди нас явился, если он когда-нибудь явится — человек веры, все, мною сказанное, будет принадлежать ему. И принадлежит также теперь единственному, в чем вера составляет самое существо, — церкви ***: без внимания ко всему, вне ее лежащему истину, утверждения своего, умаленного, замолченного, заглушенного тысячью звуков, прерывая эти звуки, разрушая это молчание — она может утвердить. Церковь пусть войдет во всю полноту канонов, не отмененных, но и неисполненных — вот что мне хотелось сказать, что одно я мог иметь в виду, и не желая отворять «дверь», и не желая ее суживать, и считая самую дверь и все за ней происходящее очень временным и для меня, по крайней мере, несколько не дорогим. ¹⁰

* «Есть некоторый *внутренний* процесс, или мы должны представить его себе, *цельный, неразрывный, по необходимым законам совершающийся*, принадлежностью которого только и может быть свобода, в отношении к которому мы можем единственно понять ее» («Русский Вестн.», янв., стр. 268). Уже из тех периодических и частых *саморазрушений*, какие испытываются в нашей истории за последние два века, можно видеть, как мало указанные определения принадлежать ей.

** «Не один г. Розанов отрешается от уважения к свободе (как будто не я утверждаю ее способом гораздо более сильным, чем ее воображаемые защитники, в действительности лишь проституирующие ее) и понимания ее. Это также тенденция *программно противоположных ему передовых направлений*, тех, которым, может быть, даже принадлежит будущее в Европе. Г. Розанов только *откровенно унижает слова, которые в передовых программах сохраняются по недоразумению или для обмана*. А затем, как он собирается *вознать лигность в одну тюрьму, так передовые стараются вознать в другую. Разница между реакцией и прогрессом нередко состоит только в разлжном устройстве казематов, для нас приготовляемых*. Полезно иметь перед собою *откровенных реакционеров* (как и прогрессистов), *которые прямо открывают свою душу*. Они помогают нам не попасть ни в ту, ни в другую западню» (Л. Тихомиров. «Существует ли свобода» «Русск. Обозр.», 1894, апрель, стр. 910). Очевидно, *idée fixe* полуотворенной двери мешает видеть г. Л. Тихомирову еще что-нибудь, а, между тем, в природе есть море, небо, звёзды, и вообще множество вещей, перед которыми его дверь — лишь исчезающий момент. ⁴⁰

*** Т. е. нашей, как единственно (по полноте неразрушенной в ней истины) сохраняющей веру в себя.

VI

Так мало поняв предмет, к которому относится моя статья, г. Л. Тихомиров не понял и ее внутреннего смысла, и оснований. Как и другой мой критик, его антагонист, но против меня союзник, он не остановился вовсе на моменте веры, который я указываю, и, думая формулировать мою мысль, говорит: «Существует г. Розанов, существую я, существует Соловьёв; каждый из нас представляет некоторый процесс, совершающийся (физиологически?) по необходимым законам; он для себя требует свободы, г. Соловьёв будет требовать того же для себя» *, и пр.; но какая же свобода для г. Вл. Соловьёва, в котором духовно нет ничего принудительного, и сегодня он западник, вчера славянофил, можем ли мы быть внимательны к тому, чем он захочет быть завтра? Какая свобода для общества нашего, которое может всем быть, но с условием — не долго и не скучая? И вообще человеку без творческого родника бьющих в нем сил какая свобода, зачем? Такая же, как для несущегося по ветру песка — свобода вырасти в дерево. Ведь я же говорю, что свобода следует за верою, как тень следует за предметом, которого она есть тень; с нею связана, от нее неотделима; и что за странная фантазия у моих критиков — пустить гулять по свету эти им милые тени, без всяких предметов, к которым они относились бы. Поэтому не «кто кого съест — тот и прав» **, проповедую я, не борьбу; но только над слабоверием и неверием победу веры, и ею устройство людей так, чтобы желание самой борьбы, как меньшего и низшего перед гармонией, исчезло. Если я требую чего, имею права требовать, то — гармонизации в истории звуков, этого хочу моею природой не бессмысленной и требую как человек. «Свобода для себя, и ограничение для всего прочего», — резюмирует меня г. Вл. Соловьёв и с ним соглашается *** г. Л. Тихомиров: *моей вере — свобода*, и если я малoverен и слабоверен — во всем, в чем сомневаюсь, так же мало свободы и для меня, как для кого-нибудь, как для бездомного, бедного животного, которое, в какую бы его избу ни загнали, уже обязано ее хозяину. Мой критик видит в словах моих непонимание личности ****, жажду «реакционно» задавить ее свободу; но неужели, неужели когда я говорю личности: сотвори и в творчестве этом своем будь свободна, поверуй и в вере своей ты свята и неприкосновенна — неужели я менее понимаю личность, что ее и к ней привязываю святую свободу, для меня святую, чем г. Тихомиров или г. Соловьёв, и весь сонм их, которые толкуют слова, не понимая их смысла, пытаются под-

* «Русское Обозрение», апрель 1894 г., стр. 903.

** «Что же получается, как общий *modus vivendi* <образ жизни (лат.)>, как закон жизни? Борьба. Кто кого съест, тот и прав. Такова мысль г. Розанова, если ее изложить в кратких и точных словах» (Л. Тихомиров, там же).

*** Та же страница.

**** Это есть центральное возражение, которое делает мне г. Л. Тихомиров: «Ясно только одно, что г. Розанов совершенно упраздняет понятие о *человеческой личности*, как *существо*, отличном от механической и органической природы» и т. д. (там же, стр. 906). Ниже мы будем разбирать это место, но во всяком случае это очень умно, очень содержательно, и в трех строчках здесь более выражено мысли, чем сколько на 13 страницах сумел высказать ее г. Вл. Соловьёв. Мне только приходится безмерно сожалеть, зачем г. Тихомиров так мало понял точный смысл моих утверждений.

нять что-то и не умеют, или, как «реакционеры», которые, быть может, и в самом деле думают задавить что-то, но, конечно, никогда ничего не задавят, и только раздавятся сами. В бессмысленное я только ввожу мысль, человека что не как совокупность ног, рук, праздной головы; этой голове говоря: «подумай», и этим ногам: «перестань ходить в блудилище» — я понимаю личность, они же видят в ней, в людях, в истории только кучи песку, бессмысленно туда и сюда передвигаемого ветром.

VII

Высокая отчетливость мысли г. Л. Тихомирова, быть может, и зависит от того, что в нем нет и ему не понятно все сколько-нибудь мистическое и священное в человеке; что простота механических воззрений одна ему известна; что значит живой росток в человеке и каковы его законы — это для него темная могила; он говорит*: «Итак, каждый из нас представляет собою некоторый процесс, совершающийся по *необходимым законам* — воззрение не новое, и, высказывая его, г. Розанов до самой макушки остается погружен в наследство прошлого **... Собственно, он никакой свободы не имеет, он *совершается по необходимым законам*; он растет, как трава, сам не зная, зачем и почему, потому что его заставляют расти и цвести *необходимые законы*. В былое время *** это воззрение считалось последним словом науки. Из него-то г. Розанов и делает свои отрицательные **** выводы. Это логично, но приводит его к совершенно звериным понятиям... Закон его ***** есть собственно не закон жизни животной, как это утверждает г. Вл. Соловёв, но *закон жизни органической*. В частности, выводы его, конечно, звериные; но происходит это оттого, что он не видит в человеке ничего, кроме действия сил органической природы... В понимании жизни он чересчур просто душно, с буквальной точностью, основывается на материалистических *последних словах науки*... Его статья — искреннее раскрытие странного внутреннего содержания... Для этого своеобразного дарвиниста люди столь же чужды друг другу, как растение и ветер, и также не могут понять друг друга... ***** «...Он совер-

* Возражая на слова мои: «Есть некоторый внутренний процесс, цельный, неразрывный, по необходимым законам совершающийся (г. Л. Тихомиров отмечает это курсивом), принадлежностью которого только и может быть свобода».

** Т. е. материалистические воззрения 60-х годов, от которых я хотел будто бы и не умел отказаться, как объясняет он несколькими строками выше («Русск. Обзор», апрель, стр. 900: «Старое наследство, старые напластования русской образованной мысли наполняют все рассуждения г. Розанова. Он только делает реакционные выводы из того же строя понятий, который для других служит основой либеральных выводов»). Это центральное объяснение, какое он делает в статье своей для объяснения происхождения моих утверждений. Есть что-то неприятно элементарное в грубой ошибке, в какую он здесь впадает.

*** Делается ссылка опять на 60-е года.

**** Т. е. относительно свободы.

***** Т. е., что всякое исполненное в себя веры существо не может заглянуть в закон чужой жизни.

***** «Русск. Обзор», апрель, стр. 902—905.

шенно упраздняет понятие о человеческой *лигности*, как *существо*, отличном от механической и органической природы. Он, во всяком случае, *не выделяет* человека из явлений остальной природы, считает его только процессом, совершающимся по необходимым законам, т. е. без воли, без свободы, без способности, так сказать, *творческой, починной*» *.

О, беднота непонимания... Но в сочетании звуков, гением задуманных, и которым мы внимаем, не хотя в них никакой перемены, чувствуя невозможность этой перемены, — нет разве этой высшей необходимости? и из того, что ни один смычок не смеет отступить от указанного ему, дрогнуть не там, где нужно, не дрогнуть там, где нужно — разве мы заключим, что перед нами сидит оркестр обезьян? Необходимость и произвольность — это закон роста растения, но и также закон всего высшего одухотворенного **, и как о том мы несомненно знаем, что он определен Богом, так об этом должны заключить, что не человеку, по-видимому, свободно его совершающему, он принадлежит, но этому же Богу. И вот почему человек так мало может выйти из этой необходимости; почему Бруно всходил на костер; апостолы проповедывали на не изученных ими языках; и в наши дни почти, развратный мальчишка *** становился первым человеком своего времени и к голосу его прислушивалась Европа; и много, много столь удивительных явлений в истории, где мы ничего не поймем, приняв человеческую 10 душу за крутимый ветром песок, и все в ней станет нам понятно, если мы различим в ней перст Божий. Укажут на отрицательность многих явлений, их очевидно дурной смысл при явной внутренней необходимости: но что же, мы разве исключим наказание? А если мы признаем его, понятен нам станет бросаемый в нас камень, как и подаваемый хлеб; и град, выбивающий ниву, мы поймем — оттуда же, откуда и благодатный дождь. Злое в истории, преступное, как наглый смех Вольтера, болезненный пафос Руссо — этот камень разве падал не на зараженную ниву? Ей не нужно более быть, время терпения истощилось — и злые жнецы покосили злое. И нет нивы, убранны и жнецы — земля опять свободна для благодатного семени.

30

VIII

Если мы обратим внимание на соотношение этой необходимости с свободой, мы и увидим, что то одно свободно снаружи, что столь необходимо изнутри ****. Что может быть необходимее того, что испытывает высокий поэт в моменты

* Там же, стр. 906.

** Чуткие греки до того это понимали, что не только поэзию, но и все виды им известного знания относили не к произвольной деятельности поэта и вообще какого-либо человека, но думали, были уверены, что и поэзия, и творческая мысль *внушаемы* человеку (музы); и в гораздо более позднее время, чем когда они сложили этот миф, Сократ утверждал, что все его лучшие мысли и важнейшие решения внушены были «добрым демоном» (δαίμονιον — божество 40 собственно, но в христианском мире, как языческое, получило значение отрицательное).

*** Руссо.

**** Мысль эта впервые была высказана мною в заключительной главе уже цитированного выше сочинения, как общий взгляд на характер теоретической деятельности человека: «Наука

творчества: написанное он марает, всяким исходящим звуком недоволен и ищет какого-то одного, и когда его отгадывает — какая светлая радость ложится на его душу! Или Кант, создавая «Критику чистого разума», — разве был так свобо-

как понимание есть процесс *свободно-необходимый* по своей природе и происхождению. Но если мы рассмотрим эти два свойства его в их взаимном отношении, то увидим, что они *связаны между собою причинною связью*: понимание есть процесс *свободный*, потому что оно есть процесс *необходимый*, и *тем полнее эта необходимость, тем полнее эта свобода*. Но необходимость науки, как развивающегося процесса понимания, безусловна и всесовершенна; потому что этот процесс восходит, как к своей причине, только к одному строению разума, и раз это строение существует, существует и он: наука дана в разуме, как следствие дано в причине. А поэтому и свобода ее от всего лежащего вне разума, безусловна и всесовершенна: она ни к чему не имеет отношения в жизни (*т. е. принудительного для нее*), ни с чем не связана причинною связью (*т. е. иначе, как побогною*), а поэтому ни от чего не зависима... Будучи процессом *внутренне необходимым, понимание по отношению к создающему его* (т. е. человеку) *есть деятельность произвольная*. Произвольно же совершаемое человеком не может подлежать осуждению. И поэтому наука, будучи свободна от явлений жизни, свободна и от суда человеческого. В этой произвольной деятельности человек выполняет не свое желание, но требование того, что есть первоначального в его природе. Строение же этой первоначальной природы определено не им самим, но создавшим эту природу. И поэтому, стремясь к пониманию, человек выполняет не свою волю, но повинуется воле создавшего его. И следовательно все, стесняющее процесс понимания, есть возмущение против Творца человеческой природы... И так как это стремление предустановлено для человека в его природе, и повинуюсь ему, он выполняет свое назначение на земле, то все, препятствующее этому пониманию, отклоняет его от его назначения. И поэтому как тот, кто сам в себе почему-либо подавляет этот дух исследования и изыскания, так равно и тот, кто в другом подавляет его, мешая проявлению этого духа разумения, одинаково стремятся отклонить человека от его назначения и восстают против того, кто указал ему это назначение. Но всякая воля и сила имеют только две опоры: волю человека и волю создавшего его. А так как в стремлении к пониманию человек проявляет и свою волю, и волю Творца своей природы, — у последнего же не может быть двух противоположных желаний, но только одно, несомненно проявившееся в создании одинаковой природы всем людям, то очевидно, что человеческое понимание опирается на обе опоры, стесняющее же его не имеет ни которой из них. Это значит, что в природе вообще не существует силы и права, могущего стеснить разум и науку; и самая попытка к этому есть возмущение против человека, природы и Того, Кто создал все» и т. д. См.: «О понимании; опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания». М., 1886 г., стр. 716—717. — И позднее, в «Месте христианства в истории» (М., 1890 г.) повторено: «Как можем мы отрицать, что в бессмертной мысли человека, стремящейся обнять собою мироздание, проникнуть во все глубины его, проявляется то же самое дыхание Божества, которое сказывается в нас, когда в минуты горя или безнадежности мы обращаемся к молитве. Стремиться подавить в себе эту мысль, думать, что ее пылкость может быть не угодна Богу — это значит отвращаться от Божества, в своей бессмертной душе убивать его дыхание. Воля Творца нашей души несомненно выражена для нас в самом строе этой души, и если в нее вложено этою Волею стремление к познанию, мы можем только осуществлять ее, познавая мы повинуюемся Богу», и т. д., стр. 38—39. Я не вправе ожидать, и еще менее требовать внимания к своим трудам, а однако ранее, чем называть «Иуда», «животное», «готтентот» (Вл. Соловьёв), «зверь» (Л. Тихомиров) — нужно, по крайней мере, всмотреться в лицо, к которому относишь эти слова.

ден, как профессор, приступающий к теме диссертации и совершенно не знающий, что там написать? О, конечно, *этой* с такою свободой пишет всякий вздор, с какой летит ворона или санкюлоты раскупоривали бутылки в королевских погребах; и нет этой свободы для *творческой* души, есть — необходимость и с нею иная святая свобода, с которою за веру, за мысль, за тоску своего сердца люди веков минувших, все и равно Богом посланные люди, не останавливались перед костром и там были радостны, не страшились тюрьмы и там были светлы, и куда бы и когда их ни гнали — всюду были с своим сокровищем и его не утерjali.

Но вот, люди праздные, которым нечего уронить из рук, требуют: «Дайте нам эту же свободу». На что? За какую веру? Для какого подвига? Нет внимания к вашему желанию еще и еще «раскупоривать», еще и еще «лететь»; останьтесь здесь — вы и там не нужны; возьмите плуг в руки — вино не для вас заготовлено. *Та* свобода приходит к кому нужно, и он ее знает, во имя ее поступает; то, что вы называете этим именем, было только плод недоразумения, смешение разнородных вещей, которые, наконец, должны быть разделены.

Мне больно, однако, если бы кто-нибудь так понял мою мысль, что свобода — лишь тем, великим, на которых сияло солнце истории: самое бедное и узкое в своей мысли существо может быть также исполнено совершенной веры, и в меру его веры ему принадлежит совершенная свобода. Тем принадлежит творчество
 20 художества, мысли, — этим творчество самой жизни, не меньшее. Все живет, все движется — верую, и тем выше она знания, тем выше и гения, что доступная равно всем, — всех животворит и освещает. В бедном храме молящиеся не ниже всходивших на костер за науку; те и другие равно братья; обоим указаны были одинаково предметы для веры, и как те умерли, эти не отказались бы умереть за свое особенное утверждение; и в нем они неприкосновенны.

IX

Как, однако, неверующего отделить от верующего? Через страдание, которое сгонит улыбку с лукавых уст, обратит в бегство крадущихся к непринадлежащему им сокровищу и одних верных при нем оставит. Предвидением высшим, чем
 30 наш бедный ум, от этого бедного ума скрыто окончательное; и, кажется, самое познание его не так важно, или, по крайней мере, оно приготовлено не для человека. Нам дано только сердце, чтобы возлюбить — то, что поставлено в данный преходящий момент как предмет веры; и то, что мы «истиною» своею называем, не столько в самом деле истина, как в образе ее нам явленное, чтобы испытать наше сердце для какой-то другой истины, которая ему в награду — не теперь, но когда-нибудь — будет дана. Итак, потерять для иного сердце свое, и за то, что его держит, быть готовым пострадать даже до остатка жизни — закон человека в истории, один непоколебимый. Вера одна в человеке оценится, когда знание окажется ложно, воля — заблудившейся; и из потемок, из неведения — в награду за
 40 веру пребывавший в ней введен будет в свет. Богу принадлежит завершить концы; мы же, не предугадывая их, должны бороться каждый за истину своего утверждения. И то утверждение, которое до конца сохранит себе верных, всего сильнее и глубже привяжет к себе человека — это утверждение есть вместе и Божие; ибо ведь по образу Божию сотворен человек и влечется наиболее, темными для него путями, он именно к Божественному. То же, что побеждено будет, своею не боже-

ственною природою влекло к себе низшее в человеке, и, получив за веру в него некоторую награду, они все-таки не удостоятся той, какую получают последние верные. И в отрицательных процессах истории есть внутренняя необходимость, как в падающем граде — сила тяготения; и выражающие их в себе проходят перед нами как гении, однако — меркнувшие в веках, без вечного в себе света. Есть среди всех борющихся нить этого света, и она никогда не прерывалась; каждый в утверждении своем думает ее уловлять; уловил ли — знает Бог, человеку дано только уловленное не упускать. Без него — он ничто; только пыль, топчима ногами верных, вздымающаяся, ложащаяся, отлетающая или здесь остающаяся — нет вопроса.

10

Х

Итак, для безверных закон покорности, для верующих — борьбы. И почему, почему если уж драгоценная кровь человеческая проливается, — не за то, что истинно дорого человеку, чем он живет, проливаться ей, но и вечно как теперь — за кипы непроданного хлопка, оскорбленное самолюбие монархов, «престиж власти», «сферу влияния», и за тысячу иных ненужных никому вещей, кроме одной только, которая каждому истинно нужна? За целость фабрики, где задыхаюсь я и мои дети, позволительно, чтобы умер я, и — не умер за ветхую церковь, где я и они крещены, где мы отдыхали редкие минуты и никогда ничем не были оскорблены? «Век борьбы за веру окончился», — решили мудрые, и вот, в пустой от веры груди выросло волчье сердце, а Бог отрастил к нему и волчьи зубы, чтобы люди терзали друг друга, как никогда не умели, не могли, не решились бы * при вере. Как глубоко отвечает атеизму нашему, жестокосердию, безверию эта война, ставшая наукою, эта методичность и холод истребления, и то, что я, он, всякий — умираем, но уже не за то, что любим, но что презираем, чем мучимы, что ненавидим — умираем как скованные рабы в цирках Рима, так же невольно и бессмысленно, и для того же, в последнем анализе, как и они тогда. Разве христиане осмелились бы делать изобретения, на какие решаются бывшие христиане? так готовиться к истреблению? так всею мыслью своею, всем ведением, желанием приникнуть к этому? Конечно, этот камень, давящий нас, тяжел, как могоильный — и, однако, на мертвое уже сердце давит он, которому и не нужно ничего иного, ничего лучшего он не заслужил...

20

30

Итак, борьба, высшим неведением обусловленная, двух встретившихся вер, одна и выноσιма для человека, и определена волею, скрывшею от нас концы, — без сомнения за высшую неискоренимую греховность нашу; определена, как и болезнь, и смерть — все, от чего отвращается человек и что для него неотврати-

* Не поразительно ли в истории это совпадение всякий раз успехов атеизма с успехами в изобретении орудий истребления, заметное и всегда, но в наше время столь мечущееся в глаза. Связывающим моментом здесь является то, что, с исчезновением предметов для внутренней деятельности, человек ищет предметов для внешней; не имеющий необходимости побеждать себя — ищет победить других и изобретает как. В частности, к случайному наблюдению Бартольда Шварца (которому почему бы и не забыть? Не примениться к благому?) нужно было, чтобы присоединилось злое движение мысли: «Нельзя ли, чтобы как этот взорванный камень взлетел — но не он уже, а человек». И кто так подумал — порох и изобрел.

40

мо. Но как в болезни человек просветляется душою, как при виде смерти смиряется смертный, и в этой борьбе, но уже не кощунственной, не наглой, для наглых интересов начинаемой, — животная сторона в нас покоряется идеальной и мужество требуется, по крайней мере, не рубашкою, которая вчера сделана, завтра износится, но уже сегодня износился я, ее сделавший. Жертвовать может человек только за великое; это великое для него — вера; итак, в формах тех ли, какие есть, или, за их бесчеловечием, в иных, он может и будет бороться только за предметы веры, — те, какие ему указаны будут Богом, пройдут перед лицом его в истории, быть может и обманчиво маня его, но обманчиво лишь в меру его испорченности, и всегда истинно его притягивая в меру правоты его сердца.

XI

Но вот, поправляя складки на плащах своих и красивее надвигая шляпы, маркизы Позы и Гамлеты нашего времени спрашивают: «Неужели и нас тронет эта грубая борьба?». Нет и нет, если вы безверны — вас тронет только плуг, в который вас впрягут; но если в вас есть вера — что же, чернилами из ваших чернильниц вы только хотели бы пожертвовать ради ее? Всемирные судьи, не умеющие камня сдвинуть с камнем, которым так жалка работа мозолистых рук, месящих известь, тешущих бревна — что же, за гладкий слог свой вы хотите быть пощажены, когда не щадятся другие и вы этого не требуете? Снимите абажуры с ваших ламп, перестаньте видеть только белое пятно под ними, которое вы унижаете словами и словами. Взгляните, как трудно жить для всех, и почувствуйте ответственность. Почувствуйте ответственность уже за то, что вы бессильны, Бог вам не дал замешаться в эту загрязненную толпу и разделить ее труд. Ему помочь смыслом, его согреть словом утешения — все, что вы можете; на большее — не дерзайте, противоположного страшитесь.

Или, если весь труд этот вам кажется бессмысленным, если в самом деле неодолимо природою вы от него отвращаетесь — конечно, впадая в ложь перед собою и не исполняя указанного вам Богом, вы не запоете же ему дифирамбы. В вас вера иная, чем в тех, кто созидает; в этой вере вы свободны — ее выразить, ее утвердить; и если пути вашей веры и строящих сталкиваются, в борьбе, которая неминуема, всегда в истории наступала в такие моменты, всегда будет наступать — обнаружьте крепость своей веры в готовности к страданию. Нет иного способа различить вас от безверных; не внимать слову вашему значит не внимать и никакому; внимать — значит внимать всякому. Ни этого, ни того не могут строящие, — они сами помнят за собою слова, которым не могут, не должны изменить. Итак — Бог решит, нива ли к потреблению обреченная перед вами, и вы — имеющее на ее место лечь новое семя; или же нива здорова и должен быть истреблен червь, на нее напавший.

XII

Конечно, было бы приятнее для человека, если бы и червь точил колос, и колос оставался цел; если бы жизнь была аудиторией, и история — чередующимися часами разнообразных в ней чтений. Какая борьба, когда звуки не встречаются,

и не только в воздухе, но и в душе, которая что слышала вчера — сегодня забыла, и к завтраму забудет то, что слышала сегодня. Наивные, однако, чтецы, или, быть может, они оплачены, — и тогда вынуждены, конечно, читать; но какой же наивный хозяин аудитории оплатил их, когда единственное, чего хотят истинно его гости — это заснуть; и есть род вечного сна — он называется смертью, и как сон, как бодрствование, этот род также во власти хозяина. Быть может, этого просят гости, об этом томление минуты?..

По крайней мере — не у всех: есть незабываемые звуки для некоторых, есть некоторые, забывающие их; и, раз воспринятое ухом, в них растет только по закону воспринятого, не мешая его с законами иного... Нет осуждения этим иным законам, есть их неведение; и неведение даже тогда, когда звуки извне встретились и хотели бы разделить внимание одной души. По одному закону строится всякая душа, истинная и глубокая; как по одному ключу настраивается инструмент. И закон разломанной балалайки, с повисшими струнами — ей не указание, для нее не принцип. Таких может быть очень много, и может быть печальная минута, когда инструменты гораздо более сложные, предназначенные устройством своим к лучшему, как будто вторят этим же балалайкам, или, по крайней мере, не издают сколько-нибудь чуждых звуков; не в числе их дело, но только в законе, что самый принцип инструмента — всякого, и даже балалайки — состоит именно в гармонии: в том, что звуки подчинены одному ключу, по нему текут, из-под него не умеют выйти. И если в мире грубом, в царстве звуков мы смещения, хаоса не выносим, — не должны ли мы быть гораздо более чутки к миру дел, в царстве руководящих человеком мыслей? и хаоса, смещения, несносного там — еще менее выносить здесь? Все простится человеку, кроме лжи; лжи же отрицание есть вера: ибо кто по вере поступает — не лжет, кто против своей веры или без всякой — впадает в ложь. Итак, то, что для звуков есть гармония — для дел и мыслей человеческих, сплетающих собою историю, есть вера. К ее принципу должны быть возведены дела и мысли; только к принципу веры, без определения — которой.

XIII

30

Сколько бы ни пытались противники этого творческого, устрояющего хаос принципа, его отвергнуть — они не в силах этого сделать; и чем их попытка страстнее, тем в ней самой обнаруживается ярче его присутствие. Мы возвращаемся к последним возражениям, которые против него делает г. Л. Тихомиров; он говорит: «Мысль, будто никакой субъект* не может войти смыслом в закон жизни другого существа, есть очевидная и самая ничтожная неправда. Разумеется, я не могу войти в закон жизни какого-нибудь ветра или химического процесса: это для меня только явления, а не личности, и я их могу понимать лишь со стороны внешних условий их совершения. Но войти в душу, в смысл всякого человеческого существа — каждый из нас, людей, может совершенно свободно и легко. Еди-

* То есть высказал я в «Свободе и вере» — насколько он есть носитель исполненной веры утверждения («Р. В.», стр. 269), «насколько оно верит и хочет жить» (ib., стр. 271).

номышленность * тут совершенно не причем. Когда ** человек способен понимать и якобы любить только единомышленника, человека своего дела, своего кружка или партии, то это только означает, что он человечески очень не развит и, в сущности, никакого человека не понимает и не любит. Он не человека понимает, не личность, не их любит, а известную службу, известную деятельность их. Это та же любовь, какую мельник любит хороший ветер ***. Человеческое же понимание и любовь относятся вовсе не к мысли, а к личности ****. *Я гораздо более восхищаюсь умным, тонко развитым противником, нежели единомыслящей мне тупицей. Когда я вижу человека „тужого“, но доброго, благородного, то он мне, конегно, более нравится, нежели единомыслящий мне, но дрянный человек»* («Р. Обзор», апрель, стр. 907).

Вот слова, которых я ждал, и уверен в разных вариациях услышать их от каждого как невольное признание указанного мною принципа. Ведь я же готов согласиться и даже признаю как простой факт (основываясь на литературной деятельности), что критик мой и умен, и не лишен доброты, идеализма, стремлений к лучшему. В *этом* именно, как в *законе* своей личности, он и сливается со всяким человеком, когда даже расходится с ним, напр., в *миросозерцании*, которое, быть может, ему случалось изменять, и следовательно оно образует как бы *краевые* очертания его духовного существа и вовсе *не его центр*. И когда центр у иного человека 20 разнороден с его, когда он встречает «тупицу», «дрянного человека», — и не тупой, и не дрянной сам, он с ним не взаимодействует, его не понимает, не любит, но сожалеет с тою поверхностью и сухостью как почти «мельник об ему ненужном ветре». Объясняя и развивая свою мысль, и все пытаюсь отвергнуть мою, г. Тихомиров переходит на примеры «художественного творчества», указывает на «полноту проникания» в смысл чужой жизни, какое мы наблюдаем

* Из слов моих «для всякого существа — один закон, и нельзя, не утратив *тождества с собою*, ему слиться в мысли, в желании с законом противоположным своему или *разнородным* с ним: *противоестественно было бы мудрому войти в законы глупого, в правила нелепого* («Свобода и вера», стр. 271) — из этих слов мой оппонент мог бы видеть, что во всем не сходство в мыслях я разумел в статье своей, но общность, однородность в целом психическом строе, в законе бытия душевного, в неразорванной на элементы природе. Как увидим тотчас, в нижеотмеченных словах приводимой цитаты, г. Л. Тихомиров с горячностью утверждает, что при подобной разнородности, конечно, невозможно понимать друг друга.

** Отсюда и до рассуждения о личности г. Л. Тихомиров возражает своему предположению, которого я не высказывал, и оно, очевидно, ложно.

*** Все это рассуждение есть типичное для г. Л. Тихомирова: необыкновенная отчетливость формулирования, прозрачная ясность языка, и даже ценность мысли абстрактно взятой — при полном непонимании сути *разбираемой* мысли. Можно сказать, что продукты духовного творчества другого человека и вообще, кажется, явления жизни и истории — он рассматривает 40 (выражаясь иносказательно) как минералог и никогда как ботаник. Начало *жизни* в высшей степени чуждо и непонятно ему, и этот недостаток душевного проникновения даже отражается на достоинствах и недостатках его языка, столь прозрачного и как-то точно стучащего словами, — точно между ними недостает чего-то эфирного, живого, что, как сон, по трубкам растения бежало бы, строилось в них всех и их одушевляло бы и связывало.

**** Против его взгляда на мое отношение к личности я возразил выше, в тексте этой статьи — и нет нужды возвращаться к этому здесь.

у «великих поэтов» и их *критиков*, без сомнения? Пусть, в качестве последнего, мой противник попытался бы слиться смыслом своего бытия, с смыслом бытия, напр., Паншина в романе «Дворянское гнездо», или Пандалевского и матери Натальи — в «Рудине», наконец, и это еще ярче, с Лужиным в «Преступлении и наказании», с Репетиловым, Скалозубом, Молчалиным в «Горе от ума», — сделал бы усилие полюбить их, понять, оценить смысл и своеобразную правду каждого. И, между тем, эта правда в каждом из них есть; каждый из них нечто утверждает, и что это так, видно из того, как мало они понимают Раскольникова, Чацкого, Рудина, Лизу. Но *мы* в *их* правду не проникаем, ее не хотим, ее отвергаем, и так глубоко, что нас возмущает самая мысль о «какой-то их правде», о самом ее бытии, и мы этих людей признаем, как и создавшие их в вымысле своем художники, не более, действительно, как и «траву или морской прилив» *. С тем непониманием оттенков и переливов чужой мысли, какое отличает резко очерченную и небольшую голову г. Л. Тихомирова, он продолжает, как бы стараясь научить меня: «Это именно закон жизни человека, что чем он более становится развит, зрел как человек, чем выше и тоньше его самосознание, *тем он лучше понимает и другого человека* (курс. г. Л. Тихомирова). Одно идет рядом с другим. Это стариннейший *факт*, который подтвердят все мудрецы, как древние, так и христианские. Единство человеческой природы и присутствие в ней духовного начала производят то, что чем глубже мы себя сознаем, тем лучше понимаем и других. А из этого понимания рождается отношение к другому человеку, подобное отношению в себе, любовь в различных формах и степенях, жалость в падшему, восхищение идеальным, если оно замечается мною в другом» **.

Но ведь если бы в идеалисте он указал мне восхищение низким, в целомудренном — развратным, только тогда он доказал *свою* мысль, теперь же, всеми этими примерами, усилиями только подтверждает, развивает и укрепляет мою об абсолютной темноте всякого живого существа к иному живому же, которое в принципе бытия своего, в законе деятельности своей ему противоположно или с ним разнородно. И вот, будучи так слеп к тому, куда его собственная мысль течет, он заключает:

«Мы говорим о *терпимости*, т. е. о допущении чужой свободы, хотя бы ее употребление нас глубоко огорчало и даже возмущало. Чувство этой терпимости может быть соблюдаемо каждый день у всех людей ***, в разных степенях и формах. *И как же иначе?* Ведь начиная сколько-нибудь понимать себя, я очень хорошо вижу, что я *существо свободное*, — не отрицательно свободное, не в том смысле, чтобы я не имел перед собою внешних препятствий, а в том смысле, что я имею *способность свободы*, т. е. самостоятельность; способность быть не последствием, а *причиной*, способность *творческую*» ****.

Как будто не я именно утвердил неограниченность этой творческой свободы за верою, в меру этой веры и в ее пределах *****.

* Сравнение принадлежит г. Л. Тихомирову.

** «Русское Обозрение», апрель, стр. 907.

*** Конечно, у безверных и слабоверных, у *невозбуждаемых верою*, и нет этого чувства у последних, как мною показано в многочисленных примерах в ст. «Свобода и вера» и здесь.

**** Там же, стр. 908.

***** Вера есть не всегда ясное, чаще смутное отношение человека, да и всякого живого существа, к своему закону и назначению: мудрый потому верит в истину, что в нем предустановлена

«Никакие благоприятные условия не спасут меня, если нет на то моего произволения. Это *произволение мое*, конечно, со всех сторон иным поддерживается, *иным заглушается*, но всегда остается неуничтоженным. То же самое я вижу у других людей. Из каких побуждений, на каких основаниях я могу не принимать во внимание эту их свободу» *.

Из того побуждения, безверный, чтобы жила моя вера, на том основании, что ей противоположное мешает ее свободному и яркому выражению, как ветер, ломающий ветви дерева — его спокойному росту, светильнику светящему — его затеняющий предмет. И если свет этот живой, он удаляет свое препятствие; если бы дерево было осмыслено, мощно, оно от границ своего утверждения, своей жизни удалило бы всякое утверждение, его собственному противоположное. И всякое творческое существо с путей своего творчества, своей веры, своей свободы удаляет как хаос то, что в смысле творчества с ним не совпадает, в путях этого творчества — встречается.

«Ведь уничтожить эту свободу я не могу, если бы и захотел»...

Т. е. окончательно ее уничтожить Бог не дает сил тому, кого вера относительна, и в силу этого — не тверда, временна. Как, напр., во всех тех случаях, когда эта вера относится только как разрушительный момент к тому, чему предстоит перестать быть, и с исчезновением чего она сама ослабевает, гибнет, и вместе с тем перестает связывать собою что-либо.

«Во-вторых, зачем я буду стараться эту свободу подавить, когда в ней самый центр личности человека?»...

Т. е. при *вере*, которая и есть *центр* личности человеческой, ее сияние перед Богом, перед людьми, в истории — своим утверждением. Без веры же какая личность? без утверждения какой человек есть вместе и лицо? или, по крайней мере, что это лицо выражает? Не то ли же, что куча передвигаемого ветром песка, которая принимает все фигуры и никакой по необходимости.

«На что мне может быть нужен человек без этой способности?»...

Ни мне, ни Богу, ни истории, и именно, как ничему не нужный, без веры и лица он не нуждается и в свободе; всеми утверждениями он отрицается, и как в век безверный находит всюду свободу своему движению, в век веры не нашел бы ее нигде.

«Он тогда перестает быть человеком, становится *процессом* г-на Розанова»...

Именно *перестает* быть процессом. Все недоразумение г-на Л. Тихомирова, его попытка оспорить мою мысль вытекает из непонимания им живых, творческих процессов, которые он принимает как хаотические, неопределенно-свободные, по капризу начинаемые и останавливаемые, я же в них вижу высшую закономерность и необходимость, с тем вместе вижу в них выражение лица человеческого, и им одним считаю естественно принадлежащую свободу.

«Мне может не нравиться направление его свободы; я могу употреблять все усилия направить его свободу в другую сторону; от иных проявлений его свободы я могу, наконец, защищаться. Но при всех этих условиях я не могу отрицать

она и только ожидает его усилия, напряжения в нем мысли, чтобы стать ясною — из предмета веры стать предметом созерцания». Так же и потому же верит и всякий творческий дух; а с верою я соединяю и свободу совершенную. См. «Свобода и вера», главы III и IV.

* Там же, стр. 908.

его свободы, как факта, не могу не любить его свободы, не могу, наконец, не понимать, что только свободно он может сойтись со мной, что, стало быть, его свобода нужна мне даже в целях единства с ним» *...

И так далее, развивает он образы истории как обширной аудитории, где не без пафоса люди различных природных задатков и разного жизненного назначения говорят с некоторою болью друг о друге и всегда однако с совершенным уважением; но *где же и когда* начнется в ней деятельность, а ведь жизнь — не теория, не ряд страниц, покойно лежащих в книге, а именно жизнь, т. е. деятельность, которой все остальное, и теория, и книги, служат лишь пособием. Я не только хочу *быть и мыслить*, но и чтобы отражением моего лица служили все лица, моею любовью горели все сердца, — не как *моею* любовью, но как *истинною*, не как мне принадлежащего лица, но как такого, которое вечно должно жить, которому Бог указал жить, и я сам *свое* лицо погасил давно для *этого* и хочу, чтобы погасли и тысячи иных для него же: для моего *утверждения*, не для моих двух рук, двух ног, мало и мне нужного моего туловища. Тот только и начнет, и может, и посмеет начать деятельность, кто исполнен в свое утверждение совершенной веры и с нею не понимает нужды в аудитории иной, чем как ему только внимающей, сердце — для него одного открытых. Кто ищет — еще не имеет и ему, естественно, ко всем указаниям прислушиваться; кто нашел, что могут ему сказать чужие звуки? Сколько бы ни звучали они — они не для его уха, не для его внимания, в его душе, полной гармонии, им нет места.

XIV

И так во всем в истории; так для всего, и так же для нас было бы в отношении к церкви нашей, если бы мы не были около нее посторонними людьми, «иноплеменными воинами, призванными по чужому делу на долгую, скучную ночь» **. Мы возвращаемся вновь к частному вопросу, который вызвал все эти рассуждения: следует ли церкви допустить верующим в нее отступление от цельности христианской жизни? следует ли стране, входящей *** в состав церкви Восточной католической, допустить пропаганду в своих пределах католичества и протестантства? Конечно — нет; и не только пропаганды, но и очень беззастенчивого выражения своего особого утверждения, какой-либо яркости, сияния на солнце, которое над нивою, Богом возвращенною, Богом сохраненною должно сиять только для этой нивы.

Что за непонимание истории требовать противного? Что за усилие, чтобы церковь наша, выражая некоторое утверждение, вошла и в смысл того, чего жизнь и сущность есть только отрицание этого утверждения. Если бы православие отпало от католичества, выделилось из него как ветвь, — возможно было бы ей, умирая в истории, возвратиться в единичных своих членах, верующих, к древнему стволу, к ветхому корню их всех и ранее питавшему. Но что значит для право-

* Там же, стр. 909.

** Там же, стр. 279.

*** Т. е. внешним образом, как кожа на каком-либо члене тела все-таки входит в состав и организм этого тела и по его законам растет, существует, для его нужд функционирует.

славных стать католиками? Какой смысл присоединиться церковно к Западу? Не иной, как чтобы повторять за другими «нет, нет», в то же время угасив в себе всякое «да», к которому это «нет» могло бы относиться. Истина, на семи Вселенских соборах установленная, показалась недостаточной для слабоверного Запада: они ее дополнили *; слова Спасителя — не точными: они их переделали **, запретили их произносить вслух верующих ***. Что делать нам: они усомнились, мы не сомневаемся; если с ними усомнимся и мы, в *тем же* усомнимся, наконец, в каком предмете веры? Не остается никакого, не остается его для самого католичества, которое в точном историческом смысле есть только мятеж против православия, и с его исчезновением должно пропасть, как шум удара ветра в дверь, когда нет более двери. И вот почему перед шумящим ветром она не должна раствориться; не для того она, для чего он; есть сокровище у ней свое особенное, и к нему прикинув, его охраняя она до остального не имеет дела, к его усилиям — глуха, к его страданию, нужде — слепа, на его вопросы — нема.

XV

Отрицанием отрицания, однако не впавшим в какой-нибудь положительный смысл, является и вторая форма религиозного сознания на Западе — протестантизм. Когда начиналась реформация, никто ее не хотел: ни император, один из самых могущественных и мудрых; ни папа, один из самых уступчивых, «терпимых», ни сколько-нибудь влиятельные слои общества ****, ни, наконец, сам Лютер — и она, однако, совершилась. Против расчетов мудрых, против усилий сильных, Бог бросил отколовшуюся церковь под топор грубого монаха; и на три века обрубок, им оставленный от криво выросшего дерева, всеми принимается за юный, зеленеющий, чистый первоначальный его росток. И народы, кажется, ждут, когда же пень зацветет и они сорвут с него плод... Идея лютеранства есть самая бедная в истории; не было мысли, более ее скудной; движения в истории, столь очевидно нелепого. Эта религия «Unser Fater» ***** боится какой-нибудь еще молитвы; когда нужно помолиться о дожде во время засухи, не находя в Евангелии слова «дождь», она произносит только «Unser Fater»; когда мать томится над умирающим ребенком, от *себя* о *нем* помолиться не умеет, не смеет, она может только повторить «Unser Fater»; и мы опасаемся, нет ли неточности в Евангелии и не «Unser» ли «Fater» произносили кающийся мытарь, бивший се-

* Сначала прибавив к Символу *filioque*, и позднее вымыслив ряд догматов, до непогрешимости *ex cathedra* римского епископа включительно.

** «Пийте от нее *вси*», — сказал Спаситель, подавая чашу ученикам своим; «но ведь плоть, тело уже включает в себе кровь, и она, собственно, излишня для всех, пусть остается только для клира», — поправили католические богословы.

*** Неоднократно с высоты престола папского подтверждалось верующим *запрещение* читать св. писание.

40 **** «Эти монахи своими поднявшимися спорами только мешают мирному развитию наук», — говорили в Германии о поднявшемся реформационном движении гуманисты, и всего желчнее глава их, Эразм.

***** «Наш Отец» (*нем.*).

бя в грудь, разбойник, висевший на кресте, кающаяся грешница. Это — религия рабов. И какой же, в самом деле, свободы, сознания безгрешности движения, правоты роста мы можем ожидать в обрубке дерева? Он мертв; мертвы религиозно страны, на которые он налег своим бессмыслием; как искажены в своем развитии те другие, о которых мы сказали, что от церкви оне отпали, и с тех пор тысячи отпадений, постоянный прилив антагонизма, борьбы испытывают в себе.

XVI

«*Пийте от нее вси*», — каждый день мы слышим на литургии слова Спасителя, Его завет людям, — и в этих словах слышим осуждение католицизму; «*Тимофее, сохрани предание*», — читает нам дьячек Апостола — и здесь осужден протестантизм. Анти-Христово, анти-Апостольское — чем мы виноваты, в чем мы грешны, что это только есть на Западе и рвется к нам, чтобы разрушить Апостольское, Христово, что есть у нас, чем мы, во всем прочем нищие, обладаем? Но вот оскотившие себя, нажив тысячи внешних сокровищ, приходят и соблазняют нас этими сокровищами, чтобы мы их уныние, тоску, преступление разделили. Боится грех остаться в мире один; ему нужно соучастие; как и первому отпавшему ангелу, едва Бог сотворил человека, уже потребен был этот человек в общение. Дух неутолимой пропаганды, столь общий враждующим между собою сектам Запада, есть именно последствие их непрямого отношения к оставленной людям истине или потери к ней всякого отношения. Ибо, обладая истиною, человек уже обращен к ней одной, ее видит, ей радуется, и хотя сорадуется приобщению к себе всякого другого, но не скорбит и один, находя в предмете обладаемом совершенное удовлетворение. И печать истинности несокрушимую мы видим в том, что Восточная католическая церковь ни в какие времена и ни в каких странах не являлась пропагандирующею, — исключая немногих — спорадических явлений, без внутреннего их в себе значения, без силы и успеха. Она насыщена сохраненным союзом своим с Богом — заветом новым, который исполнила; как и древний еврейский народ, совершенно удовлетворенный подобным же союзом, заветом ветхим, не искал никого принудить или вовлечь к себе в общение. Нам укажут на церковь юную, апостольскую, ей приписав «пропаганду»; но там было «евангелие», «благовестие» — подобное тому, как если бы, получив великую радость и не в силах будучи скрыть ее, я вышел на площадь и вскричал о ней. И это вовсе не то, что с известием темным, мыслью таймой бежать сквозь чащи, леса, пустыни и, отводя в сторону человека от человека, ему внушать эту мысль, передавать эту весть, и нудить его ответить на эту весть «да», и ненавидеть его, когда ответ замедлен, и убивать отвергшего эту весть, и бежать снова и снова, далее и далее, чтобы приобщить к себе хоть одного, кого-нибудь, где-нибудь, на смертном одре, в болезни, в тягости, обещая всяких наград, пленяя воображение, маня сердце, запугивая совесть, или, наконец, «сокрушая ребра». Конечно, этот темный, мрачный дух известительства не имеет ничего общего с апостольским «благовестием» и кто не узнает, где он был и кем несется теперь в Китай, Японию, Индию, и ярче, чем туда, настойчивее, чем туда — к нам на Восток, в страны нетронутого православия, всюду отрекаясь от чистоты какого-либо утвержде-

ния *, принося жертвы в языческих храмах конфуцианцев **, склоняясь перед статуями Будды ***, признавая греческий обряд ****, только бы их, преступных и несчастных, народ принял в общение с собою, и по их указанию, их подобию исказили бы себя в одном, им нужном, отношении.

* Миссионеры иезуитского ордена, осмотревшись в Индии, решили, что они всего успешнее могут повести им нужную пропаганду, приняв на себя вид браминов. Также строго, как последнее, они отделили себя от презираемой касты *париев* и, во избежание священного осквернения, не входили в их дома, и к ним, даже больным, не прикасались, а таинство елеосвящения совершая при помощи длинных палочек. Париям были построены особые храмы, а в те, которые были построены для браминов и других «чистых» сословий, их не впускали. Таково было христианство, насажденное там миссионерами знаменитого ордена. Сами католики, не принадлежавшие к ордену, были возмущены, в остатках у себя христианских чувств, этим странным эклектизмом Христова с языческим, и умоляли «пощадить христианство». Но иезуиты неизменно отвечали, что лишь при их системе смешения («унии») пропаганда католицизма может быть успешна, и без нее — все уже достигнутые успехи будут погублены. Эта ссылка вызвала однажды раздраженное замечание знаменитого кардинала Беллярмина: «Христово Евангелие не нуждается ни в подкраске, ни в подделке; пусть лучше брамины не обращаются к истинной вере, лишь бы сами христиане не проповедывали Евангелия неискренно и несвободно. Христос на кресте (т. е. видом рабской смерти) соблазнял иудеев, а эллинам казался безумием, — но ради этого не перестал же боговдохновенный ап. Павел, не перестали и другие апостолы проповедовать свободно и правдиво Христа распятого. Не хочу заводить спора о каждой частности порознь; но не могу не заявить, что подражание гордости браминов, по моему убеждению, прямо противоречит смирению Господа нашего Иисуса Христа, а снисходительное допущение известных языческих обрядов крайне опасно для веры». Но этот отзвук истины в той ветви истории, которая шла к ее забвению, не был услышан. Кардинал Беллярмин не видел, что уже не Христово — есть истина, утверждаемая в церкви, которой он был служителем; что эта Христова истина есть только побочная при какой-то другой, которая не мирится, не согласуется, не отступает от своей целостности, идя к иным народам, в другие страны, а она, эта Христова истина около той, мирится, соглашается, отступает от полноты, ясности и твердости своего выражения. Что же это немирящееся, ненарушимое, истинно утверждаемое там? Идея папства — как условно ненарушимого у народов, которые утратили *веру* в безусловное в себе самом, в небесных основаниях своих, ненарушимое. Камень тем прочнее лежит на земле, метеор тем неотделимее с нею слит, чем окончательнее порваны узы его с небесным, к которому природою своею и происхождением он принадлежал когда-то; католицизм действительно есть вечное, окончательное, последнее на земле, насколько Бог за его грехи забыл человека и не захочет поднять его к вере.

** В Китае.

*** В Китае и в Индии иезуиты дошли до того, что от обращаемых туземцев скрывали «зрак раба», принятый на себя Тем, чье имя они носили, и также его страдания и смерть, между разбойниками, на кресте. Людовик Сотело, францисканский монах, впоследствии замученный там, писал папе: «Наслушавшись иезуитских миссионеров и проповедников других орденов, туземцы начинают поднимать нас на смех; они упрекают нас в том, что мы проповедуем *двух богов*: одного богатого и могущественного (каким являлся Христос в изображении иезуитов) и другого бедного и смиренного; *второй*, говорят туземцы, *у первого в глубоком презрении*». Во время одного возмущения против европейцев в Японии, береговые жители всех пристававших к берегу чужеземцев заставляли топтать и плевать распятие; конечно, все европейцы пре-

XVII

И вот она, церковь великая делами и малая верою; и нас манит она не истинною утверждения своего, не крепостью веры, но благами земного устройства, которые она сообщила всем народам и имела бы силу сообщить нашему*, всякому. Как обширна история этой церкви, как цветущи ею охваченные страны; не вникайте в слагающие звуки этой истории, прислушайтесь к общему их аккорду: как о многом, как долго здесь рассказано, и «неужели немое молчание»**, она спрашивает: «Вы предпочтете ожидающим вас рассказам, их величию и поэзии»? Но какая поэзия и даже какой рассказ о толпе поселян, собравшихся в храм молиться, и, однако, разве молитва их от этого дурна? Что сказать о городе, в котором ничего особенного не случилось, и как много можно поведать о том, который разграблен, опустошен, стены его разрушены, воины побиты, жители уведены в рабство и в нем долго, мучительно томились? Быть рассказанным — это не цель для человека; для него цель — быть правым; и быть рассказанным значит всегда почти эту правоту потерять, о ней мучиться, ее восстановить. Как обильна в истории фактами реформация, и, между тем, она только срубила то, что нужно было срубить; как стучал топор, сколько ветвей падало, и шум, и крики кругом, — и, однако, это хуже, чем когда, не зная топора, дерево растет в тиши, видимое Богом, нужное человеку. О нашей, в частности, истории было сказано***, что она беднее событиями, чем всякая плита на Римском форуме — и это ее гордость; православие скудно фактами — это милость к нему Божия; оно не искажалось — как это рассказать? не каялось, не пыталось восстановить истину утверждения своего — какая тут повесть? оно молилось; молитва его у Бога; что нужно от него людям?

XVIII

Свое особое утверждение понять глубоко, ярко выразить, все к нему привести — это одна забота его в истории. Мы возвращаемся к главной форме терпимости, которую хотелось бы удержать противникам творческой свободы, к терпимости внутри самой церкви к безверным, которые как ослабшие струны в расстроенном инструменте хотели бы и не звучать, или звучать как-нибудь, и занимать положение, звуку, а не меди струны, принадлежащее.

кратили сношения с страной — но не иезуиты; имея обширные торговые связи здесь, они подчинялись требованию топтать и оплевывать распятие, и позднее оправдывались тем, что они относили при этом мысленно оскорбления не к Богу, изображенному на металле, но к самому веществу металла (*reservatio mentalis*).

**** Церковная уния для юго-западной Руси, во время ее бытности под владычеством Польши; теперь епископствующий папа Лев XIII благословил славянскую литургию для югославян.

* Г-н Вл. Соловьёв прямо указывает, что соединение с католичеством, т. е. принятие католического отношения к христианству, дало бы нам «украшение церковной жизни, возвышение власти духовенства, одухотворение гражданской жизни».

** Таков смысл жалоб и призывов Чаадаева в известном его «Философическом письме».

*** Кажется, Георгом Брандесом.

Конечно, есть свойства и в меди, которые она может, и, в силу природы своей, влечется выразить: тяжесть, и блеск, и твердость; но не здесь она может их выразить, и, ради их — здесь она не может быть пощажена. Пусть это стоит страдания живым струнам; их радость немая или хаотическая, пусть она стала бы возможна, могла ли бы заглушить страдание хаоса или молчания всех остальных струн? И неважно, что их только, но — и страдание мастера, изготовившего чудный инструмент? Что за мысль для куска мела чертить фигуру, не геометром предположенную, но которую, дурно обтесанный, он хотел бы чертить кривым углем своим? Ведь и планете, нами обитаемой, быть может, хотелось бы, сократившись
 10 в орбите, — пасть на солнце, или, растянувшись в ней — удалиться в темь пространств; и, однако, она удерживается в путях своих, и мы живем, дышим, радуемся и вот обсуждаем вопросы. Почему, когда меня мать носила в утробе, ей было не выкинуть на третий месяц что-то среднее между червяком и человеком; но вот я родился через девять месяцев, развился, вырос и ни разу законы моей жизни не спутались, не замешались? Мне было бы больно, если бы эти законы спутались; нам было бы больно, если бы законы планеты нашей нарушились; почему, все это сознав, мы одни хотели бы путать законы, и, одаренные разумом, чуткой совестью не хотим докончить секунды закона для другого, когда этот
 20 другой века хранил для нас все законы? Что за гнусное чувство нами овладело, как будто после девяти месяцев наши матери выкинули каких-то червяков, и им хочется ползать, а не жить, жевать землю, а не благословлять солнце.

XIX

Так мало ожидается от нас, так к малому мы нудимся, так хорошо то, к чему мы нудимся, и мы не хотим этого исполнить. Почему так больно нам это понуждение, и образы тюрьмы, запора * одни мелькают перед нами, когда нам говорят о законе; почему не образ храма, где ведь также не смеем мы повернуться иначе, чем все, и делаем то, что другие — одно лучшее, что нам приличествует, что приличествует месту. Почему не хотим мы свято взглянуть на природу, на себя: тогда
 30 все понятно, понятна невозможность хаоса, безволие к дурному. Как широки пути бесстыдного — неужели они привлекают нас? как узок путь совести — неужели он пугает нас? Неужели свобода бесстыдного — это радость, связанность совестливого — тюрьма, «особо устроенный каземат» **. Но совесть не моя только, не твоя, не мимо идущего человека есть в истории, но также и совесть нашего времени, моей страны, народа, к которому я принадлежу. Разве каждый из нас не несет на лице своем обезображения, какое есть в этом времени, стране, народе; мне оно больно, и, как каждый, я его не хочу, я его вправе не переносить. Ни — в целом народе, стране, времени; ни время, страна, народ — во мне. Мы все братья, истинно, религиозно братья, а не потому, что живем в одном доме, ездим по
 40 одной дороге, из одной лавки берем хлеб. То есть все блюдем друг друга, и еще более — друг в друге блюдем один закон. Что говорить о страдании, о возможной тесноте — она радостна, как радостно всякое лишение, которое я переношу

* См. конец статьи г. Л. Тихомирова: «Существует ли свобода».

** Определение г. Л. Тихомировым верующей свободы, в отличие от хаотической.

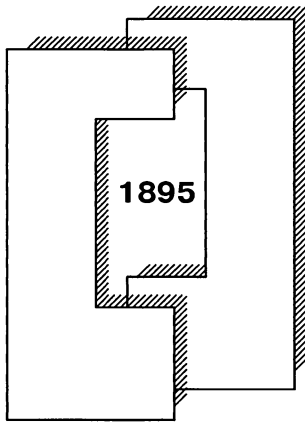
для другого: сперва оно больно, и я хотел бы от него уклониться, но когда исполнил — забываю о боли и радуюсь, что не уклонился. Как мало то, что нас пугает, перед великим, что нас ожидает. Свобода *** испытана нами и оказалась безвкусной: ею пресыщенный, как часто человек сваливается в могилу, предпочитая ее темь и сырость дыханию этой безрадостной пустотой ****. Свободен — и один в мире, это человек XIX века; счастлив ли он, велик ли, чего ожидает, на что надеется — не нужно спрашивать. Итак, без этой ненужной свободы, переплетясь ногами и руками друг с другом, биением одного сердца живущий, снова шумящая листва, на костях древнего Адама поднявшаяся и от Адама до наших дней данный человеку закон почувствовавшая — это ожидается от человека, к этому, судя по совершившимся и неудавшимся путям, он клонится. ¹⁰

XX

Не для *меня* одного проговорил Синай, прозвучала Нагорная проповедь, но и для *моих* — со мною связанного кровно рода людского. Его грех несу я в себе, его наказание чувствую в костях моих; и как свой член болящий ненавижу, здоровый — люблю, ненавижу или люблю всякого человека, через которого радуюсь или скорблю. Его свободы болеть — нет для меня; как моего права гноиться — нет для него; на иной планете, или на этой же, но по иному закону, чем я, созданный — там только свободен он от меня. Странного права заблудиться, дикого счастья лететь и веять как ветер — не нужно, для бедствия, для радости — этого нет у человека. И растение знает закон свой; животное боится его нарушить; даже камень брошенный, и тот не смеет забыть свою бедную параболу. Один ли человек брошен в природе без закона? Но вот, поняв себя так, одного себя в природе считая свободным, не себя только, но и самую природу он осквернил беззаконием. Закон — это далекое что-то, что я могу и не признать; что кокетливо клонить к себе мою волю, и эта воля может капризно от него уклониться; и этот каприз именно есть главный закон, которого коснуться не смеют другие, хотя бы и божеские. И не касаемые, в своей темной свободе, мы сойдем в землю; и живые между нами, кажется, не живее мертвых; бессильно отвислая челюсть не смеет укусить, боится улыбнуться; и руки опущены, едва дышит грудь; только пищеварение совершается, но горло не глотает, и, кажется, нужно будет сделать фистулу, чтобы как-нибудь, на сколько-нибудь времени поддержать — не жизнь, но бытие — единственно свободного в природе существа. Что ты не идешь, бедный: так много дорог перед тобой; почему не играешь, когда руки не связаны, и задевает, играя, тебя крылом птица, лапой лесной зверь, и все смотрит тебе в глаза, царю своему, ожидая ответной улыбки на игру, жизнь, радость свою — и не находит. ³⁰

* Т. е. в общепринятом смысле, как хаотическая.

** Никто не может отрицать связи самоубийств, ставших почти эпидемическими в XIX веке, с развитием в нем индивидуализма, — в смысле изолированности человека от человека.



ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И НАРОД

Никогда еще с такою определенностью не поднимался вопрос об взаимных отношениях народа и того класса, который в различное время получал различное название и который в наше время получал характерное название интеллигенции. Что такое интеллигенция, какие черты отличают ее от остальной массы народа, как исторически сложилась она, какие идеи

и какие чувства руководят ею, какое влияние по силе и качествам ее на общий ход жизни, — вот вопросы, великое значение которых определяется значением того влияния, которое оно оказывает теперь и которое ей суждено оказывать в будущем на общее течение жизни.

Можно положительно сказать, что в то же время, как постепенно рушились все преграды, разделявшие людей на классы, сословность, корпоративный дух, сословные верования, национальность, язык, в то время как исчезали эти преграды и народы сливались в одну громадную, бесформенную массу, та самая сила, которая служила орудием при разрушении этих преград, сила ума и знания, воздвигла незаметно новую великую стену, которая разделила всю эту бездарную мелкую массу на 2 великих класса, — быть может, более разъединенные, чем прежние сословия, и из которых один является более господствующим, чем другая бы то ни было каста в древности: эти 2 класса, или, вернее, эти 2 мира людей; из которых каждый имеет свою историю, свое мирозерцание, свои стремления и верования, не имеющие между собою ничего общего, есть интеллигенция в самом обширном смысле этого слова и народ. И вопрос об уничтожении этой великой и, как можно думать, последней преграды, разделяющей людей, должен со временем наступить и от того или другого решения его должно зависеть все будущее европейской цивилизации.

Что угол этого разделения действительно существует, об этом едва ли может быть спор: образованный француз имеет более общего с образованным итальянцем или англичанином, нежели с необразованным французом: склад их ума и чувства более одинаков; доводы имеют силы для ума одного, имеют силу и для ума другого; побуждения, руководящие одним, руководят или могут руководить и другим, и во всяком случае понятны для него; их знания, их жизнь, их стремления имеют много общего, и все заставляет думать, что при дальнейшем развитии цивилизации эта общность будет увеличиваться все более и более, а пока, быть может, не дойдет почти до новой тождественности; под влиянием всего этого мир образованного европейца известной науки и религии среди иноземцев, имеющих другое отечество, другую религию, другой язык, не составляет особенной тягости; напротив, жизнь образованного в среде простолюдинов из своего народа представляется трудным подвигом, п. ч. она сравнивается с одиночеством; человек образованный может наблюдать жизнь народа, но он не может принимать

в ней участия; разговаривая с простолюдином, он всегда наблюдает ее и изучает, как пришественник-иностранец наблюдает язык и нравы чужой страны.

Как сложилось это разделение, — на это ответит история; собственно говоря, вся так называемая новая история, начиная от возрождения античной культуры и кончая нашим временем, есть история постепенного сложения и развития этого класса, его литературы, его философии и науки, его искусства; под его влиянием сложились великие политические организмы, под его влиянием место церкви суживалось все более и более; в его среде поднимались великие религиозные вопросы (Кальвин и Цвингли) и им решались они, они создавали философские системы, ими произведены были все революции; народ если и принимал в этом участие, то во всяком случае не ему принадлежала инициатива, направление и завершение этих движений; история, со временем, расскажет нам историю этого самого великого и самого могущественного класса, какой когда-либо существовал.

Но есть ли это действительно класс или сословие людей, в том смысле, как это понималось прежде; я утверждаю, что она постоянно стремится стать все более и более замкнутой, все более и более нетерпимой, все более деспотичной по отношению ко всему, что не принадлежит к ней, стремится к этому с непреодолимой силою, почти бессознательно и недобровольно, что взамен той теократии, которая грозила Европе в лице римской церкви, в средние века, в Европе наступает, если уже не наступило, такое же полное и безусловное господство одного класса, перед которым склоняют свою голову короли, который низвергает троны и распоряжается по своему произволу судьбою народов и государств и, быть может, с большею силою, чем как это делала римская церковь, и приводит свои идеи с большею беспощадностью, большею неразборчивостью средств и с таким же сознанием своего права, как это делала римская и испанская инквизиция. И в самом деле, интеллигенция в новое время имеет то же знание, тот же характер, как и католическое духовенство: правда, доступ к образованию для всех открыт, но раз оно сообщено человеку, напр. простолюдину, оно тем самым уже отрывает его от той среды, за которую он мог бы бороться, которую он мог бы защищать, перерождает его и ставит в ряды интеллигенции; истинно-трагическое положение всего, что чуждо интеллигенции, и хочет оставаться чуждо ее стремлениям, состоит в том, что оно не имеет никаких средств бороться с ней; что единственное орудие, с помощью которого он может бороться, — образование, — таково, что едва он прикоснется к нему, он уже становится не защитником тех, за которых хотел бороться, но защитником тех, против которых хотел бороться.

ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ТРЕВОГИ гр. Л. Н. ТОЛСТОГО

Ох, длинна ночь...

«Хозяин и работник»

I

В мартовской книжке «Русского Богатства» г. Н. Михайловский, заключая разбор последнего произведения гр. Л. Н. Толстого «Хозяин и работник», обмолвился, как бы в раздумьи каком-то, несколькими замечательными словами,

которые нам показались и новыми, и неожиданными в этом писателе. Но прежде, чем привести их, и чтобы объяснить их значительность, скажем два слова о том, к чему они относятся.

Указывая на аналогию «Хозяина и работника» со «Смертью Ивана Ильича», рассказом «Три смерти» и отдельными эпизодами из других крупных произведений гр. Л. Толстого, г. Н. Михайловский справедливо замечает, что чувство смерти, точнее — тревога о ней, как о заключении всех радостей земных, доминирует над всеми изумительно начертанными сценами «войны» и «мира», «детства» и старости, семейных радостей и политических тревог, которые образуют необозримый и яркий ковер живописи великого художника. Несправедливо он оговаривает далее, что этот страх, эта тревога есть лишь оборотная сторона его чрезмерной «жажды жизни», «страстной привязанности к ней»; несправедливо — ибо под углом такого зрения знаменитый романист представился бы нам похожим на тех жадных сибаритов древнего мира, которые хотели бы удвоенно жить и после еды, напр., принимали рвотное, чтобы тотчас опять есть. Страх смерти в Толстом постоянен; правильнее — постоянен в нем ужас перед тем сумраком, который нас ожидает после того, что мы зовем смертью, и который не есть *нигто*, не есть и что-нибудь *определенное*, нам сколько-нибудь *известное*. Страх ли это неведения, тревога ли за грех свой, не открытый земле и который страшно открыть и небу, — это личная тайна нашего великого писателя. Несомненно, однако, что именно *жить* там хотелось бы ему; не наслаждаться, пожалуй даже не радоваться, не быть в каком-либо смысле счастливым, но что-то узнать, что-то нужное и непоправимое здесь, на земле, перед людьми — исправить там, не перед человеком...

Во всяком случае, повторяем, в точке зрения г. Н. Михайловского много правды, и много правды в том, что он подмечает в стараниях Толстого преодолеть этот страх; так, он говорит:

«В XIII-м томе его сочинений есть обширное рассуждение „О жизни“, а в нем отдельная глава посвящена „страху смерти“, но собственно все рассуждение проникнуто страхом смерти, хотя гр. Толстой и хочет доказать, что смерти бояться нечего, что ее даже просто нет, что она только призрак для людей, ведущих правильную жизнь. Доказывает он это длинным рядом силлогизмов, которые, однако, независимо от их действительной ценности, имеют, мне кажется, для самого графа не больше цены, чем силлогизм „Кай — человек, все люди — смертны, потому Кай смертен“ — для Ивана Ильича. Бедный Иван Ильич хорошо знал этот силлогизм и все-таки, вопреки очевидности, не допускал приложения его к нему, Ивану Ильичу. Так, я боюсь, и гр. Толстой не убеждается, по-видимому, очевидными для него истинами, и страшные глаза смерти не перестают его пугать».

40 Как сохранить жизнь без отравляющей ее мысли о смерти? Как выжечь, уничтожить тот страх смерти, который, по замечанию его еще в «Севастопольских рассказах», «вложен в каждого»? Такова главная задача гр. Толстого за последнее время. Если она и прежде занимала его, то теперь он на ней исключительно сосредоточился, и все его писания суть только радиусы, соединяющие разные точки его кругозора с этим центром. Сюда относятся прежде всего его рассуждения о физическом труде, об «упряжках», о чистом воздухе полей и лесов и про-

чие гигиенические черты его нравственного учения. Но ими обеспечиваются только здоровье и долголетие, смерть только отдалается, оставаясь по-прежнему страшным неизбежным концом. Нельзя ли сделать его, по крайней мере, не страшным? И вот, путем фантастических скачков мысли и извилистых силлогизмов, он приходит к заключению, что правильная жизнь гарантирует нас от смерти; что ее страх, точнее — она сама, уже рассеиваются как призрак перед всяким добрым и живым движением нашей души:

«— А смерть? Где она? — спрашивает дотоле томившийся мыслью о ней Иван Ильич. Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страх никакого не было, потому что и смерти не было.

10

Вместо смерти был свет».

«— Так вот что! — вдруг проговорил он. — Какая радость!».

«Я думаю, — продолжает г. Н. Михайловский, выписав приведенный отрывок из „Смерти Ивана Ильича“, — что это восклицание: *какая радость* — на каждого художественно чуткого человека должно подействовать, как неприятный, режущий ухо диссонанс. И если такой великий художник, как гр. Л. Толстой, ввел этот фальшивый аккорд в свое произведение, то лишь потому, что очень ему уж хотелось показать, что смерть может быть не страшна, что ее может даже и не быть. Это он *нас и себя утешает*. Спасибо ему, конечно; спасибо, в особенности за то, что он...» и т. д.

20

Конечно, все это рассуждение очень правильно, и как яркие образы смерти, рисуемые рукою нашего романиста, так слабы, бледны, *безосновательны* утешения, которые он нам предлагает.

II

Заметим, что собственно страха физического перед болью умирания в гр. Толстом нет, что, между прочим, можно видеть и из того, что мысль о самоубийстве, по его собственным словам (в «Исповеди»), приходила ему на ум, а человек не подойдет к тому, чего он боится, от чего убегает. Его страх смерти есть чисто духовный; это — страх погрузиться в игру мертвых стихий останками своего тела, без чего-нибудь — собственно для души. Итак, душа и ее бытие за гробом — вот более определенный предмет тревог нашего великого писателя. С тем чувством меры и гармонии, которая так присуща его созданиям, с его любовью к *лигно-*человеческому, к индивидуальному, у него не отделимо отвращение от стихийно-*безлигно-*мертвенного, каковою ему представляется природа, окружающая человека. Скажем даже более: его отношения к истории, к необъятным движениям народным, к широким течениям политическим имеют в себе часть этого же отвращения к стихийному. Он к ним почти так же враждебен, исполнен страха; по его взгляду, они так же поглощают человека и нисколько не управляют им, как и стихии физические. Вспомним «Войну и мир», вспомним бессилие человека вмешать свою волю в эти столкновения народов; и вспомним чрезмерную, яркую любовь автора, сосредоточенную на крупных и некрупных фигурах, движущихся в перипетиях «мира» и «войны», на этом капитане Тушине, на Алпатыче, едущем в Смоленск, княжне Марье, и пр. и пр. Их, собственно, любит он; любит какою-

30

40

то особенно любовью; и для него история—почти только тучи, заволакивающие от этих милых его сердцу людей живительные лучи солнца...

В «Хозяине и работнике» есть несколько мимолетных штрихов, рисующих также эту стихийную природу, и с чувством того же страха и непонимания перед ней, которые невольно передаются и читателю:

«...Вдруг перед ним зачернелось что-то. Сердце радостно забилося в нем, и он поехал на это черное, уже видя в нем крыши деревни. Но черное это было не неподвижно, а все шевелилось, и было не деревня, а межа, поросшая торчавшим из-под снега высоким чернобыльником, дрожавшим и сгибаемым все в одну сторону свистевшим через него ветром. И почему-то вид этого чернобыльника, мучимого немилосердным ветром, заставил содрогнуться Василия Андреича, и он поспешно стал погонять лошадь, не замечая того, что, подъезжая к бурьяну, он совершенно изменил прежнее направление и теперь гнал лошадь совсем уже в другую сторону, все-таки воображая, что он едет в ту сторону, где должна была бы быть сторожка. Но лошадь все воротила вправо, и потому он все время сворачивал ее влево».

«Опять впереди его зачернелось что-то. Он обрадовался, уверенный, что теперь это уже наверное деревня. Но это была опять та же межа, поросшая бурьяном. Опять так же отчаянно трепался бурьян, наводя почему-то страх на Василья Андреича»...

Физическое ощущение чего-то бесконечно далекого от человека, чему человек не нужен, что человеку не нужно и, однако, над ним властно, — овладевает одновременно автором, читателем и более всего бедным Василием Андреичем. И вот, почти тотчас, мы уже слышим трепет тоскующей души, которая хочет куда-то скрыться от набегающего страха и не умеет:

«Роца, валухи, аренда, лавка, кабаки—как же это все останется, — подумал он. — Что же это такое? Не может быть». И почему-то ему вспомнился мотавшийся от ветра чернобыльник, мимо которого он проезжал два раза, и на него нашел такой ужас, что он *не верил в действительность того, что с ним было*. Он подумал: «Не во сне ли все это?» — и хотел проснуться, но *просыпаться некуда было. Это был действительный снег, который хлестал ему лицо и засыпал его, и это была действительная пустыня, та, в которой он теперь оставался один, как тот гернобыльник, ожидая неминуемой, скорой и бессмысленной смерти*.

«Царица небесная, Николай Чудотворец, воздержания учителю, — вспомнил он вчерашние молебны и образ с черным ликом в золотой ризе, и свечи, которые он продавал к этому образу и которые тотчас приносили ему назад и которые он, чуть обгоревшие, прятал в ящик *. И он стал просить этого самого Николая Чудотворца, чтобы он спас его, обещал ему молебен и свечи. *Но тут же он ясно несомненно понял, что этот лик, риза, свечи, священники, молебны — все это было* ⁴⁰ *огонь важно и нужно там, в церкви, но что здесь они ничего не могли сделать ему, что между этими свечами, молебнами и его бедственным теперешним положением нет и не может быть никакой связи».*

* Замечательно, как подметил все это Толстой; как он почти сердится на это. Но оговоримся, что Никите, который на этот образ в течение жизни своей смотрел несколько живее и теплее, чем его «хозяин», без сомнения, от этого именно не страшно умереть.

Здесь не столько в точном значении слов, сколько в ритме языка, в течении речи даны почувствовать в своей противоположности природа и человек, стихии и лицо. И это лицо, утлое, бессильное, прекрасное своей мыслью — усиливается сохранить свою целость. «Как могу я умереть? И, умерев — перестать быть чем-нибудь отличным от этого чернобыльщика, хлещущего ветра, от всех этих стихий, которые, рассеяв мой прах, понесут его с тем же равнодушием, как несут сухие колючки бурьяна, и я сам буду к этому так же равнодушен, как те колючки?»...

«Я не хочу умереть; умереть так, до этой степени, в этом смысле — это так страшно; неужели это предстоит человеку?».

Вот чувство Толстого; и повторяем, изнанка его — вовсе не привязанность¹⁰ к животной жизни, не жадность быть живым еще и еще, но ощущение гармонии, любовь к мере, смыслу — всему тому, чем так проникнуто лицо человеческое в отличие от стихийной, хаотической природы.

III

Закончив разбор рассказа «Хозяин и работник» и показав бессилие всех самоутешений его автора, г. Н. Михайловский, ни к чему не относя своих слов, проговаривает:

«Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,

и, созревши, безболезненно, бесстрашно и непостыдно сорвался своею естественною тяжестью с древа жизни, *храня в себе зародыш новой жизни*»...

Вот прекрасное движение сердца; почти не мысль еще, но именно только движение — к бессмертию души; и высказанное очень твердо, без колебаний, без какой-нибудь тревоги.

Для нас нет сомнения и в том, что за этими тремя строчками скрыт и очень долгий процесс мысли, и только он никогда не высказывался; нас в этом убеждает чрезвычайная тяжеловесность приведенного примера, который, очевидно, не случайно только подвернулся под перо писателя, но есть плод долгих попыток найти аналогии, примеры, случаи, с которыми в ряд мы могли бы поставить факт нас ожидающей смерти.

И в самом деле, мы все ищем себе аналогий в мертвом; мы видим, как камень рассыпается от действия атмосферы, как он же стачивается каплями падающей воды, и с ужасом думаем: неужели с нами будет то же? Между тем, мы должны искать себе аналогий в живом: разве это яблоко, упавшее в землю, умрет? Умереть, быть раздавленным — для него случай; норма, закон для него — жить; жить еще и еще, не умирать вечно; в *зем*, однако, не умирать?

Как шелуха, как сладкое волокно, как зарумяненная наружность и нежная сердцевина — оно сгниет; сгниет самое семя, в нем заключенное, эта черная косточка, которую мы выбрасываем; и не умрет некоторый закон, некоторый принцип, который оно несло в себе, заимствовало его от дерева, с которого свалилось,⁴⁰ и снова восстановит его в том дереве, которое из него вырастет. Вечна форма яблони, неощутимо присутствующая в семени; незримо для нашего глаза, необъяс-

нимо для ума нашего, эта форма сосредоточивалась в семени в моменты, как оно зрело, яблоко наливалось; и столь же необъяснимо она высвобождается из этого семени, когда последнее прорастает, и восстанавливается перед нами в том самом виде, в каком мы ее знали ранее. Мы сказали — «форма»; конечно, мы разумеем ее не в бедном смысле только геометрического очертания: яблоня живет в законах своего роста, в чертах своего строения, времени цвета и увядания — в той черной косточке; живет в *смысле* своем, *знатении*, *идее*, — так как, очевидно, ее нет там, в материальной полноте форм, и, между тем, эти формы оттуда вырастают.

«Species», «вид», как называют ботаники, сохраняется вечно при умирающих особях; именно в этом, говорят они же, и лежит принцип организма всякого — как растительного, так и животного. В себе как единичном — яблоня ничего не несет; все, что есть в ней ценного и значащего, принадлежит ей как виду (или разновидности), и это ценное, мы видим, не умирает.

Отступим из мира живого и богатого в мир более тесный и неподвижный. Вот перед нами круг или треугольник: нарисован ли он мелом или углем, на доске или бумаге нарисован, в размерах очень маленьких или очень больших — это для обеих фигур не принципиально; принципиально то, что стороны треугольника суть прямые линии, и все они пересекаются, что сумма внутренних в нем углов равна двум прямым, а в круге существенно, что его все точки равно удалены от одной, лежащей внутри — от центра. Берем губку и смахиваем уголь или мел с доски, разбиваем и самую доску — что осталось от тех фигур? Их самих, их *белевших* или *герневших* перед нашими глазами — нет; и, однако, *есть* и останется вечно их определение, их формула. Она именно, эта формула, есть их принцип; и всякий новый круг или треугольник, который мы нарисуем или какой создастся в природе, создастся и нарисуеться по этой формуле, восстановится из этого принципа, к которому понятия «разрушение», «исчезновение» — не применимы.

Возьмем, наконец, то, что занимает середину между живыми существами и пустыми пространственными формами — *физическое тело*. Вот мы из твердого состояния обратили его в жидкое: частицы его стали подвижны, их цвет сделался другой, объем значительно увеличился; мы эту жидкость соединяем с другою, и, при раздавшемся взрыве, обе они исчезли, обратившись в невидимые газы. Ничто более не напоминает нам прежнего тела в этих газах; ни которое из чувств наших, как бы ни было оно изошрено, не открывает в них его присутствия. Но вот мы берем весы и взвешиваем новый газ: его тяжесть в точности равна сумме весов первоначального твердого тела и той жидкости, с которою мы его соединили. Таким образом взятое нами физическое тело, исчезнув в цвете своем, блеске, вкусе, прежней величине, осязаемости, — сохранилось в более глубокой своей стороне, *массе*; эту массу, как сумму бескачественных атомов, измеряемую весом, физики принимают за самый принцип вещества, и мы видим — этот принцип вечен.

Итак, в организме постоянен *вид* как синтез законов роста и форм развития, в геометрическом теле — его *определение*, в веществе — *масса*; во всех трех — их *главное*. По аналогии мы можем ожидать, что нечто главное же сохраняется вечно и в человеке? Что, однако, во всякой вещи есть главное?

То, по *гему* мы вещь распознаем среди других вещей; силою *гего* она с ними не смешивается; некоторый *идиотизм* (мы берем термин из области явлений язы-

ка) как неповторяемая нигде особенность данного круга предметов, им исключительно присущая, их характеризующая собою, в них неуничтожимая.

Принципы вещей, насколько они выяснились перед нами из приведенных примеров, суть именно вечные идиотизмы природы, вокруг которых располагаются временно возникающие в ней предметы и явления, все — заражаясь характером этих идиотизмов. Логическая определимость для линий или фигур, закон роста и тип сложения для органических форм, постоянство массы для вещества — это так своеобразно, так неприменимо нигде, кроме собственной своей области, что мы ни на минуту не затруднимся, встретив какой-нибудь предмет и узнав в нем характерный идиотизм, сказать, что все, из этого идиотизма с необходимостью вытекающее, ему не чуждо, и все, что вытекает из которого-нибудь другого идиотизма, хотя и может здесь встретиться, однако как побочное и случайное. Весомость мела, которым начерчен круг, случайна для круга; и так же случайна, т. е. не существенна, количественная сторона во всем живом, органическом.

IV

Нет ли и в человеке чего-нибудь столь же своеобразного и отличительного, что, узнав и еще не различая, в ком это, мы восклицаем: «Это — человек!». Чего задатков даже мы не знаем во всей природе; что, наконец, так же мало походило бы на *массу, species, определимость*, все принципы живой и мертвой природы, как эти принципы не походят друг на друга, и, если возможно, даже более отделялось бы от них, далее уходило бы в сторону?..

— *Индивидуализм* человека как несливаемость духовного лица его и даже, в зависимости от этого, лица физического ни с каким другим лицом и даже вообще ни с чем в природе. Это есть столь необыкновенное качество для целей природы, где все круги суть круги, все березы — березы и атом каждого вещества имеет бесчисленные себя повторения в других атомах; это, наконец, так необходимо, так нужно человеку для всего, что он есть, чем становился и чем хотел бы стать, что невозможно удержаться, чтобы не признать в этой именно особенности принцип бытия человеческого, новый идиотизм природы, около которого начинается совершенно новый порядок вещей. Не удивительно ли: 36 букв в алфавите, и письму этих букв мы научаемся из прописей, еще менее разнообразных, чем эти звуки и их начертания; нас, обучающихся — миллионы, и вот среди их нет двух человек, которые бы одинаково могли написать хоть одно слово, и это так общепризнано, что при судебной экспертизе единство почерка считается достаточным удостоверением единства лица писавшего. Нет и тени в этом сомнения ни для кого; нет и тени сомнения, что даже в детали, даже в том, на чем лишь косвенно и посредственно (через нервную систему) отражается духовный строй лица, не может быть тождества у двух индивидуумов. Человек есть *неповторяемое* в мироздании, *один* раз его душа приходит в мир и из него уходит — это есть истина, для всякого бесспорная; и мы прибавим, что не была бы история тем никогда не кончающимся разнообразием, тем нигде не повторяющимся но-

вым, каковою мы ее знаем, если б не эта удивительная особенность ее творца, человека*.

Общие логические дары, общая способность чувствовать и желать, с которою человек уже рождается, есть лишь основа, на которой вырастает индивидуальность; в своем роде, это есть то же, что 36 букв, которые каждый пишет неуловимо по-своему и не может, даже если бы захотел, писать их, как другие. Итак, есть в человеке некоторый общий «Кай», не излишне умный и не совсем глупый, не добродетельный и не порочный, не безвольный и не страстно желающий, который ему нужен как подставка для того, что уже не есть более «Кай», что действительно страдало, любило, размышляло, согрешало, и за все это, за любовь и грех, должно ответить — за гробом. Мы, впрочем, сказали более, чем сколько вправе и чем что хотели сказать; мы вправе — и не утверждать, но указать как на нечто правдоподобное — что в то время как «Кай», болея и мучась, действительно умирает в нас, то, что было поверх его, теряя в нем нужную подставку для себя, также рушится, но лишь в поле зрения нашего, для нашего ощущения, и остается как принцип бытия человеческого в себе самом. И мел с доски осыпается и ничем не напоминает более круга; вынесена и самая доска; и, однако, *есть* круг, он *не исчез* в себе самом, *не пропал* из природы. Так точно эта особенная душа, только однажды на протяжении тысячелетий родившаяся в мир, никогда не имеющая более еще родиться, в связке костей этих тлеющих...

Мы уже хотели сказать: «не разрушится», — и удержались. В самом деле, сказать это — было бы очень не точно, было бы применением глагола к существительному, к которому он, очевидно, не может быть отнесен. Ведь почему, собственно, в то время как мел, которым нарисован круг, осыпается — самый круг в логическом определении своем не «осыпается» и даже вообще не перестает быть? Для него как для *истины* некоторой «перестать быть» значит стать внутренне неправильным; «разрушиться», «исчезнуть» — для него значит оказаться ложью; и если бы по мере того, как губкою мы стираем мел с доски, это определение: «круг есть кривая, все точки которой равно отстоят от одной» изменялось в следующее: «круг есть множество пересекающихся прямых, все точки которых равно удалены от одной», или — «от двух точек», или еще — «кривая, в которой диаметр соизмерим с окружностью», то мы могли бы сказать, что разрушился и исчез известный нам круг в самом принципе своем. Равно, если бы из семени, упавшего с яблони, выростала груша, а в другое время и еще что-нибудь, напр. береза или сосна, мы могли бы сказать, что яблоня в принципе своем не существует более. Теперь, что значит, применяясь к этому, для индивидуальности «перестать быть»? Это значило бы только, отделившись от своих особых черт, приобрести какие-то другие, стать лицом кого-то иного, или еще более, еще глубже: потеряв связь с самым принципом индивидуализма, стать чем-то безраз-

* Зачатки индивидуального обособления есть, конечно, и в мире животном и даже растительном, но там они только зачатки, и, как таковые, не могут быть ни центром, ни даже чем-либо очень существенным в каждой особи. Применяя термины аристотелевской логики, мы сказали бы, что в растениях и животных, в целом мире до человека, при исчезающей акциденции пребывает субстанция, и только в человеке акциденция и субстанция перемещаются одно на место другого, и вперед выдвигается тот именно элемент целостной вещи, который во всем мироздании не нужен, не важен, почти только мешает его правильному ходу и существованию.

личным, инертным в духовном отношении, стать тем общим «Каем», на основе которого могла бы развиваться всякая индивидуальность. Вообще для *лица* человеческого, как синтеза определенных и не повторяющихся нигде духовных черт — всякое *движение*, какое мы можем представить себе, какое сколько-нибудь вправе предположить, всякая *перемена*, все *новое* возможно в особенностях того именно идиотизма, к какому принадлежит оно, в гранях, налагаемых самым принципом, и никак не переступая за них. Ведь для вещества потерять принцип массы не значит вовсе начать пахнуть или получить цвет; для яблони утратить свой *species* не значит стать геометрически определяемой; и для человека, *этого* 10
определенного, для меня, моего читателя, бедного Ивана Ильича и Яснополянского философа умереть не значит вовсе...

Мы опять не можем говорить, потому что «разрушиться», «умереть», «исчезнуть» так же мало может относиться к принципу человека, его индивидуальности, как весомость к геометрии и *species* растения или животного к индивидуализму почерков. Говоря терминами нелепыми, употребляя невозможные слова, мы должны сказать, что если уже человеку предстоит что-то, что мы называем... «смертью», «разрушением», «исчезновением», то оно предстоит в смысле совсем ином и, быть может, более страшном, нежели как мы привыкли думать; во всяком случае это будет перемена только, а не исчезновение, перемена вроде преобразования формулы круга в невозможную нелепость. Но мы не будем об этом 20
говорить, — и языку трудно применяться к этим явным нелепостям, и нет, наконец, в этом никакой нужды, ибо читатель, мы надеемся, понял мысль нашу; и понял, что значило бы для него умереть, если бы это было возможно.

V

Мы очень удалились от писателей, из которых тревога одного и мысль другого послужила исходною точкой всех этих рассуждений. Г-н Н. Михайловский очень точно выражает уверенность, что человеку принадлежит бессмертие именно лично, и отвергает, чтобы оно принадлежало ему только как роду, поддерживаясь через акт рождения; он говорит:

«...блажен, кто созревши, безболезненно и бесстрашно сорвался своею естественною 30
тяжестью с древа жизни, в *себе* храня зародыш новой жизни»,

т. е. об этом лице умершем, а вовсе не о детях, которых оно оставило на поверхности земли, печальных и плачущих и все-таки живых, об этом положенном в гроб и в землю опущенном теле он говорит прекрасно:

«в *нем* есть залог для жизни новой, как и в яблоке, упавшем в землю, есть залог для жизни другой».

Залог для жизни.. в *нем*, этом бездыханном теле, опущенном в землю, и в *яблоке*, сорвавшемся с древа и упавшем на землю. Но ведь в яблоке есть только жизнь рода, есть сумма законов, сил и форм сложения того *species*, к которому принадлежал материнский организм, и это есть тот самый «залог жизни», который 40
оставляет человек в детях своих, плачущих и скорбных и все-таки живых. Не достаточно ли человеку этого бессмертия и не напрасно ли мечтает он еще

о каком-то личном; желать и этого последнего — не значит ли желать второй для себя жизни, жизни удвоенной — там, на небесах, своим духом, и плотью — здесь, на земле. И мы, пытаясь найти ей подтверждения, не поддерживаем ли человека в самых грубых его усилиях, в жажде чисто животной, напоминающей ту, которою томились древние епикурейцы?..

Есть, однако, люди, и пусть этих людей немного, которые не томятся вовсе жаждою этой второй жизни на земле, в своих детях. Мы привели выше удивительный факт, что столь незначашее выражение индивидуальности, как особый у каждого человека почерк, не отсутствует ни у кого из них. И вот, в то время как эта деталь, эта ненужная и смешная особенность лица по тому только, что без нее лицо сливалось бы с другим хоть в чем-нибудь, не обходит ни которого человека, — акт столь чрезмерной важности, как рождение, через который именно сохраняется человек как *species*, обыкновенен, постоянен в нем в годы зрелости и, однако, все-таки не безусловно всеобщ. Он всеобщ в мире органическом до человека*; жажда родить (как чисто органическая черта) так же присуща каждой живой особи, как всякому нарисованному кругу присуща верность своему определению и всякому куску вещества присуще постоянство массы. В нем, в этом органическом мире, эта жажда есть точно черта особенного его идиотизма и вовсе она не входит, как образующий элемент, в идиотизм природы человеческой. Не как случай только, не как исключение или уродство, есть человек не рождающий: таинственною чертою, именно разграничивающею человеческое от животного, проходит в нем это влечение жить одному и, умерев, не оставить по себе никакой плоти. Аскетизм монастырей, там, на далеком Востоке, в Тибете и Индии, и у нас на Западе, от Фиваиды и до Онеги; менее выраженный и все-таки уловимый, как бы невольный, как бы безотчетный аскетизм выдающихся мудрецов, столь прозаичный у Канта, так поэтически возвышенный у Плотина, — что это как не яркое утверждение, не человеком высказанное, но о человеке выраженное, что не для земли он, не на земле главною своею частью, что не в земном — его принцип, его центр. Мы хотим сказать — не в *роде* его, не в его зоологическом *species*. Не умереть в *этом* только для человека значило бы не умереть какою-то побочною в себе стороною, как если бы и для круга сохраниться значило бы сохраниться только в том меле, который, стирая с доски, мы все-таки не уничтожаем. Круг вечен в *определении* своем, в *лице* своем — вечен человек.

VI

В нем «не умереть», «не разрушиться» — так естественно; «жить в нем» — это так понятно. И так мало понятно, что значит *сохраниться* в нем после того, как тело станет связкою тлеющих костей и даже обшей логической «Кай» души нашей... по-видимому, *он* именно передается в акте рождения и, следовательно, почти всегда сохраняется, но не безусловно. Мы не о нем говорим; мы говорим

⁴⁰ * Замечательно, что растения и низшие организмы отличаются наибольшею плодовитостью, и она ослабевает по мере возрастания совершенства организации, являясь у человека наиболее умеренною. В человеке акт размножения даже понят как грех, как нарушение не столько сущности его, сколько цели его создания (*первородный* грех, в религии).

о *лице*, которое безусловно сохраняется. Ведь оно даже не факт? ведь оно растянуто на протяжении целой человеческой жизни? Оно суммируется, развивается, обогащается опытом, беднеет в границах своего выражения от неблагоприятных обстоятельств, — и мы говорим, что этот протей неуловимый есть вечная часть нас, которой не суждено умереть?..

Но в семени яблони, которое возродится, разве сохранена жизнь как *факт* или *предмет*. Не сосредоточена ли она в нем именно как *процесс*, как *время* цвета и увядания, *порядок* расположения листьев, *порядок расположения* их не только в *пространстве*, под греющим солнцем, но и *во времени* возникновения, под солнцем *этого* года и *того*? И так, мы здесь имеем процесс, необъяснимо и, однако, несомненно сжатый в факте очень незначашем, этой черной косточке, которую я несу в кармане и, быть может, никогда не посажу в землю. «Быть» — может стать вечным не для предмета только, но и для явления; «быть» — реально для предмета или явления и тогда, когда мы их не уловляем никаким органом, как не обоняем душистый цвет яблони в этой запачканной ее косточке, не видим в ней нежной белизны этого цвета, не удивляемся росту самого дерева. Мы предугадываем, прозреваем, знаем; и это *знаемое* уже теперь есть *факт* в некоторой туманной, прозрачной, колеблющейся, совершенно устойчивой в бытии своем и не устойчивой для уловления только, форме.

Мой грех, так давно уже совершенный мною — его более нет как факта, руки мои не движутся, язык ничего не произносит, и он, однако, не исчез. Я не *помню* только его, он не есть для меня *предмет воспоминания*, ибо не *известен* только мне в чертах своего совершения, но — тяготит меня и почти более, чем тогда, когда я совершал его. Это — не исчезающий миазм, которым я дышу уже долгие годы; я напрасно силюсь забытья от него в шуме дел и звоне новых произносимых слов; он *есть*, он укоротил нить моей свободы и жизни, отнял цвет у щек, улыбку у уст; он слишком *есть* и, как живое, почти развился или, по крайней мере, стал гораздо ярче, значашее во мне. И, повторяем, его нет более как факта. Жизнь как ряд актов вот уже кончается; не долго буду еще отвечать я движением глаз на слова и ободрения собравшихся вокруг и плачущих родных и друзей; вот, наконец, и последний вздох отлетел; как тот не исчезнувший грех, в ярком ядре своем и без оболочки внешних черт, все акты законченной жизни...

Мы не можем сказать: «сохраняются», «есть» около этого бездыханного трупа. В значении совершенно особенном они есть; скажем более: ярко, выпукло, не затемнено только теперь становится лицо человека, не затемняемое более обстоятельствами, не суживаемое в выражениях своих этою звучащею песнью, рисуемою картиною, задумываемым сочинением, любовью погасающею или только зарождающеюся, или, наконец, этим некрасивым почерком. Теперь только нет выражений, есть выражаемое; нет краевых подробностей — есть их всех центр.

VII

40

И если то, что *есть* теперь, не связано ни с каким определенным местом и не выражено ни в каком даже *minimum*'е вещества, что до этого? Ведь и в семени яблони то, что из него вырастет, — «не выражено»; и определение круга вовсе не связано с этою доскою, на которой я черчу его, ни с мелом, которым его черчу,

ни даже с умом моим, который сознает его, ни с умом тех, кто, научаясь, впервые узнает его свойства. Место всякое и всякое вещество, лишь принимая в себя принцип круга, становится ощущаемым кругом; принимая в себя *species* яблони или груши, становится одним из этих растений. Стихии земли, связанные этим принципом, уже повинуются ему, а не своим особым законам; вопреки тяжести, оне поднимаются вверх по трубчатым сосудам, зеленеют в листьях, окрашиваются ярким цветом в лепестках, окружающих тычинки и пестики, и вообще выполняют то, что нужно этому овладевшему ими принципу, а не что естественно им выполнять, когда оне предоставлены самим себе. Жизнь, краткая или продолжительная, былинки в поле или человека — есть, поэтому, борьба; она в точности слагается из моментов как бы умирания и воскресания в каждом акте; в каждом акте стихии усиливаются выйти, освободиться из-под возобладавшего над ними принципа, и принцип усиливается их преодолеть, отторгнуть от собственного их закона и подчинить своему, которого оне не знают и которого не хотят. Смерть физическая есть победа стихий над духом; как зарождение есть момент овладения духа стихиями и, до известной степени, оно есть прообраз воскресения, есть даже самое воскресение — для стихий. Ибо ведь то, что мы называли бы воскресением для этих тлеющих костей — их *оживление*, разве не оно именно совершается для стихий природы, когда оне входят в кругооборот жизни? И разве оне мертвы менее, чем те кости?

Итак, физическая смерть собственно к духу ничего не привносит, и даже она касается его тем странным и неуловимым способом, как определение круга касается мела, которым он чертится; нет этого мела более на этой доске, и круг стал только совершеннее; нет этой неправильной грубой линии, лишь приближавшейся к определению; это определение не болеет более, не страдает, не искажается от этих дрожаний руки, которая хотела бы, усиливается и все-таки не умеет его полно выразить. С последним вздохом душа, наконец, свободна; она есть то самое и теперь, чем раньше была в себе самой, но мы ее тогда не понимали; она нам силилась сказать о себе, — отсюда все формы человеческого творчества; в рисунке, песне, фантастической грёзе, подвиге или, напротив, в преступлении — она приближалась к своему определению, мы ее судили; теперь она в точном определении своем, и ее будет судить Бог.

VIII

«Страх смерти, вселенный в каждого человека», о котором говорит Толстой, есть, поэтому, страх не навешанный, не внушенный, как он думает, но страх, с рождением в нас входящий и, по мере приближения к завершению земного существования, более и более нами овладевающий. Это не есть предчувствие только нас ожидающего; это есть ощущение нами в себе носимого, ощущение того, что присутствует, замешивается в каждый наш жизненный акт. Нам трудно представить это, и, однако, мы должны к этому сделать усилие: что наше бедное *corpus* и теперь, когда, не обращая на него внимания, мы разговариваем или смеемся — в себе, самом, без оживляющего его принципа, как сумма только стихий, есть в точности то самое *corpus*, которое, когда мы смежим навеки глаза, понесут, окурят ладаном или в анатомическом театре разнимут на части. В каждый мо-

мент своей жизни мы носим в себе труп; труп без всяких ограничений, не в смысле аналогий или приближений, нет — труп бездыханный, холодный и столь же вкусный для червей, как и тот, каким он станет несколько лет спустя для них. Но пока — черви от него отодвинуты, холод отдален на 37 градусов и в мертвые легкие гонится живительный воздух безмерною мощью овладевшего этим трупом принципа. Овладевая, животворя мертвое, не выпуская из-под власти своей стихий, он не может, однако, не чувствовать их, как свое резкое противоположение, как постоянное и до времени только бессильное отрицание себя. Отсюда некоторые особенные качества смертного страха. Человек не *боли* умирания боится, и также страх смерти не есть собственно страх за судьбу этих стихий, из которых состоит его тело и, кажется часто ему, состоит он весь. Это — страх человека за лицо свое; ужас перед тем, что не имеет в себе никакого лица; смятение, что это безличное что-то — в нем самого драгоценного не пощадит, и что его нельзя *умолить*, оно не *услышит* голоса, не *узнает* жалобы; что это, чему я предаюсь по смерти, не есть более никакое я.

Но этот страх, повторяем, относится к тому «никакому я», с которым человек связан уже с самого рождения. Поэтому Толстым глубоко угадано, что момент расторжения связи нашего я со стихиями есть несомненно момент исчезновения в человеке страха смерти:

«— А смерть, где она?»... «Страх никакого не было, потому что и смерти не было»²⁰ («Смерть Ивана Ильича»).

Это — тайна, вырванная великим художником у гроба. Мы поясним, что улыбка, так нередко появляющаяся у умирающих в самый момент смерти, когда они уже ничего не видят, ничего не знают о *здесьнем* (такую улыбку я видел и у своей матери), относится или к этому, или к чему-то близкому этому. Во всяком случае, это — отражающееся рефлекторно на губах первое движение души, более с телом не связанной, как бы *след* пяты, на земле оставляемой тем, кто более никогда земли не коснется.

IX

И, однако, эта радостная мысль, что душа побеждается в смерти, но ей остается не причастна, — верна только в применении к тому физическому акту, который заканчивает земное существование человека. Выше мы сказали, что есть нечто, что как бы утрачивает нить ее свободы — это *грех*. Вот акт, который лежит уже в одном порядке явлений с душою, и его острое жало достигает туда, куда не могут достигнуть стихии и законы, которым она подчинены. Мы до сих пор рассматривали принцип, владеющий этими стихиями, с одной его стороны — как *животворящее*, как *оживляющее*, как непрерывное *воскресение*, преодолевающее собственную мертвенность стихий; теперь нам предстоит усвоить его с другой стороны — как некоторую *святость*. Безгрешный, только с залогом греха, но еще без вины его, рождается человек и, в меру этой безгрешности, — он оживотворен * более, чем будет на протяжении всей остальной жизни. Вот еще полное⁴⁰

* Замечательно, что органы, теснее всего связанные с душевною деятельностью, — мозг спинной и головной, у новорожденного и в первые месяцы жизни непропорционально велики

господство души над телом; вот трепетание сердца, прислушиваясь к силе и быстроте которого, мы удивляемся, как его выдерживают мускулы; вот отсутствие страха смерти в такой степени, как бы она никогда не должна наступить, по сделанным объяснениям — отсутствие ощущения в себе стихий, которые преодолеваются с столь малым усилием, как бы его не затрачивалось вовсе. Решительно, ни один член не умеет еще быть в покое; все движется — и без всякой нужды или цели; тело вырастает вдвое неделями, и только позднее — месяцами. Если бы нам это случилось увидеть во взрослом, мы удивились и воскликнули бы: «Вот сказочный исполин!». Т. е. мы признали бы в нем чрезмерные и особенные силы, которых не ощущаем в себе. Теперь, если бы принцип, оживляющий тело, принадлежал к порядку природы органической, — он, по законам всего органического, возрастал бы, развивался, укреплялся в силах по мере того, как человек отходил бы далее и далее от момента рождения. Человек *оживлялся бы* по мере того, как он приближается к тому, где теперь мы уныло отдаем смерти; и бессмертие, здешнее земное бессмертие было бы уделом людей, если бы не стихии над душой, но именно душа над стихиями, все более и более возрастая, когда она остается те же, получала преобладание. Но нет этого для человека; душа умалется в своих силах, и это медик может сосчитать почти по минутам, следя за биением сердца и сравнивая их у ребенка, юноши, мужа, старца. Бог не хочет затенять своих тайн: сердце беднее, чем всякий другой орган, нервами, и жизненнее, чем все они; точнее, оно есть общий источник, оживляющий их всех. При радости как сильно оно бьется, при страхе замирает — в соответствии с тем, как страх подавляет в нас дух и радость возвышает его. Но нет еще радости у младенца, он не ожидает еще наград; он только позади не имеет греха — и вот он жив, одушевлен более, чем отрок. Но и отрок, если вы взяли его на прогулку, в то время как ваши ноги степенно переступают шаг за шагом, — то возвращается назад, то забегает вперед, то чего-то ищет в стороне, и в то время как вы сделали версту, он в сущности сделал три версты. Еще полны свежести ваши силы в возрасте души, не обремененной грехом — в годы светлой юности, когда этот грех более совершается, нежели глубоко задумывается, течет скорее из легкомыслия, нежели из порочности. Но вот, легкие облачка на душе соединяются в большие, большие сливаются в тучи: как корою покрывается душа грехом, изъязвляется его ранами, и нет, кажется, места в ней, нет части, которая не болела бы. Где размах теперь желаний? как коротко воображение! как мало живы все ощущения! Человек волочит свое тело, и это тело, которого он прежде не чувствовал, отягощает его, как в знойное лето тяжелая шуба. Человек уже никогда не бегаёт, не *хочет* бегать; он тяготится даже и *ходить*; в последние годы он лишь изредка встает, земля уже тянет его к себе, и он заранее приспособляется к горизонтальному положению, в котором скоро будет в нее опущен. Связь жизни с грехом, так ясная при сравнении возрастов одного и того же человека, становится еще ярче, если людей одного возраста мы сравним в разных общественно-исторических положениях. Как мало болеют простые люди; как редки случаи заболеваний и многочисленны примеры

и быстро развиваются сравнительно со всеми остальными частями тела. Так, мозг головной у новорожденного = $\frac{1}{3}$ мозга взрослого человека, и вторая треть нарастает у него к концу первого года, а последняя — к 21 году. Т. е. в течение 20 лет, всего почти внешнего образования и научения, человеческий мозг возрастает не более, чем в один первый год жизни.

глубокой, за 90 лет продолжающейся, старости — в приютах, где не знают для лечения тела других средств кроме врачевания души, в монастырях. Напротив, окруженные всеми средствами медицины, окруженные гигиеною с первого дня рождения, хило живут и рано умирают люди высшего круга, потому что много грешат. Все принято у них во внимание относительно тела, кроме одного — источника самой в нем жизни, души. Она пренебрежена, все средства врачевания вращаются только в пределах тела же; и как рычаг, не опирающийся на точку, вне его лежащую, не может ничего приподнять — и эти средства, удаляя *эту* и *ту* болезнь, в сущности только перемещают их и нисколько не отдалают смерти. Можно сказать, она приходит к человеку, как некоторое благо; стихии тела, в момент умирания, заливают душу, уже слабую, но еще существующую, и сохраняют ее для жизни будущей; искалеченную, обессиленную, достойную не награды, но наказания — все-таки сохраняют, и это лучше вечного молчания, совершенной темноты, которая иначе, при все возрастающем грехе, могла бы, наконец, наступить для нее.

Х

Истинно сказано Спасителем, что не то оскверняет человека, что входит в его уста, но что из уст его выходит; Им же указано, что *подуманный* грех — тягостнее совершенного; точнее, что совершение греховное есть грех уже в момент его помысливания, и собственно поступок к этому ничего (перед Богом, а не перед людьми) не прибавляет. Итак — вот аскетизм, прекрасный и высокий, аскетизм души, а не тела, который более легок, бессмыслен, и к нему так усиливается гр. Л. Толстой (см. «Первая ступень») и многие другие теперь. Они думают — съеденною травою можно снискать Царствие Божие, овощами — открыть небесные врата; какое жалкое заблуждение, какая низменная мысль! И, между тем, в то время, как желудок переваривает только овощи, душа питается убийством, роскошествует, нежится, томится в ожиданиях, скрежещет злобою хотя бы против тех, у кого в желудке лежит еще что-нибудь кроме овощей. Какой прекрасный аскетизм! Какой высокий образец человека — эта мысль, упорно сосредоточенная на животе и внимающая тому, что именно варится в тонких кишках и выходит через прямую; на исходе девятнадцати веков непрерывного развития — не легко остановиться на такой высоте! Аскет истинный есть тот, кто ни об этом, ни о чем подобном не думает; кто из природы своей от Бога прившедшее — возвращает Богу, и от земли взятое — отдает земле. Ньютон в скромности своих желаний, в неприязательности, в вечной занятости мысли своей тем, чем ей следует быть занятою, — был аскет, без всякого усилия и даже ведения об этом; вегетарианец, ни о чем более не помышляющий, как только о составе кушаний к своему столу, — есть развратник живота и жрец пищи. Аскетизм тела легок, прекрасен, осмыслен, когда он является простым и естественным последствием занятости души тем, чем ей нужно быть занятою: неосуждением, размышлением, беззлобием, тысячею забот, ей собственно принадлежащих, о себе или о мире. Святой в пещере своей молится вовсе не для того, чтобы заглушить голод, на котором сосредоточено его внимание; если он и голоден, не замечая этого или пренебрегая этим, то от того, что для него сладостна молитва и он не хочет ее оставить для еды. Так,

Ньютон, по рассказам прислуживавшей ему женщины, нередко позабывал уже о поданном обеде, погрузившись в чтение или размышления, и кушанья снимались со стола неотведенными. Здесь — в размышлении, там — в молитве, мы одинаково наблюдаем как бы угасание физической нужды, точнее — ее неощущение, от напряжения внутреннего внимания, от переполнения души тем, что составляет для нее истинную жизнь.

XI

...Итак, тревога о смерти, которая так смущает Толстого, если бы он пристальнее всмотрелся в то, чему, собственно, предстоит в нас умереть, направилась бы в нем не на физический акт умирания, но на психологический процесс греха. Душа его будет некогда залита стихиями, но не поглощена ими, не исчезнет в их законах и силах. Его дар дивных творений — не перейдет в частичное притяжение, его воображение — не станет дурно пахнуть; и самый страх смерти, побудивший написать трогательный рассказ об Иване Ильиче, — не перейдет ни в какое новое сочетание атомов. Нет, наш добрый и боязливый Иван Ильич, наш возлюбленный о Христе брат, ты не рассеешься по ветру, как те колючки бурьяна, что тебя испугали кажущимся сходством их судьбы с твоею; ты не станешь глух, нем, невидящ, как ком земли; ты — человек не только здесь, на протяжении 60–70 лет, но и вечно — человек *этот* определенный, с своею особенною думою, никем не разделенною заботой, с тайным грехом своим, и, быть может, преступлением...

Этого рассеяния стихий — тебе нечего бояться; и если ты испытываешь страх — ищи источников его в другом, понимай его иначе и глубже, чем как он представляется тебе с первого взгляда.

Ты ищешь утешения; ты скорбишь, вот уже много лет, с тех самых пор, как мы тебя узнали, как ты заговорил... как будто бы о мире и в самом деле — о себе. «Дух уныния», которого так боится христианин, этот Саулов дух, мятежный и тоскливый, гнет тебя, и ты не знаешь, чем от него освободиться?..

От чего же ты не попытаешься покориться Богу? Ты не хочешь «сопротивляться злу» и сопротивляться даже благу. Ты все умничаешь, выдумываешь, лепишь снова человека из глины, когда его уже слепил Бог. Не вспомнишь ли, как «лепя» Платона Каратаева и в нем (впервые) — «непротивление злу», ты в конце концов заставляешь людей, к нему привязавшихся, бросить его на дороге, так как он, больной, не может за ними следовать. Я помню, как прочел это, много лет назад, еще будучи мальчиком, и тогда же мне показалось это болезненным и уродливым вывертом. Тут еще замешалась собачка, которая ужасно тебя обличает, лает на тебя из всех сил: она — остается с умирающим Платоном Каратаевым, а люди — *уходят*. Как ненатурально, как гадко! Как гадок человек, тобою созданный, сравнительно с тем, каков он есть...

И потом все, что ты говоришь и делаешь, не есть ли «сопротивление» не только злу, но, кажется, и целому мирозданию, которое вышло бы, тебе думается, лучше, будь *ты* призван построить для него план и дать законы? Разве не часть этого мироздания, не его продолжающееся творение — чудесная история человека на земле, и вот, ты находишь ее ненужным и глупым маскарадом, который давно бы пора прервать. «Зачем люди росли», «жизнь усложнялась», «ум выду-

мывал новое, *то и это*», от Авраама и до тебя?.. Значит — были *залог* для этого, хотя бы и в грехе лежащие и, во всяком случае, для человека непостижимые; были, значит, *семена* в матери земле, кем-то для чего-то положенные, и что же, «не сопротивляясь злу» — ты хотел бы разом ампутировать этот семяник? Покорись... но был ли человек, менее покорный, чем ты? Так мелко придирчивый? Так все выслеживающий, так все ненавидящий — при устах, полных всегда любви? Тебе нравилось в рассказе «Три смерти» дерево в своей покорности законам жизни и смерти; ты ему завидуешь, указываешь человеку завидовать...

Впрочем, не потому ли *покорность* и указана тобою как новая заповедь, что ты так совершенно лишен ее? Ты понял глубже, страстнее всякого другого, какое это есть бремя — нас возмущающий дух и, страдая от него, не захотел, чтобы страдали люди? Если так — это мудрость. Но неужели ты так слаб, что даже в иоте не можешь победить себя и не можешь ни в какой степени воспользоваться советом, который даешь другим? Сделай, однако, усилие, — крошечное усилие ограничить себя *не* в том, в чем *сам* находишь нужным ограничиться, но в чем, ограничиваясь, ты покорил бы себя человеку или Богу. Для примера, вот малодушные слова, у тебя вырвавшиеся в последнем рассказе против того, что еще не так давно, описывая, как милая Долли водила детей к причастию, ты понимал гораздо лучше:

«...Царица небесная, Николай Чудотворец, воздержания учителю», — вспомнил он вчерашние молебны и образ с черным ликом в золотой ризе, и свечи, которые он продавал к этому образу... И он стал просить этого самого Николая Чудотворца, чтобы он спас его, обещал ему молебен и свечи. Но тут же он ясно несомненно понял, что этот *лик, риза, свечи, священники, молебны, все это было огонь важно и нужно там, в церкви, но что здесь они ничего не могли сделать ему, что между этими свечами, молебнами и его бедственным теперешним положением нет и не может быть никакой связи...*»²⁰

Вот укор, малодушный и трусливый, который ты бросил в церковь, тебя питавшую и согревавшую, — из нее убегая. Вспомни «длинные и тонкие» пальцы матери своей, которыми, бывало, щекотала она тебя, еще ребенком, за рубашкою и ты так хорошо об этом вспомнил в «Детстве и отрочестве», — и подумай, как горестно сжались бы эти пальцы, если бы она могла из темной могилки своей слышать, как ее милый ребенок, ее радость и безотчетная гордость, разламывает теперь через колено те самые образа, перед которыми она, бывало, учила его молиться и молилась сама... Вспомни... Или зачем, — не вспоминая ничего — покорись просто и не рассуждая, как ты мудро требуешь от человека, морю окружающей тебя жизни и от этих малодушных слов отрекись. Не пиши что-нибудь другое на месте их, но в последующих изданиях рассказа просто *выпусти* их; *воздержись, ограничь* себя — не в вегетарианстве желудка, но в этом более благородном вегетарианстве сердца, в образах тебя смущающих, в сладостно дразнящих мыслях, в гнев разжигающем. И та радость, которой столько лет не знаешь ты, сладко защемит у тебя под сердцем. Ты любознателен, ты пытлив, ты в каждый темный уголок хотел бы заглянуть (хоть и говоришь, что презираешь науку), ну — загляни в этот угол тебе незнакомой красоты, духовной покорности, и говорю — то уныние, которое владеет тобою, на шаг отступит от тебя. Скажи смиренно в сердце своем: «Я этого не понимаю — *но в этом я виновен*», «гнев бурлит в сердце моем — *как еще испорчено сердце мое*», сними вину с мира и возложь на

себя, и тебе покажется, точно весь мир тебя поднимает на крыльях — так тебе будет легко. Теперь ты прав и мир перед тобою виновен, ты им оскорблен, ты возмущен его неблагообразием — и если есть вина на нем, она вся легла на тебя и под ее тягостью невыносимую ты ищешь веревки, на которой бы удавиться («Исповедь»). Ты именно не прав; ты не прав не логически, в чем тебя упрекают разные профессора, но нравственно; и относительно того главного пункта, на котором сосредоточен вниманием: смирения и самонадеянности, покорности перед жизнью и умничанья над нею, близости к человеку и от него удаления. Прими, в самой малой частице, мудрые советы свои, и тот бес, который мучит тебя и за-
 10 ставляет «метать копье» в невинного, перед тобой играющего Давида, «чтоб пригвоздить его к стене», я хочу сказать — в эту играющую перед тобою жизнь, в эту молящуюся за тебя церковь, говорю: этот дух тебя оставит, этот бес не смеет коснуться тебя и ты узнаешь радость...

ХII

Поверь, в младенчестве сердца своего, насколько еще есть его в тебе, ты, «гордость земли своей», стяжавший удивление «двух миров», — забыв эту гордость, это удивление, эти «валухи и рощи» литературные, до сих пор занимавшие тебя, закричишь, как милый твой Василий Андреевич:

— «Ава-ва... вот мы как».

20 — чего, конечно, тот настоящий, продававший и покупавший, не закричал, ибо не от чего было закричать ему, не было в нем того страха смерти, *тебя*, а не его мучащего. Почему страх, откуда? Разве он был так грешен, как ты? Так одинок, как ты, в мире? Даже греша со своими свечами, со своими заботами о купленных и проданных рощах (и согласишься, что тут не в рощах дело и даже не в существовании покупки, но суеты, в которой ты погружен не менее, чем он) — грехом и правдою, рассудительностью и глупостью он переплелся с живыми людьми, и ему вовсе не от чего было так испугаться чернобыльщика, как испугался его ты, в пустыне души своей, на безлюдьи «двух миров», на тебя удивляющихся. И если он умер (впрочем, сделав все попытки спастись) — то так именно, как и Никита
 30 и как совершенно не можешь, очевидно, умереть ты. Великий и малый, мудрый и глупый, великодушный и мелочный, как, поняв столь хорошо мир, ты вовсе не понял себя, не понял главного, что тебе нужно — *самоотречения*. Правда, в «Исповеди» ты бросил под ноги и растоптал... что тебе *не нужно*, с чем и никогда ты не был горячо слит душою: свой *род, богатство, успехи литературные* (которые, впрочем, ты знал, все равно у тебя не отнимутся), — подобно тому, как если бы Василий Андреевич перед смертью отрекся от поэзии домашнего очага или поклялся быть верным жене, что было ему не трудно исполнить. Ты понял же, что для того, чтобы ощутить радость предсмертную, нужно отречься от главного в себе: ему — от духа стяжания, тебе — от духа осуждения, тебя волнующей злобы,
 40 презрения к миру. И не ясно ли для тебя, почему в то время как воображаемый Василий Андреевич, совершив *главное*, не чувствует на себе тягости, ты, этого главного не совершив, естественно ничего и не чувствуешь... Ты хочешь, доброе возбудив в людях своими трудами, это доброе принести как достаточный дар; но

Бог *тебя* хочет, а не плода рук твоих, ибо именно вопрос идет тут не о суете земного, но о душе твоей, и этого великого приобретения нельзя купить более дешевой ценою:

«Истинно, истинно говорю вам: если кто не *потеряет* душу свою ради Меня — не сохранит ее».

Вот великое отречение; соверши его.

ХІІІ

«Но ведь я прав, — скажешь ты, — в этом осуждении, в этом негодовании: я видел, я наблюдал, я понял»... Но *кто* же и в *зем* не прав — в этой юдоли смерти, греха, разложения? Прав я, что раздражаюсь на тебя, и прав ты, что на меня раздражаешься, — и оба мы, правые относительно предмета раздражения, не правы в самом его ощущении. Подумай о неизмеримом и рассмейся малому, чем ты занят: вот в климактерическом периоде, так склонном к заболеванию, едва не заболела жена твоя — и, однако, не заболела же, осталась жива, служит тебе помощницей... Быть может в это самое время, не благодаря Бога за то, что он чуть-чуть провел *мимо* косу смерти около близкого тебе человека, ты негодовал и смущался: «Как же Бог, будучи всемогущ и праведен, не сделал этого и того добра, когда я просил Его, оно было мне нужно и я даже ставил Ему свечи и раз служил молебн»... Да Он сделал тебе *большее*, а ты не знал об этом и даже, оглянувшись, не сказал Ему того «спасибо», какое сказал бы всякому проходящему мужику за гораздо меньшее. Он горе меньшее тебе оставил, а от большего избавил; ведь совсем без горя — ты забылся бы; ведь ты забылся и теперь, и Он тебя гнетет страхом смерти, чтобы ты опомнился и вспомнил главное, без чего душа твоя может погибнуть. Но послушай, оставь «сарафаны» истории, которые ты рубишь, как твой Никита рубит сарафаны жены своей непутящей: подумай, море зла, тебя пугающего в истории и на которое ты подымаешься в неведении своем, — ничтожно, слабо, благодетельно, необходимо; как это болото на лужайке могучего леса, которое грязнит его, по-видимому, заражает зловонием, но под небом сияющим, под солнцем горящим — чудно, прекрасно, необходимо. Вообрази, как часто воображал я, что в эмбриональном периоде развития человека совершался бы какой-нибудь изъян, например не вырабатывалась бы какая-нибудь косточка за барабанной перепонкой уха или не выдавливалась какая-нибудь извилина в мозгу (например, что заведует счетом) — как малы все бедствия, Тамерланом человечеству нанесенные, все бедствия от глупости и эгоизма Наполеона, все беды от наших ненужных учреждений, повторяю: как мало все это оказалось бы перед великим бедствием, какое понес бы человек с этою недостающею ему извилиной мозга или пустотой в его ухе. Но вот — этого нет; Бог-Зиждитель не *ошибся*, когда начертывал тебя и меня в утробе матери; Его рука — не *погрешила*, и ты мудрый и я глупый — мы оба родились как следует. Как нам не благодарить Его? против чего возмущаться? *Быть* — это уже великое благо, благо — для *всего*; и если бы мы точно понимали отношение всех вещей в мире — благодарным гимном к Богу звучали бы кости наши, нервы, жилы, когда мы не хотим для этого пошевелить даже ленивый язык...

XIV

И неужели, неужели можно серьезно поверить, что слава, на два полушария о тебе распространяющаяся, — в самом деле тебя занимает? Занимают эти «валухи и роши», и даже меньшее — ибо это не так реально, не так непосредственно и, поверь, не менее преходяще, чем то. Ты, который так понял величие простого и смиренного («Война и мир»), так оценил мишуру, одевающую человека («Анна Каренина»), можно ли поверить, чтобы уже в сединах, уже перед недалеким гробом, как бы обезумев, — потянулся за этою, тобой презираемою, мишурой, оставив далеко-далеко забытыми смирение и кротость душевную... И посмотри, как, изменив себе, — ты утратил мудрость, не покидавшую тебя в мужестве и юности; и, возвысившись, — унизился, стал меньше. Ты укоряешь теперь, ты сокрушен человеческими пороками («Плоды просвещения», «Власть тьмы»), ты возмущен, что делает человек из даров, ему данных Богом («Крейцера соната»), — но разве лучшие дары, тебе данные, ты лучше употребил? Ты негодуешь, что Василий Андреич смутил своими покупками целую округу, но разве ты задумался, разве остановился перед тем, чтобы смутить тебе соответствующую суетою тысячелетний покой церкви? И разве она хуже его «округи»? ее недостатки — презреннее, чем недостатки людей, которыми он пользуется? Разве ты не видишь, что если *ты* прав — и *он* прав, в своей силе среди слабого, в своей смысленности среди глупого, бережливости среди расточительного, умеренности среди сластолюбивого. Он говорит про Никиту: «в нем капитал плохой», и тебе кажется эта доля высокомерия чрезмерной, ты уже подсмеиваешься заранее над его «хорошим капиталом», который через несколько часов покажешь нам промерзнувшим, «как бычачья туша» (как ты жесток в *наказании*), но прислушайся, но оглянись, что *ты* о нем говоришь:

«...Он думал все о том же, что составляло единственную *цель*, *смысл*, *радость* и *гордость* его жизни: о том, сколько он нажил и может еще нажить *денег*; сколько другие, ему известные люди, нажили и имеют *денег*, и как эти другие наживали и наживают *деньги*, и как он так же, как и они, может нажить еще очень много *денег*»...

«Деньги», «денег», «денег», «деньги» — как, в самом деле, он почерпнул от них.

— «Дуб на полозя пойдет, — думал он, — а срубы само собой. Да дров сажень 30-ть станет на десятине. Десять тысяч все-таки не дам, а тысяч восемь, да чтобы за вычетом полян. Землемера помажу, сотню, а то полторы; он мне десятин пять намеряет. И за восемь отдаст; сейчас три тысячи в зубы. Небось размякнет». Он вспомнил, что к 9-му числу нужно получить за валухов с мясника деньги. «Хотел сам приехать, не застанет меня, жена не сумеет деньги взять; глупа дюже: обхождения настоящего не знает. Известно — женщина, образования не знает никакого. Где она это видела? При родителях какой наш дом был? Так себе, деревенский мужик богатый: рушка да постоялый двор — и все имущество в том. А я что в 15 лет сделал? Лавка, два кабака, мельница, ссыпка. Два имения в аренде. Не то, что при родителе. Нынче кто в округе гремит? — Брехунов!».

«А почему так? Потому — дело помню, не так, как другие, лежки али глупостями занимаются. А я ночи не сплю. Мятель не мятель — еду. Ну и дело делается. Они думают так, шутя денежки наживают. Нет, ты потрудись да голову поломай. Думают, что в люди выходят по счастью. Вон, Мироновы в миллионах теперь. А почему? Трудись. Бог и даст.

Только бы Бог дал здоровья». — И мысль о том, что и он может быть таким же миллионщиком, как Миронов, который взялся с ничего, так взволновала Василия Андреича, что он почувствовал потребность поговорить с кем-нибудь. Но говорить не с кем было... Как бы доехать до Горячкина, он бы поговорил с помещиком, вставил бы очки ему».

Как он добрее тебя; великодушнее, проще. Он в *себя* живет, когда ты как паразит ползешь по чужому телу и выискиваешь, где бы вкуснее укусить. Как мало в нем духа осуждения; как еще наивно, почти до детства, самомнение; как нам отрадно в этом *его* духе, и тягостно, душно в *твоем*. Как хочется с ним остаться и как страшно пойти туда, куда ты нас манишь. О, с ним мы накупим еще много-много «валухов», и, когда нужно будет, — отдадим их все, повеселимся и поплачем; побудничаем и справим праздник; погеройствуем и унизимся; а когда Бог позовет нас — пойдем к Нему, печальные за прошлое, радостные перед ожидающим. Но с тобою, но в «тьме», которую ты допустил в душу свою и надвигаешь ее на нас, — куда мы пойдем? В тьме этого осуждения? Этого без-братства? Мы не сомневаемся, тут нет более «валухов», все чисто, бесшумно «не-деланием» — и, однако, нам душно, нам нечем дышать. И тебе, бедному, кажется, тут нечем жить, и ты задыхаешься в этой атмосфере, где так много сосчитано грехов человеческих и не вспомнен один, главный — *собственный*. И вот, этот непризнанный грех — он тяготит тебя; страх смерти, которой не принесено великого дара покаяния и чистоты, — окутывает тебя. В тиши ночи, перед горящей свечкой, за любимой работой — ты испуган, встревожен, почти как бедный Василий Андреич; но — добрый конь не несет тебя, куда нужно, к жилью, к прелому, где человеком пахнет. Он несет тебя, дальше и дальше, в пустыню твоего учительства, в одиночество твоей гордыни, между тем как ты немилосердно колотишь его испуганными ногами по бокам, в надежде: «там — деревня»; нет, добрый друг, там деревни; там — эта же «одинокая пустыня, покрытая снегом и бурьяном», и поверь, в ней очень мало поможет тебе удивление двух полушарий, на тебя зарящихся, и ты скоро, очень скоро поймешь, что между этим удивлением и «твоим теперешним бес-ственным положением нет» и *действительно* «не может быть ничего общего».

XV

«Чистые сердцем Бога узрят»... Как не подумал ты, что вовсе не человек, в глубине своих знаний, в обилии своего научения, «естественно» отвергает Бога и презирает «эти молебны, ризы, черные лики»; но Бог от человека, наученного или ненаученного, при этом условии «нечистоты», отвращается и закрывает от него святыню своей церкви. Бог смежает на него свои глаза, и он перестает видеть Бога, принимая окутывающую его тень за отсутствие каких-либо предметов в поле своего зрения. Но вспомни, но оглянись, искал ли ты этой «чистоты сердца» от лет «детства» и до глубокой старости? Не погрузил ли ты его в анализ, в подсматривание чужого греха, пожалуй — в анализ и своего греха, и никогда, никогда не уберег его от соблазна, не истомил в искусе или духовном воздержании. Слстолюбец сердца и воображения, что смотришь ты за «мельницами и ссыпками» Василия Андреича, когда нет прелести в мире, от этой грубой славы, и до утонченных прелестей учительства, не исключая, однако, и *промежуточных*, от которых

ты воздержался бы, в которые не погрузил бы жадно язык свой и не вкусил их сладость. Как в самом деле согрешил, перед тобой и нами, Василий Андреич, что хочет «подмазать полторастами рублей землемера», и ты не замечаешь, как, подсмеиваясь над «молебнами и свечами», которые отец и мать тебе указали любить, — ты «подмазываешь» новый и старый свет, всему этому давно ругающийся. Он очень осуетился, этот Василий Андреевич (и право, я люблю его не меньше твоего Никиты), он — ты подслушиваешь — думает:

«...Ночи не сплю; мятель не мятель — еду; ну, и дело делается. Они думают так, шутя денежки наживают. Нет, ты потрудись да голову поломай. Думают, по счастью в люди 10 выходят... Доехать бы до Горячкина, я бы с помещиком поговорил, вставил бы ему очки...»

— но посмотри, ты ведь целый мир взволновал своей «суетой», этими изданиями без авторских прав, другими — с правами автора, «Хозяином и работником» от двугривенного до трех копеек и «Oeuvres complètes» с портретами твоими разных возрастов и даже парков, домов, гостиных, где ты размышлял, читал, создавал свои творения. О, как грустно, как страшно, что литература наша переступила тесные границы родной земли и потащилась на всемирный рынок, потянулась за всемирной славой; какими это бедами для нее грозит... И тебя, бедного, в годы слабеющей души, эта слава потянула, и ты прислушиваешься, что нужно 20 там, чтобы знать, что говорить *здесь* («Царство Божие внутри вас есть»). Ты знаешь великое «противление», поднятое миром против церкви Божиих; ты знаешь, что это противление, здесь поднятое, будет приветствуемо там *. И то смирение **, которое ты еще понимал, по крайней мере умом, когда писал «Анну Каренину», — стало для тебя недостижимо, неуловимо, и, может быть, даже недосыгаемо более для ума.

XVI

Но поверь, эта слава, этот шум, по обе стороны Атлантического океана о тебе несущийся, и есть тот самый «хлещущий в лицо и засыпающий тебя снег», тот «немилосердно мучимый ветром бурьян», образ которого в тишине ночи, при 30 горящей свечке, вдруг напомнил тебе о смерти и о вечном. Перед лицом этого вечного, ты знаешь, — она тебя не оправдает; перед глазами смерти, когда она уже глянет на тебя, — хвалители украдкой выйдут за дверь, бросив тебя одного. Ты останешься наедине, с сосущей тебя язвой, очень мало утешенный тем, что требуется еще и еще издание такого-то сочинения, что там-то новая обширная статья обсуждает тебя с тех и иных сторон. Глубже и глубже корни этой язвы войдут тебе в кости; и как мало титулы, оклады жалованья, полученные ордена

* В одной датской газетке, летом 1894 г., объявлялось, что последним сочинением «Царство Божие внутри вас есть» гр. Л. Толстой как бы подложил динамитную бомбу под историческое здание церкви и, как церковный реформатор, целою головою становится выше «нашего 40 Лютера».

** Разумею изображение исповеди Левина перед браком и описание всего таинства брака, когда Левин с таким глубоким пониманием и восторгом слушал читаемые священником слова.

помогли бедному Ивану Ильичу, когда истопник держал ему ноги на своих плечах, — мало эти успехи нашего земного странствия, которыми ты занят пока, которыми вдруг заигрался за минуту перед великим часом, помогут тебе в этот час на последнем одре. Ты понял верно и глубоко, что для того, чтобы умереть тепло и радостно, — нужно «промерзнуть» на Никите Василию Андреичу, Ивану Ильичу — зацепиться душою за душу дворника; как же ты не поймешь, что и перед тобою, перед твоим гением — этот же бедный в сермяге истопник стоит, этот же лежит Никита; я хочу сказать: лежит эта же блёклая, серенькая, невидная жизнь, с грехом, с недостатками, с «дура-баба», «отец был что — так на деревне мужик богатый», и ожидает, чтобы ты лег на нее, согрел ее дыханием своим, обнял руками, ничего в ней не осудил, все ей забыл, простил, ибо ты — *ее не луже*. И ангел примет душу твою; язвы на теле твоём хоть, может быть, и не сдвинутся *, но ты их не почувствуешь. В умилении сердца, как и каждый из лежащих под тобою «Никит», — ты позовешь священника и смиренно поверишь, что в чаше, которую он держит в трясущихся руках, — точно кровь Господа и Спасителя твоего, пролитая за грех, твой и наш, девятнадцать веков назад; и если, на минуту, это станет темно для тебя — пойми эту темноту как вино свою, вино испорченного сердца, на которое закрыты глаза Вечного... И не малодушествуй, не вспоминай, как это ты скверно сделал в «Декабристах», что этот священник так льстиво выбежал к тому-то, так робко говорил с другим, пожалуй — с тобой; говорю тебе — не *смей* осуждать, не замечай, не высматривай, и даже видя грех, судия которому — Бог, свои глаза закрой на него, если не хочешь погибнуть ужасно и жалко.

XVII

«Но ты же высмотрел все *мои* грехи, ты меня — *осудил*, и как мне не делать этого, это из природы человеческой течет», — слышу я в ответ. — Да, но я осудил тебя последним, после стольких лет греха твоего, когда уже гроб недалек, чтобы ты, наконец, *сознал* себя и *радостно*, а не уныло сошел в него. Я сделал это для примера, чтобы показать, что и ты не неуязвим; «*несть теловек, иже не согрешит, аще и миг единый поживет*». Что же, указывая друг на друга, выслеживая один другого в грехе, мы так и будем ожидать нас Грядущего рассудить?.. Какая радость нам, какое Ему утешение, какая мзда нас ожидает...

Как болезни и смерти осуждены мы — осуждены и греху; пытаться избежать его, делать усилия, чтобы его не было, — так же напрасно, как и бороться со смертью или способностью в себе заболевания. Но в состав этого греха, этой болезни и смерти, входит не только индивидуальное зло, но и более обширное —

* Кстати, не замеченная Толстым ошибка в его последних творениях: ведь ни Ивана Ильича, ни Василия Андреевича акт милосердия от смерти *не избавляет*; он помогает только *спокойно умереть*. К чему же отнесены ранее слова: «этот лик, риза, свечи, священники, молебны — все это было очень важно и нужно там, в церкви, но здесь они ничего не могли сделать ему». И милосердие «сделать», то есть, помочь в борьбе со стихиями — не могли ничего, и Василий Андреич лег на Никиту не оттого, что надеялся, что сейчас рассветет от этого или станет тепло. Он лег, чтобы умереть спокойно; но и мы все, чтобы умереть спокойно, — молимся этим ликам и прибегаем к таинству миропомазания, и это нам *помогает*.

общественное и историческое. Не мирясь с ним, мы его должны переносить, и ропот наш против него если и оправдываем, то лишь в качестве собственного нашего греха, который если и не так, то иначе выразился бы. Это есть именно боль, это есть именно смерть — самый наш ропот; и объективного значения, как удар против зла в мире, — он не имеет. Это наша хромота выражается в осуждении, а не то вовсе, что то, к чему мы идем, должно перед нами вырасти. Оно растет так именно, как Бог ему указал, одно — великим, другое — малым; мы, среди малого и великого блуждая, этому великому и малому, равно не нами насажденному, можем только удивляться, усиливаться не заблудиться в нем, но и заблудясь, в какое бы место ни пришли, — его почитать как нам определенное Богом.

Мы не закончили бы мысль свою, если бы не сказали два слова о сохранных в истории таинствах религии через непосредственное общение их от человека к человеку (в церкви). Раз нить этого общения прервана — человеку почти невозможно завязать ее вновь; для его индивидуальных сил — это через меру. Слабоумный и злой, находясь в церкви, не прервав никогда с нею общения, — имеет сокровище веры, и, умирая — утешен, живя — лишь в глупости и злобе своей имеет границу для научения, которое ему, как и всякому гению, предлежит в той же полноте. Но вот перед нами гений... Какие усилия он делает, как мятется душою, как тоскует сердцем, чтобы уподобиться «Никите» — стать верным, как и те глупые и злые; а уж воспользоваться тем, что им предложено, он сумел бы и принес бы Богу «достойный дар»... Но нет этой веры; отчего, ради каких причин? Нет этой веры, бывшей, однако, у Ньютона, и уж допустим, что «законы природы» он понимал не меньше, нежели Толстой и Достоевский. Нет этой веры, она не восстановима, потому что она есть *жизнь*, а жизнь только передается, и нет для нее «произвольного самозарождения». Нить жизни исторической хранится в церкви. Все умерли народы естественно, — христианские народы вечны, пока их не позовет Господь. И эта вечная жизнь хранится в церкви, из нее бьет в каждого человека, который мог бы жить по закону Божию и часто не умеет, но, рождая детей, — им оставляет по этому закону жить. Мы все отклоняемся в сторону от главной мысли; мы хотим сказать: разве не ясно, что в самом деле святая церковь есть живое тело Бога, раз через нее общение с Ним доступно для всякого, и без нее — ни для кого? Разве мы, имея двух человек, из которых один, взяв в научение даровитого мальчика, не мог бы выучить его дальше складывания, и другой, взяв неспособного, — выучил бы его даже алгебраическому анализу, усумнились хоть на минуту, что один из них *обладает* знанием математики и другой этим знанием *не* обладает? Если естественный ум, если искренние искания не приводят ни к чему самые высокие силы, значит — они ищут в пустыне, в которой искомое сокровище не находится; и если даже глупый, даже и не ищущий ничего, едва наклоняясь к земле, подымает с нее золото, значит — здесь руда, искание более не нужно и предлежит лишь приобретение. Мы говорим это, имея в виду тысячи у нас «ищущих»; но еще более имеем в виду глубокого сердцеведа, создания которого нам представляются ничтожными за огромностью души его, за величию сил естественных, которые, однако, *надломлены, сокрушены* — не видя Бога. Можно сказать, что он чувствует Его, как слепорожденный все еще

чувствует свет солнца и только не умеет его определить, назвать, им овладеть, с ним вступить в общение; и, между тем, только тонкая пленка отделяет его от живительного моря лучей. И от Толстого отделяет Того, Кого он ищет так благо-родно, так великодушно, так не скрывая это — лишь маленькая пленка, тонкая нить, из церкви к каждому идущая, которую он (когда и почему, это личная его тайна) отверг на минуту как несущественную, без которой он «проживет»... И не прожил, и не может умереть...

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

<О статье «Необходимое разъяснение»>

Статья моя «Необходимое разъяснение», появившаяся в октябрьской книжке «Русского Вестника», вследствие пропусков, сделанных в ней без моего ведома редакцией журнала, имеет такую форму, как будто в ней я имею в виду ответить на порицания, сделанные мне, за обращения к гр. Л. Толстому, В. Бурениным и В. Чуйко, — или что даже перед ними я оправдываю тон этого обращения. Но редакция названного журнала, если она имела в виду что-нибудь объяснять двум газетным сотрудникам, могла это делать за подписом своего имени, не видя в этом какого-либо ущерба для своего достоинства. Ничего подобного мне никогда не могло прийти на ум. Дело в том, что тотчас по появлении моей статьи о гр. Толстом мною было получено письмо от уважаемого С. А. Рачинского, из Татёва, с упреками за «грубость и страстность тона», — то есть с упреками от ценителя, по литературному вкусу и образованности совершенно компетентного, и которому я мог давать объяснения; а по письму его предполагая, что статья моя могла показаться непонятною в своем тоне и еще другим читателям его меры суждения, я написал взамен частного ответа — публичный. В. Буренин и В. Чуйко были упомянуты в моей статье только потому, что, как *негатно* меня порицавшие, они давали видимый и для всякого понятный предлог для *негатно*-го же с моей стороны объяснения, которое, однако, было поставлено в такие оговорки (выпущенные из моей статьи), что для каждого читающего было совершенно ясно, что вовсе не к ним обращено это разъяснение. Их имя было для меня тем беззначным существительным, к которому мы неволью относим прилагательное, когда его склоняем. Только последние 5—6 строк, в полусерьезном, полужутливом тоне (также выпущенные редакцией «Русского Вестника»), были отнесены мною к двум названным рецензентам, и уже самая перемена тона статьи в этом месте показывала, что речь к *тем* читателям, серьезным — окончена, и начинается речь к читателям и критикам иных манер, калибра и понимания.

Так как разъясненный случай, для меня в высшей степени неприятный, ставит в некоторую тень мое доброе имя как писателя, то я прошу в вашем уважаемом журнале воспроизвести вторично, без каких-либо пропусков, настоящее *Разъяснение* — с оригинала того самого, какой был мною препровожден в редакцию «Русского Вестника» и там воспроизведен с изменениями, под которыми я не мог бы оставить своей подписи.

В. Розанов. СПб. 2 окт. 95 г.

Необходимое разъяснение

Статья моя «По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого» («Русск. Вестн.», авг.) вызвала в печати резкие нападения на ее *тон*, ее *манеру*. В «Новом Времени» г. В. Буренин и в «Одесском Листке» г. В. Чуйко равно выразили удивление и негодование за способ допущенного в ней обращения к великому писателю, «имя которого им», этим сотрудникам двух газет, «чрезвычайно дорого». И так как обвинения в грубости и страстности тона были повторены мне и устно людьми гораздо более компетентными в литературной критике, чем два названных газетных обозревателя, то я вижу себя вынужденным объяснить этот тон, в котором я не мог бы взять ни одного слова назад и не изменил бы ни одной черты в манере изложения, если бы *теперь*, после сделанных замечаний, мне привелось говорить о том же и то же. До такой степени все это обусловлено самым предметом, которого я коснулся; и, в частности, тон, мною принятый — отвечает ясно выраженному желанию, почти требованию гр. Л. Толстого, насколько в последние годы, во всех последних своих произведениях, он обращается к нам, своим читателям и молчаливым (или не молчащим) критикам.

Гр. Л. Н. Толстой — первее христианин, и потом уже — художник; в «Исповеди» он признал свои художественные создания — суетою; не по бессилию, но по сознанию в себе других, новых задач — задач моралиста, проповедника, мудреца — он оставил писание крупных поэтических произведений, перейдя к простому изложению своих мыслей и к рассказу как только иллюстрации к ним, без какого-либо самостоятельного в себе значения. Вызвавшая наибольшее волнение повесть его «Крейцера соната» — уже почти не заключает в себе романтической фабулы, сколько-нибудь развитой и обработанной; «повесть» здесь переходит в монолог, где за речью и объяснениями главного лица как Россия, так и целая Европа отгадала фигуру автора. В «Послесловии» к «Крейцеровой сонате» гр. Л. Н. Толстой и не отверг этого. Он признал, что «повесть» — тут ни при чем, и смысл произведения заключается в изложении им, устами Позднышева, собственных взглядов на жизнь, на отношение между полами, на возможность или невозможность христианского брака, и, наконец, на весь *habitus* * нашего личного и общественного бытия, в котором «человеческое» так тонет среди «животного»... Наконец, он пишет «Смерть Ивана Ильича», «Власть тьмы» и «Плоды просвещения», комментирует тексты евангелистов, прислушивается к воззрениям на жизнь простых людей, «неучей темных», мужиков, раскольников (Сютаев), — везде, в самых разнообразных слоях действительности, в самых несродных книгах (Библия, буддисты, новейшая германская философия) ища отгадать смысл жизни, в определении которого колеблется, но в каждый момент этого колебания высказывается с чрезвычайною настойчивостью и силой. Всем смыслом этих трудов, наконец в точных, определенных словах своей «Исповеди» — он говорит нам, что совлек с себя ветхий облик «писателя», «романиста», «художника» и остается только христианином. К себе, как к христианину, он зовет нас; он обращается к нам, как к христианам. Он как бы говорит нам всем: «Оставим эти условности языка, условности обращения, сойдем все на почву простых христи-

* внешняя сторона (*лат.*).

анских отношений, христианского взаимообращения; здесь — все яснее, все — чище, все — прочнее». Конечно, и прежде, — например, в чудном и очень давнем рассказе «Люцерн», — у него можно было прочесть это как некоторую думу, которая остается на душе автора после всего, что он видел, наблюдал, изображал. Но там это закрывалось еще множеством других подробностей, его взгляд разбрасывался на множестве других предметов; и, главное, он слишком любил жизнь во всем ее богатстве и полноте форм, — и только в романах «Война и мир» и «Анна Каренина», заплатив до конца дань этой любви, как бы отрывается от кубка жизни, им художественно, в образах пережитой, и произносит вслух, настойчиво то, что давно о ней таил в глубине своего сознания: о горечи, ненужности, суетности всех отношений человеческих, всех человеческих забот, насколько оне не суть христианские... И повторяем — он не только стал говорить это; он это *сделал, исполнил* и звал нас исполнить... Именно переход от слова к делу, именно зов нас самих к *делу* и сообщил такое волнующее значение всем его последним писаниям...

Я только в высшей степени серьезно понял его призыв; ни на минуту не усомнился, что новый фазис его деятельности — вовсе не *façon de parler* *, не новый и занимательный прием опытного в литературных «мотивах» пера, но — *дело, жизнь*, исходящая из глубочайших тревог души, высокой и совершенно чистой от какого-либо притворства. И на его зов — я ответил; не знаю, быть может, поступив несколько наивно, но ни в каком случае не поступив грубо, я точно перестал видеть в нем «писателя», «романиста», «художника» и принял его за то, чем единственно он хотел быть для всех нас — за христианина. Вот точка зрения моя на него, вот мотив «тона», мною принятого в обращении к нему, — который так возмутил моих рецензентов и, быть может, многих читателей... Как только я перешел ко второй части своего рассуждения (которой первоначально вовсе и не думал писать — задумано было только рассуждение о бессмертии души), как только были написаны в ней слова: «...наш возлюбленный о Христе брат» — я невольно соскользнул на «*ты*», я почувствовал отчетливо и ясно, что всякая иная форма обращения к нему, даже просто отвлеченно объективная форма холодного анализа (ее мне рекомендовали оба рецензента) была бы оскорбительна для самого гр. Толстого, или, точнее — не нужна ему, была бы ответом на его писания, какого он вовсе не спрашивает. До того эта объективно-научная или еще эстетическая критика не отвечала бы тому, *зего* он ищет в нас, тому — *куда* зовет нас, тем струнам ума и сердца нашего, по которым ударил...

Прав ли был я? Усомниться в этом, отвергнуть это — значило бы усомниться в чистоте и искренности Толстого, думать, что он лишь «нарочно», не «в самом деле» писал все свои последние произведения; или еще — это значило бы не понимать вовсе (что поняла уже вся Россия), в чем заключается смысл этих произведений.

Мы говорим невольно, неудержимо «*ты*» друг другу, как только бываем выведены тревогой, волнением, сожалением, чем-нибудь необыкновенным из обычного, будничного течения мыслей и чувств; в сожалении, в утрате, в плаче над трупом своего ребенка, в минуты страшного раскаяния и вообще всякого душевного переворота — мы были бы, напротив, оскорблены безучастно-далеким

* манера говорить (*фр.*).

«вы», через которое говорящий предусмотрительно и недоверчиво проводит разграничивающую черту между собою и нами, между своим вынужденным участием и нашей навязчивою печалью. Но что же, какая потеря, какая тревога может по объему своему, едкости, длительности сравниться с душевным переворотом, какой нам слышится в Толстом под всеми последними его словами? Он «пишет», правда, он «издает» — это обычные, уже неизбежные теперь для всякого формы обращения к людям... Я также «писал», ему отвечая — невольно; но я *говорил* собственно, и кто очень внимательно прочел бы статью мою и повторил в душе своей те интонации, которые в нее вложены, которые я слышу сам в своей речи и их услышит всякий чуткий читатель — понял бы, что в ней не только нет негодования, еще менее — неуважения, но, при всех укорах, звучит (да будет прощено мне это выражение) самая нежная привязанность к укоряемому, высшее доверие к нему как к человеку и христианину, совершенная любовь. Решился ли бы я о *том* говорить, о чем в статье моей сказано, *так* называть Толстого («паразит — ползешь по чужому телу»), не знай я, что в нем *это* — ошибка и что под ошибкою, под заблуждением, под грехом — перед нами стоит совершенный человек, который все это поймет, все это выслушает, за все это не подумает в ответ укоряющему ни одного слова раздражения. Я думал или, по крайней мере, манился сказать ему те несколько простых слов, какие говорит (в романе «Анна Каренина») Федор-подавальщик Левину, то есть говорит человеку, во всем его несравненно превосходящему, но только забывшему, за чрезвычайною «озабоченностью» многими важными вопросами, некоторые будничные, всякому известные истины.

Теперь о самом предмете укоров и о причине взволнованности всего тона статьи. У многих гениальных писателей мы наблюдаем как бы диалектическую раздвоенность не только мыслей, созерцаний, но и как бы всего существа их; в силу чего так часто они оставляют после себя школы учеников, диаметрально расходящихся в понимании учителя. Как на пример самый значительный такого раздвоения можно указать на философию Гегеля, с выделением из нее «левой гегельянской» и «правой гегельянской» школ; как на пример, особенно нам близкий, можно сослаться на Достоевского, который колебался в понимании народа русского и определял его то как народ-«*примиритель*» («Пушкинская речь», «Подросток», некоторые места «Дневника писателя»), то как народ-«*Богоносец*» («Бесы»), «исключающий всяких других богов», все идеалы чуждых народностей («...придите и поклонитесь богам нашим, иначе смерть вам и богам вашим»). У Толстого во всем колорите его произведений и на всем протяжении его литературной деятельности мы также наблюдаем эту диалектическую раздвоенность, эту не примиренную и непримиримую борьбу двух исключających друг друга созерцаний. С одной стороны, мир представляется ему как высшее проявление Промысла — и в нем нам остается только быть покорными, почти только пассивными (фигуры Кутузова и Плат. Каратаева в «Войне и мире», да множество других деталей); с другой стороны, под углом натуралистического, естественного созерцания — мир ему представляется только как хаос, заблуждение, порок, бедствие, и в него со всею страстью любви, со всею силой негодования он вторгается, чтобы все тут поправить, изменить, привести к лучшему, возвести к гармонии. Первая точка зрения у него преобладает в первых, мужского возраста, созданиях и там она развивалась очень мало в доктринах и очень ясно, на-

стойчиво — в образах; под конец жизни она выразилась у него и как доктрина — в учении о «непротивлении злу» (ошибочном, как я думаю, потому что покорность не есть безвольность, бездействие, но высочайшее самообладание в *действии*). Но одновременно с тем, как теоретически он формулировал, в старости, «непротивление злу» — как художник он в эти именно годы развил ряд образов, идей («Крейцера соната», «Власть тьмы» и еще несколько мелких рассуждений), под которыми мы невольно чувствуем бездну охватывающего его энтузиазма «поправить», «изменить», «не перетерпеть зла». Год назад, в статьях «Свобода и вера» и особенно в последующих за ней — я дал, не называя имени Толстого (потому что вовсе не исходил из его образов, но в высшей степени разделяя смысл их), — логическое оправдание этому духу нетерпимости, как бы подсказывая в этих статьях, маня перейти от формул, слов нетерпимости — к делу. Действительно, есть точка зрения на жизнь, исключая всякое терпение. Но, в конце концов — это ошибка, хотя она и очень трудно понимается умом и особенно сердцем... Совпадая со смыслом прежних художественных образов гр. Толстого, поборя на время, на немногие светлые минуты, и в себе этот дух нетерпимости — в статье «По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого» я со всю силой утвердил начало покорности жизни и отверг, осудил «противление» как самый великий грех против Бога. Отсюда — тон взволнованности, «грубости», «страстности» в статье моей. Я отвергал в ней то, что и меня манило — во имя лучшего, к чему лишь на минуты способен человек...¹⁰

Ничего этого не поняли В. Буренин и В. Чуйко. Газеты выходят семь раз в неделю и всякую неделю нужно приготовить фельетоны. Так некогда думать. Имя гр. Толстого гремит — он написал «Войну и мир», «Анну Каренину»; еще что-то он написал потом... да, что-то нравственное и хорошее, кажется, христианское; немножко старо, но у автора «Войны и мира» и это должно выйти хорошо; он укоряет — как не укорять в наше время, когда строчишь, строчишь и все нет толку: никто не исправляется. Еще новая критическая статья о нем... Чорт возьми, уж не сплю ли я: «тонкие пальцы матери твоей», «перед недалеким гробом», — да что, мы на кладбище? Нет — это зеленая обложка «Русского Вестника», август 1895 года. Что за притча?.. И два добрые, но слишком уторопленные критика быстро соображают, что перед ними еще зеленый дракон лицемерия и проклятой лжи, которую во что бы то ни стало нужно пригвоздить копьём правды. Забрала опущены, кони пришпорены, копыя взяты наперевес, — и паладины мчатся в атаку...

Я им уступаю поле.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО К г. АЛЕКСЕЮ * ВЕСЕЛОВСКОМУ

М. г.

Последнюю статью свою «Гоголь и Чаадаев» (в сентябрьской книжке «Вестника Европы») вы оканчиваете словами:⁴⁰

* На обложке «Вестника Европы» не обозначено полнее, даже инициалом имя автора статьи «Гоголь и Чаадаев».

«...Приближается годовщина великой комедии и *многострадального* письма. Она наводит на грустные мысли...».

Потоком хлынули и у меня «грустные мысли», когда я прочитал эти заключительные строки.

Почему «многострадального» — письма и, вероятно, автора его? Чаадаева в течение нескольких недель посещал доктор и свидетельствовал его умственные способности, — шутка более остроумная, чем отяготительная для «автора». Слава мелась по его следам, домелась до нашего времени и выразилась в робко-почтительных, жалостливо-прискорбных строках вашей статьи, как последнем и не последнем эхо. Я припоминаю и еще жалобы о «страдальчестве» писателей, проживавших долгие годы не среди удовольствий «Северной Пальмиры», но более скромных радостей Саратова, Перми или еще каких мест.

Какая несправедливость, какой аристократизм духа! Почему *их* страдания, описанные, рассказанные, вылившиеся слезами типографской краски, — оценены, взвешены, и негодование шумит вокруг их как некоторая мстительная память, и почему тихие слезы, невидные, не взвешенные, но истинно горячие, — замечены в сор истории по тому только, что оне не литературно выражены, что не были переданы в письме ни к какому знаменитому писателю, и никогда не увидели «света»?

20 Как возмутительно!

Автор «Что делать?», томившийся — в Саратове, кажется, — и там безыменно переводивший многотомную историю Вебера, почтён, оплакан. Но сколько матерей, сколько отцов, в старости брошенных, были бы готовы не в Саратове, но где-нибудь в Обдорске или Соликамске, и не за книгой, а без всяких книг провести годы гораздо более долгие, лишь бы не видеть растрепанною, разбитою, брошенною под ноги и растоптанною жизнь своих детей, которую до 15—17 лет они берегли, лелеяли, уже обдумывали для них будущность, и — пришел «литератор», написал своднический роман и поволок их соблазнительными софизмами и вещими снами куда-то в сторону. Я помню, в «Русской Мысли» Шелгунов хвастался, что в статье «Жестокосердие женщин» или «Бессердечие женщины» он бросил укор в тех из них, которые, сидя в провинции, около семей своих, оставляют «их», в Петербурге, бороться, изнемогая, — вероятно, с какими-нибудь «мраками». Не в этих именно словах, но это именно писал он. И приводил письма, им полученные в ответ на обвинение, писанные со слезами...

Он не понимал, как не понимал Писарев, не понимали все «они», — что его роль в истории, положение в литературе, заслуга перед землей есть заслуга городской «барыньки», пришедшей на деревню посмотреть «девушек» и втихомолку, отведя их в сторону от родного дома, объяснить им, что есть места более приятные, занятия более легкие, чем каторжный труд над жнитвом, и притом — где оне будут ходить не в посконных сарафанах, но в шерстяных и даже в шелковых «принцессах»...

Они, эти писатели, — «не понимали». *Жестокое* дело, ими предпринятое, они совершали «по непониманию». Какое, однако, дело до их «непонимания» истории, жизни, *действительности*? Она, ведь, также хочет жить и вправе не страдать, по крайней мере, от «неразумия». И, когда они рвутся причинить ей это страдание, она вправе защитить себя от них — *их предваряющим* страданием.

Я не о «Письме» Чаадаева говорю, которое было еще далеко от произведения подобного действия, и сам он «принял страдание» за него только в шуточной форме; я имею в виду аналогичные факты, я говорю о принципе.

Я ставлю открыто вопрос: насилие есть ли факт правый перед мыслью, которая завтра поведет к насилию, сегодня приводит к страданиям?

Если «литература» не есть «жизнь», если она только эстетическое щекотание головных нервов — не может быть спора об отрицательном ответе: ее «свобода», «нестесняемость» — безгранична в идее. Но в идее же отрицается всякая ее практическая значительность, и она остается только садом «соловьев» и «роз». Ее мысль есть шутливая мысль; ее влияние — не больше, чем опера, глядя на которую зрители плачут и потом спокойно расходятся ужинать и спать, потому что, 10
ведь, «ничего не случилось».

Если же «литература» есть «жизнь» и она предваряет действие, как электричество земное и атмосферное предваряет грозу в ее световых и звуковых явлениях — не может быть сомнения об утвердительном ответе на этот вопрос.

Только страданием, допущенным не как грубый факт, но как справедливая идея, как вечный принцип, и практической готовностью принять и безмолвно перенести это страдание — может быть куплено литературой право вмешиваться в жизнь, влиять в ней, манить ее к одному, удерживать ее от другого. Ибо жизнь 20
есть труд и страдание; и странно, цинично, безнравственно было бы «пахать» в ней — не запрыгаясь, пожинать лавры — не видя поднятого против себя меча...

Безнравственно и — *постыдно*.

Вы к этому постыдному маните; вы это постыдное зовете; вы требуете себе «Георгиев на шею», не нюхав порохового дыма.

Вы пишете, в статье своей, о «цензурных муках» (стр. 84), испытанных «Ревизором» (какое же имя вы придумаете для «ощущений» отцов и матерей, побросанных «детьми» в 60-ые годы?); вы смеетесь над «мнимым» оскорблением национальной «чести, возмутившим», в письме Чаадаева, «все общество»; говорите о «нетерпимости, злорадстве и жестокости» людей, «готовых счесть безумцем независимо мыслящего человека» (стр. 85) — по поводу того же *письма*; на- 30
конец, вы изображаете:

«...Все негодовали, профаны и мудрецы, светские люди и служители церкви, дамы и литераторы; и необыкновенно долго держалось это негодование. Говорят, будто несколько студентов явилось тотчас по напечатании *письма* к попечителю округа с заявлением готовности с оружием в руках отмстить за оскорбление, нанесенное всей России, а в редакцию «Телескопа» (где напечатано было *письмо*) — с грозным протестом против статьи. Натиск общественного мнения был так велик, что правительство, сначала как будто не особенно расположенное вмешиваться, — решилось на расправу; по крайней мере, Чаадаев, оглядываясь со временем на недавно миновавший *разгром* *, считал воз- 40
можным объяснить образ действий центральной власти сильным давлением со стороны общества» (стр. 85).

* Какие все термины! «Арест, наложенный на Чаадаева, продолжался не более двух месяцев. Князь Д. В. Голицын выпросил ему у Государя свободу. Впрочем, ему и тогда не воспрещалось принимать у себя знакомых. Первым посетителем Чаадаева в *самый первый день опалы* был И. И. Дмитриев», пользовавшийся почетною известностью писатель и вместе сановный государственный человек (Барсуков: «Жизнь и труды Погодина», том IV, стр. 388).

Но ведь это значит только, что общество, так принявшее *письмо* Чаадаева, отнеслось к нему как живое и нравственное лицо; что оно было настолько вообще серьезно, так чутко в нравственном отношении, что не видело возможным и признавать одновременно правоту утверждений Чаадаева, и оставаться тем, чем было раньше, напр., сохранять православие (Чаадаев считает его *растленной* формой христианства). Ведь это вы, вялый собиратель упавших колосьев на ниве истории, можете одновременно и восхищаться «Письмом» Чаадаева — без сомнения, видя в нем только красоту формы и некоторую литературную «знаменитость», и оставаться чиновником своей империи и сыном своей церкви — без сомнения, и в них видя только необходимый ритуал своего личного *habitus'a* *.

Но *те* люди, над которыми вы издеваетесь, не понимая ни их, ни вообще человеческого сердца, — жили действительно, полной жизнью; для *них* церковь была некоторое живое утверждение, государство — некоторое любимое отечество, и все прошлое этого отечества и этой церкви — нечто священное. Они не могли, в течение одной недели, прочитав статейку в № 15 «Телескопа», вдруг перелицеваться — перестать любить все, что любили, и верить во все, во что верили (как этого косвенно требовал Чаадаев); а не будучи в состоянии это сделать, точнее — не находя нужным это делать, они восстали против «Письма» как против некоторой возмутительной клеветы на предмет своего культа, как на презренную ложь, вовсе не оправдываемую красотой стиля, в котором она была написана. На что же вы негодуете, чему вы тут удивляетесь? Горячностью своего протеста они опровергли лучше, чем каким-либо доводом, ложь чаадаевских фантазмагорий, по которым Россия представлялась какою-то холодной, бездушной глыбой Севера, где еще не зажглась живая жизнь истории, не теплилась вера, не было своего символа, утверждения. Под формулу Чаадаева о вере растленной, о жизни бездушной на Севере — подходите вы и ваши вялые слушатели в аудиториях *теперешнего* университета или не более разгоряченные читатели статей ваших, о которых сатирик наших дней сказал, что «они почитывают», в то время как авторы «пописывают», — и все тем кончается, не мешая несколько пищеварению.

Мы *дбжили*, чего еще не мог предвидеть Чаадаев, до дней растленной веры; мы в них *вступаем*. Письмо Чаадаева нужно читать, как древние восточные манускрипты, от *конца к началу*, понимать его обратно тому, что он хотел в нем сказать, — о чем вы, в ограниченном самодовольстве своем, вовсе не догадываетесь.

Я упомянул о символе, о *сгедо*. Вы, кажется, читаете в университете историю, — итак, можете знать, что, когда во Франции Карл X издал свои «ордонансы», между прочим ограничивавшие свободу печати, — печать призвала к оружию население Парижа, она не задумалась бросить всю Францию в мятеж, потому что был затронут один из членов ее символа: *свобода* мысли и ее выражения. Не правда ли, вы этого не будете порицать, прерогативы печати вам понятны? Как писатель и профессор, вы понимаете *сгедо* своего цеха и отрицаете, чтобы посторонняя, внешняя сила (государства или церкви) имела право его нарушать. Почему же, странный человек, вы отрицаете у страны, у народа, у государства право на свой символ, свое *сгедо* и на защиту его теми же материальными средствами, тем же грубым оружием, каким пользуетесь вы сами? И не за-

* внешность (*лат.*).

будьте, что этот символ, о котором я теперь говорю, выработывался два тысячелетия, что он охраняет будничную жизнь миллионов людей, спокойный сон отцов, чистоту детей, крепость семьи, живость веры, надежды за гробом. Все потрудилось для этого символа: соборы, церкви, искусство законодателей, испытания личные, разочарования семьи, — «незримые слезы» и пот без имени живших и умерших людей. Все — мир и война, поэзия и наука, но главное все-таки — практика бесчисленных людских поколений, вносило свою поправку в этот необозримый символ, обнимающий семью и церковь, совесть и быт, государство и человека, небо и землю. Как мал перед ним ваш символ, в своей двухвековой молодости, и обнимающий жизнь, оберегающий труд нескольких сотен «счастливых праздных». И если вы и ваш цех не порицаете поднятия оружия в защиту этого ничтожного символа, зачатого в салонах Louis XV, — как можете вы отвергнуть, что народы и страны с гораздо большим правом могут поднять оружие в защиту их символа, зародившегося у Креста Господня и еще ранее в римском праве. Я говорю о возмутивших вас студентах, пришедших к такому-то дому и с таким-то требованием, и о не возмущающей вас революции июльской; я говорю о параллелизме этих явлений, — и этот параллелизм простираю бесконечно далеко, и вы без труда можете последовать за моею мыслью и вывести бесчисленные последствия, какие отсюда вытекают...

Раньше, чем вы успели не уважить этот древний исторический символ, — общество, страна вправе не уважить ваш новый; и прежде чем в сатире, художественном образе, философском рассуждении вы успели доказать, что почтение к старшим не существенно, что права родителей сомнительны, обязанности детей проблематичны — я не говорю уже о большем — общество вправе разорить ваш дом и, если вы сами не поторопились перебраться за Эйдкунен, выбросить вас туда с вашей не интересной для него философией и ненужной поэзией.

Я говорю, что идеальное право это сделать — у него есть; что оно его не применяет или применяет недостаточно только по милосердию, которого в вас нет, нет его в вашем цехе, не было в Чаадаеве, который среди общества, в котором появился, был наиболее груб, наименее деликатен и, применяя к нему его собственные мерки суждения, — наименее всех других культурен.

Всем известен критический суд, произнесенный над «Философическим письмом к г-же *» нашим несравненным Пушкиным. Менее известен с ним однородный суд, какой косвенно, в чрезвычайно деликатной форме, произнес над этим «Письмом» другой светоч нашей культуры, великое имя нашей науки — Фед. Ив. Буслаев. Несравненный ум, обильнейший всяким научением, принесший родине драгоценные дары своего гения и с тем вместе самую Европу изучивший более глубоко и всесторонне, чем как это мог сделать метивший в «Периклесса» и «Брута» «офицер гусарского полка», — так пишет в своих прелестных «Воспоминаниях» о тех памятных днях 1836 года, когда появилось и зашумело знаменитое «Письмо»:

«...На университетском дворе, направо, у самых ворот, выходящих в Долгоруковский переулок, стояло тогда невысокое каменное здание, которое было занято квартирою ректора университета, Болдырева, профессора арабского и персидского языков, *огень доброго и всеми уважаемого*. Он был тогда человек уже пожилой, *огень любил молодого* профессора эстетики *Надеждина* и дал ему помещение

у себя, а Надеждин, в свою очередь, в одной из своих комнат держал при себе Белинского, впоследствии ставшего знаменитым критиком, а тогда не более как студента, который, не кончив университетского курса, был сотрудником и правою рукой Надеждина, издававшего в то время журнал „Телескоп“. Особенное удобство для этого издания состояло в том, что оно тут же, в стенах этого корпуса, и подвергалось цензуре, так как ректор Болдырев был вместе и цензором. Однажды вечером приходим мы в „Железный“ *, опрометью бежит к нам Арсений **, и вместо трех пар чаю подносит нам номер „Телескопа“. „Вот, — говорит, — вчера только что вышел: прелюбопытная статейка, все ее читают, удивляются; много всякого разговора“. Это была знаменитая статья Чаадаева. Мы, разумеется, тотчас же принялись ее читать. С того времени и до сих пор мне ни разу не случилось пережить ее вновь, но помню и теперь из нее одну только фразу: „Россия приняла христианство из рук растленной Византии“. Дней через десять после этого у нас в номерах разнесся слух, что „Телескоп“ запрещен и что ректору и Надеждину грозит великая беда. Я пользовался расположением субинспектора Степана Ивановича Клименкова и его жены Ольги Семеновны и был к ним вхож. Чтобы разузнать подробности дела, лучше всего было обратиться к ним. Ольга Семеновна страшно взволнована, в слезах; говорит, сама захлебывается, жалеет Болдырева, негодует на Надеждина, называет его предателем, злодеем. Она была очень дружна с Болдыревыми, да и, кроме того, отличалась горячим и чувствительным до раздражения темпераментом, и теперь как было ей не раздражиться донельзя, когда сама она была свидетельницей преступления, которое вконец погубило ее друзей. Поуспокоившись немножко, вот что она мне рассказала. Дня за три до выхода в свет той книжки „Телескопа“, она и Рагузина вечером играли в карты с Болдыревым. Болдырев очень любил по вечерам отдыхать от своих занятий, с большим увлечением играя по маленькой с дамами. В этот вечер Надеждин не давал им покоя и все приставал к Болдыреву, чтобы он оставил карты и процenzуровал в корректурных листах одну статейку, которую надо завтра печатать, чтобы номер вышел в свое время, но Болдырев, увлекшись игрой, ему отказывал и прогонял его от себя. Наконец, согласились на том, что Болдырев будет продолжать игру с дамами и вместе прослушает статью, — пусть читает ее сам Надеждин, — и тут же, во время карточной игры, на ломберном столе подписал одобрение к печати. Когда статья вышла в свет, оказалось, что все резкое в ней, задирательное, пикантное и вообще недозволяемое цензурой, при чтении Надеждин намеренно пропускал. Зная, с каким увлечением по вечерам играет в карты Болдырев со своими соседками, Надеждин умышленно устроил эту проделку. Не замедлила из Петербурга и грозная резолюция по этому делу: Болдырева, как дурака, отрешить от службы, Надеждина, как мошенника, сослать из Москвы, а Чаадаева, как сумасшедшего, держать под строгим надзором, приставив к нему двух полицейских врачей для наблюдения за его здоровьем. Это сведение мне сообщила та же Клименкова» ***.

В этом живом воспоминании, где весь «случай» выступает на фоне действительности, в обстановке своих подробностей — «Письмо» не играет никакой

* Московский трактир.

** Половой.

*** Барсуков. «Жизнь и труды Погодина», том IV, стр. 386 и след.

роли. Буслаев не считает нужным что-нибудь разобрать в нем, даже — сопроводить его хотя бы легким критическим замечанием; он, 60-летний старец, светило своей науки, знаток своего предмета и его литературы, замечает только, что никогда не перечитывал этот любопытный для других памятник нашей словесности. И, между тем, он так восхищался гротовским изданием Державина, писал о судьбах романа, как новейшей и всеобъемлющей формы нового литературного творчества, а в путевых заметках с живейшим интересом сообщает о сатирических картинках на Наполеона III, которые появлялись в Италии около 1870 года, и других мелких и немелких фактах жизни текущей и давно прошедшей, но всегда — жизни *живой*. (См. «Мои досуги» и в них «Римские письма».)

10

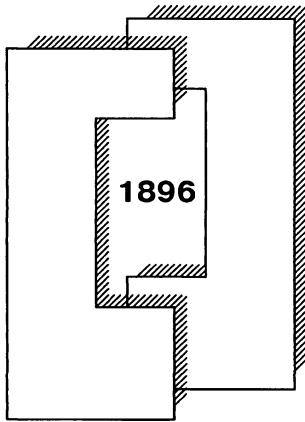
Очевидно, он этому эффектному памятнику нашей словесности не придавал никакого значения. Он, возведший историю русского эпоса и народного искусства на степень науки в западноевропейском смысле, хорошо знал, *зем и как, и каким содержанием* исписана русская душа, — та душа, которая Чаадаеву представлялась как *tabula rasa*; и его «ни разу не случилось вновь перечитывать» — звучит нам как единственный, смиренный в своей тихости и вместе уничтожающий ответ на знаменитое «Письмо».

И, одновременно, он живо и ярко изображает всю ту маленькую, незатейливую действительность, на фоне которой кичливо и самонадеянно выскочило это «Письмо»; он не забыл ни одного *отгества* милых людей, потерпевших в этой передраге, не забыл «захлебывающегося» рассказа взволнованной женщины, ни ломберного стола, ни вечерних утех старого ректора. Вся эта живая жизнь, без выдающегося, без героического — очевидно, в сознании великого ученого (и вместе несравненного художника) носит в себе несравненно более цены и достоинства, она более заслуживает нашего почтения и любви, чем несколько печатных страниц рассуждений ума сухого и непроницательного, сердца бедного и недалекого, но ничего об этой своей недалекости не знающего*.

20

* Вот еще несколько дополняющих образ Чаадаева воспоминаний: «Видя беду неминуемую (от напечатания „Письма“), Чаадаев признавался, что писал это Письмо по возвращении из чужих краев во время сумасшествия, в припадках которого он посягал на собственную жизнь и старался свалить всю беду на журналиста и цензуру, на первого — потому, что он очаровал его и увлек его к дозволению отдать в пегать статью, а на последнюю за то, что пропустила оную. Это просто гадко; но что смешно — это скорбь его о том, что скажут о признании его умалишенным знаменитые его друзья и ученые Баллани, Ламене, Гизо и другие» (Д. Давыдов в письме к Пушкину; Барсуков, там же, стр. 389). Кажется, к этому прибавлять нечего (сравни выше с чистосердечным и мужественным негодованием Клименковой).

30



ХРИСТИАНСТВО И ЯЗЫК

В своих заботах о воссоединении «рассыпанного стада Христова», епископ Римский, обращаясь в недавних энцикликах к народам Востока, уступает им, за подчинение в принципе своему Престолу, язык народности как литургический и священный. Отныне не всюду, где торжествует католицизм, будет звучать язык древнего Лациума, как единственный, на котором достойным образом душа человеческая может обращаться к Богу. Связь, казавшаяся неразрывною столько веков между умершим языком и вечно живою церковью, не признается более столь важною со стороны главы этой последней. Что это была за связь? каковы были ее последствия? каковы предвидимые последствия разрыва этой связи?

Мы будем вести наше рассуждение очень издали; и читатель да не посетует на нас и не припишет отсутствию в нас сознания священности предмета, если мы начнем это рассуждение с примеров совершенно простых и грубых.

I

Между духом человеческим и словом как формой его выражения есть некоторое соотношение, которое то связывает их, заставляет взаимно тяготеть друг к другу, то их взаимно отталкивает. Мысль, *эта* определенная, с этим определенным *колоритом* вызревшая в душе человека, требует слова *этого* определенного, точнее — определенной колоритности в *связи* слов; и хоть может быть передана и другим словом или другою связью слов без того, чтобы стать непонятною от этого, — но именно будет в них только передана, а не выразится во всей полноте и живости своей. Лучше всего это можно видеть на связи стихотворных *размеров с содержанием или сюжетом*, который в них передается: так, сюжет, рассказанный Лермонтовым в стихах этого размера:

30 Ты хочешь знать, что видел я
На воле? — Пышные поля,
Холмы, покрытые венцом
Дерев, разросшихся кругом...

и т. д. (из «Мцыри»), — ясно, что не мог бы быть передан в размере «Евгения Онегина» или, напр., в этом:

Но я не так всегда воображал
Врага святых и чистых побуждений.

Мой юный ум, бывало, возмущал
 Могучий образ. Меж иных видений,
 Как царь, немой и гордый, он сиял
 Такой волшеббно-сладкой красотой,
 Что было страшно... и душа тоскою
 Сжималась — и этот дикий бред
 Преследовал мой разум много лет...
 Но я, расставшись с прочими мечтами,
 От него отделался — стихами.

(из «Сказки для детей»)

10

Равно следующий изящный и грустный рассказ:

Это случилось в последние годы могучего Рима.
 Царствовал грозный Тиверий и гнал христиан беспощадно,
 Но ежедневно на месте отрубленных ветвей, у дерева
 Церкви Христовой юные вновь зеленели побеги.
 В тайной пещере, над Тибром ревущим, скрывался в то время
 Праведный старец, в посте и молитве свой век доживая;
 Бог его в людях своей благодатью прославил.
 Чудный он дар получил: исцелять от недугов телесных
 И от страданий душевных. Рано утром однажды,
 Горько рыдая, приходит к нему старуха простого
 Звания, с нею и муж ее, грусти безмолвной исполнен.
 Просит она воскресить ее дочь, внезапно во цвете
 Девственной жизни умершую... «Вот уж два дня и две ночи. —
 Так она говорила, — мы наших богов неотступно
 Молим во храмах и жжем ароматы на мраморе хладном,
 Золото сыплем жрецам их и плачем... но всё бесполезно!
 Если б знал ты Виргинию нашу, то жалость стеснила б
 Сердце твое, равнодушно к прелестям мiра! Как часто
 Дряхлые старцы, любуясь на белые плечи, волнистые кудри,
 На темные очи ее, молодели; юноши страстным
 Взором ее провожали, когда, напевая простую
 Песню, амфору держа над головой, осторожно тропинкой
 К Тибру спускалась она за водою... иль в пляске
 Перед домашним порогом подруг побеждала искусством,
 Звонким ребяческим смехом родительский слух утешая...
 Только в последнее время приметно она изменилась:
 Игры наскучили ей, и взор отуманился думой,
 Из дома стала она уходить до зари, возвращаясь
 Вечером темным, и ночи без сна проводила. При свете
 Поздней лампы я видела раз, как она, на коленях,
 Тихо, усердно и долго молилась... кому?.. неизвестно!..
 Созвали мы стариков и родных для совета; решили...

20

30

40

совершенно не мог бы быть передан в этом размере:

10
Играй, Адель,
Не знай печали!
Хариты, Лель,
Тебя венчали
И колыбель
Твою качали.
Твоя весна
Тиха, ясна
Для наслажденья
Ты рождена, и т. д.

НИ В ЭТОМ:

Заря алая подымается;
Разметала кудри золотистые;
Умывается снегами рассыпчатыми,
Как красавица, глядя в зеркальцо,
В небо чистое смотрит, улыбается, и т. д.
(из «Песни про купца Калашникова»)

ни, наконец, в ЭТОМ:

20
Дар огромный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана,
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

ни, еще менее, в монотонно-страстном размере, в котором выполнен сюжет *Мцыри*. Напротив, в размере стихотворения «Это случилось в последние годы могучего Рима» совершенно не мог бы быть выполнен этот рассказ о себе маленького «Мцыри»:

30
Я ждал. И вот в тени ночной
Врага почуял он, и вой
Протяжный, жалобный, как стон
Раздался вдруг... и начал он
Сердито лапой рыть песок,
Встал на дыбы, потом прилег,
И первый бешеный скачок
Мне страшной смертью грозил...
Но я его предупредил.
Удар мой верен был и скор.
Надежный сук мой, как топор,
Широкий лоб его рассек...
40
Он застонал, как человек,
И опрокинулся. Но вновь,
Хотя лила из раны кровь

Густой, широкою волной,
 Бой закипел, смертельный бой!
 Ко мне он кинулся на грудь,
 Но в горло я успел воткнуть
 И там два раза повернуть
 Мое оружие... Он завыл,
 Рванулся из последних сил,
 И мы, сплетясь, как пара змей,
 Обнявшись крепче двух друзей,
 Упали разом, и во мгле
 Бой продолжался на земле.
 И я был страшен в этот миг;
 Как барс пустынный, зол и дик,
 Я пламенел, визжал, как он;
 Как будто сам я был рожден
 В семействе барсов и волков
 Под свежим пологом лесов.
 Казалось, что слова людей
 Забыл я — и в груди моей
 Родился тот ужасный крик,
 Как будто с детства мой язык
 К иному звуку не привык...
 Но враг мой стал изнемогать,
 Метаться, медленней дышать,
 Сдавил меня в последний раз...
 Зрачки его недвижных глаз
 Блеснули грозно — и потом
 Закрылись тихо вечным сном...

10

20

Если этот отрывок, уже достаточно обширный, чтобы судить о его содержа-
 нии и колорите, мы сравним с столь же обширным отрывком, приведенным
 выше, из жизни первых христиан при Тиверии, мы увидим, что, сохраняя каж-
 дый свое содержание, *они не могли бы обменяться формой*. В рассказе умира-
 ющего мцыри эти сильные кадансы голоса в конце каждого стиха, отсутствие
 какого-либо разнообразия, *игры* в рифмах, равносложность всех стихов и, на-
 конец, двусложность всякой стопы — сообщают угрюмую, как бы бессветную со-
 средоточенность его речи, исполненной энергии и сжатой тоски; короткие как
 бы обрывающиеся строки, монотонно-однообразные на протяжении длинного
 рассказа, звучат в нашем ухе как голос задыхающегося человека, которому оста-
 лось жить несколько часов. Вся форма, лишенная какой-либо украшенности,
 усиливает впечатление рассказа, красота коего и сосредоточена в его силе; т. е.
 она возводит особенную и исключительную, ему присущую, красоту — к высшему
 совершенству. В первом отрывке, в рассказе старухи об умершей своей дочери —
 эта сила отсутствует; она отсутствует не только сообразно возрасту говорящего
 лица, но и, главным образом, вследствие недоумения, им владеющего: старуха не
 знает, почему умерла ее дочь, и еще надеется на ее воскресенье. Этот недостаток

30

40

энергии прекрасно передан в разреженных, и потому ослабленных ударениях дактилического стиха; ибо в этом месте:

Ты хбчешь знáть, что видел я

ударение на отмеченных гласных *о, а, и, я* сосредоточеннее падает, нежели в стихе:

Это случилось в последние годы могучего Рима,

где ударение с гласных *э, и, е, о, у, и* — как бы разливается несколько на каждые следующие два слога; напр. в слоге

Ты хб...

- ¹⁰ первый слог совершенно скраден, он как бы проглатывается при чтении, точнее — поглощен силою второго слога; напротив в стопе:

Это слу

слоги *то* и *слу* совершенно ясны в произнесении, ибо часть ударения с звука *э* перелилось на них. Далее, растерянный, недоумевающий, горестный рассказ *Это случилось* женщины о случившемся был бы испорчен в своей непосредственности всяким вниманием к форме: и мы имеем перед собою почти прозу, которая течет мерно лишь потому, что ударения как бы случайно, но без всякой преднамеренности говорящего лица, упадают после каждых двух слогов на третий:

- ²⁰ Только в последнее время приметно она изменилась:
Игры наскучили ей, и взор отуманился думой,
Из дома стала она уходить до зари, возвращаясь
Вечером темным, и ночи без сна проводила.

Это нельзя переиначить, и переложение в совершенную прозу вводит здесь уже неправильность самого прозаического языка, ложное размещение слов, но и при всем том некоторая ритмичность языка сохраняется, как напр. в этих строках допустим вариантах первой строки:

Приме / тно толь // ко в после / днее вре / мя она / изменилась

или:

Она изменилась приметно // только в последнее время,

- ³⁰ так что та форма стиха, которая взята поэтом, представляется не предпочтением стиха прозе, но выбором из нескольких, только и возможных стихотворных размеров — лучшего.

Но если мы ясно чувствуем, что некоторая определенная форма стиха лучше отвечает данному содержанию (сюжету), чем другая определенная же или чем безразлично всякая, что мы не можем не вывести отсюда, что эти бессловные, ничего по-видимому не выражающие размеры:

о́б | о́б | о́б | о́б
о́б | о́б | о́б | о́б

и далее:

о́б | о́б | о́б | о́б | о́б
о́б | о́б | о́б | о́б | о́б

ПОТОМ ЭТОТ:

10

о́оо | о́оо | о́оо | о́оо | о́оо | о́о
о́оо | о́оо | о́оо | о́оо | о́оо | о́о

ЭТОТ:

о́б | о́б
о́б | о́оо
о́б | о́б
о́б | о́оо

ЭТОТ:

о́о | о́оо || о́о | о́оо

и, наконец, следующий:

20

о́б | о́о | о́о | о́о
о́б | о́о | о́о | о́

только при поверхностном взгляде кажутся чистою, пустою от всякого содержания, формою. В действительности каждая из этих форм есть ритм определенного настроения, и вовсе не каждое движение человеческого сердца может быть выражено безразлично которым размером, но всякий размер соответствует одному или немногим, между собою однородным, движениям нашей души. В силу этого, раз у поэта есть известное настроение души и творческая фантазия его уже рисует образы, сцены, истории, этому настроению соответствующие, его *разрабатывающие* — метр для стихотворной формы не может им быть избран по произволу ³⁰ всякий, но есть 2—3 размера, для этого удобные; и, собственно, есть даже только один размер, в котором эти сюжеты могут быть рассказаны и это настроение выражено без *искажения*. В иных размерах, при ином ритме стиха, чувство, которое он хотел бы передать в рассказе, которое он испытывает сам и под влиянием

его создал этот размер — *осложнится* еще другим чувством, о котором он вовсе ничего не думал, окрасится настроением, совершенно чуждым его душе и *идушим от размера, которым он неудачно воспользовался*. Так сюжету, изложенному в *Демоне*, не очень соответствует этот ритм, в котором он изложен еще юношею-Лермонтовым:

о́б | о́б | о́б | о́бо
о́б | о́б | о́б | о́б

и гораздо более отвечал бы этот:

10 о́б | о́б | о́б | о́б | о́б
о́б | о́б | о́б | о́б | о́б

в котором выполнена «Сказка для детей» (см. отрывок выше), между прочим потому, что легкая и *размышляющая* ирония, столь необходимо входящая в понятие демона, совершенно не передаваема в первом ритме, удобном только для выражения порывов. От этого демон первого стихотворения все порывается, и, в сущности, постоянно верит; или если и негодует или ненавидит, то с тою определенностью и положительностью, почти — счастьем, как это мог делать только 24-летний поручик. Он если еще и не внушает собою, то допускает на себя пародию; и вовсе не допускает ее демон второго стихотворения.

II

20 Перейдем к прозе. Языком этого повествования из Котошихина:

«Царь с патриархом советовал, и со властями и с бояры и с думными людьми говорил, чтоб ему сочетатися законным браком; и патриарх и власти на такое доброе дело к сочетанию законные любви благословили, а бояре и думные люди приговорили. И сведав царь у некоторого своего ближнего человека дочь, девицу добру, ростом и красотою и разумом исполнену, велел взяти к себе на двор, и отдать в бережение к сестрам своим царевнам, и честь над над нею велел держати яко и над сестрами своими царевнами, доколе сбудется веселие и радость. И искони в Российской земле лукавый дьявол всеял плевелы свои, аще человек хотя мало приидет в славу и честь и в богатство, возненавидети не могут. У некоторых бояр и ближних людей дочери были, а царю об них к женитьбе
30 ни об одной мысль не пришла: и тех девиц матери и сестры, которые жили у царевен, завидуя о том, умыслили учинить над тою обранною царевною, чтоб извести, для того — надеялися, что по нейвозмет царь дочь за себя которого иного великого боярина или ближнего человека: и скоро то и сотворили, упоиша ее отравами. Царь же о том вельми печален был, и много дней лишен был яди; и потом не мыслил ни о каких высокородных девицах, понеже познал о том, что то учинилося по ненависти и зависти. И после того времени случися ему быти в церкви, где короновал, и узре некоторого Московского дворянина Ильи Милославского две дочери в церкви стоят на молитве, послал по некоторых девиц к себе на двор, велел им того дворянина един умнейшую дочь взятии к себе в Верх *;

* Собственные покои царя.

а как пение совершилось и в то время царь пришел в свои хоромы, то е девицы смотрел и возлюбил, и нарек царевною, и в соблюдение предаде ее сестрам своим, и возложиша на нее царское одеяние, и поставил к ней для оберегания жен верных и богобоязливых, дондеже приспее час женитьбы» (I, 6).

Языком этой исторической эпохи вовсе не может быть передан следующая сцена:

«Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами; сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Германн был свидетелем отвратительных таинств ее туалета; наконец, графиня осталась в спальнoй кофте и ночном чепце: в этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасна и безобразна. 10

Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницею. Раздевшись, она села у окна в вольтеровы кресла, и отослала горничных. Свечи вынесли, комната опять осветилась одною лампадою. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли; смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма.

Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились: перед графинею стоял незнакомый мужчина. 20

— Не пугайтесь, ради Бога не пугайтесь, — сказал он внятным и тихим голосом. — Я не имею намерения вредить вам; я пришел умолять вас об одной милости.

Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слышала. Германн вообразил, что она глуха, и, наклонясь над самым ее ухом, повторил ей то же. Старуха молчала по-прежнему.

— Вы можете, — продолжал Германн, — составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить: я знаю, что вы можете угадать три карты сряду...

Германн остановился. Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали; казалось, она искала слов для своего ответа.

— Это была шутка, — сказала она наконец: — клянусь вам! это была шутка! 30

— Этим нечего шутить, — возразил сердито Германн. — Вспомните. Чаплицкого, которому помогли вы отыгаться.

Графиня видимо смутилась. Черты ее изображали сильное движение души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность.

— Можете ли вы, — продолжал Германн, — назначить мне эти три верные карты?

Графиня молчала; Германн продолжал:

— Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков? Они богаты и без того; они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши три карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия. Я не мот; я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут. Ну!.. 40

Он остановился, и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала; Германн стал на колени.

[— Если когда-нибудь, — сказал он, — сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына, если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас чувствами супруги, любовницы, матери, — всем, что ни есть святого в жизни, не откажите мне в моей

просьбе! откройте мне вашу тайну!] Что́ вам в ней?.. Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубою вечного блаженства, с дьявольским договором... Подумайте, вы стары; жить вам уж недолго, — я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастье человека находится в ваших руках; [что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить, как святыню...]

Старуха не отвечала ни слова.

Германн встал.

— Старая ведьма! — сказал он, стиснув зубы: — так я ж заставлю тебя отвечать...

С этим словом он вынул из кармана пистолет.

10 При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она закивала головою, и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела... Потом покатила навзничь... и осталась недвижима.

— Перестаньте ребячиться, — сказал Германн, взяв ее руку. — Спрашиваю в последний раз: хотите ли назначить мне ваши три карты? — да или нет?

Графиня не отвечала. Германн увидел, что она умерла» («Пиковая дама», III).

Мы преднамеренно привели эту длинную выдержку, чтобы ум читателя вошел и почувствовал с достаточною полнотой тот особенный аромат эпохи, возрастов говорящих лиц, даже самой обстановки, их окружающей, который влит в эту сцену Пушкиным. Если мы обратимся к языку Котошихина, мы почувствуем, что эта сцена могла бы быть передана на нем лишь в фактической своей стороне: что некоторый муж, именем Германн, пылая желанием разбогатеть через счастливый выигрыш в карты и узнав случайно, что одна знатная и весьма престарелая женщина владеет тайною отгадывать в банке три карты подряд, прокрался ночью в ее спальню и сперва просил учтиво, потом же стал требовать дерзко открыть ему эту тайну. На что́ она, долго помолчав, а наконец увидя его, пришедшего в ярость и вынувшего оружие, грозя ее убить — от страха и престарелых лет испустила дух, не удовлетворив его любопытства. И даже если б мы попытались не рассказать эту сцену языком Котошихина, но *перевести* ее на этот язык — что́ уже, по-видимому, совершенно возможно — мы увидели бы, что она

20 непереводима на него с сохранением *лигного, гастного, особенного*, что́ есть в ней; и, особенно, легко переводится только в двух, на первый взгляд патетических местах (мы отметили их скобками): но, на самом деле, это — единственно холодные места в сцене, где Германн прибегает к общей реторике и ссылается на *общие* мотивы, *припоминая* их в нужде и ничего индивидуально при их произнесении не чувствуя. Лицо еще не пробудилось в эпоху Котошихина: там были царь, подданный, боярин, простец, муж, жена, с едва заметными, вовсе не существенными и не характерными личными изменениями; были отношения гражданские, семейные, вовсе не было никаких «случаев», и случай, воодушевивший Пушкина на рассказ, в котором все было исключительно, в котором не было общего, а только

30 частное, где все в высшей степени мимолетно и вместе характерно — не воссоздаваем в структуре языка, за два века назад существовавшего у того же народа, даже непереводимо на этот язык. И не только сцена, т. е. некоторое событие, рисующее отношения между людьми, не воссоздаваема в формах этого языка, а даже и бездушная обстановка, как напр. следующее описание спальни графини:

«Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, с сошедшей позолотою,

стояли в пегальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже М-me Lebrun. Один из них изображал мужчину лет сорока, румяного и полного, в светло-зеленом мундире и со звездой; другой — молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розой в пудренных волосах. По всем углам торгали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Leroу, корабелки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с Монгольфьевым шаром и Месмеровым магнетизмом» (ibid.).

Здесь курсивом мы отметили места, совершенно непередаваемые на старом языке с тем оттенком иронии, осуждения или сожаления, который брошен автором на предметы его заботливого описания. Котошихин, на языке своего времени, мог бы лишь назвать все эти предметы, истислить их; или, если и — осудить, то все «полностью», а не в «раздробь»: он не заметил бы, а заметив — не сумел бы выразить, чем каждая вещь индивидуально смешна, неуместна, бесполезна. 10

III

Тот spiritus crescens *, который животворит каждую форму, делает ее нам близкою, родною, который далекое и чуждое переливает в нас и нашу грубую плоть и кость претворяет по закону этого чуждого, что мы восприняли — во всех приведенных примерах перевода не удерживается и пропадает. Лица теряют свою индивидуальность; отношения их становятся механическими; самая обстановка делается простым реестром вещей, и в ней мы не узнаем более хозяина. Жизни нет более — есть восковая глыба, которая пытается подражать ей и тем более раздражает нас, чем менее это умеет. Если бы в приведенных примерах прозы мы захотели приписать это недостатку слов в языке старом, на котором поэту только и не воссоздаем отрывок из литературы новейшей, то вот оригинал и переложение, не только из одной эпохи взятые, но и выполненные одним и тем же лицом. Речь в этом отрывке идет о противоположности древнего и нового мира, о напрасности усилий новых народов воссоздать у себя красоту античного республиканского строя, что их приводит к явлениям таким бессмысленным и отвратительным, как недавний Панамский процесс во Франции. Автор прибегает к сравнениям, уподобляя человека новых времен евангельскому Лазарю, который, забыв истинную природу свою, пытается возвратиться к языческим формам быта и деятельности: 20

«Но вот, пренебрегая всем, новые народы хотят набросить новый смысл на тысячи уже совершившихся фактов; поздний разум, блеклый лепет своего языка они пытаются противопоставить явлениям, которые так памятно, так неувыдаемо сияют в их истории. Лазарь почувствовал себя наконец, зажившим; ему жестка прежняя солома, скучен бедный кров, его так долго защищавший от сырости и от палящих лучей солнца. Он приподнимается и чувствует, что ноги его держат; он пробует голос и слышит, что он если и сипит, то однако громко; тщательно затирает он рубцы заживших ран и насыпает на остатки своих волос; и слышит, он еще надеется явить миру прекрасное зрелище; он выходит и требует себе колесниц, заготовления венков. Кони готовы, — старые древние кони, на 30

* Дух роста (лат.).

которых когда-то ристали Алкивиад, Кимон; они те же, в природе своей несколько не изменились...

Но как изменилось все, кроме этих могучих коней; кроме этих могучих коней; как именно они в неуываемой красоте своей обнаруживают странную перемену, происшедшую в мире с тех пор, как они последний раз были отведены на покой... Вот Лазарь, тщателью запрытывая мотающие лохмотья своих повязок, заносит ногу и берет возжи... он унесется в безграничную даль, он никогда не увидит этого отвратительного сарая, где он проводил свои дни. Сияние огней, веселые пиршества, новые мудрые беседы в рощах Лицея и Академии его ожидают...

- 10 Минута — и нет коней; или это призрак был, или кони никогда не выходили из места своего вечного упокоения; лежит Лазарь, не раздаются его песни, лежит так близко от места, где поднял изношенную свою туфлю на колесницу. Раны его вскрылись, пудра слетела... о, как отвратителен теперь его вид; как отвратительны его жалобы, мешающиеся с ругательствами. Бедный человек: кто так ненавидел тебя, кто дал тебе этот совет? и как мог ты величайшее сострадание, каким был окружен, неизреченное милосердие, о тебе поработившееся, променять на указания, какие подсказаны были тебе уж конечно умным, но и так злобно, так высокомерно издевающимся над тобой духом твоей истории...» (из «Русского Обозрения», февраль, 1893 г.).

Попробуем переложить последний абзац:

- 20 «Через минуту уже не было коней; верно — это был призрак, а, может быть, древние кони и не выходили вовсе из места своего исторического упокоения; Лазарь валяется на земле, — очень близко к тому месту, где поднял ногу в старых сапогах на колесницу, и ничего теперь не поет. Опять его раны заболели, а косметики слетели с лица. Он плачет и ругается, являя весьма отвратительное зрелище. Так-то, бедняга-человек: посмеялся над тобой бес, а ты послушал его совета. Было тебе хорошо — нет, подавай лучше; была над тобой милость Божия — дай, послушаюсь демонского искушения; ну, вот и валяйся теперь, и ругайся...».

- 30 Нервная, порывистая речь оригинала слов, при сохранении в переложении всех сравнений, всех мыслей, почти всех тех же слов неуловимо перешла в вялую при ином размещении этих слов; с тем вместе исчезло из нее то, что сообщало ей этот порыв: в переложении вовсе нет скорби, смешанной с сарказмом, есть только тупая ослабленность на несчастье павшего и больно ушибшегося человека; нет и того, наконец, что вызвало порыв: любви к павшему, т. е. нет достойного человека, которого мы любим неволью во всяком его положении. Весь этот комплекс живых предметов и жизненных между ними отношений исчез; остался скелет понятий, куча слов, ничего нам не объясняющих, ни от чего не удерживающих, никуда нас не влекущих.

- 40 Если мы несколько раз и очень внимательно перечитаем этот отрывок (т. е. оригинал переложения), мы заметим, что в нем есть несколько мест, где как бы происходит нажим речи на нашу мысль и, неволью ему подчиняясь, мы произносим некоторые слова усиленнее и протяжнее, чем остальные; эти слова следующие:

Минута, призрак, никогда, ветного, лежит, песни, близко, изношенную, раны, вскрылись, пудра, слетела, отвратителен, отвратительны, бедный, ненавидел, как, величайшее, окружен, неизреченное, заботившееся, променять, указания, подсказаны, конегно, злобно и высокомерно.

Т. е. это суть слова, выражающие коренные понятия данной речи — не логические только, но исторические, этические, философские и религиозные. Все ее остальные слова, не отмеченные здесь, только помогают сцепить между собою эти понятия, их роль — служебная; и, соответственно этому, они размещены около главных так, что текут совершенно не останавливая на себе мысли читателя, не задерживая его внимания и давая ему только возможность понять смысл тех главных слов — повторяем, не один логический, но философский и исторический:

«Минута» — это указывает на быстротечность попытки людей, попытавшихся на наших глазах возобновить республиканский строй. 10

«Призрак» — на то, что и эта кратковременная попытка была неудачна, не ярка, не значуща в себе.

«Никогда» — утверждает ей усилием невоскресимость той древней жизни; «вечного» — в утвердительной форме повторяет эту главную мысль отрывка и целой статьи.

«Лежит» — указывает на падение нового человека.

«Песни» — указывает на минуты ложного увлечения, им овладевшего, на его «республиканские» радости, оказавшиеся так недолговечными.

«Близко» — еще раз подтверждает скорость его падения.

«Изношенную» — выражает презрение к ее виду. 20

И т. д. Наконец, четыре слова: *минута, нежный, раны, бедный* — произносятся: последние три после значительной паузы голоса (после точки или точек с запятой) и первое поставлено в начале речи; с тем вместе эти слова образуют как бы четыре темы, которые только развиваются в отрывке, и они не только поставлены впереди развивающих их понятий, но и усиленно привлекают к себе внимание читателя. Отмечая их курсивом, ударениями — остальные перечисленные выше слова, и остановки голоса — малою одною вертикальною чертою и большую двумя вертикальными чертами, мы получим ритмическую речь:

«Минута — и нет коней; / или это призрак был, или кони никогда не выходили из места своего вечного упокоения; // *лежит* Лазарь, не раздаются его песни, лежит так близко от места, где поднял изношенную свою туфлю на колесницу. // *Раны* его вскрылись, *пудра слетела...* / о, как отвратителен теперь его вид; как отвратительны жалобы, мешающиеся с ругательствами. // *Бедный* человек: кто так ненавидел тебя, кто дал тебе этот совет; / и *как* мог ты величайшее сострадание, каким был окружён / неизреченное милосердие, о тебе заботившееся, / променять на *указания*, / какие *подсказаны* были тебе уж конечно умным, / но и так злобно, так высокомерно издевающимся над тобой духом твоей истории». 30

Этот ритм речи и сообщает словам, по-видимому, лишь грамматически между собою связанным и дающим в своих понятиях предмет для размышления — как бы биение живого пульса, в силу чего они становятся не только пищею для ума, но и возбуждают сердце, настраивают воображение и вообще действуют на волевую и нравственную сторону души. Мы видели выше, что от простой перемены ритма, без перемены мыслей и почти слов — выражение скорби заменилось усмешкою, порывистый сарказм перешел в тупую и равнодушную ослабленность на предмет речи. Разбирая разных писателей, мы можем заметить у них по крайней мере *темп* речи: при совершенной понятности, при отсутствии какой- 40

либо затрудненности в чтении, строки одного быстрее поглощаются нами, и другого — медленнее. Так, вот три отрывка, написанные одинаково с одушевлением, о предметах равно интересных, писателями равно сильными в обдуманности языка и, наконец, приблизительно одинакового строя мыслей и суждений, лишь с некоторыми *вариантами* в этом строе. Мы увидим, однако, что *темп* их речи совершенно различен в зависимости от очень малых *индивидуальных* различий писавших (первый отрывок кроме *темпа*, т. е. *скорости*, *устремленности* речи, имеет еще и *ритм*, т. е. *периодичность* кадансов голоса):

- 10 «В цветущие времена пластических искусств, всякий именитый художник творил, / окруженный толпою им избранных, его избравших учеников. // Эти юноши составляли его семью, / были свидетелями и участниками его трудов, постоянными его собеседниками. // Под глазами мастера, при драгоценной его помощи и словом и делом, / возникали их первые творения. / Кроме наставлений учителя, они пользовались беседою зрелых людей мысли и слова, / всегда группирующихся вокруг выдающихся художественных деятелей. / Этим путем укреплялось, расширялось умственное развитие, / столь необходимое художнику, столь трудно достижимое для него путем школьного учения, / ибо времени для него мало за обязательным упражнением в художественном делании. // Ученики великого мастера знакомились в его мастерской с выдающимися представителями общества духовного и светского, / с корифеями иных областей творчества, поэтами, музыкантами. Молодые их годы озарялись отблеском той полной художественной жизни, / коею жил их учитель. // Зарождающиеся таланты встречали тонких ценителей, могучих покровителей» (С. Рагинский. Сельская школа. М., 1892 г., стр. 172).
- 20

Ритм, безотчетно выдерживаемый здесь автором, особенно важен тем, что мы без труда узнаем его присутствие по некоторой принужденности в расстановке слов, которые были бы размещены иначе, если бы не были кем гармонизованы. Так первые строки у Острогорского, Беккетова, всякого педагога, чуждого тайн речи, читались бы так: «Всякий именитый художник, в цветущие времена пластических искусств, творил, окруженный толпою им избранных и его избравших учеников», или еще: «учеников, избранных им и так же его самого избравших» и т. д.

30

Темп речи здесь равномерно ускорен; но он не возбужден, и нет в ней ни тематических слов, ни усиления в некоторых местах сравнительно с другими. Картина проводится перед глазами читателя, он ее может запомнить, может ей свободно последовать в практической деятельности, если понимает ее смысл. Но автор не бросится за ним, не станет его укорять, если он ее не понял, ни — его любить, если он ее понял. Он — художник, он — созерцатель; его господствующая способность есть *вкус*.

«С именем Пушкина неразрывно связано какое-то очарование. Есть такие чарующие имена в истории человечества, имена, о которых можно повторить выражение «Песни Песней»:

40

Скажут имя твое — пролитой аромат!

Таково было у древних греков имя Платона, у римлян — Виргилия; таковы у итальянцев имена Рафаэля, Петрарки, у немцев Моцарта, Шиллера... Эти имена составляют синонимы света и красоты, высшей прелести, до какой могут достигать человеческие чувства и мысли и их проявление.

Судить о таких явлениях в истории человечества, об этих перлах на поприще духовной жизни людей, есть дело, представляющее свои особые трудности. Во-первых, нужно быть способным к очарованию; непременно нужно испытать на самом себе обаяние того чародея, о котором хотим рассуждать. Восторг понимается только восторгом, и кто его никогда не чувствовал в ясной степени, тот пусть лучше о нем не говорит.

Во-вторых, нужно совладать с своим очарованием, нужно настолько выбиться из-под его власти, чтобы иметь возможность обратить его в наслаждение сознательное и отчетливое... Нужно обратить его в определенное и отчетливое внимание к тому, что у нас перед глазами» (г. Н. Страхов. Заметки о Пушкине. СПб., 1888, стр. I).

Здесь темп речи гораздо более замедлен, нежели в предыдущем отрывке, хотя она более ярка, выражена с большим одушевлением, чем речь того отрывка. Ритма, правильно чередующихся кадансов голоса — вовсе нет. Начиная со слов «непрерывно нужно испытать» — наступает какая-то уторопленность, слова как бы наскакивают друг на друга, гонимые мыслью, которая неожиданно прервала в авторе созерцание любимых образов и имен. Он — мыслитель, он — аналитик; может быть, но не непременно — он публицист. Но он любит оригинальное во взглядах и найдя таковое — его усиленно защищает, противное — энергично оспаривает. Он стоит ближе к своему читателю, чем предыдущий писатель, который первое предложение написал бы:

«С именем Пушкина неразрывно связано *некоторое* очарование», т. е. не употребил бы это домашнее: «какое-то», как и далее: «есть такие», формы — как бы вводящие читателя в интимный мир писателя, зовущие его разделить его восторг, усвоить его понимание. Он — учитель, если не по профессии, то по духу.

«Я сравниваю не Аксакова с Толстым; это совсем нейдет. Я сравниваю только „Семейную хронику“ и „Анну Каренину“ с „Войной и миром“. Произведение с произведением, и то с одной только стороны. Я сравниваю *веяние с невеянием* *. Есть такие произведения — *удивительные в своем одиночестве*. Гениальные, классические, образцовые сочинения *негениальных* людей; эти одинокие сочинения своим совершенством и художественною прелестью не только равняются с творениями перворазрядных художников, но иногда и превосходят их. Таково у нас „Горе от ума“. Грибоедов сам не только не гениален, но и не особенно даже талантлив во всем другом, и прежде, и после этой комедии написанном. Но „Горе от ума“ гениально. Самая несценичность его, по моему мнению, есть красота, не порок. (Сценичность, как хотите, все-таки есть пошлость; сценичность все-таки не что иное, как подчинение ума и высших чувств условиям акустическим, оптическим, нервно-сти зрителей и т. д.). „Горе от ума“ истинно *неподражаемо*, и, в этом смысле, оно гораздо выше более всякому доступного и более сценического „Ревизора“. В „Горе от ума“ есть даже *теплота*, есть поэзия; сквозь укоризмы и досаду Чацкого (или самого автора) просвечивает все-таки какой-то луч любви к этой укоряемой, но родной Москве... Какая же любовь, какая поэзия в *сером* „Ревизоре“? Никакой. В „Разъезде“ после „Ревизора“ ее гораздо больше. И в других литературах встречаются такие *одинокие и классические* произведения, гениальные творения негениальных авторов. Во французской литературе есть две такие вещи, как бы сорвавшиеся с пера авторов в счастливую и *единственную* минуту полного внутреннего озарения. Это — „Paul et Virginie“ Бернардена-де-Сен-Пьера и „Maupin Lescaut“ аббата Прево. В английской словесности к этому же разряду надо отнести

* Курсив везде принадлежит автору.

„Векфильдского священника“ и, пожалуй, „Дженни Эйр“. Если бы Вертера написал не Гёте, а кто-нибудь другой, то и его можно бы сюда причислить.

У нас, кроме „Горе от ума“ и „Семейной хроники“, я ничего сюда подходящего не могу припомнить. Разве великолепное „Сказание инок Парфения“ о святых местах, столь справедливо впервые оцененное Аполлоном Григорьевым. „Семейная хроника“ вот — дивный образец того соответственно духу времени веяния, о котором идет дело. „Мысль обрела язык простой и голос страсти благородной“! Степень углубления „в душу“ действующих лиц, выбор выражений, склад и течение речи русской, общий характер мировоззрения — все дышит изображаемой эпохой. Если при этом вспомнить еще о другом, ¹⁰ тоже правдивом, хотя и несравненно слабейшем сочинении *того же* Аксакова, о „Детских годах Багрова-внука“, то естественность и даже до некоторой степени физиологическая неизбежность этого соответственного эпохе „общего дыхания“ станет еще понятнее. С. Т. Аксаков *видел* сам всех действующих в „Хронике“ лиц; он жил с ними, рос под их влиянием, у них учился говорить и судить, его внутренний мир был полон образами, речами, тоном, даже *физическими движениями* этих, давно ушедших в вечность, людей. Неизгладимый запас этих впечатлений хранился в „Элизиуме“ его доброй и любящей души до той минуты, когда ему вздумалось поделиться с нами своим богатством и воплотить навеки так укоризненно и так прекрасно эти дорогие для его сердца тени прошлого.

²⁰ Конечно, во всем есть известная мера (или, точнее сказать, есть мера вовсе не известная, но легко *ощутимая*); есть мера удаления психического и мера близости, благоприятные для полноты результата. Будь Сергей Тимофеевич человек *только того времени и той среды*, будь он не сын Тимофея Степановича, а младший брат его, положим, не доживший ни до Жуковского, ни до Пушкина и Гоголя, ни до Хомякова и Белинского, не переживи он даже многих (почти всех) из этих перечисленных писателей, — он бы не смог написать „Семейную хронику“ так, как он написал ее; он написал бы ее хуже, *бесцветнее*. Или, вернее — он совсем бы не стал *тогда* писать *об этом*, не нашел бы все это достаточно *интересным*.

³⁰ Разумеется, влияние не только знаменитых ровесников, но и младших талантов и даже собственных сыновей, столь счастливо одаренных и обширно образованных, сделало свое дело. Все эти влияния помогли прекрасному старцу лишь ярче осветить то, что жило в нем так глубоко, так неизменно, полусознательно и долго; но *изломать* его по-своему не мог никто, — даже и Гоголь, которого он, слышно, так чтил. Он был и слишком стар *слишком светел* для грубого и печального отрицания.

Во „благовремении“ он принес свои благоухающие, здоровые плоды и скончался. К нему идет стих Тютчева:

Он просиял и угас*».

(К. Леонтьев. Анализ, стиль и веяние; по поводу романов гр.Л.Толстого).

⁴⁰ Это язык писателя более страстного, чем оба предыдущие; страстного в мысли и, может быть, жестокого, даже жестокого в сердце; во всяком случае упругого как сталь во всей своей природе; ни в каком случае в этой природе не размягченного, не «рыхлого» не поддающегося перед силой, не подкупаемого лаской. Темп

* Мы привели в целом эту длинную характеристику С. Т. Аксакова и его «Семейной хроники», желая обратить на нее внимание курсов истории русской литературы и исторических хрестоматий: так полна эта характеристика мыслью; так правильны в ней объяснения своего предмета.

приведенной речи его еще более растянут, нежели темп второго отрывка; мы как бы слышим перед собою говорящего человека, который развивает перед нами занимающую его мысль, совершенно не заботясь об ее форме и думая только о том, чтобы быть ясным и убедительным. Приведенная страница — совершенно живая речь, без всякой перемены, какую могла бы на нее наложить литературная запись. Никто, ни один писатель в целой всемирной литературе не принял бы этих звуковых обрывков за цельные предложения:

«Произведение с произведением, и только с одной стороны». «Гениальные, классические, образцовые сочинения не гениальных людей...». «Никакой».

и не поставил бы их между точками, как они стоят у нашего писателя. От этого ¹⁰ речь его имеет какую-то угловатость и вместе остроту, порывистость. При всем беспорядке — в ней есть своеобразная прелесть: прелесть совершенно *живого*. Кажется — автор не аналитик, не методист вообще; его воззрения более похожи на отгадывания, нежели на правильно открытые и доказанные мысли, и эти отгадывания являются плодом скорее художественно-цельного, но исключительно наружного оглядывания вещей, причем взор уловляет в этих вещах существенные моменты, их одни комбинирует, без остановки над подробностями, без ухода в глубь предмета, и счастливейшую из этих комбинаций принимает за несомненный довод ума.

IV

20

И у всякого писателя, сколько-нибудь определенного в своем настроении, мы отметим постоянство и определенность в темпе речи и также в ее построении, в ее складе, в фактуре слов, ее слагающих. Нет двух писателей, очень различных, которые имели бы совершенно одинаковый синтаксис: связь предложений и в предложениях — размещение слов видоизменяются следуя индивидуальности каждого пишущего. Мы не можем эти различия прозаической речи выразить так отчетливо, как выражаем различие стихотворных размеров с помощью разделения на стопы и цезур; для нее не изобретено еще своеобразных нотных знаков; но эти различия, и именно различия ритмические — в ней есть, и они имеют ³⁰ то же значение, тот же смысл относительно души человеческой, как и различия рифмованной речи, анализ которой мы выше сделали. Есть ритм, присущий душе человеческой, в котором она бьется ранее, нежели начинает что-нибудь определенное думать, что-нибудь определенное чувствовать, того или другого человека; самые предметы желаний, способы чувствования, объекты размышления или пробуждаются в ней под действием этого ритма, или, встречаемые ею во внешнем мире — одни прививаются к ней, как бы прилипают к ней, другие отпадают от нее, ей не нужные, для нее не понятные. Байрон, в условиях Гольдсмита — все-таки не написал бы «Векфильдского священника», ни Гольдсмит, в условиях Байрона, не написал бы «Корсара», «Каина», «Дон Жуана»; хотя всякая душа ищет условий, благоприятных для питания ее особенного, в ней — личного, ⁴⁰ ищет звуков, созвучных ее ритму и, большею частью, их находит. Самое так называемое «средство душ», это тяготение людей друг к другу, основывается не на характерах их, внешним образом выраженных, не на одинаковости знаний, об-

разования, привычек, но на соответствии или несоответствии их душевных ритмов, на гармонизируемости этих ритмов — при которой люди сближаются, или, напротив, на их дисгармонии, какофонии — при которой люди разбегаются, враждуют, или, по крайней мере, ничего друг другу не чувствуют.

В поэзии и вообще всяком словесном творчестве этот ритм, мы сказали, предшествует изобретению определенных сюжетов, избранию тем и т. д. Стиль речи, как звуковое выражение того внутреннего ритма, является, поэтому, в писателе раньше, чем он что-нибудь написал; даже более: он становится писателем только потому, что в нем уже есть тот ритм, что у него уже есть стиль, который ждет только объектов (сюжетов) и, едва найдя их — начинает звучать о них совершенно определенно, *не* возникая, *не* развиваясь, не совершенствуясь (или очень мало) и падая с падением в писателе всякого «таланта», с умиранием в нем того ритма, который и побудил его когда-то писать и искать соответствующих сюжетов. Поэтому язык писателя и есть именно дар; интимнейшая, глубочайшая сторона этого дара. Почувствовать этот язык во всей его индивидуальности и особливости — значит, далеко не дочитывая писателя до конца, уже совершенно понять его, понять и в том, что он написал, и даже в том, что только мог бы написать. Зная этот язык, мы без колебания знаем, каких сюжетов никогда бы не коснулся автор, какого способа чувствований он не навязал бы лицам своих драм или романов, как прочитав эти стихи:

Но жарка свеча
Поселянина
Пред иконою
Божьей Матери, —
(Кольцов)

или эти:

Красавица зорька
В небе загорелась,
Из большого леса
Солнышко выходит.

Весело на пашне;
Ну, тащися, сивка!
Я сам-друг с тобою
Слуга и господин.

Весело я лажу
Борону и соху
Телегу готовлю,
Зерна насыпаю.

Весело гляжу я
На гумно, на скирды,
Молочу и вею..
(Он же)

конечно, знаем, и без всякого труда, без всякого колебания, что их автор никогда не изобрел бы этой «поэзии»:

Стану без милого жать,
Сноптики крепко вязать,
В снопики слезы ронять!

Слезы мои не жемчужины,
Слезы горюшки-вдовы,
Что же вы Господу нужны,
Чем ему дороги вы

(Некрасов, изд. 1884, стр. 125.
Из поэмы «Мороз Красный-нос»).

10

ни этой:

Ветер шумит, намедает сугробы
Месяца нет — хоть бы луч:
На небо глянешь — какие-то гробы,
Цепи да гири выходят из туч.

(Он же, *ib.*, стр. 126).

ни, наконец, этого публицистического пафоса, обращенного к себе не повторил бы этих патетических строк, беспричинно к себе обращенных:

Зрелище бедствий народных
Невыносимо, мой друг.
Счастье умов благородных —
Видеть довольство вокруг.

(Он же, стр. 185).

20

И мы предугадываем без труда, что если бы простую мысль, выраженную в первом из приведенных стихотворений, пришлось выразить прозаически и совершенно безыскусственно обоим поэтам, то первый из них только иначе разместил бы слова в своем стихотворении:

Но перед иконою Божьей Матери жарка свеча поселянина

Напротив, второй написал бы:

Но, купленная на трудовую копейку, жарка свеча поселянина перед образом Божьей Матери, и т. д.

30

V

Мы взяли двух поэтов с чрезвычайно определенным и притом не разнообразным настроением. Можно представить себе случай, что Кольцов при сохранении в нем всех типических особенностей душевного строя, имел бы в распоряжении

своем только размеры; или, напротив, для Некрасова, с его настроением и миро-воззрением, подлежали бы к выбору и употреблению только ритмы кольцев-ской поэзии. После некоторой борьбы между настроением поэта и несоответвующей ему формой стихосложения, можно быть уверенным, подалось бы, наконец, то, что может податься: именно — что более ново, менее окрепло во времени и вообще видоизменимо: его *лигный* дух поэта, его *настроение*. Его злоба (мы говорим о Некрасове) — смягчилась бы; его осуждение — потеряло бы остроту; чувство смеха исчезло бы и на его месте появилась печаль:

10

Ах, зачем меня
Силой выдали
За немилого
Мужа старого?

Небось весело
Теперь матушке
Утирать мои
Слезки горькие!

20

Небось весело
Глядеть батюшке
На житье-бытье
Горемычно!

Небось сердце в них
Разрывается,
Как приду одна
На великий день;

От дружка дары
Принесу с собой:
На лице — печаль,
На душе — тоску!

30

Поздно, родные,
Обвинять судьбу,
Ворожить, гадать,
Сулить радости!

.....

Не расти траве
После осени;
Не цвести цветам
Зимой по снегу!

Так, или приблизительно так он выразил бы раздражение на факт, здесь пере-данный, не имея никакой возможности написать эти строки:

Имел я дочь. В учителя влюбилась
 И с ним бежать хотела сгоряча.
 Я погрозил проклятьем ей: смирилась
 И вышла за седого богача.
 Их дом блестящ и полон был как чаша,
 Но стала вдруг бледнеть и гаснуть Маша
 И через год в чахотке умерла, —
 Сразив весь дом глубокою печалью...
 Живя согласно с строгою моралью,
 Я никому не делал в жизни зла.

10

(Некрасов. Нравственный человек).

Не имея для этого *тона* никакой соответствующей формы, никакого отвечающего ритма, он, в напрасных попытках выразить издевательство и презрение (см. второе стихотворение) подчинился бы духу ритмов, в его распоряжении находящихся, и издевательство перешло бы у него в скорбь, презрение заменилось бы родственным, но и более благородным негодованием (см. первое стихотворение). Подобная же метаморфоза души одинокой нашего народного поэта произошла бы, если бы он, напрасно ища для нее отвечающих форм, вынужден был в конце концов изливать ее в жестких и цинических размерах некрасовской поэзии.

20

Теперь мы совершенно близко подошли к теме, которая нас занимает.

VI

Мы взяли случай, когда язык — неизменим; когда ритм в нем — не изобретем; когда писатель, будет ли то прозаик или поэт, с новым содержанием пришедший в мир — не имеет никакой возможности создавать для себя новых форм. Таков именно бывает в истории случай, когда ему предстоит почему-либо писать не на родном языке, но на чужом; наконец, это — случай, когда на другой язык переводится проза или поэзия какого-нибудь народа; и именно — когда она переводится на язык совершенно сформировавшийся, законченный в развитии своем, ставший неподвижным. Таков именно и был факт усвоения христианства латинскому языку.

30

Прежде, однако, чем говорить об Евангелии, скажем несколько слов о том, что было к нему предуготовлением — о *Библии*; о степени ее переводимости на латинский язык:

Вот факт из Библии; при внимательном чтении, мы тотчас заметим, что одни части рассказа могут быть переданы по-римски как в точном содержании своем, так и в оттенках, в колорите, в одушевляющем рассказчика порыве; в других же частях при передаче колорит утрачивается и остается только голый факт:

«В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего в Вифлеем Иудейский и была там четыре месяца.

40

Муж ее встал и пошел за нею, *чтобы поговорить к сердцу ее* и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара ослов. Она ввела его в дом отца своего.

Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил; *и удержал его тесть его, отец молодой женщины*. И пробыл он у него три дня; они ели и пили и ночевали там. В четвертый день встали они рано, и он встал, чтоб идти. И сказал отец молодой женщины зятю своему: *подкрепи сердце твое куском хлеба, и потом пойдете*.

Они остались, и оба вместе ели и пили. И сказал отец молодой женщины человеку тому: останься еще на ночь, и *пусть повеселится сердце твое*. Человек тот встал, было, чтобы идти, но тесть его упросил его, и он опять ночевал там.

На пятый день встал он поутру, чтоб идти. И сказал отец молодой женщины той: *подкрепи сердце твое хлебом, и помедлите, доколе преклонится день*. И ели оба они и пили. И встал тот человек, чтоб идти, сам он, наложница его и слуга его. И сказал ему тесть его, отец молодой женщины: *вот, день преклонился к вечеру, ногуйте, пожалуйста; вот, дню скоро конец, ногуй здесь, пусть повеселится сердце твое; завтра пораньше встанете в путь ваш, и пойдешь в дом твой*. Но муж не согласился ночевать, встал и пошел».

Чисто семитическая нежность, которою запечатлен этот безымянный (лицо не названо, забыто: «один левит») рассказ, уже с великим трудом и, без сомнения, с большим ущербом для подлинника, поддается формам русского языка. Эти повторения одной мысли, это: «повеселите сердце мое» — совершенно непередаваемо в сжатой римской речи, с ее *резко огергенным* синтаксисом, с ее отсутствием слов и оборотов нежных, ласкающих, зовущих.

20 «И пришел к Иевусу, — что ныне Иерусалим; с ним пара навьюченных ослов и наложница его с ним. Когда они были близ Иевуса, день уже очень преклонился. И сказал слуга господину своему: зайдём в этот город Иевус и ночуем в нем. Господин его сказал ему: нет, не пойдем в город иноплеменников, которые не из сынов Израилевых, но дойдем до Гивы или Рамы. И сказал слуге своему: дойдем до одного из сих мест и ночуем в Гиве, или в Раме.

И пошли, и шли, и закатилось солнце подле Гивы Вениаминовой».

Это — строки, от которых как бы веет еще теперешним Дамаском, его начинающеюся пустыней; веет простотой первоначального *не-арийского* быта.

30 «И повернули они туда, чтобы пойти ночевать в Гиве. И пришел он и сел на улице в городе; но никто не приглашал их в дом для ночлега. И вот, идет один старик с работы своей, с поля; он родом был с горы Ефремовой и жил в Гиве! Поднял глаза свои, он увидел прохожего на улице, и спросил: „Куда идешь? и откуда ты пришел?“. Он сказал ему: „Мы идем из Вифлеема Иудейского к горе Ефремовой, откуда я. Я ходил в Вифлеем Иудейский, а теперь иду к дому Господа: и никто не приглашает меня в дом. У нас есть и солома и корм для ослов наших; также хлеб и вино для меня и для рабы твоей и для сего слуги есть у рабов твоих; ни в чем нет недостатка“.

Старик сказал ему: будь спокоен: *весь недостаток твой на мне*, только не ночуй на улице. И ввел его в дом свой, и дал корму ослам его, а сами они омыли ноги свои и ели и пили».

40 Отмеченные курсивом выражения содержат понятия, указывают на отношения чуждые совершенно и русской психике, русскому быту и истории (не говоря о римской); по нежности и чувству покорности, с которою они однако переданы, мы наблюдаем, что здесь язык наш поддался инородной психике, он сломился в своей естественной простоте и крепости — для восприятия идей, совершенно нашей крови чуждых. И, следуя языку своему, мы это место читая — научаемся

новому, образуемся, воспитываемся; восходим к лучшему, чем на что *естественно* способны.

«Тогда как они развеселили сердца свои, вот, жители города, люди развратные, окружили дом, стучались двери и говорили старику, хозяину дома: выведи человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его. Хозяин дома вышел к ним и сказал: нет, братья мои, не делайте зла, когда человек сей вошел в дом мой; не делайте этого безумия; вот у меня дочь-девица, и у него — наложница, выведу я их, смирите их и делайте с ними, что вам угодно; а с человеком сим не делайте этого безумия.

Но они не хотели слушать его. Тогда муж взял свою наложницу и вывел к ним на улицу. Они узнали ее, и ругались над нею всю ночь до утра. И отпустили ее при появлении зари. ¹⁰

И пришла женщина пред появлением зари, и увидела у дверей дома того человека, у которого был господин ее, и лежала до света. Господин ее встал поутру, отворил двери дома и вышел, чтобы идти в путь свой: и вот, наложница его лежит у дверей дома и руки ее на пороге.

Он сказал ей: вставай, пойдем. Но ответа не было, потому что она умерла. Он положил ее на осла, встал и пошел на свое место.

Пришедши в дом свой, взял нож и взял наложницу свою, разрезал ее на двенадцать частей и послал во все колена Израилевы. Всякий, видевший это, говорил: не бывало и видано было подобного сему от дня истребления сынов Израилевых из земли Египетской до сего дня» (Книга Судей Израилевых, главы XIX—XX). ²⁰

Приведенное место — до его заключительных строк и также выключая в начале удивительные слова хозяина дома — содержит в себе, без всякого сомнения, мертвую волну хамитических чувств, как бы заливаемую, отталкиваемую волнами чистого семитизма, и тем ярче среди их чувствуемую. Это есть вечная печаль Израиля — эта мрачная чувственность, которая была всеобуславливающим центром в психике хамитических племен, наложившим печать свою на их быт и проникавшим всю их религию. Мы почти не знаем разграничивающей черты между семитическими народами и всегда географически их окружавшими хамитическими племенами, кроме той главной, что чувственность, понимаемая хамитами как требуемая религиозным законом, у семитов понималась как религиозное преступление. Акт обрезания, символ завета Израиля с Богом, кажется символизировать именно обрезание, от этой стороны нашей природы. Вся Библия, все судьбы Израильского народа, весь смысл священных книг, то прямой, то иносказательный, то выражающийся в точных повелениях (*Второзаконие*), то иллюстрирующий в фактах (исторические книги) имеет внутри себя этот главный мотив: возвести понимание избранным народом этого одного акта к совершенной чистоте и святости и не дать ему в действительной жизни осквернить его, исказить или хотя бы только отнестись к нему без внимания. По *Второзаконию*, кто от ушиба, болезни, раны потерял способность стать отцом — «не может войти в общество Господне» (XXIII, 1); итак, «общество Господне», по семитическому пониманию, есть ту именно, которое сконцентрировано около этой способности как некоторого святого закона, поставлено около него как некоторая священная стража. Таким образом то, что у хамитов понималось ужасно и извращенно, что позднее, у арийцев, вызовет к себе улыбку, шутку, издевательство, станет не называемым центром веселой комедии, сального рассказа, — у семитов ⁴⁰

окружено страхом, почитательностью, высотой религиозного внимания. Если мы вспомним, что с этим актом соединено самое бытие человеческое на земле, что его ненарушаемость и в самом деле гораздо важнее всяких политических, умственных, художественных забот человека, мы не будем, смотря на все даже с арийской точки зрения, несколько удивлены степенью внимания к этому факту.

Как бы то ни было, приняв закон обрезания в сердце свое, еврейский народ в действительных актах своей истории часто отклонялся от его исполнения. В чудной истории Давида с Вирсавией и его покаянном псалме как бы синтетически отразился весь смысл Израильской истории. И она вся, с ее пророками, есть только покаянный псалом, слагаемый после ужаса разврата и крови, при Иезавели и Ахазе, почти всегда, почти всех колен Израилевых, включая по временам даже и «верного Иуду». Мы сказали, что нет почти физической, географически лингвистической черты, которая отграничила бы семитические племена от хамитических; только одна тонкая, чисто духовная черта нравственного закона разделяла их; и при общности всех других сторон природы, племя семитическое всегда почти переливалось за эту тонкую грань и сливалось с хамитами в формах их грубого чувственного культа. Всех тайн этого культа мы не знаем; нам известна лишь внешняя, отталкивающая его сторона, проявляемая в чертах непостижимой жестокости и разврата; но если, в этом культе, родите сквозь страдания, труд, муки; что есть *венец* усилия и вовсе не дар, с рождением приносимый человеком на землю. Тайна судеб Израиля на земле есть именно принесение в историю *святого*; не мудрого, не благородного, не изящного — но *святого*; не доброго даже, не великодушного, не сострадательного, но именно *святого*. И вся история их, и внешним образом приуроченная к акту обрезания, есть в сущности тайна обрезания духовного от греха, от той мути земного, страстного, «жестоковейного», чем так запечатлена была религия, быт, история племен, их территориально окружавших (хамиты). Отсюда — «все колена пали, сохранился верным только Иуда», «и Иуда отпал вслед за Израилем — сохраняли верность только пророки», которых избивали; их избивали, и они все-таки восставали; в горниле испытаний, в горниле вечного гнева Божия мутные следы хамитизма более и более отделялись от чистой крови Сима; чувственность опадает; жестокость тел становится обычна; черты кроткого, покорного, *чистого* все ярче и полнее проступают — доколе, по исполнении времен, сама Святость и Чистота, уготованная Богу, не ответила Возвестителю тайны воплощения:

Се раба Господня — буди мне по глаголу Твоему.

Мы продолжим начатый выше и прерванный рассказ, и приведем конец его, в котором открывается третья и новая черта, переплетающаяся в Библии с двумя, только что отмеченными нами:

«И вышли все сыны Израилевы, и собралось все общество, как один человек, от Дана до Вирсавии, и земля Галаадская пред Господом в Массифу *. И спросили, как происходило это зло? Левит, муж убитой женщины, рассказал... И восстал весь народ, как один человек, и сказал: не пойдет никто в шатер свой и не возвратится никто в дом свой; пойдем на Гиву: и на все колено Вениаминово.

* Где в это время находился Кивот Завета.

...И поразил Господь Вениамина пред израильтянами, и положили в тот день из сынов Вениамина двадцать пять тысяч сто человек, обнажающих меч... В то же время засада поспешила и устремилась к Гиве; и вступила в него и поразила весь город мечем... Вениамин оглянулся назад, и вот, дым от всего города восходит к небу; и оробел он, ибо увидел, что его постигла беда. И побежали сыны Вениаминовы от израильтян по дороге к пустыне; но сеча преследовала их. И выходившие из городов побивали их там.

Окружили Вениамина, и преследовали его до Менухи и поражали до самой восточной стороны Гивы. И пало из сынов Вениамина еще восемнадцать тысяч человек, людей сильных. Оставшиеся оборотились и побежали к пустыне, к скале Риммону, и побили еще на дорогах пять тысяч человек; и гнались за ними до Гидома и еще убили из них две тысячи человек. 10

Убежавших же к Риммону, в пустыню, было шестьсот человек, и оставались они там в каменной горе Риммоне четыре месяца. Израильтяне же опять пошли к сынам Вениаминовым и поразили их мечом, и людей в городе, и скот, и все, что ни встречалось (во всех городах), и все находившиеся на пути города сожгли огнем.

И поклялись израильтяне в Массифе (перед кивотом завета), говоря: никто из нас не отдаст дочери своей сынам Вениамина в замужество. И пришел народ в дом Божий, и сидели там до вечера пред Богом, и подняли громкий вопль, и сильно плакали, и сказали: «Госпо ди, Боже Израилев! для чего случилось это в Израиле, что не стало теперь у Израиля одного колена!» (*Книга Судей Израилевых*, гл. XX—XXI). 20

VII

«Caesar dando, sublevando, ignoscendo, — Cato nihil largiundo gloriam adeptus est; ita, quo minus eam petebat, eo magis adsequabatur» *, — в этом известном противоположении, сделанном Саллюстием между двумя государственными мужами, дан комплекс идей, слов, которому мы не только не найдем никаких аналогий в Библии, но, прочитав которые, без труда догадаемся, что и обратно: в фактуре этого языка невыразима вовсе большая часть понятий и отношений, изложенных в Библии, не выразима иначе, как только внешним образом.

Язык во внутреннем, неуловимом своем складе вырастает с историею народа; всякий великий поворот фактов в ней, и с ним обычно связанный поворот мыслей и чувств — оставляет не в словах только, не в названиях, именах, но в самой манере сочетать их, некоторый очень малый склад, и совокупность всех этих поворотов, по мере того как история народа близится к своему завершению, все учащая и учащая эти следы свои в языке, все более и более оставляя на нем знаков, наконец формируют его в абсолютно неподвижное и вместе абсолютно неразрушимое хранилище народного духа. Уничтожение в истории или, напротив, в ней торжество; замкнутая в семейном кругу жизнь, или, напротив, жизнь исполненная публичности; преобладание права над религией или религии над правом; могущество, достигнутое силою или, наоборот, хитростью и вероломством; 30

* «Цезарь податливостью, снисхождением, закрытием глаз на слабое, Катон же ни в чем не давая послабления — приобрел славу; поэтому-то, чем менее искал ее, тем более ее приобрел» (*лат.*) <Саллюстий. «Заговор Катилины». 54, 3—6>. 40

публичность, в ведении ли государственных дел сказывающаяся или же только в ведении обширных торговых оборотов; преобладание тревог извне или смут внутри — все это выразится в запутанности или ясности синтаксиса, в строении фразы ровном или порывистом, в сжатости или раскидистости речи, в повторениях или умолчаниях:

«Omnes homines, patres conscripti, qui de rebus dubiis consultant, ab odio, inimicitia, ira atque misericordia vacuos esse decet. Haud facile animus verum providet, ubi illa officuiunt, neque quisquam omnium libidine simul et usui paruit. Ubi intenderis ingenium, valet. Si libido possidet, ea dominator; aminus nihil valet» *.

- 10 Как не похоже это на вопль, поднятый в Массифе: «Господи, Боже Израилев! Для чего случилось это в Израиле, что не стало теперь у Израиля одного колена». И мы живо чувствуем, что ни при каких усилиях народ, так восклицавший, не смог бы согнуть фразу следующего смысла:

«Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi» (Дигесты I 1, 10 pr.),

ни, даже, произнести этих простых суждений и разделений:

«Publicum jus est quod ad statum rei Romani spectat; privatum — quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatum» (Дигесты I 1, 1, 1 pr.),

или еще сформулировать так:

- 20 «Omne jus, quo utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones» (Дигесты I 5, 1 pr.) **.

Напротив, он или нетерпеливо сказал бы:

«Если свидетель на суде — свидетель ложный, если он ложно свидетельствует на брата своего: то сделай ему то, что он зло умышлял против брата своего; и истреби зло из среды себя. И прочие услышат, и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя. Да не пощадит глаз твой его: душу за душу, глаз за глаз, руку за руку, ногу за ногу» (*Второзаконие*, гл. XIX, 18–21).

Или кратко, с состраданием увещевал бы:

- 30 «Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог; постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу.

Если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея у себя залог его; возврати ему залог при захождении солнца, чтоб он лег спать в одежде своей и благословил тебя: и тебе поставится сие в праведность пред Господом Богом твоим.

* «Все люди, которые о делах сомнительных произносят суждение, должны быть пусты от ненависти, дружелюбия, раздражения, сострадания. Не легко провидит истину душа, в коей недроят эти страсти, и не было никого, кто одновременно и следовал бы своему влечению, и согласовался с настоящей пользой. Там только, где напрягает весь свой ум — он действует; где же допускаешь страсть свою овладеть им, они и господствуют, а он остается беспомощен»

40 (*лат.*). Речь Цезаря <Саллюстий. 51, 1–2>.

** Из первых глав Пандект — основные определения права.

Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа его; чтоб он не возопил на тебя к Господу, и не было на тебе греха.

Не суди превратно пришельца, сироту и вдову, и у вдовы не бери одежды в залог. Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь, Бог твой, освободил тебя оттуда: посему я и повелеваю тебе делать сие» * (*Второзаконие*, гл. XXIV, 10–18).

Нравственный момент, в первом случае *гнева* и во втором *сострадания* — присутствует в этих законодательных требованиях; равно нет тут формул, различно-абстрактных, как и нет вовсе определений и правильной классификации. Обобщение не закрывает собою несколько конкретного: это конкретное во всей яркости стоит перед взглядом законодателя (мы говорим о позднейших дополнениях к первоначальному закону), оно бьет с силою непосредственного факта в его воображение и поэтому, быть может, так мучительно волнует его, то пробуждая в нем почти нежность, то вызывая пароксизм негодования. «Ногу за ногу, руку за руку, глаз за глаз» — это почти крик справедливой души, уже представляющей себе (или вспоминающей что-нибудь аналогичное), как непорочную Сусанну, оклеветанную именно вследствие готовности «скорее впасть в руки человеческие, нежели согрешить перед Богом», ведут на побиение камнями те люди, пасть с которыми она не захотела. Во всяком случае это не есть постановление строгого ума, обобщившего мириады фактов, все их умерившего в значе-

* Законодательство еврейское почти в той же мере выше римского или какого-либо другого, в какой законодательствующий в нем выше преторов римских, французских легистов, наших законовевдов. И это не только в духе своем, мотивах, целях, но и по прямому, грубому результату; ибо если *salus reipublicae — summa lex* <общественное благо — высший закон (лат.)>, то, напр., римское законодательство вовсе не охранило от разрушения внутреннего и гибели внешней объекта своего применения и субъекта своего сознания — римский народ; напротив, законодательство еврейское выполнило это, и след. именно оно есть *summa lex*. Без сомнения, однако, человеческие прибавления имеют место в законоположениях евреев (напр., в конце статьи о лжесвидетелях). Если мы обратим внимание на *мотив* показаний в разных законах (и также на *господствующее* содержание законодательства), то увидим, что в Риме они имеют значение *устрашения* и *предупреждения* (т. е. проступков, напр. см. законы о собственности) или еще простую волю *summi iuris tribuere* <воздавать каждому свое (лат.)>; у русских, напротив, значение простого средства упорядочения быта, позднее (в XIX в.) — почти только упорядочения способов административного урегулирования жизни страны; вопрос о *summi iuris tribuere* он бледен, неясен: у нас *omne tributum in idea regis, in re magistratui* <всякое идеальное воздаяние принадлежит царю, а материальное — должностному лицу (лат.)>, и страна управляется не столько законами, не удобными по своей обности неподвижности, сколько циркулярными к ним распоряжениями, действующими быстро, конкретно и послушными в руке управляющего (от всех этих черт — обилие в русском законодательстве «положений» и «уставов», т. е. целых систем законов, обнимающих какую-нибудь сторону быта народного, напр. военную, торговую, землевладельческую, обилие — «приложений», «примечаний 1, 2, 3», «пунктов а, б, в», «разъяснений», и пр.). Всякий почти закон в России есть способ воздействия управляющего на управляемого, а не определение права, кому-либо принадлежащего. У евреев мотив наказания есть и не устрашение (хотя об этом упоминается), и не «установление полезного», а гнев, негодование возмущенного нравственного человека.

нии, обесценившего ль красок времени и места, из всех их выпустившего кровь и оставившего только нужную ему форму.

Печать абстракции, обобщения, отсутствия индивидуального и живого ска-
зывается и в тех кратких отрывках, которые мы привели ранее и из которых
один пытается охарактеризовать два определенные лица, а второй представляет
обращение одного лица к другим в момент величайшей тревоги своей и их (за-
говор Катилины). И также, где бы мы ни раскрыли римскую прозу, — мы не по-
чувствуем в ней *лица* говорящего и тех лиц, к которым она обращена иначе как
в качествах их самых общих, в качествах часто очень великих, но всегда «герои-
ческих», никогда — домашнего, внутреннего, интимного характера. Если, далее,
мы обратим внимание на то, которые именно из качеств душевных здесь господ-
ствует, то мы увидим, что это — *воля и мысль*, еще *уже*, еще точнее — *обобщение*
и *порыв*. Покорить и связать — это есть центральное биение римской истории,
и пульс, ее дыхание, которое от Палатинского холма имело силу досягнуть, ни
в чем существенно не изменившись, до непереступаемых пустынь Месопотамии,
Сахары и дебрей незаселенной Европы. Столь исключительный и узкий, столь
вместе мощный гений не мог не наложить печать свою и на язык народа.

Римский язык есть существенно ораторский: отнять возможность возразить
или способность не понять есть скрытый мотив, руководивший в долгих поколе-
ниях миллионами уст, слагавших латинские предложения, и этот мотив наложил
на эти предложения своеобразную форму; самая конструкция предложения —
с глаголом в конце, т. е. на конце с главным словом, которое требует к себе всего
внимания слушателя, должно особенно его поразить, сковать его желания хоть
на минуту; сокращение целых предложений, обстоятельственных и дополни-
тельных, в простые дополнения (обороты *accusativus cum infinitivus* и *absolu-
tus*), — все, приспособленное к сжатости, силе, все вместе абсолютно не способ-
ное к выражению раскрывающегося в душе человека, моментов всякого в ней
зарождения, колебания, перехода — одинаково вытекли из самых целей речи,
которою человек господствовал или хотел господствовать над равными в собра-
ниях, в поле — над рабами, в семье — над женою и детьми, как господствовал вне
отечества над врагами оружием. Обилие форм повелительного наклонения, без
видов смягчения, ласки, нежного призыва; странные супинные формы (на *im*),
где уже скрыта *цель, движение* в самой форме глагола и не нужно для обозна-
чения ее никаких вспомогательных предлогов или посредствующих предложений;
еще более странные герундивные формы, где в окончании глагола выражения
идея *долга, обязанности*, исполнение которых безусловно ожидается — все это
равно вытекло из господствующих мотивов, которые внутренне бились в рим-
ской речи от времен очень раннего ее формообразования и до конца.

Отсюда как *общий вид* этой речи — сила и некоторое внешнее великолепие:

40 «Unde enim pietas aut a quibus religio? unde ius aut gentium aut hoc ipsum civile quod
dicitur? Unde iustitia, fides, aequitas? Unde pudor, continentia, fuga turpitudinis, adpetentia
laudis et honestatis? Unde in laboribus et periculis fortitudo? nempe ab iis, qui haec disciplinis
informata alia moribus confirmarunt, sanxerunt autem alia legibus» (Cic., De r. p., I, 2) *.

* «И в самом деле, откуда возникло понятие о долге и кем была создана религия? Откуда
появилось право народов и даже наше право, называемое гражданским, откуда правосудие,

Также — совершенная прозрачность течения мысли и ее состава:

«Hinc enim illa et apud Graecos exempla, Miltiadem victorem domitoremque Persarum nondum sanatis vulneribus iis, quae corpore adverso in clarissima victoria accepisset, vitam ex hostium telis servatam in civium vinclis profudisse, et Themistoclem patria, quam liberavisset, pulsum atque proterritum non in Graeciae portus per se servatos, sed in barbariae sinus confugisse, quam adflixerat» (ibid., I, 3) *.

Все указанные особенности, не повторяющиеся ни в каком еще другом еще другом языке, сделали язык маленькой и грубой итальянской общины лучшим методическим орудием для образования ума у всех просвещенных народов, средством для обмена мыслей в области, где ясность есть первое требование, и, наконец, языком науки и философии. Школа до сих пор, дипломатия и наука очень долгое время, равно не находили национальные языки удобными для некоторых специфических целей; и, наоборот, по крайней мере дипломатия и наука оставили этот язык, как только перешли к целям более сложным, к содержанию — более утонченному или более глубокому. *Systema naturae* Линнея без труда могла быть написана на латинском языке; она могла быть написана на нем удобнее, чем на всяком другом; но уже Лейбниц чрезвычайно тонкие, и, главное, *жизненные* понятия своей философии предпочитал излагать на французском языке **, и, также, мы не можем представить себе, каким образом Шеллинг или Гегель изложили бы содержание своих *неуловимо-подвижных* идей на этом языке или как на нем же Шопенгауэр выразил бы свое учение об утверждении воли и об отрицании воли, как двух моментов мирового генезиса. Всякое *прозябание* (выражаясь метафизически), все, к чему нужно *прислушаться, приглядываться*, во что нужно *вдумываться* — неуловимо для этого языка; всякий *факт*, каждая *вещь*, что положенное на руку — тянет, поставленное перед глазами — задерживает свет, все темное и грубое выразимо на этом языке лучше, чем на всяком ином. «O, mi filii» — это вовсе не то, что «чадо мое», и «чадо мое» не переводимо на латинский язык; как и обратно, гордое «*civis romanus sum*» — собственно, не переводимо, не выразимо ни на каком языке: это есть идиотизм латинского.

верность, справедливость? Откуда добросовестность, воздержность, отвращение к позорным поступкам, стремление к похвалам и почету? Откуда стойкость в трудах и опасностях? Да ведь все это исходит от тех людей, которые, когда это благодаря философским учениям сложилось, обычаями подтвердили одно, другое укрепили законами» (*лат.*) (Цицерон. О государстве. 1, 2). Пер. В. О. Горенштейна.

* «Отсюда и примеры из истории греков: Мильтидат, победитель и усмиритель персов, когда у него еще не зажили те раны на груди, что он получил в час величайшей победы, жизнь свою, сохраненную им от вражеских копий, окончил в оковах, наложенных на него согражданами; Фемистокл, с угрозами изгнанный из отечества, которое он спас, бежал не в гавани Греции, сохраненные им, а в глубь варварской страны, которую он когда-то сокрушил» (*лат.*) (Там же. 1, 3). Пер. В. О. Горенштейна.

** Замечательно, что ни Декарт, ни Спиноза, с их более определенной, резче очерченной системой мысли, не чувствовали этой необходимости. Но уже после Лейбница, его ученик, Вольф, чрезвычайно поверхностно понявший своего учителя, вернулся снова к латинскому языку.

VIII

Чего же, собственно, это есть идиотизм? Этимологии ли? синтаксиса ли латинского языка? Нет, но — его ритма. Тот *spiritus crescens* *, который неуловимо живет и никогда не умирает в стиле каждого своеобразного и сильного писателя, составляя личную его особенность, — он живет и в ритме языка каждого значительного в истории народа, составляя также особенность его лица. Без сомнения, Муций Сцевола никогда не произносил этого ответа; быть может, не было никогда ни его, ни Этрuscoго царя, которому он это сказал, — но когда после Гракхов, после Суллы, после Цезаря, после грозного «*Annibal ante portam*» («Ганнибал у ворот». Цицерон. Филиппики. I, 11) — и лаконического «*caveant consuls — ne quid detrimenti respublica caperet*» («Да позаботятся консулы, чтобы государство не потерпело ущерба» — стандартная формула постановления сената, в литературе встречается неоднократно. См.: Цицерон. «Против Катилины». I, 4) — случилось римскому историку написать страницу, где горожанин зачинающейся общины определил бы себя, его *stylus* не мог не написать, а написав — выразил всю римскую историю в кратком, не развивающемся, не продолжающемся предложении: «*civis romanus sum*». Это — так ясно; тут — ничего не подразумевается; не нужно разграничивать и определять эпохи, к которым термин относится; *sum* на конце — это твердость бытия, которому не предстоит исчезнуть, это вовсе не «я есмь», не «*je suis*» и еще менее робкое «*ich bin*», где «*ich*», «*je*», «я» так господствует над «*citoyen*», «горожанин», «бюргер», и, кажется, что это «*citoyen*» есть только определение к нему, вовсе не покрывающее всего определяемого, не исчерпывающее бытие его не поглощающее его лица. «*Civis romanus sum*» — это значит: «гражданин римский перед тобою», каковым случилось на этот миг, на этом месте *мне* быть»; «я — гражданин», это значит: «перед тобой лицо мое, которое если ты не хочешь уважить — может быть уважишь права, мною случайно носимые». Первое выражение угрожает, оно во всяком случае *наступает*; второе — просит или, по крайней мере, защищается; то ничего по сторонам не смотрит, не ищет, на что опереться, это — хотело бы прибавить к себе титулов, сослаться на чин или еще лучше показать деньги, последний и самый непререкаемый аргумент всякого достоинства. Таким образом, два абсолютно одинаковые по своему точному смыслу предложения в силу того, что в одном местоимение выделено из глагола, а в другом оно скрыто и, далее, самый глагол в одном предложении ослабился до значения простой связки между подлежащим и сказуемым, а в другом он совершенно тверд и произносится с ударением на конце — являются не только не только не одинаковыми, но даже несравнимыми, разнородными в той самой степени, в какой несравнима история народов, сформировавших эти языки.

В обширных выдержках, какие выше мы привели из «Книги Судей Израилевых» — собственно только два мотива из трех отмеченных выразимы на латинском языке: это — хамитский мотив чувственности, и, далее, мотив гнева и мести. В истории оскорбленной Лукреции и еще более — Виргинии, заколотой отцом, который не хотел отдать ее в наложницы жестокому децемвиру — мы находим факты, аналогичные взятым из еврейской жизни; по этой податливости и покор-

* увеличение (лат.).

ности духа, этого «вот возьмите дочь у меня, но не трогайте пришельца в моем доме», «повеселите еще сердце свое — до захода солнца, до его восхода, до нового захода», этих ласкающих, любовных, святых, *семитических* слов мы не найдем в римском языке, как не найдем обычаев аналогичных в римском быте. Все это может, поэтому, быть передано на латинском языке, — но без звучащего в тех словах тембра; без нежности, без ласки, без любви; без этой *святости* как специфически семитического. «Чада» древних евреев, говоря метафорически, переводятся всюду не как «дети» даже, но как «сыновья» и «догери» — в связи животной, в порядке связи юридической, без атмосферы их окружающей любви, их проникающего сострадания, без «ногу за ногу, глаз за глаз, руку за руку» трепещущей над детьми своими святой орлицы. 10

IX

Если мы перейдем от Библии к евангелистам и к Апостольским посланиям — мы почувствуем, что, при разросшейся и все наполняющей собою святости, в них исчезли вовсе первые два мотива; не говоря о хамитическом мотиве чувственности, и мотив гнева, длящейся памяти о злом — исчез. Мы в нем не найдем строк, подобных этим словам умирающего Давида к сыну, которыми он оканчивает свое завещание ему:

«Еще — ты знаешь, что сделал мне Иоав *, сын Саруин, как поступил он с двумя вождями войска Израильского, с Авениром, сыном Нировым, и Амессаем, сыном Иеферовым, как он умертвил их и пролил кровь бранную во время мира, обagrив кровию бранною пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих. 20

*Поступ и по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в преисподнюю**.*

...Вот еще у тебя Семей, сын Геры Вениамитянина из Бахурима; он злословил меня тяжким злословием, когда я шел*** в Маханаим; но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря: я не умерщвлю тебя мечом.

Ты же не оставь его безнаказанным; ибо ты человек мудрый и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы низвести седину его в крови в преисподнюю» **** (*Третья книга царств*, II. 5—9).

Так говорил умирающий. 30

«И почил Давид с отцами своими и погребен был в городе Давидовом», заканчивает слова эти Летопись царей израильских.

* Любимый и доверенный военачальник Давида, спасавший не однажды его от смертельной опасности, но, между прочим, умертвивший Авессалома.

** Он был умерщвлен, по приказанию Соломона, у самого жертвенника, куда спасаясь бежал в страхе преследования.

*** Убегая от Авессалома. После гибели Авессалома, Самсон первый явился к Давиду, и он его простил.

**** И это завещание было исполнено Соломоном.

ПАМЯТИ ДОРОГОГО ДРУГА

<К. Н. Леонтьев>

Сладко! Еще перечту. О, слава тебе, песнопевец!
Дивно глубокую мысль в звучную ткань ты облек!
В чьих ты, счастливцев, роскошных садах надыхался весной?
Где нажурчали ручьи говор любовный тебе?

Г е н и й п о э т а

Где? Я нашел песнопевца на ложе недуга, беднее
Старца Гомера, грустней Тасса, страдальца любви!
Но я таким заставлял и Камозна в дикой пещере,
Так и Сервантес со мной скорбь и тюрьму забывал.

Барон Дельвиг

С невыразимую грустью читаются письма покойного К. Н. Леонтьева к г. Губастову, обнародованные в январской книжке «Русского Обозрения» за этот год (стр. 422—425).

«...Ваше молчание и ваша неисполнительность — все объяснилось письмом, мною полученным, — тою тоской и раздражением, о которых вы пишете. Благодарю вас, что вы обо мне вспомнили. Нынешнее лето судьба наша была почти одинакова, т. е. оба мы провели его в тоске и раздражении. Я приехал в мае домой к своим именинам из Москвы больной и простуженный до того, что до половины июля из своего флигеля почти не выходил. Не успел я придти в себя от этого, как Л. (*соседка по имению*) очень опасно занемогла. Она была у нас, в Кудинове (*родовое имение К. Н. Л-ва, позднее проданное*), приехала дня на два, и вдруг заразилась дизентерией, на которую было в это время поветрие, и осталась у нас почти на месяц в постели. Это поставило весь дом вверх дном; *родные ее и мы делили издержки пополам*; из Калуги нарочно приезжал доктор для консультации со мною (*К. Н. Л-в по образованию, но не по профессии был медик*). Совещаясь с другим, потому что болезнь была не проста и с разными тонкими и опасными осложнениями, я вынужден был следить за лечением сам, и в то же почти время писал те возражения Достоевскому, которые вы читали в „Варшавском Дневнике“. Верьте, мне стоил этот труд больших усилий; вы это поймете: вообразите только себе совпадение серьезного труда мысли, и труда срочного — с заботами о дорогом человеке, с ответственностью за жизнь его, лежащую прямо и почти исключительно на вас!

Едва-едва мы ее подняли и отправили домой; я в первый раз в жизни был рад, что она уехала, до того я был измучен!

Только что я отдохнул от этого, вдруг ответ от князя Голицына: „К сожалению, не могу даже и срока назначить, когда вышлю вам деньги!“ . *Весь июль и половину августа мы все в ожидании его денег жили в долг, заживали аренду вперед и т. п.* Можете опять себе вообразить наше положение! К счастью еще, что, *уплативши вовремя долг свой в один из Калужских банков, я сохранил себе тем кредит,*

и мне дали еще 300 рублей на девять месяцев; я заплатил все, что нужно было, слугам и в Щелкановские лавки, и с самым небольшим остатком уехал сюда и поселился, по прежним примерам, в скиту, и даже в келье самого покойного отца Климента, и пишу на том столе, на котором и он писал. Успокоение сердца моего началось только со вчерашнего дня здесь, в скиту... Что будет дальше — не знаю; *предпочитаю даже и не думать, ибо денег у меня только до 1 октября, и ничего в виду, кроме милости Божией...* Около месяца, по получении княжеской телеграммы, я, каюсь, был в таком унынии, что объявил всем окружающим: Марье Владимировне, Николаю, Варе и т. д., что я ничего не знаю, и знать не хочу, и пусть они сами обо всем — и в том числе обо мне — заботятся... Не писал с тех пор — ни в Кудинове, ни здесь на гостинице, а только молился и шлялся... Не писал не только повестей для Каткова или статей, но даже самых пустых писем, и постоянно завидовал одной здоровой герной свинье, которую я видел проездом в ту минуту, когда она с таким восторгом гесалась об угол сруба. Я не шучу!.. Уверю вас, что я не шучу... Дело, наконец, не в одних деньгах, но во многом, во многом; и прежде всего в том, что самый „Варшавский Дневник“ гибнет без поддержки и утехи... И это после всех тех слов, которые я слышал в Москве и Петербурге. Я не князя осуждаю, ни минуты я его бедного не осуждал, а русскую подлость... И это не мое только, пристрастное, быть может, суждение. Эта история „Варшавского Дневника“, о которой один из здешних очень умных иеромонахов воскликнул: „Нет! это отвратительно! у англичан этого бы не случилось... Сколько слов, и никакой поддержки!..“. Я надеюсь, что вы меня за этот месяц нравственной и умственной „нирваны“ не осудите. Вы согласитесь, что есть предел всякому — даже и моему в литературных делах — терпению! Дело это поднял не я!.. Даже и не вы (вам я благодарен), а судьба. Вы были правы, вызвав меня... Но Россия! Эта г...ная интеллигенция? Эти единомышленники, имеющие имя, деньги, власть? Отдельно взятые, они все окажутся словно и правыми. Но в совокупности что же это за слабость и за предательство!

Не довольно ли об этом?

Вот уже около 20 дней все жду решения моей судьбы Лорис-Меликовым. Хотя, разумеется, жизнь цензора я считаю тоже чем-то вроде жизни той свиньи, которая обеспечена и чешется об угол сруба; но тем-то она и хороша... Покойнее, чем положение литературного *Икара* (вы знаете миф и Дедале и Икаре, летевших с острова Крита через море?). Не знаю, почему нет до сих пор решительных вестей... За ваше „неоставление“ насчет варшавского места тоже искренно благодарю: приму все, что придется, с удовольствием... Но заметить надо, что варшавское место лучше даже московского, но в том лишь случае, если... „Дневник“ решатся, наконец, поддержать так или иначе.

Но я все пишу вам, а о главной новости не сказал еще. Лизавета Павловна (супруга К. Н., гостившая перед этим долгое время в Крыму, у родственников) вернулась около месяца тому назад... Теперь я нанимаю ей хорошенькую скромную квартирку в Козельске и даю ей на пропитание мою пенсию... При ней Варя и мать Николая».

Письмо от 3 сентября 1880 года.

И еще другое:

«Прошу вас, Константин Аркадьевич, во-первых, извинить меня, что я не ответил в свое время на вашу поздравительную телеграмму. Ответить телеграм-

мой же — пожалел денег, которых тогда было очень мало, а письмо писать было некогда. Передайте это и Хитрово с благодарностью...

Сегодня я хочу посягнуть бессовестно на вашу обязательность и убедительно просить вас съездить в Сиротский Суд, чтобы взять там кое-какие бумаги, принадлежавшие моей покойной матери. Ее посмертные желания и т. д. В 1881 году будет 10-летняя давность со дня ее кончины (в феврале) и их уничтожат... Я полагаю, что необходима для этого доверенность, засвидетельствованная нотариусом. Я ее в понедельник (сегодня суббота) вышлю особо. Сегодня у нас — Комитет, и к тому же вы знаете, до чего я тягочусь всяким лишним движением (да и ¹⁰ *здоровье очень плохо — между нами прошу вас!*). Я очень грешен и виноват пред бедною матушкой, что не исполнил этого давно, но что делать! Если бы даже предположить, что срок 10-летней давности определяется не днем кончины (в феврале 1871 года), а прямо с 1 января 1881 года, то и тогда вам останется до Рождества дня два и до Нового года дня два-три, я думаю, чтобы сделать это при свойственной вам деятельности. Вы понимаете мое раскаяние и мою нравственную потребность, хотя и поздно, но исполнить это.

После Нового Года я, вероятно, на недолго буду в Петербурге. *Под величайшим секретом* сообщу вам вот что. К. (редактор „Пет. Вед.“) зовет меня приехать на его счет для пользы консервативной партии и т. п. *Я хочу воспользоваться его* ²⁰ *деньгами больше для пользы службы, чем для пользы публицистики...* Тайну эту я доверяю только Вам; даже Т. И. Ф. она не должна быть известна: его это может очень огорчить и даже восстановить противу меня; он на меня еще *расгигивает* как на литератора! А я только о том и думаю, как бы подальше от литературы и особенно от публицистики. Я убежден, что мои гражданские взгляды могут только повредить мне в глазах либерального начальства, а мне теперь кусок хлеба важнее всего. С женой мы так сжились опять, как никогда...

Я никогда ее так еще не любил и не жалел. Я без нее здесь скучаю, и когда вижу светских и образованных женщин, то просто не понимаю ни их, ни мужей их!.. *Равнодушие мое к литературе и т. п. — полное и все растет и растет...* Я не ³⁰ *знаю, как избавиться даже от повестей для Каткова (которого деньги мне нужны), и хотя время найдется, когда я больше привыкну к тонкостям новой службы, но, вы понимаете, мне все равно, кроме жены и Вари **, с которой оне очень сошлись (Бог-то как милостив!), а Варя вдобавок становится такая прекрасная, верная, серьезная *догь*, что поискать таких! Оптинские старцы *ее уважают*. *Вся моя жизнь теперь в них и для них!.. Я сейгас не в силах их выписать из Козельска; но терплю и смиряюсь.*

Все мои мечты — это оставить им что-нибудь... А вы знаете, как я запутался!.. Поэтому и литература теперь может иметь лишь коммерческое для меня значение!.. и т. д. и т. д. А я лично для себя прошу от Бога только одного: христианской ⁴⁰ *конгины живота, безболезненной, непостыдной, мирной, и доброго ответа на страшном судилище Христовом.* Я в Угрешском подрянике был гораздо более „мирянин“, чем теперь. И „Варш. Дневн.“ сделал свое неизгладимое дело... *Стоит ли такие, как мои, вещи писать? Для кого? Для 20 человек, для высокопоставленных людей, которые, восхищаясь, не умели и не хотели ничего серьезного сделать ни для Голицына, ни для меня... как писателя? Серiousным я называю тысячу*

* Служанка-воспитанница из крестьянских девочек. — *Ред.*

100—200. Нашлись бы, если бы была воля Божия на проповедь подобных вещей в России. Но отгизна наша предана уже проклятию, и ничего с ней не сделаемь!..

Я счастлив теперь в своей семье и не боюсь более смерти — чего же большего человеку желать?..

Благодарю Бога — и за место, за „хлеб насущный“, и за примирение с женой, и за Варю, и за равнодушие мое и к России, и к своей собственной славе, и за друзей, которые меня не оставляют.

Простите, что все это сорвалось у меня с пера... Исполните мою просьбу и, еще раз повторяю, не говорите никому пока об этом настроении моем, потому что на мою литературу в Петербурге иные влиятельные люди рассчитывают, — будьте всегда гробом тайн, как были» (Письмо от 20 декабря 1880 года). 10

Бедный, бедный! Вот слова, которые писались кровью. Сколько изящества души в этих заботах о «Варе», больной жене, «Л.»; сколько покорности воле Божией! Кто же писал это? Кто были те люди, одного мановения руки которых было достаточно, чтобы отереть пот, слезы этому человеку? Он — светоч земли своей, красота истории родной за этот истекающий век, «вся красная земли», променявший на служение великим идеям, в нем оригинально возникшим, в нем долго вызревающим. Пройдет еще полвека, и Академия Наук будет оплачивать червонцем каждый обрывок его частного письма, будет отыскивать набросков карандашом его мыслей, раскрывать инициалы и псевдонимы, под которыми он писал в захудалых провинциальных газетках, как это делает Италия для своего Макиавелли, Франция — для Монтескьё и Руссо, Германия, но этот до последнего времени конгломерат «отечеств» и не имел уже политического равной силы прощания, подобной широты созерцаний, такой страстности патриотизма. Все будет сделано для его имени, как не было ничего сделано для его желудка. 20

...И годы протекли, и ветреное племя
Кричит: подайте нам священный этот прах!
Он наш...
Безумно вокруг него теснятся и бегут
И в пышный гроб... 30
...Останки тленные кладут.

Сколько скорби в этом посмертном признании; как ненужно оно, как постыдно, и, наконец, как оскорбительно. «Оставьте лежать мои кости среди тех, кого я любил, видел, знал, кто при жизни стер мои раны, с этою „Л.“, „Варей“, „больною женой“. Вам отдана была моя прижизненная тревога, с ними по крайней мере пусть останется замогильное упокоение. И пожалуйста, не отнимайте у них этого: самого ценного, святого — права покоиться рядом, наряду, вместе со мною. И убирайтесь с вашим тщеславием, с вашим „признанием“, издавайте — насыщая его — орега отпиа * мои и переплетайте их в сафьяновые переплеты; мой оглоданный череп, мои усталые руки, не вздымающуюся грудь не уносите отсюда; и даже забудьте, если возможно, где они лежат, и не протаптывайте никогда „народной тропы“ к ним своими скверными калошами, для произнесения скверных речей и скверного „завтракания“ после речей...». 40

* полное собрание сочинений (лат.).

Я уверен: посмертное признание, посмертное *усвоение* себе героя, писателя, вообще исторического человека, так сказать, *присвоение* его мятушеюся толпой из того *частного* круга, в котором он был при жизни — это нечто до такой степени мучительное, столь нестерпимое для присвоенного, такое последнее и непереносимое для него оскорбление, какого обнять умом почти невозможно. «Уж лучше кастаньеты из моего черепа, нежели этот череп в мавзолей... Уж лучше куда-нибудь в анатомический театр и потом на псарню, нежели в торжественную уличную процессию, — с „речами“, „венками“, и назавтра — с репортерскими отчетами»...

Жизнь и смерть, в таинстве своем глубоко, с такую силой оскорбления — несовместимы; достаточно мефистофельских шуток; такой силы посмертного глумления человек не заслужил, кто бы он ни был и как бы дурно, грешно свою жизнь ни прожил. И, во всяком случае, к умершему мы обязаны уважением безмолвия, ибо, прияв смерть, он принял Божие на себя, он под его грозой, но и под его покровом... От нас он ушел, от нашего суда и пересуд.

Его книги или деяния — пред нами, они *замешаны* в нашу жизнь, они живы еще, и мы их можем судить; его прах неприкосновенен.

Но кто же были те, что лакомились «черною свиньей», к которой приравнивал себя благородный и возвышенный ум? Годы истории протекли, немногие годы, и все стало ясно.

«Вот уже около 90 дней все жду решения моей судьбы Лорис-Меликовым».

Пред нами превосходное, *своевременное* воспоминание г. Л. Тихомирова: «Конституционалисты 1881 года». Да, это он, скорбный (в сущности) духом Акакий Акакиевич, Акакий Акакиевич по широте политических созерцаний, по дальней зоркости ума*; но, странным образом, в уста этого Акакия Акакиевича попал язык Хлестакова, и, внимая дивным речам его... О, речам совершенного Акакия Акакиевича, но произносимым с зычностью Хлестакова, история одела его сперва аксельбантами, и далее, далее... Мы не смеем даже *говорить*, что далее... Но это «далее» совершилось.

Акакий Акакиевич сказал, что он не хочет быть «копиистом» в департаменте, но это было 40 лет назад, и тогда качества ума его и сердца не были оценены. Теперь он хочет «изменить судьбы своего отечества», не шедшие до сих пор правильно.

Некоторой «золотой рыбке», долго ему служившей, эта старушка из Армении сказала, что она хочет, чтобы сама рыбка начала ей служить, на ночь чесать пятки и поутру развлекать чтением тогда издававшегося «Голоса»...

Л. Тихомиров рассказывает, что это чуть-чуть не совершилось. Некоторая «*parier en question*»** относительно «пяток» и «Голоса» была подписана, и он, *даже после 1 марта*, с ног снимал чулки и протягивал свои пятки...

В сущности — он был изменник; он был ренегат, дезертир — в самом обыкновенном, пошлом смысле этого слова, который предусмотрен соответствующей статьей «Воинского Артикула» Петра I.

* Смотри у Л. Тихомирова отметки о Лорис-Меликове, занесенные в «Дневник» свой благодушным А. И. Кошелевым.

** соответствующая бумага (*фр.*).

Но он изменил не перед пушками неприятеля, а перед «линией» газет и журналов русских и частью иностранных, перед болтовней гостиных...

Он изменил не полку, но народу целому...

Он изменил не стогодовой традиции этого полка, а тысячелетней традиции государства.

Он изменил — и был почтен.

Леонтьев был ей предан; он понимал эту традицию страстно и глубоко; он ей до издыхания был верен... И он был презрен.

«Вот уже двадцать дней жду решения моей судьбы Лорис-Меликовым, хотя, разумеется, жизнь цензора я считаю тоже чем-то вроде жизни той свиньи, которая чешется об угол сруба, но тем-то она и хороша»...

Мне думается, в этом миниатюрном факте сконцентрирован весь смысл нашей истории за 200 лет; эти 200 лет — за немногими исключениями «порывов» — если их глубже понять, если их анализировать бесстрашно и до конца, суть годы *самоизмены* России, годы исторического ее *саморенегатства*. И вот отчего, кто громче всех кричит: «обойдены», «пропало все», и первый обертывается и бежит... естественно, что он бежит впереди других и остальные «следуют в его свите».

Вот разгадка судьбы Леонтьева; он, бедный идеалист, держал древко покинутого знамени; он хватал его мотающиеся, простреленные в боях, шелковые лоскутки...

Бедный! конечно, он был раздавлен, и все его сочинения — только крик раздавливаемого человека о правде его знамени, покинутого всеми знамени его родины...

КОМУ «ГОРЕ ОТ УМА» В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ?

Судьба, проказница-шалунья,
Определила так сама:
Всем глупым — счастье от безумья,
Всем умным — горе от ума.

Эпиграф к комедии Грибоедова

Это было месяцев шесть — восемь назад. Я стоял перед небольшим книжным шкафом, составлявшим все богатство только что основанной «Библиотеки для служащих» при одной из бесчисленных петербургских канцелярий; меня приглашали в нее записаться, но я не решался, видя слишком уж небольшой выбор книг.

— Помилуйте, у вас нет даже Тургенева и Гончарова, чтоб я найду за тот же полтинник в месяц во всякой библиотеке... Какая цель у вас записываться?

Молоденький человек, с рукописным каталогом в руке, зашевелился.

— А вы запишите этих авторов, и мы их выпишем.

Я протянул руку к корешку с неясной надписью, и с изумлением вытянул долговязый том Писарева: о выходе нового издания я еще не знал и с любопытством рассматривал «Первый том, с биографией и портретом» гладколобого критика. Видя мое внимание, чиновничек заметил:

— Мы уж следим за выходящими книгами и не упускаем случая. Издание только что появилось, а долго ни за какую цену нельзя было достать этих сочинений...

10 Я еще раз оглянулся на лицо библиотекаря; решительно ему нельзя было дать больше 21 года. «Если бы не сюда, в канцелярию, — подумал я, — поступил бы в вольноопределяющиеся. Таких теперь многие тысячи, даже — десятки тысяч, не *дозревающих* в гимназиях»...

— Послушайте, — спросил я, — вы не смешиваете *Писемского* с Писаревым?..

— Нет, ведь Писемский, кажется, при «Нови» и, если не ошибаюсь, романист? Зачем бы Вольфу критик для *приложения*? У нас библиотека серьезная.

* * *

Я внес полтинник и решил сделаться членом «серiousной» библиотеки.

20

Так из лепты трудовой
Вырастают храмы Божии
По лицу земли родной...

Ну, это прежде, в глупые времена, выросли «храмы Божии», а теперь, когда народ, благодаря «первоначальному обучению», поумнел, есть чему вырасти и получше.

И дают, дают прохожие...

30

Ник. Кареевы, Павленковы, Евг. Соловьёвы собирают «лепты» и кладут в карман; иногда, правда, тоже и мошенничают, то есть в благородном, литературном смысле мошенничают, «не выдерживая направления»; так, в № 337 «Новостей», от первого декабря 1895 года, я только что прочел объявление, которое и привожу здесь целиком:

«Поступило в продажу *пятое издание* философско-психологического этюда

О. К. Нотовича «ЛЮБОВЬ»

с приложением его же критико-философского этюда:

«КРАСОТА»

с предисловиями знаменитых представителей современной италиянской философской школы *Ц. Ломброзо* и *Г. Ферреро*, отзывом *Монтегацца* (автора „Физиологии любви“) и „Письмами к автору с Олимпа“ *Д. Л. Мордовцова*. Цена книги (изящный том более 20 листов) 1 р. 50 к. Подписывающиеся на „Новости“ пла-

тят за книгу только один руб. Требования адресуются в книжный магазин газеты „Новости“, Б. Морская, 33».

А ведь всего два месяца назад в тех же «Новостях» печаталось тоже объявление: «О. К. Н о т о в и ч. Г. Т. Бокль. *История цивилизации в Англии в популярном изложении*. Десятое издание. СПб. 1895 года. Ц. 50 к.».

И в «Северном Вестнике» за декабрь 1895 года я прочел даже рецензию:

«Интересный труд Бокля все еще пользуется самой широкой известностью в России. Популярное изложение этого труда г. Нотовичем в самый короткий срок выходит уже *десятым* изданием. Можно думать, что, благодаря книжке г. Нотовича, Бокль стал проникать в средние слои русской читающей публики, и как бы кто ни смотрел на научные достоинства этого исторического исследования, нельзя не признать полезным тот труд, который совершил г. Нотович. Изложение автора отличается точностью научных выражений. В литературном отношении книга должна быть признана безукоризненной и в смысле стиля, и в смысле ясности передачи главных мыслей Бокля языком, доступным для тех, кому полное издание его труда недоступно. Намерение автора увенчалось бы еще большим успехом, если бы он для следующего 11 издания понизил цену на свою книжечку до 20 к. за экземпляр» (отд. II декабрьской книжки журнала, стр. 87).

А в «Новом Времени», № 7081, от 14 ноября 1895 года, печатается на первой странице:

«Поступило в продажу *11–20 тысячи экземпляров* вновь изданной *Ф. Павленковым*:

„*История цивилизации в Англии Т. Бокля*“. Перевод А. Буйницкого. С примечаниями. Ц. 2 р. Тот же перевод без примечаний — 1 р. 50 к.».

* * *

Не знаю, зачем я заговорил об объявлениях. Я собственно хотел поговорить о третьей книжке «Борьбы с Западом в нашей литературе» моего доброго и старого друга, Н. Н. Страхова, только что выпущенной автором; я думал помочь «книжке» доброю рецензией. Бог знает что такое! Верх «беззаботности». Но уж слишком много попало на глаза «объявлений» и я невольно «уклонил сердце свое»... к иным печалям.

Тут — «красота» идет, тут — «любовь» помогает. Я хочу сказать, что у нас с тобою, старый друг, у которых нет ни красоты, ни, в этом особом смысле, «любви», книжки будут лежать на полках магазинов, никем не спрашиваемые, никому решительно не нужные. Оне будут лежать так же неподвижно, как и до сих пор «лежат» книжки умерших друзей наших, твоего — Ап. Григорьева, изданные в 1876 году, и моего — К. Леонтьева, изданные в 1885—1886 годах, до сих пор не раскупленные; как «лежат» омега omnia двух незабвенных профессоров Московского университета: Т. Н. Грановского, так «шумно» чествуемого в прессе и бесшумно не читаемого, и его ученика — Кудрявцева; как «лежит» преспокойно «Сельская школа» г. Рачинского, вышедшая в 1892 году и не потребовавшая нового издания. «Лежит» все умное и благородное на Руси и шумно «идет вперед» все бесстыдное и тупое...

Мне почему-то думается, что я говорю о *самом, о самом* важном факте современной литературы — более значительном и способном вызвать на размышле-

ния, чем как если бы появилась еще «Война и мир», еще «Отцы и дети»... Ибо, в сущности, он предрешает все остальные... Он показывает, что той литературы, над которой думают, что трудятся несколько старых идеалистов, несколько седых париков, залежавшихся от прошлого, — что этой литературы... *нет* вовсе: нет ее в том духовном, идеальном, милом, дорогом смысле, который мы исторически соединяем с ее именем и, по наивности, недоразумению, продолжаем сохранять и до сих пор.

10 Это есть проигранное поле — поле литературы; поле цивилизации, культуры, духа — оно проиграно. Именно теперь, именно в наши дни, когда, по-видимому, пред ними все сторонится, когда для них открыты все двери, их имя везде приветствуется — в самых приветствиях, в самой разомкнутости пред ней всех входов и выходов, в самых победных криках — слышится похоронный звон...

Она победила и умерла.

Она похожа на заряд в дуле разорванного, изломанного ружья. Пусть порох вспыхнет, пыж затлеется — окрест стоящие только рассмеются...

Пусть нового пророка раздастся слово; еще зазвучат терцины Данта — «общество» сонно потянется к пятому изданию «любви и красоты», девятому изданию сокращенного Бокля, девятнадцатой тысяче полной «Истории цивилизации в Англии»...

20

* * *

На этом проигранном поле, мой добрый и старый друг, книжка твоя ляжет лишнею костью... Что в том, что она будет лежать рядом с «благородными костями»; это — поле не только проигранное, но в сущности и забываемое. Новое Время — т. е. не только «Новое Время» А. С. Суворина, но и вообще новое время, которому суворинское лишь подтанцовывает, идет мимо его, зажимая «от мертвечины» нос — к утехам иным, к иным радостям — тем самым, которые значатся в приведенных мною «Объявлениях».

Милый друг, я думаю — нам остается только умереть.

30 с Западом», — ей остается только умереть.

Та Россия, которой предстоит жить — мы эту Россию не будем любить.

Эти бедные селенья,
Эту скудную природу...
Не поймет и не оценит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В красоте твоей смиренной...

— эти «бедные селенья» принимают новый, очень оживленный, но и очень неожиданный вид:

40

Одной ногой касаясь пола,
Другую — медленно кружит,
И вдруг — прыжок, и вдруг — летит,
Летит как пух от уст Эола...

Мы ей не можем пожелать, в этом новом «полете» — никакого добра; мы ей пожелаем всякого зла.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя...

Плакать хочется; однако, отчего же и не посмеяться:

Летит как пух от уст Эола,
То стан совет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.

10

* * *

О, как мы ненавидим вас, виновники грустной перемены; вас и даже — тех, великих, на которых надавив, как малая тяжесть на конец длинного рычага, вы совершили переворот: всех их, от Кантемира, еще наивного, и до злобного Щедрина, не выключая, однако, и промежуточных.

«Горе — от ума», — говорили великие; «нечего на зеркало пенять, коли рожа крива», — успокаивали они же. И тысячи обезьяньих морд, тыкая на словесное «зеркало» — заливались гомерическим хохотом; тысячи глупцов, приняв трагическую позу, говорили, что они задыхаются «на родине», что им «душно», что «незримые слезы» жгут их сердце «сквозь видимый миру смех»...

20

Покачнулись старые кресты, посторонились старые могилы.

Новое время наступило, новая эра пришла, над которою мы не умеем смеяться, над которою еще *не придумано форм смеха*. Идет

«ЛЮБОВЬ» и «КРАСОТА»

Не очень важная «красота» — не Афродиты Медицейской, и не очень редкая любовь — на Большой Морской, дом 33, стоит всего один рубль. Но все-таки...

Может быть, однако, придется доктору потом заплатить три рубля?..

«Без риска — нет удовольствия», — как заметил бы фрагментарно мой друг г. Арсеньев.

Но нет решительно никакого риска; об этом г. Н. Михайловский, когда писал «литературу и жизнь», и еще «литературу и жизнь» и опять потом «литературу и жизнь» — предупреждал юных читателей своих, цветущих силами и здоровьем, говоря, что «выйдет скоро, в очень хорошем, хоть и старом переводе Буйницкого, английский мыслитель, перед которым куда как беден туземный наш Яснополянский мудрец». И г. Скабичевский это подтверждает, — он, под старость лет приютившийся под тою же смоковницей, на Большой Морской, д. 33, откуда исходит Бокль и где занимаются «любовью» и «красотой».

30

Как ведь перепутались, червяки; и не разберешь, где кто начинается и в каком месте оканчивается. Михайловский *рекомендует* Бокля; Нотович его *популяризирует* и издает в девяти изданиях; в *то же время* он оригинально сочиняет «красоту» и «любовь»; у него сотрудничает «критик 60-х годов», г. Скабичевский, милый сердцу Н. Михайловского; того же Бокля Павленков издает,

40

а Евг. Соловьёв пишет к нему «предисловие». Все, очевидно, «сочувственно относятся друг к другу».

* * *

«Дорого эта красота стоит», — говорил старик Мармеладов про свою дочь: нужна и помадка, и то, и сё; без чистоты — в этом положении нельзя».

В 1891 году г. Н. Михайловский спрашивал меня, в ответ на статью «Почему мы отказываемся от наследства 60-х, 70-х годов?» — «почему вы так *голословно* отказываетесь, не приводя решительно *ни одного факта*». Он писал тогда:

10 «В своей статье г. Розанов развивает ту мысль, что мы, старшее поколение, поняли такое сложное существо, как человек — *бедно, плоско, грубо*. Он не подкрепляет свою мысль ни единым фактическим доказательством, ни единой цитатой, ни единым даже анекдотом. Так писать очень легко, но убедить кого-нибудь и в чем-нибудь подобным писанием трудновато. Я могу и сейчас, пожалуй, написать о какой-нибудь, например, лондонской картинной галерее, которой я никогда не видал, что там искусство представлено бедно, плоско, грубо. То же самое я могу проделать с датской литературой, с испанской промышленностью, словом — с любой группой явлений, мне мало известною или совсем не известною. И я склонен думать, что г. Розанову весьма мало известно то наследство, от которого он столь торжественно отказывается. *Голословному* же мнению г. Розанова я могу противопоставить столь же *голословное*. Никогда в нашей истории 20 человек не понимался так возвышенно и тонко, как в те приснопамятные 60-е годы. Были, разумеется, увлечения и ошибки...», и т. д. («Русские Ведомости», 1891 года, № 202).

Теперь, бросив ему в лицо этот ком червей, где и он сам «с Боклем» около «любви» и «красоты» копошится — я могу ответить хоть и поздно, но окончательно о мотивах «отказа» в 80-е годы «от наследства 60—70 годов»:

Помадку, господа, забыли, — чистоты не соблюли: пахнет огонь.

* * *

30 И я могу прибавить, оглядываясь на всю русскую литературу, от архаического Кантемира и... до «третьей книжки» «Борьбы с Западом» * доброго и старого моего друга, — книжки, которой, верно, придется лежать на полках книжных магазинов.

* Кстати, в одном месте ее упоминается, что «один из стаи славной», г. Н. Михайловский, объявил ее автора, т. е. г. Н. Страхова, «совершенным ничтожеством»; он, верно, искал в ней «любви» и нашел докторский рецепт. Мне припоминается и самому, как я где-то читал у него в «Литературе и жизни» издевательства над тем, что «Заря», журнал, в котором в свое время печатались Ап. Григорьев, Н. Я. Данилевский и Н. Страхов — «не имела вовсе подписчиков», а редакция «усиливалась это скрыть от публики», чтобы заманить хоть кого-нибудь к подписке на новый год... Он даже *объявлений* о подписке враждебного журнала не позабыл; даже их он поставил в попрек уже умирающему от равнодушия общества органу литературы, где, одна- 40 ко, печатались лучшие, серьезнейшие труды по критике и истории, теперь всеми признанные. «Вы издыхали, — говорит великодушный критик 70-х годов, — вы издыхали — и осмеливались делать вид, что у вас легкие полны воздуха»...

Кому же «горе от ума» — в *действительной жизни*? И «кому», напротив, «на Руси жить хорошо»? И чье, наконец, мало-человеческое лицо отражается в «некривом зеркале» великого и грустного сатирика?..

Где тот *конкретный*, по имени и отчеству называемый, о ком *безлижно* все это писалось в нашей литературе? Кому *именно*

...вольготно, весело
Живется на Руси?

И кто есть тот «незримо льющий» в ней слезы, о ком великий художник написал в «поэме» своей и забыл *подписать* имя?..

Какая трагедия, какая невыразимая трагедия есть наша жизнь, наша история, если именно пред этим страдальчески-измученным, плачущим лицом, поставив зеркало сатиры, наша словесность хрипит нахально и пьяно:

*Нега на зеркало пенять
— коли рожа крива*

— и заливается, заливается неудержимым смехом, более диким и звероподобным, чем каким, в лучшие дни торжества своего, смеялись на памятном губернаторском балу господина «один потолок» и «другие потоньше».

Усопшие тени и вы, живые праведники, рассеянные по медвежьим углам России — вас зову в свидетели: так ли это? 15 января 1896 года.

ЕЩЕ ДОБРОЕ ДЕЛО НА РУСИ

20

*Николай Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина.
Книга десятая. СПб. 1896.*

Только что вышедший X том «Жизни и трудов М. П. Погодина» принес, в своем предисловии, странное известие; с тем вместе — оно так радостно, что вызывает невольное желание разделить его с кругом читателей более обширным, нежели сколько может иметь их монументальный труд нашего ученого.

Уже несколько времени среди людей, следивших за выходом все новых и новых томов этого труда, ходил тревожный слух, что самоотверженный автор его — лицо столь же замечательное, как необычаен и труд его в нашей литературе, истощив все силы на его писание и все материальные средства на издание, ³⁰ хочет прервать так прекрасно начатую и уже доведенную до половины историю нашего образованного общества за этот век на кончине императора Николая I. Слух этот, перейдя в одну из рецензий, написанную по поводу выхода IX-го тома «Жизни и трудов М. П. Погодина», имел неожиданные последствия. Нужда ученого нашла себе отклик из вечно юного, вечно благородного, не стареющего ни в каких веках сердца России — Москвы. Но пусть говорит автор:

«В ноябре месяце 1895 года, по возвращении моем из Пензы, посетил меня господин московский присяжный поверенный Михаил Георгиевич Бажанов, до-

толе мне вовсе незнакомый. Он сообщил, что доверитель его, *имя коего отказался назвать*, сочувствуя направлению моего сочинения „Жизнь и труды М. П. Погодина“ и узнав из одной статьи, что я не имею средств на продолжение издания моего сочинения, выразил желание придти мне на помощь своими денежными средствами.

Понятно, что я был изумлен этою неожиданностью. М. Г. Бажанов, заметив это, поспешил сказать: *Не удивляйтесь, в Москве еще далеко не перевелись добрые люди и патриоты.*

И вот на другой день памяти Святителя и Чудотворца Николая, который, как поет Церковь, *миру всему истогаает многоценное милости миро и неистерпаемое гудес море*, я получил из Москвы от М. Г. Бажанова следующее письмо:

„Милостивый государь, Николай Платонович! Прежде всего позвольте вам засвидетельствовать мое глубочайшее почтение и уважение. Затем позвольте мне снять инкогнито с того лица, по поручению которого я имел удовольствие, 25 ноября, беседовать с вами в Петербурге. Разумеется, делаю я это с его разрешения, *согласно вашему желанию* знать лицо, идущее на помощь изданию трудов ваших о жизни М. П. Погодина. Я был у вас, глубокоуважаемый Николай Платонович, по поручению потомственного почетного гражданина Александра Николаевича... весьма почтенного и уважаемого, *бывшего железнодорожного деятеля* и коммерсанта в Москве, а ныне *слепого старика, которому теперь шестьдесят* гетьре года от роду, и вот уже *шестнадцать лет лишившегося зрения и страдающего тяжелыми недугами*, который теперь, *вдали от мирских дел, в уединении и тиши* проводит время в религиозно-философских мышлениях, и насколько его средства позволяют, *всюду спешит с посильной помощью к истинно нуждающимся и обремененным. Его заботами и средствами, для религиозно-нравственного просвещения, вновь устроен и открыт, например, женский Рдейский Успенский монастырь, в Новгородской губернии.* Но Александр Николаевич не гужд и просвещения светского. Вышедший из коренной русской купеческой семьи и вращаясь постоянно в кругу того времени выдающихся интеллигентных деятелей, он понимает всю благодетельную силу просвещения. И, несмотря на то, что *вследствие слепоты* его, *вот уже шестнадцать лет ему гитает его секретарь*, он интересуется в литературе всем, *то дорого для блага и просвещения России.*

И вот, своим сильным и чутким от природы умом, он понял, что ваш труд о жизни и деятельности М. П. Погодина не есть только труд ординарный, с слабыми штрихами летопись, но труд весьма капитальный, который должен иметь огромное влияние на настоящее и будущее молодого поколения, так как личность М. П. Погодина, вышедшего из простого народа, с лицами его окружавшими — это Русский народ, на котором держится вся сила и все величие России, по верованию москвича — сила, зиждущаяся на православной религии и преданности Царю и Отечеству. К этой плеяде людей жизни М. П. Погодина принадлежал и Александр Николаевич, лично знавший покойного Погодина, который часто бывал в его семье, так же как и в семье Кокорева и других, где М. П. Погодин, со свойственною ему задушевностью, обсуждал все вопросы, составлявшие тогда злобу дня.

Узнавши из рецензии на вашу книгу, что издание книги „Жизнь и труды М. П. Погодина“ должно приостановиться по неимению у вас средств, Александр Николаевич просил меня, многоуважаемый Николай Платонович, сообщить

вам, что он обеспечивает вам стоимость печатания X-го тома о жизни М. П. Погодина, то есть типографский расход за то количество экземпляров, которое вы обыкновенно печатаете. Причем просил меня присовокупить, что если Господь продлит дни его, то он на тех же основаниях обеспечивает вам издание и XI тома, если таковой выйдет от вас.

Почему я имею честь просить вас, по отпечатании X-го тома, благоволите сообщить мне и Александру Николаевичу подробный счет типографии, вместе с книгой, для уплаты по счету. Пользуясь, и проч., *М. Бажанов*.

Р. С. Александру Николаевичу желательно было бы, насколько возможно, по-
10 скорее начать печатать и XI том“.

Долг признательности, — заключает г. Барсуков, — обязывает меня напечатать почтенное письмо М. Г. Бажанова вместо предисловия к настоящей книге. Благодарные же чувства мои к доброхотному жертвователю усугубляются утешением, что рука помощи *добротоу геловека* (курсивы здесь и далее автора) простерлась мне *именно* из Москвы...».

Вечная благодарность г. Барсукову за опубликование этого частного и даже несколько интимного письма. Исторически знаменательно, ввиду косога света, брошенного литературоу нашею в последние десятилетия на сословие старого купечества, свидетельство, в этом письме содержащееся. Об этом, уже шестна-
20 дцать лет слепом, старике, в тиши безмолвия ищущем, кому бы помочь, основывающем монастырскую обитель и неустанно следящем за успехами «благотельного просвещения» в родной земле — нельзя читать без самого сильного волнения. Понятно чувство, побудившее благодарного автора раскрыть имя жертвователя; не менее понятно, однако, и первое движение самого жертвователя — остаться *не названным*, которое мы здесь исполняем. Не нужно вовсе, чтобы это имя разносилось по стогнам литературы, чтоб оно «сохранялось» в памяти людской: оно — в памяти Божией, и кто знает таинства человеческого сердца, тот знает ту длительную, светлую, совершенно особенную радость, которая наполняет это сердце всякий раз, когда оно уходит от человеческих похвал, затаивается в благом своем деле. 30

О М. П. Погодине в только что опубликованных мемуарах знаменитого историка С. М. Соловьёва — *ученика* Погодина — содержится очень жесткий отзыв (см. «Русский вестник» — за 1896, февраль и март); без сомнения, этот отзыв стал уже известен жертвователю, следящему за всем в литературе, что появляется в ней имеющего отношения к бывлым или же текущим умственным интересам России. Да не смущается, однако, сердце его этим отзывом о бывшем и *его* друге. М. П. Погодин был человек истинно замечательный; нет (по всему вероятно) ложного в показаниях Соловьёва, есть ужасная ошибка односторонности, непонимания; *все* принимая в этих показаниях (хотя они голословны, то есть, не опираются на факты), сохраняешь, однако, полную свободу сказать, что Погодин
40 был натура гораздо более замечательная, несравненно более богатая, обильнее наделенная дарами ума и сердца, чем сам покойный Соловьёв. И вот доказательство: Соловьёв не оставил после себя, несмотря на 30-летнее преподавание, ни одного истинно замечательного ученика; то есть, в своих лекциях он не умел передать понимания, не успел зародить любви к родной истории ни в одном ученике; Погодин — *именно он* — дал всю плеяду светил нашей исторической науки: само-

го С. М. Соловьёва, незабвенных Калачёва и Кавелина, Беляева, Бычкова, косвенным образом — Бестужева-Рюмина. Это уже не обвиняющее *мнение*, это — непоколебимый *факт* *.

- * В труде г. Барсукова, как в некотором *tesaurus*'е нашей минувшей духовной жизни, есть данные, в частности, и для установления правильной точки зрения на мемуары С. М. Соловьёва. См. в книге X, стр. 127, письмо Ф. И. Буслаева о проф. Давыдове, и сравни *толку зрения* Буслаева, его *способ отношения* к этому ученому — с отношением и точкою зрения Соловьёва... Далее, в книге IX, стр. 148, см. свидетельство о Погодине, как *преподавателе*, проф. К. Н. Бестужева-Рюмина, и сравни это свидетельство с отзывом о Погодине, тоже как о преподавателе, в мемуарах Соловьёва. Наконец на 138 стр. того же IX тома можно найти иллюстрацию отношений к русской истории: Соловьёва — отношения *теоретического* и *книжного*, и Погодина — отношения *живого*, т. е. более *глубокого* и *истинного*. Для Соловьёва, напр., «не было монгольского периода в русской истории», потому что краткие летописные отметки не давали ему материала для особой главы, которую он мог бы озаглавить: «следствия монгольского ига». Погодин, с более живым воображением, понимал, что во время монгольского ига русским людям было не до летописания, что потому именно летописи и были кратки, что действительность была слишком обильна страданием. И он с изумлением ответил своему — уже знаменитому тогда, но как-то недогадливому — ученику: «легко *нам сказать*: не было такого периода; но как-то было *нашим предкам пережить* это ига». В этом теоретически-книжном утверждении Соловьёва, и в исполненном живого протеста ответе Погодина сказалась вся разница между двумя учеными. Для Соловьёва русская история была предмет 29-ти томного изображения, достаточный повод для написания этого монументального труда, и в самом заглавии его нам слышится отзвук «Histoire de France *depuis de temps les plus reculés*» <«История Франции времен давно минувших» (*фр.*)>, напр., Анри Мартена и других; для Погодина — все русские, жившие и умершие, были «соотчичи», и сколько бы критика, с ужимками мещанства, ни издевалась над «необразованностью» его «Русской истории до монгольского ига» и других трудов, эти труды суть звучащие в наших ушах удары заступа о дорогие могилы; хороши или плохи эти удары — но они суть плод живого исторического чувства, суть плод неподдельной любви к своему народу, к земле своей. Нужно читать, у Барсукова, как Погодин сравнивал, по значительности, с открытием Ловеррье новой планеты Нептуна свое открытие, — имел ли спутников Дмитрий Донской, сопровождавших этого князя в каком-то походе, чтобы видеть, до чего драгоценна ему была всякая решительно деталь русской истории, — совершенно так, как нам драгоценна каждая вещь, каждая ненужная для всякого другого тряпка нашей матери, которая только что была, мы слышали ее голос, видели ее ласки, и теперь она безмолвно лежит в гробу. Это присутствие в огромной памяти Погодина в совершенно живом, не увядшим виде всей громады русской истории, присутствие ее как толпы определенных людей во всей их конкретности, страдавших, заблуждавшихся, воинствующих, молящихся, мирно возделывающих поля и их обороняющих, и делало его единственным в своем роде живым историком, с которым всякий приходящий в соприкосновение заражался неволью духом историчности, духом исторических изысканий, этим священным гробокопательством, исполненным любви и понимания.
- Позднее ученики могли восстать на учителя, как они действительно и восстали, — это уже не изменяло дела: они восстали на него теми самыми силами, тем самым духом, какой получили от него. И для позднего мыслителя не может быть сомнения, что они все были меньше его, не так значительны в богатстве непосредственных даров, не так плодоносны, гораздо более искусственны, и, так сказать, сделаны школою, а не рождены землею. Одно только выражение, сказанное *устно* Погодиным, и благодарно переданное потомству проф. Бестужевым-Рюми-

Благородный историк его жизни, сверх пяти эпитафий, которыми он с таким вкусом украсил заглавную страницу своего труда, приписал на последнем X томе еще шестой: «Пою — дондеже есмь...» — Живо выразилось в этом эпитафии движение благодарного сердца: готовность трудиться — воистину «церкви и отечеству на пользу», пока не оставят его силы. Все читатели его книги, вся образованная, понимающая Россия уже с спокойствием будет теперь ожидать продолжения его труда. О, как хотелось бы видеть этот труд на полке у каждого студента, особенно Московского университета: тут рассказана жизнь их умственного отечества, рассказана с такою не только верностью факту, но и благоговейною любовью к дням прошлым этого отечества, то есть, с тем чувством, не пробудив которого в себе напрасно выходить на жизненный труд, напрасно становиться сеятелем в родной земле: эта земля не примет ей не нужных, не от ее духа выращенных семян... 10

Несколько дополнительных слов невольно хочется сказать о предметах, сродных с тем, какой побудил нас взяться за перо. Вся Россия не только с живою радостью, но и с удивлением следит за обильным током пожертвований, стекающихся в последние годы отовсюду к Московскому университету. Целый городок — новые клиники на Девичьем поле — возник без копейки, пожертвованной от казны, исключительно на частные средства; только что принесено газетами («Русское Слово», от 8 или 9 марта) известие об основании Музея древнего искусства при Университете*, для которого богатые, много стоившие коллекции слепков и оригиналов уже принесены в дар Университету радетелями «благотельного просвещения», а город бесплатно отводит для здания обширную пустошь из-под бывшего Колымажного двора, поблизости к Университету (средства на построение здания также уже есть, и тоже пожертвованные). Не оскудевает «рука дающего» в Москве, а ум просвещенный умеет и избрать предмет, достойный жертвы. Вот, однако же, чуть-чуть заметный недостаток, который так хотелось бы удалить от одной из благороднейших и обильнейших жертв. Три года назад, не без восхищения оглядывая на Девичьем поле новые университетские клиники — буквально целый городок — и читая вделанные в стены зданий имена жертвовательниц и жертвователей, пишущий строки эти был смущен и даже расстроен некоторым внешним обстоятельством: беловатые, огромные здания больницы, частью с высокими трубами (очевидно для вытяжки воздуха), имеют 20

ным (Барсуков, т. IX, стр. 148), содержит в себе целую историческую школу (антиюридическую, как назвали бы мы ее). Это — целый поток мысли и света, брошенный в одном, чисто русском по меткости слове на родную историю. Но Погодин не умел ничего *развить*, в нем именно не было *метода, школы, мастерства логической обработки и словесного выражения*. Он был подобен почве, рождающей по местам драгоценные алмазы, которые, однако, представляются в грязном, грубом, нисколько не привлекательном виде: позднейшие ювелиры придают им блеск и красоту огней, но, воздавая им должное, мы не должны отнимать принадлежащего и у почвы. Самое обнаружение мемуаров С. М. Соловьёва есть прежде всего ошибка 40 против *памяти* знаменитого историка, который бы никогда их не напечатал (*ведь не напечатал же!*) при жизни, не выбросив одного, не оговорив другого, не смягчив всего изложения.

* Об этом музее и истории возникновения мысли о нем, а также о первых на него пожертвованиях, была прекрасная статья почтенного профессора Московского университета, И. В. Цветаева, в одной из книжек «Русского Обозрения» (Март 1894).

вид неопределенных фабрик, и нет символов, знаков, из которых прохожий, особенно если он безграмотен, узнал бы смысл и назначение городка... Некоторая прерванность, неполнота *идеи*, здесь так реально и прекрасно воплотившейся, отзывалась невольно болью в уме, и тем сильнее, чем этот ум радостнее сливался с благим и прямо великим делом. Ведь, если бы не было христианства — не было бы и всех этих жертв: древний языческий мир не знал госпиталей, больниц, богаделен, не по недостатку в нем *способов* благотворить, но по отсутствию самой *идеи* благотворения, призрения человека человеком, поддержки немощного сильным. «Носите тяготы друг друга, и так исполните закон Христов» — это не правило Цицерона и Сенеки, это завет Евангелия. Итак, в основе дела не Алексеевы, не Морозовы, не Боткины, не Мамонтовы — жертвователи; жертвователь для страдающего и нуждающегося человечества общий есть Христос, люди же суть орудие посредства. Если человек благодарен, если он понимает это, — он это должен выразить. Стыдно, неприлично для Университета, что, получив столь щедрые дары без всякого со своей стороны усилия, он не догадался высказать благодарения первому их Виновнику тем простым способом, каким выражает это движение сердца всюду и уже девять веков русский народ — воздвижением образа и перед ним неугасимой лампы, например, над главными воротами, ведущими в больничный двор; и, далее, — образов святителей, в память коих жертвователи получили имена свои, также с неугасимыми перед ними лампадами; эти образа могли бы быть вделаны в стены отдельных больничных корпусов. Учреждения, где все изошло из христианского духа, должны быть обвеяны христианским духом, в частности — его эмблемами, его знаками. Не знаем, есть ли при клиниках церковь*; дурно, что нет правила *всякого* больного, в клиники принимаемого, на случай внезапной кончины** — приобщать св. Тайн. Надеемся, что муж чести и закона, ныне стоящий на страже попечительства над Московским учебным округом и его университетом, оценит, конечно, лучше и яснее, чем мы это сумели бы выразить, необходимость всего указанного, и найдет способы восполнить недостающее, повторяем — около жертвы, составляющей гордость и честь России...

Еще несколько слов о давнишней печали наших университетов, — и да простит великодушный читатель множество лишних слов, здесь мною допущенных и к предмету статьи прямо не относящихся. Эта печаль — *неразвитость* историко-филологических факультетов наших. Устало сердце ожидать недостающих кафедр в них, и, очевидно, ведомство Народного просвещения, правда обремене-

* И, кстати, не можем не заметить, конечно вне всякого отношения к Московским клиникам, что если найдено возможным допустить на пространстве России соединение дома молитвы с домом учения в так называемой «церкви-школе», то не только допустимо, но даже требуется всеми заветами Спасителя допущение «церкви-больницы», «церкви-богадельни».

** Пишущему известен случай внезапной смерти (от паралича или от разрыва сердца) пациента в новых университетских клиниках, имевшей место 2 года тому назад. Родные внезапно умершего, жившие в далекой провинции и вовсе не знавшие о существовании у него болезни сердца — не роптали на смерть, в которой Бог волен; но был сильный ропот на недостаток правила причащать *всех* при приеме в больницу и на то, что от человеческой небрежности человек умер без покаяния.

ненное чрезмерностью административных забот, вовсе не имеет способов следить за новыми обширными науками, возникшими и возникающими на Западе, которые остаются как бы скрытыми от нашего учащегося юношества. Поразительны открытия, делаемые в области ассиро-вавилонской культуры; толпы ученых изучают тексты на глиняных дощечках и цилиндрах, сохранившихся почти чудесным образом в похороненных, — навсегда, казалось, — под песком пустыни — Ниневии и Вавилоне. Рассказы библейские (например, о потоплении земли), только с другими именами, с другими числовыми данными, но с тем же точно содержанием, как это записано у Моисея, читаются в надписях этих городов, вовсе не знавших Пятикнижия. Самая идея воплощения Сына Божия, идея 10
искупления мира его кровью — факт, совершившийся только две тысячи лет назад — в иносказаниях совершенно ясных читается на глиняных цилиндрах, исписанных рукою человека четыре тысячи лет назад, ранее пророков, царей, судей израилевых: поразительный след Откровения, павшего не на надлежащую почву, заглохшего, забытого, и которое вновь дано было Богом другим народам, умеющим внимать. Как поразительно, какие открывает это горизонты для мысли, какое здесь убеждение для душ сомневающихся, для сердец слабых, которых у нас так много! Но все это — не для нас... Зачем, однако, говорю я о древнем Востоке, колыбели человечества и нашей колыбели — этнографической, религиозной? Уже с начала нашего века, и даже раньше, после трудов Нибура и Винкельмана, история греко-римская есть строгая, замкнутая в себе наука; ее источники, ее литературы, объяснения ее — неисчерпаемы. Думать, что она представлена в наших университетах кафедрой «всеобщей истории», имеющей главным предметом своим христианский мир: средние века, реформацию, гуманизм, революцию, всю эту сложную сеть духовных и политических отношений новой Европы — значит, питать наивную мечту, недостойную ума серьезного и образованного. Ибо, конечно, ни Нибур не был Леопольдом Ранке, ни Ранке — Нибуром, и если бы их насильственно соединили в одном лице, с силами естественно ограниченными, человечество не имело бы как Ранке, так и Нибура, как не имеет их и наша бедная историческая наука, скомканная в одну кафедру. Итак, от нашего потомства 30
скрыт Восток; греко-римская история — вырвана из науки нашей, как предмет самостоятельного изучения, а не компилятивного только изложения. Чего же недостает для этого? Малоспособен ли русский ум? * Недостает *средств* для основания новых кафедр... Тайна успехов науки, как и всякого, впрочем, дела лежит в его развитии, в его ветвлении, в силе безраздельного внимания, которое долгие годы, целую человеческую жизнь устремляется на важный предмет, от которого его не отвлекает никакая забота. Мы уже упомянули и объяснили, что ни времени, ни досуга посвятить себя этой части просветительских забот — нет у министерства; нет, и бесполезно об этом скорбеть, думать, размышлять, томиться; нужно — *творить*. И вот здесь — иссушенная, жаждущая, растрескавшаяся от голода почва, ожидающая *благого* творения души свободной... 40

* До чего, напротив, даже без всяких средств, он рвется к этим новым знаниям, можно судить по тому, что именно в Москве, если не ошибаюсь, г. *Никольским*, изучен язык клинообразных надписей Ассиро-Вавилонии, и этот ученый, без кафедры и лишь с учениками-любителями, переводит и объясняет древние тексты, издающиеся в подлиннике обществом ученых при Британском музее; так было, по крайней мере, несколько лет тому назад.

Мы говорим это в той мысли, что в доброй России, по аналогии прежних лет, по подобию прежних людей, есть и теперь умы, готовые *назвать* подвиг и в размышлении ищущие, где точка самая нужная, куда бы павшее зерно — принесло наилучший плод...

КТО БЫЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 8 МАРТА 1881 ГОДА?

В письме от 20 июня 1896 года, на имя кн. Мещерского * Победоносцев вносит поправку к любопытному сообщению первого о решающей роли, какую играл этот маститый государственный муж в крушении замыслов Лорис-Меликова в 1880—81 гг. Он ограничивает роль Каткова, при этом освещает большее личное участие Императора Александра III, центр факта приурочивает к заседанию «совета министров» 8 марта 81 года, а не к личной беседе своей с Императором, о которой упомянул кн. Мещерский.

Вечная память тем дням; вечная память — конституционным вожделям; они к 81 году достигли апогея напряжения, *тогда* они могли осуществиться, и, конечно, ход всей нашей истории пошел бы новым путем; но раз в этот апогей напряжения они не созрели до величины факта — эта чаша никогда вновь не будет поднесена к нашим устам, этот смертельный яд выплеснут и растоптан...

Но раз уже зашла речь о таком великом моменте, да будут помянуты все добрые...

20

I

Катков, этот угрюмый и страшный человек, эта туча политического идеализма, раздражавшая такими чудесными громами, этот в своем роде *unicum* нашей истории, навсегда для нее драгоценный — не был никогда *изобретателем* в сфере идей; он вообще не был *творческим* умом; он не мог не только чего-нибудь придумать, но и *приспособить* старую мысль к новым обстоятельствам. Достаточно припомнить его требования по отношению к нашим окраинам, повторявшие прусскую систему; жалким образом скомпилированный наш классицизм; его хлопоты о «престиже власти», той власти, которая тайно усиливалась сокрушить его самого **, разложить Россию, развенчать ее — в лице Головнина, Огрызко, «светлейшего» Суворова, Лорис-Меликова... Этот удивительный человек, до сих пор непонятый и нецененный, как будто обладал тысячею языков и ни од-

* Как это сообщение, так и письмо г. Победоносцева перепечатаны г. Тихомировым в «Летописи печати» («Рус. Об.», август 96 г.).

** По свидетельству г. Любимова, сотрудника Каткова, «властительные» преследования этого последнего достигли одно время такой степени, что он серьезно думал перенести публицистическую деятельность в Лейпциг и начать издавать в этом городе патриотическую и монархическую газету, «невозможную» в России.

ним ухом, никаким зрением, вовсе лишен был расчета *. Он отражал удар от трепетно любимой им России и даже не спрашивал, или, точнее, знал, но знал каким-то темным, не отдающим себе отчета сознанием — *откуда же* падает удар, в *чьей* руке занесенная палица? Он был стихийен, и слеп и безжалостен как стихия, к нему идет этот стих Лермонтова о Каспии:

...во блеске власти
Встал, могучий как гроза,
И оделись влагой страсти
Темно-синие глаза.

И как стихия — он увлекал, он гнал или поражал; но он не *убеждал* в 81 году. ¹⁰

Г. Победоносцев — мы судим по ряду им «изданных» в последнее время книг — мог убедить. К стихийной силе Каткова он прибавлял рассчитывающий разум, он придавал определенный и точный довод. Его высокое и разностороннее образование, всегда бывшее образованием активного самоуглубления, а не пассивного «академического» усвоения; углубленная и осторожная восприимчивость, всегда направленная к оригинальному, никогда — к вульгарному; душевная развитость, причина или плод религиозности; стремительность речи, стремительность текущей мысли, ее искренность, задушевность — бесспорный плод углубления в религию; все эти данные в тот великий миг, в миг так страшно переживаемый душою Государя, в миг колебания судеб нашей истории, по самому существу своему — религиозный миг, не могли не привлечь к себе, не вовлечь в себя сердце колеблющееся... Широкое как теоретическое, так и практическое образование в юриспруденции и политических науках могло только поддержать это уже сложившееся влечение; поддержать его доверием, отсутствием страха перед указываемым и принимаемым по такому указанию решением. ²⁰

Едва ли мы ошибемся, или ошибемся грубо, если отгадаем в г. Победоносцеве политического скептика; высокий авторитет своей науки, несколько скептически относящийся к ценности ее содержания. «Курс гражданского права», им также «изданный» — по отзывам всех сведущих людей классический труд — не занимает не только господствующего, но и выдающегося положения среди предметов его внимания; от «правовых норм», очевидно не доверяя их зиждительной силе, он склоняется постоянно к религии и философии, по-видимому с более крепкою верою и несколько лучшими надеждами. Отсюда, как в государственном человеке, недостаток в нем того, что люди назвали бы творчеством, инициативою, но что есть более глубокая вещь: пренебрежение к «предначертаниям», «планам», «программам» и вообще всякому продукту пера и бумаги. Вспомним теплое и живое его отношение к памяти и деятельности Ильминского, просветителя наших инородцев; чуткое внимание к новым опытам со школою г. Рачинского. Мудро и осторожно он верит только в человека и золотник дела предпочитает кипам проектирующей бумаги. В истории государственного нашего развития он представляет параллель, но отрицательную, Сперанского: его подражательности, его вере в формы и отсюда вытекавшей жажде преобразований. ⁴⁰

* То есть, опять, в смысле рассчитывающего, искусственного придумывания, теоретизации.

В идейном отношении, к доводам и порыву двух названных людей едва ли мог что-нибудь прибавить позднее выступивший гр. Д. А. Толстой: могучий характер, обрубавший желания, но один из самых бессодержательных умов нашей истории; автор «Le catholicisme Romain» * — и — кажется — урядников; виновный всего более в том, в чем, по Ксенофону, был обвинен некогда Сократ: в неуважении к богам своего отечества и развращении юношества. Едва ли, по существу своего формального и черствого ума, он был даже очень враждебен *существованию* конституционных форм **. Мог иметь, но не имел *в то время* влияния К. Н. Леонтьев, идеи которого лишь позднее, воспринятые толпой горячих учеников, получили значительность, роковую для всякого конституционализма. Но слышались голоса Н. П. Гилярова-Платонова и И. С. Аксакова, а первому и внимали рассудительные. И целая Россия знала, как ошетинились против нового движения два старые и любимые ее писатели — Достоевский и гр. Л. Н. Толстой: великие мистики, всего ждавшие от обновления души человеческой; великие идеалисты и вместе простецы сердцем, припавшие с последнею надеждой к Евангелию, отвращающиеся от всяких иных *новых* слов: без сомнения самые глубокие умы России за этот век, ее истинные в кремлевском смысле вожди, герои...

Перед этими силами, то действующими, то создававшими атмосферу действия, как шаток был Лорис-Меликов, смиритель Карса и Ветлянской чумы, военный генерал, вздумавший разрешать столь штатские темы; правда, и за ним была партия, также создавшая атмосферу действия — «Калишских и слонимских» публи-

* «Римский католицизм» (фр.).

** Сверх общеизвестного и крупного, множество деталей (которые часто характернее крупного) могли бы подтвердить мою мысль; ограничусь двумя: по сообщению г. Сент-Иллера (в одном из прошлогодних номеров «Нового Времени») введение обязательного всеобщего обучения — мера, около которой так хлопочут либералы наших дней — была в 70-х гг. гр. Толстым предложена на обсуждение комиссии своих чиновников и только потому, что в ней вышли разночтения и не получилось «большинства голосов», введение этой меры было отложено. «Высшие женские курсы» также получили жизнь при нем; но на что мы хотим обратить внимание — это на замечание, которое запомнила и передала в своих воспоминаниях г-жа Стасова, сказанное совершенно серьезно им в день открытия «курсов», на котором он присутствовал: «В моем собственном образовании есть *большой пробел* — я вовсе не знаю анатомии и физиологии». Он был (но только *серьезный и практический*) типичный выразитель духа 60-х годов, носитель их грубо трезвых, но умственно ограниченных стремлений. Замечательно (в связи с «анатомией и физиологией»), что в «Объяснительной записке» к преподаванию логики и психологии в гимназиях, имевшей руководить учителей, так прямо и выражена мысль, что не разрешено наукой, *есть ли душа у человека, уже не поднимая вопроса — бессмертна ли она*. Что в этом безверии задуманная школа стала атеистична, а позднее и революционна — это слишком памятно. См. еще прекрасную статью, с оговорками об Толстом, г. Православного «Правы ли мы» в прошлогоднем «Рус. Об.», и отзывы, — *страх и тревогу* митр. Иннокентия перед реформой семинарий, им введенной (Барсуков — Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский). Но по ограниченности ума своей эпохой, над которой он не поднимался, он вовсе не понимал всего, что делал. Мы знаем, что против слов наших восстанут многие. Я консерватор; но не восстанут те из них, кои привечают к *церковному, народному и историческому* в консервативном.

цистов *, которых Катков пренебрегал называть по имени; хлопотали «Отечественные Записки», с «социологом» Михайловским и выгнанным со службы по Министерству внутренних дел (ведь *служил же*, то есть *захотел* служить) «политиком» Щедриным. Кто *этим* мог бы внимать? Им, только ненавидевшим Россию; им, отечество которых была не болотная и лесистая Русь, не Калужская или Рязанская губерния, но «Das Kapital; Critic etc.» Маркса, «борьба за существование» Дарвина, «над-органическая и под-органическая среда» Спенсера, и еще что-то. Они, эти люди, были «честны» — ненавистью к России; они были «просвещены» — негодованием на науку («Письма к угеным людям» Михайловского); они были «герои» — за спиною безумно умиравших мальчиков и девушек. Но их уста жгли и мучили; «вас все трепещут», — писал о Щедрине в «Записной книжке» Достоевский и насмешливо называл его тут же «Сатирическим старцем». Их все трепетали; этого змеино-го, жгучего яда трепетали и боялись все... 10

И вот что создавало условие *возможной* удачи.

Над Россией в 81 году нависла туча злобы; это было главным содержанием «момента»; злобы именно к России, an und für sich ** существующей — к этой «святой скотине», как ее называли, уже открыто в «*Отечественных Записках*» или «*Деле*», предвкушая «убой» ведомой...

Победила *любовь*. Но кто же был главный победитель?

Смиранные отшельники мира сего — братья Петр и Иван Киреевские. 20

В интересной и прекрасно написанной книжке г. Победоносцева «*Вечная память*», посвященной именам почивших наших деятелей, несколько страниц отведены И. С. Аксакову; там мало сказано о самом Аксакове; говорится об общем и глубоком движении русской мысли, называемом «славянофильством»; отмечается ценность и истинность этого движения. Мы уже отметили широкую восприимчивость, и восприимчивость к *не* вульгарному, высокого государственного человека; но и всеми перечисленными выше умами воспринята была оригинальная мысль этой школы. Им всем — и деятелям, и созидателям «атмосферы» — борьба против конституционализма не внушена была наукою права: ею она за- 30 прещалась; не внушена была практикой Запада: там всюду уже была конституция. Петр и Иван Киреевские, один смиренный собиратель народных былин, другой — автор малоизвестных отрывочных рассуждений, заронили в почву земли родной, всю пропитанную, еще со времен Петра, *самоотрицанием*, новое семя — *любовь, погтение, культ своего, доверие к перевозданной* своей природе. Семя хирело; власти, те власти, о «престиже» которых хлопотал Катков, усиливались его вытоптать; но только десятилетия протекли, и семья спасло «власти»...

Мир вашему праху, основоположники великой мысли; ваша любовь выросла и осветила новым светом Россию...

В 81-м году победило славянофильство, и только оно. Оно победило, как не- 40 который идеализм, затерявшийся среди цинизма дел, понимания речей, как со-

* Так начиналась одна передовая статья Каткова, во время болгарских наших затруднений, в ответ какой-то статье «Вестника Европы», «опирающейся на §§ болгарской конституции».

** в себе и для себя (*нем.*).

держательная мысль среди бессодержательных, волевых * движений; как новый и лучший взгляд на судьбы своего отечества и на его строй. Заметим, что этот год его первой победы был вместе и годом его первого *практического* действия, годом *допущения* его в среду реальных текущих дел.

Будем же ожидать его других действий и назовем здесь то, без коего та первая победа — бесплодна, и, до известной степени, сама мысль славянофильства должна быть признана, в *политической сфере*, неудавшеюся.

II

Практическими людьми, не вникающими в состав доктрин, победа над конституционализмом в 81 году представилась как победа бюрократического строя. Когда великий дар великою школою был принесен на алтарь родины, к подножию драгоценного трона, — множество Акакиев Акакиевичей повыскакали из своих департаментов и стали усердно раскланиваться, благодаря «за услугу». Но это — недоразумение; по крайней мере в составе доктрины, в учении школы, со времен ее основания и до текущих дней — это недоразумение. Однако его вина лежит в некоторой *не готовности*, даже теоретической, самой «школы»...

Ни ею, ни вообще кем-нибудь не разрешена даже теоретически дилемма: каким образом, отталкивая конституционализм, не впасть в усиление и разращение бюрократии; и отрицая бюрократию — не впасть в конституционализм? Где третья, именно как *факт*, как *практическая* возможность, которая, заменив два отрицаемых способа государственной деятельности, не ввела бы замешательства и затруднения в море текущих дел, из которых составлена жизнь; около каждого из которых лежит боль, нужда, выгода, и вообще то, чем люди поступаются и никто не может от них требовать, чтобы они поступились.

Нет сомнения, что славянофильство равно отвергает обе названные формы практической жизни, между которыми колеблется Европа и мы; нет сомнения, что оно не имеет, не *знает* третьей. Идея «земского собора», конечно, есть *только* конституционная идея, где все живое принадлежит *нашим* дням, и древности — только безвредный археологический убор. Нет «соборян», не возрождаемы «людишки» Ивана IV, Михаила Федоровича, Алексея Михайловича; и не восстановим самый собор иначе, чем только в имени. Это — что — «трон Иоанна III», на котором восседая император не чувствует себя нисколько связанным в совершенно новых мыслях. Однако, в некоторое себе утешение, мы можем заметить, что и конституционализм и бюрократизм есть действительно две *частные, местные* формы ведения всех дел, *специфически* создавшиеся лишь в XIX веке и, может быть, лишь для этого века, для его особой психики. Как-то управлялась Франция при Ришелье и Мазарини, ни «дослужившихся до чина», ни постановленных «вотумом народа»; был другой *метод*, другой *способ*. Австрия при Ма-

* Щедрина однажды спрашивали, печатно: во имя чего он смеется? Пусть он выбросит *знамя*. Он имел бесстыдство только сострить в ответ: «обывателю знамени иметь не полагается» (то есть *запрещается* властями, и потому «ату их»). Кроме этого «ату их!», порыва съест, сломать — и не было другой *мысли* в движении; не было мысли столь же *ясной* и *общей*, по крайней мере.

рии Терезии не была бедственна; Людовик XIV был окружен плеядой высоких талантов; и, наконец, мы еще при Екатерине имели бюрократию, но где-то на задворках своей истории. Припомним также иезуитский орден, столь деятельный, так долго успевавший, с великою дисциплиною внутри себя, но и вместе с бездною личной инициативы, с полным простором для таланта разворачивать свои силы; припомним, наконец, армию, которая — если это не армия староавстрийская — близка, но все-таки не аналогична, не родственна со строем чиновничества. Жили Афины, Спарта, Рим, Венеция; Испания при грандах и Флоренция при «белых» и «черных»; Германия при Гогенштауфенах и Англия при Тюдорах; все оне блистали на солнце истории; историю дел, ими совершенных, мы усваиваем с детства как величайшее для себя поучение; эти дела ведь *были, произошли*, но они не «прошли большинством голосов», не были «исполнены в силу отношения за №». Только в XIX веке, только в *одном* этом веке в силу каких-то, но очевидно универсальных причин, мы потеряли все те разнообразные методы жизни, действия, взаимных отношений, и остались, колеблясь, между двумя: или *голосованием* или *выслугой лет*. Черная армия чиновничества, это тусклое скопище людей без имени, без образа, без нравственной физиономии, без таланта, без убеждения и веры, как саваном обернуло собою — не говоря о грубых областях — но даже церковь, просвещение; самую армию; наконец — древние троны. Оно стало общею средою действия всех этих сил; стихией, в которой оне с трудом продвигаются вперед; сферой, из которой в этот век никто не умеет выйти. Иссякновение ли это *порывающихся* сил в человеке? место ли, уступленное, наконец, *труду, методу*, как более постоянным и надежным элементам успеха, нежели талант? *утомление* ли подвигом и жажда дела, как простой *занятости*? выгодность ли, дешевизна? зависть ли и недоверие к дару? страх перед героическим и свободным эпохи по существу боязливой и рабской — кто разберет это? как докажет?

Одно несомненно, что как конституционализм, так и бюрократия равно представляют *механический* принцип, введенный в среду человеческих отношений: механизм уравнивающих друг друга противоположно направленных сил (парламентаризм), механизм силы, давящей в одном направлении на систему точек (бюрократия). Принцип *жизни* есть принцип совершенно противоположный: это принцип творческой цели; принцип *влекущего, огаровывающего, восхищающего*; идеала *зовущего* взамен *томящего* страха. Если бы он мог быть введен в сферу человеческих дел; если бы для него могли быть открыты методы приложения! Эмпирически мы знаем, что *были* в истории эпохи, когда эти мотивы начинали действовать непонятным, не предугадываемым и, главное, не повторяемым преднамеренно образом: в силу *манящей* любви победило христианство языческий мир, надежду найти лучшие средства спасения управлялась и возникала реформация; *верою* в осуществимость на земле лучшего гражданского строя поднялась революция. Во все эти эпохи, столь несродные и разделенные во времени, человечество не слышало над собою свистящих бичей и оно бежало, спешило, напрягало силы, умирало, как никогда из страха, по боязни, ради выгоды. Итак, вот новые мотивы, вот сила, возбуждающая деятельность, какой мы не можем достигнуть никаким механизмом. Но как этой силой овладеть? как это солнце бытия человеческого утилизировать, подчинить усмотрению или закону и вообще, раздробив его лучи, ввести их действие в мириады маленьких, нас занимаю-

ших дел — эта задача не разрешена и разрешима ли, никто не знает. Между тем, именно *так* жить присуще человеку; именно стремясь, любя; сохраняя *свободу* свою и не закрывая своего *лица*. И если до сих пор, мы видим, именно в мириадах маленьких дел он гонится страхом как раб, бежит как осужденный преступник и укрывается, и обманывается, то защищаясь, то нападая — как зверь во враждебном лесу — конечно, это не норма, не закон; конечно, выбежать из этого леса есть главная и мучительная, естественная жажда в человеке. Но как выбежать, куда для этого направиться: как восстановить в себе нормальный мотив деятельности вместо системы рабских страхов — этому не научил его никто, и без научения этому напрасно было бы отменять старые мотивы...

10 Вот в *изобретении*, в *открытии* чего лежит важнейшая политическая задача, по крайней мере славянофильства. Мы повторим свою мысль конкретнее: отвергнув одну форму механического сцепления человеческих дел (конституционализм), оно не может оставить народное тело и при другой (бюрократизм). Ибо гнилостное разложение при первом ни мучительнее, ни менее достойно, и, главное, оно не худшим окончится, медленное мумиеобразное высыхание болеющего тела при другом. Его преимущественная обязанность искать живых сил; третьих форм, третьих методов и труда и жизни. Мы указали общё, что он заключается в идеале как *влекущем, манящем, притягивающем*. Но это пока — алгебра, и в переводе ее на конкретный язык, в отыскании *практических* способов лежит именно трудность, ожидающая талантов и труда.

6 июля 1896 г.

ЕЩЕ О гр. Л. Н. ТОЛСТОМ И ЕГО УЧЕНИИ О НЕСОПРОТИВЛЕНИИ ЗЛУ

В обществе ходит (по крайней мере, в Петербурге) новое произведение гр. Л. Н. Толстого — письмо его к г. Кросби. «My dear Crosby»* — это обращение, оставленное без перевода, служит как бы заглавием русского текста небольшой, страниц в 10 малого формата, статьи. Не только подпись автора и обозначение «1896 год», но также внутреннее содержание письма и особенно слог его не оставляют сомнения, что мы имеем в нем действительно позднейший труд гр. Толстого. Оно могло бы — за исключением, впрочем, немногих строк, почти только отдельных выражений — появиться в печати. Его язык — умерен, изложение — спокойно; в общем оно производит впечатление гораздо лучшее, нежели многие из последних писаний знаменитого моралиста.

I

Его тема — «непротивление» злу, разъяснения этого доказательства; Толстой отвергает здесь известный выставляемый ему пример: что стал бы он делать, видя разбойника, готового убить младенца? Он называет этот пример фантасти-

* «Мой дорогой Кросби» (англ.).

ческим и самое придумывание подобных примеров относит к нашей нравственной лени, которая, в нежелании исполнить Евангельское слово, укрывается за невозможные случаи. В общем нельзя не признать этот упрек справедливым; но, именно в общем же, чего он хочет? чего достигает?

«Любите друг друга», «будьте милосердны», «прощайте обиды» — кто этого не знает? Это — учение Церкви. Нужно *так* эти слова сказать, нужно иметь *силу*, нужно владеть *умением* так выговорить их, чтобы люди действительно, бросив дела свои, обратились каждый к делам милосердия, любви, прощения обид. Говорит ли так Толстой? бегут ли люди за ним, хотя бы так, как за Иоанном Кронштадтским, стекаются ли к нему с таким доверием, как стекались к о. Амвросию Оптинскому? Нет. Он — литератор, *только* литератор. Он не пророк, он не священник. И в этом вся тайна. Мы слабы, дурны; мы знаем слово Божие и не исполняем его. Нужно, чтобы кто-нибудь расплавил кору порока около наших душ; чтобы кто-нибудь коснулся души нашей отяжелелой и окрылил ее к добру, которое *теоретически* она знает, практически неможна исполнить. В силу лежащего на них священства, *некоторых* и в *некоторой* степени окрыляли к этому добру Иоанн Кронштадтский и Амвросий Оптинский; никого не окрылил Толстой. Он увеличил массу разговоров на эти темы; вызвал множество печатей, и без того чрезмерной; он произвел повторение и повторение теорий, которые, может быть, потому так и недействительны, что слишком обволоклись словами, в своем роде — отяжелели под изукрашающим словом и не умеют дойти до души. Во всяком случае, ни нового, ни значительного тут нет.

Но он говорит: «*Не противься злему*»; никогда, ни в каком случае всякий да не противится» (письмо к г. Кросби). Действительно, тут есть новизна, но есть ли истина? Прежде всего, слова эти в Евангелии есть ли завет главный, универсальный, все собою покрывающий, на котором «висят писание и пророки», как это указано нам, в известных словах, относительно любви к Богу и любви к ближнему? Нет, Толстой понял как единственную почти для себя заповедь или, по крайней мере, как заповедь главную, как основу своему учению — слова совершенно простые, без особенного в них значения, кроме того, какое принадлежит всякому слову И. Христа. «Я же говорю вам: не противься злему» — ничего еще не значит, кроме увещания: при встрече с злым, сварливым человеком, с человеком неуступчивым, задорным — уступи ему, не раздражай своего сердца, не оспаривай его, и, в пределах возможного, не нарушая других верховных заветов, сделай даже вид, что ты с ним согласен. Но, Боже, неужели Спаситель хотел сказать, что — что бы вы ни увидели, какая бы мерзость перед вами ни происходила — выткнув покорно руки, пожалуй сложив эти руки пассивно, вы говорили бы в душе своей: «*не противлюсь злему* и есмь праведен». Какая клевета! какая клевета на самого Спасителя! И неужели, неужели, если бы Спаситель ставил это высочайшею заповедью, в Евангелии не было бы это оттенено, указано, как-нибудь выражено, как ясно выражено, точно оговорено верховенство заповедей о любви к Богу, о любви к ближнему.

Таким образом, что касается слов Спасителя, на которых Толстой пытается основать свое учение, он, без всякого на то указания в Евангелии, понял их усиленно, чрезмерно; он поработил все Евангелие одной строке в нем; он, вместо того, чтобы ясно и спокойно читать это Евангелие от начала и до конца, берет

карандаши красный, зеленый, синий и с усилием все новым и новым, с раздражением все большим и большим подчеркивает одну строку и, поднимая взор на людей, гневно спрашивает: «Видите ли?» — Да, видим; и в меру сил своих не противимся злumu, а когда противимся, считаем это за грех и искушение и впредь ему пытаемся не поддавать. Чего он требует еще? В меру того, насколько в словах его есть истина — они исполнены, не по его требованию, но по учению Церкви, и не исполнены только в той части своей, в которой представляют исключительность и преувеличение и перестают быть истиной.

II

- ¹⁰ Толкуя как верховную и исключительную заповедь совершенно простые слова Спасителя, промежуточно сказанные, — Толстой, в том же письме к г. Кросби, лишает какой-либо силы целый евангельский рассказ, принимая его за случайный эпизод, без всякого руководящего и указующего значения. Мы разумеем изгнание торгующих из храма. Это уже не одна строка, это — страница; это не слово, но акт, деяние; это — *первое* деяние И. Христа, когда он выступил на общественное служение, и невольно мысль наша останавливается на нем. Можно ли отвергнуть, что Спаситель не имел ничего указать нам им, что евангелистами внесен этот акт на страницы Нового Завета случайно, по старческой памятьности, которая и важное и неважное одинаково заносит на страницы летописи? Сместем ли мы так думать об Евангелии? Однако почти так думает об этом Толстой, в кратких словах оговаривая, что Спаситель, при этом, «оружия не употреблял», что Он «не бил». Он взял «*биг*», и изгоняемые вышли; он их *понудил* выйти; и слова: «дом Отца моего не делайте домом торговли» — так же святы для христианина, как святы (истинно святы) и слова: «не противься злumu». Но те слова о несопротивлении были сказаны позднее; раньше чем раскрыть свое учение, Он указал, что в месте святом не должно быть несвятое. Вот завет, и он связуем с заповедью, верховенство которой оговорено в Евангелии: «Возлюби Господа твоего всем сердцем твоим и всем помышлением твоим; возлюби ближнего, как самого себя». — Да, возлюби Бога — это первое, это абсолютное; ранее этой любви еще ничего не началось в тебе, ты еще не христианин, и нечего тебе спрашивать о других заповедях, помышлять об их исполнении. Ты возлюбил Бога, ты Его крепко держишь в сердце? — теперь возлюби ближнего силою Божией, которая сообщена тебе через исполнение первой заповеди: как *самого себя*, то есть менее, чем Бога, под условием неослабления к Нему любви. Ты это исполнил; теперь взгляни вокруг себя: не осквернен ли святой храм делами, в нем неуместными, не дурными в самих себе, позволительными за оградою храма, но в самом храме недопустимыми? И это сделано? Итак, радость в сердце твоём, мир вокруг тебя: теперь — не противься злumu. В веселии сердца своего прости заушение, какое нанесут тебе, и обними врага своего; все это — уже малое, то есть мала твоя обида, ничтожна, презренна, не обращай на нее внимания. Вот ясный евангельский путь, вот ступени требуемого от человека, если понимать Евангелие не как компактную массу слов, если различать в нем первое и второе, господствующее и подчиненное, или, точнее, — поясняющее.

III

Толстой исключает вовсе *деятельную* любовь, он закрывает от людей мысль, проходящую через все страницы евангелистов. Он убеждает: *будем любить друг друга*. Но как? но через что? но в чем обнаруживая и доказывая эту любовь? Неужели, если мы рассядемся по стульям и будем пылать взаимною любовью — пусть это возможно, — мы уже можем подумать, что завет евангельский исполнен нами, и вознести Богу молитву фарисея: «Благодарим Тебя! мы уже не так-вы, как прежде, и как теперь иные», еще продолжающие сопротивляться злу. И какая бы мерзость перед нами ни совершалась, что бы *между* стульями у нас ни произошло, пусть это будет кровь, насилие, растление, каждый из нас, видя все и беспокойно пошевеливаясь на своем сиденьи, не смел бы, однако, под страхом сейчас же перестать быть христианином, спустить ноги на пол и побежать к чужому горю, против чужого злодеяния. Какая мерзость! какое запустение жизни! какое понимание Евангелия! И как, наконец, мы узнаем, что «истинные христиане» еще пылают любовью? Может быть — они спокойно дремлют; при невозможности двинуться — они и непременно задремлют; они устанут *говорить*, к чему их приглашает Толстой, что единственно он допускает как средство *противления* злу. Эта словесность, эта всепоглощающая словесность, которая потянется на новое тысячелетие, на тысячелетие нового понимания Евангелия, — станет, наконец, невыносима, отвратительна; никто ей не будет внимать, зная, что никакого действия за нею не последует и не может последовать; и, конечно, после некоторого употребления недействующего орудия — все перестанут его употреблять. И что за странность: может быть, *я не умею* убеждать? Я косноязычен, — нет? я так непривлекателен лицом, что всякий, взглянув на меня, — засмеется и отвернется? Средства убеждения мои — так же бедны, как у Акима из «Власти тьмы», перед сонмом образованных сотрудников «Вестника Европы»? Что *ему* делать? что *мне* делать? что делать *нам* всем? А ведь доброе, благое сердце нудит и нас к деланию. «*Убеждайте* разбойника, стоящего над младенцем... — пишет Толстой в письме к г. Кросби, — он может удержаться тогда». Но вот же сам он, со всем духом своим, при всем совершенстве, не убедил даже ближайших своих родных последовать своему учению, — как же можем мы, без всяких даров, подействовать даже на разбойника, и притом так скоро, что, подняв нож, — прежде чем его опустить, он уже станет другим человеком?

IV

«*Не противься злumu...*». Но ведь в Евангелии не сказано: *оружием, бигом*. Быть может, вовсе не нужно противиться злumu, т. е. не употреблять против него и убеждения? Если Толстой так озабочен исполнением евангельских слов, если никакой *своей* мысли он не преследует, если только боится не исполнить волю Божию — зачем он не понимает выражающего ее слова полно, без прибавлений, без убавлений? «*Не противься злumu*», т. е. вовсе оставь думать о нем, предоставь злу совершаться по законам природы физической, природы человеческой или, наконец, по усмотрению Божию: больного не лечи, от града и засухи полей не оберегай, и, наконец, когда торговец-кулак хочет обмануть тебя при покупке

леса — обмана его не замечай и ни в каком случае его не обнаруживай. *Не противься злему* — когда это народное бедствие; но ведь Толстой едва ли не помогал голодающим? *Не противься злему* — когда это твое бедствие; но, ведь, он призвал медиков, когда у него прошлую весну умирал маленький сын? *Не противься злему*, когда люди не понимают, что — зло и что — добро; но он же пишет сам, т. е. в пределах сил своих и понимания противится существующему злу. Но вот он оговаривает: противься, но не касаясь *кожи человека, тела* его. Почему? Это в Евангелии не сказано! Это — телесное понимание зла вопреки духовному, евангельскому. В Евангелии прямо сказано: «Если глаз твой соблазняет тебя, если соблазняет тебя рука твоя — вырви глаз, отсеки руку свою» (Марка, IX, 43—47); и сказано также: «Возлюби ближнего, как *самого себя*», т. е. *по подобию себя*. Слишком ясно, что сопротивление злу насильем не только допущено в Евангелии, но и прямо указано, требуется. Кого же Толстой хочет обмануть? как можно поддаться этому обману? «Истинно, истинно говорю вам: если кто *соблазнит* единого от малых сих, верующих в Меня, лучше было бы, если бы камень повис на шее его и пучина морская поглотила его». Это — слишком страшно; «лучше было бы» — до того духовное зло соблазна представляется страшным. И еще бы: в Евангелии на все вещи брошен взгляд из вечности; а мы на самую вечность смотрим с точки зрения неболящей спины. Боль, которая протянется до завтра, заключение в тюрьму на сентябрь и октябрь месяц — заставляют забывать нас и небо и землю. Это — так страшно: ни в сентябре, ни в октябре я не увижу милой Аркадии; так страшно, что все будут смеяться над моею экзекуцией. Нет, уж лучше я отрекись от Бога; нет, уж Бог с ней и с Церковью, только бы меня не высекли. Какая мерзость! какое низкое падение человека! И Толстой сочувствует ему, влечет туда же человека.

V

Всегда мне представлялись загадочными и смущающими слова Спасителя, сказанные в ответ на упрек ученикам его, почему они не постятся, как ученики Иоанновы: «Могут ли, — сказал Христос, — поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? *Доколе с ними жених — не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених; и тогда будут поститься, в те дни*» (Марка, II, 19—20): «*Доколе...*» Он сказал; «*приидут другие дни, когда люди будут поститься*», — прибавил Он. И еще в другой раз Он сказал: «*Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и догь с матерью ее, и невестку с свекровью ее. И враг человеку — домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, — недостоиен Меня; и кто любит сына или догь более Меня — недостоиен Меня. И кто не берет креста своего, и следует за Мною — тот недостоиен Меня*» (Матф. X, 34—38). В последних словах указана Спасителем цель своего пришествия; но сказано с печалью и о последствиях, какие вытекут из этого пришествия по слабости человеческой, по необходимости греховной и злой его воле. И как слова любви и милосердия текут по всем страницам евангелистов, эти же страницы пронизывает и угроза: в прямых словах, как приведенные, и в притчах. Но все грозное

и печальное, всякая нужда и скорбь — отнесены к будущему. Пока Спаситель был между людей, когда «жених был в чертоге брачном», естественное и необходимое в другое время, необходимое и нужное во всякие дни — на эти *особенные* дни было отменено. Для всех остальных дней, кроме Спасителя пришествия на землю, дан завет: даже от отца, даже от матери, не говоря уже о других «ближних», отделиться, если эти «ближние» и родные отделяются от Христа или в чем-нибудь Его учению противоборствуют; принять крест на себя, т. е. страдание, и нести его до победы, — как это и исполнили апостолы и ученики их до победы при Константине Великом, и исполняет весь христианский мир — до этого века блудливого и неверного, который на словах Спасителя думает основать борьбу против Него; направляя меч против Евангелия, им же обороняется, как щитом. ¹⁰

VI

«*Не противься злему*» — и Толстой понимает это как несопротивление и злу вообще. Но кто есть *первый* злой? Отвергнем ли мы, что вовсе не человек со своим слабым соизволением, но иной и могущественнейший стоит за ним и влечет его к злу? Мы не отвергаем Бога и Божие в человеке; не отвергая в человеке и демонического, отвергнем ли мы того, именем кого называем темные влечения в нем? Кому же Толстой указывает человеку не противиться? с кем пытается убедить нас умерить, смягчить борьбу? Он пишет, в том же письме к г. Кросби, что «физически не может, не в состоянии присутствовать» в суде, «осудить ближнего». Он так добр — верим ему. Но так ли он рассудителен? Ему представляется суд как некоторое таскание осужденных на веревке в темницу, и он от этого грязного и жестокого дела отказывается. Но зачем же учил он в Яснополянской школе, когда и училище можно определить как место, где дети наказываются. Он взял побочную сторону предмета и определил предмет через нее, упустив сущность. Его в суд зовут *рассудить* дело, а не осудить человека; помочь людям разобраться между множеством известных и неизвестных данных и сказать, по разумению, слово правды. Это — правое, святое дело. Можно жалеть о публичности судов и выставлении без вины, на позор людей, человека, который, быть может, будет оправдан; о театральности, о состязании в красноречии; вообще святая идея суда и наказания у нас утрачена, да и не юристы — делатели «святых дел», а они, к сожалению, были строителями суда. Но, повторяем, в основе своей — это идея святая и необходимая; и Бог будет судить людей, а уж Ему ли бы не простить, Он ли не благ, не человеколюбец? Но идея суда необходима не божественному милосердию, но человеческому достоинству. Животных не судят; их бьют или еще чаще прощают. Человек один подлежит суду, и только утратив в себе всякие человеческие черты, он откажется от права своего, от высокого преимущества — быть судимым. В помиловании он нуждается, милосердия он ищет; но не ищет бессудности, — и помилование возможно после доказанной вины, милосердие может быть оказано уличенному и обвиненному. Идея греха глубочайшим образом завита в наказание и суд, — и удивительно, как чистые юристы, как только юристы призваны были у нас сперва к организации, а теперь к реоргани-

зации судебных учреждений: это — показатель, что совесть уже утрачивается нами и мы понимаем только удобства и неудобства *правило*-нарушений, за них одних судим, без всякого ужаса перед грехом, без всякой святости негодования против него. Через суд и воздаяние человек ранее, чем подойдет под Вечный суд и осуждение, к нему приуговоряется: чтобы ответить легче там, он хочет бояться и удерживаться здесь. Вот полная идея суда. Человек борется — прежде всего со злом в себе; а потом — и со злом в другом, помогая ему. В целой своей жизни, во всей истории — он борется божественными силами, в нем заключенными («Божией искрой», как прекрасно усвоено у нас), против сил демонических.

¹⁰ Церковь и суд — краеугольные камни этой борьбы. Церковь влечет нас к Богу; она не нудит; она в себе самой, в святости своего научения, в благодатных своих дарах содержит источник великого притяжения, и сильнейшие из нас тяготеют к добру только через нее. Есть, однако, между нами слабейшие, в которых демоническое властнее, Божеская искра вот-вот погаснет. Их без призора оставить — безжалостно; нужно поддерживать в них этот гаснущий огонь. И именно потому, что он гаснет, — они не внимают более слову; их не влечет та сила, которая для лучших достаточна. Эта крупинка железа так мала, что ее не влечет магнит, и она носится ветром туда и сюда. Дурно ли поставить для нее преграды в этом движении; ограничить в идее и слове (*закон*) для нее свободу? И, наконец, в самую эмоцию движений, во внутренний порыв — примешать ограничивающий и смущающий страх? Вот идея наказаний, вот оправдание суда. Влеку ли я к добру, отталкиваю ли от зла, я равно творю благое. Так творит и человек, история, имея Церковь, учредая суд.

VII

Толстой хотел бы энервировать человека, вынуть из него все страстные эмоции. Он именно хочет погасить в нас искру, которую затеплил Спаситель. Разве Иоанн был бездеятелен? Разве Петр не был пылок? И Он *избрал* их, то есть Он нашел, что свойство живой деятельности и пылкого сердца особенно отвечают, как восприимчивая почва, семени, которое Он пришел бросить в человека. Петр ³⁰ отсекал ухо воину, пришедшему с другими, в числе стражи, взяты Учителя; Спаситель приставил ухо и исцелил раненого, — ибо то, для чего Он пришел на землю, должно было совершиться, да и воин, пришедший сюда не по своей воле, не был ни в чем виновен. Но, однако же, Петр *отсек*, — таково было его *первое* движение; Иаков и Иоанн *хотели* низвести огонь на самарянское селение, которое не впустило к себе Иисуса, как иудея, идущего в Иерусалим. А они были не худшие, Христос не избрал себе в ученики лукавых, порочных, злых. Но негодование не есть проявление зла в человеке, а часто — правды; и наказание не есть злое действие, а часто праведное. Христос входил в общение с мытарями; однако он не вошел в общение с фарисеями. Мытари были внешне унижены, но они были чисты сердцем; они сознавали грехи свои, они каялись. Таковых возлюбил Христос. ⁴⁰ Но и Он юношу богатого — *отпустил*, книжников и лицемеров — не искал *при-влезть*. Та, не заключающая в себе никаких внутренних разграничений, «любовь», тот *звук* любви, который мы произносим, — и он естественно касается всех, ни-

кого не обходит — не из Евангелия. Это не та любовь, которая нам заповедана Спасителем. Любовь ищет, разглядывает; любовь трудится, любовь соучаствует людям; любовь часто гневается, иногда негодует; она иногда даже наказывает. Но эта «любовь», которая нам проповедуется со страниц журналов? Которую несет и Толстой людям? Отчего она так мало жжет? Так мало утешает даже несущих ее, — как утешает истинная любовь? Она не ласкает, не возбуждает, она — *мертва*. Отчего это? какая тут тайна? Нет *любящего* сердца: это — риторическая любовь конца XIX века, искусственный цветок, сделанный в подражание живому, который умер.

* * *

10

Проповедь Толстого не имеет и так же не будет иметь действия, как попытка г. Вл. Соловьёва способствовать соединению церквей; не по отсутствию надобности в этом, но по отсутствию способностей к этому в инициаторах обоих движений, полурелигиозного и полуцерковного. Если бы кто-нибудь явился с Запада ли, на Востоке ли с равною любовью к разделившимся церквям, с горем мучительным об этом разделении, с слезами, с ночами без сна, с убеждением к людям, молитвою к Богу, если бы в порочную толпу нас вошел кто-нибудь с даром истинной благодатной любви, если бы не оратора мы видели перед собою и не литератора, если бы перед нами явился *святой*, то есть Богу угодный человек, и к этому нас позвал — Божие дело совершилось бы. Такогожде ждем; дело ими предпринятое — не отрицаем; их отвергаем.

* * *

Р. С. Я только что прочел (в мартовской книжке «Северного Вестника») биографию Ницше, писанную лицом, его близко знавшим, и которая была им лично просмотрена, — и, ввиду все возрастающего внимания к этому философу, не могу удержаться, чтобы не сказать о нем нескольких слов.

Стрелка попорченных часов может делать какие угодно любопытные движения, но она не может показывать *время*; Ницше, в течение 14 лет медленно сходящий с ума (наследственная болезнь) и в эти именно годы написавший свои сочинения, мог написать в них много любопытного, но все это любопытное имеет тот недостаток в себе, что оно — *не истинно*.

Кажется, это неоспоримо; и, кажется, это достаточно, чтобы удержать *ищущих истины* от изучения его сочинений. Заблуждаться же можно многими способами, на многие манеры, и между ними есть тот, который нашел Ницше и который зовут, без всякого на то права, его «философией». Ибо самой идеи *знания*, самого усилия к *правильному* в мысли у него не было; и как он, так и труды его — даже не лежат в той общей *категории*, куда мы относим родственные факты «науки», «философии», «знания», «понимания».

НЕЧТО О ДЕКАДЕНТАХ, «ЛАМПАДНОМ МАСЛЕ» И О ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТИ НАШИХ КРИТИКОВ

Играй, Адель,
Не знай печали;
Хариты, Лель
Тебя венчали
И колыбель
Твою качали.
.....

Пушкин

Rira bien, qui rira le dernier *.

Поговорка

10

I

Талант шутки, остроумия, веселости исчезает у нас. Мы входим в какую-то «меланхолическую» эпоху, где, по-видимому, вовсе будет отсутствовать смех. Тем приятнее, когда ухо наше неожиданно поражается полузабытыми, старыми звуками смеха, этого *друга* человечества, друга всего в нем *добро*, *простого*, *живого*. Такое или приблизительно такое ощущение прошло, вероятно, по душам тысяч читателей, когда в № 7380 «Нового Времени» они пробежали нижеследующую пародию г. Буренина. Но сперва прочтем пародируемый оригинал. Г. Мережковский, поэт, романист и критик, грустно-задумчиво изобразил состояние своей души:

20

Не пылит еще дорога,
Но везде уже тревога,
Непонятная тоска;
Утомительно для слуха
Где-то ноет, ноет муха.
В тонкой сетке паука.
И похож далекий гром
На раскат глухого смеха,
В черной тьме, в лесу ночном
Грозовой тяжелый запах
Удушающего меха (sic).
В небе гул глухого смеха.
О, тяжелый душный запах!
Этот мрак не успокоит, —
Сердце бьется, сердце ноет, —
В сердце — вещая тоска,

30

* Хорошо смеется тот, кто смеется последний (*фр.*).

Где-то муха ноет в лапах,
В страшных лапах паука...

Г. Буренин, как эхо, отозвался:

Не скрипит еще телега,
Но везде уж дышет нега,
Непонятная печаль.
Утомительно и слабо
В тростнике воркует жаба,
Небо сине, как эмаль.
По дороге бродит баба 10
От ухаба до ухаба,
Мне тего-то огень жаль.
Не скрипит еще телега.
Хороши Лопе-де-Вега
И Шекспир, и Кальдерон!
Над листьями их склонен,
В них умом вникаю слабо.
По дороге бродит баба,
От ухаба до ухаба,
Муха, *пасмурно-дика,* 20
Ноет в лапах паука.
Ноет муха в страшных лапах
А в носу я скверный запах
Ощущаю — почему
Сам, ей Богу, не пойму..
От того ли ощущаю,
Что, отдавшись забвению,
Я Волинского статью
Философскую читаю,
А Волинский? — это «труп»? 30
Или Федор Соллогуб
Декадентский душный запах
Из рассказа «К звездам» льет?
Ноет муха в страшных лапах,
Все пауков ее сосет;
По дороге бродит баба,
И в стихах, как будто жаба
Символизма, *стонет слабо*
Мережковская мадам,
Восхищая весь Бедлам 40
Раби Флексера Акима... (*г. Волинский*)
А телега — *мимо, мимо,*
Едет вдаль неупорно
Ни вперед и не назад,
И «андроны» в ней сидят

С мудрой Венгеровой в ряд,
 Сбоку чорт шагает в стуле,
 Мчатся в смятку сапоги.
Не видать кругом ни зги,
 Мысль и разум потонули
 В декадентской болтовне,
 Лишь *гитательского смеха*
Слышно где-то в стороне
Не смолкающее эхо.
 Удушающего меха
 Иль енота, иль хорька
 Роковой, тяжелый запах!..
 Где-то муха ноет в лапах,
 В страшных лапах паука..

10

Это — прелестно. Миньятюра, шалость, — но в *своих* целях, в *границах*, для нее поставленных — она прелестна.

II

Многие считают, но напрасно, г. Буренина «пустым» шутником. Он видит, что эпоха меняется, и сильным пером своим отталкивает надвигающиеся сумерки, пытается удержать минувшие *ясные* дни. Он сам, вероятно, не будет возражать, если мы скажем, что смена психических настроений в истории, что угадывание грядущих зол и благ — не есть сфера его таланта. В общем, видя уродливое перед собой явление, он со всею злобой, с *гестною* злобой писателя и гражданина, терзает его. Но он мог бы вспомнить, что когда весна настанет — кучи мерзлого дотоленавоза вдруг начинают издавать нестерпимое зловоние; и, все-таки, весна, лето — это нечто желанное после зимы. Декадентство есть отвратительное и ужасное, до известной степени, явление; но вот, мы видим, оно неудержимо растет вопреки логике, эстетике, морали, среди всеобщего к нему отвращения. Очевидно, тут пробивается какая-то жизнь, струйка нового чего-то в истории. Но не есть же *жизнь* — бессмыслица; не есть *жизнь* — порок. Очевидно, декадентство есть только *сопутствующее* явление, есть только тающий весенний навоз. Пройдет немного лет; мелькнуть колеблющиеся, неверные дни весны: навоз обсохнет, будет сожжен горячим солнцем «истории», а то, что *за ним* и отчасти *одновременно с ним* выступит — бесспорно не будет ни бессмысленно, ни порочно. Вспомним 60-е годы, к которым по возрасту принадлежит бичующий декадентов критик; ни фигура Кукшиной из «Отцов и детей», ни Губарева из «Дыма» не суть выдумка, фикция; и, между тем, в *бодрости* своей, любви к *работе*, в серой *простоте* — 60-е годы несли в себе нечто новое для истории и лучшее, чего вовсе не было в изящных, ленивых, изнеженных в духовном эпикуреизме 40-х годах. Так и теперь: этот талый навоз декадентства нет основания считать чем-то *исчерпывающим* наступающую эпоху.

30

Кто знает, отвратительностью своею не удержит ли он нас от некоторых, уже теперь *видимых*, зол? Возьмем религию: нельзя сказать, чтобы декадентство

было в антагонизме с нею в той мере, например, как типичные писатели 60-х годов. Напротив, бессмысленные струны декадентов наигрывают что-то, в чем слышно нам религиозное. Но это — непременно *уродливо-религиозное*, непременно *новое* в религиозных порывах, отнюдь не связанное с *исторической* почвой христианства, с *сложившеюся* церковью. *Этому* всему декаденты враждебнее, чем даже писатели 60-х годов *. Они все какие-то *сатанаилы*: Бог их не привлекает, а имя демона заставляет весело играть их сердца. С тем вместе все они — отвратительные эротоманы **. И вот, кто знает, в видимо нарастающем религиозном возбуждении быть может декадентам суждено сыграть высшую оберегающую роль: чем ярче, чем бессмысленнее, чем порочнее вспыхнет эта «поэзия» — все чистые сердцем и рассудительные умом прочнее ухватятся за основы подлинно-исторического христианства, т. е. за *церковь*. 10

Но здесь мы вступаем в область современных движений, которую г. Буренин порицает не менее, чем декадентов. Он писал, между прочим, с талантом меньшим, чем о декадентах, но, кажется, еще с большим раздражением:

«Кликуши и юродивые выскакивают теперь во всевозможных видах: иногда — в виде критиков и публицистов, поучающих и проповедующих *семинарским языком семинарские истины, пропитанные семинарской тупостью и еще таще семинарским лицемерием*. С Божией помощью, мы дожили до такого времени, когда читателей этим блюдом угощают с самою очаровательною развязностью гг. Розановы, Тихомировы, Говорухи-Отроки, Болтухи-Младенцы и тому подобные патентованные *книжники*, твердые в доктринах *новейшего фарисейства*. Зачем назойливо лезут они на страницы литературных журналов со своими литературными упражнениями? Зачем, наконец, литературные журналы печатают подобные упражнения? Ах, читатель! на все эти *загем* можно ответить только одно: *мы живем в такое время, когда юродство и кликушество в большом ходу, когда они выгодны, когда они в моде*» («Нов. Вр.», 1895 г., сентябрь). 20

Они так «выгодны» и в такой «моде», что автору, против которого была направлена эта филиппика, было почти отказано в дальнейшем сотрудничестве арендатором журнала, где были помещены его злосчастные «семинарские упражнения», т. е. от ломтя питающего хлеба был полуотломлен большой кусок, и нужен был труд, хлопоты, унижительные уверения на будущее, чтобы этот кусок не обломился вовсе. Но есть тут сторона и более важная. 30

Приходило ли на мысль когда-нибудь г. Буренину, что декадентство глубочайшим образом связуемо с упадком всякой *традиции* в нашем обществе? Традиции бытовой, культурной, но главным образом *церковной*, как наиболее *всепроницающей* и в то же время наименее зыблемой? Задавался ли он вопросом: эти декаденты, которых он ужасается, возможны ли, мыслимы ли в духовенстве, в старокупеческом быту, в стародворянском укладе жизни, можно ли вообще представить их появившимися в частях общества, где сохранено *живое* отношение к храму, есть *связь* с священником, где крепки *узы* церковного обычая ***, 40

* См. «Отверженный», роман г. Мережковского, — главы всего символического и декадентского движения в нашей литературе. Здесь открыто отдается предпочтение язычеству перед христианством.

** См. статью мою «О символистах», «Руск. Обзор.», 1896 г., сентябрь.

*** Вообще очень замечательно, что в то время как все предыдущие фазы нашей литературы выросли из *жизни*, из быта *семьи* или общественных *классов*, — декадентство, одно только

держашие, сдерживающие вечною и общею своею нормой уродливые, страстные, наконец безумные и порочные порывы исключительных или склонных к «исключительному» личностей? Нам хочется сказать что-нибудь, что было бы *лизно* убедительно для автора пародии на декадентов; итак, пусть вспомнит он из собственного «Романа в Кисловодске» прекрасную фигуру «всероссийского генерала», о коем написал эти теплые и *проницательные* слова:

10 «Но удивительное дело! *несмотря на внешнюю энергию*, которую проявлял генерал в своих порицаниях, *в его гневе слышалась самая добродушная нота*; он был шумлив и *бранлив на словах*, а на деле как я не раз имел случай убедиться потом, *оказывался снисходительнейшим и добрейшим человеком*. Тем не менее, покуда мы с генералом проходили бесконечную галерею, она *оглашалась выразительными „мерзавцами“ и „подлецами“, прилагаяемыми к разным виновникам всяких беспорядков в нашем обширном отечестве*».

20 Сам г. Буренин называет его «всероссийским генералом», очевидно, как бы говоря: «это сама матушка Русь», т. е. «*такова-то матушка Русь*». Но откуда в ней эти черты, как не из истории? Эта *благодать, веселье, задор* — откуда оне, скажем честнее, скажем без колебания — как не из *светлого, радостного, крепящего* строя нашей церкви, которая в ряде веков, в долгих поколениях выковала типичное русское лицо, типичный русский характер, типичный русский ум? Но вот — мало кто это замечает и понимает — этой матушке «Руси» приходит конец... Есть одна *особенность* в декадентах, всеми пропущенная: в них нет ничего «русского»; запаха наших лесов, наших лугов, румянца великорусса — не ищите у этих бледных мертвецов, ни в их «созданиях». Это «общечеловеки», совершенные «общечеловеки», невольно даже, бессознательно, вне всяких теорий, логики, предположения. Стойкая упорная мысль западников, от Кантемира, Чаадаева и до гг. Стасюлевича, самого Буренина, нашла в *лице* их тот смутно тревоживший ее идеал, о котором так долго плакала, но никак не могла представить себе и *предугадать* его *конкретных, индивидуальных* черт. Но вот теперь мы видим их в полноте живого образа, несколько бледного, бескровного, как и следовало ожидать:

30 В небе гул глухого смеха.
О, тяжелый, душный запах!
Этот мрак не успокоит;
Сердце бьется, сердце ноет,
В сердце — вещая тоска;
Где-то муха ноет в лапах...

Кто это писал — француз, русский? но почему не немец, не араб, не финн? Когда писал, в каком веке? до Р. Х. или после Р. Х.? Это только *человек*, на лице коего мы не читаем ни национальности, ни эпохи, ни религии, хотя и видим некоторую «образованность», «общечеловеческую» образованность.

40 Г. Буренин, разобрав рассказ «К звездам» г. Ф. Соллогуба, пишет в заключение, очевидно, с мучительною болью, даже не скрываемою:

оно, ютится *исключительно* около школы, главным образом около *университета*. Все мы знаем, что именно здесь, хотя, конечно, не официально, потеряна всякая связь с традицией, и потеряна именно *фактически*, как *привычка*, как обычай.

«По мнению его автора, всего страшнее в рассказе „безмолвие липкой паутины“. А по моему мнению, *еще страшнее* этого „безмолвие липкой паутины“ *возможность в наши дни* не только *сочинения подобных бессмысленных рассказов с подобными бессмысленными эпизодами и подробностями*, но и печатание их в литературных журналах. Нужна особая, вполне безумная наглость со стороны автора и редактора журнала, чтобы предлагать читателям такие вещи и выдавать их за литературные произведения „новой умственной эпохи“. Конечно, если бы „Северный Вестник“ издавался на одиннадцатой версте* — такие рассказы, наряду с приведенным выше стихотворением г. Мережковского, должны бы составлять его неизбежное украшение; но так как он издается пока в Троицкой улице — их появление в органе г-жи Гуревич пугает меня, повторяю еще раз, гораздо более 10

Я знаю, что и автор рассказа, г. Ф. Соллогуб и г. Волынский не поймут, почему это я так пугаюсь; я знаю, что они даже не снизойдут до какого-либо возражения мне глено-раздельными звуками, а просто „стиснут зубы“, „раздвинут губы улыбкой“ и „заболтают в воздухе ногами, согнутыми в коленях“ (выражения, взятые из рассказа г. Ф. Соллогуба «К звездам») и начнут взвизгивать страшным смехом. Но *вот именно оттого, что я знаю это, в моей душе и пробегает „безнадежно-острая струя“ испуга за новую умственную эпоху и ее быстрое и несомненное стремление к одиннадцатой версте».*

III

Г. Буренин не связывает, не *хочет* связывать явлений, которые видит теперь и наблюдал ранее, в течение своей уже не короткой литературной деятельности. О чем он плачет, на что сетует? Он говорит: «от меня отвертываются и не слушают»; но не так ли же он, в приведенной ранее выдержке, отвертывается и не слушает других? И мы все, все наши литературные партии, шли вперед, отвернувших друг от друга, без любви, без уважения взаимного; шли «свободными путями», руководились идеалом «свободной человечности» — до тех пор, пока из одной группы «идущих» вдруг не послышались «голоса» как бы с 11-й версты. 20

Идеал «не связанной» человечности дал свой плод; ведь свобода не предрешает ни мудрости, ни благородства; почему вы отказываете в правах «свободно выразиться» безумию, явному пороку? Это только *границы* свободы, т. е. ее досягаемые, хотя и не переступаемые далее, вершины. И вот, г. Емельянов-Коханский «свободно» пишет: 30

О, чудно нежная и страстная болезнь!
 В тебе вся жизнь моя и милый идеал!
 Ты звездно обняла меня как землю плеснь,
 Как ржавина в бою измученный кинжал!
 Ты волю мне дала; я грозен и велик
 Не желчной грубостью, не силою, не знаньем:

* На 11-й версте Финляндской железной дороги находится больница для душевнобольных Св. Николая; отсюда термин «11-я верста» вошел в Петербурге в употребление как синоним дома умалишенных. 40

Усеян язвами смятенный мой язык,
 И заражать могу одним своим дыханьем
 Весталок, стариков, беспомощных детей;
 Всех награждать могу болезнию нагою.
 Я презираю жизнь, природу и людей,
 Смеюся над тоской, над горем и слезою.

В декадентах 60-е годы только не *узнают* себя; точные и неподвижные представители той эпохи отрицаются, но бессильно, от собственных порождений, продвинувшихся далее, к «новой мозговой линии» — по пути, открытому их именно усилиями. Когда же как не в *эти* годы * сброшена была «традиция» русским человеком с себя? «Предстояло строить все заново, как бы в пустыне», самодовольно определял задачу тех лет недальновидный, слепой даже почти накануне (в 1891 году) декадентства г. Н. Михайловский. Мы повторяем: силы той эпохи были чисты, порывы — во многом хороши; было что-то бодрое, что-то *утреннее* во всем том поколении; но принципы были безумно-ребячески, надежды — наивно мечтательны. Они хотели «заново построить всю жизнь»; но уже их *дети*, худородные дети излишне свободных, *во всем* свободных отцов, сказали своим папашам: «Но, позвольте, во имя *свободы* вы перестраивали, *как хотели*, объективную, коллективную жизнь, плюя на тысячелетнюю традицию; позвольте *во имя той же свободы* нам плюнуть на вас, на ваш труд, на ваши начала и заняться не переустройством общих условий жизни, а культивированием «чудно нежной и страстной болезни». И вот, А. Добролюбов пишет:

Не входите, присенники,
 У меня ль не ноги белые,
 У меня ль не руки сплетаются?...

и *субъективно* счастлив, как были *объективно*-счастливы его и братья всей декадентской «отцы», когда упивались этими стихами Некрасова:

Зрелище бедствий народных
 Невыносимо, мой друг,
 Счастье умов благородных —
 Видеть довольство вокруг.

Или:

Ветер шумит, наметает сугробы
 Месяца нет — хоть бы луч;

* В западной Европе соответствующим моментом была эпоха французской «великой» революции, и теоретически — «просвещение» XVIII века, с Руссо и маркизом де-Садом. Очень замечательно, что *синтаксис* французской книжной речи теряет ясность, простоту и спокойствие с переходом в XIX-й век. Один знаменитый критик сказал по этому поводу: «Всякая комнатная девушка эпохи Людовиков XIV—XV писала свои любовные записочки лучше прозой, чем классические писатели нашего века». Фенелон и Ла-Фонтен — с одной стороны, Руссо, Жозеф де-Местр — с другой могут пояснить это замечание.

На небо глянешь — какие-то гробы,
Цепи да гири выходят из туч. («Мороз Красный нос»).

И, наконец:

Стану без милого жать,
Сноптики крепко вязать
В сноптики слезы ронять!
Слезы мои не жемчужны,
Слезы горюшки-вдовы,
Что же вы Господу нужны,
Чем Ему дороги вы? (ibid).

10

Таким образом, в порыве критического и поэтического полета г. Буренин совершенно не догадывается, что он и *сам* стоит на одной из тропинок, неуловимо, *для него совершенно незаметно*, ведущей к «11-ой версте». Мы знаем, он принадлежит к яснейшим нашим писателям; он свеж и бодр, как чадо языческого Renaissance, пожалуй — как «Сон в летнюю ночь» или «Что вам будет угодно» Шекспира. Но он *излишне* свободен; он *играет* своим творчеством, играет стрелами своими, как слепой амур. Всякая традиция, если это не есть традиция шуток, литературной манеры — скучна ему; что-нибудь вечное и священное пробуждает в нем только мысль о семинарии и «лампадном масле».

Играй, амур! мы полюбуемся твоею игрой; посмотрим, так же ли весело будут играть твои *дети? внуки? правнуки?* Мы боимся прочесть в их лицах уныние, тоску; мы боимся — они станут пугаться «молчания липкой паутины»; сердце их сожмется совсем иначе, чем у веселого деда, и они запоют:

...везде уже тревога.
Непонятная тоска
.....
Этот мрак не успокоит,
Сердце бьется, сердце ноет
В сердце — вещая тоска...

Они захотят поклониться Богу — и не сумеют назвать Его по имени; захотят пойти в храм — и не найдут к нему дорог; они затеплили бы лампаду, но, вот, старое искусство этого потеряно! Они проклянут свою жизнь; не найдя Бога — они поклонятся демону; они воспоют *ему* гимны; они воспоют гимны смерти. Ибо любовь смерти есть любовь к демону; тяготение к небытию, так прославляемое прозаиками и поэтами наших дней, есть только последняя ступень забвения Бога, Который есть любовь и жизнь. Все будет безутешно вокруг их и в них, и единственною усладой — *неотъемлемою* усладой, потому что она всегда с собой, при себе, вот тут, в темном углу, в противной как могила постели, куда забился робкий, дрожащий, бессмысленный декадент, — этою последнею на земле усладой для него будет «чудно-нежная и страстная болезнь».

40

IV

Так гордый, самонадеянный век кончает. Мы имеем о нем прообраз, — точнее имеем факт *бывший*, но который мы всегда понимали как грозный, предостерегающий прообраз:

«И еще речь была в устах гордого царя, как был с неба голос: „Тебе говорят, царь Новуходоносор — царство отошло от тебя. И *отугат* тебя от людей, и будет обитание твоё с полевыми зверями; травой будут кормить тебя как вола, и семь времен пройдут над тобой, *доколе познаешь*, что Всевышний владычествует над царством человеческим и даёт его, кому хочет“».

¹⁰ «Так и исполнилось это слово» — *тогда*, рассказывает пророк Даниил; *теперь* — указывает г. Буренин, с тоской плача об «11-ой версте» в литературе. Но он не плакал бы о ней, если бы *своевременно* вспоминал *сам* и напомнил *другим* о том древнем пророчестве. Однако, мы впадаем в «противные и лицемерные семинарские упражнения» и досаждаем литературному амуру, который, зажмуривая глаза и натягивая лук, кричит: «Пронжу всякого, кто будет понуждать меня мыслить, рассуждать». Будь же слеп, амур, но и спрячь свои стрелы, потому что ты решительно не видишь и не понимаешь, куда и зачем их бросаешь!

КРИТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

А. Л. Волынский. Русские критики.

²⁰ Литературные очерки. С.-Петербург. 1896 г.

Литературная деятельность Белинского в самом последнем ее фазисе, деятельность Добролюбова, Чернышевского, Писарева, Зайцева — напоминает собою порох под некоторой предназначенною к взрыву скалой, загораживавшей тропу вечно пробивающейся в даль истории, который сгорел, и нет его, когда нет более и этой скалы как препятствия. Историческое значение (действие) этих писателей огромно; живого значения, они не имеют никакого. Это — археология среди нужд забот наших дней, почти как Херасков или Сумароков, т. е. так же мало затрагивающая наш ум и сердце, также мало отвечающая на наши сомнения и тревоги.

³⁰ Это — могилы; и книга г. Волынского, как и судьба ее в нашей печати, носит некоторое недоразумение.

Г-н Волынский понял этих писателей как живую, продолжающуюся историю; он не заметил на них седого могильного праха, почтенной плесени. Он отнесся к ним как к живому организму, требующему поправки, лечения, операции; и с острым скальпелем и утонченными инструментами стал производить манипуляции по всем правилам медицинского искусства. Вокруг раздался крик боли. Замечательно: никто не пытался его опровергнуть; не оспаривал, в частности или целом — решительно никто. Все возмутились против самой его личности, против его попытки, против чего-то кощунственного, что он пытается сделать:

И то, что пепел нам священный
Для вас одна немая пыль

— это двестише кн. Вяземского хорошо выражает мотивы поднявшейся против него бури, самый характер этой бури.

Как историческая книга она читается с интересом, местами с захватывающим интересом. В силу ее подробности, детальности — это составляет ее лучшую, интереснейшую сторону — мы как будто переживаем вновь все перипетии литературно-политической борьбы 60-х годов. Лучшие ее места — о Белинском, о Гоголе, о Чернышевском*; несколько мы не согласны с его взглядом на Добролюбова, именно с характеристикой его как исключительно и только рассудочной натурой. Нам чувствовалось всегда (мы этого не можем доказать и соглашаемся, что во взгляде нашем может лежать ошибка), что в этом писателе и только в этом одном из всей бесплодной «плеяды» 60-х годов есть какой-то не разгаданный, не выраженный и до известной степени невыразимый мистицизм; мистицизм пустоты, вечно алкающей, не напоенной пустыни, которая самым дыханием своим, иссушающим, умерщвляющим, говорит о дожде, о влаге, об облаках, чего конечно прямо ни в ней, ни под нею нет. Но мы соглашаемся, что говорим непонятное; мы ничего тут не умеем и не хотим доказать... Просто мы так чувствуем, и из всей «плеяды» более не интересных для чтения, более не нужных для чтения писателей этот один для нас выделяется безотчетно и неудержимо привлекательный, хотя нет строчки в его сочинениях, с которой мы соглашались бы и даже просто считали бы ее любопытную или нужную. Эти горсти песка — ничтожны и не нужны; эта пустыня верна** и хороша.

Писарева давно бы пора сдать в отдел детской литературы и истинным историком его мог бы быть г. Виктор Острогорский, а г. Волынский мог бы не писать о нем, и с таким живым вниманием, почти увлечением, несколько десятков страниц. Есть нечто неудержимо плоское в этом человеке, даже формат его сочинений, всегда особенный, удлинненно-тонкий (по числу печатных в томе листов, пропорционально величине листа) — как-то плосок и напоминает более тюфяк, на котором спал гоголевский Петрушка, нежели книгу; его фигура, его лицо (на всегда прилагаемых портретах) невыразимо плоско; медный пятак в полноте червонного сияния — чего ты хочешь от меня, зачем ты требуешь к себе внимания, что хочешь сказать, когда я вижу в твоих рыбьих глазах одну пустоту, на твоём гладком лбу — отсутствие признаков морщин, даже способности к морщинам, даже подозрения, что у кого-нибудь и когда-нибудь на этой части тела вырастают морщины. Катись медный пятак по полу, упавши в щель и лежи себе под половицей, лежи до самой смерти дома, пожара, сломки, капитального ремонта, когда тебя кто-нибудь найдет и, купив булку, съест... Впрочем пятак все-таки бу-

* С наибольшим однако интересом читаются четыре статьи, соединенные под общим заглавием: «Журналистика шестидесятых годов».

** Какою-то таинственною верностью себе. Его талант, как и талант Некрасова (конечно — он был же у него) был обезображен, но не убит шумным и поверхностным влиянием Чернышевского, этой Анютки из Тамбова набежавшей на растерявшийся Петербург, и которая делала в литературе совершенно непостижимые вещи (см. его «Антропологический принцип в философии»).

дет лежать в конторе булочника. Пятак не уничтожим и г. Виктор Острогорский, написав его историю, во-первых, написал бы столь же поучительную книгу как «Куль хлеба» или «Историю кусочка угля»; а во вторых и обессмертил бы себя гораздо более, чем трогательно-милою книгой «Из истории моего учительства».

Что-нибудь на выдержку:

«Такова в немногих словах блестящая характеристика Прудона, вышедшая из-под пера Лаврова (в „Очерках вопросов практической философии“, СПб. 1860 г.). Но Чернышевский (в критике на книгу Лаврова) иначе рисует умственную физиономию Прудона. Передавая некоторые факты его жизни, он ставит на вид своим читателям следующие важные, по его мнению, обстоятельства. По каким книгам, спрашивает Чернышевский, учился Прудон? „Знал ли он, какие книги выбирать, знал ли он, на какие учения обращать внимание, как на учения действительно современные?“ Увы, Прудон шел неверными путями в своем самообразовании. При незнакомстве с новейшими научными понятиями, он учился по книгам „или положительно дурным, или, совершенно устарелым“. Он слишком много читался „новых французских философов прежде, чем стал учеником Гегеля“, а познакомившись с Гегелем он не принял во внимание, что в Германии наука развивалась дальше. По словам Чернышевского, вся деятельность Прудона может дать только блестящий пример того, „как простолюдины, жаждущие перемен, затрудняются в их осуществлении тем, что воспитались в понятиях старины, не познакомились еще с воззрениями, соответствующим их потребностям («Современник», апрель 1860, стр. 348)“. Другого значения она не имеет» («Русские крит.», стр. 278).

Ну, уж когда дело шло о книгах, кто же мог быть авторитетнее саратовского семинариста, которому его учитель, после ответа урока по гомилетике, неизменно говорил: «довольно не худо», а на «сочинениях» не подписывал ниже «ортиме»*.

Все это умерло. Нам попало в книге любопытнейшее стихотворение Щедрина. В 1863 г. (в тысяча восемьсот шестьдесят третьем году), этот отставной вице-губернатор там изображал («Современник», апрель, «Свисток», стр. 71–72) состояние русского общественного застоя:

Песнь Московского дервиша

(нагиается робко, тихим голосом)

Уж я русскому народу

Показал бы воеводу.

Только дали бы мне ходу,

Ходу! ходу! ходу! ходу!

(Постепенно разгорягается)

Покатался б! Наигрался б!

Наломался б! Наплясался б!

Наругался б! Насосался б!

Насосался б! Насосался б!

(Разгорягается оконгательно, видя, что никто ему не возражает, из условной формы переходит в утвердительную)

* самый лучший (лат.).

Я российскую реформу
 Как негодную проформу,
 Вылью в пряничную форму!
 Форму! форму! форму! форму!
 Нигилистов строй разрушу,
 Уязвлю им всладце душу:
 Поощрили б, лишь — не струшу!
 Нет, не струшу! Нет, не струшу!

(В испуге думает, что все сие совершилось)

Я цензуру приумножил,
 Нигилистов уничтожил!
 Землю русскую стреножил.

10

(Закатывается и не понимает сам, что говорит)

Ножил! ножил! ножил! ножил!

До чего свирепеют иногда вице-губернаторы, по крайней мере те, которых выгоняют из службы:

Насосался бы! Наругался бы!
 Наломался бы! Наплясался бы!

 Ножил! ножил! ножил! ножил!

20

Это дыхание Малюты Скуратова, которое не имеет под собою другой фактической основы, как не представление к ордену, когда по расчету заслуг он должен был быть дан, или не прибавление жалованья, когда этого ожидалось, вводит нас глубочайшим и проникновеннейшим образом в психологию веков, в течение огромных событий, в великие исторические катаклизмы. Талант злобы, как и с другой стороны талант умиления, восторга не остается на уровне факта, но вздымается над ним огромным столбом, кипящим Гейзером, Монт-Эверестом ощущений, идей, образов и производит эпохи великой резигнации народов, эпохи великих революций. В сущности, в истории мы имеем гораздо менее историю фактов, нежели историю этих чисто субъективных колебаний души человеческой, которые взламывают факт, ослепляя блеском и силою своего глаза людей и заставляя, в самом деле, думать, что

30

Ножил! ножил! ножил! ножил!

— это правительство говорит против писателей, а не писатель чувствует к правительству, и, в сущности, чувствует к Ивану Никифоровичу Перерепенко, который отказался продать бекешу гениальному, на этот раз, Ивану Ивановичу.

*Sic transit gloria mundi**

Нам брежжится — может быть ошибочно, но брежжится — что в литературном своем положении г. Волынский чувствует некоторую одинокость. Внима-

* Так проходит мирская слава (лат.).

40

тельно в конце своей книги он собрал яростные на нее нападения (она частями печаталась в «Северном Вестнике» и тогда же вызывала отзывы) и горячо их опроверг, когда собственно идейным содержанием своим не вызывали и даже как-то не поддаются анализу, разбору. В печати так много о нем говорилось и говорилось в таких формах, что не будет новым для кого-нибудь или не скромным с нашей стороны, если мы скажем, что он по племени — не русский. Много людей его племени и веры выступало в нашей литературе, и, примыкая к господствующему литературному течению, ничем и нисколько своего имени не связали с собственно литературою. Это — тени, которые отражали собою предметы, которых они были тенью. В книге г. Волынского нам показалась одна трогательная черта. Он вошел в литературу с огромным к ней доверием, с огромным уважением, — и сохранил свое я будучи уверен, что именно я, т. е. личность человека в не скрытых, не затаенных ее симпатиях и антипатиях — нужна литературе. Мы думаем, он во многом тут ошибся... Во всяком случае, от этой прекрасной и молодой иллюзии он вошел в литературу как работающая, борющаяся сила, и в книге его мы видим чрезвычайное движение. Тут именно, в любом участии его, напр., к полемике * Зарина с Чернышевским, Чернышевского с Лавровым (кто это все помнит?) в ее сложной и мучительной по разлитому чувству полемике за «Переписку с друзьями» Гоголя — мы, следя с величайшим вниманием за мыслью, не оставляли любоваться отношением его к литературе именно как иноплеменника. Мы помним высокомерие и брезгливое отношение Гейне ко *всей* немецкой литературе; и если Гейне был человек огромных сил, то и немецкая литература между Лейбницем и Гёте так неизмеримо мощнее русской. Но значит [помимо теоретической содержательности] в русской литературе есть какая-то особенная и ей исключительно свойственная притягательная сила, которая не допускает, ни в ком не допускает и, вероятно, никогда не допустит, подобного отношения; что-то душевное есть в ней, при всех ошибках, теплое и прекрасное, что гонит гримасу с вашего лица, когда даже вы входите в нее для борьбы. Это — литература без обмана, вот в чем, как кажется, ее достоинство. Ее товар может быть не высок, но в нем нет фальши. А, может быть, мы и тут ошибаемся...

Читатель не посетует на нас, если мы дадим ему несколько длинных выписок о Гоголе; покойный Страхов, Ник. Ник., в личных беседах, говоря об этой книге, указывал особенно на обширные места в ней.

<Далее в рукописи помета, что следует печатать приложенные стр. 696—702 из книги А. Волынского «Русские критики» (СПб., 1896), это первая часть раздела IV с высокой оценкой «Прощальной повести» Гоголя — его книги «Выбранные места из переписки с друзьями».>

Конечно, писатель, который это написал, есть коренной русский писатель; он почувствовал себе родину в русской литературе; и мы ничем лучше не можем определить своего отношения к нему, как этим тепло-участливым словом «Второзакония»:

«Не гнушайся идумеянином, ибо он брат твой; не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его» (XXIII, 7).

Еще одно маленькое замечание. Литература не есть только сплетение идей; она есть еще темперамент, характер. В колорите книги «Русские критики» есть

* Кстати, очень интересной; вообще фактичность, подробность книги — ее лучшая сторона.

черта, которая, при всем нашем согласии с ее положениями, собственно с «кри- тикою» в ней, мешает этому логическому согласию перейти в живое темпера- ментное волнение [сочувствие]. И это потому, что в ней самой нет темпераментного же волнения [сочувствия], идущего ко всей полноте русского бытия; но только исключительно к логической или вообще к теоретической стороне в этом бытии. Россия — это огромное тысячелетнее животное, это — седой зубр в Беловежской пуще, и, как говорил Гоголь — «нужно проехаться по России». Нужно — да про- стит читатель грубое выражение, без которого мы не умеем выразить полноту своей мысли — [пропитаться терпким запахом пота этого животного] провонять псиной этого животного и впитать терпкий запах его пота; т. е. как опять же гово- 10 рил Гоголь — нужно проехаться по России. Чтобы быть живым лицом в литера- туре, недостаточно быть правым, даже недостаточно быть любящим литературу; нужно быть любящим и понимающим смолистый запах наших лесов, васильки ржаных полей и, как уже выразил Лермонтов:

Дрожащие огни печальных деревень
 ... дымок спаленной нивы
 В степи кочующий обоз
 И ... среди желтой нивы
 Чету белеющих берез.

 полное гумно,
 Избу, покрытую соломой
 С резными ставнями окно

 И пляску, с топаньем и свистом,
 Под говор пьяных мужиков.

20

Т. е., как опять же чудно заметил Гоголь — «проехаться по России» с некото- рою верою, что там теплее и светлее, а, сущности и гораздо [мудрее, по крайней мере гораздо] содержательнее, чем в петербургских редакциях.

Пока писал статью, я все думал о Добролюбове. Как из Диониса-Загря, тело 30 которого было растерзано «вакханками» 60-х годов, я хотел бы вынуть из его груди сердце и перенести далеко, далеко в совершенно иные сферы [области] бы- тия, где оно было бы насыщено, как не было насыщено своим временем и свои- ми людьми.

ПАМЯТИ Н. Н. СТРАХОВА

Отнимите у Фауста его стремительность и мятежность, придайте ему тихую резигнацию, светлую покорность воле Божией; сохраните в нем всю безгранич- ность умственных запросов и только оформите их, сообщите им точность и раз- дельность новой науки; оставьте в нем все сомнения, всю мощь анализа, но на-

правьте его не на разрушение вечной и святой сущности вещей, а только на рассмотрение подлинных черт ее из-под одевающего их мусора человеческих мнений, неведения, суеверий; наконец, колючесть «холодных наблюдений ума» уравновесьте и смягчите приговорами богато развитого сердца, и вы получите образ восточного Фауста, — Фауста, выросшего на светлой почве Православия. Таков был для всякого, кто узнавал, его ближе, недавно почивший Ник. Ник. Страхов. В будничной обстановке, среди занятий совершенно обыкновенных и иногда вынужденно вульгарных, он воплощал в себе в чистом и высоком виде главную идею новых веков — идею *познания*, без отнесения ее к той или иной частной сфере и так же без всякой для нее утилитарной подкладки, без узко определенной цели или сколько-нибудь верной надежды впереди. Оно влекло его самым процессом своим, и также тем, что стоять перед глухой стеною, за которой скрыта от человека Истина, или искать в этой стене хоть узких трещин, хоть кое-каких просветов к великой Реальности, на которую взглянуть непосредственно нам не дано в этой жизни, есть все таки лучшее, на что могут пойти наши труды и чему мы можем посвятить годы своего здешнего странствия. Это и есть та идея, которой Гёте посвятил своего Фауста; средневековый сумрак, красивый плащ, драпирующийся около выведенной им фигуры, и вся дымка поэзии, которою дивный его гений окутал любимый образ, все-таки не имеет никакого существенного значения. Существенное в Фаусте — то, что он вечно хочет и вечно же не может знать; в этой коллизии между порывами, текущими из глубочайших недр нашей души, и между границами, которые извне на нас положены.

В трудах, оставленных покойным, чувствуется всюду эта коллизия. С одной стороны мы видим в нем постоянное возбужденное внимание, — мысль, чутко слушающую, не идет ли с какой-нибудь стороны истина; и почти всегда слышишь сожаление, почти скорбь о крайней недостаточности этой достигающей нас истины. Отсюда перемена областей внимания, которую мы наблюдаем в нем и в его трудах, точнее — множественность областей, куда устремлено это внимание. Наука и поэзия, интерес к которым никогда почти не совмещается в человеке равномерно — в силу указанной причины равно приковывали его внимание; и точные наука и философия, обычно разделяющие своих адептов глубоким антагонизмом — в нем совмещались, помогая друг другу, без всякого противоборства. Мы может только заметить, — и это опять черта глубоко фаустовская — что хоть медленно, но постоянно его тяготение к поэзии все возрастало: это имело источником для себя ту мысль его, что истина, деятельно нами искомая в науках и философии, менее верна, более обманчива, нежели пассивно нами воспринимаемая как правда красоты, как истина прекрасного. В своем роде, поэзия была для него тою же Гретхен, ради которой Фауст оставил свои колбы и реторты, и он все более и более оставлял для нее более проблематичные выводы диалектического метода или физиологии. Но и в самой поэзии им ценилась не форма, не мастерство техники, не этот «кимвал звенящий» в ее строфах, но *истина души геловесеской*, насколько она высказывалась в поэте и его отношении к объективному миру или поскольку эту истину поэт подмечал в человеке и умел открывать ее размышляющему читателю. Человек — вот центр внимания, размышления, восхищенной любви, к которому наука ведет по какой-то темной, узкой, кривой, местами разломанной лестнице и перед которым искусство, с поэзией во главе, стоит как некоторые вечные, несокрушимые пропилеи. Отсюда ряд замечатель-

ных антиномий нашего поэта к *ложным* в основе своей поэтам, как Лермонтов, Байрон (имя последнего, кажется, нигде вовсе не упоминается у Страхова), несмотря на непревосходимую красоту их в форме; совершенное его равнодушие к полуистинным поэтам, незначительным в отношении познания человека (Диккенс, Гюго); не главный интерес, у которых ложное в творчестве или недостаточное в душе чуть-чуть замешано (Гёте, Гоголь); и, наконец, падение всеми силами духа, всюю неотвязчивостью внимания, какою-то тоской привязанности к поэту чрезвычайно простому, не пре<те>нциозному в области философии, но который поразительно и в себе и в воссозданном им умел выразить *истину души теловещеской* — к Пушкину. И в самом деле, в этом мимолетном чувстве:

10

Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
 В безумстве гибельной свободы,
 В неволе, в бедности, в чужих степях
 Мои утраченные годы!
 Я слышу вновь друзей предательский привет,
 На играх Вакха и Киприды,
 И сердцу вновь наносит хладный свет
 Неотразимые обиды.
 И нет отрады мне — и тихо предо мной
 Встают два призрака младые,
 Две тени милые — два данные судьбой
 Мне Ангела, во дни былые!
 Но оба с крыльями и с пламенным мечом.
 И стерегут... и мстят мне оба,
 И оба говорят мне мертвым языком
 О тайнах вечности и гроба!

20

(19 мая 1828)

Ведь это мимолетно — но как этоечно! Это прошло через душу поэта, владе-
 ло ее не более одного дня — того 19 мая 28 года, которое значится под его руко-
 писью — но почему же, почему с таким волнением мы это читаем? Что значит пер-
 ред вечностью этих строк вечность алгебраических определений и формул? Как
 бедна перед ними эта алгебраическая вечность, как односторонняя, незначаща,
 как почти ложна в своей малости и несущественности. Здесь — человек, там —
 только вывод его ума, какая-то пришитая к нему одежда, какие-то откиннутые
 в сторону волосы, которые мы сожгли, ощутили при этом запах жженого рога,
 и, рассеяв горсть черной золы по ветру — ничего более не видим, и, главное, во-
 все ничего не хотим видеть.

30

Сюда, чем далее шли годы и более умудрялся поживший писатель, присталь-
 нее и пристальнее склонялся его взгляд. Однако, правда души человеческой, не
 создаваемая и не культивируемая, не лепимая человеком, но ему непосредствен-
 но данная и непосредственно же открывающаяся, — есть, очевидно, правда отра-
 женная, есть вид истины, которая косым лучом нисходя на землю, имеет основа-
 ние свое вовсе не на земле. Но здесь, переходя к этим основаниям, отыскивая
 чрево, породившее величайшую и драгоценнейшую в міроздании жемчужину,
 прекрасную душу человеческую, мы подходим

40

...к тайнам вечности и гроба.

Об них никогда и ничего не говорил, не хотел говорить усопший писатель; но по той силе, по тому постоянству и твердости, с которыми он отрицал отрицания этих тайн и неустанно всю жизнь против этих отрицаний боролся, к ним не высказывал никакого уважения, какую бы значительность и преобладание в окружающем обществе они ни приобретали, — мы узнаём без труда, *кто* был он. Мы знаем глухие и противоречивые толки, об нем ходившие и после его смерти не умолкнувшие; но, если бы мы не имели и других, лично нам известных о нем данных, взглянув только на его книги, мы скажем теперь то, что при его жизни не удобно было сказать: он был раб Божий, в смирении служивший Ему все время, как сознательно жил, деятельно работал, и из-под пера его не вышло бы ничего или почти ничего, а выйдя — получило бы совершенно иной характер, если бы не этот аскетически-правильный взгляд на смысл труда своего, как на некоторое оправдание перед вечностью ничем не заслуженного счастья, ничем не оплаченного долга — *быть, существовать*.

Самый великий, самый основной дар, на котором все последующие дары, в течение жизни нами получаемые и щедро оплачиваемые, ложатся только как прибавление, поправка, улучшение — этот дар мы получаем бесплатно: конечно, мы должны понимать, что именно вся жизнь наша и есть уплата за него, что она ожидается, рассматривается, исследуется, в то время как мы беспечно живем, играем, трудимся, нисколько не вспоминаем об этом даре, и если не беспечно, то почти беспечно же умираем.

Эти мысли свои почивший писатель всегда таил; мы о них можем догадаться только из того, на *зем*, на *каких произведениях* слова человеческого он останавливал свое внимание, и на *каких* вопросах знания. Наконец, мы это отгадываем по *противоположению* тому, что с особою силою он отрицал; всегда косвенно, никогда прямо, он возводил мысль читателя, воспитывал его сердце к образованию в себе того душевного настроения, на которое в кратких этих строках мы чуть-чуть решаемся намекнуть.

Отсюда, из этого основного взгляда на задачу трудов своих, вытекает удивительный *колорит*, на них всех лежащий и который составляет совершенно исключительную, индивидуальную особенность умершего писателя. Мы его нигде не видим колеблющимся, но и никогда самонадеянным; нигде не приписывает он себе знаний, которых не имеет, ни заслуг, которое были бы проблематичны; и даже если приходится что-нибудь объяснить из частных своих отношений, чтобы указать лицо или источник своих сведений, он это делает, дабы чужая заслуга не пала на него. Он постоянно выставлял вперед себя Ап. Григорьева и Н. Я. Данилевского, между тем как для всякого читателя их и *его* трудов несомненно, до чего он был тоньше и сложнее последнего, логичнее, и, наконец, просто развитее, богаче первого. Но они раньше его высказали ту или иную мысль; быть может они высказали твердо воззрение, в котором еще колебался их острый друг; и он, совершенно самобытный и оригинальный, гораздо позднее выступал как истолкователь их взглядов, — и от этого истолковывал он всегда почти несравненно глубже, чем как они у них высказаны. Такова в особенности была вся его полемика из-за теорий Данилевского, как исторических, так и естественно-исторических. Теория культурно-исторических типов вовсе не защище-

на только им, и опровержение дарвинизма вовсе не поддержано только; он до такой степени усложнил и углубил первую, провел в ней такие новые и тонкие линии, которые, вне всякого сомнения, даже приблизительно не вырисовывались в уме автора «России и Европы»; и, с другой стороны, замечания оброненные в «Дарвинизме» того же автора и вовсе не центральные в его опровержении (напр., о значении подбора как исключительно *критического* и нисколько не творческого процесса природы, и, далее — о том, что дарвинизм есть теория только *возможного*, от которого нет еще никакого перехода к *действительному* в органическом мире), — эти замечания он развил в великолепные теории несокрушимого значения, в некоторую логику антидарвинизма, имеющую значение совершенно независимое от воззрений Данилевского. И, между тем, для не очень проницательного читателя кажется, будто он только комментирует чужие взгляды, и такой читатель уже готов усомниться в присутствии в нем самом творческих оригинальных сил. Только в полемике с Бутлеровым и Вагнером, где ему не приходилось не разделять труд мысли и критики ни с кем другим, он не схоронил имя и лицо свое за чужим именем, и, однако, остался здесь, как и везде, и, без сомнения, по тем же, как везде, основаниям — тверд, силен, без малейшего смущения или колебания о смысле своих слов и в тех точных границах, в каких они были им высказаны.

Но это умственное его изящество было только последствием нравственного; на всем протяжении его трудов, из которых бóльшая половина посвящена полемике, мы не видим его нигде *торжествующим* над «врагом»; черты торжества, жестокости, радости о своем умственном превосходстве, унижения противника — вот чего мы ни разу не встречаем на всем множестве им написанных страниц. Он полемизирует с Писаревым и «историческими идеями» Чернышевского, и делает это так, как бы совершенно уважал их; никакая выходка противника (напр., проф. Тимирязева) его не раздражает, не волнует, — его занимает только его мысль, возможная правда или очевидная ложь этой мысли; почти без исключения, он видит в противнике лучшее, чем на что этот противник хочет сам претендовать; нет авторитета, к которому он смутился бы подойти с критикой, и нет ничтожества, над которым бы не склонился бы с вниманием, с готовностью искать у него и, при возможности что-нибудь найти. И никогда, никогда чувство мести над умирающим временем, осмеиваемую эпохой, которая, однако, ему самому нанесла величайшие раны, почти обесплодила всю его собственную деятельность, — это чувство никогда не загоралось в нем. Не было никого в нашей литературе, кто так хотел бы упавшего поддержать, у торжествующих убавить торжества. Различение того, что дурно, что хорошо, что человеку следует, что ему не следует — было в высшей степени присуще этому писателю, который навсегда останется в нашей литературе недосягаемым образцом того, как пишущий должен относиться к перу своему. Можно сказать, как раб Божий он был внутри себя, в невысказанном источнике своих произведений, так был и останется учителем вне себя по способу отношения своего к людям, предметам, вопросам науки, философии, публицистики. Во многом — для многих он покажется недостаточным, не досказавшим *этого* или *того*; но в том, что им сказано, никто, ни один противник не отыщет в нем ложного (это не значит — не отыщет *ошибочно*), не отыщет не правильного так сказать в *методе* нравственных отношений или в *способе* умственных исканий. И навсегда за эти редкие, исключительные

дары свои он останется почтен в нашей литературе; многими он заслонится в ней, никогда не затемнится. И среди светил гораздо более ярких, светил, то пугающих странностью своих движений, то приковывающих внимание своей огромностью, — чистый и ровный свет этой поднявшейся теперь в небеса звезды, неизменно будет приковывать к себе взгляд душевно чистых и умственно возбужденных людей. Всегда будет этот свет смирять наши тревоги; примирять между нами вражду; всегда будет нас поучать и воспитывать.

В последние годы своей жизни Николай Николаевич уже очень мало писал; и, как мне лично известно, тяготился этим «бездельем», считал как бы неоправданным и для других бесполезным свое бытие. По-видимому, как и все люди обширной публичной деятельности, он не сознавал, или смущался о *себе* сознать, что самая существенная функция, выполняемая нами в жизни, не есть функция деятельности, но именно и только функция достойного бытия. Это тотчас стало ясно, как только смерть прикончила все земные счета. Никакого умственного ущерба не нанесла она обществу, ничьих надежд не обманула, никаких сомнений не оставила «теперь навсегда неразрешенными»; казалось, литература и общество ничего не понесли в его смерти. Между тем они понесли ущерб огромный: совершилась потеря чуткого слушателя наших дел, закрылся некоторый правдивый глаз, который в безмолвии и не замешиваясь деятельно в нашу жизнь блюл ее в перипетиях борьбы и злобы. Стало как будто несколько бесстыднее на земле; стало, пожалуй, даже легче: можно сделать *то* и *это*, высказать *то* и *се*, не ожидая встретить суд для себя, или встречая такой суд, которым можно пренебречь. Но с этим внешним облегчением неразделима внутренняя некоторая тяжесть: несколько скучнее стало на земле, несколько бесцельнее; несколько менее хочется сделать *то* и *это* хорошее, высказать *ту* или *эту* правдивую мысль, и высказать ее хорошо. Покойный любил, чтобы хорошие вещи хорошо высказывались. Ибо, в конце концов, множественность судей наших, зрителей и слушателей, не значит ничего; и жизнь действительно не есть театр, человек — актер, и хоть он пользуется аплодисментами, боится шиканий — не этого в тайне души боится он и не этого хочет.

Жизнь в самых публичных своих формах, каковы литература, наука, искусство, политика не только не продолжались бы достойно, но и не продолжались бы вовсе, прекратились бы совсем или по крайней мере поблекли бы, — если бы, совершенно в стороне от нее, в тихом безмолвии, не присутствовали тысячи высоко достойных людей, ради которых стоит жить. Люди эти не понимают, не видят, отвергли бы смущенно, если бы кто-нибудь сказал им, что именно они и составляют центр тяжести всемирной истории; что, в сущности, для них все совершается; ими все живут; «о них» все спасается; каждый из этих людей, в смиреннии, занят делом своим — один поправляет дом, другой отдает детей в ученье, начинает озабочиваться рушащимся здоровьем — и, кажется при этом всякому, что даным трудом и *истерпевается* жизнь его, нужда бытия его для общей жизни. В сущности, если бы пропала эта иллюзия, они действительно и разом потеряли бы эту ценность. Но тайна в том, что это все-таки иллюзия, и в истине своей эти люди, имена которых никогда не произносятся в истории, и составляют ἀρχή της γενέ-

σέως* ее и вместе το τέλος**, ее одушевляющий принцип и вместе цель. Ибо никогда не пришло бы герою в голову творить подвиги, и даже всякому большому человеку — делать нужное дело, если бы не темное, но постоянное ощущение ими вокруг себя мириад прекрасных в безмолвии своем людей, в которых высокочеловеческое, хотя и в простых формах, уже осуществлено, есть, перестало быть проблемой и существует как действительность. Без этого ощущения, также не очень отчетливого, маршалы побросали бы свои жезлы и побежали вспять, мудрецы начали бы говорить глупости, поэты — сочинять декадентские стихи и законодатели стали бы законодательствовать, только имея в виду свою пользу. Остались бы тысячи разбегающихся во все стороны Фальстафов и умерла бы история, умер бы человек, не продолжалась бы недостойная продолжаться жизнь. В самом деле, неопределенное, неуловимое, нематериальное «лучше», этот завиток идеала в реальном, как уже учил, впрочем, и Платон — есть нерв мира, есть основа всех уловимых, определенных и материальных в нем вещей; в христианском мире едва ли не это же названо «надеждою», и также указано, уже с небес, что без нее мир не был бы.

Эта функция — бытия как лучшего — и выполнялось усопшим писателем в самое последнее время, когда он томился своею «бездеятельностью»; утрату этой функции мы чувствуем.

20

Внешние рамки этой погасшей жизни, хронологические ее рамки — известны. В пределах этих дат она текла ровно, без потрясений, без резких даже колебаний; но нужен был постоянный труд, чтобы поддерживать ее внешнюю устойчивость, и нужно было постоянное, десятилетие тянувшееся, одушевление, чтобы наполнить ее мыслью, чтобы исполнить ее борьбою, никогда порывистою, всегда благородною, и стойкою. «Как вы счастливы, В. В., в какое вы счастливое время живете: вы можете помещать свои статьи в „Русском Вестнике“, в „Русском обозрении“, в „Московских Ведомостях“, в „Новом времени“», — сказал мне умерший после принятия моей статьи последнею газетою: «Бывали промежутки времени, когда я н и г д е не мог найти места для своих статей, не было ни одного журнала нашего направления. Очень трудно было существовать, и я перебивался это время только переводами для книгопродавцев, — обыкновенно с немецкого». Кто знает, не эту ли нуждою объясняется, что наша литература обогатилась превосходными переводами Куно-Фишера («История новой философии», 4 т., СПб., 62—65 гг.), Ланге («История материализма»), Тэна («Об уме и познании») и др. меньших трудов. Покойный очень радовался, когда слышал похвалы этой образовательной работе своей, и запоминал отзывы. «Ваш перевод обыкновенно яснее оригинала и совершенно ему верен», — сказал ему кто-то, уже давно, и он мне передал этот отзыв с истинною радостью; «отрывок перевода из Федона, сделанный мною в «Вечных истинах» (рассуждение Сократа об Анаксагорском воῦς*** и о целесообразности в природе) — очень понравилось Льву

* источник происхождения (греч.).

** завершения (греч.).

*** ум (греч.).

Николаевичу (Толстому); он сказал: *вот как нужно переводить*», — рассказывал он мне в другой раз. Действительно, отличительная черта переводов Страхова состоит в том, что при чтении вовсе не чувствуется, что книга переведена, она кажется написанною по-русски, т. е. он *усваивал* русскому языку авторов. Вместе с некоторыми другими, как Неведомский, Пыпин, как неизвестный переводчик «Опытов» Карлейля (78 г.) он должен быть признан классическим переводчиком научно философских произведений; труд которого не отдает вовсе копотью лампы и потом усилий, но имеет в себе всю теплоту и прелесть живого, одушевленного создания. Неряшливость некоторых переводов, как напр. Дарвина — Сеченовым, или «Истории английской литературы» Тэна — побудила его написать несколько кратких заметок. Но тут он был не прав, по крайней мере в том, что касается «Истории английской литературы» — «Истории общественного развития Англии в связи с литературою», как передает переводчик. Дело в том, что этот перевод, как и множество других, сделанных в 60—70-е годы, должны быть рассматриваемы как самостоятельные, оригинальные произведения, имеющие цену совершенно независимую от переводимого оригинала и гораздо бóльшую, чем какую имеет обыкновенный правильный перевод: переводимый автор был только возбудителем сил, совершенно туземных по происхождению и вовсе ему не подчинявшихся; часто был только орудием действия, средством проявления этих сил, которые естественно и приспособляли к себе, формировали по своему закону употребляемое орудие или средство.

Умственный труд заполнял все время Н. Н. Страхова; никогда не тяготясь людьми, любя их общество, он не хотел уделять живым бóльшее время, нежели, на сколько они имели право пропорционально умершим. Поэтому он не любил, когда посетитель приходил к нему не в *среду*, — день, который он посвящал тесному кругу друзей своих. Эта правильность жизни имела за себя столько серьезных умственных оснований, что он прямо и открыто высказывал даже ближайшим к себе людям, что для него было бы тяжело их невнимание к этой правильности. «Ну, вы знаете В. В. — у меня *среды*», — предупредил он меня тотчас, как я переселился, года 3 назад, на постоянное жительство в Петербург: «Я буду рад видеть вас и не в *среду*, но вы подумайте, что нужно же дело делать, хотя бы живая беседа и была приятнее этого дела». Именно в первый год своего переселения в Петербург, независимо от своей воли, я должен был пропускать множество *сред* и уже по его желанию вознаграждать эти пропуски в другие дни. Когда бы я ни приходил к нему, я заставал его постоянно за чтением; не за письмом, не за работою над книгой с пером в руках, но всегда и только за простым чтением, в большом кожаном кресле его приемной комнаты. Эти шесть дней в неделю, посвящаемые непрерывно великим умершим, труды которых окружали его, и образовали в нем тот фундамент необозримой почти начитанности, начитанности по всем почти областям человеческого ведения, который так заметно и выгодно отличал его писания от писаний других людей, или поверхностных иногда, или при глупине и точности, узко специальных. Без всякой видимой причины, он занят был прошлым годом изучением работ проф. Мечникова по воспалениям; я спросил его мнение об этом ученом, так странно нашумевшем в прессе с «галльскими осами», бесплодность которых и занятость общественным делом, разрешала, по его мнению, трудности женского вопроса у человека, служа как бы прообразом этого разрешения.

«В самом деле — так глупо? Я не читал этой его статьи в „Вестнике Европы“, хотя читал об ней и отчасти слышал. Удивительно и странно. Труды Мечникова несравненны по своему научному духу, по остроумию, проницательности, и есть то, что немцы называют...». Он произнес слово, мне непонятное: «т. е. они составляют эпоху в науке физиологии, становятся в ней фактом, от которого пойдут новое и самостоятельное течение мысли».

Около этого времени я слышал от кого-то (и передаю это сообщение конечно не в умаление, но именно в охранение репутации нашего ученого), непосредственно лично знавшего знаменитого харьковского профессора, что этот необыкновенно даровитый, почти гениальный человек подвергается по временам 10 каким-то мозговым припадкам, нисколько не отнимающим у него способность к работе, и во время которых он и делает, и говорит, и если пишет — то и пишет чрезвычайные странности, ничего не имеющие общего с его обычными трудами; сообщивший мне это — тоже в ответ на вопрос о «галльских осах» — сказал, что вне всякого сомнения эта статья имеет подобное же происхождение, причем пресса невольно для себя и даже невольно для автора была мистифицирована. Я передал это Страхову:

«В самом деле — это возможно, и, конечно, тут менее странного, нежели как то, чтобы умный человек, чтобы человек такого несравненного ума заговорил 20 о столь банальной теме и стал доказывать ее столь уродливыми аналогиями».

В другой раз, увидев у него «Основы химии» Менделеева, я заговорил о том, как странно и печально у нас идет умственная жизнь: «Вот, вы высказали сомнение в атомистической теории, очень правдоподобно указывая на невозможность существования атомов, как их представляют себе химики. И что же, ни *да*, ни *нет*, не говоря уже о *мотивированном* «да» или «нет» вы не услышали от 8 наших университетов и множества высших технических ученых заведений. Помилуйте, в Испании, во времена Аверроэса, умственная жизнь была живее...».

Это была моя постоянная больная тема размышлений. Замечательно, что Страхов никогда не разделял моего беспокойства. Он тотчас вступался за Менделеева, который подал повод для разговора: 30

«По важности открытых им законов», — он задумался на минуту: «по важности этих законов Менделеев может быть назван Кеплером химии. Вы говорите о теории атомов, о моих возражениях против нее. Менделеев знает эти возражения, но умалчивает о них в своих „Основах“; хотя, в одном месте книги, он оговаривает мысли, к его науке относящиеся, высказанные Б. Н. Чичериным, тоже вовсе не специалистом по химии. Он *не хотел* мне возражать, не хотел запутываться в цикле этих вопросов. Теория атомов слишком удобна при объяснениях, при формулированиях, даже при описаниях, и химики пользуются ее, как мы пользуемся удобным, хотя бы и неправильным оборотом речи, который нам облегчает выражение мысли...».

Он еще рассказывал много любопытного о знаменитом химике, которого лично знал; между прочим — что в очень молодые годы это был весельчак, чрезвычайно живой, увлекающийся и вовсе не думавший посвящать себя науке. «Это было чисто открытие, т. е. что он открыл химию как наиболее сродную своему гению науку, и химия открыла в нем даровитейшего своего возделывателя. Он ничем не занимался, поступив в Университет, мало посещал лекции; занялся хи-

мией — едва ли не случайно, заинтересовался, и пошел, и пошел вглубь. Открыл в ней так много, достиг такого понимания, как до него — ни один русский...».

Это мне показалось интересным с той стороны, что подтверждало мою мысль о ненужности для успехов в науке очень долгого, очень систематического, очень «муштрующего» общего образования, которое теперь поглощает — в гимназиях — все силы юношества; я припомнил Остроградского, который 16 лет окончил гимназию, 21 года — университет и немного лет спустя, кажется не достигнув еще 30 лет — был уже академиком. Тайна здесь в том, что приблизительно около 21 года пробуждаются творческие оригинальные силы у мужчины; и если 10 годы эти посвятить пассивному принудительному усвоению (в гимназии и на студенческой скамье) — активные силы наверное не пробудятся вовсе. От этого с удлинением курса учения в гимназии до 19—21 года и в университете до 24—26 года, умственное творчество нашей страны (да и всюду в Европе) вдруг и неожиданно прекратилось. Прежде в университет вступали малосведущие юноши — неопытные, наивные, но с высокой способностью к нравственному идеалу, с туманным и тем более манящим представлением науки; в жизнь они же вступали еще свежими, доверчивыми, и тотчас завязывали около себя семью и домашний очаг. Теперь мы видим в университете перезрелых и полинялых юношей, довольно осведомленных, но с крайним отвращением ко всякому новому умственному напряжению; из университета они выходят в жизнь уже потертыми крепышами, умственно очень тупыми, точнее — апатичными, но практически крайне 20 чуткими. Ни семья, ни домашний очаг их не манит, так как они видят их матерьяльную отяготительность и совершенно не имеют вкуса к их поэтической, романтической стороне.

Год спустя, и совершенно случайно, разговор о том же ученом у нас возобновился — на этот раз в присутствии проф. М. И. Каринского и Э. Л. Радлова; заговорили об известном отказе Академии наук принять в число своих сочленов Менделеева; между прочим, я спросил, об отношении самого Менделеева к студентам, лекциям и вообще университету. «Да он вышел из университета, — ска- 30 зал кто-то из собеседников, — вышел по сущим пустякам. Он исправлял временно должность ректора (или декана — уже не помню) и во время случившегося волнения студентов, чтобы их успокоить — обещал передать их просьбу Совету ли университета, магистру ли; только оказалось, что он не имел права ни выслушивать от них просьбы, а тем паче обещать им что-нибудь, предварительно не снесшись с надлежащим начальством. Ему сделан был официальный выговор по службе, он не вынес этого и вышел в отставку».

Не могу выразить степени моего изумления. Я знал из истории физики, что когда знаменитый Вольт, изобретатель электрического столба, носящего его имя, отказывался читать лекции, ссылаясь на совершенный недостаток времени, 40 Наполеон I, сам Наполеон, которого так боялись императоры и короли, просил его остаться в университете, обратив к нему следующие слова: «Прошу Вас не оставлять университет, для славы которого необходимо Ваше имя; а лекции вы можете читать сколько хотите, 3—4 в год, и в таком количестве они не помешают вашим ученым занятиям». — Наполеон I — и департамент «ведомства», начала века — и его конец, как поразительно, какое поразительное совпадение!.. О, Овидий, ты как будто и теперь еще блуждаешь по диким степям северного Понта

и как будто далее на севере живут и до сих пор «андрофаги», «гиперборей» и другие чудища, пугавшие воображение Геродота.

Грустно, какие великие перевороты, какие великие факты совершаются у нас тихо, бесшумно, через простое занумерование двух бумаг, одной «исходящей» и другой «входящей»... Сколько толков до сих пор о Петре Рамусе; как хорошо сияют в истории эти золотые слова Наполеона к Вольте; о, как славны даже костер, на котором был сожжен Бруно, веревки, которыми был привязан к позорному столбу де Фоз. Как все это было ярко! как было все сильно! Но наша история — какая это грустная игра под сурдинкой, без криков, без ясно выраженной боли, без огня и железа, — и только с какими-то глупыми сказами отставленных чиновников, да иногда с побитой ради этой отставки женой. Великая усыпальница, великий некрополь человеческого духа... 10

Замечательно и поразительно было *постоянное* светлое настроение духа усопшего писателя; очевидно, огромный запас чего-то доброго *сделанного* лежал у него позади в жизни, или как воспоминание — в сознании, и этот запас не допускал никогда уныния на его лице. Я совершенно не помню его никогда угнетенным, тоскующим, но понимал это только как светлую (успокоившуюся) старость; после его смерти, однако, один из ближайших его друзей, Пл. А. Кусков, знавший его еще студентом Педагогического института, сказал мне, что это настроение духа было у покойного и всегда: «Я знаю его в течении 40 лет, всегда часто его видал и ни разу не видел его мрачным, раздраженным или вообще расстроенным» — черта совершенно необыкновенная. Ясно, что жизнь ему дала кое-то светлое удовлетворение; что и вне себя, в окружающей жизни, он не видел источников для серьезной печали. 20

«И что вы с русским человеком ни делаете, как вы его ни реформируете, сколько ни учите — всегда из всех испытаний, из-под всякой моющей воды он вынырнет тем самым, каким его мать родила», — говаривал он мне не раз. Он был уверен, таким образом, в совершенной неуничтожимости, не искореняемости в нас нашего типа. Он разумел при этом, кажется, скорее не трагические, а комические, но добрые стороны нашего народного характера, — те стороны, которые дали такой чудный материал для Островского, Гоголя (в *не-злой* стороне их творчества); он разумел «широкость» русской натуры; ее неупорядоченность, ее доброту и мягкость, связанную, впрочем, и с легкомыслием. Он это любил, на это часто ужасно сердился, но и на это надеялся. И в самом деле, «Российская империя», «Россия» — это конечно бренно как Рим, как Греция; но в «России» есть еще Р а с с е я — и вот это вечно, несокрушимо в веках и, как бы ни было порою безобразно в формах, как бы ни возмущало нашу душу — до отвращения, до иступления, имеет однако в себе и черточку какой-то вечной красоты, совершенно несокрушимой. «Способнейший народ — русские, но никакого толку...», определял он не однажды, и когда, бывало, смеясь и сорадуюсь этому определению, я спрашивал его о соотечественниках Гёте и Канта, он выразительно и с подчеркиванием говорил: «Немцы тупы и наивны и в *этом* их великая сила». Эти формулы, в которых я не изменяю ни слова, он любил противопоставлять друг другу. И в самом деле, немцы — это народ, способный стадно и порознь уверовать в самую нелепую фикцию своего ума, но, уверовав, они со всею последовательностью односторонней и слепой логики проводят эту фикцию в жизнь, под- 40

чиняют ей личную или общественную свою деятельность. Жизнь их от этого не становится ни прекраснее, ни умнее; но она становится последовательнее, и вы знаете, по крайней мере, как к ней отнестись, как ее судить, как на нее воздействовать. Русский — вечный аналитик, и притом аналитик-художник; от этого он почти не знает энтузиазма; он начинает дело и уже в душе смеется над ним; кричит — и не верит словам своим; и это вовсе не в образованном только классе, это — в самом народе. И, между тем, жажда идеала в нем почти сильнее, чем в каком-либо другом человеке, он более томится по этом идеале, никогда почти не теряет потребности в нем, даже падая до «образа звериного». Образ Власа

10 вовсе не есть художественная фантазия у нас, но повсюдная действительность, доходящая даже до высших «интеллигентных» слоев. Не могу не привести здесь, для подтверждения этих слов, одного рассказа (одного из множества аналогичных), какой мне пришлось выслушать от незначительного, но очень симпатичного «беллетриста-народника», сотрудника бывших «Отечественных Записок», Н. О. Ст—ва; он дал мне прочитать маленький литературный эскиз свой, помещенный, кажется, в «Иллюстрированной Газете», где рассказывалось, как в недавний голодный год, видя всеобщую нужду односельчан своих, богатый мужик раскрыл свои закрома и раздал народу несколько сотен пудов зерна, скопленного за прежние годы. Вскоре мы встретились с автором, и я заговорил об «иди-

20 лии»: «Вы не поверите — это действительно *было* в селе, где живет мой отец-священник и откуда я родом; а раздал хлеб свой народу *кабатчик*». — Отчего вы это не рассказали, это так характерно, спросил я его. — «Никто бы не поверил, вышла бы нелепая мораль, не нужное освещение факта, и вообще я стеснился, я почувствовал невозможность рассказать, *как* было все и *кто* были участники дела». И всегда, сквозь весь цинизм бытовых форм вы увидите, присмотревшись ближе к нашей жизни, огромный запас непечатого энтузиазма, но глубоко, стыдливо затаенного. Покажите этому народу-цинику св. Землю, но уже *несомненно, бесспорно* святую, без выдумок, без прикрас, покажите идеал неоспоримо великий, и сегодняшней «пропоица», вчерашней «кулак» — он завтра встанет перед вами

30 как целомудренный и святой воин, как святой радетель святого дела...

Кажется, история России вся сложена из борьбы или, пожалуй, из простого чередования обнаружений трех этих элементов. «Россия», «Российская империя» вечно борется против Р а с с е и, хочет спрятать ее куда-нибудь, особенно от заграницы, ибо это — зазор, Азия, «необразованность», Бог знает что. Но, на смешливо скашивая глаза по направлению к «империи», — Р а с с е я, она же и м а т у ш к а Р у с ь, в странных опорах на босу ногу непременно покажется в самый невозможно-серьезный момент и в невозможно-важном месте и «срежет голову» своей единоутробной сестре, только что начавшей рисоваться перед Европою в качестве страны совершенно-культурной, готовой приобщиться и ко

40 всем остальным благам цивилизации и прогресса. Наступает момент внутренней потасовки, которая в курсах истории именуется «обучением», и где «Россия», «империя» втихомолку, у себя на задворках является также совершенно Р а с с е ю, но только уже в жестоко-диком, а не в благодушно-диком виде, и, всегда за этим, достаточно «приготовившись», опять идет на некоторый вид исторической *выставки*, обыкновенно с столь же позорным концом. Перипетии этой борьбы, в редкие, трудные, безысходные моменты нарушаются проявлением третьей России, затаенной, скрытой под цинизмом, и которую припоминая смутно или

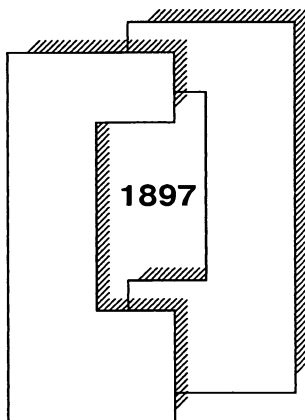
которой чая в бедствиях народ, зовет с в я т о ю Р у с ь ю. Она спасает все; она вынесла монгольское иго и монголов за него не возненавидела; она благословила Петра на его подвиг, «сороботала» ему в этом подвиге, направленном против звериных черт в ее собственном образе; она боролась против Наполеона; восстановила царство в 1613 году; она сковала гнезда особенного своего идеализма в далеких монастырях Ледовитого океана, Ладожского озера, Брянских и Калужских лесов; в последний раз, плотною стеной, она ожидала 12 часов ночи, чтобы начать двигаться к усыпальнице царей своих и поклониться праху ею понятого, ею ранее всех оцененного праведного царя. Почти не нужно пояснять, что в то время как «империя» главенствовала на Венском конгрессе, была «игемоном» в Священном союзе держав, несколько была водима за нос в «союзе трех императоров» и окончательно проведена за эту деликатную часть тела на конгрессе в Берлине; в то время как она заводила присяжных поверенных и мониторы, классическую реформу и «Главное общество Российских железных дорог», русифицировала Остзейский край и немечила Привислянский, — та Р а с с е я, о которой мы сказали, что она вечна, создавала, чуть не из под ареста, наш эпос и нашу лирику, писала на «Россию» «Ревизора», кричала от «России» — «Горе от ума», указывала, что в «России» «Мертвые души», а забывшись, уйдя в себя — вывела на свет Божий семью Багровых, капитанскую дочку, Любима Торцова, но вместе с тем и переделала «присяжных поверенных» в «аблакатов», приставив и ко всем реформам Расплюевых и Кречинских, одно в связи <с> другим, по некоторому закону духовной причинности.

Я несколько отвлекся в сторону. Страхов говорил, что за границей, где сравнение народностей само напрашивается на ум, преимущества русских в тонкости душевной организации, всего более бросается в глаза и отмечено прежде сего самими иностранцами. Он указывал, при этом, на печальные, дурные проявления этой тонкости, так как и посещают Западные края большею частью праздные, не занятые люди; но как в дурном, так и в хорошем, в гастрономии как и в музыке, в понимании природы, в оценке людей или политических и бытовых форм русские равно удивляют иностранцев пронизательностью взгляда и нежной восприимчивостью чувств. Равным образом мне приходилось от него слышать, что кто привык к русскому быту, к русской общительности, к оживленности и изящной простоте нашей беседы, для того западное общество совершенно невыносимо по своей грубости и недалекости всех своих суждений, интересов, взаимного обращения.

— «Но вот», — заключил он один из подобных разговоров, развернув передо мной Суареца, испанского иезуита XVI-го века: «вот что у *них* писалось, вот как они умели исследовать три века назад; вот что остается для нас примером недосыгаемой любви к науке, неистощимого интереса к истине, непреодолимого упорства мысли. Мы этого не умеем, мы этого никогда не будем уметь. Мы все, со всей нашей тонкостью, при всей нашей даровитости, разменялись на мелочь. Написать благоухающее стихотворение, оценить бутылку старого вина, оценить женщину, не оскорбить ее, понять в тончайших движениях души или, напротив, оценить ее в совершенно противоположном смысле и в других „статях“ — ну, конечно, кто же это может кроме русского, тут он маэстро; но исследовать, но изучить, но дать прочные основания чему-нибудь или развить просто какую-нибудь мысль до конца — нет, уж прошу покорно, тут мы с первого шага п а с, лежим

в лежку и только охаем от усталости. Это я называю культурой; ее нет у нас, ее никогда не будет. В самой своей тонкости мы какие-то дикари; это — тонкость безграмотного араба, сластолюбивого турка, невежественного лаццарони; пожалуй — самоуглубленного раскольника...».

Мне кажется, из этих понятий его о том, чего недостает нам, объясняется в значительной степени характер его собственной деятельности. Он в высшей степени пытался победить в себе эти родовые, национальные недостатки; не дать им отразиться на трудах своих (как, напр., обильно и печально отразились они на работах Ап. Григорьева). Отсюда его методизм, его упорство в преследовании некоторых намеченных целей. Можно сказать, он умер, не оставив ничего доделывать за собою другим. Он издал и истолковал Ап. Григорьева; сколько возможно — он распространил в образованном обществе его идеи; он защитил от ожесточенных нападок Н. Я. Данилевского; более, чем с успехом защитил его — защитил право, основательно; он собрал все ценное, что написал сам в течение 40 лет, классифицировал это в отдельные сборники, по целям написанного, и издал. Его весь жизненный труд лежит перед читателями, не ожидая никакого добавочного к себе труда и только прося внимания. И все это он сделал, не имея, в сущности, к этому почти никаких средств. Так, уже после смерти его, мне случилось узнать историю издания им Ап. Григорьева. Известный романист наш и его приятель, Дм. Ив. Стахеев (живший с ним в течение 14 лет на одной квартире) получил, от брата или дяди своего,



<С. М. СОЛОВЬЁВ. МОИ ЗАПИСКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ МОИХ, А ЕСЛИ МОЖНО, И ДЛЯ ДРУГИХ>

В мемуарах покойного С. М. Соловьёва в прошлом году опубликованных одним из его сыновей в «Русск. Вестн.», был издан ряд отзывов резко отрицательных, оскорбительных о замечательнейших деятелях нашего просвещения, ему современных: Погодине, его интересном «Москвитяине», [Каткове,] Шевыреве, К. Аксакове, Хомякове, П. Леонтьеве, митроп. Филарете, также частью о Калачове, Беляеве, Грановском и многих других.

К великому восхищению нашей антиисторической и антинародной прессы, перепечатававшей его отзывы (см. «Русские Ведомости» и другие необозначенные органы этого характера), — вся плеяда умов, из коих зародилась наша самостоятельная общественная мысль, загорелся великий культ земли родной, — прошла в этих мемуарах в ряде образов, выпуклых, ярко запоминающихся, но, как можно было догадываться — неправильных и искаженных. К счастью для читателей и издания на одно лицо, именно Т. Н. Грановского — им брошен дважды и *на одном и том же* свет, и это служит к развитию смысла и всех нужных частей частей мемуаров. Именно Грановский в первых встречах своих с Соловьёвым во время чтения им диссертации предполагал в нем недруга своих друзей, относился к нему сдержанно: и он внизу в этих встречах многие и недоброжелательные «воспоминания», искажающие — нередко на них проходит образ идеального Грановского, коего никогда не знали в самой истории. Но после серии /?/ происшедших недоразумений Грановский общался с Соловьёвым; поистине Соловьёв обиделся, со всем прочим заметил господствовавший в университете, резко подавив обвинительный тон на юбилее Грановского /.../

<О В. А. ГРИНГМУТЕ>

Один ультраконсерватор, впрочем, наш личный друг, чрезвычайно удивил нас, прислав следующую заметку:

«Г-н Грингмут, — очень почтенный г. Грингмут, — став у кормила главного органа нашего старомосковского „охранения“, вызывал недавно одну легкомысленную газету и один легкомысленный (sic!) журнал повторить в его присутствии „присягу на верность“, которую в свое время, не находясь еще у „дел“, он не слышал...»

Все отвечали ему смехом...

Мы бы ответили: не дважды, но и трижды клянемся в верности Престолу нашему древнему и священному.

Но и прибавили бы: а что сделать с тем, кто из этого Престола, который мы любим и чтим, пытается сделать нечто, перед чем мы трепетали бы? Что сделать с тем, кто из драгоценного образа вырубает старинную „дыбу“ и, поднимая на ней человека, думает, что поступает так для веры?..

Это все мрачные идеи К. Н. Леонтьева, его тенденция заместить „неверные“ и „недостаточные“ мотивы любим мотивом страха...

Но Россия жила и хочет еще жить любовью; она — еще христианка!».

10 Приветствуем от души ту перемену, которая совершилась в нашем корреспонденте. Еще недавно неистовствовал он и высказывал в печати вещи, за которые приходилось краснеть. Как удивились бы на Страстном бульваре, если бы нам было позволено раскрыть инкогнито нашего друга! Не таков ли и весь этот наш ультраконсерватизм, о котором выше говорит Рцы? Настоящий ли это пафос? Сколько процентов искренности в горящих иеремиадах? Согласитесь, что вопросы эти очень любопытны.

20 Превосходно также вещее слово автора о К. Н. Леонтьеве, которого, как художника и мыслителя, и мы лично чтим не меньше, чем наш корреспондент, но чрезвычайное увлечение идеями которого так губительно отозвалось на многих русских умах. Очевидно, что и здесь автора приведенных строк можно поздравить с освобожденным от «умственного плена».

Я. КОЛУБОВСКИЙ. ФИЛОСОФСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

Обзор книг, статей и заметок, преимущественно на русском языке, имеющих отношение к философским знаниям.

Год второй — 1894.

Издание Л. Ф. Пантелеева. Москва, 1896 г.

30 Чрезвычайное оживление философских интересов и изучений, какое замечается в нашем обществе за последние годы, вызвало естественное желание обозревать, время от времени, и закреплять в памяти литературные выражения этого оживления. Таков был труд, уже несколько лет назад принятый на себя г. Колубовским, переводчиком Ибервег—Гейнце, Гёфдинга и Вундта. Библиографические работы его стали появляться в виде приложений к книжкам журнала «Вопросы Философии и Психологии». Первоначально они носили характер простых указателей книг и статей, появлявшихся в периодических изданиях, с кратким определением их темы или содержания. Но вот уже второй год эти указатели стали переходить в настоящие обзоры, и период времени, за которое обозревается материал, приурочен к году. Мы, таким образом, имеем перед собою начало правильно задуманной и организованной работы, и нет причин думать, чтобы она не продолжалась очень долго и не становилась год от году лучше.

40 Понятие «лучше» для всякой работы определяется приближением к той цели, ради которой она предпринимается. В данном случае этою целью служит полнота обзора и его верность. Автор труда, г. Колубовский, если не позитивист, то

ближе к позитивизму, чем к каким-либо другим философским школам; но он имеет то значительное преимущество между слепой, точнее — самоослепившей себя братией позитивистов, что, нисколько не пренебрегая другими течениями философии — знает их все, ими всеми заинтересован, и вообще философски отлично образован. Этого нельзя сказать даже о корифеях позитивизма: не говоря об О. Конте, который задумчиво-рассеянно сказал как-то: «Я никогда не читал Канта», о Д. С. Милле, который в него никогда не вникал, даже Льюис-историк прямо и очевидно не понимает предмета, о котором пишет, и, что поистине удивительно, не делает никакого особенного усилия, чтобы его понять, т. е. вчитаться и вдуматься в произведения философов, которые излагает и даже хотел бы критиковать. Также ничего неизвестно о философском образовании Спенсера. Все эти люди, т. е. члены всей этой замечательной школы, начинали философию от себя и следили за нею только после себя, справедливо находя ее успехи огромными и надежды всегда осуществляющимися. Принадлежа по симпатиям к позитивизму, г. Колубовский не имеет ничего общего с этою его *ignorantia* *, и уже по одному этому можно заключить, что он скорее сходит, хоть и незаметно для себя, со ступеней позитивной лестницы, нежели восходит по ним, или стоит на них неподвижно. Вот отчего, не говоря о совершенной осведомленности его во всех областях философской литературы, и со стороны беспристрастия он исполняет почти хорошо свое дело, и, можно надеяться, будет исполнять его, наконец, совершенно хорошо. 10

Теперь — относительно полноты. Обзоры его имеют целью сохранить годовую философскую работу общества; в книге и в журнале работа и сама по себе сохраняется: и роль его обзора здесь есть роль руководителя для того, кто захотел бы осветить тот или иной вопрос текущею литературою предмета. Таким образом, по отношению к книге и журналу роль его могла бы ограничиться в тесном смысле указателем, т. е. каталогом заглавий с краткими отметками о теме. Если здесь он излагает содержание, он делает дело, конечно, прекрасное, но это — уже начало истории философии в ее элементарной задаче и выходит, собственно, из границ его труда. Напротив, совершенно необходимо не только излагать, но и излагать очень точно и очень подробно содержание газетных статей: это — пыль литературы, совершенно улетающая из оборота в обществе через год, и, между тем, эта пыль бывает иногда, по крайней мере, изредка, чрезвычайно ценна. Мы могли бы указать на газетные статьи, которые гораздо более содержат в себе мысли, именно философской мысли, нежели не только журнальные статьи, но, увы! — иногда магистерские или докторские диссертации, даже — увы, увы! — по философии. Так, в газете появилось известное рассуждение покойного Страхова: «Справедливость, Милосердие и Святость»; и многие мысли о дарвинизме г. Эльпе, высказываемые на страницах «Нового Времени», вероятно, даже такой упорный дарвинист, как проф. К. А. Тимирязев, предпочел бы собственным рассуждениям о том же предмете, даже академическим **. В силу 30 40

* неосведомленность (*лат.*).

** Прибавим сюда прекрасные статьи самого Василия Васильевича в «Новом Времени», которые, восстановив совершенно его публицистическую репутацию, погубленную несчастным «письмом в редакцию» одной газеты (мы даже напоминать не хотим, каким), наверно, всеми подписчиками вырезаны и хранятся. — *Ред.*

вынужденной сжатости, газетная статья, — если она серьезна и принадлежит серьезному человеку, бывает иногда увита и перевита мыслью, и сохранение подобных мыслей надолго, введение их в кругооборот постоянного общественного сознания могло бы, настаиваем, составить ценную и важную сторону работ г. Колубовского.

Обзор за 1894 год сделан им неизмеримо обстоятельнее, чем таковой же за 1893 год: он именно начинает переходить в первые элементы истории, и вообще может читаться, местами читается даже с интересом, тогда как обзор за предыдущий год есть в узком значении только справочная книга, не допускающая чтения. Теперь, в большинстве излагаемых статей, уловляется мысль, и как еще ни скомкано ее развитие, все-таки оно видно, видно движение, за коим читатель может сколько-нибудь следить. Ирония, почти всегда острая, оживляет время от времени текст, по необходимости утомительно серый; и как бы некоторым авторам ни была больна эта ирония, они не должны забывать, что она составляет единственную поэзию в тяжелой работе, которую, в общем их интересе, принял неутомимый и бескорыстный обозреватель. Нужно желать только, чтобы она не закрывала от него главную цель — изложить и изложить, не ошибаясь и не впадая в пристрастие против излагаемой мысли, в самой ее передаче: но что потом она отвергается или осмеивается — это есть право излагающего, которое тем менее может кто-нибудь оспорить у него, что, в сущности, оно есть единственная форма философствования, которую автор себе оставил.

<ГОДОВЩИНА СМЕРТИ Н. Н. СТРАХОВА И Ю. Н. ГОВОРУХИ-ОТРОКА>

Завтра, 24 января, исполнится год со дня кончины Ник. Ник. Страхова, через три дня, 27 января, исполнится полгода со дня кончины Юр. Ник. Говорухи-Отрока. Помянем обоих писателей, так родственных по духу между собою, родственных и тому направлению мысли, которому служит наша газета.

Страхов умер глубоким старцем, отслужив 40 лет на поприще литературы. Покойный отличался прекрасным, кротким характером. Окончив курс в главном педагогическом институте (позднее преобразованном в филологический институт) по отделению естественных наук, он вскоре выдержал магистерский экзамен по зоологии, но влечение к философии и литературной критике заставило его сойти с обычного пути университетского преподавания на более тернистый, но и более живой, деятельный журнальный путь. Однако, черты осторожного и осмотрительного наставника и здесь сохранил он в себе. Он сблизился с просвещенным кружком писателей, душою которого были братья Федор и Михаил Достоевские (о первом он оставил обширные и любопытные воспоминания, занимающие почти половину первого тома в посмертном издании «Сочинений» знаменитого романиста изд. 1882 года) и к которому принадлежали такие столь светлые умы, как Николай Яковлевич Данилевский и Аполлон Александрович Григорьев. Для этих двух, для сохранения их памяти и уяснения их трудов, Страхов сделал много. Он первый дал критическую оценку «России и Европы» перво-

го, а когда с войны 77—78 гг. эта книга стала выходить издание за изданием, он принял на себя все труды по ее печатанию и составлению к ней указателей, а также и выбору в приложении объясняющих и руководящих статей. По смерти друга своего, Ап. Григорьева, он также собрал его главные критические статьи, и, несмотря на крайнюю бедность свою, кажется, на занятые и не вернутые от продажи деньги — издал их. Эта его черта, т. е. способность к верной памяти умерших друзей и заботливое отношение к их трудам, составляет одну из трогательных черт усопшего писателя.

Рядом с этим широко развернулась его собственная литературная деятельность. Последовательно в журналах Ф. М. Достоевского: «Время» и «Эпоха»¹⁰ и потом в журнале Кашперова — «Заря», он дал ряд превосходных статей философского, критического, публицистического и естественно-научного содержания. Кружок писателей, нами названных, положил основание так называемому «петербургскому славянофильству», славянофильству «почвенников» — в отличие от московского, с его вождями Аксаковыми, Хомяковыми, Самаринскими, Киреевскими. Это славянофильство и было исходною точкою для Страхова в его работах, особенно в публицистических и критических. С умом и несомненным превосходством образования он оспаривал торжествовавшие в ту пору идеи «Современника» и «Русского Слова», с их вождями, ренегатами семинарии — Чернышевским, Добролюбовым и юношей Писаревым. Но общество, носившее²⁰ все черты детства, конечно, шло за вождями-детьми, увенчивая их славой и само за ними спеша к крушению. Этим крушением было 1 марта, где идеи 60-х годов нашли осуществление для себя — свою могилу. Россия не пошатнулась от удара; она оплакала горе, но еще незыблее установилась на исконных основах своих, на «почве» тысячелетнего бытия своего. С этого времени только начинается и внешний успех литературных трудов Страхова; он начал собирать разбросанные по журналам статьи свои, в систематические сборники, обогащая их новыми прибавлениями.

Так произошли важнейшие его труды: «Борьба с Западом в нашей литературе», 3 тома (вышло третьим изданием незадолго до его смерти) — с рядом³⁰ превосходных критических очерков, как о выдающихся русских писателях, так и о выдающихся западноевропейских мыслителях; «Критические статьи об И. С. Тургеневе и гр. Л. Н. Толстом» (два издания); «Заметки о Пушкине и других поэтах»; по философии главный его труд: «Мир как целое», «О вечных истинах», «Об основных понятиях психологии и физиологии», «Философские очерки». Все труды эти написаны изящным, легким языком; все полны глубокою вдумчивостью в свой предмет; полны, наконец, так позабытого в наш век литературы-промышленности — душевного изящества.

Жизнь Говорухи-Отрока прервалась раньше, прошла бурнее. Он умер с небольшим 40 лет; в 70-е годы, еще юношею, он принял участие в каких-то беспорядках студентов, был арестован, просидел с год в Петропавловской крепости и затем выпущен — но под надзор полиции и без права въезда в столицы. Замечательно, что будучи в университете, когда он обращался к наставникам профессорам с вопросом о лучших руководящих книгах по критике, к которой тогда уже чувствовал влечение — ему указывали на Белинского и Добролюбова, и никто даже не назвал имя Ап. Григорьева; случайно, едва ли не в тюрьме, он напал на сборник статей последнего, и — рассказывает он — «это было для меня вто-

рым рождением». Глубина мысли Ап. Григорьева захватила его; его беззаветная любовь к искусству и литературе очистила душу его от грубых политических страстей. Высланный в Харьков, он стал пописывать в местной газете «Южный Край»; его талант был замечен, и он был приглашен сотрудником в «Московские Ведомости». Здесь, приблизительно с 1889 года, он вел еженедельные критические беседы. Огромное множество литературных явлений, как текущих, так и давно отошедших в прошлое, в его статьях нашло себе оценку и переоценку. Особенно покойный любил Шекспира; из наших писателей он останавливался подолгу над Тургеневым, Достоевским, Полонским, Л. Толстым, из прежних — над Гоголем, Пушкиным, Чаадаевым и другими. Реже и меньше писал он в журналах «Русский Вестник» и «Русское Обозрение». В отдельных книжках у него вышли только критические этюды о Тургеневе и о г. Владимире Короленко.

Везде в статьях этих он явился горячим проповедником тех народных и исторических начал, которые — их не зная еще — он отверг в юности, и страстным борцом против той шумихи слов, той мишуры умственной и фальши совести, которых не мог рассмотреть в нашем радикализме и западничестве отроческими глазами и рассмотрел воочию, когда стал мужем.

ПАДАЮЩИЕ КОЛОСЬЯ

Несколько господ, из коих большинство — выражаясь языком Герцена — «преимущественно ничего не писали» и меньшинство, при всех потугах, не написало ничего значительного, образовали из себя в С.-Петербурге «Союз писателей». Малое союзились, ожидая, что выйдет из него большое, по аналогии, что и горы образованы из песчинок. И вот г. Гамма, — слишком известный Гамма, чтобы о нем распространяться — ликует в «искренних речах» своих, в № 11 не крещенной или слабо крещенной газетки «Луч».

Песчинка собралось 24 января «около девяносто», — пишет он, — «в том числе и все наши писательницы» (*как страшно! Но неужели была и г-жа Микулиг, автор прекрасных «Зарниц»? Неужели и она обманулась?*). «Почти все известнейшие публицисты, романисты, поэты» собрались: «седые головы» 60-х годов «преобладали в собрании». «Предмет занятий сводился в очень скучной выборной процедуре; но оживленные разговоры, встречи со старыми друзьями, новые знакомства и общее одушевление, общее проникновение одной и той же мыслью, сознание близости и возможности достижения для всех важной, заветной цели — покрывали баллотировочную механику и превратили это собрание в интимнейший раут, в нечто подобное тем салонам, которыми славилась прежде главнейшие умственные центры».

Как уже сообщалось в «Нов. Вр.», из «Союза» почему-то исключены именно и по преимущественно «писатели»: нет г. Майкова там — поэта; нет г. Стасюлевича — ученого, нет г. Шубинского — журналиста, нет собственно «писателей», а только «пишущие», которым очень хочется пометчать, что и они — «писатели»...

Собрание 90 «пишущих» все «об одной мысли», о мысли без всяких вариаций «одной и той же» у всех, показалось Гамме «редким многолюдством», и оно уже

«само по себе» доказало ему, а он «доказывает» читателю, как «насушна потребность, которой призвано служить это новое литературное общество, этот Союз русских писателей» (*т. е. почти писателей*). Этою «насушной потребностью» Гамма гипнотизирован; он уверен, что ею будет гипнотизирован и каждый; он, трудно различить, грозит или манит: «Нет сомнения, что каждый русский писатель (*т. е. уже настоящий*) сочтет своим нравственным долгом примкнуть в этому общему делу, потому что основная задача Союза заключается в *соединении (курс. его)* всех литературных тружеников, всех представителей печати во имя *общих (его курс.)* всем им интересов, независимо от партий (*ну, будто бы*) и направлений, личной вражды, мелочных счетов, раздражений и предубеждений».

Хорошо пишет г. Гамма.

Ну вот тут... «Эка закавыка»:

«В Союзе не будут участвовать только те, кто чужд общим литературным интересам (*все как неопределенно*), кто не понимает основных задач печатного слова (*ну уж Майков-то не понимает: его же не пригласили?*), обязательных для каждого честного, убежденного (*да в чем? это за темнота!*), верного своему призванию писателя, или, что еще хуже (*это еще хуже?*) нарушает эти основные задачи, противодействует им. Будут чужды Союзу (*о как страшно*) и отринуты им (*Боже, отринуты!*) и те, кто злоупотребляет печатным словом, пользуясь им для противонравственных (чуть не прочел: для противоестественных) целей, каковы, например (*а, добрались*): лживые доносы, шантаж, продажность, биржевые спекуляции и т. п.».

От страха перевертываю страницу и читаю «Далин»...

Дальше уже следует в «искренних речах» (и выбрал же название) чистая «литература»: «Союз предназначен для выяснения и укрепления»... «Будем надеяться, что Союз оправдает»... «к вящему процветанию и развитию словесности, стяжавшей уже во всех своих видах весьма почетное, в некоторых случаях даже выдающееся, место в умственной жизни всех просвещенных народов»...

И, словом, как всегда у Гаммы: «Шампанского!»... и «все писательницы» с замиранием слушают...

Но вот немножко дела. Тут же рядом с «искреннею речью» без сомнения — правдивая речь: это «Дневник петербуржца».

Он продолжает, с тем же пафосом, о «празднике русских литераторов». 24 января и у него мы находим сперва «немножко о духе» вновь образованного Союза:

«Шестидесятые годы, поистине, были расцветом русской литературы и жизни. С тех пор прошло 30 лет, и вот литературные, а вместе с тем и общественные нравы изменились. Кто на кого повлиял, общество ли на литераторов, литераторы ли на общество — неизвестно. Здесь нужно предполагать взаимодействие *дурного тона*, которое, в свою очередь, вызвано, вероятно, отчасти историческими условиями».

И, наконец, «немножко программы» Союза:

«Новое общество литераторов обратит главное свое внимание на молодых писателей, в большинстве талантливых, но... как бы это сказать?.. неустойчивых, тем более, что они не виноваты или почти не виноваты (*лести-то, заискиваньята перед „молодыми“...*) в своей неустойчивости: виновато время — виноваты тяжелые материальные условия, при которых приходится работать большинству их, виноваты скверные примеры, которые они видят вокруг, примеры не только

не осужденные, а, наоборот, чаще всего вызывающие в их среде зависть, восторг, выражающийся восклицанием: „Ах, если бы мне то же!“ (*ну уж, что же это за писатели? а все-таки и таким даже льстят*). Пусть новое общество поднимет... пусть оно послужит... для молодых писателей живым олицетворением... чтобы молодые писатели чувствовали себя *под его нравственным контролем* и могли *найти в нем нравственную опору и суд*.

Суд, главное суд... на «молодых писателей», ускользающих от старичков 60-х годов. Вот в чем все дело и где «гвоздь» образованного «Союза», исключившего истинных писателей, ограничившегося «почти» писателями, но зато, по выражению Тургенева, «с начинкой». То-то и Н. Михайловский трубит о «Союзе» в только что вышедшем январском № «Русского Богатства»... Старички поднялись; старички в последних степенях негодования; вокруг их пусто; могила близится; все от них бегут — уж извините — зажимая нос: мертвым пахнет. И вот, в ожесточении ярости, они собираются кричать: «донос», «шантаж», «продажность», «биржевой спекулянт» — о всяком, кто не пребудет еще с ними, кто делает шаг в сторону...

Зачем так нужны им живые люди? Что за тяготение к молодости? «Свобода, господа, свобода — прежде всего», повторим мы их же слова. Свобода мысли и слова — без этого нет литературы; и, ради Бога, не инквизиторствуйте: что вам за дело до мотивов, по коим вас бросают; ради Бога, оставьте полицейско-инквизиционное «чтение в сердцах», о коем говорил еще старик Щедрин. Вы намекаете на «матерьяльные условия», из-за которых вас будто бы бросают: но отчего же, ведь ваши издания все еще идут отлично, ведь «выручку» не всю же вы кладете в карман и уплачиваете гонорары? Может быть, вы хотите их повесить для «молодежи», чтобы удержать ее? Но какая же, подумайте, какая же молодость останется с вами, если она останется из-за рубля?..

Старые селадоны — оставьте молодость.

Оставьте идти, куда она хочет, повинувшись движениям сердца, а не страху перед клеветой, которую вы собираетесь в нее бросить.

Оставьте молодость. Старая нива, побитая невзгодами, не имевшая силы удержаться, с осыпавшимся зерном, не посягай на озими, из-под тебя пробивающиеся. Еще день пройдет, еще немногие мелькнут дни, и успокойтесь, успокойтесь тщеславные старички — вас снесут в Пантеон нашей литературы, на знаменитое «Волково кладбище», туда, где покоятся «останки»... Успокойтесь, успокойтесь: над вами выбьют металлические дощечки с прописью дня и года рождения, года и дня смерти, отчества и имени, и что-нибудь в стихах или в прозе о заслугах...

Успокойтесь и не волнуйтесь...

Мы, кого вы называли или готовились назвать «шантажистами», «биржевиками», «доносчиками», — едва тление бытия вашего рассеется и воздух станет лучше, с полной любовью и забвением обид понесем кости ваши на «знаменитое» кладбище и пропоем печальное и вечное:

«Со святыми упокой»... «Идеже несть пегаль, ни болезнь, ни воздыхание»...

Ради Бога успокойтесь... Все будет сделано, и даже «бюро похоронных процессий» мы не дадим ничего заработать. Всё сами сделаем, на своих плечах понесем; и потом — некрологи, и еще раньше — бюллетени о здоровье, и... «воспоминания», «воспоминания»...

INDE IRA... *

Все с ума нейдет
 Ненаглядная ..

Кольцов

И оружие пройдет душу твою...

Луки, 2

«Союз русских писателей»... «русские писатели», организовавшиеся в *Союз...* это как-то всё не выходит из головы; тревожит, мучит, дразнит; не дает свободы заняться чем-нибудь посторонним. Едва ли отчетливо понимают мысль его сами учредители, понимают ее до глубины, до кристальной прозрачности. В его возникновении есть нечто стихийное; он бурно родился; будет бурно и прочно его существование; или, если ему суждено кончиться, он кончится с мучительной агонией... ¹⁰

Они, эти «писатели», не собираются писать и слушать «рефераты» о «приемах художественного творчества», о «художественной критике», об отношении «идеала и действительности», и всех этих старых темах... Он *нов* по мысли своей, по тенденциям, т. е. нов, насколько новы 60-е годы в нашей жизни, насколько в тысячелетнем росте нашей страны они недавни, свежи. «Союз» — это последнее и мучительное усилие 60-х годов отстоять себя, — усилие, порывающееся даже к победе, обладанию; негодующее, ненавидящее, и, — как уже не скрывается, — готовящееся судить, присуждать... ²⁰

Эстетика, это состарившаяся в девах богиня, увядающая, обносившаяся, никого более не привлекает; этика, живая, страстная, мощная и, кажется, не стареющая — стала на ее место. Порыв — мы говорим о «Союзе» — прекрасен по *самому общему* своему основанию, колориту; прекрасна эта страстность, эта ревнивая нетерпимость новых движений; но частности его, но *дробное* его содержание, но *цели* нетерпеливых движений — мучительны, мучительны донельзя...

О, если бы мы, если горсть разбросанных *русских* писателей, т. е. писателей, беззаветно преданных *русской* жизни, *руссизму* в жизни, *руссизму* в *мечтах, идеалах, привязанностях* — умели быть также живы, деятельны, подвижны, предприимчивы. Нам дороги образы Татьяны — Пушкина, Лизы — из «Дворянского гнезда»; нам мил этот Лаврецкий; о, если бы на страже этих лиц, за их мечты, за их поэзию, над их священной могилой, хоть и воображаемой, т. е. художественно только опознанной, мы сумели стать непоколебимой ратью... ³⁰

Нет этого; и нас немного; и нет бодрого духа в нас; нет веры даже настолько, чтобы сказать: *здесь* и не далее, не *через* эти могилы пусть ступает жизнь...

Нет, эти могилы Татьяны, Лизы, Лаврецкого — оставлены; и крест, покачившись, упал, никем не поддержанный, ограда сломлена, и как на неземный бугорок приходит сюда в праздник фабричный, с своей Дульцинеей, и, вынимая кусок колбасы из одного кармана, склянку с живительной влагой из другого, — ⁴⁰ начинает веселую и продолжительную свою пирушку и потом «любовь»...

* Отсюда гнев... (лат.)

Култ почил на других могилах; там все убрано; убраны могилы Надсона, Гаршина; первый понял в Достоевском только — что он «бряцал цепями»... Они все «бряцали», если не цепями, то о цепях «на лире». Маленькие, глупенькие, плоские — они застыли в скорбной мине; и Россия до сих пор не наплачется, глядя на эту скорбь в их мине...

Скорбь «лучших сынов» об отечестве, плач Сильвио Пеллико о темнице, куда он заключен; отечество — это кандалы, это веревка на шее «лучших», конечно, веревка ненавидимая, срываемая. Некрасов писал, даже в природе видя отражение скорбей отечества:

10

...месяца нет — хоть бы луч:
На небо глянешь — какие-то гробы,
Цепи да гири выходят из туч.
(из поэмы «Мороз, Красный нос»)

Этоту болью «болел» Щедрин, голиаф отрицательного направления, этот филистимлянин, побивавший лошадиной челюстью своей сатиры верных Израиля. И все они, чем дальше и дальше заравнивали могилы Лизы, Пимена, Лаврецкого, могилы всего ветхого, поэтического, милого, идущего из исторической дали — тем выше высились их собственные пышные саркофаги, «на Волковом кладбище»; и чем кто более, чем глубже, чем страстнее и, главное, умелее ненавидел отечество свое, тот в этом отечестве был больше почтен...

Удивительно ли, что как перепуганное стадо разбежались все со старых могил; как бы перепуганные провалиться в них, заживо умереть; разве заживо не умер, разве не заживо был погребен К. Н. Леонтьев, писатель столь даровитый, столь сердечный. Он возлюбил свою землю; конечно, он был проклят...

Проклят в литературе нашей самыми обширными группами ее «писателей», ныне организовавшимися в «Союз»...

Я уже сказал, что клики этого «Союза» победны; что они — негодуют, отрицают, разрабатывают «скорбную мину»; они готовятся судить и присуждать; чувствуют победу, и в самый миг рождения своего издадут не крик радости о бытии своем, но вой протяжный о некоторой ожидаемой добыче *. Они не скрывают, что собственно не литература, не поэзия их занимает, не искусство, не этика и, теснее, насколько она переходит в «политику», страстное изготвление к действию, в победу фактов над фактами и вовсе не идей над идеями...

Все это было бы прекрасно, если бы иной был объект борьбы, иной объект желаемый и чуемой победы. С кем борются они? Что бесспорно не играет никакой роли в настроении *Союза*, в его созерцаниях? да, это — старые заплыванные могилы, которые облегал огромным телом своим русский народ. Раки святых угодников, к коим тянется русский народ за утешением — можно ли вспомнить о них, заговорить на заседаниях «Союза»? тот монастырь, куда Лиза Калитина унесла скорбь разрушенного счастья, едва мелькнувшей и обманувшей надежды — по-

* См. в «Нов. Вр.» от 5 февраля речь проф. Сергеевича, в качестве председателя литературного фонда, и сопровождающие замечания его о шельмовании, каковому его предали «представители» *Союза* за эту речь, где, сверх прочих преступностей, он упомянут с благодарностью о даре Государем Императором 10 000 руб. ежегодно нуждающимся писателям.

зволительно ли *там* о нем напомнить? Нил Сорский, Сергей Радонежский... воспоминания нашей истории — составляют ли они какую-нибудь память у этих писателей, писателей «земли русской»? Напрасный вопрос; все интимно мы знаем, что если что забыто, если что основательно забыто там, до искоренения, то именно это, о чем ежедневно русский народ помнит и чем день от дня, изо дня в день жив он...

Inde ira... «Союз» — это наконец формула, до кристальности прозрачная; в родной земле — писатели *союжаются*, они становятся плечом к плечу, обращая щит и меч наружу; к кому же обратим их, как не к стране, в которой они построятся римскою «черепахой», неуязвимою, непроницаемою?.. Как не к стране, 10
к которой они суть «писатели», на языке которой говорят, «пишут»...

«И оружие пройдет душу твою» — эти слова навертываются неудержимо на язык. Русская литература наконец ясно, без недомолвок поднимается против русского народа; по невозможности соприкосновения, она не против него собственно подымается, но против той группы почти разбежавшихся уже писателей, которые еще помнят, еще оглядываются на старые могилы, старые идеалы народа русского, на его исторические заветы. Но кто против защитника, тот и против защищаемого. Центр борьбы — именно русский народ; сердце, «пронзаемое оружием» — это народное сердце. Именно сердце: народ не в физическом теле своем, но в надеждах, молитвах, вере, в безмолвии громадной своей культуры, пока 20
не нашедшей языка и выражения — вот то, во что литература, поднявшаяся на плечах этого народа, взлелеенная на копейку его, с мучительною ненавистью направляет меч...

Больно это, мучительно это...

И еще Михайловский, стоящий во главе или почти во главе «Союза», писал об «уплате народу своего долга» «интеллигенциею»; так сантиментально об этом «напоминал». Старая лисица нашей литературы; старая блудливая коза...

Они пишут на русском языке, они говорят на нем; они почти все «народники», представители «народничающих» журналов, где имя Церкви и Бога суть слова, исключенные из лексического оборота. Они за «народ», за «русский 30
темный и обиженный народ» — как и Иуда, приходивший в Гефсиманский сад и, обнимая, лобызая Учителя, именовавший его: «Равви, равви»...

<А. Н. МАЙКОВ. НЕКРОЛОГ>

Аполлон Николаевич Майков, которого сегодня мы опускаем в могилу, — замечателен не только как поэт, но и как патриарх нашего общества; в то же время он был одним из лучших светочей умственной нашей жизни. Ряд поколений поднимался перед ним; совершил свой труд; сошел с исторической сцены. Как не сродны были думы этих поколений, от идеализма времен Белинского и до матерьялизма 60-х годов, от политической воспаленности конца царствования Александра II и до спокойного оздоровления времен Александра III. 40

И как не сродны были эти думы, так различны, иногда до противоположности, были дела, из них вытекавшие. Рождались и умирали минуты неудержимо

бегущей истории, а маститый поэт, до последних дней не выпускавший из рук лиры, встречал и провожал их, оценивал и иногда судил с тех неизменных высот, с которых никогда не спускалась душа его. Высокую цену для общества имеет видеть среди себя таких хранителей предания, таких зрителей и судей, которые имеют возможность сравнивать поколения и указывать каждому его излишества.

Мы назвали его еще светочем нашей умственной жизни. Действительно, в поэзии его мы видим, как широко русская душа может откликнуться на самые различные звуки. Древние и сумрачные гностики, светлая Эллада, крепкий Рим, и наши летописные предания — все это прошло через воображение замечательного поэта и оставило след в трех томиках его стихотворений.

Мир праху твоему, прекрасный поэт, мир твоему праху, прекрасный цветок, упавший с исторического нашего дерева, и так долго благоухавший на нем! Имя твое перейдет в роды и роды, и научит детей наших, внуков, правнуков, лучше чувствовать и лучше думать!

ИЗ МИРА ИДЕЙ И ФАКТОВ

I

Четверг 20 марта

Кто не читал о судьбах наших колоний «толстовцев», около Смоленска, на юге, еще где-то? Кто не вдумывался в судьбу эту? в причины этой судьбы? Как вулканические острова среди океана, оне подымались и, покурившись недолго, исчезали, едва успев привлечь к себе внимание. Напрасно бытописатель искал бы следов их существования, как географ напрасно трудился бы, нанося на карту удивившие мимо идущих моряков неведомые новые острова. Океан вод скрывал их; океан народной жизни — без усилия, без старания, без какой-либо борьбы — поглощал странных пахарей, говоривших по-французски, т. е. могших говорить, но чаще всего говоривших о Спенсере и эволюции...

Есть что-то невыразимо печальное в рассказах о них, изредка их самих о себе. Не странно ли: мы вовсе не слышим там смеха; нет, правда, и слез; все угрюмо — почему бы? Все до странности молчаливо — как в монастыре, но на этот раз без молитвы. Какой-то *подвиг*, какая-то *ноша* чувствуется в дыхании, речах, безмолвии и разговорах пашущих. Весна пришла — и поля засеяны; пришла осень, картофель выкопан; долгую зиму угрюмые робинзоны едят кашу, и мы чувствуем, они опять при этом совершают какой-то долг. Безрадостные стоики, стоики какой-то одинокой своей мысли, они однако менее крепки, чем были древние римские; может быть — они лучше тех, мы думаем — богаче духом, свежее и чище сердцем. Как бы то ни было и отчего бы то ни было, выдержав несколько, обыкновенно не много лет «искуса», они расходились, т. е. уходили к тем самым людям и той самой жизни, которую отвергли и осудили...

Здесь, вокруг их, вокруг... мы едва не сказали — маленького «необитаемого острова», — вокруг их до странности недолго обитаемого острова — «колоний-

ки», волнуется огромная жизнь, где нет, пожалуй, их долга, стоицизма, добродетелей, но есть непременно смех; непременно есть слезы; труд — но почему-то без скорби; молитва — и вовсе без уныния, пусть молитва нерадивая, без внимания, быстро обрываемая; все пороки есть — и однако в жизни, т. е. в живом теле есть болезни, коим болящие не удивляются, с ними борются в меру сил, и, побеждаемые, умеют покоряться судьбе. Колонийки, напротив, не болеют; ни о ссорах там мы не слышим; ни о ревности, ни об убийстве; даже не слышим ничего о жадности, скупости, ни о чем из того, о чем слышим в ежедневной, «обыденной» жизни. Не болея ничем — они *расходятся*, т. е. даже не умирают, но как-то исчезают, расплываются, даже нельзя сравнить: «как дым от повеявшего ветра». Нет, именно как вулкан среди Океана: при безветрии, зеркальной глади вод, без прикасающейся извне руки — островок-колония *был*, и вот *мы* его не видим более, не знаем о нем, и, собственно, даже не спрашиваем, где и почему он был, не вспоминаем...

Зыбкость бытия, не имеющая себе аналогий в истории.

Мы назвали обитателей этих островков робинзонами. В восхитительном романе Де-Фозэ рассказал нам судьбу знаменитого юноши, и мы все с замиранием сердца следили, еще в детстве, за самым любопытным, что он сумел и догадался показать: *как* этот юноша, грубый и недалекий по образованию, в сущности создает около себя и из себя целую и совершенно новую, т. е. для него новую, культуру. Страницы книги бежали перед нами легко; но если бы то были страницы действительности, они окончились бы, как и кончаются иногда в самом деле, быстро чем-нибудь кровавым, диким, во всяком случае печальным и быстротечным, как и эти маленькие колонии «толстовцев», о которых мы говорим...

Де-Фозэ... замечательно, что он был очень несчастлив, и именно в семье, именно от собственного сына. Сын, для которого, быть может, он и писал отчасти роман, вырос очень грубым и жестоким малым, тупым малым. Нисколько не заботясь о будущем своего имени, он затеял против отца судебный процесс, из-за каких-то денег: Де-Фозэ был осужден и приговорен к тюрьме. Но это — кстати, и для нас побочно. Я хотел бы указать только, что Де-Фозэ забыл, как и «толстовцы» наши забыли, когда задумывали морально-экономический роман свой, об одном великом нерве, питающем жизнь: *традиции*. И на этом забвении построили роман, в книге — удачливый, в жизни — печальный, угрюмый, оборванный на первых же страницах...

Традиция, *переданная* культура... Что это такое, как не бездна индивидуально-го труда, слившегося в громаду идей, понятий, чувств, влечений, которые как бы застыли и более не вызывают никакой индивидуальной мысли, никакого личного размышления над собою собственно, ни личных чувств, т. е. опять в отношении себя, своего содержания и его истины. Окаменевший дух — вот историческая цивилизация: окаменевший, т. е. ставший недвижимым, неколеблущимся более, но остающийся вместе живым и дышущим, — уже потому живым, что собственно им творится $\frac{9}{10}$ всякой индивидуальной жизни со смехом и печалью, преступлением и поправками к нему, т. е. не механической жизни, стоически трудной и стоически же бесплодной... Этот труд, который я привычно выполняю, учились и выучились выполнять миллиарды людей; уклад семьи, который я принимаю как обычай, как бытовой и часто суровый нрав — он прошел между остриями бездны иначе начавшихся и разрушившихся, несчастных семей. В этих $\frac{9}{10}$ жизни всякий индивидуальный почин, который я хотел бы предпринять, уже был ис-

пытан, всячески модифицирован, и бездны глаз следили за ним, оценивали, изучали и, наконец, вынесли решение, как «обычай».

Но для чего он мне в этой окаменевшей форме? не возбуждающей мысли и почти не допускающей суждения? — Для свободы. Еще $\frac{1}{10}$ жизни остается каждому, и она уже не определяется историей: это наше *лично* отношение к предметам, содержание коих бесспорно в себе самом, «обычно»; но вполне спорно и может колебаться наше отношение к ним. Бесспорен труд, т. е. закон труда для всякого живущего; но форма труда для меня не определена, как и степень моей умелости в труде, моей привязанности к труду. Бесспорна любовь, но ее правда или в ней лицемерие — это принадлежит моим свободным силам. И так — во всем. Вот — личная жизнь, и она требует затраты энергии. Этой энергии тем больше остается человеку, чем бесспорнее для него те окаменелые части жизни, чем пассивнее, безвольнее, без размышлений и следовательно без напряжения, он их принимает в $\frac{9}{10}$ личного существования. Весь остаток дарований тогда, острота ума, чистота сердца, свежесть желаний идет на то, чтобы наилучше потрудиться, наилучше возлюбить и вообще наилучше от себя и за себя пронести то бремя жизни, которую несут все в «обыденной жизни», никто от него не отказывается и вообще несут его все весело, иногда правда со слезами, но и не вовсе без смеха.

«Толстовцы» приняли на себя $\frac{10}{10}$ жизни. Нужно ли удивляться, что они были раздавлены? Дивно ли, что они не исполнили даже и той $\frac{1}{10}$ дольки ее в форме обычного регулярного труда и всяческого «честного жития», которую, казалось им обманчиво, одну понесут они на своем острове — колонии. Они вовсе не поняли, что поднимают на плечи свои, плечи этих 40—60 человек, пусть наилучших сил, наилучшей чистоты сердца, бремя всей всемирной цивилизации: с задачей еще выработать обычай, выработать веру, выработать семью, отечество, порок и правду. Конечно, они пали убитые тяжестью. Не забудем, что в колонию они вошли с наукой, философией, воспоминанием веры, нравственности; и с жаждой естественной, неутолимой этого уже «познанного» плода жизни. И, в меру этого «познания» и одновременно отвержения, взяли на плечи себе столб 2-х тысячелетней культуры, а не культуры мужика Семена, который с женой и «сам-третьей» с лошастью уходит в Сибирь. Впрочем, мужик имеет культуру, несет ее с собою, т. е. уже готовую и нисколько не разрушенную, в форме веры и обычая, которые исполняет в Сибири. Они же внутренне, психически разрушили эту культуру, ничем не загасив ее жажды, разрушили идею семьи, но не инстинкт семьи; доверие к отечеству, но не желание отечества; веру в Бога, вот *этим* способом поклоняемого, — и не знали теперь, не знали вообще, как же, каким видом и способом, в каких словах и чувствах поклоняемого? Им нужно было... в эти 30—40 лет предлежащего колониального жития, в числе 70—100 человек, пережить вновь что-нибудь аналогичное Евангелию: ведь не пошли же бы они к шаманам; выделить из себя Моисея, ведь не могли же они начать практиковать «свальный грех», а между тем VII заповедь была для них археологическим дефектом, с зиянием пустоты на ее месте, с жаждущей, неутоленной пустотой. Наконец — с пустотою, требующей молоховых жертв...

«Три года просуществовала колония», говорим мы и прибавляем: «только». Но это атлеты силы, римляне духа, ибо три года продержаться на плечах этот новый Атлас, в сущности — небеса и землю, значит более трудное совершить, чем географически покорить страну, территориально занять ее, заселить, вспахать.

И в самом деле, всмотримся в психику их, вдумаясь в положение, занятое ими между старым миром и новым, какой предлежало им породить из себя. «Труд» и его закон, «любовь чистого братства» и ее закон — вот две заповеди, вынесенные ими из «того мира», вне которого свернулась в раковину «колонийка». Перейдем к конкретности; вот поле вспахано и картофель съеден; колонийка уютно еще продолжает сидеть около «братских» столов. Запеть бы песню теперь, — однако какую? Пытается и никто не может придумать слов: выходит прозаическая нескладаца, и еще менее может кто-нибудь придумать мотив, напев. Остается или молчать, или петь не веселящую сердце бессмыслицу, или запеть... *старую* песню, из того *отвергнутого* мира; т. е. хоть через песенку, и насколько она будет 10
длиться, слиться с тем миром, который отвергнут. Правда, песня — это смех, это поэзия, это веселье, т. е. пустяки; однако, именно она-то и примиряет, она — самая опасная соединительница, самый лукавый недруг вражды. Оставим ее и лучше будем вести серьезные споры: о чем бы, однако, где для них *темы*? Никто из колонистов не Декарт, не Лейбниц; и новое, о чем хотят они заговорить, насколько оно действительно ново и им исключительно принадлежит — плоско, грубо, поверхностно, не насыщает их ума, уже испытавшего лучшие споры; а чуть кто пытается продвинуться к лучшему, к действительно занимательному, впадает в темы *старого* мира, обсуждает их методами мышления, открытыми в *старом* 20
мире. Таким образом, за эти три года они почувствовали то, чего мы никогда и во-
все не чувствуем: что покоящаяся на традиции необозримая жизнь есть сокровищница форм всяческого творчества, вне которых и без которых индивидуальный дух, предоставленный только своим способностям, ниспадает до идиотизма бытия, до бытия не много возвышающегося над идиотизмом.

И они бросились в старый мир...

В песне, в споре — они уже и там, в колонии, сливались со старым миром; они догадались, что отделяются от него лишь территориально, а не в самом духе; частоколом или забором, но не действительным идейным отчуждением. И частокол был брошен, забор остался пуст; живые души вылетели из него и слились с живым миром, — этим отвергнутым, который истинен уже потому только, что он 30
единственно действителен...

Еще облачко пронеслось над океаном и скрылось за горизонтом его вод; неосутимо, где-то вдали, оно растворилось дождем — и пало в него же.

II

Понедельник, 24 марта

Маленькая, но необходимая оговорка. Предыдущее рассуждение о важности традиции в жизни было уже кончено, когда, желая придать ему большую ясность, я вписал *примеры*: «Этот труд, который я привычно выполняю, учились и выучились выполнять миллиарды людей; уклад семьи, который я принимаю 40
как обычай, он прошел между остриями бездны иначе начавшихся и разрушившихся, несчастных семей...».

Это вводит уже излишество в принцип; это делает человека рабом обычая. До этих пор власть традиции не простирается. Традиция — это счастье, это избавление нас от труда, сложение с нас $\frac{9}{10}$ тяготы жизни, которые мы берем без размышления, как привычку, чтобы свободно сотворить остающуюся $\frac{1}{10}$. Но есть

случаи, когда именно личное счастье, высший долг, сострадание к ближнему требует индивидуального почина и где-нибудь в $\frac{9}{10}$ традиционной жизни. И тогда, конечно, человек должен сотворить здесь, внести личное разумение и личный порыв и в те $\frac{9}{10}$, иначе, чем все, начать семью, переиначить тысячелетнюю форму труда. Но это всегда есть именно труд, именно страдание, а вовсе не удовольствие, начинаемое по капризу — вот что следует помнить. Традиция есть благо, бесплатно полученное; есть дар опыта, ума, лучших чувств, которые мы получили от предков «без завещания, по праву рождения». Но это дар, нас не порабощающий несколько; дар, который мы можем бросить даже — и тогда станем несчастны, как те интеллигентные колонисты; дар, который поэтому мы не столько юридически должны принять, сколько радостно, сердечно, свободно лелеять; иногда его увеличиваем, всегда впрочем немного, и передаем детям своим в целости — это уже наш долг перед ними, тоже нравственный, но строгий почти как закон.

Вот границы традиции; и, кажется, теперь они точны.

Есть классический пример разрыва с традицией, гораздо более исторически знаменитый, чем наши интеллигентные земледельцы, и который едва ли когда-нибудь будет забыт. Это — Спиноза. Между синагогою и церковью он повис одиноко. И его образ так прекрасен, силы его были так велики, что все человечество, до некоторой степени, было обмануто относительно смысла этого примера. Сердца всех благородных людей увлечены были к великому несчастливцу, и несколько отчужденно, чуть-чуть даже враждебно посмотрели на синагогу, даже на церковь; в силу этого, обратным движением, посмотрели сочувственно на разрыв с ними. Никто не понял этого явления во всей его полноте; никто не догадался, что самое благородство сердец, заставившее людей смотреть с состраданием на отчужденного от всех философа, есть плод церкви с одной стороны, и даже синагоги — с другой. Первая и вторая — это мир культуры; мир, где люди тысячею примеров, заветами, повелением Бога, через поэзию и через рассуждения, были из рода в род приучены сострадать вообще всему несчастному, откуда бы несчастье ни проистекало, сочувствовать всякому оставленному, по каким бы мотивам он ни был оставлен, защищать непременно слабого против сильного. Чувства эти не найдены в лесу; не выросли порознь в душе каждого; они так общи и одинаковы в христианском мире, да и в еврействе еще от времен пророков, что ясна их связь с традицией. Т. е. отвергнутая Спинозою синагога была выше его; церковь, в которую он пренебрег вступить, была значительнее его. Вот тайна, никем не понятая, скрытая от глаз мира величием индивидуальных сил философа. Кого он воспитал? Он имел влияние на Гёте, особенно в пору создания Вертера; и это влияние лица на лицо было так слабо, что в Гёте, советнике Саксен-Веймарского герцога, уже не сохраняется никаких его следов. Еще кажется он влиял на Фихтэ, Шеллинга, Гегеля — допустим, влиял — и вот век их еще не кончился, а их значение кончилось. Далее этих, вокруг этих — пустыня. Мы говорим о влиянии спинозизма. Он укрепил, возвысил, очистил учением своим, как примером удивительной жизни, несколько десятков, сотен, допустим — тысяч людей. Но народ включает в себя миллионы, и для них есть синагога, церковь.

Почему-то их научение могущественнее; почему-то оно длительнее в веках; более проникающе, потому что касается не только мудрых, но и совершенно простых, на всех одинаково действуя. Это вполне удивительные создания истории, вполне удивительные органы цивилизации, которых полного значения сам

Спиноза не оценил. Как бедна, тускла, не развита была его личная жизнь; героична, но в одну линию. Представим ее несколько полнее, несколько развитее. Вот у него дети, и по закону противоположности, так часто действующему в рождениях, ни один из них не философ; даже специфически именно к одной философии они все не расположены. Коммод и Марк Аврелий уже дали в истории пример такого соотношения. Какое же наследие он им оставил бы, какую культуру? Он им дал бы один камешек этой культуры, и именно такой, какой им не годен в построении собственной жизни. Маленькие Коммоды, они были бы теперь не молотом, как тот огромный дикарь, но наковальнею, маленькими и бессильными дикарями, коотрых жизнь раздавила бы тяжестью своих требований; раздавила бы, может быть, за преступления, и даже по простой их неумелости. 10

Вот нищета, — мы говорим о наследии Спинозы, — которая восполняется богатством синагоги, церкви, которые *всякого* научают в меру его способностей; и, главное, научают таким таинственным способом, что жалкий пастушонок, как и первый вельможа, видит свое место в мире; знает, что мир в нем нуждается; хочет и умеет отвечать этой нужде. Ведь сам Спиноза потому только мог не оставлять занятий философию, что ему дано было традиционное у евреев ремесло, которое его кормило. И своему мальчику, если бы он у него был, это же питающее ремесло он мог бы передать не иначе, как *повинуясь, подражая* обычаю, выработавшемуся в веках. А выйдя из него, обрек бы его на голод, проступки и, может быть, преступление. 20

Вот что защищала синагога, подняв бурю проклятий против его порывов. Она защищала свое сиротливое и малое против случайно мощного, недолговечно мощного; против эгоистически нужного. Но в ту минуту и для той минуты, конечно, это случайное было прекраснее и даже много ценнее ее. И вот где начиналась, да и часто начинается, трагическая сторона истории.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОЛНЕНИЯ

Русский народ не подозревает, что о нем пекутся две могущественные партии: во-первых, «марксисты» с г. Струве и г-жею Калмыковой во главе, и во-вторых, «антимарксисты», во главе которых стоят Южаков, В. В. и еще кто-то. Издали им покровительствует, т. е. иногда помавает головой, г. Н. Михайловский. С февральской книжки этого года журнал «Новое Слово» перешел в руки «марксистов» и весь ряд сотрудников, т. е. Южаков, В. В. и еще кто-то, вышел из журнала, афишировав выход свой через газету «Новое Время». Русский народ может быть спокоен; «антимарксисты» блюдут его от опасностей. 30

Но мы забыли сказать, в чем дело. «Марксисты» думают, что из русского народа до тех пор не будет никакого прока, пока он «не переварится в немецком котле»; поэтому они благоприятствуют господствующей русской финансовой системе С. Ю. Витте. «Переварка в котле» разумеется не буквально, но в том смысле, что русский народ должен пройти через капиталистический фазис истории. «Антимарксисты» уверяют, что фазис этот, вообще неминуемый для человечества, в частности русским народом может быть избегнут и он может прямо и непосредственно перейти в фазу «справедливого распределения продуктов труда», 40

с ее подробностями. Косвенно и прямо, впрочем всегда мельком, об этом высказывался г. Михайловский. Он очень бранил, в нескольких книжках «Русского Богатства», г. Перцова, доброго Петра Петровича Перцова, когда тот, еще сотрудничая в этом журнале, стал заниматься Фетом, — уверяя, что это задерживает вступление нашего народа в фазу «справедливости»...

Надо надеяться, что «марксисты» провалятся и г-жа Калмыкова останется ни при чем; тоже ни при чем будет и г. Струве, хоть у него и бойкое перо. У него перо, а у них — перья. Они действуют скопом, понимают скопом, сотрудничают скопом и скопом выходят... чуть не сказал: «В отставку». Выходят скопом «из состава редакции». Они сильны: русский народ может дремать спокойно.

Благодетельная партия. Слова бессильны, чтобы выразить ей признательность, и, если б русский народ толково знал, за кого ему следует молиться, он написал бы Южакова, В. В., еще многих и г-на Михайловского в свои *поминания* — «о здравии». Пусть они упирались бы — он записал бы. И потом, когда скончались — «за упокой». Но это со временем...

Р. S. Нам думается иногда, что принцип «марксизма» есть принцип вообще интенсивной культуры, и вопрос в том, способен ли к ней и хочет ли ее русский народ? «Интенсивной» — т. е. «напряженной» до забвения всего остального, что не относится к труду и его продуктам, т. е. к съедобному и «удовольствиям». — Нам, кроме того, думается: да, как только все «прочее», ну там храм и разные мелочи, забудется народом, он уже невольно и сам собой, так сказать от скуки и жажды чем-нибудь заполнить пустоту, станет «интенсивен» в работе, непременно «интенсивен». Так что — это вывод совсем далекий, это при конце — собственно «антимарксисты» наши есть тоже «марксисты», и напр. знаменитый В. В. есть то же, что антипатичный г. Струве: да пожалуй то же, что Струве, и сам г. Михайловский: все они, насколько выхолащивают душу народную (т. е. усиливаются к этому) от разных «странных» идеалов, не относящихся до «распределения богатств». Так что хотя с одной стороны русский народ и обеспечен могущественною партией и рад бы «за здравие», но, с другой стороны, как будто и не обеспечен, так что пожалуй уместнее бы «за упокой»...

Не знаем, как он будет петь. Но нам сдается все, что о нем самом усердно, хотя в мечтательном идеализме и бессознательно, обе партии равно стараются — «за упокой»...

Нас утешает только, нас ободряет несколько мысль, что это «за упокой» несется где-то в углу, что-то около Лахты или еще далее, в избушке на курьих ножках, почти даже не действительной. И во всяком случае, ни в Тульской, ни в Пензенской губерниях «за упокой» не слышно. От этого и в Тульской и в Пензенской губерниях народ поет «Во-лузях...». Как ни досадно, но поет; справляет крестины; иногда хоронит; «играет» свадьбы. И, замечательно — всегда поет. Поминает «за упокой», правда своих «о здравии», и тоже не «тех». И вообще о «тех» ничего не знает.

Но «те» блюдут его внимательно. По крайней мере мы, которые видим их усилия и понимаем тяжесть этих условий, должны отдать им следуемое по принципу *suum cuique* *.

* Каждому свое (*лат.*).

ПИСЬМО * В РЕДАКЦИЮ **

<<Северного Вестника>>

Не откажитесь напечатать нижеследующее мое письмо. Хотя «Северный Вестник» по духу своего направления расходится со мною по тем вопросам, которые для меня особенно существенны, но, я думаю, это не помешает ему дать место нескольким простым объяснениям, рассеивающим клевету, коей случайно я сделался жертвою. К Вам я прибегаю с этим письмом, не встретив в других органах печати интереса к идейной стороне моих объяснений.

В № 1 только что появившегося журнала «Русский Труд» помещены, между странным набором писем гг. Аф. Васильева, Н. Аксакова, А. Киреева и Рцы, в последней рубрике, следующие строки: ¹⁰

«Один ультраконсерватор, впрочем, — наш личный друг, чрезвычайно удивил нас, прислав следующую заметку:

„Г. Грингмут — очень почтенный г. Грингмут, — став у кормила главного органа нашего старомосковского «охранения», вызывал недавно одну легкомысленную газетку и один легкомысленный журнал повторить в его присутствии «присягу на верность», которую в свое время, не находясь еще «у дел», он не расслышал...

Все отвечали ему смехом.

Мы бы ответили: не дважды, но и трижды клянемся в верности Престолу нашему древнему и священному. Но и прибавили бы: а что сделать с тем, кто из этого Престола, ²⁰ который мы любим и чтим, пытается сделать нечто, перед чем мы трепетали бы? Что сделать с тем, кто из драгоценного образа вырубает старинную «дыбу» и, поднимая на ней человека, думает, что постукает так для веры?

Это — все мрачные идеи К. Н. Леонтьева, его тенденция заменить «неверные» и «недостаточные» мотивы любви мотивами страха... Но Россия жила и хочет еще жить любовью; она — еще христианка“».

* *От редакции.* Исполняем желание г. В. В. Розанова и даем место его интересному письму. Наши читатели легко отметят те мысли, в которых, по словам г. Розанова, наше разногласие с ним простирается очень далеко. Письмо г. Розанова свидетельствует о молчаливом, до сих пор не проявлявшемся разномыслии между деятелями журнального лагеря, который принято ³⁰ называть консервативным. Автор письма хотел бы, по-видимому, углубить это разногласие своими умственными силами, — и, конечно, не нам оказывать ему противодействие в этом деле.

** По мотивам, изложение которых показалось бы скучным читателю, письмо это печатается несколько позднее, чем было написано и чем когда произошел вызвавший его инцидент. Но все причины его написания и теперь сохраняются, а мотивы ненапечатания (оно уже было набрано и готовилось пойти в февральской книжке «Сев. Вестн.»), не во мне родившиеся, но мне внушенные, кажутся мне теперь напускными и даже, может быть, придуманными ad hoc <к случаю (лат.)>. В отгисках, любезно мне предоставленных редакциею журнала, это, однако, сделано было, во избежание нравственной двусмысленности, известным большинству соратников по перу и убеждениям, также и лицу, коего непосредственно касается, и лишь было ⁴⁰ скрыто, по означенным здесь мотивам, от людей враждебных направлений. Но правду творить — принадлежит человеку; а выводы из нее и результаты уже устроит Бог и напрасно было бы ему вмешивать сюда свое предусмотрение. — В. Р.

Теперь пусть будет читатель внимателен: после означенного отрывка, редакция (т. е. будто бы редакция) прибавляет:

«Приветствуем от души ту *перемену*, которая совершилась в нашем корреспонденте. Еще недавно неистовствовал он и высказывал в печати вещи, за которые приходилось краснеть. Как *удивились бы* на Страстном бульваре, если бы нам было позволено *раскрыть инкогнито* нашего друга! Не *таков ли* и весь этот наш ультраконсерватизм, о котором выше говорит Рцы? *Настоящий ли* это пафос? Сколько *процентов искренности* в горячих иерамиедах? Согласитесь, что вопросы эти очень любопытны».

¹⁰ Слова эти заключают подпольное обвинение в фальши всей литературной деятельности какого-то «ультраконсервативного» писателя, — обвинение, которое делает редактор (будто бы редактор) «Русского Труда», назвавший выше этого писателя «личным своим другом» и следовательно могущий знать скрытые от читателей подробности его характера и истинных убеждений. Ниже следующие заключительные строки, обращенные к редакции «Московских Ведомостей», могут быть поняты только их руководителем по особенностям его отношений и отношений «ультраконсерватора» к называемому лицу — и совершенно раскрывают для нее аноним:

²⁰ «Превосходно даже вещее слово автора о К. Н. Леонтьеве, которого, как художника и мыслителя, и мы лично *этим* не меньше, чем *наш корреспондент*, но чрезвычайное увлечение идеями которого так губительно отозвалось на многих русских умах. Очевидно, что и здесь автора приведенных строк можно поздравить с *освобождением от „умственного плена“*».

Так кончается странная заметка. Перевернув страницу, мы находим статью «Гатчинского отшельника», обязательно сообщающего читателям свой адрес и делающего с лестными оговорками выдержку из одной давно напечатанной статьи «В. В. Розанова», — писателя «более, чем он (Гатчинский отшельник), искусного». И еще через страницу находим статью «Я. Колубовский. Философский ежегодник, etc., за 1894 год. Спб. 1896», подписанную именем «В. Розанова», не-
³⁰ сколько пылкого консерватора, «ультраконсерватора», как, может быть, уже шепчут губы читателя, и действительно, они не ошибутся.

Все ясно становится, на что мы ясно смотрим. Есть направления, но в них — слои и слои; есть направление консервативное, и в нем могут быть течения, с которыми не сливаются и не сливаемы другие течения. Уже мышление М. Н. Каткова, в общем правильное и здоровое, глубоко чистосердечное, было несколько грубо; это побудило и покойного Н. Н. Страхова, в предисловии к «Философским очеркам», сказать о нем (и вместе о Кавелине), что он «лишен был философских способностей». «Ультраконсерватор», высказав в «Сумерках просвещения», «Афоризмах и наблюдениях» и — недавно — в трех фельетонах «Нового
⁴⁰ Времени» резкое осуждение действующей у нас гимназической системе, главному созданию Каткова, тем самым высказал и резкое расхождение с покойным главою московского охранительного направления, нисколько не предполагая, чтобы этим ослаблялся собственный его консерватизм. Дивный мастер слова, великий Антей, знавший тайну прикосновений к матери-земле, Катков из нее почерпал силу и у нее же подслушал лучшие свои слова; но земля всегда есть зем-

ля, и она совершенно не могла научить его тем утонченностям умственных концепций, где открываются истинные основания консерватизма (как равно и противоположных течений) и самые далекие его заключения. Оттого невозможно даже политическую часть идей Каткова свести ни в какую систему; от этого его требования классической системы в образовании имеют под собою элементарные и наивные аргументы; он весь, во всем своем мышлении, есть ряд афоризмов, то прекрасных, то ребяческих, всегда чистосердечных, но иногда аляповатых. Опускаем г-на Петровского, совершенно бесцветную величину, и переходим к г-ну Грингмуту, Spectator'у. Ум изумительно ясный, может быть самое ясное перо в нашей литературе, он, к великому прискорбию, не знает тайн прикосновения к матери-земле, какие были у Каткова; но, в общем, будучи преемником идей Каткова, невольно для себя продвинул дальше в литературе, — и, опять скажу всю правду: он вовсе бы их не высказал, потому что, по чрезвычайной элементарности своей, г. Грингмут не способен к той доле литературной хитрости, к которой был способен Аксаков. Отсюда, из всех этих мыслей — статья моя о «присяге» (в «Русск. Труде»): в ней нет не только отрицания ультраконсервативных идей; она вся вытекла, в негодовании своем, в насмешке своей, из «ультраконсерватизма». Г-н Грингмут чего-то требует от г. Стасюлевича, от редакторов «Русских Ведомостей», требует на этот день, на этот час. Ну, они дадут «присягу» и что же выйдет? Да ничего; как ничего не выйдет из всех этих кратко-консервативных идей, кроме реакции на эти 5—6, 10—15 лет. И я не однажды высказывал в статьях моих, как мало интересуется меня направление именно этих 15—10 лет.

Теперь — указание анонима «Русского Труда» на вдруг его удививший либерализм мой. Кто принял бы на себя труд не бегло только прочесть, но и вдуматься в статьи мои, именно «ультраконсервативные», мог бы рассмотреть в них бездну элементов, не либеральных только, но и радикальных — идущих при том далее, чем радикализм наших кажущихся «красных» журналов; радикализм, во многих статьях доходящий до полного отрицания действительности, так что остаются только абстрактные идеи, тут же обок развиваемые. Я не хочу высказывать вполне мотивов, по которым пишу, — мотивов преднамеренных, не говоря о неясных, какие бывают у всякого писателя и они часто бывают самые главные. Но вот часть того, что мне известно: конечно, в радикализме есть бездна правды; конечно, в либерализме есть своя правда, хотя узкая и бедная — признаюсь, мне наиболее антипатичная; но самое главное: любимые мною консервативные идеи тогда лишь могут быть не презренной реакцией на 10 лет — реакцией, которую ненавистно в уме своем я сформулировал: «Beati possidentes»^{*}; beati выглядывающие между людьми «образованными, сведущими и добропорядочными» и открывающие им денежный ящик; отделяющие «овец от козлищ», козлищ «поглощающие», да уж кстати поглощающие и «верблюда», благочестиво «отцеживая комара»... Все это лично, все это узко; все это грубо и, наконец, возмутительно, потому что насильственно без всякой мысли, без всякой правды, во имя коей насилие. Насилие же я слишком признавал, и это высказывал, это не устану высказывать; но, да уж будет прощено — насилие именно для меня и для тех определенных, точных идей, которых я добивался сперва в душе своей и за-

^{*} «Счастливы владеющие» (лат.).

тем начинал высказывать для всей действительности. Ведь насилием, деспотизмом дышат многие писатели: ну, назову Стефана Яворского, Руссо; Байрона, Кальвина; да насильствен был и Лютер, даже наш Петр; вообще много было таких людей, и не может уже это очень замарать репутацию писателя, если он не слащавит. Но что же могло оправдать это насилие? — да аналогичное тому, что и всегда его оправдывало, ради чего люди всегда насилие над собою прощали: высшая правда. Но высшая правда есть именно логика ума и чистые алкания сердца, без неперемного уклонения вправо и влево, без мыслей об этих 10 годах, когда я «пил, ел и говорил: наслаждайся душа моя». Я уже заметил, и к счастью ссылаю на г. Суворина может это подтвердить, что не очень различаю, которые из моих идей клонятся в консервативную сторону, которые в радикальную; наконец, есть идеи во мне, именно выразившиеся в силу логики своей и психологической правды, которые мне положительно не симпатичны, коих осуществление строгое я не хотел бы видеть; и я оговорил свою нравственную отчужденность от них, раз в «Русск. Обозрении», в «Письме в Редакцию», предпосланном статье «О символистах», и другой раз там же, в статье «Вечная память» — в отделе ее, посвященном Страхову. Думаю, это есть возможная степень осторожности для писателя — не сливаться лицом своим с своими же мучительно выливающимися мыслями, бросать их в ум читателя, но отчасти и ему под ноги. В полноте всех этих оговорок; в полноте этой пропитанности в общем консервативного мирозерцания идеями радикализма и частью либерализма; наконец, в преднамеренных противоречиях, которые я оставил: в бесконечной, напр., любви к Западной культуре, в совершенных ее формах (ее пример и взят в цитате «Русск. Труда»), в бесконечной же преданности родным началам, что так и оставлено у меня непримиренным, — я дал комплекс идей и чувств, в общем так переплетенных из начал зиждущих и разрушительных, свободы и деспотизма, что начало движения в нем дано, что болото стоячего консерватизма никак не может под него укрыться; как и безверие «либералов» и грубость «красных» — исключена. В статьях моих можно найти выражения любви и уважения к самому грубому, 30 темному, бескнижному руссизму в том или ином обычае, вере, манере разговора, и к тончайшим, эфирным движениям западной культуры. Я надеялся и, кажется, успел дать как бы схему, в которой все лучшее в человеке могло бы двигаться: а что это лучшее бывает противоположно направлено — это есть факт истории, который мы напрасно стали бы оплакивать.

Все это непонятым осталось автору анонимных прибавлений к моей статье о г. Грингмуте. Ни на минуту не сомневаюсь, что добрый Серг. Фед. Шарапов не принимал в них никакого участия и только прочтя, не заметил, что в них ядовито включено глубочайшее оскорбление, какое когда-либо сделано мне было в литературе. Оно нанесено — имя оскорбителя и я, и г. Шарапов знаем — моим 40 интимным в течение четырех лет другом, которого за некоторые его мысли, за некоторую долю мыслей я очень любил, и лишь в последнее время, не перенося других $\frac{7}{8}$ сторон его души, за которые больно всегда несколько его аляповатую сторону. *Suum cuique*; не будем жестоко обвинять его в этом; одному — неизвестность при жизни и глубокое, далекое влияние после смерти, как К. Н. Леонтьеву, другому — влияние сейчас, но краткое, связанное с понятностью толпам. Уже статьи *Spectator*'а в «Русск. Обозр.» всегда с наслаждением прочитывал г. Стахеев, — человек почти без образования; их никогда почти не читал покойный

Н. Н. Страхов: «Боже, что же я там для себя найду?» — говаривал он, отмечая их чрезвычайную элементарность; через две третьи прочитывал я, и, за исключением одной, очень мне понравившейся статьи (разговор с другом) о Конте, — я не помню нового и одновременно точного, верного, что находил бы в них для себя. Все было или само собою понятно, очевидно до прочтения статьи — по крайней мере всякому, кто стоял в круге консервативных идей; или было недостаточно обосновано, как и не доведено до последних выводов; иногда было грубо, аляповато, как известное коротенькое по мысли предложение передать печать в руки «людей бесспорно образованных, сведущих и добропорядочных» (как будто редакторы «Порядка», «Вестника Европы», «Русских Ведомостей» — не образованы, сведущи и добропорядочны», и ясно, что 10—15 таких органов печати в 20 лет совершенно сокрушили бы историческую, «охраняемую» Россию). Консерватора, именно «ультраконсерватора», все это не могло не раздражать именно предосудительной краткостью своей, которая не могла дать консерватизму никакой длительности, устойчивости в жизни; и прибавим также, все это было глубоко антипатично, потому что не включало в себе никаких идеалистических элементов, ни любви, ни истинного негодования, ни пронизательной мысли. Да простит мне г. Spectator; но я вынужден говорить, что есть, и в круге моих идей находилось слишком много оправданий, объяснений этому...

Выходка с «присягою» была именно этою коротенькою и аляповатою вещью, которая прежде всего на первом же шагу деятельности повредила самому г. Грингмуту. Было досадно за него, за то именно, что он испортил свой первый шаг. И было глубоко-оскорбительно именно для «ультраконсерватора» по совершенной оборванности, оголенности, мысли. В 93 году я написал статью «О монархии; по поводу Панамских дел», где — ранее по этому предмету я высказывался — стал ясно, в идейном отношении, на сторону монархической формы общества и государства, как естественной и вечной в христианском мире; и объяснил там, почему «естественной» и «вечной», с какими неумирающими сторонами христианства связанной. Страхов, и еще многие друзья, резко упрекали меня за нее. В 94 году статью «Свобода и вера» я — совершенно не преднамеренно — пошел еще далее в консерватизме; не без удивления прочел я в беспристрастном «Ежегоднике» г. Колубовского: «В этой статье выражены ультраконсервативные стремления нашей эпохи с резкостью, до которой доходил только покойный К. Н. Леонтьев». Между тем, я так далек был от мысли о таком характере этой статьи, что — как может засвидетельствовать Алекс. Серг. Суворин — она была, предварительно напечатания в «Русск. Вестн.», предложена мною в его газету, о коей я не мог не знать, что она не консервативная. В этой, как и в других статьях, я следил за верностью мысли и психологической правдой, и просто не видел, не замечал (и не любопытствовал заметить), направляется ли она при этом влево или вправо. Я был убежден всегда, что жизнь есть движение логики и правды, и кто есть только консерватор, только либерал, — поговорив на эти темы и утешив себя достаточно, влияния на жизнь не получают; а я хотел влияния. Но вот появилась статья «Моск. Ведом.» о «присяге». Я ранее г. Грингмута и определеннее, чем кто-нибудь в нашей литературе, высказался за принцип этот как вечный, неиссякаемый и как универсальный для Европы; в статье «Смысл не-

давнего прошлого», написанной по поводу кончины Императора Александра III, я распространил эти мысли в частности на русскую монархию, ответив, что народ наш, оценивая государей в мотивах, а не в результатах царствования, видит в форме «царства» более этическую, чем юридическую сторону; и настаивал, что это — так. Здесь невозможно объяснять всего цикла развитых мною понятий о монархии, но, бережно отстранив из него все грубое, я омахровил, ублаговонил цветок, мне казалось засыхающий в Европе, и высказал это с той силой любви, которая никак не могла относиться к грубому эмпирическому факту, слишком колючему иногда и некрасивому, как я знал, как свидетельствует история.

10 Каково было мне, именно мне, именно как «ультраконсерватору» и автору названных статей, возбудивших бездну негодования потому, что оне могли служить покровом «грубому и колючему», прочесть такую ужасную «колючку», как предложение г-на Грингмута вторично присягнуть. Ребенок, не благовоспитанный ребенок ляпнул ужасную вещь в круге идей, которых он не понимает. И пусть опять простит он меня; нет ни гнева, ни собственно осуждения во мне: просто сожаление, что так случилось. Нет даже осуждения уму его: он бесспорно и неизмеримо образованнее меня, но «святая святых» идей — он их не касался, как и тысячи других, это простой факт, общий у него с Катковым, не говоря об испорченном ребенке И. С. Аксакове (да позволит редактор «Сев. Вестника» мне

20 сполна высказаться), испорченным и часто, в сантиментализме своем, в напыщенном народничестве — лживом. Словом, я не принижаю его нисколько в круге этих людей; хотя правда требует сказать, что он ниже их по грубости мысли и слова, но он нисколько не менее правдив. Если бы мысли г. Грингмута думал И. С. Аксаков, он высказал бы их совершенно иначе, не вызвав шума лично упрекал, стал от него отчуждаться. Он, вместе с тем личный (по школе) ученик г. Грингмута. Да простит ему Бог, и пусть он не очень упрекает себя за сделанное...

Я забыл объяснить сторону, быть может наиболее интригующую читателя: почему заметка не было мною подписана. Да просто по неприличию говорить

30 вещи лично знакомому человеку (беглое знакомство) в такой силе насмешки и негодования; и по политической необходимости сказать все именно с этою силой. Г-на Грингмута упрекали (с либеральной стороны), что он сказал «ужасную по консерватизму вещь»; но он сказал наивную вещь и скомпрометировал предмет, который, очевидно, любит; нельзя же было ему объяснять, что он «несколько прост» и говорить нелепости о вещах, которые нащупывает руками, но в которые не проникает мыслью. Просто — это нестерпимо, не принято, такие тему думаются, но о них никогда не говорят вслух и лично, если говорят не в стране гипербореев. Никогда при жизни я не сказал покойному Страхову, что он «лишен был творческих эмоций» (что сказал в некрологе), — но нужды это печатно

40 говорить не было; а г. Грингмут идею «вторичной присяги» создал эту нужду, создал ее именно в среде консерваторов, т. е. в общем — его единомышленников. — И еще нужное слово: в редакционных оговорках к «Заметке» моей в «Русском Труде» намекается, что лично и «дружелюбно» я известен, как либерал: это — совершенный извет, и в круге писателей: А. Ф. Васильева, Н. Аксакова, Рцы и самого С. Ф. Шарапова немало проведено было вечеров в ожесточенных спорах, где всегда и безусловно они высказывались либерально, и всегда и безусловно я высказывался консервативно: против церковно-политической, мораль-

ной, административной распушенности, которую — по непониманию — они считали все видом христианской свободы. Этого не отвергнет никто из названных лиц, иначе как прибегая к прямой лжи, чего — кроме «единого из них» — я ни от кого не предполагаю.

С.-Петербург, 19 января.

ДВА ВИДА «ПРАВИТЕЛЬСТВА»

Прочитав статью г. Ник. Энгельгардта «Спасович о Пушкине», не могу удержаться, чтобы не сделать к ней несколько добавлений. И да простит читатель, если они не будут того же спокойного тона.

Если вдуматься, нападения г. Спасовича на Пушкина гораздо более для памяти великого поэта, нежели та грязь непонимания, которую когда-то лил на его голову наивный Писарев. Во-первых, они опаснее потому, что осторожнее и умнее; во-вторых, потому, что они не так ярки и не вызывают сейчас же и резкого отпора, т. е. они остаются в уме читателя. Между тем предмет их гораздо мучительнее, избранные точки для нападения — гораздо тягостнее и не только для Пушкина, но и для русского общества, привязанного к его памяти. Писарев доказывал, что Пушкин «не поэт», как, напр., был для него поэтом Гейне; а во-вторых, что если бы он и был поэтом, то это — «ничего не значит, не содержит в себе никакой заслуги, так как всякий, если захочет, „может сделаться таким же поэтом, как Пушкин“». Эта детская аргументация, детская и по теме своей, и по способу выполнения, могла подействовать на детские части общества, но она как-то в сущности не задевала и не касалась самого Пушкина. Так его понимают — ну, что ж, всякий в понимании волен и качества понимания лежат на ответственности каждого.

Нападения г. Спасовича, не затрогивая поэта, даже усиленно охраняя от умаления его гений, — тем, кажется, с большим беспристрастием и основательностью сосредоточиваются на Пушкине-человеке, на Пушкине, как члене общества, хотя бы и минувшего. Упрек здесь бросается не в литературную мантию поэта, а ему в лицо. И содержание упреков г. Спасовича таково, что они пачкают это лицо, ровняют человека; они клонятся к тому, чтобы исключить из общества его члена. Само собою разумеется, что «поэт» погиб, когда погублен человек, и этот прием неизмеримо оскорбительнее, чем все, что писал наивный Писарев.

Г. Энгельгардт не без остроумия и меткости назвал статью г. Спасовича «эристикой»; даже не софистикой, но эристикой — и только. Г. Спасович, обладающий прекрасным и легким слогом, умом совершенно достаточным, чтобы не дать заметить отсутствие в нем оригинальных мыслей, и гражданским чувством настолько приподнятым и шуршащим, что оно не дает подслушать и подглядеть человека, — не есть в собственном смысле писатель. Потому что нет новой, ему лично и исключительно принадлежащей мысли, за которую он бился бы с пером в руке, отстаивал ее, страдал за нее, на ее торжество надеялся, об ее непризнан-

ности скорбел. Нет ничего такого, т. е. нет содержания писателя в нем, а есть только форма. Все его мысли — подняты с улицы, т. е. вы их читаете в «Вестнике Европы» или в «Русской Мысли», у г. Спасовича или у покойного Евг. Утина. Он — носильщик в литературе; коробейник, у которого за плечами товар не его фабрики. В конце концов, и, как это общеизвестно, он — сытый и самодовольный адвокат, *orega omnia* которого могли бы быть удобно озаглавлены названием «В часы досуга». В нем мы наблюдаем игру «прекрасного слога» над человеком, которого этот стилистический талант, без тяжести внутреннего содержания, повлек сделаться журналистом.

¹⁰ Пушкин народен и историчен, вот точка, которой в нем не могут перенести те части общества и литературы, о которых покойный Достоевский в «Бесах» сказал, что оне исполнены «животной злобой» к России. Он не отделял «мужика» от России и не противопоставлял «мужика» России; он не разделял самой России, не расчленял ее в своей мысли и любил ее в целом; т. е. он — именно «свободно», как прекрасно настаивает г. Энгельгардт, — около мужика любил помещика, около Петра I — Иоанна IV; и, наконец, он любил правительство свое, ну, хоть в той степени, в какой позволительно же, не вызывая насмешек, татарину любить свой шариат и своих мулл, еврею позволительно любить синагогу и раввинов. Он до конца жизни своей любил и уважал декабристов; и никто никогда

²⁰ не подслушал, нет ни одного об этом буквенного памятника, чтобы, говоря с императором Николаем I, он когда-нибудь в этом разговоре попрекнул их память. Вот этого отношения к России ему не могут простить, ибо это значило бы мириться с Россией, чего решительно не могут носители «животной ненависти к ней», по определению Достоевского. Создалась легенда о «придворной ливрее» Пушкина; о перемене, «чередовании» (выражение г. Спасовича) в убеждениях Пушкина; о том, что это «чередование» совершилось «не безвыгодно» (термин г. Спасовича) для него. Наконец, вопреки свидетельству его поэзии, в ее неисчерпаемых глубинах; вопреки свидетельству его прозаических отрывков, где каждая страница может быть развита в философский трактат и каждая строка может

³⁰ быть раздвинута в страницу, создалась версия о его «поверхности» и «малобразованности». «Шекспир создал целое человечество»: ведь эта мысль, эта короткая строчка 36-летнего Пушкина ценностью и обилием содержания перевешивает все, что успел в критике и истории литературы написать г. Спасович к 60-ти летнему своему возрасту. Его параллель между Мольером и Шекспиром есть программа литературно-критической школы; возражения Радищеву и Чаадаеву есть программа политическая, более ясная и убедительная, чем какую 30 лет проводит и защищает «Вестник Европы». Мы говорим о черновых его набросках, о бумажном хламе, который он бросал в корзину, а не нес в печать. Мы не подыдем речи о таких его созданий, как «Египетские ночи», где на протяжении

⁴⁰ всего 16 страниц он дал три образа незабываемых, три клочка, разделенных тысячелетиями миров, углубившись в которые и отделяя форму от содержания, мы не знаем, кому более удивляться в Пушкине — вдохновенному ли поэту, который так умеет рисовать, или всемирному мудрецу, который так умеет понимать. Но для г. Спасовича Пушкин «легковесен»... *Sancta simplicitas!**

* Святая простота! (лат.).

Остроумно г. Энгельгардт говорит, что статья г. Спасовича оставляет впечатление смешного. Это — для читателя зоркого, размышляющего, наконец, знающего и понимающего Пушкина; но у «Вестника Европы» 6000 подписчиков, т. е. 60 000 читателей, между которыми многим, без сомнения, нужна указка, и г. Спасович, при всегдашней серьезности его тона, может показаться указкою совершенно достаточною. Подобные «писатели» поэтому, мы думаем, понижают общество умственно, удерживая от размышлений, от изучения, от простой любви к человеку такого поэтического дара и таких глубин ума, как Пушкин. Ибо «поэт» и «мыслитель», который оказался столь слаб теоретически и нравственно так не-
 10
 состоятелен, как Пушкин по объяснениям Спасовича, имеет мало вероятия быть
 10
 внимательно изучаемым. Критики, когда они несправедливы или когда они вообще почему-либо не стоят на уровне с критикуемым автором или книгою, бесспорно, умственно деморализуют общество.

Мы сказали, что под гражданским шумом — точнее, шуршаньем, в пределах законодательных §§, — г. Спасович не дает рассмотреть в себе человека; и между тем именно на человека, на лицо нападает он в Пушкине. Мало кто помнит теперь, но, справившись с «Дневником писателя» Достоевского, всякий может узнать, что г. Спасович защищал на суде не розгу, но истязание розгами девочки-ребенка семи лет; истязание с кровью, и столь вообще дикое по форме, что дело и до суда дошло через «донос» соседней бабы-прачки. Баба-прачка оказалась на
 20
 большей высоте гражданского и даже государственного развития, чем знаменитый юрист и очень известный журналист. Оставим это. Мы хотим поговорить о «ливрее», которую г. Спасович усиливает натянуть на плечи Пушкина, и мы поищем ее на нем.

Пушкин «подыгрывался» к правительству, и не «безвыгодно»; изменил дружбе приятелей, когда они оказались в беде; «небезвыгодно», оставив прежние убеждения, вызвал «на очередь» в себе другие. Так «указывает ему двери» из общества, и уже, конечно, из литературы, литератор и член общества г. Спасович. Но что есть «правительство» для человека? Не то ли, отчего или, точнее, от кого он зависит, кто его держит у себя в руках? Итак, для Пушкина в том незначительном объеме, насколько он был подданным и насколько именно это подданничество составляло содержание его жизни, его трудов, дум, опасений, надежд, — правительством был император, его лично знавший; для всякого чиновника, уже во всей полноте его жизни, правительство есть бюрократический механизм. Но нет ли в этой же полноте, нет ли правительства и на бирже? Струсберг звался в Германии «железнодорожным королем»: вот правительство и вот лицо правителя. Нет ли правительства у адвоката? — Да, его клиент, т. е. возможных тысяча клиентов, которые дадут богатство или возможных два клиента, которые оставят нищим; и, наконец, есть правительство у писателя: это — его читатели, которые дадут ему известность, положение, деньги; или безвестность, нищету, презрение.
 30
 Я сказал, что в строгом смысле г. Спасович не есть писатель; и теперь прибавлю,
 40
 что он не достоин этого имени, истинно высокого в истинном его значении. Капель утружденного пота не видно на листах его трудов; пота, который окрашивался бы кровью, не видно; мысли, за которую он боролся бы с «правительством»...

Ну, конечно, со своим правительством, т. е. с правительством читателей, которым, говоря новую мысль, он их убеждал бы, распинался бы и даже готов был бы «пострадать за убеждения», т. е. потерять читателей или очень значительную

их часть. Вот новый вид мученичества, и слава Богу, что еще есть какой-нибудь, т. е. что можно по готовности к мученичеству отличать честного от бесчестного, ибо время наше — время «подделок», и, так сказать, «маргарина» на всех путях, во всех сферах, в том числе и литературной и политической. Но вы указываете, т. е. я говорю о г. Спасовиче и аналогичных ему «писателях», что вы «готовы пострадать за убеждения» не перед своим правительством, а перед чужим, перед начальством чиновников, которому никакого дела до литературы нет, оно эту литературу почитывает да позевывает, и переходит, как к серьезному делу, к своим «отношениям», «делопроизводителям», «директорам» и проч. Даже в тех случаях, когда оно считает своим долгом «присмотреть» за писателем, при малейшей осторожности так легко ускользнуть от его кар, не меняя несколько убеждений, каковы бы ни были они, и лишь несколько прибегая к «эзоповскому языку», читателям, т. е. единственному истинному правительству писателя, совершенно понятному. Но вот кого нельзя обмануть, кто истинно зорок и кто беспощадно строг — это правитель-читатель. Попробуйте с ним бороться; попробуйте перед ним отстоять свое «я», свою уединенную работу, свои нервы, свой ум и «искру Божию» в вас. Я хочу сказать, попробуйте не уважить кумиров этой тысячеголовой вас слушающей толпы, не уважить ее предрассудков, привычек, иногда ее сна, ее болезни, — и она вас потрет или причинит вам столько страданий, сколько не сможет и не сумеет причинить совершенно вам чуждое «правительство» чиновников. Вспомним, как мало чувствительна была, какую вообще незначительную роль в жизни Тургенева играла ссылка его в деревню за некролог о Гоголе; и какую мучительною болью через его письма, воспоминания, предисловия к сочинениям проходит то простое отчуждение, какое он почувствовал в себе в 60-е годы со стороны читателя. Ссылки были и в жизни Лермонтова, и в жизни Пушкина, даже продолжительные. Но, не затрогивая существа писателя, не касаясь, не муча его главный нерв, нерв безостановочного духовного творчества, они вообще как-то мало его касаются, касаются его внешним механическим образом и не оставляют таких мучительно-тягостных впечатлений, как простое пренебрежение читателя, если бы он его встретил. Вспомним тургеневское «Довольно» и тон разлитой в нем бесконечной грусти; вспомним «Записки из Мертвого дома» Достоевского и их тон, т. е. субъективную, личную сторону этого тона.

Вот к этому-то истинному и истинно страшному для писателя «правительству» Пушкин, не вступая с ним в прямую борьбу, сохранил полную достоинства независимость. Он подымался в высшие и высшие сферы созерцаний, находил чистейшие и чистейшие формы отношения к действительности, давно чувствуя, что одинок, что никто за ним не следует. Напрасно думать, что он ни от чего окружающего не страдал, и попытки изобразить его всегда и со всем примиренным и, так сказать, «моложавым» (его собственный термин) — не истинны, не справедливы и смешны. Но только скептицизм его, его седая мудрость, при вьющихся черных кудрях, шла неизмеримо дальше, была неизмеримо глубже, чем, например, у декабристов или Чаадаева. «Чорт угораздил меня, с умом и талантом, родиться в России» — эта опять одна строчка содержит в себе такие бездны критического отношения к действительности, такую боль от глухоты действительности к живому сердцу, живой мысли, живому порыву, дальше которой не пошли ни Чаадаев, ни декабристы, пожалуй, не пошли дальше и шестидесятые годы. Все то же, все та же боль к необозримой дремлющей стране, где «десять лет скачи —

ни до какого государства не доскачешь» и где часто плач бывает то же, что плач в сибирской тайге, проповедь — проповедью Бэды-проповедника, и всякий вообще голос «гласом вопиющего в пустыне». Но острым и всеобъемлющим умом своим Пушкин видел, что условия этой дремоты и ее качества так глубоко залегли, так далеко идут из истории, что критика декабристов или Чаадаева была совершенно детской игрою около них. Мы пережили шестидесятые годы и в последнем анализе видим, как даже эта критика, гораздо более сильная, — в сущности заставила дремлющего исполина почесаться и перевернуться на свежий бок, и нисколько не превратила его в бодрствующего. Все это очень сложно, все это очень трудно; и Пушкин не притворился только «моложавым», не слившись ни с Чаадаевым, ни с декабристами. 10

В знаменитом сонете —

Поэт, не дорожи любовью народной

он высказал с невыразимую скорбью ту боль отчуждения, которое почувствовал вокруг себя за то только, что был зрел, что был сед. Под строками этого сонета, истинно кровавым потом наливавшимися строками, мы читаем невыразимую любовь поэта к обществу, людям, всей шумящей жизни, к которым он, автор простосердечных «Повестей Белкина» и «Капитанской дочки», не питал высокомерия, с которыми всегда хотел быть слит. В некоторых строках сонета как будто слышится пренебреженье: 20

Услышишь смех глупца и смех толпы холодной,

но по всему строю своему без этой или подобной строки сонет не мог быть составлен, — не мог просто потому, что тогда не понятно было бы, почему же поэт не бежит к обществу, откуда между ними разделение. Мысль этого сонета в заключительной строчке:

И в детской резвости колеблет твой треножник.

Он на «Письма» Чаадаева, на попытку декабристов смотрел как на род исторической «резвости» и на все его окружающее общество смотрел как на пору нашего исторического детства, где также грубо ошибочно было бы что-нибудь презирать, как и чему-нибудь последовать. Вот его отношение, прекрасное и свободное; и Тургенев, также перенесший пору от себя отчуждения, хотя и не мог с этим терновым венцом, надеваемым на писателя его читателем, справиться так твердо, говорил, что этот сонет должен заучить наизусть, как свое евангелие, всякий начинающий в литературе. Вообще наша литература этому и следует. Гончаров в «Обрыве», Достоевский в «Бесах» сказали много горького обществу. Общество приучается к этому и даже опытами мужественной борьбы с собою оно воспитывается. Сперва оно раздражается, волнуется, закидывает поэта грязью; но потом оно же усердно и расчищает эту грязь, и вообще в своей неправде не упорствует. Автор «Бесов» умер, увенчанный хвалой и любовью. Но вот г. Спасович... 30

Он даже не понимает, что такое свободное отношение общества и писателя, потому что не понимает, что такое индивидуальность в литературе и лицо в писа- 40

теле. «Общественная служба» — это для него шаблон, те «общие сапоги», стоящие перед дверями Собакевича, которые обязательно должен был надеть каждый, кто хотел явиться перед лицом барина. В литературе или в судебной практике он сам является в этих «общих сапогах», или, пожалуй, является в той ливрее, какая требуется родом особого в каждом случае «служения»... И по различию переодевания, по строгому соответствию всякого переодевания вкусу «господина», перед которым является, мы узнаем, что это именно не платье, а ливрея, всегда ливрея и только ливрея. Вот отчего, когда клиенту нужна оправданная розга, он кладет перед ним «убеленную паче снега» розгу; конечно он имеет не двух, но две тысячи клиентов. Но читателю требуется поруганная розга, и на страницах «Вестника Европы» он кладет поруганную розгу и, конечно, также имеет двадцать тысяч, а не две тысячи писателей. Конечно, что мог ему сказать сонет Пушкина? И вот свободного раб зовет на суд и обвиняет в рабстве; он обвиняет его в том, что он не держался так независимо перед особым и частным правительством чиновников, к которым оба они, поэт и адвокат, не имеют в сущности отношения, и перед которыми адвокат, не служа ему, держится так мужественно, впрочем, однако же, «в границах»...

Вот суть «эристики» г. Спасовича, и вполне удивительно, что и она поднята им с улицы, и он, для кого так «легко» Пушкин, не имел силы расчлнить понятие «службы» и разединить, так сказать, рассортировать то коллективное «лицо», к которому «служба» может быть отнесена, чтобы узнать, к чему в этом собирательном «лице» в данном случае и данным человеком не могло быть отнесено никакой «службы». Поверхностному писателю не помог юрист, и, может быть, потому, что в существе дела и он гораздо более блестящ, чем проныцателен.

О ПОСТАНОВКЕ ПАМЯТНИКА М. Н. КАТКОВУ

В печати заговорили о постановке памятника Каткову. В добрый час! Но не следовало ли бы от слова перейти к делу, от предположений — к самому ходатайству о дозволении открыть подписку на памятник? В разрешении не может быть сомнения; еще менее может быть сомнения в щедрости пожертвований, которые польются со всех сторон.

Катков давно стал знамением, символом известных стремлений. Соединим их в одно: он есть символ всего *центростремительного* в нашей земле, устремляющегося к *центру*, к *сосредоточению*; в противовес иным *центробежным* силам, также обильно развитым в нашей земле, — силам, разбегающимся от центра к периферии, стремящимся разорвать целостность нашего сознания, целостность истории нашей, наконец, целостность нашей территории. Можно без преувеличения сказать, что в его личности вдруг ожила и заговорила старая Москва, Москва Калиты, Иоаннов, первых Романовых, и заговорив — покрыла своим голосом новую Россию в самый тяжкий и смутный период ее существования, когда она «разделилась на ся». Этот профессор университета, автор «Очерков древнейшего периода греческой философии», был силен не тем, что дала ему школа, не тем, чему выучился за границею, хотя всему, чему учился, он учился хорошо; он силен был де-

довской землей, которую носил за пазухой своей рубахи, под новым сюртуком; силен был самосознанием Минина, которое в половине XX века и вооруженное всеми средствами новейшего образования явилось ни в чем неизменным против своего древнего выражения. Живучесть сил Москвы, правда, начал ее, необходимость ее принципов связалась в этом тождестве ее голоса — в 1612 году, в 1863—87 годах. Правда не умирает; и ей нет нужды изменяться.

Вторая половина нашего века была временем рождения у нас политической печати, политической мысли. Замечательно, что в эти именно годы, когда Русь усиленно пошла вразброд, — бросалась в социализм, рвалась к позитивизму и, кажется, помнила о всем решительно, кроме себя самой и своей истории, явился ряд мыслителей и публицистов, которые в слове своем положили истинный материк русского мышления и русских чувств. Катков был не один; в стороне от него, во многих частных вопросах расходясь с ним, но сходясь во всем главном, говорили Н. Я. Данилевский, автор «России и Европы», Н. П. Гиляров-Платонов, И. С. Аксаков и только теперь начинающий получать себе истинную оценку, К. Н. Леонтьев, автор сборника политических статей: «Восток, Россия и Славянство», и нескольких замечательных брошюр. И вот, нам брезжится мысль, которую мы решаемся высказать, никого не желая умалить, ни у кого и ничего не ища отнять. Нам брезжится мысль, так сказать, «соборного» памятника этим людям; памятника не лицу их, но их историческому подвигу; памятника правде их, мужеству их. Идея памятника — «монумента» все более хладеет на Руси, уступая место идее «памятника-часовни». Это есть истинный тип русского памятника, русской манеры увенчивать на земле память великих или дорогих людей. И вот, нам брезжится такой памятник, посвященный великому братству нескольких русских людей, воскресивших в русской земле русское сознание — он был бы не только уместен, но и в высшей степени своевременен теперь. Ибо и теперь, как прежде, много центробежных сил в нашей земле; как и прежде — много людей, в частности много их в литературе — которым претит идея единства и целостности, да и всякого вообще величия России. Эти бедные люди, эти слабые умы и не подозревают, до какой степени мало свободы и самостоятельности в их мышлении. Они все — официозы, но одной и дурной стороны нового правительственного механизма у нас; под именем то «западников», то «либералов», они развивают одну слабую сторону в реформе Петра Великого: этот жест презрения к старине, который неволью вырвался у Великого Преобразователя России рядом с гигантской работой ее укрепления и возвеличения. Слова его перед полтавскою битвою: «А о Петре ведайте, что жизнь ему не дорога — жила бы и цвела Россия» — они не помнят; и помнят только «Piter», что он подписывал вместо «Пётр», на некоторых бумагах и в частных письмах. Это «Piter» они и разрабатывают теперь; это «Piter», полуголландское, полурусское, мы собственно и читаем на всех страницах «Вестника Европы», «Русской Мысли», «Русского Богатства», «Нового Слова». Мы повторяем и настаиваем, что все эти «свободомыслящие» наши органы суть официозы, но слабой и дурной стороны нашей правительственной системы, как она пошла с Петра и как она, слава Богу, все уменьшается; и в них нет ничего им лично принадлежащего; никакой индивидуальной работы. Их мысль взята с задворков петербургских канцелярий, выкрадена с черного крыльца разных ех-министров и «пока еще не министров». Но оставим их...

Все названные писатели, которых так хочется соединить в братство, которые и действительно сливаются в братство, восполняя и укрепляя один другого — то мыслью (Данилевский, Гиляров-Платонов), то красотой и силой слова (Катков, Аксаков), то дальностью политических предвидений (К. Н. Леонтьев), развили в жизни и деятельности своей положительную сторону великого порыва Петра: «жила бы и цвела Россия». И они, таким образом, официозы, и это показывает, до какой степени государство у нас объемлет в работе своей всю мысль общества, и это общество не может и не умеет выбиться из гранок государственной программы, не имеет найти для мысли своей и слова иных мотивов, оригинальных мелодий, самобытных тем. Но никто не усомнился, что насколько живет и раздвинулась новая Россия, она раздвинулась и живет не принципом «Рiтер», не этим жестом самопрезрения, самоотречения, внешней подражательности иностранному, который был уместен только при Петре, в пылу борьбы, под впечатлением минуты, но тем здоровым ядром его деятельности, которое в невыразимой красоте своей сказало в словах перед Полтавою. «Жила бы и цвела Россия»... Вот символ еще долгих лет нашего исторического бытия; пожалуй — эгоизма в этом бытии, но эгоизма здорового и на первых порах нужного. Ибо только «расцветя» в полноту сил, до полноты раскрытия заложенных в нас задатков, — мы, как «невеста», уготованная Вечному Жениху, можем подумать и о том, чему

10
20
30

отдать эти силы, эту полноту созревших форм. Думать об этом теперь не время; все думы об этом, какие до сих пор высказывались, явно смешны; нас призывают к подножию папского престола; другие зовут к революции; еще третьи — к среднему, серенькому европейскому существованию, под эгидою парламента и в буржуазных формах. Общее в этих гаданиях — их затасканность, неоригинальность; ясное отсутствие такого содержания в них, ради которого точно захотелось бы рвануться, и порывом этим прожить новую тысячу лет.

«Жила бы и цвела Россия»... Дальше этого, пока, не будем думать; нам еще далеко до «расцвета», и самая «жизнь» порою бывает так трудна, сужена, искажена. Много мелкой работы, ее хватит на века в отечестве «обильном», но и до сих пор не очень «устроенном». Однако, *укрепление* есть *conditio sine qua non* * всякого последующего и более сложного устройства; и вот отчего, еще раз, — да сохранит наша земля вечную память о названных писателях, этих великих реалистах, которые сумели ответить своему времени, которые словом и мыслью своею поработали главной задаче того цикла истории, в каком мы существуем.

Ф. Э. ШПЕРК

(Некролог)

8-го октября умер Федор Эдуардович Шперк, — молодой писатель, едва начавший свою литературную деятельность. Автор нескольких брошюр философского содержания, он стал быстро приобретать известность в литературных кру-

40 * Необходимое условие (*лат.*).

гах библиографическими и критическими статьями, помещавшимися в «Новом Времени» под псевдонимами «Ор», «Апокриф», Ф. Ш. Несмотря на тесную форму коротких библиографических заметок, где личность автора связана и сужена необходимостью говорить о данной вновь появившейся книге и прежде всего дать понятие о ее содержании, — он сумел и в этой форме раскрыть богатство ему лично принадлежащих взглядов. Библиографические по краткости, его заметки представляли критику, и серьезную критику, по внутренней ценности. В немногих словах, афористически, он умел метко охарактеризовать литературную физиономию автора разбираемой книги, и указать достоинства или, напротив — недостатки сочинения. Дар определять, формулировать, — чисто философский дар, — был ему в высшей степени присущ. По взглядам своим покойный приближался к славянофилам, хотя и не сливался вполне с строгою системою их учения. Протестант по вере, не русский по крови, но глубоко русский по убеждениям, он придавал чрезвычайно высокую цену русской народности, а его чуткое понимание высоких особенностей православия побудило его, месяца за полтора до кончины, переменить вероисповедание. В складе его мышления, в темах, его занимавших, была склонность к религиозному, и общее — склонность ко всему мистическому. Он представлял в этом отношении типичный и очень яркий образец перехода нашего юношества от материализма в убеждениях и практицизма в поступках — совершенно к иным основаниям мышления и жизни. Ранняя смерть, — ему было всего двадцать пять лет, — не дала ему выразиться; но все обещало в нем кипучую борьбу за светлые идеалы, которые овладели им с такою силой. Мистицизм был в складе его мышления, в вопросах, тревоживших его, в чувстве, его проникавшем; это был мистицизм глубины, тайны, невыразимости, разлитых на всей природе, и во всей природе не уловимых, не формулируемых. Между прочим, он определял смерть как переход человека из природы в Бога, т. е. выход души нашей из связанности природными условиями к свободе и чистоте своего первичного состояния. Для него вся природа, в главных и огромных ее чертах, была духовна, проникнута была духовным началом; и так очевидно, что он не искал убедить себя в этом, а только хотел прочесть и уразуметь таинственные слова и предложения, начертанные на ее лице. Все его брошюры-трактаты, так трудные для понимания, и представляют такие попытки дешифрирования природы, — пускай рядом с удачным мы там находим, конечно, и не удачное.

Для знавшего его было в высшей степени любопытно и привлекательно следить за этими порывами горячего, вечно неутомимого ума. На его устах всегда стоял вопрос; или, чутко угадывая вашу мысль, он своим замечанием вставлял в нее какое-нибудь недоумение; от этого беседа с ним действовала всегда возбуждающе и никогда не утомляла. Мысль его никогда не руководилась «общепризнанными истинами», да и вообще он не любил ходить протоптанными и истоптанными тропами. Характер новизны и оригинальности в высшей степени был присущ ему, его уму, как, наконец, и его характеру. Привлекательность увеличивалась еще тем, что в нем не было «слов» без внутренней убежденности, а потому естественно вся умственная его жизнь, деятельная и неустанная, имела отражение свое в его поступках. Его можно было назвать истинно религиозным в жизни, потому что он истинно религиозно, т. е. с религиозною серьезностью, смотрел на весь жизненный «труд». Печать удивительной душевной ясности

была разлита на нем; везде склонялся он к простому и доброму, враждуя со всякою мишурой, со всем претенциозным. Не иные, как эти же идеалы, готовился он внести и в литературу, когда смерть — скоротечная чахотка — прервала все его прекрасные начинания. Потеря его — глубоко болезненная потеря для всех его знавших...

КУЛАЧЕСТВО В ЛИТЕРАТУРЕ

Думы литератора

«Кулачество» есть одно из тяжелых и мрачных явлений престопадной нашей жизни, над выяснением которого много потрудила русская литература. 10 Что такое «кулак»? Это — «мирод», который «поедает» «мир», опираясь на то, что он «сила»; и «поедает» он его не явно, но закулисно, оставаясь внешним образом и юридически всегда «в своем праве». Напротив совершенно: «поедая» закулисно, он доводит жертву до последних степеней раздражения, вызывает его на нарушение «писанного» права, «закона» и тут же губит его и явно, «юридически». Темное явление, чисто нравственное и бытовое. Каинство в жизни, состоящее в том, что «свой своего ест»...

Прочитав фельетон г. И. Щеглова в «Новом Времени» — «Шемякин суд», невольно приходишь к мысли, что темное явление «кулачества» продвинулось и в литературу. Фельетон написан слабо; степень раздражения автора, очевидно, 20 достигла того напряжения, когда уже теряется «красота слога» и нет продуманности в ходе изложения и развития аргументации. Виден только факт. В чем он состоит? В иезуистском, именно «кулачески» келейном «одобрении пьесы» автора, но с тем, чтобы она была «совершенно переделана». «Мы вас одобряем» — даже страшно, что эти слова выговорились, когда сущность приговора и состоит в «забраковывании пьесы». Русская литература — да где твоя правда? Но мы торопимся. Кто «забраковал»? «Литературно-театральный комитет», т. е. «учреждение официальное», разрешающее и отвергающее пьесы, предложенные к постановке на императорских театрах, но учреждение, управляемое литераторами, доверчиво переданное — и, конечно, много прекрасного в этом доверии — 30 литераторам.

Какая пьеса забракована, т. е. «одобрена при условии совершенной переделки»? Пьеса г. Ив. Щеглова — «Затерянный мудрец». Самому г. Щеглову неудобно было одобрительно говорить о своей пьесе, и да будет позволено это сделать стороннему человеку. Ее тема — старинное «Горе от ума», которое, кажется, навечно останется национальным горем России. Россия есть темная страна, страна действительно удивительного умственного и даже вообще душевного мрака:

...Наг и дик скрывался
Троглодит в пещерах скал
По полям номад скитался
И поля опустошал.

.....
 Плод полей и грозды сладки
 Не блистают на пирах;
 Лишь дымятся тел остатки
 На кровавых алтарях....

Эти слова из гимна Церере внимательному и размышляющему зрителю ежеминутно приходится повторять в России, оглядываясь на одно, оглядываясь на другое, скорбя, негодуя, смеясь, издеваясь, но в конце концов подводя под общую формулу:

Наг и дик скитался
 Троглодит в пещерах скал...

10

Духовная нагота и дикость — о, конечно, не в «в лесах», а в людных городах, в красивой «Северной Пальмире», в «Литературно-театральном комитете», — да отчего не сказать — и вообще в литературе, в нашей дорогой и милой, когда-то так правдивой литературе. Но оставим общее и перейдем к частностям. «Затерянный мудрец» — это главное лицо пьесы г. Щеглова, это — тот же Чацкий, но в серенькой и будничной обстановке, в наши текущие дни, скромный ученый, «известный за границей и очень мало известный у нас», как значится при поименовании «действующих лиц» сейчас под ее заголовком. Содержание пьесы — его «забытость», «заброшенность» и отсюда текущая «нужда». Литературно-театральный комитет, в лице гг. Вейнберга, Скабичевского и еще какого-то третьего кривосуда, объявил, что «этого теперь не бывает», «нет нужды у ученых». Но мне лично было передано г. Д. Стахеевым, как раз покойный Н. Н. Страхов попросил у него, пришедшего к нему в гости, т. е. у своего гостя, которого надо было напоить чаем, «рубль — чтобы послать в лавочку за чаем». Итак, кривосуды рассудили несколько криво: нужда есть, она есть факт; и, при семье, т. е. детях может доходить до жгучих и оскорбительных форм. Да в одном из напечатанных писем Достоевского, т. е. романиста и, следовательно, находившегося в наилучшем положении относительно заработка, есть фраза: «Я заложил последнюю юбку жены, а вы все тянете еще гонорар» (т. е. не высылаете денег по почте). Но... «сытый кулак» пустоты в животе не чувствует, и ему кажется от этого, что все животы в мире переполнены до пресыщения; так в жизни — и вот, оказывается, так в литературе!

20

30

Содержание пьесы г. Щеглова и является эта серая и гнетущая нужда достойного человека. Сцены, пробегающие перед читателем, — потрясают, и именно простотой и будничностью своей. В самом деле, Чацкий страдал на балу у Фамусова; но вот приходит страдание в гораздо более грубой и унижительной форме, «слезы» не на бале льются, оне становятся «невидимы» где-нибудь около темной стенки ломбарда и в ранний час утра, ничего не теряя и, может быть, кое-что приобретая в своей жгучести. Оне льются не потому, что «меня Софья отвергла», но потому, что самая-то дура Софья, согласившаяся полюбить никому не нужно-го «колпака», без калош идет по холоду за провизией; и, наконец, не решается за ней идти, потому что торговец зеленью и мясом начинает говорить грубости за долго неуплачиваемый долг, почти обманутый «кредит». Пьеса г. Щеглова пере-

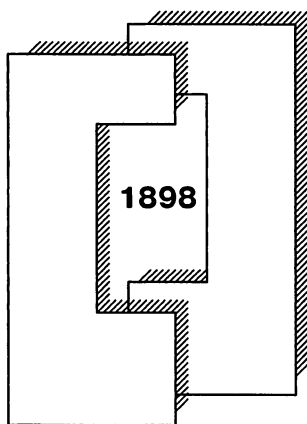
40

полнена этими подробностями, и оне так живы, что трудно представить себе, чтобы не были где-нибудь подслушаны или подсмотрены благородным литератором; да, его пьеса есть истинно благородный и нужный, в наши дни нужный, поступок. Он сводит «Горе от ума» с Олимпийских высот, вводит его в грязь, на улицу; монологи говорятся на кухне, а не на бале; идет не идейная борьба, но животная, биологическая, однако — вокруг идей и именно за идеи....

Автор вывел рядом со старым «колпаком», который предался науке и не умеет снискать хлеб, несколько газетных репортеров — один из них «с физиономией еврейского типа», — которые являются в бриллиантах и золоте. Ну, это опять ведь правда; и снова всему литературному миру известно, как вчерашний репортер, став завтра собственником «распивочной» газеты, послезавтра оставляет семье огромное состояние и даже настоящих литераторов и ученых не пускает далее своей передней. Имена сейчас на языке, и только чистота литературная не допускает их выговорить. Но вот один из влиятельных членов «Литературно-театрального комитета» возмутился, зачем — «с еврейской физиономией»? Бог с ними, я не враг евреев, но совершенно частное указание г. Щеглова опять частным же образом право; и снова имена на губах, и нет силы и охоты их выговаривать. Антон Чехов написал «Мужиков» и даже «возлюбленного мужика» нашел, а найдя, и описал — «зверем». Дворянство, купечество, да вся Русь, со всеми ее «потрохами», «перекошена» в русской литературе, как еще писал Жуковский ли, Вяземский ли вскоре после смерти Гоголя. Но после Гоголя мы имели еще Щедрина и видели пьесу «Свои люди, сочтемся». Мы видели и, видя, плакали, но не негодовали на авторов, — униженными и оскорбленными все виды общественного, сословного, профессионального положения в России; да, наконец, создания, как «Горе от ума», как «Мертвые души», — уже затрагивают не кое-что в России, но самую Россию, до ее недр, до ее последних глубин. И ничего. Почему евреи, почему один только еврей неприкосновенен усиленно и исключительно? Как будто нет среди них Ойзеров Димантов; а если есть, и есть, очевидно, почва, их выращивающая, почему в литературе этот один плевел, выпалывая остальные, не вырвать, а его беречь, лелеять! Но оставим этот грустный и общий вопрос. Г. Щеглов, необдуманно написав: «Репортер с еврейской физиономией», столь же необдуманно, хотя совершенно мельком, упомянул о «жене, сбежавшей к молодому профессору». Это — «против высшего образования», воскликнул «влиятельный член Литературно-театрального комитета», и против «стремления женщин к свету»! Что за раздражительность и подозрительность: женщина сбежала к молодости профессора, а не к его учености, а что ученость и молодость совпали — это случай; «грех сей от Адама» — и высших женских курсов не затрагивает. Но если бы и затронул: опять — вся Россия уже затронута, она вся «перекошена», и нельзя представить себе формулы: «Пропадай Россия — был бы цел еврей и курсы»!! Но Литературно-театральный комитет именно становится на сторону этой формулы, и, собственно, он является «кулаком» от этой формулы, — в его лице эта формула начинает «кулачить» на России и «жать масло» из литераторов...

Как «жать», какими способами? Да тем именно способом, какой и на деревне употребляется, — «кулаком»: бить по карману, т. е., как в данном случае, не одобряя, т. е. «одобряя при условии совершенной переделки» пьесу автора к представлению на императорской сцене и отнимая у автора, «не подписавшего формулы»,

известную поспектакльную плату. «Кошелек или жизнь» — ну конечно, жизнь, убеждение, свобода мышления и мнения: «кошелек или ваши убеждения». Но тут помогает разобраться пьеса г. Щеглова: морозы, а у жены автора — я не о г. Щеглове говорю, а о возможном г. Щеглове, о другом авторе в положении г. Щеглова — нет, как написано в его пьесе, «лишьей шубы». Где-то в «Русской Мысли» у какого-то кривосуда я прочел ужасные издевательства над этой «лишьей шубой» и не одобрил автора, который о ней упомянул; позднее гораздо, прочитав пьесу г. Щеглова и увидя, что это он заговорил о «лишьей шубе», — я был тронут до глубины души: любящая, верная и прекрасная жена «затерянного мудреца» тем и открывает пьесу, что заговаривает о «лишьей шубе»: но точь-в-точь, как Катерина Ивановна Мармеладова («Преступление и наказание»), уже сумасшедшая и чахоточная, все лепечет о «драдедамовом платке» — предмете ее фамильной гордости и личного восхищения. «Лисьья шуба» — это тридцатилетняя мечта жены «заброшенного мудреца», и она не носит ее, как представилось рецензенту «Русской Мысли», а только издали и вот уже тридцать лет манится к ней; а в горькие размолвки с мужем, которого, однако, так благородно, бескорыстно любит, — она упоминает ему о «лишьей шубе», в надеждах на которую, еще молодых и предбрачных, обманулась. Все это в высшей степени правдиво и трогательно; пьеса г. Щеглова есть истинно благородное произведение. Ее представление на сцене прошло бы могучей и потрясающей струйкой по зрительной зале, и Бог весть, сколько бы мыслей и добрых чувств у многих пробудило. Но... «пьеса снята с репертуара» не полицией, а... гг. литераторами? О Каины! О начинающееся в литературе каинство!!..



**И. И. ЯСИНСКИЙ (МАКСИМ БЕЛИНСКИЙ).
НЕЖЕЛАННЫЕ ДЕТИ**

Роман. В 3-х частях. СПб. 1897 г.

Вполне беспритязательный роман г. Ясинского производит совершенно ясное впечатление теплотой, с которою он написан. Его тема — давняя и мучительная в нашей литературе тема, над которою так задумывался покойный Достоевский: «растленная» семья, и положение в ней детей. Есть, однако, странный и спасительный закон, по которому из подобных семей дети откатываются в сторону не «подобными»: тление не наследуется, и от «зараженного» источника, выражаясь по терминологии Филаретовского катехизиса, течет, вопреки этому же катехизису, вполне свежая струя. Оставленные дети, «нежеланные», насмотревшись «родительского безобразия» и даже не умея осудить его — как-то горячо-горячо привязываются друг к другу и, к удивлению, сохраняют вполне чистоту души. Правда, это не постоянно действующий закон; семьи распущенные или праздные выпускают часто и детей ленивых, апатичных, рано испорченных; но закон этот всегда действует, когда «тление» семьи ярко выражено и отзывается болью, мучительностью на самих детях. Рано унижаемые, рано оскорбленные, рано брошенные на свои только силы, они рано же запираются в светлом уголку души своей, и окружающая грязь туда не просачивается. Именно этот случай, полусветлой, полугрустной жизни взят и изображен в книжке г. Ясинского, которая с интересом прочитается всеми, кто заботливо думает о маленьком мире детей, мире — будущего.

ПОЭТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Г. Пташицкий, автор длинного ряда исследований частью на польском, частью на русском языке (из последних некоторые были напечатаны в «Русской Старине»), являет нам лучший пример того, на какой почве и как могут завязываться и связываться интересы двух народностей, политически так часто враждующих. Это — почва науки, литературы; обоюдное изучение друг друга, пробуждающее понимание, интерес и, по крайней мере иногда, любовь. Сухие и узкие тревоги политики не суть лучшие, не суть высшие, какими может жить человеческое сердце и особенно когда эти тревоги уже бессильны что-нибудь поправить.

Последний труд г. Пташицкого («Средневековые западноевропейские повести в русской и славянских литературах», 1897 г.), посвящен, может быть, самому интересному и самому важному средневековому сборнику — «Gesta Romano-

rum». Название «Римских деяний» он получил от преобладающего большинства содержащихся в нем легенд, где рассказывается о лицах, упоминаемых в истории Рима, или о фактах, отнесенных народным воображением к римской истории; но между легендами попадают некоторые, идущие с Востока и относящиеся к глубочайшей древности. Из сборника этого обильно черпали Боккачио и Шекспир, и некоторые из самых красивых фабул, положенных в основание комедий и трагедий последнего, взяты отсюда. В 1878 году общество любителей древней письменности впервые издало русский текст их; г. Пыпин дал первое ученое исследование о них в статье «О старинных повестях» («Ученые записки академии наук», 1858). Ни один курс университетских лекций, посвященных русской литературе до Петра I, не может обойти их. И вот почему исследование г. Пташицкого может быть важно и интересно для слушателей филологических наших факультетов. 10

На основании одной пометки в рукописном сборнике «Gesta», хранящемся в библиотеке Львовского университета, автор относит его начало к половине XIII века, на 80 лет ранее, чем это было принято в науке ранее. Но пометка свидетельствует только, что в половине XIII века сборник уже был, а не то, что он произошел в это или около этого времени. Лицо, собравшее его, и время самого собрания, по всему вероятно, никогда не будут определены. Нужно заметить, что цель отдельных легенд и всего сборника — нравоучительная; это иллюстрации к вечным темам, интересные решительно для всякого времени и для каждого народа. Поэтому как порознь отдельные легенды, так и самый их сборник «Gesta», едва возникнув, стал странствующим, международным. Также напрасно было бы искать первый эмбрион его, а равно и *patrem familias* *, как было бы напрасно задаваться вопросом, когда и кто впервые стал собирать «песенники». или кому первому пришла мысль завести «альбомы»; пожалуй — от какой горы был оторван этот или иной «эрратический» валун в Финляндии. Все это — «издревле», все это — «искони», все это — «зачинается», но нет или неуловимо лицо, которое бы «начинало» это. 20

Легенды «сборника», повторяем, глубоко поэтичны, сказочны и вместе жизненны. Но невозможно дать им практическое движение и в наше время. Откуда черпал Шекспир, могут, не стыдясь за древность источника, почерпать и современные нам писатели, — почерпать хотя бы для своих «святочных рассказов». Издания Общества любителей древней письменности вовсе не распространены и очень мало доступны по цене. Но у нас есть или, по крайней мере, «зачинаются» издательские фирмы для народа и вообще для полуграмотных. Они могли бы переиздать этот сборник, конечно, при легкой и вместе осторожной перделке его устаревшего уже теперь языка. Но это была бы не только вполне питательная для народа духовная пища, но и прежде всего — в высшей степени занимательная, не скучно-тоскливая, как огромное множество современных литературных «изделий» для народа. 30 40

В тесном, очень тесном теперь кружке знатоков-любителей литературной старины исследование г. Пташицкого будет встречено с радостью. Оно представляет, при небольшом сравнительно объеме (101 страница), огромную работу над рукописным и старопечатным материалом. Это та область, исполненная подробностей, которая для незнаатоков не представляет никакого интереса и ничего даже

* отца семейства (лат.).

10 понятного, но над которою знатоки проводят годы, убивают жизнь, не находя ничего «краше» этого. Оттенки языка того или иного века, прелести простосердечного рассказа — все это оживляет перед «знатоком» давно умерший дух своего или чуждых народов; и Строев, архимандрит Леонид, Горский, Невоструев, ранее — Сахаров и Снегирев, позднее — Погодин не знали усталости над драгоценными рукописями, а Тихонравов и Буслаев освещали их глубоким пониманием. Мы остановились на труде г. Пташицкого и останавливаем на нем внимание читателей, потому что он невольно напомнил золотую эру разработки у нас рукописной старины, напомнил драгоценные для русского сознания имена, о которых приходится повторить за поэтом:

Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.

Очень печально, что эта специальнейшая, но в высшей степени благородная отрасль науки, это живое в мертвом, жизнь среди тления, более и более неудержимо гложет. Мы имели здесь плеяду, и нам не осталось из нее никого.

А. В. КРУГЛОВ. В ГОСТЯХ (В КРЫМУ)

(Очерк из рассказов приятеля)
С 18 рисунками в тексте. Москва. 98 г.

20 Этот коротенький и изящно изданный очерк носит, собственно, путевой характер, т. е. возник в пути, и всего удобнее прочтется в пути же. Тут вброшено стихотворение Пушкина; там коротенькие строки о татарах, «все без исключения магометанах», «совершающих омовения»; кой-что о чудной растительности Южного берега и о страшной лестнице, по которой когда-то туда спускались туристы... В самом языке книжки есть что-то разбежистое, и это та сторона в ней, которая нам менее всего понравилась. Нам все думается и мы привыкли требовать, чтобы писали сидя, а не «на ходу»; но — tempora mutantur et nos mutamur in illis, т. е. «всякому времени своя задача»...

Л. С<ЛОНИМСКИЙ>. МЫСЛИ БЕЛИНСКОГО О ВОСПИТАНИИ

30 К пятидесятилетию со дня его смерти (1848—1898)
СПб. 1898.

Книжка эта составлена небрежно. Мнения Белинского о воспитании взяты не полно и не приведены в систему. При выдержках, везде коротеньких, не сделано даже указаний на статьи, из которых они взяты, и только есть ссылки на том и страницу Павленковского издания «Полного собрания сочинений Белинского». Наш книжный рынок вообще несколько злоупотребляет юбилеями, и дан-

ная книжка есть одно из таких злоупотреблений. Составитель просмотрел «к юбилею» одно издание, отметил карандашом места, где говорится о воспитании, и заказав типографии перепечатать их — дал читателям, естественно, плохую книжку. В настоящее время мысли Белинского о воспитании не представляют новизны, оригинальности или занимательности: он не был глубоким психологом в этом вопросе, а воспитание все основано на психологии. Но в свое время он сделал много для разрушения двух, тогда почти единственных, способов относиться к детям: полного предоставления их «на волю Божию», и усиленного формирования из них какой-то «переводной» иконы с себя. Вот несколько слов о последнем типе воспитания, который для нас кажется каким-то архаизмом, а между тем был когда-то почти всеобщим: «Эти рачительные родители начинают с самого детства портить своих детей, совершенно подавляя их личность собственным влиянием... Они добиваются, чтобы дети смотрели на все и видели все не своими, а их глазами. По странному эгоизму, они преследуют и подавляют в них всякую самостоятельность ума и воли, как нарушение сыновнего уважения, как восстание против родительской власти. Многими и долгими стараниями они часто убивают в детях всякую живость, резвость и шаловливость, которые составляют необходимое условие юного возраста. Наши мудрецы, например, откровенно признаются, что считают пустыми и ничтожными всех тех, которые любят театр, балы, маскарады, общество. С самого нежного возраста они начинают обращать и своих детей в взрослых, серьезных людей; детские игры считаются в них шалостями, детская печаль и слезы — ревенем и хныканьем и т. д. Из их робких, запуганных детей вырастают робкие, запуганные юноши и, возмужав, женясь, становятся в свою очередь притеснителями своих детей». — «Свежо предание, — а верится с трудом» — до того далеко мы отошли от этой практики, против которой мучительно принужден был бороться Белинский.

СВОЕ СЛОВО. ФИЛОСОФСКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИК,

издаваемый проф. А. А. Козловым. № 5.
СПб., 1898.

В кратком предисловии автор сборника указывает свой возраст — 67 лет, и болезнь — паралич, которые все-таки не отнимают у него силы и способности работать для философии. Подобное высокое одушевление может быть объясняемо только крайнею преданностью человека своим мыслям и их, по крайней мере, относительною новизною и оригинальностью. Автор разрабатывает систему панпсихизма, т. е. идею всеобщего одушевления вещей; есть только души, тел нет — так можно было бы формулировать главную мысль этой системы. Ее родоначальником был Лейбниц, в особенности в своей «Монадологии»; а в XIX веке ее разрабатывали Лотце и наш дерптский профессор Тейхмюллер (ум. в 1889 г.); кроме г. Козлова в нашей литературе сторонниками этой системы являются: г. Бобров, в сочинениях «Об искусстве», «О самосознании», «Из истории критического индивидуализма» и г. Озе. Нам лично идея панпсихизма представляется

таким же преувеличением и односторонностью, как и идея панматериализма, по коему есть вещи, а душ нет (никаких). Все эти расторжения связи и противоположения «духа» и «материи» — гибельно ложны; я представляю себе палку, измеряю ее — вот уже начало в ней самой духовной стороны; что вовсе не духовно, окончательно не духовно — окончательно и не познаваемо, даже не ощущаемо; ибо ощущение уже есть начало психики, а лишь душевное душою познается. С другой стороны, что это за «души» без и вопреки телу, которые так манят метафизическую мысль? «Сеется семя духовное — восстает тело душевное» — вот предваренье всяческого анимиза и всяческого же материализма уже у Апостола.

¹⁰ Тела есть — и они всегда духовны; есть души — и они именно в телах. Жизнь и смерть, правда, как будто передвигают это взаимное состояние между душою и телом; но смерть поправляется воскресением, «облечением костей плотью»; а «пока мы живем», как уже заметил Платон, «мы только умираем и действительно всякий акт жизни есть в то же время и непременно акт (частичного) умирания». — Но в краткой библиографической заметке не удобно входить в эти интимности философии. Труд г. Козлова читается с живейшим интересом, и в нашей не оригинальной и бедной философской литературе его «Свое слово» если не жемчужное, то все-таки ценное слово.

Гр. Л. Н. ТОЛСТОЙ

²⁰ 70-летие рождения автора «Войны и мира», исполнившееся 28-го минувшего августа, вызвало появление множества снимков с его бюстов и портретов, выставленных в окнах художественных магазинов и частью воспроизведенных в иллюстрированных литературных изданиях. Не все они одинаковы; но некоторые, как бюсты Перовского и Гинцбурга, кажутся удачными, и кто не видел их оригинала, невольно приковывался вниманием и любопытством к изображениям человека, с именем которого так много соединено.

Много есть прекрасных лиц в русской литературе, увитых и повитых задумчивостью. Лица Тютчева, Тургенева, Островского не только выразительны и полны мыслью, но они как бы договаривают недоговоренное в «полном собрании сочинений». Самая поза, напр. Тютчева, со сложенными на груди руками, как бы ³⁰ сообщает ему вид уставшего и задумавшегося после разговора человека; в Тургеневе, за писателем, вы так и чувствуете помещика, любителя пострелять куликов, или вечером у камина, после охоты — что-нибудь рассказать. Быт, манера, воспитание, привычки — все это, как-то одухотворившись, бросило свою черту на лицо и последнее получило ту сложность и глубину, которую никак нельзя покрыть кратким и оголенным, в сущности одичалым термином: «интеллигентный». Тургенев — «интеллигентный человек», у Тютчева — «интеллигентное» лицо: какая профанация! «Интеллигентность» — это, правда, нечто «духовное», но это — бедно духовное; это — бедность именно в самом духовном, какое-то ⁴⁰ ответственное мещанство. Но мы отвлеклись в несколько общую сторону. При рассмотрении портретов Толстого невольно думалось: именно такого прекрасного лица еще не рождала русская литература, — коренное русское лицо, доведенное

до апогея выразительности и силы, наша родная деревня, вдруг возросшая до широты и меры Рима, конечно как прообраз, как штрих, коему через немного лет сбежать в могилу, укрыться стыдливо под землю, как преждевременному еще явлению. Но если когда-нибудь настанет время (если только оно настанет), что русский голос заговорит миру, — то по прекрасным чертам этих портретов мы можем приблизительно догадываться, какое будет, как сложится, как выразится это грядущее и русское, и одновременно уже мировое лицо. И в самом деле: в нем есть все черты исторической многозначительности и устойчивости; и вместе это буднично-сегодняшнее лицо, какое я могу встретить, выйдя на улицу. Это, как «наш Иван», «наш Петр» — мужики, с которыми мы ежедневно говорим; но, поставленное между лицами Сократа, Лютера, Микель-Анджело, оно не нарушило бы единства и общности падающего от них впечатления; совсем напротив... тогда как, напр., лицо Тургенева или Островского — нарушило бы; это — слишком частные и дробные лица, не отстоявшиеся в тишь и величие истории.

Тишина вечера естественно наступает для всякого человека в 70 лет; по молчаливому согласию и врожденной деликатности люди не нарушают язвами или излишеством похвал этой тишины. Толстой мало печатает, но при относительном молчании — он виднее всех, и имя «русской литературы» сейчас получает определенный смысл и вес в связи с именем «Толстой». Умри он, так мало пишущий, и река русской литературы сейчас же превратится в пересыхающее болотце. Даже когда он не пишет — он думает; он всех нас видит; слава Богу, он жив — и нам как-то бодрее работать, больше воздуха в груди, яснее кажется солнце: великая связность людей, великое единство биений пульса в них!

На Толстого так много нападали с теоретически-умственной стороны, что хочется поговорить, или, точнее, прекрасное лицо его внушает мысль поговорить о нем не как о художнике, но как именно об уме, о теоретике, об умственной силе.

Не правда ли, вы предпочли бы беседу с «видавшим виды» дедом, который у вас на кухне греется около печи, умному разговору с «приват-доцентом», который входит к вам в кабинет, с *chapeau-claque* *, и как право на разговор и даже «поучение» показывает свежее-отпечатанный диплом, только что ему выданный конференцией академии. Какая скучища: это «мы», это «я»; это «книга», которую я могу взять с полки; зачем он переступает мой порог? И, скрывая зевоту, и не имея сил преодолеть раздражение, я веду с ним разговор как «канитель», как учтивость, но не как удовольствие и всего меньше, как поучение. Но вот он ушел; я спускаюсь в кухню; и живостью, интересом, вниманием загорелась душа моя: тут копаются дед, от которого я уже и слышал, а, может быть, и сегодня услышу необыкновенной оригинальности, новизны и, наконец, поучительности словечки. Тут именно все падает в книгу, конечно, если бы записывать; это — еще не разрезанные страницы всемирной истории; «прибавления» к «полному собранию сочинений» целого человечества. И как душисто: склад речи — иной; иной слог; под каждым словом лежит факт, виденный, слышанный и часто живьем пережитый. «Приват-доцент» ушел: как жалко; можно бы и его пригласить послушать, но он так высокомерен, а главное — так счастлив внутренне, что его сегодня не провалили на диспуте, что, конечно, он остался бы равнодушен к моему приглашению. Так Россия, впуская в прихожую «приват-доцентов» и почтитель-

* складная шляпа-цилиндр (фр.).

но им раскланиваясь за «плоды наук и искусств», которые они носят с собою, бежит, торопливо, весело к своему старому «деду», расспрашивает его о том, о сем: и о чем бы он ни заговорил — о зверях, о жизни, о смерти, о труде людском, о злобе, о доброте людской — все выслушивает как настоящую, ей бесконечно милую астрономию, политическую экономию или мораль. Все выслушивает и все похваливает; и хорошо ей со своим писателем дедом; уютно, тепло; и не заблудится она в потемках, а главное — не назевается вдосталь, как если бы, все почтительно поклониваясь, все почтительно выслушивали от приват-доцентов.

10 Летом нынче я видел Севастополь: ведь это — историческая руина. «Россия времен Севастополя» — это то же, что Россия «времен очаковских и покоренья Крыма»: до того все окружающее нас ново, до того все старо, умерло. Освобождение крестьян: да ведь это-то уже почти не нашей истории; до того от этого «крепостного права» ни былинки не осталось. Дело в том, что за эти 50 лет «родилась» Россия, родилась в смысле народа, общества, законодательства, всех подробностей и частных; и «умерла» Россия же, тоже во всех подробностях, этнографических (бытовых) и юридических. Каждый из нас ведет свое умственное «зачало» от какого-нибудь камешка в новой храмине; мы все — подробности в новом здании; мы лежим каждый в своей ячейке, с мыслью о том, какой камень на нас давит, а какой камень мы под собою давим. Словом, чувство частного и маленького в высшей степени присуще нам; правда, и целое нам доступно, но тут уже начинается «книга». В живых ощущениях, насколько нас научал в жизни 20 глаз, слух, испытания — мы представляем самомалейшие дробы. Между севастопольскими людьми, конечно, много еще есть живых; они все — любопытны и поучительны; но в своей рушившейся эпохе они были такими же частностями и подробностями, как мы в своей. Толстой... но тут начинается характерно другое.

Он все время это, т. е. целый цикл истории встретившейся смерти и жизни — и в каких огромных размерах, с какими огромными последствиями — не только ощутил непосредственно, но и все время это он не уставал наблюдать и размышлять. Он видел (пересмотрел) такое множество людей, такое разнообразие характеров в таких сплетениях страстей; наконец, он видел столько трагического и комического: разочарования, неудач, надежд, справедливого и несправедливого, — что, так сказать, гамма бытия человеческого ему полнее открыта, чем кому-либо из теперь живущих смертных. Вот его преимущество, и оно еще осложняется его преимуществами, как человека: есть старые министры, старее его, но их опыт сужен, они не были ранены на Севастополе и не были так страстно влюблены, или так страшно убиты — после неудачного объяснения в любви. Ведь нужно же 30 брать всего человека, ведь преимущество и исключительность Толстого состоят в том, что он не только видел всю полноту бытия человеческого, но и в том, что он сам необыкновенно полон как человек. Показывали, уже лет 15 назад, его 40 карточки, в офицерском мундире, щеголеватого покроя и щеголеватых манер: «посмотрите-ка, каким был когда-то схимничек». Но то и важно, что «всем» был «бывалый» дед. Он упорно боролся с «пореформенным» положением помещиков и отстоял свое имение: т. е. был зорким хозяином, отнюдь не был ротозеем в экономических делах. Стал «Никитой» (в «Хозяине и работнике»), но побывал и «хозяином»: «дворянство все разорено вокруг» — попадает выражение в его письмах, к Фету, кажется; т. е. он видел и он боялся разорения, предугадывал, боролся (см. также в «Анне Карениной», как Левин лес Облонского продает). Он

запирается в Ясной Поляне, т. е. узнает образ пустынно-жительного «жития», со всеми подробностями его особой духовной атмосферы; и, первое лицо в литературе русской, он есть центр огромного всемирно-литературного, т. е. самого светлого, движения: это ли не площадь, не базар, не толпа. Но где бы он ни был и кто бы, т. е. в каком бы положении, ни был, он совмещал в себе действителя и наблюдателя; и действуя — он страстно отдавался своему положению, но, кажется, еще страстнее наблюдал себя в нем, размышлял об этой самой среде своего действия. В его романах всюду есть параллелизм движений: «Анна Каренина» — это ряд параллельных романов Анны и Вронского, Долли и Стивы, Левина и Китти; то же в «Войне и мире»: т. е. он везде наблюдает, размышляет, для него жизнь 10 человеческая есть как бы опыт, за подробностями коего он следит, имея позади него какую-то свою думу, и от этого варьирует опыт, ставит в разные условия, меняет входящие его данные. И везде он наблюдает лицо человека, его душу. Нам, нашим живым душам, нам, как человеческим лицам, чья еще речь может быть так занимательна и поучительна, как не этого человека, столько подумавшего — именно об нас, о нашем лице, о нашей душе.

И за этой огромной фугой созерцаемых им дел, за обширностью и опытностью его глаза, есть еще одно качество: правильность его зрительной перспективы. Он берет человека не в скорлупе, а в зерне, и все его дела и самое лицо человеческого он всегда как бы отбрасывает на экран вечности: видит их в лоне жизни 20 и смерти. Никто так страстно, с такою безмерною любовью не отдавался жизни и так многодумно и тяжело не гадал о смерти. От кончины Андрея Болконского до «Смерти Ивана Ильича» — сколько лет протекло: но дума автора, «что будет там» — одна. Роды Анны, роды Китти — описаны почти в физиологической грязи; он даже пишет предисловие к «Токологии»; но, кажется, ему самому хочется сочинить «Токологию», и к этому он порывался уже в конце «Войны и мира» около испуганной своею некрасивостью Marie Ростовой, около раздобревшей и неряшливой Наташи. — Тут староста Дрон, стакнувшийся против господ с мужиками, и окрик на него управляющего:

— «Ты, Дрон, от меня не уйдешь; ты на два аршина в землю закопайся — я тебя и там рассматриваю»!.. 30

Там — теснота на Аустерлицком мосту: «А ядра, нагнетая воздух, каждые полминуты шлепались в эту кучу повозок, людей, лафетов:

— „Чего, чего заробел? Ступай на лед! Ступай на лед!“ . Долохов первый побегал — и перебежал; за ним тронулась толпа; тоненький лед обломился — и люди, и льдины перемешались. — «Тютюкин coiffeur; je me fais coiffer par * Тютюкин», — предсмертно улыбается Анна, проезжая через московские улицы. И тут же, чуть-чуть в стороне, — дети Долли забавляются, жаря малину на огне. Полная fuga человеческого существования: человеческих страхов, забот, положений; и все, как говорится в геометрии, проложенное на фон вечности, на крышку 40 гроба, на колыбель младенца.

Вот чем богат Толстой, какую особенную «наукою». Покойный Гиляров-Платонов первый имел неосторожность пустить эту мысль о разделенности в человеке, о разделенности и в Толстом, даров изобразительности от даров мышления. Но когда же Толстой только изображал? Его первое произведение «Детство и от-

* парикмахер, я причесываюсь у (*фр.*).

рочество» есть уже философия в самой теме своей; и что бы еще ни писал Толстой, всегда заметно для внимательного читателя, что он — философствует образами, что он есть вечный и неутомимый философ; и только потому, что тема его философии есть «человек» и «жизнь» — иллюстрации к ней вытягиваются в страницы рассказов и романов. Толстой никогда не был только романистом; он никогда, «изменяя себе», не обращался к рассуждениям. Он целен от «Детства и отрочества» до «Почему люди одурманиваются»; и если в нем есть перемены, то только перемены тем мышления и также предметов любви и отвращения. Он двигался, но это не движение вспять и не движение в сторону. Но он... «не кончил курса (кажется, не кончил) в университете» и вообще не проходил тех специальных наук, «какие мы прошли». Нужно знать все убийственное тщеславие русского общества, все убийственное тщеславие специально бесталанного человека, чтобы знать, до чего «тернии» этого обвинения легли на «благодатную почву». Маленький человек, который о чем-нибудь может сказать по отношению к великому: «в этом-то я больше его» — да вы хоть не кормите людей, а дайте поживку этому их тщеславию, и они озолотят вас. Ведь духовная бедность есть самая мучительная бедность; она — всегда тут, при себе, у себя, под черепом:

20 И не вздремнуть в могиле ей
Она то ластится, как змей,
То жжет и блещет.
То давит мысль мою, как камень:
Надежд погибших и страстей
Несокрушимый мавзолей...

Толстой не учился астрономии, «когда я учился»; «не читал Моммзена, когда я читал»; да ведь это визитная карточка с рекомендацией значительной особы, имея которую в кармане я смелее вхожу во всякий кабинет. Нужно заметить, что Фарадэй, сделавший самые удивительные (и тонкие) открытия в физике за этот век, не кончил даже гимназии или коллэджа; не говоря о Платоне, который слушал только «мужика Сократа», и его диалогов до сих пор не умеют расщелкать искуснейшие из профессоров. Самому Гилярову — как будто судьба захотела подсмеяться над умным — привелось написать несколько (истинно замечательных) страниц по русской грамматике и набросать начало замечательного (говорят) трактата по политической экономии: как раздражен бы он был, как мучительно бы загорелся и бессильно опустил руки, если б ранее, чем читать эти специальные и живые страницы, читатель потребовал у него диплом филологического факультета и факультета юридического, на которых он не был. И между тем эту острую булавку непонимания он воткнул в голову Толстого. Толстой «игнорант»; но он умный и, следовательно, скромный * человек, и во всякой науке, говоря, будет говорить о той стороне предмета и в тех специальных ее частях, которые ему совершенно открыты и он стал на них неколеблущеею пятой. Ведь если так судить, как его, — то смертным нельзя было бы раскрыть рот, ни просто даже беседовать между собою: ибо первый профессор астрономии не знает все-

* Гений бывает «дерзок» в темах, от которых не может удержаться; но даже до преувеличенности скромнен в оценке средств решить тему.

таки истории нравственных доктрин, и на попытку сказать, что его «обманули», что он «протестует», ему можно бы заткнуть рот тем, что он не изучал Гоббса, ни Мандевиля. Тогда нельзя ни о чем общем говорить; но разум дан человеку, чтобы понимать то тонкое разграничение, где в специальном начинается действительно специальное и где остается общее. Если б Толстой поправил Штрауса, что такой-то «codex sinaicus» * он неправильно отнес к VI веку, когда по данным палеографии он относится к первой четверти VII-го, мы могли бы рассмеяться. Но когда он говорит: «Не противься злему»; или в одном случае: «Должна рождасть каждая честная женщина», или: «Никакая и никогда», то он может говорить вздор, но нельзя ему возразить, что он не занимался филологической экзегетикой. Он говорит о практическом и из огромного практического опыта: нужно ловить или угадывать мотивы его речи и бороться с этими мотивами; не с «Толстым, недостаточно образованным», а с Толстым-проповедником; «правдою» и против «правды» же. Очень печально, что в последнем сочинении «Об искусстве» Толстой как бы подался на эти обвинения и привел умопомрачительное количество ссылок; «дал свидетельство знакомства с литературою предмета»; для понимающих его речь всегда и о всяком предмете интересна, с простою ссылкой, что это — речь умного и, следовательно, скромного, не заносащегося в незнакомые сферы, человека.

Мы упомянули о мотивах. Высоко печальны все-таки для православного и русского уклонения его последних лет; но тут жестокость негодования нашего должна притупиться о незнание именно всей полноты его мотивов. Левин (в «Ан. Карениной») женится — и как тревожна его исповедь; какой диалог (по поучительности) между священником и философом; как обаятельно лицо священника и сколько глубины в его простом недоумении-вопросе кающемуся:

— «Без веры в Бога, как же вы будете воспитывать детей?»

В последующих главах романа приведены отрывки из чина венчания; Долли и Левин — слушают и умиляются **. У Толстого была кроткая полоса в отношениях к церкви; он брел — некоторое время, и очевидно издавна (см. его «Юность» и там тоже радостное исповедание кн. Неклюдова), до очень поздних лет — как безмолвная овца в церковном научении; но что-то случилось, чего мы не знаем: ведь мы не знаем начатых и не конченных его работ, не слушали его бесед с людьми, не сливались с его зорким и пытливым глазом, когда он наблюдал то и это. Едва ли, однако, можно сомневаться, что у этого человека, у коего все идет из опыта и возвращается к жизни, и мотивом его церковных блужданий и (с нашей точки зрения) заблуждений служило что-нибудь практически-жизненное. Он мог не увидеть труда церкви там, где ожидал бы его видеть, жаждал видеть; он мог до излишества страстно скорбеть о том, о чем скорбят и тысячи православнейших людей: что, погружаясь в истончение богословских доктрин, церковь не проливает учения и, так сказать, жезла действия в скорбь и грязь, где копошится человечество. Излишество «не от мира сего», отчуждение от жизни, неслиянность с жизнью, столь очевидная и о которой скорбят преданнейшие церкви люди, — вот

* Синайская рукопись (лат.).

** Ни в каких романах, в целой русской литературе, этого не сделано; и параллель есть только в известных «Извлечениях из поучений старца Зосимы» в «Братьях Карамазовых». Иноческое научение, мирское научение — там и здесь почти церковными текстами.

что, не уравновесившись в его душе тысячей соображений, которые действуют в прочих людях, могло вызвать его печальные и поспешные разочарования. Он впал в бедные и скудные опыты новых построений; нельзя не отметить, что тогда как в «Войне и мире», в «Анне Карениной», в «Севастопольских рассказах» он — может быть незаметно для себя — являлся религиознейшим писателем, заставив всех самым способом изображения почувствовать в жизни что-то трансцендентно-неясное, высокое, могущественное и праведное, — в это же время его катехизические опыты последних лет, это сгущенное богословие, бедны собственно религиозным элементом, сухо рациональны, этичны и иногда даже просто диетичны, т. е. сводят религию к правилам опрятного и жалостливого поведения. Где же тут Бог — как в битвах при Бородине? Судьба — как в неравенствах доль Наташи и Сони («Война и мир»)? Вмешательство иного мира в наши действия — как сны-предчувствия Вронского и Анны, или Немезида, которая тяготеет над Карениной? И в самом авторе — где преклонение перед неисповедимым? Все сужено: и вместо мира, таинственного и пугающего, мира огромного — мы вступаем в келью-кабинет крайне понятного устройства, где нам показывают узоры новых умственных комбинаций, опять крайне понятных, т. е. существенно не религиозных.

Но мы критикуем, когда хотели бы только очерчивать.

Повторяем, мы всех мотивов Толстого не знаем; но всякая попытка наша сухо-ригористически отнестись к последней публицистической его деятельности разбивается о соображение, что к исторической России, и даже к России православной и «правительствующей», автор «Войны и мира» пережил такую нежнейшую, детски чистую и упорную (в 60-е годы) привязанность, до зарождения какой в себе миллионы нас не доросли. Он любил ее серую любовью солдата; «казака» на Кавказе; обыкновенного русского крепостного мужика. Ведь от мужика Дрона до двух братьев, офицера и прапорщика, которые спрашивают друг у друга о «родительских» деньгах перед тем как назавтра умереть за отечество (см. конец «Севастопольских рассказов») — все это понятно Толстому, т. е. все это прошло страданием и любовью через его сердце.

Но мы отвлеклись к ненужной нам теме. При чтении романов Толстого, если следить за фигурами и жизненной судьбой героев как за иллюстрацией к тут же присутствующей и не напечатанной его мысли, его «философии» или, точнее, «философствования», то поразишься чрезвычайной множественностью пунктов в бытии человеческом, на которые устремлено его внимание. Элен Безухова хочет перейти в католичество (кажется, даже перешла) — и тут краткий ее диалог с «обращающим» священником. Известно, что о католичестве Толстой ничего не писал и как бы не интересовался этою «старой» темой: но он ею интересовался и в мимолетном штрихе дал твердый, отчеканенный ответ на вечную тему. Он не писал о славянофильстве, но он написал, как Кознышев, ища грибы, так и не объяснился «с Варенькой»; славянофильство взято в мясо, с костями, — и хотя чуть-чуть, но все же показано, что тут много из папье-маше и подкладной ваты. Если сплести тысячи таких штрихов и понять, что за каждым из них — море наблюдения и мысли; что штрих потому и приведен, что Толстой когда-то стоял и думал над целой темой и, разрешив ее в уме своем, дал этот скульптурный штрих: то мы и придем к заключению, что интерес (для читателя) и авторитет Толстого основывается на том, что среди всех теперь живущих или высказав-

шихся людей он видит наибольшее число предметов и с наибольшего числа точек зрения.

Это и образует фигуру «мудреца» «своего времени»: титул, который безотчетно у всех установился за Толстым, и по праву принадлежит ему. Отсюда и это лицо, которым последние дни множество из нас любовалось на окнах художественных магазинов и в иллюстрированных изданиях; его надо «заслужить», его можно только «выработать». Вообще, кто любит человека, не может не любить лица человеческого; «лицо» у себя под старость мы «выслуживаем», как солдаты — «Георгия». В лице — вся правда жизни; замечательно, что нельзя «сделать» у себя лицо, и если вы очень будете усиливаться перед зеркалом, «простодушное человечество» все-таки определит вас «подлецом». Лицо есть правда жизненного труда именно в скрытой, а не явной его части: это как бы навигаторская карта, но по которой уже совершилось мореплавание, а не предстоит. Сумма мотивов, замыслов; не одного осуществленного, но и брошенного в корзину. У Толстого — истинно-прекрасное лицо, мудрое, возвышенное; и по нему русское общество может гадать и довериться, что он знал заблуждения, но не — порочное, так сказать, в мотиве своем, в замысле. Это лицо чистого и благожелательного человека, и... «да будет благословенно имя Господне» за все и о всем, что он совершил.

Д. САДОВНИКОВ. НАШИ ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ

(Рассказы о заселении Сибири)
Издание 2-е. Москва. 1898 г.

История наша не представляет такой картинности, как западная; мы серы и серы; но в ее тысячелетнем безмолвии и материковой безвидности скрыто чрезвычайно много красоты, много даже героизма, темного, не личного, протекающего в формах быта и не слагающегося в занимательную фэбулу. Мы бедны легендами, бедны сказаниями; мы не имеем или еще не имели пока своего «романа» в истории: с приключениями, опасностями, неожиданностями. Вот внешнее различие России от Афин, Рима, Испании, Польши. У нас не только не было эпизодов с Кортесом или Пизарро, но в условиях нашей истории они не возможны и не представимы; быть может — не нужны. Книжка г. Садовникова удачно называет просто «землепроходцами» завоевателей и первых пионеров нашего Азиатского Востока. Из них только Ермак выделился в определенный образ и всем, от мала до велика, памятное имя; между тем он тронул только краешек Сибири. Поярков, Хабаров, Нагиба, Булдаков, Дежнёв, Стадухин, Атласов, Анцыферов «прошли» от теперешнего Тобольска до Охотского моря и Ледовитого океана, и не только наша история, но и всемирная наука географии обязана им обширнейшими открытиями; но это вовсе не известные имена, если не считать знакомства с ними специалистов или местных жителей. Труд г. Садовникова, основанный на первых восьми томах «Дополнений к историческим актам» и на работах Фишера, Миллера, Карамзина, Словцова и Соловьёва — дает в общедоступной и привлекательной форме сведения о труде всех этих забытых или полу-

забытых людей. Движение это продолжалось около ста лет и совершилось в царствования Михаила Феодоровича, Алексея Михайловича и Петра I. Собственно Сибирь в период ее «прохождения» русскими находилась еще в так называемом «каменном» периоде существования, т. е. не знала употребления железа; а казаки вошли в нее уже с «огненным боем»; эта в сущности нескончаемо великая разница в исторической зрелости и была причиною, что сотни и иногда просто десятки русских овладевали городками и целыми местностями. «Говорил Сенька (Семен Епишев, пионер одного из правых притоков Лены), чтоб они (тунгузы) дурость свою покинули, что иначе им плохо будет» (стр. 137): это, в сущности, стереотип отношений русских к инородцам. Только достигнув китайских провинций, на Амуре, русские встретились с цивилизацией и вместе — с первым серьезным сопротивлением (несчастливая экспедиция и гибель Онуфрия Степанова). Хотя государи наши всегда наказывали служилым людям, отправлявшимся в Сибирь, «поступать лаской, а не жесточью, и ясачных людей не теснить», но отдаленность новых стран давала иногда простор развертываться и жестоким характерам: таков был Поярков, выславший в поле, в голодное время, подчиненных ему служилых людей есть трупы убитых в бою иноверцев.

Автор книжки хорошо сделал, дав в предпоследней, одиннадцатой главе очерк звериных промыслов в Сибири, справедливо сославшись, что промышленник-меховщик шел «сам-другом» около казака-воина, и даже часто указывал или прокладывал второму пути и путики; но нам показалось несколько лишнею (по резонерскому характеру) последняя глава — «Природа и человек»; все, что в ней сказано, в сущности, всякому понятно и, следовательно, напрасно занимает бумагу.

ВЕСТНИК АРХЕОЛОГИИ И ИСТОРИИ,

*издаваемый Археологическим институтом
Выпуск X. СПб. 1898*

Из наших исторических журналов только «Исторический Вестник», «Русская Старина» и «Русский Архив» достигли широкого общественного распространения; прочие — почти не известны в обществе, и питаются вниманием нескольких десятков, едва ли сотен, любителей. От этого много теряют ученые, не находя аудитории, но едва ли не больше еще теряет общество, которое проходит мимо аудитории — к развлечениям грубым и иногда низменным. Нельзя не поставить это на счет нашим университетам: их девять, и они не умеют создать для России сколько-нибудь сносного, т. е. любознательного и осведомленного о науке, общества.

«Вестник Археологии и Истории» основан был Н. В. Калачовым, первым директором и основателем Археологического института; его преемниками по издательским и редакционным трудам были проф. И. Е. Андреевский, А. Н. Труворов и Н. В. Покровский. Настоящий десятый том содержит 14 статей, из которых наиболее обширными и интересными являются «О положении архивного дела

во Франции» — А. Воронова, «О Новгородской иконе святых Бориса и Глеба, в деяниях» — г. П. Гусева, и «Воспоминания об Аскалоне Николаевиче Труворове» — С. Перетерского. Оказывается, что Франция стоит впереди всех европейских стран по вниманию к археологии и по умелой организации археологических работ и археологических хранилищ; и виной этому — разрушительница всяких археологических воспоминаний французская большая революция. Во время ее документы истреблялись с беспримерным вандализмом, и напр., в одном официальном донесении от 1798 года с гордостью заявляется, что «разбор архивов доставил в распоряжение республики более миллиона фунтов бесполезных бумаг и пергамента», которые и пошли на оберточное, вообще истребительное употребление. «Все древние бумаги готического письма должны быть там (говорится про архив города Лиля), как и в других местах, ничем иным, как документами феодализма, подчинения слабого сильному, и политическими правилами, оскорбляющими почти всегда разум, человечность и справедливость. Я думаю, что лучше заменить эти смешные, негодные бумаги (*ridicules papiers*) декларацией прав человека», — писал на вопрос местного комиссара министр внутренних дел Гара (письмо от 17 февраля 1793 г.). Но этот жестокий взгляд вызвал потом столь же страстную охранительную реакцию: теперь действует во Франции государственный закон, по которому никакая бумага, относящаяся ко времени до 1800-го года, не может никем быть истреблена (т. е. даже как частная собственность). Но революция, кроме этого заострения археологических чувств, дала и другой, более положительный толчок архивному делу: именно, эти же истребители старой готики для остальных сохранившихся бумаг, их разработки и сохранения, дали лучшую организацию, какую только можно было придумать.

Икона «в деяниях» Бориса и Глеба представляет 19 самостоятельных малых картин — «деяний», на них представлена печально-светлая судьба святых братьев. Снимки и трогательные около них тексты переданы в журнале. Но особенно нас заинтересовала, и заинтересует каждого русского, биография А. Н. Труворова — государственного крестьянина (род. в 1819 г.) Саратовской губернии и предпоследнего (ум. в 1896 г.) директора Археологического института «тайного советника и разных орденов кавалера». Ничего не может быть любопытнее и привлекательнее перипетий его жизни: учится, под покровительством помещика Шипилова, рисованию у крепостного живописца, выходит в учителя «рисования, черчения и чистописания» в Кузнецком уездном училище; тут бы ему, как тысячам подобных — и «скончать живот свой»: но он учится, держит специальный, при Казанском университете, экзамен по русскому языку — и становится в уездном же Сердобском училище преподавателем этого предмета. На 35-летнем возрасте он, покинув педагогическую деятельность, делается заседателем уездного суда, потом — городничим, наконец, членом рекрутского присутствия. Мы все еще не видим ученого, перед нами — вся внешность одной из «мертвых душ», между тем как давным-давно в ней зажглась искра Божия. Калачов, случайно встретившись с ним, почти случайно же, «по нужде», взял уездного чиновника и старого сутягу для скопирования некоторых древних юридических актов: он был удивлен, что его, первое светило в русской историко-юридической литературе (Калачову принадлежит классическое издание и классическое истолкование «Русской Правды») начинает поправлять и руководить в понимании древних актов этот невзрачный сутяга. Встреча эта решила судьбу Труворова. В 1858 году

он переселяется в Петербург и становится деятельным двигателем трудов археографической комиссии. Огромным его трудом является четырехтомное издание «Розыскных дел о Федоре Шаковитом и его сообщниках» — труд, для коего надо было произвести работу столь изумительно запутанную и утомительную, что когда она была предложена предварительно М. П. Погодину, тот ответил, что за это дело «может взяться только сумасшедший» (разбор и подбор 5500 разрозненных, так называемых «столбцов», длинных лент, на которых писались в старину судебные бумаги). Казалось бы, мы имеем в Труворове только каменное терпение, к удивлению — нет. Выбранный в 1891 г. единогласно советом Археологического института в директоры, он в короткое время удваивает в нем число слушателей, привлекает к преподаванию лучшие научные в Петербурге силы, и, наконец, преобразует его штаты и смету. Это ли не жизнь? это ли не труд? не свет и всегдашнее нам всем поучение?

СХЕМА РАЗВИТИЯ СЛАВЯНОФИЛЬСТВА

[При чтении ответной статьи г. Гадзяцкого (что за невозможное имя!) «Ив. Дм. Беляев» — мне посвященной (в «Русской Беседе»)]

Славянофильство образов → С. Т. Аксаков, Л. Н. Толстой — Григорович, И. С. Тургенев («Зап. ох.»), Гончаров («Обрыв», бабушка) →

Лесков («Соборяне»), Вл. Короленко, Златовратский («Устои»), Гл. Успенский
 20 («Вл. Земли») ↑

Славянофильство ожиданий → Достоевский → Вс. Гаршин

Чистое славянофильство → И. Киреевский, Ал. Хомяков → К. Аксаков + Ю. Ф. Самарин → И. С. Аксаков, Ф. Тютчев → Катков слав., С. А. Рачинский → Попытки сохранить славянофильство

Славянофильство кафедры → Погодин и Шевырев → А. Попов. И. Беляев → Ф. И. Буслаев, Н. С. Тихонравов ↓

Н. П., А. П., И. П. Барсуковы

Н. Я. Данилевский, Н. Н. Страхов, Ап. Григорьев, К. Н. Леонтьев

Попытки сохранить славянофильство → Славянофильство одежды → Н. Ак-
 30 сакон, Аф. В. Васильев → копать и сор славянофильства → Рцы + Шарапов

Славянофильство толпы → Речи Д. Иловайского

Славянофильство по недоразумению → Славянское благотворительное общество. Председательские речи ген. Игнатьева, речь г. Ламанского

Славянофильство слов. → ген. Киреев, Ор<ест> Миллер → Славянофильство как только неприятие Запада → Л. Тихомиров — Ю. Н. Николаев

[Влияние германской теоретической философии чрезвычайно сильное в начале, ослабевает более и более и исчезает совершенно в последних теоретиках славянофильства — Н. Я. Данилевский и К. Леонтьев. Художественное славянофильство как бы западно (его выразителями бывают и теоретики западничества, как Тургенев). С тем вместе, у этих последних теоретиков славянофильство становится наукообразно, одновременно и более сухо, менее обещающе. Романтизм
 40

славянофильства примыкает к Достоевскому и его мессианизму, с тем вместе он становится направлен относительно церкви]

Практические результаты

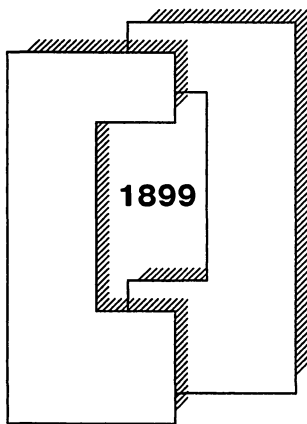
Война за освобожден. славян (И. Ак<саков>, Ник. Я. Данил<евский>, Ф. М. Достоевский).

Покровительственная система → (славянство и западничество в идеях познания)

Церковно-приходские школы (С. А. Рачинский) → (неподвижность)

Франко-русские союз → не заключает в себе чего-либо положительного для условий внутр. развития; выявляет худож. русские силы к общению и некоторой театральности. ¹⁰

Западничество в фактах просачивается отовсюду в действительность и владеет ею; в то же время представляемая Западом талантливость, простое и однозначное, овладевает умами и желаньями по крайней мере всех почти молодых сил. Славянофильство сохраняется только как плод огромной теоретической работы, как замкнутая в себе и не разрушаемая система мысли, без всяких политических последствий, или, по крайней мере, без последствий сколько-нибудь равных количеству потраченных на него теоретических усилий.



С. РАЧИНСКИЙ. СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА. СБОРНИК СТАТЕЙ

Изд. 3-е дополненное СПб. 1898. 371 стр.

Появление третьим изданием «Сельской школы» г. Рачинского дает нам повод сказать несколько слов о замечательном человеке нашей эпохи и нашего общества. Вместе с покойным и приснопамятным Ильминским, имя коего свято чтется на мусульманском Поволжья, и в параллель Ильминскому, С. А. Рачинский может быть назван одним из просветителей русской земли. Переводчик книги Шлейдена: «Растение и его жизнь» (Москва. 1862) и книги Дарвина «О происхождении видов путем естественного подбора» (первые русский перевод, трижды изданный — в 1864 г., 1865 г. и 1873 г.), некогда профессор ботаники в Московском университете, автор скромных педагогических очерков, заглавие которых мы выписали — уже много лет, удалившись в родовое свое имение Татево (Смоленской губернии Ржевского уезда), трудится в качестве простого учителя в крестьянской школе; и в долгих годах этого труда, при высоком и разностороннем своем образовании при воспитанном и благородном вкусе, создал истинный тип русской сельской школы, может быть школы — несколько мечтательной, не практической, но отвечающей историческому его духу, заветным идеалам. Эта татевская школа есть первое практическое слово славянофильства; нечто конкретное, что можно указать, назвать, что летает не облаком, а лежит на земле и доступно освидетельствованию всяким. Здесь преимущество и благополучие Рачинского перед Хомяковым и Киреевским. Вот почему «Сельская школа» есть неприменный томик довольно обширного теперь «Corpus'a slavianophilorum»*, как он вырисовывается в уме и как он, может быть, когда-нибудь будет издан: между Хомяковым, Киреевскими, Самариным, Тютчевым, Н. Данилевским, Страховым — имя С. А. Рачинского есть неприменное; и оно сияет тем же особенным и чистым светом, который льется от всех этих дорогих и приснопамятных русским имен. Сколько веры здесь положено, веры в русскую землю; сколько подвига! Деятельность Рачинского была более узкая и сосредоточенная, т. е. она была настойчивее и глубже, чем деятельность выше названных людей, слишком разбрасывавшихся, потому что им, как основоположникам русского оригинального просвещения, приходилось быть — применяя стих Пушкина — «и мореплавателями, и плотниками». Но что за привлекательная книга его «Сельская школа»: можно сказать, среди «Corpus'a» славянофильства мы не найдем другой подобной — по цельности и единству мысли, по разнообразию культурных жемчужин, которые находим здесь. От коренной

* «Славянофильское собрание» (лат.).

мысли — о душе крестьянского мальчика, ищущей света, нуждающейся в свете, автор подымается, пусть и в кратких строках, афористически, к высочайшим запросам духа, к эфирнейшим чертам истории и культуры. Это делает его книгу прежде всего литературным памятником: не будучи никогда учителем, будучи просто образованным человеком, вы находите в ней бездну умственного наслаждения. Литература русского реализма; Пушкин; особенности языка Гоголя; Мильтон; музыка Чайковского; учительское призвание покойного Листа (виртуоза и композитора) — думали ли вы встретить все это в «Сельской школе»? — а между тем все это органически вошло в нее. Можно, поэтому, сказать, что книга Рачинского ненасытно прекрасна; и в наших словах нет даже йоты преувеличения. 10
Трудно было ожидать, чтобы это совершилось — именно, чтоб совершилось глубокое и какое-то естественное слияние простой русской природы, деревенской русской природы — с прекраснейшим, что произвело европейское просвещение у себя и на русской почве. И тут уже не русская земля должна благодарить смиренного труженика смиренной школы: но он сам с глубоким умилением должен взглянуть на рок, который дал ему высокий жребий стать живым синтетическим зерном, сливающим в себе два эти просвещения, две эти стихии, восточную и западную. Веяние каждой из них восторженно и без антагонизма сливающихся, дышит в каждой его строке, дышит непринужденно — это самое главное. Автор ни на минуту не «припоминает», как он образован; хоть помнит, но не настаивает и не подчеркивает, что он — «русский»; одно и другое забыто в любви. 20
Это незаметно для самого автора, который копошится около Псалтыря и вспоминает Листа, говорит о крестьянской мазне углем на стене — и припоминает Бандинелли, Джотто, Чимабуэ — всю школу итальянского «возрождения»; все примирено и соединено в сердце автора, который среди тверских сосен обрел покой совершенной и всесторонней любви. И чем вы более любите русскую землю, чем вы страстнее и нетерпеливее к ее «прерогативам»: тем более вас поражает и умиляет, тем восторженнее вы сливаетесь с этим как бы растворением жестокого «я» в лучах всемирного «мы». Вот уж где проповедь и чаяния Достоевского нашли осязательную, и, главное, не преднамеренную форму! И, может быть, вот где 30
конкретное объяснение так мало вообще понятных слов Спасителя: «Не оживете аще не умрете».

Закончим свои недостаточные и малые о нем слова отрывком из книги С. А. Рачинского, как нельзя лучше характеризующим и его личность, и его труд:

«Велико обаяние общего, чистого дела, не умирающего со смертью отдельных деятелей. Велико обаяние нравственной свободы, достижимое только через отречение от многого. Немногим посильна деятельность одинокая. Немногим доступны высшие ступени жизни созерцательной. Но люди, мучимые потребностью отдавать себя без остатка служению Богу и ближнему, всегда были, есть и будут. Нет более полного сочетания этих двух служений, чем христианское учительство, то учительство, которое не полагает своим трудам ни меры, ни конца, 40
которое прилагает к милостыне духовной дивные слова Пушкина о милостыне вещественной:

Торгуя совестью пред бедной нищетою,
Не сыпь даров своих расчетливой рукою —
Щедрота полная угодна небесам.

В день страшного суда, подобно ниве тучной,
 О, сеятель благополучный,
 Сторицею воздаст она твоим трудам.
 Но если, пожалев земных трудов стяжанья,
 Вручая нищему скупое подаянье,
 Сжимаем мы свою завистливую длань, —
 Знай, все твои дары подобно горсти пыльной,
 Что с камня моет дождь обильный,
 Погибнут, — Господом отвергнутая дань»
 («Сельск. Шк.», стр. 186).

10

Это автором написано в призыве к подвигу учительному наших монастырей, увы! — духовно и матерьяльно так часто сжимающих «завистливую длань». Не будем, однако, отвлекаться; совершенно раскрывший, опять духовно и матерьяльно, свою «длань» «благополучный сеятель» в Татеве кое-что действительно получил «сторицею»: его невидный труд увлек и увлекает многих, и Татеве стало рассадником школ, так сказать материнскою школою, от которой все новые и новые пчелки отлетают в сторону, но на новом месте творят дело и веру старого Татева. Образовался район школ, родных, «знакомых», где трудятся люди одного духовного происхождения (школы эти отчасти указываются в «Школьном походе в Нилову пустынь» — одна из лучших статей «Сборника»): частью родные старого профессора, но большею частью бывшие ученики его школы. Мы слышали, что есть многие люди, из других губерний, из незнакомых местностей, которые обращаются к Рачинскому с просьбою дать для сельской школы учителя его выучки и направления. И, таким образом, без регламентации, «штатов» и жалованья вырос некоторый и притом общерусский «учительский институт», т. е. институт учительского труда, учительской практики, идеалов и заветов: «институт» не в смысле «здания», но в смысле «совершающейся работы». Маленький русский «Port Royale» — т. е. аристократическая умственная работа, не притворно надевшая, а смиренно одевшаяся в лохмотья народа: те лохмотья, которые, сияя на плечах подвижников пещер Радонежских и Воронежских лесов уже вошли в славу, и всякий, кто даже стоит совершенно в стороне от этих новых подражателей древнего труженичества, не может как мимо идущий путник не поклониться этому доброму делу.

30

Н. И. БАРСОВ. НЕСКОЛЬКО ИССЛЕДОВАНИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ И РАССУЖДЕНИЙ О ВОПРОСАХ СОВРЕМЕННЫХ

С.-Петербург. 1899

Между статьями этого чрезвычайно интересного сборника замечательны: «Вольтер и Римские деяния» (католический сборник легенд и рассуждений), где автор доказывает плагиат в романе Вольтера «Задиг» (20-я глава, рассуждение о Провидении), и плагиат таких мыслей, которые до сих пор считались личною

40

и оригинальную доктрину Вольтера, основную в его философско-теологическом мирозерцании. Оказывается, что она изложена, почти теми же словами, как в «Задиге», в VIII-й главе «Деяний», общераспространенной книги в иезуитских школах, где получил первое образование и Вольтер. Другое исследование автора, «Декамерон» и «Пир десяти дев», раскрывает подобное же литературное заимствование, никем ранее не замеченное. «Пир десяти дев» есть произведение III-го века христианской эры и принадлежит св. Мефодию, епископу Тирскому. Оно написано в подражание «Симпосиону» («Пиру») языческого Платона, и имеет ту же тему: рассуждение о чувственной любви, которое ведут десять дев, под председательством хозяйки и устроительницы пира, Ареты, в прекрасной и уединенной местности за городом. Выписками параллельных текстов из творения св. Мефодия и «Декамерона» (стр. 88—91) и анализом всего построения обоих произведений г. Барсов не оставляет сомнений, что гениальный итальянец имел перед собою текст этого старинного памятника христианской литературы и пользовался им, особенно в отношении тона, иногда пародируя Мефодия.

Из исследований, посвященных русской истории, замечательны: «Кто был виновником прекращения опричнины при царе Иване IV» (стр. 159—196), где автор, на основании одной рукописи Петербургской духовной академии, указывает, что побудительной причиной прекратить опричнину было «Послание к царю Ивану Васильевичу» знаменитого епископа Вассиана Топоркова, коего «бесовский совет» («не держать около себя людей умнее себя») дал мысль Грозному упразднить и опричнину. Но в особенности интересны статьи, которые пышут всем жаром современности: это — «О религиозности русского народа», по поводу знаменитой полемики, завязавшейся между Достоевским, Кавелиным и Градовским, после речи первого на пушкинском празднике; «Ю. Ф. Самарин — по его письмам» и личные воспоминания автора о Гончарове. С последним автор завел однажды разговор на тему о чрезвычайной странности в построении нашей средней школы: «Не есть ли это аномалия, говорил я, что с одной стороны, через изучение древних авторов, осваивают молодых людей с древним античным мировоззрением, с доктринами и принципами язычества, — и в то же время думают сделать молодых людей хорошими христианами через два недельных урока катехизиса, преподаваемых совместно с десятком уроков древних языков? Кто же не знает, что эти две доктрины, языческая и христианская, до противоположности не сходны между собой? Как укладываются обе оне в голове юноши, особенно если он к изучению той и другой доктрины относится с одинаковым рвением и обе их сумеет выразуметь и понять? Если конечная цель всякого образования дать людям цельное и законченное мировоззрение, то как достигается эта цель при совместном изучении классиков и Евангелия?». Старая тема, на которую замечательно ответил многодумный романист: — «Никакого мирозерцания ни в том, ни в другом случае, т. е. ни в гимназиях, ни в университетах, не изучают и не приобретают: посещают классы, учатся хорошо или худо, много или мало, — а все почти и по окончании университета остаются без мирозерцания. Нечто вроде мирозерцания, кой-какие правила, кой-какие понятия о предметах, не содержащихся непосредственно в лекциях и учебниках, приобретаются более или менее вне учебных занятий в школе, из домашнего быта и из домашних традиций, из среды, в которой вращается юноша, наконец — из элементов самообразования, которое в лучших случаях, идет об руку с школьными занятиями. Об-

разовательное и воспитательное влияние школы на учащихся у нас малозначительно; школа, средняя и высшая, сообщает у нас лишь агрегат знаний, представляющих нередко в голове юноши полный хаос. У нас учащийся школе принадлежит всего меньше. Не то, что в Англии, где воспитанник, например, Итонской школы, все время своего воспитания и образования — с детства до самой поздней юности — принадлежит ей одной всецело и безраздельно, и никому больше; ею одною, образованием, воспитанием и обучением в ней организованными, вырабатывается весь строй понятий юноши и правил жизни, весь его характер, все то, что угодно вам называть мирозерцанием. У нас не то. У нас учатся и в гимназиях, и в университетах, лишь для прав, для аттестатов, и приобретают таковые без большого труда, нередко не пользуясь ничьими другими услугами, как одного Савельича (NB: давнишний знаменитый швейцар петербургского университета, занимавшийся, между прочим, продажей профессорских литографированных или писанных лекций, дарившихся ему, за ненадобностью, оканчивавшими курс)»...

Во всякой сносной домашней библиотеке книга г. Барсова, служащая продолжением вышедших в 1879 году его же «Исторических и критических опытов» — займет почетное место, и не раз развлечет скукающего хозяина и даст пищу его уму.

20

**И. А. ДАНИЛОВ. В ТИХОЙ ПРИСТАНИ. —
В МОРОЗНУЮ НОЧЬ. — ПОЕЗДКА НА БОГОМОЛЬЕ**

СПб., 1899. 203 стр.

Чрезвычайная свежесть чувства, не сильные бытовые штрихи и сцены («Поездка на богомолье»), когда они касаются леса, поля, села, города, и удивительной нежности рисунков, когда он переходит или к совершенному отречению от мира (монастырь), или к совершенному погружению в мир (бал) — вот сила автора. Сколько блестящих наблюдательности рассеяно в этой «В морозную ночь»; как верен действительности этот дядя героини, с грустно-ласковыми глазами и цитатами из Гейне, когда он бывает в обществе, и грубый и невежливый, едва переступает порог своего дома; как жива сама Мери (героиня), в ее двадцать два года, с ее возможным, но уклоняющимся женихом, и испугом перед грядущим одиночеством. И вот, в самом сложном и лучшем рассказе («В тихой пристани») это одиночество наступило. Чистенькая келья, длинные коридоры, кроткая мать-Маремьяна, мучительная Калисфения, письма Златоуста и «авва Иосиф» — вот мир, который окружает двадцатичетырехлетнюю беглянку от оскорблений, язв, блеска и греха «света». «Отвратительно разлилось зелеными пятнами по овсяному киселю постное масло; матушка, заметив мое содрогание, заметила: принимайте это, Вера Николаевна, как духовное лекарство» (стр. 43). Штрихи высокой поэзии отречения чередуются с штрихами нечистоплотности, грубости, безграмотности. «Матушка» уезжает к владыке: «В первый раз я подошла к фис-

40

гармонии, коснулась клавиш; с тех пор, как я ушла из мира, я не играла; я думала, что и пальцы одеревенели. Я была совсем одна в нашей огромной зале, и я поддавалась искушению... Я сыграла „Ave“ Шумана. Потом то, другое, наконец, мою любимую сонату Бетховена. Крылошанки, привлеченные неслышанными звуками, робко оглянувшись во все стороны, на цыпочках вошли в залу. Лиза сказала: — Что это вы играли... скучно! жалобно! Сердце так вон и просится... — Я отвечала: — кантаты, — и когда я проговорила это слово, едва сдержала рыдания, и потом, оставшись одна, долго плакала. Не хорошо, я вижу! Не так бы надо жить в монастыре и не так я полагала начало» (стр. 90—91). Автор, тонкий мыслитель и художник сумеречных, колеблющихся настроений души, заставляет задумываться над каждой почти страницей. «Я думала, глядя на Машеньку (сокелейница), что Мурильо брал для своих удивительных мадонн именно такие лица: безмятежность души сквозит в них, ровный пробор разделяет ее каштановые волосы, ресницы длинны и темны, и взгляд такой заботливый и скромный. Мне так жаль, что никто не назовет ее никогда: мама! Материнское чувство так бы шло к ней, но почему же она... именно она, лишена навсегда этих самых возвышенных забот и тревог?» (стр. 87). Идея монастыря легка и удобоусвояема, если принимать за нее ограничение и строгость, но не отрицание жизни; наоборот, она становится необыкновенно трудна, и именно религиозно трудна, как только переходит или пытается перейти в это отрицание. Например, этот вопрос, поставленный автором: трудно, и именно религиозно трудно признать, что есть некоторая «заслуга» отвернуться от материнства: не значит ли это поклониться иссыханию? И культ смоковницы, не давшей плода, — приходит невольно на ум, смущает ум, именно религиозно смущает. Тягостные вопросы, от которых мы отделались пустыми словесными отговорками. «Мир — во зле лежит!». Когда так — понятно усилие «повалить мир». Но где же тогда добро? И что такое «лилии», «птицы полевые» и любовный глагол Спасителя: «Кольми человек паче их?». Помещая это добро («святое») вне орбиты жизни, вне всякой реальности, не начинаем ли мы поклоняться собственно *Nomen'у**, отвлечению ума своего, продукту своего воображения, а не «святой вещи» мира, Живому Лицу? Т. е. религиозность не становится ли через это отнюдь не «чрезвычайно возвышенна», как мы ожидаем, а просто пуста, призрачна и риторична?

И еще вопрос: аскетизм был родником великих молитв, сложившихся в эпоху падения языческого мира, т. е. в момент, когда он имел смысл именно границы, сдержки («бегство в пустыню» от «соблазнов»), но не отрицания; но с тех пор, как крест восторжествовал везде и аскетизм принял характер самостоятельного и оригинального утверждения, он породил великую монашескую политику — и только. И много других недоумений волнует ум, но нужно бы томы и томы анализа на эти темы, а не бессвязное бормотанье, которое может успокоить только 24-летнюю «Веру Николаевну», фигурирующую в талантливых очерках автора.

* Имени (*лат.*).

Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ. ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ. ПОРТРЕТЫ ИЗ ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Издание второе. СПб. 1899. Стр. 552

Имя г. Мережковского окружено в нашей литературе некоторым предубеждением. Темный писатель, неясный писатель. С тем вместе имя это занимает видное и независимое положение, и, наприм., сказав *Мережковский*, нельзя ожидать, что слушатель спутает это имя с бездною однородных, как он может смешать Южакова с Протопоповым или какие-нибудь другие крупинки некоторой общей литературной каши. Мережковский — не в каше, а лежит особо. И эта «особенность», и связанная с нею малораспространенность, дает, может быть, и лучшую сладость, и худшие терны его сердцу. Наиболее удачную его вещь следует, кажется, считать перевод древнегреческого романа Лонгуса — «Дафнис и Хлоя», с критическою вступительною статьею об авторе романа, самом романе и той интересной эпохе, на рубеже христианского и языческого мира, когда появился роман. Шумную минуту в литературе создали появившиеся в 1893 году критические его очерки «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы». Тут есть кой-что верное в наблюдениях; вся книга написана с большою вдумчивостью, но нам не представляется, в этом труде, перо его твердым и вся книжка — зрелую. Скорей это зазорный опыт, но опыт без особого значения. Роман «Отверженный» есть только первая часть романической трилогии (продолжение ее — Леонардо да Винчи, а окончание — Петр Великий), и только впоследствии можно сказать что-нибудь определенное об окончательно определенной мысли автора. Самый сложный труд — вышедшие теперь вторым изданием «Вечные спутники». Заманчиво самое заглавие: «Вечные спутники» — это умершие герои мысли, это — выразители целых культурных эпох, которые, «от тлена убежав», бессмертною частью своего существа стали «спутниками» нашими, и будут спутниками человеческими в третьем тысячелетии нашей эры, как и в истекших двух. Впрочем, это можно сказать только о древнейших именах, и лишь надеяться на это относительно других, новейших. Книжка содержит впечатления от Акрополя и этюды о Лонгусе, Марке Аврелие, Плинии младшем, Кальдероне, Сервантесе, Монтане, Флобере, Ибсене, Достоевском, Гончарове, Майкове, Пушкине. Как видит читатель, для любителя критики — объяденье. Лучшим из всех этюдов нам представляются — о Лонгусе, Плинии младшем и Монтане; вероятно, недурен этюд о Марке Аврелие, но, признаемся, несмотря на все подшпориванья души своей, мы никак не можем извлечь из нее того восторга к знаменитому императору, который все чувствуют. Он как будто вечно философически умирает — и это производит крайне тягостное впечатление на живого человека, быть может тем более тягостное, чем глубже чувствуешь, что такое смерть. Далее: его мораль — это болеющая мораль, это рахитическая мораль, хотя она и извлекла столько восторгов к себе. Добродетельным человеком надо быть весело; надо делать добродетельные дела незаметно. Но давиться добродетелью, но вечно унывать под добродетелью, но вечно нести эту «добродетельную ношу» — значит прежде всего не быть добродетельным человеком и, так сказать, походить на того апокрифического святого, который, когда у него срубили голову — то он «взявши — лобызал ее».

Но Плиний — прекрасен; вот Гёте Рима, хотя и гораздо меньший размером, чем новейший! И что за эпоха была, что за люди! До чего много света, солнца, спокойствия и добра! Переходя от него к Кальдерону или Сервантесу, точно попадаем в какое-то моральное пекло, с знойным и удушливым воздухом. Монтань — это опять отдых. Вообще замечательна потребность Европы отдыхать от самое себя: так XV и XVIII век явно были веками отдыха Европы от себя. И пусть бы так, если бы после отдыха Европа шла далее по тому пути, который раз избрала: нет, она скорее топчется на одном месте. Потопчется — и сядет; отдохнет — и опять толчется, но в цикле в сущности одних идей, и нисколько их не раздвигая, равно как и сама не подвигаясь к совершеннейшему их исполнению. Утомляющие идеи, обессиливающие идеи: как будто механические и безжизненные, или внежизненные идеи...

Наибольшую цену собственно для историка критики представляет обширное рассуждение г. Мережковского о Пушкине, и более краткие, но довольно пронизательные замечания о Достоевском. Книга издана изящно, и, как «спутник» размышляющего читателя — есть, прежде всего, очень опрятный спутник.

Л. МАМЫШЕВ. ДУША И ТЕЛО. БЕГЛЫЕ ОЧЕРКИ

Петроград. 1899 г. Стр. 185

Происхождение книжки объяснено в предисловии: «После тяжелой болезни выздоровление тянулось месяцы; в это томительное время, безвыходно проведенное дома, воспоминания о когда-то виденном, передуманном и прочувствованном действовали благотворно на состоянии моего духа и послужили к составлению беглых очерков. Эти разнородные очерки, выведенные из непосредственного наблюдения и житейского опыта, имеют то общее, что в них проглядывает искание смысла жизни, свойственное более или менее каждому мыслящему». Книжка, не будучи «мудреною», в сущности очень умна и хороша. Она состоит из 38 рассуждений, в 2—3—4 странички каждое; и во всяком из этих крошек-рассуждений дана одна мысль в тенях наблюдаемых фактов, или рассказан опять же один поразивший автора случай, достойный обдумывания. Таким образом, книга в высшей степени не напоминает собою *моток мыслей, путаницу мыслей*, что так нередко принимается за «философию», а своему обладателю дает эпитет «философа»; нет, это — «простая речь о мудреных вещах», но только неизмеримо изящнейшая, нежели неуклюжая книга Погодина. — Ощущение выздоровления, кто его испытал, есть высоко радостное, сияюще радостное, торжественно радостное. «Целую тебя, природа — из коей думал, что уже ухожу, уже считал себя ушедшим; ты — возвращаешься ко мне, я — возвращаюсь к тебе». Что-то бесконечно милое и опять детское, детски любящее — природу и людей! Прерву случаем, который мне нетерпеливо хочется рассказать в pendant к 38 «случаям» г. Мамышева: по огромному саду я возил, совершенно раннюю весной, умирающего чахо-

* в дополнение (фр.).

точного. До сих пор смешно вспомнить, до чего он всему радовался: «Стружки-то, стружки-то, подайте-ка мне одну». Это в конце сада плотники поправляли забор и настрогали ворох стружек; и вот, взяв восковыми руками горсть их, этот больной решительно не мог отвести от лица свеженьких разрезов свеженького же бревна. Вот вы и спорьте с природой или уверяйте, что она «от дьявола!». Автор дал своим суждениям название «беглых очерков». Мы с любопытством вчитывались в книгу, выискивая по страницам *лицо* автора, ибо как-то понятнее становится книга, когда знаешь, кому она принадлежит: по-видимому — это натуралист, может быть — медик, в возрасте скорее преклонном, чем молодом, хотя 10 молодостью «выздоровления» веет со страниц; с обширными практическими связями. И вообще он много *видел* такого, что далеко не каждому удастся увидеть; и знает много такого по части теоретической, чему не лишнее поучиться совершенно зрелому человеку. Мы хотим сказать, что книга, по языку и форме напоминающая детские книги (коротенькие изящные главки), по духу ее и по уровню образования есть старая книга, книга для стариков. Только в двух главках, 12-й и 22-й («христианство» и «семья»), нам показалось, что автор как будто чего-то недосмотрел; при *сопоставлении* этих двух главок открывается относительная правота оспариваемой автором в беседе «госпожи Н.». На вопрос, кто есть более любящий: «*обще-человек*» ли, доктрина коего и заповедь заключается в «одинаковой любви ко всему человечеству»; или, положим, Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна (у Гоголя), которые в своем Миргороде даже и не подозревали, что могут иметь какое-нибудь отношение к москвичам, американцам и т. п., а ограничивались любовью друг к другу, к домашней своей кошке и к хлопам, им служившим, — на этот вопрос мы ответим: ну, конечно, Афанасий Иванович есть больше человек, есть более любящий человек, нежели Робеспьер с его «*amour pour tous*» *, и даже он не уступит самому Шиллеру. Неопределенно широкие принципы суть большею частью пустые принципы, так сказать «без крови и молока», не питающие и не греющие. И уж лучше жить принципами поуже, да только жить бы ими поглубже. И вот почему, когда в истории или вообще при 30 всемирных обзорах мы находим людей «узкого горизонта», «ограниченных принципов», мы должны беречься, как бы не принять «Афанасия Ивановича» за «чудовищного себялюбца». Самый образ «госпожи Н.», на который любитесь автор и который так типичен и национален в передаче автора, мог бы заронить в него некоторый исторический скептицизм. Мы делаем это темное, но важное для нас замечание, которое понятно и нужно может быть только знакомому с книжкой г. Мамышева, ввиду неосторожности, в которую он впал, так сказать вместе со всем человечеством, или, по крайней мере, с «человечеством» нашей эры.

40 Нам мечтается, что каждый, даже бедный человек, имеет или заботится составить «домашнюю библиотеку», как есть «домашние аптечки». Прекрасным, вдумчивым очеркам г. Мамышева — в ней место. Они куда глубже и тоньше очень многих книг подобного же содержания, пользующихся известностью. Только неупотребительное «Петроград» на заглавном листе вызывает у читателя первую, но и единственную гримасу неудовольствия.

* любовь ко всем (*фр.*).

ПОПУТНЫЕ ЗАМЕТКИ

<Л. Н. Толстой. Сорок лет>

В только что появившейся книге «Памяти Белинского» (литературный сборник, изданный в Москве пензенскою библиотекою имени Лермонтова) есть новый рассказ или, точнее, обрывок рассказа гр. Л. Н. Толстого: «Окончание малороссийской легенды — Сорок лет». Легенду эту издал покойный Костомаров в 1881 году. Содержание ее чрезвычайно подходит к обычным темам маститого художника, так что, подправляя легенду, Толстой, не изменяя себе, как бы входит в народное творчество, становится седьмым-десятым «сказочником» около шести-девяти сказочников-мужиков; рапсодом среди рапсодов, не мешая им и от них не испытывая себе помехи. В «легенде» повествуется о богатом хозяине и, по-видимому, счастливом семьянине, который некогда убил и ограбил купца и тем положил начало своему достатку. Во время убийства он слышал голос, который предрек ему наказание через 40 лет. Срок этот близится, и мучимый беспокоеством отец во всем признается старшему своему сыну, который уже сам хозяин и имеет своих детей. Твердый и сытый человек, сын успокаивает отца, что «голоса» — это вздор, да и «тот свет», «наказания» и «награды» — тоже глупости. Отец верит сыну, и умирает в точности через 40 лет после убийства спокойно и безболезненно: нераскаянность его и чисто языческая смерть и составляет наказание, которым в минуту преступления пригрозил ему «голос»! Так оканчивается народная легенда в записи Костомарова.

Л. Н. Толстой, отбросив ее конец, разворачивает картину душевных сомнений и мук, начавшихся у отца-убийцы после разговора с сыном. Он поверил сыну только в первую минуту, успокоился на несколько дней, но затем подозрительность возбужденной души со всею силою пала на успокоителя-сына. «Ведь он хочет моего богатства, как я хотел богатства купца, да и все хотят моих денег, а меня — никто не хочет, я — никому не нужен, всем — лишний». И вот он разъединяется со всем миром: вдруг остается совершенно один, наедине с преступлением своим, со страхом своим. Он боится убийства, боится особенно отравы; запоздывая преднамеренно к обеду, он отодвигает свою тарелку и, беря тарелку у невестки — ест с нее. Хочет напиться ночью воды, но, отбрасывая испуганно графин, достает теплой и мутной воды из умывальника и пьет ее. Прежде, не любя детей, он очень любил своих внуков; теперь и они, как главные его наследники, становятся ему неприятны. Он весь погружается в мысль о наследстве и о составлении духовного завещания, через которое ему хочется лишить наследства неприятных родных и все раздать на богоугодные учреждения, без всякой, впрочем, любви к ним и без всякой веры. Он становится ханжеею, но лишь по внешности; он настаивает, перед родными, перед прислугою, на существовании Бога и будущего суда, просто как на роде моральной полиции, которая сколько-нибудь обеспечила бы его от хищных инстинктов «ближних». Наказание слишком понятно, ярко выражено — окруженный собаками и запорами несчастный маньяк умирает «через 40 лет после убийства», как и предрек ему «голос». На пышных похоронах произнесены были красноречивые речи о его добродетелях, благочестии, мирной жизни и счастливой кончине, которую посылает Бог своим избран-

ным. Вопреки мнению г. Н. Ч., в «Южном Крае» (№ 6270, от 4-го апреля), мы находим рассказ этот ни скучным, ни лишенным мастерства. Тон — «Смерти Ивана Ильича»; колорит — народной сказки; обычная задушевность Толстого. Конечно, это обрывок, и не прибавляющий ни одной йоты к общеизвестным чертам Толстого. Но среди его страниц эти четыре лягут без всякой дисгармонии.

ПОПУТНЫЕ ЗАМЕТКИ

<О романе>

К каждому воскресенью — немножечко «Воскресенья» Толстого. Право, не так дурно, что роман печатается не в толстом журнале и разом, а в «Ниве»; у нас есть такие медвежьи углы, что если бы Шекспир встал из могилы и дал новую пьесу в «Русскую Мысль», все-таки множество людей не дотянулось бы до «Мысли», чтобы познакомиться с новинкой. Теперь же роман Толстого, или, точнее, ту нравственную коллизию, которую он проводит перед глазами читателей, увидит вся Россия, подумает о ней вся Россия. Это неплохо.

По поводу этой новинки, сюжет которой — на Западе — передается по подводному телеграфу, я задумался о романе, т. е. и не о романе Толстого, а вообще о романе. В Греции, в Риме его не было, если не считать грубых начатков, как напр., «Киропедию» Ксенофонта, это в своем роде «Детство и отрочество» знаменитого персидского царя и героя. Но вообще его не было и, очевидно, не существовало самой нужды в нем. Почему бы? Не нудя читателей к согласью, мы ответим: сама жизнь была тогда немножечко роман, и было бы скучно читать о том, чем жили, или, еще точнее — что проживали, переживали. Действительность всегда сочнее и занимательнее слова. Но с очень ранних дней Средних веков появляется роман, и, появившись раз, уже никогда не исчезает. Теперь это почти единственная форма литературных произведений. Гр. Ал. Толстой еще имел терпение, и, до известной степени, безвкусье написать «драматическую поэму» — Дон-Жуан. Никто теперь ничего подобного не напишет. Трагедия, поэма — вообще все очень оформленные, ограниченные, кристаллические виды словесного искусства исчезли; они трудны стали для писателей, они скучны для читателей.

30 Они, очевидно, исторически не нужны. Но что такое роман?

Рассказ о романтическом происшествии. В «романе» должен быть роман, а роман в этом втором смысле есть приключение любви, есть случайность любви, есть ненормальность любви. «Жили старик со старухой 33 года» — конечно любя и разведя большую семью: есть роман? Нет. Но 30 лет назад этот старик, тогда еще юноша, изменил старухе, или обратно: это уже роман и тут есть сюжет «романа». Наконец, «старик со старухой» соединились в семью не через свах, а сами: некогда юноша не послушался родителей, девушка не послушалась же их. В семье их дедов произошел неприятный «роман»: и вот опять пища для романиста. Если мы объединим все эти случаи, как печальные, так и радостные, то придем к выводу, что роман есть рассказ о том, как завязывается семья. Не бойтесь исключений, когда, напр., уже женатый юноша изменил своей «старухе»; ибо

суть «романа» и в этом случае сохраняется: завязывается или хочет завязаться, пытается завязаться новая семья на очевидных развалинах первой. Но первая еще не совсем умерла, и вот, полуживая, она борется и задушает новую семью, или наоборот — сама одолевается ею и окончательно умирает: зародыш и гроб борются, на страшной романтической подкладке, и это есть один из самых частых сюжетов романиста.

По форме роман есть самое капризное, расплывчатое, а потому и самое свободное литературное произведение. Т. е. этот вид письма наименее стеснителен для автора. При нем автор может вполне отдаться сюжету, сути картины: он подобен граверу с тонкою иглою, — ему достаточно не отрываясь пристально смотреть на лица и происшествия, а уж рука сама собою рисует все, что нужно, и как бы она ни рисовала, все будет хорошо. В поэме или трагедии автор наполовину работает рукою (техника); в романе он работает только глазом. Потому роман есть самое картинное из произведений слова и в то же время самое существенное (сосредоточено на сути, на деле). Почти само собою понятно из этого, отчего щеголеватые поэмы и трагедии пропали, а тяжеловесный мастодонт-роман один пережил своих предков и всех собратьев и теперь один почти гуляет на пастбищах всемирной словесности.

ПОПУТНЫЕ ЗАМЕТКИ

<Л. Н. Толстой. Воскресение>

Читатель позволит мне продолжить о романе. Почему романов так много? Потому, верно, что в жизни много романов. Мы сказали, что роман есть приключение, случай, ненормальность любовной истории; множество в жизни «романов» свидетельствует только, что глубоко расстроилось вообще течение «романтической истории» в жизни каждого почти индивидуума, в жизни почти всех. Каждый ее переживает: это уж от Бога, с Адама. Ведь что такое романтическая история, как не завязь, начало, росток семьи, росток сложения человека в семью: и собственно по сей день с каждым решительно из нас повторяется от буквы до буквы древняя история о первом человеке, рассказанная в Бытии; тот же «крепкий сон» находит на человека, т. е. находит какое-то потемнение практических и рассудочных способностей; и среди чудных сновидений, которым позднее с трудом верится, которым не умеет поверить никто посторонний, — Бог совершает отделение «ребра» от нашего же существа и подводит, по пробуждении, «жену» человеку. Да: «жена берется от мужа» — это древнее выражение не обмолвка; гораздо раньше встречи они вкоренены друг в друга, точно как есть «вкрапленные» одна в другую породы минералов; и это-то отношение и есть причина, почему каждый из нас так неодолимо засыпает в 17—20 лет, готовясь к совершению над ним необходимой операции. Но теперь эта операция производится как-то неумело: точно зубодер берет щипцами зуб, но щипцы соскальзывают, вызывая мучительную боль и ничего не сделав. Раз, два: наконец, с криками и кровью болящий зуб вырван. Человек устроен «в семью», довольно поздно и довольно покачав-

шись на волнах «моря житейского», иногда не досчитываясь многих ребер, и уже ища жену не столько в качестве жены, сколько в качестве сиделки или сестры милосердия около индивида. Брак стал стар. Брак стал тускл. Увы: это — всего менее брак собственно и специального для брака. У Адама были чудные «сновидения». Дело в том, что у него «ребро» было вынута самим Богом; но с тех пор человек поумнел, завел науки, выучился хирургии и, решительно отвергая Божию над собой операцию, — хочет все «сам», «сам» и «сам». Так, думается, начались романические истории в жизни, а литература переполнилась романами.

- Чуть ли мы не сделали довольно удачливое предисловие к «Воскресенью» Толстого. Ведь, в самом деле, что это такое? Что собственно хочет мучительно высказать маститый старец? В чем, очевидно, будет заключаться «воскресенье»? Да в вечно старой и вечно святой истине: «Божие — Богови, Кесарю — Кесареву». И только. Бог начал «отделять ребро» от гвардейца и экономиста, который во время счастливо текущей операции вдруг стал опять первозданным человеком, человеком совсем простым, почти без первородного греха, стал именно Адамом, блаженно засыпающим перед появлением Евы (= «жизнь»). Посмотрите-ка на этого честного юношу у заутрени в Светлое Христово Воскресенье, да и раньше. Поразительную сторону романа (неужто это преднамеренно) составляет то, что Нехлюдов буквально спит все время, когда берется Богом «кость от кости его». Ни одного разговора с Катюшей; даже не перепадает «да» и «нет», и это не Толстой пропускает диалоги, торопясь рассказом, но рассказ так ведется, что для читателя очевидно, что диалогов и не было никаких. Но я говорю, посмотрите-ка на этого юношу: по линии поднявшегося в нем чувства, т. е. по отношению к лицу Катюши, которая отделяется «ребром из него» — у него в точности нет никакого греха: он полон правды, самоотвержения, он есть чистейшее и совершенно непорочное существо, и в этом-то, в этом-то и заключается суть Божьей над нами операции. Нет такого скверного человека, который однажды в жизни, обыкновенно в раннюю еще пору, не испытал бы этой удивительной трансформации себя прямо в героя, в Гектора («Гектор и Андромаха»), в Германа («Герман и Доротея»): т. е. в моральнейшее существо, какое вообще можно вообразить себе и которое, право же, единственно и нужно на земле. Да, земля влюбленных людей — если бы эту минутку можно было продлить — стала бы именно по чистоте и безгрешности вновь раем. Очень чистое чувство, единственно чистое существо: ни злобы, ни лукавства; какое-то упоение другим и странное желание служить ему, только ему служить, и ничего для себя.

- Так написал Толстой и так происходит всемирно. Обращаю внимание читателя, что я говорю о линии связи двух любящих, только о ней: окружающих они обманывают, к окружающим злы; но между ними грех исключен и это есть самая главная черта подлинной любви, критерий различения в ней золота от подделок, Бога от человеческого.

Суть плача Толстого и сюжет его «Воскресенья», в появившихся до сих пор главах, заключается в том, что древний Адам пробудился до конца операции, и стал действовать как скверный человек скверного века. Стал «сам» действовать; и погубил, и погиб. Видите ли — мать детей Нехлюдова должна говорить по-французски; этого не предусмотрел Бог, начав операцию. Она не какое-то там мифическое «ребро», а представительница дома, т. е. ей надлежит «представлять» и, следовательно, иметь представительную фигуру, носить известным спо-

собом платья и притом известного фасона и от определенного портного. Тысяча условий сверх «жены». Гвардеец пробудился. То, что Толстой называет «животным», вдруг заговорившим в Нехлюдове, ведь было у Гектора, будет у Германа; нет, старец ошибся! Это есть то самое противопоставление цветущей весенней природы, какое он сделал в начале романа, и отметил эту природу, как правду, среди которой люди живут и ее портят. Итак, гадкое в Нехлюдове — не весна его возраста, но наносно-людское в гвардейце, XIX век во вчерашнем studiosus'e. Да ведь Л. Толстой и проговаривается в этом смысле: пока себя слушал Нехлюдов — он был прав, чист и счастлив; но он стал слушать других — и тотчас потерял одно, другое и третье. 10

Я заговорил о романе Толстого и вообще о романическом. Между тем заметил ли читатель нашей газеты «тяжелые сны», промелькнувшие перед ним в пятничном и воскресном номерах газеты: это статейки — «Невольницы порока» (торг женщинами за границу) и «Законнорожденные и узаконенные». Он согласится, что это на нашу тему? Это — область изуродованной романической истории, которая пошла в «приключения», вместо того, чтобы течь нормально. Это все — не Бог, а люди. И читатель позволит нам еще вернуться к этой боли, всемирной боли.

ПОПУТНЫЕ ЗАМЕТКИ

<Еще о «Воскресении» Толстого>

20

Каждый, без вины ее, оставивший девушку — есть убийца, есть Каин. Тут вдруг открывается правда романистов и великая правда романа. Посмотрите-ка, как рисует Толстой, жутко читать:

«Я хотел проститься, — сказал Нехлюдов, комкая в руке конверт с сторублевой бумажкой. — Вот я...

Она догадалась, *сморщилась, затрясла головой* и оттолкнула его руку.

— Нет, возьми, пробормотал он, и сунул ей конверт за пазуху и, точно обжогся, он, *морщась и стоная*, побежал в свою комнату.

И долго после этого он все ходит по своей комнате, и корчился, и даже прыгал, и вслух охал, словно от физической боли, как только вспоминал эту сцену». 30

Не «вспомнил», а «вспоминал» — т. е. уже много времени спустя. Так «стена и трясьйся, ты будешь скитаться по земле». Но я хочу подать руку романистам и воспеть им «осанна»: кто имеет еще даже те воззрения на эту специальную и самую мучительную форму человеко-погубления? Даже добрые тетушки, эти безобидные божьи коровки — говорят: «Она была развращенная натура, и такая же как и мать ее». Только сердце романиста, и обратите внимание — каждого, самого плосколобого, не повторит ничего подобного, и никогда, и ни о ком: тут нужно иметь воображение, или опыт сердца, и, наконец, нужно быть именно любителем романтического в самой жизни, чтобы сказать, чтобы по крайней мере спросить: «Катерина Маслова и Гретхен из Фауста, почему не одно»; жена Гектора и эта же Катерина суть два конца, удачный и неудачный, одного процесса 40

и одного и того же существа. Тут все принадлежит жалости и ничего не подлежит осуждению. И так как, по нашему замечанию выше, «романов» стало слишком много в жизни, и половина Гретхен пошла по печальной дороге «Катюши», а очень большая доля Андромах — т. е. *настоящих* Андромах, без преувеличения, не дожидается себе не то, что Гектора, а и самого плохенького гвардейского офицера, какого-нибудь Нехлюдова или Шенбока с 200 000 долга, то роман, т. е. написанный и печатный столь пустяк в жизни, как безмолвное утешение для множества оскорбленных сердец, для множества недоумевающих сердец. Как утешение и как некоторая о них правда.

- ¹⁰ Но что такое эта Катерина Маслова решительно для всего остального мира? Тут мы входим в сферу негодования Толстого, в мотивы его негодования, которые суть мотивы психолога и романиста. Вот короткий суд. Слышатся суждения и осуждения «зачем Толстой смеется над ним»? Да затем, что «тело Катерины Масловой» или, пожалуй, «тело убиенного Авеля» не составляет никакого вопроса для него; не есть сюжет медицинского вскрытия и протокола. Но фальшивая подпись на 100-рублевом векселе, коего вся цена, в ту или другую сторону, равна двадцати серебряникам — есть сюжет судоговорения. Толстой только проводит черту и подписывает «о пустом судие», «пусто судите»; «пустые вы люди, да и пустое ваше дело». Он был бы не прав, если бы не попался около Авеля.
- ²⁰ Но об Авеле в точности записано в книжке: «Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой?»: найден был в реке мертвый ребенок; все только говорили, а Толстой куда-то пошел. Пошел и вернулся, взволнованный. Он ходил к какой-то рябой вдове: «Не твой ребенок?» — «Не мой ребенок». — «Не знаю, чей ребенок, но знаю, что никого теперь нет на земле, кому бы так было тяжело, как матери этого ребенка». — «Это мне так тяжело теперь, как никому на земле», — сказала Ева и ева, и заплакала. Почему это не по Соломоновски мудро, и вот бы дать в христоматии, в христоматию истории христианского жития. И поистине, сколько бы Толстой не «наеретичествовал» в книжках, один этот подвиг жития, правда жития, вот в этот день и вечерний час, — покрывает светом своим все возможные кривды его доктрин. Ибо люди с правою доктриною не то, чтобы не помогли женщине... а, а просто даже не «почесались» о ней. «Делали гимнастику с гириями перед заседанием суда», — а как записал Толстой, и как, сделавший нужное дело — он в праве был записать. «Он, видите ли, не поехал на сессию Округного суда в Тулу — 100 р. штрафу». Но сколько рублей *с вас* «штрафу» взять за то, что вы не только не исследовали, а и принципиально оттолкнули от себя мертвые тела «рабы Божией Масловой», «рабы Божией»... рябой вдовы, и ее ребенка. И Толстой судит; «берет штраф» с мира, неправого мира, каинствующего мира. И прав он; и не суета, а правда в том, что его произведение передается по телеграфу в Америку и Англию.
- ⁴⁰ «Осанна» романистам и их чуткому сердцу: в данном случае самому чуткому и единственно правому на земле. И да льется и льется их утешение и правда в сердца людские.

ПЕЧАТНОЕ СЛОВО В РОССИИ

Напечатанное слово есть выражение ненапечатанной мысли; и типографский станок есть только орудие, через которое невещественная стихия души получает себе очерк, плоть, тело. Взгляд на печать определяет наш взгляд на мысль, на душу. Конечно, этот взгляд может быть только положительный, только утвердительный, только сорадающийся. И вот почему всякая вражда против печати есть нечто случайное или личное, без всякого общего в ней значения, и никогда она не может стать программой сколько-нибудь твердой эпохи и еще менее — сколько-нибудь просвещенной страны. Все, что может быть высказано против печати, непременно соскользнет на ошибки в ней, и даже очень редко на злоупотребления в ней, но никогда не сможет коснуться существа дела. Процветающая печать — это почти всегда процветающая культура. 10

Едва ли в какой-нибудь стране правительство положило столько положительных забот о печати, как в России, где, после Петра Великого, просвещение создано миссией правительства. Поэты и ученые, как Пушкин, Карамзин, Жуковский, были «друзьями Царевыми» и членами в простом кругу их семей. Самая блистательная из императриц, «мудрая» и «мать отечества», была писательницей, была даже журналистом. Нужно заметить, что журналистика у нас никогда не была ремеслом, еще менее — промыслом, но всегда была литературой, и даже самую живую часть литературы, ее душой. Мы находим Пушкина в постоянных заботах об основании журнала; самый классический из наших историков, Карамзин, был основателем журнала, имя которого до сих пор сохранено; целые литературные эпохи были у нас только моментами господства некоторых журналов. Таковы 60-е годы, которых ни изучить, ни оценить нельзя, не просмотрев десятков номеров «Современника». Некоторые очень ценные и очень живые литературно-философские течения, потому только и не вызрели, что не нашли для себя устойчивого журнала, или этот журнал был неосторожно закрыт. Так было дело с школой «славянофилов-почвенников», во главе которой стояли братья Достоевские, Н. Н. Страхов и Н. Я. Данилевский. Школа гораздо позднее получила огромное образовательное и воспитательное значение, но именно в шестидесятые годы, когда она могла своевременно дать отпор теоретикам-реформаторам «Современника» и «Русского Слова», она была сокрушена закрытием «Времени» Достоевского, которое уже начало получать успех и влияние в обществе. 30

Положение печати у нас никогда не было с решительностью определено, как в порядке законодательном, так и в положении административном. Казалось бы, печать, по самому характеру чрезвычайной общности ее задач, нуждается для введения ее в желательное русло не столько в законах, сколько в законодательно выраженных принципах. Таких есть очень немного, нарушая которые нельзя оставаться русским, и, конечно, нельзя быть русским публицистом. Между тем едва ли есть область, в которой были бы столь бесчисленны «временные изъятия» из обсуждения таких-то и таких-то предметов, иногда совершенно ничтожного значения и без всякого в них принципиального содержания. Мы говорим не столько с точки зрения публициста, сколько с точки зрения самого правительства, ибо нигде, как в литературе, нельзя так легко упустить из виду лес, рассматривая деревья. Бестактная статья Страхова, однако, статья в корне благонаме- 40

ренная, погубила целое благонамеренное издание, и в самую сомнительную эпоху; т. е. лес горел и мы его не тушили, выискивая вредное насекомое в коре одного дерева. Конечно, правительство могло бы стать гораздо принципиальнее в своем надзоре, этот надзор мог бы быть гораздо охранительнее, если бы, пренебрегая мелочными неудобствами обмолвок и перемолвок о той или иной детали общественной и правительственной жизни, оно сосредоточилось на отношении печати к краеугольным камням государственного и социального строя.

10 Это относится к законам, регулирующим печать. Если мы обратимся к администрации печати, мы и здесь не найдем решительности и окончательности в постановке дела. Какому органу правительственной власти она подлежит по существу? Прежде она находилась в ведении министерства народного просвещения, теперь — министерства внутренних дел. Можно ли сказать, что этим дело решено, и что печать окончательно нашла свое место и себе хозяина? Нимало. Министр народного просвещения Головнин под тем предлогом или по той действительной причине избыл от себя печать, что задача министерства будто бы просветительная, а меры против печати, к которым он вынужден бывает прибегать, невольно и непременно антипросветительны, и он не может совмещать в своем лице столь противоположных функций. Для нас любопытно в этой истории и то, что ведение печати как будто составляло бремя для министра, и это можно сказать не об
20 одном только министре просвещения. Какому, в самом деле, министру подлежит по существу печать? Ничего нет затруднительнее, как на это ответить. Во всяком случае, министру внутренних дел существо ее еще более чуждо, чем министру просвещения: как будто карательная сторона исчерпывает здесь все дело или как будто она покрывает хотя бы главную его сторону. Карание — это случай, это эпизод в жизни печати, это исключение. Разве же можно построить связь управляющего и управляемого на эпизодической, а не на постоянной нити их соединения. Сверх этого нельзя не заметить, что необозримые почти функции министра внутренних дел есть функции исключительно материального свойства: охранение спокойствия и порядка в империи и ход в ней всей административной машины.
30 Нельзя не почувствовать, что в ряду забот министра внутренних дел печать есть не только эпизод, но и довольно исключительный эпизод, не похожий на остальные.

Нет ли отсюда выхода, и нет ли места, указав на которое мы почувствовали бы, что печать здесь — дома, что она нашла естественное себе положение, которое всегда искалось и только случайно не называлось. Это — Государственный совет. До того очевидно, что печать не подлежит ни одному специально министерству, и с другой стороны все министерства так по временам бывают заинтересованы печатающимися, что каждый порознь министр, в ведение которого печать попадает, попадает сам в узел тысячи претензий, которые он не всегда даже
40 в силах бывает ограничить, попадает под перекрестные просьбы, которые суть прямо вмешательства в его и почему-то в то же время как будто не его сферу управления. Он управляет, но так, что в его области и множество еще других лиц стараются тоже управлять: просят и иногда требуют. Вот отчего Головнин воспользовался предлогом, чтобы отказаться от администрации печати, и очевидно, что эта администрация для всякого министра тягостна и беспокойна, и оттого она тягостна, что она в руках его неестественно лежит: ни соответствуя своей природе, ни соответствуя его прямым и непременно определенным функциям. Пе-

чать слишком обща, слишком одухотворена, слишком универсальна: она связана только с отечеством, и ее подчинение естественно тяготеет туда, откуда исходит самое общее и универсальное попечение над отечеством. Таков у нас и есть Государственный совет. Председатель его имеет над собою главою только Государя; его положение исполнено необыкновенной почетности. С тем вместе это положение есть ультраохранительное и ультрапринципиальное, чуждающееся мелочей и злób дня. И всякий скажет, взглянув на это лицо, почтенное, высокое, что под его охраню печать получила бы невольно большее достоинство в исполнении задач своих, как и покой совершенно достаточной охраны, достаточного покровительства при исполнении ею, печатью, своих обязанностей перед законом, 10 страню и населением.

А. С. ПУШКИН

Удивителен рост значения литературы за последние десятилетия. Выключая имя Толстого, мы не имели за последние 10—15 лет таких сил перед собою, какие имели решительно каждое десятилетие этого века. Но, несмотря на это, поступательный рост внимания к литературе не останавливается. В литературе творится меньшее, слабейшее, но очевидно, вся литература, в целом своем, стала столь ценным явлением, ее плоды так ярки и непререкаемы, что недостаток отдельных ярких точек уже не ослабляет общей световой силы ее и внимание относится не столько к лицу писателя, сколько к существу слова. Недавно исполнилась 50-летняя годовщина смерти Белинского; теперь — сто лет со дня рождения Пушкина. 20 Какое же имя не литературное и поприще вне литературы найдем мы, которое пробудило бы вокруг себя у нас столько духовного и даже физического движения. Наступило время, что всякое имя в России есть более частное имя, нежели имя писателя, и память всякого человека есть более частная и кружковая память, чем память творца слова. Кажется, еще немного, и литература станет у нас каким-то *ἕρος λόγος*, «священную сагою», какие распевались в древней Греции: так много любви около нее и на ней почило и, верно, так много есть любви в ней самой. Это — огромный факт. Россия получила сосредоточение вне классов, положений, вне грубых материальных фактов своей истории; есть место, где она собрана вся, куда она вся внимает, это — русское слово. 30

Неудивительно, что место этого сосредоточенного внимания имеет свои святости. Это не только сила; наоборот, сила этого духовного средоточия русского общества вся и вырастает из того, что оно сумело стать воочию для всех и для всех признанным святым местом. Замечательна в этом отношении оценка многих русских писателей: над гробом многих из них поднимался упорный и продолжительный спор об их так называемой «искренности». Какое было бы дело до этого, если бы литература была у нас только силою или если бы она была только красотою: «прекрасное и мудрое слово» — разве этого недостаточно для бессмертия? Нет, до очевидности нет — у нас: начинаются споры, начинается 40 внимательнейшее посмертное исследование слов писателя, проверяемых его жизнью. Так древние египтяне производили суд над мертвыми, и мы делаем че-

рез 2000 лет то же: с великой беспощадностью мы перетряхиваем прах умершего, чтобы убедиться в такой, казалось бы, литературно-безразличной вещи, как его чистосердечие. Что же это значит? Что за критический феномен? Мы ищем в писателе, смешно сказать... святого. Томы его сочинений свидетельствуют об образности языка, о пронизательности мысли, о прекрасном стихосложении или благоуханной прозе. И вдруг Аристарх, совершенно нигде невиданный Аристарх, замечает или заподозривает: «Да, — но все это было вранье». Замечание это нигде не обратило бы на себя внимания, потому что не содержит в себе в сущности никакого литературного обвинения, но у нас оно поднимает заново вопрос

10 о писателе, и пока он не решен, место писателя в литературе вовсе не определено: начинается «суд» именно с точки этого специального вопроса, опаснейший у нас суд. И хотя немного, но есть у нас несколько репутаций, пользовавшихся при жизни огромным, непобедимым влиянием, которые, попав уже по смерти на черную доску, умерли разом и окончательно. Чудовищное явление: но оно-то и объясняет, почему у нас литература стала центральным национальным явлением.

Есть свои святыни в этой сфере, свой календарь, свои дорогие могилы и благодарно вспоминаемые рождения. Сегодня — первый вековой юбилей главного светоча нашей литературы. Мы говорим — «первый», потому что не думаем,

20 чтобы когда-нибудь века нашей истории продолжали течь и в надлежащий день «26-го мая» не было вспомнено имя Пушкина.

Сказать о нем что-нибудь — необыкновенно трудно; так много было сказано 6 и 7 июня 1880 года, при открытии ему в Москве памятника, и сказано первоклассными русскими умами. То было время золотых речей: нужно было преодолеть и победить, в два дня победить, тянувшееся двадцать лет отчуждение от поэта и непонимание поэта. Ясно, почему битва была так горяча и блистательна, победа — так великолепна. Что нам остается сказать теперь? Увы, все золото мысли и слов исчерпано и приходится или вновь сковать несколько жалких медяков, или лучше подвести скромно итог тогда сказанному, без претензий на

30 оригинальность и новизну. Так и поступим.

Пушкин — национальный поэт, вот что многообразно было утверждено тогда. Что значит «национальный поэт»? Разве им не был Кольцов? Почему же мы усиленно придаем это определение Пушкину, не всегда прибавляя его к имени Кольцова? Он не был только русским по духу, как Кольцов, но русскому духу он возвратил свободу и дал ему верховное в литературе положение, чего не мог сделать Кольцов и по условиям образования своего, и по размеру сил. Можно быть свободным и независимым — по необразованности; можно сохранить полную оригинальность творчества, не имея перед собою образцов или чураясь образцов, зажмуривая перед ними глаза. Этою мудростью страуса, прячущего перед

40 охотником голову под крыло, грешили и грешат многие из нас, иногда грешили славянофилы: они не смотрели (повторяю — иногда) на Европу и тем побеждали ее, избегая соблазнительного заражения. Отождествляя Европу с Петербургом, Ив. Аксаков говаривал: «Нужно стать к Петербургу спиной». Ну, и прекрасно, — для Европы и для Петербурга; но что же специально приятного или полезного получалось для такого стоятеля? Проигрыш, просчет; а что касается до сил, — то и яркое признание их незначительности. Вот почему было много «русизма» в славянофилах, но никогда они не сумели сделать свою доктрину центральным нацио-

нальным явлением. Пушкин не только сам возвысился до национальности, но и всю русскую литературу вернул к национальности, потому что он начал с молитвы Европе, потому что он каждый темп этой молитвы выдерживал так долго и чистосердечно, как был в силах: и все-таки на конце этой длинной и усердной молитвы мы видим обыкновенного русского человека, типичного русского человека. В нем, в его судьбе, в его биографии совершилось почти явление природы: так оно естественно текло, так чуждо было преднамеренности. Парни, Андре Шенье, Шатобриан; одновременно с Парни для сердца — Вольтер для ума; затем Байрон и, наконец, Мольер и Шекспир прошли по нему, но не имели силы оставить его в своих оковах, которых, однако, он не разбивал, которых даже не усиливался снять. Все сошло само собою: остался русский человек, но уже богатый всемирным просвещением, уже узнавший сладость молитвы перед другими чужеродными богами. Биография его удивительно цельна и едина: никаких чрезвычайных переломов в развитии мы в нем не наблюдаем. Скорее он походит на удивительный луг, засеянный разными семенами и разновременного всхода, которые, поднимаясь, дают в одном месяце одно сочетание цветов и такой же общий рисунок; в следующий месяц — другой и т. д.; или, пожалуй, — на старинные дорогие ковры, которые под действием времени изменяют свой цвет, и чем далее, чем позднее, тем становятся прекраснее. Да в стихотворении

Художник-варвар кистью сонной

20

— он сам так и определил себя. Тут только не верно слово «варвар»: напротив, душу Пушкина чертили великие гении и его создания, его «молитвы» перед ними сохраняют и до сих пор удивительную красоту и всю цену настоящих художественных творений. Без этого Пушкин не был бы Пушкиным и вовсе не сделался бы творцом нашей оригинальности и самобытности. Посмотрите, как он припоминает эти чуждые на себе краски, уже свободный от них, когда уже спала с него их «ветхая чешуя». Как глубоко сознательно он относится к богам, когда-то владевшим его душою. Он начинает с Вольтера, когда-то любимца своего, коего «Генриаду» он предпочитал всем сладким вымыслам:

...циник поседелый,

30

Умов и моды вождь *пронырливый* и смелый,
Свое *владыгество* на Севере любя —
Могильным голосом приветствовал тебя.
С тобой *веселости* он расточал избыток,
Ты *лесть* его вкусил, земных богов напиток.

Какая точность! Какое понимание человека и писателя! Что нового прибавил к этим шести строкам в своей блестящей характеристике Вольтера Карлейль? Ничего, ни одной черты, которая не была бы здесь вписана. Но человека можно понимать только в обстановке:

...увидел ты Версаль;

40

Пророческих очей не простирая вдаль,
Там ликовало все... Армида молодая,
К веселью, роскоши знак первый подавая,
Не ведая, чему судьбой обречена,
Резвилась, ветренным двором окружена.

Как многое достигнуто одною заменой имени Марии-Антуанеты греческим: «Армида». Гениально поставленное слово воскрешает в вас разом «Сады» Де-Лиля, весь ложный классицизм, полусмененный пасторалью, когда придворные дамы, читая Феокрита, неудержимо разводили своих коров и навевали лучшие сны юному еще Жан-Жаку.

10 Ты помнишь Трианон и шумные забавы?
 Но ты не изнемог от сладкой их отравы;
 Ученье делалось на время твой кумир;
 Уединялся ты. За твой суровый пир
 То читатель промысла, то скептик, то безбожник
 Садился Дидерот на шаткий свой треножник.
 Бросал парик, глаза в восторге закрывал
 И проповедывал. И скромно ты внимал
 За чашей медленной афею иль деисту
 Как любопытный скиф афинскому софисту.

20 Тут опять мы припоминаем «Путешествие молодого Анахарсиса», которым на Западе и у нас зачитывались в XVIII веке. Заменою «Дидеро» — «Дидеротом», как писалось это имя в екатерининскую эпоху, новой пушкинской странице вдруг сообщается колорит времен Богдановича, Княжнина, Сумарокова. У Пушкина повсюду в исторических припоминаниях есть это удивительное искусство воскрешать прошлое, и помощью самых незаметных средств: он поставит, напр., неупотребительное уже в его время «афей», и точно вы находите в книге новой печати старый засохший цветок, екатерининский цветок, и чувствуете аромат всей эпохи.

30 Скучая, может быть...
 Ты думал дале плыть. Услужливый, живой,
 Подобный своему чудесному герою,
 Веселый Бомарше блеснул перед тобою.
 Он угадал тебя: в пленительных словах
 Он стал рассказывать о ножках, о глазах,
 О неге той страны, где небо вечно ясно;
 Где жизнь ленивая проходит сладострастно,
 Как пылкий отрока, восторгов полный, сон;
 Где жены вечером выходят на балкон,
 Глядят и, не страшась ревнивого испанца,
 С улыбкой слушают и манят иностранца.

40 Опять какая точность! «Блеснул»... Действительно, при огромном значении, Фигаро-Бомарше не имеет вовсе в истории литературы такого фундаментально-седалищного положения, как, напр., Дидеро или даже как Бернарден-де-Сен-Пьер: какой-то эпизод, быстро сгоревшая магниева лента, вдруг осветившая Францию ее самое, но и затем моментально потухшая, прежде всего по пустоте Фигаро-автора.

И ты, встревоженный, в Севиллу полетел.
 Благословенный край, пленительный предел!
 Там лавры зыблются, там апельсины зреют...
 О, расскажи ж ты мне, как жены там умеют
 С любовью набожность умильно сочетать,
 Из-под мантильи знак условный подавать;
 Скажи, как падает письмо из-за решетки,
 Как златом усыплен надзор угрюмой тетки;
 Скажи, как в двадцать лет любовник под окном
 Трепещет и кипит, окутанный плащом.

10

И опять тут тон, краски и определения прекрасного гейневского стихотворения «Исповедь испанской королевы»:

Искони твердят испанцы:
 «В кастаньеты громко брякать,
 Под ножом вести интригу
 Да на исповеди плакать —
 Три блаженства только в свете».

Пушкин продолжает, — и какая, без перемены стихосложения, перемена тона:

Все изменилось. Ты видел вихорь бури.
 Падение всего, союз ума и фурий,
 Свободой грозно воздвигнутый закон,
 Под гильотину Версаль и Трианон
 И мрачным ужасом смененные забавы.
 Преобразился мир при громах новой славы.
 Давно Ферней умолк. Приятель твой Вольтер,
 Превратности судеб разительный пример,
 Не успокоившись и в гробовом жилище,
 Доныне странствует с кладбища на кладбище.
 Барон д'Ольбах, Морле, Гальяни, Дидерот,
 Энциклопедии скептический причет,
 И колкий Бомарше, и твой безносый Касти,
 Все, все уже прошли. Их мненья, толки, страсти
 Забыты для других. Смотри: вокруг тебя
 Все новое кипит, бывшее истребя.
 Свидетелями быв вчерашнего паденья,
 Едва опомнились молодые поколенья,
 Жестоких опытов сбирая поздний плод,
 Они торопятся с расходом свесть приход.
 Им некогда шутить, обедать у Темиры,
 Иль спорить о стихах. Звук новой, чудной лиры,
 Звук лиры Байрона развлечь едва их мог.

20

30

40

Какая бездна критики во всем приведенном стихотворении. Ведь это — курс новой литературы, так бесцветно обыкновенно разводимый на сотнях водянистых страниц учеными, томы которых мы имеем неосторожность читать вместо

того, чтобы заучить наизусть, упиться и, упиваясь, невольно запомнить эти краткие и вековечные строфы! Но, чтобы их написать, разве достаточно волшеб-но владеть стихом? Нужны были годы развития, сладостная молитва перед эти-ми именами и осторожная от них отчужденность, основанная на тончайшем вку-се, и моральном, и эстетическом.

Умов и моды вождь пронырливый и смелый...

Кто это сказал о Вольтере, уже перерос Вольтера. Так Пушкин вырос из каждого поочередно владевшего им гения, — как бабочка вылетает из прежде живой и нужной и затем умирающей и более не нужной куклолки. Пушкин ожи-вил для нас Вольтера и Дидеро; заставил вспомнить их, даже их полюбить, когда мы и не помнили уже, и уже не любили их; в его абрисах их нет и тени желчи, как и никакого следа борьбы с побежденным гением. Это — любовное, любящее оставление, именно, вылет бабочки из недавно соединяющейся с нею в одно тело оболочки, «ветхой чешуи». Ум и сердце Пушкина, как это ни удивительно, как ни странно этому поверить, спокойно переросли столько гениев, всемирных ге-ниеи. Факт поразителен, но он точен, и мы точно его формулируем. Никто не от-важится утверждать, что в приведенных характеристиках есть неполнота по-нимания; и никто же не докажет, что можно отчуждаться от гения, поэта или философа, вполне понимаемого, не став с тем вместе и выше его.

10 Таким образом, слова о себе Пушкина, что память о нем и его памятник по-дымется

...выше Наполеонова столпа, —

не есть преувеличение: и даже сравнение взято не искусственно. Пушкин был царственная душа; в том смысле, что, долго ведомый, он поднялся на такую вы-соту чувств и созерцаний, где над ним уже никто не царил. То же чувство, какое овладело Гумбольдтом, когда он взобрался на высшую точку Кордильер: «Смот-ря на прибой волн Великого океана, с трудом дыша холодным воздухом, я подум-мал: никого нет выше меня. С благодарностью к Богу я поднял глаза: надо мной вился кондор» («Космос»).

30 Сейчас, однако, мы выскажем отрицание о Пушкине. И над ним поднимался простой необразованный прасол Кольцов — в одном определенном отношении, хотя в другом отношении этот простец духа стоял у подошвы Кордильер. Как он заплакал о Пушкине в «Лесе» — этим простым слезам

Что, дремучий лес,
Призадумался...
.....
Не осилили тебя сильные,
Так зарезала
Осень черная

40 мы можем лучше довериться, чем более великолепному воспоминанию Пушки-на о Байроне:

Меж тем как изумленный мир
 На урну Байрона взирает
 И хору европейских лир
 Близ Данте тень его внимает.

До чего тут меньше любви! Есть великолепие широкой мысли, но нет той привязанности, что не умеет развязаться, нет той ограниченности сердца, в силу которой оно не умеет любить многого, и в особенности — любить противоположное, но зато же не угрожает любимому изменою... Пушкин был универсален. Это все замечают в нем, заметил еще Белинский, заметили даже раньше Белинского непосредственные друзья поэта, назвавшие его «протеем». Но есть во всякой универсальности граница, и на нее мы указываем: это — забвение. Пушкин был богат забвением, и может быть, более богат, чем это вообще удобно на земле, желательна на земле для ее юдоли, но это забвение — гениальное. Он все восходил в своем развитии; сколько «куколок», умерших трупиков оставил его великолепный полет; эти смертные остатки, сброшенные им с себя, внушают грусть тем, кто за ним не был в силах следовать. Где же конец полета? что, наконец, вечно и абсолютно? Атмосфера все реже и реже:

Ты — Царь. Живи один...

Глазам обыкновенного смертного трудно и тягостно за самого гения следить этот полет, взор, наконец, отрывается от него — потому-то гениальные люди остаются непонятными для самых близких своих, к своему и их страданию!.. Не та ли темная пустота раскрывается перед этим восходящим полетом, которая делает гениальных людей безотчетно сумрачными и, убегая которой, люди, простые люди, так любят жаться на земле друг к другу, оплакивать друг друга, хранить один о другом память; и отсюда вытекли если не самые великолепные, то самые милые людские сказочки и песенки. Отсутствие постоянного и вечно одного и того же составляет неоспоримую черту Пушкина и в особом смысле — слабость его, впрочем, только перед слабейшими на земле. Собственно абсолютным перед нами является только его ум и критическая способность; но тем глубже и ярче выступает временность и слабость перед ним всего, что было на земле предметом его внимания, составило содержание его творений. Нет суженной, но в суженности-то и могучей цели, как нет осязаемо постоянной меры всем вещам, если не называть ею вообще *правду*, вообще *прелесть*: но это — качества, а не имя предмета, как и не название лица или даже убеждения. Пушкин был великий «прельститель», «очарователь», владыко и распорядитель «чар», впрочем, и сам вечно живший под чарами. Но под чарами чего? Тут мы находим непрерывное движение и восхождение, и нет конца, нет и непредвидимо даже завершение восхождения:

...В цепях, в унынии глубоко
 О светских радостях стараясь не жалеть,
 Еще надеясь жить, готовясь умереть,
 Безмолвен он сидел, и с ним в плаще широком,
 Под черным куколом, с распятием в руках,
 Согбенный старостью беседовал монах.

*Старик доказывал страдальцу молодому,
Что смерть и бытие равны одно другому,
Что здесь и там одна бессмертная душа
И что подлунный мир не стоит ни гроша.
С ним бедный Клавдио пегально соглашался,
А в сердце милою Джульетой занимался.*

(«Анджело»)

10 Какая правда, и вместе какое безмерное любование юности на себя, на радость жизни и мира! И около этого, с равною красотой, но не с большею правдою и не с большею простотою, умиление перед полным упразднением всякой юности и всякого земного тления:

20 Отцы-пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем улетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста —
И падшего свежит неведомою силой:
«Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей;
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи».

30 У Пушкина давно замечено тяготение к контрастам. В таком отношении контраста стоят сын и отец в «Скупом рыцаре»; входящий к Альберту еврей есть еще контраст к легкомысленному и великодушному рыцарю и с тем вместе он ни мало не сроден и с рыцарем-отцом. Рачительный Сальери и гениальный Моцарт — в таком же между собою отношении взаимного отрицания. «Египетские ночи», быть может, лучший или, по крайней мере, самый роскошный пример этой манеры Пушкина: петербуржец Чарский, с его мелочной о себе озабоченностью, и скупой и гениальный «импровизатор», так мало усиливающийся скрыть свою жадность к деньгам, и, наконец, — Клеопатра...; далее, если от лиц перейдем и к сценам: петербургский концерт и ночь в Александрии: какие сочетания! Откуда же этот закон у Пушкина, это тяготение его воображения к совмещению на небольшом куске полотна разительных противоположностей: закон прелести
40 и как бы высшего засвидетельствования... о «несотворенном себе кумире». Мир был для Пушкина необозримым пантеоном, полным божеского и богов, однако, везде в контрасте друг с другом, и везде — без вечного, которому-нибудь поклонения. Это и делает абсолютным его, но без абсолютного в нем, кроме одного ис-

кания бестрепетной правды во всем, что занимало его ум. Вечный гений — среди преходящих вещей.

«Преходящими вещами» и остались для Пушкина все чужеродные идеалы. Они не отвергнуты, не опрокинуты. Нет, они все стоят на месте, и через поэзию Пушкина исторгают у нас слезы. Отсюда огромное воспитывающее и образующее значение Пушкина. Это — европейская школа для нас, заменяющая обширное путешествие и обширные библиотеки. Но дело в том, что *сам* Пушкин не сложил своих костей на чужом кладбище, но, помолившись, вернулся на родину цел и невредим. Надо, особенно, указать, что сказки, его предисловие к «Руслану» и вообще множество русизма относится к очень молодым годам, так что не верно изображать дело так, что вот «с годами он одумался и стал руссачком». Это — слишком простое представление, и неверное. Дело именно заключается в способности его к возрождению в его универсальности и простоте, простоте, всегда ему присущей. Он ни в чем не был напряжен. И... с Байроном он был Байрон; с Ариной Родионовной — угадчик ее души, смиренный записыватель ее рассказов; и когда пришлось писать «Историю села Горохина», писал ее как подлинный горохинец. Универсален и прост, но всегда и во всем; без швов в себе; без «разочарований» и переломов. В самом деле, не уметь разочаровываться, а уметь только очаровывать — замечательная черта положительности.

* * *

В своих тетрадах, посмертно найденных, он оставил следы критической работы над чужеземными гениями. Замечательную особенность Пушкина составляет то, что у него нельзя рассмотреть, где кончается вдохновение и начинается анализ, где умолк поэт и говорит философ. Отнимите у монолога Скупого рыцаря стихотворную форму, и перед вами платоновское рассуждение о человеческой страсти. У Пушкина не видно никаких швов и сшивок в его духовном образе. Слитность, монолитность — его особенность. Его огромная способность видеть и судить, изумительная и постоянная трезвость головы и помогла ему увидеть или ложное в каждом из владевших им гениев, или — и это гораздо чаще — ограниченное, узкое, односторонне-душевное (суждения о Байроне и Мольере).

Он остался, из-под всех сбежавших с него красок, великою русскою душою. Мы упомянули о черновых его набросках, заговорили об его уме: в самом деле, среди современников его, умов значительных и иногда великих, мы не можем назвать ни одного, который был бы так свежо-поучителен для нас и так родствен и душевно-близок. Жуковский пережил Пушкина; Чаадаев был его учителем; Белинский был его моложе: однако все три как архаичны сравнительно с Пушкиным! Как, наконец, архаичны для нас даже корифеи 60-х годов: не враждебны, но именно старомодны. Между тем в публицистических своих заметках, как журналист, как гражданин, Пушкин не испортил бы гармонии, сев между нами как руководитель наш, как спикер сегодняшней словесной палаты. Вот удивительная в нем черта; он не только пожелал освобождения крепостного населения, но в пожелании предугадал и образ этого освобождения:

...по манию царя...

Как глубоко и отвечают современным нам мыслям его замечания о внутреннем управлении в царствование Екатерины II. Или его заметка о речи Николая I на Сенной площади, во время холерных беспорядков, к народу. Державин написал бы по этому поводу оду, Жуковский — элегию, Белинский — восторженную статью, и даже перед фактом оказался бы молод Герцен; Пушкин осторожно оговаривает: «Это хорошо раз, но нельзя повторять в другой раз, не рискуя встретить реплику, которая носила бы очень странный вид и на которую не всегда можно найти удачно ответить». Это почти речь Каткова, его сухой слог и деловитая осторожность. До Пушкина мы имели в писателях одистов или сатириков, но только в Пушкине созрел гражданин, обыватель, очень прозаических черт, но очень старых, седых, очень нужных. Обращаясь к императору Николаю, он говорил:

20 Начало славных дней Петра
 Мрачили мятежи и казни.
 Но правдой он привлек сердца,
 Но нравы укротил наукой,
 И был от буйного стрельца
 Пред ним отличен Долгорукий,
 Самодержавною рукой
 Он смело сеял просвещение.

Семейным сходством будь же горд,
 Во всем будь пращуру подобен,
 Как он — неутомим и тверд
 И памятью, как он, незлобен*.

Этой твердости и спокойствия тона не было у Жуковского, не было у нервно-капризного Грибоедова. Из этого трезво спокойного настроения его души вытекли внешние хлопоты его об основании журнала: его черновые наброски в самом деле все представляют собою как бы подготовительный материал для журнала; из них некоторые в тоне и содержании суть передовые статьи первоклассного публициста, другие суть критические статьи, и последние всегда большей зрелости и содержательности, чем у Белинского.

Появление «Современника» в формате, сохранившемся до минуты закрытия этого журнала, самым именем своим свидетельствует о крайней жадности Пушкина применить свой трезвый гений к обсуждению и разрешению текущих жизненных вопросов. Так из поэта и философа выростал и уже вырос гражданин.

У Гёте Фауст, в самом конце второй части, занимается, — да всюю душою, — простыми ирригационными работами: проводит канал и осушает поля. Мы знаем, что сам творец «Вертера» и «Фауста» с необыкновенным интересом ушел в научные изыскания: о теории цветов, о морфологии организмов.

40 Есть кое-что родственное этому у Пушкина, в этом практицизме его, в журнальных хлопотах, публицистической озабоченности. Укажем здесь один кон-

* Император Николай I, поговорив с час с 26-летним Пушкиным, сказал: «Я говорил сейчас с умнейшим человеком в России». Очевидно, Россия перед обоими стояла одна и та же, хотя разница в высотах созерцания, казалось бы, была несравнимая.

траст: Достоевский накануне смерти пишет самое громоздкое и обильное художественное создание — «Карамазовых», Толстой — стариком создает самое скульптурное произведение, «Каренину», — Лермонтов — в последние полгода пишет множество и все лучших стихов. Но просматривая, что именно Пушкин написал в последние 1½ года жизни, мы видим с удивлением все деловые работы, без новых поэтических вспышек или концепций. Мы можем думать, что собственно поэтический круг в нем был сомкнут: он рассказал нам все с рождением принесенные им на землю «сны» и по всему вероятно остальная половина его жизни не была бы посвящена поэзии и особенно не была бы посвящена стихотворству, хотя, конечно, очень трудно гадать о недоконченной жизни. С достаточным правом во всяком случае можно предполагать, что если бы Пушкин прожил еще десять—двадцать лет, — то плеяда талантов, которых в русской литературе вызвал его гений, соединилась бы под его руководством в этом широко и задолго задуманном журнале. И история нашего развития общественного была бы, вероятно, иная, направилась бы иными путями. Гоголь, Лермонтов, Белинский, Герцен, Хомяков, позднее Достоевский пошли вразброд. Между ними расколосось и общество. Все последующие, после Пушкина, русские умы были более, чем он, фанатичны и самовластны, были как-то неприятно партийны, очевидно, не справляясь с задачами времени своего, с вопросами ума своего, не умея устоять против увлечений. Можно почти с уверенностью сказать, что, проживи Пушкин дольше, в нашей литературе, вероятно, вовсе не было бы спора между западниками и славянофилами, в той резкой форме, как он происходил, потому что авторитет Пушкина в его литературном поколении был громаден, а этот спор между европейским Западом и Восточной Русью в Пушкине был уже кончен, когда он вступил на поприще журналиста. Между тем сколько сил отвлек этот спор и как бесспорны и просты истины, им добытые долговременною враждой! Но отложим гадания, признаем бесспорное.

Путь, пройденный Пушкиным в его духовном развитии, бесконечно сложен, утомительно длинен. Наше общество — до сих пор Бог весть где бы бродило, может быть, между балладами Жуковского и абсентизмом Герцена и Чаадаева, если бы из последующих больших русских умов каждый, проходя еще в юности школу Пушкина, не созрел к своим 20-ти годам его 36-летней, и гениальной 36-летней, опытностью. И так совершилось, что в его единичном, личном духе Россия созрела, как бы прожив и проработав целое поколение.

ЗАМЕТКА О ПУШКИНЕ

Гоголь, приехав в Петербург, поспешил к светилу русской поэзии. Был час дня уже поздний.

«Барин еще спит», — равнодушно сказал ему лакей.

«Верно, всю ночь писал?» — спросил автор Ганса Кюхельгартена.

«Нет, всю ночь играл в карты».

Диалог этот — многозначителен, т. е. в вопросе Гоголя. Как *не пусты* уже его юношеские письма, напр., между прочим, к матери! Это — послушник в стихаре,

вообще какой-то член церковной службы, коего речь постоянно сбивается на поученье. Несравненный рассказчик, в письмах он не умеет рассказывать. Но письма суть самый *ненадуманный* вид литературы, и вот именно в них — какая-то вечная надуманность у Гоголя, т. е. вдумчивость, дума.

Печально я гляжу на наше поколение —

эта строфа Лермонтова — почти эпиграф к «Выбранным местам из переписки с друзьями», да и вообще ко всем моральным фрагментам Гоголя. Вечная, говорю я, надуманность, так что, переходя от переписки Гоголя к его «творениям», чувствуешь некоторую их искусственность: он «не от души» рассказывал, как милейший почтмейстер о капитане Копейкине. Напротив, садясь «сочинять», он ставил тему, он ее развивал и доводил до конца. Отсюда необыкновенная зрелость *мысли* в его «творениях». Их высокое совершенство есть уже плод его технического гения, «таланта», «богоданной» руки, что вообще никак нельзя сливать с «думкою» человека, «пением» его сердца, порывом, потоком, течением то слез, то радости. Гоголь имел гений комической техники при страшно трагическом сложении души. Во всяком случае вопрос:

«— Верно, всю ночь писал?»

— характерен. Гоголь всю бы ночь писал, как и Лермонтов:

20

Бывают тягостные ночи:
 Без сна, горят и плачут очи,
 На сердце — жадная тоска;
 Дрожа, холодная рука
 Подушку жаркую объемлет;
 Невольный страх власы подьемлет;
 Болезненный, безумный крик
 Из груди рвется — и язык
 Лепечет громко, без сознанья.

 Тогда — пишу.

30

Что строки эти списаны с натуры и представляют как бы портрет самого художника, снятый с отражения лица своего в зеркале, — видно из того, что знаменитый этот отрывок есть собственно *вставка*, *прерывающая* течение пьесы «Журналист, читатель и писатель» — и даже повторяющаяся в теме предшествующий абзац, но повторяющая его *истиннее и действительнее*:

О чем писать?.. Бывает время,
 Когда забот спадает бремя,
 Дни вдохновенного труда...

Поэт как бы *перебивает* и *исправляет*:

Бывают тягостные ночи...

Мы не умеем доказать, но кто много писал и знает технику писанья, прямо повторит за нами, догадавшись из намека, что монолог

...холодная рука
Подушку жаркую объемлет

— есть автобиографическое даже не «признание», а невольно вырвавшийся крик. И опять это не то, что:

«— Нет, играл в карты всю ночь».

«Боже, как мне писать хочется!» — воскликнул Толстой, где-то около родных своих Хамовников, в Москве, возвращаясь домой, среди толпы знакомых и друзей. Была ночь; верно, звездная ночь. И вот, остановившись и как бы не помня себя, он прошептал вслух:

«Как же мне писать хочется» *.

Опять это как у Лермонтова, как у Гоголя; и характерно противоположно тому, как у Пушкина. О Достоевском записано:

«Любимым местом его занятий была амбразура окна в угловой (так называемой круглой камере) спальне роты, выходящей на Фонтанку. В этом, *изолированном* от других столиков, месте сидел и занимался Ф. М. Достоевский; случалось нередко, что он не замечал ничего, что кругом его делалось; в известные установленные часы товарищи его строились к ужину, проходили по круглой камере в столовую, потом с шумом проходили в рекреационную залу, к молитве, снова расходились по камерам; Достоевский только тогда убирал в столик свои книги и тетради, когда проходивший по спальням барабанщик, бивший вечернюю зорю, принуждал его прекратить свои занятия. Бывало, в глубокую ночь, можно было заметить Ф. М. у столика сидящим за работою. Набросив на себя одеяло сверх белья, он, казалось, не замечал, что от окна, где он сидел, сильно дуло; щиты, которые ставились к рамам, нисколько не предохраняли от внешнего холода; особенно это было чувствительно подле окна, где Ф. М. любил заниматься. Нередко на замечания мои, что здоровее вставать ранее и заниматься в платье, Ф. М. любезно соглашался, складывал свои тетради и, по-видимому, ложился спать, но проходило немного времени, его можно было видеть опять в том же наряде, у того же столика, сидящим за работою. В то время нельзя было думать, чтобы предметом занятий Ф. М. был его первый роман „Бедные люди“, но, зная способности и прилежание его в учебных занятиях, нельзя было предполагать, чтобы Ф. М-чу недоставало днем времени для этих занятий; я тогда же допускал, что постоянная усидчивая его работа, работа письменная, ночью, когда никто ему не мешал, была литературная, и, конечно, не для газеты, издававшейся в роте под заглавием „Рижский сняток“, а для более серьезного предмета. Но какая это была работа, отгадать было трудно; сам же Ф. М. никому об ней не говорил» **.

Т. е. опять, у этого третьего:

...Диктует совесть,
Пером сердитый водит ум.

* «Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой» — г. Сергеевки.

** Воспоминания надзирателя инженерного училища А. И. Савельева, относящиеся к 1841 году. См. «Биография и письма Ф. М. Достоевского», изд. 1882 года, часть I, стр. 42.

Что-то *подобное* в настроении, потому что *подобное* в манере письма.

Осень, ненастная осень была лучшим временем для писания у Пушкина; ссылка и карантин — это два места и внешние положения, два условия труда, среди которых и были созданы, по его собственному признанию и по разысканиям биографов, все лучшие его создания. Что это значит?.. Тогда как Гоголь для писания вырвался в Рим, Достоевский — сквозь нищету никогда не искал службы и обеспечения, Лермонтов вечно рвался — то на Кавказ, то куда-нибудь. Для одних простор, внешний, почти пространственный простор, есть требуемое и достигаемое условие созидания; для другого условием созидания служит внешнее и почти пространственное же ограничение.

Пушкин писал не всегда. Ночь. Свобода. Дусуг:

— Верно, всю ночь писал?

— Нет, всю ночь играл в карты.

Он любил жизнь и людей. Ясная осень, даже просто настолько ясная, что можно выйти, пусть по сырому грунту, в калошах, — и он непременно выходил. Нет карантина, хотя бы в виде непролазной грязи, — и он с друзьями. Вот еще черта различия: Пушкин — всегда среди друзей, он — *дружный* человек; и, применяя его глагол о «гордом славянине» и архаизм исторических его симпатий, мы можем «дружный человек» переделать в «дружинный человек». — «Хоровое начало», как ревели на своих сходках и в неуклюжих журналах славянофилы. Достоевский, Толстой, Лермонтов имеют только *видимость знакомств*. «Его никто не знал», — замечает о Гоголе С. Т. Аксаков («Воспоминания»), «знавший» его чуть не 20 лет. Т. е. «знать» Гоголя, как равно Лермонтова, Достоевского, — значило просто ничего не знать о них и даже вовсе почти не быть знакомым с ними. Какая-то вешалка с платьем, а *не человек*: вот кого или скорей бездушное что-то, что обнимали Погодин, Аксаковы или, пожалуй, Савельев, Ризенкампф, А. Майков и, далее, Краевский или Столыпин — в Достоевском и Лермонтове. Душа их, свободная, вечно витала где-то: как «душа Катерины», в «Страшной мести», которую вызывал Пан-Отец, и она являлась к нему в замок всякий раз, когда сама Катерина имела неосторожность заснуть.

«— Меня сон так и клонит, мой любимый муж... Мне думается, я боюсь... что опять засну».

Но что же все это значит, т. е. эта разница в условиях и, так сказать, «пространстве и времени» работы?

Ничего, кроме того, что ярко написано в этой разнице: душа *не нудила* Пушкина сесть, пусть в самую лучшую погоду и звездно-уединенную ночь, за стол, перед листом бумаги; тех трех — она нудила, и, собственно, абсолютной внешней свободы, «в Риме», «на белом свете» они искали как условия, где их никто не позовет в гости, к ним не придет в гости никто. Отсюда восклицание Достоевского, через героя-автора «Записок о мертвом доме» — об этом испытанном им мертвом доме:

«— Едва я вошел в камеру (острог), как одна мысль с особенным и даже исключительным ужасом встала в душе моей: *я никогда больше не буду один... долго, годы не буду*»:

...и язык

Лепечет громко, без сознания,
Давно забытые названья;

Давно забытые черты
 В сияньи прежней красоты
 Рисует память своевольно:
 В очах любовь, в устах — обман,
 И веришь снова им невольно,
 И как-то весело и больно
 Тревожить язвы старых ран...
 Тогда — пишу.

Что «пишу», что «написал»? Даже и не разберешь: какой-то набор слов, точно бормотанье пьяного человека. Да, они все, т. е. эти три, — были пьяны, т. е. *отъянены*, когда Пушкин был существенно *трезв*. Три новых писателя, существенно новых — суть оргиасты в том значении, и, кажется, с тем же родником, как и Пифия, когда она садилась на треножник. «В расщелине скалы была дыра, в которую выходили серные одуряющие пары», — записано о Дельфийской пророчице. И они все, т. е. эти три писателя, побывали в Дельфах и принесли нам существенно древнее, но и вечно новое, каждому поколению нужное, языческое пророчество. Есть некоторый всемирный пифизм, не как особенность Дельф, но как принадлежность истории и, может быть, как существенное качество мира, космоса. По крайней мере, когда я думаю о движении по кругам небесных светил, я не могу не поправлять космографов: «хороводы», «танец», «пляска» и, в конце концов, — именно *пифизм* светил, как свежая их *самовозбужденность*, «под одуряющими внешними парами». Ведь и подтверждают же новые ученые, в кинетической теории газов, старую картезианскую гипотезу космических, влекущих «вихрей». Этот пифизм, коего капелька была даже у Ломоносова:

Восторг внезапный ум пленил...

и была его бездна у Державина: он исчез, испарился, выдохся у Пушкина, оголив для мира и поучения потомков его громадный ум. Да, Пушкин больше ум, чем поэтический гений. У него был гений всех минувших поэтических форм; дивный набор октав и ямбов, которым он распоряжался свободно; и сверх старческого ума — душа как резонатор всемирных звуков:

Ревет ли зверь...
 Поет ли дева...
 На всякий звук
 Родишь ты отклик.

Он принимал в себя звуки с целого мира; но «пифийской расщелины» в нем не было, из которой вырвался бы существенно для мира новый звук и мир обогатил бы. Можно сказать — мир стал лучше после Пушкина: так многому в этом мире, т. е. в сфере его мысли и чувства, он придал чекан последнего совершенства. Но после Пушкина мир не стал богаче, *обильнее*. Вот почему в звездную ночь:

«— Барин всю ночь играл в карты»
 — и, кто знает, не в эту ли и не об этой ли самой ночи Лермонтов написал:

качестве школьного научения, а не живого руководителя толпы, священного рапсода. Пушкин, по многогранности, по *все*-гранности своей — вечный для нас и во всем наставник. Но он слишком строг. Слишком серьезен. Это — во-первых. Но и далее, тут уже начинается наша правота: его грани суть всего менее длинные и тонкие корни и прямо не могут следовать, и ни в чем не могут помочь нашей душе, которая растет глубже, чем возможно было в его время, в землю, и особенно растет живее и жизненнее, чем опять же возможно было в его время и чем как он сам рос. Есть множество тем у нашего времени, на которые он, и зная даже об них, не мог бы *никак* отозваться; есть много более у нас, которым он уже не сможет дать *утешения*; он слеп, «как старец Гомер», — для множества случаев. О, как зорче... Эврипид, даже Софокл; конечно — зорче и нашего Гомера Достоевский, Толстой, Гоголь. Они нам *нужнее*, как ночью, в лесу — умелые провожатые. И вот эта практическая нужность создает обильное им чтение, как ее же отсутствие есть главная причина удаленности от нас Пушкина в какую-то академическую пустынную и обожание. Мы его «обожали»: так поступали и древние с людьми, «которых нет больше». «Ромул» умер; на небо вознесся «бог Квирин».

ПУТАНЫЕ ИДЕИ

Очень легко бороться с идеями неверными, но ясно выраженными. Спор здесь сводится к аргументации последовательной, как алгебраическая формула, и всякий может рассмотреть и может легко определить, на которую сторону ему стать. Гораздо опаснее идеи сбивчивые; идеи, которых с полной отчетливостью автор не определяет и не очерчивает, а между тем со всею силою таланта, красноречия, иногда эрудиции, он требует к ним внимания и очень часто действительно возбуждает к ним внимание. Опровергая их, вы не знаете точных границ опровергаемого; говоря «нет», невольно боитесь, что отрицаете нечто истинное, чего автор только не высказывает как должно для полной ясности, чувствуя, быть может, что ясность эта была бы не в его пользу. Весь спор приобретает характер неприятный и тягостный.

Несколько лет назад, полемизируя против книги «Россия и Европа» Данилевского, Влад. Соловьёв впервые построил искусственное и сбивчивое понятие, которое нет-нет и вдруг опять откликнется в ком-нибудь. Именно, знаменитый наш богослов, на упреки ему, почему он восстает против книги столь спокойной, ясной и убедительной, отвечал, что он восстает не против национальности ее, но против ее национализма. И даже, что собственно он не книгу и умершего ее автора имеет в виду, а чрезвычайно живучее и чрезвычайно вредное в нашем обществе настроение национализма, отличающееся от настроения национального, за которое он, Владимир Соловьёв, первый готов распясться. Так как все это было чрезвычайно неясно, то почтенный богослов и философ в книге «Национальный вопрос в России» дал иллюстрации общего тезиса: именно, национализм России заключался в приверженности ее к православию, а национальность выразилась бы в переходе в католицизм: по примеру Петра Великого, который национальность русскую не погубил, но паче приумножил, взяв от Европы просвещение.

При недоумении, что же в России составляет собственно объект национальной привязанности, гордости и любви, национального охранения, он приблизительно разъяснял: ничто, и вот это-то «ничто», моральный и умственный «нуль», присоединяясь к западным единицам и через это изменяя их величину и значение, и имеет всемирно-историческую значительность. Ибо нуль, хотя и не содержит в себе ничего, но будучи приставлен к другим цифрам до неузнаваемости перемещает их роль, а следовательно косвенно, по своей роли, он даже выше их всех, и вот такое-то, хотя и нулевое, но верховное значение принадлежит и России, а понимание его, этого русского нуля, составляет истинную задачу национальной философии и политики.

После достаточно продолжительной полемики можно было счесть идеи Вл. Соловьёва бесследно рассеявшимися, как окончательно неудачные и никого в свой туман не увлекшие. К сожалению, исходная точка их, именно словесное раздвоение одного явления — привязанности к родине, гордости родиною — на «национальность» и «национализм» оказывается еще тревожит кое-кого. Некоторое отражение этого раздвоения мы нашли в статье почтенного г. Александра Новикова, в «России», озаглавленной: «Что препятствует идее мира». Главным препятствием прекрасной и великодушной идее нашего Государя он считает тот факт, что инстинкты народных масс, всегда мирные, не господствуют над порывами правительств, часто увлекающихся жаждою приключений. Он ссылается при этом не только на Александра Македонского и его поход в Персию и Индию, что было довольно давно, не только на Бонапарта с его экспедициями в Египет и в Москву, но и на Наполеона III с бравурным нападением на Пруссию, что все, как в древности, так и в наши времена, не имело для себя никакого фундамента в желаниях народа, простых масс. Слова эти можно принять с оговоркою, ибо в них мы уже замечаем начала недосказанности и неясности. Г. Алекс. Новиков вообще затруднился бы указать, что из активно совершившегося в истории — и прекрасно совершившегося — не только сопровождалось простонародным повиновением, но и творилось простонародною инициативою. Изобретение книгопечатания народом не звалось, Америки народ не искал, компаса не устраивал, как не открывал тяготения всемирного и не устраивал не только университетов, но и вообще каких-нибудь школ. Но не совершилось бы этого — не совершилось бы вообще истории. Народ активно желает только того, о чем ему практически известно, т. е. все его желания и не выходят из частного круга своей хаты или своей деревни. Переходя к внешней политике и отбрасывая неудачи и фантазии, вроде мечтаний Наполеона III, мы не можем не указать на часть войн при Михаиле Феодоровиче, Алексее Михайловиче, Петре Великом и Екатерине Второй, которые будучи наступательными и будучи вполне чужды народу, не известные ему в мотиве и в смысле, были тем не менее актами не «национализма», а национальными. И подобным же национальным делом, вполне правым, было нападение Германии на Францию; ибо оставляя в стороне дипломатические замаскирования существа дела, конечно Вильгельм напал на Наполеона, а не «*bon ami*» «добряк» Наполеон, хотя это ему так и казалось до Седана. Германия изготовилась, напала, победила, и г. Ал. Новиков или Вл. Соловьёв должны обсудить и разрешить именно этот исторический факт, а не феерическую сторону дела, что «Наполеон замыслил», когда «народ не желал». Они должны решить, важно или не важно, нужно было или не было нужно, в специально-германских и во всемир-

но-исторических целях, объединение Германии, вообще пангерманизм; ошибочно ли пел Шиллер, говорил Фихте, трудился Штейн, или все это были мелкие умы, мелко плававшие и во всяком случае не доплывшие до настоящей глубины.

Но вот, рассуждая далее, г. Ал. Новиков приходит к выводу, что не один разлад между устойчивою народною массою и капризным правительством мешает вечно мирному и везде мирному течению государственной жизни, но и недостаточная солидарность партий в народных же слоях. «Кроме несоответствия стремлений правителей с желаниями народов, говорят он, существует еще важный тормоз движения в пользу мира. Это сильно развившийся кое-где ложный патриотизм, который часто выставляется людьми, преследующими цели, ничего общего с благом народным не имеющие, но которым так легко иногда бывает увлечь народные массы. Этот шовинизм и есть главный враг мира. Страшен он тем, что принимается часто за патриотизм, хотя ничего общего с ним не имеет. Шовинизм относится к патриотизму, как религиозный фанатизм, доходящий до самозамуравливания и до самосожигания, относится к религии. Шовинизм есть во всех государствах и тем страшен, что всегда надевает личину патриотизма. Именующие себя патриотами, потрясающие оружием и говорящие громкие фразы суть скрытые враги отечества своего, в отличие от истинного патриота, который без шума», — и т. д., конечно, сидит на печке.

Во всем этом облаке слов мы слышим звенящие слова и не видим точной хорошо разъясненной мысли. Есть история пассивная и есть история активная; первая образует быт, но только вторая начинает события. Нужны ли они, эти события, или, другими словами, нужно ли вообще, чтобы история совершалась? Есть также политика пассивная и есть политика активная: министр Тугут в Австрии и в особенности знаменитое министерство Годоя в Испании, при Карле IV, в самом начале нынешнего века, суть типичнейшие выразители пассивной политики, которая, таким образом, не есть новость, но имеет для себя образцы. Что же это за образцы и чему они нас поучают? Это — печать невыносимого стыда, потаенного морального страдания современников и самого позорного воспоминания потомков. Англия времен Питтов — вот образец активной политики; Россия — времен Екатерины. Это — дни исторической радости, честь современников, слава потомков. Легко приводить в пример Наполеона III и записывать мелком плюсом на своем столе ввиду плачевного конца плачевного авантюриста; но выходит совсем иное дело, когда вы на место неудачника и авантюриста ставите фигуру прирожденного государя, гордого народом своим и которым горд его народ, государя, который не допускает умаления своей чести, да и не только этого не допускает, но и растит честь, силу и достоинство своей земли. Таковыми были у нас Петр и Екатерина, бранные подвиги которых сыграли огромную моральную роль в истории России, наверно не меньшую, чем учреждение Сената или генеральное размежевание земель. Напротив, военная сторона жизни, именно в силу, так сказать, материального, резко ощутимого ее характера и в силу чрезвычайного ее блеска, оставляет в памяти народов особенно неизгладимое впечатление, как и вызывает в современниках необыкновенное оживление. Нельзя не обратить внимание, что военные эпохи бывают эпохами и в умственном отношении глубоко творческими. Кеплер и Декарт были современниками и даже частью участниками 30-летней войны; вычеркните из нашей истории великую Северную войну, войны Екатерины и эпопею борьбы с Наполеоном, внутри и за

пределами России, и какую часть наших умственных приобретений вы сбросите из истории! Избави Боже нас или кого-нибудь в Европе нападать на соседа. Всякая неосторожность здесь бедственная, легкомыслие — преступно. Но говоря так, но думая так чистосердечно, мы далеки от мысли советовать или желать смирения паче меры, уступчивости далее возможности.

Вообще излишне просто представлять себе дело так, что нам и вообще какому-нибудь предстоит напасть или защищаться. Г. Ал. Новиков так и пишет: «А когда одни не будут нападать, то другим не от кого будет защищаться, — войны не будет». Правда, Святослав говорил грекам: «Иду на вас» — и шел. Но это было давно и, к сожалению, дела международные идут теперь несколько сложнее. Решительно никто не «нападает» и решительно никто не «защищается», но дела иногда весьма незаметно и понемногу складываются так, что государю, народу и целой стране приходится вынести позорнейшее уничтожение, огромную потерю выгод, или, даже не терпя прямого ущерба, ему приходится допустить другого до такого исключительно выгодного положения, которое через десять лет принесет стране огромный ущерб — и вот повод к борьбе настал, и эту борьбу нельзя назвать ни «завоевательной войною», ни «оборонительной». Была ли завоевательна или оборонительна наша последняя война с Турцией? Ни тот, ни другой термин не идет сюда, ибо ни тот, ни другой не выражает существа этой войны. Так же точно активное вмешательство России в японо-китайскую распря, конечно, могло бы не произойти. Как не касающуюся русских пределов, мы могли бы просто пропустить эту распря своим вниманием — отозвать «из далеких стран» послов своих и оставить только торговых агентов. Правда, эта была бы совершенная миролюбивость; была бы национальность и не было бы национализма; был бы патриотизм в смысле «готовности умереть за отечество, когда японцы пойдут и на Россию», — и вовсе не было бы шовинизма в смысле сохранения Китая и удержания Японии в границах. Было бы много нового, но не было бы лучшего нового. И, может быть, и г. Вл. Соловьёва и г. Ал. Новикова мы увидели в рядах бледных и расстроенных лиц, с смущением говорящих при зрелище моральной Плевны; «До чего дошла Россия», «как близоруки, как мало думают о будущем, даже ближайшем, русские министры», «это — люди без личной гордости — и вот отчего они не охраняют русской гордости» и другие подобные словесные скорпионы. Да разве это и не говорили русские люди во время тарифных неудовольствий с Германией, высылки русских из германских городов и даже, кажется, запрещения ввоза свиней в Германию: «Россия все терпит; доколе это»? И говорили так не шовинисты, а торговцы, горожане, публицисты, говорили так все русские люди и говорят так вообще всегда и все люди.

Мы говорим: в современном обществе остывает пыл к оружию, но не к борьбе, конечно. Каждый сильный народ встречает и сильный натиск и должен быть к нему готов. Только тот, кто готов пожертвовать жизнью, может сохранить в душе своей то, что выше и дороже жизни. Не война и воинственность может служить мериллом разграничения для патриотизма и шовинизма, а разум и наличие доказательств и доводов. Кутузов пожертвовал Москвою, веря и зная, что после этого враг может только погибнуть в России. Но если бы общее патриотическое одушевление, поднявшее всю Русь, не оборвало все шансы Наполеона, сделавшись скрытой и основной причиной всех по-видимому только случайных неудач его, если бы Наполеон перезимовал в Москве благополучно и весной по-

шел бы на Петербург, — как все называли бы Кутузова? Конечно, шовинистом: «Вообразил человек, что в России окажется столько одушевления. Слепец!». И сейчас после Бородина так и говорили. Говорили, но прав оказался Кутузов.

ФОРМЫ И ПРАКТИКА

«Вестник Европы» возражает на нашу мысль о том, что печатное слово в России, будучи передано под наблюдение Государственного совета, получило бы, наконец, нормальное и соответствующее существо своему положению. Возражения журнала, однако, малоубедительны, взаимно одно другое уничтожая. «За последние 35 лет, — говорит журнал, — в положении печати происходили бесконечные колебания, зависевшие отчасти от общего хода событий, отчасти от лиц, которым были вверены судьбы печати». Казалось бы, в словах этих содержится явное признание, что не только учреждения и их особый характер, но даже лица с особенностями их темперамента и ума далеко не безразличны для печати и «колеблют» ее «положение». Тем удивительнее начало статьи почтенного журнала и вступительный общий мотив его возражения нам, по которому для полного благополучия печати требуются только новые законы о ней: хороши будут законы — и все будет хорошо. «У нас, — поучительно замечает журнал, — распространена привычка ожидать перемены к лучшему от чисто формальных перестановок и перетасовок, напоминающих иногда крыловский квартет. Вместо того, например, чтобы настаивать на пересмотре законов о печати, в смысле освобождения ее от административного усмотрения, делаются попытки отыскать такое ведомство, под охраной которого печать, оставаясь юридически бесправной, могла бы пользоваться надлежащим простором и достаточною свободой действий; таким ведомством мог бы явиться, по мнению одной из петербургских газет, Государственный совет».

Вот о чем, оказывается, нам следовало говорить — о пересмотре законов о печати и ни о чем ином. Как будто стремясь к одному, мы упраздняем стремление к другому, и для обеспечения независимости законных суждений ища лучшего и вполне нормального места для печати среди наших государственных учреждений, мы этим хотим упразднить или хотя бы отсрочить пересмотр законоположений о печати!

Но кто же не знает, что около благожелательного закона непременно нужен и истолкователь и применитель, благожелательно его понимающий, благожелательно относящийся к явлениям, ему подчиненным? Кто вспомнит историю освобождения крестьян в первую благожелательную его фазу и во вторую фазу заподозреваний и искажений действия одних и тех же предначертаний, тот поймет, о чем мы говорим, и согласится, что мы говорим не фразы. Кто вспомнит Бибикова и его инвентари, тот согласится, что существование крестьянского населения было совсем иное под Бибиковым, нежели в то же время в Московской губернии под Закревским. Государственный совет нам представляется именно таким высоким и принципиальным учреждением, недоступным домогательствам отдельных лиц и частным интересам отдельных учреждений, — которое,

имея в своем ведении печать, прежде всего сохранило бы ее в лоне закона и вне дамокловых мечей временных и частных, иногда совершенно случайных «изъятий».

Если «Вестник Европы» обратил внимание на то, как часто печать наша под-
 лежала карам вовсе не за колебание «основ», а за статьи, никакого «основного»
 значения не имевшие и лишь щекотливые для отдельных и специальных ве-
 домств, он согласится с нами, что передача печати в сферу наблюдения высшего
 государственного учреждения уберегла бы ее, вероятно, от всех этих кар. Но...
 и тут трудно поверить тому, что говорит почтенный журнал: печать, оказывае-
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 70
 80
 90
 100
 110
 120
 130
 140
 150
 160
 170
 180
 190
 200
 210
 220
 230
 240
 250
 260
 270
 280
 290
 300
 310
 320
 330
 340
 350
 360
 370
 380
 390
 400
 410
 420
 430
 440
 450
 460
 470
 480
 490
 500
 510
 520
 530
 540
 550
 560
 570
 580
 590
 600
 610
 620
 630
 640
 650
 660
 670
 680
 690
 700
 710
 720
 730
 740
 750
 760
 770
 780
 790
 800
 810
 820
 830
 840
 850
 860
 870
 880
 890
 900
 910
 920
 930
 940
 950
 960
 970
 980
 990
 1000
 1010
 1020
 1030
 1040
 1050
 1060
 1070
 1080
 1090
 1100
 1110
 1120
 1130
 1140
 1150
 1160
 1170
 1180
 1190
 1200
 1210
 1220
 1230
 1240
 1250
 1260
 1270
 1280
 1290
 1300
 1310
 1320
 1330
 1340
 1350
 1360
 1370
 1380
 1390
 1400
 1410
 1420
 1430
 1440
 1450
 1460
 1470
 1480
 1490
 1500
 1510
 1520
 1530
 1540
 1550
 1560
 1570
 1580
 1590
 1600
 1610
 1620
 1630
 1640
 1650
 1660
 1670
 1680
 1690
 1700
 1710
 1720
 1730
 1740
 1750
 1760
 1770
 1780
 1790
 1800
 1810
 1820
 1830
 1840
 1850
 1860
 1870
 1880
 1890
 1900
 1910
 1920
 1930
 1940
 1950
 1960
 1970
 1980
 1990
 2000
 2010
 2020
 2030
 2040
 2050
 2060
 2070
 2080
 2090
 2100
 2110
 2120
 2130
 2140
 2150
 2160
 2170
 2180
 2190
 2200
 2210
 2220
 2230
 2240
 2250
 2260
 2270
 2280
 2290
 2300
 2310
 2320
 2330
 2340
 2350
 2360
 2370
 2380
 2390
 2400
 2410
 2420
 2430
 2440
 2450
 2460
 2470
 2480
 2490
 2500
 2510
 2520
 2530
 2540
 2550
 2560
 2570
 2580
 2590
 2600
 2610
 2620
 2630
 2640
 2650
 2660
 2670
 2680
 2690
 2700
 2710
 2720
 2730
 2740
 2750
 2760
 2770
 2780
 2790
 2800
 2810
 2820
 2830
 2840
 2850
 2860
 2870
 2880
 2890
 2900
 2910
 2920
 2930
 2940
 2950
 2960
 2970
 2980
 2990
 3000
 3010
 3020
 3030
 3040
 3050
 3060
 3070
 3080
 3090
 3100
 3110
 3120
 3130
 3140
 3150
 3160
 3170
 3180
 3190
 3200
 3210
 3220
 3230
 3240
 3250
 3260
 3270
 3280
 3290
 3300
 3310
 3320
 3330
 3340
 3350
 3360
 3370
 3380
 3390
 3400
 3410
 3420
 3430
 3440
 3450
 3460
 3470
 3480
 3490
 3500
 3510
 3520
 3530
 3540
 3550
 3560
 3570
 3580
 3590
 3600
 3610
 3620
 3630
 3640
 3650
 3660
 3670
 3680
 3690
 3700
 3710
 3720
 3730
 3740
 3750
 3760
 3770
 3780
 3790
 3800
 3810
 3820
 3830
 3840
 3850
 3860
 3870
 3880
 3890
 3900
 3910
 3920
 3930
 3940
 3950
 3960
 3970
 3980
 3990
 4000
 4010
 4020
 4030
 4040
 4050
 4060
 4070
 4080
 4090
 4100
 4110
 4120
 4130
 4140
 4150
 4160
 4170
 4180
 4190
 4200
 4210
 4220
 4230
 4240
 4250
 4260
 4270
 4280
 4290
 4300
 4310
 4320
 4330
 4340
 4350
 4360
 4370
 4380
 4390
 4400
 4410
 4420
 4430
 4440
 4450
 4460
 4470
 4480
 4490
 4500
 4510
 4520
 4530
 4540
 4550
 4560
 4570
 4580
 4590
 4600
 4610
 4620
 4630
 4640
 4650
 4660
 4670
 4680
 4690
 4700
 4710
 4720
 4730
 4740
 4750
 4760
 4770
 4780
 4790
 4800
 4810
 4820
 4830
 4840
 4850
 4860
 4870
 4880
 4890
 4900
 4910
 4920
 4930
 4940
 4950
 4960
 4970
 4980
 4990
 5000
 5010
 5020
 5030
 5040
 5050
 5060
 5070
 5080
 5090
 5100
 5110
 5120
 5130
 5140
 5150
 5160
 5170
 5180
 5190
 5200
 5210
 5220
 5230
 5240
 5250
 5260
 5270
 5280
 5290
 5300
 5310
 5320
 5330
 5340
 5350
 5360
 5370
 5380
 5390
 5400
 5410
 5420
 5430
 5440
 5450
 5460
 5470
 5480
 5490
 5500
 5510
 5520
 5530
 5540
 5550
 5560
 5570
 5580
 5590
 5600
 5610
 5620
 5630
 5640
 5650
 5660
 5670
 5680
 5690
 5700
 5710
 5720
 5730
 5740
 5750
 5760
 5770
 5780
 5790
 5800
 5810
 5820
 5830
 5840
 5850
 5860
 5870
 5880
 5890
 5900
 5910
 5920
 5930
 5940
 5950
 5960
 5970
 5980
 5990
 6000
 6010
 6020
 6030
 6040
 6050
 6060
 6070
 6080
 6090
 6100
 6110
 6120
 6130
 6140
 6150
 6160
 6170
 6180
 6190
 6200
 6210
 6220
 6230
 6240
 6250
 6260
 6270
 6280
 6290
 6300
 6310
 6320
 6330
 6340
 6350
 6360
 6370
 6380
 6390
 6400
 6410
 6420
 6430
 6440
 6450
 6460
 6470
 6480
 6490
 6500
 6510
 6520
 6530
 6540
 6550
 6560
 6570
 6580
 6590
 6600
 6610
 6620
 6630
 6640
 6650
 6660
 6670
 6680
 6690
 6700
 6710
 6720
 6730
 6740
 6750
 6760
 6770
 6780
 6790
 6800
 6810
 6820
 6830
 6840
 6850
 6860
 6870
 6880
 6890
 6900
 6910
 6920
 6930
 6940
 6950
 6960
 6970
 6980
 6990
 7000
 7010
 7020
 7030
 7040
 7050
 7060
 7070
 7080
 7090
 7100
 7110
 7120
 7130
 7140
 7150
 7160
 7170
 7180
 7190
 7200
 7210
 7220
 7230
 7240
 7250
 7260
 7270
 7280
 7290
 7300
 7310
 7320
 7330
 7340
 7350
 7360
 7370
 7380
 7390
 7400
 7410
 7420
 7430
 7440
 7450
 7460
 7470
 7480
 7490
 7500
 7510
 7520
 7530
 7540
 7550
 7560
 7570
 7580
 7590
 7600
 7610
 7620
 7630
 7640
 7650
 7660
 7670
 7680
 7690
 7700
 7710
 7720
 7730
 7740
 7750
 7760
 7770
 7780
 7790
 7800
 7810
 7820
 7830
 7840
 7850
 7860
 7870
 7880
 7890
 7900
 7910
 7920
 7930
 7940
 7950
 7960
 7970
 7980
 7990
 8000
 8010
 8020
 8030
 8040
 8050
 8060
 8070
 8080
 8090
 8100
 8110
 8120
 8130
 8140
 8150
 8160
 8170
 8180
 8190
 8200
 8210
 8220
 8230
 8240
 8250
 8260
 8270
 8280
 8290
 8300
 8310
 8320
 8330
 8340
 8350
 8360
 8370
 8380
 8390
 8400
 8410
 8420
 8430
 8440
 8450
 8460
 8470
 8480
 8490
 8500
 8510
 8520
 8530
 8540
 8550
 8560
 8570
 8580
 8590
 8600
 8610
 8620
 8630
 8640
 8650
 8660
 8670
 8680
 8690
 8700
 8710
 8720
 8730
 8740
 8750
 8760
 8770
 8780
 8790
 8800
 8810
 8820
 8830
 8840
 8850
 8860
 8870
 8880
 8890
 8900
 8910
 8920
 8930
 8940
 8950
 8960
 8970
 8980
 8990
 9000
 9010
 9020
 9030
 9040
 9050
 9060
 9070
 9080
 9090
 9100
 9110
 9120
 9130
 9140
 9150
 9160
 9170
 9180
 9190
 9200
 9210
 9220
 9230
 9240
 9250
 9260
 9270
 9280
 9290
 9300
 9310
 9320
 9330
 9340
 9350
 9360
 9370
 9380
 9390
 9400
 9410
 9420
 9430
 9440
 9450
 9460
 9470
 9480
 9490
 9500
 9510
 9520
 9530
 9540
 9550
 9560
 9570
 9580
 9590
 9600
 9610
 9620
 9630
 9640
 9650
 9660
 9670
 9680
 9690
 9700
 9710
 9720
 9730
 9740
 9750
 9760
 9770
 9780
 9790
 9800
 9810
 9820
 9830
 9840
 9850
 9860
 9870
 9880
 9890
 9900
 9910
 9920
 9930
 9940
 9950
 9960
 9970
 9980
 9990
 10000

* полностью (лат.).

бодневности. Совпадение всех *pra desideria** относительно печати с прямыми функциями Государственного совета указывает, до чего естественно печати быть в круге именно его ведения. И может быть самый упадок печати, то, что нередко она расходится с лучшими и вековыми задачами литературы и в частности публицистики, объясняется ненормальным и случайным ее положением, в котором она оставлена пребывать до времени. Сузьте еще, понизьте еще область попечений о ней: некогда это была функция, т. е. одна из функций, министра народного просвещения; теперь — это один из отделов управления министра внутренних дел. Передайте печать в более частные и ниже поставленные руки, в какую-нибудь реставрированную «Управу благочиния» или в ведомство с чисто административными задачами — и она почти вся, в целом непременно обратится в так называемую бульварную и уличную печать. Ибо каков дух учреждения и его принципы, таковы мало-помалу становятся, под долгим воздействием, дух и принципы подведомственных ему или зависимых людей. Как таковое понижение в положении непременно отозвалось бы понижением духа печати, так без сомнения этот общий дух повысится с повышением ее положения. Это, кажется, бесспорно и этим разрушается последнее возражение «Вестн. Евр.», который, к удивлению, почти все, им написанное, написал не в опровержение, а в защиту опровергаемого им предложения: — «Положение самой печати отнюдь не улучшилось бы от подчинения ее Государственному совету; ибо система сильнее, чем органы, через посредство которых она действует; она всегда возьмет свое, кому бы ни было поручено ее применение». Вот образчик бюрократической веры во всемогущество формы. Но не наивно ли видеть в том или ином «цензурном уставе» какую-то неперерешимую, себе довлеющую конституцию печати? Пусть так: мы или «Вест. Евр.» «настояли» на «пересмотре» и даже во всех смыслах «освободили печать от административного усмотрения». Но наступила, как он выражается, «другая система»: что же удержит усилия «в духе новой системы» — снова переменить и цензурный устав? Конечно ничто... Но как бы ни были противоречивы сменяющие друг друга «исторические течения и системы», из всех наших учреждений именно Государственный совет сохранял всегда неизменную преемственность традиций, столь полезную для каждого государственного дела, которому эта преемственность традиций и дает твердые основы здравого консерватизма, а общей государственной работе — последовательность и систематичность. Именно такое учреждение и есть наиболее соответственное для заведывания печатью, ибо совершенно очевидно, что печать не имеет никакой преимущественной связи ни с одним министерством: она так принципиальна сама, «вознесена над интересами минуты и призвана к обсуждению наиболее общих вопросов отечественной жизни», что ее положение во всяком «органе» государственного управления ненормально, и нормально только в таком случае, который «вознесен» над ними всеми. У нас это — Государственный совет, на который мы поэтому и указали.

* благие пожелания (лат.).

Н. П. ГИЛЯРОВ-ПЛАТОНОВ. СБОРНИК СОЧИНЕНИЙ. ТОМ 1

Издание К. П. Победоносцева. Москва. 1899. LX + 478

В 1894 г. в Ревеле была отпечатана крошечная брошюрка «Памяти Н. П. Гилярова-Платонова», подписанная новым в русской литературе именем «Кн. Н. Шаховской». Брошюра представляла сборник частных писем покойного московского публициста, строгого подбора и очень характерного содержания. Затем, в 96—97 годах, потянулся в «Русском Обозрении» целый ряд чрезвычайно интересных очерков, посвященных отдельным периодам жизни и отдельным сторонам общественной деятельности Гилярова-Платонова, принадлежавших тому же автору, как и крошечная брошюрка 94-го года. Нужно заметить, что в печатавшихся в «Русском Обозрении» документах были частью разные докладные записки, частью совершенно интимные письма Гилярова-Платонова, ценность которых далеко переступает за границы бегучей передовой газетной статьи, в писании которых прошел цветущий и главный период жизни основателя «Современных Известий» (газета Гилярова). Открывался чрезвычайный ум, показывался глубокий мыслитель, которого Россия не умела заметить у себя, погруженная во всяческие «измы» и в то время зачитывавшаяся, как институтка, «Письмами» Ог. Конта, Дж. Ст. Милля и Дж. Льюиса о женском вопросе, под праздничный перезвон Писарева с его присными.

Между современниками и почти единомышленниками своими — Катковым и И. С. Аксаковым — Гиляров был наименее речист, но он был вдумчивее их обоих во всякий предмет, в каждую тему, и образованнее, в особенности Аксакова. У Гилярова был редкий философский дар, с призванием не к новым отвлеченно-словесным конструкциям, а скорее к едкому анализу этих конструкций и в то же время к любовному обдумыванию жгучих практических нужд, но уже со всею силою, обширностью и фундаментальностью ума, изошренного в борьбе. В вышедшем первом томе его сочинений нельзя прямо не любоваться, как он берет под пяту себе, например, А. Н. Муравьева, известного «богомольца» на Востоке с его пройдохством и соглядатайством, которые отметил с неудовольствием Филарет Московский. Беспощадный к трудам методическим, Гиляров зато упивается «Сказаниями инока Парфения» — этой действительно классической по языку и духу книгой (Парфений — старообрядец, обошедший весь православный Восток, в конце жизни перешедший в православие «по Никону» и по совету местного тобольского архиерея составивший — в четырех томах — интереснейшие записки о своих странствованиях); не менее упивается он «Семейною хроникой» С. Т. Аксакова, которой лучший разбор находится в лежащем перед нами томе, или повестями Кохановской. Вообще, не пугаясь громкого слова, мы скажем о Гилярове-Платонове, что это был философ и вместе поэт, аналитик и одновременно синтетик русского духа, русской стихии, в отличие от Каткова — публициста русских форм и Аксакова — публициста международных русских связей. Статьи Гилярова, трактуя современную ему мелочь, написаны в духе и со смыслом, который и посейчас не умер, и если вам нисколько не интересно частное и предметное содержание читаемой статьи, то вы даже не замечаете этого, ибо совершенно увлечены критикою, например, «механических способов исследова-

ния истории» (по поводу труда Макария), или «рационалистического движения философии новых времен» (по поводу онтологии Гегеля). Будем с нетерпением ожидать последующих томов, а этот, мы уверены, приветливо будет встречен серьезно и мыслящею Россией.

ОБМАНЧИВЫЕ СЛОВА

В наше время, когда печать получила такое огромное развитие, появилось чрезвычайно много гибких идей. Самый язык стал гибок — гибок стал и человек. Гибкость сообщила ему силу, но отняла у него правду. Молчаливые века, до изобретения книгопечатания, были грубее, были слабее, но они были проще и правдивее. И болезненная интеллигенция до сих пор не от этого ли так любит простой народ, так тяготеет даже физически слиться с ним: она ищет в его прямизне исцеления от главного своего недуга, который ей тяжок, который она знает, но от которого она не может освободиться. Войдите в деревню: разве здесь есть сомнение о том, что значит «любить свою землю»? Или если бы мы вошли в ставку Батяги, или, напротив, вышли на площадь осажденного им русского города, и спросили: «Знаете ли вы, что значит любить свой народ, своего государя, свое прошлое, свои святыни?». Кто переспросил бы нас: «Что вы разумеете под этим?». Но в гибкий XIX век обо всем спрашивают. «Я люблю отечество!». — «Да, но что вы под этим разумеете: я ненавижу его, и тем паче — люблю».

Да, бывают и такие обороты речи. Уже в эпоху французского террора говорили: «la République avant tout, même avant la France»*. Разве совершенно невозможно, что и теперь во Франции нашлись бы страстные люди, крикнущие: «Dreifus avant tout, même avant la France»**. Все возможно, и нет такой глубины умственного извращения, до которой не доводила бы людей борьба партий, огонь партийный. Под влиянием его, когда приходится считаться с некоторыми непоколебимыми принципами, человеческая речь начинает журчать около них, как бы лаская их, но в сущности обходя их, в сущности уже к ним враждебная... Счастливы то сердце и тот ум, который умеет спасти себя вовремя, вовремя окатиться холодной водой рассуждения и вывернуться в сторону из-под падающих и принимаемых ударов враждебных партий, всего более разгорячающих, всего более ослепляющих!

Г. Алекс. Новиков находит, что у нас, как и везде, очень много кричат о своем патриотизме. Из его слов выходит даже, что избыток кричащего патриотизма угнетает нашу общественную жизнь. Так ли это? Со времен гоголевского словца о «квасном патриотизме» — последнее чувство обретается у нас не в авантаже. Нападая на Россию, — до каких бы пределов вы свою желчь ни доводили, — чем вы рискуете? — Ничем. Пример — Щедрин, не оставивший, по выражению Достоевского, ни одного не пропленного местечка в России и снискавший редкую,

* «Республика прежде всего, даже прежде Франции» (фр.).

** «Дрейфус прежде всего, даже прежде Франции» (фр.).

завидную славу в России. Но заговорить об евреях, — это значит «напасть» на них, значит чуть не потерять репутацию писателя. «Напасть» на поляков, армян, финляндцев... На это нельзя отважиться без значительного общественного риска. Это может сделать или значительная общественная сила, авторитет которой нельзя пошатнуть, или совершенно незаметная и новая величина, которая все равно не имеет никакого авторитета. Но никакая сила, никакой голос, никакой авторитет средней величины у нас не решится выступить против чрезмерных притязаний «окраин», не будучи вперед убежден, что он при этом до некоторой степени сжигает свои корабли. Если бы кто, подобно тому, как Щедрин — против России, решил всю жизнь свою и огромный талант употребить на то, чтобы с его беспощадной неотступностью рисовать «панов и ксендзов» (ведь тоже не святы и не святее наших помещиков и клира), или «шинкаря-жида», в параллель щедринским «помпадурам», «ташкентцам» и др. — можно представить себе, какую репутацию он заслужил бы себе, в какой он был бы уличаем «односторонности» и «пристрастии»! Пушкин написал «Клеветникам России», и с самых 30-х годов, то понижаясь, то повышаясь, идет упрек ему за это стихотворение, причем доля похвал именно за это «шовинистское» стихотворение не составляет в нашей литературе и двадцатой доли резких, талантливых, сильных ему порицаний за него! Можно бы это учесть и рассчитать и по этому счету можно бы выверить, какую малую долю в образованном русском обществе занимает «патриотизм» сравнительно с «общеевропейскими», «общечеловеческими», «общегражданскими» и, словом, всякого рода «общими», но отнюдь не русскими чувствами и идеями!

Если говорить о русской бытовой действительности, то г. А. Новиков решительно обманывается гибкостью современной фразы.

«Так естественно любить свое отечество!». — Да, но не в России, не в пылу той вседневной борьбы, которую мы видим перед собою.

«Мы любим детей, жену, семью: но разве кричим об этом? Ссоримся из-за методов воспитания?». До чего гибок язык и как легко соединяются им в виде каких-то взаимных доказательств вещи столь различные, как любовь к семье (любовь субъективная) и любовь к отечеству (любовь объективная), любовь массовая и внешняя, которой как же и выразиться, как не криком! Разве Минин не кричал на площади нижегородцам? И что вышло бы, если бы он не кричал, а сидел дома и нежно любил отечество из-за печки?

«Разве спорят за методы воспитания детей?». Нет, до слез спорят и кроваво спорят — перечтите статьи в нашей печати о школе, которые «более исполнены шовинизма», — педагогического и семейного, — нежели какие-нибудь другие, в том числе и патриотические.

«Всякий писатель во всех странах старается убедить читателей, что он — патриот». Вот совершенная новость! Да первый г. Новиков вовсе не ищет в этом никого убедить, и у нас не было бы с ним спора, если б дело обстояло так, как он думает и уверяет. Если бы было так, как он говорит, — чем выдавался бы Дерулэд? Среди моря патриотов, что значит один (пусть!) шовинист? — протопоп между попами, майор среди прапорщиков, одного с ними цвета и вовсе между ними не заметный? Но Дерулэд — заметен, ярк, его знает вся Европа, потому что его «крики» совершенно особенные. Они не то, чтобы были одною нотою выше других, нет — они прямо и вразрез идут против других и против многих других!

Франция, как отечество, как «France chérie» *, на которую со слезами оглядывалась, отплывая от берегов ее, Мария Стюарт, пожалуй, уже очень мало существует во Франции, а для Дерулэда она еще существует в непреложной осязаемости и обаянии — и вот это и ожесточает против него «дрейфусаров» и «противников пересмотра», «анархистов» и «орлеанистов», и проч., и проч.!..¹⁰ Вовсе не одна память об Эльзас-Лотарингии соединяется в глазах Европы с именем Дерулэда; вовсе не все вникают в его планы и интересуются его программой, еще менее — боятся или ожидают ее осуществления. Стало быть, именно не в этом, не в дерулэдовском «шовинизме» дело. Так в чем же? Да в том, что всем, на протяжении всей Европы, в Дерулэде несомненно и ясно, что он — ни радикал, ни консерватор, что он — француз, что для него есть «la France chérie», и, может быть, даже самая память об Эльзас-Лотарингии есть лишь возбуждающий стимул, которым он колет сограждан, чтобы пробудить в них всех общее, его одушевляющее чувство — «к отечеству», «к Франции»! Отнятая провинция, потерянная провинция связана не с партией, а с Францией. И конечно, это не только живой, но и истинно прекрасный патриотизм — не забывать братьев за рубежом и помнить своих братьев по крови прежде, нежели политических вождей. Таким образом, Франция еще счастлива тем, что у нее есть такой простой и ясный объединительный лозунг, не притворный, не искусственный: и, может быть, Эльзас-Лотарингия спасет моральное «я» Франции, объединяя ее над собою, объединяя в мысли о себе!²⁰

Нет, мы, русские, право не до излишества переполнены патриотизмом. Совсем напротив. По крайней мере, патриотизм наш так совестлив и щекотлив, что прячется от одного укоризненного, сказанного со стороны: «pfui, Schande!» **.

«СУББОТНИЕ» БЮЛЛЕТЕНИ

I <1899. 12 июня>

Мне очень нравятся «Воскресные бюллетени» г. *Гатчинского отшельника*, я не говорю, что он не ошибается. Может быть, он даже пишет сплошной вздор. Но мне нравится его *тон*, как и *уединенный* псевдоним, т. е. мне нравится его моральное и эстетическое лицо (как я его себе представляю). Сидит человек и что-то строчит; построчил — и кивком пальца сбросил со стола. И вот, мне ужасно³⁰ нравится подбирать эти листки, перечитывать их, вдумываться в них. Раскрывая № «Русского Труда», я прежде всего, и даже нервно ищущу: нет ли «Гатчинского отшельника»? Когда нет — я раздражен; есть — и хотя бы белиберду он написал (случается), я ее проглатываю, смакую, перечитываю, вырезаю и откладываю в особое место, чтобы еще раз как-нибудь перечитать. И веселее обыкновенного сажусь за субботний кофе.

Что делать — люблю *слово*:

Таков, Фелица, я развратен...

* «дорогая Франция» (фр.).

** «Тьфу, позор!» (нем.).

Но я не всегда с ним согласен, а, главное — он ужасно многое упускает в «Воскресеньи» Толстого из виду; и вот в pendant * к его «Воскресным бюллетеням» я задумал крошечные свои «Субботные бюллетени». Не всегда, но изредка. Ведь «Воскресенье» выходит по *субботам*: да и «Русский Труд» — тоже. Вы позволите?

Пока обращаю только внимание на следующее. В подпредыдущем № «Нивы» Толстой сказал главное слово романа. Вот оно:

«Ты наслаждался мною... да мною же *хочешь* и на том свете оправдаться?».

Таких как это — слов, т. е. с такою верою, о Боге-Промыслителе, о Царстве Небесном и Суде — не много сказано в всемирной литературе. И, главное в какой 10 обстановке, после каких слов:

«Какой там Бог... никакого Бога нет». И вдруг «и... мною оправдаться».

Не умею выразиться, слабое перо. Мне думается, когда в семинариях и академиях «учат, учат», то все более в круге, *circulus viciosus*'e ** тона, тонов и переливов:

«Какой там Бог... никакого Бога нет...».

И вдруг:

«Ты там мною же *хочешь* оправдаться».

Где «там?» перед кем *оправдаться*? Я — содрогаюсь, ибо это что-то «в самом деле», и уже не академическое литургийство, и антилитургийство, Боже... да ведь 20 *Он есть, видит, судит!*..

Пока — вот и все богословие.

Не умею выразить. Но в *тоне* этом, в *силе* тона мне померещилось новое «в самом деле», я увидел краешек не *самого* Бога, и вот лия слезы припадаю к ризе... О, только бы *самого* Бога, а не человеческих о Нем измышлений; а уже облобызывать...

Наше русское богословие «в самом деле», пожалуй, все уберется на одной страничке, даже не полной, всего немного сверху ее, несколько строк «корпуса»... Это кой-какие словечки, и все почти они принадлежат Достоевскому и Толстому. Потому-то эти писатели и стали в общественно-умственной жизни нашими «моисеями» (с маленькой буквы), что громадным опытом жизни и верно через сердечные испытания они немножко, краешком глаза, может быть в сонных видениях, однако же были и удостоились стать «боговидцами».

Так вы позволите, С. Ф-ч, по субботам — маленькие «бюллетени»? И, само собою разумеется, без перерыва «воскресных», изредка может быть «суббота» даже поспорит с «воскресеньем», и вы тоже разрешите эту крошечную «бескровную» баталию во всяком случае ваших друзей.

II <1899. 19 июня>

«Каин, Каин, где брат твой Авель?» — вот древний факт и древний вопрос, на которые новую иллюстрацию написано «Воскресенье». Поразителен рисунок 40 Толстого:

* в дополнение (*фр.*).

** порочный к руг (*лат.*).

«— Я хотел проститься, — сказал Нехлюдов, комкая в руке конверт со сторублевой бумажкой. — Вот я...

Она догадалась, *сморщилась, затрясла головой* и оттолкнула его руку.

— Нет, возьми, — пробормотал он и сунул ей конверт за пазуху, и, точно обжегся, он, *морщась и стоная*, побежал в свою комнату.

И долго после этого он все ходил по своей комнате и, корчился, и *даже прыгал* (какое наблюдение!), и вслух охал, словно от физической боли, как только вспоминал эту сцену».

Не «вспомнил», а «вспоминал». Да, так... «стеняй и трясьйся ты будешь скитаться по лицу земли»; и сюжет «Воскресенья» есть история «стонов» и «скитания»... каждого из нас, кому случилось скаинствовать над «братом своим», сестрою своею. Позвольте, слова Спасителя: «Нельзя давать *разводного письма* иначе как по вине прелюбодейния», можно ли истолковывать нам, как прецедент и программу «начерно» того совершенного процесса, каким в наше время установлено расторгать «ложе честное»? Или слова эти имеют более нежный, более любящий человека смысл; смысл большего уважения к человеку, чем какое ему оказывается в практике развода? Спаситель «закон» ли положил и был «законником»? Или он дал принцип и говорил совести? «Сними рубашку и отдай просящему»? «Не дай *разводного письма* иначе как по вине любодейния...»; и еще: «О, вы фарисеи: оставьте делить блудниц и жен, ибо кто из вас не любодействовал в сердце своем»? Как связать эти слова? Как мы связываем? Что тут толковали безобидные Божии коровки «тетушки»: 10

«— Она таковская, и все ее родственники — таковские, и мать ее — развратница же *была*».

Кто их научил таким словам? Что за доктрина? Ибо, очевидно, оне не из головы это сочинили. Тут нужно было 2000 лет «сочинительства» и прежде всего 2000 лет непонимания слов Спасителя о *разводном письме*. Спаситель в роли установителя почти «нотариального» порядка, «с печатями» и «подписями», «свидетелями и понятыми»... так мы Его истолковали. Да, Спаситель Страдалец и Сострадалец наш, и Он предупреждал в этих словах только то, и исключительно 30 одно то, от чего «затрясся» Нехлюдов, «сморщилась» бедная Катя: что нельзя отпускать от себя, от себя отталкивать *разводным письмом*, еврейской ли формы или формы с нашим надписанием: «100 рублей» уже раз «попятую в жену», вчерашнюю девушку, будущую мать и всеконечно сегодняшнюю супругу: ибо существо *супружества*, т. е. *сопряжения* «двух в плоть едину» еще ни в чем и не состоит, как в доверчивом и радостном, по любви и согласию, без понуждения, без интереса сопряжения... точь в точь как поступила Катюша, в транс материнства, и как чутко перипетии этого рассказал нам Толстой. Пересмотрите все священные основоположные слова, и вы увидите, что ничего кроме описанного Толстым в них и не содержится. *Сорадуется* вы этому — вы дадите ему венец; если вы думаете, 40 что это — зло, ну, дайте ему вместо венца «метлу, ступу и пестик», как пишется о киевских ведьмах, странствующих на шабаш. Во всяком случае, *все остальное* есть *вы* и ваше отношение, ваша точка зрения, ваш жест или радости или осуждения — одному и тому же, изваянному в *Бытии* (гл. 1), повторенному у евангелистов, факту. Толстой гораздо раньше, в публицистических работах, но как-то смутно, не отчетливо, очевидно, бессильный найти формулу для верного своего инстинкта, указывал на это: «Первая познанная женщина и есть каждого жена,

которой он не может оставить». Это он написал, это где-то у него написано: и, понятно это так, это есть единственный способ понимания, с одной стороны сокрушающий «главу» соблазна и соблазнения, и с другой предупреждающий каинствование над девушкой. Но мы с сущности супружества, о коей одной сказаны *все* святые слова: «Что Бог сочетал — человек да не разлучает», они сочетаны «во образе союза Христа с Церковью», — что все до последней степени очевидно отнесено к какой-то реальной и трансцендентной связи, — мы с этой благородной почвы перешли на цивилизую, усвоили нигилистическую французскую точку зрения «договора», «неразрываемого», «с печатями» и «поручителями», дабы

10 «закрепить мир». И не чувствуя более «тайны» в тайне, мир всеконечно и раскололся в ней: ибо где же нотариусу удержать «апокалипсических животных». Оставим дальние горизонты. Мы установили разделение, так тщательно устранимое Христом, «брака» и «блуда» — и блуд тотчас появился. Его не было понятия и он невозможен вовсе, как факт, пока мы не начали делить *одно* в существе дело по качествам *наших* около него жестов, нашей гордыни, наших умствований и в сущности нашего недомыслия. «Познал» — и «жена» тебе: и береги и соблюдай, и не давай «разводного письма» с надписанием: «100 рублей за блуд». Кто тебя, несчастный, научил этому? От кого это ты узнал? Ничего подобного не существует, вовсе не существует в природе вещей; и пока она вспыхивает радостно при входе твоём

20 в дверь и доверяет тебе, и считает тебя после Бога первым для себя существом: не оставляй, не оставляй, и не оставляй. И ничего еще, и весь закон: принципа авельствования в супружестве взамен внесенного нами туда каинствования... Удивительно, что Толстой, очевидно около этой мысли ходящий, не скажет ее: он был бы услышан не в одной России. Но художник не мыслит, он только рисует образы, а мы плачем над ними и не умеем договорить слова. Замечательно, что Гёте, дав апофеозу Гретхен, имел это же в виду: «Проклята» — кричат тысячи протоколистов; «Спасена» — отвечает поэт и мудрец, да и влагает в ангельские уста это оправдание.

Что же совершилось, когда поделили и «рассудили» «великую тайну»? Сперва слезы; а затем и... «блуд» действительный уже. «Тетушки»... ведь им Бог послал утешение, да и *вошли бы оне в его вкус*, не будь дурно научены и развращены. Их жизнь текла пуста и бессознательна; оне зазывают племянника, ибо решительная скука бесцельности томит их. Теперь у них вдруг жизнь исполняется смыслом: любимая ими, чрезвычайно любимая Катюша, не оставшись праздною у Бога — дает далекую и почти бесконечную цель и хозяйству ихнему, и остаткам здоровья. Да ведь оне добрые, и через два года уже говорили бы: «О, куда нам старым — хоть умереть, а только бы мальчишка жил»; «и амбары ему, и земля, и сад: ему и тебе Катюша, за то, что согрела и развеселила нашу одинокую и холодную старость»; «может и племянник когда вернется: ведь была же ты ему мила»;

40 «а и не вернется — храни его память и не замарай поведением: теперь ты серьезна, мать и все полно для тебя; и чиста будет твоя могилка, и будет кому по тебе поставить свечку» «в родительскую субботу». Мы упомянули о трансе материнства, который очевиден в изображении Толстого; он его понимает; и этот транс есть, он все решает: *бесстыдные* не «падают», это поразительно. Около них не образуется этот нимб небесной доверчивости, огромной радости, задумчивости какой-то, в которую мы «погружаемся» и «забываем все окружающее» на самой дорогой странице самого дорогого труда. И девушка входит, а по нашему —

вводится «в самую дорогую страницу» жизненного своего труда, и «забывается» как мы, как Архимед, нашедший удельный вес в воде и побежавший, выскочив из ванны, по улицам Сиракуз. Повторяю, это может сделать только изобретатель, поэт, мудрец: и в области «женской мудрости» это наступает с Катюшей, Гретхен, и не наступит с Корчагиной или Коврижкиной, ибо в ней менее Евы и Ева она не природная, не урожденная мать, не аристократка в супружестве.

Но, на все тоны повторяя, и во всех журналах пропечатывая: «Женщина должна вернуться в лоно семьи», «ее призвание — быть матерью и женою»; «чадородием женщина спасется» — мы первую же беременную, чем перед ней снять шапку, ее отпихиваем ногой; сперва пихнули «тетушки», потом «вся деревня стала указывать пальцем»; и поплыла Катюша... то бишь «тело убиенного Авеля» по реке лицемерия и вранья всемирного. И вот ее восклицание, упорное, не раз повторенное:

— «Какой там Бог, никакого Бога нет».

Сюжет «Воскресенья» есть история *плавания* мертвого тела. В странице романа, где на суде читается протокол вскрытия тела умершего купца, у Нехлюдова подробности описания гниющих и распухших внутренностей, текущей сукровицы и проч. мешаются с видом *бывшей* Катюши и теперь, в сущности, ее умершего трупа. Это — верно и хорошо, и одно из главных слов романа. «Душка» ее у Бога и дожидается суда; когда Нехлюдов хочет «ею спастись», она отталкивает его. Это первый жест жестокой мести: согласитесь, читатель, ведь он неожидан, так как Толстой сказал этим «не хочу» Катерины нечто новое нам всем и поучительное. Это огромная черта разделения трупа и души: она не подпускает его к своему телу, как старец Тирезий, в Одиссее, не хочет подпустить к крови слетевшиеся души усопших. — «Нет, мне горько, чтобы ты остался без ответа у Бога», «тогда в какую-же цену я пошла: и здесь — каторжная, да и там без мученического венца». Что-то в этом роде мелькает в ее бедном уме. «Лучше удавлюсь: удавлюсь, если будете на этом настаивать»... И вот — тут, пожалуй, открывается *лугший* стих в поэме Пушкина:

Но сохранил я *клад последний*
...святую месть
Ее готовлюсь к Богу *снесть*.

Суть и процесс «воскресания» последующего будет состоять, вероятно, в том, что она все-таки «подаст луковку тонущему», как об этом рассказала чудную легенду Грушенька в «Братьях Карамазовых». Она снимет с себя загробный венец мученичества и распяет его, и сделает из него обыкновенную земную проволочку и вытянет на ней когда-то любимого, да ведь и теперь любимого, но только мстительно любимого, горько любимого человека. И по мере того, как станет она вынимать из-за пазухи «луковку», распаивать свой горделивый «венчик», труп ее станет оживать, «сукровица» опять вернется в кровь, чернь яда — выдвигается. Все более и более «вы сами знаете, кто я» будет возвращаться к румяным щекам, светлой улыбке прежней Катюши. И он почувствует любовь не по милосердию, а настоящую, и даже теперь «с ревностью» (ибо какая же живая любовь без ревности), любовь к самому ее телу: в эту секунду она будет жива, «мужем и женою назовутся они» и за «воскресением» совершившимся остается только поставить «точку» или, лучше, счастливое «многоточие»...

Очень хорошо восклицание ее на суде:

— «Я не виновата»!

И только. Никакой силы оправдания. Трогательное и истинное в рисунке Толстого, что Катюша — ничего не умеет, ничего не может (Архимед женственности). Глубоко родственно этому, что она не может вынести названия «каторжная», и «трясет головою» при нем, как и завидев 100 рублевую бумажку. В этом выразилась ее простота. «Каторжный» — это уже народное слово, клеймо убийц, воров. И вот она отнекивается, не принимает этой ужасной и единственно ей понятной квалификации «зла»:

10 «— Я не каторжная».

То есть:

«— У меня есть душа, я — с душою. Это меня убили, но я не убила. Рассмотрите, господа судьи».

И заплакала. И ничего еще не умеет.

«Воскресенье» по огромному соблюдению в Катерине христианских черт есть истинно христианская повесть: «нищая духом», «кроткая»; «чистая сердцем» и уж конечно... «Бога узрит». Но поразительно, до чего этой овце, к которой «пути блаженства» приходится мерка в мерку — до чего она только в «тюрьме» и «среди каторжников» нашла кое-какое «христианское к себе отношение». А ведь даже читатели едва-ли все догадываются, что пред ними, в чрезвычайно простых и чрезвычайно жизненных чертах, «в нашем помещицьем быту», рисуется чрезвычайно широкая картина, как «царствие Божие», незримыми путями, зиждется в людях.

Р. С. Меня упрекают за неясность употребленных мной в I бюллетене выражений «академическое литургийство и антилитургийство». Я не хочу сеять никаких сомнений, ни даже подавать к ним повода. Названные выше выражения я употребил под впечатлением следующего случая: года четыре назад в одной из Духовных наших академий слушатели-студенты манкировали ходить на церковные службы; их понудили, но они отвечали, что им и профессора наказывали 30 быть свободными и не понуждать себя ходить, когда не хочется. Те действительно подтвердили это; да ведь и действительно если *не хочется молиться* — то как же тут молиться; а если только «ходить» т. е. к литургии, то всеконечно лучше «не» ходить. Между тем, ведь из Масловых нельзя клещами вырвать чувства, что «суд будет» и «другой еще, после земного»: прямо говорит: «Удавлюсь, если не пойти на тот суд». И вот — сила этой веры, это «бежанье» к тайной литургии, к литургии сердца своего, и то холодное: «не хотим», «пожалуйста — уж постарайтесь», «а то ум что же, соблазн, пожалуй, выйдет», меня поразил.

III <1899. 26 июня>

Позволительно иногда помечтать? Отчего — нет?

40 По поводу графини Толстой и ее отзывов о своем муже и судьбе «толстовцев» «Гатчинский Отшельник» назвал ее «гениальной женщиною», и тут же развил мысль, богатую последствиями, что женщине также доступна гениальность, как и мужчине — *на ее собственных путях и в ее особливом характере*. Он, очевидно, давно об этом думал, потому что сразу назвал Жанну д'Арк как пример, как об-

разец, как выражение и иллюстрацию своей мысли. В самом деле: спасла Францию, но на совершенно женский манер, и, ничего не потеряв, даже неизмеримо возросши в чудном своем девичестве. Толстую он назвал «гениальной женщиной» за скромно-стыдливое ее неведение, неокончателное понимание мыслей своего мужа (*буквально* это, т. е. «я ведь не могу сказать, чтобы была хорошо судьей Ф. М.», и даже чтобы «я хорошо или верно их понимала, хотя помню все места, о которых вы говорите», — сказала мне мельком Анна Григорьевна Достоевская), и на прибавку: «Но я наблюдала, что никто из следующих его образу мыслей не был счастлив». Как кратко и как полно; и до чего — по-женски: «Они не были счастливы». Да, это все, что нужно знать, чтобы судить; и все-таки — она не судит. Конечно — гениально, и в линии женской гениальности. 10

Вот об этих-то *линиях* я и хочу пометчать. Мы ведем гениально-гражданскую жизнь, т. е. от «от Р. Х.». Помилуйте — Ришелье, Кромвель; революция, папство. «Гражданскую» жизнь, в линии «Code civil» *... Вот характерно *обще*-«человеческая жизнь»: различите тут женщину, различите тут мужчину. Да, женщины, как Елизавета Английская, наша Екатерина, были героями из героев, то есть мужчинами из мужчин:

...пошлите их в Сенат,
Командовать пошлите перед фронтом.

Ведь вот с каких времен, т. е. Грибоедова, Екатерины и даже Елизаветы Английской начался уже мужской колорит у женщины, когда дурачки нашего регресса все это приписывают Писареву и Цебриковой. Но бросим споры; оставим публицистику. 20

Моя мечта — построить целую цивилизацию на гениальной выразительности муже-женского сложения человека. Гениальный отец и супруг; гениальная жена и мать; гениальные дети: то есть именно в специальных каждого чертах. Мужество и покровительство; нежность и кротость; у детей — невинность и послушание. И все для этого; все в этих целях: целая цивилизация только об этом и думает. Литургия — детей, литургия — женщин: о, ведь я уподобляю, я приноравливаю; я не дерзок, но только клубок своих мыслей выматываю на пример того, что уже есть. Девушка — и девичьи у ней молитвы. Ведь теперь все и даже, между прочим, все молитвы «обще»-человеческие и движутся в *circulus'e vitiosus'e* Елизаветы — Цебриковой. Те же «высшие курсы», но в ранге, поэзии и философии херувимской песни. Что значит «девичья молитва»? — Ну, конечно, «сохрани от лукавого» (самое опасное время); но, сохраняя — не отжени. Некрасов написал прелестную «бабью песню» — «О чем думает старуха под праздник». Я беру иллюстрацию, чтобы высотать свою мысль: девичья молитва должна чудным и непорочным лепетом, à la С. А. Толстая, включать, однако, и замужество. Ба, да даже ведь есть нарек на такую молитву: это когда Marie Болконская молится перед черным образом Спаса и, между прочим, молит себе и мужа; «но не как я хочу, а как Тебе угодно». Тут, конечно, может придумать поэт, художник, а наш брат может и умеет только промычать около темы, бессловесно почти ткнуть носом в проблему. Дальше — молитва жены. Например, до чего нужна молитва для бе-

* «Гражданский кодекс» (*фр.*).

ременной, чтобы сохранить в ней серьезное настроение духа, чтобы устранить страх родов, чтобы внушить мысль ей, что она носит теперь в себе Божию тайну. Для матери: но тут есть хоть всемирное «баюшки-баю».

10 Так целая цивилизация?.. Позвольте, ведь нужен же моральный центр для цивилизации, и вот почему им не стать *муже-женскому* сложению человека, в за-
мен «общечеловечности»?.. Я думаю, например, что эта цивилизация будет глубо-
ко мистична: ибо, что же таинственнее колыбели и гроба? Но гроб очень печален;
мистицизм этой цивилизации был бы существенно анти-гробовой; скорее — ве-
селый и детский. Например, тут были бы «предчувствия», что «будет из этого ре-
бенка»? Не умею придумывать, не поэт. Или предчувствие: «Когда вернется
муж?». И проч. Но вообще, так муже-женское сложение есть родник жизни, то
мистицизм был бы менее по-ту гробный и более жизненный. Очень светлый,
очень веселый. Без «пугалищ» и «чертей». Далее, поэзия была бы существенно
не гражданская; впрочем, поэзия и теперь на три четверти — семейная. Но когда
семья заняла бы всю цивилизацию, ее ipso * цивилизация стала бы почти по-
эзией. Философия... она копошилась бы около тайн жизни, и это, по крайней
мере, не менее интересно, чем молекулы и химия. Религия по преимуществу ис-
поведывала бы Творца мира и Промыслителя мира; творческое в мире и промы-
слительное о мире. Все было бы немножко иначе. Но вернемся к «Воскресению»
20 Толстого...

Ну вот — в этой цивилизации Катюше было бы хорошо. Прямо взвалили бы
ее на плечи себе философы и поэты, Канты и Гёте, да так бы и понесли. Нет от
тебя вони; не чувствуем; не знаем. Мне думается, Толстой тянет именно к этой
цивилизации, и тянет еще с «Детства и отрочества». Вечная тревога о беремен-
ной женщине: то жена Андрея Болконского разрешается, то Анна... Толстой, как
бы вытащив из воды усопшего младенца Гретхен, и взяв мешающуюся в уме эту...
всем-то миром брошенную (только, подлецы, и придумали, что тюрьму)... мать
и жену, выставил огромный свой рог против нашей цивилизации, в защиту вот
этого трупики, вот этой помешанной: «идите и напоритесь». Так бык, защищая
30 от волков корову, угрюмо и страшно опускает к земле упрямый лоб, скребет зем-
лю копытами, смотрит налившимся кровью глазом на хищника и за каждым его
изворотом поворачивает рог...

40 Ответ «Читателю» «Воскресения» Толстого, в № приблизительно от 10-го мая:
с чего это вы, почтенный, взяли, что Нехлюдов «должен, по образцу героев Дос-
тоевского, принести покаяние перед обществом». Общество, общество... Нет, годы
зреют, Россия зреет, и «общество» Толстой поставил на его место, то есть позвал
к барьеру. Да Нехлюдов несколько не виноват перед «обществом». «Общество»
его развратило. Он виноват перед Катюшей — перед нею и кается. Но статейка
«Читателя» в высокой степени замечательна: какой тон, что за мысли! Да уж не
«старший-ли товарищ» Нехлюдова, вице-губернатор Маслянников — ее писал?
Вот уж в нашу новую цивилизацию не годится. И неужели такого любит жена?
Что должны чувствовать его дети! А о матери своей... он верно ее совсем не по-
мнит и помнит только «Статью», по которой осудили Маслову, и перелистывая
Code civil нашего домостройства, думает, по которой бы осудить Нехлюдова.
И что ему его «зёмный перед народом поклон»? Иллюстрация в «Ниву»?

* тем самым (лат.).

IV <1899. 24 июля>

Мне хочется договорить о Жанне д'Арк. Что за явление? «Колдунья» — вот господствующее впечатление ее дней от нее; в этом направлении ее расспрашивали и допрашивали; обвинили, осудили, сожгли. Тут — не *мсть*. Мстя — вешают, застреливают, убивают. И международное право тогда было так мало утверждено, что англичане ничуть не постеснялись бы прямо умертвить попавшего им в руки врага, пусть женщину. Она была *гудесна*: вот впечатление. И, как чудо бывает доброе или злое, а для англичан оно было злое, то они и обвинили ее в колдовстве. Прошли века, и мы можем спросить себя: что же скрывалось в этом чуде *действительно*? Что *приблизительно* мы можем гадать или предполагать в чудесной девушке и вокруг ее? 10

Хочется начать с отдаленной и очень грубой аналогии, с аналогии неприятной, но могущей удобнее всего ввести мысль читателя в наши догадки; догадка может быть совершенно ложной, но от которой как-то мы не умеем освободиться. Вы знаете, есть неудачные или недоконченные процессы высидки курицею яйца, которые называются, кажется, «болтунами». Не знаю, в чем он подробно состоит, но мне приходилось видеть — рано вынутое или как-нибудь недозрелое яйцо берут и разбивают: из него вытекает — *кровь*. Нет *живого* и *настоящего* существа цыпленка, но уже нет и яйца, съедобного, прозрачного, маслянистого. *Промежуточное* явление, *отошедшее от одного состояния, но не достигшее полноты другого и высшего состояния*. 20

В Жанне д'Арк эта *промежуточность* — ярко выражена. Все почувствовали и нельзя до сих пор не чувствовать, что она *отделилась* от обыкновенного человеческого, от натурального — человеческого, приподнялась над землю, вышла из железных оков земной необходимости и земного притяжения. Современники назвали ряд фактов, ею произведенных — *гудесами*, и по характеру их сцепления, и по необыкновенной значительности неопытной девушки, почти девочки. Она была чудна по силам, по судьбе. Имя «волшебника» вовсе не неприменимо к ней, но с непременно добавлением — «святая». Ведь всякая святая есть волшебница, ибо кончики ее ног уже чуть-чуть, но не касаются земли; она — *висит* 30 в воздухе. Вот суть святости, которая, будучи явлена вне христианства, называется недоброжелательным именем «волшебницы», или совсем злым — «колдуньи». Но мы отвлеклись; вернемся к Жанне д'Арк.

Я развиваю свою мысль, и буду говорить выражениями, в каких эта мысль формулировалась у меня. «Божественный поворот»... вот состояние, которое ярко можно проследить у многих, напр. нашего Пушкина. Остановимся на этом примере, как иллюстрации нашей мысли. Кто не помнит его автобиографического признания:

*Художник-варвар кистью сонной
Картину гения гермит...*

Но краски гуждые...

Спадают ветхой чешуей

Так исчезают заблужденья

С души измученной моей,

И возникают в ней виденья

Первоначальных, гистых дней.

40

Если бы могли узнать точно *путь, средства и ступени* поворота, как много бы мы разгадали, и самых серьезных вещей. Да, каждый человек, т. е. конечно из серьезных, имеет какой-то *свой* синай, пусть с прописной буквы, получает *свои* скрижали, где пусть написано не мирообъемлющее десятословие, но полстроки, строка, однако такой особенной для него значительности, которая никогда не забывается. И собственно религия у каждого из нас, *абсолютно у всякого человека индивидуальная*, и заключается живым образом в этой полстроке полученного от Бога, «в клубах облака и блистаниях молнии», завета. Заветы эти бывают самые разные. И, конечно, у множества людей они не имеют ничего общего с пушкинским «Возрождением». Это «Возрождение»... Не могу никак отделаться от мысли, что стимулами его, чертами его были настроения, выраженные, напр., в стихотворениях:

10
20
30

Подруга *дней моих суровых*
Голубка *дряхлая* моя!
Одна в глуши лесов *сосновых*
Давно, давно *ты ждешь* меня.
Ты под окном своей *светлицы*
Горюешь будто на часах,
И медлят поминутно *спицы*
В твоих *наморщенных* руках.
Глядишь в *забытые* ворота
На черный отдаленный *путь*:
Тоска, предгвстие, заботы
Теснят твою *всечасно* грудь.

Какая красота и конкретность! Ведь он *видит* свою няню, когда пишет стихотворение; и, может быть, не помня, или слабо помня, или, может быть, несимпатично (чего, впрочем, мы не знаем) помня свою мать, он поправляет черты ее образа чертами этой простой русской женщины, возведенной им в перл нравственной, но именно *заботящейся, склоненной над другим, самоотверженной* красоты. Вы помните, философ Левин, в «Анне Карениной», все тоже жметя и немножко *наугается*, немножко «возрождается» около старушки-няни, тоже вяжущей чулок, и которая ему тоже пошла «вместо родной матушки». Итак, вот черта, вот линия, которая войдет у Пушкина в «возрождающий» поворот:

40

В глуши, во мраке заточенья,
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья
Без слез, без жизни, без любви.
Душе настало *пробужденье*
И вот *опять явилась ты,*
Как *мимолетное виденье,*
Как *гений гистой красоты.*
И сердце бьется в упоенье
И для него *воскресли вновь*
И божество, и вдохновенье
И жизнь, и слезы, и любовь.

Это стихотворение, написанное к А. П. Керн, уже самым ходом своим заключает параллелизм «Возрождению». Осложним его чертами «няни», и мы получим чрезвычайно много материала для своеобразной полустроки оригинального пушкинского «завета».

Все в ней гармония, все диво,
 Все выше мира и страстей;
 Она покоится стыдливо
 В красе торжественной своей;
 Она кругом себя взирает:
 Ей нет соперниц, нет подруг;
 Красавиц наших бледный круг
 В ее сияньи исчезает. 10

И — какое *по конкретности* излияние о производимом впечатлении этой, пока знакомой только девушки, которая стала потом женою поэта:

Куда бы ты ни поспешал,
 Хоть на любовное свиданье;
 Какое б в сердце не питал
 Ты сокровенное мечтанье;
 Но встреться с ней, смущенный, ты
 Вдруг остановишься невольно 20
 Благоговя богомольно
 Перед святыней красоты.

Так поражен был поэт. Но нам нужен не он, но нужен пук условий для *поворота* в нем. В трех отрывках они полно даны, и мы можем догадываться, что в следующем стихотворении дается синтез их всех. Взяты эти самые впечатления, но как бывает с дневными впечатлениями во сне, что они — путаются, взаимно проникают одно другое, и составляют новый цельный и живой образ, — так у Пушкина старушка няня заструилась девственною кровью Керн, Гончаровой; а, пожалуй, и обратно — Гончарова и Керн подошли под крылышко няни, под ее баюкающую песенку, под ее ожидания, заботы... Он проснулся, и написал новое стихотворение, стихотворение, *в сущности*, синтез предыдущих: 30

Не множеством картин старинных мастеров
 Украсить я желал всегда свою обитель,
 Чтоб суеверно им дивился посетитель,
 Внимая важному суждению знатоков,
 В простом углу моем, средь медленных трудов.

— Не правда ли: это обстановка няни? и даже ее простые морщины?

Одной картины я желал быть вечно зритель
 Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
 Прегистая и наш божественный Спаситель — 40

Она с величием, Он — с разумом в очах —
 Взирали, *кроткие, во славе и в лугах*
 Одни, *без ангелов*, под пальмою Сиона,

Чистейшей прелести, гистейший образец.

Почти нельзя сомневаться, что здесь мы имеем *все родники* глубокого поворота Пушкина; т. е. он повернут был «к первоначальным чистым дням» от «афестических» книжек, которые так любил в юности, не *contra-атеистическими* же книжками, но... увидев нечто в жизни, в действительности, с чем глубоко не гармонировали те книжки, и что было их выше, их глубже, и, самое главное, *гуще*. По подробностям поворота и его мотивов, и, наконец, по их заключительному синтезу, я и называю этот или подобные повороты *божественными*, в том смысле, что человек поражается не глубиной учения, не поразительностью чудес, ни славою в истории, ни пользою для культуры, что входит чертами в христианство, но самую его сутью, *бого-теловечностью, теловеко-божностью*, слиянием во единое и нераздельное, в единое и *видимое* черт земных и небесных. Но вернемся же к Жанне д'Арк.

Это было несовершенно и неполное явление указанной категории. Ей всего что-то около 15—17 лет; ведь не только Жанна д'Арк *объективно* не совершила бы ничего в 32 года, не успела бы и не смогла бы; но как-то в биографии ясно чувствуется, что она и *субъективно* не была бы сильна это совершить в 32 года. Тайна была совершена *ее возрастом* и *ее полом*: этого никто не отвергнет. Далее совершенный ею подвиг до того чудесен; он, будучи политическим, до того вращается в чертах *лигной* истории («корону дофина — и скроюсь»), почти личного религиозного романа, что нельзя не сказать, что здесь пол и возраст совершенно *вышли из обычно-земных условий* и начали творить что-то *сверхестественное*. В этом и состоит суть и неразгадываемость Жанны д'Арк. — «Колдунья». «Разве ее можно победить!». — «Ну, да, ее нельзя победить, потому — что она святая!» — вот синтез впечатления, ею оставленного. *Необыкновенное* что-то. И, наконец, эта сила, которая явно *вне ее стоит*, и собственно которой все принадлежит. — «Бог меня оставил», «Бог опять со мною», — говорит в сущности ужасно бессильная девушка, и которая сама по себе ничего не может. Во всяком случае, явление Жанны д'Арк есть единственное и исключительное, то есть все было так, как она и объяснила: что *Бог овладел ею и через нее совершил материальное гудо, материальное событие и даже ряд событий*. В ее судьбе мы видим правильное, продолжительное, сложное и необыкновенной отчетливости чудо; не чудо дня, часа, видения, «сновидения», может быть «экстаза», но правильное историческое событие чудесного характера. Ни одна история этого не имеет и ничья биография даже близко не подходит к житию этой чудной девы.

Да, больше и больше убеждаешься, что мир — свят, что есть святое в мире; а не одни молекулы и «10 причин, произведших Французскую революцию». Есть многое, над чем еще остается... «погадать нашим мудрецам».

VI <1899. 30 октября> *

Мне хочется ответить г. *Гатгинскому Отшельнику* на его главную и, может быть, многолетнюю скорбь: *книжность*. Что такое «книжность»? Ну, не будем впадать в новую книжность и определять «книгу» через «книгу». Нужно же предполагать в читателе догадливость.

Статья его, в особенности конец его статьи «Заметки на полях и размышления между строк» — это плач, книжный плач? Ну — да! Мы и плакать можем и умеем теперь только через книгу. И, собственно, об этом или частью об этом плачет и автор.

Куда деть «книгу»? Откуда взять жизнь? Как перестать быть книжным человеком и начать быть живущим человеком? 10

Я боюсь показаться чрезвычайно смешным, но мне хочется выговорить мысль, кажется, не затасканную и, кажется, исцеляющую на этих путях.

Есть *природный, исторический, извечный* некнижник. Он не угадывает? Есть странный некто, кто, беря книгу, только делает вид, что ее читает. Все еще не догадывается? Кто *не умеет* учиться. И очень умеет — жить. У кого Бог отнял самые дары выразительности; вынул из рук кисть, отобрал цитру, не дал таланта рифм и не вложил таланта длинного кантовского размышления? И чья жизнь есть или бывает часто непрерывный труд и поэзия? Невольный, от природы труд? Он догадался и, верно, сморщился: но, Фома, — немножко веры! 20

Я говорю о женщине. В самом деле, вы можете ее порицать сколько угодно, но одного вы не можете отвергнуть, что это — *не* «книжник». — «Она глупа». Но, ведь, и вы не ищете гениального ума. И притом ее «глупость» есть именно отсутствие только *подгеркнутого* ума. В женщине есть прекрасная черта какого-то таинственного молчания. А ведь «книга» — это именно «разговор»: с другим, с собою — не все ли равно? Во всяком случае, здесь есть просвет к исцелению. Женщина гениальна минутностью своею и непродуктивностью: вот уж не захочет сочинять историю, и даже помнить ее, и не захочет, живя, как бы уготавливать новую страницу истории. Она живет «теперь», но это «теперь» она переживает глубоко и поэтично. Тогда как именно мы не имеем ценности к «теперь» и от этого скучаем в каждом «теперь». 30

Я не угадал? Может быть. Может быть, все мое рассуждение — малоценно, кроме одного и почти *ad hominem* ** сказанного, именно сказанного в ответе на боль о книжности. Не в том вопрос, *как победить* книжность, т. е. победить себя (для нас); но где найти *не-книжника*, — и я указываю. Но далее? Но история? Но практика?

Да, ведь, я — старый консерватор и специфический нелюбитель всяких новых движений, уж этому-то можно довериться. И вот, я стал с великим любопытством присматриваться к так называемому «женскому движению», «женской (от нас, мужчин) эмансипации». «Мы все говорили, а он *может быть* совершит», — воскликнул когда-то г. *Гатгинский Отшельник* по поводу шумливых выходок гр. Л. Л. Толстого. Ну, вот, точь-в-точь такая же у меня надежда на женщину. Дело в том, что инстинктивная молчальница-женщина именно в «женском движе-

* № V отсутствует в газете.

** к человеку (*лат.*).

нии» скрытна и лукава. Уже теперь, на разных «феминистских конгрессах», она поднимает темы вовсе не те, какие ей подсовывали 20 лет назад, и она, казалось, приняла их с галантностью, а *свои специальные*: «право матери отыскивать отца ребенка», «преобразование корсета», и т. д. Вообще — *не наше, а ее*. Конечно, мужчина обманут; женщина вывернулась из-под руки его, но, вывернувшись — только сделала вид, что идет за ним («книжная» часть женского вопроса), а в самом деле пошла известным своим путем.

- Мне думается, история передвигается от патерната к *матернату*: вот тайный смысл женского движения. Тебе — щит и стрелы, тебе форум; но дом — мой.
- 10 Мужчины — пришелец в доме, за редчайшими исключениями — мужчина не серьезен в доме. Опасная сторона — смотреть на дом, как на логовище отдыха и удовольствий, в высшей степени выражена в мужчине. Для женщины дом — поэзия и философия, и это — не надуманно, а в самом деле так. Есть нечто оскорбительное в «бюллетенях» и извещениях: «У Ивана Ивановича родился сын». Жена — даже не упомянута. Между тем, тут уж припомнишь насмешливое замечание Шопенгауэра: «*pater semper ignotus*» *, да и в самом деле «Иван Иванович», может быть, сорвал только минутнейшее удовольствие, о котором ничего не помнит. Между тем для нее, *даже не названной* в извещении, это... совершившаяся философия и поэзия, книга девятимесячного чтения и *непрерывно* промелькнувшей
- 20 думки о смерти.

Да, мы 2000 лет были жестоки к женщине, и великая сторона этих двух тысяч лет состояла в том, что женщина промолчала об этом оскорблении, может быть, даже не замечала его; наверно — простила его. Я повторяю, что в безмолвии женщины и решительном отсутствии в ней умственно-творческих даров заключена великая жидущая и охраняющая сторона жизни. Мужчина — вечный продуктивист, вечно изнашивается. Мужчина есть лицо вечного выдыхания, женщина — не выдыхается. От этого она не творит (в истории), но вечно богата, и о ее богатстве исцелимся мы, мужчина, бесконечно... выдохшиеся!

- Мы дали Шекспира, Данта — на полки библиотек. Пусть придут Дездемоны,
- 30 Офелии: я верю, с ними придет нечто шекспировское в жизнь. Меня поражает *до слез* умилением — одна вещь: бывая по воскресеньям в церкви, я вот уже много лет наблюдаю, что из интеллигентных и полунинтеллигентных здесь совершенно отсутствуют мужчины, а женщины есть. Бедным запрещен вход в алтарь, куда лезет всякий купчина «положить шубу». Чистейшая женщина, непорочная девушка, девочка 11 лет в отношении храма поставлена ниже каждого из нас. Но она все простила, как и во всю историю всегда прощала — и наполнила храм, и зажгла в нем свечи. Это удивительно трогательно. «Через нее согрешил Адам». Казалось бы, «через нее спасся род человеческий». Но оставим споры; она осуждена — и любит судию своего.

- 40 Я говорю это не как пошлый «эманципист»; поверьте же немножко моему консерватизму! Но, как и вы, я болею... страхом книжности; в сущности, как и вы — я книжник (ведь *отсюда* наша боль). И вот, я говорю брату моему, указывая на легкое облачко на горизонте: «Не оттуда ли исцеление?».

Р. С. Еще возражу на его гордые слова: «Нет, Христа в тамошней Церкви (протестантской), не может быть». Я возражу ему фактом, *умилением* перед протес-

* «отец всегда неизвестен» (*лат.*).

тантской, какое испытал этот год. Бонна; дворянка из совершенно обедневших; отец ее очень печально кончил, лишенный места, в Риге, за недостаточное знание русского языка, при «новых веяниях»; теперь дочь служит, т. е. немножко побирается, в русских семьях. Первое ее место было в доме русских федосеевцев (раскольники) в Риге, и вот — она переписывается до сих пор с этой первой, ею узнанною («чрезвычайно благообразною») русской семьею. Встречу их я наблюдал это лето: но каково было мое изумление, что она постоянно, прощаясь, старалась поцеловать руку этой своей бывшей хозяйки, теперь абсолютно ей ненужной женщины. Та засмеется и вырвет; и эта засмеется: — «Мутерхен моя, вы были мне шесть лет матерью». «Материнство» состояло в том, что не богатая федосеевская семья выучила ее труду, велела отложить гордость и не только говорить с детьми по-немецки, но и шить детям, и подмести комнату. Вообще тут подробности, вы легко их дорисуете. В месяц раз она ходит в кирку, очень ее любит, очень любит проповедников. Она никогда не хохочет; редко смеется; очень серьезна; 30 лет, средняя красота. — «Вот мои богатства» и она открыла какие-то коробочки и бедный бювар: картинки, лошадки, записочки — *это ей давали ей воспитываемые дети*. Все сохранено, и очевидно, эти русские дети у нее все в памяти. — «Я никогда и ничего не боялась, кроме Бога», — сказала она как-то мельком, промежуточно. — «Я не тягочусь жить, но лучше умереть», т. е. ближе и скорее — к Богу. Поверьте, это не пессимизм, да и пессимизм совершенно исключен из ее характера. В русской семье, где она служила при детях, мать этих детей выгнала свою мать, 64 лет, за ненужностью: это — образованная вдова, с средними средствами к жизни. — «Ступайте, вы мне не нужны: шить на детей мне дешевле будет и отдать». — «Наш пастор не допустил бы этого», — сказала бонна и, через несколько дней, пораженная неблагообразием, ушла из этой семьи. Все это было на моих глазах, и я знаю, не ошибаюсь в деталях. Оставим же гордость и будем верить, что везде есть Бог и во всяком человеке *может быть* Бог. Да и вообще наши споры о догматах не суть ли споры *гордыни*? Я «умнее тебя», я «лучше выразумел» — *Неисповедимое*. Но не буду полемизировать, ибо всякий вид полемики есть в своем роде «книга». Кстати о *матернате*; напр., если бы «догму» упований слагали женщины, наверно упование вовсе и *не развилось бы в догму*, просто выразилось бы не в «членах веры», но, напр., в *смирении* веры, в *горячности* веры. «И вошла Анна в храм... щеки же ее *пылали* и губы *шевелились*, а слов не было слышно» («Книга Судей»). Я был в Ярославле в Крестовой церкви, случайно попал: читали акафист Божией Матери, читал его, и превосходно, викарный архиерей. И вот (были одни женщины, может быть 5—6 мужчин), сколько было этих пылающих щек и шевелящихся беззвучно губ; пять лет назад — и как-то запало мне в память. Да, я верю — женщина спасет веру; ведь, и Христианство в Европе приняли первые женщины: св. Берта, св. Клотильда, св. Ольга. Многозначительно. Женщина чутче к мистике, мистичнее мужчины; она и суеверна, она и фантазерка; и вместе какое-то хитрое дитя. Да, не будем горды и будем внимательны.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО К Д. В. ФИЛОСОФОВУ

Связность и преемственность культуры может быть ни в чем так не выражается, как в простом и будничном факте взаимной возбудимости идей и чувств. Куда бы мы ни бросили свой взгляд, он рождает в нас впечатления, и зависимые, и вместе новые; и нет строки, страницы, с умом написанной, которая не порожидала бы новых страниц. Прочитав Ваше, прекрасное по тону и языку, рассуждение «Серьезный разговор с нитчеанцами» (не представляется ли Вам это заглавие несколько вульгарным и слишком *слугайным* сравнительно с содержанием статьи?) мне захотелось говорить и говорить на тему, очевидно, Вас занимающую. Но раньше этих рассуждений по существу предмета, я отведу в сторону одну 10 неправильность, так сказать литературно-личную. Не в силах объяснить, почему, — страницы Нитче, первые, какие мне попались... не очаровали меня. По моему же литературному эпикурейству я читаю исключительно одно то, что именно очаровывает. Так мало, ведь, мы живем на земле. Первое полученное впечатление помешало дальнейшим чтением; и факт, которого вы, конечно, не могли знать, заключается в том, что о Нитче мне ничего неизвестно, кроме того, что «он был великий философ», и кончил печальным умственным расстройством.

Эпиграф из Еврипида к Вашей статье и некоторые ее места, как бы комментирующие этот эпиграф, обратили мою мысль к старомучительной теме. С тех пор 20 как появилось знаменитое рассуждение Л. Толстого: «Почему люди одурманиваются», я не переставал думать: «Почему они, в самом деле, одурманиваются?». Вы знаете, вопрос так и не получил никакого ответа. Да *кто* одурманивается? Да *где* одурманиваются? Казалось бы, эти простые вопросы должны были повести, прежде всего, к обширному фактическому исследованию, которое и привело бы, может статься, к искомому ответу. Умейте различать людей, *неодолимо отвращающихся* от «дурмана», и, может быть, вы откроете, если не положительным путем, то отрицательным, глубочайший родник «дурманного шатания», «дурманного брожения», «дурманных поисков». Не забуду впечатлений почти детства 30 и потом, отчасти, возмужалости: идешь в воскресенье в церковь — и вот видишь по дороге клюет человек православный лицом в грязь, в забор. «И это образ Божий», подумаешь. Что-то ужасное, какая-то невероятная жалость с так и непогашенным презрением смешивалась в моей душе. «Так отчего же они одурманивались?».

Шли годы и я все думал над темой. И вот я остановился на начале, о котором говорит Еврипид, в словах, которые Вы взяли эпиграфом. Я повторю их:

- «В чем видишь ты смысл оргий?
- Смертным, непосвященным в их таинства, этого открывать нельзя.
- Какую же пользу из них извлекают посвященные?
- Тебе это недоступно, но знать это следует».

40 Может быть, в мыслях, которые в долгие годы размышлений, у меня сложились об этом предмете, есть что-нибудь новое сравнительно с краткими и неясными словами Еврипида, и я позволю их развить в этом неприятном письме к Вам.

Есть *одушевление* мира, *одушевленность* мира. Т. е. есть душа ли *мира* или душа в *мире* — мы не умеем сказать, не умеем выразить. Вы знаете *запахи*, знаете *вку-*

совые ощущения, которые несутся, и вы не видите еще, откуда и от какого предмета. Что-то «вьется», чего «не умеешь схватить руками», «нельзя схватить руками». Одушевленность мира принадлежит к категории таких не «схватываемых», не ощущаемых почти вкусов. — *Есть душа в мире?* — Да. — Где она? На этот вопрос, задумавшись, только и можно ответить: «Нигде, но мы все живем ею и мы все частицы мировой души». — Мы одушевлены. О, это не значит, что мы двигаемся, имеем способность самодвижения. *Мы одушевлены, когда вдохновлены.* День на день не походит, не походит час на час. И даже смена сна и бодрствования, эта таинственная загадка человеческого бытия, не есть ли смена прежде всего одушевленности и неодушевленности? Сон бежит от глаз, когда именно мы вдохновлены, т. е. сон только и есть, что огромный упадок вдохновения, как бодрствование есть ритмически обновляющееся вдохновение. Но вы наблюдали ли изумительную вещь, что нечто подобное человеческому вдохновению есть в природе: утром почему-то всегда *пробежит ветерок*. Почему? — я не знаю. Потом замечали ли вы еще факт изумительной, почти человеческой «бодрости духа»... в *утреннем виде* природы? Мне редко приходилось, но все-таки приходилось, просыпаться и видеть природу в самое раннее утро, иногда перед восходом солнца. Иногда спешить за доктором; то какая-нибудь нужная поездка. И вот среди дела и заботы я, мельком взглядывая на лес, небо, прямо поражаюсь необыкновенным видом и запахом леса, поля, неба. В небе поют рифмы, лес говорит рифмами. Не умею и не хочу иначе выразить впечатления.

Вечер — *грешнее* утра; за день природа уже *нагрешила*. Ваше ухо поразит эта странность сочетания понятий столь необычных. Красота утра заключается в его необыкновенной *невинности*. Сколько я могу постигнуть дело, «грех» природы просто заключается в дневной суете ее: «за день» природа «избегается», она не была за день сосредоточена, *само-углублена*. Грех легкомыслия, суетливости; грех внешней нарядности, коротенького соперничества. Грех — слишком прощаемый, но после которого, во «искупление» его, ради его «очищения», она минутно и слегка должна... не умереть, но *обмереть*. И вот является ее ночной *сон*. *Утренняя* природа — *искупленная* природа. Но я возвращаюсь к началу одушевления.

Возьмите кровь человека. Разве есть какая-нибудь строгая, механическая необходимость, чтобы она делилась на *артериальную* и *венозную*? Конечно, у Бога и у «матери»-природы — тысяча способов, полное всемогущество достигнуть тех же целей тысячью иных, чем это раздвоение, средств. Венозная кровь — *сонная* кровь. Вот — аналогия с миром и, так сказать, космическое местоположение черноватой, грязноватой крови. «Грешная» кровь, отработавшая свое в организме. Да, работа есть грех, ибо только праздник — Богу. Артериальная кровь есть праздничная кровь, Божья стихия, утренняя невинность наших соков. И вот эту-то святостью своею она и напоет наш организм, каждая часть и клеточка которого «вкусив от крови» — оживает. Т. е. жизнь есть святое упоение, сперва в буквальном, а потом и в переносном смысле. В самом деле, мы обращаемся к «душе» мира или «душе» в мире: она есть некоторый вихрь и поток святости, и мир есть не только «одушевленное» существо, но и существо, одушевленное святым духом. Иначе никак нельзя понять, это же понять весьма легко. Но будем бродить по частностям.

Введенные в чистый кислород, зажженные тела ярко, красиво горят, в азоте — они тухнут. Вот начало жизни и смерти уже, так сказать, в механических

стихиях природы. Кровь, вдохнув кислорода, становится божественною. Не хочу приводить с этим в связь древних *огне*-поклонников, но, сославшись на бедных дикарей, я только желаю отметить, что самые темные и непостижимые, на первый взгляд, инстинкты людей заключают в себе капли истины. Вы помните также многие древние, греческие мифы: «Она (Фетида или кто — безразлично), желая придать мальчику *бессмертие*, погружала любимца на ночь в *огонь*; однажды родители захотели подсмотреть, и в испуге, увидя это, вскрикнули; разгневанная богиня удалилась и... *он* или *она*, положим Ахиллес, был весь бессмертен, кроме пятки, за которую его держала богиня, и пламя не коснулось его».

10 Это — греческий миф, эллинский миф; с другой стороны, из Библии вы знаете о негодовании пророков на то, что израильтяне, заражаясь кушитскими религиями, «проводили детей через огонь». Греция и Сирия, Иафет и Хам — встречаются в этой теме, в этом *звукостроении* *огня*, очень темном, но совершенно основательном. Кислород разбегается огненной стихией по телу, и делает каждый уголок его на предстоящую минуту бессмертным. В азоте же огонь тухнет, и сама кровь, отдав кислород телу, тухнет. Венозная кровь есть погаснувшая кровь, т. е. она не только, как мы объяснили, есть кровь грешная, но и смертная.

Здесь мы почти подошли к оргиастическому началу, о котором несколько верных замечаний я нашел в Вашей статье. Конечно, при первом же взгляде вы скажете, что артериальная кровь есть оргиастическая, а венозная — не оргиастическая. Одна играет рифмами, другая течет прозой. Как хотите, но это — так. Вы можете обвинить меня в неудачных выражениях, но, захотев понять мою мысль, вы скажете, что она имеет основательность в себе. «*Душа мира*», «*святое*» и «*оргазм*» — сливаются. Что же на другом полюсе их? — Смерть. Да, этот вечный и окончательный сон. Я говорю не о смерти индивидуальной, в которую прежде всего не верю, но, напр., о том, что тело наше с совершенным исчезновением в нем оргазма, именно как тело, т. е. в ограниченных его чертах, умирает, оргазм же, отделившись от него, улетает и, думаю, возлетает. Как бы то ни было, если кровь, становясь венозной, засыпает, то смерть организма есть вечная и непобудная его, так сказать, венозность. Он тогда разлагается, расхищается птицами, не имеет силы сопротивляться, не бежит, не видит, и просто «разлагается», «разлетается», как изношенная и проношенная насквозь ткань.

30

Смерть есть грань пассивности, как оргазм есть, конечно, высшая степень, т. е. опять же кульминационная грань, активности. Все пассивное еще не перешло в смерть, пока в нем есть точки, следы оргазма; как, обратно, оргазм никогда не бывает свободен и нам в чистом виде не известен, пока мы тянемся долу частями смертного и косного. Но становясь свободным, оргазм становится не только «живым», но «бессмертным», «вечною жизнью», или, внося начало именно *дуновения* в него, оргазм есть *воскресение*. «Воскресение» есть нечто большее, чем «жизнь». «Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес» — это более, чем как если бы нам сказали, или как если бы и было только: «Христос жив, Христос жив, Христос жив». Да, «воскресение» есть тайна, и именно это есть тайна пересыщенной, уплотненной, *удвоенной* жизни, бесконечной (по количеству) жизни. «Жизнь будущего века», которой мы должны ждать, будет именно ежесекундным воскресанием: жизнью, которая растянется в мириады «воскресений», в вечное «воскресение». Отсюда его особенная и несравнимая радость, радость и самого предчувствия его.

40

Но... почему же «люди одурманиваются»? Размышляя об этом, я стал различать во всем смертное начало и во всем оргиастическое начало. Есть не только индивидуумы, но и целые цивилизации оргиастические, т. е. повышенного одушевления, как бы «рифмующие» в истории, и есть цивилизации... венозные. Откуда это? И что значит самое выражение «венозная цивилизация»? Ведь вы же согласитесь, что есть идеи активные, и есть, или могут быть, идеи пассивные. Вот начало «смерти» и «жизни», «смертного» и «животворящего» в идеях. Вы сотрудничаете в «Мире Искусства». Но представьте себе идею, да *убедительную, несомненную, самоогевидную* идею, силою которой не только ваш журнал, но самый предмет его, т. е. *искусство* обнаруживалось бы не как *вегная и устойчивая* вещь, за которую, следовательно, стоило бы и живот свой положить, но как вещь просто *мишурная и ложная*, заниматься которой могут мальчишки, а серьезным людям от нее можно только со скукою разойтись. В данной области, т. е. для сферы, в которой вы работаете, это была бы *пассивная идея*. Возможно, что она была бы истинна, возможно, что она была бы свята, даже божественна: мы говорим не об этих сторонах, но об одной и исключительной, которая нас занимает. В отношении к вашему труду, которым вы *одушевлены*, живете им, она была бы отрицательна и смертна. «Опустились руки»... перед истиной. Теперь представьте себе огромное множество и самых основных идей, перед истиною которых... руки опускаются. «Не воюй»... и очи легионов погасли. «Не изображай, не льстись красотой»... и кисть выпала из рук художника. «Раздай имение нищим»... О, тут важно не нищенство, но то, что уже *никогда* активно не подымутся мои руки на труд, и я не знаю, что с ними делать. Болтаются как плети, которые хоть отрубить. Апофеоз этой пассивности выразился в наших, закопавшихся два года назад в землю, раскольниках. «Не знаем, куда деть себя». И они — умерли...

Да, *смерть* есть апофеоз пассивности. Умереть и... *не* воскреснуть — вот итог этих и подобных идей. Но почему же «люди одурманиваются»? Они *везде* одурманиваются от тех же идей, от которых в некоторых местах и редких случаях закапываются в землю. Тут — одна линия, одна категория, и закапывание в землю, переметывая мысль слов, мы можем назвать оргиазмом пассивности, тогда как пьянство, о котором скорбел Толстой, есть «так себе», «рюмочка-за-рюмочкой», этой же самой пассивности. Замечательно, что сам Толстой, который столько лет и такие усилия употребляет на распространение все пассивных идеалов («не сопротивляйся злему», «подожди делать»), трудится именно... для распространения пьянства. Рачинский, который неумоимо основывает «общества трезвости» и работает в сфере этого же пассивного идеала, не замечая сам того, основывает какое-то «всероссийское общества пьянства». «Руки висят», «голова не работает», «имение давно роздано нищим»: Нет... я напьюсь! я решительно напьюсь, и прежде всего бешенно спущу в кабак ту последнюю хламиду, которая у меня осталась на плечах, и затем закопаюсь в землю!».

Теперь я начинаю подмечать дальше. Да кто же есть строители этих пассивных идеалов? Неужели *самого* Толстого, *лигно*, можно назвать пассивным человеком? — «Уф, как писать хочется!» — вспоминает его восклицание г. Сергеевко. Ему *не хватает* времени, кратка кажется долгая жизнь для подвигов, *для реущихся* из-под ветхой и старой кожи подвигов. Вот уж у кого «не висят» руки... Да, *строители* пассивных идеалов суть *активнейшие* люди, суть, по моей терминологии, оргиасты. «Оргия», «опьянение»: ну, конечно, артериальная кровь не-

множко опьянена сравнительно с венозною, как «танец» сравнительно с «походкою», «праздник» среди «будней», «поэт» среди «прозаиков». Да, построители пассивных идеалов суть всемирные поэты, пифики. Вы заметили об Алеше Карамазове, о старце Зосиме и вообще о «Доме Божьем» у Достоевского: эти герои и самая эта идея «Дома Божия» суть, конечно, благороднейшие из пассивных идеалов. Они сближаются с «Белою Ветилуею» — тоже пассивно-прекрасным идеалом. Но где же в самом человеке родник этих белых видений, этих прекрасно-недвижных облаков, уходящих в небесную высь? Построитель Карамазовых и «карамазовщины» дает образ Алеши; построитель Карениной дает образ Платона Каратаева; и наконец, Ветилуя *.

Остановимся на последней. Ветилуя — это белое, недосыгаемое и неприступное целомудрие, *святыня гистоты! Целомудрие...* вот идеал, которого не построишь разумом. Попробуйте вы доказать целомудрие! Нельзя, «неприступно» для силлогизма. Попробуйте вы даже определить... о, не физиологически, ибо ведь не в физиологических же особенностях красота целомудрия, — итак, говорю я, попробуйте *определить* и *выразить*, *формулировать* «святыню целомудрия». Невозможно. Да что за тайна? Да то, что целомудрие есть вовсе не рациональный идеал, не рационально-построенный, но это есть в человеке построение и алкание его пола. Оговорюсь (хоть это и элементы), что есть, конечно, физиология пола, но и есть *ей соответствующий, но с нею не смешивающийся* дух пола. Есть «мозг», «мозги» Платона, и есть Платонова идеология, увы, в условиях нашей бедной земли, не отделимая от «мозгов» его. То же отношение в теле — пола и духа пола. Да, тело, обыкновенное человеческое тело, есть самая иррациональная вещь на свете. Не знаешь, что такое, и вечно волнуешься им и вечно волнуешься в нем. Вот стихия, смешанная из земли и неба, «смерти» и «воскресения». Идеал «белой Ветилуи», конечно, есть идеал и построение, и алкание не ума в нас, для которого не существуют различия половые и различия возраста, но это есть настроение и идеал без сомнения *пола*, который чуток и к возрасту и к полу. Вы следите за мною? Тогда, как кенигсбергский старец едва ли своей «критикой практического разума» сделал прекраснее хоть одного человека, телесная Ветилуя, просто тем, что стоит перед нами и *мы не умеем забыть ее*, тысячи из нас сделала прекраснее. Да, силы тела — неистошимы, силы тела — непреборимы. Тело, вообще всякое, но преимущественно человеческое есть *magnum mysterium* ** природы. Докажите, объясните, почему Кант, *говоря* — не убеждает, а Ветилуя, стоя там, на горе, в луче закатывающегося солнца, — *убеждает*, без слов. Да, именно *вдали* она стоит, на *горе* и непременно *неприступна...* Ведь «дале-

* Здесь понимаются следующие строки из неоконченного стихотворения Пушкина:

40 «Пришел сатрап к ущельям горным
И зрит: их узкие врата
Замком замкнуты непокорным,
Грозой грозитя высота,
И под тесниной торжествуя,
Как муж на страже, в тишине,
Стоит, белеясь, Ветилуя
В недостижимой вышине!».

** Великая тайна (лат.).

кость» и «неприступность» суть форма выражения того, что мы *сами* стоим «под горою», «на земле низу», т. е. это есть отношение, и не более как форма отношения поклоняющегося и поклоняемого, почтения и почитаемого. Вот начало великого *μυστήριον** тела, что мы не только волнуемся им, но и *угзимся* у него, *повинуемся* ему... Здесь мотив живописи. Почему художник не может остановиться на одном образе. Возьмем Рафаэля. Нарисует *так*, нарисует *этак*. Филарет написал один катехизис и никогда не исправлял его. Живопись Рафаэля гораздо совершеннее катехизиса Филарета, но он вечно *перерисовывал* одну и ту же тему, как будто искал чего. Дело в том, что *тело* имеет какой-то предел *от нас скрытой* святости; мы знаем только приближения к этому пределу, и собственно каждый поворот головы, расположение рук, расположение стана *непрерывно* или отходят от вечной и скрытой меты впереди или приближаются к ней же. Вот уж поистине невидимое солнце, вокруг коего «обращается» наше тело... обращается решительно каждый миг в новой позе. Поэтому великий артист может всю жизнь рисовать позы сидящего человека; да ведь *потому*, что есть же, наконец, такая поза, что... взгляни и умри! Не знаю, не видал, но если я и *так* и *этак* пересаживаю человека, и нахожу, что одно *красивее*, другое *хуже*, то, очевидно, есть окончательный и до известной степени небесный предел и идеал... просто сиденья. И позы человека, все, вся фигура его тела, «мат щек» и «длинные пряди волос», — все это, как в прототип свой, упирается в какое-то ангельское тело, небесное тело, мистическое тело: слов нет, но есть понятие, которое вы поймете, и есть *факт этого тела* — иначе не было бы живописи и художники не захотели бы, не могли бы рисовать. Но мы отвлеклись от Ветилуи...

Да, это не арифметика, которую можно доказать. Это не просто истина. И это не красивость. Ведь и взято чисто нравственное... нет, я ошибся и совсем ошибся — взято именно не нравственное, а *святое: гистота, целомудрие!* Скажем ли мы, что «целомудрие» принадлежит к категории «нравственных» явлений? Нет, оно принадлежит к категории божественных явлений. Как «мозг» есть родник диалектики Платона, метафизики Аристотеля, идей Канта, так пол и разные его градации, его комбинации, переплетения, смеси суть вообще таинственный родник характерно особых идеалов, к которым одним приложима категория святости.

И он же есть родник *одушевления*.

Ромео и Юлия, дети, помирили Монтекки и Капулетти, чего не могли сделать старики и не умели министры. Как они могущественны, эти дети, — потому что *любят*. Я вам приведу один опыт, который вы можете проверить в уме. Пусть влюбленный идет на свидание... далеко, очень далеко. Он никогда *не заснет* на дороге, как бы ни было далеко и трудно; скорей уж он умрет от утомления. Таким образом любовь снимает *усталость* с души и в этом действие ее подобно музыке. В обоих есть бессмертное начало, и именно, как двигатель. Поэтому я решаюсь сказать, что любовь есть часть всемирного одушевления, и пол в нас разумеется, в *душе* своей, но затем отражено и в своей физиологии, есть клок в нас «души мира». Отсюда странность пола. Вы знаете метафизическую аксиому, из которой нет исключений, что большее не может выйти из меньшего, и единица, не сложившись с другою единицею, не может произвести 2, тем паче 13. Но посмотрите

* Таинство (*грез.*).

же на пол, и удивитесь в нем океану премудрости и чудес: это есть бесконечная индивидуальность, в противоположность *Ивану, Петру* — конечным индивидуальностям. Вот перед нами «причина», которая производит «тьмы тем» «последствий», нарушая арифметику, логику и метафизику (земли), т. е. сверхземная вещь, сверхестественная, начало *мета-физики* в том смысле, что она расторгает границы физики. До того это очевидно, что никто не станет с этим спорить. Но для меня дорого то, что «святое тело» исходит отсюда. Рафаэль есть только один живописец, который не смутно влекся, но кистью уловил и дал нам ощутить святое тело. Что же он рисовал? Младенца, т. е. недавно *рожденного*, только что рожденного, близкого к рождению. Биография его так хорошо известна, что мы и отдаленно не можем подозревать здесь его подчинения духовенству и не можем в нем видеть иллюстратора к трудам нашего или какого-нибудь западного Филарета. Нет, он был оригинален, он был *сам и один*. Не знаю, как кто, а я нахожу в этом мистическом слиянии тела и духа величайшую отраду. Для меня природа одушевлена Богом, а Бог... *жив, жизнен*, Он — *мой* Господь! Отвлеченность теизма, арифметика теизма падает, но теизм, как волнующая меня святость, — она вот передо мною, и у меня есть образ для молитвы, повод для молитвы. И, наконец, я радуюсь, что источник моей жизни на земле — небесен, что я есмь на земле небесное существо, только частью «персти» во мне тяготеющий долу. Все мысли и все мирозерцание отрадно. Вы разовьете дальше мои мысли, и, может быть, поправите меня в выражениях. Я боюсь ошибиться не в мысли (этого я именно не боюсь), но очень боюсь быть худым художником своей правильной мысли. Мы все можем *чувствовать* «Ветилую», но вот мы взяли кисть: как мы бессильны! То же в философии: как можно чувствовать истину; но когда она не логического порядка, а скорее *пластического*, и относится к божеским в мире чертам, — как ее выразить? уловить пером? Я по крайней мере так неумел в этой сфере, что много раз мне приходило на мысль: да оттого художники и бросают кисть, а писатели перо, неудовлетворенные, раздраженные, что ведь в самом деле средства рисовки и слова суть пассивны, стихийны, в высшей степени земны, и между тем бьются в них, в красках живописца и строках писателя, в данном случае — метафизично. Я не боюсь за свое *подлежащее* (то, о *зем* говорю), но всегда боюсь за *сказуемое*, за мой язык, мой жаргон. Vale *.

10 сент. 99 г.

35-ЛЕТИЕ † Ап. Ал. ГРИГОРЬЕВА

Критик-самобытник Аполлон Александрович Григорьев (к XXXV-летию со дня его смерти). Биографический очерк с портретом. Л. М. Шах-Парониани. С.-Петербург, 1899 г.

Сентября 25-го этой осени исполнилось 35 лет со дня смерти знаменитого своею неизвестностью критика — Ап. Ал. Григорьева. О панихиде по нем было ⁴⁰ глухо оповещено в газетах, и глухо выслушалось оповещение. Присутствовали —

* Прощай (*лат.*).

его сын с семейством, свято чтущий память отца и посвятивший ему в 1895 г. в книжках «Недели» статью «Одинокый критик», автор настоящей книжки г. Шах-Паронианц, Ив. Л. Щеглов и старый-старый типографский наборщик, знавший покойного и набиривший еще статьи Белинского. — И только. Вообще, слава и даже просто память о человеке — как-то случайна. Вдруг зазвонил колокол, все сбежались: «А? что?» — да ничего, пономарь спяна зазвонил. Известна шутка: когда в обществе многих людей случайно воцаряется молчание, говорят: «Дурак родился». Какая ошибка! Скорее нужно бы говорить: «Хоронят умного» — и иногда: «Хоронят гения». Оставим сетования.

Статья Григорьева-сына «Одинокый критик» не права в заглавии и обидна для вернейшего и неизменного друга знаменитого-неизвестного критика, для памяти Ник. Ник. Страхова, который издал 1-й том его «Сочинений», свято чтит его память и развил дальше мысли критика-самобытника. Вообще «самобытное» течение русской литературы так мало, так узко, так забито историческим градом насмешек и непонимания, что люди, его составляющие, должны стоять плечом к плечу, держаться за руки друг друга, не отделяться один от другого, т. е. должны умалиться в своем «я», дабы сколько-нибудь быть сильными в «мы». Г. Шах-Паронианц почти не знает сочинений Н. Н. Страхова и, кое-где цитируя его анонимные статьи (отзывы о Григорьеве) из старой «Библиотеки для чтения», точно и не подозревает, что великолепное изложение точек зрения Григорьева на литературу и искусство дано им в книге, имевшей три издания: «Гр. Л. Н. Толстой и Ив. Серг. Тургенев» (статьи о «Войне и мире»). Таким образом, автор пропустил истинный словесный жемчуг на свою тему и совершил этим «обиду непонимания» или «обиду незнания» другу героя своей книжки.

Но это и есть единственный упрек, какой можно сделать его книжке, и разве еще другой, меньший — отсутствие оригинальной, яркой кисти в руке биографа. Но затем идет длинный ряд достоинств. «Труды Ап. Григорьева, составлявшие его плоть и кровь, покоятся, — говорит он в предисловии, — в архивной пыли, на пожелтевших страницах отошедших в вечность органов печати, пока наследники его или другие лица, предпочитающие затрачивать крупные суммы денег на печатание разных курьезов западноевропейской мысли, не расщедятся хоть сколько-нибудь на издание полного собрания сочинений критика-самобытника». Эти слова сразу располагают читателя к биографу, давая почувствовать, что он тоже геройствует около забытой могилы, т. е. есть человек, которому наиболее хочется пожать руку.

Он собрал все о Григорьеве: факты жизни, самые мелкие анекдоты, воспоминания не только автобиографические, но и его однокашников по школе и университету; стихи о нем, прозу о нем. Григорьева очевидно горячо любили все, кто знал его. Лично мы помним, что Страхов хранил прямо культ его. У него висел большой портрет Григорьева; как-то пишущий эти строки заметил что-то об уме его. «Это был гениальный ум», — ответил Страхов. — «Но отчего такая судьба? И не был ли он сам в ней виновен?». — «Ну конечно: это был совершенно сумасшедший человек». И последнее определение он сказал так же твердо и спокойно, как первое. Действительно, в строгановскую пору, когда так искали таланты в Московском университете, отсортировывались, береглись, — Ап. Григорьев был не среди блестящих слушателей, но он блеснул как первая величина среди

всех, и взыскательно-внимательный попечитель захотел с ним познакомиться, позвал к себе, еще студента и школяра. Так он восходил, а закатился — в «Долговом отделении», в нищете; то литератор, не знавший, куда отдавать свои статьи, которых не принимали редакции, то учитель русского языка и словесности в Неплюевском кадетском корпусе, в Оренбурге, — и в промежутках этого какой-то вечный странствователь. Кажется, мы не ошибемся, если комментируем второе определение Страхова так: он был под вечным впечатлением, всегда под впечатлением — изящнейшего, и это впечатление несло его с силою, как ураган несет листок. Впечатление в Григорьеве всегда было больше Григорьева, и он ему подчинялся, как лодочка аэронавта движению огромного над нею шара. От этого казалось, что не Григорьев жил, а только в Григорьеве жили разные писатели, литературные эпохи, гении творчества или духовного настроения. «Вы несчастны?» — спрашивали его, перед смертью, в долговом отделении. «Нет, я счастлив, — ответил он, — я вот шатаюсь тут всю ночь по коридору, пью чай и всю ночь как будто разговариваю с тобою (Страхов), с Беляевым, с Аксаковым; спору, опровергаю, сам делаю себе возражения, — все это с такою ясностью, с такою силою, что если бы записать все, что я передумал, то вышла бы превосходная статья, какую я только способен написать». В конце концов Ап. Григорьев, конечно, был счастлив и даже прожил разумнейшую жизнь, ибо что же может быть счастливее этого непрерывного увлечения и разумнее опять этого же увлечения? А темы его дум и порывов были самые высокие.

Почему, однако, человек, так глубоко симпатичный и так разумный — сыграл так мало роли? И неужели сама история похожа на «дурака, рождающегося среди молчания»? Ап. Григорьев отметил «типичное» в русской литературе, и этим типовым он счел «простое и смиренное» в русском человеке и в русской жизни. Он сказал многое и замечательное; но эта мысль, которую мы так просто формулировали, и почти в этом простом виде, составляет новое слово Григорьева в русской литературе. Под формулу двух строк подходят герои «Капитанской дочки», подходит настроение Пушкина в «Повестях Белкина», подходит «Война и мир» в Платоне Каратаеве и Пьере Безухове; подходит Толстой в «несопротивлении злу»! Да и весь наш народ, с голодухами включительно, очерчивается формулою «простого, смиренного человека». Ап. Григорьев, развивая в обширных статьях идею «простоты и смирения», немного строк посвятил в них простой, календарной почти отметке: «Есть хищный тип, не русский — тип Байрона и Лермонтова». Примеры могут быть дурны, и хорошо правило; выразители — ничтожны, а выражаемое — велико. Хищное начало в мире... Да, именно в мире, а не в человеке одном, — что оно такое? Никто не знает, никто не разгадал. Но загадка хищного — есть; и притом — загадка пожирающая, как слагали греки легенду о своем сфинксе. Да возьмем миньятюру: кто сильнее слона? носорога? Но лев его разрывает, а льва вовсе и никто не разрывает, за исключением славного и какого-то верховного на земле хищника, самого человека. Вот вам и «кроткое начало»... Да и «пожирающего» с разрешением и даже по указанию Божию: «Все — в снедь тебе» (Бытие, 2). Загадка, сфинкс. Я могу быть кроток, но дело не обо мне, а об истории, а историю совершили хищные вожди человечества. «Платоны Каратаевы» только разувались и обувались, но уже Толстой, который так безмерно на это любит, сам есть хищник, который ломит плечом историю, да со всеми по-

дробностями хищника ее ломит, с хитростью и притаенностью: его не возьмешь в Ясной Поляне, как барса в лозняке. Сам Лермонтов создает тип Максима Максими́ча, т. е. тип типов «простоты и смирения», и в какую пору. Таким образом открывается замечательная вещь, что идеалы кротости и покорности не только не суть высшее и «другое» по отношению к стелющейся по истории таинственной кошке, но эта кошка, которая мяукает в Байроне, иногда блеет, как ягненок, в Льве Толстом, в Лермонтове, в Достоевском (бесспорно хищный тип) с его «Идиотом» и «Алешей Карамазовым» и, конечно, в других. Таким образом, «сфинкс» есть действительно «сфинкс» (= «загадка»), потому что имеет два лица, и притом взаимно как будто отрицающиеся, т. е. с каким-то «диалектическим», совершенно по Гегелю, переломом в себе. И «кроткое лицо» есть только одно или, по крайней мере, «бывает одним» из двух лиц сфинкса: и посмотрите, какая кротость — точно ангельская, с надрывом, лизанием руки ближнему, служением ближнему, страданием за ближнего. Таким образом, «хищный тип» не есть только внешне блистающий тип, как казалось Григорьеву, — не есть поза, как твердил он же; но... будем дерзки: это есть Божий дар, и высший Божий дар, царственный. «Овых сделал Господь царями, овых слугами». Вы можете это проклинать (если хватит духа восставать против Господа), но не можете этого отрицать ни в лани и тигре, ни в Платоне Каратаеве с его «Историей о купце, которого...» и в Лермонтове с его «Песнью о купце Калашникове». Что тип то царственный — это бесспорно; что он Божий — этого не пришло на ум Ап. Григорьеву. И он прошел мимо величайшей темы, которую сам назвал, занявшись меньшею, и, в сущности, ужасно затасканною, хотя, соглашаемся, затасканною не в беллетристике, не в романах, не в критике, но, ведь, это не изменяет дела, и Ап. Григорьев, будучи оригинален, и нов как русский литературный критик, был как-то исторически стар и даже «старомоден». И, далее, если хищный дар (так мы его дерзаем называть) столь загадочен в происхождении, так неисчерпаем в содержании и, словом, со всех сторон иррационален и мистичен, то, ведь, «дар кротости» так дальше трузма и не идет. Я поклонился ему; но молиться... просто я не нахожу слов для молитвы, т. е. слов для сложного и длительного поклонения. Но мы зафилософствовались.

Досадную сторону в книжке г. Шах-Паронианца составляет то, что на ней не выставлено цены. Мы проглядели насквозь всю обложку. Что же, она даром раздается? Или это — любительская книжка для автора и его знакомых? Такая досада. Ведь, Григорьева нужно еще проводить в читающую публику, и надо это делать, как говорил Григорьеву Ф. М. Достоевский — умело. Книжка же эта положительно есть *compendium* биографического и критического о Григорьеве материала, и, как первая, и, может быть, надолго первая в этом роде и об этом предмете, она нужна библиотекам, если и не будет спрашиваться вечно глухим читателем.

БЛЭЗ ПАСКАЛЬ. МЫСЛИ (О РЕЛИГИИ)

*С предисловием Прево-Парадоля. Пер. с франц. П. Д. Первова.
Издание второе, исправленное. Москва, 1899*

Книга эта одна из самых знаменитых во всемирной литературе, как и творец ее — один из великих истории. Ни к кому в новом, христианском мире, не идет так название «феномен», как к Паскалю. Античный мир, как и Восток, имели много феноменов: Тамерлан, Аннибал, или Сократ и Платон были феноменами по неподготовленности для них почвы, по чрезвычайно своему возвышению над условиями и фактами своего времени. Вот уж не «равные среди равных»! Началом уравниности людей стало гораздо сильнее потом, и христианство вообще мы можем определить как равенство равных, как эру без героев. Даже Наполеон есть только Монблан среди Альп: вспомним его окружающих людей и вулканичность всей почвы, породившей его; Ньютон, после Коперника и Кеплера, и как современник Лейбница и Декарта — также перестает быть феноменом, т. е. необыкновенным, случайным, не подготовленным явлением. Паскаль не был ни Ньютоном, ни Наполеоном в своей сфере: рост его умереннее. Но сочетание даров его необыкновеннее, чем гений Наполеона и Ньютона. В самом деле, он и непревзойденный публицист («*Provinciales*» *), и религиозный мыслитель, и геометр: три таланта, казалось бы, решительно несовместимые. Судя по биографическим запискам его сестры, он между 11—16 годами сам и совершенно самостоятельно открыл части эвклидовой геометрии, чертя фигуры мелом на полу и размышляя о них. И действительно, уже после 16 лет он делает в геометрии и физике открытия, которые свидетельствуют о необыкновенной его наблюдательности и остроте мысли в сфере точных наук и навсегда связали его имя с историей этих наук. Казалось, на что бы он ни взглянул, он видел новое. Можно сказать, никогда не рождался человек с столь свежее впечатлительностью. Великие математики и физики не часто становятся политиками, и чрезвычайно редко — моралистами. Между тем в «*Provinciales*» Паскаль потрясает, да, потрясает непоправимо, до сих пор памятно и чувствительно — иезуитский орден, т. е. первую нравственную и политическую силу своего времени. Право же, это стоит Ваграма и Аустерлица; по силе нравственного действия, но только благотворного — это стоит Священного союза. Через «*Provinciales*» и «*Pensées*» ** Паскаль стал Марком Аврелием христианства, но с преимуществами активности и страсти на его стороне. И вот — мы переходим к этим его «*Pensées*». Нужно заметить, в жизни и личности Паскаля проходит много того, что в нашей национальности зовется «юродством». Так, он носил на теле веревки с острыми гвоздиками, и когда ему приходило на мысль что-нибудь греховное — он покалывал себя, если грех был тяжел и неотступен — он окровавливал себя. Это было в те самые дни, когда он производил исследования над циклоидой, кривой линией, особенно не подававшей анализу его предшественников и современников. В эту пору он на клочках бумаги записывал «*pensées*», т. е. разные ему приходившие в голову

* «Письма к провинциалу» (фр.).

** «Мысли» (фр.).

мысли. Это были черновики для задуманной им книги, от которой, однако, не сохранилось даже плана. И вот, когда он умер, умер всего только молодым человеком, друзья, вошедшие в его комнату-келью, нашли эти листки. Собранные, просто сшитые без всякого порядка, они и составили труд Паскаля, который может умереть только с христианством, потому что его «Pensées» суть самое глубокое и самое свободное, что было подумано о христианстве умом чисто светского сложения. Здесь нет и тени профессиональности мышления, и нет «заказа»: двух язв, которые отравляют богословие. Книга сейчас же стала великою. Философ по ней учится, и в скорбное сердце она проливает утешение. Как мал перед нею Босюэт в своем холодном блистании, как жалок и риторичен Шатобриан. Если во Франции суждено когда-нибудь возродиться христианству, оно могло бы возродиться через эту книгу и начиная с этой книги: это есть мост между святым содержанием Евангелия, и жаждою святого в человеческом сердце, мост единственный во Франции, на который не налегло ни черноты невежества, ни вероломства софизмов. Все призывы софистов начала нашего века вернуться к предрассудкам, ибо они составляют кору истины, лучше сохраняющую драгоценное зерно; все вопли фанатиков, что эшафот есть опора алтаря, эта истерика, в которой равно упражнялись юродивые и шарлатаны Реставрации, есть зараженное христианство, есть отравленное христианство. Впереди, перед этим — смех Вольтера; наивности Фенелона; красноречие Босюэта; плутни иезуитов. И высится только единственная и чистая, и могущественная книга — «Pensées» Паскаля. На нее одну Франция и могла бы нравственно и религиозно опереться. Драгоценная черта книги в том, что она говорит вашему сердцу, говорит моему сердцу. Но так ведь и Евангелие, говоря человеку — овладело нациями, создало христианские нации. Перевод г. Первова выполнен с большим вниманием. Он сделал бы недурно, если бы к следующему изданию «Мыслей» присоединил обдуманно составленный указатель: книга чрезвычайно разбросана в содержании, а между тем ее не только хочется читать, но хочется и нужно, бывает, с нею и справиться.

ГРЕЧЕСКОМУ ЛИ ЯЗЫКУ УЧИТЬСЯ ИЛИ ПОДРАЖАТЬ ГРЕКАМ?

Когда видишь в душевной комнате 20—30 учеников, в возрасте 14—15 лет, согнутых под столом и разбирающих текст Остромирова Евангелия, дабы уловить «юсы большие» и «юсы малые»; когда видишь студента даже филологического факультета, который «знал, да забыл» эти «юсы», и не знает, потому что никогда и «не проходил» Гончарова и Островского, т. е. изобразителей русского помещичьего и купеческого быта, — вспомнишь греков и воскликнешь невольно: что сделали бы афиняне, если бы после Греко-персидских войн Геродот начал читать во время олимпийских игр не об этих только что минувших войнах, а о... каменных бабах у скифов, как вероятном прототипе греческого искусства?

Мы учимся греческому языку, но не умеем учиться у греков. А греческий благородный гений был полон всегда трепета современности, величайшего практицизма и величайшего реализма. Вот главное, о чем мы должны вспомнить у гре-

ков, а не о том, что у них были гласные с придыханиями, а глаголы — с «желательным наклонением», что не составляет в греках ничего специально-греческого. Именно специально-то греческого, при всем нашем классицизме, мы и не уловили ничего, а его было бы недурно уловить и кое в чем суметь подражать ему.

Первый среди наших русских филологов, Ф. И. Буслаев, рассматривая когда-то программу русской словесности в женских гимназиях, был поражен множеством древних памятников, введенных в эту программу, между тем как смысл и интерес их может быть понятен только седовласому ученому, а никак не 16-ти-летней полуразвитой, полуобразованной девушке.

- 10 В классе происходит странное зрелище невозможных попыток современного мальчика или девочки войти в филологические особенности Остромирова Евангелия, или что-нибудь оценить в советах протопопы Сильвестра, которые он дал в «Домострое», и зрелище полного бессилия учителя пробудить в учениках интерес и внимание к этим очень серьезным, но учено-серьезным памятникам. Когда-то подвергались обличению «развиватели» 60—70-х годов, которые давали мальчику и девочке 16—17-ти лет «Историю цивилизации в Англии» Бокля, но разве не такой же «Бокль для 16-ти-летнего возраста» есть и все эти учено-археологические части нашей программы по литературе и по языку? Мы пытаемся ввести детей в мир интересов Грота и Буслаева и поставить учеников как бы в ка-
- 20 бинете этих двух беседующих ученых. Буслаев был так умен и тонок, что воскликнул: «Не надо; интересное нам не существует для них». Увы! этой ученой тонкости вовсе не обнаружили в себе составители наших программ по русской литературе, которые проходят в V классе — народный эпос и Слово о полку Игореве, в VI классе — Андрея Курбского и протопопы Сильвестра, в VII — Кантемира и Сумарокова, дабы оставить ученика полным невеждою относительно всего не историко-образовательного, а просто образовательного содержания русской литературы. Именно развития-то и не получается, именно образования-то и нет, нет поднятия эстетического вкуса, а только способность безграмотно и перевирая изложить какой-нибудь недочитанный древний памятник. Ибо ведь и чита-
- 30 ются все только «образцы» наших литературных «каменных баб».

- Взглянем на нашу литературу и историю эллинским взглядом, который в то же время сольется и с простым здравым русским смыслом. По словесности нужно не «изучать» «памятники» с внешней видимостью ученых приемов, а совершенно по-детски «наивно», но хорошо, запомнить все великие строфы русских поэтов и перечитать лучших русских прозаиков, к стати так возбуждающих мысль, так развивающих. Право же, деревня Лариных из «Онегина» предпочтительнее всего «Домостроя»; «Медный Всадник», хотя бы вполне заученный, даст чудный обобщающий взгляд на новую нашу историю, которого никак не получишь из «рассказа своими словами» пространных страниц Галахова; а колебания
- 40 Райского в «Обрыве», его художественные порывы, круг его наблюдений и столкновений дадут более пищи для размышления, чем целый «XVI век в русской литературе» с обязательной темой для полугодового сочинения; «Взгляды Иоанна Грозного и князя А. Курбского на боярство». Право же и сказать тут ученику нечего, кроме как переписать несколько «жупельных» слов. Все это и ужасно трафаретно, и скорее притупляет, нежели развивает, по недостатку именно здесь возбудителя для мысли, «бродила», «дрожжей» для мышления, какие содержатся во всяком более нам близком и более гениальном литературном памятнике. В стар-

ших классах гимназии эти темы для размышления, сами собою напрашивающиеся при чтении наших классиков, могли бы послужить поводом к прекрасным и вполне национальным как эстетическим беседам, так отчасти даже и философским. Мы замечаем, что ученики старших классов гимназии куда-то безвестно пропадают умом из школы, оставляя в руках преподавателей только свою память для упражнения. Душевно они уходят из школы, чтобы где-то по темным уголкам литературы и общества сыскать соответствующую сколько-нибудь зрелую пищу. А почему это? Да потому, что мы все их держим на Андрее Курбском и Домострое и решительно не предлагаем их уму вместе и живой, и серьезной работы. В самый критический возраст мы их оставляем вовсе без руководительства, потому что пытаемся искусственно руководить какою-то смесью учености и детства, надеваем на юношу парик ученого и вместе обертываем в пеленки ребенка. И вот в восьмом классе гимназии, вместо размышлений над спорами Райского и знаменитой бабушки, ученики угрюмо тупо обсуждают теорию Карла Маркса. Мы сами не дали им естественного, и дивимся, отчего они так противостественны.

АВТОБИОГРАФИЯ В. В. РОЗАНОВА

(Письмо В. В. Розанова к Я. Н. Колубовскому)

<ПОД ПОРТРЕТОМ В. В. РОЗАНОВА>

Мне думается, культура наша крушится и, может быть, сокрушится, по неимению в ней трех вещей *святой семьи, святого труда, святой собственности*. Мы даже не понимаем, что это значит: святое лежит для нас непременно вне семьи, вне труда, вне собственности. Не на земле, а на небе. И вот почему «земля» усиленно «проклята» в нашу эру. Может быть, «радуются этому на небесах», но есть все причины плакать об этом на земле.

В. Розанов

М. Г. Яков Николаевич!

Согласно желанию Вашему, выраженному в письме от 8-го марта, сообщаю Вам: 1) краткие биографические сведения о себе и 2) список своих трудов и статей:

1) Я родился в 1856 году в уездном городе Ветлуге, Костромской губернии; отец мой, занимавший должность лесничего, умер от простуды 4 года после моего рождения, и мать, продав все имущество, переехала с двумя дочерьми и 4-мя сыновьями в Кострому, где уже учился в гимназии мой старший брат, с целью продолжать здесь воспитание детей. На вырученные от продажи деньги она купила маленький дом и стала жить, принимая к себе на хлебы учеников местной семинарии — доходом от квартиры им и остатком от содержания их. Через несколько лет мой старший брат окончил курс в гимназии и уехал в Казанский университет, за 2 года до моего поступления в Костромскую гимназию. Живя уроками, брат не имел возможности помогать нам, а между тем вследствие болезни старшей се-

стры, умершей от чахотки по окончании курса в женской гимназии, и вследствие трудной и продолжительной болезни матери, тянувшейся 2 года и окончившейся смертью, — наша семья впала в крайнюю бедность, так что для отопления комнаты, как я помню, мы употребляли забор, отделявший сад от дома, и очень часто нуждались в хлебе, так как овощи были из своего сада. Имея учебники только по некоторым предметам, а главное — исполняя разные хлопоты по дому и хозяйству, как-то: топка печи или отыскивание забредшей на чужой огород коровы — я учился очень дурно, и помню, едва сознавал и часто не мог дать себе отчета, что именно проходят в нашем классе, о чем учат мои товарищи. Поэтому я остался на 2-й год во втором классе, и этот же год был годом смерти моей матери и первого возвращения из Казани старшего брата, который окончил курс в университете и получил назначение на должность учителя в Симбирске.

Мать, умирая, просила брата в письме, которое я потом нашел у него и храню до сих пор, не оставлять двух младших детей, меня и еще меньшего брата, которому было лет 7, и взять к себе на воспитание. Он это и сделал и отвез нас с собою в Симбирск. Здесь он прослужил 1 год и затем перевелся в Нижний на должность учителя истории и географии; мы же с братом, до его устройства, были оставлены на год у квартирной хозяйки, Николаевой, женщины неглупой от природы, но очень грубой и находившей большое удовольствие унижать нас с братом попреками в бедности и тем, что мы тяготим старшего брата, и что неизвестно, будет ли он еще продолжать наше воспитание. Презрение, которое она к нам высказывала, и всегда с большим знанием, что именно может причинить особенное страдание, — впервые, как кажется, сделало мой характер несколько замкнутым и угрюмым и вместе очень впечатлительным, благодарным ко всякому участию. Последнее оказывал мне старший сын хозяйки, учившийся в 7-м классе гимназии, который, хотя и не останавливал матери, но я, ничего не передавая ему, нередко приходил к нему на постель и плакал. Как я теперь понимаю, он был из тех молодых людей, которые так увлекались идеями 60—70-х годов: учась сам отлично, он обо всем, его занимавшем, беседовал со мною, нисколько не скрывал образа своих мыслей и давал мне читать книги, какие были у него. Как влияние матери было первым впечатлением, определившим в значительной степени мой характер, так его влияние было первым, под которым сложились мои самые ранние умственные убеждения. По его указанию я прочел очень много книг, и содержание некоторых из них: «Физиологические письма» К. Фогта, «Физиологию обыденной жизни» Льюиса, «Мир до сотворения человека» Циммермана и 1-й том Белинского, изложил для своей памяти конспективно. Эти конспекты, доведенные до конца и где нужно сопровождаемые рисунками, хранятся у меня и до сих пор, и необходимость излагать обширное содержание, ничего не выпуская, и, однако, кратко, по всему вероятно, более всего способствовали развитию во мне склонности и (позволяю себе это думать) умения очень сжимать всякую мысль, а равно — точно ее формулировать. И впоследствии, даже до сих пор, всякого рода определения и формулирования я исполнял с большим удовольствием, нежели какой-нибудь другой труд. В это же время я прочел «Утилитарианизм» Д. С. Милля — первую философскую книгу, которая произвела на меня большое впечатление в особенности потому, что сквозь частные и временные интересы, умственные и житейские, впервые показала мне область интересов общих и постоянных. Именно настроение, с которым эта книга напи-

сана, больше всего привлекло меня к себе; что же касается ее содержания, то я вынес из нее, но зато на много лет, знание, что есть взгляд на человека и на жизнь его, как на управляемые и повинующиеся быть управляемыми идеей счастья — высшей в истории. Пробыв 2 года в Симбирске, я переехал с братом в Нижний, где провел свои ученические годы в гимназии от 4-го до 8-го классов включительно. Брат к этому времени уже женился, и вследствие ли своего характера или других причин, но я всегда оставался как-то отъединенным в своей семье, не принимал участия в ее жизни и не допускал ее влияния или проникновения в свой замкнутый мир; зато со многими товарищами я был тесно связан, и эта связь делает мои юношеские годы самыми светлыми на протяжении всей остальной жизни. Глубокая преданность интересам знания, неопределенные надежды и ожидание чего-то от будущего, правдивость отношений между собою и их полная безыскусственность — все это делало жизнь глубоко радостною. Я по-прежнему читал очень много и так же конспектировал наиболее важные книги; книг, бывших только занимательными, не отвечавших ни на какой определенно стоявший вопрос в моем уме, я никогда не мог читать тогда, как и теперь, равно как сочинений, очень обработанных по внешности, так что сквозь интерес к предмету сквозит забота о себе, о своем литературном имени. Поэтому только по необходимости я преодолел для ознакомления несколько «Опытов» Маколея и некоторые сочинения Ог. Тъери, бывшие у брата, но сделал это с неохотою, доходившею до отвращения. Напротив, с величайшим интересом прочел 2 части «Исследований» Д. С. Милля — вторую философскую книгу, которая мне попала. Будучи хотя несколько знаком с органическою природою, я за это время старался усиленно приобрести хоть какие-нибудь сведения о неорганической; с этою целью, после некоторого ознакомления по учебникам, я прочел, конспектируя, «Минералогию» Наумана, которая мне казалась очень совершенною по манере и плану изложения, и, к удивлению, я узнал потом, что тогда же не ошибся. «Руководство к геологии» Ч. Ляйеля и литографированные «Лекции по минералогии» петербургского проф. Еремеева; последние, кроме некоторых специальностей, были мне понятны и интересны; напротив, «Лекции» проф. Контарова и геология Мора, которые я также пытался изучать, были слишком трудны, и я их оставил. Я и мои товарищи занимались гимназическими предметами настолько, чтобы идти удовлетворительно, и все остальное время посвящали чтению или опытам, которые мы делали, купив в аптеке некоторые препараты и вещества, или разговором политического и реже литературного содержания; ко времени моего гимназического учения относится увлечение сперва Писаревым, которого я всего прочел еще в Симбирске, и потом Добролюбовым — уже в старших классах гимназии. Из-за первого у меня было несколько ссор со старшим братом в первый год по приезде в Нижний, и было время, когда мне показалось, что все, что ни есть дурного и несовершенно в жизни, происходит оттого, что развлекаемые разными делами и дурными книгами люди не вдумываются довольно внимательно в этого писателя; но уже в VI классе гимназии, находя у какого-нибудь товарища томик Писарева и перечитывая когда-то знакомые места, я находил их в большинстве детскими, и всего его — более неинтересным. Менее ярко, но гораздо глубже было влияние Добролюбова, которого я и до сих пор считаю по влиянию на наше общество одним из могущественнейших умов, причем значение имеют не те или другие его мысли, но общий план его сочинений, сумрачное

и серьезное настроение его души, из которой исходили все его отдельные мысли; житейская обстановка и условия воспитания — развития многих из нас чрезвычайно способствовали тому, чтобы этот писатель ассимилировал наши души со своею. Классе в VII, приблизительно, я прочел и 1-й т. соч. Бентама и Макиавелли, в котором не нашел ничего безнравственного; мы все свободно читали также запрещенные заграничные издания, «Вперед» и пр., которые свободно вращались в нашем кружке, и мы, бывало, передавали №№ этого журнала, собираясь зимой на катке. Но они мне никогда не нравились, главное вследствие грубости своей и ясных преувеличений и неправд; из произведений этого рода только одна статья Лассалья произвела на меня очень глубокое впечатление: в ней объяснялось, почему фабриканты, даже при желании поднять заработную плату, не могут этого сделать, что законом конкуренции они сдерживаются от всякой попытки в этом направлении, и когда упорствуют в ней — погибают.

Я помню, как прочтя статью, я вышел гулять на откос, раскинутый над Волгой, и как сумрачно представлялась мне действительность, не значущим сравнительно с этим все, чем люди интересуются. Чтобы покончить с внешнею моею жизнью за это время, скажу, что наш кружок товарищей, классе в VII или VIII, решил, для ускорения самообразования, сделать нечто вроде классификации наук — распределить их между собою, с тем, чтобы каждый занимаясь тщательнее один, усвоенное излагал в общих собраниях, устраиваемых еженедельно. Тут мы проводили время за чаем, а потом, разговаривая и по временам распевая «Марсельезу», долго еще бродили по улицам туда и сюда. Золотое время, золотое детство!

Вне этого, хотя и одновременно, шло во мне развитие одной идеи, с которой я начинаю серьезное в своей жизни. Это было постоянное думанье об идее счастья, как идее верховного начала человеческой жизни. Помню, я был в 4 классе гимназии, когда однажды, присутствуя при разговоре старшего брата с одним учителем гимназии и слыша, как мимоходом они что-то утверждали, ссылаясь, что иначе ведь пришлось бы согласиться с правилом иезуитов: «Цель оправдывает средства» — я в досаде вышел из комнаты и взяв четвертинку бумаги тут же набросал ряд тезисов, связанных с собою «следовательно», во главе которых стояло положение «цель человеческой жизни есть счастье», а в конце — что безнравственное — необходимо. Это был первый зародыш всего моего последующего умственного развития, или точнее, первая формулировка того, что возникло во мне как-то невольно и бессознательно. Но я помню ясно, что начиная с этого времени, и чем далее, тем упорнее, я думал об одной этой идее до 3-го курса университета, т. е. всякий раз когда я оставлял чтение или оканчивал разговор, я невольно и бессознательно отдавался обдумыванию этой идеи. Так, я ясно помню, что не было ни одного урока в гимназии, который я прослушивал бы учителя, или времени прогулки, или чего другого, когда бы я не был погружен не столько в обдумывание этой идеи, сколько в созерцание ее. Потому-то очень скоро она разложилась в мысли в ряд как бы геометрических аксиом, определений и выводов, объектом которых служило понятие счастья и которые обнимали собою государство, нравственность, чувство правоты — все формы, вообще, человеческого творчества. Логическое совершенство этой идеи было полно, но я не был только ее теоретиком. Будучи убежден в ее верховной истинности, я и свой внутренний мир, и свою внешнюю деятельность стал мало-помалу приводить в соответствие

с нею. И постоянный внутренний анализ, вечно критическое отношение к своим поступкам и их приноравливание к этой идее стало предметом моей внутренней жизни; при этом временами я принуждал себя к обычно безнравственному или бесчестному.

Так окончил я курс и поступил в университет — Московский, на филологический факультет. Лекции, из которых особенно нравились мне Герье — по всеобщей истории, Троицкого — по истории философии и Стороженко — по всеобщей литературе и Буслаева — по русской, были тем же внешним усваиваемым материалом, как и чтение в гимназии; но оне не имели отношения к моему внутреннему развитию, сосредоточившемуся всецело около одной идеи. Состояние 10
искания чего-нибудь в этой идее уже давно окончилось для меня, и я стоял перед нею, полный изумления: будучи столь правильна, столь безукоризненна, она была для меня источником постоянного страдания, и в этом я видел странность, вызывавшую мое изумление. Вследствие практических попыток осуществить ее и вследствие постоянного анализа своей души и своей деятельности, в 22—23 года я стоял перед этой идеей, как очарованный, бессильный оторваться от нее и бессильный далее следовать за нею, измученный, изможденный, зная, от каких положений этой идеи происходит эта изможденность, и однако видя сцепки, которыми они прикреплены к самой идее, неопровержимой не менее, чем ка-кая-нибудь геометрическая аксиома. Так прошло время до 3-го курса, когда сидя 20
однажды и продолжая, по обыкновению, думать о ней, я вдруг понял следующее: идея счастья, как верховного начала человеческой жизни, есть идея, правда, неопровержимая, но она придуманная идея, созданная человеком, но не открытая им, есть только последнее обобщение целей, какие ставил перед собою человек в истории, но не есть цель, вложенная в него природою.

Но, если так, то отсюда именно и вытекает страдание, причиняемое этою идеею: она не совпадает, или точнее, заглушает собою, подавляет некоторые естественные цели, вложенные в человеческую природу, которые, в отличие от искусственных целей, составляют его назначение. Это последнее нельзя изобрести или придумать, но только — открыть, и открыть его можно, раскрывая природу 30
человека, — и т. д.

Эту мысль я считаю поворотным пунктом в своем развитии. Вследствие изошренности, которую я приобрел постоянным думаньем над идеей счастья, раз у меня возникла идея об естественных целях человеческой жизни, — я перешел к исканию их, и оне были быстро найдены, а с ними и понятие государства, нравственности и всего прочего подобного быстро видоизменилось: изменен был угол зрения, и я все увидел в новом свете и расположении. Нужно было бы долго говорить об этом, и потому я прерываю. С величайшим одушевлением начал я писать сочинение, в котором должны бы быть изложены мои мысли, и пред- 40
послал ему отдельный трактат, содержащий анализ идеи счастья. В это именно время начали ходить слухи о какой-то «Исповеди», написанной гр. Толстым; я достал ее и с изумлением прочел, что тот самый вопрос, который столько лет занимал меня, был и у него; но он счел его неразрешенным и повернул в одну сторону, я же разрешил его, и это решение содержало в себе совсем иной мир мысли, иной строй норм человеческой жизни, о каких он стал учить потом. Очень много светлого и радостного было в том мире, который открылся для меня, и я помню, что в течение 2—3 лет после этого я все еще находился под влиянием этой

светлой радости. Начало трактата моего, написанного тогда же, было отправлено в «Русскую Мысль», но он не был напечатан по причине тяжелого слога; и в самом деле, как я понимаю теперь, он так же мало годился для журнала, как какая-нибудь глава из «Этики» Спинозы, но я, который в жизни все еще оставался наивным, был удивлен этим: исследование идеи, самой важной во всемирной истории, не печаталось потому только, что оно было выражено в строгой и отвлеченной форме. Я увидел тут равнодушие к истине, и оно внушило мне ту же неприязнь к журналистике, которую я испытывал к университету. Здесь, перейдя со 2-го курса на 3-й, я написал на каникулах небольшое исследование: «Об основаниях теории поведения», содержащее разбор и опровержение мнений, излагаемых обычно Троицким, и подал ему его; не поняв моего желания или уклоняясь от обсуждения, он представил его в факультет и, как я узнал от него на экзамене уже в следующий год, мне присуждена была за него премия Исакова. Еще через год я окончил курс в университете и, хотя был далек от мыслей об учительстве, самою жизнью был толкнут, как поезд по рельсам — на обычную дорогу учительства. Здесь, попав в глухой городок Орловской губ., Брянск, я начал писать сочинение, которое и было моим первым трудом: «О понимании, опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки, как цельного знания», который и вышел в 1886 г. в Москве. В нем исследована одна и самая важная, быть может, из естественных целей человеческой природы — умственная деятельность. Когда

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

1) «Органический процесс и механическая причинность» — в «Журн. Мин. Нар. Просвещения», 1889, май.

2) «Вопрос о происхождении организмов» — в «Русск. Вестн.», май, 1889.

3) «Отречение дарвиниста» — в «Московских Ведомостях», 1889, № 291 (против проф. Тимирязева).

4) «Место Христианства в истории» — «Русск. Вестн.», 1890, янв., и, полнее, отдельно, Москва, 1890.

5) «Метафизика Аристотеля», перевод с примечаниями, в сотрудничестве с г. Первовым, в «Журн. Мин. Нар. Просв.», 1890, январь (начало).

Сверх того, только что окончена мною (и это окончание задержало мое письмо к Вам) статья «Что выражает собою красота природы» по поводу статьи Вл. Соловьёва в № 1 «Вопр. Философии и Психологии»; она, вероятно, будет напечатана или в «Русск. Вестн.», или в «Вопросах» Грота. Сверх этого, в последний журнал уже принята для печатания в 3-й книжке статья: «Заметки о русской переводной литературе по философии» — там бы место и оценке Вашего перевода, но к сожалению, они не попадут ко времени появления. Мне очень совестно, что я так долго утруждал Ваше внимание; но воспоминание о светлом прошлом как-то увлекло меня, и я хоть им готов был поделиться с человеком, которого хотя и не знаю, но он предан одинаковым умственным интересам, которыми живу и я. Глубоко уважающий и готовый к услугам

Василий Розанов.

Прим. ред. Эти строки относятся к 1891 году. В настоящую минуту В. В. Розанов, переселившись в Петербург, состоит на службе в Государственном Контроле и работает в разных изданиях.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ

<1899. 24 октября>

1

Все помешательство нашей эры заключается в расторжении плотского и духовного. Дети: да где же тут кончается дух и начинается тело? Для Фомы Аквинского, для Феофана «кольми паче глупы они перед семинаристом?». А для Бога? А для родителей? А сами в себе? Да это — настоящая музыка, т. е. дети, музыка ¹⁰ в движениях своих, музыка в красоте своей. И поразительна в них совершенная слиянность духа и тела, так сказать еще не расклеенность оболочки и содержания. Грех и есть это расклеивание, и душа странно темнеет, отставая от тела, отсыхая от тела, уединяясь в себя и становясь одна. Вообще, младенец — загадка и тайна, и я хочу верить, что это святая тайна и святая загадка.

На младенце-то аскетизм и осекается. Он не принял во внимание младенца, и он не принял во внимание семьи (духа ее, света ее); он только понял «плотуюгодие» и, поняв это, т. е. ничего не поняв, поставил ограничения, рогатки, загородки.

2

20

Хорош стих Гёте в «Коринфской невесте»:

Где за веру спор,
Там, как ветром, сор
И любовь, и дружба сметены...

На этих «спорах» и погибла «любовь даже и к врагу». Стали определять «веру» — и сбились. Сон Раскольникова в Сибири: «Ему снилось, что появилось какое-то маленькое насекомое, вроде трихины, и залезая в людей, заражало людей...». Заражало, если хотите, этим жаром «определения веры». — «Люди хотели определить», снилось Раскольникову, «что истина — и не могли; хотели согласиться — и не способны были к соглашению. Пролилась кровь, полилась кровь. ³⁰ И чем больше лилось крови, тем жар спора и жажда истины разгорячалась. Люди пришли к отчаянию и ничего не могли понять...». У Достоевского это хорошо. Он метил на Лебезятникова и других героев новой прессы; но ведь он метил на одно, а вещий его гений мог хватать дальше. Да и сон Раскольникова, исцеляющий и заканчивающий (хоронящий) эру его рационального развития, куда как

дальше идет интересов текущей прессы и мелкого политиканства 60-х годов. «Бацилла» споров разрешается кротостью споров. Соня — дитя веры, и погубленное дитя, растоптанное нашей северною цивилизацией. «Спорили... а Сонюто и проглядели, а она тут же, около вас, ходила». Соня и Свидригайлов? Полюсы ли они друг другу? Нет, и опять тут вещей гений Достоевского. Родственное в Соне и Свидригайлове — то, что оба они не суть теоретики (Раскольников). Они суть тело и душа (и оба — погубленные) одного и того же пола в человеке. Будем рассуждать и будем всматриваться. Соня — кротка, кротчайшая из смертных, и вместе — нисколько не безвольна (о, нет!). Но «кротости» нельзя построить умом, кротость есть категория пола. Замечательно, что Раскольников постоянно вспоминал Лизавету: «Она — кроткая». Это Лизавета — солдатка, рожавшая каждый год незаконных детей, за что ее была сестра процентщица. Она ее была, а Лизавета к ней ходила: «Все-таки сестра, своя кровь». И вот Раскольников все припоминал ее испуганные кроткие глаза, когда она отступала перед поднятым топором и даже рук не догадалась поднять. Вторая Соня, с менее печальною судьбой.

Соня все-таки не пошла бы в Сибирь за девушкою, за подругою, пусть она и не имели бы судьбу Раскольникова, характер, ум и душу Раскольникова. Тут... другой пол, нужно же это признать, нужно же иметь мужество увидеть это! Она любила его, т. е. эта кротчайшая и замечательная любовь имеет родником под собою не семинарию, но половую раздвоенность человека. Вот где познается сила библейского глагола: «И к мужу — влечение твое», где указывается простой и натуральный факт неумолчного влечения женщины к мужчине. Пол и половое раздвоение человека потому и могущественны, на него потому и можно надеяться, что он есть сокровище чудес, и между прочим — нравственных. Ничего нет прекраснее любящего человека; ничего нет вернее любящего человека. Все обманет; любовь эта — никогда. Обман начинается, где кончилась любовь; но ведь мы говорим не о «кончилась», ведь начинают «кончать» и «приканчивать» ее другие, и категория «обмана» вся и начинается у них и с них.

3

Иудеи не имеют заповеди любви, а не ссорятся. Мы имеем ее, а поедаем друг друга. Тут странное не в одних нас и не в нашей злой воле: а в том, почему мы не способны и нам не хочется любить. Иногда факт отсутствия в нас любви хочется понять премірно и трансцендентно.

4

«Заповедания» похожи на медали: они висят на человеке, но не суть человек. А законы семени и крови суть человек, и такова именно Моисеева премудрость. Страшен и велик был сей человек и в праве был назвать себя боговидцем.

До чего аскетизм и близость к Богу не имеют между собою ничего общего, видно особенно из одного случая с Моисеем. Он вел уже через пустыню народ (какой момент! какая миссия!); только что дал народу законы, в особенности столь удивительные законы семейного быта; недавно беседовал с Богом; и вот,

имея тестя, сестру, брата, двух детей и жену, он берет себе... эфиоплянку. Но пусть говорит священный текст, к которому мы ничего не прибавим:

«От Киброт-Гаттаавы двинулся народ в Ассироф и остановился в Ассирофе.

И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену эфиоплянку, которую он взял, — ибо он взял себе эфиоплянку. И сказали: одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам?

И услышал сие Господь. Моисей же был человек кротчайший из всех людей на земле (какое определение)!

И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариами: войдите вы трое в скинии собрания. И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа в скинии, позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба.

И сказал: слушайте слова Мои: если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видениях, во сне говорю с ним. Но не так с рабом моим Моисеем, — он верен во всем дому Моему.

Устами к устам говорю Я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит; как же вы не убоялись упрекать раба Моего, Моисея?

И воспламенился гнев Господа на них, и Он отошел. И облако отошло от скинии, и вот Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе.

И сказал Аарон Моисею: господин мой! не поставь нам в грех. что мы поступили глупо и согрешили; не попусти, чтоб она была как мертворожденный младенец (какой язык, какие словообороты), у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела.

И возопил Моисей к Господу, говоря: Боже, исцели ее!

И сказал Господь Моисею: если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была бы она стыдиться семь дней? итак пусть будет она в заключении семь дней вне стана, а после опять возвратится.

И пребыла Мариам в заключении вне стана семь дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам» (Числа, гл. 12).

Факт этот не неизвестен богословам; но замечательно, что у некоторых (Хри-санф: «Религии древнего мира») высказан за это, как за подчинение «чувственности», упрек израильскому пророку. Даже проказа Мариам и страх Аарона, и прямой глагол Божий: «не осуди» — не говорит уже ничего нашему сердцу. Так осела на нем пыль двух тысяч лет аскетизма, что по данному пункту и в данном направлении мы люто идем против самого «Господа сил»...

5

Чайка на море. Как она хороша, будто глотая брызги волн, срезаемых ветром. И где гнездо ее? Мы уже сутки отделились от берега.

6

Христос победил смерть. Между тем аскеты это совершенно переиначили, поставив задачей христианства — победить рождение. Уставы монастырей, обеты

монахов и множество аскетических молитв полны страха перед рождением и перед всем, чем оно окружено. Откуда это?

<1899. 28 ноября>

1

Как неосторожен был древний спартанский обычай умерщвлять хилорожденный детей. Ньютон, когда родился, до того был слаб, что окружающие думали, что он через несколько часов умрет, потом — что через несколько дней. Он жил 87 лет и совершил великое.

¹⁰ Это — не исключение. Об очень многих великих людях записано, что они родились чрезвычайно хилыми. Гений (на наш взгляд) — это неправильность, необычайность и часто это физический или физиологический дефект (Бога слишком много, и материя — разрушена или исковеркана). Хилость, болезнь, слабость, и именно при рождении, есть часто только показатель этой кружащейся «около Бога» материи. Таких надо по преимуществу хранить.

2

Музыка снимает усталость с души человеческой. Музыка — ветер; и душа наша — ветер. Сливаясь, они усиливаются. Вот почему чудная музыка поднимает вихрь в душе.

3

²⁰ Отношение Рачинского (С. А., автор «Сельской школы») к христианству — существенно эстетическое. Все Татево (имение, где он трудится и пишет) укладывается в формулу:

Вечерний звон, вечерний звон,
Как много дум наводит он.

Он имеет почти ландшафтное представление о церкви; но не моральное и не философское и даже не чисто религиозное.

4

³⁰ Никто не обращал внимания на эстетическую сторону Евангелия. Между тем это есть единственная книга, где нет жеста некрасивого, словооборота неловкого, или безобразной строки. Замечательно.

5

Иудеи качаются на молитве (видел в синагоге); египетские статуэтки (в Эрмитаже), самые крошечные, в вершок вышины — все идут. Вот черта родства, бросающаяся в глаза, и которая ускользнула от ученых.

6

Христос есть Евхаристия, сошедшая на землю: причащение человека Богом. «Закланный от сложения мира Агнец». Как много тайн в религии. Что мы в них разобрали? — Ничего.

7

Что есть «суббота» (у евреев)? — Не знаем. — Что есть отрицание субботы (Иисусом)? — Посему тоже не знаем. С этого исследования могла бы пойти большая наука. — «Виноват, маленьким людям нужна маленькая наука».

8

У животных есть душа — ребенка; но только она никогда не вырастет.

Дети, я наблюдал, до дрожи (от нетерпения приблизиться) любят животных; трехлеток неумоимо ловит, хоть и безнадежно, курицу; устал, почти валится, а все еще бредет к избе, к кусту, за который забежала двуногая приятельница. Дети чувствуют животных. Обратное животные что-то святое чувствуют в детях (никогда их не кусают). Интересно бы дитя (но осторожно) внести в клетку хищников: его бы не растерзали. «Вавилонские отроки» в «печи огненной» — среди 20
пламени, но не сгорают. Ужасное воспоминание: в Лесном (близ Петербурга), при пожаре дачи, сгорел мальчик лет трех. Что чувствовали родители... Какая жизнь их потом. Поразительна причина: родители потащили других детей, а этого поручили няньке (ночью впопыхах); она было и понесла, но тут — узел (имущество) под кроватью; она оставила мальчика в кроватке, и потащила и вытащила узел — «за мальчиком еще вернусь», но не вернулась, пламя быстро охватило все. Через 2—3 дня, я еду в конке (из Лесного) и слышу разговор об этом: какая-то другая прислуга защищает, и преобреньким, крепоньким голоском, «свою сестру»: «каждому, батюшко, свое дорого»... Тут не сердце, тут какая-то притупленность воображения. 30

Среди тысяч своих грехов мне отрадно вспомнить связь с этими родителями. Весть о сгоревшем мальчике разнеслась сейчас же, поутру, когда еще головни догорали, и все пепелище полно было угля и воды. Вечер; «вот, ведь, и час всеобщего и их (родителей) отдыха; как-то они отдыхают»... И я встал, и несколько раз (несколько вечеров) вставал и молился Богу об успокоении и облегчении их души. Может быть не хорошо об этом вспоминать, но уж кстати: так-то бы легче нам было всем.

<1899. 19 декабря>

1

Греческая скульптура давала изображение прекрасного тела, но или бессильна была, или не догадалась пролить в него теплоту. Ниобея есть, кажется, единственное трагическое изваяние, Лаокоон имеет боль, но ее в обилии можно наблюдать на наших северных скотопригонных дворах. Это — физиология, а не искусство. Чувство жалости, сострадания или умиления, вообще положительные движения души, не возбуждаются греческими мраморами. Смотри на разные фризы, с бесчисленными конями, точно смотришь во двор конно-гвардейского полка и тамошние затейливые упражнения. Все это оставляет нас холодными. Геркулес, с его знаменитыми мускулами — отвратителен. Самое большее, чего достигает это искусство — удивление. «Они так видели природу, умели повторить ее». Но это недостаточно.

Самое чувство природы было у них внешне. Они не передавали жизни природы. Глаза всегда закрыты, т. е. в душу человека они и не заглядывали, не надеясь, что-нибудь прочесть в ней. «Чтения в сердцах», термин, слишком известный в русской литературе, — не было как в худом, так и в хорошем смысле. Вот уж «не инквизиторы»... Статуи их всегда в позе, но никогда или очень редко — в движении. Вообще пения тела, музыки тела они не передали и, может быть, не заметили. Напр., танец... у них были хоры, степенно двигавшиеся, но не было собственно танцев, не было пляски. Пляска — это уже восток; это — упоение, исступление, то падающее, то подымающееся и, в случае поднятия — это уже «сивиллы» и «пророки», как их дивно изваял Микель-Анджелло. Тут — другой мир, негреческий.

Мир греческий — спокойствие. Для многих это достоинство, но может быть и в праве быть вкус, для которого это — недостаток. Греция умерла, естественно скончалась, а это во всяком случае недостаток. Она даже не жила слишком долго, т. е. слишком прочно. Силы ее были прекрасны, но оне не были бесконечны и даже не были собственно роскошны. Можно сказать «роскошная Сирия», но нельзя сказать «роскошная Греция». Не идет, т. е. неправдоподобно.

И тихо веет ночь сирийских роз бальзамом

— этого стиха вовсе нельзя сказать об Ахайе, Пелопонесе, Аттике. А этот стих таков, что его надо было сказать, и земля не была бы совершенна, если бы к ней не применим был, где-нибудь и когда-нибудь, именно этот стих. Вообще тут историческое *suum cuique* *.

Неприятная черта Греции — излишняя открытость и отсутствие какой-либо тайны. «Таинственная Греция» — опять это не идет сказать, и даже прозаический Рим был чуть-чуть таинственнее эллинов и эллинизма. Это также недостаток. Что за жизнь без тайн? Без сокровенностей? Почти не для чего жить. Всякий народ живет потому, что он видит в себе тайну и любопытствует видеть, как она раскроется. «Тысячу лет буду идти, никогда не устану, а уж увижу чудо». Для этого люди путешествуют и особенно для этого странствуют паломники. В Греции не было чуда, ни даже светского; не говоря о святом. «Чудища» далеких морей, родные Сциллы и Харибды, были сказочным мифом простого невежества. Они

* Каждому свое (*лат.*).

не знали чуда тут, сейчас, возле себя, в сложении мира и тайнодействии мира. Они не коснулись сокровенностей... Они не чувствовали Бога. Как глубока одна простая черта евреев: страх произнести или написать имя, название Божие:

— Зачем тебе оно? Оно — чудно.

Так отвечает богоборцу-Иакову Бог, с ним борющийся в ночи и повредивший ему бедро. Казалось бы какое простое и почти «антропоморфическое» событие, между тем в изложении Моисея это веет на читателя его книги страхом. Вообще чувство религиозного страха навевается Библиею. Грецию можно было исходить вдоль и поперек и сказать в заключение: «Нигде и никаких страхов».

Греция была слишком светская страна — вот ее главный недостаток. Замечательно, что к самому концу ее существования появляется тяготение восполнить именно указанные недостатки. Появляются элевзинские (и другие) «тайнства», вовсе не упоминаемые у Гомера, т. е. вовсе не существовавшие в древности. Платон разделяет свою философию на опубликованную и «тайную» (акроамфтическую) и несколько прячется в тени своей академии. Пифагор основывает тайный союз. Но все это не древне, не исконно, и, может быть, все это не вполне оригинально. И Платон, и Аристотель были посетителями чужих стран. Наконец, европеец начинает быть «соглядатаем» человеческих душ. Взамен смешных Харибд и Сцилл появляются отчасти настоящие Сциллы и Харибды, но тут полез Восток... чудовищный и неодолимый. 10

Сгинь нечистый!...

Но заклинания уже не действовали. Это Хоме-Бруту в «Вие», внутренний голос говорит в роковую минуту:

— Закрой глаза и не смотри.

Хома-Брут взглянул — и умер. Любопытствовал. Жена Лота обернулась на горящие Содом и Гоморру — и обратилась в соляный столб; Ева, общая прародительница рода человеческого, тоже любопытствовала — и «умерла для Бога». Удивительна судьба любопытства в истории. Во всяком случае, едва глазами Александра Македонского Греция взглянула на Восток — она умерла, как и бедный семинарист Хома-Брут. И соблазнительно, и страшно было посмотреть; и смертно. 30

Восток — тайна. Я объясню это просто тем, что Азия есть самый большой, крупный, тяжеловесный материк, и естественно главное нашей планеты сосредоточивается в Азии. В самом большом помещении самое большое сокровище. Греция была светелочкою, мезонинчиком, или, пожалуй, фигурным крыльцом. Это мало, хотя, конечно, это изящно; и хотя привлекательно, но не увлекательно. Это нравится в молодости, но в старости хочется другого.

А. ЛЕВЕНСТИМ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ НИЩЕНСТВО, ЕГО ПРИЧИНЫ И ФОРМЫ. БЫТОВЫЕ ОЧЕРКИ

С.-Петербург, 1900. Стр. 160

40

Один чрезвычайно мудрый человек однажды сказал мне фразу, глубоко меня взволновавшую: «Хорошо, что худо; если бы не было худо, не могло бы быть лучше». Фразу это он сказал в ответ на мои разные сетования и общий печаль-

ный образ моей мысли; а хотел ею сказать ту простую и важную истину, что человек послан на землю для труда, и зло, несчастья, пороки суть тема, без которой и не могла бы быть выполнена наша земная миссия. Поэтому утопия совершенства и счастья не только невозможна, но и не нужна: она построена нервами, но в ней не приняты в расчет мускулы. Порок, несчастье, горе развешивают душу, как простор для вечного труда, вечных усилий человека. Вот почему и книжка А. Левенстима, могущая навести крайнее уныние, при правильной точке зрения на нищенство поднимает крылья: «Да, плохо, но — может быть лучше».

- Она составлена из двух (переработанных и согласованных) докладов автора:
- 10 «Профессиональное нищенство по данным русской и иностранной литературы» и «Нищенство в России по отзывам начальников губерний». Оба доклада имели официальный характер и были только выполнением поручения министерства юстиции. Автор воспользовался не только богатым статистическим материалом министерства внутренних дел, но он перечитал, не говоря о книгах, и множество очерков, заметок, сведений в провинциальной печати, разных «Губернских Ведомостях», «Епархиальных Ведомостях» и т. д. Это-то и сообщает книжке большую цену, ибо она дает не панораму нищенства, но пестрый и мелкий узор нищенства на Руси. А его много. Оказывается, уже в 1877 году было 293 445 «промышленных» нищих, и в настоящее время, как предполагает автор, число это удвоилось
- 20 (стр. 2). Нищенство, как нам думается, имеет следующие родники: 1) расстроенность труда, 2) расстроенность быта, 3) нравственную невоспитанность индивидуума и общества. В самом деле, если бы мы имели культуру труда, гениальную трудовую цивилизацию, то каждый способный трудиться трудился бы, а не способный был с любовью и заботой призрен. Этого нет, и потому есть состояние нищенства и промысел нищенства. Далее в нашей цивилизации не только есть бобыль-человек, т. е. брошенный, никому ненужный человек, которому некуда и не к кому приклонить голову, но в таком положении бобыля иной раз очутится целая деревня («погорельцы» — нищие), есть народности («цыгане» — нищие), есть почти целые классы, промежуточные, неясные в своем положении («бродяги», «незаконно-рожденные»), которые бросаются или в проституцию, или в нищенство. Вообще все это дело неустроено и пожалуй даже расстроено. Кандидат
- 30 в нищие есть всякий человек, иногда очень честный, очень трудолюбивый человек, который оборвался, попал в несчастье в своем сословии или в своей профессии. Вот неумение, а частью и нежелание поддержать падающего человека и составляет нравственную невоспитанность человека, которая уже порождает индивидуальную невоспитанность, как озлобление, как лень. Да, горька Русь, да и вообще горька земля и горько на земле.

- Но «худо, значит может быть лучше». Позавидуем немцам или, по крайней мере, упрекнем себя: тогда как в большинстве наших губерний число богаделен
- 40 колеблется около полсотни, ниспадая до 9 (Архангельская и Екатеринославская) и восходя до 75, — в Лифляндской, напр., губернии 337 богаделен, в Курляндии — 180. Даже в Московской губернии (без города Москвы, о котором «нет сведений»), где так много богатых купеческих пригородов (уездные города), богаделен только 104, а в Петербургской губернии — только 33. Основываясь на этом, можно сказать, что «св. Русь» не столько свята в самом деле, сколько носит «облаченье» святости. Ибо немцы, хотя и «нехристи», а сирот своих не забывают, а наши купцы, хотя и «христолюбцы», а сирот своих забывают. Но «где пло-

хо, там может быть лучше». В заключение — смешная картина на печальном фоне: в Париже есть, так сказать, адрес-календарь для пользования профессиональных попрошаек, где даны не только адреса, но и краткая биография и характеристики возможных благотворителей. Приведем из него любопытную страничку: «Г<-н> А. Богатый человек, легко дает 5 франков, платит за квартиры в случаях выселения. Г<-н> Б. Никогда не дает денег, просите платя. Г<-н> В. Занимается только детьми. Спрашивайте пеленок для новорожденного и белья для матери. Г<-н> Д. Благочестивый дом, занимается узаконением браков. Г<-н> Е. Старый республиканец. Представиться ему, как «жертва поклонников старого порядка и священников», и т. д. Это сами попрошайки составили итог своей практики и написали руководство «для взаимного обучения». Печально, конечно, но уж какой тут добродетели спрашивать! А впрочем, в некоторых точках, особенно в самом раннем детстве, тут, без сомнения, есть очень горячие души; ведь «душка — ангел Божий», и есть счастливый возраст, где она не померкла. «Может быть лучше» и в этой юдоли «скрежета зубовного», и «плача», а также и плутовства.

Н. С. ТИХОНРАВОВ. СОЧИНЕНИЯ

Том первый. Древняя русская литература.

Том второй. Русская литература XVII и XVIII вв.

Том третий, часть первая. Русская литература XVIII и XIX вв.

Том третий, часть вторая. Русская литература XVIII и XIX вв.

Приложения. Москва. 1898. Страниц: 358; 137 + 375; 68 + 602; 93 + 423.

С портретом и факсимиле Н. С. Тихонравова

Эта рецензия является несколько поздно; но она выполнит свою скромную задачу, если даст прекрасному и дорогому для всякого образованного человека изданию еще немного новых читателей. И по важности содержания, и по внимательности редакторского труда, и, наконец, по очевидной дороговизне расходов на издание (гг. М. и С. Сабашниковых) — эти четыре тома представляют выдающееся явление. В духе и смысле издания есть и прекрасная нравственная сторона: это два поздние ученика покойного Тихонравова, гг. М. Сперанский и В. Якушкин, приложили огромный труд и старание, чтобы не дать рассыпаться и забыться образу своего учителя и передать всему обществу тот свет, которым он напоял студенчество Московского университета. Кроме предисловий и объяснений, изданию предшествует статья академика А. Пыпина: «Н. С. Тихонравов и его научная деятельность». Она могла бы быть сжатее, как все работы г. Пыпина, которые выиграли бы в удельном весе, если бы были (употребим химический термин) не так сыры и богаты содержанием воды. В издание вошло много неизданных статей Тихонравова, напр., огромное исследование «об отреченных книгах», статья о Жуковском, биография Кострова, статья «Гоголь и Пушкин», «О Гнедиче», «Обзор переводов Гомера на русский язык», «О заимствованиях русских писа-

телей» и чрезвычайно интересная биография Новикова. В издание однако вошли именно статьи, заметки, вообще сочинения Н. С. Тихонравова, а читанные им курсы лекций в университете — не вошли. Об этих лекциях имеем от редакторов обещание: «Если окажется возможность, в будущем предполагается приступить и к отдельному изданию курсов Тихонравова. В основание издания должны быть положены литографированные и отчасти рукописные студенческие записки: собрание этих записок по возможности за все время преподавательской деятельности Н. С. Тихонравова, сравнение их содержания и установление окончательной редакции данного курса требуют особой работы и столь значительного времени, что теперь не представляется еще возможным сказать, когда издание курсов могло бы быть начато. Издатели будут очень благодарны всем ученикам Тихонравова, которые сообщат указания, какими литографированными и рукописными курсами они располагают». Лекции Тихонравова имеют огромное учебно-университетское значение: лично мы помним из времени студенческих годов, как иногда, читая части годового курса, мы параллельно обращались к разным печатным «Историям русской словесности»: разница в количестве материала и в освещении предмета, эпохи, писателя была такая же, как, например (возьмем художественное сравнение), разница между Гоголем и Лейкиным. Просто не верилось, что один предмет, русская словесность, трактуется здесь и там. Кстати, напомним издателю следующее: Н. С. Тихонравов в начале каждого курса задавал студентам темы на годичные сочинения. И вот между студентами считались знаменитыми те 4—5 сентябрьских лекций, в которых он объяснял темы. Тут-то и происходило удивительное освещение им разных уголков нашего словесного, песенного, писанного и печатного мира, так как темы входили каждая в который-нибудь уголок литературы и мудрый профессор считал себя обязанным «вести» ум студента в изучение данной эпохи, данного памятника или данной исторической личности. Студенты очень ценили эти объяснения тем, и, без сомнения, если не все, то очень многие из них записаны. Издание их было бы очень ценно. Во вторую часть третьего тома настоящего издания вошли некоторые еще студенческие работы Тихонравова, и по ним видно, до чего ум его был постоянно строго настроен, как этот ум был пытлив и, так сказать, компетентен. Про Тихонравова можно сказать, что он во всю свою долгую жизнь не «болтнул» ни одного слова.

Переходя к внутренней оценке Тихонравова, прежде всего скажем, что Ф. И. Буслаев и Н. С. Тихонравов составляют вдвоем сокровищницу истории русской литературы, переработав ее всю, не оставив камня на камне от прежних (эстетических) точек зрения на словесные памятники и установив на них новое воззрение, как на глыбы, как на обломки старых культур. Памятник — зеркало эпохи, и, смотря в него, можно изучить эпоху, можно изучать человека и время.

40 Так они и поступали, однако не доктринерствуя о своем методе, а оправдывая его приложением к делу. Буслаев был более гениален, чем Тихонравов; он был неизмеримо более его поэт и философ, и Тихонравов, если его поставить рядом с Буслаевым, выравнивался с ним только как первоклассный ученый. Нужно заметить, что и Буслаев, изданием «Лицевого Апокалипсиса» (старинные миниатюры к Апокалипсису), показал себя первоклассным исследователем рукописного материала. Но в этой области Тихонравов уже не знал соперничества и превзошел Буслаева численностью удивительных своих работ. Таковы его «Памятники от-

реченной литературы», «Русские драматические сочинения 1672—1725 гг.» и, наконец, его классическое издание творений Гоголя, сразу же обратившее на себя внимание всей России, — здесь образец отношения ученого к художественному слову. Вообще, как издатель памятников словесности Тихонравов представляет собою феномен, неповторимый или трудно повторимый. Нужно же о *каждой* букве справиться, как она стоит в подлинной рукописи усталого или больного писателя (Гоголь)! Читая в издании Тихонравова, уже знаешь, что читаешь подлинного Гоголя, и эта исключительная и редкая черта палеографа-библиофила соединялась в Тихонравове с огромным наблюдательным умом, который, уже созревший на студенческой скамье, 40 лет размышлял над общим ходом умственного развития и умственного строя России. Но Тихонравов не мог ни задумать, ни выполнить такой гениально свежей книги, как «Мои досуги» Ф. И. Буслаева (издана им в старости, под конец ученого поприща). В Тихонравове ученый не переходил в писателя-творца, в импровизатора, а Буслаев был вечное и необъятное творчество. Поэтому одного мы называем, не умаляя, талантом, а другого готовы назвать, не преувеличивая, гением. Во всяком случае, обоим им Россия чрезвычайно обязана.

Д. П. ШЕСТАКОВ. СТИХОТВОРЕНИЯ

Издание П. П. Перцова. С.-Петербург. 1900 г. Стр. 102

В лице г. Шестакова наша поэзия приобретает не пышное, но твердое и очень чистое обещание. Судя по посвящению А. А. Фету и первой строке в нем:

Твой ласковый зов долетел до меня —

маститый почивший поэт приласкал робкую музу неофита; но, судя по содержанию всего сборника, неофит и в самом деле поднес к благословию увенчанного старца нечто ценное, а не одно «парнасское брянчанье струн». Это ценное — душа поэта, необыкновенно чистая и какая-то сосредоточенная, серьезная... Можно поручиться о г. Шестакове, что он никогда не ползет в кривое и безобразное, в сучок и корень, — к чему есть такое тяготение у поэтов наших дней, а всегда останется пышным или незаметным, ароматным или без запаха, но непременно и только цветком. 26-го мая этого года он написал Пушкину:

С тихой и светлою думой твои пробегаю страницы:
 Это — безбрежная даль, родины милой поля,
 Это — горячая кровь безбрежно широкого сердца,
 Это — свежо и легко мир облетевшая мысль.
 Только великой стране дается великий художник;
 Лишь океан красоты перлом бесценным дарит.

В форме есть подражание знаменитому стихотворению Пушкина, написанному по смерти Дельвига:

Грустен и весел вхожу, художник, в твою мастерскую,

— но мысль, сложенная в эту подражательную форму, вполне самостоятельна и очень полно очерчивает и тонко подчеркивает существенные особенности пушкинского гения.

У поэта совершенно отсутствуют мажорные тоны; но и минорные у него нигде не приобретают резкого, колющего, ноющего тона, оставаясь на степени легкой грусти, почти всегда разрешающейся в поэтическое видение. Среди детской русской антологии, т. е. стихотворений о детях и к детям, высокое место займет следующий почти непосредственный порыв:

- 10 Молитесь! молитесь! Уж бледные крылья
Бездушная гостя раскрыла над нею.
Лежит, разметалась в томленьи бессилья,
Как птичка больная, малютка родная...
Я истине верить не смею!
Давно ли, давно ли в улыбке счастливой
Ее раскрывались румяные губки,
И смех разливался волной шаловливой,
И солнце, казалось, лишь ей улыбалось,
Ей — маленькой нашей голубке!
- 20 Молитесь, молитесь! Чуть теплится чутко
Над детской постелькой ночник, замирая;
И ангелы нежно целуют малютку
В усталые глазки, и светлые сказки
Ей шепчут, с собой увлекая...

И страшно, и прекрасно, потому что страшная действительность так живо нарисованной смерти почти истребляет в душе способность к восхищению; но заключительный образ манит каким-то лучшим обещанием и убаюкивает самое впечатление смерти.

- 30 До половины сборника посвящено переводам из гомеровских гимнов («К Гее, всеобщей матери» и «К Селене»), из Палатинской антологии, Марциала, Микель-Анджело, Гёте, Вальтер-Скотта, Камар-Катиба, Теофиля Готье, Х.М. д'Эрдиа и Самена. Вот два перевода из «Западно-восточного Дивана»:

- 40 Книга книг, из дивных диво,
Книга вечная любви —
Я читаю терпеливо
Строки нежные твои.
Капля счастья, волны муки,
Море плача и тревог;
Вот отдел — тоска разлуки,
Вот свиданье — пара строк.
Объяснений, уверений
Без числа и без конца...
Ты, Низами, светлый гений,
Понял робкие сердца!

Ты борьбе неразрешимой
 Разрешение нашел —
 Ты любимого к любимой
 Через страдания привел.

Стихотворение называется «Моя хрестоматия» и напоминает известное стихотворение Пушкина, где он исчисляет своих любимых поэтов. Вот другое, шутливо-скептическое, что так мало идет и редко встречается у серьезных мусульман:

Други, вечен ли коран? —
 Спрашивать не след.
 Други, создан ли коран? —
 Я не знаю, нет!
 Пусть, по долгу мусульман,
 Книгой книг зову коран,
 Но вино живет во век...
 Знай и веруй, человек —
 Это ангелов творенье,
 Исповедуй без сомненья.
 Смело веруй, смело пей, —
 Близок Бог душе твоей.

10

20

В переводах есть та симпатичная черта, что они избраны собственно для выражения какого-нибудь русского настроения, настроения русской души. Это — не переводы ученого человека или холодного эстетика, а несколько ленивого поэта, которому иногда не хочется выдумывать свои формы и он пользуется чужою, но всегда для выражения своего чувства. Автору нужно приложить величайшее старание, чтобы не испортить этого прекрасного сборника последующими слабыми произведениями. Ему надо быть вдумчивым и осторожным и не покидать своей уединенной сосредоточенности.

ПОПУТНЫЕ ЗАМЕТКИ

<О русской культуре>

30

В обществе всегда много говорили и говорят теперь об культуре, говорят о ней вообще и иногда сравнивают английскую культуру, немецкую культуру, культуру романских стран — в их оттенках, в их выгоды для заимствующего. Почему же нет речей о русской культуре? Если есть нация, есть и культура, потому что культура есть ответ нации, есть аромат ее характера, сердечного строя, ума. Читатель уже смеется: «А, знаменитый русский дух!..». Пожалуй.

«Русский дух», как вы его ни хороните или как ни высмеивайте, все-таки существует. Это не непременно гений, стихи, проза, умопомрачительная философия.

фия. Нет, это — манера жить, т. е. нечто гораздо простейшее и, пожалуй, мудрейшее. Не всякий философ имеет красивую манеру жить, но решительно всякий человек, красиво живущий, есть непременно прекрасный философ, но только не рефлексивный, а действующий. Сказать, что русские совершенно не имеют своей манеры жить, думать, умирать, обедать, читать, сочинять — нельзя. А стало быть и сказать, что так-таки совершенно нет «русского духа» — было бы опрометчиво. «Русский дух» есть у типографского наборщика, который станет набирать эту статью, у меня, ее пишущего, и в том способе, как один и другой из нас проведет свой даже обеденный час.

- 10 Как есть «русский дух», так есть и русская культура. Когда мы спрашиваем, «где русская культура», то мы собственно спрашиваем, «где отделение русской словесности в Императорской Публичной библиотеке, которое обилием и ценностью превосходило бы французское, немецкое и т. д.». То есть мы предлагаем русской культуре немецкий вопрос и считаем ее отсутствующей, потому что она не безлична, не повторяет. Я иначе дышу, не в физиологическом, а в духовном смысле — вот вам и вся русская культура, и совершенно достаточная. Библиотека у нас иностранная, но в библиотеке есть г. Стасов: вытащите мне из «Немецкого моря» второго Стасова, найдите его в Англии, во Франции — и я отрекусь от русской культуры. Культура — это *мы*, это *я*, насколько мы не безличны. А ка-
20 жется мы не безличны. «Распущены» — это так, но это другой вопрос; «не образованы» — о, всеконечно, но это совершенно, совершенно третий вопрос. Русская культура — это покров русского духа. Нас закраивал совершенно иной портной, чем француза или немца, и не знаю, даст ли нам Бог долгий век, но пока мы щеголяем в своем платье и на свой манер.

- «Но где же окончательный смысл этого духа и где его вечные плоды?» Этакий нетерпеливый и чисто русский вопрос. Русский все смотрит в вечность, «подай» ему «вечность». А где была «вечность» в смысле завершения, в смысле окончательного плода, неумирающего результата у римлян в пору борьбы с Аннибалом, т. е. в пору, довольно близкую к завершению? «Вечность», как вековечный плод,
30 объявляется только в последнюю минуту; «вечность» — это всегда угол, к которому сходятся сближающиеся линии, и само собою разумеется, что он, этот угол, является тогда, когда движения этим линиям более нет. «Умрем, тогда видно будет»; и то, что теперь, пока, в нашей истории «ничего в волнах не видно», т. е. не видно еще окончательного и всемирно-значительного плода нашего тысячелетнего существования, есть не причина для плача, а причина скорее для бодрости. Значит — долго жить.

- Но — что-нибудь из черточек русского духа! Я думаю, две главные: мягкость и окончательность (неполовинчатость). Сурового человека русские не выносят, разве на минуту. Даже знаменитые наши полководцы, Суворов и Кутузов, были:
40 один юморист, а другой — в пору такой борьбы, когда наше национальное «я» было поставлено на карту, — все-таки несколько не жестокий, даже не суровый человек. Да, вынести «отечественную» не только в имени, но и в смысле, войну и сохранить в ней спокойствие, а местами и прямо добродушие — это что-нибудь значит для национальной характеристики в смысле еще не явленной миру благодати. Война есть жестокое дело, и вместе, она ведется расчетливо, с расчетом. Таковы и были римские войны и римская политика, как система рассчитанной жестокости. Но у нас не только политика, но и самая война никогда не была жестоким

расчетом. Такой войны мы не вынесли бы, впали бы в нервную горячку. Самая важная причина некоторого нерасположения у нас к гениальному Лермонтову заключается в том, что его гений, так сказать, омрачается мрачностью. Истинно серьезное русским видит или непременно хочет видеть только в сочетании с бодрой веселостью или добротой. Шутку любил даже Петр Великий, и если бы его преобразования совершались при непрерывной угрюмости, они просто не принялись бы. «Не нашего ты духа», — сказали бы ему. Но он работал и шутил. «А! Это — нашего духа; принимаем тебя и твое».

Но более обещающая черта — это русская окончательность. Разве не «окончательны» Грозный и Петр, не «целостен» Суворов? Суть «окончательности»¹⁰ заключается в доведении порыва, в чем бы он ни заключался, до самой его последней точки, дальше которой и двигаться нельзя. Пожалуй, эта черта татарская, тут есть немножко Тамерлана. Но ведь в русской крови вообще есть чрезвычайно много примесей, и это не худо; от этого она гораздо богаче других славянских кровей. Разберите вы у римлян, где кончался этруск, где умбр, где латинянин. Увы, даже имя «латины» есть имя врагов Рима!

Итак, быть бы богатым, т. е. быть бы даровитым в своем «я»; а откуда это богатство «я», с Востока оно или с Запада, от варяг, половцов, древлян, кривичей, от чуди или от «татарвы» — детям Адама мало нужды. Договорим же об «окончательности»: разве наше старообрядство, с его «Исусом», наша безпоповщина²⁰ с ее вечным клокотанием новых и новых подразделений сект; наш Разин и Пугачев, как представители анархии, Сперанский — как представитель порядка и формы, не суть самая красноречивая иллюстрация того, что во всяком движении дойти до «последней точки» раз принятого направления есть упоение русского духа, есть поэзия русского духа.

Вот эта-то черточка «окончательности» есть главный залог того, что мы далеко пойдем. «Окончательность» есть абсолютное; и у нас это абсолютное выражается не в мышлении, как оно, медленно зрея, выразилось у немцев в философии Гегеля, а в самой крови нашей, в горящем огне желаний. Мы абсолютны в движении и даже именно в историческом движении. Т. е. так или иначе, но история наша³⁰ завершится чем-то абсолютным, конечно по смыслу и по ценности. Замечательно, что и великие наши писатели, все имели какую-нибудь абсолютную мечту. Вспомним Гоголя, вспомним Достоевского, посмотрим сейчас на Толстого. Все это — абсолютисты сердца. Знаете, что у нас был даже абсолютист здравого смысла?! Это — Пушкин. За ним не пошли полосы русского развития, как за другими; но все море русской жизни с ее крепким здравомыслием в сущности отражает Пушкина, или, пожалуй, Пушкин отразил его. Но и здесь здравый смысл доведен до абсолютности же.

ПАМЯТИ Дм. Вас. ГРИГОРОВИЧА

22 дек., почти внезапно, скончался Д. В. Григорович. Еще на этих днях можно было встретить чрезвычайно престарелого (72 лет), однако совершенно здорового и бодрого, писателя в петербургских гостиных, живо интересующимся во-

просами дня из области особенно ему дорогой за последние годы искусства. Казалось, смерть далека от него. Внезапно происшедшее кровоизлияние в мозг, следствие старческого (известного) перерождения артерий, сразило его как удар и поразило испугом и горестью Петербург, Россию, литературу.

Покойный не был гениальным умом, ни гениальным характером; но, до известной степени, он сыграл гениальную (незабываемую, неизмеримо важную) роль в развитии общества и литературы, попав в исторически важный момент в центральную точку духовных и материальных интересов своей страны. Он не был «народником» в установившемся впоследствии смысле; он был русский барин по воспитанию, по положению, по всей манере литературного письма, по всей совокупности духовных своих интересов (художественных) и даже по особенностям рождения (мать — француженка): но он есть родоначальник всего «народнического» движения в литературе и в жизни, а так как это движение без малого обнимает всю русскую жизнь за последние полвека, то его вполне можно назвать дедом русского общества за эти полвека. Таким он стал, потому что еще ранее Тургенева обратился к изучению деревенского, крестьянского быта и написал в 1847 году повесть «Антон Горемыка», облетевшую всю Россию и сообщившую, конечно на подготовленной почве, новое направление мыслям этой России: направление интереса к крестьянину, любви к крестьянину, сожаления о печальном его положении (крепостное право) и желания его освобождения. Ничего не было ударного в этой повести, и сам Григорович относился к своей работе чисто художественно, не ожидая ее действия и не предвидя огромных ее последствий. Как он объяснял потом в своих «Воспоминаниях», пребывание в родной деревне, куда он вернулся из Петербурга, где не удавалась ему ни литература, ни жизнь, обратило просто его внимание, как беллетриста, как художника, как литератора, искавшего тем, — к новой возможной теме письма из народной жизни. Мягкий его характер, кое-какие неудачи, — не потрясающие, однако — в жизни, общение с писателями как Некрасов, Достоевский, Тургенев; сумма всех этих условий определила колорит письма, нежный, сочувствующий, страдающий.

На вершине горы стоял огромный ком снега: он осторожно его тронул, без преднамерения, без усилия. И ком покатился по нужному, наилучшему, конечно уже подготовленному (в психике общества) направлению и докатился до 19 февраля 1861 года. День этот — освобождение крестьян. И пока оно помнится, — а оно никогда не забудется — будет помниться и имя автора «Антон Горемыки».

Последующие его труды, из которых необходимо назвать «Рыбаки» и «Проселочные дороги» (1852 г.), «Переселенцы» (1855 г.) — были хороши, были, пожалуй, прекрасны, но ничего очень выдающегося не представляли. Гениальная роль его была сыграна, даже без поправок и дополнений, и все остальное было штрихами, подмазкою, и даже без усилий и страсти, той старой и исторически необходимой картины, которую он создал, которую он почти нашел. Но истинно прекрасная сторона его спокойного ума заключалась в том, что он и не напрягал себя, не мучил, и не создал ничего испорченного или нелепого, что непременно тысячи других писателей создали бы около такого успеха и такой темы. Это классическое самообладание — прекрасная черта его времени и его характера, характера и времени 40-х годов. Он весь ушел, спокойно и не торопясь, в мир художественных интересов, живописи и технического искусства. Нельзя не подчеркнуть, что в этом, казалось бы, личном увлечении выразилось очень тонкое предчув-

ствие того, что возможно и что желательно у нас в наступающем веке: тысячу лет сельская страна, Россия, расширяет область своего творчества, труда, быта. Это — техника, в мир которой она вступает. Но, великая художница, она без сомнения внесет сюда вкус, т. е. она создает художественно выраженную технику, и вот нам кажется, что старческие заботы и интересы Григоровича отвечали и даже предугадывали, делали шаг вперед перед тем, что не сегодня-завтра заворочит всю Россию. Мы можем обмануться: но не повторяет ли и здесь Григорович того незаметного, но первого, самого раннего движения, которое он и в литературе совершил. Последние годы он был директором музея Императорского общества покровительства художеств, которого основание и широкое развитие всецело составляет общественную заслугу покойного. Здесь он устроил огромную библиотеку, кабинеты наглядных пособий; организовал при обществе литографское и типографское дело; и все оживлял своим интересом, своим участием.

Кроме своей главной, неоценимой услуги, Григорович был дорог русскому обществу как представитель и как выразитель самого изящного периода русской литературы — как друг и сотрудник Тургенева, Достоевского, Гончарова, Островского. Все они как бы вышли из одной колыбели, из одного исторического дня России. И Россия не может не благословлять эту колыбель, этот славный день, когда ей родилось столько утешительного, гордого, сияющего. Россия хоронит свою дорогую звездочку, и естественно горько ее оплакивает.

23 декабря 1899 г.

ПАМЯТИ БЕЛИНСКОГО

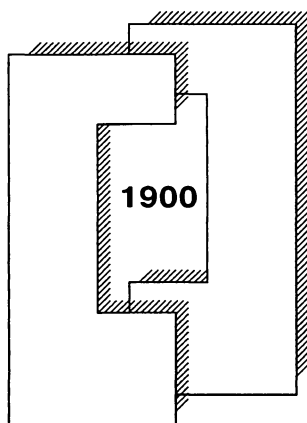
*Литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов.
С 3 фототипиями. Издание Пензенской общественной библиотеки
им. М. Ю. Лермонтова. Москва, 1899. Стр. 568*

Всякое историческое явление, несущее в себе самом (незаимствованный) свет, силу, ценность, приобретает или имеет тенденцию приобрести, имеет право приобрести какой-то аромат святости. Много правды, следовательно, огромный свет; и как его концентрация, последний небесный луч — святость. Образуется настоящий культ, живущий внутри отдельной маленькой культурки; есть «святые», «мощи», как и живые герои. Мы говорим, что тенденция к этому и даже на это право обращается решительно везде, где люди очень любят, очень трудятся, очень много думают. — Русская литература, первоначально не имевшая других целей, как «сравняться с Западом» и получить своих «Пиндаров» и «Расинов», очень скоро стала серьезнее, приобрела чрезвычайную серьезность. Она углубилась; стала оригинальна; свои думы поднялись, свои заботы; и о «Пиндарах» скоро было совсем забыто. Литература наша — это теперь огромное «я», не в смысле гордости, но ценности; ума, в ней разлитого, и порою настоящей святости, какую светились отдельные в ней лица. Назвать ее «душою» общества нисколько не будет преувеличением: и при довольном вялом движении собственно «наук» у нас, при увядающем существовании иных огромных и тоже ценных «я», она потому

и остается самой энергичной и, так сказать, «живою душою» среди множества еще иных, уже померкающих «душ».

Сборник в память Белинского невольно наводит на эти мысли. Какие еще из частных явлений вы найдете, где люди сами собою, без внешнего понуждения, поманились бы к этому взрыву чувств, усердию труда о памяти и над памятью умершего 50 лет назад человека. А пройдет 100 лет — и опять вспомнят, никак не тише, а, может быть, и ярче еще. Это — культ и, повторяем, это культура. И вот — свои «мощи», свой «праведник». Пожалуй, скажут недалекие, что все это «не по формуляру». Как будто не сказано было некогда о любви и *только одной любви*, что в ее сущности заключен «весь закон и все пророки»: а кто же отвергнет, что и Белинский весь горел любовью, и над его памятью выются «огненные языки» тоже чистейшей и благороднейшей привязанности и сожаления. Так что все выходит даже «и по формуляру».

Содержание «Сборника» очень ценно в чисто литературном смысле. Четыре с половиной странички гр. Л. Н. Толстого («Окончание малороссийской легенды: Сорок лет») — исполнены давнего его мастерства. «Без Бога и без закона — нельзя», «все равно — замучаешься»: вот моральная его тенденция. Фабула — кончина убийцы, коему сын разъяснил, что ни «греха» нет, ни «Бога», ни «суда», а только борьба за существование. Отцом, естественно, овладевает страх, что — как богатый старик — он сам стоит у сына «поперек существования», заложил собой дорожку к счастью (= «богатству»). И вот он от всех отчуждается, всех опасается, а одновременно всем начинает навязывать мысли о суде и Боге, в которых сам не верит, но в которых единственная гарантия, что его не съедят собственные дети. Есть три крошечные рассказа Ан. Чехова: «Оратор», «Неосторожность», «В бане»: мастерство письма как манеры, неважность содержания, шарж в психо-бытовых чертах. Чудные краски и рука, но затем — точки... Хорошо небольшой рассказ г. Н. Златовратского «Сон». Из серьезных статей — лучшая «Памяти Белинского» проф. Н. И. Стороженко, «Белинский, его друзья и враги» г. В. Якушкина; очень интересен этюд г. Слонимского «Профессия писателя». Много хороших стихов; много впервые опубликованных писем Белинского, Тургенева, П. В. Анненкова, гр. А. Толстого, Гончарова, Салтыкова, Некрасова и Чернышевского.



ТАТЕВСКИЙ СБОРНИК С. А. РАЧИНСКОГО

СПб., 1899. Изд. *Общ. ревнителей
русского исторического просвещения
в память Императора Александра III*

На переломе двух столетий приятно оглянуться на прошлое и войти в общение с деятелями давно отошедшими, но оставившими по себе добрую память в их делах и творениях. Такого рода удовольствие испытывается при знакомстве с «Татевским сборником», над изданием которого потрудился С. А. Рачинский, воспользовавшийся для его составления теми драгоценностями ближайшей и более отдаленной старины, которые в виде писем, семейных записей, автографов, рисунков, портретов, летучих стихотворений и прозаических отрывков, не попавших доселе в печать, хранятся как реликвии в старом доме села Татева, принадлежащем сестре его, В. А. Рачинской. ¹⁰

В сборнике этом читатель встретится с изящным, глубоко сердечным поэтом Е. А. Баратынским, сверстником и другом Пушкина и Дельвига, с Д. А. Валуевым, одним из первых и ревностнейших славянофилов, хотя сравнительно и мало известным; с кн. П. А. Вяземским, с В. А. Жуковским, И. В. Киреевским, И. П. Мятлевым, кн. В. Ф. Одоевским, К. К. Павловой, Н. И. Пироговым, Самариным (Ю.), с графиней Салиас, гр. Сологубом, со многими интересными сверстниками и современниками этих лиц, оставивших столь яркий след в русской культуре, несмотря на тяготевший над нею тормоз, на который редко кто из деятелей того времени не жаловался (цензура не пропускала, между прочим, Одоевского). Но люди не теряли веры в будущее, надеялись, что труды их принесут пользу, — и в этом смысле знакомство с деятелями первой половины XIX столетия в России может быть особенно назидательно. Нельзя не быть признательными Обществу ревнителей русского исторического просвещения за издание «Татевского сборника», являющегося одним из наиболее ценных изданий общества. ²⁰

А. Н. БЕЖЕЦКИЙ. МЕДВЕЖЬИ УГЛЫ. ПОВЕСТИ И ОЧЕРКИ

*Под небом голубым. — Итальянский ветеран. — Венеция. —
Милан. Изд. 3-е. А. С. Суворина. С.-Петербург. 1899*

30

«Россия тем-то и хороша, что в ней до сих пор найдется для доброго солдата медвежий уголок, где можно слегка подраться. Это малая война — отличная школа». Этот ответ офицера ученому зоологу, который следует за громадою

войск и, ворча на войну и на военных, собирает разных козявок, — объясняет заглавие сборника.

Действие разворачивается в Туркестане и сосредоточивается около взятия штурмом городов Кара-Тугая и Ахчабулака. Нужно заметить, что «малая война» искалась офицерством, как единственная «школа», в которую можно было ходить и там подучиваться за полным закрытием всех остальных школ, т. е. за полным всесветным миром. Великолепно очерчена фигура жестокого и холодного Марычева, чуть-чуть напоминаящая лермонтовского Печорина и другого живого нашего Печорина — Скобелева. Прелестны фигурки молоденьких офицеров, почти мальчиков, с их воспоминаниями о Петербурге и мечтами о Георгии. Техника войны передана превосходно. Куски мяса мешаются с чинопроизводством, которое, подвигаясь в войсках ту же и более в зависимости от минуты, оказывается, тревожит генералов, полковников, офицеров и юнкеров гораздо мучительнее и садче, чем штатских столоначальников и начальников отделений. Решительно, в бой ведет не пыл Беллоны (римская богиня войны), а пыл, да самый знойный пыл этого чинопроизводства, крестов и бантов. И такова натура человеческая, что это нисколько не задевает существа дела и не умаляет человека: дошло до «дела» — и все эти казалось бы (на недалекий взгляд) «людишки» ведут себя и действуют, как подлинные герои, без какого-либо умаления перед римлянами. Впрочем, что же, ведь и римляне сражались за разноцветные полосы на тогах, которые вместе и с тогами для нас только полотняные тряпки! Читатель всегда с особенным интересом следит за расположением войска в битве, и вообще отчетливость военно-технической и особенно стратегической стороны составляет большое преимущество этих легких и изящных эскизов; быт и разные бытовые сцены не затеяют у г. Бежецкого войны. А то в других военных рассказах только и слава, что «война», а на деле — полный «штатский» интерес, совершенно закрывший собою ружье и штык. Внимание автора везде сосредоточено или на ходе боя, или на уединенных думках дремлющего под шинелью офицера. Заметим, что А. Н. Бежецкий автор фантастических очерков: «Таинственный свет» (в сборнике рассказов «На пути»), «Галюцинат», «После смерти» и «Рай Магомета» (в сборнике «Военные на войне»), а также известной вариации вечной испанской темы — «Севильский обольститель».

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ

<1900. 9 января>

I

Замечательно, что театральные представления не развились и даже не начались нигде на Востоке. С чем это связать? к какой неперемнной черте Востока привязать эту неперемнную его неспособность к театру, недогадливость о театре?

Театр есть чужая роль «маски» и «маски», которые я надеваю без всякого щекотания моего «я». Мне не неудобно в маске, потому что моя собственная лич-

ность недостаточно ярка и определена. «Маска» в этом случае меня не душит. Нельзя себе представить Лира, играющего на сцене чужую роль. Лир играет только себя. Дочери его могут играть других; Гамлет — тоже может. Но, напр., Отелло опять нельзя представить «играющим». Просто «не вышло бы», роль бы «не удалась», да и он «не взял бы роли». Итак, есть люди, абсолютно не способные к актерству, и есть возможные актеры, есть гениальные актеры. Он — просит маску, он — томится по маске. Маска — это «что-нибудь», тогда как его «я» — ничто или очень маленькое; зыбкое, неопределенное; изредка — дурное.

Замечательно, что актеры никогда не бывают творцами. Кому бы и писать комедии и трагедии, как не им, которые плывут в море комедийного и трагического; но этого — нет. Почему бы? Творчество, очевидно, есть сила и яркость «я», льющаяся через край; а у актеров «до края» не доходит. Далее, для написания трагедии или комедии нужно в высшей степени заинтересоваться жизнью, полюбить в ней сцену, события, привязаться к человеку, но актер не может привязаться и ему нечем полюбить. Я наблюдал, что актеры — поразительно холодные, равнодушные люди.

Между тем драматическое представление вытекает из актерства, из желания пережить и повторить, не нарисовать карандашом или описать в слове, но статью и самому сделать, исполнить увиденное, услышанное, представившееся воображению.

Мы, однако, отвлеклись от темы. Отчего же этого нет на Востоке? Очевидно, от большого реализма восточного человека. Он не может стать тенью около другого лица и наблюдать, как другой ведет свою роль. «Я сам веду свою роль, но только одну — собственную». С этим связано еще другое: актер должен согласовать свою роль со множеством других (подавать реплики), между тем восточные люди, нигде и никогда, не умели даже сражаться строем (становиться в ряды, идти колонной, скакать эскадроном). «Я сам». Каким же образом какой-нибудь «оглы» (кавказские татары) станет «подавать реплики Офелии». Он не может. Он непременно «сам заговорит», и Офелия (на сцене) останется в дураках. Они — «толпой», «гайда». Конечно, это дико, но это такой особенный род дикости, который сколько вы ни культивируйте, вы не доведете ее до актерства и не выведете из нее актерства. А где нет актера, и он невозможен, невозможен и театр даже как эмбрион.

При этом восточные люди очень хитры (пожалуй — хитрей западных), то есть в высшей степени способны к притворству, и, след., не к своей роли, но в ней нет разнообразия (одна и другая хитрая роль), и в этом лукавый восточный человек чрезвычайно искренен, настойчив, извечен. Это не человек, который выходит из дому «принимает другой вид», он — лукав и с женой или с женами, у себя в шатре, как и в степи. «Лукавство» у него есть «походка» его жизни, нечто неотделимое и неснимаемое с него.

Фантазия восточных людей игрива и бесконечна («тысяча и одна ночь»), но это чистосердечная и наивная, исполненная веры уже в исполненность, а не предполагаемость «фантазии». В ней нет элементов для сцены, и поэтому она никогда не тяготела к «сценичному».

II

Вот еще замечательно: на Востоке совсем нет (в литературе, в политике и даже в быте) «нервических субъектов». Гений восточный — это не «нерв», а «характер», что-то монолитное и устойчивое.

III

Вифлеемская звезда... как она прекрасна! Для меня она синтезирует весь Восток, и может быть это действительно так. Но «звездочка» эта зрела тысячелетия.

Во всяком случае, Восток имеет такие события, достоверные, не чудеса, какие даже не снились на Западе, не мерещились даже как чудеса. Колорит их, тон — вот главное. У нас — Брунегильды и Фредегонды, без числа — Людовиков, и все это скучно.

Уж вечер розовый дрожит и замирает,
Где храм Адониса на высоте мелькает
На фоне золотом базальтом колоннад;
Уж звезды по волнам играют и дрожат.

.....
И благовонный груз на кораблях Востока
Из дальней Азии заходит в порт широкий.
И жены шопотом, храня невинный вид,
У наклоненных урн болтают над фонтаном;
Уж сходят с тучных нив тяжелые плуги,
И тихо веет ночь сирийских роз бальзамом...

Кстати, почему Восток и именно Азия есть «страна благовоний»? Но мы знаем, что душистый кофе — там, там — чай и мириады его сортов; и, наконец, там мирра и ладан. Все — пахучее. Трудно постигнуть и нельзя доказать, но «страна благовоний» это так же непременно для Азии, как и «отсутствие актеров». И одно, как и другое, необходимо, чтобы там родился Бог.

«Благовоние» одно досягает мозга и непосредственно, почти материально, ворошит его изгибы. Так глубоко и именно материально не простирает действия своего ни живопись, ни музыка: их действие идеально, т. е. посредственно, через преобразование в идеи.

<1900. 6 февраля>

Каждый из наших органов чувств имеет свой ум; я даже сказал бы: свою «душу». Ум *глаза* — совершенно не тот, что ум *уха*, и даже он вовсе не зависит от того, имеет ли ухо какой-нибудь «свой ум», как у Бетховена, или оно совершенный лопух, как у Кречинского, как у меня. Ухо или глаз бывают талантливы или не талантливы; а «талант» есть душа и даже высокая степень души. Кто же не знает, что у дивного музыканта иногда «вообще душа» бывает маленькая и даже

ничтожная. Я знал одного скрипача: душа плачет, когда он ведет по струнам. Но вот он положил смычок (он был мой товарищ по службе, немец): раскрывает рот, глупо улыбается, и ведет вас закусывать к аккуратно разложенной на два блюдца 10-копеечной селедке, с каким-то нелепым гарниром, и тут его Амальхен, худая и высокая, и весь он и она до того скупы, до того тщеславны, до того во всех линиях и точках ничтожны, что вам... опять плакать хочется. Он был самый бессовестный эксплуататор в своей специальной профессии (учитель), смешной для всех товарищей формалист, и, словом, его ограниченность человеческая превосходила всякую меру. Ни наук, ни искусств; ни чтения, ни товарищества. Ничего. Только ухо. Конечно, это ухо и имело талант, не распространявшийся 10
вовсе на остальную психику его, на «остального немца». Душа свила себе гнездышко в его ухе, и жила себе, и ни ей до него, ни ему до нее — дела. В пустом амбаре Плюшкина, в одном углу — золотой червячок (есть такие куколки каких-то бабочек, с рожками; маленький я считал их «чертиками» притворившимися, — конечно, в зависимости от рожек). Червячок хорош, а весь амбар ничтожен, и опять — ни ему до него, ни обратно — нет дела.

Вообще нет «таланта человека», а есть талант — точка человека, части человека. Еще я раз был в гостях у одного чиновника; он служил по счетной части, и зазвал меня к себе, как писателя, написав тоже что-то о Сибири, где он был, кажется, уездным исправником. Средние годы, хорошая красота, неглиже в ма- 20
нерах и речах. «Ну, думаю, поскучаю». Но я провел с истинным восхищением у него вечер и именно как зритель. Вся его квартира, не бедная, но и не богатая, была изукрашена истинным талантом его... кисти руки, ладони, пальцев, — не умею сказать. Гений порхал по квартире и оставил везде следы воздушных своих касаний. Стол — огромный, деревянный — «выжжен по дереву», и какое изящество, придумчивость узора, теней, полутеней. Маленькие столики — и совсем другие узоры, легче краски, сложнее узор, в пропорцию миньютюрности вещи. Он развинтил подсвечник (медный или стальной — сейчас не помню). — «У нас ничего не умеют сделать; видите?» — и он пустил одну часть составную, которая 30
 $1/2$ минуты вертелась на воздушно сделанном (т. е. безукоризненно, без зацепин) винту. — Он был, след., и точильщиком. — Почему? — Рука хотела, ибо, очевидно, никакой нужды в этом не было. В настоящее время, когда я его видел, он лепил из фарфоровой массы статуэтку Вольтера, кажется с Гудоновской в Эрмитаже. «Ну, теперь я вам покажу лучшую мою гордость». — «Пожалуйста». Он вынул дощечку, величиною в ладонь, чуть-чуть побольше. «Собака Императора Александра II. Ласка — разве не знаете?» — «Я не знал». — «Все знают, его любимая собака, необыкновенной красоты». Он сделал инкрустацию из дерева, всю составленную из ниточек, из щепочек, врезанных в дощечку, причем оттенки натурального дерева, желтым, коричневатым, черным и всякими цветами передали всю пластику — да пластику! — натуральной собаки. «Но, вот когда я дошел до 40
этого, было испытание мне»... Он указал на глаз, вы знаете — чуть желтый ободок, черное пятнышко, какой-то дьявольский блеск в нем, и обыкновенная мягкая бровь над ним. Глаз смотрел на меня, и как я видел его, он видел меня. «Вот это было трудно: изломаю всю работу, если не выйдет. Но вышло». Дощечка не только без футляра, но без всего, с едва-едва обструганными краями. Художник кончил, и мастер бессилён был хотя бы вставить вещь в грошовую рамку. Все стены, вся мебель — словом, «ансамбль» комнаты дышала гением... ну, очевид-

но, просто гением *кисти* руки. «Э, так вот к чему русские способны», — подумал я, всегда раньше думавший, что русские не способны к техническим мастерствам. Этот был очень умен, но не до излишества; и такое очевидное излишество в таинственных кончиках пальцев!

Гений ли, талант ли этой данной точки — неудержим; вообще гений и талант можно определить как неудержимость. «Все чего-то хочется» — вот его закон, его вихрь. Не могу стоять, не умею стоять. Сказать, что гению *нужно* творить, что гений «имеет призвание», «имеет долг» или еще «нравственную ответственность» — значит ничего в нем не понять. Гению *хочется* — вот он весь. Нам желательно, чтобы ему «хотелось» полезного нам, ибо он тогда «засыплет», «засыплет». Но это не всегда бывает, и, к сожалению или нет, но есть и гении разрушительные, и тогда он «ощиплет», оставит «голой» березку, как сделал Наполеон с Францией. Гений прошел по стране — какой ураган по ней прошел! Но такие гении посылаются странам «к смерти» и в «смертную» уже полосу бытия. Вообще связь гения с Провидением — есть. России «к росту» был нужен растящий гений, гений поливки, пахоты, бороны: и был ей — Петр.

<1900. 5 марта>

I

— Где она ?! Потерял перчатки! Были! Видел! И нет!.. «Погибоша аки обры»...
 20 Эй, ей, с плачем, но можно повторить это о славянофильстве.

— Что случилось с ним? Такие гиганты ума, чистейшие сердцем... Все хвалили, ждали и вдруг, — нет! «Погибоша аки обры»... Да куда «погибоша»? Никто не знает. О них несколько лет не спрашивали, и вот, когда хватились, — вдруг «нет».

Украли их? Никто не воровал. Перемерли? Ну, «партия»-то, «мысль»-то... Почему же их нет? И точно ли нет? Я только «даю пожарный звонок», я не тушу, я не зажигаю пожара. Может быть, кто-нибудь добрый, «потушит» мой вопрос... Я сам был славянофилом, и не помню ни дня, ни часа, ни года, когда перестал быть славянофилом... Славянофильство как-то выпарилось, выпало из меня,
 30 как из пузырька без пробки — духи, остаток духов, духи на донышке. Может быть, вообще славянофильство — испаряющаяся пахучесть? Может быть. Это было бы приятным «надгробным утешением».

II

Изображения кошек как в Эрмитажном отделении Египта, так и в небольшой египетской витрине музея барона Штиглица — бросаются в глаза. Все мы видели кошек на картинках, в «Ниве», «Иллюстрации»: кошка — лежит, играет с детенышами, сидит — это все равно; особенного в ней ничего нет. Египетский гений взял кошку в момент, когда она увидела мышь и уже готова на нее броситься: иначе я не могу объяснить ее фигуру. Дело в том, что на превосходной ра-
 40 боте (ничего подобного во всем греческом искусстве по экспрессии) сидящая фи-

гура кошки — вся насторожилась, она — вся внимание, вся — готовность. Тело — оживлено, шея — крута, голова — всегда совершенно прямо, без малейшего поворота (отвлечение в сторону, рассеянность) смотрит на вас. И как смотрит! — так умели смотреть только египтяне.

Уверен, что тысячи засмеются над этим, подумав, что я иллюзионист, преувеличитель, но это так: первое впечатление мое в Эрмитаже, задолго до ознакомления с египетскими атласами в Публичной библиотеке, т. е. без всяких моих определенных мыслей о древней стране, было то же: «как она (кошка) смотрит»; «как поставлена»; «без напряжения — это сама жизнь».

Теперь я припоминаю, что никогда не видел спящей, заснувшей кошки. Собака не только спит, но видит сны, лает во сне. Кошка — мурлыкает; вы шевельнулись — и она шевельнулась; все пошло — она следит за вами. Кошка — это неустомленность, неустомимость. «Усталая кошка» — это *contradictio in adjecto* *. Вот отчего гений Египта выбрал ее символом своего гения. «Это знамя мое, знамя вечного неустомления».

Гений Египта есть гений жизни как в смысле проникновения в ее тайны, так и в смысле имения ее; другие народы поклонялись искусству, иные — науке, римляне — праву; мы, русские — православию, немцы — философской (субъективной) свободе; англичане — общественной. Станный древний народ поклонился чувству: азъ есмь! Вот это «есмь» и есть суть Египта; в движении конечно, больше «есмь», чем в покое: и Египет (для всякого, кто рассматривал его рисунки) весь как напряженный лук, как лук Одиссея, — который не могли натянуть десятеро и мог натянуть его только герой. В самом деле, стрела наложенная, дуга, тетива, лука и пальцы (только одни пальцы, остальная фигура стрелка — не нужна) держащие лук — это так же хорошо могло бы символизировать Египет, как и характерные прекрасные кошки. «Сейчас стрела зазвенит»...

III

Я думаю, славянофильство потому «погибоша аки обры», что у них «стрела не звенела». Они были чрезвычайно «травоядны» и уже до чрезмерности не хищны. Ни коготка, ни клювика. Точно дьякон псалтирь читает. Слушали, слушали. Потом перестали слушать. Потом он перестал читать. И нет ни дьякона, ни псалтири, один резонанс...

<1900. 23 апреля>

Музыка в скульптуре — разве это невозможно? По крайней мере, всякий раз, когда я вхожу в египетское отделение Эрмитажа, я думаю: «Музыка в скульптуре». В том же зале есть огромные плиты с ассиро-вавилонскими изображениями: ничего подобного во впечатлении от них. Есть крылья у этих огромных полувов, получеловеков, но нет крылатости, окрыленности в самой рисовке их; а у египтян эта окрыленность, какая-то милая, скромная и стыдливая, есть в са-

* противоречие в определении (лат.).

мых маленьких и бескрылых (по рисунку) фигурах, и передается зрителю волнением. Не могу забыть невольного и инстинктивного восклицания, в каком-то смятении и сказанного г. Голенищеву, хранителю в Эрмитаже египетских древностей: «Да что вас в них занимает?» — «Это меня волнует», — ответил я не подумав и выразив этим не надуманную правду самого ощущения. Какой это был народ, какая чудная тайна в его психике! Вот уж человеки, до вкушения от древа «познания добра и зла».

Между тем документы и история свидетельствуют об огромной науке у них. Несоизмеримость суточного и годового обращения земли, около оси и около солнца, была ими узнана и рассчитана изумительно. В способе заделки входов в пирамиды — была чудовищная механическая изобретательность. Именно: в определенном месте коридора, ведущего к саркофагу, который должен был быть навеки скрыт от смертных, они устраивали колодезь, но не вниз, а вверх направленный. На известной высоте в этом колодце помещался кубический огромный монолитный камень, ни к чему не прикрепленный, но страшно сжатый стенками колодца. Пирамида заканчивалась: рабочие все время ходили по коридору; умирал фараон; его вносили в залу — и там оставляли. Камень, вделанный в колодец, силою тяжести — годы, десятилетия, может быть века — спускался, и к нужному времени, напр., к приходу «варваров» — арабов, турок, европейцев, он заставлял вплотную коридор, как массивная стена. Какое искусство, какая придумка! Какой труд!

И — смотря на лица их, совершенно не можешь удержаться от восклицания: дети! что-то бесконечно наивное; наивность, которая и конца себе не предвидит. «Тысячу лет будем играть, и потом — еще тысячу, никогда не устанем». Никакой утомленности; ничего скучающего; ни «мировой скорби», ни будничной усталости. Удивительно.

В Эрмитаже есть одна золотая (вероятно, алебастр позолоченный) маска с лица, шеи и груди девушки ли, женщины ли. Та улыбка, которую считают «загадочною» у сфинксов, есть и у этого бесконечно прекрасного по чистоте мысли лица. Из Италии мне было привезено несколько фотографий с египетских статуй и статуток: ни одной, как говорится, «рожи», все лица — и все с этою бессмертно-милою улыбкою. «Да о чем вы думаете?». — «Мы ни о чем не думаем и от этого улыбаемся». Дети, мудрые дети.

Никакой «хитрости» в улыбке сфинксов нет. «Да чему вы улыбаетесь», — спрашивали греки. — «Не знаем, почему вы не улыбаетесь». — «Мы не умеем». — «А мы умеем». Вот и весь диалог.

Но я заговорил о музыке в скульптуре. В самом деле, возьмите спящего человека; музыка — отсутствует; сидящего, стоящего, бегущего — музыка пробуждается. Возьмите танцующего: музыки уже много, но ведь можно танцевать апатично, нехотя, и вот в таком танце будет меньше музыки, нежели в фигуре сидящего человека. Музыка египетских изображений заключается в вечной охотности их; в том, что за делаемым шагом вы чувствуете — следующий, который статуетка сделает. Напр., статуетка сидит: но как будто хочет встать. Она никогда не сидит грузно, всем телом. Сидит только седалищная часть, но остальная фигура прямо устремлена к вам; вот встанет и пойдет. Я говорю — это волнует.

Еще я наблюдал на крошечных статуетках кулачки. В руке — какой-нибудь символ, вообще рука — никогда почти не пуста. И вот посмотрите на этот кула-

чок, сжимающий палку, скипетр, что-нибудь: человек держит вещь, а не то, чтобы вещь была вложена в руку. Удивительно. И вся статуетка вовсе не обработана, примитивна в смысле «художества». Но жизнь — всегда выражена. Кулачок сжат и держит, а не то что в руке «держится». Не умею выразить; полное отсутствие средних залогов, также — отрицательных. Они знали только действительный залог, и в нем одно только изъявительное наклонение, никаких этаких греческих «aptativus'ов» и «conjunctivus'ов»; ничего тоскливого и сомневающегося. «Вот — я»; и «я — хорош»; по крайней мере — «прав». Во всяком случае — «не бегу и не скрываюсь». Грозного: «Адам, Адам — где ты?». — «Господи, я убоился и спрятался, потому что я наг» — еще не начиналось у них.

10

Мне думается, коллизия с евреями у них произошла на почве начавшейся угрюмости последних, — «ну, вы слишком серьезны, смотрите легче на вещи». — «Не можем, Бог Адонай — строг». Что-нибудь в этом роде. И расстроилась компания, не склеилась беседа, в сущности, на одну тему и об одних и тех же вещах. «Вам — направо, а нам — налево, а так как мы тут — аборигены, то убирайтесь вы». — «Ну, и уйдем». В «Исходе» и «Второзаконии» многие стихи, почти главы — полны этим «дележом», «разделением» двоюродных братцев. Таково и знаменитое Моисеево: «Не изображай!» — «Помните», — говорит он народу под Синаем: «Что голос вы слышали, а образа не видели — ни зверя, ни птицы, никакого животного». Но это все отрицательные определения, которые можно перевести: «не как у них» (т. е. у египтян). Но вот он ушел на гору, и истина обнаружилась: «Слей нам тельца» (аписа), — обратились евреи к Аарону. И Аарон, вероятно, не несведущий в замыслах брата, в откровениях брату, Аарон первосвященник завтрашний, исполнив народное желание, восклицает: — «Завтра — праздник Господу». Восклицает легко и свободно, без натяжек и ужимок. В пустыне, в роковую минуту, Моисей повелевает воздвигнуть Медного Змия — вечный символ, не совсем разгаданный, у египтян. Вошел на царство Иеровоам, и построил двух тельцов, кажется, в Вефиле. Последний раз «лицо как бы тельца» упоминается в Апокалипсисе, и в таком виде перешло в наши церковные изображения. «Телец» — не умер; какой-то «предвечный Агнец». Ведь Бог знает что под ним разумели мудрые дети.

20

30

У историков возможна влюбчивость, влюбленность в культуры, в цивилизации. Не завидую тем, которые влюблены в римлян. Но Египет, страна какой-то религиозной влюбленности, пробуждает и в историке это чувство, но уже обращаемое к ним. «А, так вот как можно жить»... В цивилизации мы всегда больше любим собственно человека ее, нежели линии самой цивилизации. Что касается до египтян, то слово: «ангелы», «ангельская цивилизация» — невольно срывается с уст, когда рассматриваем бесчисленные их портретные изображения: в самом деле, замечателен мировой инстинкт, по которому «ангел» непременно изображается «юношкой». «Святой» — «юноша». Ангела нельзя представить себе старым; ангела седого, с бородою — хотя таковые религиозные изображения есть (изображения Бог-Отца в нашей церковной живописи). Ангел — вечное, но вместе юное и одновременно святое.

40

Тоже замечательно, что ангел есть юноша в его переходе в девушку; без ясных черт непременно мужского мужественного сложения. Оттого «ангел» с начатками усов, с пробивающимися усами — невозможен, невероятен, бесконечно уродлив был бы в живописи; и такого изображения нет.

«Ангельский» характер египетской цивилизации и выражается необыкновенною ее юношественностью в сочетании с непорочностью, неиспорченностью. Сцены жизни египетской (бытовые), их постоянная нежность в отношении друг к другу — исторгают у позднего наблюдателя слезы. «Так можно жить»... У них едва ли был термин, соответствующий нашему — «любовь». Они «любили друг друга», они «исполнили заповедь любви»; этого о них нельзя сказать. Но они были бесконечно нежны друг к другу. Вы смотрите на толпу играющих на дворе в мячик мальчиков, или на детей, валяющихся в сухом сене, летом, на одном из московских бульваров: можно ли о них сказать: «Они любят друг друга?». — 10 «Нет». То же и об египтянах. Они были слишком счастливы и еще не нуждались в любви. «Любовь» есть коррелятив, поправка, утешение в слабости, а египтяне слабости еще не почувствовали. «Каждая фигура хочет встать».

Выше я употребил, почти случайно, термин «религиозная влюбленность». В поздние и усталые годы нашей цивилизации хочется помечтать. «Влюбленность» есть самое абсолютное чувство, какое мы переживаем в жизни, по его необоримости, силе, непокоряемости ничему; по удивительному преобразованию, которое она в нас производит. Немногие замечают, что влюбленность — по линии связи с предметом влюбления — снимает с нас грех. Вероятно, с сотворения мира не бывало человека, который бы зложелательствовал или обманывал 20 предмет своей любви. Таким образом, «грех» за все пять тысяч лет человеческого существования снимается с души человеческой, и от этого всем влюбленным их существование кажется таким легким. «Минуты летят», «дни, годы летят как минуты». «Время» падает к ногам трухую, как слишком тяжеловесная вещь. «Времени больше нет, а есть я и ты». К сожалению, как объясняют или как мы привыкли думать, это есть слишком земное явление: но в мечте позднего человека допустимо отрешиться от своей эпохи, и вот я соединяю две несоединимые вещи, но которые, кажется, были у египтян соединены. Естественно каждым человеком переживаемую пору влюбленности, фазис влюбленности они, кажется, рассматривали как минуту «прохождения через нас бога», и сливали свое чувство в это время к данному лицу человека с любовью — к богу. «Не знаю, кого 30 люблю, Ануфри или бога»... «мысли путаются»... «я не свой» или «не своя». Что-то в этом роде проходит во множестве их изображений. Поэтому, когда человек был не влюблен, ему казалось связь его с богом — порванною. Но, я заметил, влюбленность есть самое пламенное, горящее в нас чувство: и если в самом деле была цивилизация, где суть теизма сливалась с сутью влюбления, то мы не можем и представить себе степени пламенности теизма у такого народа, что и соответствует наблюдению Геродота: «Это — самый религиозный народ на земле». Он добавляет: «И самый серьезный». Я же видевший десятки (может быть сотни) тысяч египетских рисунков, почти все, что снято учеными путешественниками, добавлю: «И самый счастливый». Читатель скептически засмеется, но я отвечаю: «Иди и виждь».

Я возвращаюсь к странному сочетанию у них (почти бесспорному) любви и религии. Известно, что по обширности храмы египтян походили на города; в нынешнем веке одна арабская деревушка оказалась построенною на углу крыши развалившегося, обращенного в мусор, храма. Значит, им хотелось молиться; значит, бывали минуты, или вся египетская история была такою минутою, когда 40 всему народу, положим, такого-то города, хотелось или нужно было быть в хра-

ме. И строили храм, обширный как город. Представьте, что в храме лежит вода, и напиться можно — только сходяв в храм. Тогда, очевидно, храм должен быть обширен как город. Египтяне и связали с храмом самую необходимую, самую всеобщую и самую радостную свою нужду. Отсюда «храмы их обширны как города» и цветущи красками и изображениями как лучшие сады. «Сады Гесперид» — вот фивские, гелиопольские, мемфисские храмы.

Замечательно расположение в них колонн: оне не шли около стенки, не то подпирая, не то украшая. Оне наполняли внутренность храма, и следовательно храм представлял собою лес или, так как каждая колонна распускалась вверху, — цветник. Дорические, ионические и коринфские колонны уже есть потеря мысли в колонне, если сравнить их с египетскими. Украшают храм, но не выражают храма. Затем прекрасны краски в них: совершенное отсутствие плачущих и ревущих тонов; везде — улыбка света, желтый, зеленый, фиолетовый, красный, голубой цвет. Букет Зибеля, положенный на крыльцо Маргариты.

Чистая фантазмагория!

Но по-видимому, именно она совершилась в Египте. Представьте себе, что на египетских «вселенских соборах», — а ведь верно же было там какое-нибудь совещательное учреждение, ведь не сразу же и не из одной головы явился этот чудовищный по бесконечности теизм, — итак, на этих «совещательных собраниях» пусть было решено, что ни один «Зибель» в стране не может успеть у Маргариты, иначе как обратившись к Богу, сумеет обратиться, сумеет успеть у Бога. О, какие жаркие молитвы! даже и представить нельзя! Какая тревога идет по стране, шум, возня, беганье. Эти Зибели хотят перевернуть весь свет. Хитрые жрецы посмеиваются: «Богиня — молчит, и — Маргарита не любит». Бог знает, что такое; и ни золотом, ни почестью, ни положением нельзя купить... нельзя вызвать расположения у Маргариты, но только к Богу молитвою, усердием к храму. Ну, тут научишься молиться, сумеешь молиться; тут не устанешь ходить в храм.

Вот это удивительное сочетание самого счастливого времени в жизни с сутью религии и религиозного и произвело удивительное пламя египетского теизма; и свежесть его, и яркость его.

К сожалению, утомившись срисовкою с бесчисленных египетских рисунков, я упустил некоторые, за некрасивостью (величайшая редкость там) их, и только теперь припоминаю их цену. Это — старые фараон и фараонша приносят жертвы. Ра ли, Озирису ли, — у них не разберешь. Не имея теней и перспективы, египтяне выразили старость только морщинами уже некрасивых лиц, сутуловатостью фигур. Старо, старо, ох как стары, и он и «она»... Зибель и Маргарита в старости; я был так неопытен, что срисовал эту чету, в характерной компоновке фигур (двое или трое детей, характерно перевитые ручонками с родителями) в счастливую пору их молодости. Теперь они же, в той самой позе, но без детей, которые выросли и связывают свои букеты своим Маргаритам — одни, грустные и счастливые, благодарят Ра — солнце за «дни и сны» свои, почти пролетевшие. Вот мы... «умрем» и не «умрем»; «благодарим тебя, великий Ра, за бытие наше...». Головы склонены, но уж — никак «не повисли»; у нее та же чрезвычайно длинная шея, но теперь старая; у него — полные губы, худое лицо; как и всегда — жена сзади мужа, сейчас за ним. Ни на одном египетском рисунке нет жены впереди мужа; «женский вопрос» еще не начался, и, вместе с тем был так радикально разрешен в смысле прозорливца Гёте. Вечные «цветы», и им было дано цветочное

Что они за неискупимые грешники? Такие ли еще воскресали?! Но тем не менее момент и психика воскресения всегда предполагают некоторый экстаз в смысле необыкновенного по высоте и часто неожиданного для самого субъекта подъема духа, который разливается светом на всю остальную жизнь и гасит прошлое, невозможное, открывает невозможное еще за минуту будущее. Между тем характеры Нехлюдова и Масловой, как их уже начал рисовать с первых же глав Толстой, оба замечательно пассивны. В срединных главах романа, которые тянулись перед читателем несколько утомительно, эта утомительность оттого и происходила, что в Нехлюдове и Катюше несколько раз как будто начинало пробуждаться чувство, они как будто подходят к «воскресению», и — не доходили. Едва согрившись, они опять стыли; какое-нибудь неумелое слово, неловкий жест, и выступает что-то сморщенное, кислое, большею частью со стороны его. В последних главах романа, где «преступники» пошли отбывать наказание, интерес читателя сосредоточивается на вводных лицах, именно на партии политических ссыльных; автор почти не оставляет наедине героев, которым предлежит воскреснуть, ибо ему необыкновенно трудно с этими двумя, в сущности неудачно начатыми в рисовке, лицами; сказать особенного друг другу они ничего не могут; а между тем их особенное положение и особенная связь не допускают вульгарных, обыкновенных разговоров. Катюша чего-то ожидает и остается обычно пассивною, привычно-пассивною, природно-пассивною; столь же пассивен и Нехлюдов, в сущности резонер. Отсутствие чего-либо стремительного в обоих их — замечательно. Огненная Наташа и безрассудный Пьер из «Войны и мира», Левин — из «Анны Карениной» сумели бы воскреснуть; в них было для этого достаточно искристости; к сожалению, все годы заключительного периода в деятельности Толстого пошли на выжимание из человека этой, думаем, искры Божией, на увеличение и, наконец, преувеличение все одних и тех же черт Платона Каратаева («Война и мир»), с большою примесью к его врожденной кротости, послушанию, незлобивости, бесстрастию — резонирования. Уменьшилось взрывчатое вещество в человеке; между тем психика воскресения есть до некоторой степени и даже непременно духовный взрыв. Нехлюдову и Катюше нечем было воскреснуть; и они кое-как... поправились, зажили в старой боли: Катюша, встретив добрых и непрезирающих ее людей в политических ссыльных; он — все-таки сделав ей много доброго, сделав много доброго и другим и вообще аттестовав себя с самой лучшей стороны. Конечно, это не то, что ожидалось, но все-таки кое-что. Не воскресли, а зажили в старой ране; боль стала тупее, глуше, неощутительнее. Между тем роман назван «Воскресением», и мы можем заключить, что его концепция не совсем удалась автору. По одной подробности можно думать, что самая нить романа была переделана: в начале его очерчена необыкновенно тонко, художественно-гениально, фигура Селенина, почти незаметная. Это тот идеальный человек, несколько несчастный в женитьбе, несчастный или ошибившийся вообще в личной жизни, религиозно настроенный, товарищ по школе Нехлюдова, который даже и представить себе не мог стремиться к благу, которое он очень любил, иначе как через посредство государственной службы. О нем в соответствующем номере «Нивы» упоминается, что «в эту первую встречу» он показался таким-то и таким-то Нехлюдову, чем «во второй раз, когда они увиделись позже». Между тем в 52 номере «Нивы» мы находим только его коротенькое письмо: «Любезный друг» и т. д. «твой Селенин». Слог этого письма, почти записочки —

опять гениален, и напоминает по совершенству старую работу Толстого, например, длинные письма Марie Болконской в «Войне и мире». Толстой, очевидно, хотел крупно очертить эту крупную, до известной степени идеальную фигуру враждебного ему порядка вещей; но этот огромный эпизод романа выпал, и его стрелы скользят по докторам, зрителям, по губернатору Восточной Сибири, по шаркунам и модницам петербургским. Это — мелкий зверь, за которым не стоило охотиться, или не такому бы охотнику. Крупного он упустил, едва скользнув, впрочем гениально скользнув по нем глазом:

10 — «Мы дурно знаем догматы своей церкви и от этого нас увлекают доктрины приезжих проповедников, не оригинальных и скучных», — сухо сказал Селенин Нехлюдову, пригласившему его на проповедь. — «Они расстались недоброжелательно». Можно было ожидать, и Толстой мог бы развернуть превосходную панораму сшибок и, наконец, борьбы экстравагантного в поступках и решениях Нехлюдова с последовательным, логичным, благородным Селениным, на почве именно религиозных «спасательных» порывов. Ведь в сущности это коллизия между народным нашим сектантством и государственными формами. Но, повторяем, «охота не удалась»...

В пределах пассивного типа Платон Каратаев все же остается наиболее удачною фигурою во всей живописи Толстого. Он умеет умереть. Увы, в пределах 20 этого типа и можно только умереть или близиться к умиранию. Тип этот есть героизм смерти. В Толстом можно подметить вечную борьбу с своими личными стихийными, искристыми силами и вечное умиление на идеалы нисхождения, умаления, склонения долу, смерти. Оставим бедного Ивана Ильича, которого он так медленно, мучительно нагибает к смерти; оставим «Хозяина», смерть которого (на Никите) он так охорашивает, разрисовывает, почти воспекает, — вот христианская «Илиада»!.. Но ведь и «Война и мир» живописует пассивную, защитительную войну; как хорошо нас поколотили при Аустерлице, где мы вздумали «быть горды» и самонадеянны. О! там Наполеон — еще фигура? Но вот переносится дело в Россию; французы «наступающие» вдруг теперь делаются 30 глупы. Вспомним Мюрата, да и решительно все французские фигуры. Напротив, стоящие в оборонительном положении русские вырастают в героев. Теперь они «святые», ибо они «мученики». Теперь их теснят, на них напали, они страдают, и они в этом страдании прекрасны и правы. Читатель согласится, что мы правильно подчеркиваем вечный склон ума Толстого. Даже в «Севастопольской обороне» некрасиво все большое, выдающееся, так сказать активное в самой обороне крепости; но вот человек умеющий только умереть: а — он герой! Таковы особенно два брата, прапорщик и офицер, убитые в последнем штурме Малахова кургана. Активные силы свои Толстой выпустил в полный полет только в «Анне Карениной», и что получилась за «охота»? Вот — красный зверь! Какая 40 живопись, и сила, и красота движений у героев, и у автора. Толстой пожил; уж где он пожил, как художник, то в «Карениной»; но... «Мне отмщение и Аз воздам»: нигде безусловно не жестокий Толстой — как казнит красавицу, даже ведь и духовную красавицу Анну. Точно языческий мир, кладущий голову перед схоластиком, который тупым ножом начинает ковырять — да не неделю, а месяцы, ковыряет эту «победную головушку». «Погоуляла» — теперь ложись под поезд. Сколько известно из биографии Толстого, из его полупризнаний и признаний, у него прошла полоса увлечения буддизмом; не вернее ли однако, что ему не

чуждо то чувство глубокой резигнации, глубокой покорности, какая есть в более древних аскетах Индии, бросающихся под колесницу, запряженную слонами и ведущую изображение неумолимой Бовани. Вот страны, классические страны чувства смерти, умирания, к которому в лучших своих произведениях Толстой погонит живущих, поманит своих современников. «Хорошо умереть!». И черты этой смерти и смертного есть в том хозяине или Хозяине, мысль которого он так выпукло выставил в превосходном крошечном рассказе («Хозяин и работник») и повторяет теперь в заключительных словах «Воскресения»!

«В этом — все. Я жил и все мы живем в нелепой уверенности, что мы сами хозяйка своей жизни, что она дана нам для нашего наслаждения. А ведь это, очевидно, нелепо. Ведь если мы посланы сюда, то по чьей-нибудь воле и для чего-нибудь. А мы решили, что мы как грибы родились и живем только для своей радости, и ясно, что нам дурно, как будет дурно работнику, не исполняющему воли хозяина». Это — старая мысль в Толстом, которую он проводил еще в «Войне и мире», в характерной стратегии этого романа и в поразившей всех его заключительной философии. Далее отсюда начинаются новые наслоения его мысли, легшие на ту прежнюю: «Воля же хозяина выражена в учении Христа. Только исполняй люди это учение, и на земле установится Царствие Божие и люди получают наибольшее благо, которое доступно им. Ищите Царствия Божия и правды Его — а остальное приложится вам. Мы ищем остального и не находим его, и не только не устанавливаем Царства Божия, но разрушаем его. Так вот оно — дело моей жизни». — Так заключает Нехлюдов, процитировав еще восемнадцатую главу из евангелиста Матфея.

На монологе этом мы остановимся ниже, теперь же кончим о пассивном типе. Сколько их ни нарисовал Толстой, они все вращаются в сущности около одной точки, которая в литературе нашей гениально удалась Достоевскому: это его — «Идиот», отчасти — Алеша Карамазов. Достоевский, при особенностях своего таланта, сумел дать экзальтацию пассивности, чего никогда не мог дать Толстой. Между тем пассивный тип только при экзальтации и вырисовывается во что-то святое и только на этой высоте, на острие этой приподнятой иглы, он пронизывается чертами своеобразной активности: Алеша Карамазов выходит из монастыря «в жизнь», Идиот разливается каким-то примиряющим, гармонирующим началом по окружающей жизни; он даже смиряет «волны» Настасьи Филипповны, а уж качается же это «море»... Вообще экзальтированная пассивность может не только «умереть», — но способна и жить больною, трепетною, как пламя свечи, но памятною для окружающих жизнью. Два раза это удалось показать Достоевскому; но Толстому, в составе даров которого вовсе отсутствует собственно момент экзальтации, это ни разу не удалось. Поэтому у него смерть «смирного типа» дает практические плоды не непосредственно, а в длинных рассуждениях автора. Таков конец «Войны и мира», эти главы и главы философствования, которые в сущности являются похоронным заключительным аккордом к смерти Андрея Болконского; таково своеобразное «воскресенье» Левина, в сущности служащее эпилогом смерти Анны, и проч. «Вот он умер, а мы будем жить»... «так-то и так-то».

Всегда, однако, кажется, — по крайней мере простодушному читателю, — что «жить» значит «находиться в активном состоянии», что «жизнь» вообще есть «активность». И уж если она невозможна, т. е. невозможна в чертах правды и свя-

тости, то что же тут «барахтаться», как Нехлюдовы, Каратаевы: тут — не рассуждай, а умри. Да, имей мужество совершить великую правду небытия. А то поет-поет себе человек отходную и наконец-то в конце пятого действия, в явлении девятом занавес хлоп, и он тоже хлоп под крышку гроба. Смерть менее красноречива. Но как же жить? Тут мы обращаемся к монологу Нехлюдова.

Право, иногда можно постигнуть таинственные слова Апокалипсиса, что кроме написанного Евангелия есть какое-то «вечное», «летающее», и что оно разлито или заткано в самой жизни людей и в вереницах событий этой жизни, но его слышат только чуткие, читают только усиленно зрячие, и вот оно-то сообщает действительность написанному четвероевангелию. Можно ли поверить, что Нехлюдов ранее никогда не читал XVIII главы евангелиста Матфея и не знал притчи о виноградарях и хозяине виноградника?! Но что он знал, то было Евангелие пока еще только слова, и в нем оно не действовало. Нужно было, чтобы его, «стукнуло» что-то, нужны были события жизни, и вот когда они прошли и простучали молотом в его мозгу, острою пилою чиркнули по костям его, по нервам его, он вдруг «прочел с разумением» и то первое словесное Евангелие. Кто же этого не знает из опыта своей жизни. Мы все знаем, что Евангелие открывается; вообще для всех оно открывается частями, ни для кого — в целом; открываются одному одни места, другому — другие; но на что следует здесь обратить внимание, так это — на то, что есть открывающая сила в событиях нашей жизни, после которых только мы и бываем в силах что-нибудь прочесть. Но когда так, то значит есть в жизни, и в труде ее, и в поте ее, и в страдании ее, и даже в радостях ее и в самом наслаждении не только смысл, но и положительная мудрость. Ибо что научает, то не может не быть мудро. А когда так, то и вечное усилие уйти от жизни, выйти из жизни и даже «заключительно» умереть — не правда. О, мы верим и мы хотим, чтобы в комедии нашей жизни было не пять актов, а сто пять и даже тысяча пять, сколь возможно больше! И будем трудиться, и будем веселиться, и будем с терпением страдать, и не будем упрекать себя ни за одно, ни за другое.

«Только исполняй люди это учение!..». Маленькое «только!» Мы здесь входим в самый опасный «*circulus vitiosus*», в запутаннейший лабиринт размышлений и мечтаний, ибо, право, иногда кажется весь круг пассивного идеала мечтою, мучительною, разжигающею, но в самом существе своем неосуществимую. Возьмем несколько примеров, чтобы быть конкретнее и так сказать жизнеподобнее: «Отрекись от богатства» (одна из мыслей Толстого). Я роздал и остался беден. Что же дальше?! Нравственная и даже физиологическая точка. Но иногда, кажется, и бедному человеку хочется пометать, что можно быть правым в богатстве и даже праведным в богатстве, и не через то вовсе, что ежедневно по средам и пятницам я отрезаю по куску от богатства и передаю его неимущему; не в этих передачах — что почти ведь механизм, — но в самом богатстве и даже в приобретении богатства. Вот я устраиваюсь и всех около себя устраиваю; мой дом высится — да, высится! — и около него растут как грибы — дома со мною и около меня трудящихся людей, сердечных моих. Прошел день, и мы трудились; наступил вечер — и мы веселы. О, веселы кротким, прекрасным, благочестивым весельем. Неужели же, неужели это невозможно?! Знай, где взять; знай, у кого взять; знай, как взять: вот начало мудрости и умудрения в самом богатстве. Ибо чтобы роздать имущество и кончить, прикончить себя и свое — не надо большой мудрости. Но не возьми у больного; не потребуй у слабого — это требует глаза,

внимания, заботы и в последнем анализе мудрости. Иногда представляется, что в разнице судеб Каина и Авеля выражен закон для труда: сказано ясно, что один пас стада и был «угоден», другой начал обрабатывать землю и сделался негоден. Никаких еще причин и никакой притчи для человечества. Земледелие дальше уходит от природы — вот один закон труда, одна канва для человеческой цивилизации, как можно лепиться около природы, цепляться за нее, по крайней мере не порывать с нею. И далее, для того первого дня человеческой цивилизации земледелие было слишком искусственно, сложно, предусмотрительно: это то же, чем для России XVII века была бы фабрично-заводская или высоко-коммерческая промышленность. Может быть, объяснения наши неправильны, но во всяком случае верна та простая наша мысль, что и в труде, и в собственности есть темная полоса и есть светлая полоса, и задача человека на земле состоит не в том, чтобы погасить труд и собственность (пассивный идеал), а раздвинуть светлую полосу на счет темной (активный идеал).

Только бы «исполнить»! — заключает, прочтя страницу, Нехлюдов. В самом этом глаголе «исполнить» и в предложении человеку вечной «исполнительности» лежит какое-то начало притупления его способностей, отрицание в нем родников творчества, порыва, взрывчатости, как и прочих начал оригинальности и самостоятельности. О, наша литература знает идеалы абсолютной «исполнительности», которых с горечью мы не хотим вспоминать здесь, и как было бы ужасно представить себе всемирную историю, как монотонную картину этой исполнительности! В самом деле, в большом масштабе легче рассмотреть сомнительный, хоть и соблазняющий идеал, и нельзя не припомнить, что две эпохи — на Западе средневековая и у нас до Петра, — были именно эпохами господства пассивного, утишающего волны, идеала. И вот там и здесь народы совершенно свежие, народы отроческого возраста, явили образ какой-то преждевременной старости. Да, преждевременной и — беспричинной... Каким старцем выглядит Алексей Михайлович, даже совершенно юный Михаил Феодорович и все общество людей, их окружающих! Эти длинные бороды, эти медленные движения, эта вечная потребность не жить, а совершать житие. Юные и мощные германцы столь же старообразны при своих Оттонах, в неуклюже-искусственной «Священной Римской империи». До известной степени весь исторический подвиг Петра можно обобщить и слить в акт возвращения нам молодости, в том, что он с быта русского и с лица русского, сдернул искусственную и преждевременную личину старости. Да, личину — и, произнеся это слово, мы, может быть, указываем на самую опасную сторону пассивного идеала. Но что такое, с другой стороны, личность Петра, как не бесконечность акции, бесконечная активность?! И — бесконечная правда! Вот идеал, противоположный толстовскому; вот царь, который не думал о том, как бы «умереть». О, нет! «Жила бы Россия», а «обо мне ведайте, что жизнь моя мне не дорога», сказал он перед Полтавскою битвой. То ли это умирание, т. е. готовность умереть, как «хозяина» около Никиты; другой тон и именно тон жизни. Да, можно жить как бы умирая, но можно, напротив, даже умирая как бы жить. Но доскажем о Петре I. Вот кто умел бы «воскреснуть» из затруднения, из унижения, из самого ужасного греха, — и кто действительно воскресил Россию. Невольно припоминается резонер Нехлюдов и его вялые попытки около Катюши; даже припоминается Платон Каратаев, Иван Ильич и все это литературное «сошествие во гроб»!..

Где нет исполнения, начинается личина исполнения; и здесь мы подходим к самой мучительной, тягостной, удушливой стороне критикуемого идеала. Пассивный идеал механичен, ибо он вне жизни, а не органичен, потому что он не внутри жизни. Человек встает на цыпочки, тянется, тянется... и все-таки не достает, — в этом уже суть пассивного идеала, «не достигаемого», «еще не умрешь». Тогда происходит истинно страшная вещь: от лица человеческого, от «лика человеческого» поднимаются... маски, маски, маски! Какой ужас: атмосфера цивилизации наполняется масками и подобиями, которые все запутывают, спутывают лица и вещи и их фантомы, строят условности, «жесты» и «речения» для всеобщего универсального употребления, ибо никто более не творит своего слова и своего действия. Обе названные нами эпохи господства пассивного идеала были богаты лицемерием, и борьба против них, — «Renaissance», реформа Петра, — была частью простым моральным негодованием. Лицемерие есть вид достигнутого приближения, когда приближение неосуществимо. Петр в крови, в гневе, во многих преступлениях не имеет в колоссальном и многообразном своем облике пятнышка лицемерия. Вот за что его любил Пушкин, и простила во всем Россия! Нельзя не заметить в Нехлюдове, что он не столько воскресает, сколько натруживает себя около воскресения. «Все виденное и испытанное было как бы сон», почувствовал он за обедом у правителя области, «среди благовоспитанных людей, с порядочностью манер и вкусов». Вид детской, вид матери семейства, пробудил в нем отвращение к идеалу, который он натащил на себя, к заповеди, уроку, который поставил себе и не был в силах исполнить. Конечно жизнь с Катюшей, — как уже даны характеры ее и Нехлюдова, — в случае их брака, была бы высшею формою человеческого несчастья, какую себе можно представить. Он возненавидел бы ее, как только она «приняла бы его жертву»; и эта его длительная на двадцать, на тридцать лет ненависть, — точнее отвращение, — доканала бы несчастную хуже, о, как хуже! — каторги. Однако можно представить себе его более «исполнительным в уроке», лучше собою владеющим: брак произошел бы, Катюша была бы обманута видимостью, и все несчастье почувствовать себя ненужною человеку и связанною с ним — произошло бы. Ведь уже теперь, когда Нехлюдов «трудится над уроком», в нем есть или, точнее, перед ним лежит путь лицемерия, на который он упирается вступить; разговоры трудны, чувство вяло, и все усилия его направлены к оживлению их, к пробуждению его. Гений Толстого не сделал ошибки: но, — мы критикуем пассивную цивилизацию, — сколько людей, не гениальных, впали бы в ошибку преувеличения, показного, маски и подобия, чтобы спасти «хоть видимость», когда нет и невозможна действительность. Преждевременная старообразность пассивных цивилизаций вытекает из необыкновенной их трудности, из того, что люди искривляются, бредут через силу по пути, на который ошибочно вступили, давно в него не верят и чувствуют к нему отвращение, но — бредут! Тысячи Нехлюдовых, «успевших исполнить свой долг», и, так сказать, загустивших, заморозивших себя в «урочной», «должной» позе — вот Россия до Петра, Европа до Renaissance'a. Тысяча заповедей и ни одного человека! Тут нужна Каренина, тут — нужен Петр: повели плечом, могуче повели им, и исторического миража нет!

Как в средние века, так и у нас «на Москве» если и появлялась песня и сказка, то украдкой, как контрабанда, как запретное или предосудительное против того, о чем догадались и Нехлюдов с Толстым в конце жизни. Песни слагались воль-

ницей, изгоями быта и общественного порядка; ибо для «заповедной» нормы, для принятого на себя «урока» это был — грех; как для Нехлюдова было «соблазняющим грехом» всякое прикосновение со светом в Петербурге и даже в Сибири. Правильное и чистое семейство дочери генерала было последним грехом, который его соблазнил и погубил, т. е. в смысле исполнения долга. Он отказался от Катюши и так и не воскрес. Нельзя совершенно представить его, счастливого, в семье, «среди добропорядочных людей и вкусов», исполняющим XVIII главу от Матфея: это присказка, в которую мы не верим и даже вправе не верить по неудаче всей сказки. Толстой запутался в пассивных образах и в пассивных идеалах. Однако если мы перейдем к активным идеалам, неужели мы перейдем к греху? к забвению долга? и, например, к забвению Нехлюдовым Катюши, к брошенности девушки, которою он наслаждался — и конец. Ни мук совести? Ничего?

Но ведь пассивный идеал имеет тот второй, после возможности лицемерия, недостаток в себе, что он не просвещает, а отрицает. «Отрекись от имущества»: какое же это просвещение, и свет, и научение, и мудрость к приобретению богатства? Вот идеал, которого не понял бы и, наконец, не принял бы Иов, и однако о нем сказано в святой книге, что он был «угоден перед очами Божиими, как ни один из людей». Активный идеал есть и для семьи: не отрицающий ее, но проливающий в нее свет. Активные идеалы внутри жизни, и надувают ее, как воздух легкие, как кровь жилы: в деле семьи такой идеал не научил бы бросить Катюши, но научил бы, не отрицая ее, соблудности ее с той же первой минуты, когда она была невинна и прекрасна, когда она влекла Нехлюдова. Его заповедь себе вовсе не нужна, когда была бы любовь; и заповедь явилась, увы! — как слишком слабый коррелятив любви. В существе все «Воскресение» Толстого есть иллюстрация к сравнению между бессильными пассивными идеалами и между мощными активными. Это — любовь; в войне это была бы храбрость; в имуществе — «стада», «стада» и «еще стада» Иова. Наконец, в несчастии — это бурный ропот, как у того же Иова; да, Иов и на гноище роскошествует: «Померкни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано было: вот — зачался человек»... «О, ночь та — да будет она безлюдна, да не сочтется она во днях года, не войдет в число месяцев». Другой тон: этот человек умел жить, и он также богат в гневе, гонит «стада», «стада» и «стада» упреков, которые могучи и однако святы, направлены против Бога и угодны Богу. Друзья его упрекали за ропот, но Бог остановил их: «Он — гораздо лучше вас». Я хочу указать этим, что весь тон бытия активного совсем другой, нежели пассивного: и какой-то лучший, в чем-то лучший и именно чистейший, святейший.

Лучшие стороны «Воскресения» — в его деталях, именно там, где, выходя из заданного себе, как урок, пассивного идеала, Толстой рисует жизнь, то мелочную, то порочную, вообще не интересную, но все-таки естественную. Мы заметили, что как Москва, так и средние века не благоприятствовали расцвету поэзии и художества. В Толстом мы наблюдаем, как в личной биографии повторяется в миниатюре закон цивилизации. И у Толстого, не по бессилию его гения, не потому, что он «вообще» философствует, но потому, что идеал, в пределах которого он философствует — вообще «к смерти», художество как-то энervируется в сюжетах, подобных «Воскресению». Заметим, что, наприм., и в «Смерти Ивана Ильича», могучей вещи, сила принадлежит собственно активности изощренной казни, этой разрисовке смерти. Так в средние века «гениально» разрисовывали колпа-

ки, надетые на осужденных к казни. Сколько «чертей», какое «адское пламя»! Нельзя не отметить, что то же делает и Толстой. Не интересен Иван Ильич, но ход его болезни — интересен; не жалко его, но страшно ее. В «Воскресении» казнить некого, ибо все добродетельны и так сказать находятся в процессе воскресения: и рисунок здесь слаб — не по ослабелости мощи Толстого, но по теме, по границам, по методу. В пределах этих границ от «сказки» нужно отказаться; в этих пределах лучше не вымышлять, нужно бросить перо. Не тут ли запутался Гоголь? Не в этом ли, а вовсе не в принципе самого философствования, сравнительный упадок Толстого? Ведь философствовал Гёте — и это не ослабило «Фауста»; философствовал и Достоевский: и какой интерес это сообщило «Бр. Карамазовым»? Сказать, что мера философствующего гения Толстого мала — мы не можем. Где свидетельства большого теоретического гения у Достоевского? Но, дав образ «идиота», он не растягивал его «идиотической» философии на другие томы своих созданий. В философии, именно в ней, он был подвижен, гениален, отнюдь не монотонен, всего менее пассивен. Он знал пассивный идеал как минуту, как просветление, как озарение; и эта заря вспыхивала откуда-то изнутри человека. Но «заря» как «урок»?! — неестественно, невозможно! Увы, и Москва «тащила лямку» свою до Петра, как Нехлюдов дотасил свою «лямку» до Сибири. Пришел великий человек и сказал: «Довольно». Россия расцвела; так мог бы относительно расцвести и Толстой, если бы он догадался бросить свою «лямку», прежде всего антихудожественную, но и наконец едва ли усиленно моральную. Повторяем: он не несет свет, рассвет в жизнь, он несет ее отрицание, темы небытия. Мы может быть дурно выражаем свою мысль, но она верна и кардинальна по отношению к Толстому вот уже долгих, долгих лет. «Как бы благочестиво умереть». Но ведь может быть тема и даже это есть настоящая тема земного странствия человека: каким образом совершить великую правду жизни, бытия?!

ОТВЕТ г. В. СОЛОВЬЁВУ

<1900>

30 После вдумчивого г. Влад. Затогникова мне как-то не хочется отвечать (увы, подзреваю!), и не может. Мы, трудящиеся над проблемой пола — не гениальные люди, но гениально то, что мы беспритязательны. Добрый редактор «Гражданина» ответил нам уголок: «Вы чем-то интересуетесь, кажется — очень, вот вам — комната, а, впрочем, мне до вас нет дела, кроме того, что вы люди добропорядочных манер и вкусов». Далее, тема наша имеет бесконечный полет; есть какая-то басня, где говорится, как паук прицепил свою паутину к перу в хвосте орла, даже, кажется, нечаянно и не подозревая, что из этого выйдет. Вдруг орел полетел; и паук увидел всю вселенную «во мгновение ока», которой не подозревал, которой никогда не видел. Доли, горы, кажется, даже небеса. Конечно, занятые этими чрезвычайными созерцаниями, мы совершенно счастливо сидим в комнате у кн. Мещерского, стараемся не шуметь и никого не беспокоить, и ука-

зываем друг другу на чудеснейшие виды, которые отсюда видны. Литературная фата-моргана, чрезвычайно упоительная.

Вдруг входит «сам орел»; с орлиным взором и орлиными манерами. Конечно, он входит с «гениальным высокомерием» к комнате, тем людям, «зде предстоящим и молящимся». Ему приходится нагибать голову, проходя под матицею двери; он не устанавливается во весь рост в комнате; для голоса его, который приспособлен к аудитории Соляного городка — нет резонанса. Но Бог с ним, с его неловкостью, главное — нам неловко. Почему неловко? Бог знает почему — а только он смутил нас, совершенно лишив спокойствия тона и ясности мыслей. Теперь надо вставать и подавать ему кресло; извиняться и ссылаться, что, все-таки, это «княжеская комната», так что он не очень уничижен. И проч. и проч. Тысяча забот; а где же тема? И вот почему строки мои невольно бежали, когда я отвечал г. Вл. Заточникову, а теперь, кажется, я буду неволить себя, чтобы выжать из себя несколько строк и сделать «маленькое оправдание добра».

* * *

Где-то мне попало выражение — «Изида тысячеименна». Это противное египетское выражение тем замечательнее, что нет-нет и вдруг является такое *положение* людей, такой *момент* спора, коллизия мнений, где данное речение, сказавшееся на берегах Нила, неожиданно приходится совершенно раз к разу. Вот и теперь, когда мне не хочется спорить, добрая Изида как-будто подсказывает мне: «Из тысячи имен моих выбери *одно* которое-нибудь и защитись им».

В самом деле, от этих «тысяча имен» победа наша, в проблеме пола, обеспечена; ну, побеждены мы в том, в этом; отступаем в 999 пунктах позиций, т. е. хуже, чем англичане перед бурами или немцы перед Наполеоном. «Все потеряно!» Но у победителей наших «имена», «имена», «имена» у «побеждаемого» божества Египта от самой бесчисленности их не держатся в победном патронтаже; вываливается «одно». Герой прошел мимо, герой — горд и славен. Но «одно имя» осталось. Оно пало в землю, и так как оно зернышко (это-то уж непременно в Изиде), и даже похоже на горчишное зерно, то непременно из него вырастет «травка», «деревцо», «дуб», который «простирает свои ветви на всю Азию», как снилось глупому Астиагу, из чрева его дочери Манданы; и позади победителя, который так славно прошел свой маршрут, оказывается ни мало не тронутую «вечная» и «непобедимая» (тоже в составе 1000 имен) «Изида».

Итак, повинуюсь идее «одного имени», я соглашаюсь с Влад. Соловьёвым, что он меня победил не только в точности текстов, но и в во всем ходе мышления, в 999 аргументах, которыми я счастливо брянчал; и у меня остался только один, который я и выставляю:

1) нужно улучшить семью.

Будет ли он 1) христианин, 2) язычник, 3) ученый, 4) неуч, 5) добрый... только вот нельзя сказать в гармоническое удвоение «злой»; итак, кем бы ни был мой противник, он скажет:

— Да, семью нужно улучшить.

И лишь в единственном случае, если он был *злой* (дурной, без совести человек), он сказал бы:

— Нет, вовсе ее не нужно улучшать.

Итак, автор «Оправдания добра», конечно, выберет первый ответ, а с ним — возьмет к себе в ученый колпак и «всю Изиду».

Чем же мы и улучшаем всегда, как не Богом? «Господи, воззри!» «Господи, прими!» «Господи — мы к тебе!» Или, пожалуй, как дети говорят, подвигая в передний угол, под образа, колясочки: «Теперь мы у Боженьки в гостях».

Вл. Сол-в. — Нет! Нет! Идите вон... *Не идите* к Господу... Господь, с этою темой, или запрет перед вами обитель Небесную Свою, или и впустит (ибо Он милосерд), но именно только в обитель, для постоя, а не в лоно Свое и не за светлый стол, где чистейшая скатерть накрыта и тысячи, тысячи свечей, светильников...

10 Этот ответ, т. е. Влад. Соловьёва, был бы *не от Бога*, ибо он разделяет Бога от человека, вопреки христианству. Просто этот ответ был бы *к злumu* для человека, *к злодейству* над человеком. «Не пущу вас к Богу»: ну, это — *против Христа и антихристианство*.

— Но приходите же к Христу с другим!?

— Представьте, я хочу *именно с этим!* Ибо я 1) не ученый, 2) не полководец, 3) не богослов, 4) не святой человек, а *самый обыкновенный человек*; и так как прочие дела мои малы, отрицательны, или совершенно уже ничтожны, напр., брадобрейство в цирюльне, то, право, серьезнейшее, что я могу и к чему способен — это просто взять себе жену, «женщину», и, соединяясь с нею «в плоть едину», просто рождать детей, вам, мудрым, «в пушечное мясо». Итак, как я не далек и лучшего не умею, то вот лучшее, т. е. *у меня* лучшее и даже собственно единственное, и хочу принести, подобно «волхвам с Востока», «мирру и ладан» «родившемуся в Вифлееме» Христу.

— Не примет! *Этого* он не примет! Ищите обыкновенного росного ладану в лавке.

— Ну, хорошо. Не примет. Это — Христово дело и, пожалуй, ваше, так как вы богослов и ведение христианских дел взяли в свои руки. Но ведь я-то, *удалясь от Христа*, т. е. *удаляемый вами* — погибну, и вот, мне кажется, «дать погибнуть человеку», «хотевшему Христа» — не по-христиански и опять же антихристианство? Я не понимаю, как вы всего этого не соображаете? Т. е. это вы идете тайно *против Христа!*

— Я уже не так поверхностен, как вы думаете, и давно соображаю, что дело — не ладно; но я канонист и держусь церковных преданий; а, как заявил мой друг «православный» в «Дневнике православного», церковь всегда ставила неизмеримо выше безбрачие брака.

— Тут и начинается для вас истинная опасность, что вы ссылаетесь на традиции и XIX веков бытия; ибо очевидно все XIX веков церковь незаметно, но неуклонно действовала разрушительно на принцип семьи просто тем, что, взяв дело ее в свои руки, в то же время активно к ней не относилась и упорно отказывается даже сейчас отнестись. Возьмите нас, спорящих о браке, и кн. Мещерского, который этим спорам дает только квартиру. Церковь давала только квартиру семье, но, как кн. Мещерский, никаких споров *не устраивает, не направляет*, и завтра же мы можем, взяв шапки, разбрестись по домам и *погасить* вопрос, так очевидно и семья XIX веков только «ковыляла» на дворе церковном, и более чем естественно, что угасла, погасла, гаснет и т. под. Ведь вы же не оспорите, что есть разница между активным отношением и пассивным в смысле плода, качества и благополучия того, что таким образом «правится». И так как пассивное отношение

к семье есть, как выражаетесь вы и «православный», традиция церкви XIX веков, то совершенно очевидно, что XIX веков церковь неблагополучно правила и правит семьей, и инде спотыкая корабль семьи на камень, инде — на мель, инде допуская в ней — течь, сырость, холод, недобротную провизию, отсутствие топки и вентиляции, ни в одном случае не рекомендовала ничего, и никогда не давала: «Полный ход вперед». Так валандалась с семьей в Маркизовой луже, не выплывая в безопасно-прекрасный океан. И это не одна нить размышлений: семья иудейская — цветет, даже магометанская — по крайней мере не гибнет; но христианская, на взгляд даже профанов, — выцвела, обезлюдела и в сущности вымирает.

10

— Но ведь и церковь благословляет же брак? В чем же она виновата?

— В том именно, что с самого начала больше благословляла безбрачие, и как это — Божие отступничество, Бог здесь поманил человека, очевидно, человек и ринулся, как во веки веков, за Богом. Но тут не в ринувшихся дело: им — царство небесное, и слава Богу. Дело в оставленных, пренебреженных: что активное отношение к безбрачию есть *eo ipso* пассивное, и даже чуть-чуть меньше, чем пассивное отношение к браку. Вы идете на корабль. — «Нужно придать ходу»? — «Можно, но лучше не придать». — «Повернуть руль направо»? — «Можно направо, но лучше налево». Согласитесь сами, что если это говорит пассажир корабля, напр., мы с вами — конечно, тут ни опасности, ничего нет; но это говорит капитан корабля, и говорит 1900 лет, на всем переходе от Старого Света в Новый. И вот судите: вышли из гнилого Петербурга, два месяца плаваем, думаем — мы около Нью-Йорка, а мы — около Ревеля. «Неблагополучное плавание», «полная авария»; «авария семьи» и потому, что ее капитан: «Семья — не худо, но без семьи лучше».

20

И. КОЛЫШКО. МАЛЕНЬКИЕ МЫСЛИ. 1898—1899

СПб., 1900. Стр. 562

Скорее можно было бы назвать коротенькими эти «мысли», собранные или распределенные в 44 отдельных статьи: «Жить трудно», «События или люди?», «Смерть», «Личность», «О людях нормальных и ненормальных», «Мужество и трусость», «Брак как религия и жизнь», «Ум или талант», «Пушкин и мы», «Три элемента жизни» и т. п. Автор берет тему, обыкновенно практическую, иногда занимающую в данный момент внимание общества, и, как бы зажуривав глаза, позволяет в голове своей развиться целому ряду мыслей и полумыслей, афоризмов и рассуждений по поводу этой темы. В них автор иногда философ, иногда мечтатель. В сущности — это характер русской мысли, которая как-то не хочет вытягиваться по правилам аристотелевской логики: у нас, если прислушаться к спорам, мечта и фантазия также участвуют в ответе на вопрос, как и ум, и, может быть от этого, русский ум не хочет остановиться, не умеет остановиться. По нашему — это плюс в итогах русского капитала, а не минус. Книга по безусловной ее литературности заслуживает успеха.

30

40

ЭМБРИОНЫ

1

Кант и Соломон; мудрецы Кенигсберга и Сиона; «Критика чистого разума» и «Песнь песней» — как две грани силы, мудрости, величия.

«Я тебя научу», — утешает Кант нуждающегося в утешении; «Я тебя полюблю», — утешает ту же или того же Соломон. Две панацеи мира.

2

10 Был на «Эрнани» в консерватории. Слушал музыку. Но более любовался на Крушельницкую и даже собственно на костюм ее. Длинное платье. Мысль женского платья — удлинение и удлинение. Почему? Даже удлинение *того*, какой *особенности* женщины? — нельзя дать себе отчета. Но можно было чувствовать, что платье чрезвычайно гармонировало с особенностями *лица* ее; например, так одетая другая женщина была бы безобразна. В платье женщины есть тайна, как, конечно, и в самой женщине; а *одеться* — это наука.

Странно, куда унесли меня мечты в консерватории; я думал о той «Речи консерватора», где автор резко говорит: «Нет воспитания!». Но, позвольте: в глубине всего, нет даже решения проблемы: в мудрости ли Кенигсберга или Сиона нужно воспитываться.

20 Я и сам старый консерватор, и мысленно перестраиваю школу, по крайней мере женскую так:

Курс первого класса. Умение ходить.

— Как «ходить»?!

— Позвольте, ведь есть же «постановка голоса»? Есть наука, «как поставить голос», т. е. те данные природою силы, которые у неучившегося пастуха раздрают ухо, у искусного певца — начинают чаровать ухо. Походка есть тоже естественная способность, и она может очаровывать, восхищать, но может быть просто смешной, оставаясь на степени: «семенит ножками», «ковыляет», и проч. И так, курс первого класса — *походка*.

30 *Курс второго класса.* Сгиб шеи. Не знаю, замечал ли кто, что уметь поставить шею — значит придать выражение голове (не лицу) и через это — всей фигуре. Скорбь, радость, одушевление, размышление — все отражается совершенно различной постановкою головы и, следовательно, в основе дела — сгибом шеи.

— Но вы не оставите ничего натурального в человеке, вы убьете человека?

— Но ведь учить будут профессора, а не учителя уездного училища, и они только подымут естественную способность, а не приставят снаружи каучуковую способность. Школа будет растить; она будет культивировать; она будет сад, а не мастерская ремесленника. И так, второй класс — голова и шея. Третий — корпус тела, и тут одежда, конечно гениально индивидуализированная, но имеющая кое-что и общее.

40 — Общее?..

— Ну да! Ведь это же бесстыдство, что девушка, женщина, вдова, в сущности, носят платья одного покроя, цвета, формы. Подходя к женщине, вы непременно

должны знать, к которому из этих трех совершенно различных существ, вы подходите: девушка — для всякого возможна и неопытна; женщина — опытна, но ни для кого невозможна; вдова — имеет скорбь, которую вы должны уважить. При величайшем истончении нравов (мудрость Сиона) вы выкажете себя мужиком, полинезийцем, если допустите себя посмотреть на женщину с одной тысячною долей того посягновения, на которое совершенно вправе, говоря с девушкой. Вы тогда ничего не понимаете, подобны человеку без галстука и вас выводят под руки лакеи. Напротив, если вы «запанибрата» заговорили со вдовой, к которой опять имеете право на посягновение — снова вы ничего не понимаете и по мановению матроны те же лакеи выводят вас под руки. Но чтобы знать музыку речей, с которою вы должны обратиться к женщине, вы уже в costume ее должны прочитать, так сказать, *ноты*, по которым *единственно может* играть ваша речь.

— Что же вы оставляете для четвертого класса!

Курс четвертого класса — возраст тринадцати лет — обнимает танцы. Кого не возмутит «присядка»? Но ведь если «присядка» возмутительна, а котильон — хорош, то может быть гениальное по выразительности и грации в танце? Их изобретают Петипа; но если бы над ними задумался Кант? В танце можно выразить всю жизнь, всю душу; в танце можно *плакать*, как и смеяться (это кой-как мы еще умеем, и напр., «присядка» есть просто наглый хохот ног), и вот фразировать *душу* через тайну движений, жестов пантомим, это в своем роде наука. Польша умерла, но мазурка не умерла; Испания впала в ничтожество, но кастаньетки в ничтожество не впали. Итак, танцы могут быть вечны как Гомер и Пушкин:

Ты — *царь!* живи — *один!*

И вот, когда, протанцовав, девушка внушит кому-нибудь, но впервые и оригинально, этот стих (т. е. *подобный*), ареопаг судей-старцев, взяв простую шелковую ленту и опоясывая ею танцовавшую, произнесет:

— Mademoiselle! Ваше испытание зрелости — кончено.

3

К мыслям г. Серенького об институтках и институтском воспитании. Да, *кто* невинен? и *что* такое невинность — это еще вопрос.

Мне думается, я решаюсь подозревать, что *суть* невинности лежит в *способе отношения*, в *способе воззрения*. Невинность есть все-таки *наивность*, а наивность — *детство*, т. е. конкретное отношение к конкретному факту. Можно пить воду наивно, и можно — кокетливо держа стакан, кокетливо поднося его к губам. Что же такое невинность?! — Царственность души. «Где я стою — там и место царево». Кокетливо пьющая воду — знает, что она может быть некрасива, не изящна в жесте; в ту секунду, как мы *застыдились* бы естественных потребностей, нужных вещей — мы в них чуть-чуть развратились бы. Да также и выражено это в вечном «Вытии»: вина есть стыд. Т. е. невинность есть то, что *до* стыда, где *не* *нагибался* стыд. Это совершенно другое, противоположное, чем точка, где он *конгился*. Итак, переход возможности в действительность *до* *нагала* *появления* *стыда* есть невинность.

Невинность, я сказал, есть царственность; и это — то же, как если бы я сказал, что невинность есть закон, законность. Переходя из возможности в действие, я вхожу в норму, в закон, вот необходимая типика невинности. Тот, кому запрещено есть, кто лишен обеда в наказание, пусть будет маленький ребенок — если он втихомолку станет есть кусок, стащенный со стола, будет есть его непременно стыдно, некрасиво, грешно. Поэтому сознание: «Я царь и ношу в себе закон» есть условие не разрушения в себе невинности.

Третье условие — долг, а именно — не мой долг. Возьмем три стадии одного явления: нам запрещено действие и все-таки вы его совершаете — это высшая степень виновности: вы его совершите искаженно, уродливо, как заранее побитая собака. Вторая стадия: вам ничего не сказано о действии — и вы его совершаете «так», «для себя». Тут есть возможность чувства эгоизма и следует возможность упрека себе, чувства вины. Но вы совершаете действие потому, что должны: вы его совершите с полной, счастливой смелостью. Могу себе представить упоение часового, который не оставляет своего поста, когда загорелся пороховой погреб. Вот кто — царь, в эту минуту и в этом положении. Царственная точка, царственный трон. И уж какая — невинность! О, он с Адамом в раю!! Так вот, по данному пункту и в данной проблеме, сумейте сообщить девушке упоение часового на страже, на страже мирового сокровища, как оно и в самом деле и есть так — и вот сообщите девушке ничем неразрушимое чувство святой невинности. Разве вы не помните детские годы, когда мы ожидали первого мундирчика с светлыми пуговицами. О, как мы учили арифметику, молитвы, географию ради его. «Ради его — все!». Вот сообщите девушке этот импульс: «Ради материнства — все!» — и она станет первой Евою.

В этом — секрет; до известной степени — секрет невинной цивилизации. О, я окружил бы материнство бубнами, кортежами, и всею тою славою, которою мы окружаем и умеем окружать «торжественные похороны». — «Хоронят полного генерала, везут пушки, идут эскадроны и пехота, чудная музыка». — Вот сумейте так окружить не смерть, а рождение; нет не «гимн чуме, попиравательнице людей», а «гимн водам, извергающим из себя бытие». По слову Спасителя, «оставьте мертвым хоронить мертвых» и сосредоточьтесь на живых. Но, во всяком случае, назовите же каждую мать царицею, царствующею, в царственных подвигах труждающуюся — и вы создадите ей новую психику. О, как приветно она улыбается миру. И каких чудных детей нам выносит.

Я наблюдал у детей, в возрасте 6—7 лет, что они и именно только девочки (никогда — мальчики, у которых совсем другие игры) устраивают куколкам дом и непременно в нем спальню, где к вечеру куколки разного пола, покрытые одеяльцем в ладонь, мирно почивают. Это — в 7—6 лет, т. е. уже, конечно, без всякого порока. Секрет невинного девичьего воспитания и заключается в продолжении этих игр, и в разработке (социальной) брака таким образом, чтобы в наступившую великую минуту среди своих куколок и не оставив еще их — вошла в игру жизни, в сладость жизни, в дом жизни и сама играющая ими. «Невинность жен»... Да это прежде всего отсутствие перегорелости воображения унылых мечтаний, это — «в самом деле», «в самом факте» еще невинная дитя — жена, дитя — мать, около совершенно молодых отца и матери, совершенно свежих — деда и бабушки, и около живого и вовсе не хилого прадеда. Нельзя же выдумывать невинность; но нужно ею пользоваться, ее культивировать — когда она есть. А она есть у каждо-

го. Но в пору ее каждый и каждая чинится у нас алгеброй и географией, и, конечно, втайне уходит в знойные мечты, и разрушается внутренне, при внешней целости, — это и есть порок цивилизации.

4

Может быть, ни в чем так не выражается отсутствие у нас семьи и специально умелого в семье, как в заботах подготовить к ней девушку:

— Ей 18 лет, она кончила гимназию. Теперь я *отдала ее на кулинарные курсы*, — говорит заботливая мать вполголоса лучшему другу дома.

Это — приготовление к семье, *специальное* приготовление. Тут — уже забота, тут — культура. Но позвольте: разве же можно серьезно сказать, что «семья — это кухня» и *специальное* в жене сливается с *специальным* в кухарке? Будто муж ищет, женись, кто сумел бы готовить ему суп? Или: ¹⁰

— Знаете, гимназия и прочее — это все ненужно. Она учится у меня *кроить и шить*...

Вот и все: между супом и умением «кроить детское» стеснена, сомкнута, заперта наука семьи. Дальше мы не умеем даже поставить вопроса. В сущности, нелепые женские курсы, как и епархиальные женские училища, пошли дальше: вторые дают батюшкам уравнительно образованных «матушек», первые дают докторам, адвокатам, земцам, чиновникам «духовных подруг», уравнительно-интеллигентных. Как хотите, но это — шаг вперед: если *суть* хорошей жены в *хорошем супе* и *умелой кройке*, то, очевидно, уж не менее этой сути заключается в умелом разделении интеллигентных тревог мужа. Но еще очевиднее, что ни в первом, ни во втором, ни в третьем вопрос *жены* даже не содержится. И это — просто потому, что у нас нет *специально жены*, *специалисток жен*, и это есть показатель, что у нас вовсе нет, не существует *женитьбы*, *семьи* и *брака*, как некоторой специальной и ни с чем другим не смешивающейся области. Жена есть просто: ²⁰

1) Суррогат экономки.

2) Суррогат «бонны с шитьем».

3) Суррогат хорошей знакомой дома, с которой можно с интересом поговорить. ³⁰

Но и только. Дальше мы не умеем продвинуть вопроса, ни найти ответа. Но главное, не умеем вопроса поставить. А между тем семья и брак, очевидно, выше экономической области, и области дружественных отношений. Семья — таинственно-религиозна, она — «таинство». Но какие же речи мы о нем имеем, и науку, и философию?! — Ничего.

Тут, по-видимому, исторически произошла ошибка, которую мы теперь бессильно пытаемся поправить «экономками» и «шитьем». Брак — *длится*, он — *тегет*; он есть 40-летнее «кап... кап... кап...», а вовсе не минута, не час, когда дается «разрешение на брак». И вот, в ту черную для брака и семьи минуту, когда отождествилось представление «брака» с «разрешением на брак», мысль вся ⁴⁰ и ударилась в вопрос: как «разрешить», ритуально, словесно, обычно, а *не как жить* — опять ритуально, словесно, обычно. Раз брак есть «кап... кап... кап...», очевидно ритуал, пожалуй бледный, пожалуй даже вовсе не нужный в «разрешении»

тельную минуту», должен был разлиться на 50—40 лет, выразившись, ну напр., в *еженедельных молитвах*, потом в особенных — *по месяцам* и, наконец, еще в особенных по некоторым важным *девятимесягиям*. Вообще, вовсе не трудно разложить брак на его элементы, и нельзя поверить, чтобы не было *музыки, слов*, а наконец и *пластики* для каждого порознь элемента в глубочайшем соответствии с его природою, назначением, смыслом, желаемым настроением духа. И вот, если бы рокового черного смешения не произошло («таинство есть *наше позволение*», «наша *индальгенция на грех*»), то, очевидно, девушки, готовясь к замужеству, теперь знали бы как *художественно, музыкально, словесно* и, наконец, *религиозно* готовиться *специально в замужество и материнство*. Читатель понял мою мысль?

Теперь этого не только нет, но это и совершенно невозможно. Ну, возьмем «самое серьезное подготовление»: «мать должна серьезно относиться к своим обязанностям и сама кормить ребенка, не передавая его на мамок и на стерилизованное молоко». Но, Боже — *родится* ребенок и она его *вскормит!* Чего же тут *подготавливаться?!* Очевидно — глупо, глупа самая мысль, глуп весь вопрос и его тема. Все произойдет *физиологически* «само собой», а где «само собой», тут зачем же человеку вмешиваться? Никакой дурак не учится «ходить», «дышать», «поворачиваться с боку на бок во сне», и, вообще, физиология *происходит*, но ей *не угатся*.

Но раз что «физиология» в какой-нибудь своей части объявлена «религией» (= «таинство»), ей, очевидно, не только можно, но под страхом смертным и должно научиться. Да вот — *еда*; уж кажется, не «религия», а ведь есть же «молитва перед обедом»:

«Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пишу во благовремени: отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всякое животное благоволения»...

Или перед учением, — тоже ведь не Бог весть какое «таинство» и нет о нем ни специальных слов, ни заповеданий в Ветхом Завете, или — в Новом Завете. Но молитва — есть:

«Преблагий Господи! Ниспосли нам *благодать Духа Твоего Святаго, дарствующаго и укрепляющаго душевныя наши силы*, дабы, внимая преподаваемому нам учению, *возрасли мы Тебе нашему Создателю во славу; родителям же нашим на утешение, Церкви и отечеству на пользу*».

И это — читается перед тем, как начать разрешать уравнения второй степени со многими неизвестными, — что *нигевохонько* к религии не относится. Но если Господь так чудно, в такой чудной высоте словах благословил:

«Разве не читали вы: *мужгину и женщину сотворил геловека Бог*. Того ради оставит человек отца и мать и *прилепится к жене своей, и будут два одною плотью*. Итак: уже *не два они, но один, и что Бог согетал, геловек да не разлугает*» (Матфея, 19).

Итак, говорю я: если столь чудны молитвы этого особенного и на специальный случай благословения, то в соответствие ему какая херувимская песнь могла бы зазвучать ответно из уст бого-мудрого благословенного? И вот изучение-то таких «херувимских», да и целого обширного, может быть, церемониала, жестов, слов, и, словом, *пластики и музыки, красоты и настроения* должно бы составить неразрешимую теперь проблему: устройства отроков и отроковиц в супружество, «наставления юным, как проходить таинство» «в страхе, трепете и благогове-

нии». Теперь — ничего. Пустынно это место. И ведь это место — наша душа, наша жизнь; здесь — русло, в котором течет река нашего бытия. И как только сюда не капнула молитва — она не капнула вообще в бытие человека, т. е. бытие стало не молитвенным.

5

Я продолжу мою мысль о том, что молитва не капнула в жилу человека, а только пала на язык его, даже на кончик языка. «Кровь, кровь»... кровь затроньте — и вы тронете сильное человека, подымите «силы» его — в таком случае слиянно с собою, например, слиянно с молитвою. Подымите силы человечья в молитву, и вы сделаете молитву сильною. В этом — секрет, в этом — всемирный секрет, секрет могущества веры. Послушайте: ведь вера только святость; святости надо лететь, надо крылья; ну, как она «полетит» на языке?! Где же «крылья»? — В крови! — Кровь крылата; посмотрите-ка на ее узоры, на ее прыжки; на ее неутомимость; сердце 60 лет бьется и не устает. Сердце не спит, когда мозг и мускулы нуждаются в отдыхе, сне и освежении. Так вот если вы «в самом деле хотите Бога» — пролейте его в это «в самом деле» человека. Снимите молитву с языка и привейте ее в «жилу».

Как это совершить? Ну, умудряйтесь, ну — размышляйте. Но пока эта проблема вами не разрешена, не разрешена проблема сильной молитвы.

Э. БУТРУ. В ЗАЩИТУ ИДЕАЛОВ РАЗУМА

*Избранная библиотека современных западных мыслителей.
VI. О случайности законов природы. Перевод с французского
под редакцией П. П. Соколова. Москва. 1900. Стр. 239*

При совершенно удовлетворительном переводе, выбор книжки — самый выскокий. Нужно заметить, что направление философии в России за последние годы стало несколько односторонне, именно — оно почти все вращается в области нравственных или в области нравственно-религиозных вопросов. Логика и психология, столь занимательные для нас в шестидесятые и семидесятые года, даже в восьмидесятые — теперь вовсе не привлекают к себе ничего внимания. Равно упал интерес собственно к метафизике бытия. Философия стала у нас религиозно полумечтою, полуразмышлением. Мы тянемся к Богу, забывая, что и природа — не падчерица Божия. Между тем в этой природе внедрены семена, которые — если мы станем в них внимательно вникать — приведут нас к Богу, и притом не туманным, а твердым и спокойным путем. Такова в природе известная иерархичность построения, ряды высшего и низшего, менее разумного и более разумного; такова в природе целесообразность — как статическая, так и динамическая, сказывающаяся в движении отдельных вещей к лучшим формам, и многое другое. Для каждого человека со способностями эта метафизика бытия есть область, из

которой не уйти бы. Книжка, редактированная г. Соколовым, и принадлежит к этой очень трудной и очень привлекательной области: кроме обширных «Введения» и «Заключения», она состоит из семи глав: 1) О необходимости. 2) О бытии. 3) О родах (и видах). 4) О материи. 5) О телах. 6) О живых существах. 7) О человеке. Проблемы, здесь обсуждаемые, были подняты еще в греческой философии, занимали мышление средних веков и блистательно обслеживались в философии германского идеализма. Мы говорим «обслеживались», потому что проблемы эти едва ли когда-нибудь будут окончательно разрешены; но, как не имея силы схватить руками солнце, мы уже многое приобретаем, посягая на него только глазом, — так и эти коренные проблемы бытия дают многое душе человеческой от самого вращения в их области, от кой-какого приближения к их постижению. Вот почему книжке этой мы желаем самого широкого успеха.

**А. И. КОСОРОТОВ. ЗАБИТАЯ КАЛИТКА. РАССКАЗ. —
БАВИЛОНСКОЕ СТОЛПОТВОРЕНИЕ:
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ГИМНАЗИИ**

СПб. 1900 г.

Если мы вправе назвать религиозным величайшее внимание к человеку в подробностях индивидуального его бытия, если религиозна изысканная любовь, с которою мы описываем человеческую муку, наклоняемся над нею, рассматриваем ее, проводим мягкою и теплою рукою по усталому лицу человеческого, — то право же хочется поверить, что есть некоторая религиозная задача и религиозная содержательность в писании «повестушек и рассказцев», которым «занимаются господа писатели»; и хочется почувствовать и согласиться, что есть религиозный урок, некоторый «урок закона Божия», т. е. закона божественной любви, просто в чтении этих беспритязательных светских созданий. Ведь «жития», т. е. праведное и трудное в жизни — не в одних книгах, они — вокруг нас. И вот писатели, т. е. умные и с сердцем из них, разыскивают и передают нам эти будничные, не замечаемые прозаическим взглядом «жития». Такие мысли внушил нам рассказ «Забитая калитка»: сколько внимания у автора, вдумчивости, заботы и любви к очень бедному и очень трудному существованию брошенных матери и сына. Кой-где в живописи автора есть нетвердость, неопытность, но очень незаметные и нисколько не вредящие цельности впечатления от прекрасного содержания. Вторая повесть «Вавилонское столпотворение» есть обширная разработка бездны педагогических тем. «Один учитель, большой добряк, любил изводить учеников нотациями. Он искренно удивлялся, что нотации ничуть не действуют, страшно сердился, дергался весь, как картонный паук на нитке, и кричал надтреснутым голосом:

«— Я же вам кажется русским языком говорю, — а вы все по-своему!..».

«Бедняга никак не мог сообразить, что и на одном языке, хотя бы и русском, можно говорить разными языками».

Этот краткий и выразительный пример есть как бы эпитафия к «Столпотворению». «Когда я прохожу мимо школы, — говорит автор, — и вижу сквозь оконные стекла учеников за партами и учителя перед доскою, мне неизменно чудится одна и та же картина. Все эти маленькие и полувзрослые люди копошатся в чрезвычайных потугах над какою-то гигантскою постройкою. Люди взрослые им помогают от души. Но Боже, что за хаос в этой постройке! Остановитесь и внимательно прислушайтесь к их разговорам. Разве это один язык? Ученики между собою говорят на одном, с учителями — на другом; учителя между собою — на третьем, а с учениками — на четвертом. Когда же приходится входить по школьному делу в общение с посторонней публикой, т. е. родными и знакомыми, то являются еще два новых языка: пятый для учеников и шестой для учителей. О, я теперь ясно различаю эти шесть языков, я не могу их не слышать, так как они раздирают мое сердце!..». Заметим, что не беда бы шесть языков, но беда, что все шесть — фальшивые, и школа наша, кроме самой низшей, не имеет никакого натурального, природного своего языка. Истинный педагогический волапук. Книга исполнена множества наблюдений, и можно многому в ней научиться.

ТРИ КИТА

Какое неуклюжее заглавие... Это тремя китами наши природные мифологи, мужики Онеги и Волхова, называли три самые огромные в их представлении существа, но существа живые, на которых держится безжизненная земля. Старым представлением я пользуюсь, чтобы выразить новое. Земля, земные дела, земное устройство держится на трех вещах, которые, для выражения всей их огромности, я называю китами. Это — кит труда, кит семьи, кит собственности. Если этим мифологическим существам чихается — человеку плохо, земле плохо. Земля трясется; страх овладевает ее обитателями; поднимается смятение, поднимаются грозы; наступает темь и очень часто в этой темноте проливается кровь. Разве мы ее не видим? Или наши сердца не исполнены страха? Итак, есть все основания спросить, подумать о здоровье подземных китов.

I

Читатель уже испуган. Это неопытный-то человек станет говорить о вещах такого огромного опыта, над которыми думают тысячи практических умов?! Но ведь я беру эти вещи со стороны мифологической, т. е. той особенной, которой не касаются практики и которую не умеет задеть опыт. Практика и опыт вращаются в том вихре и грозах, в той темноте или свете, которые зависят от состояния здоровья китов; словом — они на-земны; тогда как тема, мною избранная, существенно подземна и касается самого существования и, так сказать, географического, пожалуй, даже космического положения китов. Есть география; но есть еще космография, в состав которой входит учение, между прочим, и о земле, которую изучает география, но земля берется здесь планетно, как точка движу-

щаяся и как закон ее движения, вовсе без внимания к горам и рекам, которые текут по ней или на ней возвышаются. Именно с этой-то несколько «планетной» точки зрения мне и хочется рассмотреть труд, семью, собственность.

Есть прекрасный стих о Церере, кажется Шиллера. Некоторых строк его невозможно читать без слез:

10 Робок, наг и дик скрывался
Троглодит в пещерах скал,
По полям номад скитался
И поля опустошал.
Зверолов с копьем, стрелами,
Грозен бегал по лесам...
Горе брошенным волнами
К неприятным берегам!

Я говорю, что невозможно этих стихов прочесть или переписать без слез, между прочим, по чрезвычайной их современности. Кто же станет спорить, что европейская цивилизация есть в сущности удивительно непросвещенная цивилизация, и что европеец, после полуторы тысячи лет истории — «робок, наг, дик»... И может повторить о себе —

20 Горе брошенным волнами
К неприятным берегам...

Не будем искать подтверждающих частных, которые порою убийственны, но могут быть оспорены в качестве частных и «следовательно» исключений, которые объясняются частными же, отдельными причинами. Мифология трех китов даст нам аргумент сразу: в самом деле, труд — ну, и какой же небесный свет и просвещение брошены на него? Семья — и где же молитвы, специально для нее, в ее духе, для ее ужасных порою нужд созданные? Для собственности — но тут ничего мы не имеем, кроме светской и чуть-чуть «безбожной» науки. А так хочется видеть везде Бога, позвать всюду Бога! Хочется Его в помощь слабым рукам и грешному уму... Собственность, деньги... Ну, те уже прокляты, это — «биржа»... Но, позвольте, мне иногда думается, что самая биржа есть следствие проклятости денег; что этот проклятый рубль именно только после того, как его папаша проклял, пошел в качестве блудного сына блудить, разбойничать и вообще свинствовать на земле. Мне кажется, проклятие имеет нечто однородное с прикосновением палочки волшебницы Цирцеи, у которой заблудился Улисс: прикосновение этой палочки, а равно и прикосновение проклятия, принципиального проклятия, имеет силу преобразовать вещи и даже добропорядочных людей в свиней и свинство. Но бросим деньги, кинем рубль, с которым всемирно стряслась какая-то девальвация. Ну, это природная скотина, неисправимая скотина. Но вот, труд, благочестивый труд, на который так явно был благословлен человек в земном своем странствии? Конечно, мы имеем гениальную технику; но это — подробности. В сфере поднятого нами вопроса это — географическая сторона земного устройства, а не планетная сторона небесного полета. Мы имеем фабрику и фабрики, и погибающего, сгнивающего, прокливающего в них и око-

ло них человека. Хлопчатые материи хороши, а человек — наг, и особенно наг работающий их человек. Наука сделала, что могла: карлик создал фабрику; но дальше — мог бы только Бог; и вот мы зовем Его сюда, хотели бы позвать, ибо Он бросил планеты в несокрушимые, истинные и вечные пути, и неужели этих вечных и истинных путей нет, даже в разуме Божиим нет, для работающего человека. Подумаем, оглянемся. Ведь мы не только не на наилучших путях, не на самой твердой орбите в области труда, — а на пути наихудшем, истинно проклятом. Как печальны эти зловещие сборы четвертого сословия, эти в сущности «смотри красных батальонов» 1 мая. О каком-то преступнике года три назад писали: «Он был нищ; всегда очень скромен и трудолюбив; ни семьи у него нет, и ничего утешительного; он никогда не хворал, не манкировал службою, и только хозяин заведения заметил, что он 1 мая как этот год, так и предыдущий, казался больным». Было прослежено, что первого мая он уходил в эти огромные, составляющиеся рабочие батальоны.

Как это грустно. Как это страшно. Как это напоминает стих о Церере. Конечно, европейский человек и именно работающий человек — это «троглодит», брошенный

К неприютным берегам.

Где приют у этого рабочего? Где отечество, семья, родители, сестры, дети! Увы, как николаевские солдаты на 25 лет, т. е. на всю цветущую, растущую жизнь вырванные из села, пели:

Наши жены — ружья заряжены.

Вот где наши жены!

Наши матки — белые палатки...

Так точно дурной, несчастный, брошенный рабочий Запада имеет «отцом, матерью и отечеством» в сущности эту болезненную мечту 1 мая. Вот наступил день, тревожный для правительств; кроты выползли из своих конур, собрались, оглянулись на себя: много ли нас? Т. е. скоро ли час битвы? Какая ужасная мысль, какое ужасное положение именно для растерянного, грешного, слабого ума человеческого?! Но вот 2 мая и он снова в конуре, на матрасике-блине, снова вертит колесо на фабрике. Одна месть в нем. Человек умер в составе своих нравственных и умственных даров, и из смердящих останков его поднялась черная, огромная, неутолимая месть. «Я не отомщу, но я буду отмщен». Будет ли кто спорить, что не это, что не таково просвещение. Ибо слово «просвещение» происходит от «свет» и знаменует «светлую душу», веселую, радостную, утешенную. Да, если в нашей эре проклят рубль, то не благословен и труд наш:

Горе брошенным волнами

К неприютным берегам!

Читатель да простит, что я цитирую все один стих. Не я цитирую. Горе цитирует. И вообще предупреждаю, что в этих строках и дальше текущих я не буду (как писатель) ни красив, ни занимателен, но однообразен и монотонен.

Странно, ненавидя смертельно в школьный, т. е. теоретический период своего развития, всяких консулов, зевсов, эпатридов и преторов, я более и более, уже зрелый и практический человек, стал припоминать обрывки древнего языческого мира, как-то занадобившиеся мне среди нужд и забот текущего дня. Кто не помнит у Иловайского «*deus terminus*», «бог-термин». Что мы могли, мальчики, понять в этом? «*Deus terminus*» приводился как пример величайшей абстрактности, номинализма и, так сказать, несущественности и нереальности римского политеизма: была граница между моим полем и полем соседа и грубые землепашцы-римляне, чтобы обозначить эту границу или выразить ее идею, изобрели, придумали или действительно предположили существование «*dei termini*». «Этот бог охраняет границы полей». Все нам казалось, тогда еще мальчикам, непонятным в законе древнего воображения, изобретшем такого странного бога. Но вопрос повернется иначе, если мы обратим внимание, что ведь в самом деле нужно «священство границ». «Священный принцип собственности» — это и мы говорим, возвращаясь в этом случае к древней терминологии, но прикрывая лжесловесной формулой только хорошо награбленное. «Я тебя вчера ограбил, но вчера — прошло; теперь действует священный закон десятилетней давности и мое имущество сегодня находится под охранением священного принципа собственности». «*Deus terminus*» — и руки прочь. Но у римлян, так сказать в первый день их бытия, «*deus terminus*» не имел этого воровского характера и выражал младенческую и грубую мысль, что мое поле и твое поле — это не эмпирический факт и также это не факт силы, но это некоторая святость и Божий покров над моим домом, который залят для тебя, и тот же покров над твоим домом, который для меня залят. В Библии рассказывается, что когда израильтяне овладевали каким-нибудь хананейским городом, то они «обрекали заклятию» имущество жителей взятого города, которым никто из израильтян не мог воспользоваться и оно поэтому истреблялось. Тоже — «*deus terminus*». «Мы не смешиваемся с хананеями, ни даже — с их имуществом»; «мы — святое, а там — заклятое». И нельзя переступить, невозможно переступить. Станный «*deus terminus*», это «священство» границ «моего» и «твоего», повело к образованию необыкновенной, страшной и иногда чудовищной точности имущественных отношений, которая позже развилась в римском праве. Имущество обдумывали не маклера, а богословы. Конечно, качество обдумывания было совершенно другое; и вот имущественная культура, культура плодов труда так ли, этак ли, а все-таки не соскользнула там в грустную безбожницу — биржу, в бесстыдного безбожника — банк. Это было «святое» у них; конечно, совершенно иной и результат, чем при мысли: «это — грешное».

Может быть, мы и ошибаемся в объяснениях, но пусть же согласится и читатель, что мы даем ему некоторый материал для размышления.

«Поздно хватились: в XIX веке изобретать новых богов». Будто в этом вопрос, будто к этому сводится дело? Кто же не помнит и не знает сейчас прекрасного августовского у нас «освящения плодов». Вот — начало, вот — путь. В церкви, да, в нашей святой православной церкви, в храме Божиим, перед священником

в ризах лежат на блюде первые яблоки. О, сладко все первое, хорошо все первое; благословенно все первое, всякая «первинка», как раннее выделение бытия к Богу. Но вот священник прочитал молитву, освятил «плоды земные»; а назавтра вся деревня, все мальчишки на деревне имеют по яблоку во рту. Накануне ни у кого. Ведь это то же, что и у римлян, освящение «границ», но только во времени, во временах года. Совершенно очевидно, что молитва здесь возможна; и возможное для времени, для дней в году конечно — возможно для пространства, для «границ» полей, для «моего дома» и нашего в смысле именно определенного и строгого зарока, заклатья. Да, бедный собственник, нищий собственник — я *венчал бы* границы. Нельзя трогать чужой жены, ибо она повенчана и свята — другому, а не мне. Это мы понимаем и это мы признаем, потому что это давно началось и выражено достаточно торжественно. Конечно, нельзя «венчать» имущество человеку, дом — собственнику, поле — земледельцу; но например, очень можно провести кругом поля святую бороздку, и именно священнику, ну, напр. плугом, запряженным двумя чистыми, белой шерсти, еще безрогими телушками. Что-нибудь в этом роде; ведь я не решаю вопрос, а ставлю вопрос. И собственность окрепнет, а наконец в веках — она может быть и засветится нам вовсе не понятным пока, непредставимым светом, но который как-нибудь вытечет из религиозного внимания к собственности. Как не догадлив папа! Он пошел к рабочим как политик; ну, политиков у них своих так много, что они грубо отказали Его Святейшеству в главенстве. Тут вовсе не это надо было, да и не в девятнадцатом веке; «нельзя изобретать богов» в XIX веке, нельзя даже папе. Совершенно очевидно, что папе нужно было пролить молитву в труд, пролить молитву над трудом; и уже когда труд — молитвен, когда он тоже «первинка Богу», курение и жертва нашему Христу — наставить «терминов» и «терминов», «зароков и зароков» для «святого труда». Но папа 1890 лет кушал святую просфирку и пересчитывал смиренный «динарий Петра». Дивно ли, что шука труда уплыла в море и теперь ее не поймать «лесою Петра», ни «запереть ключом Петра». Все — не так. И все — слишком поздно.

«Поганый рубль»... Но знаете ли, что кто трудится и изведал нужду, для того может быть «святой рубль». Я знал одного чрезвычайно милого редактора, кажется образованного, но главное — с большим литературным вкусом, который не платил гонорара. Бог знает, куда у него проходили чрезвычайно большие суммы денег, которые, по слухам, он получал: но, без какого-либо обмана, всякий расчет для него был мукою, до того очевидно, что сотруднику страшно было приступить к этой «операции над живым человеком». В конце концов — он все уплачивал и никому не остался должен, но он выплачивал после «третьей операции», и как-нибудь случайно, в момент, когда деньги еще не уплыли, т. е. вот-вот перед приходом какого-нибудь «трансваальского посетителя», который, очевидно, у него или выманивал, или отнимал все деньги. И вот — нужда у меня. Там разные семейные недуги, болезнь жены, упадок сил и, словом, заключение врача:

— Бутылку хорошего старого портвейна...

— Бутылку портвейну?!

— Рубли в три, от Дупре. У Бауэра не хороши французские вина.

Между тем два рубля были отданы за визит крайне почтенному, внимательному благородному этому немцу, и рубль — на порошки, капли и проч. «Три рубля» решительно не откуда было взять. Между тем «упадок сил» (ослабление

пульса) отличен тем, что он пугает и не терпит ни минуты замедления в помощи. Что падает — то упадет, если сейчас не поддержать. Единственная нить спасения была у редактора, за которым было у меня рублей 200 гонорара, уже трехмесячной давности. В конку, звонок, «дома?» — «Дома». И я вижу, с ужасом вижу его испуганное лицо. «Нет денег», — думаю.

И конечно — «нет денег!».

— Но, N.N., мне непременно и сейчас надо.

— Но ведь что же я сделаю, когда у меня самого их нет; придите завтра.

«Завтра!». А ведь пульс падает. Я решил сказать, в чем дело, и что мне не
10 «вообще гонорар нужен», а бутылка портвейна. Я сказал. Повторяю — это был хороший и благородный человек.

— Нет и нет, все-таки нет. Три рубля, стойте... И он моментально вынул из правого жилетного кармана кусочек скверной бумажки, который в расправленном виде представлял: три рубля.

Я взял, и тут же, по близости, отправился в «главный склад» Депре на Мойке. Но, во всяком случае — это были святые три рубля; бумажка, перед которою я мог поклониться и мог поцеловать, как руку возлюбленной, при том в самую трогательную минуту. Совершенно уверен, что у каждого бывали аналогичные
20 минуты и следовательно всякий поймет ту общую мысль мою, что когда «рубли» свято работает, совершает «святую работу» около нас — он ею возводится в ранг священства; бывает «священник — рубль», бывает даже «епископ — рубль». Для меня, когда у меня пульс падал — рубль был архиереем.

Мне пришлось, лет пять, выносить лихорадку нужды; собственно все неудобство жизни было маленькое: я не был голоден, не одет, не имел холодной квартиры и т. д. Неудобство, а не нужда заключалась в том, что при всем напряжении труда и всей аккуратности жизни ежемесячно не хватало рублей пятнадцати, очень редко — больше; иногда не хватало рублей сорока, но зато бывали месяцы с избытком в сто рублей. Таким образом, читатель видит, что собственно ничего
30 не было важного, щемящего, пугающего, кроме постоянной лихорадки мысли: хватает ли; избытки в сто рублей — недостатки в пятнадцать—сорок сочетались таким образом, что в годовом итоге все-таки получалось около 15—10 рублей недостачи за месяц.

И вот этот в сущности хвостик нужды изменил всю мою психологию за пять лет, влияя громадным образом на сложение и переработку убеждений, «расположение идей», поселил во мне нежнейшие благодарности к одним лицам и мучительную вражду — к другим. Помню, иду по Литейной и со мною покойный друг мой, Шперк. Шперк цитирует стихи — любимого своего поэта Фед. Сологу-ба; тогда я их не слышал, но теперь знаю:

40
В амфоре, ярко расцвеченной,
Угрюмый раб несет вино.
Неровен путь неосвещенный,
А в небесах уже темно, —
И напряженными глазами
Он зорко смотрит в полутьму,
Чтоб через край вино струями
Не пролилось на грудь ему...

Он говорил их, несколько наклоняясь ко мне, почти в ухо, чтобы шум улицы не заглушал.

— Хорошо?

— Для меня, батюшка, теперь ничего не хорошо, кроме того, что может доставить десять рублей.

Стихотворение было мне неприятно как жужжащая муха, и я только и услышал из него: «Амфора», «амфора». — «Что хорошо? Ничего нет хорошего. Вы — хороши, потому что вы такой же нуждающийся, а все остальное — скверно и не нужно. Для меня не нужно, а я — слушатель и вправе распоряжаться своим ухом, т. е. не слушать», напр., эти стихи. Вот родник начинающегося вандализма, возможного в самом образованном (положим) человеке. Но замечательно, что нет более идеального идеалистического содружества как на почве нужды, «вместе терпели — и значит друзья по гроб». О, как понятна эта солидарность черных легионов будущего в Германии и Франции, Америке и в Европе. ¹⁰

Еще маленький штрих, чтобы показать влияние денег собственно на убеждения, распределение идей.

Дочь 2¹/₂ лет. Ничем не больна; только очень бледна, нервна, возбуждена и задумчива. Нет сварения желудка.

— Нет сварения желудка не оттого, что желудок болен, а оттого, что нет питания в теле. Вещества не усваиваются организмом и нужен подъем сил организма. Я вам ничего не пропишу, потому что местной болезни нет. Но она может умереть, как и ее старшая сестра от туберкулеза мозга. ²⁰

Это было три года назад.

— Что же делать?

— Ни в каком случае не оставаться в городе и хоть это лето, хоть около Петербурга, но непременно дача, в сухом и высоком месте, например в некоторых частях Лесного.

«Дача!». Это — 100, 120 рублей; считая дрова и переезд взад и вперед — 160 рублей, которых решительно и окончательно не было и не предвиделось в ближайшие два месяца. Напротив, уже этот месяц набежали фатальные двадцать рублей. ³⁰

Нужно было просить. Позднее я узнал, что я был слишком в праве попросить там, куда обратился, но сейчас, по неопытности, мне показалось, что я иду за подающим. Нет более грустной дороги, как дорога за деньгами. Как грустны эти лестницы, как ненавистно и пугающе крыльцо; и опять — никакого дела до здорвоющих:

— Ба! Вас-то и ждали. Разрешите, пожалуйста, спор.

Я сел. Спор состоял в том, что два славянофила, из которых у одного я теперь лежал со своей нуждой «за щекою» и он мог меня проглотить, выплюнуть или облагодетельствовать, впрочем, не из личного своего кармана, но рекомендовав к известному «пособию», — итак, спор состоял в том, что другой собеседующий славянофил горячо и шумно оспаривал тихую речь моего возможного благодетеля: ⁴⁰

— Я говорю, что деньги должны быть христианские, и, например, такая вещь, как проценты, нетерпимы в христианском обществе, т. е. если бы оно было настоящее христианское. Вот что я говорю.

Напротив, шумный собеседник, стоял, как он выражался, на «почве экономической науки» и приводил пример, не только убедительный, но и блестящий: мужики построили мельницу; она мелет в день 100 кулей зерна; идет мимо профессор, изобретатель, техник и говорит: «Я вам поставлю жернова так, что мельница будет молотить 200 кулей, но за это вы должны мне будете уплачивать стоимость помола — 10 кулей в день». Вот — процент; вот кооперация труда и таланта и, конечно, — это по-Божьи.

Его действительно талантливые глаза светились. Я знал его за легкомысленнейшего малого, у которого литература, служба, деревня и корреспонденция вечно срывались, как у Чичикова таможня и мертвые души. Вот эту-то срывае-
10 мость я в нем и любил; «не окончательный Чичиков», «птичка Божия» и кроме того талант.

Собеседник его был тих и методичен. Это был почти государственный человек с крайним упорством мнений. Я никогда не видал, чтобы он отступал от своего мнения и собственно это потому было, что отступи, изменись он в мнении, не будь «яко Бог — неизменен», от него собственно ничего уже не осталось бы; ибо все и всякие его мнения были совершенно ничтожны и бессодержательны, и однако, по рангу произносившего, должны были идти «почти за государственные
20 мнения». Вот упорства «нет» я и ожидал от него на свою просьбу. Сердце мое как-то окаменело; не болело, а пусто было.

— Все нет, — поправил он пылкого собеседника. — Если я христианин, то за что же я возьму деньги за совет? — Он подумал. — Ну, я учился и, наконец, я действительно изобрел; иду мимо мельницы. — Он посмотрел на меня. — И когда я вижу, как помочь советом, когда я могу дать этим трудолюбивым, но невежественным мужикам христианский совет, то разве же можно взять, как вы говорите, известный процент за христианский совет?

Я вспомнил всю историю своих отношений с этим человеком, когда дело было именно в «христианском совете» и вместо него я получал некоторые полу-
лукавые, полутернистые указания. «Не даст! о, как я знаю, что он теперь не даст!».

— Вы говорите — проценты... Нет... Рассмотрим случай. Я, положим, получаю... ну, т. е. государство оценивает мой годовой труд, положим, в девять тысяч
30 рублей. — Он пожевал губами. — Ну, так я проживаю, положим, семь. — Он оглянулся и улыбнулся. — Можно бы и меньше, я скромн, но мои дочери любят, положим, вот такие перья на шляпке. — Он отвел рукой в сторону, как бы показывая греческий шлем. — Положим. Но у меня все-таки остается ежегодно две тысячи рублей. — Он оглянул нас всех. — Так неужели же, если вы... т. е. если вообще кто-нибудь попросил бы у меня заимообразно эти две тысячи или их часть: неужели же, ссужая его, я потребовал бы процентов?

Так же глухо и с тою же щемящею болью я сидел на стуле. Я хорошо видел,
40 что теорию процентов он знал, как и теорию службы! Сирота мира. Ему бы стоять «с ручкой» в притворе храма, затворять после вошедших и отворять перед входящими дверь, но отечество оценило его «особые мнения» и все по финансовой части, где он служил — в девять тысяч.

Я все-таки полуугадал, что «не даст»!

— Девяносто пять руб. — это, пожалуй, можно. Вы говорите нужно 150 или, по крайней мере, 120? Видите ли, тогда придется докладывать. Докладывать, и объяснять и доказывать. А в размере до девяносто пяти — я своею властью.

- Что же, N дал?
- Девяносто пять.
- Только?

Молчание.

Так сухо и деловито мои домашние обменялись в прихожей, и я краешком уха услышал диалог. Из обменивающихся спрашивающее лицо было сущий ребенок, лет 12, и я с удивлением узнал, что наряду с куклами он уже знает и цену и различные цены денег. И этот заботливый вопрос «сколько» довольно мне постороннего и только домашнего ребенка, пролил во мне горячую благодарность к нему. 10

Но что же тут было? чума нужды? холера нужды? Умирающие от голода на глазах родителей дети? выводимые матерями на продажу дочери, как это *есть*, как это *было* 500 лет? Нет и нет: легкая лихорадка нужды, температура 37,4, почти нормальная, когда в Европе над миллионами — температура 41,4, агония.

И я, писатель, человек убежденный, с университетской школой позади колебал свои убеждения, все мирозерцание из-за 0,4 лишней температуры. О, эти «христианские деньги» и «бесплатные христианские советы ближнему» — я их запомнил... Что же, которые же убеждения мы можем осудить, когда температура 41,4 и больной — в бреду?

— Проходите мимо, святой отец; мы в ваших христианских советах не нуждаемся, а вожди у нас есть свои. 20

Да и не ответили даже этого. Просто промолчали.

III

Можно ли, можно ли к двум названным китам применить стих Пушкина:

Духовной жаждою томим
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутьи мне явился.

О, кажется, не может быть сомнения к глубокой «духовной жажде» великих дикарей Европы: я говорю не о людях одичавших, а об одичавших условиях жизни. 30

Как труп в пустыне я лежал.

Да это прямо положение и судьба и история европейского капитала и труда и великие вопросы — экономический, рабочий. Теперь секрет в том, возможно ли для них преобразование:

И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И уголь, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.

Возможно ли для Бога просвещать не только человека, но и условия его бытия? Припоминаем обещание: «Разве для Бога есть что невозможное?». Не может ли каким-нибудь, и сейчас совершенно непредвиденным способом, религиозно запылать «богатство народов», над которым научно мямлил Адам Смит, и ничего из этой науки не вышло, кроме слез и горя? Как — это во власти «серафима», которого мы должны «ожидать на пути». Но вот что возможнее и как-то понятнее, постижимее — религиозное пылание труда. Это уже совершенно возможно, ибо труд есть не столь одичавший зверь, как рубль. Но указываемая нами нить мысли — понятна. Секрет того, что вся Европа неудержимо валится

¹⁰ «набекрень», лежит в великом задичании трех поименованных «китов» земного устройства человека; в том, что сюда, именно сюда не пал небесный луч. Деньги, работа и наконец третий «кит» — семья суть простые эмпирические данные Европы, которых никогда не касается еще «серафим», и не научал — что тут делать, как тут делать. Это в общем и слагает религиозное искусство — «как нам жить»,

вовсе еще не начатое в Европе. «Как нам умереть» — о, это мы знаем. Как нам «отречься», сузиться, умалиться и вообще пессимистически сходить на «нет» в бытии своем — об этом целая наука, тут — философия, поэзия, стихиры — между которыми не худшие у скопцов, самосожигателей, морильщиков. Но как нам расти? — Это мы умеем только как дикие звери! В этой постановке вопроса

²⁰ все и дело. Дело — в просвещении. Дело не в поклонении, — о, нет! — «богатству народному», труду, семье, но в том, чтобы начать «лучше» в этих трех областях, где пока мы нисходим к все «хуже» и «хуже»; дело в идеале и идеализации, дело в убавлении, в выдавливании греха отсюда: в выдавливании черной и нервной печени из трех огромных рыб, о жизни которых живет и не может не жить земля.

Тут пригодится иллюстрация о «христианских деньгах», которую мы привели. Очевидно, это печальное мямленье — что-то не то. Есть «святой рубль», но это именно — работающий рубль, активный рубль. Есть какой-то секрет и тайна, может быть мировая, сокрытая до времени от человека, тайна — пересыпаемого,

³⁰ льющегося золота, и без темного, отрицательного на нем света. Ведь «свято» блистают парчовые ризы на духовенстве! Золотятся купола на соборах! Вообще есть «святое» блистание, «святая» красота, можно представить ее перенесенною, разнесенною с узких и специальных на земле точек, лиц — вообще на человека, толпы, на волны народные. Бедная, «ободранная» кирка протестанта не благочестивее темных позолот Успенского собора. Вот пример. Очевидно, есть мировая тайна, на которой пурпур и висон и золото, облекая человека, не будут тянуть его дóлу, в «айд», но кверху, как естественное сопровождение к святости, «эдему».

Бедность и богатство, как противоположности не только физические, но метафизические. Нам понятна в сущности легкая, рациональная святость первой,

⁴⁰ но есть какая-то труднейшая и гораздо более мистическая святость второго, открыв которую «народы-нищие» соделались бы «народами-царями». Мы поставили задачу и можем только надписать над ней:

— Мудрый Эдип, разреши!

ПУБЛИЦИСТЫ И ПУБЛИЦИСТИКА

Пока мы не начнем уважать себя, никто не станет уважать нас. На каком бы вы посту ни стояли, вы уже тем самым, что стали на него свободно и без принуждения, обязались его уважать. Иначе совершенно смешивается понятие о порядочных делах и даже о порядочных людях. «Он хороший человек, но стоит за скверное дело», или: «Дело его прекрасно, но он сам — скверный человек», — эти определения станут ходячими, как только человек и его дело разделятся, как только служба делу перестанет быть синонимом преданности делу. «Он защищает твердую постановку власти в стране: однако не потому, чтобы был предан 10
принципу сильной власти, а потому, что снюхался с квартальным своего участка», или: «Он — за думу, за земство; но это оттого, что у него дочь за думцем, за земцем» — вот две мотивировки действий, которые сбивают основание всякого спора. Представим себе, что эта мотивировка, совершенно удобная где-нибудь в гостиной, где царствует сплетня, но неудобная ни в ученном обществе, ни в думе, ни в земском собрании, проникает в печать. Печать превращается тогда в перекоры о мотивах действия, и, например, достигает вершин того изящества, какого достигла полемика двух князей нашей печати — Ухтомского и Бярятинского. Споры ведутся о том, кто на ком женат; у кого жена артистка, и которого театра; и что мужья-редакторы, — виноват: «мужчины-редакторы» прячутся «за их юбки»... 20

«Консерваторы суть консерваторы, потому что они подкуплены, напр., казенными объявлениями», а «либералы суть либералы, потому что они рассчитывают на розничную продажу»: опять — это круг полемики, из которого нет выхода. Каждый орган печати, который хочет служить России, обязан абсолютно воздерживаться от этого безвыходного суждения, откуда выход Бог знает куда. Я доказываю что-нибудь, но мне говорят, что я доказываю из-за пяточка: что я отвечу? Я люблю что-нибудь, положим театр, но мне говорят, что я люблю не театр, а артисток. Опять на это нет способа ответить. Критикуют не дело, а личность; отвечают не на ход рассуждений, а на мотивы: спор становится глуп и неприличен. Печать теряет под собою почву: нет более *raison d'être* ее существования. 30
Правительству или обществу остается только закричать: «Убирайтесь»...

До этого опасного пункта довел свою полемику против нас третий из князей — Мещерский. Мы высказались против фиксации земского бюджета просто оттого, что раз земство есть хозяйственная единица, решительно нет возможности сохранить за ним это значение и фиксировать из Петербурга доходы и расходы Харьковской губернии, Вологодского уезда, Пскова и Перми. Может быть, кн. Мещерский дурно распоряжается в своем доме — он или его сосед — они дорого или дешево отдадут квартиры, притесняют жильцов, или, напротив, терпят от них ущерб. Совершенно, однако, невозможно, не уничтожив в корне принцип собственности, передать право назначать цены квартирам частному приставу, 40
в надзоре которого находятся их дома. И можно, не лстя кн. Мещерскому, сказать: «Нет, уж пусть он сговаривается с квартирантами сам». Земство можно реформировать, земство должно реформировать; нет вещи, которая не могла бы стать лучшею, и земство принадлежит к тем областям, которым слишком своевременно поправиться. Да, слишком своевременно! Но поправят его лучшие

люди, туда позванные; поправит лучшее и ободряющее слово, сказанное ему из центра. Боже, неужели утратилась на Руси сила призыва?

Иль — русского царя бессильно слово?

спросил когда-то Пушкин. Что же такое князь Мещерский, говоря, что земство надо добить и убить. Потому иначе и нельзя принять его слова «о деспотическом и чисто бухарском нраве» земского обложения населения, нельзя иначе прочесть его сравнение земства со «старою, искалеченною, разоренною и совсем изломанною от беспутной жизни помещицею гоголевского типа, у которой последние искры жизни и последние капли крови сосредоточиваются в злостной энергии сдирать шкуру с живого и с мертвого в огромной семье, или, вернее, в огромном стаде ее крепостных. Неужели мы не довольно прожили, чтобы не узнать в этом гадком образе старой деспота-помещицы наше земство».

Вот как он говорит! Запечатает его слова. Разве не «Гражданин» десятки лет силился уверить немногочисленный круг своих читателей и высшие правительственные сферы, что никогда таких «злостно-безумных и развратных помещиц гоголевского типа» не существовало вовсе, и что они выдуманы только писателями, а что на самом деле в крепостную пору Россия цвела под идиллически-патриархальным управлением благочестивых и домовитых старушек, старых дворянок. Но когда ему нужен аргумент, он перекрашивает картину и ставит на место благочестивых и домовитых старушек — старых деспотов, одушевляемых только «злой энергией сдирать шкуру с живого и мертвого». В том же номере, в своем «Дневнике», он предлагает передать целиком государственную службу в руки внуков этих милых старушек, — уж не знаем, благочестивых, как он уверял в течение 20 лет, или развратных, как выкрикнул сейчас. Да разве земство в огромном большинстве своем не помещики, не дворяне? Или это особенное дворянство, которое необходимо выкинуть за борт? Князь Мещерский, очевидно, сам теряется в этом круге и не знает, что делать — создавать, или разрушать и где враги и друзья здравого и постепенного созидания и где враги и друзья разрушения и отрицания во что бы то ни стало...

Прямо, энергично и честно мы говорим, что уже совершенные заслуги земства — значительны в деле народного образования и в деле уездной медицинской помощи. Об этом говорит статистика, говорят наблюдатели земской жизни, которых никак не подрежет в корне возглас кн. Мещерского, который едва ли последние 20 лет хоть раз, хотя бы на отдых, выезжал из Петербурга во внутренние губернии. Он слишком впечатлителен и слишком доверчив; он выслушивает «беседы», о коих повествует в своих «Дневниках», с предводителями дворянства и губернаторами, «намеднясь» посетившими его, в среду или в четверг. Они заряжают его порохом, которым он стреляет из «Гражданина» в граждан русской земли; но, поистине, все это

40

...пленной мысли раздраженье

и имеет более поэтическое и ораторское значение, чем серьезное публицистическое.

УМСТВЕННЫЕ ТЕЧЕНИЯ В РОССИИ ЗА 25 ЛЕТ

I

Двадцать пять лет — это срок одной зрелой человеческой жизни в ее плодотворной второй половине. 35 лет — не раннее, а скорее запоздалое выступление человека со своим делом или со своим словом. Если к этим годам прибавить четверть века, то получится 60 лет, нормальная мера нормальной человеческой жизни. Оказывается, однако, что нации живут как будто скорее, поспешнее или бурнее индивидуума. За 25 лет, если они не были временем однообразного стояния, нация оказывается испещренной такими впечатлениями и сама она является пережившей такие коловращения мысли, каких вообще индивидуум не переживает. Россия в последнюю четверть девятнадцатого столетия, между «Разрушением эстетики» Писарева и двумя апофеозами Пушкина, при открытии памятника в Москве и в минувшем году; между добровольцами за славян и отозванием из Болгарии русских представителей, между публицистами «Дела» и «Чем люди живы» Толстого, — это скорей перипетии притчи о блудном сыне, пожалуй — перипетии и счастья и злоключений Иова, нежели судьба и роман сколько-нибудь обыкновенного человека. На самую середину этой бурной четверти века падает глубокое потрясение; перед ним — бравурные, все восходившие в уверенности тоны; после — продолжительный минор, порывы назад, которые едва успокоились к нашему времени. Пал камень посередине реки; она забурлила, даже хлынула назад; но затем, конечно, ее течение повинуетя общему расположению местности, геологическому строению почвы и общему отдаленному ее склонению к океану.

Время, столь бурное впечатлениями, естественно ярче всего выразилось в самой бурной форме мысли и слова — в публицистике. Ни про какую другую одну форму литературы нельзя сказать, чтобы она родилась в эту четверть века или даже дала высшие свои образцы; но про публицистику можно это сказать. Она родилась несколько ранее, в шестидесятые годы, но устойчивое течение, определенность и постоянство разделения на лагеря получила в это время. Достаточно назвать такие таланты, как Катков, Аксаков, Гиляров-Платонов, или такие органы как «Дело» и «Отечественные Записки», чтобы напомнить, что в самом деле публицистика занимала эту четверть века королевское место в литературе, и поставила в подчиненное к себе отношение решительно все остальные виды литературы. Даже такие могучие таланты, как Тургенев, Толстой, Достоевский хотели или не хотели, а не могли остаться совершенно свободными художниками. Это объясняется глубиной самой публицистики, широкостью и даже всеобъемлемостью ее тем, куда были захвачены и вопросы философские, и вопросы религиозные. Достаточно назвать «Новь» Тургенева, «Анну Каренину» Толстого, «Братьев Карамазовых» Достоевского, появившиеся почти одновременно и по характеру и тону представляющие почти заключительное слово их авторов, чтобы согласиться, до чего все они проникнуты общественным волнением и как общественное волнение переходит в двух последних произведениях в широчайшие философский и религиозный синтезы. Здесь мы должны отметить и подчеркнуть эту особенность. Семьдесят пятый год еще год полного развития рационализма,

доктринерства, политиканства. Все мистическое и религиозное высмеивается, вышучивается, преследуется. Естественные науки господствуют, но они господствуют не ради фактического своего содержания, а ради того, что обещают, — и это обещание принимается уже за данное и полученное полное рациональное объяснение мира и полное рациональное объяснение человека и его судьбы. Корифеями мысли являются Бокль, Дарвин, Конт, Милль, Спенсер, «более русские, нежели сами русские», «plus russes et plus nihilistes que mêmes russes et mêmes nihilistes» *. Не то, чтобы мы были легкомысленны, но мы так торопливо жили сами этот конец семидесятых годов, что нам некогда было добывать в коях знания

10 горючий материал. Россия похожа была на огромную доменную печь, которая горела, пылала и с запада жадно тянула только горючий материал, черный каменный уголь для своего пылания. Несмотря на заграничность ярлыка, это движение было вполне русское и исключительно русское, совершенно оригинальное и самобытное. Тут была просто историческая, культурная, умственная неопытность. Нет ведь большего рационалиста, как мальчик, как ребенок. Мир ему представляется устроенным просто как его кукла, и самое большее — как его детская. Все, что знает и что испытал и что видел его дед — он просто фактически не знает, не может этому поверить, а потому не может и ввести в свои умственные построения. В «Нови» Тургенева есть эстетический, есть культурный против этого

20 протест. Но он не был силен, ибо в сущности «Новь» сама движется в линии того же прогресса и культуры, по которой шли и оспариваемые в этом романе течения. Скорее в «Кларе Милич» и в «Стихотворениях в прозе» у Тургенева появляется мистицизм; здесь автор родственнее (впервые для себя) сливается с Достоевским и Толстым, хотя нельзя не заметить, что эстетик, рационалист и материалист Тургенев и мистическое стал понимать и допускать как материальную, вещественную диковинку («Часы», «Стук, стук...», «Студия»), или как мистический ужас разума перед самую рациональностью мира («Стихотворения в прозе») и перед непоколебимыми все-таки фактами смерти («Клара Милич»). Его мистицизм робок и едва защищается. Он входит и робко садится у двери, готовый

30 вспугнуться и вылететь вон при первом на него окрике; он существует, но он извиняется в своем существовании. Мистицизм Толстого («Анна Каренина», и позднее — «Чем люди живы», «Смерть Ивана Ильича») и Достоевского («Дневник писателя» и «Карамазовы») — могуч, дерзок, уверен в себе. Это не мистицизм веры в волшебство, это мистицизм скорее знания божественного сложения мира и человека. В «Карамазовых» представители рационализма — семинарист Ракин и Смердяков; в «Анне Карениной» рационалисты — разные глупые профессора и сводный брат Левина, Кознышев, полуученый, полупублицист, в «Смерти Ивана Ильича» рационалист есть этот самый умирающий петербургский чиновник, который пасует перед смертью не как перед фактом, но как перед Непостижимостью и перед Правдою. Везде рационализм взят малюсеньким, невыросшим глупышом, недоноском человеческого развития. При этой на него точке зрения, конечно, спор ведется с ним смело. Спор этот ведется художественно: первые мастера русского слова, они просто раскрыли перед читателями глубины

40 человеческой души и сплетение в ней таких задатков, таких страстей, такого рокового течения судьбы, перед которыми Бокль, Спенсер, Дарвин, Конт, Милль,

* «более русские и более нигилисты, нежели сами русские и сами нигилисты» (фр.).

которые казались прошедшими поднебесную, обнявшими землю и небо, стояли со своими «науками» в таком же бессилии и жалком безмолвии, как мальчик с куклою перед жалобным и непостижимым фактом болезни и смерти его отца. Названные художественные произведения должны быть признаны самыми крупными и самыми твердыми фактами нашей философской жизни за последнюю четверть века; они не суть только картины, они суть вместе и рассуждения; картины в них — иллюстрации, фактический материал, то же, что труп под ножом анатома; но есть труп, а есть и анатомия, т. е. есть наука, знание, ведение, философия. «Дневник писателя», «Братья Карамазовы», «Анна Каренина», «Чем люди живы» и «Смерть Ивана Ильича» можно принять за фундамент, наконец, начавшейся оригинальной русской философии, где выведен ее план и ее расположение, может быть, на много веков. Ибо иначе как многими веками нельзя и исчерпать работу, которая потребовалась бы на разрешение поставленных здесь вопросов о Боге, совести, душе, ответственности, смерти и рождении, наконец, даже о государстве и прямо о религии. Мы долго ждали, не появится ли у нас, и когда появится своя и вторая «Критика чистого разума», т. е. мы ждали повторения, мы ждали и хотели в философии стать остзейскою провинциею Пруссии. Поэтому, когда в самом деле появилась русская философия, она просто не была узнана: до того она была оригинальна как по содержанию, так и по виду. Никто не оспорит, что суть «Смерти Ивана Ильича» — не в сюжете или интриге повести, а в проблеме смерти, и это есть проблема философии и религии; никто также не оспорит, что суть рассказа «Чем люди живы» заключается не в его сюжете, а в проблеме совести, спасении души: и опять это проблема религии и философии. «Две вещи пробуждают во мне трепет и страх: зрелище звездного неба и размышление о человеческом долге», — говорил Кант. Можем ли мы отвергнуть, что этот трепет германского философа совпадает с трепетом, который проникает отмеченные нами русские произведения, и уже по этому формальному совпадению мы можем умозаключить, что русская философия родилась, есть. И как она богата, как жизненна: как в золотое время Греции, как на Востоке, как в пору Renaissance и Реформации, она есть столько же философия, как религия, столько же этика, как и политика. Она захватила жизнь в узле ее: великое обещание, что она пышно разовьется.

Родная почва этого прекрасного рождения — наш нигилизм. Мы должны писать правду, и теперь, когда весь нигилистический цикл уже миновал, правду не страшно написать. Мы уже заметили, что нигилизм есть наше туземное явление. Прошел плуг по душе русской и, перевернув ее почву, не оставил на ней живой травки. Все свидетели той минуты ужаснулись: «Ничего в остатке!» Так-таки решительно ничего! Пустынна стала русская душа и не сохранилось в ней ни Бога, ни совести, ни красоты, ни предания. Нигилизм сыграл у нас роль древних эллинских софистов, которые также все вытравили из греческой души перед появлением Сократа; только нигилизм был трагичнее, злобнее, практичнее. За вытравлением идейным он звал вытравление деловое. Но русская душа не вынесла пустынности, да и Бог помог. В великой наставшей ночи, когда люди плакали и сидели, не зная, что делать, на перевернутую землю таинственным посетителем были положены (был послан ангел положить) семена превосходного нового всхода. Почва жадно их приняла. И оглядываясь кругом мы можем сказать, что в русской земле есть все теперь, что угодно, но, конечно, нет нигилизма и даже

надолго, на непредвиденно долго уничтожена самая возможность нигилизма как душевной *tabula rasa* *.

Есть совесть как вечный внутренний упрек; есть Бог как мистическое сосредоточие вселенной; смерть и рождение — окна в «тот свет» из маленького домика, который зовется нашим телом и так непрочен, и где иногда так невыносимо скучает наша душа; возможна религия, возможно на земле гармоническое устройство человека; вот прочное и главное доказательное приобретение, каким обогатили нас два названные великие русские ума, русские сердца.

II

- 10 Меньшая роль около них принадлежала чистым публицистам: Катков был государственным, который усиливался из того же моря нигилизма, нашей общей теперь «родины», — вытянуть историческое «государственное знамя». Он многое мог, он все мог, но он не смог стать «любезным русскому сердцу». В смысле «насаждения основ» Толстой и Достоевский сделали гораздо более Каткова, ибо трудились около гораздо более основного и в точности успели «утвердить столпы», и хотя вызвали в старых отрицателях мучительную к себе неприязнь, однако для них безвредную. Неприязнь с них опала, а они уцелели. Напротив, в Каткове и его личности и в характере его деятельности было что-то, быть может, был слишком поспешный и слишком поверхностный успех, который изъясил его
- 20 из «сердца народного». Мы можем об этом сожалеть, но мы не можем отвергнуть этого как факта. Шире был успех Аксакова, который поднял знамя «земли»; успех не официальный, но успех общественный. Но Аксаков имел в складе ума своего что-то незрелое и риторическое, в силу чего запомнилась его фигура, но не помнятся его слова, кроме некоторых исторических: «средостение», «пора домой». Это — слова, и это — формулы, вытекшие, конечно, из всего склада русской жизни. И как ответ на существующую боль — они с благодарностью запомнились. Вообще Аксаков пускал «кличи», а не размышлял, и это есть бедная в нем сторона. Гиляров-Платонов ни при жизни, ни после смерти не имел успеха и, может быть, получит его теперь только, когда издается «Собрание сочинений»
- 30 его. Это был более вдумчивый и более осторожный, чем два предыдущие, ум: но ему очень мешал его семинаризм, за которым неразборчивая толпа не умела рассмотреть живого русского глаза, крепкого русского ума. «Может ли быть что-нибудь из... Капернаума»; и от него отвернулись, точнее — прошли мимо него и не взглянули. Тут теряло общество, теряло по своей вине; но, не критикуя здесь, а только констатируя факты за четверть века, мы отмечаем факт простой невлиятельности его. Около Гилярова можно припомнить К. Н. Леонтьева, автора «Востока, России и Славянства», и С. А. Рачинского. Первый мучительно и страстно кинулся в византийскую реакцию, уверяя, что для Европы уже пробил похоронный колокол, а Россия за 1000 лет своего существования не выработала
- 40 в себе ничего самобытного и все, чем исторически живет — имеет из Византии: крепкую царскую власть, сильную бюрократию, которая соответствует западно-

* чистая доска (*лат.*).

му аристократическому сложению, и, наконец, византийские церковные формы. В душу народную Леонтьев и не заглянул и, напр., прошел мимо десяти миллионов русских сектантов. Что касается до христианства, то он его определял как пессимизм на земле и оптимизм на небе. «Терпите, никогда не будет лучше»; даже «не старайтесь быть лучше, ибо Христос предрек, что к концу времен охладет любовь». Достоевский в «Записной книжке», посмертно напечатанной, назвал эти идеи «богохульством». И действительно, эта смесь каких-то венецианских пиратов в плащах и перьях, — вечная «красивость» Леонтьева, — и константинопольских иерархов с их тоскою о бессарабских имениях и ненавистью к «болгарской схизме» трудно понять, чем могла бы поманить русский дух. Леонтьев вечно ожидал «солнца с запада», когда оно с сотворения мира восходило и восходит по указанию Божию с востока. Люди хотят быть и чувствуют долг быть хорошими, совестливыми, а наконец, и счастливыми еще на земле. Не так худо, что Леонтьев гнал надежду этого счастья; но он как бы не видел здесь и самого опасного морального изворота, по коему, с его точки зрения, в самом деле оправдывалось всякое нравственное пиратство, и все это «с крестом в руках». — «Ваши гармонии — это революция», — крикнул он Достоевскому и Толстому в брошюре «Наши новые христиане — Ф. М. Достоевский и гр. Л. Н. Толстой». «Ваше византийство есть богохульство», — крикнул ему Достоевский. Спор очень талантливых людей ничем не разрешился, и, может быть, его увидит будущее. С. А. Рачинский, автор «Сельской школы», «Учебного псалтиря» и «Писем к духовному юношеству», стоит на византийской же почве. Осторожный, образованный, утонченный, он уклонился от каких-нибудь принципиальных споров и повернул практически школу к часослову и псалтирю; любит церковное пение и приложил заботу к культуре его в школе. Он избег ошибок Леонтьева, воздерживаясь от принципиальных вопросов, везде действуя на чувство художественного.

Труды Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» и «Дарвинизм, критическое исследование» и Н. Н. Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе», «О вечных истинах», «Заметки о Пушкине», «И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой» — составляют, так сказать, «борьбу с Западом» на основе западных же начал, но только идеалистических, а не современных этим писателям материалистических. Можно так определить, что против русского умственного движения 70—80 годов, бывшего или казавшегося веточкою общеевропейского нигилизма, они сделали реакцию к золотому веку европейской образованности — к Кювье, Гёте и Гегелю. Эти три имени исчерпывают исходные точки их собственной умственной борьбы; но и на собственно русской почве они только делают реакцию к 40—30-м годам: к Пушкину, как завету правды и простоты. Византийского в обоих их не было ничего, кроме жажды «взять Константинополь», но и это более из внимания к географическому и стратегическому его положению, чем какому-либо другому. Данилевский превосходно разбил дарвинизм и сделал это до того утомительно-основательно, что как ни велик был авторитет Дарвина у нас, почти как авторитет Будды для буддистов, но он пошатнулся тем не менее. В общем, однако, у обоих этих писателей не было своего ценного слова. Они были ученые, они были мыслители, но они были компиляторы в том великом и прекрасном смысле, как, напр., все византийско-римское богословствование можно назвать компиляциею Евангелия и Библии. Просто Данилевский и Страхов не представляют

материка новой мысли. Этого не оспаривали бы они, и не может оспорить никто из их последователей. Но затем есть свободный полет, есть выпрямленный и прекрасный стан у них в этом свободном шествовании чужою, по крайней мере, не собственною их, не оригинальною их, не ими пробитою тропею.

III

Совершенно безрезультатны были шумящие, звенящие попытки средневеково-римской реакции на русской почве, которые велись под псевдонимом «синтеза церковей», «церковного универсализма» и т. д. Во главе их стоял писатель, чрезвычайно мало русский по духу, хотя коренной русский по рождению, В. Соловьёв. Он брал католицизм в папизме, и самому папизму он сочувствовал не в теперешнем обдерганном положении, но в пышной средневековой убранности, пожалуй — лжеубранности. Папа принесет России святость, Россия принесет папе силу, и оба «в синтезе» они разыграют шестой акт мировой драмы, после того как пять ее актов сыграно и зрители партера, райка и лож решительно скучают. Ни царям нечего делать, ни демократии нечего ждать. Папа ему прислал «благословение» на его литературные труды, и, вероятно, мало было людей, разочарованных людей, в нашей литературе, которым их неуспех был бы так горек, как этому человеку. Вообще «*mémoires d'outre tombe*», «замогильные записки» о состояниях души Вл. С. Соловьёва могли бы быть чрезвычайно интересны, если бы он мог их чистосердечно написать. Но чрезвычайно ломаная линия его полета, кажется, предупредила возможность вообще прямого в нем движения, даже и *d'outre tombe* *. Он начал с «любви» к Каткову, которому принес увесистую «Критику отвлеченных начал», всю целиком напечатанную «на Страстном бульваре»; умер Катков, и Соловьёв не был в числе плакальщиков по его праху; также дружил он с славянофилами, с И. С. Аксаковым, Н. Н. Страховым, с Ф. М. Достоевским; и потом в «Национальном вопросе в России» не столько восстал, сколько просто встал и затоптал могилы Хомякова, Киреевского, Аксакова, Страхова, Данилевского. Превосходный дар определять, формулировать, обобщать чужую мысль; дар вообще к философствованию, сжатость и точность языка, когда он этого хочет, собственно призывали бы его к превосходной, хотя только компилятивной работе: написанию обширной истории философии и философской истории церкви. Но роль излагателя чужих умственных движений была скромна для его желаний; он пожелал «сам», но «самости» в нем не было так много, и отсюда его «дружбы» и «вражды», вечная борьба и неоконченность всякой борьбы.

Гораздо меньшие умственные способности и меньшая эрудиция была на стороне рационалистической русской мысли, которую вели вперед гг. Н. Михайловский, Скабичевский, Шелгунов, Протопопов, Гольцев и много еще других, имена которых все записаны в «книгу живота литературного». Писатели эти все, не будучи умственно даровиты, бесспорно, даровиты литературно. Все они имеют писательский темперамент и все обладают тем или иным оттенком художественности. Все они составляли самое любимое чтение почти всей сплошь русской мо-

* за могилой (фр.).

лодежи. Исторически эти писатели суть общая нас всех родина в том смысле, как мы определили ее выше; мы все, в юности, и даже не исключая Достоевского и Толстого, начинали с отрицания, скептицизма, иронии: но у всех чем-нибудь это разрешилось положительным, своего рода каким-нибудь духовным сектантством, иногда узким, иногда фанатичным; тогда как у группы этих писателей скептицизм и ирония ничем не разрешились, и они составляют в умственной жизни России «почву», «католический центр» (как в Германии). Мы очерчиваем этими словами положение вещей, соотношение борющихся партий. Все побывали мы «духом», если не «телом», в «Отечественных Записках», но не все там остались; однако оставшиеся негодуют на всех отлетевших. В собственной их кучке, которая просто определяется «крепким сиденьем», «верностью традиции» — скучно за отсутствием момента движения и развития. Это есть пункт погашения вопросов; а вопросов — много, и вопросов — хочется.

В партии этой есть одна, однако, и совершенно вечная черта: народничества, и «без рассуждений». Слиянность с народом есть гордость этой партии, есть завет Некрасова и Щедрина, и завет, которого «не преjdeши». Что бы там ни было и как бы ни были велики заслуги славянофилов в освобождении крестьян и наделении их землею, нет сомнения, что дай дело в руки Шелгунову и Скабичевскому, они «освободили» бы еще чище. Мы должны судить не потому, что люди сделали, а потому, что они сделали бы, если бы были в равном положении. Но нам никак нельзя забыть, что всякое мероприятие, клонившееся в пользу простого населения в течение 25 лет, находило в «Отечественных Записках», «Деле» и др. совершенно неустанную поддержку; а всякое мероприятие не в пользу простого населения находило в них же самую ожесточенную критику, яростное нападение. Только когда из нашей литературы выпадет этот «лагерь „красных индейцев“», мы оценим его, и мы его оплачем. Его идейные ошибки едва ли очень вредны, по крайней их незрелости; их практическая служба выше всяких похвал. Это несокрушимый покров над нашими полями, деревнями, селами. Иностраные «значки» тут ничего не значат; все эти люди по духу — славянофильнее, если позволительно так выразиться, всех славянофилов, и суть русские из русских, хотя и кладут под подушку на ночь попеременно то Дарвина, то Бокля, то Спенсера. Французские чулки на русской ноге — и только.

В последние, можно сказать, дни этого века Россия неожиданно увидела почти торжество или, по крайней мере, шумный успех марксистов: партии, которая желает России как можно скорее «капитализироваться», т. е. перейти во всех слоях ее населения к капиталистическому, фабрично-биржевому строю, дабы в некоторый прекрасный день, предуказанный немецко-еврейским «спасителем человечества», это капитализированное хозяйство свалилось в рот благому-терпеливому до тех пор Иванушке-дурачку. Полный разрыв с общиною, артелью, общинами народа, дабы скорее он стал «пролетариатом» — все это с жестокостью, присущею только русским теоретикам, проповедуется неомарксистами. Существование этой партии практически питается у нас энергическою официальною переделкою России из страны земледельческой в страну мануфактурно-промышленную; и, в свою очередь, партия сообщает облагороженный идеалистический вид этой практической системе. Кто-то тут есть Кречинский и кто-то тут будет играть роль Расплюева. Дай Бог, чтобы это не был бедный русский народ.

IV

Философские успехи в тесном смысле этого слова выразились у нас в основании двух обществ и одного журнала: покойным профессором философии в Московском университете, Матв. Мит. Троицким, было основано в 1885 г. Московское психологическое общество и в 1897 г. было основано С.-Петербургское философское общество. При первом обществе, когда во главе его стал подвижный и живой Н. Я. Грот, возник и единственный до сих пор философский журнал у нас: «Вопросы Философии и Психологии» (с 1889 г., выходил сперва четырьмя, а затем пятью книжками в год). Около этих обществ и в этом журнале сконцентрировались все лучшие философские силы в России, и выдвинулись ценными работами многие представители университетской кафедры. Назовем главные труды, если и не прибавившие чего-либо ценного к истории умственного развития собственно человечества, то все же выразившие умственные усилия русского человека.

10

В этом отношении последняя четверть века есть пора замирания у нас философского авторитета Европы. Русское общество, которое три четверти века «смотрело в глаза» то Канту, то Гегелю, то Шопенгауэру, в эту последнюю четверть века увидело в среде своей умы, поднявшие столь крупные вопросы и столь родные всем, что было бы чем-то очень школьным, почти школярным оставаться на

20

почве вопросов германской или английской философии. В сфере этого философско-учебного трудолюбия отметим несколько трудов кн. С. Н. Трубецкого, большую историческую монографию «Метафизика в древней Греции» (1890 г.). Превосходным исследованием психофизиологического мира был Н. Н. Страхов в трудах: «Об основных понятиях психологии и физиологии» (1886 г.), «О вечных истинах» (1887 г.) и «Мир как целое» (2-е изд. в 1882 г.). Превосходными учеными на поприще философском выступили: П. Г. Редкин — «Из лекций по истории философии права в связи с историей философии вообще», четыре тома 1889—1893 гг., Б. Н. Чичерин — «Наука и религия» 1879 г., «Собственность и государство», два тома, 1882—1883 гг. Его классическая

30

четырёхтомная «История политических учений», единственный оригинальный русский труд на эту тему, начал выходить в 1869 году и кончился в 1877 году. Троицкого «Наука о духе» 2 т. 1882 — сыграла какую-то жалкую роль в нашей литературе, едва ли во всех частях заслуженную. Это — многолетний труд ума крайне точного и основательного, хотя без всяких, правда, «полетов». Если русскому обществу суждено когда-нибудь впасть в маразм бездарности, книга эта может еще получить «возрождение», ибо она крайне учена и серьезна, хотя буквально не ходит, не идет, а только лежит. — Труды Н. Я. Грота — многочисленны, но все — наивны; напр., в предисловии докторской диссертации «К вопросу о реформе логики» (?!) он объясняет, что во время писания этого изданного за-

40

чем-то в Лейпциге трактата он несколько раз переменил взгляды, т. е. на тему и строй труда, и если бы стал ожидать в себе окончательный выработки взгляда, то вероятно никогда бы его не начал, а потому торопится издать. Этот случай, может быть, есть самый документально доказательный ограниченности того значения, какое имеет кафедральная наша философия. Совершенно серьезны, однако, по силам: Козлов А. А. «Генезис теории пространства и времени Канта» (1884 г.), П. Е. Астафьев: «К вопросу о свободе воли» (1889 г.), В. Д. Кудрявцев,

который может считаться почти основателем православного богословствования, как системы и крайне устойчивой, хотя может быть безжизненной. Никанор, архиепископ, дал лучшее изложение и критику позитивизма в труде: «Позитивная философия и сверхчувственное бытие», 3 т. 1875—1888 г. Ценные труды по критике философии Канта принадлежат ученым: Каринскому и Александру Введенскому; переводные труды — Я. Н. Колубовского и Э. Л. Радлова. Над попыткой возродить у нас германский идеализм трудился, впрочем, без успеха, А. Волынский, прививал нам Шопенгауэра — кн. Цертелев; шумели около позитивизма — Лесевич, Михайловский, де Роберти, Оболенский. Но ни одно из западных учений не могло уже прочно и долговечно заразить нас. Мысль русского работает, по-видимому, нервно, но Запад оказывает на нее уже не влияния, а только впечатления. Можно думать, что этим указывается для нее оригинальный путь, и хотелось бы надеяться, что в XX наступающем веке она решит что-нибудь из тех вечных и универсальных проблем, проблем уже общечеловеческого интереса, над которыми задумались два наших мистика-художника. Толстой слишком поспешно сам разрешил свои вопросы, и получилась азбучная мораль, без значения и жизни. Его ответы бесконечно меньше его вопросов. Достоевский ничего не успел решить, и вопросы его не только не уже, но еще бесконечно углубленнее, мучительнее, смутнее, чем вопросы Толстого. Даль — перед нами, и вопрос в крыльях, на которых мы полетим туда. А доползти — невозможно, ибо все это — вопросы небесные, вопросы трансцендентные; «мир Божий», сверхчеловеческий. Туда они нас поманили и туда надо идти.

ДУМЫ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

<О трагедии>

Трагическое и комическое... Почему театральные пьесы не разлагаются в непрерывный ряд степеней одного чего-нибудь, но имеют явно два, и притом самостоятельные, особые средоточия: трагическое и комическое? Можно бы расположиться им так: веселые, очень веселые, до излишества веселые, менее веселые, совсем серьезные. Последний род образовал бы драму, но трагедии еще все-таки тут нет. Между тем есть на сцене и до очевидности есть в жизни трагическое, как особое устремление, как вещь *sui generis* *. Что это такое? И в особенности, что это такое в отношении к комедии? Обратимся к конкретному. Если мы возьмем самые гениальные комедии, — «Ревизор», «Горе от ума», — мы поразимся чрезвычайной их светскостью, в том смысле, что оне наполнены и даже насыщены светскою жизнью и светскими интересами и светскими целями данного исторического дня. Что такое «светское»? Ну, не будем впадать в многословие и объяснять термин, употребительный и понятный у нас, в Риме, в Греции: «светское» — это «довлеет дневи злоба его» или, что то же, «на каждый день и всякую эпоху достаточно заботы об этом дне и этой эпохе». «Недоросль» тревожится безграмотностью своего времени; «Ябеда» Капниста — сплетничает (не в худом смыс-

* своеобразный (*лат.*).

ле) на ябедников; «Горе от ума» есть тоска умных людей своего времени; «Ревизор» и комедии Островского поднимают фонарь над темным царством, скучным (у Гоголя) царством. «Скучно на этом свете, господа» или «весело на этом свете, господа» — вот две темы серьезной и веселой комедии, т. е. вообще всех и всяких комедий, тема и содержание вообще комического. Но как в случае «скуки», так и в случае «веселости» дело не выходит из пределов «этого света», не отделяется от прекрасной и милой нашей земли — и в этом суть комедии и центр комического устремления на сцене и даже в жизни. «Быть в комедии» и комедийном настроении духа — значит быть «на сем свете», с наибольшим запоминанием 10 о каком-то мнимом или фантастическом, во всяком случае не проверенном «тамошнем свете».

С первого же раза, без всякого анализа и без длинных комментариев мы видим, чувствуем и соглашаемся, что в трагедии гораздо более духовного. Трагедии суть высшие духовные создания, нежели комедии, это впечатления профана, которого не станет оспаривать мудрец. Но чем отличается трагедия от драмы? Драма — совершенно серьезна, чрезвычайно содержательна, иногда философична. Но это — пища ума, тогда как трагедия дает пищу душе, т. е. каким-то глубочайшим, нежели мысль, сторонам нашего «я». Трагедия связывает нас с Богом. Читатель да простит, что я так «выпалил». Но дело в том, что в трагедии в самом 20 деле есть что-то, что и сообщает ей трагический колорит, и это «что-то» — выше человека, сильнее человека, страшно человеку. Отелло, Гамлет, Лир, в древности Эдип — все гибнут. Трагедия есть изображение гибели человека, и вот это — страшно. Нельзя отрицать, что в комедии человек взят несколько, как

Силен румяно-рожий.

Уж как хотите, но это — так, шила в мешке не утаишь и правда вся та же и для гениальнейших комиков; напротив, в трагедии человек взят в положении тех согнутых и бегущих титанов, на которых валятся небесные камни или пожалуй — с древними можно пошутить — в которых небо швыряет камнями.

Человек гибнет — такова его судьба, по крайней мере иногда; но человек еще 30 подходит к гибели или ходит вокруг гибели — и вот это составляет сюжет трагедии. Трагедий вовсе бы не было, если бы не было трагического в жизни. Как мы любим рассказы о страшных сочетаниях обстоятельств, поведших человека к гибели, или о загадочных и странных людях, которых точно Немезида какая-то влечет к гибели, и они не умеют ни бороться с нею, ни обойти ее. Да, это мы слушаем с большим замиранием сердца, чем анекдоты, и по этой же психологической причине превосходную трагедию мы смотрим с живейшим волнением, чем самую гениальную комедию. Трагедия глубже нас хватает, она божественнее и человечнее.

Но почему же гибель духовнее нам кажется, и ближе и Богу, чем «так себе» 40 нашего бытия, благополучное наше здоровье и кой-какое счастье? Взглянем однако на человека в трагических обстоятельствах и на человека в комических обстоятельствах: разница — поразительна; первый имеет «лик», второй — «рожу». Да что же тут такого особенного? Ну — человек гибнет, за что же его тут лобызать, и называть «лик» и чуть на него не молиться? Дело в том, что в трагическом есть демоническое, и трагедия большею частью есть борьба человека с «демона-

ми», какими-то странными существами, которые так чувствуются у Пушкина в стихах:

...Невидимкою луна
Освещает снег летучий,
Мутно — небо, ночь — мутна.

Демоны — в какой-то мировой мути, непременно при спрятавшейся за тучи луне, при невзошедшем или зашедшем солнце, на утре или в глубокие сумерки, когда природа не ясна и колеблется, когда

Ни — день, ни — ночь.

Замечательно, что больные, тяжелые больные, которым, казалось бы, все равно, в какой час умереть, умирают или вскоре после заката солнца или перед восходом: не дотянулись, не дождались этого восхода, а дотянулись бы, тогда прожили бы еще день и умерли только после заката. Я думаю также, что редко дурной замысел созрел в человеке днем, как и из самоубийц огромный процент покончил с собою без сомнения ночью или очень ранним утром. Но тут мы входим в мистицизм часов дня, отношений земли к солнцу. Оставим это. Скажем только, что бесы суть сумеречные и неясные создания, около которых все — муть, и вот — страшно человеку, горько человеку, когда он завлекается в эту бесовскую муть. Борьба его с этою мутью, т. е. вечная антибесовщина человека, и есть сюжет трагедии, следя за которым мы произносим о герое: «лик»... 10

Таким образом, в трагедии демоническое — в обстоятельствах, а божественное — в человеке, и всякая трагедия есть борьба между божеским и демоническим. Понятно, что это в высшей степени духовно и даже религиозно. Мы просвещаемся здесь через зрелище. Трагедия есть род философской литургии и, оплакав Лира, Корделию, Отелло, мы через слезы сочувствия возвышаемся из мещанства бытия в некоторый высший нравственный Эдем. Да, я буду смел и скажу, что трагедия на сцене или в жизни немножко «возвращает нам рай». О, как страшно жить, как отвратительны эти бесы, и хочется ближе к Богу, под его крепкую защиту, но непременно — с Корделиею, Лиром, воскресшею Дездемоной, даже с Мавром, ибо еще благородная особенность трагедии — это то, что она чрезвычайно пробуждает чувство общности и единства рода человеческого. 20 30

ЕЩЕ О СМЕРТИ ПУШКИНА

I

Смерть великого человека, явившаяся неожиданно, вызывает на размышления. Что такое произошло? Он ли тому причина, *окружающие* ли, *Провидение* ли, — об этом мы спрашиваем при виде неожиданной смерти обыкновенного человека, просто при виде *факта* раскрывшегося зева «пожирательницы людей».

И этот вопрос становится длительнее, упорнее, когда тот же зев неожиданно поглощает великого, дорогого, нужного. «Куда? Зачем?» — это мы произносим горестно и бессильно, когда не можем произнести единственно нужного: «Постой!».

Когда литература лишается *двух* величайших гигантов своих *одним* способом, равно неожиданно и безвременно, мысль о роковом и страшном невольно закрадывается в ум. «Тут кто-то *шалит*», «это кому-то *надо*», «кто-то *уносит* у нас величайшие сокровища», и слова: «судьба», «немезида», «рок», эти затасканные и все-таки оставшиеся в памяти человеческой имена, невольно шепчет язык. Море никак не хотело принять Поликратова перстня; то же море, какое-то мистическое море, обратно от нас требует «драгоценных перстней». Ну, бросили один, — нет, мало. «Поганое место». Я хочу сказать, что, когда в одном и том же месте реки эту весну утонул один мальчик, на следующий год — другой, мы восклицаем: «Поганое место», «нечистая тут сила». Непонятно. Страшно. Не хочу подходить к этому месту, хочу обойти это место.

В ужасно смешной (в *предметном* отношении, в отношении к *Пушкину* и его *смерти*) статье «Судьба Пушкина» г. Влад. Соловьёв попытался доказать, что это не «нечистый» унес у нас Пушкина, а ангел; что это не «поганое место», где тонут мальчики, а «святое место», «место святого упокоения невинных детей». В век, когда люди только *по книгам* помнят Бога, а не в живом ощущении, они прежде всего начинают смешивать «чорта» и «Бога». Человек погиб. Мальчик утонул. «*Кто это?*». — «*Это — Бог!*». — «*Нет, это — горт*». Грешный человек, я следую в этом случае маловозрастным мальчикам и вместе с ними шепчу о потерянном их товарище: «*Это — негистый* унес его», и все тут «погано», «страшно», «неодолимо».

...Если б им была дана
Земная форма, по рогам и платью
Я мог бы сволочь различать со знатью.
Но дух — известно, что такое дух:
Жизнь, сила, чувство, зренье, голос, слух
И мысль без тела — часто в видах разных;
Бесов вообще рисуют безобразных.

Это неприятное и жуткое ощущение, которое через 50 лет, конечно, становится глухо, но у современников и очевидцев события, вероятно, было сильно, рассеялось несколько и у меня, когда в № 21—22 «Мира Иск.» я прочел о смерти Пушкина прекрасную статью П. П. Перцова. «Ну, — сказал я себе, — больше не буду думать о Пушкине». Тут все так просто разъяснено, так правильно (в фактическом отношении) и правдиво (в моральном), что и возвращаться к вопросу нечего. Человек взглянул не *ангельским* и не *гортовым* взглядом на событие, а как простой, добрый и нравственный человек. Он не искал быть *гениально-умным* в объяснениях, не говорил себе: «Ну, тут-то я и пофилософствую», — и нашел истинную философию в объяснении все-таки загадочного и трагического события. Мистическое не отвергнуто им, но оставлено как *тень добавления* около действительных событий и отношений в жизни поэта, и самая жизнь эта в отношении к *теме* не передана как ряд эмпирических данных, но как цепь полунрав-

ственных, полуэстетических, полуфизиологических событий, словом, «дух и тело смешаны (в статье) в надлежащей пропорции».

Это впечатление было нарушено резким ответом предыдущему автору — нового («Еще о судьбе Пушкина», г. Рцы, № 1—2 «Мира Искусства», 1900 г.). В сущности, г. Рцы *сбивает* все объяснение на первое и самое раннее, которое было дано уже в незаметном лермонтовском упреке Пушкину:

И он погиб и взят могилой

.....
 Затем от мирных нег и дружбы простодушной
 Вступил он в этот свет, завистливый и душный
 Для сердца вольного и пламенных страстей?
 Зачем он руку дал клеветникам безбожным,
 Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
 Он, с юных лет постигнувший людей?

10

С этим объяснением совершенно совпадают центральные слова в статье г. Рцы: «Не клади, Сашенька, пальчика в огонь. — Ан, хочю! — Ну, тогда больно будет. *Хожу Петербурга* (курс автора). Ну, тогда тебе не избежать и логики *Петербурга* (опять его курс.), тогда судьба твоя роковым образом вовлечется в цепь следствий и причин, породивших самый Петербург с его прошлым обществом, былыми нравами, героями того времени — Дантесами... Мы *сами себе* (его курс.) даем пощечины... И мы глубоко верим, что, если бы Пушкин опомнился, понял невозможность *человечески* (его курс.) спастись, если бы он упал на колени с горячею мольбою: Господи, спаси меня! Вот польстился я на пустую петербургскую ливрею, и вот позорят жену мою, и очаг мой, и дом мой, и нет прибежища душе моей, — *наверное* (курс. его) спасся бы».

20

Тут есть немножко и соловьевского объяснения («поехал бы на Афон»), и обыкновенного, даже самого либерального объяснения («надел ливрею»), и, словом, неясно-деликатные упреки Лермонтова переложены во что-то мешанское (да простит автор мне упрек этот): «Он носил ливрею, когда ему нужно было петь „на седьмой глас“: „Господи, воззвах“». Очевидно, ни на Афон Пушкин бы не поехал (гипотеза Соловьёва), ни «воззвах» не стал бы и не хотел читать, — ибо не таково было настроение его души, и правда его души, и *факт* его души *в это время* грусти, смятения, гнева. О, господа, ведь есть логика и у страсти, и не думайте, что права и *свята* логика только «посмертных рассуждений», но и *прижизненных* страстей логика может быть *свята*. Я верю, что Пушкин *вспыхнул* правдою — и погиб; что он был прав и свят в эти 3—5 предсмертных дней, когда

30

Восстал «во блеске власти»

— но он действительно, как объясняет г. Перцов, был неправ 3—5 предсмертных лет, и... «все произошло так, как должно было произойти».

Я счастливый муж, любящий; у меня все исправно в дому. — За моей женой ухаживают. — Сделайте милость! Рассказывают об ее успехах:

40

Вот, братец мой, потеха!
 Ей-ей умру,

Ей-ей умру,
Ей-ей умру от смеха.

В «Графе Нулине» Пушкин это отлично выразил в заключительных стихах:

Когда коляска ускакала,
Жена все мужу рассказала
И подвиг графа моего
Всему соседству описала.
Но кто же более всего
С Натальей Павловной смеялся?
Не угадать вам! — Почему ж?
Муж? — Как не так. Совсем не муж.
Он огонь этим оскорблялся,
Он говорил, что граф дурак,
Молокосос; что если так,
То графа он визжать заставит,
Что псами он его затравит.

Все это очень важно, все это очень на кого-то похоже; но самое важное и, так сказать, центральное — в последних двух строчках:

Смеялся Лидин, их сосед,
Помещик двадцати трех лет!

Когда «муж» и «любовник» совпадают, тогда гомерический, чудесный гомерический хохот покрывает и Дантеса, и Нулина, и «женихов» Пенелопы. «Дом мой — твердыня моя: кого убоюся?!». Не совершенно ли очевидно, что суть пушкинской драмы заключалась... о, не в Наталье Николаевне, — а в том, что Пушкин не имел в собственных данных фундамента спокойствия и уверенности, чтобы сказать с Улисом и Лидиным: «Дом мой — твердыня моя: кого убоюся!».

Попытка Нулина, может быть, имела бы совершенно другой исход, этот другой исход возможен, он *психологически и даже метафизически мыслим*, если бы около нее не было «23-летнего Лидина». А теперь она — крепость от Нулина и всякого, т. е. чистосердечие ее смеха с Лидиным (ведь не в одиночку же он смеялся!) исключало со стороны последнего решительно всякое подозрение и подозрительность, и он никогда бы не забормотал, не заскрежетал:

Молокосос! и если так,
То графа я визжать заставлю!

Очень нужно! Очень нужно вызывать на дуэль. Почему же затревожился Пушкин? Веселый насмешник, написавший Нулина и Руслана, вещим, гениальным и *простым* умом он *погуял*, что если «ничего еще нет», то «психологически и метафизически уже возможно», уже настало время ему самому испить черную чашу и вместе весь непререкаемый и фатальный комизм Черномора ли, старушки ли Наины... о, ведь дело не в *летах* именно, а в седине и даже дряхлости опыта, хотя бы и в 35 лет:

Прошла моя, твоя весна,
 Мы оба постареть успели.
 Но, друг, послушай: не беда
 Неверной младости утрата.
 Конечно, я теперь седа,
 Немножко, может быть, горбата,
 Не то, что в старину была,
 Не так жива, не так мила.
 Зато, — прибавила болтунья, —
 Открою тайну — я колдунья!

10

Точка в точку с великою и вещею мудростью поэта, с его универсальным умом, что для 16 лет может представиться «умом колдуна», весьма мало говорящим сердцу девушки. Ее *вниманье* — совсем иное будет, чем его *реги*:

Мое седое божество
 Ко мне пылало новой страстью.
 Скривив улыбкой страшный рот,
 Могильным голосом урод
 Бормочет мне любви признание:
 «Так — сердце я теперь узнала.
 Я вижу, верный друг, оно
 Для нежной страсти рождено;
 Проснулись чувства, я сгораю,
 Томлюсь желаньями любви...
 Приди в объятия мои...
 О, милый, милый, умираю...».

20

И что же ответил Финн, когда-то *сам и первый* полюбивший Наину, т. е. стоявший к ней в неизмеримо ближайшем, по возрасту и, *главное, по опыту*, расстоянии, чем поэт к своей невесте и потом жене:

Я трепетал, потупя взор!

Что делать — это *роковое!* А ведь вещун-Пушкин, колдун-Пушкин все видел, ³⁰ все знал, «*на три аршина под землю*» он видел не только в 35 лет, но и в 25, когда писал «Руслана» и «Нулина», и в последнем эти насмешливые строки:

Она все мужу рассказала,
 Всему соседству описала.

 Смеялся — Лидин!

Увы, так. Но поспешим к нашей задаче, оставляя иллюстрации. Не было *совершенного гистосердегия* и «гомерического хохота» в ее рассказах Пушкину о Дантесе. Не тот смех, не та психика. Смеется, смеется, и вдруг глаза поблекнут. — «Ну, продолжай же, Наташа! Так ты его...». — «Ну, хорошо, уж поздно: ⁴⁰

доскажу завтра». Речи не договаривались, смех *не раскатывался*; так — улыбнется, *мертвенно* улыбнется. — «Да что ты, Наташа?». — «Ничего, утомлена. Я рано встала». И вечно утомлена. — «Верна?». — «Конечно!». — «Довольна?». — «Довольна!». — «Счастлива?». — «Счастлива!». — «Не упрекаешь (меня)?». — «Нет». — «Детей любишь?». — «Люблю». — «Но поговори же, но расскажи же: так ты этого молокососа...». — «Ну, оборвала, ну, и только, и спать хочу, и дети нездоровы, и завтра надо рано вставать...».

Она совершенно нравственна или, пожалуй, «корректна» в отношении к детям и мужу, и... и... не распинайте же вы ее и не требуйте, чтобы она *вдруг* запела песенку над ребенком:

Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю...

Ничего у нее грешного. Но здесь и кончено все. Она не согрешает. Но ведь вы требуете *святого*, как положительного, вы ищете небесной поволоки глаз, взамен мертвенной улыбки ожидаете воздушного смеха:

Проказница младая,
Насмешливый потупя взор
И губки алые кусая,
Заводит скромный разговор
О том, о сем. Сперва смущенный,
Но постепенно ободренный,
С улыбкой отвечает он. (Нулин, на другой день)
.....
Вдруг шум в передней...
«Наташа, здравствуй!».
— «Ах, мой Боже!
Граф, вот мой муж!».

Ну, ради Бога, объясните вы все, распинающие «плоть»: откуда взять этот «отрывок» бытия, серебристый звон голоса, когда его *нет!* Просто — *нет!* А ведь Пушкин психолог и понимает, что когда этого — нет, то вообще ничего нет между ними, кроме довольно скучного, *скугающего* «общего ложа» и привычной, конечно, милой, но не восхитительной столовой. Серебро — общее; посуда — общая; пожалуй, интересы — общие, и, конечно, знакомые. Но *не* общий — *смех*:

...Потупя взор
И губки алые кусая...

Это — не к нему, не к Пушкину обращено; могло бы обратиться к «Лидину», а за неимением его — вообще *отсутствует*. Да — нет, и только. Нет смеха; но вы требуете добродетели?! Плохие психологи. Пушкин им не был. Начертав эти стихи, он, конечно, конечно, понимал, что... ничего-то, ничевохенько общего между ним и женой — нет, и что тут — не *ее* вина (слова его о ней в день смерти: как он ее ценил!), а уж если и есть чья, то, после Бога, устроившего законы мира и бро-

сившего солнце в *свой* путь, луну — в *свой же другой*, то еще вина — *его, Пушкина*, не нашедшего в мире своих путей или не пошедшего по своим путям. Да, как Перцов объясняет, — «вина» Пушкина, и именно здесь — в сфере «своего дома».

Пушкин был решительно груб с «Наташей» (да будет прощена дерзость так ее назвать). Он мог гениально ее ценить, но создать и *выжать из себя* форм обращения и быта, бытъя, «житья-бытъя» с той, о которой он записал *первые, ранние* впечатления:

Все в ней — гармония...
 Все — выше мира и страстей:
 Она *покоится стыдливо*
 В красе *торжественной* своей,
 Она кругом себя взирает —
 Ей нет соперниц, *нет подруг*;
 Красавиц наших бледный круг
 В *ее сияньи исчезает*.

10

— он не сумел.

В письме к жене, приведенном г. Рцы *, Пушкин заговорил несколько как мастеровой. Пусть читатель перечтет письмо, справится.

«Наташа» получила письмо. Села, грустно откинулась назад. И уж не знаю, в какую минуту, но мы слышим из спальни девушки, — *увы, и в замужестве де-* ²⁰
вушки:

Любви роскошная звезда,
 Ты закатилась навсегда!

Да, и в замужестве девушки! Дайте договорить мысль! Она только фактически стала супругой и матерью, а поэтически и религиозно так и замерла, *умерла* девушкой. Ведь совершенно очевидно, что если есть поэзия и религия

...святыня красоты

в девстве и *девственнице*, то должна была настать и святость супружества, святость материнства:

Спи, дитя мое родное,
 Баюшки-баю!

30

«Я не знаю, я не понимаю, я неопытна, однако тоже, перефразируя стихи поэта,

Не множеством картин старинных мастеров
 Украсить я хотела бы обитель:

.....

* См. «Мир Искусства», № 1—2, стр. 20.

В простом углу моем, средь медленных трудов,
 Одну картину я б хотела вечно видеть:
 ...Чтоб на меня с холста, как с облаков,
 Пречистая и наш Божественный Спаситель,
 Она — с величием, Он — с разумом в очах,
 Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
 Одни, без ангелов, под пальмою Сиона».

Она могла этого не написать, но она могла это почувствовать и даже, так сказать, *практически к этому приуготовиться*; как он мог *написать*, но вот практически-то к этому приуготовиться и *не мог!* Не тот тон. Совсем другие речи. И в основе всего — просто не тот возраст и не то «прошлое, прошлое!» — которого «не вернуть!». Пушкин в 16 лет написал — и с странным, страстно-нежным тоном в заключительной строке — «Леду», — сюжет, который, ей-ей, я узнал и он мне пришел в голову за 30 лет! Таким образом, этот маленький «Эрос», который мы называем Пушкиным, «зрелым» почти родился, и дальше все «зрел» и «перегорал».

«Конечно, она не виновна. Но, виноват... мир, Бог, Дантес, Геккерен, «ибо я так чрезмерно страдаю», «так мне дурно»... Она обо мне не думает; я о ней всечасно думаю и почти перестал писать стихи, разучился писать (последний, какой-то *пустынный* фазис деятельности Пушкина), ибо все та же мысль сожрала, пожрала меня. Молось — и не вижу «образа». Он не отвернулся, а просто поблек, умер в линиях, ушел куда-то внутрь».

Г. Рцы, приведя указанное выше письмо, пишет: «Чудные отношения (везде его курсивы). Дай Бог каждому из нас найти такой *верный* тон, так гениально сумеешь избежать приторности, сантиментальности, прикрыв грубоватую корою товарищеских угловатостей эту чарующую нежность, эту сердечность, эту ласку... Он ее не любил!! Или она его? Да Ромео и Юлия так не любили друг друга, как могли любить друг друга Пушкины в браке, *оставайся только несчастный поэт в Москве*» (последний курсив мой)... и т. д. Строки до известной степени драгоценные, ибо именно так рассуждал, вероятно, не раз рассчитывая свое счастье по пальцам, Пушкин.

Дело в том, что тон письма Пушкина, действительно чудный и «ромеовский», не есть «ромеовский» *универсально*, но только *резко определенной, узкой полосы* бытия нашего, который и для Гончаровой должен был настать и, по-видимому, настал со вторым мужем, и она ему была «твердыней», успокоенною и счастливой; но с Пушкиным, в 17—22 года, не настал. Она имела *свой* тон, *свои* струны «ромеовского» счастья, по которым не мог и не умел ударить... поэт.

Тут только и можно разобраться, «вознеся руку на сердце», ибо «законно» и внешне, как равно критически и литературно, мы, все, конечно, решим «по Пушкину» и «для Пушкина». Но ведь что в *нашем*-то, этаким решении? Ведь он, участник драмы, жалкое ее лицо, — вещун, он — вещий.

«— Я же верна тебе, — ну что же еще».

И она заплакала. Скажите, ради Христа, в какой закон и в какое Евангелие вы впишете эти слезы, или, пожалуй, из какого Евангелия или от какого Христа вы возьмете окрик, или даже просто *упрек* — этим слезам. «Я плачу, ну и только». «Ваша — и никуда не бегу». Пушкин заметался. О, тут кто-то... судьба, Бог, Дан-

тес, Геккерен, но я должен, мне нужно убить, потому что я так ужасно страдаю, мне так трудно, и *неисцелимо трудно*. Убить и даже... убивать, убивать; или — умереть. Он умер. Конечно, это легчайшее.

II

«В чем дело, — пишет г. Рцы, — Пушкин *переступил* через чужую жизнь? Пушкин, как Мазепа, *заклевал голубку* — какую? Свою собственную жену... Что за притча? И в каком смысле *заклевал*? А вот в каком. Для Наташи, для бедной (несчастливая московская барышня, очевидно, судьбой предназначенная по крайности для действительного статского советника), для бедной Наташи все были жребии равны. *Еще* равны... (центральная, совершенно справедливая мысль г. Перцова).¹⁰ Она еще никого не любила, не доспела, но потом, отлежавшись, как груша хороших поздних сортов, могла полюбить, а тут Пушкин, коллежский секретарь Пушкин, некстати подвернулся...».

Чудак. Он пишет: «Этак у каждого из нас, проживши мирно десяток лет, жена вдруг нальется соком и станет вздыхать по *суженом, настоящем*, которого она проглядела, не дождалась».

Какое рассуждение; ну, и в самом деле, пусть жена «начала вздыхать»: как же муж *прервет* эти вздохи? Увы, брак не был бы «тайнством», если б он не был «членом веры». И вот, когда верующий, — о, не изменяет своему символу, но *вздыхает*, как я, как, может быть, он, как Лютер в 22 года, о какой-то далекой,²⁰ новой, возможной вере, в условиях поблекшей настоящей, что же, г. Рцы и этот *религиозный вздох* прервет?! Нет, он этого не сделает. Но не то ли же самое и в тайнстве, которое мы рассматриваем, где так же, как и в вере, в религии, в догматике, вздоха прервать *нельзя* и вздох прервать *преступно*. Да просто — нельзя (нет средств, сил)!

Какой-то *всеобщий* страх у г. Рцы — суетен, неоснователен.

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя

— это повторит тысяча мужей о своих «старухах», не променивая их стоптанных башмаков на новые модные туфли; мужей, говорю я, — но также это скажет и тысяча жен. Пушкин — не «Мазепа», который «заклевал»... Вот именно Мазепа-то и не *заклевал*:³⁰

Не серна под утес уходит,
Орла посылша тяжкий лет;
Одна в сених невеста бродит,
Трепещет и решенья ждет.

Это — Мария Кочубей ожидает приговора родителей, когда седоусый гетман приехал формально ее сватать:

Не только первый пух ланит
Да русы кудри молодые,

Порой и старца строгий вид,
 Рубцы тела, власы седые
 В воображеньи красоты
 Влагают страстные мечты.
 И вскоре слуха Кочубея
 Коснулась роковая весть:
 Она забыла стыд и гесь,
 Она — в объятиях злодея...

10 Не отпустил отец, сама ушла. Что делать — та к! Так было спокон веков и так останется, пока «три кита» не вывернутся из-под земли; и, наконец, так Бог благословил. Но почему же *если* Мазепа, то *все-таки не* Пушкин? Это вы прочтите у Лермонтова о Каспии:

...о, старец — Море.

 Но, склонясь на мягкий берег,
 Каспий стихнул, *будто спит*...

Не правда ли, в стихах Лермонтова — будто психология Мазепы, в его притворных письмах к Петру. А вот, у него же, и в той же дивно краткой поэме, и эпизод с Марией Кочубей, во всех деталях:

20 «Слушай, дядя, дар бесценный:
 Я примчу тебе с волнами
 Труп казачки молодой
 С темно-бледными плечами,
 С светло-русою косою».

 И старик, *во блеске власти*,
 Встал, могучий как гроза,
 И оделись влагой страсти
 Темно-синие глаза.
 30 Он взыграл, веселья полный,
 И в объятия свои
 Набегающие волны
 Принял с ропотом любви.

Тысяча романов в действительности — на подобный сюжет; и Наташа Гончарова, *за 2–3 года до встречи с Пушкиным* (совершенное отрочество), легко могла бы сбежать к какому-нибудь петербургскому Мазепе, совершенно так же и с теми же последствиями, но *никогда бы не сбежала к Пушкину*. Мазепа... старый бандурист, коего песни до сих пор не забыты Малороссией, строитель церквей, трянувший — да как! — Малороссией и забурливший около своего имени Рос-
 40 сию, Швецию, Польшу. Пушкину бесконечно хотелось съездить за границу, но он... так-таки никогда и не решился сесть на пароход без паспорта. Этот несносный Бенкендорф — потому и несносный, что Пушкин никак не умел от него осво-

бодиться. Вот уж *не* Каспий... Что же ему сравниться с Мазепой *в линии данной темы*. Да он и был для 16-летней Наташи Гончаровой тем «действительным статским советником», хлопотавшим у правительства разрешения издавать журнал, — к которому ее приревновал г. Рцы; а Мазепа и был, по его же терминологии, — «Он»... Ну, — Он, «Озирис», «Зевс»...

...Дух — известно, что такое дух:
Жизнь, сила, чувство, зренья, голос, слух.

По всему описанию видно («Полтава») и, конечно, так и было в действительности, что не Мазепа хотел Марии Кочубей: он только заметил ее, позволил ей, а *ринулась*-то она сама к нему, и, пожалуй, действительно к Нему. Седой усач; поэт — но *в меру* (Пушкин — *без меры*); какие речи! какой взгляд! И — седина, седина; «ветхое деньми». Тут не у одной Марии закружилась бы голова... И, главное, великий и страстный политик, молитвенник, художник, Мазепа и в 63 года был свежее и чище, был более похож на Иосифа Прекрасного, чем Пушкин, далеко отошедший от Иосифа в 16 лет («Вишня»). Да, целомудрие старости — обаятельно, и у Марии, а могло бы быть и у Наташи Гончаровой, закружилась голова. И решительно она не закружилась от Пушкина, который, *в отношении к данной теме*, так ужасно походил на «действительного статского советника», с положением и связями, восходившими до Бенкендорфа. Но известно, что у генералов, военных и статских, бывают счастливые адъютанты, и вот в Дантесе Пушкин почувствовал, заподозрил, имел *психологический и метафизический фундамент* заподозрить такого счастливого «адъютанта», «помещика 23 лет Лидина», и, словом... Феба. Эсмеральда и Феб. Вы помните «Собор Парижской Богоматери» и там этот странный, горестный (до слез) роман. Эсмеральда — само упоение; ею упилась Европа; она увидела (кажется, ни слова не сказала) кавалериста Феба, которому Гюго даже не дал никакого собственного имени, до того он был *безлиген*. Эсмеральда поблекла. Забыла свою козочку. Вот тут пусть г. Рцы рассудит и бросит в Эсмеральду тот камень, который он бросает в Гончарову. Зачем Эсмеральда полюбила Феба, а не того угрюмого, ученого, *гениального* монаха, который полюбил ее почти страстно-нежно и безнадежно, как Пушкин — Наташу. Да, зачем?! Пусть учит г. Рцы — он умен; я же только и могу припомнить: «И к мужу — *влегение твое*» (Бытие, 3). Да, «к мужу» и «влечение», т. е. «муж» и есть этот «Каспий», «море», «Озирис», Феб, Дантес, уже потому «роковые», что их ни обойти, ни объехать. Погибла Эсмеральда, погибла Кочубей, могла бы погибнуть Гончарова-Пушкина. Но, с другой стороны, — погиб тот желчный монах («Соб. Пар. Богоматери»), погиб Пушкин, *может* погибнуть Рцы, я, наш читатель. И, вообще, это любопытно, что где-нибудь, то там, то здесь, но *вегно* «бог семьи и брака» требует и *полугает* себе дымящуюся человеческую кровь. Ужасно, но факт.

Ужасно, непостижимо. Сейчас я разьясню это. Конечно, можно представить, как, по-видимому, мечтает г. Рцы, что человечество можно было бы, поломав как лучинку, разместить попарно и что не было бы ни страданий, ни расхождений, ни приключений. Но «лучинки» бы *не рождали!* Я хочу сказать, что в тот миг, как «кровавые заклания» (на этой почве) окончательно прекратятся на земле, — человек перестанет рождать. Я не могу постигнуть, почему и как, но чувствую, что *рождение ребенка* требует «жертвы», без нее не будет беременности

и того, о чем писал и к чему готовился Пушкин, возвращаясь домой. Попробую еще объяснить. Шампанское — *играет*; если бы оно не играло, не пенилось, оно было бы смиреннее и не рвало пробку, не разрывало проволоку и иногда не брызгало вам в лицо, а при неосторожности — не ранило бы вас осколком стекла в лицо, в руку. Но *тогда оно было бы водой*, без игры, пены и ран... Идея г. Рцы, испуг его «как мужа» есть в сущности жажда смирить женщину и... тогда она *потеряет силу*, не будет рождать, как Татьяна в скорбном своем романе:

10 К ней дамы подвигались ближе,
Старушки улыбались ей;
Мужчины кланялися ниже,
Ловили взор ее очей;
Девицы проходили тише
Пред ней по зале; и всех выше
И нос и плечи подымал
Вошедший с нею генерал.
Никто б не мог ее прекрасной
Назвать, но с головы до ног
Никто бы в ней найти не мог
20 Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar.

А *дети*?! Что вы мне суете «старушек, которые ей улыбались», кавалеров, которые ей «почтительно кланялись», когда идет *жена*, — и я спрашиваю: а где же ее *дети*? Вот что забыл Пушкин, рисуя свой «милый идеал», и о чем забыл, что кощунственно выкинул из головы Достоевский, в знаменитом анализе «пушкинского и русского идеала женщины»? О, любители *бес*-кровных жертв, взамен древних, ягнячьих, голубиных, — как иногда можно ненавидеть вас и вашу!..

В ней сохранился тот же тон,
Был так же тих ее поклон.

30 Ведь, плакать хочется, — не знаю, как читателю, но мне хочется.
Она спросила:

Давно ль он здесь, откуда он (*Онегин*)
И не из их ли уж сторон?
Потом к супругу обратила
Усталый взгляд...

Страшен этот «усталый взгляд»! Сегодня усталый, завтра усталый, следующий год усталый. Ох, «устала»; кто-то поддержит? Нет держащего. И Пушкин, и Достоевский — оба отказались. Пушкин устал от Бенкендорфа, Достоевский устал от бедности и либералов.

40 С Татьяной — никого. Только старушки покланялись на рауте.

Устала Татьяна. Братья-люди, да ведь *вы* же устаете? Почему же только *жена* не может устать?

Поэт, усьмири волны свои и *любезно рассмейся*, низко поклонясь Бенкендорфу. «Низко поклоняясь»?! Но позвольте, ведь Татьяна куда-куда больше «низких поклонов» должна отдавать тому, кто ей *гужд* и *на нее не похож*, как на вас Бенкендорф?.. И почему же то, от чего гиганты силы заскрежетали зубами, Пушкин, Достоевский, или мы, средненькие, Рцы, я, только для «бедной Тани» под силу? Но ведь на самом деле так. Ведь Таня тоже мечтала:

Не множеством картин старинных мастеров
Украсила бы я смиренную обитель...

И почему, почему, когда Бог отнял у женщины гений письма, когда она не слагает пушкинских строф, не дает ни рафаэлевских рисунков, ни музыки, как Моцарт, ни побед, как Наполеон, — почему, как Давид в могуществе своем отнял у соседа Урии его «последнюю овечку», вы отнимаете «единую славу» у нее: детскую и спальню, семью и *настоящего мужа*. У Урии — только Вирсавия. У Давида — царство, слава, арфа и псалмы. У Татьяны, Натальи — только возможность приласкать, но уж любимого человека, а тут явился воин, богач, в ласках царских, в исторической славе, или явился поэт, купающийся в волнах народной молвы:

«— Ну, вот, Наташа, Татьяна, теперь тебе есть муж».
Татьяна уступила. Наташа уступила. — «Да, мне все равно!». И усмехнулась.
Но перервем, оставим.

Конечно, Пушкин был виновен перед Гончаровой, и потому, что он не понял необходимости глубокого *индивидуализма* семьи, без чего она есть квартира, но не есть «дом» в лучах религии и поэзии. «Святой дом» — вот чего до очевидности ясно не выходило у них.

Пушкин, и тысячи, — между ними Достоевский, — воображают, что пол есть функция, а не мистическое лицо в нас, второго, ноуменального порядка, и что как можно составить по произволу меню для *table-d'hôte'a* *, так же можно мистический узел семьи, мистическую *душу* семьи, *ангела* семьи образовать на почве искусственного согласия, формального соглашения на «общение в этой функции». Ангела нет. Души нет. Семьи нет. Ничего нет, есть только то, о чем условливались: функция. Она — в слезах, он — в бешенстве; или — она в терпении, он — в унынии. Да что же случилось? Да нет *лица*, не вспыхнуло *ангельское между ними* лицо. Вы *говорить* можете со всяким из 1 200 000 петербургских жителей; обедать — не со всеми, но по крайней мере с тысячами из этого миллиона; но читать книгу?.. О, тут индивидуальность суживается: Пушкин не может читать с Бенкендорфом, — ему нужно Пущина; Достоевский не может, пусть дал бы обещание, «обет», «присягу», целый год читать романы и прозу, стихи и рассуждения со Стасюлевичем; я не мог бы читать, «задушевно и со вкусом», со всяким; может быть, не мог бы со всяким читать и Рцы. Вышло бы не «чтение» с засосом, вышла бы алгебра, читаемая Петрушкою, и которую, кроме Петрушки, на этот раз слушают Стасюлевич и Достоевский. Но почему мы *говорим* с 1 200 000, *обещаем* — с 200 000, *зитаем* — с 20?! Потому что «разговор», «трапеза», «чтение» —

* общий стол (фр.).

все *одухотворяются* и *одухотворяются*, становятся *лигнее* и *лигнее*, *интимнее* и *интимнее*. Но общение в предполагаемой функции супружества — насколько же оно интимнее, таинственнее, сокровеннее и главное, главное, личнее, не говорю — разговора или еды, но и чтения?! Читать вечно только с Петрушкой, — нет, тут обломилась бы «кошачья живучесть», которую гордился в себе Достоевский. Итак, секрет и тайна раскрываются: «читать» можно только с немногими; но, как «думать» можно только с собою, и при *такой* думе вспыхивает гений, поэзия, — так гений и поэзия семьи вспыхивают тогда, когда есть *единство субъективного лица* в кажущихся двоих. — «Ну, давайте думать вдвоем, я и Рцы». Правда, «братья Гонкуры» писали «вместе» романы, но эти романы были плохи, они не были «Войною и миром» или «Карениной». Попробуйте «сочинять вместе» «Преступление и наказание»? Хороша вышла бы каша. Каким же образом семью, которая как *произведение*, конечно, выше гением и мистицизмом «Преступления и наказания» и «Войны и мира», можно, «согласившись», «начать сочинять вдвоем»? Тут нужно, чтобы Бог *согласил*, т. е. семью, которая немислима без двух. Эти двое тогда ткнут, когда их устроил Бог в одно (*одно лицо*). Великие поиски семьи, — то, что я, петербуржец, нахожу свою «судьбу», положим, не в нашей улице, не в нашем городе, а при случайной и единственной поездке в Сибирь, — отсюда вытекают, и из подобных фактов ясно, что это Божеское единство двух есть вообще проблема, случай, загадка, но никогда не произвол. «Я женьюсь, и вот будет семья». Ничего подобного. Ведь вас *двое*, а семья именно там, где есть «одно». Вот устранение этих-то «двоих» и есть мука, наука, и, конечно, непостроимая наука семьи. У Пушкиных все было «двое»: «Гончарова» и «Пушкин». А нужно было, чтобы не было уже «ни Пушкина», ни «Гончаровой», а — Бог. Пушкин метнулся; Рцы говорит: «Ведь они были повенчаны». Я же спрашиваю, где Бог и *одно*? Совершенно очевидно, что это «Бог и *одно*» у них не существовало и даже не начиналось, не было привнесено в их дом. Что же совершилось? Пусть рассуждают мудрые. История рассказывает, что вышла кровь; трудно оспорить меня, что Бога — не было и что гроза разразилась в точке, где люди вздумали «согласно позавтракать», тогда как тут стояло святилище очень мало им ведомого бога. И, конечно, старейший и опытнейший был виновен в неуместном пиршестве, и он один и потерпел.

ДУМЫ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

<О войне и мире>

I

О мире и о войне пишут книги, пишут фельетоны. Ради мира собираются конференции и вслед за ними начинаются войны. «Говорят о мире — верно, будут драться». Нет, это в самом деле фатально и пахнет вовсе не шуткой, что, как только темп речей за мир подымается, где-то в подземном царстве уже оттачиваются клинки, отравливаются стрелы, изобретается «дум-дум». — «L'Empire c'est

la paix» *, провозгласил вечно воевавший Наполеон III, но гораздо более искренни были речи французских филантропов перед революцией — и революция, как и Бонапарт, дымилась порохом и кровью. Очевидно, тут не хитрость, а «против воли». Почти мистично.

Именно — почти мистично, и можно оформить такой общий вопрос: война есть ли факт наших желаний или факт природы? Уверен, что вопрос этот совершенно разрешается вопросом: есть ли факт случая или плана разделения животных на хищных и не хищных? Не говоря о кошках, есть рыбы хищные, есть птицы хищные, т. е. начало хищное и какое-то начало мирное, «работающее» и «трудолюбивое», разрезывает всю природу, очевидно, будучи в ней всего менее временным и местным явлением. Хищность не случай, а категория, т. е. что-то вечное и восходящее к очень глубоким частям мирового плана.

Бросается с первого взгляда в глаза, что все хищное более талантливо, чем не хищное. Слон умнее льва, но лев талантливее слона. Талант не есть ум; талант — какое-то упоение в душе; стихи около прозы. Мы еще нашли нужный термин: хищное более похоже на стихи, более певуче и вместе более ритмично, нежели «травоядное» начало в человеке и в мире, которое есть «проза», «проза» и «проза». При этом мы говорим не об обилии или недостатке приключений, а о какой-то пластике души и тела. Какие же «приключения» у рыси, ожидающей лося на суке дерева, между тем как лось, бродя по лесу, испытывает самые романтические приключения как в смысле неожиданности, так и занимательности. Но вся фигура рыси, его единственный прыжок на шею лося, который она делает — есть тем не менее строка из стихотворения. Мишка-медведь есть презанимательное и преумное животное, но кто же скажет, что нравы медведя, что главы о медведях у Брема есть поэзия. А о льве это можно сказать, и можно это сказать о борзой собаке, самом хищном типе собак.

Война есть также более талантливый момент в жизни народа, чем моменты мира и труда. Просто в этот момент народ бывает талантливее, ближе к понятию, психике и мистицизму гения, чем в эпохи спокойствия, и может быть суть войны и ее вечная необходимость заключается в потребности бедного «bourgeois gentilhomme» ** хоть раз в жизни поговорить «поэзией». Обратим внимание, что самый пассивный и вовсе не гениальный народ, — не гениальный для 300 мил. населения и 4000 лет истории, — китайцы органически враждебны самому существу войны. Не могут драться, не умеют драться, не хотят драться. Отгородились с севера стеной, которую построили в подражание Гималаям, которыми защищены с юга — и ограничились этим единственным военным изобретением.

Хищное не нужно смешивать с грубым, как относительно манер, так и всего быта, психики, даже в отношении к чужой жизни. Тигр, проползая в лозняке, не согнет прута, а обползет его: напротив буйвол, идя по лесу — ломит кусты. Вообще хищник несколько осторожнее к чужому существованию, ко всему внешнему бытию, нежели всякое травоядное — и это отнюдь не из боязни, не из лени, не из предусмотрительности. Есть какая-то тонкая черта, которою хищник отделен и хочет быть отделен от всей природы; «лев — царь»; но и кошка, простая кошка — ни с кем не бывает «запанибрата». Вообще панибратство, амикошонство,

* «Империя — это мир» (фр.).

** «мещанин во дворянстве» (фр.).

эта какая-то «людская» и лакейская нравов и обычаев, не входит в психику хищного и хищника. Просто — этого нет и просто это есть факт.

Еще замечание. «Мирного» не нужно смешивать «с кротким». Само хищное, по крайней мере в человеке, имеет какой-то перелом к кроткому. Что может быть более кроткого, что есть более кроткого в целой нашей литературе, как стихи Лермонтова:

Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную,
Ты воспрять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.

10

Или его же «Колыбельная песнь»; между тем Лермонтов есть не только писатель не «травоядного» сложения, но, может быть, наиболее мистический хищник во всей нашей литературе. Суцая кошка, знавшая тайну чарующих слез. Но возьмем типично добрых, «благодушных» писателей: Жуковский, Карамзин, Державин, Ломоносов — если и плакали, то чужими слезами, переводя их с немецкого, да даже и в переводе: совсем другая слеза — водянистая; «бабьи слезы», «слезливость» — но не аромат небесного умиления, какой ясно чувствуется у Лермонтова в указанных и во многих других стихах.

Вообще в хищном есть более небесного, в травоядном — более земного, уж это как хотите. Ко всему хищному крайне применима загадка Самсона филистимлянам: «из ядушего вышло ядомое, и из крепкого — сладкое». Лучшая сладость миру дана хищным началом, и вообще продукты хищных людей и хищных эпох — «съедобны» и «съедобны». Это есть какой-то Прометеевский огонек на земле и, конечно, ему нельзя давать производить пожары, нужно «хищно» бороться с самими хищниками: но и совершенно погасить его на земле едва ли удастся, едва ли нужно, едва ли возможно. Повторяю — тут много неясного, и очень поверхностно было бы решать это так: «нам надобно», «нам не надобно», «удобно», «неудобно». Как неудобно умирать, — а все умираем. И пожалуй, в самом деле, смерть и даже Смерть есть последний и уже совершенно неодолимый

30 Хищник; а «ядомое» смерти есть то, что лукавая притворщица собственно берет нас за руку и переводит в лучший мир, в мир высшей сладости и несравненного света.

II

— Нельзя, имея «билет с выигрышами», выигрывать каждый год по 200 000. Билет этот может в смысле правоспособности выигрывать ежегодно по 200 000, но он никогда их не выиграет, и может почитаться чрезвычайно счастливым, если в серию длинных лет это случилось однажды. То же и с литературой, например, нашею.

40 Так говорил еще не старый чиновник, с любовью следящий за новыми книгами и журналами, в небольшой компании художников и писателей.

— Мы все ожидаем еще такого же чрезмерного выигрыша, как словесные богатства от Пушкина до Толстого. Это бессовестность ожидания, это — самоза-

бвение богача, который с фатальным билетом воображает, что припал к какому-то космическому рогу изобилия, откуда ему вечно и неистощимо будут течь сокровища. Ничего подобного. Счастливый период нашей литературы, видимо, подходит к концу, и напрасно надеяться, что в XX или XXI веке мы будем иметь в кармане такие же, как в XIX в., 200 000 «слова и мысли». В самом деле случай, фатум, но во всяком случае не строгая закономерная периодичность господствует в этих странных подъемах и упадках литературы. XIX века Россия ожидала 800 лет. Раньше были опыты, школа, попытки, но не было вечно ценного, исключая древнего-древнего «Слова о полку Игореве», песен и былин: но это уже эпос и народное творчество, т. е. совершенно другая категория явлений, чем литература и образованность в тесном смысле слова. Литература в смысле умственно-художественного прогресса, в смысле индивидуального созидания, за каждым памятником которого стоит имя и год, конечно, началась «Историей Государства Российского», этою гордою и немножко фантастическою картиною нашего прошлого, и кончается, пожалуй, художественными бытовыми миниатюрами Чехова. 200 000 подходят к концу, и есть все причины думать, что в следующем веке мы совершенно напрасно будем пробегать глазами «тираж выигрышей». — «Нет ли?» — Такого богатства еще нет и не будет, разве что через 500 лет, через 300 лет, т. е. при совершенно новой поре истории и почти новой породе людей.

— Как так и почему?

— Очень просто. Выигрышные билеты имеют не только номера, но и располагаются по «сериям». Люда тоже «располагаются по сериям»: очень можно заметить, что от Пушкина до наших дней мы собственно люди «одной серии». Да, так, Некрасов и Тютчев, или граф Ал. Толстой и Никитин — что кажется общего? Между тем это люди до крайности общего типа, одного духовного склада, и это можно видеть просто из того, что они могли враждовать между собою, критиковать друг друга и в то же время понимать, и понимать до мелочей, друг друга. Просто — разные братья одной семьи, или разные бумажки одного роскошного выигрыша. Люди разной среды не имеют ничего в себе общего, как, например, Кузьма Прутков и известный Никита Салос, тоже шутивший и напугавший своими шутками Ивана Грозного в Пскове. Или еще пример несродного: Бобчинский и Вильгельм Телль. Просто не веришь, что на одной планете жили и слагали свои думы. Вот когда все эти Никитины, Некрасовы, Прутковы и Бобчинские пройдут, т. е. пройдет самая *порода* людей, сложение крови их и мозга их, и народится нечто совершенно невообразимое сейчас — может тогда и для тех людей родиться sui generis Пушкин. Т. е. нам нужно умереть и хорошо умереть, чтобы в литературе начал рождаться не лопух.

— Это печально.

— Не так, как кажется. Прошла поэзия, проходит искусство, но жилы и кровь и мозг человечества не исчерпываются этим. Мы пережили период

...Гуляки праздного

Единого прекрасного жрецов...

Но ведь это не одно в мире и это не все в мире. Мы так бесконечно любим образы и хороший стих, просто одну удачную строку в стихотворении, что нам представляется — умри это, умрет все. Но это — иллюзия, иллюзия нашего спе-

циального богатства. Есть вещи или могут быть вещи столь же упоительные, но оне не будут ни хорошим стихом, ни удачным образом.

Поэтический период существования народа отнюдь не кончился, если даже и кончились его стихи: пережить, напр., головокружительный период критики идей, ну, например, идей философских, религиозных, да составляющих смысл целой эры — в своем роде вещь не дурная...

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю...
И в аравийском урагане.

¹⁰ Мне кажется, у человека и человечества есть одна вечная потребность: задыхаться. Задыхаться от головокружительности — будет ли это ужас, восхищение, другое что. Потребность перелететь. Гора и гора; между ними — пропасть, до дна земли. Человек есть альпийский охотник. «Серия билетов» его талантности есть в сущности карабканье на вершину Мон-Розы, Мон-Блана. Ну, вот он взобрался. Дальше на этой Мон-Розе нельзя выиграть 200 000, и секрет в том, чтоб только на одну минуту на ней оставаться: дальше — гора, совершенно иной категории, иного сложения, на нее надо иначе карабкаться. Там тоже есть свои 200 000, но нужно суметь перелететь вот через эту зияющую пропасть, темь небытия, ночь глубины, которая сейчас перед глазами странствователя. Нужно лететь, нужны крылья. Нужно наконец необъятное воображение, чтобы, как говорится в Апокалипсисе, «творить все новое». — «Се — творю все новое». Это и есть гений. В Пушкинскую эпоху, или точнее, после Пушкинской эпохи, это будет человек наименее похожий на Пушкина; а суть наших ошибок в области литературных ожиданий состоит в том, что мы все ожидаем Пушкина № 2. Ничего подобного. Нескольких №№ Пушкина не бывает. Пушкин — это одно небо; а нужно не продолжать его, а ожидать другого, совсем другого неба.

— Так что мы в периоде ожиданий и даже, пожалуй, больших надежд?

³⁰ — Да. Есть прекрасная древняя легенда. Пророк сидит и, угрюмо смотря в землю, посылает мальчика на высоту городской стены: «Пойди, посмотри, не видно ли чего на горизонте?». Так и мы. Ничего нет. Засуха. Но прелесть в том, что мы можем сказать: — «Мальчик, сходи еще раз и посмотри внимательно: нет ли чего на горизонте?».

В. Л. ДЕДЛОВ. ПАНОРАМА СИБИРИ

Путевые заметки. — Сибирь осенью. — Сибирь летом. — Через Сибирь, от Урала до Тихого океана. — Из Владивостока в Одессу. СПб. 1900. Стр. 248

⁴⁰ Несколько лет назад г. Дедлов издал «По Италии, Египту и Палестине» — ряд тоже путевых очерков; позднее — путевых очерков; позднее — путевые заметки «Вокруг России», очень чем-то раздражившие наши либеральные органы печати; теперь он издал «Панораму Сибири».

Неприятная черта вообще путевых очерков — верхоглядство, подвижность зрителя и рассказчика, торопливость страниц и впечатлений. Книжки г. Дедлова не имеют этой главной неприятной особенности «очерков». Мы не знаем более привлекательного, более характерно-русского рассказчика о всех иноземных ди-ковинках, чем г. Дедлов, которого, несмотря на его угрюмость и постоянную жесткость, слушаешь с неутомляющимся любопытством. Книга его нова на каждой следующей странице не столько новизною предметов, сколько чуткостью наблюдателя, который выбирает все новые и новые стороны в старом предмете, его умом, который набрасывает на предмет все новые и новые покровы размышлений. Ум автора приковывает с первой же страницы, где он, перевалив через Урал, 10 думает о странах, в которые едет: «Западная Европа и Россия — это два совсем разные мира. — Западная Европа — Италия, Греция, Архипелаг. Это — тепло, море, острова, полуострова, заливы, горы. Россия — Сибирь. Это — плоская равнина, океан суши, с немногочисленными островками воды; это — холод, с теплом урывками. Западная Европа — собрание индивидуальностей; мы — колония полипов, которые вне колонии — ничто. На всем огромном пространстве нашего царства у нас почти один и тот же пейзаж, те же растения, те же небеса и солнце, — кажется, что и душа отпущена на всех нас одна. На площади далеко меньшей, чем Русская империя, развились десятки разновидностей истории и культуры; у нас — почти полное однообразие, от Варшавы до Владивостока. Там — шум, споры, со- 20 ревнование; у нас — тишина. Там — многолюдное сборище; у нас — словно одиночество. Когда из Западной Европы возвращаешься на родину, то словно с шумной улицы или из наполненного народом театра пришел к себе домой, — а дом огромный, пустой, недостаточно освещенный» (стр. 1—2). Не правда ли, все тут общеизвестно, но как полно, и психологически верно схвачено? Едва путешественник перевалил через Урал, как начались неожиданности, которые и нас удивляют. Он приезжает на первую остановку. — «А кровать где наша?». — Как кровать? — «А подушки и перина, чтобы спать на станциях и лежать в тарантасе?». — Оказывается, вследствие огромности сибирских переездов, ездят там не 30 сидя, а лежа, и всегда возят с собою и складную железную кровать. К чрезвычайно привлекательным особенностям сибирского житья-бытья относится необыкновенная любовь к цветам. В самых бедных деревенских амбарчиках ссыльных найдете розы и гвоздики, а дома побогаче заставлены множеством редких, прихотливых в смысле ухода, цветов. И это — особенность Сибири на всем ее протяжении. Народ там — русский тип, но с огромными «прибыльями» в смысле инородческой, и какой-то мешаной крови: немножко цыгана, немножко кавказского горца, немножко бурята или якута, а все прикрито русским. Рост выше среднего; нрав — груб и жесток, неприветлив, даже жесток. Автор отмечает легкую и свободную манеру держаться, отсутствие напряженности и натянутости 40 в движении и речах. «Перед начальством он спокоен и достоин, с своим братом суров, к посторонним относится с полнейшим равнодушием». Нет совершенно ни ямщицких песен, ни прибауток, которыми так изукрашена езда великорусского ямщика: за исключением любви к цветам — вообще никаких художественных задатков. К религии глубоко равнодушен, и все церкви, не только по городам, но и по селам — правительственной постройки и правительством украшенные (стр. 18—19). Сибирь, однообразная в ожидании, оказалась однако не столь печально одинаковой на всем протяжении. Так, в Кокчетавском уезде Акмолин-

ской области автор до известной степени пережил Швейцарию: «Это — одна из диковинок Сибири, которую со временем будут приезжать смотреть из Европейской России. Маленькая горная страна выросла среди необозримой киргизской степи, со всеми горными принадлежностями: горами, хребтами, скалами, водопадами, лесами на горах и цветущими горными долинами. Это так удивительно, среди гор так уютно, тут такое обилие, сравнительно с соседней сухой и безлесной степью, воды и леса, что мужик, раз увидевший Кочеток, начинает им бредить. И не сразу в силах мужик примириться с мыслью, что нельзя занять весь Кочеток, что часть его принадлежит казакам, часть нужна киргизам, и только третья часть свободна, да и та уже занята ранее прибывшими счастливцами. Когда мужик в этом убеждается, он имеет вид пробудившегося от сладкого сна» (стр. 46). А вот уныло-типичное впечатление в Сибири: «Пароход подошел к пристани поздно вечером. По очень крутому спуску нас взвезли в темные улицы, обставленные маленькими домиками, покружили по ним, то взбираясь на гору, то скатываясь с горы, и остановились у совершенно карточного флигеля такой же карточной гостиницы, носившей однако название отеля. Во флигеле нам отвели кривую, косую и сырую комнату, от которой веяло чем-то „Достоевским“, обстановкой „Бесов“, „Преступления и наказания“, „Карамазовых“. Прислуживали ссыльно-переселенцы — горнозаводской Андрей, убивший жену, и поляк Алексей из солдат, сосланный за оскорбление в пьяном виде офицера. Из флигеля мы перешли в отель ужинать. Повар-армянин — тоже ссыльный, но за что — не говорит. Хозяин — ссыльный, хотя и утверждает, что приехал в край в качестве подрядчика при постройке железной дороги» (стр. 192). Это — впечатление Хабаровска. Прекрасны впечатления моря, от Владивостока до Одессы, и особенно они прекрасны в фантастической и оригинальной Японии. Автор хорошо назвал последнюю главу: «Год в семь недель», ибо от зимы через все степени весны, лета, зноя, он опять, приближаясь к Одессе, попадает в осень и зиму.

Книга г. Дедлова останется в литературе как очень точная и умно снятая панорама громадной страны со множеством любопытных подробностей. В исторических городах, как Тобольск, он собирает сведения и дает ряд *необыкновенно* характерных, почти фантастических портретов старых администраторов края, чрезвычайно точно отражавших колорит эпохи: люди петровского, елизаветинского, екатерининского, александровского времени проходят перед читателем, как живые. Там же он находит в старой заколоченной церкви картины Левицкого и Боровиковского, отлично сохранившиеся и представляющие важную художественную и историческую ценность, о которой никто не подозревает. В краткой рецензии мы даем только понятие о книге, где интересом наблюдательности и мастерского языка дышит каждая страница.

ДУМЫ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

<О гении>

Гений — пустынножитель, не в том смысле, что он ищет пустыни, но в том смысле, что он образует вокруг себя пустыню, запустение. С этой стороны отрицательная роль его в истории, кажется, мало была замечена.

Всего поразительнее это сказывается в политической истории и отчасти в истории военной. Великое царствование в смысле яркости, колоритности, обширности достигнутых успехов и обаятельной личности короля ведет за собою бледную вереницу бессодержательных правлений. Оставляя Кира, вслед за которым Персия впадает в какое-то старческое расслабление, мы то же самое видим в Риме после Цезаря, в Византии — после Константина Великого, в средневековой Европе — после Карла Великого, в Швеции — после Густава Адольфа, в Англии — после Елизаветы, во Франции — после Людовика XIV. Испания после Филиппа II впадает в совершенное ничтожество, непрерываемое вплоть до разгрома ее при Наполеоне. Кажется — гений укрепляет; в действительности он бесконечно расслабляет. Объяснять мы будем ниже, теперь же установим факты. После Наполеона I Франция не получает военных лавров; после Фридриха II Пруссия терпит позор под Иеною и Ауэрштедтом. Что совершилось? Не знаем. Но видим крушение. В области поэзии эпоха Гёте и Шиллера вызывает запустение германской поэзии; появление Гегеля в Германии есть момент ее перед какой-то философской пропастью, откуда полезло, сейчас же вслед за Гегелем, совершенное философское ничтожество. Даже для целой Европы появление Гегеля было каким-то роковым, обеспложивающим в философском отношении. Любители философии не могли постигнуть: куда девалась после него философия? Он точно съел ее один всю, и торжество, например, натуралистов в шестидесятые годы, каких-то сравнительно мальчиков — Бюхнера, Молешотта, Фохта — было просто непостижимо. В Греции, в которой каждый почти великий город был родиною какого-нибудь оригинального и замечательного философа, после Платона и Аристотеля образуется философская пустыня. Что касается того, что Платон все-таки не заглушил и дал подняться Аристотелю, то ведь их обоих можно рассматривать, как реалистическую и идеалистическую сторону одной по существу философии. Совершенно новых начал, сравнительно с Платоном, у Аристотеля не содержится. Итак — пустыня и запустение. Но откуда, но почему?

Есть категория гениев, не получающая этого имени, которая указываемого запустения не производит. Сократа почему-то история не назвала гением. «Гениальный Сократ» — этого сочетания слов мне ни разу не пришлось читать. Не говорят «гениальный Лессинг», «гениальный Гердер»; если и говорят, то лишь «свои люди» и с явным преувеличением — «гениальный Белинский». В нашей литературе было одно лицо, чрезвычайно запомнившееся, это — Станкевич. Как известно, Тургенев вывел его в «Рудине» под именем Покорского, и разрисовывает его, настойчиво утверждает, что этот тихий и молчаливый человек был в сущности гением. Его психология так хорошо нарисована знаменитым романистом, а влияние его на всю плеяду людей сороковых годов есть такой общеизвестный и твердо установленный факт, что мы можем взять его почти, как пример, как объяснительный манекен для всей этой второй категории гениев, никогда не получающих в истории этого лестного и исключительного названия.

Их можно назвать гениями-возбудителями. Станкевич ничего не создал; Сократ ничего не написал; Лессинг и Гердер во всяком случае не написали вековых созданий. Относительно Сократа теперь точно известно, что собственно и гениальных, в смысле удивительности и трудности, идей — у него не было. Люди эти были по количеству им отпущенных сил гораздо ближе к типу обыкновенного человека, чем те яркие, блистающие, за которым по какому-то почти зритель-

ному от них впечатлению, история утвердила имя «гениев». Гении-возбудители! Они нашли, может быть, даже натолкнулись только на совершенно новую руду мысли, где до них никто не попал, и в этом заключается их историческое положение. Их можно еще назвать гениями — содержательными, потому что у них не обильное количество, но чрезвычайно новое, небывалое вовсе прежде содержание, выразившееся, например, у Сократа и Станкевича просто в разговорах, в беседах, частью — в переписке с друзьями. На современников они производят чрезвычайно сильное личное впечатление, и именно впечатление какой-то удивленности. Например, Станкевич-Покорский прямо особенностями своего ума и темперамента произвел, родил ту особую душевную ароматичность, за которую, а не за блестящие вовсе создания мы любим всю эпоху, все поколение 40-х годов. Это смешение идеализма, но какого-то внутреннего, бесшумного, с подчинением внешней судьбе, без борьбы и протеста — вот суть 40-х годов, главная суть, от которой пошли в сторону, начали расти «в сук» Герцен и Белинский его последнего периода. Фигура Грановского останется всегда как бы верхушкой пламени 40-х годов, выше всего вьющегося, самую типичную. Грановский ни в ком потом не повторялся, тогда как Герцен и Белинский имели повторения и вне 40-х годов, т. е. они именно пошли в сторону, в них есть уже переход 40-х годов в 50-е и 60-е. Но обратимся же к истинному гению. Отчего он пустынен?

20 В противоположность этим содержательным-копунам, которые находят новую руду, сами гении вовсе не так содержательны. Платон вызывал бездну упреков у современников, которые смеялись, что если из блестящих его диалогов вынуть наворованное у Гераклита, Парменида, особенно же у пифагорейцев — то от Платона останется только один переплет. Но все умерли — Пифагор, и Гераклит, и Парменид, а Платон — вечен, и за что-нибудь он вечен. За что? За небесный его свет. Гении, теперь уже в собственном их смысле, суть чарователи, очарователи, и отсюда-то и вытекает запустение, ими оставляемое. Они суть пожиратели душ человеческих, в том смысле, что от бедного восхищенного человека ничего не остается и это — добровольно! добровольно! Одна кожа и кости, а душа съедена. Превращаясь в какую-то пыль, люди, целые поколения, иногда целые века, кружатся, как в луче солнечном в сфере мысли, дел, личности такого великого человека. Прямо небесное сияние, и именно сияние формальное! Содержательного (в смысле новизны) в этих людях не Бог весть сколько; но Бог им дал способность, орлиное зрение оценить все достоинство руды, найденной копунами-искателями, и наконец, Бог же дал им и какие-то крылья для небесного устремления. Какие-то серенькие, землистые, неважные догадки, афоризмы, частные разговоры, в которых ничего абсолютно-многозначительного, гений в долгом обдумывании прямо ставит лестницу к небу и лезет на небо, и достает, наконец, неба. Платон, наворовав, как упрекали его современники, у пифагорейцев и у других клоки их мыслей, буквально их афоризмы, возвел систему, в которой забылся сам до счастья, до небесной радости, которая ясно чувствуется в тоне его диалогов, как «Федон», «Федр», «Пир». И вот эти-то диалоги, истинные лестницы на небо, уже не украдены им, а извлечены из души своей, т. е. этот гений и вообще все гении этого порядка суть гении конструктивные, так сказать инженеры человечества, трудящиеся над вечной и вовсе не мифической «Вавилонской башней», без труда над которою человечество задохлось бы от скуки и тоски зем-

ною. Однако не будем ограничиваться философией. Гений вообще завершает, оканчивает; не только в труде его, но в его личности и силах есть окончательное — и вот это опять производит пустыню и пустыню, ибо за концом и вершиною вообще ничего не следует. Люди остаются, пораженные и восхищенные. В смысле классических форм царствования, что еще оставалось делать после Людовика XIV? Как превзойти Грановского в том особенном, что составляло суть его времени — душевной ароматичности, без силы и без порыва? Что создавать после Фауста? Самое подражание — невозможно и людям остается читать; собирать материалы царствования Людовика XIV; быть сухим и жестким, как Филипп II, или ласковым и мудро грациозным, как Елисавета английская. В данной категории, напр., гордыни власти — все сделано отшельником Эскуриала, а эта категория и есть единственная, в направлении чего уже шла много веков испанская история, и в стране, в народе просто нет других категорий, новых путей. Дойдено до конца и кончено. Дальше можно только «быть», а не творить. Творить в Испании мог бы и Петр (наш), но там никаких задатков трудолюбия, ремесленности, простоты не было, т. е. там рождение Петра просто невообразимо и вероятно невозможно. Но вот такой трудолюбец там был бы копун-возбудитель. Таким образом, вредная и опасная сторона этих «чаровников» истории заключается в «обаянии», что никому не хочется, оторвавшись от созерцания, пойти в сторону, прямо равнодушно пойти и начать делать что-нибудь другое, свое. Около Агамемнона был Тирсит; это — необходимо. Тирсит только один и может тут спасти. Он просто будет ругать и ругаться, и самой бесчеловечностью своею нарушит ту духовную фатаморгану, которая составляет все в гении и вместе есть условие, что все вокруг него делается духовно-пустынным, выеденным, выжженным.

БЕСПОЛЕЗНЫЕ ПОПЫТКИ

Печати хотелось бы все новых и новых тем; но жизнь не идет так быстро, и что бы не разойтись с нею, приходится возвращаться к вчерашнему вместо того, что бы говорить о завтрашнем. Читатель скуучливо складывает рот в зевок, и ему можно только сказать в утешение, что это желание позевать не чуждо и целой стране, не чуждо в частности печати. О земстве... еще о земстве; еще бесплодные о нем слова и в сущности ненужная полемика. Прежде земство бранили в прозе; теперь прибегают к стихам:

О, земский бред,
Как много лет
Творишь ты бед,
И силы нет
Издать запрет
На этот бред.

Таково красное яичко, поднесенное в последний день Св. Пасхи русскому земству и, пожалуй, даже русской земле петербургским публицистом кн. Мещер-

ским. На страницах своего органа он нередко напоминал, что приходится что-то внучатым племянником, или как иначе, покойному Карамзину, и, вероятно, охота спорить стихами ему пришла по воспоминанию, что творец «Истории Государства Российского» тоже иногда не брезгал рифмами. Но Карамзин слагал их в молодости, напротив кн. Мещерским резвое чувство стихотворства овладевает в старости и почти даже в дряхлости, совершенно вопреки ломоносовскому предупреждению:

Блажен, кто смолоду был молод,

Блажен, кто в старости был стар.

- ¹⁰ Но что же вызвало у него порыв к рифмам? Рассказ нашего сотрудника г. Глинки о горячих дебатах, которые ему пришлось услышать в Воронеже между одним умным земцем и одним земцем неудачным. — «А, есть, значит, неудачные земцы», — обрадовался кн. Мещерский, и схватился за перо, чтобы написать один из горячих своих «Дневников». — Да, есть не только неудачные и оплошные земцы, утешим мы его, но есть даже и прямо плохие и дурные земцы, и суть — и добродетель и ум земского дела — вообще заключается в том, что небрежность и оплошность парируются здесь совестью и рассудительностью, а не превращаются «в дело», созрев в тайне уединенного кабинета, без критики и возражения. Кн. Мещерский имеет оппонентов в печати и иногда пишет прекрасные «Дневники»; но можно представить себе, во что превратились бы его «Дневники», если бы он их сочинял не для печатания, а исключительно для интимных единомышленников по вопросам политическим, бытовым и моральным?! То-то получилась бы «литература»! То же и в земстве: оплошный земец может быть оспорен умным, как в рассказе г. Глинки почтенный гласный от Валуйского уезда оппонирует доктору, и с таким успехом, что все общество слушающих становится на его сторону, как на его стороне стоит и кн. Мещерский. Чего же лучше? Князю Мещерскому, вместе с нами, приходится аплодировать земству и его прекрасным принципам: публичности, и нестесненности суждений? Зачем князь бросается в рифмы, когда он не договорил прозой? Ему ведь нужно бы предварительно доказать, что с таким апломбом говоривший доктор, случись он не в земской губернии, а где-нибудь в генерал-губернаторстве, не стал бы единоличным советником в кабинете властительной особы. А не доказав этого, кн. Мещерский вообще ничего не доказал. «Я знаю психиатрические больницы всей Европы, от Лиссабона до Москвы», — говорит доктор; и тон его речи, подробности его речи дают действительно основание думать, что он все видел и все знает. Скромный гласный Валуйского уезда пылливо всмотрелся в его смету постройки больницы, указал явные и грубые ошибки в ценах, напр., стоимость оконных двойных рам в 3 рубля, когда их нельзя выстроить и за 20 рублей, и прямо и просто указал, что вся смета есть вздор, на который экстренное собрание воронежского земства
- ³⁰ не согласится и сделает преступление, если согласится. Сейчас, т. е. при средствах гласной печати и земской постановки вопросов, проект доктора конечно был провален; но поручится ли князь Мещерский, что властительный администратор, которому этот же доктор, везде бывавший от Лиссабона до Москвы и действительно «произшедший свою науку», доложил бы данную смету, — проверил бы ее в стоимости оконных рам и возразил: «Вы, доктор, путаете и не знаете, или хотите обмануть меня?». Нет, или по крайней мере едва ли так бывало все-
- ⁴⁰

гда. — Кн. Мещерский худой психолог и не замечает, что слова доктора, припертого к стене гласным Валуйского уезда, — слова, которые князь Мещерский печатает жирным шрифтом и потом на них пишет стихи, есть почти истерический выкрик окончательно побежденного спорщика, есть полемическая фраза, одна из тех, какие говорятся в совершенной растерянности, когда людное, нарядное и неглупое общество ждет, что не то человек еще скажет. Вот и все. Вполне комический эпизод, напрасно внушивший князю трагикомические стихи!

Мы не возражали бы на них, если бы, следя за увлечениями охранителя-публициста, не сожалели иногда мысленно, для чего он тратит время и талант на борьбу с тем, что невозможно побороть и что не должно побороть, и на защиту того, чего защищать не следует и нельзя. То он ополчится за розгу. И пылает, и пылает. К чему? То вдруг накинется на земство: «Что ему Гекуба?». Если бы он был совершенно бездарный публицист, ему можно было бы все это «отпустить». Но ведь в нем есть все качества журналиста, чтобы сослужить жизни и печати положительную, а не отрицательную службу. Рядом с наивными стихами, после наивного «дневника» он пишет страницу, которую нам хочется привести, и которая навеяна была случайным уличным впечатлением: «Я невольно подумал о том, как мы охотно и, увы, подчас основательно браним почти все, что в виде новых типов русского человека создал за эти 40 последних лет прогресс, а между тем останавливаемся ли мы над нашею сестрою милосердия, чтобы любоваться в ней прекрасным новым типом русской женщины. Кто ее создал, этот идеал самопожертвования и самозабвения, этого в каждой больнице благословляемого больными всех возрастов, всех положений, всех вероисповеданий ангела утешения, облегчения скорби, любви и сострадания, эту женщину в образе самой чудной душевной красоты?». Их создала русская жизнь, и именно, как он твердо заявил выше, жизнь этих последних «беспутно» прогрессивных годов. Да. Не все новое худо, как не все старое было прекрасно. На этом и зиждется идея прогресса, как отрицание революции, с одной стороны, спячки — с другой. Не будем спать и еще более — не станем умирать, к чему нас в слепом опорочении своего *bête noire* *, земства, зовет кн. Мещерский: будем трудиться везде, будем везде новы духом и полны верою в лучшее будущее нашего отечества.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ **

<О П. П. Перцове>

М. Г.

Господин Редактор!

Не откажите напечатать в Вашем журнале настоящее мое письмо, касающееся одного из Ваших сотрудников.

* страшилище (*фр.*).

** *Примечание.* Печатаю письмо г. Розанова, редакция и ближайшие сотрудники «Мира Искусства» пользуются случаем, чтобы выразить чувство уважения к почтенной литературной и издательской деятельности П. П. Перцова. — *Ред.*

В одном из последних номеров «Недели» г. Меньшиков посвятил несколько страниц характеристике П. П. Перцова, как писателя и общественного деятеля. Прочитав эту характеристику и пораженный заключающимся в ней искажением действительного духовного образа г. Перцова, я, как человек особенно близкий последнему и лично особенно ему обязанный, считаю долгом вступить за своего друга и восстановить правильные его черты, как писателя и общественного деятеля. Я убежден, что слова мои подтвердят и другие, многочисленные литературные друзья г. Перцова.

10 Г. Меньшиков, очевидно, не знающий или почти не знающий лично г. Перцова, позволяет себе касаться *интимной* стороны его души, *мотивов* его поступков, руководствуясь при этом лишь газетными объявлениями. Он нападает на *совесть* человека, и решается оказать ей помощь, какую «демон» Сократа оказывал этому философу, но делает это не интимно, а на страницах распространенной газеты. Эгоизм и служение своему «я» есть, по уверению г. Меньшикова, центр недостатков г. Перцова.

20 Года три назад, в пору наибольшего моего литературного и житейского одиночества, я узнал г. Перцова с той никогда не забываемой стороны, которая, в век меркантильности и суеты, особенно поразила меня. Самый мотив знакомства — память об Н. Н. Страхове, а также интерес к огромным умственным богатствам последнего и сострадание к его положению в литературе, как неопцененного и непризнанного писателя, соединил нас. Затем Перцов стал моим постоянным собеседником; мне видны были зачатки богатых, «своих» мыслей Перцова, частью вовсе и никогда не высказывавшихся в литературе, но я был так эгоистичен, что никогда не хотел *его* внимательно слушать; и для меня была в высокой степени поразительная постоянная готовность г. Перцова «отложить себя», «закрыть свою книгу», т. е. совершить самую мучительную операцию для писателя, чтобы деликатно читать с другим книгу *его* души, страницы *его* бытия и мышления, и все это — при полной, самостоятельной, хотя и не интенсивной, жизни. Сколько я постигаю способности г. Перцова, он критик-конструкционист, его более всего занимают конструкции всемирной истории, но в них он менее фантазирует и более критикует. Отсюда его живой интерес к таким сродным ему умам, как Н. Я. Данилевский или Д. С. Мережковский. Со мною он сблизился едва ли не на почве излишеств в моих литературных увлечениях, тогда ультраконсервативных. Он мне указал на них, и своим добрым, смягчающим влиянием сгладил эти увлечения, как прикосновение теплой руки, не ломая, сглаживает режущие, острые зубцы льдинок. Чего не могли сделать со мною Н. Н. Страхов и С. А. Рачинский, два консерватора-старца, сделал этот деликатный, начинающий писатель, почти либерал, просто методом своей души, рассказами о противоположном, указаниями на противоположное, и все это при величайшем внимании к моему умственному миру. Я думаю, что именно так, т. е. в дружелюбии, 40 а не во вражде, происходят вообще сильнейшие умственные изменения. Я рассказываю это, чтобы разрушить одну половину обвинений г. Меньшикова, передавать которую не считаю нужным. Вторая часть тех же обвинений падает, если я расскажу, что через год или полтора после нашего с ним знакомства г. Перцов сделал мне такое предложение, какого я до тех пор ни от кого не слышал: издать избранные мои сочинения. Нужно заметить, что и раньше, по совету Страхова, я предпринимал нечто подобное, но всегда с крайне плачевными последствиями;

и убеждение, что в России книга философского содержания, или с философскими оттенками, не может быть предметом «товара», стало для меня аксиомой. Время, когда г. Перцов обратился ко мне со своим предложением, было временем крайнего истощения моих сил, и я предупредил моего первого издателя, что не могу ни выбирать «из себя», ни «критиковать» себя, т. е. ни редактировать, ни даже корректировать. С изумительным терпением и великодушием он взял все эти обязанности на себя, и, можно сказать, умерев *для себя* на год, — воскресил (из газетного мусора) и создал «как писателя с физиономиею» и некоторую сумму данных и заслуг — меня. Мне это не совестно сказать, как не совестно вообще быть благодарным. Я интимный свидетель этого необозримого и самоотверженного его труда, — и вот почему да не покажется неуместным, что я же берусь опровергать диаметрально противоположные истине обвинения г. Меньшикова. Г. Перцов замечателен именно тем, что, тогда как мы все эгоистичны и чужаждны, он не только не имеет этих несимпатичных сторон, но сознательно и преднамеренно становится тем существом, которое всех пользует и само ни от чего не пользуется. Думаю, жизнь людей была бы светлее и легче, если бы инстинкты «поедания» уменьшились, а инстинкты «готовности» хоть чуть-чуть возросли; но это невыразимо трудные и редкие инстинкты и все усилия должны быть направлены на то, чтобы их культивировать, а не погашать. Обвинять же за них — представляется чем-то чудовищным. Г. Перцов, однако, должен быть утешен тем, что не один, не три, но очень много людей давно уяснили себе его нравственный облик и всякую боль, ему причиняемую, испытывают как свою собственную боль.

2 мая 1900. — СПб.

В. Розанов

Примите и пр.

ЧТО ПРИСНИЛОСЬ ФИЛОСОФУ?

Хорошая погода, которая стоит на улице, портится прескверною погодою, которая стоит в литературе. Из «России» г. Влад. Соловьёв напустил такой туман, что при чтении у меня даже волосы отсырели. Невозможно понять, о чем написан фельетон его «О поддельном добре». Подписано: «Владимир Соловьёв. Светлое Воскресение 1900». О чем же он написал? Бррр... до того трудно изложить:

1) о секте вертидырников и дыромоляев, которая несколько лет назад возникла в наших восточных губерниях и, по сведениям Соловьёва, состоит в том, что повертев в каком-нибудь темном углу в стене избы дыру средней величины, эти люди прикладывали к ней губы и много раз настойчиво повторяли: изба моя, дыра моя, спаси меня. Это презрительное изложение отвратительного явления занимает первый столбец фельетона и нагнетает на читателя какую-то ужасную тоску.

«Дыромоляи» — молящиеся «дыре» люди. Дыра есть пустота; пустота есть ничтожество, а ничтожеству под именем Нирваны поклоняются буддисты, и легенда о русских «вертидырниках» нужна, оказывается, г. Соловьёву, чтобы перейти к русским тайным буддистам. «Есть интеллигентные дыромоляи, которые

называют себя не дыромоляями, а христианами и проповедь свою называют Евангелием. О них можно бы и не говорить, если бы над сектантскою дырою не ставилось поддельного христианского флага, соблазняющего и сбивающего с толку множество малых сих. Когда люди, думающие и потихоньку утверждающие, что Христос устарел, превзойден или что Его вовсе не было, что это — миф, выдуманный ап. Павлом, вместе с чем упорно продолжают называть себя истинными христианами и проповедь своего пустого места прикрывают переименованными евангельскими словами, тут уже равнодушие и снисходительное пренебрежение более не у места: ввиду заражений нравственной атмосферы систематическою ложью общественная совесть громко требует, чтобы дурное дело было названо своим настоящим именем. Ибо обман этот не имеет извинения».

Вы испуганы, читатель? Я — тоже. Это во втором столбце фельетона, и страх еще сильнее нагнетается в третьем столбце: «чтобы держать себя добросовестно по отношению к известному Лицу и к Его делу, от проповедников пустоты требовалось в России только одно: умалчивать об этом Лице, игнорировать Его. Но какая странность! Эти люди не хотят пользоваться по этому предмету ни свободю молчания у себя дома, ни свободой слова за границей. И здесь, и там они предпочитают наружно примыкать к Христову Евангелию; и здесь, и там они не хотят ни прямо — решительным словом, ни косвенно — красноречивым умолчанием правдиво показать свое настоящее отношение к Основателю христианства, именно, что Он им совсем чужд, ни на что не нужен и составляет для них только потеху».

«Имя! Имя!» — волнуетесь вы, читая 2¹/₂ столбца тягостных обвинений. К концу третьего столбца наклеивается и имя: «Если эти люди испытывают потребность опереть свои убеждения на какой-нибудь исторический авторитет, то почему бы им не поискать в истории *другого* (курсив С-ва), более для всех подходящего? Да и есть такой, давно готовый: основатель широко распространенной буддийской религии. Он ведь действительно проповедовал то, что им нужно: непротивление, бесстрашие, неделание, трезвость и т. д., и ему даже удалось без мученичества, — выражение не мое, — сделать блестящую карьеру для своей религии; священные книги буддистов действительно возвещают *пустоту* (курсив С-ва), и для полного их согласования с новою проповедью того же предмета потребовалось бы только детальное упрощение».

Вы вздохнули облегченно? И я тоже. Совсем человек об антихристе заговорил, и свел на гр. Толстого. Известно, что после Марафона Фемистокл страдал бессонницей: «Ты что же не спишь, Фемистокл?», — спрашивали его друзья. — «Лавры Мильтиада не дают мне спать», — отвечал герой.

«Заменив для своей проповеди галилейского раввина отшельником из рода Шакья-Муни, мнимые христиане ничего действительного не потеряли бы, а выиграли бы нечто очень важное: возможность быть и при заблуждении умственно честными и в некоторой мере последовательными. Но они этого не захотят».

Нужно заметить, что фельетон в «России» имеет после заглавия «О поддельном добре» еще подзаглавие, объясняющее, что это собственно не для газеты написанный фельетон, а в газете помещаемое предисловие к выпускаемой нашим философом книге: «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории». Книгу не все прочтут, а в газете все прочтут по крайней мере предисловие. Самая же книжка печаталась в «Книжках „Недели“» под заглавием: «Под паль-

мами» и частью читалась в городской петербургской думе: «О конце всемирной истории и антихристе». Таким образом, вот куда метил тогда лектор: в бедных наших несопротивленцев и в Яснополянского победителя при Марафоне. Просто и не страшно. Но почему, руководясь «умственной честностью», он не называет имя Толстого — непостижимо. Точно пьет чай вприглядку; можно «вприкуску» — тогда будет настоящая сладость и ее испытывают в городах; но в деревнях пьют чай только взглядывая на сахар и довольствуясь, так сказать, только идеею сладости. Также можно обвинять «перстом», а можно «по имени». Путешествующий философ предпочитает «перстом»: «Бессодержательность вероучения новой секты и ее логические противоречия слишком бросаются в глаза, и с этой стороны мне пришлось только, в третьем диалоге, представить краткий, но полный перечень положений, очевидно уничтожающих друг друга и едва ли прельщающих кого-нибудь вне такого безнадежного типа, как мой князь (курс. Соловьёва). Но если бы мне удалось раскрыть чьи-нибудь глаза на другую сторону дела и дать почувствовать иной обманувшейся, но живой душе всю нравственную фальшь этого мертвящего учения в его совокупности, полемическая цель этой книжки была бы вполне достигнута. Впрочем, я глубоко убежден, что слово обличения неправды до конца договоренное, если бы оно и ни на кого сейчас же не произвело доброго действия, есть, сверх объективного исполнения нравственного долга для говорящего, еще и духовно-ощутительная санитарная мера в жизни целого общества».

Бедный, что он написал, что он написал! Какой недуг подсказал ему эти строки. Вл. Соловьёв — это видите ли «санитар», очищающий Россию от «такого безнадежного типа», как Толстой, но не называемый, а «умственно-добросовестно» перстом указуемый, как основатель секты интеллигентных «дыромоляев». «Под пальмами» беседуют: генерал, князь, политик, некто Z и старец Пансофия. Старец Пансофия, что в транскрипции с греческого языка на русский означает: «всемудрость», «вселенская мудрость», представляет собственные мысли сотрудника «Книжек „Недели“». — «Сам я, — пишет он скромно в четвертом столбце фельетона, — стою на точке зрения старца Пансофии, но однако признаю и относительно правду предшествующих ступеней Софии и потому мог с одинаковым сочувствием передавать противоположные рассуждения политика и генерала, ибо ведь безусловная, вселенская истина не исключает и не отрицает предварительных условий своего проявления, а оправдывает, осмысливает и освящает их». Ну, словом, как еще в «Критике отвлеченных начал». Итак, «всемудрость» — это я; «безнадежный тип» — это он, князь. Но ведь все знают, что как ни печальны, прежде всего для собственного его творчества, действительно пассивные и отрицательные идеалы Толстого, он их однако выплакал, он ими плачет по сей час, и вот эти во всяком случае почтенные, пусть даже и ошибочные слезы старца и вызвали внимание к его кругу мыслей России и Европы. В чистосердечии и христианстве Толстого, в его преданности Лику Христа, с отметанием последующих будто бы на Нем наслоений и исторических наростов, кто же сомневался и когда? От «Хозяина и работника» до «Воскресения», от «Чем люди живы» до покаяния Никиты во «Власти тьмы», до действительно кратких и однако проникнутых слезами слов Акима там же — о чем, о ком говорит Толстой? И вдруг это — «дыромоляй»... «Он при Марафоне — только дыромоляй; вот я, теперь при Саламине, у Гайдебурова и с Меньшиковым — мы три истинных

Пансофии». Скромно. В путаном фельетоне, автор пишет далее апологию своей зимней лекции об антихристе, качеств которой никто не отрицал; пишет зачем-то о «тайной и неустанной деятельности» религиозно-политического братства Сенусси, имеющего для мусульманства такое же руководящее значение, какое в движениях буддийского мира принадлежит тибетскому братству Келанова в Хлассе, и, к окончательной растерянности читателя, расшаркивается: «Я далек от безусловной вражды к буддизму и тем более к исламу» (последний столбец). Вот и «раб Христов», вот и «Пансофия»... Наконец, когда читателю хочется бросить наконец фельетон, автор еще делает «колени»: «Ощутителен для меня не так уже далекий образ смерти, тихо советующий не откладывать самого существенного на неопределенные и необеспеченные сроки. Если мне дано будет время для новых трудов, то будет оно дано и для усовершенствования прежних. А нет, — *самое существенное сказано* (курс. Соловьёва), и я кончаю свое напутствие (т. е. фельетон — предисловие) этому труду с благодарным чувством исполненного при помощи Божией нравственного долга».

И ведь все понимал: что в условиях перепечатки в газете предисловия к книге — это только реклама. «Вот я умираю... Почти умер... Но я написал самую важную книгу — продается у Вольфа в Гостином дворе. Там о буддистах, Толстом и Антихристе. Писана эта реклама в Светлое Воскресение 1900 года. *Владимир Соловьёв*».

Так закатывается солнце нашей философии.

Ф. А. КРУМАХЕР. ПРИТЧИ

*Полное собрание. С немецкого перевел В. Алексеев.
С.-Петербург. 1900. Стр. 300*

Нет ничего воспитательнее для детей, как творения не людей нашей нервной и нездоровой эпохи, но людей XVIII и первой половины XIX века. То время, время прежде всего великих надежд, отразило на своих писателях какой-то спокойный и изящный дух, сообщило приятный колорит их письму, дало прекрасное направление их воображению. Вместе с этим, время XVIII и начала XIX века было временем установления поэтического воззрения на Восток, когда полумудрецы, полупроороки Аравии, Индии, Персии, Сирии входят с каким-то родным чувством в поэзию и философию нашего Запада. Теоретический и живописный горизонт чрезвычайно расширился, а кисть живописцев и ум философов были чужды современного нам отравляющего скептицизма и грубого неуважения. Гёте, Гердер и Лессинг навсегда соединили свои имена с этим моментом европейской литературы. К этому направлению относится и Фридрих-Адольф Крумахер, автор всемирно-известных «Притч», хороший перевод которых лежит теперь перед нами.

«Притчи» посвящены королеве прусской Луизе. Всех притч 199. Каждая из них представляет коротенький, странички в 2—3, рассказ, в котором содержится какой-нибудь поэтический или философский смысл. Рассказы все приурочены

к историческим или легендарным именам героического и религиозного Востока и Запада. Так в посвячительных притчах Крумахер сравнивает королеву Луизу с знаменитой добродетелью и красотой индусской царицею Сакунталю, а себя выводит под видом отшельника-брамина, приносящего ей в день рождения с ее родины (Вестфалия) корзину простых полевых цветов, задрапированную лесным мохом. Цветы эти и есть аллегория его скромных притч. Большинство его сюжетов взято из библейской истории, из истории евангельской и христианской старины. Меньше притч взято из древнегреческой истории и, наконец, из германской исторической и бытовой жизни. Дети из этих «Притч» получают обильную пищу для воображения и мысли своей, ознакомятся со множеством исторических положений, событий и проч. и не заметят того, что иногда вызовет на лице взрослого гримасу неудовольствия при чтении книги: пересол сладости, если можно так выразиться. Мы хотим сказать, что для взрослого ума эти притчи покажутся нередко излишне манерными, искусственными и пресыщенными приторною доброю: качества, часто присущие германскому уму и не всегда переносимые для русского... Но требования взрослого и детского ума различны и неприятное для взрослого может понравиться и принести пользу 10–14-летнему ребенку.

УНИВЕРСИТЕТ В ОБРАЗОВАНИИ ПИСАТЕЛЕЙ

В воспоминаниях о писателях, в оценке писателей поднимается иногда вопрос, интересный и литературно, и теоретически: указывается, что тот или иной писатель в университете не был, и пытаются определить ряд последствий, из этого вытекших. Не так давно с этой стороны заговорили о покойном Лескове. Но все суждения около этой темы как-то отрывочны и недоказательны; это — беглые заметки, личные впечатления, и не претендующие на основательность. Между тем тут есть бездна очень общих и интересных вопросов, касающихся не только писателей, но и самого существа университетской науки. Можно ли восполнить недостаток университета обильным чтением? Нет ли в университете чего-нибудь, не восполнимого никаким чтением, — и почему оно ничем не восполнимо? Как этот недостаток университета отражается на среднем человеке и на таланте? И вообще, что такое «талант» и средний человек? Читатель видит, как много здесь вопросов. Споры на этот раз возникли около имени Лескова. Лесков был огромный, ярко типичный русский ум; в нем «тип», «русская натура» до того высоко поднялись, что очень и очень могли залить университетское образование, в том смысле, что этому последнему не было места, не было, так сказать, промежутков в природном таланте человека, через которые оно могло бы просунуться и заявить: «Вот это — из Момзена», «это — оттого, что он изучал социологию». И прочее. Лесков очевидно представляет случай, исключение, особенный пример. Он очень важен; он должен войти в изучение; но этому случаю должно предшествовать некоторое размышление «вообще»...

Университет не есть только знание; он есть метод, способ — мышления, работы, занятий. Юноша из гимназии, где его вели в поводу, переходит в универси-

тет. Первая забота умного профессора, — а таких всегда есть два-три на факультете, — заключается в полуопросе, полусовете: «Ну, как же вы будете заниматься?». Взять книги «по науке»? Но какие книги? На книгу нужно иметь точку зрения, чтобы не взять ошибочную или дурную книгу в отношении именно данной науки. Первое впечатление важно, да и вообще книга есть путь, вводящий в науку, и этот путь может быть ложный. Время дорого, труд дорог, и можно состариться, ходя все по ложным дорогам, просто по пустым, ничтожным, ничем не оканчивающимся. Таким образом, профессор для студента или вообще университет для всякого человека важен тем, что он просто знает вереницу имен, которые для него суть налитые смыслом имена, а для новичка — бессодержательные звуки. Профессор может тоже ошибиться, профессор может быть тоже «пустой путь», ничем не оканчивающийся. Это уже не важно. Студент имеет перед собою конкретного человека, в полноте его даров или неспособности, развитости или неразвитости (есть профессора совершенно не развитые), и все советы его, всю вереницу им указываемых и частью рассказываемых книг относит к этому определенному человеку, так сказать примеривает к нему, меряет книгу человеком, и, имея перед собою одну определенную величину, узнает определенным образом и величину, т. е. величие или малость называемых книг и имен. Словом, я вижу человека; его остроумие или тупость; его поверхностность или глубину; и если он

10 поверхностен — то в какую сторону и до какой точки. Он рассказывает о книгах, авторитетах, всей науке: я ему несколько не верю, но бездну от него узнаю, через него узнаю, ибо я его-то знаю, вижу, изучаю. Как такую роль университета возместить? Книгою — невозможно; книга нема, о чем уже сказал Атагуальпа, перувианский царь, приложив к уху поданную ему книгу и бросив ее наземь с неудовольствием: «Она не говорит». Книга вообще не говорит, почти всякая; а уж особенно каталог, «Программа чтения» и проч. — бездушна, есть плод ума, который никак не сделается зерном вашего ума.

Поэтому, напр., провинциал или бедный человек, существование которого проходит *terre-à-terre* *, как бы умен и развит ни был, останется без университета

30 в сущности невеждою, запутавшимся в бесплодных путях и беспорядочном чтении. Но подвижный человек, с метким взглядом, и которому по условиям ли его жизни, состояния и проч., доступно не на час, не на «аудиенцию», а на знакомство и содружество общество образованных и ученых людей, тех же «профессоров» — указанный недостаток возместит. — «Как заниматься? Что делать?» — на это он получит ответ. Вот почему кружки 40-х годов, кажется, и 60-х, когда талантливые люди снизу грелись, «дружили» со светилами университетов, эти кружки были высочайшим образом просветительными; это был «народный университет», без фирмы, но с богатым существом дела. Теперь — книги открыты; имена — налиты соком. Все ли это?

40 Но где же метод самых занятий, т. е. чтения упорного, чуть-чуть даже принудительного, и представляющего из себя методичную обработку методично же поставленных тем? Дилетантизм — вот главный враг, «*bête noire*», единорог и дракон, пожирающий почти всякого автодидакта. Он талантлив: прекрасно, — это блещит. Он множество знает: и это хорошо, потому что делает человека интересным, в беседе, в рассказе, да и вообще. Но вот вы с ним начинаете, собственно,

* буднично (*фр.*).

рассуждать, напр., спорить: у вас не оказывается общей почвы, т. е. если вы прошли хорошую университетскую школу, а ваш спорщик — нет. Не то чтобы рассуждение вообще или в частности спор должен вестись по рубрикам, систематично, быть некоторою умственной стратегемою. Вовсе нет, не так страшно, а отчасти, но лишь в другом смысле, — страшнее. Между полными университетантами спор идет тоже отрывками, намеками, недомолвками, горячится, уклоняется в сторону, и наконец прямо бывает неправилен. Гении так же редко приходят к «согласному заключению», проспори́в целый вечер, как и простые смертные. Но споря или рассуждая — они бездне научились друг у друга, отполировали друг друга и т. д.; получили новые темы для обдумыванья, и проч. Вообще этот спор горел, цвел и принес плод. Вот этого-то плода и не получается у человека без трудной школы медленных занятий. Спор, тянись он медленно и систематично, пожалуй, был бы возможным между человеком систематической университетской подготовки и без нее: но это бесконечно скучно. Это было бы какое-то шествование хромы́х по буеракам; а дилетант не понимает $\frac{1}{2}$ аргумента, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{16}$ — но которая содержит огромное и полное доказательство несостоятельности такого-то воззрения, неправдоподобия факта, и рассуждающий на эту несостоятельность лишь глазом указывает: «Сюда смотри: все ваши речи рушены». Вот этого «сюда смотри», полунамека, жеста, имени ученой школы, уже оборвавшейся на таком-то пункте, — светила мысли, которое нарезалось — идя путем таких размышлений, и, словом, $\frac{1}{100}$ аргумента, но которая есть полный аргумент — этого дилетант не понимает, не знает, не разумеет. Вы играете в шахматы; еще половина игры сыграна, а уж Чигорин или Стейниц мешают фигуры: все, видно, спор кончен, осталось механическое передвижение пешек. Университетские занятия, где юноша тысячу раз ошибался и его поправляли профессора, друзья, — и выращивают в человека по отношению к умственным проблемам этот «взгляд Чигорина», видящий вперед, видящий с боков, действующий разом и в обхват, который во время, положим, рассуждений или споров просто облегчает дело, укорачивает спор; и если на спор отведено или есть два часа, он пропорционально удлиняет спор. «С дураком спорить долго»: без этой жесткости, без этой грубости, но чуть-чуть с истиною этого приговора может полный университетант обратиться к не университетанту: «Я не могу с вами спорить: это слишком утомительно и требует много времени».

Неужели это ничем не вознаграждено?! Громадным природным умом, опытностью, «бывалостью», натертостью среди людей и, наконец, вынужденностью систематической, умной, хотя бы и не ученой работы — это вознаграждено, и все-таки вознаграждено не до всех пределов и не во всех областях. «Вы все дедуцируете — это же невозможно», — говорит полный образованный человек не полному, который строит абсолютно твердые, правильные, последовательные аргументы. «Все дедуцировали» — Средние века; «все дедуцировала» цельная греческая философия; и длинные тысячелетия логически правильных рассуждений осеклись о первый опыт какого-нибудь Рожера Бэкона.

— Да, я вывожу, и вы видите — правильно, — отвечает не полный образованный человек. Он не знает пропорций, в каких должны быть смешиваемы опыт и силлогизм. Птица летает; ну, ласточка летает над морем дни, недели — но присаживается же она на землю, без этого совершенно невозможно и также невозможно, соображая и соображая, по временам не прикидывать к соображениям

простой материальный аршин. Все поэты и философы носили платье от обыкновенных портных, и без этой портняжной, вообще грубой и материальной части, решительно не может и не должна быть никакая поэзия и философия. Но мы сказали: огромный природный ум это вознаграждает; огромный ум — это и есть талант. Талант в соединении с опытом, хотя бы практическим, возмещает до некоторой степени метод университетских занятий, «школу» в высшем одухотворенном смысле. Если что остается не вознагражденным, то это политура ума, тонкий блеск доказательств, соображений. Вообще некоторая ароматичность, трудно выразимая, все же остается как плюс прибыли за университетом.

10 — Но как же вы сказали — есть неразвитые профессора?

Есть и много. Мы говорим, однако, о вершинах как человека без университета, так и человека с университетом. «Неразвитой профессор» прополз до кафедры и вполз на кафедру, как инородный червяк, будучи протасен на уде сердобольным или снисходительным наставником через все мытарства форм, экзамена, диссертаций, диспутов, магистрантства, докторантства. Такие теперь есть; кажется, их прежде меньше было; но вообще это есть потому, что профессура стала отчасти «карьерою», а ведь мы говорим здесь о сути, об истинном образовании. «Неразвитой профессор» имеет аналогию себе в провинциале, исключенном из третьего класса гимназии и который с тех пор все читает Бокля и Спенсера: этот

20 еще неизмеримо ниже стоит всякого «неразвитого профессора». Но чтобы решить, что такое университет, нужно решить это относительно одного человека, будет ли избранная скала измерения талант или бездарность — все равно. Для каждого университет есть сокращение опыта, есть разнообразная полировка, есть крылья, есть расширившийся горизонт, наконец, это фехтовальное искусство, чрезвычайно трудно заменимое «бываемыми случаями драки».

Еще одна заметка: субъективное устремление даров есть огромное обещание в смысле замены университета; субъективное устремление, т. е. вечный спор с собою, размышление в себе, некоторые внутренние систематические занятия. Я помню одну встречу с очень талантливым человеком, талантливым на все стороны,

30 но без внутреннего устремления. Это был вечный ученик, т. е. от него веяло впечатлением ученика, юноши, незрелого, хотя он много и постоянно читал, был за тридцать лет, чрезвычайно жив и восприимчив. Следя за ним и как-то удивляясь в себе: «Да почему все, что он говорит, так не интересно», я было решил: «Нет школы, не был в университете». Между тем это было ошибочно. Мне пришлось позднее долго быть в обществе двух людей, из которых один был совершенно молодой, бросивший университет «за скукою», другой — средних лет. Были оба очень талантливы и внутренне устремлены. В смысле сферы занятий, области труда это были абсолютные дилетанты,

...Гуляки праздные

40 как определил себя Моцарт у Пушкина.

Нас мало избранных...

— договаривает он же. Действительно, таких мало и тут есть что-то в роду, прирожденное, «от роду развитость», как ни дико сочетать такие понятия. Мне при-

водилось беседовать, общаться со множеством писателей, видеть профессоров и приглядываться к профессорам; среди людей университетского образования я отроду живу: но вот в этом море университетского образования я не запомню еще людей, столь проникновенно, «университетски» (с ароматом) развитых, как эти два; и из них об одном я с изумлением узнал, что он даже и в гимназии не кончил. Скажут: «Значит университет — пустое». Нет, именно значит «не пустое», ибо ведь суть-то и заключается в том, что эти два «врожденные» в духе, в смысле, в колорите уравнивались с университетантами, и след. университет есть то прекрасное, что вообще возводит человека и уравнивает человека с некоторым природным гением; т. е. суть университетской науки нисколько не искусственна, не деланна, но имеет силу и мастерство как бы творить вторую природу. Но как у этих «врожденных» все выросло из себя, из одного «я», то должен отметить, что они в общем были несколько выше и одухотвореннее, по крайней мере пронизательнее в мышлении и проникновеннее сердцем, обыкновенного очень развитого университетанта. В них был плюс интереса и занимательности. Теперь я dokonчу о науке до университетов.

Все греки «не учились в университете», все римляне — тоже; в Средние века не рано начались университеты, и долго они были похожи на нашу бурсу. Как же было? Как обходились греки и римляне? Как они творили? Ибо они все и много и прекрасно творили. Случайные мои встречи с этими «отроду развитыми» мне, по крайней мере, лично уясняют дело. Встречались всегда и встречаются теперь люди внутреннего света, которые Бог весть откуда — много знают. В смысле книги и опыта они клюют как птицы; попало — клюнут; но он отнюдь не ищет, не тоскует по книге, не дожидается «программы домашнего чтения» и даже не излишне часто ходит в библиотеку, хотя непременно ходит. Но он вечно внутренне занят и в сущности вечно обрабатывает маленькую тему; «пишет курсовое сочинение» — про себя, и сам проверяет. Он взглядом всюду наблюдает, никогда не празден; любовь их к факту безмерна. Но почему же он много знает; термины старой науки ему знакомы и вообще он знает тайны пропорций науки, силы аргумента; он схватывает намек и сам говорит намеками, $\frac{1}{16}$ доказательств, замещающею целое доказательство. Тут и действует талант избрания:

Нас мало избранных...

В университете, даже еще в гимназии, детей и юношей «натаскивают» на науку; «натаскивают — натаскивают»; ух, устал! «устал» ученик, «устал» профессор: «не берет», «не клюет» — Бог знает что за понятия, но в них весь секрет педагогики. Просто «не клюет» ученик или студент самую-то суть дела, для чего его всему учат, и только схватывает, *зему* учат. Материал есть, а метод не произвел действия. Так как теперь «прохождение гимназии и университета» есть тоже «карьера» и именно ее первая фраза, «первая четверть счастливой луны»: то неразвитый профессор имеет внизу уже целые ряды ему подобных и еще умаленных сравнительно с ним неразвитых учеников. Тут-то и проливается главный педагогический пот. Недостаток системы образования сказывается в том, что рассчитанная на усидчивость и прилежание, она не отделяет и не избирает «клюющих» среди «сидящих» и, часто растеряв первых, пренебрежительно растеряв, мрачно и уныло остается с «сидящими» и все их «натаскивает». Между тем не схватив матерьяла или лентяя с матерьялом, отчего и «вылетают», — «избранный»,

«врожденный» каким-то боковым, урывочным клевком клюнул метод, «школу», суть. И везде он фактом или случаем пользуется как путем в «суть» и лишь настолько им интересуется. Вообще о не развитых и развитых людях можно заметить, что первые суть статистики, а вторые суть индивидуалисты. Незрелость в том и сказывается, что встречая факт, в жизни, в книге, статистик только и читает в нем: «убийство», «адюльтер», «отечество», «бог» (с маленькой буквы, ибо конечно — это языческий бог). Он зачисляет факт в ряд и успокаивается. Так происходит тупой судья, тупой патриот, тупой богослов, тупой ученый — профессор или гимназист. Напротив, зрелость в том и сказывается, что, встретя «адюльтер», «убийство», имея перед собой «отечество» или натолкнувшись на «чудо», человек лишь быстро и коротким кивком относит его к ряду, но затем длительно и бесконечно всматривается в «лицо» события, особливость и исключительность факта; находит в нем душу; открывает его индивидуальность; беседует с этой индивидуальностью; влияет на нее, учится из нее; пытается ей пророчествовать. Я хочу сказать набором всех этих рубрик, что около факта у статистика ничего из его души не вздымается, а у индивидуалиста вздымается какая-то философская, поэтическая и религиозная волна. Но мы заговорили об огромном просвещении до университетов. Если бы люди были только статистики по тенденциям ума, они исследовали бы мир и рассуждали между собою вечно полными аргументами, без догадки, без перелетов по воздуху, и просто нельзя себе представить, как у них зародилась бы наука. Им бы нужно было выждать, пока с неба пришел бы на землю университет и начал их просвещать, «натаскивать» на догадки, внедрять в существо вещей и явлений. До университетов как некоторых складочных амбаров знаний, науки, книг, опыта, опытных людей — нельзя представить себе науку с таким людьми. Но ведь индивидуалист всегда есть уже живая наука, он знает несколько более, чем сколько дает непосредственно факт, и словом, когда он родился, пришел в свет — с ним и пришла наука, родился университет: маленький, крошечный, весь пока вмещенный в одного человека, да и у него-то сказывающийся какими-то обмолвками, лишними речениями сравнительно с другими, лишним любопытством, лишними указаниями. Наука не только родилась, но она и чрезвычайно долго существовала просто в группе, в обществе не прерывающейся линии индивидуалистов. Не поразительно ли: в Греции или Риме мы не наблюдаем ни одного тупого философа, даже ни одного тупого человека науки; теперь их сколько угодно, и вообще со времени возникновения университетов как «каравансараев» науки стало возможно явление: тупой ученый, тупой философ.

Если обратиться к примеру, около которого возник маленький спор об университете — к Лескову, то конечно с его огромною душою он сам был своеобразный русский университет. Имя Лескова напоминает имя одного из его критиков, очень внимательного, в сущности, но как-то неудавшегося в литературной судьбе. Критик, которого съели другие критики, так сказать «критически» им пообедали, это г. А. Волынский. О нем так бесконечно много и все отрицательно писали, все «завтракали» кусками Волынского, что хочется наконец воздать ему и правду. Ведь он был необыкновенно трудолюбив; он чрезвычайно много знал; но он именно не принес с собою университета, а только, родившись, поступил в университет и из университета вынес основательное образование, потом приложенное им в критике и через которое он пропускал, в призме которого он

«преломлял» русских писателей; а тех, которые не «преломлялись», тоже пытался скушать. Вообще не желая его умалить и, может быть, не достаточно с ним ознакомься, мы о всем, что у него знаем, что видим у него в руках, невольно говорим: «Друг, откуда это у тебя? Ибо мы видели, что ты пришел в мир гол, безгласен, нем, глух: и речи, которые теперь слышим от тебя, — они не твои речи». Несмотря на то, что он оставил томы трудов, что он долгое время обильно писал в журнале и мог писать в нем все, что хотел, не осталось и не запомнилось ни одной мысли, ни одного даже слова-оборота, так сказать специально — Волынского, лично — Волынского, Волынский не есть живой, конкретный образ; Волынский — кафедра, журнал, «общее место», отдел каравансарая; есть «вообще» Волынский, но «в частности» Волынского не только нет, но он и не появлялся. От этого замечательная черта: когда на него обильно нападали, никто не почувствовал, что это гибнет конкретный живой человек, которому больно, и около него не взволновалось ни сожаления, ни упрека. Ломали кафедру; просто ломали ученую мебель. Ощущение, впечатление шума — было, боли — не было. Да простит мне умерший или почти умерший критик, если эти строки ему причинят неприятное чувство. Я пишу, что было, и, кажется, дело было именно так.

Отнимите у Волынского университет — и ничего не останется; отнимите университет у Лескова или констатируйте, что он не был в университете, — и вы у него ничего не отнимете не только как у художника, но и как у ума, умного человека, у образованного человека; или — почти ничего. Он был умен внутренним умом и образован внутренним образованием, и едва ли через то, как писал г. Фаресов, что читал и дочитывал до конца Гиббона и другие капитальные произведения. Гиббон в нем не чувствуется или по крайней мере не бросается в глаза. Но читая его «На краю света», «Запечатленный ангел», читая проводы в Колыванский край одного обрусителя — учиться и учиться у него. Лесков, это — училище, сокровище ума, образования, размышления, не говоря уже о наблюдательности; он возбуждает бездну теоретических, так сказать «университетских» вопросов и, очевидно, чрезвычайно многое для себя «университетски» же, со строгостью профессора, но и еще с прибавкою таланта, разрешил. В невежестве можно признаться, когда это утилитарно, может послужить делу, доказыванию. И так сознаюсь, что из печатавшихся теперь о нем заметок я впервые узнал, что Лесков в университете не был, да и вообще нигде не кончил. Еще значит к двум моим наблюдениям прибавляется третье: ибо как непосредственно и лично обращаясь в обществе двух писателей, и вечно с ними говоря собственно на «университетские» темы, я лишь поздно и с удивлением узнал, что оба они в университете не были, так читая Лескова я не задавался вопросом, кончил ли он в университете, но читал всегда с таким ощущением образовательной удовлетворенности, сытости — как бы автор этих повестей и рассказов именно прошел университет, даже определенный его факультет — филологический. Его очень легко можно было представить себе учеником, даже любимым учеником — Тихонравова, Буслаева, Ключевского, Н. А. Попова. Он говорил о том, о чем мы, бывало, в аудиториях и на вечеринках говорили; говорил умнее нас, пронизательнее, дальше видя. Я сейчас приведу параллель: это — Печерский. Не знаю, был ли и он в университете; но в суждениях его, «В горах» и «На лесах» — отдает, что не был. Какая-то неверность в постановке тем, незрелость в бросаемых мыслях, и, наконец,

просто незнание, отсутствие исторического знания. «Необразован и необразован» — вот впечатление. Печерский был богатый художник-наблюдатель, но не был «развитой человек» в смысле «внутри устремленного ока». Он заметит, схватит факт; запомнит образ человека, положение, «ситуацию» предметов и вещей; он — землемер; с превосходной астролябией в руках он набрасывает горы, холмы, рощи; но никогда и нигде он не закапывается в землю, не углубляется в рощу и его труды не суть училище, как суть училище труды Лескова. Вся его живопись, местами ярко колоритная, похоже как бы «печаталась от машины», а не от руки рисована; ведь рисующий повернет так предмет, повернет этак, пы-
 10 тает, выслеживает сюжет свой; у Печерского все и все снято en face, в одной позе, в одном совершенстве, в одной полноте. Очевидно, он совершенно не может вывести человека из положения en face; у него нет психологии и нет метафизики предметов, которые он рисует, т. е. нет ключа от них, нет обладания секретом изображаемой действительности.

Вопрос, нами трактуемый, не так пуст, ибо есть, и вероятно, всегда будет писатели, «не прошедшие университета», и полезно дать себе отчет, что же именно от этого происходит? чем это вознаграждается? и в какой мере вознаграждается? С тем вместе через определение, какими ценными и редкими природными дарами это вознаграждается, выясняется ценная и редкая природа университета. Как
 20 ни упал авторитет последнего почти на наших глазах, вследствие разных злоключений, все-таки нужно сказать, что университет есть единственная выросшая созревшая сложившаяся школа, тогда как прочия «до» него и «вокруг» него скорее есть опыты школы; стены, крыши, фундамент — не спрыснутые святою водою исторического благословения. В университете важны традиции; важен дух; важна память: та память, которая, сколько вы ни уверяйте, никогда не исчезает из стен заведения и живет независимо от профессоров, независимо даже от студентов, и их занятий, просто как факт, что «вот тут сидел Грановский, а на парте — Кудрявцев». В университете есть «свои домовые», но не как злые, а как
 30 добрые гении; не черные домовые, а белые домовые; это суть тени всех, кто тут были, и всего, что тут было. Волшебник потер ладонью стену и оставил на ней вечный след своей руки. Присматриваясь, можно заметить, что университет и воспитывает эту «память», т. е. предки его, «домовые» его и посейчас суть главные его профессора и столпы. Воспитывает студента — неуловимое; манеры, привычки — вот что воспитывает. Например, у московских профессоров есть прекрасная манера скромности выражаться о себе «преподаватели», но никогда не «профессора»: и это оставляет впечатление. «И я буду скромн, как они». Потом у них есть не полная формальность: помню одного бесценно прекрасного профессора, который «соединял две лекции в одну». Он мог бы читать во вторник и в пятницу по часу; но он стал читать в один вторник оба часа, и соединял их
 40 в одну лекцию, которая тянулась — ну, час с четвертью, ну, полтора часа, а $1\frac{1}{2}$ часа он утягивал себе. И это прекрасно. «И я не буду полным формалистом». И т. д. Вот чем, т. е. какими не вписуемыми в историю и устав сторонами воспитывает университет. Но например, чтобы была в университете не полная формальность, нужно, чтобы именно в этом университете уже ранее были профессора столь абсолютно не формальные, как знаменитый Никита Крылов, в Москве. Не было, положим, такого Никиты Крылова в Петербурге — и это отразится чуть-чуть

большую застенчивость всех профессоров; а это — минус, это — не воспитательно. Таким образом, что «домовые» живут в университете, это вовсе не поэзия и иллюзия, а существенный и почти съедобный, сладкий на вкус, факт.

О. ПЕТЕРСОН и Е. БАЛАБАНОВА. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ ЭПОС И СРЕДНЕВЕКОВЫЙ РОМАН В ПЕРЕСКАЗАХ И СОКРАЩЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ С ПОДЛИННЫХ ТЕКСТОВ

Т. I. Романские народы. Т. II. Скандинавия. Т. III. Германия. СПб. 1900

В предисловии к первому тому «Западноевропейского эпоса» переводчицы-составительницы писали:

«Ознакомить публику полностью с недоступной ей до настоящего времени средневековой эпической литературой было бы задачей чересчур смелой и даже совершенно неисполнимой... Между тем возможность хотя бы некоторого знакомства с нею в ее сюжетах, манере, стиле, развитии интриги и характеров, — знакомства с ее духом и отразившимися в ней идеалами и вообще всем мирозерцанием средневекового общества является настоятельной потребностью как для всех интересующихся вопросами истории и литературы, но не имеющих возможности посвятить себя специальному изучению этих предметов, так и для учащихся и учащихся, — учителей истории и литературы и учеников старших классов среднеобразовательных учебных заведений». Книга, однако, не имеет характера хрестоматии, хотя бы и очень распространенной. Взятые не безусловно все, но зато в полном объеме, произведения средневекового эпоса. В томе, посвященном Германии, выпущен весь каролингский цикл сказаний и животный эпос, а также переделки сюжетов об Александре Македонском, но зато дан пересказ, в некотором сокращении, англосаксонского эпоса: «Беовульф». В составе французских сказаний даны: «Песнь о Роланде», два романа Круглого Стола: «Мерлин» и «Персеваль, или Поиски чудодейственного сосуда св. Грааля», «Роман об Александре Македонском», «Приключения Ренара-Лиса и его кума Волка-Изегрима» и три фавль: «Английский король и жонглер из Эли», «Крестьянин-лекарь» и «Аллегорический роман о Розе». В составе испанских — «Романсы и поэма о Сиде» и «Роман об Амадисе». Весь второй том посвящен скандинавским сагам, из которых сага об Оуде-стреле представляет много аналогичного с нашим русским летописным рассказом о смерти Олега. В общем нельзя, однако, не заметить, что хотя скандинавским сказаниям посвящен целый том, но именно здесь и пропуски в отдельных сказаниях, и выпуск цельных сказаний — наиболее велик. В составе германских сказаний даны: «Песнь о Нибелунгах», «Песнь о Гудруне», «Сказание о Вольфдитрихе», пять сказаний о «Дитрихе Бернском», «Сказание о Роговом Зигфриде», «Песня о Гильдебранде» (по тексту VIII века) и «Беовульф». Почти не нужно говорить, что этот обширный и прекрасный сборник, столь же научный, как и педагогическо-художественный, — необходимая книга ученических библиотек, настольная книга преподавателя и прекрасный подарок детям постарше.

ДВУЛИКИЕ ЯНУСЫ

Не так давно еще «Моск. Вед.» высказывали, что русский народ куда выше стоит западных народов, что он — народ-«идеалист», тогда как западные народы суть народы «техники». Так как идея вообще владеет материей, то это определение можно было перевести так, что русские есть племя высших способностей, призванное в будущем к руководительству, а разные там немцы, французы и англичане, у которых до сих пор мы заимствуем даже учебники для ребят, не умея сами составить их, — тем не менее суть народы низших, именно только практических способностей. Мысль эта развивалась и, так сказать, художественно украшалась параллельно в ряде редакционных статей и в статьях проф. Московской духовной академии Алексея Введенского. Мы тогда же отметили эти статьи, вполне сознавая полную их риторичность и объясняя их тем, что они пришлись, как говорится, ко дню. Но вот после духовно-праздничного дня наступил обыкновенный понедельник, и газета быстро снимает трехцветные флаги патриотизма и о том же народе русском говорит так, как паны польские о «быдле». Ей нужно доказать, что «народ-идеалист» должен быть выведен вон из земства и что его вовсе не следовало впускать туда и при введении земского положения, хотя, как писали многократно в наших дворянско-охранительных органах, этот народ вышел из-под развращающего гнета крепостного права, сохранившись замечательно целым, не испорченным, трезвым, трудолюбивым. «Преобразованию надлежало наметить — кому, каким элементам местного населения и местных людей могли бы быть вверены функции местных забот, интересов и управления. Способный к управлению элемент населения представляет собою только одно поместное дворянство и только ему и могли быть вверены эти функции. Никаких других элементов, способных принять от государства местную часть его общих забот, часть хотя бы мелочную в проявлениях, на местах не было и нет до сих пор. Невозможно же с пользой участвовать в какой-либо организации, совсем ее не понимая (курс. «Моск. Вед.»). Как мог крестьянин быть полезным членом земских учреждений, не понимая ни что такое гласный, ни что такое собрание и управа, смешивающий земские сборы с казенными повинностями и члена управы с полицейским заседателем, не могущий уяснить себе разницы между страховым агентом и судебным приставом».

Так перемалевывает газета праздничного «херувима» в будничного «чорта». Крылья обломаны, рожа зачернена; подпись: «чорт и быдло». Нужно, наконец, вывести на чистую воду газетку, которая на воскресенье надевает на себя доспехи рыцарского славянофильства, цитирует и излагает мысли Аксаковых и Хомякова, крестится на кремлевские соборы и вообще действует по всем привычкам купца, который наиболее божится, когда наиболее собирается вас надуть, а приступая к обсуждению какого-нибудь практического мероприятия, принимает тон остзейского дворянина или галицкого пана. «Моск. Вед.» начали Цицероном и кончают Чичиковым. Чем черней русский народ, чем больше теми, пороков, «быдла» на Руси, тем блистательнее роль «Московских Ведомостей». Тут все начато и кончено эгоизмом. Прасол, скупавший «по мелочам» мертвых душ, ходит теперь с просьбою о новеньких законцах. «Мы сказали и говорим, что если уж правительство решило передать местным людям заведывание некоторыми хо-

зайственными функциями областного управления, то искать можно было и следует только исключительно среди поместного дворянства»...

И думают — правительство их услышит, поставит крест над массой плательщиков земских налогов, похерит в земстве многомиллионную земщину!

ОБ УПАДКЕ СЕРЬЕЗНОЙ КРИТИКИ

Жалуются на скудость нашей умственной жизни, и на скуку, пустословие и пустомыслие общества, преданного пустым забавам. Действительно, мы возвращаемся к коротеньким мыслям, к коротеньким статейкам, к коротеньким разговорам двадцатых годов и даже «Вестник Европы» «конца Стасюлевича» сближается с «Вестником Европы» Каченовского, заслуженного профессора истории и древностей. Критика наша действительно вырождается в библиографию; как наука давно выродилась в литографированные лекции. Да где же корень этого? — Отсутствие серьезной умственной борьбы! Только борьба возбуждает усилия, и когда борьба страстна, возбуждаемые ею усилия могут быть громадны, и иногда они могут стать прекрасны. Могут явиться зрелые и достойные произведения пера. Наша не столько «литература» как «печать» напоминает карася на сковороде, который, подскакивая на огне, должен еще оправдываться, почему он некрасив и «не ласкает взора». До «жиру» ли, тут бы «быть живу». «Вы — печать, а не литература», слышен сарказм упрека. Ну, так дайте же нам литературно существовать, и не печатно только существовать; т. е. откройте свободу для *литературной*, настоящей борьбы, а не для одной *полемики*. Обвинители печати, которых может быть достойнее было бы назвать инсинуаторами ее, говорят: «Нет писателей, нет литературы». Да вы и не видели писателей, которые есть, во весь рост: одни редакторы знают количество «бумаги», поступающей «в сор» вовсе не потому одному, что она бесталантна или несвоевременна. Как что-нибудь поострее — «в сор»; как тема поважнее — «в сор»... Люди не без сана спрашивают: «Где же литература?» — «Литература настоящая? — в редакционных корзинах, Ваше П-во».

Русская литература была всегда литературой классической критики, не эстетической, но критики, как метода письма, который охватывал собою публицистику, философию, даже часть истории. Например, история Соловьёва написана в значительной степени, как критика и опровержение славянофильства. Даже наши партии славянофильства и западничества суть критика, и это не потому одному, что они обе зародились в политических статьях Белинского и Хомякова, но они суть критика по методу и задачам, это-то и не дало им застыть в археологических изысканиях, а сообщило им жизненность. Даже такой монументальный труд как «Россия и Европа» покойного Н. Я. Данилевского не только появился в виде журнальных статей в малораспространенном журнале «Заря», но эта книга и по всему своему строю и особенно по духу есть именно критика и критика; критика нашей политики, критика западноевропейской истории. Книга оканчивается полумечтательной главой: «Царе-град», почти передовую статьей. Вот чем была русская литература, вот какое сложение принимала она; сложение,

позволим сказать себе, доблестное. Но «конь шибко ходит» и спросили на него шоры, да с закупоркой и спереди. Теперь конь плетется. «Вот, — говорят, — кляча!». Увы, очень печально, очень горько. Очень больно русским писателям. — «Не умеете вы говорить»... — «Отчего же вы боитесь послушать?».

Нет, мы не писаки, а писатели; и мы не клячи, а кони. Но нет бега русской литературе, и нет этого бега ей именно как критике. Увы, опять двадцатые годы; опять Каченовский и Бурачек; еще «Маяк» и «Весть», и остроумие, анекдоты, и скука, скука, скука, скука...

10 — Вас нет!.. — воскликнул недавно автор «Московского Сборника», желчно и презрительно.

— Правда, нас нет, — ответим мы ему, и уж пусть он примирится с некоторою желчью этого ответа.

НА ГРАНИЦАХ ПОЭЗИИ И ФИЛОСОФИИ

Стихотворения Владимира Соловьёва

Издание третье, дополненное. С. Петербург, 1900 г.

Среди всех литературных фигур наших нет ни одной столь... сложно составной и трудной для понимания и оценки, как всем знакомая и вместе едва ли кому известная фигура автора лежащей перед нами изящной книжки стихов. У Вл. Соловьёва, очевидно, не один дар; настойчиво хочется сказать — в нем не одна 30 душа, по крайней мере не одно настроение. Перед нами специалист-ученый, специалист-публицист, специалист-богослов и вовсе не притворный и не деланный поэт: какое обилие призваний, тем. Преобладающий интерес к богословствованию сближает его с Хомяковым, но Хомяков весь — в служении России, между тем как до очевидности ясно, что у г. Вл. Соловьёва Россия ни в одной области его занятий не занимала первенствующего места, не была prima donna *, но всюду становилась на второе, подчиненное и служебное место. Это в свое время вызвало наибольшее критическое ожесточение против него. Всем казалось странным и немногочиничным, что такого ископаемого мамонта, как Россия, человек нашего текущего дня и нашего текущего общества обращает в передаточное колесо механизма, пусть бы даже замечательных своих идей, но все же, по происхождению автора, идей русских, а не свержрусских. Но не будем критиковать, а станем характеризовать. Чтобы найти параллель Соловьёву, мы должны пойти в чужеземные истории, выбрать эпоху или критического перелома, или вымирающего эклектизма, но вернее и правдоподобнее первого: народ ломался, время ломалось; в точке излома совершалось величайшее движение, тут была великая талантливость и вместе полная неуверенность в себе, непонимаемое «сегодня», незнание, что будет «завтра». И вместе из точки этого исторического разрыва торчат безобразные углы, колющие шипы, вообще неприятное и болезненное. В силу самого характера такой минуты, человек не знает, что значит служить 40 своему народу, и может в такую минуту предатель сойти за патриота, а патриот

* первая певица в опере (*итал.*).

может не только сойти, но и быть в самом деле предателем. Тут — исторически темно; темно идущему и темно его критикам.

Нам кажется так лучше всего объяснить его удивительнейшую судьбу. Мало было в нашей литературе людей, которые бы столь единодушно приветствовались при появлении, как г. Вл. Соловьёв в семидесятые годы, когда он чуть не 23-х лет выступил как доктор философии с «Кризисом западной философии против позитивизма». Солидные, заслуженные ученые, как Б. Н. Чичерин, отвечали целыми трактатами на диссертацию. Все ему улыбалось тогда и все на него улыбались. И потом долгие годы общество русское в высших образованных его слоях, по-видимому, делало все усилия, чтобы как можно долее прощать ему, забывая его ошибки, ожидать от него поворотов к лучшему. Никого так упорно множество людей не хотело непременно любить. Но тут стало происходить что-то, очевидно высшее и сильнее, нежели частные произволения. Дело в том, что г. Вл. Соловьёв не только не равнодушен к... «психологии толпы», но его душа как бы сейчас только обнажилась от испанской мушки и чувствительна к укусу комара, как бы это был удар шила. Казалось бы, при такой гармонии между впечатлительностью писателя и готовностью общества от него все ожидать и ожидать — он должен был лечь счастливо в свою ячейку, охорошиться в ней, созреть, утешиться и сотворить жизнь, достойную своих талантов и радостную для своего времени. Между тем с каждым шагом вперед он делает что-то до такой степени неправильное, изломанное, прямо неестественное, что ожидания всех мало-помалу стали переходить в отчаяние, привязанность — в раздражение и, наконец, в явное неуважение, а у сколько-нибудь его любящих, вероятно, поднималась глубокая скорбь... В самом деле, были у нас фигуры в литературе ненавидимые; но вероятно множество читателей согласится со мною, вдумавшись, взглядевшись во впечатление истекших лет, что фигура Соловьёва поразительна тем, что около нее скопилось множество не негодования, а... неуважения, неуважительных, пренебрежительных чувств, взглядов, мнений, отзывов. И что еще поразительнее — этот упадок уважения нисколько не выражается в желании отнять у него дарования или отвергнуть его заслуги, даже ограничить его успехи. «Ты успеваешь; мы тебя приветствуем; но мы совершенно холодны к твоим успехам, и нам не нужны ни эти успехи, ни ты сам».

Тут... какая-то историческая бесовщина; но, вероятно, многие согласятся со мною, что действительно мало есть людей и даже вовсе их не было, которые, занимая столь видное положение в поле зрения своего времени, были бы так глубоко инородны, чужеродны, почти чужестранны для людей этого времени. Сколько у нас до сей минуты любви к Баратынскому, поэту-философу; Гл. Успенский имеет может быть очень тесный, но зато фанатический культ к себе; Писарев, Добролюбов — все это точки притяжения национальной любви. Вот этого центра притяжения не образует г. Вл. Соловьёв. И этому вовсе не препятствует, что его работами по богословию и философии пользуются и будут пользоваться. Тут есть что-то странное. Масло и вода не сливаются. Вообще есть вещества, не образующие никакого из себя соединения. Россия или по крайней мере русский ум, русская душа и стоящий перед нею данный человек не сливаются и не образуют никакого нового соединения.

Заслужил ли он этой судьбы? Можем ли мы сказать, что он не любил своего отечества? Позволю высказать один каприз своей догадки. Невозможно, конеч-

но, доказать, но как-то можно чувствовать, что если бы в роковую минуту вдруг нужно было прямо умереть, погибнуть за Россию — жизнь за жизнь — странная эта и непонятная фигура прямо бросилась бы в пропасть, как какой-то римский воин в битве бросился в какую-то роковую расщелину земли и тем спас Рим. И без фразы, и не потому, что на глазах общества, а даже — ночью, невидимый и без вознаграждения. В г. Вл. Соловьёве есть что-то predetermined, роковое; неуклонное для него. «Судьбы на коне не объедешь»: и это относится именно к печальным и двусмысленным сторонам его полета. Но почти бесспорно потребность любви и жертвы в нем обитает огромная. Любит ли он Россию? — Конечно, да! — Бога? — Конечно и конечно! Истину, науку, философию? — Опять, да! Но служить ничему он не умеет. И не умеет... охватить никакой цели. Золотая голова, серебряная шея, медная грудь... и, дальше — железо, кирпич, песок, глина, плохо, хуже и хуже. Так виделся какой-то бессильный сон Навуходносору.

У Достоевского в его смутных «Бесах» есть одна фигура, которую замечательно характеризует другое лицо: «Если Ставрогин верит (положим, в Бога или во что-нибудь), то он не верит, что он верит; а когда он не верит, то он не верит, что не верит». Выслушав это странное определение целостной природы, ее «святая святых», третье лицо говорит, что это определение «довольно глупо». Но однако почему же глупо? Я думаю, такая «простреленность» души скептицизмом должна, между прочим, порождать в человеке глубокое и постоянное смятение ума и чувств, соединенное с ледяным равнодушием сердца. Но вот если бы столь очевидная и короткая вещь, такое $2 + 2 = 4$, как броситься в пропасть за отечество — то геройское движение великим скептиком было бы совершено.

Еще одно и последнее замечание, относящееся к общей литературной физиономии г. Вл. Соловьёва. Говорили, и много раз, почти постоянно, что г. Вл. Соловьёв «перешел в лагерь либералов для популярности» и что таков был мотив его перехода из «Русского Вестника» катковской редакции и из аксаковской «Руси» в «Вестн. Европы». Однако почему же? Консервативная популярность так же сладка, как и либеральная; а в смысле сфер влияния и обширности популярности, конечно, впереди либерализма у нас всегда стоял радикализм. «Вестн. Европы» никогда не был сладко-любимым органом печати; он читался, и обширно, но он не имел аудитории заслушивающейся, читателей зачитывающихся. Между тем можно подметить, что если Вл. Соловьёв ищет быть любимым, то горячо и интимно, а не в смысле просто известности. Далее, консерватизм есть стояние; это — status quo; между тем даже из такой мелочи, как его постоянные в сущности путешествия (см. темы его стихов), то в Норвегию, в Шотландию, во внутреннюю Финляндию, в Архипелаг, Египет (немножко похоже на старшего сына Владимира Св.), — даже из этой географической непосидчивости, с которой ни малейше не расходятся и все его остальные способности и дары, как бы не сохраняющие устойчивого равновесия, — очевидно, что он и не мог иначе, как случайно и минутно, или, пожалуй, «для хитрости», находиться в лагере ожесточенного стояния на месте. Он мог быть не искренен в «Русск. Вестнике»; но в «Вестн. Европы» он искренен.

* * *

Было бы неблагоразумно и грубовато ожидать от человека, который столь большую долю усилий и жизни посвятил философствованию, богословствованию

нию и общественной борьбе, чтобы он в то же время был выдающийся поэт. Мы во всяком случае благодарны, что он «и поэт». Ксенофан, греческий философ, изложил свое афористическое и однако глубокое мышление в нескольких стихотворных отрывках; Парменид написал поэму, выразившую в двух половинах «мнения смертных» и его собственные философские открытия; пифагореец Филолай изложил мистику чисел, непонятную и в прозе, и с комментариями, тоже в стихах и без всяких комментариев. На наш лично взгляд, плох тот человек, который не писал стихов; и плоха та философия, в которой ни одна часть не просится в стихи. В средние века писали множество научных стихов, и между прочим в стихах излагали даже арифметику. Кажется единственный род словесных и умственных произведений, никогда не оканчивавшихся рифмами, — это проповеди. По всей совокупности этих данных, нет ничего безвкусного соединять серьезную, даже философскую мысль с стихотворною формой; но в данном случае мы несколько не имеем перед собою философов, изложенных вместо прозы стихами, а блёстки и веяния настоящей поэзии, совершенно невыразимые или едва ли выразимые прозою.

На вопрос, почему люди пишут стихами, а не прозою, можно, действительно, дать этот общий ответ, что стихи есть особенная и новая форма для содержания тоже особенного и нового. Напр., что вы сделаете в усилиях переложить из ритмических строчек в неритмические следующие нашего поэта-философа:

Ступая глубоко
 По снежной пустыне сыпучей,
 К загадочной цели
 Иду одиноко.
 За мной только ели
 Кругом лишь далеко.
 Раскинулась озера ширь в своем белом уборе,
 И вслух тишина говорит мне: неожиданное сбудется вскоре.
 Лазурное око
 Опять потонуло в тумане,
 В тоске одинокой
 Бледнеет надежда свиданий.
 Печальные ели
 Темнеют вдали без движенья,
 Пустыня без цели
 И путь без стремленья
 И голос все тот же звучит в тишине без укора:
 Конец уже близок, неожиданное сбудется скоро.

У г. Соловьёва нет сильного стиха. Вообще в поэзии — он рисовщик красивых фигур, образов, положений. Если бы в нашей воле было сочетать облака на небе, передвигать их и группировать — это могло бы нас занять, могло бы занять художника-созерцателя. Таков и есть Соловьёв: из тумана мыслей, не сильных волевых движений, воспоминаний и ожиданий он ткёт фигуры, сцены, случаи, всегда бледные, но часто изящные и привлекательные.

В стихотворной его манере есть черты родства с гр. А. Толстым. Неудачнейшие стихи — те, где он пытается шутить, что всегда у него выходит неуклюже. Таково

«Скромное пророчество», или в серьезном по теме стихотворении: «Три свидания» — воспоминание о первой своей в девятилетнем возрасте любви, когда о предмете этой любви ему объяснила бонна:

Володенька — ах! слишком он глупа!

Конечно, немцы ломают наш язык; но зачем передавать это несколько не в колоритном стихотворении. Это — лишнее в теме, а следовательно, и мешающее ей. Лучшие раковинки его поэзии, в которых нарастает жемчуг, находятся на границах религии и философии. Таково «Око вечности», «Умные звезды», в особенностях последние его строчки, «Земля владычица, к тебе чело склонил я» или, напр., эта мистически-неясная «Песня офитов» (одна из темных сект времени появления христианства):

Белую лилию с розой
С алою розою мы сочетаем.
Тайной пророческой грезой
Вечную истину мы обретаем.

20
Веще слово скажите!
Жемчуг свой в чашу бросайте скорее!
Нашу голубку свяжите
Новыми кольцами древнего змея.
Вольному сердцу не больно...
Ей ли бояться огня Прометея?
Чистой голубке привольно
В пламенных кольцах могучего змея.
Пойте про ярые грозы
В яррой грозе мы покой обретаем...
Белую лилию с розой
С алою розой мы сочетаем.

30 Стихотворение заинтересовывает нас каким-то содержательным намеком, который мы боимся отгадать. Что это за жемчуг в чаше? Какая голубка, откуда змей? Какой мир между ними и даже, по-видимому, дружба? Но нельзя отказать в яркости и красоте, даже, кажется, в задушевности, стихотворению.

Вообще поэтическое чувство нашего автора, который в прозаических трудах кажется усердно-точным защитником верований самых ортодоксальных и почти по параграфам, тянется... к очень далеким берегам, и не прочь приотворить дверцу иногда самого темного и сомнительного сектантства. Хорошо, хоть тоже сомнительно по источнику, стихотворение «Из Платона»:

40
На звезды глядишь ты, звезда моя светлая:
О, быть бы мне небом, в широких объятиях
Держать бы тебя и очей мириадами
Тобой любоваться в безмолвном сиянии.

Стихотворение «Das Ewig-weibliche» * (слово увещательное к морским чертям) вовсе не так дурно и не смешно, как о нем высказывалось в печати при пер-

* «Вечно женственное» (нем.).

вом появления в 1898 году. Г. Вл. Соловьёв верит в какую-то или предполагает какую-то небесную женственность, которая может придти или придет на землю. Ею он и заклинает, ею и отгораживается от «морских чертей». В подобных случаях мы читаем: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его...», а наш философ опять несколько не по-православно поет:

Черти морские меня полюбили
 Рыщут за мною они по следам,
 В Финском поморье недавно ловили,
 В Архипелаге я — они уже там.
 Ясно, что черти хотят моей смерти
 Однако поверьте
 Вам я себя на съеденье не дам.
 Лучше вы сами послушайтесь слова —
 Доброе слово для вас я припас.

И начинается «увещание», если не объективно истинное, то все же стихотворчески-удовлетворительное:

Помните ль розы над пеною белой,
 Пурпурный отблеск в лазурных волнах?
 Помните ль образ прекрасного тела,
 Ваше смятенье, и трепет, и страх?

Это — появление из пены известной Афродиты, «тело которой», по предположению г. Соловьёва, смирило, отогнало и вообще «запечатало в бездну» чертей — непонятно, почему? Все привыкли думать, что, напротив, с Афродитой пришли на землю «черти». Но не будем спорить, а станем излагать:

Та красота своей первою силой,
 Черти, недолго была вам страшна;
 Дикую злобу на миг укротила,
 Но покорить не умела она.

И пугает их пришествием новой красоты, может быть, той, о которой писал некогда г. Мережковский:

Мы для новой красоты
 Преступаем все законы,
 Переходим все черты.

Эту за чертою и вне закона лежащую новую красоту г. Соловьёв описывает так:

Знайте же: вечная женственность ныне
 В теле нетленном на землю идет;
 В свете немеркнущем новой богини
Небо слилось с пугиною вод.
 Все, чем красна Афродита мирская,
 Радость домов, и лесов, и морей, —

Все совместит красота неземная
 Чище, сильнее, и живей, и полней.
 К ней не ищите напрасно подхода
 Умные черти...

И т. д. Помню письмо Курбского к Иоанну Грозному и в нем один упрек: «Ты слишком много думаешь об Афродитских делах». Г. Соловьёв, по теоретическим убеждениям, — известный аскет и постник, а вот таких-то «черти и подпекают»; и тут приходит на ум один диалог Шекспира:

10 Х а р м и а н а. А скажи, гадалщик, сколько будет у меня мальчиков и девочек?
 П р е д с к а з а т е л ь.

 Когда бы каждое твое желанье
 Вдруг стало чревом — было б миллион.

Х а р м и а н а. Вот, шут! Я прощаю тебя только потому, что ты колдун.

А л е к с и с. А ты, кажется, думала, что о желаньях твоих знают только твои простыни («Антоний и Клеопатра»).

В «Предисловии» к книжке стихов г. Вл. Соловьёв туманно развивает мысль, что не предосудительно и вполне «истинно почитание вечной женственности, от века восприявшей силу божества, действительно вместившей полноту добра и истины, а через них нетленное сияние красоты». Но эта красота действительно
 20 «вне закона и по ту сторону черты», как мы выразились, ибо автор говорит далее: «Но чем совершеннее и ближе откровение настоящей красоты, одевающей божество и его силою ведущей нас к избавлению от страданий и смерти, чем тоньше черта, выделяющая ее от лживого ее подобия, — от той обманчивой и бес- сильной красоты, которая только увековечивает царство страданий и смерти» (стр. XIV).

В «царстве страданий и смерти» живем мы, рожденные и рождающие, и смысл этих строк совпадает с «Послесловием» к «Крейцеровой сонате», которое тоже указывает людям «выйти из круга рождения и страдания», не отвергая, по край-
 30 ней мере не убивая женственности и существа женщины. Грешный человек, ничего в этом не понимая, — живя, страдая и рождая, — я оставляю эти темы для философствования и богословствования современным Платонам и платоникам, которые пусть уж сочетают

Белую лилию с алою розой,

как это устроил и наш московский самодержец, когда в Александровской слободе клал поклоны, а Басманов ему подзванивал:

С девичьей улыбкой, с змеиной душой
 Отверженный Богом Басманов,

как его характеризовал гр. Алекс. Толстой. «Змеиная эта душа» немного напоминает «древнего змея», о коем поет не без звучности и Влад. Соловьёв, по крайней
 40 мере напоминает термином. По-нашему же, по-простому, змей всегда есть зло, как древний, так и самые новенькие, последнего выводка.

То, что остается ясным после всех этих суждений, поэтических и прозаических, о «женственности» — это то, что они все смутны, не досказаны и, может быть, вовсе не установились в мысли почтенного философа и поэта. Конечно, мужское и женское начала есть до такой степени космическая вещь, так это проникает всю природу и именно высшие ее части, не минеральные — что нельзя совершенно отвергнуть, что мир, космос, так сказать, есть пирамида, основание которой — минерально, средние части — жизненны и муже-женски, а вершина всей пирамиды раздвояется в два конуса, где пол уже не смешивается ни с какими минеральными частицами, есть *an und für sich* * пол, как «вечная небесная женственность» и «вечная мужественность». Но это — вещи темные и гадательные. Конечно, можно согласиться, что в жизни ничто так нас не покоряет, как женственность, это милое и кроткое, и грациозное, что могущественнее умного, сильного, хитрого. «Могущественнее» — т. е., можно предположить — «божественнее», «трансцендентнее». Но прозой на эти темы ничего не удастся и Вл. Соловьёв хорошо сделал, что посвятил этому следующие, хоть и переводные, но как-то очень почувствованные стихи:

В солнце одетая, звездо-венчанная
 Солнцем превышним любимая Дева!
 Свет его вечный в себе ты сокрыла.

 О, бесконечности Око лучистое
 Пристань спасенья, начало свободы.

 Лесвица чудная, к небу ведущая
 Воду живую, в вечность текущую
 Ты нам дала, голубица смиренная.

Читатель вспоминает «чистую голубку» в «Песне офитов». Автор продолжает:

О, таинница Божьих советов!
 Проведи ты меня сквозь земные туманы.
 В горние страны
 В отчизну светов.

Редко можно встретить такое напряжение чувства. Я думаю, в поклонении Мифре древних персов было нечто подобное. Стихотворение это, самое длинное в книжке, распадается на 7 глав. Приведем последнюю:

Облако светлое мглою вечерней
 Божьим избранникам ярко блестящее!
 Радуга, небо с землею мирящая,
 Божьих заветов ковчег неизменный,
 Манны небесной фиал драгоценный,
 Вось неприступная, Бога носящая!

* сам по себе (нем.).

Дальний нам мир осени лучезарным покровом,
Свыше ты осененная
Вся озаренная
Светом и словом!

Мне кажется, к этим, самому еще поэту неясным образам, относится следующее лучшее стихотворение его, столь полное автобиографических черт. Какая мелодия! Вот тема, не переложимая в размеры Некрасова:

10 В тумане утреннем неверными шагами
Я шел к таинственным и чудным берегам.
Боролася заря с последними звездами,
Еще летали сны — и схваченная снами
Душа молилася неведомым богам.

В холодный белый день дорогой одинокой,
Как прежде, я иду в неведомой стране.
Рассеялся туман и ясно видит око,
Как труден горный путь и как еще далеко
Далеко все, что грезилось мне.

20 И до полуночи не робкими шагами
Все буду я идти к желанным берегам.
Туда, где на горе, под новыми звездами
Весь пламенеющий победными огнями
Меня дождется мой заветный храм.

30 Нам думается, здесь очень точно г. Вл. Соловьёв очертил свое историческое положение — как человека в момент какого-то исторического излома, в котором ему самому больно, где он занял некрасивое и неестественное положение, и не может из него ни рвануться назад, ни рвануться вперед. Думается, что болящей его душе необходимы забвение, отдых, утешение — и стихи, естественно, появились как ответ на эту потребность. Но и читателя — не увлекая, они ласкают и балуют вкус и фантазию.

ПИСАТЕЛЬ СЕМИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

*Н. К. Михайловский. Литературные воспоминания
и современная смута. СПб. 1900. 2 тома*

«Чти отца и мать твою» — на чем это основано? Не на одном роде, но и на усталости. «Отец и мать» — устали, усталые люди, и вот это одно создает им в нравственном обществе особое положение покоя, уважительности, деликатной осторожности в отношении их слабостей и некоторого подчеркивания их положительных качеств. Пушкин с обычной простотою и верностью передал это чувство усталости в «Телеге жизни»:

С утра садимся мы в телегу;
Мы рады голову сломать,
И, презирая лень и негу,
Кричим: пошел!..

Но в полдень нет уж той отваги;
Порастрясло нас, нам страшной
И косогоры, и овраги;
Кричим: полегче, дуралей!

Да, в самом деле: не только мы щадим под старость человека, но в конце длинного перегона щадим почтовую лошадь; и иногда сделаем окрик, но бич не подымется. Хорошо или плохо бежит, но она бежала — и это достаточный мотив не понукать ее более. Устает человек, но может быть никто так не устает, как писатель, эта вечно горящая и даже вынужденная гореть искра. Она тухнет. Это-то и выражается самую сильную формой усталости. «Голова моя, голова моя! Душа моя, душа моя!». Все уже лежит в томах страниц; все пропылало; все была жизнь, и вот — нет более жизни; но тут приходит на память стих другого поэта:

И следом печальным на почве бесплодной
Виднелся лишь пепел седой и холодный;
И солнце остатки сухие их жгло,
А ветром их в степи потом разнесло.

Литература наша за этот век ясно разделяется на две половины: учителей и продолжателей. Учителя — инициаторы, поднимавшие новь общественного сознания. Этих учителей мы находим в самых разнообразных лагерях не только крайне охранительных, но и крайне радикальных. Здесь Добролюбов и Катков — в одной линии, с одними правами. Еще этих учителей можно назвать раскольничьим термином «уставщики». Они чинили и, наконец, сочинили «устав» литературы в смысле образа мышления, манеры письма и даже образа литературного поведения. Такие «уставщики» — Карамзин для историко-национального сознания, Грановский — для положения профессора, Белинский — для деятельности критика и, пожалуй, журналиста. Есть более узкие сферы литературы, есть в ней побочные, отделившиеся течения — и каждое из них имеет тоже своего родителя и «уставщика». На вопрос: «Кто вы?», сразу и вообще предложенный, русский растерянно и впопыхах только и мог бы ответить: «Литература — вот я». Все прочее у нас гораздо более зависимо, гораздо менее оригинально; все прочее росло не на своем фундаменте и есть отражение в русской душе чужих и даже чуждых стихий.

Г-н Н. Михайловский был продолжателем; он пришел лет на десять позже, чем, может быть, хотелось бы ему, чем, может быть, следовало бы ему. Фундамент того мышления и того склада чувств, к которому ему пришлось примкнуть, был выведен первою и старшею линией людей шестидесятих годов с Добролюбовым в главе. Те трудились перед реформой, в ожидании ее — и вся сила напряжения, и вся радость ожидания, и все уныние от виденного старого — выразилось в них с наибольшею яркостью и полнотою. Тут положение историческое

создавало талант; оно же и бесконечно помогало таланту, выводя писателя в «уставщики». После реформы нельзя было занять такого положения и, в сущности, нельзя было иметь такого таланта; как хотите, но зрелище жизни, например, до-реформенной и на заре вот-вот реформы — подымало крылья. Нельзя быть орлом в натопленной бане; нельзя вообще быть вторым, во второй минуте полета — с психикой и ощущением первого движения, начального положения. От этого вся вторая линия людей шестидесятых годов, которую по центру ее деятельности можно, пожалуй, назвать людьми семидесятых годов — была уже слабее, тусклее, малозначительнее, малоценнее. В нее попал или точнее к ней принадлежит г. Михайловский.

Начальный полет, первая его минута создает великий энтузиазм, неудержимую искренность. Кстати заметим, что все «уставщики» нашей литературы, кажется, без какого-либо исключения, имели краткую жизнь, можно сказать — фатально краткую. Все продолжатели — долго жили и живут. Эти «продолжатели» не от недостатков души своей, но уже от самого исторического положения не имеют ни того энтузиазма, ни той искренности, как люди первой линии полета. Взамен этого они имеют слишком много возможности большему научиться, более созреть, стать более рассудительными и более образованными. Все эти особенности мы обильно наблюдаем у птицы самого долгого, долголетнего полета нашего либерально-народнического течения в литературе г. Михайловского. Он так хорошо, ровно правит своею литературною ладьею, что имя энтузиаста просто не может придти на ум при чтении тысяч его страниц; энтузиаста и даже... увлеченного или очень уверенного борца; но никто не откажет ему в том, что он столь же долго учился, как жил, и что он учился, наблюдал, всматривался все время, как писал. Он «maestro» позднего часа: оркестр устал, оркестр расстроился, немножечко фальшивит; тут что же сделает поэт, творец, энтузиаст? Тут нужно холодное и нисколько не творческое ухо капельмейстера, его самообладание, его знание свойств инструментов и сил каждого скрипача. Такова и была в течение очень долгих лет роль в литературе г. Михайловского.

Не так давно окончилось издание «Полного собрания его сочинений», — «с портретом автора», уж такая слабость капельмейстеров и первых скрипок. Кстати: просто нельзя себе представить Белинского, издающего себя «с портретом автора». Почему? Величие просто и спокойно. Вторая линия послабее и как-то не тактична в полете. Крыло не так твердо реет в воздухе. Около томов будто бы только борьбы, идеи, убеждений — вдруг... «портрет автора»... К чему? Почему? Дамы просят? Отечество ожидает? Тем паче, что портрет автора Михайловского, несколько раз печатавшийся в иллюстрированных изданиях, всем известен. — «Тот портрет плох, вот этот — лучше», тут какая-то влюбчивость автора в публику или предположение в публике влюбчивости «в себя», — предположение, решительно неудобное «вслух»; а портрет при сочинениях — это конечно «вслух». — «Вы любите меня читать, и вот я вам дарю еще свой портрет». Как это не похоже, как это далеко от никитинского:

Вырыта заступом яма глубокая...

или от добролюбовского:

Милый друг, я умираю...

Старые идеалисты! Великие птицы первого полета! У г. Н. Михайловского нет таланта души, — может быть первого и главного таланта писателя. Он — умен; постоянно и непрерывно умен; но этого такта, который в нужную минуту шепнет писателю и шепнет всякому простому смертному: «Этого не делай, это не хорошо», и не объясняя, почему «не хорошо» — у него нет. Но «не делай этого сам», не делай особенно, становясь или желая быть поставленным возле Белинского, Добролюбова, Щедрина, Некрасова, этого он не умел прочесть в своей душе, и просто этого душа ему не сказала. Таким образом, он несколько душевно груб при блистательных внешних дарах. Вообще при вопросе: идет ли все у Михайловского, т. е. все его как природные дары, так и благоприобретенные интересы, 10
вглубь или в широкое внешнее разлитие, мы, конечно, ответим, что — в последнее. Широкий ли писатель Михайловский? — Да! Глубокий ли? Сомнительно. И здесь проходит граница самой его «умности». Он умен обыкновенною и почти практическою, а главное — гладкою формою ума. Тут опять хочется привести стих:

Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.

Удивительно, как картины поэтов физиономизируют людей. В четырех этих строках — весь Гоголь! Вот — утес в нашей литературе! И биографически, как и в психике творчества — до чего он стар, ветх, какие первобытные морщины бороздят его странное чело! Но оставим Гоголя; этих «старых морщин» вовсе нет в Михайловском; «с портретом автора», как он юн! и просто бестактен по молодости психологических лет. 20

Неизвестно, почему, издав «Собрание сочинений», г. Михайловский не поместил в него длинного ряда статей, печатавшихся в «Русской Мысли» и в «Русском Богатстве» под заглавием «Литература и жизнь». Статьи эти и составили лежащий перед нами сборник. Здесь смешаны статьи, так сказать объективного характера: оне что-нибудь излагают или против чего-нибудь полемизируют; 30
и статьи личного и автобиографического характера, разные литературные и житейские воспоминания. Те и другие читаются легко, как вообще все, что пишет г. Михайловский; все оне и постоянно интересны, и по уму автора большею частью заставляют с собою соглашаться. Вообще замечательно, что за столь долгие годы литературной деятельности г. Михайловский не возбудил горячей полемики против своего «образа мыслей», хотя полемика, и иногда горячая, лично против него была. Кажется не было никого, кому бы очень не нравились его мнения; но было, очевидно, много людей, которым почему-то не нравился он сам. Здесь опять противоположное с первой линией шестидесятих годов, которая возбудила бурю против своих мнений, но против которой лично едва ли кто-нибудь что-ни- 40
будь имел. Правда, мнения г. Михайловского всегда к чьим-нибудь примыкают; они или комментируют западного писателя или своего «чистого шестидесятника», или борются, однако непременно на фундаменте какого-нибудь шестидесятника или западного авторитета. Знаменитый «субъективный метод в социологии», который будто бы изобрел Михайловский, есть смесь позитивизма с романтиз-

мом; но и романтизм, и позитивизм — не его, и даже не наше, не русское. Из существенно чужих материалов г. Михайловский делает превосходную литературную русскую работу, с огромной самостоятельностью в выборе, в рассмотрении материалов, в критике их, со вкусом и особенно с умом в их компановке. И в данном сборнике некоторые его статьи (о г. Ковалевском — психиатре и о Брандте — зоологе) — превосходны. Вообще если появляется в литературе что-нибудь смешное, экстравагантное, наивно-детское, никто так едко, талантливо и, наконец, с таким пониманием дурных сторон в человеке и писателе не сделает этого, как г. Михайловский. Этот мужлан крепко ухватит за ухо и дерет немилосердно. В нем нет мудрости старца, ни прелести ребенка. В высшем смысле сочинения его не поучительны, и, в сущности, они сухи и не заманчивы. Но, проходя по улице, иногда залюбуешься лихой сценой расправы: таков не весь, но очень значительная часть словесника Михайловского.

Удивительно, что при таком огромном, и главное, трезвенном уме, он допустил себя до бестактностей. В автобиографических очерках он рассказывает: «Горный институт, в котором я учился, был закрытым заведением, но в него проникали однако разные влияния из взбудораженного уже совершившимися и предстоящими реформами общества. Я был особенно заинтересован судебной реформой, о которой, впрочем, имел смутное понятие. Это однако не мешало мне мысленно говорить блестящие речи в качестве защитника вдов и сирот (!? Что за фантазия! или — претензия?). Читатель, вспомните свою молодость и не будьте слишком строги к легкомысленным мечтам 18–19-летнего мальчика. Почему я воображал себя оратором, я не знаю. Может быть, тут были виноваты маленькие разговорные успехи в кругу товарищей, а может быть, некоторая способность и в самом деле была, да атрофировалась от неупотребления» («Мой первый литературный ответ»). Способность замерла, но едва ли умерла; скорее она диалектически преобразовалась и создала главные его качества писателя. Действительно в духе его есть какой-то адвокатский дух, гибкий, настойчивый, неутомимый; и несколько безразличный к средствам победы. «Ты — лучше меня, ты — Аристид; но я Фемистокл и бью тебя». К этой категории принадлежат многие его литературные расправы (с покойным Юзовым; полемика со Страховым). В одном месте он говорит, что после «людей эстрады и сцены самолюбие наиболее развито у литераторов, и это лежит в самых условиях их профессии». Едва ли это вообще и едва ли у всех. Например, у Каткова, любим мы его или нет, мы отвергнем всякий момент собственно в узком смысле «эстрады и сцены». Но кое-какие уже ранние «разговорные успехи», даже вызвавшие иллюзию «мысленного произнесения речей с адвокатской трибуны» — бесспорно устанавливают в Михайловском ранний и врожденный момент «эстрады и сцены». — «А вот и портрет мой». И вообще тут идет линия холодного внешнего блеска и самолюбия.

Он постоянно немного кокетничает. Если вчитываться в его речь и не оставлять без внимания намеренно им роняемых словечек — видно, что он постоянно себя подкрашивает. Нельзя же на эстраду вовсе без грима, как бы ни был хорош *au naturel**. «Для меня лично, литературные воспоминания — плеоназм. Иных воспоминаний, кроме литературных, я бы и не мог предложить читателям, пото-

* без прикрас (*фр.*).

му что вся моя жизнь протекла в литературе. Я никогда не служил ни на частной, ни на государственной службе, никогда не носил мундира, кроме школьного, никогда не занимался торговлею, хозяйственными делами и т. п. Я даже почти никогда не занимался педагогической деятельностью, которая в форме давания уроков, можно сказать, обязательна для бедных молодых людей, приезжающих в столицы учиться или пробивать себе жизненный путь. Говорю „почти“, потому что однажды в трудные времена давал уроки взрослому немцу и с тех пор закаялся» (там же). Ну, стало быть вообще не репетировал. Что же говорит о «нет»? Но тонкой кисточкой он провел нужную черту около «нет» и у читателя остается почти зрительная картинка «бедного молодого человека, который пришел в столицу учиться и ему было трудно». Таких обмолвок — бездна. «Тут нет родинки, но я посажу родинку». И выходит... лучше, лучше и лучше для писателя, для человека.

Но... да здравствует труд и томы страниц, умных, занимательных, почти всегда талантливых. Нет, попробуйте вы с задушевностью и искренностью, и мудростью, какие предполагаете в себе, 30—40 лет быть непрерывно возбужденным и непрерывно умственно возбуждать, и умеетесь. На пять лет хватит искренности, на десять лет хватит, а на 30 лет не хватит. Просто — не хватит души, душа разорвется, как старый изношенный платок. Пророки — те сотворили по 10 страниц. Но если мы возьмем 40 лет «правды» Тургенева или Толстого — то ведь те творили не в редакциях, а в Ясной Поляне и Буживале, т. е. на отдыхе, в досуге. Поставьте вы Тургенева общим всех сотрудников духовным корректором в журнале — и через пять лет труда от него остались бы лохмотья. А труд — есть честь, а труд — есть правда. Посему, встречая под старость «лохмотья» вместо когда-то «милого образа», мы прежде всего воскликнем: «Мы этого не могли бы, это больше наших сил!». В недостатках писателя есть одна мучительная сторона: когда обыкновенный смертный, молчаливый смертный дурен — от этого бывает дурно другим, семье, ближним, обществу. Но «дурен» писатель или что-нибудь в писателе? Его тогда просто не читают, мало читают, в пропорцию дурному мало. Таким образом, язвы писателя язвят только его самого, нимало ни на кого не распространяясь. Никому не больно; но он — болеет. Еще причина, еще мотив, дабы как можно бережнее относиться к укутанной фланелью, ватой, обставленной костылями фигуре. Тут не только очень много труда; тут не только большие способности, знание, образование; но и особенные, мало сродные и известные другим, тягостные боли...

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

<<Ежемесячные Сочинения» И. И. Ясинского>

Появилась третья книжка очень нарядно издающегося журнала «Ежемесячные Сочинения» г. И. Ясинского. Напомним читателям, что «Ежемесячные Сочинения» — это заглавие первого ежемесячника в России, издававшегося в середине прошлого века академиком Мейером, и где между бездною ценного научного материала, по преимуществу этнографического и исторического, были по-

мещены описания мореплавания знаменитого Беринга, открывшего пролив, отделяющий Азию от Америки, и описавшего море, которое получило его имя. К первому номеру «Ежемесячных Сочинений» приложен портрет г. Вл. Соловьёва, передающий классически известные черты его лица, исполненные натуживания и скорби. «Как трудно жить этому человеку» — невольно произносишь при взгляде на портрет. В книге есть проза и стихи, рассуждения и беллетристика. Недурен, хотя и не везде осторожен в выражениях, критический очерк г. М. Чуносова — «Кошмарное время», посвященный г. Горькому и его творчеству. Рассуждение «Дух и плоть», где выведен «учитель Вл. Соловьёв» и «ученик», нам ¹⁰ показалось тонкою иронией над аскетическими теориями. В примечании сказано, что все слова, которые говорит «учитель Соловьёв», взяты из его «Оправдания добра». Возьмем пример:

Ученик. «Есть аскеты, которые утверждают, что мы должны приобретать власть даже над дыханием и сном?».

Учитель. «Самостоятельного нравственного характера такие упражнения, как ограничение сна и обуздание дыхания — конечно не имеют. Но для власти духа над телом желательно, чтобы дыхание, как основное условие жизни и постоянный способ общения нашего тела с окружающей средой, находилось под управлением или контролем человеческой воли. Некоторый контроль воли над ²⁰ дыханием требуется уже благовоспитанностью. Постепенным упражнением легко достигнуть того, чтобы не дышать ртом ни во время бодрствования, ни во сне. А затем дальнейшим шагом будет уметь удерживать всякое дыхание на более или менее продолжительное время. У православных аскетов кое-где и теперь „ноздренное“ дыхание, а также полное удержание дыхания принимается как одно из условий так называемого „умного делания“»... (стр. 33).

Не правда ли, похоже на езду на одноколесном велосипеде? Я раз видел — умеют некоторые. Диалог, веденный с тонким-тонким, едва заметным юмором и вылущивающий всю пустоту и бессодержательность людей, которые в години ³⁰ мирового голода и холода, на сухих грибах и подсолнечном масле плывут в царство небесное, — подействует лучше всякой философии.

А. ЛЕЙРИЦ. ПРОТИВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

*С предисловием Макса де-Нансути. С 84 рисунками.
Пер. с франц. под редакцией И. Я. Шевырева. СПб. 1900. Стр. 150*

Где то бесхитростное и доброе время, когда общество наше так зачитывалось Гартвигом, Брэмом, Фохтом, Гексли, когда оно не делало шагу вперед в философовании без друзей-животных, без друзей-растений, без геологии земной коры и без светил небесных, по Митчелю, Араго, Гершелю? Книжные фирмы старались удовлетворить ненасытному голоду общества и каждый год выбрасывали на рынок новые книжки, лучше вчерашних, с чудно раскрашенными иллюстрациями. Все прошло! Прошла весна нашего нового просвещения; пришли ⁴⁰ скучные философы, социологи и экономисты и такого мрака натащили в литера-

туру, такого озлобления и умственного сора, точно бедному русскому обществу приснился новый сон Татьяны. А между тем животные — наши лучшие друзья, и в простом интересе к ним и любви к ним лучший амулет против таких сновидений.

Книжка Лейрица написана прелестным языком. В ней рассказывается о пауке, осе, блохе, муравье, комаре и моските, прусаке и корабельном таракане, клопе, слизняке, комнатной мухе, моли, улитке, земляном черве, мокрице, скорпионе, гадюке, крысе и т. п. Как читатель видит — тут из всяких отделов, и животные не вовсе противные или не все противные. Около хорошо выполненных рисунков идет рассказ, и очень хорошо сделано, что тут введены различные «однажды»... т. е. введен случай, приключение, почти анекдот с человеком, совершившийся по милости какого-нибудь замысловатого паука. «Одна дама играла на арфе в павильоне, расположенном среди сада, когда, подняв в увлечении глаза к потолку, заметила большого паука, усевшегося над ее головою. Ее вдохновение сейчас же остыло, и она перенесла инструмент на другой конец комнаты, но едва только инструмент снова издал гармонические звуки, как паук начал двигаться и опять уселся над ней, без движения, как бы пригвожденный к потолку. Дама, любопытство которой было возбуждено этим фактом, еще раз перенесла свой инструмент на другое место и в течение некоторого времени не начинала играть: паук не двигался и сидел неподвижно. Но едва только струны начали звучать, как он прибежал опять и уселся над инструментом. Дама несколько раз повторяла опыт и ей каждый раз удавалось привлечь к себе паука из какого угодно места комнаты». Рассказчик, преподаватель высшей городской школы (Б. Сэ) в Париже, объясняет однако этот и подобные случаи не музыкальностью паука, а тем, что «от сотрясения воздуха при игре на каком-нибудь инструменте паутина дрожит и тогда паук, полный беспокойства, оставляет свое место и бежит наудачу, обезумев от страха». Но ведь он бежит не от музыки, а к музыке, и в других передаваемых в книге случаях ясно видно, что сеть сотрясаемой будто бы паутины тут не играет никакой роли. Возможно однако, что звуки не музыкальностью своею, но именно как вибрации воздуха возбуждают приятное или неприятное в нем щекотание, и странные перебегания его и помещение в какой-нибудь точке, где он остается неподвижен, не показывают ли, что он избирает определенный акустический фокус, однако не как слуховой, а как вибрационно-осязательный.

Редкие теперь у нас любители натуралистических книжек прочтут эту с истинным удовольствием.

НОВАЯ РАБОТА О ТОЛСТОМ И ДОСТОЕВСКОМ

Лев Толстой и Достоевский. Д. Мережковского.
«Мир Искусства», 1900. №№ 1—12

Есть много признаков, что одна чистая, беспримесная литература не удовлетворяет более русского ума и сердца, т. е. не удовлетворяет проходимому фазису нашего исторического развития. И этим только можно объяснить значительное

забвение, в каком находятся Тургенев, Гончаров, Островский. Три названные имени принадлежат людям, в которых стиль писателя, существо писателя выразилось наиболее законченным образом. Кристалл чистой и строгой литературности не имеет в них никакого изъяна, ни излома, ни пятнышка; ни в особенности, какого-либо прибавления. Восклицание Репетилова:

Да, водевиль есть вещь, а прочее все гиль...

с соответствующую подстановкою на место «водевиля», романа, рассказа, комедии, но вообще тетрадошки, книжки, строк, написанных и напечатанных, можно представить перенесенным в душу трех *maestro* нашей литературы, и, даже хорошенкочко развив и обогатив это репетиловское восклицание, можно из него получить их полную душу. Если словами *décadence*, «декадент» выражать, без упрека и порицания, вообще упадок чего-нибудь, начало перерождения или вырождения, то, конечно, Толстой и Достоевский представят собою момент перерождения литературы и литературности вообще во что-то, может быть, высшее, но во всяком случае иное, инородное по отношению к литературе. Главная особенность и огромный, еще не разгаданный интерес этих двух писателей в том и лежит, что в них и через них литература русская, во всей огромной толще своей, вырождается, чтобы перейти... во что? — никто не знает. Судя по многому — в религиозное творчество. Но, во всяком случае, в какое-то действие, действительность, плод. Дерево было все зеленое и зеленое. Каждый новый момент и каждая новая точка на нем до необозримости, до бесконечности — было все зелень. Вдруг рост остановился. Вместо зеленого одна точка покраснела, поалела, обнаружила что-то лиловое. Ничего похожего на прежнее и, вместе с тем, рост всего прежнего прекратился. Перед Толстым и Достоевским — целый пук талантов, притом очевидно более ранней, менее зрелой формации. После Толстого и Достоевского — ничего или почти ничего. Ничего сколько-нибудь равного. Кой-где, медленно, с ужасными потугами, еще выдавится бедный листочек, недолговечный и маленький. Но вообще литература в смысле любви и интереса к самому чекану слова, к лепке скульптурных и живописных форм, к музыке строк — явно не растет после них и около них. А они сами и все общественно-литературное движение около них, — наливаются целою радугою красок; благоухают; получают необыкновенные фантастические очертания, то умиляющие всех, то досаждающие всем; и, словом, их отношение к литературе как цветка, который убивает «зелень» в растении, «зеленое растение» — бросается с первого взгляда.

Читая «Братьев Карамазовых», читая «Чем люди живы», «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерову сонату», неужели мы не воскликнем: «декадентщина»? Т. е. в смысле линий рассказа, компоновки сюжета и вообще чистых и строгих требований словесного художества, неужели мы не почувствуем, что тут все это отошло на задний план, а на передний план выдвинулось нечто совершенно иное, что у Островского, Гончарова, Некрасова, Тургенева не занимало еще никакого места? Литература и литературное явно гибнет, сходит на «нет» и между тем без всякого разделения и отделения, без разрыва в существе, из самого так сказать теста литературного формируется вовсе новое существо, одновременно и убившее литературу, и лучшее, нежели она. Перед «Асей» — «Карамазовы» чудовищность; «Смерть Ивана Ильича» после «Казачков» — болезненна, неприятна, ядо-

вита, казалось бы не нужна. — «К чему это? Что это такое?». Критика так и спрашивала: «Не понимаем, что растет в русской литературе». Литература умерла. «Ася» или «Первая любовь» не повторимы более. Но все, уже вовсе без литературного интереса следя за возрожденным новым существом, говорят: «Это — нужнее литературы, это — ценнее, выше, это реже и труднее ее». Но кажется нет сомнения, что в этом направлении русская история еще мучается родами, и все здесь предстоит, или предстоит — главное. Что же такого окончательного и решительного сказал Достоевский и Толстой? Ничего. Бесповоротного и для всех ясного? Ничего. Они сами — в колебании. «Я — полон речами и дух во мне теснит меня. Утроба моя — как вино неоткрытое: она готова прорваться, подобно новым мехам. Поговорю — и станет легче мне». Так говорил самый юный из друзей Иова, на гноище его; и эта «полнота речами» — вот и вся психика, весь круг творчества обоих писателей, которые ведут, бесспорно ведут нас, идут сами, торопят за собою всех, но куда?! Пока это темно для всех и нисколько не ясно для самих ведущих. Склон поверхности, по которому бегут реки — есть. Океана не видно.

Не только в смысле творчества иссякла чистая литература, но писатели чистого литературного стиля не возбуждают и интереса к себе. Все читают (однако все ли уже и читают?) Тургенева, но никто не изучает; не обрабатывают его биографии, не отыскивают родники его созданий, не собирают в одну картину его воздействие на общество и литературу. Вне всякого сомнения — это нисколько не заслужено; столь же несомненно, что будущее, но впрочем не сейчас будущее, станет заниматься Островским и Тургеневым, вероятно, больше, чем Достоевским и Толстым. Вообще в последних писателях есть что-то специальное; но уже специальна самая наша эпоха, имеет специальные свои цели, специальный свой аромат, и от этого эти два писателя возбуждают специальный к себе интерес. Достоевский как будто не умирал; Толстой как бы в расцвете сил и творчества: до того жив, чуток и многообразен интерес к ним. Все хотят разгадать: «Да что такое в них? откуда? И во что, куда мы с ними перерождаемся?».

С начала этого года начала печататься капитальная работа о Толстом и Достоевском г. Мережковского, о которой, судя по законченной первой части «Толстой и Достоевский, как люди», можно предполагать, что из всего до сих пор написанного об этих двух писателях — она будет самая обильная по содержанию и ценная по подробностям. До сих пор «пророчествовали» о них, или «пели песни» около них, и этим исчерпывалась работа, очень мало критическая. Этот ряд полупесен, полупророчеств открыл покойный Громека замечательно изящным, но юношественным этюдом: «Гр. Л. Н. Толстой и его последние произведения». Другой ряд были порицания, насмешки: он был начат гораздо ранее. Можно считать почти насмешками по степени непонимания ранние статьи о Достоевском Добролюбова и Писарева; сюда принадлежит и очень поздняя, исполненная преднамеренного непонимания, статья «Жестокий талант» (о Достоевском) г. Н. Михайловского; Скабичевский и Протопопов, как обыкновенно, положили по самому увесистому булыжнику в эту порицательную пирамиду. Но собственно излучения, анализа, и особенно документального анализа, около этих двух писателей не было.

В самом начале работа г. Мережковского не обещала быть интересна; уже появлялись дурные признаки, что он не столько будет заниматься Толстым и Дос-

тоевским, сколько путаться около них в своих собственных мыслях. Это было дурное предзнаменование. Но документ одолел. Незаметно для себя, г. Мережковский вошел в документы, почувствовал страсть к документу, открыл великий интерес в документах, он стал подбирать, находить, пришивать строчку к строчке из частных писем, посторонних наблюдений, автобиографических признаний и сквозящих автобиографическим светом страниц творений — и его собственные умозаключения, его итоги около этого документального материала получили высокую убедительность и, наконец, прямо умственную прелесть. Признаемся, мы никогда не были увлечены предыдущими сочинениями г. Мережковского, ни его критикою, ни романами; и столь же чистосердечно и невольно увлечены 10 этою работою, которую положительно должны признать самым лучшим, и, может быть, первым зрелым трудом уже давно пишущего, но как-то всегда сбивчиво и неясно, литератора. Нам кажется, по совокупности своих даров и средств, г. Мережковский — комментатор. Свои собственные мысли он гораздо лучше выскажет, комментируя другого мыслителя или человека: комментарий должен быть методом, способом, манерою его работы. Как только он остается один, без имени и факта около себя — он мутен, не ясен. Чтобы бульон очистить, нужно опустить сырое яйцо в него. В мышление г. Мережковского нужно опустить ко- 20 го-нибудь, не Мережковского, и тогда Мережковский становится прозрачен. Всякий человек должен знать особенности своих даров, и мы позволяем себе высказать эту мысль не без надежды, что она будет принята, как совет.

Все необъятное творчество Толстого, как говорит г. Мережковский и как можно было догадаться, есть в значительной степени автобиографическое признание, есть возня с собою, есть возня около себя, около своего действительно огромного «я» и огромной истории внутреннего развития этого «я». Толстой слушает только себя; свою грудь и свое чрево, свою совесть; и по движениям в себе угадывает жизнь мира. «Человек есть мера вещей», — говорили еще древние; «человек есть микрокосм, похожий на макрокосм», — определяли в средние века. И разгадка Толстым мира или, точнее, его гадания о мире ничего не теряют 30 оттого, что они столь субъективны. Г. Мережковский выдержками из писем Толстого к разным людям (много — к Фету), цитатами из воспоминаний о нем, особенно брата его жены, о вырывавшихся у него словечках — доказывает, до какой степени даже столь объективные создания, как «Казачьи» и «Война и мир», суть в действительности только выразители фазисов его развития, состояний его «я», крушений этого «я», восстаний этого «я». Вся прелесть огромной, мелочной, внимательнейшей работы г. Мережковского заключается в том, что творец — Толстой и житель земли — Толстой сплетаются, срастаются в этой работе; ви- 40 дишь одного Толстого, и творения его становятся огромною биографиею, а эта биография приобретает интерес какого-то мирового романа, без границ, между одним и другим, с величайшим движением и жизнью в обоих. Около этого воссоздания целостной личности проходит деликатная и тем более убийственная критика тем, которыми волновался Толстой.

Нам показали в главе четвертой исследования замечательными мысли об известных усилиях Толстого «стать бедным», отказаться «от имущества». Отказаться от имущества?! Г. Мережковский очень точно и очень фактично на примере Толстого объясняет, что первые «корни» имущества — в плоти человеческой, в крови человеческой, в сердце человеческом; что это только кажется, что иму-

щество есть придаток к человеку, мешок в руке его, который можно держать или можно выпустить из рук. Вырвать его из сердца можно только вырвав плотские и кровные в сердце привязанности, и на этом-то сцеплении основано слово Спасителя: «Враги человеку домашние его». И затем г. Мережковский цитирует «Власа»:

Роздал Влас свое имение,
Сам остался бос и гол
И собирать на построение
Храма Божьего пошел.

Толстой рванулся к этому идеалу; но за ним, за его спиной — будущность им¹⁰ рожденных детей, с ним связанной жены. Можно было все-таки уйти в идеал «босого и голодного», однако не только отлепившись, но и с истечением крови оторвав от себя, отторгнув, отбросив грубо и жестоко столько лет с ним связанную, да и прямо из него текущую семью. Этого он... просто не предвидел в своем решении, которое и осталось неисполненным или искусственно исполненным, ложно исполненным.

В высокой степени тонки и замечательны наблюдения г. Мережковского над отношениями Толстого к Тургеневу и к Достоевскому, особенно к первому: «Это — одна из труднейших и любопытнейших задач в истории русской литературы. Какая-то таинственная сила влекла их друг к другу, но когда они сходи-²⁰ лись до известной близости, — отталкивала для того, чтобы потом снова притягивать. Они были неприятны, почти невыносимы и вместе с тем единственно близки, нужны друг другу. И никогда не могли они ни сойтись, ни разойтись окончательно». Автор следит за нитью этого странного почти романа между ними. Тургенев раньше всех заметил силу Толстого: «Когда это молодое вино перебродит, выйдет напиток, достойный богов». Умирая, он вспоминает о нем и обращается к нему с известным письмом; тут какая-то психическая нужда. Вообще говоря — это известно; но менее обращало себя внимание, что собственно Толстой, оскорблявший Тургенева, грубый с ним, не менее неодолимо влекся к нему. В словах предсмертного письма Тургенева есть какой-то недоговоренный³⁰ страх за Толстого, безмолвное недоверие к его христианскому перерождению, Толстой ничего не ответил на письмо, по крайней мере, перед лицом русского народа, как перед лицом русского народа обратился к нему Тургенев. И как знать, не уязвило ли его это письмо, исполненное той беспощадной силы правды, которую люди говорят только на краю гроба, болезненнее, чем какое-либо из их прежних столкновений? Не повторил ли он в тайне сердца своего с пробудившеюся снова неодолимо ненавистью, с напрасным желанием презрения: «Я этого человека презираю» (слова о Тургеневе в письме к Фету). Как всегда в тех именно случаях, когда казалось бы следует ожидать от него самого великого, правдивого, всерешающего слова, он замолчал и пропустил мимо ушей эту последнюю⁴⁰ мольбу умирающего друга и врага своего, как недостойную ответа. Тут действительно какой-то секрет двух огромных умов, тайны между которыми мы не умеем рассудить. «Я чувствовал, — признавался Тургенев, — что он меня ненавидит, и не понимал, почему он постоянно ко мне обращается». Можно заметить, что Тургенев умственно тоньше Толстого, а Толстой природными задатками сильнее

Тургенева; Тургенев оскорблял его критикой его «идей» и, невзирая на это, Толстой вечно тянулся к этому мучительному для него и однако в уровень с ним стоявшему критику. В сущности к этому сводится одно признание Толстого, которое приводит г. Мережковский: «Мнение человека, которого я не люблю, и тем более, чем более вырастаю, мне дорого, — Тургенева». Из их отношений видно, что беспокойная сторона идет от Толстого; что не Толстой Тургеневу духовно нужен, «потребен», а Тургенев Толстому; но едва он приближается к нему, как с болью отскакивает и с выражениями презрения, неуважения, очевидно искренними. Тургенев бесконечно уже, меньше Толстого; это буйвол и сторожевая собака; но последняя может быть гораздо умнее первого, и он, бодая ее, в то же время может обнаруживать к ней послушание. Вот что-то такое не любящее, но желающее выслушать и болящее от выслушивания есть между ними. В самом деле, вот отзыв Тургенева о Левине, конечно правильный и, конечно, нестерпимо болезненно отдавшийся в сердце творца «Карениной»:

«Разве мог ты хоть на секунду допустить... что Левин вообще способен кого-нибудь любить? Нет, любовь — это одна из тех страстей, которые уничтожают ваше „я“... Левин же узнав, что он любим и счастлив, не перестает заниматься своим собственным „я“, не перестает ухаживать за самим собою... Левин — эгоист до мозга костей»...

Вообще Тургенев, этот художник, мыслитель, политик, интересовавшийся всем миром и всем, что в мире, смотрел, как на некоторый театр нравственных марионеток, на внутреннюю возню с собой Толстого; но нам кажется тут все чего-то не понимают, т. е. не понимаем чего-то все мы. Ведь из этой «возни» бесспорно выросло все творчество Толстого, т. е. выросло огромное; стало быть там вовсе не все одни уж «марионетки», хоть и выражается это неуклюже коротко: «неделание», «непротivление», «не надо суда», «спасительно вегетарианство». Так Толстой выражает; но может быть, это бессилие выразить? Рационализм слова для выражения иррационального? Просто человек не умеет сказать о себе миру, а чувствует что-то огромное, испытывает что-то огромное. «Так вегетарианство?» — и Тургенев смеется. — «Так томитесь богатством», — и смеются другие. Толстой мучительно раздражается. Но может быть, он в самом деле прав, и «вегетарианство» и «бедность» суть краткие и совершенно неудачные формулы великих мучений великой души, для которых не найдено слова. Ведь в самом деле Толстой и менял до обратно противоположного формулы, как напр., «всем надо рождать» на «никому не надо рождать».

Столь же психологически интересны отношения Толстого к Достоевскому. Едва пронеслось известие о смерти последнего, как Толстой записал впечатление: «Я его считал моим другом и иначе не думал, как то, что мы увидимся, и что теперь только не пришлось, но что это мое». Мережковский более чем основательно спрашивает, каким образом при чрезвычайной легкости видеться — два корифея русской литературы, так бесконечно интересные именно во взаимно-освещении, так и не увидались, просто — даже не познакомились. Тут конечно тайна: есть сближения — опасные, ненужные. Две огромные силы, даже силы близкие — но пусть каждая действует порознь. Г. Мережковский поднимает чрезвычайно интересный вопрос об этих как бы электрических спаиваниях и расслоениях, притяжениях и отталкиваниях человеческих личностей. Он недаром романист, и романист тут помог историку и критику обратить внимание на то, на

что нужно, и чудесно подобрать материал, даже чудесно формулировать. Возьмем образчик из его анализа письма Толстого о том же Достоевском, сейчас же после похорон последнего:

...«Никогда мне в голову не приходило меряться с ним, никогда, уверяет Л. Толстой. Все, что он делал (хорошее, настоящее, что он делал), — не предполагают ли однако эти скобки, что Достоевский делал и не настоящее, не хорошее, о чем он, Лев Николаевич, здесь, над гробом, считает пристойным умолчать? «Все, что он делал, было такое, что чем более он сделает, тем мне лучше. Искусство вызывает во мне зависть, ум тоже, но дело сердца — только радость».

Вот письмо, слишком хорошо известное. Мережковский заглядывает, именно уже с талантом романиста и психолога: «Как это понять? Что это такое? Слишком ли он здесь скрытен или слишком откровенен? Признается в зависти вообще, но отнюдь не в зависти к величайшему сопернику: в произведениях Достоевского, мол, только «дело сердца» — не более. Неужели, однако, не более? Неужели во всем Достоевском так-таки и нет ничего, кроме «дела сердца», — ни ума, ни искусства, которым бы иногда мог и Л. Толстой позавидовать? Или же сравнительно с «делом сердца» искусство и ум у Достоевского так не важны, так мелки, что о них и говорить не стоит? Но ведь от такой похвалы не поздоровится. А Лев Николаевич, судя по другим частям письма, — плакал и, конечно, искренне плакал и умилялся над Достоевским. Не целый ли лабиринт в этих немногих словах? Попробуйте-ка, разберитесь в них. Снаружи — как просто, как сложно внутри. Кажется, мысль его смотрит мне прямо в глаза, невинная, голая, но только что я пытаюсь поймать ее, она, как оборотень, ускользает из рук моих, и нет ее, и я не знаю, что это было. Мне только холодно и жутко. И в этом письме, как, впрочем, и никогда, не обмолвился он ни одним словом о самом важном, любопытном, вызывающем на неизбежную последнюю откровенность, — об отношении не только своем к Достоевскому, но и Достоевского к нему. Вопрос действительно темен, ибо именно незадолго до своей смерти Достоевский одновременно указал на всемирное значение, тогда еще непризнанное, художественных созданий Толстого, и особенно «Анны Карениной», и вместе произнес резкое и почти презрительное суждение о религиозных волнениях Левина, весьма трудно отделимых от «запросов духа» самого Толстого. Вообще тут Толстому предстояло высказаться; сказать просто «нет» или отчетливо «да», и объяснить, почему, как, что? «да» или «нет»? Но в опасном пункте и в опасную минуту, перед огромным умом соперника и ввиду послепохоронных ему апофеозов, он промолчал. И, как мы настаиваем, — не нужны, опасны эти объяснения. Каждый вол исторически тянет свой плуг.

В высшей степени правильно г. Мережковский расчленяет Толстого на первоначальную языческую почву, на натуру в нем человека, из которой собственно выросли все художественные произрастания его творчества, — и на второе на-
слоение, на галилейские семена, павшие на эту почву, приведшие ее в величайшее брожение, но, в сущности, не привившиеся к ней и лишь исказившие ее. Конечно, это так, и в миниатюре, в личной биографии мы наблюдаем здесь, пожалуй, огромную когда-то коллизию между эллином и иудеем. Но там, в истории — эллинская почва была дряхлая, паханая и перепаханная, и она поддалась, пассивно приняла галилейское зерно. В Толстом — натура Святогора, девственная целина неразгаданной Руси. Она именно только взбудоражилась галилейским зерном;

но при всех «изморных» усилиях гиганта — не поддается и не поддастся зерну. Г. Мережковский, до мелочей рисуя быт в Ясной Поляне, вытаскивая лоскутки писем и воспоминаний, показывает все одно и одно: до чего ясность, веселость, облегченность существования, светлая языческая безмятежность царит здесь; и как, в сущности, не слепляется с этою правдою факта то натруживание себя, которое как некоторый, в сущности, внешний урок задает себе Толстой. Но в его исследовании эти притяжения и отталкивания, это масло и вода, этот восток и запад, вечно хотящие друг друга и вечно несовместимые — слагаются в картину разительных подробностей, везде документально оправданную. Мы перечитываем одну из любопытнейших страниц нашей родной истории и не можем не быть благодарны историку. Попутно им возбуждается множество, в сущности, мировых вопросов, или, точнее, очевидно, из интереса к этим мировым вопросам он избрал двух корифеев нашей литературы как фактический пример, как материальную оболочку некоторой идеальной «мировой души», живущей от века и избирающей отдельных людей для выражения себя, для работы себе. И Толстой, и Достоевский — служат. Чему? Кто за ними? Что далее? Мучительные вопросы. Но было бы нелюбопытно жить, если бы хотя на один день вперед мы знали будущее. Темное грядущее... И тем оно привлекательнее, чем темнее.

СУДЬБЫ НАШЕГО ЖУРНАЛЬНОГО КОНСЕРВАТИЗМА

20 В некоторых газетах появилось известие, что «Русский Вестник», уже не появляющийся два месяца, прекратил свое существование в прежних руках и под прежнюю редакцию и перешел в руки к некоему г. А. Филиппову. Год назад было опубликовано в газетах, что «Русское Обозрение» тоже прекратило свое существование и было продано с аукционного торга, помнится, за странную сумму — семь рублей. Купил его тот же г. А. Филиппов. Что такое г. А. Филиппов? Кто такое г. А. Филиппов? У нас известен, не в действительности, а литературно, один скупщик «мертвых душ», а Пушкин, в известном стихотворении:

Прибежали в избу дети

описывает возню живого с покойником:

30 Где ж мертвец? — Вон, тятя, эвот.
— В самом деле: при реке,
Где разостлан мокрый невод,
Мертвый виден на песке...

Но, по незнанию обстоятельств, мы не можем судить, в котором из этих двух положений находится г. Филиппов, т. е. активно ли он улавливает покойников, или его, несчастного, поймали покойники, и он скорее укрывается от них, нежели сколько-нибудь собирается ими торговать. По крайней мере, отсутствие объяснений о выходе в свет год назад им купленного «Русского Обозрения» говорит

скорее за роль рыбака, чем Чичикова. Но тогда зачем он купил или неужели он никак не мог отделаться от «Русского Вестника»? Или он хочет, скупив и не издавая журналы, уподобиться толстому турку, с огромным чубуком, какие изображаются на дверях табачных лавочек, и подобно этому человеку сесть недвижно и без всякой торговли перед новой лавкою с вывеской:

Здесь лежат все умершие журналы

или:

Оптовый склад всего умершего консерватизма.

Что, в самом деле, за шутка над литературой, консерватизмом и, наконец, над собой? Непонятно. Если он человек идеи, зачем ему два журнала и оба консервативные? Или он так много думает писать? Или ожидает так много подписчиков и сотрудников? Или он, как скупщики товара, не видит отличия журнала от кошачьей шкурки и уверен, что чем больше, тем лучше? А самое главное, почему же, имея средства для покупки второго журнала, он не издал ни одной книжки первого? Во всяком случае русская публика должна с величайшим любопытством ожидать «выхода» г. А. Филиппова с двумя журналами, которые пока что не существуют. «Умер великий Пан», — сказало о себе некогда язычество; «умер наш журнальный консерватизм»; конечно умер, когда оба и единственные русские консервативные журнала прекратили столь странно свое существование. Были сапоги — носили сапоги; износились сапоги — сняли сапоги. И кажется, г. А. Филиппов есть тот фатальный татарин, которого кричат через форточку:

— Шурум-бурум, заходи!..

И затем за кусок яичного мыла спускают ему все, что отягощает собою владельца. Так, помню, некогда продал я пять фунтов Кареева («сочинений» Кареева) за бумажный платок прислуге «к празднику». Этого Кареева мне привезла одна волнующаяся дама:

— Прочтите, по философии истории. Ваша тема и предмет. Говорят — светило...

Если г. А. Филиппов в самом деле купил «Русское Обозрение» за семь рублей и потом не сделал из своей покупки никакого литературного употребления, то конечно ему продали журнальную обложку просто как «шурум-бурум...».

— Эй, кто-нибудь, купи!..

* * *

Мне приходилось сотрудничать в обоих журналах и я смотрю не без грусти на их таковую кончину... Правда, орган, где писал, безотчетно и навсегда становится дорог. «Русский Вестник» я знал в редакторство Ф. Н. Берга. Это был человек с решенными взглядами на вещи, который более не сомневался, не волновался, не полемизировал с противниками, но в устойчиво консервативную минуту нашего исторического бытия дал обществу консервативно устойчивое чтение, без возражений — нужное. Сам он, кажется, любил консерватизм, как мы любим ясную и тихую погоду, и в меру того, как любим ее, — уже не любим хаоса, беспорядка, бури.

— Вы не были на выставке Академии художеств, — спросил он меня раз, задумчиво бегая, по обыкновению, по своему кабинету. Факты «бегают» и «задум-

чивость» — были очень совместны в нем. Он часто впадал в какую-то задумчивость и вместе я безусловно и никогда не видал его усевшимся в кресло и сидящим. Разве-разве присядет на минуту, и то только, чтобы что-нибудь сделать, и сейчас подыметя.

— Нет, не был.

Он был так же задумчив.

— Какая прелесть картины Бакаловича! Две. Из языческой жизни. Сколько ясности и спокойствия! Я говорю не о том, как он написал, а о том, что написано, о сюжете, жизни. Если бы деньги, я бы сейчас купил.

10 В другой раз он меня спросил о печатавшейся в «Рус. Вестн.» повести нового автора:

— Вы не читаете «В тихой пристани» Данилова?

— Нет, не читаю.

— Кто-то новый. Из монастырской жизни. Не знаю, что дальше даст автор, но эта его первая вещь — классическая. Как передана тишина келий, этой невозмутимой и невозмутимой жизни.

Позднее я прочитал рассказ и у меня впечатление было то же.

20 Действительно, тишина и спокойствие могут быть своеобразно возвышенными. И вот эта возвышенность чистого и беспримесного спокойствия может стать родником глубочайшего и упорнейшего консерватизма. Обращали ли вы внимание на благовест к вечерне, — не ко всенощной, а именно к вечерне, когда и в церковь-то никто не идет, когда там один только священник, и вы сами спешите по нужному делу, мимо и в стороне от церкви. И вдруг редкие-редкие удары в колокол, негромкие. Они не зовут, а так, напоминают. Они мимо и в то же время к вам. Звон ко всенощной — призывный, громкий. «Иди! Ты должен идти! Все торжественно текут во храм...». Это совершенно иное, чем «никто не идет, но ты может быть вспомнишь». В удивительной, исторически выработавшейся музыке благовеста к вечерне еще как будто живут Мономахи, московские тихие цари, все старое, стареющее, прекрасное на Руси. Кто эту музыку оркестровал? Иначе
30 и некому приписать, как тысячам русских безвестных пономарей, русских простецов души. В 12 часов он пообедал. Соснул часика два. Встал, накушался чайку или в старое время сбитню или кваса. А солнышко склонялось за полдень. И вот безвестный русский звонарь неторопливо поднимался по высокой-высокой лестнице на колокольню. Устал. Подошел к перильцам, а перед ним вся весь Господня, маленький городок, еще дремлющий сладким сном, послеобеденным сном, или только что поднимающийся, чтобы сесть за чай. «Надо, православные, и помолиться. Впрочем, вы сидите, а я только позвоню». И вот ударил вечерний звон, бесцельный звон. И городок перекрестился. И всяк в поле идущий человек перекрестится. «Это Бог. Бог над нами. Мы Его забыли, а Он об нас помнит».
40 Что-то в этом роде проходит по душе каждого человека. Есть возвышенное, есть поэзия, смятение страстей; но есть возвышенное и отрицание страстей, безмятежности. Старость и юность? Вечер и утро? Гроб и колыбель — как вечные грани религии и мироздания? Не знаю.

Берг и любил консерватизм как вечер, как спокойствие и затишье, без всяких собственно политических соображений; по крайней мере, без всякой настойчивости и определенной программы в соображениях. Напротив, я мало от кого слышал столько желчных и саркастических выходов против консервативных

разных подробностей в делах, в текущей жизни. Он постоянно возмущался и кипел, но как-то бессильно. Между прочим, — и это я связываю с «тихим вечером» в его уме, — он ужасно не любил всякой полемики, не только публицистической, но и литературной. Кой-что резко полемическое он пропускал у меня, но я потом видел, что как на редактора это не производило на него никакого впечатления и просто ему литературно не нравилось.

Он был человек очень большого вкуса и большой способности оценивать положение вещей, суть вещей, родники вещей. Раз мы выходили вместе от известного историографа Н. П. Барсукова. Была чудная летняя ночь. Мы были взволнованы только что кончившимся разговором. Там говорилось:

— Нигилисты... Но нигилистичны самые условия русского существования, не всеобщего, но $\frac{9}{10}$, $\frac{99}{100}$ русских и чуть ли не всех образованных людей. Мы если и консервативны — то по идеям, а не по положению. Нигилист есть тот, у кого нет кровно родного; есть умственные интересы, а нет жизненных скреплений. Что мне родного на Руси? Дворянство? — Я не дворянин. Мелкое чиновничество? — Я его ненавижу. Кто я? — Просто умный человек, самое объективное и внешнее к миру существо, странствователь, колонист со случайной выучкой русской речи. Я консерватор только по идеям, а не по родникам бытия.

Мы говорили с Бергом об этом ужасном чувстве оторванности от родины, которое порою испытывает русский, пожалуй — многие русские. Да, бывает, что иногда из всей родины только что вот и нравится какой-нибудь «вечерний звон»... И между тем эта глубокая взволнованность души и глубокий ее пессимизм уживались с бешеными консервативными выходками. — «Я люблю вечерний звон, между тем Толстой и толстовцы начинают какой-то совершенно новый, штундистский звон! Это — отвратительно, отнимать последнюю духовную красоту на земле!». И писались «вопиющие, глаголющие и зывающие» статьи против Толстого. Между тем тут только одна ниточка разделения от Толстого.

— Послушайте! Вы — слепы! Вы только слушаете звон, т. е. имеете об отечестве одно слуховое впечатление, а не от осязания, обоняния, вкуса и зрения. Просто, вы ошибаетесь, просто под вами нет факта. Этот звонарь немилосердно исколотил свою жену, а на этот колокол украдены деньги от недогоровших свеч ктитором, и кроме того, весь город спился отчасти от лени, а отчасти оттого, что действительно ему нечего делать: ни торговли, ни промысла, ни школы, ни службы. Один звон и водка.

— Ах, чорт возьми... Так значит не за звон, а на звон...

Так менялся фронт. Так менялись фронты. Тут — фатальные, фатальные судьбы нашего отечества. Хочется в сердце лучшего. Но где лучшее? Послышался «вечерний звон»... Ударился оземь: «хорошо!». Увидел пьяного: ударился на другую сторону: «худо!». И так мятешься... до могилы.

«Русск. Вестник» редакции Ф. Н. Берга съел деньги. Он ли деньги съел или деньги его съели, — не разберешь. Но только, будучи единовластным распорядителем хорошо шедшего журнала, он в одно прекрасное утро очутился уже не в качестве арендатора-распорядителя, а только «утвержденного редактора» журнала, аренда которого перешла к Товариществу Общественной пользы. Это были грустные и неясные дни.

— Видели Иуд?..

— Каких Иуд?

— Как же, когда я вхожу в кабинет, уж там сидят. «Хи-хи-хи, ха-ха-ха», и жмут руку и смеются. Советники. Они, видите ли, советники по редакции. «Дайте, прочтем рукопись вместе и оценим». «Вы — устали читать, дайте — мы за вас прочтем».

Его незаметно вытесняли из редакторства, становились между ним и между Товариществом. Теперь он был должностное служебное лицо у Товарищества и на него могли быть и были жалобы, «указания». Он терял почву под ногами, был нерв и измучен.

Неясные дни недолго тянулись. Действительно Ф. Н. Берг был вскоре совсем отставлен от журнала, но для него не наступили лучшие дни. Нужно заметить, должность редактора и особенно редактора толстого журнала создает положение верховного руководителя и критика. Тут нет кипучей работы, как в газете, тут нужно оценивать, тут — тонкое ухо, ухо литератора-художника, «музыканта слова». Вдруг это важное кресло подвинули медведю. Медведь берет толстый и длинный карандаш и как ревизор говорит:

— Подайте мне Тяпкина-Ляпкина!

Подают рукопись. Медведь читает и не понимает:

— Нехорошо написано!

Ему говорят, что это известный писатель и не может быть, чтобы нехорошо, но медведь приходит в раж:

— Я говорю, что нехорошо, подайте мне г. Землянику.

Подают другую рукопись.

— И это нехорошо! Я дам свой роман. Роман и стихи. А критику закажу написать приват-доценту. Я ездил и мы условились.

Приват-доцент дал критику.

— У вас хорошее перо, но мысли не так текут. Вы возьмите середину статьи и вторую ее четверть перенесите к началу, а первую четверть отнесите в конец, конец же свой уничтожьте. Когда исправите и переписите, принесите мне. Что?! Вы возражаете?! Вы не видите, что на мне седая шкура и я написал 3 пуда романов и 37 фунтов стихов?! Редакторский прием кончен и прошу оставить меня в покое.

Так бывает, а не то, чтобы так именно было. Видя такого дуrolома, из-под Мишки стараются выхватить стул. Но Мишка изо всех сил хватается за стул. То его нигде не печатали, а теперь он никого не печатает. Калиф на час. Но в благоустроенном отечестве есть попечительное начальство, которое в случае крайней возни и шума произносит:

— Мишку — вон, но и вы — к чорту, взять все третьему.

Так переходят редакции и так меняются редакторы. Последним редактором перед «шурум-бурум» был который-то из Катковых, кажется «при ближайшем участии кн. Цертелева». О кн. Цертелеве все слышали, но никто его не читал, как все слышали о жар-птице, но никто ее ни видал. Мне передавали, что «Русский Вестн.» стал скучен.

— Вы читали «Русский Вестник»?

— Не читал.

— Говорят, скучно?

— Да, скучно, говорят. Нет ли кого-нибудь, кто читал?

Никто не читал.

Так шли годы. Прошли годы. Только почтовое ведомство кряхтело и возило. Ему что, — была бы бандероль, а до литературы — безразлично.

- Кто же нас читает?
- Никто не читает!
- И не будет, верно?
- Верно, не будет!

Помолчали.

— Однако же так нельзя оставаться! Смешное положение, а у нас исторические фамилии. Что делать, что делать!

Пришла кухарка и поставила кофе на стол.

10

- Что, Матрена, в таких случаях делают?
- В каких «случаях»?
- Когда вещь не нужная и от нее только господам срам?..
- Зовут «шурум-бурум» и продают с веса.
- Но если вещь не весомая и, так сказать, умственная?..
- Все равно «шурум-бурум», он разберет. Они магометане.

В самом деле «магометане»! Открыли форточку и крикнули. А по Москве «шурум-бурумы» как пауки везде ползают. Вошел.

- Ты Измаил?
- Я Измаил.

20

— Купи предпоследний консервативный журнал, где печатались Катков, Бабст, два Леонтьева, потише и попрытче, Борис Чичерин и огромное множество первых умов государства. Не журнал, а Москва!

— Когда Москва, мы готовы купить. Казань пала, Москва стоит. Москва всегда стоит. Почем, барин?

Подробности торга велись вполголоса и вообще это достояние европейского портмонэ и татарского узла.

* * *

Другой журнал умирал более грустно. Ни за что я не хочу поверить тем темным слухам, которые носились о его последнем и самом продолжительном редакторе. Мне приходилось от третьих лиц слышать о слезах на его глазах, когда упоминалось об этих слухах. «Я ходил в церковь и я перестал ходить в церковь, потому что я не знаю, за что меня наказывает Бог», — так у него вырвалось однажды. Но оставляю эту сторону, грустно-душевную, к тому же не имеющую исторической цены, и перейду к обстоятельствам падения, которые не нелюбопытны. Редактор этот, толстый, все, бывало, лежит на турецком диване.

30

- Дома редактор?
- Они лежат-с...

— И все-то вы, батюшка, лежите, — скажешь, бывало, ему. Он лежал от мечтательности, сколько я понимаю. Он сочинял стихи, небольшие и редко, но сочинял. И вот я объясняю себе, что он лежит-лежит, а строчка и выключнется.

40

- Как подписка?
- Да ничего, все так же. Прибывает. В прошедшем году было тысяча девятьсот восемьдесят пять; в нынешнем тысяча девятьсот восемьдесят восемь.
- Не унываете?
- Ну, что вы... Под Богом.

Все было благополучно. Много лет было благополучно. В «Русском Обозрении» было напечатано много чрезвычайно ценных исторических и историко-литературных материалов: «Записки» Кохановской, письма Тургенева и Ив. С. Аксакова, письма К. Н. Леонтьева. Была и публицистика. Так редактор все лежал, подписка все не прибывала, публицисты воинствовали, исторические материалы печатались, и было славное «бабье лето», пока не настала осень и не поднялись бури. Тут одна газета «потеряла редактора и приобрела другого редактора». Он-то и приготовил бурю. Видел и я его в те дни.

— Некогда, некогда! Шрифт вешаю. Они хотят мне старый шрифт в полном весе уступить, а он стерся!

Первый раз узнал я о такой подробности.

«Он стерся!» Но ведь он стерся на «золотых речах» консервативного знаменитого публициста, так что даже и сладко такой шрифт принять и, так сказать, приобщить к исторической славе предшественника такую историческую заметку: «А потом на этом шрифте печатался такой-то». А он... «вешает»!

Прихожу к редактору «Русского Обозрения» и говорю грустно:

— Вешает шрифт. Плохо дело. Всем нам будет плохо. Ведь и мы с ним одного поля ягода, одни песенки пели.

Редактор лежит неподвижен и грустен. И говорит.

— Я еще не отчаиваюсь. Он может сделать много для партии, если захочет. Вопрос, захочет ли. Вы говорите, вешает шрифт?

— Вешает шрифт. Говорит: «Меня обсчитали, не вычли из веса, сколько свинца ушло на консервативные речи, и предложили платить в полной сумме. Я не хочу в полной сумме. И машины старые. Куда мне такой лом? Я вычту».

— Плохо дело. Он так и говорит: «До меня был дурак и сидел на месте десять лет и нажил миллион; мне указано сидеть пятнадцать лет и я умен: сколько же я должен нажить!».

Это «дураком» он называл не первого и знаменитого публициста, а второго «по нем». Сам же был третий в одной линии.

— Плохо, говорю.

Мы оба сидели грустные. И главное — одна линия! Мучительная связность! Нечего и делать, как сидеть у моря и ждать погоды.

Тут какая-то чортова каша денег, какие-то отсрочки и «не дает отсрочки». Только пишет мне из Москвы редактор:

— Душит!

Что же я сделаю. «Душит?» — «Задыхайся!». По человечеству — жаль, но что же «человечество» делает около «отсрочки» и векселя.

— Очень душно!

Совсем пишет человек. Я в Петербурге к тому, к сему. — «Задыхается, — говорю, — а ведь мы все у него работали».

— Задыхается, отвечают. Вы заметили, что он волос не чешет по утрам? Грязный совсем человек. Ничего не стоит. По векселю не платит — должен платить, такой гражданский закон.

— Но ведь он отечество отстаивал, распинался за «православие, самодержавие и народность».

— Очень нужно. Кто же не будет этого отстаивать, когда святая истина. Мы все. Почему он-то особенно вам мил?

«Почему мил?». Просто семь лет работали вместе.

— Не знаете вы всего.

— Чего же всего?

— По векселю не платит и волос не чешет. Мы все знаем. Нам все пишут. Мы следим. Мы приставлены, чтобы следить и должность свою аккуратно исполняем. Отстаньте.

Я отстал. Мне что! Тот все пищит. Буду, думаю, смотреть, что дальше будет.

Свешал тот свой шрифт и приготовился печатать свои мысли. Вся Россия ожидала.

В Петербурге очень и очень важные люди говорили:

— Теперь будем слушать московские речи! Теперь ух-ху-ху что услышим.

Пока — ничего.

— Это он не раскачался. Большой корабль долго снимается с якоря. А потом как пойдет... Мы ждем...

Помню и печать притихла.

— Ожидаем.

Однако в печати чуть-чуть хихикали в кулак. Побаивались, а хихикали. Отпетый народ. Тем торжественнее было ожидание не пишущих или особенно чуть-чуть пишущих генералов, «эстетически балующихся пером», кто в стишках, кто в прозе.

— Слушаем.

Первое слово необыкновенно важно, первое слово все решает. Вдруг за полной подписью нового Цицерона появляется простое торговое объявление:

«Здесь продается чудо-вакса и сапожные щетки. В особом кабинете для желающих персональная чистка дамских ботинок и мужских сапог. От мальчиков или сам хозяин».

И подпись. И полная подпись. Такой срам. Веселая была минутка в литературе. В Петербурге раздражились:

— Это он с первого раза только так. Подождите.

— Да чего ждать-то?

— Подождите. Мы надеялись...

— Видим, что надеялись.

— Мы надеялись и надежды не теряем. Мы терпеливы, потому что у нас государственный ум, а вы нетерпеливы, потому что вы мальчишки.

Весело было мальчишкам. За смехом прошло время. Приезжает тюфяк-редактор в Петербург.

— Съел и меня нет. Меня нет больше. Как перевешал шрифт, так и меня повесил. Я добиваюсь личного свидания — нет свидания. Я к управляющему; говорит: не я, а хозяин. Я достал деньги; я все достал, но уже было поздно и я умер, и журнал мой умер. Сюда приехал за погребением.

Действительно лицо погребальное. Я плюнул. Все можно было предвидеть. Поразило меня и до сих пор поражает недоумение: да как же из Петербурга-то было не рассмотреть, что ведь «Русское Обозрение» было все-таки «что-нибудь» и вот его нет по единственному соображению, что «волосы не чешет», т. е. по соображению бабьему, и еще по темным слухам, — тогда как там, в консервативном заместителе, щетка и вакса — и уж больше решительно ничего, на всяческие оценки — ничего. Как было не оценить дела с охранительной и патриотической точки зрения!

И я стал догадываться.

Редактор приходил ко мне по вечерам. Сядет в угол и плачет. Я ему:

— Послушайте, дело это вымороченное. Есть в мире оценка истинного, ну тут критика долга сложна. Тут как разобраться! Но есть еще оценка действительно-го, оценка вещей с помощью вопроса: действительно данная вещь существует или она существует фантастически? Стоячесть русской жизни, ее великолепная неподвижность, на чем и вы, которого теперь сдвинули, настаивали, и я с вами настаивал, — решительно не вытекает из действительного и есть просто фантом, род умственного поветрия, крайне заразительного и сладкого для болящих, но тем более опасного. Я болел, я сам болел им ужасно и долго, пока не проснулся. Тут лечение заключается именно в просыпании, в возврате к действительности, потому что самая суть болезни есть сон и призрак и воображение. Я был сам в этом лагере нашего журнального консерватизма от чрезвычайной душевной утомленности разными внутренними «скитаниями», но это моя биографическая особенность и какое до нее дело России! А мы живем в России; если мы пишем, мы должны писать для России. В этом и оценка. Вы добрый человек, и я вас уважаю. Вы сами рассказывали, что вас учил дьячок и что его косичка вас «тронула». Вы поэт. Но какое опять дело России до вашей склонности к стихотворству и трогательных ваших личных воспоминаний?! «Консерватизм» и состоит у нас в России и сейчас из утомленности душевной, как следа сильной душевной же качки, и из разной альбомной мелочи, разных бабушкиных стихов в альбом тетушки, который попал в руки племяннику. «Седой локон», «французские букли»; желтые странички и побледневшие чернила. Какое дело до всего этого боли русской?! А живое сегодня растет из вчерашней боли — это физиологично, наконец — это правда! Выморочное место — да, вот куда вы стали, и вот почему вы упали. Были иллюзионисты не вам чета по таланту — и погибли же, ибо самое существо дела губительно и просто тут нельзя стоять. К. Леонтьев, вы уверяете — гений, и я вам верю, но его значение, — нуль, ибо нулевой его принцип — стоячий консерватизм, или, вернее, консерватизм летящий в прошлое... Принцип поднимает человека: в принципах — Бог; принцип — ангел истории. Кто уцепится за крыло восходящего ангела, — спасен, сияет, отечеству нужен; кто имел безрассудство или рок взяться за крыло ниспадающего ангела, — полетит с ним в бездну. Слетели и вы. И нечего вам «на реках Вавилонских»...

Он все плакал.

ОГНЯН СЛАВКОВИЧ. БОРЬБА СЕРБСКОГО НАРОДА С ЗЛЫМ ГЕНИЕМ И ЕГО КЛЕВРЕТАМИ

Историко-психологический очерк. СПб. 1900. Стр. 46

Славянские симпатии и вообще интерес к славянству чрезвычайно ослабел в русском обществе, — не без поводов со стороны славян, не без излишеств нетерпения со стороны русских. Но кого же нам искать в Европе кроме славян и славянам — кроме нас? Мы уж «обреченные» на союз, «обрученные» в союз; и этим

все сказано для доброго, для благожелательного. Мы должны сказать своей нетерпеливости: «Пока славяне проходят самую тягостную, несимпатичную фазу развития, полуобразования, — ни первобытной прелести, ни старокультурного аромата в них нет, но это — только фаза развития, ничего не определяющая относительно человека и особенно не определяющая, что из него станет». Лежащая перед нами брошюрка описывает самую мрачную, безвыходно-скорбную вереницу сербских событий — именно приключения Милана, «злого гения» сербского народа, как именует его автор.

Автор передает (стр. 8), что этот «злой гений» есть собственно сын румынки Марии Катарджи, вдовы племянника Милана Обреновича I, родившийся на тринадцатом месяце ее вдовства и получивший поэтому девичье имя матери. По убиении бездетного Михаила Обреновича III, регенты княжества посадили его на престол, разыскивая «кого-нибудь», и в то же время «Эмиль» был переименован «Миланом». Эта случайность его происхождения и его положения на престоле, быть может, и объясняет поразительное равнодушие, с каким он терзает Сербию и позорит ее. Действительно, едва ли в какой стране и в какое другое время было такое скопление нравственных, политических, семейных нечистот, какое образовалось около Милана, и, что ужасно, это совершается в начале сербской истории. Но что выносишь из чтения всей книжки, это — то что у Милана есть какой-то талант низкого, ибо без таланта невозможна ни столь упорная, ни столь, наконец, успешная борьба. Он всех мучит, но никто не умеет с ним справиться.

«Я предпочитаю звание члена жокей-клуба званию члена королевского сербского дома», — сказал он после отречения. «С тех пор Милан перестает быть как сербским подданным, так и членом своего дома... С тех пор возврат Милана в Сербию был воспрещен законом. Мало того: народное правительство добивалось еще большей гарантии. Оно добивалось, чтобы такое же заявление дано было ех-королем и Русскому Царю, другу и покровителю сербского народа и его могущественному защитнику от всех бед и напастей. Благовидный предлог был найден. Сербская казна была пуста и два миллиона франков, ценою которых было куплено у Милана право от него освободиться, неоткуда было взять. Народное правительство обещало обратиться за ссудой к России, если Милан даст и Русскому Царю письменное заявление об оставлении им навсегда Сербии. И он дал. Получив заявление, великодушный Царь-Миротворец, из любви к сербскому народу и из сожаления к горестной участи его, приказал препроводить сербскому правительству из Собственных Его Величества сумм 2 миллиона франков. Получив два миллиона, ех-король отправился в Париж».

Казалось бы, утонул человек. Нет, из Парижа он управляет Сербией, изгоняет из Белграда королеву Наталию, низвергает регентов и, наконец, возвращается и на наших глазах благополучно действует там. Конечно, это совершенно невозможно для слабоумного, паралитика, безвольного; тут нужен не один «гений злости», но и талант борьбы, пронырства, интриги, мужественная вера в себя и презрение к другим, едва ли безосновательное. Вот сторона, которой не замечает наш автор, накладывая все темные и темные тени, и, конечно, вполне заслуженные, на ех-короля, но тени — необъяснимые. И горько, и больно на душе зрителя, который в то же время родной.

никому не нужного «жида» чудно передана всего в восьми строках. «Я один, и мне никто не поможет. Я должен помогать себе сам». И сейчас внимайте, что-то опытное и старое, что-то библейское в духе строк:

Ужель отец меня переживет?

Ж и д

Как знать? Дни наши сочтены не нами:
Цвел юноша вечер, а нынче умер,
И вот его четыре старика
Несут на сгорбленных плечах в могилу.

Ведь это — мысль, страница, ответ Библии? Это — глубоко и прекрасно, как в «Эклезиасте», и однако без малейшей ему подражательности, в обороте мысли, чисто пушкинском. Альберт говорит: что я стану делать с деньгами через тридцать лет, если отец проживет тридцать лет? ¹⁰

Тогда и деньги

На что мне пригодятся?

Ж и д

Деньги? — Деньги
Всегда, во всякий возраст нам пригодны;
Но юноша в них ищет слуг проворных
И, не жалея, шлет туда-сюда, ²⁰
Старик же видит в них друзей надежных
И бережет их, как зеницу ока.

Какая старость ответа, какая мудрая старость! Мы удивляемся, почему «жид» побеждает русского, да победил и француза, между тем в строках Пушкина есть ответ на это. «Жид» — всемирный старик, а между тем все европейские народы еще очень молоды и как-то малоопытны душою. Старик всегда обойдет юношу, не потому, чтобы он был умнее и даровитее его, и в особенности не потому, чтобы он был нравственно крепче его, но потому, что он опытнее, больше видел и, наконец, более вынослив. В чисто вводном лице, на минуту и побочно введенном в пьесу, Пушкин и набросал эти главные и существенные черты, под которыми мы должны рассматривать «загадочное лицо» европейской цивилизации. Если мы сравним с этим очерком знаменитого Янкеля у Гоголя, мы поразимся, до чего мало схватил Гоголь в теме, как скользнул по ней. Янкель болтается ногами, когда его хотели бросить в Днепр, — во-первых; Янкель бормочет, покрывшись простынею во время молитвы, — во-вторых; и в-третьих, — Янкель называет, пробираясь в тюрьму, хорунжего полковником. И ни в-первых, ни во-вторых, ни в-третьих не выходит ничего всемирного, как в смысле значительности, так и силы. Пушкин сразу угадал: всемирное в «жиде» — его старость. ³⁰

Было бы ошибочно думать, что какой-нибудь народ может достигнуть сколько-нибудь значительной старости, т. е. долговечности, не имея чего-нибудь, что согревало бы его в веках и, наконец, в тысячелетиях. Печальная сторона отношений между евреями и Европою заключается в том, что к Европе они обращены ⁴⁰

исключительно отрицательными, действительно дурными и ничтожными своими сторонами, а тепло и красота еврея обращена исключительно внутрь себя. Это — семья еврейская. Он с нами соприкасается как торгош, как продавец и часто как обманщик; но, вдумываясь в это, нельзя же не засмеяться мысли, что ты-сячи лет можно прожить только торгуя и не имея ничего более заветного. Еврей, в исторических и общественных его судьбах, очень похож на того сатира, о котором говорит, устами Алкивиада, Платон в конце «Пира». Статуя сатира ставилась в греческих домах и представляла собою в сущности шкаф. Ее раскрывали, и внутри открывались сокровища, золотая утварь, драгоценные камни. Но только
 10 хозяин дома умел и мог его открыть; для всякого же гостя статуя являла обыкновенные отвратительные черты этого низкого божества греков. Так и еврей. Что такое в нем хорошего — это знают его дети, его жена, его отец. Мы знаем в нем только отвратительное: пронырство, жадность, торговую безжалостность. Но замечательно, что Пушкин сумел растворить сатира и уловить, что изнутри и для себя он вовсе не то, что снаружи и для нас. У него есть «Начало повести», т. е. был обширный сюжет на обширную тему, которого выполнено только начало:

20 В еврейской хижине лампада
 В одном углу горит;
 Перед лампадою старик
 Читает библию. Седые
 На книгу падают власы.
 Над колыбелию пустой
 Еврейка плачет молодая.
 В другом углу, главой
 Поникнув, молодой еврей
 Глубоко в думу погружен.
 В печальной хижине старушка
 Готовит скудную трапезу.
 30 Старик, закрыв святую книгу,
 Застежки медные сомкнул.
 Старуха ставит бедный ужин
 На стол и всю семью зовет:
 Никто нейдет, забыв о пище.
 Текут в безмолвии часы.
 Уснуло все под сенью ночи,—
 Еврейской хижины одной
 Не посетил отрадный сон.
 На колокольне городской
 40 Бьет полночь.— Вдруг рукой тяжелой
 Стучатся к ним — семья вздрогнула.
 Младой еврей встает и дверь
 С недоуменьем отворяет —
 И входит незнакомый странник...

Что хотел рассказать Пушкин, — неизвестно. Можно только догадываться, что он хотел взять средневековый сюжет из истории религиозного преследова-

ния евреев, и «незнакомый странник» есть или дозор св. инквизиции, или член какого-нибудь еще иного судилища. Но оставим предположения. Ни кожаных застежек на книгах, ни лампад у евреев нет; здесь вся внешность неправильна; и тем правильнее — дух. «Лампада» есть способ нашего европейского религиозного освещения, и Пушкин безотчетно употребил его как способ религиозно осветить и выразить то, что в самом себе священно. «Жид» взят здесь в том особенном сцеплении отношений, которое составляет его всемирную крепость. После тех аллегорических, символических и прообразовательных истолкований Библии, какие были сделаны на Западе и Востоке в средние века и ни малейше не отвечают ни тому, как сами евреи понимают смысл священной своей книги, ни ее 10
прямому, чистому и незапутанному значению, можно, кажется, остановиться на мысли, что весь библейский теизм есть собственно семейный теизм, что здесь как его родник, так и предметное устремление. И Пушкин это понял и безмолвно указал.

* * *

Мы указываем это мимоходом, потому что на отношение пушкинского гения к семитизму никогда не было до сих пор обращено внимания. Настоящий предмет нашей статьи — прекрасные биографические соображения, высказанные И. Л. Щегловым в «Литературных приложениях» к «Торгово-Промышленной Газете» относительно источников пушкинского творчества. «Нескромные догадки» — так озаглавил он свой этюд. Посвящен он «Каменному гостю» и «Моцарту и Сальери». Справедливо говорит г. Щеглов, что под самыми жизненными со- 20
зданиями поэтов, как бы они ни были отвлечены в окончательной отделке, лежат жизненные впечатления, личные думы и иногда личная судьба их творцов. «Каменный гость», «Скупой рыцарь», «Пир во время чумы» и «Моцарт и Сальери» написаны осенью 1830 года в селе Болдине, и г. Щеглов пытается ориентироваться среди обстоятельств этих дней и восстановить приблизительно думы поэта. «Думы эти были, — пишет он, — как известно, невеселого свойства. Приближение холеры, денежные затруднения и разные волнения и огорчения, вы- 30
званные предстоящей свадьбой, все это настраивало мысль и лиру поэта на самый скорбный лад... И вот, под влиянием грозного призрака смерти, он пишет потрясающие сцены «Пир во время чумы»; денежный гнет вызывает в нем злые мысли о предательской власти денег, что отражается более чем прозрачно в «Скупом рыцаре». Его собственное высокое положение, как писателя, и вместе оскорбительная тяжкая материальная зависимость весьма недалеко от положения благородного рыцаря Альбера, вынужденного обращаться за презренным металлом к презренному жиду. А трагическая сцена барона с сыном, разыгрывающаяся в присутствии герцога, — весьма недвусмысленно намекает на известную тяжелую сцену, происшедшую в селе Михайловском между Пушкиным-сыном и Пушкиным-отцом, в присутствии брата Льва. Наконец, «Моцарт и Сальери» и «Камен- 40
ный гость»?..».

Автор ставит вопрос и рядом мельчайших штрихов доказывает, что и здесь лежат автобиографические родники. В «Дон-Жуане» Пушкин сводит концы своей молодости перед женитьбой. Это — взгляд назад и таинственное предчувствие будущего. Напр., в стихах:

А завтра же до короля дойдет,
 Что Дон-Жуан из ссылки самовольно
 В Мадрид явился, — что тогда, скажите,
 Он с вами сделает?..

Этот вопрос Лепорелло навеян воспоминанием Пушкина о попытке, к счастью неудачной, без разрешения оставить ссылку в Михайловском и явиться неожиданно в столицу. Воскликание Дон-Жуана:

А муж ее был негодяй суровый —
 Узнал я поздно... Бедная Инеза!.. —

¹⁰ есть «опять реальный факт. Под Инезой скрыто воспоминание о г-же Ризнич. Богатый помещик Сабальский, с которым Ризнич уехала из Одессы в Вену, скоро потом ее бросил, и она умерла в нищете и одиночестве». Под Лаурою выведена Керн. «Характер Лауры, веселой, легкомысленной, живущей одной любовью и не думающей о завтрашнем дне, кружащей головы испанским грандам, одинаково и мрачному Дон-Карлосу, и жизнерадостному Дон-Жуану... как нельзя более сходен с характером тригорской Лауры — А. П. Керн — стоит только перенестись воображением из комнаты Лауры в окрестности Тригорского. Там — та же гитара, то же пение, те же восторги веселой молодой компании»... Лаура поет, и гости восхищаются:

²⁰ Какие звуки! Сколько в них души!
 А чьи слова, Лаура?

Л а у р а

Дон-Жуана. Их сочинил когда-то
 Мой верный друг, мой ветреный любовник.

В самом деле — это оглядка женившегося Пушкина на себя и свои отношения к обворожительной девушке, потом так несчастной. Как очень правдоподобно догадывается г. Щеглов, даже фигура Лепорелло — не выдумана. У Пушкина был безотлучный слуга Ипполит, всюду его сопровождавший. Из Оренбурга он пишет о нем жене: «Одно меня сокрушает — человек мой. Вообрази себе тон московского канцеляриста, глуп, говорлив, через день пьян, ест мои холодные до-
³⁰рожные рябчики, пьет мою мадеру, портит мои книги и по станциям называет меня то графом, то генералом. Бесит он меня, свет-то мой Ипполит, да и только». В другом месте: «Важное открытие: Ипполит говорит по-французски».

В «Мощарте и Сальери» автор «Нескромных догадок» усматривает горькие воспоминания поэта о Баратынском. Материалом для его соображений послужили письма Баратынского к И. В. Киреевскому, впервые появившиеся в «Татевском сборнике», изданном С. А. Рачинским, и извлеченные из местного Татевского архива. Известно необыкновенное горькое чувство, часто соединяемое Пушкиным с мыслью о дружбе; между тем как о нем определенно известно, что
⁴⁰сам он был чудно открытая и ясная, безоблачная душа. Эта горечь воспомина-
 ний давно могла дать подозрение, что около Пушкина стояла какая-то облачная

душа, которую напрасно усиливалась пронизать своими лучами пушкинская «дружба», — и г. Щеглов опять очень правдоподобно указывает Баратынского-Сальери. В «Татевском сборнике» приведены письма Баратынского, которые никак не могли попасть на глаза Пушкину, и где отзывы о пушкинском творчестве более чем странны: «Если бы все, что есть в «Онегине», было собственностью Пушкина, то без сомнения он ручался бы за гений писателя. Но форма принадлежит Байрону, тон — тоже. Множество поэтических подробностей заимствовано у того и у другого. Пушкину принадлежат в «Онегине» характеры его героев и местные описания России. Характеры его бледны. Онегин развит не глубоко. Татьяна не имеет особенности. Ленский — ничтожен. Местные описания прекрасны, но только там, где чистая пластика. Нет ничего такого, что бы решительно характеризовало наш русский быт. Вообще это произведение носит на себе печать первого опыта, хотя опыта человека с большим дарованием. Оно блестяще, но почти все ученическое, потому что почти все подражательное. Так пишут обыкновенно в первой молодости, из любви к поэтическим формам более, нежели из настоящей потребности выражаться. Вот тебе теперешнее мое мнение об «Онегине». Поверяю его тебе за тайну и надеюсь, что она останется между нами, ибо мне весьма некстати строго критиковать Пушкина».

Действительно «некстати». В другом месте он ставит подражания народным песням Дельвига выше народных сказок Пушкина. При появлении «Бориса Годунова» он «на слово верит своему брату, что гораздо выше его одновременно появившаяся историческая трагедия Хомякова». — «На слово верю», т. е. уже *à priori* хочу верить. И одновременно с этим в письмах к самому Пушкину он рассыпался в похвалах, в одном месте сравнивая его поэтическую деятельность даже с государственною деятельностью Петра Великого. — «Тут выходит, — замечает г. Щеглов, — уже не только обычное у вторых нумеров *jalousie de metier* *, но прямо вероломство».

По крайней мере — недоброжелательство, явно неосновательное и очевидно скрываемое («не показывай письма Пушкину»). Баратынский принадлежит к прекрасным нашим поэтам, но его характер и литературная судьба действительно очерчиваются этим признанием о себе Сальери.

Отверг я рано праздные забавы;
 Науки, чуждые музыке, были
 Постылы мне; упрямо и надменно
 От них отрекся я и предался
 Одной музыке. Труден первый шаг
 И скучен первый путь. Преодолея
 Я ранние невзгоды. Ремесло
 Поставил я подножием искусству;
 Я сделался ремесленник; перстам
 Придал послушную, сухую беглость
 И верность уху. Звуки умертвив,
 Музыку я разъял, как труп. Поверил
 Я алгеброй гармонию. Тогда

* профессиональная ревность (*фр.*).

Уже дерзнул, в науке искушенный,
 Предаться неге творческой мечты.
 Я стал творить, но в тишине, но в тайне,
 Не смея помышлять еще о славе.

В самом деле — это так конкретно, как бы с кого-то списано. — «Я не отказываюсь писать; но хочется на время, и даже долгое время, перестать печатать. Поэзия для меня не самолюбивое наслаждение. Я не имею нужды в похвалах (разумеется, черни), но не вижу, почему обязан подвергаться ее ругательствам». Это — язык Сальери! Между тем это — письмо Баратынского. И наконец грустное признание последнего, всегда казавшееся нам *chef d'oeuvre* * его поэзии, по искренности глубокого сознания:

Не ослеплен я музою моею:
 Красавицей ее не назовут
 И юноши, узрев ее, за нею
 Толпой влюбленною не побегут.
 Приманивать изысканным убором,
 Игрою глаз, блестящим разговором
 Ни склонности у ней, ни дара нет;
 Но поражен бывает мельком свет
 Ее лица не общим выраженьем,
 Ее речей спокойной простотой;
 И он скорей, чем едким осужденьем,
 Ее почтит небрежной похвалой.

Опять это язык и мысли Сальери, которые можно почти вплести в пушкинскую пьесу. И везде почти у Баратынского та же мысль, например:

И я, в безвестности, для жизни жизнь любя,

 Что нужды до былых иль будущих племен?
 Я не для них брянчу незвонкими струнами:
 Я, не внимаемый, довольно награжден
 За звуки звуками, а за мечты мечтами.
 («Финляндия»)

Тот же язык в стихотворении:

О счастья с младенчества тоскуя,
 Все счастьем беден я...

и — прочее. Сальери — глубок. Сальери только не даровит тем особенным и действительно почти случайным даром, который Бог весть откуда приносит на землю «райские виденья», который творцу ничего не стоит, дается ему даром и со-

* шедевр (*фр.*).

вершенно затмевает глубокие и трудные дары, какими обладает иной раз душа возвышенная и только лишенная этого специального дара. Тут — несправедливость, тут действительная и роковая несправедливость, и Пушкин в бессмертной пьесе возвел к вечному началу случай своей жизни. Пьеса его первоначально и называлась просто «Зависть». Перенесение литературных отношений на музыкальные — только аноним для прикрытия лиц, как и придуманные имена Моцарта и Сальери. Что творение это глубоко субъективно и лично, видно из того, что в нем, как и в «Каменном госте», проходит образ смерти, предчувствие смерти: очевидно чувство самого Пушкина, выразившееся в столь не сродных сюжетах. Дон-Жуан в «Каменном госте» и Моцарт в последней пьесе — один характер, под которым мы можем почти прочесть подпись: «я, Пушкин». В одной пьесе он взят как член общества, в окружении ласкающих сирен; в другой — как творец, с стоящей около тенью «друга». В самом деле, отчетливы отношения к Пушкину Языкова, Дельвига, Пущина, горе по нем Гоголя, стихи о нем Лермонтова; но один друг, о котором сам Пушкин высказал самые шумные похвалы в печати, всегда выдвигая его с собой и почти вперед себя, до сих пор оставался в тени и не рассмотренным в своем обратном отношении к Пушкину. В то же время Пушкин время от времени вскрикивал от боли какой-то «дружбы» и наконец запечатлел мучительное и долгое ее впечатление в диалогах поразительной глубины. Догадки г. Щеглова так интересны и многозначительны, что хочется, чтобы он приложил дальнейшее усердие к их разработке. Оне очень правдоподобны, и мы должны быть благодарны автору уже за то, что он наводит мысль исследователя, открывает дверь исследованиям.

ПАМЯТИ Вл. СОЛОВЬЁВА

Смерть унесла в лице Вл. С. Соловьёва самый яркий, за истекшую четверть века, светоч нашей философской и философско-религиозной мысли. Можно было резко расходиться с почившим во взглядах, можно было бороться против всего его мирозерцания, неприятно-старческого, сухо-аскетического, в общем — эклектического*: но в каждую минуту борьбы необходимо было чувствовать, что борешься с силами, высшими собственных, и только минутно и странно увлекшимися поверхностными теориями. Нам думается, в Соловьёве выше его учений — его личность. Учения его менялись; но всегда в центре их стоял прекрасный человек, с горним устремлением мысли, с высшими историческими

* В одной ненапечатанной статье своей «Схема развития славянофильства» я, указывая историческое положение Соловьёва и характеризуя общий склад его ума, занятий и направлений, определил их словом: «эклектизм». Покойный, прочитав эту рукопись и возвращая ее мне, сказал: «Только слово „эклектизм“ Вы заменили бы словом „синкретизм“». Считаю долгом внести эту личную поправку Соловьёва, не отвергая ее, хотя и не настаивая на ней. *Своего, живущего* не было так много у Соловьёва; соединяя чужие части в новую храмину, был ли он эклектиком? синкретистом? — ужасно трудно сказать. Во всяком случае *в усилиях соединить* он не был мертвенным, он не был (нигде и ни в чем) Вагнером, но и в Фауста он не вырос.

и общественными интересами, привлекательный лично и в личных отношениях. Вся жизнь его была сплошное скитальчество. В сущности, ему постоянно нужна была аудитория, слушатели; он был урожденный, врожденный учитель, *didascalos, professor*. В лучшей стране и в лучшую минуту истории эти его богатые инстинкты были бы бережно утилизированы и принесли бы отечеству плод сторицею. Но, увы, русская действительность похожа на печальный сон Фараона, где тощие коровы пожирают тучных. Пришли какие-то тощие умом, послушали, не поняли и изрекли о философе и богомысле: «Не надо»... И «не нужный» философ пошел в продолжительное скитальчество, может быть, раздраженный, наверно 10 опечаленный; и может быть, много горьких и ошибочных слов, слов желчных и несправедливых вырвалось у него как ответ на это «не надо»... «Тощие коровы» нашей действительности прежде всего худые политические счетчики. Они не только устранили превосходного религиозного, серьезного руководителя молодых колеблющихся умов, но и создали многолетнего и талантливейшего в литературе бойца против консервативных начал жизни, антиславянофила, антирусиста. То, что здесь было у него ошибочного, должно быть особенно легко отпущено почившему и в значительной степени объяснено превратностями его биографии.

Навсегда останется прекраснейшим в Соловьёве его высокая мечтательность. «Вот человек сухарь», говорим мы о профессоре, ученом, труженике библиотек 20 и музеев. Ничего подобного нельзя сказать о Соловьёве. Он был мистик, поэт, шалун (пародии его на декадентов, некоторые публицистические выходки), комментатор и, наряду с этим, в глубокой с этим гармонии — первоклассный ученый и неустанный мыслитель. Ничего здесь не надо исключать. И в этой-то сложности духовного образа — его заслуга, его превосходство. Думается, однако, что задушевнейшею его областью была его поэзия. Оговоримся. Почивший был несколько робок и нежен. В прозаических трудах он говорил кое-что, чего не думал, и что произносилось *ad publicum* *; другого, по нежности и робости, он не говорил — стесняясь. В поэзии он выступал как бы анонимом; в ее неясных звуках он дышал привольно и легко. Он любил поэзию как любят свободу, и еще он 30 любил ее как прекрасную форму, ибо в душе его был силен эстетический идеал. В ряду стихотворений его отметим как прекраснейшие — «На смерть друзей». Какой-то друг сложит над его прахом подобное стихотворение! Вот что, например, он писал в 1897 г. об Ап. Н. Майкове и что так идет к самому ему:

Тихо удаляются старческие тени,
 Душу заключавшие в звонкие кристаллы,
 Званы еще многие в царство песнопений,
 Избранных как прежние, — уж почти не стало!

40
 Вещие свидетели жизни пережитой,
 Вы увековечили все, что в ней сияло,
 Под цветами вашими плод земли сокрытый
 Рос, и семя новое тайно созревало.

Мир же вам с любовью, старческие тени!
 Пусть блещут по-прежнему чистые кристаллы,

* публично (*лат.*).

Чтобы звоном сладостным в царстве песнопений
Вызывать к грядущему то, что миновало.

Стихи его так хороши, что хочется их цитировать, и цитировать, как его биографический образ, как вереницу его душевных картин. Прав тысячу раз Тютчев, что все выразимое — не истинно, а все истинное — невыразимо; так и философия: хочется иногда сказать, что философы-прозаики, по несовершенству своего орудия, суть плотники-философы, а поэты суть тоже философы, но уже ювелиры, по тонкости и переливчатости своих средств. Напр., вот его «Око вечности»:

Одна, над белою землею
Горит звезда. 10
И тянет вдаль эфирною стезею
К себе — туда.

О нет, зачем? В одном недвижимом взоре
Все чудеса,
И жизни всей таинственное море,
И небеса.

И этот взор так близок и так ясен,— 20
Глядись в него,
Ты станешь сам — безбрежен и прекрасен —
Царем всего.

Руководимый, может быть, очень верным инстинктом, Соловьёв, по виду относясь шуточно к своим стихам, на самом деле и в глубине души едва ли не чувствовал их более серьезно, чем философскую и богословскую свою прозу, слишком обрубленную и деревянистую, чтобы выразить тонкие и неясные движения его души. Прозу надо *доказывать*, а главное (в мире и в душе) — недоказуемо. Как «доказать» это чувство, выразившееся в стихотворении «Отшедшим» (усопшим):

Едва покинул я житейское волнение, 30
Отшедшие друзья уж собрались толпой,
И прошлых смутных лет далекие виденья
Яснее и ясней выходят предо мной.

Весь свет земного дня вдруг гаснет и бледнеет,
Печалью сладкою душа упоена,
Еще незримая, уже звучит и веет
Дыханьем Вечности грядущая весна.

Я знаю: это вы к земле свой взор склонили,
Вы подняли меня над тяжкой суетой
И память вечного свиданья оживили, 40
Едва не смытую житейскою волной.

Еще не вижу вас, но в час предназначенья,
 Когда злой жизни дань всю до конца отдам,
 Вы в явь откроете обитель примиренья
 И путь укажете к немеркнущим звездам.

Теперь он ушел в эти звезды, присоединился к хору усопших теней. Он эти тени вечно чувствовал. Как, однако, доказать их бытие? Как «оправдать», через какой силлогизм, свое чувство к ним? И как объяснить вообще внешнему и не чувствующему свое касанье «мірам иным», мірам горним и лучшим? Здесь опадают крылья философии, а крылья поэзии здесь именно и поднимаются. Поэзия

10

может быть и у Соловьёва; она и была недоказуемою философиею, «метафизикою», т. е. тем, что «над физикою» в древнем греческом смысле. Менее удачны были опыты критического суждения, за которые иногда брался покойный. Чего ему здесь не доставало? Спокойствия суждения. Он всегда высказывал что-нибудь экстравагантное, что трудно было доказать, и впадал в раздражение и разные литературные неудачи, все-таки пытаясь доказать. Такова его «Судьба Пушкина» и статьи, к ней примыкающие. У него было мало чувства действительности, чувства земли. Имея какую-нибудь превосходную отвлеченную мысль, он обыкновенно выбирал самый неудачный пример на нее из области действительности. Так случилось и с Пушкиным. Сами по себе все религиозные и философские идеи, положенные в основу «Судьбы», привлекательны и правдоподобны. Но Пушкин с своей печальной семейной историей запутался в эти идеи как в тенета, и общество русское, а также и сильная антикритика, поторопились извлечь поэта, так измученного при жизни, из этого посмертного критического мучения. К сожалению, у Соловьёва не было такта, хладнокровия и рассудительности, чтобы неверную и неудачную попытку не защищать и далее. Едва ли более успешны были его многочисленные публицистические нападения. Вообще, созерцатель по существу, поэт по темпераменту, он напрасно и бессильно бросался в борьбу. Он никому не нанес тяжких ударов; между тем, по-видимому, для его нежной натуры были тяжелы ответные удары, которые уже невольно вызывались его нападениями.

20

30

Соловьёв оставил после себя до известной степени школу. Школа эта определяется кругом интересов: граница между философиею и богословием, *теософия*, в обширном, а не специальном и не сектантском смысле. Профессор Лопатин и особенно двое Трубецких суть талантливейшие из его полуучеников, полупоследователей. Вообще в Соловьёве было много *бродила, закваски*; мысли его колебались или были неясны, но они всегда и очень многих возбуждали; они давали темы, они указывали области исследования; из них очень многие уже содержат в себе исходную точку зрения и метод.

Таланты его были больше, чем успех. От чего это зависело? Темы его не были

40

практические и не могли взволновать практические интересы; а для внепрактических интересов у нас еще нет достаточно людного общества. Вообще, общество русское — загадка. Чем оно живет? Что ему нужно? Что его могло бы взволновать, и всегда ли одно и то же его может взволновать в 20-е, 40-е, 60-е, 80-е года? Германия имеет реформацию и на почве реформации, в направлении реформации всякая мысль, в 17-м или 19-м веке, будет возбуждательна и благотворна. То же можно сказать о французских революционных идеях, об английских экономи-

ческих или пуританских идеях. Но Россия? Но русское общество? По-видимому, такую почву у нас должно бы быть православие, между тем огромный ум и талант Хомякова или Гилярова-Платонова был все-таки *провинциальным* явлением в русской литературе, а не *коренным*. «Корневое» ее течение до сих пор было, как в этом ни печально сознаться, *либеральное*, т. е. просто *бессодержательное*, и лишь бы красивое. Все, что пыталось у нас *определиться*, сузиться в *доктрину*, в маленькую религию ума и сердца — просто не принималось, не прививалось к обществу. «Мы хотим, чтобы вы тревожили наше сердце, но не хотим, чтобы в чем-нибудь нас убеждали», по-видимому, говорят из общества писателям. И писателям трудно. 10

Нам нужно ждать *событий*. Литература может вырасти только из событий, и собственно все писатели, которые *томятся* — томятся о событии, о *бытии*, как роднике *идеи*. «Боже, зачем я существую? Боже, зачем Ты меня послал в мир?». И под Соловьёвым не было *непоколебимого* события, которое выпрямило бы пути его и устранило колебание его биографической походки. «Вы падаете на оба колена», — упрекал пророк человек; мы же, или те из нас, кто не лежат плашмя на земле, «падаем» на бесчисленные колена, чужие, свои, ищем, встаем, и ежедневно надеемся, и каждый день не находим. Так сплелась и судьба Соловьёва, и окончательная правда его сердца состояла в том, что он ни на чем не устоял. «Искал, но не нашел». И «школа» его, в смысле заданной *темы*, конечно, просуществовала некоторое время, но она начнет теряться, как ненужный ручеек, в пустынности и безмолвии общего нашего исторического бытия. Все — *безосновательно*, все *безбытийственно* пока у нас; и нет, конечно, основания *быть* его школе. 20

Да будет прощено некоторое личное слово, не нужное читателю, но которое нужно пишущему. Мне принадлежит о покойном несколько резких слов, прижизненно сказанных ему по поводу его идей. Неприятное в литературе, что она огорчает, что из-за нее огорчаешься. Во всяком случае теперь своевременно высказать сожаление о возможном огорчении, какое эти слова могли причинить усопшему. Хоть поздно, но можно и хочется обратиться к нему не одно общее всем людям надмогильное «прощай», но и отдельное свое: «прости»... 30

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

<Д. С. Мережковский>

Смешно и жалко, когда участвующих в журнале хвалит тот же журнал, или кто-нибудь в этом журнале. В эту смешную и жалкую роль мне, однако, хочется стать на минуту, еще не дочитав до конца статьи г. Мережковского «Лев Толстой и Достоевский», в № 13—14 «Мира Искусства». В каждом номере автор *дарит* нас; я не могу больше выразить свое чувство к читаемому, как сказав, что труд этот есть новое *слагаемое* в нашей литературе, *прибавление* к ней, большая или малая — но *постоянная* величина в ней. Сколько раз я читал Толстого; но критик подошел и *подггеркнул* — и я увидел *впервые*. Этот «прозрачный звук» лошади- 40

ных копыт, «круглый запах» Платона Каратаева, «улыбка, слышащаяся в ночном разговоре» последнего же, да и все, все, что он (Мережковский) соединяет в чудном определении: *ясновидение плоти* — указано, разъяснено, формулировано удивительно, прекрасно, поучительно. Да, какой смысл был бы в литературе, если бы мы не *угулись* из нее. И Мережковский это делает. А долг читателя, честного читателя, сказать — *вижу, благодарю*. Простите, что вне форм и обычаев пишу эти строки, и не откажите, однако, дать им место на страницах Вашего уважаемого журнала. Дабы и многие, без сомнения, читатели сказали облегченнее: «Не мы одни, и мы не без причины восхищались».

10 Читаю дальше о «душевном человеке» — как стихии Толстого, о «запахах, тонких и томительных», веков и каждого века, о тупости Толстого к «вещам», которые у человека и *вокруг* человека, о непостижимости для Толстого «сумеречно-звездного»... все удивительно! удивительно!

Для *меня*, быть может, потому особенно сладко, что как бы откуда-то мной *ожидалось* многое... Я как будто спал ночью и видел неясный сон; встал поутру, нашел на столе книгу и прочел в ней то, что видел во сне, но *ясно*...

Обращаясь же к письму прекрасного и милого автора, думаю: при чуткости хрестоматоров — сколько из этого *классического образца* критики должно бы войти в хрестоматию! Вот на чем могли бы учиться и *развиваться*, духовно зреть, ²⁰ *возрастать как бы в жизненном опыте* и в изощренной наблюдательности наши ученики. Уже последнее пишу как педагог.

Примите уверения в совершенном моем почтении.

СПб. 19 июля 1900 г.

В. Розанов

ЕЩЕ О Вл. Серг. СОЛОВЬЁВЕ

Все то, о чем мы мучительно гадаем здесь все, о чем он сам так много размышлял, о чем велись у него и его антагонистов споры — сейчас открыто ему с безусловной достоверностью. Вот когда мы могли бы ему поверить, вот когда бы он мог убедить нас! Теперь он знает, что такое папство, основа его, будущность на земле, каковы грядущие судьбы его отечества? Верно ли переведен и ³⁰ понят Ветхий Завет? Кто был Платон и насколько угадал он потусторонние истины? И что такое Бог, душа, жизнь, вечность, рождение и гроб — все теперь знает он некоторым страшным знанием; но уже оттуда ничего не может сказать нам сюда, и мы должны одни устремляться к правдоподобному, когда он владеет достоверным! Соловьёв умер; философ умер; религиозный человек умер; теперь он истинный философ и в истинной религии, когда мы в преддвериях, в потемках, около одного и около другого. Мы — внизу, он — «там». Где «там»? Не знаем, только предчувствуем. Он теперь все знает, но уже для нас его особенное знание бесполезно.

Мы — разобщены. Смерть есть разобщение. Земному в отношении к умершему ⁴⁰ возможно одно: любовь. Словом и логикой «туда» я не достигну; но любовью? Кажется — да. «Брат мой! ты умер и стал дорог для меня так, как никогда не был при жизни»: мне думается, что это такая немая телеграмма, которая может

перебежать и без проволочных проводов, каким-то гелиографическим способом, «туда». Кажется, любовь и память могут соединять мир здешний и «тамошний». «Ты как бы с нами здесь», «ты умер и как бы не умирал» — вот смысл и бедной кучки земли над прахом умершего.

Значит ли любовь — отшлифованное слово, отшлифованное чувство? Начать шлифовать слова об умершем — значит охорашивать себя и свое к умершему отношение. И так любовь к умершему не есть перемена или искажение его духовного образа, не есть бледная ложь, накрывающая маскою конкретное лицо его — но нахождение, открытие в себе доброго чувства, доброй точки зрения даже и на то, что при жизни втягивало в нас отрицательные чувства. Задача памяти об умершем есть задача воспитания себя, а не какого-либо перемещения или искусственного подбора всех действительных качеств. «Переберем же хорошее, а о худом умолчим». Мудрый не пожелал бы себе такой эпитафии.

Все было смутно, смешано в почившем, в его природе, заслугах и судьбе. Представьте себе бесконечное кольцо или ряд колец, выкованным из такой металлической ленты, которая искусным мастером была предварительно спаяна из двух, верхней и нижней, полосок разного металла, разной плотности и разной ценности. Таков был умерший в первоначальной стихийной своей материи. Вот человек небесного и земного происхождения, небесных и земных порывов, так далекий от абсолютного и однако столько привлекательный в несовершенствах! «Скованный Прометей» — вот другое возможное для него определение; но «скованный» земною половиною своего бессмертного существа, скованный внутренно, а не внешне — и следовательно особенно роковым образом. В общем его жизнь и судьба может быть названа грустною. Он был достоин гораздо больше, особенно гораздо более фундаментальной и прочной любви, нежели какую имел вокруг себя. Он имел бездну связей, но едва ли имел много связей абсолютной цены. Поразительное его искание все новых и новых дружб и даже просто знакомств, всегда с порывом к интимному, даже к «ты», показывает вечную его ненасыщенность в интимном. «Вот кого надо бы согреть! Вот кого бы обласкать! но как? но кто сумеет? но чем?» Так думалось, глядя на него. В душе его была непреодолимая замкнутость. Можно думать, что в душе его было чрезвычайно много тайн, никогда и ни перед кем не раскрывшихся; и «дружбы» и «знакомства», не проникающая сюда, скользили по нем и не приносили ему того тепла, которое они вообще приносят всякому смертному. Нелюдимо, угрюмо, темно и холодно — так было у него на душе, — я не могу не передать этого своего щемящего чувства, с которым всегда смотрел на него во время непродолжительного знакомства. «Почему мы скользим друг около друга, а не цепляемся, как зубцами шестерни? Почему мы говорим о постороннем и малозначущем, смотря друг на друга внимательным и ожидающим взглядом? Только раз, при взаимной посылке книг (сочинений), в подписях на них, т. е. все-таки заочно, мы сказали нечто дорогое и заветное друг другу и друг о друге, и встретившись не продолжили речей, опять замолчали. Почему? Непонятное так и осталось для меня непонятным.

Да простит мне читатель эту маленькую психологию непонятого, ибо я думаю, что в Соловьёве ключ к загадкам его судеб и души лежал в этом непонятном. В сочинениях Лермонтова, особенно недоконченных и самых задушевных, там и здесь проходит фигура, никак не названная и просто отмеченная: «Странный человек». Вместе с тем фигура эта — центральная среди всех поименован-

ных и названных. В Соловьёве «странный человек», т. е. человек необъяснимый в движениях, чувствах и понятиях, это неразъяснимое мутное пятнышко его души — было тоже центральным среди всех остальных его способностей, отчетливых и ярких. В нем вообще было много иррационального. Оттого он писал стихи, что в отчетливой прозе не мог всего себя выразить; вообще кроме того, что он был богослов, философ и публицист — он был еще «странный человек», и этот «странный человек», которым едва ли он сам в себе владел, которого едва ли сам понимал в себе, был господином его талантов и направлений в движении. За последние ведь много винили Соловьёва. Может быть, он вправе был бы ответить: «Это — не я, это мой двойник во мне». Во всяком случае, кто оценил бы всю линию его взлетов, сказал бы: «Как странно! Точно им кто-то владеет».

10 Да, «кто-то владеет» — об этом чуть-чуть ему намекнул я в странной надписи, почти произвольно у меня вылившейся при посылке ему книги; он тотчас понял — и отозвался, и затем ничего об этом не говорили оба. «И в правде, и в неправде моей жизни — не я виновен; тут — другой около меня». Отсюда самая главная и характерная, и новая черта в Соловьёве, действительная в нем, и над которою многие смеялись: что-то пророчественное, какой-то древний в нем *vates* *, более, чем поэт и менее, чем пророк: пророк — без священства, пророк — без Бога, если б я осмелился сказать это над могилой, «пророк неведомого Бога» —
20 кажется, это будет так.

Я думаю, это была самая благородная часть Вл. Соловьёва. Без «огненного языка», хотя секундами и изредка его тревожившего, ведь как легко мог бы он устроиться в профессора, в фундаментального ученого, вообще сесть и сидеть? И приобрел бы славу, почет, поклоны, обеспечение, «квартиру и жену». Но в нем было вечное скитальчество. Какая-то Прометеевская искра вечно гнала его вон из всякого определенного положения, из всякого русла и колеи. В этой искре было горькое и сладкое, ошибочное, может быть, даже ложное — но кой-что и истинное, действительное, кой-что можно решиться сказать над могилой — божественное. «Я не знаю, какой бог владеет мною: но кто мною владеет, демон или бог, и что я сам хочу бога и молюсь богу — это я знаю». Вот, кажется, его формула.

30 Присутствие фатального и вневольного в нем и чрезмерно ослабляло его в смысле рассудительности и определенного влияния, и чрезмерно его усиливало и усиливает в смысле возбуждаемого им любопытства и для некоторых очарования. «Ну, что еще напишет Соловьёв», — говорили или могли говорить, слыша о занятости его какой-нибудь темой. Слабое и «житейское» в нем было, что он любил говорить о «будущих темах». Но этого вопроса: «Не знаем, что скажет», не могло быть и не бывало о писателях однотонных и без вдохновения. Что напишет Михайловский — это, зная тему, заранее можно знать, и когда написанное
40 и не прочтенное перед глазами, может быть только почти беллетристический интерес к прочтению, удовольствие хорошего слова и ясных мыслей, но не новизны содержания. Он был нов в первом произведении, и сейчас же во всех последующих — стар. Одухотворенную и вдохновенную сторону Соловьёва составляло то, что в каждой новой его странице всегда можно было найти нечто совершенно непредвиденное и иногда ценное. Он жил и творил. Творчество его не было пра-

* пророк (*лат.*).

вильным. Это не был распускающийся цветок; стебель, листья «и так далее» одного и того же растения. Это были именно полеты и дуновения мысли и сердца: «Кто-то дует около моих уст и когда я говорю слова, они разносятся по разным направлениям, не всегда ожидаемым и для меня». Многие над этим смеялись и, может быть, злоупотребляли в смехе; многие этим очаровывались и может быть преувеличивали очарование; но как для одного, так и для другого тут были действительные причины. Тут не всегда было умно; зато иногда тут выходило гениально.

Во всяком случае эта вневольная и бессознательная черта, этот древний *vates* в новом человеке и журналисте, ставил его безмерно высоко над линией профессоров, ученых, публицистов, стихотворцев. В течение четверти века, при всех бесконечных своих ошибках, заблуждениях, падениях Соловьёв был все-таки самую яркую звезду нашего умственного движения, выключая художников, как Толстого. Никогда он не был компилятором, никогда он не был передаточной инстанцией западных умственных движений; всегда копошилось в нем что-то свое, т. е. в течение четверти века русское общество имело перед собою человека, который постоянно из себя вынимал что-то новое, и уже этим одним он почти механически отучил русское общество «ходить по грибы» в западноевропейские леса; ведь до него мы вечно и постоянно переводили и компилировали — с немецкого, с французского, с английского, были резонаторами и не более как резонаторами чужих звуков. В этом лежит огромная его общественная и умственная заслуга. Он не написал ни одной столь литературно-ценной вещи, как Чаадаев; но совокупностью своих трудов он неизмеримо превосходит Чаадаева, в смысле богатства, разнообразия, наконец, в смысле простоты и серьезности его; и его труды, где много ложного, все-таки войдут родною частью в наше просвещение, что едва ли будет с холодным и гордым «Философическим письмом» поклонника Жозефа-де-Местра. В сердце Соловьёва жило нечто доброе и, отбросив ложное в его писаниях, будущее может составить из его книг некоторое «избранное чтение» для себя.

Постоянная жажда Бога нам представляется лучшею и главною его чертою. О, не все мы можем найти Бога, но все должны искать Его. Соловьёв вечно Его искал. В пору самого полного господства атеистических у нас течений, он заговорил о Боге. Это было так прекрасно, что даже не хочется думать о пользе таких и тогда слов. Прекрасен был сам поступок, прекрасен был так поступивший. И потом никогда, никогда он не забывал Бога. Во многом он ошибался, но не покрывает ли это одно с избытком все его ошибки? И еще прекраснее для нас, русских, что надолго и чрезмерно увлекшись католицизмом и в мыслях о соединении с ним православия, отдавая как будто первому теоретическое предпочтение, он умер, как внук русского священника, просто и строго. Это, что он нашел в себе силу смирения и покорности — прекрасная его черта, прекрасное в его судьбе. Он любил Бога и Бог охранил его от рокового возможного шага. Вот — взаимное между здешним и горним, что тогда ярко блистает в истории и чего крупницу мы находим в биографии почившего.

* * *

С чертами древнего *vates* в себе и одновременно обладая огромною и разнообразною ученостью, Соловьёв за последнюю четверть века был несоизмеримо

крупен среди сонма пишущих в наших церковно-богословских журналах. И это — не без последствий для будущего. Если мы обратим внимание и на все остальные сферы церковной проявленности, мы заметим, что движение и талант всюду идет здесь от светских людей. Оглядимся и перечислим. Все, что около церкви, и для церкви делается в смысле реформы, преобразования, оживления и понуждения, — принадлежит мудрости и благочестию замечательного государственного человека, но светского, держащего над нею щит и около нее меч. Самый выдающийся и многообъемлющий факт в новой церковной жизни, церковно-приходские школы, имеет инициативу и образец для себя в самоотверженной и благородной деятельности С. А. Рачинского, дворянина и помещика. Первые по обширности, разнообразию и интересу труды по богословию принадлежат только что почившему философу. Первым канонистом был не так давно скончавшийся профессор Московского университета Павлов. Единственный в своем роде по обширности комментариев перевод Библии сделан недавно умершим Г. К. Властовым в его пяти томах «Священной летописи народов»: но Властов — светский генерал, длинные годы службы и отставки, рывшийся в пыли немецких, английских и французских ученых пособий. И, наконец, лучшие ежедневные благочестивые чтения, как бы календарь благочестия — даны граф. Валуевым в его известном сборнике; и даже лучший духовный композитор наших дней есть г. Смоленский, опять светское лицо, управляющий хором и училищем московского митрополитского хора. Усердие к служению Богу и талант всюду у мирян. И мало-помалу к ним же невольно переходит и уже частью перешла и высшая нравственная компетентность в круге всех этих областей. Нельзя не поразиться этим явлением, именно его всеобщностью и объединением. Если движение так всеобще, мы можем подумать только: «Так хочет Бог»...

* * *

«Так хочет Бог» — и мы должны пойти за Ним. Самое появление личностей такой сложности, смутности и до известной степени странности, как Соловьёв — делается знаменательным. Что такое? Откуда это в истории, что человек вечно идет, даже не зная сознательно, куда он идет. В этом отношении оставление им римских путей, на которые он долго и упорно тянул русское общество, есть опять трогательная и благородная в нем черта. «Я во всем менялся: но в любви к Богу я никогда не менялся», — мог бы он сказать о себе. Он может быть указан, как самый типичный пример искателя, во всем неустойчивого, кроме самого искания и кроме также предмета исканий, которым единственно всегда было самое высшее — Божие и Бог. Но где это? Но как это найти? — в этом он глубоко колебался. Замечательно также постоянное расширение им области, где происходили поиски. Право, экономика, юриспруденция и война — всему он хотел найти место в царстве Божиим. «Я буду устраивать Ему храм; я Его еще не вижу, но я все сделаю, чтобы, когда Он явится — все было прибрано и приуготовлено к Его приходу». И он трудился, постоянно трудился; но от этого труд его, всегда религиозный, получал направление универсальности.

Главная и наиболее горькая его черта, горькая для него лично, биографически — было отсутствие в нем наивности. Ему нужно было полнее довериться своему непосредственному дару, дать более места поэтическому в себе началу; но он слишком рефлектировал и все пытался стать — зачем? — конструктором. Мы

делаем, а из трудов наших Бог построяет, что Ему нужно. Никакой труд человеческий не бывает бессмыслен в окончании. А человек таких больших даров, как Соловьёв, тем менее мог предполагать это о себе. Слабейшая часть его трудов и самые колкие тернии его судьбы вытекали из самых сознательных и так сказать умышленных его попыток, порывов. Они все ему не удались. А доля наивно-го в нем была прекрасна и останется. Сюда относится, кроме его поэзии, самая отвлеченная часть, интимная, бессознательная — его замыслов и устремлений: христианский универсализм, «триединство», и еще некоторые идеи, впервые на-меченные в «Критике отвлеченных начал». Эта же частица наивности, неболь-шая, но все-таки бывшая в нем, составляла и самую привлекательную сторону ¹⁰ в его личном характере. Ею он родился с простым и добрым в обществе. Все, кому он открыл эту сторону своей души, неудержимо и навсегда к нему привязы-вались. Говорили о внешних его успехах в обществе, и об усилиях, которые он будто бы к этому делал. Но, без сомнения, кроме успехов он имел настоящую и прочную обращенную к нему любовь, и в основе ее уже не лежало никаких уси-лий, а только простота и ясность души, бывшая в нем и только хорошо спрятан-ная от других.

Мы сказали, что появление таких людей в обществе — глубоко знаменатель-но. На Западе Шопенгауэр или Гартман дают наиболее сходную параллель Соло-вьёву. Но в них есть только философия, почти без лучей, бегущих к Богу. В Соло-вьёве же богослов настолько же преобладал над философом, подчинял себе ²⁰ философа, насколько в тех двух философ подчинял и затенял малые крохи бого-слова. Никто в Соловьёве это не припишет «варварству», грубости и отсталости. Нет, в нем это есть свидетельство первоначального и неустранимого состава души, и доля прекрасного здесь принадлежит не только ему, но вообще русской душе, гораздо менее выветренной. Выветренная душа есть атеист; атеист похож на пустую шкурку, какую оставляет после линяния животное. После огромной исторической жизни западные души похожи на такие линялые шкурки. Напро-тив, русские души вечно тянутся к Богу, потому что оне еще содержательны, пол-ны. Даже люди, которые никогда не говорят о Боге, и, по-видимому, вовсе не ин-тересуются религиозными вопросами, у нас отступят с ужасом перед пустотою ³⁰ голого отрицания. На Западе атеизм уже уважается; у нас это наиболее неуважи-тельное состояние человека, внушающее страх и пробуждающее к себе жалость.

В этом направлении появление Соловьёва потому любопытно, что всегда бывшее в нас религиозное чувство, было однако более привычкою, обычаем, традициею. Религия была формою жизни, а не сокровищем личного сердца. В Со-ловьёве, в середине семидесятых годов, выступил большой, всем видный чело-век, в котором чрезвычайно сильно было личное, свое отношение к Богу. Бог не потому есть, что он «миру нужен» или «мир объясняет», как думали Вольтер и Де-карт, а потому, что Он мне нужен, потому, что для меня Он, как для Робинзона ⁴⁰ остров. Посему, если бы все люди не веровали в Бога, все равно я буду веровать; и если бы, случись муки и преследования, я отрекся от Него, — сердце мое все равно было бы полно Им. Это, как дыхание — самая непререкаемая вещь. Нельзя доказать дыхания; нельзя выучить дыханию; оно есть и что оно есть — это хоро-шо. Когда религия есть для души также дыхание — значит, здоров человек и са-мая эта религия есть истинная. В религиозности Соловьёва и была эта прекрас-ная и прочная сторона, что она несколько не была надумана, не составляла части

его ученых занятий или плода его философских размышлений; в то же время не была остатком детской веры. Это было серьезное состояние серьезного человека, настоящее, неудержимое; было именно формой дыхания его совести. Отсюда-то и проходит нить к его маленькому и неоспоримому горячеству, к его «пророчеству» и вообще избранию, особенности, странности. Есть в Библии дивный рассказ: Кто-то подошел к Иакову ночью и стал бороться с ним, и не мог победить его и повредил ему ногу. — «Да кто ты?» — спросил удивившийся Иаков. — «Не спрашивай меня об имени, — оно чудно», — ответил борющийся. Иаков остался хром и всю жизнь помнил боровшегося, хотя в ту ночь не видел Его лица и не услышал Его имени. Так эти люди «с призванием»; часто не знают ни имени, ни образа: и однако этим без имени и без образа всю жизнь дышат.

Тревоги личного сознания, Бог как нужда моей совести — вот новое, что нарастает в нашем обществе, чего «раннею ласточкою» появился в нашей истории Соловьёв. У нас раньше был Бог быта, а нужен Бог закона совести. И религия была у нас разлившеюся на жизнь формою, а нужна она как нить от меня к Богу: как упрек мне Бога, как утешение мне от Бога, как умиление и благодарность моя к Богу. Всякий, кто в целом обозрит деятельность Соловьёва, согласится, что эта перемена характера религиозности обнимает все члены его труда и все особенности его духовного образа. «Я имею личное, свое, ни с кем не делимое, отношение к Богу», — мог с правом он сказать о себе: и он в сущности научал: «Ищите и вы себе такого отношения — и утешитесь, и успокоитесь, и устройтесь». Элемент подражательности и так сказать «симуляции» в вере замечательно в нем отсутствовал. От этого он так легко отошел от католицизма; «Что мне католицизм! Это — мировое, но это и земное, есть малый некий храм в моем сердце — вот что вечное и, что есть мой приют, удел моего особенного труда и моей настоящей веры». Да, вера индивидуальна; человек есть индивидуум; душа в нем — глубочайше индивидуальна; а если Бог «к душе бе» — то уже ясно отсюда, что для всякого Он глубочайшим образом есть свой личный и особенный исключительный Бог. «Я не мешаю вам видеть Его же с точек вашего стояния и под углом вашего зрения; но это — вне моего интереса; мой интерес весь и дыхание и жизнь — видеть Бога с моего особенного места стояния, откуда Он открывается как мой личный и особенный, почти мною обладаемый и вместе мною обладающий Бог, который единственно слушает мои вздохи и обращает ко мне некоторые исключительные свои шопоты». Так приблизительно верил Соловьёв, и это была прекрасная и истинная вера.

Г. Т. СЕВЕРЦОВ (ПОЛИЛОВ). АККОРДЫ БЫТИЯ

Очерки и рассказы. Стр. 319

Рассказы г. Северцова не представляют сложности развития, психологического анализа или ценных и новых наблюдений над бытом. Это — изящно переданные случаи из жизни, или картинки природы и нравов им виденных стран и городов, большею частью конечно русских. По этим качествам своим они не

составляют литературы, но для каждого могут составить приятное и частью полезное чтение. По-видимому, автор сам не задается большими задачами и не предъявляет к своему дарованию, которое у него бесспорно, больших требований. Критика может судить только то, что дает автор, и о г. Северцове она может сказать, что он дает чтение занимательное и изящное, но не достигающее настоящей серьезности. Узким задачам его очерков помогает чрезвычайное разнообразие и богатство его жизненного опыта. В Америке, Италии, Испании — он развивает сюжет рассказа так же легко, как в России, очевидно от всех этих стран, с их прошлым и настоящим, имея столь же твердые и ясные впечатления, как от своего отечества. Вот, напр., интересная и чрезвычайно неожиданная для русского черта испанского церковного быта: «Гренада славилась своими роскошно обставленными церковными празднествами. Старый архиепископ Гуарафарес думал, что ими он заставит народ сделаться еще религиознее, еще привязаннее к церкви... Для торжественной хоты он заранее пригласил малолетних танцоров, желая, чтобы они исполнили танцы, как исполняют в Севильском соборе знаменитые los seises (шесть). Дети были выучены им самим; танцевали и пели они прекрасно. Когда они затягивали все вместе:

Este Rey niño Jesús
De los Cielos baja acá
Siendolo su real comitiva
María y José y no mas.

Этот Король-Младенец Иисус
Он сошел с Неба,
Имея Себе свитою
Только Марию и Иосифа.

Монастырь умилялся и плакал. Нужно было ожидать полного успеха его выдумке, тем более что танцы тоже шли прекрасно, и разодетые в шелк и бархат танцоры производили эффект». Это — подготовка торжества, и вот наступил час самого исполнения: «Орган загудел прелюдию торжественной мессы, función (служба) началась. Перед благословением св. даров месса была временно прервана, и молодые танцоры вышли на середину собора. Толпа невольно расступилась. Раздался торжественный, но одновременно веселый звук тамбурина, кастаньеты прищелкнули в руках танцоров, и, легко ступая по коврам, они завертелись в грациозном танце. Нужно знать, насколько этот танец важен в жизни испанцев, чтобы понять то восхищение, с каким смотрели на него тысячи молящихся, собравшихся в соборе. Это было какое-то упоение, какой-то молитвенный экстаз. Святость храма не позволяла им аплодировать исполнителям, но южная кровь зрителей все же невольно не удержала тихого „браво“. Архиепископ, заметив энтузиазм своей паствы, немедленно по окончании хоты велел заиграть на органе громкую фугу, чтобы заглушить в случае неожиданных аплодисментов излишний восторг толпы. И прерванная месса продолжалась» (из рассказа «Клад Мавров»). — Любопытно, что страна, давшая миру фанатиков, как Лойола и Торквемада, в наше время создала, как народный миф — фигуру Дон-Жуана, и может быть в этих, столь чуждых русскому уму и сердцу, танцах и кастаньетах,

прерывающих мессу и в сущности введенных в мессу, мы имеем необычайное примирение обоих испанских течений, некоторую невероятную гармонизацию Лойолы и Дон-Жуана. На севере, у нас или в Германии — это не представимо как часть божественной службы. Да, верно солнце растит не одни растения и окрашивает особым оперением не только птиц; но и чувства человека к Богу растянутся или укорачиваются, становятся жарки или остаются холодны и зависимости от градуса географической широты и степени вертикальности таинственных лучей таинственного светила. И ведь если танец сочетался с литургией, то этого и представить себе нельзя иначе, как представив самый танец величайшей степенью невинной грации, едва ли что общего имеющего с нашими неуклюжими и детскими народными танцами.

СПОР НЕ БЕЗ ИДЕИ

Редко разговоры бывают занимательны и поучительны. Но эта горячая вспышка ума, страстей, живого негодования и чистосердечной защиты — показала мне интересной. Передам ее, как умею.

Нас собралось несколько человек на веранде, частью писателей, частью нет. Разговор зашел о тут же присутствовавшем писателе, уже немолодом, но как-то странно неопытном, который, не подозревая, что делает грех, в двух мимолетных очерках коснулся частных людей и частных от них впечатлений настолько неосторожно, что они могли быть узнаны и действительно были узнаны в кружке людей, их лично знавших.

— Нет, я не говорю о чувстве обиды — обиды этих людей, узнавших себя в очерке. Это второстепенное. Меня более поражает здесь неуважение к литературе, неуважение писателя к своему перу. — Так говорил молодой, несколько радикальный писатель.

— Неуважение, вы говорите? Но где же здесь неуважение? Оба очерка были сделаны в крайне уважительном тоне, и вопрос может идти только о самом прикосновении литературы к человеку или человека к литературе. Кто-то из них обижен. Вы говорите — обижена литература и, так сказать, литератор обидел себя. Значит, вы видите в частном человеке и в частной жизни что-то низкое и марающее?..

— Я вижу в ней, напротив, святыню.

— Я ничего не понимаю в ваших речах. Частная жизнь — святыня; литература, вы раньше сказали — тоже святыня. Каким образом прикосновение святыни к святыне может производить гадливое впечатление, которое так ясно сквозит в вашем осуждении?

— Нельзя же выносить, пусть даже восхищаясь и с самым добрым намерением, частную жизнь на базар...

— Вы бы с этого начали. Итак, литература есть базар, т. е. некоторое нечистое место. Вот основное ваше чувство, которого я пока не разбираю, но которое я констатирую как исходный пункт вашего негодования. Вы публицист и видите в литературе арену борьбы. Но это есть точка зрения той рубрики газеты, в кото-

рой вы пишете, а не точка зрения целостной литературы. В литературе есть поэзия и роман. Стихи Пушкина, иногда отнесенные к определенному лицу, даже надписанные известному лицу, разве не были интимны, не были портретны? Часть литературы есть арена и туда, по самым задачам арены не следует вводить и нельзя даже ввести интимного; но другая часть литературы есть уже не цирк с его атлетами, а сад, цветник, что-то уютное и внутреннее, и все внутреннее сюда может быть внесено...

— И сочиняйте роман. Фантазируйте, воображайте, вообще творите, а не срисовывайте. И в особенности не входите в частную жизнь, которая вам открылась как частному человеку, а не как писателю...

10

— Это новый поворот мысли. Но обратите внимание на следующее. Литература есть до известной части история, и сумма газет за сегодняшний день есть довольно обстоятельная история сегодняшнего дня. Но тут есть особенности. Она есть история этого дня в его деловом абрисе, в крупных событиях, огромных людях, и, до известной степени, это преобладание больших людей и больших дел, но взятых исключительно с внешней стороны, и сообщает ей, как вы выражаетесь, базарный характер. Тут — публичные речи, т. е. преднамеренные, деловые, не всегда чистосердечные, часто своекорыстные. Борьба политическая, философская, литературная. История дня, таким образом, записанная в прессе за день, есть история односторонняя. В этот же самый день не видно, интимно, среди обыкновенных людей и при обыкновенной обстановке, совершается и говорится множество таких вещей, которые, будь рассказаны громко, вызвали бы не шумные и холодные аплодисменты или не упорную ненависть, как большие дела больших людей, но пробудили бы трогательное, вызвали бы слезы. История дня, попадающая в печать, не только не верна, но она и вредна, именно не воспитательна. Она именно базарна, как вы верно предугадали своим чувством, а наш добрый друг, пусть на первый раз неосторожно, однако руководимый верным инстинктом, захотел ее поправить и ввести сюда нравственный элемент.

20

— Пусть пишет романы...

— Он хотел ввести не только нравственный, но и точный элемент. Он не фантазер, а главное, он не хочет быть фантазером. Его занимает документ. Картина масляными красками и фотография имеют каждая свои качества. Я не знаю, нарисовал ли художник то, что он видел, или свое настроение. Напротив, рассматривая фотографию, я несколько не восхищен этою бедною светописью, но ее механизм, ее сущность, ее отношение к предмету, именно исключаящее творчество, и есть как бы нотариальное засвидетельствование действительного факта. Так и здесь. Высота художественных созданий Толстого есть только засвидетельствование о высоте личных душевных сил самого Толстого. Между тем может быть вопрос о жизни, о нашей русской жизни и вот сегодняшнего дня. Может быть, она не ниже Толстого, когда мы думаем и именно приучены «базарностью» прессы думать, что она неизмеримо ниже Толстого. Мы видим атлетов, между тем есть женщины, есть дети, семья, и из всего этого ничего будничного и житейского не доносится до литературы. Мы все носимся с «Анной Карениной»: между тем в этой Елизавете Семеновне скрыты, может быть, две Каренины; мы считаем Лизу Калитину неправдоподобным вымыслом Тургенева, когда я видал таких и даже видел лучше. Вот это «видал и говорю», «узрел и свидетельствую» и хотел выразить бедный наш неудачник. Ну, что вы приуныли?

30

40

Действительно, так сильно защищаемый и обвиняемый автор был не весел. Мне было удивительно, зачем обратился он к роду литературы, столь несвойственному его таланту и не отвечавшему всему его прошлому. Странно также, что он вовсе не умел себя защитить.

— Но то, что я ярко чувствую, это нарушение здесь частного права. Это как вскрывать частные письма. Нельзя же из них учиться, как вы ни говорите, нравственности.

Здесь речь перебил третий собеседник:

— Вы говорите — частные письма. У меня целый архив писем писателей и писем частных людей, частью ко мне адресованных, но частью писанных к моим родным, друзьям и которые я выпросил, будучи в них поражен какими-нибудь особенностями. Уверю вас, что я много лет носился с мыслью, которую говорю вам как тему, потому что, вероятно, никогда ее не исполню. Вы знаете огромное множество напечатанных писем знаменитых людей, Герцена, Тургенева, Достоевского и проч. План мой состоял в издании книги, где левая страница была бы занята письмом и вообще рядом писем этих *virorum illustrium* *, а правая письмом и письмами *virorum et feminarum obscurorum* **. Потому что меня поражало, до какой степени письма частных людей художественнее, содержательнее, поэтичнее и страстнее, нежели те письма, которые печатаются в журналах как исторических, так и общих, в виде надгробных реликвий почивших знаменитостей. Это удивительно, на это никто не обратил внимания. Теперь, после многих лет размышления, я знаю причину разницы, но если я не скажу вам ее, вы не догадаетесь...

— Мы прежде всего не верим этой разнице.

— Для этого-то я и хотел издать в книге, с орфографией, с правописанием, часто доходящем до отсутствия всякого правописания. Я имею такие букеты цветов безграмотности, что если бы открыть мои ящики и подвести вас к ним, вы затуманились бы от очарования, потому что я вас знаю как немножечко эстетов. И заметьте — тут эстетизм нравственный. Вас, вероятно, поражала в письмах, например, Тургенева бездна зависти, раздражения, мелочности. Мелочны почти все великие люди. Вспомните, что Тургенев пишет об «Обрыве»: «Я задышался от скуки, читая роман»; о Достоевском: «Это изображение больничной вони». Письма Достоевского, великие местами, в других местах исполнены тщеславия и сомнений. Но письма частных людей, это мои милые коллекции — они несут в себе столько знаков самоотвержения, веры в Бога и человека, такого терпения и вообще такого душевного здоровья и красоты, что всякий раз, как я заглядываю в полуистлевшие их лоскутки, без буквы «Ѣ», я исцеляюсь от самых гнойных своих интеллигентных ран.

— И все-таки вскрывать частные письма — как вы это назовете?..

— Дурным именем. Вы и видите, что наш приятель смущен. Он сам не понимает, что сделал, но его что-то толкнуло это сделать. По его очеркам видно, что он как будто любил то, что очерчивал. Но этого я не знаю, это его дело, а он сам почему-то упорно молчит. Но есть род защиты его даже и с точки зрения вскрытия частных писем. Это — сплетни и подробности о жизни умерших писателей. Вспомните Пушкина...

* выдающихся мужей (лат.).

** темных мужей и жен (лат.).

— Умерших!

— Да, умерших. Что вы так воскликнули?

— Но ведь они умерли, а эти живы.

— Вы думаете, умерших не уважать можно? Не думаю. Умершего мы особенно уважаем и, однако, печатаем их письма, иногда невообразимой интимности...

— Они не чувствуют.

— Вы слишком абсолютно принимаете смерть, на что, по крайней мере, не имеете абсолютных доказательств. А что, если они чувствуют? Но соглашусь с вами, что после смерти от человека остается только объект для препаровочной анатомического театра. Однако у него есть дети или внуки; есть старые сестры и братья, которые уже чувствуют и которым может быть невообразимо больно.

— Но тут требования истории, требования точности исторического факта — правильности исторического объяснения.

— Ну, не натягивайте. Какая там история по этим сплетням... Нет, между письмами, и самыми интимными, есть бесспорная часть, вовсе не представляющая важности исторического документа и которая печатается, как любопытный штрих вчерашнего дня или знакомого нам лица. Но я устранию эту оговорку и беру вашу полную мысль, что всякое письмо и каждый штрих важны, как исторический документ. Тогда встают права фотографии, о которой я говорил. Вам ценна историческая жизнь, но мне ценна жизнь сейчас. Вы роетесь в пыли и предъявляете права «науки» истории; а я боец житейский и уж позвольте мне в моей любви к человеку, как он есть сейчас, не отступать пяди назад перед правами археологии. Есть история и вы называете ее наукою; но есть и статистика и она со времен Кетле зовется тоже наукою. Но наука Кетле именно «базарна», применю ваш удачный термин, потому что она занимается итогами общего, тогда как душа современного и житейского летит в частном образе, в домашнем образе, в полном образе современного живущего человека.

— На это есть роман.

— Да уже вам отвечено, что это вымысел, а хочется, да и действительно нужна действительность. Некоторое сочетание статистики и романа и дает подобный очерк. В нем взят разговор, впечатление, сцена, соотношение живых людей, иногда судьба живых людей — и просто сказано под ними: «Видел». Это прием Кетле, но остановившийся на единичном случае, характерном, поучительном, кое-что доказывающем. И это действительно есть наука, но осложненная каким-то началом романа.

— На это есть экспериментальный роман.

— В котором я вижу только Зола и читаю только о Зола, что он убежденный человек и фанатик своих убеждений. Очень мне все это нужно. Мне нужно именно частное письмо, написанное по поводу, положим, купленной коровы мужем к жене, и которое совершенно случайно и побочно по отношению к своей цели попало мне в руки. Мне нужно, чтобы в этом доме, мимо которого мы с вами идем и рассуждаем о политике, вдруг раздвинулись стены и мы увидели с вами чайный стол, гостей и хозяев, белую скатерть и кипящий самовар. Мы умолкнем тогда о политике и на минуту поживем частною жизнью, которая нас освежит и очистит...

— Освежит и очистит, вот слово, которого я не находил, — сказал вдруг неудачный беллетрист.

Мы умолкли, а он говорил:

- Почему я это сделал, я не дал бы себе отчета. Когда меня обвинили, я согласился. Потому что когда от меня кому-нибудь больно, я извиняюсь. Но далее, но больше этого извинения за боль я ничего не беру назад. Однако всмотримся в литературу и ее, так сказать, устройство и взвесим, не стоит ли она того, чтобы ради нее кое-кто и вынес что-нибудь. Здесь упомянули о бесцветности писательских писем и не объяснили, отчего это так. Писатель есть выпцветающая душа, краски с которой сходят, но какие краски! Не наложенные извне, а сотворяемые изнутри. И сверх их цветных творений от них еще спрашивают цветистых писем.
- 10 Улитка такая-то выделяет пурпур; значит ли это, что, обмакнув в него сто раз кусок материи, вы получите какую-нибудь окрашенность и на сто первом куске? Помилосердствуйте, пощадите. Не только письма писателей бесцветны, но сами писатели, лично и биографически — желчны, дурны, злы, нравственно и эстетически глубоко бездарны в меру того, как поднося нос к букету их творений, вы да и всякий наслаждаетесь цветочным благоуханием. Да, я вступаю за этих дурных и неприятных людей: ибо какая же есть щедрость и большая расточительность, нежели подать на стол с яствами свое собственное тело! А ведь в сущности выходит это. Я не большой писатель, но о писателях я думал много; думал о том, что они такое во всемирной культуре, откуда, почему, какой смысл в их труде
- 20 и какова сущность самого труда. Писатель — мученик, но категории особенного внутреннего мучения, нервного, тонкого, истощающего и главная черта которого, что чем выше писатель, тем меньше, биографически и лично, от него остается человека. Знаете ли, как о Данте говорили флорентинцы: «Вот — человек, который побывал в аду». Это — до издания его поэмы и это было впечатление толпы, впечатление личное. «У, бука...». Да, так. И вы говорите, что этот человек особенной личной жертвы не может потревожить... чувство щекотливости у этих добрых людей. Нет, писатель имеет права, и он имеет особенные, исключительные, чрезвычайные права. Они идут не от таланта его, а от муки. Струна, на которой 15—20 лет ведет смычок, и вы слушаете ее рыдания, вы на них воспитываетесь, учитесь, просвещаетесь — вам кажется тем же, что бечевка, которую сорвал
- 30 и бросил. Excusez du peu *. Вы наслаждались, но иногда она вас и помучит.

- Какая пошлость в представлении: «Весь свет узнал, как эти добрые люди пили чай, или — свет услышал интимное и прекрасное слово, сказанное наедине писателю». Да он имеет на это право. Разве же вся его литературная деятельность не есть постоянное раскрытие своего интимного, что ему так же лично дорого, и, может быть, дорого было бы схоронить это в себе! И знаете ли, знаете ли, что есть писатели, которые плакали от жалости, увидя печатную страницу и на ней то, что у них вырвалось почти в произвольном экстазе? Частные письма и их вскрытие: да душа писателя есть постоянное вскрытие такого частного
- 40 письма и чтение всем миром его заветных строк. А когда так — и он имеет право вскрыть. Мука за муку. Особенное страдание и особенные права. Этого никогда не поймет публицист, боец. Но это оттого, что ему вовсе не известен тайный зной литературы, откуда и что и куда в ней течет. Ее корней он не знает.

— Сколько раз, возвращаясь домой в морозную, звездную ночь, я погружался в экстаз воспоминаний о мимолетном штрихе подсмотренном, о частном разго-

* Ни больше ни меньше (*фр.*).

воре, о выражении виденного лица. Я родился любителем человека. Скажу вам смешную вещь: в молодости мне не так было приятно состояние собственной влюбленности, как наблюдение чужой влюбленности. К таким я всегда, бывало, ввязуюсь в дружбу, они мне рассказывают свои восторги, а я восторгаюсь их восторгу. Всегда я был пассивен. Стоять и любоваться — для этого я родился. И предметом моего любования никогда не были широкие общественные движения, большая история, но всегда что-нибудь маленькое и частное, личное и незаметное, но в чем я находил личное для себя очарование. Да, меня поражает, что источником стольких нареканий послужила, собственно, моя любовь к человеку. Во мне сменились огромные убеждения, пали и зародились вновь целые мирозерцания. Никто из читателей не знает, что родник всего этого даже и отдаленно не есть широкая общественная жизнь, а вот эти незаметные впечатления частного любителя частной жизни. Многое вызывает во мне негодование, но это я стараюсь отстранять, забывать, хотя, к сожалению, и памятливы. Но что я вечно помню — маленькое доброе впечатление. Раньше или позже со мной должна была случиться ошибка, за которую меня обвиняют. Так или иначе, но самое чувство благодарности к корням, меня питающим, должно было выразиться в том, что я заговорю о корнях: «Вот — видел», «вот — посмотрите и вы». Это моя мечта, это моя мука. Вы меня обвиняете, но уж обвиняйте не поступок мой, но мою целостную природу. Я же говорю только: «Так меня сотворил Бог».

Он говорил неудержимо.

— Сколько раз думал я не столько о литературе, сколько о печати, что она гибнет от общего, от интереса к общему и от недостатка в ней частного, внутреннего, личного. Послушайте. Уже так все сложилось, что газета стала если не другим нашим, то ежедневным собеседником, и собеседником самым ранним, утренним, первым. А с кем вы виделись с утра, тот кладет на весь ваш день свой отпечаток, хороший или дурной, светлый или темный. Без прав и без претензий, газета есть всеобщий педагог. Каков же ее урок? Это всегда урок грубый и поверхностный, и не от лиц, пишущих газету, а от тем, трактуемых в газете. Так установилось и никто в этом не виновен. Виновного нет, а зло есть. Где от него исцеление? В растворении, в перемешивании тем; в том, чтобы некоторый процент тем перешел от общего к частному, от внешнего к внутреннему, от площади и улицы — к дому, к внутренности дома. Все те люди, которых мы видим борющимися, воюющими, плавающими, тонущими, все со стороны привыкли думать, что это в них главное и красивое, и ценное, а прочее — не интересно; напротив, они открывают истинно милое и трогательное в себе, как только мы обратимся к этому неинтересному. Не поражало ли вас, до чего у всех теперь понизилось чувство любви и уважения к человеку?! Не думайте, что это оттого, что люди стали плохи, но оттого, что они смотрят друг на друга с несколько плохой стороны. Разве можно полюбить «Николая N, который одержал победу при X.». Нельзя. Это имя, цифра, отвлеченность, а привязанность начинается с конкретного и возникает к конкретному. Привязанность не есть почтительность, но она выше почтительности. Мы так все тщеславны, что ищем почтительности и суем друг другу в глаза свои подвиги. Грубое: «поцелуй у меня руку», — есть червь, точащий сердце каждого. Бросим это и потянемся пожать друг другу руку на почве равенства, а эта одинаковая у всех почва есть интимное каждого из нас. Герой и мещанин — дома равны; писатель и офицер равно чувствуют себя за чайным столом. Здесь

нет героев; но все негерои становятся милы и иногда становятся трогательны. Мы хороним это домашнее и лучшее в себе, поступая, как восточные женщины, которые опускают покрывало на лицо. «Рассматривайте мой стан, ноги, юбку, одежду; рассматривайте меня, как цыган смотрит лошадь, но я не дам вам взглянуть мне в лицо, как человеку, увидеть выражение моих глаз и улыбку моих губ». Это — привычка, но суеверная привычка, закончившаяся всеобщим упадком любви и уважения между людьми. Нельзя уважать ноги; нельзя уважать лошадь, даже ту, которая берет приз и приносит доход.

10 — Откиньте покров с лица — в этом и заключается моя мысль. Своими особенными дарами, своим воспитанием, может быть своею уродливостью, но я тянусь к догадке и утверждению, что ступени высшего в человеке совпадают со ступенями интимного в нем; что в нем хорошо не то, что не спрятано, но именно то, что спрятано. Человек как статуя в футляре; нужно этот футляр снять — и тогда мы увидим лучшее. Опять я отвлекаюсь от понятия героического, и под лучшим разумею просто возбуждающее привязанность. Притом заметьте, что тогда как все общее и героическое как-то коротко и быстро надоедает, все интимное вовсе не кончается, никогда и нигде не кончается, а только теряется в неясной глубине. Дама, с которой я танцевал вечер, надоела бы мне невообразимо, случись мне по
20 должности танцевать с нею пять вечеров подряд; но друг или жена, которых мы видим в халате и домашнем капоте, не надоедают нам через пять лет, хотя каждый год мы видим их 365 раз. И может быть, «дама» превосходнее и интереснее жены; знакомый — умнее и образованнее друга. Тут разница не в человеке, а в качестве отношения к человеку: поверхностное отношение кратко и утомительно, внутреннее — бесконечно и всегда занимательно.

— Ежедневному собеседнику человека, невольному общему педагогу, газете, и нужно брать из жизни по крайней мере клоки этого частного; нужно по крайней мере в некоторых точках переменить способ отношения к человеку. Это и делалось до сих пор — в судебной хронике. Какое зрелище! Со столбцов газет мы
30 видим или героев, или преступников: или атлета цирка, старого опытного публициста, или зарезанную любовницу. Получается впечатление, догадка, возможность догадки, что все открытое у людей величественно, а покопайся-ка на заднем дворе у тех же людей, и вы увидите скорбь и грех. Между тем ничего подобного. Никакого основания для подобного пессимизма. Он весь течет от ошибочно направленного на жизнь света. В фундаменте большого и героического лежит вовсе не смрад и грех, не сюжеты уголовной хроники, не попавшей «в руки правительства», а чистота и глубь невозмущаемого безмолвия Не скрою и даже первый чувствую, что есть некоторая святость некасаемости в этом мировом или по крайней мере народном безмолвии. Но ведь своими неудачными опытами я тронул три-
40 четыре точки, когда таких — десятки миллионов на Руси, это море неисчерпанной, а главное — неисчерпаемой глубины. При всех усилиях всех писателей — они тронут точки, не всколебав моря. Это я обдумал, раньше чем совершить нецеломудренное касание. Но что за дело какому-нибудь жителю Симбирска, Вологды, Тифлиса, что я не выдумал сюжета, а взял его, навел камер-обскуру. По подробностям светописи он видит, что это — не выдуманно, что это есть. И он утешен. «Пишут о любовницах, зверстве и разврате; но вот мне показан факт, я в него влагаю персты, как неверующий Фома, и говорю: жизнь жива, идеал есть. Он есть не как теория, не как алкание, а как картина, с которой можно рисовать». И в Во-

логде, Тифлисе или Самаре, брат мой, читатель — жив и надеется. Он получил опору в борьбе; опору в маленьком утреннем впечатлении, которое наложит отпечаток на день его труда. И многое тому подобное. Я не все сказал, что думаю, но я сказал главное.

Он умолк. И мы все молчали. Мне показалась эта сшибка мнений занимательною, и я решился познакомить с нею читателя. Может быть, и он подумает об этом что-нибудь от себя.

Осенние листья шумели около веранды, и становилось холодно. Хозяин нас пригласил:

— Ну, мы пофилософствовали, теперь можно и за карточные столы. Перейдем в комнаты и устроим лирическому автору хорошую партию доброжелательных партнеров. ¹⁰

ИЗ ЖИТЕЙСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Ничего нет скучнее и однообразнее вида толпы. Это море голов так походит одна на другую. Движения приблизительно одинаковы. Даже воспитанность, манеры не представляют значительных различий. Идут, как идут. Стоят, как стоят. Одни одеты получше, другие похуже. Если вы остановитесь на перекрестке двух людных улиц и станете наблюдать, через немного времени вы почувствуете отвращение к предмету наблюдений по самой бессодержательности его.

Но вот каждый из идущих отделяется от толпы, сходит с людной улицы в менее людную; идет далее, завертывает в переулок, поднимается по лестнице, уже своей лестнице, протягивает руку к звонку, тоже к своему звонку. Ему отворяет горничная, отнюдь не похожая на всех остальных горничных, и он входит в квартиру — до известной степени единственную по обстановке своей и по своим обитателям. Если бы ваш взгляд обладал свойствами рентгеновского луча, т. е. мог проникать сквозь деревянные стены, вы, наблюдая человека, столь скучного в толпе, — увидели бы его чрезвычайно интересным с той минуты, как он отделился от нее и вошел в свой дом. Поэтому и о толпе можно сказать, что она скучна и однообразна, в силу того одного, что мы ее не знаем. На самом деле это море голов, поражающих своим общим видом, не имеет ничего общего в каждых двух рядах лежащих точках. Напротив. В каждом сердце есть маленький роман. Каждое лицо есть страница своеобразной книги, — страницы начальной, страницы окончательной; и сколько в этой толпе людей, переживающих в это самое время, в этот именно день роковой перелом или важный фазис в своей жизни. ²⁰

Но толпа на улице все-таки еще нарядна, и если не интересны в ней лица, можно полюбоваться на одежды. Окончательной утомительности достигает толпа в мундире и во фронте, каков бы ни был этот мундир и почему бы ни был выстроен этот фронт. Для живописца или романиста фронт и мундир есть могила его темы. Я не знаю фронта военного, но два фронта, два вида человеческой замундированности — чиновническая и учебно-школьная, — мне близко и непосредственно знакомы. Какими безвкусными, бесцветными, похожими на дистиллированную воду, существами казались без сомнения мы нашим добрым педагогам ⁴⁰

и воспитателям в Н-ской гимназии. Не скажу, чтобы это заключение было безусловно ошибочно. Нет, в самом деле девять из десяти учеников действительно представляют какую-то нумерацию юношеского возраста.

Уже на парте их чувствуешь, как неопределенный и общий номер человеческого существа, и их жизнь предугадываешь тоже, как общий номер человеческого существования, по каким-то безошибочным признакам. У меня в кабинете висит наша ученическая группа, снятая перед выпуском из гимназии, а в альбомах — несколько дорогих, до известной степени заветных гимназических карточек. Первые сняты, как вообще класс, вторые суть особенные друзья, и я живо помню как одних, так и других. И вот в классной группе я до сих пор люблю разглядывать эти тусклые нумерные лица, которые уже в то время семнадцати лет пора-
 10 жали меня глубочайшим отсутствием в них индивидуальности. До сих пор помню разговор с одним товарищем в портерной, куда мы зашли после так называемого литературно-музыкального вечера, какие раз в два месяца устраивались в акто-
 20 вом зале нашей гимназии, по инициативе педагогического совета. Читатель да не подумает дурно, что каким же это образом «гимназисты» и вдруг — портерная! Я и веду свой рассказ почти к тому, чтобы показать, каким образом под фронтом, именуемым «гимназия», в сущности проходит полная юношеская жизнь, почти во всей округленности ее невольных проявлений. Мы были вот-вот перед уни-
 30 верситетом. Товарищ мой был рябой, умный и суровый, хорошо учившийся, особенно по математике, воспитанник. Он щелкнул пальцем по бутылке и прогово-
 рил:

— Мерзость. И обстановка мерзость, и все, и эта гадкая бутылка.

Я посмотрел на него не без удивления. Напротив, мне казалась и бутылка, и обстановка по крайней мере прекрасными. Можно ли сравнять с классом?

— Чего же ты хочешь?

Его суровые, никогда не смеявшиеся губы вытянулись в длинную улыбку. Углы рта отодвинулись назад, к ушам, а глаза блестели. Он сделал руками какое-
 30 то круглое движение, что-то показал в ладонях.

— Вот такая маленькая бутылочка. Не бутылочка, а графинчик. Горлышко узкое и длинное, и сам он небольшой, но вместительный, круглый, как осевший пузырь. И шкафчик, где он заперт, в столовой. И вот, положим, устал, придя со службы; на столе дымятся щи, и вот ты подходишь, открываешь шкафчик, нали-
 40 ваешь рюмку, только рюмку или две, и садишься обедать.

Глаза его блестели. Видно, что он давно все обдумал, и что это — мечта, такая странная, успокоенная мечта успокоенного существования у семнадцатилетнего юноши. Так я и помню, что он достиг своего, т. е. хорошо кончил гимназию, не отвлекался в сторону в университете и где-то теперь осел на бесконечной шири
 40 Руси, и, конечно, делает свое дело, и, конечно, хорошо его делает, как он все имел
 40 обыкновение делать хорошо и основательно.

Но за этими «нумерными» учениками — Боже, какие скрывались фантазии! О, юность, моя юность, как ты прекрасна уже тем просто, что была! Что за тайна в юности и отрочестве? Там текли дни, и как будто мы в них скучали. Но вот протекли они — и до чего же они дороги! Говорят, душа едина в человеке от рождения до могилы. Не верю. Мне кажется, несколько раз в нас рождается новая душа, или, пожалуй, душа наша похожа на ряд полых, вытягивающихся один из друго-
 40 го цилиндров, и на всяком новом цилиндре, высывающемся из предыдущего,

написано нечто совершенно новое. Последний вздох, который делает человек в жизни, не есть все-таки вчерашний вздох и не есть *resumé* всей жизни, а новый сегодняшний, единственный и сотворенный вздох. Пока мы живем — мы творимся, как корабль идет, пока он корабль. Корабль пал на дно моря, человек умер: ну, теперь, но только теперь — нет хода!

Первый ученик нашего класса Б-ский для всякого представился бы со стороны образцом скучного человека. Он никогда не участвовал ни в каких наших историях. Начальство не ненавидел, учителей не презирал, чтением не увлекался. И голова у него было какая-то скверная, угловатая. И учеников он не любил особенно и ни с кем особенно не дружил. На уроках, впрочем, подсказывал. Перед уроком мы, бывало, собьемся в кучку, откроем Ливия, из которого никто не готовил: «Да где Б-ский?». Командированный ученик бежит в коридор, торопливо схватывает его за рукав, приводит, ему суют открытое место Ливия — и он переводит, а все остальные следят, а трудные по конструкции места тут же набрасывают на бумажку. Это он не ленился делать и, вообще, был хороший товарищ, но какой-то неинтересный. Никакой критикой не занимался и никаких предположений на будущее не делал. Учителя его не отталкивали, а ученики не привлекали.

— Ты хоть бы почитал что.

— Да я и читаю. Что за вопрос?

— Чтó же ты читаешь?

Сейчас я не припомню фамилии французского натуралиста, которого он назвал, но потом я следил и знаю, что натуралист этот умер лет пять назад. Он не был в собственном смысле ученым, исследователем, открывателем, и еще меньше — теоретиком; но был чудным наблюдателем-рассказчиком, и с примесью особенной соли, о которой мне и поведал первый наш ученик.

— Он проводит параллели между характерами животных и людей. Он описывает, положим, жирафу или какую-нибудь птицу, и, чтобы ярче выразить, описывает ее чертами человека, ну, положим — адвоката, ученого, учителя; потом увлекается далее и далее, бранит животное и параллельного человека, или восхищается животным и параллельным человеком, наконец забывает о животном и бранит одного человека, пишет политический памфлет, от которого опять переходит в зоологию. Это восхитительно по остроумию, грации, живости; но самое восхитительное из животных и людей — это автор книги, который так любит и животных, и людей.

Он говорил таким тоном, как будто сообщал прелестнейший литературный секрет.

— Пожалуй, и мне прочесть. Да ведь не поучительно и никаких новых фактов, даже может быть вранья много. А мне некогда.

Не знаю, куда я торопился в молодости, но я никогда так не торопился делать и делать, трудиться и трудиться, узнавать новое и новое, как в те гимназические годы.

— Как хочешь. Я не могу оторваться. Ты говоришь новое и факты? Да зачем тебе они?

— Как зачем? Наука.

— Наука? Не знаю. Он описывает торговца процентными бумагами и сравнивает его (он назвал и имя птицы, забытое мною)... сравнивает с такою-то птицею,

которая ловит жуков и сажает их на колючки шиповника. Целая коллекция жуков и должников.

— И наврано и о жуках, и о должниках? Не разберешь, где истина.

— Да тебе-то что?

— Да истина.

— Да чорт с ней, с истиной. Дурак ты.

— Нет, я не дурак. А тебе стыдно. Как же я буду читать книгу, где никакой истины нет? Время и будущее.

10 Т. е. я хотел сказать, что мы ответственны за свое время и ответственны перед своим будущим.

— Ну, и отходи, пожалуйста, со своим временем и будущим.

Книгу я все-таки прочел. Ничего особенного; хорошо написана, но как ничего нового не открывала, то я прочел и забыл, без впечатления.

* * *

Этот Б-ский был бедный ученик, и самое прилежание его и успехи я объяснял тем, что он старался учиться, как бедный ученик. Бедные все или предлежат к выгону, если озорники; а если не озорники, то идут лучшими. Б-ский был без всяких порывов юноша и, естественно, шел первым. Отец и мать его были военные и чуть ли не из казаков; жили на Кавказе.

20 Он и говорит весной:

— Поеду на Кавказ. Сперва по Волге, а потом через Каспийское море.

— Как же ты поедешь, когда денег нет?

— Вот вопрос! — И он засмеялся. — Достану.

Приходит осень.

— Был ли на Кавказе?

— Был.

— Где же ты на билет достал?

30 — Я билет достал. Управляющий пароходством такой-то. Я пошел к нему, объяснил, и он дал билет. Сперва по Волге, а там в Астрахани достал билет и по Каспийскому морю.

Так это мне не понравилось. Никакой самостоятельности нет в человеке и нет гордости. Он же говорил, как о самом обыкновенном деле.

40 При гимназии у нас было братство св. Гурия. Братствами называются благотворительные общества, с небольшим членским взносом, с членами обыкновенными и почетными (которые платят побольше), с председателем, состоящие из мужчин и женщин, так сказать, из nobiles города. Им — некоторое развлечение, забота, а ученикам — польза. На средства этого братства содержалась и небольшая братская квартирка для учеников со столом, чаем и проч. До сих пор помню улицу средней руки, не очень далеко от гимназии, калиточку, дворик, сени и невысокие бедные комнаты. Жило в этой квартире должно быть человек восемь учеников разных классов, под присмотром тихой и богобоязненной старушки. Сейчас же скажу, что эти братские квартиры неизмеримо лучше так называемых пансионов при гимназиях, где помещается человек 100—150 учеников и которые производят на гимназистов возмутительное действие как душностью своей дисциплины, так и тайной, глубокой внутренней деморализацией. Тупица и развратник, неразвитой лентяй и грубейший циник, обуза семьи, гимназии и позднее об-

щества — обыкновенный плод этой педагогической казармы, с огромными залами, паркетными полами, тайным шпионством и каким-то внутренним расслаблением ученика ко всему хорошему, ибо он никогда не бывает один здесь и не видит около плеча своего никакого нового лица и новой обстановки сравнительно с скучнейшим и удвоенно надоевшим учителем и классом. Плоды этих педагогических заведений — самые антипедагогические. Напротив, «братская квартира» имеет все достоинства пансиона в смысле присмотра и сохраняет вместе с тем характер частной квартиры, частной семьи. В смысле приключений тут бывает смешное, но не бывает чудовищностей, какие хоть и шиты, и крыты, но есть и не уничтожимы в пансионах. 10

Б-ский, как бедный и достойный ученик, жил на братской квартире. По этим же качествам лучшего ученика он имел постоянный урок, оставлявшийся ему самим директором. Прекрасная его сторона была, однако, в том, что он никогда ни в ком не заискивал, и в отношении учителей и директора был так же глубоко равнодушен, как и в отношении товарищей. Нужно что-нибудь — попросит, никогда не стеснится; но он не подготовлял почвы к просьбе, не лез на глаза, не льстил. Никогда этого в нем не было, — и не то, чтобы он выдерживал достоинство. Просто лезть ему не нравилась, как, например, не нравился Дрэпер, а деньги или помощь он брал, как мы берем извозчика. «Нужно» — и кончено. И нет за это благодарности, а перед этим нет уничижения. Его характерное отношение к средствам жизни, какое-то беспечное, не жадное, однако без всякого намерения что-нибудь самому сделать для их приобретения — поражало меня всегда. Я наблюдал, что такая смесь бессребренника и лентяя вырабатывается у людей, до позднего возраста не принужденных зарабатывать себе жизнь, бороться с нуждой. 20

И урок он брал не потому, что ему урок был нужен, а потому, что какому-нибудь второкласснику нужен был хороший репетитор. И он был хороший репетитор. Но куда же он девал деньги? Никто не может представить себе, и от этого-то, вспомнив милого товарища, столь изумительно заурядного с виду, я и сказал, что подите-ка разберите толпу или разберите класс учеников.

Ни в чем он не нуждался, не курил; в случае поездки на Кавказ, так легко запрашивал билет, что ему и в голову не могло придти начать откладывать «на поездку». Деньги целиком у него оставались и он устраивал на них... пир! 30

Пир на братской квартире! На квартире в память св. Гурия! Да, подите же, мы все курили, и чтобы накуриться — достаточно было с урока попроситься «выдти». Но высшее наслаждение для нас доставляло накуриться на самом уроке, перед учителем. Учитель нюхает в воздухе: «Пахнет дымом!». Конечно, он этого не говорит, потому что вышел бы скандал. Даже директор скажет: «Так у вас на уроках курят!». Он только делает тоскливое лицо, грознее спрашивает уроки, внимательнее следит за лицами. Но лица все обыкновенные, простодушно-озабоченные, а дым мы спускаем в ранец. Папироса же закурена была моментально под партой, куда опустился ученик поднять упавший карандаш; а чтобы дым не подымался и не струился, он незаметным движением губ и энергичным надуванием груди рассеивается, не смеет подняться. Да и какой там дым! Ведь мы не курили, а глотали табак, уж изо рта выходил один пар, так разве чуть-чуть с синевой. Но запах был. 40

Так и пир. Его устраивал раз в месяц Б-ский. Так как он не торопился жить, то и деньги сохранял, только делая вид, что расходует их на ученические нужды —

до конца месяца, до срока нового получения жалованья за урок. Добрая наша старушка, зная, что получка через неделю еще, менее всякого другого в чем-нибудь подозревает и притом столь тихого ученика. И вот перед новым месяцем или где-нибудь в середине месяца он выжидает субботы. Суббота — любимый ученический день, ибо уроки будем учить в воскресенье, а суббота есть полный досуг и беззаботность, главное, главное — беззаботность! Нужно заметить, учеников не столько истощает труд или, точнее, труд вовсе их не истощает, а истощает постоянная маленькая робость быть спрошенным завтра, постоянное ожидание быть дернутым за нерв. Суббота и есть такой день, когда ученик позволяет себе вовсе забыть, что он учится в гимназии: не думать, не бояться, не заботиться. И вот в намеченный вечер субботы или кануна другого праздника Б-ский с утра жалуется на головную боль; он и немного, два, три товарища, с ученической квартиры. Ударили ко всеобщей. «Уж мы останемся дома», — говорят они старушке. — «Ну, что же, да и устали за неделю — отдохните». Нужно заметить, что стояние как на всеобщей, так и на литургии, будучи формальным посещением церковной службы, рассматривается учениками в параллель хождению в класс, только без страха быть спрошенным, но зато с большим утомлением физическим, и хозяйка понимает, что нехождение в церковь есть отдых, а может быть и лень, которую она по доброте и старости лет позволяет им. Сама плетется в ту же церковь, куда идут и ученики ее квартиры, т. е. в общегимназическую.

Странные бывают вкусы. Б-ский сейчас же отправляется в лучший магазин в городе, называвшийся «Муравейник». Аллегорическое его название выражало, что в этом магазине можно все найти, что это универсальный магазин. И действительно, из него лакомился весь город, все *pobiles*. Он выбирал самое лучшее, дорогое, ароматное вино, какую-нибудь сорокалетнюю мадеру или столь же старый портвейн, и ничтожную в смысле количества, но тоже элегантною закуску, и с сокровищем спешил домой. Товарищи уже ждали. Маленький ученический стол покрывался чистой салфеткой; зажигались свечи; и откупоривалась изысканно придуманная редкость. До возвращения оставался час с четвертью, самый маленький срок: и можно сказать, как бьют часы четверть — в этот маленький срок приблизительно четыре раза наполнялись рюмки друзей — и тянулись медленно, с длинным держанием вина во рту, с полным и глубоким отрицанием пьянства и с столь же глубоким и тонким погружением собственно в аромат «божественного напитка». И речи были или коротки, или вовсе отсутствовали. Вообще ничего особенно товарищеского не было, ни воспоминаний, ни ожиданий, ни тем паче — грубой критики учителей. Гимназия оставалась вне, как оставляют в прихожей калоши. «Мы — боги, и мы теперь одни; нам никого не нужно и нас никто не тронет». Его особенный вкус — я говорю о Б-ском — допускал еще не длинный изящный рассказ; небольшую тонкую остроту, изящную шутку, не более. Но вот «третий звон», «к выходу» от всеобщей; это как «прокричал петух» для наших маленьких колдунов. Без торопливости свечи тушатся, скатерть снимается; рюмки и бутылки бросаются в такое место, где их ни найти, ни вынуть. И смиренная братская квартира, конечно совершенно трезвая, ибо и был буквально один аромат, встречает смиренных молельщиков и весело с ними садится за убогий ученический чай, с порционной полбулкой на брата.

* * *

Б-ский решил поступить на филологический факультет, как и я, и как нас из гимназии шло на филологический только двое, то мы и решились жить вместе, «чтобы вместе заниматься и помогать друг другу». Боже, какая это была бедность! Мне определено было двадцать рублей в месяц — «с родины»; у него были какие-то полтора рубля — и ничего в будущем, ничего вокруг. Поселились — это было в Москве — на Никитской улице, как теперь помню в меблированных комнатах Литвинова. Вспоминаю унылый самовар и унылого «человека» (коридорного). — «Ну, что же самовар?». — «Сейчас будет готов». И ждем. — «Да отчего же вы не несете самовар?». — «Еще не готов». Какая-то злоба овладевает 10 вами. Вы идете по коридору, мимо пакостного стульчика «человека», взглядываете на самовар, крошечный, помятый, который точно «поставлен», на нем труба и в нем уголья, но он почему-то не кипит. И так каждый день томление духа. Коридорный был такой же унылый. Молоденький, истощенный, может быть голодный, и молчаливый, как гроб, абсолютно ко всему равнодушный. Номер нам стоил пятнадцать рублей и был перегороден на две комнатки, мою и Б-ского. Окна начинались почему-то почти от пола, и были огромные, широчайшие; сам номер — низенький, теплый и, кажется, без сырости. Заниматься можно бы, если бы не какая-то... скучища ли, уныние ли. Мы, впрочем, набрали книг — конечно не по своему факультету; я взял Роберта Моля — «Энциклопедию права», Бен- 20 там и Макиавелли у меня были свои в коленкоровом шестидесятикопеечном переплете; лекции (литографированные) еще не начали выходить. Кстати, мы не попали на первую свою лекцию. Приходим — профессора еще нет. Было первое или второе сентября. — «Отчего нет профессора?» — «Не изволили приехать». «Ну, что же, брат: пойдем куда-нибудь! Да вот валит народ — идем за ними». И мы прошли по лестнице, куда-то влево и вверх, и сели, конечно на первой скамье, и раскрыли рот. Профессор тоже раскрыл рот и, ходя по аудитории быстро и одушевленно, говорил, что натурфилософия, еще сорок лет назад имевшая всеобщий в Германии кредит, теперь не имеет никакого к себе доверия, представляя чистейшее и ни на чем не основанное умозрение; и потом что-то сперва об 30 Окене, а потом об иглокожих.

— Отлично! Отлично! Какая интересная лекция! — восклицали мы, выходя по ее окончании из аудитории. — Как фамилия профессора?

— Богданов.

Это был знаменитый, недавно умерший, зоолог и антрополог Московского университета.

Мы были в восторге, что не пропустили даром времени.

— А что же вы на лекции не были? — спросили нас с нашего факультета студенты, тоже шедшие маленькую кучкою из другой аудитории.

— Да ведь профессор не пришел.

— Он потом пришел и читал.

Нам сделалось грустно. Как пропустить первую свою лекцию. Но завтра, завтра мы придем как можно раньше!

* * *

Дома было все так же уныло. Одно развлечение — музыка. В нашем коридоре, однако почти на другом конце его, жила консерваторка, больше упражнявшаяся

* * *

Раз он говорит мне:

— Ну, как хочешь. Деньги все выходят. Если я теперь не куплю Гейне, я уже всю зиму его не куплю.

Мы пошли на Кузнецкий мост. Меня бесконечно соблазняли бюстики великих писателей за огромными зеркальными стеклами, но он, ни на что не обращая внимания, шел к известному ему немецкому магазину.

— Ну, ты ступай, а я подожду.

Жду-жду, не выходит мой Б-ский из магазина. Мне показалось, что прошло четверть часа. Что же ждать? Верно, он вышел, не нашел меня и пошел домой. 10
Этак я простою тут до ночи.

И в нетерпении я вошел в магазин. Смотрю, Б-ский тут.

— Вам что угодно? — обращается ко мне элегантный приказчик.

Мне, казалось, войти в магазин «посмотреть товарища» в высшей степени неприличным. А покупать что-нибудь из двадцати рублей месячных возможно ли? И я решил спросить у них книгу, которой, наверно, у них нет.

— Дайте мне «Divina Comedia» Данте, только на итальянском языке.

— Конечно, на итальянском.

И он подал мне три изящных тома. Я обмер.

— А можно одну часть? Мне нужно только «Ад». «L'Inferno», вот тут написа- 20
но. Это — «Ад».

— Можно. Два рубля семьдесят пять копеек.

Я отдал, и мы вышли.

— Зачем же ты купил? Ведь ты не знаешь итальянского языка?

— Потому что ты дурак. Что ты там делал?

— Выбирал. Весь Гейне дорог и я купил только «Путешествие на Гарц». Но взгляни, какая прелесть.

И сбросив бумажку, в которую была завернута книжка, он подал мне квадратный томик в переплете, с золотым обрезом, какого-то альбомного формата.

Я тоже был доволен своей покупкой. Итальянскому языку я буду непременно 30
учиться в университете же у проф. Мальма, лектора итальянского языка. Я тоже сбросил обложку, и, как теперь помню, прочел первые строки знаменитой поэмы, на его, Данте, флорентийском наречии:

Nel mezzo del camin di nostra vita
Mi ritrovai per una selva oscura
Que la via diritta era smaritta *.

Первые строки я понимал, потому что знал русский текст перевода. Но, прочитав с трудом по-итальянски, я восклицал: «Отлично! отлично! какой чудный язык!». Он в то же время уже бежал по строкам Гейне. Немецким языком он владел, как отличный гимназист, т. е. почти свободно читал. Так мы спускались по 40
Кузнецкому мосту к нашей родимой Никитской улице, и тут уже забежали к Филиппову.

* Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины (ит.; пер. М. Лозинского).

— Два больших калача и сухарей, пожалуйста, поскорее.

Мы торопились к чаю. И самовар был скоро подан. Мы уткнули нос в покупки, самовар шипел, калачи были тепленькие, а там, из далекого номера, уже неслось:

Расскажите вы ей,
Цветы мои...

* * *

Мы скоро расстались с Б-ским. Он куда-то уехал, я перешел на другую квартиру. Вся жизнь моя в университете была в сущности чрезвычайно грустная жизнь, тоскливая, недоуменная. Встретился я с ним уже на третьем курсе. Ока-
10 зывается, он перешел на юридический факультет. Вот раз и говорит:

— Пойдем, Базиль. Хороший вечер и я покажу тебе мои богатства.

— Твои богатства?

— Пойдем.

Мы поспешили. Он вывел меня из шумно-торговых улиц и повел по улицам более тихим, свободным, с палисадниками перед домами, и самые дома были не велики, но хороши.

— Куда же ты меня ведешь?

Он молча шел. Зажигались огни, но было еще так светло, что архитектура до-
20 мов не скрадывалась. Он остановился перед чрезвычайно изящным домом и ска- зал мне:

— Вот мой дом.

— Твой дом?!

Но он горячо объяснял мне красоту его плана, пропорциональность окон, и необыкновенное удобство внутреннего расположения комнат.

— Вот тут угольный маленький кабинет. Маленький кабинет для немногих друзей. Шторы никогда не поднимаются, до полу. Мебель низкая, турецкая, и, зна-
ешь, этикие тумбочки. Камин, и вечное его пыланье. Огонь как душа людей или душа — как огонь... Ты помнишь древних? Какое прекрасное верование!..

Он совсем увлекался. Перешел к залу, гостиной, столовой — и подробнейшим
30 образом описывал их меблировку и план, взаимное соотношение комнат.

— Ты бредишь, — сказал я.

— Не брежу, а воображаю. Воображать так же приятно, как быть, и вообра-
жать, что это дом твой, так же приятно, как иметь свой дом. Даже духовнее, и са-
мое удовольствие тоньше и чище: нет грубых столкновений с прислугой и про-
чее. Если ты не устал, пойдем еще.

— Я ужасно устал. Зачем и куда мы пойдем?

— Это мой уединенный дом, но у меня есть другой, для роскошных приемов.
Но до него далеко идти. Архитектура и план — совершенно другие...

— Сумасшедший ты человек. И для чего ты все это воображаешь? Ведь ты ни-
40 когда этого не будешь иметь.

— Странное возражение. Неужели ты непременно будешь тем, чем вообража-
ешь, например ученым, философом, знаменитостью? Однако ты воображаешь.
И всякий человек воображает. И я воображаю. И это приятно.

Скоро обстоятельства моей жизни совершенно переменялись, и он перешел
ко мне жить. Тут я его узнал с привлекательнейшей стороны. Не было беспечаль-

нее человека и беспечальнее существования. Пальто у него не было, и он ходил в сюртуке, но как-то не стеснялся. В манерах его и поведении никогда не было «бедного» в смысле приниженного или просящего. Он был большею частью задумчив, и если выходил из задумчивости, то становился весел и непременно что-нибудь придумывал. Никогда я не помню с ним никаких рассуждений, никаких длинных споров. Раздраженным я тоже его никогда не видал. Политикой и историей он нисколько не интересовался, и ограничивался тем, что знал, что живет в Российской империи, в царствование Александра III.

Наступили экзамены. И он все вертел какую-то книжку Ульпиана. Это — часть «Corpus civilis», в издании какого-то немецкого ученого, и с необозримыми примечаниями. Только слышу, латинские тексты мешаются у него с чем-то русским. 10

— Это еще что?

— Вообрази, Базиль, какая прелесть. Это сочинил один наш юрист.

И он подал мне лоскуток бумаги. Я прочел:

С тех пор, как встретился с тобою,
На ум мне лекции нейдут.
И повторяю я с тоскою
Камама тут! Камама тут!

Передо мною книжка Гая,
Открыт четвертый «Институт»... 20
Экзамен близко... Дорогая!
Камама тут! Камама тут!».

Напрасно ум свой напрягаю, —
Мне не постигнуть мудрость ту;
Одно твержу, одно лишь знаю:
Камама тут! Камама тут!

— Действительно хорошо. Только я не понимаю, что же это за «камама»?

— Цыганское слово или, может быть, имя. Романс написан цыганке, и так хорошо, что я не могу справиться с Ульпианом.

По окончании курса я видел его только раз; в цилиндре, шикарном пальто, с расчесанной бородой, он был похож на картинку с модного журнала: 30

— Ну, где ты и что ты?

— Судебным следователем.

И он назвал один из глухих наших городов.

— Ну, а во внутреннем отношении? Все также мечтаешь и зачитываешься Гейне.

— Ты читал Мопассана?

— Нет, но слышал.

— Тогда я тебе не могу объяснить. Может быть культ писателя и культ его мировоззрения, его тем. Я перешел... в petite religion * Мопассана. 40

И он засмеялся длинным и тонким смехом.

* маленькая религия (фр.).

— Нет, довольно серьезно. Я более твердо теперь, чем прежде, знаю, что живу в царствование Александра III и в России. Но в сущности занимает меня... один Мопассан.

— Однако ты составляешь значительную дисгармонию с исторической минутой.

— Уж таков закон моего воображения, — ответил он.

С. Ф. ГОДЛЕВСКИЙ. СМЕРТЬ НЕВОЛИНА И ЕГО СКИТАНИЯ ПО СИБИРИ

Издание Т. Беккер. С.-Петербург. 1900. Стр. 243

- ¹⁰ Автор, посвятив несколько этюдов знаменитым мыслителям Англии, Германии и Франции и некоторым посредственным мыслителям русским — в «Смерти Неволлина и его скитаниях» пытается накидать в сфере мысли кое-что свое. Книжка носит полубеллетристический, полуфилософский характер; это — беллетристика сквозь философию и философия сквозь беллетристику — род творчества, крайне сродный русским и для которого в «Дневнике лишнего человека» Тургенева дан ранний и неувядаемый образец. Неволлин — бедняк-идеалист, Гамлет новой русской действительности, еще «Гамлет Щигровского уезда» — опять вспоминается невольно Тургенев. «В течение нескольких лет попадалось мне его имя под серьезными научными статьями; но на крупный труд, о котором он мечтал еще в юности, должно быть у него не хватило ни средств, ни сил, и не достиг он громкой известности, венчающей так часто в наши дни жокеев, берущих призы, и ловких дельцов, шагающих по головам людей, как по гранитной мостовой. Преждевременная смерть явилась для него, вероятно, не простой случайностью, а его благие стремления, упорный труд и знания, добытые ценой тяжелых жертв, погибли бесследно, потому что он был одинок и быть может даже в страшный час смерти некому было закрыть глаза умирающему» (стр. 16). Так набрасывает автор очерк нравственной физиономии своего героя. Этот сумеречный герой, без рассвета в душе и в биографии, — учитель автора в детстве, горячо привязавший к себе мальчика. Он вспоминает первую встречу с ним еще студентом; отыскивает уже после его смерти его одинокую квартиру на Петербургской стороне, полную всевозможного книжного хлама и хаоса, единственное украшение которой составлял портрет молодой и прекрасной женщины, с загадочным лицом. Он спрашивает хозяйку квартиры, не осталось ли после покойника каких-нибудь рукописных трудов, — и получает от нее кипу полуистребленных бумаг: это и есть «Записки» Неволлина, семь отрывков из которых он предает печати. Часть их посвящена Сибири: «Женщина в изгнании», «Падшие ангелы», «Амурские лихачи». Два отрывка автобиографичны: «Судьба» и «Призрак», и один философично-мечтателен: «Смерть — пробуждение». С внешней стороны наибольший интерес представляют очерки Сибири, ярко колоритные, новые для жителя Европейской России. Идет автор по улице городка, в который только что приехал для исправления обязанностей товарища прокурора, — и встречает «тутошного
- ³⁰
- ⁴⁰

жителя». «Скажите, почтеннейший, как называется эта улица?» — «Улица». — «Вижу, что улица, да как она называется?». «Улица улицей и называется, чаво еще». И на лице туземца выразилось недоумение, почти испуг. Автор предается размышлениям об истории многих таких сибирских городов: «Вот выстроили для благоустройства острог в глухом селе, соорудили несколько казенных желтых домов да полосатых будочек; пустили, как водится, инвалидную команду и несколько штук секретарей да регистраторов — и город готов» (стр. 74). Увы! много городков возникло таким образом и по сю сторону Урала. И вот, среди этой дичи и первобытности вдруг наталкиваешься на роскошь, но тоже какую-то дикую: «Хозяин подвинул мне жестянку с закуской. На ней был штемпель: „Сан-Франциско“».

— Стоит вам покупать закуски из-за океана, когда здесь всякого мяса не оберешься? — удивился я.

— Стоит, стоит! Попробуйте, какова индейка. Мясо-то какое белое, нежное, точно у выхоленной барышни, — возразил он смакуя, с видом гастронома.

Я взял кусок. Действительно, индейка оказалась очень вкусной. Сладковатое, сочное мясо так и таяло во рту.

— Да-с, мы здесь не едим сальных свеч, как про нас еще думают на Западе. Мы знаем толк в еде. На том стоим. Вот бы вы посмотрели на резиденциях...

— Чьи же это резиденции? — удивился я.

— Так у нас называют местопребывание золотопромышленного начальства. Вот где умеют пожить! Всякие деликатесы и вина, крупная картежная игра, все в самых широких размерах. Даже поражает с непривычки: кругом пустыня, тайга; бродят инородцы, которые даже хлеба не знают, а питаются протухлой рыбой, — и вдруг этакий, можно сказать, „букет цивилизации“» (стр. 98).

А вот и страница этого «букета». Доезжает автор до золотопромышленных мест. Нанимает мужика довести до следующей станции. Тот ломит за один перерог пятнадцать рублей. Турист в отчаянии и недоумении.

Ему объясняют:

— Народ уж в нашем селе такой. Зачем ему трудиться везти вас, когда, примерно, муж отдает приисковому рабочему жену свою на прокат дня на два, — вот у него и есть сорок рублей в кармане, не считая угощения, да и лошадь гонять не надо (стр. 138).

В очерке «Падшие ангелы» автор выводит «сосланного в места отдаленные» знаменитого петербургского адвоката. Какое падение! Его теперь бьют; бьют мужики, рабочие, — а он уж только сосет водку «для забвения». Когда-то он блистал в столице, прожигая десятки тысяч рублей в год. Невозможно ярче нарисовать образ человека с испорченным юридическим прошедшим. Те же знания, та же голова... все то же: но пала юридическая чернильная капля на человека — и во что он обратился! Очень полезен и для соображений судебного ведомства очень важен очерк: «Женщины в изгнании». Это — судьба безвинных жен, следующих за мужьями в каторгу и ссылку. Тут что-нибудь можно сделать закону и администрации, стереть кое-какие безвинно гниющие раны.

Нашу заметку о книжке не очень яркого, но очень вдумчивого автора кончим заключительным аккордом, которым кончается очерк его: «Смерть — пробуждение»: — «И умирая, я понял, что мир-фантом — великое произведение духа, в сравнении с которым творения Рафаэля и Шекспира — лишь жалкая мазня,

- что вселенная, как всякое произведение гения, соткана из неуловимых впечатлений и внушений, возникших в сознании творческого духа. Я понял, что материи нет, а есть гипноз материи, власть высшей непреодолимой воли над человеческой душой; а жизнь — лишь гипнотический сон. И как только я это понял, все мои земные скорби и желанья, страх смерти и все мои надежды рассеялись, как дым. Предчувствие иной жизни проникло в мою душу и на пороге вечности я понял, что я — бессмертен, бессмертен» (стр. 243). Да и Платон греческий говорил, что «умереть — значит вернуться к подлинной действительности» из действительности неподлинной, а кажущейся и призрачной, какая нас окружает здесь.
- ¹⁰ Что же, умрем — узнаем. Мне всегда казалась смерть человека похожей на момент, когда муха переползает по краешку стола с верхней плоскости его доски на нижнюю: в один момент — и совсем новое зрелище! Всё — другое! Муха видит теперь ноги людей, о которых, ползая по верхней плоскости доски, она не имела никакого понятия, видит ножки стола, паркетный пол — вместо лепного потолка и лиц людей, сидящих за столом. Смерть есть перемена не нас, но вокруг нас, совершившаяся от перемещения нашей точки зрения. Прежде (во время жизни) душа смотрела в мир органами матерьяльных стихий — и слышала ухом — звон, глазом — краски, и вообще видела стихийное и по линиям стихийного сцепления. Умерши, наше «я» отрывается от стихий, и разом стихийное для нее исчезнет; но
- ²⁰ как душа есть «смысл», — то разом наполнится она вечным смыслом, пониманием вечно осмысленного. Так брежжется, гадается, а впрочем, помрем — увидим...
- Вернемся еще раз к нашему автору, книжка которого заняла нас на несколько дней. Удивительно правильная книжка, в смысле написания, но не характерная. Автору, образованному и чуткому, недостает все-таки того неуловимого и неопределимого, что называется «талантом», и что мы перевели бы термином «литературная терпкость». Есть сыр «со слезой» и без «слезы»; есть вещи «с остротой» и без остроты; есть лица некрасивые (даже очень), но «с характером», надолго запоминаемым. У автора — прекрасное по правильности лицо, но я боюсь, что мало найдется лиц среди читателей, которые скажут: «Раз только видел
- ³⁰ и не могу забыть, и не понимаю, почему не могу забыть». А когда недостает этого автору, ему в сущности бесконечного недостает...

ИНТЕРЕСНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ

- В сложных и долговременных трудах государства по самоустроению, самоорганизации не все задуманное приводится в исполнение, но многое остается втуне. Однако, в архивах государственных и в памяти государственных людей сохраняются следы этих направлений мысли, не получивших в свое время жизненного приложения. Осуществление какого-нибудь предположения часто зависит не столько от его внутренней ценности, сколько от мелких деталей тогдашнего положения дел, от направления мнений и от впечатления, какое делают на
- ⁴⁰ умы современников события не только внутренние и отечественные, но даже внешние и чужестранные. Как известно, движение парижских рабочих в 1848 г. отозвалось у нас самыми неожиданными административными распоряжениями,

для которых в самой России решительно не было никаких поводов. Весьма возможно, что в самое это время специально русскими условиями жизни было вызвано много и своевременных, и благоразумных законопроектов, но все они не получили приложения вследствие впечатлений с берегов Сены. И историк может только благодарить случай, который сохраняет по крайней мере память о таких исчезнувших законопредположениях.

В только что появившейся книжке г. Пятковского: «Князь В. Ф. Одоевский и Д. В. Веневитинов» записано интересное личное воспоминание автора, бывшего в дружественных отношениях с Одоевским и приближенными к нему людьми, о законопроектах графа, тогда еще барона М. К. Корфа, относительно положения печати. Нам приятно сослаться, что человек, столь компетентный в вопросах государственной политики, как гр. Корф, в неполучивших опубликования мыслях своих о печати высказал приблизительно тот же взгляд на неудобство для нее находиться в ведении которого-нибудь одного министерства, какой мы высказали в прошедшем году. Нам казалось, что печать имеет столь общее отношение к отечеству, что и надзор за нею может быть вверен, в интересах как правительства, так и печати, не какой-нибудь ветви административного управления, но, напр., столь общему и господствующему над министерствами учреждению, как Государственный Совет. Барон М. К. Корф имел мысль, и даже пытался ее привести в 1865 году к осуществлению, о создании особого независимого статс-секретариата по делам печати, по аналогии бывшего в то время статс-секретариата для принятия прошений, на Высочайшее имя приносимых. В самом деле, мы можем даже угадывать родник мысли государственного человека. Печать, конечно, имеет кое-что общее с таковыми «прошениями, на Высочайшее имя приносимыми»; она есть «vox populi» *, и только слух, воспринимающий «voset populi» **, в данном случае менее специален и более обширен. Но печать вообще есть размышление, есть обсуждение, есть констатирование фактов, и очень часто все, что в ней заключается, является как бы «прошением, на Высочайшее имя приносимым», не прямо, но косвенно, в тех или иных оттенках. Вообще говоря, насколько печать практически работает, она есть «прошение», и круг прошений ее 30 охватывает все сферы жизни отечества, а мотивировка этих «прошений» может иногда колоть «не в бровь, а прямо в глаз» которому-нибудь ведомству, и иногда — тому самому, в ведении которого сама печать находится. Вспомним наши неурожайные годы последнего десятилетия и крайне затруднительное положение печати, имевшей все материалы для составления своевременного «доклада» и очень мало имевшей возможности воспользоваться этим материалом. Ущерб от этого прямой — государству. Но обратимся к бар. Корфу. «По идее Корфа, — пишет г. Пятковский, — печать не должна быть втиснута в рамки никакого министерства, так как всякое министерство, овладевшее печатью, в силу самосохранения или под давлением других ведомств, сейчас же и начнет сокращать пределы 40 свободного обсуждения в печати. В устранение этих естественных попыток, печать, как огромная общественная сила, не должна была делаться предметом себялюбивого бюрократического попечения; но, как законное и открытое пользование гражданским, и отчасти и политическим правом (курсив автора), должна

* «глас народа» (лат.).

** «гласу народа» (лат.).

была иметь особого министра пред лицом монарха или статс-секретаря докладчика». К этому г. Пятковский добавляет относительно судьбы законопроекта: «Статс-секретариат Корфа, задуманный в начале 60-х годов, в пору толков об освобождении печати от предварительной цензуры, не вышел из пределов проекта, и даже слухи о нем не попали своевременно в печать». Мысль однако всегда есть мысль, и имеет в себе то преимущество, что не может считаться опровергнутой, пока не испытана. Искусственность помещения литературы и печати в котором-нибудь частном ведомстве администрации до того очевидна, что и в настоящее время, например, закрытие какого-нибудь органа печати не может состояться иначе, как по соглашению четырех министров, между тем как более существенное ежедневное наблюдение за всею огромною суммою печатных органов, с правом изъятия из сферы обсуждения тех или иных текущих вопросов или крайнего сужения прав такого обсуждения, принципиально возложено на ответственность одного ведомства, без того чрезвычайно сложного по предметам его ведения. Если мы обратимся к искусству, то увидим, как сравнительно высоко и почтенно у нас поставлены, например, художество и музыка. Вспомним президентов Академии художеств или Императорское русское музыкальное общество. Какая для живописцев, скульпторов, музыкантов, даже отчасти для деятелей сцены относительная приближенность к центру света и могущества в стране, 10 какие для них великодушные покровители и ходатаи! Между тем как литература и печать стоят в средоточии, в сущности, всех искусств и художеств, заключая в себе весь итог умственных течений и направлений страны, литература и печать до сих пор не нашли еще у нас государственного признания и до сих пор еще их принципиальное место в государственной машине нашей остается неопределенным и случайным, случайной же делая и ту пользу, которую она могла бы приносить обществу и государству.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО

В словах Библии о сотворении первого человека, изведшего из себя все человечество, указан однажды и навсегда двойной состав и человека и человечества. 30 Взят *матерьял* для него — это «красная глина»; и вдохнуто самим Богом в него «дыхание жизней (мн. число), душа бессмертная». С этого времени и навсегда человек и стелется по земле и поднимает глаза к небу, к родине души своей. «Оттуда я и туда хочу». Вся история его и всякий можно сказать вершок реальной жизни проникнуты борьбою двух устремлений: к низу и к верху, к родине тела своего и к родине души своей. И всякий человек, подходя к гробу и уже бессильный что-либо еще предпринять, осматривает грустно прошлые годы свои и располагает все свои труды в две кучки: кучку небесных дел, кучку земных дел. И по относительной величине их угадывает судьбу свою за гробом.

Во всяком случае уже одно пробуждение интересов к небесному, *потребности неба* — есть хороший симптом времени. С этой точки зрения вхождение в XX-ый век не неотраднo. Конец восьмидесятых и особенно девяностые годы 40 прошлого века были свидетелями со всех сторон пробудившегося идеалистиче-

ского движения в нашем обществе. Журнал «Вопросы Философии и Психологии» все девяностые годы прослужил как бы центром идеалистических исканий в нашем обществе. Он был журналом глубоко терпимым. Его терпимость доходила до эклектизма. Приверженцы английской опытной психологии, приверженцы позитивизма, чистые эмпирики и матерьялисты находили прием на его страницах. Но рядом с этим появлялись и труды спиритуалистов и идеалистов; редакция, в лице покойного Н. Я. Грота, очень долго стоявшего у кормила журнала, явно склонялась в сторону идеализма. Но по своей специальности, журнал «Вопросы Философии и Психологии» не мог получить очень сильного действия. Ручеек идеализма, через посредство этого журнала, скорее пробивался в нашем обществе, не давал идеализму замереть в нем. Журнал этот был хроникой идеалистических дней, а не широким и громогласным зовом сюда «жаждущих и алчущих». Теперь по-видимому наступают для идеализма лучшие дни. Из «хроники будней» он по-видимому хочет перейти в «событие дня». Удастся ли это — «поживем, увидим».



ПРИЛОЖЕНИЯ



СТИХОТВОРЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ЛЕТ

На развалинах Капитолия

Sic transit gloria mundi *.

И вы прошли, века, века минувшей славы...
И в вечность канули великие дела,
И смерть забвения холодным покрывалом
Окутав не оставила следа...

И вы прошли, века... величия и славы
И смерть суровая безжалостной рукой
Задержала холодным покрывалом
Забвения.

10

Заснул старик, заботой утомленный
Ах, стоило ль, по правде, хлопотать,
О том, чтоб мир смутить и совращать
С тропинки им же проторенной.
Не все равно — ведь рано или поздно,
Его она к нам в гости приведет.

Оно так прочно, так покорно
Ему не нужно и цепей...
Оно пойдет и достоверно
За тенью мощною твоей.

20

О, миленький, хорошенький дружок
И столько злобы глупой и бесцельной
Против тебя, двуликий мой зверек.

Нет, нет... болезненные, бледные сомненья
Души слабеющей меня не победят...
И этот мир мечты, взлелеянный так нежно
С такой любовью возвращенный в душе,

* Так проходит мирская слава (лат.).

Его разбить... разбить дрожащею рукою
 Ударить временную лучшую надежду
 Создавшего его разбить мглу святою,
 Что будет он опорой и заслужной
 Моей душе, и что в бессильи от него
 Отхлынет шире нужная волна...
 Отбросив гордость, — робко встать в ряды
 Дельцов.
 Отбросить лучшие надежды, идеалы,
 Взлелеянные жизнью молодой,
 Отбросить их, как лишний и тяжелый
 Балласт, отягощающий корабль.
 И жить потом как сытая собака,
 Сегодня как вчера, и завтра как сегодня..
 Жить без надежд на лучшее, оставив
 Все, что есть в жизни худшего... и это
 И это жизнь? и это счастье? гадко...

10

Дневной ли шум,
 Но омытая кровью святою
 Ярче миру светила она.

20

И страшно вместе... мощною волной
 Холодною и чистой море жизни
 Пусть разобьет хоть вдребезги меня...
 Пускай... исход такой счастливее, чем
 Нет, никогда, возвышенной и чистой
 Мечтой себя как шлемом обовью
 Пусть защитит от этого болота,
 Она

30

Ева *Поэма*

Ева

Кто ты?

Дем.

Дух знания и свободы.

Как ветра тихое дыханье
 Когда полуночной порой
 Спешит на тайное свиданье
 К своей подруге дорогой,
 Как трепет робкий и смятенье,
 Объятий ищущий его,

40

Но чутко дремлющей природы
Вдруг пробужденной ото сна
Ревнивый ропот.

Где суровые правды пророки?
Их могучий не слышен призыв;
И навеки, велением рока,
Их замолкнул свободный язык...

И исполнены верой святою,
Словом горьким и полным любви,
Падший мир не пробудят они.

10

Полно, полно, не бейся же сердце,
Что тоскою томиться тебе?

Где служитель истины чистой?
Бескорыстно не ищут ее...

Где пророки суровые правды?
Чудный пламень потух в их груди

Падший мир не пробудят они...

Но омытая кровью святою
Ярче миру светила она.

* * *

20

Где пророки суровые правды?
Их могучий не слышен призыв;
Иль навеки, велением рока,
Их замолкнул свободный язык?

И исполнены силы и веры,
Не зажгут они светоч любви,
Падший мир не пробудят они.

Элегия

Век отрицания, век горького сомненья,
Мучитель дум и сердца моего!
С слезами радости встречает главное рожденье
С слезами скорби вижу торжество.

30

Как мать лелеет сына, как невеста.
 Стыдливых грез в душе лелеет рай,
 Так в тихом сумраке ночей надежды сердца,
 Таясь в мечтаньях, ум лелеял мой.

Как светоч чудный в сумраке сомненья
 Они манили в трудный, дальний путь,
 И тайный страх, и трепет, и волненье
 Теснили гордую и пламенную грудь.

10

В них было все: и жизни лучшей, новой
 Любви исполненной — высоких идеалов.

Ночь ли звездная в сумраке тихом
 Мир объемлет дремотой и сном
 И в молчаньи суровом, великом.

Шум ли дня и заботы людские
 Гонят снова [счастливый] покой.

В шумных улицах праздной толпою
 Окруженный гуляю я
 В тесной комнате...

20

Вечно, вечно в груди наболевшей
 Сердце бьется тоскою одной.

Звезды

Звезды ночные, небес украшение,
 Вечно спокойные, вечно прекрасные,
 Мiру скорбящему — мир, утешение
 Шлете с небес в серебристом сиянии.

Тихо мерца, с любовью прощенья;
 Грешной душе с высоты посылаете;
 Духу большому — покой, исцеление,
 Свет изливая в него, обещаете.

30

Путнику светите вы одинокому;
 В бедную хижину мир вы заносите;
 Горю тяжелому, горю глубокому
 Тихое вы утешенье приносите.

К родине

К тебе, о родина великая моя,
Мой взор с надеждою и верой обращаем;
К тебе, чьи силы, силою времен
Не сокрушенные, скрываются пока.

К тебе, великая страдалица моя,
Заступница могучая гонимых,
К тебе с молитвою горячею теснимых
Обращены любящие сердца.

И твой народ, испытанный веками, 10
Испивший скорби чашу до конца,
Любви святой и правды семена,
И чистой истины посетит меж рабами.

Великий путь лежит перед тобою.
Бессмертных путь. Спокойно им иди
И, назначенью верная, храни
Святыню истины всегда перед собою.

И верю я: свершив свои пути, 20
Сберутся, пережив года невзгоды,
Под сению великого народа
Народы угнетенные земли.

I

Век отрицания, век гордого сомненья,
Мучитель дум и сердца моего!
С слезами радости встречал твоё рожденье
С слезами скорби вижу торжество.
Так робки светлые надежды сердца.

× ×

Как мать лелеет сына, как невеста 30
Стыдливых грёз в душе лелеет рай,
Так в тишине таинственных ночей
Надежды сердца,
Таясь в мечтаньях, ум лелеял мой.

× ×

Как путник одинокий, запоздалый,
Спешит, завидевши дрожащий огонек

Так я, сомненьями измученный, усталый
Спешил к тебе, забыв, что путь далек.

× ×

И как несчастный он, обманутый сияньем
Ночного червяка, в безмолвии стоит,
Ломая руки, мучимый страданьем
И безнадежно вкруг себя глядит,

× ×

10 Так я, опять без цели, без стремлений,
Перед разбитыми надеждами стою,
И, цепью связанный мучительных сомнений,
Опять без пользы жизнь свою влачу.

× ×

II

Игрушка окаянная чужого произвола
С надеждой вслушиваясь в звук твоих речей
Мы думали найти защитников свободы
И мы нашли свободы палачей.

20 Разбивши ветхие и ржавые оковы
Мы слили цепи новые из них
И с детской радостью любясь новизною
Брянчим мы с гордостью звеньями вериг.

На место старых новые кумиры
Поставив, жжем пред ними фимиам,
Как прежде низкие и подлые пред ними
Мы пресмыкаемся в грязи и здесь и там.

30 Свободы вестники крикливые, свободу
Мы ненавидим более всего,
Как прежде нетерпимые оковы
Кладем на все мы, кроме своего.

Вспоенные и вскормленные в рабстве,
Холопы высших, низших господа,

У ног одних, как гады пресмыкаясь,
Как звери мы.

III

И ты, отчизна-мать, покинутая всеми
Вскормившая предателей-детей,
Ты продана, как вещь истасканная теми
В ком кровь твоя — изменой сыновей.

Перед твоими скорбными очами
За поколеньем поколения идут
Бесплодные, как степь сожженная лучами,
Бессильны и безжизненны как труп.

10

Сменяясь, за веком век проходит
Не принося с собою ничего
И ищет твой печальный взор, и не находит
Кто б бремя снял страданья твоего.

Кто б рабские, позорные оковы
Разбив, вдохнул в измученную грудь
Жизнь новую для счастья и свободы,
И, полный сил, повел б тебя в великий путь.

В тот трудный путь величия и славы,
Что к храму вечного бессмертия ведет.

20

О, мать моя!... Дай жгучими слезами
Твоих страданий раны мне омыть
Чтоб бремя мук твоих, накопленных веками,
Хоть на минуту облегчить.

Как прежде робкие и слабые душою,
Как прежде неспособные к труду
Как прежде бесполезные, собою
Мы только гневаем правдивую судьбу.

Ни мыслить, ни стремиться не умеем,
Ни с страстью благородного желать,
И бременем жизни тяготимся, но жалеем
Что наш удел — бессмысленно страдать.

30

Вспоенные и вскормленные в рабстве
Рабы и деспоты, как прежде, мы в душе.

Раскаянье

В минуты гордого сомненья
Тебя я, Боже, отвергал,
И, полный злобного презренья,
Твоих святых я осмеея!

И дар небес — любовь святую
Я в гордом сердце потушил;
И веру тихую, простую
Я с нею вместе заглушил.

10 И долго, долго без приюта
В постылом мире я блуждал..
И за минутою минуту
Как год за годом я считал..

И жизнь без цели, без желаний,
Без увлечений, без страстей,
Как цепью огненных страданий
Вилась вокруг души моей...

20 И эти муки неземные
Как трость сломили гордый дух!
И пал он!.. пал!.. Мольбы немые
Да не прогневают Твой слух!

Теперь стою с слезой горячей,
С слезою грешною моей,
С слезою раскаянья кровавой
Перед святынею Твоей...

Душа скорбит... душа томится..
Мне тяжело... прости меня!
Дай в тихой радости забыться!..
О, дай! о, дай! Молю тебя!

30 Душа болит... душа тоскует..
Пошли душе моей покой!
Ей тяжело... в ней ад бушует..
Дай примириться ей с Тобой!

Прими мольбу, мольбу смиренья!
Прими раскаянья слезу!
Суровым словом осужденья
Не убивай меня, молю!

Прости!... Ты видишь — я страдаю...
Ты видишь — я смиряюсь вновь...
Ты видишь — в прахе умоляю
Мне возратить Твою любовь...

О, пощади!... Мои мученья —
Зачем нужны они Тебе?..
О, сжался, сжался!... и прощенье
Даруй отвергнутой душе.

Дума

Ночь ли звездная в сумраке тихом
Мир объемлет дремотой и сном
И в молчаньи суровом, великом,

10

Шум ли дня и людские заботы
Наступая опять чередой,
Гонят думы и грезы святые
Гонят снова минутный покой.

Что томит тебя, бедное сердце?
Иль минувшего жалко тебе?
Иль боязнь за грядущие годы?
Настоящего ль тягостный вид?

20

К душе

Ночь ли звездная в сумраке тихом
Мир объемлет дремотой и сном
И в молчаньи суровом, великом,

Шум ли дня и людские заботы,
Наступая опять чередой,
Гонят думы и грезы святые
Гонят снова минутный покой.

30

Вечно, вечно, как камень тяжелый,
Как змея в наболевшей груди

Дума горькая правдой суровой
Отравляет печальные дни.

Дума

Печально я гляжу на наше поколение.

Лермонтов

Чуждые страсти, отдавшись покою,
Рою желаний пустых
Мы равнодушной проходим толпою
Мимо страданий людских.

10

Пусть не впервые небрежной рукою
Нас оскорбляют враги...
Гневное сердце не вспыхнет грозюю
В нашей ленивой груди.

И затаив нестерпимую муку
Льстиво мы смотрим в глаза;
Робко ласкаем надменную руку
Мы поцелуем раба.

ПЛАН ПОЛНОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ,

составленный В. В. Розановым в 1917 году

Серия I. Философия

- т. 1—2. О понимании
- т. 3. «Метафизика» Аристотеля
- т. 4. Природа и история
- т. 5. В мире неясного и нерешенного

Серия II. Религия

А. Язычество

- т. 6—7. Древо жизни (язычество, магометанство и проч.) 10
- т. 8. Во дворе язычников (об античной религии)

Б. Иудейство

- т. 9. Иудаизм (статьи, выражающие положительное отношение к иудейству): «О библейской поэзии», «Сущность иудаизма» и проч.
- т. 10—11. Иудей (статьи с отрицательным отношением к иудейству)

В. Христианство

- т. 12—15. Около церковных стен
- т. 16—18. В темных религиозных лучах («Темный лик», «Люди лунного света»)
- т. 19. Апокалипсическая секта (о хлыстах)
- т. 20. Апокалипсис наших дней 20

Серия III. Литература и искусство

- т. 21—26. О писательстве и писателях («Легенда о Вел. Инквизиторе», статьи о Достоевском, Лермонтове, Гоголе, Пушкине и проч.)
- т. 27—28. Среди художников
- т. 29. Путешествия («Итальянские впечатления», «По Германии», «Русский Нил»)

Серия IV. Брак и развод

- т. 30—32. Семейный вопрос

Серия V. Общество и государство

- т. 33. О монархии 30
- т. 34. О чиновничестве.
- т. 35. Революция («Когда начальство ушло», «Черный огонь»)

Серия IV. Педагогика

- т. 36. Сумерки просвещения
- т. 37. В обещании света

Серия VII

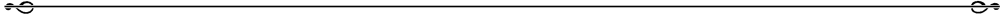
- т. 38. Из восточных мотивов (большой том или ряд выпусков in folio)

Серия VIII. Листва

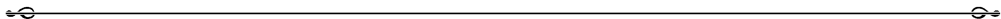
- т. 39—41. Уединенное, Опавшие листья, Смертное, Сахарна, Новые опавшие листья и проч.

Серия IX. Письма и материалы

- ¹⁰ т. 42—47. Литературные изгнанники (Страхов, Говоруха-Отрок, Кусков, Леонтьев, Шперк, Рцы, Рачинский, Флоренский, Цветков, Мордвинова)
- т. 48—49. Био- и библиографические материалы
- т. 50. Цейхенштейн.



ВАРИАНТЫ



1890

ЛЕГЕНДА О ВЕЛИКОМ ИНКВИЗИТОРЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Первая публикация появилась в журнале «Русский Вестник»: 1891. № 1. С. 233–274; № 2. С. 226–264; № 3. С. 215–253; № 4. С. 251–275. Слова «Легенда о Великом инквизиторе» были в кавычках.

Первое отдельное издание: СПб.: Типография и нотопечатня С. М. Николаева, 1894. 234 с. В это издание вошли статьи «Несколько слов о Гоголе» (впервые: МВ. 1891. 15 февр.) и «Как произошел тип Акакия Акакиевича (к вопросу о характере гоголевского творчества)» (впервые: РВ. 1894. № 3. С. 161–172). В первом издании появились также Приложения.

Второе издание: СПб.: Типография М. Меркушева. 1902. 178 с.

Третье издание, по которому печатается текст в настоящем издании: СПб.: Издание М. В. Пирожкова, 1906. 282 с. При подготовке 3-го издания Розанов провел значительную правку текста.

Приводятся варианты журнального (Ж) и 1-го, 2-го изданий (1И, 2И) при сравнении с 3-м изданием (3И). Иногда длинная фраза разделяется в 3-м издании на отдельные предложения без изменения слов. Различия пунктуации и графика не отмечаются. В 3-м издании поставлены дополнительные курсивы. Исправлено ошибочное написание фамилии гоголевского героя Костанджогло на правильное: Костанжогло.

Эпиграф появился в 1И с обозначением источника: Быт. IV. На самом деле текст взят из главы III.

После указания страницы и строк основного текста ставится косая черта, после которой приводится вариант автографа или гранок; различные варианты последовательно обозначаются буквами *a*, *b*, *v*.

В случаях совпадения одного из вариантов с основным текстом он обозначается словами: *как в тексте*. Если в варианте основной текст отсутствует, это обозначается словом: *нет*. Если наряду с вариантом в автографе или гранках имеется и основной текст, то это отмечается знаком ромбика (◊). Зачеркнутые слова ставятся в прямые скобки []. Слова и фразы, вписанные рукой Розанова в вырезки опубликованных его статей, вносятся в основной текст, что отмечается в комментариях.

Недописанные слова в тексте Розанова не восстанавливаются, как правило, в угловых скобках (< >), ибо стилистика и орфография Розанова *сознательно* предполагает *такое* написание, рассчитанное на понимание читателя. В окончательном тексте «Легенды о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» он исправлял слово «например» в первопечатном тексте на сокращенное «напр.». Не может не вызывать удивления, когда в акаде-

мических изданиях в недописанных словах делается конъектура, т. е. в недописанных словах текст печатается в угловых скобках полностью: напр<имер>, м<ожет> б<ыть>, Р<усский> В<естник>, т<о> е<сть>.

Надеемся, что никогда не появится академическое издание «Евгения Онегина», где строфа XXXII в третьей главе будет читаться:

Татьяна пред окном стояла,
На стекла холодные дыша,
Прелестным пальчиком писала
На отуманенном стекле
Заветный вензель О<негин> да Е<вгений>.

Текстология никогда не должна превращаться в формалистику.

Стр. 19.

- ¹⁰ — В одной / В своей (Ж).
- ¹³ — отвращению / чувству (Ж).
- ²¹ — часов / минут (Ж, 1И, 2И).
- ³⁴ — есть, конечно, жизнь / есть жизнь (Ж).

Стр. 20.

- ⁸ — особыми чертами / особыми ее чертами (Ж, 1И, 2И).
- ³¹ — сердце / сердца (Ж).
- ³⁷ — Оно, однако, / ; оно, впрочем (Ж, 1И, 2И).

Стр. 21.

- ^{11–12} — уже писал / сноска: 1. В предыдущих письмах, какие напечатаны, об этой идее нигде однако не упоминается.
- ^{17–19} — общее название ~ название отдельно / предложение в скобках (Ж, 1И, 2И).
- ²⁵ — главную фигурой / главной фигурой (Ж).
- ²⁷ — на покое / на спокойе (Ж, 1И); предложение в скобках.

Стр. 22.

- ² — курсив Достоевского / курсив Дост. (Ж, 1И, 2И).
- ⁶ — для себя важным / для себя уже важным (Ж).
- ²¹ — тревоги / тревога (Ж).
- ³⁶ — одною / одной (Ж).
- ³⁷ — успокаивает / успокоивает (Ж, 1И, 2И).
- ^{40–41} — Приписка Достоевского к письму / Примеч. Достоевского (Ж, 1И, 2И).

Стр. 23.

- ⁴ — номеру / номеру (Ж).
- ¹⁶ — тридцать лет (2И, 3И) / тринадцать лет (Ж, 1И). Восстановлено «тринадцатый», как у Достоевского. (Ж).
- ¹⁶ — и это почти даже / есть почти даже (Ж, 1И, 2И).
- ³⁶ — грубою ошибкой / грубою ошибкою (Ж).
- ⁴⁶ — См. его думы и слова после кончины старца Зосимы / После кончины старца Зосимы (Ж, 1И, 2И).

Стр. 24.

- ⁴ — Брат Иван / Ив. Карамазов (Ж, 1И).
- ^{14–15} — собой / собою (Ж).

- 23 — Это — фигура / это — образ (Ж, 1И, 2И).
 24–25 — далекая ~ идущая ~ незаметная ~ центральная и господствующая / далекий ~ идущий ~ незаметный ~ центральный и господствующий (Ж, 1И, 2И).
 29 — звездой / звездою (Ж).
 45 — «карамазовские бури» / «Карамазовские влечения» (Ж, 1И).

Стр. 25.

- 7–8 — предуготовительные / приуготовительные (Ж).

Стр. 26.

- 7 — то нельзя / нельзя (Ж, 1И, 2И).
 17 — очеловечивающего / гуманизирующего (Ж, 1И, 2И).
 21 — всякого предвидения / всяких намерений (Ж, 1И, 2И).
 27–28 — людей оно / людей уже оно (Ж, 1И, 2И).
 37 — безобразные / безбоязненные (Ж).

Стр. 27.

- 2 — он сам грезил / он грезил (Ж, 1И, 2И).
 20 — сноска после «причитаний» / сноска после «Слова о полку Игоря» (Ж).
 44 — В «Выбранных местах из переписки с друзьями» / В «Переписке с друзьями» (Ж).

Стр. 28.

- 4 — коснуться ею / почувствовать (Ж).
 5 — отчего так почувствовал / почему, как никто другой, он чувствовал (Ж, 1И); почему он почувствовал (2И).
 5 — скульптурность наружных форм / скульптурность форм (Ж, 1И).
 11 — всей / сей (Ж).
 36 — письмо третье» / , сочинения, изд. 1874 г., т. IV, стр. 654 — 655 (Ж, 1И, 2И).
 37 — они суть *выдавленные* наружу качества *своей* души, о срисовке их / они «выдумываются», о воспроизведении их (Ж, 1И, 2И).
 39–40 — на него пишется иллюстрация или иллюстрация «с моралью» / и объективируется в художественном образе (Ж, 1И, 2И).
 41 — рисуемый образ / он (Ж, 1И).

Стр. 29.

- 8 — переходишь / входишь (Ж, 1И, 2И).
 43–44 — первое посмертное и до сих пор лучшее / нет (Ж, 1И, 2И).

Стр. 30.

- 15 — к всякой / ко всякой (Ж, 1И, 2И).
 27 — многое сохранившие / немного сохранившие (Ж, 1И, 2И).
 35 — собой / собою (Ж).

Стр. 31.

- 8 — со своею / с своею (Ж).
 14 — могилой / могилою (Ж).
 25 — 4% / 4 (Ж).

Стр. 32.

- 29 — чтобы я помнил / чтоб я помнил (Ж).
 29 — Чтобы я нагнал / Чтоб я нагнал (Ж, 1И, 2И).

- ³⁵ — хоть / *нет* (Ж, 1И, 2И).
³⁵ — которое дала / которое ты дала (Ж, 1И, 2И).
⁴⁰ — И вдруг этот тон / *нет* (Ж, 1И).

Стр. 33.

- ³ — все делают / все пожалуй делают (Ж).
¹⁷ — за собой / за собою (Ж).
¹⁹ — законы природы» / законы природы» ² *Сноска*: там же, стр. 453–454.

Стр. 34.

- ¹⁵ — Матери-земли / матери-земли (Ж, 1И, 2И).
¹⁸ — Элевзиниях / Елевзиниях (Ж, 1И).
³⁵ — «сущая тварь» несет в себе / оно несет с собою (Ж, 1И).

Стр. 35.

- ⁴ — разгадывать / понимать (Ж, 1И, 2И).
⁵ — разлитые / различные (Ж).
³¹ — все сложилось / все это сложилось (Ж, 1И).
⁴⁰ — изд. 1882 г./ изд. 82 г. (Ж).

Стр. 36.

- ⁴ — Хрустальном дворце / хрустальном дворце (Ж, 1И, 2И).
²⁴ — сюда / *нет* (Ж, 1И, 2И).
³² — чуть / *нет* (Ж).
³⁷ — могли додуматься / только додумались (Ж, 1И, 2И).
⁴⁰ — в себе / *нет* (Ж).
⁴⁴ — гл. 5: «Ваал». Сочинения / *нет* (Ж, 1И, 2И).

Стр. 37.

- ^{39–40} — Хрустальный дворец / хрустальный дворец (Ж, 1И, 2И).

Стр. 38.

- ²³ — это учреждения / есть учреждение (Ж).

Стр. 39.

- ^{17–18} — вместе / *нет* (Ж, 1И, 2И).

Стр. 40.

- ⁴ — собой / собою (Ж).
^{17–18} — а между тем, разве мы не любим / а разве мы не столь же любим (Ж, 1И, 2И).
¹⁸ — еще жаднее, чем / как любим вообще (Ж, 1И, 2И).
²² — к поэзии безотчетных поступков / к хаосу и беспорядочности поступков (Ж, 1И, 2И).
^{26–27} — а недвижность будущего и «идеала» / а предопределенность всего предстоящего (Ж, 1И, 2И).
^{30–31} — с неудержимой силой в человеке такие / с неудержимую жаждою в человеке его (Ж, 1И, 2И).
^{31–32} — алмазность всякой формулы; и человек захочет / твердость всякой формулы: не захочет ли он (Ж; формулы 1И, 2И).
^{32–33} — обрекла / обречена (Ж).
³⁸ — эти испуганные / испуганные (Ж).
⁴² — а, очевидно / и очевидно (Ж).

- 42–43 — самым ее творцом / творцом ее (Ж).
 44 — в целостности / в всей полноте (Ж).

Стр. 41.

- 1 — привнес / привлек (Ж, 1И, 2И).
 4 — Иное, чем рациональное / Отличное от рационального (Ж, 1И, 2И).
 4 — И / нет (Ж).
 5 — еще достигну религиею / доступно для религии (Ж, 1И, 2И).
 6–7 — что все / которое (Ж).
 23 — гр. Толстого / графа Толстого (Ж, 1И, 2И).
 24 — он аналитик / он есть аналитик (Ж, 1И).
 30 — давно / нет (Ж, 1И, 2И).
 32 — всегда / нет (Ж).
 40 — Не образы законченные / Незаконченные образы (Ж).

Стр. 42.

- 8 — но как образ только / нет (Ж).
 9 — диалектически / еще (Ж).

Стр. 43.

- 3 — Лик Божий / лик Божий (Ж, 1И, 2И).
 10 — личность / она (Ж, 1И).
 10 — ...в праве / здесь (Ж, 1И).
 16 — и это / это (Ж, 1И).
 24 — слабее она или искаженнее становилась / более она ослаблялась или искажалась (Ж).
 43–44 — следовательно / след. (Ж).

Стр. 44.

- 1 — отраженный / нет (Ж, 1И, 2И).
 2 — самого / нет (Ж).
 4–5 — в новом виде / новое (Ж).
 5 — то, что он знал прежде / прежнее (Ж).
 9 — именуем условно / называем (Ж, 1И, 2И).
 12 — убитою / убившею (Ж).
 15 — покровов, скорлуп душевности / слоев духовной атмосферы (Ж, 1И, 2И).
 15 — каждое «я» / каждую личность (Ж, 1И, 2И).
 31 — постигаем / понимаем (Ж, 1И, 2И).

Стр. 45.

- 9 — пошел / пошел он (Ж, 1И, 2И).
 43 — торопливости, в жадности / усиллии (Ж, 1И, 2И).

Стр. 46.

- 24 — появился этот роман / появились «Братья Карамазовы» (Ж).

Стр. 47.

- 1 — отсутствие первородной крепости / слабость индивидуальности (Ж, 1И, 2И).
 5–6 — первой французской революции / 89-го года (Ж, 1И).
 7 — для которых / для которых, он знал (Ж, 1И).
 8 — не заключал / не заключает (Ж, 1И, 2И).

- 11 — печали. Эту печаль / грусти. Эту грусть (Ж, 1И, 2И).
- 14 — горечь и сладость / печаль и радость (Ж, 1И, 2И).
- 21 — нужно в истории / в истории нужно (Ж).

Стр. 48.

- 5-6 — это я чувствую; но в какого Бога я верю — вот что темно для меня» — как будто говорит он всем смыслом своих последних трудов / я знаю» как будто говорит он; «но в какого Бога я верю — вот чего я не знаю» (Ж).
- 8-9 — по заключенному в нем смыслу / по смыслу (Ж).
- 17 — полезло / повеяло (Ж)
- 33 — могилки / могилы (Ж)

Стр. 49.

- 9 — чувствовал / знал (Ж, 1И, 2И).
- 31 — и все-таки / все-таки (Ж).
- 35 — свиданиях / свидании (Ж, 1И, 2И).
- 42 — под его подушкой / нет (Ж).

Стр. 50.

- 7 — еще / нет (Ж, 1И, 2И).
- 18 — мелким бесом» / мелким» (Ж).
- 43 — он / нет (Ж, 1И, 2И).

Стр. 51.

- 1 — прежние / нет (Ж, 1И, 2И)
- 1 — оказались / были как бы (Ж, 1И, 2И).
- 5 — по уклону / по пути (Ж).
- 23-24 — здоровом-то его / здоровом (Ж).
- 24 — как / когда (Ж).
- 27 — под насмешливым тоном / в насмешливом тоне (Ж, 1И, 2И).
- 42 — из мыслей этой речи содержат / его мысли есть (Ж).

Стр. 52.

- 10 — и что / и (Ж, 1И, 2И).
- 14 — отчего / почему (Ж, 1И, 2И).
- 44 — своей души / своего существа (Ж, 1И, 2И).
- 44 — и истинного образа / ни умом своим всех своих идей, ни сердцем — всех чувств своих. А с этим вместе не знаем и истинного образа (Ж, 1И, 2И).

Стр. 53.

- 5 — этого-то / кого-то (Ж).
- 5 — и возвышает / и как бы возвышает (Ж, 1И, 2И).
- 5-6 — в некотором смысле / нет (Ж).
- 7 — ощутимыми / ощутимы (Ж, 1И, 2И).
- 20 — разложение / размножение (Ж). *Опегатка.*
- 45 — беспримерной / беспримерною (Ж).

Стр. 55.

- 46 — «Кошачья живучесть (во мне), не правда ли», — заключает он одно из своих писем / нет (Ж).

Стр. 56.

- 9 — две тысячи руб. / две тысячи (Ж, 1И, 2И).
- 11–12 — он собирался / он, правда, собирался (Ж, 1И).
- 24 — не испытывая / испытывая (Ж).
- 27 — соединения / соединением в себе (Ж, 1И, 2И).
- 27 — того и другого / того или другого (2И).
- 31 — уже умирает / не умирает (Ж).

Стр. 57.

- 24 — высокомерия / высокоумудрия (Ж).
- 25 — силой / силою (Ж).
- 28–29 — на которую никто не становился / на которой никто не стоял (Ж, 1И, 2И).
- 43 — Первому эта мысль приписана Вольтеру / нет (Ж).

Стр. 58.

- 3 — и в которой / в которой (Ж).
- 25 — в порядке этого творения / в этом творении (Ж).
- 39 — проф. / пр. (Ж, 1И, 2И).
- между 40 и 41 — *сноска*: «Братья Карамазовы», ч. 1, стр. 264. (Ж).

Стр. 59.

- 5 — никогда». / *Сноска*: 1. Там же, стр. 266–267. (Ж).
- 29 — напр. / например (Ж, 1И, 2И).
- 31 — странности / страстности (Ж).
- 33 — даже / очень (Ж, 1И, 2И).
- 37 — Причинение страдания / Любовь к страданию (Ж, 1И, 2И).

Стр. 60.

- 7 — что это есть / что есть (Ж, 1И, 2И).
- 9 — признание, можно прийти / признание, можно почувствовать головокружение; указав на этот факт, можно прийти (Ж, 1И, 2И).
- Пропуск при перепечатке.*
- 15 — Напротив, человек / Человек же (Ж, 1И, 2И).
- между 34 и 35
/ — В таком случае, равно, как и Бога (Ж, 1И, 2И).
- 45–46 — страстному и развратному / страстному, развратному (Ж, 1И, 2И). *Сноска от-носилась к строке 34 (Ж).*

Стр. 61.

- 4 — с вещью обращались / с вещью они обращались (Ж, 1И, 2И).
- 8 — крал его у свиней / крал у свиней (Ж).
- 9 — и свою юность / и всю юность (Ж, 1И, 2И).
- 20 — воровавший / ворующий (Ж, 1И, 2И).
- 34 — бывшая / ходившая (Ж).
- 41 — как повеяло / повеяло (Ж).

Стр. 62.

- 14 — снял / сняв (Ж, 1И, 2И).
- 20 — с собой / с собою (Ж).
- 27 — бессчетно: «Хоть / бесчисленно: «хоть (Ж, 1И, 2И).
- 32 — Именно в / без абзаца (Ж).

32 — которые / которую (Ж, 1И, 2И).

39 — там инквизицию / там (Ж).

Стр. 63.

10 — лицо калом и заставляют ее есть этот кал / все лицо... и заставляют ее есть... (Ж).

27 — гончей собаке / гончей (Ж, 1И, 2И).

28 — псами / собаками (Ж, 1И, 2И).

42 — и защитительная речь г. Спасовича / нет (Ж).

44 — Факт этот действителен, как, впрочем, и все приведенные; он сообщен был / Факт этот сообщен был (Ж). Факт этот действительный, как, впрочем, и все приведенные; сообщен был (1И, 2И).

Стр. 64.

между 3-4 — «Что ты знаешь?» (Ж, 1И, 2И).

5 — Я хочу / Я могу (Ж, 1И, 2И).

22 — «осанне» / «осанке» (Ж).

36 — что тут каменная стена / что каменная стена (Ж, 1И, 2И).

Стр. 65.

11 — чтобы страдать / нет (Ж, 1И).

32 — См. Приложения / нет (Ж, 2И).

39-40 — и так называемом «нравственном богословии» / и других сродных науках (Ж, 1И, 2И).

40 — подобное / такое (Ж, 1И, 2И).

42 — (стр. 350) / (стр. 355) (Ж).

44 — примирюсь / помирюсь (Ж, 1И, 2И).

Стр. 66.

29-30 — за его историю / в его историю (Ж, 1И).

43 — В «Прилож.» см. подобн. мысль о «Хрустальном дворце» / нет (Ж, 1И, 2И).

Стр. 67.

2 — снова / слова (Ж).

Стр. 68.

42 — *новою, другою* / новой, другой (Ж).

Стр. 69.

7-8 — обусловлен ею / обусловлен (Ж).

10 — всякою / всякой (Ж).

12 — от нее / нет (Ж).

Стр. 70.

19 — и нарушает / , нарушает (Ж, 1И).

43 — в нем / тем самым (Ж).

46 — См. Приложения / нет (Ж, 1И, 2И).

Стр. 71.

18 — ради / нет (Ж, 1И).

34 — возводить* / *сноска*¹ к концу строки 25 (Ж).

40 — позади / назади (Ж).

Стр. 72.

- 12 — Божиим / Божиим (Ж, 1И, 2И).
- 13 — и тем / и с ним (Ж).
- между 25 и 26 — Иван Карамазов начинает свой рассказ... (Ж).
- 41 — *сноска** / нет (Ж).
- 42–43 — Апокалипсис, XXII, 12: «Се гряди скоро, и возмездие Мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». / нет (Ж).

Стр. 73.

- 39–40 — Апокалипсиса, VIII, 10 — 11 / Откровения Св. Иоанна, IX, 1 (Ж).
- 43–44 — истинной: «источники вод» — здесь «чистота веры», зарождаемой «подобием Церкви / действительной (Ж).

Стр. 74.

- 5–6 — кардинал Римской церкви и вместе Великий Инквизитор страны / великий инквизитор страны — кардинал римской церкви (Ж).
- 28 — Д-го / его (Ж).
- 34 — вдумывается / вдумывался (Ж, 1И, 2И).
- 35 — *Евангелие* / «Библия» (Ж, 1И, 2И).

Стр. 75.

- 16 — великую тайну / великую мировую тайну (Ж).
- 19 — с ним и за него / за него (Ж).
- 31 — другие две / остальные (Ж, 1И, 2И).

Стр. 76.

- 6 — И это / Это (Ж, 1И, 2И).
- 7–8 — и в отношении Бога / по отношению к Богу (Ж, 1И, 2И).
- 19 — пока / только (Ж, 1И, 2И).
- 40–42 — потому только, что она ответила собою на некоторую вековечную нужду человечества и, следовательно, выразила в себе вечную же необходимую особенность его истории / здесь с умыслом: она совпала с тем, что по необходимости вытекло в истории из вековечных черт человеческой природы (Ж).
- 44 — *Сноска к строке 38.* «Будь в руке старшего тебя покорен, на посох в руке странника» и пр. / нет (Ж).
- 49 — *Сноска к строке 39.* «Cadaver esto», т. е. будь безличен, инертен, как труп / нет (Ж).

Стр. 77.

- 22–23 — а сама свобода оставляется человеку / она же остается к человеку (Ж, 1И, 2И); в человеке (1И, 2И).

Стр. 78.

- 10 — ощутить / почувствовать (Ж).
- 12–18 — как она совершалась уже, будущие судьбы — *до конца главы* / будущие судьбы человека, мистический полусвет и величайшая жажда религии в соединении с отчаянием, что она невозможна — все это переплетено здесь самым непостижимым образом, и вместе все стройно и правдиво, образуя в целом глубочайшее слово, самое проникновенное и мудрое, какое когда-либо было произнесено человеком о себе самом (Ж).
- 19 — XII / нет (Ж).
- 21 — с Тобою / с Тобой (Ж).

- 41–43 — *Сноска*: Какая яркость в ощущении ею действительности; мы отмечаем этот тон, потому что, варьируя, он изменяется в разных местах «Легенды» до совершенной ясности ощущений, что «события» никогда не было / *нет* (Ж).

Стр. 79.

- 9 — согласиться / сослаться (Ж, 1И).
 11 — видно / еще видно (Ж).
 14 — XIX веке / XIX в. (Ж, 1И).
 24 — фигурка / фигура (Ж).
 31–34 — как записано ~ взалкал / простые и глубокие слова, в которых записано о первом искушении у св. Марка (Ж).
 33 — И постился дней сорок и ночей сорок, но напоследок / И постился дней четыредесять, и ноший четыредесять, последи (1И).
 34–37 — сказал: «Если ты ~ но всяким словом / рече: аще Сын еси Божий, рцы; да камене сие хлебы будут. Он же, отвещав, рече: писано есть — не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе (1И1).
 35 — отвечая, сказал ему / сказал ему в ответ (Ж).
 36 — (IV, 1–3) / (от Матф. гл. IV, ст. 2–3) (Ж).
 37 — говорит Инквизитор, — кто был прав / кто был прав, говорит инквизитор (Ж).
 38 — буквально** / буквально (Ж).
 40–46 — *сноска*** / *нет* (Ж).
 41 — *вступлением* / *выступлением* (1И).

Стр. 80.

- 13 — апокалиптическом / апокалипсическом (Ж, 1И, 2И).
 30 — машиной / машиною (Ж).
 31 — заглушит хотя бы путем вечной отравы / хотя бы путем внешней отравы заглушит (Ж, 1И, 2И).
 39 — беспорядочных / безобразных (Ж).
 40–45 — Вот эти слова ~ в них / *нет* (Ж).
 45 — существенно нового / *нет* (1И).

Стр. 81.

- 1–7 — откровения о судьбах Церкви Божией ~ имена богохульных / на которые указано в выписанных выше словах (Ж).
 5–19 — «стал я на песке морском и увидел выходящего из моря Зверя ~ до конца абзаца / «И видех из моря зверя исходяща, имуща глав седмь и рогов десять, и на рузех его венец десять, а на главах его имена хульна. И даде ему змий¹ силу свою, и престол свой, и область великую. И видех едину от глав его яко за колелу в смерть, и язва смерти его исцеле. И гудися вся земля во след зверя, и поклонишася змию¹, иже даде область зверю. И поклонишася зверю, глаголюще: кто подобен зверю? и кто может ратоватися с ним? И даны быша ему уста, глаголюща велика и хульна. И дана ему область творити месяц четыредесть два. И отверзе уста свои в хуление к Богу, хулите имя Его, и селение Его, и живущыя на небеси. И дано бысть ему брань творити со святыми, и победити я; и дана бысть ему область на всяком колене (людей) и на языцех и племенех. И поклонятся ему все живущии на земли, им же не написана имена в книгах животных Агнца, заколенного от сложения мира. Аще кто имать ухо, да слышит. Иже аще в пленение ведет, в пленение поидет, аща кого оружием убьет, подбает ему оружием убиену быти. Зде есть терпение и вера святых» (Апок. XIII) (Ж).

- 7–8 — И дал ему Дракон* силу свою ~ и власть великую / «И дал (зверю) дракон (диавол) силу свою ~ и великую власть (Ж).
 29 — *только голодные* / только голодные¹ (Ж); в 1И и 2И сноска после: Храм Твой (стр. 77, 1).
 33–35 — *сноски * и *** / нет Ж; *есть 2 и 3И*.
 36 — Разумеется теория / Говорится о теории (Ж).
 40–44 — «Преступление и наказание» ~ об этом выше / нет (Ж).

Стр. 82.

- 5 — обещали нам*** / обещали нам (Ж; *сноски нет*).¹
 15 — выше, в гл. IV, стр. 35 и далее, выдержки из / приведенные выше места из (Ж, 1И, 2И).
 17 — (напр. в «Бесах») / нет (Ж, 1И).
 17 — отвергнув / отрицая (Ж).
 18 — до антропофагии / до антропофагии («Бесы» и др.) (Ж, 1И).
 22–27 — гонений, которые самоустраивающиеся ~ на земле / гонений против религии, которые самоустраивающееся и несчастное человечество воздвигнет на некоторое время, и именно перед тем, как обратиться к Богу. (Ж).
 28–29 — Т. е. рациональные ~ и собственности / нет (Ж).

Стр. 83.

- 8 — XIII / XII (Ж).
 16 — оснует / основывает (Ж).
 21–25 — Мы пройдем мимо ~ развивая далее свою мысль / Мы не будем останавливаться на этом взгляде, слишком грубом, и приведем величественные слова из Апокалипсиса, где говорится о малом числе оправданных в день последнего суда. Очевидно, их именно имеет в виду выясняющий *свою* правду инквизитор (Ж).

Стр. 83–84.

- 26–2 — «И взглянул я ~ (Апокал., гл. XIV, ст. 1–5). / «И взглянул я», передает св. Иоанн о своем видении: И видех, и се Агнец стояше на горе Сионстей, и с ним сто и четыредесять и четыре тысящи, имуще имя Отца Его написано на челех своих. И слышах глас с небесе, яко глас вод многих и яко глас грома велика; и глас слысах гудец гудущих в гусли своя. И поющих яко песнь нову пред престолом и пред четыри животными и старцы: и никтоже можаше навикнути песни, токмо сии сто и четыредесять и четыре тысящи искуплени от земли. Сии суть, иже с женами не осквернишася: зане девственницы суть; сии последуют Агнцу, аможе аще пойдет. Сии суть куплени от людей первенцы Богу и Агнцу. И во устех их не обретеса леств; без порока бо суть пред престолом Божиим» (Апокал., гл. XIV, с. 1–5; срав. там же, гл. VII, ст. 4). (Ж).

Стр. 84.

- 4 — глубокому / тому глубокому (Ж).
 7–8 — уже порыв к нему дает счастье / порыв к нему дает уже счастье (Ж).
 8 — тотчас пробуждается / пробуждается (Ж).
 23 — неугасимым требованиям / другим сторонам (Ж).
 23–25 — зная которые ~ земной жизни / к вечным требованиям его души, которые ищут себе удовлетворения в истории и на точном знании которых должно быть возведено прочное знание человеческой жизни (Ж).
 35–45 — Оставляя в стороне ~ развращенною / нет (Ж).

Стр. 85.

- ⁵ — друг друга мечом* / сноска¹ на строке 8 после: пред идолами.
¹⁶ — дашь / дать (Ж).
³² — навеки / веки (Ж).
³⁴ — говорит / хотя и без некоторых существенных черт последнего, говорит (Ж, 1И).
³⁶⁻⁴¹ — Под «идолами» ~ Магометом и пр. / Изд. 3-е. Спб., 1882 г. стр. 363.

Стр. 86.

- ¹ — древнего закона* / нет сноски строки 28–31 (Ж).
³ — пред собою** / нет сноски строки 32–43 (Ж).
⁵ — угнетут / нагнетут (Ж).
⁹ — никого более» / сноска (Ж). «Бесы», изд. 82 г., стр. 362:
 «конечное разрешение вопроса (об устройении человека на земле) — это разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять лигноть и обратиться в роде как в стадо и при безгранижном повиновении достигнуть рядом перерождений *первобытной невинности в роде как бы первобытного рая*, хотя и будут работать. Меры... для *отнятия* у девяти десятых человечества воли и переделки его в стадо посредством перевоспитания целых поколений (могут быть) *основаны на естественных данных*». За исключением средств достигнуть цели (знания «естественных данных») — все здесь очень походит на мысль инквизитора. Про автора этого проекта другое лицо романа замечает: «Шигалев — гениальный человек... Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Все это доступно только высшим способностям — не надо высших способностей! Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами... Да, горы сравнять — хорошая мысль, не смешная. Не надо образования, довольно науки!» И без науки хватит матерьялу на тысячу лет, но *надо устроиться послушанию*. В мире одного только недостает — послушания. Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь — вот уже и желание собственности. *Мы умирим желание... мы всякого гения потушим в младенчестве...* Необходимо лишь необходимое — вот девиз земного шара отселе... Полное послушание, полная безличность, но раз в 30 лет пускается и судорога и все вдруг начинают поедать друг друга, до известной черты, единственно, чтобы не было скучно (вспомним о золотых булавах Клеопатры в «Записках из подполья»). Скука есть ощущение аристократическое, в шигалевщине не будет желаний. *Желание и страдание для нас, а не для рабов*. Там же стр. 374.
¹⁹ — извергало всякого, кто отступал / обещалось всякому, кто отступил бы (Ж).
¹⁹⁻²⁰ — оставались в единстве, хотя насильственным / насильно приводились к единству (Ж).
²¹⁻²² — человека / его (Ж).
²² — оно усыпило / оно и успокоило (Ж).
²² — совести. / совести, правда, бесполезно усилив его — оно однако избавило бы его от страданий (Ж).
²³ — Мы не отойдем, кажется / Быть может, мы не отойдем (Ж).
²⁷ — упростить*** / нет сноски (Ж).
²⁸⁻³¹ — сноска* / нет (Ж).
³²⁻⁴³ — сноска** / нет (Ж).

Стр. 87.

- ³ — XIV / XIII (Ж).
⁷⁻⁸ — у евангелистов Матфея и Луки / у Евангелиста Матфея (Ж, 1И).
⁹ — Тогда / Потом (Ж).
⁹ — Град / город (Ж).
⁹ — на крыле / на крыше (Ж).
¹⁰ — ибо о Том / нет (Ж).
¹¹ — заповедает о Тебе сохранить о Тебе / заповедает о Тебе (Ж).
¹⁴ — И вновь / Опять (Ж).
¹⁴ — Возведя на высокую гору / на высокую гору и (Ж).
¹⁵ — Вселенных во мгновении времени / мира и славу их (Ж).
⁹⁻¹⁹ — «Тогда берет Его ~ (Матф., гл. IV, ст. 5—11, Луки, IV, 5). / «Тогда поят Его диавол во святой град и постави Его на криле церковнем, и глагола Ему: аще Сын еси Божий, верзися низу; писано бо есть: яко Ангелом своим заповесть о Тебе сохранити Тя, и на руках возьмут Тя, да не когда преткнеши о камень ногу Твою. Рече же ему Иисус: паки писано есть — не искусиши Господа Бога Твоего.
 Паки поят Его диавол на гору высокоу зело и показа Ему все царствия мира и славу их. И глагола Ему: сия вся Тебе дам, аще пад поклонишишися. Тогда глагола ему Иисус: иди за Мною, Сатано, писано бо есть: Господу Богу твоему поклонишишися, и Тому единому послужиши.
 Тогда остави Его диавол, и се, Ангелы приступиша и служажу Ему» (Матф., гл. IV, ст. 5—11). (1И).
³⁷ — значение этого искушения / его значение (Ж, 1И, 2И).

Стр. 88.

- ²⁷ — с справедливым / с величайшим (Ж).
⁴⁰⁻⁴¹ — (срав. суеверное состояние римского общества, когда оно впало в совершенный атеизм во II — III веках) / нет (Ж).

Стр. 88—89.

- ²²⁻³ — их великою непорочностью ~ пугливое воображение / с величайшею святыею, которая принесена была на землю, он надругается, и это одновременно с тем, как преклонится перед низким, но поражающем его детское воображение (Ж).

Стр. 89.

- ⁹ — конец и восторгу** / нет знака сноски и самой сноски на с. 41—51. (Ж).
¹² — выдерживающие**** / нет сноски. Сноска дана после 16 строки. (Ж).

Стр. 90.

- ⁶⁻⁷ — из XIV гл. Апокалипсиса / из Апокалипсиса (именно, в главе VII-й его) (Ж).
⁸⁻⁹ — людей после / людей», говорит инквизитор, «после (Ж).
¹¹ — тысяч* / нет знака сноски и самой сноски (Ж).
²¹ — XV / нет (Ж).
²²⁻³¹ — непостижимости, что Тайна Искупления ~ их тяготу / непостижимости великой тайны искупления, и начинается поворот, как и выше, в исповеди Ив. Карамазова, его отречение основывалось на непонимании тайны безвинного страдания. И как этот последний, не отрицая Бога, отказывается от правосудия Его, — так и здесь инквизитор, стоя перед ликом смотрящего на него Бога, отказывается за Ним следовать, чтобы остаться и устроиться с погибающим малосильным родом людским. (Ж).

34–35 — сноски отсутствуют в Ж, но в 1И и 2И сноски имеются.

37–40 — свободы от себя ~ лежащему началу / нет (Ж).

Стр. 91.

8 — Ты пришел / пришел (Ж).

19–20 — природы человеческой, осуждением ее и к ней состраданием / осуждением и состраданием к природе человеческой (Ж).

26–27 — на почве древнего язычества / на языческой почве (Ж).

35–36 — шедшим, в Крестовых походах, положить жизнь за веру / идущим положить жизнь за святую веру (Ж).

38 — за различную цену / различной ценой (Ж).

46 — свою особенную и лигную мысль / свою мысль (Ж, 1И).

Стр. 92.

5 — мучение людей** / всемирного соединения¹ (Ж).

12 — Ты основал бы / основали бы (Ж); основал бы (1И, 2И).

26–27 — погашается / стесняет (Ж, 1И).

35 — животные (муравьи) / животные (Ж, 1И).

40 — Детальное изложение их см. в *Приложениях* / нет (Ж).

Стр. 93.

6 — XVI / нет (Ж).

11 — она и кончается / оне и кончаются (Ж).

13 — таинственные слова / таинственные и страшные слова (Ж).

13 — XII, XVII и XVIII глав, / XII-й и XVII-й глав (Ж).

14–15 — под образом «Жены», судьбы Ветхозаветной и Новозаветной Церкви / земные судьбы Христовой церкви (Ж).

21 — на головах его семь / на головах семь (Ж).

Стр. 94.

34 — и сказал мне / сказал мне (Ж).

Стр. 95.

17 — о Нем / о котором (Ж).

27 — никаких / многих (Ж, 1И, 2И).

33–34 — не размножать свое число / не размножалось число их (Ж).

40 — как и первый / как и упомянутые два (Ж).

47 — и только тогда / и тогда (Ж).

Стр. 96.

16 — малосильные и несчастные / малосильные (Ж).

21 — свободу / волю (Ж).

32–33 — расточается, пропадает вследствие / вследствие (Ж).

34 — укоротятся / укротятся (Ж, 1И, 2И). Возможно, опечатка в 3И.

38–39 — * Теоретическая мысль ~ См. *Приложения* / ¹ См. соответствующую теорию самоубийства в «Дневнике писателя» (Ж).

43–45 — *** Основная задача ~ есть Бог / нет (Ж).

Стр. 97.

10 — смогли / могли (Ж, 1И, 2И).

15 — хорами / хором (Ж, 1И, 2И).

17 — они будут любить / и они будут любить (Ж, 1И).

- 39–40 — * «В міре одного ~ стр. 374. / *нет* (Ж).
 43 — и только совершится не насильственно / и совершится лишь не насильственно (Ж).
 46–47 — Вся эта картина ~ сыном / *нет* (Ж).

Стр. 98.

- 1 — XVII / XIV (Ж).
 8 — если б и было / если и было (Ж).
 44 — Сравни ~ «Подростка» / *нет* (Ж).

Стр. 99.

- 8 — бедною / бедной (Ж).
 38 — он указывал / он всем указывал (Ж, 1И).
 45 — «Братья Карамазовы» / «Бр. Карамазовы» (Ж, 1И, 2И).

Стр. 100.

- 15 — центральное ее положение / центральное положение (Ж).
 19 — говорящее лицо / говорящего (Ж, 1И, 2И).
 25 — XVIII / XV (Ж).
 29 — есть ли она в основе / есть ли в основе (Ж, 1И, 2И).
 30 — привнесенным / внесенным (Ж).

Стр. 101.

- 42 — нарушиться / нарушаться (Ж).

Стр. 102.

- 15 — откуда / зачем (Ж, 1И, 2И).
 16 — безразлично наклонна как / также склонна (Ж, 1И); равномерно склонна (2И).
 21 — с ней соединения / соединения с ней (Ж).

Стр. 103.

- 7 — законы самой рождаемости / законы рождаемости (Ж).
 23–24 — продолжит / предложит (Ж).
 43 — человеческою природою / человеческой природой (Ж, 1И, 2И).

Стр. 104.

- 18 — первая без остатка ~ второй / вторая без остатка ~ первой (Ж).
 29 — главные и постоянные идеалы / вечные идеалы (Ж, 1И).
 35 — XIX / XVI (Ж).

Стр. 107.

- 10 — XX / *нет* (Ж, 1И).
 21–22 — Бурно, неодолимо / С большею силою (Ж).
 между 36 и 37 — Ж: XVII; 1И: XX.
 43 — только поэтому / поэтому только (Ж, 1И).
 45 — мы ни взяли / мы взяли (Ж).

Стр. 108.

- 6 — на его праве утверждать / утверждать на его праве (Ж).
 16 — факты их / факты (Ж).

Стр. 109.

- 1 — в собственных недрах своих, чувствуя / в недрах своих, считая (Ж).

- 19 — им в душу / в их дух (Ж, 1И, 2И).
 46 — т. е. всего их исторического существования / *нет* (Ж).
 27 — и отсюда / Отсюда (Ж).

Стр. 110.

- 25 — субъективную иллюзию / субъективной иллюзией (Ж, 1И, 2И).
 30 — мы ни взяли, повсюду / мы ни взяли, мы повсюду (Ж).
 35–46 — * Сущность ~ германских / *нет* (Ж).
 44 — Исчезнув / Но, исчезнув (1И).

Стр. 111.

- 40 — XXI / XVIII (Ж).

Стр. 112.

- 36 — задачи / задача (Ж).
 45 — слабость / бессилие (Ж, 1И, 2И).

Стр. 113.

- 9 — накует / наделает (Ж).
 16 — он / оно (Ж, 1И).
 19 — устранимы / устранимыми (Ж, 1И).
 20 — совпадала / совпала (Ж).
 45–46 — * Мы, впрочем ~ элементами / *нет* (Ж).

Стр. 115.

- 1 — XXII / XIX (Ж).
 9 — зияющая / есть зияющая (Ж, 1И, 2И).
 24 — смрадному / страдному (Ж).
 32 — сам Злой Дух / злой дух (Ж).
 45 — у нас иные / иные (Ж, 1И, 2И).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Стр. 118.

- 33 — этой первой первоначальной / этой первоначальной (1И, 2И).

Стр. 119.

- 42 — 100 000-й доли и занесены — лучше / 108 000 тысяч и занесена — лучше того (1И, 2И).

Стр. 120.

- 17 — непременно и последователей / непременно последователей (1И, 2И).
 42 — Достоевский / Д-ий

Стр. 121.

- 45 — рецепту и известным / рецепту известным (1И, 2И).

Стр. 122.

- 27 — это и полезно / и это полезно (1И, 2И).

Стр. 124.

- 40–41 — покончат / кончат (1И, 2И).

Стр. 125.

¹¹ — занятие / занятия (1И, 2И).

Пушкин и Гоголь

Стр. 142.

² — Пушкин и Гоголь / Несколько слов о Гоголе (1И, 2И).

³⁶ — Говорухи-Отрока (под псевдонимом Ю. Николаева) / г. Ю. Николаева (1И).

³⁷ — Достоевском» / Достоевском», появившейся в «Московских Вед.», 1891 г., № 26 (1И, 2И).

между ³⁷ и ³⁸ — ² Помещены в «Русском Вестнике», январь 1891 г. (1И, 2И).

Стр. 145.

³⁷ — (мой курс.) / нет (1И, 2И).

Стр. 146.

¹⁰ — как оригинально он задуман / что он оригинально задуман (1И).

¹¹ — как оригинально он выполнен / что оригинально он выполнен (2И).

²⁵ — в отрицательном / и в отрицательном (1И).

Стр. 147.

³⁰ — чем... игру теней в зеркале / чем только отображенную? (1И, 2И).

Стр. 148.

⁸ — с очевидностью пред нами / пред нами, несомненно, (1И); пред нами, с очевидностью (2И).

Как произошел тип Акакия Акакиевича

Первая публикация: Русский Вестник. 1894. № 3. С. 161–172 (далее РВ).

Стр. 148.

между ¹⁸ и ¹⁹ — [подзаголовок] (К вопросу о характере гоголевского творчества / нет (1И, 2И, 3И).

³⁵ — кружок / круг (РВ, 1И, 2И).

^{42–43} — * Он лично ~ «Мертвые души») / нет (РВ).

Стр. 150.

²³ — на своей шляпе / на шляпе (РВ).

²⁵ — на лице его / на лице его лице (РВ, 1И).

⁴⁵ — извращающее / возвращающее (РВ).

Стр. 151.

³ — чиновники / молодые чиновники (РВ, 1И).

²⁶ — ее всю / ею всю (РВ).

²⁶ — ее / его (РВ).

⁴⁵ — полную фигуру в соединении всех ее черт / всю ее в полноте ее неразъединенных черт (РВ, 1И, 2И).

⁴⁶ — задачей своей / задачей своею (РВ, 1И, 2И).

Стр. 152.

⁵ — здесь / в нем (РВ, 1И, 2И).

²⁴ — сгущены / еще сгущены (РВ).

⁴⁴ — следует / Затем следует (РВ).

Стр. 153.

⁴ — на него / на нее (РВ, 1И).⁴⁵ — или умаляющегося / почти не думающегося (РВ).

Стр. 154.

^{9–10} — и прочее / и прочие его черты (РВ); и прочие (1И, 2И).¹¹ — не появлялся / не появляется (РВ, 1И, 2И).³¹ — не отвечал / не отвечал на это (РВ, 1И, 2И).³¹ — как будто бы / как будто (РВ).⁴⁵ — много свирепой / много скрыто свирепой (РВ, 1И).⁴⁷ — и честным» / и честным» (изд. 74 г., т. II, стр. 91 — 92) (РВ).

Стр. 155.

²⁷ — непонятно / не понято (РВ, 1И).^{44–45} — по закону художественной объективизации, обращаемом / обращаемом по закону художественной объективизации (РВ).⁴⁵ — своей — о самом / своей — это есть скорбь о самом (РВ).

Стр. 156.

³ — и какое он в себе / и он в себе (РВ).

СТАТЬИ 1889—1900 гг.

1893

ГРЕТХЕН И ФАУСТ

*Загеркнуто или изменено в рукописи. См. нумерацию по тексту статьи:*¹ «едва достигши 27 лет, от чахотки,² Было: едва³ Слова: и любимым профессором Московского Университета, — *вписаны над строкой.*⁴ Далее было *нагато*: Оба являются в нашей литературе⁵ Было: после⁶ Фраза: по ценности ~ в них тем — *была взята в скобки.*⁷ Слово: по — *вписано над строкой.*⁸ Далее *загеркнуто*: дом⁹ Далее *загеркнуто*: лишь¹⁰ После слов: Но тайна минуты, — *незагеркнутый вариант над строкой*: исторической, о которой мы вспомнили снова — и мы сами живем среди ее — здесь, и она есть минута, среди которой мы живем и по-видимому долго еще будем жить,¹¹ Слова: в ней — *вписаны.*¹² Было: тайной¹³ Вместо: мысли своей с теми, — *было*: основе с мыслью тех,¹⁴ Вместо: оставленных, забытых — *было*: ^a сорванных ^b сорванных и брошенных¹⁵ Было: смотрела¹⁶ Вместо: их труд ~ усилия. — *было*: ^a все подробности их труда. ^b самый труд их и все подробности этого труда.¹⁷ Вместо: [Их] труд [был] — *было нагато*: [И странно] было в этом труде только

- 18 *Вместо*: придавали труду этому — *было*: видели в труде этом
- 19 *Слово*: они — *вписано*.
- 20 *Вместо*: замечали вовсе здесь — *было*: видели в нем
- 21 *Вместо*: которая ~ была. — *было*: которая одна действительно здесь была и, между тем, она одна в нем была.
- 22 *Над словами*: и было странное ~ действительно была — *незагеркнутый вариант*: и странно было только в этом труде то, что меж тем как и они сами, и их недоброжелатели видели в труде этом <1 нрзб>, какой в нем не было, ни эти, ни те не заметили в нем великой нравственной красоты, какая была в нем до очевидности. *Фраза* какой в нем ~ до очевидности. *вписана на полях*.
- 23 *Слова*: на то — *вписаны над строкой*.
- 24 *Далее загеркнуто*: ,стали желавшие,
- 25 *Далее было*: [неестественное для себя оне <16 нрзб>]
- 26 *Было нагато*: кто
- 27 *Далее было*: помощница она нужна
- 28 *Далее было*: направляющая их
- 29 *Вместо*: более, чем их собственная, чистую и нежную любовь, — *было*: более чистую и нежную, чем их собственная, любовь,
- 30 *Вместо*: отчуждение его ~ в том, что — *было*: ^а его отчуждение от практической деятельности он объясняет тем, что ^б отчуждение его от практической деятельности он объясняет тем, что имеет достаточное объяснение в том, что
- 31 *Далее загеркнуто*: что там
- 32 *Слово*: где — *вписано над строкой*.
- 33 *Слово*: (Вертер) — *вписано над строкой*.
- 34 *Слово*: и — *вписано над строкой*.
- 35 *Далее загеркнуто*: тут
- 36 *Слово*: скоро — *вписано над строкой*.
- 37 *Далее загеркнуто*: он
- 38 *Далее загеркнуто*: всю
- 39 *Вместо*: предусмотренной целесообразности — *было*: предустановленной гармонии
- 40 *Слова*: которою охвачены Вертер и Фауст, — *вписаны над строкой*.
- 41 *Слово*: ее — *вписано над строкой*.
- 42 *Далее загеркнуто*: он этот
- 43 *Вместо*: сущности это было — *было*: рыцарь был все-таки
- 44 *Было нагато*: я ничему
- 45 *Было*: вразумительно,
- 46 *Далее загеркнуто*: не представлялся
- 47 *Далее было*: когда тот,
- 48 *Было*: глазах
- 49 *Было*: появился?
- 50 *Слово*: же — *вписано*.
- 51 *Было*: выслушанного?
- 52 *Слово*: и — *вписано*.
- 53 *Было*: звуков,
- 54 *Слово*: и — *вписано*.
- 55 *Далее было*: видимого, осязаемого
- 56 *Вместо*: в миг краткий своего дрожжания — *было*: ^а в миг [бытия своего где] ^б в миг краткий своего [видимого, осязаемого] дрожжания
- 57 *Слово*: там — *вписано*.
- 58 *Далее было*: близка гению

- ⁵⁹ *Далее было*: он открыл нам.
- ⁶⁰ *Вместо*: что значение этих звуков ~ об ней не предугадывали. — *было*: почему значение этих звуков не одинаково; как не одинаково и в льющейся мелодии положение и сила и красота каждого дрожжания струны есть в истории промежуточное, есть в речи как бы побочные слова, и хоть каждое из них нужно для полного ее смысла, есть между ними немногие, в которых смысл объясняется, речь заключает и понятными становятся <1 нрзб> звуков, волна которых входила выходила из нашего уха и <1 нрзб> теперь <1 нрзб> сердца. Гений слова <3 нрзб> трепет форм <2 нрзб> перед <1 нрзб> историей есть только <5 нрзб> сердце <4 нрзб> в нашем сердцем <107 нрзб>.
- ⁶¹ *Вместо*: они — *было*: это
- ⁶² *Вместо*: он создавал — *было*: им написан был
- ⁶³ *Далее загеркнуто*: были написаны
- ⁶⁴ *Вместо*: эпизод о смерти Валентина оставлен — *было*: смерть Валентина и сцена <2 нрзб>
- ⁶⁵ *Далее было*: причиненном,
- ⁶⁶ *Вместо*: там его страдание было — *было*: его страдание там было
- ⁶⁷ *Слова*: если бы оно — *вписаны*.
- ⁶⁸ *Вместо*: позднего — *было*: позднего непоправимого
- ⁶⁹ *Было*: один
- ⁷⁰ *Далее было*: , другой — в небесах.
- ⁷¹ *Было нагато*: На втором
- ⁷² *Вместо*: выражение соотношения между — *было*: выяснение отношений между
- ⁷³ *Было*: привычна,
- ⁷⁴ *Было*: всякой
- ⁷⁵ *Было*: серьезной
- ⁷⁶ *Было*: больше
- ⁷⁷ *Было нагато*: которые он
- ⁷⁸ *Было*: сюжеты
- ⁷⁹ *Вместо*: художественной обработки — *было*: своих вымыслов
- ⁸⁰ *Слово*: самой — *вписано*.
- ⁸¹ *Далее было*: всех людей
- ⁸² *Было*: заметит
- ⁸³ *Вместо*: для юности, жизнь — для жизни, — *было*: юному, жизнь — живущему,
- ⁸⁴ *Далее было*: поэту,
- ⁸⁵ *Слово*: не — *вписано*.
- ⁸⁶ *Было*: внутренне
- ⁸⁷ *Было*: толпа
- ⁸⁸ *Слово*: индивидуализировались — *вписано*.
- ⁸⁹ *Далее было*: только
- ⁹⁰ *Далее загеркнуто*: содержани<е>
- ⁹¹ *Вместо тире* — *было*: удобнее и
- ⁹² *Далее было*: осмысливая,
- ⁹³ *Было*: на земле.
- ⁹⁴ *Вместо*: книги Иова: «Был день, — *было*: , под которыми не подписано ничего имени: «Был день
- ⁹⁵ *Слово*: это — *вписано*.
- ⁹⁶ *Было*: легко
- ⁹⁷ *Слово*: и — *вписано*.
- ⁹⁸ *Вместо*: источником всего светлого — *было*: источником света
- ⁹⁹ *Далее было*: и ценность

- 100 *Далее было*: может
 101 *Далее было*: то,
 102 *Далее было*: столь
 103 *Вместо*: его существа. — *было*: человека.
 104 *Было*: человеческих
 105 *Далее загеркнуто*: самой пьесы
 106 *Слова*: выполнения ~ (в 1799 г.) — *вписаны над строкой*.
 107 *Было*: законом
 108 *Слово*: относится — *вписано*.
 109 *Далее было*: глубже больше,
 110 *Было*: вызревали
 111 *Было нагато*: с котор<ыми>
 112 *Далее было*: области
 113 *Далее было*: взгляд
 114 *Далее было*: на нее, на сокровища
 115 *Слово*: вот — *вписано*.
 116 *Далее было*: его
 117 *Вместо*: признаем, что ~ освобождаться. — *было*: пойдем — от этого не следует освобождаться.
 118 *Было нагато*: для человека
 119 *Вместо* любопытным *огень*. — *было*: *огень* любопытным.
 120 *Слово*: выше — *вписано*.
 121 *Далее было нагато*: его — поверхностности узнанного дв<ижения>
 122 *Слово*: что — *вписано*.
 123 *Вместо*: присоединяемое к первоначальному достатку, — *было*: ^а присоединяемое к обладаемому достатку? которое ^б присоединенное к прежнему
 124 *Было*: выразиться.
 125 *Было*: мальчик
 126 *Было*: махать
 127 *Далее было*: при встрече с тем или иным <1 нрзб> в нем предметом и явлением.
 128 *В следующей строке было*: О, прочь! беги...
 129 *Далее было*: своем

1895

НЕОБХОДИМОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ (РО)

Варианты гранок РВ (Гр. РВ) и РВ

Стр. 370.

- ⁷⁻⁹ — обвинение в грубости и страстности тона были повторены мне и устно людьми более компетентными в литературной критике, чем два названных газетных обозревателя, / обвинения в «грубости и страстности тона» были повторены мне иными и устно, (РВ)
¹⁴ — требованию гр. Л. Толстого, / требованию гр. Л. Н. Толстого, (РВ)
¹⁷ — पहले христианин / पहले всего христианин (РВ)

Стр. 371.

- ⁷⁻⁸ — и только в романах «Война и мир» и «Анна Каренина», заплатив до конца дань этой любви, / и только заплатив до конца дань этой любви, в романах «Война и мир» и «Анна Каренина», (РВ)

- 17 — вовсе не *façon de parler*, / вовсе не есть *façon de parler*, (PB)
- 22–23 — чем единственно он хотел быть для всех нас — за христианина. / чем единственно он хотел быть для всех нас — христианина. (Гр PB)
- 22–40 — Вот точка зрения ~ в чем заключается смысл этих произведений. / Что касается «тона», который я принял относительно гр. Л. Н. Толстого — в рассуждения я пускаться не буду. Автору вступать в пререкания о такте такого или иного обращения, об уместности, неуместности тех или иных выражений — совершенно неудобно. (Гр. PB)
- 24–25 — который так возмутил моих рецензентов и, быть может, многих читателей... / и который так удивил своей необычностью двух моих рецензентов и, быть может, многих читателей. (PB)
- 25–31 — Как только я перешел ко второй части своего рассуждения (которой первоначально вовсе и не думал писать — задумано было только рассуждение о бессмертии души), как только были написаны в ней слова: «...Наш возлюбленный о Христе брат» — я невольно соскользнул на «ты», я почувствовал отчетливо и ясно, что всякая иная форма обращения к нему, даже просто отвлеченно объективная форма холодного анализа (ее мне рекомендовали оба рецензента) была бы / Я чувствовал отчетливо и ясно, перейдя ко второй части своего рассуждения, до какой степени всякая другая форма обращения к великому писателю, даже отвлеченно-объективная форма холодного анализа, была бы (PB)
- 34–35 — *zego* он ищет в нас, тому — куда зовет нас, тем струнам ума и сердца нашего, по которым ударил... / чего он ищет в нас, тем струнам ума и сердца нашего, по которым он ударил. (PB)
- 36–40 — усомниться в чистоте и искренности Толстого, думать, что он лишь «нарочно», не «в самом деле» писал все свои последние произведения; или еще — это значило бы не понимать вовсе (что поняла уже вся Россия), в чем заключается смысл этих произведений. / усомниться в чистоте и искренности автора «исповеди», или не понять (что поняла уже вся Россия) смысл «Смерти Ивана Ильича», «Власти тьмы», «Крейцеровой сонаты» и др. художественных его произведений. (PB)

Стр. 371–372.

- 41–23 — Мы говорим невольно, неудержимо «ты» ~ некоторые будничные, всякому известные истины. / нет в Гр PB и PB.

Стр. 372.

- 24–25 — Теперь о самом предмете укоров и о причине взволнованности всего тона статьи. / Но скажу о самом предмете укоров и о причине взволнованности всего тона статьи. (PB)
- 42–44 — с другой стороны, под углом натуралистического, естественного созерцания — мир ему представляется только как хаос, заблуждение, порок, бедствие, и в него со всюю страстию любви, / с другой — он видит в этом мире, под углом натуралистического естественного его созерцания, только хаос, в который со всюю страстию любви, (Гр PB, PB)
- 46–47 — в первых, мужского возраста, созданиях / в первых, зрелого возраста, созданиях (PB)

Стр. 373.

- 6–7 — («Крейцера соната», «Власть тьмы» и еще несколько мелких рассуждений) / («Крейцера соната», но особенно «Власть тьмы» и «Плоды просвещения») (Гр PB, PB)

- 10–11 — разделяя смысл их / разделял их смысл (Гр РВ, РВ)
 12 — от формул, слов / от формул, от слов (Гр РВ, РВ)
 13 — Действительно, есть точка зрения на жизнь, исключая всякое терпение. / Действительно, есть точка зрения на жизнь, на действительность, исключая всякое терпение, и мы, весь образованный класс наш, так далеки стали от Бога, так мало сил в нас, что нам часто несносно становится выносить окружающее. (Гр РВ)
 14–37 — Но в конце концов — это ошибка ~ Я им уступаю поле. / Указывая на эту противоположность, принимая его собственную доктрину о прощении людей, о неосуждении в них греха, я, с ее точки зрения, под углом того смысла, какой им самим вложен в лучшие создания его зрелого возраста, — отверг ту вторую точку зрения, под которой он стал рассматривать, в старости, все человеческие отношения. Но здесь, развивая дальше эту мысль, мне пришлось бы повторить то, что уже сказано было в статье «По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого», и это тем менее нужно, что никто не выразил никакого сомнения в ее справедливости *по существу*. (РВ).
 14–15 — это ошибка, хотя она и очень трудно понимается умом и особенно сердцем... / это ошибка. (Гр РВ)
 16 — поборя на время / поборая на время (Гр РВ)
 20–21 — что и меня манило — во имя лучшего, к чему лишь на минуты способен человек... / что и меня манило, чего правду, под углом некоторого зрения на жизнь, я видел яснее всякого другого; отвергал во имя лучшего, к чему лишь на минуты способен подняться человек. (Гр РВ)
 22 — Ничего этого не поняли В. Буренин, В. Чуйко. ~ Я им уступаю поле. / в гранках РВ нет.

1896

ЕЩЕ О ГР. Л. Н. ТОЛСТОМ И ЕГО УЧЕНИИ О НЕСОПРОТИВЛЕНИИ ЗЛУ

Варианты правки в гранках РО

Стр. 435.

- 24 — Но он говорит: / Но он прибавляет *

Стр. 436.

- 29 — это первое, это абсолютное; / это первое, это *абсолютное*;
 34–35 — теперь взгляни / и теперь взгляни

Стр. 437.

- 2 — закрывает от людей мысль, / закрывает от людей главную мысль,
 9 — что́ бы между / ^а что бы между ^б что́ бы между
 14 — мы узнаем, / мы *узнаем*,
 23 — И что за странность: / И что за странное требование:
 27 — что делать нам всем? / что делать нам всем таким?

* К следующим далее словам «не противься злему» относится помета на полях о выделении их разрядкой. Такие пометы сопровождают и другие места текста с обозначенной разрядкой. В наст. изд. такие выделения передаются курсивом.

- 30 — со всем духом своим, при всем совершенстве, / со всем богатством духа своего, при всем совершенстве словесных своих даров,
 31 — последовать своему учению, — как же / последовать своему учению? — Как же
 36 — Быть может, вовсе не нужно противиться / Быть может, *вовсе* не нужно противиться
 40 — *вовсе* оставь думать / *вовсе* оставь думать

Стр. 438.

- 2 — когда это народное бедствие; / когда это *народное* бедствие;
 8 — Это в Евангелии не сказано! / Этого в Евангелии не сказано!
 11–12 — Возлюби ближнего ~ *по подобию себя*. / *далее вписано*: — иначе сказать, делая для [ближайшего] [в случае] него и с ним, если ему угрожает грех, то же, что делаешь себе и с собой.
 20 — заключение в тюрьму на сентябрь и октябрь месяц / заключение в тюрьму на декабрь и январь месяц
 20–21 — заставляют забывать нас / заставляют нас забывать
 21 — ни в сентябре, ни в октябре / ни в декабре, ни в январе
 24–25 — И Толстой сочувствует ему, влечет туда же человека. *В гранках статьи, на страницах IV раздела, записана большая вставка с авторской пометой: «мелким шрифтом в примечание»; тогное ее место не обозначено. По всей вероятности, она предполагалась как примечание к IV-му разделу в сноске к его концу:*

¹⁾ Очень больно, что Толстой *не отвечает* на возражения, ему даваемые. Мы знаем, великие писатели не отвечают в литературе меньшим, и у Толстого есть, конечно, все основания чувствовать и сознавать себя великим. Но как моралист, если он придает *живое и трагическое* значение своим *рассуждениям*, он *не в праве* молчать. Христос отвечал фарисеям, — это наибольший пример; Левин не только выслушал, но и преобразился от слов Федора — подавальщика, мужика, — это пример меньший, но также многозначительный и прекрасный. Как могу я спорить, не ожидая услышать ответа? Размышлять над словами человека, если уверен, что, что бы я о них ни подумал, высказавшему слова эти [до этого] нет [дела] до этого дела? Никто и не роняет Толстого как *писателя*, спрашивая его: но ведь отвечает он булочнику, который спрашивает у него сдачу? Никто и не говорит с ним как с *писателем* и не как *писатели* — люди ищут у него ответа, надеются на него, восхищаются им. Он задел ряд *моральных* чувств; он прекрасно сказал: «Я не хочу быть писателем, я — *только* человек, бедный как и все, ищущий истины». Но тогда ты отвечай; как только ты сошел с паркетов литературы на сырую землю, — ты разом стал выше всех писателей, поднялся на неизмеримую высоту над полуактерскими подмостками «словесности». Но земля — *обязывает*; и тот спор, который ты открыл, то слово, с которым ты ступил на *землю* — раз оно выслушано чутко, почувствовано живо, вызвало у человека размышления, даже негодование, даже брань против тебя, — ты уже не можешь уклониться от ответа на них, *не изменяя всей своей мысли*. Ибо все люди *земли*, все мудрецы, моралисты, апостолы, пророки, и не в одном только христианстве, не в одной Европе — именно потому были *таковыми*, что за «душевным делом» своим забывали особенности положения своего, профессии, среды. Хорош был бы Будда, если бы на вопрос какого-нибудь отшельника: «Есть ли будущая жизнь?» — ответил бы, посмотрев на него с недоверием: «Ты, кажется, не из Кшатриев?». Хороши были бы Апостолы, обижаящие мытарей, простолюдинов; Сократ, который бы беседовал только с сыновьями Эвпатридов; и даже Шопенгауэр, если бы он отказался ответить простому студенту, ибо он — «еще ничего не написал, а я уже написал „*Mir* как [целое] *воля и представление*“». Я говорю поэтому —

больно, что Толстой не отвечает, ибо это [фатально для] молчание фатально для его миссии; оно снимает с него ореол всего и оставляет в нем только черты *обыкновенного* человека, замечательного *писателя*, ни в каком случае не человека *земли*, не деятеля истории. Оно в тишости своей, в безмолвии, показывает, хоть и отрицательно, что он бессодержателен от «душевного дела», что он не *для него* среди людей.

- 41 — по необходимости греховной и злой его воле. / по необходимости греховной и злой его воли; но сказано, что закон единения духовного, основанного на признании этой же истины, выше единения плотского и разрывает его.

Стр. 439.

- 7 — принять крест на себя, т. е. страдание, / принять крест на себя, т. е. страдание, отделения и борьбы,
 8 — и нести его до победы, — как это и исполнили апостолы и ученики их / и нести этот крест до победы, — как это и исполнили Апостолы и их ученики
 10–12 — им же обороняется, как щитом. / им же и обороняется, как щитом.
 22–23 — Ему представляется суд как некоторое таскание осужденных на веревке в темницу, / Ему представляется суд как некоторое таскание осужденных в темницу,
 25–26 — Он взял побочную сторону предмета / Он взял *побогную* сторону предмета
 40 — не ищет бессудности, — / не ищет *бессудности*, —
 40 — и помилование возможно после доказанной вины, / и самое помилование возможно лишь после доказанной вины,
 40–41 — милосердие может быть оказано уличенному и обвиненному. / милосердие может быть оказано только уличенному и обвиненному.

Стр. 440.

- 5–6 — чтобы ответить легче *там*, он хочет бояться и удерживаться здесь. / чтобы ответить легче *там*, он хочет бояться и удерживаться *здесь*.
 20 — Так творит и человек, история, имея Церковь, учреждая суд. / Так творит и человек, история, *имея* Церковь, *угреждая* суд.

Стр. 441.

- 17 — с молитвою к Богу, если бы / с молитвою к Богу; или если бы
 17 — с даром истинной благодатной любви / с даром истинной, благодатной любви
 31–32 — все это любопытное имеет тот недостаток в себе, что оно — *не истинно*. / *в гранках выгеркнуто и вписано*: им написанное уже не показывает *истины*.

1897

<О В. А. ГРИНГМУТЕ>

Вариант рукописи

Стр. 469.

- 26 — *загеркнутая строка*: Грингмут Вл. А. и его требование вторичной присяги.
 27–34 — Один ультраконсерватор ~ Все отвечали ему смехом... / Г-н Грингмут, — очень почтенный г. Грингмут, — ныне назначен казенным редактором «Московских Ведомостей». Став у кормила главного органа старо-московского охранения, он чрезвычайно удивил всю окружающую *<слово выгеркнуто>* печать, вызвав одну легкомысленную газету и один легкомысленный журнал повторить в его присутствии «присягу на верность», которую в свое время, не находясь еще у «дела», он не расслышал...

Вся печать без исключения ответила смехом на это предложение.
далее как в тексте

Стр. 470.

после 21 — Но Россия жила и хочет еще жить любовью; она — еще христианка.

ИЗ МИРА ИДЕЙ И ФАКТОВ

[Сверху помета Розанова: *Для Руси* (т. е. для газеты «Русь»)]

Автограф

На этот раз — маленькое историческое отступление.

Известна «договорная теория», так часто действовавшая в 18 в. Из договора возникает государство; из договора и общество; по договору, т. е. тоже проникнутая договорным началом, двигалась история; и, наконец даже до того, что стали утверждать, что через договоры возникает язык. Люди обо всем уславливались, и даже условились, как понимать звуки, произносимые друг другом. Гипотеза эта, высказанная с большою силою Гоббсом в «Левиафане», наибольшее распространение получила через трактат Руссо «Contract sociale».

Старые теории, почти оставленные. Но чтобы быть совсем оставленными нужно, чтобы их заменило что-нибудь другое.

Посмотрите на младенца; и как он выучивается понимать мать. Известно, что первое, чему младенец научается — это «подавать ручки». Бабушка, и реже мать, еще не опытная, нагнувшись над кроваткой ребенка, еще не умеющего сказать, усиленно говорит ему протянуть свои навстречу руки — одно и то же голосом, выражением лица, улыбкой, интонацией. Ни одного из многих знаков, какими говорит ему мать, собственно он не понимает. Но следите внимательнее за матерью, и вы увидите, что она не хочет предать ему мысль свою, что она не надеется ни на один из знаков порознь; что она *внушает* ему, *веет* над ним желанием своим и уверена, что он почувствует ее — не сейчас, то завтра, через два дня, через неделю. И через неделю действительно малютка вытягивает ручонки и ясно кладет их в руки матери, к восторгу обоюдно ее и своему...

Перенесемся в парламент, в бурные прения о новом законодательстве. По-видимому — ничего общего с детской; в действительности — полная аналогия. Конституция — это кажется полное выражение универсального начала; прения в палатах — это процесс договаривания, соглашения. Ничего подобного в самом деле: ораторы всходят на трибуны, и речи их всего менее напоминают казуистику доказывания, ни в каком случае они не напоминают крючкотворство гражданского суда. Партия вигов привела было в парламент Макколея, уверенная в талантах его; и таланты его как историка и как писателя, даже как салонного собеседника — остались, конечно, те же: но для палаты голос его был слабее, чем ожидалось, и потому он действовал как на кружок слушателей в гостиной — он есть напоминание; это есть спрос билета, который мы не оплатили и не вправе ехать долее, пока не уплатим. Самим уже фактом, что жизнь наша не держит прочно в себе своих членов и оставляет их алчущими; что из нее вот откальвается колония — мы этим фактом приводимся к сознанию в зияющих язвах нашего бытия, может быть и не тех и не самых, на которые они указывают, но бесспорно существующих. Ибо, пусть бессильно вулкан потух — есть вулканические силы, его вызвавшие; и пусть «болтун», брошенный бережливою хозяйкой, разбился — все же она именно не так положила, или не такое положила яйцо под курицу. И вообще толстовизм — как суровая, судорожная точка покаяния в нашей жизни — и имеет опыт в себе, и б<ыл> нужен; но этот его смысл и далек от окончания.

И он зачем-то нужен, уже потому, что существует. В чем эта высшая нужда, раз очевидно она не лежит внутри его, как создаваемое им бесплодно и пусто? Он есть трещина, которую дала в себе огромная объективная историческая жизнь; он есть симптом глубокого внутреннего забывания нашей жизни. Но, замечает биограф, «ожидания партии не осуществились»: в чем, мы спрашиваем? Да в средствах увлекать, захватывать; веять духом своим над толпою; и побуждать ее... я едва не сказал: «подавать ручки». Нет, но почти то же: подымать руки кверху, если это есть способ голосования, класть шары направо, если способ голосования таков.

И, наконец, как мы взглянем на Цезаря или Александра, бросившего десятки тысяч людей в бой, из которого $\frac{1}{2}$ их выйдет живыми; если мы обратим внимание на страшное господство Ришелье над Люд. XIII, леди Мальборо над королевою Англии, Наполеона — над Францией и вообще великих людей над человечеством, мы скажем невольно, что Левиафан, владычествующий в истории вовсе не тот, о котором писал Гоббс и не так просто действует, как это объяснял Руссо. Во всяком случае — это не счетчик голосов, не казуист. Скорей это какая-то тайна, стихийно сильное и что-то и могущественное именно в меру этой слепоты своей.

Мы называем это внушением, господством без объяснений, не по доводам, но на основании силы и мыслей. Господство, в котором не сомневается господин и которому его народ ведомый.

Заметим, что идея договора *implicite* содержит в себе идею равенства: договариваются, соглашаются одинаковые; напротив, факт внушения предполагает именно неравенство. И, сколько бы мы ни сожалели об этом, именно последнее выражает собою действительность.

ДВА ВИДА «ПРАВИТЕЛЬСТВА»

Варианты гранок

Перед заглавием надпись [С исправ. автору] и подпись [«Суворин»]

Стр. 493.

- ⁶⁻⁷ — Прочитав статью г. Ник. Энгельгардта «Спасович о Пушкине», не могу удержаться, чтобы не сделать к ней несколько добавлений. / Прочитав превосходную во всех отношениях, — превосходную по спокойствию тона, по ясности и особенно полноте аргументации — статью г. Ник. Энгельгардта «Спасович о Пушкине», не могу удержаться, чтобы не сделать к ней несколько дополнений.
- ¹⁰⁻¹¹ — нежели та грязь непонимания, которую когда-то лил на его голову наивный Писарев. / нежели та грязь непонимания, которую когда-то лил на голову наивный Писарев.
- ¹¹⁻¹³ — Во-первых, они опаснее потому, что осторожнее и умнее; во-вторых, потому, что они не так яркие и не вызывают сейчас же и резкого отпора, т. е. они остаются в уме читателя. / Во-первых, они опаснее потому, что осторожнее и умнее, наконец, потому, что они не так яркие и не вызывают сейчас же отпора.
- ¹⁷⁻¹⁹ — то это — «ничего не значит, не содержит в себе никакой заслуги, так как всякий, если захочет, «может сделаться таким же поэтом, как Пушкин». / то это — «ничего не значит», не содержит в себе никакой заслуги, так как всякий, если захочет, может сделаться таким же поэтом, как Пушкин».
- ²¹⁻²³ — Так его понимают — ну, что ж, всякий в понимании волен и качества понимания лежат на ответственности каждого. / (Гр.) Так его понимают — ну, что ж, всякий в понимании своем свободен.

- 30–31 — Само собою разумеется, что «поэт» погиб, когда погублен человек, и этот прием неизмеримо оскорбительнее, чем все, что писал наивный Писарев. / Само собою разумеется, что «поэт» погиб, когда погублен человек, и этот прием гораздо глубже, гораздо мучительнее, и он неизмеримо оскорбительнее, чем все, что писал наивный Писарев.
- 36–37 — не дает подслушать и подглядеть человека / не дает подслушать, подглядеть человека

Стр. 494.

- 1–2 — т. е. вы их читаете в «Вестнике Европы» или в «Русской Мысли», у г. Спасовича или у покойного Евг. Утина. / т. е. вы их читаете в «Вестнике Европы» или в «Русской Мысли» у г. Спасовича или у г. Слонимского.
- 6–8 — В нем мы наблюдаем игру «прекрасного слога» над человеком, которого этот стилистический талант, без тяжестей внутреннего содержания, повлек сделаться журналистом. / Игра «прекрасного слога» над человеком, которого этот талант без тяжестей содержания сделал журналистом.
- 11–12 — Он не отделял «мужика» от России и не противопоставлял «мужика» России; / Он не отделял мужика от России и не противопоставлял ей;
- 17 — и своих мулл / и мулл [на полях знак вставки «своих»]
- 19–20 — говоря с императором Николаем I, он когда-нибудь в этом разговоре попрекнул их память. / говоря с [на полях знак вставки и «императором»] Николаем I, которого от описал интимно-героической в истории личностью, — он когда-нибудь в этом разговоре попрекнул их память.
- 21 — «Вот этого отношения к России / Вот отношения к России
- 23 — Создалась легенда о «придворном лирике» / Создалась легенда о Пушкине. Я не буду повторять прекрасной, исполненной достоинства и доброго чувства к России, аргументации г. Энгельгардта. Сын человека с литературными и общественными заслугами перед родной землею, и он хочет послужить ей, как отец, — добрый путь ему.
- 25–32 — Наконец, вопреки свидетельству его поэзии... и каждая строка может быть раздвинута в страницу, создалась версия о его «поверхности» и «малообразованности». / Вопреки свидетельству его поэзии... и каждая строка может быть раздвинута [исправлено: «раздвинутою»] в страницу, создать версия [исправлено: «версию»] о его поверхности и малообразованности.
- 31–34 — что успел в критике и истории литературы написать г. Спасович к 60-летнему своему возрасту. / что успел в критике и истории литературы написать г. Спасович к 60-ти годам [вставлено: «своей жизни»].
- 32–43 — Его параллель между Мольером и Шекспиром ... всемирному мудрецу, который так умеет понимать. / нет в гранках
- 44 — Но для г. Спасовича Пушкин «легковесен»... Sancta simplicitas / Но для г. Спасовича Пушкин «легковесен»...

Стр. 495.

- 1 — Остроумно г. Энгельгардт говорит / Метко [вычеркнуто «метко»] и остроумно
- 6–7 — Подобные «писатели», поэтому, мы думаем, понижают общество умственно, удерживая от размышлений / Подобные «писатели», поэтому, мы думаем, [далее до «понижают» вычеркнуто] развращают общество; они понижают его [«его» вычеркнуто] умственно, удерживая от размышлений
- 9–11 — и нравственно так несостоятелен, как Пушкин ~ быть внимательно изучаемым. / и нравственно несостоятелен, как Пушкин ~ быть внимательно изучаем.

- 13 — общество / общество. Статья, как г. Спасовича, на весах образования страны, равнозначуща закрытию сотни школ.
- 25–26 — «Пушкин „подыгрывался“ к правительству», и не «безвыгодно»; изменил дружбе приятелей, когда они оказались в беде; «безвыгодно» / Пушкин «подыгрывался» к правительству, и не безвыгодно, изменил дружбе людей, когда они оказались в беде: «безвыгодно»
- 28 — литератор и член общества г. Спасович. / литератор — член общества г. Спасович.
- 34–35 — Но нет ли, в этой же полноте нет ли, правительства и на бирже? / Но нет ли, в этой же полноте, нет ли правительства на бирже?
- 42–44 — Капель утружденного пота не видно на листах его трудов; пота, который окрашивался бы кровью, не видно / Именно, *копоти лампы не видно* <эта часть предложения вызвала вопрос на полях> под его трудами; уединенного кабинета не видно;

Стр. 496.

- 5–8 — что вы «готовы пострадать за убеждения» не перед своим правительством, перед начальством чиновников, которому никакого дела до литературы нет, оно эту литературу почитывает да позевывает / что они «готовы пострадать за убеждения» не перед своим правительством, а перед чужим, перед начальством чиновников, которому никакого дела до литературы нет, оно эту литературу почитывает да посмеивается [поплеывает]
- 15–16 — Но вот кого нельзя обмануть, кто истинно зорок и кто беспощадно строг — это правитель-читатель. / Но вот, нельзя обмануть, кто истинно дорог и кто беспощадно строг — это правитель-читатель.
- 17 — «искру Божию» в вас». / «искру Божию» в вас. Он казнит, т. е. он может казнить, вы знаете — жестоко; именно — отстранением от себя писателя, человека, который только и живет мыслью и проповедью; он может окружить его пустынею, на место модной аудитории, которая только единственно одна и нужна писателю. Да не будем говорить о «славе», заговорим грубо и понятно: которая кормит писателя, и часто кормит его семью, его больных детей, которым сам он, весь отданный теоретическому труду, не в силах дать куска, заботы, внимания «гениальным» несчастным устройством своего духа. Вот власть — власть бросить в страшное, «одиночное заключение», власть «запереть в башню голода с детьми», которую держит в руках своих правитель-читатель, и держит эту страшнейшую ссылку и каторги (если из них сохраняется возможность писать) власть над нежнейшими, проникновеннейшими, наиболее это самое общество любящими людьми, поэтами, художниками слова, мыслителями. Соловей с выколотыми заживо глазами, который отныне про себя и для себя будет петь свои песни, — вот писатель оставленный, забытый, пренебреженный, который возроптал против этой страшной силы, перед ней захотел отстоять свою самостоятельность.

Так поступил Пушкин; и статья г. Спасовича документально свидетельствует и только объясняет по-своему произведенную над ним операцию. Заговорив о ливрее, о тайной и не «безвыгодной измене друзьям в стряпшейся над ними беде» — он глубже и глубже еще — ибо поэзия поэта и теперь жива — запускает крючок в глаз певца лесов и любви.

Но как вача ливрея, г. Спасович? И поняли ли вы теперь ее смысл? О, люди, жалкий род, достойный слез и смеха...

1898

Гр. Л. Н. ТОЛСТОЙ

Автограф начала раннего замысла статьи

Гр. Л. Н. ТОЛСТОЙ

Случается, что человек неоспоримого величия среди громады дел, между речами, которыми, кажется, века предстояло бы звучать в сердцах людей, затеривает незначительный лоскуток бумаги, какой-нибудь частный поступок, который на мощную его фигуру вдруг накидывает смешную тень; народы, готовые благословлять, восторгаться, плакать, вместо этого невольно складывают губы в улыбку, и, иногда к ужасу «героя», уже думавшего вести их куда-то за собой — спокойно расходятся по домам. Наполеон, который даже и на Св. Елене, и после Ватерлоо, мог бы остаться для нас велик, оставил к своему несчастью целый пук банальных «воззваний», часто удачных, еще чаще фальшивых, но, главное, всегда и совершенно смешных¹. По нашему представлению — великий человек не может говорить смешно; пусть лучше он молчит всегда, как Моисей; пусть говорит очень мало, как Аннибал; пусть говорит так много, как Демосфен, но и так хорошо, как он; но если он говорит даже больше, чем Демосфен, и всегда так, как какой-нибудь прапорщик — он может быть великий полководец, великий дипломат, но великим человеком, но дорогим, благоговейно чтимым существом — никогда. Мы отдаем удивление его способностям, и ни одного движения сердца — ему самому.

И вот Вандомская колонна «великого человека» рушилась менее, чем через век, а бедная, не украшенная ничем могила Кальвина в Женеве и до сих пор чтится — и как чтится! — миллионами сердец; *этот* человек оставил святые слова; он стоял и безмолвно видел, как сластолюбцы, безверные и грубые, удавливали людей горячей веры; и, уйдя от этих безверных, в маленький город, в стороне от родной земли, устроил, уютил гнездо для верных. Только; что было тут особенно великого? Какие потоки пролитой крови, бой барабанов, массы народные, приведенные в движение? Но это «только» было благородно, свято; это, по-видимому, одно ценилось людьми, или, по крайней мере, одно ценится ими в конце концов.

Как прекрасно это воспоминание даже о грубом Магомете: «пророк» или воображавший себя «пророком» после того, как он так много любил², воевал, чудился видениям, извергал безумия и пламенные изречения — наконец опасно заболел. Ангелы не слетали облегчать его мучения, — нет, ему было больно, как бывает больно нам в страдании; народ, любящий, необозримый, собрался перед «горстью перси», во все подобного им, еще живым и бодрым мукам этой же «перси»: пророк умирал среди народа, которого он был пророком, лучезарным дивом, вождем, героем; и вот, в эту минуту он не произносит прощальную пышную речь, не подтверждает ничего об Аллахе и даже не заказывает сколько-нибудь помнить себя: «Не присвоил ли я у кого-нибудь несправедно денег», — спрашивает он у окружающих; человек неизвестного имени протеснился вперед и потребовал трех драхм. Магомет велел уплатить тотчас и молвил: «Лучше быть обвиненным на сем, нежели на том свете».

Только; вырванный листок из расчетной книжки «пророка» — но как это человечно; да ведь не для ангелов и сходят пророки, а для людей: человеческое несут ли они выше, чем прочие, в человеческом мире ли, нежели остальные люди, вот почему отгадывают, не

¹ Мы разумеем их крайнюю риторичность, аффектированность, напыщенность.

² Известно, что возникновение печального обычая многоженства в Исламе объясняется личною слабостью его основателя.

обманываясь, народные массы, посланец ли небес перед ними, или только кость от кости их, плоть от их плоти, и лишь несколько лучше задрапированная. Магомет предсказывал иногда чудо — и чуда не было; он обнадеживал победой — и бывал разбит; он боялся, он ошибался; люди забыли его ошибки, его поражения; они помнили, что это был святой человек — это было для них достаточно. «Не забывай, что ты везде находишься в присутствии Божиим», — напутствовал полководца своего второй халиф. — «Обращайся кротко с воинами, призывай братьев твоих на совет и поступай всегда по справедливости. При встрече с неприятелем — будь мужественен и никогда не показывай тылу; когда одержишь победу — щади стариков, детей и женщин; не срубай никогда пальмовых деревьев и не жги жатвы. НЕ порти плодовых деревьев и не убивай скота больше, чем нужно тебе на продовольствие войска. Данное слово да будет для тебя священно! Щади священнослужителей, которых найдешь на священном месте; и эти места щади. Но найдешь людей, принадлежащих к учению сатаны и бреющих себе маковку, — таким раскрой череп, руби их до тех пор, пока не примут они ислама и не заплатят дани». Как просты и чисты эти слова, и вместе как свежи, исполнены энергии, вовсе не дикой; о, мы уже чувствуем в них, в этой неозабоченности земным, как не только смогут, но и будут достойны смуглые «дети пустыни» пройти от края земли до края, и, омочив копыта коней в волнах Атлантического океана, воскликнуть горестно: «Неужели земля кончилась!»

И, между тем, это было действие ложного еще пророчества; истинных пророков мы не знаем на Западе (мы говорим о Европе, о вечно милой в нашем тоскующем сердце Европе) — там были только великие политики, светлые умы, искусные законодатели¹; даже о тех, кто так близко подошел к типу израильского пророка — мы говорим о великих реформаторах Германии, Франции, Англии — мы с великою грустью должны заметить, что им недоставало того, что мы прежде всего ожидаем от пророка, ищем в нем — *святости*; пусть Лютер даже выше стоит, чем это утверждает легион немецких историков: он в самом деле преобразил лик мира его времени, согнул железной волей пути истории; он велик, необъятно велик — для земли; но он ничто — для неба, менее, чем Василий Блаженный, чем Сергей Радонежский; и так, в истинном значении, он был меньше и для всех людей веры.

Варианты гранок

Стр. 511.

- ¹⁵ — естественно наступает / близящейся «вечной» ночи естественно наступает
^{17–18} — Толстой мало печатает ~ виднее всех / Толстой почти не пишет, или пишет очень мало, и малозначительные уже вещи, но и в молчании — он виднее всех
^{18–20} — так мало пишуший / почти не пишуший
²⁰ — Даже когда он не пишет / Пусть он не пишет — но
²¹ — он жив / и он жив
^{22–26} — что хочется поговорить ~ о теоретике, об умственной силе. / и еще недавно резким диссонансом среди деликатного общего молчания раздалась эти упреки, что хочется поговорить, или, точнее, прекрасный бюст его внушает мысль

¹ Замечательно, что черта преднамеренности, искусственности осложняет собою черты чисто религиозные у западных великих людей; не говорим уже о Лойоле, который, будучи юродивым в точном значении слова, оказался вместе и хитрым сердцеведцем; но и Григорий VII Гильдебрандт, который не мог без слез служить литургии, одновременно был тонким дипломатом перед императорским германским престолом, пока не стал достаточно силен, чтобы его презирать. В чертах лица Иннокентия III, как оно сохранено в гравюрах, удивительно и поражает это соединение черт высокой, святой почти, чистоты души, с мудрою дальнорукостью человека, который не забывает ничего из земного.

поговорить о нем не как о художнике, но как именно об уме, о теоретике, об умственной силе.

38 — конечно если бы записывать / т. е. если бы записывать

Стр. 512.

11 — до того все окружающее нас ново / до того все ново

13 — ни былинки не осталось. / ни былинки не осталось, ни даже — какого-либо разговора, разве «при воздвижении монумента».

14 — родилась в смысле народа / т. е. в смысле народа

33–34 — и оно еще осложняется его преимуществами / и оно еще вытекает из его преимуществ

31 — старее его / старее

40 — и щеголеватых манер / и щеголеватых манер у автора

41 — Но то и важно / Ну, то и важно

Стр. 513.

20 — так многодумно / так малодушно

37–38 — и тут же, чуть-чуть в стороне / и там, чуть-чуть в стороне

40 — Вот чем богат Толстой / Вот чем он богат

Стр. 514.

25 — да ведь это визитная карточка / да это визитная карточка

26 — вхожу во всякий кабинет. / далее: Тут «мы» и «наше», вонючее в нас, что зашумело над Толстым и его «не оконченным курсом».

28 — не кончил даже / даже не кончил

36 — «на которых он не был». / в гранках нет.

43–44 — * Гений ~ решать тему. / Гений бывает «дерзок» в темах и преувеличенно скромн в оценках средств.

Стр. 516.

42 — чуть-чуть, но все же показано / чуть-чуть, но показано

42 — и подкладной ваты. / далее: И прочее.

46 — придем к заключению / далее: какое высказали выше

Стр. 517.

4 — Словами «у всех установился за Толстым, и по» текст гранок обрывается.

1899

И. А. ДАНИЛОВ. В ТИХОЙ ПРИСТАНИ. —
В МОРОЗНУЮ НОЧЬ. — ПОЕЗДКА НА БОГОМОЛЬЕ

Варианты гернового автографа (ЧА) *

Стр. 526.

Перед нагалом рецензии: Талант г. Данилова был отмечен еще покойным Шперком, в одном из его обзоров новых литературных имен и произведений.

23 — Чрезвычайная свежесть чувства, / далее: ничего затасканного — в идеях или языке,

* Варианты ЧА воссоздаются по верхнему слою рукописи (без вычерков).

- 20–24 — удивительной нежности рисунок, когда он переходит / и удивительной тонкости и нежности рисунок в двух случаях, когда он переходит
- 26–27 — вот сила автора. / *далее*: и так сказать тематическая граница этой силы.
- 27 — Сколько блестящих ~ «В морозную ночь»; / Сколько чисто светской наблюдательности в сценах «В морозную ночь»;
- 28–29 — как верен действительности ~ бывает в обществе, / как хорош этот дядя Мери с его грустной ласковостью во взоре и цитатами из Гейне,
- 29 — и грубый и невежливый, / но который становится просто груб и невежлив,
- 30 — как жива сама Мери (героиня), / и сама Мери
- 31–32 — и испугом перед грядущим одиночеством. / и испуганностью перед новым грядущего одиночества.
- 35 — вот мир, который окружает / мир, который окружает
- 35–36 — от оскорблений, язв, блеска и греха «света». / от мира.
- 36–37 — «Отвратительно разлилось зелеными пятнами по овсяному киселю постное масло; / «По овсяному киселю отвратительно разливаются пятна зеленого подсолнечного масла.
- 37 — заметив мое содрогание, заметила: / заметив мое отвращение, сказала:
- 38 — принимайте это, Вера Николаевна, ~ (стр. 43). / — Принимайте это как духовное лекарство».

Стр. 526–527.

- 38–17 — Штрихи высокой поэзии ~ возвышенных забот и тревог?» (стр. 87). / *в ЧА нет.*

Стр. 527.

- 17–41 — Идея монастыря легка и удобоусвоима ~ в талантливых очерках автора. / *в ЧА два отрывка, которые не выгертнуты. Отрывок первый:* Идея монастыря не только понятна, но и понятно-необходима среди распущенной, безвольной, потерявшей моральный в себе центр жизни. Так она возникла в эпоху крушения античного мира и далее до наших дней; понятна и необходима как протест и гнев против разврата действительности. Представим, однако, эту же действительность, в которой возрождается моральный центр: семью религиозную, быт благочестивый; идея монастыря сперва удваивается, потом сходит на нет. Монастырь разлит в жизни, и его нет как отграничений от жизни, территориальной обители. Таково историческое положение монастыря. Гораздо труднее его религиозное положение, и с этой стороны проблема аскезизма, замаскированная словами, не только не решена, но она могла бы быть решена лишь томами углублений, и мысль «смоковницы, не давшей плода» — есть бесспорно мотив монастыря; «Господь спросил у нее плода, идя на крестную смерть». Приведем смущение автора:

Варианты второго отрывка:

- 17–20 — наоборот, она становится необыкновенно трудна ~ перейти в это отрицание. / совсем иначе, т. е. она становится необыкновенно трудной, и именно религиозно-трудной, как только переходит или пытается перейти в отрицание жизни.
- 18–24 — Например, этот вопрос ~ именно религиозно смущает. / Напр., этот вопрос, поставленный автором. И вынести очень трудно, и именно религиозно трудно признать, что есть некоторая «заслуга» отвернуться от материнства: не значит ли это поклониться иссыханию? И культ «смоковницы, не давшей плода, когда Господь у нее потребовал его» — не приходит ли на ум и не смущает ли его, именно религиозно смущает.

- 20–25 — мы отделались пустыми словесными отговорками. / *далее*: между тем как они требовали бы <1 нрзб.> углубления и анализа. Здесь идеей монастыря затрагивается, шевелится тончайший беленький корешок, глубоко скрытый в зерне, через который происходит низание всего древа жизни: как будто она, эта идея, усиливается подломить этот корешок, иссушить его, иссушить самое древо.
- 26 — понятно усилие «повалить мир». / понятно самое усилие.
- 26–41 — Но где же тогда добро? ~ в талантливых очерках автора. / Но где же тогда добро? И помещая его где-то вне орбиты жизни, вне всякой религиозности, не начинаем ли мы поклоняться собственно уже имени блага, а не благу самой вещи: т. е. религиозность не переходит ли в гнет религии.

Н. П. ГИЛЯРОВ-ПЛАТОНОВ. СБОРНИК СОЧИНЕНИЙ. ТОМ 1

Варианты гранок

Стр. 562.

- 5–6 — московского публициста, / *далее*: от частных людей собранных,
- 6 — очень характерного содержания. / высоко характерного содержания. Видна была крайне любящая рука, влюбленность — если позволительно так выразиться, биографа в автора.
- 9–10 — принадлежащих тому же автору ~ брошюрка 94-го года. / принадлежащих тому же «трудолюбивому филологу», как и крошечная брошюрка 94-го года. «Трудолюбивым филологом» называл себя Третьяковский, и мы берем самый ценный и даже единственно ценный листок из венка знаменитого академика, то надеваемого на него, то срываемого с него. Да, если бы в нас было побольше Третьяковского — не там бы плелась Россия, или, точнее, не там бы она сидела «вот уж тридцать три года» все на том же «запечьи»... Мы очень даровиты (будто бы); но мы решительно не умеем любить, не способны благоговеть и благоговейно трудиться над какою бы то ни было задачей, над каким бы то ни было предметом: качество эгоизма и легкомыслия, решительно чуждое чуть ли не единственно у нас Третьяковскому, который, когда у него сгорела рукопись ролленовой «Древней истории», вторично засел и вторично перевел 4 тома in-quarto * «нужного для общества труда» **. И вот мы видим теперь и плод этой благоговейной любви.
- 10–12 — печатавшихся ~ документах ~ интимные письма / в печатавшихся в «Русском Обзрении» частью архивных документах были разные докладные записки, или оправдательные (по службе) записки, наконец, совершенно интимные письма
- 14–16 — открывался ~ глубокий мыслитель / Показывался чрезвычайный ум, показывался гениальный мыслитель
- 18–19 — Дж. Льюиса о женском вопросе, под праздничный перезвон Писарева с его присными. / Дж. Льюиса о женском вопросе, в переводе г-жи Цебриковой, при благосклонном участии Шашкова и под праздничный перезвон Писарева, Шелгунова et tutti quanti ***. Вообще Россия, русское общество когда-то еще войдет в силу и разум своих подлинных сынов, которые за нее и за ее «бедные селенья», «тусклую природу» **** перед целым светом «кровь аки воду лиях

* большого формата (лат.).

** Кавыжки проставлены красными гернилами.

*** и им подобные (ит.).

**** Кавыжки проставлены красными гернилами.

- и лиях», по выражению Курбского; ибо чернила писателя суть часто кровь его, и перо его в точности есть стилет, которым он производит наколы и порезы в собственной груди.
- 21–22 — наименее речист ~ их обоих / наименее речист, но неизменно их обоих он был вдумчивее
- 22 — и образованнее, в особенности Аксакова. / и несравненно же образованнее, в особенности Аксакова, но также и Каткова.
- 24 — а скорее к едкому анализу / а скорее призванный к едкому анализу
- 26 — изощренного в борьбе. / изощренного на борьбе, например, с Гегелем.
- 27–30 — нельзя прямо не любоваться, как он берет под пята себе ~ которые отметил ~ Филарет Московский. / нельзя прямо не любоваться, как он берет под пята себе ~ которые даже отметил с неудовольствием Филарет Московский (стр. 471–478), или громадный труд по истории русской церкви Макария, впоследствии московского митрополита, в каковом труде «нет не только главной руководящей идеи, но даже вовсе нет* никакой идеи; даже ни одной частной свежей мысли» (стр. 218) — и все это не как фраза, но как итог академически спокойного разбора, как заключительное на диспуте слово.
- 37 — не пугаясь громкого слова / не пугаясь шаблонного слова
- 40 — публициста международных русских связей. / *далее*: Гиляров роется глубже обоих этих современников своих и самый путь его — царственное и более вечен. Решительно нельзя, за их скукою и мелочностью, «злободневностью», перечитывать теперь статьи Аксакова или Каткова:
- 41 — Статьи Гилярова / но статьи Гилярова

Стр. 563.

- 3–4 — мы уверены ~ мыслящую Россию. / мы уверены, прямо будет расхвачан с рынка серьезною и мыслящую Россию. Наконец-то серьезная книга, наконец-то книга действительно серьезна! Будем отмечать появление каждого тома, ограничиваясь пока только авансом

А. ЛЕВЕНСТИМ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ НИЩЕНСТВО, ЕГО ПРИЧИНЫ И ФОРМЫ. БЫТОВЫЕ ОЧЕРКИ

Варианты гранок НВип

С. 606.

- 3 — Поэтому утопия / Посему утопия
- 6 — просто для вечного труда / простор для вечного труда
- 6–7 — и книжка А. Левенстима / и данная книжка
- 21 — нравственную невоспитанность / нравственная невоспитанность
- 22 — имели культуру труда, / имели культуру труда, науку о труде,
- 34 — нежелание поддержать падающего человека / нежелание («ему хуже, мне лучше») поддержать падающего человека
- 45–46 — носит «облачение» святости. / носит «облачение» святости и, пожалуй, личную святости.

Стр. 607.

- 2–3 — для пользования профессиональных попрошаек, / для пользования профессиональными попрошайками,

* Слово вписано красными гернилами.

- ¹² — какой тут добродетели спрашивать! А впрочем, / какой тут добродетели спрашивать; а впрочем,
¹⁵⁻¹⁶ — в этой юдоли «скрежета зубовного», и «плача», а также и плутовства. / и в сей юдоли «скрежета зубовного», и «плача», и «воздыханий», а также и плутовства, впрочем.

1900

А. И. КОСОРОТОВ. ЗАБИТАЯ КАЛИТКА. РАССКАЗ. — ВАВИЛОНСКОЕ СТОЛПОТВОРЕНИЕ: ИСТОРИЯ ОДНОЙ ГИМНАЗИИ

Варианты рукописи неавторской рукой

Стр. 646.

- ¹⁸⁻²⁰ — если религиозна изысканная любовь ~ рассматриваем ее, проводим / какое-то изысканное в любви человеческой муки и склонение над этой мукой, разбор ее, ласковое проведение

Стр. 647.

- ⁵ — гигантскою постройкою. / гигантскою постройкой.
¹⁵ — педагогический волапюк. / педагогический воляпюк.
¹⁶ — и можно многому / как ученики, так и учителя, и, наконец, высшая
¹⁶ — в ней научиться. / *далее*: Не можем здесь не припомнить с благодарностью превосходный и талантливый этюд, тоже в беллетристической форме — «Скамья и Кафедра» г. Желанского, вышедший лет шесть назад.

ТРИ КИТА

Варианты гранок

Стр. 647.

- ³⁴ — в той темноте / той темноте

Стр. 647-648.

- ³⁹⁻³ — земля ~ собственность. / с совершенно особенной стороны, вовсе не задеваемой географией.

Стр. 648.

- ¹⁸ — И может повторить о себе. / *в гранках нет*.
²³ — которые объясняются частными же, отдельными причинами. / *в гранках нет*.
²⁴⁻³⁰ — самом деле ~ это — «биржа»... / ну, и что же мы имеем в качестве «небесного света» для труда? для денег? и даже, даже — для семьи? Ну, деньги ж прокляты, это «биржа»...
³⁵ — прикосновение этой палочки, / ее прикосновение, т. е. этой палочки,
³⁷⁻³⁸ — кинем рубль, с которым всемирно стряслась какая-то девальвация / имеем рубль, — который непоправим на бирже и с ним всемирно стряслась какая-то девальвация.
³⁹ — Но вот, труд, благочестивый труд, / Но и труд? благочестивый труд?
⁴⁰⁻⁴¹ — но это — подробности. / но это — подробности, география; имеем ли мы, однако, небеснопрощенный труд и так сказать космографически устроенный? Напрасный вопрос. Горький вопрос. Критический вопрос. Конечно, ничего подобного.

Стр. 648–649.

- ^{41–8} — В сфере поднятого нами вопроса это ~ на пути наихудшем, истинно проклятом. / *в гранках нет.*

Стр. 649.

- ^{8–9} — Как печальны эти зловещие сборы четвертого сословия, эти в сущности «смотри красных батальонов» 1-го мая. / Как печальны эти зловещие «смотри красных батальонов» 1-го мая.
- ^{10–11} — ни семьи у него нет, и ничего утешительного; / ни семьи, ничего;
- ²¹ — вырванные из села / вырваны из села
- ²⁶ — эту болезненную мечту 1-го мая. / *далее:* Они вышли и взглянули на свои батальоны.
- ^{27–30} — Вот наступил день ~ грешного, слабого ума человеческого?! / *в гранках нет.*
- ^{30–31} — снова вертит колесо на фабрике. / снова вертит колесо на бесполезной и ненужной для него фабрике.
- ³¹ — Одна месть в нем. / Одна месть.
- ^{31–33} — Человек умер в составе своих нравственных и умственных даров, и из смердящих останков его поднялась черная, огромная, неутолимая месть. / Человек умер и из смердящих останков его поднялась черная, огромная, неутолимая месть.
- ³⁴ — что не это, что не таково просвещение. / что не это просвещение.
- ^{34–35} — Ибо слово «просвещение» происходит от «свет» и знаменует «светлую душу», веселую, радостную, утешенную. / *в гранках нет.*
- ^{35–36} — Да, если в нашей эре проклят рубль, то не благословен и труд наш: / И что если проклят рубль, то не благословен и труд наш:

Стр. 650.

- ^{11–12} — Все нам казалось ~ странного Бога. / Все непонятно; все фиктивно, т. е. в законе древнего воображения.
- ¹³ — Но вопрос повернется иначе, / Но вопрос навернётся,
- ²³ — и тот же покров над твоим домом, / и над домом твоим,
- ²⁹ — Странный «*deus terminus*» / Странный «*deus terminus*»
- ^{38–39} — но пусть же согласится и читатель, что мы даем некоторый материал для размышления. / но кое-что тут возможно для размышления. Никакого «*dei termini*», ничего «заклятого» не лежит, как известно, среди русских полей, и мужик «травит» скотом овес помещика, а помещик «тащит к себе на двор» корову мужика, — а мужик «освобождает ее» при помощи вил и цепы, а «господин земский начальник» запирает за это мужика «в холодную» — и ни к какому принципу, ни к Богу и даже Богу это не возводится, не может возвестись. «Э, безбожная жизни! Брошу все и уеду!».

Горе брошенным волнами
К неприятным берегам.

- ⁴³ — августовского у нас «освящения плодов» / августовского «освящения плодов».

^{*43} — Вот — начало, вот — путь. / *в гранках нет.*

Стр. 651.

- ^{5–6} — Ведь это то же, что и у римлян, освящение «границ», но только во времени, во временах года. / Вот прекрасное освящение «границ», но только во времени, во временах года.
- ⁶ — молитва здесь возможна; / молитва возможна;

⁹ — зарока, заклатья. / *далее:* Ведь у нас дом... языческий. В Англии в дом, в семейный дом, не может войти полиция и, кажется, судья. Не знаю точно, но что-то такое есть. Т. е. в Англии есть по крайней мере начало «святого дома», «неприкосновенного», «под молитвою для обладателя и под зарокотом для чужака». А в наш языческий дом можно не только войти, но и высечь там хозяйина, под предлогом, что он «не благополучен». У нас «дом» — хозяйство, хозяйственная единица; какие же тут церемонии: отдерут как на гумне или на конюшне. Ни Бога, ни совести; понятно, что нет совестной и совестливо-религиозной культуры.

⁹ — Да, бедный собственник, / Нет, бедный собственник,

¹¹⁻¹⁶ — и это мы признаем ~ ставлю вопрос. / и просто потому, что к этому привыкли, т. е. все это очень давно и достаточно торжественно. Теперь попробуйте также «венчать» имущество человеку, дом — человеку, дедовское имение — привенчивать внуку. Ей-ей возможно, не это, так подобное этому, в миниатюре это.

¹⁹ — Как не догадлив папа! / Как не умел папа!

²⁶ — святую просфирку / святую просфору

Стр. 654.

²⁸ — вместо него / вместо его

²⁹ — «Не даст! о, как я знаю, что он теперь не даст!». / «Не дает! о, как я знаю, что он теперь не дает!».

³⁴ — перья на шляпке. / перья на шляпки.

⁴⁷ — властью. / *далее с нового абзаца:* Какие пустяки! Какие пустяки весь этот разговор, но он имел глубочайшее влияние на течение моих религиозных идей.

Стр. 655.

²² — Просто промолчали. / *далее:* Энциклики ватиканского старца обсуждали богословы, но не обсуждали рабочие.

Стр. 656.

¹⁸ — морильщиков / морельщиков

УМСТВЕННЫЕ ТЕЧЕНИЯ В РОССИИ ЗА 25 ЛЕТ

Варианты гранок

Стр. 659.

²⁹ — «Дело» / «Голос»

Стр. 660.

¹² — своего пылания. Несмотря на / Названные умы и играли роль этого каменного угля, а «Отечественные записки», «Дело», «Голос» и целый ряд публицистов-популяризаторов палили его на огне отечественного слова. Во всяком случае

Стр. 662.

¹ — самая возможность / самая его возможность

Стр. 665.

³² — и только / нет

Стр. 666.

¹⁸ — английской философии / английской философии Увы! Неокантианство! (*вписано в вырезку*)

ЕЩЕ О СМЕРТИ ПУШКИНА

Варианты ЧА

Перед текстом в ЧА *нагато* и *загеркнуто*:

Со смертью Пушкина русские писатели взялись размышлять о жизни, думать, его понимать, к чему-нибудь придут

Стр. 669.

- 34 — явившаяся неожиданно / прерванная неожиданно
- 35 — Что такое произошло? / *далее*: Отчего?
- 36–37 — обыкновенного человека / простого человека ◊
- 37 — «пожирательницы людей» / ^а как в тексте ^б «пожирательницы людей», смерти ◊

Стр. 670.

- 1–2 — тот же зев неожиданно поглощает / ^а смерть неожиданно пожирала ^б смерть неожиданно поглотила ◊
- 2 — дорогого, нужного. / *далее нагато* и *загеркнуто*: Куда [человек]? Зачем? Кто тут виноват? Восклицаем мы бессильно,
- 3–4 — единственно — нужного: «Постой!» / единственно — нужного слова: «постой!» ◊
- 6 — равно неожиданно / одинаково неожиданно ◊
- 8 — и слова: «судьба», / и словом: «судьба»,
- 10–11 — какое-то мистическое море / какое-то мистическое море, море ◊
- 11–12 — Ну, бросили один, / *перед текстом нагато* и *загеркнуто*: Нет, что непонятно
- 18 — унес у нас Пушкина / унес у нас Пушкина, а затем Лермонтова ◊
- 19 — «место святого упокоения невинных детей». / *далее вписано*: берега реки.
- 20 — когда люди только / когда мы только ◊
- 20 — помнят Бога / помнят о Боге ◊
- 20 — а не в живом ощущении / а не в сердцах чувствуем Его, и ◊
- 21 — начинают смешивать / начинают смешивать, смешивать ◊
- 21–22 — Мальчик утонул. / *далее нагато* и *загеркнуто*: Это — Бог, восклицают одни; это
- 23–24 — шепчу о потерянном / шепчу с ужасом, негодованием и укором: Это нечистый! ◊
- 24 — все тут «погано», / и все это место «погано», ◊
- 24–25 — «погано», «страшно», / «погано» и «страшно», ◊
- 33–34 — становится глухо / ^а заглушается ^б гложнет
- 34 — у современников и очевидцев события / у современников ◊
- 35 — «Мира Иск.» / в ЧА нет.
- 36 — сказал я себе, / подумал,
- 37 — Тут все так просто / Тут все так просто и ясно
- 40 — *гениально-умным* / ^а *гениально-умным* ^б *гениально-умным*
- 45 — эмпирических данных / *далее загеркнуто*: самых физиологических фактов,

Стр. 671.

- 4 — «Мира Искусства» / «М. Искусства»
- 18–19 — вовлечется в цепь следствий / вплетется в цепь [событий] следствий
- 28 — упреки Лермонтова переложены / *далее нагато* и *загеркнуто*: на что-то (да простят мне два философа!) грубое семинарское: «...В Афон!».
- 28–29 — во что-то мещанское / во что-то семинарское и мещанское
- 29 — упрек этот / *далее*: могу писать — что могу)

- 30 — «Господи, воззвах». / «Господи, воззвах к Тебе — услышь мя».
- 31 — не стал бы и не хотел читать, — / ^а не мог читать ^б не очень бы и не мог и не хотел читать, —
- 32 — правда его души и / *далее:* ^а слов<ом> ^б словом
- 32 — *факт* его души / *далее загеркнуто:* которого не переспоришь и не поправишь
- 35 — логика может быть *свята*. / ^а может быть логика *свята* же. ^б логика может быть *свята* же. ◊
- 36 — и погиб; / — и умер; ◊
- 41 — Рассказывают об ее успехах: / Что-то шепчут — пожалуйста! Говорят об успехах у неё:

Стр. 672.

- 3 — В «Графе Нулине» Пушкин... / *перед этим текст:* Не могу забыть одного ленивого [на слова] слова [мужа], брошенного мужем, в прихожей. «Ухаживатель» бросается подать калоши его жене. — «Послушайте, чуть рядом и мои — не поскучайте дать сюда-те к свету!». И больше ничего. Больше совершенно ничего.
- 3 — В «Графе Нулине» Пушкин это отлично / В «Графе Нулине» сам Пушкин это отлично
- 22 — и «женихов» Пенелопы. / *далее:* (а ведь уже «старушка» была через 20—30 лет отсутствия мужа и имела версилу — Телемака; премилая старушка — целуем кончики её пальцев).
- 23–24 — что суть пушкинской драмы / что Пушкина ◊
- 24 — о, не в Наталье Николаевне, / ...о, не в грехе, о, тысячу раз нет, Натальи Николаевны,
- 24–25 — что Пушкин / что он
- 25–26 — чтобы сказать с Улисом и Лидиным: / ^а чтобы сказать: ^б как в тексте
- 27 — Попытка Нулина, может быть, имела бы совершенно другой исход, этот другой исход возможен, он *психологически* и *даже метафизически мыслим* / ^а Попытка Нулина, может быть, была бы совершенно другая, она возможна *психологически* и *даже метафизически мыслима* ^б как в тексте
- 29 — около нее / в ЧА нет.
- 35 — вызывать на дуэль. / *далее:* «Помилуй, братец, калоши, кстати и мои с женихими». И только. И больше ничего.
- 38–39 — испить черную чашу / испыт<ать> ◊
- 39 — фатальный комизм Черномора ли, / фатальный комизм Черномора («Руслан и Людмила»)

Стр. 672–673.

- 37–36 — старушки ли Наины... ~ Смеялся — Лидин! / или, без фантазий:

Она все мужу рассказала
 Всему соседству описала
 Смеялся — Лидин!

Стр. 673.

- 37 — Увы, так. Но поспешим к нашей задаче, оставляя иллюстрации. / Увы, так. не та психика. / не [тот] та психика.

Стр. 674.

- 1 — доскажу завтра». / доскажу завтра, а теперь спать хочу».
- 2–3 — «Ничего, утомлена. Я рано встала». / «Ничего, Саша, я спать хочу. Утомлена. Я рано встала». А ведь гений-то вещей.

- 4 — «Счастлива!» — «Счастлива!» / «Счастлива!»
- 8 — Она совершенно нравственна / «Она бы Лидину не так рассказывала», — думает психолог. Верна. Даже совершенно неприступна. Совершенно нравственна
- 13 — Ничего у нее грешного. Но здесь и кончено все. / Или, заливаясь воздушным смехом, будя сонного, «Шурику» говорила: «Да нет, ты спишь: представь, представь его физиономию!..» Я говорю «не распинайте», потому что еще «речи» вы вынудите у человека, и даже он добровольно их скажет «по долгу» (почти «по долгу службы»), да — «речи» и «поступки».
- 13 — Она не согрешает. / Ничего — грешного. Но здесь и кончено все. Она не согрешает.
- 28 — распинающие «плоть»: / распинающие женскую плоть:
- 28–29 — откуда взять этот «отрывок» бытия, серебристый звон голоса, когда его *нет!* / как выдавить этот «отрывок» бытия, когда его *нет!*
- 30–31 — то вообще ничего нет между ними, / то — вообще ничего нет, т. е. между «Сашей» и «Наташей»,
- 36–38 — Это — не к нему, не к Пушкину ~ Пушкин им не был. в ЧА *вписан*.
- 39–40 — между ним и женой — / между ним и Наташей —

Стр. 675.

- 1 — то еще вина — *его*, / еще — вина его
- 2 — не пошедшего по своим путям. / не пошедшего по ним. ◊
- 3 — «вина» Пушкина, и именно здесь — в сфере «своего дома». / *далее*:
 Ах — ты пела?!.. это — дело?!
 Так поди же попляши!
- Фу, я впал в грубость.
- 4 — Пушкин был решительно груб с «Наташей» / Но Пушкин был решительно груб с «Наташей»
- 6 — о которой он записал / о которой он [напи<сал>] записал
- 8 — Все в ней — гармония... / ^а *нагато*: [Красавиц] *из далее цитируемого стихотворения* ^б. Все в ней — гармония...
- 16 — он не сумел / Да это он *написал!* Но — *сделать, выжать из себя* ответный свет «обращения» (манер «быгья»), на этот «свет» ожидания... о, да ведь 40 лет ему, и он [говорит в глаза, в упор] бормочет почти как муж «Наташи», испытывавшей приключение с Нулиным: — «Да черта ли в стихах!.. А вот — что ты не брюхата — радуюсь. Впрочем, за этим дело у нас не станет. На днях возвращаюсь домой!». [Позвольте. Позвольте, господа,] *Перед выгерком поставлен знак сноски и она приведена в конце листа*:
- ¹⁾ «Мир искусства», № 1, стр. 20. Цитата из письма Пушкина — в статье г. Рцы.
- 17–18 — В письме к жене ~ Пушкин заговорил несколько как мастеровой. Пусть читатель перечтет письмо, справится. / Позвольте. От всего этого она не отрешится. «Дантес» ли, «Лидин» ли, пусть если бы они имели успех, имели бы его *на основе готовности* Натальи Павловны или Натальи Николаевны пережить то, о чем пишет Пушкин; но ни Дантес, ни Лидин — *так об этом* не сказали бы; и ничего не сказали бы. Безмолвие. Тайна. Оно же — и *целомудрие*. Все совершается, *то же и так же*, но не с этим же окружением:

В *алых тугках* — пурпур розы
 И — заря! заря!

Пушкин заговорил в письме к «своей Наташе» несколько, как мастеровой в [пись<ме>] «писульке»... даже [никак нельзя сказать] не к жене [а к «куфа-

- рочке» Матрене.] (читывал очень нежные и деликатные письма), а к случайной девице Матрене. Что делать, не могу, *не смею* не сказать правды.
- 19 — «Наташа» получила письмо. / «Наташа» получила писульку, — понюхала, не пахнет ли от нее свечным салом «овощной лавочки».
- 24 — Дайте договорить мысли! / в ЧА *вписано*.
- 24–25 — только фактически стала супругой и матерью, / только анатомически и акушерски стала супругой и матерью,
- 25–26 — *умерла* девушкой. / *умерла* «девушкой Наташей», «рабочу Божией отроковицею Натальею».
- 26–29 — если есть поэзия и религия ~ то должна была настать ~ святость материнства: / если есть поэзия и религия ...святыня красоты в девстве и *девственнице*, как записал зрительное свое впечатление Пушкин, то есть и для Гончаровой, то должно было настать — святость супружества и святая супруга, святость материнства и святая мать:
- 32–33 — «Я не знаю, я не понимаю ~ перефразируя стихи поэта, / Нет, этим «дитя родное» я не была «брюхата», и вот «ты приехал, мы — сошлись», и «вышло — дитя родное». Так — щенки устраиваются. Я не знаю. Я не понимаю. Я не опытна и, может быть, дурочка, но я тоже:
- 35 — Украсить я хотела бы обитель / Украсить я [всегда] хотела бы обитель

Стр. 676.

- 11 — не тот возраст и не то «прошлое, прошлое!» / ^a не те годы и не то «проклятое море житейское»! ^b *как в тексте*
- 15–16 — дальше все «зрел и «перегорал». / он все «зрел», никогда не уставал «зреть» и в 41 год, даже в 36 — только-то и в силах был написать: «Ты не брюхата — слава Богу; но я еду — будешь брюхата!» Слишком коротко. О, старый козел — как от тебя дурно пахнет. Ты был когда-то хорошеньким «козленочком» сказки, который звал: Аленушка! Сестричка! Но годы прошли. Сказочка кончилась. Нет миленького беленького рогатого животного, а какое-то бородатое, рогатое... «— Ну, Саша! О Дантесе — завтра. Теперь дай уснуть...». *Далее выггеркнуто*: [«— Ну, я верна тебе, я предана тебе. Теперь я никого не люблю». Но и не распинайте же святой и невинной, то, чего нет и никогда не может быть и никогда не будет. «Я не виновна; но *больше* этого ничего не могу дать».]
- 17 — «Конечно, она не виновна. ~ Геккерен, / «Конечно, [— она невинна!] «не виновна» и даже — невинна! Но виноват ... [Дантес, Геккерен,] мир, Бог, все, эта собака Дантес, этот Геккерен, [я.]
- 18 — мне дурно»... Она обо мне / мне дурно», ибо когда она ◇
- 20 — фазис деятельности / фазис твор<чества> ◇
- 20–22 — та же мысль. ~ куда-то внутрь». / ибо *idée-fixe*, *Natalie-idée* сожрала, пожрала меня. [Обернулся] «Образ» повернулся ко мне спиной. Молюсь — и не вижу. Но он — и не повернулся, просто поблек, *умер* в линиях, ушел куда-то внутрь, провалился, чтобы *проявиться* [...не для меня, а *может быть*, и, даже наверное, для «Лидина», Дантеса, Ланского». Но — не повторится!]
- 23 — Г. Рцы ~ пишет: / Г. Рцы, приведя письмо о «брюхатости», пишет:
- 28–29 — *оставайся* ~ в Москве (последний курсив мой)... и т. д. / ^a *оставайся только несчастный поэт в Москве* (мой курсив)... ^b *оставайся только несчастный поэт в Москве* (последний курсив мой)... И т. д.
- 30–31 — рассчитывая ~ по пальцам, / ^a *нагато*: по пальцам ^b *как в тексте*
- 31 — пальцам, Пушкин / *Далее*: И я так думаю. Приблизительно тот же тон у меня в письмах. Мне 46; г. Рцы может быть столько же; Пушкину было приблизи-

тельно столько же. Три старые тела — мы приблизительно одинаково думаем и пишем. Но, черт возьми: ведь нам было 22 года, [а вот] как теперь Natalie 17, и вот тогда, когда

Любви роскошная звезда
Нам восходила...

[если бы какая-нибудь] если бы, говорю я, в те годы какая-нибудь 33-летняя дева, даже, пожалуй, не без блесков литературных талантов, не без имени, не без славы общественного положения, [небрежно бро<сила>] в сладострастном [ожидании бросила мне] [волнении написала] волнении и ожидании прислала цидулю: [«— Мой херувим. Еду».] «— Мой херувим. Еду. Приготовь постель. Natalie». — То мы, *тогда студенты*, не швырнули ли бы записку под стол, не схватились ли бы за волосы, и, раз уж положен венец на голову (мало ли бывает иллюзий!), и нам эти «цидули», только изустно, предстоят эту неделю, следующую неделю, после-следующую неделю, следующий год, после-следующий год, еще опять год. О! Охо-хо! Охо-хо-хо-хо!

«— Natalie, поедem в гости...

«— Natalie, ты ляг — а я почитаю книгу в кабинете.

«— Natalie, Наташечка: у меня служба, я пойду, что́ делать...»

И — *мертвый* взгляд. — «Наташа, ласки завтра, а [я] теперь — я еду»; «Наташа, я верен, успокойся, но — я усну». Чистосердечно возложив руку на сердце, не скажет ли г. Рцы, что в 22 года «связался судьбою» с 33-летнею... ну, даже литературного дела личностью, и не без *пригин знаменитостью* — мы повторили бы собою в точности Наташу Гончарову «за Пушкиным». Да так-вы и были судьбы некоторых знаменитых писательниц, не в первом девстве вышедших замуж за совершенно юных Иосифов. Судьба жены египетского Пентефрия повторима в мужской и женской своей части.

³² — тон письма Пушкина, / тон письма Пушкина (о «брюхатости»),

³³ — *универсально ~ узкой полосы* / универсально, но только резко определенной, узкой полосы

³⁴⁻³⁵ — и для Гончаровой должен был ~ и она ему была / и для Natalie Гончаровой настанет, по-видимому — настал с Ланским, но ему она была

³⁶⁻³⁷ — Она имела ~ не умел ударить... поэт. / и она имела *свой* тон, свои струны «ромеовского» счастья, по которым не мог и не умел ударить... старый козел. Собственно говоря, Наташу Пушкину мы признали, напр., г. Рцы и я, пойдем не в 41—46 лет, а в 59—61 год, когда наши дочери, теперь 5—11 лет, распустятся в розы, заблагоухают, оборотят таинственные личики к солнцу, и, словом:

Куда бы ты ни поспешал,
Хоть на любовное свиданье,
Какое б в сердце ни питал
Ты сокровенное мечтанье:
Но, встретясь с ней — смущенный, ты
Вдруг остановишься невольно,
Благоговевя богомольно
Перед святейшей красотой.

И вдруг, когда мы *отцовским* взглядом смотрим, и дрожим, и радуемся за самую любовницу, в которую [созрела девочка, с которой 15 лет назад мы певали] созрел ребенок, не только рожденный нами, но и вынянченный.

Спи, *дитя мое родное*
Баюшки-баю...

в этот единственный, таинственный, мистический миг ее бытия, *который никогда не повторится* (колорит, тон), вдруг наша Наташурочка, Софочка, Верочка вбегает к нам:

— Папочка! Папочка! Я — не могу!

И бросает записку. Мы подхватываем, читаем:

«— Черт ли в стихах, и свои надоели. А вот, что ты еще не брюхата — ладно; но я еду — и это [дело поправлю: забрюхатеешь] [мы поправим. Готовься.»] мы поправим. *Alexandre*».

Бедное дитя! Разве мы для этого (такой судьбы, такого тона) ее родили? Болван, какой ужасный болван ее муж. Нет, этот болван ничего не понимает, и просто — телесно не понимает, оттого, что он — козел, а она еще — козочка, белая, кудрявая, с нежным мясом и молочною кровью. И скажем ли, скажем ли мы тогда *нашей догери*:

«— Что делать, матушка. [Приняла закон.] Закон. Ступай — ложись!»

Клянусь, мы этого *не* скажем! И — никакой *отец догери*, выпёхивая ее за дверь к ночи, не скажет:

«— Смеркается, тебя муж ждет. [Иди. Ступай.] *Иди*».

³⁸⁻⁴² — Тут только и можно разобраться ~ верна тебе, — ну что же еще». / И опять тут все только и можно решить, «вознеся руку на сердце», ибо [формально и] «законно» и внешне, как равно критически и литературно, мы все, конечно, решим «по Пушкину» и «для Пушкина». Но ведь что в *нашем-то*, этаким решении. Ведь [вещий его голос знал] он, участник драмы, жалкое ее лицо — вешун, он — вешун. «— Ну, я легла; ну, и оставь. Пользуйся».

⁴³ — И она заплакала. / И заплакала.

⁴⁶ — этим слезам. / ^a этим слезам. ^b на эти слезы. ◇

Стр. 677.

³ — Конечно, это легчайшее. / *Вероятно, к завершению первого раздела относилось примечание в конце л. 7 ЧА; оно нагиается со знака сноски, место которой не обозначено:*

¹⁾ Я знал одного глубокого, повелительной строгости, священника (сельского) [у]. Две дочери — красавицы (и два сына, еще холостые, семинаристы и академики). Обе дочери, выйдя за священников, [в] и молодых, как следует, бросили в первый же год мужей (дочери — без «шалостей», как следует). Одна и до сих пор, уже лет пять, живет при отце, но «когда отец поехал за другую (т. е. *внял* ее жалобам), то муж так на него прикрикнул, что он не знал, как дверь найти» (рассказ мне). *Отцовское* сердце пожалело и перерешило очень строгий в духовенстве закон. Священник ушел, старый, дивный проповедник, постник и аскет, между прочим, почти добился [земской] закрытия земской, действительно, полунигилистической, школы в своем селе, и вообще «все, как следует».

⁶ — *заклевал голубку* / «заклевал голубку»

⁷ — в каком смысле *заклевал*? / в каком смысле «заклевал»?

⁹ — для действительного статского советника) / для действительного статского советника!)

¹¹⁻¹² — как груша хороших поздних сортов, / как хорошая груша, ◇

¹³ — Пушкин, нестати подвернулся / *далее*: и совершил над нею своего рода умыканье... *Послушайте!* — да ведь это ужасная теория. Просто, как муж, считаю долгом протестовать: этак наши жены». И т. д. (стр. 20).

Эй, *отец*, рано заговорил! *Жестоко* заговорил! Не дельно; *легкомысленно* заговорил:

Что «наши жены»?
 Стареются, как мы стареем — и
 Чем старее — тем слаще.

На полях ЧА, против абзаца со слов «Эй, отец, рано заговорил!» — неавторская запись: «Балласт».

- 16 — Не дождалась». / *далее*: решаясь — чтобы в девках чего доброго не засидеться — идти за такое ничтожество, как вы, как я, как... Александр Сергеевич Пушкин! Это [он был плох] Он (курс. и прописная буква автора) был плох для Наташи Гончаровой...» (стр. 20).
- 17 — пусть жена / *далее*: положим, г. Рцы,
- 17–18 — «начала вздыхать» ~ эти вздохи? / «налилась», *fait accompli**... Что он ей наколо, нарезы на коже сделает, чтоб как-нибудь *подвялить, поубавить* ее? Тогда — *негего* делать, *никто не изобрел*, что делать. В самом деле, она «начала вздыхать»; ведь г. Рцы не говорит, что она — не верна, не тверда, он говорит только и именно о вздохе: как же он *прервет* его.
- 20 — как я, как, может быть, он, как Лютер в 22 года, / в ЧА нет.
- 22 — он этого не сделает. / *клянусь* за оппонента — он этого не сделает.
- 23–24 — в религии, в догматике, / в религии,
- 24–25 — Да просто ~ сил)! / в ЧА нет.
- 26 — Какой-то *всеобщий* страх ~ неоснователен. / У г. Рцы заговорил 41 год; но я говорю: Чем старее — тем слаще. [И напротив, с тончайшим ее рядком зубов во рту,] И его какой-то *всеобщий, вообще* страх — суетен, [пуст] неоснователен.
- 29–30 — их стоптанных башмаков / ее стоптанных башмаков
- 38 — формально ее сватать: / *далее*: а Пушкин, в 16 лет почуявший Леду, почуял и «ветхие деньми», что-то огромно-дикое, истинно озирианское, в тайных нитях связуемости и несвязуемости полов:

Стр. 678.

- 10–11 — так Бог благословил. / *далее*: «того ради оставить отца и мать».
- 11 — если Мазепа, то *все-таки* не Пушкин? / когда Мазепа, то *все-таки* не Пушкин? Мазепа?
- 17 — в стихах Лермонтова / в ЧА нет.
- 18 — у него же, и в той же дивно краткой поэме, / в ЧА нет.
- 19 — и эпизод с Марией Кочубей, / и эпизод с Матрешей Кочубей**,
- 35 — (совершенное отрочество) / в ЧА нет.

Стр. 679.

- 2 — Да он и был для 16-летней Наташи Гончаровой / Да он, т. е. для жены, в спальне, в сорочке и невыразимых, и был для 16-летней Наташи Гончаровой
- 4 — к которому ее приревновал / к которому бедную девушку клеветнически приревновал
- 8 — он только заметил ее, / сколько он только заметил ее,
- 11–12 — И — седина, седина; / И — седина, от дела; старое, старое;
- 12 — закружилась бы голова... / и закружилась бы голова
- 13 — художник, Мазепа / *далее*: решительно не думал о Леде
- 18–19 — с положением и связями, восходящими до Бенкендорфа / в ЧА нет.
- 20 — счастливые адъютанты, / более их счастливые адъютанты,

* свершившийся факт (фр.).

** В тексте ЧА на листах 8–9 «Мария Кочубей» именуется «Матрешей Кочубей».

- 22 — «помещика 23-лет Лидина», / «коллежского секретаря», [— словом, Феба — Дантеса] «помещика 23-лет Лидина»
- 24 — горестный (до слез) роман. / горестный роман.
- 25 — она увидела / она видит
- 26–27 — он был *безлиген*. / он был глуп и *безлиген*. Совершенный Дантес, — тоже убил Эмеральду — Пушкина, т. е. женское обаяние, красотой равной пушкинской красоте.
- 33–34 — ни обойти, ни объехать. / ^a ни обойдешь, ни объедешь. ^b как в тексте
- 35 — Но, с другой стороны — / Или еще
- 36–37 — И, вообще, / *далее*: [думал ли он когда-нибудь, что характерные и чудесные черты не явно полового теизма есть «кровавые жертвоприношения»]
- 37 — то там, то здесь, / там, здесь,
- 38 — *полугает* себе дымящуюся человеческую кровь. / ^a *полугает* кровавые жертвоприношения? ^b как в тексте
- 38 — Ужасно, но факт. / *далее*: «Возьми сына своего, единокровного, [возлюбленного] *которого ты любишь*, и взойди на гору... Там я укажу тебе, что делать».
«Вот — ты не пожалел для меня... и умножу *семя* твое, и потомство твое — как *звезды*» (*Бытие*).
- Поразительно, что половой теизм *всемирно* не отделим от кровавых, животных «закланий» собственно *в обмен, в замен, в подлог* наших кровей. Нам страшно умереть: Господи, прими ягненка!
- «И пусть священник возьмет в руки крови (закланной жертвы) и, войдя в Святое Святое — с *концов пальцев* *покаплет на крышку Завета*» (*Исход, Второзаконие*).
- 39 — Ужасно, непостижимо. / *далее*: Но... легче, облегченнее, чем все-таки умереть Отелло, Пушкину.
- 40 — мечтает г. Рцы, что человечество / хотел бы г. Рцы, чтобы человечество
- 40–42 — можно было бы ~ и что не было бы ни страданий, ни расхождений, ни приключений. / можно, поломав как лучинку, положить, разместить парно, и что бы — ни страдания, ни расхождения, ни приключений.
- 44 — перестанет рождать. / *далее*: хоть лучинки будут летать, даже парно и не делясь в полете, но — непременно *без детей*.
- 45 — требует «жертвы», без нее не будет беременности / — несколько «кровоаво», есть «кровавая вещь», несколько... «дымится»... И в ту секунду, как Бог перестанет «обонять кровь» (*Исход*) — человек превратится в резину, в «лучинки», и не станет более зачинать. Прямо не будет беременности

Стр. 680.

- 5 — *оно было бы водой*, без игры, пены и ран... / *оно было бы квасом*; нашим русским квасом, без игры, пены, ран и... детей. Вообще романы Эмеральды и Феба, Пушкина и Натальи Гончаровой, возможный (печальный) мой роман, возможный роман г. Рцы есть условие и следствие того, что в наш дом внесено Божие ли (верю!), природное ли, но — Шампанское, как условие, и богоданное (думаю!) *света* нашего дома, *святости* нашего дома. Дом «с квасом» был бы лачуга.
- 6 — жажда смирить женщину и... / жажда смирить женщину до «кваса»; и...
- 6–7 — *потеряет силу*, / *нет* в Ча.
- 22 — А *дети?*! / Фу, черт... А *дети?*?!
- 25–26 — в знаменитом анализе «пушкинского и русского идеала женщины»? / ^a в знаменитом месте знаменитой «Пушкинской речи» ^b как в тексте

- 36–37 — завтра усталый, следующий год усталый. / завтра усталый, послезавтра усталый, еще через день усталый, этот год усталый, следующий год усталый.
- 37 — Ох, «устала»; / Ох, устал;
- 38 — устал от Бенкендорфа, / *далее*: вот пустяки — ведь не спит же с ним Бенкендорф, только изредка видятся. Но Пушкин говорит: «Уф, устал!»
- 39 — от бедности и либералов. / *далее*: куда ни пойдет — всё либералы; «вы, Федор Михайлыч, цепями бряцали». Достоевский приходит домой: «О, жена, как я устал в обществе!» — «Но, дорогой, я с тобой».
- 40 — поклонялись на рауте. / *далее*: Она садится за ужин: с ней «либерал»; она ложится в постель: «либерал» — к ней. «Либерал» похож на [Чичикова, одного из вековечных «Мертвых душ», героев Гоголя] Собакевича, т. е. чем в отношении к Достоевскому был бы лезущий на одну с ним постель «либерал», тем в отношении к женщине — Татьяне является укладывающийся с нею в одну постель Собакевич:
«— Я, душенька, сегодня на рауте встретил Павла Ивановича Чичикова. Преприятный человек. И толкнул Татьяну ногой.
[Устала я,]
- 41–42 — почему же только *жена* не может устать? / И почему же только *жена* не может устать, когда «либерал» с нею моется в бане, ищется у нее в голове, щекочет ее под мышками и т. д., и т. д. Попробуйте, г. Рцы, *недельку* на одной квартире... ну хоть с библиографом из «Русской мысли»? Федор Михайлович, что вам не пустить к себе *на квартиру, в нахлебники в семью*, первое перо по «внутреннему обозрению» в «Вестнике Европы»;

Стр. 681.

- 1 — Поэт, усмири волны свои / и ты, [Пушкин] поэт — усмири волны свои
- 3–4 — как на вас Бенкендорф?.. / *далее*: Ведь Бенкендорф ее щекочет и ей нужно сделать ему «глаза с поволокой».
- 4 — заскрежетали зубами, / заскрежетали бы зубами,
- 5 — средненькие, Рцы, я, / средненькие, Рцы, я («либерал на квартире»),
- 5 — только для «бедной Тани» под силу? / *далее*: Фу, пропасть, пишу критику и прослезился.
- 11–12 — как Давид в могуществе своем отнял у соседа Урии его «последнюю овечку», / ^а как Давид в могуществе у Урии, [вы], по слову пророка, вы отнимаете «последнюю овечку ее»? ^б как Давид в могуществе у соседа Урии отнял «последнюю овечку»,
- 12 — вы отнимаете «единую славу» у нее: / вы отнимаете семью ?
- 14 — слава, арфа и псалмы. / *далее*: [все это — у нас, победы, книги.]
- 15 — но уж любимого человека, / *далее*: и от любимого человека зачать пучеглазого Сережу
- 15 — тут явился воин, / но явился воин,
- 18 — теперь тебе есть муж». / теперь тебе есть от кого забеременеть».
- 19–20 — Татьяна уступила. ~ оставим. / Урия уступил. Татьяна уступила. Наташа уступила. — «Да, мне все равно, от кого забеременеть». И усмехнулась. «Я ноша, и несу то, что в меня положат». Бандероль акцизная: «Под сей бандеролью табак крепкий, 1/4 фунта 60 коп.». И это — концепция *жены* у Рцы, Достоевского, Пушкина. Но, клянусь, тогда она *не престанут* рождать, и скоро вообще престанет рождать женщина; как и «бандероль» не «растит табака». Но ведь «она — обещалась». Разве же она *спорит*, да и я разве *спору*?! Мы — плачем, и уж вы слезки эти соберите и, хоть когда пойдете к Богу, скажите: «А вот сле-

зы жены моей возлюбленной, которая пребыла мне верна, и я был удовлетворен, как по этой части, так и во всех остальных». Но перервем, но оставим.

- ²³ — не есть «дом» в лучах религии и поэзии. / не есть «дом».
- ^{23–24} — «Святой дом» — вот ~ не выходило у них. / «Святой дом» — вот чего не выходило у них. <далее в ЧА следует большой отрывок выгертнутого текста:> [; «крепкий дом» — да, так [, по крайней мере, пока крепкий.]. [Но крепок] Но крепкий дом называют «крепостным домом», и иногда еще называют [«острогом»] «крепостью», «острогом». Совсем не то, совсем другая, *противоположная* концепция; и чего может не почувствовать [за] юрист, почувствует поэт, почувствовал. Резюмирую. Он был велик; но сам, *зигдитель дома*, он был пуст [(соломка без зерна)]; без зерен, и не мог *выжать из себя* бытийственного содержания, атмосферы, которая *в один узел* связалась бы с текущею из нее бытийственной атмосферой.

Ратмир и Наина, — Любви роскошная звезда, «добрая старушка Наина», Ты — закатилась, звезда, — по качествам определяемых...каких-то мистических, восточных запахов. В самом деле, тут удивительную иррациональность любви нельзя передать лучше, как сравнив, уподобить ее и приравнять к самому иррациональному в человеке ощущению обоняния, в котором понять, пережить ничего нельзя: любви к ароматам. Нельзя не обратить внимания, что есть грани любви, т. е. моменты в текущей жизни человека, когда вспыхивает любовь — и каждый раз существенно нового... запаха. Напр., не наблюдал ли кто-нибудь, что в 26 лет для девушки никогда не наступает любовь: годы 22–31 застрахованы от любви. До этого — были уже две грани: 17–21, обыкновенная пора их замужества, и 12–14 лет, «первая любовь», первый угар, у нас всегда обрываемый. Около 31 года девушка (или женщина) опять может полюбить, как равно около 42, около 54 (Агриппина Младшая). В среднем, если наблюдать внимательно, эти темпы наступают через 12 лет, приблизительно, от рождения до первой любви. Теперь, каждая из этих полос любви направляется к соответственному ей возрасту, и возраст Пушкина был тем роковым, которым отличается человек из <1 нрзб> по «запахам». 17-летн<ий> влечет к себе 17-летнюю по возрасту. Скорее гораздо, и даже вполне возможно, что и к пушкинскому возрасту влюбляется 12–13–14-летняя (Татьяна и Онегин; Кочубей и Мазепа); в 31 год больше чем естественно девушке привязаться, болезненно иногда, идеально, совершенно чистою любовью, к 16-летнему (случай Иосифа и жены Пентефрия); но *промежуточный* 17-летний возраст совершенно не гармонирует иначе, как с 24–26-летним мужчиной, *нигего* не чувствуя к 16-летнему и чувствуя «сальность», «гадливость» («старый козел») к возрасту 39–42. Таким образом, тут люди расходятся «по запахам». Случай, который никак нельзя победить стихами, ничем. Можно убить, или убится, Пушкин в сущности убился, хотя хотел убить; и кто знает, не настало ли бы еще чего-нибудь рокового, более кровавого и страшного, если бы не этот конец; и не менее позорного для Пушкина. Только совершенно пусто думать, что «не Дантес бы», так и никто; «был дурен», «Богу не верен»; «лишь так дуриком... кому-то лучше умереть». «И никакой капли, ни правила, ни завета».

- ²⁸ — образовать на почве искусственного ~ на «общение в этой функции». / образовать на почве [и фундаменте] согласия, соглашения, «общения в этой функции».
- ³⁹ — со всяким читать и Рцы. / со всяким читать Рцы.
- ³⁹ — не «чтение» с засосом, / не «чтение», с засосом, с одурением,

- ⁴⁰⁻⁴¹ — кроме Петрушки, на этот раз слушают Стасюлевич и Достоевский. / сверх Петрушки, слушают Стасюлевич и Достоевский.

Стр. 681–682.

- ⁴¹⁻² — Но почему мы *говорим* с 1 200 000 ~ *интимнее и интимнее.* / в ЧА нет.

Стр. 682.

- ²⁻⁴ — Но общение в предполагаемой функции супружества ~ еды, но и чтения?! / Но общение в предполагаемой функции — насколько же оно интимнее, таинственнее, сокровеннее чтения?!
⁹⁻¹⁰ — Правда, «братья Гонкуры» / братья Гонкуры
¹⁰⁻¹¹ — но эти романы были плохи ~ или «Карениной». / но они были плохи, или они не были «Войной и миром», «Карениной».
¹⁴ — «Войны и мира», / «Войны и мира»,
¹⁷⁻¹⁸ — положим, не в нашей улице, / не в нашей улице,
¹⁹ — отсюда вытекают, / и объясняется,
²³⁻²⁴ — «Гончарова» и «Пушкин». / *далее:* [кажется, это даже]
²⁶ — и *одно?! / и одно?!* [Конечно, мой вопрос — сильнее ответа Рцы.]
²⁶⁻²⁷ — что это «Бог и *одно*» у них не существовало / что это «Бог и *одно*» у них не было, [и что коллизия совершилась на этой почве, ибо «Бог и *одно*» не победы, не разрушимы, не разрываемы.]
³² — и он один и потерпел. / и он [и был] один и потерпел.

НА ГРАНИЦАХ ПОЭЗИИ И ФИЛОСОФИИ. СТИХОТВОРЕНИЯ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЁВА

Варианты гранок НВ

Стр. 710.

- ²⁰ — не одно настроение. / *далее:* Только в мучительно-противоречивом творчестве Гоголя, метавшемся между «слезами» и «смехом», между карикатурами вроде «Носа» и «Объяснениями на литургию», мы находим что-то аналогичное на бурливом роднике творчества.

Стр. 711.

- ¹¹⁻¹² — Никого ~ не хотело непременно любить. / *далее:* Мы говорим не по догадкам, мы судим по рассказам, по воспоминаниям о нём, какие нам приходилось выслушивать от людей, частью живых ещё, частью умерших.
²⁸ — мнений, отзывов. / *далее:* Так несется в атмосфере, так оно есть.
³³ — вероятно, многие согласятся / вероятно бездна людей согласится к Баратынскому, «поэту-философу»; / *далее:* как все восхищаются личностью и вовсе не роскошными способностями гр. Ал. Толстого;

НОВАЯ РАБОТА О ТОЛСТОМ И ДОСТОЕВСКОМ

Варианты гранок

Стр. 725.

- ³⁶ — Новая работа / Новые работы
³⁹ — беспримесная / нет

Стр. 726.

- 1 — Островский / *далее*: Некрасов
- 1 — Три / четыре
- 4–5 — ни в особенности какого-либо прибавления / *нет*
- 9 — трех / четырех
- 21 — на нем / *нет*
- 28–30 — любви и интереса ~ около них / ...водевиль есть вещь явно не растет после них и около них
- 30–31 — А они сами ~ около них, / А они два и около них все
- 36–38 — неужели мы ~ художества / и вообще... водевиль есть, а прочее все гниль
- 38–41 — все это отошло ~ никакого места? / «водевиля» почти не осталось, а «все прочее», не литературное, не словесное, не похожее на «Асю» и «Дворянское гнездо», разрослось чрезвычайно, многозначительно, благоуханно

Стр. 727.

- 5 — и труднее / *нет*
- 11 — юный / голый
- 13 — идут / бегут
- 40–41 — и очень поздняя, исполненная преднамеренного непонимания статья / *нет*
- 46 — Г. Мережковского / *нет*

Стр. 729.

- 2–3 — вырвав плотские ~ сцепления / с плотью и кровью; и понял ли на этой связи основанное
- 4 — г. Мережковский / *нет*
- 10 — к этому идеалу / к нему
- 12 — крови / кровей
- 34 — беспощадной / бесполезной
- 45 — природными задатками / натурально

Стр. 730.

- 5 — их / *нет*
- 15 — мог / мог бы
- 19 — до мозга костей»... / *далее*: как и многие другие
- 20 — этот / *нет*
- 27 — Толстой / он
- 32 — совершенно / вовсе
- 47 — на то / *нет*

Часть гранок, начиная со слова «известное» (стр. 731.10) и до слов «как сложно внутри. Кажется» (стр. 731.22), не сохранилась

Стр. 731.

- 31 — презрительное / *далее*: почти
- 33 — объяснить / *нет*
- 34 — «да» или «нет»? / *нет*
- 43 — в личной биографии / *нет*

Стр. 732.

- 5 — натруживание / нагруживание
- 18 — грядущее... И тем / грядущее — тем

СПОР НЕ БЕЗ ИДЕИ

Варианты гранок

Стр. 762.

¹⁵ — Передам ее, как умею / Передаем ее, как умею.

²⁶ — Но где же здесь неуважение? / «Неуважение, вы говорите? Но где же здесь неуваженное?»

В конце этого абзаца вместо вопросительного знака и многоточия в гранках поставлено многоточие.

³⁶ — в вашем осуждении? / в ваших речах?

Стр. 763.

⁵ — но другая часть литературы / но часть литературы

^{11–12} — — Это новый поворот мысли. ~ до известной части история / Это новый поворот мысли. Литература есть частью история

^{26–27} — а наш добрый друг, ~ руководимый / а этот господин, пусть нелепо и бестактно, однако руководимый

^{42–45} — семья, и из всего этого ~ две Каренины; / семья, из которого ничего будничного и житейского не доносится до литературы. Мы все носимся с „Анной Карениной“: между тем в этой Елизавете Семеновне скрыты две Каренины;

Стр. 765.

⁴³ — гостей / постель

⁴³ — кипящий самовар / шипящий

Стр. 766.

¹ — Мы умолкли, а он говорил. / *В гранках без абзаца*

^{4–6} — Однако всмотримся в литературу ~ вынес что-нибудь. / А разве нам, писателям, не больно?

^{16–17} — ибо какая же есть щедрость и большая расточительность / ибо какое же есть богатство и большая расточительность

^{18–19} — думал много; думал о том, что они такое / думал много: т. е. что они такое

²⁴ — и это было впечатление толпы / и это впечатление толпы

^{35–36} — дорого, и, может быть, дорого было бы схоронить это в себе! / дорого, что он хотел бы тоже скрыть!

Стр. 767.

^{3–4} — К таким я всегда, бывало, ввяжусь в дружбу / *Нет в гранках*

^{6–9} — И предметом моего любования ~ моя любовь к человеку. / Посмотрев, как я буйствую пером в литературе, можно подумать, что мне чего-то лично хочется, тогда как лично мне никогда и ничего не хотелось, кроме как созерцать, уставиться взглядом — и смотреть. Должно быть, художник что ли во мне. Не знаю. Но я никогда не любил особенного чтения книг, а что касается до общества, то всегда имел предрассудок против литературного в обществе. То, что я более всего люблю, — это безмолвие, т. е. и в самой жизни я люблю ее безмолвные уголки. Тихий пруд, маленькая тина, а сам я — карась, лежащий на дне и наблюдающий все, что над ним движется. Вот — водоросль, вот золотой паучок; вот быстрая рыбка, и все в общем — хорошо. Я сказал, что мало люблю читать.

¹⁰ — Во мне сменились / Между тем, во мне сменились

- ¹²⁻¹³ — впечатления частного любителя частной жизни. / впечатления лежащего в тине карася.

Вставлено предложение:

Я влюблен в жизнь, влюблен в людей, не в Сидора и не в Анну, а во всех Сидоров и Анн.

Далее без изменений до предложения:

- ²⁰ — Я же говорю только: «Так меня сотворил Бог» / Я не говорю только: «Так меня создал Бог».
- ³⁵⁻³⁶ — напротив, они откроют / напротив, открывают
- ³⁹ — они смотрят друг на друга с несколько плохой стороны / они смотрят друг на друга с плохой стороны
- ⁴¹⁻⁴² — возникает к конкретному. / возникает в конкретного. / нет.

Стр. 767–768.

- ⁴⁵⁻¹ — Бросим это и потянемся ~ иногда становятся трогательны. / Бросим это и потянемся поцеловать устами уста, без подчинения, без авторитета, без исторического величия: и эта сторона в каждом есть, но по недостатку эпохи и по всеобщему предрассудку она всеми хоронится.

Стр. 768.

- ²⁻³ — Мы хороним это ~ покрывало на лицо. / Это как восточные женщины — мы ходим с опущенным на лицо покрывалом.
- ¹³ — нужно этот футляр снять / нужно его снять —
- ²⁵⁻²⁶ — педагогу, газете, и нужно / педагогу и нужно
- ³⁰⁻³¹ — Получается впечатление, догадка, возможность догадки, что все открытое / Получается ряд впечатлений, *ubi non est instantia contradictoria* *, говоря Бэконовским термином — что все открытое
- ³⁷⁻³⁸ — святыня некасаемости ~ безмолвии. / святыня некасаемости в этом безмолвии.
- ⁴² — Но что́ за дело какому-нибудь жителю / Но что́ какому-нибудь жителю

Стр. 769.

- ⁵⁻⁷ — Мне показалась эта ошибка мнений ~ что-нибудь от себя. / Мне же показалось это занимательным и во всяком случае таким, что достойно обсуждения читателя. Не всегда бывают разговоры, но этот быт интересен.

* где нет противоречия (лат.).

КОММЕНТАРИИ

Незадолго до смерти В. В. Розанов составил план Полного собрания своих сочинений из девяти серий в 50 томах (см. Приложение). Настоящее издание начинается с серии «Литература и искусство», состоящей из шести томов. Теме «О писательстве и писателях» в этой серии отведено четыре тома. Перечня работ писатель в своем плане не приводит, указывая лишь «статьи о Достоевском, Лермонтове, Гоголе, Пушкине и проч.». Отдельными книгами выходили лишь «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» (СПб., 1894) и «Литературные очерки» (СПб., 1899).

Настоящий том открывается книгой «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского». Далее хронологически по годам следуют очерки, статьи и рецензии Розанова, дающие представление о широте его интересов в мире русской литературы, критики и философии, а также работы о западноевропейских писателях. Однако подобные же статьи о литературе и философии, включенные Розановым в другие свои книги, здесь не приводятся.

Розанову принадлежат десятки статей о Пушкине, Гоголе, Лермонтове, Достоевском, у него свыше 30 работ, в которых он обращается к творчеству Л. Н. Толстого. Он писал о Ломоносове, Белинском, Некрасове, Гончарове, Тургеневе, Герцене, Чехове, Мережковском, Ап. Григорьеве, Л. Андрееве, А. Блоке, М. Горьком, А. Амфитеатрове и др. Немало работ посвящено русским философам — А. Хомякову, К. Леонтьеву, Н. Страхову, Вл. Соловьёву, Н. Бердяеву, Е. Трубецкому, П. Струве, П. Флоренскому, В. Эрну и др., с кем он был знаком, переписывался, дружил или спорил. Из зарубежных классиков его внимание привлекали Руссо, Гейне, Диккенс, Мопассан, Золя, Метерлинк и др.

В работах Розанова о литературе и философии получила выражение концепция целостного подхода к художественному и эстетическому наследию. Именно этот аспект розановской критики позволяет оценивать роль художника в литературном процессе и его вклад в сокровищницу национальной культуры вне зависимости от идеологической направленности мирозерцания автора.

Исходя из интересов национального развития России, Розанов рассматривал литературу и писателей в их служении отечеству. Литература несет ответственность за судьбу своей страны, считал он.

Работы Розанова о писателях и писательстве в своей целостности дают новый взгляд на историю русской литературы в сопоставлении с литературой всемирной, зримо обозначают своеобразные черты российской словесности.

Розановская концепция истории русской литературы оставалась до недавнего времени вне историко-литературных трудов исследователей, и лишь теперь открывается ее значение, позволяющее по-новому прочитать и осмыслить литературный процесс в России XIX—XX веков.

И, наконец, может быть, самое главное. Не так много нам известно очерков и статей о русских писателях, которые были бы написаны с таким литературным блеском, столь увлекательно, необычно и умно, так захватывали бы и сегодня свежестью мысли, были бы обращены к душе русского человека, как то видим мы у Василия Васильевича Розанова.

В публикуемых текстах сохраняются особенности авторской лексики. Сохраняется старое написание некоторых слов. Розанов, как носитель русского языка XIX века, писал: «сентиментальный», «танцовать», «лодарничать», «проповедывать», «состареться», «шопот», «чорт», «мачиха», «прощальга», «халуй», «цыфра», «номер», «нынче», «мир» и «мір», «всемірний» и проч. (ср.: в гоголевских «Вечерах на хуторе близ Диканьки» сохранено старое написание «пасичник Рудый Панько»). Вместе с тем принятое в то время написание «програма», «комисия», «професор», «коментарии», «идилия» и т. п. даются в современном виде с удвоенными согласными. Напротив, принятое тогда написание «галлерей», «карикатура» и др. приводится к современному, т. е. без удвоенного согласного. С существительными женского рода употреблялось местоимение «оне», «одне». Так, например, Розанов пишет о египтянах и египтянках, что *они* занимались охотой, а *оне* вели домашнее хозяйство. Сохраняются старые написания причастий (значащий), употреблявшиеся в русской литературе XIX века, остаются полногласные окончания творительного падежа (властию, частью).

Старое написание слов, как в произведениях русских писателей XIX века, передает прежнее произношение многих слов. Одна из важнейших задач настоящего Полного собрания сочинений заключается в том, чтобы сохранить строй и звучание языка Розанова, современника Л. Н. Толстого, Н. С. Лескова, в сочинениях которых удерживается ряд русских слов в их тогдашнем написании. Не унифицируется и не приводится в соответствие с ныне принятым написание имен собственных (пояснения вынесены в указатель имен). Цитирование чужих текстов отличается у Розанова неточностями, что обычно отмечается в комментариях.

Розанов в своих книгах использовал правило, которому мы также следуем: если предложение заканчивается кавычками или скобками, перед которыми находится отточие, вопросительный или восклицательный знак, то в конце предложения после кавычек или скобок ставится точка. Только в заглавии статей предложение не заканчивается точкой (во времена Розанова заглавие завершалось точкой).

Названия газет и журналов, в которых печатался Розанов, в комментариях обычно указываются в сокращениях (см. Список сокращений). Помимо подписных статей (В. Розанов), многие тексты Розанова печатались под псевдонимами или без подписи, что непременно отмечается. Обычная подпись В. Розанова при статьях не оговаривается. Авторство Розанова устанавливается по двум основным источникам: 1) Библиография произведений В. В. Розанова, составленная С. А. Цветковым (РГБ. Ф. 249. Оп. 2. Кор. 11–12); 2) Архивы В. В. Розанова (РГАЛИ. Ф. 249; ГЛМ. Ф. 362 и др.).

Нередко Розанов продолжал работу над уже напечатанными статьями — он вносил правку в свои вырезки из газет и журналов, сохранившиеся в архиве. Эти случаи оговорены в комментариях, а изменения внесены в основной текст. В вырезках он обычно для оплаты записывал арифметический подсчет строк, что в комментариях не отмечается.

Подробности об отношениях Розанова с писателями и другими лицами в комментариях иногда не приводятся. Вместо этого делается отсылка к соответствующей статье «Розановской энциклопедии» (М., 2008), которая рассматривается как часть комментариев к Полному собранию сочинений В. В. Розанова. Переводы иностранных выражений в сносках принадлежат редактору.

Комментарии не являются литературоведческим исследованием или толкованием текста. Цель их — краткие разъяснения историко-литературных, культурологических, философских и проч. реалий и аллюзий по тексту.

В архиве Розанова сохранился ранний (составленный в 1912 г.) Список статей Полного собрания сочинений по темам (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 245. Л. 1–1 об.). Прерывистая нумерация отражает существование общего списка статей. Приводим отрывок, относящийся к первым четырем томам настоящего издания:

V. О ПИСАТЕЛЯХ И ПИСАТЕЛЬСТВЕ

1

9. Легенда
10. Гоголь и Пушкин
29. Как произошел тип Акакия Акакиевича
11. Почему отказываемся от наследства
12. В чем недостаточность наследства?
13. Два исхода
14. Европейская культура и наше отношение к ней
17. Может ли быть мозаична культура
21. Еще о мозаичности культуры
20. О трех фазисах русской критики
26. Памяти Каблица
Паскаль
«Фауст»
Христианство и язык
28. Ф. М. Достоевский — из «Нивы»
38. Поздний фазис славянофильства. I. Данилевский. II. Леонтьев
39. Заметка
42. Критическая заметка
44. По поводу тревоги гр. Л. Н. Толстого
45. Где источник борьбы века. Л. Тихомиров
48. Необходимое разъяснение
49. Письмо в редакцию «Рус. Обозр.»
51. Открытое письмо Алексею Веселовскому
53. Памяти дорогого друга
54. Кому «горе от ума» на Руси
56. О символистах
60. Записки из истории ученого монашества
61. Н. В. Стасова и Высшие курсы
62. Кто истинный виновник этого?
63. Две гаммы человеческих чувств
70. Еще о Л. Н. Т. и «непротивлении злу»
76. Нечто о декадентах, лампадном масле и etc.
76. Кто был победителем etc.
77. Заметка о Грингмуте
80. Падающие колосья
81. Inde ira...
82. Из мира идей и фактов
83. Литературные волнения
84. Письмо в «Северн. Вестн.»
89. О Ходынке
- 89¹. Письмо к Н. Я. Гроту
90. Кн. Мещерский.
91. Два вида «правительства». Спасович
92. О постановке памятника Каткову
98. Литерат. эконом. кризис. (марксизм)
99. Ф. Эд. Шперк.
101. Катков как госуд. человек.
106. Памяти Ф. Шперка
111. Круглов — Достоевский для детского возраста

- 115. «Вечно печальная» дуэль (Лермонтов)
- 119. 50 лет влияния Белинского
- 120. Горе от ума в Кисловодском театре
- 121. 70-летие Л. Н. Толстого
- 126. Памяти Полонского

3

- 154. А. С. Пушкин
- 155. Заметка о Пушкине (М. Искусства)
- 161. Данилов. В тихой пристани.
- 171. 35 лет Ап. Григорьева
- 180. Тихонравов. Сочинения
- 181. Шестаков. Стихи
- 187. Памяти Григоровича
- 196. Пассивные идеалы.
- 200. Умственные течения в России за 25 лет
- 202. Еще о смерти Пушкина
- 223. Университет в образовании писателей
- 224. На границах поэзии и философии
- 222. Петерсон и Балабанова. Западный эпос
- 226. Об упадке серьезной критики
- 228. Писатель 70-х годов (Михайловский)
- 232. Мережковский: работа о Толстом и Достоевском
- 233. Судьба журнального консерватизма
- 240. Кое-что новое о Пушкине
- 245. Еще о Влад. Соловьёве
- 250. Памяти Соловьёва
- 270. О Достоевском. Из «Около ц. стен»
- 272. О недостатке у нас научной гордости
- 273. Серия недоразумений
- 277. Фофанов. «Иллюзии»
- 278. Деревня в родной поэзии
- 283. Щеглов. Новое о Пушкине
- 302. М. Ю. Лермонтов.
- 307. На панихиде по Влад. Соловьёве. Из «Ок. ц. стен»
- 308. Почти единственная газета в России

4

- 332. Первые шаги отечествоведения
- 336. Художественное изучение русс. языка
- 337. Философ-Рудин
- 338. Заметка
- 340. Скептический ум. Из «Ок. ц. стен»
- 341. Мнимое заимствование. О Достоевск.
- 357. Национальные таланты
- 358. 100 лет поэзии и прозы
- 359. О множестве самобытных идей
- 363. Интересное чтение
- 369. Библ. Сочинения Влад. С-ва
- 370. Мережковский. Любовь и смерть

- 371. Модестов. Начала Рима
- 373, 374, 376. Кайгородов, Карлзэиль, Выставка Ледновского
- 391. Необходимое самооправдание
- 392. С. А. Рачинский и его Татево
- 398. Полезное издание для народа
- 401. Особая группа писателей
- 413. Н. П. Огарев. Фельетон
- 415. Критика Михайловского
- 416. «Демон» Лермонтова и его древние родичи
- 418. Влад. Соловьёв и Достоевский
- 429. Размолвка между Соловьёвым и Достоевским
- 427. Под знаменем науки
- 428. Юбилей Щеглова
- 433. 25 лет Некрасова
- 436. Гоголь.
- 437. Имянины печати
- 441. О благодушии Некрасова
- 444. 60-ые годы и утилитарная критика
- 457. Еще о 60-х годах
- 461. Простая рыбачка
- 465. О высших интересах etc.
- 467. Серьезный кризис
- 471. О либерализме.
- 478. Годовщина † Золя
- 492. Тургенев. 20-летие кончины
- 496. Среди иноязычных
- 497. С. А. Андриевский
- 516. Московские идеалисты
- 521. Союз двух дворян против России
- 560. Царевич Алексей
- 564. Натурализм и идеализм
- 565. Печатание ситцев

Литература

- 571. Февральские потери (Михайловский, Чичерин)
- 578. Судьба русского ученого
- 581. Что такое правда
- 582. Один из наших наставников (Смайльс)
- 583. Поминки по славянофильству и славянофилам
- 586. Новое из прошлого Л. Толстого
- 590. Чехов и Юшкевич
- 591. Московские идеалисты
- 593. Лемке. История цензуры

5

- 596. Писатель и партия (Чехов)
- 607. Правила добродетели и условия добродетели
- 610. Учитель и ученики, гений и простые смертные
- 612. Русские идеалы. Кусков
- 613. Из прошлого нашей общественной мысли
- 614. Перед рассветом

- 620. Меблированная пыль
- 625. Публицистика на сцене (Косоротов)
- 649. Оконченная Трилогия Мережковского
- 652. Поспешная полемика
- 656. Когда-то знаменитый роман
- 672. Грановский
- 677. Перцов. Венеция
- 680. Письма ко мне Соловьёва
- 682. Горленко. Отблески
- 682¹. Никитенко
- 702. Памяти Стороженко
- 704. Памяти Достоевского
- 706. Экономический и социальный вопрос у Достоевского
- 711. Памяти А—та (Петерсена)
- 712. Два слова в защиту Достоевского как человека
- 713. Кулачество в литературе
- 718. Волжский. В мире литературных исканий
- 748¹. Тяжелые сны Соллогуба
- 753. О Пшибышевском
- 754. О прочитанном
- 760. Наталья Грот
- 761. Толстой и Достоевский об искусстве
- 762. К биографии и посмертной судьбе Достоевского
- 806. К. П. Победоносцев. I, II, III
- 808. Из воспоминаний о Победоносцеве
- 811. Живые штрихи
- 825. Л. Андреев об Иуде Искарите
- 833, 836, 839. 55 лет литературы Толстого. На закате дней
- 841, 845, 848. К. П. Победоносцев и его переписка о духоборах

6

- 851. Вечная тема
- 853, 854¹. Некрасов в годы нашего ученичества
- 854. Вяч. Сил. Россоловский
- 855. О русских «богоискателях»
- 856. Л. Андреев и его «Тьма»
- 857. Автор «Балаганчика» о ранних богоискателях
- 862. Судьба «Черных воронов»
- 858. Россия и освободительное движение
- 873. Красота молчания (Л. Н. Т.)
- 877. Около народной души
- 883, 886, 887, 888, 889, 890, 896, 897. Пестрые темы
- 898, 899. Домик Лермонтова в Пятигорске. Маленький турист
- 900, 903, 907. На книжном и литературном рынке
- 909. Наши публицисты
- 921. Письмо в ред. «Н. Вр.» — 40 р.
- 922. 80-летие рождения Л. Н. Толстого
- 923. Л. Н. Толстой
- 924. Толстой между великими мира
- 925. Непостижимое вмешательство

926. Чего недостает Толстому
927, 928. Грех
929. Представители нового религиозного сознания
934. Книга ввремя
936. 43 года «корректности»
937. Великий мир сердца (Л. Н.Т.)
938. Одно воспоминание о Л. Н. Т.
939. † Х. Х. Гиль
940. Письма Влад. Соловьёва
941, 941¹. Автопортрет Вл. С. Соловьёва
948. О «народобожии» как новой идее М. Горького
955. Потуги на пророчество. Д. С. Мережковский
957. Литературные симулянты
962. Поездка в Ясную Поляну
967. А. П. Философова
968. Попы, жандармы и Блок
969. Трагическое остроумие
974. Загадки Гоголя
976. Гений формы (Гоголь)
977. Гоголь и его значение для театра
981. Чуковский о литературе и жизни
989. Новая книга о Гоголе
990. Мережковский против «Вех»
991. Русь и Гоголь
1007. На чтении о Достоевском (Столпнер)
1016. Певец вечной «весны». Мопассан
1020. Русское и французское мастерство слова
1023. Кусков П. А. Некролог
1028. Критик русского *décadence*'а (Измайлов)
1029. Обидчик и обиженные (Чуковский)
1030. Волинский о Достоевском
1024. Мастерство слова у русских и французов
1034. Плеханов о религии
1035. Под старость лет
1036. Академическое издание Кольцова
1043. Погребатели России
1044, 1045, 1046, 1047. Литературные заметки
1048. Памяти проф. Лесгафта
1049. Красота властительница
1050. Героическая личность
1057. О письмах писателей
1059, 1060. Толстовство и жизнь
1065. О Чехове
1066. Наш «Антоша Чехонте»
1068. Как делали одного ученого
1075. Памяти С. С. Боткина
1078. Исторический «гений» Франции
1080. Дружба народов
1089. О Тарновской
1091. К 5-му изд. «Вех»
1092. Об отроческом чтении

1127. В родном гнезде
1128. Апрельская книжка
1133. Новый Робинзон
1138. Рассказы Щеглова
1142. Амфитеатр
1144. Виардо и Тургенев
1145. Несправедливость
1146. В. А. Рачинская
1150. В литературной прачешной
1151. Друммонд. Идеальная жизнь
1152. Молодые поэты
1153. Бедные провинциалы
1154. Единое стадо и неугомонный волк
1156. Барсуков и Погодин
1172. К. Н. Леонтьев
1180. Против течения
1182. А. С. Хомяков
1192. Искусство испуга и мировой его смысл
1193. Язычество и христианство в Ясной Поляне
1195. Где же «покой» Толстому
1196. Кончина Л. Н. Толстого – передовая
1197. Толстой в литературе
1199. Л. Н. Толстой и Н. Я. Грот
1203. Poleмика со Струве
1209. Толстой и крапивенские аборигены
1210. Забытое возле Толстого
1215. Не верьте бельетристам
1220. Литературные типы
1221. Стасюлевич о средних веках
1223. Киреевский и Герцен
1230. Одна из замечательных идей Достоевского
1231. Новые события в литературе
1232. Домик Пушкина в Москве
1235. Богатый и убогий (Чуковский)
1236. «Цветословы» и риторы
1238. И шумя, и серьезно (Мережковский)
1239. Первый дебют. Любовь Достоевская
1243. Литературный род Соловьёвых
1244. Анна П. Философова
1247. Неизданная пьеса Толстого
1248. Окончание писем Вл. Соловьёва
1249. Малоховец
1251. Памяти Ключевского
1252. Невидимые хранители церкви
1253. Памятка о Ключевском
1255. Белинский
1256. Белинский. Рус. Слово
1258. «Друг великого человека»
1259. Памяти Леонтьева-Щеглова
1262. Непризнанный ум. К. Н. Л-в
1266. С. Шарапов

1267. Мельшин-Якубович
 1268. Вл. Соловьёв. «Эклектизм и синкретизм»
 1269. Герцен
 1272. Обмен духовных ценностей
 О Фофанове
 Тульская история (о Толстом)
 1274. Чем нам дорог Достоевский
 1280. Ильин. Прилежный редактор
 1282. Северин о Л. Н. Толстом
 1283. Магницкие и Философов
 1284. Загадочная любовь Виардо
 1328. О происхождении типов Достоевского
 1300. В безысходной печали
 1301. Ломоносовские издания
 1304. К 20-летию кончины К. Н. Леонтьева
 1307. В. П. Буренин
 1308. Добролюбов
 1309. † Лафаргов
 1314. Фофанов
 1316. Библиография
 1317. Ив. Разумник
 1328. Возврат к Пушкину
 1330. Грибоедов
 1338. Корецкий

ЛЕГЕНДА О ВЕЛИКОМ ИНКВИЗИТОРЕ

Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

(с. 13)

«Легенда о Великом инквизиторе» относится еще к тому периоду творчества В. В. Розанова, когда он книги *писал* (позже, как правило, он лишь составлял их из уже написанного). И хотя «Легенда» много меньше по объему, нежели первая книга Розанова «О понимании», — она столь же основательна, столь же фундаментальна и — для последующего творчества Розанова — столь же «изначальна», как и ранний его, почти не замеченный современниками труд. Судьба «Легенды о Великом инквизиторе» оказалась более счастливой, нежели судьба книги «О понимании». Если последнюю «проштудировали» лишь немногочисленные читатели (хотя и «с карандашом в руках», как это выяснилось впоследствии), то «Легенда о Великом инквизиторе» стала своего рода «визитной карточкой» Розанова.

Конечно, дело здесь было не только в том, что и без того малый тираж раннего труда, изданного за свои деньги, почти не разошелся, тогда как «Легенда» после журнальной публикации издавалась отдельной книгой при жизни автора еще трижды. И не в том только, что язык розановской «Легенды» (в сравнении с языком его первого труда) живее, гибче, свободней (хотя и ему еще далеко до полной раскованности и гениальной «вседозволенности» поздних статей и книг). «О понимании» — это все-таки «отвлеченная» метафизика, которой в русском сознании того времени трудно было стать фактом русской культуры. Читатель привык к метафизике «конкретной» — в форме романа или литературно-критического исследования. Именно написав о Достоевском, точнее, на основе произведения Достоевского «вырастив» свою метафизику, Розанов вошел в русскую культуру как величина уже несомненная.

«Легенда о Великом инквизиторе» Розанова — по самому своему характеру — это синтетическая работа: кроме собственно метафизических вопросов и конкретного анализа двух глав из «Братьев Карамазовых» она затрагивает множество побочных или параллельных тем: Розанов размышляет над творчеством Гоголя (которое — в *изнагальной* своей сущности — кажется ему противоположным всей русской литературе), вычерчивает силуэты Гончарова, Тургенева, Толстого, рисует панораму всего творчества Достоевского... И тут же — называя эти имена — легкими штрихами прочерчивает проблему иного характера, которую условно можно было бы обозначить как «некоторые вопросы психологии творчества великих художников» (понимая слово «художник» в самом широком смысле). Эта тема входит в его сочинение с первой же страницы — с воспоминания о гоголевском «Портрете» (второй его части): художник пишет портрет загадочного ростовщика, и когда изображение на портрете оживает — умирает его прообраз. Гоголевский сюжет переводится Розановым в план метафизический, читается как притча о «тайне художественной души». Стоит только слить художника и модель в одно лицо (ведь не ростовщика — *себя* он пишет), и мы увидим «изображение судьбы и личности всякого творческого дарования»: ту странную особенность всякого великого художника, когда незадолго до смерти — почти непостижимым для простого смертного способом — он успевает сказать главное. У Достоевского это главное слово — последний роман, и особенно те главы, где Иван Карамазов, сидя с братом Алешей в трактире, рассказывает ему свою «поэму».

В наблюдениях Розанова за «тайнами творчества», в его объяснениях писательской «психологии» отразилась и особенность его подхода к произведению Достоевского. Художник Ю. Селиверстов, составивший книгу «О Великом инквизиторе: Достоевский и последующие» (М., 1991), заметил в предисловии, никак не объяснив сам факт ее появления, одну любопытнейшую «несообразность»: в романе Достоевского это «вставное» произведение называется «поэмой» (по образцу «Мертвых душ» Гоголя), слово «легенда» добавлено Розановым. Почему же Розанов прочитал поэму Ивана Карамазова именно как *легенду*?

«Легенда» — это уже «ставшее», с налетом древности, с «печатью вечности». Словом «легенда» Розанов старается «вычлениить» это сочинение из романной ткани, обособить его, сделать самостоятельным произведением. Еще более он усиливает этот «отрыв» несколькими почти вскользь брошенными замечаниями: «Как известно, она составляет только эпизод в последнем произведении его, „Братья Карамазовы“, но связь ее с фабулой этого романа так слаба, что ее можно рассматривать как отдельное произведение». Но в то же время «вместо внешней связи между романом и „Легендою“ есть связь внутренняя: именно „Легенда“ составляет как бы душу всего произведения, которое только группируется около нее как вариации около своей темы...».

Если так смотреть на последнее произведение Достоевского, то роман окажется как бы и не романом, а комментарием к «Легенде». И действительно, чуть далее значение романа как литературной формы еще более затушевывается: «Братья Карамазовы», по Розанову, «есть действительно еще не роман, в нем даже не началось действие: это только пролог к нему, без которого „последующее было бы непонятно“... В предисловии к „Братьям Карамазовым“ Достоевский говорил о двух романах („Хотя жизнеописание... у меня одно, но романов два“), т. е. речь шла все-таки о двух *законченных* произведениях». Розанов же первый — написанный и законченный — роман называет «незаконченной частью» большого романа и даже только лишь «*прологом* к нему».

Этим резким обособлением «Легенды» Розанов, во-первых, дает себе возможность сосредоточить свое внимание на небольшом лишь отрывке большого романа и, во-вторых, обосновывает свое право так поступить. Читателя же он вынуждает признать, что: 1) «Братья Карамазовы» — итог творчества Достоевского (по отношению к нему даже «характеры его предыдущих романов можно рассматривать как предуготовительные»:

Иван Карамазов произошел от Раскольников, Свидригайлова, Николая Ставрогина и др., старик Карамазов — от опять-таки Свидригайлова и князя Волконского из «Униженных и оскорбленных», Алеша — от князя Мышкина и т. д.); 2) «Легенда о Великом инквизиторе» — «душа» этого романа, смысловое его ядро и, кроме того, почти самостоятельное от романа произведение, в котором «сошлись, как в фокусе», все проблемы, когда-либо затронутые Достоевским.

Розанов, впрочем, не останавливается и на этом. «Легенду о Великом инквизиторе» он видит (и читателя заставляет увидеть) не только как главное слово во всем творчестве Достоевского, но и как концентрацию философских усилий всей русской литературы XIX в. Не случайно для него Достоевский противостоит всем остальным писателям-современникам. Все они — Гончаров, Тургенев, Толстой (особенно Толстой) — дают твердые, законченные формы, определившиеся уже характеры, тогда как у Достоевского все нетвердо, неустойчиво. Его взгляд обращен не на «картины», но на «швы, которыми стянуты все эти картины»; сам он как художник и как мыслитель совмещал в себе «обе бездны — бездну вверху и бездну внизу», и потому он смог написать «не смешную пародию, но действительную и серьезную трагедию этой борьбы, которая уже тысячелетия раздрает человеческую душу, — борьбы между отрицанием жизни и ее утверждением, между растлением человеческой совести и ее просветлением», потому он, сам переживший эту борьбу, «мог сказать нам одинаково сильно и „рго“ и „contra“; без лицемерия „рго“ и без суетного тщеславия „contra“...».

Достоевский предстает перед нами как мыслитель, собравший в себе всю проблематику русской литературы, а если вспомнить отдельные замечания Розанова о всемирной литературе (у Достоевского мы «подходим к чему-то особенному, что еще никогда не появлялось в ней»), то в «Легенде» оказывается сжатой до предельной плотности мысль о всей человеческой истории.

Все — в Достоевском, вся мировая философия уместилась в небольшую «Легенду о Великом инквизиторе». Все, что когда-либо сказано было о Боге и человеке, о смысле земного существования, сосредоточено здесь. Розанов нигде не утверждает это напрямую, но из множества разрозненных замечаний, разбросанных им по разным главам книги, можно (если все эти реплики связать единым узлом) сделать именно такой вывод. Но ведь согласно тому, что сам Розанов говорил и в десятой главе «Легенды о Великом инквизиторе», и в первой своей работе «О понимании», и в книге «Природа и история», любая часть органического целого содержит его в себе, как дуга окружности — всю эту окружность, как зерно — все растение. И конечно, если подойти к этому положению отвлеченно, не один лишь Достоевский, но любой русский классик мог бы стать для Розанова той основой, на которой можно было бы возводить подобные же метафизические построения. Уже тот факт, что Розанов все время колеблется, что же объявить главным произведением Достоевского — «Легенду о Великом инквизиторе» или «Преступление и наказание», — говорит за то, что выбор «ключевого» произведения для построения своей метафизической системы был предопределен не объективными причинами, а личным пристрастием. За сложной тканью мыслительных построений прощупывается совершенно иная «подкладка». «Легенда о Великом инквизиторе» — не плод абстрактного мышления, она рождается из мысли, помноженной на чувство «своего угла». Достоевский нужен был Розанову, как *свое*, как что-то очень близкое по духу, как тот автор, которого он мог читать *интимно*, понимая каждую мысль, каждый изгиб мысли. В статье «Возле „русской идеи“...» Розанов о нескольких страничках из «Подростка» (вставной, почти необязательный эпизод) говорит с лаской и нежностью: «...этот наклеенный сбоку романа кусочек печатной бумаги весьма подходит на записочку, которую положили вам под подушку на ночь, — и она всю ночь будет вам снится». В одном из комментариев Розанова к письмам К. Н. Леонтьева мы встретимся с еще более важным его признанием: «Достоевского я читал, как *родного*, как *своего*, с 6 класса гимназии, когда, взяв на рожде-

стенские каникулы „Преступление и наказание“, решил ознакомиться с писателем для образовательной „исправности“. Помню этот вечер накануне сочельника, когда, улегшись аккуратно после вечернего чая в кровать, я решил „кейфовать“ за романом. Прошла вся долгая зимняя ночь, забрезжило позднее декабрьское утро: вошла кухарка с дровами (утром) затопить печь. Тут только я задунул лампу и заснул. И никогда потом *нервно не утомлял* меня (как я слышал жалобы) Достоевский. Всего более привлекало в нем отсутствие литературных манер, литературной предвзятости, „подготовления“, что ли, или „освещения“. От этого я читал его как бы записную книжку свою. Никогда ничего непонятного я в нем не находил».

Розанов оказался писателем, «созвучным» Достоевскому. Он, как и Достоевский, внимание свое обращает не на «картины», но на «швы», которыми стянуты все эти картины. И большинство суждений его не столько строятся по ясным и четким законам логики, сколько согласуются с глубинной музыкой мысли. Когда мы читаем рассказ о художнике и нарисованном им портрете, читаем об особенном чувстве и побуждении всякого великого художника — успеть до своего ухода из этого мира сказать свое главное слово, читаем о том, что великий писатель — в некоторых названиях своих произведений, частей, глав («Мертвые души» Гоголя, «Pro и contra» Достоевского и т. д.) — неизбежно «проговаривается» о самых тайных и существенных сторонах своего гения, наконец, когда мы читаем о том, что время появления «Братьев Карамазовых» — это время, когда и Тургенев, и Толстой тоже сказали свое «окончательное слово» («Новь», «Анна Каренина»), мы чувствуем не совпадение, но созвучие этих идей; это — разработка одной темы, одного настроения, одного движения и сходных, и разных по характеру мыслей.

С годами эта «музыка души» все более вытесняла логику рассуждений. Достаточно бросить взгляд на последний фрагмент заметок «О писателях и писательстве» (опубликованных в 1899 г. в книге «Литературные очерки»), чтобы увидеть, как парадоксально, почти невероятно обнаруживает свое движение мысль Розанова спустя восемь лет после создания «Легенды о Великом инквизиторе»: «Обычай бани есть гораздо более замечательное историческое явление, нежели английская конституция. Во-первых, баня архаичнее, т. е., с точки зрения самих англичан, — почтеннее...» и т. д. Легко видеть «возрожденный» образ («баня») до некоего «образа-понятия» (живительная «баня» выборов, их «суета, грязь, нечистота», взятые в переносном смысле (как моральные определения), сопоставленные с «физической» чистотой и непосредственным успокоением, которые приносит русская баня). Изначально, казалось бы, вполне серьезное сравнение двух явлений на самом деле движется «псевдологическим» путем. Розанов нарушает главную заповедь любого логического построения: он сравнивает заведомо несравнимые вещи, и потому на самом-то деле его рассуждение строится на логике парадокса, заостряя все его наблюдения и «приглядки». И «псевдологическим» способом он создает два образа («баня» и «конституция»), не доказывая, а показывая благостность одного явления и вымороченность другого. Еще позже, в «Уединенном», превращение образа в «образ-понятие» будет происходить уже не только при помощи «логики парадокса», этой постоянной и часто намеренной самопротиворечивости. «Понятие-образ» будет рождаться даже при использовании одних только знаков препинания. Глаз читателя начнет то и дело наталкиваться на скобки, кавычки, курсив (казалось бы, всего лишь «способ записи») — и по тексту многоголосым эхо забегают обертоны особенных, просто словами не передаваемых смыслов. «Музыка мысли» станет одной из самых главных особенностей розановской прозы. Первый же серьезный шаг к этому был сделан именно в «Легенде о Великом инквизиторе».

* * *

Историю публикации «Легенды о Великом инквизиторе» см. в разделе «Варианты».

Первое упоминание о предстоящей работе над книгой относится к весне 1890 г. Розанов писал Н. Н. Страхову 21 апреля 1890 г.: «Летом, освободившись от всяких срочных

работ, — думал всецело отдаться критике Достоевского. Чувствую, что если не сделаю это теперь, то уже никогда не сделаю, и мне это жалко. Приблизительно лет 12 я жил под совершенным его обаянием. „Да Вы сами из его героев, оттого и любите“; но со старостью начинаю совершенно от него отпадать, а года еще через 3, может быть, он уже станет представляться мне чуждым совсем. Я счастливее и удовлетвореннее теперь, чем прежде, и собственно настоящая пора писать на него критику у меня уже прошла, но не хочу упускать того, что еще может быть сделано» (ЛИ. С. 205—206; письмо ошибочно отнесено к 1889 г.).

Возможно, одним из первых побуждений писать о Достоевском стали «Воспоминания о Ф. М. Достоевском» Страхова, опубликованные в первом томе Полного собрания сочинений Достоевского (СПб.: изд. А. Г. Достоевской, 1883). Об этом Розанов писал Страхову еще в самом начале января 1890 г.: «Недавно случайно прочел многие Ваши страницы из воспоминаний о Достоевском. Как хорошо все написано, сколько мыслей, могущих стать афоризмами; решительно, Вы оцениваетесь по достоинству лишь при втором чтении. Я и прежде все это читал, но многие выдающиеся достоинства заметил впервые: в Вас надо вчитываться» (ЛИ. С. 230).

Уже работая над рукописью «Легенды...», Розанов спрашивает летом 1890 г. у Страхова: «Где сказаны Ваши слова о Достоевском: „Достоевский — это туча вопросов“; может быть, я взял бы их в эпиграф статьи о нем» (ЛИ. С. 238). В следующем письме в июне, закончив статью о Страхове («О борьбе с Западом, в связи с литературной деятельностью одного из славянофилов»), он сообщает Страхову: «Завтра сажусь за продолжение прерванной для Вас статьи о Достоевском» (ЛИ. С. 240).

В письме от июля 1890 г. Розанов спрашивает у Страхова об имени и отчестве редактора «Русского Вестника» Берга, которому он собирается отправить для печати свою «Легенду...», и добавляет: «Не знаю, как-то напишу о Достоевском, но тут я поместил характеристику о Гоголе, от которой и сам в восхищении: до того верно, ново и смело, т. е. собственно это развитие одного Вашего замечания, что Дост. *дополнил* Гоголя, я же говорю, что вся наша новая литер. явилась как отрицание Гоголя, как борьба против него» (ЛИ. С. 242). В конце августа, перед началом нового учебного года, Розанов извещает Страхова о близящемся окончании работы над рукописью: «Дописываю я статью — точнее, критическую работу „Легенда о Великом инквизиторе“, разобранную в связи с общей характеристикой и определением таланта Достоевского и на основании всех его сочинений. Разбор самой „Легенды“ — очень детален. Над этим я работал все лето, и, к счастью, до сих пор еще сохраняю живость и интерес речи; не знаю, хватит ли до окончания, но оно уже недалеко. Дописываю последние свободные дни» (ЛИ. С. 244).

Наконец, в первых числах сентября 1890 г. Розанов отослал «Легенду...» в «Русский Вестник», выходящий тогда в Петербурге. Он вновь тщательно просматривает оставшуюся у него копию, извещая Страхова: «Ко времени прихода моей статьи из Спб. успею окончить просмотр» (ЛИ. С. 246). В начале октября Розанов стал переделывать «Легенду...», «но — отложил ее до Рождества» (Там же). Эти переделки до нас не дошли.

Книга Розанова была опубликована при финансовой помощи Н. Н. Страхова. В ней Розанов дал первый набросок своей концепции истории русской литературы, сформулированной в дальнейшем в книге «О писательстве и писателях», куда вошла и «Легенда о Великом инквизиторе». 16 октября 1890 г., прочитав рукопись книги, Страхов писал Розанову: «Я читал Вашу статью о Достоевском (Берг спрашивал моего совета), очень ею заинтересовался, и должен был и похвалить, и побранить Вас. Похвалить за глубину и тонкость понимания — как верно Вы угадали его мучения и отсутствие в нем веры! <...> Да вообще, там много превосходного, и много такого, что, по-моему, не вполне верно. Но все это любопытно и достойно чтения» (ЛИ. С. 72—73). 14 июля 1894 г. Страхов в письме из Ясной Поляны сообщил Розанову, что читает его книгу вслух Л. Н. Толстому.

По поводу первых глав розановской «Легенды...» К. Н. Леонтьев писал Розанову 13 апреля 1891 г. из Оптиной Пустыни: «Читаю Ваши статьи постоянно. *Чрезвычайно* ценю ваши смелые и оригинальные укоры *Гоголю*; это *великое* начинание. Он был очень вреден, хотя и непреднамеренно. Но усердно молю Бога, чтобы Вы поскорее *переросли Достоевского* с его „гармониями“, которых никогда не будет, да и не нужно. Его монашество — сочиненное. И учение от. Зосимы — ложное; и весь стиль его бесед фальшивый. Помогите Вам Господь милосердный поскорее вникнуть в дух реально существующего монашества и проникнуться им».

8 мая 1891 г. К. Н. Леонтьев рекомендовал Розанову: «Хотя в статье Вашей о „Великом инквизиторе“ многое множество прекрасного и верного, и сама по себе „Легенда“ есть прекрасная фантазия, но все-таки и оттенки самого Дост. в его взглядах на католицизм и вообще на христианство ошибочны, ложны и туманны: да и вам дай Бог от его *нездорового и подавляющего* влияния поскорее освободиться! Слишком сложно: туманно и к жизни неприменимо».

И. Ф. Романов (Рцы) 11 сентября 1891 г. сообщал Розанову из Киева: «Ведь вся штука в том, что В. Инк. не верует в Бога, как догадался наконец Алеша. А Вы догадались, что и Достоевский в Бога не верует, и эту Вашу догадку вынесли на улицу. Это кощунство показалось мне сперва забавным, и у меня тотчас явилась мысль написать антикритику на Вашу критику. Вот что приблизительно я хотел выразить в этой статье. 1) Вот замечательный автор — В. Розанов. Выдающийся ум, большие познания, талант из ряда вон, и, что главное, он *любит* горячую искреннюю любовь Достоевского, и что же? Таково извращение нашего болезненного просвещения, такова беспросветность нависшего над нашим сознанием тумана — что и он, и В. Р. не понял, не смог понять, чудовищно, нелепо, возмутительно не понял Достоевского. Его, Достоевского, праведника сего, раз уже причтенного к злодеям, г. Р. еще раз пригвоздил к позорному эшафоту безбожия, неверия. 2) Чудовищное, нелепое, возмутительное непонимание В. Розанова не ново. Другой, хотя и менее положительный критик, но все-таки очень талантливый, — Андреевский впал в ту же ошибку в своем этюде о „Братьях Карамазовых“... 3) В. Розанов *не понимает* Достоевского, ибо *невозможно* никакому гению в мире и десяткам гениев понять Достоевского, не понимая *Православия. Достоевский весь в православии*» (Литературная учеба. 2000. № 4. С. 109—110).

18 октября 1892 г. И. Ф. Романов писал Розанову в связи с его трактовкой наследия Гоголя: «Гоголь есть творец и живописец мертвых душ в гостях, у москалей, а дома у себя он живописец живых душ: все эти Грыцки и Гапки суть живые души, а Пульхерия Ивановна есть чудный-чудный и, может быть, один из самых возвышенных по-ло-жи-тельных типов». И заключает: «Гоголь не понял, что живую душу можно найти не только в Миргороде или на хуторе близ Диканьки, но всюду, где есть православная душа, а понять он этого не мог, потому что не уприиде час» (Там же. С. 160—161).

В письме Страхову во второй половине января 1891 г. Розанов приводит критические суждения своего будущего друга Федора Шперка: «Шперк, кончивший Спб-ский университет, очень умный и начитанный малый, кот. письменно познакомился со мною из-за „Места христианства“, пишет, что в „Легенде“ ужасно лишни все цитаты, что в целом статья *вымученная* (меня ужасно поразило), что он объясняет тем, что я *перегитал* Д-ского, пересидел над его изучением и мне как бы надоело об нем писать. Правда ли это? Как было бы грустно, если бы только начиная писать — я писал вымученные статьи» (ЛИ. С. 250). В печати Ф. Э. Шперк (Г. 1893. 13 нояб.) сравнивает брошюру Розанова «Место христианства в истории» с «Легендой...», которую считает «менее удачной по форме». Однако добавляет: «Последнее я считаю тем, которое отвечает складу розановского ума, которое по отношению к предыдущему более важно, истинно. Ему следуя, В. В. Розанов и высказывает то, что может высказать только он, и что, конечно, составит для будущего

историка философии самую суть розановского творчества» (*Шперк* Ф. Статьи, очерки, письма / Сост. Т. В. Савина. СПб., 2010. С. 199).

Н. Н. Страхов (*НВ*. 1894. 25 нояб.) усмотрел в книге Розанова три главные темы: «1) характеристика Гоголя, сделанная ради контраста Достоевскому; 2) истолкование „Легенды“, указывающее на весь пессимизм и отчаяние, выраженное в этом центральном произведении Достоевского; 3) собственные рассуждения критика, в которых он старается оценить этот пессимизм и указать исход из него» (*Страхов* Н. Н. Борьба с Западом. М., 2010. С. 358). И далее Страхов продолжает: «Г. Розанов, очевидно, принадлежит к людям, которые выросли на Достоевском. Таких людей, конечно, множество; все молодые люди последних двенадцати и пятнадцати лет прошли через Достоевского. Такова привлекательность этого писателя, а благодаря усердию издателей, можно сказать, что нет у нас другого писателя, который бы так был всем доступен, так всеми читался» (Там же. С. 361).

На выход первой книги «Русского Вестника» с розановской «Легендой» Ю. Н. Говоруха-Отрок (под псевдонимом Ю. Николаев) отозвался статьей «Нечто о Гоголе и Достоевском. По поводу статьи В. Розанова „Легенда о Великом инквизиторе“ Ф. М. Достоевского» (*МВ*. 1891. 26 янв. № 26), где писал: «Между пишущими у нас по философии г. Розанов является одним из выдающихся <...> Теперь г. Розанов выступил как литературный критик — и с таким же успехом». Он считал оценку Гоголя Розановым ошибкой, но добавлял: «Так ошибаться может, без сомненья, только очень талантливый человек: ошибка слишком крупная и, главное, слишком страстная, наконец, ошибка, на доказательство которой потрачено много дарования, ума и остроумия».

Гоголь, говорит Говоруха-Отрок, просто отрицается Розановым. «Он отрицает его вовсе, он отрицает его со страстью и как бы с ненавистью. Он не оставляет от него ничего; Гоголь, по его мнению, просто страшный кошмар, который пережила Россия, — кошмар, от которого мы наконец начинаем пробуждаться. Вот как он смотрит на Гоголя. Конечно, это слишком смело, слишком оригинально — и глубоко неверно» (Там же).

Отзыв Говорухи-Отрока на вторую книжку журнала с «Легендой» более положительный: «Здесь уже ничего нет о Гоголе <...> Статья г. Розанова производит самое отрадное впечатление. По своим приемам она принадлежит к лучшим традициям нашей литературной критики. Г. Розанов не задается никакими целями, кроме критических: он хочет раскрыть *смысл* произведений Достоевского <...> Никем до сих пор смысл создания Достоевского не был выяснен с такою глубиной и отчетливостью, как им» (*Николаев* Ю. «Блудные сыны». По поводу статьи г. Розанова «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» // *МВ*. 1891. 2 марта. № 61).

При этом Говоруха-Отрок отмечает у Розанова «*гастигный* анализ произведений Достоевского, но зато этот анализ очень глубок и достигает, так сказать, до самой сути дела». И далее он поясняет причины этого: «Мне кажется, частичность этого анализа объясняется именно новизной точки зрения, примененной г. Розановым к литературной критике. Ему здесь почти не за кем идти, он сам должен пробивать дорогу — и вот почему он ходит по тропинкам, лишь предчувствуя возможность широкого пути. Точка зрения его слишком обширна, слишком глубока, чтобы можно было выяснить ее всю сразу, особенно в применении к разбору художественных произведений» (Там же).

На статью Розанова «Несколько слов о Гоголе», вошедшую затем в «Легенду», Говоруха-Отрок написал возражение «Еще о Гоголе. По поводу статьи г. Розанова „Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского“»: «Все дело в разном *понимании* Гоголя. Если понимать его так, как г. Розанов, то, конечно, ничего более не остается, как прямо *отрицать* его. Это и делает, оставаясь последовательным, наш автор. Но общее мнение или, лучше сказать, общее чувство возмущается против такого отношения к Гоголю» (*МВ*. 1891. 16 февр. № 47).

Говоруха-Отрок в статье «Во что верил Достоевский?» (МВ. 1894. 8 сент.) не соглашался с Розановым: «В своем исследовании о Достоевском г. Розанов высказал, между прочим, мнение о Гоголе очень своеобразное, но, на мой взгляд, совершенно неверное. Я тогда же разобрал это мнение в статье своей „Гоголь и Достоевский“, и вот этот разбор вызвал статью г. Розанова „Несколько слов о Гоголе“ <...> Все дело в том, что г. Розанов принял мысли Инквизитора „Легенды“ за действительную веру Достоевского — веру в правду „могучего и страшного духа“, который искушал Спасителя. Г. Розанов приписывает самому Достоевскому мысль Инквизитора о том, что иначе не может быть устроено человечество, как на основании принципов „могучего и страшного духа“».

В окончании той же статьи, название которой было уточнено автором (Во что веровал Достоевский // МВ. 1894. 15 сент. № 253), Говоруха-Отрок приписывает Розанову мысль о неверии Достоевского: «Достоевский был не трагический атеист, вроде Ивана Карамазова, как то, по-видимому, думает г. Розанов».

Критическую статью «Легенде» посвятил М. Протопопов в «Русском Богатстве» (1895. № 3), в которой он пишет: «Собственно из „Легенды“ г. Розанов ухитрился сделать такой вывод, который, конечно, не противоречит общему мирозерцанию Достоевского, но из „Легенды“ вовсе не выходит и не мог выходить, потому что слишком широк для нее» (с. 164). П. Скриба (Е. А. Соловьёв) в газете «Новости» (1891. 25 янв.) назвал отношение Розанова к Гоголю «поразительно безграмотным». В. Буренин возражал против розановской «склонности к богомольности» и его оценки Гоголя, видя в розановской трактовке Гоголя один из «курьезов, какими проговариваются разные лица в теперешней журнальной литературе... Вдруг выскочит некий муж в состоянии как бы оболдения, проглаголет что-нибудь неподобающее и ужасно доволен, необыкновенно серьезен: словно в самом деле сказал что-нибудь умное и поучительное» (НВ. 1891. 17 мая). Столь же отрицателен был отзыв в Библиографическом отделе журнала «Русская Мысль» (1891. № 3. С. 165): «В елейно-славословной статье о Достоевском г. Розанов ни к селу, ни к городу заводит речь о Гоголе и его значении в нашей литературе. Для „прекрасного незнакомца“ не существует ни литературной давности, ни статей Белинского, ни свидетельства всей последующей литературы гоголевского и послегоголевского периодов, окончательно установивших значение Гоголя как отца русского реализма».

В харьковской газете «Южный Край» 6 февраля 1891 г. появилась критическая заметка Н. Черняева «Гоголь перед судом Розанова», в которой утверждалось, что критик «считает Гоголя каким-то психопатом», полагая, что Розанов, «вероятно, перелистывал Ломброзо». В той же газете еще 11 января 1891 г. М. Г. Зельманов писал о «жесточайшем суде» Розанова над Гоголем: «О, мы, конечно, не согласны и никогда не согласимся с г. Розановым в этом пункте». Более благожелателен был М. Южный (М. Г. Зельманов) в газете-журнале «Гражданин» (1891. 3 мая. № 121), где утверждал: «Новый критик сразу стал на точку зрения литературно-философскую, отвергнув публицистику как элемент, с художественною критикою ничего общего не имеющий. Мало того, Розанов делает попытку проверять выводы философской мысли идеалами религии, и это сообщает его исследованиям особую прелесть и увлекательность». Перед выходом отдельного издания розановской «Легенды» М. Г. Зельманов выступил со статьей «К характеристике Гоголя» (Г. 1894. 28 марта), где писал: «Надо заметить, что г. Розанов уже имел случай высказать свой взгляд на значение гоголевских произведений. Года три назад в статье о Достоевском он, так сказать, попутно остановился на Гоголе и высказал нечто такое, с чем согласиться было невозможно. Не имея, к сожалению, под рукою тех книжек, в которых печатались статьи г. Розанова о Достоевском, не могу воспроизвести совершенно точно, что он тогда говорил о Гоголе, но твердо помню, что в этих статьях весьма категорически высказано, что Гоголь изобразил нам не настоящую жизнь, а лишь одни внешние стороны ее, одни формы без всякого содержания, и только волшебством своего дарования мог заставить своих читателей надолго поверить в действительность своих мнимых изобра-

жений и т. д.; еще помню, что там Гоголь весьма решительно обзывался „гениальным безумцем“, а его произведения — „преступной клеветой“ на Россию. Тогда же я и отметил в одном из своих фельетонов этот странный и непонятный взгляд на творчество Гоголя».

Аким Вольтинский в статье «Плохой парадокс о Гоголе» (Северный Вестник. 1891. № 2. Отд. 2. С. 160—161) категорично заявил о гоголевской теме у Розанова: «Это — парадокс и, чтобы сказать правду, не из остроумных. Известен взгляд, по которому вся наша новейшая литература выводится из Гоголя. Г. Розанов считает более правильным свое особое мнение, по которому вся наша литература есть отрицание Гоголя, борьба против Гоголя». Воронежский филолог Г. А. Миловидов в своей заметке «Странный взгляд на Гоголя» оценил этот взгляд как «пример ошибки, близкой к парадоксу, но парадоксу, нужно признаться, смелому и остроумному» (Филологические Записки. 1891. Вып. 3. С. 4, паг. 2-я).

Под псевдонимом Инфолио в «Новом Времени» (1901. 24 нояб.) появилась статья о 2-м издании «Легенды о Великом инквизиторе», в которой утверждается, что «Легенда» Достоевского заимствована из Вольтера и Гёте. 27 ноября Розанов возражал в той же газете: «С теорией „заимствований“ вообще надо быть осторожнее... „Легенда“ есть литературно и красиво выразившаяся душа нашего народа на этих путях его скитаний и страдальчества». Н. А. Энгельгардт в рецензии на 2-е издание «Легенды» сравнивает книгу Розанова с характеристикой у Достоевского западной цивилизации как «гниения» Европы: «В. В. Розанов чрезвычайно удачно, со свойственными ему талантливостью и вдумчивостью систематизирует и развивает эти идейные стороны романов Достоевского... Книга г. Розанова читается с глубоким интересом, так увлекательно и красиво она написана. Лучшее доказательство ее несомненных литературных достоинств — два издания в короткое время» (Исторический Вестник. 1902. № 2. С. 705). На 2-е издание «Легенды» появились также рецензии А. И. Ляшенко (Литературный Вестник. 1902. Кн. 1; под псевд. Ак—ч), С. Ашевского (Мир Божий. 1902. № 4), А. Горнфельда (Журнал для Всех. 1902. № 7).

В рецензии на 3-е издание «Легенды» Н. А. Бердяев отмечал, что она читается с захватывающим интересом: «Книга его по обыкновению написана с необыкновенной психологической тонкостью и красотой литературной формы, но разбросанно, без концентрации мысли» (Книга. 1906. № 5. С. 10).

По инициативе М. Горького «Легенда о Великом инквизиторе» вышла в Берлине на немецком языке (пер. А. Рамм), о чем сообщал журнал «Печать и революция» (1924. № 5. С. 316). В английском переводе Спенсера Робертса книга вышла в 1972 г. (Итака (Нью-Йорк); Лондон), по-сербски в Белграде в 1982 г. В 1989 г. «Легенда о Великом инквизиторе» появилась в Женеве в итальянском переводе с предисловием Витторио Страды.

В Собр. соч. Розанова в 30 т. включена в т. 7 (с. 7—135).

Печатается по изданию: *Розанов В.* Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария с приложением двух этюдов о Гоголе. 3-е изд. СПб.: Издание М. В. Пирожкова, 1906. 282 с. См. *Варианты*. Источник эпиграфа был указан неточно (Бытие, IV) и уточнен (Бытие, III). Иногда Розанов цитирует Достоевского неточно, что специально не отмечается.

С. 16. ...автору «Переписки с друзьями» — Н. В. Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями (1847).

В «Пушкинской реги»... — Достоевский Ф. М. Пушкин. (Очерк). Произнесено 8 июня в заседании Общества любителей российской словесности. Опубликовано в качестве второй главы «Дневника писателя» 1880 г.

С. 17. ...«дочери фараоновой» — Исх 2, 5—10.

...чтобы еврейки не рожали мальчиков детей — Исх 1, 22.

С. 18. ...«книги живота» — Фил 4, 3; Откр 3, 5; 13, 8; 17, 8; 20, 12—15; 21, 27.

И то я поддельною болью сгитал... — Г. Гейне. «Довольно! Пора мне забыть этот вздор!..» (из цикла «Возвращение на родину», 1826; пер. А. К. Толстого).

С. 19. *В одной фантастической повести...* — Н. В. Гоголь. Портрет (1835).

...«откуда не возвращался никто»... — У. Шекспир. Гамлет (1600—1601); из монолога Гамлета «Быть или не быть?» (акт III, сц. I). В переводе А. И. Кронеберга: «страна безвестная, откуда путник не возвращался к нам».

С. 21. ...*та самая, о которой я вам уже писал* — речь идет о неосуществленном замысле «Житие великого грешника», о чем Достоевский писал А. Н. Майкову 17 (29) сентября 1869 г.

«Заря» — ежемесячный научно-литературный и политический журнал, выходивший в Петербурге в 1869—1872 гг. Издатель — В. В. Кашпирев.

...*Чаадаев после первой статьи...* — За публикацию в журнале «Телескоп» (1836. № 15) первого «Философического письма» П. Я. Чаадаев был объявлен Николаем I сумасшедшим.

С. 22. *Я написал о монастыре Страхову...* — В письме к Н. Н. Страхову, написанном накануне, 24 марта (5 апреля) 1870 г., Достоевский делился планами: «Для второго романа я уже должен быть в России, действие во втором романе будет происходить в монастыре, и хотя я знаю русский монастырь превосходно, но все-таки хочу быть в России» (Достоевский Ф. М. ПСС: В 30 т. Л., 1985. Т. 28. Кн. I. С. 111—112).

Констанжогло — персонаж второго тома поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души», образ идеального помещика-хозяйственника.

...*образом Алеши (очевидно, разделенная фигура Тихона Задонского)* — В письме к Н. А. Любимову 7 (19) августа 1879 г. Достоевский писал о житии Зосимы в «Братьях Карамазовых»: «Эта глава восторженная и поэтическая, прототип взят из некоторых поучений Тихона Задонского, а наивность изложения из книги странствований инока Парфения» (Достоевский Ф. М. ПСС: В 30 т. Л., 1988. Т. 30. Кн. I. С. 102). Тихон Задонский — епископ, православный подвижник, богослов. В 1861 г. проходило торжественное открытие его мощей в Задонском монастыре. Парфений (Аггеев) — иеромонах, духовный писатель, автор «Сказания о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Св. Земле постриженника святые горы Афонские инока Парфения» (М., 1855. Ч. 1—4). О прототипах Зосимы см.: Плетнев Р. Сердцем мудрые (О «старцах» у Достоевского) // О Достоевском / Под ред. А. Л. Бема. Прага, 1933. Сб. 2.

...*помещик Миусов, очевидно, — переделанная фигура Чаадаева...* — см. об этом: Волгин И. Пропаший заговор: Достоевский и политический процесс 1849 г. М., 2000. С. 287—290.

С 1876 г. он начал выпускать «Дневник писателя»... — «Дневник писателя» начал печататься в газете-журнале «Гражданин» с января 1873 г. Розанов имеет в виду, что с 1876 г. «Дневник писателя» приобрел новую литературную форму мыслей на различные темы, что сказалось позднее на жанре трилогии Розанова.

...«*чтобы заняться одною художественною работою...*» — из обращения «К читателям», завершающего декабрьский выпуск «Дневника писателя» за 1877 г. (т. 26, с. 126). Речь шла о романе «Братья Карамазовы», над которым Достоевский работал следующие три года.

См.: «Биография и письма». СПб., 1883 — Достоевский Ф. М. ПСС: В 14 т. СПб.: Изд. А. Г. Достоевской, 1883. Т. I: Биография, письма и заметки из записной книжки. С портретом Ф. М. Достоевского и приложениями / [Под ред. О. Ф. Миллера и Н. Н. Страхова].

Об успехе «Дневника писателя» см. *цифровые данные...* — см.: «„Дневник Писателя“ на 1876 год имел 1982 подписчика и кроме того в розничной продаже каждый номер расходился в 2000—2500 экземплярах. Некоторые номера потребляли 2-го и даже 3-го издания, напр. январский. В 1877 году было около 3000 подписчиков и столько же расходи-

лось в розничной продаже. Один экземпляр, выпущенный в 1880 году (август) и содержащий в себе речь о Пушкине, был напечатан в 4000 экземплярах и разошелся в несколько дней. Было сделано новое издание в 2000 экз. и разошлось без остатка. „Дневник“ на 1881 г. печатался в 8000 экземплярах и имел в январе, прежде выхода первого номера, 1074 подписчика. Все 8000 были распроданы в дни выноса и погребения. Сделано было второе издание в 6000 экземплярах и разошлось без остатка» (Там же. С. 300, паг. 1-я).

С. 23. *Главный роман — второй...* — Существует несколько свидетельств о продолжении «Братьев Карамазовых». А. С. Суворин вспоминал в 1903 г. о своем разговоре с Достоевским: «Тут же он сказал, что напишет роман, где героем будет Алеша Карамазов. Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление. Его бы казнили. Он искал бы правду и в этих поисках естественно стал бы революционером» (*Суворин А. С. Дневник. Изд. 2-е, испр. и доп. London; М., 2000. С. 454*).

...*в 1879 г. Достоевский ездил в знаменитую Оптину Пустынь...* — Достоевский был в монастыре Оптина Пустынь (близ Козельска) вместе с Вл. Соловьёвым 23—29 июня 1878 г., что имело важные последствия для работы над «Братьями Карамазовыми».

С. 24. *Один разговор с Ракиным...* «карамазовские бури» — речь идет о разговоре Ракина с Алешей Карамазовым о «подлом сладострастии» (кн. I, гл. 7), где первый говорит: «Ничего я бы тут не видел, если бы Дмитрия Федоровича, брата твоего, вдруг сегодня не понял всего как есть, разом и вдруг, всего как он есть»; кроме того, здесь отсылка к словам Дмитрия Карамазова («...сладострастье буря, больше бури!») в одной из его бесед с Алешей (кн. III, гл. III).

Разговор с братом Иваном о страданиях детей — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Кн. V, гл. IV.

...*известной картины Иванова* — А. А. Иванов. Явление Христа народу (1837—1857).

...*«обе бездны — бездну вверху и бездну внизу»* — В «Братьях Карамазовых» (кн. XII, гл. IX) в речи прокурора говорится: «Две бездны... Карамазов может созерцать две бездны, и обе разом!».

С. 25. ...*«с профилем римского патриция времен упадка»...* — имеется в виду самохарактеристика Федора Павловича Карамазова: «...настоящая физиономия древнего римского патриция времен упадка» (кн. I, гл. 4).

...*«за коньячком»...* — название гл. VIII (кн. III) романа «Братья Карамазовы».

Квазимодо — герой романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1831), горбатый звонарь.

...*у Ап. Григорьева ~ см. Согинения...* — Сочинения Аполлона Григорьева. СПб.: Изд. Н. Н. Страхова, 1876. Т. I.

С. 26. *Гоголь выводит однажды детей* — речь идет о детях Манилова — Фемистоклюсе и Алкиде во второй главе «Мертвых душ».

С. 27. ...*«Пригитания северного края», собранные г. Барсовым* — Ч. 1. М., 1872; Ч. 2. М., 1882; Ч. 3 // Чтения в Имп. О-ве истории и древностей российских. 1885. Кн. 3—4. У Е. В. Барсова — «Причитанья...»

С. 28. ...*«зримые» слезы* — Н. В. Гоголь. Мертвые души. Т. I, гл. 7.

...*«какое умное и какое больное существо»* — В главе «Гоголь» в «Литературных и житейских воспоминаниях» И. С. Тургенев писал: «„Какое ты умное и странное, и больное существо!“ — невольно думалось, глядя на него».

...*словами Гоголя, обращенными ~ к комику Щепкину: «Оставайтесь всегда таким!»* — Этой фразой заканчивается мемуарный очерк Ф. И. Буслаева «Комик Щепкин о Гоголе» (1863). Последнего растрогал рассказ М. С. Щепкина о посещении тем Воронежца во вре-

мя открытия мощей святителя Митрофания: в церкви все молились «о своих нуждах, бедах и болезнях», а актер лишь благодарил Бога за «прекрасную погоду».

С. 28. «Мне отмщение и Аз воздам» — Рим 12, 19.

С. 29. «...взлетают на них и колотят их...» — Розанов имеет в виду дядю Митя и дядю Миня из «Мертвых душ» Гоголя (т. I, гл. 5).

С. 30. «Пусть языком твоим говорят ангелы...» — 1 Кор 13, 1.

С. 31. «Триста, триста...» — Ф. М. Достоевский. Елка и свадьба (Из записок неизвестного) (1848).

С. 33. «...золотые булавки, которые скугающая Клеопатра втыкает в груди своих невольниц...» — отсылка к фразе: «Говорят, Клеопатра любила втыкать золотые булавки в груди своих невольниц и находила наслаждение в их криках и корчах» (Ф. М. Достоевский. Записки из подполья. Гл. VII; см. также наст. том. С. 119).

Когда из мрака заблужденья... — первая строка из стихотворения Н. А. Некрасова (1845), взятого эпиграфом к повести Достоевского «По поводу мокрого снега» в «Записках из подполья».

С. 34. «...в настоящих Элевзиниях» — Элевзинские таинства — древнейшие тайные культовые действия в древнегреческом городе Элевзин (1-е тыс. до н. э.), ежегодно совершавшиеся в честь богини плодородия Деметры и ее дочери Персефоны. Характеристику Элевзинских таинств см. в статье Розанова «Среди иноязычных» (НП. 1903. № 10).

С. 35. В 1863 г. Достоевский... чтобы посетить Лондон... — Всемирную Лондонскую выставку Достоевский посетил в июле 1862 г.

«...едино стадо»... — Ин 10, 14.

С. 36. Хрустальный дворец — построен по проекту архитектора Дж. Пакстона в 1851 г. в Лондоне, в 1853—1854 гг. перенесен в пригород. Стал главным павильоном Всемирной выставки в Лондоне в 1851 и 1862 гг.

Собор св. Павла — англиканский собор, резиденция епископа Лондона; возведен в 1675—1708 гг. в самой высокой точке города по проекту архитектора Кристофера Рена.

«...возводимой башни...» — аллюзия на Вавилонскую башню (Быт 11, 1—9).

«...пальмовых ветвей и белых одежд» — Откр 7, 9.

Доколе, Господи! — обращение, встречающееся во многих псалмах и в «Книге пророка Аввакума» (1, 2).

С. 38. «...матери, собирающие колосья...» — Руф 2, 2—3.

«Ищите прежде царствия Божия...» — Лк 12, 31.

С. 39. «Время» — ежемесячный литературный и политический журнал, издававшийся в Петербурге в 1861—1863 гг. М. М. и Ф. М. Достоевскими.

«Эпоха» — ежемесячный литературный и политический журнал, издававшийся (как продолжение закрытого цензурой журнала «Время») в Петербурге в 1864—1865 гг. М. М. Достоевским, а после его смерти Ф. М. Достоевским.

С. 40. «...кидало Сенеку в интриги и преступления» — В 41 г. за участие в дворцовой интриге Сенека был сослан императором Клавдием на Корсику, где провел 8 лет; в 59 г., в правление своего ученика Нерона, Сенека составил для него текст выступления в сенате с оправданием убийства его матери, Агриппины; в 65 г. философ был обвинен в причастности к заговору Пизона и, по приказу Нерона, покончил жизнь самоубийством.

С. 43. «...людей 93-го года» — то есть 1793 г., времени якобинской диктатуры в период Великой французской революции.

С. 46. «Дрожащая тварь», как называется здесь два раза человек... — имеются в виду следующие фразы: «Велит Аллах и повинуйся, „дрожащая“ тварь!» (Ч. III, гл. 6); «Тварь ли я дрожащая или право имею...» (Ч. V, гл. 4). Выражение восходит к стихам А. С. Пушкина

кина из цикла «Подражания Корану» (ч. I — обработка суры 93 «Утро»): «Люби сирот и мой Коран / Дрожащей твари проповедуй...».

...последние годы прошлого царствования — то есть царствования Александра II, убитого народовольцами в 1881 г.

...Тургенев в «Нови» ответил текущим стремлением времени... — История восприятия романа «Новь» современниками освещена в кн.: Тургенев И. С. ПСС: В 30 т. М., 1982. Т. 9. С. 519—536.

С. 47. В Венере Милосской есть нечто более несомненное и вежное, чем в принципах первой французской революции — И. С. Тургенев. Довольно. Гл. XV.

С. 48. ...«павшего в землю и умершего зерна» — аллюзия на притчу о сеятеле (Мф 13, 4—6; ср. также эпиграф к «Братьям Карамазовым»: Ин 12, 24).

С. 49. «Иже во святых отца нашего Исаака Сирина» — В «Братьях Карамазовых» книга названа: «Святого отца нашего Исаака Сирина слова» (кн. XI, гл. 8). Полное название: Святого отца нашего Исаака Сирина епископа бывшего Ниневийского, слова духовно-подвижнические, переведенные с греческого старцем Паисием Величковским. Издание Козельской Введенской Оптиной Пустыни, 1854.

...под его подушкой французские вокабулы — речь идет о занятиях Смердякова, который, по свидетельству доктора Герценштубе, «французские вокабулы наизусть учит, у него под подушкой тетрадка лежит и французские слова русскими буквами кем-то записаны» (кн. XI, гл. 6). Вокабулы — иностранные слова, выписываемые с переводом на родной язык.

С. 50. ...«дрянным, мелким бесом» — точнее, у Достоевского: «дрянной, мелкий чорт» (кн. XII, гл. 5).

С. 51. Доктор-психиатр — имеется в виду письмо врача из Юрьева-Польского А. Ф. Благодного от 10 декабря 1880 г. (частично опубликовано: ЛН. 1973. Т. 86. С. 490), которому Достоевский отвечал 19 декабря 1880 г.

...«кошмар Ивана Федоровича» — ср. название гл. IX (кн. XI): «Чорт. Кошмар Ивана Федоровича».

С. 52. первый среди равных — по преданию, так называли Цезаря, поскольку считалось, что любой из достойных граждан Рима мог стать цезарем.

С. 54. Како веруеши... — вопрос из чина посвящения в епископы, отвечая на который, посвящаемый читает Символ веры (краткое изложение основных догматов христианского вероучения).

С. 55. «Кошмаръ живугестъ» — Ф. М. Достоевский. Письмо А. Е. Врангелю от 31 марта 1865 г.

С. 56. ...заметку... в «Биографии и письмах», стр. 295 — речь идет о «Воспоминаниях о Ф. М. Достоевском» Н. Н. Страхова, гл. XVI. Женитьба (Достоевский Ф. М. ПСС: В 14 т. СПб.: Изд. А. Г. Достоевской, 1883. Т. I).

С. 57. «Один старый грешник...» — Иван цитирует фразу из «Послания к автору новой книги о трех лжецах» (1769) Вольтера.

С. 58. ...неевклидовой геометрии... в которой параллельные линии сходятся — У Достоевского: «Две параллельные линии, которые, по Эвклиду, ни за что не могут сойтись на земле, может быть, и сошлись бы где-нибудь в бесконечности» («Братья Карамазовы», ч. II, кн. 5, гл. 3). На самом деле геометрия Н. И. Лобачевского исходит из аксиомы, что через одну точку можно провести более чем одну прямую, не пересекающуюся с данной, т. е. параллельную ей.

Я вот гитал когда-то и где-то про Иоанна Милостивого... — перевод И. С. Тургеневым «Легенды о св. Юлиане Милостивом» (1876) Г. Флобера напечатан в «Вестнике Европы»

(1877. № 4) под названием «Католическая легенда о Юлиане Милостивом». Оговорка Ивана Карамазова, назвавшего вместо Юлиана свое имя (Иоанн), побуждает читателя сопоставить факты из жизни святого и героя романа: они оба совершили отцеубийство (см.: *Ветловская В. Е.* Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». СПб., 2007. С. 486).

С. 59. «Никто же плоть свою возненавидит...» — Еф 5, 29.

«яко бози» — Быт 3, 5.

С. 60. *Клеопатра, утонченная грезанка...* — Рассказ Ивана о последней царице Египта из династии Птоломеев — Клеопатре — взят из «Записок из подполья» Достоевского. См. также примеч. к с. 33.

...*оборазивать словезки* — имеются в виду слова Полония в 1-й сцене II действия «Гамлета».

С. 61. ...*как блудный сын в Евангелии* — Лк 15, 11—32.

В Женеве была составлена брошюра... — в русском переводе: Обращение и смерть Л. Ф. Ришара, казненного в Женеве 11-го июня 1850 года / Пер. с фр. СПб., 1877. 36 с. См. также: *Буданова Н. Ф.* История «обращения и смерти» Ришара, рассказанная Иваном Карамазовым // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 1993. Т. 13. С. 106—119).

С. 62. *Байрон... называет прируженных, домашних животных — «развращенными»* — имеется в виду «Надпись на могиле ньюфаундлендской собаки» (1808) Дж. Г. Байрона.

...*(о голубиных породах)*. — *Данилевский Н. Я.* Дарвинизм. СПб., 1885. Т. 1. С. 412.

У Некрасова есть стихи... — в стихотворении «До сумерек» из цикла «О погоде» (1859).

С. 63. ...*собственную догку...* — имеется в виду дело С. Л. Кроненберга (Кроненберга), по поводу которого Достоевский писал в «Дневнике писателя» за февраль 1876 г. (Гл. 2).

...*в одном из наших исторических журналов.* — Как выяснил Л. П. Гроссман, имеются в виду «Воспоминания крепостного» в «Русском Вестнике»: «Один старый вельможа с ватагой дармоедов переселился на жительство в свою усадьбу и завел псовую охоту. Раз крестьянский мальчик (у него там было три тысячи душ) зашиб по глупости камешком ногу борзой собаки из барской своры. Барин, как увидел, что его *Налет* хромает, разгневался: спрос, „кто изувечил собаку?“. Псаря должны были указать. Привели мальчика, тот сознался. Велено наутро быть готовым к охоте в полном составе. Выехали в поле, около лесу остановились, гончих пустили, борзых держат на сворах. Тут привезли мальчика. Приказано раздеть и бежать ему нагому по полю; а вслед за ним со всех свор пустили вдогонку собак: значит, травить его. Только борзые добегут до мальчика, понюхают и не трогают... Подросла мать, леском обежала и ухватила свое детище в охапку. Ее оттащили в деревню и опять пустили собак. Мать помешалась, на третий день умерла. Говорили, что обо всем узнал император Александр Павлович и повелел судить барина: но тот, сведав, что дело дошло до государя, сам наложил на себя руки» (РВ. 1877. № 9. С. 43—44).

С. 65. ...*ланы ляжет подле льва* — Исх 11, 6 (контаминация).

...*не от мира сего...* — Ин 18, 36.

«*Прав Ты, Господи...*» — сочетание разных текстов Апокалипсиса (Откр 15, 3—4; 16, 7; 19, 1—2).

С. 66. ...*плод... от древа познания добра и зла* — Быт 2, 16—17.

С. 68. ...*«выше всех остальных»...* — образ Сатаны как восставшего против Бога ангела и сброшенного за то с небес восходит к ошибочному толкованию строк из «Книги пророка Исаии» (14, 11).

С. 72. ...*«образом и подобием Божиим»* — Быт 1, 26.

«*О дне же сем и гасе...*» — Мф 24, 36.

С. 73. *Верь тому, что сердце скажет...* — из стихотворения Шиллера «Желание» (1801) в переводе В. А. Жуковского (1811).

С. 73–74. «Талифа куми» — Мк 5, 41.

С. 74. «Однажды, рассказываете там...» — из биографической статьи О. Ф. Миллера (Достоевский Ф. М. ПСС. СПб., 1883. Т. 1. С. 133).

«Рождение дочери (22 февраля 1862 г.)...» — Софья Достоевская родилась 22 февраля 1868 г., скончалась 12 (24) мая того же года в Женеве от воспаления легких. Во всех изданиях «Легенды», от журнального до публикуемого третьего, сохранена описка Розанова при цитировании «Воспоминаний о Федоре Михайловиче Достоевском» Н. Н. Страхова, где указана правильная дата.

В одну из своих поездок в Эмс он нарочно съездил в Женеву... — 28–29 июля (9–10 августа) 1874 г. Жена Достоевского вспоминала, что он, проездом из Эмса остановившись в Женеве, «побывал два раза на детском кладбище „Plain Palais“ и привез <...> с могилки Сони несколько веток кипариса...» (Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971. С. 264).

С. 75. «дрожащая тварь» — А. С. Пушкин. Подражание Корану. I (1824). Подробнее см. примеч. к с. 46.

С. 76. «Хочу сделать вас свободными»... — Ин 8, 32.

...введение инквизиции — существовавшая с XIII в. в католической церкви инквизиция как суд по делам о еретиках была окончательно утверждена созданием в 1542 г. в Риме верховного инквизиционного трибунала.

Триденский собор — вселенский собор католической церкви, заседавший в 1545–1547, 1551–1552, 1562–1563 гг. в г. Тренто (латинизированная форма Тридент) и в 1547–1549 гг. в Болонье. Закрепил церковные догматы католицизма, усилил гонения на еретиков, ввел строгую церковную цензуру.

Орден иезуитов (Общество Иисуса) — мужской католический монашеский орден, основанный в 1534 г. (утвержден папой в 1540 г.).

Будь в руке старшего тебя покорен, как посох в руке странника... «Cadaver esto» — Основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола писал: «Те, кто живут в послушании, должны вверять себя руководству и управлению божественного Провидения, через посредство Начальников, как если бы были мертвым телом (ac si cadaver essent), которое можно повернуть в любом направлении, или же палкой старика, которая служит тому, кто ее держит в руке, в любом месте и для любого употребления» («Правила, необходимые для согласия с Церковью», приложение к «Духовным упражнениям», пункт 36. Включено в «Уставовления Общества Иисуса» (1558). VI, 1, 1 (Constitutiones Societatis Jesu. 1558 with translation. London, 1838. P. 71).

С. 78. «Великий Дух говорил с тобою в пустыне...» — евангельский рассказ об искушении Христа дьяволом (Мф 4, 1–11; Лк 4, 1–13).

С. 79. *...«вкусавший акриды и мед в пустыне»* — Аллюзия на евангельское повествование об Иоанне Крестителе, который во время пребывания в пустыне «ел акриды и дикий мед» (Мк 1, 6). Акриды — род саранчи либо листья кустарника акрида.

К вящей славе Божией — девиз ордена иезуитов; выражение встречается в постановлениях Тридентского собора.

С. 80. «Кто подобен Зверю сему...» — Откр 13, 4.

...Ог. Конт... пытался изобрести некоторое подобие нового религиозного культа... — Основы новой «позитивной» религии Конт изложил в обширном сочинении «Système de politique positive» (Paris, 1851–1854. Vol. 1–4); себя он здесь объявил первосвященником этой религии.

С. 81. «И стал я на песке морском...» — Откр 13, 1–10.

С. 82. ...«заплагет земля по старым богам» — Ф. М. Достоевский. Бесы. Ч. II. Гл. VIII. Преследования... в конце прошлого века во Франции... — имеются в виду события Великой Французской революции 1789—1794 гг.

...по праву «suum cuique» — Принцип социальной справедливости «suum cuique» («каждому свое», лат.) восходит к «Государству» Платона (IV 433а).

«Бог за всех» — фрагмент пословицы «Всяк за своих (за себя) стоит, а один Бог — за всех».

С. 83. «о малом гисле избранных и оправданных» — Откр 17, 14.

С. 86. ...«понудь их... войти» — Лк 14, 23 (от ошибочного латинского перевода Вульгаты: *compelle intrare*). В греческом подлиннике: *anánkasen eisethêm* («убеди их войти»). Ср. параллельное место: «зовите на брачный пир» (Мф 22, 9).

...«Мое царство не от мира сего» — см. примеч. к с. 65.

С. 88. Улегения спиритизмом... — Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. 1876. Январь. Гл. 3. § 2.

С. 89. «Однажды странствуя среди пустыни дикой» — А. С. Пушкин. Странник (1835). Написано на тему книги английского писателя и проповедника Дж. Беньяна «Путь паломника» (1678—1684).

С. 93. «И явилось на небе великое знамение...» — Здесь и далее в XVI главе цитируется Откр 12—18.

С. 96. Теоретическая мысль, оправдывающая «самоистребление» — Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. 1876. Октябрь. Гл. 1. § 4.

С. 100. «моя осанна сквозь горнило испытаний прошла» — пересказ мысли из записной тетради Достоевского 1880—1881 гг. (Достоевский Ф. М. ПСС. Л., 1984. Т. 27. С. 86).

Он называется «клеветником»... — речь идет о первоначальном значении слов: Сатана (на иврите — «противник», «клеветник») и дьявол (на древнегреческом — «лукавый», «клеветник»).

С. 105. «Ищите прежде Царствия Божия, и все остальное приложится вам» — Мф 6, 33. См. также примеч. к с. 38.

С. 106. ...о «подобии светильника» — «упала с неба большая звезда, подобная светильнику» (Откр 8, 10).

«стали истогники ее горьки» — Откр 8, 11.

С. 108. ...Гораций и Буало пытались свести — имеются в виду трактат римского поэта Горация «Наука поэзии» (18 до н. э.) и стихотворный трактат французского поэта и теоретика классицизма Н. Буало «Поэтическое искусство» (1674).

Кювье свел к везным немногим типам животный мир — Французский зоолог Ж. Кювье сформулировал в 1812 г. учение о четырех типах организации животных (позвоночные, членистые, мягкотелые, лучистые).

...ряд великих математиков Франции — имеются в виду Ф. Виет, Р. Декарт и др.

«Убивайте всех, Бог на Последнем Суде отделит католиков от еретиков» — Папский легат во время крестовых походов на альбигойцев Арно Амальрик на вопрос, как отличить еретиков от истинных католиков (22 июля 1209 г. перед штурмом крепости Безье на юге Франции), дал такой ответ. Приведено в «Беседах о чудесах» (V, 21) Цезария Гайстербахского (ок. 1233). См.: Осокин Н. А. История альбигойцев и их времени. Казань, 1869. Т. 1. С. 322—323.

...крестоносное ополчение, двинувшееся на Лангедок — речь идет об альбигойских войнах, крестовых походах 1209—1229 гг. на юге Франции, предпринятых против «еретиков».

С. 109. ...*республика Фабиев* — в республиканскую эпоху (V—2-я пол. I в. до н. э.) знаменитый патрицианский род Фабиев дал Риму 29 или 30 консулов и 5 диктаторов.

С. 110. «*словом Божиим*» — ответ М. Лютера на Вормском рейхстаге 18 апреля 1521 г. на предложение отречься от своих взглядов.

«*Разум диктует свои законы природе*» — ср. у Платона в «Законах»: «Зримый мировой порядок установлен разумом» (Платон. Соч.: В 3 т. М., 1972. Т. 3. Ч. 2. С. 496).

«*мир есть мое представление*» — слова немецкого философа А. Шопенгауэра в его труде «Мир как воля и представление» (1818—1819) в пер. Ю. И. Айхенвальда. См.: Шопенгауэр А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1992. Т. 1. С. 54.

С. 111. ...«*каждое время и каждое место живет для себя самого*» — имеется в виду принцип историзма, изложенный немецким философом и критиком И. Г. Гердером в его книге «Идеи к философии истории человечества» (Ч. 3 (1787). Кн. 13. Гл. 7; рус. пер. — М., 1977. С. 344).

«*Смотри на всякого, себе подобного, как на цель, которая никогда и ни для чего не может быть средством*» — И. Кант. Основы метафизики нравственности (Кант И. Собр. соч.: В 8 т. М., 1994. Т. 4. С. 530).

С. 113. ...«*перекуются меги на орала*»... — Иоил 3, 10 («Перекуйте орала ваши на мечи»).

filioque — и сына (лат.). Догмат католической церкви, признающий, в отличие от церкви православной, исхождение Святого Духа не только от Бога-Отца, но и от Сына.

С. 114. *Седой высокий священник* — В «Смертном» Розанов писал о теще Александре Адриановне Рудневой: «У нее был духовником отец Иван (Вуколов), „высокий седой священник“ (в конце „Легенды об Инквизиторе“») (Л, 384).

Всенощная служба (всенощное бдение) — богослужение в православии в канун праздников и воскресений, которое изначально продолжалось от захода солнца до рассвета (в приходской практике XIX в., как и ныне, совершалось после пяти часов пополудни в течение 2—3 часов).

Аналой — высокий столик с покатым верхом, на который в церкви кладут иконы или книги.

Клирос — место (обычно на возвышенной предалтарной части храма), на котором во время богослужения находятся певчие и чтецы.

«*у неимущего отнялось и имущему прибавилось*» — перефразировка евангельского выражения (Мф 25, 29).

«*Мария же, сестра ее, села у ног Иисуса...*» — Лк 10, 39—42.

С. 115. *Шутливые и двусмысленные слова...* — И. В. Гёте. Фауст. Ч. 1. Сцена «Сад Марты».

...*олицетворение малого ростка в огромном гниющем семени жизни* — аллюзия на евангельскую притчу о сеятеле. См. примеч. к с. 48.

С. 116. «*Прав ты, Господи...*» — см. примеч. к с. 65.

ПРИЛОЖЕНИЯ

(с. 117)

С. 117. ...*в 1856 г. в «Записках из подполья»* — неточность Розанова. «Записки из подполья» опубликованы в 1864 г.

С. 118. ...*вслед за Боклем, что от цивилизации человек смягчается* — Г. Т. Бокль считал, что развитие цивилизации ведет к прекращению войн между народами (Бокль Г. Т. Развитие цивилизации в Англии. СПб., 1863. Т. 1. С. 141—146).

С. 119. ...*Наполеон — и великий, и теперешний* — Наполеон I и Наполеон III.

С. 119. *...Северная Америка — вековой союз* — иронический отклик на войну штатов Севера и Юга (1861—1865) в связи сопротивлением последних отмене рабства.

...карикатурный Шлезвиг-Гольштейн... — Немецкое герцогство Шлезвиг-Гольштейн, в 1773 г. ставшее провинцией Дании, в результате Австро-пруссско-датской войны (1864) было присоединено к Пруссии.

...некто вроде фортепианной клавиши — имеется в виду рассуждение философа Д. Дидро в его «Разговоре Даламбера и Дидро» (1769): «Мы — инструменты, одаренные способностью ощущать и памятью. Наши чувства — клавиши, по которым ударяет окружающая нас природа и которые часто сами по себе ударяют».

С. 120. *птица Каган* — О птице Каган, приносящей счастье, Достоевский услышал на сибирской каторге (Достоевский Ф. М. ПСС. Л., 1972. Т. 4. С. 315).

В одной из своих критических статей — речь идет о статье Н. К. Михайловского «Жестокий талант» (Отечественные Записки. 1882. № 9—10).

С. 121. *Homunculus* (букв. «человечек», «зародыш») — человекоподобное существо, созданное алхимиком, — ср.: «Фауст» Гёте, ч. II, акт II («Лаборатория в средневековом духе»). Наиболее известный «рецепт» получения гомункула был предложен в XVI в. Парацельсом. Его цитирует Розанов в начале статьи «Сумерки просвещения» (1893): «После сорокадневного брожения в закрытой колбе вещество оживает и двигается, что легко видеть. Оно принимает форму, подобную человеческой, совершенно прозрачную, но еще без corpus. После того его нужно кормить *argano sanguinis humani* <тайной сущностью человеческой крови (лат.)> в продолжение сорока недель и держать постоянно при одинаковой теплоте *ventris equine* <чрева кобылы (лат.)>; тогда выйдет совершенно живое человеческое дитя со всеми членами, какие бывают у всякого другого дитяти, рожденного женщиной, но только гораздо меньшей величины; такое дитя мы называем *Homunculus*». Эту цитату Розанов, по всей видимости, позаимствовал из книги Н. Н. Страхова «Мир как целое» (СПб., 1872), где она помещена в ч. I («Органическая природа»), отд. I («Письма об органической природе»), письмо V («Различие между организмами и мертвой природой») и снабжена сноской: Aureoli Pilippi Theophrasti Bombasts von Hohenheim Paracelsi Opera. Strassburg, 1616. Т. I. S. 883, т. е.: Ауреол Филипп Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм Парацельс. Сочинения. Страсбург, 1616.

С. 122. *колосс Родосский* — бронзовая статуя бога солнца Гелиоса в 31 м высоты, изваянная в 280 г. до н. э. и считавшаяся одним из семи чудес света. Стояла в гавани древнегреческого города Родоса.

...г. Анаевский свидетельствует... — «Колосс Родосский соизжден, некоторые писатели уверяют, Семирамидою, а другие утверждают: он воздвигнут не рукою человеческою, а природою» (Анаевский А. Энхиридион любознательный. СПб., 1854. С. 96).

С. 126. *...с зубным врагом Вагенгеймом на вывеске* — Во «Всеобщей адресной книге С.-Петербурга с Васильевским островом, Петербургской и Выборгской сторонами и Охтой» (СПб., 1867—1868) указаны восемь дантистов по фамилии Вагенгейм; вывески, их рекламирующие, были распространены по всему городу.

С. 131. *Internationale* — Первый Интернационал, международная революционная организация (1864—1876).

...при Пии IX... наиболее униженном в своей власти — имеется в виду ликвидация папской власти над Римом (1870) в период его понтификата.

Лев XIII... избирает... как бы программу свою... — подразумевается энциклика Льва XIII от 20 июня 1894 г. «*Græclara Gratulationis*», содержащая призыв к православным христианам, и в отдельности к славянам, к единению под верховной властью «Римского Понтифика».

...«я думал отдать мир папе» — см.: Соловьёв В. С. Догматическое развитие церкви в связи с вопросом о соединении церквей. М., 1880.

С. 132. *Не можем!* — Деян 4, 20.

С. 133. «По делам их вы узнаете их» — Мф 7, 16 («По плодам их узнаете их»).

С. 135. *Liberté, Égalité, Fraternité — ou la mort* — Свобода, равенство, братство — или смерть (фр.) — лозунг времен Великой Французской революции, ставший крылатым выражением.

С. 137. «Из угеников же никто не смел...» — Ин 21, 12—19.

С. 138. *...словах о скопцестве* (Мф., 19) — «есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного» (Мф 19, 12).

...милоть, брошенная Елисею Илиею — 3 Цар 19, 19; 4 Цар 2, 11—13. Пророк Илия, взятый живым на небо, оставил пророку Елисею свою чудодейственную милоть (верхнюю одежду из овчины мехом наружу), сбросив ее уже с огненной колесницы.

«Ныне уже ни эллин, ни иудей...» — Гал 3, 28; Кол 3, 11 (контаминация).

С. 140. *Ergo* — следовательно (лат.).

О Гоголе

Пушкин и Гоголь

(с. 142)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: МВ. 1891. 15 февр. № 46 — под названием: «Несколько слов о Гоголе» и под тем же названием печаталось в 1-м и 2-м изданиях книги Розанова «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского». См. *Варианты*.

В Собр. соч. Розанова вошло в т. 7 (с. 136—142).

Печатается по тексту 3-го издания книги (СПб.: издание М. В. Пирожкова, 1906. С. 253—265).

С. 144. *...затосковал Гоголь, когда безвременно погиб Пушкин* — В письме П. А. Плетневу 16 (28) марта 1837 г. из Рима Гоголь писал о смерти Пушкина: «Что месяц, что неделя, то новая утрата, но никакая вести хуже нельзя было получить из России. Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним». С. Т. Аксаков писал в «Истории моего знакомства с Гоголем» (Русский Архив. 1890. № 8): «В 1837 году погиб Пушкин. Из писем самого Гоголя известно, каким громовым ударом была эта потеря. Гоголь сделался болен и духом и телом. Я прибавлю, что, по моему мнению, он уже никогда не выздоравливал совершенно и что смерть Пушкина была единственной причиной всех болезненных явлений его духа, вследствие которых он задавал себе неразрешимые вопросы, на которые великий талант его, изнеможенный борьбою с направлением отшельника, не мог дать сколько-нибудь удовлетворительных ответов» (*Гоголь Н. В. Повести. Воспоминания современников*. М., 1989. С. 322).

В письмах друзьям он выискивает их впегательствие — Таково, например, письмо Гоголя к В. А. Жуковскому (26 июня 1842 г.), которому он послал «Мертвые души» и просил: «Ради Бога, сообщите мне ваши замечания. Будьте строги и неумолимы как можно больше. Вы знаете сами, как мне это нужно». В письме к С. Т. Аксакову от 18 августа 1842 г. Гоголь отмечает, что его особо интересуют отзывы о поэме самого Аксакова, М. П. Погодина и К. С. Аксакова.

...в мiрах иных — Мысль восходит к философии Платона. Розанов имеет в виду слова старца Зосимы в «Братьях Карамазовых» Достоевского (ПСС. Л., 1876. Т. 14. С. 290).

Последние главы «Мертвых душ» Гоголь сжег — В ночь с 11 на 12 февраля 1852 г. Гоголь сжег беловую рукопись законченного второго тома «Мертвых душ» и 21 февраля умер. Сохранившиеся в неполном виде пять глав черновых редакций были опубликованы в 1855 г.

С. 145. ...*согтен был основателем «натуральной школы»* — речь идет об оценке В. Г. Белинского.

С. 146. ...*отвечал профессору Градовскому* — А. Д. Градовский напечатал в газете-журнале «Гражданин» (1880. 25 июня. № 174) статью «Мечты и действительность» о речи Достоевского на Пушкинских торжествах. В «Дневнике писателя» за август 1880 г. Достоевский посвятил III главу ответу на «придирки» Градовского.

С. 147. «*как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии*» — начало повести Гоголя «Сорочинская ярмарка» (написана в 1829 г., опубликована в 1831 г. в первой книжке «Вечеров на хуторе близ Диканьки»).

С. 148. ...*никакого «оплотнения» души, о коем говорит г. Николаев, в них еще не было* — Ю. Н. Говоруха-Отрок (под псевдонимом Ю. Николаев) писал в статье «Нечто о Гоголе и Достоевском (По поводу статьи В. Розанова „Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского“» (МВ. 1891. 26 янв. № 26) о человеческой душе в изображении Гоголя: «Он и увидел ее мертвою, побороतोю плотью, забывшею себя. И показал ее нам в этом ее мертвом покое, в этом ее „оплотнении“ — и лишь изредка показывает он ее в движении».

«*Не мешайте этим приходите ко Мне*»... — Мк 10, 14; Лк 18, 16.

Как произошел тип Акакия Акакиевича

(с. 148)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: РВ. 1894. № 3. С. 161—172, с подзаголовком: «К вопросу о характеристике гоголевского творчества», который сохранился в 1-м и 2-м изданиях «Легенды». См. *Варианты*.

В Собр. соч. Розанова вошло в т. 7 (с. 143—151).

Печатается по тексту 3-го издания книги (СПб., 1906. С. 266—282).

Н. Н. Страхов писал об этой статье: «Резкая характеристика Гоголя, когда появилась в „Русском Вестнике“, вызвала большие упреки г. Розанову, и она, конечно, страдает преувеличением. Но основание ее заключается в действительной противоположности между Гоголем и Достоевским и в том, что критик решительно стал на сторону Достоевского» (Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. СПб., 1896. Кн. 3. С. 289).

С насмешливой критикой статьи Розанова выступил критик В. В. Чуйко, писавший в «Одесском Листке» 29 марта 1894 г.: «Любопытную и многозначительную намеками статью поместил г. Розанов в „Русском Вестнике“, статья называется „Как произошел тип Акакия Акакиевича“ и касается одной из черт творчества Гоголя, будто бы открытой г. Розановым».

С. 148. ...*созинения Гоголя в классическом издании их* — речь идет о комментированном издании Сочинений Гоголя в 7 томах под редакцией Н. С. Тихонравова, подготовившего первые 5 томов (1889); издание завершено в 1896 г. В. И. Шенроком.

...*лепажеского ружья* — охотничий штуцер, изготовленный парижским оружейником Жаном Ле Пажем. Его дуэльные пистолеты упоминал А. С. Пушкин в романе «Евгений Онегин»: «...Лепажа стволы роковые...» (гл. 6, строфа XXV).

С. 149. ...*гением Сперанского, который ~ налег на живую Россию* — Позднее, в статье «Несколько замечаний о духовных течениях русского раскола» (1896), Розанов развернул свою мысль о выдающемся государственном деятеле графе М. М. Сперанском как о «довершителе» Петровской реформы, создателе системы канцелярского делопроизводства, «погашающего всякий порыв и творчество» (РИК. С. 52, 53. (СС; Т. 26)).

С. 150. *...еще не выходил указ* — «Положение о гражданских мундирах», принятое в 1834 г.

...живете, мыслете, слово, твердо — названия букв (ж, м, с, т) в церковнославянской азбуке.

...одному коменданту сказали, что у статуи Петра отрублен хвост — подразумевается генерал П. Я. Башуцкий, знаменитый своей простотой и солдафонской непосредственностью, который занимал пост коменданта Петербурга в 1803—1833 гг. Упомянутый анекдот о нем обычно приписывался временам Александра I. В наиболее полном виде приведен в рукописном сборнике анекдотов Н. В. Кукольника (правда, вместо отрубленного у Медного всадника хвоста здесь речь идет о краже памятника):

«— Г. комендант! — сказал Александр I в сердцах Башуцкому, — какой это у вас порядок! Можно ли себе представить! Где монумент Петру Великому?..

— На Сенатской площади.

— Был да сплыл! Сегодня ночью украли. Поезжайте разыщите!

Башуцкий, бледный, уехал. Возвращается веселый, довольный; чуть в двери, кричит:

— Успокойтесь, Ваше Величество. Монумент целехонек, на месте стоит! А чтобы чего в самом деле не случилось, я приказал к нему поставить часового.

Все захохотали.

— 1-е апреля, любезнейший, 1-е апреля, — сказал государь и отправился к разводу.

На следующий год ночью Башуцкий будит государя:

— Пожар!

Александр встает, одевается, выходит, спрашивая:

— А где пожар?

— 1-е апреля, Ваше Величество, 1-е апреля.

Государь посмотрел на Башуцкого с соболезнованием и сказал:

— Дурак, любезнейший, и это уже не 1-е апреля, а сущая правда» (ИРЛИ. Ф. 371. № 73. Л. 19; цит. по: Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX века. М., 1990. С. 107).

Другой вариант приведен беллетристом В. П. Бурнашевым в его «Клубе анекдотистов и каламбуристов (из „Воспоминаний“ и из „Памятной книжки“ петербургского старожила)», печатавшемся в «Биржевых Ведомостях». Однажды при Александре I над Башуцким, шедшим к царю с ежедневным докладом, подшутил обер-гофмаршал двора А. Л. Нарышкин, сказавший, что ночью «тайные переодетые шведские (это было во время шведской кампании графа Н. М. Каменского) агенты сняли статую Петра Великого и увезли ее». Башуцкий поверил, испугался и «повинился» перед царем, что не доглядел (см.: Биржевые Ведомости. 1873. 2 сент. № 234. С. 1—2). Ср. упоминание в «Подростке» Ф. М. Достоевского: «Про коменданта Башуцкого тоже много было анекдотов, как монумент увезли» (Достоевский Ф. М. ПСС. Л., 1875. Т. 13. С. 168).

С. 151. *...пряжку в петлицу* — «знак отличия беспорочной службы» в виде пряжки с цифрами выслуги лет в дубовом венке.

С. 152. *...носят на головах ~ русские иностранцы* — имеются в виду уличные торговцы (офени) с ложками, которые они носили на голове.

С. 153. *...таковы оги у албанки Аннунциаты* — описка Розанова. У Гоголя: «очи у альбанки Аннунциаты». Альбанка — жительница Альбано, города на берегу одноименного озера вблизи Рима.

С. 154. *...«незримые слезы сквозь видимый смех»* — перефразировка слов из 7-й главы «Мертвых душ» («видимый миру смех и незримые ему слезы»).

С. 155. *...в заключительной строке «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»* — «Скучно на этом свете, господа!».

Послесловия к комментарию «Легенды о Великом Инквизиторе»

Ф. М. Достоевского

(с. 156)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: ЗР. 1906. № 11–12. С. 97–101.

В Собр. соч. Розанова вошло в т. 7 (с. 152–156).

Печатается по первой публикации.

С. 156. *Иные дни — иные сны* — А. С. Пушкин. Отрывки из путешествия Онегина («Другие дни, другие сны»).

С. 157. *В Оптину Пустынь ~ написал записочку-просьбу...* — Письмо Н. В. Гоголя иеромонаху Филарету 19 июня 1850 г. из села Долбино, имения И. В. Киреевского.

С. 160. *«Моя осанна сквозь горнило испытаний прошла»* — см. примеч. к с. 100. «ей, гряди» — Откр 22, 20.

С. 161. *Тропарь и кондак* — краткие церковные песнопения в честь какого-либо праздника или святого.

С. 162. «Горы, падите на нас!...» — вольная цитата из Апокалипсиса (Откр 6, 16).

СТАТЬИ 1889—1900 гг.

1889

ПАСКАЛЬ

(с. 165)

Неоконченный автограф в РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 42. Л. 1–15. Впервые напечатано: Человек. 2001. № 4. С. 76–98 (публикация В. Г. Сукача).

В Собр. соч. Розанова включено в т. 28 (с. 12–34).

Печатается по тексту первой публикации, сверенной с автографом.

Статья возникла в связи с переводом «Мыслей» французского философа и ученого Блеза Паскаля (1623–1662), выполненным коллегой Розанова по Елецкой гимназии П. Д. Первовым (СПб., 1888), и как продолжение идей, высказанных в книге Розанова «О понимании». На второе издание «Мыслей» Розанов написал рецензию (*НВип.* 1899. 6 окт.; см. с. 590 в наст. томе).

Розанов работал над статьей в течение июня–августа 1889 г. В июне того же года он писал Н. Н. Страхову: «Пишу я „Р. В.“ не „О праве государей и народностей“, а о Паскале по поводу перевода его „Мыслей“ Первовым, и тут мне захотелось сделать услугу ему, да и высказать вообще разные мысли. Вы скажете: что вы за сумасшедший, начинаете одно, а кончаете другим, но я всегда был с примесью сумасшествия» (*ЛИ.* С. 211). В письме от 21 апреля 1890 г., делясь со Страховым своими впечатлениями от вышедшего в ноябре 1889 г. № 1 «Вопросов Философии и Психологии», Розанов писал: «Есть у меня еще 24 стр. „Паскаля“ — но они недокончены, хотя написаны хорошо положительно, т. е. и в смысле слога, и тона. Но летом я не буду даже его кончать, чтобы жить исключительно Достоевским» (Там же. С. 206). Таким образом, Розанов собирался летом 1890 г. вести работу над «Легендой о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского». Но он не забывал о «Паскале» и писал Страхову 13 августа 1889 г.: «О Паскале будет большая статья — иначе не умею писать, с биографией. Не сердитесь» (Там же. С. 213).

В черновом варианте статья имела подзаголовок: «Страница из истории европейского просвещения». На чистовом автографе помета: «Напечатать после моей смерти». Во втором коробе «Опавших листьев», говоря о составе тома «О писателях и писательстве» (так первоначально называлась книга), Розанов отмечает: «Сюда должны войти (в рукописях) неоконченные статьи „Паскаль“, „Христианство и язык“, „Фауст“» (Л. С. 308).

Эпиграф к статье «Паскаль» составлен из четырех отрывков из «Мыслей» Паскаля в переводе П. Д. Первова. См. комментарии В. Г. Сукача в кн.: *Розанов В. В. Соч.* Красота в природе и ее смысл и другие статьи 1882–1890. М., 2009.

С. 166. *Порт-Рояль* — монастырь во Франции, ставший центром яansenизма, реформаторского движения в католической церкви XVII в., оказавшего влияние на Паскаля и Расина.

30-летняя война — войны 1618–1648 гг. между Габсбургами (Испания, Австрия, католические князья Германии) и победившей коалицией Франции, германских протестантских князей, Швеции, Дании, поддержанной Англией, Голландией и Россией.

Революция, и всего только одна — подразумевается Английская революция (1640–1660).

С. 167. *Гюйгенс писал о применении высшей математики к азартным играм* — трактат нидерландского ученого Х. Гюйгенса «О расчетах при игре в кости или при расчетах при азартных играх» (1657).

«Установление божественной юриспруденции» — трактат немецкого философа К. Томазия (1702).

«Натала» — главный труд И. Ньютона «Математические начала натуральной философии» (1687).

...математик, изобретший дифференциальное исчисление, тревожно ищет философских доводов — речь идет о немецком философе Г. В. Лейбнице и его труде «Теодицея» (1710; рус. пер. 1887–1892).

...творец аналитической геометрии — имеется в виду Рене Декарт, автор «Геометрии» (1637).

С. 168. *Элейская школа* — объединяет древнегреческих философов VI–V вв. до н. э. Парменида, Мелисса Самосского, Зенона из Элеи (отсюда название).

«Новый органон» — трактат английского философа Ф. Бэкона (в отличие от «Органона» Аристотеля).

«Общественный договор» — трактат Ж. Ж. Руссо «Об общественном договоре» (1762; рус. пер. 1906).

«Левиафан» — главный труд английского философа Т. Гоббса (1651).

Ньютон открывает исчисление бесконечно малых ~ пока другой не изобретает его вновь — речь идет о споре Ньютона и Лейбница о первенстве открытия исчисления бесконечно малых.

...один знаменитый математик нынешнего столетия — предположительно, А. Пуанкаре.

С. 169. *«Теологико-политический трактат»* (1670) — сочинение нидерландского философа Б. Спинозы.

...враг Мейер, единственный свидетель его одинокой смерти — Людовик Мейер, врач и видный в свое время нидерландский литератор, был ближайшим другом Б. Спинозы.

...конгину Локка, как о ней рассказывает Кост — имеются в виду два письма французского переводчика Пьера Коста к приверженцу Дж. Локка Жану Леклерку о характере и последних днях жизни Локка, умершего 27 октября 1704 г.

Конгрегация Оратории — сообщество в католической церкви, основанное итальянским святым XVI в. Филиппом Нери.

С. 169. *Целый ряд математиков и физиков: Валлис, Паскаль...* — Розанов излагает книгу: *Био Ж. Б. Биография Ньютона*. М., 1869. С. 101–102.

«Я не знаю, что люди будут думать о моих...» — Там же. С. 106.

...издание «Энциклопедии» — В 1751–1780 гг. в Париже была издана «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» в 35 томах.

С. 170. «В поте лица твоего будешь есть хлеб...» — Быт 3, 19.

«Рассуждение о методе» — одно из основных сочинений французского философа Рене Декарта «Рассуждение о методе для хорошего направления разума и отыскания истины в науках» (1637; рус. пер. 1873).

«Этика» (1677) — сочинение нидерландского философа Бенедикта (Баруха) Спинозы. С 1886 по 1911 г. книга была переиздана пять раз в двух переводах (В. И. Модестова и Н. А. Иванцова).

...неурядицею ли с билетами на Финляндской дороге — Финляндская железная дорога, соединявшая Петербург и Гельсингфорс, была открыта в 1870 г. Местность вдоль нового пути стремительно застраивалась благодаря дачному строительству и «квартирному кризису», вынуждавшему с 1890-х гг. чиновников, служащих и студентов переселяться в пригороды. Поезда, особенно при сокращенном зимнем расписании, не успевали перевозить всех желающих.

Теперь готовится к выпуску новый перевод «Этики» — Спиноза Б. Этика, доказанная в геометрическом порядке и разделенная на пять частей / Пер. с лат. Н. Иванцова. М., 1892. (Труды Московского психологического общества).

...оставленном Колерусом — Колерус И. Жизнеописание Спинозы. Харьков, 1877. Позднее была издана «Переписка Бенедикта де Спинозы с приложением Жизнеописания Спинозы Колеруса» (СПб., 1891).

С. 171. *Г. Любимов прекрасно формулирует это...* — Любимов Н. А. Философия Декарта. Рассуждение о методе. СПб., 1886. С. 1.

«О физических учениях в эпоху Декарта» — Любимов Н. Из истории физических учений с эпохи Декарта // РВ. 1878. № 7. С. 211–285; № 9. С. 358–414; 1880. № 5. С. 5–71.

...кинетическую теорию газов, недавно возникшую — Основателем этой теории был английский физик Уильям Томсон, профессор университета в Глазго (1846–1899).

С. 172. ...падуанских профессоров — имеются в виду математик С. Анджелис, биолог А. Валлиснери, натурфилософ Ч. Кремонини и др.

«Пантеон литературы» — трехмесячный журнал, издавался в Петербурге в 1888–1895 гг. сначала А. Н. Чудиновым, а с 1891 г. — Ф. В. Трозинером.

«Опыт о человеческом разуме» (1690) — главное сочинение английского философа Джона Локка (рус. пер. 1898).

С. 173. ...Тацитом в его «Летописях» — этот труд римского историка Тацита более известен под заглавием «Анналы» (оригинальное название — «От кончины божественного Августа»). См. изд.: *Кай Корнелий Тацит. Летопись: В 2 ч.* / Пер. А. Кронеберга. М., 1858.

С. 174. *Каро, писавший о пессимизме XIX века* — Каро Э. Пессимизм XIX века. М., 1883.

...жизнеописание его, написанное М-те Периз, его сестрою — Мемуарный очерк «Жизнь Блеза Паскаля», созданный его старшей сестрой Жильбертой, увидел свет в 1670 г.

С. 177. ...вопрос разбирается Эвклидом в 32-м предложении его «Начал» — предложение 32 книги I «Начал» гласит: «три угла треугольника равны двум прямым».

С. 178. «Тираническая любовь» — драма Жоржа де Сюдери «Тираническая любовь, или Переодетый принц», которую дети играли перед Ришелье в апреле 1639 г.

С. 179. *...природа боится и избегает пустоты* — выражение Аристотеля, ставшее особенно популярным после выхода в свет романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1535), в котором упоминалось об убежденности средневековых физиков в том, что «природа боится пустоты», чем объяснялся, например, подъем воды в насосах (ч. 1, гл. 5).

С. 181. *...на сестру его* — речь идет о младшей сестре Б. Паскаля поэтессе Жаклин, в возрасте 28 лет принявшей постриг в монастыре Пор-Рояль с именем Сент-Евфимии.

С. 182. «*Письма к провинциалу*» — памфлет Паскаля печатался в 1656—1657 гг.

«*Imago primi saeculi Societatis Jesu...*» — В 1903 г., в примечаниях к публикации писем К. Н. Леонтьева, Розанов упоминал это юбилейное издание и свое знакомство с ним: «Недаром иезуиты (я видел в „*Imago primi saeculi Societatis Jesu*“, Antwerpen, 1640 г.) в первую фанатичную пору существования своего изображали „общество Иисусово“ как корабль среди бушующих волн. „Только мы спасаемся, — грядите к нам! Вне — гибель!“» (ЛИ. С. 330). Полный перевод названия книги с латыни — «Очерк первого века существования Общества Иисуса, составленный отцами провинции Фландрия-Бельгия». Здесь, в частности, утверждалось, что иезуиты ведут свое происхождение прямо от Христа и Богородицы как орудие, созданное самим Божественным Провидением, и что в истории Общества Иисуса исполняются все ветхозаветные пророчества.

С. 183. «*Трактат об арифметическом треугольнике*» — Книга Паскаля вышла в свет в 1654 г. и заложила основы теории вероятности, что подвигло Х. Пойгенса к решению этих задач в сочинении «О расчетах в азартных играх» (1657).

С. 185. *...бросилась в сторону* — на этих словах рукопись статьи обрывается.

1892

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ИСТОРИИ

(с. 186)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: РВ. 1892. № 1. С. 156—188; № 2. С. 7—35; № 3. С. 281—327. В № 2 и 3 заглавие, данное редактором журнала Ф. Н. Бергом по просьбе Розанова: «Теория исторического прогресса и упадка». Об истории изменения названия Розанов рассказал в одном из своих примечаний 1903 г. к публикации писем К. Н. Леонтьева, в котором пояснял следующие его слова из письма от 13 августа 1891 г.: «Вы с полуслова меня поймете. Я *уверен* в этом именно вследствие *верного выбора* Вами заглавия для статьи обо мне. Да, он верен, но *невыгоден* с практической стороны. По существу, по глубочайшей основе моего образа мыслей это так: „Эстетическое воззрение“! Но именно такое-то *указание* на *сущность* моего взгляда может компрометировать его в глазах нынешних читателей» (ЛИ. С. 372—373). Розанов комментировал: «Под влиянием этого соображения Л—ва, практически довольно основательного, я написал редактору „Русск. Вестн.“ 1892 г. (когда печаталась статья) переменить заглавие „Эстетическое понимание истории“ на другое: „Теория исторического прогресса и упадка“. Но письмо мое (из г. Белого) было получено в Петербурге, когда уже появилась январская часть моей статьи *под первым заглавием*; тогда редактор вторую, февральскую часть, выпустил *под вторым заглавием*. Не помню, под которым заглавием вышла мартовская часть; но только эта путаница с заглавиями была равно вредна и смешна» (ЛИ. С. 373).

Эпиграф взят из начала книги К. Н. Леонтьева «Национальная политика как орудие всемирной революции». О замысле статьи, посвященной К. Н. Леонтьеву, Розанов писал Н. Н. Страхову после 12 декабря 1890 г.: «Когда я читал его „Византизм и Славянство“,

мне ужасно хотелось написать о нем статью под названием „Эстетическое понимание истории“ и, быть может, это я сделаю со временем» (ЛИ. С. 249).

В первой половине мая 1891 г. Розанов писал Леонтьеву: «Зимой у меня была начата статья о Вас (стр. 20), но прервал за совершенною невозможностью дальше писать по недосугу. Вспомните же, что я ежедневно даю в гимназии 5 уроков» (ЛИ. С. 400). 24 мая Леонтьев в письме к Розанову делает приписку: «Рукопись и портреты, ваш и жены вашей, не забудьте прислать». Розанов немедленно выслал статью, и 5 июня Леонтьев сообщает: «Статью вашу обо мне (от которой, конечно, я в восторге) не осмелился возвратить вам, несмотря на то, что заметки к ней уже готовы» (ЛИ. С. 351). 13 июня того же года Леонтьев писал Розанову из Оптиной Пустыни: «Ваша статья... Еще прежде получения вашего последнего письма я уже сделал к ней примечания на особых листах. Часть их касается до вас, часть до меня. Вам я делаю замечания только *стилистические*; это мой „пункт“. О себе кое-что кратко биографическое, ибо в этом вы по незнанию фактов немало ошиблись (например, о моем „стремлении в центры деятельности“ и т. п.). По *существу* же я не только не могу почти ничего на вашу статью возразить, но не умею и даже... как-то *боюсь* вам выразить... до чего я изумлен и обрадован вашими обо мне суждениями!.. С самого 73 года, когда я в первый раз напечатал у Каткова политическую статью („Панславизм и греки“), и до *этой* весны 91 года я ничего подобного не испытывал! Нечто успокоительное и грустное в то же время! Если бы статья ваша была окончена и напечатана, то я мог бы сказать: „Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко!..“. Теперь еще, пока статья ваша не окончена и не напечатана, я, конечно, не могу этого воскликнуть; но все-таки могу сказать: „Наконец-то после 20-летнего почти ожидания я нашел человека, который понимает мои сочинения *именно так, как я хотел, чтобы их понимали!*“».

Получив замечания Леонтьева, Розанов в письме в июле сообщал ему: «Статью о Вас я надеюсь кончить зимой, на Святки, или, еще вернее, на Святой — ибо это единственно незанятое службой время» (ЛИ. С. 406). Однако Розанов закончил статью в 1891 г., и она смогла появиться в январском номере «Русского Вестника» за 1892 г.

Публикуя это письмо в 1903 г. (РВ. № 4—6), Розанов делает к нему примечание о рукописи «Эстетическое понимание истории»: «В начале ее сделан был очерк его теории „триединого процесса“, о котором он выше говорил и которая составляет ключ к разумению всех его писаний, и заметки о его личности. В них, между прочим, я упомянул, что Л-в „стремился в центры деятельности“ (т. е. столицы), но всегда от них был (*fatum*) „отталкиваем“ (в провинцию глухую, в турецкую „заграницу“))» (ЛИ. С. 352).

В конце письма Леонтьева от 13 июня 1891 г. Розанов дает «Примечания», в которых приводит 23 замечания Леонтьева на рукопись «Эстетическое понимание истории». В архиве Розанова (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 517. Л. 27—30) сохранился оригинал этого письма, в котором содержится 35 пронумерованных замечаний Леонтьева и в конце дата: 11 июня 91 г. Розанов зачеркнул ряд замечаний (в основном принятых) и проставил свою нумерацию их. Например, после замечания, обозначенного Розановым как № 12 (у Леонтьева это был № 15) следует зачеркнутое замечание № 16: «Не лучше ли будет выразиться наоборот: „во всех *других оттенках*“ (менее взыскательных)?». Так и сделано в опубликованном тексте в предпоследнем абзаце первого раздела «Эстетического понимания истории»: «Так, грубое описание физиологических отравлений в „Смерти Ивана Ильича“ не оскорбляет его вкус, как оно оскорбляло вкус многих критиков, во всех других отношениях менее взыскательных». Ввиду отсутствия первоначальной рукописи статьи можно лишь догадываться, каково было первоначальное выражение, исправленное Розановым. Замечания Леонтьева носили во многих случаях стилистический характер, и при этом он извинялся: «Простите доброжелательную дерзость» (л. 27).

После замечания № 13 (по нумерации Розанова) зачеркнуто замечание № 18 (по нумерации Леонтьева): «Простите мою мелочность: не *выгоднее ли* будет для меня, если Вы вместо „огень внимательной“ скажете „хоть *мало-мальски* внимательной“? — Вы сами

в книге „О понимании“ так хорошо пишете о „целесообразности“; цель ваша мне *благоприятна* — в высшей степени; поэтому и позволяю себе даже и эту ничтожную заметку». Розанов в том же абзаце учел пожелание Леонтьева.

Конец примечания № 17 (по нумерации Розанова), начиная со слов «Консульская роль на Востоке...», значится у Леонтьева под № 26. Примечание № 18 (по нумерации Розанова) у Леонтьева состояло из двух (№ 27 и № 28, начиная с «И за слова о славянофилах...»). Примечание Леонтьева № 29 (о высокой оценке взглядов Леонтьева) было вычеркнуто: «Это уж немножко и страшно... До того лестно... Впрочем, не препятствую... Продолжайте, нам приятно». Вычеркнуто также после примечания Розанова № 20 (№ 31 у Леонтьева) примечание № 32: «Почему Паскаль? Не ясно. „На память“ ничего не приводим <далее неразб.>». Упоминание Паскаля было исключено из работы.

Публикуя письма К. Н. Леонтьева и его примечания к розановской работе «Эстетическое понимание истории», Розанов к первому примечанию Леонтьева к фразе «Влад. Соловьёв сильно порицал Страхова за то, что он допустил практическую дуру вдову Фед. Мих. это напечатать после его смерти» записал сноску: «Вставлен грубый порицательный эпитет, который мы опускаем. В. Р-в» (ЛИ. С. 359). Речь шла о заметке Достоевского в записной тетради 1880—1881 гг., направленной против Леонтьева (см.: *Достоевский Ф. М.* ПСС. М., 1984. Т. 27. С. 51), и Розанов заменил слово «дуру вдову» на «практическую вдову». Однако читатель, судя по названной сноске Розанова, мог подумать о гораздо более сильном слове. Может быть, это был определенный литературный прием со стороны Василия Васильевича. После переезда в Петербург в 1893 г. Розанов познакомился с вдовой Достоевского Анной Григорьевной, и началась их многолетняя переписка, опубликованная Э. Гарэтто в историческом альманахе «Минувшее» (М., 1992. № 9).

В разделе VII текст от абзаца «Знаменитые и немногие формы политического устройства...» до конца этого раздела вошел затем в первое издание книги Розанова «Природа и история» (СПб., 1900).

В Собр. соч. Розанова включено в т. 28 (с. 35—114).

Печатается по тексту первой публикации.

На начало печатания в «Русском Вестнике» статьи Розанова отозвался М. Южный (псевдоним М. Г. Зельманова) в статье «Еще о К. Н. Леонтьеве» (Г. 1892. 28 января): «В январской книжке журнала началась большая статья о Леонтьеве, о сущности его миро-созерцания — под общим заглавием „Эстетическое понимание истории“. Статья принадлежит перу г. Розанова, столь великолепно и многообещающе выступившего несколько лет назад на литературное поприще. Статья далеко еще не кончена, но уже по началу можно с уверенностью сказать, что редакция не ошиблась в выборе, начав ознакомление читателей с основными воззрениями К. Н. Леонтьева именно с статьи г. Розанова, так как здесь — это уже и теперь видно — с обычною глубиною схвачена вся сущность предмета и отчетливо и ясно показана читателю. Статья далеко еще не кончена; но в том, что уже напечатано, так много хорошего и любопытного, что есть на чем остановиться».

С. 186. *...по базару литературной суеты* — перепев названия романа У. Теккерея «Ярмарка тщеславия» («Vanity fair», 1847—1848) — «Базар житейской суеты» в переводе И. И. Введенского (1853).

...в желтньх строках Достоевского сказалаь какая-то ненависть — имеются в виду строки из «Записной тетради 1880—1881 гг.» Достоевского: «*Леонтьеву (не стоит добра желать миру, ибо сказано, что он погибнет)*. В этой идее есть нечто безрассудное и нечестивое. Сверх того, чрезвычайно удобная идея для домашнего обихода: уж коль все обречены, так чего же стараться, чего любить, добро делать? Живи в свое пузо. (Живи впредь спокойной, но в одно свое пузо.)» (*Достоевский Ф. М.* ПСС. Л., 1984. Т. 27. С. 51).

На слова Розанова Леонтьев написал в письме от 13 июня 1891 г. замечание № 1: «„Ненависти“ *собственно* у Д-го ко мне не было; напротив того, он при последней нашей

встречи в Петербурге (в 80-м году, всего за месяц *до реви*) был особенно любезен, ибо весьма сочувствовал моим передовым статьям в „Варш. Дн.“. Но когда я, живя тогда в калужской своей деревне, прочел эту речь о „гармонии“, то ужасно удивился и огорчился; я считал его *настоящим* православным, а настоящее православие *даже права* (по учению и предсказанию евангельскому и апостольскому) не имеет ждать „всепримирения“, „все-прощения“, „вселюбия“ и вообще *моральной* гармонии (здесь), а может допускать только временные улучшения и ухудшения. (*Теперь*, в 80-х годах, *улузшается*.) Огорчившись, я написал статью об его речи <О всемирной любви. По поводу речи Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике // Варшавский Дневник. 1880. 29 июля, 7, 12 авг.>, а он, ображенный со слов Аксакова и других, что его речь — великое „событие“ (Катков заплатил ему за эту речь 600 р., но за глаза смеялся, говоря: „*Какое же это событие?*“), ужасно на меня рассердился и написал свою заметку. Я ее не видел и не искал видеть, но мне говорили *погитатели* его (в том числе Влад. Соловьёв), что она „очень нехороша“, и Влад. Соловьёв сильно порицал Страхова за то, что он допустил практическую вдову Фед. Мих. это напечатать после его смерти. Соловьёв находит, что эта заметка не делает Д—му чести» (ЛИ. С. 358—359). Приводя это замечание Леонтьева, Розанов сообщает, что он опустил «грубый порицательный эпитет» по поводу вдовы Достоевского.

С. 187. *...сжился с миром его <Толстого> художественного творчества ~ как будто пресытившись им.* — На эти слова Леонтьев делает замечание: «Пресытился я давно (еще живя в Турции, в 70-х годах) *всей русской школой*» (ЛИ. С. 360).

Погти невозможно не согласиться с его взглядом на Толстого ~ чтобы их выразить. — На это Леонтьев заметил: «*Верно! Превосходно! Ясно!*» (ЛИ. С. 360).

С. 188. *Этот анализ, недостаточно проникающий у Гонгарова ~ придумывание и фантазирование* — На это Леонтьев написал: «Восхитительно сказано. В 10 раз яснее, чем у меня» (ЛИ. С. 360).

...геловека, не вышедшего из первобытной наивности (Сюда принадлежит ~ тип старика Алпатыга, с его поездкою в Смоленск) — Леонтьев возражает: «Так ли это насчет силы Толстого в изображении „первобытной наивности“?.. Я сомневаюсь. Не потрудитесь ли вы заглянуть на досуге еще раз и в его романы, и в те страницы моего „Анализа“, где я говорю о *простых* людях, что он их тайные чувства плохо разбирает. Что касается до фигуры *Алпатыга* (в „Войне и мире“), то, во-1-х, он уже немножко „интеллигенция“; да и в описании сражения под Смоленском я вижу больше картину внешнюю, чем ряд идей и ощущений *Алпатыча*» (ЛИ. С. 361).

С. 189. *В одном только, в национальности, он встречает некоторое препятствие ~ не хочет переступить* — Замечание Леонтьева: «По моему мнению, не хочет *рисковать*, боится не справиться в оттенках; как *не справился* с душой Наполеона; все одно и то же — самолюбие, и только (т. е. у *его* Наполеона)» (ЛИ. С. 361).

...он любит их унижать ~ оборванные, обципаные своим творцом — Леонтьев возражает: «Не слишком ли эти слова „*оборван., обципан.*“ — крайни?.. Можно ли назвать такими словами изображение Андр. Болконского, Вронского, Левина, даже бесхарактерного, но умного и симпатичного Пьера Безухова? И многих других. Отчего же они (*после лиц предыдущих* авторов, Тургенева, Писемского, Достоевского) производят весьма положительное, а не *отрицательное* впечатление?» (ЛИ. С. 361).

С. 190. *...«поплоче, послабее, побледнее» выражено в эпоху отегественной войны* — ср. у Леонтьева: «Все в 12-м году, за исключением *государственного патриотизма*, было выражено в жизни русского общества побледнее, послабее, попроще и поплоче (не плохо, а плоско), так сказать, *побарельфнее*, чем в эпоху Крымской войны. К 50-м годам сила государственного патриотизма много *понизилась*, но все другие психические и умственные запасы общества возросли донельзя. Я нахожу, что с тех пор *кагественно* даже ничего не прибавилось у нас. Все уже было в запасе, в теории; даже и *нигилизм* — *нынешнего*,

а не старофранцузского оттенка» (Леонтьев К. О романах гр. Л. Н. Толстого: Анализ, стиль и веяние: (Крит. этюд). М., 1910. С. 139).

Леонтьев ~ указывает на первое пробуждение у нас сильного воображения, которое замегаются в Гоголе — Леонтьев поясняет: «Я хотел сказать: „более оригинальной, творчески-русской фантазии, чем фантазия Жуковского (германская) или Пушкина“ (как бы общечеловеческая в самом лучшем смысле, но не особенно оригинальная)» (ЛИ. С. 361).

...грубое описание физиологических отравлений в «Смерти Ивана Ильича» не оскорбляет его вкус — см.: «Когда у Толстого Иван Ильич ходит „на судно“ — это ничего. Иван Ильич — больной, умирающий человек. Мне это здесь нравится» (Леонтьев К. О романах гр. Л. Н. Толстого. С. 100).

...множество мимолетных замечаний ~ в «Войне и мире» он справедливо признает ни для чего не служащими — см., например: «...когда Пьер „тетёшкает“ (непрерменно тетёшкает. Почему же не просто „нянжит“?) на большой руке своей (эти руки!!) того же ребенка, и ребенок вдруг марает ему руки — это ничуть не нужно, и ничего не доказывает. Это грязь для грязи, „искусство для искусства“, натурализм сам для себя. Или, когда Пьер в той же сцене улыбается „своим беззубым ртом“. Это еще хуже. На что это? — Это безобразия для безобразия. И ребенок не ежеминутно же марает родителей; и года Пьера Безухова (даже и в конце книги) еще не таковы, чтобы непременно не было зубов; могли быть, могли и не быть. Это уже не здравый реализм; это „дурная привычка“, вроде привычки русских простолюдинов братья не за замок белой двери, а непременно „захватать“ ее пальцами там, где не нужно» (Там же. С. 103).

...меткие характеристики ~ Достоевского, Тургенева, Щедрина — см.: «Анализ Достоевского довольно однороден в своей болезненной, пламенной, иступленной искорканности» (Там же. С. 134). Тургенев, по мнению Леонтьева, «под влиянием времени, портил свой нежный, изящный, благоухающий талант то поползновениями на нечто вроде юмора, которого у него было мало, то претензиями на желчь. Я говорю „претензиями“, ибо если уж хочешь упиваться иступленною желчью, так надо не Тургенева читать, а Щедрина, или „Записки из Подполья“ Достоевского» (Там же. С. 113); «У Щедрина желчь сухая, злорадная, подлая какая-то, но сильная в этой своей подлости» (Там же).

С. 191. ...Кохановской, Евг. Тур, Марко-Вовчка — см.: «...ее <Н. С. Кохановской> поэзия так могущественна и самобытна, ее язык местами так живописно-оригинален и страстен, что за некоторые неловкости в изложении она вознаграждает сторицей. Иногда она напоминает и что-то гоголевское, — но какое?.. Она напоминает положительные стороны великой гоголевской музыки: его мощный пафос, его выразительные, лирические, пламенные отношения к природе и т. п.» (Там же. С. 119); «„Племянница“, „Три поры жизни“ и другие повести Евгении Тур написаны языком чистым, простым, — стародворянским, так сказать, — языком, напоминающим больше тридцатые года, чем сороковые» (Там же); «И я помню, до чего я еще в 60 году вздохнул свободнее, когда услышал милую, музыкальную, благоухающую (хотя и либерально-тенденциозную) речь М. Вовчка» (Там же. С. 22).

...характеристика посвящена только С. Т. Аксакову — Приведем фрагмент этой характеристики С. Т. Аксакова: «И старик Аксаков сам не был гением, но „Семейная хроника“ — сочинение гениальное в том смысле, что оно истинно „классическое“. Оно уж ничем, ни одною фальшивою чертой не испортит ни вкуса, ни языка, ни привычек наблюдения тому, кто попал под его влияние; оно только может исправить их, вывести на более чистую, прямую, трезвую дорогу. И сверх того — оно ни при каком настроении ума не оскорбит ничем самого разборчивого, строгого, самого причудливого вкуса. Не оскорбит „Семейная хроника“ этого вкуса так же, как не может его оскорбить *весь* Пушкин, как не оскорбляют его „Ундина“ Жуковского или последние, народные рассказы Толстого» (Там же. С. 121).

С. 191. *характеристика этого писателя, оставленная нам Хомяковым* — имеется в виду некрологический очерк «Сергей Тимофеевич Аксаков» (Русская Беседа. 1859. Кн. 3. С. I—VIII), которым А. С. Хомяков откликнулся на смерть писателя, названного в нем «великим художником», живописцем русской природы, великолепным мастером русского языка, который он своими произведениями продвинул «вперед, даже после Пушкина и Гоголя».

Как будто сила жизни ~ ни трагизм их внешней развязки — Леонтьев подтверждает: «Превосходно! В высшей степени точно: „отчуждающийся“» (ЛИ. С. 361).

Вековые течения истории и философия ~ влекущая нас к себе — По поводу этого места статьи Леонтьев писал: «Я опасуюсь для будущего России густой оригинальной и гениальной философии... Она может быть полезна только как пособница богословия... Лучше 10 мистических сект (вроде скопцов и т. п.), чем 5 новых философских систем (вроде Фихте, Гегеля и т. п.). Хорошие философские системы, именно хорошие, — это *нагало конца*» (ЛИ. С. 362).

С. 192. В «Варшавском Дневнике» — Русский официоз в Варшаве, ежедневная газета «Варшавский Дневник», выходила в 1864—1915 гг. В декабре 1879 г. Леонтьев получил приглашение стать помощником редактора князя Н. Н. Голицына, а в № 5 от 7 января опубликовал уже первую свою статью в этой газете — «Болгарские дела и „Русские Ведомости“». Состоял Леонтьев в этой должности по апрель 1880 г.

С. 193. *Его служба в должности консула в турецких и славянских ~ землях* — Леонтьев в октябре 1863 г. был назначен секретарем русского консульства на о. Крит. С 1864 г. он в течение двух с лишним лет исполнял обязанности консула в Адрианополе. После отпуска в Константинополе, в 1867 г., Леонтьев получил пост вице-консула в придунайском городке Тульче, а в 1869 г. был назначен консулом в албанский город Янину, но вскоре переведен в Салоники. После тяжелой болезни в 1871 г. Леонтьев прервал свою дипломатическую карьеру.

...г. Якубовский, о котором он вспоминает — Дипломат Н. Ф. Якубовский в 1866—1873 гг. служил консулом в Македонии и Битолии; замещал Леонтьева в Салониках, когда тот уехал на Афон. О своей дружбе с Якубовским Леонтьев упоминал в статье «Панславизм на Афоне» (1873; см.: Леонтьев К. Н. ПСС: В 12 т. СПб., 2005. Т. 7. Кн. 1. С. 240—241).

...из всех идей, волнующих современный политический и умственный мир ~ противоречащую ее основной идее — Леонтьев добавляет: «Вот за это спасибо! Не смеешь и верить! Не избаловали люди!.. И за слова о славянофилах большое спасибо!.. Именно „наивные“ верования старых славянофилов противоречили их основной идее» (ЛИ. С. 363).

С. 199. «*Ты персть был...*» — правильно: «персть», земной прах. Источник выражения — Ветхий Завет: «...прах ты, и в прах возвратишься» (Быт 3, 19). Ср. сходный стих из перевода Д. П. Ознобишиным (1860) «Псалма жизни» Генри Лонгфелло (1838): «Перст ты был, и перстью станешь».

С. 202. *Бич Божий* — прозвание Аттилы, вождя гуннов, который в 452 г. осадил Рим. По преданию, папа Лев I приветствовал его словами: «Приветствую тебя, бич Божий».

...семитическому духу ~ противоположен арийский дух — названы два (семитический и арийский) из трех (наряду с туранским) религиозно-расовых типа, выделявшихся антропологией второй половины XIX в.

С. 203. *Беспользная деятельность Демосфена* — видимо, подразумевается тот факт, что древнегреческий оратор IV в. до н. э. Демосфен не сумел своими филиппиками противостать экспансии царя Филиппа II и его сына Александра Македонского.

...бегающий с Марафонского поля мальчик — 13 сентября 490 г. до н. э. греки в ходе Греко-персидской войны победили персов при поселении Марафон (42 км от Афин). Грече-

ский воин-говец был отправлен в Афины с вестью о победе. Достигнув цели, он успел крикнуть: «Радуйтесь, афиняне, мы победили!» — и упал замертво.

...Фукидид в тисле слушателей Геродота — источник этого предания о древнегреческих историках — византийская энциклопедия X в.

...Софокл мог бы и не иметь дурных детей — Сын Софокла Иофон, тоже писавший трагедии, согласно распространенному историческому анекдоту, вызвал в суд престарелого отца, желая доказать, что тот уже не в состоянии управлять имуществом семьи. Софокл убедил судей в своей умственной полноценности, продекламировав оду в честь Афин из трагедии «Эдип в Колоне».

...законодательства и утращения ~ какие оставил Солон — реформы афинского законодателя Солона, проведенные им в 594—593 гг. до н. э., когда он был архонтом и айсимнетом.

...в плодотворности всех замыслов Перикла ~ сомневался и Фукидид — Политический деятель и полководец Перикл в 444 г. до н. э., после изгнания из Алопеки своего противника Фукидида, вождя аристократической группировки, стал стратегом Афин. Историк Фукидид был пылким приверженцем политики Перикла. О каком из двух Фукидидов (они были родственниками) говорит Розанов, не ясно.

Алкивиад ~ не сомневаемся ни в его пороках, ни в полном вреде его для государства — Афинский оратор и полководец Алкивиад, уже в юности снискавший известность распутным поведением, был наделен огромным честолюбием и часто менял политическую ориентацию в зависимости от политического момента.

Греция ~ боролась с «великим царем» — речь идет о периоде греко-персидских войн и, вероятно, о персидском царе из династии Ахеменидов, скорее всего — о Дарии I Великом, правившем с 522 г. до н. э.

...походе в Сицилию ~ ногой оргии с разбитыми статуями — Афинский полководец Алкивиад предпринял в 415 г. до н. э. экспедицию в Сицилию, но перед этим походом в ночь на 11 мая были опрокинуты гермы (статуи бога Гермеса с подчеркнута выраженным фаллосом) в Афинах, и его враги пытались обвинить в этом Алкивиада. Вскоре он был заочно осужден на смерть и потому перешел на сторону Спарты и выдал государственные тайны Афин.

С. 204. Конвент — Национальный конвент (Convention nationale) — законодательный орган во время Великой французской революции (1792—1795).

...залитые кровью Вандея, Нидерланды — имеются в виду подавление Вандейского антиправительственного мятежа, вспыхнувшего весной 1793 г. в западно-французском департаменте Вандея, и оккупация Францией австрийских Нидерландов (совр. Бельгия), начатая в 1793—1794 гг.

...Тацит заметил, что германец всегда ставит себе жилище среди своих полей... — Пересказывается сообщение Корнелия Тацита из его сочинения «О происхождении германцев и местоположении Германии» (гл. 16): «Хорошо известно, что народы Германии не живут в городах и даже не терпят, чтобы их жилища примыкали вплотную друг к другу. Селятся же германцы каждый отдельно и сам по себе, где кому приглянулись родник, поляна или дубрава. Свои деревни они размещают не так, как мы, и не сгущают теснящиеся и лепящиеся одно к другому строения, но каждый оставляет вокруг своего дома обширный участок, то ли чтобы обезопасить себя от пожара, если загорится сосед, то ли из-за неумения строиться» (перевод А. С. Бобовича).

В «Гамлете», в «Манфреде», в «Фаусте» — названы трагедия У. Шекспира «Гамлет» (1600—1601), драматическая поэма Дж. Г. Байрона «Манфред» (1817) и трагедия И. В. Гёте «Фауст» (1774—1831).

С. 205. Монада — одно из основных понятий у немецкого философа Г. В. Лейбница, изменяющаяся духовная субстанция, которая излучается и поглощается Богом.

С. 205. *...мир «целей в себе» ее Канта* — Родоначальник немецкой классической философии И. Кант сформулировал универсальный нравственный закон, рассматривающий всякое разумное создание как «цель в себе», а не средство.

Мы остановились так долго ~ и не объяснил. — Леонтьев поясняет: «Верно. Я тогда все не думал об условиях или основаниях *общечеловеческого единства*, у меня было в виду одно лишь религиозное: православие, *единство Востока*. Да и вообще сознательное, идейное общечеловеческое единство есть приближение предсмертного *смещения*, а физиологическое или психологическое единство было и даже осталось везде. Людоед и тот знал всегда, что он *человека* ест, а не другой *вид* животного» (ЛИ. С. 364).

С. 206. *...Рим в эпоху Гракхов* — имеются в виду братья Семпронии Гракхи — Тиберий и Гай (II в. до н. э.), сумевшие, будучи трибунами, в неравной борьбе с аристократической оппозицией провести законы в пользу мелких землевладельцев и поплатившиеся за это жизнью.

Фронда — обозначение целого ряда противоправительственных смут, имевших место во Франции в 1648—1652 гг. и во многом порожденных борьбой кардинала Ришелье (с 1624 по 1642 г. занимавшего пост первого министра) с аристократической оппозицией в предшествующий период.

...Германия при начале Реформации — Началом Реформации в Германии считается, как известно, выступление доктора богословия Виттенбергского университета М. Лютера, 31 октября 1517 г. прибывшего к дверям виттенбергской Замковой церкви свои «95 тезисов», в которых он выступал против существующих злоупотреблений католической церкви, и последовавшее 10 декабря 1520 г. сожжение Лютером папской буллы, где осуждались его взгляды. Все это послужило толчком к широкому бюргерскому движению.

С. 208. *«Все болит у древа жизни людской ~ объективное мерило»* — цитата из главы VII трактата К. Н. Леонтьева «Византизм и Славянство» (1875; Леонтьев К. Н. ПСС. СПб., 2005. Т. 7. Кн. 1. С. 387).

...восстание жителей острова Крита — имеется в виду следующий фрагмент того же трактата К. Н. Леонтьева: «Многие веселятся бунтом. Современные нам критяне, например, жили положительно лучше хоть бы фракийских болгар и греков и несравненно веселее и приятнее небогатых жителей каких бы то ни было больших городов» (Там же. С. 388). Далее он цитируется Розановым в тексте его статьи.

«Старый порядок и революция» — книга французского историка и политического деятеля А. де Токвиля (1856; рус. пер. 1896).

...в минуты наибольшего гнета он оставался спокоен и, напротив, восстал, как только этот гнет был снят с него — ср. рассуждения Токвиля в кн. III, гл. IV его сочинения: «К революциям не всегда приводит только ухудшение условий жизни народа. Часто случается и такое, что народ, долгое время без жалоб переносивший самые тягостные законы, как бы не замечая их, мгновенно сбрасывает их бремя, как только тяжесть его несколько уменьшается» (Токвиль А. де. Старый порядок и революция / Пер. с фр. М. Федоровой. М., 1997. С. 141).

С. 209. *...монархию Кира, Тиберия или Карла Великого* — перечислены: Персидская держава Ахеменидов, основанная царем Киrom II Великим, правившим в 559—530 гг. до н. э.; Римская империя времени правления Тиберия Юлия Цезаря Августа (14—37 гг.); Римская империя, восстановленная в 800 г. Карлом I Великим, когда он был коронован императором Запада.

С. 210. *В Египте это была монархия, строго подчиненная религиозному мирозерцанию* — см. трактат Леонтьева «Византизм и Славянство» (гл. VII): «...государственная форма древнего Египта была резко сословная монархия, вероятно, глубоко ограниченная жреческой аристократией и вообще религиозными законами» (Леонтьев К. Н. ПСС. Т. 7. Кн. 1. С. 389).

Светлое представление Ормузда ~ подвижную роль древнему Ирану — ср.: «Персия была, по-видимому, более феодального, рыцарского происхождения; но феодальность ее сдерживалась безграничным в принципе царизмом, земным выражением добра, Ормузда» (Там же. С. 389—390).

...велигавее Фермопил — имеется в виду битва во время греко-персидской войны в 480 г. до н. э., когда 300 спартанцев во главе с царем Леонидом стойко обороняли горный проход от персов и все погибли в неравном бою.

«Во время служившейся бури персидские вельможи ~ из-за религиозно-государственной идеи» — у Леонтьева указан источник этих сведений, приведенных в трактате «Византизм и Славянство» (гл. I): «Я помню, как я сам, прочтя случайно (и у кого же? — у Герцена!)...» (Там же. С. 309).

С. 212. *...рассказ о падении Писистратидов — у Геродота* — О тирании Писистратидов в Афинах см.: Геродот. История. I, 59—64; об избавлении от нее см.: Там же. V, 62—65. После смерти афинского тирана Писистрата власть перешла к его сыну Гиппию, который с 514 г. до н. э. проводил репрессивную политику и был свергнут в 510 г. Говоря о дружбе, Розанов отсылает к истории заговора, организованного любовниками Гармодием и Аристокитоном. В 514 г. до н. э. они составили заговор против тирана Гиппия, поскольку его брат Гиппарх, безуспешно домогавшийся Гармодия, оскорбил сестру последнего. Гармодий решил убить Гиппия из мести за сестру, а Аристокитон — из любви к Гармодию и ревности. Однако получилось так, что заколоть любовники успели одного Гиппарха.

...мысль Платона, что семьи должны бы быть устраиваемы, пары сводимы — государством — см. в книге VI трактата Платона «Государство» (360 г. до н. э.): «Надо будет установить законом какие-то празднества, на которых мы будем сводить вместе невест и женихов, надо учредить жертвоприношения и поручить нашим поэтам создавать песнопения, подходящие для заключаемых браков. А определить количество браков мы предоставим правителям, чтобы они по возможности сохраняли постоянное число мужчин, принимая в расчет войны, болезни и т. д., и чтобы государство у нас по возможности не увеличивалось и не уменьшалось» (Платон. Собр. соч.: В 4 т. М., 1994. Т. 3. С. 235; пер. А. Н. Егунова).

...в тенистых садах Академии и в Лицее — имеются в виду Платоновская Академия, философская школа, основанная около 395 г. до н. э. и располагавшаяся в священной оливковой роще близ Афин, названной в честь героя Академа, похороненного там, и афинская гимназия Лицей (Ликей), или перипатетическая школа, основанная Аристотелем в 335/334 г. до н. э. возле храма Аполлона Ликейского.

С. 213. *Софисты* — древнегреческие платные преподаватели красноречия, представители одноименного философского направления (2-я пол. V — 1-я пол. IV в. до н. э.).

Экклесия — народное собрание в древнегреческом полисе.

Буле — государственный совет в древнегреческом полисе.

Олимпийские игры — В Древней Греции проводились с 776 г. до н. э. в городе Олимпия, месте культа бога Зевса. Отменены с победой христианства римским императором Феодосием I в 394 г. Нынешние Олимпийские игры возобновлены в 1896 г.

Пелопоннесская война — продолжавшееся в течение 431—404 гг. до н. э. военное противостояние, с одной стороны, Афин и их державы, и Пелопоннесского союза под предводительством Спарты — с другой.

Коринфская и Фиванские войны против Спарты — Коринфская война (395—387 гг. до н. э.) — конфликт между Пелопоннесским союзом и коалицией четырех союзнических государств: Фив, Афин, Коринфа и Аргоса, которые были первоначально поддержаны Персией. Среди войн, ведшихся Фивами, наиболее знаменита Беотийская война (378—362 гг. до н. э.) между Беотийским союзом во главе с Фивами, воспротивившимися спартанской гегемонии, и Пелопоннесским союзом во главе со Спартой; в войне также уча-

ствовали другие греческие государства, которые были то на стороне Фив, то на стороне Спарты.

С. 213. *...помощь городу против овладевшего им тирана (например, Спарты — Афинам против Гиппия)* — Афинские противники тирана Гиппия (см. примеч. к с. 212) подкупили Дельфийского оракула, который дал спартамцам повеление свергнуть тиранию. Гиппию удалось отразить первый поход спартанцев (в 511 или 510 г. до н. э.), при этом в бою погиб спартанский царь Анхимолий. Спартанцы немедленно выслали новое войско. Гиппий, осажденный на акрополе, вынужден был сдаться, послетого как спартанцы захватили его детей.

С. 214. *Термин* — в древнеримской мифологии божество границ, межевых знаков, разделявших земельные участки. В культе Термина изображавший его камень был помещен в Капитолийском храме, что символизировало нерушимость границ Рима и их постоянное расширение.

Храм Согласия (Конкордии) стоял на римском форуме и до наших дней не сохранился; считается, что он был построен Марком Фурием Камиллом и посвящен Конкордии, древнеримской богине согласия, как символ окончания разногласий между патрициями и плебеями в 367 г. до н. э.

Лациум, или Лаций — регион в античной Италии, прародина современных романских народов.

Три Пунигеские войны (264—146 до н. э.) между Римом и Карфагеном получили свое название из-за латинского имени финикийцев-карфагенян — пунийцев, или пунов (ро-пи, puni).

...во времена Нерона — правил в 54—68 гг.

...поглочена Иудея: при Помпее, при Клавдии, при Веспасиане? — Упомянут римский государственный деятель и полководец Гней Помпей Великий, при котором с 63 г. до н. э. Иудея официально считалась римской провинцией. Римский император Клавдий, правивший в 41—54 гг., фактически сделал Иудею римской провинцией уже в первые годы своего правления. Римским императором Веспасианом, правившим в 69—79 гг., и его сыновьями в 66—74 гг. было жестоко подавлено восстание в Иудее.

С. 215. *...борьба с умбро-сабельскими племенами при Сулле ~ начало же поглощения их относится приблизительно к 305 г. до Р. Х.* — Впервые в контакт с италийскими умбро-сабельскими племенами римляне вступили в 310 г. до н. э., а завершили их завоевание примерно в 260 г. После объединения Италии некоторые из этих народностей получили полное гражданство или гражданство без права голоса. По Юлиеву закону 89 г. все они получили римское гражданство. Сулла Счастливым был бессрочным диктатором в 82—79 гг. до н. э.

Парфенон — главный храм в древних Афинах, посвященный покровительнице этого города и всей Аттики, богине Афине-Девственнице; расположен на афинском Акрополе. Построен в 447—438 гг. до н. э. архитектором Калликратом по проекту Иктина и украшен в 438—431 гг. до н. э. (в правление Перикла) под руководством Фидия.

С. 216. *Его беседы с Самарянкой и с Никодимом* — Ин 4, 7—29; Ин 3, 1—21.

...обратила спартанка к рожденному от нее воину — по преданию, имя этой спартанки — Горго.

С. 217. Католическая святая *Теодолinda* была королевой лангобардов в 589—616 гг., а затем — регентшей при своем 13-летнем сыне Аделоальде, который стал первым королем лангобардов, получившим католическое крещение. Дружески переписывалась с папой Григорием I Великим.

...об Альфреде Английском — назван Альфред Великий, король Уэссекса в 871—899 гг. Вплоть до 878 г. он непрерывно сражался с захватившими его страну датчанами, скитаясь со своими отрядами по неприступным местностям.

Дионисий Старший — сиракузский тиран, правивший в 405—367 гг. до н. э.; снискал известность своей необычайной жестокостью.

...*Пизистрата и двух сыновей его* — см. примеч. к с. 212.

Ауора́ (агора) — площадь, на которой в Древней Греции проводились народные собрания.

...*Мишле и Маколей одинаково писали свою историю* — упомянуты француз Ж. Мишле, представитель романтической историографии, и англичанин Т. Маколей, автор 5-томной «Истории Англии», написанной с позиций партии виггов.

«*Государство — это я*» — выражение, приписываемое французскому королю Людовику XIV, якобы сказанное им во французском парламенте в 1655 г., когда от него потребовали изменить политику как противоречащую пользе государства.

...*от времен Хлодвига, Генриха-Птицелова* — Хлодвиг I, король салических франков, правил в 481—511 гг.; Генрих I Птицелов, король Восточно-Франкского королевства, — в 919—936 гг.

...*лигный досуг (Людовик IX)* — Людовик IX Святой, король Франции в 1226—1270 гг., любил книги и искусство; его называют Периклом средневекового зодчества.

С. 221. *Академия, Лицей и Стоя* — философские школы в Древней Греции, основанные Платоном, Аристотелем и Зеноном Китийским.

...*изгнание Анаксагора* — древнегреческий философ. Он был обвинен в непочитании богов и вынужден был бежать из Афин в Лампсак, где и умер в 428 г. до н. э.

...*смерть Сократа* — древнегреческий философ. Был приговорен к смерти за «развращение молодежи» и непочитание богов. Как свободный афинский гражданин, он не был подвергнут казни, а сам принял яд.

...*удаление из Афин Аристотеля* — будучи подданным македонского правителя, Аристотель вынужден был покинуть Афины под угрозой со стороны антимакедонски настроенной общественности и умер в изгнании от болезни.

С. 222. «*Великая хартия вольностей*» — основа конституции в Великобритании, принятая в 1215 г. королем Иоанном Безземельным.

Habeas Corpus — начальные слова закона о неприкосновенности личности, принятого английским парламентом в 1679 г.

Билль о правах — закон, принятый в 1689 г. британским парламентом и утвердивший конституционные основы английской монархии.

Комиций — народное собрание в Риме.

Герусия — высший государственный орган в Спарте.

С. 223. *Человек — животное политическое... — Аристотель*. Политика. I. 2. 9 // *Аристотель*. Соч.: В 4 т. М., 1984. Т. 4. С. 382. Выражение приобрело популярность после того, как его процитировал в своих «Персидских письмах» (1721) Шарль Монтескье (87-е письмо).

...*установление централизации ~ при Константине Великом* — римский император. Был провозглашен войском августом в 306 г.; став в 323 г. единственным полновластным правителем Империи, организовал новое государственное устройство.

С. 224. *Эпоха Карла V и Филиппа II* — названы самый выдающийся европейский монарх первой половины XVI в. Карл V Габсбург, император Священной Римской империи в 1520—1558 гг., и его сын Филипп II, король Испании и Нидерландов в 1556—1598 гг. При Филиппе II Испания обнищала: она погрузилась в пучину неудачных войн и жестокого преследования населения за религиозные убеждения.

...*при Людовике XI, Франциске I, Ришелье и Людовике XIV* — король Людовик XI Благоразумный, занимавший престол с 1461 по 1483 г., считается основателем абсолютной монархии во Франции. Правление короля Франциска I (1515—1547) было отмечено расцветом французского Возрождения. Кардинал Ришелье фактически возглавлял прави-

тельство Франции с 1624 по 1642 г., Людовик XIV (Король Солнце) правил с 1643 по 1715 г.

С. 224. ...*при Генрихе VIII, Елисавете и Вильгельме Оранском* — перечислены яркие представители европейского абсолютизма на британском троне: Генрих VIII Тюдор, правивший в 1509—1547 гг.; его дочь Елизавета I, занимавшая трон с 1558 по 1603 г.; Вильгельм III, король Англии и Шотландии в 1689—1702 гг.

...*Козимо и Лоренцо Медичи* — названы Козимо Медичи Старый, флорентийский купец и банкир, в свое время владелец крупнейшего в Европе состояния, и Лоренцо ди Пьеро де Медичи Великолепный, глава Флорентийской республики с 1469 г., покровитель наук и искусств, поэт.

С. 224—225. ...*папы: Николай V, Юлий II и Лев X* — перечислены папы, знаменитые между прочим как меценаты и просветители: Николай V, занимавший святой престол в 1447—1455 гг.; Юлий II — в 1503—1513 гг.; его преемник Лев X — в 1513—1521 гг. Юлий II прославился и как полководец, значительно расширивший территорию Папского государства, а Лев X был известен своей расточительностью при устройстве великолепных празднеств; при нем началась Реформация.

С. 225. ...*г. Леонтьев характерно и справедливо сравнивает с медленным высыханием* — имеется в виду следующий пассаж из трактата «Византизм и Славянство» (гл. VII): «Болят одинаково эгалитарный быстрый процесс гниения и процесс медленного высыхания, застоя, нередко предшествующий эгалитарному процессу. (Напр., в Испании, Венецианской республике — во всей Италии *высыхание* XVII и XVIII веков предшествовало гниению XIX.)» (Леонтьев К. Н. ПСС. Т. 7. Кн. 1. С. 387).

...*между Декартом и Кондорсе* — то есть от начала XVII по конец XVIII в., поскольку Р. Декарт умер в 1650 г., а маркиз А. де Кондорсе родился в 1743 г.

Фернейский мудрец — имеется в виду французский философ Вольтер, в 1753 г. поселившийся в замке Фернэ близ Женевы.

...*между Паскалем и Фернейским мудрецом* — Б. Паскаль скончался в 1662 г., Вольтер родился в 1694 г.

...*эпоха Стюартов* — здесь подразумевается XVII — начало XVIII в. Королевская династия Стюартов правила в Шотландии (1371—1714), а затем также и в Англии (1603—1649, 1660—1714). Они вышли из шотландского знатного рода, закрепившего за собой с XII в. должность королевского управляющего — *стюарта* (отсюда название).

...*царствование Оранской и Ганноверской династий* — Оранская, или Оранско-Нассауская, династия, ветвь Нассауского княжеского дома, правила в Нидерландах с 1815 г. Тут подразумевается король Англии и Шотландии в 1689—1702 гг. Вильгельм III Оранский (см. примеч. к с. 224). Ганноверская династия (House of Hanover) правила в Великобритании с 1714 по 1901 г.

де-Фоз — английский романист и публицист Даниель Дефо.

Эразм — нидерландский гуманист Дезидерий Эразм Роттердамский.

С. 226. *Братья фон Гумбольдты* — немецкие ученые: филолог и философ Вильгельм и естествоиспытатель Александр.

С. 227. ...*финикийский способ закрепления на бумаге своих мыслей* — Финикийская письменность (ок. XIII в. до н. э.) — одна из первых зафиксированных в истории человечества систем фонетического письма; она стала родоначальницей большинства современных письменных систем.

Ниневия — столица Ассирийского государства (с VIII—VII вв. до н. э.); находилась на территории современного Ирака (г. Мосул), на левом берегу реки Тигр.

Гиксосы — группа кочевых скотоводческих азиатских племен из Передней Азии, захвативших власть в Нижнем Египте в середине XVII в. до н. э. и затем, около 1650 г. до н. э., образовавших свою династию правителей.

С. 228. *...Трира, уже четыре раза разрушенного* — В рассматриваемое время город Трир, основанный еще императором Августом, пережив нападения алеманнов, постепенно превращался в императорскую резиденцию, называемую «Северный Рим»; окончательно был завоеван франками около 480 г.

...Гонорий ~ забавлялся любимым петухом ~ испугался за второго — Западно-римский император Гонорий был первым правителем после окончательного разделения империи на Западную и Восточную. Речь идет о событиях августа 410 г., когда готы захватили и разграбили Рим. Источник сведений — сочинение византийского историка Прокопия Кесарийского «Война с вандалами» (553): «Разграбив весь город и истребив большинство римлян, варвары двинулись дальше. Говорят, что в это время в Равенне василевсу Гонорию один из евнухов, вероятнее всего, смотритель его птичника, сообщил, что Рим погиб; в ответ василевс громко воскликнул: „Да ведь я только что кормил его из своих рук!“. Дело в том, что у него был огромный петух по имени Рим: евнух, поняв его слова, сказал ему, что город Рим погиб от руки Алариха; успокоившись, василевс сказал: „А я-то, дружище, подумал, что это погиб мой петух Рим“. Столь велико, говорят, было безрассудство этого василевса» (кн. I, гл. II, ст. 24—26; пер. С. П. Кондратьева). Первый русский перевод: *Прокопий*. История войн римлян с персами, вандалами и готами / Пер. С. Дестуниса. СПб., 1876—1880. Т. I. Кн. I—II.

Святая святых — здесь: наиболее дорогое, сокровенное. От названия самой священной части Иерусалимского храма, в которой хранились скрижали Моисея.

С. 229. *Гизо в «Истории цивилизации Европы»...* — ср. у Леонтьева в одном из примечаний к гл. IX трактата «Византизм и Славянство»: «Гизо предпочитает считать начало французской государственности еще позднейшим, с Гуго Капета (987—996). Во всяком случае, я сказал — IX и X века» (*Леонтьев К. Н.* ПСС. Т. 7. Кн. 1. С. 405).

...слияние, при короле Эгберте, семи англосаксонских княжеств — Эгберт Великий, король Уэссекса (802—839), впервые в истории объединил под властью одного правителя большинство земель, находящихся на территории современной Англии. Семь княжеств (точнее, к тому времени уже королевств), упоминаемых Розановым: Уэссекс, Сассекс, Эссекс, Кент, Бостонная Англия, Мирсия и Нортумбрия.

...династия, которая пала только в конце прошлого века — имеется в виду династия Капетингов и ее ветви — Валуа и Бурбоны, правившие Францией с 987 по 1792 г., а также (не учтено Розановым!) в 1814—1815, 1815—1830 гг.

«Священная Римская империя» — полностью: Священная Римская империя германской нации (*Sacrum Imperium Romanum Nationis Teutonicae*; 962—1806), государственное образование, объединявшее территории Центральной Европы; формально состояло из трех королевств: Германии, Италии и Бургундии.

С. 230. *...в царстве Юстиниана Великого* — византийский император Юстиниан I Великий, правивший с 527 по 565 г., из амбициозного стремления «реставрировать империю» завладел многими землями Западной Римской империи, в том числе Апеннинским полуостровом, Южной Испанией и частью Северной Африки.

Первосвященник из Рима — папа римский.

Страна Зороастра — Персия, на территории которой с древних времен (не позднее чем с XI в.) был распространен зороастризм.

...появление удивительного гения — имеется в виду Наполеон Бонапарт.

С. 231. *...люди с книжками и листками* — революционеры-социалисты.

С. 234. *Князь Горчаков* — дипломат светлейший князь А. М. Горчаков.

...петербургские зимние ноги — К. Н. Леонтьев жил в Петербурге у своего брата Владимира с конца 1860 г. по октябрь 1863 г. с перерывом на поездку в Крым в 1861 г.

...«сжигать то», гему меня угли поклоняться — Источник выражения — предание об основателе Франкского государства короле Хлодвиге I (см. примеч. к с. 217), который

принял христианство в 496 г. Во время таинства крещения архиепископ Ремигий якобы сказал Хлодвигу: «Поклонись тому, что сжигал, и сожги то, чему поклонялся». В России выражение стало популярным благодаря роману И. С. Тургенева «Дворянское гнездо» (1859), один из персонажей которого (Михалевич) читает стихи (гл. 25), написанные для романа самим Тургеневым:

Новым чувствам всем сердцем отдался,
Как ребенок душою я стал,
И я сжег все, чему поклонялся,
Поклонился всему, что сжигал.

С. 235. *...борьбу с «великим царем»* — подразумевается Дарий I Великий. См. примеч. к с. 203.

...распря ~ Фемистокла и Аристиды — Афинские государственные деятели и полководцы периода греко-персидских войн (500—449 до н. э.) Фемистокл и Аристид были политическими конкурентами: первый стремился превратить Афины в морскую державу, а второй ратовал за наращивание сухопутного военного потенциала.

С. 236. *Оливы мира* — библейский образ (Быт 8, 8—12).

«В поте труда своего будешь добывать хлеб свой...» — Быт 3, 19 («В поте лица...»).

С. 237. *...это предвидел Герцен* — В окончательной редакции эта запись вошла в его «Былое и думы», ч. VIII, гл. 2 («Venezia la bella») (Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1957. Т. XI. С. 472, 473, 474—475, 479—480). Впервые эта мемуарная глава опубликована в альманахе «Полярная Звезда» за 1869 г. (с. 46—63).

С. 238. *Вторая французская империя* — период царствования во Франции императора Наполеона III (1852—1870). *Третья французская республика* — политический режим, существовавший во Франции с 1870 по 1940 г.

...результатом всех объединительных движений ~ они являются столь антинациональными по последствиям — Мысль, что «национальная политика ведет ко всенародному, антикультурному смешению» (Леонтьев К. Н. ПСС. СПб., 2007. Т. 8. Кн. 1. С. 529) проходит красной нитью через весь очерк «Национальная политика как орудие всемирной революции» (1888). «Объединительные движения» в этой связи Леонтьев рассматривает на примерах Греции, Италии и Германии.

...нагав ~ Восточную войну из-за прав покровительства своей церкви — речь идет о Крымской войне (1853—1856), поводом к началу которой стал дипломатический конфликт России с Францией по вопросу контроля над церковью Рождества Христова в Вифлееме.

...уравнительный и освобождающий процесс — подразумевается так называемая «революционная ситуация» в России в конце 1850-х — начале 1860-х гг.

С. 239. *...нагав ту же войну* — Русско-турецкую войну 1877—1878 гг.

С. 240. *Ареопаг* — холм в Афинах, место заседания суда.

Эфоры — в Древней Спарте, а позже и в Афинах выборные должностные лица, обладавшие широким кругом полномочий.

...«королеве Бетси» — Елизавета I (см. примеч. к с. 224).

С. 241. *«Нагим вышел из гроба матери моей и нагим возвращусь в землю»* — Иов 1, 21.

С. 242. *Желатиновые пластинки* — стеклянные фотопластинки с сухой желатиновой эмульсией, изобретенные в 1870 г.; широко применялись с конца 1870-х гг. вплоть до 1920-х гг.; вытеснены фотопленкой.

С. 245. *...наклонность переменять центры жизни* — Розанов ссылается на главу VI «Писем о Восточных делах» (1882—1883): «Россия начала свою историческую жизнь в Новгороде; но очень скоро перенесла свой центр в Киев, потом во Владимир и Москву,

потом в Петербург и теперь, видимо, рвется от него опять к югу... Итак, религиозная культура Исламизма и государственность русского племени со стороны этой „непосредности“ сходны» (Леонтьев К. Н. ПСС. Т. 8. Кн. 1. С. 88).

...в стенах своего древнего Сиона — из трех иерусалимских стен та, что окружала расположенный на юго-западе города холм Сион, была древнейшей (возведена к I в. н. э.).

Андрей Боголюбский, с образом Богоматери ~ закладывающий там новый город — В 1155 г. князь Андрей Юрьевич Боголюбский вопреки воле отца покинул Вышгород, увезя с собой из Вышгородского женского монастыря икону Богородицы (позже именованную Владими́рской), и обосновался во Владимире.

С. 246. ...«опал в лице» — источник выражения см.: «Андрей опал в лице, когда услышал от Михана ответ Мстиславов, и велел тотчас же собирать войско: собрались ростовцы, суздальцы, владимирцы, переяславцы, белозерцы, муромцы, новгородцы и рязанцы» (Соловьев С. М. Соч: В 18 кн. М., 1993. Кн. 1: История России с древнейших времен. Т. 1/2. С. 537).

С. 247. *Немецкая слобода* — место поселения иноземцев в Москве на правом берегу реки Яуза. Возникла в 1570-е гг. Молодой Петр I был частым гостем Немецкой слободы, где нашел первых учителей в военных и морских делах.

«Синодик» — список умерших для церковного поминовения. Здесь имеется в виду «Синодик опальных Грозного», составленный в 1582—1583 гг. по указу Ивана IV ради поминовения в монастырях людей, казненных в годы его правления.

...предпогел написать несколько длинных, без всякого основания, писем — Князь А. М. Курбский, перейдя на службу к польскому королю Сигизмунду II, пытался обосновать свою позицию в пространных письмах к Ивану IV.

С. 248. ...*бегство бедного мальгика с берегов Ледовитого моря* — имеется в виду М. В. Ломоносов.

С. 250. «Избранные места из переписки» — книга Гоголя называется «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847).

С. 251. ...его больного сына — Феодора I Иоанновича, прозванного Блаженным, третьего сына Ивана IV, последнего представителя московской ветви династии Рюриковичей.

...в митрополитах Петре и Алексее — знаменитые святители Петр (фамилия неизвестна) и Алексей (Бяконт) занимали Московскую митрополицию кафедру, соответственно, в 1308—1326 и 1354—1378 гг.

...в Морозове и Матвееве — влиятельные государственные деятели XVII в. бояре Б. И. Морозов и А. С. Матвеев.

...Остермана — граф А. И. Остерман, сподвижник Петра I.

С. 253. Олег «Гориславиг» — князь Олег Святославич, названный «Гориславичем» в «Слове о полку Игореве» за междоусобия, которые он породил и которые принесли много вреда Русской земле.

С. 255. ...«о страждущих, недугующих... о мире всего мира» — из богослужебного песнопения, известного как Мирная ектения.

С. 256. *Стагирит* — Аристотель, который родился в Стагире (Македония).

С. 257. *На буйном пирушестве задумгив он сидел...* — одноименное стихотворение (1839) М. Ю. Лермонтова, в основу которого лег рассказ члена Французской академии писателя Ж. Ф. де Лагарпа (1739—1803) о том, что в 1788 г. французский писатель-мистик Жак Казотт (1719 — казнен в 1792) на банкете предсказал Французскую революцию и трагическую судьбу присутствующих на вечере гостей. Розанов цитируют первые две из трех строф стихотворения.

«В своем отечестве...» — имеются в виду слова Христа: «несть пророк без чести, токмо во отечестве своем» (Мф 13, 57; Мк 6, 4; Ин 4, 44; ср.: Лк 4, 24).

1893

ГРЕТХЕН И ФАУСТ

(с. 258)

Беловой автограф неопубликованной статьи в РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 88. Л. 1–15, 18. Б. д. Черновой автограф — л. 16–17.

Посвящено жене Варваре Дмитриевне и умершей в младенчестве дочери Наде (ум. 25 сент. 1893 г.). Эпиграф из стихотворения Ф. Шиллера «Счастье» (1798) в переводе В. А. Жуковского (1809). Как отмечает А. Шахов в третьей лекции, это четверостишие Шиллера помещено на бюсте Гёте в Веймарской библиотеке.

О немецком писателе И. В. Гёте (1849–1832) Розанов написал статью «В домике Гёте» (РС. 1910. 15 июля), возникшую после посещения в июне 1910 г. во Франкфурте-на-Майне дома, где родился Гёте. «Узкие церковники называли его „язычником“, — писал Розанов. — Но он был „немножко в стороне“ и от христианства, как и с „язычеством“ он несколько не сливался». «Через Гретхен он стал дорог всем девушкам, — целого мира».

Сюжет баллады Гёте «Коринфская невеста» в переводе А. К. Толстого стал поводом для статьи Розанова «Тут есть некая тайна» (Весы. 1904. № 4).

В Собр. соч. Розанова включено в т. 28 (с. 210–241; подготовлено к печати А. А. Медведевым).

Печатается впервые по беловому автографу.

Н. А. Холодковский (1858–1921) — поэт-переводчик, ученый-зоолог. В 1878 г. вышел в свет его перевод «Фауста» Гёте, который остается лучшим и наиболее точным из русских переводов. К каждому переизданию «Фауста» он делал доработки. Выпустил отдельный том с комментариями. В 1917 г. Российская академия наук присудила Пушкинскую премию за 12-е издание его перевода «Фауста».

А. А. Шахов (1850–1877) — историк западноевропейской литературы, приват-доцент Московского университета по кафедре истории всеобщей литературы, сторонник культурно-исторической школы (Г. Брандес, И. Тэн). В 1873 г., по приглашению В. И. Герье, читал на Высших женских курсах лекции по истории немецкой литературы XVIII в., французской литературы XIX в. О его превосходном таланте лектора Н. И. Стороженко писал: «Аудитория, где читал Шахов, была всегда полна, и притом не только студентами историко-филологического факультета, но и других факультетов. Глубоко западало в молодые души живое, прочувствованное, а подчас и резкое слово талантливого преподавателя, много надежд возлагали они на него» (*Стороженко Н. А. А. Шахов (некролог) // Шахов А. Гёте и его время. 3-е изд. СПб., 1903. С. 7*).

С. 258. «Французская литература в первые годы XIX века» — эта книга А. А. Шахова опубликована в Москве в 1875 г., с указанием на жанр: «историко-литературная диссертация».

Высшие женские курсы в Москве — действовали с 1872 по 1888 г. и с 1900 по 1918 г.; В. И. Герье был их директором до 1905 г.

«Мы все боялись проронить...» — Розанов приводит отрывок из этой статьи по указанному некрологу Н. И. Стороженко.

С. 259. *...лексикон ли средневековой латыни Дю-Канжа* — имеется в виду многотомный словарь средневековой латыни (*Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis*) французского лексикографа Ш. Р. де Дю Канжа, работа над которым велась свыше 40 лет (завершен в 1688 г.).

«*Monumenta Germaniae*» — речь идет о многотомном собрании источников по средневековой истории Германии «*Monumenta Germaniae Historica*» (1826–1873) немецкого

историка Г. Г. Пертца. Первый том этого издания вышел в 1826 г., когда Гёте приступил к завершению «Фауста».

...крошечный трактат Руссо — Розанов особенно часто упоминал в дальнейшем трактате французского писателя Ж. Ж. Руссо «Об общественном договоре» (1762).

...пламенное нападение на революцию Эдм. Борка — имеется в виду книга «Размышления о Французской революции» (1790) английского политического деятеля и публициста Э. Бёрка. В студенческие годы Розанов читал французский перевод этой книги. В письме к В. И. Герье 11 июля 1915 г. он сообщал: «Со времен студенчества на меня необыкновенное впечатление произвели „Reflexions sur la Revolution“ (перевод) Эдмунда Борка. Мы его готовили Вам к семинарию. Его пыл и страсть и благородство, его „героическое“ в мыслях и в суждениях заразили меня и до сих пор есть исходная точка всего, что я думаю о Революции, и в особенности, что чувствую про Революцию» (Россия XXI. 2003. № 5. С. 177).

С. 260. ...на Петербургских курсах — речь идет о так называемых Бестужевских курсах — высшие женские курсы в Санкт-Петербурге (1878–1918), первым директором которых был К. Н. Бестужев-Рюмин.

И. Мечников ~ поместил в «Вестнике Европы» — имеется в виду статья биолога И. И. Мечникова «Закон жизни» в «Вестнике Европы» (1891. № 9).

...принадлежавшее г. Н. Михайловскому. — Михайловский Н. К. Литература и жизнь // Русское Богатство. 1892. № 1 (раздел: Из прошлого и настоящего гр. Л. Н. Толстого. — Poleмика с ним И. И. Мечникова).

С. 261. Карфаген — древний город-государство в Северной Африке. После поражения в Пунических войнах с Римом был разрушен римлянами (146 г. до н. э.).

С. 262. «отца своего и мать свою и прилеплялась» — Быт 2, 24.

Лацум — см. примеч. к с. 214.

С. 264. ...так называемую «мировую скорбь» — см. коммент. к с. 624.

...дурную каплю желги — имеются в виду статьи Розанова в «Московских Ведомостях» в июле 1891 г. против «наследства 60–70-х годов».

С. 265. ...загат ~ в грехе, рожден — в страдании — аллюзия на покаянный псалом 50: «...я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя» (Пс 50, 7).

С. 266. «выкрадены у самой природы, вполне верны природе» — Розанов цитирует слова друга Гёте Иоганна Генриха Мерка из книги А. Шахова (СПб., 1903. С. 159).

С. 267. Опять вы, образы туманные, со мною — Здесь и далее Розанов цитирует «Посвящение» к «Фаусту».

С. 268. Элевзинские таинства — см. примеч. к с. 34.

У Пушкина и Лермонтова эта цель поставлена впереди остального — А. С. Пушкин. Поэт и толпа (1828), Поэту (1830); М. Ю. Лермонтов. Смерть поэта (1837), Поэт (1838).

С. 269. ...хорошо ли / Пойдут дела теперь у нас? — Здесь и далее цитируются строки из «Пролога в театре» в «Фаусте».

С. 270. ...односторонности Веймара — В 1775–1832 гг. Гёте жил в Веймаре, в тот период крупном центре германского Просвещения.

...«бурных гениев» («Буря и натиск») — литературное движение в Германии 1770-х — 1780-х гг., названное по одноименной драме (1776) немецкого писателя Ф. М. Клингера.

С. 272. ...парки ~ свивают нить — в римской мифологии три богини судьбы, которые пряли нить человеческой жизни, наматывали кудель на веретено, перерезали нить.

С. 275. ...мысль этого пролога была внушена Гёте книгой Иова — И. П. Эккерман в разговоре с И. В. Гёте отметил: лорд Байрон «расчленил вашего „Фауста“, указывая на за-

имствования, на что Гёте 18 января 1825 г. сказал: «Если в экспозиции моего „Фауста“ есть кое-что общее с книгой Иова, то это опять-таки не беда, и меня за это надо скорее похвалить, чем порицать» (*Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни.* М., 1981. С. 147).

С. 275. *«Был день, когда пришли сыны Божи...»* — Иов 2, 1–7.

Книга Иова не принадлежит к числу канонических — Сомнению подвергаются лишь отдельные части Книги Иова: пролог (гл. 1 и 2), эпилог (42, 7–17), описание бегемота и левиафана (40, 20; 41), речи Елуя (32–37). См.: Толковая Библия. Комментарий на все книги Святого Писания / Под ред. А. П. Лопухина. М., 2001. Т. 1. Книга Иова. С. 732.

...считают северную Аравию — см.: Толковая Библия. Т. 1. С. 730. Об аравийском происхождении Книги Иова Розанов писал Н. Н. Страхову в конце 1892 г. (*ЛИ.* С. 288).

Звука в гармонии вселенной — Здесь и далее цитируются строки из «Пролога на небесах».

Теллурий — прибор, изображающий движение Земли и планет вокруг Солнца и суточное вращение Земли вокруг своей оси.

С. 279. *...«великий язычник»* — отзыв о Гёте писателя-романтика Захарии Вернера.

С. 280. *...вращаясь в Страсбурге среди «диких гениев»* — Гёте жил в Страсбурге в 1770–1771 гг., завершив в здешнем университете свое юридическое образование. Тут он сблизился с такими видными представителями литературы «Бури и натиска», как Я. Ленц и Г. Вагнер.

«В то время как другие стремятся...» — Розанов цитирует книгу А. Шахова (СПб., 1903. С. 47–48).

«то, что вами уже выполнено в вашей пьесе ~ в высокой степени исполнено символического смысла» — из письма Шиллера к Гёте от 23 июня 1797 г.

С. 281. *«Горние вершины»* — М. Ю. Лермонтов. Из Гёте (1840). Перевод второй «Ночной песни странника» (1780) Гёте.

Не мало трудовых ногей... — Здесь и далее цитируются строки из сцены 1 части 1 «Ночь».

С. 287. *Дух земли* — Статья Розанова обрывается на образе Духа Земли, знак которого Фауст видит в книге Нострадама, а затем его вызывает (Часть I. Сцена I. Ночь).

1894

СВОБОДА И ВЕРА

(По поводу религиозных толков нашего времени)

(с. 288)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *РВ.* 1894. № 1. С. 265–287.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 28 (с. 242–259).

Печатается по тексту первой публикации.

Отношение Розанова к Вл. Соловьёву определялось критическим выступлением того по поводу К. Леонтьева (*РО.* 1892. № 1) и особенно полемикой Н. Н. Страхова с Соловьёвым. Мысль написать статью против Соловьёва возникла у Розанова еще в начале 1893 г. В феврале он писал Страхову: «От судьбы Соловьёва и его сухой, мозговой софистики — избавь, Боже, всякого; моя идея — вернуть всех к православию реально существующему, без всяких придинок и выдумок» (*ЛИ.* С. 295). В письме Страхову после 4 июля 1893 г. Розанов продолжил эту тему: «С Соловьёвым и вообще нападками на славнофилов — подождите: в зиму, т. е. до января, думаю непременно написать статейку по

этому поводу, но я люблю всякое новое дело начинать, окончив прежнее, а то работа, если не пропадает, то теряет 90% стоимости (достоинства). Нужно кончить „Афоризмы и наблюдения“ (продолжение „Сумер. проsv.“) и написать статью о Достоевском — к полному собранию его сочинений... Соловьёв — сила уменьшающаяся — и в себе, и в оценке общества; поднялся высоко, а сесть собирается в лужу» (ЛИ. С. 298).

В письме к С. А. Рачинскому 13 августа 1893 г. Розанов сообщал: «Написал я эти дни „Свобода и вера“ (но еще не кончил), 2 фельетона — это по поводу споров о пределах веротерпимости (Л. Тихомиров, Вл. Соловьёв) — должно быть появится в „Моск. Вед.“ или „Новом Времени“». И далее Розанов продолжает: «Думаю, что нынешний, т. е. во вновь открывающийся год, придется сцепиться с Соловьёвым: у меня уже так в голове темы расположились: год — причина, год — народное образование, год — против явных и скрытых врагов церкви» (ЛИ-2. С. 500).

Одним из поводов стала для Розанова статья Вл. Соловьёва «Исторический сфинкс» (Вестник Европы. 1893. № 7). Выступление Розанова вызвало полемику в печати. Среди участников: Соловьёв В. С. Порфирий Головлёв о свободе и вере // Вестник Европы. 1894. № 2; Тихомиров Л. А. Больше терпимости // МВ. 1894. 19 марта; Тихомиров Л. А. Существует ли свобода? // РО. 1894. № 4; Соловьёв В. С. Спор о справедливости // Вестник Европы. 1894. № 4; Тихомиров Л. А. Два объяснения // РО. 1894. № 5; Тихомиров Л. А. В чем ошибка г. В. Розанова // РО. 1894. № 9. Выступая против безграничной религиозной свободы и веротерпимости, Розанов полагал, что личная свобода ограничена жизнью других. Вместе с тем Розанов выступает против занятой Соловьёвым экуменической позиции по «вопросу о соединении церквей».

Первая статья Соловьёва против Розанова с оскорбительным названием «Порфирий Головлёв о свободе и вере» написана в разнузданном стиле либеральной критики того времени. Суть ее выражена в названии разделов: «Основная метода пустословия у Иудушки», «Пустословие о свободе вообще» и т. д. вплоть до последнего раздела «Иудушка вспоминает Содом и Гоморру». Трудно даже понять, чем, кроме непомерного самолюбия, объясняется досада Соловьёва на Розанова. Через несколько дней после выхода статьи Соловьёва Розанов писал С. А. Рачинскому: «Дурак Соловьёв наткнулся, что медведь на рогатину — помолчал бы, и никто не обратил бы на мою статью внимания (плохо написана, туманно); теперь все о ней говорят, все читают, и — умные, живые все на моей стороне. Если Бог поможет, и силы меня не покинут — поборемся» (ЛИ-2. С. 501).

В статье «Спор о справедливости» Соловьёв продолжил полемику с Розановым и особенно с Тихомировым. Иногда это доходит до смешной схоластики. Так, Соловьёв упрекал Тихомирова, что тот не знал, что известная формула «не делать другим того, чего себе не хотите» (Деян 15, 29) отсутствует в греческом тексте Деяния апостолов и установлено это самим Соловьёвым (статья «Конец спора»).

В письме Н. Н. Страхову в июле 1894 г., когда Розанов жил на даче в Парголово, он просил написать рецензии на «Легенду о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» и на статью «Свобода и вера»: «Прямо забудьте, что знаете меня; вообразите чье-либо лицо на месте моего; можете по поводу „Свободы и веры“ обругать, вообще критиковать в смысле бранного журнального жаргона я нисколько не тягочусь; но думаю, за недостатками у меня есть и достаточно хорошего, чтоб и об этом сказать. Я жду абсолютно свободной внутренне статьи» (ЛИ. С. 303–304). Страхов написал статью только о «Легенде» (НВ. 1894. 25 нояб., за подписью «Старый книголюб»). Что касается «Свободы и веры» и «Ответа г. Владимиру Соловьёву», то, как Розанов писал С. А. Рачинскому 20 августа 1894 г., Страхов за эти статьи «ужасно бранил и все пытался остановить (Берг ему прислал на просмотр), отговорить: *но это дело необходимости — об этом и так именно писать*: пора выводить Россию из нигилистического периода ее истории» (ЛИ-2. С. 504).

Отвечая Соловьёву, Тихомиров писал в статье «В чем конец спора»: «Г. Соловьёв был два месяца назад очень встревожен идеями г. Розанова, смело выразившего презрение

к *терпимости*. Теперь г. Соловьёв выражает будто бы спокойную уверенность, что г. Розанов столь же внезапно сделался „безвреден“. Разумеется, я не могу поверить искренности его слов! Он очень хорошо понимает, что ничем г. Розанова не подорвал, ничем его не победил. Он знает, что смелые слова, хотя бы и несправедливые, всегда имеют шансы на успех. Он не может не понимать практического значения, возможного для теории г. Розанова. Может быть, сам г. Розанов и не интересуется агитацией. Но если бы он не захотел сделать широкого агитационного применения своих теоретических идей, то г. Соловьёв не может не понимать, что легко найдутся люди, энергические темпераменты и бойкие перья, которые могут это сделать. Этого г. Соловьёв несомненно боится. Иначе он бы не бранился так прежде и не выражал такого презрения теперь. Ведь, собственно говоря, г. Розанов выставил известные философские положения, которые даже весьма интересны и заключают в себе долю условной правды. Об идеях г. Розанова есть что сказать, в них есть что оставить как хорошо подмеченное, есть что отвергнуть как ошибочное» (РО. 1894. № 8. С. 845).

В следующем номере журнала Тихомиров продолжил обсуждение взглядов Розанова в статье «В чем ошибка г. В. Розанова». Во-первых, он заявляет, «что, не присоединяясь к пониманию г. Розанова, нахожу высказанные им положения очень ценными, которых разработка была бы чрезвычайно интересна, хотя бы она и потребовала различных поправок». Далее он возражает Розанову: «Теперь посмотрим еще, насколько основательно утверждение г. Розанова, будто я защитник „хаотической свободы“, а он — защитник „свободы творческой“. Г. Розанов читал мои статьи о свободе и даже отзывается о них с похвалой. Но в таком случае упрек в отстаивании „хаотической“ свободы приводит меня в недоумение. Хаотическим мы называем нечто такое, что не имеет внутренних законов». В итоге Тихомиров приходит к выводу: «Какова бы ни была история его развития, г. Розанов как автор статьи „Свобода и вера“ представляет несомненно борьбу двух диаметрально противоположных мирозерцаний, которые в нем непримиримы, да и вообще не могут быть примиримы» (РО. 1894. № 9. С. 400, 406, 410).

За развитием полемики Соловьёва и Розанова с самого начала следила журналистика. Так, рецензент «Одесского Листка», в котором позднее печатался и Розанов, писал 21 февраля 1894 г., то есть сразу после появления статьи Соловьёва против Розанова: «В февральской книжке „Вестника Европы“ г. Вл. Соловьёв поместил небольшую, но очень язвительную заметку под заглавием „Порфирий Головлёв о свободе и вере“. В этой статье г. Вл. Соловьёв разбирает взгляды очень распространенные и усердно проповедуемые теперь в известном лагере нашей журналистики. В своих язвительных нападках он почти исключительно касается взглядов, высказанных в статье „Свобода и вера“ г. Розанова, которого и делает, если можно так выразиться, козлом отпущения».

Продолжающаяся полемика стала вызывать недовольство в критике: «Напряженность спора дошла до того, что г. Розанов, публицист гораздо более серьезный, чем г. Тихомиров, не выдержал приличного тона и обычного своего стиля. Последняя статья его была вся целиком посвящена уже личной оценке Вл. Соловьёва... Печально видеть подобное падение писателя талантливого и оригинального, от которого можно было бы ждать серьезных и ценных произведений» (анонимный критик журнала «Книжки „Недели“». 1894. № 8. С. 212).

История полемики Тихомирова, Розанова, Соловьёва освещена в книге: *Козырев А. П.* Соловьёв и гностики. М., 2007. С. 305–312, и в «Розановской энциклопедии».

С. 293. ...«земля новая», «небо новое», «Иерусалим небесный» — Откр 3, 12; 21, 1–2.

С. 296. «Тело мое» — Мк 14, 22; Лк 22, 19.

С. 297. Суд у Пилата — Мф 27, 11–14; Мк 15, 1–5; Лк 23, 1–7; Ин 18, 29–38.

Иродиадина радость — по поводу казни царем Иродом по ее просьбе Иоанна Предтечи (см.: Мф 14, 1–12; Мк 6, 14–29; Лк 9, 7–9).

С. 298. ...«колеблющих камень Петра» — аллюзия на слова Христа: «Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою» (Мф 16, 18).

Антиминс — шелковый или льняной плат, на котором изображается положение Христа во гроб. Он кладется на Престол под Евангелие, и на нем совершается Освящение Святых Даров.

С. 299. *мысленная оговорка* — выражение из анонимного трактата «Тайные наставления» (1614), морального кодекса иезуитов.

Затогников — псевдоним публициста И. Ф. Романова (Рцы).

С. 302. ...*Он не терпел Гоморру и Содом* — подразумевается истребление этих городов огнем с неба за грехи их жителей (Быт 19, 24–25).

ОТВЕТ г. ВЛАДИМИРУ СОЛОВЬЁВУ

(с. 303)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из журнала *РВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 193. Л. 1–11.

Впервые напечатано: *РВ*. 1894. № 4. С. 191–211.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 28 (с. 259–274).

Печатается по тексту первой публикации.

Как сообщил Розанов С. А. Рачинскому 20 августа 1894 г., в его «Ответе Соловьёву» было примечание о графе Д. А. Толстом, выпущенное редактором Ф. Н. Бергом: «Кстати, вот пример единственной нетерпимости, какой мы желали бы: чтобы не были терпимы в государственном строе страны православной и монархической такие атеисты и анархисты, как умерший не так давно муж, — официально бывший стражем церкви, воспитателем молодых поколений и, по какому-то недоразумению, считавшийся всеми опорой трона. „Ну, этого нельзя“, — закричал Берг».

Религиозному мыслителю Владимиру Сергеевичу Соловьёву (1853–1900) принадлежит один из первых положительных откликов на брошюру Розанова «Место христианства в истории» (*РО*. 1890. № 9). Однако развитие у Розанова славянофильских тенденций привело к резкой по тону полемике Соловьёва и Розанова о веротерпимости.

Пolemика в печати: *Соловьёв В. С.* Конец спора // *Вестник Европы*. 1894. № 7. В заключении этой статьи Соловьёв утверждал: «Итак, ввиду прискорбного неумения г. Розанова ладить с истиной или, по крайней мере, оставаться с нею в сколько-нибудь приличных отношениях, предложенное им зеркало оказывается, к сожалению, бесполезным для моего самопознания». Соловьёв утверждал, будто Розанов признает свободу веры только за православием «при бесправии всех чужих».

«Ответ г. Владимиру Соловьёву» Розанова вызвал статью В. Буренина «Критические очерки. Ноги в перчатках, желудки, цепляющиеся за маски и проч.» (*НВ*. 1894. 29 июля) с резкой критикой Розанова: «Кто заявляет изумленному отечеству о том, что г. Соловьёв натягивает перчатки на свои ноги, которые, несмотря на то что он не может на них стоять, все-таки мчат его на пылающий огнем Синай? Кто заявляет о том, что г. Соловьёв не писатель, а блудница, тенор из кордебалета и т. д.? Все эти замечательные открытия сделаны неким г. Розановым... И что всего курьезнее: г. Розанов, дописавшийся до лайковых перчаток на ногах, до желудков, цепляющихся за маски и вино, считает себя, очевидно, умнейшим человеком, а своего противника, г. Соловьёва, невежественным, неразумным, жалким».

В письме к С. А. Рачинскому Розанов писал по поводу этой статьи Буренина: «Соловьёв, не будучи в силах мне что-нибудь ответить, воодушевил Буренина на фельетон, кот. Вы, верно, читали: фельетон написан с лучшими намерениями: Буренин просто был возмущен, как я смел выражаться очень дерзко о человеке заслуженном, ученом и пр.,

как Соловьёв; я ему сказал: „Да он нападает на православную церковь“; но тут Буренин заговорил такое, что и бумага не всякая сдержит передачу его слов» (ЛИ-2. С. 505).

Статью Розанова «К лекции г. Вл. Соловьёва об антихристе» (МИ. 1900. № 9/10. Хроника) см. в книге Розанова «Во дворе язычников»; статью «Об одной особенной заслуге Вл. С. Соловьёва» (НП. 1904. № 9) см. в книге «Около церковных стен». Не публиковавшаяся при жизни Розанова его статья «Ответ г. В. Соловьёву» включена в наст. том под 1900 г.

С. 304. *В эпитафии своей статьи против меня* — эпитафия из книги: Салтыков-Щедрин М. Е. Господа Головлёвы. Глава «Семейный суд».

«закуске фарисейской и саддукейской» — Мф 16, 6.

С. 305. *...то Самарянское селение ~ не знаете, какого вы духа* — Лк 9, 52–55.

...мытарь — в раю, в раю разбойник, там грешница; но где богатый юноша — упомянуты евангельские персонажи, соответственно, из притчи о мытаре и фарисее (Лк 18, 9–14), эпизода распятия на Голгофе (Лк 23, 39–43), сцены с женщиной, взятой в прелюбодеянии (Ин 8, 2–11), а также беседы Христа с богатым юношей (Мк 10: 17–25).

«Истинно, истинно говорю вам, земле Содомской...» — Мф 10, 15.

...эти отца твоего... — Исх 20, 12.

«аще кто не возненавидит» — Лк 14, 26.

С. 306. «Во гресех зачала...» — см. примеч. к с. 265.

Тать — вор (црксл.).

«Блаженны миротворицы...» — Мф 5, 9.

С. 307. *«где два или три соберутся во имя Мое...»* — Мф 18, 20.

С. 308. *...орган, в котором он угаснет* — т. е. журнал «Вестник Европы», в котором начиная с февраля 1888 г. печатался Вл. С. Соловьёв.

...народ «миром» молится — аллюзия на возгласение на богослужении, в начале Великой ектении: «Миром Господу помолимся».

Херувимская песнь — церковное песнопение, которое поется на литургии.

С. 309. *...в церковном расколе с русским Иисусом и осьмиконечным крестом* — названы наиболее характерные отличительные особенности богослужебной практики старообрядцев: написание имени Иисус с одной буквой «и», без новогреческого удвоения этой буквы, и использование только восьмиконечного Распятия (четырёхконечное не применяется как «латинское»).

С. 310. *...в одном из заседаний «Московского психологического общества»* — речь идет о заседании 19 октября 1891 г., на нем Вл. Соловьёв прочел реферат «О причинах упадка средневекового мирозерцания», вызвавший оживленную полемику о том, существовала ли инквизиция на православном Востоке.

С. 311. *«Камень верь»* (1718, опубл. 1728) — трактат митрополита Стефана Яворского, направленный против подчинения церкви светским властям.

Духовная коллегия — то же, что и Святейший Правительствующий Синод (1721–1918).

С. 312. *...обтянутых лайкою ног* — речь идет о лайковых штанах и лайковых туфлях. Вл. Соловьёв в статье «Конец спора» по этому поводу пишет о Розанове: «Он жалеет, что никто не предлагал мне правдивого зеркала, в которое бы я мог себя увидеть, и хочет сам оказать мне эту важную услугу: „и никогда, никогда правдивое зеркало не показало ему истину; не показало обтянутых лайкою ног, которым, конечно, не идти в пустыню...“. Конечно, в лайковых перчатках на ногах не только в пустыню, но и на Невский проспект идти невозможно. Это не важно само по себе, но прискорбно то, что зеркало г. Розанова вместо истины сразу показывает „наглядную несообразность“ и тем заранее подрывает доверие к своей правдивости».

...по вопросу о культурно-исторических типах — подразумевается полемика Вл. Соловьёва (прежде всего с Н. Н. Страховым) по поводу труда Н. Я. Данилевского «Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германно-Романскому» (СПб., 1871 г.; 5-е изд.: 1895).

С. 313. ...в «Руси» — Вл. Соловьёв напечатал в славянофильской газете И. С. Аксакова «Русь», выходящей в 1880—1886 гг., цикл статей «Великий спор и христианская политика». Когда выявилась непримиримость католической позиции автора, Аксаков опубликовал шестую статью соловьёвского цикла с критическими комментариями прот. А. М. Иванцова-Платонова. После последней, седьмой, статьи цикла (Общее основание для соединения церквей // Русь. 1883. 1 дек. № 23) Аксаков выступил в газете с резкой критикой взглядов Соловьёва (<Против национального самоотречения и пантеистических тенденций, высказанных в статьях В. С. Соловьёва> // Русь. 1884. № 6, 7).

С Достоевским он едет в Оптину пустынь — Вл. Соловьёв ездил в Оптину Пустынь 23—29 июня 1878 г.

...не зовет ли кто в Загреб — После публикации статьи Соловьёва «Великий спор и христианская политика» живший в Загребе хорватский католический епископ И. Г. Штроссмайер обратил внимание на Соловьёва и опубликовал в Загребе его работу «История и будущность теократии» (1887).

...статьи о Щеглове ~ Лесевиче. — Соловьёв В. С. Запоздалая вылазка из одного литературного лагеря (Письмо в редакцию) // Вестник Европы. 1891. № 7. С. 416—420; Соловьёв В. С. Письмо в редакцию. О заслуге В. В. Лесевича для философского образования в России // ВФП. 1890. Кн. 5. С. 116—123.

«Стрекоза» — юмористический журнал, выходил в Петербурге с 1875 по 1908 г., когда был преобразован в «Сатирикон».

...бытие тем, чем было — центральный аристотелевский термин. Переводя «Метафизику» Аристотеля, Розанов сделал примечание к этому термину: «Термин этот впервые введен в философию Аристотелем и, подобно некоторым другим его терминам, имеет странный, грамматически необычайный склад. Понятие, в нем выраженное, имеет не только важное, но и господствующее значение в его системе. Как и остальные три смысла термина „причина“: материя, начало движения и цель, он будет подробно разобран им ниже, Мет. VI, 2. Из этого разбора видно, что под сложным выражением τὸ τί ἦν εἶναι скрывается понятие того, что впоследствии схоластическая философия обозначила термином *causa formalis*, то есть форма, но не как геометрическое очертание только, а как зиждущее начало всякого предмета или явления, как его понятие. Выражение это состоит из τί εἶναι и ἦν. Imperf. здесь для того, чтобы показать, что форма единичного предмета или явления существует не только в текущий момент их пребывания, но что она из века была и предопределяла это пребывание и, с другой стороны, что, когда единичная реальная вещь исчезла, она еще продолжает существовать. Мы передали его выражение: „основание, в силу которого что-либо есть то, что оно есть и чем было“, потому что по своей общности оно ближе всего определяет сущность каждой вещи или явления и указывает на положение, которое занимает сущность по отношению к свойствам и к другим сторонам бытия данной вещи или данного явления» (Аристотель. Метафизика / Пер. с греч. П. Д. Перлова и В. В. Розанова. Комментар. В. В. Розанова. М., 2006. С. 37—38).

С. 314. «возлюби ближнего» — Лев 19, 18; Мф 22, 39.

С. 315. «Блаженны нищие» ~ «Блаженны кроткие» ~ «Блаженны творящие мир» — так называемые «заповеди блаженства» (Мф 5, 3, 5, 9).

«хлебом животным...» — Ин 6, 48.

Гром победы раздавайся — Г. Р. Державин. Хор (по случаю взятия Измаила) (1791).

«Жизнь и смерть положил ныне перед лицом твоим...» — Втор 30, 19.

С. 316. «о благосостоянии святых Божиих церквей», «о граде сем и всяком граде», «о мире всего мира» — прошения из Великой ектении на литургии.

ЧТО ПРОТИВ ПРИНЦИПА ТВОРЧЕСКОЙ СВОБОДЫ НАШЛИСЬ ВОЗРАЗИТЬ ЗАЩИТНИКИ СВОБОДЫ ХАОТИЧЕСКОЙ?

(с. 318)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из журнала *PВ* – РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 49а. Л. 1–20 об. с авторскими подчеркиваниями. В конце раздела XVIII надпись на полях: «Отвратительность и бессмыслие усилий к незаконному».

Впервые напечатано: *PВ*. 1894. № 7. С. 198–235.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 28 (с. 274–301).

Печатается по тексту первой публикации.

Полемика в печати: *Тихомиров Л. А.* По поводу объяснений г. Розанова // *РО*. 1894. № 8; *Тихомиров Л. А.* В чем ошибка г. В. Розанова? // *РО*. 1894. № 9. См. выше при статье Розанова «Свобода и вера».

С. 318. *маркиз Поза* – герой пьесы Ф. Шиллера «Дон Карлос, инфант Испанский» (1787).

С. 319. *...видя идущего мимо лысого пророка, мальчишки бежали за ним...* – отсылка к библейскому рассказу о пророке Елисе, следовавшему из Иерихона в Вефиль: «Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмеялись над ним и говорили ему: иди, плешивый! иди, плешивый! Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним» (4 Цар 2, 23–24).

В тем помешала Вольтеру Жанна д'Арк – имеется в виду «ироикомическая» поэма Вольтера «Орлеанская девственница» (1730–1735; опубли. 1755).

С. 320. *«сердца сокрушенного» не унижит Бог* – Пс 50, 19 («...сердце сокрушенно и смиренно Бог не унижит»).

С. 323. *«секира уже лежит при корне ее»* – Мф 3, 10 («Уже и секира при корне дерев лежит»).

С. 324. *...от золотых времен Сатурна...* – С именем исконного древнеримского бога Сатурна было связано представление о золотом веке, всеобщем изобилии и вечном мире. См.: Вергилий. Георгики. II, 548.

вещь в себе и для себя – философские понятия, введенные, соответственно, в трудах «Критика чистого разума» И. Канта (1781) и «Наука логики» Гегеля (1812–1816).

«Шире дорогу, восьмидесятник идет» – выражение, восходящее к известным словам «Шире дорогу – Любим Торцов идет!» (А. Н. Островский. Бедность не порок (1854). III, 12).

С. 328. *...Сократ утверждал, что все его лучшие мысли ~ внушены были «добрым демоном»...* – имеется в виду даймоний (демон) – внутренний голос, предостерегавший против дурных поступков. В речи перед судом Сократ признавался: «Мне бывает какое-то чудесное божественное знамение (τό δαιμόνιον)... Началось у меня это с детства: вдруг – какой-то голос, который всякий раз отклоняет меня от того, что я бываю намерен делать, а склонять к чему-нибудь никогда не склоняет» (Платон. Апология Сократа. 31 d).

С. 330. *...санкюлоты раскупоривали бутылки в королевских погребках* – Санкюлоты – революционно настроенное парижское простонародье. Речь идет о взятии им штурмом королевского дворца Тюильри в ходе Французской революции, 10 августа 1792 г.

С. 331. *...к случайному наблюдению Бартольда Шварца* – По преданию, немецкий монах-францисканец и алхимик Б. Шварц, живший в XIV в., был посажен в тюрьму по обвинению в колдовстве и, смешивая там разные вещества, нечаянно открыл порох.

С. 338. *«Пийте от нея вси»* – Мф 26, 27.

...ни император, один из самых могущественных ~ ни папа, один из самых уступчивых — подразумеваются современники М. Лютера император Священной Римской империи Максимилиан I и папа римский Лев X.

С. 338—339. ...мытарь ~ разбойник ~ каявшаяся грешница — см. коммент. к с. 305.

С. 339. «Тимофее, сохрани предание» — 1 Тим 6, 20.

Апостол — богослужебная книга, содержащая «Деяния» и «Послания» апостолов, отдельные стихи из Псалтири и др.

«сокрушая ребра» — Сир 30, 12.

С. 340. ...Евангелие не нуждается ни в подкраске, ни в подделке... — эти слова кардинала Р. Беллармина связаны прежде всего с его деятельностью по исправлению библейского текста: он внес около трех тысяч изменений в Вульгату (его редакция 1592 г. считалась официальной Католической Библией вплоть до 1979 г.).

Христос на кресте ~ соблазнял иудеев, а эллинам казался безумием... — 1 Кор 1, 23 («...а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие»).

«зрак раба» — Фил 2, 7. В Синодальном переводе: «образ раба».

Людовик Сотело ~ замуженный там, писал папе... — цитируется письмо испанского миссионера Луиса Сотело Севильского папе римскому Урбану VIII, отправленное из японской тюрьмы в январе 1624 г., за семь месяцев до казни (был сожжен живым вместе с четырьмя другими католическими монахами).

С. 341. ...папа Лев XIII благословил славянскую литургию... — первоначально в 1881 г., окончательно в 1888 г., когда Лев XIII возглавлял славянские делегации в Рим.

Кажется, Георгом Брандесом — Датский критик Георг Брандес после поездки в 1887 г. в Россию популяризовал в Дании русскую литературу. Однако подобная мысль в сочинениях Брандеса на русском языке не обнаружена.

1895

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И НАРОД

(с. 344)

Автограф в ОР РГБ. Ф. 249. К. 5. Ед. хр. 25. Л. 1—4. Б. д. Статья написана в августе 1895 г., о чем свидетельствует письмо Розанова к С. А. Рачинскому 23 августа 1895 г.

Печатается по тексту первой публикации А. В. Ломоносова в «Записках Отдела рукописей РГБ» (М., 2008. Вып. 53. С. 458—460).

С. 345. ...в его <класса интеллигенции> среде ~ (Кальвин и Цвингли)... — церковные реформаторы XVI в. Ж. Кальвин и У. Цвингли родились в семьях, соответственно, адвоката и старшины католической общины.

ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ТРЕВОГИ Л. Н. ТОЛСТОГО

(с. 345)

Автограф неизвестен.

Сохранился сброшюрованный оттиск статьи из журнала *РВ* с надписью на последней странице: слева — «С просьбой по миновании надобности вернуть. В. Р.»: справа — «1895.» — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 8—25.

Впервые напечатано: *РВ*. 1895. № 8. С. 154—187.

В Собр. соч. Розанова вошло в т. 7 (с. 385—409).

Печатается по тексту первой публикации с исправлением опечаток:

С. 349. 28: подвернулся под перо / подвергнулся под перо

С. 363. 12: в климактерическом периоде / климатерическом периоде

Розанов обратился к творчеству Л. Н. Толстого еще в 1892 г. в статье «Эстетическое понимание истории». Статья «По поводу одной тревоги Л. Н. Толстого» — первая среди нескольких десятков работ Розанова о Толстом.

В одиннадцатом разделе этой статьи Розанов обращается на «ты» к Ивану Ильичу из толстовского рассказа о его смерти, и продолжает то же обращение на «ты», уже говоря об авторе рассказа. Появление статьи вызвало в газетах обвинение Розанова в «грубости»: он обращался к Л. Н. Толстому на «ты». В. Чуйков опубликовал в «Журнальном Обзрении» газеты «Одесский Листок» (1895. 5 сент.) резко отрицательную рецензию на статью Розанова: «Какой-то г. Розанов, пишущий всего без году неделя, составивший себе скромную известность своими выходками мистического бреда, — авторитетно, грубо, с каким-то непонятным и нелепым изуверством обрушивается на великого писателя, осмеливается его поучать слогом пьяного пономаря! И вся эта пошлость в бреде находящегося человека находит приют в серьезном журнале».

В. Буренин высмеял Розанова за статью о Толстом в фельетоне «Литературное юродство и кликушество» (НВ. 1895. 1 сент.): «Розанов никак не может понять таких „тревог“ Л. Толстого и полагает, что все это у автора „Войны и мира“ происходит оттого, что он боится смерти, а смерти он боится потому, что на его душе есть „тайный грех“, может быть, преступление». Буренин выводит особый тип розановской статьи как недопустимый в литературе. «Да, это совершенно особого рода критики, руководящиеся в своих суждениях не логикой, не разумом, а юродством, за которым сквозит прирожденное или притворное фарисейство — право, не разберешь хорошенько. На них „накатывает“, как на известных сектантов, какой-то „дух“, они впадают в „транс“ и не разбирают писателя, не исследуют его, а порицают и увещевают, обращаются к нему, как к погибающему, нимало не сомневаясь, что он идет по прямому пути в ад, простирают к нему руки для его спасения и т. д. Словом, тут не критика, а истерическая чепуха, если только не истерически-лицемерная комедия с какими-либо практическими, а не литературными целями, например, с целью гласного заявления о своем благочестии, смиренномудрии, праведности, почитании установленных начал и т. п.». В заключение своей большой статьи обличения Буренин сравнивает Розанова с героем «Записок сумасшедшего» Гоголя, а его «открытия» — с заявлением «новейшего Поприщина»: «А знаете, что у алжирского бея под самым носом шишка?».

Розанов опубликовал в ответ «Необходимое разъяснение» (РВ. 1895. № 10. С. 321—325), однако редакция журнала сделала существенные пропуски в его статье, и он был вынужден перепечатать ее полностью в другом журнале с «Письмом в редакцию (По поводу „Необходимого разъяснения“» (РО. 1895. № 11. С. 501—508). Изъясняя свою позицию и тон статьи о Толстом, в которой он упрекает писателя в страхе смерти, Розанов подчеркивает, что если бы ему пришлось вновь писать о том же, он «не мог бы взять ни одного слова назад и не изменил бы ни одной черты в манере изложения».

Историю появления письма в редакцию «Необходимое разъяснение» Розанов рассказал в письме С. А. Рачинскому 16 декабря 1895 г.: «После статьи о Толстом приходит в Тов. „Общ. Пользы“ (теперь — там редакция) один из сотрудников „очень важный — Вы его знаете, но имени открывать не могу“ (слова Берга) и говорит, что если „Русск. Вестн.“ напечатает еще одну такую статью, то он отказывается участвовать в журнале (это было одной из причин, что я написал „Объяснение“, а после статьи Буренина в „Нов. Вр.“ В. И. Вишняков — добрейший человек, протест-директор Тов. „Общ. П.“ — „пришел в положительное уныние“ (слова Берга)). Я поехал с ним поговорить, и он мне сказал: „Нельзя, В. В., нельзя: это не литературно говорить ты писателю: Вы с ним брудершафт не пили“; видя, что в такой степени в моей статье неясно для читателей — я предложил Вишнякову, или, собственно, высказал мысль, а он подхватил: „Если бы, говорю, я твер-

до стоял в «Русском Вестнике» и больше имел доверия от Вас и свободы для себя — я написал бы объяснение, в коем пристыдил бы все эти инсинуации Буренина и других как пустые и ничтожные“ (а Буренин для них всех — сила, Вишняков добродушнейший называет его прямо *прокурором* литературы). Но трусишка Берг взял и обкорнал мою статью в последней, *своей* корректуре; я ему написал очень резкое письмо, говоря, что он может извиняться печатно перед „Нов. Вр.“, а я не могу, и послал к Александрову» (ЛИ-2. С. 525), т. е. в «Русское Обозрение». В отместку Берг заявил, что «больше ни одной статьи В. В. в „Русском Вестнике“ не будет напечатано». Лишь с помощью того же Вишнякова удалось все уладить. При встрече со Страховым (он обедал у Розановых через воскресенье) Розанов рассказал ему всю эту историю. Страхов сказал: «Конечно, вы были вправе перепечатать объяснение в „Русск. Обозрении“». При этом Розанов заметил: «Но ведь я не спросился». «А разве они вас спрашивали, — отвечал Страхов, — что делали изменения в вашей статье, и советовались с Вами?»».

Много лет спустя Розанов вспоминал об этой статье, наделавшей ему «величайших неприятностей»: «Никто не хочет вникнуть ни в тон статьи, ни в мотивы ее, вытекавшие из глубочайшей христианской любви к писателю. Всех поразило одно только обращение на „ты“. Но ведь мы говорим: „Ты, батюшка, царь“ и проч. Но будем верить, что то, что всем не понравилось, верно, и в самом деле было худо. Но поразительно, что больше всего за „ты“ мягко укорял меня добрейший директор „Товарищества общественной пользы“ В. И. Вишняков: „Разве вы пили с Толстым брудершафт?“. Он был вовсе необразованный человек. И как он понял обращение это, — и все понял, в литературе и обществе. Может быть, единственное по силе горение души моей в литературе — прошипело, как неудавшаяся ракета. Также замечательно, что Страхов, весьма упрекавший меня за полемику с Соловьёвым, ни слова упрека не сказал за это „ты“ к Толстому: он понял мотив и тон мой, любящий, но не грубый» (ЛИ-2. С. 436).

Розанов вспоминал эту историю уже в 1896 г. в письме к С. А. Рачинскому 12 февраля: «Статья моя о Толстом и последовавший фельетон Буренина имели огромное *отрицательное* значение: сотрудники один за другим объявляли Вишнякову, что я роняю журнал своими статьями, что так писать слишком дурно и пр.» (ЛИ-2. С. 536). И здесь же Розанов добавляет об отношениях Страхова с хозяином «Русского Вестника» Н. П. Вишняковым: «Однажды Страхов написал Вишнякову по поводу моей статьи, не принимаемой Бергом, что „ведь «Русск. Вестн.» — скучнейший журнал, — и если что его несколько оживляет, то это статьи Розанова“. Этого вмешательства Страхова и отзыва о „Русск. Вестн.“ Берг не может ему забыть» (Там же).

История оценок Розановым творчества Л. Н. Толстого прослежена в статье С. Ф. Дмитренко в «Розановской энциклопедии» (с. 1003–1011). Статью Розанова «Об отлучении гр. Л. Толстого от Церкви» (НП. 1903. № 2. Прилож.) см. в книгах Розанова «Около церковных стен» и «В темных религиозных лучах».

Эпиграф к рассказу «Хозяин и работник», появившемуся в мартовском номере «Северного Вестника» за 1895 г., восходит к тексту из шестой главы: «„Ох, длинна ночь!“ — подумал Василий Андреич, чувствуя, как мороз пробежал ему по спине, и, застегнувшись и опять укрывшись, он прижался к углу саней, собираясь терпеливо ждать».

С. 345. ...Н. Михайловский, заключая разбор — Михайловский Н. Литература и жизнь // Русское Богатство. 1895. №3. Отд. II. С. 132–153.

С. 346. В XIII-м томе его сочинений есть ~ «О жизни» — XIII том Сочинений Л. Н. Толстого (9-е изд.) вышел в Москве в 1893 г. Трактат «О жизни», основа учения Толстого о человеке, был впервые напечатан в московской типографии А. И. Мамонтова в 1888 г., но запрещен и уничтожен цензурой. Первое легальное издание в России состоялось в 1889 г. в петербургской газете «Неделя».

С. 346. *...страх смерти ~ «вложен в каждого»* — Л. Н. Толстой. Севастополь в августе 1855 года. Гл. 16 («Страх... смерти врожденное чувство человека»).

...об «упряжках» — см.: «...день всякого человека самой пищей разделяется на 4 части, или 4 упряжки, как называют это мужики: 1) до завтрака, 2) от завтрака до обеда, 3) от обеда до полдника и 4) от полдника до вечера. Деятельность человека, в которой он, по самому существу своему, чувствует потребность, тоже разделяется на 4 рода: 1) деятельность мускульной силы, работа рук, ног, плеч и спины — тяжелый труд, от которого вспотеешь; 2) деятельность пальцев и кисти рук, деятельность ловкости мастерства; 3) деятельность ума и воображения; 4) деятельность общения с другими людьми» (Л. Н. Толстой. Так что же нам делать? (1886). Гл. XXXVIII).

С. 347. *«Исповедь»* — сочинение Л. Н. Толстого написано в 1879—1882 гг., напечатано в Женеве (Общее Дело. 1884). Журнал «Русская Мысль» (1882. № 5), где этот религиозно-философский трактат напечатали под названием «Вступление к ненапечатанному сочинению», был конфискован цензурой. В России «Исповедь» появилась лишь в 1906 г. (Всемирный Вестник. № 1).

С. 348. *Валухи* — кастрированные бараны.

С. 349. *Блажен, кто смолоду был молод...* — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. VIII, 10. Далее Розанов называет эту цитату «тремя строчками», не придавая значения, что на самом деле приведены только две пушкинские строки.

С. 350. *Идиотизм* — идиома (устар.).

С. 351. *...36 букв в алфавите...* — до реформы 1917—1918 гг., упразднившей 4 буквы («и десятеричное», «ижицу», «фиту» и «ять»).

С. 352. *Акциденция* — философский термин, обозначающий случайное, несущественное свойство вещи; противопоставляется субстанции (сущности вещи).

С. 355. *Протей* — в древнегреческой мифологии морское божество, принимавшее различные облики.

С. 359. *...не то оскверняет человека, что входит в его уста, но что из его уст выходит* — Мф 15, 11.

«Первая ступень» — статья Л. Н. Толстого (1891), в которой первой ступенью доброй жизни считается воздержание. Впервые опубликована в журнале «Вопросы Философии и Психологии» (1892. Кн. 13).

С. 360. *«Дух уныния»* — аскетический термин. Ср. в переложении А. С. Пушкиным великопостной молитвы преподобного Ефрема Сирина: «дух праздности унылой» («Отцы пустынноики и жены непорочны...», 1836).

Саулов дух — По определению современного историка, библейский царь Саул был «непредсказуемый восточный властелин-бандит, который колеблется между внезапным великодушием и неумной яростью (возможно, с маниакально-депрессивным оттенком), всегда храбрый, несомненно одаренный, но балансирующий на грани помешательства и временами преходящий ее» (Джонсон П. Популярная история евреев = A history of the Jews. М., 2001. С. 65—66).

...Платона Каратаева ~ бросить на дороге... — Л. Н. Толстой. Война и мир. IV, 3, 14.

С. 361. *«Три смерти»* — рассказ Л. Н. Толстого (1858).

...Долли водила детей к пригастию... — Л. Н. Толстой. Анна Каренина. III, 8.

...«длинные и тонкие» пальцы матери своей... — Л. Н. Толстой. Детство. Гл. XV.

С. 362. *...«метать копьё» в невинного ~ Давида, «чтоб пригвоздить его к стене»...* — 1 Цар 19, 10 («И хотел Саул пригвоздить Давида копьём к стене, но Давид отскокил от Саула, и копьё вонзилось в стену»).

«гордость земли своей» — вероятно, отсылка к определению И. С. Тургенева в его письме к Толстому из Буживаля от 11 июля (29 июня) 1883 г.: «Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар ваш оттуда, откуда все другое. <...> Друг мой, великий писатель земли русской, внемлите моей просьбе...». После первой публикации письма (Тургенев И. С. Первое собрание писем, 1840—1883 гг. СПб., 1884 (обл.: 1885). С. 550—551) это выражение стало широкоупотребительным, причем в разных контекстах: от простодушно-патетического до издевательски-ироничного.

С. 363. *...кто не потеряет душу свою ради меня* — Мф 16, 25.

С. 364. *рушка* — мельница для выделки крупы.

С. 365. «Чистые сердцем Бога узрят» — Мф 5, 8.

С. 366. «Царство Божие внутри вас есть» — Л. Н. Толстой. «Царство Божие внутри вас» (1893).

...изображение исповеди Левина перед браком и описание всего таинства брака... — Л. Н. Толстой. Анна Каренина. V, 1, 4.

С. 367. «Декабристы» — неоконченный роман Толстого, печатавшийся в 1884 г.

«несть человек, иже не согрешит, аще и миг единый поживет» — из заупокойной молитвы. См. также: 2 Пар 6, 36 («несть человек, иже не согрешит»).

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

<О статье «Необходимое разъяснение»>

(с. 369)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки статьи для журнала *РВ* с заголовком «Необходимое разъяснение (Письмо в редакцию)» — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 1а—3. Они предназначались для публикации в *РВ* как ответ на дискуссию, возникшую вокруг статьи Розанова «По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого». Полемический ответ Розанова был, однако, подвергнут в журнале Ф. Н. Берга значительной редакционной правке и в этом искаженном виде, тем не менее, за подписью писателя появился в *РВ* (1895. № 10. С. 321—325; см. *Варианты*), что вызвало его протест. Розанов не соглашался ни с редакционными, ни с газетными оценками статьи «По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого»: не только ее «тона», якобы «грубого» (на «ты» в обращениях к писателю-проповеднику), но и критического восприятия своей позиции в целом по отношению к Толстому. Он высказал это в «Письме в редакцию», тепер адресованном в журнал *РО*. Им он сопровождал предложение о повторной публикации статьи «Необходимое разъяснение» в этом издании в не искаженном редакторским вмешательством виде.

По всей вероятности, текст статьи, идентичный гранкам, стал основой новой публикации с рядом стилистических изменений и существенных дополнений (ср. с текстом гранок *РВ* в разделе *Варианты*), что относится, в частности, к заключительной части статьи-ответа, где затронуты торопливые и неубедительные, по мнению Розанова, газетные выступления таких его оппонентов, как В. Буренин и В. Чуйков.

В письме С. А. Рачинскому 14 октября 1895 г. Розанов писал: «Берг переврал мое объяснение по поводу Толстого — я вскипятился, ему послал очень бранное письмо и написал в „Русск. Обозр.“ письмо и просьбу воспроизвести в точности „Объяснение“; оно было писано Вам, и мне в голову не приходило отвечать Чуйкам и Буренину — Христос с ними, что им Гекуба...» (*ЛИ-2*. С. 519).

Впервые напечатано: *РО*. 1895. № 11. С. 502—508.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 28 (с. 388—393).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 369. *...на порицания, сделанные мне* — Буренин В. П. Литературное юродство и кликушество // *НВ*. 1895. 1 сент.; Чуйко В. В. Журнальное обозрение // *Одесский Листок*. 1895. 5 сент.

...письмо от ~ С. А. Рагинского ~ с упреками за «грубость и страстность тона» — 23 августа 1895 г. Рачинский писал Розанову об этой статье: «Нет архитектуры, и в инвективах преступлена всякая мера. Переход от первой части (интересные соображения о личном бессмертии) ко второй, обличительной, не мотивирован. Тут предполагается полное убеждение читателя (прежде всего самого Толстого) вашими доводами. А что, если убеждения этого не последовало? И не боитесь ли вы оттолкнуть читателя именно этим тоном, грубым и страстным?» (*ЛИ-2*. С. 436).

С. 371. *«Люцерн»* — рассказ Л. Н. Толстого (1857).

С. 372. *Федор-подавальщик Левину* — В XI главе восьмой части «Анны Карениной» Толстого Федор-подавальщик говорит о старике Платоне: «Он для души живет. Бога помнит. — Как Бога помнит? Как для души живет? — почти вскрикнул Левин».

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО К г. АЛЕКСЕЮ ВЕСЕЛОВСКОМУ

(с. 373)

Автограф неизвестен.

Сохранился журнальный оттиск с авторской правкой — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 177. Л. 2—6. Розанов вычеркнул имевшееся в журнальной публикации примечание к имени *Алексей*: «На обложке „Вестника Европы“ не обозначено полнее, даже инициалом, имя автора статьи „Гоголь и Чаадаев“». Сверху на полях помета В. В. Розанова: «см. *Свобода* и Вера».

Впервые напечатано: *РО*. 1895. № 12. С. 905—913.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 28 (с. 404—411).

Печатается по тексту первой публикации.

Веселовский Алексей Николаевич (1843—1918) — историк литературы, брат академика Александра Веселовского, профессор Московского университета с 1881 г. См. о нем статью А. В. Ломоносова в «Розановской энциклопедии» (с. 192).

Ю. Николаев <Ю. Н. Говоруха-Отрок> в рецензии «По поводу статьи Розанова» (*МВ*. 1896. 4 янв. № 4) писал о статье Розанова: «Мысли, высказанные в ней, несколько отрывочны, но очень глубоки и жизненны. Г. Розанов — странный писатель. Без сомнения, он даровит и искренен: качества, редко встречающиеся в нашей современной литературе... Не могу не выразить величайшего сочувствия прекрасным заключительным строкам этой статьи... В этих строках высказано надлежащее, истинное отношение как к Чаадаеву, так и к воспринявшему в нем начало западничеству — отношение твердое и прямое, чуждое ненужного и затемняющего дело раздражения».

В своей рецензии Говоруха-Отрок развивает основную мысль Розанова о Чаадаеве. «Наши либералы» ценят в Чаадаеве то, «что он первый выступил с радикальным отрицанием России, ее духа, ее истории, ценят они то, что он первый сказал про Россию, что она — чистый лист бумаги, на котором можно написать все, что угодно, что народ русский — этнографический материал, который можно обработать как угодно. И вот по этой-то канве, созданной Чаадаевым, наше западничество вышивает свои узоры; отправляясь от мысли Чаадаева, стали возможны и Добролюбовы, и Писаревы, и Чернышевские, и вообще стало возможным, получило точку опоры все наше западничество. Таково, в кратких словах, значение деятельности Чаадаева».

С. 374. *Приближается годовщина великой комедии и многострадального письма* — В статье А. Н. Веселовского «Гоголь и Чаадаев» (*Вестник Европы*. 1895. № 9. С. 84—95)

речь шла о комедии Гоголя «Ревизор» (премьера 25 мая 1836 г. в Малом театре, Москва) и «Философическом письме» П. Я. Чаадаева (Телескоп. 1836. Сентябрь. № 15).

«Северная Пальмира» — образное название Петербурга. *Пальмира* — город в Сирии, славившийся в древности великолепием своих сооружений. Петербург стали называть «Северной Пальмирой» с середины XVIII в. К. Н. Батюшков использовал это выражение в послании к И. М. Муравьеву-Апостолу.

Автор «Что делать?», *томившийся в — Саратове* — Н. Г. Чернышевский переведил «Всеобщую мировую историю» (1857—1880. Т. 1—15; второе издание в 1882—1890) немецкого историка Георга Вебера в Астрахани, где он находился с 1883 по 1889 г., и только за три месяца до смерти получил разрешение вернуться в родной Саратов.

«Жестокосердие женщин» — имеется в виду статья Н. В. Шелгунова «Женское бездушие» (Дело. 1870. № 6).

С. 375. «*Георгиев на шею*» — имеется в виду воинская награда Георгиевский крест, учрежденная в России в 1807 г. Упразднена в 1917 г., восстановлена в 1992 г.

С. 376. «...*сатирик наших дней сказал, что «они погитывают», в то время как авторы «пописывают»* — имеются в виду слова М. Е. Салтыкова-Щедрина из его «Пестрых писем» (1884): «Русский читатель, очевидно, еще полагает, что он сам по себе, а литература сама по себе. Что литератор пописывает, а он, читатель, почитывает. Только и всего» (Первое письмо).

Карл X издал свои «ордонансы» — 25 июля 1830 г. французский король Карл X подписал 6 ордонансов, которыми изменял избирательный закон, распускал не собравшуюся еще палату и вводил цензуру. Это явилось поводом к Июльской революции 1830 г.

С. 377. «*незримые слезы*» — см. коммент. к с. 154.

«*счастливец праздных*» — А. С. Пушкин. Моцарт и Сальери (1830). Ст. II.

«*загатою в салонах Louis XV...*» — подразумевается прежде всего деятельность французских энциклопедистов.

«...*о возмутивших вас студентах*» — отсылка к словам А. Н. Веселовского: «Говорят, несколько студентов являлось тотчас после напечатания статьи к попечителю округа с заявлением готовности с оружием в руках отомстить за оскорбление, нанесенное всей России, а в редакцию „Телескопа“ — с грозным протестом против статьи» (Веселовский А. Н. Этюды и характеристики. 2-е изд. М., 1902. С. 688).

«...*революции июльской...*» — восстание 27 июля 1830 г. во Франции.

Эйдкунен (Эйдткунен) — пограничная станция между Россией и Германией в Восточной Пруссии (с 1946 г. пос. Чернышевское в Нестеровском р-не Калининградской обл.).

«...*критический суд, произнесенный над «Философическим письмом...*» — имеется в виду неотправленное письмо А. С. Пушкина к П. Я. Чаадаеву 19 сентября 1836 г.

«...*метивший в «Периклесса» и «Брута» «офицер гусарского полка»* — подразумевается раннее стихотворение А. С. Пушкина «К портрету Чаадаева» (1817—1820): «Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес, А здесь он — офицер гусарской».

«...*в своих прелестных «Воспоминаниях»* — В конце жизни, потеряв зрение, Ф. И. Буслаев продиктовал мемуары «Мои воспоминания», печатавшиеся в «Вестнике Европы» в 1890—1892 гг. (отд. изд.: М., 1897).

С. 378. «*Россия приняла христианство из рук растленной Византии*» — «Философическое письмо» написано по-французски, и в переводе Д. И. Шаховского читаем: «По воле роковой судьбы мы обратились за нравственным учением, которое должно было нас воспитать, к растленной Византии». В журнале «Телескоп» русский перевод был напечатан с искажениями. Его перепечатал А. И. Герцен в «Полярной Звезде» (1861. № 6).

С. 379. «*Мои досуги*» — книга Ф. И. Буслаева о русской литературе XIX в., вышла в двух частях (М., 1886).

Д. Давыдов в письме к Пушкину — от 23 ноября 1836 г.

1896

ХРИСТИАНСТВО И ЯЗЫК

(с. 380)

Автограф — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 92. Л. 1—21 об. Б. д.

Окончание написания — 13 января 1896 г. См. письмо С. А. Рачинскому, в котором Розанов сообщает: «Я задумал удивительнейшую статью: „Христианство и язык“ — т. е. на тему, коих никогда не касался, кои и в голову мне никогда не приходили. Помоги Бог! 25 стр. моего мельчайшего письма написал» (*ЛИ-2*. С. 528).

Впервые напечатано в журнале «Энтелехия» (Кострома, 2006. № 13. С. 102—120; публикация В. Г. Сукача).

В Собр. Соч. Розанова включено в т. 28 (с. 412—445).

Печатается по первой публикации, сверенной с автографом. Устранен ряд пропусков в журнальной публикации.

С. 380. *...епископ Римский, обращаясь в недавних энциклопедиях к народам Востока — Папа римский Лев XIII, занимавший престол в 1878—1903 гг., 20 июня 1894 г. обратился с Посланием епископам, клиру и пастве с призывом к единению с папским престолом всех христиан, что может осуществиться только признанием папы высшим архиереем.*

Лаццум — см. коммент. к с. 214.

С. 381. *Это случилось в последние годы мозугега Рима...* — одноименное стихотворение М. Ю. Лермонтова (дата не установлена).

С. 382. *Играй, Адель...* — А. С. Пушкин. Адели (1822).

Дар огромный, дар слугайный... — А. С. Пушкин. «Дар напрасный, дар случайный...» (1828).

С. 383. *Каданс* — гармонический оборот, завершающий музыкальное произведение и сопровождаемый ритмической остановкой.

С. 386. *...из Котошихина* — имеется в виду книга общественного деятеля и писателя на шведской государственной службе Г. К. Котошихина «О России в царствование Алексея Михайловича» (1666), обнаруженная русскими историками в шведских архивах в первой половине XIX в. Издана в 1840 г.

...лукавый дьявол всеял плевелы свои — аллюзия на евангельскую притчу о добром семени и о плевелах (Мф 13, 25).

С. 387. *Дондеже* — до тех пор пока (*церк.-слав.*).

С. 389. *Панамский процесс во Франции* — судебное разбирательство в связи с так называемой Панамской аферой, финансовым и политическим скандалом, разразившимся во Франции в 1892—1893 гг., во время строительства Панамского канала.

С. 390. *...в рощах Лицея и Академии* — см. коммент. к с. 212.

...из «Русского Обозрения», февраль 1893 г. — Розанов цитирует здесь VIII главу своей статьи «О монархии (Размышления по поводу Панамских дел)» (РО. 1893. № 2. С. 699—700).

С. 392. *Скажут имя твое — пролитой аромат!* — Л. А. Мей. Еврейская песнь I («Поцелуй же меня, выпей душу до дна...», 1856). Переложение из Библии: Песн 1, 2 («Имя твое, как разлитое миро»).

С. 393. *В «Разъезде»* — Н. В. Гоголь. Театральный разъезд после представления новой комедии (1842).

«Paul et Virginie» («Полю и Виргиния») — роман французского писателя Ж. А. Бернарден де Сен-Пьера (1787; рус. пер.: М., 1793).

«*Manon Lescaut*» («Манон Леско») — «История кавалера Де Гриё и Манон Леско» (1733; рус. пер.: 1790) французского писателя А. Прево д'Экзиля.

С. 394. «*Векфильдский священник*» — роман английского писателя О. Голдсмита (1766; рус. пер.: 1786).

«*Дженни Эйр*» — роман английской писательницы Шарлоты Бронте «Джен Эйр» (1847; рус. пер.: 1849).

«*Сказание инока Парфения*» ~ оцененное Аполлоном Григорьевым — Весной 1856 г. редактор «Библиотеки для Чтения» А. В. Дружинин заказал Аполлону Григорьеву статью о «Странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Св. Земле постриженника святые горы Афонския инока Парфения» (М., 1855. Т. 1—4). Письмом от 19 сентября 1856 г. Григорьев известил Дружинина: «Статья об о. Парфении представляет страшные трудности: об этой книге можно написать или гладенькую пристойную статью, каковых я писать не умею, или статью живую, выношенную в сердце: откровенно скажу Вам, что и она уже написана, но я ею недоволен». Однако доделка статьи не давалась, и в январе 1857 г. Григорьев сообщил Дружинину, что он уступает статью другому автору. Этим автором в 1857 г. стал М. Е. Салтыков-Щедрин, который в ту пору был в приятельских отношениях с Дружининым. Но и его статья при жизни не была напечатана, а черновая ее рукопись появилась в 1937 г. в пятом томе его Полного собрания сочинений в 20 т. Салтыков-Щедрин проявил свою отчужденность от взглядов Парфения, тогда как Григорьев в посмертно опубликованной рукописи утверждал, что книга Парфения повествовала о «неразрывности органической народной жизни от XII столетия до половины XIX» (Григорьев А. А. Эстетика и критика. М., 1980. С. 151—152).

«...собственных сыновей, столь счастливо одаренных» — имеются в виду Константин и Иван Аксаковы.

Во «*благовремении*»... — из Молитвы пред вкушением пищи («...и Ты даеши им пищу во благовремении»).

Он просиял и угас — Ф. И. Тютчев. «Как над горячею золой...» (1836).

«*сродство душ*» — название романа И. В. Гёте «*Die Wahlverwandtschaften*» (1809) в переводе А. И. Кронеберга (1879); в переводе А. В. Федорова (1934) — «Избирательное сродство».

С. 395. «*Корсар*» — поэма Дж. Г. Байрона (1814). «*Каин*» — его драма (1821). «*Дон Жуан*» — его эпопея в стихах (1818—1823).

С. 396. *Но жарка свежа* — А. В. Кольцов. Урожай (1835).

Красавица зорька... — А. В. Кольцов. Песня пахаря (1831).

С. 397. *Зрелище бедствий народных...* — Н. А. Некрасов. Дедушка (1870). XIII.

С. 398. *Ах, затем меня...* — А. В. Кольцов. Русская песня (1838).

С. 402. *В гудной истории Давида с Вирсавией и его покаянном псалме* — 2 Цар 11, 2—27; Пс 50. В псалме Давид каялся в том, что стал виновником гибели Урии Хеттеянина и овладел его женою Вирсавией.

«*верного Иуду*» — видимо, речь идет о верности колена Иудина завету с Богом, благодаря чему его воинам удалось изгнать хананеев со своей территории (см.: Суд 1, 3—20). См. также ниже у Розанова: «все колена пали, сохранился верным только Иуда».

«*жестоковыйного*» — Исх 33, 3 («вы народ жестоковыйный»).

Се раба Господня... — Лк 1, 38.

С. 406. *заговор Катилины* — политическое движение в Риме (63—61 гг. до н. э.), возглавлявшееся разорившимся патрицием Луцием Сергием Катилиной. Заговор был раскрыт, несколько участников казнены.

С. 407. *Systema naturae Линнея* — труд К. Линнея «Система природы», увидевший свет в 1735 г. в Лейдене.

С. 408. ...Муций Сцевола никогда не произносил этого ответа... — имеются в виду слова Сцеволы после его неудачного покушения на этрусского царя Ларса Порсену, осадившего Рим (509 до н. э.), что он лишь один из трехсот римских юношей, поклявшихся ценою своей жизни убить Порсену.

ПАМЯТИ ДОРОГОГО ДРУГА

<К. Н. Леонтьев>

(с. 410)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: РС. 1896. 14 февр. № 43.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 28 (с. 445—451).

Печатается по тексту первой публикации.

Эпиграф из стихотворения А. А. Дельвига «Удел поэта» (1830).

Философ и писатель Константин Николаевич *Леонтьев* (1831—1891) в последний год жизни вел интенсивную переписку с Розановым, которая выявила исключительное сходство их мыслей. См. том *ЛИ* и статью С. М. Сергеева в «Розановской энциклопедии» (с. 518—525).

С. 410. *со мной скорбь и тюрьму забывал* — Испанский писатель Сервантес Сааведра в 1575 г. был захвачен на море пиратами и продан в рабство алжирскому паше. В 1580 г. его выкупили миссионеры. На гражданской службе в Испании он трижды попадал в тюрьму (1592, 1597, 1602).

...*письма покойного К. Н. Леонтьева к г. Губастову* — Друг Леонтьева К. А. Губастов, историк и дипломат, переписывался с ним в 1874—1891 гг. В журнале «Русское Обозрение» было опубликовано в общей сложности 45 писем Леонтьева к нему (см.: РО. 1894. № 9, 11; 1895. № 11, 12; 1896. № 1—3, 11, 12; 1897. № 1, 3, 5—7). Далее не буквально точно цитируется письмо из Оптиной пустыни от 3 сентября 1880 г. См. статью Розанова «Кружок К. А. Губастова в память К. Н. Леонтьева» (*НВ*. 1908. 6 дек.).

Л. (соседка по имению) — имеется в виду Людмила Осиповна Раевская, дочь помещика соседней деревни Карманово. 24 лет от роду она ушла от родителей и поселилась в Кудиново. Когда Леонтьев покинул свое имение, она уехала в Шамординскую женскую обитель. Писатель сообщал о ней ее зятю (мужу сестры) драматургу Н. Я. Соловьеву 16 июня 1881 г.: «Вы знаете, каковы мои чувства уважения, любви и благодарности к Людмиле Раевской; я не могу ни одну женщину так уважать. Она помирила меня, так сказать, с женщинами (которых достоинство литературою вообще преувеличено, по моему мнению)» (*Леонтьев К. Н. Избранные письма, 1854—1891*. СПб., 1993. С. 256).

Кудиново — родовое имение Н. Б. Леонтьева, отца писателя, в Мещовском уезде Калужской губернии, было продано богатому юхновскому крестьянину Ивану Климову. «Вероятно, сделка состоялась в кон. 1881 — нач. 1882 г.» (см.: *Берговская И. Н. Кудиново в жизни Леонтьева // История философии*. 2000. № 6. С. 205—206).

(*К. Н. Л.—в по образованию, но не по профессии был медик*) — В 1849—1854 гг. Леонтьев обучался на медицинском факультете Московского университета. Досрочно получив диплом, отправился добровольцем в Крым в качестве батальонного лекаря, где служил до августа 1857 г. В 1858—1860 гг. занимал место домашнего врача в поместье Арзамасского уезда Нижегородской губернии у барона Д. Г. Розена и его жены М. Ф. Розен. Таким образом, не менее пяти лет Леонтьев занимался врачебной практикой.

...*возражения Достоевскому ~ в «Варшавском Дневнике»* — К. Н. Леонтьев. О всемирной любви. По поводу речи Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике (вых. дан. см. в коммент. к с. 186). О газете «*Варшавский Дневник*» и участии в ней Леонтьева см. коммент. к с. 192.

...от князя Голицына — упомянут князь Н. Н. Голицын, редактировавший «Варшавский Дневник» в 1877—1880 гг.

С. 411. *Щелкановские лавки* — находившиеся в селе Щелканово, в 93 верстах от имени Леонтьева Кудиново.

...*Марье Владимировне, Николаю, Варе* — племянница писателя М. В. Леонтьева, его слуга Н. К. Орлов и воспитанница В. Л. Пронина.

...*повестей для Каткова или статей* — Леонтьев печатал прозу в «Русском Вестнике» М. Н. Каткова, а статьи — в катковских «Московских Ведомостях».

...*жизнь цензора я считаю...* — В ноябре 1880 г. Леонтьев по протекции своего друга, товарища государственного контролера Т. И. Филиппова поступил в Московский цензурный комитет, где прослужил в должности цензора 6 лет, до 1887 г.

«*Прошу вас, Константин Аркадьевич...*» — цитируется письмо от 20 декабря 1880 г.

С. 412. *Сиротский суд* — в 1775—1917 гг. учреждение, ведавшее опекунскими и сиротскими делами лиц городских сословий и учреждавшееся при городских магистратах, а после введения судебных уставов (1864) — при окружных судах.

...*моей покойной матери* — Феодосия Петровна Леонтьева, скончавшаяся в 1871 г.

Сегодня у нас — Комитет... — подразумевается очередное заседание Московского цензурного комитета.

К. (редактор «Пет. Вед.») — журналист и издатель, полковник В. В. Комаров, редактировавший газету «С.-Петербургские Ведомости» в 1878—1881 г.

Т. И. Ф. — Третий Иванович Филиппов, государственный контролер, публицист. См. о нем статью В. А. Фатеева в «Розановской энциклопедии» (с. 1057—1062).

С женой мы так жили... — Екатерина Павловна (при рождении Борисовна, отчество заменила из любви к отцу) Леонтьева, в девичестве Политова, с конца 1860-х гг. душевнобольная, — как сформулировал Леонтьев в «Духовном завещании», она была «неспособна к разумному распоряжению денежными средствами и вообще к соблюдению собственных интересов какого бы то ни было рода» (*Леонтьев К. Н.* ПСС. СПб., 2004. Т. 6. Кн. 2. С. 37).

...*христианской конгины живота...* — из Великой ектении, произносимой диаконом в ходе литургии.

Я в Угрешском подрячнике... — С ноября 1874 г. по май 1875 г. Леонтьев был послушником в подмосковном Николо-Угрешском монастыре.

С. 413. «*хлеб насущный*» — евангельское выражение (из Молитвы Господней): Мф 6, 11.

...*И годы протекли, и ветреное племя...* — М. Ю. Лермонтов. Последнее новоселье (1841).

...«*народной тропы*» — из стихотворения А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836).

С. 414. «*Конституционалисты 1881 года*» — Брошюра Л. А. Тихомирова «Конституционалисты в эпоху 1881 г.» вышла тремя изданиями в 1895 г.

«*Голос*» — ежедневная политическая и литературная газета, выходила в Петербурге в 1863—1884 гг.

Дневник ~ А. И. Кошелевым — книга публициста и мемуариста А. И. Кошелева «Записки (1812—1883)» (Берлин, 1884), процитированная и прокомментированная Л. А. Тихомировым на с. 41—43 его брошюры. По его мнению, Кошелев и Лорис-Меликов сблизились и сдружились, познакомившись на водах в Эмсе, на почве общих либеральных воззрений.

Некоторая «papier en question» относительно «пяток»... — подразумевается следующий пассаж из брошюры Л. А. Тихомирова: «...решено было образовать особую комиссию, составленную частью из выборных от земств и городов, частью назначенных Госу-

дарем, для обсуждения ряда государственных вопросов предварительно внесения их на обсуждение Государственного совета <...> утром 1 марта 1881 года Государь передал графу Лорис-Меликову некоторую бумагу и сказал при этом одному близкому лицу, стоявшему вполне au courant планов и стараний графа: „Я подписал ту бумагу (le papier en question). Надеюсь, что она произведет хорошее впечатление и будет для России новым свидетельством, что я ей даю все, что только возможно“» (*Тихомиров Л.* Конституционалисты в эпоху 1881 года. 3-е изд., пересм. М., 1895. С. 70–71).

С. 414. ...*после 1 марта* — то есть после убийства императора Александра II.

...*соответственной статьёй «Воинского артикула» Петра I* — см. главу XII «О дезертирах и беглецах» (ст. 94–100) «Артикула воинского», высочайше утвержденного 26 апреля 1715 г.

КОМУ «ГОРЕ ОТ УМА» В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ?

(с. 415)

Автограф неизвестен.

Сохранилась газетная вырезка из РС с авторскими пометами на полях простым карандашом — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 189. Л. 5–5 об.

На стр. 417. 28 после слов «доброю рецензией» (подчеркнутых синим карандашом в вырезке) вставка карандашом на полях: Бог знает что такое! Верх «беззаботности».

На стр. 418. 32 слово «тусклою» заменено на полях карандашом на слово «скудную».

Впервые напечатана: РС. 1896. 19 февр. № 48.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 28 (с. 451–457).

Печатается по тексту первой публикации с авторской правкой на вырезке

Эпиграф предваряет комедию А. С. Грибоедова только в некоторых неавторизованных списках 1824 г. (вариант второго стиха: «Устроила на свете так она»). Как правило, эпиграф предпосылался комедии в изданиях 1860–1912 гг. В некоторых списках автором его назван А. И. Полежаев. Современный исследователь, однако, уточняет: «По происхождению это четверостишие имеет довольно далекое отношение к Грибоедову, являясь перифразой куплета (Вяземского) из оперы-водевиля Грибоедова и Вяземского „Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом“. Однако помещенный в списке эпиграф по-своему типизировал (через самого читателя) судьбу грибоедовского героя: „Всем умным — горе от ума“» (*Фомичев С. А.* Литературная судьба Грибоедова // *Грибоедов А. С.* Сочинения. М., 1988. С. 5).

С. 415. «Библиотека для служащих» — В связи с борьбой за начальное образование в 1895 г. во многих учреждениях и заводах стали появляться подобные библиотеки.

С. 416. ...*долговязый том Писарева* — имеется в виду первый том Сочинений Д. И. Писарева, изданных Ф. Павленковым в 1894–1907 гг. в 7 т. Высота книг («долговязых томов») была по 26 см.

«Новь» — иллюстрированный двухнедельный журнал, издававшийся А. М. Вольфом в Петербурге в 1884–1898 гг. Сочинения А. Ф. Писемского в 20 т. издало в 1883–1886 гг. Товарищество М. О. Вольф (2-е изд. в 24 т.: 1895–1896 гг.) в качестве бесплатного приложения к журналу «Новь».

Так из лепты трудовой... — Н. А. Некрасов. Влас (1855).

«Новости» («Новости дня») — ежедневная газета, выходившая в 1883–1906 гг. в Москве и печатавшая объявления.

О. К. *Нотовича «ЛЮБОВЬ»* — первое издание «философско-психологического этюда» Нотовича увидело свет в 1888 г.

С. 417. О. К. *Нотович. Г. Т. Бокль. История цивилизации в Англии* — впервые это сочинение английского историка Бокля в кратком изложении Нотовича увидело свет в 1876 г.

«Северный Вестник» — журнал издавался в Петербурге в 1885—1898 гг. Розанов печатался в нем в 1897 г.

«Борьба с Западом в нашей литературе» — три сборника статей Н. Н. Страхова, печатались в 1882—1896 гг. Розанов писал об этом в статье «Литературная личность Н. Н. Страхова», вошедшей в его книгу «Литературные очерки» (см. т. 2 наст. издания). Содержание третьей книги «Борьбы с Западом...»: «Итоги современного знания. Ренан. Тэн. Ход и характер современного естествознания. Спор об „России и Европе“ Н. Я. Данилевского. Разборы книг. Белинский».

«уклонил сердце свое» — 3 Цар 11, 9.

Ап. Григорьева, изданные в 1876 году — см. коммент. к с. 25.

К. Леонтьева, изданные в 1885—1886 годах — Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. М., 1885—1886. Т. 1—2.

...орега отпіа ~ Т. Н. Грановского ~ и его ученика — Кудрявцева... — К тому времени двухтомные «Сочинения Т. Н. Грановского», в 1840—1850-х гг. главы московских западников, вышли в Москве тремя изданиями: в 1856, 1866 и 1892 гг. Полное же собрание его сочинений вышло только в 1905 г. (СПб., Т. 1—2). «Сочинения П. Н. Кудрявцева», ученика и друга Грановского, вышли в Москве в трех томах в 1887—1889 гг.

«Сельская школа» г. Рачинского, вышедшая в 1892 году — В 1892 г. вышло уже 2-е издание этого сборника статей С. А. Рачинского (1-е — в 1891 г., 7-е — в 1915 г.). Розанов написал несколько статей о педагогической деятельности С. А. Рачинского: см. статью о нем В. А. Фатеева в «Розановской энциклопедии» (с. 771—779).

С. 418. Эти бедные селенья... — Одноименное стихотворение Ф. И. Тютчева (1855).

Одной ногой касаясь пола... — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. I, 20.

С. 419. Удруженный ношей крестной... — Ф. И. Тютчев. «Эти бедные селенья...».

Летит как пух от уст Эола... — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. I, 20.

...«нетего на зеркало пенять, коли рожа крива» — эпитафия к «Ревизору» Гоголя: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива».

...они задыхаются «на родине» ~ им «душно» — отсылка к строке «И душно кажется на родине» из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Монолог» (1829).

«незримые слезы» ~ «сквозь видимый міру смех» — см. коммент. к с. 154.

Афродита Медицейская — точнее: Венера Медицейская — изваянная в I в. до н. э. мраморная копия утраченного греческого оригинала. В XVII в. статуя находилась в Ватикане в папском собрании, а в 1677 г. ее приобрели для своего собрания Медичи; с тех пор она носит их имя и хранится в Уффици.

«Без риска — нет удовольствия» — вариант английской поговорки: Nothing risk, nothing win (Не рискнешь — не выиграешь).

...мой друг г. Арсеньев — ироническое упоминание либерального адвоката, журналиста и историка К. К. Арсеньева.

...г. Н. Михайловский, когда писал «литературу и жизнь»... — под таким названием публицист и критик народнического направления Н. К. Михайловский публиковал еженедельные литературные заметки в журнале «Русское Богатство», а также напечатал ряд статей в журнале «Русская Мысль», собранных в одноименной книге (СПб., 1892).

...английский мыслитель, перед которым куда как беден туземный наш Яснополянский мудрец» — упомянуты Г. Т. Бокль и Л. Н. Толстой.

С. 420. «Дорого эта красота стоит» — имеются в виду слова Мармеладова: «Денег стоит эта чистота» (Достоевский Ф. М. ПСС. Л., 1973. Т. 6. С. 20).

...статью «Погему мы отказываемся от наследства 60-х, 70-х годов?» — опубликована в «Московских Ведомостях» 7 июля 1891 г.

«Погему вы так голословно отказываетесь, не приводя решительно ни одного факта» — Михайловский Н. К. Письма о разных разностях. XXXIV // Русские Ведомости. 1891. 25 июля.

С. 420. «*один из стаи славной*» («Сей остальной из стаи славной») — А. С. Пушкин. «Перед гробницею святой...» (1831), о могиле М. И. Кутузова в Казанском соборе Петербурга.

«Заря» — журнал выходил в Петербурге в 1869—1872 гг. Издатель-редактор — В. В. Кашперев. В нем было напечатано в 1869 г. главное сочинение Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» (отд. изд.: СПб., 1871). Рубрику «Литература и жизнь», где Н. К. Михайловский писал о журнале «Заря», он вел в начале 1890-х гг. в журнале «Русская Мысль».

С. 421. «...вольготно, весело живетя на Руси — Н. А. Некрасов. Кому на Руси жить хорошо? Пролог (1865).

ЕЩЕ ДОБРОЕ ДЕЛО НА РУСИ

(с. 421)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из журнала РО — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 153. Л. 47—52. На с. 868 журнала (л. 50 об.) подчеркнуто простым карандашом: «Ведь если бы не было христианства — не было бы и всех этих жертв».

Впервые напечатано: РО. 1896. № 4. С. 867—871.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 28 (с. 458—464).

Печатается по тексту первой публикации.

Статья вызвала отклик в печати: П. А. Матвеев в статье «Печальный подвиг» (РВ. 1896. № 5. С. 306) писал: «Нельзя обойти молчанием неожиданно-странного отношения г. Розанова к знаменитому русскому историку С. М. Соловьёву. Г-н Розанов рекомендует себя в качестве большого поклонника М. П. Погодина. Он пытается „упразднить“ Соловьёва! Это странно. Но уже не странно, а непристойно, что операцию упразднения г. Розанов совершает в *подстрочном примечании*, одним взмахом пера. Кажется, г. Розанов доселе принадлежал к категории людей, стремившихся поддерживать уважение к достойным русским деятелям, к авторитетам в области науки и литературы. Теперь сам он совершает деяния, напоминающие упразднение Зайцевым Лермонтова. Впрочем, Зайцев имеет перед г. Розановым то преимущество, что упразднял славного поэта все же не в подстрочном примечании, а в особой статье» (Сочинения Лермонтова, приведенные в порядок С. С. Дудышкиным // РС. 1863. № 6).

Розанов познакомился с Н. П. Барсуковым (1838—1906) в 1894 г. по дружескому кружку Н. Н. Страхова. Анализ вышедших к тому времени первых девяти книг Барсукова «Жизнь и труды М. П. Погодина» Розанов дал в статье «Культурная хроника русского общества и литературы за XIX век» (РВ. 1895. № 10; вошла в его книгу «Религия и культура»). На выход 14 тома труда Барсукова Розанов откликнулся статьей «Интересные книги, интересное время и интересные вопросы» (НВ. 1900. 11 июля; вошла в его книгу «Около церковных стен»). Изданный после смерти Барсукова 22-й том оставшегося неоконченным труда вызвал статью Розанова «Посмертный том „Жизни и трудов Погодина“ Н. П. Барсукова» (НВ. 1910. 25 июня).

С. 422. «...на другой день памяти Святителя и Чудотворца Николая — 7 декабря. міру всему истогает милости миро...» — из «Акафиста Святителю Николаю Чудотворцу» (кондак 1).

Рдейский Успенский монастырь — основан в XVII в., упразднен в 1764 г. В 1886 г. купец Александр Николаевич Мамонтов (1832—1900), о котором идет речь в письме, стал попечителем учрежденной здесь, на полуострове Рдейского озера (в Старорусском уезде Новгородской губернии), женской общины, внеся 6000 руб. на ее благоустройство. В 1893 г.

она была обращена в пустынь. В 1932 г. закрыта, сильно разрушена и во время войны растащена местными жителями.

С. 423. *...в только что опубликованных мемуарах ~ С. М. Соловьёва* — речь идет о напечатанных Всеволодом Соловьёвым «Моих записках для детей моих, а если можно, и для других» его отца, историка С. М. Соловьёва (РВ. 1896. № 2–5). Розанов написал неоконченную рецензию на это издание (см. в наст. томе за 1897 г.).

С. 424. *...открытием Ловеррье новой планеты Нептуна...* — Французский астроном У. Ж. Ж. Ловеррье в 1846 г. вычислил положение планеты (позже названной Нептуном), вызывающей неправильности в движении планеты Уран. В том же году Нептун был открыт И. Г. Галле в месте, указанном Ловеррье.

С. 425. *«Пою — дондеже есмь...»* — Пс 103, 33 («Буду петь Богу моему, доколе есмь»). *...на Девичьем Поле* — Университетские клиники были построены в конце 1880-х гг. в западной части Девичьего Поля.

«Русское Слово» 8 или 9 марта — В статье «Музей изящных искусств при Московском университете» (РС. 1896. 8 марта. Б. п.) говорится о С. П. Шевыреве как провозвестнике идеи создания Музея, а затем о И. В. Цветаеве, стараниями которого стало возможным решить вопрос о необходимости особого здания для коллекции гипсовых слепков. Сообщалось также, что Московская дума изъявила согласие передать в дар Университету площадь бывшего Колымажного двора на Волхонке вблизи храма Христа Спасителя. Цветаев выступал с предложением создать Музей на основе Кабинета изящных искусств и древностей Московского университета еще в 1893 г. Музей был заложен 17 августа 1898 г. Открытие Музея изящных искусств имени императора Александра III состоялось 31 мая 1912 г. Первым директором был И. В. Цветаев. Ныне — Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

...прекрасная статья И. В. Цветаева — Цветаев И. Устройство музея античных искусств при Московском университете // РО. 1895. № 5.

Колымажный двор — В XVII–XVIII вв. здесь хранились царские экипажи — колымаги. *Не оскудевает «рука дающего»* — ср.: Втор 15, 7 («не сожми руки твоей пред нищим братом твоим»); Прит 22, 8 («Человека, доброхотно дающего, любит Бог, и недостаток дел его восполнит»).

С. 426. *«Носите тяготы друг друга...»* — Гал 6, 2.

...есть ли при клиниках церковь — больничная церковь во имя архангела Михаила при университетских клиниках на Девичьем поле была заложена в июле 1894 г., а освящена в августе 1897 г. (спустя полтора года после публикации статьи Розанова).

...муж гести и закона, ныне стоящий на страже попечительства... — имеется в виду Н. П. Боголепов, занимавший пост попечителя Московского учебного округа с 1895 по 1898 г. (затем министр народного просвещения).

КТО БЫЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 8 МАРТА 1881 ГОДА?

(с. 428)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки с авторской правкой и датой в конце текста: 3 июля 1896 г. — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 207. Л. 3–6.

Печатается впервые по тексту гранок.

Заседание Государственного совета 8 марта 1881 г., первого после убийства Александра II, предназначало всю дальнейшую внутреннюю политику царствования Александра III. Первоначально статья Розанова предназначалась для журнала «Русское Обозрение», но редактор А. А. Александров послал ее на просмотр К. П. Победоносцеву, и в публикации было отказано.

С. 428. В письме от 20 июня 1896 года ~ Победоносцев... — Впервые опубликовано: Письмо К. П. Победоносцева к редактору «Гражданина» князю В. П. Мещерскому от 20 июня 1896 г. // Исторический Вестник. 1896. № 8. С. 553—554.

По свидетельству Н. А. Любимова... — см.: Любимов Н. А. Михаил Никифорович Катков и его историческая заслуга: По документам и личным воспоминаниям. СПб., 1889.

С. 429. ...во блеске власти... — М. Ю. Лермонтов. Дары Терека (1839).

«Курс гражданского права» — труд К. П. Победоносцева, изданный в Петербурге в 1896 г. в трех томах.

...живое его отношение к памяти и деятельности Ильминского... — Победоносцев К. Из воспоминаний об Н. И. Ильминском // РВ. 1892. № 2. С. 141—152.

...зуткое внимание к новым опытам со школою г. Рагинского — В книге С. А. Рачинского «Заметки о сельских школах» (СПб., 1883), изданной, согласно помете на титульном листе, «по распоряжению г. Обер-Прокурора Святейшего Синода», т. е. К. П. Победоносцева, была теоретически обоснована система церковно-приходского образования, широкое введение которого в России и началось в тот период.

С. 430. ...гр. Д. А. Толстой ~ автор «*Le catholicisme Romain*» — и — кажется — урядников — речь идет об издании: *Le Catholicisme romain en Russie. Etudes historiques* par M. le comte Dmitry Tolstoy. Paris, 1863—1864 (по-русски: СПб., 1876—1877), а также об институте полицейских урядников (нижних чинов уездной полиции). Последний, однако, был образован в 1878 г., а Толстой стал министром внутренних дел и шефом жандармов только в 1882 г.

...по Ксенофону, был обвинен некогда Сократ — см. эти обвинения с их опровержениями: Ксенофонт Афинский. Воспоминания о Сократе. I, 1—2.

...в своих воспоминаниях г-жа Стасова — речь идет о книге: Памяти Надежды Васильевны Стасовой <Статьи, речи, воспоминания>. СПб., 1896.

«Правы ли мы» — статья архимандрита Никона (Рождавского), напечатанная под псевдонимом *Православный*: Правы ли мы? (Православным отцам и матерям) // РО. 1895. № 5).

(Барсуков — Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский) — Барсуков И. П. Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский, по его сочинениям, письмам и рассказам современников. М., 1883.

...Лорис-Меликов, смиритель Карса и Ветлянской гумы — М. Т. Лорис-Меликов в русско-турецкую войну 1877—1878 гг. командовал корпусом на турецкой границе и взял штурмом Карс. В 1879 г. для борьбы с чумой, появившейся в казачьей станице Ветлянской, назначен временным астраханским губернатором. После убийства Александра II на заседании во дворце Победоносцев разоблачил конституционные стремления Лорис-Меликова, и 4 мая 1881 г. он был уволен с должности министра внутренних дел.

«Калишских и слонимских» — т. е. евреев, происходивших из областей, находившихся за чертой оседлости: Калишской губернии (Царство Польское) и Слонимского округа Виленской губернии.

С. 431. «Письма к угненным людям» — одно из литературно-общественных обозрений, которые Н. К. Михайловский публиковал в «Отечественных Записках» в 1872—1884 гг.

«Сатирическим старцем» — Достоевский писал: «„Отечественные Записки“. Вас трепещет вся литература, особенно Сатирического старца» (Достоевский Ф. М. ПСС. Л., 1984. Т. 27. С. 46).

«святой скотине» — Это выражение впервые встречается в романе Вас. И. Немировича-Данченко «Гроза» (1879), где вкладывается в уста генерала М. И. Драгомирова, который, по словам одного из действующих лиц произведения, выразил мнение, что Россию вывезет «святая скотина» солдат. Возможно, Розанов запомнил это выражение, когда читал статью своего друга Ю. Н. Говорухи-Отрока «Новый рассказ А. П. Чехова <„Убий-

ство">», где были такие строки о «публицистах» и «критиках» известного сорта»: «Один из них несколько лет назад прямо обозвал весь народ русский „святою скотиной“ — и замечательно, что обозвал он так народ наш именно по поводу подвигов, совершенных этим народом в последнюю войну» (МВ. 1895. 23 нояб. № 323). Говоруха-Отрок метил здесь в Н. К. Михайловского, который так начал свою статью «Независящие обстоятельства», открывавшую цикл «Записки современника»: «Недавно в небольшом обществе случайно сошедшихся людей зашел разговор о последней русско-турецкой войне. Один из присутствовавших, близкий, в некоторых отношениях даже особенно близкий очевидец войны, рассказывал поистине чудеса о великом терпении „святой скотины“, как кто-то назвал русского солдата, и о колоссальных грабежах» (Отечественные Записки. 1881. № 1. Отд. II. С. 117).

«Вечная память» — книга К. П. Победоносцева «Вечная память. Воспоминания о почивших» вышла в Москве в 1896 г.

С. 432. *Щедрина* ~ «обывателю знамени иметь не полагается» — В хроникальном цикле «Круглый год» (1880; глава «Август») М. Е. Салтыков-Щедрин писал: «Что же это, в самом деле, за требование такое: покажи свое знамя? Какое это знамя? Разве у обывателя полагаются знамена?».

«сборян» — отсылка к названию романа-хроники Н. С. Лескова (1872).

С. 433. ...*Флоренция при «белых» и «черных»* — речь идет о борьбе партий умеренных «белых гвельфов» и радикальных «черных гвельфов» во Флорентийской республике периода ее расцвета (конец XIII — начало XIV в.).

ЕЩЕ О гр. Л. Н. ТОЛСТОМ И ЕГО УЧЕНИИ О НЕСОПРОТИВЛЕНИИ ЗЛУ

(с. 434)

Автограф неизвестен.

Сохранились: 1. Гранки РО с исправлением опечаток и дополнительной правкой — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 26—31: правка красными чернилами; большая вставка на л. 28—28 об. с пометой «мелким шрифтом в примечание»; 2. Сброшюрованный оттиск РО с авторской пометой «1896» — Там же. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 32—37; 3. Сброшюрованный оттиск РО с авторскими пометами: «Русское Обозрение. 1896 (№ 4?)»; «№ 88» — Там же. Ф. 419. Оп. 1. № 199. Л. 37а—37е.

Впервые напечатано: РО. 1896. № 10. С. 497—507.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 11—19).

Печатается по тексту первой публикации. В тексте РО учтены отмеченные автором в гранках опечатки, но правка и вставки в журнальный текст не вошли; они представлены в разделе *Варианты*.

С. 434. ...*письмо его к г. Кросби* — Письмо Л. Н. Толстого к американцу о непротivлении. Женева, 1896. 16 с. (см.: *Толстой Л. Н.* ПСС. М., 1954. Т. 69. С. 13—23).

С. 435. ...«*Не противься злему*» — Мф 5, 39.

«*висят писания и пророки*» — Мф 22, 40. В Синодальном переводе: «на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».

...*в известных словах, относительно любви к Богу и любви к ближнему* — Мф 22, 37—39.

С. 436. ...«*дом Отца моего не делайте домом торговым*» — Ин 2, 16.

«*Возлюби Господа твоего всем сердцем...*» — Мф 22, 37; Лк 10, 27.

С. 437. «*Благодарим тебя! мы уже не таковы...*» — Лк 18, 11—12 («Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пошусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю»).

С. 438. ...«если кто соблазнит единого из малых сих» — Мф 18, 6.

С. 439. ...до победы при Константине Великом — речь идет о битве у Мульвийского моста — сражении Константина с Максенцием 28 октября 312 г., в результате которого первый стал единоличным правителем западной части Римской империи и сделал христианство государственной религией.

С. 440. *Энервировать* — раздражать, расслаблять, истощать, утомлять нервы (*устар.*). *Петр отсек ухо* — Мф. 26, 51; Ин. 18, 10.

Иаков и Иоанн хотели низвести огонь на самаритянское селение — Лк 9, 54.

С. 441. ...попытка г. Вл. Соловьёва способствовать соединению церквей — см. коммент. к с. 131.

...биографию Ницше — очерк Лу Андреас-Саломе «Фридрих Ницше в своих произведениях». Она с 1882 г. была ближайшим другом Ницше, и многое в ее очерках написано под его наблюдением.

НЕЧТО О ДЕКАДЕНТАХ, «ЛАМПАДНОМ МАСЛЕ»

И О ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТИ НАШЕЙ КРИТИКИ

(с. 442)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из журнала РО — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 154. Л. 10–16.

Впервые напечатано: РО. 1896. №12. С. 1112–1120.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 28 (с. 517–526).

Печатается по тексту первой публикации.

Эпиграфы — из стихотворения А. С. Пушкина «Адели» (1822) и из басни «Два Крестьянина и Туча» французского писателя Жана Флориана (1755–1794).

С. 442. *Не тылит еще дорога...* — Д. С. Мережковский. Перед грозой (1896).

С. 443. «К звездам» — рассказ Ф. Сологуба в «Северном Вестнике» (1896. № 9). Розанов обычно писал его фамилию как Соллогуб.

И «андроны» в ней сидят — от идиомы «андроны едут» — о чепухе, бессмыслице. Ср. у Н. В. Гоголя: «Какая же причина в мертвых душах? даже и причины нет. Это, выходит, просто: Андроны едут, чепуха, белиберда, сапоги всмятку!» («Мертвые души». I, 9).

С. 444. *Кукишина* Авдотья Никитишна — эмансипированная помещица, псевдонимистка в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» (1862).

Губарев Степан Николаевич — идеолог оппозиционного эмигрантского кружка, сатирически изображенный в романе И. С. Тургенева «Дым» (1867). Прообразом отчасти стал друг Герцена Н. П. Огарёв.

С. 445. «Отверженный» — роман Д. С. Мережковского печатался в «Северном Вестнике» (1895. № 1–6), позднее назывался «Смерть богов. Юлиан Отступник» (1896) и стал первой частью трилогии «Христос и Антихрист».

Сатаналы — злые духи в славянских сказаниях.

...*Буренин порицает...* — Далее цитируется статья В. Буренина «Литературное юродство и кликушество» (НВ. 1895. 1 сент.).

Болтухи-Младенцы — Буренин (по аналогии с фамилией Говоруха-Отрок) создает собирательный образ своих литературных противников.

С. 446. «Роман в Кисловодске» (1886) — роман В. П. Буренина.

«общезеловеки» — очевидно, отсылка к Н. Я. Данилевскому или Ф. М. Достоевскому, которые широко пользовались в своей публицистике этим словом-концептом, прежде всего — в полемике с оппонентами-либералами. См., например, в очерке Достоевского

«Влас» (1873) из «Дневника писателя»: «Видите ли-с, любить общечеловека — значит наверно уж презирать, а подчас и ненавидеть стоящего подле себя настоящего человека» (*Достоевский Ф. М.* ПСС. Л., 1980. Т. 21. С. 33).

В небе гул глухого смеха... — из стихотворения Д. С. Мережковского «Перед грозой».

С. 447. *...больница для душевнобольных Св. Николая* — неточность: на 11-й версте Финляндской железной дороги находилась больница Св. великомученика Пантелеимона (основана в 1885 г.; ныне психиатрическая больница № 3 им. И. И. Скворцова-Степанова); больница же Св. Николая с 1872 г. располагалась в черте города, на набережной р. Мойки.

...в органе г-жи Гуревич — то есть в «Северном Вестнике» (Троицкая улица, д. 9), где Л. Я. Гуревич была редактором.

О, гудно нежная и страстная болезнь! — стихотворение А. Н. Емельянова-Кохановского «Монолог маньяка (Бред первый)»; цитируется неточно по его книге «Обнаженные нервы. Сборник стихотворений» (М., 1895. С. 71).

С. 448. *«Предстояло строить все заново, как бы в пустыне»* — из вступительной статьи Н. К. Михайловского к изданию: *Шелгунов Н. В.* Соч. СПб., 1891. Т. 1. Под заглавием «Н. В. Шелгунов» включено в книгу: *Михайловский Н. К.* Соч.: В 6 т. СПб., 1897. Т. 5. С. 349—392.

Не входите, присенники... — А. М. Добролюбов. «Набегают сумраки...» (б. д.).

Зрелище бедствий народных... — Н. А. Некрасов. Дедушка (1870).

Ветер шумит, наматает сугробы... — Н. А. Некрасов. Мороз, Красный нос (1863—1864). XXV.

С. 449. *Стану без милого жать...* — Там же. XXII.

«Сон в летнюю ночь» или *«Что вам будет угодно»* — комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь» (1596) и «Как вам это понравится» (1599). Последняя переводилась П. И. Вейнбергом (1867) под названием «Как вам будет угодно».

С. 450. *«И еще режь была в устах гордого царя...»* — Дан 4, 28—29.

КРИТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

А. Л. Волынский. Русские критики

(с. 450)

Беловой автограф — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 156. Л. 1—11.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 28 (с. 544—550).

Печатается по тексту автографа.

Волынский Аким Львович (наст. фам. и имя — Флексер Хаим Львович; 1861—1926) — литературный и театральный критик. Знакомство Розанова с Волынским состоялось в 1897 г. Отношение Розанова к нему менялось от восторженного к резко критическому. См. статью М. Ю. Эдельштейна в «Розановской энциклопедии» (с. 201—204).

С. 451. *И то, что пепел нам священный...* — П. А. Вяземский. «Смерть жатву жизни косит, косит...» (1841).

...мы не согласны с его взглядом на Добролюбова — Розанов называл Добролюбова «наиболее чистой фигурой 60-х годов» (*НВип.* 1911. 26 нояб.), для него это было «самое дорогое имя» 60-х годов (Там же).

...шумным и поверхностным влиянием Чернышевского, этой Анютки из Тамбова — Розанов вспоминает популярный в дни его молодости водевиль В. А. Соллогуба «Беда от нежного сердца» (Отечественные Записки. 1850. № 3), который неоднократно ставился под названием «Катя из Тамбова». Героиня Катя — взбалмошная болтливая женщина.

С. 451. «*Антропологический принцип в философии*» — одно из главных философских произведений Н. Г. Чернышевского (Современник. 1860. № 4, 5), в котором речь идет о книге П. Л. Лаврова «Очерки вопросов практической философии. Личность» (1860).

...*формат его <Писарева> согинений ~ удлиненно-тонкий* — см. коммент. к с. 416.

...*напоминает тюфяк, на котором спал Петрушка* — Говоря о страсти своего персонажа к чтению, Н. В. Гоголь отмечает: «Это чтение совершалось более в лежачем положении <...> на тюфяке, сделавшемся от такого обстоятельства убитым и тоненьким, как лепешка» («Мертвые души». I, 2).

С. 452. «*Куль хлеба <и его похождения>*» (1873) — сборник рассказов и очерков С. В. Максимова.

«*История кусочка угля*» — экономическое исследование Э. Эмана (СПб., 1871).

«*Из истории моего учительства*» — книга педагога В. П. Острогорского «Воспоминания, мысли и заметки старого учителя словесности»; печаталась в журнале «Образование» в 1892—1894 гг. и была издана под названием «Из истории моего учительства» (СПб., 1895).

Гомилетика — семинарская дисциплина о составлении церковных проповедей.

...*отставной вице-губернатор* — М. Е. Салтыков-Щедрин занимал пост рязанского (1858—1860) и тверского (1860—1862) вице-губернатора.

С. 453. *Резигнация* — самоотречение, самопожертвование, смирение (*фр.*).

Иван Никифорович Перерепенко — героя «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1831) Н. В. Гоголя зовут Иван Никифорович Довгочун; другого героя зовут Иван Иванович Перерепенко.

Так проходит мирская слава — Выражение восходит к Библии (Мф 24, 35) и к книге Фомы Кемпийского «О подражании Христу» (1421). 1, 3, 2. При возведении в сан папы римского троекратно повторяется (с 1409 г. при выборе Александра V) в знак призрачности человеческого могущества.

С. 454. ...*она гостями пегаталась в «Северном Вестнике»* — В 1890—1895 гг. в «Северном Вестнике» публиковались «Литературные заметки» А. Волынского, которые были использованы при подготовке его книги «Русские критики». С критикой на нее выступили Б. Б. Глинский (Болезнь или реклама? // Исторический Вестник. 1896. № 2), М. А. Протопопов (Критик-декадент // РМ. 1896. № 3), А. М. Скабичевский (Новое Слово. 1896. № 6), В. Буренин (НВ. 1896. 22 дек.), Н. Каменский <Г. В. Плеханов> (Судьбы русской критики // Новое Слово. 1897. № 7), В. В. Чуйко (Всемирная Иллюстрация. 1897. № 4).

...*к полемике Зарина с Чернышевским, Чернышевского с Лавровым* — Е. Ф. Зарин, будучи сторонником умеренной программы реформ, систематически полемизировал с Чернышевским и другими публицистами радикального лагеря (статьи 1861—1864 гг.), выступал против утилитарного подхода к искусству. Книга П. Л. Лаврова «Очерки вопросов практической философии» (СПб., 1860) вызвала упреки Чернышевского в эклектизме (Современник. 1860. № 4, 5).

...*высокомерие и брезгливое отношение Гейне ко всей немецкой литературе* — См. книгу Г. Гейне «Романтическая школа» (1833) с суровой характеристикой старших и младших немецких романтиков.

С. 455. ...«*нужно проехать по России*» — глава XX в книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» называется «Нужно проездиться по России».

Дрожащие огни пегальных деревень... — М. Ю. Лермонтов. Родина (1841).

Загрей — в греческой мифологии одна из ипостасей Диониса, бога плодоносящих сил земли. Титаны растерзали Загрея, за что Зевс сбросил их в Тартар, а затем послал на землю потоп.

ПАМЯТИ Н. Н. СТРАХОВА

(с. 455)

Сохранился неоконченный автограф – РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 194. Л. 2–8.

Печатается впервые. Предварительная неполная публикация – в журнале «Энтелехия» (Кострома. 2010. № 21. С. 59–77; коммент. И. А. Едошиной).

Статья посвящена проблемам, которые не затрагивались в некрологе, опубликованном Розановым в «Русском Обозрении» в октябре 1896 г., и связана с естественнонаучными интересами Страхова. Об истории публикаций розановских некрологов и статей о Страхове см. ниже в комментариях к статье «Годовщина смерти Н. Н. Страхова и Ю. Н. Говорухи-Отрока» (1897).

С. 455. *Резигнация* – см. коммент. к с. 453.

С. 456. ...«холодных наблюдений ума» – неточная цитата из Посвящения к «Евгению Онегину» А. С. Пушкина («Ума холодных наблюдений»).

«кимвал звенящий» – 1 Кор 13, 1 (кимвал звучащий).

...*вегные, несокрушимые пропилеи* – образ, восходящий к выдающемуся памятнику древнегреческой архитектуры эпохи высокой классики – Пропилеям Афинского акрополя (437–432 до н. э.), парадному проходу, образованному портиками и колоннадами.

С. 457. ...*Байрон ~ нигде вовсе не упоминается у Страхова* – Имя Дж. Г. Байрона упоминается в работах Страхова «Бедность нашей литературы» (СПб., 1868), «Заметки о Пушкине и других поэтах» (СПб., 1883).

...*его равнодушие к ~ Диккенс, Гюго* – Страхов высоко оценил роман Ч. Диккенса «Наш общий друг» (1865) в работе «Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание» (1867) и книгу В. Гюго о Шекспире (1864) в своей книге «Бедность нашей литературы» (СПб., 1868). В рецензии на русский перевод (1869, под ред. М. Вовчок) романа В. Гюго «Человек, который смеется» Страхов называл его автора «великим поэтом», хотя и отмечал, что в его произведениях «бездна поэзии и в то же время господствует невообразимый, чудовищный хаос» (*Страхов Н. Н.* Борьба с Западом в нашей литературе. СПб., 1896. Кн. 3. С. 324).

«*Я вижу в праздности, в неистовых пирах...*» – ранняя редакция стихотворения Пушкина «Воспоминание» (1828) завершается строкой «О тайнах счастья и гроба».

С. 458. ...*выставлял вперед себя Ап. Григорьева и Н. Я. Данилевского* – Напечатанные в 1859 г. в газете «Русский Мир» «Физиологические письма» Страхова (впоследствии названные «Письма об органической жизни» и вошедшие в книгу «Мир как целое», СПб., 1872) обратили внимание Ап. Григорьева. Их дружеские отношения длились до смерти Ап. Григорьева. Свои воспоминания о нем Страхов опубликовал в журнале «Эпоха» (1864. № 9). С Н. Я. Данилевским Страхов познакомился в 1847 г. в Петербургском университете, их связывали общность взглядов и сердечная дружба.

...*полемика из-за теорий Данилевского* – имеется в виду полемика Страхова с В. С. Соловьёвым, начавшаяся со статьи Соловьёва «Россия и Европа» (Вестник Европы. 1888. № 3, 4).

С. 459. ...*опровержение дарвинизма – Данилевский Н. Я.* Дарвинизм. Критическое исследование. СПб., 1885. Т. 1–2.

...*автора «России и Европы»* – см. коммент. к с. 312.

...*в полемике с Бутлеровым и Вагнером* – Страхов спорил с академиком химиком А. М. Бутлеровым и профессором зоологии Н. П. Вагнером как сторонниками спиритизма, посвятив этой проблеме книгу «О вечных истинах. Мой спор с спиритизмом» (СПб., 1887).

С. 459. Он полемизирует с Писаревым и «историческими идеями» Чернышевского — имеются в виду статьи Страхова «И. С. Тургенев. Отцы и дети» (РВ. 1862. № 2) и «„Что делать?“ Н. Г. Чернышевского (Счастливые люди)» (Библиотека для Чтения. 1865. № 4).

...выходка противника (напр., проф. Тимирязева) — В ответ на статью Страхова «Полное опровержение дарвинизма» (РВ. 1887. № 1) К. А. Тимирязев написал статью «Опровергнут ли дарвинизм?» (РМ. 1887. № 5). Страхов откликнулся статьей «Всегдашняя ошибка дарвинистов» (РВ. 1887. № 11, 12), что вызвало выступление Тимирязева «Бесильная злоба антидарвиниста» (РМ. 1889. № 5, 6, 7). Розанов внимательно следил за этой полемикой и при поддержке Страхова напечатал свою статью «Органический процесс и механическая причинность» (ЖМНП. 1889. № 5; включена в книгу Розанова «Природа и история» как часть статьи «Вопрос о происхождении организмов»).

С. 460. ...жизнь действительно не есть театр, человек — не актер — полемическая отсылка к изречениям У. Шекспира из его комедии «Как вам это понравится» (1599): «Весь мир — театр. В нем женщины, мужчины — все актеры» (II, 7) и драмы «Венецианский купец» (1596): «Мир — сцена, где всякий свою роль играть обязан» (I, 1).

С. 461. *Фальстаф* — персонаж, выступающий в различных качествах в пьесах Шекспира «Виндзорские насмешницы» (1597) и «Генрих IV» (1598).

В. В. — Криптонимом «В. В.» подписывался экономист-народник В. П. Воронцов.

«История материализма» — Ланге Ф. А. История материализма и критика его значения в настоящее время. Пер. с 3-го нем. изд. Н. Н. Страхова. СПб., 1881—1883. Т. 1—2. Книга немецкого философа Ф. А. Ланге написана в 1866 г.

«Об уме и познании» — Тэн И. Об уме и познании. Пер. Н. Н. Страхов. СПб., 1870. Т. 1—2.

...в «Вечных истинах» — см. коммент. к с. 459.

С. 462. «Опыты» Карлейля — Карлейль Т. Исторические и критические опыты. Пер. с англ. М., 1873.

Неряшливость некоторых переводов ~ Семеновым — имеется в виду издание: Дарвин Ч. Происхождение человека и подбор по отношению к полу. Пер. И. М. Сеченова. СПб., 1871—1872. Т. 1—2.

«История английской литературы» — «История общественного развития Англии в связи с литературой» — речь идет о двух книгах французского писателя И. Тэна: История английской литературы (пер. под ред. Вл. Чуйко и А. Шеллера. СПб., 1867—1868); Развитие политической и гражданской свободы в Англии в связи с развитием литературы (пер. Д. С. Ивашинцова. СПб., 1876).

...переселился, года 3 назад ~ в Петербург — в марте 1893 г.

...работ проф. Мечникова по воспалениям — Мечников И. И. Лекции о сравнительной патологии воспаления. Читанные в апреле и мае 1891 г. в Пастёровском институте в Париже. СПб., 1892.

«галльские осы» — девственные осы, о которых И. И. Мечников упомянул в связи с женским вопросом в своей статье «Закон жизни. По поводу некоторых произведений гр. Л. Толстого» (Вестник Европы. 1891. № 5. С. 228—260) и по поводу чего иронизировал Н. К. Михайловский (см.: Туниманов В. А. Заметки на полях писем В. В. Розанова к Н. К. Михайловскому // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 2000. Т. 15. С. 45—47).

С. 463. ...знаменитого харьковского профессора — И. И. Мечников преподавал в Новороссийском университете в Одессе в 1872—1882 гг. В Харькове Мечников учился в гимназии.

«Основы химии» — Менделеев Д. И. Основы химии. СПб., 1869—1871. Ч. 1—2.

...сомнение в атомистической теории — Критике «атомистической теории вещества» Н. Н. Страхов посвятил вторую часть своего труда «Мир как целое. Черты из науки о природе» (СПб., 1872).

...в Испании, во времена Аверроэса — Это сравнение с арабской образованностью в средневековой Испании Розанов высказал в связи с неудачей своей книги «О понимании» и перевода «Метафизики» Аристотеля (ЛИ. С. 13, 52, 54).

С. 464. ...с удлинением курса учения в гимназии — речь идет о реформе гимназии 1871 г., которая повлияла на возраст поступающих в университет, куда принимались только окончившие полный курс классической гимназии.

...отказе Академии наук принять в число своих согленов Менделеева — 11 ноября 1880 г. на заседании Отделения физико-математических наук Академии наук автор периодического закона химических элементов, несмотря на мировую известность, не был избран академиком. (Ранее, в 1876 г., он стал членом-корреспондентом Академии наук.)

Он исправлял временно должность ректора (или декана...) — Менделеев не был ни ректором, ни деканом Петербургского университета. В 1890 г. во время студенческих волнений Менделеев передал министру народного просвещения И. Д. Делянову студенческую петицию с требованием дать автономию университетам. Делянов вернул Менделееву петицию, в ответ на что в тот же день (17 марта 1890 г.) он подал прошение об отставке и навсегда покинул университет.

...Вольта, изобретатель электрического столба — Так называемый Вольтов столб, первый гальванический элемент, изобретенный итальянским физиком А. Вольта в 1800 г., применялся для получения электричества на заре электротехники.

Овидий ~ по диким степям северного Понта — С 9 по 17 г. римский поэт Овидий провёл в ссылке в городе Томы (ныне Констанца в Румынии) на берегу Черного моря (по-гречески Понт Эвксинский).

С. 465. ...«андрофаги», «гипербореи» ~ Геродота — Греческий историк Геродот дал описание скифов, среди которых были андрофаги — пожиратели людей, т. е. каннибалы; гипербореи — благородный народ, в стране которых солнце только раз в году восходит и раз в году заходит.

Сколько толков до сих пор о Петре Рамусе — Французский философ Пьер де ла Раме выступал с критикой логики Аристотеля и как протестант стал одной из первых жертв Варфоломеевской ночи, массовой резни гугенотов католиками в Париже в ночь на 24 августа 1572 г.

...был сожжен Бруно — 17 февраля 1600 г. в Риме был сожжен на костре итальянский философ и поэт Джордано Бруно.

...к позорному столбу де Фоз — После того как английский писатель Д. Дефо написал памфлет «Кратчайший способ расправы с диссидентами» (1702), его заключили в тюрьму и трижды подвергли гражданской казни у позорного столба (29, 30 и 31 июля 1703 г.). Эти сведения Розанов мог почерпнуть из работы В. В. Лесевича «Даниэль Дефо как человек, писатель и общественный деятель» (Русское Богатство. 1883. № 5, 7, 8).

Пл. А. Кусков, знавший его еще студентом Педагогического института — Розанов познакомился с писателем П. А. Кусковым в 1889 г. в доме у Страхова. В Главном педагогическом институте Страхов учился в 1848—1851 гг.

С. 466. «образа звериного» — Откр 13, 15.

Образ Власа — герой одноименного стихотворения (1855) Н. А. Некрасова.

Н. О. Ст-ва — псевдоним остался нераскрытым.

«Иллюстрированная Газета» — выходила в 1863—1873 гг. еженедельно в Петербурге.

С. 467. ...двигаться к усыпальнице царей своих и поклониться праху ~ праведного царя — речь идет о погребении Александра III в Петропавловском соборе Петербурга 7 ноября 1894 г.

Венский конгресс — конгресс европейских государств (сентябрь 1814 — июнь 1815 г.), завершивший войны с Наполеоном I.

«игемон» — прокуратор, римский начальник завоеванных областей; здесь: в значении «главный», «старший».

«союз трех императоров» — соглашения между Россией, Германией и Австро-Венгрией в 1873—1884 гг.

Конгресс в Берлине — созван в 1878 г. по инициативе Великобритании и Австро-Венгрии для пересмотра побед России в войне с Турцией. Россия была вынуждена пойти на уступки.

...заводила присяжных поверенных — в ноябре 1864 г. в ходе Судебной реформы. *Присяжный поверенный* — адвокат на государственной службе (в 1864—1917 гг.).

Монитор — помощник учителя в гимназии, назначался из старшекласников.

Классическая реформа — 30 июля 1871 г. был утвержден новый устав, признававший только классические гимназии (с двумя древними языками) и прогимназии; реальные гимназии были переименованы в реальные училища, по окончании которых поступление в университет было закрыто.

«*Главное общество Российских железных дорог*» — основано 28 января 1857 г. для постройки в течение 10 лет сети железных дорог и их последующего содержания в течение 85 лет.

Остзейский край, Привислянский — балтийская и польская Прибалтика.

...семью Багровых, капитанскую дожку, Любима Торцова — имеются в виду повесть С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука» (1858); повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка» (1836); герой комедии А. Н. Островского «Бедность не порок» (1854).

«*аблакат*» — адвокат (*просто рег.*).

Расплюев, Крегинский — персонажи комедии «Свадьба Кречинского» (1856) А. В. Сухова-Кобылина.

...развернув передо мной Суареца — Основное философское сочинение испанского философа Франческо Суареса — «*Метафизические рассуждения*» (1597) — пользовалось большим влиянием в университетах.

С. 468. Он издал и истолковал *Ап. Григорьева* — см. коммент. к с. 25. В 1888 г. по просьбе Розанова Страхов выслал ему этот том. Благодаря за присылку тома Ап. Григорьева, Розанов писал: «Без Ваших объяснений Ап. Григорьев долго не был бы принят, может быть (по нашей лени к трудному чтению), никогда; и вообще, Ваше отношение к нему и Данилевскому, то, что Вы всегда выдвигаете их вперед себя — есть одна из самых светлых и благородных черт Вашей деятельности, личности, писаний; я думаю, это когда-нибудь будет очень оценено» (*ЛИ. С. 187*).

...он защитил от ожестогенных нападков *Н. Я. Данилевского* — Об этом Розанов писал в статье «О борьбе с Западом, в связи с литературной деятельностью одного из славянофилов» (*ВФП. 1890. № 4*; под названием «Литературная личность Н. Н. Страхова» включено в книгу Розанова «Литературные очерки»; см. второй том наст. издания).

...он собрал все ценное, что написал сам в течение 40 лет — речь идет о книге: *Страхов Н.* Философские очерки. СПб., 1895. На это издание Розанов отозвался статьей «Смена мировоззрений» (*РО. 1895. № 7*; вошла в книгу Розанова «Природа и история»).

...брата или дяди своего — на этом рукопись обрывается.

1897

<С. М. СОЛОВЬЁВ. МОИ ЗАПИСКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ МОИХ, А ЕСЛИ МОЖНО, И ДЛЯ ДРУГИХ>

(с. 469)

Сохранился неоконченный автограф чернилами б. п. и б. д. — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 31.

Печатается впервые по тексту автографа.

Датируется на основании упоминания в первом предложении, что «в прошлом году» были опубликованы «одним из его сыновей», т. е. Всеволодом Сергеевичем, мемуары историка Сергея Михайловича Соловьёва (1820–1879). С сокращениями и искажениями мемуары эти («Мои записки для детей моих, а если можно, и для других») появились в публикации Вс. С. Соловьёва (РВ. 1896. № 2–5) и вызвали протест двух других братьев — Владимира и Михаила (Вестник Европы. 1896. № 4). Полное отдельное издание мемуаров появилось в Петрограде в 1915 г.

Упомянутые в тексте И. Д. Беляев и Н. Ф. Калачов — авторы выступлений с критикой основного труда С. М. Соловьёва «История России с древнейших времен» (М., 1851–1879. Т. 1–29).

С. 469. *Грановский ~ во время чтения им диссертации предполагал в нем недруга* — речь идет о защите С. М. Соловьёвым магистерской диссертации «Об отношениях Новгорода к великим князьям» (М., 1846); Т. Н. Грановский, державшийся западнических взглядов, поначалу подозревал наличие в ней славянофильских идей.

...обвинительный тон на юбилее Грановского — на этом рукопись обрывается.

<О В. А. ГРИНГМУТЕ>

(с. 469)

Сохранился черновой автограф — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 207. Л. 1 и вырезка из газеты РТ — Там же. Л. 2. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: РТ. 1897. 19 янв. № 1. С. 21. Б. п. и б. з. Рубрика «Обмен мнений».

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 555–557).

Печатается по тексту первой публикации.

Грингмут Владимир Андреевич (1851–1907) — публицист, с 1896 по 1907 г. главный редактор «Московских Ведомостей»; поддерживал публикации первых статей Розанова в этой газете.

С. 469. *Один ультраконсерватор, впрочем, наш лигный друг* — так редакция журнала «Русский Труд» называет В. В. Розанова.

...«присягу на верность» — В передовой статье «Московских Ведомостей» 19 декабря 1896 г. редактор В. А. Грингмут предложил редакторам-либералам «Русских Ведомостей» и «Вестника Европы» печатно подтвердить присягу на верность самодержавию, что вызвало ироническую отповедь А. С. Суворина (НВ. 1896. 24 дек.).

С. 470. *...на Страстном бульваре* — имеется в виду редакция журнала «Русский Вестник» с 1856 по 1887 г. и с 1896 по 1902 г.

...ультраконсерватизм, о котором выше говорит Рцы — имеются в виду слова И. Ф. Романова (Рцы) из частного письма к С. Ф. Шарипову (опубликованного под той же рубрикой «Обмен мнений», что и заметка Розанова): «...за истекшее десятилетие народился какой-то особый консерватизм, перед которым необходимо не менее, как „сто“ раз, проставить усиливающий термин „ультра“. „Такой“ стократный консерватизм переходит пределы мыслимого и по тому самому упраздняет себя, перестав быть явлением литературным» (РТ. 1897. 19 янв. № 1. С. 18).

Я. КОЛУБОВСКИЙ. ФИЛОСОФСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

(с. 470)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты РТ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 2.

Впервые напечатано: *РТ*. 1897. 19 янв. № 1. С. 2.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 28 (с. 555–557).

Печатается по тексту первой публикации с исправлением опечатки по смыслу:

С. 472. 6: Обзор за 1894 год / Обзор за 1893 год

Колубовский Яков Николаевич (1863–1929) — историк и библиограф русской философии, в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона (полutom 53) опубликовал статью о Розанове. См. статью о нем А. В. Ломоносова в «Розановской энциклопедии» (с. 472).

С. 470. *...переводчиком Ибервег — Гейнце, Гёфдингга и Вундта* — речь идет о книгах: *Ибервег Ф. и Гейнце М.* История новой философии в сжатом очерке. СПб., 1890; 2-е изд. 1898; *Гёфдинг Г.* Очерки психологии, основанной на опыте. СПб., 1896; *Вундт В.* Гипнотизм и внушение. М., 1893; 2-е изд. 1898.

«*Вопросы Философии и Психологии*» — журнал выходил в Москве с 1889 г. по апрель 1918 г. Розанов печатался в журнале в 1890 и 1892 гг.

С. 471. «*Я никогда не читал Канта*». — Французский философ О. Конт неоднократно повторял, что он никогда и ни на каком языке не читал И. Канта, кроме маленькой статьи его «Идея всемирной истории с точки зрения человечества».

...нижего неизвестно о философском образовании Спенсера — Г. Спенсер не получил систематического образования, оставшись самоучкой.

«*Справедливость, Милосердие и Святость*» — статья Н. Н. Страхова (*НВ*. 1892. 5 апр.), в которой он, не называя имени Л. Н. Толстого, высказал несогласие с его критикой государства.

Эльпе — псевдоним фельетониста Л. К. Попова, с 1883 г. печатавшего в «Новом Времени» научно-популярные очерки под рубрикой «Научные письма».

...репутацию, погубленную несчастным «письмом в редакцию» — В статье «По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого» (*РВ*. 1895. № 8) Розанов критиковал Толстого, обращаясь к нему на «ты», что вызвало осуждение читателей и критиков. Розанов объяснял свой поступок в «Письме в редакцию» (*РВ*. 1895. № 10; *РО*. 1895. № 11). См. подробнее коммент. на с. 912–913 и 915.

Ред. — С. Ф. Шарапов.

<ГОДОВЩИНА СМЕРТИ Н. Н. СТРАХОВА И Ю. Н. ГОВОРУХИ-ОТРОКА>

(с. 472)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты «Свет» — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 215. Л. 19.

Впервые напечатано: *Свет*. 1897. 24 янв. № 23. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 28 (с. 559–561).

Печатается по тексту первой публикации.

Страхов Николай Николаевич (1828–1896) — философ, публицист, старший друг Розанова, с которым он переписывался с 1888 г. (см. *ЛИ*). Личное знакомство состоялось в январе 1889 г., вскоре появилась первая статья Розанова о Страхове — «О борьбе с Западом, в связи с литературной деятельностью одного из славянофилов» (*ВФП*. 1890. № 4; под названием «Литературная личность Н. Н. Страхова» вошла в книгу Розанова «Литературные очерки»). Подробнее о Страхове см. в статье В. А. Фатеева в «Розановской энциклопедии» (с. 946–958).

Говоруха-Отрок Юрий Николаевич (1850–1896) — публицист. Критик газеты «Московские Ведомости», где печатался главным образом под псевдонимом Ю. Николаев. Пять его писем к себе Розанов опубликовал в 1913 г. в книге «Литературные изгнанники». См. статью Е. В. Ивановой в «Розановской энциклопедии» (с. 258–261).

Некролог Страхова Розанов опубликовал в «Русском Обозрении» (1896. № 10), некролог Говорухи-Отрока — в том же журнале (1896. № 9). Оба некролога, появившиеся под названием «Вечная память», вошли в книгу Розанова «Литературные очерки» под рубрикой «Памяти усопших».

С. 472. *Филологический институт* — Историко-филологический институт был учрежден в Петербурге в 1867 г. с особой целью готовить преподавателей гуманитарных дисциплин для гимназий.

...«Согинений» ~ изд. 1882 года — имеется в виду издание 1883 г.

С. 473. «*Время*» — см. коммент. к с. 39.

«*Эпоха*» — см. коммент. к с. 39.

«*Заря*» — см. коммент. к с. 21.

«*Современник*» (1836–1866) и «*Русское Слово*» (1859–1866) — журналы, олицетворявшие для Розанова антирусскую, революционную позицию.

...обращался к профессорам ~ ему указывали на Белинского и Добролюбова — Розанов приводит мемуарное свидетельство Ю. Н. Говорухи-Отрока из его статьи «А. А. Григорьев (По поводу исполнившегося тридцатилетия со дня его смерти)»: «...когда я обращался к „развитым“ и даже „ученым“ людям (к профессорам, например), мне указывали Белинского, Герцена, Добролюбова, Писарева, но никто не говорил об А. Григорьеве» (МВ. 1894. 28 сент. № 266).

С. 474. «*Южный Край*» — газета в Харькове в 1880–1919 гг. Говоруха-Отрок печатался в ней с сентября 1881 г. по ноябрь 1889 г.

«*Московские Ведомости*» — одна из старейших русских газет (1756–1917). Первая статья Говорухи-Отрока в ней («Две Пасхи. Из воспоминаний детства») появилась 11 апреля 1889 г. Розанов печатался в этой газете в 1889, 1891–1892, 1914–1916 гг.

«*Русский Вестник*» — журнал выходил в Москве с 1856 по 1887 и в 1896–1902 гг.; остальные годы в Петербурге (до 1906 г.). Говоруха-Отрок печатался в нем в 1890–1893 гг. Розанов печатался в журнале в 1889–1896 и в 1902–1903 гг.

«*Русское Обозрение*» — журнал выходил в Москве в 1890–1898, 1901 и 1903 гг. Говоруха-Отрок печатался в нем в 1893–1897 гг. Розанов печатался в журнале в 1892–1898 гг.

...вышли только критические этюды о Тургеневе и о г. Владимире Короленко — Под псевдонимом Ю. Николаев Говоруха-Отрок издал книги «Тургенев» (М., 1894) и «Очерки современной беллетристики. В. Г. Короленко» (М., 1893), а также не названную Розановым книгу «Последние произведения графа Л. Н. Толстого» (М., 1890).

ПАДАЮЩИЕ КОЛОСЬЯ

(с. 474)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты РС — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 140. Л. 1.

Впервые напечатано: РС. 1897. 6 марта. № 62.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 28 (с. 563–566).

Печатается по тексту первой публикации.

В письме к Вл. Соловьёву 10 марта 1897 г. Розанов писал, что издатель «Света» В. В. Комаров поместил в феврале «только 2 статьи из 8 обязательных» (*Козырев А. П.* Соловьёв и гностики. С. 349). Нам не удалось обнаружить эти две статьи.

С. 474. ...«преимущественно ничего не писали» — имеются в виду слова А. И. Герцена в статье «Ум хорошо, а два лучше» (1843) о том, что С. П. Шевырёв «читал в Москве

публичные лекции о русской словесности, преимущественно того времени, когда ничего не писали, и его лекции были какою-то детскою песнею».

С. 474. «Союз писателей» (Союз взаимопомощи русских писателей) — литературное объединение, существовавшее в Петербурге в 1897—1901 гг. Учредительное собрание состоялось 25 января 1897 г., членами комитета были избраны П. Н. Исаков (председатель), Н. К. Михайловский (тов. председателя). Собрания проходили по пятницам, раз в две недели.

Гамма — псевдоним публициста Г. К. Градовского, одного из организаторов (1891) кассы взаимопомощи литераторов и ученых при Литературном фонде.

«Луг» — газета выходила в Петербурге в 1890—1903 гг. Редактор-издатель А. М. Вольф.

«Зарница» — повесть В. Микулич (наст. фам. и имя Веселитская Лидия Ивановна) печаталась в «Северном Вестнике» (1893. № 9, 10; отд. изд.: М., 1895). Микулич — близкий друг семьи Розанова, крестная мать его дочери Вари.

С. 475. *Далин* — псевдоним публициста и прозаика Д. А. Линёва; он участвовал в работе Союза сотрудников периодических изданий, Кассы взаимопомощи литераторов и ученых; в 1896—1897 гг. работал в газете «Луч».

С. 476. «с *нагинкой*» — И. С. Тургенев. Новь. Ч. 1. Гл. IV. См. также отклик Тургенева на разбор его повести «Вешние воды» В. П. Бурениным — в письме к М. М. Стасюлевичу от 13 (25) января 1872 г.: «Любезнейший Михаил Матвеевич, из фельетона „С.-Петербургских ведомостей“ я уже мог заключить, что от меня ждали повести „с *нагинкой*“; но что делать — чем богат, тем и рад...».

Н. Михайловский трубит о «Союзе» — «Это первый в своем роде опыт, и „братья писатели“ должны отнестись к нему с величайшею серьезностью, отложив в сторону все личные и партийные счеты и памятуя одно: достоинство и значение литературы» (*Михайловский Н. К.* Литература и жизнь // Русское Богатство. 1897. № 1. Отд. II. С. 94).

...«*чтение в сердцах*», о коем говорил еще старик Шедрин — В цикле «Убежище Монрепо» упоминается о станом приставе: «Говорят, будто он в сердцах читать будет» (глава «Тревоги и радости Монрепо», 1879); среди персонажей очерка I из цикла «За рубежом» — чиновник Удав, который «прошел школу графа Алексея Андреевича <Аракчеева>, в качестве чиновника для чтения в сердцах» (1880).

...на знаменитое «*Волково кладбище*» — Волково (ныне Волковское) кладбище в Петербурге было основано по указу Сената 11 мая 1756 г. рядом с Волковой деревней. Известно «Литературными мостками», где хоронили писателей, деятелей культуры, ученых (название происходит от деревянных настилов, мостков поверх сырости и грязи). 24 марта 1912 г. Розанов купил три места на Волковом, где любил гулять («Опавшие листья» 1. «Мертвая страна...»).

«*Со святыми упокой ~ ни воздыхание*» — православная молитва за усопших.

INDE IRA...

(с. 477)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты РС — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 140. Л. 2—3.

Впервые напечатано: РС. 1897. 10 марта. № 66.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 28 (с. 566—569).

Печатается по тексту первой публикации.

В название статьи взято выражение из «Сатир» (I, 168) римского поэта Ювенала. Первый эпитаф восходит не к А. В. Кольцову, а к народной песне «Вниз по Волженьке» («Мне с ума нейдет ненаглядная»), то же в народной песне «Вниз по Волге реке с Нижняго города». Второй эпитаф — Лк 2, 35.

Статья вызвала отклик в прессе: *Тихомиров Л. А.* В. Розанов о *Союзе писателей* (РО. 1897. № 5. С. 437—439), где он писал, что Розанов «выражает по поводу возникновения *Союза* самые мрачные ощущения свои... Чем же обусловлено такое настроение г. Розанова? Он указывает на то, что в *Союз* организовались силы, крайне не симпатичные по направлению, силы, дающие литературе ложное направление... *Направление* этих сил, по своей организации и полученным правам еще более укрепившим свое значение: вот что огорчает г. Розанова. Что сказать об этих жалобах? Без сомнения, нельзя отказать г. Розанову в праве желать власти тому, что ему симпатично. Но собственно в смысле критики *Союза* это не имеет особенного значения, ибо г. Михайловский с товарищами, несомненно, точно так же может желать влияния себе, как г. Розанов себе...».

С. 477. *Дульцинея* — Дон Кихот в одноименном романе М. Сервантеса называет дамой своего сердца Дульцинею Тобосскую, которая в действительности была грубой крестьянкой. Отсюда это имя стало шутивным обозначением возлюбленной.

С. 478. *Надсон, Гаршин; первый понял в Достоевском только* — это он «бряцал цепями» — Стихотворение С. Я. Надсона «Памяти Ф. М. Достоевского» (январь 1881) начинается словами: «Как он, измученный, влячился по дороге, / Бряцая звеньями страдальческих цепей». В. Микулич, с которой Розанов был близко знаком, вспоминая о беседе с В. М. Гаршиным летом 1882 г., отмечала: «О Достоевском он отозвался в тоне „Отечественных Записок“ и статьи Михайловского „Жестокий талант“. Он прибавил, что Достоевский был безнравственный человек» (*Микулич В.* Всеволод Гаршин // Исторический Вестник. 1914. № 1. С. 127).

...*плаг Сильвио Пеллико* — имеется в виду сочинение итальянского писателя С. Пеллико «Мои темницы» (1832) об ужасах тюремного заключения.

Голиаф — филистимлянский воин-великан (1 Цар 17, 49—51).

...*филистимлянин, побивавший лошадиной гелюстью* — образ восходит к библейскому рассказу о побиении филистимлян Самсоном: «Нашел он свежую ослиную челюсть и, протянув руку свою, взял ее, и убил ею тысячу человек» (Суд 15, 15).

Пимен — персонаж романа И. С. Тургенева «Новь» (1877) Пимен Остродумов.

С. 479. ...*римскою «герепайхой»* — боевой порядок римской пехоты, предназначенный для защиты от метательных снарядов: воины выстраивались в прямоугольник, причем первая шеренга смыкала щиты, держа их перед собой, а последующие шеренги — над головой.

«*И оружие пройдет душу твою*» — Лк 2, 35 («и Тебе Самой оружие пройдет душу»).

...*об «уплате народу своего долга» «интеллигенциею» ~ «напоминал»* — отсылка к народнической теории уплаты долга народу за привилегированное положение интеллигенции и ее предков, впервые сформулированной П. Л. Лавровым в его «Исторических письмах» (СПб., 1870).

Иуда, приходивший в Гефсиманский сад ~ «*Равви, равви*» — Мф 26, 49; Мк 14, 45.

〈А. Н. МАЙКОВ. НЕКРОЛОГ〉

(с. 479)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: Свет. СПб., 1897. 11 марта. № 67. Б. п. и б. з.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 28 (с. 569).

Печатается по тексту первой публикации.

Майков Аполлон Николаевич (1821—1897) — поэт. Розанов познакомился с ним во время поездки в Петербург у Н. Н. Стрехова в 1889 г. См. о нем статью М. Б. Раренко в «Розановской энциклопедии» (с. 551—552).

ИЗ МИРА ИДЕЙ И ФАКТОВ

(с. 480)

Сохранились автограф и две вырезки из газеты «Русь» — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 48. Л. 1—3. Л. 4 и 4 об. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: Русь. 1897. 20 марта. № 61; 25 марта. № 66.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 28 (с. 570—575).

Печатается по тексту первой публикации.

Первая часть статьи посвящена толстовству, которое возникло в России в 1880-е гг. и существовало до 1930-х гг. Первые толстовские коммуны (община Алехина в Смоленской губернии, община Новосёлова в Тверской губернии) просуществовали несколько лет и по разным причинам распались.

С. 481. В восхитительном романе де-Фоз — «Робинзон Крузо» (1719; первый полный рус. пер.: 1843).

Де-Фоз был осужден и приговорен к тюрьме — см. коммент. к с. 465.

С. 482. «сам-третьей» — втроем.

VII заповедь — «Не прелюбодействуй» (Исх 20, 14).

...молоховых жертв — Молох — семитское божество (Ам 5, 26; 3 Цар 11, 7), которому приносились человеческие жертвы через всеожжение.

Атлас (Атлант) — в древнегреческой мифологии титан, держащий на плечах небесный свод.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОЛНЕНИЯ

(с. 485)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка газеты «Русь» с авторской правкой — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 140. Л. 4—4 об.

Впервые напечатано: Русь. 1897. 31 марта. № 71.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 28 (с. 575—577).

Печатается по тексту первой публикации с авторской правкой.

Правка в вырезке газеты «Русь»:

С. 485. 31. Южаков, В. В., еще кто-то. / Южаков, В. В. и еще кто-то; 32. поматывает головой / помавает головой; 39. господствующей финансовой системе. / господствующей русской финансовой системе С. Ю. Витте.

С. 486. 46. понимаем их трудность, / понимаем тяжесть этих усилий,

После этой статьи Розанов был удален из газеты за то, что будто бы в его статье сохранился донос на революционеров. Розанов изложил историю в письме к С. А. Рачинскому от 7 сентября 1897 г. Он упомянул окраину Петербурга Лахту, не зная (как писатели в заграничных газетах), что на Лахте за полгода до того арестовали тайную типографию.

С. 485. В. В. — см. коммент. к с. 461.

«Новое Слово» — журнал выходил в Петербурге в 1894—1897 гг. Номер за март 1897 г., выпущенный новой редакцией марксистского толка, был арестован до выхода из типографии.

С. 486. Михайловский ~ бранил ~ Перцова, когда тот ~ стал заниматься Фетом — История увлечения П. П. Перцова поэзией А. А. Фета, переписка с ним, работа в 1892—1893 гг. в «Русском Богатстве» и расхождение с Н. К. Михайловским описаны в книге Перцова «Литературные воспоминания. 1890—1902 гг.» (М., 2002. Особенно глава III.

Три поэта). «Письма о поэзии» (СПб., 1895) Перцова, где речь идет и о А. А. Фете, вызвали иронический отзыв Н. К. Михайловского (Русское Богатство. 1895. № 6).

Лахта — селение на берегу Финского залива, к северо-западу от Петербурга (с 1963 г. в черте города).

«*Во-лузях*» (В лугах) — народная песня.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ <«СЕВЕРНОГО ВЕСТНИКА»>

(с. 487)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: Северный Вестник. 1897. № 4. С. 85—92.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 28 (с. 577—583).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 487. ...«*присягу на верность*» — см. коммент. к с. 469.

С. 488. ...на *Страстном бульваре* — см. коммент. к с. 470.

...редактор «Русского Труд» — Сергей Федорович Шарапов издавал газету «Русский Труд» (1897—1902).

«*Гатчинский отшельник*» — псевдоним писателя И. Ф. Романова (Рцы).

...в предисловии к «*Философским очеркам*» ~ «*лишен был философских способностей*» — Книга Н. Н. Страхова вышла в Петербурге в 1895 г. В предисловии Страхов писал: «Укажем на наших писателей, на Каткова и Кавелина; при всей энергии своего ума, они не обладали настоящим философским даром, хотя область философии их сильно привлекала» (с. VII).

«*Афоризмы и наблюдения*» — статья Розанова (РО. 1894. № 10—12), вошедшая в его книгу «Сумерки просвещения».

...в трех фельетонах «*Нового Времени*» — речь идет о статьях Розанова «Педагогические трафаретки» (НВ. 1896. 20 нояб.), «Основы современной школы» (НВ. 1896. 28 нояб.) и «Бумага и действительность» (НВ. 1896. 18 дек.).

С. 489. ...«*овец от козлиц*» — Мф 25, 32.

...«*поглощающие и верблюда*» ~ «*отцеживая комара*» — Мф 23, 24.

«*Счастливы владеющие*» — Гораций. Оды. IV, 9, 45.

С. 490. «*О символистах*» — статья Розанова в «Русском Обозрении» (1896. № 9; вошла в его книгу «Религия и культура». СПб., 1899).

...*моим интимным в течение четырех лет другом* — предположительно, речь идет об И. Ф. Романове (Рцы), с которым Розанов переписывался с 1891 г., а лично познакомился и сблизился в марте 1893 г., как раз за четыре года до данной заметки; все это время они и жили в одном доме на Петербургской стороне (ул. Павловская, ныне Мончегорская, д. 4), в соседних квартирах — № 25 (Рцы) и № 1, затем 24 (Розанов).

Spectator — псевдоним В. А. Грингмута.

Каждому свое — выражение встречается в трактатах Цицерона («Об обязанностях». 1, 5, 14; «Тускуланские беседы». 5, 22). Мысль восходит к Платону: «Справедливость состоит в том, чтобы каждый имел свое и исполнял тоже свое» («Государство». IV, 433e).

С. 491. «*Порядок*» — ежедневная газета М. М. Стасюлевича в Петербурге в 1881—1882 гг. под общей редакцией с «Вестником Европы».

«*О монархии; по поводу Панамских дел*» — имеется в виду статья Розанова «О монархии (Размышления по поводу Панамских дел)» в «Русском Обозрении» (1893. № 2. С. 682—700).

«*Ежегодник*» г. Колубовского — см. выше, с. 904.

«*Смысл недавнего прошлого*» — статья в «Русском Вестнике» (1894. № 12. С. 259—279).

С. 492. ...редактор «Сев. Вестника» — С 1891 г. редактором «Северного Вестника» (выходил ежемесячно с 1885 по 1898 г.) была Л. Я. Гуревич. 8 ноября 1915 г. Розанов писал о ней в «Мимолетном»: «Первым „пришел“ Флексер <Волынский>, и его вела симпатичная еврейская девушка, Любовь Гуревич, „совсем русская“ (на вид), мягкая, добрая, не умная. „Совсем мы“. Но Бог (как и русских девушек) наградила ее любящим сердцем, — и она, основав „Северн. Вестн.“, вела за руку Флексера».

...то сказал в некрологе — Розанов В. Вечная память // РО. 1896. № 10.

...в редакционных оговорках к «Заметке» моей — Заметка о Грингмуте без подписи и заглавия в «Русском Труде» (1897. 19 янв. № 1; см. выше).

ДВА ВИДА «ПРАВИТЕЛЬСТВА»

(с. 493)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* с авторской правкой простым карандашом — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 16—17 и гранки с правкой черными чернилами (л. 17а—18). См. *Варианты*. Начиная с предложения «Я хочу сказать, попробуйте не уважать кумиров этой тысячеголовой вас слушающей толпы...» (с. 496) и до конца статьи текст в гранках отсутствует.

Впервые напечатано: *НВ*. 1897. 15 июля. № 7679.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 20—26).

Печатается по тексту первой публикации с авторской правкой в вырезке.

Правка текста вырезки:

С. 493. 32. Г. Энгельгардт не без остроумия и меткости / Г. Энгельгардт не без меткости

С. 494. 4—5. В конце концов, и, как это общеизвестно, он — сытый и самодовольный адвокат / В конце концов, и, как это общеизвестно, он — популярный адвокат

С. 494. 44. Но для г. Спасовича Пушкин «легковесен»... Sancta simplicitas / Но для г. Спасовича Пушкин «легковесен»...

С. 495. 1. Остроумно г. Энгельгардт говорит, что статья г. Спасовича / Г. Энгельгардт говорит, что статья г. Спасовича о

С. 495. 2. Это — для читателя / Да — для читателя

С. 496. 41. черных кудрях / русских кудрях

С. 496. 46. ни Чаадаев, ни декабристы, пожалуй, не пошли дальше и шестидесятые годы. / ни Чаадаев и декабристы, ни шестидесятые годы.

С. 498. 11—12. двадцать тысяч, а не две тысячи писателей. / двадцать тысяч, а не две тысячи читателей.

В конце гранок имеется надпись с подписью «А. Суворин»: «Отчеркнул, что совершенно не понимаю. Неужели Спасович выколол глаза Пушкину? Неужели Пушкин такая незначительная величина, что Спасовичева брань столь губительна? Неужели невозможно это отрицательное отношение к Пушкину? Я убежден, что конца статьи никто не поймет, а что поймут, это удивление запретному Пушкину. Хороша слава, хорошо значение <...>, если к нему влечет (?) их врагов подпускать нельзя, ибо враги не способны его испугать и изобразить (?). Поэтому необходимо охранить Пушкина от Спасовича и т. п. Но у меня в голове подобная мысль не может уложиться. Я уверен, что пройдут века, явятся в течение их десятки и сотни Спасовичей и всех их забудут, а Пушкина будут учить и своих внуков (мастера над ними своими произведениями)».

С. 493. Прогитав статью г. Ник. Энгельгарта «Спасович о Пушкине» — Статья В. Д. Спасовича «Дмитрий Мережковский и его „Вечные спутники“» напечатана в «Вестнике Европы» (1897. № 6), отклик на нее Н. Энгельгарта «Спасович о Пушкине» — в «Новом Времени» (1897. 27 июня).

Писарев доказывал, что Пушкин «не поэт», как, напр., был для него поэтом Гейне — имеются в виду статьи Д. И. Писарева «Пушкин и Белинский» (1865) и «Генрих Гейне» (1867).

Эристика — искусство вести спор.

С. 494. *Достоевский в «Бесах» сказал...* — имеется в виду Петр Верховенский в «Бесах» Ф. М. Достоевского (глава «Иван-Царевич»).

...попрекнул их память — Пушкин осудил декабристов в статье «О народном воспитании» (1826).

...«животной ненависти к ней» — Ф. М. Достоевский. Бесы. Ч. 1. Гл. 4. § 4. Слова Шатова: «Тут одна только животная, бесконечная ненависть к России».

«Шекспир создал целое геловегество» — Такой строки у Пушкина нет. Очевидно, Розанов вспоминает слова Белинского из статьи «„Гамлет“, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» (1838), где Шекспир назван «царем драматических поэтов», «целым человечеством» (Белинский В. Г. ПСС: В 13 т. М., 1953. Т. 2. С. 254).

Его параллель между Мольером и Шекспиром — В «Table-talk» Пушкин писал: «Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы какой-то страсти...».

...возражения Радищеву и Чаадаеву — речь идет о статье Пушкина «Александр Радищев» (1836) и письме Пушкина к П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 г.

Святая простота! — выражение приписывается Яну Гусу, который будто бы произнес его на костре инквизиции, когда увидел, как простая крестьянка в религиозном усердии бросала в огонь принесенный ею хворост.

С. 495. *Справившись с «Дневником писателя»* — Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. 1876, февраль, гл. 2. III. Речь г-на Спасовича. Ловкие приемы.

С. 496. *...ссылка его в деревню за некролог о Гоголе* — И. С. Тургенев написал в феврале 1852 г. некролог Н. В. Гоголю для «С.-Петербургских Ведомостей». Цензурный комитет запретил его печатание, но Тургенев опубликовал его 13 марта 1852 г. в «Московских Ведомостях», за что был посажен под арест, а затем выслан в деревню Спасское-Лутовиново (до конца 1853 г.).

«Довольно» — повесть И. С. Тургенева (1864).

...«моложавым» — В статье «Александр Радищев» Пушкин писал: «Моложавые мысли, как и молодежавое лицо, всегда имеют что-то странное и смешное».

«Чорт угаждал меня, с умом и талантом, родиться в России» — 18 мая 1836 г. Пушкин писал жене: «Чорт догадал меня родиться в России с душою и талантом!».

С. 496—497. *...«десять лет скажи — ни до какого государства не доскачешь»* — Городничий в «Ревизоре» Гоголя говорит: «Да отсюда хоть три года скажи, ни до какого государства не доедешь» (I, 1).

С. 497. *...проповедью Бэды-проповедника* — Образ англосаксонского монаха-летописца Бэды Достопочтенного служил Розанову символом безответности обращения и молитвы. «И шум камней упавших был ему ответом», — перефразировал Розанов в «Мимолетном» 18 июня 1915 г. строку из стихотворения Я. П. Полонского «Бэда-проповедник» (1841).

...«гласом вопиющего в пустыне» — Ис 40, 3; Мф 3, 3; Мк 1, 3; Ин 1, 23.

Поэт, не дорожи любовью народной — А. С. Пушкин. Поэту (1830).

...Тургенев, также перенесший пору от себя отчуждения — подразумевается враждебное отношение к романistu читателей разных общественных слоев после выхода в свет романа «Новь» (1877).

С. 498. *...«общие сапоги» ~ Собакевича* — речь идет о находившихся в сених «общих сапогах», которыми пользовалась дворня Плюшкина. «Всякий призываемый в барские покои обыкновенно отплясывал через весь двор босиком, но, входя в сени, надевал сапо-

ги и таким уже образом являлся в комнату. Выходя из комнаты, он оставлял сапоги опять в сенях и отправлялся вновь на собственной подошве» (Н. В. Гоголь. Мертвые души. I, 6).

С. 498. ...«убеленную паге снега» — Пс 50, 9.

О ПОСТАНОВКЕ ПАМЯТНИКА М. Н. КАТКОВУ

(с. 498)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты «Мировые Отголоски» — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 157. Л. 16.

Фразы от слов «Они все — официозы» до «Но оставим их...», от «И они, таким образом, официозы» до «оригинальных мелодий, самобытных тем», от «так сказать, „соборного“ памятника» до «мужеству их» отчеркнуты на полях карандашом с пометкой «хорошо».

Первые напечатано: Мировые Отголоски. 1897. 25 июля. № 203. С. 3. Рубрика «Интересы дня».

В Собр. соч. Розанова включено в т. 28 (с. 605—607).

Печатается по тексту первой публикации.

Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — публицист, редактор «Московских Ведомостей» и «Русского Вестника». Розанов ценил его как «страстного консерватора» и к 10-летию его смерти написал статью «Катков „как государственный человек“» (Биржевые Ведомости. 1897. 17 окт.; вошла в «Литературные очерки»). К. Н. Леонтьев считал Каткова достойным памятника на Страстном бульваре, д. 10, у редакции «Русского Вестника» (Леонтьев К. Н. Собр. соч. СПб., 1913. Т. 7. С. 211). См. статью о Каткове в «Розановской энциклопедии» (с. 452—454).

С. 498. ...«разделишася на ся» — Мк 3, 24: «Если царство разделится само в себе („на ся разделится“), не может устоять царство то».

...автор «Очерков древнейшего периода греческой философии» — Диссертация М. Н. Каткова печаталась первоначально в 1851 и 1853 гг. в сборнике статей по классической древности «ПроPILEи», издававшемся в Москве проф. П. М. Леонтьевым в 1851—1856 гг.; отд. изд.: 1853. Переиздана в кн.: Катков М. Н. Собр. соч.: В 6 т. СПб., 2011. Т. 4.

С. 499. «Россия и Европа» — см. коммент. к с. 312.

«Восток, Россия и Славянство» — книга К. Н. Леонтьева (М., 1885—1886). Розанов писал об этой книге уже в первом письме к Леонтьеву в апреле 1891 г.

Слова его перед полтавскою битвою — По преданию, приказ Петра I воинству своему в день Полтавского сражения 27 июня 1709 г. заканчивался словами: «А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе, для благосостояния вашего». Считается, что приказ этот вполне апокрифичен и его текст составлен по античным риторикам архиепископом Феофаном (Прокоповичем) в его сочинении «История императора Петра Великого...» (М., 1773. С. 212), а затем стилистически обработан биографом Петра И. И. Голиковым в его труде «Деяния Петра Великого...» (2-е изд. М., 1839. Т. 11. С. 215).

С. 500. ...как «невеста», уготованная Вегному Жениху — Откр 21, 2.

...в отегестве «обильном», но и до сих пор не огонь «устроенном» — отсылка к словам славянских послов к варягам в «Повести временных лет» (под 862 г.): «Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет...».

Ф. Э. ШПЕРК (НЕКРОЛОГ)

(с. 500)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* и черновик — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 205. Л. 1—5.

Впервые напечатано: *НВ*. 1897. 12 окт. № 7768.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 28 (с. 608—609).

Печатается по тексту первой публикации.

Другой вариант некролога был напечатан Розановым в «Русском Обозрении» (1897. № 11. С. 459—465). Журнальный вариант вошел в книгу Розанова «Литературные очерки».

Шперк Федор Эдуардович (1872—1897) — философ, критик, поэт. Знакомство его с Розановым началось в 1890 г. по переписке и перешло в дружбу. Подробнее см. в книгах: *Шперк* Ф. Э. Литературная критика / Сост., вступ. ст., коммент. Т. В. Савиной. Новосибирск, 2007; *Шперк* Ф. Статьи. Очерки. Письма / Вступ. ст., сост., коммент. Т. В. Савиной. СПб., 2010.

КУЛАЧЕСТВО В ЛИТЕРАТУРЕ

(с. 502)

Автограф неизвестен. Написано в ноябре 1897 г.

Сохранилась вырезка из журнала «Беседа» — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 24—28.

Впервые напечатано: *Беседа*. 1906. № 2. С. 56—63.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 16 (с. 7—10).

Печатается по тексту первой публикации.

Когда в 1890-е гг. Иван Леонтьевич *Щеглов* (Леонтьев) стал сатирически изображать нравы писателей, членов Литературно-театрального комитета («Мир праху», «Около истины», «Затерянный мудрец»), он был «отлучен» от литературы, многие отвернулись от него. Розанов выступил в защиту *Щеглова*, поэтому эта статья была снята с набора и опубликована только в 1906 г. Об отношениях Розанова и *Щеглова* см. в статье о нем в «Розановской энциклопедии» (с. 1195—1196).

С. 502. ...*фельетон г. И. Щеглова в «Новом Времени»* — К этим словам в тексте статьи сделано редакционное примечание: «„Новое Время“. 31 октября 1897 г. По поводу запрещения комедии Ив. Щеглова „Затерянный мудрец“ С.-Петербургским отделом Литературно-театрального комитета (напечатанной в сборнике Ив. Щеглова „Новые пьесы“). Статья В. В. Розанова принадлежит к рукописям, в свое время не попавшим в печать. Но едва ли она утратила от этого интерес». Комедия *Щеглова* была впервые напечатана в «Русском Вестнике» (1897. № 6). Название его фельетона — «*Шемякин суд*» — отсылает к одноименной старинной сатирической повести, обличавшей произвол и корыстолюбие судей.

С. 503. ...*Наг и дик скрывался ~ слова из гимна Церере* — см. коммент. к с. 648.

«*в лесах*» — первая часть дилогии П. И. Мельникова (А. Печерского) «*В лесах*» (1875) и «*На горах*» (1875—1881).

«*Северная Пальмира*» — см. коммент. к с. 374.

...*комитет в лице гг. Вейнберга, Скабигевского* — Примечание редакции журнала: «Имя Скабичевского, включенное по недоразумению, очевидно, подвернулось под перо В. В. как имя, особенно типичное для определения узкопартийной критики». П. И. Вейнберг в это время был председателем Литературно-театрального комитета. На самом деле имя

Скабичевского появилось у Розанова не случайно. В статье И. Щеглова «Шемякин суд (По поводу собственной пьесы)» (НВ. 1897. 31 окт.) говорилось: «Почему это, спрашивается, я обязан непременно думать, как думают гг. Петр Вейнберг, Шляпкин и Скабичевский — и будет зазорно, если я стану мыслить и чувствовать, как мыслили и чувствовали... Достоевский, Страхов и Аполлон Григорьев!».

С. 503. «Я заложил последнюю юбку жены...» — В письме к А. Н. Майкову от 16 (28) августа 1867 г. Достоевский писал из Женевы о своем проигрыше: «Стал закладывать платье. Анна Григорьевна всё свое заложила, последние вещицы (что за ангел! Как утешала она меня)».

«слезы» ~ «невидимы»... — отсылка к выражению Н. В. Гоголя о «незримых ему <мiру> слезах» (см. коммент. к с. 154).

С. 504. «Мужики» — повесть А. П. Чехова (1897).

...«перекошена» в русской литературе, как еще писал Жуковский ли, Вяземский ли — имеется в виду письмо В. А. Жуковского к П. А. Вяземскому о Святой Руси от 23 июля 1848 г.: «Твои стихи, поэтический крик души, производят очаровательное действие в присутствии чудовищных происшествий нашего времени <...> теперь, когда видим, как все кругом нас валится, единственно от того, что оторвался от него этот общий знаменатель, к которому нельзя уже теперь привести этих мелких, разрозненных дробей, ничего целого не составляющих».

«Свои люди, согтемся» — пьеса А. Н. Островского (1850, пост. 1861).

...нет среди них Ойзеров Димантов — имеется в виду миллионер Ойзер (Иссер) Львович Димант, живший на проценты своего капитала.

С. 505. ...о «драдедамовом платке» — Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. Ч. 6. VIII.

1898

И. И. ЯСИНСКИЙ (МАКСИМ БЕЛИНСКИЙ).

НЕЖЕЛАННЫЕ ДЕТИ. РОМАН

(с. 506)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из журнала *НВип* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 16.

Впервые напечатано: *НВип*. 1898. 7 янв. № 7853. Подпись: Р.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 109).

Печатается по тексту первой публикации.

Ясинский Иероним Иеронимович (1850—1931) — писатель, журналист. Розанов выразил свое отношение к нему в юбилейной статье «К 40-летию литературной деятельности И. И. Ясинского» (НВ. 1911. 6 янв.). См. статью о нем А. В. Ломоносова в «Розановской энциклопедии» (с. 1211—1212).

С. 506. ...от «зараженного» истожника, выражаясь по терминологии Филаретовского катехизиса — имеются в виду слова митрополита Филарета (Дроздова) об Адаме: «Как от зараженного источника течет зараженный поток, так от родоначальника, зараженного грехом и потому смертного, происходит зараженное грехом...» («Пространный христианский катехизис православной кафедральной восточной церкви». Разд. «О третьем члене Символа веры». § 166).

ПОЭТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

(с. 506)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: Биржевые Ведомости. 1898. 8 янв. № 17.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 109–111).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 507. «*Римские деяния*» — средневековый латинский сборник, составленный в Англии XIII в. Содержит нравоучительные легенды, частью из римской жизни. На русский язык переведен в конце XVII в. с польского печатного издания 1663 г. Русский перевод издан в 1878–1879 гг. в 2 т.

...«*эратигеский*» валун — перенесенный ледником на большое расстояние валун, состоящий из пород, отсутствующих в месте его нахождения.

С. 508. *Иных уж нет, а те далече...* — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. VIII, 51.

В. КРУГЛОВ. В ГОСТЯХ (В КРЫМУ) (Очерк из рассказов приятеля)

(с. 508)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из журнала *НВип* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 17.Впервые напечатано: *НВип*. 1898. 18 янв. № 7894. Подпись: *.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 111).

Печатается по тексту первой публикации.

Круглов Александр Васильевич (1852–1915) — прозаик, поэт, журналист, автор книг для детей. Известность его началась со сборника рассказов и очерков «Живые души» (СПб., 1885).

С. 508. ...«*всякому времени своя задача*» <Времена меняются, и мы меняемся с ними (*лат.*)> — выражение приписывается франкскому императору Лотарю I (ок. 795–855).

Л. С<ЛОНИМСКИЙ>. МЫСЛИ БЕЛИНСКОГО О ВОСПИТАНИИ.**К пятидесятилетию со дня его смерти (1848–1898)**

(с. 508)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из журнала *НВип* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 173. Л. 4.Впервые напечатано: *НВип*. 1898. 3 июня. № 7996. С. 7. Подпись: Р.

В названии рецензии фамилия Л. Слонимского обозначена инициалами Л. С.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 119–120).

Печатается по тексту первой публикации.

Публицисту Льву Зиновьевичу *Слонимскому* (1850–1918) принадлежит резко отрицательный отзыв (Вестник Европы. 1886. № 10) о первой книге Розанова «О понимании». Розанов писал о Слонимском в статье «Литературно-экономический „кризис“» (*НВ*. 1897. 23 сент.), вошедшей в книгу Розанова «Литературные очерки» под названием «Литературно-общественный кризис». Об отношениях Розанова и Слонимского см. в статье О. В. Быстровой в «Розановской энциклопедии» (с. 884–886).

С. 508. «*Полное собрание сочинений Белинского*» — имеется в виду издание: *Белинский В. Г. Соч.*: В 4 т. / Статья Н. К. Михайловского. СПб.: Ф. Павленков, 1896.

С. 509. «*Свежо предание, — а верится с трудом*» — А. С. Грибоедов. Горе от ума. II, 2.

**СВОЕ СЛОВО. ФИЛОСОФСКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИК,
ИЗДАВАЕМЫЙ ПРОФ. А. А. КОЗЛОВЫМ. № 5**

(с. 509)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из журнала *НВип* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 3.

Впервые напечатано: *НВип*. 1898. 26 авг. № 8080. С. 8.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 120).

Печатается по тексту первой публикации.

Козлов Алексей Александрович (1831—1901) — философ, издатель первого русского философского журнала «Философский Трехмесячник» (1885—1887). В 1888—1898 гг. издавал философские сборники «Свое Слово» (Киев, с № 4 — СПб.).

С. 509. «*Монадология*» (1714) — философское сочинение немецкого философа Г. В. Лейбница, переведенное на русский язык Е. А. Бобровым (Труды Московского психологического общества. 1890. Т. 4).

...*сторонниками этой системы являются: г. Бобров ~ и г. Озе* — речь идет о работах историка литературы и философа Е. А. Боброва «О понятии искусства» (Юрьев, 1894), «О самосознании. Речь, произнесенная 5 ноября 1897 г. на торжественном акте Императорского Казанского университета» (Казань, 1898), «Из истории критического индивидуализма» (Киев, 1898), «Новая реконструкция монадологии Лейбница» (Юрьев, 1896). Профессор философии Юрьевского университета Я. Ф. Озе выпустил книгу «Персонализм и проективизм в метафизике Лотце» (Юрьев, 1896).

С. 510. «*Сеется семя духовное — восстает тело душевное*» — 1 Кор 15, 44 («Сеется тело душевное, восстает тело духовное»).

...«*пока мы живем ~ мы только умираем*» — Платон. Федон. 64а («кто предан философии, занят только одним — умиранием и смертью»).

Гр. Л. Н. ТОЛСТОЙ

(с. 510)

Сохранились:

1) часть гранок — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 140—144 (см. *Варианты*); они относятся к следующим фрагментам текста: а) «Тишина вечера естественно наступает ~ о теоретике, об умственной силе». — Л. 144; б) «Не правда ли, мы предпочли бы беседу с „видавшим виды“ дедом ~ не заносящегося в незнакомые сферы, человека». — Л. 140—142; в) «Но мы отвлеклись к ненужной нам теме ~ установился за Толстым, и по» — Л. 143 (гранки обрываются срезом газетной полосы);

2) две вырезки из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 58—59, 59а—59б; одна с авторской надписью «1898.»; в другой вычеркнут простым карандашом первый абзац текста.

Впервые напечатано: *НВ*. 1898. 22 сент. № 8107.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 27—35).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 510. ...*бюсты Перовского и Гинцбурга* — Перовского как автора бюста Л. Н. Толстого установить не удалось. Возможно, имеется в виду Паоло Трубецкой. В журнале «Нива» (1898. № 35) был опубликован скульптурный портрет Л. Н. Толстого, что вдохновило Розанова написать статью «Бюст Гинцбурга: гр. Л. Н. Толстой». Однако А. С. Суворин заставил Розанова переделать статью, и она вышла под названием, публикуемым здесь. 13 октября 1898 г. Розанов писал С. А. Рачинскому: «Вы мне ничего не написали о моей

статье о Толстом: пришлось сильно ее переделать: меня привел в восторг портрет со статуи Гинцбурга в „Ниве“, и я написал статью „Бюст Гинцбурга: гр. Л. Н. Толстой“. „Как можно писать по поводу № «Нивы», — сказал Суворин, — и пришлось перефасонить (нелепо) начало. А была цельна и сразу, за присест, написалась. Получил на другой день утром целую пачку ругательных писем; и получил — горячие похвалы (*не* от толстовцев) за чисто литературно-критическую сторону статьи — посмеялся тем и другим, что единственно остается при таком расхождении взглядов» (ЛИ-2. С. 581).

С. 511. *...конференцией академии* — Академические конференции с 1814 г. были высшими органами их управления.

С. 512. *Летом нынче я видел Севастополь* — Летом 1898 г. Розанов ездил в Минеральные Воды, Закавказье и Крым.

...«времен огаковских и покоренья Крыма» — А. С. Грибоедов. Горе от ума. II, 5.

...в его письмах, к Фету, кажется — см. письмо Л. Н. Толстого к А. А. Фету 23 февраля 1860 г.

С. 513. *«что будет там»* — из трагедии Шекспира «Гамлет» в переводе Н. А. Полевого (акт III, сц. I; монолог «Быть или не быть...»). Выражение стало особенно популярно после того, как его процитировал Ф. М. Достоевский в январском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г.

Токология — акушерская наука. Л. Н. Толстой написал предисловие к книге: *Стокэм А. Токология, или Наука о рождении детей* / Пер. С. Долгов. М., 1892.

...Гиляров-Платонов первый имел неосторожность пустить эту мысль ~ о разделенности и в Толстом даров изобразительности от даров мышления — Н. П. Гиляров-Платонов неоднократно писал об этом в 1880-х гг. в передовых статьях издаваемой им газеты «Современные Известия». См., например: «Толстой — великий художник; скажем, даже величайший (из современных писателей он стоит неизмеримо выше всех своею *пластикою*), но никуда не годный мыслитель. Его достоинство и его несчастье — *избыток творчества*. Оно оказывает ему услугу в замысле художественных произведений, в вымысле; но оно же низвергает его, когда он начинает рассуждать отвлеченно» (* <Гиляров-Платонов Н. П.>. Москва, 11 ноября // Современные Известия. 1886. 12 нояб. № 312). См. также: *Гиляров-Платонов Н. П. Письмо С. А. Юрьеву об «Исповеди» гр. Л. Н. Толстого* // Русский Архив. 1889. № 11. С. 428–432.

С. 514. *«Погему люди одурманиваются»* — Статья Л. Н. Толстого о вреде вина и табака «Для чего люди одурманиваются» была напечатана как предисловие к книге доктора П. С. Алексеева «О пьянстве» (М., 1891).

И не вздремнуть в могиле ей... — М. Ю. Лермонтов. Демон. II, 10.

...по русской грамматике и ~ трактата по политическо-экономии — речь идет о книгах Н. П. Гилярова-Платонова «Экскурсии в русскую грамматику» (М., <1883>; 2-е изд.: 1904), «Основные начала экономии» (М., 1889).

Толстой «игнорант»... — ср. в письме Н. П. Гилярова-Платонова к князю Н. В. Шаховскому от 17 ноября 1884 г.: Толстой «был и есть, при всем таланте, все-таки игнорант прежде всего» (Ревельские Известия. 1893. 8 апр. № 75). *Игнорант* — человек с ограниченным кругозором, интересующийся лишь тем, что представляет для него какую-либо выгоду.

С. 515. *Синайская рукопись* — датируется IV в. и содержит Ветхий и Новый Заветы с поправками VI и VII вв. Обнаружена в 1844 г. в монастыре Св. Екатерины на горе Синай и приобретена в 1869 г. русским царем.

«Об искусстве» — статья Толстого «Что такое искусство» (1897–1898).

Левин (в «Ан. Карениной») женится — и как тревожна его исповедь — см. коммент. к с. 366.

С. 515. «Юность» — Повесть Толстого опубликована под названием «Юность. Первая половина» (Современник. 1857. № 1). Вторая половина «Юности» (по замыслу «Молодость») не была написана. Первоначально планировался автобиографический роман «Четыре эпохи развития» («Детство. Отрочество. Юность. Молодость»).

«не от мiра сего» — см. примеч. к с. 65.

Элен Безухова хочет перейти в католичество (кажется, даже перешла) — Элен действительно приняла католицизм (Л. Н. Толстой. Война и мир. III, 3, 6).

...Козньшев, ища грибы, так и не объяснился «с Варенькой» — Л. Н. Толстой. Анна Каренина. VI, 5.

С. 517. «да будет благословенно имя Господне» — Пс 112, 2; Иов 1, 21.

Д. САДОВНИКОВ. НАШИ ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ (Рассказы о заселении Сибири)

(с. 517)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВип*. 1898. 30 сент. № 8115. С. 7—8.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 125—126).

Печатается по тексту первой публикации.

Садовников Дмитрий Николаевич (1847—1883) — поэт и этнограф, автор «Песен о Стеньке Разине», в том числе песни «Из-за острова на стрежень...» (1883). Первое издание его книги «Наши землепроходцы» вышло в Москве в 1874 г. Автор книг «Загадки русского народа» (СПб., 1875), «На старой Волге» (Симбирск, 1906).

С. 517. «Дополнения к историческим актам» — издание Археографической комиссии документов X—XVII вв. (СПб., 1846—1872. Т. 1—12), является продолжением «Актов исторических, собранных и изданных Археографической комиссией» (СПб., 1841—1842. Т. 1—5).

С. 518. *...гибель Онуфрия Степанова* — сибирский казак, ставший с 1652 г. «приказным человеком великой реки Амура — новой Даурской земли». Погиб в схватке с маньчжурами.

...ясажных людей — то есть облагаемых налогом (*ясаком* — главным образом пушницей) народов Сибири и Поволжья.

ВЕСТНИК АРХЕОЛОГИИ И ИСТОРИИ, ИЗДАВАЕМЫЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ИНСТИТУТОМ. Выпуск X

(с. 518)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из журнала *НВип* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 17, 17а, 17 об.

Впервые напечатано: *НВип*. 1898. 11 нояб. № 8157. С. 7—8.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 128—130).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 519. (*Калагову принадлежит классическое издание ~ «Русской Правды»*) — Текст Русской правды на основании четырех списков разных редакций / Изд. Н. Калачов. М., 1846; 4-е изд.: СПб., 1889.

С. 520. *...издание «Розыскных дел о Федоре Шаковитом и его сообщниках»* — Изд. Археографической комиссии. СПб., 1884—1893. Т. 1—4.

СХЕМА РАЗВИТИЯ СЛАВЯНОФИЛЬСТВА

(с. 520)

Сохранился черновик, написанный на бланке железнодорожной отчетности — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 176. Л. 13.

Печатается впервые по тексту черновика, окончание которого не поддается прочтению.

С. 520. *...статьи г. Гадзяцкого ~ «Ив. Дм. Беляев» — Гадзяцкий С. А. Иван Дмитриевич Беляев // Русская Беседа. 1895. № 2, 5, 6.*

1899

С. РАЧИНСКИЙ. СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА. Сборник статей

(с. 522)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из журнала *НВип* с авторской правкой черными чернилами — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 136. Л. 24.

Впервые напечатано: *НВип*. 1899. 6 янв. № 8211. С. 6.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 138–140).

Печатается по тексту первой публикации с учетом авторской правки на вырезке. Эта правка состоит в следующем. Вместо двух инициалов Рачинского в заглавии «Серг. Ал.» указан один: «С.». В заглавии перед «Сборник статей» внесены слова: «Сельская школа». Новый текст в сравнении с прежним в вырезке:

С. 522. 12–13. автор скромных педагогических очерков / автор скромных очерков

С. 522. 17–23. может быть школы — несколько мечтательной... Вот почему «Сельская школа» / отвечающий особому культурному сложению нашего народа, особенностям его психики и верований. Можно сказать, что его школа есть первый практический глагол славянофильства; нечто конкретное, именуемое, на земле лежащее и доступное к освидетельствованию, что дали возвышенные, но слишком отвлеченные теории этой школы оригинальных русских мыслителей и писателей. Вот почему «Сельская школа»

С. 522. 24. «Corpus'a slavianofilorum» / «Codex'a slavianofilorum»

С. 522. 29. ; сколько подвига! / сколько подвига; сколько «незримых слез» среди непонимающего общества!

С. 523. 9–10. книга Рачинского ненасытно прекрасна / книга Рачинского прекрасна

С. 523. 24. Чинабуэ / Чинабуэ

С. 523. 29–32. в лучах всемирного «мы» / в лучах всемирного «мы». Вот уж где проповедь и чаяния Достоевского нашли осязательную и, главное, не преднамеренную форму! И, может быть, вот где конкретное объяснение так мало вообще понятных слов Спасителя «Не оживете, аще не умрете» <сохранено в тексте статьи>.

В конце вырезки против слов: «на плечах подвижников пещер Радонежских и Воронежских лесов» на полях карандашом написано: «св. Рачинский».

С. 522. *«и мореплавателями и плотниками»* — ср.: А. С. Пушкин. Стансы (1826).

С. 523. *...учительское призвание покойного Листа* — Ф. Лист давал открытые уроки в своем доме в Веймаре, приглашая пианистов со всей Европы и не беря за это денег.

«Не оживете, аще не умрете» — Ин 11, 25 («верующий в Меня, если и умрет, оживет»).

Торгуя совестью пред бледной нищетою — А. С. Пушкин. Подражание Корану. VIII (1824).

С. 524. *Нилова пустынь* (Нило-Столобенская пустынь) — мужской монастырь на острове Столобный на озере Селигер. Открыт в 1594 г. по завещанию преподобного Нила, прожившего на острове 27 лет и умершего в 1555 г. Монастырь закрыт в 1927 г., после его восстановления в 1995 г. были возвращены мощи преподобного Нила.

«*Port-Royale*» (Порт-Рояль) — см. коммент. к с. 166.

Н. И. БАРСОВ. НЕСКОЛЬКО ИССЛЕДОВАНИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ И РАССУЖДЕНИЙ О ВОПРОСАХ СОВРЕМЕННЫХ

(с. 524)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из журнала *НВип* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 21.

Впервые напечатано: *НВип*. 1899. 20 янв. № 8225. С. 7. В журнале после заглавия книги указано: «Профессора Н. И. Барсова».

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 141–142).

Печатается по тексту первой публикации.

Барсов Николай Иванович (1839–1903) — духовный писатель, профессор гомилетики в Петербургской духовной академии, автор книги «Исторические, критические и полемические опыты» (СПб., 1879).

С. 525. «*бесовский совет*» — Епископ коломенский Вассиан Топорков советовал Ивану IV: «Если хочешь быть самодержавцем, не держи при себе ни одного советника, который был бы умнее тебя» (*Соловьёв С. М.* Соч.: В 18 кн. М., 1989. Кн. 3. С. 515).

...знаменитой полемики, завязавшейся между Достоевским, Кавелиным и Градовским — Публицист Г. К. Градовский в газете «Голос» (1876. 7 марта) полемизировал с «Дневником писателя» Достоевского. К. Д. Кавелин в «Письме Ф. М. Достоевскому» (Вестник Европы. 1880. № 11) полемизировал с Пушкинской речью Достоевского. В «Дневнике писателя» (1876. Март. Гл. 1) Достоевский отвечал Градовскому, писавшему под псевдонимом Гамма. Ответ Кавелину Достоевский готовил в февральском номере «Дневника писателя» за 1881 г., но смерть помешала ему осуществить этот замысел (см.: *Достоевский Ф. М.* ПСС. Л., 1984. Т. 27. С. 323).

И. А. ДАНИЛОВ. В ТИХОЙ ПРИСТАНИ. — В МОРОЗНУЮ НОЧЬ. — ПОЕЗДКА НА БОГОМОЛЬЕ

(с. 526)

Сохранились: 1) автограф-набросок со слов: «Талант г. Данилова был отмечен еще покойным Шперком...» — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 33–33 об. (см. *Варианты*); 2) вырезка из журнала *НВип* — Там же. Л. 20.

Впервые напечатано: *НВип*. 1899. 10 марта. № 8273. С. 6–7. Подпись: Р.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 142–144).

Печатается по тексту первой публикации.

Данилов И. А. — псевдоним писательницы Ольги Александровны Фрибес (1858–1933). Повесть «В тихой пристани» появилась в «Русском Вестнике» в 1894 г., а при содействии Розанова в 1899 г. была издана отдельной книгой вместе с двумя рассказами. Другую рецензию на эту книгу Розанов напечатал в своей книге «Религия и культура» (1899). Фрибес была дружна с семьей Розанова, в 1900 г. крестила его сына Василия.

С. 527. «*Ave*» *Шумана* — Описка Розанова. Песня немецкого композитора Ф. Шуберта «Аве Мария» была создана в 1825 г. под названием «Третья песня Эллен» на стихи Вальтера Скотта из поэмы «Дева озера» (1810).

Крылошанки — В тексте книги «Религия и культура» Розанов поясняет это слово: «монахини, поющие на клиросе».

...смоковницы, не давшей плода — евангельский образ (Мк 11, 13).

«Мир — во зле лежит!» — 1 Ин 5, 19.

...«лилии», «птицы полевые» ~ «Кольми человек паге их?» — Мф 6, 26—29; Лк 12, 24—28.

Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ. ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ.

ПОРТРЕТЫ ИЗ ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(с. 528)

Автограф неизвестен.

Сохранилась газетная вырезка с авторской правкой — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 188. Л. 1.

Впервые напечатана: *НВип*. 1899. 31 марта. № 8291. С. 7.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 144—145).

Печатается по тексту первой публикации с авторской правкой.

Авторская правка в вырезке:

С. 528. 32. объяденье / пищи много

С. 529. 2. «взявши — лобызал» / «взяв, целовал»

С. 529. 10. Потопчется / Потолчется

С. 529. 11. топчется / толчется

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865—1941) — писатель. Розанов познакомился с ним в апреле 1897 г. Настоящая статья — первая из многочисленных статей Розанова о Мережковском, с которым он разошелся во взглядах в 1908 г.

С. 528. «*Дафнис и Хлоя*» — издание перевода романа Лонга вышло в Петербурге в 1896 г.

«*О пригинах упадка и о новых течениях современной русской литературы*» — 26 октября и 8 декабря 1892 г. Мережковский прочел в Русском литературном обществе в Петербурге лекцию «О причинах упадка русской литературы». Опубликована отдельным изданием под измененным названием (СПб., 1893).

«*Отверженный*» — см. коммент. к с. 445.

...«от тлена убежав» — Г. Р. Державин. Памятник (1795).

С. 529. ...когда у него срубили голову — то он «взявши — лобызал ее» — Согласно легенде, в 250 г. первый епископ Парижа св. Дионисий (Дени) за проповедь христианства был обезглавлен на Монмартре у святилища Меркурия. Произошло чудо: взяв в руки свою голову, он двинулся по дороге на север и упал замертво в селении, которое впоследствии стали называть Сен-Дени (усыпальница французских королей, где в 1790-е гг. Н. М. Карамзин искал могилу Анны Ярославовны, королевы Франции). Розанов, возможно, вспомнил фразу Ф. П. Карамазова из романа Ф. М. Достоевского: «...в Четьи-Минее повествуется где-то о каком-то святом чудотворце, которого мучили за веру и, когда отрубили ему под конец голову, то он встал, поднял свою голову и „любезно ее лобызаше“, и долго шел, неся ее в руках и „любезно ее лобызаше“» («Братья Карамазовы». II, 2).

Л. МАМЫШЕВ. ДУША И ТЕЛО. БЕГЛЫЕ ОЧЕРКИ

(с. 529)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из журнала *НВип* с авторской пометой «99» (о годе издания) — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 19.

Впервые напечатано: *НВип*. 1899. 7 апр. № 8301. С. 7.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 146–147).

Печатается по тексту первой публикации.

Л. Мамышев — автор единственной книги.

С. 529. ...«*простая речь о мудрых вещах*» — имеется в виду название книги М. П. Погодина «Простая речь о мудрых вещах» (1873) о таинственных явлениях обыденной жизни.

С. 530. «*обще-человек*» — см. коммент. к с. 446.

...*Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна* — герои повести Н. В. Гоголя «Старосветские помещики» (1835) из цикла «Миргород».

ПОПУТНЫЕ ЗАМЕТКИ

<Л. Н. Толстой. Сорок лет>

(с. 531)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* с пометой о годе публикации «1899.» — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 45.

Впервые напечатано: *НВ*. 1899. 9 апр. № 8303. Подпись: Р.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 148–149).

Печатается по тексту первой публикации.

Розанов познакомился с рассказом Толстого в литературном сборнике «Памяти Белинского», на который написал не опубликованную при жизни рецензию (см. в наст. томе на с. 615–616).

С. 531. *Легенду эту издал покойный Костомаров* — Повесть Н. И. Костомарова «Сорок лет» (1840; опубл.: М., 1881) оказалась созвучна идеям Л. Н. Толстого, и он предполагал печатать ее в дешевых изданиях для народа.

С. 532. *Н. Ч.* — псевдоним писателя и критика Н. И. Черняева, постоянного сотрудника харьковской газеты «Южный Край».

ПОПУТНЫЕ ЗАМЕТКИ

<О романе>

(с. 532)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* с пометой о годе публикации «1899.» — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 46.

Впервые напечатано: *НВ*. 1899. 23 апр. № 8315. Подпись: Р.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 166–167).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 532. «*Нива*» — еженедельный иллюстрированный журнал, выходил в Петербурге с 1870 по 1918 г. Роман Л. Н. Толстого «Воскресение» печатался в «Ниве» с 13 марта по 25 декабря 1899 г. с цензурными искажениями и сокращениями. Розанов пишет название романа — «Воскресенье».

«*Киропедия*» — трактат древнегреческого писателя и историка Ксенофонта (ок. 362 до н. э.) о воспитании идеального правителя и об идеальном государстве.

Дон Жуан — имеется в виду название драматической поэмы А. К. Толстого «Дон Жуан», печатавшейся в журнале «Русский Вестник» (1862. № 4 и 7).

ПОПУТНЫЕ ЗАМЕТКИ
<Л. Н. Толстой. Воскресение>
 (с. 533)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 47—48.

Впервые напечатано: *НВ*. 1899. 28 апреля. № 8320. Подпись: Р.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 167—169).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 533. *...Бог совершает отделение «ребра» ~ «жена берется от мужа»* — отсылка к библейскому рассказу о сотворении Евы из ребра Адама (Быт 2, 21—23).

С. 534. *«Божие — Богови, Кесарю — Кесарево»* — Мф 22, 21; Лк 20, 25.

«кость от кости его» — Быт 2, 23.

«Гектор и Андромаха» — история, изображенная в «Илиаде» Гомера (VI, 370—502) и в трагедии Ж. Расина «Андромаха» (1667).

«Герман и Доротея» (1798) — эпическая поэма И. В. Гёте.

С. 535. *...«Невольницы порока» ~ и «Законорожденные и узаконенные»* — неподписанные статьи (*НВ*. 1899. 23 и 25 апр.).

ПОПУТНЫЕ ЗАМЕТКИ
<Еще о «Воскресении» Толстого>
 (с. 535)

Сохранился автограф черными чернилами — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 218. Л. 1—2. Подпись: Р.

Печатается впервые по тексту автографа.

С. 535. *...«стения и трясыйся, ты будешь скитаться по земле»* — Быт 4, 12 (о Каине).

С. 536. *Шенбок* — персонаж в романе «Воскресение» Толстого.

«Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой» — Сергеевко П. А. Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой. М., 1898.

Ева и ева — то есть Ева и жизнь.

ПЕЧАТНОЕ СЛОВО В РОССИИ
 (с. 537)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 215. Л. 30.

Впервые напечатано: *НВ*. 1899. 9 мая. № 8331. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 178—181).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 537. *Самая блистательная из императриц...* — подразумевается Екатерина II.

...Пушкина в постоянных заботах об основании журнала — речь идет о журнале «Современник», основанном Пушкиным в 1836 г.

...Карамзин был основателем журнала — имеется в виду «Вестник Европы» (1802—1830).

С. 537—538. *...статья Страхова ~ погубила целое благонамеренное издание* — «Роковой вопрос» (Время. 1863. № 4) по польскому вопросу, после чего журнал был закрыт.

С. 538. *Головнин ~ избыл от себя пегать* — А. В. Головнин был министром народного просвещения в 1861—1866 гг. Указом от 10 марта 1862 г. Александр II упразднил Главное управление цензуры, цензурно-предупредительная часть оставалась в ведении Министерства народного просвещения, а карательные функции переданы в Министерство внутренних дел.

С. 539. *...Государственный Совет. Председатель его* — С 1881 по 1909 г. председателем Государственного совета был великий князь Михаил Николаевич.

А. С. ПУШКИН

(с. 539)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 191. Л 19—19а с записями простым карандашом о времени публикации — «1899», «26.V», а также фиолетовыми чернилами порядкового номера статьи — «№ 81» (в несохранившемся авторском списке его произведений); на обороте вырезки — запись простым карандашом «26 мая 1899 г.»; на тексте газетной вырезки, а также на полях, многочисленные отчеркивания отдельных мест и подчеркивания простым карандашом. Конец последней полосы вырезки дефектен: оторвана подпись и часть последнего слова. Простым карандашом в самом конце текста сделана почерком Розанова уточняющая вставка: восстановлено последнее слово статьи: «поколение».

Авторские пометы в каждой части текста (почти в каждом абзаце) так или иначе выделяют самое основное, существенное. В первом абзаце отчеркнут на полях и подчеркнут в тексте отрывок «Наступило время ~ чем память творца слова». Далее в том же абзаце отчеркнута «Россия получила сосредоточение вне классов ~ это — русское слово». В третьем абзаце подчеркнуты слова «первый вековой юбилей». В четвертом отчеркнут отрывок «Сказать о нем что-нибудь ~ тянувшееся двадцать лет отчуждение от поэта и непонимание поэта». В шестом подчеркнуты слова «не сделался бы творцом нашей оригинальности и самобытности». В восьмом выделено отчеркиванием «У Пушкина по-прежнему в исторических припоминаниях есть это удивительное искусство воскрешать прошлое...». В 12-м выделены слова «Пушкин был царственная душа» и отрывок «То же чувство, какое овладело Гумбольдтом» и до слов «надо мной вился кондор». В 13-м абзаце выделен текст, в котором поэт сопоставляется с Кольцовым. В 16-м подчеркнуты слова «Вечный гений — среди проходящих вещей». В последнем абзаце первого раздела статьи двумя полосами отчеркнут текст «Надо указать ~ он одумался и стал русачком». Кроме этого, подчеркнуты определения, которые подытоживают мысль выделенного текста: «Дело ~ в способности его к возрождению, в его универсальности...»; «...умел только очаровывать — замечательная черта положительности».

Во второй части статьи (после обозначения тремя звездочками), в первом ее абзаце, отчеркнуты слова от «где кончается вдохновение и начинается анализ, где умолк поэт и говорит философ» до «перед вами платоновское рассуждение о человеческой страсти». Там же подчеркнуты слова «изумительная и постоянная трезвость головы и помогала». В следующем абзаце отчеркиванием на полях выделены слова, характеризующие отношение поэта к «освобождению крепостного населения». В 4-м абзаце подчеркнута: «Из этого трезво спокойного настроения ~ хлопоты его об основании журнала ~ прекрасного публициста ~ чем у Белинского». В следующем, 5-м, подчеркнуты слова «трезвый гений». В 6-м абзаце отчеркнуты тексты «Мы можем думать ~ очень трудно гадать о неоконченной жизни»; «История нашего развития ~ не было бы спора между западниками и славянофилами». В последнем абзаце статьи отчеркиванием выделен текст: «Наше общество ~ и гениальною 36-летнею, опытностью».

Впервые напечатано: *НВ*. 1899. 26 мая. № 8348.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 36—47).

Печатается по тексту первой публикации.

Сборник статей Розанова «О Пушкине. Эссе и фрагменты» (М., 2000) подготовлен В. Г. Сукачом.

Об отношении Розанова к наследию Пушкина см. в статье А. А. Голубковой в «Розановской энциклопедии» (с. 748—759). Несколько статей Розанова о Пушкине: «О Пушкинской академии» (ТПГ. 1899. 23 мая), «Ибсен и Пушкин — „Анджело“ и „Бранд“» (РМ. 1907. № 8), «Домик Пушкина в Москве» (НВ. 1911. 12 марта), «Возврат к Пушкину (К 75-летию его кончины)» (НВ. 1912. 29 янв.) см. в книге Розанова «Среди художников».

С. 539. *Недавно исполнилась 50-летняя годовщина смерти Белинского* — К 50-летию со дня смерти В. Г. Белинского (26 мая 1898 г.) Розанов написал статью «50 лет влияния» (НВ. 1898. 26 мая; перепечатана — РО. 1898. № 5, с подзаголовком «Памяти В. Г. Белинского»; вошла в книгу Розанова «Литературные очерки» (СПб., 1899) с подзаголовком «Юбилей В. Г. Белинского»).

С. 540. *...много было сказано 6 и 7 июня 1880 года* — Пушкинские торжества открылись 5 июня 1880 г. в Московской городской думе. Намеченные первоначально на день рождения Пушкина 26 мая, из-за смерти жены Александра II императрицы Марии Александровны они были отложены сначала на 4-е, а затем на 6 июня. Утром 6 июня на Страстной (ныне Пушкинской) площади Москвы у начала Тверского бульвара открыли памятник Пушкину работы А. М. Опекушина. 6 июня в Благородном собрании прозвучала речь М. Н. Каткова, который еще в 1838 году назвал Пушкина «поэтом всемирным». 7 июня началось двухдневное заседание Общества любителей российской словесности, где произнес речь о Пушкине И. С. Тургенев. 8 июня прозвучала речь Ф. М. Достоевского, произведшая огромное впечатление на слушателей. Выступили также И. С. Аксаков, Я. К. Грот, П. В. Анненков, П. И. Бартенев, А. Н. Островский.

«Нужно стать к Петербургу спиною» — Аксаков И. С. Петербург и Москва // День. 1862. 29 сент.

С. 541. *Художник-варвар кистью сонной* — А. С. Пушкин. Возрождение (1819).

...«ветхая гешуя» — из того же стихотворения («Но краски чуждые, с летами, / Спадают ветхой чешуей»).

«Генриада» — поэма Вольтера, изданная в Лондоне в 1728 г.

...циник поседельный — здесь и далее цитируется стихотворение Пушкина «К вельможе» (1830).

...характеристике Вольтера Карлейль — Английский историк и философ Т. Карлейль (Карлайл) написал о Вольтере в своей книге «Герои, почитание героев и героическое в истории» (1841; рус. пер.: 1891), глава первая «Герой как божество».

Армида — героиня поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1575).

С. 542. *«Сады»* (1782) — поэма французского поэта Жака Делиля, была переведена на русский язык в 1814 г.

Жан-Жак — Ж. Ж. Руссо.

Афей — атеист (устар.).

«Путешествие молодого Анахарсиса» — Бертелеми Ж. Ж. 1) О благополучии из путешествия юного Анахарсиса / Пер. с фр. СПб., 1798; 2) Путешествие младшего Анахарсиса по Греции, в половине четвертого века до Рождества Христова / Пер. с фр. П. Страховым. М., 1803—1819. Т. 1—9.

С. 543. *Искони твердят испанцы* — А. Н. Майков. Исповедь королевы (Легенда об испанской инквизиции) (1860). У Майкова: «Искони твердят испанки».

Доньяне странствует с кладбища на кладбище — Вольтер был сначала похоронен на кладбище монастыря Сельер, откуда прах его в 1791 г. был перенесен в Пантеон. После

реставрации Бурбонов ходил слух, что останки Вольтера были якобы выкрадены из Пантеона, но это не соответствовало действительности.

С. 543. *Темира* — условное женское имя, встречающееся в идиллиях.

С. 544. *...выше Наполеонова столпа* — А. С. Пушкин. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836) в редакции В. А. Жуковского. У Пушкина: «Александрийского столпа».

...надо мной вился кондор — Немецкий естествоиспытатель А. Гумбольдт в 1806 г. наблюдал андоррского кондора, парящего над горой Чимборасо (Зап. Кордильеры) на высоте около 7000 м над уровнем моря. Его труд «Космос» издан в 4 т. (Штутгарт; Тюбинген, 1845—1858).

Прасол — скупщик скота и разных припасов (мяса, рыбы) для перепродажи.

«Лес» — стихотворение А. В. Кольцова (1837) имеет подзаголовок: «Посвящено памяти А. С. Пушкина». У Кольцова: «Так дорезала / Осень черная».

С. 545. *Меж тем, как изумленный мир* — А. С. Пушкин. Андрей Шенья (1825).

...назвавшие его «протеем» — Н. И. Гнедич. А. С. Пушкину, по прочтении сказки его о царе Салтане и проч. (1832) («Пушкин, Протей, / Гибким твоим языком и волшебством твоих песнопений!»). См. также коммент. к с. 355.

Ты — Царь. Живи один — А. С. Пушкин. Поэту (1830).

С. 546. «Анжелю» — поэма А. С. Пушкина (1833). Ч. 2. Курсив Розанова.

Отцы-пустынники и жены непорочны — одноименное стихотворение А. С. Пушкина (1836). Цитируется неточно.

...о «несотворенном себе кумире» — Втор 5, 8 («Да не сотвориши себе кумира»).

С. 547. *...предисловие к «Руслану»* — написано в 1825—1826 гг., опубликовано в 1828 г.

«История села Горюхина» — подцензурное название «Истории села Горюхина» Пушкина (1830).

...суждения о Байроне и Мольере — имеются в виду высказывания Пушкина в набросках «О драмах Байрона» (1827): «Байрон бросил односторонний взгляд на мир и природу человечества, потом отвратился от них и погрузился в самого себя. Он представил нам призрак себя самого... В конце концов он постиг, создал и описал единый характер (именно свой)... Когда же он стал составлять свою трагедию, то каждому действующему лицу роздал он по одной из составных частей сего мрачного и сильного характера». В «Table-talk» Пушкин писал о Мольере: «Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока; но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков <...> У Мольера скупой скуп — и только; у Шекспира Шайлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен. У Мольера лицемер волочится за женою своего благодетеля, лицемеря...» См. коммент. к с. 494.

...по манию царя — А. С. Пушкин. Деревня (1819).

С. 548. *...его замечания о внутреннем управлении в царствование Екатерины II* — А. С. Пушкин. Заметки по русской истории XVIII века (1822).

...заметка о реге Николая I на Сенной площади, во время холерных беспорядков — см.: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1911. Т. 3. Гл. 26.

«*Это хорошо раз, но нельзя повторять в другой раз...*» — Розанов вольно пересказывает запись из «Дневников» А. С. Пушкина от 26 июля 1831 г. о посещении государем взбунтовавшихся военных поселений в Новгородской губернии: «Однако же сие решительное средство, как последнее, не должно быть всеупотребляемо. Народ не должен привыкать к царскому лицу, как обыкновенному явлению. <...> Доныне Государь, обладающий даром слова, говорил один; но может найтись в толпе голос для возражения. Таковые разговоры неприличны, а прения площадные превращаются тотчас в рев и вой голодного зверя».

Нагало славных дней Петра — А. С. Пушкин. Стансы (1826).

«Я говорил сейчас с умнейшим человеком в России» — Погодин М. П. Из воспоминаний о Пушкине // Русский Архив. М., 1865. Стб. 1249.

«Современник» — см. коммент к с. 537.

С. 549. *Абсентенизм* (абсентизм) — привычка покидать свое отечество для путешествий, жить в других странах (преимущественно в Италии или во Франции).

ЗАМЕТКА О ПУШКИНЕ

(с. 549)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из журнала *МИ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. № 191. Л. 13—17 об.

Впервые напечатано: *МИ*. 1899. № 13—14 <май>. С. 1—10. Текст сопровождают оригинальные буквицы, заставки и виньетки, а также иллюстрации: на с. 2—4 — гр. Ф. Толстого: «Семья художника», «Зал», «За шитьем»; на последующих — О. Кипренского: «Собственный портрет», «Рисунок», «Рисунок», «Портрет (пастель)», «Портрет (рисунок)».

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 420—426).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 549. «Нет, всю ночь играл в карты» — Анненков П. В. Материалы для биографии Пушкина. М., 1855. С. 368—369.

Стихарь — длинная одежда дьяконов и дьячков при богослужении.

С. 550. *Пегально я гляжу на наше поколение* — М. Ю. Лермонтов. Дума (1838).

...о капитане Копейкине — Гоголь Н. В. Повесть о капитане Копейкине (1842), часть поэмы «Мертвые души».

Бывают тягостные ноги... — М. Ю. Лермонтов. Журналист, читатель и писатель (1840). Далее цитируется это стихотворение.

С. 551. «Как же мне писать хочется» — Сергеев П. А. Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой. С. 50.

С. 552. ...«гордом славянине» — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Путешествие Онегина.

«Хоровое нагало» — выражение К. С. Аксакова, примененное им для характеристики учения А. С. Хомякова о «соборности».

«Его никто не знал» — С. Т. Аксаков в «Письме к друзьям Гоголя» (МВ. 1852. 13 марта) писал: «Гоголя как человека знали весьма немногие». Ту же мысль Аксаков повторил в статье «Несколько слов о биографии Гоголя» (1853) и в незаконченной «Истории моего знакомства с Гоголем».

«Меня сон так и клонит...» — Н. В. Гоголь. Страшная месть (1832). Гл. 4.

«Едва я вошел в камеру (острог)...» — пересказ из первой главы «Записок из Мертвого дома» Достоевского (*Достоевский Ф. М.* ПСС. Л., 1972. Т. 4. С. 11).

...и язык лепетет громко, без сознанья... — М. Ю. Лермонтов. Журналист, читатель и писатель.

С. 553. ...*эти три* — Как отметил В. С. Соловьёв (в указанной статье «Особое чествование Пушкина»), Розанов противопоставляет Пушкину четырех писателей (Гоголя, Лермонтова, Достоевского и Толстого), но «называя всех четырех, то вместе, то порознь, Розанов упорно считает их тремя: „эти три“, „те три“».

«В расщелине скалы была дыра...» — Розанов использовал «Реальный словарь классических древностей» Ф. Любкера (СПб., 1883. С. 379): «Местом оракула служила расселина в земле, испускавшая испарения раздражающего свойства; над ней было выстроено святилище большого храма Аполлона».

С. 553. ...картезианскую гипотезу космических ~ «вихрей» — Декарт Р. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 207—210.

Восторг внезапный ум пленил... — начало «Оды на взятие Хотина 1739 года» М. В. Ломоносова.

Ревет ли зверь... — А. С. Пушкин. Эхо (1831) (в отрывках).

...не в эту ли и не об этой ли самой ноге Лермонтов написал... — В. С. Соловьёв, пародируя Розанова, пишет в той же статье «Особое чествование Пушкина» о стихотворении Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...»: «Чем обогащается ум и сердце при замечании, что в ту ночь, когда Пушкин играл в карты, Лермонтов, может быть, написал стихотворение „Выхожу один я на дорогу“?».

С. 554. «Слава в вышних Богу» — Лк 2, 14.

...«дубрава Мамерийская» — место, где долгое время жил и был погребен патриарх Авраам и его потомки.

С. 555. *Кеирин* — в римской мифологии бог народного собрания, впоследствии отождествлялся с Ромулом, основателем Рима.

ПУТАНЫЕ ИДЕИ

(с. 555)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1899. 1 июня № 8354. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 184—188).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 555. *...полемизируя против книги «Россия и Европа» Данилевского, Влад. Соловьёв...* — Статья В. С. Соловьёва «Россия и Европа», направленная против книг Н. Я. Данилевского («Россия и Европа», «Дарвинизм») и Н. Н. Страхова («Борьба с Западом в русской литературе»), появилась в «Вестнике Европы» (1888. № 2 и 4) и затем вошла в качестве главы VI книги Соловьёва «Национальный вопрос в России» (Вып. 1. 3-е изд. СПб., 1891).

С. 556. «Что препятствует идее мира» — статья А. Новикова в газете «Россия» 18 мая 1899 г., № 23.

Седан — город на северо-востоке Франции, где 1—2 сентября 1870 г. во время франко-прусской войны была разгромлена французская армия маршала М. Э. Мак-Магона.

С. 557. *...объединение Германии* — создание в январе 1871 г. федеративной Германской империи из ряда независимых немецких государств.

...угреждение Сената — в феврале 1711 г.

...генеральное размежевание земель — Межевание земель около Петербурга было начато Петром I в 1712 г., первое генеральное межевание земель было в 1754 г. на основании писцового наказа 1684 г. Указом 1765 г. была создана Комиссия о государственном межевании. В 1775 г. учреждены должности губернских и уездных землемеров. В 1836 г. Государственный совет принял постановление о размежевании земель.

С. 558. *Святослав говорил грекам: «Иду на вас»* — Великий князь киевский Святослав, как свидетельствует «Повесть временных лет» под 964 г., идя в поход, «посылал в иные земли со словами: „Иду на Вы!“».

...японо-китайскую распрю — имеется в виду японо-китайская война 1894—1895 гг., закончившаяся поражением маньчжурской империи Цин, в которую входил Китай.

...моральной Плевны — Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. за город Плевна (Плевен) в Болгарии шли упорные бои, три штурма русских войск были неудачны, однако 28 ноября 1877 г. турецкие войска сдались.

Скорпионы — здесь: орудия для метания камней (*устар.*).

...во время тарифных неудовольствий с Германией ~ запрещения ввоза свиней в Германию — С целью защиты русской промышленности от иностранной конкуренции в 1876 г. ввозные пошлины на промышленные товары из-за рубежа начали взиматься не в бумажных, как раньше, а в золотых рублях. В ответ Германия в 1879 г. почти полностью запретила ввоз скота из России и установила высокие аграрные пошлины. Россия тогда же повысила еще на 10% ввозные пошлины на иностранные товары, а в 1884—1885 гг. вновь увеличила тарифы. Германия в 1885 и 1887 гг. повышала пошлины на ввозимые из России зерно и древесину. Эта таможенная война значительно снизила товарооборот между странами. В ее разгар, в середине 1880-х гг., немецкие власти даже предприняли выселение российских подданных из Германии.

ФОРМЫ И ПРАКТИКА

(с. 559)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1899. 6 июня. № 8359. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 190—193).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 559. *«Вестник Европы» возражает на нашу мысль...* — В обзоре «Хроника. Внутреннее обозрение» «Вестник Европы» (1899. № 6. С. 793) писал то, что далее цитирует Розанов. Речь идет о статье Розанова «Печатное слово в России» (*НВ*. 1899. 9 мая; см. выше, на с. 537—539).

...крыловский квартет — герои басни И. А. Крылова «Квартет» (1811).

Кто вспомнит Бибикова и его инвентари... — Киевский военный губернатор (с 1837 г.) Д. Г. Бибиков ввел в 1847 г. инвентари, регулирующие отношения крестьян и помещиков; в 1852—1855 гг. был министром внутренних дел.

...в Московской губернии под Закревским — Московский военный губернатор в 1848—1859 гг. А. А. Закревский самовластно и грубо вмешивался во все мелочи, вплоть до домашних отношений обывателей.

Н. П. ГИЛЯРОВ-ПЛАТОНОВ. СБОРНИК СОЧИНЕНИЙ. Т. 1

(с. 562)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки рецензии — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 23; с отдельными поправками красными чернилами, с надписью на обороте синим карандашом: «Рецензия», а также с пометой — знаком крестика — красным карандашом перед текстом. Текст рецензии в гранках значительно пространнее, чем напечатанный в *НВип* (см. *Варианты*).

Впервые напечатано: *НВип*. 1899. 9 июня. № 8361. С. 7—8.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 28 (с. 193—194).

Печатается по тексту первой публикации.

Гиляров-Платонов Никита Петрович (1824—1887) — религиозный мыслитель, публицист, которого высоко ценил Розанов и написал статью «Университетский вопрос в освещении Н. П. Гилярова-Платонова» (*НВ*. 1903. 9 сент.). См. статью В. А. Фатеева о Розанове и Гилярове-Платонове в «Розановской энциклопедии» (с. 236—239).

К первому тому «Сборника сочинений» Н. П. Гилярова-Платонова напечатано предисловие князя Н. В. Шаховского (1856—1906). В «Рижских Известиях» (1893. № 58—66, 69, 74—76, 84, 85) он печатал труд «Памяти Никиты Петровича Гилярова-Платонова».

Краткий публицистический очерк», который был отпечатан в Ревеле в 1893 г. отдельным изданием.

С. 562. *Затем, в 96–97 годах, потянулся в «Русском Обозрении» целый ряд ~ очерков* — имеются в виду «Материалы для биографии Н. П. Гилярова-Платонова». Сообщ. кн. Н. В. Шаховского (РО. 1896. № 12. С. 988–1014); *Шаховской Н.* Годы службы Н. П. Гилярова-Платонова в Московском цензурном комитете. 1856–1859 год (РО. 1897. № 7, 10, 12; 1898. № 1, 3).

«Современные Известия» — газета выходила в Москве в 1867–1887 гг. ежедневно. Издатель-редактор Н. П. Гиляров-Платонов (в 1878–1883 гг. у него был соредактор, его племянник Ф. А. Гиляров).

«Письмами» *Ог. Конта, Дж. Ст. Милля и Дж. Льюиса о женском вопросе* — имеется в виду книга: *Милль Дж.* Подчиненность женщины. С приложением писем О. Конта к Д. С. Миллю по женскому вопросу. СПб., 1869. На эту же книгу ссылается Розанов в «Опавших листьях» (Короб второй).

...*под праздничный перезвон Писарева* — Д. И. Писарев знакомил русских читателей с философией позитивизма в работе «Исторические идеи Огюста Конта» (1865–1866).

...*берет под пяту себе ~ А. Н. Муравьева* — Гиляров-Платонов с едкой иронией откликнется на статью Муравьева «Обличение на книгу „О возможном соединении Церкви Российской с Западною“ <Н. Б. Голицына>» (впервые: Ц. <Гиляров-Платонов Н. П.>. Библиографическая заметка // РВ. 1859. № 4, кн. 1. Отд. II. С. 245–250), поиронизировав в своей рецензии над склонностью Муравьева к доноситељству.

...*местного тобольского архиерея* — на деле речь идет об архиепископе Афанасии (Сokolове), в 1841–1853 гг. возглавлявшем Томскую и Енисейскую епархию. Инок Парфений (Аггеев) с 1845 г. был его помощником в Томске.

...*упивается он «Семейною хроникою» С. Т. Аксакова ~ или повестями Кохановской* — имеются в виду рецензии Гилярова-Платонова на указанное произведение С. Т. Аксакова и на повесть Н. С. Кохановской «Из провинциальной галереи портретов», впервые опубликованные в журнале «Русская Беседа» (1856. № 1; 1859. № 3).

С. 562–563. ...*«механических способов исследования истории»* — Н. П. Гиляров-Платонов. Несколько слов о механических способах в исследовании истории (1858).

С. 563. ...*по поводу труда Макария* — 13-томная «История русской церкви» (1846–1883) митрополита Московского Макария (Булгакова); Гиляров-Платонов откликнулся на первые три тома издания.

...*«рационалистического движения философии новых времен»* — Одноименная статья Гилярова-Платонова увидела свет в «Русской Беседе» (1859. № 3), она представляла собой часть его «полукурсовой» философской диссертации в Московской духовной академии (1846).

ОБМАНЧИВЫЕ СЛОВА

(с. 563)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* с записью, вычеркнутой простым карандашом: «1899» — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 215. Л. 31–31 об.

Впервые напечатано: *НВ*. 1899. 11 июня. № 8363. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 194–197).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 563. ...*интеллигенция ~ любит простой народ ~ тяготеет даже физически слиться с ним* — подразумеваются прежде всего толстовцы с их «опрощением» и устройством сельскохозяйственных колоний.

«Дрейфус прежде всего...» — лозунг сторонников офицера французского генштаба еврея А. Дрейфуса, приговоренного судом в 1894 г. к пожизненной каторге, помилованного в 1899 г. и реабилитированного в 1906 г.

Г. Алекс. Новиков находит... — см. коммент. к с. 556.

«квасной патриотизм» — автором этого выражения обычно указывается П. А. Вяземский, напечатанный в «Московском Телеграфе» (1827. Ч. 15. С. 282) «Письма из Парижа». Однако еще в 1825 г. Н. А. Полевой употребил это выражение в «Московском Телеграфе» в своей статье «Разговор между сочинителем... и читателем».

...Щедрин, не оставивший, по выражению Достоевского, ни одного не проплеванного места в России — «Правда, в России и от русских-то не осталось ни одного не проплеванного места (словечко Щедрина)» (Ф. М. Достоевский. Дневник писателя за 1877 г. Март. Гл. 2. § 1). Имеются в виду слова в первой главе «Современной идиллии» (1877) М. Е. Салтыкова-Щедрина о клеенчатых диванах, на которых «ни одного непроплеванного места невозможно найти».

С. 564. ...щедринским «помпадурам», «ташкентцам» — М. Е. Салтыков-Щедрин. Помпадуры и помпадурши (1863—1874), Господа ташкентцы (1869—1872).

«Клеветникам России» — программное стихотворение А. С. Пушкина (1831), поводом к которому послужили речи во французской Палате депутатов, призывавшие к вооруженному вмешательству в русско-польские дела.

С. 565. ...отплывая от берегов ее, Мария Стюарт — Шотландская королева Мария Стюарт детство провела во Франции, в 1559—1560 гг. была королевой Франции, но в 1561 г. вернулась в Шотландию.

«Орлеанисты» — сторонники восстановления на французском престоле Орлеанского дома; выступали против пересмотра дела Дрейфуса.

...не в дерулэдовском «шовинизме» дело — Французский политический деятель и поэт Поль Дерулед создал «Лигу патриотов» (1882—1889) за возвращение Франции Эльзаса и Лотарингии.

«СУББОТНИЕ» БЮЛЛЕТЕНИ

(с. 565)

Автограф неизвестен.

Сохранились вырезки из газеты *РТ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 158. Л. 1—8.

Впервые напечатано: *РТ*. 1899. 12 июня. № 24. С. 17; 19 июня. № 25. С. 19—21; 26 июня. № 26. С. 17—18; 24 июля. № 30. С. 21—22; 30 окт. № 44. С. 24—25.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 199—215).

Печатается по тексту первой публикации.

Статья № 1 вызвала отклик в прессе: Романов И. Ф. Четвертый «воскресный» бюллетень // *РТ*. 1899. 17 июля. № 29. С. 14—15, под псевдонимом: Гатчинский отшельник. Его обидел сам тон статьи Розанова: «Конечно, для нашего брата — мелкой литературной сошки — чрезвычайно лестно, что такой „большой барин“ отечественной словесности, как В. В. Розанов, удостоивает вниманием писания, которые могут оказаться, по любезному предположению того же автора, „сплошным вздором“. <...> Но пусть почтенный автор прав в своей педагогической голословности: действительно „сплошной вздор“, действительно „белиберда“. Подумал ли он, однако, о причинах, которые могут придать характер вздорности и путаной неясности мыслям совсем не глупым, замечаниям и наблюдениям, может быть, по существу очень верным? Да первое — недосказанность, с чем главное и прежде всего приходится считаться нашему брату, мелкой сошке, без имени, без положения в литературном мире... Не печатают, да и basta! Задумал ряд статей, оборвали на первой».

В этой же статье Романов полемизирует с Розановым по поводу главной мысли печатавшегося тогда романа Толстого «Воскресение»: «Ничего не может быть досаднее, как навязывать *свою* точку зрения великому романисту».

Анонимный рецензент «Одесских Новостей» писал 19 июня 1899 г.: «Л. Н. Толстой и В. В. Розанов... Имена как будто не совместимые, но это только на первый взгляд. Их уравнивал или, точнее, уподобил г. С. Ф. Шарапов, который думает, очевидно, что всякий, кто читает „Воскресенье“, не может не интересоваться тем, что думает о новом романе Толстого такой гигант в области мышления, как В. В. Розанов. И вот г. Розанов пишет г. Шарапову: — Я задумал крошечные свои „Субботние бюллетени“. Не всегда, но изредка. Ведь „Воскресенье“ выходит по субботам; да и „Русский Труд“ — тоже. Вы позволите? На это друг В. В. Розанова — С. Ф. Шарапов отвечает: — Очень рад, Василий Васильевич, давно жду вашего отзыва о „Воскресении“ и полагаю, что ввиду усвоенного нашей „прессою“ отношения к Толстому свободного и искреннего слова о нем, кроме „Русского Труда“, сказать негде. Таким образом, по субботам на столбцах „Русского Труда“ г. Розанов будет отчитывать „Воскресенье“. Именно по субботам, ибо, как читатель знает, и г. Розанова в школе секли по субботам. С тех пор дорогой „Василий Васильевич“ все великие дела свои совершает по субботам... Что ж, будем ждать субботы: зрелище будет во всяком случае любопытное».

С. 565. *Гатчинский отшельник* — псевдоним друга Розанова И. Ф. Романова, писавшего также под псевдонимом Рцы. Он вел «Воскресные бюллетени» в газете «Русский Труд», что дало Розанову идею вести свои «Субботние бюллетени».

Таков, Фелица, я развертен — Г. Р. Державин. Фелица (1782).

С. 566. *Ведь «Воскресенье» выходит по субботам.* — Роман Л. Н. Толстого «Воскресение» печатался в журнале «Нива» по субботам с 13 марта по 25 декабря 1899 г.

«Ты наслаждался мною...» — пересказ сцены из главы 48 первой части «Воскресения» Л. Н. Толстого.

«Корпус» — типографский шрифт, кегль которого равен 10 пунктам; впервые был использован при печати «Corpus iuris civilis» (свода римского гражданского права) императора Юстиниана Великого.

С. Ф—г — редактор-издатель «Русского Труда» Сергей Федорович Шарапов, который завершил статью Розанова своим примечанием: «Очень рад, Василий Васильевич! Давно жду Вашего отзыва о „Воскресении“ и полагаю, что ввиду усвоенного нашего „прессою“ отношения к Толстому, свободного и искреннего слова о нем, кроме „Русского Труда“, сказать негде. Печатаю с удовольствием Ваш восторженный отзыв о том месте романа и тех именно словах, которые мне лично показались страшно фальшивыми».

«Каин, где брат твой Авель?» — Быт 4, 9.

С. 567. *«стеняй и трясьйся...»* — см. коммент. к с. 535.

«Нельзя давать разводного письма» — Мф 19, 7–9.

«Сними рубашку и отдай просящему» — Мф 5, 40, 42 (контаминация).

...кто из вас не любодействовал в сердце своем — Мф 5, 28 («всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем»).

«двух в плоть едину» — Мф 19, 5 («и будета оба в плоть едину»).

С. 568. *«Что Бог согетал — человек да не разлугает»* — Мф 19, 6; Мк 10, 9.

«во образе союза Христа с Церковью» — из определения таинства брака в Православном катехизисе.

«Спасена» — концовка первой части «Фауста» Гёте.

С. 569. *...старец Тирезий* — Гомер. Одиссея. XI. 90–139.

Но сохранил я клад последний... — А. С. Пушкин. Полтава. II песнь.

...«подаст луковку тонущему» — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. VII, 3.

С. 570. «нищая духом», «кроткая» — определения из «заповедей блаженства»: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф 5, 3), «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф 5, 5).

«гистая сердцем» ~ «Бога узрит» — Мф 5, 8 («Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»).

С. 571. «Гражданский кодекс» — французский гражданский кодекс Наполеона I. Создался при участии Наполеона в 1803—1810 гг., в трех книгах содержится 2000 с. Стендаль после опубликования своего романа «Пармская обитель» (1839) писал Бальзаку, что во время работы над романом он каждое утро читал две страницы «Гражданского кодекса», чтобы сохранять хороший стиль повествования.

...пошлите их в Сенат — пересказ слов Фамусова (А. С. Грибоедов. Горе от ума. II, 4).

«сохрани от лукавого» — Мф 6, 13 («избавь нас от лукавого»).

Не отжени — не прогони, не отвергни (церк.-слав.).

«О гем думает старуха под праздник» — Н. А. Некрасов. Что думает старуха, когда ей не спится (1862).

...Болконская молится перед герным образом Спаса — Л. Н. Толстой. Война и мир. Т. 1. Ч. 3. Гл. 3.

С. 572. Ответ «Читателя» «Воскресения» Толстого — в № 21 «Русского Труд» от 22 мая 1899 г., под названием «Болезненная прозорливость» (с. 21—22). Автор, скрывший свое имя под криптонимом «Читатель», в частности, писал о Нехлюдове: «...мощный голос непобедимой совести внушает ему: „Иди, князь, покайся перед обществом, исправь свою ошибку...“».

С. 573. Художник-варвар кистью сонной — см. коммент. к с. 541.

С. 574. ...имеет какой-то свой синай ~ полугает свои скрижали — ветхозаветная ре-минисценция (Исх 32, 15).

«в клубах облака и блистаниях молнии» — Исх 19, 16 («были громы и молнии, и густое облако над горою»).

Подруга дней моих суровых... — А. С. Пушкин. Няне (1826).

Левин в «Анне Карениной» ~ около старушки-няни — Л. Н. Толстой. Анна Каренина. Ч. 3. Гл. II.

В глуши, во мраке затогенья... — А. С. Пушкин. «Я помню чудное мгновенье...» (1825).

С. 575. Все в ней гармония, все диво... — А. С. Пушкин. Красавица (1832).

Куда бы ты ни поспешал... — Там же.

Не множеством картин старинных мастеров... — А. С. Пушкин. Мадонна (1830).

Одной картины я желал быть вечно зритель... — Там же.

С. 576. ...«афеистических» книжек — речь идет о письме Пушкина к В. К. Кюхельбекеру в 1824 г. из Одессы, перехваченном полицией и послужившем поводом к высылке в Михайловское.

«корону дофина...» — Жанна д'Арк, одержав ряд побед, 17 июля 1429 г. короновала в Реймсе дофина Карла, вступившего на престол с именем Карл VII.

Есть многое, над гем еще остается... «погадать нашим мудрецам» — У. Шекспир. Гамлет. I, 4 («Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам», пер. М. П. Вронченко, 1828).

С. 577. ...Фома, — немножко веры! — от выражения «Фома неверующий» (по имени апостола Фомы, сомневавшегося в воскресении Христа).

...г. Гатгинский Отшельник по поводу шумливых выходов гр. Л. Л. Толстого — В 1899 г. сын Толстого Лев Львович написал рассказ «Прелюдия Шопена», в котором полемизировал с «Крейцеровой сонатой» отца. Розанов имеет в виду статью И. Ф. Романова (Рцы): Гатгинский отшельник. Заметки на полях и размышления между строк // РТ. 1899. 27 марта. № 12—13. С. 28—30.

С. 578. «Через нее согрешил Адам» ~ «через нее спасся род человеческий» — подразумеваются прама́терь Ева и Богородица.

С. 579. «И вошла Анна в храм ~ слов не было слышно» («Книга Судей») — 1 Цар 1, 13 («Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее»).

...в Ярославле в Крестовой церкви ~ викарный архиерей — Крестовая (Рождественская) церковь (нач. XVI в.) находится в ярославском Спасо-Преображенском монастыре. В 1894 г., которым Розанов датирует свое воспоминание («пять лет назад»), викарным архиереем Ярославской епархии (т. е. епископом Угличским) был Никон (Богоявленский).

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО К Д. В. ФИЛОСОФОВУ

(с. 580)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из журнала *МИ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 54. Л. 1—3.

Впервые напечатано: *МИ*. 1899. № 20 <октябрь>. С. 57—61. Отдел «Художественная хроника».

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 250—258).

Печатается по тексту первой публикации.

Философов Дмитрий Владимирович (1872—1940) — критик, публицист. Познакомился с Розановым в 1898 г. и инициировал статьи Розанова в журнале «Мир Искусства». Об отношениях Розанова и Д. В. Философова см. в статье В. А. Фатеева и А. В. Ломоносова в «Розановской энциклопедии» (с. 1064—1074).

С. 580. «Серьезный разговор с нитгеанцами» — ответ Д. В. Философова на статью В. С. Соловьёва «Особое чествование Пушкина» (Вестник Европы. 1899. № 7). Напечатан в журнале «Мир Искусства» (1899. № 15/16). Соловьёв отозвался на статью Философова письмом в редакцию «Против исполнительного листа» (Вестник Европы. 1899. № 11).

...страницы *Нитге*, первые, какие мне попались... не огаровали меня — Об этом Розанов писал П. П. Перцову в конце декабря 1896 г. (Розанов В. В. Соч. М., 1990. С. 492).

«Погему люди одурманиваются» — точнее: «Для чего люди одурманиваются?». См. коммент. к с. 514.

С. 582. *Фетида* — в греческой мифологии морская богиня, мать Ахиллеса, героя Троянской войны.

...«проводили детей ге рез огонь» — Иер 32, 35; Иез 16, 21; 20, 31; 23, 37.

Иафет и Хам — в Библии сыновья Ноя.

«Жизнь будущего века» — Лк 18, 30.

С. 583. «Не изображай...» — Исх 20, 4.

«Раздай имение нищим» — Мф 19, 21.

...закопавшихся два года назад в землю — Исследованию И. А. Сикорского о старообрядцах, заживо закопавшихся в 1896—1897 гг. в Азовских плавнях, Розанов посвятил главу «Русские могилы» в книге «Темный Лик» (СПб., 1911).

Рагинский, который неутомимо основывает «общества трезвости» — Ученый и педагог С. А. Рачинский в созданной в его имени Татеево Смоленской губернии сельской школе организовал в кругу своих учеников общество трезвости. 5 июля 1882 г., в день своих именин, он и его ученики дали в церкви обет трезвости сроком на один год. Этот обет ежегодно обновлялся. Розанов состоял с Рачинским в многолетней переписке (см. *ЛИ-2*).

«Уф, как писать хочется!» — *Сергеенко П. А.* Как живет и работает граф Л. Н. Толстой. С. 50.

С. 584. *Пришел сатрап к ущельям горным...* — А. С. Пушкин. «Когда владыка ассирийский...». Неоконченное стихотворение на тему библейской Книги Иудифи написано 9 ноября 1835 г.

«критикой практического разума» — см. коммент. к с. 661.

С. 585. *катехизис Филарета* — составлен архиепископом Филаретом (Дроздовым), впоследствии митрополитом Московским, издан в 1823 г. и неоднократно перерабатывался автором.

35-ЛЕТИЕ † Ап. Ал. ГРИГОРЬЕВА

(с. 586)

Автограф неизвестен.

Сохранилась газетная вырезка из ТПП — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 180. Л. 2—2а.

Впервые напечатана: ТПП. 1899. 3 окт. № 216.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 260—263).

Печатается по тексту первой публикации.

Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864) — поэт, критик. Розанову принадлежит несколько статей о Григорьеве (К 50-летию кончины Ап. А. Григорьева // *НВ*. 1914. 26 сент.; К. Леонтьев об Аполлоне Григорьеве // *НВ*. 1915. 9 дек.). См. статью об Ап. Григорьеве в «Розановской энциклопедии» (с. 301—302).

С. 587. *...сын с семейством* — У Ап. Григорьева было два сына: Петр, скончавшийся бездетным в середине 1890-х гг., и Александр, чиновник Министерства финансов и литератор, который и имеется здесь в виду. У него с женой Лидией Алексеевной было двое детей: сын Владимир и дочь Надежда.

«Одинокий критик» — статья А. Григорьева (сына) в «Книжках „Недели“» (1895. № 8 и 9).

...1-й том его «Согинений» — см. коммент. к с. 25.

...из старой «Библиотеки для чтения» — ежемесячный журнал, выходивший в Петербурге в 1834—1865 гг. Розанов употребляет эпитет «старая», поскольку одноименное издание существовало в 1875—1885 гг. в Петербурге и в 1892 г. в Москве.

«Гр. Л. Н. Толстой и Ив. Серг. Тургенев» — Страхов Н. Н. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862—1885). СПб., 1885; 3-е изд.: СПб., 1895.

...в строгановскую пору ~ в Московском университете — в 1835—1847 гг., когда попечителем Московского учебного округа был С. Г. Строганов.

С. 588. *...в «Долговом отделении», в нищете* — В 1864 г. Ап. Григорьев дважды был посажен в долговую тюрьму. Выкупленный во второй раз писательницей А. И. Бибиковой, он через несколько дней умер от апоплексического удара.

...учитель русского языка и словесности в Неплюевском кадетском корпусе — 29 марта 1861 г. Ап. Григорьев был определен учителем в Неплюевский кадетский корпус в Оренбурге (открыт в 1844 г.). Уволен 5 мая 1863 г.

«Есть хищный тип, не русский — тип Байрона и Лермонтова» — см. статьи Ап. Григорьева о М. Ю. Лермонтове (Русское Слово. 1859. № 2; Время. 1862. № 10—12).

«Все — в снедь тебе» — Быт 2, 16 («от всякого древа, еже в раи, снедию снеси»).

С. 589. *Овых ~ овых* — одних... других (*церк.-слав.*).

...в Платоне Каратаеве с его «Историей о купце, которого...» — рассказ толстовского персонажа о купце, безвинно попавшем в острог и посмертно оправданном. См.: Л. Н. Толстой. Война и мир. IV, 3, 13.

...Григорьева нужно еще проводить в гитающую публику ~ как говорил Григорьеву Ф. М. Достоевский — умело — Ф. М. Достоевский. Примечание <к статье Н. Стрехова

«Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве» (1864): «Аполлон Григорьев весьма часто упоминал во „Времени“ о Хомякове и Киреевском <...>. Следовало знакомить с ними читателей, но знакомство это делать осторожно, умеючи, постепенно, более проводить их дух и идеи, чем губить их на то время громкими и голословными похвалами».

БЛЕЗ ПАСКАЛЬ. МЫСЛИ (О РЕЛИГИИ)

(с. 590)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВин*. 1899. 6 окт. № 8480. С. 7–8.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 267–268).

Печатается по тексту первой публикации.

Первое издание перевода П. Д. Первовым «Мыслей» Паскаля (СПб., 1888) явилось одним из поводов для написания в 1889 г. статьи Розанова «Паскаль» (см. выше в наст. томе).

О *Первове* Павле Дмитриевиче (1860–1929) см. статью В. А. Фатеева в «Розановской энциклопедии» (с. 683–685).

С. 590. «*равные среди равных*» — выражение из термина римского права «*par in parem non habet jurisdictionem*» (равный среди равных не имеет юрисдикции, *лат.*).

«*Письма к провинциалу*» — см. коммент. к с. 182.

...*по биографическим запискам его сестры* — см. коммент. к с. 174.

Ваграм — селение в Австрии близ Вены, где 5–6 июля 1809 г. во время австро-французской войны Наполеон разгромил австрийскую армию.

Аустерлиц — В Аустерлицком сражении (в Моравии) 2 декабря 1805 г. Наполеон разбил русско-австрийские войска.

Священный союз — создан в 1815 г. между Россией, Пруссией и Австрией (в 1818 г. присоединилась Франция) с целью обеспечения политической стабильности в Европе.

ГРЕЧЕСКОМУ ЛИ ЯЗЫКУ УЧИТЬСЯ ИЛИ ПОДРАЖАТЬ ГРЕКАМ?

(с. 591)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 136. Л. 31.

Впервые напечатано: *НВ*. 1899. 14 окт. № 8488. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 271–272).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 591. *Остромирово Евангелие* — древнейший датированный памятник старославянской письменности (1056–1057); переписано с болгарского оригинала дьяком Григорием для новгородского посадника Остромира.

...«*юсы большие*» и «*юсы малые*» — в древнеславянской азбуке название буквы, обозначающей носовой гласный звук: юс большой — звук «о» носовой, юс малый — звук «е» носовой.

С. 592. ...*глаголы* — с «*желательным наклонением*» — глагольное наклонение, выражавшее пожелание и присущее праиндоевропейскому языку; в позднейших языках осталось незначительные следы.

...*Ф. И. Буслаев, рассматривая когда-то программу русской словесности в женских гимназиях* — Ф. И. Буслаев. Общий план и программы обучения языкам и литературе в женских средне-учебных заведениях (1886).

«*Домострой*» — памятник древнерусской литературы начала XVI в., который был затем упорядочен протопопом Сильвестром (ум. 1566).

«*История цивилизации в Англии*» — книга английского историка Г. Т. Бокля (1857—1861. Т. 1—2; рус. пер. 1861—1864), о которой Розанов написал статью «Книга особенно замечательной судьбы» (РО. 1898. № 3—5; вошла в его книгу «Природа и история»).

...«*рассказа своими словами*» ~ *Галахова* — речь идет об «Истории русской словесности, древней и новой» (СПб., 1863—1875. Вып. 1—3). В сокращенном виде была выпущена как учебник для средних учебных заведений (СПб., 1879; 15 переизданий).

Райский — один из главных героев романа И. А. Гончарова «Обрыв» (1869).

Жупельный — здесь: устрашающий.

АВТОБИОГРАФИЯ В. В. РОЗАНОВА (Письмо В. В. Розанова к Я. Н. Колубовскому)

(с. 593)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: РТ. 1899. 16 окт. № 42. С. 24—27.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 273—279).

Печатается по тексту первой публикации.

Письмо послужило основой статьи Я. Н. Колубовского о Розанове в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона. О Колубовском см. в наст. томе, на с. 470—472, статью Розанова «Я. Колубовский. Философский ежегодник» (РТ. 1897. 19 янв.).

С. 593. ...отец мой ~ мать ~ с двумя дочерьми и 4-мя сыновьями — упомянуты Розановы Василий Федорович и Надежда Ивановна (ур. Шишкина) и их дети: Вера, Павлина, Федор, Дмитрий, Василий и Сергей.

...старший брат — Николай.

С. 594. «*Физиологические письма*» — книга немецкого философа К. Фогта (Фохт), переведенная на русский язык (СПб., 1863—1864. Вып. 1—3; 2-е изд.: СПб., 1867. Вып. 1—2).

«*Физиология обывденной жизни*» — книга английского журналиста и философа Дж. Г. Льюиса, переведенная на русский язык (М., 1861—1862. Т. 1—2; 2-е изд.: М., 1876).

«*Мир до сотворения человека*» — книга немецкого публициста К. Г. В. Фольмера, переведенная на русский язык (СПб., 1863) как «Сочинение Ф. А. Циммермана».

«*Утилитарианизм*» — книга английского философа и экономиста Дж. С. Милля, переведенная на русский язык (СПб., 1866; 3-изд.: СПб., 1900).

С. 595. «*Опыты*» *Маколя* — книга «Критические и исторические опыты» английского историка и публициста Т. Б. Маколя, переведенная на русский язык в 1-м томе его «Полного собрания сочинений» (СПб., 1860).

«*Исследования*» *Милля* — книга английского философа и экономиста Дж. С. Милля «Рассуждения и исследования политические, философские и исторические» (СПб., 1864—1865. Т. 1—3).

«*Минералогия*» *Наумана* — Эта книга немецкого минералога Карла Фридриха Наумана (1846, 15 переизданий) была переведена на русский язык (б. д.).

«*Руководство к геологии*» — книга английского естествоиспытателя Ч. Лайеля «Руководство к геологии, или Древние изменения земли и ее обитателей по свидетельству геологических памятников» (СПб., 1866—1878. Т. 1—2).

«*Лекции по минералогии*» ~ *проф. Еремеева* — Лекции минералогии, читанные в Горном институте проф. <П. В.> Еремеевым в 1870 году. СПб., 1870 (литогр. изд.).

«*Лекции*» *проф. Контарова* — имеются в виду «Лекции минералогии» (СПб., 1863) Николая Ивановича Кокшарова; печатались позднее под заглавием «Кристаллография».

С. 595. ...*геология Мора* — Мор К. Ф. История Земли. Геология на новых основаниях / Пер. с нем. М., 1868.

С. 596. ...*1-й т. соч. Бентама* — первый том «Избранных сочинений» (СПб., 1862) английского философа И. Бентама.

«*Вперед*» — журнал и газета. Журнал выходил в Цюрихе, затем в Лондоне с 1873 по 1877 г. Газета издавалась в Лондоне в 1875—1876 гг.

«*Марсельеза*» — французская революционная песня, слова и музыка К. Ж. Руже де Лиля (1792). Стала государственным гимном Франции во время Третьей республики.

«*Цель оправдывает средства*» — Б. Паскаль, о котором писал тогда Розанов, приписал эти слова иезуитам («Письма к провинциалу». 1656, VI). Он имел в виду сочинение иезуита Германа Бузенбаума «Основы морального богословия» (1650. IV, 3): «Кому дозволена цель, тому дозволены и средства». Мысль восходит к античности. У Овидия: «Результат (цель) оправдывает поступки» («Героиды». II, 85).

С. 597. ...*трактат, содержащий анализ идеи счастья* — опубликован под названием «Цель человеческой жизни» (ВФилП. 1892. Кн. 14. С. 135—164; Кн. 15. С. 1—31).

«*Исповедь*» — см. коммент. к с. 347.

С. 598. ...*премия Исакова* — Н. В. Исаков, попечитель Московского учебного округа (1859—1863), учредил в 1860 г. первый премиальный капитал Московского университета, внося сумму в размере 2800 руб. Она предназначалась на выдачу премий за лучшее годичное сочинение на русском или латинском языке для студентов историко-филологического факультета, не являющееся плановой студенческой работой. См.: Сборник сведений о стипендиях, пособиях и премиях, находящихся при Императорском Московском университете. <М., 1910>. С. 181.

«*Что выражает собою красота природы*» — статья напечатана в «Русском Обзрении» (1895. № 10—12). Отдельный оттиск издан в 1895 г. Статья вошла в книгу Розанова «Природа и история».

«*Заметки о русской переводной литературе по философии*» — опубликованы в «Вопросах Философии и Психологии» (1890. № 3) под названием «Заметки о важнейших течениях в русской философской мысли в связи с нашей переводной литературой по философии» (вошли в книгу Розанова «Природа и история» под названием «Философские влияния в русском обществе»).

...*Вашего перевода* — Ибервег Ф., Гейнце М. История новой философии в сжатом очерке / Пер. с 8-го нем. изд. Я. Колубовского. СПб., 1899. 800 с.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ

(с. 599)

Автограф неизвестен.

Сохранились вырезки из газеты ТПП (№ 37 и 40) — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 170. Л. 174, 175, 177.

Впервые напечатано: ТПП. 1899. 24 окт. № 32. С. 2—3; 28 нояб. № 37. С. 2—3; 19 дек. № 40. С. 2. Окончание этой серии статей см. в 1900 г.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 281—288).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 599. «*Коринфская невеста*» (1797) — баллада И. В. Гёте, которая в переводе А. К. Толстого (1868) стала позднее поводом для статьи Розанова «Тут есть некая тайна» (Весы. 1904. № 4; см. ВДЯ).

Сон Раскольникова в Сибири — Розанов пересказывает эпилог романа Достоевского «Преступление и наказание».

С. 600. «И к мужу — влечение твое» — Быт 3, 16.

С. 601. «Религия древнего мира» — книга духовного писателя епископа Хрисанфа (в миру В. Н. Ретивцев) «Религии древнего мира в их отношении к христианству» (СПб., 1872—1878. Т. 1—3).

С. 602. «Сельская школа» — см. коммент. к с. 417.

Вегерный звон, вегерный звон... — стихотворение английского поэта Томаса Мура «Вечерний звон» (1827) в переводе (1828) И. И. Козлова.

С. 603. «Закланый от сложения мира Агнец» — Откр 13, 8.

«Вавилонские отроки» в «пещи огненной» — 3 Мак 6, 5.

...в Лесном (близ Петербурга) — местность близ Лесного института (ныне Лесотехнический университет), в тот период пригород Петербурга.

С. 604. *Ниобея* — жена фиванского царя Амфиона, возгордившаяся своими детьми перед Лето, матерью Аполлона и Афродиты, которые их истребили. Розанов имеет в виду древнегреческую скульптурную группу, хранящуюся в музее Уффици во Флоренции и изображающую Ниобею с припавшей к ней дочерью и еще девяти других детей и педагога (автор оригинала Пракситель или Скопас).

Лаокоон — подразумевается мраморная скульптурная группа «Лаокоон и его сыновья», хранящаяся в Ватикане и изображающая смертельную борьбу троянского жреца Лаокоона и его сыновей со змеями (оригинал был выполнен в 200 г. до н. э. в бронзе Агесандром Родосским и его сыновьями Полидором и Афинодором).

Геркулес — скорее всего, Геркулес Фарнезский — скульптура, выставленная в Неапольском музее (автор оригинала IV в. до н. э. предположительно Лисипп).

«Чтение в сердцах» — см. коммент. к с. 476.

...как их давно изваял Микель-Анджело — Пророков и сивилл Микеланджело расписал по боковым сторонам потолка Сикстинской капеллы в Ватикане в 1508—1512 гг.

И тихо веет ногь сирийских роз бальзамом — см. коммент. к с. 620.

С. 605. ...и повредивший ему бедро — Быт 32, 25.

...элевзинские ~ «тайнства» — см. коммент. к с. 34.

акроамфигеский (акроаметический) — логически четкое построенный (*зрег.*).

Сцилла и Харибда — в греческой мифологии два чудовища на скалах по обе стороны Мессинского пролива, поглощавшие мореплавателей.

...обратилась в соляной столб — Быт 19, 26.

А. ЛЕВЕНСТИМ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ НИЩЕНСТВО, ЕГО ПРИЧИНЫ И ФОРМЫ: БЫТОВЫЕ ОЧЕРКИ

(с. 605)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки журнала *НВил* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 44.

Впервые напечатано: *НВил*. 1899. 3 нояб. № 8508. С. 7.

Ряд разночтений первопечатного текста и гранок имеет нейтральный характер: они вызваны, по всей вероятности, задачей небольшого сокращения рецензии: см. *Варианты*. Однако отсутствие в журнальной публикации небольшого текста с данными о числе богачей в Лифляндской, Курляндской и Московской губерниях, несомненно в результате опечатки (пропал отрывок между двумя одинаковыми словами), привело к смысловому искажению. Отрывок восстановлен по тексту гранок. Сопоставление разночтений гранок и *НВил* позволяет обнаружить и несколько других опечаток. Однако можно предположить, что исключение из журнальной публикации слов «и, пожалуй, личину святости» после — «носит „облачение“ святости» (с. 606. 45—46) вызвано опасением цензурных замечаний.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 289–290).

Печатается по тексту первой публикации со следующими исправлениями по смыслу и гранкам:

С. 606. 1: хотел ею сказать / хотел им сказать (по смыслу);

С. 606. 6: как простор для вечного труда / как просто для вечного труда (по гранкам);

С. 606. 12: только выполнением поручения / только выполнение поручения (по гранкам);

С. 606. 41–42: в Лифляндской, напр., губернии / *далее*: 337 богаделен, в Курляндии — 180. Даже в Московской губернии

В тексте цитаты сделаны уточнения:

Г<-н> А. — *вместо* Г. А.

Г<-н> Б. — *вместо* Г. Б.

Г<-н> В. — *вместо* Г. В.

Г<-н> Д. — *вместо* Г. Д.

Г<-н> Е. — *вместо* Г. Е.

С. 606. *...некуда ~ приклонить голову* — евангельская реминисценция: Мф 8, 20 («не имеет, где приклонить голову»).

С. 607. *...«скрежета зубовного», и «плага»* — Мф 22, 13.

Н. С. ТИХОНРАВОВ. СОЧИНЕНИЯ

(с. 607)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из журнала *НВип* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 178. Л. 2.

Впервые напечатана: *НВип*. 1899. 1 дек. № 8536. С. 7.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 314–316).

Печатается по тексту первой публикации.

Тихонравов Николай Савич (1832–1893) — профессор и ректор (1877–1883) Московского университета, лекции которого Розанов слушал в студенческие годы. См. статью А. Н. Стрижева о Тихонравове в «Розановской энциклопедии» (с. 998–1000).

С. 607. *Отрегенные книги* — раннехристианские и средневековые апокрифы.

С. 608. *«Лицевой Апокалипсис»* — книга Ф. И. Буслаева «Русский лицевой апокалипсис. Свод изображений из лицевых апокалипсисов по русским рукописям с XVI в. по XIX» (М., 1884).

С. 609. *...его классическое издание творений Гоголя.* — *Гоголь Н. В. Сочинения.* Текст, сверенный с собственноручными рукописями автора и первоначальными изданиями его произведений Н. Тихонравовым. М., 1889–1893. Т. 1–5. Издание завершено В. И. Шенроком (СПб., 1896. Т. 6–7).

«Мои досуги» — см. коммент. к с. 379.

Д. П. ШЕСТАКОВ. СТИХОТВОРЕНИЯ

(с. 609)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из журнала *НВип* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 56.

Впервые напечатано: *НВип*. 1899. 15 дек. № 8550. С. 11.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 318–320).

Печатается по тексту первой публикации.

Шестаков Дмитрий Петрович (1869–1937) — поэт, переводчик и исследователь античной литературы. Неоднократно выступал с рецензиями на книги Розанова, которые высоко ценил. Розанов положительно отозвался о монографии Шестакова «Исследования в области греческих народных сказаний о святых» (НВ. 1910. 29 дек.) и выступал в печати в поддержку Шестакова, отмечая пронизательность его статей. См. статью М. Ю. Эдельштейна о Шестакове в «Розановской энциклопедии» (с. 1177–1179).

С. 609. С. 26-го мая этого года — столетие со дня рождения А. С. Пушкина.

С. 610. *Грустен и весел вхожу, художник, в твою мастерскую* — А. С. Пушкин. Художнику (1836). Написано о посещении мастерской скульптора Б. И. Орловского, автора памятных Кутузову и Барклаю де Толли у Казанского собора в Петербурге.

«Западно-восточный Диван» — поэтический цикл И. В. Гёте (1819).

С. 611. *...стихотворение Пушкина, где он исчисляет своих любимых поэтов* — Возможно, имеется в виду стихотворение Пушкина «К Батюшкову» (1814), где упомянуты Жуковский, Парни, Овидий и другие поэты.

ПОПУТНЫЕ ЗАМЕТКИ

<О русской культуре>

(с. 611)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты НВ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 176. Л. 3.

Впервые напечатано: НВ. 1899. 16 дек. № 8551.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 320–323).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 612. *Императорская Публичная библиотека* — основана повелением Екатерины II 16 мая 1795 г. Открытие состоялось 2 января 1814 г. Розанов постоянно посещал ее после переезда в Петербург. Ныне Российская национальная библиотека.

...в библиотеке есть г. Стасов — Музыкальный и художественный критик В. В. Стасов работал в Публичной библиотеке полвека — с 1856 г. до конца жизни (в штате с 1872 г.).

...в пору борьбы с Аннибалом — речь идет о карфагенском полководце Ганнибале, сражавшемся с римлянами в ходе Второй Пунической войны (218–201 до н. э.).

...«нижего в волнах не видно» — народная песня «Вниз по матушке по Волге» (1770).

С. 613. *...где конгался этруск, где умбр, где латинянин* — Умбры обитали в Северной Италии в конце бронзового века, их частично вытеснили на юг этруски, населявшие северо-запад Апеннин в I тыс. до н. э., частично романизировали римляне. Латиняне (латины) — народ, послуживший основой формирования римского народа.

...старообрядство, с его «Исусом» — В Древней Руси имя Христа писалось «Исус». В результате церковной реформы 1650–1660-х гг., проведенной патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем, было принято написание «Иисус». Старообрядство, возникшее в результате противостояния этой реформе, осталось с прежним написанием имени Христа и двуперстием при совершении крестного знамения. См. примеч. к с. 309.

...в горящем огне желаний — реминисценция пушкинской строки «В крови горит огонь желанья» из одноименного стихотворения (1825).

ПАМЯТИ ДМ. ВАС. ГРИГОРОВИЧА

(с. 613)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты ТПГ — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 208. Л. 1.

Впервые напечатано: ТПГ. 1899. 24 дек. № 283 (не приложение, а газета).

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 323–324).

Печатается по тексту первой публикации.

Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1899) – прозаик, автор повести «Антон Горемыка» (1847), романов «Рыбаки» (1853), «Проселочные дороги» (1852), «Переселенцы» (1855–1856), рассказа «Гуттаперчевый мальчик» (1883).

С. 614. *...мать – французженка* – Сидония де Вармон (Сидония Петровна), дочь роялиста Пьера де Вармона, погибшего на гильотине.

«Воспоминания» – имеются в виду «Литературные воспоминания» Григоровича (Русская Мысль. 1892. № 12; 1893. № 1, 2).

С. 615. *...был директором музея Императорского общества покровительства художеств* – По инициативе Д. В. Григоровича, секретаря Императорского общества поощрения художеств, в 1870 г. был организован Художественно-промышленный музей, он же его тогда и возглавил.

ПАМЯТИ БЕЛИНСКОГО

(с. 615)

Сохранился черновик рецензии – РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 173. Л. 4а–5. Дата написания оставшейся неопубликованной рецензии определяется годом рецензируемой книги – 1899 г.

Печатается впервые по тексту черновика.

С. 615. *...полугить своих «Пиндаров» и «Расинов»* – эта культурная тенденция XVIII в. проявилась в устойчивых уподоблениях: Ломоносов – «русский Пиндар», Сумароков – «русский Расин».

С. 616. *«весь закон и все пророки»* – см. коммент. к с. 435.

«огненные языки» – Деян 2, 3 («языки, как бы огненные»).

«Окончание мало российской легенды: Сорок лет» – Об этом рассказе Л. Н. Толстого Розанов писал в статье «Попутные заметки» (НВ. 1899. 9 апр.; см. в наст. томе на с. 531–532).

1900

ТАТЕВСКИЙ СБОРНИК С. А. РАЧИНСКОГО

(с. 617)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: НВил. 1900. 5 янв. № 8569. С. 15. Подпись: Р.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 326–327).

Печатается по тексту первой публикации.

С 1875 г. С. А. Рачинский преподавал в основанной его сестрой в своем имении Татеве сельской школе. С 1892 по 1901 г. Розанов состоял с ним в переписке и после его смерти напечатал письма Рачинского в «Русском Вестнике» (1902. № 10, 11; 1903. № 1). См. переписку Розанова и Рачинского в ЛИ-2.

С. 617. *Общество ревнителей русского исторического просвещения в память Императора Александра III* – существовало в 1896–1917 гг.; в центре деятельности – изучение

истории эпохи Александра III, создание и комплектование народных бесплатных библиотек.

А. Н. БЕЖЕЦКИЙ. МЕДВЕЖЬИ УГЛЫ. ПОВЕСТИ И ОЧЕРКИ

(с. 617)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из журнала *НВип* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 22.

Впервые напечатано: *НВип*. 1900. 5 янв. № 8569. С. 13. Подпись: В. Р-въ.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 327—328).

Печатается по тексту первой публикации.

Бежецкий Алексей Николаевич (наст. фам. Маслов; 1852—1922) — прозаик и драматург, генерал, участник Ахалтекинской экспедиции М. Д. Скобелева, автор книг: «Завоевание Ахал-Теке. Очерки последней экспедиции Скобелева (1880—1881)» (СПб., 1882, 1887), «Военные на войне. Святочные рассказы» (СПб., 1885), «На пути. Рассказы и очерки» (СПб., 1888, 1897, 1899). 1-е издание сборника «Медвежьи углы» вышло в Петербурге в 1892 г.

С. 618. *...мечтами о Георгии* — об ордене в честь Святого Георгия, учрежденного в 1769 г. для отличия офицеров за заслуги на поле боя и выслугу в воинских чинах.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ

(с. 618)

Автограф неизвестен.

Сохранились вырезки из газеты *ТПГ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 176, 178—180.

Впервые напечатано: *ТПГ*. 1900. 9 янв. № 2; 6 февр. № 6; 5 марта. № 10; 23 апр. № 17.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 334—345).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 618. *Театр есть гужая роль «маски».* — И. Ф. Романов (под псевдонимом Гатчинский отшельник) откликнулся на эти слова статьей «О масках и актерам» (РГАЛИ. Ф. 417. Оп. 1. Ед. хр. 875. Л. 82; *ТПГ*. 1900. 30 янв. № 5. С. 4). Позднее Розанов развил свою мысль в статье «Актер» (РС. 1909. 6 сент.).

С. 619. *Гайда* — то же, что айда — призыв, побуждение к действию.

«Тысяча и одна нога» — собрание сказок, памятник средневековой арабской и персидской литературы.

С. 620. *Брунегильда* (Брунгильда) — жена короля Австразии (в эпоху Меровингов восточная часть Франции, т. е. Восточное царство) Сигиберта I. После смерти короля ее подвергли мучительной казни.

Фредегонда — франкская королева, жена Хильперика I, чью предыдущую жену Галесвину, сестру Брунгильды, она погубила; была в непримиримой вражде с Брунгильдой.

Уж ветер розовый дрожит и замирает... — Розанов цитирует стихотворение французского символиста Альбера Самена «Языческий вечер» в переводе Д. П. Шестакова (*Шестаков Д. П.* Стихотворения. СПб., 1900. С. 101—102). Розанов, очевидно, взял текст из предыдущего выпуска «Литературного приложения» к «Торгово-Промышленной Газете», которое редактировал. Там перевод Шестакова полностью процитирован (Розанов пропустил три строчки, поставив отточие) в конце рецензии на книгу Шестакова ее издателем П. П. Перцовым, который предпослал переводу из А. Самена свой комментарий: «Когда г. Шестаков нападает на мотив, отвечающий некоторым струнам его собственной

духовной природы, он пишет „перевод“, вполне достойный называться „оригиналом“, как, напр., эта превосходная, написанная в густых и жарких тонах картина» (ТПГ. 1900. 2 янв. № 1. С. 4. Подп. П. Казанский). Сборник стихов А. Самена об античности «На поверхности вазы» вышел в Париже в 1898 г.

С. 620. *...имеет ли ухо ~ «свой ум», как у Бетховена* — подразумевается глухота Л. ван Бетховена.

Крегинский — герой пьесы А. В. Сухова-Кобылина «Свадьба Кречинского» (1855).

С. 621. *Уездный исправник*, согласно «Временным правилам об устройстве полиции в городах и уездах губерний» от 25 декабря 1862 г., стоял во главе уездного полицейского управления. Институт уездных исправников был ликвидирован распоряжением Временного правительства от 17 апреля 1917 г.

...Гудоновской в Эрмитаже — статуя Вольтера, выполненная в 1781 г. французским скульптором Ж. А. Гудоном по заказу Екатерины II; перевезена в Россию в 1784 г., в Эрмитаже с 1820 г.

С. 622. *«Погибоша аки обри»* — В «Повести временных лет» (XII в.), составленной летописцем Нестором, рассказывается, что в VI в. обры (авары), покорив славянское племя дулебов, стали чинить над ними насилия, и тогда Бог истребил их, «и не остался ни один обрин», что вошло в поговорку.

Музеум барона Штигилица — В 1878 г. в Петербурге при Училище технического рисования барона А. Штигилица был открыт «Музей декоративно-прикладного искусства». В 1895 г. построено новое здание музея. Ныне Музей декоративно-прикладного искусства.

«Нива» — еженедельный иллюстрированный журнал, выходящий в Петербурге с 1870 по 1918 г.

«Иллюстрация» — еженедельный иллюстрированный журнал «Всемирная Иллюстрация», издавался в Петербурге с 1869 по 1898 г.

С. 624. *Голенищеву, хранителю в Эрмитаже египетских древностей* — Коллекция египтолога В. С. Голенищева составила основу египетского собрания Музея изящных искусств имени Императора Александра III в Москве (ныне ГМИИ им. А. С. Пушкина). Розанов назвал коллекцию Голенищева «чудной», а самого собирателя «великим» (ВЕ. С. 307, 321). В Эрмитаже Голенищев служил в 1880—1910 гг.

...от древа «познания добра и зла» — Быт 2, 9, 17.

Мировая скорбь — понятие, введенное немецким писателем Жаном Полем в романе «Зелина, или Бессмертные души» (1810, опубл. 1827) для описания пессимизма Дж. Г. Байрона.

В Эрмитаже ~ маска с лица, шеи и груди девушки ли, женщины ли — Видимо, речь идет о золотой погребальной маске из гробницы Пантикапея (столицы древнего Боспорского царства), принадлежавшей, по-видимому, царице и найденной в 1837 г. в кургане у села Глинище в окрестностях Керчи.

С. 625. *«Адам — где ты? ~ потому что я наг»* — Быт 3, 9—10.

«Не изображай!» — Исх 20, 4.

...голос вы слышали, а образа не видели ~ никакого животного» — Втор 4, 15—18.

«Слей нам тельца» (аписа), — обратились евреи к Аарону — См.: Исх 32, 1. *Апис* (Хатис) — священный бык в древнеегипетской мифологии.

«Завтра — праздник Господу» — Исх 32, 5.

...Моисей повелевает воздвигнуть Медного Змия — Числ 21, 8—9.

...двух тельцов ~ в Вефиле — 3 Цар 12, 28—29.

...«лицо как бы тельца» — Откр 5, 6.

С. 626. *«Это — самый религиозный народ на земле»* — Геродот. История. Кн. 2. Евтерпа. М., 1885. Т. I. С. 132.

«Иди и виждь» — Откр 6, 1 («гряди и виждь»).

С. 627. ...«храмы их обширны как города» — Геродот. История. Кн. 2. Т. I. С. 186—187.
«Сады Гесперид» — В греческой мифологии сестры-нимфы Геспериды охраняли золотые яблоки вечной молодости на краю земли у берега реки Океан.

...фивские, гелиопольские, мемфисские храмы — Упомянуты храмы, возведенные в знаменитых древнеегипетских городах: Фивы (в окрестностях современного города Луксор), Гелиополь (ныне район Каира Аль-Матария) и Мемфис (теперь местность около станции Бедрашейн и селения Мит-Рахина, к югу от Каира).

Букет Зибеля, положенный на крыльцо Маргариты — Розанов имеет в виду персонажей из оперы Ш. Гуно «Фауст» (1859), либретто которой, написанное М. Карре и Ж. Барбье, перевод П. Калашникова (1885), отличается от текста трагедии Гёте, в которой отсутствует эта сцена.

...«вселенских соборах» — отсылка к христианским Вселенским соборам, на которых обсуждались вопросы догматического, церковно-политического и судебно-дисциплинарного характера. Православная церковь признает Вселенскими только семь первых таких соборов, проходивших в 325—787 гг.

«дни и сны» — возможно, из стихотворения Вл. В. Гиппиуса «Дни и сны» («Проходят дни и сны земные...»).

...«женский вопрос» ~ разрешен в смысле прозорливца Гёте — вероятно, имеются в виду финальные слова второй части «Фауста»: «Вечно женственное влечет нас ввысь»: женщина указывает мужчине путь к Богу.

С. 628. *Иммортель* (от фр. «бессмертный») — бессмертник, сухоцвет, растение семейства сложноцветных, цветы которого, будучи высушенными, сохраняют окраску и форму.

Поблек!.. Ужель во власти я — <Барбье Ж., Карре М.>. Фауст: Опера в 5-ти действиях / Муз. Ш. Гуно; Пер. П. Калашникова. М., 1894. С. 42 (прозаич. перевод — на с. 43).

«Священная летопись народов» — речь идет о книге духовного писателя Г. К. Властова (1827—1899) «Священная летопись первых времен мира и человечества как путеводная нить при научных изысканиях». СПб., 1875—1898. Т. 1—5.

«Эдем — знагит миловидность, приятность» — Властов Г. К. Священная летопись первых времен... Т. I. С. 23 (паг. 2-я).

ПАССИВНЫЕ ИДЕАЛЫ

(с. 628)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 129—130.

Впервые напечатано: *НВ*. 1900. 11 янв. № 8575.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 345—354).

Печатается по тексту первой публикации.

По поводу статьи «Пассивные идеалы» В. В. Стасов писал 15 января 1900 г. Л. Н. Толстому: «Вдруг какой-нибудь идиот Розанов, наполовину ханжа, наполовину неотесанная дубина, вылезает из какой-то собачьей норы и лает на „Воскресение“, глупо, нелепо, бестолково, смрадно и гадко. А разве кто-нибудь даст ему отпор, разве хватит его колом по голове, как он того стоит? Никто и никогда» (Л. Толстой и В. В. Стасов. Переписка 1878—1906. Л., 1929. С. 238).

16 января 1900 г. Перцов откликнулся на эту статью в письме к Розанову: «Читал Ваши „Пассивные идеалы“. Хорошо, что ругаете Толстого, перед кем теперь всеобщее усиленное лакейство (и первый лакей — Буренин). Но сама по себе статья слаба — скомкана и скользит по периферии. Так ли надо писать? Ах, Господи, вот когда я понимаю Ваше: „глаголов нет!“.

Или я сегодня не в духе?» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 81. Л. 5).

Анонимный рецензент «Одесских Новостей» писал 15 января 1900 г.: «Небезынтересный фельетон посвятил г. Розанов в „Нов. Врем.“ „пассивным идеалам“, обрисованным в „Воскресении“ в лице Нехлюдова и Катюши. Вероятно, все ожидали, — говорит автор, — несколько иного окончания „Воскресения“ Толстого, чем какое прочли в заключительном 52 номере „Нивы“. Последние 14 глав романа, помещенные в одном этом номере, препятствуют почти рубрике хронологии переданных событий, без разрисовки, без развития. Четырнадцать глав, сжатые в одном номере, заняли бы приблизительно четырнадцать номеров журнала, если бы они шли тем же темпом, как предыдущие четырнадцать, тянувшиеся от Пасхи до Рождества; но они вдруг неожиданно побежали, и нельзя скрыть от себя, что маститый автор несколько убежал от темы, и действительно неразрешимой по трудности. Г. Розанову благоугодно объяснить это тем, что в героях „Воскресения“ нет „взрывчатого вещества“, необходимого для духовного перерождения: и Нехлюдов, и Катюша слишком пассивны по натуре, и потому они не могли воскреснуть, они должны были только кое-как... поправиться и зажить в старой боли. Между тем роман назван „Воскресением“, и отсюда автор заключает, что концепция не совсем удалась великому писателю. Г. Розанов указывает, впрочем, на одну подробность, которая заставляет думать, что самая нить романа была переделана, и тем самым проливает свет на совершенно упускаемую г. Розановым сторону дела».

С. 629. *...фигура Селенина* — см. главу XXII во второй части «Воскресения» Л. Н. Толстого.

С. 630. *Иван Ильич* — герой повести Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича» (1886).

«Хозяин» — повесть Л. Толстого «Хозяин и работник» (1895).

«Севастопольская оборона» — имеются в виду «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого.

...два брата ~ убитые в последнем штурме Малахова кургана — Владимир и Михаил Козельцовы, персонажи очерка «Севастополь в августе 1855 года».

«Мне отпущение и Аз воздам» — см. коммент. к с. 28. Здесь это выражение употреблено в связи с тем, что оно взято Л. Толстым в качестве эпиграфа к «Анне Карениной».

«Победная головушка» — фольклорное выражение, широко использовавшееся в стилизациях народной поэзии. См., например, в песне «Ах ты Волга, Волга-матушка» (сл. В. П. Чувского, муз. П. П. Булахова): «И победную головушку / На своих волнах покоила?», в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: «Победные головушки / Уснувших мужиков».

С. 631. *Резигнация* — см. коммент. к с. 453.

Бовани — кровожадная богиня в индийской мифологии, олицетворение злых духов.

«В этом — все. Я жил и все мы живем...» — Л. Н. Толстой. Воскресение. III, 28.

Ищите Царствие Божие и правды Его — а остальное приложится вам — Мф 6, 33.

С. 632. *...слова Апокалипсиса, что кроме написанного Евангелия есть какое-то «вечное», «летающее»* — Откр 14, 6 («И увидел я другого Ангела, летящего по середине неба, который имел вечное Евангелие...»).

...не гитал XVIII главы евангелиста Матфея ~ притчи о виноградарях и хозяине виноградника — ошибка: эта притча содержится не в XVIII, а в XX главе (Мф 20, 1–16).

...по средам и пятницам — дни, когда православным христианам приписывался пост, в том числе и духовный (милостыня, дела милосердия и др.).

С. 633. *...в разнице судеб Каина и Авеля* — подразумевается убийство Каином его брата Авеля (Быт 4, 2–8).

...при своих Оттонах, в ~ «Священной Римской империи» — речь идет о трех императорах Священной Римской империи в 962–1002 гг.: Оттоне I Великом, Оттоне II Рыжем

и Оттоне III, а также об Оттоне IV Брауншвейгском, занимавшем тот же престол в 1209–1215 гг.

...сказал он перед Полтавскою битвой — см. коммент. к с. 498.

«сошествие во гроб» — выражение, применяемое в религиозной литературе ко Христу при описании событий, последовавших за Его крестной смертью.

С. 634. «аще не умреши» — 1 Кор 15, 36.

«Все виденное и испытанное было как бы сон...» — Л. Н. Толстой. Воскресение. III, 24 (вольная цитата).

С. 635. «угоден перед очами Божиими...» — ср.: Иов 1, 1 (вольная цитата).

«Померкни день...» — Иов 3, 3.

«он — гораздо лучше вас» — Ср.: Иов 42, 7 (вольная цитата).

Энервируется — нервно возбуждается.

ОТВЕТ г. СОЛОВЬЁВУ <1900>

(с. 636)

Сохранился черновой автограф с правкой — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 193. Л. 12–14. Печатается впервые по верхнему слою автографа. Предварительная неполная публикация И. А. Ревякиной в «Литературоведческом журнале» (2010. № 27. С. 155–171).

Исходя из текста статьи, можно считать, что она написана в конце января 1900 г. Из-за сходства ее названия с известной статьей Розанова 1894 г. «Ответ г. Владимиру Соловьёву» статья эта принималась за черновик 1894 г. Как установлено И. А. Ревякиной, поводом для написания настоящего «Ответа...» явилась публикация в газете-журнале «Гражданин»: Соловьёв В. По поводу статьи г. Розанова «Мысли о браке» (1900. 9 янв. № 2. С. 6–9).

Эта статья Розанова печаталась в «Гражданине» в 1899 г. (28 окт., 7 и 14 нояб.). И теперь, в январе 1900 г., Розанов уже написал свой «Ответ...», когда неожиданно 1 февраля в «Новом Времени» (№ 8596. С. 4) появилось письмо-опровержение В. С. Соловьёва о том, что он «никогда такой статьи не писал и что автор ее мне неизвестен». Узнав об этом опровержении Соловьёва, Розанов не стал печатать своего «Ответа». Тем не менее статья псевдо-Соловьёва дала Розанову повод вести полемический диалог на темы, связанные с позицией Соловьёва, философа и поэта.

С. 636. После вдумгивого Влад. Затогникова... — имеется в виду полемика с Заточниковым (один из псевдонимов И. Ф. Романова-Рцы) в статье Розанова «Еще о „двух точках зрения“» (Г. 9 и 16 янв.), которая затем вошла в книгу «Во дворе язычников» под названием «О „двух точках зрения“».

Добрый редактор «Гражданина» — речь идет о кн. В. П. Мещерском, о газете-журнале которого «Гражданин» Розанов писал в статье «Любопытные признания и нужды текущих дней» (Мировые Отголоски. 1897. 29 июня; включено в статью «О писателях и писательстве» в книге Розанова «Литературные очерки»). Сотрудничество Розанова в «Гражданине» в 1899 и 1900 гг. П. П. Перцов оценивал как компрометирующее его (Перцов П. Эквилибристика В. В. Розанова // РТ. 1899. 6 нояб.).

...басня ~ паук прицепил свою паутину к перу в хвосте орла — И. А. Крылов. Орел и Паук (1812).

С. 637. ...«зде предстоящим и молящимся» — молитвенная формула, употребляемая при возгласении многолетия, в составе молитвы иконе Божией Матери «Отрада и Утешение» и др.

...для голоса его ~ к аудитории Соляного городка — В залах Соляного городка (комплекс музейных зданий) в Петербурге В. С. Соловьёв с февраля по апрель 1878 г. выступал с лекциями «Чтения о Богочеловечестве».

С. 637. «*маленькое оправдание добра*» — аллюзия на книгу В. Соловьёва «Оправдание добра», которую он подарил в 1897 г. Розанову.

«*Изида тысящеименна*» — В статье «То же, но другими словами» (ЗР. 1907. № 1) Розанов пояснил это выражение, говоря о В. Брюсове: «Он, при описании „садов Эроса“, хотел выразить ту мысль и истину, что мы, конечно, ошибаемся, предполагая их или восприятие их сосредоточенными в каком-нибудь месте или имени. То же египтяне говорили: „Изида тысящеименна“» (ЛВИ. С. 511).

«*англижане перед бурами*» — имеется в виду англо-бурская война 1899–1902 гг., которую вела Великобритания против бурских республик Трансвааль и Оранжевая в Южной Африке.

«*немцы перед Наполеоном*» — В октябре 1806 г. в сражениях при Йене и Ауэрштедте прусская армия была разгромлена Наполеоном, и Пруссия была оккупирована французскими войсками.

«*горгишное зерно*» — Лк 17, 5–6.

«*как снилось глупому Астиагу*» — Астиаг (VI в. до н. э.) был последним царем Мидии. Согласно Геродоту, ему приснился сон, будто из чрева его дочери Манданы выросла виноградная лоза, покрывшая всю Азию. Жрецы истолковали сон: сын Манданы Кир завладеет тронem. Несмотря на приказ Астиага убить Кира, он избег смерти и в конце концов достиг царской власти.

С. 638. «*в плоть едину*» — Мф 19, 5.

«*Пушегное мясо*» — крылатое выражение, восходящее к словам Джона Фальстафа в исторической хронике У. Шекспира «Генрих IV» (I, IV, 2).

«*волхам с Востока*», «*мируу и ладан*» «*родившемуся в Вифлееме*» Христу — Мф 2, 1, 9, 11.

«*Росный ладан*» (бензойная смола) — легко затвердевающая на воздухе смола, получаемая при надрезе ствола и ветвей стиракового дерева; дешевый заменитель настоящего ладана.

«*Дневник православного*» — под этой рубрикой в тот период в газете «Русское Слово» и журнале «Душеполезное Чтение» публиковал свои статьи архимандрит (с 1904 г. епископ) Никон (Рождественский). См., напр.: Какими «рожцами» питается наша интеллигенция? Из дневника православного // Душеполезное Чтение. 1900. № 1. С. 208–216.

С. 639. «*инде ~ инде*» — в другом месте, там и тут (*церк.-слав.*).

«*в Маркизовой луже*» — ироническое название восточной части Финского залива между устьем Невы и островом Котлин (Кронштадт). Происходит от титула морского министра в 1811–1828 гг. маркиза И. И. Траверсе, при котором почти прекратились дальние морские походы и плавания осуществлялись лишь вблизи острова Котлин.

И. КОЛЫШКО. МАЛЕНЬКИЕ МЫСЛИ. 1898–1899

(с. 639)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: НВ. 1900. 23 февр. № 8617.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 367).

Печатается по тексту первой публикации.

«*Колышко*» Иосиф (Иосиф-Адам-Ярослав) Иосифович (1861–1938) — писатель, публицист, в 1899–1904 гг. печатался в газете-журнале «Гражданин» князя В. П. Мещерского под псевдонимом «Серенький» (две положительные рецензии на статьи Розанова о браке и поле в 1898 и 1899 гг.). В своей книге «Пыль. Сборник политических статей. 1907–1912» (СПб., 1913) выступил с критикой Розанова. В 1912 г. Колышко вызвал Розанова на дуэль за оскорбление в одной из статей, но дуэль не состоялась. В эмиграции

в серии очерков «Обломки» опубликовал в различных периодических изданиях воспоминания о Розанове (см.: Диаспора. Париж; СПб., 2001. Вып. 1). В РГАЛИ хранятся письма Колышко к Розанову (Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 495). См. статью В. А. Фатеева о Колышко в «Розановской энциклопедии» (с. 472–475).

ЭМБРИОНЫ

(с. 640)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из Г — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 218. Л. 153–154.

Впервые напечатано: Г. 1900. 24 февр. № 14; 2, 5 и 9 марта. № 16, 17 и 18. Подпись: Орион.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 367–373).

Печатается по тексту первой публикации.

Л. 153. № 1, 2. Пометы Розанова: подпись «В. Розанов» рядом с заглавием фиолетовыми чернилами и синим карандашом вычеркнут псевдоним «Орион» и подпись синим карандашом: «В. Розанов». Заглавие подчеркнуто синим карандашом. Зеленым карандашом на верхнем поле слева подписан год: «1900».

Л. 154–154 об. № 3. Пометы Розанова: заглавие подчеркнуто синим карандашом. Рядом с заглавием подпись фиолетовыми чернилами с подчеркиванием: «В. Розанов». На нижнем поле, справа, простым карандашом надпись: «Гражданин»; 1900, № 17.

Л. 154 об. Подпись «Орион» подчеркнута синим карандашом и рядом поставлен знак = и далее следует подпись простым карандашом: «В. Розанов».

№ 4. Пятый абзац, третье предложение в вырезке отчеркнуто простым карандашом: «Не знаю, замечал ли кто, что уметь поставить шею — значит придать выражение голове (не лицу) и через это — всей фигуре».

С. 640. «Критика гистого разума» — см. коммент. к с. 324.

«Эрнани» (1844) — опера Дж. Верди, основанная на трагедии (1830) В. Гюго.

...о той «Реги консерватора», где автор резко говорит: «Нет воспитания!» — Икс <Мещерский В. П.?.>. Речи консерватора // Гражданин. 1900. 6 февр. № 10. С. 1–2.

С. 641. Ты — царь! живи — один! — А. С. Пушкин. Поэту (1830).

Серенький — см. коммент. к статье «И. Колышко. Маленькие мысли. 1898–1899».

С. 642. «оставьте мертвым хоронить мертвых» — Мф 8, 22; Лк 9, 60.

С. 644. «Оги всех на Тя, Господи, уповают...» — «Молитва перед вкушением пищи», основанная на Псалтыри (Пс 144, 15–16).

«Преплагий Господи ниспосли нам благодать...» — «Молитва перед учением».

Э. БУТРУ. В ЗАЩИТУ ИДЕАЛОВ РАЗУМА

(с. 645)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВин.* 1900. 1 марта. № 8624. С. 7.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 375–376).

Печатается по тексту первой публикации.

Бутру Эмиль (1845–1921) — французский философ. В 1874 г. защитил докторскую диссертацию «О случайности законов природы» (рус. пер.: М., 1900). На русский язык переведены также его книги: «Паскаль» (1905), «Вильям Джеймс и религиозный опыт» (М., 1908), «Наука и религия в современной философии» (М., 1910).

**А. И. КОСОРОТОВ. ЗАБИТАЯ КАЛИТКА. РАССКАЗ. —
ВАВИЛОНСКОЕ СТОЛПОТВОРЕНИЕ: ИСТОРИЯ ОДНОЙ ГИМНАЗИИ**

(с. 646)

Автограф неизвестен.

Сохранились: 1) вырезка из журнала *НВип* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 48; 2) рукопись, неавторской рукой, расширенного варианта рецензии — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 49—54; отличается от текста *НВип* в начале его и конце (см. раздел *Варианты*).

Впервые напечатано: *НВип*. 1900. 8 марта. № 8631. С. 8—9. Подпись: *.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 378—379).

Печатается по тексту первой публикации.

Косоротов Александр Иванович (1868—1912) — драматург, прозаик, публицист. Рассказ «Забитая калитка» впервые напечатан в *НВ* (1899. 23, 28 июня). «Вавилонское столпотворение. История одной гимназии» опубликовано в газете «Свет» (1900. 5 сент. — 9 окт.). Об отношениях Розанова и Косоротова см. в статье о нем А. В. Ломоносова в «Розановской энциклопедии» (с. 483—484).

С. 647. *Волатюк* — искусственный международный язык; символ непонятных, пустых слов.

ТРИ КИТА

(с. 647)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 15—16. См. *Варианты*. Вырезка из газеты *НВ* — Там же. Л. 136.

Впервые напечатано: *НВ*. 1900. 8 марта. № 8631.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 379—389).

Печатается по тексту первой публикации.

10 апреля 1900 г. И. Ф. Романов (Рцы) писал жене Розанова В. Д. Бутягиной: «Очень хороши последние три ст<атьи> В<асилия> В<асильевича> в „Нов. Вр.“ о Толстом <„Пассивные идеалы“>, о литературн<ом> движении <„Умственные течения в России за 25 лет“> и хлебе насущном <„Три кита“>. В особенности важна с точки зрения личного развития автора последняя. Он только теперь, кажется, литературно для своего сознания выяснил, до какой степени может быть „свят“ рубль. Вот в том-то и дело! А что такое стремление обратить внимание на чиновника, как не глубокое сознание, что без хлеба-то насущного во всяком случае ничего нет и быть не может, ни поэзии, ни культуры, ни религии?» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 938. Л. 2—2 об.).

С. 648. *Церера* — древнеримская богиня плодородия и урожая.

Робок, наг и дик скрывался... — Ф. Шиллер. Элевзинский праздник (1798) в переводе В. А. Жуковского. Приводится в исповеди Мити (Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. III, 3).

Номады — древнегреческое название кочевников.

Цирцея — в греческой мифологии волшебница с острова Эя. Возвращаясь с Троянской войны, Одиссей год прожил с ней; его спутников она обратила в свиней.

С. 649. ...«*смотри красных батальонов*» 1 мая — имеется в виду праздник рабочих 1 мая, установленный в 1889 г. Парижским конгрессом 2-го Интернационала. В России отмечался с 1890 г.

Наши жены — ружья заряжены... — солдатская песня «Солдатушки, браво-ребятушки».

С. 650. *Эпатриды* — аттическая аристократия, лишенная своих преимуществ реформами Солона (VI в. до н. э.).

...у Иловайского «*deus terminus*» — Термин — древнеримское божество границ. Праздник терминалий, мирных границ жителей соседних поселков, отмечался 23 февраля. Историк Д. И. Иловайский писал в своем учебнике о Нуме Помпилии: «Чтобы внушить уважение к собственности, он посвятил грани полей особому божеству Термину» (*Иловайский Д.* Древняя история. Курс старшего возраста. 16-е изд. М., 1886. С. 187).

В Библии рассказывается, что когда израильтяне... — Чис 21, 2—3.

...августовского у нас «освящения плодов» — Церковь совершает освящение фруктов и овощей в праздник Преображения Господня 6 (19) августа (народное название — «яблочный Спас»).

С. 651. ...папа ~ пошел к работим как политик — речь идет об энциклике папы римского Льва XIII «*Regum Novarum*» (от 15 мая 1891 г.), в которой рассматривалось положение рабочего класса (папа поддержал профсоюзное движение, выступив против социалистической идеологии).

...«динарий Петра» — налог («грош св. Петра»), собираемый папской курией в свою пользу с паломников.

...«лесою Петра» ~ «запереть клюгом Петра» — Петр до апостольского призвания был рыбаком; впоследствии, по преданию, ему были даны ключи от рая.

«*трансваальского посетителя*» — События англо-бурской войны 1899—1902 гг. (Англии против южно-африканской республики Трансвааль) вызвали живой отклик в России. Сочувствие бурам звучало в песнях шарманщиков («посетителей»), ходивших по городу с популярными песнями на стихи поэтессы Галины Галиной «Бур и его сыновья» и «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, / Горишь ты вся в огне!». Проводился также сбор средств на поддержку буров.

...от Депре. У Бауэра — основанные в 1820-х гг. французская фирма К. Ф. Депре и английская «Л. Бауэр и К^о» торговали лучшими иностранными винами.

С. 652. *В амфоре, ярко расцветенной...* — одноименное стихотворение Ф. Сологуба. Впервые в «Северном Вестнике» (1893. № 7) под названием «Амфора».

С. 653. *Дождь 2½ лет ~ Это было три года назад* — старшая дочь Розанова Татьяна.

...ее старшая сестра — первая дочь Розанова Надежда, не дожившая до года.

...два славянофила — Аф. В. Васильев («возможный благодетель») и И. Ф. Романов («шумный собеседник»). Оба в 1890-х гг. жили с Розановым в одном доме по ул. Павловской. А. В. Васильев в 1893—1897 гг. был генерал-контролером Департамента железнодорожной отчетности и являлся непосредственным начальником Розанова по службе.

С. 654. «птичка Божия» — А. С. Пушкин. Цыганы (1824): «Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда».

С. 655. *Духовной жаждою томим...* — А. С. Пушкин. Пророк (1826).

С. 656. ...самосожигателей, морильщиков — старообрядческие толки рубежа XVII—XVIII вв., члены которых добровольно обрекают себя сожжению или смерти от голода.

Успенский собор — построен в Московском кремле в 1475—1479 гг. итальянским архитектором Аристархом Фьорованти на месте одноименного собора XIV в., был главным храмом Москвы.

...пурпур и висон и золото — Исх 39, 2, 8.

Мудрый Эдип, разреши! — аллюзия на финальную строку стихотворения А. С. Пушкина «Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?..» (1829) («Хитрый Эдип, разреши!»).

ПУБЛИЦИСТЫ И ПУБЛИЦИСТИКА

(с. 657)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1900. 11 марта. № 8634. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 390–392).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 657. ...«*мужья-редакторы*» — редактор «С.-Петербургских Ведомостей» (1896–1917) Э. Э. Ухтомский и редактор «Северного Курьера» (1899–1900) В. В. Барятинский. Знаменитой актрисой была жена (с 1894 по 1916 г.) последнего — Л. Б. Яворская.

...*подкуплены ~ казенными объявлениями* — Правительственные газеты (прежде всего «Московские» и «С.-Петербургские Ведомости») были обеспечены обязательными казенными объявлениями, которые давали значительный доход их издателям.

С. 658. *Иль — русского царя бессильно слово?* — А. С. Пушкин. Клеветникам России (1831).

...*князь Мещерский ~ его слова «о деспотическом и гисто бухарском нраве» земского обложения населения* — Икс <Мещерский В. П.?.>. Речи консерватора // Гражданин. 1900. 9 марта. № 18. С. 2. Эта передовая статья посвящена полемике с неподписанной подпередовой статьей «Фиксация земского бюджета», опубликованной «Новым Временем» (1900. 8 марта. № 8631. С. 2–3).

В том же номере, в своем «Дневнике» — <Мещерский В. П.?.>. Дневники. Вторник, 7 марта // Гражданин. 1900. 9 марта. № 18. С. 27–28. Здесь Мещерский откликается на неподписанную подпередовую статью «Государственный механизм и качества чиновника» (*НВ*. 1900. 7 марта. № 8630. С. 2).

...*плененной мысли раздраженье* — М. Ю. Лермонтов. «Не верь себе...» (1839).

УМСТВЕННЫЕ ТЕЧЕНИЯ В РОССИИ ЗА 25 ЛЕТ

(с. 659)

Автограф неизвестен.

Сохранились гранки с небольшими пропусками текста. Газетная вырезка из *НВ* с подчеркиваниями простым карандашом и авторскими пометами и датой на полях — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 189. Л. 6–15. См. *Варианты*.

Впервые напечатана: *НВ*. 1900. 21 марта. № 88644.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 397–406).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 659. «*Разрушение эстетики*» (1865) — антипушкинская статья Д. И. Писарева. ...*двумя апофеозами Пушкина* — речь идет об открытии памятника Пушкину работы скульптора А. М. Опекушина в Москве 6 (18) июня 1880 г. и праздновании в 1899 г. 100-летия рождения поэта.

...*добровольцами за славян* — имеется в виду русско-турецкая война 1877–1878 гг., в которой вместе с русской армией сражались болгарские и русские добровольцы.

...*отозванием из Болгарии русских представителей* — В 1887 г. князем Болгарии был избран немецкий принц Фердинанд I Кобургский (с 1908 по 1918 г. царь Болгарии), проводивший враждебную России политику. Дипломатические отношения были прерваны в 1886 г. и восстановлены в 1896 г.

...*публицисты «Дела»* — Ведущими публицистами петербургского журнала «Дело» (1866–1888) были П. Н. Ткачев и Н. В. Шелгунов. Розанов в статье «Кто истинный виновник этого?» писал о роли «Дела», которое «долгие годы распространяло ненависть и презрение к России, по преимуществу среди молодежи» (*РО*. 1896. № 8. С. 652).

С. 660. «*более русские ~ нежели русские...*» — перепев старинной европейской поговорки «Быть бóльшим католиком, нежели папа римский».

С. 661. «*Критика гистого разума*» — см. коммент. к с. 324.

«*Две вещи пробуждают во мне трепет и страх: зрение звездного неба и размышление о геловегеском долге*» — И. Кант. Критика практического разума (1788). Заключение. У Канта: «звездное небо и нравственный закон во мне».

С. 662. «*средостение*» — слово из заключительной части речи И. С. Аксакова 22 июня 1878 г. в заседании Московского славянского комитета по поводу итогов Берлинского конгресса: «...долг же верноподданных велит нам не безмолвствовать в эти дни беззакония и неправды, воздвигающих средостение между царем и землей...»

«*пора домой*» — название статьи И. С. Аксакова (Русь. 1881. Особ. приб. к № 17. 10 марта. С. 1—2), начинающейся словами: «Да, в Москву, в Москву призывает теперь своего царя вся Россия... Пора домой! Пора покончить с петербургским периодом русской истории...»

«*Может ли быть что-нибудь из... Капернаума*» — аллюзия на слова: «Из Назарета может ли быть что доброе?» (Ин 1, 46). *Капернаум* — В Евангелии город в Галилее, любимое местопребывание Иисуса Христа.

«*Восток, Россия и Славянство*» — см. коммент. к с. 417 и 499.

С. 663. «*Терпите, никогда не будет лучше*» — К. Н. Леонтьев. О всемирной любви. Речь Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике (1880).

Достоевский в «Записной книжке» ~ «богохульством» — Ф. М. Достоевский писал в записной тетради 1881 г.: «Леонтьеву (не стоит добра желать миру, ибо сказано, что он погибнет). В этой идее есть нечто безрассудное и нечестивое» (*Достоевский Ф. М.* ПСС. Л., 1984. Т. 27. С. 51).

«*болгарская схизма*» — самопровозглашение 11 мая 1872 года автокефалии Болгарской церковью и последовавшее 18 сентября того же года объявление ее состоящей в расколе (схизме) со стороны Константинопольского патриархата.

«*Сельская школа*» — см. рецензию Розанова на эту книгу в наст. томе, на с. 522—524, а также коммент. к с. 417.

«*Угбный псалтирь*» — Псалтирь (на славянском языке). М.: Синодальная типография, 1898. Книга издана Св. Синодом в качестве учебной книги и сопровождается толкованиями С. А. Рачинского.

«*Письма к духовному юношеству*» — Письма С. А. Рачинского к духовному юношеству о трезвости: (Не для публики): Издано для студентов Казанской духовной семинарии. Казань, 1898; переизд.: М., 1899.

Часослов — книга молитвословий суточного богослужебного круга.

Труды Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» и «Дарвинизм, критическое исследование» — см. коммент. к с. 312 и 459.

Труды ~ Н. Н. Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе», «О ветных истинах», «Заметки о Пушкине», «И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой» — см. коммент. к с. 417, 459, 457 и 587.

С. 664. *Папа ему прислал «благословение» на его литературные труды* — возможно, имеется в виду благосклонная реакция папы Льва XIII на книгу Вл. Соловьёва «Русская идея» в 1888 г. (см.: *Соловьёв Вл.* Письма. Пб., 1923. Т. 4. С. 119).

...«*замогильные записки*» — имеется в виду название книги Ф. Р. Шатобриана (1849—1850).

«*Критика отвлеженных нагал*» — докторская диссертация В. С. Соловьёва, защищенная им 6 апреля 1880 г. в Петербургском университете. Печаталась в «Русском Вестнике» в 1877—1880 гг. Отд. изд.: М., 1880.

...«*на Страстном бульваре*» — то есть в редакции журнала «Русский Вестник».

С. 664. «Национальный вопрос в России» (1891) — сборник полемических работ В. С. Соловьёва, состоящий из двух выпусков: статьи 1883—1888 гг. и статьи 1889—1891 гг.

С. 665. «католигеский центр» — название консервативно-ультрамонтанской партии в Германии.

...«не преи́деши» — Дан 6, 8.

...немецко-еврейским «спасителем человечества» — речь идет о К. Марксе.

Крегинский, Расплюев — герои «Свадьбы Кречинского» (1855) А. В. Сухово-Кобылина.

ДУМЫ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

<О трагедии>

(с. 667)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 31. Карандашная пометка на полях: «О писателях».

Впервые напечатано: *НВ*. 1900. 30 марта. №8653. Подпись: В. Р-въ.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 410—412).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 667. ...«довлеет дневи злоба его» — Мф 6, 34 («Довольно для каждого дня своей заботы»).

«Ябеда» — В 1793 г. В. В. Капнист написал сатирическую комедию «Ябедник», запрещенную цензурой. В переделанном виде под названием «Ябеда» она была опубликована и поставлена в Петербурге в 1798 г. с изъятием нападок на продажность суда.

С. 668. «Скужно на этом свете, господа» — окончание «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н. В. Гоголя (1834).

Силен румяно-рожий — А. Н. Майков. Барельеф (1842). Две заключительные строки этого стихотворения («И Силен румянорожий / На споткнувшемся осле») цитирует Дмитрий Карамазов в «Братьях Карамазовых» (I, 3, 3. Исповедь горячего сердца. В стихах).

Немезида — в греческой мифологии крылатая богиня возмездия.

С. 669. ...*Невидимкою луна* — А. С. Пушкин. Бесы (1830).

Ни — день, ни — ночь — Н. М. Языков. Валдайский узник, 8 (1824).

Мавр — герой трагедии У. Шекспира «Отелло, венецианский мавр» (1604).

ЕЩЕ О СМЕРТИ ПУШКИНА

(с. 669)

Сохранился черновой автограф (ЧА) — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 191. Л. 1—12 (см. *Варианты*); перед текстом — неавторская запись простым карандашом: «Набрать скорее в Литературный отдел. 16 февр. 900 г.» (далее — неразборчивая подпись).

Впервые напечатано: *МИ*. 1900. № 7—8 <апрель>. Отд. 2. С. 133—143.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 426—439).

Печатается по тексту первой публикации с учетом чернового автографа.

Основная тема статьи повторяется в рецензии Розанова на книгу И. Л. Щеглова «Новое о Пушкине» (*НВ*. 1901. 7 нояб.).

С. 669. «пожирательница людей» — ветхозаветное по происхождению выражение (о могильной земле). Ср.: «И погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ва-

ших» (Лев 26, 38); «Так говорит Господь Бог: за то, что говорят о вас: „ты — <земля>, поедаящая людей и делающая народ твой бездетным“» (Иез 36, 13).

С. 670. *Поликратов перстень* — баллада В. А. Жуковского «Поликратов перстень» (1831), перевод баллады Ф. Шиллера (1797). Рассказ о перстне самосского тирана Поликрата (VI в. до н. э.), который он безуспешно старался принести в жертву мстившим ему богам, изложен в «Истории» Геродота (кн. III).

«*Судьба Пушкина*» — В статье В. С. Соловьёва, появившейся в «Вестнике Европы» (1897. № 9. С. 31—156), утверждалось: «Пушкин постоянно колебался между высокомерным пренебрежением к окружающему его обществу и мелочным раздражением против него <...> Пушкин убит не пулю Геккерна, а своим собственным выстрелом в Геккерна».

...*Если б им была дана...* — М. Ю. Лермонтов. Сказка для детей, 5.

...*статью П. П. Перцова — Перцов П. Смерть Пушкина // МИ. 1899. № 21—22. С. 156—168.* Заглавие статьи Розанова связано с названием статьи Перцова.

С. 671. «*Еще о судьбе Пушкина*» — статья публициста И. Ф. Романова, писавшего под псевдонимом Рцы. Розанов приводит цитаты из этой статьи не совсем точно.

И он погиб и взят могилой — М. Ю. Лермонтов. Смерть поэта (1837): «И он убит...».

...*соловьёвского объяснения* — Вл. Соловьёв писал в статье «Судьба Пушкина»: «Для примирения с собой Пушкин мог отречься от мира, пойти куда-нибудь на Афон, или он мог избрать более трудный путь невидимого смирения, чтобы искупить свой грех в той же среде, в которой его совершил и против которой был виноват своею нравственною немощью, своим недостойным уподоблением ничтожной толпе».

...*«на седьмой глас»* — Пс 140 («Господи! К тебе взываю...») поется на всенощной службе на 8 голосов (напевов). Седьмой глас — глас мягкий, трогательный, увещевающий. См. упрек Рцы в письме к Розанову от 7—8 июля 1900 г. по поводу этого иронического укола: «Есть обстоятельства, когда только и возможно надеяться на чудо Божией милости. Ни сам ничего не можешь. Ни люди ничего не могут. Так мне кажется. Вы поглумились в „Мире Искусства“. „Гласы“, дескать, Пушкин перепутал... Вряд ли справедливо, вряд ли глубоко сказано...» (РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 616. Л. 204 об.).

...*«во блеске власти»* — М. Ю. Лермонтов. Дары Терека (1839).

Вот, братец мой, потеха! — неточная цитата из песни Беранже «Как яблочко румян...» (1839) в переводе В. С. Курочкина (1856).

С. 672. *Когда коляска ускакала...* — поэма Пушкина «Граф Нулин» (1825) цитируется с неточностями (курсив Розанова, как и в следующих далее двух цитатах из поэмы).

«*Дом мой — твердыня моя...*» — реминисценция из Псалтири (Пс 24, 14; 26, 1).

С. 673. *Прошла моя, твоя весна...* — А. С. Пушкин. Руслан и Людмила, II, 1; далее цитируется из этой поэмы.

С. 674. *Спи, дитя мое родное...* — М. Ю. Лермонтов. Казачья колыбельная песня (1840).

...*распинающие «плоть»* — отсылка к апостольскому выражению о праведниках: «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (Гал 5, 24).

...*слова его о ней в день смерти* — Домашний врач Пушкиных И. Т. Спасский, неотступно находившийся у постели смертельно раненного Пушкина, 2 февраля 1837 г. написал записку «Последние дни А. С. Пушкина. Рассказ очевидца», в которой приводит слова поэта о жене: «Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском».

С. 675. *Все в ней — гармония...* — А. С. Пушкин. Красавица (1832).

В письме к жене, приведенном г. Рцы... — письмо к Н. Н. Гончаровой около 16 дек. 1831 г., в котором Пушкин писал: «Стихов твоих не читаю. Чорт ли в них; свои надоели». Рцы вольно контаминировал фразы из писем Пушкина к жене 1831—1832 гг.: «Да чорта ли в стихах! И свои надоели. А вот, что ты еще не брюхата, — радуюсь. Впрочем, за этим

дело у нас не станет. На днях возвращаюсь домой. Господь с тобою!» (МИ. 1900. № 1—2. С. 20).

С. 675. *Любви роскошная звезда...* — из арии Гориславы из действия III оперы «Руслан и Людмила» (1842); либретто М. И. Глинки, В. Ф. Ширкова и К. А. Бахтурина.

...святыня красоты... — А. С. Пушкин. Красавица (1832).

Не множеством картин старинных мастеров... — А. С. Пушкин. Мадонна (1830).

С. 676. *Пушкин в 16 лет написал ~ «Леду»* — Романс «Леда (Кантата)» («Средь темной рощицы, под тенью лип душистых...», 1814) Пушкин написал не в 16, а в 15 лет. Он заканчивается призывом к «девам красоты»: «Летним вечером страшитесь / В темной рощице воды».

...эту сердежность, эту ласку... — Розанов цитирует слова Рцы, к которым последний сделал подстрочное примечание специально для Розанова: «Да, и в брак, в устроении нашего семейного угла „свистун“ Пушкин есть наш учитель, в непревосходимой универсальности своего духа уже наметивший (разумеется, эскизно), что может и в этой области дать самобытно развивающаяся русская культура. Предлагаем почтенному В. В. Розанову эту тему для размышления».

С. 677. *...как Мазепа заклевал голубку* — имеются в виду гетман Мазепа и Мария, дочь Кочубея (А. С. Пушкин. Полтава, 1828).

...для бедной Наташи все были жребии равны — перефразировка строк из «Евгения Онегина». VIII, 47.

Подруга дней моих суровых... — А. С. Пушкин. Няне (1826).

Не серна под утес уходит... — Здесь и далее цитируется поэма Пушкина «Полтава». Песнь 1 (курсив Розанова).

С. 678. *...о, старец-Море* — Здесь и далее цитируется стихотворение М. Ю. Лермонтова «Дары Терека» (1839).

С. 679. *...Дух — известно, что такое дух...* — М. Ю. Лермонтов. Сказка для детей, 5.

...«ветхое деньми» (ветхое днями) — Дан 7, 13. Одно из наименований Господа.

«Вишня» (ок. 1815) — юношеское эротическое стихотворение, приписываемое Пушкину. Начальные строки приобрели популярность в качестве детских стихов («Румяной зарею покрылся восток...»).

...Феба, которому Гюго даже не дал никакого собственного имени — Полное имя капитана королевских стрелков в романе В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1831) — Феб де Шатопер.

«и к мужу — влечение твое» (Бытие, 3) — точнее: Быт 3, 16.

Погибла Эсмеральда — героиня романа В. Гюго, повешенная по приговору архидьякона Клода Фролло.

С. 680. *К ней дамы подвигались ближе...* — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. VIII, 15.

...«милый идеал» — Там же. VIII, 51.

Достоевский, в знаменитом анализе... — имеется в виду речь Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике 8 июня 1880 г., в частности следующие слова о Татьяне Лариной: «Это положительный тип, а не отрицательный, это тип положительной красоты, это апофеоз русской женщины <...>. Можно даже сказать, что такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей художественной литературе — кроме разве образа Лизы в „Дворянском гнезде“ Тургенева».

В ней сохранился тот же тон... — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. VIII, 18.

С. 681. *...Давид ~ отнял у соседа Урии его «последнюю овечку»* — 2 Цар 11, 2—27: израильский царь Давид впал во грех с Вирсавией, муж которой Урия Хеттеянин служил в его войске. Давид написал командирю армии Урии письмо, в котором приказал оставить Урию без поддержки в «самом сильном сражении»; тот погиб, и Вирсавия досталась Давиду. Выражение «последняя овечка» (равно как и далее: «У Давида — царство, слава,

арфа и псалмы») отсылает к рассказу Л. Толстого «Кающийся грешник» (1886), герой которого упрекает царя Давида: «Все было у тебя — и царство, и слава, и богатство, и жены, и дети, а увидел ты с крыши жену бедного человека, и грех вошел в тебя, и взял ты жену Урия, и убил его самого мечом амонитян. Ты, богач, отнял у бедного последнюю овечку и погубил его самого».

...из 1 200 000 петербургских жителей — приблизительная численность населения Петербурга по результатам Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. (точная цифра — 1264,9 тыс. чел.). В конце же 1830-х гг. в столице проживало около 350 тыс. чел.

...алгебра, гитаемая Петрушкою — О Петрушке, персонаже «Мертвых душ» Гоголя, ласкае Чичикова, говорится: «...имел даже благородное побуждение к просвещению, то есть чтению книг, содержанием которых не затруднялся: ему было совершенно все равно, похождение ли влюбленного героя, просто букварь или молитвенник, — он все читал с равным вниманием; если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался» (I, 2).

С. 682. ...«кошагья живугесть» — из письма Достоевского к А. Е. Врангелю от 31 марта 1865 г.

...святилище огонь мало им ведомого бога — отсылка к словам апостола Павла, обращенным к афинянам: «...я нашел и жертвенник, на котором написано „неведомому Богу“». Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам» (Деян 17, 23). См. также коммент. к с. 756.

ДУМЫ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

<О мире и войне>

(с. 682)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 10 с авторской правкой:

С. 685. 44. удачную строку / удачную сторону

С. 686. 5. религиозных, да составляющих / религиозных, составляющих

С. 686. 6. вещь не дурная...

Есть упоение в бою

И бездны мрачной на краю <...>

И в аравийском урагане. / вещь не дурная

С. 686. 11–12. это ужас, восхищение, другое что. / это восхищение, скорбь или другое что.

Впервые напечатано: *НВ*. 1900. 2 апреля. № 8656. Подпись: В. Р-въ.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 412–416).

Печатается по тексту первой публикации с авторской правкой.

С. 682. «дум-дум» — разрывающиеся пули, примененные впервые англичанами в англо-бурской войне (1899–1902).

С. 683. «Империя — это мир» — из речи Наполеона III в Бордо 9 октября 1852 г.

...главы о медведях у Брема — немецкий зоолог А. Э. Брем известен как автор книги «Жизнь животных» (1863–1869; рус. пер.: 1911–1915). «Иллюстрированная жизнь животных Брема» издавалась многократно (СПб., 1866–1876. Т. 1–6).

«мещанин во дворянстве» — название комедии Ж. Б. Мольера (1670).

С. 684. Срок ли приблизится гасу прощальному... — М. Ю. Лермонтов. Молитва (1837).

«Из ядущего вышло ядомое, и из крепкого — сладкое» — Суд 14, 14. Самсон убил льва, а позднее нашел в нем рой пчел и мед.

С. 685. *«История Государства Российского»* — труд Н. М. Карамзина в 12 томах, опубликованный в 1816–1829 гг.

...*Никита Салос ~ напугавший своими шутками Ивана Грозного в Пскове* — имеется в виду Николай Салос Псковский. Когда в 1570 г. Иоанн Грозный шел громить Псков, то перед городом его встретил блаженный Николай с куском сырого мяса и обличал его в кровожадности, предсказывал несчастья. Устрашенный царь оставил город, спасенный блаженным от разорения.

...*Гуляки праздного* — А. С. Пушкин. Моцарт и Сальери (1830).

Единого прекрасного жрецов — Там же.

С. 686. *Есть упоение в бою...* — А. С. Пушкин Пир во время чумы (1830).

«Се — творю все новое» — Откр 21, 5.

В. Л. ДЕДЛОВ. ПАНОРАМА СИБИРИ

(с. 686)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из журнала *НВип* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 55.

Впервые напечатано: *НВип*. 1900. 12 апр. № 8664. С. 6–7.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 418–420).

Печатается по тексту первой публикации.

Дедлов Владимир Людвигович (наст. фам. Кигн; 1856–1908) — прозаик, публицист, критик. Дружеские отношения Розанова и Дедлова сложились в 1899 г. Розанов написал рецензию на книгу Дедлова «Киевский Владимирский собор и его художественные творцы» (М., 1901; *НВип*. 1901. 19 сент.), вошедшую в книгу Розанова «Среди художников» под названием «Вопросы церковной живописи». После смерти Дедлова Розанов опубликовал статью «Школьный мир в России» (*РС*. 1909. 22 янв.) по поводу очерков Дедлова «Из школьных воспоминаний». См. статью А. В. Ломоносова о Дедлове и Розанове в «Розановской энциклопедии» (с. 327–330).

С. 686. *Несколько лет назад г. Дедлов издал...* — речь идет о сборниках очерков Дедлова «Приключения и впечатления в Италии и Египте. Заметки о Турции» (СПб., 1887), «Вокруг России. Портреты и пейзажи» (СПб., 1895).

ДУМЫ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

<О гении>

(с. 688)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 148. Л. 38.

Впервые напечатано: *НВ*. 1900. 15 апреля. № 8667. Подпись: В. Р-въ.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 420–423).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 689. ...*Пруссия терпит позор под Йеною и Ауэрштедтом* — Двойное сражение происходило параллельно во времени 14 октября 1806 г. между наполеоновской армией и прусскими войсками около города Йена и деревни Ауэрштедт и окончилось сокрушительным поражением Пруссии.

Станкевич нижего не создал — наследие поэта, главы философского кружка Н. В. Станкевича было собрано в его книге «Стихотворения. Трагедии. Проза» (М., 1890).

С. 691. *Отшельник Эскуриала* — испанский король Филипп II. *Эскуриал* (Эскориал) — монастырь-дворец, возведенный им в 1557–1584 гг. к северо-западу от Мадрида, у подножия гор Сьерра-де-Гвадаррама.

Около Агамемнона был Терсит — Герою «Илиады» Гомера Агамемнону противопоставляется участник Троянской войны, физический и нравственный урод Терсит. Ср. «Нет великого Патрокла; / Жив презрительный Терсит» (В. А. Жуковский. Торжество победителей, 1828).

БЕСПОЛЕЗНЫЕ ПОПЫТКИ

(с. 691)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1900. 18 апр. № 8670. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 423–425).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 691. *О, земский бред...* — анонимные стихи под редакторской рубрикой «Дневники» в газете-журнале «Гражданин» (1900. № 27. 16 апр. С. 31).

...в последний день Св. Пасхи — В 1900 г. Пасха пришла на 9 апреля. В воскресенье 16 апреля (дата выхода в свет «Гражданина») заканчивалась пасхальная неделя.

С. 692. *...внугатым племянником ~ Карамзину* — В. П. Мещерский был родным внуком Н. М. Карамзина.

...ломосовскому предупреждению: Блажен, кто смолоду был молод, / Блажен, кто в старости был стар — см.: Блажен, кто смолоду был молод, Блажен, кто вовремя созрел («Евгений Онегин». VIII, 10).

Рассказ нашего сотрудника г. Глинки о горячих дебатах... — Глинка С. По внутренней России. XXV. Воронеж // *НВ*. 1900. 13 апреля. № 8665.

«Что ему Гекуба?» — У. Шекспир. Гамлет (II, 2). *Гекуба* — царица Трои, попавшая в плен и пережившая гибель дочери и сына.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

<О П. П. Перцове>

(с. 693)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *МИ*. 1900. № 9/10 <май>. С. 204–206.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 432–434).

Печатается по тексту первой публикации.

Перцов Петр Петрович (1868–1947) — публицист, друг Розанова с 1896 г. См. о нем статью М. Ю. Эдельштейна в «Розановской энциклопедии» (с. 686–690).

С. 694. *В одном из последних номеров «Недели» г. Меньшиков* — речь идет о статье Меньшикова «Отклики. LXIII» в «Неделе» (1900. 23 апр. № 17. Стб. 593–596). Здесь критикуется статья Перцова «„Воскресение“ и толстовцы», в которой он якобы «обрушился с необыкновенною развязностью на гр. Л. Н. Толстого, на его роман „Воскресение“ и на так называемых „толстовцев“» (Там же. Стб. 593); особенно задело Меньшикова то, что Перцов причислил его к толстовцам: «...считаться истинным последователем Толстого я не имею права...» (Там же. Стб. 595). Перепечатывая статью в своем «Первом сборнике» (СПб., 1902), Перцов снял упоминание о Меньшикове.

...руководствуясь при этом лишь газетными объявлениями — В изложении Меньшикова путь идейных исканий Перцова выглядел как беспринципные метания: «...либерал —

оттенка „Русского Богатства“, декадент, консерватор — оттенка В. В. Розанова, „шараповец“ и нововременец...» (Неделя. 1900. 23 апр. № 17. Стб. 594).

«демон» *Сократа* — см. коммент. к с. 328.

...издать избранные мои сочинения — речь идет о четырех книгах Розанова, подготовленных к печати П. П. Перцовым: «Литературные очерки», «Религия и культура», «Сумерки просвещения» (все 1899) и «Природа и история» (1900). Здесь Розанов опровергает обвинения Меньшикова, который, причисляя Перцова-издателя к «темным книгопромышленникам и книжным хищникам», так обличал его: «Раз неинтересна книга и не раскупают ее — издатель печатает новую обложку и пишет: „второе издание“, затем рассылает ее по редакциям для нового отзыва» (Неделя. 1900. 23 апр. № 17. Стб. 594).

ЧТО ПРИСНИЛОСЬ ФИЛОСОФУ

(с. 695)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* с записями даты публикации статьи: «1900.», «16.V.», а также, по всей вероятности, ее порядкового номера в несохранившемся списке произведений: «№ 103.» — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 193. Л. 15а.

Впервые напечатано: *НВ*. 1900. 16 мая. № 8698.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 444–447).

Печатается по тексту первой публикации.

Статья Розанова явилась ответом на фельетон Вл. Соловьёва «О поддельном добре» в газете «Россия» 13 мая 1900 г. (в переработанном виде эта статья стала предисловием к книге Вл. Соловьёва «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории»).

Д. С. Мережковский писал Розанову 8 июня 1900 г.: «Ваша статья о Влад. Соловьёве по поводу „дыромольев“ мне не понравилась. Ведь Соловьёв хоть и „смерд“, такой же как Евгений Соловьёв (вот Смердяков!), в данном случае совершенно прав. И „Лев“ и — „овцы“ — действительно „дыромольи“. Почему же этого нельзя сказать? Что за Далай Лама такой Левушка, что о нем и говорить нельзя, не ползая на коленях. Да ведь и Вы против Л. Толстого в самом важном» (*РЛЖ*. 1994. № 5/6. С. 237).

С. 695. *Дыромольи* (также дырники, щельники, окнопоклонники) — старообрядческая группа беспоповцев-самокрещенцев (ответвление нетовщины), не признающих икон моложе середины XVII в.; они проделывают отверстия в стенах домов, чтобы иметь возможность молиться строго на восток в зимнее время. Эта редкая секта была к концу XX в. распространена «в Бийском округе», где «местами раскольники составляют $\frac{2}{3}$ всего населения» (*Энциклопедический словарь*: В 86 т. / Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. СПб., 1900. Т. 57. С. 329).

Нирвана — центральное понятие буддизма, означающее высшее состояние, цель человеческих стремлений, отрешенность от внешнего мира.

С. 696. «*Лавры Мильтиада не дают мне спать*» — В 490 г. до н. э. во время Греко-персидской войны около селения Марафон Мильтиад разбил персидские войска. Плутарх в жизнеописании афинского полководца Фемистокла писал о нем: «После сражения с варварами при Марафоне, когда у всех на устах были речи о стратегическом искусстве Мильтиада, он был погружен в думы, не спал по ночам, отказывался от обычных попок; когда его спрашивали об этом и удивлялись перемене в его образе жизни, он отвечал, что спать ему не дает трофей Мильтиада» (пер. С. И. Соболевского).

«*Три разговора о войне...*» — последняя книга В. С. Соловьёва печаталась под общим названием «Под пальмами» (*Книжки «Недели»*. 1899. № 10, 11; 1900. № 1). Предисло-

вие из газеты «Россия» вошло в первое издание «Трех разговоров», появившееся еще при жизни автора.

С. 697. *...читалась в городской петербургской думе: «О конце всемирной истории и антихристе»* — лекция Вл. Соловьёва, прочитанная 26 февраля 1900 г. См. розановское «Письмо в редакцию» (*НВ*. 1900. 29 февраля. № 8623. С. 4).

«Критика отвлеченных начал» — см. коммент. к с. 664.

...пассивные и отрицательные идеалы Толстого — ср. название статьи Розанова «Пассивные идеалы».

Саламин — остров в Эгейском море, неподалеку от Афин, где в 480 г. до н. э. греческий флот разгромил персидский флот.

...у Гайдебурова и с Меньшиковым — П. А. Гайдебуров с 1869 г. был одним из издателей (в 1875—1893 гг. единоличный владлец) либерального еженедельника «Неделя»; М. О. Меньшиков — ведущий публицист этой газеты с 1892 г. до ее закрытия в 1901 г. В «Книжках „Недели“» регулярно публиковался Вл. Соловьёв.

С. 698. *Братство Сенусси* — мусульманский суфийский орден в Ливии и Судане, основанный в Мекке в 1837 г. Великим Сенусси. Его внук в 1951 г. стал королем Ливии Идрисом I, которого в 1969 г. сверг полковник Каддафи.

Тибетское братство Келанова в Хлассе — упоминается, как и братство Сенусси, в предисловии к «Трем разговорам» Вл. Соловьёва. В рецензии на книгу Е. Блаватской «The key to Theosophy» (London; New York, 1889), помещенной в августовской книжке «Русского Обозрения» за 1890 г., Соловьёв пишет, что братство Келанов обнаружено французским миссионером Гюком в Тибете в 1840-е гг. (*Соловьёв Вл. С. Собр. соч.: В 12 т. СПб., б. г. Т. 6. С. 287—292*). *Хласса* — Лхасса, резиденция Далай-ламы.

Так закатывается солнце нашей философии — аллюзия на начальные слова краткого извещения о смерти Пушкина, составленного В. Ф. Одоевским: «Солнце нашей поэзии закатилось!» (Лит. приб. к «Русскому инвалиду». 1837. 30 января. № 5. С. 48), навеянного сообщением Н. М. Карамзина в «Истории государства Российского» о том, как на Руси восприняли весть о смерти Александра Невского в 1263 г. Карамзин писал, что митрополит Киевский Кирилл, «сведав о кончине великого князя <...> в собрании духовенства воскликнул: „Солнце отечества закатилось!“» (т. IV, гл. II). Источником была «Степенная книга» (нач. 1560-х), где эта же фраза звучала так: «Уже заиде солнце земля Руськия».

Ф. А. КРУМАХЕР. ПРИТЧИ

(с. 698)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из журнала *НВип* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 45.

Впервые напечатано: *НВип*. 1900. 17 мая. № 8699. С. 8—9.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 448).

Печатается по тексту первой публикации.

Круммахер Фридрих Адольф (1767—1845) — немецкий поэт, профессор богословия, автор сборника «Параболы» (1805), переведенного на русский язык под названием «Притчи».

УНИВЕРСИТЕТ В ОБРАЗОВАНИИ ПИСАТЕЛЕЙ

(с. 699)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1900. 28 мая. № 8710. Подпись: Ибис.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 456—464).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 700. *...книга нема, о тем уже сказал Атагульпа* — В 1532 г. во время завоевания Перу испанскими конквистадорами вождю инков Атагульпе был зачитан документ о признании им власти испанского короля. Он спросил, как может убедиться, что все сказанное правда. Монах Вальверде сослался на Евангелие, которое и протянул ему. Инка повертел книгу, перелистал, сказал, что она не говорит, и отбросил ее. Тогда испанцы пленили Атагульпу.

Автодидакт — самоучка (греч.).

С. 702. *...Гуляки праздные ~ Нас мало избранных* — А. С. Пушкин. Моцарт и Сальери (1830), II.

С. 704. *Имя Лескова напоминает имя одного из его критиков* — имеется в виду книга: Вольнский А. Н. С. Лесков. Критический очерк. СПб., 1898.

С. 705. *...пришел в мир гол* — библейская реминисценция: Иов 1, 21 («наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь»).

...как писал г. Фаресов — Фаресов А. И. Н. С. Лесков о языке своих произведений // Нива. Литературное приложение. 1897. № 10. С. 311–320.

...читал и догитывал до конца Гиббона — речь идет о главном труде английского историка Э. Гиббона «История упадка и разрушения Римской империи» (1776–1788).

...проводы в Колыванский край одного обрусителя — имеется в виду рассказ Н. С. Лескова «Колыванский муж» (1888) о проявлении национализма в Прибалтике. Колывань — старое русское название Ревеля (ныне Таллин).

Не знаю, был ли и он в университете... — П. И. Мельников-Печерский, автор дилогии «В лесах» (1871–1875) и «На горах» (1875–1881), окончил в 1837 г. Казанский университет.

С. 706. *...профессора столь абсолютно не формальные, как знаменитый Никита Крылов* — Н. И. Крылов — профессор римского права Московского университета, сочетавший в себе артистизм с юмором и сатирой.

О. ПЕТЕРСОН и Е. БАЛАБАНОВА. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ ЭПОС И СРЕДНЕВЕКОВЫЙ РОМАН В ПЕРЕСКАЗАХ И СОКРАЩЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ С ПОДЛИННЫХ ТЕКСТОВ

(с. 707)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1900. 31 мая. № 8712. Подпись: В. Р.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 464–465).

Печатается по тексту первой публикации.

Петерсон Ольга Михайловна (1856–1919) — историк литературы и переводчица. Своим главным трудом считала книгу «Западноевропейский эпос и средневековый роман в пересказах и сокращенных переводах с подлинных текстов» (СПб., 1896–1900). Т. 1–3), созданную совместно с Е. В. Балабановой, подругой еще со времен Бестужевских курсов.

Балабанова (Балобанова) Екатерина Вячеславовна (1847–1927) — историк литературы, переводчица и детская писательница, автор книги «Поэмы Оссиана Джеймса Макферсона. Исследование, перевод и примечания» (СПб., 1897).

С. 707. *Каролингский цикл сказаний* — произведения периода так называемого Каролингского возрождения (VIII–IX вв.), представляющие собой переработки древнегерманских героических преданий и народных легенд.

ДВУЛИКИЕ ЯНУСЫ

(с. 708)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1900. 2 июня. № 8714. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 465–467).

Печатается по тексту первой публикации.

ОБ УПАДКЕ СЕРЬЕЗНОЙ КРИТИКИ

(с. 709)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты-журнала *Г* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 161. Л. 5.Впервые напечатано: *Г*. 1900. 8 июня. № 42. С. 4. Подпись: Орион.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 470–471).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 709. «*Заря*» — см. коммент. к с. 21.**С. 710.** «*Маяк*» — полностью: «Маяк современного просвещения и образованности», литературно-политический журнал, издавался ежемесячно в Петербурге в 1840–1845 гг., имел репутацию обскурантистского органа. Редактор — С. А. Бурачек (с 1842 г.).«*Весть*» — газета дворянской оппозиции реформам 1860-х гг.; выходила в Петербурге в 1863–1870 гг. Большая часть тиража рассылалась бесплатно....автор «*Московского Сборника*» — К. П. Победоносцев. «*Московский Сборник*» увидел свет в Москве в 1896 г. (5-е изд., доп.: 1901).**НА ГРАНИЦАХ ПОЭЗИИ И ФИЛОСОФИИ****Стихотворения Владимира Соловьёва**

(с. 710)

Автограф неизвестен.

Сохранились: 1) гранки газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 193. Л. 20–24; см. *Варианты*; 2) вырезка из газеты *НВ* — Там же. Л. 25; с записями, видимо, разного времени о дате публикации: простым карандашом — «1900. 9/VI», на обороте гранок синим карандашом — «1900; 9/VI»; перед текстом — помета чернилами «№ 104», по всей вероятности, порядковый номер статьи в несохранившемся списке произведений; на тексте также отчеркивания простым карандашом отдельных мест его.Впервые напечатано: *НВ*. 1900. 9 июня. № 8721.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 48–56).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 711. «*Кризис западной философии против позитивизма*» — магистерская диссертация В. С. Соловьёва, защищенная 24 ноября 1874 г. в Петербургском университете. Опубликована в журнале «*Православное Обозрение*» (1874. № 1, 3, 5, 9, 10) и одновременно отдельным изданием в 1874 г. Соловьёву тогда исполнился 21 год.*Б. Н. Чигерин, отведали целыми трактатами на диссертацию — Чигерин Б.* Мистцизм в науке. М., 1880, где разбирается соловьёвская критика социалистических учений (с. 69–80).*Испанская (шпанская) мушка* — популярный афродизиак: тельце и крылья одноименного насекомого содержат кантаридин, вызывающий сильное сексуальное возбуждение. Розанов упоминает мушку, развивая шуточный образ любви толпы к Вл. Соловьёву.

С. 712. *...римский воин в битве бросился в какую-то роковую расщелину земли и тем спас Рим* — речь идет о легендарном римском воине Марке Курции (VIII в. до н. э.). Тит Ливий в своем труде «Ab urbe condita» (кн. VII, гл. 6) рассказывает, как однажды в Риме «от какой-то силы» земля «расселась почти посередине Форума и огромной трещиной провалилась на неведомую глубину». Прорицатели объявили, что для спасения надо принести в жертву этому месту самое ценное, что есть у римского народа. «Тогда-то, — гласит предание, — Марк Курций, юный воин, с укоризною спросил растерянных граждан, есть ли у римлян что-нибудь сильнее, чем оружие и доблесть. При воцарившемся молчании, обратив взоры на Капитолий и храмы бессмертных богов, всыщающиеся над Форумом, он <...> верхом на коне, убранном со всею пышностью, в полном вооружении бросился в провал» (Тит Ливий. История Рима от основания города: В 3 т. М., 1989. Т. 1. С. 327; пер. Н. В. Брагинской). После этого земля сомкнулась, и на месте трещины образовалось озеро.

«Судьбы на коне не объедешь» — переделка поговорки «Суженого на коне не объедешь» (вариант — «Сужена ряжена не обойдешь и на коне не объедешь»).

Сон Навуходносора — Дан 2, 31–35.

«если Ставрогин верит (положим, в Бога...)» — Розанов вольно пересказывает разговор Шатова и Ставрогина («Бесы». Ч. 2. Гл. первая, VII). «Третье лицо» — Петр Степанович Верховенский.

...его перехода ~ в «Вестн. Европы» — см. коммент. к с. 308.

...путешествия (см. темы его стихов), то в Норвегию, в Шотландию, во внутреннюю Финляндию — имеются в виду, в частности, стихотворения Вл. Соловьёва «По дороге в Упсалу» («Где ни взглянешь — всюду камни...»), «В окрестностях Або» («Не позабуду я тебя...»), «Иматра» («Шум и тревога в глубоком покое...», все три без даты), «На Сайме зимой» («Вся ты закуталась шубой пушистой...», 1894), «Июньская ночь на Сайме» («В эту ночь золотисто-пурпурную...»), «Лунная ночь в Шотландии» («По долине меж гор...», оба без даты).

...в Архипелаг — Под Архипелагом здесь подразумеваются острова Эгейского моря (так называемый Греческий архипелаг). См. стихотворения Вл. Соловьёва 1898 г. «В архипелаге ночью» («Нет, не верьте оболщенью...») и «Das Ewig-Weibliche», где упоминается о «морских чертях»: «В Финском поморье недавно ловили, / В Архипелаг я — они уже там!»

...Египет — Соловьёв дважды был в Египте: сначала провел четыре месяца в Каире с 11 ноября 1875 г. по 12 марта 1876 г., а затем совершил путешествие в страну пирамид в марте 1898 г. Египетские впечатления отразились в стихотворениях: «У царицы моей есть высокий дворец...» (1875), «Близко, далеко, не здесь и не там...», «Песня офитов» («Белую лилию с розой...», оба без даты), «Нильская дельта» («Золотые, изумрудные...», 1898), «Песня моря» («От кого это теплое южное море...», оба — 1898) и в поэме «Три свидания» (1876).

...на старшего сына Владимира Св. — видимо, упомянут Ярослав Мудрый, сын Владимира Равноапостольного от полоцкой княжны Рогнеды. Он не был самым старшим сыном, но стал наследником отцу в великом княжении. Его внешнеполитическое влияние распространялось на Литву, Византию, земли нынешней Фенноскандии и другие территории.

С. 713. *Ксенофан ~ в нескольких стихотворных отрывках* — Древнегреческий поэт и философ Ксенофан, автор пяти книг «Силлы» («Сатиры»), направленных против Гомера и Гесиода. Сохранились лишь фрагменты этого произведения.

Парменид написал поэму — речь идет о поэме «О природе» древнегреческого философа Парменида, ученика Ксенофана.

Филолай изложил мистику гисел — От древнегреческого философа Филолая дошли фрагменты его трактата «О природе».

Ступая глубоко... — В. С. Соловьёв. Сон наяву (1895).

С. 714. «Скромное пророчество» («Повернуло к лету Божье око...») — стихотворение Вл. Соловьёва 1892 г.

Володенька — ах! слишком он глупа! — В. С. Соловьёв. Три свидания (1898), 2.

«Око вездности» («Одна, одна над белою землею...») — стихотворение 1897 г.

«Умные звезды» («Цветы мы и любим...») — недатированное стихотворение. Заканчивается строками: «Всех звезды умнее: / Вверху пламенея, / На землю глядят без тревоги. / Лампады вселенной, / В красе неизменной / Блаженны и вечны, как боги».

Белую лилию с розой... — В. С. Соловьёв. Песня офитов (1876). *Офиты* (от *грег. «змея»*) — гностическая секта, связанная с древними змеопоклонническими культами.

На звезды глядишь ты, звезда моя светлая — В. С. Соловьёв. Из Платона (1874).

С. 715. «Да воскреснет Бог и растоятся врази Его...» — Пс 67, 2.

Черти морские меня полюбили... — В. С. Соловьёв. Das Ewig-Weibliche (1898); далее цитируется то же стихотворение.

«запегатало в бездну» — выражение из Апокалипсиса. См. в контексте: «Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана <...> и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать...» (Откр 20, 3).

Мы для новой красоты... — Д. С. Мережковский. Дети ночи (1896). Надо: «Нарушаем все законы, / Преступаем все черты».

С. 716. «Ты слишком много думаешь об Афродитских делах» — В первом послании к Ивану Грозному (1564) князь Андрей Курбский обвинял его ближайших советников в том, что они, поощряя разврат, царя «подвижут на Афродитския дела».

«*Антоний и Клеопатра*» — цитируется вторая сцена 1-го действия пьесы У. Шекспира в переводе А. Л. Соколовского.

«*совладеет с «Послеловием» к «Крейцеровой сонате»* — Л. Толстой в своем Послеловии, опубликованном в 1890 г. (через год после того как увидела свет сама повесть), уточнял, что имел в виду в своем произведении, в частности: «Идеал христианина есть любовь к Богу и ближнему, есть отречение от себя для служения Богу и ближнему; плотская же любовь, брак, есть служение себе и потому есть, во всяком случае, препятствие служению Богу и людям, а потому с христианской точки зрения — падение, грех».

В Александровской слободе... (на территории нынешнего г. Александрова Владимирской обл.) — в XVI в. располагалась царская резиденция; в 1564–1581 гг. здесь была фактическая столица опричнины.

С девигьей улыбкой, с змеиной душой / Отверженный Богом Басманов — А. К. Толстой. Василий Шибанов (1858). Между двумя приведенными пропущена строка: «Любимец звонит Иоаннов».

«*древнего змея*» — подразумевается Сатана; древним змием он именуется в Апокалипсисе (Откр 12, 9; 20, 2).

С. 717. *В солнце одетая, звездно-венганная* — В. С. Соловьёв. Из Петрарки (1883).

«*Мифре древних персов*» — Розанов имеет в виду сонарное божество Митру (в оригинале на месте буквы «ф» — «фита»).

С. 718. *В тумане утреннем неверными шагами...* — одноименное стихотворение В. С. Соловьёва (1884).

ПИСАТЕЛЬ СЕМИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

(с. 718)

Автограф неизвестен.

Сохранилась газетная вырезка с подчеркиваниями и авторской датой на полях: «16 июня 1900 г.» — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 189. Л. 18–19.

Впервые напечатана: НВ. 1900. 16 июня. № 8728.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 478–484).

Печатается по тексту первой публикации.

Рецензия Розанова в какой-то мере явилась запоздалым ответом на грубо-полемическую заметку Н. К. Михайловского «О г. Розанове» из цикла «Литература и жизнь» (Русское Богатство. 1899. № 9. Отд. II. С. 150–168). На содержащиеся в ней непристойные инсинуации в адрес Розанова отвечал Михайловскому П. П. Перцов в письме к нему от 31 декабря 1899 г. (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. № 81. Л. 3–3 об.). Поэтому он счел, что рецензия Розанова о его обидчике слишком уж мягкая, беззубая. В июне 1900 г. Перцов писал Розанову из Дрездена: «Читал здесь Вашу статью о Михайловском — и содержание оной весьма *не* одобрил. / К чему эти „беспристрастные“ расшаркиванья? Sein Sie <будьте (нем.)> посмелее» (Там же. Л. 28).

С. 718. «*Чти отца и мать твою*» — Исх 20, 12 (5-я заповедь).

«*Телега жизни*» — стихотворение А. С. Пушкина (1823; опуб. 1825). Ниже Розанов привел 2-ю и 3-ю строфы, с пропуском obscенного выражения («е... мать»).

С. 719. *И следом пегальным на погве бесплодной...* — М. Ю. Лермонтов. Три пальмы (1839).

С. 720. *Не так давно окончилось издание его «Полного собрания сочинений»* — В 1896–1897 гг. в Петербурге вышли «Сочинения» Н. К. Михайловского в 6 т. «Полное собрание сочинений» печаталось в 1909–1914 гг. (т. 1–8, 10).

Вырыта заступом яма глубокая... — одноименное стихотворение И. С. Никитина (1860).

Милый друг, я умираю... — одноименное стихотворение Н. А. Добролюбова (1861).

С. 721. *Но остался влажный след в морщине...* — М. Ю. Лермонтов. Утес (1841).

...под заглавием «Литература и жизнь» — Впервые эти статьи были собраны в изд.: Михайловский Н. К. Литература и жизнь: (Письма о разных разностях). СПб., 1892. Розанов опирается на сообщение самого автора в его предисловии к изданию 1900 г.: «Предлагаемая книга состоит из статей, печатавшихся в течение нескольких лет сначала в „Русской Мысли“, потом в „Русском Богатстве“ под общим названием „Литература и жизнь“» (Михайловский Н. К. Литературные воспоминания... Т. 1. С. III). Эти статьи действительно не были включены в 6-томник 1896–1897 гг.

«*субъективный метод в социологии*» — теоретически обоснован П. Л. Лавровым и развит Н. К. Михайловским. Его суть была сформулирована Лавровым так: «Волей или неволей приходится прилагать к процессу истории субъективную оценку, т. е. усвоив тот или иной нравственный идеал, расположить все факты истории в перспективе, по которой они содействовали или противодействовали этому идеалу, и на первый план истории выставить по важности те факты, в которых это содействие или противодействие выразилось с наибольшей яркостью» (Лавров П. Л. Исторические письма // Избр. произведения: В 2 т. М., 1965. Т. 2. С. 43).

С. 722. «*Ты — лучше меня, ты — Аристид; но я Фемистокл и бью тебя*» — реминисценция из «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха об афинских полководцах V в. до н. э., враждовавших друг с другом.

Юзов — псевдоним публициста И. И. Каблицы, друга Розанова.

...полемика со Страховым — Н. К. Михайловский вел полемику с Н. Н. Страховым в журнале «Отечественные Записки» с 1872 по 1882 г. («Литературные и журнальные заметки». 1872. № 9; «Записки современника». 1882. № 4).

«*людей эстрады и сцены самолюбие наиболее развито у литераторов...*» — из очерка Михайловского «Мой первый литературный опыт», включенного в его «Литературные воспоминания» (1891).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА «Ежемесячные Сочинения» И. И. Ясинского»

(с. 723)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *Г* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 167–168.

Впервые напечатано: *Г*. 1900. 18 июня. № 45. С. 20–21. Подпись: Орион.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 484–485).

Печатается по тексту первой публикации.

Ясинский Иероним Иеронимович (1850–1831) — см. коммент. к с. 946. См. также рецензию Розанова на его роман «Нежеланные дети» (*НВип*. 1898. 7 янв.) в наст. томе на с. 506.

«*Ежемесячные Сочинения*» — журнал И. И. Ясинского; выходил в Петербурге в 1900–1903 гг. Под сходным названием («Ежемесячные Сочинения, к Пользе и Увеселению Служащие») в 1755–1764 гг. в Петербурге выходил журнал Академии наук под ред. Г. Ф. Миллера (в 1758–1762 гг. назывался «Сочинения и Переводы, к Пользе и Увеселению Служащие», с 1763 г. — «Ежемесячные Сочинения и Известия о Ученых Делах»).

С. 724. ...описания мореплавания знаменитого Беринга — имеется в виду сочинение академика Г. Ф. Миллера, первого историографа плавания В. Беринга: *Миллер Г. Ф.* Описание морских путешествий по Ледовитому и Восточному морю, с Российской стороны учиненных // Сочинения и Переводы, к Пользе и Увеселению Служащие. СПб., 1758. Т. 1–2.

М. Чунос — псевдоним И. И. Ясинского.

«*умное делание*» — аскетический термин, означающий практику непрестанной молитвы.

А. ЛЕЙРИЦ. ПРОТИВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

(с. 724)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из журнала *НВип* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 42.

Впервые напечатано: *НВип*. 1900. 21 июня. № 8733. С. 11.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 485–486).

Печатается по тексту первой публикации.

Лейриц Арман — французский педагог и литератор конца XIX — первой трети XX в., преподаватель зоологии и географии, автор учебных пособий.

НОВАЯ РАБОТА О ТОЛСТОМ И ДОСТОЕВСКОМ

(с. 725)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 188. Л. 2–6; гранки, неполный экземпляр. Л. 7. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: *НВ*. 1900. 24 июня. № 8736.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 487–494).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 726. *Да, водевиль есть вещь, а прогее все гиль...* — А. С. Грибоедов. Горе от ума. IV, 6. Считается, что эта фраза была заимствована драматургом у водевилиста первой четверти XIX в. А. И. Писарева.

С. 727. «Я — полон ризами ~ Поговорю — и станет легче мне» — слова Елиуя, сына Варахиилова, Вузитянина (ср.: Иов 32, 18—20).

«Гр. Л. Н. Толстой и его последние произведения» — Громека М. С. Последние произведения графа Л. Н. Толстого. Критический этюд. М., 1884 (обл.: 1885). 6-е изд.: М., 1914. Заглавие с 5-го изд. (1893): О Л. Н. Толстом: Крит. этюд по поводу романа «Анна Каренина». При выходе 1-го издания автору исполнилось 32 года.

...статьи о Достоевском Добролюбова и Писарева — речь идет о статьях Н. А. Добролюбова «Забитые люди» (1861) о романе Достоевского «Униженные и оскорбленные» и Д. И. Писарева «Борьба за жизнь» о романе «Преступление и наказание» (1867).

«Жестокий талант» — статья Н. К. Михайловского в «Отечественных Записках» (1882. № 9, 10).

Скабичевский и Протопопов ~ положили по самому увесистому бульжнику — Скабичевский А. М. Граф Л. Н. Толстой как художник и мыслитель. Критические очерки и заметки. СПб., 1887. Имеются в виду также статьи о Толстом М. А. Протопопова в его сборнике «Литературно-критические характеристики» (СПб., 1896; 2-е изд.: СПб., 1898). Кроме того, речь идет о статьях А. М. Скабичевского из цикла «Мысли по поводу текущей литературы»: «О г. Достоевском вообще и о романе его „Подросток“», «„Кроткая“, фантастический рассказ г-на Достоевского» и посвященных «Дневнику писателя» (все 1876) и об очерке М. А. Протопопова «Проповедник нового слова» (1880).

С. 728. «Человек есть мера вещей» — слова древнегреческого философа Протагора (ок. 490—420 до н. э.), приведенные Платоном в диалоге «Тэтет», 160d.

...«человек есть микрокосм, похожий на макрокосм» — определяли в средние века — особенно рельефно эта мысль выражена в трактате «О сокровенной философии» («De occulta philosophia libri», 1531—1533) немецкого мистика Агриппы Неттесгеймского: «...человек, как совершенное подобие Божие, является прекраснейшим из всех Божиих творений, поэтому он есть микрокосм и заключает в себе все числа, меры, веса, движения и элементы. На этом основании древние обозначали числа пальцами, а во всех частях тела человека находили все числа, меры, пропорции и гармонии. Руководясь пропорциями человеческого тела, они строили все храмы, дома, театры, даже корабли, машины и другие всякого рода искусственные сооружения, а также и все их части. Так, Ной был научен Богом построить ковчег согласно мере человеческого тела. По этой причине мир называется „великим миром... макрокосмом...“, а человек — „малым миром... микрокосмом...“» (цит. по: Флоренский П. А., свящ. Соч.: В 4 т. М., 2000. Т. 3 (1). С. 446).

С. 729. «Враги человеку домашние его» — Мф 10, 36.

«Влас» — стихотворение Н. А. Некрасова (1855).

«Когда это молодое вино перебродит, выйдет напиток, достойных богов» — суждение И. С. Тургенева о Л. Н. Толстом из его письма к А. В. Дружинину от 5 декабря 1856 г.

...обращается к нему с известным письмом — письмо И. С. Тургенева к Л. Н. Толстому от 11 июля (29 июня) 1883 г. из Буживаля.

«Я этого человека презираю» — письмо Л. Толстого А. Фету 28 мая 1861 г. Приведем контекст процитированной фразы: «Желаю вам всего лучшего в отношении с этим человеком, но я его презираю, я ему написал и тем прекратил все сношения, исключая, ежели он захочет, удовлетворения».

«Я гувствовал, — признавался Тургенев...» — Пересказывается признание Тургенева из его письма к гр. Е. Е. Ламберт от 7 (19) июня 1861 г.: «Я его всячески избегал — но он, не переставая меня ненавидеть, все меня отыскивал и старался сближаться со мною». Предыдущие и последующие цитаты взяты Розановым из пятой главы первой части книги Мережковского «Л. Толстой и Достоевский».

С. 730. «Мнение человека, которого я не люблю...» — из письма Л. Толстого А. Фету 23 января 1865 г.

Разве мог ты хоть на секунду допустить... — приведена фраза Тургенева из его разговора с Я. П. Полонским, воспроизведенного в мемуарах последнего «И. С. Тургенев у себя в его последний приезд на родину (Из воспоминаний)» (1884). Ср.: И. С. Тургенев в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1983. Т. 2. С. 399, 400.

...«*никому не надо рождать*» — Подразумеваются суждения, высказанные Л. Толстым в повести «Крейцерова соната» и Послесловии к ней.

«*Я его считал моим другом...*» — из письма Л. Толстого Н. Н. Страхову 5–10 февраля 1881 г.

С. 731. «*Никогда мне в голову не приходило...*» — Там же.

...*галилейские семена* — подразумевается христианское учение (Иисус родом из Галилеи).

Святогор — былинный богатырь, живущий на высоких Святых горах; огромный великан, которого с трудом носит мать-сыра земля.

СУДЬБЫ НАШЕГО ЖУРНАЛЬНОГО КОНСЕРВАТИЗМА

(с. 732)

Автограф неизвестен.

Вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 63–64.

Впервые напечатано: *НВ*. 1900. 30 июня. № 8742.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 495–504).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 732. «*Русский Вестник*» ~ *перешел в руки к некоему г. А. Филиппову* — На деле с октября 1896 г. по февраль 1902 г. издателем журнала был М. М. Катков.

«*Русское Обозрение*» *тоже прекратило свое существование* — После августа 1898 г. издание журнала прекратилось и в 1901 и 1903 гг. вышло по одному номеру под редакцией А. Ф. Филиппова (т-во И. Д. Сытина).

...*скупиц «мертвых душ»* — Чичиков, герой поэмы Н. В. Гоголя.

Прибежали в избу дети... — А. С. Пушкин. Утопленник (1828). По одной из версий, под мертвецом могут подразумеваться не похороненные по православному обычаю казненные декабристы, хотя Розанов по-иному обыгрывает образ мертвеца.

С. 733. «*Умер великий Пан*» — По рассказу Плутарха («Об оракулах», 17), когда торговое судно проплывало мимо греческого острова Паксос, с берега раздался голос, что великий Пан (бог, покровитель природы) умер. Ранние христианские писатели считали, что смерть Пана означает конец язычества (произошло это при императоре Тиберии, который правил в 14–37 гг.). Выражение употребляется для обозначения конца исторического периода.

...*пять фунтов Кареева* ~ *по философии истории* — Кареев Н. Основные вопросы философии истории. М., 1883–1890. Т. 1–3.

«*Русский Вестник*» *я знал в редакторство Ф. Н. Берга* — Розанов имеет в виду свое сотрудничество с этим журналом в 1887–1894 гг.

С. 734. ...*картины Бакаловича* ~ *Из язгытской жизни* — Представитель академизма художник С. В. Бакалович с 1883 г. жил в Риме, целиком сосредоточившись на античной, особенно помпейской, теме.

«*В тихой пристани*» *Данилова* — Розанову принадлежит рецензия на эту повесть И. А. Данилова (псевдоним Ольги Фрибес) (*НВип.* 1899. 10 марта; см. в наст. томе, на с. 526–527).

С. 735. ...*аренда* ~ *перешла к Товариществу Общественной пользы* — Товарищество арендовало «Русский Вестник» с октября 1894 г. по сентябрь 1896 г.

С. 736. *...который-то из Катковых* — племянник публициста Михаил Мефодиевич Катков. См. также коммент. к с. 732.

С. 737. *...два Леонтьева, потише и попрытке* — однофамильцы Павел Михайлович и Константин Николаевич Леонтьевы.

...о последнем и самом продолжительном редакторе — речь идет об А. А. Александрове, редактировавшем «Русское Обозрение» в 1892—1898 гг.

С. 738. *«Записки» Кохановской* — «Автобиография» Н. С. Кохановской была написана в 1847—1848 гг. и опубликована в «Русском Обозрении» (1896. № 6—12; отд. изд.: М., 1896).

...одна газета «потеряла редактора и приобрела другого редактора» — имеются в виду «Московские Ведомости» и его редакторы-издатели С. А. Петровский (1887—1896) и В. А. Грингмут (1896—1907).

...консервативного знаменитого публициста — подразумевается М. Н. Катков.

«До меня был дурак...» — речь идет о С. А. Петровском.

С. 740. *...«на реках Вавилонских»* — Пс 136 («При реках Вавилонских сидели мы и плакали»).

ОГНЯН СЛАВКОВИЧ. БОРЬБА СЕРБСКОГО НАРОДА С ЗЛЫМ ГЕНИЕМ И ЕГО КЛЕВРЕТАМИ

(с. 740)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 116. Л. 97.

Впервые напечатано: *НВ*. 1900. 5 июля. № 8747.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 504—505).

Печатается по тексту первой публикации.

Славкович Огнян — псевдоним богослова и публициста Светозара Стефановича Радовановича, участника Религиозно-философских собраний; знаком с Розановым с 1898 г. В заглавии статьи сказано, что Славкович — «шумадийский серб — воспитанник России».

С. 741. *...приключения Милана, «злого гения» сербского народа...* — Милан Обренович, сербский князь (1868—1882), в 1882—1889 гг. король Сербии, проводил авантюристическую внешнюю политику. После русско-турецкой войны 1877—1878 гг., одним из результатов которой было утверждение независимости Сербии, занял австрофильскую позицию.

...после отречения — 6 марта 1889 г. Милан отрекся от престола в пользу своего 13-летнего сына Александра, регентами к которому назначил Й. Ристича, К. Протича и Й. Беллимарковича.

КОЕ-ЧТО НОВОЕ О ПУШКИНЕ

(с. 742)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из *НВ* с записями и пометами карандашом: «№ 83.» (порядковый номер статьи в несохранившемся списке произведений), «1900. 21/VII.» (дата публикации), а также отчеркиванием на полях отдельных мест текста — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 191. Л. 20.

Впервые напечатано: *НВ*. 1900. 21 июля. № 8763.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 57—64).

Печатается по тексту первой публикации (с исправлением: «Альбер» вместо «Альберт» по тексту Пушкина).

Отклик на статью И. Л. Щеглова «Нескромные догадки (По поводу „Каменного гостя“ Пушкина)» (ТПГ. 1899. 9 июля) (см.: *Щеглов И.* Новое о Пушкине. СПб., 1902).

П. П. Перцов откликнулся на эту статью в письме к Розанову от 12 сентября (30 августа) 1900 г. из Парижа: «Одно было у Вас неладно (и очень) — фельетон о Пушкине. Т. е. собственно повторение щегловской благоглупости о Баратынском. Ведь вывез же человек, в погоне за психологическими „подкладками“. Ну, ему Бог простит — что с него возьмешь? На то он и Щеглов. А Вы-то к<ак> так попались? Фатальная это Ваша черта — пристрастие к разным доморощенным гениям вроде Щеглова и других многих. Это до добра не доведет. Нужно не иметь понятия о Баратынском, чтобы самого благородного между нашими поэтами (его письма производят в этом отношении очень характерное впечатление — куда они психологически изящнее и чище пушкинских) зачислить вдруг в Сальери! Ведь вывезли — можно сказать. Да спросите людей компетентных в деле — все Вам в один голос скажут, что Б<аратынский> к<ак> лирик выше Пушкина. Чего же было ему так завидовать? Он сам себя не мог не знать. — Очень, очень досадна эта промашка с Вашей стороны. Мне сейчас по прочтении просто хотелось где-либо печатно „протестовать“. И главное, кто знает Б<аратынский>ого, не переменит о нем мнения, а невыгода падает на автора» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 82. Л. 1 об. — 2).

С. 742. *После двух памятных торжеств...* — см. коммент. к с. 659.

«Венецианский купец» — драма У. Шекспира (ок. 1596).

Иль рыцарского слова... — А. С. Пушкин. Скупой рыцарь (1830). I.

С. 743. *Янкель* — персонаж повести Гоголя «Тарас Бульба» (1835—1842).

С. 744. *...на того сатира, о котором говорит, устами Алкивиада, Платон* — В «Пире» Платона Алкивиад говорит: «Более всего, по-моему, он похож на тех силенов, какие бьют в мастерских ваятелей и которых художники изображают с какой-нибудь дудкой или флейтой в руках. Если раскрыть такого силену, то внутри у него оказываются изваяния богов. Так вот, Сократ похож, по-моему, на сатира Марсия» (*Платон.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1993. Т. 2. С. 126).

В еврейской хижине лампада... — одноименное стихотворение Пушкина (1826; опубл. 1857).

Что хотел рассказать Пушкин, — неизвестно — Считается, что этот отрывок — начало неосуществленного замысла на тему «Вечно жид», о котором Пушкин говорил на вечеру у критика Кс. А. Полевого 19 февраля 1827 г. Фр. Малевский записал в своем дневнике этот разговор: «В хижине еврея умирает дитя. Среди плача человек говорит матери: „Не плачь. Не смерть, а жизнь ужасна. Я странствующий жид. Я видел Иисуса, несущего крест, и издевался“. При нем умирает двадцатилетний старец. Это на него произвело большее впечатление, чем падение Римской империи» (Пушкин в Дневнике Франтишка Малевского / Публ. Т. Цявловской // ЛН. М., 1952. Т. 58. С. 266).

С. 745. *...сцену ~ между Пушкиным-сыном и Пушкиным-отцом* — В письме В. А. Жуковскому 31 октября 1824 г. Пушкин писал: «Отец мой, воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я его бил, хотел бить, замахнулся, мог побить...».

С. 746. *А завтра же до короля дойдет...* — Здесь и далее цитируется «Каменный гость» Пушкина (1830). I.

Одно меня сокрушает — человек мой... — из письма Пушкина к жене от 19 сентября 1833 г.

«Важное открытие: Ипполит говорит по-французски» — из письма Пушкина к жене от 25 сентября 1832 г.

С. 746. «Татевский сборник» — см. коммент. к с. 617. В сборнике речь идет о письме Е. А. Баратынского 1832 г. Розанов написал рецензию на «Татевский сборник» (см. в наст. томе на с. 617).

С. 747. *Если бы все, что есть в «Онегине»...* — речь идет о письме Е. А. Баратынского к И. Киреевскому от начала марта 1832 г. из Казани, напечатанном в «Татевском сборнике» (СПб., 1899. С. 41–42).

...подражания народным песням Дельвига выше народных сказок Пушкина — Прочитав пушкинскую «Сказку о царе Салтане», Е. А. Баратынский писал в июне 1832 г. И. В. Киреевскому: «Как далеко от этого подражания русским сказкам до подражания русским песням Дельвига! Одним словом, меня сказка Пушкина вовсе не удовлетворила».

...одновременно появившаяся историческая трагедия Хомякова — речь идет о трагедии А. С. Хомякова «Ермак» (поставлена в 1827 г., опубликована в 1833 г.). 12 и 13 октября 1826 г. в два смежных вечера в доме Д. В. Веневитинова москвичи выслушали чтение «Бориса Годунова» Пушкина (написан в 1825 г., опубликован в 1831 г.), а затем, по настоянию Пушкина, состоялось чтение «Ермака» Хомякова.

...сравнивая его поэтическую деятельность даже с государственною деятельностью Петра Великого — В письме к Пушкину в декабре 1825 г. Е. А. Баратынский писал: «Возведи русскую поэзию на ту степень между поэзиями всех народов, на которую Петр Великий возвел Россию между державами. Соверши один, что он совершил один; а наше дело — признательность и удивление».

Отверг я рано праздные забавы... — А. С. Пушкин. Моцарт и Сальери. Ст. 1.

С. 748. *Я не отказываюсь писать...* — из письма Баратынского к И. В. Киреевскому от ноября 1831 г. (Татевский сборник. С. 26).

Не ослеплен я музою моею... — Е. А. Баратынский. Муза (1829).

И я, в безвестности, для жизни жизнь любя... — Е. А. Баратынский. Финляндия (1820). Цитируется с неточностями.

О сгастии с младенчества тоскую... — Е. А. Баратынский. Истина (1823).

ПАМЯТИ ВЛ. СОЛОВЬЁВА

(с. 749)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из журнала *МИ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 193. Л. 28–29.

Впервые напечатано: *МИ*. 1900. Т. 4. № 15/16 <авг.>. С. 33–36.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 4 (с. 64–68).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 749. «*Схема развития славянофильства*» — неопубликованная статья Розанова; впервые напечатана в наст. томе (конец 1898 г.; см. с. 520–521).

С. 750. *Сон фараона* — Сон про семь коров тучных и семь коров худых, которые вышли из реки и съели тучных коров, означал, по толкованию Иосифа Прекрасного, семь урожайных лет, за которым последуют семь лет голода (см.: Быт 41, 1–4, 17–21, 26–27).

«*На смерть друзей*» — речь идет прежде всего о стихотворениях «Отшедшим» (1895), «На смерть А. Н. Майкова» и «Памяти А. А. Фета» (оба — 1897) и «На смерть Я. П. Полонского» (1898).

Тихо удаляются старгеские тени — В. С. Соловьёв. На смерть А. Н. Майкова (1897).

С. 751. *Прав тысячу раз Тютчев...* — Ф. И. Тютчев. Silentium (1833).

Одна, над белою землею... — В. С. Соловьёв. Око вечности («Одна, одна над белою землею...»; 1897).

Едва покинул я житейское волнение... — В. С. Соловьёв. Отшедшим (1895).

С. 752. «Судьба Пушкина» — см. коммент. к с. 670. Розанов подверг эту статью Вл. Соловьёва критике в статье «Христианство пассивно или активно?» (*НВ*. 1897. 8 окт.), вошедшей в книгу «Религия и культура» (СПб., 1899).

...*двое Трубецких* — религиозные философы, братья князя С. Н. и Е. Н. Трубецкие.

С. 753. «Вы падаете на оба колена», — *упрекал пророк геловеков* — 3 Цар 18, 21 («И подошел Илия ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать на оба колена? если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, то ему последуйте»).

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

<Д. С. Мережковский>

(с. 753)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *МИ*. Хроника. 1900. № 15/16 <август>. С. 64.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 516—517).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 753—754. Этот «прозрачный звук» ~ «улыбка, слышащаяся в ногном разговоре»... — Эти примеры из «Войны и мира» Л. Толстого Мережковский приводит в гл. I (ч. II) своего исследования.

С. 754. *Читаю ~ о «душевном геловеке» — как стихии Толстого* — см.: «Л. Толстой есть величайший изобразитель этого не телесного и не духовного, а именно телесно-духовного — „душевного человека“, той стороны плоти, которая обращена к духу, и той стороны духа, которая обращена к плоти — таинственной области, где совершается борьба между Зверем и Богом в человеке: это ведь и есть борьба и трагедия всей его собственной жизни, он ведь и сам по преимуществу человек „душевный“, ни язычник, ни христианин до конца, а вечно воскресающий, обращающийся и не могущий воскреснуть и обратиться в христианство, полуязычник, полухристианин» (Ч. II, гл. I).

...*о запахах, тонких и томительных, веков и каждого века* — см.: «Мы только знаем, что у каждого века есть свой особенный воздух, единственный, нигде и никогда не повторяющийся запах, как у каждого цветка и у каждого человека» (Ч. II, гл. II).

...*о тупости Толстого к «вещам», которые у геловека и вокруг геловека* — см.: «Так называемые „вещи“, смиренные и безмолвные спутники человеческой жизни, неодошественные, но легко одушевления, отражающие образ человеческого, у Л. Толстого не живут, не действуют» (Там же).

...*о непостижимости для Толстого «сумеречно-звездного»* — см.: «В отношении Л. Толстого к природе так же, как во всем его столь многоцветном, многозвучном гении — ничего призрачного, сумеречно-звездного, мерцающего, подобного лермонтовским „таинственным сагам“» (Там же).

ЕЩЕ О ВЛ. СЕРГ. СОЛОВЬЁВЕ

(с. 754)

Автограф неизвестен.

Сохранились: 1) газетная вырезка из *НВ*; с авторскими записями: перед текстом — «1900.» (простым карандашом), «№ 106.» (чернилами, запись из авторского списка, не сохранившегося, произведений), «20/VIII» (простым карандашом); после текста — простым карандашом «20/VIII 1900»; на оборотной стороне вырезки — также авторская запись «Вл. Соловьёв. 1900; 20/VIII.»; в тексте газетной вырезки простым карандашом исправлены опечатки — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 193. Л. 16; 2) газетная вырезка из *НВ*; без помет — Там же. Л. 38.

Впервые напечатано: *НВ*. 1900. 20 авг. № 8793.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 521—528).

Печатается по тексту первой публикации с исправлением опечаток, отмеченных автором в тексте газетной вырезки по смыслу:

С. 755. 12 всех действительных качеств / все действительных качеств

С. 756. 17—18; С. 757. 9, 45 vates / votes»

С. 758. 23 в круге / в круг»

С. 760. 27 Бог «„к душе бе“» / «Бог «„к душе бы“»

С. 755. *Гелиографическим способом* — посредством световых вспышек. Гелиограф — устройство для передачи информации на расстояние (свыше 50 км) с помощью закрепленного в рамке зеркала, наклонами которого производится сигнализация серийной вспышек солнечного света (чаще азбукой Морзе).

«*Скованный Прометей*» — название известной трагедии Эсхила (444—443 до н. э.) в переводе «последней сцены» из нее М. Л. Михайловым (1863), а за ним Д. С. Мережковским (1902). (В других переводах: «Прометей прикованный», «Прометей в цепях».)

...в подписях на них — 7 февраля 1897 г. Соловьёв подарил Розанову свою книгу «Оправдание добра» с надписью: «Дорогому Василию Васильевичу Розанову, чудному, а нередко и чудному писателю от некогда его ненавидевшего, а ныне только редко видящего, но искренне любящего Владимира Соловьёва» (*ГЛМ*). Розанов подарил Соловьёву свою книгу «О понимании» с надписью о знаках Царства Божьего.

«*Странный человек*» (1831) — ранняя драма М. Ю. Лермонтова.

С. 756. «*пророк неведомого Бога*» — отсылка к новозаветному эпизоду: «И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано „неведомому Богу“. Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам» (Деян 17: 22—23).

«огненного языка» — см. коммент. к с. 616.

С. 757. «*Философическим письмом*» поклонника Жозефа-де Местра — Отношение Розанова к Чаадаеву как автору «Философического письма» выражено в «Открытом письме к г. Алексею Веселовскому» (*РО*. 1895. № 12; см. в наст. томе, на с. 373—379). П. Я. Чаадаев нередко обращался к творчеству французского философа и писателя Жозефа де Местра в своих размышлениях и афоризмах.

...внук русского священника — Дед Вл. Соловьёва, протоиерей Михаил Васильевич Соловьёв, был законоучителем Московского коммерческого училища.

С. 758. «*Священная летопись народов*» — см. примеч. к с. 628.

...Валуевым в его известном сборнике — речь идет о книге: *Валуев П. А.* Сборник кратких благоговейных чтений на все дни года. СПб., 1884.

...г. Смоленский ~ управляющий хором и училищем московского митрополитъего хора — С. В. Смоленский занимал эти должности в 1889—1901 гг., а затем, вплоть до 1903 г., был управляющим Придворной певческой капеллой в Петербурге.

С. 759. «*Критика отвлеженных нагал*» — см. коммент. к с. 664.

С. 760. ...в Библии дивный рассказ — Быт 32, 24—29.

«*раннею ластогкою*» — Позднее, в статье «Новые вкусы в философии» (1905), точно такое же уподобление «ранней ласточке» Розанов применяет, и характеризует Фр. Ницше: «И „сумасшедший“ Нитше, до такой невероятной степени овладевший настроением целой Европы, был своими афоризмами-мечтами, „афористическою“ тоскою, афоризмами, „предвещаниями“ и „пророчествами“ только ранней, очень раннею ластогкою, пришедшею „другое время года“ нашей цивилизации» (*ВДЯ*. С. 342).

Г. Т. СЕВЕРЦОВ (ПОЛИЛОВ). АККОРДЫ БЫТИЯ

Очерки и рассказы

(с. 760)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из журнала *НВип* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 29.

Впервые напечатано: *НВип*. 1900. 23 авг. № 8796. С. 11. Подпись: В. Р-въ.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 528—530).

Печатается по тексту первой публикации.

Северцов — псевдоним писателя Георгия Тихоновича Полилова (1859—1915).

С. 761. *Хота* — парный испанский национальный танец.

СПОР НЕ БЕЗ ИДЕИ

(с. 762)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* и гранки (см. *Варианты*) — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 159. Л. 50—57.

Впервые напечатано: *НВ*. 1900. 3 сент. № 8807. Подпись: Ибис.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 531—539).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 764. *выдающихся мужей* — отсылка к названию одного из знаменитых латинских сочинений, как-то: «*Vitae viroꝝ illustrium*» (1337) Франческо Петрарки, объединившего биографии знаменитых римлян; «*De casibus viroꝝ et feminarum illustrium*» (ок. 1360) Дж. Боккаччо, собравшего исторические анекдоты о приключениях известных людей.

темных мужей и жен — подразумевается название сатирической книги «*Письма темных людей*» («*Epistolae obscurorum viroꝝ*», 1515—1517), анонимно изданной Ульрихом фон Гутеном и рядом других немецких гуманистов.

«*Я задыхался от скуки, гитая роман*» — В письме к П. В. Анненкову от 21 февраля 1869 г. И. С. Тургенев сообщал: «Ну, батюшка, читаю я продолжение „Обрыва“, и волосы у меня вылезают от скуки. Эдаких дьявольски-нестерпимых разговоров я что-то ни в одной литературе не запомню» (РО. 1894. № 3. С. 22).

«*Это изображение больничной вони*» — В письме к М. Е. Салтыкову от 25 ноября 1875 г. после прочтения романа Достоевского «*Подросток*» (Отечественные Записки. 1875. № 1—12) И. С. Тургенев писал: «Получив последнюю (ноябрьскую) книжку „Отечественных Записок“ — я заглянул было в этот хаос: Боже, что за кислятина, и больничная вонь, и никому не нужное бормотанье, и психологическое ковырянье!» (впервые напечатано в «Первом собрании писем. 1840—1883» Тургенева. СПб., 1884).

С. 765. *...экспериментальный роман ~ только Зола* — отсылка к статье Э. Золя «*Экспериментальный роман*» (1880). В России ее вариант увидел свет годом раньше — в составе цикла Золя «*Парижские письма*» (Вестник Европы. 1879. № 9).

С. 766. *Улитка выделяет пурпур* — имеются в виду некоторые виды морских брюхоногих моллюсков — иглянок.

«*Вот — геловек, который побывал в аду*» — Дж. Боккаччо. Жизнь Данте (1352, 3-я ред. — до 1372; рус. пер.: М., 1898). См.: *Боккаччио Дж.* Малые произведения. Л., 1975. С. 547.

С. 768. *...влагаю персты, как неверующий Фома* — Ин 20, 25, 28.

ИЗ ЖИТЕЙСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ

(с. 769)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 162. Л. 1—2.Впервые напечатано: *НВ*. 1900. 19 сент. № 8823. Подпись: Ибис.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 544—556).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 770. *Портерная* — лавка, где продавался и распивался портер (темное пиво с характерным винным привкусом).

С. 771. *Первый ученик нашего класса Б-кий* — Николай Барановский, товарищ Розанова по Нижегородской гимназии. В 1886 г. Розанов послал ему свою первую книгу «О понимании».

С. 775. «*Энциклопедия права*» — Р. Моль. Encyclopädie der Staatswissenschaften (1857, 1872), рус. пер. под названием «Энциклопедия государственных наук»: СПб.; М., 1868 (обл.: 1867).

С. 776. *Ария Зибеля. Из «Фауста»* — см. коммент. к с. 627.

С. 779. «*Corpus civilis*» — см. коммент. к с. 566.

С тех пор, как встретился с тобою ~ Камама тут! — Перепев цыганского романса Н. В. Зубова «Камама тут» («Люблю тебя»). Первый куплет приведенного Розановым текста процитирован в повести И. Ф. Романова (Рцы) «Роман будущего» как стихи, сочиненные его героем чиновником Иваном Семеновичем (автобиографический образ) в студенческие годы (см.: Гражданин. 1893. 22 июня. № 169. С. 4; псевд. Александр Фосфоритов).

...книжка Гая. Открыт четвертый «Институт»... — имеется в виду античный учебник для юристов «Институции» Гая (II в.). В 1887—1892 гг. в России вышло четыре его издания в разных переводах.

С. Ф. ГОДЛЕВСКИЙ. СМЕРТЬ НЕВОЛИНА
И ЕГО СКИТАНИЯ ПО СИБИРИ

(с. 780)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из журнала *НВип* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 62, 62 об., 63.

Впервые напечатано: *НВип*. 1900. 22 нояб. № 8887. С. 9—11. На с. 10 журнала текст сопровождают три иллюстрации (две фотографии и рисунок) с подписями: 1. Жизнь на русских окраинах. — Гулянье в пользу общества Красного Креста, устроенное 27-го августа в гор. Дальнем. 2. Китайские типы. — «С покупками домой!». 3. Китайские типы. — Студент китайской миссии. (Набросок с натуры полковника Величко).

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 568—570).

Печатается по тексту первой публикации.

Годлевский Сигизмунд Фердинандович (1855—1917) — прозаик, публицист.

С. 780. *несколько этюдов знаменитым мыслителям Англии, Германии и Франции и некоторым ~ русским* — *Годлевский* С. 1) Литературная оргия: Впечатления, наблюдения и размышления русского читателя СПб., 1880; 2) Основы современного развития: Очерк умственных стремлений XIX в. СПб., 1893; 3) Ренан как человек и писатель: Критико-биографический этюд. СПб., 1895.

«Дневник лишнего человека» (1850), «Гамлет Щигровского уезда» (1849; «Записки охотника») — рассказы И. С. Тургенева.

С. 782. «...умереть — значит вернуться к подлинной действительности» — Платон Федон (четыре доказательства бессмертия души).

ИНТЕРЕСНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ

(с. 782)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 215. Л. 42.

Впервые напечатано: *НВ*. 1900. 29 дек. № 8922. Б. п.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 27 (с. 570—572).

Печатается по тексту первой публикации.

С. 783. «Князь В. Ф. Одоевский и Д. В. Венивитинов» — под таким названием вышло 3-е изд. (СПб., 1901) книги А. П. Пятковского «Князь В. Ф. Одоевский. Литературно-биографический очерк в связи с личными воспоминаниями» (СПб., 1880).

...мы высказывали в прошлом году — имеется в виду статья Розанова «Печатное слово в России» (*НВ*. 1899. 9 мая).

...неурожайные годы последнего десятилетия — прежде всего речь идет о голоде, охватившем осенью 1891 г. — летом 1892 г. основную часть Черноземья и Среднего Поволжья.

С. 784. ...по соглашению четырех министров — Согласно Высочайшему положению Комитета министров «О временных мерах относительно периодической печати» (27 августа 1882 г.), вопрос о прекращении периодических изданий предоставлялся Совету четырех министров: внутренних дел, юстиции, обер-прокурору Св. Синода и начальнику ведомства, возбудившего вопрос.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО

(с. 784)

Сохранилась беловая рукопись чернилами — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 211. Л. 161. Б. д. Сверху сокращенная надпись карандашом: философ.

Начало неосуществленного замысла; текст может быть сопоставлен со статьей Розанова «Умственные течения в России за 25 лет» (*НВ*. 1900. 21 марта).

Печатается впервые по тексту рукописи.

С. 784. «...дыхание жизнью...» — Быт 2, 7.

С. 785. «Вопросы Философии и Психологии» — см. коммент. к с. 470.

...в лице покойного Н. Я. Грота — Редактор журнала «Вопросы Философии и Психологии», в котором Розанов сотрудничал в 1890—1892 гг., скончался 23 мая 1899 г. Очевидно, настоящая статья написана Розановым вскоре после этого.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ЛЕТ

(с. 789)

Неопубликованный автограф: РГБ. Ф. 249. Кор. 6. Ед. хр. 18. Л. 1—23.

Стихотворения были вложены в тетрадную обложку с записью В. В. Розанова, датированной последним годом жизни писателя: «Студенческие стихи мои. 1918» (Там же.

Л. 1). Ряд стихотворений Розанов предполагал напечатать вскоре после их написания, о чем свидетельствует фрагмент его неоконченного письма в редакцию одного из журналов: «Милостивый государь, Господин Редактор! Посылаю Вам два стихотворения, которые покорнейше прошу Вас поместить на страницах Вашего уважаемого журнала в том случае, если Вы найдете их годными. Я желаю, чтобы они были напечатаны без подписи. Если эти покажутся Вам удовлетворительными» (Там же. Л. 11).

Печатается впервые по рукописи.

С. 789. *Так проходит мирская слава* — см. коммент. к с. 453.

С. 792. *Вечно спокойные, вечно прекрасные* — перепев стиха «Вечно холодные, вечно свободные...» (М. Ю. Лермонтов. Тучи. 1840).

С. 798. *Пегально я гляжу на наше поколение* — см. коммент. к с. 550.

ВАРИАНТЫ

ЕЩЕ О ГР. Л. Н. ТОЛСТОМ И ЕГО УЧЕНИИ О НЕСОПРОТИВЛЕНИИ ЗЛУ (1896, окт.)

(с. 825)

С. 826. *Кшатрии* — древнеиндийская каста воинов и царей.

ИЗ МИРА ИДЕЙ И ФАКТОВ

(с. 828)

С. 828. *...в «Левиафане» ~ «Contract sociale»* — см. коммент. к с. 168.

ДВА ВИДА «ПРАВИТЕЛЬСТВА» (1897. 15 июля)

(с. 829)

С. 831. *О люди, жалкий род, достойный слез и смеха* — А. С. Пушкин. Полководец (1835).

Гр. Л. Н. ТОЛСТОЙ

(с. 832)

С. 832. *Вандомская колонна* — воздвигнута в 1810 г. на Вандомской площади Парижа по декрету Наполеона I от 1 января 1806 г. в память побед, одержанных им в кампании 1805 г.

И. А. ДАНИЛОВ. В ТИХОЙ ПРИСТАНИ. — В МОРОЗНУЮ НОЧЬ. — ПОЕЗДКА НА БОГОМОЛЬЕ (1899. 10 марта)

(с. 834)

С. 834. *...Шперком, в одном из его обзоров* — речь идет о статье Ф. Э. Шперка «Женская беллетристика» (НВ. 1896. 6 сент. № 7373) с подписью: Оръ.

С. 835. *«смоковницы, не давшей плода»* — см. коммент. к с. 527.

Н. П. ГИЛЯРОВ-ПЛАТОНОВ.
СБОРНИК СОЧИНЕНИЙ (1899. 9 июня)
 (с. 836)

С. 836. ...роллоновой «Древней истории» — имеется в виду «Древняя история» (1730—1738) французского историка Парижского университета Шарля Роллена. Перевод В. К. Тредиаковского в 10 томах опубликован в Петербурге в 1749—1762 гг.

Дж. Льюиса о женском вопросе в переводе г-жи Цебриковой — речь идет о книге Дж. С. Милля «Подчиненность женщины» с предисловием М. Цебриковой и приложением Писем О. Конта к Миллю по женскому вопросу (2-е изд.: СПб., 1870).

«бедные селенья» — Ф. И. Тютчев. «Эти бедные селенья...» (1855).

«кровь аки воду лях и лях» — Первое послание Курбского Ивану Грозному (1564): «Кровь моя, яко вода, пролитая за тя, вопиет на тя ко Господу моему».

А. И. КОСОРОТОВ. ЗАБИТАЯ КАЛИТКА. РАССКАЗ. —
ВАВИЛОНСКОЕ СТОЛПОТВОРЕНИЕ: ИСТОРИЯ ОДНОЙ ГИМНАЗИИ
 (с. 838)

С. 838. ...«Скамья и Кафедра» г. Меланского — Желанский А. Скамья и кафедра: Рассказы из гимназической жизни семидесятых годов. М., 1893. Настоящее имя автора — М. А. Ашкинази.

ТРИ КИТА
 (с. 838)

С. 840. ...ватиканского старца — имеется в виду папа Римский Лев XIII.

ЕЩЕ О СМЕРТИ ПУШКИНА (1900, апр.)
 (с. 841)

С. 843. *Ах — ты пела?!.. Это — дело?! — И. А. Крылов. Стрекоза и Муравей (1808). В алых тугах — пурпур розы...* — ср.: А. А. Фет. «Шопот, робкое дыханье...» (1850).

С. 844. *Любви роскошная звезда* — каватина Горислава из оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила» (1842).

С. 845. *Куда бы ты ни поспешал...* — А. С. Пушкин. Красавица (1832). *Сти, дитя мое родное...* — см. коммент. к с. 674.

С. 847. *«ветхие деньми»* — см. коммент. к с. 679. *...оставить отца и мать* — см. коммент. к с. 262.

С. 848. *«Вот — ты не пожалел для меня...»* — Быт 22, 12; 26, 4. *«И пусть священник возьмет в руки...»* — Исх 26, 33—34; Лев 4, 6; 29, 16, 21 (контаминация).

«обонять кровь» — Быт 8, 21 (вольная цитата).

С. 849. ...первое перо по «внутреннему обозрению» в «Вестнике Европы» — подразумевается либеральный публицист К. К. Арсеньев, который с марта 1880 г. вел в этом журнале отделы «Внутреннее обозрение» и «Общественная хроника».

И. А. Едошина

СТАНОВЛЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ
(«Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского»
В. В. Розанова)

Размышления писателей друг о друге, анализ произведений друг друга давно вошли в историю критики, в немалой степени способствуя формированию ее художественной стороны. Однако совсем не часто можно встретиться с ситуацией, когда жизнь одного писателя каким-то мистическим образом оказывает влияние на жизнь другого, как это случилось с Василием Розановым.

Достоевский вошел в его жизнь еще в гимназические годы, когда Достоевским не увлекались и мало знали. Чтение романа «Преступление и наказание» произвело на будущего писателя сильное впечатление. Поступив в Московский университет, Розанов по-прежнему внимательно, подробно читает Достоевского. Под рукой у него всегда было первое издание собрания сочинений Достоевского в четырех томах (1865–1870), он внимательно следил за творчеством писателя, приобретая новые произведения.

Не без влияния этой увлеченностью текстами и личностью Достоевского в 1881 году Розанов женится на Аполлинии Суловой, бывшей любовнице любимого писателя. Позднее назовет этот брак «из Достоевского». Хотя сама Аполлиния была человеком яркой внешности и не лишенной таланта. Потому разница в возрасте (Розанову ко времени их бракосочетания — 24 года, Суловой — 42 года) не казалась существенной. К сожалению, брак этот не принес им счастья.

В 1888 году в Ельце Розанов встретит «друга», В. Д. Бутягину, тайное венчание с которой в 1891 году последует через полтора месяца после появления на страницах «Русского Вестника» (январь–апрель) работы, принесшей ему известность, — «„Легенды о Великом инквизиторе“ Ф. М. Достоевского». Но писал-то он свою «Легенду...» во время развития их романа, который подарит Розанову дом, семью, хотя не без примеси горечи: Сулова не давала развода, поэтому все дети, рожденные Бутягиной от Розанова, считались незаконнорожденными.

Таким образом, два брака Розанова оказались напрямую связанными с именем Достоевского. Но и творческая жизнь Розанова не проходила без Достоевского. Так, Н. Н. Страхов, который оказал огромное влияние на становление таланта Розанова, способствовал публикации его первых трудов на страницах столичных журналов, был большим поклонником таланта Достоевского и его другом. Как замечает В. А. Фатеев, «по взглядам Страхов был несравненно ближе к Достоевскому, нежели к Толстому, да и, как известно, сам оказал на него определенное влияние» (Фатеев В. А. Жизнеописание Василия Розанова. СПб., 2013. С. 137). Именно Страхов даст Розанову денег для публикации «Легенды...» отдельной книгой, вышедшей в свет в 1894 году.

Отмечаемое многими современниками (Буренин, Михайловский, Богданович, Струве, Иванов-Разумник, Ремизов, Голлербах) «юрродство» Розанова связывается, например В. А. Фатеевым, с воздействием Достоевского («Идиот», «Записки из подполья»): «Розанову, как и героям Достоевского, присуща способность „вмещать всевозможные противоположности“, открыта „возможность разом созерцать обе бездны“. Розанов принципиально отказывался „гармонизировать“ противоречия, которыми полна жизнь» (Фатеев В. А. Жизнеописание Василия Розанова. С. 743–744). В этом признании имманентности противоречий (антиномий) бытию Розанов удивительным образом совпадает с отцом Павлом Флоренским, который видит в антиномиях мужественную совместность «да и нет, в остроте своей утверждаемых», потому «должно быть в вещи нечто, в чем реальность, вся насквозь динамичная, непосредственно раскрывается как смысл, так что символич-

ность и реальность не приставлены другу к другу, а составляют одно живое двуединство» (Флоренский П. А., *свящ.* Собр. соч. Философия культа. М., 2004. С. 103, 279). Думается, что обозначенный антиномизм бытия явился источником так называемой противоречивости Розанова, определив специфику его творчества, где ничто ничему не чуждо. Вот и сам Розанов, как кажется Н. А. Бердяеву, словно зародился в воображении Достоевского. А по свидетельству Вл. Соловьева, Апокалипсис был любимой книгой Достоевского в последние годы жизни. Те же мотивы определили последнюю книгу Розанова, в которой события Октябрьского переворота осмысляются автором как «Апокалипсис нашего времени».

Все приведенные факты свидетельствуют, что Достоевский не был Розанову дальним человеком, сопровождая, кажется, всю жизнь, всегда пребывая в сознании где-то рядом, подчас очень близко. Может быть, отсюда сформируется одна из характерных особенностей стилистики текстов Розанова — «интимность», стремление проживать художественные тексты, примеряя их героев, с одной стороны, к реальному, ныне длящемуся бытию (своему в том числе), а с другой — угадывая через их судьбы будущие последствия происходящих событий. «Интимные» интонации придают авторским наблюдениям органичность. И в жизни он разговаривал, приближая насколько возможно свое лицо к лицу собеседника, словно стремясь «ввинтиться» внутрь другого человека, одновременно «вывернув сердцевину своей глубочайшей интимности» (В. Андерсон).

Розанов называет свои размышления о легенде «Великий инквизитор» «опытом критического комментария». Оставив пока слово «опыт», обращусь к комментариям. Ко времени появления «Легенды...» у Розанова еще не сложился тот особый тип комментирования, классические образцы которого обнаруживаются, например, в «Литературных изгнанниках» 1913 года. Хотя опыт прямого комментирования у него уже был. Во время работы в Елецкой гимназии он и его коллега П. Д. Первов начали переводить «Метафизику» Аристотеля, где все комментарии принадлежали именно Розанову, который предельно конкретен в своем стремлении вникнуть в самую суть Аристотелевой мысли. При условии, что греческий язык он знал недостаточно хорошо, ему нужно было вступить в какие-то особые (мифологические — «трепещем сердцем к миру») отношения со словом, дабы проникнуть в его значение не умом, а чувственно. Ведь именно таким образом древние постигали мир, потому Космос в их представлении был телесным, совокупляющимся и рождающим. «Метафизика» Аристотеля открывала Розанову телесность мироздания, его чувственную основу. Думается, что исходя из опыта комментирования Аристотеля, Розанов обращается к собственным текстам, которые собирает в единую книгу и комментирует. Именно комментарий к самому себе становится ее цементирующим началом, в результате прошлое и настоящее совмещаются, как совмещаются реальность и ее смысл.

Но «Легенда...» — не собрание статей; видимо, потому она именуется автором *критическим опытом* прочтения романа Достоевского. В XIX веке *опытом* было принято называть неоконченные сочинения. Критический опыт полагает изложение того, как его автор понимает прочитанное, то есть речь идет о литературной критике. Розанов в таком качестве выступает впервые, хотя его книга «О понимании» содержит немало критических замечаний о литературе. Но здесь, видимо, иное: Розанов никогда раньше не излагал так подробно своих мыслей о художественном произведении, тем более — своего любимого писателя. Думается, что внутреннюю неуверенность Розанова отражает слово *опыт*, этот «сын ошибок трудных» (А. С. Пушкин).

У всякого талантливого критика тяготение к художественности, особая чуткость ко всему художественному составляют основу собственного стиля. Потому представляется вполне закономерным стремление критиков быть писателями; правда, подчас их художественные тексты обычно оказываются менее интересными, нежели критические работы. Писатель же и в роли критика остается писателем. Потому Розанов никогда не был

критиком в традициях, выработанных Белинским, хотя не избежал влияния этих традиций. Сквозь литературу он будет видеть жизнь, а в жизни — обнаруживать литературные сюжеты. Но вот чего никогда не будет делать Розанов — подгонять жизнь под литературные представления о ней, видеть в литературе «учебник жизни». Более того, Розанову абсолютно чужда типичная для критической мысли в России партийная ангажированность, суть которой еще в 1872 году замечательно представил А. Н. Майков:

О, трепещущая птичка,
Песнь, рожденная в слезах!
Что, неловко, знать, у этих
Умных критиков в руках?
Ты бы им про солнце пела,
А они тебя корят,
Отчего под их органчик
Не выводил ты рулад!

По собственному признанию, Розанов критикой только *занимался*. Позднее, в статье «На книжном и литературном рынке» (1908), задав себе вопрос, что такое критика, он ответит: «Задумчивость над литературой». Но задумчивость над такой литературой, которая содержит в себе грёзу, мысль, вдохновение, то есть все то, что он жаждал найти и в полной мере находил у Достоевского. А еще раньше, частично, — у Страхова: «Чрезвычайная вдумчивость составляет, кажется, главную особенность в умственных дарованиях г. Страхова, и она же сообщает главную прелесть его сочинениям» («О борьбе с Западом в связи с деятельностью одного из славянофилов», 1890). Став известным литератором, Розанов определит Страхова в «тихие писатели, т. е. самые благородные», пояснив: «Они не „режут бумагу“ пером, а будто разрисовывают бумагу тихой кисточкой. Рисунок акварелен и носит специальное изящество акварели, но — явно тут чего-то недостает». Кстати, Страхов выступал и в роли литературного критика. Его перу принадлежат статьи о Ф. М. Достоевском, И. С. Тургеневе, Л. Н. Толстом, А. А. Фете и др.

Ко времени выхода «Легенды...» Розанов уже был автором статьи «Цель человеческой жизни» (ВФП. 1882. Кн. 14, 15), книги «О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания» (написана в 1885 г., напечатана в 1886 г.), брошюры «Место христианства в истории. Речь по поводу 900-летия крещения русского народа на публичном акте Елецкой гимназии 1 октября 1888 г.» (РВ. 1890. № 1, а также отд. изд.), статей «Заметки о важнейших течениях русской философской мысли в связи с нашей переводной литературой по философии» (1888; опубл.: ВФП. 1890. Кн. 3), «Вопрос о происхождении организмов» (РВ. 1889. № 5; ЖМНП. 1889. № 5), «Отречение дарвиниста» (МВ. 1889. 21 окт.), «Красота в природе и ее смысл» (1890; опубл.: РО. 1895. № 10–12), «О борьбе с Западом в связи с литературной деятельностью одного из славянофилов» (ВФП. 1890. № 4). Не будет преувеличением сказать, что весь этот период прошел у Розанова под знаком Страхова.

Но в Розанове, видимо, постепенно уже начинал вызревать писатель, потому ему крайне важен был такой литератор, в творчестве которого философская мысль помещается в яркий, запоминающийся образ. Такого рода образ может создать только «живущий» в читателе писатель, тогда «его музыка никогда не умрет» («Опавшие листья. Короб второй»). И это — Достоевский, к которому он интуитивно тянулся с юных лет. Потому через постижение Достоевского (и Гоголя) Розанов открывал законы существования художественного произведения и одновременно подвергал эти законы критическому осмыслению. Учитывая данное положение, можно обнаружить в «Легенде...» некоторые признаки литературно-критического сочинения. Хотя еще раз повторю, что *сверхзадача располагалась в иной плоскости и была связана со становлением писательского дара Розанова*. Он и здесь ни на кого не похож, ничью судьбу не повторил. У Достоев-

ского Розанов усваивает близкие ему художественные приемы. На некоторые из них указал П. П. Муратов:

Достоевский писал не фразами, но «кусками», страницами, остро укалывая читателя в каждом куске, в каждой странице какою-то пронзительною мыслью, указанной не менее пронзительным словом или «местом». Течение строк в этих кусках и страницах подчинено своеобразнейшему и заразительнейшему ритму. Настолько выразительно, что из этого ритма вышел целый очень значительный писатель, В. В. Розанов. Я глубоко убежден, что В. В. Розанов начал с того, что усвоил словесный ритм Достоевского. Упражнение в этом ритме, разумеется, с глубокой любовью к той внутренней стихии, которая этот ритм породила, воспитало в нем лишь постепенно замечательно-го мыслителя (*Муратов П. П. Ночные мысли. М., 2000. С. 241*).

Муратов весьма убедителен в утверждении, что именно чтение Достоевского сформировало Розанова и как писателя, и как мыслителя. К этому следовало бы добавить, что и будущие «листья» как ритмически организованная структура имеют своим источником в том числе Достоевского. Причем «словесный ритм» организует художественное пространство, сообщая ему динамизм, завершенность внутри страницы, «куска».

Но есть и другие стороны влияния Достоевского на процесс формирования писательского таланта Розанова. Так, «Легенде...» предпослан эпиграф: библейский сюжет об изгнании Адама из Рая. Кажется, Розанов следует за Достоевским: «Бесы» и «Братья Карамазовы» открываются эпиграфами из Библии. В частности, «Братьям Карамазовым» дан эпиграф из Евангелия от Иоанна:

Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода.

В отличие от Достоевского Розанов обращается к Ветхому Завету, словно «возвращается» в более далекие времена (но, как выяснится далее из «Легенды...», речь пойдет о событиях XV и XIX веков, произошедших в Италии и России):

И рече Бог: «Се Адам бысть яко един от Нас, еже разумети доброе и лукавое. И ныне да не когда прострет руку свою, и возмет от древа жизни, и снес, и жив будет во век». И изгна его Господь Бог из Рая сладости — делати землю, от неяже взят бысть (Быт 3, 22—23).

Этот эпиграф, с одной стороны, является условным комментарием к истории семьи Карамазовых (и человечества в целом), а с другой — явно развернут в сторону «Легенды о Великом инквизиторе»: Бог приходит на землю, чтобы предстать перед людьми и увидеть, как они «делают землю». Вопросы исторического христианства, веры и жизни во всей полноте ее бытия (телесно-чувственного в том числе) для Розанова времен написания «Легенды...» давно стали «своими», он много над ними думал и писал, о чем свидетельствуют названные уже работы 1882—1890 годов. Эти раздумья корректировались драматической ситуацией в личной жизни. В контексте «Легенды...» драматизм собственного бытия в сочетании с «интимным» восприятием Достоевского сформировал важную особенность в восприятии литературы Розановым.

В литературной критике Розанова временное пространство всегда подвижно, оно то сужается до сознания одного человека, то расширяется до жизни целого общества, а то и всего мира. В этом контексте с помощью Достоевского Розанов формирует существенные смыслы времени, которые позднее (под влиянием размышлений о времени и пространстве Н. Н. Страхова) получают некоторую корректировку. В частности, Розанову окажутся близкими следующие утверждения Страхова: «Предел времени есть мгновение, не имеющее никакой величины. <...> На бесконечном протяжении времени существует точка (мгновение), разделяющая эту прямую на две части или две бесконечные (в одну сто-

рону) линии. Эта особенная точка, которую можно назвать центром времени, есть *настоящее мгновение*, или, как обыкновенно говорят, *настоящее время*. <...> Между тем, настоящее постоянно порождается будущим и поглощается прошедшим. Оно есть их постоянный предел... Но все существует только в мгновении настоящего» (Страхов Н. Н. О времени, числе и пространстве // РВ. 1897. № 1. С. 73, 77, 78). Думается, именно здесь следует искать основания будущего интереса Розанова к тем «мимолетностям», что сформируют в итоге поэтику его художественных текстов. Зарождалась же эта поэтика в недрах первого опыта литературной критики — в «Легенде о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского».

В начале своих размышлений Розанов обращается к «Портрету» Гоголя, дабы открыть «тайны художественной души»: «Эта жизнь, перешедшая в создание, это тоскливое желание не умереть прежде, чем совершился такой переход, — все это как будто напоминает нам что-то главное в жизни самих художников, поэтов, композиторов. Только воплощаемое и воплощающий здесь разделены, и этим замаскирована скрытая аллегория. Соедините их — и вы получите изображение судьбы и личности всякого великого творческого дарования» (ЛВИ. С. 11; далее цитируется по этому изданию). В результате «в великих произведениях духа <...> создающий увековечивает свою личность со всеми своими особыми чертами, со всеми изгибами своего ума и тайнами своей совести» (12). Мысль эта как будто не нова. Так, например, А. Н. Майков в стихотворении «На смерть М. И. Глинки» (1857) писал:

Я эти звуки повторяю —
 Но песням, милым с давних дней,
 Уже иначе я внимаю...
 Они звучат уже полней...

Как будто в них теперь всецело
 Вошла, для жизни без конца,
 Душа, оставившая тело
 Их бездыханного певца.

Здесь представлен схожий процесс, но нет в нем той мистической тайны, которая есть у Гоголя, которую так остро почувствовал и запомнил Розанов. Если исходить из посыла, что всякое творчество есть тайна присвоения произведением искусства души художника, то, конечно, и постижение этой тайны должно быть адекватным.

В «Братьях Карамазовых» вслед за автором («это будет мой *последний роман*», 13) Розанов видит «завершающее произведение» (18), потому ему в равной степени оказываются важными как история создания романа в ее узловых моментах (композиция, герои, их прототипы, место и роль «Дневника писателя» в процессе работы над романом, посещение Оптиной пустыни), так и проявления того, что «Братья Карамазовы» — «последний» роман Достоевского (типология героев). Однако «Братья Карамазовы» и не роман вовсе: «В нем даже не началось действие: это только пролог к нему» (17). Но пролог столь мощный, что по нему можно судить о грандиозности неосуществленного замысла Достоевского. Здесь сказалась заветная (еще со времен «О понимании») мысль Розанова о части, в которой отражается целое. Опять-таки мысль давняя, идущая еще от времен античности (всё — во всем), потом возрожденная в романтическом мировосприятии и искусстве (фрагмент), в русских летописях. В этот же ряд вписывается отражение мира в осколке бутылочного стекла Чехова — малое в большом, большое в малом. Розанов укажет на эту особенность как одну из главных в понимании искусства, литературы в том числе. Потому все творчество Достоевского (думаю, Розанов не ошибся) может быть снято к «Легенде о Великом инквизиторе». Ведь содержание легенды обращено ко всему человечеству, к самым коренным вопросам его бытия, вернее, к одному вопро-

су — веры. Но рядом стоит вопрос о свободе человека, свободе выбора, которая изначально дана ему Богом. Великий инквизитор, встретившись с Христом, именно в этом видит источник всех бед человечества. Инквизитор дает людям свою веру, но дает ее всем. Эта вера приведет мир к тихому смиренному счастью слабосильных людей, которым всегда будет предоставлен хлеб. Высшим судьей будет Великий инквизитор, он волен казнить и миловать. Его не пугает, что «они ниспровергнут храмы и зальют кровью землю». Встретившись с таким страданием от безверия, Христос целует Великого инквизитора. Так же поступит и Алеша, когда Иван завершит изложение своей «поэмы».

Но Розанов вовсе не спешит обратиться к самой «легенде». Он вновь возвращается к Гоголю, дабы убедить читателей, что «мертвым взглядом посмотрел Гоголь на жизнь и мертвые души только увидал в ней» (20). Он жаждал найти живую душу и не сумел этого сделать. Но при этом Гоголь блистательно владел художественной формой. Розанов называет Гоголя гениальным живописцем внешних форм (18), но тем страшнее и разрушительнее по своим последствиям такой дар. Гоголь, по мысли Розанова, не знал и не хотел знать жизни во всей ее противоречивой цельности, изначально заданном единстве. Между тем, явление Гоголя было необходимо русской литературе и русской жизни, чтобы, пройдя через кладбище, увидеть цветущий сад (21).

Иное — Достоевский, которому живая жизнь открывалась во всех противоречиях, в биении страстей сердца человеческого. Розанов пишет: «Как ни привлекателен мир красоты, есть нечто более привлекательное, нежели он: это — падения человеческой души, странная дисгармония жизни, далеко заглушающая ее немногие стройные звуки» (27). Здесь мысль Розанова сближается с известными стихами Ф. И. Тютчева, словно вписываясь уже в историю русской литературы, а не только ее критики:

Люблю глаза твои, мой друг,
С игрой их пламенно-чудесной,
Когда их приподымешь вдруг
И, словно молнией небесной,
Окинешь бегло целый круг..

Но есть сильней очарованья:
Глаза, потупленные ниц
В минуту страстного лобзанья,
И сквозь опущенных ресниц
Угрюмый, тусклый огонь желанья.

Замечу, что в сознании Розанова Достоевский и Тютчев располагались не просто рядом. Эти имена воспринимались им как явления глубоко родственные, бытийственно укорененные в отечественной культуре: «А Тютчев и Достоевский — есть», представляя философическую литературу («Германская наука и русские ученые кафедры», 1916).

Сугубо природный антиномизм бытия, схваченный Достоевским, лишает его тексты формальной завершенности. Зато в них со всей силой творческого гения Достоевского явлена «чуткая восприимчивость ко всему частному, индивидуальному» (32). В этом «частном» Достоевский, подобно Гоголю, прикидает ко злу, но иначе, с иными целями: дать «надежду с помощью разума возвести здание человеческой жизни настолько совершенное, чтобы оно дало успокоение человеку, завершило историю и уничтожило страдание» (33). Однако, выясняется, что разум не способен охватить всю природу человека как существа иррационального, поскольку в нем «скрыт акт творчества». Отсюда — «развитие в Достоевском мистического и сосредоточение интереса его на религиозном» (34), на том, что внеположно разуму так же, как и творческое интуитивное прозрение.

В отличие от Л. Н. Толстого, «художника жизни в ее завершившихся формах», Достоевского влечет все то, что зарождается и разлагается, пребывает в переходных состояни-

ях. Потому в его произведениях читатель обнаруживает «ряд теней чего-то одного: как будто различные трансформации, изгибы одного рождающегося или умирающего духовного существа» (35). И Розанов показывает, как подобный процесс происходит в «Преступлении и наказании» и как не может завершиться вне веры, вне Бога (35–39), чтобы затем перейти во все последующие произведения и разрешиться, наконец, в романе «Братья Карамазовы».

Как уже отмечалось, Розанов унаследовал от традиций отечественной критики стремление обнаруживать внутреннюю связь между появлением художественного произведения и временем. С целью актуализировать значимость «религиозного вопроса» в жизни современной ему России он обращается, помимо Достоевского, к И. С. Тургеневу и Л. Н. Толстому. Роман Тургенева «Новь» Розанов оценивает как вымученный и жалкий, рождающий чувство глубочайшей печали. Причина заключается в том, что Тургенев отказался от своих принципов, решив довериться тем людям, «для которых весь мир красоты и искусства не заключал в себе никакой значительности и смысла» (40). В отличие от Тургенева, Достоевский и Толстой «обратились к внутреннему религиозному» (41).

В «Анне Карениной» Розанов отмечает недостижимое совершенство формы в сочетании с лиризмом, который окрашен непрерывными переходами от веры к сомнению. Эти переходы суть отражение мирозерцания самого писателя: «„Что я верю в какого-то Бога, это я чувствую; но в *какого* Бога я верю — вот что темно для меня“, — как будто говорит он всем смыслом своих последних трудов» (41). В приведенных наблюдениях Розанова открывается его великий дар: умение схватывать самую суть явления, придавая ту единственную форму, вне которой само явление просто исчезнет. С этой точки зрения, роман Достоевского выглядит много скромнее, хотя тоже «есть синтез душевного анализа, философских идей и борьбы религиозных стремлений с сомнением» (41). Но задача у Достоевского иная, более глубокая: представить «тайнственное зарождение новой жизни среди умирающей» (41). Замечу, у Толстого главная героиня — Анна Каренина, чье имя вынесено в название романа, бросается под поезд, совершая один из страшных грехов; а завершается роман радостным состоянием другого главного героя — Левина, который готов по-прежнему «не понимать разумом», зачем он молится, но молиться будет, вкладывая в жизнь «несомненный смысл добра» («Анна Каренина»). Иными словами, Левин предпочитает нравственные основания жизни религиозным или подменяет религиозное нравственным. Но в любом случае суть не меняется, потому герой к вопросам религии остается равнодушным.

Обращаясь к «Братьям Карамазовым», Розанов разбирает характеры основных героев, их поступки с религиозной (православной) позиции. Для него однозначен только старший Карамазов — разлагающийся труп (42), чьи сыновья, вольно или невольно наследуя черты его характера, связаны между собой настоящим, но среди них есть Алеша, который знаменует будущее.

В уста старца Зосимы Розанов вкладывает слова, которые имплицитно перекликаются с эпиграфом к роману, расширяя его семантику:

...сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад Свой, и возшло все, что могло взойти, но возвращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего с таинственным миром иным; если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и возвращенное в тебе (45).

Розанов (впрочем, как и Достоевский) ни на секунду не сомневается в истинности этих слов. Более того, именно в литературе обнаруживает Розанов ту высоту созерцаний, что сродни Платону. Он утверждает в «Легенде...», что высочайшее проявление человеческого духа нашло свое отражение в лучших (насчитывая, правда, таковых всего два: «По небу полуночи ангел летел» М. Ю. Лермонтова и «Братьев Карамазовых» Достоевского) образцах художественной литературы (46). До обвинений в адрес русской литера-

туры, которые прозвучат, например, в статье «С вершины тысячелетней пирамиды (Размышления о ходе русской литературы)» (1918) или в «Апокалипсисе нашего времени» (1917–1918), еще далеко. Пока Розанов уверен, что русская литература способна явить жизнь духа во всей его полноте.

Обозначенные Розановым мысли предшествуют его пониманию встречи Ивана с Алейшей, подготавливают ее, составляют сущностный комментарий. Казалось бы, подобный подход гораздо ближе историко-литературному исследованию, нежели литературной критике, чья задача — откликаться на только что появившиеся произведения. Между тем, «Братья Карамазовы» печатались сначала в журнальном варианте (1879, 1880), а затем появились отдельным изданием в 1881 году. Свою «Легенду...» Розанов опубликовал через десять лет. За эти годы роман Достоевского не только не «состарился», но приобрел еще бóльшую актуальность, как и сам автор, о чем свидетельствуют работы К. Н. Леонтьева, В. С. Соловьёва, С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева, С. Л. Франка. Никто из них не воспринимал Достоевского как явление, случившееся однажды и ушедшее, ставшее фактом из истории литературы. Скорее, его идеи воспринимались как сугубо современные и актуальные. Потому «Легенда...» Розанова может рассматриваться именно как *литературная критика новой формации*. Эта критика исходит из христианского взгляда на мир и в качестве образца обращается к роману, где вопросы христианского миропонимания определяют самую суть его.

Мысль Розанова напряженно движется за событиями в романе, центральное место среди которых занимают бунт Ивана («...от высшей гармонии совсем отказываюсь. Не стоит она слезенок хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезами своими к „Боженьке!“») и бунт инквизитора («Затем же Ты пришел нам мешать?»).

Обычно в понимании Розановым смысла «Легенды о Великом инквизиторе» Достоевского актуализируется антихристианская позиция писателей (см. отзывы Н. Н. Стрехова, К. Н. Леонтьева, Рцы). Но вот так ли это? И Достоевский, и Розанов были людьми крещеными, православными, воцерковленными, потому исправно ходящими в церковь на службы, исповедания, причастия, ибо с детства к этому были приучены. Именно по этой причине герой розановских «листвьев» замечает: «Я понял, что в России <...> „быть бунтовщиком“ — значит пойти и отстоять обедню» («Опавшие листья. Короб второй»). В данном случае «обедня» символизирует традиционный уклад жизни русского народа. Потому в критических ситуациях (возможно, помимо воли самого человека или неожиданно для него самого) церковь открывается в своей подлинной сути, оказываясь единственным пристанищем человека: «Был в церкви, впрочем, я за последнее время бывал в церкви необычно для меня часто» (Дневник Л. А. Тихомирова. 1915–1917. М., 2008. С. 92), или: «Часто заходим в церковь, и всякий раз восторг до слез охватывает: пение, поклоны священнослужителей, каждение, все это благолепие, пристойность, мир всего того благого и милосердного, где с такой нежностью утешается, облегчается всякое страдание. И подумать только, что прежде люди той среды, к которой и я отчасти принадлежал, бывали в церкви только на похоронах!» (Бунин И. А. Окаянные дни. М., 1990. С. 175).

Тот православный быт, который столь ярко воспроизведен, например, И. С. Шмелевым, для Розанова и Достоевского был частью их жизни, как, впрочем, и для всей дореволюционной России. Потому, думается, надо различать несомненную принадлежность обоих православия и те вопросы к Церкви, которые рождались в процессе их размышлений и выносились на страницы произведений. С этих страниц, с одной стороны, раздавались грозные инвективы в адрес Церкви, но с другой — эти же страницы были, по образному определению К. Н. Леонтьева, «прикреплены» к Евангелию, к Св. Соборной Апостольской Церкви — все к вещам, сущим вне человека.

Чтение Достоевского не прошло для Розанова даром (не случайно тот же К. Н. Леонтьев советовал ему поскорее «перерасти» Достоевского — ЛИ. С. 329). Как результат — он сосредоточил внимание не на вопросах веры, а на тех формах, тех результатах, которые религия получает в человеческом сообществе. В «слезинке ребенка» проявляется некое непонятное герою попустительство Божие, а в вопросе инквизитора отражается своеволие человека, природа которого полностью определяется «гуманистической пустотой» (П. А. Флоренский). Это две стороны одного и того же вопроса. И здесь Розанов, казалось бы, идет обычным интеллигентским путем, предъявляя Богу чисто человеческое понимание событий и обвиняя Бога в этом понимании, то есть подходя к сверхчувственному с позиций чувственного. Но в финале своих размышлений Розанов напрямую укажет на «тот сумрак и отчаяние, среди которых мы так долго вращались, говоря о „Легенде“» (113). «Сумрак и отчаяние» — таков итог вопросов к Богу и творения культуры вне Бога. Потому и «Легенда о Великом инквизиторе» Достоевского прочитывается Розановым как своеобразная притча о человеке: «Это горький его плач, когда, потеряв невинность и оставленный Богом, он вдруг понял, что теперь совершенно один, со своею слабостью, со своим грехом, с борьбою света и тьмы в душе своей» (113). Потому и выход один — вернуться «к покою простой веры, к этому прочному следствию исповедания непостижимого» (113).

Помимо религиозной «прикрепленности», развернутости размышлений к событиям реальной действительности, «интимности» как способа ее постижения, «Легенда...» Розанова полна зрительных образов, которые, на мой взгляд, наиболее ярко свидетельствуют о его писательском таланте. Розанов как писатель вызревает внутри Розанова как литературного критика. «Легенда...» тому яркое свидетельство, через нее же выявляются и общие корни его творчества — религиозно укрепленное сознание. Все будущие эксперименты с участием Розанова в сотворении Мережковскими Третьего Завета, книги «Люди лунного света», «В темных религиозных лучах», «Апокалипсис нашего времени» из этого же источника проистекают. Напомню, что фактически в одно время написаны Розановым работы «В темных религиозных лучах» (1910) и, например, «Л. Н. Толстой и Русская Церковь» (1911). Первый труд полон сплошных вопросов к церкви, а подчас и обвинений, второй — завершается утверждением: «Море всегда больше пловца... Оно больше Колумба, мудрее и поэтичнее его. И хорошо, конечно, что оно „позволило“ Колумбу переплыть себя; но могло бы и „не позволить“». Природа всегда более неисповедимая тайна, чем разум человеческий. Толстой — был разум. А история и Церковь — это природа». Не случайно именно в Библии Розанов обнаружит, что числа и меры суть основание творчества и одновременно его тайны («Итальянские впечатления», 1909).

Потому Розанов, о чем бы ни писал, является религиозным писателем и мыслителем. «Легенда...» начинается с размышлений Розанова о здесь-и-там-бытии. Там-бытие призрачно и невнятно для живого человеческого сознания. И Розанов ищет, нет ли в пределах здесь-бытия фактов, свидетельствующих о бессмертии. Он находит два образа: *дети* как зримое продление жизни в поколениях, но при этом утрачивается индивидуальность, и *великие произведения духа*, которые лишены плоти, но зримо увековечивают «личность со всеми своими особыми чертами, со всеми изгибами своего ума и тайнами своей совести» (12). Конечно, в этих утверждениях содержится все то, что обеспечит, как из 1891 года Розанову казалось, бессмертие его самого. Но есть в этих образах и иное. Мотив детей обернется «слезинкой» ребенка, а мотив великих произведений духа — «встречей» инквизитора с Христом. Как человек он ошибется: род его будет прерван, сочинения не помогут выжить, но через восемь десятилетий явятся во всем своем великолепии. Как писатель — Розанов безошибочен. Может быть, потому он придает и «слезинке», и «встрече» яркие зримые формы, со всеми подробностями, которые дано уловить человеческому глазу и которые обращены к вопросам совести и веры.

Сквозным зримым образом («слезинка», «встреча») сопутствуют отдельные, но с ними незримо связанные образы. Понадобилось Розанову изобразить *humanitas* — он тут же находит зримый образ: «И среди всего этого разрушения сидит сам, ее властелин и мучитель, и, мучаясь, слагает поэзию о делах рук своих» (56). Розанов создает метафизический образ, потому что вполне зримо сидящий человек на самом деле окружен следствиями своих опытов над растениями, животными, над законами природы. Это уродливое нагромождение дел рук человеческих увенчано лицом, именуемым в науке *homo sapiens*. Но Розанову этого мало. Он словно вкладывает в руки человека музыкальный инструмент: под музыкальный аккомпанемент в Древней Греции исполнялись стихи. В результате зримый образ окружается имплицитным звучанием, которое, правда, уже никогда не станет гармоничным. (Кажется, Розанов предугадал появление в XX веке атональной музыки, додекафонии, абсурда, перфоманса и прочих *actions*, отнесенных к области искусства.) Но в этом зримом образе (именно потому, что он зримый, чувственно воспринимаемый) угадывается и более древний смысл.

По Плотину, материя есть закон, который устанавливает соответствие между находящимся на более высокой ступени иерархически устроенного мироздания образом и его подобием. Отсюда — «всякая более низкая ступень является не чем иным, как *художественным воспроизведением* более высокой ступени. Поэтому первое подобие единого — существо единое — ум и является наивысшей красотой (само единое выше и красоты), а *sofia* мудрость, или прозрачное изваяние ума — образец всякой художественности» (Вестник древней истории. М., 1978. № 1. С. 155). Еще ранее искусство как подражание (*mimesis*) определил в «Поэтике» Аристотель. За всеми этими дефинициями угадывается некая вторичность искусства, находящая свои крайние формы выражения в сотворенных человеком уродствах. Привлекаемое Розановым слово «поэзия» в его древнегреческом смысле призвано подчеркнуть сам процесс делания.

Все приведенные мной контексты и смыслы входят в семантическое поле художественного образа человека и его дел, созданного Розановым. Плотность художественного образа имеет нераздельную природу, где зримая форма включает множественность смыслов.

Розанов умеет придать историческим событиям действительную форму, обращаясь к воображению читателей: «Сцена переносится в далекую страну, на крайний запад, века раздвигаются, и открывается XVI столетие, эпоха смещения и борьбы различных элементов европейской цивилизации: первых путешествий в новооткрытую Америку и религиозных войн, Лютера и Лойолы, шумливых гуманистов и первых генералов ордена иезуитов. Шум и смятение этой борьбы происходят, однако, в центре материка; там же, за Пиренеями, в Испании, только видят далекую борьбу, крепче замыкаются в себе и остаются неподвижны. Еще дальше, в темной глубине времен, виднеется бедная обожженная солнцем страна, где совершилась великая тайна искупления, была пролита на землю кровь за грехи этой земли, для спасения страждущего человечества» (67).

В данном случае Розанов использует сценическую форму, которая целиком построена на ее зрительном восприятии. История вынесена Розановым на театральные подмостки, то есть получила зримый образ, который ни в какой иной ситуации не мог бы появиться. В творимой Розановым условной постановке века выполняют вполне реальную (даже реалистическую) и видимую функцию занавеса (вот где находится источник будущего образа из «Апокалипсиса нашего времени»: «С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историею железный занавес»). За открывшимся занавесом зритель видит XV столетие, которое не просто называется, но дается через ряд имен и событий. Все, как в театре. За пределами видимости слышен шум далеких событий, сквозь который постепенно проступает и приближается к зрителю Испания, но она не перекрывает «задника», странным образом совмещаясь с ним. Подчеркну, что странным — где угодно, но не в пределах театра. Роль «задника» выполняет изображение «обоженной солнцем страны». В представленном Розановым сценическом образе в зримой (подчеркнуто зрелищной)

форме указано не просто место действия, но и намечен главный мотив в содержании легенды о Великом Инквизиторе. Мотив этот строится на столкновении «обоженной солнцем страны» и Испании, на странном столкновении двух прошедших времен.

Но в это столкновение, пока еще не получившее обликов действующих лиц, через Достоевского оказывается втянутым каждый человек, в любой христианской стране. Так Россия становится своеобразным зрительным залом (и вновь мотив будущей «*La Divina Commedia*» из «Апокалипсиса нашего времени»), на ее глазах и вовсе не в далеком прошлом, а в настоящем разворачиваются события, которые к этому настоящему имеют самое прямое отношение. И здесь имеет смысл вновь напомнить слова Страхова: «Настоящее постоянно порождается будущим и поглощается прошедшим». Настоящее — это ни на минуту не останавливаемое действие, длящееся из века в век, потому каждый человек является и зрителем, и участником этого действия.

Только писателю дано наполнять события запахами, звуками, переживаниями, придавая им зримую форму. И то, как делает это Розанов, позволяет видеть в нем уже здесь, в «Легенде...», пусть рождающегося, но уже вполне сопоставимого с Достоевским писателя. Читаем: «В маленьком трактире, за перегородкою, впервые сходятся два брата: Алеша, мечтательный и религиозный юноша, любимый послушник старца Зосимы, так спокойно свернувший с обычной жизненной колеи на путь монастырского уединения, и старший его годами и опытностью Иван» (48). Казалось бы, Розанов просто пересказывает Достоевского. В аспекте сюжета — да, но пересказывает по-особенному. На уровне того, *как* это делается, Розанов проявляет незаурядное чувство слова. Замечу, «чужого» слова. Вслед за Достоевским он помещает встречу братьев в трактир, что в равной степени чуждо обоим героям. В «Братьях Карамазовых» Достоевского слово «трактир» имеет разные смыслы, в данном случае важно, что это трактир, понимаемый здесь как мир, разделенный на тонкие перегородки: «Это было место у окна, отгороженное ширмами, но сидевших за ширмами все-таки не могли видеть посторонние» («Братья Карамазовы»).

По-разному представляет Розанов участников этой знаменательной встречи. Более подробную характеристику получает Алеша, почти скупую — Иван. Но в их представлении Розанов умело создает драматическую коллизию: Алеша — юноша, глубоко религиозный, стремящийся к монастырскому уединению, Иван старше годами и жизненным опытом. Их встреча — это искушение Алеши тем, что пережил и переживает Иван. Трактир — яркое подтверждение справедливости бунта, к которому зовет Алешу Иван. Из приведенного предложения из романа «Братья Карамазовы» мы этого, конечно, не узнаем, зато странность встречи столь не схожих друг с другом героев читатель ощущает в полной мере.

Если отвлечься от того, что Розанов пересказывает эпизод из романа Достоевского, анализируемый фрагмент сам по себе обладает всеми достоинствами художественно организованного текста. В построении фразы явно ощущается традиция литературы XIX века с ее неспешностью и одновременной актуализацией глагольных форм (читай: событийного ряда). Да и сам пересказ весьма специфичен. Пожалуй, напрямую взяты только трактир и герои. Их характеристики в романе даются не здесь и более обширны. Розанов схватывает главное, то, что понадобится для его собственных размышлений. И Достоевский словно отодвигается на второй план, дабы Розанов мог представить свой талант рассказчика, который хорошо усвоил традицию, но не остался в ее пределах только.

Сквозь призму анализируемого предложения явно «проглядывают» будущие контуры «листьев»: в малом увидеть большое. Может быть, пока еще Розанов в целом многословен, в чем его не раз упрекал Страхов. Однако ведь он писал книгу — большой связный текст, а не составлял ее из статей, писем, собственных комментариев и проч. Да и многословие это особого рода: внутри каждое предложение продумано, всегда обозначает больше, чем та информация, которую содержит. Может быть, предложений слишком много? Думается, не в этом дело.

В «Легенде...» Розанов еще находится во власти порывистого «многословия» любимого им автора, чьи тексты (роман «Братья Карамазовы» особенно) наполнены прямыми цитатами, аллюзиями, образами, взятыми из Библии. Розанов изучает, как «работает» чужой текст, помещенный в авторские размышления. Он обнаруживает свое собственное эстетическое сродство монологическому множеству, творящему художественный текст, который способен «сжиматься» до самого важного, сущностного, как в притче.

Таким важным и сущностным для самого Розанова стала «Легенда о Великом инквизиторе», поэма, рассказанная в трактате Иваном Алеше. Как литературный критик, Розанов увидел в «Легенде...» не только итог развития творческого гения Достоевского, но прошел, если угодно, художественную школу Достоевского, хорошо усвоив ее уроки. В «Легенде...» уже угадывается будущий писатель. Будущий – потому, что еще не пришло время, когда Розанов заявит о себе как о писателе в полной мере, например в «Уединенном».

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ *

- АФ — Архив священника Павла Флоренского (Москва).
БВ — Богословский вестник. Сергиев Посад, 1892—1918.
Б. д. — без даты.
Б. з. — без заглавия.
Б. и. — без издательства.
Б. н. — без номера.
Б. п. — без подписи.
ВВ — Вешние Воды. СПб., 1913—1918.
ВДЯ — Розанов В. В. Собр. соч. Во дворе язычников. М., 1999.
ВРХД (ВРСХД) — Вестник русского студенческого христианского движения. Париж, 1925—1990. Далее Париж, Нью-Йорк, Москва.
ВФП — Вопросы философии и психологии. М., 1889—1918.
Г — Гражданин. СПб., 1872—1914.
ГЛМ — Государственный литературный музей (Москва).
Голлербах — Голлербах Э. В. В. Розанов. Жизнь и творчество. Пг.: Полярная звезда, 1922.
ЖМНП — Журнал Министерства Народного Просвещения. СПб., 1834—1917.
ЗР — Золотое Руно. М., 1906—1909.
ИМЛИ — Институт мировой литературы РАН.
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.
К — Колокол. СПб., 1905—1917.
КУ — Книжный угол. Пб., 1918—1922.
ЛВИ — Розанов В. В. Собр. соч. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. М., 1996.
ЛЖ — см. РЛЖ.
ЛИ — Розанов В. В. Собр. соч. Литературные изгнанники. М., 2001.
ЛИ-2 — Розанов В. В. Собр. соч. Литературные изгнанники. Кн. 2. М., 2010.
ЛН — Литературное наследство.
МВ — Московские Ведомости. М., 1756—1917.
МИ — Мир Искусства. СПб., 1899—1904.
НВ — Новое Время. СПб., 1868—1917.
НВип — Новое Время. Иллюстрированное приложение. СПб., 1891—1917.
НП — Новый путь. СПб., 1903—1904.
ОР РГБ (НИОР РГБ) — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки.
ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (С.-Петербург).
ПСС — Полное собрание сочинений.
РВ — Русский Вестник М.; СПб., 1856—1906.
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).

* Из журналов и газет времен Розанова сокращаются названия только тех, в которых он печатался.

- РГБ – Российская государственная библиотека.
 РГИА – Российский государственный исторический архив (СПб.).
 РИК – *Розанов В. В.* Собр. соч. Религия и культура. М.; СПб., 2008.
 РО – Русское Обозрение. М., 1890–1898, 1901, 1903.
 РФО – Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (1907–1917).
 РФС – Религиозно-философские собрания в Санкт-Петербурге (1901–1903).
Спасовский – *Спасовский М. М.* В. В. Розанов в последние годы жизни. Среди неопубликованных писем и рукописей. 2-е изд. Нью-Йорк: Все-славянское издательство, 1968.
 ТПГ – Торгово-Промышленная Газета. Литературное приложение. СПб., 1893–1917.
 PRO – В. В. Розанов Pro et contra. Личность и творчество Василия Розанова в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб.: РХГИ, 1995. Кн. 1–2.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Тексты, варианты и комментарии произведений, входящих в первый том, подготовили:

- Е. В. Бронникова* («Открытое письмо к Алексею Веселовскому», «Д. С. Мережковский. Вечные спутники», «Н. С. Тихонравов. Сочинения», «Умственные течения в России за 25 лет», «Новые работы о Толстом и Достоевском»).
- А. Л. Евстигнеева* («Кому „горе от ума“ в действительной жизни?», «Писатель семидесятих годов»).
- Т. Л. Латылова* («35-летие † Ап. Григорьева», «Сочинения Н. С. Тихомирова»).
- А. В. Ломоносов* («Стихотворения студенческих лет», «Паскаль», «Интеллигенция и народ», «Христианство и язык», вариант «Из мира идей и фактов»).
- Т. В. Маргенко* («Еще доброе дело на Руси», «Из мира идей и фактов», «Университет в образовании писателей»).
- А. А. Медведев* («Нечто о декадентах...», «О постановке памятника М. Н. Каткову», «Открытое письмо Д. В. Философову», «Три кита», «Думы и впечатления <О трагедии. — О мире и войне. — О гениях>», «Гретхен и Фауст»).
- Г. В. Нефедьев* («Что против принципа творческой свободы...», «Критическая заметка <О книге А. Волынского>», «Памяти Н. Н. Страхова», «Субботние бюллетени», «Из записной книжки писателя», «Попутная заметка»).
- А. Н. Николюкин* («Легенда о Великом инквизиторе»).
- Т. Г. Петрова* («Памяти дорогого друга», «Ф. Э. Шперк», «Л. С<лонимский>. „Мысли Белинского о воспитании“», «Памяти Дм. Вас. Григоровича»).
- И. А. Ревякина* («По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого, «Необходимое разъяснение», «Еще о гр. Л. Н. Толстом и его учении о несопротивлении злу», «Гр. Л. Н. Толстой», «Попутные заметки», «Печатное слово в России», «Пушкин», «Заметки о Пушкине», «Обманчивые слова», «Пассивные идеалы», «Ответ г. В. Соловьёву», «Еще о смерти Пушкина», «Что приснилось философу?», «На границах поэзии и философии», «Кое-что новое о Пушкине», «Памяти Вл. Соловьёва», «Еще о Вл. Соловьёве», «Интересный законопроект»), а также рецензии на книги Я. Колубовского, И. Ясинского, А. Круглова, А. Козлова, Н. Барсова, И. Данилова, Л. Мамышева, Н. П. Гилярова-Платонова, А. Левенстима, Д. Шестакова, А. Бежецкого, А. Косоротова, В. Дедлова, Ф. Крумахаера, А. Лейрица, Г. Северцова, С. Годлевского.
- В. Г. Сукаг* («Паскаль», «Христианство и язык»).
- В. Б. Трофимова* («Два вида „правительства“», «Эмбрионы», «Судьбы нашего журнального консерватизма», «Спор не без идеи», «Попутные заметки»).
- Е. Ю. Филькина* («Д. С. Мережковский. Вечные спутники»).

Остальные статьи не имеют аналогов в архивах и печатаются по первой публикации.

Комментарии подготовили А. Н. Николюкин и А. П. Дмитриев при участии К. В. Душенко, И. А. Едошиной, К. А. Жульковой, А. В. Ломоносова, А. А. Медведева, Т. М. Миллионщиковой, Л. Л. Черниченко.

Вводная часть комментариев написана С. Р. Федякиным, заключительный раздел «Становление писателя („Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского“ В. В. Розанова)» написан И. А. Едошиной.

Компьютерная редактура тома — К. А. Жульковой и И. В. Логвиновой.

Ведущий редактор П. П. Апрышко.

СОСТАВ 2–6 ТОМОВ
СЕРИИ «ЛИТЕРАТУРА И ХУДОЖЕСТВО»:

**Т. 2. О писательстве и писателях.
Литературные очерки. 1901–1905**

Литературные очерки. Сборник статей. — <Предисловие> — Старое и новое. — 1. Почему мы отказываемся от «наследства 60–70-х годов»? — 2. В чем главный недостаток «наследства 60–70 годов»? — 3. Европейская культура и наше к ней отношение. — 4. Два исхода. — 5. Может ли быть мозаична историческая культура? — 6. Еще о мозаичности и эклектизме в истории. — Литературная личность Н. Н. Страхова. — Три момента в развитии русской критики. — Поздние фазы славянофильства. — 1. Н. Я. Данилевский. — 2. К. Н. Леонтьев. — Катков «как государственный человек». — Литературно-общественный «кризис». — О Достоевском. — «Вечно печальная дуэль». — 50 лет влияния (Юбилей В. Г. Белинского). — С Юга. — 1. Около болящих. — 2. В Кисловодском парке. — 3. «Горе от ума». — 4. Военно-Грузинская дорога. — О писателях и писательстве (Заметки и наброски). — Памяти усопших. — 1. О. И. Каблиц (Юзов). — 2. Ю. Н. Говоруха-Отрок. — 3. Н. Н. Страхов. — 4. Ф. Э. Шперк. — 5. Я. П. Полонский. — Приложение. — Заметки о Польше. — **1901.** — К. М. Фофанов. Иллюзии: Стихотворения. — С. Д. Арсеньева. Рассказы из русской истории. — Своевременная книга. — Литература и литераторы. — М. Ю. Лермонтов (К 60-летию кончины). — О поэзии гр. А. К. Толстого*. — О провинциальной печати. — М. О. Меньшиков. Начала жизни. — Почти единственная газета в России. — <Д. Л. Мордовцев и М. Н. Катков>. — «Демон» Лермонтова в окружении древних мифов. — «Педагог» Отто Эрнста. — О литературных занятиях чиновников. — Художественное изучение русского языка. — Иван Щеглов. Новое о Пушкине. — Жертвы вечерние. — Философ-Рудин. — М. Н. Богданов. Из жизни русской природы. Зоологические очерки и рассказы. Мнимое заимствование. Религиозно-философские собрания. — **1902.** — Национальные таланты. — Сто лет поэзии и прозы. — О множестве самобытных идей. — Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьёва. — 50-летие кончины Гоголя. — Д. Мережковский. Любовь сильнее смерти. — В. И. Модестов. Введение в римскую историю. — <10-е Религиозно-философское собрание>. — Религиозно-философские собрания. — С. А. Рачинский и его Татево. — Письмо в редакцию <О книге В. А. Добролюбова>. — Полезное издание для народа. — Особая группа писателей (Из переписки С. А. Рачинского). — Дм. Кайгородов. Из родной природы. — Альбом выставки в память Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского. — К литературной деятельности Н. Н. Страхова. — Концы и начала, «божественное» и «демоническое», боги и демоны. — «Демон» Лермонтова и его древние родичи. — Культура и «Гражданин». — Вл. Соловьёв и Достоевский. — Т. Карлейль. Речь, произнесенная при вступлении в должность лорда ректора Эдинбургского университета, 2-го апреля 1866 г. — Счастливым обладатель своих способностей. — Размолвка между Достоевским и Соловьёвым. — Под знаменем науки. — Л. И. Щеглов (Леонтьев) (К 25-летию литературной деятельности). — Идеалы скромных людей. — Гоголь. — Предисловие к книге «О Гоголе». — 25-летие кончины Некрасова (27 декабря 1877 г. — 27 декабря 1902 г.). — Русская литература*. — Ускользящий читатель*. — **1903.** — Именины. — Письмо в редакцию <О Д. С. Мережковском>. — Издание соч. Влад. Соловьёва. — О благодущии Некрасова. — В своем углу. От автора. — Шестидесятые годы и «утилитарная критика». — Каменная баба*. — Заметка о Мережковском. — О письме гр. С. А. Толстой. — Еще о «60-х годах» нашей истории. — Шалун нашей прессы. — Памяти Евг. Льв. Маркова. — Ответ г. Меньшикову. — Заметка <Еще о Д. С. Мережковском>. — Серьезный критик. — Простая рыбка. — О либерализме как некотором общем духе. — Среди иноязычных (Д. С. Мережковский). — Годовщина смерти Золя. — Ив. С. Тургенев (К 20-летию его смерти). — Университетский вопрос

в освещении Н. П. Гилярова-Платонова. — С. А. Андреевский как критик. — О «Двух путях» Минского. — Моммзен и Ренан. — Московские идеалисты. — Тенор журналистики. — 1904. — Печатание ситцев. — Царевич Алексей. — Американизм и американцы. — Нации технические и нации поэтические. — Февральские потери. — Судьба русского ученого. — Один из добрых наших наставников. — Поминки по славянофильству и славянофилах. В чаяниях «движения воды». — Литературные новинки <Л. Андреев>. — Новое из прошлого гр. Л. Н. Толстого. — Литературные новинки <А. Чехов, С. Юшкевич>. — <О «Новом Пути»>. — Литературные новинки <Е. Милицына>. — Литературные новинки <М. Лемке>. — Писатель-художник и партия. — Правила добродетели и условия добродетели. — Русские идеалы. — Из прошлого нашей общественной мысли. — «Меблированная пыль» на сцене Малого театра. — Перед рассветом. — 1905. — Наука и литература в уставе о печати. — Куно Фишер. История новой философии. — О литературной этике. — Оконченная «трилогия» г. Мережковского. — Н. Л. Кладо (Прибой). Современная морская война. — Морские заметки о русско-японской войне. — Эльпе. Душа животных и растений. — Когда-то знаменитый роман. — Мечта в щелку. — Из старых писем. Письма Влад. Серг. Соловьёва. — Т. Н. Грановский (К 50-летию его кончины). — София Благодушная. Как он пошел в народ. — В. Горленко. Отблески. Заметки по словесности и искусству. — А. В. Никитенко. Моя повесть о самом себе и о том, «чему свидетель в жизни был». Записки и дневник. 1804–1877. — На чтениях г. Бердяева*.

Приложение (Статьи различных лет, ранее не печатавшиеся). — Идеалы*. — Из мира идей и фактов <К. Н. Леонтьев>*. — Из записной книжки писателя. Великий сфинкс истории*. — Из записной книжки писателя. Гаснущие огни и зажигающиеся огни*. — Тайна. Из записной книжки писателя*.

Варианты. — Литературные очерки. Почему мы отказываемся от «наследства 60–70-х годов»? — В чем главный недостаток «наследства 60–70 годов»? — Европейская культура и наше к ней отношение. — Два исхода. — Может ли быть мозаична историческая культура? — Еще о мозаичности и эклектизме в истории. — Литературная личность Н. Н. Страхова. — Три момента в развитии русской критики. — Поздние фазы славянофильства. Н. Я. Данилевский. — Поздние фазы славянофильства. К. Н. Леонтьев. — Катков «как государственный человек». — Литературно-общественный «кризис». — О Достоевском. — «Вечно печальная дуэль». — 50 лет влияния (Юбилей В. Г. Белинского). — С юга. — О писателях и писательстве (Заметки и наброски). — Памяти усопших. — О. И. Каблиц (Юзов). — Ю. Н. Говоруха-Отрок. — Н. Н. Страхов. — Ф. Э. Шперк. — Я. П. Полонский. — 1901. — М. Ю. Лермонтов (К 60-летию кончины). — М. О. Меньшиков. Начала жизни. — «Демон» Лермонтова в окружении древних мифов. — Философ-Рудин. — Мнимое заимствование. — 1902. — Мережковский. Любовь сильнее смерти. — Размолвка между Достоевским и Соловьёвым. — Идеалы скромных людей. — 1903. — Именины. — Шестидесятье годы и «утилитарная критика». — Каменная баба — Заметка о Мережковском. — О письме гр. С. А. Толстой. — Еще о «60-х годах» нашей истории. — Шалун нашей прессы. — Серьезный критик. — Среди иноязычных. — Годовщина смерти Золя. — Ив. С. Тургенев (К 20-летию его смерти). — 1904. — Американизм и американцы. — Судьба русского ученого. — Один из добрых наших наставников. — Правила добродетели и условия добродетели. — Русские идеалы. — 1905. — Оконченная «трилогия» г. Мережковского. — Когда-то знаменитый роман.

Т. 3. О писательстве и писателях. 1906–1911

1906. — Памяти Н. И. Стороженко. — Памяти Ф. М. Достоевского (28 января 1881–1906 гг.). — Экономический и социальный вопрос у Достоевского (К 25-летию его кончины). — Да слова в защиту Достоевского как человека. — Памяти Вл. К. Петерсена. — Д. А. Сперанский. Из литературы древнего Египта. — Волжский. Из мира литературных исканий. — Одна из русских поэтико-философских концепций. — Ф. Соллогуб как поэт

и прозаик*. — В. В. Стасов (Некролог). — Наталия Грот. Свобода в жизни и в государстве. — Толстой и Достоевский об искусстве. — Nicolas Léskov. Gens de Russie. — <Лесков>*. — К биографии и посмертной судьбе Ф. М. Достоевского. — Письмо в редакцию <А. Г. Достоевской>. — Предисловие к книге Л. Вилькиной (Минской) «Мой сад». — **1907.** — То же, но другими словами. — К. П. Победоносцев. — Из воспоминаний и мыслей о К. П. Победоносцеве. — Русский «реалист» об евангельских событиях и лицах. — Литературные и педагогические дела. — О возобновлении Религиозно-философских собраний. — На закате дней. К 55-летию литературной деятельности Л. Н. Толстого. — На закате дней. Л. Толстой и быт. — На закате дней. Л. Толстой и интеллигенция. — Религиозно-философские собрания в Петербурге. — К. П. Победоносцев в его переписке. — Духоборческие скитания К. П. Победоносцева. — Автопортрет К. П. Победоносцева. — Метерлинк. — Русское философствование*. — **1908.** — О «русских богоискателях». — Некрасов в годы нашего ученичества. — Вячеслав Сильвестрович Россоловский. — Л. Андреев и его «Тьма». — Автор «Балаганчика» о петербургских Религиозно-философских собраниях. — Поездка в Ясную Поляну. — Исторические очерки и рассказы С. Н. Шубинского. — Красота молчания (К юбилею Л. Н. Толстого). — Памяти Ф. И. Булгакова*. — Около народной души. — «Свои люди» поссорились... — О народной душе. — Пестрые темы. — В. Л. Кигн*. — Домик Лермонтова в Пятигорске. — На книжном и литературном рынке <А. Каменский>. — Национальное назначение. — Сила национальности. — На книжном и литературном рынке <М. Арцыбашев>. — На книжном и литературном рынке <Ч. Диккенс>. — Наши публицисты. — Непостижимое вмешательство. — О памятнике И. С. Тургеневу. — И. С. Тургенев в 1879 г. в Москве. — 80-летие рождения гр. Л. Н. Толстого. — Л. Н. Толстой. — Толстой между великими мира. — Чего недостает Толстому? — Представители «нового религиозного сознания». — А Шейн?*. — 43 года «корректности»... — Великий мир сердца (Нечто о Л. Н. Толстом). — Одно воспоминание о Л. Н. Толстом. — Сборник писем Влад. Соловьёва. — Автопортрет Вл. С. Соловьёва. — Автопортрет Вл. С. Соловьёва (Церковные занятия его и его личность). — К возобновлению Религиозно-философских собраний. — Между тьмою и светом (К инциденту в Религиозно-философском обществе). — <В Религиозно-философском обществе>. — <Кружок К. А. Губастова в память К. Н. Леонтьева>. — О «народо»-божии как новой идее Максима Горького. — <О Религиозно-философском обществе>. — Новые труды по истории философии. — Личность отца Иоанна Кронштадтского. — Памяти дорогого друга <А. А. Кедринский>. — **1909.** — Потуги на пророчество. — Из воспоминаний и мыслей об Иоанне Кронштадтском. — Литературные симулянты. — Письмо в редакцию <О выходе из совета Религиозно-философского общества>. — В Религиозно-философском обществе. — У гроба отца Иоанна Кронштадтского. — Трагическое остроумие. — Попы, жандармы и Блок. — 50-летие А. С. Суворина. — Великое начинается в Москве. — У могилы Иоанна Кронштадтского. — На чтении гг. Бердяева и Тернавцева. — Загадки Гоголя... — Гении формы (К столетию со дня рождения Гоголя). — <Л. Н. Толстой о юбилее Гоголя>. — Ник. Ник. Бахметев (Некролог). — К. И. Чуковский о русской жизни и литературе. — Новая книга о Гоголе. — Русь и Гоголь. — Мережковский против «Вех» (Последнее Религиозно-философское собрание). — <А. Г. Ковнер (Некролог)>. — Памяти Поликсены Сергеевны Соловьёвой-Allegro*. — Наши грустящие публицисты. — Двухсотая годовщина Полтавского боя. — На лекции о Достоевском. — По следам книгопродавческого съезда. — А. С. Белкин (Некролог)*. — К истории одного книгопродавческого разорения. — О психологии терроризма. — Один из певцов вечной «весны». — Магическая страница у Гоголя. — Что не принято в соображение при закрытии Кассы взаимопомощи литераторов. — Будущее Кассы взаимопомощи литераторов. — Между Азефом и «Вехами». — П. А. Кусков (Некролог). — А. Л. Вольнский. «Ф. М. Достоевский. Критические статьи». — Критик русского *décadence'a*. — Обидчик и обиженные. — Под старость лет... — Академическое издание Кольцова. — Полемические заметки. — Погребатели

России. — Литературные заметки <О России>. — Куприн. — Потухшие огни*. — Литературные заметки <О книге А. Котовича>. — «Се человек»... — Красота-властительница. — Героическая личность. — Около науки и университета (По поводу 30-летия ученой службы. — В. О. Ключевского). — О письмах писателей. — Как люди русеют. — Толстовство и жизнь. — Памяти дорогого друга <О А. А. Кедринском>*. — На распутьях*. — 1910. — Нужда веры и форм ее. — Наш «Антоша Чехонте». — Как делали одного ученого... — Заблудились в трех соснах. — Заветы быта и труда. — Исторический «гений» Франции. — К пятому изданию «Вех». — Апрельская книжка. — Галерея портретов русских писателей г. Пархоменко. — Рассказы И. Л. Щеглова. — Амфитеатров. — Виардо и Тургенев. — В литературной прачешной... — Посмертный труд Генри Друммонда. — Молодые поэты. — Среди газет и журналов <Брюсов и Пушкин> — Бедные провинциалы... — «Единое стадо» и неугомонный волк... — Посмертный том «Жизни и трудов Погодина» Н. П. Барсукова. — Из литературных впечатлений. — I. В Религиозно-философском обществе. — II. Константин Леонтьев и его «почитатели». — Алексей Степанович Хомяков. К 50-летию со дня кончины его (23 сентября 1860 г. — 23 сентября 1910 г.). — Избегнутая ошибка. — О вещах бесконечных и конечных (По поводу несостоявшегося «отлучения от церкви» писателей). — Язычество и христианство в Ясной Поляне (К уходу Л. Н. Толстого). — Где же «покой» Толстому? — Кончина Л. Н. Толстого. — Толстой в литературе. — Гр. Л. Н. Толстой <1910>*. — Перед гробом Толстого. — Речи в «Речи». — Л. Н. Толстой и Н. Я. Грот (Предсмертные мысли Л. Н. Толстого). — Литературные и политические афоризмы (Ответ К. И. Чуковскому и П. Б. Струве). — Усердствующий Митрофан. — Жизнь и счастье. — Толстой и крапивинские аборигены. — Забытое возле Толстого... — Д. Шестаков. Исследования в области греческих народных сказаний о святых. — А. П. Чехов. — Пришвин*. — Отлучение писателей*. — 1911. — Не верьте беллетристам... — К 40-летию литературной деятельности И. И. Ясинского. — Убогонькие в истории*. — Литературный террор. — Письмо в редакцию <Струве и Пешехонов>. — Литературные типы. — Лучшая книга по средневековой истории (К воспоминаниям о М. М. Стасюлевиче). — «Цветословы» и риторы. — И. В. Киреевский и Герцен. — Одна из замечательных идей Достоевского. — Новые события в литературе. — Богатый и убогий. — И шутя и серьезно... — Первый дебют. — Литературный род Соловьёвых. — Об одном забытом человеке (Пропущенный юбилей). — Окончание «Писем Соловьёва». — Памяти В. О. Ключевского. — Памятка о Ключевском. — Памятки о В. О. Ключевском II*. — В. Г. Белинский (К 100-летию со дня рождения). — Вековая годовщина (30 мая 1811 г. — 30 мая 1911 г.). — «Друг великого человека». — Памяти Ив. Леонт. Леонтьева-Щеглова. — Неоценимый ум. — Французский труд о Влад. Соловьёве. Очерк. — Еще два слова о С. Ф. Шапарове. — Недоумения и недоумения... — Герцен. — Религиозный «эклектизм» и «синкретизм» (Из воспоминаний о Влад. С. Соловьёве). — 1193. — Чем нам дорог Достоевский? (К 30-летию со дня его кончины). — Десятилетие кончины Ф. Э. Ромера (8 августа 1901 г. — 8 августа 1911 г.). — «Магнитские» и Философов. — Загадочная любовь (Виардо и Тургенев). — Л. Н. Толстой и Русская церковь. — Сочинения Юрия Федоровича Самарина. Том четвертый. — «Отойди, сатана». — Оправданные надежды наших Геростратов. — К 100-летию Пушкинского лица. — О происхождении некоторых типов Достоевского (Литература в переплетениях с жизнью). — Из житейских встреч. К. М. Фофанов. — Ломоносовские издания, современные его жизни. — К 20-летию кончины К. Н. Леонтьева (1891 — 12 ноября — 1911). — Пятьдесят лет служения русской литературе. — Юбилейное издание Добролюбова. — Бляха № 101. — Роковое в «наследии» Толстого...* — Тульская история (К истории и загадке Черткова)*. — Проф. В. И. Герье и его труд о французской революции*. — «Мученики идеи...»*.

Приложение (Статьи различных лет, ранее не печатавшиеся). — Новейшие успехи знания.

Варианты. — 1906. — Толстой и Достоевский об искусстве. — 1907. — Литературные и педагогические дела. — 1908. — О «русских богоискателях». — Поездка в Ясную Поляну. — «Свои люди» поссорились. — Домик Лермонтова в Пятигорске. — На книжном и литературном рынке <А. П. Каменский>. — На книжном и литературном рынке <Ч. Диккенс>. — Одно воспоминание о Толстом. — О «народо»-божии, как новой идеи Максима Горького. — 1909. — В религиозно-философском обществе. — Трагическое остроумие. — А. С. Белкин (Некролог). — Один из певцов вечной «весны». — Магическая страница у Гоголя. — Между Азефом и «Вехами». — А. Л. Волынский. «Ф. М. Достоевский. Критические статьи». — Героическая личность. — 1910. — К пятому изданию «Вех». — В литературной прачешной... <Вл. Соловьёв>. — Бедные провинциалы. — Константин Леонтьев и его «почитатели». — Кончина Л. Н. Толстого. — Литературные и политические афоризмы. — (Ответ К. И. Чуковскому и П. Б. Струве). — Жизнь и счастье. — 1911. — Убогонькие в истории. — Лучшая книга по средневековой истории (К воспоминаниям о М. М. Стасюлевиче). — И. В. Киреевский и Герцен. — И шутя, и серьезно... — Первый дебют. — Литературный род Соловьёвых. — Окончание «Писем Соловьёва». — Французский труд о Влад. Соловьёве. Очерк. — Недоумения и недоумения. — Л. Н. Толстой и русская церковь. — Из жизненных встреч (К. М. Фофанов). — 20-летию кончины К. Н. Леонтьева. — Юбилейное издание Добролюбова. — Роквое в «наследии» Толстого. — Проф. В. И. Герье и его труд о французской революции

Т. 4. О писательстве и писателях. 1912–1918

1912. — Книжные новинки к Новому году <П. Муратов — Ю. Самарин>. — Трагедия механического творчества. — Особенная чепуха за день. — Письма в редакцию <О дуэли>. — Н. В. Корецкий. Песни ночи. — Д. В. Философов с «неугасимой лампадой». — Литературная новинка <К. Леонтьев>. — Максим Горький о самоубийствах. — В Религиозно-философском обществе. — А. Ф. Кони как писатель и юрист. — Ал. Платонова. На высотах духа. Стихотворения. — Н. Шульговский. Лучи и грезы. — Памяти Ал. Ив. Корсотова. — Тема и Боккачио, и Сократа (О цензуре). — Ропшин и его новый роман. — Евреи в русской литературе. — Годовщина В. О. Ключевского. — Венок на могилу Засодимского... — Амфитеатров и Ропшин-Савенков. — К изданию Полного собрания сочинений К. Леонтьева. — Новые работы по философии. — Ж. Ж. Руссо. — Закржевский о Конст. Леонтьеве. — А. С. Суворин. — Памяти А. С. Суворина. — Библиотека всемирной литературы. Европейские классики. — «Государственны» ли русские (Ответ г. Философву). — Из прошлого нашей литературы. — Историко-литературный род Киреевских. — <А. С. Хомяков. Свет с Востока. Литургия Иоанна>. — В. Реков. Без средней школы. Из жизни экстерна. — Энциклопедия из Капернаума. — Левину из «Речи». — Ответ г. Короленко. — Закон о цензуре и администрации цензуры. — Цветы цензурной порнографии. — Леруа Больё и Мельхиор де Вогюэ*. — «В литературе есть произвольная строка...»*. — <Шекспир и Сервантес>*. — Приложение. — Аякс <Измайлов А. А.> В. В. Розанов (К 30-летнему юбилею: 1882–1912). — **1913.** — Приостановка издания «Сочинений К. Леонтьева». — Любовь возвращается. Роман Н. Н. Руссова. — И. Я. Чаленко. Независимость христианского учения о нравственности от этики античных философов. — «Orientalia» Мариэтты Шагинян. — Чаадаев и кн. Одоевский. — Иван Федорович Романов («Рцы») (Некролог). — Старые русские кряжи*. — Литературные олеографии. — «Цветок на гроб моего Агатона». — В полусвете ученых кафедр. — Люди без лица в себе. — Памяти Илариона Васильевича Кривенко. — Важный исторический труд. — Идеиные споры Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова. — **1914.** — А. С. Суворин и Д. С. Мережковский. — К Религиозно-философскому собранию 19 января. — Старый поновленный спор. — Густая книга. — Письмо в редакцию <О газете «Речь»>. — Пимен Карпов и его «Говор зорь». — Еще погребенный «социологами» (Из мартиролога русской литературы). — «Ступени» Веры Рудич. — Вечные памятки (Ал. Ал-на Винницкая и Н. Г. Граммати). —

Вдохновляющая старина. — Александр Платонович Барсуков. — Из судеб русской литературы и общественности. — Столетний юбилей И. Г. Фихте. — Двое Безпятовых, критик и беллетрист. — Наброски <Толстой и Страхов>. — Споры около имени Белинского. — Белинский и Достоевский. — «Иначе я поступить не мог»*. — Песни прекрасного мальчика. — Из истории «неудавшихся портретов»... — <А. К. Закржевский. Лермонтов и современность>*. — 50-летие кончины Ап. А. Григорьева. — Пушкин и Лермонтов. — Критические заметки <«Вешние Воды»>. — На лекции Е. Н. Трубецкого. — Евгений Иванов. В лесу и дома. Рассказы. — **1915**. — Н. В. Соловьёв. История одной жизни. А. А. Воейкова-Светлана. — Памяти Федора Евгеньевича Корша (1843–1915 гг.). — Один из «стаи славной». — Сегодня мы похоронили «Эль-Эса». — Ломоносов. Его личность и судьба (4 апреля 1765 г. — 4 апреля 1915 г.). — Труды М. В. Ломоносова. — Дорогая книжная новинка. — Предисловие к «Студенческому сборнику». — Проф. Вл. Ив. Герье и его «Философия истории от Августина до Гегеля». — Отцы-воспитатели русского общества. — Все «те же», вечно «те же»... — К. Чуковский. Поэзия грядущей демократии. Уолт Уитмэн. — Еще о демократии, Уитмене и Чуковском. — Сборник памяти Анны Павловны Философовой. — Новое исследование о Фете. — Письмо в редакцию <О газете «Жало»>. — Анатолий Федорович Кони (К 50-летию его общественной и государственной деятельности). — Книга памяти князя Олега. — Как был ранен и умирал князь Олег Константинович. — Одна из дерзких книг. — П. А. Кусков. — В литературных перспективах. — Саша Амфитеатров и его эпилог. — П. Б. Струве о «Записках» С. М. Соловьёва и о времени Александра III. — Н. Манасина. Царевны. Историческая повесть. — Туркестанские произрастания. — Памяти Е. И. Апостолапуло. — К. Леонтьев об Аполлоне Григорьеве. — Ив. Смольянинов. Серые шинели. — К помощи слепым!!!... — Книга о старом и вечно новом. — <Об И. С. Тургеневе>*. — Словарно-библиографическая работа проф. С. А. Венгерова*. — **1916**. — Старина. «Кирилловский езд 7061 г.». — М. Горький и о чем у него «есть сомнения», а в чем он «глубоко убежден». — По поводу новой книги о Некрасове. — Струве о духовном сословии и духовной школе. — Призвание Руси. — В. О. Ключевский о М. Горьком. — Ключевский (К 75-летию со дня рождения В. О. Ключевского). — Юбиляр. — Из истории воспитания и умственных занятий † князя Олега Константиновича. — Новый ежемесячный журнал «Летопись». — Не в новых ли днях критики? — Г-н Н. Я. Абрамович об «Улице современной литературы». — Что разумелось само собою... — Puer aeternus (Я)*. — Московские литературные и художественные кружки. — К выходу сочинений Аполлона Григорьева. — XL. «Новое Время». — Анкета о евреях Л. Андреева, Ф. Сологуба и М. Горького. — Суворин и Катков. — Из подробностей о Некрасове. — Задумалась. — «Старые годы» и «Русский Библиофил». — А. Яценко. Русская библиография по истории древней философии. — Э. Л. Радлов. Философский словарь. — Владимир Соловьёв. Стихотворения. — Еще одно бурление... — Николай Бердяев. Смысл творчества. Опыт оправдания человека. — Кн. Е. Н. Трубецкой и его «Развлечение национализма». — «Святость» и «гений» в историческом творчестве. — «Обмысленная Русь» и ее блестящие литераторы. — Письма А. П. Чехова. — Духовенство на народной службе. — Еще — памяти русского историка (О С. М. Соловьёве). — А. Н. Шмидт и ее религиозные переживания и идеи. — Новая религиозно-философская концепция. — Наши библиофилы. — Идеи «мессианизма» (По поводу новой книги Н. А. Бердяева «Смысл творчества»). — П. Б. Струве о М. М. Ковалевском и г. Изгоев о г-не Пешехонове. — Из предвидений Достоевского о германизме и борьбе с ним. — Из предвидений Достоевского о германизме и борьбе с ним <Из «Голоса Руси»>. — Моим строгим судьям... — О Лермонтове. — На трудовом посту (Памяти Богдана Вениаминовича Гея). — Из философии народной души (На возражение Н. А. Бердяева о русском мессианизме). — Из книги, которая никогда не будет издана. — Из последних страниц истории русской критики. — Письмо в редакцию <Ответ Д. Заславскому>. — Около трудных религиозных тем. — Князь Е. Н. Трубецкой и Д. Д. Муретов. — Бердяев о молодом московском славянофильстве. — О типах религи-

озной мысли в России. — Есть ли «всеобщие и безусловные принципы нравственности»? (К полемике князя Е. Н. Трубецкого с Д. Д. Муретовым). — Еще из оценок и предвидений Ф. М. Достоевского. — Молодые московские славянофилы перед судом Н. А. Бердяева. — Памяти Александра Карловича Закржевского. — <О болезни А. К. Закржевского>*. — О С. Н. Булгакове. — К кончине Пушкина (По поводу новой книги П. Е. Щёголева «Смерть Пушкина»). — К 25-летию кончины Ив. Алекс. Гончарова (15 сентября 1891 г. — 15 сентября 1916 г.). — Еще о московских славянофилах. — В. С. Федина. А. А. Фет (Шеншин). Материалы к характеристике. — Бердяев о религиозных исканиях Д. С. Мережковского. — Элеонора Диксон. Гюльхана. — Важные труды о Хомякове. — П. А. Флоренский об А. С. Хомякове. — Цензура. — Кривой глаз «Русского знамени». — Проф. Е. Кагаров. Основные идеи античной науки в их историческом развитии. — Германская наука и русские ученые кафедры. — «Русский Библиофил» (1916. Кн. 1). — Не очень радостные размышления (К «делу Пуарэ» и разных мелочей жизни)*. — 1917. — Новые издания «Религиозно-философской библиотеки». — Переводчик и редактор (К изданию переводов И. Ф. Анненского). — 25-летний юбилей газеты «Дальний Восток». — Письмо в редакцию <Об И. Ф. Анненском>. — О Конст. Леонтьеве. — Памяти Владимира Францевича Эрн. — Письмо в редакцию. Об издании книги «Из восточных мотивов». — 1918. — Гоголь и Петрарка. — С вершины тысячелетней пирамиды (Размышление о ходе русской литературы)*. — Апокалиптика русской литературы. — Наше словесное величие и деловая малость. — <От лучинки к лучинке...>*.

Варианты. — 1912. — Трагедия механического творчества. — Максим Горький о самоубийствах. — Тема и Боккачио и Сократа. — Закржевский о Конст. Леонтьеве. — А. С. Суворин. — Закон о цензуре и администрация цензуры. — 1913. — «Цветок на гроб моего Агатона». — В полусвете ученых кафедр. — Идеи споры Л. Н. Толстого и Н. Н. Стрехова. — 1914. — Еще погребенные «социологами» (Из мариолога русской литературы). — Белинский и Достоевский. — Из истории «неудавшихся портретов»... — Пушкин и Лермонтов. — 1915. — Один из «стаи славной». — Ломоносов. Его личность и судьба. — Труды М. В. Ломоносова. — Отцы-воспитатели русского общества. — Новое исследование о Фете. — Одна из дерзких книг. — К. Чуковский. Пoesия грядущей демократии. — Саша Амфитеатров и его эпилог. — К. Леонтьев об Аполлоне Григорьеве. — К помощи слепым!!!... — Я. Сильд-Сильдинский. В душевном мраке. — 1916. — Не в новых ли днях критики? — Наши библиофилы. — Из предвидений Достоевского о германизме и борьбе с ним <Из «Голос Руси»>. — О Лермонтове. — Около трудных религиозных тем. — К 25-летию кончины Ив. Алекс. Гончарова. — «Русский Библиофил».

Т. 5. Среди художников

О художественных выставках. — О Пушкинской Академии. — Сказки и правдоподобия. — Балет рук (Сиамцы в Петербурге). — Вопросы церковной живописи. — Занимательный вечер (Еще о сиамских танцовщицах). — Жизнь на подмостках. — I. «Хризантемы» г-жи Владимировой. — II. «Под колесом». Драма г-на Жданова. — III. «Ганнеле» Гауптмана. — «Ипполит» Эврипида на сцене Александрийского театра... — «Бабы» Малавина. — На выставке «Мира искусства». — Публицистика на сцене («Весенний поток» г-на Косоротова). — О работах Л. В. Шервуда. — Археология древних миниатюр. — Алекс. Андр. Иванов и картина его «Явление Христа народу». — Молящаяся Русь (На выставке картин М. В. Нестерова). — Где же религия молодости? (По поводу выставки картин М. В. Нестерова). — М. В. Нестеров. — Ибсен и Пушкин — «Анджело» и «Бранд». — Судьба «Черных воронов». — Религия и зрелища. По поводу снятия со сцены «Саломеи» Уайльда. — Сицилианцы в Петербурге. — Из мыслей зрителя. — Танцы невинности (Айседора Дункан). — Гоголевские дни в Москве. — Гоголь и его значение для театра. — Отчего не удался памятник Гоголю? — К открытию памятника Государю Александру III. — Актер. — Марчелла Зембрих. — Paolo Trubezkoj и его памятник Александру III. — Памя-

ти Серг. Серг. Боткина. — Памяти В. Ф. Комиссаржевской. — Театр и юность. — Работы Голубкиной. — К всеобщему успокоению нервов. — Домик Пушкина в Москве. — Возле русской идеи. — Прилежный редактор. — Неизданная пьеса Толстого в чтении Влад. Ив. Немировича-Данченко. — Как хорошо иногда «не понимать»... — Мар. Ив. Долина. — Возврат к Пушкину (К 75-летию дня его кончины). — Литературно-художественные новинки. — П. Перцов. «Венеция и венецианская живопись». — «1812 год в баснях Крылова. Силуэты Егора Нарбута». — «Памяти Отечественной войны 1812 г. Снимки с современных картин». — III. А. Смирнов-Кутачевский. Иванушка-дурачок. Русская народная сказка. Рисунки художников: Н. Николаевского, В. Каррика, С. Дудина, Г. Воропанова. — IV. Пасквале Виллари. Джироламо Савонаролла и его время. — V. Миронова в «Сафо». — VI. Ипполит Тэн. Путешествие по Италии. Перевод П. П. Перцов. — Дункан и ее танцы (14 января 1913 г. в Малом театре). — Великорусский оркестр В. В. Андреева. — Postscriptum. Еще о В. В. Андрееве и его народных оркестрах. — К пожару Троицкого собора в Петербурге. — У Айседоры Дункан. — О картине И. Е. Репина «17-е октября». — Прелести старокнижия. — I. Библиотека А. В. Петрова. Собрание книг, изданных в царствование Петра Великого. — II. «Русский Библиофил» за 1913 г. V-й выпуск. — Стенная живопись. — На концерте Шаляпина. — Памяти Ив. Влад. Цветаева. — Приложение. Воспитательное значение танцев Айс. Дункан. — **Статьи об искусстве 1901–1917 годов.** — Успехи нашей скульптуры. — Художники и мелкая промышленность. — Германский «renaissance». — Выставка исторических русских портретов в залах Таврического дворца. — В Новом летнем театре. — Научная работа в Эрмитаже. — К памяти М. А. Врубеля. — В театральном мире (К гастролям Московского художественного театра в Петербурге). — Монументы и музеи — Рафаэлевское и рембрандтовское христианство. — Донателло. Н. Горбова. — Вечное преображение. — На концерте В. В. Андреева. — Вал. Алекс. Серов на посмертной выставке. — «Дон-Кихот» в Народном доме. — На выставке картин А. А. Борисова. — На печальном остатке жизни. — Ученицы Дункан. — Г. К. Лукомский. Старинные театры. — На бенефисе В. В. Андреева. — 50-й (юбилейный) патристический концерт М. И. Долиной. — Левитан и Гершензон. — Письмо в редакцию «Об ошибке Розанова». — «Старые Годы». — Г-н Игорь Грабарь и Третьяковская галерея. — Об Италии. — Памяти Е. И. Апостолюпола. — К кончине художника В. И. Сурикова. — Новое общество «Искусство для всех». — Бенефис великорусского оркестра. — Символическая выставка Мих. Ив. Сапожникова.

Варианты. — О художественных выставках. — О Пушкинской Академии. — Сказки и правдоподобия. — Вопросы церковной живописи. — Занимательный вечер (Еще о симских танцовщицах). — Жизнь на подмостках. — I. «Хризантемы» г-жи Владимировой. — II. «Под колесом». Драма г-на Жданова. — III. «Ганнеле» Гауптмана. — «Ипполит» Эврипида на сцене Александрийского театра. — «Бабы» Малявина. — На выставке «Мира искусства». — Публицистика на сцене («Весенний поток» г-на Косорогова). — О работах Л. В. Шервуда. — Археология древних миниатюр. — Алекс. Андр. Иванов и картина его «Явление Христа народу». — Молящаяся Русь (На выставке картин М. В. Нестерова). — Где же религия молодости? (По поводу выставки картин М. В. Нестерова). — М. В. Нестеров. — Ибсен и Пушкин — «Анджело» и «Бранд». — Судьба «Черных воронов». — Религия и зрелища. По поводу снятия со сцены «Саломеи» Уайльда. — Сицилианцы в Петербурге. — Из мыслей зрителя. — Танцы невинности (Айседора Дункан). — Гоголевские дни в Москве. — Гоголь и его значение для театра. — Отчего не удался памятник Гоголю? — К открытию памятника Государю Александру III. — Актер. — Марчелла Зембрих. — Paolo Trubezkoj и его памятник Александру III. — Памяти Серг. Серг. Боткина. — Памяти В. Ф. Комиссаржевской. — Театр и юность. — Работы Голубкиной. — К всеобщему успокоению нервов. — Домик Пушкина в Москве. — Возле русской идеи. — Неизданная пьеса Толстого в чтении Влад. Ив. Немировича-Данченко. — Как хорошо иногда «не понимать»... — Возврат к Пушкину (К 75-летию дня его кончины). — Литературно-художественно-

ственные новинки. — I. П. Перцов. «Венеция и венецианская живопись». — II. «1812 год в баснях Крылова. Силуэты Егора Нарбута». — «Памяти Отечественной войны 1812 г. Снимки с современных картин». — III. А. Смирнов-Кутачевский. Иванушка-дурачок. Русская народная сказка. Рисунки художников: Н. Николаевского, В. Каррика, С. Дудина, Г. Воропанова. — IV. Пасквале Виллари. Джироламо Савонаролла и его время. — V. Миронова в «Сафо». — VI. Ипполит Тэн. Путешествие по Италии. Перевод П. П. Перцов. — Дункан и ее танцы (14 января 1913 г. в Малом театре). — Великорусский оркестр В. В. Андреева. — Post-scriptum. Еще о В. В. Андрееве и его народных оркестрах. — К пожару Троицкого собора в Петербурге. — У Айседоры Дункан. — О картине И. Е. Репина «17-е октября». — Прелести старокнижия. — I. Библиотека А. В. Петрова. Собрание книг, изданных в царствование Петра Великого. — II. «Русский Библиофил» за 1913 г. V-й выпуск. — Стенная живопись. — На концерте Шаляпина. — Памяти Ив. Влад. Цветаева. — Приложение. Воспитательное значение танцев Айс. Дункан

Т. 6. Путешествия

Итальянские впечатления. — Рим. — Неаполитанский залив. — Флоренция. — Венеция. — По Германии. — Предисловие. — Рим. — Страстная пятница в соборе св. Петра. — Страстная суббота в Колизее. — Пасха в соборе св. Петра. — По старому Риму. — Дети и монахи в садах Боргезе. — Выцветающая живопись. — В музеях Ватикана. — На вершине Колизея. — «Умирающий гладиатор» и «Моисей» Микель-Анджело. — Неаполитанский залив. — Чудовище. — Солнце и виноград. — Капри. — Uno, duo, tre. — Помпеи. — Салерно. — Пестум. — Флоренция. — Венеция. — Золотистая Венеция. — К падению башни св. Марка. — **По Германии.** — Сикстинская Мадонна. — Капище Молоха. — В католической Германии. — Реликвии Кальвина. — Возможный «гегемон» Европы. — **Германские впечатления.** — Пограничные запахи. — Из мыслей в дороге. — Чем мы обмениваемся*. — Дневник туриста <В столовой «Carlton-Hôtel»>. — В старом Франкфурте*. — В домике Гёте. — Дневник туриста. Место девичества русской Императрицы. — В Берлине — Дневник туриста. Еще испорченный памятник. — Дневник туриста <В канун св. Ольги...>. — В военном лагере римлян. — Дневник туриста. В театре «Deutsche Kunst». — Письмо в редакцию. — Полупонятные руины. — Дневник туриста. В Cristlische Hospice. — Метафизический разговор. — Мюнхенский монашенок. — О деликатности и прочих мелочах. — Летние курсы языка и литературы для иностранцев в Гренобле. — **По России.** — Петр Великий и Петербург — Эстонское затишье. — Поездка на Абро. — Богоспасаемый городок — Поездка к хлыстам. — Кострома и костромичи. — Киев и киевляне. — Русский Нил. — КАВКАЗ. — Около целебных вод. — В Кисловодске. — Бермамут. — БЕССАРАБИЯ. — Уголок Бессарабии. — Возле хлебов. — † урожая. — Из монастыря домой. — В. Янчевецкий. Записки пешехода. Первый том*.

Варианты. Итальянские впечатления. — По Германии. — Германские впечатления. — По России.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ *

А—т — см. *Петерсен В. К.*

Аарон, старший брат пророка Моисея, первый еврейский первосвященник 601, 625, 976
Абрамович Николай Яковлевич (1881—1922), лит. критик, прозаик, поэт и публицист 1033

Аввакум (ок. VI в. до н. э.), пророк, автор названной его именем библ. книги 874

Август Октавиан (Гай Юлий Цезарь Октавиан Август; 63 до н. э. — 14 н. э.), рим. император (с 27 до н. э.) 254, 886, 899

Августин Блаженный (Аврелий Августин; 354—430), епископ Гиппонский, теолог 1033

Авель, второй сын Адама, убитый своим братом Каином 536, 569, 633, 964, 978

Авенир (XI в. до н. э.), военачальник, дядя ветхозавет. царя Саула 409

Аверроэс (Абуль Валид Мухаммад ибн Ахмад ибн Рушд; 1126—1198), зап.-араб. философ-перипатетик, астроном, врач 463, 933

Авессалом, сын царя Давида, убивший единокровного брата Амнона и восставший против отца 409

Авраам, первый библ. патриарх эпохи после Всемир. потопа 361, 960

Агамемнон, в др.-греч. мифологии царь микенский, один из героев «Илиады» Гомера 691, 991

Агесандр Родосский (II—I вв. до н. э.), др.-греч. скульптор 971

Агриппа Неттесгеймский (при рождении Генрих Корнелиус; 1486—1535), нем. ученый-алхимик, писатель, врач, натурфилософ, оккультист, астролог и адвокат 1000

О сокровенной философии 1000

Агриппина Младшая (Юлия Агриппина; 15 — ок. 59), сестра имп. Калигулы, последняя жена имп. Клавдия, мать Нерона 874

Адам 19, 343, 504, 533, 534, 578, 642, 946, 955, 966, 976, 1015

Аддисон Джозеф (1672—1719), англ. публицист, драматург, политик и поэт 111, 225

Аделоальд (602—626), король лангобардов (616—625/626) 896

Азеф Евно Фишелевич (Евгений Филиппович; 1869—1918), революционер-провокатор, видный эсер и одновременно секретный сотр. Деп-та полиции 1030, 1032

Айхенвальд Юлий Исаевич (1872—1928), лит. критик-«импрессионист», переводчик 879

Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886), публицист-славянофил, поэт, лит. критик, изд. 430, 431, 492, 499, 520, 521, 540, 562, 588, 659, 662, 664, 738, 837, 909, 957, 985

Петербург и Москва 957

Пора домой 985

Против национального самоотречения 909

Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860), публицист-славянофил, историк, лингвист, поэт 469, 520, 881, 959

Аксаков Николай Петрович (1848—1909), публицист, критик, прозаик, поэт, историк, философ, богослов 487, 492, 520

* Составители А. П. Дмитриев, А. Е. Махов и Д. А. Фёдоров. Помимо принятых сокращений (см. «Список сокращений»), в Указателе широко используются традиционные библиографические сокращения, при датах опускаются «г.» и «гг.», а при длинных заглавиях — легко восстанавливаемые слова, например «Императорский» при «университетах». Иностранные родовые имена, особенно патронимы и дополнительные имена, как правило, полностью не приводятся. Для общеизвестных лиц указываются только их имена и даты жизни. Лица, подробные сведения о которых имеются в разделе «Комментарии» (к ним отсылает страница, выделенная полужирным курсивом), также не аннотируются. Курсивным шрифтом обозначены страницы раздела «Комментарии».

- Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859), прозаик, критик, поэт 145, 191, 393, 394, 467, 500, 520, 552, 562, 881, 891, 892, 934, 959, 962
 Детские годы Багрова-внука 394, 467, 934
 История моего знакомства с Гоголем 881, 959
 Несколько слов о биографии Гоголя 959
 Письмо к друзьям Гоголя 959
 Семейная хроника 393, 394, 562, 891, 962
- Аксаков Тимофей Степанович (1762–1837), оренбургский помещик, отец С. Т. Аксакова 394
- Аксаковы 473, 552, 708
- Аларих I (ок. 370–410), король вестготский (с 382) из рода Балтунгов; в 410 взял и разграбил Рим 899
- Александр I Обренович (1876–1903), король Сербии (с 1889) 1002
- Александр I Павлович (1777–1825), рос. император (с 1801) 876, 883
- Александр II Николаевич (1818–1881), рос. император (с 1855) 479, 621, 875, 922, 925, 926, 956, 957
- Александр III Александрович (1845–1894), рос. император (с 1881) 428, 479, 491, 617, 741, 779, 780, 925, 933, 974–976, 1033–1035
- Александр V (в миру Петр Филарг; ок. 1339–1410), антипапа Римский (с 1409) 930
- Александр Македонский (356–323 до н. э.) 556, 605, 707, 829, 892
- Александр Невский (1220/1221–1263) 251, 993
- Александров Анатолий Александрович (1861–1930), критик, педагог, поэт, ред. журн. «Рус. обозрение» (1892–1898) и газ. «Рус. Слово» (1894–1898) 913, 925, 1002
- Алексеев Василий Алексеевич (1863–1919), переводчик, историк, литературовед 698
- Алексеев Петр Семенович (1849–1913), врач-акушер, литератор 949
 О пьянстве 949
- Алексевы, моск. купцы 426
- Алексей Михайлович (1629–1676), рус. царь (с 1645) 246, 247, 251, 518, 556, 633, 918, 973
- Алексей Петрович (1690–1718), царевич, старший сын Петра I 859, 1029
- Алексий (Алексий, в миру Елеферий Федорович Бяконт; ок. 1304–1378), митр. Киевский и всея Руси (с 1354) 251, 901
- Алехин Аркадий Васильевич (1854–1918), обществ. деятель, единомышленник Л. Н. Толстого 940
- Алкивиад (450–404 до н. э.), афин. гос. деятель, оратор и полководец 203, 390, 744, 893, 1003
- Альфред Английский (Альфред Великий; ок. 849–899), король Уэссекса (с 871), полководец 217, 896
- Амвросий Оптинский (в миру Александр Михайлович Гренков; 1812–1891), иеросхимонах, старец калуж. Введенской Оптиной пустыни 23, 435
- Амессай, племянник царя Давида от его сводной сестры Авигеи, военачальник 409
- Амфион, в др.-греч. мифологии царь Фив, сын Зевса, муж Ниобы 971
- Амфитеатров Александр Валентинович (1862–1938), прозаик, публицист, фельетонист, критик, драматург 862, 1031–1034
- Анаевский Афанасий Евдокимович (1788–1866), авт. нравоучит. рассказов, поэт 122, 880
- Анаксагор из Клазомен (ок. 500–428 до н. э.), др.-греч. философ, математик, астроном 221, 461, 897
- Андерсон Владимир Максимилианович (1880–1931), историк, библиограф, сотр. Публ. б-ки (1902–1925) 971
- Анджелис Стефано (1623–1697), итал. математик 886
- Андреас-Саломе Лу (Луиза Густавовна; 1861–1937), философ, врач-психотерапевт, литератор нем.-рус. происхождения 928

- Андреев Василий Васильевич (1861–1918), музыкант, композитор, виртуоз-балалаечник, руководитель первого оркестра рус. нар. инструментов (с 1888) 1035, 1036
- Андреев Леонид Николаевич (1871–1919), прозаик, драматург 860, 1029, 1030, 1033
- Иуда Искариот 860
- Тьма 860, 1030
- Андреевский Иван Ефимович (1831–1891), правовед, историк; проф. Петерб. ун-та (1852–1887) 518
- Андреевский (Андриевский) Сергей Аркадьевич (1847–1918), поэт, критик и судеб. оратор 859, 868, 1028
- Андрей Юрьевич Боголюбский (ок. 1111–1174), вел. князь Владимирский (с 1157) 245, 247, 251, 901
- Анна, мать ветхозавет. судии и пророка Самуила 579, 966
- Анна Ярославовна (1024/1036–1075/1089), дочь Ярослава Мудрого, супруга короля Генриха I и королева Франции (1051–1060) 953
- Анненков Павел Васильевич (1813–1887), лит. критик, литературовед, мемуарист 148, 149, 616, 957, 959, 1007
- Материалы для биографии Пушкина 959
- Анненский Иннокентий Федорович (1855–1909), поэт, драматург, переводчик, критик, педагог 1034
- Аннибал – см. *Ганнибал*
- Антей, в др.-греч. мифологии царь Ливии, великан, получавший силу от соприкосновения со своей матерью Геей – землей 488
- Антоний (Марк Антоний; 83–30 до н. э.), др.-рим. полководец, триумvir (43–33 до н. э.), консул (44 до н. э.) 716, 997
- Анхимолий (?–512/511 до н. э.), спартан. царь, полководец 896
- Анцыферов Данила Яковлевич (?–1712), казак-землепроходец, открыватель Курильских островов 517
- Аполлон, в др.-греч. мифологии бог солнеч. света, покровитель наук и искусств 895, 959, 971
- Апостолопуло (ур. Богдан) Евгения Ивановна (1857–1916), хозяйка имения Сахарна в Сергеевском уезде Бессарабской губ., благотворительница 1033, 1035
- Апрышко Петр Петрович (р. 1941), историк рус. философии 1027
- Араго Доминик Франсуа (1786–1853), фр. физик и астроном 724
- Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834), граф (с 1799), гос. и воен. деятель 938
- Аристид (ок. 540 – ок. 467 до н. э.), афин. полководец, один из организаторов Делосского союза 235, 722, 900, 998
- Аристокитон, афин. тираноубийца, вместе с Гармодием составил заговор против тирана Гиппия (514 до н. э.) 895
- Аристотель (384–322 до н. э.) 165, 168, 221, 223, 256, 313, 585, 598, 605, 689, 799, 885, 887, 895, 897, 901, 909, 933, 1013, 1021
- Метафизика 598, 909, 933, 1013
- Органон 885
- Политика 165
- Поэтика 1021
- Арно (Арнольд) Амальрик (?–1225), фр. католич. деятель, архиеп. Нарбонны (с 1212), папский легат, участник Альбигойского Крестового похода 878
- Арсеньев Константин Константинович (1837–1919), правовед, журналист, историк, лит. критик; обществ. и земский деятель, адвокат (1866–1874), чиновник в Сенате (1874–1882) 419, 923, 1011
- Арсеньева (ур. Паренсова) Софья Дмитриевна (? – не ранее 1916), авт. попул. очерков по истории 1028
- Рассказы из русской истории 1028

- Архимед (287—212 до н. э.), др.-греч. математик, физик и инженер 569, 570
 Арцыбашев Михаил Петрович (1878—1927), прозаик, драматург, публицист 1030
 Астафьев Петр Евгеньевич (1846—1893), философ, психолог, публицист 666
 К вопросу о свободе воли 666
 Астиаг, последний царь Мидии (585—550 до н. э.) перед ее завоеванием персами 637, 980
 Атагуальпа (Атагульпа; 1497—1533), правитель Империи инков (с 1532), незаконно захвативший власть и казненный испанцами 700, 994
 Атилла (Аттила; ?—453), предводитель гуннов (с 434) 119, 202, 892
 Атлас (Атлант), в др.-греч. мифологии титан, поддерживающий небесный свод 482, 940
 Атласов Владимир Васильевич (ок. 1661/1664—1711), землепроходец, сибир. казак, исследователь Камчатки 517
 Афанасий (в миру Андрей Григорьевич Соколов; 1801—1868), епископ Томский и Енисейский (1841—1853), архиеп. Иркутский и Нерчинский (с 1853), Казанский и Сви-
 яжский (1856—1866); переводчик отцов Церкви 962
 Афина, в др.-греч. мифологии богиня воен. стратегии и мудрости 896
 Афинодор (I в. до н. э.), др.-греч. скульптор 971
 Афродита, в др.-греч. мифологии богиня плодородия, любви и красоты 213, 419, 715, 716, 875, 923, 971, 976
 Ахаз (763—727 до н. э.), правитель Иудейского царства (с 743 до н. э.) 402
 Ахемениды, династия персид. царей (558—330 до н. э.) 893, 894
 Ахиллес (Ахилл), в др.-греч. сказаниях участник Троянской войны 582, 966
 Ашевский С. (наст. имя Михаил Николаевич Столяров-Суханов; 1872 — не ранее 1915), лит. критик, литературовед 871
- Б**—кий Н. — см. *Барановский Н.*
- Бабст Иван Кондратьевич (1824—1881), экономист, историк, публицист, сотр. журн. «РВ», «Рус. Беседа» и «Атеней», газ. «Москва» и «Москвич» 737
 Бажанов Михаил Георгиевич, моск. присяжный поверенный, авт. книги «Об Успенской Рдейской общежительной пустыни» (М., 1893) 421, 422, 423
 Байрон Джордж (1788—1824) 62, 166, 200, 204, 225, 235, 395, 457, 489, 541, 543, 544, 545, 547, 588, 589, 747, 876, 893, 903, 919, 931, 958, 967, 976
 Дон Жуан 395, 919
 Каин 395, 919
 Корсар 395, 919
 Манфред 204, 893
 Надпись на могиле ньюфаундлендской собаки 876
 Бакалович Стефан Александр (Степан Владиславович; 1857—1947), живописец, представитель салонного академизма, поляк по происхождению 734, 1001
 Балабанова (Балобанова) Екатерина Вячеславовна (1847—1927) 8, 707, 858, 994
 Западноевропейский эпос и средневековый роман 8, 707, 858, 994
 Поэмы Оссиана Джеймса Макферсона 994
 Балланш Пьер Симон (1776—1847), фр. историософ и поэт 379
 Бальзак Оноре де (1799—1850) 965
 Бандинелли Баччо (наст. имя Бартоломео Брандини; 1493—1560), итал. скульптор и художник-маньерист 523
 Барабанов Евгений Викторович (р. 1943), искусствовед, литературовед, религ. мыслитель 11
 Барановский Николай, товарищ Розанова по Нижегор. гимназии и Моск. ун-ту 771—775, 777, 1008
 Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович (1800—1844) 617, 711, 746—748, 851, 1003, 1004
 Истина 1004

- Муза 748, 1004
 Финляндия 748, 1004
- Барбье Поль Жюль (1825–1901), фр. поэт, драматург 977
- Барклай де Толли Михаил Богданович (имя при рождении Михаэль Андреас; 1761–1818), князь (с 1815), ген.-фельдмаршал (с 1814), полководец, воен. министр (1810–1812) 973
- Барроу Исаак (1630–1677), англ. математик, физик и богослов 169
- Барсов Елпидифор Васильевич (1836–1917), фольклорист, исследователь др.-рус. письменности; хранитель рукописей Румянц. музея (с 1870) 873
- Барсов Николай Иванович (1839–1903) 6, 27, 524–526, **952**, 1026
 Исторические, критические и полемические опыты 952
 Несколько исследований исторических 524, 952
- Барсуков Александр Платонович (1839–1914), историк, геральдист и генеалог 520, 1032
- Барсуков Иван Платонович (1841–1906), историк, археограф 520
- Барсуков Николай Платонович (1838–1906), историк, археограф, издатель, библиограф 375, 378, 379, 421–424, 430, 520, 735, 862, 924, 958, 1031
 Жизнь и труды М. П. Погодина 375, 378, 421, 422, 924, 926, 1031
 Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский 430, 926
- Бартенев Петр Иванович (1829–1912), историк, археограф, библиограф; изд.-ред. журн. «Рус. Архив» (с 1863) 957
- Барятинский Владимир Владимирович (1874–1941), князь, прозаик, журналист, драматург; изд.-ред. газ. «Сев. Курьер» (1899) 657, 984
- Батюшков Константин Николаевич (1787–1855), поэт, прозаик, лит. критик 917
- Бауэр Бруно (1809–1882), нем. философ-гегельянец, теолог, историк 651
- Бауэр (Бауер) Леонтий Данилович (?–1901), основатель крупной виноторговой фирмы в Москве (1845) 651, 983
- Бахметьев (Бахметьев) Николай Николаевич (1848–1909), журналист 1030
- Бахтурин Константин Александрович (1807–1841), поэт, переводчик и драматург 988
- Башуцкий Павел Яковлевич (1771–1836), ген. от инфантерии (1828), ген.-адъютант (1825); комендант Петербурга (1803–1833); сенатор (с 1826) 150, 883
- Бегон А. — см. *Паскаль А.*
- Беда (Бэда) Достопочтенный (ок. 673–735), монах-бенедиктинец, хронист 911
- Бежецкий (наст. фам. Маслов) Алексей Николаевич (1852–1922) 7, 617, 618, **975**, 1026
 Военные на войне 975
 Галюцинат 618
 Завоевание Ахал-Теке 975
 Медвежьи углы 7, 617, 975
 На пути 975
 После смерти 618
 Рай Магомета 618
 Севильский обольститель 618
 Таинственный свет 618
- Безпатовы: Евгений Михайлович (1873–1919), драматург, театровед, врач, и Михаил Михайлович (1863 — не ранее 1930), воен. писатель, математик 1032
- Бейль (Бэйль) Пьер (1647–1706), фр. религ. мыслитель 168
- Беккер Т., петерб. книгоиздатель 780
- Беккетов (Бекетов) Андрей Николаевич (1825–1902), ботаник, педагог, популяризатор науки 392
- Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) 6, 7, 21, 28, 394, 450, 451, 479, 508, 509, 531, 539, 545, 547–549, 587, 594, 615, 616, 689, 690, 709, 719, 720, 721, 858, 862, 870, 882, 923, 937, 943, 947, 954, 956, 957, 974, 1013, 1026, 1028–1034
 Гамлет, драма Шекспира 943
- Белинский Максим — см. *Ясинский И. И.*

- Белкин Алексей Сергеевич (1856–1909), историк философии, приват-доцент Моск. ун-та (с 1895) 1030, 1032
- Беллармин (Беллярмин, Беллармино) Роберто (1542–1621), католич. теолог, иезуит, кардинал (с 1599) 340, 911
- Беллье Адриен (1649–1706), фр. историк и лит. критик 175, 177
Жизнь Декарта 175
- Белимаркович Йован (1828–1893), серб. воен. министр (1868–1873); один из регентов при князе Александре Обреновиче (с 1889) 1002
- Беляев Иван Дмитриевич (1810–1873), историк, проф. Моск. ун-та (с 1860) 424, 469, 520, 588, 935, 950
- Бем Альфред Людвигович (1886–1945), литературовед, лит. критик 872
- Бенкендорф Александр Христофорович (1783–1844), граф (1832), военачальник, шеф жандармов и начальник III Отделения (с 1826) 678, 679, 680, 681, 847, 848, 849
- Бентам Иеремия (1748–1832), англ. социолог, юрист, философ 117, 596, 775, 970
- Беньян Джон (1628–1688), англ. теософ, странств. проповедник 878
Путь паломника 878
- Беранже Пьер Жан де (1780–1857), фр. поэт-сатирик, сочинитель песен 671, 987
Как яблочко румян... 671, 987
- Берг Федор Николаевич (1839–1909), поэт, прозаик; журналист, ред. журн. «Нива» (1878–1887), «РВ» (1887–1895) и «Родная Речь» (1900–1905), газ. «Рус. Листок» (1898–1899), «День» (1903–1909) и др. 733, 735, 736, 867, 887, 905, 907, 912, 913, 915, 1001
- Берговская Ирина Николаевна (р. 1978), историк философии, педагог 920
- Бердяев Николай Александрович (1874–1948), религ. философ 855, 871, 1013, 1019, 1029, 1030, 1033
Смысл творчества 1033
- Беринг Витус (Иван Иванович; 1681–1741), мореплаватель, капитан-командор 724, 999
- Бёрк (Борк) Эдмунд (1729–1797), англ. политик, публицист, основоположник британ. консерватизма 259, 903
Размышления о Французской революции 903
- Бернарден де Сен-Пьер Жак Анри (1737–1814), фр. прозаик, мыслитель, путешественник 393, 542, 918
Поль и Виргиния 393, 918
- Бёрне Людвиг (наст. имя Иуда Лейб Барух; 1786–1837), нем. публицист, прозаик, апологет еврейской культуры 259
- Берта Кентская (ок. 539–612), святая, жена кентского короля Этельберта, убедившая его принять христианство 161, 579
- Бертелеми Жан Жак (1716–1795), фр. археолог, аббат 957
О благополучии, из Путешествия юного Анахарзиса 957
Путешествие младшего Анахарзиса по Греции 542, 957
- Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829–1897), историк, археограф 424, 903
- Бетси, королева – см. *Елизавета Английская*
- Бегховен Людвиг ван (1770–1827) 20, 527, 620, 976
- Бибиков Дмитрий Гаврилович (1791–1870), генерал-адъютант, киевский, волынский и подольский ген.-губернатор (с 1837), министр внутр. дел (1852–1855) 559, 961
- Бибикова (ур. Карцова) Анна Ивановна (1811–1876), литератор, переводчик, драматург 967
- Био Жан Батист (1774–1862), фр. физик, геодезист и астроном 886
Биография Ньютона 886
- Блаватская (ур. Ган) Елена Петровна (1831–1891), философ-теософ, литератор, публицист 993
The key to Theosophy 993

- Благодарная Софья (наст. имя Евфимий Созонтович Швидченко; 1870 – не ранее 1905), музыковед и педагог 1029
 Как он пошел в народ 1029
- Благонравов Александр Федорович, земский врач, литератор 875
- Блан Луи (1811–1882), фр. социалист, публицист 109
- Блок Александр Александрович (1880–1921) 855, 860, 861, 1030
 Балаганчик 860, 1030
- Богданов Ананий Самуилович (1904–1988), филолог-классик, переводчик 893
- Бобров Евгений Александрович (1867–1933), философ, историк и литературовед 509, 948
 Из истории критического индивидуализма 509, 948
 Новая реконструкция монадологии Лейбница 948
 О понятии искусства 948
 О самосознании 509, 948
 Об искусстве 509
- Бовани, в индийской мифологии богиня, олицетворяющая злых духов 631, 978
- Богданов Анатолий Петрович (1834–1896), зоолог, антрополог, проф. Моск. ун-та (с 1867) 62, 775
 Медицинская зоология 62
- Богданов Модест Николаевич (1841–1888), зоолог и путешественник 1028
 Из жизни русской природы 1028
- Богданович Ипполит Федорович (1743–1803), поэт 542, 1012
- Боголепов Николай Павлович (1846–1901), ректор Моск. ун-та (1883–1887, 1891–1893), попечитель Моск. учеб. округа (1895–1898), министр нар. просвещения (1898–1901) 925
- Богородица – см. *Мария*
- Боккаччо (Боккаччио) Джованни (1313–1375) 507, 525, 1007, 1032, 1034
 Декамерон 525
 Жизнь Данте 1007
 De casibus obscurorum virorum 1007
- Бокль Генри Томас (1821–1862), англ. историк и социолог 118, 119, 417–420, 592, 660, 665, 702, 879, 922, 923, 969
 История цивилизации в Англии 417, 592, 879, 922, 969
- Болдырев Алексей Васильевич (1784–1842), ректор Моск. ун-та (1833–1836), филолог-востоковед, цензор 377, 378
- Бомарше Пьер де (1732–1799), фр. драматург, публицист 542, 543
 Женильба Фигаро 542
- Бонифаций (Вонифатий; 672/673–754), архиеп. в Майнце, прославился как Апостол всех немцев 161
- Боргезе, итал. княжеская фамилия 1036
- Борис Владимирович (в крещении Роман; ок. 986–1015), князь Ростовский (с 1010), св. мученик 519
- Борис Федорович Годунов (1552–1605), рус. царь (с 1598) 253, 1004
- Борисов Александр Алексеевич (1866–1934), художник, писатель, исследователь полярных земель 1035
- Борк Э. – см. *Бёрк Э.*
- Боровиковский Владимир Лукич (1757–1825), художник-портретист 688
- Борроу И. – см. *Барроу И.*
- Боссюэ (Босюэт) Жак Бенинь (Иаков Бенигн; 1627–1704), фр. проповедник и богослов; еп. г. Мо (с 1681) 591
- Боткин Сергей Сергеевич (1859–1910), врач и коллекционер 861, 1034, 1034
- Боткины, моск. купцы 426

- Брагинская Нина Владимировна (р. 1950), историк культуры, антиковед, переводчик 996
 Брандес Георг (1842–1927), дат. литературовед, публицист, теоретик натурализма 264, 341, 902, 911
 Брандт Федор Федорович (Иоганн Фридрих фон; 1802–1879), нем. естествоиспытатель, врач, зоолог и ботаник; с 1831 жил в России 722
 Брем (Брэм) Альфред (1829–1884), нем. зоолог и путешественник 683, 724, 989
 Жизнь животных 724, 989
 Брокгауз (Brockhaus) Фридрих Арнольд (1772–1823), нем. издатель 936, 969, 992
 Бронникова Елена Вячеславовна, литературовед 1026
 Бронте Шарлотта (1816–1855), англ. поэтесса и романистка 394, 919
 Джен Эйр (Джени Эйр) 394, 919
 Брунгильда (Брунегильда; ок. 543–613), франкская королева, супруга Сигиберта I (с 566), короля Австразии (с 561) 620, 975
 Брунетти Козимо, флорентийский дворянин, переводчик Б. Паскаля на итал. язык (1684) 183
 Бруно Джордано (наст. имя Филиппо; 1548–1600) 319, 465, 933
 Брут (Марк Юний Брут Цепион; 85–42 до н. э.), др.-рим. сенатор, один из убийц Цезаря 377, 917
 Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924), поэт-символист, прозаик, драматург, переводчик, литературовед, критик 980, 1031
 Буало (Буало-Депрео) Никола (1636–1711), фр. поэт, критик, теоретик классицизма 108, 878
 Поэтическое искусство 878
 Буданова Нина Федотовна (р. 1931), литературовед 876
 История «обращения и смерти» Ришара 876
 Будда Шакьямуни (при рождении Сиддхартха Гаутама; 563–483 до н. э.) 340, 663, 826
 Бузенбаум Герман (1600–1663), нем. богослов, иезуит 970
 Основы морального богословия 970
 Буйницкий Алоизий Несторович (1831–1900), тайный советник, публицист, переводчик с англ. языка 417, 419
 Булахов Петр Петрович (1822–1885), композитор, авт. романсов 978
 Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944), религ. философ, богослов, священник (с 1918) 1019, 1034
 Булгаков Федор Ильич (?–1908), журналист и искусствовед 1030
 Буддаков Тимофей Михайлович (? – не ранее 1651), якут. казак, землепроходец и арктич. мореход 517
 Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) 1019
 Окаянные дни 1019
 Бурачёк (Бурачок) Степан Онисимович (вар-т отчества – Анисимович; 1800–1877), критик, изд. журн. «Маяк»; ген.-лейтенант, корабел. инженер, изобретатель 710, 995
 Бурбоны, королев. династия во Франции (1589–1792, 1814–1815, 1815–1830) и ряде др. стран 899, 958
 Буренин Виктор Петрович (1841–1926), критик, поэт-сатирик, драматург 43, 369, 370, 373, 442–447, 449, 450, 825, 863, 870, 907, 908, 912, 915, 916, 928, 930, 938, 977, 1012
 Литературное юродство и кликушество 912, 913, 916, 928
 Не скрипит еще телега 443
 Ноги в перчатках, желудки, цепляющиеся за маски и проч. 907
 Роман в Кисловодске 928
 Бурнашев Владимир Петрович (1809–1888), беллетрист, авт. науч.-попул. брошюр, ред. «Трудов Вольного Экон. О-ва» (1850–1857); сотр. сыского ведомства 883
 Буслаев Федор Иванович (1818–1897), языковед, фольклорист, литературовед, историк искусства 28, 377, 379, 424, 508, 520, 592, 597, 608, 609, 705, 873, 917, 968, 972

- Комик Щепкин о Гоголе 873
 Мои воспоминания 917
 Мои досуги 28, 609, 917, 972
 Общий план и программы обучения языкам и литературе 968
 Русский лицевой апокалипсис 972
- Бутлеров Александр Михайлович (1828–1886), ординар. проф. химии Петерб. ун-та (с 1870), академик (с 1874) 459, 931
- Бутру Эмиль (1845–1921) 7, 645, **981**
 В защиту идеалов разума 7, 645, 981
 Вильям Джеймс и религиозный опыт 981
 Наука и религия в современной философии 981
 О случайности законов природы 981
 Паскаль 981
- Бутягина (ур. Руднева) Варвара Дмитриевна (1864–1923), вдова чиновника, вторая жена Розанова (с 1891) 902, 982, 1012
- Быстрова Ольга Васильевна, литературовед 947
- Бычков Афанасий Федорович (1818–1899), историк, археограф, библиограф, палеограф, академик (с 1869), дир. Публич. б-ки (1882–1899) 424
- Беда Достопочтенный – см. *Беда Достопогтенный*
- Бэйль П. – см. *Бейль П.*
- Бэкон Рожер (ок. 1214 – после 1292), англ. философ и естествоиспытатель; монах-францисканец (с 1257) 701
- Бэкон Фрэнсис (1561–1626), англ. философ, историк, полит. деятель 168, 171, 172, 225, 854, 885
 Новый органон 168, 171, 885
- Бюхнер Людвиг (1824–1899), нем. врач, естествоиспытатель и философ 689
- В. В.** – см. *Воронцов В. П.*
- Ваал (Баал), в ассиро-вавилон. мифологии бог плодородия, неба, вод, войны 36, 38, 1005
- Вагенгейм (возможно, Людвиг Берндт (Людвиг Самойлович; 1840–1884), мекленбургский подданный), петерб. зубной врач 126, 886
- Вагнер Генрих (1747–1779), нем. поэт и драматург эпохи «Бури и натиска» 904
- Вагнер Николай Петрович (1829–1907), зоолог, прозаик 459, 931
- Валленштейн Альбрехт (1583–1634), герцог, нем. полководец 166
- Валлис (Уоллис) Джон (1616–1703), англ. математик 169, 886
- Валлиснери Антонио (1661–1730), итал. врач и ученый-натуралист 886
- Валуа, королев. династия во Франции (1328–1589) 899
- Валуев Дмитрий Александрович (1820–1845), историк, обществ. деятель, славянофил, издатель 617
- Валуев Петр Александрович (1815–1890), граф (1880), министр внутр. дел (1861–1868), пред. Комитета министров (1879–1881); прозаик, духов. писатель 758, 1006
- Вальверде Висенте де (1498–1541), исп. монах-доминиканец, миссионер в Америке 994
- Варвара Дмитриевна – см. *Бутягина В. Д.*
- Вармон Пьер де, роялист, казненный во время Великой Французской революции; дед Д. В. Григоровича 974
- Варя – см. *Пронина В. Л.*
- Василий Блаженный (1468/1462–1557?), святой, Христа ради юродивый 251, 833
- Васильев Афанасий Васильевич (1851–1929), публицист-славянофил, правовед, поэт; ген.-контролер Деп-та железнодорож. отчетности (1893–1896), изд. журн. «Благовест» (1890–1896) 487, 492, 520, 983
- Вассиан Топорков (послед. треть XV в. – не ранее 1560), епископ Коломенский и Каширский (1825–1842) 525, 952

- Вашенко-Захарченко Михаил Егорович (1825–1912), математик 58
Начала Евклида, с пояснительным введением и толкованиями 58
- Введенский Александр Иванович (1856–1925), философ и психолог, представитель неокантианства 667
- Введенский Алексей Иванович (1861–1913), богослов, историк философии, лит. критик; проф. Моск. духов. академии (с 1892), ред. журн. «Душеполез. Чтение» (1902–1908) 708
- Введенский Иринарх Иванович (1813–1855), переводчик, лит. критик, педагог 889
- Вебер Георг (1808–1888), нем. историк и филолог 374, 917
- Вега (Вега-и-Карпио) Лопе де (1562–1635) 225, 443
- Вейнберг Петр Исаевич (1831–1908), поэт, переводчик, историк лит-ры 503, 929, 945, 946
- Веласкес (Сильва-и-Веласкес) Диего Родригес де (1599–1660), исп. художник 225
- Венгеров Семен Афанасьевич (1855–1920), критик, историк лит-ры, библиограф 444, 1003
- Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805–1827), поэт, критик, переводчик, журналист, чл. моск. кружка любителей 783, 1004, 1009
- Венера – см. *Афродита*
- Вениамин, младший сын ветхозавет. патриарха Иакова 402, 403
- Вергилий – см. *Виргилий*
- Верди Джузеппе (1813–1901), итал. композитор 981
Эрнани 981
- Вернер Захария (1768–1823), нем. писатель-романтик 904
- Веселитская (Веселитская-Божидарович, Веселитская-Микулич) Л. И. – см. *Микулич В.*
- Веселовский Александр Николаевич (1838–1906), литературовед, проф. Петерб. ун-та (с 1870), академик (с 1877) 916
- Веселовский Алексей Николаевич (1843–1918) 5, 258, 373, 857, 916, 917, 1006, 1026
Гоголь и Чаадаев 916
Этюды и характеристики 917
- Веспасиан (Тит Флавий Веспасиан; 9–79), рим. император (с 69) 214, 896
- Ветловская Валентина Евгеньевна (р. 1940), литературовед 876
Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» 876
- Виардо (Виардо-Гарсиа) Полина (1821–1910), певица, композитор, друг И. С. Тургенева 862, 863, 1031
- Виет Франсуа (1540–1603), фр. математик 878
- Виктор Эммануил II (1820–1878), король сардинский (с 1849) и первый король объедин. Италии (с 1861) 237
- Виллари Паскуале (1826–1917), итал. историк 1035, 1036
Джироламо Савонарола и его время 1035, 1036
- Вильгельм I Гогенцоллерн (1797–1888), прус. король (с 1861) и герман. император (с 1871) 556
- Вильгельм III Оранский (1650–1702), король Англии, Шотландии и Ирландии (с 1689), штатгальтер Голландии и капитан-генерал (главнокомандующий вооруженных сил, с 1672) 224, 898
- Вилькина (в замуж. Минская) Людмила Николаевна (1873–1920), поэтесса, переводчик 1029
Мой сад 1029
- Винкельман Иоганн Иоахим (1717–1768), нем. искусствовед, археолог 427
- Винницкая (Винницкая, наст. фам. Будзианик) Александра Александровна (1847–1914), прозаик, мемуарист 1032
- Виргилий (Вергилий) Марон Публий (70–19 до н. э.), др.-рим. поэт 170, 392, 910
Георгики 910

- Вирсавия, жена царя Давида и мать царя Соломона 402, 681, 919, 988, 989
- Витте Сергей Юльевич (1849–1915), граф, министр путей сообщения (1892), министр финансов (1892–1903), пред. Комитета министров (1903–1906), пред. Совета министров (1905–1906) 485, 940
- Вишняков Василий Иванович (1836–1900), директор-управляющий товарищества «Обществ. польза» 912, 913
- Вишняков Николай Петрович (1844 – не ранее 1927), гласный Моск. гор. думы, создатель палеонтологич. и минералогич. коллекций, мемуарист 913
- Владимир I (Владимир Святой Равноапостольный; ок. 960–1015), вел. князь Киевский (с 978); креститель Руси 246, 253, 308, 315, 996
- Владимир II Мономах (1053–1125), вел. князь Киевский (с 1113) 246, 734
- Владимилова (в первом браке Виндинг, во втором – Муратова) Елизавета Павловна (1860-е – после 1915), драматург, новеллист, дет. писательница 1034, 1035
- Хризантемы 1034, 1035
- Властов Георгий Константинович (1827–1899), обществ. и гос. деятель, экзегет 628, 758, 977
- Священная летопись первых времен мира 628, 758, 977, 1006
- Вовчок Марко (наст. имя Мария Александровна Вилинская, в первом браке Маркович, во втором – Лобач-Жученко; 1833–1907), украин. прозаик, поэтесса, переводчица 191, 891, 931
- Вогюэ Эжен Мельхиор де (1848–1910), граф, позднее маркиз; фр. дипломат, археолог, меценат, лит. критик, историк 1032
- Воейкова (ур. Протасова) Александра Андреевна (1795–1828), литератор, переводчица 1033
- Волгин Игорь Леонидович (р. 1942), историк, литературовед, поэт 872
- Волжский (наст. фам. Глинка) Александр Сергеевич (1878–1940), религ. мыслитель и историк 860, 1029
- Из мира литературных исканий 860, 1029
- Вольнский Аким Львович (наст. имя Хаим Лейбович Флексер; 1861 или 1863–1926) 6, 324, 443, 447, 450–454, 667, 704, 705, 861, 871, 929, 930, 942, 994, 1026, 1030, 1032
- Ф. М. Достоевский 1030
- Н. С. Лесков. Критический очерк 994
- Литературные заметки 929
- Плохой парадокс о Гоголе 871
- Русские критики 450–454, 929, 930
- Вольта Алессандро (1745–1827), граф (1801), итал. физик, химик и физиолог 464, 465, 933
- Вольтер (наст. имя Мари Франсуа Аруз; 1694–1778) 57, 166, 168, 169, 225, 235, 319, 328, 387, 524, 525, 541, 543, 544, 591, 621, 759, 809, 871, 875, 898, 910, 957, 958, 976
- Генриада 541, 957
- Задиг 524, 525
- Орлеанская девственница 910
- Послания к автору новой книги о трех лжецах 875
- Вольф Александр Маврикиевич, сын и наследник М. О. Вольфа, изд. журн. «Новь» (1884–1898) 922, 938
- Вольф Маврикий Осипович (1825–1883), основатель петерб. книгоиздат. фирмы (1853) 416, 922
- Вольф Христиан (1679–1754), нем. философ, популяризатор учения Лейбница 407
- Воронов Андрей Петрович (1864–1912), архивист, проф. Археологич. ин-та 519
- К вопросу о положении архивного дела во Франции 519
- Воронцов Василий Павлович (1847–1918), экономист, социолог, публицист-народник 461, 932, 940

- Воропонов Глеб Федорович (1867 – не ранее 1917), художник-иллюстратор, педагог 1035, 1036
- Врангель Александр Егорович (1833–1915), барон, камергер, дипломат; знакомый Ф. М. Достоевского 875, 989
- Вронченко Михаил Павлович (1802–1855), востоковед, географ и воен. геодезист; прозаик, поэт-переводчик 965
- Врубель Михаил Александрович (1856–1910), живописец, график, скульптор, театр. художник 1035
- Вуколов Иван (Иоанн), священник, духовник А. А. Рудневой 114, 879
- Вундт Вильгельм Максимилиан (1832–1920), нем. врач, физиолог и психолог 470, 936
Гипнотизм и внушение 936
- Вяземский Петр Андреевич (1792–1878), князь, поэт, критик, мемуарист; тов. министра нар. просвещения (1855–1858), сенатор (с 1859) 451, 504, 617, 922, 946, 963
Письма из Парижа 963
Смерть жатву жизни косит, косит... 451, 929
- Вященко-Захарченко М. Е. – см. *Ващенко-Захарченко М. Е.*
- Габсбурги**, европ. монаршая династия правителей Австрии (1282–1918) и императоров Свящ. Рим. империи (1438–1742, 1745–1806) 885
- Гадзяцкий Константин, историк 520, 951
Иван Дмитриевич Беляев 520, 951
- Гай (II в.), др.-рим. юрист, авт. учебника для изучающих право 779, 1008
- Гайдебуров Павел Александрович (1841–1893), либерал. народник, журналист, литератор 697, 993
- Галахов Алексей Дмитриевич (1807–1892), прозаик, филолог, лит. критик, журналист 592, 969
История русской словесности 969
- Галесвинта (ок. 540–568), вторая жена короля франков Хильперика I, дочь вестготского короля Атанагильда 975
- Галилей Галилео (1564–1642) 172
- Галина Галина (наст. имя Глафира Адольфовна Ринкс, в первом браке Эйнерлинг, во втором – Гусева; 1870–1942), поэтесса, эссеистка, переводчица 983
- Галле Иоганн Готтфрид (1812–1910), нем. астроном 925
- Гальяни Фердинандо (1728–1787), аббат, итал. экономист, историк и философ 543
- Гамма – см. *Градовский Г. К.*
- Ганнибал (Аннибал; 247–183 до н. э.), карфаген. полководец 408, 590, 612, 832, 973
- Гара Доминик Жозеф (1749–1833), фр. публицист и полит. деятель 519
- Гарвей Уильям (1578–1657), англ. врач, основоположник физиологии и эмбриологии 172
- Гармодий, афин. тиранубийца, вместе с Аристогитоном составил заговор против тирана Гиппия (514 до н. э.) 895
- Гартвиг Георг (1813–1880), популяризатор науки, авт. книг о различных природных явлениях 724
- Гартман Эдуард фон (1842–1906), нем. философ 320, 759
- Гаршин Всеволод Михайлович (1855–1888), прозаик, поэт, худож. критик 478, 520, 939
- Гарэтто Эльда, итал. литературовед, славист 889
- Гатчинский Отшельник – см. *Романов И. Ф.*
- Гауптман Герхарт (1862–1946), нем. драматург, романист 1034, 1035
Ганнеле 1034, 1035
- Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) 314, 372, 407, 452, 484, 563, 589, 613, 663, 666, 689, 837, 892, 910, 1033
Наука логики 910

- Гей (наст. фам. Гейман) Богдан Вениаминович (1848–1916), журналист, зав. иностр. от-делом газ. «НВ» (с 1876) 1033
- Гейне Генрих (1797–1856) 18, 454, 493, 526, 543, 777, 779, 835, 855, 872, 930, 943
 Довольно! Пора мне забыть этот вздор!.. 18, 872
 Исповедь испанской королевы 543
 Путешествие на Гарц 777
 Романтическая школа 930
- Гейнце Макс (1835–1909), нем. историк философии 470, 936, 970
 История новой философии в сжатом очерке 936
- Геккерен (Геккерн де Беверваард) Луи ван (1792–1884), голланд. дипломат; приемный отец Ж. Дантеса 676, 677, 844, 987
- Гексли (Хаксли) Томас Генри (1825–1895), англ. зоолог-дарвинист, популяризатор науки 724
- Гекуба, в др.-греч. мифологии вторая жена троян. царя Приама 693, 915, 991
- Гелиос, в др.-греч. мифологии бог солнца 880
- Гельмгольц Герман фон (1821–1894), нем. физик, врач, физиолог, психолог 171
- Генрих I Птицелов (Heinrich der Vogeler; ок. 876–936), герцог Саксонии (с 912), король Восточно-Франкского королевства (с 919) 217, 897
- Генрих IV Болингброк (1366–1413), король Англии (1399–1413), основатель Ланкастер. династии 932, 980
- Генрих VIII Тюдор (1491–1547), король Англии (с 1509) 224, 898
- Георгий Победоносец (?–303/304), великомученик 618, 975
- Гера Вениамитянин (X в. до н. э.), житель Бахурима из рода дома царя Саула 409
- Гераклит Эфесский (544–483 до н. э.), др.-греч. философ-досократик 690
- Герберт Эдуард, первый барон Герберт из Чербери (1583–1648), англ. религ. философ, полит. и гос. деятель 168
- Гердер Иоганн Готфрид (1744–1803), нем. философ, критик, эстетик 111, 689, 698, 879
 Идеи к философии истории человечества 879
- Геркулес (Геракл), в др.-греч. мифологии герой, сын Зевса 604, 971
- Гермес, в др.-греч. мифологии бог торговли, ловкости и красноречия 893
- Геродот (490/480–ок. 425 до н. э.), др.-греч. историк 203, 212, 465, 591, 626, 893, 895, 933, 976, 977, 980, 987
 История 895, 976, 977, 987
- Герострат, грек из Эфес в Малой Азии; чтобы обессмертить свое имя, сжег в 356 до н. э. храм Артемиды Эфесской 1031
- Герцен Александр Иванович (1812–1870) 237, 238, 474, 548, 549, 690, 764, 855, 862, 863, 917, 937, 1031, 1032
 Былое и думы 238, 900
 Ум хорошо, а два лучше 937
- Гершель Фредерик Уильям (1738–1822), англ. астроном 724
- Гершензон Михаил Осипович (1869–1925), литературовед, философ, публицист и переводчик 1035
- Герье Владимир Иванович (1837–1919), историк, проф. Моск. ун-та (1868–1904) 175, 258, 597, 902, 903, 1031, 1032
 Лейбниц и его век 175
- Геспериды, в др.-греч. мифологии нимфы, дочери Геспера (Вечерней Звезды) 627, 977
- Гесиод (Гезиод; VIII–VII вв. до н. э.), др.-греч. поэт, рапсоd 996
- Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832) 5, 8, 20, 111, 115, 200, 204, 226, 235, 258, 263–266, 268, 269, 274, 275, 279–283, 394, 454, 456, 457, 465, 484, 529, 534, 535, 548, 568, 572, 599, 610, 627, 636, 663, 689, 691, 698, 749, 879, 880, 893, 902–904, 919, 955, 964, 970, 977, 1036
 Вертер 204, 263, 394, 484, 548
 Герман и Доротея 534, 955

- Гёц фон Берлихинген 263, 264, 266
 Западно-восточный Диван 610, 973
 Избирательное сродство 919
 Коринфская невеста 599, 902, 970
 Ночная песня странника 281, 904
 Фауст 5, 8, 20, 111, 115, 204, 258, 263, 266, 268, 269, 274, 280, 456, 535, 548, 568, 636, 691, 749, 857, 879, 880, 893, 902–904, 964, 977, 1008, 1026
- Гёфдинг (Гёффдинг) Харальд (1843–1931), дат. философ и психолог 470, 936
 Очерки психологии 936
- Гиббон Эдуард (1737–1794), англ. историк 705, 994
 История упадка и разрушения Римской империи 994
- Гизо Франсуа (1787–1874), фр. историк, критик; министр внутр. дел (1830), нар. просвещения (1832–1837), иностр. дел (1840–1848), пред. Совета министров (1847–1848) 229, 379, 899
 История цивилизации Европы 229, 899
- Гиль Христиан Христианович (1837–1908), нумизмат 861
- Гиляров Федор Александрович (1841–1895), филолог, педагог, публицист, издатель; со-ред. газ. «Совр. Известия» (1878–1883) 962
- Гиляров-Платонов Никита Петрович (1824–1887) 7, 9, 430, 499, 500, 513, 514, 562, 659, 662, 753, 836, 949, 961, 962, 1011, 1026, 1028
 Несколько слов о механических способах в исследовании истории 962
 Основные начала экономии 949
 Рационалистическое движение философии новых времен 962
 Экскурсии в русскую грамматику 949
- Гинцбург Илья Яковлевич (наст. имя Элиаш Гинзбург; 1859–1939), скульптор 510, 948, 949
- Гиппарх (?–514 до н. э.), афин. тиран, соправитель брата Гиппия (с 527 до н. э.) 895
- Гиппий (570-е – 490 до н. э.), афин. тиран; в 514–510 до н. э. проводил репрессии 213, 895, 896
- Гиппиус (по мужу Мережковская) Зинаида Николаевна (1869–1945), поэтесса, прозаик, драматург, лит. критик 443
- Гиппиус Владимир Васильевич (1876–1941), поэт, литературовед 977
 Дни и сны 977
- Глеб Владимирович (в крещении Давыд; ок. 987–1015), князь Муромский (с 1010); св. мученик 519
- Глинка (Глинка-Янчевский) Станислав Казимирович (1844–1921), предприниматель; публицист-консерватор, ред. газ. «Земщина» (1914–1917) 692, 991
- Глинка Михаил Иванович (1804–1857) 988, 1011, 1016
 Руслан и Людмила 988, 1011
- Глинский Борис Борисович (1860–1917), прозаик, публицист, ред.-изд. журн. «Сев. Вестник» (1890–1891) 930
 Болезнь или реклама? 930
- Гнедич Николай Иванович (1784–1833), поэт, переводчик 607, 958
 А. С. Пушкину, по прочтении сказки его о царе Салтане 958
- Гоббс Томас (1588–1679), англ. философ и литератор 168, 515, 828, 829, 885
 Левиафан 168, 828, 885
- Говоруха-Отрок Юрий Николаевич (псевд. Ю. Николаев; 1850–1896) 6, 142, 445, 472, 473, 520, 800, 819, 869, 870, 882, 916, 926–928, 931, 936, 937, 972, 1028, 1029
 Блудные сыны 869
 Во что веровал (верил) Достоевский? 870
 Гоголь и Достоевский 870

- А. А. Григорьев 937
 Две Пасхи 937
 Еще о Гоголе 869
 Нечто о Гоголе и Достоевском 869, 882
 Новый рассказ А. П. Чехова <<Убийство>> 926, 927
 Очерки современной беллетристики. В. Г. Короленко 937
 По поводу статьи Розанова 916
 Последние произведения графа Л. Н. Толстого 937
 Тургенев 937
- Гогенштауфены (Штауфены), династия южногерманских королей и императоров Свящ.
 Рим. империи (1138—1254) 433
- Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) 5, 8, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 25—29, 142—157,
 160, 190, 250, 373, 375, 393, 394, 414, 432, 451, 453—455, 457, 465, 467, 474, 496, 504,
 523, 530, 549—552, 554, 555, 605, 607—609, 613, 621, 636, 654, 667, 668, 708, 721, 733,
 736, 743, 749, 799, 803, 805, 819, 848, 851, 855, 856, 857, 859, 861, 864, 866—873, 881,
 882, 891, 892, 901, 912, 918, 923, 928, 930, 943, 946, 954, 959, 986, 989, 1001, 1003,
 1014, 1016, 1017, 1028, 1030, 1032, 1034, 1035
- Авторская исповедь 155
 Арабески 20
 Вечера на хуторе близ Диканьки 155, 856, 882
 Вий 16, 157, 605
 Выбранные места из переписки с друзьями 16, 27, 155, 157, 250, 454, 550, 805, 871, 901, 930
 Ганс Кюхельгартен 549
 Завещание 155
 Записки сумасшедшего 912
 Мертвые души 22, 26—29, 144—148, 151, 154, 155, 160, 451, 467, 504, 550, 621, 654, 708, 733, 803,
 819, 848, 864, 866, 872, 873, 881, 883, 884, 928, 930, 944, 946, 959, 989, 1001
 Миргород 155, 160, 530, 954
 Невский проспект 147
 Нос 851
 Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем 155, 453, 883, 930, 986
 Портрет 19, 864, 872, 1016
 Размышления о Божественной литургии 851
 Ревизор 147, 154, 155, 160, 375, 393, 467, 667, 668, 736, 917, 923, 943
 Рим 153, 883
 Сорочинская ярмарка 882
 Старосветские помещики 954
 Страшная месть 16, 157, 552, 554, 959
 Тарас Бульба 26, 743, 1003
 Театральный разъезд после представления новой комедии 393, 918
 Четыре письма к разным лицам по поводу Мертвых душ 28
 Шинель 5, 8, 148—155, 160, 414, 432, 803, 819, 857
- Годлевский Сигизмунд Фердинандович (1855—1917) 8, 780, **1008**, 1026
- Литературная оргия 1008
 Основы современного развития 1008
 Ренан как человек и писатель 1009
 Смерть Неволина и его скитания по Сибири 8, 780, 1008
- Годой Мануэль, маркиз Альварес де Фариа, герцог Алькудия (1767—1851), исп. гос. дея-
 тель, первый министр королевства (1792—1798) 557
- Годунов Б. Ф. — см. *Борис Федорович Годунов*
- Голдсмит (Гольдсмит) Оливер (1730—1774), англ. прозаик, поэт и драматург-сентимен-
 талист 394, 395, 919
- Векфильдский священник 394, 395, 919
- Голенищев Владимир Семенович (1856—1947), востоковед-египтолог, ассириолог, семи-
 толог 976

- Голиаф, воин-филистимлянин, великан 478, 939
 Голиков Иван Иванович (1735–1801), историк, издатель 944
 Деяния Петра Великого 944
 Голицын Дмитрий Владимирович (1771–1844), светл. князь, моск. ген.-губернатор (с 1820) 375, 410
 Голицын Николай Борисович (1794–1866), князь, виолончелист; воен. мемуарист, переводчик, муз. критик, религ. публицист 962
 Голицын Николай Николаевич (1836–1893), князь, консерват. публицист, библиограф, историк, ред. газ. «Варшав. Дневник» (1879–1883) 892, 921
 Голлербах Эрх Федорович (1895–1942), искусствовед, худож. и лит. критик, библиограф и библиофил 1012, 1024
 В. В. Розанов. Жизнь и творчество 1024
 Головин Александр Васильевич (1821–1886), чиновник Мор. ведомства (с 1848), статс-секретарь (1859), министр нар. просвещения (1862–1866) 428, 955
 Голубкина Анна Семеновна (1864–1927), скульптор 1034, 1035
 Голубкова Анна Анатольевна (р. 1973), лит. критик, литературовед, прозаик, поэт 957
 Голубов (наст. фам. Чайков) Константин Ефимович (1842–1889), крестьянин-старообрядец федосеевского согласия, ставший единоверч. священником; издатель, духов. писатель 21
 Гольбах (д'Ольбах) Поль Анри (1723–1789), барон, фр. философ нем. происхождения, публицист, энциклопедист 543
 Гольцев Виктор Александрович (1850–1906), либерал. публицист и лит. критик, правовед; ред. журн. «Юридич. Вестник» и «Рус. Мысль» и газ. «Рус. Курьер», сотр. газ. «Рус. Ведомости» 664
 Гомер (VIII в. до н. э.) 170, 203, 235, 410, 554, 555, 569, 605, 607, 610, 623, 630, 641, 955, 964, 991
 Илиада 630, 955, 991
 Одиссея 569, 623, 964
 Гонкуры: Эдмон де (1822–1896) и Жюль де (1830–1870), братья, фр. прозаики; Эдмон также историк, худож. критик, мемуарист 682, 850
 Гонорий (Флавий Гонорий Август; 384–423), первый зап.-рим. император (с 393) 228, 899
 Гончаров Иван Александрович (1812–1891) 22, 26, 29, 33, 188, 415, 497, 520, 525, 528, 591, 592, 615, 616, 726, 764, 855, 864, 869, 890, 1007, 1034
 Обломов 22, 29, 1007
 Обрыв 497, 520, 592, 764, 969, 1007
 Гончарова (в первом браке Пушкина, во втором — Ланская) Наталья Николаевна (1812–1863), жена Пушкина (1831–1837) 575, 672, 677–679, 681, 682, 842, 844–848, 851, 943, 987, 1003
 Гораций (Квинт Гораций Флакк; 65–8 до н. э.), др.-рим. поэт 108, 878, 941
 Наука поэзии 878
 Оды 941
 Горбов Николай Михайлович (1859–1921), педагог, автор учеб. пособий по рус. истории; библиофил 1035
 Донателло 1035
 Горго (V в. до н. э.), спартанка; возможно, спартан. царица (ок. 507 — после 480 до н. э.), жена Леонида I 896
 Горленко Василий Петрович (1853–1907), журналист, этнограф и худож. критик 860, 1029
 Отблески 860, 1029
 Горенштейн В. О., филолог-классик, переводчик 407

- Горнфельд Аркадий Георгиевич (1867–1941), литературовед, лит. критик, переводчик, публицист 871
- Горский Александр Васильевич (1812–1875), протоиерей, историк, археограф; ректор Моск. духов. академии (с 1862) 508
- Горчаков Александр Михайлович (1798–1883), светл. князь, дипломат, рус. посланник в Вене (с 1855), министр иностр. дел и чл. Гос. совета (1856–1882), канцлер (с 1867) 234, 899
- Горький Максим (при рождении Алексей Максимович Пешков; 1868–1936) 724, 855, 861, 871, 1030, 1032–1034
- Горяева Татьяна Михайловна, историк, архивист 4
- Готье Теофиль (1811–1872), фр. поэт-романтик, прозаик, критик 610
- Грабарь Игорь Эммануилович (1871–1960), живописец, реставратор, искусствовед, педагог 1035
- Градковский Александр Дмитриевич (1841–1889), правовед, либерал. публицист 146, 525, 882
- Мечты и действительность 882
- Градковский Григорий Константинович (псевд. Гамма; 1842–1915), либерал. обществ. деятель, публицист 474, 475, 938, 952
- Гракхи (Семпронии Гракхи), братья: Тиберий (162–133 до н. э.) и Гай (153–121 до н. э.), др.-рим. полит. деятели 206, 222, 242, 408, 894
- Граммати Николай Георгиевич (?–1914), чиновник Гос. контроля, сослуживец Розанова 1032
- Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855), историк-медиевист, глава моск. западников; проф. Моск. ун-та (с 1839) 21, 28, 417, 469, 690, 691, 706, 719, 860, 923, 935, 1029
- Грибоедов Александр Сергеевич (1790/1795–1829) 6, 335, 393, 394, 415, 419, 421, 467, 502–504, 548, 571, 667, 668, 726, 863, 922, 947, 949, 965, 999
- Горе от ума 6, 335, 393, 394, 415, 419, 421, 467, 502–504, 667, 668, 726, 922, 947, 949, 965, 999, 1028
- Григорий I Великий (Григорий Двоеслов; ок. 540–604), папа Римский (с 590) 896
- Григорий VII Гильдебрандт (1020/1025–1085), папа Римский (с 1073) 833
- Григорий, дьяк, ученый книжник и художник, переписчик Евангелия для новгородского посадника Остромира (1056–1057) 968
- Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1899) 7, 520, 613–615, 858, 973, 974, 1026
- Антон Горемыка 614, 974
- Гуттаперчевый мальчик 974
- Литературные воспоминания 974
- Переселенцы 614, 974
- Проселочные дороги 614, 974
- Рыбаки 614, 974
- Григорович (ур. де Вармон) Сидония Петровна, француженка, мать Д. В. Григоровича 614, 974
- Григорьев Аполлон Александрович (1822–1864) 7, 25, 394, 417, 420, 458, 468, 472, 473, 520, 586–589, 855, 858, 873, 919, 923, 931, 934, 937, 946, 967, 968, 1026, 1033, 1034
- Взгляд на современную изящную словесность 25
- Григорьев Александр Аполлонович (1852–1898), литератор, чиновник Мин-ва финансов; сын Ап. Григорьева 587, 967
- Одинокий критик 587, 967
- Григорьев Владимир Александрович (1877–1941/1942), юрист; внук Ап. Григорьева 967
- Григорьев Петр Аполлонович (1850 – сер. 1890-х), сын Ап. Григорьева 967
- Григорьева (ур. Соловьева) Лидия Алексеевна, жена Ал-дра Григорьева 967
- Григорьева (в замуж. Красовская) Надежда Александровна (1875–1929), внучка Ап. Григорьева 967

- Грингмут Владимир Андреевич (псевд. Spectator; 1851–1907) 6, 9, 469, 487, 489–492, 827, 857, **935**, 941, 942, 1002
- Громека Михаил Степанович (1852–1884), лит. критик 1000
Последние произведения графа Л. Н. Толстого 1000
- Гроссман Леонид Петрович (1888–1965), литературовед, лит. критик, прозаик, поэт 876
- Грот (ур. Семенова) Наталья Петровна (1828–1899), прозаик, публицист, переводчик 860, 1029
Свобода в жизни и государстве 1029
- Грот Николай Яковлевич (1852–1899), философ, проф. Моск. ун-та (с 1886), ред. журн. «ВФП» (с 1889) 598, 666, 785, 857, 862, 1009, 1031
К вопросу о реформе логики 666
- Грот Яков Карлович (1812–1893), филолог; проф. Гельсингфорс. ун-та (с 1840), акад. (с 1858) 592, 957
- Губастов Константин Аркадьевич (1845–1919), дипломат, историк, генеалог 410, 920, 921, 1030
- Гуго Капет (940–996), граф Парижа (956–996), герцог западных франков (956–996), король Франции (987–996); основатель королев. династии Капетингов 229, 899
- Гудон Жан Антуан (1741–1828), фр. скульптор 621, 976
- Гук Роберт (1635–1703), англ. физик, математик и архитектор 169
- Гумбольдт Александр фон (1769–1859), нем. физик, метеоролог, географ, ботаник, зоолог, путешественник 226, 544, 898, 956, 958
Космос 544, 958
- Гумбольдт Вильгельм (1767–1836), нем. лингвист, философ; дипломат 226, 898
Лациум и Эллада 898
- Гумбольдты, братья — см. *Гумбольдт А., Гумбольдт В.*
- Гуно Шарль (1818–1893), фр. композитор 627, 628, 776, 977
- Гуревич Любовь Яковлевна (1866–1940), прозаик, лит. и театр. критик, переводчик, издатель 447, 929, 942
- Гус Ян (1369–1415) 943
- Гусев Петр Львович (? — не ранее 1917), историк-медиевист, библиотекарь Петерб. ун-та 519
О Новгородской иконе святых Бориса и Глеба 519
- Густав II Адольф (1594–1632), король Швеции (с 1611) 689
- Гуттен (Гутен) Ульрих фон (1488–1523), нем. рыцарь-гуманист 225, 1007
Письма темных людей 1007
- Гюго Виктор (1802–1885) 457, 679, 873, 931, 981, 988
Собор Парижской Богоматери 679, 873, 988
Человек, который смеется 931
Эрнани 981
- Гойгенс Христиан ван Зейлихем (1629–1695), нидерланд. механик, физик, математик, астроном и изобретатель 167, 885, 887
О расчетах в азартных играх 885, 887
- Гюк Эварист (1813–1860), фр. синолог, тибетолог, монголист, путешественник; католич. монах, миссионер ордена лазаристов 993
- Давид** (кон. XI в.—ок. 950 до н. э), царь Израильско-Иудейского государства 315, 362, 402, 409, 681, 849, 914, 919, 988, 989
- Давыдов Денис Васильевич (1784–1839), поэт, прозаик; партизан Отеч. войны 1812, ген.-лейтенант (1832) 379, 917
- Давыдов Иван Иванович (1792–1863), филолог, сенатор, пред. Второго отд-ния Акад. наук 424

- Д'Аламбер Жан Лерон (1717–1783), фр. философ, математик и механик; энциклопедист 880
- Далин — см. *Линёв Д. А.*
- Даниил (VII в. до н. э.), ветхозавет. пророк 450, 929, 986, 988, 996
- Даниил Романович Галицкий (1201/1204–1264), князь Волынский (1205–1231, с перерывом), Галицкий (1205–1254, с перерывами), король Галицкой Руси (1254–1264), вел. князь (1240) 253
- Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885), публицист и социолог, идеолог панславизма 62, 312, 420, 458, 459, 468, 472, 499, 500, 520–522, 537, 555, 663, 664, 709, 857, 876, 909, 923, 928, 931, 934, 960, 985, 1028, 1029
- Дарвинизм 62, 663, 876, 931, 960, 985
- Россия и Европа 499, 555, 663, 709, 909, 923, 944, 960, 985
- Данилов И. А. — см. *Фрибес О. А.*
- Данте Алигьери (полн. имя Дуранте дельи Алигьери; 1265–1321) 235, 545, 766, 777, 1007
- Божественная комедия 777, 1022
- Дантес (Геккерн д'Антес) Жорж Шарль (1812–1895), фр. монархист, офицер-кавалергард, убийца Пушкина 671–673, 676, 677, 679, 843, 844, 847, 850
- Дарвин Чарлз (1809–1882) 62, 431, 459, 462, 522, 660, 663, 665, 932, 876, 931, 932, 960, 985, 1014
- О происхождении видов путем естественного подбора 522
- Происхождение человека и подбор по отношению к полу 932
- Дарий I (550–486 до н. э.), персид. царь из династии Ахеменидов (с 522 до н. э.) 893, 900
- Дедал, в др.-греч. мифологии замечат. художник и инженер 411
- Дедлов (наст. фам. Кигн) Владимир Людвигович (1856–1908) 7, 686–688, 990, 1026, 1030
- Вокруг России 686, 990
- Из школьных воспоминаний 990
- Киевский Владимирский собор и его художественные творцы 990
- Панорама Сибири 7, 686, 990
- По Италии, Египту и Палестине 686
- Приключения и впечатления в Италии и Египте 990
- Дежнёв Семен Иванович (ок. 1605–1673), казачий атаман, путешественник, землепроходец, мореход 517
- Декарт (Картезий) Рене (1596–1650), фр. математик, философ, физик и физиолог 108, 166, 168–171, 175, 177, 178, 225, 407, 483, 557, 590, 759, 878, 885, 886, 898, 960
- Геометрия 885
- Рассуждение о методе 168, 169, 170, 171, 886
- Делиль Жак (1738–1813), аббат, фр. поэт-классицист и переводчик 542, 957
- Сады 542, 957
- Дельви́г Антон Антонович (1798–1831), барон, поэт, издатель 410, 609, 617, 747, 749, 920, 1004
- Удел поэта 920
- Делянов Иван Давыдович (1818–1897), граф, дир. Публич. б-ки (1861–1886), чл. Главн. упр-ния цензуры (с 1861); тов. министра нар. просвещения (1866–1874), министр нар. просвещения (с 1882) 933
- Деметра, в др.-греч. мифологии богиня плодородия 874
- Демоне (XVII в.), издатель Паскаля, член Конгрегации оратории 184
- Демосфен (384–322 до н. э.), др.-греч. оратор 203, 242, 892
- Депре Камилл Филипп, фр. вино торговец, основатель торгового дома в Москве 651, 652, 983
- Державин Гаврила Романович (1743–1816) 379, 548, 553, 565, 684, 909, 953, 964

- Памятник 953
 Фелица 565, 964
 Хор (по случаю взятия Измаила) 909
- Де-Роберти Евгений Валентинович (1843—1915), социолог, философ, экономист 667
- Дерулед (Дерулэд) Поль (1846—1914), фр. поэт, драматург и романист; полит. деятель, крайний националист-антисемит 564, 565, 963
- Дестунис Спиридон Юрьевич (1782—1848), филолог, переводчик 899
- Дефо (де Фозе) Даниэль (ок. 1659—1731), англ. прозаик, публицист, полит. деятель 225, 465, 481, 898, 933, 940
- Кратчайший способ расправы с диссидентами 933
- Робинзон Крузо 940
- Джеймс (Джемс) Уильям (1842—1910), амер. философ и психолог 981
- Джонсон Пол (р. 1928), англ. литератор, популяризатор истории, журналист-католик 914
- Джотто (Джотто ди Бондоне; ок. 1267—1337), итал. художник и архитектор 523
- Дидро (Дидеро, Дидерот) Дени (1713—1784), фр. прозаик, философ, драматург 33, 542—544, 880
- Племянник Рамо 33
- Разговор Даламбера и Дидро 880
- Диккенс Чарлз (1812—1870) 225, 457, 855, 931, 1030, 1032
- Наш общий друг 931
- Диксон Элеонора Николаевна (Марцельевна; 1885 — не ранее 1917), поэтесса 1034
- Димант Ойзер (Изер) Львович, стряпчий в Петербурге, миллионер 946
- Дионис, в др.-греч. мифологии бог виноделия, производительных сил природы, вдохновения 455, 930
- Дионисий Парижский (Дени; ?—250), священномученик, первый епископ Парижа 953
- Дионисий Сиракузский (Дионисий Старший), тиран в Сиракузах (405—367 до н. э.) 217, 898
- Дмитренко Сергей Федорович (р. 1953), литературовед, прозаик 913
- Дмитриев Андрей Петрович (р. 1963), литературовед, библиограф 4, 1027, 1037
- Дмитриев Иван Иванович (1760—1837), поэт-сентименталист, переводчик; сенатор (с 1806), министр юстиции (1810—1814) 375
- Дмитрий Донской (1350—1380) 424
- Добролюбов Александр Михайлович (1876—1945?), поэт-символист 448, 929
- Набегают сумраки... 448, 929
- Добролюбов Владимир Александрович (1849—1913), публицист, младший брат Н. А. Добролюбова 1028
- Добролюбов Николай Александрович (1836—1861) 234, 450, 451, 455, 473, 595, 711, 719—721, 727, 863, 916, 929, 937, 998, 1000, 1031, 1032
- Забитые люди 1000
- Милый друг, я умираю... 720, 998
- Долгов Семен Осипович (1857—1925), археограф, литературовед-медиевист, собиратель рукописей, переводчик 949
- Долгорукий (Долгоруков) Яков Федорович (1659—1720), боярин, князь, приказной судья, генерал-комиссар (с 1700) 548
- Долина (наст. фам. Саюшкина, в замуж. Горленко) Мария Ивановна (1868—1919), певица (контральто) 1035
- д'Ольбах П. А. Т. — см. *Гольбах П. А. Т.*
- Донателло (полн. имя Донатело ди Макурин Никколо ди Бетто Барди; ок. 1386—1466), итал. скульптор 1035
- Достоевская (ур. Сниткина) Анна Григорьевна (1846—1918), мемуаристка, вторая жена Ф. М. Достоевского (с 1867) 571, 867, 872, 875, 877, 889, 890, 946, 1030
- Воспоминания 877

- Достоевская Любовь Федоровна (1869–1926), мемуаристка, вторая дочь Ф. М. Достоевского 862
- Достоевская Софья Федоровна (февр.–май 1868), дочь Ф. М. Достоевского 74, 877
- Достоевский Михаил Михайлович (1820–1864), прозаик, издатель 472, 878
- Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) 5, 8, 9, 11, 13, 15–161, 186, 188, 190, 306, 313, 316, 335, 368, 372, 410, 420, 430, 431, 472–474, 478, 494–497, 503, 505, 506, 515, 520, 521, 523, 525, 528, 529, 537, 549, 551, 552, 555, 563, 566, 569, 584, 589, 599, 600, 613–615, 631, 636, 659–665, 667, 680–682, 688, 712, 725–727, 729–732, 753, 764, 799, 803–805, 807, 809, 811, 813, 814, 816–819, 848–850, 855, 857–884, 889, 890, 891, 905, 909, 920, 923, 926, 928, 929, 932, 939, 943, 946, 949, 951–953, 957, 963, 964, 967, 970, 982, 986, 988, 989, 996, 999, 1000, 1007, 1012–1020, 1022–1024, 1026, 1028–1034
- Бедные люди 25, 42, 99, 551
- Белые ночи 31, 32
- Бесы 25, 43, 55, 59, 64, 81, 82, 86, 89, 96, 97, 127, 128, 131, 140, 372, 494, 497, 688, 712, 813, 814, 878, 943, 996, 1015
- Братья Карамазовы 20, 22–25, 41, 42, 46, 48–53, 56, 59, 64, 71, 81, 84, 85, 89, 90, 99, 117, 138–140, 515, 549, 569, 584, 589, 631, 636, 659–661, 688, 726, 804, 805, 807, 809, 811, 817, 864, 866, 868, 872, 873, 875, 876, 986, 1015, 1016, 1018, 1019, 1022
- Влас 929
- Дневник писателя 22, 25, 51, 63, 65, 70, 71, 88, 96, 128, 135, 136, 138, 372, 660, 661, 816, 872, 873, 876, 978, 881, 882, 929, 943, 949, 952, 963, 1016
- Елка и свадьба 31, 874
- Житие великого грешника 872
- Записки из подполья 32, 33, 39, 42, 64, 77, 78, 92, 99, 117, 127–129, 131, 140, 814, 874, 876, 879, 891, 1012
- Записки из Мертвого дома 496, 552, 959
- Записная книжка 431, 663, 872, 985
- Записные тетради 1880–1881 гг. 889
- Зимние заметки о летних впечатлениях 35, 36, 39, 82
- Идиот 23, 25, 70, 132, 134, 188, 589, 631, 636, 865, 1012
- К читателям 872
- Легенда (поэма) о Великом инквизиторе 5, 8, 9, 13, 13, 15–162, 799, 803, 855, 863–871, 877, 881, 882, 884, 905, 1012–1020, 1022–1024, 1026
- Маленький герой 31
- Неточка Незванова 29, 31
- По поводу мокрого снега 33, 874
- Подросток 20, 25, 35, 56, 85, 97–100, 372, 817, 865, 883, 1007
- Преступление и наказание 25, 29, 41–46, 49, 50, 52, 53, 59, 77, 81, 89, 117, 127, 128, 335, 420, 505, 599, 600, 682, 688, 813, 866, 923, 946, 970, 1000, 1012, 1018
- Пушкин (Речь о Пушкине) 16, 23, 71, 89, 134, 146, 157, 372, 525, 871, 890, 920, 952, 957, 985, 988
- Роман в девяти письмах 31
- Село Степанчиково и его обитатели 33
- Слабое сердце 31
- Сон смешного человека 128
- Униженные и оскорбленные 25, 32, 59, 865, 1000
- Хозяйка 31, 80
- Честный вор 29
- Драгомиров Михаил Иванович (1830–1905), ген.-адъютант, ген. от инфантерии (с 1891) 926
- Дрейфус Альфред (1859–1935), фр. офицер, еврей по происхождению, фигурант процесса по делу о шпионаже в пользу Германии (1894–1906) 563, 963
- Дружинин Александр Васильевич (1824–1864), прозаик, критик, переводчик 919, 1000
- Друммонд Генри (1851–1897), англ. богослов, естествоиспытатель 862, 1031
- Дрэпер Джон Уильям (1811–1882), амер. физик, химик, физиолог, историк 773

- Дудин Самуил Мартынович (1863–1929), живописец, график и этнограф 1035, 1036
 Дудышкин Степан Семенович (1820–1866), журналист, лит. критик, переводчик; соизд. и ред. журн. «Отеч. Записки» (с 1860) 924
 Дункан Айседора (1877–1927), амер. танцовщица 1034–1036
 Душенко Константин Васильевич (р. 1946), переводчик, культуролог и историк 1027
 Дю Белли (XVII в.), епископ в Руанском диоцезе 181
 Дю Канж Шарль Рене де (1610–1688), фр. историк, лексикограф 259, 902
 Дюбуа (XVII в.), биограф Б. Паскаля 184
- Ева** 642, 790, 955, 966
 Евклид (Эвклид; ок. 325–265 до н. э.), др.-греч. математик 58, 177, 226, 875, 886
 Начала 177, 886
 Еврипид (Эврипид; 480–406 до н. э.), др.-греч. драматург 554, 555, 580, 1034, 1035
 Ипполит 1034
 Евстигнеева Алла Львовна, литературовед, архивист 1026
 Егунов Андрей Николаевич (1895–1968), литературовед, поэт, прозаик, переводчик 895
 Едошина Ирина Анатольевна (р. 1952), культуролог, литературовед 4, 9, 931, 1012–1023, 1027
 Екатерина (?–304), великомученица 949
 Екатерина II Великая (1729–1796), рос. императрица (с 1762) 548, 556, 557, 571, 955, 958, 973, 976
 Елизавета (Елисавета) Английская (1533–1603), королева Англии и Ирландии (с 1558) 224, 571, 689, 691, 898, 900
 Елисей (? – ок. 835 до н. э.), ветхозавет. пророк 315, 881, 910
 Елуй, персонаж ветхозавет. Книги Иова 904, 1000
 Емельянов-Кохановский Александр Николаевич (1871–1936), поэт, беллетрист, переводчик 447, 929
 Монолог маньяка 929
 О, чудно нежная и страстная болезни! 447
 Обнаженные нервы 929
 Епишев Семен Иванович, приказный Якутского зимовья, управляющий Охотским острогом (1650–1653) 518
 Еремеев Павел Владимирович (1830–1899), минералог и педагог, академик (с 1894) 595, 969
 Лекции по минералогии 595, 969
 Ермак Тимофеевич (1532/1542–1585) 517, 747, 1004
 Ерофеев Виктор Владимирович (р. 1947), прозаик, лит. критик 11
 Ефрем Сирин (ок. 306–373), преподобный, богослов, проповедник, поэт 914
 Ефрон (Эфрон) Илья Абрамович (1847–1917), типограф, книгоиздатель 936, 969, 992
- Жан Поль** (наст. имя Иоганн Пауль Фридрих Рихтер; 1763–1825), нем. прозаик, сатирик, эстетик, публицист 976
 Зелина, или Бессмертие души 976
 Жанна д'Арк (1412–1431) 319, 570, 573, 576, 910, 965
 Жданов Лев Григорьевич (наст. имя Лион Германович Гельман; 1854–1951), прозаик, драматург 1034, 1035
 Под колесом 1034, 1035
 Жезинг А., француженка, сожительница С. Л. Кронеберга (с 1874) 63
 Желанский А. (наст. имя Михаил Александрович Ашкенази; 1863–1936), журналист, ред. журн. «Будильник», фольклорист 838, 1011
 Скамья и кафедра 838, 1011

Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) 394, 504, 537, 547–549, 607, 617, 684, 877, 881, 891, 902, 946, 958, 973, 982, 987, 1003, 1028

Поликратов перстень 987

Торжество победителей 991

Ундина 891

Жулькова Карина Алеговна, литературовед 4, 1027

Загрей – см. *Дионис*

Зайцев Варфоломей Александрович (1842–1882), лит. критик, публицист-памфлетист, социалист-народник, переводчик 450, 924

Сочинения Лермонтова 924

Закревский Арсений Андреевич (1783–1865), граф, ген.-адъютант, ген. от инфантерии, моск. воен. ген.-губернатор (1848–1859) 559, 961

Закржевский Александр Карлович (1886–1916), лит. критик, религ. философ, прозаик 1032, 1033

Лермонтов и современность 1033

Зарин Ефим Федорович (1829–1892), переводчик, публицист 454, 930

Заславский Давид Иосифович (Осипович; 1880–1965), публицист, литературовед, лит. критик, журналист, полит. деятель 1033

Засодимский Павел Владимирович (1843–1912), писатель-народник 1032, 1034

Заточников Вл. – см. *Романов И. Ф.*

Зевс, в др.-греч. мифологии верховное божество 895, 930

Зельманов Михаил Григорьевич (псевд. М. Южный; 1869–1901), журналист консерват. направления, лит. критик 870, 889

Еще о К. Н. Леонтьеве 889

К характеристике Гоголя 870

Зембрих Марчелла (наст. имя Марцелина Пракседа Коханская, по мужу Штенгель; 1858–1935), пол. певица (колоратурное сопрано) 1034, 1035

Зенон из Элеи (ок. 490 – ок. 430 до н. э.), др.-греч. философ 885

Зенон Китгийский, или Финикийский (346/333–264/262 до н. э.), др.-греч. философ, основатель стоической школы (с 300 до н. э.) 897

Златовратский Николай Николаевич (1845–1911), прозаик 520, 616

Сон 616

Устои 520

Золя (Зола) Эмиль (1840–1902) 765, 855, 859, 1007, 1028, 1029

Парижские письма 1007

Экспериментальный роман 1007

Зороастр (Заратустра, Заратуштра; VI–V вв. до н. э.), основатель зороастризма (маздеизма), жрец и пророк 230, 899

Зубов Николай Владимирович (1867 – не ранее 1908), композитор, поэт, авт. попул. романсов 1008

Иаков Зеведеев (Иаков Старший; ?– 44), апостол из 12-ти, мученик 305, 440, 928

Иаков (Израиль), ветхозавет. патриарх 605, 760

Иафет, сын ветхозавет. патриарха Ноя 582, 966

Иберверг Фридрих (1826–1871), нем. философ и историк философии 470, 936, 970

История новой философии в сжатом очерке 936, 970

Ибсен Генрик (1828–1906), норвеж. драматург, поэт и публицист 528, 957, 1034, 1035

Бранд 957, 1034, 1035

Иван III (1440–1505), вел. князь Московский (с 1462) 247

Иван IV Грозный (1530–1584), вел. князь «всея Руси» (с 1522), первый рус. царь (с 1547) 247, 251, 494, 525, 592, 613, 685, 716, 901, 952, 990, 997, 1011

- Иван Данилович Калита (1288–1340), князь Московский (с 1325), вел. князь Владимирский (с 1328) 498
- Иванов Александр Андреевич (1806–1858), художник 24, 873, 1034, 1035
Явление Христа народу 24, 873, 1034, 1035
- Иванов Евгений Павлович (1879–1942), публицист, дет. писатель, мемуарист 1033
В лесу и дома 1033
- Иванова Евгения Викторовна (р. 1948), литературовед 936
- Иванов-Разумник (наст. фам. Иванов) Разумник Васильевич (1878–1946), литературовед, лит. критик, социолог 863, 1012
- Иванцов Николай Александрович (1863–1927), зоолог, философ, переводчик, публицист 20, 170, 886
Воспоминания о воззрениях С. А. Уварова на искусство 20
- Иванцов-Платонов Александр Михайлович (1835–1894), протоиерей, духов. писатель, публицист, проповедник, проф. Моск. ун-та (с 1872) 909
- Ивашинцов Д. С., переводчик И. Тэна (1876) 932
- Игнатьев Николай Павлович (1832–1908), граф, дипломат, ген. от инфантерии (1878); посол в Константинополе (1864–1877), министр внутр. дел (1881–1882) 520
- Идрис I (полн. имя Мухаммед Идрис аль-Махди ас-Сенуси; 1890–1983), король Ливии (1951–1969) 993
- Иезавель (IX в. до н. э.), жена израильского царя Ахава, отличавшаяся кровожадной жестокостью 402
- Иезекииль (ок. 622 – ок. 571 до н. э.), ветхозавет. пророк 966, 987
- Иеремия (VI в. до н. э.), ветхозавет. пророк 966
- Иеровоам (X в. до н. э.), первый царь Северно-Израильского царства 625
- Изгоев Александр Самойлович (наст. имя Арон Соломонович Ланде; 1872–1935), юрист, политик и публицист 1033
- Изида (Исида), главн. др.-египет. богиня 637, 638, 980
- Измайлов Александр Алексеевич (псевд. Аякс; 1873–1921), прозаик, лит. критик 861, 1032
- Иисус Христос 24, 61, 71, 72, 74–79, 85–88, 92–95, 104, 105, 113–115, 132–138, 148, 161, 168, 181, 184, 216, 296, 299, 302, 304, 305, 307, 309, 311, 319, 320, 338–340, 359, 360, 367, 371, 380, 381, 412, 426, 435, 436, 438–440, 523, 527, 534, 567, 568, 575, 578, 582, 601, 603, 613, 631, 638, 642, 651, 663, 677, 696, 697, 761, 776, 815, 816, 824, 826, 873, 877, 879, 887, 900, 901, 907, 908, 911, 915, 925, 951, 965, 973, 979, 980, 983, 985, 987, 1001, 1003, 1017, 1020
- Икар, в др.-греч. мифологии сын Дедала, погибший при попытке высоко взлететь 411
- Иктин (V в. до н. э.), др.-греч. архитектор 896
- Илия Пророк (Илия Фесвитянин; IX в. до н. э.), пророк; по преданию, был взят живым на небо 315, 881, 1005
- Иловайский Дмитрий Иванович (1832–1920), историк, публицист 520, 650, 983
Древняя история 983
- Ильин Николай Николаевич (1884–1944), поэт, журналист, изд.-ред. симбирской газ. «Жизнь» (1910–1911) 863
- Ильминский Николай Иванович (1822–1891), востоковед, педагог-миссионер, библиист 429, 522, 926
- Иннокентий III (в миру Лотарио Конти, граф Сеньи, граф Лаваньи; ок. 1161–1216), папа Римский (с 1198), инициатор ряда крест. походов 833
- Иннокентий (в миру прот. Иоанн Евсеевич Попов-Вениаминов; 1797–1879), просветитель алеутов, духов. писатель; епископ Камчатский и Алеутский (с 1840; архиеп. с 1850), митрополит Московский и Коломенский (с 1868) 430, 926
- Инфолио (нераскрытый псевдоним) 871
- Иоав (X в. до н. э.), полководец царя Давида 409
- Иоанн (имя русских царей) — см. на *Иван*

- Иоанн (Джон) Безземельный (1167–1216), король Англии (с 1199) из династии Плантагенетов 897
- Иоанн Богослов (Иоанн Зеведеев), апостол, авт. одного из канонич. Евангелий (ок. 95), Апокалипсиса (ок. 67) и трех посланий 53, 58, 69, 72, 73, 81, 83, 84, 90, 93, 98, 106, 116, 128, 305, 440, 625, 632, 686, 799, 811, 813, 815, 874–877, 881, 896, 901, 906, 908, 909, 927, 928, 943, 953, 985, 1007, 1015
- Иоанн Дамаскин (в миру Мансур ибн Серджун Ат-Таглиби; ок. 675 – ок. 753), святой, визант. богослов, гимнограф 254
- Иоанн Златоустый (Иоанн Златоуст; 344/354–407), святой, учитель Церкви, епископ Константинопольский (с 398); проповедник 254, 1032
- Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча (6/2 до н. э. – 30 н. э.), пророк, креститель Христа 877, 906
- Иоанн Кронштадтский (наст. имя Иван Ильич Сергиев; 1829–1908), святой праведный, настоятель Андреев. собора в Кронштадте (с 1894); проповедник, духов. писатель 435, 1030
- Иоанн Милостивый – см. *Юлиан Милостивый*
- Иов Многострадальный, персонаж одноимен. библ. книги 84, 275, 276, 279, 315, 635, 727, 822, 903, 904, 979, 994, 1000
- Иоиль, ветхозавет. пророк 879
- Иосиф Прекрасный (сер. II тыс. до н. э.), сын ветхозавет. праотца Иакова от Рахили 679, 845, 850, 1004
- Иофон (V в. до н. э.), др.-греч. драматург, сын Софокла 893
- Ипполит, в др.-греч. мифологии герой, сын афин. царя Тесея 1034, 1035
- Ипполит, камердинер Пушкина, его дорожный слуга (1832–1833) 746, 1003
- Ирод Антипа (20 до н. э. – после 39 н. э.), правитель Галилеи и Перее (4 до н. э. – 39 н. э.), сын царя Ирода Великого, любовник Иродиады 906
- Иродиада (ок. 15 до н. э. – после 39 н. э.), внучка Ирода Великого, виновница гибели Иоанна Крестителя 297, 906
- Исаак Сирий Ниневийский (? – кон. VII в.), богослов, монах-отшельник, отец Церкви 49, 875
- Исаия (ок. 765 до н. э. – ?), ветхозавет. пророк 876, 943
- Исаков Николай Васильевич (1821–1891), ген.-адъютант (1865), ген. от инфантерии (1878), чл. Гос. совета (с 1881); попечитель Моск. учеб. округа (с 1859), главн. начальник воен.-учеб. заведений (1863–1881) 598, 970
- Исаков Петр Николаевич (1852–1917), экономист, тов. обер-прокурора 2-го департамента Сената, пред. Союза взаимопомощи рус. писателей (1897–1901) 938
- Иуда Искарот 479, 860, 939
- Иуда, четвертый сын патриарха Иакова от Лии, родоначальник Иудина колена 402, 919
- Иудифь, иудейская вдова, убившая ассир. военачальника Олоферна 966
- К.** – см. *Комаров В. В.*
- Каблиц И. И. – см. *Юзов И.*
- Кабе Этьен (1788–1856), фр. философ, публицист 109, 130
- Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885), историк, правовед, социолог и публицист; проф. Петерб. ун-та (1857–1861) 424, 488, 525, 941, 952
- Кавур Камилло Бенсо (1810–1861), граф, гос. деятель и дипломат Пьемонта (Сардин. королевства) и Италии эпохи ее воссоединения 237
- Кагаров Евгений Георгиевич (1882–1942), историк и этнограф, проф. Харьк. ун-та (1912–1925) 1034
- Основные идеи античной науки 1034
- Каддафи Муаммар (1940/1942–2011), де-факто глава Ливии и верхов. главнокомандующий (с 1969); публицист 993
- Казотт (Казот) Жак (1719–1792), фр. писатель-мистик, поэт и прозаик 901

- Каин 395, 502, 505, 535, 566, 633, 919, 955, 964, 978
- Кайгородов Дмитрий Никифорович (1846–1924), лесовод, орнитолог, педагог и популяризатор естествознания 859, 1028
Из родной природы 1028
- Калачов (Калачёв) Николай Васильевич (1819–1885), историк, академик (с 1883) 424, 469, 518, 519, 935, 950
- Калашников Петр Иванович (1828–1897), авт. и переводчик оперных либретто 977
- Калликрат (ок. 470–420 до н. э.), др.-греч. архитектор 896
- Калмыкова (ур. Чернова) Александра Михайловна (1849–1926), обществ. деятельница 485, 486
- Кальвин Жан (1509–1564), фр. теолог, реформатор церкви 108, 345, 490, 832, 911, 1036
- Кальдерон де ла Барка Педро (1600–1681), исп. драматург, поэт 225, 443, 528, 529
- Камар-Катиб (наст. имя Рафаэл Габриэлович Патканян; 1830–1892), армян. поэт, прозаик, переводчик, обществ. деятель 610
- Каменский Александр Павлович (1876–1941), прозаик, драматург 1030, 1032
- Каменский Н. – см. *Плеханов Г. В.*
- Каменский Николай Михайлович (1776–1811), граф, ген. от инфантерии; командир дивизии во время Рус.-швед. войны (с 1808); главнокомандующий Молд. армией (с 1810) 883
- Камознс Луис де (ок. 1524–1580), португ. поэт 410
- Кант Иммануил (1724–1804) 110, 111, 205, 226, 329, 354, 465, 471, 572, 577, 584, 585, 640, 641, 661, 666, 667, 879, 894, 910, 936
Идея всемирной истории с точки зрения человечества 936
Критика практического разума 985
Критика чистого разума 329, 640, 661, 910, 981, 985
Основы метафизики нравственности 879
- Кантемир Антиох Дмитриевич (1708–1744), поэт-сатирик; дипломат 419, 420, 446, 592
- Капетинги, королев. династия во Франции (987–1328; по боковым линиям до 1848) 899
- Капнист Василий Васильевич (1758–1823), граф, драматург и поэт 667, 986
Ябеда 667, 986
- Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) 517, 537, 684, 685, 692, 719, 953, 955, 990, 991, 993
История Государства Российского 685, 692, 990, 993
- Кареев Николай Иванович (1850–1931), историк, философ, социолог 416, 733, 1001
Основные вопросы философии истории 1001
- Каринский Михаил Иванович (1840–1917), философ и логик, проф. Петерб. духов. академии (1869–1894) 464, 667
- Карл I Великий (742/748–814), король франков (с 768) и лангобардов (с 774), герцог Баварии (с 788), император Запада (с 800) 209, 217, 229, 230, 235, 689, 894
- Карл IV (1748–1819), король Испании (1788–1808) 557
- Карл V Габсбург (1500–1558), король Германии (1519–1520), имп. Свящ. Рим. империи (с 1520), король Испании (Кастилии и Арагона) под именем Карл I (с 1516) 223–225, 897
- Карл VII Победитель (1403–1461), король Франции (провозглашен в 1422, коронован в 1429) из династии Валуа 576, 965
- Карл X (1757–1836), король Франции (1824–1830) из династии Бурбонов 376, 917
- Карлейль Томас (1795–1881), шотланд. прозаик, историк, философ, переводчик 462, 859, 932, 957, 1028
Герои, почитание героев и героическое в истории 957
Исторические и критические опыты 462, 932

- Карлос (Дон Карлос; 1545–1568), наследник исп. престола, сын короля Филиппа II, умер в заточении; герой драмы Ф. Шиллера 746, 910
- Каро Эльм (1826–1887), фр. философ, критик и публицист 174, 886
- Пессимизм XIX века 886
- Карпов Пимен Иванович (1886–1963), поэт, прозаик, драматург 1032
- Говор зорь 1032
- Карре Мишель (1819–1872), фр. драматург, либреттист 977
- Каррик Валерий Вильямович (Васильевич; 1869–1943), дет. писатель, журналист, иллюстратор, карикатурист 1035, 1036
- Касты Джованни Баттиста (1724–1803), аббат, итал. поэт-сатирик, авт. либретто 543
- Катарджи Мария (1831–1876), валаш. аристократка, мать серб. короля Милана IV Обреновича 741
- Катилина (Луций Сергей Катилина; ок. 108–62 до н. э.), др.-рим. претор (68 до н. э.); неоднократно пытался захватить власть (в 66–63 до н. э.) 403, 406, 408, 919
- Катков Михаил Никифорович (1818–1887) 6, 323, 411, 412, 428, 429, 431, 469, 488, 489, 492, 498–500, 520, 548, 562, 659, 662, 664, 722, 736, 737, 837, 857, 888, 926, 941, 944, 957, 1002, 1026, 1028, 1029, 1033
- Очерки древнейшего периода греческой философии 498, 944
- Катков Михаил Мефодиевич (1861–1941), юрист, правовед, издатель; племянник М. Н. Каткова 735, 921, 1001, 1002
- Катон Старший (Марк Порций Катон; 234–149 до н. э.), др.-рим. гос. деятель, писатель 403
- Каченовский Михаил Трофимович (1775–1842), историк, переводчик, критик, издатель; проф. (с 1810) и ректор (с 1837) Моск. ун-та 709, 710
- Кашпирев (Кашперов) Василий Владимирович (1836–1875), литератор, журналист, изд.-ред. журн. «Заря» (1869–1972) 473, 872, 924
- Квирин, в др.-рим. мифологии бог народного собрания 555, 960
- Кедринский Александр Антонович (?–1908), препод. словесности Елецкой гимназии, директор Смолен. гимназии (1903–1907) 1030, 1031
- Кеплер Иоганн (1571–1630), нем. математик, астроном, оптик, астролог 166, 463, 557, 590
- Керн (ур. Полторацкая, по второму мужу Маркова-Виноградская) Анна Петровна (1800–1879), мемуаристка, знакомая Пушкина 575, 746
- Кетле Адольф (1796–1874), бельг. математик, астроном, метеоролог, социолог 765
- Кигн В. Л. – см. *Дедлов В. Л.*
- Кимон (ок. 504–450 до н. э.), афин. полководец и полит. деятель 390
- Кипренский Орест Адамович (1782–1836), художник-портретист, график и живописец 959
- Кир II Великий (ок. 590–530 до н. э.), царь Персии (с 558 до н. э.), основатель державы Ахеменидов 209, 689, 894, 980
- Киреев Александр Алексеевич (1833–1910), ген. от кавалерии, богослов, религ. публицист 487, 520
- Киреевский Иван Васильевич (1806–1856), идеолог славянофильства, лит. критик, философ, журналист 312, 431, 473, 520, 522, 617, 664, 746, 862, 884, 968, 1004, 1031, 1032
- Киреевский Петр Васильевич (1808–1856), славянофил, фольклорист, историк 431, 473, 522
- Кирилл III (?–1281), митрополит Киевский и всея Руси (с 1263) 993
- Клавдий (Тиберий Клавдий Цезарь Август Германик; 10 до н. э. – 54 н. э.), рим. император (с 41) 214, 874, 896
- Кладо Николай Лаврентьевич (псевд. Прибой; 1862–1919), генерал-майор (1912), историк рус. флота, педагог 1029
- Современная морская война 1029

- Клеопатра VII Филопатор (69–30 до н. э.), царица Египта (с 44 до н. э.) из династии Птолемеев (Лагидов) 33, 40, 60, 119, 546, 716, 874, 876, 997
- Клименков Степан Иванович (1805–1858), врач, субинспектор (с 1828) и адъюнкт-профессор (с 1852) Моск. ун-та 378
- Клименкова Ольга Семеновна, жена С. И. Клименкова 378, 379
- Климов Иван (?–1912), крестьянин из д. Лабеки Юхновского у. Смолен. губ., в 1881 или 1882 купивший имение Леонтьевых Кудиново 920
- Клингер Фридрих Максимилиан фон (1752–1831), нем. поэт, драматург; попечитель Дерпт. учеб. округа (1803–1817) 903
- Буря и натиск 903
- Клопшток Фридрих Готтлиб (1724–1803), нем. поэт 266
- Клотильда Бургундская (ок. 475 – ок. 545), святая, вторая жена франкского короля Хлодвига I (с 492) 579
- Ключевский Василий Осипович (1841–1911), историк, проф. Моск. ун-та (с 1882) 258, 705, 862, 1031, 1033
- Княжнин Яков Борисович (1740–1791), драматург-классицист 542
- Ковалевский Павел Иванович (1850–1931), психиатр, публицист, обществ. деятель; ректор Варшав. ун-та (1894–1897) 722
- Ковалевский Максим Максимович (1851–1916), историк, юрист, социолог и обществ. деятель, академик (с 1914) 722
- Ковнер Авраам Урия (Аркадий Григорьевич) (1842–1909), публицист, лит. критик 1030
- Козлов Александр Александрович (1831–1901) 6, 509, 510, 666, 948, 1026
- Генезис теории пространства и времени Канта 666
- Козлов Иван Иванович (1779–1840), поэт, переводчик 971
- Козырев Алексей Павлович (р. 1968), историк философии 906, 937
- Соловьёв и гностики 906, 937
- Кокшаров Николай Иванович (1818–1893), минералог, академик (с 1855), дир. Горного ин-та (1872–1881) 595, 969
- Лекции минералогии 969
- Колерус Иоганн (1566–1639), священник в Бранденбурге, писатель 170, 886
- Жизнеописание Спинозы 886
- Колубовский Яков Николаевич (1863–1929) 6, 7, 470, 472, 488, 491, 593, 667, 935, 936, 941, 969, 970
- Колумб Христофор (1451–1506) 134, 1020
- Колышко Иосиф Иосифович (Иосиф Адам Ярослав) (псевд. Серенький; 1861–1938) 7, 639, 641, 980, 981
- Маленькие мысли 7, 639, 980, 981
- Пыль 980
- Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842), поэт 396–398, 477, 540, 544, 861, 919, 938, 956, 958, 1030
- Лес 544, 958
- Песня пахаря 396, 919
- Русская песня 398, 919
- Урожай 396, 919
- Комаров Виссарион Виссарионович (1838–1907), полковник российской и генерал серб. армий; ред.-изд. газет «Рус. Мир» (1871–1875), «С.-Петербур. Известия» (1878–1881) и «Свет» (1882–1907) и журн. «Звезда» (1886–1891) и «Славян. Известия» (1889–1891) 921, 937
- Комиссаржевская Вера Федоровна (1864–1910), актриса 1034, 1035
- Коммод (Луций Элий Аврелий Коммод; 161–192), рим. император (с 180) из династии Антонинов 485

- Кондорсе Жан Антуан де (1743–1794), маркиз, фр. писатель, ученый-математик и по-лит. деятель 225, 898
- Кондратьев Сергей Петрович (1872–1964), филолог, переводчик 899
- Кони Анатолий Федорович (1844–1927), юрист, обществ. деятель, мемуарист 1032, 1033
- Конкордия, в др.-рим. мифологии богиня согласия 896
- Константин I Великий Равноапостольный (Флавий Валерий Аврелий Константин; 272–337), вост.-рим. император (с 312, провозглашен в 306) 223, 254, 439, 689, 897, 928
- Константин Аркадьевич – см. *Губастов К. А.*
- Конт Огюст (1798–1857), фр. философ и социолог 80, 263, 471, 491, 562, 660, 877, 936, 962, 1011
- Контаров, проф. – см. *Кокшаров Н. И.*
- Коперник Николай (1473–1543) 130, 275, 590
- Кордеро Грациан (XVII), переводчик Б. Паскаля на исп. язык 183
- Корецкий Николай Владимирович (1869–1938), поэт, драматург, актер; ред.-изд. илл. журн. «Пробуждение» (1906–1917) 863, 1032
- Песни ночи 1032
- Короленко Владимир Галактионович (1853–1921) 474, 520, 937, 1032
- Корф Модест Андреевич (1800–1876), барон, граф (с 1867), чл. Гос. совета (с 1843), пред. Цензур. комитета (1855–1856), дир. Публич. б-ки (1849–1861); историк, мемуарист 783, 784
- Корш Федор Евгеньевич (1843–1915), филолог-классик, славист, востоковед, стиховед, поэт-переводчик; академик (с 1900) 1033
- Косоротов Александр Иванович (1868–1912) 7, 9, 646, 838, 860, 982, 1011, 1026, 1032, 1034, 1035
- Вавилонское столпотворение: история одной гимназии 646, 982, 1011
- Весенний поток 1034, 1035
- Забитая калитка 7, 9, 646, 982, 1011
- Кост Пьер (1668–1747), фр. теолог, переводчик, литератор 169, 885
- Костомаров Николай Иванович (1817–1885), рус. и украин. историк, поэт и беллетрист 531, 954
- Сорок лет 954
- Костров Ермил Иванович (1755–1796), переводчик и поэт 607
- Котович Алексей Никандрович (1879–1942), историк духов. цензуры, архивист 1030
- Котошихин Григорий Карпович (ок. 1630–1667), подьячий Посол. приказа, писатель 386, 388, 389, 918
- О России в царствование Алексея Михайловича 918
- Кохановская (наст. фам. Соханская) Надежда Степановна (1825–1884), прозаик, драматург, мемуаристка 191, 562, 738, 891, 962, 1002
- Автобиография (Записки) 738, 1002
- Из провинциальной галереи портретов 962
- Кочубей Василий Леонтьевич (1640–1708), генеральный писарь (с 1687), генеральный судья (с 1699) Левобережной Украины; сообщил Петру I об измене Мазепы 678, 988
- Кочубей Матрена (Мотря) Васильевна (1688–1736), крестница и любовница гетмана Мазепы 677, 678, 847, 850, 988
- Кошелев Александр Иванович (1806–1883), славянофил, обществ. деятель, публицист, изд. «Моск. Сборника» (1852), изд.-ред. журн. «Рус. Беседа» (1856–1860), «Сел. Благоустройство» (1858–1859) 414, 921
- Записки 894
- Краевский Андрей Александрович (1810–1889), ред.-изд. журн. «Отеч. Записки» (1839–1868) и др. изданий, педагог 552
- Кремонини Чезаре (1550–1631), итал. натурфилософ, толкователь естественнонауч. соч. Аристотеля 886

- Кривенко Иларион Васильевич (1882–1913), журналист 1032
- Кромвель Оливер (1599–1658), вождь Англ. революции, военачальник; лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии (1653–1658) 166, 571
- Кронеберг Андрей Иванович (1814–1855), переводчик, лит. критик 872, 886, 919
- Кронеберг (Кроненберг) Станислав Леопольдович (1845–?), фигурант уголовного дела, обвинявшийся в истязании своей семилетней дочери Марии (1876) 63, 876
- Кросби Эрнест (1856–1907), амер. поэт, прозаик и обществ. деятель 434–437, 439, 927
- Круглов Александр Васильевич (1852–1915) 6, 508, 857, 947, 1026
 В гостях 508, 947
 Живые души 947
- Круммахер (Крумахер) Фридрих Адольф (1767–1845) 8, 698, 699, 993, 1026
 Притчи 8, 698, 993
- Крушельницкая Саломея Амвросиевна (1872–1952), украин. оперная певица, педагог 640
- Крылов Иван Андреевич (1769/1768–1844) 559, 961, 979, 1011, 1035
 Квартет 961
 Орел и Паук 979
 Стрекоза и Муравей 1011
- Крылов Никита Иванович (1807–1879), правовед, проф. Моск. ун-та (1835–1872), цензор 706, 994
- Ксенофан Колофонский (ок. 570 – ок. 475 до н. э.), др.-греч. странствующий поэт и философ 713, 996
 Силлы 996
- Ксенофонт (ок. 430–354 до н. э.), др.-греч. историк и философ 532, 926, 954
 Воспоминания о Сократе 926
 Киропедия 532, 954
- Ксеркс I (?–465 до н. э.), царь государства Ахеменидов (с 486); возглавлял поход персов в Грецию (480–479), окончившийся их поражением 210, 211
- Кудрявцев (Кудрявцев-Платонов) Виктор Дмитриевич (1828–1891), философ и богослов, проф. Моск. духов. академии (с 1854) 666, 706
- Кудрявцев Петр Николаевич (1816–1858), историк и прозаик 417, 923
- Кукольник Нестор Васильевич (1809–1868), драматург, поэт, прозаик, худож. критик, журналист 883
- Кулиш Пантелеймон Александрович (1819–1897), историк, прозаик, поэт, драматург, лит. критик, этнограф, публицист, издатель 160
- Куприн Александр Иванович (1870–1938) 1030
- Курбский Андрей Михайлович (1528–1583), князь, полит. деятель, писатель 247, 592, 716, 837, 901, 997, 1011
- Курочкин Василий Степанович (1831–1875), поэт-сатирик, журналист, переводчик 987
- Курций (Марк Курций), храбрый римлянин, в 362 до н. э. пожертвовавший собой, бросившись на коне в образовавшуюся на форуме бездну, после чего она закрылась 996
- Кусков Платон Александрович (1834–1909), поэт, философ, переводчик 465, 800, 859, 861, 933, 1030, 1033
- Кутузов (Голенищев-Кутузов-Смоленский) Михаил Илларионович (1745–1813) 558, 559, 612, 924, 973
- Кювье Жорж (1769–1832), фр. натуралист; основатель сравнит. анатомии и палеонтологии 108, 663, 878
- Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797–1846), поэт, прозаик, лит. критик; декабрист 965

Л. – см. Раевская Л. О.

Лавров Петр Лаврович (1823–1900), философ, социолог, публицист, издатель, идеолог народничества 452, 454, 899, 930, 939, 998

- Исторические письма 939, 998
 Очерки вопросов практической философии 452, 930
 Лагарп Жан Франсуа (1739—1803), фр. драматург и критик 901
 Лазарь, житель Вифании, воскресенный Христом через четыре дня после смерти 389, 390, 391
 Лайель (Ляйель) Чарлз (1797—1875), англ. ученый, основоположник совр. геологии 595, 969
 Руководство к геологии 595, 969
 Ламанский Владимир Иванович (1833—1914), славист-историк, филолог, этнограф, издатель, ред. журн. «Живая Старина» (с 1891); проф. Петербургских ун-та (1871—1888) и духов. академии (1872—1897) 520
 Ламберт (ур. Канкрин) Елизавета Егоровна (1821—1883), графиня, обществ. деятельница; знакомая и корреспондентка И. С. Тургенева 1000
 Ламеннэ (Ламене) Фелисите Робер де (1782—1854), аббат, фр. философ и публицист, представитель христиан. социализма 379
 Ланге Фридрих (1828—1875), нем. философ-неокантианец и экономист 461, 932
 История материализма 461, 932
 Лаокоон, в др.-греч. мифологии жрец бога Аполлона в Трое 604, 971
 Лассаль Фердинанд (1825—1864), нем. философ, юрист, экономист, полит. деятель 596
 Латыпова Татьяна Львовна (р. 1961), литературовед, архивист 1026
 Лафарги: Поль (1842—1911), фр. экономист и полит. деятель-марксист, и его жена Лаура (ур. Маркс; 1845—1911), переводчица на фр. язык сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса 863
 Лафонген Жан де (1621—1695), фр. баснописец 448
 Ле Паж (Лепаж) Жан (1779—1822), фр. оружейник 882
 Ле Палье (XVII в.), фр. ученый 177
 Лев I Великий (390—461), святой, папа Римский (с 440) 892
 Лев X (в миру Джованни Медичи; 1475—1521), папа Римский (с 1513) 225, 898, 910
 Лев XIII (в миру граф Винченцо Джоакино Печчи; 1810—1903), папа Римский (с 1878) 131, 880, 911, 918, 983, 985, 1011
 Левенстим Август Адольфович (1857—1915), правовед, судья, адвокат, коллекционер 7, 9, 606, 837, 971, 1026
 Профессиональное нищенство 7, 9, 605, 837, 971
 Леверрье (Ловеррье) Урбен Жан Жозеф (1811—1877), фр. математик и астроном 424, 925
 Левин Давид Абрамович (1863—1930), журналист, юрист 1032
 Левитан Исаак Ильич (1860—1900), художник-пейзажист 1035
 Левицкий (Рогаль-Левитский) Дмитрий Григорьевич (ок. 1818—1856), препод. опытной психологии и нравств. философии в Моск. духов. академии 688
 Ледновский, художник 859
 Лейбниц Готфрид Вильгельм фон (1646—1716) 111, 166, 169, 172, 175, 178, 205, 407, 454, 483, 509, 590, 885, 893, 948
 Монадология 509, 948
 Теодицея 172, 885
 Лейкин Николай Александрович (1841—1906), прозаик-юморист, драматург; ред.-изд. журн. «Осколки» (1882—1905) 608
 Лейриц Арман 8, 724, 725, 999, 1026
 Противные животные 8, 724, 999
 Леклерк Жан (1657—1736), проф. философии в Амстердаме, друг Дж. Локка 885
 Лемке Михаил Константинович (1872—1923), либерал. историк рев. движения, журналистики и цензуры 859
 История цензуры 859

- Ленц Якоб (1751–1792), нем. поэт, драматург и прозаик эпохи «Бури и натиска» 904
- Леонардо да Винчи (1452–1519) 224, 528
- Леонид I (508/507–480 до н. э.), царь Спарты (с 488) 210, 895
- Леонид (в миру Лев Александрович Кавелин; 1822–1891), архимандрит; богослов, историк, археограф, библиограф, переводчик 508
- Леонтьев Владимир Николаевич (1818–1873), публицист, ред. ряда повремен. изданий; брат К. Н. Леонтьева 899
- Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) 6, 186–190, 192–194, 196, 198, 205, 207–210, 224–229, 232, 233, 236, 238, 241, 244, 245, 249, 251, 252, 255, 394, 410–415, 417, 430, 469, 470, 478, 487, 488, 490, 491, 499, 500, 520, 662, 663, 737, 738, 740, 800, 855, 857, 862, 863, 865, 868, 887–892, 894, 895, 898–901, 904, 920, 921, 923, 944, 967, 1002, 1019, 1028–1034
- Анализ, стиль и веяние 186, 394, 890, 891
- Византизм и Славянство 193, 887, 894, 895, 898, 899
- Восток, Россия и Славянство 192, 193, 208, 210, 224, 232, 233, 252, 499, 662, 923, 944, 985
- Национальная политика как орудие всемирной революции 236, 244, 887, 900
- Наши новые христиане – Ф. М. Достоевский и гр. Л. Н. Толстой 663
- О всемирной любви 890, 920, 985
- Панславизм и греки 888
- Панславизм на Афоне 892
- Письма о Восточных делах 900
- Леонтьев Николай Борисович (1784–1839 или 1840), калуж. помещик, земский исправник Мещовского у. (1826–1832); отец К. Н. Леонтьева 920
- Леонтьев Павел Михайлович (1822–1874), проф. Моск. ун-та по каф. греч. словесности, соред. газ. «МВ» (с 1863) 737, 944, 1002
- Леонтьева (ур. Карабанова) Феодосия Петровна (1794–1871), мать К. Н. Леонтьева, мемуаристка 412, 921
- Леонтьева (ур. Политова) Елизавета Павловна (отчество при рождении Борисовна; 1842–1917), жена К. Н. Леонтьева 411, 921
- Леонтьева Мария Владимировна (1848–1927), племянница писателя; с кон. 1880-х жила в Орлов. женском мон-ре 411, 921
- Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) 11, 26, 52, 257, 268, 380–382, 386, 413, 429, 455, 457, 496, 514, 531, 549–554, 588, 589, 613, 615, 670, 671, 674, 678, 679, 684, 719, 721, 749, 755, 798, 799, 841, 845, 847, 855, 858–860, 901, 918, 921, 923, 924, 926, 930, 949, 959, 960, 967, 984, 987, 998, 1006, 1010, 1018, 1028–1031, 1033, 1034
- Выхожу один я на дорогу... 554, 960
- Герой нашего времени 589
- Горные (горные) вершины... 904
- Дары Терека 429, 678, 859, 926, 987, 988
- Демон 386, 514, 949, 1028, 1029
- Дума 550, 959
- Журналист, читатель и писатель 550, 552, 959
- Казачья колыбельная песня 674, 684, 845, 987
- Молитва 684, 989
- Монолог 923
- Мцыри 26, 380, 382
- На буйном пиршестве задумчив он сидел... 257, 901
- Не верь себе... 984
- Песня про купца Калашникова 382, 589
- По небу полуночи ангел летел... 52, 1018
- Последнее новоселье 413, 921
- Поэт 903
- Родина 455, 930
- Сказка для детей 381, 386, 670, 679, 987, 988

- Смерть поэта 671, 903, 987
 Странный человек 1006
 Три пальмы 719, 998
 Тучи 1010
 Утес 721, 998
 Это случилось в последние годы могучего Рима... 381, 382, 384, 918
 Леруа-Больё Анатоль (1842–1912), фр. историк, автор книг о России 1032
 Лесгафт Петр Францевич (1837–1909), биолог, анатом, антрополог, врач, педагог 861
 Лесевич Владимир Викторович (1837–1905), философ, социолог и публицист 313, 324, 667, 909, 933
 Даниэль Дефо как человек, писатель и общественный деятель 933
 Лесков Николай Семенович (1831–1895) 520, 699, 704, 705, 927, 994, 1029
 Запечатленный ангел 705
 Кольванский муж 994
 На краю света 705
 Соборяне 520, 927
 Лессинг Готхольд Эфраим (1729–1781), нем. драматург и теоретик искусства 111, 689, 698
 Лето, в др.-греч. мифологии богиня, мать Аполлона и Артемиды 604, 971
 Линёв (псевд. Далин) Дмитрий Александрович (1853–1920), публицист, прозаик 938
 Линней Карл (1707–1778) 407, 919
 Система природы 407, 919
 Лисипп (IV в. до н. э.), др.-греч. скульптор 971
 Лист Ференц (1811–1886) 523, 951
 Лобачевский Николай Иванович (1792–1856) 58, 875
 Воображаемая геометрия 58
 Новые начала геометрии с полною теориею параллельных 58
 Пангеометрия 58
 Ловеррье У. Ж. Ж. – см. *Левеppье У. Ж. Ж.*
 Логвинова Инна Владимировна, правовед 1027
 Лозинский Михаил Леонидович (1886–1955), поэт, переводчик 777
 Лойола Игнатий де (ок. 1491–1556), католич. святой, основатель Общества Иисуса (монаш. ордена иезуитов, 1540) 72, 761, 762, 833, 877, 1021
 Локк Джон (1632–1704), англ. педагог, философ 166, 168, 169, 172, 225, 885, 886
 Опыт о человеческом разуме 172, 886
 Ломброзо Чезаре (Цезарь) (1835–1909), итал. тюрем. врач-психиатр, литератор 416, 870
 Ломоносов Алексей Васильевич (р. 1962), историк, архивист 911, 916, 936, 946, 966, 982, 990, 1026, 1027
 Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765) 553, 684, 692, 855, 863, 901, 960, 974, 991
 Ода на взятие Хотина 553, 960, 1031, 1033, 1034
 Лонг (Лонгус; ок. II в.) др.-греч. прозаик и поэт 528, 953
 Дафнис и Хлоя 528, 953
 Лонгфелло Генри (1807–1882), амер. поэт 892
 Псалом жизни 892
 Лопатин Лев Михайлович (1855–1920), философ 258, 752
 Лопухин Александр Павлович (1852–1904), богослов-экзегет, религ. публицист, переводчик 904
 Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825–1888), граф (1878), ген. от кавалерии (1875); пред. Верхов. распорядит. комиссии (1880), министр внутр. дел (1880–1881) 411, 414, 415, 428, 430, 921, 922, 926

- Лот, племянник ветхозавет. патриарха Авраама, живший в Содоме 605
- Лотарь I (795–855), император Запада (с 817), король Баварии (814–817), король Италии (818–843), король Срединного королевства (843–855) из династии Каролингов 947
- Лотце Герман (1817–1881), нем. философ, врач, естествоиспытатель 509, 948
- Луиза Августа Вильгельмина Амалия (1776–1810), супруга Фридриха Вильгельма III и королева-консорт Пруссии 698
- Лука (I в.), апостол от 70-ти, евангелист, иконописец, врач 87, 305, 477, 815, 874, 876–879, 882, 901, 906, 908, 919, 927, 928, 938, 939, 953, 955, 960, 966, 980, 981
- Лукомский Георгий Крескентьевич (1884–1952), историк, искусствовед, художник 1035
- Старинные театры 1035
- Льюис Джордж Генри (1817–1878), англ. философ, лит. критик 471, 562, 594, 836, 962, 969, 1011
- Физиология обыденной жизни 594, 969
- Любимов Николай Алексеевич (1830–1897), ученый-физик, историк, публицист; проф. Моск. ун-та (1865–1882) 171, 428, 872, 886, 926
- Из истории физических учений с эпохи Декарта 171, 886
- Михаил Никифорович Катков и его историческая заслуга 926
- Философия Декарта 886
- Любкер Фридрих (1811–1867), нем. филолог-классик 959
- Реальный словарь классических древностей 959
- Людовик IX Святой (1214–1270), король Франции (с 1226) из династии Капетингов, руководитель VII и VIII крестовых походов 217, 897
- Людовик XI Благоразумный (1423–1483), король Франции (с 1461) из династии Валуа 224, 897
- Людовик XIII Справедливый (1601–1643), король Франции и Наварры (с 1610) из династии Бурбонов 829
- Людовик XIV (1638–1715), король Франции и Наварры (с 1643) из династии Бурбонов 166, 167, 208, 217, 218, 224, 225, 433, 689, 691, 897, 898
- Людовик XV Возлюбленный (1710–1774), король Франции (с 1715) из династии Бурбонов 208, 225, 377, 917
- Людовик XVI (1754–1793), король Франции (1774–1792) из династии Бурбонов 208, 225
- Лютер Мартин (1483–1546) 72, 108, 109, 224, 366, 490, 511, 677, 833, 847, 879, 894, 911, 1021
- Ляйель Ч. – см. *Лайель Ч.*
- Лященко Аркадий Иоакимович (псевд. Ак-ч; 1871–1931), историк лит-ры, педагог, библиограф 871
- Магницкий (Магнитский) Михаил Леонтьевич (1778–1855), попечитель Казан. учеб. округа (1819–1826) 863, 1031**
- Магомет (Мухаммед; 571–632) 85, 319, 814, 832, 833
- Мазарини Джулио (1602–1661), кардинал (1641), первый министр Франции (с 1643) 166, 225, 432
- Мазепа Иван Степанович (1639–1709), гетман войска Запорожского (1687–1709) 677–679, 847, 850, 988
- Майков Аполлон Николаевич (1821–1897) 6, 21, 23, 474, 479, 528, 552, 750, 872, 939, 946, 957, 986, 1004, 1014, 1016
- Барельеф 986
- Исповедь королевы (Легенда об испанской инквизиции) 957
- На смерть М. И. Глинки 1016
- О трепещущая птичка .. 1014

- Макарий (в миру Михаил Петрович Булгаков; 1816–1882), богослов, историк, проповедник; архиеп. Литовский и Виленский (с 1868), митрополит Московский и Коломенский (с 1879) 563, 962
 История Русской церкви 563, 962
- Макиавелли Николо (1469–1527) 413, 596, 775
- Мак-Магон Мари Эдме Патрис де (1808–1893), граф, герцог Маджентский (1859), фр. военачальник и полит. деятель, сенатор (1856–1870), маршал Франции (1859); времен. президент Франции (1873–1879) 960
- Маколей Томас Бабингтон (1800–1859), англ. гос. деятель, историк, литератор 217, 595, 828, 897, 969
 История Англии 897
 Критические и исторические опыты 595, 969
- Максенций (Марк Аврелий Валерий Максенций; ок. 278–312), рим. император (с 306) 928
- Максимилиан I (1459–1519), король Германии (рим. король; с 1486), император Свящ. Рим. империи (с 1508), эрцгерцог Австрийский (с 1493) 911
- Максимов Сергей Васильевич (1831–1901), очеркист, этнограф, мемуарист; путешественник 930
 Куль хлеба и его похождения 930
- Малевский Франтишек Иероним (Франц Семенович; 1800–1870), пол. юрист, близкий друг и родственник А. Мицкевича 1003
- Мальбранш (Малебранш) Николя (1638–1715), фр. философ и теолог 169
- Мальборо, леди – см. *Черчилль С., герцогиня Мальборо*
- Мальм Вольдемар (Владимир Густавович), лектор итал. языка Моск. ун-та; организатор и дирижер студенч. хора (1866–1871, 1878–1888), инспектор моск. Мариинской женской гимназии 777
- Мальтус Томас (1766–1834), англ. священник; демограф и экономист 95, 102, 103
- Малявин Филипп Андреевич (1869–1940), живописец 1034, 1035
 Бабы 1034, 1035
- Мамонтов Александр Николаевич (1823–1900), моск. купец, благотворитель 924
- Мамонтов Анатолий Иванович (1839–1905), типограф, издатель, книгопродавец 913
- Мамонтовы, моск. купцы 426
- Мамышев Л. 7, 529, 530, 953, 954, 1026
 Душа и тело 7, 529, 953
- Манасейна Наталья Ивановна (1869–1930), дет. писательница, журналист, издатель 1033
 Царевны 1033
- Мандана (VI в. до н. э.), дочь мидийского царя Астиага, мать Кира II 637, 941
- Мандевиль Бернард де (1670–1733), англ. философ, писатель-сатирик и экономист 515
- Мантегацца Паоло (1831–1910), итал. врач, гигиенист 416
 Физиология любви 416
- Мариам (Мириам), пророчица, старшая сестра Аарона и Моисея 601
- Марий (Гай Марий; ок. 157–86 до н. э.), др.-рим. полководец, семь раз избирался в консулы 242
- Мария Александровна (ур. принцесса Гессен-Дармштатская; 1824–1880), рос. императрица (с 1855), супруга имп. Александра II 957
- Мария Антуанетта (ур. Мария Антония Габсбургско-Лотарингская; 1755–1793), королева Франции, супруга Людовика XVI (с 1770) 542, 879
- Мария Вифанская, святая, евангел. персонаж 114
- Мария Стюарт (1542–1587), королева Шотландии (1561–1567) и Франции (1559–1560) 565, 963

- Мария Терезия (1717–1780), эрцгерцогиня Австрии, королева Венгрии и Богемии, императрица Свящ. Рим. империи из династии Габсбургов 433
- Мария, Богоматерь (Св. Дева) 181, 245, 887, 901, 966, 979, 1036
- Марк (Иоанн-Марк), апостол от 70-ти, евангелист 438, 812, 877, 882, 901, 906, 908, 939, 943, 944, 953, 964, 1036
- Марк Аврелий Антонин (121–180), рим. император (с 161), философ-стоик 485, 528, 590
- Марк Антоний — см. *Антоний*
- Марк Фурий Камилл (ок. 447–365 до н. э.), др.-рим. гос. и воен. деятель 896
- Марков Евгений Львович (1835–1903), либерал. публицист, писатель-путешественник, лит. критик, этнограф 1028
- Маркс Карл (1818–1883) 431, 593, 986
- Капитал 431
- Марсий, в др.-греч. мифологии сатир, пастух, наказанный Аполлоном за выигранное состязание 1003
- Мартен Анри (1810–1883), фр. историк и политик 424
- Марфа Вифанская, святая, евангел. персонаж 114, 879
- Марциал (Марк Валерий Марциал; ок. 40 – ок. 104), др.-рим. поэт-эпиграмматист 610
- Марченко Татьяна Вячеславовна (р. 1963), литературовед 1026
- Марья Владимировна — см. *Леонтьева М. В.*
- Матвеев Артамон Сергеевич (1625–1682), царский окольничий, ближний боярин, глава Посол. приказа (1671–1676), судья Аптекар. приказа (1672–1676) 251, 901
- Матвеев Павел Александрович (1844 – не ранее 1898), правовед, цензор, критик, публицист 924
- Печальный подвиг 924
- Матфей Левий (?–60), апостол от 12-ти, евангелист 79, 87, 104, 138, 438, 631, 632, 635, 644, 812, 815, 875–879, 881, 901, 906–910, 914, 915, 918, 921, 927, 928, 930, 939, 941, 943, 953, 955, 964–966, 972, 978, 980, 981, 986, 1000
- Махов Александр Евгеньевич (р. 1959), литературовед 1037
- Медведев Александр Александрович, литературовед 902, 1026, 1027
- Медичи Козимо Старый де (1389–1464), флорент. полит. деятель, купец и банкир 224, 898
- Медичи Лоренцо ди Пьеро Великолепный де (1449–1492), глава Флорент. республики (с 1469), меценат, поэт 224, 898
- Медичи (Medici), итал. олигархич. семейство, стоявшее у власти во Флоренции (XIII–XVIII вв.) 923
- Мей Лев Александрович (1822–1862), поэт, переводчик 392, 918
- Еврейская песнь 918
- Мейер Г. Ф. — см. *Миллер Г. Ф.*
- Мейер Людовик (1630–1681), нидерланд. врач, поэт, лексикограф; друг Б. Спинозы 169, 885
- Мелисс Самосский (ок. 485 – ок. 425 до н. э.), др.-греч. философ 885
- Мельников Павел Иванович (псевд. Андрей Печерский; 1819–1883), прозаик, историк; чиновник Мин-ва внутр. дел (1850–1866) 705, 945, 994
- В лесах, На горах 705, 945, 994
- Мельшин-Якубович (наст. фам. Якубович) Петр Филиппович (1860–1911), революционер-народоволец, поэт, писатель, переводчик 863
- Менделеев Дмитрий Иванович (1834–1907) 463, 464, 932, 933
- Основы химии 463, 932
- Меншиков Александр Данилович (1673–1729), сподвижник и фаворит Петра I, ген.-фельдмаршал (1709), ген.-губернатор Петербурга (1703–1727, с перерывом) 251

- Меньшиков Михаил Осипович (1859–1918), мыслитель, публицист и обществ. деятель, ведущий сотрудник газ. «Неделя» (1892–1901) и «НВ» (1901–1917) 694, 695, 697, 991–993, 1028, 1029
- Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) 7, 8, 160, 324, 442, 445–447, 528, 529, 694, 715, 725, 727–731, 753, 754, 852, 855, 860, 861, 928, 929, 942, 953, 992, 997, 1000, 1005, 1006, 1020, 1026, 1029, 1030, 1032, 1034
- Вечные спутники 7, 528, 942, 953, 1026
- Гоголь и чорт 160
- Дети ночи 997
- Лев Толстой и Достоевский 725, 858, 1000, 1005
- Любовь сильнее смерти (Любовь и смерть) 858, 1028
- Не пылит еще дорога... 442
- О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы (О причинах упадка современной критики) 324, 528, 953
- Отверженный (Смерть богов. Юлиан Отверженный) 445, 528, 928, 953
- Перед грозой 446, 928, 929
- Христос и Антихрист 860, 928, 1029
- Мерк Иоганн Генрих (1741–1791), нем. литератор, друг Гёте 266, 280, 903
- Меркурий, в др.-рим. мифологии бог-покровитель торговли 956
- Меркушев Михаил Логгинович, петерб. типограф (1895–1916) 803
- Меровинги, первая династия франкских королей в истории Франции (481–751) 975
- Мерсенн Марен (1588–1648), фр. математик, физик, философ и богослов, теоретик музыки 177
- Местр Жозеф де (1753–1821), граф, фр. католич. философ, литератор, политик и дипломат 89, 448, 757, 1006
- Метерлинк Морис (1862–1949), бельг. драматург-символист, поэт, философ 855, 1030
- Мефодий Тирский (Мефодий Олимпский, ?–311), святой, мученик и отец Церкви, авт. полемич. сочинений 525
- Пир десяти дев 525
- Мечников Илья Ильич (1845–1916) 260, 462, 463, 903, 932
- Закон жизни 903, 932
- Лекции о сравнительной патологии воспаления 932
- Мещерский Владимир Петрович (1839–1914), князь, публицист, прозаик, изд.-ред. журн. «Гражданин» (1872–1877, 1883–1914), «Добро» (1881), «Воскресение» (1887–1894) и др. 428, 636, 638, 657, 658, 691–693, 857, 925, 979, 984, 991
- Дневники 658, 692, 984, 991
- Мидорон (XVII в.), фр. ученый 177
- Микеланджело (Микель-Анджелло) Буонаротти (1475–1564) 224, 511, 604, 610, 971, 1036
- Моисей 1036
- Умиравший гладиатор 1036
- Микулич В. (наст. имя Лидия Ивановна Веселитская-Божидарович; 1857–1936), прозаик, мемуарист, переводчица 474, 938, 939
- Всеволод Гаршин 939
- Зарницы 474
- Милан IV Обренович (1854–1901), серб. князь (с 1868), король Сербии (1882–1889), отрелся от престола в пользу старш. сына 741, 1002
- Милицына (ур. Разуваева) Елизавета Митрофановна (1869–1930), прозаик, публицист 1029
- Миллер Герард Фридрих (Федор Иванович; 1705–1783), историк, академик 517, 723, 999

- Миллер Орест (Оскар) Федорович (1833–1889), фольклорист, историк лит-ры, критик, публицист 520, 872, 877
- Миллионщикова Татьяна Михайловна (р. 1948), литературовед 1027
- Милль Джон Стюарт (1806–1873), англ. мыслитель, экономист 95, 263, 314, 471, 562, 594, 595, 660, 962, 969, 1011
- Подчиненность женщины 962, 1011
- Рассуждения и исследования политические, философские и исторические 595, 969
- Утилитарианизм 594, 969
- Миловидов Григорий Алексеевич (? – не ранее 1914), литературовед, лингвист, педагог; дир. Киржачской учител. семинарии (1908–1911) 871
- Странный взгляд на Гоголя 871
- Милославский Илья Данилович (1594–1668), князь, придвор. боярин и тесть царя Алексея Михайловича 386
- Мильтиад (Мильтидат; ок. 550–489 до н. э.), афин. полководец; одержал победу над персами при Марафоне (490) 407, 696, 992
- Мильтон Джон (1608–1674) 166, 168, 225, 523
- Милюков Павел Николаевич (1859–1943), полит. деятель, историк, публицист 314
- Разложение славянофильства 314
- Минин Кузьма (полн. имя Кузьма Минич Захарьев Сухорукий; ?–1616), нар. герой, нижегородский посадский; организатор нац.-освободит. борьбы против пол. интервенции 499
- Минский (наст. фам. Виленкин) Николай Максимович (1855–1937), поэт, философ 1029
- Два пути 1029
- Мирабо Оноре Габриэль де (1749–1791), граф, полит. деятель, оратор 222
- Мириам – см. *Мариям*
- Миронова Валентина Алексеевна (1870–1919), актриса Александрин. театра (892–1897) и театра Лит.-худож. о-ва в Петербурге (с 1901) 1035, 1036
- Митра (Мифра), в ведийской и иран. мифологии божество солнца 717, 997
- Митрофаній (Митрофан, в миру Михаил, в схиме Макарий; 1623–1703), святитель, епископ Воронежский (с 1882) 874
- Митчелл (Митчелл) Томас Ливингстон (1792–1855), шотланд. путешественник, исследователь Австралии 724
- Михаил, архангел, один из четырех высших ангелов 925
- Михаил Николаевич (1832–1909), вел. князь, ген.-фельдцейхмейстер (1852), наместник на Кавказе, главнокомандующий Кавказ. армией (1863–1881), пред. Гос. совета (1881–1905) 956
- Михаил Обренович III (1823–1868), серб. князь (1839–1842, 1860–1868) 741
- Михаил Феодорович (1596–1645), рус. царь (с 1613), основатель династии Романовых 518, 556, 633
- Михайлов Михаил Ларионович (1829–1865), поэт, переводчик, полит. деятель 1006
- Михайловский Николай Константинович (1842–1904), публицист, социолог, критик, обществ. деятель 120, 260, 345–347, 349, 353, 419, 420, 431, 448, 476, 479, 485, 486, 664, 667, 718–721, 727, 756, 858, 859, 880, 913, 923, 924, 926, 927, 929, 932, 938–941, 947, 1000, 1012
- Жестокий талант 727, 880, 939, 1000
- Записки современника 927, 998
- Литература и жизнь 903, 913, 923, 924, 938, 998
- Литературные воспоминания и современная смута 718, 998
- Литературные и журнальные заметки 998
- Независящие обстоятельства 927
- О г. Розанове 998
- Письма к ученым людям 431, 926
- Письма о разных разностях 923

- Михн (XII в.), мечник, посланник князя Мстислава Изяславича 901
- Мишле Жюль (1798–1874), фр. историк патриотич. направления 217, 897
- Модестов Василий Иванович (1839–1907), историк, филолог, публицист, переводчик; педагог 170, 859, 886, 1028
- Введение в римскую историю 1028
- Начала Рима 859
- Моисей (2-я пол. XIII в. до н. э.), ветхозавет. пророк 17, 18, 94, 215, 305, 310, 427, 482, 600, 601, 605, 625, 832, 899, 976, 1036
- Молешотт Якоб (1822–1893), нем. физиолог и философ 689
- Молох, семит. божество 472, 940
- Молоховец (ур. Бурман) Елена Ивановна (1831–1918), авт. кулинарных книг 862
- Моль Роберт фон (1799–1875), нем. правовед 775, 1008
- Энциклопедия государственных наук 775, 1008
- Мольер (наст. имя Жан-Батист Поклен; 1622–1673) 494, 541, 547, 830, 943, 958, 889
- Мещанин во дворянстве 989
- Моммзен (Момзен) Теодор (1817–1903), нем. историк, филолог-классик и юрист 514, 699, 1029
- Монтегацца П. — см. *Мантегацца П.*
- Монтень Мишель де (1533–1592), фр. писатель и философ 528
- Монтескьё Шарль Луи (1689–1755), фр. правовед, философ, прозаик 413, 897
- Мопассан Ги (Гюи) де (1850–1893) 779, 780, 855, 861
- Мор Карл Фридрих (1806–1879), нем. химик-аналитик и фармацевт 595, 970
- История Земли 595, 970
- Мордвинова (в замуж. Шварц) Вера Александровна (1895–1966), публицист, литературовед; с 1922 в эмиграции 800
- Мордовцов Даниил Лукич (1830–1905), прозаик, историк 416, 1028
- Письма к автору с Олимпа 416
- Морзе Сэмюэл (1791–1872), амер. изобретатель, художник 1006
- Морле Анри (1727–1819), фр. литератор и философ, энциклопедист; переводчик англ. романов 543
- Морозов Борис Иванович (1590–1662), боярин, крупный землевладелец, воспитатель царя Алексея Михайловича 251, 901
- Морозовы, моск. купцы 426
- Моцарт Вольфганг Амадей (1756–1791) 392, 546, 681, 702, 745, 746, 749, 917, 990, 994, 1004
- Мочалов Павел Степанович (1800–1848), актер, представитель романтизма в рус. театре 943
- Мстислав (в крещении Георгий) Ростиславич, по прозвищу Храбрый (?–1180), святой, князь Новгородский 253
- Мстислав (в крещении Константин) Владимирович, по прозвищу Удалой (ок. 983–1036), князь Тмутараканский (990/1010–1036), князь Черниговский (1024–1036) 253
- Мстислав (в крещении Феодор) Изяславич (ок. 1125/1126–1170), в разное время князь Переяславский, Луцкий, Волынский и вел. князь Киевский 901
- Мур Томас (1779–1852), ирланд. поэт-романтик 602, 971
- Вечерний звон 602, 971
- Муравьёв Андрей Николаевич (1806–1874), поэт, драматург, духов. писатель, религ. деятель, мемуарист 562, 962
- Обличение на книгу «О возможном соединении Церкви Российской с Западною» <Н. Б. Голицына> 962
- Муравьёв-Апостол Иван Матвеевич (1762–1851), дипломат и литератор 917

- Муратов Павел Павлович (1881–1950), прозаик и искусствовед 1015, 1032
 Ночные мысли 1015
- Муретов Дмитрий Дмитриевич (?–1918), правовед, публицист, сотр. журн. «Рус. Мысль» 1033
- Мурильо Бартоломе Эстебан (1617–1682), исп. живописец, глава севильской школы 225, 527
- Муций Сцевола (Гай Муций Сцевола), легендар. герой раннего периода др.-рим. истории: чтобы доказать свое мужество, опустил руку в огонь 408, 920
- Мюрат Иоахим (1767–1815), сподвижник Наполеона I и его зять, маршал Франции (с 1804), король Неаполитанский (с 1808) 630
- Мятлев Иван Петрович (1796–1844), поэт, камергер 617
- Н. Ч.** – см. *Черняев Н. И.*
- Навуходоносор (Навуходоносер, Новуходоносор; ок. 634–562 до н. э.), царь Нововавилон. царства (с 605 до н. э.) 450, 712, 996
- Нагиба Иван (? – не ранее 1653), сибир. казак, землепроходец 517
- Надеждин Николай Иванович (1804–1856), лит. критик, проф. Моск. ун-та (1830–1835); изд. журн. «Телескоп» и «Молва» (1831–1836), ред. «Журнала Мин-ва внутр. дел» (с 1843) 377, 378
- Надсон Семен Яковлевич (1862–1887), поэт 478, 939
 Памяти Ф. М. Достоевского 939
- Налепин Алексей Леонидович (р. 1946), литературовед, фольклорист 11
- Нансути (наст. фам. Шампльон) Макс де (1854–1913), фр. инженер, литератор, ред. газ. «Le Temps» 724
- Наполеон I Бонапарт (1769–1821) 119, 224, 464, 465, 467, 544, 556, 558, 590, 630, 637, 681, 689, 829, 832, 879, 899, 933, 958, 965, 980, 1010
- Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт; 1808–1873), фр. император (1852–1870) 119, 379, 556, 557, 683, 879, 900, 989
- Нарбут Егор (Георгий) Иванович (1886–1920), художник-график и иллюстратор 1035
- Нарышкин Александр Львович (1760–1826), камергер (с 1785), обер-гофмаршал (1798); главн. дир. Имп. театров (1799–1819); с 1820 жил в Париже 883
- Наталья Обренович (ур. Кешко; 1859–1941), первая королева Сербии (1882–1888) 741
- Науман Карл Фридрих (1797–1873), нем. минералог и геолог 595, 969
 Минералогия 595, 969
- Неведомский Александр Николаевич (1830 – после 1870), переводчик с англ. языка; отстав. поручик, мировой посредник Тверской губ. (до 1862) 462
- Невоструев Капитон Иванович (1815–1872), историк, археограф 508
- Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877) 11, 33, 62, 397–399, 421, 448, 449, 451, 478, 571, 614, 616, 665, 685, 718, 721, 726, 729, 851, 855, 859, 860, 874, 919, 922, 924, 929, 933, 965, 978, 1000, 1028, 1030, 1033
 Влас 729, 922, 933, 1000
 Дедушка 397, 448, 919, 929
 До сумерек 876
 Когда из мрака заблужденья... 33, 874
 Кому на Руси жить хорошо 421, 924, 978
 Мороз Красный нос 397, 449, 478, 929
 Нравственный человек 399
 О погоде 876
 Что думает старуха, когда ей не спится 571, 965
- Немезида, в др.-греч. мифологии крылатая богиня возмездия 668, 986
- Немирович-Данченко Василий Иванович (1848–1936), прозаик, журналист 926
 Гроза 926

- Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858–1943), театр. режиссер, педагог, драматург, писатель, театр. критик 1034, 1035
- Нери Филипп (1515–1595), католич. святой, основатель Конгрегации ораторианцев 885
- Нерон (Тиберий Клавдий Нерон; 37–68), рим. император (с 54) из династии Юлиев-Клавдиев 874, 896
- Нестеров Михаил Васильевич (1862–1942), художник 1034, 1035
- Нестор Летописец (кон. XI – нач. XII в.), преподобный, др.-рус. агиограф, составитель «Повести временных лет», монах Киево-Печерского мон-ря 976
- Нефедьев Георгий Владимирович, литературовед, переводчик 1026
- Нибур Бартольд (1776–1831), нем. историк античности 226, 427
- Никанор (в миру Александр Иванович Бровкович; 1826/1827–1890), богослов, философ, проповедник; епископ Херсонский и Одесский (с 1883; архиеп. с 1886) 667
- Позитивная философия и сверхчувственное бытие 667
- Никитенко Александр Васильевич (1804–1877), литературовед, критик, проф. Петерб. ун-та (1853–1864), академик (с 1853), цензор 860, 1029
- Моя повесть о самом себе 1029
- Никитин Иван Саввич (1824–1861), поэт, прозаик 685, 720, 998
- Вырыта заступом яма глубокая... 720, 998
- Никодим (I в.), чл. Синедриона, тайный ученик Христа 216, 896
- Николаев Семен Михайлович, петерб. типограф 803
- Николаев Ю. – см. *Говоруха-Отрок Ю. Н.*
- Николаевский Николай Владимирович (? – не ранее 1917), художник 1035, 1036
- Николай – см. *Орлов Н. К.*
- Николай I Павлович (1796–1855), рос. император (с 1825) 238, 375, 421, 494, 548, 830, 872, 958
- Николай V (в миру Томмазо Парентучелли; 1397–1455), папа Римский (с 1447), просветитель, основатель Ватикан. б-ки 224, 898
- Николай Салос Псковский (?–1576), блаженный, псков. юродивый 685, 990
- Николай Чудотворец (?–343/345) 348, 361, 924, 929
- Николь Пьер (псевд. Вильгельм Вендрок; 1625–1695), фр. философ и теолог; переводчик Б. Паскаля на лат. язык 183
- Николюкин Александр Николаевич (р. 1928), литературовед, историк философии, библиограф, переводчик 4, 10, 11, 1026, 1027
- Никон (в миру Филипп Егорович Богоявленский; 1831–1897), епископ Угличский (с 1893), Туркестанский и Ташкентский (с 1895) 579, 966
- Никон (в миру Николай Иванович Рождественский; псевд. Православный; 1851–1919), архимандрит, богослов, публицист; епископ Вологодский и Тотемский (с 1906) 926, 980
- Правы ли мы 926
- Никон (в миру свящ. Никита Минич Минов-Ларионов; 1605–1681), митрополит Новгородский (с 1649), патриарх Московский и всея Руси (1652–1658); провел реформы, вызвавшие раскол 562, 973
- Нил Сорский (в миру Николай Федорович Майков; 1433–1508), преподобный, основатель скитского жительства на Руси; один из идеологов нестяжательства 479, 952
- Ниобея (Ниоба), в др.-греч. мифологии жена фиванского царя Амфиона, возгордившаяся своими детьми 604, 971
- Ницше (Нитче) Фридрих (1844–1900), нем. мыслитель, филолог-классик, композитор 83, 441, 580, 928, 966, 1006
- Новиков Александр Иванович (1861–1913), публицист, лит. критик и обществ. деятель 556–558, 563, 564, 960, 963
- Что препятствует идее мира 556, 960
- Новосёлов Михаил Александрович (1864–1938), богослов, духов. писатель, святой; до 1892 толстовец 940

- Ной, патриарх, спасшийся вместе с семьей во время Всемир. потопа 966, 1000
- Норов Авраам Сергеевич (1795—1869), сенатор, министр нар. просвещения (1854—1859); литератор, библиофил, историк 259
- Нострадам (Нострадам, Нострадамус) Мишель де (1503—1566) 284, 904
- Нотович Осип Константинович (1849—1914), либерал. журналист, публицист, драматург, ред.-изд. газ. «Новости» (с 1876) 416, 417, 419, 922
- Любовь, красота 416, 922
- Т. Бокль. История цивилизации в Англии в популярном изложении 417, 922
- Нума Помпилий, легендар. второй царь Др. Рима (715—673/672 до н. э.) 983
- Ньютон Исаак (1643—1727) 166—171, 183, 225, 232, 235, 359, 360, 368, 590, 602, 885, 886
- Математические начала натуральной философии 167, 170, 885
- Оболенский Леонид Егорович** (1845—1906), прозаик, поэт, философ, публицист, критик, издатель 667
- Овидий (Публий Овидий Назон; 43 до н. э. — ок. 18 н. э.) 464, 935, 970, 973
- Героиды 970
- Огарёв Николай Платонович (1813—1877) 859, 928
- Огрызко Иосафат Петрович (1826—1890), ревизор при Деп-те неокладных сборов Мин-ва финансов, изд. польской газ. «Słowo» (1858—1859); с 1871 находился в ссылке в Сибири за связи с польскими мятежниками 428
- Одиссей — см. Улисс
- Одоевский Владимир Федорович (1804—1869), князь, писатель-романтик, философ, педагог, музыковед 617, 783, 993, 1009, 1032
- Озе Яков Фридрихович (1860—1920), философ, декан ист.-филол. фак-та Юрьев. ун-та 509, 948
- Персонализм и проективизм в метафизике Лотце 915
- Озирис (Осирис), в др.-египет. мифологии бог возрождения, царь загроб. мира 627, 679
- Ознобишин Дмитрий Петрович (1804—1877), поэт, прозаик, краевед, переводчик 892
- Олег (в крещении Михаил) Святославич (прозвище Гориславич; ок. 1053—1115), в разное время князь Волынский, Тмутараканский, Черниговский, Новгород-Северский 253, 901
- Олег Константинович Романов (1892—1914), князь, правнук Николая I 1033
- Олег Рюрикович (Олег Вещий; ? — ок. 912), князь Новгородский (с 879) и вел. князь Киевский (с 882) 309
- Ольга Равноапостольная (в крещении Елена; ?—969), княгиня, правила Киевской Русью как регент (945 — ок. 960) 579, 1036
- Опекушин Александр Михайлович (1838—1923), скульптор 957, 984
- Ориген (ок. 185—253/254), христиан. теолог, философ, филолог, представитель ранней патристики 314
- Орлов Николай Кузмич, слуга К. Н. Леонтьева (с 1879) 411, 921
- Орловский (наст. фам. Смирнов) Борис Иванович (1793— 1837), скульптор эпохи ампира 973
- Ормузд (Ахура Мазда), в зороастризме имя божества, создателя всех вещей 210, 895
- Осокин Николай Алексеевич (1843—1895), историк-медиевист, генеалог, обществ. деятель, проф. Казан. ун-та 878
- История альбигойцев и их времени 878
- Остерман Андрей Иванович (имя при рождении Генрих Иоганн Фридрих; 1686—1747), граф (с 1730), генерал-адмирал (1740—1741), сподвижник Петра I 251, 901
- Островский Александр Николаевич (1823—1886) 26, 465, 467, 504, 510, 511, 591, 615, 726, 851, 910, 934, 946, 957
- Бедность не порок 467, 910, 934
- Свои люди, сочтемся 504, 946

- Острогорский Виктор Петрович (1840–1902), педагог, либерал, литератор, обществ. деятель 392, 451, 452, 930
Из истории моего учительства 930
- Остроградский Михаил Васильевич (1801–1861), математик и механик 464
- Остромир (? – не ранее 1057), новгород, посадник (с 1054), полководец 968
- Оттон I Великий (912–973), герцог Саксонии (936–961), король Германии (с 936), имп. Свящ. Рим. империи (с 962) 633, 978
- Оттон II Рыжий (955–983), король Германии и имп. Свящ. Рим. империи (с 973) 633, 978
- Оттон III (980–1002), король Германии и имп. Свящ. Рим. империи (с 983) 633, 979
- Оттон IV Брауншвейгский (1175/1176–1218), король Германии (с 1198), имп. Свящ. Рим. империи (1209–1215) 633, 979
- Павел Прусский** (в миру Петр Иванович Леднёв; 1821–1895), миссионер, архимандрит (1880), духов. писатель; старообрядец-федосеевец (до 1868) 21
- Павел (до апостол. призвания Савл; ?–65), первоверховный апостол 696, 989, 1006
- Павленков Флорентий Федорович (1839–1900), петерб. книгоиздатель 416, 417, 419, 508, 922, 947
- Павлов Алексей Степанович (1832–1898), канонист, проф. церк. права в ун-тах Казани, Одессы и Москвы 758
- Павлова (ур. Яниш) Каролина Карловна (1807–1893), поэтесса, переводчица, прозаик 617
- Паисий (в миру Петр Величковский; 1722–1794), преподобный, архимандрит; религ. деятель, переводчик 875
- Пакстон (Пэкстон) Джозеф (1803–1865), англ. архитектор, садовод и ботаник 874
- Пан, в др.-греч. мифологии бог, покровитель природы 733, 1001
- Панин Виктор Никитич (1801–1874), граф, историк; тов. министра юстиции (с 1832), управляющий Мин-вом юстиции (с 1839), министр юстиции (1841–1862), главноуправляющий II Отд-нием (с 1864) 259
- Пантелеев Лонгин Федорович (1840–1919), демокр. обществ. деятель, издатель, мемуарист 470
- Пантелеимон (до крещения Пантолеон; ?–305), великомученик, целитель 929
- Парацельс (наст. имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенхайм; 1493–1541), алхимик, врач, оккультист, маг 880
- Парменид из Элеи (ок. 540/520 – ок. 450 до н. э.), др.-греч. философ и полит. деятель 690, 713, 885, 996
О природе 996
- Парни Эварист (1753–1814), фр. поэт 541, 973
- Парфений (в миру Петр Иванович Аггеев; 1807–1878), иеромонах (1856), духов. писатель, мемуарист 21, 394, 562, 872, 919, 962
Сказания инока Парфения 21, 394, 562, 872, 919, 962
- Пархоменко Иван Кириллович (1870–1940), художник-портретист 1031
Галерея портретов русских писателей 1031
- Паскаль (ур. Бегон) Антуанетта (1596–1626), жена Э. Паскаля (с 1616), мать Б. Паскаля 175
- Паскаль Блез (1623–1662) 5, 7, 165–185, 225, 590, 591, 857, 884–887, 889, 898, 968, 970, 981
Мысли 172, 590, 884, 885
Письма к провинциалу 182, 183, 590, 887, 968, 970
Трактат о конических сечениях 178
Трактат об арифметическом треугольнике 183, 887
- Паскаль Жаклин (в монашестве Сент-Евфимия; 1625–1661), фр. поэтесса, монахиня мон-ря Пор-Рояль; младшая сестра Б. Паскаля 181, 887
- Паскаль Жильберта – см. *Перье Ж.*

- Паскаль Этьен (1588–1651), фр. судья, советник короля по выборам Нижней Оверни; отец Б. Паскаля 175–178, 1026
- Патрокл, в др.-греч. мифологии друг и сподвижник Ахиллеса в битвах против троянцев 991
- Пеллико Сильвио (1789–1854), итал. драматург, мемуарист, журналист 478, 939
Мои темницы 939
- Пенелопа, в др.-греч. мифологии супруга Одиссея 672
- Пентефрий (Потифар), ветхозавет. персонаж, начальник телохранителей фараона 845, 850
- Первов Павел Дмитриевич (1860–1929) 165, 173, 174, 590, 591, 598, 884, 885, 909, 968, 1013
- Перетерский Сергей Николаевич, правитель Канцелярии Главн. штаба, секретарь Петерб. археол. ин-та 519
Воспоминания об Аскалоне Николаевиче Труворове 519
- Перикл (Периклес; ок. 495–429 до н. э.), афин. оратор, вождь демокр. партии, полководец 167, 168, 203, 206, 217, 377, 893, 896, 897, 917
- Перовский – см. *Трубецкой П. П.*
- Персефона, в др.-греч. мифологии богиня плодородия и царства мертвых 874
- Пертц Георг Генрих (1795–1876), нем. историк 259, 903
- Перцов Петр Петрович 8, 486, 609, 670, 671, 677, 693–695, 860, 940, 941, 966, 979, 991, 992, 998, 1003, 1035
Венеция 860
Венеция и венецианская живопись 1035
«Воскресение» и тостовцы 991
Литературные воспоминания. 1890–1902 гг. 940
Первый сборник 991
Письма о поэзии 940
Смерть Пушкина 987
Эквилибристика В. В. Розанова 979
- Перье (Периз, ур. Паскаль) Жильберта (1620–1687), сестра Б. Паскаля и его биограф 174–178, 180, 181, 184, 886
Жизнь Паскаля 176, 177, 886
- Петерсен Владимир Карлович (псевд. А–т; 1842–1906), журналист, сотр. газ. «НВ»; воен. инженер, полковник Ген. штаба 860, 1029
- Петерсон Ольга Михайловна (1856–1919), литературовед, переводчик, прозаик 8, 707, 858, 994
Западноевропейский эпос и средневековый роман 8, 707, 994
- Петипа, семья фр. деятелей балета: отец Жан Антуан (1787–1855), танцор и хореограф, и его сыновья, Люсьен (1815–1898) и Мариус (1818–1910), балетмейстеры, танцоры и педагоги 641
- Петр I Великий (1672–1725) 235, 240, 246–248, 308–311, 315, 316, 414, 467, 490, 494, 499, 500, 507, 518, 528, 537, 548, 555–557, 613, 622, 633, 634, 636, 678, 691, 747, 882, 883, 901, 922, 944, 958, 1004, 1036
- Петр (до апостол. призвания Симон; ?– 65), первоверховный апостол 137, 299, 311, 440, 651, 907, 928, 983, 1036
- Петр (?–1326), святитель, митрополит Киевский, Московский и всея Руси (с 1308) 251, 901
- Петрарка Франческо (1304–1374) 392, 1007, 1034
Vitae virorum illustrium 1007
- Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич (1821–1866), революционер, публицист, последователь Ш. Фурье 25
- Петров Александр Васильевич (1867–1927), нач. отд-ния Деп-та дух. дел иностр. исповеданий М-ва внутр. дел, фольклорист, библиофил 1035, 1036

- Петрова Татьяна Георгиевна (р. 1950), литературовед 1026
- Петровский Сергей Александрович (1846—1917), препод. рус. права в Моск. ун-те (1873—1878); сотрудник (с 1880) и ред.-изд. (1887—1896) газ. «МВ» 489, 1002
- Пешехонов Алексей Васильевич (1867—1933), экономист, журналист, полит. деятель 1031, 1033
- Пивоваров Юрий Сергеевич (р. 1950), историк, политолог, правовед; академик (с 2006) 4
- Пизистрат (Писистрат; ок. 600—527 до н. э.), сын Гиппократа, афин. тиран (с 560 до н. э., с перерывами) 217, 895, 897
- Пизистратиды (Писистратиды), афин. род, возводивший свое происхождение к сыну Нестора, царя Пилоса (этот Пизистрат упоминается в «Одиссее») 212, 895
- Пизон (Гай Кальпурний Пизон; ?—65), рим. аристократ, глава заговора против имп. Нерона 874
- Пий IX (в миру Джованни Мария, граф Мاستаи-Ферретти; 1792—1878), папа Римский (с 1848) 131, 880
- Пилат (Понтий Пилат), др.-рим. прокуратор (наместник) Иудеи (26—36) 297, 906
- Пиндар (ок. 518—442/438 до н. э.), др.-греч. поэт-лирик 615, 974
- Пирогов Николай Иванович (1810—1881) 617
- Пирожков Михаил Васильевич (1867—1927), петерб. издатель (1898—1917), книгопродавец 803, 871, 881
- Писарев Александр Иванович (1803—1828), драматург, театр. критик 999
- Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868) 374, 416, 450, 451, 459, 473, 493, 562, 571, 595, 659, 711, 727, 829, 830, 836, 916, 922, 930, 932, 937, 943, 962, 984, 1000
- Борьба за жизнь 1000
- Генрих Гейне 943
- Исторические идеи Огюста Конта 962
- Пушкин и Белинский 943
- Разрушение эстетики 984
- Писемский Алексей Феофилактович (1821—1881), прозаик, драматург; соред. (с 1857) и ред. (1860—1863) журн. «Б-ка для чтения» 416, 890, 922
- Писистрат — см. *Пизистрат*
- Писистратиды — см. *Пизистратиды*
- Питты, англ. политич. деятели из партии вигов: Уильям Старший (1708—1778), воен. министр (1756—1763), премьер-министр (1766—1768), и его сын Питт Младший (1759—1806), премьер-министр (1783—1801, 1804—1806) 557
- Пифагор Самосский (VI в. до н. э.) 605, 690
- Платон (428/427—348/347 до н. э.) 15, 52, 60, 129, 156, 165, 168, 212, 235, 461, 510, 514, 525, 584, 585, 590, 605, 689, 690, 744, 754, 782, 878, 879, 881, 895, 897, 910, 941, 948, 1000, 1003, 1009
- Апология Сократа 910
- Государство 212, 878, 895, 941
- Законы 165, 879
- Пир 525, 690, 744, 1003
- Тезтет 1000
- Федон 461, 690, 948, 1009
- Федр 212, 690
- Платонова Александра Федоровна (в монашестве Анастасия; 1884—1941), духов. писательница 1032
- На высотах духа 1032
- Плетнёв Петр Александрович (1791—1865), критик, поэт; проф. рус. словесности (с 1832) и ректор (1840—1861) Петерб. ун-та 881
- Плетнёв Ростислав Владимирович (1903—1985), литературовед, публицист, прозаик 872
- Плеханов Георгий Валентинович (псевд. Н. Каменский; 1856—1918) 861, 930
- Судьбы русской критики 930

- Плиний Младший (Гай Плиний Цецилий Секунд; 61/62 – ок. 114), др.-рим. писатель, ученый 528, 529
- Плотин (204/205–270), др.-рим. философ 354, 1021
- Плутарх из Херонеи (ок. 45 – ок. 127), др.-греч. философ, биограф, моралист 225, 992, 998, 1001
- Об оракулах 1001
- Сравнительные жизнеописания 998
- Победоносцев Константин Петрович (1827–1907), юрист, проф. Моск. ун-та (1860–1865), сенатор (с 1868), чл. Гос. совета (с 1872), обер-прокурор Св. Синода (1880–1905) 428, 429, 431, 562, 860, 925–927, 995, 1030
- Вечная память 431, 927
- Из воспоминаний об Н. И. Ильминском 926
- Курс гражданского права 926
- Погодин Михаил Петрович (1800–1875), историк, прозаик, драматург, публицист, издатель; академик (с 1841) 149, 150, 375, 378, 421–425, 469, 508, 520, 529, 552, 862, 881, 921, 954, 958, 959, 1031
- Из воспоминаний о Пушкине 959
- Простая речь о мудрых вещах 954
- Покровский Николай Васильевич (1848–1917), археолог и обществ. деятель; проф. Петерб. духов. академии (с 1892), дир. Петерб. археол. ин-та (с 1898) 518
- Полевой Николай Алексеевич (1796–1846), критик, прозаик, драматург, журналист, историк, переводчик 928, 949, 963, 1003
- Разговор между сочинителем и читателем 963
- Полежаев Александр Иванович (1804–1838), поэт 922
- Полидор (I в. до н. э.), др.-греч. скульптор 971
- Поликрат, самосский тиран 670, 987
- Полилов Г. Т. – см. *Северцов*
- Полонский Яков Петрович (1819–1898), поэт, прозаик, публицист 474, 858, 943, 1001, 1004, 1028, 1029
- Вэда-проповедник 943
- И. С. Тургенев у себя в его последний приезд на родину 1001
- Померанская Татьяна Владимировна, литературовед 11
- Помпей (Гней Помпей Великий; 106–48 до н. э.), др.-рим. гос. деятель, полководец 214, 896
- Поп (Поуп) Александр (1688–1744), англ. поэт 225
- Попов Александр Николаевич (1820–1877), историк, журналист, близкий к славянофилам; чл. Археогр. комиссии (с 1850) 520
- Попов Л. К. – см. *Эльпе*
- Попов Нил Александрович (1833–1891), историк, славяновед, архивист; проф. Моск. ун-та (1869–1885) 705
- Порсена (Порсенна) Ларс, этрусский царь и полководец, воевавший против Рима (508–507 до н. э.) 919
- Поярков Василий Данилович (до 1610 – после 1667), землепроходец, с 1630 на службе в Сибири 517, 518
- Пракситель (ок. 390 – не ранее 334 до н. э.), др.-греч. скульптор 971
- Прево Антуан Франсуа (аббат Прево; 1697–1763), фр. романист, переводчик 393, 919
- История кавалера Де Гриё и Манон Леско 393, 919
- Прево-Парадоль Люсьен Анатоль (1829–1870), фр. журналист, историк 165, 173, 174, 590
- Этюды о французских моралистах 173
- Пришвин Михаил Михайлович (1873–1954), прозаик 1031

- Прокопий Кесарийский (490/507 – после 565), визант. историк, секретарь полководца Велизария 899
 Война с вандалами 899
- Прометей, в др.-греч. мифологии титан, защитник людей от произвола богов 684, 755, 756, 1006
- Пронина Варвара Лукьяновна (ок. 1866–1950), крестьянка дер. Мазилово Моск. уезда; воспитанница К. Н. Леонтьева 411, 921
- Протагор (ок. 490 до н. э. – ок. 420 до н. э.), др.-греч. философ-софист 1000
- Протей, в др.-греч. мифологии морское божество, менявшее свой облик 355, 914, 958
- Протич Коста (1831–1892), серб. воен. и полит. деятель, генерал; один из регентов при князе Александре Обреновиче (с 1889) 1002
- Протопопов Виктор Викторович (1866–1916), драматург и журналист 860, 1034, 1035
 Черные вороны 860, 1034, 1035
- Протопопов Михаил Алексеевич (1848–1915), лит. критик, публицист-народник 664, 727, 870, 930, 1000
 Критик-декадент 930
 Литературно-критические характеристики 1000
 Проповедник нового слова 1000
- Прудон Пьер Жозеф (1809–1865), фр. социалист, теоретик анархизма, политэконом 130, 452
- Пташицкий Станислав Львович (1853–1933), историк, архивист; нач. архива Литов. метрики при Сенате (1884–1887) 506–508
 Средневековые западноевропейские повести в русской и славянских литературах 506
- Птоломеи (Лагиды), цар. династия в Египте (306–30 до н. э.) 228, 876
- Пуанкаре Анри (1854–1912), фр. математик, физик и философ 885
- Пуаре (по сцене Марусина) Мария Яковлевна (1863–1933), артистка театра М. В. Лен-товского (с 1880), Александринского (с 1890) и Малого (1898–1900) театров; эстрадная певица, композитор, поэтесса 1034
- Пугачёв Емельян Иванович (1742–1775) 613
- Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) 5, 7–9, 11, 16, 18, 21, 23, 26, 28, 71, 89, 134, 142–146, 157, 250, 268, 316, 349, 372, 377, 379, 380, 382, 387, 388, 392–394, 418, 442, 457, 467, 473, 474, 477, 493–498, 508, 522, 523, 528, 529, 537, 539–549, 551–555, 564, 569, 573–576, 584, 588, 592, 607, 609–611, 613, 617, 634, 639, 641, 655, 658, 659, 663, 669–682, 684–686, 692, 702, 718, 725, 732, 742–747, 749, 752, 763, 764, 799, 804, 819, 829–831, 840–851, 855, 858, 862, 874, 877, 878, 881, 882, 884, 891, 892, 903, 914, 917, 920, 921, 923–925, 928, 931, 934, 942, 943, 951, 955–960, 963, 965, 967, 973, 976, 983, 984, 986–988, 990, 991, 993, 994, 998, 1001–1004, 1010, 1011, 1013, 1026, 1031, 1033–1035
 Адели 382, 442, 918, 928
 Александр Радищев 943
 Анджело 546, 957, 958, 1034, 1035
 Андрей Шенье 958
 Бесы 669, 986
 Борис Годунов 747, 1004
 В еврейской хижине лампада... 744, 1003
 В крови горит огонь желанья... 973
 Вишня 679, 988
 Возрождение 573, 574, 957, 965
 Воспоминание 931
 Граф Нулин 672–674, 841, 842, 987
 Дар напрасный, дар случайный... 382, 918
 19 мая 1828 г. 457
 Деревня 547, 958
 Дневники 958

- Евгений Онегин 18, 349, 380, 418, 477, 508, 592, 680, 692, 725, 747, 804, 882, 884, 890, 914, 923, 931, 947, 959, 991, 988, 1004
- Египетские ночи 494, 546
- Заметки по русской истории XVIII века 958
- История села Горюхина (Горохина) 547, 958
- К Батюшкову 973
- К вельможе 541, 957
- Каменный гость 745, 746, 749, 1003
- Капитанская дочка 144, 467, 497, 588, 934
- Клеветникам России 564, 963, 984
- Когда владыка ассирийский... 584, 967
- Красавица 575, 675, 845, 965, 987, 988, 1011
- Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы? 983
- Леда 676, 847, 988
- Мадонна 575, 675, 681, 965, 988
- Медный Всадник 592
- Моцарт и Сальери 546, 685, 702, 745, 746, 747, 917, 990, 994, 1004
- Няне 574, 677, 965, 988
- О драмах Байрона 958
- О народном воспитании 943
- Отцы-пустынники и жены непорочны 546, 914, 958
- Перед гробницею святой... 924
- Пиковая дама 144, 387, 388
- Пир во время чумы 686, 745, 990
- Повести Белкина 497, 588
- Подражание Корану 523, 875, 877, 951
- Полководец 1010
- Полтава 569, 677, 679, 964, 988
- Поэт и толпа 903
- Поэту 497, 545, 903, 943, 958, 981
- Пророк 655, 983
- Руслан и Людмила 672, 673, 842, 850, 958, 987
- Сказка о царе Салтане 1004
- Скупой рыцарь 146, 546, 547, 742, 745, 1003
- Стансы 548, 951, 958
- Странник 89, 878
- Телега жизни 718, 998
- Утопленник 732, 1001
- Художнику 610, 973
- Цыганы 26, 983
- Эхо 553, 960
- Я памятник себе воздвиг нерукотворный... 921, 958
- Я помню чудное мгновенье... 574, 965
- Table-talk 943, 958
- Пушкин Лев Сергеевич (1805–1852), офицер, младший брат поэта и его лит. секретарь 745
- Пушкин Сергей Львович (1767–1848), отставной офицер, помещик; отец поэта 1003
- Пшибышевский Станислав (1868–1927), пол. писатель-символист, ред. краковского журн. «Жизнь» (1898–1901) 860
- Пыпин Александр Николаевич (1833–1904), либерал. историк, литературовед, этнограф, фольклорист, проф. Петерб. ун-та (1860–1861), академик (с 1898) 462, 507, 607
- О старинных повестях 507
- Пятковский Александр Петрович (1840–1904), историк и литературовед, ред.-изд. журн. «Наблюдатель» (с 1882) 783, 784, 1009
- Князь В. Ф. Одоевский и Д. В. Веневитинов 783, 1009
- Князь В. Ф. Одоевский. Литературно-биографический очерк 1009

- Ра**, в др.-егип. мифологии бог солнца, верховное божество 627
 Рабле Франсуа (1494–1553) 887
 Гаргантюа и Пантагрюэль 887
 Рагузина, жена секретаря правления Моск. ун-та (1830-е) 378
 Радищев Александр Николаевич (1749–1802) 494, 943
 Радлов Эрнест Леопольдович (1854–1928), историк философии, филолог и переводчик 464, 667, 1033
 Философский словарь 1033
 Радованович С. С. — см. *Славковиг Огнян*
 Раевская Людмила Осиповна, соседка К. Н. Леонтьева по имению 410, 920
 Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630–1671) 119, 613, 950
 Разумник Ив. — см. *Иванов-Разумник Р. В.*
 Рамм (в замуж. Пфемферт) Александра (1883–1963), переводчица на нем. язык соч. Розанова, Л. Троцкого, Е. Нагродской, А. Новикова-Прибоя и др.; публицист; с 1901 жила в Берлине 871
 Рамус (Раме, Рамэ) Пьер де ла (1515–1572), фр. философ, логик, математик, риторик, педагог 465, 933
 Ранке Леопольд фон (1795–1886), нем. консерват. историк-медиевист; проф. Берлин. ун-та (1825–1871) 427
 Раренко Мария Борисовна, литературовед, лингвист 939
 Расин Жан (1639–1699), фр. драматург-классицист 167, 615, 955, 974
 Андромаха 955
 Рафаэль Санти (1483–1520) 20, 224, 226, 235, 392, 585, 681, 781, 1035
 Рачинская Варвара Александровна (1836–1910), педагог; сестра С. А. Рачинского 862, 974
 Рачинский Сергей Александрович (1836–1902), проф. ботаники Моск. ун-та, деятель нар. просвещения 6, 7, 369, 392, 417, 429, 520–523, 583, 602, 617, 662–694, 746, 758, 800, 859, 905, 907, 911–913, 915, 916, 918, 923, 926, 940, 948, 951, 966, 974, 1028
 Заметки о сельских школах 926
 Письма к духовному юношеству 663, 985
 Сельская школа 6, 392, 417, 522, 602, 663, 923, 951, 971, 985
 Учебный псалтирь 663, 985
 Ревякина Ирина Александровна (р. 1931), литературовед 979, 1026
 Редкин Петр Григорьевич (1808–1891), юрист, обществ. деятель, педагог 666
 Из лекций по истории философии права 666
 Реков В., литератор 1032
 Без средней школы 1032
 Рембрандт ван Рейн (1606–1669) 1038
 Ремигий (Реми) Реймский (ок. 437–533), святой, епископ Реймский, креститель салических франков 900
 Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957), прозаик, мемуарист; с 1921 в эмиграции 1012
 Рен Кристофер (1632–1723), англ. архитектор и математик 874
 Ренан Жозеф Эрнест (1823–1892), фр. историк, филолог, религ. публицист, прозаик, драматург 923, 1008, 1029
 Репин Илья Ефимович (1844–1930), художник, мемуарист 1035, 1036
 Ризенкамф Александр Егорович (1821–1895), врач, ботаник, в молодости друг братьев Достоевских 552
 Ризнич (ур. Рипп) Амалия (1803?–1825), первая жена (с 1822) негоцианта Ив. Ризнича, в 1823–1824 проживавшая в Одессе; предмет пылкой страсти Пушкина, адресат ряда его стихотворений 746
 Ристич Йован (1831–1899), историк, премьер-министр Сербии (1873, 1878–1880, 1887); один из регентов при князе Милане Обреновиче (1868–1872) и при князе Александре Обреновиче (1889–1893) 1002

- Ришар Луи Фредерик (1807–1850), швейц. преступник 61, 876
 Ришельё Арман Жан дю Плесси (1585–1642), кардинал, глава Королев. совета (с 1624), фактич. правитель Франции 166, 178, 206, 224, 225, 432, 571, 829, 886, 894, 897
 Роберваль Жиль (1602–1675), фр. математик, механик, астроном и физик 175, 177
 Роберти де – см. *Де-Роберти*
 Робертс Спенсер, амер. славист, переводчик 871
 Робеспьер Максимилиан (1758–1794) 530
 Рогнеда Роговолодовна (в крещении Анастасия; ок. 960 – ок. 1000), княжна Полоцкая, одна из жен вел. князя Киевского Владимира Святославича 996
 Розанов Алексей Юрьевич (р. 1936), палеонтолог, биолог, геолог; академик (с 2008) 4
 Розанов Василий Васильевич (1899–1918), сын Розанова 952
 Розанов (фам. при рождении Елизаров) Василий Федорович (ок. 1820–1861), лесничий; отец Розанова 593, 969
 Розанов Дмитрий Васильевич (1852–1895), брат Розанова 593, 969
 Розанов Николай Васильевич (1847–1894), педагог; брат Розанова 593, 969
 Розанов Сергей Васильевич (1856 – после 1911), телеграфист; брат Розанова 593, 969
 Розанов Федор Васильевич (1850–1901), наборщик и печатник; брат Розанова 593, 969
 Розанова (в замуж. Гордина) Варвара Васильевна (1898–1943), четвертая дочь Розанова 938
 Розанова (в замуж. Яснева) Павлина Васильевна (1851–1912), сестра Розанова 593, 969
 Розанова (ур. Шишкина) Надежда Ивановна (1826–1870), мать Розанова 593, 969
 Розанова Вера Васильевна (1848–1868), сестра Розанова 593, 969
 Розанова Надежда Васильевна (1892–1893), старшая дочь Розанова 902, 983
 Розанова Татьяна Васильевна (1895–1975), дочь Розанова 653, 983
 Розановы 913
 Розен (ур. Ладыженская, в первом браке Львова) Мария Федоровна (1822–1888), баронесса, помещица с. Спасское Нижегород. губ. 920
 Розен Дмитрий Григорьевич (1815 – после 1885), барон, полковник в отставке 920
 Роллен Шарль (1661–1741), фр. историк и педагог 1011
 Древняя история 1011
 Роман (в крещении Борис) Мстиславич Галицкий (ок. 1150–1205), в разное время князь Новгородский, Волынский, Галицкий, Галицко-Волынский, вел. князь Киевский 253
 Романов Иван Федорович (псевд.: Вл. Заточников, Гатчинский Отшельник, Рцы, Александр Фосфоритов; 1861–1913), публицист-славянофил, изд. журн. «Летописец» (1904), прозаик 299, 470, 487, 488, 492, 520, 565, 570, 577, 636, 637, 671, 675, 677, 679, 680–682, 800, 843–849, 851, 868, 935, 941, 963–965, 975, 982, 983, 987, 1008, 1019, 1032
 Еще о судьбе Пушкина 671, 987
 Заметки на полях и размышления между строк 299, 965
 О масках и актерах 975
 Роман будущего 1008
 Четвертый «воскресный» бюллетень 963
 Романовы, династия 253, 498
 Ромер Федор Эмилиевич (1838–1901), прозаик, поэт, публицист, переводчик 1031
 Ромул, легендар. основатель Рима и первый его царь (753–716 до н. э.) 960
 Ромул Августул (Флавий Ромул Август), последний зап.-рим. император (475–476) 254
 Россоловский Вячеслав Сильверстович (1849–1908), журналист 860, 1030
 Рудич Вера Ивановна (1872–1943), поэтесса, переводчица 1032
 Ступени 1032
 Руднева Александра Адриановна, теща Розанова 879
 Руже де Лиль Клод Жозеф (1760–1836), фр. воен. инженер, поэт и композитор; авт. гимна Франции «Марсельеза» (1792) 970

- Руссо Жан Жак (1712–1778) 129, 168, 259, 328, 413, 448, 489, 542, 828, 829, 855, 885, 903, 957, 1032
 Об общественном договоре 168, 828, 885, 903
- Руссов (Русов) Николай Николаевич (1883 – не ранее 1942), прозаик, лит. критик, публицист, историк 1032
 Любовь возвращается 1032
- Руфь, моавитянка, вдова израильтянина из Вифлеема 38
- Рцы – см. *Романов И. Ф.*
- Рюрик (?–879) 309, 310, 315
- Рюриковичи, династия 246, 901
- Сабальский** – см. *Собаньский И.*
- Сабашниковы: Михаил (1871–1943) и Сергей (1873–1909) Васильевичи, братья, моск. книгоиздатели (1891–1930) 607
- Савельев Александр Иванович (1816–1907), ротный офицер, препод. Главн. инженер. училища в годы обучения там Достоевского, воен. историк; позднее – ген.-лейтенант 551, 552
- Савина Татьяна Вячеславовна, литературовед 869, 945
- Савонарола Джироламо (1452–1498), итал. доминиканский священник, бывш. монах, диктатор Флоренции (с 1494) 1035, 1036
- Сад Донасьен Альфонс Франсуа де (маркиз де Сад; 1740–1814), фр. прозаик, философ 448
- Садовников Дмитрий Николаевич (1847–1883) 6, 517, **950**
 Загадки русского народа 950
 На старой Волге 950
 Наши землепроходцы 517, 950
 Песни о Стеньке Разине 950
- Салиас де Турнемир (ур. Сухово-Кобылина) Елизавета Васильевна (псевд. Евгения Тур; 1815–1892), графиня, прозаик 191, 617, 891
 Племянница 891
 Три поры жизни 891
- Саллюстий (Гай Саллюстий Крисп; 86–35 до н. э.), др.-рим. историк 403, 404
 Заговор Катилины 403
- Салос Никита – см. *Николай Салос Псковский*
- Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826–1889) 190, 419, 431, 432, 452, 476, 478, 504, 563, 564, 616, 665, 721, 891, 908, 917, 919, 926, 927, 930, 938, 963, 1007
 Господа Головлёвы 908
 Господа ташкентцы 963
 Круглый год 927
 Песня Московского дервиша 452
 Пестрые письма 917
 Помпадуры и помпадурши 963
 Современная идиллия 928
 Убежище Монрепо 938
- Сальери Антонио (1750–1825), итал. и австр. композитор, дирижер, педагог 546, 745, 747–749, 917, 990, 994, 1003, 1004
- Самарин Юрий Федорович (1819–1876), философ, историк, обществ. деятель, публицист-славянофил 75, 473, 520, 522, 525, 617, 1031, 1032
- Самен Альбер (1858–1900), фр. поэт-символист 604, 610, 620, 975, 976
 На поверхности вазы 976
 Языческий вечер 604, 620, 975
- Самсон (ок. X в. до н. э.), ветхозавет. герой, борющийся с филистимлянами 409, 684, 939, 989

- Сапожников Михаил Иванович (1871–1937), художник-символист 1035
- Сатурн (Saturnus), в др.-рим. мифологии бог, соответствующий греческому Кроносу 910
- Саул, первый царь объединенного Израильско-Иудейского царства (ок. 1029–1005 до н. э.) 360, 914
- Сафо (Сапфо; ок. 630–572/570 до н. э.), др.-греч. поэтесса 1035, 1036
- Сахаров Иван Петрович (1807–1863), фольклорист, этнограф, палеограф 508
- Свифт Джонатан (1667–1745) 225
- Святогор, былинный богатырь 731, 1001
- Святослав Игоревич (?–972), вел. князь Киевский (с 945), полководец 558, 960
- Северин С. Д., никопольский литератор 863
- Северцов (наст. имя Георгий Тихонович Полилов; 1859–1915) 8, 760, 761, **1007**, 1026
Аккорды бытия 8, 760, 1007
- Селевкиды, цар. династия в Сирии (312–64 до н. э.) 228
- Селивёрстов Юрий Иванович (1940–1990), художник, журналист 864
- Семей (X в. до н. э.), ветхозавет. персонаж, житель Бахурима, сын Геры Вениамитянина 409
- Семирамида, в аккадской и др.-армян. мифологии легендарная царица Ассирии, ист. прообразом к-рой является ассирийская царица Шаммурамат (812–803 до н. э.) 880
- Сенека (Луций Анней Сенека; 4–65), др.-рим. философ-стоик, поэт и гос. деятель 40, 426, 874
- Сен-Симон Анри де Рувруа (1760–1825), граф, фр. мыслитель, социалист-утопист 109
- Сент-Иллер Карл Карлович (1834–1901), зоолог, педагог; дир. Петерб. учител. ин-та (1877–1897) 430
- Сенусси Великий (Мухаммед ибн Али ас-Сенусси; 1787–1859), религ.-полит. деятель Сев. Африки, основатель дервишского ордена сенусситов 993
- Сервантес Сааведра Мигель де (1547–1616) 225, 235, 410, 528, 529, 920, 939
Дон Кихот 939, 1032, 1035
- Сергеев Сергей Михайлович (р. 1968), историк, публицист, главн. ред. журн. «Москва» (с 2010) 920
- Сергеенко Петр Алексеевич (1854–1930), журналист, театр. критик, литературовед 583, 955, 959, 966
Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой 955, 959, 966
- Сергий Радонежский (имя в миру Варфоломей; 1314–1392) 251, 479, 833
- Серов Валентин Александрович (1865–1911), художник-портретист, график 1035
- Сеченов Иван Михайлович (1829–1905) 462, 932
- Сигиберт I, король (535–575), король франкского государства Австразия (с 561) из династии Меровингов 975
- Сигизмунд II Август (1520–1572), вел. князь литовский (с 1529), король польский (с 1530) 901
- Сикорский Иван Алексеевич (1842–1919), психиатр, публицист, проф. Киев. ун-та (1885–1911) 966
- Сильвестр (? – ок. 1566), протопоп Благовещен. собора Моск. Кремля (с 1540), иеромонах (с 1560); один из авторов «Домостроя» 592, 969
Домострой 592, 969
- Сильд-Сильдинский Я. В., литератор 1034
В душевном мраке 1034
- Скабичевский Александр Михайлович (1838–1910), лит. критик либерально-народнич. направления, историк лит-ры 419, 503, 664, 665, 727, 930, 945, 946, 1000
Граф Л. Н. Толстой как художник и мыслитель 1000
«Кроткая», фантастический рассказ г-на Достоевского 1000
О г. Достоевском вообще и о романе его «Подросток» 1000
- Скворцов Лев Владимирович (р. 1931), философ и историк философии 4

- Скворцов-Степанов (наст. фам. Скворцов) Иван Иванович (1870–1928), сов. гос. и парт. деятель, историк, экономист 929
- Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882), ген. от инфантерии (1881), ген.-адъютант (1878), герой рус.-турец. войны (1877–1878) 618, 975
- Скопас (ок. 395–350 до н. э.), др.-греч. скульптор и архитектор 971
- Скотт Вальтер (1771–1832) 200, 225, 610, 952
 Дева озера 952
- Скриба П. — см. *Соловьев Е. А.*
- Скуратов Малюта (наст. имя Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский; ?–1573), один из руководителей опричнины, думный дворянин (с 1570) 453
- Скюдери Жорж де (1601–1667), фр. поэт и драматург 178, 886
 Тираническая любовь 178, 886
- Славкович Огнян (наст. имя Светозар Стефанович Радованович) 8, 740, **1002**
 Борьба сербского народа с злым гением и его клеветами 8, 740, 1002
- Словцов Петр Андреевич (1767–1843), историк и поэт 517
- Слонимский Людвиг Зиновьевич (1850–1918) 6, 508, 616, 830, **947**, 1026
 Мысли Белинского о воспитании 508, 947, 1026
 Профессия писателя 616
- Смайльс Сэмюэл (1812–1904), шотланд. писатель и реформатор 859
- Смирнов-Кутачевский Алексей Матвеевич (1876–1958), литературовед 1035
 Иванушка-дурачок 1035
- Смит Адам (1723–1790), шотланд. экономист и философ 225, 656
- Смоленский Степан Васильевич (1848–1909), музыковед, палеограф, композитор, хорошей дирижер и педагог 758, 1006
- Смолянинов Иван, участник Первой мировой войны, литератор 1033
 Серые шинели 1033
- Снегирев Иван Михайлович (1793–1868), историк, этнограф, фольклорист, искусствовед; проф. Моск. ун-та (1826–1835) 508
- Снелль (Снелл) Виллеброрд (1580–1626), голланд. математик, физик и астроном 172
- Собаньский Исидор (ок. 1790–?), польский шляхтич, любовник А. Ризнич 746
- Соболевский Сергей Иванович (1864–1963), филолог-классик, переводчик, педагог 992
- Соколов Павел Петрович (1863–1923), магистр богословия (1906), проф. психологии в Моск. духов. академии, переводчик 645, 646
- Соколовский Александр Лукич (1837–1915), издатель, переводчик 997
- Сократ (ок. 469–399 до н. э.) 168, 221, 328, 430, 461, 511, 514, 590, 661, 689, 690, 694, 826, 897, 910, 926, 992, 1003, 1032, 1034
- Соллогуб Владимир Александрович (1813–1882), граф, прозаик, мемуарист, драматург, поэт 617, 929
 Беда от нежного сердца 929
- Соллогуб Ф. К. — см. *Сологуб Ф. К.*
- Соловьёв Владимир Сергеевич (1853–1900) 5, 7–9, 131, 293, 297, 303–318, 320–322, 324, 326, 327, 329, 341, 441, 555, 556, 598, 636–638, 664, 670, 671, 695–698, 710–718, 724, 749–760, 851, 855, 858–863, 873, 880, 890, 904–909, 913, 927, 931, 935, 937, 959, 960, 966, 979, 980, 985–987, 992, 993, 995–997, 1004–1006, 1013, 1019, 1026, 1028–1033
 Близко, далеко, не здесь и не там... 996
 В архипелаге ночью 996
 В окрестностях Або 996
 В тумане утреннем неверными шагами .. 718, 997
 Великий спор и христианская политика 909
 Догматическое развитие церкви 880
 Жизненный смысл христианства 305

- Запоздавая вылазка из одного литературного лагеря 909
 Из Петрарки 717, 997
 Из Платона 714, 997
 Имата 999
 История и будущность теократии 909
 Иудушка клеветает на православную церковь 320
 Июньская ночь на Сайме 996
 Конец спора 905, 907, 908
 Кризис западной философии. Против позитивистов 995
 Критика отвлеченных начал 324, 664, 697, 759, 985, 993, 1006
 Лунная ночь в Шотландии 996
 На Сайме зимой 996
 На смерть друзей 750
 На смерть А. Н. Майкова 750, 1004
 На смерть Я. П. Полонского 1004
 Национальный вопрос в России 306, 308, 309, 311–313, 555, 664, 960, 986
 Нильская дельта 996
 О заслуге В. В. Лесевича 909
 О конце всемирной истории и антихристе 993
 О поддельном добре 695, 696, 992
 О причинах упадка средневекового мирозерцания 908
 Око вечности 714, 751, 1004
 Оправдание добра 638, 724, 980, 1006
 Особое чествование Пушкина 959, 960, 966
 Отшедшим 751, 1004
 Памяти А. А. Фета 1004
 Песня моря 996
 Песня офитов 714, 717, 996, 997
 По дороге в Упсалу 996
 Порфирий Головлёв о свободе и вере 303, 905, 906
 Против исполнительного листа 966
 Россия и Европа 931, 960
 Русская идея 985
 Скромное пророчество 714, 997
 Сон наяву 713, 997
 Спор о справедливости 905
 Стихотворения 710, 1033
 Судьба Пушкина 670, 752, 987, 1005
 Три разговора 696, 992, 993
 Три свидания 714, 996, 997
 У царицы моей есть высокий дворец... 996
 Умные звезды 714, 997
 Чтения о Богочеловечестве 979
 Эклектизм и синкретизм 863
 Das Ewig-weibliche 714, 996, 997
 Соловьёв Всеволод Сергеевич (1849–1903), романист, издатель 925, 935
 Соловьёв Евгений Андреевич (псевд. П. Скриба; 1863–1905), лит. критик, фельетонист, прозаик 416, 420, 870
 Соловьёв Михаил Васильевич (1791–1861), протоиерей, законоучитель Моск. коммерч. училища 1006
 Соловьёв Михаил Сергеевич (1862–1903), педагог, переводчик, издатель 935
 Соловьёв Николай Васильевич (1877–1915), антиквар, коллекционер, библиофил, книготорговец, изд. журн. «Антиквар» (1902–1903) 1033
 История одной жизни 1033

- Соловьёв Николай Яковлевич (1845—1898), драматург 920
- Соловьёв Сергей Михайлович (1820—1879), историк, академик (с 1872); ректор Моск. ун-та (1871—1877) 6, 423—425, 469, 517, 709, 901, 924, 925, 934, 935, 952, 1033
История России с древнейших времен 901, 935
Мои записки 469, 925, 934, 935
Об отношениях Новгорода к великим князьям 935
- Соловьёва Поликсена Сергеевна (псевд. Allego; 1867—1924), поэтесса и художница 1030
- Соловьёвы 862, 1031, 1032
- Сологуб (Соллогуб, наст. фам. Тетерников) Федор Кузьмич (1863—1927), поэт-символист, прозаик, драматург, публицист 443, 446, 447, 652, 860, 928, 983, 1029, 1033
В амфоре, ярко расцвеченной... 652, 983
К звездам 446, 928
Тяжелые сны 860
- Соломон, царь Израильско-Иудейского царства (965—928 до н. э.); по преданию, авт. ряда ветхозавет. книг 409, 640
Песнь песней 640
- Солон (640/635 — ок. 559 до н. э.), афин. полит. деятель, законодатель 203, 893, 983
- Сотело Луис (Людовик) (1574—1624), исп. монах-францисканец, миссионер в Японии 340, 911
- Софокл (ок. 496—406 до н. э.) 60, 203, 554, 555, 893
- Спасович Владимир Данилович (1829—1906), правовед, проф. Петерб. ун-та (с 1857), литературовед 63, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 810, 829, 830, 831, 857, 942, 943
Дмитрий Мережковский и его Вечные спутники 942
- Спасовский Михаил Михайлович (1890—1971), публицист и обществ. деятель; с 1926 в эмиграции 1025
В. В. Розанов в последние годы жизни 1025
- Спасский Иван Тимофеевич (1795—1861), д-р медицины, домашний врач Пушкиных 987
Последние дни А. С. Пушкина 987
- Спенсер Герберт (1820—1903), англ. философ и социолог 263, 431, 471, 480, 660, 665, 702, 935
- Сперанский Дмитрий Александрович, египтолог 1029
Из литературы Древнего Египта 1029
- Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839), граф, ближайший советник имп. Александра I (1808—1812), авт. плана либерал. преобразований; ген.-губернатор Сибири (1819—1821) 149, 429, 607, 613, 882
- Спиноза Бенедикт (имя при рождении Барух; 1632—1677) 169, 170, 407, 484, 485, 598, 885, 886
Теологико-политический трактат 169, 885
Этика 169, 170, 598, 886
- Ст—в Н. О., писатель-народник, сотр. журн. «Отеч. Записки» 466, 933
- Стадухин Михаил Васильевич (?—1666), землепроходец, исследователь Сев.-Вост. Сибири 517
- Станкевич Николай Владимирович (1813—1840), обществ. деятель, философ, поэт; основатель лит.-филос. кружка в Москве (1831) 689, 690, 857, 990
- Стасов Владимир Васильевич (1824—1906), муз. и худож. критик, историк, архивист, обществ. деятель 612, 973, 977, 1029
- Стасова Надежда Васильевна (1822—1895), обществ. деятельница, организатор борьбы за высшее образование женщин 430, 926
- Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911), либерал. публицист, историк; ред.-изд. журн. «Вестник Европы» (1866—1908) и газ. «Порядок» (1881—1882) 446, 474, 489, 681, 709, 850, 938, 941, 1031, 1032

- Стахеев Дмитрий Иванович (1840–1918), прозаик, поэт; ред. журн. «Нива» (1875–1877) и «РВ» (1896), газ. «Рус. Мир» (1876–1877) 468, 490, 503
- Стевин Симон (1548–1620), фламанд. математик, механик и инженер 172
- Стейниц Вильгельм (1836–1900), австр. и амер. шахматист 701
- Стендаль (наст. имя Мари Анри Бейль; 1783–1842) 965
Пармская обитель 965
- Степанов Онуфрий (?–1658), сибир. казак, исследователь реки Амур 518, 950
- Стефан (в миру Семен Иванович Яворский; 1658–1722), митрополит Рязанский и Муромский (с 1700), местоблюститель Патриарш. престола (1700–1721); богослов, проповедник 311, 489, 908
Камень веры 311, 908
- Стокгэм Алиса (Стокхэм Элис; 1833–1912), амер. врач-акушер 949
Токология 513, 949
- Столлнер Борис Григорьевич (1871–1937), переводчик филос. лит-ры 861
- Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911), министр внутр. дел и премьер-министр (с 1906) 552
- Стороженко Николай Ильич (1836–1906), литературовед; проф. Моск. ун-та (с 1872), пред. О-ва любителей рос. словесности (1894–1901) 258, 597, 616, 902, 1029
Памяти Белинского 616
- Страда Витторио (р. 1929), итал. литературовед, переводчик-славист и историк 871
- Страхов Николай Николаевич 6, 22, 393, 417, 420, 454–468, 471–473, 488, 490–492, 503, 520, 522, 537, 587, 588, 663, 664, 666, 694, 722, 800, 855, 866–869, 872, 873, 875, 877, 880, 882, 884, 887, 890, 904, 905, 909, 913, 923, 924, 931–934, 936, 937, 939, 941, 946, 955, 960, 967, 968, 985, 1001, 1012, 1014–1016, 1019, 1022, 1026, 1028, 1029, 1032, 1034
Бедность нашей литературы 931
Борьба с Западом в нашей литературе 473, 663, 869, 882, 923, 931, 960, 985
Воспоминания о Ф. М. Достоевском 867, 875, 877
Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве 968
Всегдашняя ошибка дарвинистов 932
Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание 931
Заметки о Пушкине 393, 473, 663, 931, 985
Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом 967, 985
Мир как целое 473, 880, 931, 932
О вечных истинах 473, 663, 666, 931, 932, 985
О времени, числе и пространстве 1016
Об основных понятиях психологии и физиологии 473, 666
Полное опровержение дарвинизма 932
Роковой вопрос 955
Справедливость, Милосердие и Святость 936
И. С. Тургенев. Отцы и дети 932
Физиологические письма 931
Философские очерки 473, 488, 934, 941
«Что делать?» Н. Г. Чернышевского 932
- Страхов Петр Иванович (1757–1813), физик, проф. и ректор Моск. ун-та (1805–1807), переводчик 957
- Стрижѳв Александр Николаевич (р. 1934), прозаик, литературовед, издатель 972
- Строганов Сергей Григорьевич (1794–1882), граф, ген.-адъютант; попечитель Моск. учеб. округа (1835–1847), моск. ген.-губернатор (1859–1860); археолог, издатель, нумизмат 587, 967
- Строев Павел Михайлович (1796–1876), историк, археограф и библиограф, академик (с 1847) 508
- Струве Петр Бернгардович (1870–1944), обществ. и полит. деятель, экономист, публицист, историк, философ 485, 486, 855, 862, 1012, 1031–1033

- Стюарты, королев. династия в Шотландии (1371–1714) и Англии (1603–1649, 1660–1714) 225, 898
- Суарес (Суарец) Франсиско (1548–1617), исп. философ и полит. мыслитель 467, 934
 Метафизические рассуждения 934
- Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912), журналист, изд. газ. «НВ» (с 1876), журн. «Ист. Вестник» (с 1880), адрес. книг и др.; публицист, прозаик, театр. критик 10, 418, 490, 491, 617, 829, 873, 935, 942, 948, 949, 1030, 1032–1034
- Суворов (Суворов-Рымникский) Александр Аркадьевич (1804–1882), светл. князь Италийский, граф Рымникский, либерал. гос., обществ. и воен. деятель, ген.-адъютант (1846), ген. от инфантерии (1859) 428
- Суворов Александр Васильевич (1730–1800) 612, 613
- Сукач Виктор Григорьевич (р. 1940), розановед 11, 884, 885, 918, 957, 1026
- Сулла (Луций Корнелий Сулла Счастливыи; 138–78 до н. э.), др.-рим. военачальник, реформатор гос. устройств 408, 896
- Сумароков Александр Петрович (1717–1777), драматург-классицист, поэт и прозаик 450, 542, 592, 974
- Суриков Василий Иванович (1848–1916), живописец 1035
- Сусанна, ветхозавет. персонаж, еврейка из Вавилона, облыжно обвиненная некими старцами в прелюбодеянии 405
- Суслова Аполлинария Прокофьевна (1840–1918), возлюбленная Достоевского (1861–1866) и первая жена Розанова (1880–1887), мемуаристка 1012
- Сухово-Кобылин Александр Васильевич (1817–1903), философ, драматург, переводчик 665, 934, 976, 986
 Свадьба Кречинского 665, 934, 976, 986
- Сцилла, в др.-греч. мифологии шестиголовое морское божество 605, 971
- Сытин Иван Дмитриевич (1851–1934), предприниматель, книгоиздатель 1001
- Сэ (Сэй) Жан Батист (1767–1832), фр. экономист 725
- Сютаев Василий Кириллович (1819–1892), крестьянин, основатель религ.-нравств. учения и общины (1874), проповедовал идеи свободы, всеобщ. братства и труда, был против собственности 370
- Т. И. Ф.** — см. *Филитов Т. И.*
- Тамерлан (Тимур; 1336–1405) 92, 202, 363, 590, 613
- Тарновская Варвара Павловна (1844–1913), литератор, поборница жен. образования 861
- Тассо (Тасс) Торквато (1544–1595), итал. поэт 410, 957
- Тацит (Публий Корнелий Тацит; ок. 56 – ок. 117), др.-рим. историк 173, 204, 215, 886, 893
 Анналы (Летописи) 173, 886
 О происхождении германцев 893
- Тейхмюллер Густав (1832–1888), нем. философ и историк философии 509
- Теккерей Уильям (1811–1863), англ. прозаик 225, 889
 Ярмарка тщеславия 889
- Телемак, в др.-греч. мифологии сын легендар. царя Итаки Одиссея и Пенелопы 842
- Тель Вильгельм (кон. XIII – нач. XIV в.), нац. герой Швейцарии, убивший австр. наместника Гесслера 685
- Теодолинда (?–628), католич. святая, королева лангобардов (с 589), регентша при своем сыне Аделоальде (с 616) 217, 896
- Термин, в др.-рим. мифологии божество границ 650, 983
- Тернавцев Валентин Александрович (1866–1940), религ.-обществ. деятель, чиновник Св. Синода 1030
- Терсит, в др.-греч. мифологии самый уродливый и дерзкий из греков, воевавших под Троей 691, 991

- Тиберий (Тиверий) Цезарь Август (42 до н. э. — 37 н. э.), рим. император (с 14) из династии Юлиев-Клавдиев 209, 217, 381, 383, 894, 1001
- Тилли Иоганн Церклас (1559—1632), граф, нем. полководец, фельдмаршал (1605) 166
- Тимирязев Климент Аркадьевич (1843—1920) 459, 471, 598, 932
- Бессильная злоба антидарвиниста 932
- Опровергнут ли дарвинизм? 932
- Тимофей (I в.), апостол от 70-ти, ученик и спутник ап. Павла в его миссионер. путешествиях, адресат двух его посланий; первый епископ Эфеса, мученик 339, 911
- Тимур — см. *Тамерлан*
- Тирсит — см. *Терсит*
- Тит Ливий (59 до н. э. — 17 н. э.), др.-рим. историк 771, 996
- История Рима от основания города 996
- Тихомиров Лев Александрович (1852—1923), мыслитель, публицист, мемуарист; до 1888 рев. народник 318, 320, 323—327, 329, 333—336, 342, 414, 428, 445, 520, 857, 905, 906, 910, 921, 922, 939, 1019
- Больше терпимости 905
- В чем конец спора 905
- В чем ошибка г. В. Розанова 905, 906, 910
- Два объяснения 905
- Дневник 1019
- Конституционалисты в эпоху 1881 г. 921, 922
- По поводу объяснений г. Розанова 910
- В. Розанов о Союзе писателей 939
- Существует ли свобода? 318, 325, 342, 905
- Тихон Задонский (в миру Тимофей Савельевич Соколов; 1724—1783), святитель, епископ Воронежский (1763—1769); богослов, духов. писатель, проповедник 21, 22, 872
- Тихонравов Николай Саввич (1832—1893) 7, 148, 149, 160, 508, 520, 607, 608, 705, 858, 882, 972, 1026
- Сочинения 607, 972, 1026
- Ткачёв Петр Никитич (1844—1886), лит. критик и публицист 984
- Токвиль Алексис де (1805—1859), фр. полит. мыслитель, социолог, гос. и полит. деятель 208, 894
- Старый порядок и революция 208, 894
- Толанд Джон (1670—1722), ирланд. философ 168
- Толстая (ур. Берс) Софья Андреевна (1844—1919), жена Л. Н. Толстого (с 1862), авт. Дневника, издательница 570, 571, 1028, 1029
- Толстой Алексей Константинович (1817—1875) 532, 616, 685, 713, 716, 851, 872, 902, 954, 970, 997, 1028
- Василий Шибанов 716, 997
- Дон-Жуан 532, 954
- Толстой Дмитрий Андреевич (1823—1889), граф, обер-прокурор Св. Синода (1865—1880), министр нар. просвещения (1866—1880) и внутр. дел (с 1882); историк 430, 907, 926
- Le Catholicisme romain en Russie (Римский католицизм) 430, 926
- Толстой Лев Львович (1869—1945), прозаик, драматург, мемуарист, публицист, скульптор 577, 965
- Прелюдия Шопена 965
- Толстой Лев Николаевич (1828—1910) 5—9, 21, 23, 26, 29, 34, 41, 46—48, 142, 143, 186, 188—190, 192, 345—349, 353, 357, 360—362, 364, 366—373, 393, 394, 417, 430, 434—441, 462, 473, 474, 510—517, 520, 531—536, 539, 549, 551, 552, 555—570, 572, 574, 577, 580, 583, 584, 587—589, 597, 613, 616, 628—635, 659—663, 665, 667, 682, 684, 696, 697, 716, 723, 725—732, 735, 753, 754, 757, 763, 807, 823—825, 832—834, 850, 851, 853, 855, 857, 864, 867, 890, 891, 903, 911—916, 923, 927, 932, 936, 937, 948—950, 954, 955, 959, 964,

- 965–967, 974, 977–979, 989, 991–993, 997, 999, 1000, 1001, 1005, 1010, 1014, 1017, 1018, 1020, 1026, 1029–1031, 1034, 1035
- Анна Каренина 29, 47, 48, 186, 188–190, 361, 364, 366, 371–373, 393, 512, 513, 515, 516, 549, 574, 584, 629, 630, 634, 659–661, 682, 730, 731, 763, 823, 850, 853, 866, 914–916, 949, 950, 965, 978, 1000, 1018
- Власть тьмы 364, 370, 373, 437, 697, 824
- Война и мир 21, 23, 29, 47, 186, 188–190, 347, 360, 364, 371–373, 393, 417, 510, 513, 516, 584, 587–589, 629–631, 633, 682, 728, 754, 823, 850, 851, 890, 891, 912, 914, 950, 965, 967, 1005
- Воскресение 7, 532–535, 566, 569, 570, 572, 628, 631, 634, 635, 697, 954, 955, 964, 965, 977–979, 991
- Декабристы 367, 915
- Детство и отрочество 29, 189, 361, 513, 514, 532, 572, 914, 950
- Для чего люди одурманиваются? 514, 949, 966
- Исповедь 347, 362, 370, 597, 914, 949, 970
- Казачи 726, 728
- Кающийся грешник 989
- Крейцера соната 364, 370, 373, 716, 726, 824, 824, 965, 997, 1001
- Люцерн 371, 916
- О жизни 346, 913
- Окончание малороссийской легенды. Сорок лет 531, 616, 974, 954
- Первая ступень 914
- Плоды просвещения 364, 370, 824
- Севастополь в августе 1855-го 914, 978
- Севастопольские рассказы 346, 516, 630, 978
- Смерть Ивана Ильича 190, 346, 346, 347, 357, 360, 367, 370, 513, 532, 630, 633, 635, 660, 661, 726, 824, 888, 891, 912, 978
- Так что же нам делать? 914
- Три смерти 346, 361, 914
- Хозяин и работник 345, 346, 348, 349, 512, 630, 631, 697, 913, 978
- Царство Божие внутри вас 366, 915
- Чем люди живы 659, 660, 661, 697, 726
- Четыре эпохи развития 950
- Что такое искусство 949
- Юность 515, 950
- Толстой Федор Петрович (1783–1873), граф, живописец, рисовальщик, медальер и скульптор 959
- Томазий (Томазиус) Кристиан (1655–1728), нем. философ и юрист 167, 885
- Установление божественной юриспруденции 167, 885
- Томсон Уильям, лорд Кельвин (1824–1907), англ. физик и механик; проф. ун-та в Глазго (1846–1899) 171, 886
- Торквемада Томмасо де (1420–1498), первый великий инквизитор Испании (с 1451) 761
- Торричелли Эванджелиста (1608–1647), итал. математик и физик 179, 180, 980
- Траверсе Иван Иванович де (имя при рождении Жан Батист Прево де Сансак; 1754–1831), рос. адмирал, командующий Черномор. флотом (с 1802), морской министр (1809–1828) 980
- Тредиаковский (Тредьяковский) Василий Кириллович (1703–1769), ученый и поэт 836, 1011
- Трозинер Федор Васильевич (?–1919), журналист, изд. журн. «Пантеон Лит-ры» (1891–1895) 886
- Троицкий Матвей Михайлович (1835–1899), психолог, философ 597, 598, 666
- Наука о духе 666
- Трофимова Валерия Борисовна, литературовед 1026
- Трубецкой Евгений Николаевич (1863–1920), князь, религ. философ, правовед, публицист, обществ. деятель 752, 855, 1005, 1033
- Развлечение национализма 1033

- Трубецкой Павел (Паоло) Петрович (1866–1938), князь, скульптор, художник 510, 948, 1034, 1035
- Трубецкой Сергей Николаевич (1862–1905), князь, религ. философ, публицист, обществ. деятель 666, 752, 1005
 Метафизика в древней Греции 666
- Труворов Аскалон Николаевич (1819–1893), археограф, дир. Петерб. археол. ин-та (1891–1896) 518–520
- Тугут Франц фон (1736–1818), барон, австр. канцлер (1793–1800) 557
- Туниманов Владимир Артемович (1937–2006), литературовед 932
 Заметки на полях писем В. В. Розанова 932
- Тур Евг. — см. *Салиас де Турнемир Е. В.*
- Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) 11, 22, 26, 28, 29, 33, 35, 46, 47, 142, 147, 188, 190, 233, 335, 415, 417, 431, 444, 473, 474, 476–478, 496, 497, 510, 511, 520, 587, 614–616, 659, 660, 663, 689, 723, 726, 727, 729, 730, 738, 763, 764, 780, 851, 855, 859, 862, 864, 873, 875, 890, 891, 900, 915, 928, 937–939, 943, 957, 967, 988, 1000, 1001, 1007, 1009, 1014, 1018, 1020, 1029, 1030, 1033
 Ася 726, 727, 851
 Вешние воды 938
 Гамлет Щигровского уезда 780, 1009
 Дворянское гнездо 22, 335, 477, 478, 763, 851, 900, 988
 Дневник лишнего человека 780, 1009
 Довольно 496, 875, 943
 Дым 431, 444, 928
 Записки охотника 1009
 Клара Милич 660
 Литературные и житейские воспоминания 873
 Новь 46, 659, 660, 875, 866, 938, 939, 943, 1018
 Отцы и дети 417, 444, 928, 932
 Рудин 335, 689, 858, 1028, 1029
 Стихотворения в прозе 660
 Студия 660
 Стук, стук... 660
 Часы 660
- Тьери (Тьерри) Огюстен (1795–1856), фр. историк романт. направления 595
- Тэн Ипполит (1828–1893), фр. философ, эстетик, историк, психолог 264, 461, 462, 902, 923, 932, 1035, 1036
 История английской литературы 462, 932
 Об уме и познании 461, 932
 Развитие политической и гражданской свободы в Англии 932
- Тюдоры, королев. династия Англии (1485–1604) 433
- Тютчев Федор Иванович (1803–1873) 394, 418, 510, 520, 522, 685, 751, 919, 923, 1004, 1011, 1017
 Как над горячею золой... 394, 919
 Люблю глаза твои, мой друг.. 1017
 Эти бедные селенья.. 418, 923, 1011
 Silentium 1004
- Уайльд Оскар (1854–1900), англ. философ, эстет, прозаик, поэт 1034, 1035
- Уайстон (Уистон) Уильям (1667–1752), англ. ученый-энциклопедист, историк, математик, теолог 169
- Уитмен Уолт (1819–1892), амер. поэт, публицист 1033
- Улисс, латинизир. форма греч. имени легендар. царя Итаки Одиссея 648, 672, 842, 982
- Урбан VIII (в миру Маффео Барберини; 1568–1644), папа Римский (с 1623) 911

- Урия Хеттеянин, воин израильского царя Давида; первый муж Вирсавии 681, 849, 919, 988, 989
- Усов Сергей Алексеевич (1827–1886), зоолог, археолог, искусствовед 20
- Успенский Глеб Иванович (1843–1902), прозаик, публицист 520, 711
Власть земли 520
- Утин Евгений Исаакович (1843–1894), адвокат, либерал, публицист, воен. корреспондент 494, 830
- Ухтомский Эспер Эсперович (1861–1921), князь, дипломат, ориенталист, публицист, поэт, переводчик; изд. газ. «С.-Петерб. Ведомости» (1896–1917) 657, 984
- Ф**—ч С. — см. *Шарапов С. Ф.*
- Фабии, римский патрицианский род; в 477 до н. э. был истреблен этрусками 109
- Фарадей (Фарадэй) Майкл (1791–1867), англ. физик-экспериментатор и химик 514
- Фаресов Анатолий Иванович (1852–1928), литератор, публицист 705, 994
Н. С. Лесков о языке своих произведений 994
- Фатеев Валерий Александрович (р. 1941), историк рус. религ. мысли, прозаик 4, 921, 923, 936, 961, 966, 968, 981, 1012
Жизнеописание Василия Розанова 1012
- Федина (наст. фам. Лишенко) Владимир Степанович, литературовед 1034
- Фёдоров Андрей Венедиктович (1906–1997), литературовед, переводчик и педагог 919
- Фёдоров Денис Александрович (р. 1976), журналист, историк 1037
- Фёдорова Мария Михайловна (р. 1957), историк полит. философии, переводчик 894
- Федякин Сергей Романович (р. 1954), литературовед, музыковед 4, 1027
- Фемистокл (ок. 525 — ок. 460 до н. э.), афин. полководец, вождь демокр. группировки, архонт и стратег (с 493/492) 29, 148, 235, 407, 696, 722, 992, 998
- Фенелон Франсуа де (1651–1715), фр. прозаик, религ. деятель, архиеп. Камбре (с 1695) 448, 591
- Феодор I Иоаннович (1557–1598), третий сын Ивана IV, рус. царь (с 1584) 901
- Феодосий I Великий (Флавий Феодосий; ок. 346–395), рим. император (с 379) 895
- Феофан (в миру Элеазар Прокопович; 1681–1736), архиеп. Новгородский и Великолуцкий (с 1725), писатель; сподвижник Петра I 599, 944
История императора Петра Великого 944
- Фердинанд I Кобургский (1861–1948), князь Болгарии (с 1887), царь (1908–1918); ботаник, энтомолог, филателист 984
- Ферма Пьер де (1601–1665), фр. математик 175, 183
- Ферреро Гульельмо (1871–1942), итал. историк, публицист 416
- Фет Афанасий Афанасьевич (первые 14 и последние 19 лет жизни официально носил фам. Шеншин; 1820–1892) 486, 512, 609, 728, 729, 940, 941, 949, 1000, 1004, 1011, 1014, 1033, 1034
Шопот, робкое дыханье. 1011
- Фетида, в др.-греч. мифологии морская нимфа, мать Ахиллеса 582, 966
- Фидий (ок. 490 — ок. 430 до н. э.), др.-греч. скульптор, архитектор 896
- Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов; 1782–1867), святитель, духов. писатель, экзегет, проповедник; митрополит Московский и Коломенский (с 1826) 469, 562, 585, 586, 837, 946, 967
- Филарет, иеромонах, наместник моск. Новоспасского мон-ря, с 1843 жил на покое в Оптиной пустыни 884
- Филипп II (382–336 до н. э.), македон. царь (с 359 до н. э.), отец Александра Македонского 892
- Филипп II (1527–1598), король Неаполя и Сицилии (с 1554), король Испании и Нидерландов (с 1556), а также Португалии (с 1580) 223, 224, 225, 689, 691, 897, 991
- Филиппов Алексей Фролович (1870 — нач. 1950-х), литератор, издатель, банкир; чекист, сотр. сов. разведки, зять Ф. Э. Дзержинского (муж его сестры) 732, 733, 1001

- Филиппов Тертый Иванович (1825–1899), гос. и церк.-обществ. деятель, религ. публицист, лит. критик; тов. гос. контролера (с 1878), гос. контролер (с 1889) 921
- Филолай (2-я пол. V в. до н. э.), др.-греч. философ, математик 713, 996
О природе 996
- Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940) 7, 580, 863, 966, 1026, 1031, 1032
Серьезный разговор с нитчанцами 580, 966
- Философова (ур. Дягилева) Анна Павловна (1837–1912), обществ. деятельница 861, 862, 1033
- Филькина Елена Юрьевна, историк, архивист 1026
- Фихте Иоганн Готлиб (1762–1814) 484, 557, 892, 1032
- Фишер Куно (1824–1907), нем. историк философии 461, 517, 1029
История новой философии 461, 1029
- Флексер — см. *Вольнский А. Л.*
- Флобер Гюстав (1821–1880) 528, 875
Легенда о св. Юлиане Милостивом 875
- Флоренский Павел Александрович (1882–1937) 10, 800, 855, 1000, 1012, 1020, 1024, 1034
Философия культа 1012
- Флориан Жан Пьер де (1755–1794), фр. поэт и прозаик 928
Два Крестьянина и Туча 928
- Фогт Карл (1817–1895), нем. естествоиспытатель, зоолог, палеонтолог, врач 594, 969
Физиологические письма 594, 969
- Фольмер Карл Готфрид Вильгельм (псевд. Ф. А. Циммерман; 1797–1864), нем. ученый, популяризатор науки 594, 969
Мир до сотворения человека 594, 969
- Фома, апостол из 12-ти; основоположник христианства в Индии, мученик 577, 965, 1007
- Фома Аквинский (1225–1274), итал. католич. философ, теолог, чл. ордена доминиканцев 599
- Фома Кемпийский (ок. 1379–1471), нем. монах и свящ., духов. писатель 930
О подражании Христу 930
- Фомичёв Сергей Александрович (р. 1937), литературовед 922
- Фонвизин Денис Иванович (1745–1792) 667
Недоросль 667
- Фофанов Константин Михайлович (1862–1911), поэт 858, 863, 1028, 1031, 1032
Иллюзии 858, 1028
- Фохт Карл (1817–1895), нем. зоолог, палеонтолог, врач; философ 689, 724
- Франк Семен Людвигович (1877–1950), религ. философ 1019
- Франциск I (1494–1547), король Франции (с 1515), основатель ангулемской ветви династии Валуа 224, 225, 897
- Фредегонда (ок. 545–597), франкская королева, жена Хильперика I, чью предыдущую супругу, вестготку Галесвинту, она погубила 620, 975
- Фрибес Ольга Александровна (псевд. И. А. Данилов; 1881–1922) 6, 9, 526, 734, 834, 952, 1001, 1010, 1026
В морозную ночь 526, 1010
В тихой пристани 6, 9, 526, 834, 952, 1001, 1010
Поездка на богомолье 526, 1010
- Фридрих II Великий (1712–1786), король Пруссии (с 1740) из династии Гогенцоллернов 689
- Фудель Осип (Иосиф) Иванович (1863–1918), протоиерей, консерват. публицист, духов. писатель, обществ. деятель 244
- Фукидид (ок. 460–400 до н. э.), др.-греч. историк 203, 215, 893

- Фукидид, афин. гос. деятель, вождь аристокр. группировки (с 450 до н. э.), полит. противник Перикла (450–440-е до н. э.) 893
- Фурье Шарль (1772–1837), фр. социолог, представитель утопич. социализма 109, 126, 129, 130
- Фьораванти (Фиораванти) Ридольфо Аристотель (ок. 1415 – не ранее 1486), итал. архитектор, воен. инженер; с 1475 жил в России 983
- Хабаров (Хабаров-Святитский) Ерофей Павлович (ок. 1603–1671), исследователь Сибири, путешественник 517**
- Хам, сын Ноя, проклятый Богом за то, что насмеялся над наготой отца 582, 966
- Харибда, в др.-греч. мифологии морское божество, олицетворяющее водную пучину 605, 971
- Херасков Михаил Матвеевич (1733–1807), поэт, прозаик 450
- Хильперик I (ок. 537–584), король франков (561–584) из династии Меровингов 975
- Хлодвиг I (ок. 466–511), король франков (с 481/482) из династии Меровингов 161, 217, 897, 899, 900
- Холодковский Николай Александрович (1858–1921) 258, **902**
- Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) 75, 191, 312, 394, 469, 473, 520, 522, 549, 664, 708–710, 747, 753, 855, 862, 892, 959, 968, 1004, 1031, 1032, 1034
- Ермак 1004
- Сергей Тимофеевич Аксаков 892
- Хрисанф (в миру Владимир Николаевич Ретивцев; 1832–1883), епископ Нижегородский и Арзамасский (с 1877), д-р богословия (1878), историк древних религий 601, 971
- Религии древнего мира 601, 971
- Христос – см. *Иисус Христос*
- Цветаев Иван Владимирович (1847–1913), историк, археолог, филолог и искусствовед, проф. Моск. ун-та (с 1877) 425, 925, 1035, 1036**
- Устройство музея античных искусств при Московском университете 425, 925
- Цветков Сергей Алексеевич (1888–1964), историк, журналист, друг Розанова и автор его библиографии 800, 856
- Цвингли Ульрих (1484–1531), швейц. церк. реформатор, протестант. философ и проповедник 345, 911
- Цебрикова Мария Константиновна (1835–1917), критик, либерал. публицист, прозаик, переводчик 571, 836, 1011
- Цезарий Гайстербахский (ок. 1180 – ок. 1240), нем. теолог и духов. писатель, цистерцианский монах 878
- Беседы о чудесах 878
- Цезарь (Гай Юлий Цезарь; 100/102–44 до н. э.) 217, 235, 403, 404, 408, 829, 875
- Цейхенштейн Семен Ильич (? – ок. 1897), польский еврей из хасидской семьи, принявший христианство; с 1850-х жил в Астрахани; авт. «Автобиографии правосл. еврея», рукопись к-рой готовил к печати Розанов 800
- Церера, в др.-рим. мифологии богиня, покровительница урожая и плодородия 503, 945, 982
- Цертелев Дмитрий Николаевич (1852–1911), князь, философ, поэт, публицист, лит. критик 667, 736
- Циммерман Ф. А. – см. *Фольмер К. Г. В.*
- Цирцея (Кирка), в др.-греч. мифологии дочь бога Гелиоса, волшебница 648, 982
- Цицерон (Марк Туллий Цицерон; 106–43 до н. э.) 130, 406–408, 426, 708, 739, 941
- О государстве 406, 407
- Об обязанностях 941
- Против Катилины 408

- Тускуланские беседы 941
 Филиппики 408
- Цявловская (ур. Зенгер) Татьяна Григорьевна (1897–1978), литературовед, пушкинист 1003
- Чаадаев** Петр Яковлевич (1794–1856) 21, 22, 341, 373–379, 446, 474, 494, 496, 497, 547, 549, 757, 872, 916, 917, 942, 943, 1006, 1032
 Философическое письмо (Философические письма) 341, 375–377, 379, 497, 757, 872, 917, 1006
- Чайковский Петр Ильич (1840–1893) 523
- Чаленко Иван Яковлевич (1873 – не ранее 1913), богослов 1032
 Независимость христианского учения о нравственности от этики 1032
- Черниченко Людмила Леонидовна (р. 1939), литературовед, прозаик 1027
- Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) 22, 374, 450–452, 454, 459, 473, 616, 916, 917, 929, 930, 932
 Антропологический принцип в философии 451, 930
 Что делать? 22, 374, 917, 932
- Черняев Николай Иванович (1853–1910), публицист, театр. и лит. критик 532, 870, 954
 Гоголь перед судом Розанова 870
- Чертков Владимир Григорьевич (1854–1936), друг Л. Н. Толстого, издатель, обществ. деятель 1031
- Черчилль (ур. Дженнингс) Сара, герцогиня Мальборо (1660–1744), фаворитка англ. королевы Анны (1665–1714) 829
- Чехов Антон Павлович (1860–1904) 11, 504, 616, 685, 855, 859, 861, 926, 946, 1016, 1029, 1031, 1033
 В бане 616
 Мужики 504, 946
 Неосторожность 616
 Оратор 616
 Убийство 926, 927
- Чигорин Михаил Иванович (1850–1908), шахматист 701
- Чимабуэ (наст. имя Ченни ди Пепо; ок. 1240 – ок. 1302), флорент. живописец 523, 951
- Чингисхан (Темучин; ок. 1155–1227) 92, 202
- Чичерин Борис Николаевич (1828–1904), правовед, философ-гегельянец, историк, публицист 463, 666, 711, 737, 859, 995
 История политических учений 666
 Мистицизм в науке 995
 Наука и религия 666
 Собственность и государство 666
- Чудинов Александр Николаевич (1843–1908), филолог, издатель, педагог 172, 886
- Чуевский Василий Павлович, поэт-песенник (1840–1860-е) 978
 Ах ты Волга, Волга-матушка 978
- Чуйко Владимир Викторович (1839–1899), лит. и худож. критик 369, 370, 373, 825, 882, 912, 915, 916, 930, 932
- Чуковский Корней Иванович (имя при рождении Николай Эммануилович Корнейчуков; 1882–1969), поэт, публицист, критик, переводчик, литературовед 861, 862, 1030–1034
 Поэзия грядущей демократии 1033, 1034
- Чуносков М. – см. *Ясинский И. И.*
- Шагинян** Мариэтта Сергеевна (1888–1982), прозаик, поэт, публицист 1032
 Orientalia 1032
- Шакловитый Федор Леонтьевич (сер. 1640-х – 1689), окольничий, фаворит царевны Софьи Алексеевны 520, 950

- Шалапин Федор Иванович (1873–1938) 1035, 1036
- Шарапов Сергей Федорович (1855–1911), экономист, публицист славянофил. направления, издатель 490, 492, 520, 862, 935, 936, 941, 964, 1031
- Шатобриан Франсуа Рене де (1768–1848), виконт, фр. писатель 89, 541, 591, 985
Замогильные записки 664, 985
- Шахов Александр Александрович (1850–1877), литературовед 258, 259, 263, 282, 283, 285, 902, 903
Гёте и его время 258, 902
Французская литература в первые годы XIX века 258, 902
- Шаховской Дмитрий Иванович (1861–1940), князь, историк, чаадаевовед; министр гос. призрения Времен. правительства (1917) 917
- Шаховской Николай Владимирович (1856–1906), князь, начальник Главн. упр-ния по делам печати (1900–1903); историк, филолог 562, 949, 961, 962
Годы службы Н. П. Гилярова-Платонова в Московском цензурном комитете 962
Памяти Никиты Петровича Гилярова-Платонова 961
- Шах-Паронианц Леон Михайлович (1863–1927), поэт, журналист, писатель, издатель 586, 587, 589
- Шашков Серафим Серафимович (1841–1882), историк и публицист 836
- Шварц Бертольд (наст. имя Константин Анклитцен; XIV в.), нем. францисканский монах, изобретатель пороха 331, 910
- Шевырёв Иван Яковлевич (1859–1920), энтомолог 724
- Шевырёв Степан Петрович (1806–1864), поэт, критик, журналист; историк лит-ры, проф. Моск. ун-та (с 1837), академик (с 1852) 469, 520, 925, 937
- Шейн Павел Васильевич (1826–1900), этнограф, лингвист, фольклорист 1030
- Шекспир Уильям (1564–1616) 16, 40, 60, 115, 131, 138, 157, 159, 204, 225, 226, 318, 332, 443, 449, 474, 494, 507, 532, 541, 578, 619, 668, 669, 716, 742, 781, 830, 848, 872, 893, 929, 930, 932, 943, 949, 958, 965, 980, 986, 991, 1003, 1032
Антоний и Клеопатра 716, 997
Венецианский купец 742, 932, 958, 1003
Виндзорские насмешницы 932
Гамлет 40, 60, 115, 204, 226, 318, 332, 578, 619, 668, 872, 876, 893, 943, 949, 965, 991
Генрих IV 932, 980
Как вам это понравится (Что вам будет угодно) 449, 929, 932
Король Лир 619, 668, 669
Отелло 578, 619, 668, 669, 848, 986
Сон в летнюю ночь 449, 929
- Шелгунов Николай Васильевич (1824–1891), публицист, критик 324, 374, 664, 665, 836, 917, 929, 984
Женское бездушие 917
- Шеллер Александр Константинович (псевд. А. Михайлов; 1838–1900), прозаик, переводчик 932
- Шеллинг Фридрих Вильгельм фон (1775–1854) 407, 484
- Шенрок Владимир Иванович (1853–1910), литературовед 160, 882, 972
- Шенье Андре де (1762–1794), фр. поэт, журналист и полит. деятель 541, 958
- Шервуд Леонид Владимирович (1871–1954), скульптор 1034, 1035
- Шестаков Дмитрий Петрович (1869–1937) 7, 609, 858, 972, 973, 975, 1026, 1031
Исследования в области греческих народных сказаний о святых 973, 1031
Стихотворения 609, 858, 975
- Шиллер Фридрих (1759–1805) 200, 226, 258, 280, 318, 392, 502, 530, 557, 648, 689, 877, 902, 904, 910, 982, 987
Дон Карлос 318, 910
Желание 877
Поликратов перстень 987

- Счастье 258, 902
 Элевзинский праздник 502, 648, 982
- Шипилов, сарат. помещик 519
- Ширков Валериан Федорович (1805—1856), капитан Ген. штаба (с 1835), помещик, либреттист 988
- Шлейден Маттиас (1804—1881), нем. ботаник и обществ. деятель 522
 Растение и его жизнь 522
- Шляпкин Илья Александрович (1858—1918), литературовед, археограф и палеограф 946
- Шмелев Иван Сергеевич (1873—1950), прозаик 1019
- Шмидт Анна Николаевна (1851—1905), журналистка, авт. религ.-мистич. сочинений 1033
- Шопен Фредерик (1810—1849) 965
- Шопенгауэр Артур (1788—1860) 407, 578, 666, 667, 759, 826, 879
 Мир как воля и представление 826, 879
- Шперк Федор Эдуардович (1872—1897) 6, 500, 652, 800, 834, 857, 868, 869, 945, 952, 1010, 1026, 1028, 1029
 Женская беллетристика 1010
- Штейн Генрих фом унд цум (1757—1831), министр торговли, промышленности и финансов (1804—1807) и премьер-министр Пруссии (1807—1808), реформатор 557
- Штиглиц Александр Людвигович фон (1814—1884), барон, финансист, промышленник, управляющий Гос. банком России (1860—1866), меценат 622, 976
- Штраус Давид Фридрих (1808—1874), нем. теолог и философ 515
- Штросмайер Иосиф Георг (1815—1905), хорват. католич. деятель, епископ Дьяковарский (Босненский и Сремский; с 1849) 909
- Шуберт Франц (1797—1828) 952
- Шубинский Сергей Николаевич (1834—1913), журналист, историк; ред. журн. «Древняя и Новая Россия» (1875—1879) и «Ист. Вестник» (с 1880) 474, 1030
- Шульговский Николай Николаевич (1880—1934?), поэт, стиховед, популяризатор литературоведения 1032
 Лучи и грезы 1032
- Шуман Роберт (1810—1856) 527, 952
- Щеглов** (наст. фам. Леонтьев) Иван Леонтьевич (1856—1911), прозаик, драматург 313, 502—505, 587, 745—747, 749, 858, 859, 862, 909, 945, 946, 986, 1003, 1028, 1031
 Затерянный мудрец 502, 945
 Мир праху 945
 Нескромные догадки 745, 746, 1003
 Новое о Пушкине 858, 986, 1003
 Новые пьесы 945, 1028
 Около истины 945
 Шемякин суд (По поводу собственной пьесы) 502, 945, 946
- Щёголев Павел Елисеевич (1877—1931), историк лит.-ры, ред. журн. «Былое» («Минувшие годы»; 1905—1907, 1917—1927) 1034
 Смерть Пушкина 1034
- Щедрин Н. — см. *Салтыков-Щедрин М. Е.*
- Щепкин Михаил Семенович (1788—1863) 28, 873
- Эвклид** — см. *Евклид*
- Эгберт Великий (769/771—839), король Уэссекса (с 802) 229, 899
- д'Эгильон Мари Мадлен де Виньеро (в замуж. маркиза де Комбале; 1604—1675), герцогиня, племянница кардинала Ришельё 178
- Эдельштейн Михаил Юрьевич (р. 1972), лит. критик, литературовед 929, 973, 991
- Эдип, в др.-греч. мифологии царь Фив 656, 668, 893, 983

- Эккерман Иоганн Петер (1792—1854), нем. литератор, поэт; секретарь Гёте 903, 904
 Разговоры с Гёте 904
- Эльпе (наст. имя Лазарь Константинович Попов; 1851—1917), авт. статей в газ. «НВ» под рубр. «Науч. письма» (с 1883) и многих науч.-попул. очерков 471, 936, 1029
 Душа животных и растений 1029
- Эман Эдгар, фр. популяризатор науки 930
 История кусочка угля 930
- Энгельгардт Николай Александрович (1867—1942), прозаик, поэт, публицист, лит. критик; сотр. газ. «НВ» 493, 494, 495, 829, 830, 871, 942
 Спасович о Пушкине 493, 829, 942
- Эол, в др.-греч. мифологии повелитель ветров 268, 418, 419, 923
- Эразм Роттердамский (Дезидерий; 1466/1465—1536), нем. гуманист; филолог, богослов, писатель-сатирик 225, 898
- Эредиа Жозе Мария де (1842—1905), фр. поэт 610
- Эрн Владимир Францевич (1882—1917), религ. философ 855, 1034
- Эрнст Отто (наст. имя Отто Эрнст Шмидт; 1862—1926), нем. прозаик и драматург 1028
 Педагоги 1028
- Эрос (Эрот), в др.-греч. мифологии божество любви 980
- Эсхил (525—456 до н. э.), др.-греч. драматург, отец европ. трагедии 554, 1006
 Скванный Прометей 1006
- Ювенал** (Децим Юний Ювенал; ок. 60 — ок. 127), др.-рим. поэт-сатирик 938
- Южаков Сергей Николаевич (1849—1910), публицист, социолог 485, 486, 528, 940
- Южный М. — см. *Зельманов М. Г.*
- Юзов И. (наст. имя Иосиф Иванович Каблиц; 1848—1893), публицист-народник, авт. трактата «Основы народничества» (1882) 722, 857, 998, 1028, 1029
- Юлиан Милостивый (Юлиан Странноприимец), католич. святой 58, 59, 875, 876
- Юлиан Отступник (Флавий Клавдий Юлиан; 331 или 332—363), рим. император (с 361); ритор, философ 928
- Юлий II (в миру Джулиано делла Ровере; 1443—1513), папа Римский (с 1503), полководец, меценат 224, 898
- Юпитер, в др.-рим. мифологии верховное божество 319
- Юрьев Сергей Андреевич (1821—1888), критик, издатель, пред. О-ва любителей рос. словесности (с 1878) 949
- Юстиниан I Великий (Флавий Петр Савватий Юстиниан; 483—565), визант. император (с 527), полководец и реформатор 230, 899, 964
- Юшкевич Семен Соломонович (1868—1927), прозаик и драматург 859, 1029
- Яворская** (по первому мужу княгиня Барятинская, по второму — Поллок) Лидия Борисовна (1871—1921), актриса, публицист 984
- Языков Николай Михайлович (1803—1846), поэт-романтик 749, 986
 Валдайский узник 986
- Яковлева Арина Родионовна (1758—1828), крепостная Ганнибалов, няня Пушкина 547
- Якубовский Николай Федорович (1825—1874), дипломат, консул в Македонии, в Битолии (1866—1873) 193, 892
- Якушкин Вячеслав Евгеньевич (1856—1912), историк, литературовед, публицист 607, 616
 Белинский, его друзья и враги 616
- Янчевецкий (псевд. Ян) Василий Григорьевич (1874—1954), романист 1036
 Записки пешехода 1036
- Ярослав I Владимирович (Ярослав Мудрый, в крещении Георгий; ок. 978—1054) 246, 996

Ясинский Иероним Иеронимович (псевд.: Максим Белинский, М. Чуносон; 1850–1931)
6, 8, 506, 723, 724, **946**, 999, 1026, 1031

Кошмарное время 724

Нежеланные дети 506, 946, 999

Ященко Александр Семенович (1877–1934), юрист, правовед, философ, библиограф 1033

Русская библиография по истории древней философии 1033

Baillet A. — см. *Беллье А.*

Descartes — см. *Декарт Р.*

Léskov N. — см. *Лесков Н. С.*

Louis XV — см. *Людовик XV*

Pascal B. — см. *Паскаль Б.*

Périer, m-me — см. *Перье Ж.*

Spectator — см. *Грингмут В. А.*

Trubezkoï P. — см. *Трубецкой П.*

Научное издание

В. В. РОЗАНОВ

Полное собрание сочинений в 35 томах
Серия «Литература и искусство» в 6 томах

Т. 1. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ:
Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского
Статьи 1889–1900 гг.

Составитель и редактор тома *А. Н. Николукин*

Корректор *А. П. Дмитриев*

Компьютерная верстка *С. В. Степанова*

Художественное оформление *С. А. Гавриловой*

Формат 70 × 100 ¹/₁₆. Гарнитура Октава. Изд. л. 70,0.

Тираж 1000 экз. Заказ № 3129

ООО «Издательство «Росток»

E-mail: rostokbooks@yandex.ru

По вопросам оптовых закупок

обращаться по тел.: 8–921–937–98–70

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, В. О., 9-я линия, 12

